



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

КАРОНИНА

(М. Е. Петропавловскаго).

съ портретомъ, факсимиле и біографическимъ
очеркомъ.

Редакція А. А. ПОПОВА.

Издание К. М. Салдатенкова.

Т о м ъ I.

МОСКВА.
Типо-литографія В. Рихтеръ, Тверская, Мамоновскій пер., с. д.
1899.

Друж.

Печатаются слѣдующія изданія К. Т. СОЛДАТЕНКОВА:

Белохъ. Исторія Греціи, т. II (последній).

Брандесъ. Шекспиръ, пер. подъ ред. проф. Н. Н. Стороженко.

Каронинъ (Н. Е. Петропавловскій). Собраніе сочиненій въ 2 томахъ.

Ковалевскій М. Происхожденіе современной демократіи, т. I (вторымъ изданіемъ).

Ковалевскій М. Экономическій ростъ Европы, т. II. и III.

Лависсъ и Рамбо. Всеобщая исторія, т. V.

Платонъ. Діалоги въ 8 отдѣлахъ и 6 томахъ съ указателемъ и трактатомъ о Платонѣ и его сочиненіяхъ переводчика. Пер. В. С. Соловьева.

Трайля І. Д. Общественная жизнь Англіи, т. V.

Тэнъ И. Историко-литературные этюды.

Шоу. Городскія Управленія въ Европѣ и Америкѣ.

Эсменъ. Основныя начала государственнаго права, т. II.

«Экономическая Библіотека»: Шмоллеръ и Джорджъ.



СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

КАРОНИНА

(Н. Е. Петропавловскаго).

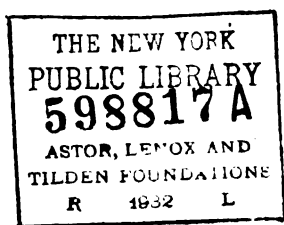
съ портретомъ, факсимиле и біографическимъ
очеркомъ.

Редакція А. А. ПОПОВА.

Изданіе К. М. Солдатенкова.

Т о м ъ I.

МОСКВА.
Типо-литографія В. Рихтеръ, Тверская, Мамоновскій пер., с. д.
1899.



PROY VIDA
CLUB
VIAJES



А. Митрофанов

NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX
TILDEN FOUNDATIONS

Н. Е. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

(КАРОНИНЪ).

БЮГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРКЪ.

Николай Елпидифоровичъ Петропавловскій умеръ отъ горловой чахотки 12 мая 1892 г., 38 лѣтъ. О его жизни читатели повѣстей и рассказовъ „Каронина“ знаютъ немного. Нѣсколько небольшихъ некрологовъ, двѣ-три замѣтки, посвященные его памяти и носящія характеръ личныхъ воспоминаній,—вотъ все, что и теперь, послѣ его смерти, имѣютъ передъ глазами его читатели. Мы хотимъ напомнить еще разъ эти воспоминанія и разсказать, что знаемъ изъ біографіи покойнаго.

Николай Елпидифоровичъ родился 7 октября 1853 года въ глухомъ захолустьѣ Бузулукскаго уѣзда, Самарской губ. Его отецъ былъ священникомъ въ деревнѣ Аеонькиной. Семья была большая. У Ник. Елп. было два брата и три сестры; онъ былъ предвѣдѣнимъ по возрасту. Жили бѣдно. Кромѣ отправленія своихъ священническихъ обязанностей, отецъ долженъ былъ обрабатывать единственно силами своей семьи небольшой кусокъ земли, заставляя хлѣбъ. Первое время послѣ рожденія Ник. Елп. родители мало рассчитывали, что онъ выживетъ,—такъ онъ былъ слабъ и бѣдненькъ. Нѣсколько разъ его уже клали „подъ обраб.“, но ребенокъ „выжилъ“. Въ самые ранніе годы онъ, оставшись одинъ разъ безъ присмотра въ кухнѣ, подвергся нападенію гусей. Сильный испугъ имѣлъ послѣдствіемъ заиканье, оставшееся на всю жизнь. Росъ онъ такимъ же слабенькимъ, худень-

кимъ и болѣзненнымъ мальчикомъ съ замѣчательно кроткимъ характеромъ. Тихій и задумчиво-сосредоточенный, онъ даже вызывалъ у отца опасенія насчетъ его умственныхъ способностей. Величайшимъ наслажденіемъ для ребенка было бродить за отцомъ или братомъ Александромъ по полю, увязаться за кѣмъ-нибудь на рыбалку. Отецъ, большой любитель рыбной ловли, нерѣдко бралъ его съ собой, и мальчикъ, завернутый въ отцовскую рубашку, просиживалъ цѣлые часы на берегу, проводя иногда въ полѣ всю ночь. Жизнь среди природы, всѣ эти поля и рыбалки, оставили глубокий слѣдъ въ душѣ Н. Е.—страстную привязанность къ сельской жизни, въ которой онъ росъ, къ жизни на воздухѣ, на свѣтѣ, на травѣ... Къ камню и пыли городовъ онъ не могъ никогда привыкнуть. Пасмурная погода всегда болѣзненно отзывалась на его настроеніи.

Въ этой обстановкѣ полей и земледѣльческой работы онъ провелъ все дѣтство. Отецъ и братъ Александръ учили его грамотѣ потомъ, если не ошибаемся, лѣтъ 9-ти, его отдали въ Бузулукское духовное училище, по окончаніи котораго перевезли въ Самарскую семинарію. Учился Н. Е. хорошо, исправно переходя изъ класса въ классъ, но уже съ этихъ первыхъ лѣтъ его ученическая жизнь поворачивается къ нему далеко не казовымъ концомъ. Онъ былъ еще очень молодъ, когда умеръ его отецъ. Отца онъ любилъ больше всѣхъ изъ семейства, и его смерть произвела на него сильное впечатлѣніе. Да и вся самарская жизнь первое время шла далеко не весело. Дѣти иногороднихъ небогатыхъ родителей отдавались на хлѣбъ. Обстановка, въ которой шла жизнь этихъ нахлѣбниковъ, была обыкновенно изъ самыхъ незавидныхъ. Дѣти скучивались толпами въ скверномъ помѣщеніи, кормили ихъ плохо, обращались—тоже. На одной изъ такихъ квартиръ Н. Е. опасно заболѣлъ. Съ нимъ сдѣлался тифъ. Хозяйка даже не дала себѣ труда предупредить родителей, хотя оказіи въ городѣ были нерѣдки. Случайно завернувшій къ нимъ крестьянинъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ жилъ отецъ Н. Е., взялъ больного мальчика съ собой и отвезъ къ отцу. Этотъ переездъ въ жару и бреду остался до конца въ памяти Н. Е. Свѣтлыми днями для него были каникулы, когда онъ увязалъ въ деревню къ родителямъ, гдѣ опять отдыхалъ среди природы, работалъ съ братьями въ полѣ, ловилъ рыбу. Каждый разъ возвращеніе обратно въ городъ стоило ему горькихъ слезъ и тяжелой тоски.

Позже его жизнь скрасилась. Время пребыванія въ семинаріи

получило для Н. Е. значительный положительный смысл. Общались кружки саморазвитія; съ цѣлью пополнить свои свѣдѣнія по разнымъ областямъ знанія Н. Е. былъ въ этихъ кружкахъ и читалъ запоемъ, съ такою жадностью, что, по его словамъ, не могъ ни пить, ни ѣсть, хотя это чтеніе доставалось трудно—читать приходилось урывками, пользуясь каждою удобною минутой и обстоятельствами. Это чтеніе и взаимный обмѣнъ мыслей заставляли задумываться надъ жизнью, и вмѣстѣ съ приближеніемъ конца ученія вставалъ вопросъ о своей личной судьбѣ. Родители готовили Н. Е. въ священники. Онъ уже безповоротно рѣшилъ, что не пойдетъ по этой дорогѣ. Нѣкоторое время онъ не рѣшался на открытое объясненіе, зная, что оно сильно огорчитъ мать, но теперь приходилось кончать съ этимъ вопросомъ. Тѣ сцены, какія послѣдовали за его заявленіемъ о своемъ нежеланіи идти въ священники, были не легки, но, въ концѣ-концовъ, съ помощью брата Александра, ставшаго на сторону Н. Е., ему удалось убѣдить родныхъ не противиться его желанію.

Н. Е. оставилъ семинарію, не кончивши тамъ курса, и перешелъ въ гимназію. Жизнь въ гимназій была непосредственнымъ продолженіемъ послѣдняго времени пребыванія въ семинаріи. И тутъ онъ съ тою же страстью продолжалъ читать съ товарищами, ища отвѣтовъ на жгучіе вопросы, которые вставали передъ его пытливымъ, вдумчивымъ умомъ. Подъ это неустанное чтеніе и споры складывались у Н. Е. тѣ идеалы, которымъ онъ служилъ потомъ всю жизнь. Случайное знакомство съ нѣкоторыми личностями, глубоко преданными народнымъ интересамъ и уже успѣвшими выработать опредѣленную систему убѣжденій, помогло окончательному опредѣленію взглядовъ Н. Е. и на его личные задачи. Но хорошее время, полное надеждъ и кипучей жизни, оказалось непродолжительнымъ.

5 августа 1874 года Н. Е. долженъ былъ разстаться съ гимназіей, не кончивъ ея, разстаться съ семьей, съ родною деревней, гдѣ онъ проводилъ эти послѣдніе дни. Наступили цѣлые тѣсячи мытарствъ, въ которые онъ перебивалъ и въ Саратовѣ, и въ Москвѣ, въ самыхъ невозможныхъ и физическихъ, и нравственныхъ условіяхъ, потомъ болѣе 3½ лѣтъ въ Петербургѣ. За эти годы онъ почти не слыхалъ близко человѣческаго голоса, не видѣлъ ни одного знакомаго лица, не получалъ даже никакихъ извѣстій отъ своихъ родныхъ, не имѣлъ денегъ... Эти

годы онъ цѣликомъ отдалъ задачѣ пополненія знаній и тѣмъ же поискамъ отвѣтовъ на вопросы, которые ставила русская жизнь. Это характерно для Н. Е. Онъ не только никогда не спускался до приспособленія къ „обстоятельствамъ“, но считалъ необходимымъ всякія обстоятельства, каковы бы они ни были, приспособлять къ себѣ и къ своимъ задачамъ. Перечиталъ онъ за это время массу, изучилъ французскій и англійскій языки.

Въ 1878 г. кончились, наконецъ, эти годы. Н. Е. остался въ Петербургѣ, перебиваясь кое-какъ разными случайными работами. Вскорѣ онъ женился, а еще нѣсколько мѣсяцевъ—и разцвѣтавшія было надежды и свѣтлая полоска, пробившаяся было въ его жизнь, опять зачеркнуты. Опять годы разлуки съ женой, съ друзьями и товарищами... Они были для него гораздо мучительнѣе недавняго, только было кончившагося тоже нелегкаго времени, и, несмотря на это, они опять были шагомъ впередъ въ его внутреннемъ развитіи. Онъ продолжалъ лихорадочно работать, спѣша пользоваться каждою минутой. Въ это время онъ окончательно рѣшилъ посвятить себя литературѣ и написалъ свои первые рассказы, появившіеся въ очень популярныхъ тогда журналахъ. Съ тѣхъ поръ, несмотря ни на что, онъ не измѣнялъ этому пути, отдавшись литературѣ цѣликомъ.

Въ декабрѣ 1880 г. Н. Е. получилъ возможность жить нѣкоторое время внѣ этихъ совершенно исключительныхъ обстоятельствъ. Зимой онъ продолжалъ писать, а на весну онъ могъ вырваться изъ Петербурга въ деревню—поправиться и отдохнуть. Н. Е. хотѣлось тогда куда-нибудь на берегъ Волги и, по совету одного знакомаго, онъ съ женой уѣхалъ въ дер. Канаву, Симбирскаго уѣзда, гдѣ и прожилъ до половины августа. Туда къ Н. Е. пріѣзжалъ братъ (младшій). Н. Е. много гулялъ, ловилъ рыбу, знакомился съ крестьянами, продолжая свои литературныя занятія, а когда кончилась эта недолгая дачная жизнь, которая могла напомнить ему былые, лучшіе дни, и онъ вернулся въ Петербургъ, пришлось собираться надолго въ Тобольскую губ. За нимъ поѣхала и жена. Первые два года они жили въ г. Курганѣ, гдѣ у Н. Е. родился сынъ Борисъ. Затѣмъ онъ вынужденъ былъ переехать въ г. Ишимъ, гдѣ и провелъ остальные три года.

Время началось совсѣмъ не легкое для Н. Е. Почему—во всемъ объемѣ читатель пойметъ, если онъ знаетъ хоть приблизительно общія условія жизни на далекихъ окраинахъ и осо-

бенно жизни тобольскихъ захолустій. Для каждаго образованнаго человѣка достаточно уже того утомительнаго однообразія однихъ и тѣхъ же лицъ, сценъ, положеній, которыя понемногу доводятъ нервную систему до крайняго напряженія. Даже мелочи могутъ при этомъ измучить человѣка, особенно съ такою впечатлительною душой, кака была у Н. Е. А жизнь его не мелочами только была богата. Чисто-личныя обстоятельства у Н. Е. сложились здѣсь крайне тяжелыя, какихъ онъ раньше въ такой мѣрѣ не зналъ; онъ съ семьей страшно нуждался, потому что прекратилась возможность зарабатывать средства къ жизни. Его литературная работа въ журналѣ, гдѣ онъ считалъ было себя постояннымъ сотрудникомъ,—работа, являвшаяся для него главнымъ заработкомъ, случайно оборвалась. Въ Курганѣ его жена могла имѣть акушерскую практику; здѣсь и этого не было. Н. Е. приходилось стряпать, мыть полы, исправлять всевозможныя домашнія работы, возиться съ ребенкомъ... Вся жизнь шла въ невозможной, бессмысленной сутолоцѣ, создавалась обстановка, дѣлающая немислимой какую бы то ни было продуктивную работу. Н. Е. принадлежали только тѣ минуты, которыя улавлялось „урвать“ случайно. Приспособлять къ себѣ такія обстоятельства болѣе чѣмъ не легко. А работать было нужно во что бы то ни стало. Нужно было отыскивать другое литературное пристанище, что было не легко Н. Е. при той полной опредѣленности его міросозерцанія и той требовательности къ литературному дѣлу, какими онъ отличался.

Литература всегда была для него храмомъ. Теперь приходилось идти на улицу. Съ основаніемъ „Сѣвернаго Вѣстника“ Н. Е. установился на немъ, работалъ иногда въ нѣкоторыя газеты и занимался экономическимъ описаніемъ южныхъ округовъ Тобольской губ., за которое ему была присуждена премія Западно-Сибирскаго Отдѣла Географическаго Общества. Каково было работать при окружающихъ его условіяхъ, читатель можетъ представить самъ, и его работа въ то время шла хуже, чѣмъ могла бы то ни было. Знавшіе его въ то время говорятъ прямо, что это была „ужасная“ жизнь, такая жизнь, въ которой и очень сильныя люди падаютъ духомъ и разбиваются. Эти годы были самою тяжелою гирей на тотъ грузъ, который началъ съ самой цвѣтущей поры человѣческой жизни тянуть его въ могилу. Гири росла, постепенно надламывая его слабое тѣло.

Г. Мачтетъ, встрѣтившійся съ нимъ въ Ишимѣ, пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ объ этой встрѣчѣ слѣдующее:

„Это былъ уже не бодрый, свѣжій юноша, а вполне сло-
жившійся человѣкъ, писатель съ опредѣленною фizioноміей и
установившеюся репутаціей, только попрежнему ласковый,
добрый, до женственности деликатный, съ тѣми же скорбно-
вдумчивыми глазами, съ тою же доброю улыбкой, которая все-
гда чаровала всѣхъ. Но была въ немъ и разительная переменѣна:
онъ казался совсѣмъ изможденнымъ, совсѣмъ больнымъ, — до
того былъ онъ худъ и блѣденъ; первая мысль при взглядѣ на
него была мысль о зломъ недугѣ, о послѣдней степени чахотки.
Но тогда ея еще не было, — все это было продуктомъ въ ко-
нецъ почти разбитыхъ, истерзанныхъ нервовъ“.

А это относилось еще только ко времени пріѣзда Н. Е. въ Ишимъ. Но „при немъ всецѣло остались его симпатіи, его любовь и вѣра“...

Г. Мачтетъ рассказываетъ, какъ смотрѣлъ Н. Е. въ то время на задачи литературы:

„Онъ горячо отстаивалъ положеніе, что намъ, беллетристамъ,
пора оставить одни *типы людей*, которыхъ у насъ наберется
цѣлая портретная галлерей, а изображать одни *типы обще-
ственныхъ явленій*, пользуясь для этого людскими типами лишь
какъ средствомъ, очерчивая ихъ слегка, поскольку это нужно
для главной цѣли. Онъ думалъ, что каждая общественная эпоха
опредѣляетъ собою характеръ и рамки творчества, налагаетъ
на художника свои обязанности и задачи. И, прилагая такое
положеніе къ данному моменту, онъ также горячо отстаивалъ
мысль, что задача современнаго художника сводится къ тому,
чтобы, главнымъ образомъ, будить и шевелить чувства читателя,
а не давать ему одно спокойно-объективное изображеніе. Те-
оріи, схемъ, положеній, портретныхъ типовъ собрано уже
много, но мало и плохо *чувствуется*, — *чувство* не развилось
еще или спитъ и нужно будить его картиной, не гоняясь за
детальною обрисовкой отдѣльныхъ чертъ каждаго лица, за про-
токольною правдой явленія или отдѣльнаго типа“ („Русск. Вѣд.“
1892 г., № 133).

И всѣ его произведенія оправдываютъ эти слова. Онъ ни разу не сбивался съ пути, на который всталъ однажды. Кое-какіе взгляды его къ этому времени измѣнились, потому что сама жизнь привела къ необходимости этихъ измѣненій, развернувъ

шире такія стороны, на которыя недостаточно много обращалось вниманія въ первую половину 70-хъ годовъ. Но тѣ идеалы, которые свѣтили ему въ юности, свѣтили въ тяжелое для него время съ 74—80 г., и теперь горѣли, и ихъ свѣтъ не слабѣлъ, несмотря на эту ужасную жизнь.

Бъ тому времени, когда Н. Е. долженъ былъ получить возможность вернуться на родину, въ іюлѣ 1886 г., у него родился другой сынъ, Степанъ, и почти въ то самое время, черезъ нѣсколько дней, умеръ Борисъ, его утѣшеніе и гордость. Не было у него въ жизни такой радости, которую судьба не торопилась бы отравить... Отъ этого удара Н. Е. долго не могъ оправиться.

Послѣ похоронъ онъ съ женой и ребенкомъ поѣхалъ въ Казань. Литературный фондъ помогъ ему, приславши, если не ошибаемся, рублей 100. Жили они въ Казани не долго, недѣли двѣ. Н. Е., убитый горемъ, потерялъ силы и не могъ работать. Не искавши даже квартиры, они поѣхали къ его роднымъ въ Самарскую губ., пробыли тамъ тоже недѣли двѣ и вернулись въ Казань; Н. Е. началъ сотрудничать въ „Казанскомъ Листѣ“ и „Волжскомъ Вѣстникѣ“ и напечаталъ нѣсколько мелкихъ фельетоновъ. Затѣмъ „Казанскій Листокъ“ предложилъ ему сдѣлать описаніе бывшей тогда въ г. Екатеринбургѣ выставки.

На екатеринбургской выставкѣ Н. Е. пробылъ около 2½ мѣсяцевъ. Здѣсь онъ, поселившись въ Верхнеисетскомъ заводѣ, имѣлъ возможность наблюдать жизнь кустарей, познакомился, между прочимъ, съ однимъ изъ нихъ, выдумавшимъ perpetuum mobile, который и далъ ему тему для разсказа подъ тѣмъ же заглавіемъ; ѣздилъ въ рудники, на березовскіе заводы (промысла золота). Изъ Екатеринбурга вернулись опять въ Казань, но осенью 1887 г. рѣшили перебраться въ Нижній-Новгородъ. Тамъ у Н. Е. родился третій сынъ, Всеволодъ. Прожили въ Нижнемъ до весны 1889 г., за исключеніемъ лѣта, которое провели въ холоканской деревнѣ Пескахъ, Воронежской губ. По возвращеніи изъ Песковъ Н. Е. опасно заболѣлъ. Съ нимъ сдѣлался перитонитъ. Съ недѣлю онъ былъ между жизнью и смертью и только къ веснѣ поправился.

Весь этотъ періодъ, съ отъѣзда изъ Ишима, былъ сплошь поисками такого угла, гдѣ онъ могъ бы чувствовать себя спокойно и выбиться изъ постоянной небезопасности. Ни того, ни другого ему не удавалось добиться. Точно нарочно, и теперь

время отъ времени насканивалъ какой-нибудь „случай“, оскорблялъ и скрывался за своимъ угломъ, иногда оставивши какія-нибудь пошлыя извиненія, иногда удаляясь съ сознаниемъ своего права. Если не было этого, приходило какое-нибудь личное горе. Нужда тоже не покидала его. Его беллетристическія произведенія не давали ему достаточно средствъ. Онъ не могъ работать много и успѣшно и по внѣшнимъ условіямъ его жизни, и по своимъ собственнымъ особенностямъ, какъ писателя. Имѣть какой-нибудь, хотя незначительный, но постоянный заработокъ, который избавилъ бы его отъ случайнаго существованія,—вотъ что заботило его въ то время. Онъ мечталъ пристроиться вполтну къ какой-нибудь газетѣ или въ качествѣ редактора, или постоянного работника. Въ этомъ смыслѣ онъ получилъ въ 1889 г. приглашеніе отъ „Саратовскаго Дневника“. Весной онъ ѣздилъ въ Саратовъ, гдѣ пробылъ лѣто, а осенью переехалъ туда окончательно. Но вообще газетная работа, вынужденная матеріальными обстоятельствами, была совсѣмъ не по нему. Онъ не умѣлъ писать на заказъ, писать во что бы то ни стало положенное число строкъ. Онъ рассказывалъ, что это писаніе составляло для него пытку, которая искажала и слова, и мысли, и написать къ сроку небольшой газетный фельетонъ оказывалось для него часто такою задачей, которую онъ не могъ осилить. Вотъ, между прочимъ, почему онъ никогда не могъ сжиться съ газетною работою и стать гдѣ-нибудь постояннымъ сотрудникомъ. Оборвалъ онъ скоро и свои отношенія съ „Саратовскимъ Дневникомъ“. Пробовалъ онъ было писать и въ другую мѣстную газету, „Сарат. Листокъ“, но это тоже было непродолжительно. Онъ такъ и остался при своихъ старыхъ ресурсахъ. Въ другихъ отношеніяхъ въ Саратовѣ ему было нѣсколько лучше, хотя онъ все время жалѣлъ, что у него нѣтъ возможности поселиться на долгое время въ деревнѣ. Его тянуло туда, и, кромѣ того, онъ прямо чувствовалъ необходимость обновить и расширить тотъ запасъ наблюденій, который у него былъ. Весной 1890 г. жена Н. Е. заболѣла и пролежала два мѣсяца. За это время безсонныя ночи, возня съ ребенкомъ и пр. окончательно измучили Н. Е. и эти два мѣсяца были послѣднимъ ударомъ его давно распатанному здоровью. Лѣто онъ провелъ въ селѣ Синенькіе, верстъ за 50 внизъ по Волгѣ, работая надъ своимъ послѣднимъ произведеніемъ „Учитель жизни“. Всю зиму и весну слѣдующаго года онъ жилъ въ городѣ, борясь съ разыгры-

вавшейся хворостью, а лѣтомъ 1891 г. отправился въ Святые горы (Харьковской губ.), гдѣ и прожилъ на дачѣ до осени. Эта поездка, описанная имъ въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“, была роковою. Уже въ августѣ, когда онъ разъ шелъ пѣшкомъ въ жаркій день на станцію желѣзной дороги, онъ почувствовалъ такую жгучую боль въ горлѣ, что ему чуть не сдѣлалось дурно. Вернувшись въ Саратовъ онъ совсѣмъ больной. Мѣстные врачи не рѣшались сначала опредѣлить характеръ его болѣзни и между ними было сильное разногласіе, хотя въ немъ мало было утѣшительнаго. Н. Е. видѣлъ, что дѣло плохо. Его друзья уговорили его ѣхать въ Москву посоветоваться съ проф. Остроумовымъ; тамъ не рѣшились сразу открыть ему страшную правду. Онъ вернулся нѣсколько успокоенный. Ему сказали, что язвы въ горлѣ золотушнаго происхожденія и что ихъ начало коренится въ крайне запущенномъ катаррѣ желудка. Но болѣзнь прогрессировала. Это былъ настоящій туберкулезъ, не дающій своимъ жертвамъ никакой надежды. Въ домѣ, въ которомъ онъ жилъ на Святыхъ горахъ, годъ тому назадъ умеръ чахоткою студентъ, и, можетъ быть, въ этомъ приходится искать источникъ болѣзни. Во всякомъ случаѣ, зараза попала на слишкомъ хорошо подготовленную почву. Н. Е. становилось все хуже и хуже. Страшные боли въ горлѣ и желудкѣ съ присоединеніемъ невралгій не давали покоя, принятіе пищи становилось крайне мучительнымъ. Болѣзнь, лишивъ его возможности работать, подрывала всѣ средства къ существованію его семьи, сама требуя лишнихъ тратъ. Приходилось жить въ долгъ. Н. Е. все-таки пробовалъ писать, и его „Общество грамотности“ было написано именно въ это мучительное время. Потомъ онъ долженъ былъ слечь окончательно и мѣсяца три уже не вставалъ съ постели. Онъ звалъ свое положеніе. Временами въ немъ просыпалась надежда, что онъ еще можетъ поправиться. Временами онъ ясно сознавалъ, что конецъ близко, что онъ идетъ къ нему неумолимыми шагами, и говорилъ: „Не все ли равно? Годомъ раньше, годомъ позже...“ Но до самыхъ послѣднихъ дней онъ не забывалъ дорогой ему литературы, говорилъ, — какъ это ни было ему трудно, — преимущественно о ней, интересовался всѣми новостями жизни, старался слѣдить, что дѣлается вокругъ... Въ его головѣ рождались планы его будущихъ произведеній. Онъ хотѣлъ писать два большихъ параллельныхъ романа: одинъ изъ жизни русской деревни въ 70-е годы, другой изъ жизни интеллигенціи за тотъ

же періодъ, и рассказывалъ, что первый у него уже обдуманъ во всѣхъ мелочахъ и что еслибы болѣзнь дала ему хотя недѣлю двѣ отдыху, онъ могъ бы продиктовать этотъ романъ. Болѣзнь не дала ему этихъ двухъ недѣль. Весной онъ уже не могъ ходить. Самый незначительный разговоръ отражался на немъ болѣзненнымъ образомъ, и онъ лежалъ на своей постели наединѣ съ своею тоской и своими думами... Весна потянула его опять въ деревню, его душили эти стѣны и городъ, и, можетъ быть, эта тоска по полямъ, по чистому, полному свѣта воздуху и поддерживала и раздувала въ немъ тлѣющійся огонекъ смутной надежды. Онъ настаивалъ, чтобы его съ первыми пароходами увезли въ Самарскую губернію, въ степи на кумысъ, увѣрялъ, что ему такъ плохо потому, что стоятъ скверные, пасмурные дни, что онъ встанетъ, какъ только наступитъ хорошая погода. Ясные дни пришли и, можетъ быть, эти ясные дни, а, можетъ быть, и напряженное стремленіе въ поля дѣйствительно оживили больного. Н. Е. могъ нѣкоторое время вставать и подолгу просиживалъ въ креслѣ на открытой террасѣ, всматриваясь въ синѣвшую перспективу Волги и залитыхъ луговъ. Это было не долго. Онъ опять слегъ и уже не подымался. Теперь онъ просилъ увезти его, чтобы не умирать здѣсь, чтобы онъ могъ умереть въ деревнѣ. Но и этого послѣдняго желанія исполнить было нельзя. У него начался мозговой туберкулезный процессъ сопровождающійся временною потерей сознанія и бредомъ. Онъ было даже силъ отхаркивать мокроту. Послѣдняя ночь прошла вся въ бреду.

Къ утру его не стало.

Умерла вдумчивая, пытливая мысль, всю жизнь искавшая правды. Умерло сердце, всю жизнь бившееся такою горячею любовью къ терпящимъ и обездоленнымъ. Онъ оставилъ его только въ своихъ произведеніяхъ, не напрасно писавши фразу могущую служить девизомъ всей его литературной дѣятельности „Слово имѣетъ свое сердце и это сердце есть стремленіе къ истинѣ и борьба за все человѣчное“ („Собр. сочин.“, т. II, стр. 619). Въ этомъ его жизнь и его дѣло, которое онъ счумѣлъ пронести по такому тяжелому пути, какой немногимъ выпадаетъ на долю. На какомъ немногіе сохраняютъ ту кристальную, святую чистоту души, которой отличался покойный Н. Е. „Я не зналъ ни одного человѣка, я не слышалъ ни объ одномъ, который, встрѣтивъ его въ жизни, не полюбилъ бы его, какъ любили всѣ“, — гово-

рить г. Мачтетъ. — „И какъ бы мнѣ хотѣлось возразить ему теперь на его любимое положеніе: нѣтъ, наша портретная галерея не полна, литературой собраны не всѣ типы. Есть у насъ герои, для изображенія которыхъ не настало еще время, не родился художникъ. Среди нашихъ типовъ не обрисованъ еще герой съ твоею чистою, честною, беззавѣтно любящею душой“...

Разсказы о парашкинцахъ.

I.

БЕЗГЛАСНЫЙ.

Что онъ былъ безгласенъ—это пунктъ, противный мнѣнію всего Парашкинскаго сельскаго общества, къ которому причислена была его душа, означенная въ ревизскихъ сказкахъ подъ именемъ Фрола Пантелѣева; и еслибы кто взялъ на себя смѣлость утверждать, что Фроль Пантелѣевъ мало пригожень въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется способность ходить по прихожимъ и умолять, и сталъ бы приводить тотъ всѣмъ извѣстный фактъ, что Фроль Пантелѣевъ любитъ молчать, а при необходимости — выражаться кратко, то всѣ парашкинцы съ недоумѣніемъ опровергли бы подобную клевету, приводя многочисленныя свидѣтельства въ пользу Фроловой способности подвергать себя всѣмъ печальнымъ невыгодамъ гласности.

Послѣ того, какъ парашкинцы получили право открыто говорить о себѣ при посредствѣ гласныхъ учреждений, Фроль, въ качествѣ единственнаго письменнаго человѣка на все общество, еженедѣльно доказывалъ свою письменность на дѣлѣ, такъ что извѣстность его, какъ письменнаго человѣка и, пожалуй, какъ ходатая, была настолько обширна и прочна, что онъ и самъ, въ концѣ-концовъ, убѣдился въ невозможности не писать и не тыкаться отъ одного начальства къ другому.

Въ просьбахъ о ходатайствѣ онъ отказъ считалъ немислимымъ. Часто онъ предавался въ руки своихъ кліентовъ съ отчаяніемъ, потому что долженъ былъ бросать собственное хозяйство. Не было ни одного человѣка, который не зналъ бы его избы, стоявшей посреди села и подпертой съ двухъ сторонъ колышками, надо думать, не съ цѣлю архитектур-

ныхъ украшеній. Здѣсь, починивая обыкновенно сапогъ, расхудавшійся вслѣдствіе продолжительныхъ странствованій, онъ выслушивалъ мольбы своихъ посѣтителей; здѣсь онъ часто съ свойственною ему рѣшительностью говорилъ: „Провалитесь вы совсѣмъ! Возьму и убѣгу, провалъ васъ возьми!“ Но здѣсь же онъ неминуемо долженъ былъ сознаваться, что ни посѣтители его никуда не провалятся, ни онъ никуда не убѣжитъ. И съ этимъ грустнымъ свойствомъ его знакомы были всѣ парашкинцы, во всѣхъ трехъ деревняхъ, составлявшихъ ихъ „опчество“; даже Иванъ Заяцъ, сосѣдъ Фрола, въ своемъ еженедѣльномъ безпамятствѣ, вспоминалъ не писаря и никого другого, а Флора. Проходя мимо избы послѣдняго, съ разодранною рубахой, сквозь которую просвѣчивало его мѣдное тѣло, онъ считалъ какъ бы своею обязанностью зайти къ сосѣду.

— Фролъ, — начиналъ онъ, озирая избу осовѣлыми глазами.

— Чего? — отзывается Фролъ, ковыряя сапогъ и чувствуя, что уступить просьбѣ пьянаго.

— Пиши къ мировому!

— Насчетъ какихъ дѣловъ?

— Какихъ? Насчетъ, напимѣръ, побіенія меня около волости Ѳедоткой — вотъ какихъ! — нагло объяснялся Заяцъ, вспомнившій, что его поколотили.

— Проснись, дурова голова! Кольями бы тебя отвозить, такъ ты бы не сталъ лапать винище-то... Уйди! Недосугъ! — съ негодованіемъ возражалъ Фролъ.

Приди Иванъ Заяцъ не въ такомъ неразумномъ видѣ, Фролъ уступилъ бы. Если онъ часто отказывалъ Ивану Заяцу въ просьбѣ, то лишь потому, что послѣдній и самъ забывалъ о только-что случившемся побіеніи его Ѳедоткой. Чаще же всего случалось, что Фролъ бросалъ распоротый сапогъ и шило, шелъ къ столу и безропотно начиналъ возить перомъ по загаженной мухами бумагѣ. Если его грамотность и поражала всегда неожиданнымъ сочетаніемъ буквъ, вслѣдствіе чего мѣстный мировой судья постоянно „помиралъ со смѣху“, читая Фролово писаніе, тѣмъ не менѣе, многочисленные почитатели Фрола считали себя вполне удовлетворенными и доказывали свое удовольствіе гонораромъ, неизвѣстнымъ ни одному адвокату въ мірѣ.

Что касается „опчества“, то Фроль положительно никогда ему не отказывалъ. Былъ-ли онъ занятъ чѣмъ, метался-ли подобно уторѣлому, справляя какую-нибудь домашнюю страду, но лишь только обращался къ нему съ просьбою сходить, онъ бросалъ все и шелъ на сходить. Всѣмъ извѣстно было, что на сходить по доброй волѣ онъ бывалъ рѣдко, если же и случалось ему тамъ присутствовать, то онъ всегда старался забиться въ самый дальній уголъ и молчалъ, рѣдко бросая робкое слово въ общую кучу воплей; по большей же части онъ былъ приводимъ туда силой. Когда на сходить замѣчалась нужда въ какой-нибудь важнаго значенія „письменности“, то немедленно всѣ рѣшали: привести Фрола. Отряжался депутатъ къ Фролу. Но Фрола, напримѣръ, дома не было; депутатъ шелъ туда, гдѣ онъ былъ. Фроль былъ, напримѣръ, на гумнѣ; депутатъ шелъ на гумно. Приходя туда, депутатъ садился на край тоба, на которомъ разложены были снопы ржи, и начиналъ, напримѣръ, такъ:

— Богъ помочь, Фроль!

— Спасибо,—угрюмо отвѣчаетъ Фроль, чувствуя недоброе.

Минута молчанія.

— Рожь?

— Рожь.

Молчаніе.

— Суха!—говоритъ депутатъ, кладя въ ротъ рожь и начинающая жевать.

— Давно въ овинѣ.

Молчаніе.

— Надо полагать, скоро смолотишь.

— Кто знаетъ?—возражалъ Фроль, яростно колотя цѣпомъ по снопамъ и тоскливо ожидая, что вотъ-вотъ его возьмутъ и уведутъ.

— А мы къ тебѣ, Фроль.

— Чево еще?

— Да тамъ, на сходить, извѣстно—письменность. Думали—тагы; ну, нельзя; бають, письменность... Ужь ты сдѣлай милость, пойдемъ.

Фроль молчитъ и колотить цѣпомъ.

— Ужь брось молотить-то.

Фроль молчитъ.

— Тоже вѣдь опчественное дѣло.

— А-ахъ, провалъ васъ возьми! А куда я рожь-то дѣй рожь-то? Свиньи еще слопають,—возражаетъ Фролъ и перестаетъ молотить.

— Эва! Свиньи! Да мы ребятъ кликнемъ—покараулятъ! Эй, пострѣлы! сюда! Гляди въ оба, чтобы все въ цѣлости! Ну, пойдемъ, Фролъ.

И Фролъ больше не сопротивляется, кладетъ на плечи цѣпь въ предохраненіе его отъ „пострѣловъ“, и идетъ, какъ именно-плѣнный, за депутатомъ, который съ торжествомъ приводитъ его на „сѣзжую“. Тамъ Фролъ садится за столъ нѣсколько часовъ кряду возить перомъ по бумагѣ.

Сапоги Фрола подвергались постоянному риску развалить совершенно, вслѣдствіе его частыхъ переходовъ изъ одной деревни въ другую, входящую въ Парашкинское общество. Для Фрола такая перспектива—остаться безъ сапогъ и забросить свое хозяйство—была тѣмъ болѣе очевидна, что его хожденія не ограничивались однимъ только Парашкинскимъ обществомъ; извѣстность его простиралась дальше и выходила за предѣлы наглости парашкинцевъ. Иногда видѣли мужиковъ, пришедшихъ къ нему изъ сосѣдняго общества, Фролъ все равно, въ концѣ-концовъ, вставалъ, надѣвал свои полураспоротые сапоги, натягивалъ свой сѣрый, блоннообразный картузъ на самые глаза и шелъ посреди мужиковъ въ сосѣднее общество для написанія какого-нибудь приговора или для какого-нибудь „ходатайства“.

Приговоры были спеціальностью Фрола. Въ этомъ случаѣ онъ даже и не грубилъ своимъ просителямъ, вполне признавая, насколько вредно поручать сочиненіе приговора писарю или другому кому-нибудь, душа котораго не была приписана къ обществу; когда приходили къ нему парашкинцы, то онъ не чесался, не ворчалъ, а прямо шелъ на сѣзжую и принимался за чудовищную работу.

Въ особенности нужно было тонкое и всестороннее знаніе закорючекъ, какими старался ошеломить парашкинцевъ сосѣдній баринъ, до послѣдняго времени ведшій войну съ героическимъ упорствомъ противъ бывшихъ крѣпостныхъ, а теперь „рендателей“ своихъ. Парашкинцы также, въ своей очередь, не уступали барину, никогда не отказываясь отъ права противъ закорючекъ барина поставить свои собственные при писаніи приговора. Для этого всегда выбирался

Фролъ, которому парашкинцы въ этомъ разѣ говорили: „Ну, Фролъ, гляди въ оба! Какъ бы намъ тово... не промахнуться“. Фролъ на это неизмѣнно возражалъ: „Ничего, не промахнемся!“ И Фролъ съ глубокимъ вниманіемъ изслѣдовалъ закорючки барины, стараясь поставить противъ нихъ въ приговорѣ свои собственныя контръ-закорючки. Часто, впрочемъ, войны парашкинцевъ съ бариномъ оканчивались простою перепиской, вносившей волненіе въ обѣ воюющія стороны на время и потомъ прекращавшейся мирнымъ образомъ и безъ письменности. Загонить-ли баринъ парашкинскихъ телятъ, вырубятъ-ли сами парашкинцы нѣсколько возовъ хворосту изъ барскаго лѣсу, въ томъ и другомъ случаѣ, послѣ взаимнаго озлобленія, обѣ воюющія стороны начинаютъ говорить о мирѣ, убѣждаясь на опытъ, что военныя дѣйствія сдѣлали юстаточно опустошеній съ той и другой стороны.

Само собою разумѣется, что для примиренія выбирался Фролъ, который, не взирая на свою любовь къ молчанію, несмотря также на свое негодованіе противъ поведенія „опчества“ и барины, не отказывался отъ дипломатической миссіи, шелъ къ лютому барину и убѣждалъ его наложить контрибуцію на телятъ по-барски, безъ преувеличенія количества опустошеннаго гнилого сѣна. Когда же переговоры оканчивались въ его пользу, онъ забиралъ изъ барскихъ хлѣбовъ парашкинскихъ телятъ и съ шумомъ гналъ ихъ домой. Въ случаѣ же, когда баринъ отказывался взять умѣренный штрафъ и начиналась безконечная тяжба у мирового, то Фролъ также терпѣлъ не мало, терпѣлъ до того, что, наконецъ, терпѣніе его изсякало.

— Провалитесь вы и съ телятами своими!—говорилъ онъ иногда, сознавая всю недѣйствительность подобныхъ возгласовъ.

— А ты ужь, Фролъ, не больно... тоже вѣдь опчественное дѣло,—возражалъ кто-нибудь Фролу.

И Фролъ на другой же день снова отправлялся къ мировому тягаться за парашкинскихъ телятъ.

Однимъ словомъ, Фролъ пользовался извѣстностью, и не только за свою письменность, но и за свою готовность тащиться по начальству.

Впервые безгласность его проявилась замѣтнымъ образомъ по прїездѣ въ парашкино заѣзжаго барины, изслѣдовавшаго

разные ученые вопросы мимопроѣдомъ, за станціоннымъ чаемъ. Баринъ принадлежалъ къ числу тѣхъ праздношатающихся, которые, для пополненія празднаго времени, безъ пути слоняются по захолустьямъ и изслѣдуютъ вопросы о точкѣ зрѣнія своей собственной праздности. Это было время когда только-что возникъ вопросъ: сейчасъ упразднить опочину или повременить? Изслѣдователь, остановившійся на парашкинцевъ, этимъ вопросомъ и былъ занятъ. Изъявивъ свое желаніе поговорить съ человѣкомъ знающимъ, онъ скоро увидалъ у себя Фрола, который столбомъ остановился на притолкѣ и ожидалъ приказаній страннаго барина, смущенно перекладывая свой картузъ изъ одной руки въ другую.

Послѣ перваго обмѣна привѣтствій, необходимаго для установленія хоть какого-нибудь пониманія между праздношатающимся и приписаннымъ, изслѣдователь началъ интересующій его допросъ.

— Скажи, пожалуйста... да ты что стоишь? Садись, друг мой.

— Покорно благодаримъ.

— Скажи, пожалуйста, какъ у васъ община... крѣпка?

-- Это насчетъ чего?

— Не хотите землю дѣлить?

— Не слыхать будто.

— Значить, крѣпко держитесь общинныхъ порядковъ? Ну, а не бѣгутъ отъ васъ люди? не покидаютъ землю? не тяготеютъ вашими порядками?—спросилъ изслѣдователь, довольный тѣмъ, что вопросы такъ быстро разрѣшаются.

— Бываетъ, и въ бѣги даются.

— И много бѣгутъ?

— Бываетъ.

— Такъ, значить, община-то ваша распадается?—спросилъ пораженный изслѣдователь.

— Которые люди въ городъ бѣгутъ, тѣ отъ опчества отстраняются, а которые въ опчество живутъ, ну, тѣ тутъ живутъ,—отвѣчалъ Фролъ, недоумѣвая, зачѣмъ все это его спрашиваютъ.

— Ну, хорошо, положимъ. Ну, а тѣ, кто въ общество-то остается, не ссорятся? —спросилъ изслѣдователь, убѣжденный, что теперь вопросъ поставленъ прямо.

— Какъ не ссориться! Бываетъ.

leg

- При дѣлѣжѣ земли?
- Бываетъ.
- Но развѣ это хорошо?
- Это насчетъ чего?
- Да ссориться?
- Что ужъ тутъ хорошаго!
- Такъ почему-жъ бы не раздѣлить землю навѣчно?
- Не знаю ужъ... — смущенно проговорилъ Фролъ и замолчалъ.

А баринъ сердится.

— Ну, хорошо, — началъ онъ съ другого конца, — положимъ: не хотите землю дѣлить; крѣпка община. Но развѣ не лучше было бы, еслибы каждый сидѣлъ на своемъ углу и обрабатывалъ бы его какъ ему надо? И землѣ было бы лучше, и человѣку вольно.

— Это точно.

— Значить, когда-нибудь раздѣлитесь?

— Не знаю ужъ...

Фролъ все свое вниманіе сосредоточилъ на картузѣ, въ то время, какъ лицо его начало деревенѣть.

— Да ты самъ какъ объ этомъ думаешь? Вѣдь есть же у тебя мнѣніе?

— Это насчетъ чего?

— Хорошо или худо подѣлить землю?

— Да я что же.... какъ опчество...

— Да тебѣ плохо или хорошо жить при этихъ порядкахъ?

— Чего ужъ тутъ хорошаго!

— То-то же и есть; значить, хорошо подѣлить?

— Да какъ опчество...

Баринъ сплюнулъ; лицо его было красно; сколько онъ ни предлагалъ далѣе вопросовъ, путнаго ничего не вышло. На лицѣ Фрола подъ конецъ не свѣтилось никакой мысли и не было ни одного желанія, кромѣ желанія надѣть картузъ.

Безгласность Фрола была ясная, не допускающая ни малѣйшаго сомнѣнія. Но помимо ея было еще что-то; помимо ея, въ его неопредѣленныхъ отвѣтахъ слышалось прямое изумленіе, до того полное, что оно, въ концѣ-концовъ, перешло въ деревянность. Между бариномъ и Фроломъ Пантелѣевымъ было, очевидно, полное непониманіе, и говорили они на разныхъ языкахъ, изумляясь легкомыслію другъ друга;

да и трудно было имъ сойтись на какой-нибудь точкѣ взаимнаго разумѣнія. Для изслѣдователя община рисовалась въ видѣ полицейской будки, которую можно упразднить или оставить на мѣстѣ, а для Фрола „опчество“ было его собственнымъ тѣломъ, рѣзать которое, само собою разумѣется, больно. Первый могъ спокойно говорить объ упраздненіи, а второй и не думалъ объ этомъ никогда. Мало того, праздничный вопросъ объ упраздненіи въ положеніи празднующаго былъ совершенно естественъ, тогда какъ второму и предложить себѣ подобный вопросъ было некогда, именно вслѣдствіе необыкновенной праздности этого вопроса. И это еще не все: изслѣдователь вопросъ объ упраздненіи считалъ дѣломъ личностей, даже и празднующихся въ томъ числѣ; Фролъ же только одно „опчество“ считалъ способнымъ порѣшить вопросъ о разрушеніи „опчества“.

Есть основаніе думать, что Фролъ, несмотря на врожденную въ немъ склонность къ угрюмому молчанію, далъ бы болѣе опредѣленный отвѣтъ, еслибы ученый изслѣдователь не позабылъ одного обстоятельства, предшествовавшего возникновенію вопроса объ упраздненіи. Дѣло въ томъ, что раньше вопроса объ упраздненіи возникли другіе вопросы, не заключавшіе въ себѣ ни тѣни легкомыслія и сводившіеся къ слѣдующему: что лучше, владѣть ли одною десятиною „сопча“ или въ одиночку и нераздѣльно? Еслибы изслѣдователь предложилъ этотъ первобытный и необыкновенно реальный вопросъ, то Фролъ отвѣтилъ бы на него разумнѣе и опредѣленнѣе. Можетъ быть, онъ сказалъ бы, что владѣть одному десятиною и разводить на ней капусту гораздо лучше, чѣмъ владѣть ею сообща и сѣять на ней рожь; можетъ быть, онъ подумалъ бы наоборотъ, а, можетъ быть, не долго думая, онъ сказалъ бы, что несравненно лучше всего прочаго плюнуть на эту десятину и „даться въ бѣга“. Во всякомъ случаѣ, эти отвѣты способны были бы въ большей степени удовлетворить всякаго празднующагося. Но Фролъ не слыхалъ такихъ понятныхъ ему вопросовъ.

Почему бы то ни было, вслѣдствіе ли невѣжества Фрола или вслѣдствіе забывчивости ученаго изслѣдователя, но послѣдній уѣхалъ въ сильномъ раздраженіи отъ парашкинцевъ, удивляясь всю дорогу до слѣдующей станціи неспособности ихъ связно отвѣчать на самые простые вопросы. Такъ Фролъ

и остался нѣмымъ для изслѣдователя. Самъ же по себѣ Фролъ скоро оправился отъ смущенія, въ особенности, когда онъ пришелъ домой и принялся зачинивать распоровшійся сапогъ, и когда вечеромъ того же дня въ его избу пришелъ староста и сказалъ: „Фролъ! пойдемъ на сходъ — письменность“, то Фролъ тотчасъ же надѣлъ сапогъ и пошелъ вслѣдъ за старостой, причеиъ ни староста, ни кто другой не замѣтили на лицѣ его деревянности, потому что онъ сказалъ:

— Провалитесь вы!

Въ концѣ лѣта того же года, послѣ сбора урожая, который „позволилъ ожидать большаго“, совершилось событіе, подѣйствовавшее на Фрола оглушающимъ образомъ; оно до того было неожиданно, что онъ не успѣлъ даже сообразить, сказать обычное свое „провалитесь“ и т. д. Для парашкинцевъ оно не было важно; они, можно сказать, не считали даже событіемъ выборъ гласныхъ въ земство, глубоко убѣжденные, что это повинность, исполнять которую должно потому лишь, что „начальству виднѣе, что и какъ“. Но если участіе на избирательномъ сѣздѣ было для нихъ нестоющимъ гроша кѣнаго, тѣмъ не менѣе, въ силу привычки идти туда и сидѣть тамъ, гдѣ посадятъ, они точно и регулярно участвовали въ выборѣ гласныхъ, которые, къ ихъ счастью, всегда сами себя назначали. Пошли парашкинцы на сѣздъ и въ этомъ году, безъ другой мысли, кромѣ какъ скорѣе возвратиться обратно.

Сѣздъ шелъ обычнымъ порядкомъ; все было попрежнему, какъ слѣдуетъ. До начала выборовъ парашкинцы и вмѣстѣ съ ними другіе избиратели усѣлись на лугу, противъ волостного правленія, и томительно стали выжидать схода; потомъ они вынули изъ тряпицы куски хлѣба, лукъ, рѣдку и другіе състные припасы, вообще служащіе для подкрѣпленія реиескихъ душъ; потомъ, подкрѣпивъ свои силы, они стали обгѣиваться шутками, надѣлая другъ друга тумаклами. Потомъ нѣкоторые изъ нихъ увидали, что съ задняго крыльца правленія былъ внесенъ трехведерный боченокъ, настолько извѣстный по прежнимъ избирательнымъ сѣздамъ, что сомнѣваться въ значеніи его появленія значило то же самое, что сомнѣваться въ желаніи старшины выбратся въ гласные вторично. Вскорѣ послѣ этого явленія показался и самъ старшина и лично пожелалъ справиться, насколько видѣ

вышеупомянутаго боченка очаровалъ избирательскія сердца. Для этого онъ обошелъ всѣ группы лежащихъ и сидящихъ избирателей и предлагалъ себя—однимъ съ умѣренною властью начальства, другимъ—съ указаніемъ худыхъ перспективъ въ будущемъ, въ случаѣ неуваженія его сана. Результатъ оказался несомнѣненъ, потому что на вопросъ однихъ избирателей: „Ну, что ребя? старшину, что-ли?“—другіе, въ томъ числѣ и парашкинцы, отвѣчали поголовно: „Вали старшину!“

Фролъ также присутствовалъ здѣсь; парашкинцы привели его на тотъ случай, если понадобится письменность. Но онъ рѣшительно отстранилъ себя отъ дѣятельнаго участія въ выборахъ. Сѣвъ свою крапшку хлѣба, онъ легъ подъ тѣнь крапивы, густо росшей возлѣ волостного забора, и думалъ вздремнуть до той поры, когда потребуется письменность. Но едва онъ успѣлъ вытянуть свои худыя, длинныя ноги и не успѣлъ еще забыться, какъ услышалъ отчаянный вопль: „Фро-олъ! Крикъ этотъ, по своей неожиданности для всѣхъ, сначала остался безъ отвѣта, но когда онъ повторился, то тотъ, къ кому онъ былъ обращенъ, отвѣчалъ: „чево?“—очевидно, не довольный тѣмъ, что ему и тутъ покою не даютъ. И только что Фролъ хотѣлъ сказать: „провалитесь“ и пр., какъ имъ его начало гудѣть по всему собранію, среди котораго большіе всѣхъ кричали парашкинцы. Фролъ мгновенно, къ ужасу своему, понялъ.

Было ясно, что Фрола выбирали въ гласные. Никто этого не ожидалъ, и всего менѣе тѣ, кто выбиралъ его. Старшину также не сомнѣвался, до того не сомнѣвался, что приказалъ писарю приготовить боченокъ къ появленію на сценѣ. Но вдругъ какой-то взбалмошный голосъ заоралъ: „Фрола!“ За первымъ нашелся второй, который также заоралъ; потомъ закричалъ третій, четвертый и т. д., пока не проснулось все собраніе, взволнованное такимъ необыкновеннымъ происшествіемъ. Тотчасъ со всѣхъ сторонъ послышались возгласы:

— По боку старшину!

Чай, тоже и сами силу имѣемъ произвестъ въ гласные!

— Вали Фрола!

— Фрола, Фрола, Фрола!

И когда Фролъ былъ выведенъ изъ крапивы, гдѣ онъ стоялъ въ ошеломленіи, то для посторонняго взгляда стало оче-

видно, что старшина провалится. Онъ и дѣйствительно провалился. Несмотря на его извѣстность, несмотря на согласіе, данное для его выбора парашкинцами и другими избирателями, несмотря на соблазнъ, представляемый трехведернымъ боченкомъ, вопреки даже рекомендаціи, данной старшинѣ лицомъ, извѣстнымъ парашкинцамъ по внушаемому имъ непреодолимому ужасу, не взирая, однимъ словомъ, на всѣ худыя перспективы, старшина получилъ „по боку“, и Фролъ къ вечеру былъ избранъ въ гласные Сысойскаго уѣзднаго земства.

Возвращаясь домой, парашкинцы болѣе не думали о своемъ неразумномъ поступкѣ и даже удивлялись, почему Фролъ идетъ среди нихъ словно въ воду опущенный. Парашкинцы недоумѣвали, поглядывая на странное лицо своего излюбленнаго, скорѣе деревянное, чѣмъ живое. А Фролу дѣйствительно было не по себѣ. Прежде всего, его поразила неожиданность его избранія; потомъ онъ очумѣлъ отъ страха. А потомъ, ясно представивъ себя дѣятелемъ въ Сысойскомъ земствѣ, онъ почувствовалъ боль, отъ которой ныли всѣ его внутренности. Онъ погрузился въ себя, угрюмо и молчаливо шагая среди своихъ парашкинцевъ, ликующихъ, что, наконецъ, повинность справлена.

Чтобы понять мрачныя мысли Фрола въ эту минуту, надо вообразить себѣ его прошедшую жизнь, столь неожиданно направленную на другую дорогу. Всѣ парашкинцы знали, что Фролъ былъ невольнымъ специалистомъ въ дѣлѣ сованія отъ одного начальства къ другому. Всѣмъ въ такой же мѣрѣ было извѣстно, что, какъ письменный человекъ, Фролъ былъ ладъ. Никто поэтому и не сомнѣвался въ его способности представлять невѣжество парашкинцевъ въ Сысойскомъ земствѣ. Но для Фрола такая репутація была мало полезна въ данномъ разѣ. Прежде всего, онъ, какъ извѣстный парашкинецъ, любилъ лучше сидѣть дома, чѣмъ тыкаться Богъ знаетъ гдѣ, и понятна горечь, съ какою онъ всякій разъ собирался въ уѣздный городъ Сысойскъ. Только дома онъ чувствовалъ себя хорошо; внѣ же дома онъ былъ рыбой, вытянутой на берегъ. Онъ всю жизнь держался правила или, скорѣе, вопля: „Не тронь меня!“ Можно даже сказать, что и вся-то его жизнь заключалась въ несчетныхъ попыткахъ скрыться, утаить свою душу и тѣло и остаться незамѣченнымъ. А тутъ

вдругъ пришлось выставять себя на показъ. Ясно, что для Фрола это было не хорошо.

Далѣе.

Съ самаго рожденія и до того момента, когда онъ былъ вытащенъ изъ крапивы, онъ привыкъ не выставять наружу своихъ внутренностей, такъ что даже извѣстность этимъ приобрѣлъ. Болѣютъ - ли его внутренности, было-ли ему тошно, о чемъ онъ думалъ и думалъ-ли о чемъ, — все это онъ скрывалъ въ себѣ; почему — другой вопросъ. Потому-ли, что онъ (внутренности-то) и безъ того часто потрошились, въ силу-ли свойственного парашкинцамъ упорства въ молчаніи, но только Фролъ молчалъ даже и въ то время, когда терпѣніе всякаго другого человѣка лопається; и до сихъ поръ, дѣйствительно, никто не въ состояніи былъ залѣзть въ его душу съ его вѣдома. Теперь же онъ самъ долженъ былъ вывернуть себя и показать себя изнутри, по крайней мѣрѣ, самъ онъ такъ думалъ; слово „гласность“ онъ такъ и принималъ буквально, не вникая во внутренній смыслъ его. „Ужъ ежели гласность, — думалъ онъ, — такъ, стало быть, это говорить обо всемъ“. Земство онъ считалъ какъ бы мѣстомъ раскаянія, гдѣ онъ долженъ показать себя и своихъ парашкинцевъ такими, какіе они есть. А развѣ легко каяться, хотя бы и не для Фрола?

Вотъ его избрали, поручили ему общественное дѣло, заставили заботиться о нуждахъ парашкинцевъ, но съумѣеть-ли онъ исполнить это порученіе? Фролъ понималъ всю тягость этого вопроса. Да и самые способы исполнять порученія парашкинцевъ измѣнились, что также чувствовалъ и Фролъ. Прежде онъ приносилъ пользу парашкинцамъ тѣмъ, что во время умѣлъ смолчать и скрыть; теперь онъ долженъ говорить, и притомъ гласно. Прежде онъ „дѣйствовалъ“, просилъ, умолялъ; теперь онъ долженъ доказывать, рассуждать, убѣждать. Но долгая привычка молчать, неумѣнье говорить о томъ, что думаешь, — все это качества, отъ которыхъ нельзя отдѣлаться мгновенно и по первому требованію. Съумѣеть-ли онъ говорить такъ, чтобы не осрамить своихъ парашкинцевъ? А что его заставляютъ говорить — это было для него ясно, иначе зачѣмъ и земство? Теперь, очевидно, его спросятъ: какія нужды имѣютъ парашкинцы? какими способами удовлетворить ихъ? какъ ты объ этомъ полагаешь, Фролъ Пантелѣевъ?

Фроль представлялъ себѣ все это и болѣлъ. Ну, а если про-
врешь? Если осрамишь только парашкинцевъ? Если вмѣсто
пользы принесешь имъ одно зло?

И Фроль болѣлъ.

Думаетъ онъ и о томъ, какъ бы чего не сказать неразум-
наго передъ господами, одна близость къ которымъ его бро-
сала въ жаръ, и не потому, чтобы онъ боялся осрамиться
самъ, а вслѣдствіе вѣдреннаго въ него страха къ людямъ,
которыхъ онъ никогда не понималъ. Фроль, очевидно, не
зналъ, что эта боязнь говорить о себѣ свойственна не одному
ему. Еслибы онъ былъ выбранъ въ гласные прямо послѣ
того, какъ парашкинцамъ дано было право говорить о своемъ
безобразіи, то онъ увидалъ бы, какъ многіе „господа“ дѣлали
рѣшительно неприличныя несообразности въ Сысойскомъ
земствѣ, вслѣдствіе привычки жить только дома, гдѣ, разу-
мѣется, можно держать себя и нечистоплотно — никто не
видитъ.

Но Фроль не зналъ этого и болѣлъ,—болѣлъ всѣми своими
внутренностями, болѣлъ до того, что весь ушелъ въ себя,
во внутрь, одревенѣлъ снаружи, такъ что, когда пришелъ
къ нему его сосѣдъ Иванъ Заяцъ, на этотъ разъ „тверёзый“,
и сталъ просить его насчетъ какой-то письменности, то онъ
отвѣчалъ: „Уйди ты, Христомъ Богомъ прошу тебя!“

Точно съ такою же деревянностью далъ инструкцію оста-
ющейся дома женѣ Марѣ.

— Блюди тутъ, Марья; за пѣгашомъ-то гляди въ оба, хро-
мать сталъ,—сказалъ онъ съ устремленными внутрь глазами.

— Ужъ знаю.

— И коровешку на ночь загоняй. Да сѣно бы перевезти
съ гумна... Вишь недосугъ мнѣ...

— То-то недосугъ! Тоже, чай, и меня надо пожалѣть. Ужъ
доходишься ты дотолъ, покуда и портокъ не останется, про-
сти Господи.

— Ну,—возразилъ Фроль и замолчалъ.

Потомъ сталъ одѣваться. Длинная, неуклюжая его фигура
облачалась въ новый, только съ двумя заплатами, кафтанъ,
повязала на шею себѣ платокъ, перепоясалась краснымъ,
рѣшительно новымъ кушакомъ, положила за пазуху лепешку,
испеченную Марьей, почесалась немного, потомъ перекрести-
лась и, выходя на улицу, сказала:

— Ну, съ Богомъ!

Это поощрительное восклицаніе относилось къ ногамъ, которые должны были отмахать семьдесятъ верстъ до Сысойска, а не къ лошади, какъ это можно было предположить.

Еслибы гренадеръ Мироновъ, знаменитый своими чудовищными усами во всемъ Сысойскѣ, увидѣлъ Фрола въ такомъ видѣ, то не вытаращилъ бы почтительно глазъ и не протянулъ бы руки по швамъ, какъ это онъ дѣлалъ всякій разъ, когда видѣлъ во ввѣренномъ ему корридорѣ гласнаго; можно даже думать, что, гордый своимъ званіемъ охранителя дверей земскаго собранія, онъ грозно бы сдвинулъ при видѣ Фрола свои невѣроятные усы и загремѣлъ бы: „Куда прешь?“ Слѣдовательно, не безъ основанія можно заключить, что Фролъ отъ такой встрѣчи почувствовалъ бы себя еще менѣе хорошо.

Именно такъ и случилось.

Въ утро того дня, въ который предполагалось открыть первое засѣданіе Сысойскаго земства, гренадеръ Мироновъ нарочно всталъ рано, съ цѣлью сдѣлать необходимыя приготовленія къ приему гласныхъ. Отложивъ до болѣе удобнаго времени свой туалетъ, не взирая даже на крайне безпорядочное состояніе своихъ усовъ, которыми онъ по справедливости гордился, онъ взялъ швабру и принялся съ помощью ея тереть, чистить и мести. Сперва онъ вычистилъ залу засѣданія, далѣе привелъ въ порядокъ побочныя комнаты, затѣмъ перешелъ въ коридоръ, выходящій на улицу. Но здѣсь швабра его подняла такіе столбы пыли, что онъ поспѣшилъ выйти на крыльцо, чтобы отфыркаться и вздохнуть чистымъ воздухомъ. Поставивъ швабру на крыльцо, онъ оперся на нее и сталъ безучастно смотрѣть на главную сысойскую площадь. Конечно, въ другое время онъ не обратилъ бы вниманія на человѣка, который, повидимому, безъ пути бродилъ по площади, но странная наружность этого человѣка, а также ранній часъ утра, когда по площади гулялъ всегда только козелъ сысойскаго исправника, заставили гренадера Миронова пристальнѣе взглянуть въ ранняго посѣтителя. А ранній посѣтитель площади, дѣйствительно, безъ толку шатался. Онъ останавливался возлѣ лавокъ и, повидимому, принялся читать вывѣски; прошелъ мимо собора, снялъ картузъ; перешелъ въ противоположный уголъ площади, поглядѣлъ наверхъ, снова

воротился, дошелъ до середины площади; остановился, за-
чѣмъ-то опять снялъ картузъ и тотчасъ почему-то надѣлъ
его; поправилъ кушакъ и вдругъ двинулся въ сторону Ми-
ронова. Послѣдній только-что проговорилъ „экая дура“, какъ
увидалъ, къ изумленію своему, что странный человѣкъ под-
ходитъ къ нему и вотъ уже полѣзъ на крыльцо.

— Куда прешь?—загремѣлъ гренадеръ Мироновъ, изумлен-
ный дерзостью.

Странный человѣкъ, который былъ, конечно, Фролъ, не-
много оторопѣлъ, но на его деревянномъ лицѣ, съ устрем-
ленными внутрь глазами, ничего нельзя было прочесть.

— А спросить бы мнѣ надо насчетъ, гдѣ земство?—отвѣ-
чалъ онъ.

— Куда ты прешь?—снова спросилъ Мироновъ, поднимая
швабру.

— То-то, говорю, въ земство...

— Въ земство! Собаки не проснулись, а онъ лѣзетъ въ
земство! Отчаливай, братъ, отчаливай!—и Мироновъ съ угро-
жающимъ видомъ потрясъ шваброй. Но, видя, что стран-
ный человѣкъ стоитъ, какъ столбъ, на одномъ мѣстѣ и не
обращаетъ ни малѣйшаго вниманія на швабру, онъ спросилъ:

— Ты кто будешь?

— Гласный,—отвѣчалъ Фролъ.

Мироновъ нѣсколько сконфузился.

— Такъ бы ты и говорилъ, а то... Ну, все же тебѣ до-
вой надо направляться. Въ одиннадцать часовъ, вотъ тогда
ваше вамъ почтеніе,—возразилъ Мироновъ, стараясь опра-
виться отъ конфуза.

— Да мнѣ спросить бы что ни на есть...—нерѣшительно
отвѣчалъ Фролъ.

Слова его произвели дѣйствіе: Мироновъ смягчился. Кромѣ
гордости своими необыкновенными усами, онъ имѣлъ еще
гордость покровительствовать гласнымъ-крестьянамъ. По-
этому, поставивъ швабру къ стѣнѣ, онъ важно проговорилъ:

— Что-жъ?... Это можно... Дѣла эти мнѣ извѣстны. Въ
прошлогднюю секцію приходитъ вотъ также ко мнѣ глас-
ный мужикъ... Мироновъ! Что и какъ? Такъ и такъ, го-
ворю... Дѣла эти мнѣ весьма извѣстны.

Собесѣдники усѣлись на ступенькахъ крыльца и начали

мирно бесѣдовать. Гренадеръ, впрочемъ, одинъ говоритъ, а Фроль только сосредоточенно смотрѣлъ ему въ ротъ.

— Ты, стало, въ первой?—самодовольно спросилъ гренадеръ Мироновъ.

— Въ гласность-то произведенъ?

— Ну.

— Въ первой.

— И видно. Тутъ тоже наука; привыкнешь. Его пр—ство предсѣдатель завсегда говоритъ: „Мироновъ!“—„Что, говорю, ваше пр—ство?“—„Воды!“ Ну, сейчасъ ему воды. Тоже и имъ трудно. Смотришь иной разъ, а они тамъ дремлютъ, скучно имъ, жарко. А все наблюдаютъ, все наблюдаютъ. Вотъ тебѣ—ничего; сиди, знай, да помалкивай. А почему? Первое дѣло, языкъ лопата, второе дѣло—умъ за разумъ зайдетъ у тебя, какъ это они начнутъ говорить.

Мироновъ остановился, а Фроль напряженно устремилъ глаза въ пространство и недоумѣвалъ.

— И все молчать?—спросилъ онъ.

— Молчи.

— Ну, а ежели такъ... къ слову, разумное что ни на есть?

— А я тебѣ говорю, молчи. Скажи ты необразованное слово, сейчасъ тебя, Господи благослови, за хвостъ да палкой.

Это вранье Фроль принялъ такъ, что рѣшился остерегаться „необразованнаго слова“, и опять устремилъ глаза въ пространство. А Мироновъ разошелся еще болѣе, видимо восхищаясь своею ролью учителя.

— Или опять вурна... Скажутъ тебѣ—клади туда шаръ, и ты клади, безъ послушанія,—продолжалъ врать Мироновъ.

— А это что—вурна?—смущенно спросилъ Фроль.

— Ты не знаешь вурны?—ужаснулся Мироновъ, съ сожалѣніемъ посмотрѣвъ на несчастнаго Фроля.

— То-то бы спросить,—отвѣчалъ Фроль, снова устремивъ глаза въ одну невидимую точку пространства.

Гренадеръ Мироновъ смягчился; онъ откашлялся два раза и торжественно началъ: .

— Есть шары бѣлые, и есть шары черные, и есть вурна. Понялъ?

Фроль хлопалъ глазами, а гренадеръ продолжалъ:

— Когда тебѣ скажутъ: Фроль Пантелѣевъ! клади черный!

ты кледи черный; или опять скажутъ: кледи бѣлый — кледи бѣлый; безъ послушанія! — пояснилъ Мироновъ, самъ изумляясь своему краснорѣчію.

— Ну, а ежели я самъ... положу за кого надо? — нерѣшительно возразилъ Фролъ.

— Безъ послушанія! — сурово проговорилъ Мироновъ, возмущенный недоумѣріемъ Фрола.

Фролу надоѣло слушать дальнѣйшее вранье своего грознаго учителя. Узнавъ, что ему надо было, онъ попрощался съ Мироновымъ и пошелъ къ себѣ на постоянный дворъ. Онъ не переставалъ болѣть. Онъ даже „пищи рѣшился“ и еле-еле дотянулъ до одиннадцати часовъ, назначенныхъ для открытія засѣданія. Когда же, наконецъ, онъ дождался назначеннаго часа, то съ перваго раза ему все казалось, что вотъ-вотъ подойдетъ кто-нибудь къ нему и загремить: это онъ куда залѣзъ?!

Но подобный, можно сказать, младенческій страхъ продолжался во Фролѣ недолго. Фролъ скоро увидалъ, что онъ можетъ безопасно сидѣть въ самомъ дальнемъ углу залы и безъ смущенія смотрѣть во всѣ глаза, не обращая на себя ничьего вниманія. Онъ даже сначала не обратилъ вниманія на себя и другихъ сѣрыхъ людей, подобно ему забывшихся въ безопасныя мѣста и изумленно глазѣвшихъ во всѣ глаза. Освоившись съ своею неприкосновенностью, Фролъ сталъ примѣчать. Примѣтилъ онъ тутъ многихъ знакомыхъ, встречаемыхъ имъ раньше: чекменскаго барина, землянскаго барина, гавриловскаго барина, — все люди извѣстные, знавшіе то въ свою очередь; были тутъ нѣкоторые сысойскіе жители, которые также знали его. Вообще, Фролъ скоро понялъ, что сидѣть здѣсь можно.

И онъ сидѣлъ, и глазѣлъ, и учился, безмолвно вперивъ глаза на предсѣдателя. Къ его счастью, никто не трогалъ его и не выводилъ его изъ того деревяннаго положенія, которое, по видимому, необходимо было для внутренняго сосредоточенія его на одной точкѣ, такъ наболѣвшей въ немъ за всѣ эти дни. Какъ истинный парашкинецъ, онъ туго воспринималъ всякую новизну, прежде имъ неслышанную и невиданную; чтобы объять ее, примѣтить и понять, ему необходимо было сначала одеревенѣть, отвлечься отъ всего и сосредоточиться на одной внутри болящей точкѣ. Еслибы Фролу не удалось

одеревенѣть и отвлечься, то, какъ истинный парашкинецъ онъ постарался бы искусственно добиться этого, надѣлъ бы какія-нибудь вериги и непремѣнно добился бы своего: одеревенѣлъ и сосредоточился.

Такъ какъ въ первый день засѣданія происходилъ выборъ гласныхъ въ губернское земство, то ничто не мѣшало Фролу въ его занятіи—примѣчать и учиться. Въ этотъ день онъ дѣлалъ то, что дѣлали другіе: сидѣлъ, когда всѣ сидѣли, вставалъ, когда вставали другіе; двигался вмѣстѣ съ прочими и отличался отъ многихъ только тѣмъ, что абсолютно молчалъ въ то время, когда говорили вокругъ него. Тѣмъ не менѣе внутренности Фрола не переставали болѣть и внутренняя работа не прекращалась въ немъ; ему хотѣлось понять смыслъ всего происходящаго, чтобы потомъ... а дальше онъ думалъ поступать какъ Богъ на душу положить. За этотъ день Фролъ такъ намучился, что, придя на свой постоялый, почти ничего „не ѣвши“, онъ какъ снопъ повалился на лавку. А ночью видѣлъ ужасный сонъ, будто онъ сидѣлъ и слушалъ, и будто вдругъ, къ ужасу своему, громко кашлянулъ и затѣмъ тотчасъ услышалъ голосъ издалека: а ну-ка, выходи сюда, Фролъ Пантелѣевъ! Проснувшись, Фролъ большу уже не могъ заснуть; чуть только забрезжилось утро, онъ вышелъ на дворъ и долго слонялся по Сысойску.

На другой день читались доклады управы. Вслѣдствіе извѣстнаго свойства членовъ Сысойской уѣздной управы—сокращать свой отчетъ до отсутствія его, гласные напряженно слушали каждое слово докладчика и выказывали глубокое вниманіе въ тѣхъ мѣстахъ отчета, гдѣ вмѣсто цифръ стояли многоточія. Но Фролъ не могъ еще понять такихъ тонкостей. Забившись, какъ и въ первый день, въ отдаленнѣйшій уголъ, онъ сосредоточенно слушалъ, стараясь уловить смыслъ чтенія и—ничего не уловилъ. Передъ его умственнымъ взоромъ проходили цифры, цифры, цифры, которыми онъ долго пытался связать, но, наконецъ, понявъ невозможность этого, онъ съ отчаяніемъ обратилъ глаза на докладчика. Только въ концѣ чтенія онъ былъ пораженъ однимъ обстоятельствомъ, повергшимъ его въ крайнее изумленіе. Докладчикъ все читалъ, все читалъ и вдругъ перешелъ къ славословію, съ восторгомъ описывая чудесныя подвиги членовъ управы. И Боже мой! чего тутъ только н

было! и благое поспѣшеніе, и забвеніе своихъ дѣлъ, и преданность земскому дѣлу, и претерпѣнныя при разъѣздахъ труды, и многое другое прочее, оставшееся для ума Фрола смутнымъ. Вообще, члены управы не дожидались Гомера для прославленія ихъ подвиговъ.

Фролъ былъ ошеломленъ. Его грубое ухо не привыкло къ различію тонкихъ мелодій; онъ могъ быть пораженъ только общимъ безпорядочнымъ впечатлѣніемъ доклада. У себя дома онъ ничего подобнаго не слышалъ. Зная однихъ только парашкинцевъ, онъ и уѣздное Сысойское земство мѣрлялъ парашкинскою мѣркой. Парашкинцы же, какъ это зналъ Фролъ, жегда туто выслушивали отчетъ какого-нибудь своего сотскаго или попечителя; самъ сотскій, давая отчетъ, также никогда не приходилъ въ восторгъ отъ своей дѣятельности. Напротивъ, Фролъ помнилъ многочисленные примѣры того, какъ тотъ же сотскій напакостить „опчеству“, сбездѣльничаетъ и вдругъ приходитъ на сходъ и начинаетъ плакать горючими слезами, раскаиваясь въ своихъ пакостяхъ. Такимъ образомъ, Фролъ не въ состояніи былъ понять доклада и только смущенно теръ себѣ лобъ, напрягая всѣ свои умственные способности.

Сравнивая парашкинскій сходъ съ Сысойскимъ земствомъ, Фролъ, конечно, избралъ дурной методъ наблюденія; но такъ какъ метода этого, собственно говоря, онъ и не избиралъ, а держался его невѣдомо для себя, лишь потому, что, кромѣ парашкинцевъ и парашкинскихъ „дѣловъ“, ничего больше не видалъ, то онъ и не чувствовалъ ни малѣйшаго укора совѣсти въ своей душѣ.

Точно также онъ поступалъ и въ слѣдующіе дни засѣданій. Хотя онъ мало обращалъ вниманія на мелкія подробности, мелькавшія передъ его устремленными въ одну точку глазами, но онъ не могъ не замѣтить, что многіе господа очень скучали. Предсѣдатель дремалъ иногда. Чекменскій баринъ промжо сопѣлъ, ничѣмъ не смущаясь. Землянскій баринъ ѣлъ до слезъ. Многіе для развлеченія читали газеты, нѣкоторые шептались, кто-то смѣялся... Каждый ораторъ говорилъ вяло, иной разъ брезгливо; если же кто и пылалъ жаромъ, то тотчасъ же остывалъ, лишь только садился. Чрезвычайно было скучно.

Фроль, примѣчая эту виѣшнюю сторону, вспоминалъ свѣ парашкинскій сходъ.

Фроль зналъ, какъ происходитъ этотъ сходъ. Лишь толпы сходятся парашкинцы, вспоминалъ Фроль, такъ, не медля ни ни минуты, начинаютъ брехать, ожесточаются и сулятъ другъ другу чудовищныя кары. Каждый парашкинецъ въ эту минуту своей жизни пылаетъ огненною злобой, и надъ мѣстомъ гдѣ кипитъ эта злоба, стоитъ неумолгаемый лай. Фроль, конечно, не одобрялъ такого способа разсужденій и потому съ удовольствіемъ видѣлъ, что ничего подобнаго въ Сысойскомъ земствѣ нѣтъ. Тутъ все чинно, разумно, спокойно; вездѣ порядокъ, каждое слово „образованно“, никакой злобы, напротивъ, во всемъ доброта и благодушіе. За всѣмъ тѣмъ въ голову Фрола попала странная мысль. Онъ склоненъ былъ думать, что парашкинцы все же рѣшаютъ дѣла быстро хорошо. Очевидно, что тамъ, на парашкинскомъ скопищѣ обсуждаются кровные интересы, разрѣшеніе которыхъ представляетъ жгучій вопросъ; очевидно также, что скопищъ привыкло рѣшать дѣла сообща. А здѣсь, на Сысойскомъ земствѣ, помимо непривычки къ гласному, открытому обсужденію дѣлъ, можно дѣло и рѣшить, но можно и отложить его, а можно и совсѣмъ затянуть его въ нераспутанную петлю, причемъ и пламенѣть не для чего, потому что и матеріала для пламени нѣтъ: еслибы кто вздумалъ загорѣться то немедленно бы почувствовалъ ледяной холодъ, да и смѣшно было бы ему самому.

Фроль это смутно чувствовалъ. Въ парашкинскомъ скопищѣ можно поругаться въ волю, наговориться и вылить на долго всю желчь свою. А тутъ Фроль не примѣтилъ ни злобы, ни брани, и „дѣловъ“ какъ будто не было. Все какъ будто дѣлалось такъ, безъ причины и безъ цѣли.

Въ душу Фрола начала закрадываться злонамѣренная мысль сбѣжать. Дѣло въ томъ, что парашкинецъ деревяненъ не для шутки; если ужъ онъ деревяненъ, то всегда за дѣло, на которомъ онъ готовъ положить душу свою; одеревенѣетъ онъ, напримѣръ, и цѣлые годы тычется по начальству съ деревяннымъ лицомъ; тычется до тѣхъ поръ, пока его по этапу не отправить на мѣсто жительства. Фроль былъ также парашкинецъ. Одеревенѣвъ, онъ пришелъ каяться отъ лица своего и отъ лица своихъ парашкинцевъ, рассказывать о

нуждѣ, о глупости, о безобразіяхъ, разсуждать о способахъ прекращенія всего этого и вообще думать о томъ, что лучше. А въ Сысойскомъ земствѣ какъ будто и „дѣловъ“ никакихъ нѣтъ; о нуждѣ ни слова, а вмѣсто этого славословіе. Темная мысль незамѣтно прокрадывалась въ душу Фрола; было очевидно, что онъ ушелъ внутрь себя по пустому. Сбѣжать — эта мысль такъ и засѣла гвоздемъ въ его голову. Но онъ пока отмахивался отъ такого страннаго желанія и все, по-прежнему, напряженно слушалъ, глядѣлъ и усвоявалъ.

Слѣдующіе дни протекли для Фрола тѣмъ же мало знаменательнымъ путемъ. Еслибы онъ могъ и хотѣлъ вести дневникъ, то его приключенія за эти дни выразились бы такъ:

16-го сентября. Фролъ Пантелѣевъ безмолвно сидѣлъ и напряженно наблюдалъ лицо предсѣдателя.

17-го сентября. Фролъ Пантелѣевъ хранилъ молчаніе. Но случилось, что онъ громко кашлянулъ, прикрывъ ротъ рукой послѣ времени.

18-го сентября. Фролъ Пантелѣевъ до такой степени сосредоточенно смотрѣлъ, что на его одеревенѣвшемъ лицѣ потекли ручьи пота.

19-го сентября. Къ Фролу Пантелѣеву подошелъ баринъ съ вѣдомостями въ рукахъ и сказалъ: „Почтеннѣйшій! не соблаговолите ли вы уступить мнѣ мѣстечко?“ — на что Фролъ Пантелѣевъ отвѣчалъ: „Это ничего... это можно“...

Когда Фролъ пересѣлъ на другое мѣсто, почти рядомъ съ чекменскимъ бариномъ, то услышалъ, что началъ говорить гавриловскій баринъ. Гавриловскій баринъ доказывалъ, между прочимъ, что теперь образованіе для крестьянъ въ особенности необходимо, вслѣдствіе полученія ими разныхъ новыхъ правъ, пользоваться которыми можно только человеку грамотному. Онъ указалъ на парашкинцевъ, въ „округѣ“ которыхъ не было ни одной школы.

Фролъ встрепенулся, ожилъ и началъ возиться на своемъ стулѣ. Ему понравилась веселая, но понятная рѣчь гавриловскаго барина.

Въ это время его сосѣду, чекменскому барину, надоѣло сопѣть на всю залу; онъ поднялся, пошлепалъ губами и сталъ возражать гавриловскому барину. Онъ говорилъ долго, вкусно и сочно, хотя Фролъ мало понялъ изъ его рѣчи; только лицо его начало терять постепенно свою деревянность... Подъ ко-

нецъ чекменскій баринъ, высказавъ увѣреніе, что онъ „глубоко вѣрить въ то, что говорить“, принявъ во вниманіе, кромѣ того, и то, и другое, и третье, „а также имѣя въ виду (и съ одной стороны, и съ другой) невѣжество парашкинцевъ и ихъ собственное нежеланіе образовывать себя“, онъ „не могъ не придти къ заключенію“, что расходъ, рекомендуемый почтеннымъ ораторомъ, „безполезенъ и обременителенъ для Сысойскаго земства“.

Фролъ все время возился на стулѣ, вынималъ зачѣмъ-то картузь, снова пряталъ его за пазуху, зачѣмъ-то откашливался и опять возился на своемъ стулѣ. Потомъ вдругъ всталъ. Какъ нарочно, въ залѣ въ это время настала мертвая тишина. Фролъ открылъ ротъ. На него многіе обратили вниманіе. Онъ и самъ въ первое мгновеніе видѣлъ, что на него смотрятъ, и смутился, но мысль, засѣвшая въ немъ, одержала верхъ, требуя выхода, и Фролъ сталъ говорить:

— Ну, ежели невѣжество у насъ...— Онъ остановился на мгновеніе—около него раздался смѣхъ, вѣроятно, потому, что ни одна рѣчь въ Сысойскомъ земствѣ не начиналась такъ.

Но онъ продолжалъ:

— Невѣжество — это такъ, но невѣжество надо учить, учёба ему надобна...

Раздался хохотъ. Фролъ поблѣднѣлъ, но продолжалъ:

— Парашкинцы и ради бы учить своихъ ребятъ, да силь-тѣнѣту...

Новый смѣхъ, хотя болѣе сдержанный, раздался. То смѣялся чекменскій баринъ и нѣкоторые другіе; имъ было скучно и они рады были забавѣ. Фролъ замолчалъ, только съ какою-то странною улыбкой проговорилъ, обращаясь къ сидящему подлѣ него барину:

— Грѣхъ вамъ, баринъ, смѣяться!

Хохотъ усилился, но въ это время со всѣхъ сторонъ удивленной залы послышались повелительные крики:

— Это не хорошо!

— Перестаньте смѣяться!

— Не честно!

А какой-то раздражительный голосъ прямо вскрикнулъ подло!

Возволнованный предсѣдатель принялся звонить. Когда жъ возстановилась тишина, онъ обратился къ Фролу:

— Продолжайте, господинъ гласный.

Но Фролъ опять улыбнулся грустною, а больше странною улыбкой и только выговорилъ:

— Нѣтъ ужъ...

И сѣлъ. Предсѣдатель поторопился прервать засѣданіе.

Фролъ посидѣлъ немного, затѣмъ поднялся и пошелъ къ двери. Онъ перешелъ корридоръ, гдѣ поразилъ гренадера Миронова своимъ измученнымъ видомъ, не имѣвшимъ и тѣни прежней деревянности, спустился внизъ по лѣстницѣ, утеръ рукавомъ крупныя капли пота на своемъ лицѣ и вышелъ на улицу...

Ни на другой, ни въ слѣдующіе дни онъ не являлся больше на засѣданія; онъ сбѣжалъ домой.

Такъ и не узнали въ Сысойскомъ уѣздномъ земствѣ, что думалъ сказать Фролъ Пантелѣевъ. На его мѣсто, на слѣдующій годъ, сѣлъ раньше выбранный въ кандидаты парашинскій старшина, а о Фролѣ позабыли. Гавриловскій баринъ, правда, доказывалъ иногда, что только Фролъ могъ рассказать правду о своихъ соотечественникахъ, что только онъ въ состояніи раскрыть темную парашинскую душу, но его никто не слушалъ. О происшествіи въ Сысойскомъ земствѣ также позабыли, только до сихъ поръ живетъ тамъ и вездѣ прозвище виновника его: безгласный.

II.

У Ч Е Н Ы Й.

Официально онъ былъ Иванъ Ивановъ, неофициально, парашкинцевъ—дядя Иванъ, а въ школѣ его звали Ванюхой. И это увеличительное названіе въ полной силѣ оправдывалось его русою бородой, длинными, спутанными волосами, большими ручищами, которыя онъ обыкновенно пряталъ подъ учебный столъ вмѣстѣ съ ногами, и всею его неуклюжею фигурой, которую онъ самъ не зналъ куда дѣть. Онъ всегда сидѣлъ на задней скамейкѣ школы и боязливо шевелился тамъ, пугаясь самъ своего огромнаго тѣла, которое казалось чудовищнымъ среди маленькихъ клоповъ, сидящихъ впереди и по бокамъ его. Когда онъ, по забывчивости, вынималъ руки наружу, то онѣ захватывали пространство чуть не полъ-парты; это вызывало протестъ со стороны сидѣвшихъ рядомъ съ нимъ Яшки, который колотилъ въ бокъ невѣжду. Тогда лѣвѣеанъ въ замѣшательствѣ пряталъ руки обратно подъ парту.

Въ парашкинской школѣ были ребята семи, десяти, многадцати лѣтъ, а Ванюхѣ было, пожалуй, тридцать,—недѣлю, которой изумлялись всѣ парашкинцы.

Сначала учитель, не очень грамотный человѣкъ, пріѣхавшій въ школу потому собственно, что ѣсть ему было рѣшительно нечего, отказался принять „въ ученіе“ такого монстра и съ хохотомъ выпроводилъ его за дверь, когда послѣдній выразилъ свое намѣреніе „почитаться“. Но послѣ одного вечера, во время котораго слышался нѣкоторыми парашкинцами визгъ поросенка, начавшійся подлѣ избы дяди Ивана и окончившійся въ избѣ учителя, послѣ этого вечера школа

въ лицѣ ея распорядителя, навсегда приняла въ свои нѣдра Ванюху.

Ванюха не злоупотреблялъ позволеніемъ; онъ ходилъ на ученіе только разъ, рѣдко два раза въ недѣлю, въ такое время, когда старая его мать, Савишна, не качала грустно головой и когда его скудное хозяйство не могло пострадать отъ его безразсуднаго намѣренія. Что касается парашкинцевъ, то Ванюха мало обращалъ на нихъ вниманія; изрѣдка только сердился, если кто-нибудь изъ нихъ начиналъ усовѣщивать его.

Къ счастію, ему не было надобности мозолить глаза всѣмъ своимъ парашкинцамъ. Изба его, съ земляною крышей, на которой все лѣто росли большіе кусты полыни, выглядывала окнами прямо на школу; вслѣдствіе этого, Ванюха быстро проскальзывалъ къ учителю и не подвергалъ себя постоянному посмѣянію.

Только ребятишки часто досаждали ему; но здѣсь онъ былъ самъ крутомъ виноватъ. Сидя на задней скамейкѣ, онъ велъ себя иногда совершенно непозволительно. Ребятишки не смѣялись надъ его бородой и нисколько не удивлялись тому, что вотъ тутъ, среди нихъ, сидитъ огромный верзила и вмѣстѣ съ ними ломаетъ по звуковому методу свой устарѣвшій языкъ. Они глумились только надъ его несообразительностью. И это было ему по дѣломъ. Короткія слова Ванюха произносилъ хорошо, однимъ духомъ, но иногда ему попадалось предлинное слово, которое онъ вынужденъ былъ переламывать пополамъ, да и то часто ничего не выходило: выговорить первую половину слова, а дальше не хватаетъ ужъ силы; или скажетъ конецъ слова, а начало ужъ забыто. Эти случаи всегда приводили его въ отчаяніе, и онъ обращался тогда къ своему крошечному сосѣду: „Ну-ка, Яшка! какъ тутъ?“... Яшка, съ сознаниемъ превосходства, читалъ ему слово и въ награду за это толкалъ несообразительнаго верзилу въ бокъ. Тогда всѣ ребятишки поднимали на смѣхъ верзилу. А верзила выходилъ изъ себя; въ его, по большей части, кроткихъ голубыхъ глазахъ сверкалъ гнѣвъ; онъ вынималъ руки изъ-подъ парты и кричалъ громко, на всю школу: „Что вы, черти?“

Только внимательство учителя и его строгій выговоръ за безпорядокъ, вызванный такимъ поведеніемъ Ванюхи, прекра-

щали смѣхъ и гвалтъ. Ванюха, красный, какъ ракъ, быстро пряталъ руки подъ столъ и растерянно смотрѣлъ на учителя.

Воскресныхъ уроковъ въ парашкинской школѣ не было. Учитель получалъ семь рублей въ мѣсяцъ; зачѣмъ ему было убивать себя ради такой суммы? Очевидно, не зачѣмъ. Поэтому Ванюха ходилъ въ школу въ будни и дѣлалъ то, что дѣлали ребята. Когда до него доходилъ чередъ рассказывать „своими словами“, онъ не отказывался, онъ рассказывалъ. Онъ, выслушиваемый цѣлою школой, рассказывалъ о томъ, какъ мужикъ и медвѣдь рѣшили рѣпу сѣять; какъ мужикъ надулъ медвѣдя; какъ медвѣдь осерчалъ; какъ онъ объявилъ мужику свое намѣреніе съѣсть его; какъ мужикъ, для предотвращения печальной участи, обратился къ лисѣ; какъ лиса выручила его и какъ мужикъ хитро наградила ее, выпустивъ на нее собакъ, которыя вытащили ее изъ норы за морду...

— Врешь, врешь! за хвостъ!—съ негодованіемъ кричала цѣлая школа.

— Аль за хвостъ? Ну, за хвостъ,—возражалъ дядя Иванъ, недоумѣвающимъ взоромъ глядя то на учителя, то на ребятъ.

Однимъ словомъ, Ванюха подчинялся всему, что происходило въ школѣ. Когда у него спрашивали: что такое корова, онъ прямо по книжкѣ отвѣчалъ: травоядное животное; когда у него спрашивали, сколько единицъ въ пяти, онъ отвѣчалъ: пять! Или: можно ли ходить по потолку?—онъ, съ осовѣвшимъ взоромъ, принужденъ былъ увѣрить, что невозможно.

Мучимый жаждой учиться, онъ терпѣлъ; еще бы ему не терпѣть! Средствъ у него не было, а то, разумѣется, онъ не сталъ бы торчать по пустому въ школѣ, еслибы у него былъ капиталъ. Но у него былъ одинъ-единственный капиталъ—тѣло, обладающее сверхъестественнымъ свойствомъ ежегодно обростать.

Учитель имѣлъ странный методъ; онъ сперва училъ читать, а потомъ уже писать. Это имѣло ближайшимъ послѣдствіемъ то, что дядя Иванъ началъ считать письмо чѣмъ-то въ высшей степени головоломнымъ и для него недостижимымъ,—онъ даже и въ воображеніи не допускалъ возможности выучиться писать; болѣе же отдаленное и окончательное послѣдствіе выразилось въ томъ, что дядя Иванъ и на самомъ дѣлѣ остался неграмотнымъ.

Можетъ быть, дядя Иванъ преодолѣлъ бы свой страхъ пе-

редъ письменною азбукой, но школа была земская, Сысойскаго земства, слѣдовательно, въ нѣкоторой степени эфемерная. Черезъ годъ послѣ своего основанія она была закрыта.

Всѣмъ извѣстна эта грустная исторія. Пламенное возбужденіе, вызвавшее жажду „плодотворной дѣятельности“, прямо повело за собой увеличеніе школъ во всемъ уѣздѣ. Даже тѣ земцы, которые раньше съ младенческою наивною думали, что школа для мужика—„это, можно сказать, чистая революція“, вынуждены были сознаться, что они ошибались и что для парашкинцевъ, на примѣръ, школа необходима. Это и было время, когда дядя Иванъ внезапно былъ озаренъ мыслію—„почитаться“.

Но все это скоро измѣнилось, и притомъ такъ неожиданно, что Ванюха не успѣлъ опомниться. Возбужденіе въ Сысойскѣ начало проходить. Это было замѣтно по красному, толстому лицу чекменскаго барина. Сначала, когда ни одно засѣданіе Сысойскаго земства не обходилось безъ гвалта и перебранки изъ-за школъ, чекменскій баринъ, хотя и отплевывался, но принужденъ былъ слушать внимательно. Но потомъ, во время дебатовъ о школѣ, онъ могъ уже позѣвывать, прикрывая ротъ рукой; съ теченіемъ времени для него открылась возможность храпѣть во время засѣданія—онъ прикрывался листомъ газеты, гдѣ говорилось о невѣжествѣ, пьянствѣ и проч. Далѣе, ему не нужно было и прикрываться чѣмъ бы то ни было,—онъ могъ сопѣть во всеуслышаніе. Наконецъ,—это было за годъ до открытія у парашкинцевъ школы,—школьный вопросъ былъ рѣшенъ. Въ достопамятномъ засѣданіи, когда члены управы были уже готовы прочесть отчетъ о своей дѣятельности по школьному дѣлу, Сысойское земство вдругъ единогласно постановило: заказать портретъ предсѣдателя управы и повѣсить его въ залѣ засѣданія.

Такъ и не научился дядя Иванъ писать. Онъ успѣлъ выучиться только читать, да и то съ грѣхомъ пополамъ. Когда онъ читалъ книжку, то принужденъ былъ накладывать на произносимое слово палецъ, иначе ничего не выходило; слово быстро исчезало съ поля его зрѣнія, и ему съ мучительными усиліями приходилось отыскивать его.

Книжки давалъ ему учитель; по отъѣздѣ же учителя онъ долженъ былъ самъ изыскивать способы добывать ихъ. Жены

у него не было: она умерла отъ чахотки. Онъ жилъ только со старухой своей, что для него было выгодно, по крайней мѣрѣ, самъ онъ такъ думалъ: онъ желалъ остаться вольнымъ и не думалъ жениться. Безъ жены онъ могъ свободно читать по праздникамъ книжки, никто ему не мѣшалъ! И дѣтей у него не было, а еслибы были, то пришлось бы покупать имъ пѣтушковъ изъ тѣста. А теперь онъ покупалъ книжки той же стоимости.

Возвращаясь изъ Сысойска, съ базара, онъ всегда былъ въ восторженномъ настроеніи духа, хотя дома ожидалъ его суровый допросъ со стороны Савишны.

— Ну-ка, показывай покупки-то!—говорила она, подозрительно осматривая сына, только-что возвратившагося съ базара.

Дядя Иванъ не отвѣчаетъ долго и упорно. Но потомъ, не желая больше подвергать себя мукамъ раскаянія, онъ вдругъ вынимаетъ изъ-за голенища книжку и ухмыляется.

— И книжку купилъ!—говоритъ онъ легкомысленно, не въ состояніи скрыть улыбки.

— Ахъ ты, дуракъ, дуракъ!—отвѣчала старуха, и ея глаза сверкали гнѣвомъ.

— Стоитъ-то сколько?—спрашивала она грозно.

— Пятакъ.

— Ахъ ты, дуракъ, дуракъ!

Старуха собирала сыну поѣсть, потомъ лѣзла на печь и оттуда уже начинала свое увѣщеваніе. Старческіе, потухающіе глаза ея грустно устремлялись на сына.

Не взирая, однако, на такія непріятности, дядя Иванъ не могъ отстать отъ своей привычки. Увѣщеванія старухи не дѣйствовали на него, и не было силы, которая заставила бы его отказаться водить пальцемъ по книжкѣ, что онъ и дѣлалъ въ свободныя минуты, по большей части скрытно. Досадно было ему не то, что старуха часто накрывала его на мѣстѣ преступленія и брюзжала, а то, что въ книжкѣ не все давалось ему. Попадались такія словечки, что онъ приходилъ въ глубокое волненіе, потому что смыслъ ихъ для него былъ закрытъ, а онъ все старался проникнуть... Въ эти минуты голова его трещала отъ напряженія, глаза съ тоской смотрѣли въ одну точку, и палецъ такъ и застывалъ на одномъ проклятомъ мѣстѣ.

Иногда онъ обращался за поясненіемъ къ Фролу Пантелъеву, но тотъ по большей части коротко говорилъ: „Уйди!“ И дядя Иванъ зналъ, что дѣйствительно надо уходить, ибо Фролъ не любилъ шутить даже и въ праздники.

Тогда ему оставалось только прибѣгнуть за помощью къ писарю Семенычу. Семенычъ былъ болѣе сговорчивъ. Семенычъ самъ любилъ пояснять, конечно, за приличное вознагражденіе. Тусклые, оловянные глаза его рѣдко смотрѣли сурово на дядю Ивана. Такъ какъ Семенычъ очень часто наливался водкой и пропивалъ нерѣдко все, вплоть до сапоговъ, которые въ такомъ случаѣ замѣнялись валенками, то Иванъ нерѣдко былъ нуженъ ему просто до зарѣзу. Дядя Иванъ это зналъ и безъ особенной робости шелъ къ писарю, выбирая такое время, когда послѣдній былъ „тверёзый“.

Въ волостномъ правленіи жаръ; роями летаютъ мухи. За столомъ сидитъ Семенычъ и скрипитъ перомъ. На немъ сплошь мухи; чтобы отвязаться отъ назойливыхъ насѣкомыхъ, онъ иногда мотаетъ головой, продолжая скрипѣть. Когда же мухи садятся на его глаза, носъ, уши, губы, то онъ хлопаетъ себя по лицу и дуетъ. Блѣдное лицо его покрыто крапинками пота; глаза тусклы. Онъ съ похмѣлья.

Въ прихожей слышится ему шорохъ.

— Это кто?—спрашиваетъ онъ, не оборачиваясь.

— Это, Семенычъ, я,—кратко отвѣчаетъ изъ глубины комнаты дядя Иванъ.

Писарь продолжаетъ скрипѣть. Ему въ голову пришла идея. Онъ молчитъ.

Но Иванъ рѣшается донять своего учителя изморомъ. Онъ стоитъ возлѣ двери и изрѣдка покашливаетъ.

— Это кто?—снова спрашиваетъ писарь.

— Это, Семенычъ, я,—кратко возражаетъ дядя Иванъ.

— А-а-а! Это ты, дурья голова? Что придумалъ?

— Вотъ тутъ словечко... одно... н-ну, не понимаю!—говоритъ Иванъ и съ сіяющимъ лицомъ вынимаетъ изъ-за голенища книжку.

Семенычъ не оборачивается; онъ говоритъ: „гм!“ и продолжаетъ скрипѣть.

— Словечко бы только одно, Семенычъ...—умоляетъ Иванъ.

— Словечко? Ну, братъ, шалишь! Теперь ужъ ты отвали-

вай. Теперь у меня дѣловъ вотъ по какихъ поръ!—и писарь проводить пальцемъ вокругъ глотки.

— Ты, Семенычъ, не сердись... я только самую малость... одно словечко...

Семенычъ вдругъ пристально уставляетъ оловянные глаза на Ивана, и такъ какъ выпить ему хочется смертельно, то онъ не выдерживаетъ боляе.

— Пятакъ есть?—неожиданно спрашиваетъ онъ.

— Найдется.

— Луи что есть духу!

Иванъ стремглавъ летитъ въ кабакъ, беретъ тамъ шкаликъ водки, летитъ обратно и отдаетъ покупку Семенычу. Семенычъ выпиваетъ, корчитъ гримасы и начинаетъ свои поясненія; при этомъ толкованіе его не всегда совпадаетъ со смысломъ словечка. Но Иванъ сосредоточенно слушаетъ и пристально глядитъ на чудовищное слово, которое столько времени мучило его.

Вся душа Ивана была устремлена къ наукѣ.

Что онъ разумѣлъ подѣ наукой—ему одному извѣстно, но только мучился за нее онъ нестерпимо, ужасно! И, главное, безъ всякой корысти. Корыстныхъ видовъ онъ никакихъ не имѣлъ. Онъ былъ доброволецъ или, лучше сказать, жертва безразсуднаго стремленія „почитаться“. Онъ ничего не ожидалъ отъ книжки, кромѣ „словечекъ“, которыя одно по одному входили въ темную пустоту его головы и, однако, тамъ торчали, какъ вѣхи въ безграничной пустыни. Онъ никогда не думалъ о практической пользѣ. Невыразимое наслажденіе доставлялъ ему самый процессъ воспріятія „словечекъ“, а не выгода знать ихъ. Словомъ сказать, дурость его была безгранична.

Понятно, что съ нимъ нѣтъ возможности поставить на одну доску образованныхъ людей, знающихъ значеніе и цѣну наукѣ.

Теперь уже всѣмъ извѣстно, что въ среду истинно-образованныхъ людей невѣжественному человѣку и носу показаться нельзя; тамъ знаютъ цѣну наукѣ. Наука—прямая выгода для каждаго, безъ нея ни шагу. Наука питаетъ. Напримѣръ, у городскихъ образованныхъ людей наука—искусство, доставляющее свѣстные припасы, а дипломъ—смертоносное орудіе

помощью котораго можно схватить невѣжественнаго ближняго и съѣсть.

Это до такой степени вѣрно, что даже никто и не удивляется больше, а если кто задумаетъ удивиться, тому плохо. Наука не пустое мечтаніе, а осязательный кусокъ. Такъ думаютъ папеньки и маменьки, такъ и младенцевъ своихъ учать, ужасаясь при одной мысли о мечтаніяхъ.

А дядѣ Ивану нечего было бояться. Никакихъ „правовъ“ онъ не добивался и не могъ добиться. Это нашелъ не только онъ, а всѣ парашкинцы, которые ничего не возражали, когда у нихъ уничтожили школу, и только какой-то шутникъ замѣтилъ: „а ну ее ко псамъ!“ Учился дядя Иванъ не ради съѣстныхъ припасовъ, а лишь удовлетворяя свой умственный голодъ. Съ наукой ему нечего было дѣлать—продать ее было негдѣ, потому что и базара для парашкинской науки не устроено, да и цѣна ей грошъ мѣдный.

Сумасшедшая голова дяди Ивана была полна невозможностей. Даже Семенычъ смѣялся надъ нимъ. Парашкинцы тоже стали примѣчать, что дядя Иванъ сталъ чудень. И парашкинский староста изумлялся; часто, когда Иванъ ошеломлялъ его какимъ-нибудь неожиданнымъ-негаданнымъ вопросомъ, староста рассказывалъ объ этомъ праздничной кучкѣ парашкинцевъ съ величайшимъ негодованіемъ, начиная свою рѣчь съ оглушительныхъ словъ: „Ванюха-то!“

Дядя Иванъ дѣйствительно началъ задумываться; иногда Богъ знаетъ о чемъ тосковалъ; часто даже „пищи рѣшался“. Въ головѣ его копошились странные вопросы.

„Откуда вода?“

„Или опять тоже земля... почему?“

„Куда бѣгутъ тучки?“

Иногда же странные вопросы достигали крайней несообразности; иногда ему приходило на умъ: откуда мужикъ? И многое множество такихъ нелѣпостей лѣзло ему въ голову. Конечно, на такіе вопросы никто не въ состояніи былъ отвѣтить ему. Въ этомъ случаѣ даже Семенычъ былъ бесполезенъ. Какъ онъ ни привыкъ врать, но онъ часто истощался и становился втупикъ передъ неожиданностями дяди Ивана, а однажды, послѣ разговора съ послѣднимъ, рѣшилъ, что съ такимъ „пустоголовымъ дуракомъ“ даже и говорить не

стоять взаправду, по настоящему; самое большее—это спать съ него шкаликъ.

Это было въ тотъ разъ, когда Семенычъ пропился до чиста. Иванъ, слѣдовательно, нуженъ былъ ему до зарѣзу. Выбравъ ближайшее за своимъ непробуднымъ пьянствомъ воскресенье, онъ бросилъ правленіе и пошелъ къ своему ученику. Нашелъ онъ его на дворѣ, и хотя имѣлъ твердое намѣреніе немедленно же приступить къ осуществленію своего плана—выпить шкаликъ, но при видѣ Ивана долженъ былъ заглушить на время свою жажду и только спросилъ:

— Лежишь, дурья голова?

Дядя Иванъ, дѣйствительно, лежалъ вверхъ дномъ, подложивъ обѣ руки подъ голову. Глаза его были устремлены въ пространство, на чистое, свѣтлое небо. Казалось, что голубые глаза Ивана, устремленные въ бездонную небесную синеву, вполне отражали въ себѣ всю ея неопредѣленность и безпредѣльность, гармонируя съ внутреннею смутностью копошащихся въ его головѣ мыслей. Онъ повернулся.

— Ничего, Семенычъ... садись!—разсѣянно отвѣчалъ онъ.

Семенычъ сѣлъ тутъ же на земь и принялся придумывать способъ поскорѣе осуществить свою идею, потому что жажда, сжигая его желудокъ, ужасно томила его, но дядя Иванъ предупредилъ его.

— Думалъ я, Семенычъ, навѣдаться у тебя... Ты, Семенычъ, не сердись...

— Ну-ка?

— Напримѣръ, мужикъ...

Дядя Иванъ остановился и сосредоточенно смотрѣлъ на Семеныча.

— Мужикъ у насъ счету нѣтъ,—возразилъ послѣдній.

— погоди, Семенычъ... ты, Семенычъ, не сердись... Ну, на примѣръ, я мужикъ, темнота, одно слово—невѣжество... А почему?

Въ глазахъ дяди Ивана появилось мучительное выраженіе.

У Семеныча я косушка вылетѣла изъ головы; онъ даже плюнулъ.

— Ну, мужикъ—мужикъ и есть! Ахъ, ты, дурья голова!

— То-то я и думаю: почему?

— Потому—мужикъ, необразованность... Тьфу! дурья голова!—съ удивленіемъ плюнулъ Семенычъ, начиная хохотать.

Иванъ опять легъ навзничъ. По его лицу прошла тѣнь;

видно было, что какая-то мысль мучительно билась въ его головѣ, а онъ не могъ ни понять ее, ни выразить.

— Стало быть, въ другихъ царствахъ тоже мужикъ?—разсѣянно спросилъ онъ.

— Въ другихъ царствахъ-то?

— Ну!

Семенычъ насмѣшливо поглядѣлъ на лежащаго.

— Тамъ мужика не дозволяется... Тамъ этой самой нечистоты нѣтъ! Тамъ его духу не положено! Тамъ, братъ, чистота, наука!

— Стало быть, мужика...

— Ни-ни!

— Наука?

— Тамъ-то? Да тамъ, надо прямо говорить, ежели, напри-
мѣръ, ты сунешься съ образиной своей, тамъ на тебя собакъ
напустить! Потому, ты звѣрь звѣремъ!

— Тсс!—отвѣтилъ Иванъ и изумленно посмотрѣлъ на Семен-
ныча, который пришелъ въ азартъ до такой степени, что его
блѣдное лицо вспыхнуло яркими пятнами. Онъ уже хотѣлъ-
было вратъ дальше, но вдругъ вспомнилъ, зачѣмъ пришелъ, и
ожесточился.

— И что только ни выдумаетъ такая безпутная башка?!
свирѣпо сказалъ онъ и прибавилъ неожиданно:—Пятакъ есть?

Черезъ нѣкоторое время Семенычъ повеселѣлъ, потому что
утолил свою жажду; но за то больше ужъ не отвѣчалъ на
выдумки „башки“,—хохоталъ только.

Хозяйство свое дядя Иванъ до сихъ поръ велъ сносно; по
крайней мѣрѣ, никогда не случалось, чтобы его призвали въ
правленіе и приказали: „Иванъ Ивановъ! ложись!“ Но съ те-
ченіемъ времени онъ опустился. Онъ сталъ забывчивъ; на
него находила тоска. Дѣло валилось изъ его рукъ, которыя
стали работать меньше, чѣмъ его „безпутная башка“.

Случалось иногда, что во время какого-нибудь хозяйствен-
наго дѣла въ его голову вдругъ залѣзетъ какая-нибудь чу-
десная мысль—и хозяйственное дѣло пропало! Онъ забываетъ
его, а вмѣсто него старается схватить неуловимую мысль.
Разумѣется, его хозяйство начало страдать, чтó постоянно
подтверждала и Савишна, которая съ нѣкоторыхъ поръ все
чаще и чаще кивала головой, зловѣще смотря на сына съ
высоты печи.

Прежде дядя Иванъ никогда не копилъ недоимокъ. Иванъ Ивановъ исправно, въ установленные сроки, вносилъ пачки загаженныхъ цѣлковыхъ—и былъ правъ. Теперь же у него появились вдругъ недоимки. Первый разъ староста только сказалъ ему: „Ахъ, Ванюха! Неужли?“ А на слѣдующій годъ между ними произошелъ уже такой разговоръ:

— Иванъ! недоимки!

— Чево?

— Ай не слышишь? Недоимки!

— Сдѣлай божескую милость!

— Да мнѣ что? Мнѣ плеваты! Ну, только шкуру-то свою блюду.

— Сдѣлай божескую милость!

— Ну, гляди! Какъ бы тебѣ тово...

Однако, когда староста ушелъ, Иванъ немедленно же позабылъ объ этомъ разговорѣ. Вообще онъ все забывалъ, кромѣ чудесныхъ мыслей и книжекъ, которыя постоянно торчали у него за голенищами, измызганныя до омерзѣнія. Неизвѣстно, чѣмъ бы это кончилось, еслибы не вмѣшалось въ это дѣло постороннее обстоятельство. Хорошо, что вмѣшалось.

Это случилось два года спустя послѣ того, какъ парашкинцы потеряли надежду добиться „правовъ“ отъ школы.

Это случилось въ мѣсяцъ взиманія.

Это случилось въ тотъ день, когда рушился мостъ, переброшенный черезъ рѣку Парашку—ну, да, рушился; провалился на самой серединѣ! Собравшіеся парашкинцы посмотрѣли, погалдѣли, похлопали отъ удивленія руками и затѣмъ такъ какъ мостъ былъ земскій, по свойственному имъ легкомыслію, рѣшили, что „это нича-аво“ и что „ежели выпадетъ времечко“... и разошлись.

Но въ тотъ же самый день явился въ Парашкино исправникъ. Онъ ѣхалъ быстро и, разумѣется, по дѣламъ, не торопящимъ ни малѣйшаго отлагательства. Поэтому легко представить себѣ его негодованіе, когда онъ очутился передъ печальнымъ зрѣлищемъ. Увидѣвъ прибѣжавшихъ по случаю ея пріѣзда нѣсколькихъ парашкинцевъ, онъ молча указалъ имъ пальцемъ на мостъ, прибавивъ: „У-у-у!“ Но, вслѣдствіе того, что рѣка Парашка довольно широкая и приказаніе исправника только вѣтромъ донеслось на другой берегъ, парашкинцы не поняли и молча продолжали стоять, уставивъ глаза на пр

взгаго. Внѣ себя отъ гнѣва, исправникъ затопалъ тогда ногами и показалъ парашкинцамъ на другой берегъ пантомиму, которую парашкинцы поняли мгновенно.

Они быстро разсыпались по деревнѣ. Одни изъ нихъ побѣжали за топорами, другіе просто затѣмъ, чтобы скрыться. Но всѣ были въ необычайномъ волненіи, лихорадочно суетясь и шмыгая, часто безъ толку. Въ особенности горѣлъ староста. Съ краснымъ, какъ у рака, лицомъ, съ котораго текли ручьи пота, онъ совался по деревнѣ и приглашалъ къ мосту. Забѣжавъ въ одинъ домъ, онъ начиналъ убѣждать: „Яковъ! что-жь это?! вѣдь ждетъ... чтобы сичасъ!“ Потомъ хлопалъ руками по бедрамъ, бѣжалъ дальше съ тѣмъ же волненіемъ въ лицѣ.

Нѣтъ-то нѣтъ парашкинцы догадались, что самое цѣлесообразное въ ихъ отчаянномъ положеніи — это перевезти начальство на лодкѣ. Такъ и было сдѣлано.

Тогда староста нѣсколько успокоился и съ наслажденіемъ вытеръ потъ съ лица. Скоро для него стало очевидно, что все „опчество“ надо раздѣлить на двѣ партіи; одна пусть мостъ чинить, другая должна идти въ правленіе для исполненія натуральной повинности. Къ послѣдней партіи принадлежалъ и дядя Иванъ.

— Иванъ! въ волость! — сказалъ староста, садясь на минутку на порогъ Ивановой избы.

— Зачѣмъ? — задумчиво спросилъ Иванъ, голова котораго въ эту самую минуту поражена была какою-то чудесною мыслью.

— Рази не знаешь?

Дядя Иванъ такъ и примерзъ къ одному мѣсту. Онъ пошевелилъ губами, намѣреваясь что-то сказать, но у него ровво ничего не вышло. Онъ ничего не сказалъ даже тогда, когда староста, уходя, проговорилъ: „Чтобы сичасъ!“

Сообщеніе старосты было громомъ на голову дяди Ивана.

Но, разумѣется, онъ, въ концѣ-концовъ, отправился къ мѣсту назначенія, хотя и машинально, какъ автоматъ, и съ ошальдыми глазами.

Въ волости всѣ отпѣтые уже собрались и дожидались начатія „повинности“. Они мирно и добродушно разговоры разговаривали, а Иванъ ничего не видѣлъ. Онъ стоялъ въ сторонѣ и молчалъ. Лицо его было блѣдно; глаза помутились. Онъ даже прислонился къ стѣнѣ.

Когда его увидалъ Семенычъ, то замигалъ глазами. Не смотря на то, что онъ былъ „выпимши“, онъ помнилъ своего друга, и ему вдругъ стало жалко его, даже захотѣлось выручить „пустую башку“. Подойдя къ Ивану, Семенычъ предложилъ ему „дернуть для нечувствительности“, но Иванъ угрюмо отрѣзалъ: „не надо!“ и отворотился, попрежнему блѣдный вплоть до губъ.

Семенычъ замигалъ глазами и отошелъ; потомъ вдругъ заплакалъ, въ первый разъ заплакалъ отъ такого случая. Заплакалъ пьяными слезами, но искренно.

Черезъ нѣкоторое время, показавшееся для Ивана Ивановъ вѣчностью, въ волости все утихло. Дядя Иванъ возвращался домой. Внутри глодалъ его червь, снаружи онъ попрежнему, былъ блѣденъ, съ помутившимися глазами. Проходя по улицѣ, онъ озирался по сторонамъ, боясь кого-нибудь встрѣтить—онъ такъ бы и оцѣпенѣлъ отъ стыда, если бы встрѣтилъ,—да, отъ стыда! потому что все, что дали ему чудесныя мысли,—это стыдъ, ѣдкій, смертельный стыдъ.

Придя къ себѣ, онъ прошелъ въ сарай и легъ на-земь. Сперва ему какъ будто захотѣлось захныкать, но слезы нужно было выжимать насильно. Въмѣсто слезъ, на него напала дрожь, такъ что даже зубы его застучали, какъ въ лихорадкѣ. Наконецъ, тоска его сдѣлалась до того невыносимою, что онъ вскочилъ на ноги и стремглавъ пустился бѣжать.

Съ ополоумѣвшимъ лицомъ, онъ выбѣжалъ на улицу, юркнулъ въ переулокъ, попалъ на огороды и, прыгая по нимъ, скоро добѣжалъ до берега рѣки. Тутъ онъ немного пріостановился, какъ бы раздумывая, но потомъ опять пустился бѣжать по берегу что есть духу. Ему надо было выбрать хорошее мѣсто для того, чтобы утопиться, удобное.

Скоро онъ совсѣмъ остановился и устремилъ глаза на воду. Подошелъ ближе къ водѣ; остановился; потеръ себѣ лобъ; отошелъ назадъ; сѣлъ на пригоркѣ и снова сталъ глядѣть на воду. Зубы его перестали стучать. Онъ еще разъ потеръ себѣ лобъ и успокоился. Окончательно рѣшившись утопиться, онъ снялъ съ себя шапку, сапоги и кафтанъ; сложилъ все это въ кучу и завязалъ кушакомъ... Онъ не желалъ, чтобы одежда его пропала даромъ; зачѣмъ обижать старуху? Она и безъ того голодать будетъ. Шапка еще совсѣмъ новая, и кушакъ тоже, все денегъ стоитъ. А зипунтъ

то? Какъ-никакъ а за полтину не купишь... Сдѣлавъ эти предсмертныя приготовленія, Иванъ опять поглядѣлъ въ воду; въ его безумныхъ глазахъ сверкала твердая рѣшимость наложить на себя руки.

Онъ почесалъ спину... И вдругъ:

— Иванъ!

Иванъ даже подпрыгнулъ при этомъ возгласѣ и съ смертельнымъ ужасомъ въ глазахъ обернулся къ человѣку, сдѣлавшему окрикъ. Это былъ староста.

— Гдѣ у тебя совѣсть-то, дьяволъ ты этакій?

Иванъ смотрѣлъ ополоумѣвшими глазами.

— Коего лѣшаго ты тутъ проклажаешься?

У Ивана совершенно не было языка.

— Провалитесь вы совсѣмъ! Пойдемъ къ мосту, чортъ! Чай, слышишь?

Издали дѣйствительно слышались удары топоровъ, рѣзкій, хрипящій звукъ пилы и гвалтъ. То парашкинцы работали и ругались, починивая мостъ. Дядя Иванъ слушалъ и приходилъ въ сознаніе. Повинуясь приказанію старосты, съ укоромъ озиравшаго лѣнтяя, онъ развязалъ свой узелъ, надѣлъ сапоги, архаюкъ и шапку и пошелъ за топоромъ.

Прошло съ тѣхъ поръ довольно времени, а дядя Иванъ о книжкахъ и чудесныхъ мысляхъ больше не вспоминалъ. Онъ думалъ только о недомкахъ; и цѣлый годъ изо дня въ день по тѣлу его пробѣгалъ морозъ, а внутри все мучительно ныло. Книжечъ въ пятакъ онъ не носилъ больше за голенищами; онъ зарылъ ихъ въ яму, выкопанную нарочно на огородѣ, и старался никогда не вспоминать о нихъ. Если же на него нападала тоска, то онъ шелъ къ Семенычу и отправлялся вмѣстѣ съ нимъ въ кабачекъ. Черезъ полчаса, много черезъ часъ, оба закадычные выходили оттуда уже готовыми. Держась другъ за друга и заплетаясь ногами за землю, они шли по улицѣ и размахивали руками. Семенычъ въ такомъ случаѣ говорилъ: „бррр!“ воображая, что произносить цѣлую рѣчь, а дядя Иванъ молчалъ; онъ только шевелилъ губами, все желая сплюнуть горечь, но ему никогда не удавалось переплюнуть черезъ губу.

III.

Фантастическіе замыслы Миная.

Одинъ разъ, обозрѣвая губернію, его превосходительство остановился въ Парашкинскомъ волостномъ правленіи. Его превосходительство утомился отъ дороги и торопился ѣхать обозрѣвать дальше. Такъ и уѣхалъ бы его превосходительство отъ парашкинцевъ, не составивъ о нихъ никакого мнѣнія, еслибы ему не попался на глаза одинъ необыкновенно веселый человѣкъ.

Этотъ парашкинецъ проходилъ мимо окна волостного правленія и беззаботно свистѣлъ. Шапка у него была на бекрень, кафтанъ въ накидку, руки за поясомъ и глаза смѣялись. Оборванецъ и головой не кивнулъ, проходя передъ окномъ, и его превосходительству показалось, что онъ даже какъ будто подмигнулъ. Пораженный этимъ, его превосходительство, высказавъ радость по поводу встрѣченнаго имъ въ парашкинцахъ веселонравія, обратился къ сопровождавшему его лицу за объясненіемъ, но сопровождавшее лицо совершенно растерялось и ничего не могло объяснить, хотя знало Сысойскій уѣздъ такъ же хорошо, какъ хорошо знаетъ хозяинъ свой скотный дворъ. Ближайшимъ послѣдствіемъ этого необыкновеннаго случая было превратное мнѣніе, увезенное съ собой его превосходительствомъ, который сталъ считать парашкинцевъ самымъ веселымъ въ мірѣ народомъ.

Что касается веселаго оборвыша, то въ этотъ памятный для него день онъ легко отдѣлался. Сопровождавшее лицо, завидѣвъ его въ томъ же видѣ, т. е. съ шапкой на бекрень, только крикнуло:

— Я тебѣ! Я тебѣ... посвищу!

Но это мало подѣйствовало. Оборванецъ остановился, смах-

нулъ съ себя шапку, почесалъ затылокъ и пустился бѣжать, поддерживая обѣими руками полы кафтана, надѣтаго въ накидку. Тѣмъ дѣло и кончилось. Его превосходительство уѣхалъ, сопровождавшее его лицо также...

Впослѣдствіи по справкамъ оказалось, что это былъ Минай, по прозванію Осиповъ, который всюду появлялся на сцену въ такомъ образѣ.

Нельзя отрицать, что Минай мечталъ; факты немедленно же опровергли бы подобное отрицаніе. Минай мечталъ вездѣ и при всѣхъ возможныхъ случаяхъ, мечталъ даже тогда, когда для другого человѣка рѣшительно не было матеріала для мечтаній. Невозможно отыскать въ его жизни ни одного момента, когда онъ плюнулъ бы на все и одѣпенѣлъ. Въ его жизни постоянно давали о себѣ знать весьма плачевныя обстоятельства, но всѣмъ имъ вмѣстѣ и каждому порознь онъ показывалъ языкъ. Что съ нимъ подѣлаешь?—онъ былъ неуязвимъ. Представить себѣ его окончательно оглушеннымъ, повѣсившимъ носъ и осовѣвшимъ—невозможно и чудовищно. Развѣ у него было время отчаиваться? Очевидно, нѣтъ. Трудно даже и вообразить себѣ всѣ ужасныя послѣдствія отчаянія, еслибы только Минай предался ему. На него постоянно обрушивались „обстоятельства“; онъ вѣчно вертѣлся подъ перекрестнымъ огнемъ разныхъ невзгодъ, сыпавшихся на него разомъ со всѣхъ сторонъ. Досугъ ему отчаиваться! Предайся онъ мрачному отчаянію—и онъ погибъ. Что ему тогда дѣлать? Ложиться и помирать. О, Минай понималъ это!

Что онъ свистѣлъ и необузданно фантазировалъ—этого отрицать нельзя. Все это такъ и было въ дѣйствительности. Онъ вѣчно ходилъ съ шапкой на бекрень, въ кафтанѣ въ накидку, съ засунутыми за поясъ руками и свистѣлъ. Въ такомъ видѣ онъ всюду появлялся. Такова ужъ природа его была; такимъ онъ раньше жилъ, такимъ и теперь живетъ.

Самостоятельно сохранять животы свои онъ началъ прямо послѣ освобожденія крѣпостныхъ. Въ ту пору ему было двадцать пять, двадцать шесть лѣтъ. Семья его состояла изъ стариковъ его, имѣвшихъ вмѣстѣ болѣе полутора ста лѣтъ, и меньшаго брата, который рано ушелъ въ городъ, потомъ взятъ былъ въ солдаты и навсегда исчезъ изъ глазъ Миная.

Несмотря на свой возрастъ, Минай еще не былъ женатъ, хотя онъ ежеминутно думалъ объ этомъ. Но въ особенности старикъ, отецъ его, сокрушался о своемъ Минайкѣ. Въ его потухающихъ глазахъ часто проглядывала грусть, когда онъ сознавалъ всю невозможность женить сына. Онъ оставлялъ ему все, что самъ получилъ отъ крѣпостного состоянія: двѣ лошади, двѣ коровы, пять овецъ, полуповалившіеся плетни и полуразрушившуюся избенку, и только жены не могъ приискать. Смекалъ онъ и такъ, и сякъ—и все ничего не выходило, и Минайка все оставался холостымъ. Подвернулась было разъ старику одна бабенка: „гладкая, здоровенная баба! кладъ, можно сказать, баба!“ (расписывалъ старикъ свою находку), но Минай наотрѣвъ отказался отъ нея. Онъ самъ устроилъ себя.

Дѣло произошло возлѣ рѣки, въ то самое время, когда тамъ стиралось разное вонючее тряпье.

Минай могъ, конечно, прямо подойти къ Ѳедосьѣ и открыто объясниться, но онъ предпочелъ подкрасться; вытянуть ладонью вдоль ея спины и во все горло захохотать въ тотъ моментъ, когда, взвизгнувъ отъ ужаса, она повернулась лицомъ къ нему.

— Что ты, лѣшій? Одурѣлъ?—вскричала, наконецъ, Ѳедосья, оправившись отъ испуга.

— А ты что кричишь? Ай больно?

Ѳедосья съ негодованіемъ смотрѣла на одурѣвшаго и, собравъ все мокрое тряпье въ руки, мазнула имъ по лицу Минай. Но послѣдній, повидимому, не обратилъ ни малѣйшаго вниманія на это и глупо ухмылялся своимъ мокрымъ лицомъ.

— Слушай, Ѳедось! Хочешь за меня замужъ?—сказалъ онъ.

— Вотъ еще что выдумалъ!—возразила Ѳедосья, красная до ушей, и опустила руку съ тряпьемъ, которое она держала до сихъ поръ въ угрожающемъ положеніи.

— А ты говори прямо, не отлынивай!

— Нечего мнѣ сказать тебѣ; уйди—вотъ и сказъ весь!—возразила еще разъ Ѳедосья, однако, съ мѣста не трогалась.

— То-то бы зажили, а? Самымъ лучшимъ манеромъ! Чай, тоже знаешь меня...—продолжалъ Минай и, не кончивъ начатой рѣчи, громко поцѣловалъ Ѳедосью. Послѣ этого Ѳедосья ужъ ничего не могла возразить.

Черезъ недѣлю Минай женился „увозомъ“, тайно

выкравъ свою невѣсту; еще черезъ недѣлю раздѣлился съ родителями ея и черезъ мѣсяцъ сдѣлался полнымъ хозяиномъ всего наслѣдства. Въ это время умеръ его старикъ-отецъ, счастливый, что увидалъ своего Минайку поженившимся.

И Минай принялся орудовать. Жена его была въ то время здоровая баба, ни въ чемъ не уступавшая ему; она не отставала отъ него въ работѣ, только никогда не высказывала своихъ надеждъ. Это было уже дѣло Миная. Онъ одинъ работалъ надъ проектами будущаго; мечталъ онъ почти всегда вслухъ, передъ Ѳедосьей, такъ какъ никакими силами не могъ удержать въ себѣ свои проекты, которые, надо замѣтить, тутъ же и осуществлялись „самымъ превосходнымъ манеромъ“. „Теперь ужъ не тѣ времена,—разсказывалъ онъ Ѳедосьѣ,—теперь крѣпости этой нѣтъ... воля! Теперь только дуракъ отощаетъ... Ты что молчишь? Ай мы дурачье? Это мы-то?“

Въ такомъ родѣ восторгался Минай, удивляясь только тому, что Ѳедосья все молчитъ. Ѳедосья на самомъ дѣлѣ все отмалчивалась,—это было въ ея характерѣ,—но она не думала сомнѣваться въ восторженныхъ словахъ Миная. Разсказы Миная были до того пламенны и заразительны, что и она по временамъ улыбалась, работала сильнѣе лошади и ничего не возражала, когда Минай хлопалъ ее по спинѣ, только по привычкѣ говорила: „П-шелъ, одѣрь!“ Но эта угрюмость была только напускная, и Ѳедосья тотчасъ же выдавала себя, раздвигая ротъ до ушей. То же самое было и тогда, когда родился Яшка. Ѳедосья молчала; появленію его на свѣтъ она, повидимому, совсѣмъ не обрадовалась. Можетъ, она чувствовала, что Яшка, прежде чѣмъ сдѣлается ревизскою душой, высосетъ ее и истомитъ? Кто ее знаетъ? Но за то Минай восхищался. Яшка былъ въ его глазахъ необыкновенное существо. „О, о, о! какой бутузъ! Глади, ручищи-то! Знатный мужчина!“—говорилъ онъ, осматривая необыкновенныя ручищи и тыкая пальцемъ въ брюхо Яшки.

Собственно говоря, съ этого времени и начинаются мечты Миная.

Конечно, и въ эту пору у Миная были черные дни, когда онъ опускалъ носъ и мрачно молчалъ. Но это не одинъ онъ испытывалъ, и черные дни были общими обстоятельствами, которыя обрушивались на всѣхъ парашкинцевъ. А въ та-

комъ случаѣ могъ ли онъ совершенно и окончательно опустить ность?

Начались эти обстоятельства съ упорства, высказаннаго обѣими половинами, разорванными послѣ уничтоженія крѣпостнаго права,—начались съ той самой минуты, когда, кончивъ романъ, парашкинцы рѣшили все-таки не поддаваться увѣщаніямъ ихъ прежняго господина. Главное несчастье для обѣихъ сторонъ заключалось въ томъ, что одна сторона предлагала болотца, другая съ тѣмъ же упорствомъ отказывалась отъ болотцевъ.

Цѣлыхъ полгода обѣ стороны мучились такъ. Баринъ былъ сѣдой уже старикъ, голова котораго постоянно тряслась,—отъ негодованія, какъ думали парашкинцы, не знавшіе его прежней жизни. Онъ бился совсѣмъ не изъ-за выгоды, а изъ-за того только, чтобы насолить „мошенникамъ“. Тѣмъ не менѣе, онъ самъ желалъ поскорѣе развязаться и совсѣмъ уѣхать изъ деревни. Каждую недѣлю онъ собиралъ парашкинцевъ и толковалъ съ ними, но все ничего не выходило, и эта канитель тянулась цѣлыхъ полгода. Придутъ парашкинцы всею кучей, встанутъ возлѣ крыльца и молчатъ, напряженно слушая сѣдого барина. А сѣдой баринъ стоитъ на крыльцѣ, размахиваетъ руками, трясетъ головой—и все тутъ. Уйдетъ сѣдой баринъ, побранятся между собой парашкинцы и также уходятъ всею кучей, не оставивъ послѣ себя никакого отвѣта.

Наконецъ, терпѣніе барина лопнуло. Одинъ разъ, собравъ около своего крыльца парашкинцевъ, онъ категорически спросилъ у нихъ, соглашаются ли они на предлагаемый надѣлъ, или нѣтъ; и когда парашкинцы, по своему обычаю, уклонились отъ отвѣта, баринъ крикнулъ: „лошадей!“ сѣлъ въ карету и поѣхалъ. Проѣзжая мимо парашкинцевъ, онъ крикнулъ имъ, съ негодованіемъ трясая головой:

— Останетесь вы... Останетесь! Останетесь!

Это было зловѣщее предсказаніе, пророчество вороны. Парашкинцы немедленно же поняли свою глупость. Долгое время они молча смотрѣли другъ на друга и думали, каждый про себя: „вотъ-то дураки!“ Они готовы были уже начать, по своему обыкновенію, злобную перебранку, но въ это время Минай крикнулъ: „Уѣхалъ... ну, и пушай!“ Этого было достаточно, чтобы парашкинцы вышли изъ того молчаливаго оцѣпенѣнія,

находясь въ которомъ, невозможно принять какого-либо рѣшенія. Парашкинцы заговорили:

— И пушай его!

— И не надо!

— И Господь съ нимъ!

— Способнѣе же опосля всего нищій надѣлъ!

— Нищій, что ли?

— Нищій, такъ нищій! Одинъ конецъ... Фролъ! пиши бумагу!

Но „нищій надѣлъ“ былъ только объектомъ, на который парашкинцы вылили накупѣвшую горечь; въ сущности же они понимали, что взять нищій надѣлъ то же самое, что повѣсить черезъ плечо кошель. Къ тому же и Фролъ наотрѣзъ отказался писать „гумагу“, сказавъ, что такому дурачью онъ служить не намѣренъ и потавать глупости не будетъ. Парашкинцы простояли на томъ же мѣстѣ, около барскаго крыльца, весь этотъ день, весь вечеръ и всю ночь и только подъ утро мочи не стало — охрипли. Расходясь по домамъ, они рѣшили завтра же изъявить согласіе на предложенный надѣлъ.

Минай въ этотъ разъ кричалъ больше всѣхъ; даже въ то время, когда всѣ прочіе охрипли и по необходимости умолкли, только тихо перебраниваясь, онъ все еще оралъ. Раньше этого рѣшенія онъ убѣждалъ стоять твердо. По его мнѣнію, баринъ отлынивалъ. „Приперли его оттѣдова, съ самаго верху, вотъ онъ и виляетъ хвостомъ-то“, — рассказывалъ Минай, вполне убѣжденный, что баринъ припертъ, что сунуться ему некуда. и что, въ концѣ-концовъ, какъ онъ ни отлынивай, а уступить долженъ. Поэтому рѣшеніемъ парашкинцевъ Минай былъ ошеломленъ страшно. Еслибы ему кто наплевалъ въ лицо, то онъ чувствовалъ бы меньшее удивленіе, чѣмъ въ тотъ день, когда парашкинцы рѣшили, что они дѣйствительно набитое дурачье. Долго послѣ этого Минай ходилъ съ повѣшеннымъ носомъ и съ одурѣвшими глазами.

Когда онъ мечталъ, то прежде всего рисовалъ себѣ землю, много земли, и былъ увѣренъ, что надѣлъ положенъ будетъ способный во всѣхъ смыслахъ. На этомъ онъ и проекты свои основывалъ, на одномъ этомъ. И избу построить, и соху починить въ кузницѣ, и рукавицы купить, и хозяйскіе платокъ приобрести, — все это можно было сдѣлать только при землѣ.

И вдругъ—болотца! Мгновенно всё предположенія и мечты Миная разлетѣлись прахомъ. Такъ и самъ Минай думалъ, признаваясь, что „теперь ужъ что-жь... теперь ужъ больше ничего“... ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ. Эта мысль, полная недоумѣній и тоски, до такой степени поразила его, что онъ долгое время никуда не показывался изъ дому. Что онъ за это время дѣлалъ и какой процессъ совершался въ его головѣ—трудно сказать.

Извѣстно только, что черезъ нѣкоторое время все обошлось благополучно. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Минай со своею Федосеей уже покрывалъ старую избу новою соломой; солому подавала на верхъ Федосья, а самъ Минай стоялъ на крышѣ и притаптывалъ ногами подаваемые ему огромные навильники, причемъ, въ промежуткахъ между двумя навильниками, онъ глядѣлъ по сторонамъ и свистѣлъ.

Черезъ полгода или черезъ годъ онъ сдѣлался прежнимъ Минаемъ.

Вообще оглушить его было трудно. Онъ какъ будто въ крови отъ прародителей получилъ привычку глядѣть легкомысленно.

Такому настроенію Миная помогло и отсутствіе времени для обдумыванья. Все лѣто и осень онъ совался и дурѣлъ, какъ подхлываемая лошадь. Онъ едва успѣвалъ отмахиваться отъ всевозможныхъ кредиторовъ, раздиравшихъ его на части, такъ что у него не оставалось ни одной свободной минуты, чтобы опомниться. Зимой онъ отправлялся въ извозъ и утопалъ въ ухабахъ, привозя домой приниковъ дѣтишкамъ, да заѣзженную лошадевку. Однимъ словомъ, думать было мало времени.

Когда же у него выпадала свободная минута,—а это было всегда зимой, во время длинныхъ и тоскливыхъ вечеровъ,—то, вмѣсто обдумыванія, онъ мечталъ. Физически мучающійся человекъ не станетъ мучиться еще духомъ; онъ постарается напротивъ, выбросить изъ головы все, что способно терзать, и сосредоточится только на одномъ легкомъ и увеселительномъ. Минай постоянно баловалъ себя такимъ именно образомъ.

Пріѣдетъ онъ съ зимняго извоза, раздѣнется, разуется, ляжетъ на полати и начинаетъ фантазировать. Придумываетъ онъ тутъ разныя измышленія, высчитываетъ безчисленные счастливые случаи и самъ восхищается своими созда-

нѣми. Прежде всего, его занимаетъ ожидающійся урожай. Полосы уже засѣяны; теперь только ждать надо. У Миная какъ-то выходитъ, что и дождичекъ леть во-время, и сухое время настаетъ въ пору, однимъ словомъ, урожай будетъ превосходный. Съ этого осьминника онъ получитъ столько-то, а съ этого вотъ сколько. Хлѣба будетъ довольно. Потомъ Минай начинаетъ распредѣлять баснословный урожай. Туда онъ заплатитъ, этому отдастъ, сюда сунетъ, а на подати опять продастъ—и все выходитъ какъ нельзя лучше. Но Минай не хочетъ на обумъ рѣшать сложныя задачи, онъ высчитываетъ. „Р-разъ!“—шепчетъ онъ про себя, отыскивая счастливый случай, и загибаетъ на ладони палецъ. Затѣмъ начинаетъ прибирать другіе неестественные случаи хлѣбныхъ остатковъ... „Два!“—радостно шепчетъ онъ, загибая другой палецъ. Онъ непремѣнно смотритъ на пальцы и выказывать необычайное волненіе, когда ему не удастся загнуть слѣдующаго пальца. Но это рѣдко бываетъ. Фантазія его ни передъ чѣмъ не останавливается, лишь бы загнуть всѣ пальцы. Въ концѣ-концовъ, всегда оказывается, что пятерня вся загнута, хлѣба достанетъ и подати будутъ уплачены.

Достигнувъ такого блестящаго результата, Минай перевертывается на брюхо, болтаетъ босыми ногами и, свѣсивъ голову съ полатей, начинаетъ веселый разговоръ съ Яшкой, который сидитъ на лавкѣ, возлѣ ночника.

— Яшка!

Яшка не можетъ произнести ни одного слова; въ рукѣ его кусокъ страннаго хлѣба, и ротъ набитъ.

— Что ты, дуракъ, безперечь ѣшь?

— Хотца, — разсудительно отвѣчаетъ, наконецъ, Яшка. Яшка дѣйствительно съ утра до ночи ходитъ съ кускомъ страннаго хлѣба и, походя, жретъ. Если мать не дастъ ему хлѣба, онъ отыскиваетъ какія-то нечистоты и все-таки жретъ. Брюхо у него, какъ у австралійца, на подобіе мѣшка, прирѣшеннаго снаружи.

— Ну, гляди, братъ! Вонъ какъ пузо-то у тебя распучило!

Яшка не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на слова отца.

— Небось распуचितъ!... Хлѣбецъ-то батюшка—камень!—вставляетъ свое слово Федосья, которая по большей части молчитъ и только изрѣдка буркнетъ что-нибудь.

Минаю непріятно; онъ покашливаетъ. Картины, сейчасъ

нарисованный имъ, заволакиваются туманомъ. Но это непродолжительно; вѣдь онъ уже высчиталъ, что на будущій годъ ему достанетъ хлѣба на всю зиму, при томъ хлѣба чистаго, „святого хлѣба“, какъ онъ выражается, говоря о хлѣбѣ безъ примѣсей.

— Дай срокъ... На ту зиму, Богъ дастъ, не станемъ жевать этакой-то...

— Хоть бы молчалъ, что-ли, коли разумомъ обиженъ! — выражаетъ Ѳедосья, которая уже перестала вѣрить „пустомель“, какъ она называетъ подъ сердитую руку Миная.

Но Минай не унываетъ и отъ своихъ фантастическихъ замковъ отказаться не хочетъ. Онъ уже все высчиталъ! Потерпѣвъ неудачу въ разговорѣ съ Яшкой, онъ, попрежнему, смотреть искрящимися глазами на ночникъ, на Яшку и спокоемъ.

Разумѣется, онъ не въ состояніи скрыть отъ себя плохого качества землишки, которую онъ нынче расковырялъ и засѣялъ. Главное, навозу нѣтъ. Навозъ — это съ нѣкоторыхъ поръ его постоянная мечта, мучительная, неумолимая и назойливая. У парашкинцевъ вся земля истощена; они выжали изъ нея все, что было можно. И Минай знаетъ это, отлично знаетъ, что безъ навозу „никакъ невозможно“. Поэтому онъ каждый день почти возвращается къ навозу въ своихъ воображаемыхъ „случаяхъ“.

Скотины у него осталось мало; изгнѣженная лошадевка, которую онъ въ своихъ разгнѣздахъ измоталъ такъ, что у ней круглый годъ наружу торчали ребра, коровенка, нѣсколько овчишекъ, одна свинья, — вотъ и весь скотъ. Какой тутъ навозъ? Но Минай все-таки ухитряется создать въ своемъ воображеніи несмѣтное число навозныхъ кучъ; передъ его умственными взорами носится даже самая картина возки навоза на поля и удобреніе имъ земли. Конечно, изъ всего этого ровненько ничего не выходитъ, и онъ только успокоиваетъ себя несмѣтными кучами.

Когда онъ отправляется въ загонъ, чтобы собственными глазами удостовѣриться, сколько его скотъ натопталъ ему навозу, то немедленно же приходитъ къ заключенію, что навоза нѣтъ, ибо ничего и никто ему не навалитъ даромъ. Именно даромъ, потому что кормить свой скотъ ему было нечѣмъ, кромѣ гнилой соломы, да и то впроголодь. Навозу

никакого нѣтъ. „Вѣдь этакая сатаническая утроба!—Словно въ прорву валишь кормъ!“—изумленно говорилъ онъ, съ негодованіемъ глядя на ни въ чемъ неповинную корову, пережевывающую жвачку.

Еслибы кто подумалъ, что Минай въ такомъ случаѣ отчаивался или, по меньшей мѣрѣ, убѣждался въ отсутствіи удобренія, какъ необходимаго средства нѣсколько исправить землю, то онъ ошибся бы. Минай отчаивался? Ни чуть не бывало. Неизвѣстно какъ, но у него въ результатъ размышлений всегда выходило, что навозъ у него будетъ, земля удобрится и „рожь уродится преотличная“. Трудно повѣрить такому легкомыслію, но необходимо принимать въ расчетъ нежеланіе Миная лечь и начать помирать. О, Минай обѣими руками пѣпляется за тѣнь, которую онъ назвалъ „жистью“!

И такъ во всемъ.

Изба его совершенно изветшала; ткни ее пальцемъ, и она, казалось, разсыпется. Еслибы ее сломать, такъ она и на дрова не годилась бы; ничего не дала бы, кромѣ ѣдкой и вонючей копоти. Снаружи она была еще ничего, но внутри... Изъ нутра ея бревенъ сыпались гнилушки,—явленіе, которое ежедневно напоминало хозяину, что давно ее надо сломать и построить новую, потому что, того и гляди, рухнетъ. Зимой, въ морозы, она насквозь промерзала, а лѣтомъ, въ сырые дни, по стѣнамъ ея росли грибы. А Минай ничего, и въ усь не дуетъ. Новую избу построить ему не на что; вмѣсто этого, онъ починаетъ старую. Сначала передъ сквернымъ зрѣлищемъ осыпающихся гнилушекъ Минай стоитъ нѣкоторое время въ изумленіи: на него нападаетъ тоска. Но это недолго. Потешетъ онъ дощечку, прилѣпитъ ее гвоздочками къ провалившемуся мѣсту и потомъ хвастается: „Чудесно! Вѣку не будетъ!“

А то еще былъ у него плетень. Минай просто ненавидѣлъ его. Въ плетнѣ постоянно образовывались дыры, въ которыя пролѣзали чужія свиньи, забирались на дворъ и поѣдали тамъ все, что попадалось подъ рыло. Но у Миная загоролить плетень было не чѣмъ. Возъ хворосту всего-то стоилъ гривенникъ въ барскомъ лѣсу, но у Миная не только гривенника, а часто и заржавленнаго гроша не было. Такъ дыры и оставались незагороженными. Придумывалъ, придумывалъ Минай, какъ бы зачинить дворъ, и, наконецъ, придумалъ.

Привязалъ на веревку Полкана, глупѣйшую собаку, которая рѣдко и дома-то жила, и посадилъ ее къ самой большой дырѣ. Полканъ постоянно отрывался и уходилъ, Минай постоянно ловилъ его и садилъ на старое мѣсто. Цѣлыхъ три мѣсяца бился онъ такъ; наконецъ, песъ смирился. Послѣ устройства такой засады, свиньи, познакомившіяся съ зубами лютаго пса, котораго рѣдко кормили, перестали шлѣться на дворъ. И вся эта исторія — изъ-за гривенника! Но Минаю весело было смотрѣть, какъ Полканъ хваталъ какую-нибудь неосторожную хавронью за глотку; Минай хохоталъ надъ выдумкой. Только по ночамъ было непріятно слушать жалобное завываніе.

Минай съ виду всегда казался беззаботнымъ; по крайней мѣрѣ, никто еще не видалъ, чтобы онъ тосковалъ и терзался пытками безнадежности. Онъ всегда былъ ровень, шапка на бекрень, руки засунуты за поясъ. Въ самыя тяжкія минуты на лицѣ ничего нельзя было прочесть; лицо его въ эти минуты дѣлалось безсмысленнымъ, одурѣлымъ — и только.

Такая способность Миная прямо зависѣла отъ того, что онъ жилъ среди парашкинцевъ.

Парашкинцы имѣютъ такое жизнеустройство, которое помогаетъ человѣку въ самыя отчаянныя времена на что-то надѣяться. Помощь эта не только матеріальная, но и нравственная, и послѣдняя, пожалуй, гораздо важнѣе первой. Правда, что у парашкинцевъ есть общій животъ, брюхо, которое питаетъ цѣлое „опчество“. Правда также, что этотъ мірской животъ игралъ и играетъ значительную роль въ жизни парашкинцевъ. Когда парашкинцы лишились личныхъ животишекъ, на выручку имъ являлся общій животъ; когда ихъ разбивали и разсѣвали, они снова собирались около общаго живота и, къ удивленію всѣхъ, снова устраивались. Все это правда.

Тѣмъ не менѣе, нравственная помощь парашкинскаго жизнеустройства для Миная была гораздо важнѣе всего этого. Благодаря только этой помощи, Минай способенъ былъ еще хохотать и показывать языкъ. Бѣдъ у Миная было много сыпались онъ на него, какъ едовыя шишки на Макара, но онъ ежеминутно чувствовалъ за своею спиной силу. Этою силой былъ міръ. Онъ въ него такъ вѣрилъ, что, когда у него ничего не оставалось, то все-таки оставался міръ. Если

по временамъ изъ его легкомысленной души исчезала надежда, онъ обращалъ глаза на міръ и ждалъ: вотъ-вотъ міръ что ни на есть придумаетъ. Міръ для него былъ крѣпостью, гдѣ онъ спасался отъ непріятелей. А непріятелей у него было много, и спастись отъ нихъ можно только въ крѣпостяхъ. Не будь у Миная укрѣпленнаго мѣста, отъ него давнымъ давно остались бы одни порты. Можетъ быть, въ послѣдствіи крѣпости будутъ и не нужны, и парашкинскій міръ обратится въ цвѣтущее гражданскаго вѣдомства мѣсто, но объ этомъ Минай пока и не мечталъ, хотя отъ природы былъ награжденъ необузданною фантазіей.

Очевидно, что Минай совсѣмъ предаться отчаянію не могъ. Онъ крѣпко дѣлился къ „опчеству“. Нельзя сказать, чтобы парашкинское „опчество“ было особенно укрѣпленное мѣсто, — часто Минай подвергался участи страуса, спрятавшего голову и оставившаго свободнымъ задъ, — но важна увѣренность въ некоторой безопасности. А Минай вѣрилъ въ крѣпость, и потому не могъ навсегда упасть духомъ, лечь и начать помирать.

Онъ не пропускалъ ни одной сходки и слылъ за самага отчаяннаго горлодера. Даже въ тѣ дни, когда его разрывали на части и когда ему приходилось бороться съ уныніемъ, онъ все же появлялся на сходѣ. Всего вѣрнѣе, потому и появлялся, что боролся съ уныніемъ. Тамъ онъ былъ въ своей сеерѣ. Горло у него было широкое; ругался онъ такъ, что даже опытные въ этомъ дѣлѣ становились втупикъ и умолкали. Онъ раньше всѣхъ приходилъ на сходъ, позже всѣхъ уходилъ оттуда. Прямо по приходѣ на сходъ онъ точилъ лисы и балагурилъ, потомъ ругался. Прислонится къ чему-нибудь, къ плетню или къ забору, и оретъ, пламенно оретъ, не глядя ни на кого и не слушая ни другихъ, ни, повидимому, даже самого себя; оретъ до тѣхъ поръ, пока всѣ прочіе не умолкнутъ въ изнеможеніи, безсильно хлопая глазами: его поневолѣ слушали. На міру онъ такъ и слылъ „горлодеромъ“, „гордопаномъ“, т. е. человѣкомъ, который во всякій часъ дня и ночи можетъ разинуть ротъ и сколько угодно орать.

Всего яростнѣе Минай нападалъ на Епишку. Епишка былъ бабачикъ, небольшой, вертлявый, съ прозвительными глазами человѣчишко. Сначала онъ чуть не со слезами на глазахъ

вымолилъ у парашкинцевъ право держать кабакъ, а потомъ ему удалось какими-то подвохами купить землю у барина (старика-барина давно не было въ живыхъ; имѣніе было въ рукахъ его сына), и съ тѣхъ поръ Епишка преобразился. Кабака онъ не бросилъ; напротивъ, сдѣлалъ его центромъ своего хищничества. Здѣсь онъ жилъ, отсюда онъ дѣлалъ набѣги на парашкинцевъ, сюда тащилъ все, что ему удавалось, тѣмъ или другимъ путемъ, выудить. Въ концѣ-концовъ онъ опуталъ парашкинцевъ обязательствами, и вытурить его было уже невозможно.

— Чего вы смотрите? — кричалъ Минай на сходѣ, — чего смотрите? Куда у васъ разумъ-то дѣвался? Нонѣ онъ въ хвостъ намъ сѣлъ, а завтра наплюетъ намъ на бороды! Чего наплюетъ! онъ прямо въ ротъ затешется, Епишка-то! Ахъ, вы...

Но парашкинцы были уже бессильны вытурить Епишку. Епишка утвердился. Это зналъ и Минай и, что всего удивительнѣе, противъ самого Епишки онъ ровно ничего не имѣлъ. На міру онъ ругалъ его на чемъ свѣтъ стоитъ. Встрѣчаясь съ нимъ, балагурилъ. И надо оговориться, Минай вездѣ былъ такимъ. Онъ можетъ ругаться, но не можетъ ненавидѣть. За минуту пылая ненавистью къ врагу онъ потомъ хохочетъ съ нимъ и шутки шутить, а въ пыломъ видѣ лѣзетъ даже цѣловаться. Съ такимъ же безстыдствомъ или легкомысліемъ онъ и съ Епишкой поступалъ.

Противъ Епишки онъ металъ массу самыхъ ѣдкихъ ругательствъ, но иногда почти немедленно же отправлялся въ кабакъ и просилъ у Епишки кошку водки въ долгъ.

— Епишка, дай! — просилъ онъ.

Епишка сверкаетъ провзительными глазами; онъ знаетъ, что на сходѣ Минай оралъ противъ него, и отказываетъ въ просьбѣ.

— Ни зашто!

— Дай!

— Ни за रुपъ!

— Будь другъ милый!

— Не дамъ, говорю, не дамъ, и проваливай!

— Отчего?

Епишка снова сверкаетъ глазами и хочетъ отмолчаться, но не выдерживаетъ.

— А кто на сходѣ глотку дралъ? Кто супротивъ Епишки

Болупаева бунтовалъ? Кто м-миня безпутными словами безчестилъ? Кто, безстыжіе твои глаза? Управы на васъ нѣтъ, голоштанники, право! Не дамъ!

— Тамъ, братъ, апчественное дѣло; по совѣсти тамъ, братецъ ты мой... тамъ съ нечистымъ рыломъ невозможно!

— Лучше и не проси! Уходи отъ грѣха!—кричитъ Епишка, выходя изъ себя.

— Ну, лѣшій тебя возьми!—говоритъ, наконецъ, Минай и уходитъ. Ему сначала неловко, совѣстно, да и выпить хочется, но потомъ ничего. Идя домой, онъ уже свиститъ.

Чтобы нѣсколько оправдать безстыдство Миная, надо заимѣтить, что въ „апчественныхъ дѣлахъ“ онъ всегда старался поступать по совѣсти, „съ чистымъ рыломъ“, дома же онъ никогда не слѣдилъ за собой; дома онъ даже привыкъ ходить нечистымъ. Это какъ разъ наоборотъ тому, что происходитъ среди большинства празднопшатающихся.

Пилъ Минай только мимоходомъ, только въ тѣхъ случаяхъ, когда можно урвать косушку. До безобразія же напивался всего раза три въ годъ. Собственно говоря, онъ и не напивался даже, а только показывалъ видъ, что необыкновенно пьянъ, хвастался. Если пьянъ, стало быть, есть на что, стало быть, деньги водятся, стало быть, человекъ онъ не кой-какой. Минай упорно стремился сохранить за собой репутацію не „кой-какого“.

Поэтому онъ всегда бушевалъ, когда напивался. Но бушевалъ онъ, такъ сказать, въ пространствѣ: оралъ, стучалъ объ столъ кулаками, словесно бѣсновался, но никого не задевалъ. За то онъ фантазировалъ, и тутъ ужъ не зналъ, никакого удержа. Фантазія его, и безъ того часто необузданная, въ этомъ случаѣ совершенно выходила изъ предѣловъ натурального. Онъ лгалъ, хвастался, создавалъ вслухъ небылицы, громко мечталъ и иногда самъ запутывался въ своемъ враньѣ. Онъ фантазировалъ безразлично—передъ пріятелемъ, если онъ былъ, или передъ Федосеей, если она слушала его, а иногда мечталъ самъ съ собой, вслухъ рассказывая себѣ невѣроятные случаи того, какъ онъ поправится и заживетъ.

Начиналъ онъ всегда съ плетня. Плетень—это былъ его личный врагъ. Его онъ ломаетъ и поставитъ новый... нѣтъ, не плетень, а прямо заборъ. А старый плетень на дрова;

сколько будетъ дровъ! на годъ хватить! Полкашкѣ тоже надо отдыхъ дать—бѣдный Полканъ!... А потомъ онъ примется за избу: гнилушки — въ щепы, въ прахъ! Будетъ, послужили свой звѣкъ—и честь пора знать. Новыхъ бревенъ онъ прямо изъ города привезетъ; онъ выждетъ случай; онъ не промахнется—шалишь! Крышу онъ тесовую положить, а солому по боку. Какъ же можно сравнить тесъ съ соломой? То тесъ, а то солома. Тесъ—любезное дѣло, а солома прѣть... ну, и вонь! Коровенку еще надо прикупить... расходъ большой... но за то корова. Суммы у него хватить на все. Да онъ ежели прямо говорить, двѣ коровы купить, три! Молока тогда будетъ вдосталь, масло же... ну, масло въ городъ, по прямой линіи въ городъ, почему, что брюхо крестьянское непривычно къ нему... Молоко, простокваша—это такъ, это можно. Дунька тогда поправится; Дунькѣ тогда—лафа; Дунька тогда—сыта. А и пользы отъ коровъ ожидать должно, въ смыслѣ, на примѣръ, навоза. Тогда онъ не пожалѣетъ ста кучъ, двѣсти кучъ! Тогда этого добра дѣвать будетъ не куда—вали, знай! И хлѣбъ свой... цѣлый годъ свой! И не только этакій, со всѣми, на примѣръ, подостями, а чистый, какъ слѣдуетъ, хлѣбъ... Расходу—прорва! Ну, за то лошади... Этотъ самый одеръ, теперешній, только хвостомъ вертитъ! Ты его жарь кнутомъ, дубиной его жарь, а онъ вертитъ... одеръ естественный!... А онъ купить теперь лошадей, какъ слѣдуетъ... ха-аррошаго мерена! Онъ двѣ лошади купить! Ужъ заодно, въ масть...

Минаю, повидимому, легко было обманывать себя въ пьяномъ видѣ. Воображеніе, воспламененное косушкой сивухи дѣйствовало безъ всякой узды, и Минай могъ предаваться безъ зазрѣнія совѣсти, лжи и хвастовству передъ собой. Но къ удивленію, дѣло было иначе. Трезвый, Минай никогда почти не сознавалъ себя во лжи и не признавалъ себя пустомелей, тогда какъ въ пьяномъ видѣ онъ очень часто спускался въ область дѣйствительности и нылъ. Фантастическія настроенія его куда-то исчезали, и на днѣ его пьяной души оставалось одно только ѣдкое и болѣзненное сознаніе „жисти“.

По большей части это происходило по вечерамъ, когда грезы сосредоточиваются, и всякая боль дѣлается острѣе. Приходя домой, Минай грузно садится за столъ и опалѣлыми глазами осматриваетъ стѣны. Онъ сопить и вздыхаетъ.

Горитъ ночникъ, наполняя атмосферу копотью коноплянаго масла. Федосья сидитъ за пряжей. Подлѣ нея копошится Дунька, починивая какое-то тряпье. А Яшка сидитъ возлѣ двери, рядомъ съ телянкомъ, и плететъ лапти. Минай сперва ничего не замѣчаетъ и ничего не отвѣчаетъ на грозное лицо Федосьи.

— Дунька!—вдругъ почему-то обращается онъ къ дочери, поднимая на нее отяжелѣвшія вѣки.

— Ты, тятка, пьянехонекъ... ужъ молчалъ бы ни то!— отвѣчаетъ Дунька, не поднимая головы и все продолжая работать надъ тряпьемъ. Дунька уже выросла; ей пятнадцатый годъ. Но ей никто не далъ бы столько лѣтъ, до такой степени она мала и тщедушна.

— А я тебѣ говорю—цыцъ, дура!—съ неожиданнымъ бѣшенствомъ кричитъ Минай, раздраженный возраженіемъ, но немедленно же опускается за столъ, забываетъ обиду и долго молчитъ, смотря въ пространство ошалѣлыми глазами.

— Слышь, Дунька!—снова вспоминаетъ разговоръ Минай. Дунька молчитъ попрежнему, только глаза ея, устремленные на ночникъ, щурятся.

— Слышь, Дунька! А хлѣба-то у насъ не будетъ... ни въ единомъ разѣ!

Дунька еще болѣе щурится и молчитъ. Молчать и другіе члены семьи.

— Не будетъ хлѣба у насъ...—настаиваетъ Минай, какъ будто кто ему возражаетъ.

— Ни въ единомъ разѣ... ни въ единственномъ... — продолжаетъ онъ, ни къ кому не обращаясь, и безчисленное число разъ повторяетъ: „ни въ единомъ, ни въ единственномъ“. Потомъ онъ умолкаетъ, а тамъ снова начинается безконечное повтореніе:

— Не будетъ...

— Ни въ единомъ разѣ...

— Хлѣба-то...

— Не будетъ и не будетъ!... Хлѣба-то... и не-е-е будетъ!

Минай вдругъ начинаетъ плакать. Голова его медленно опускается на руки, лежащія на столѣ; тѣло вздрагиваетъ; изъ устъ слышатся всхлипыванія и икота. Когда онъ снова поднимаетъ голову и смотритъ въ пространство ошалѣлыми

глазами, на рукавъ его полушубка вырисовывается большое мокрое пятно.

— Легъ бы ты, Осипычъ! — прерываетъ вдругъ молчаніе Ѳедосья, и Минай скоро дѣйствительно засыпаетъ.

И снова горитъ ночь, пропитывая смрадомъ атмосферу избы. Яшка долго еще плететъ лапти, Дунька почиливаетъ тряпье, а Ѳедосья тянетъ безконечную посконную нить.

Ѳедосья съ теченіемъ времени дѣлалась все болѣе и болѣе молчаливою. Вѣрила-ли она фантазіямъ мужа, или только тянула ляжку парашкинской „жисти“, никто этого опредѣленно сказать не можетъ. Лицо ея сдѣлалось угловатымъ, морщинистымъ и дряблымъ; глаза потускнѣли и стали бессмысленными, руки отвердѣли, какъ старыя подошвы. Она никогда не сидитъ безъ дѣла, все надъ чѣмъ-нибудь копошится; лѣтомъ же она, попрежнему, лошадь. Но всякая работа дѣлалась ею молча и тупо, какъ заведенною машиной. Ня ея лицѣ ничего нельзя было прочесть, только губы ея все что-то шептали, словно она съ кѣмъ-то говоритъ.

Для Миная это было все одно; онъ мало обращалъ вниманія на Ѳедосью. Они такъ тѣсно жили, что уже не замѣчали другъ друга. Минаю и некогда было замѣчать разныя мелочи; у него едва хватало времени на то, чтобы затыкать дыры „жисти“ клочьями своего воображенія. Еслибы ему велѣно было обо всемъ думать, все увидеть и понять, такъ тогда что-жъ бы отъ него осталось?

Такимъ образомъ, проблески лютаго сознанія проявлялись въ немъ только тогда, когда онъ выпивалъ. На другое утро послѣ этого онъ вставалъ, какъ встрепанный, и принимался за какое-нибудь дѣло, и попрежнему, свистѣлъ. Когда же его и въ явь въ „трезвомъ образѣ“ застигаетъ трезвое сознаніе, онъ хитритъ, старается обогатить себя и ускользаетъ отъ казни.

Онъ находитъ ресурсы обольщать себя даже и въ такихъ положеніяхъ, гдѣ онъ казался совершенно припертымъ къ стѣнѣ. Однимъ изъ такихъ обстоятельствъ были недоимки. Въ какой мѣрѣ можно мечтать объ уплатѣ ихъ? Безъ мѣры, потому что и копить ихъ онъ безъ мѣры. Минай, повидимому, это зналъ; онъ фантазировалъ въ этомъ случаѣ крайне неумѣренно, безъ всякаго воздержанія. Накопивъ недоимки

въ такомъ размѣрѣ, что выплатить ихъ не представлялось возможности, онъ, тѣмъ не менѣе, думалъ, что это ничего...

Здѣсь повторялась та же исторія пятерни. Онъ загибалъ пальцы и приходилъ въ восторгъ. „Разъ!“—шепталъ онъ, отыскивая какую-нибудь фантастическую вѣроятность уплаты, загибалъ палецъ. „Два!“—шепталъ онъ. „Три!“. Пятерня загнута и Минай успокоивается. Выходило, впрочемъ, всегда такъ, что не успѣвалъ онъ загнуть всѣ пальцы, какъ уже жгучимъ тѣломъ чувствовалъ, что его ведутъ въ волость...

Про него иногда распускали слухъ, въ особенности писарь Семенъ, что онъ злонамѣренно уклоняется отъ уплаты. Кромѣ простой глупости, здѣсь заключается еще непониманіе вообще человѣка, всегда готоваго подвергнуть себя неприятностямъ, чтобы избѣгнуть мучительствъ. Кромѣ того, Минай никогда не могъ примириться съ мыслью, что онъ голышъ и взять съ него нечего. Онъ обижался, когда его называли недоимщикомъ. Онъ даже не останавливался передъ лживыми увѣреніями, что онъ „чистъ“, что „онъ, братъ, не любитъ этакъ-то валандаться“... Говорилъ такъ онъ, разумеется, не съ парашкинецемъ, который могъ бы его уличить, а съ какимъ-нибудь постороннимъ человѣкомъ, не знавшимъ, что „чистый“, не тронутый парашкинецъ—миоѣ или изъто въ родѣ привидѣнія.

Минай любилъ хвастаться, если не тѣмъ, что онъ чистъ, то, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, что онъ будетъ чистъ. Мечтатель всегда ухитряется забывать настоящее и въперяетъ глаза только въ будущее. Минай держался именно этого способа. Возвращаясь изъ волости, онъ немедленно забывалъ, что его тамъ „тово“... Онъ принимался высчитывать мѣры и возможности къ уплатѣ въ будущемъ году и увлекался этимъ высчитываніемъ. У него всегда оказывалось множество способовъ уплаты, и онъ неминуемо приходилъ къ заключенію, что на будущій разъ онъ чистъ. Будущее обращалось въ настоящее, фантастическія видѣнія въ фактъ, и Минай забывалъ обиду, надѣвалъ шапку на бекрень и весело свистѣлъ. И это спустя часъ послѣ „тово“!

Что всего удивительнѣе, Минай стыдился не того, что онъ вѣчно изображаетъ изъ себя липу, а одного только имени недоимщика. Онъ въ этомъ случаѣ нисколько не походилъ на Ивана Иванова. Иванъ Ивановъ, послѣ того, какъ зако-

палъ на огородѣ книжки, ожесточенно плюнулъ на все и нагло отказывался отъ уплаты. Когда его спрашивали: „Ну, что, дурья голова, пороли?“ Онъ отвѣчалъ: „А то какъ же?“— „Здорово?“— „Пороли-то? Пороли, братецъ ты мой, знатно; пороли, надо прямо говорить, нѣбу жарко“,—отвѣчалъ онъ, ковыряя пальцемъ въ трубкѣ. Для него существовало что-нибудь одно изъ двухъ: „тово“ или уплата; вмѣстѣ, рядомъ эти два явленія не могли существовать. Иванъ Ивановъ такъ утвердился на этой точкѣ, что никто не въ состояніи былъ сбить его съ нея. Такъ онъ и не платилъ, хотя ежедневно думалъ о недоимкахъ и нылъ. Но Минай стыдился быть недоимщикомъ, и если ему не удавалось уплатить дѣйствительно, то онъ платилъ въ воображеніи.

По этому поводу онъ всегда рисовалъ себѣ картину, созерцаніе которой доставляло ему величайшее наслажденіе.

Картина была, дѣйствительно, густо окрашена. Минай стоитъ въ волостномъ правленіи и ехидничаетъ про себя, ехидничаетъ насчетъ того, какъ старшина будетъ приведенъ сейчасъ въ конфузъ. О, Минай наслаждается этимъ моментомъ! Минай стоитъ поодаль отъ недоимщиковъ и высокомерно на нихъ поглядываетъ. Старшина то и дѣло кричитъ: „Валяй его!“ Очередь доходитъ до Миная. „Минай Осиповъ здѣсь?“—кричитъ старшина.—„Я Минай Осиповъ“.—„Деньги принесъ?“ Минай нарочно съ злымъ умысломъ молчитъ... „За тобой, голубь мой, причитается... Ого-го! причитается, голубь мой, вонъ сколько!“ Минай молча достаетъ деньги, показывая, однако, видъ, что платить ему нечѣмъ. „А! у тебя нѣту?...“ Минай медленно копошится, наконецъ, вынимаетъ требуемую сумму и бережно подаетъ ее старшинѣ. Старшина оглушенъ; это очевидно; это ясно; это видно по его вытаращеннымъ глазамъ; онъ даже слова не можетъ вымолвить. „Ну, другъ, извини,—говоритъ, наконецъ, онъ.—Я ду малъ... Что-жъ ты молчишь, чудакъ? Право, чудакъ!“ Минай злорадно отвѣчаетъ: „Я, Сазонъ Акимычъ, завсегда... съ удовольствіемъ! Я этой самой пакости, прямо сказать, люблю!“—„Это, братъ, хорошо... Это ужъ на что же лучше какъ ежели отдалъ—и чистъ“. Минай весело глядитъ и уходитъ, сопровождаемый всеобщимъ удивленіемъ.

Нарисовавъ эту картину и размазавъ ее густыми колами, Минай уже спокоенъ за будущій годъ; только спокой

ствіа ему и на о. Добившись его, онъ предается обычнымъ своимъ домашнимъ занятіямъ, а между дѣломъ, попрежнему, смѣется, хвастается, лжетъ передъ собой и передъ другими, тиваетъ свою „жисть“ безъ особенной тревоги и безъ смущенія, не отчаивается, во что-то вѣрить и свиститъ.

Съ нѣкотораго времени Минай сталъ невольнo и помимо сознанія направлять свою фантазію въ другую сторону. Онъ уже готовъ былъ выйти изъ того круга ожиданій и желаній, въ которомъ весь вѣкъ топтался. Для него явился соблазнъ, которому онъ ежеминутно готовъ былъ поддаться. Передъ его глазами постоянно мелькалъ живой примѣръ, надъ которымъ онъ задумывался.

То былъ Епишка.

Епишка, дѣйствительно, былъ соблазномъ, перевертывавшимъ въназавку всѣ фантазмагоріи Миная. Епишка—это человѣкъ, получающій во всемъ удачу. У Епишки всегда есть хлѣбъ. Епишка не нуждается въ гривенникѣ; цѣлковые сами текутъ къ Епишкѣ. Епишка пользуется уваженіемъ, ему всѣ парашкинцы шапки снимаютъ. Епишку никто не трогаецъ; напротивъ, онъ самъ всѣхъ задѣваетъ. Епишку не сѣкутъ; у Епишки никогда нѣтъ недоимокъ, да и платить-ли онъ какія-нибудь подати? Епишка содержитъ кабакъ... ну, это ужъ отъ его пскудства, но еслибы онъ и кабака не держалъ, то и тогда онъ катался бы, какъ сыръ въ маслѣ. Но, главное, Епишка самъ по себѣ владѣетъ землей—вотъ чего Минай не могъ переваривать.

Кто такой Епишка? Прощалыга, который въ Сысойскѣ продалъ воблу, вырабатывая за весь день не болѣе гривенн. Тѣ парашкинцы, которые часто ѣздили на базаръ въ Сысойскъ, знавали его и раньше. Епишка въ то время выглядѣлъ необыкновенно жалкимъ оборванцемъ; просто жалко было плюнуть на него. Сидѣлъ онъ всегда около небольшой кучки протулой воблы и жалобно заманивалъ къ себѣ пьяныхъ покупателей; лѣтомъ-ли то было, или зимой, онъ вѣчно потиралъ себѣ руки, словно не надѣялся на свои рубища и боялся, что замерзнетъ. И вдругъ этотъ самый Епишка, этотъ прощалыга, этотъ торговецъ воблой, этотъ не материнъ сынъ, вдругъ онъ, по волѣ попутнаго вѣтра, приносится къ парашкинцамъ, садится на хребты ихъ и самоувѣренно говорить: „Н-но, милые, трогай!“ И парашкинцы везутъ его и, навѣрно, вывезутъ;

вывезутъ туда, куда только пожелаетъ алчная душа его. Развѣ это не соблазнъ?

Минай часто надолго забывалъ Епишку, но, когда ему приходилось жутко, онъ вспоминалъ его. Епишка самъ лѣзъ къ нему, мелькалъ передъ его глазами, распибалъ всѣ старыя его представленія и направлялъ мечты его въ другую сторону. Главное, Епишка во всемъ успѣвалъ; не потому-ли успѣвалъ, что никакого „опчисва“ у него нѣтъ?

Епишка имѣлъ землю, но не имѣлъ недоимокъ; онъ дралъ, а не его сѣкли... Этотъ рядъ мыслей неминуемо торчалъ въ головѣ Минай и смущалъ его. А далѣе слѣдовалъ новый рядъ мыслей: Епишка оборванецъ, Епишка выкидышъ; Епишка не имѣетъ ни сродственниковъ, ни знакомыхъ, ни „опчисва“... а имѣетъ землю. Почему?

Этотъ оглушительный вопросъ долго оставался безъ отвѣта въ головѣ Минай, и Минай пытался все дѣло свести къ счастью. Но это мало помогало. Далѣе, Минай уже начиналъ думать, что онъ нашелъ причину удачи Епишки. Епишка ни съ чѣмъ не связанъ, Епишка никуда не прикрѣпленъ, Епишка можетъ всюду болтаться. Вздумаетъ онъ землю снять—снимаетъ; захочетъ вонять на всю деревню кабачнымъ сирадомъ—и воняетъ. Были бы только деньги, а въ остальномъ прочемъ ему все тринь-трава. „Ахъ, дуи его горой! Ловкій шельмецъ!“—оканчивалъ свои размышленія Минай.

Минай неминуемо приходилъ къ выводу, что для полученія удачи необходимы слѣдующія условія: не имѣть ни сродственниковъ, ни знакомыхъ, ни „опчисва“—жить самому по себѣ. Быть отъ всего оторваннымъ и болтаться гдѣ хочешь. Это выводъ, который приводилъ въ изумленіе самого Минай.

Но Епишка теперь уже не гуляетъ по волѣ попутнаго вѣтра: онъ утвердился. Главная его сила въ томъ, что онъ знаетъ никого не хочетъ. Сидитъ себѣ на своей землѣ и въ усъ не дуетъ. Онъ завелъ у себя стаи псовъ, посадилъ ихъ на цѣпь, окопался, огородился и живетъ себѣ. Никто не смѣетъ къ нему носу сунуть, потому что онъ немедленно тяпнетъ по носу, высунувшемуся далеко. Онъ одинъ—и больше ни до кого ему дѣла нѣтъ. „Апчесвенной“ тяготы на немъ нѣтъ, ни за кого онъ не болѣетъ; знай себѣ хватаетъ въ обѣ руки. И нѣтъ на него никакой узды; и чего онъ ни захочетъ, все у него выходитъ ладно, никто его не коритъ. „Ну, песъ! Да

онъ оторститъ такое брюхо, такое брюхо“...—оканчивалъ свои размышленія Минай.

И здѣсь выходить все одинъ конецъ. Чтобы хорошо жить, надо быть отъ всего оторваннымъ, гулять по волѣ вѣтра и все дѣлать одному и на свой страхъ. Для Миная Епишка былъ фактъ, которымъ онъ поражался до глубины души. Сдѣлавъ свой доморощенный выводъ изъ факта, онъ принимался размышлять дальше. Но здѣсь, впрочемъ, размышленія его прерывались; далѣе шли однѣ фантазіи, какъ и во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда предметомъ его размышленій былъ онъ самъ, Минай. О себѣ онъ не могъ думать; онъ только разнуздывалъ свое воображеніе.

„А что, ежели удрать, къ примѣру?“—спрашивалъ онъ себя и начиналъ обдумывать послѣдствія этого необычайнаго поступка. Онъ будетъ воленъ; копѣйку онъ станетъ запибать ужъ лично на себя. Но что копѣйка? Копѣйка—тьфу! Онъ на вѣчныя времена сниметъ землю и сядетъ на ней... А пріобрѣсти землишку — дѣло не хитрое, механику-то эту онъ знаетъ! Вѣдь Епишка какъ присвоилъ? Вѣдь онъ гроша за душой не имѣлъ! Такъ и тутъ... А своя землишка — ужъ лучше этого и ничего нѣтъ. Вонъ онъ, Епишка-то, какъ вознесся!... Безпремѣнно надо удрать, только до лѣта дотянуть, а тамъ поминать какъ звали! Безпремѣнно надо! Черезъ годикъ, черезъ два—землишка... Тогда кланяться-то я не стану, шалить! Хлѣбъ-отъ у меня свой тогда... Я тогда чистъ... тогда рыло-то отъ меня вороти въ сторону... тогда, живымъ манеромъ, передо мной шалку долой! Маршъ! сволочь!“

Минай вдругъ начиналъ размахивать руками; глаза его горѣли съ несвойственною ему яростью, а съ языка срывался пѣлый потокъ ругательствъ. Но тѣмъ дѣло и оканчивалось. Злоба, накипѣвшая противъ кого-то, выливалась, онъ отводилъ душу и успокоивался. А на слѣдующемъ же сходѣ чествовалъ Епишку.

Замѣчательно, впрочемъ, не это. Важно то, что когда онъ рисовалъ себѣ Епишку, „опчисво“ на минуту являлось переть нимъ, какъ врагъ, отъ котораго надо удрать. Всѣ его старыя понятія или ощущенія куда-то провалились, а на ихъ мѣсто явился одинъ голый фактъ—Епишка, и ослѣплялъ Миная.

Тѣмъ не менѣе, Минай еще не собирався вплотную послѣдовать по пути Епишки. Этому было много причинъ.

Прежде всего, копѣйка; Минай хотъ и плевалъ на нее, но яснѣе, чѣмъ кто другой, сознавалъ, что именно копѣйки-то и не видать ему, какъ ушей своихъ, и что безъ нея онъ станетъ всегда ѣсть странный хлѣбъ.

Удерживало еще одно представленіе. На какомъ бы мѣстѣ ни садился Минай въ своемъ воображеніи, передъ нимъ всегда мелькала такая картина: „Минай Осиповъ здѣсь?“ — „Я Минай Осиповъ“. — „Ложись“... Это представленіе преслѣдовало его, какъ тѣнь. Куда бы онъ ни залеталъ въ своихъ фантастическихъ поѣздкахъ, но, въ концѣ-концовъ, онъ соглашался, что его найдутъ, привезутъ и положить. Онъ такимъ образомъ невольно объяснялъ причину удачъ Епишки, котораго никто не трогаетъ, и неудачи Миная, котораго всюду найдутъ.

Самую же важную роль въ охлажденіи къ одиночеству играло все-таки „опчисво“. Минай только на минуту забывалъ его. Когда же онъ долго останавливался на какой-нибудь картинѣ одиночной „жисти“, его вдругъ охватывала тоска. „Какъ же это такъ можно?—съ изумленіемъ спрашивалъ онъ себя.—Стало быть, я волкъ? И окромя, стало быть, берлоги, мнѣ ужъ некуда будетъ сунуть носа?“ У него тогда не будетъ ни завалинки, на которой онъ по праздникамъ шутки шутить и разговоры разговариваетъ со всѣми парашкинцѣми, ни схода, на которомъ онъ пламенно оретъ и бушуетъ, ничего не будетъ! „Волкъ и есть“,—оканчиваетъ свои размышленія Минай. Тоска, понятная только ему одному, охватывала его такъ сильно, что онъ яростно плевалъ на Епишку и ужъ больше не думалъ подражать ему.

Конечно, это только временная узда. Придетъ время, когда парашкинское общество растаетъ, потому что Епишка не даромъ пришелъ. Какъ лазутчикъ сысойской цивилизаціи, онъ знаменуетъ собой пришествіе другого Епишки, множества Епишекъ, которые загадятъ парашкинское общество.

Минай жилъ подъ массой вліяній, которыя дѣйствовали на него одуряющимъ образомъ. Однако, Епишка, фигурирующій въ числѣ этихъ вліяній, не занялъ еще первенствующаго мѣста въ мысляхъ Миная. Епишка только еще землю захватилъ, но не успѣлъ еще прокрасться въ область мысли. Минай имѣлъ силу отбиться отъ него. Нужно видѣть, какъ онъ на

сходъ ореть противъ Епишки. Онъ тамъ честилъ его на всѣ брани; нѣтъ брани, которая не обрушивалась бы на голову Епишки со стороны Миная. На словахъ Минай терзалъ на части Епишку.

Если Минай и мечталъ насчетъ Епишкиныхъ воровскихъ глѣзъ, то лишь въ тѣ времена, когда ему приходилось туго, когда обиденныя самообольщенія не спасали его, когда онъ готовъ былъ лѣзть въ первую попавшуюся петлю, лишь бы не душила его не въ такой степени, какъ та, въ которой онъ былъ. Тугія времена дѣйствовали на него одурающимъ образомъ. Ежедневныя фантастическія настроенія тогда уже не удовлетворяли его; онъ жаждалъ въ это время чего-нибудь извиннаго и захватывающаго духъ. Онъ старался забыть свою „жизнь“ и выдумать другую, неслыханную. Всѣ мечты его принимали болѣзненный и придурковатый характеръ.

Самъ по себѣ онъ мало надѣялся, но за то онъ ждалъ, и эти ожиданія также принимали больной видъ, и со стороны казались просто глупыми и невѣжественными.

То онъ выдумаетъ, что ему позволятъ переселиться въ Азію, то онъ вѣритъ, что недоимки будутъ съ него сняты, то онъ убѣждаетъ себя, что земли прирѣжутъ. Онъ ловилъ малѣйшій слухъ, который не былъ очевидно нелѣпостью, и фантазировалъ на его счетъ. Показывая видъ, что онъ нисколько не веритъ болтовнѣ бабъ, онъ въ тайнѣ предавался мечтаніямъ насчетъ какой-нибудь утки, пущенной какимъ-нибудь солдатикомъ, и въ то же время съ жаромъ ловилъ новую утку, волнуясь при ея появленіи до глубины души. Въ этомъ случаѣ онъ даже и не лгалъ передъ собой: онъ вѣрилъ. Это спасало его на время, позволяя ему ожидать чего-то.

Чуткость Миная къ нелѣпостямъ была необычайна. Какой бы ни проносился слухъ, Минай на лету хваталъ его и задерживался. Слухи удилъ онъ по большей части на базарѣ, отъ прохожихъ солдатиковъ, или изъ устъ господъ, съ которыми приходилось ему сталкиваться. Каждую нелѣпость, подмеченную на лету, онъ дѣлалъ еще болѣе нелѣпою, безсознательно перевирая ее. Удержать же слухъ въ себѣ онъ не имѣлъ силы, развѣ слухъ ужь слишкомъ нелѣпъ, онъ рассказывалъ его другимъ и незамѣтно для себя приплеталъ что-нибудь отъ себя.

Разъ онъ вылилъ душу передъ Фроломъ. Фролъ былъ че-

ловѣкъ основательный, который во всякомъ дѣлѣ скажетъ вѣрное слово. Правда, говорить онъ не любилъ, но это Минаю и не больно нужно. Минай охотнѣе говорить, чѣмъ слушаетъ. Минай немного побаивался Фрола, въ особенности за способность послѣдняго обливать холодною водою, но, желая во что бы то ни стало найти хотя какое-нибудь подтвержденіе копошившихся въ его головѣ нелѣпостей, онъ разболтался.

Фроль, по обыкновенію, работалъ надъ сапогами. Онъ съ теченіемъ времени сталъ шить сапоги и на другихъ, и въ этомъ дѣлѣ творилъ такіа чудеса, что пріобрѣлъ громкую извѣстность. Онъ могъ сдѣлать и такіе сапоги, въ которыхъ легко посадить человѣка, и такіе, которые негодны были ни какому ребенку.

Минай часто забѣгалъ къ Фролу; придетъ, посидитъ, разскажетъ какую-нибудь фантастическую невозможность и уходитъ облегченнымъ. На этотъ разъ ему кстати было зайти сапоги его обшлепались до такой степени, что странно было смотрѣть на его ноги.

— Ну, Фроль, къ тебѣ!—началъ Минай, снимая сапогъ и подавая его Фролу.—Чистая бѣда! Почини, братъ... тутотк только заплаточки!

Фроль взялъ сапогъ, внимательно осмотрѣлъ и молча подалъ его обратно хозяину. Послѣдній изумился.

— Можно?—спросилъ онъ, растерянно держа сапогъ.

— Нельзя.

— Какъ нельзя? Экъ хватилъ, какъ обухомъ! Нельзя! Тутъ заплаточку, въ другомъ мѣстѣ заплаточку, анъ сапогъ и въ цѣлости... Этакій-то сапогъ нельзя? Эка!

Минай все еще растерянно смотрѣлъ на невозможный сапогъ и удивлялся, почему же нельзя починить. Онъ до сих поръ воображалъ иначе.

— Да ты воткни буркалы-то!—сказалъ, наконецъ, Фроль снова беря сапогъ и просовывая руку въ одну изъ его дыръ.—Воткни буркалы-то! Тутъ ста заплатъ мало, а онъ съ заплаточками со своими... на!

Фроль подалъ сапогъ Минаю и принялся за работу. А Минай долго еще перевертывалъ во всѣ стороны сапогъ, пока своими глазами не убѣдился, что починить его дѣйствительно нѣтъ никакой возможности. Онъ надѣлъ его. Воцарилось на долго молчаніе, въ продолженіи котораго Фроль дѣйствовалъ

пиломъ и съ шумомъ размахивалъ обѣими руками, а Минай безцѣльно водилъ глазами по избѣ; у него подъ ложечкой начало ныть. Фролъ огорошилъ его сапогами.

— Ай земля-то рожею вострый показала ноне, ежели этае сокровище вздумалъ чинить?— не поднимая головы, настыливо спросилъ Фролъ.

— Что-жь, сокровище, такъ сокровище... А что касательно земли, точно, что хлѣба, дай Господи, до Миколы хватить,— возразилъ Минай и совершенно смутился. Онъ сейчасъ только узналъ, что хлѣба у него чуть-чуть „до Миколы хватить“.

— Да, братъ, не родить наша матушка; опаскудили мы ее! продолжалъ Фролъ, не работая.

— Опаскудили—это вѣрно.

— Такъ опаскудили, что и приступить къ ней совѣстно. Разговоръ долго стоитъ на томъ, какъ и въ какой мѣрѣ парашкинцы опаскудили свою землю. Наконецъ, Фролъ переѣхалъ разговоръ.

— Земля-то не рождаетъ задаромъ.

— Какъ же можно! Ежели къ ней съ пустыми руками сунуться, такъ окромя пырею что-жь получишь?

— Земля поить—кормить, ну, тоже и ее надо поить-кормить.

— Да какъ же безъ этого? Безъ этого бросай все и больше ничего,—подтвердилъ и Минай.

Снова настало молчаніе. На этотъ разъ оно не прошло даромъ для Миная. Эти сапоги, этотъ хлѣбъ, котораго до Миколы не хватить, обезкуражили Миная. Онъ порылся въ головѣ и припомнилъ.

— Слыхалъ я... сказывалъ мнѣ на базарѣ... Какъ его? шутъ его возьми! совсѣмъ изъ памяти вонъ имя-то... Какъ его, лысаго?... Еще лысый мужиченко-то, семей дворъ у его отъ конна въ Кочкахъ.

Говоря это, Минай вопросительно и съ отчаяніемъ водилъ глазами по избѣ и старался припомнить имя лысаго.

— Захаръ, что ли?

— Во, во! Захаръ... онъ самый Захаръ и есть! Ну, сказывалъ: придѣлъ, говорить, скоро будетъ; ужъ это, говорить, вѣрно.

— Такъ,—сказалъ Фролъ, не отрываясь отъ работы.

— Безпремѣнно, говорить.

— Такъ, такъ,—и Фролъ видимо начинаетъ злиться. Когда онъ говоритъ „такъ“, то всякій знаетъ, что онъ думаетъ иначе. Минай также это знаетъ, и потому вдругъ пришелъ въ смятеніе, чувствуя, что хлѣба не только до Миколы, а и до Покрова не хватитъ.

— Ты какъ на этотъ счетъ, Фролъ?—спросилъ Минай.

— Что-жъ на этотъ... по моему разсужденію, лучше лежать на печи сказки сказывать, а не то чтобы...—возразилъ Фролъ и умолкъ, такъ что Минаю, хотя и взволнованному его словами, говорить больше нечего. Онъ начинаетъ о другомъ.

— А то еще сказывалъ мнѣ онъ, этотъ самый Захаръ, быдто черную банку заведутъ,—выпалилъ Минай.

На этотъ разъ пораженъ былъ Фролъ. Онъ пересталъ работать и съ выпученными глазами смотрѣлъ на Миная. Какъ онъ ни привыкъ хранить все внутри себя, но сообщеніе Миная ошеломило его.

— Это что-жъ такое?

— Черная банка; для черняди, стало быть, банка, для хрестьянъ,—пояснилъ Минай, довольный тѣмъ, что Фролъ смотритъ на него во всѣ глаза.

— А для какой надобности?

— Банка-то? А гляди: желаемъ мы всѣмъ опчисвомъ прикупъ земли сдѣлать, и сейчасъ, другъ милый, первымъ дѣломъ въ банку...—„Что, голубчики, надо?“—„Такъ и такъ, землю прикупить желаемъ.“—„А станете ли платить?“—„Платить станемъ, ужъ безъ этого нельзя.“—„Ну, хорошо, ребята, дѣло доброе; сколько вамъ?“—„Столько-то“... Вотъ она какого рода банка!—кончилъ Минай.

Минай во время этого поясненія поднимался, снова садился, ерзалъ по лавкѣ и волновался. Очевидно, онъ вѣрилъ въ свою „банку“ и старался убѣдить Флора въ дѣйствительномъ существованіи ея. Онъ желалъ бы еще нахвастать съ три короба о своей чудесной „черной банкѣ“, но Фролъ остановилъ его вопросомъ:

— А скоро?

— Заведутъ, говорить, скоро.

— Такъ.

Надо питать глубокое отвращеніе къ „жисти“, чтобы схватить на лету слухъ, перелгать его и превратить въ „черную банку“. Откуда Минай почерпнулъ этотъ слухъ и какъ онъ

рашался съ нимъ — неизвѣстно. Извѣстно только, что онъ крѣпко осѣдлалъ его и ѣздилъ на немъ очень долго, добившись одного: онъ забылъ на время „Миколу“, потому что каталъ „черной банки“.

Уходя на этотъ разъ отъ Фрола, онъ былъ въ полной увѣренности, что теперь уже не долго мотаться ему и что голоду скоро придетъ конецъ. Однако, находясь уже около двери, онъ спросилъ у Фрола:

— Заплаточки, стало, нельзя?

— Никакъ нельзя, — отвѣчалъ Фроль.

Это очень огорчило Миная, но, разумѣется, не на долго. Прошелъ день, и Минай снова глядѣлъ на Божій міръ легкомысленными глазами.

А легкомысліе его день ото дня становилось поразительнѣе. Фантазіи о „черныхъ банкахъ“ — это еще что! Это только потребность замазать трещины „жисти“. Дѣло становилось хуже. Минай все рѣже и рѣже ѣздилъ въ чудесныя сферы — некогда было. Онъ только топтался на одномъ мѣстѣ. Ему приходилось считаться *только* съ настоящею минутой, отбрасывая всѣ помыслы о будущемъ.

Онъ теперь уже жилъ изъ недѣли въ недѣлю, изо дня въ день. не больше. Проживетъ день — и радъ, а что дальше — плавать. По большей части выходило такъ, что въ началѣ дня онъ мрачно выглядѣлъ, а подъ конецъ весело и легкомысленно хлопалъ глазами. Это происходило отъ того, что въ началѣ дня или недѣли онъ метался, отыскивая полмѣшка муки, а подъ исходъ этого времени мука находилась. Онъ быстро переходилъ изъ одной крайности въ другую; то беззаботно свистѣлъ (мука есть), то ходилъ съ осовѣвшими глазами (муки нѣтъ). Отъ отчаянія онъ быстро переходилъ въ радости, которая была необходима, какъ отдыхъ.

Чѣмъ дальше, тѣмъ хуже. У Миная постоянно наготовѣ былъ мѣшокъ, съ которымъ онъ ходилъ одолжаться мукой. Приходилось толкаться въ двери барина или Епишки, или нѣкоторыхъ другихъ богачей. Выбора не было. Но баринъ всегда нажималъ: неумѣлый, онъ то зря бросалъ деньги, то нажималъ. А Епишка былъ еще хуже; онъ просто опутывалъ человѣка такъ, что послѣ этой операціи тотъ и шевельнуться не могъ.

Думалъ Минай ѣздить, попрежнему, въ извозъ, но и этого

нельзя. Его „естественный одёръ“ больше не годился для извоза. Минай разъ думалъ отправиться на заработки, но и это оказалось немислимо. На одну зиму уйти не стоить, а на годъ не пустять. Минай кругомъ былъ въ долгахъ, и кредиторы растерзали бы его. Онъ самъ зналъ, что уйди онъ—его найдутъ, привезутъ и положить.

Пробившись такъ нѣсколько лѣтъ, Минай совсѣмъ измотался. Вышли очень скверныя вещи. Онъ отказался платить не только недоимки—онъ ничего больше не платилъ.

— А! ты не хочешь платить?—спрашивали у него.

— Н-ни магу!

Минаю уже некогда было мечтать о будущемъ. Онъ ничего больше не желалъ, кромѣ одного — сохранить свои животы хоть еще одинъ годикъ. А тамъ, что Богъ дастъ! Это не голодъ и не „жисть“; это судороги.

Наконецъ, настало время, когда Минаю нельзя было двигаться ни взадъ, ни впередъ; оставалось только топтаться на одномъ мѣстѣ и прислушиваться къ урчанію желудка; настало время, когда только и оставалось, что начать помирать.

Что же это такое? Почему? Что случилось? Очень немногое. Но Минай не въ силахъ былъ понять этого немногаго некогда было. Да и случилось это немногое гдѣ-то далеко далеко за предѣлами парашкинскаго зрѣнія, куда даже Минаева фантазія никогда не заѣзжала. „Что же это такое?—спрашивалъ иногда себя Минай,—бѣда, да и только; прямо, можно сказать, ложись и помирай“. Но и такія разсужденія не часто приходили Минаю. Его единственнымъ вопросомъ было „будетъ ли завтра хлебово?“ Съ утра до ночи онъ только помышлялъ о томъ, скоро ли выйдетъ полмѣшка? Въ головѣ его только и торчалъ онъ одинъ, этотъ самый мѣшокъ, который выходитъ, выходитъ... вышелъ!

А случилось, дѣйствительно, немногое. Пришла новая масса людей и тоже предъявила права на ѣду. Впрочемъ, для какого-нибудь Миная это даже и не событіе, потому что около него не произошло никакой перемѣны...

До Миная и парашкинцевъ это событіе дошло понемногу по мелочамъ, въ розницу и донимало ихъ полегоньку. Минай началъ помышлять о такихъ вещахъ, о которыхъ раньше онъ никогда не думалъ, хотя время и не давало ему одуматься.

Ему въ пору было лишь одно: сохраненіе живота и топтаніе на одномъ мѣстѣ. Когда онъ находилъ свободную минуту отъ мучительныхъ думъ о полмѣшкѣ, онъ отдыхалъ, т. е. фантазировалъ, а когда минуты этой не было, онъ судорожно бился, прискивая способъ обогатить себя.

Одинъ разъ, когда Минай уже совсѣмъ было отправился въ невѣдомую область фантазмагоріи, Федосья коротко завила ему:

— Займешь, что-ли, хлѣба-то на завтра?

Это было вечеромъ, въ началѣ зимы. Минай раздѣлся, раззуся и полѣзъ уже на полати, но сообщеніе Федосьи такъ неожиданно тяпнуло его по головѣ, что онъ, какъ закинулъ босую ногу на приступку печи, такъ и окаменѣлъ.

— Хлѣба-то? Развѣ ужъ весь?—спросилъ онъ и ошалѣлыми глазами глядѣлъ на Федосью.

— Ъли и съѣли; что тутъ говорить?

— Ахъ, грѣхъ какой... весь... экъ сказала! Полмѣшка — и весь!... Что-жь это такое?... Экъ рѣзнула... весь!.. А молчала до сей поры!

Говоря эти бессмысленныя фразы, Минай бессмысленно глядѣлъ на Федосью, безъ счету повторяя: „весь... экъ сказала!“ Но это были только слова, праздныя слова, явившіяся потому, что мысли Миная спутались, и говорить ему больше было нечего. Онъ, наконецъ, спустилъ ногу съ приступка, нацѣлъ сапоги, полушубокъ, сѣлъ, положилъ руки на колѣни и бессмысленно вперилъ глаза въ пространство, переводя ихъ по временамъ на Федосью. Семья была вся въ сборѣ, но никто ничего не говорилъ.

Идти за хлѣбомъ ему было некуда; онъ вездѣ задолжалъ. Много побралъ онъ и изъ „магазиновъ“. Просить у кого-нибудь изъ своихъ стыдно и невозможно. Онъ много похваталъ мѣшковъ у барина, все подъ лѣтнюю работу. Толкнуться ему еще разъ къ барину невозможно — не повѣрить. Минай продалъ все будущее лѣто, почти ни одного дня не осталось свободного. А что касается Епишки, то какъ теперь къ нему пристроиться? Прогонить, непременно прогонить. Долженъ онъ ему много, ругаетъ его здорово, ну, и не дастъ онъ, ни за что не дастъ.

И уйти невозможно было Минаю. Еслибы онъ ушелъ на заработки теперь, то позади его осталась бы семья, которая

помираетъ. Покинуть ее нельзя. Притомъ, разъ онъ уйдетъ, это значить уже навсегда провалится; семья его тогда разбредется, хозяйство пропадетъ и онъ будетъ одинъ болтаться по свѣту, какъ старый волкъ. На Миная вдругъ напала такая тоска, что онъ не зналъ, что и дѣлать съ собой.

Въ этотъ вечеръ Минай никуда не пошелъ. Онъ раздѣлся, залѣзъ на полати и всю ночь пролежалъ, чувствуя, что тоска поѣдомъ его ѣстъ.

Прошелъ слѣдующій день. Минаю совѣстно было взглянуть на кого-нибудь изъ домашнихъ. „Какой ты такой отецъ есть?“ — спрашивалъ онъ себя и находилъ, что онъ плохой отецъ. Онъ толкался въ этотъ день въ разные мѣста, но отовсюду былъ выпровоженъ. Когда онъ воротился домой, то немедленно же не глядя ни на кого, залѣзъ на печь и о чемъ-то разсуждалъ съ собой, часто вслухъ.

Прошелъ еще одинъ день. Съ утра Федосья жарко затопила печь и на всю деревню стучала горшками, показывая видъ, что она стряпаетъ, но изъ этого шума ровно ничего не вышло. Минай не выдержалъ и отправился къ Епишкѣ.

Епишка въ это время жилъ на хуторѣ, отстоявшемъ отъ деревни версты за три. Вечеръ былъ холодный, морозный. Минаю приходилось дорогою корчиться и по временамъ прятать свои руки за пазуху. Надежды получить хлѣбъ было мало—Епишка былъ сердитъ на Миная. Минай даже старался совсѣмъ не вѣрить въ хорошій исходъ просьбы; онъ ежеминутно твердилъ про себя: „Не дастъ, ни за что не дастъ! Отчаяніе его было полное.

Но это отчаяніе, граничащее съ смертельнымъ ужасомъ, неожиданно было выбито изъ головы его. Когда онъ подошелъ къ воротамъ хутора, на него кинулась вся стая Епишкиныхъ собакъ. Это все были жирные, откормленные псы, которые начали просто бѣсноваться вокругъ Миная, оглушивъ его своимъ ревомъ. Минай съ минуту стоялъ, какъ вкопанный. Но, увидѣвъ, что псы вотъ-вотъ схватятъ его за глотку, онъ принялся обороняться, яростно размахивая руками. Онъ хваталъ снѣжные комья, леденые сосульки, щепки, прутья, все это пускалъ въ остервенившуюся свору. Во время борьбы Миная слетѣла съ головы шапка, псы немедленно подхватили и растерзали ее въ клочья. Наконецъ, ему удалось

схватить длинный пруть; имъ онъ и сталъ обороняться, съ визгомъ размахивая его по воздуху.

— Что ты тутъ дѣлаешь? — закричалъ Епишка, отгоняя косявъ.

— Ну, собаки! — возразилъ Минай и растерянно смотрѣлъ на Епишку.

— Да что ты тутъ дѣлаешь, песъ? .

Минай оправился отъ ужаса, хотѣлъ по привычкѣ снять шапку передъ Епишкой, но только провелъ рукой по заиндевѣвшимъ волосамъ.

— За хлѣбцемъ, Епифанъ Ивановичъ, пришелъ, за хлѣбцемъ... Сдѣлай милость!

— За хлѣбцемъ? Вонъ какая ноне гордыня-то у насъ! Безстыжіе твои глаза! А кто м-миня?... — началъ обычную свою рѣчь Епишка.

— Вѣришь ли... хошь подыхать... сдѣлай милость!

Минай говорилъ медленно и какъ будто задыхался.

— И шутъ съ тобой! — съ юморомъ замѣтилъ Епишка. — Нѣтъ, потолъ только вы и смиры, поколъ лопать нечего.

Епишка, наконецъ, сжалился надъ прозябшимъ Минаемъ и повелъ его въ домъ; къ тому же ему пріятно было видѣть Миная такимъ смиреннымъ.

Епишка принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, для которыхъ ровно ничего не стоить получить по мордѣ, лишь бы заплатили за это. Сдѣлка, поэтому, скоро была заключена; Минай соглашался на все и изъяснилъ готовность работать на Епишку хоть все лѣто. Епишка, въ восторгѣ отъ сдѣлки, напоилъ Миная чаемъ и взамѣнъ разорванной собаками шапки подарилъ ему другую, отъ чего и Минай, въ свою очередь, немедленно повеселѣлъ и, уходя съ хутора, „покорно благодарилъ“.

Была уже ночь, когда Минай возвращался домой. Морозъ былъ лютый. Но Минай ничего не чувствовалъ. Онъ пощипывалъ съ довольствомъ мѣшокъ, лежавшій у него на спинѣ, присовалъ себѣ картину того, какъ обрадуются Дунька, Яшка и Федосья хлѣбу. По обычаю, онъ пытался было засвистѣть, и если не привелъ въ исполненіе этого намѣренія, то потому лишь, что морозъ слишкомъ былъ лютъ. По временамъ, устала, онъ снималъ со спины мѣшокъ, садился возлѣ него на сѣвъ и весело глядѣлъ. Небо было чистое, глубокое; выплыла

луна, заблистали звѣзды, и Минай совсѣмъ повеселѣлъ. Онъ глядѣлъ на деревню, едва замѣтную по немногимъ огонькамъ. хлопалъ рукой по мѣшку, взглядывалъ на небо и воображалъ, что и звѣзды, мигая, радуются вмѣстѣ съ нимъ его вѣчною радостью.

Черезъ двѣ недѣли послѣ этой сдѣлки домашній скотъ, изба и всѣ строенія Минаева хозяйства были описаны и проданы за долги. Ѳедосья, вмѣстѣ съ Яшкой и Дунькой, осталась на улицѣ и стала думать о томъ, куда ей теперь дѣться, потому что Минай, уходя на заработки въ одну изъ столицъ, никакихъ инструкцій на этотъ счетъ не оставилъ.

Минай утекъ изъ деревни за день до того момента, когда занятый имъ у Епишки мѣшокъ муки весь вышелъ, и такъ какъ исчезновенію Миная предшествовали нѣкоторые спѣшные и таинственные переговоры съ Семенычемъ, выдавшимъ ему годовой паспортъ, то понятно, что давать подробныя инструкции семьѣ ему и некогда было.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ, однако, прислалъ письмо гдѣ, попрежнему, строилъ фантастическіе замки и выглядѣлъ беззаботнымъ. Вотъ это письмо, писанное, очевидно, какимъ-нибудь „землякомъ“ въ шинели и съ краснымъ носомъ.

„Любезной супругѣ моей, Ѳедосьѣ Назаровнѣ, посылаю нижайшій поклонъ до сырой земли и цѣлую ее крѣпко; и еще любезному сыночку моему шлю нижайшій поклонъ и мое родительское благословеніе, во вѣки нерушимое; и еще любезной дочкѣ моей, Авдотѣ Минаевнѣ, низко, до сырой земли кланяюсь и посылаю мое родительское благословеніе нерушимо. Заказываю я ей, Ѳедосьѣ Назаровнѣ, не тужить горько, а во всемъ полагаться на волю Господню и милостивыхъ чудотворцевъ; и пусть она дожидаетъ меня. А ноне посылаю ей деньги и приказываю сказать ей, яко-бы больше у меня нѣту. Которыя тутъ суммы на подати посылаю, и къ тѣмъ касательства не имѣть ей, а прямо отдать въ волость, Ѳедосьѣ Назаровнѣ взять три цѣлковыхъ; а когда будутъ то pošлю еще безпремѣнно. И сказать ей еще: буду къ тебѣ Святой дома, и купимъ мы избу и станемъ жить семейственно съ нашими дѣтками“.

Но эти фантастическія надежды принесли мало пользы Ѳ

досьѣ. Съ этихъ поръ она не имѣла ни опредѣленнаго мѣсто-
тельства, ни опредѣленной ѣды. Яшка ходилъ то въ батра-
ка, то пастухомъ и самъ едва пропитывался. Дунька жила
въ господскомъ дворѣ въ прислугахъ и очень мало помогала
бедосьѣ.

Бедосья ходила изъ двора во дворъ и кое-какъ колотилась.
Работала она много, еще больше прежняго, но толку изъ этого
никакого не выходило.

Она еще болѣе сдѣлалась молчаливою. Когда какая-нибудь
баба украдкой совала ей кусокъ хлѣба, она не благодарила,
а молча прятала милостыню, растерянно смотря въ сторону.
Лицо ея совсѣмъ сморщилось, и изъ-подъ платка выбивались
пряди сѣдыхъ волосъ. Она все что-то шептала про себя, но
скажала ли она Миная—неизвѣстно.

IV.

ВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ.

Неприкосновеннымъ онъ считалъ себя только дома и развѣ отчасти въ кузницѣ; во всякомъ другомъ мѣстѣ онъ чувствовалъ себя нехорошо, ибо былъ уязвимъ.

Въ самой серединѣ деревни, въ томъ мѣстѣ, гдѣ берегъ рѣки образуетъ мысъ, стояла изба, низъ которой подался налѣво, а верхъ—направо; единственные два окна ея мрачно и непривѣтливо глядѣли на улицу, потому что, вмѣсто стеколъ, въ нихъ была вставлена требушина. Къ избѣ примыкали сѣни, изъ глубины которыхъ виднѣлось голубое небо, а напротивъ сѣней стоялъ сарай, соломенная крыша котораго исчезала ежегодно въ желудкѣ домашнихъ животныхъ; дальше же виднѣлся задній дворъ, нижнимъ концомъ опускающійся въ воду. Всѣ эти строенія Егоръ Панкратовъ называлъ „домомъ“, и именно здѣсь онъ ничего не боялся.

Кузница же играла въ его соображеніяхъ нѣкоторую роль только потому, что она была недалеко отъ дома и составляла его часть; она находилась на другомъ берегу рѣки, возлѣ моста. Это была нора, вырытая въ землѣ, съ узкимъ отверстиемъ, вмѣсто двери, съ кучей земли, вмѣсто крыши, и съ колесомъ, вмѣсто трубы. Колесо было воткнуто въ крышу, не даромъ: безъ него никто изъ путешественниковъ не могъ бы открыть присутствіе Егора Панкратова, потому что изъ подземелья не слышно было ни шипѣнія, свойственнаго пропавшимъ мѣхамъ, ни стука молотка, ни человѣческаго голоса. Егоръ Панкратовъ не любилъ вообще говорить, а въ кузницѣ онъ хранилъ всегда глубокое молчаніе.

Даже когда онъ не работалъ,—а работы въ кузницѣ у него немного,—онъ предпочиталъ молчать. Если же его кто-нибудь

окикалъ съ моста, онъ высовывалъ изъ отверстія голову и недовольнымъ тономъ спрашивалъ: „Чево надо?“ Затѣмъ снова скрывался, подавая тѣмъ знакъ, что въ дальнѣйшіе переговоры онъ вступать не намѣренъ.

Такъ онъ обращался со всѣми, кто приходилъ къ нему съ просьбой, безъ различія лицъ и состояній. Въ отсутствіи работы онъ всегда выходилъ изъ подземелья, садился около рѣчки на песокъ, снималъ съ себя рубаху и билъ блохъ. Онъ вообще не смущался ни передъ кѣмъ. По мосту проходили пѣшіе, проѣзжали конные, иногда господа, но Егоръ Панкратовъ не прерывалъ своего занятія. Внезапно услышавъ свое имя, онъ поднимался, въ послѣдній разъ вытряхалъ рубаху и только послѣ этого предлагалъ обычный свой вопросъ: „Чево надо?“

Невозмутимый и молчаливый, Егоръ Панкратовъ пріучилъ къ той же краткости и всѣхъ приходящихъ къ нему. „Въ починку, Егоръ!“ — говорилъ приходящій, кладя подлѣ него вещи. — „Ладно“, — отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ. — „Двѣ гривны будетъ?“ — „Ничего“. — „Чтобы къ пятницѣ готово было“. — „Ладно!“ Приходящій позѣвывалъ и уходилъ.

Егоръ Панкратовъ велъ замкнутую жизнь, находясь попеременно то въ кузницѣ, то дома, среди своего семейства, и, казалось, глядѣлъ на окружающее съ полною безучастностью. О немъ парашкиницы составили такое понятіе: „мужикъ стоящій“, „мужикъ камень“, человекъ, который не позволитъ положить ему ноги въ ротъ, а временами бываетъ лютъ... Наружность Егора Панкратова только поддѣржывала подобныя мнѣнія. Повидимому, для него ничего не стоило въ гнѣвъ схватить человека и размозжить его такъ же, какъ расплющивалъ онъ кусокъ желѣза. Егоръ Панкратовъ, конечно, ничего подобнаго не дѣлалъ, но всѣ думали, что временами онъ способенъ быть лютымъ. Видя же, что онъ никогда ни о чемъ не просилъ, никому никогда не покорялся и ни передъ кѣмъ не стучалъ зубами отъ страха, всѣ считали себя въ правѣ заключить, что Егоръ Панкратовъ шутить шутки не любитъ, а держался правила: „отваливай въ сторону“...

Въ виду такихъ свидѣтельскихъ показаній, можно, пожалуй, согласиться съ общераспространеннымъ мнѣніемъ, тѣмъ болѣе, что самъ Егоръ Панкратовъ ни однимъ словомъ не опровергалъ его. Вѣроятно, оно даже выгодно было ему, и

онъ, надо думать, подсмѣивался себѣ подъ носъ, смотря на людей, считавшихъ его неприступнымъ; онъ только этого и желалъ. Малѣйшее движеніе его большой головы говорило: „это до меня некасающе“.

Друзей у него было немного, и онъ рѣдко съ кѣмъ сходился близко. Единственное исключеніе составлялъ Илья Малый. Это былъ его другъ-пріятель, но и съ нимъ Егоръ Панкратовъ велъ краткіе разговоры.

Илья Малый, небольшого роста, плѣшивый и съ слезящимися глазами мужичокъ, иногда порывался „точить лясы“, но невозмутимое, угрюмое молчаніе Егора Панкратова обладало способностью парализовать самый неутомимый языкъ. Въ концѣ-концовъ, въ разговорѣ съ Егоромъ Панкратовымъ Илья Малый примирялся съ необходимостью держать языкъ на привязи и рѣдко нарушалъ обычное безмолвіе.

Чаще всего они встрѣчались въ кузницѣ. Тамъ Илья Малый садился около двери и битый часъ наблюдалъ за работой Егора Панкратова. Когда же бездѣйствіе ему надоѣдало, онъ вынималъ изъ кармана кисетъ съ табакомъ, набивалъ трубку и закуривалъ. Это было косвенное приглашеніе Егору Панкратову — бросить работу и присѣсть къ другу-пріятелю. Егоръ Панкратовъ такъ и дѣлалъ — садился на корточки насупротивъ Ильи Малаго, набивалъ его табакомъ свою трубку и также закуривалъ. За этимъ слѣдовало обыкновенно продолжительное молчаніе, во время котораго друзья-пріятели сосредоточенно пыхали въ глаза другъ другу вонючею махоркой. Но обыкновенно, послѣ продолжительнаго безмолвнаго сидѣнія, Илья Малый терялъ терпѣніе и спрашивалъ:

— Табачокъ—ничего?

— Ничего,—всегда отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ.

Трубки выкуривались; Егоръ Панкратовъ вставалъ и принимался за свою работу, а Илья Малый, помолчавъ еще нѣкоторое время, говорилъ:

— Одначе, пора идтить. Просимъ прощенія!—и уходилъ, повидимому, вполне довольный проведеннымъ временемъ, въ особенности, если Егоръ Панкратовъ отвѣчалъ ему на дорогу:

— Заходи какъ ни то.

На другой разъ повторялось буквально то же самое. Друзья-пріятели и о хозяйственныхъ своихъ нуждахъ говорили больше знаками, нежели словами. Тѣмъ не менѣе, они никогда не

надоѣдали другъ другу, и дружба ихъ оставалась неизмѣнною, вопреки несходству характеровъ; они, видимо, находили взаимное удовольствіе отъ своей дружбы. Не будучи противоположностями, взаимно исключаящими другъ друга, они и не походили другъ на друга.

Илья Малый былъ простодушень; Егоръ Панкратовъ сосредоточенъ. Илья Малый молчалъ только тогда, когда говорить было нечего; Егоръ Панкратовъ говорилъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда молчать не было никакой возможности. Одинъ готовъ былъ всю душу вывалить наружу, другой многое скрывалъ въ себѣ. Одинъ постоянно отчаивался, другой показывалъ видъ, что ему ничего. Первый въ самыхъ обыкновенныхъ обстоятельствахъ запутывался и терялся, второй невозмутимо выносилъ невзгоды. Первый способенъ былъ повѣрить во всякія химеры, второй держался болѣе положительнаго. Илья Малый ничего не зналъ изъ того, что дальше носа; Егоръ Панкратовъ также почти ничего не зналъ, но старался во все вникать и доходить до всего своимъ умомъ. Илья Малый жилъ такъ, какъ придется и какъ ему позволятъ; Егоръ Панкратовъ старался жить по правиламъ, не дожидаясь позволенія. Одинъ жилъ и не думалъ, другой думалъ и этимъ пока жилъ. Илья Малый всего страшился, постоянно ожидая, что вотъ-вотъ на его голову бухнетъ случай и прихлопнетъ его, и потому никогда впередъ не заглядывалъ; Егоръ Панкратовъ не очень вѣрилъ случаямъ и былъ разсчетливъ; первый жилъ минутой, какъ фаталистъ, второй—будущимъ, какъ философъ. Илья Малый передъ начальствомъ робко моргалъ глазами, готовый по первому знаку повалиться въ ноги и просить о помилованіи; Егоръ Панкратовъ, при подобныхъ же обстоятельствахъ, глядѣлъ въ сторону и чесался. Илья Малый, будучи лѣтъ на десять старше своего друга-пріятеля, все еще оставался въ крѣпостной скорлупѣ, но Егоръ Панкратовъ былъ уже въ нѣкоторой степени человѣкъ новый, нѣсколько вылупившійся изъ скорлупы стараго времени... Однимъ словомъ, разница между ними была замѣтна.

Но это несходство не мѣшало имъ быть закадычными друзьями. Илья Малый питалъ безмолвное удивленіе къ Егору Панкратову, а Егоръ Панкратовъ чувствовалъ большую жалость къ Ильѣ Малому, и это обстоятельство было, повиди-

тому, одной изъ причинъ ихъ обоюднаго удовольствія отъ сообщества. Илья Малый становился спокойнымъ, когда сидѣлъ возлѣ Егора Панкратава, а Егоръ Панкратовъ дѣлался мягче, когда глядѣлъ на Илью Малаго.

Ихъ сообщество открыло свои дѣйствія съ того дня, въ который Егоръ Панкратовъ случайно оттягалъ въ пользу Ильи Малаго корову, назначенную къ продажѣ. Илья Малый никогда не воображалъ, чтобы человѣкъ былъ способенъ на такой отчаянный поступокъ; самъ онъ считалъ себя безпомощнымъ въ такомъ дѣлѣ, думая, что при такихъ обстоятельствахъ первое дѣло—молчать. А Егоръ Панкратовъ доказалъ ему противное.

Егоръ Панкратовъ случайно шелъ мимо двора Ильи Малаго въ то время, когда оттуда выводили корову; увидавъ жену Ильи Малаго, которая неистово ругалась и плакала, и самого Илью Малаго, который стоялъ растерянно на крыльцѣ и что-то шепталъ про себя, Егоръ Панкратовъ подошелъ къ коровѣ, отодвинулъ отъ нея старосту и прогналъ животное на задній дворъ. Все это онъ сдѣлалъ молча и не торопясь, съ обычною своею олегмой, а потомъ сѣлъ на крыльцѣ возлѣ Ильи Малаго и попросилъ у него табачку. Кисеть Илья Малый вынулъ, но сказать что-нибудь обо всемъ имъ видѣнномъ не могъ, лишившись употребленія языка.

Точно также и староста въ первыя минуты не въ состояніи былъ понять, что случилось; онъ на время оцѣпенѣлъ на мѣстѣ и онѣмѣлъ, молча повода блуждающими взорами отъ Ильи Малаго къ Егору Панкратову.

— Это ты что же дѣлаешь, Егоръ?—спросилъ, наконецъ, онъ прерывающимся голосомъ.

— Корову прогналъ,—кратко отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ.

— Рази это по закону?

— Въ законѣ, братецъ ты мой, про корову, чай, нигдѣ не сказано. Такъ-то.

Староста рѣшительно недоумѣвалъ, что ему дѣлать—вынуть-ли изъ-за пазухи бляху и принять внушительный видъ или начать усовѣщевать. Онъ не сдѣлалъ ни того, ни другого, а только хлопнулъ себя по бедрамъ руками, по своей привычкѣ, и куда-то побѣжалъ рысцой, сказавъ мимоходомъ: „Ну, дѣла!“

Ни для Егора Панкратава, ни для Ильи Малаго этотъ слу

чай не прошелъ бы даромъ. Егоръ Панкратовъ, правда, заявилъ послѣ, что корова его, якобы купилъ онъ ее, но все же иъ обоихъ вздули бы. Не случилось этого только потому, что Илья Малый перевернулся, уплатилъ денегъ сколько слѣдуетъ и все было предано забвенію. Парашкинскій староста не любилъ вообще исторій съ коровами; мученикъ своей должности, онъ, въ данномъ случаѣ, тѣмъ болѣе не желалъ связываться съ „энтимъ дьяволомъ“, какъ онъ называлъ Егора Панкратова, что побаивался его.

Съ этихъ поръ Илья Малый питалъ безмолвное удивленіе къ своему другу-пріятелю. Онъ сталъ его во многомъ слушаться, сдѣлался менѣе болтливъ и не такъ ѣрзалъ на мѣстѣ, когда говорилъ съ Егоромъ Панкратовымъ. Вообще, въ жизни Егора Панкратова онъ замѣтилъ нѣкоторое отступленіе отъ старыхъ обычаевъ и робко приглядывался къ нему, въ особенности къ его безстрашію и невозмутимости. А потому онъ уже пытался подражать ему, но въ дѣйствительности выходило, что онъ только передразнивалъ его.

Такое представленіе Ильи Малаго о своемъ другѣ-пріятелѣ отчасти соглашалось съ дѣйствительными привычками Егора Панкратова. Поведеніе Егора Панкратова имѣло въ себѣ нѣчто новое, удивительное для Ильи Малаго, и это новое заключалось, главнымъ образомъ, въ томъ, что онъ ничего не боялся, когда находился дома; тутъ онъ ни передъ кѣмъ не смущался и никому не кланялся. Илья Малый, напримѣръ, передъ всякимъ заѣзжимъ бариномъ трусилъ, видя въ немъ или злонамѣреннаго изслѣдователя его души, или просто шатающагося барина, для котораго законъ не писанъ и который безнаказанно можетъ причинить ему, Ильѣ Малому, существенный вредъ.

А Егоръ Панкратовъ не боялся этого. Когда какой-нибудь проѣзжій баринъ обращался къ нему съ просьбой починить попортившійся въ дорогѣ экипажъ, Егоръ Панкратовъ не юлилъ передъ нимъ и не устремлялся по первому его требованію, а двигался съ такою же безучастностью, какъ и всегда. Провосывая голову изъ своей норы, онъ равнодушно спрашивалъ: „Чего надо?“—и скрывался. Баринъ долженъ былъ идти къ нему въ нору и тамъ рассказать свое дорожное несчастіе. Егоръ Панкратовъ выслушивалъ и назначалъ цѣну, дѣлая это разъ навсегда, неумолимо и безъ дальнѣйшихъ разговоровъ. Ба-

ринъ, конечно, старался внушить ему всю несообразность назначенной имъ „сумасшедшей цѣны“, но Егоръ Панкратовъ не внималъ, упрямо отмалчиваясь.

Напрасно баринъ ругался, Егоръ Панкратовъ не любилъ браниться; онъ только изрѣдка загибалъ такое словечко, которымъ, какъ перецъ, обжигалъ неотвязчиваго человѣка, заставляя его мгновенно умолкать. Напрасно баринъ принималъ внушительный видъ и бросалъ на упряма молніеносные взгляды, Егоръ Панкратовъ оставался глухъ, нѣмъ и слѣпъ; онъ привыкъ со всѣми обращаться одинаково, былъ ли передъ нимъ господинъ съ блестящими глазами, или нищій съ сумой на боку. Напрасно также баринъ предлагалъ „на водку“ или „на чаекъ“,—этого Егоръ Панкратовъ терпѣть не могъ. Онъ всегда предпочиталъ „сумасшедшую цѣну“.

Было одно происшествіе,—нельзя этого скрыть,—которое подвергло неустрашимость Егора Панкратова большому сомнѣнію и которое онъ самъ не могъ вспомнить впоследствии безъ негодованія. Это было въ Сысойскѣ на базарѣ. Егоръ Панкратовъ ѣздилъ туда затѣмъ, чтобы продать хлѣбъ или нѣсколько фунтовъ гвоздей. Не довѣряя своего товара лавочникамъ, онъ выбиралъ мѣсто на базарѣ и самъ продавалъ, сидя на своей телѣгѣ. Онъ равнодушно посматривалъ по сторонамъ и ничего не боялся. Разъ выбранное мѣсто онъ никому не уступалъ, съ ругавшимися ругался кратко, пьяныхъ отталкивалъ, а если городской приказывалъ ему перемѣнить мѣсто или хотъ просто сдвинуться, онъ ослушивался, упрямо стоя на своемъ мѣстѣ. Вообще строптивость свою онъ и здѣсь не ограничивалъ.

Но однажды возлѣ него вышла драка пьяныхъ. Пьяныхъ забрали въ участокъ, а Егора Панкратова пригласили туда въ качествѣ свидѣтеля. Вотъ когда онъ „спужался“! Вслѣдствіе ли наслѣдственной привычки страшиться даже имени начальства, или по неспособности сообразить всѣ обстоятельства дѣла сразу, но только онъ не выдержалъ. Не долго думая, онъ съ необычайною быстротой запрегъ лошадь, свалилъ за безцѣнокъ какому-то лавочнику свои гвозди и утекъ изъ города, вполне убѣжденный, что спасается отъ какихъ-то невѣдомыхъ ужасовъ.

Это происшествіе было, однако, исключеніе. Дома съ нимъ ничего подобнаго не бывало. Дома онъ строго наблюдалъ за

своею неприкосновенностью. Съ упрямствомъ, свойственнымъ ему, онъ говорилъ своему пріятелю Ильѣ Малому: „Теперь, братецъ ты мой, законъ. Такъ-то“. И думалось ему, что нынче лишь идетъ „по правилу“. Какъ ни малъ Егоръ Панкратовъ, во все же и для него правила написаны, — слѣдовательно, если Богъ не выдастъ, то никакая свинья не рѣшится съѣсть его. Онъ говорилъ: „Нынче, братецъ мой, вотъ такъ-то... Только самому не слѣдуетъ плошать, а то ничего“.

Егоръ Панкратовъ неуклонно держался правила — никогда никому не подавать повода трогать его. Всѣ повинности онъ отправлялъ исправно, подати платилъ въ срокъ и съ презрѣніемъ глядѣлъ на гольтепу, которая доводитъ себя до самоубвенія. Порка для него казалась даже странной; онъ говорилъ: „Чай, я не дитѣ малое!“

Тронули его только разъ въ жизни, но собственно онъ былъ тутъ не при чемъ; онъ только подчинился издавна установившемуся обычаю. Когда умеръ его отецъ, накопившій перекъ отходомъ въ вѣчность недоимки, а Егоръ Панкратовъ считался хозяиномъ дома, то былъ, разумѣется, выпоротъ. Очевидно, это неумолимая неизбѣжность; это — очищеніе розгаи, которое долженъ принять всякій парашкинецъ, если желаетъ въ наступающей жизни быть чистымъ отъ долговъ и недоимокъ.

Съ Егоромъ Панкратовымъ это и было только разъ. Вслѣдствіе этого онъ сталъ самоувѣренъ. Сравнивая давно минувшее съ настоящимъ, онъ все болѣе и болѣе укрѣплялся въ своей строптивости. О давно минувшемъ онъ зналъ только изъ рассказовъ Ильи Малаго и дѣдушки Тита. Илья Малый былъ суевѣренъ; для него въ жизни не было закона, а только случай. Онъ видалъ виды и потому во все вѣрилъ и всего ожидалъ, даже невѣроятнаго, безчеловѣчнаго. Илья Малый и о настоящемъ говорилъ въ такомъ же тонѣ; иногда передъ Егоромъ Панкратовымъ онъ боязливо признавался, что боится того-то и того-то. „Ври больше!“ — недовольнымъ тономъ прерывалъ Егоръ Панкратовъ.

Болтливость Ильи Малаго находила себѣ пищу только въ рассказахъ о прошломъ, и Егоръ Панкратовъ съ удовольствіемъ слушалъ эти рассказы. Егору Панкратову пріятно было сознавать, что это время прошло и никогда не возвратится. Ужасы въ прошломъ, рассказываемые Ильей Малымъ, онъ

охотно признавалъ, но въ настоящемъ отвергалъ. Егоръ Панкратовъ любилъ свое время.

Этимъ онъ постоянно досаждалъ дѣдушкѣ Титу. „Оттого-то у тебя и сыпется песокъ“,—говорилъ онъ дѣдушкѣ, когда тотъ принимался расхваливать свое время. Титъ хотя и рассказывалъ много ужасовъ изъ своего времени, но все же любилъ свое прошлое, съ негодованіемъ отшлеиваясь отъ всего проходящаго передъ его потухающими глазами. Часто Егоръ Панкратовъ своими насмѣшками выводилъ его изъ терпѣнія и онъ съ негодованіемъ говорилъ ему:

— Ну, ужъ погоди, Егорка! Узнаешь ты Кузькину мать!

— Ладно,—отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ.

— Не ровень часъ... какъ случай... всѣ подъ Богомъ!—вставлялъ свое замѣчаніе Илья Малый, стараясь помирить ссорившихся.

Егоръ Панкратовъ, однако, не покидалъ своего презрѣнія къ давно минувшему. Его большая, упрямая голова не хотѣла отказаться отъ превратной мысли, что тогда „жили безъ правилъ“, а нынче—законъ, такъ-то“.

„Правилъ“ тогда, конечно, не было, но было за то опредѣленное „положеніе“, замѣняющее собою всякія правила. Егоръ Панкратовъ не смѣлъ бы питать въ себѣ въ то время желанія, — никакого права на это не было; теперь онъ получилъ право имѣть желанія, но они были неосуществимы. У него не было бы тогда потребностей, кромѣ одной—удовлетворить сѣдающій голодъ; нынѣ у него родилось множество новыхъ потребностей, но всѣ онѣ неудовлетворимы. Тогда онъ долженъ былъ жить по указу, теперь—по волѣ судьбы; указъ замѣнился случаемъ, смотрѣніе въ оба по правилу уступило мѣсто смотрѣнію въ оба безъ всякихъ правилъ.

Егоръ Панкратовъ не думалъ объ этомъ. Можно сказать, что неприкосновенность свою наблюдалъ онъ столько же по убѣжденію, внушенному ему новымъ временемъ, сколько и по врожденной строптивости.

Помимо желанія быть неприкосновеннымъ у себя дома, онъ еще держался правила быть, по возможности, дальше отъ деревенскаго и другого начальства. Начиная съ десятскаго, онъ со всѣми былъ крутъ, если кто-нибудь изъ этихъ всѣхъ по-

сигалъ на его личность. Онъ ни во что не вмѣшивался, зная только свое хозяйство и не желалъ, чтобы и его трогали.

Десятскимъ у парашкинцевъ былъ дуракъ Васька, безсмысленно служившій въ этой должности уже нѣсколько лѣтъ. Сначала парашкинцы исполняли должность десятскаго по очереди, иногда же нанимали особаго человѣка на цѣлый годъ, но все это дорого стоило. Тогда имъ пришла счастливая мысль воспользоваться Васькой. Васька до этого времени ходилъ колесомъ по улицамъ и бѣгалъ съ ребятишками, несмотря на то, что былъ уже большой малый, лѣтъ двадцати; пользы отъ него не было никакой, даромъ только хлѣбъ ѣлъ. Но когда его обули, одѣли на мірской счетъ и сдѣлали десятскимъ, онъ преобразился и сдѣлался полезнѣйшимъ членомъ общества. Дуракъ онъ былъ, конечно, безответный, но это-то и хорошо; пусть ужъ лучше дуракъ принимаетъ глѣзъ и оплеухи, нежели человѣкъ умный. Разсужденіе парашкинцевъ относительно этой выборной должности не лишено было разумности.

Васька самъ возросъ въ своемъ мнѣніи, когда неожиданно сдѣлался десятскимъ. Онъ гордился собой и строго выполнялъ наложенныя на него обязанности. Въ день, напримѣръ, сюда или по пріѣздѣ начальства онъ важно обходилъ улицу, барабанилъ палкой по окнамъ и приказывалъ домохозяевамъ выходить на сходъ.

Исключеніе Васька дѣлалъ только для одного человѣка, Егора Панкратова. Съ нимъ Васька совершенно перемѣнялъ обращеніе, дѣлаясь мгновенно прежнимъ дуракомъ. Онъ почему-то боялся кузнеца, никогда не барабанилъ въ его окно, а приглашалъ его издали, становясь сажени на три отъ избы.

— На сходъ, дяденька,—говорилъ онъ.

— Знаю,—отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ.

— Сей минуту...

— Говорять тебѣ, знаю, дурацкая башка! Чего еще пристаешь?

И Васька уходилъ.

Точно такъ же Егоръ Панкратовъ поступалъ и съ старостой, бѣгавшимъ въ горячіе дни съ растерявшимся лицомъ и весь покрытый потомъ. Иногда Егоръ Панкратовъ опаздывалъ взносомъ податей на день или на два, тогда староста приходилъ къ нему и смиренно напоминалъ ему объ этомъ.

— Ужь ты сдѣлай милость, Егоръ, внеси.
— Знаю!—круто прерываѣтъ его Егоръ Панкратовъ.
— Строжайше наказалъ...
— Незачѣмъ и языкъ чесать, самъ знаю!
— Да ты что рыкаешь звѣремъ-то, а? Гляди, брать!—вмущался староста, стараясь разгнѣваться, но его посоловѣшіе отъ усталости глаза и потное лицо отказывались принять грозный видъ. Онъ уходилъ.

Отъ прочаго начальства, болѣе высшаго, онъ „хоронился“ вѣдь онъ и желалъ быть въ безопасности только дома! И въ тѣхъ же случаяхъ, когда ему волей-неволей приходило сталкиваться съ „вышнимъ начальствомъ“, онъ хоронилъ свои сокровенныя мысли и чувства, молчалъ. Такъ какъ слова и поступки его могли бы раскрыть его строптивость, то молчаніе приносило ему существенную пользу: онъ остарался и тронутымъ, потому что трогать его было не за что.

Такой способъ дѣйствій и проистекающіе изъ него слѣдствія еще болѣе утвердили Егора Панкратова въ мысли, что теперь только самому не слѣдуетъ распускать нюни—и въ какихъ случаяхъ не произойдетъ съ нимъ. Теперь время „приволовъ“. Однако, по временамъ въ его душу закрадывалась темная мысль... Ну, а что, если на него налетитъ случай? Что дѣлать въ томъ разѣ, когда его захватитъ нужда, за нимъ придетъ кабала, за кабалой порка? Тутъ большая голова е оказывалась несостоятельной. Онъ могъ упрямо думать, что этого „въ жисть съ нимъ не произойдетъ, лопни его утроба!“ и все-таки видѣть въ будущемъ возможность нужды, кабалы и порки. Что же тогда дѣлать?

У Егора Панкратова были средства избавиться отъ вѣчнаго рабства, но всѣ они носили на себѣ чисто-отрицательный характеръ, притомъ же были старыя-престарыя; онъ получалъ ихъ съ молокомъ матери отъ пращуровъ своихъ. Терпѣніе до изнеможенія и бѣгство съ отчаянія—вотъ и всѣ его средства избавиться отъ нужды, кабалы и пр. Объ этомъ Егоръ Панкратовъ смутно и самъ догадывался и зналъ, что съ вышеупомянутыми средствами вести борьбу съ нуждой невозможно. Отсюда—тотъ страхъ, который по временамъ смущалъ его очень сильно.

Одна эта боязнь произвела въ немъ переворотъ. Противъ всѣмъ своимъ наклонностямъ, онъ сдѣлался прижимистъ и

каждомъ шагѣ скряжничалъ. За каждый грошъ онъ готовъ былъ вынести невѣроятные труды, лишь бы добыть его, и прѣзывалъ потребности своего семейства до послѣдней крайности, лишь бы сохранить его. Если онъ покупалъ какую-нибудь вещь, то торговался по цѣлому дню; если продавалъ, то старался заломить „сумасшедшую цѣну“. А съ господами и совсѣмъ не церемонился, назначая за свои подѣлки неслыханныя цѣны.

— Да ты съ ума сошелъ? — спрашивали его въ такомъ случаѣ.

— Въ умѣ, въ своемъ, братецъ ты мой, умѣ, такъ-то! — возражалъ Егоръ Панкратовъ.

Несомнѣнно, что еслибы какъ-нибудь невзначай судьба послала ему крупную сумму, онъ сдѣлалъ бы сундукъ, легъ бы на него и сталъ бы охранять, подвергая семейство и себя всѣмъ возможнымъ лишеніямъ. Таково было настроеніе его въ это время, — до того сильна у него была боязнь попасть въ кабалу и подвергнуться періодическимъ „сѣкуціямъ“. Въ виду подобной участи, Егоръ Панкратовъ всѣ свои умственныя и физическія силы употреблялъ исключительно на то, чтобы остаться свободнымъ, даже подъ условіемъ нести нищенскую нужду. Забудься онъ на мгновеніе — и пропалъ!

О своей боязни за себя Егоръ Панкратовъ никому не говорилъ; никто еще не слышалъ отъ него жалобъ на бѣдность или передъ кѣмъ онъ не хныкалъ. Напротивъ, передъ всѣми онъ выглядѣлъ мужественно, даже когда у него на сердцѣ бошки серебри. Только разъ проговорился передъ Ильей Малымъ, да и то Илья Малый ничего не понялъ, получивъ въ добавокъ незаслуженное оскорбленіе.

Однажды сидѣли друзья-пріятели возлѣ избы Егора Панкратова, на завалинкѣ, и, по обыкновенію, мирно молчали, потягивая трубочки. Были уже сумерки лѣтнаго вечера; на горизонтѣ загоралась заря, тѣнь дневная улеглась и въ воздухѣ стояла невозмутимая тишина. Все способствовало молчанію, и друзья-пріятели разошлись бы мирно, какъ и всегда, еслибы Илья Малый не вздумалъ рассказывать о старинныхъ временахъ. Хотя Илья Малый и путался въ своихъ словахъ, но долго не прерывалъ себя. Не прерывалъ его и Егоръ Панкратовъ. Онъ молчалъ. Только когда Илья Малый кончилъ

свои рассказы и прибавилъ, что теперь „ничего, жить можно Егоръ Панкратовъ шевельнулся на своемъ мѣстѣ.

— Не очень можно...—выговорилъ онъ съ трудомъ.

— По-моему, можно.—Не очень!—Почему? по какой причинѣ?—недовѣрчиво спросилъ Илья Малый и, устремивъ слѣдящіяся глазки на Егора Панкратова, сталъ терпѣливо ожидать отвѣта.

Егоръ Панкратовъ говорилъ всегда кратко, постоянно поясняя свою мысль разными неожиданными знаками, назначеніе которыхъ не всегда понималъ и Илья Малый. На этотъ разъ Егоръ Панкратовъ только ткнулъ въ бокъ Илью Малого и спросилъ:

— Это что?

— Стало быть, бокъ,—растерянно отвѣчалъ Илья Малый.

— Бокъ, вѣрно; скажешь—тѣло... Ну, а душа?

Предложивъ этотъ вопросъ, Егоръ Панкратовъ пристально вглядывался въ темноту.

— Что-жъ душа?—спросилъ Илья Малый, ничего не понимая и быстро моргая глазами.

— Вотъ тутъ, братецъ мой, и загвоздка.

Егоръ Панкратовъ умолкъ. Притихъ и Илья Малый и время.

— Чтой-то я не понимаю тебя, Егоръ,—началъ Илья Малый.

— Душа, братецъ мой, вольна нынче, а тѣло—нѣтъ, такъ то!—объяснилъ Егоръ Панкратовъ.

Больше онъ ничего не прибавилъ. Онъ опять устремилъ глаза въ темноту и умолкъ. Но отъ этого Ильѣ Малому и сдѣлалось легче; онъ завопилъ на завалинкѣ и дѣлалъ усиленные попытки... Безмолвное удивленіе, питаемое имъ къ Егору Панкратову, возросло еще болѣе теперь, когда онъ увидѣлъ, что вотъ Егоръ Панкратовъ говорить, а онъ, Илья Малый, ничего не понимаетъ... Ильѣ Малому также слѣдовало бы замолчать, но онъ не унялся.

— Стало быть, душа вольна,—ну, такъ... Ну, а держи у себя на умѣ... или тамъ говорить, о чемъ вздумаешь можешь?—спросилъ онъ боязливо.

Егоръ Панкратовъ помедлилъ, подумалъ и твердо проговорилъ:

— Могу.

Илья Малый, по обыкновению, удивился, главнымъ образомъ, самоувѣренности Егора Панкратова.

— И чтобы, значить, тебя никто не тронулъ... чтобы все ты жилъ въ законѣ, по правилу... можешь?—робко спросилъ Илья Малый.

Егоръ Панкратовъ долго молчалъ, но все-таки, наконецъ, выговорилъ, хоть на этотъ разъ не твердо:

— Что-жь, можно...

— Ну, а, на примѣръ, жить по-своему, какъ душѣ желательно... или уйти на новыя мѣста и все такое прочее... можешь?—неотвязно допрашивалъ Илья Малый.

Егоръ Панкратовъ молчалъ. Но вдругъ озлился и рѣшительно сказалъ:

— Дуракъ!

Тѣмъ и кончился разговоръ.

Илья Малый былъ оскорбленъ. Онъ еще нѣкоторое время повозился на завалинкѣ и всталъ.

— Пора идти... Что ужъ тутъ! — сказалъ онъ глубоко обиженнымъ тономъ.

— погоди, куда бѣжишь? Сиди!—возразилъ Егоръ Панкратовъ, уже расканивший въ душѣ, что такъ огорчилъ своего друга-пріятеля.

Егоръ Панкратовъ дошелъ до своей мысли „своимъ умомъ“, тѣсно, цѣной всей жизни. Въ его головѣ царилъ такой хаосъ, что онъ съ трудомъ могъ разобраться въ немъ, чтобы изложить свою мысль изъ кучи другихъ, по волѣ гулявшихъ представлений. Въ этомъ хаосѣ была всякая чертовщина и всевозможныя странности, между ними, на примѣръ, и то, что душа—паръ. Легко, поэтому, понять, что онъ только въ рѣдкихъ случаяхъ рѣшался обнаруживать свои соображенія насчетъ тѣла и души, да и то по большей части запутывался въ словахъ и умолкалъ.

Однако, въ приведенномъ разговорѣ онъ озлился не столько на то, что былъ поставленъ въ тупикъ, сколько на непонятность Ильи Малаго.

Этотъ случай разногласія или прямо ссоры друзей-пріятелей былъ единственный; вообще же они мирно уживались, исполняя множество хозяйственныхъ дѣлъ „сопча“. Въ сущности, они ничего не предпринимали порознь. Егоръ Панкратовъ только кузницей распорядился одинъ, безъ вмѣшательства

ства Ильи Малаго, во всѣхъ же другихъ хозяйственныхъ дѣлахъ они помогали другъ другу.

У Ильи Малаго была всегда одна лошадь; Егоръ Панкратовъ имѣлъ полторы: лошадь и годовалаго жеребенка. Он складывались и обрабатывали землю на двухъ съ половиною лошадяхъ, что несомнѣнно было для обоихъ выгодно.

Разумѣется, ихъ совмѣстное хозяйство не было союзомъ двухъ равносильныхъ людей. Егоръ Панкратовъ игралъ первостепенную роль, а Илья Малый принужденъ былъ починайся его упрямству. Но подчиненіе Ильи Малаго Егору Панкратову было добровольное, къ тому же Илья Малый считалъ себя по многимъ вопросамъ слабымъ и мало-понимающимъ. Вслѣдствіе этого, безмолвное удивленіе, питаемое имъ къ Егору Панкратову, никогда не подвергалось риску и онъ никогда не пытался стряхнуть съ себя иго, наложенное на его языкъ Егоромъ Панкратовымъ. Илья Малый впропталъ ни на какое дѣйствіе или слово Егора Панкратова.

Они были неразлучны и на сходахъ, гдѣ Илья Малый всегда бралъ сторону Егора Панкратова. Послѣдній нерѣдко производилъ на сходахъ ожесточеніе, ни съ кѣмъ не соглашаясь. Онъ обыкновенно и тамъ молчалъ, но иногда, ужъ послѣ постановки сходомъ какого-нибудь рѣшенія, вдругъ возьметъ, да и скажетъ: „а я не жалаю“. Илья Малый въ этихъ случаяхъ становился на сторону Егора Панкратова и не прежде отказывался отъ его мнѣнія, какъ когда возмущенный сходъ, во всемъ составѣ, обрушивался на упрямаго кузнеца.

Илья Малый подчинялся Егору Панкратову тѣмъ охотнѣе, что послѣдній избавлялъ его отъ многихъ несчастій въ сношеніяхъ съ Епифаномъ Ивановымъ и Петромъ Петровичемъ Абдуловымъ. Раньше, дѣйствуя одинъ, Илья Малый былъ вѣчно въ накладѣ отъ мошенничествъ кабатчика и легкаго мыслія барина. Уходя отъ Епифана Иванова, Илья Малый всегда шелъ понурия голову и цѣлую недѣлю не поднималъ ея.

Не легче ему было и тогда, когда его выгонялъ баринъ. Баринъ почти измоталъ его несвоевременною уплатой зарѣботанныхъ денегъ или мелочною придиркой при наймѣ. А Епифанъ Ивановъ чуть было не закабалилъ его; Илья Малый началъ уже считать себя передъ нимъ кругомъ виноватымъ, — скверный признакъ, сознавая который, Илья Малый толь-

вдыхалъ. Послѣ же того, какъ Петръ Петровичъ и Еписавъ Ивановъ устроили стачку, онъ счелъ себя окончательно погибшимъ. Въ это-то время Егоръ Панкратовъ, для обоюдной выгоды, предложилъ ему работать „сопча“.

Вмѣстѣ они стали снимать въ „ренду“ землю у Петра Петровича, вмѣстѣ работали у него и Епифана Иванова и вмѣстѣ же ходили носить уплату „ренды“ или получать деньги за работу. При этомъ дѣйствующимъ лицомъ всегда былъ Егоръ Панкратовъ, а Илья Малый являлся только въ качествѣ молчаливаго свидѣтеля.

У барина въ прихожей Егоръ Панкратовъ всегда становился впереди, а Илья Малый прятался сзади его. Точно также и говорилъ Егоръ Панкратовъ одинъ, а Илья Малый лишь изрѣдка смягчалъ строптивыя слова Егора Панкратова.

— Что скажете хорошаго? — спрашивалъ Петръ Петровичъ, выходя въ прихожую къ Егору Панкратову, стоявшему впереди, и къ Ильѣ Малому, притавшемуся позади.

Егоръ Панкратовъ, подумавъ немного, начиналъ безъ предисловія:

— За косьбу три рубля съ полтиной, за жнитво четыре шесть гривенъ и еще за пахату шесть рублей, а всего-на-всего, стало быть, четырнадцать рублей съ гривенникомъ и еще мнѣ три гривны за скобы, только и всего.

— Нашли время когда придти! Послѣ рассчитаю! — говорилъ баринъ, отчасти удивленный краткостью Егора Панкратова.

— Никакъ нѣтъ, этого нельзя, ваша милость.

— Да какъ же я рассчитаю васъ, когда не знаю, правду ты говоришь или врешь? — начиналъ уже сердиться баринъ.

— Ну, только и намъ, ваша милость, не ближній свѣтъ таскаться къ вамъ, такъ-то! — упрямо настаивалъ Егоръ Панкратовъ.

— Да чего же вамъ надо? Сейчасъ васъ рассчитать? — кричалъ уже Петръ Петровичъ.

— Н-да, сичасъ, въ книжку гляньте.

— Некогда мнѣ, приходите черезъ недѣлю... Ну, ступайте!

— Какъ же это можно? Черезъ недѣлю! Поколь же намъ таскаться? — угрюмо спрашивалъ Егоръ Панкратовъ, знавшій, что недѣля Петра Петровича равняется мѣсяцу.

Обыкновенно тутъ вмѣшивался Илья Малый, ежеминутно ожидавшій, что ихъ прогонитъ баринъ. Онъ уже давно безпокойно возился за спиной Егора Панкратова и дѣлалъ ему невидимые знаки умолянуть. Но знаки не достигали цѣли: тогда Илья Малый нѣсколько выступалъ впередъ и нерѣшительно пытался что-нибудь сказать.

— Мы, ваша милость, ничего... и черезъ недѣлку, — запинаясь, говорилъ онъ. Но Егоръ Панкратовъ въ эту минуту обыкновенно оборачивался и кричалъ: „Молчи... дай ты мнѣ сказать!“

— Нѣтъ, ужъ вы, ваша милость, увольте насъ. Тоже намъ недосугъ, такъ-то! — снова начиналъ Егоръ Панкратовъ, повертываясь въ сторону барина.

Эти бурныя бесѣды оканчивались различно. Или баринъ выдавалъ заработокъ, или приказывалъ вытурить нагихъ мужиковъ. Въ первомъ случаѣ Егоръ Панкратовъ и Илья Малый немедленно выходили, садились на лужокъ передъ окнами Петра Петровича и тутъ же дѣлили съ такимъ трудомъ добытыя деньги. Во второмъ случаѣ Илья Малый стремительно исчезалъ куда-то, а Егоръ Панкратовъ садился на парадной двери и говорилъ, что онъ останется тутъ годъ, если ему не отдадутъ заработка, умереть тутъ. По большей части Петръ Петровичъ уступалъ, приказывалъ ввести въ прихожую Егора Панкратова и выдавалъ ему должную сумму. Егоръ Панкратовъ отправлялся тогда въ домъ Ильи Малаго, у котораго душа ушла въ пятки, и производилъ дѣла, лежъ, никогда не укоряя послѣдняго въ бѣгствѣ.

Въ рѣшительныя минуты Илья Малый постоянно измѣнялъ Егору Панкратову. Онъ подчинялся ему безъ возраженія, но не могъ преодолѣть своего страха передъ бариномъ, передъ Епифаномъ Ивановымъ и передъ другими лицами въ власти имѣющими. Въ стычкѣ съ бариномъ, когда отъ него требовалась смѣлая демонстрація, рассчитывать на которую Егоръ Панкратовъ имѣлъ право, онъ всегда обращался въ постыдное бѣгство.

Впрочемъ, даже и подчиненіе Ильи Малаго Егору Панкратову прекратилось. Этому помогло одно происшествіе, въ которомъ замѣшался Егоръ Панкратовъ и которое совершенно разстроило не только хозяйство его, но и весь его нравственный складъ.

Какъ-то въ одно время Петръ Петровичъ Абдуловъ съ особеннымъ легкомысліемъ обращался съ рабочими, работавшими у него лѣтомъ. Онъ водилъ ихъ за носъ, не отдавалъ заработанныхъ денегъ или отдавалъ по частямъ, или просто забывалъ имя рабочаго, наотрѣзъ отказываясь отъ уплаты. Многихъ парашкинцевъ онъ закабалилъ, совмѣстно съ Епифаномъ Ивановымъ; давая имъ задатки подѣ работу, онъ дѣлалъ изъ нихъ что хотѣлъ, но это входило въ его новую систему. А тутъ и системы не было,— онъ просто небрежно относился ко всему. Небрежность его, смѣшанная еще съ желаніемъ во что бы то ни стало успокоиться отъ лѣтнихъ тревогъ, задѣла за живое и Егора Панкратова съ его другомъ-пріятелемъ. Петръ Петровичъ, правда, не забылъ ихъ, но за то водилъ безъ толку за носъ.

Какъ на зло, событія такъ совпали, что ни та, ни другая сторона не могла миролюбиво покончить. Съ одной стороны, у Петра Петровича къ этому времени собрались гости, нѣсколько сосѣднихъ помѣщиковъ, становой и Епифанъ Ивановъ, и Петру Петровичу некогда было возиться съ мужиками; съ другой стороны, Егору Панкратову и Ильѣ Малому грозили за промедленіе уплаты податей „описаніемъ“. Одна сторона одурѣла отъ пятидневнаго пьянства до потери сознанія текущихъ дѣлъ; другая же ожесточилась отъ перспективы „описанія“. Петру Петровичу было не до расчетовъ съ мужиками,—у него трещала голова,— а Егору Панкратову до зарѣзу нужны были деньги, иначе—описаніе.

Егоръ Панкратовъ и Ильѣ Малый уже нѣсколько недѣль ходили къ барину и все были выпроваживаемы безъ ничего. Егоръ Панкратовъ на этотъ разъ не упрямился; онъ видѣлъ, что люди веселятся,—„ну, и пушай ихъ“,—говорилъ онъ. Но, наконецъ, въ послѣдній день ему стало не втерпѣжъ; онъ почувствовалъ зудъ во всемъ тѣлѣ отъ предполагаемыхъ розогъ и взбѣсился.

Никогда еще онъ не находился въ такой крайности. Предчувствіе о ней давно уже тяготѣло надъ нимъ, но смутно; онъ не очень беспокоился. А теперь эта крайность встала передъ глазами. Мысль же о поркѣ приводила его въ необузданное состояніе, и понятно, что онъ выглядѣлъ очень мрачно, когда предсталъ передъ бариномъ.

— Да что же это такое?—сказалъ онъ съ волненіемъ, стоя въ прихожей передъ бариномъ, также взбѣсившимся.

По обыкновенію, Егоръ Панкратовъ былъ впереди, а Илья Малый прятался за нимъ.

— Сколько разъ васъ гоняли и говорили вамъ, что некогда?—бѣшено говорилъ Петръ Петровичъ, чувствуя, что голова его сейчасъ треснетъ.

— Намъ, ваша милость, дожидать нельзя — описаніе! Мы за своимъ пришли... кровнымъ!—отвѣчалъ съ возроставшимъ волненіемъ Егоръ Панкратовъ.

— Ступайте прочь! Душу готовы вынуть за трешницу!

— Намъ, ваша милость, нельзя дожидать...

— Говорю вамъ, убирайтесь! Рыться я стану въ книгахъ!—кричалъ совсѣмъ вышедшій изъ себя Петръ Петровичъ.

А Егоръ Панкратовъ стоялъ передъ нимъ, блѣдный, и мрачно глядѣлъ въ землю.

— Эхъ, ваша милость!... Стыдно обижать вамъ въ этомъ разѣ! — сказалъ онъ.

— Да ты уйдешь? Эй! Яковъ! Гони!—шумѣлъ баринъ.

Егору Панкратову надо было бы уйти, а онъ все стоялъ въ прихожей.

На шумъ вышли почти всѣ гости, сосѣдніе помѣщики, Епифанъ Ивановъ и становой. Послѣдній, узнавъ, въ чемъ дѣло, приказалъ Егору Панкратову удалиться. Но Егоръ Панкратовъ не удалился; онъ съ отчаяніемъ глядѣлъ то на того, то на другого гостя и, наконецъ, сказалъ упавшимъ голосомъ:

— Ты, ваше благородіе, не путайся въ это мѣсто.

Присутствовавшіе онѣмѣли отъ этой дерзости. Пьяные глаза однихъ гостей спрашивали:

— Каковъ?

А болѣе трезвые глаза другихъ отвѣчали:

— Ужасно!

Егоръ Панкратовъ надѣлъ шапку и вышелъ. Онъ былъ одинъ; Илья Малый давно уже улепетывалъ въ деревню, стуча зубами. Егоръ Панкратовъ пошелъ вслѣдъ за нимъ. Онъ вдругъ какъ-то упалъ духомъ. Денегъ онъ могъ занять только у Епифана Иванова, а Епифанъ Ивановъ затянетъ петлю и закабалить... А если не занять—описаніе или порка. Прежнія предчувствія не обманули Егора Панкратова;

на него налетѣлъ подлый случай, и у него нѣтъ силъ вернуться отъ него.

Этимъ дѣло не кончилось. Выступилъ старшина Сазонъ Акимычъ. Сазону Акимычу приказано было наказать бунтующихъ розгами, и Сазонъ Акимычъ изъявилъ свое согласіе, только не согласился съ характеромъ наказанія.

— Что-жь, — говорилъ онъ, — розгами можно попугать; розгами каждочасно можно. А только въ этомъ случаѣ, я полюжилъ бы, въ темную посадить, на хлѣбъ-на воду Егорка — мужикъ бѣдовый, вбалмошный мужикъ, — ну его къ яду!

Такимъ образомъ, рѣшено было посадить Егора Панкрата въ темную. Исполненіе рѣшенія поручено было старостѣ, который, хотя и обомлѣлъ, но приказъ выполнилъ. Онъ взялъ съ собой нѣсколько понятыхъ, Ваську-дурака и двинулся къ избѣ Егора Панкрата, напередъ ожидая отъ него всего худого.

Войдя къ Егору Панкратову, онъ сперва наговорилъ множество разнаго вздора, какой попалъ ему въ ротъ въ эту минуту, боясь, что Егоръ Панкратовъ взбѣлится, и только послѣ этого, вытирая потъ съ лица, объявилъ послѣднему, что его приказано посадить въ „канцеръ“, на хлѣбъ-на воду.

— Сдѣлай милость, Панкратычъ, пойдѣмъ... ужь ты не тово... покорись! — говорилъ староста.

— Ну, ладно... — отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ растерянно, съ убитымъ видомъ. Онъ надѣлъ кафтанъ и пошелъ къ волости, во главѣ толпы, состоявшей изъ старосты, понятыхъ, дурака Васьки и приминувшихъ по дорогѣ ребятишекъ.

Егоръ Панкратовъ шелъ медленно, смотря въ землю, и ничего не говорилъ; только когда очутился возлѣ „канцера“, представлявшаго собою досчатый чуланъ безъ окна, онъ сказалъ мрачно:

— Тутъ, что-ли?

— Тутъ, Панкратычъ, — отвѣчалъ староста и еще разъ просилъ Егора Панкрата извинить его, старосту, потому что „причины его въ этомъ грѣхѣ нѣту“. Даже затворивъ дверь, онъ еще разъ „умолиительно просилъ сидѣть смирно“.

Стояла глубокая осень. На улицѣ была грязь; дулъ холодный вѣтеръ, съ воемъ проникавшій въ щели чулана и обдававшій морозомъ Егора Панкрата. Но Егоръ Панкра-

товъ ничего не чувствовалъ. Онъ сѣлъ въ уголъ на полъ, скорчился и опустилъ голову на колѣни.

А сырой вѣтеръ все посвистывалъ въ щели и леденилъ его тѣло. Еслибы кто могъ заглянуть въ это время въ душу Егора Панкратова, то онъ, можетъ быть, открылъ бы, что и тамъ все обледенѣло; вымерла единственная надежда, составлявшая красу его жизни.

Егоръ Панкратовъ просидѣлъ въ темной двое сутокъ и во все это время не проронилъ ни одного слова, а Ильѣ Малому мрачно велѣлъ уходить, когда тотъ пришелъ къ нему и предложилъ краюшку хлѣба и косушку водки.

Илья Малый, съ краюшкой хлѣба и косушкой водки, почти не отлучался съ крылечка волостного правленія и все ждалъ, что Егоръ Панкратовъ одумается и поѣстъ, но такъ и не дождался. Тогда онъ отнесъ краюшку хлѣба и косушку водки на домъ къ Егору Панкратову, въ надеждѣ, что послѣдній, придя домой, поѣстъ и выпьетъ, но и этого не дождался. Когда Егоръ Панкратовъ вышелъ изъ темной и пришелъ въ свою избу, Илья Малый немедленно предложилъ ему поѣсть. Но Егоръ Панкратовъ не взглянулъ даже и на семейство свое; онъ влѣзъ на полати, прилежъ тамъ и попросилъ холоднаго кваску...

Съ нимъ началась горячка.

Вмѣстѣ съ Ильемъ Малымъ въ избу пришли староста и Васька, и всѣ они выразили полное сочувствіе свое Егору Панкратову; Егоръ Панкратовъ на все отвѣчалъ молчаніемъ. А когда съ нимъ начался бредъ, они всѣ вышли одинъ за другимъ, удивляясь, чѣмъ Егоръ Панкратовъ такъ огорченъ былъ.

Онъ пролежалъ въ постели два мѣсяца.

Никто не узналъ Егора Панкратова, когда онъ въ первый разъ вышелъ изъ избы. Онъ совершенно перемѣнился.

Прохворалъ онъ почти всю зиму; покопошится на дворѣ, поработаетъ и опять сляжетъ. Илья Малый старался во всемъ ему помогать, но все-таки хозяйство его было уже разстроено, да и самъ онъ былъ не тотъ.

Несчастье Егора заключалось въ томъ, что онъ жилъ въ

то время, когда не было ничего опредѣленнаго ни въ области мужицкихъ отношеній, ни въ кругѣ тѣхъ отношеній, которыя вліяли на него извнѣ. Его отецъ былъ крѣпостной человѣкъ, жизнь котораго была проста, какъ жизнь вьючаго животнаго, и опредѣленна, какъ дѣйствіе машины, и который не имѣлъ права мечтать; сынъ Егора устроить свои отношенія человѣчнѣе и опредѣленнѣе, но самъ Егоръ жилъ въ атмосферѣ загадокъ и „загвоздокъ“. Кругомъ же его въ деревнѣ былъ хаосъ; ничего прочнаго не видѣлось ему; старое, повидимому, рушилось, но новое еще не было создано. Въ немъ таилась частичка искры Божіей о волѣ, но такъ темно, что въ практическомъ смыслѣ была бесполезна для него, ибо не могла освѣщать его пути, да и занимала ничтожнѣйшее мѣсто въ немъ, а прочее все существо его было переполнено смутными ожиданіями чего-то худого и безнадежнаго. Опоры для какихъ бы то ни было человѣческихъ надеждъ деревня не представляетъ, гдѣ вся жизнь есть страхъ, беззаконіе, „загвоздка“. Егоръ сидѣлъ между двумя временами, изъ которыхъ прошлое показывало ему цѣпи, а будущее — черную дыру; а въ настоящемъ, когда онъ вздумалъ вообразить себя вольнымъ, постоянно проходятъ передъ его глазами явленія, убивающія самыя низменныя мечты и желанія, подтачивающія всякую энѣргію. Переходное поколѣніе, въ которомъ Егоръ Панкратовъ принадлежалъ, самое несчастное, потому что оно не живетъ, а мается, и существуетъ не для самого себя, а для другихъ поколѣній; оно служитъ матеріаломъ для будущаго, но на него, прежде всего, падаетъ мѣсть уходящаго прошлаго.

Однажды, въ началѣ весны, онъ вышелъ на завалинку погрѣться солнышкомъ, и всѣ, кто проходилъ мимо него, не узнавали въ немъ Егора Панкратова. Блѣдное лицо, тусклые глаза, вялыя движенія и странная, больная улыбка — вотъ чѣмъ сталъ Егоръ Панкратовъ. Къ нему подсѣлъ Илья Малый и, рассказавъ свои планы на наступающее лѣто, неосторожно коснулся происшествія, укоряя Егора Панкратова за то, что тогда онъ огорчился изъ-за пустяковъ. Егоръ Панкратовъ сконфузился и долго не отвѣчалъ, улыбаясь неистати... Потомъ сознался, что его тогда „нечистый попуталъ“. Онъ стыдился за все свое прошлое.

Такимъ Егоръ Панкратовъ остался навсегда. Онъ сдѣлалъ

ся ко всему равнодушнымъ. Ему было, повидимому, все равно, какъ ни жить, и если онъ жилъ, то потому, что другіе живутъ, напримѣръ, Илья Малый.

Дѣйствительно, Илья Малый ни на каплю не перемѣнился. Плѣшивый, съ слезящимися глазами, безжизненный, онъ тѣмъ не менѣе, упорно жилъ. Были случаи, до того неожиданные и оглушительные, что по всемъ видимостямъ Илья Малый долженъ былъ бы помереть; ему иногда самому казалось, что вотъ въ такомъ-то случаѣ онъ непременно исчезнетъ, пропадетъ, а глядь—онъ живъ! Невозможно его истребить быстро.

Этой-то живучести Егоръ Панкратовъ и сталъ подражать, удивляясь Ильѣ Малому.

Разумѣется, Егоръ Панкратовъ и Илья Малый остались, попрежнему, друзьями-пріятелями; они „сопча“ работали, „сопча“ терпѣли невзгоды; ихъ и свѣкли за одинъ разъ.

Послѣдній приходъ Дёмы.

— Ежели мы всѣ, сколько насъ ни на есть, цѣльнымъ обществомъ, разбредемся, кто-жъ станетъ платить, а?

Отвѣта на этотъ вопросъ парашкинцы не нашли.

Парашкинцы сами себѣ задали этотъ вопросъ, но отвѣчать были не въ силахъ, частью потому, что вопросъ былъ изъ такихъ, въ отвѣтъ на который можно только выпучить глаза и молчать.

Не зная, что говорить и, можетъ быть, боясь говорить, парашкинцы такъ и сдѣлали. Они собрались на сходъ и долго ведаумѣвали. Это было лѣтомъ. Сходка имѣла мѣсто возлѣ сѣрной избы. Размѣстились, кто какъ могъ. Одни усѣлись на гнилой колодѣ, поставленной около плетня; другіе стояли, заложивъ руки назадъ и сдвинувъ шапки на затылокъ; третьи лежали на животѣ, а нѣкоторые усѣлись на плетень между болышками и болтали ногами. Всѣ почти были въ сборѣ, но никто не хотѣлъ начинать разговоръ о дѣлѣ, которое возбуждало злобу во всѣхъ и каждомъ.

Дѣло вышло изъ-за Дёмы, Дёмы Лукьянова. Дёма рѣдко выходилъ дома. Зарабатывалъ онъ хлѣбъ на сторонѣ; со стороны же и подати платилъ. А на деревнѣ считалъ себя лишнимъ, даже невозможнымъ. Но нынѣ онъ прямо заявилъ міру, что душу свою онъ покидаетъ, подушное платить не можетъ и не будетъ. Сказавъ это, Дёма высморкался, сѣлъ на траву и сталъ ждать, что изъ всего этого выйдетъ.

Парашкинцы, послѣ долгаго молчанія, начали говорить разныя разности, совершенно не идущія къ дѣлу. У жены Пыля Малаго мальчишка попалъ въ кадушку съ гущей... Луцкѣя родила въ канавѣ, что возлѣ Епифановыхъ владѣній...

Иванъ Ивановъ съ пьяныхъ глазъ опоиъ бурку, который раздулся... Иванъ Заяцъ поймалъ у себя на полосѣ девять сусликовъ, продалъ ихъ шкуры и радуется... О Демѣ же ни полслова, какъ будто парашкинцы старались по возможности дальше отвлечь свои мысли отъ дѣла, которое каждого задрывало за живое и возбуждало злобу, требуя напряженія всѣхъ ихъ умственныхъ способностей.

Дема долго ждалъ. Но, наконецъ, не вытерпѣвъ и заговорилъ съ тѣмъ разсѣяннымъ видомъ, который былъ вообще присущъ ему. Онъ какъ будто продолжалъ свой отказъ и говорилъ какъ будто съ собой однимъ.

— Ежели на чугунку не удастся, — ну, тогда въ Питеръ махну... Здѣсь же мнѣ невозможно... Или еще можно на заводъ Шелопаева, а то спички дѣлать... А то еще...

Дема былъ прерванъ. Его словами всѣ возмутились.

— Да что у тебя, шальной ты человѣкъ, мысли-то ходуномъ ходятъ?—заговорили ему въ отвѣтъ многіе голоса.—То онъ остается на деревнѣ, то глядь — онъ ужъ въ Питеръ ѣдетъ, то спички!... Какъ же послѣ этого валандаться съ тобой, шальной человѣкъ?

Парашкинцы вдругъ всѣ поднялись съ мѣстъ, зашумѣли и взволнованно произнесли слѣдующую рѣчь:

— Это что-жъ такое? Платить онъ не можетъ, не будетъ... въ какомъ смыслѣ? Уйдетъ въ бѣга—и лови его!... Душу бросаетъ, хозяйство въ разоръ—по какой причинѣ? А тамъ плати за него... Плати, вѣрно!... Ты за него не только плати, а прямо спину подставляй; за ихняго брата порютъ!... Да, какже! Онъ душу свою изматаетъ, бѣжить, а міръ въ отвѣтъ? Сколько ужъ такихъ-то! Каждый норовить дать деру... Да, какже! Онъ отъ міра ужъ отстранился, ужъ ты его сюда калачомъ не заманишь; все на міръ валить!... Довольно ужъ у насъ такихъ... Петръ Безпаловъ — разъ! Потаповъ — два! Климъ Дальній — три! Кто еще?... А Кирюшка-то Савинъ?... Четыре!... Семенъ Бѣлый... это который?—пять! Семенъ Черный—шесть! Дема вотъ... Да ихъ не перечести!... Что же это такое будетъ? Я не буду платить, онъ улизнетъ, Чортъ Иванычъ Веревкинъ наплюетъ на міръ,—что же такое произойдетъ, а?... Бра-а-атцы! Пущать ихъ не надо! Совсѣмъ ихъ не надо пущать... Сиди и плати... Оно такъ-то лучше... Это вѣрно — сиди и плати!... Ахъ, вы, голоштанники! Доколь же

нажъ отдохнуть за вашего брата, а? Нѣтъ, ты посиди тутъ, дома-то... А какъ же ихъ не пущать? Народъ они вольный, бродяги-то... Кочевые народы!... Ты ему на головѣ теши воль, а онъ не внимаетъ!... Онъ вонъ задеретъ хвостъ — и лова его, Дему-то!... Господи Боже мой! эдакъ всѣ въ бѣга... Я хозяйство брошу, другой бросить, третій... бѣжимъ всѣ, нищя насъ свищи, кто-жъ останется?... Кто будетъ платить, ежели мы всѣ въ бѣга, а? Кто?

Вся эта рѣчь произвела сильное впечатлѣнiе, въ особенности послѣднiй вопросъ. Даже Дема, рѣшительно ко всему равнодушный, пораженъ былъ возможностью исчезновенiя всѣхъ парашкинцевъ. Онъ также всталъ на ноги и тоже что-то заголосилъ, но его никто не слушалъ до тѣхъ поръ, пока не замолчалъ весь сходъ.

Конечно, Дема скоро оправился и, попрежнему, заговорилъ разсѣяннo и вяло, настаивая на томъ, что обрабатывать надѣлъ свой онъ не можетъ, уходить на заработки и просить мръ уважить его — снять съ него душу.

— Никакъ нельзя по-другому, — сказалъ онъ. — Чай, видали? Хозяйка моя какъ снопъ лежитъ, работать гдѣ-жъ ей? изнурилась; мать также... Ну, и не въ мочь держать надѣлъ. Ежели бы еще подуши, да и то...

Дема махнулъ рукой, показывая тѣмъ, во-первыхъ, что онъ и подуши боится принять, и, во-вторыхъ, говорить ему надо. Онъ вяло высморкался еще разъ и умолкъ. Для всѣхъ было очевидно, что съ нимъ ничего не подѣлаешь. Пожалуй, его можно заставить жить въ деревнѣ, но что изъ этого? Онъ останется, ему все равно, мысли его въ разбродъ пошли, но какой толкъ изъ этого выйдетъ?

Попробовали его подвергнуть перекрестному, очень хитрому допросу.

— Изба и прочее хозяйство есть у тебя? — спросили у него.

— Полагается, — нехотя отвѣчалъ Дема.

— Такъ. Ну, а скоть есть?

— Скоть?... Самая малость. Подохъ.

— Такъ. Скоть твой, стало быть, кормится, и кормится, надо полагать, мiрскими землями, ай нѣтъ?

— Что-жъ...

— Вотъ тебѣ и что-жъ! Избу ты имѣешь, мѣсто занима-

ешь, скотъ твой пользуется, а ты не платишь, по какой причинѣ?

— По причинѣ, что нечѣмъ; радъ бы! — возразилъ Дема чувствуя, что изъ-подъ его ногъ ускользаетъ почва.

Допросъ продолжался.

— И опять: мать твоя съ хозяйкой надѣлѣ до сей поръ держали, занимали землю, а ты душу не платишь, по какой причинѣ?

Дема взбѣсился. Перекрестнымъ допросомъ приперли его къ стѣнѣ, говорить ему было невозможно. По какой причинѣ? Онъ и самъ хорошенько не зналъ, по какой причинѣ платить ему нечѣмъ, какъ онъ ни бился. Выходило такъ что нечѣмъ — и все.

— Тышу разъ говорю вамъ — нечѣмъ платить мнѣ, нечѣмъ, нечѣмъ! Чего еще пристали? — возразилъ Дема, выходя изъ себя.

— Ну, такъ и сиди дома, — отвѣчали ему, — по крайности тутъ самого тебя выпорютъ, а не то, чтобы міръ изъ-за твое мученіе принималъ.

— А куда-жъ я дѣну паспортъ? — вдругъ оживился Дема. Куда я дѣну паспортъ? Деньги я за него уплатилъ сполна и онъ у меня на цѣлый годъ, годовой; куда-жъ мнѣ дѣтъ? Ахъ, вы, головы умныя!

Дема оправился отъ своего смущенія и опять разсѣянно глядѣлъ и слушалъ, — ему было все равно. Но въ свою очередь сходя былъ пораженъ, такъ что перекрестнаго допроса какъ будто и не было. Дема взялъ годовой паспортъ, деньги за него уплатилъ; куда же ему, въ самомъ дѣлѣ, дѣтъ его? Зная цѣну деньгамъ, парашкинцы стали въ тупикъ и замолчали въ полнѣйшемъ недоумѣніи.

— Пашпортомъ ты не тыкай; бери его и ступай съ Богомъ. А только душу плати.

Говорить о дѣлѣ Демы дальше не представлялось уже добности; все было переговорено. Да и надобно всѣмъ. Исторія повторялась въ послѣднее время очень часто и, крѣпкого тупого озлобленія, ничего не приносили парашкинцамъ. Что возьмешь съ Демы? Если онъ и въ деревнѣ останется, это все равно, еще бѣду какую-нибудь сдѣлаетъ. Притомъ каждый на сходѣ понималъ, что, можетъ быть, завтра и

мрутися въ такомъ положеніи, когда взять съ него будетъ нечего.

— Погляжу я, съ тебя теперь ни шерсти, ни молока не получишь. Козель ты и есть!—вздумалъ кто-то пошутить на сходѣ надъ Демой, но балагуру никто не сочувствовалъ.

Поболтавъ еще о разныхъ разностяхъ, не идущихъ къ дѣлу, парашкинцы рѣшили: просьбу Демину уважить, надѣлъ съ него снять, оставивъ за нимъ только подуши. Дема такъ больше не артачился: занятый послѣзавтрашнею отправкой, онъ согласился платить подуши.

Сходъ послѣ этого скоро разошелся. На всѣхъ собравшихся легло что-то тяжелое и неопредѣленное, какъ кошмаръ, и разогнало ихъ; каждый желалъ поскорѣе убраться къ себѣ.

Рѣдко парашкинцы находились въ такомъ гнетущемъ настроеніи; по большей части каждый шелъ на сходъ съ тайнымъ желаніемъ стряхнуть съ себя обыденныя мерзости. На этотъ разъ, однако, дѣло было иначе,—парашкинцы торопились разойтись. Имъ было противно присутствовать на сходѣ, говорить безъ толку и глядѣть другъ на друга. Ничего они не могли рѣшить,—зачѣмъ же и шумѣть безъ пути? На лихъ другъ друга они видѣли беспомощность и уныніе,—къ чему же и собираться вмѣстѣ?

Если всѣ разбѣгутся, то кто же станетъ платить? Вопросъ негнѣшій, но парашкинцы все-таки ломали надъ нимъ свои худыя головы. Не оттого, что каждый изъ нихъ непремѣнно горѣлъ желаніемъ платить, но оттого, что передъ каждымъ изъ нихъ мелькала щемящая душу мысль—бѣжать изъ насиженнаго мѣста. Это дѣло будущаго, но оно мучило парашкинцевъ въ настоящемъ.

Щемящая душу мысль вовсе не была вымыслена. Парашкинцамъ ихъ же одиодеревенцы доставляли ежегодный прирѣзъ того, какъ люди бѣгутъ, куда бѣгутъ. Число парашкинскихъ бродягъ все болѣе и болѣе увеличивалось; образовался особенный кочевой классъ, который только-что числился на міру, а жилъ уже другою жизнью. Вотъ Климъ Дальній, Петръ Безпаловъ, Семень Бѣлый... да ихъ не перечесть! Каждый парашкинецъ поэтому понималъ, что если онъ нынче сидитъ твердо на мѣстѣ, то это совсѣмъ не значитъ, что онъ и завтра здѣсь будетъ сидѣть,—сидитъ онъ на мѣстѣ по произволенію Божію, а пройдетъ годъ, смахнутъ

его съ мѣста, и онъ быстро войдетъ въ число „кочевыхъ народовъ“.

По опыту парашкинцы знали, что нынче человѣкъ легко или, правильнѣе сказать, внезапно покидаетъ насиженное мѣсто. Онъ нынче здѣсь, а на слѣдующій годъ уже за тысячу верстъ, откуда пишетъ оглушительное письмо, что онъ платить больше не можетъ и не будетъ. Разъ же онъ вскочилъ изъ своего мѣста, онъ рѣдко возвращается обратно; онъ такъ и остается въ числѣ „кочевыхъ народовъ“. Бывали-ли прежде такіе случаи? Слыхано-ли было когда-нибудь чтобы парашкинцы только и думали, какъ бы наплевать другъ на друга и разбѣжаться въ разныя стороны? Не бывало этого, и парашкинцы объ этомъ не слышали.

Тогда ихъ гнали съ насиженного мѣста, а они возвращались назадъ; ихъ столкнутъ, а глядишь—они опять лѣзутъ въ то мѣсто, откуда ихъ вытурили.

Прошло это время. Нынче парашкинецъ бѣжитъ, не думая возвращаться; онъ радъ, что выбрался по-добру, по здорову. Онъ часто уходитъ затѣмъ, чтобы только уйти провалиться. Ему тошно оставаться дома, въ деревнѣ ему нуженъ какой-нибудь выходъ, хоть вродѣ проруби, какую дѣлають зимой для ловли задыхающейся рыбы...

Уходя со схода, Дема немедленно забылъ, что тамъ происходило. Онъ сталъ соображать, на какія средства ему отправляться. Деньги у него были, но въ такомъ количествѣ, которое достаточно было лишь на то, чтобы впрогладь добраться до мѣста заработковъ, до новостроющей желѣзной дороги. А какъ безъ всего оставить хозяйку мать?

Вспомнивъ свои домашнія дѣла, Дема сразу осовѣлъ. Бы уже вечеръ; покрапывалъ мелкій дождь; дѣлалось темно. Дема только еще больше опустилсѣ, разсѣяннo плепая улицѣ къ дому.

Съ тѣмъ же чувствомъ подавленности онъ и въ избу свою вошелъ. Мать его, Иваниха, собиралась ужинать и предложила ему поѣсть.

— Ужинать-то будешь?—басомъ спросила она.

Дема хотѣлъ отвѣчать обыкновеннымъ своимъ: „да кто знаетъ?“... но во-время сообразилъ, что въ данномъ случаѣ отвѣчать такъ нельзя.

— Чтой-то не хочется, — разсѣянно выговорилъ онъ и сѣлъ на лавку возлѣ изголовья жены. Устремивъ пристальный взглядъ на нее, почувствовалъ, какъ все въ немъ застыло.

Онъ взглядывалъ попеременно то на больную жену, то на мать. Иваниха, не сказавъ больше ни слова, сѣла къ столу. Она вытерла ложку, похожую на ковшъ, о фартукъ и принялась ѣсть. Въ избѣ моментально запахло протухлою капустой. Но Иваниха не чувствовала этого; она была занята. Хлѣбъ, который она кусала, разваливался и крошки его сыпались ей на колѣни. Иваниха постоянно подбирала ихъ пальцемъ и ссыпала въ ротъ; точно также она дѣлала и съ мякишками, которые валились на столъ. Иначе было нельзя: хлѣбъ состоялъ изъ муки, мякины и земли, и разваливался.

На столѣ, возлѣ незанятой ложки, лежало еще нѣсколько шишекъ. Это были камни, но они содержали чистый черныи хлѣбъ и потому Иваниха ихъ не трогала. Дема понялъ, что это она для него припасла, для гостя.

Дема взглядывалъ на Иваниху и нылъ; взглядывалъ на мать и также нылъ. И каждый разъ, какъ онъ появлялся въ деревнѣ, онъ нылъ.

Настасья, хозяйка Демы, лежала на кровати въ углу и тяжело дышала. Повидимому, она спала, хотя вѣки ея были полуоткрыты. Она была покрыта разною рванью; только лицо ея оставалось наружи. Странное это было лицо! Лицо лицъ нѣтъ въ деревнѣ. Блѣдное, небольшое, нѣжное, но резко противорѣчило и рвани, лежавшей въ беспорядкѣ на кровати, и грязному виду всей избы, и ея „жилому“ забору. Какая-то печать хрупкости лежала на лицѣ Насти, а черты ея мягкими. Высунувшаяся изъ-подъ лохмотьевъ рука довершала впечатлѣніе; рука эта была маленькая, худая и прозрачная. Такъ измѣнила Настю болѣзнь, смывъ съ лица загаръ, а съ рукъ коросты и мозоли.

Дема посидѣлъ у изголовья жены и перешелъ на другую лавку; посидѣлъ тамъ немного и всталъ. Потомъ остановился въ серединѣ избы и къ чему-то проговорилъ: „Ишь какой

дождь!“, ни къ кому собственно не обращаясь. Онъ не находилъ мѣста. Успокоился онъ только тогда, когда сѣлъ неожиданно на порогъ и положилъ руки на колѣни. Порогъ ему очень понравился, и онъ долго на немъ сидѣлъ. Здѣсь же его засталъ и вопросъ Иванихи, которая все еще ужинала.

— Отдалъ душу-то?—обратилась она къ сыну, не повышая ни на одну ноту обычного своего баса.

— А?

Это откликнулся Дема. Иваниха не обидѣлась и не возмущалась. Она только помолчала.

— Душу-то, говорю, отдалъ?—пробасила она во второй разъ.

— Подуши!—отвѣчалъ Дема, придя въ себя.

— Въ субботу, значить, въ отправку?

— Да кто знаетъ? Какъ вонъ васъ оставить-то?—упавшимъ голосомъ возразилъ Дема.

— Объ насъ не печалься... А ежели дома останешься такъ все одинъ конецъ, даромъ баклуши будешь бить... Тамъ ты прокормишься, а тутъ—ротъ лишній.

Высказавъ свое мнѣніе, Иваниха умолкла.

Въ это время Настасья открыла глаза и попросила пить. Иваниха поднесла воды въ ковшикъ, а Дема покинулъ порогъ и сѣлъ опять на лавку у изголовья больной.

— Ну, какъ, плохо?—спросилъ онъ у Насти.

— Теперь ничего, полегче, — отвѣтила почти шопотом Настя и потомъ спросила:—Уходить думаешь, Дема?

— Да кто знаетъ? Вишь ты вонъ...—Дема не договорилъ. Онъ отеръ объ полу влажную отъ дождя руку и погладилъ ею по рукѣ Насти.

— Ужь лучше ступай. Дастъ Богъ, поправлюсь,—сказал Настя.

Настя опять закрыла глаза и, кажется, заснула. А Дема посидѣлъ, посидѣлъ около нея и снова отправился на прежнее мѣсто—на порогъ. Онъ находился въ ужаснѣйшей нерѣшительности, недоумѣвая, что ему предпринять. Помолчалъ полчаса, въ продолженіе котораго Иваниха убирала со стола принадлежности ѣды, онъ выразилъ свое настроеніе въ слухъ.

— Или ужъ не уходить?—мрачно спросилъ онъ. Но, 1

встрѣтивъ со стороны Иванихи согласія или возраженія на это неожиданное рѣшеніе, онъ прибавилъ:— А то еще можно въ Сысойскѣ, спички дѣлать. Это способно мнѣ, въ самую линію...

Дема, повидимому, съ однимъ собой разсуждалъ. Но на этотъ разъ Иваниха, несмотря на все ея хладнокровіе, не выдержала. Застучавъ костью, она проговорила зловѣщимъ басомъ:

— Погляжу я, соску бы тебѣ еще сосать! И что у тебя никакого порядку въ головѣ нѣтъ? Ну, порѣшилъ разъ ухлѣсть—и ступай. Э-эхъ, голова!

Ничего больше не сказала Иваниха. Она совсѣмъ убрала со стола и принялась молча копошиться въ какомъ-то тряпѣ, починая что-то.

Иваниха не отличалась особенно рѣзко отъ остальныхъ деревенскихъ бабъ, но все же это было отесанное въ форму Божьяго созданія полѣно. Ее съ натяжкой можно было причислить къ слабой половинѣ человѣческаго рода; по крайней мѣрѣ, сама она очень сильно была бы оскорблена, еслибы ее поставили на одну доску вообще съ женщиной. Она скорѣе походила на мужика и по своему образу жизни, и по наружности. Ей было уже болѣе пятидесяти лѣтъ, но она была еще очень здоровою старухой. Правда, природа по отношенію къ ней пренебрегла художественностью, но за то сбила ее плотно. Голова Иванихи была почти четвероугольная; лобъ небольшой, выпуклый; глаза глубоко сидѣли въ своихъ впадинахъ, оттѣняемые густыми бровями. Толстый носъ, неумолимый подбородокъ, на одной сторонѣ котораго торчала бородавка съ клочкомъ шерсти, и большія скулы придавали ей угрюмый видъ, а короткія руки и ноги дѣлали ее кряхстою.

Говорила Иваниха всегда басомъ; другого голоса она не имѣла. Даже въ своей молодости, на вечеринкахъ, она не пѣла, а гудѣла.

Иваниха была упрямая старуха, но это не исключало въ ней своеобразной доброты. Вообще сердце у ней было мягкое, „отходчивое“. Она была справедлива и не обладала тою чисто-женскою способностью—фыркать и пилить, которая не очень удобна въ общежитіи. Будучи матерью, она не потакала сыну; сдѣлавшись свекровью, она не терзала неvěстку.

Къ Настѣ она питала даже своего рода любовь, т. е. она грубо ругалась иногда и въ то же время брала на себя всю тяжелую работу, которая была не по силомъ бѣдной женщинѣ. Къ Настѣ она относилась миролюбиво. Невѣстка была для Иванихи всѣмъ, что осталось родного. Когда же Настя занемогла, то Иваниха очень заботливо стала ухаживать за ней. Обѣ женщины жили согласно, тѣмъ болѣе, что ссориться было рѣшительно некогда, въ особенности послѣ ухода Демы на заработки, когда на ихъ попеченіе перешло все хозяйство, дома и въ полѣ.

Иваниха, впрочемъ, владычествовала и въ присутствіи Демы. Дема и до отхода своего на заработки безпрекословно повиновался ей. Хозяйство полевое всегда составляло арену дѣятельности Иванихи и ею одной поддерживалось на одинаковомъ уровнѣ. Только въ послѣднее время дѣла ея побатились подъ гору, вмѣстѣ съ лѣтами и силами ея.

Съ Иванихой случилось несчастіе. Почти въ одно время съ Настасей и Иваниха занемогла. Разъ она ѣхала съ поля на возѣ сѣна; на косогорѣ возъ накренился, покачался, покачался и опрокинулся, а вмѣстѣ съ нимъ и Иваниха. Подобныя случайности происходили съ ней нерѣдко, и Иваниха не обращала на нихъ ни малѣйшаго вниманія; только изругается басомъ и опять свое дѣло дѣлаетъ. Но на этотъ разъ она поплатилась. Поднимаясь съ земли, она поняла, что вывихнула ногу. Иваниха недоумѣвала, какъ это ее угораздило, но не захныкала. Она озлилась, только озлилась, не за то такъ, что еслибы въ это время кто попался ей, то диромъ не ушелъ бы. Она поняла, что съ этого несчастнаго мгновенія дѣла ея примутъ плохой оборотъ, и изъ ея уст посыпались ругательства.

Иваниха не обманулась. Хотя ногу ей и поправили нѣсколько, но отъ прежней Иванихи очень немного осталось. Она стала ходить съ костылемъ. Потому-то въ это лѣто она и не могла обработать душевого надѣла. Она, конечно, не упала духомъ, ей немедленно же представился выходъ изъ тяжелаго положенія. Она обработала большой огородъ, посадила овощей и надѣялась, что съ помощью этого занятія она съ Настей прокормится... Она каждый годъ станетъ обрабатывать огородъ и прокормится. Была бы только изба

цѣ можно жить, и лошадь, на которой Настя будетъ ѣздить въ городъ продавать овощи, а то ей плевать!

Это, разумѣется, такъ себѣ, самообманъ одинъ, потому что этимъ прокормиться нельзя.

Вслѣдствіе прошлогодняго неурожая и нынѣшнихъ несчастій, Иваниха не платила подати болѣе двухъ лѣтъ. Это обстоятельство возбудило въ волости вопросъ: слѣдуетъ-ли ее посѣчь или ждать, когда она добровольно выплатитъ долги? Но Сазонъ Акимычъ замѣтилъ, что Иваниха не правомощна, и потому вопросъ остается пока нерѣшеннымъ.

Такъ было подкошено хозяйство Демы. Демѣ не оставалось уже надежды опять оставаться въ деревнѣ. Такъ размышляла и Иваниха. Оставаться Демѣ, думала она, не зачѣмъ теперь. Что ему тутъ дѣлать? Только даромъ баклуши будетъ бить. Но Дема не признавалъ основательности этого мнѣнія ни, прямо сказать, онъ не составилъ на этотъ счетъ никакого мнѣнія. Онъ растерялся. День спустя, онъ можетъ уйти, но можетъ и въ деревнѣ остаться; онъ этого не знаетъ. Дема растерялъ свои мысли, которыя давно уже „ходуномъ ходили“.

Это нелѣпное положеніе имѣло свою исторію, потому что не всегда же его мысли ходуномъ ходили. Было время, четыре года тому назадъ, когда Дема безотлучно жилъ въ деревнѣ и не воображалъ, что онъ черезъ нѣкоторое время будетъ бродить. Тогда ему жилось ничего себѣ, тогда онъ даже очень удачно колотился. Урожаи были посредственные; скоть у него былъ; подати онъ съ грѣхомъ пополамъ платилъ и таскали его въ волость не очень часто, а ему больше ничего и не нужно было.

Какъ онъ дошелъ до крайности и до мысли бѣжать, это неизвѣстно. Дема и самъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ этомъ; онъ дожилъ до невозможности жить въ деревнѣ и бѣжалъ, а какъ и почему — не спрашивалъ себя. Впрочемъ, причины его хозяйственной несостоятельности были болѣе или менѣе извѣстны парашкинцамъ, которые не удивлялись исчезновенію Демы. Въ это время парашкинцы очень интересовались. Разныя несчастія обрушивались на нихъ, какъ по заказу. Епифанъ Ивановъ, Петръ Петровичъ и еще одно активное лицо, заключившіе союзъ, были ничто передъ совокупностью гнусностей, какъ бы заказываемыхъ для парашкинцевъ. Голодъ, скотскій моръ, напимыръ, были такъ

многочисленны и до того неожиданны, что въ большинствѣ случаевъ парашкинцы и названія имъ не знали, не придумали еще.

Поэтому парашкинцы и не удивлялись ничему; они лишь ожидали новыхъ гнусностей.

Много народу за то время скрылось съ поверхности парашкинской жизни; бѣжали и кучами, и въ одиночку. Между послѣдними былъ и Дема, который съ тѣхъ поръ непрерывно мыкался по свѣту.

Первое время послѣ ухода изъ деревни Дема употребилъ на то, чтобы наѣсться. Онъ былъ прожорливъ, потому что очень отощалъ у себя дома. Тѣ же деньги, которыя у него оставались отъ расходовъ на прокормленіе, онъ пропивалъ. Поэтому домой въ это время онъ ничего не отсылалъ или отсылалъ самую малость. Но Иваниха, впрочемъ, не упрекала его за это; она рада была и тому, что хоть самъ-то онъ кормился. Къ тому же Дема скоро сдѣлался менѣе прожорливъ.

Дема былъ сперва очень доволенъ жизнью, которую онъ велъ. Онъ вдохнулъ свободнѣе. Удивительна, конечно, свобода, состоявшая въ возможности переходить съ мѣста на мѣсто „по годовому пашпорту“, нѣ, по крайней мѣрѣ, ему не зачѣмъ было нѣтъ съ утра до ночи, какъ это онъ дѣлалъ въ деревнѣ. Пища его также улучшилась, т. е. онъ былъ увѣренъ, что и завтра онъ будетъ ѣсть, тогда какъ дома онъ не могъ предсказать этого.

Дема переходилъ съ фабрики на фабрику, съ завода на заводъ и такимъ образомъ кормился. Это былъ большой выигрышъ для него. Проигралъ онъ только въ томъ отношеніи, что сдѣлался оглашеннымъ; такой ужъ у него былъ родъ жизни. Дема растерялъ свои мысли.

Но это было неизбежно. Въ деревнѣ или на волѣ — равно онъ сдѣлался бы оглашеннымъ. Такую жизнь онъ въ послѣднее время передъ уходомъ велъ и дома у себя; у него ничего не было опредѣленнаго насчетъ будущаго. Онъ же лалъ принять какое-нибудь твердое рѣшеніе относительно себя и своего семейства, но не могъ. Онъ прежде думалъ о своемъ хозяйствѣ и пересталъ, — бесполезно. Онъ раньше умѣлъ соображать — и бросилъ: всякое его соображеніе оказывалось ни на что негоднымъ.

Дема повелъ бродячую жизнь. Выходя изъ деревни, онъ и

зналъ, куда его занесетъ нелегкая. Онъ останавливался тамъ, гдѣ натыкался на работу. Приходя же въ деревню, онъ не зналъ, останется-ли здѣсь, или уйдетъ.

— Уйдешь, что-ли?—спрашивала обыкновенно Иваниха.

— Да кто знаетъ?—возражалъ Дема.

Связь его съ деревней была двусмысленна. Онъ не зналъ, куда себя причислить: кто онъ, бродяга или деревенскій житель? Войдетъ онъ снова въ деревенскій міръ или онъ навсегда отъ него оторванъ? Онъ этого не знаетъ. Дема даже не могъ часто рѣшить, желаетъ-ли онъ остаться на міру. Въ немъ произошло полное разрушеніе старыхъ понятій и желаній, съ которыми онъ жилъ въ деревнѣ.

Въ первое время Дема часто навѣдывался домой; когда онъ долго не бывалъ дома, имъ овладѣвало нетерпѣніе и ему не сидѣлось на мѣстѣ. Случалось хуже. На какой-нибудь фабрикѣ Шелспаева имъ вдругъ овладѣвала тоска по деревнѣ... Работалъ Дема, по обыкновенію, семнадцать часовъ, — думать, слѣдовательно, времени не было. Къ концу дня Дема чувствовалъ себя такъ же, какъ пьяный послѣ похмѣлья, и самъ удивлялся своей глупости. Вечеромъ у него всегда оставалось одно желаніе—завалиться поскорѣе и заснуть. Шелспаевъ для рабочихъ устроилъ спальню, въ которой въ два яруса были сдѣланы трещины, куда рабочіе вдвигали свои тѣла на ночь. Туда же, разумѣется, и Дема залѣзалъ. И вотъ среди ночи, послѣ ужаснаго дня, онъ вдругъ просыпается и начинаетъ ворочаться; ворочается и думаетъ. Кругомъ темень непроглядная, смрадно, отовсюду слышится храпъ, душно... На Дему нападаетъ тоска. Онъ вспоминаетъ деревню, ему хочется побывать тамъ...

Но лишь только Дема показывался въ деревню, его сразу обдавало холодомъ. Черезъ нѣкоторое время, поживъ въ деревнѣ, онъ видѣлъ, что дѣлать ему здѣсь нечего и оставаться вельзя. Такимъ образомъ, поколотившись дома съ мѣсяцъ, онъ уходилъ снова бродяжить.

Съ теченіемъ времени его появленія въ деревнѣ дѣлались все рѣже и рѣже. Его уже не влекло сюда съ такою силой, какъ прежде, въ началѣ его кочевой жизни. Къ деревнѣ его привязывали уже однѣ только нитки, которыя очень скоро могли оборваться.

Деревня опостылѣла Демѣ. Являясь туда, онъ не зналъ,

какъ обратиться назадъ; по приходѣ домой, онъ не находилъ себѣ мѣста. На него разомъ наваливалось все, отъ чего онъ бѣжалъ; мигомъ онъ погружался въ обстановку, въ которой онъ раньше задыхался. Какъ ни жалки были условія его фабричной жизни, но, сравнивая ихъ съ тѣми, среди которыхъ онъ принужденъ былъ жить въ деревнѣ, онъ приходилъ къ заключенію, что жить на міру нѣтъ никакой возможности.

Сравненіе было рѣшительно и безповоротно.

Внѣ деревни Дему, по крайней мѣрѣ, никто не смѣлъ тронуть, и то мѣсто, гдѣ ему было не подъ силу и гдѣ ему не нравилось, онъ могъ оставить, а изъ деревни нельзя было уйти во всякое время. Внѣ деревни онъ кормился, а деревня давала ему только одну траву. Но, важнѣе всего, внѣ деревни его не оскорбляли, деревня же предлагала ему рядъ самыхъ унижительныхъ оскорбленій.

Страдало человѣческое достоинство, проснувшееся отъ сопоставленія двухъ жизней, и деревня для Демы, въ его представленіяхъ, стала мѣстомъ мученія. Онъ безсознательно началъ питать къ ней недоброе чувство. И чувство это возросло и крѣпло.

Дема въ этотъ вечеръ нѣсколько разъ перемѣнилъ мѣсто, переходя съ одной лавки на другую и на порогъ. Подходилъ онъ и къ больной или въ нерѣшимости останавливался столбомъ посреди избы.

— Ай ужъ сходить въ артель?—вопросительно проговорилъ онъ, стоя среди избы.

Иваниха, къ которой, повидимому, относился этотъ вопросъ, не повернула головы и не бросила работы. Она давно бы имѣла право возмутиться, глядя на сына, но она не возмущалась, а только проговорила:

— Ничѣмъ толчись на мѣстѣ-то, взялъ бы да сходилъ.

Дема колебался. Ему надо было немедленно же принять какое ни на есть рѣшеніе, а онъ не могъ. Тѣ представленія, которыя окутывали густымъ туманомъ его голову и въ избѣ, и на улицѣ, и во всей деревнѣ, затемнили въ немъ совершенно способность найти выходъ изъ двусмысленнаго положенія. Эта растерянность, однако, увеличилась еще болѣе,

когда, въ сумеркахъ, въ избу вошелъ посланецъ отъ Епифана Иванова, батракъ, съ крайне неожиданнымъ предложеніемъ купить у Деми домъ. Такъ вѣрно суждено было Демѣ испытать въ этотъ день однѣ мерзости.

— Я къ тебѣ, Дема, на минуточку, — сказалъ работникъ Епифана Иванова. — Очень недосугъ, а хозяинъ даже бранится.

— Какія такія дѣла у тебя? — угрюмо спросила Иваниха, чья недоброе.

— Хозяинъ, значить, послалъ. Приказываетъ сказать тебѣ, что ежели ты избу продавать думаешь, такъ чтобы ему. Куплю, говоритъ, по настоящей цѣнѣ, — это хозяинъ-то.

Иваниха даже поднялась съ лавки, — такъ оглушило ее предложеніе.

— Что ты, пустоголовый, мелешь? Какую такую избу Дема продаетъ? — забасила мрачно Иваниха, приводя въ смущеніе ни въ чемъ неповиннаго батрака.

— Вотъ эту самую... Хозяинъ слышалъ, будто Дема продаетъ, — обиженнымъ тономъ возразилъ батракъ.

Иваниха смотрѣла то на сына, то на батрака. Она злобно выглядѣла.

— Пошелъ прочь, дуралей! — крикнула, наконецъ, она. — Ишь что выдумалъ: продать ему избу! Ступай прочь и скажи своему хозяину, — такъ и скажи ему прямо, — пускай только онъ сунется съ эдакимъ словомъ, я ему въ морду! И не погляжу, что онъ пузатый сталъ! Ахъ, вы, оканные! Нигдѣ отъ васъ спокою нѣтъ, идола!

Иваниха долго еще ругалась, даже и послѣ того, какъ посланецъ, выполнивъ свою миссію, ушелъ. Но Дема не сказалъ ни слова въ продолженіе этого разговора и нечего ему было сказать. Глухая тоска и растерянность еще болѣе увеличились. Дема просто подвергнуть былъ пыткамъ. Для него сдѣлалось ясно только то, что и Епифанъ Ивановъ считаетъ его похороненнымъ. Самъ Дема никогда не думалъ о продажѣ избы; объ этомъ Епифанъ Ивановъ самъ заключилъ, а сдѣлавъ это заключеніе, немедленно послалъ работника предупредить Дему заранѣе, что съѣстъ его онъ, Епифанъ Ивановъ, а не кто другой, за что и предлагаетъ „настоящую цѣну“.

Въ другое время Дема не обратилъ бы вниманія на пред-

ложеііе, но въ эту минуту оно увеличило нарость его горечи. Если ужъ Епифанъ Ивановъ, обладающій острымъ нюхомъ, почуялъ возможность покупки избы, значить, ему, Демѣ, пришелъ конецъ. Вотъ какая мысль согнула и придавила Дему. Ему сдѣлалось невыносимо оставаться въ избѣ; надо было куда-нибудь убираться. Дема повтому почти съ радостью отправился въ артель.

Но дорогою къ Петру Безпалову онъ нѣсколько разъ останавливался и все хотѣлъ вернуться назадъ. Въ это время онъ былъ жертвой множества самыхъ разнородныхъ побужденій, которыя тянули его въ разныя стороны.

Къ Петру Безпалову въ это время собирались уже всѣ артельщики, отправлявшіеся послѣ-завтра на чугунку. Самъ Петръ Безпаловъ, Потаповъ, Климъ Дальній, Кирюшка Савинъ, Семень Черный, Семень Бѣлый,—всѣ были въ сборѣ и вели между собою шумную бесѣду. Въ избѣ было совершенно темно.

— А, Дема, сколько лѣтъ, сколько зимъ!—зашумѣлъ Кирюшка Савинъ, узнавъ вошедшаго Дему и очищая ему мѣсто на лавкѣ.

— Ну, какъ, Дема? Порѣшилъ, идемъ?—освѣдомился Петръ Безпаловъ.

— Да кто знаетъ?—возразилъ Дема.

— Міръ, что-ли, не пускаетъ?

— Нѣ, міръ пускаетъ.

— Такъ это ты самъ отлыниваешь? Не дѣло, братъ, за думалъ, прямо тебѣ скажу, не во гнѣвъ,—зашумѣлъ Климъ Дальній. — Что же, намъ артель разстраивать изъ-за твое милости?

— На што артель разстраивать!

— Какъ же? Было насъ семь человекъ въ артели, вдругъ, цапъ-царапъ, стало шесть! Какъ ты полагаешь, хорошо это? Намъ дожидать нельзя здѣсь, а ты смутянишь.

— На што смутянить! Не смутянтъ я, — отвѣчалъ Дема и началъ понемногу оправляться отъ своей тоски и растерянности. Ему сдѣлалось легче между товарищами, и онъ съ большею опредѣленностью сознавалъ свое желаніе поскорѣ выкарабкаться изъ деревни, гдѣ, кромѣ оплеухъ, и его долю ничего не доставалось.

— Погоди, Климъ, — вмѣшался Петръ Безпаловъ, — тоже и его дѣло надо разсудить. Баба его лежитъ пластомъ, а ты къ нему съ ножомъ къ горлу лѣзешь! Чай, не съ дуру онъ говоритъ!

Вмѣшательство Петра Безпалова прекратило нападеніе на Дему. Напротивъ, всѣ его товарищи разомъ догадались, въ какомъ состояніи онъ былъ, и стали неуклюже успокаивать его.

— Жалко ему хозяйства и бабенки тоже, — сказалъ Потаповъ.

— Да, бабенка его ничего, славная бабенка, — подтвердилъ Климъ Дальній.

— Что-жь, Дема, тужить, ежели грѣхъ случился? Бабенка твоя встанетъ и хозяйство поправится, — успокаивалъ Семень Черный.

— Не горюй, дастъ Богъ, поправится! — добавилъ Семень Бѣлый.

— Извѣстно, поправится; а только я не знаю, какая мнѣ теперь линія: тутъ жить или уходить на сторону, ужъ не знаю! — опять возразилъ Дема, впадая въ прежнюю разсѣянность.

Наконецъ, артельщики рѣшили подождать день; если же Дема и завтра не управится съ своими дѣлами, то идти на заработки, не дожидаясь его. Это рѣшеніе артельщики приняли потому, что оставаться въ деревнѣ имъ надобно, хотя они не долго оставались въ семействахъ. Дѣлать имъ, какъ и Демѣ, было нечего дома; какъ и Дема, даже въ большей степени, они тяготились своимъ двумысленнымъ положеніемъ, стоя одною ногой въ міру и поставивъ другую ногу „на сторону“.

У всѣхъ собравшихся въ деревнѣ были еще домишки, годъ отъ года разрушавшіеся. У нѣкоторыхъ осталось даже небольшое хозяйство, но вниманія они на него уже не обращали, предоставивъ его всецѣло бабамъ, которыя и махались кое-какъ. Полный надѣлъ земли былъ только у Петра Безпалова; остальные довольствовались половиной, какъ Климъ Дальній и Потаповъ, или четвертью, какъ Семень Бѣлый и Семень Черный. Понятно, что всѣ они ликовали, уходя изъ деревни. Все время, пока они оставались въ деревнѣ, они испытывали одну тоску и чувство ненужности.

Отщепенство ихъ отъ міра зашло такъ далеко, что они и сами это сознавали, дѣлаясь все болѣе и болѣе равнодушными къ своимъ дѣламъ. Ненависти къ деревнѣ они уже не питали, какъ къ мѣсту, имѣющему очень малое отношеніе къ нимъ. Ненависть эта была, когда они употребляли нечеловѣческія усилія остаться при землѣ, и прошла, когда они были выпихнуты изъ деревни, сдѣлавшейся имъ съ этихъ поръ чужой. Осталась одна насмѣшка и къ своимъ прежнимъ усиліямъ остаться на міру, и къ деревенщинамъ, которая продолжаетъ колотиться и потѣть надъ пропащимъ дѣломъ. Артельщики теперь смотрѣли на деревенщину свысока.

Они даже по наружности измѣнились такъ, что нитя въ нихъ не призналъ бы „хрестьянъ деревни Парашкино“. Настоящіе, коренные парашкинцы одѣвались въ такія облаченія, что издали поголовно походили другъ на друга; артельщики же одѣвались каждый по своему вкусу. Петръ Безпаловъ, на примѣръ, носилъ недубленный полушубокъ и смазные сапоги, неизвѣстно какъ попавшіе къ нему; Потаповъ—въ зипунѣ, въ лаптяхъ и съ чухонскою шляпой на головѣ, а Климъ Дальній надѣвалъ коротенькое пальто не возможнаго цвѣта и возмутительнаго запаха. Что касалось двухъ Семеновъ, Бѣлаго и Чернаго, то они, такъ сказать, взаимно дополняли другъ друга. Однажды имъ взбрело на умъ купить плисовые штаны и жилетъ—и купили; Семенъ Черный взялъ на себя плисовые штаны, а Семенъ Бѣлый—плисовый жилетъ, и оба были довольны.

Говоря о наружности артельщиковъ, нельзя оставить безъ вниманія одного обстоятельства, хотя и незначительнаго имѣвшаго вліяніе на взаимныя отношенія міра и его отщепенцевъ. Дѣло въ томъ, что безъ Демы въ избѣ сидѣли шесть человѣкъ, а у нихъ было только четыре носа. По этому поводу между Потаповымъ и Семеномъ Бѣлымъ происходили иногда стычки.

— На фабрику носъ-то оставилъ?—спрашивалъ Потаповъ.

— На фабрику,—отвѣчалъ, конфузясь, Семенъ Бѣлый, котораго въ наличности находились только признаки органическаго обонянія.

— Машиной оторвало?

— Машиной.

— Оно и видно!

Потаповъ хохоталъ, а Семенъ Бѣлый злился, ругался на чѣмъ свѣтъ стоитъ и грозилъ тѣмъ моментомъ, когда у са-
мого Потапова исчезнетъ носъ.

Такимъ образомъ, отщепенцы уносили изъ своего села иму-
щества, силы и души и взамѣнъ этого ничего не возвращали.
Единственная дань, которую они платили міру,—это отвра-
тительная зараза, приносимая ими съ фабрикъ. Если къ
этому прибавить то, что они для парашкинцевъ были но-
вымъ и плохимъ примѣромъ жизни внѣ міра, а также то,
что они вносили вмѣстѣ съ собой всюду ссоры и отщепен-
ство, тогда роль ихъ будетъ совершенно опредѣлена.

На этотъ разъ ихъ ликованіе по поводу скорого отхода
было на время прервано приходомъ Демы, который еще не
могъ оправиться. Шумный разговоръ артельщиковъ прекра-
тился. Воцарилось на всѣхъ лицахъ тоскливое молчаніе.
Умные такъ подѣйствовало на собравшихся, что пѣть всѣмъ
захотѣлось выпить, но это было тайное желаніе, которое
никто не хотѣлъ обнаружить. Недавно они сложили всѣ деньги
свои въ общую кассу и постановили единогласно: „водки...
ви Боже мой; не пить“. Поэтому, теперь каждый стыдился
первымъ заявить о своей слабости, и всѣ молчали, тайно
понимая другъ друга. Только Семенъ Черный выразилъ тай-
ное желаніе, да и то безмолвно. Онъ краснорѣчиво посмо-
трѣлъ на Семена Бѣлаго, но изъ этого пока ничего не вы-
шло. А Потаповъ, увидѣвъ знаки, сурово посмотрѣлъ на
обоихъ Семеновъ, назвавъ ихъ вслухъ „пустыми головами“
и давая этимъ понять, что только пустые головы могутъ
думать о невозможномъ, о водкѣ, напримѣръ.

— А я полагаю такъ, что разъ ты ушелъ, хозяйство за-
бросилъ и ужъ ты не воротись, — вдругъ сказалъ Дема,
вопросительно взглядывая на Петра Безпалова и не предупре-
ждая, о чѣмъ онъ хочетъ говорить.

— Да это ты про что?—удивленно спросилъ Климычъ Дальній.

— Про деревню. Разъ, говорю, ты ушелъ, и ужъ обратно
не вернешься!—пояснилъ Дема свою тоскливую мысль.

— И не надо,—угрюмо возразилъ Потаповъ.

— Какъ не надо? Домой-то?—удивился Дема.

— Такъ я не надо. Будетъ! Меня арканомъ сюда не за-
везешь,—болѣно ужъ неспособно.

— Ну, все же домишка-то жалко; ежели же онъ еще разваливается,—замѣтилъ Петръ Безпаловъ.

— И пушай его разваливается! Сытости въ немъ нѣтъ потому что онъ гнилой!—съострилъ Климъ Дальній. Но е никто не сочувствовалъ.

— Про то-то я и говорю: ушелъ ты—и хозяйство при хомъ,—настаивалъ Дема, въ головѣ котораго, повидимому безотлучно сидѣла мысль о конечномъ его разореніи.

— Кто-жь этого не знаетъ?—съ неудовольствіемъ заговорилъ Кирюшка Савинъ, возмущившійся тоскливымъ однообразиемъ разговора.—И что ты наладилъ: ушелъ, ушелъ! Сидишь ты но безъ тебя и не знаемъ... Тоска одна!

— Да я такъ...

Всѣ умолкли. На всѣхъ присутствующихъ, дѣйствительно напала злая тоска.

Но въ это время Семень Черный рѣшительно посмотрѣлъ на Семена Бѣлаго, указывая послѣднему на свои плисовые штаны, которые часто закладывались въ кабаки. Семень Бѣлый безмолвно отвѣчалъ ему удивленіемъ и выразилъ его за его рѣшимость, полное одобреніе. Поэтому, Семень Черный немедленно всталъ и вышелъ. Когда же онъ воротился то плисовыхъ штановъ на немъ, конечно, уже не было: были простые посконные, продранные на колѣняхъ.

— Куда это ты дѣвалъ штаны свои?—насмѣшливо спросилъ у него Потаповъ.

Семень Черный, разумѣется, ничего не могъ отвѣтить: смущенно мигалъ, но все-таки немедленно вынулъ изъ-под полы штофъ водки и молча поставилъ его на столъ. Такъ какъ Семень Черный нерѣдко приносилъ свои плисовые штаны и другія принадлежности костюма въ жертву общему тайнымъ желаніямъ, то никто не удивился при появленіи водки и никто не подвергалъ его допросу относительно причины этого появленія.

Прежняя шумливость компаніи возвратилась. Пошла водка. Водкой распоряжался Семень Черный, по праву самоотверженности; онъ поочередно каждому подавалъ и вино-зеленый стаканчикъ и блаженно улыбался. Самъ же выпивалъ послѣ всѣхъ, причемъ вдругъ дѣлался серьезнымъ.

— Ну-ка, братъ, выпей. А то ужъ ты очень...—сказалъ Семень Черный, подавая грязно-зеленый стаканчикъ Д

Дема сперва взявъ стаканчикъ, подержалъ его въ рукѣ, но потомъ вдругъ поставилъ на столъ.

— Не могу! Душа не принимаетъ!—отвѣтилъ Дема и отошелъ въ сторону. Черезъ нѣкоторое время онъ совсѣмъ ушелъ, спросивъ только:

— Стало быть, послѣ-завтра?

— Будь готовъ,—отвѣчали ему.

Когда Дема вышелъ, присутствующіе долго еще находились подъ его впечатлѣніемъ, пронизанные какимъ-то неопредѣленнымъ, но тяжелымъ чувствомъ. Не помогъ даже и шотъ водки.

— Эхъ, какъ его сердешнаго перевернуло!—сказалъ Петръ Безпаловъ, говоря объ ушедшемъ Демѣ.

На это никто не отвѣчалъ. Только Кирюшка Савинъ, неосторожно проливъ водку на бороду и грустно улыбаясь, заявилъ, что ему также тошно и что было бы хорошо, если бы теперь закусить огурчикомъ.

Дема не пошелъ въ эту ночь въ избу, несмотря на то, что шелъ дождь; онъ прошелъ въ сарай и тамъ легъ на соломѣ. Тоска грызла его все больше и больше. Онъ могъ нѣсколько успокоиться и заснуть только тогда, когда твердо рѣшилъ уйти изъ деревни, поскорѣе и навсегда. Въ этомъ ему помогъ случай.

На постели, гдѣ лежала Настя, лохмотьевъ уже не было. Иваниха выбросила ихъ и убрала свою невестку, и Настя не казалась уже странною съ своею мягкою красотой. Блѣдное лицо ея сдѣлалось еще лучше и чище послѣ смерти, которая еще не успѣла обезобразить свою жертву. Болѣзнь смыла съ нея грязь, смерть же уничтожила на немъ страданіе. Всѣ черты ея запечатлѣны были покоемъ, котораго она не знала при жизни.

Она и умерла тихо, безъ стонувъ и безъ конвульсій. Это было вочью, никто не зналъ, какъ она умерла и что сказала. Иваниха задремала и прокараулила, а когда очнулась, то Насти уже не было.

Иваниха не стала ревѣть; не проронила даже слезы. И какъ бы она стала ревѣть басомъ? Это не шло къ ней. Она,

правда, долго стояла надъ постелью умершей, но ничего не говорила.

Оправившись отъ своего одѣщенія, она принялась молниеносно и сосредоточенно убирать свою невѣстку въ неизвѣстный путь. Она открыла свой сундукъ, отложила оттуда свое лучшее бѣлье, какое только было у ней, взяла лучшую холсть, какой только она имѣла, и принялась за дѣло. Если бы Настѣ надо было отдать все имущество, то Иваниха не задумавшись, отдала бы. Зачѣмъ теперь имущество старой каргъ? Теперь ей ничего не надо, — прожить!

Иваниха замерла на мѣстѣ только тогда, когда пошла идти Дему, чтобы сообщить ему о смерти жены. Она прохолодѣла вся. Но страхъ ея былъ напрасень. Дема блѣднѣлъ, замигалъ глазами и сѣлъ на порогъ. Повидимому, онъ даже ожидалъ этого и какъ будто совсѣмъ не удивился.

Черезъ длинный промежутокъ времени онъ пересѣлъ на лавку, возлѣ изголовья своей жены, и застылъ тутъ. Иваниха онъ бережно гладилъ своею большою черною рукой руку умершей и все о чемъ то думалъ, упорно смотря въ полъ. Иваниха долго стояла передъ нимъ и наблюдала. Это была минута, когда она готова была заревѣть.

— А я такъ полагаю, что это мнѣ ужъ предѣлъ таной, такъ уйти, — промолвилъ только разъ Дема и вопросительно смотрѣлъ въ пространство. Но черезъ минуту онъ уже снова задумался.

Послѣ этого Иваниха оставила его одного, занявшись приготовленіемъ къ похоронамъ. Надо сперва сдѣлать гробъ. Для этого лучше всего снять доски съ пола, — болѣе досокъ взять не откуда. И куда ей полаты? Не надо ей ничего. Тамъ семь досокъ, и четыре изъ нихъ какъ разъ подходило къ росту Настасьи.

Потомъ надо уговорить попа похоронить нынче же, потому что завтра утромъ Дема долженъ отправляться въ путь. Оставаться же ему здѣсь не зачѣмъ, — только изведетъ пользу никому не принесетъ. Но согласіе попа похоронить сегодня же надо купить, и это стоитъ три рубля, а у Иванихи денегъ нѣтъ. Иваниха мрачно задумалась.

Но въ это время къ ней явилась неожиданная помощница — артельщица, которые уже узнали, что хозяйка Демы по-

да. Сперва явился Кирюшка Савинъ, потомъ Семень Бѣлый, потомъ Петръ Безпаловъ и, наконецъ, всѣ артельщики, а также семьи ихъ. Всѣ товарищи Демы старались сначала чѣмъ-нибудь утѣшить Дему и изъявили готовность по мѣрѣ силъ помочь ему.

Но Дема не обращалъ ни на кого вниманія; онъ только, какъ и прежде, сказалъ, глядя вопросительно въ пространство:

— А я такъ полагаю, что это мнѣ ужъ предѣлъ такой, т. е. уйти.

Проговоривъ это, Дема опять задумался.

Это было сказано страннымъ голосомъ, съ страннымъ взглядомъ, но артельщики не удивились. Они поняли необходимость предоставить Дему себѣ самому и не приставали къ нему, боясь разбедерить его тихую тоску. Дема такъ и просидѣлъ весь этотъ день на лавкѣ, никѣмъ не тревожимый. Изъ волости пришелъ было посланецъ за Демой, но Иваниха живо выпроводила его, пригрозивъ ему кочергой, изъ чего посланецъ сейчасъ же заключилъ, что ей и Демѣ некогда.

Каждый изъ артельщиковъ съ жаромъ принялись помогать Иванихѣ въ ея хлопотахъ. Кирюшка Савинъ тотчасъ же сѣлъ съ полатей доски и началъ дѣлать гробъ; онъ былъ плотникъ и потому дѣло его двигалось быстро къ концу. Петръ Безпаловъ и Климентъ Дальній отправились копать могилу, а Потаповъ пошелъ къ попу. Безъ дѣла на время оставались только Семень Черный и Семень Бѣлый, но скоро и имъ Иваниха нашла дѣло въ избѣ. Притомъ, Семену Бѣлому предстояло въ этотъ день оказать специальную услугу.

Въ виду недостатка денегъ у Иванихи, артельщики ссудили ей изъ своей кассы полтора рубля, да сама она вынула изъ какой-то преисподней тряпку, въ которой были завернуты рубль мѣдными деньгами, очевидно, припрятанными лѣтъ двадцать тому назадъ на черный день. Но все-таки полтинника не доставало. Вотъ здѣсь и помогъ Семень Бѣлый. Онъ взглянулъ на Семена Чернаго, пошепталъ ему что-то и вышелъ, сопровождаемый одобрительнымъ взглядомъ Семена Чернаго. Онъ побѣжалъ въ кабачокъ, заложилъ тамъ свою илисовую жилетку за полтинникъ съ прибавкой чарки водки и явился въ избу къ Иванихѣ въ посконной рубахѣ; только поднявъ дорогой веревочку и подпоясавшись.

Такъ весь день прошелъ въ хлопотахъ. Похороны Насти совершены были уже вечеромъ. Гробъ несли артельщики, а сопровождали его ихъ семьи.

Въ тотъ же день Иваниха пошла на сходъ, вмѣсто Дему, и объявила тамъ, что Дема отказывается и отъ поддуши. Сходъ снова заволновался. Былъ предложенъ вопросъ: скоро ли всѣ разбѣгутся? И другой: ежели всѣ разбѣгутся, то кто станетъ платить? Какъ и вчера, парашкинцы волновались, говорили, злились, унывали, наконецъ, упали духомъ и разошлись по домамъ, ничего не рѣшивъ.

Рано утромъ на другой день Иваниха провожала Дему. Дема сидѣлъ на завалинкѣ своей избы и, держа на колѣняхъ шапку, глядѣлъ въ даль. На него страшно было взглянуть. Онъ сгорбился, похудѣлъ и выглядѣлъ безпомощнымъ.

Иваниха стояла подлѣ него. Она передала ему котомку, а за пазуху положила какой-то узелокъ. Оба молчали. Иваниха крѣпилась и не выказывала наружу своей тревоги.

Наконецъ, она сказала сдержанно:

— Приходи повидаться-то.

Дема поднялъ голову.

— А можетъ, и не свидимся, — возразилъ Дема, отвѣчая. казалось, не на просьбу Иванихи, а на какую-то свою мысль. Помолчали.

Иваниха все крѣпилась. Было только одно мгновеніе, когда она измѣнила себѣ. Она погладила рукой по головѣ уходявшаго и тихо, неслышно сказала:

— Сынокъ мой! — и голосъ ея задрожалъ.

Вотъ и все. Это было одно мгновеніе.

Скоро собрались всѣ артельщики, въ сопровожденіи своихъ бабъ и ребятишекъ, и начали торопить Дему. На прощанье они дали обѣщаніе Иванихѣ, что они строго будутъ блюсти Дему, пока онъ не оправится.

Всю послѣднюю ночь шелъ дождь, а утромъ поднялся съ земли густой туманъ, разстлавшійся вдоль улицы, на рѣкѣ по лугамъ и дальше, дальше. Онъ неподвижно лежалъ на землѣ, какъ бы застывъ въ густую массу, не поднимаясь

и не волнуясь, и только чуть заколыхался при проходѣ артельщиковъ съ толпой ихъ семействъ.

Иваниха постояла на крыльцѣ, подождала, пока всѣ фигуры уходившихъ скрылись, окутанныя мглой, и отвернулась. Сначала одиночество ей показалось ужаснымъ, но потомъ, подумавъ немного, она рѣшила, что такой старой каргѣ ничего не нужно, кромѣ избы и куска хлѣба. А если у ней и хлѣба не будетъ, и силъ больше не будетъ, и ничего не будетъ, то и хорошо, потому что эдакую старую собаку жалѣть нечего... Иваниха съ ненавистью оглянула деревню.

VI.

Какъ и куда они переселились.

На берегу рѣки Парашки и донинѣ еще стоитъ одинокій столбъ, окрашенный въ черную и бѣлую краску. Онъ устоялъ, когда вокругъ него все разрушалось. Его обливалъ дождь, обдували вѣтры, черви точили его внутренности, а онъ все стоитъ. На верху его прибита доска, которая гласитъ: „Деревня Парашкино, душъ 470, дворовъ 96“, но эта надпись такъ же устарѣла, какъ и самый столбъ, и еслибы кто повѣрилъ ей и сталъ отыскивать девяносто шесть дворовъ, заключающихъ въ себѣ четыреста семьдесятъ душъ, то, вѣроятно, пришелъ бы въ недоумѣнiе, потому что мѣсто, гдѣ должны быть дворы, покрыто однѣми развалинами.

Повсюду кругомъ вѣяло запустѣнiемъ и заброшенностью. Рѣка тихо катила свои мутныя струи, берега ея поросли мелкимъ кустарникомъ, а ея поверхность покрылась лопухами и кашкой, какъ поверхность озера. Нигдѣ не видно тропинокъ, даже дорога, ведущая къ мосту, заросла травой, только самъ мостъ уцѣлѣлъ, хотя его никто больше не поправляетъ, и онъ видимо готовъ былъ запрудить собой рѣку. Гдѣ же дворы? Прежде деревня далеко тянулась въ два порядка вдоль рѣки, а теперь остались отъ улицы одни только слѣды. На мѣстѣ большинства избъ виднѣется пустое пространство, заваленное навозомъ, щепками и мусоромъ и поросшее крапивой. Кое-гдѣ, вмѣсто избъ, просто ямы. Нѣсколько десятковъ избъ—вотъ все, что осталось отъ прежней деревни. Стоялъ, безъ видимой причины, еще одинъ сортъ избъ, въ которыхъ не было ни дверей, ни оконъ, ни даже потолка, а около нихъ не находилось никакихъ строенiй, такъ что издали онѣ казались срубами, употребляющимися для ловли звѣрей.

Въ нѣсколькихъ мѣстахъ просто торчали, поверхъ крапивы и полыни, печи съ полуразрушенными трубами, какъ послѣ пожара, истребившаго домъ и изгнавшаго его обитателей. Въ трехъ-четырехъ мѣстахъ лежали огромныя кучи навозной золы, которая во время вѣтра поднималась вверхъ и вмѣстѣ съ остатками другого разнаго сора носилась въ воздухъ надъ этою пустыней.

Вдали виднѣлась барская усадьба Петра Петровича; возлѣ нея высилась церковь и погостъ, а возлѣ погоста волостное правленіе. Дальше тянулся пустырь, оканчивающійся строевыми Епифана Иваныча Колупаева, которыя только и скрашивали мерзость запустѣнія, поражая еще издалика своею обширностью. Епифанъ Иванычъ окрѣпъ отъ всеобщаго парашкинскаго несчастья и широко разросся, какъ поганый грибъ, выросшій на трупѣ.

Отъ прежней деревни, дѣйствительно, остался одинъ трупъ. Много къ этому времени разбѣжалось народу, который рѣдко показывался домой, и деревня исподволь, но непрерывно пустѣла.

И немного осталось жителей въ ней. Все это были люди, сросшіеся съ землей, на которой они жили такъ крѣпко, что связали свою судьбу съ ней. Если земля худала, худали и жители, сидящіе на ней. Въ этой связи заключалось даже своего рода удобство, потому что для парашкинцевъ была нечувствительна собственная захудалость, когда все вокругъ нихъ носило слѣды истощенія и бѣдности. Поля вокругъ деревни уже не засѣвались сплошь, какъ прежде; во многихъ мѣстахъ желтѣли большія заброшенныя плѣшины; тамъ и сама земля покрылась верескомъ, кое-гдѣ вновь появились незамѣтныя раньше болота. Засѣянные же поля были тощи по качеству и незначительны по количеству. А бродившій по кустарникамъ скотъ едва волочилъ ноги, паршивый, худой, съ ребрами наружу и съ обостренными спинами, на которыхъ часто садились галки и клевали мясо.

Но парашкинцы были равнодушны ко всему.

Это равнодушіе день ото дня дѣлалось сильнѣе и распространѣннѣе, проявляясь во всемъ, что ни предпринимали они. На улицѣ, какъ сказано выше, громоздились горы щепъ, золы и всякаго сора, и никто не думалъ счистить это, хотя бы передъ своимъ домомъ. Строенія также стояли безпоря-

дочно среди всякаго разрушенія. Если стѣна косилась, ее не думали подпирать, иная крыша ежеминутно грозила рухнуть и задавить находящихся подъ ней обитателей, но и на это не обращалось вниманія. Рушился сарай, его не понимали, онъ такъ и лежалъ, постепенно растаскиваемый на растопку печей. Падала въ колодезь курица, ее не вытаскивали, а воду начинали брать изъ мутной рѣки или изъ другого колодца. Разбивалось окно, его затыкали тряпицей, соломеннымъ чучеломъ, или просто ничѣмъ не затыкали. Валилась труба, хозяинъ ея только равнодушно удивлялся такой странности: „Труба... экъ ее угораздило! Дивное это дѣло, братецъ ты мой! Все стояла аккуратно, какъ быть должно, и вдругъ—хлопъ!“ Труба оставалась неисправленною, и достаточно было одной искры, вылетѣвшей изъ нея, чтобы истребить огнемъ всю деревню „отъ случайности“. Въ описываемую весну рѣка Парашка почему-то очень сильно разлилась, затопила огороды, снесла много заднихъ дворовъ, повредила часть жилыхъ избъ, но это не возбудило никакого волненія среди пострадавшихъ. У солдата Ершова, какъ его называли за шинель, которую онъ носилъ, и за одну мѣдную пуговицу, которая болталась у него назади, повалило и снесло водой добрый сарай, стоявшій нѣкогда много хлопотъ ему, но онъ и ухомъ не повелъ, когда ему сказали о случившемся. Придя на то мѣсто, гдѣ былъ сарай, онъ замѣтилъ только, что столбы выперло ловко, лучше не надо! „Вона вона! какъ сверлить!“—добавилъ онъ, глядя на рѣку, бушевавшую у его ногъ, и ушелъ.

Парашкинцы были спокойны.

Это странное спокойствіе изо дня въ день становилось невозмутимѣе. Прежде они изъ-за всякихъ пустяковъ волновались, радуясь или огорчаясь, но въ послѣдніе два года передъ описываемымъ ниже событіемъ успокоились. Происходило-ли какое дѣло въ ихъ селѣ, отнимали-ли у нихъ свиней и овецъ, задавали-ли имъ перцу въ счетъ прошедшаго и для разъясненія будущаго, грозили-ли отнять у нихъ землю, находили ли хворь на ихъ дѣтей, умиравшихъ десятками, или падала скоть, они оставались невозмутимы и не задавали себѣ никакихъ вопросовъ насчетъ завтрашняго дня. Даже разносимыя богомольцами и солдатыками мѣны, что въ нѣкоторыхъ отдаленныхъ странахъ живутъ люди съ пѣсьими головами или

то въ Питерѣ стоитъ царскій амбаръ въ двѣ версты длиною, наполненный до верху хлѣбомъ, или что изъ-за моря приплывутъ къ Покрову десять кораблей съ мукой, назначенной на раздачу желающимъ,—даже эти миѳическія сказанія, составившія значительную долю умственной пищи парашкинцевъ, перестали обращаться между ними. Когда-то эта пища возбуждала ихъ, а теперь имъ было все равно. Ничего имъ не надо. Ладно и такъ.

Парашкинцы ко всему стали приспосабливаться.

Положеніе ихъ давно сдѣлалось невозможнымъ, а они уже и думали изъ него выходить и употребляли всѣ силы лишь на то, чтобы приспособиться къ нему. Это не то приспособленіе, когда человѣкъ, сообразуясь съ обстоятельствами, находитъ силы, чтобы улучшить свою жизнь, и вырастаетъ, привыкаясь до высоты новаго положенія; парашкинцы приспособлялись, постоянно понижаясь и понижая уровень своихъ требованій. Чѣмъ хуже становились окружающія условія, тѣмъ хуже дѣлались и они, желая лишь одного—остаться живыхъ. За то въ оставшихся въ ихъ рукахъ дѣлахъ они обнаруживали бездну изобрѣтательности.

У мельника Якова осталось одно время множество отрубей, которыя онъ не зналъ куда дѣть; кормилъ онъ ими гусей, куръ и свиней, но все еще ихъ оставалось много, а въ продажѣ вести не было расчета. Отруби гнили. Въ это время кто-то изъ жителей деревни придумалъ способъ изъ отрубей печь хлѣбъ и во всеуслышаніе хвастался превосходнымъ качествомъ этого печенія. И всѣ приняли съ радостью изобрѣтеніе и начали дѣлать улучшенія въ первоначальномъ способѣ, послѣ чего отруби Якова быстро разошлись, принеся ему значительную выгоду.

Иваниха придумала для той же цѣли употреблять клеверъ клеверный, которымъ одно время она неограниченно пользовалась со двора Петра Петровича; парашкинцы усвоили и это открытіе и начали одолаживать просьбами Петра Петровича. Такъ какъ у послѣдняго ежегодно засѣваемый клеверъ гнилъ, то онъ вообще не приносилъ никакой выгоды въ его хозяйствѣ, то онъ много роздалъ его даромъ всѣмъ парашкинцамъ и радовался, что, наконецъ, нашъ народъ начинаетъ усваивать плоды рациональнаго полеводства. Конечно, онъ былъ пораженъ, когда узналъ черезъ нѣкоторое время, что парашкинцы

клеверъ его сами съѣли, и даже пересталъ раздавать, ругая грязную сволочь, которая ничѣмъ не брезгаетъ, но парашкинцы долго еще шатались къ нему, а одинъ разъ даже всю деревней пришли.

— Дашь?—спросили они равнодушно, словно дѣло шло о понюшкѣ табаку.

— Не дамъ,—отвѣтилъ Петръ Петровичъ.

— Отчего не дамъ?

— Потому что вы сами жрете! Ахъ, вы... Чортъ знаетъ, что такое! И какъ это вы выдумали ѣсть такую мерзость?—говорилъ Петръ Петровичъ и злился.

— Ну, овса,—сказали парашкинцы. Овесъ въ это время былъ очень дешевъ.

— И овса не дамъ!—закричалъ выведенный изъ себя Петръ Петровичъ.

— Что ты серчаешь? Мы тѣ заработаемъ. Хочешь канаву вырыть—выроемъ тебѣ канаву. Хочешь болото просушить—и болото просушимъ. Дашь?

Петръ Петровичъ задумался. Принятая имъ прежде система найма рабочихъ перестала удовлетворять его; онъ сталъ сомнѣваться, дѣйствительно-ли онъ хорошо поступаетъ, нанимая парашкинцевъ за два, за три года впередъ и почти за безцѣнокъ. Парашкинцы давно уже продали себя ему и если не приходили въ отчаяніе отъ такого порядка, то это зависѣло лишь отъ ихъ равнодушія къ своей жизни. Поэтому, въ данномъ случаѣ, у него опустились руки, и онъ далъ просителямъ по пуду муки, какъ дѣлалъ это не одинъ разъ. Парашкинцы получили муку и съѣли.

Приходила имъ четыре раза земская ссуда, пришла и въ эту весну, причемъ земство различило хлѣбъ, назначенный на сѣмена, отъ хлѣба, назначеннаго на пропитаніе. Но парашкинцы не различали,—они получили ссуду и съѣли ее.

Былъ у нихъ, совмѣстно съ двумя другими деревнями, хлѣбный магазинъ, случайно еще хранившій въ себѣ овесъ, на половину прогнившій, на половину изгрызенный мышами, но парашкинцы не разбирали тонкостей: они раздѣлили овесъ и съѣли его.

Ходили они и къ Колупаеву, прося у него подъ работу по пуду. Отказалъ.

— Дашь?—спросили они равнодушно.—Не дамъ,—отвѣчалъ

сначала Колупаевъ; однако, имъ овладѣла тревога. Онъ такъ, при взглядѣ на парашкинцевъ, дѣлался раздражительнымъ и беспокойнымъ, ибо, завлекая ихъ въ свои сѣти и общипывая по одиночкѣ, что требовало большого труда, неутомимаго наблюденія и постоянного содержанія себя въ напряженномъ состояніи, онъ съ нѣкотораго времени чувствовалъ глухое недовольство своею медлительною дѣятельностью, въ особенности когда благосостояніе его сдѣлалось прочнымъ. Ему захотѣлось погубить ихъ сразу, чтобы уже больше не возиться съ ними; онъ только не зналъ, чего ему собственно желать, того-ли, чтобы они куда-нибудь внезапно провалились, оставивъ ему землю, или того, чтобы они за недоимки подпали подъ опеку и были отданы ему на откупъ. Но на этотъ разъ, замѣтивъ необыкновенное спокойствіе просителей, онъ уступилъ. Парашкинцы получили по пуду муки и сѣбли.

Такъ они и жили изо дня въ день, ко всему равнодушные, кромѣ дневнаго пропитанія, да и на пропитаніе обращали лишь незначительное вниманіе, приспособляясь и привыкая къ такой жизни, которая въ иные времена заставила бы ихъ жестоко убиваться. Вслѣдствіе этого, трудъ ихъ сдѣлался случайнымъ, непроизводительнымъ, а потому ни для кого не пригоднымъ. Эти непригодность и непроизводительность, имѣя своею причиною отчасти ихъ апатическое спокойствіе, главнымъ образомъ, зависѣли отъ того, что имъ „не досужно было“ въ должной мѣрѣ заботиться о поляхъ, а равнымъ образомъ и отъ того, что они перестали понимать себя и свои нужды, вообще потеряли смыслъ. Существованіе ихъ за это время было просто сказочное; они и сами не съумѣли бы объяснить сколько-нибудь понятно, чѣмъ они жили. Попадалась имъ невзначай, какъ съ неба свалившаяся, работа, они хватались за нее и перемогались; не попадалось работы, также перемогались. Прорвало въ нынѣшнюю весну плотину у мельника Якова, и парашкинцы неожиданно получили по пуду муки за исправленіе плотины, которая въ одинъ день была приведена въ прежній порядокъ. Случайно прибѣжалъ назадъ къ своему хозяину пропавшій теленокъ—и хозяинъ немедленно же свелъ его въ городъ, а у другого хозяина вдругъ опоросилась свинья двѣнадцатью штуками, и поросята почти мокрыми тоже увезены были въ городъ.

Несчастье вызвало непроизводительность, а непроизводительность еще болѣе увеличивала несчастье. Парашкинцы жили уже не на счетъ своего труда, который или вовсе отсутствовалъ, или былъ бесполезенъ и нелѣпъ, а на счетъ продолжительности своей жизни. Потомъ они стали приспосабливаться уже не къ сей жизни, а къ будущей, доводя до нуля признаки, по которымъ можно было догадаться, что они еще живутъ. Въ сущности, они давно съѣли все, что имъ было, съѣли десять лѣтъ будущаго и принялись ѣсть самихъ себя.

Между тѣмъ, о нихъ всюду начали говорить, хотя сами они ничѣмъ не заявляли о своемъ существованіи, ни на что не жалуясь. Еслибы сотая доля этихъ несчастій произошла въ другомъ общественномъ слѣдѣ, то поднявшійся по этому поводу оглушительный вопль проникъ бы всюду, куда предназначено, но парашкинцы молчали. Ихъ осталось уже не много, и въ деревнѣ царствовала мертвая тишина. Женщины ходили и работали машинально, истомленные, угрюмые и вялые, дѣти не играли, совсѣмъ не показываясь на улицѣ. Мужики не собирались на сходъ, или соберутся, но молчатъ, а если начнутъ говорить, то о пустякахъ; когда же кто хотѣлъ заговорить о дѣлѣ, на того накидывались и чуть не силой затыкали ему ротъ,—до такой степени они дорожили своимъ спокойствіемъ. Свѣжему человѣку просто жутко было жить среди такого народа.

Пріѣхалъ къ нимъ губернскій гласный, посланный въ этомъ спеціально для того, чтобы посмотреть на парашкинцевъ. Еще не доѣзжая до села, онъ уже все понялъ и почувствовалъ желаніе поскорѣе уѣхать изъ зачумленного мѣста. Но онъ волей-неволей долженъ былъ исполнить свою обязанность и собралъ всѣхъ парашкинцевъ около волостнаго правленія. Парашкинцы, однако, молчали и каждое слово надо было насильно вытягивать изъ ихъ устъ.

— Всѣ вы собрались?—спросилъ, прежде всего, гласный.

Парашкинцы переглянулись, потоптались на своихъ мѣстахъ, но молчали.

— Только васъ и осталось?

— А то сколько же?—грубо отвѣчалъ Иванъ Ивановъ.

— Остальные-то на заработкахъ, что-ли?—спросилъ гласный, раздражаясь.

— Остатніе-то? Эти ужь не вернутся... нѣ-ѣтъ! Всѣ мы тутъ.

— Какъ же ваши дѣла? Голодуха?

Парашкинцы пошевелились, переступили съ ноги на ногу, но хранили глубокое молчаніе, вперивъ двадцать слишкомъ паръ глазъ въ гласнаго. Имъ, видимо, былъ не по нутру предметъ разговора, а въ заднихъ рядахъ слышался даже ропотъ, очень непріязненный, къ гласному: „Пріѣхалъ... и чего ему надо? По какой причинѣ пріѣхалъ?“

— Такъ какъ же,—спрашивалъ,—голодуха?

— Да ужь, должно полагать, она самая... Словно какъ бы дѣло выходить на эту точку... Стало быть, предѣлъ, — отвѣчало нѣсколько голосовъ вяло и апатично.

— И давно такъ?

На этотъ вопросъ за всѣхъ отвѣчалъ Егоръ Панкратовъ:

— Какъ же не давно? — сказалъ онъ. — Съ которыхъ ужь это поръ идетъ, и мы все перемогались, все думали, авось пройдетъ, авось Богъ дастъ... Вотъ она слѣпота-то наша какая!

— Что же вы, чудаки, молчали?

— То-то она слѣпота-то и есть!

— Теперь-то хотъ имѣете вы что-нибудь въ виду? Намѣрены что-нибудь предпринять? — спросилъ гласный и получилъ въ отвѣтъ одинъ ничего незначащій вздоръ.

— Да ужь что ни на есть, а надо... Промышлять ни то будемъ... Безъ этого ужь нельзя... Какъ же безъ этого, безъ пропитанія-то?—и такъ далѣе, все въ томъ же смыслѣ.

Постоялъ-постоялъ на крыльцѣ гласный и самъ замолкъ. Задалъ было онъ еще нѣкоторые вопросы парашкинцамъ, да они отвѣчали ему до такой степени ни съ чѣмъ несообразную чепуху, что онъ сталъ собираться къ отъѣзду; довольно насмотрѣлся! На него нахлынуло то тяжелое, хотя и безформенное чувство, когда руки опускаются и противно глядѣть на все окружающее... И хочется закрыть глаза, все забыть и хотъ на минуту забыться, а силъ на это нѣтъ. Тогда первое, что представляется уму, это—бѣжать скорѣе, если возможно...

— А что, ежели спросить вашу милость, къ примѣру, насчетъ, будемъ прямо говорить, ссуды... будетъ намъ ссуда, ай нѣтъ?—спокойно освѣдомились парашкинцы, когда гласный сѣлся въ телѣжку.

— Ничего вамъ не будетъ!—мрачно отвѣтилъ онъ и уѣхалъ.

Не одинъ гласный губернскаго земства бѣжалъ и увозилъ отъ парашкинцевъ тяжелое чувство; всѣ, кто имѣлъ съ ними какія-либо сношенія, испытывали то же самое и потому старались не заглядывать къ чумнымъ людямъ.

Даже исправникъ и становой на эту весну ѣздили къ нимъ только по необходимости. Первый посѣщалъ ихъ изрѣдка лишь затѣмъ, чтобы посмотреть, тутъ-ли они, живы-ли! Что касается послѣдняго, то онъ, разумѣется, волей-неволей долженъ былъ навѣщать ихъ, но дѣлалъ это уже безъ прежней увлекательности, потому что никакихъ дѣлъ съ нимъ у него больше не было. Приневоленный своими обязанностями отъ времени до времени появляться среди парашкинцевъ онъ ѣхалъ къ нимъ съ отвращеніемъ, уѣзжалъ съ страннокъ меланхоліей, какъ будто началъ сомнѣваться, дѣйствительно-ли его должность и проистекающія изъ нея обязанности имѣютъ смыслъ послѣ того, какъ выбивать было больше ничего, и можетъ-ли онъ по совѣсти сказать, что получаетъ жалованье за работу? Однимъ словомъ, на всѣхъ парашкинцевъ наводили уныніе.

Сами парашкинцы еще болѣе притихли, когда ихъ началъ чуждаться сторонніе люди; они замкнулись въ себѣ и не предпринимали никакихъ мѣръ противъ своего несчастья, уклоняясь даже отъ взаимныхъ совѣтовъ, которыми въ прежнія времена они облегчали свои души. Водворившаяся, такимъ образомъ, мертвая тишина дѣйствовала еще болѣе удручающимъ образомъ; рѣдко можно было увидѣть кого-нибудь изъ нихъ въ полѣ, на улицѣ или въ какомъ другомъ мѣстѣ; если же кто и показывался, то всѣ дѣйствія его были настолько странны, что ихъ скорѣе можно было приписать челоуѣку, опоенному дурманомъ. Шальное выраженіе лицъ, безцѣльность и безпричинность въ разговорѣ, полнѣйшее отсутствіе сознательности—таковы качества, отличавшія всѣхъ вообще парашкинцевъ. Ихъ забыли и они всѣхъ людей забыли. Тогда, не видя другихъ людей, кромѣ ошалѣвшихъ, не слыша возбуждающихъ словъ или угрозъ, поощреній или совѣтовъ, не видя вокругъ себя ничего, кромѣ дикости и запустѣнія, безъ цѣли въ жизни и безъ надеждъ, пустые и оступѣвшіе, парашкинцы одичали.

Стали они пить, чтобы чѣмъ-нибудь наполнить пусто

ремя и пустоту въ умахъ своихъ, а такъ какъ своихъ собственныхъ средствъ у нихъ не было, то они норовили поить перваго провинившагося противъ нихъ человека другою деревни, приводили его къ кабаку и брали сивухи. Здѣсь, коло кабачка, на заросшей полянью лужайкѣ они и пили съ виѣсть; здѣсь веселѣе, здѣсь же нерѣдко происходили между нѣкоторыми изъ нихъ битвы съ кровопролитіемъ; наконецъ, здѣсь же, противъ кабачка, нѣкоторые изъ нихъ плакали навзрыдъ, укоряя другъ друга въ глупости, въ свинствѣ и въ безбожіи.

Въ такомъ-то нравственномъ состояніи былъ возбужденъ солдатомъ Ершовымъ вопросъ о переселеніи на новыя мѣста. Солдатъ Ершовъ числился хозяиномъ, имѣлъ одну душу, но землю давно бросилъ и началъ промышлять пропитаніе другими способами, изо дня въ день, отличаясь отъ остальныхъ жителей только тѣмъ, что былъ неизмѣримо изобрѣтательнѣе ихъ, чему не мало помогала его безсемейность и знакомство со многими отдаленными странами. У него, по-скажи, и была своя семья, состоящая изъ жены и двухъ взрослыхъ дочерей, только онъ никогда ихъ не видалъ, а часто даже не зналъ, въ какихъ мѣстахъ онѣ спасаются. Разбредись онѣ въ разныя стороны еще въ началѣ парашинскаго несчастія и съ тѣхъ поръ жили особнякомъ, каждая сама по себѣ: жена въ Москвѣ, одна дочь въ Питерѣ, другая дочь всюду, потому что не имѣла постоянного мѣстожительства; самъ же солдатъ оставался дома, хотя домъ его былъ только центральнымъ пунктомъ, откуда онъ дѣлалъ экскурсіи, простиравшіяся на всѣ окрестности и продолжавшіяся иногда по цѣлымъ мѣсяцамъ. Какъ и дочь, онъ, въ худости, не имѣлъ опредѣленнаго пристанища, промышляя пропитаніе подобно птицѣ небесной.

Характеръ его труда былъ въ высшей степени неопредѣленный, вслѣдствіе чего пропитаніе его зависѣло всегда отъ случайности, отъ стеченія благоприятныхъ или неблагоприятныхъ обстоятельствъ. То онъ живетъ цѣлую недѣлю у поповны въ кухарки, которая вдругъ заболѣла, и мѣситъ пироги, наруживая въ этомъ занятіи увлеченіе и близкое знакомство съ дѣломъ; то отучаетъ у барина жеребятъ отъ соски и скоро достигаетъ своей цѣли, употребляя особые намордники и перцовку; то вдругъ дѣлается нянькой у богатаго

мужика, живущаго за пятьдесятъ верстъ отъ Парашкина. въ этомъ качествѣ живетъ всю страду, выговоривъ за свѣтъ трудъ скромное вознагражденіе — „дневное пропитаніе и поги къ Успенію“. Часто онъ уходилъ, если ужъ нигдѣ могъ пристроиться, въ Сысойскъ, и тамъ въ подвалахъ, куда имѣлъ по своему обширному знакомству свободный доступъ ловилъ крысъ, продывая шкурки на лайку. Конечно, о полезности и производительности труда здѣсь не могло быть рѣчи.

Ершовъ былъ въ томъ же положеніи и такъ же приспособился, какъ и всѣ вообще парашкинцы. Тѣ приспособлялись къ смерти, сокращая свою жизнь до нуля, и онъ приспособился къ загробной жизни; тѣ съѣли все, что было, и въ то что будетъ за десять лѣтъ впередъ, и онъ также. Только онъ былъ изобрѣтательнѣе. Весной, когда онъ принужденъ былъ часто оставаться дома, что дѣлалось имъ крайне неохотно, онъ пропитывался чуть не однимъ воздухомъ, придумывая въ то же время разные способы обмануть свой голодъ: ѣлъ щавель, отыскивалъ какіе-то коренья, называя ихъ „сибирскимъ корнемъ“, жарилъ какіе-то листья, называя ихъ „ячмѣй капустой“, и проч. Просто было удивительно видѣть въ такомъ старомъ человѣкѣ столько неутомимости!

Наконецъ, въ послѣднюю весну онъ остался навсегда. Сказалась-ли въ немъ дряхлость, — ему было уже около шестидесяти лѣтъ, — или начала угнетать вообще усталость безцѣльность существованія, только онъ сильно затосковалъ. Сталъ онъ частенько высказывать желаніе поселиться где-нибудь навѣсѣ, подумывалъ также о собственномъ постояломъ пристанищѣ, гдѣ бы можно было положить старыя кости, и о покоѣ, который заслуженъ имъ. Когда же ему говорили, что пристанище у него есть — его домъ, то онъ возражалъ, что дома у него можно только волка заморозить, не то, чтобы успокоить человѣка, да и вообще, относительно деревни, мнѣніе его было таково, что въ этомъ мѣстѣ умереть спокойно не дадутъ.

Однажды, когда волостное начальство собрало всѣхъ парашкинцевъ на сходъ и выдало каждому изъ нихъ книжечку недоимокъ, вмѣсто книжекъ податей, Ершовъ задумчиво говорилъ о мѣстахъ, гдѣ ему пришлось бывать, и о мѣстахъ,

о которых онъ слыхалъ, причемъ онъ горько плюнулъ, сравнивъ эти мѣста съ своею деревней.

— А знавалъ я, — говорилъ онъ, — нечего Бога гнѣвить, чудесныя мѣста, ну, ужъ точно что мѣста! Тамъ бы и помирать не надо; такъ бы и остался тамъ навѣки вѣки вѣчные! Перво-на-перво — гнѣсъ: гущина такая, что просвѣту нѣтъ; какъ заберешься въ такую темноту, такъ только креститься, какъ бы выбраться, да не заблудиться... одно слово — божеское произволеніе! И земля... сколько душъ угодно, а наземъ, черноземъ, стало быть, косая сажень въ глубь, во какъ! и при этихъ словахъ Ершовъ провелъ ладонью отъ земли до своей макушки и добавилъ: — Видалъ, видалъ я всякія мѣста!

Парашкинцы стали прислушиваться, заинтересованные словами Ершова, что давно уже не замѣчалось среди нихъ.

— Такъ вотъ, братцы, и намъ бы въ такія мѣста пробраться, — сказалъ далѣе Ершовъ и вопросительно оглядывалъ всю сходку.

— Больно ты ловокъ! — недовѣрчиво воскликнули многіе. Но было уже ясно, что интересъ къ словамъ Ершова былъ возбужденъ, что доказывалось, во-первыхъ, инстинктивною таинственностью, съ какою сходка отодвинулась подальше отъ волостного правленія, выбирая укромный уголъ, защищенный хлѣвомъ и огородомъ, во-вторыхъ, волненіемъ, проявлявшимся по всѣмъ мертвымъ лицамъ.

— Да, право! Взяли бы пашпорта и ушли-бы такимъ маверомъ; и было бы все честь-честью, — продолжалъ, между тѣмъ, Ершовъ.

— Ловокъ! Уйдешь! Какъ же ты уйдешь, выкрутишься-то какъ отсюда? — раздались вопросы со всѣхъ сторонъ.

Это было уже не простое любопытство, а сознание кровности дѣла. Сходка начала колыхаться, прежней апатіи и спокойствія не замѣчалось уже ни на одномъ лицѣ. А Ершовъ продолжалъ:

— Отселѣ-то какъ выкрутиться? Говорю: возьмемъ пашпорта и уйдешь, по причинѣ, напримѣръ, заработковъ, — возражалъ Ершовъ и самъ началъ волноваться.

— А какъ поймаютъ?

— На кой людъ ты нуженъ? Поймаютъ! Кто насъ ловить-то будетъ, коли ежели мы вниманія не стоимъ, по причинѣ

недоумокъ? А мы сдѣлаемъ все какъ слѣдуетъ, честь-честью съ паспортами...

Можно было слышать, какъ пѣло нѣсколько комаровъ, вьющихся надъ сходомъ,—такова была тишина, водворившаяся среди говорящихъ. Всѣ парашютицы плотною кучей встали и жадно слушали Ершова, устремивъ на него напряженные взоры. Ершовъ воодушевился и заговорилъ взволнованнымъ голосомъ:

— Братцы! — сказалъ онъ, снимая шапку. — Оставаться намъ здѣсь невозможно; доживемъ только до грѣха въ этомъ мѣстѣ... Уйдемъ! Побросаемъ домишки и уйдемъ! Тутъ ужъ намъ жить нельзя! Тутъ только помирать... Уйдемъ! А ежели дорогой приключится съ нами что ни на есть, такъ намъ все единственно, хуже не будетъ... Такъ-ли, правильно-ли говорю?

— Такъ! Такъ! Вѣрное слово, хуже не будетъ! Справедливо! — заговорилъ весь взволнованный сходъ.

— Что-жь, поколѣвать намъ здѣсь, а? Поколѣвать, говорю? Нѣтъ, братъ, шалишь! — закричалъ Иванъ Ивановъ грозно поводя сумасшедшими глазами во всѣ стороны.

Ивану Иванову закрыли ротъ шапкой, но это не значило, что сходка была несогласна съ нимъ; напротивъ, послѣ ея восклицаній никто больше не колебался. Найдены были выходъ, а куда онъ поведетъ, никто объ этомъ не думалъ. Стали спрашивать Ершова о мѣстѣ, куда онъ, въ качествѣ бывалаго человѣка, намѣренъ повести деревню, но эти разпросы были поверхностны, словно это мѣсто мало кого касалось. Дѣйствительно, парашютицы видѣли одинъ только выходъ, неожиданно открывшійся имъ, закрытымъ и помраченнымъ людямъ.

— Пойдемъ, куда глаза глядятъ, и до которыхъ мѣстъ дойдемъ, тамъ и сидемъ, — сказалъ Иванъ Ивановъ, выражая общее настроеніе.

Ершовъ, однако, попытался рассказать о новыхъ мѣстахъ, которыя онъ имѣлъ въ виду, причемъ, описывая ихъ живыми и яркими красками, самъ волновался; у него у самого духъ захватывало отъ своего рассказа. Выходило такъ: хлѣба тамъ въволю, ѣшь, сколько душа просить; въ лѣсу можно заблудиться; въ лугахъ можно пропасть совсѣмъ; въ рѣкахъ рыбъ прямо руками бери; въ озерахъ караси кишать; птицы всѣ

кой—тучи; черноземъ—во! При этихъ словахъ Ершовъ опять провелъ ладонью отъ земли до макушки своей головы. Дальше же его описанія были еще лучше: степь неоглядная, кругомъ ни души, воля! Жить можно. Только православныхъ нѣтъ, а все киргизъ.

— И нѣтъ тамъ ни одной православной души, все киргизъ?—спросилъ кто-то.

— Кругомъ киргизъ! — отвѣчалъ Ершовъ, блѣдный, едва переводя духъ.

— Ну, ну! Какъ же съ нимъ, съ собакой, совладаешь, жить-то съ нимъ какъ?

— Киргизъ—онъ ничего; киргизъ—онъ честный. Если ты его попоишь чайкомъ, онъ тебѣ лугу отвалитъ... Вотъ онъ какой киргизъ!

Это была единственная справка, наведшая смущеніе на парашкинцевъ, но, немного погодя, уже кто-то возразилъ:

— Да все одно—киргизъ, такъ киргизъ!

Дальше Ершову не зачѣмъ было и доказывать необходимость переселенія. Напротивъ, онъ долженъ былъ охлаждать волненіе, охватившее всю сходку. Глаза у всѣхъ лихорадочно горѣли; лица были взволнованныя и безумныя; каждый принялся говорить, не слушая другихъ; началось смятеніе, гвалтъ. Напрасно Фролъ убѣждалъ остепениться и хорошенько обсудить дѣло, напрасно онъ говорилъ, что дѣло это трудное и что за него придется держать отвѣтъ, парашкинцы все пропускали мимо ушей. Ихъ можно было обуздать однимъ только страхомъ, что Фролъ и сдѣлалъ, сказавъ, что если они будутъ гадѣть и вообще вести себя неосторожно, такъ ихъ закроютъ и не пустятъ. Парашкинцы это поняли и мгновенно затихли, такъ что снова слышно было пѣніе комаровъ. Они рѣшили немедленно разойтись по домамъ и собраться ночью, но не на открытомъ мѣстѣ, а въ лѣсу. Чтобы дѣло было вѣрнѣе, рѣшили еще втянуть въ умыселъ и старосту, для чего привели его изъ волостного правленія на сходъ и стали убѣждать пристать къ міру. Тотъ сперва отлынивалъ, путался въ словахъ и потѣлъ, но его начали стыдить:

— Что ты съ нами дѣлаешь? Гдѣ у тебя совѣсть-то? Душа-то, крестъ-то есть-ли у тебя?

Старосту пристыдили, а такъ какъ положеніе его было не менѣе ужасно, чѣмъ и всѣхъ остальныхъ, то очень скоро,

понявъ неизбѣжность переселенія, онъ и самъ сталъ лихорадочно сіять глазами и безумствовать.

Настала ночь, и парашкинцы собрались въ условленномъ мѣстѣ. То была прогалина, со всѣхъ сторонъ закрытая густою чащей кустарниковъ и деревьевъ. Въ ней было совершенно темно; только когда вышла луна, то печальные лучи ея чуть-чуть освѣтили верхушки деревьевъ и середину прогалины, гдѣ стояла кучка народа; но и окраины, и пространство между деревьями сдѣлались еще мрачнѣе. Было тихо. Иногда вдали раздавался трескъ сухихъ вѣтвей: то перебѣжалъ заяцъ на другое мѣсто, показавшееся ему, вѣроятно, болѣе безопаснымъ; гдѣ-то выпорхнулъ изъ-подъ куста тетеревъ; одинъ разъ, вблизи собравшихся, сѣлъ на дерево филинъ, мрачно захохоталъ и скрылся. Подувалъ вѣтерокъ; шелестѣла листва. Парашкинцы тѣсно сбились въ кучку, имѣвшую посерединѣ солдата Ершова, чувствовали, какъ ужас проникаетъ въ ихъ души, но не трогались съ мѣста; они обсуждали дѣло шопотомъ, сливавшимся съ шелестомъ лѣса. Остаться долго въ лѣсу они не могли; здѣсь, въ этомъ мрачномъ мѣстѣ, они сознавали всю серьезность и опасность затѣваемаго ими дѣла и потому рѣшали вопросы быстро, и скорою рукою. Раздумывать было некогда; завтра они возьмутъ паспорта, послѣ-завтра соберутся въ путь, черезъ два дня уѣдутъ. Подъ вліяніемъ того же страха, навѣяннаго таинственностью лѣса и темными предчувствіями, они уговорили Фрола отправиться немедленно по начальству и ходатайствовать за нихъ хоть заднимъ числомъ,—все же, можетъ простять ихъ! Фролъ не устоялъ и угрюмо согласился. Этимъ кончилась ночная сходка; парашкинцы разошлись молча и торопливо, подозрительно оглядываясь по сторонамъ, не замѣтилъ-ли кто и не донесетъ-ли на нихъ.

Фролъ сдержалъ свое слово. На другой же день онъ собрался въ путь, чтобы толкаться по приходамъ и ходатайствовать. На этотъ разъ онъ уходилъ вовсе и, вслѣдствіе этого, не могъ сдержать накопившагося въ душѣ гнѣва; онъ запретъ единственную свою лошадь, которую по пріѣздѣ въ городъ намѣревался немедленно отдать на живодерню, какъ животное, не стоящее корма, поклатъ на телѣгу весь свой скарбъ, злобно заколотилъ окна избы, спихнувъ въ то же

время ногой колышки, которыми она была подперта, и плюнуть на все.

— Айда, Марья! Садись! — говоритъ онъ женѣ, оглядывая свой домъ.

Однакожь, и тутъ не выдержалъ: отправился на огородъ, покопалъ тамъ изъ ямочки земли, положилъ ее въ кожаный кошель, висѣвшій у него за пазухой, и только тогда тронулся въ путь. Это было его послѣднее прощаніе.

Парашкинцы также не медлили. Одинъ по одному они приехали брать паспорта, которые выдавались легко, потому что волостное начальство не подозрѣвало умысла своихъ подчиненныхъ, воображая, что они отправляются на заработки. Старшина даже радовался, что, наконецъ, зачумленные люди ожили, перестали приспосабливаться къ смерти и отправляются отыскивать пропитаніе. Парашкинцамъ это было на руку. Отъ нихъ отдѣлились четыре семьи, долженствовавши положить въ недалекомъ будущемъ основаніе новой деревни, быть можетъ, болѣе счастливой, чѣмъ старая, да еще не пошла „со всѣми“ Иваниха, не пожелавшая слѣдовать въ далекій и неизвѣстный путь. Но эти обстоятельства не могли смутить парашкинцевъ. Они дѣятельно, хотя и таинственно, готовились.хлопотъ, впрочемъ, представлялось немного; къ этому моменту у нихъ не оставалось уже ни имущества, ни скота, а потому собирать и везти было нечего, кромѣ себя самихъ. Что касается избенокъ, всѣ рѣшили побросать ихъ, не продавая, потому что трудно было найти покупателей глупушекъ; притомъ, продажа могла возбудить неожиданныя подозрѣнія. Боязнь подозрѣнія и накрывтія была такъ сильна, что они приняли, ради безопасности отъѣзда, спеціальныя мѣры. Во-первыхъ, за деревней на пригоркѣ былъ нарочно поставленъ дуракъ Васька, чтобы слушать, не звенить-ли колокольчикъ, и смотреть, не ѣдетъ-ли кто; и Васька, радуясь предстоящей дорогѣ и новымъ впечатлѣніямъ, добросовѣстно исполнилъ порученіе: онъ съ утра до поздней ночи торчалъ на пригоркѣ и вертѣлъ головой во всѣ стороны. Во-вторыхъ, парашкинцы сочли нужнымъ выбрать старосту и въ то же время путеводителя на все время дальней дороги, и для этого годнымъ оказался одинъ солдатъ Ершовъ, человѣкъ опытный и бывалый.

Случилось еще одно исключительное обстоятельство, сильно

повліявшее на ускореніе отъѣзда. Дѣдушка Титъ, силы одряхлѣвшій, но еще находившійся въ полномъ разумѣніи вдругъ воспротивился переселенію и не захотѣлъ лично участвовать въ немъ. Онъ уже давно жилъ въ своей избушкѣ одинъ, потому что единственный сынъ его умеръ на зарѣ боткахъ, сноха же скиталась по разнымъ городамъ, никогдѣ не являясь въ деревню. Дѣдушка поэтому не желалъ углубленія своей судьбы и на всѣ уговоры отправиться вмѣстѣ съ прочими на новыя мѣста отвѣчалъ упорнымъ отказомъ грозно стуча въ землю костью. Гдѣ онъ родился, тамъ помирать долженъ; которую землю облюбовалъ, въ ту и положить свои кости, — вотъ все, что онъ говорилъ каждому. Приходили его уговаривать всѣ парашкинцы, одинъ по одному пробуя на немъ силу своихъ просьбъ и угрозъ, но Титъ упорствовалъ.

— Титъ! Дѣдушка! Какъ ты останешься одинъ? Да тутъ тебя вороны заклюютъ одного-то! Подумай, разсуди. Уважь нашу просьбу—пойдемъ съ нами! Уважь міръ!

Но дѣдъ или молчалъ, или грозилъ.

— Не донесете вы своихъ худыхъ головъ... свернуть вамъ шею! Помните слово мое, свернуть!

Это упрямство и эти угрозы подѣйствовали возбуждающимъ образомъ на парашкинцевъ, заставивъ ихъ еще лихорадою приготавливаться къ переселенію и безумнѣе торопиться бѣжать. Слова Тита, который былъ уважаемымъ патріархомъ деревни, запаали имъ въ самую душу. Они торопились въ бѣгъ изъ деревни, чтобы не слышать страшныхъ угрозъ боясь, что онѣ сбудутся.

Но дѣдушка Титъ взялъ назадъ свои слова; онъ примирился и съ своимъ одиночествомъ, и съ тѣми, которые покидали его. Когда насталъ назначенный вечеръ для отъѣзда и парашкинцы двинулись длинною вереницей тѣлѣтъ за оклицу, то дѣдъ вышелъ изъ своей избушки и добродушно простился.

— Прощай, Титъ!—отвѣтили ему.

— Прощай, дѣдо!

— Дай тебѣ Господи долго жить! — говорили всѣ парашкинцы, завидя блую голову Тита.

Титъ совершенно расчувствовался и забылъ свою злобу

— Прощайте, дѣтушки! — говорилъ онъ. — Дай вамъ Господи добраго пути, и чтобы все было хорошо... Съ Богомъ!

Послѣ этого Титъ отправился къ себѣ въ избушку, сѣлъ за столъ и облокотился на него. На столѣ стояла чашка съ водой, подлѣ чашки ложка и что-то похожее на кусокъ хлѣба, а у ногъ дѣда терлась пестрая кошка, которая была единственнымъ существомъ, оставшимся коротать съ нимъ дни. Въ такомъ положеніи онъ просидѣлъ весь вечеръ, всю ночь и весь слѣдующій день; въ томъ же положеніи его застали и парашкинцы...

Потому что парашкинцы возвратились. Они не могли не возвратиться, охраняемые заботливостью становаго, и было бы удивительно, еслибы они ускользнули отъ этой заботливости и безслѣдно пропали. Простившись съ дѣдушкой, они почувствовали на сердцѣ легко и отправились безъ предчувствій. Они были въ самомъ бодромъ настроеніи духа и всѣ проникнулись одною мыслью и одною рѣшимостью, вопреки худымъ и тощимъ лицамъ, ввалившимся глазамъ и измореннымъ тѣламъ, на которыхъ мотались безобразные лохмотья. Но радость ихъ была непродолжительна; не успѣли они отбѣжать пятнадцати верстъ, какъ ихъ нагналъ становой.

Бто увѣдомилъ послѣдняго объ умыслѣ парашкинцевъ — неизвестно, но, какъ бы то ни было, онъ узналъ и быстро пресѣкъ злой умыселъ. Въ это время онъ какъ разъ находился въ другомъ концѣ своего стана, гдѣ случилось смертоубійство, важное дѣло, вслѣдствіе котораго онъ не спалъ цѣлыя сутки. Неудивителенъ поэтому овладѣвшій имъ гнѣвъ, когда онъ узналъ о бѣгствѣ парашкинцевъ, считаемыхъ имъ самымъ неповоротливымъ и непредпріимчивымъ народомъ, который способенъ скорѣе умереть, чѣмъ причинить непріятности начальству. Бросивъ дѣло, лежавшее на его рукахъ, онъ поскакалъ догонять бѣглецовъ, нагналъ, задержалъ и сталъ смѣяться надъ дураками, хотя при немъ было только двое понятыхъ.

— Это вы куда собрались, голубчики? — спросилъ онъ, попеременно оглядывая ввалившіеся глаза, съ ужасомъ устремленные на него.

Парашкинцы въ оцѣпенѣнніи молчали.

— Путешествовать вздумали, а?

Парашкинцы сняли шапки и шевелили губами.

— Путешествовать, говорю, вздумали? Въ какія же страны?—спросилъ становой и потомъ, вдругъ перемѣняя тонъ, заговорилъ горячо:—Что вы затѣяли, а? Переселеніе? Да я васъ... вы у меня вотъ гдѣ сидите! Я изъ-за васъ двое сутокъ не спавши... Маршъ домой!... У! Покою не дадутъ!

Парашкинцы все еще стояли оцѣпенѣлые, но вдругъ, при одномъ словѣ „домой“, заволновались и почти вразъ проговорили:

— Какъ тебѣ угодно, ваше благородіе, а намъ ужъ все едино! Мы убѣгаемъ!

Тогда становой велѣлъ понятымъ поворотить лошадей головами къ покинутой деревнѣ. Когда приказаніе это было исполнено, послѣ продолжительной и утомительной возни, въ которой сами парашкинцы не принимали никакого участія, безмолвно стоя на мѣстѣ, становой приказалъ имъ ѣхатьдомой, причемъ двое понятыхъ сѣли на переднюю телѣгу переселенцевъ, а самъ онъ съ своимъ тарантасомъ всталъ послѣ задней телѣги. Парашкинцы безмолвно заняли свои мѣста, и поѣздъ тронулся въ обратный путь, изображая собою погребальное шествіе, въ которомъ везли нѣсколько десятковъ труповъ въ общую для нихъ могилу—въ деревню. Это парашкинцы, видно, и сами чувствовали, потому что прониклись поголовно безнадежною и мрачною рѣшимостью.

Такъ какъ спать становому все-таки смертельно хотѣлось, а слова парашкинцевъ пугали его своимъ таинственнымъ смысломъ, то онъ попробовалъ заручиться отъ нихъ немедленнымъ же отказомъ отъ невозможнаго предпріятія. Для этого, на половинѣ дороги, онъ выѣхалъ на середину поѣзда и спросилъ такъ громко, чтобы всѣмъ было слышно:

— Ну, что ребята, надумались? Или все еще хотите бѣжать? Бросьте, пустое дѣло!

— Убѣгемъ!—твердо отвѣчали парашкинцы.

Становой опять поѣхалъ сзади. Но передъ вѣздомъ въ деревню, куда погребальное шествіе пришло черезъ нѣсколько часовъ, онъ опять спросилъ, надумались-ли они.

— Убѣгемъ! — съ тою же мрачною твердостью отвѣчали парашкинцы.

Становой окончательно растерялся. Онъ испугался, какъ

бы и въ самомъ дѣлѣ парашкинцы не исполнили своей угрозы, и чтобы доказать имъ всю незаконность ихъ поступка, а также убѣдить въ невозможности привести въ исполненіе ихъ замыселъ, принялъ временную мѣру, въ одно и то же время мягкую и цѣлесообразную. Недалеко отъ деревни, вблизи водопоя, стоялъ бревенчатый загонъ, куда пастухи Петра Петровича ночью загоняли лошадей, а въ жаркіе часы дня—рогатый скоть. Сюда и были, съ согласія Петра Петровича, временно помѣщены съ телѣгами и лошадьми парашкинцы, съ помощью понятыхъ, взятыхъ изъ окрестныхъ деревень; помѣщены до тѣхъ поръ, пока не сознаются въ незаконности своихъ дѣйствій и не откажутся отъ желанія бѣжать.

Такъ прошли два дня, въ продолженіе которыхъ становой наблюдалъ за дѣйствіями парашкинцевъ, пытаясь отъ времени до времени вести съ ними переговоры, а парашкинцы оставались въ загонѣ и отказывались отвѣчать. Изъ мѣста ихъ стоянки поднимались испаренія; подъ ногами ихъ образовалась грязь; лошади ихъ стояли безъ корму; они также оставались не ѣвши. Но, не обращая вниманія ни на свое положеніе, ни на увѣщанія, твердо держались только за одну мысль и высказывали лишь одно рѣшеніе.

— Убѣгемъ!—говорили они на всѣ увѣщанія.

Становой прожилъ еще полтора сутокъ, задержанный въ деревнѣ неожиданнымъ происшествіемъ: умеръ дѣдушка Тятъ, скоростипжно и неизвѣстно когда. Его нашли въ кибушкѣ уже заковенѣлымъ; онъ сидѣлъ на лавкѣ, облокотившись на столъ; подлѣ него стояла деревянная чашка съ водой, лежала ложка и небольшой сухарь хлѣба, а у ногъ его терлась пестрая копка. Становой волей-неволей долженъ былъ остаться въ деревнѣ, хотя на него напала такая меланхолія, что онъ съ минуты на минуту собирался ускорать изъ зачумленного мѣста. Дѣйствительно, истощивъ всѣ средства убѣжденія, все болѣе и болѣе одолеваемый черными мыслями и тоской, онъ поглядѣлъ-поглядѣлъ и махнулъ на все рукой.

— Чортъ съ вами! Живите, какъ знаете!—вскричалъ онъ и уѣхалъ.

А черезъ нѣсколько дней послѣ его отъѣзда парашкинцы бѣжали. Только не вмѣстѣ, и не на новыя мѣста, куда-было

повелъ ихъ солдатъ Ершовъ, а въ одиночку, кто куда могъ сообразуясь съ направлѣніемъ, по которому въ данную минуту устремлены были глаза. Одни бѣжали въ города; такъ солдатъ Ершовъ очутился въ Питерѣ и долгое время продавалъ на Гороховой дули, одѣтый все въ ту же шинель съ одною пуговицей, дряхлый и худой. Другіе ушли неизвѣстно куда и нигдѣ послѣ не могли быть отысканы, продолжая однако, числиться жителями деревни. Третьи бродили по окрестностямъ, не имѣя ни семьи, ни опредѣленнаго пристанища, потому что въ свою деревню ни за что не хотѣли вернуться.

Такъ кончили парашкинцы; вмѣстѣ съ ними кончился и героическій періодъ деревни, вступившей послѣ того на путь мелочей и пустяковъ.

Разказы о пустякахъ.

I.

Мѣшокъ въ три пуда.

Чуть брезжилось утро. Солнце только-что засвѣтило блѣднымъ свѣтомъ, который освѣтилъ голыя вершины холмовъ, недавно еще покрытыхъ снѣгомъ, а теперь желтыхъ, какъ глина; воздухъ былъ теплый, весенній и съ желтыхъ холмовъ скатывались ручьи, неся съ собой остатки снѣга, грязь, глину, и растекались по полямъ. А поля, на половину оттаявшія, на половину покрытыя снѣгомъ, тамъ и сямъ показывали прогалины голой земли, покрытой прошлогоднею желтоватою травой... Ближе къ деревнѣ снѣгу совсѣмъ не было видно. Рѣчка, извивавшаяся вокругъ нея, уже бурлила; по улицамъ журчали ручьи, увлекая съ собой грязь и навозъ. Начиналась весенняя чистка деревенскаго воздуха и земли. Даже дымъ, стоявшій надъ деревней каждое утро, не былъ такъ ѣдокъ, какъ зимой; выпускаемый всѣми наличными трубами, онъ разсѣвался въ воздухъ. Только одна изба не топилась, изъ ея трубы не валилъ дымъ, возлѣ ея воротъ не видно было жизни, въ видѣ поросятъ, собакъ и ребятишекъ, и ея окна не были открыты, какъ дѣлается это въ другихъ избахъ, обитатели которыхъ не желаютъ задохнуться въ копоти. Однимъ словомъ, не топилась печь въ избѣ Савостьяна Быкова, извѣстнаго въ деревнѣ болѣе подъ уменьшеннымъ именемъ Савоси.

Съ ранняго утра поднялась вся семья его, поднялась она было на обычную работу, но съ перваго же мгновенія, когда семья продрала глаза отъ тревожнаго сна, никакой настоящей работы не оказалось; всѣ были какъ будто заняты, но всѣ занятія имъ какъ будто были не нужны, бесполезны и затѣвались зря. Татьяна занималась около пустой, холодной

печки, перемывала посуду, перетряхивала нѣсколько раз помело, но какъ бы сомнѣвалась, были-ли необходимы всѣ эти дѣйствія, обычные во всякое другое время и безсмысленныя теперь. Она осмотрѣла пустую квашню, поскребла ея ножомъ, вымыла и поставила сушить; однако, квашня только напоминала ей хлѣбы, которые бы она теперь „мѣсила“, хлѣбовъ въ домѣ не было, потому что вчера еще испеченъ была послѣдняя горсть пыли и муки; приготовленіе квашни слѣдовательно, ни къ чему не вело, лишь наполняя пустое время Татьяны. Между ненужными занятіями она разъ только спросила о дѣлѣ.

— Нѣту?—спросила она у Савоси.

— Нѣту,—отвѣчалъ тотъ смущенно.

Послѣ этого Татьяна кольнула ладонью въ голову Шашку, которая возмѣнила было намѣреніе влѣзть головой въ ведро съ помоями. Шашка заплакала и стала просить ѣсть, что еще больше возмутило мать и она рѣзко сказала:

— Молчи, Шашка! Нѣту у насъ ѣсть. Вонъ проси у отца. И чего же ты сидишь, какъ пень?—обратилась вдругъ Татьяна къ мужу.—Чай, ѣсть-то надо?

Савося съ самаго утра сидѣлъ на лавкѣ и приставлялъ заплату къ полушубку, который, правда, очень расхуѣлся, но не былъ еще такъ плохъ, чтобы имъ однимъ заниматься въ тотъ день, когда есть было нечего. Онъ все время молчалъ и копался въ полушубкѣ. Но когда Татьяна обратилась къ нему съ упрекомъ, онъ вдругъ поднялся, завопилъ, надѣлъ не дочиненный полушубокъ и заговорилъ скоро, торопливо, обращаясь ко всей семьѣ и повторяя оди и то же:

— Авось, Богъ дастъ, промыслимъ! Не въ первой... живемъ, Богъ милостивъ!... Айда, робя, промыслять, кто куды!... Опчими силами. Господи благослови! Васька, Ванюшка! Живѣй, други, одѣвайся, валяй въ кусочки, на прокормленіе! Авось помирать не придется, чай, мы православныя хрестіане... Добрые люди помогутъ, способіе будетъ... Дастъ Богъ, поправимся. Стало быть, хлѣба у насъ въ нынѣшнія сутки нѣту и каждый изъ насъ промыслять долженъ. Васка! Ванюшка! Живѣе шевелись!... Господи благослови!

Высказавъ это, Савося постоялъ съ безпокойнымъ лицомъ около лавки, потомъ, когда Васька и Ванюшка живо стали

одѣваться и искать кошель, къ обращенію съ которыми они издавна привыкли, онъ притихъ, успокоился, снова сѣлъ, скинулъ полушубокъ и принялся разсматривать его, намѣреваясь снова приняться за его починку. Возбудивъ своихъ сыновей идти промышлять, онъ и самъ на мгновеніе воодушевился, но, вспомнивъ, что собственно промышлять ему негдѣ, онъ сразу опустился. Эта мысль, очевидно, стукнула прямо его по головѣ, и онъ сѣлъ. Обычное спокойствіе его возвратилось, опять все вниманіе его обратилось на разорванные мѣста полушубка и опять онъ оглядывалъ равнодушно свою семью: Татьяну, Ваську, Ванюшку, Шашку. Последняя, потерпѣвъ пораженіе около помойнаго ведра, подошла къ отцу и ласково терлась щекой о его колѣни. Она была худая, полуголая дѣвочка. нужда отразилась на всемъ ея худенькомъ и грязномъ тѣлцѣ, рисовалась во впалыхъ и грустныхъ глазахъ, которые были постоянно широко раскрыты, какъ бы изумлялись, почему ей не всегда давали ѣсть, отпечатывалась на поблѣднѣвшихъ щекахъ и на животѣ, который былъ постоянно надутъ, какъ пузырь. Она иногда ложилась на животъ и, болтая ногами, уставляла взглядъ широко раскрытыхъ глазъ на отца или на мать, и не сводила его до тѣхъ поръ, пока ее не отвлекалъ другой предметъ. Мать сердито отворачивалась отъ этого взгляда удивленія; отецъ всегда приходилъ въ нѣкоторое смущеніе. Теперь онъ погладил свою Шашку по головѣ и опустил глаза на полушубокъ. Онъ не сказалъ ей ни одного ласкового слова: молчалъ. Молчала и Татьяна. Только Васька и Ванюшка ужасно возились; надѣвая штанишки, полушубки и отыскивая шапки, они подняли содомъ, смѣялись и не скрывали своей радости, отправляясь „въ кусочки“. Во-первыхъ, они захотѣли ѣсть; во-вторыхъ, имъ уже мысленно представлялось, по дорогѣ въ другія деревни, множество предпріятій около ручьевъ, лужъ и бушевавшей отъ весенняго разлива рѣки. Нужды нѣтъ, что они отправлялись собирать „пособіе“ кусочниками, но дѣтская натура взяла свое, и они уже заранѣе разыгрались. Васька надѣлъ на голову Ванюшки кошель и сквозь него потянулъ брата за носъ, а Ванюшка оралъ, вертѣлся на одной ногѣ и изъ глубины нищенскаго кошеля нѣсколько разъ прокричалъ скворцомъ.

— Что вы, дьяволята, разбушевались? Васька... ахъ, ты,

песъ паршивый!—закричала Татьяна, послѣ чего Васька получилъ громкій подзатыльникъ. — Постыдились бы хохотать-то, не на работу идете... Христарадники!—добавила Татьяна.

И въ то же мгновеніе Ванюшка на свою долю получилъ нѣчто, но онъ ловко увернулся, вслѣдствіе чего полного подзатыльника счастливо избѣгнулъ.

При словѣ „христарадники“ Савося поднимать съ полушубка глаза и посматрѣлъ на Татьяну.

— Мы не христарадники, потому важную весну идетъ на людей нужда... обыкновенно ничего не промыслишь,—возразилъ онъ убѣжденно.

Онъ былъ правъ. Въ мѣстности, гдѣ онъ жилъ, каждую весну мужики колотились. Приходила весна и приносила съ собой нужду, которая свирѣпствовала безпощадно и неумолимо; прилетали ласточки, и появлялись ребятишки съ кошелями, гулявшіе по всѣмъ деревнямъ за кусочками. Хлѣбъ къ этому времени у всѣхъ выходитъ, а травы еще не поспѣли. Взрослые рѣдко ходили въ кусочки; только нѣкоторыя старухи не смущались и христарадничали. За то ребята поголовно кормились кусочками, подобно жаворонкамъ, клевавшимъ скудный кормъ наступающей весны. Это было правило, съ давнихъ поръ оставшееся безъ исключеній. Половина населенія пропитывалась на общій счетъ, взаимно помогая себѣ, вынося нужду подъ круговую порукой. Когда наставала оттепель и съ горъ катились ручьи, дѣти шатались изъ деревни въ деревню и питались. Имъ никто не отказывалъ; та баба, у которой были испечены „последніе хлѣбы“, не считала себя уже въ правѣ гнать маленькихъ, хроническихъ нищихъ; отказывала только та, у которой и „последняго хлѣба“ не было. Съ давнихъ временъ это вошло въ обычай, переставшій быть предметомъ стыда, потому что и стыдиться было некому. Стыдъ былъ общій, слѣдовательно, его не существовало.

Если Татьяна и попрекнула мужа, то потому, что была зла на этотъ разъ, несчастна, потерянна...

Татьяна выпроводила за дверь Ваську и Ванюшку и опять принялась за домашнюю суету, не ведущую ни къ какимъ послѣдствіямъ, т. е. перемывала ненужные нынче горшки, колола зачѣмъ-то лучину, заглядывала въ пустую печь, вымывала оказавшіяся безъ дѣла ложки и проч. Деревенская

баба, лишенная возможности „стряпать“, чувствует себя глубоко несчастною, не потому только, что предвидеть въ будущемъ голодный день, но потому, что вдругъ лишается обычнаго занятія, дѣлается сама на цѣлые дни непригодною, оскорбляется въ своей завѣтной гордости хозяйки и кормилицы и чувствуетъ себя несчастною. Татьяна не составляла исключенія. Каждое утро она обыкновенно возилась съ пономьями, палила себѣ волосы передъ печкой, жгла руки о горячіе хлѣбы, пачкалась сажей о трубу, а нынче было отнято отъ нея все это, и если она продолжала толкаться возлѣ печки, то это только обнаруживало ея желаніе скрыть душевное ея раздраженіе.

Самъ Савося все утро также сидѣлъ дома и громко сопѣлъ надъ полушубкомъ. Когда же всѣ прорѣхи были зачинены, онъ принесъ въ избу худое корыто и также принялся чинить его. Затѣвалъ еще много другихъ хозяйственныхъ дѣлъ и оканчивалъ ихъ, но совершалось все это безъ охоты, съ цѣлью забыть пустую печь.

Наконецъ, онъ вынулъ изъ-подъ лавки мѣшокъ и задумчиво разсматривалъ его, вертя въ рукахъ и заглядывая въ его внутренность. Мѣшокъ былъ пустой. Это обстоятельство, повидимому, удивило его.

— Все до чиста поѣли... диковина! Добывать гдѣ ни то надо, — сказалъ онъ и вопросительно посмотрѣлъ на Татьяну.

— А то ты думаешь какъ: починишь дыру и будетъ тебѣ хлѣбъ? — сердито возразила Татьяна.

Савося смутился, положилъ на лавку мѣшокъ и сѣлъ самъ.

Шашка все терлась около его колѣнъ и просила отъ времени до времени ѣсть; наконецъ, она довела его до такой степени стыда, что онъ безпокойно завожился и возымѣлъ намереніе выйти совсѣмъ изъ избы, чтобы толкнуться „туда-сюды“ и позанять хлѣба. Въ долгу онъ находился кругомъ, постоянно ощущая на себѣ узду, за которую его тянули въ разныя стороны забротавшіе люди, но онъ къ такому ощущенію привыкъ и безъ опасенія лѣзъ къ нимъ за новыми обязательствами. Къ обязательствамъ онъ также привыкъ, половину ихъ позабывая или совсѣмъ не исполняя, если его не ловили, а на обязывающихъ людей смотрѣлъ какъ на мѣшки съ мукой. Даютъ эти мѣшки — онъ ихъ почитаетъ; ѣтъ — онъ съ ними не имѣетъ никакого дѣла. Его тянулъ

управляющій сосѣдняго имѣнія, Таракановъ, тянули всѣ мѣшники сосѣднихъ имѣній, всѣ мѣстные кулаки, казна, всѣмъ имъ онъ былъ долженъ, но отдавался тому, кто прежде всѣхъ успѣвалъ его поймать и засадить за работу; прѣ всѣхъ остальныхъ хозяевъ своихъ онъ забывалъ и, взявъ отъ нихъ мѣшки, бѣгалъ отъ нихъ.

Всѣ описанные примѣты и дѣйствія подадутъ иному читателю поводъ счесть Савостьяна Быкова плохимъ мужикомъ, худымъ во всѣхъ отношеніяхъ и пролетѣвшимъ въ ступени нищеты и наглости. Это не вѣрно. Положимъ, что Савося былъ измотавшійся, пустой мужикъ, за душой котораго не осталось ничего цѣльнаго. Все ушло изъ дома, въ которомъ онъ завязъ по уши. Съ перваго раза это явленіе кажется самымъ обыкновеннымъ. Ну, долженъ—и конецъ у кого же нѣтъ долговъ и кто же не разоряется? Но съ того времени многимъ этотъ долгъ кажется нѣсколько подозрительнымъ, почти фальшивымъ. На Савосѣ лежалъ особенный долгъ, ни въ какомъ другомъ классѣ незнакомый. Этотъ долгъ такъ обширенъ и необъятенъ, что, наконецъ съ недоумѣніемъ спрашиваешь себя: да действительно ли Савося Быковъ долженъ кому-нибудь? Подозрительнымъ кажется именно эта необъятность Савосиныхъ обязательствъ: долженъ онъ въ волости, долженъ Шипихину, долженъ Тараканову, долженъ Рубашенкову и какому-нибудь конокраду, долженъ кулаку и всякому другому прохвосту, кому только не лѣнь взять его за шиворотъ и обязать. Если бы Савосидѣлъ сложа руки, пьянствовалъ и развратничалъ, какъ кутила другого класса, тогда этотъ поразительный долгъ былъ бы нѣсколько понятенъ, но Савося, въ обыкновенномъ смыслѣ, велъ честную жизнь: работалъ, чтобы достать пшеницы, пилъ, вмѣсто вина, ядъ, чтобы на мгновеніе отравить себя, и развратничалъ развѣ тѣмъ, что ходилъ иногда голымъ, потерявъ стыдъ къ такому безобразію. Просто беретъ съ себя нѣніе, какъ это человѣкъ съ такими ограниченными, почти нелѣпыми потребностями, удовлетворяющимися мукой и ядомъ, вдругъ оказывается всеобщимъ должникомъ, притомъ такимъ должникомъ, который всѣми признается безнадежнымъ и долгъ котораго неоплатенъ? Съ такимъ обязательствомъ съ такимъ долгомъ найти въ другомъ классѣ нельзя ни одного человѣка; чтобы отыскать для Савоси Быкова подходящаго

пару, нужно спуститься ниже человѣка, взять домашнюю скотину, которая, дѣйствительно, всякому хозяину должна и обязана все дѣлать; между тѣмъ, Савося — человѣкъ, притомъ человѣкъ довольно хорошій, въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, настолько хорошій, насколько это допускается жизненными условіями его.

Пустая жизнь сдѣлала Савосю пустымъ. Жилъ онъ, какъ говорится, чѣмъ Богъ пошлетъ. Не имѣя ничего за душой, никакой опредѣленной мысли, ни даже опредѣленнаго существованія, онъ метался со дня на день: въ одномъ мѣстѣ наткнется на барина и своими услугами выхлопочетъ нѣсколько копѣекъ, въ другомъ — поймаетъ временную работу и добудетъ хлѣба; тамъ что-нибудь словить — и живъ. Никакихъ обязанностей онъ за собой не признаетъ, просто забылъ о нихъ; никакихъ долговъ не платитъ и всегда доволенъ, мучась только тогда, когда „жрать нечего“. Сдѣлавшись самъ пустымъ мѣшкомъ, онъ и всѣхъ остальныхъ людей дѣлилъ на двѣ половины: на такихъ, отъ которыхъ можно чѣмъ-нибудь попользоваться, и на такихъ, съ которыхъ содрать нечего. Встрѣчаясь въ первый разъ съ человѣкомъ, онъ, прежде всего, соображалъ, дать тотъ ему что-нибудь, или не дать. Если видѣлъ, что не дать, то относился къ нему съ глубокимъ равнодушіемъ и нѣсколько даже презрительно, не желая пошевелить пальцемъ или губами для такого „жидомора“, но если судьба натыкала его на человѣка подходящаго, въ смыслѣ муки, тогда онъ сразу преображался, обнаруживая такую энергію и суетливую старательность, что трудно было и понять, откуда столько силы берется въ этомъ мужичкѣ, обыкновенно апатичномъ и сонливомъ. Онъ дѣлается неистовымъ въ работѣ, какъ въ послѣднемъ случаѣ у попа, гдѣ онъ копался въ сору по пятнадцати часовъ въ сутки, не уставая и требуя лишь краюшку хлѣба побольше.

Живя постоянно этимъ пустымъ существованіемъ, свыкнувшись съ нимъ, видя позади и впереди себя то же самое пустое существованіе, подъ которымъ подразумѣвается лишь краюшка хлѣба, онъ постепенно бросилъ съемку земли, да и мірской надѣлъ обрабатываетъ съ грѣхомъ пополамъ. Стоило только посмотреть Савосю Быкова во время пашни: самый это злочестный человѣкъ! Еще не выѣзжая въ поле, онъ уже разъяренно ругался, вопилъ, безумствовалъ, слов-

но въ судорогахъ. Все у него валилось изъ рукъ и ниче-
не клеилось. Бранный ревъ его раздавался, какъ будто ег-
рѣзали. Оказывалось вдругъ, неожиданно для него самого
что лошадь у него не кормлена; настоящей сбруи нѣтъ, соха
валялась гдѣ-нибудь на огородѣ; какой-нибудь кнутъ—и то
го въ наличности не было. Савося метался. Наконецъ, кое
какъ напичкавъ захудалую лошадь соломой, отыскавъ соху
перевязавъ мочалкой сбрую и взявъ, вмѣсто кнута, обрывокъ
веревки или пруть, выдернутый изъ плетня, Савося былъ
готовъ. „Н-но! Господи благослови!“ Выѣзжалъ со двора
Поѣхалъ. Но вотъ выѣхалъ онъ въ поле, поставилъ соху
двинулъ лошадь веревкой и потащился... „Стой! пещь тебѣ
съѣшь!“—оретъ онъ уже черезъ минуту. Оказалось, что под
пруга у него распозлалась, не лопнула, а именно распозлалась.
Съ этой минуты все у Савоси поползло. Реветь онъ благими
матомъ, лается. Надъ пашней стоитъ неумолкаемый вой. Все
у него ползетъ врозь; дуга, гужи, возжи, соха,—все это лѣ-
зеть, трещить, ломается. Лошадь, и безъ того съ ребрами
наружу, теперь еле-еле переводить духъ, задерганная хозяи-
номъ. Савося на нее накидывается, срываетъ на ней свои
злобу и муку. Онъ дергаетъ животное за возжи, лупитъ его
по ребрамъ пруткомъ и, разъярившись до изступленія, под-
ступаетъ къ нему съ кулаками и жаритъ по мордѣ. Нако-
нецъ, истыкавъ землю, измученный, съ измученною лошадью
съ разползшеюся сбруей, ѣдетъ домой, кидаетъ на дворѣ и
лошадь, и сбрую, и лѣзетъ на печь отдыхать отъ этого страш-
наго дня, который онъ долго помнитъ. Но, съ другой сторо-
ны, Савося былъ обыкновенный мужичокъ... У каждого чи-
тателя есть извѣстное представленіе мужичка,—не Пахома
не Якова Петрова, а просто мужичка,—и пусть онъ огля-
дитъ умственнымъ взоромъ это представленіе. Просто мужи-
чокъ одѣвается въ худой полушубокъ, пропитанный Богъ
знаетъ чѣмъ; лицо его вообще не мытое, руки похожи на
осиновую кору; борода обыкновенно пестрая. Выраженія на
лицѣ его обыкновенно нѣтъ никакого, если не считать испу-
га, постоянно рисующагося на немъ, словно онъ ожидаетъ
съ минуты на минуту окрика или затрещины. Это относится
и къ глазамъ, которые по большей части мутны и равно-
душны; они таращатся только тогда, когда въ голову его
стараятся что-нибудь вколотить, а сама голова никому не-

извѣстна по своему содержанію... Если Савостьянь Быковъ и отличался чѣмъ отъ этого просто мужичка, то только тѣмъ, что описанныя сейчасъ примѣты были въ немъ нѣсколько усилены. Напримѣръ, онъ рѣдко чѣмъ-нибудь бывалъ взволнованъ и ко всему въ жизни питалъ полное равнодушіе, за исключеніемъ мѣшка съ мукой, котораго у него вообще не оказывалось.

И теперь также. Онъ обо всемъ забылъ. Чтобы не видѣть больше широко раскрытыхъ глазъ Шашки, онъ собрался выѣхать изъ избы, для чего полежа въ пустой мѣшокъ подъ мышку и вышелъ. Состояніе его головы въ эту минуту было вотъ какое. Шелъ онъ по рыхлому, проваливающемуся подъ ногами снѣгу и думалъ: „хлѣбца бы“... Это было его идеей. Затѣмъ онъ вспомнилъ объ управляющемъ, которому былъ кругомъ долженъ, и подумалъ: „а не дать“... Дальше Савося ни о чемъ больше не хотѣлъ и думать, и направилъ шаги въ имѣніе къ Тарakanову, хотя и не надѣялся у него насыпать мѣшокъ.

Савося совсѣмъ не думалъ о томъ обстоятельствѣ, что Таракановъ, запутавшій въ сѣть всѣхъ окрестныхъ мужиковъ, давно поймалъ и его; ему надо было раздобыться пропитаніемъ, и онъ шелъ. Но по дорогѣ ему встрѣтился попъ. Савося обомлѣлъ. Онъ вѣрилъ, что встрѣча эта не предвѣщаетъ ничего хорошаго. Однако, онъ подошелъ къ благословію, положивъ шапку подъ мышку вмѣстѣ съ мѣшкомъ. Батюшка благословилъ и сталъ укорять его въ небреженіи къ церкви и въ безбожii, стыдилъ его за лѣность и обманъ, попрекалъ полтинникомъ, который Савося обѣщалъ занести, но не занесъ. Это была правда, и Савося слова не могъ вымолвить. Причту онъ задолжалъ за разныя требы, но далъ клятвенное обѣщаніе отдать долгъ. Недавно въ квашню Татьяны попали двѣ мыши, и батюшка также въ долгъ очистилъ отъ нихъ кадушку, думая, что Савося принесетъ весь долгъ вразъ, но Савося обѣщаніе свое забылъ.

Батюшка долго стоялъ съ нимъ и попрекалъ.

— Христопродавецъ ты эдакій! — говорилъ онъ. — Забылъ совсѣмъ храмъ-то Божій. Когда ты принесешь мнѣ полтинникъ? Ты подумай: вѣдь ты православный, а между прочимъ нерадѣніе твое къ нуждамъ духовнаго отца твоего дошло до непотребности. Іуда Искаріотъ, жалко, что-ли, тебѣ?

Савося стоялъ потерянно, мигалъ глазами и не могъ слова вымолвить въ свое оправданіе. Онъ сознавалъ справедливость грознаго нападенія батюшки и молчалъ.

— Клятвопреступникъ! — сказалъ сурово батюшка, — зачѣмъ ты обманываешь?

— Ваше благословеніе! Я заплачу, за все заплачу, только бы мнѣ передохнуть... Вся причина въ мѣшкѣ, нѣту у меня муки, а то я все заплачу, — возразилъ Савося.

Батюшка покачалъ головой. Онъ соображалъ: повѣрить еще разъ Быкову или нѣтъ. Онъ повѣрилъ. Савося глубоко вздохнулъ, когда батюшка отпустилъ его, и онъ могъ продолжать свой путь. Шапку онъ надѣлъ на голову, а мѣшокъ оставилъ подъ мышкой. Но онъ былъ еще разъ не надолго задержанъ. Увидалъ его староста и закричалъ ему издали, чтобы онъ явился нынче въ волость, куда Барановскій баринъ прислалъ требованіе — взыскать съ Савостыяна Быкова долгъ, описавъ часть его имущества. Савося, однако, отнесся къ словамъ старосты равнодушно, хотя не преминулъ издалека крикнуть, что „дай срокъ, онъ все уплатитъ“. Про себя же проговорилъ:

„Ишь, жидоморы! Ладно!“

Впрочемъ, возмутился онъ только наружно, а внутренно давно забылъ, что его разрываютъ на части, и думалъ только о предстоящей просьбѣ у Тараканова. Къ нему онъ и продолжалъ идти. Путь былъ не далекій, версты въ двѣ по растаявшему снѣгу; онъ скоро доплелся туда. Дойдя до конторы, гдѣ можно было увидать „управителя“, онъ остановился сперва у крыльца и заглянулъ внутрь сѣней. Никого не было. Недалеко рабочіе стучали топорами, но онъ боялся кого-нибудь спросить. Постоявъ около двери, онъ попытлся, пощупалъ мѣшокъ подъ мышкой, обошелъ затѣмъ всю контору кругомъ, заглянулъ въ каждое ея окно: онъ боялся получить, вмѣсто хлѣба, „по шеямъ“.

— По какому дѣлу? — спросилъ „управитель“, вдругъ замѣтивъ мужика, туловище котораго оставалось за дверью, а голова была выставлена впередъ.

— Насчетъ муки... подъ работу бы... я заплачу, — сказалъ Савося и осмѣлился цѣликомъ показаться управителю.

— Ты просишь подъ работу денегъ?

— Какъ угодно вашей милости... мучки бы, оно лучше, и мѣшокъ захватилъ... три пуда въ немъ въ аккуратъ...

Савося при этихъ словахъ и мѣшокъ показавъ управителю, какъ неотъемлемую часть себя, послѣ чего сталъ выжидательно смотрѣть на Тараканова.

— Дуракъ!—рѣзко сказалъ „управитель“ и презрительно посмотрѣвъ на мѣшокъ.—Я не торгую хлѣбомъ. Если хочешь, бери деньгами. Сколько тебѣ надо и подъ какую работу да скажи прежде: кто ты,—лицо-то знакомое.

— Быковъ, Савостьянъ Быковъ.

— Быковъ? Посмотримъ. Ты, кажется, такъ много долженъ, что у тебя остается описать имущество.

Управляющій сталъ рыться въ книгахъ.

— Я уплачу... вѣрно уплачу... сумѣнія я не люблю...—возразилъ Савося, равнодушный къ угрозѣ „управителя“.

— Я такъ и зналъ! За тобой числится, гусь лапчатый, девяносто шесть рублей сорокъ четыре копейки!—возразилъ управляющій.

Но и это не произвело на Савосю ни малѣйшаго впечатлѣнія; онъ равнодушно выслушалъ цифру неоплатнаго долга, удивляясь только тому, что о ней совсѣмъ забылъ.

— Мы уплатимъ... дочиста зароблю. А какъ теперь ѣсть у меня нѣту, я и пришелъ... сдѣлайте божескую милость, дайте передохнуть!

— Денегъ я тебѣ больше не дамъ!—возразилъ „управитель“.

— Съ вами, чертами, одно мученье; нахватаете, а потомъ лови васъ... Ну, да погодите, вы мнѣ кругомъ должны; если лѣтомъ не пойдете на работу ко мнѣ, такъ я у васъ все опишу, и изъ деревни-то вашей выгоню васъ. Довольно вамъ обманывать... Ну, пошелъ!

— Я всё зароблю... мнѣ бы передохнуть, а я все уплачу... Господи милостивый! дайте срокъ, все представлю въ аккуратъ... А ѣсть мнѣ желательно.

— Ступай вонъ!... Или, лучше, вотъ что,—вдругъ перебилъ себя управляющій:—у меня сейчасъ строится амбаръ, ваши же работаютъ; такъ ступай на работу и получишь вечеромъ гривенникъ. Иди.

Управляющій отдалъ приказъ одному рабочему отвести Быкова въ амбаръ.

Савося безъ слова пошелъ вслѣдъ за рабочимъ. Онъ не

удивился тому, что его поймали и ведутъ на даровую рабѣту; онъ былъ пораженъ только тѣмъ, что хлѣба у него все-таки нѣтъ, и переложилъ мѣшокъ подъ лѣвую мышку. Во всемъ остальномъ онъ былъ спокоенъ. Ни тѣни протеста противъ „управителя“, который распоряжался имъ, какъ бревномъ, необходимымъ для вновь строящагося амбара. „Управитель“ закупилъ его, какъ и всю его деревню, таскалъ ежегодно по мировымъ судамъ, грозилъ описать его имущество, каждое лѣто пользовался его трудомъ даромъ, и Быковъ ничего этого не понималъ. Не понималъ, что вокругъ него творится, за что его мучать, почему и когда онъ попадетъ въ каторжники, отчего и съ какихъ поръ у него нечего ѣсть. Кругомъ него носилась мгла, сквозь которую онъ видѣлъ одинъ пустой мѣшокъ, который надо бы было наполнить, но что бы то ни стало. Свой разговоръ онъ про себя сформулировалъ такъ: „Не далъ, жидоморы!“ Больше мыслей у него не было.

Работникъ Тараканова привелъ его на мѣсто постройки амбара. Тамъ уже съ ранняго утра стучали топоры, шумѣла пила, таскались бревна, гремѣли жестяные листы, предназначавшіеся на крышу, рылась канава. Работа кипѣла, производимая такими каторжниками Тараканова, какъ и Быковъ. Всѣ они старались даромъ, потому что давнымъ давно задолжали въ контору имѣнія до смерти. Подобно Савосѣ, имъ также „передохнуть“ было некогда; подобно ему, они съ такимъ же равнодушіемъ и безпамятствомъ относились къ своему каторжному положенію, сдѣлавшемуся для нихъ столь же обычнымъ, какъ ихъ собственная стихія. Между ними и ихъ многочисленными хозяевами шла глухая борьба, но замѣчательно, что эта борьба велась ими безъ всякаго протеста... Борьба безъ протеста—очевидная нелицепость, но по отношенію къ таракановскимъ мужикамъ не возможность превратилась въ неизбежность. Они собственно не боролись, а убѣгали отъ борьбы. По лѣтамъ, въ старую пору, они уклонялись отъ даровыхъ работъ на Тараканова, бѣжали отъ его посыльныхъ обманнымъ образомъ, вообще старались что-нибудь урвать изъ дорогого времени, отлынивать отъ обязательствъ, взятыхъ ими на себя зимою. Но всѣ эти ухищренія ни къ чему не вели. Сила была на сторонѣ Тараканова, чѣмъ онъ и пользовался, устраива

лѣтомъ на своихъ мужиковъ организованную охоту, отрывая ихъ отъ собственныхъ работъ и гнавъ къ себѣ. Вотъ такая была ихъ борьба.

Борьбу мужики не могли вести потому еще, что они не знали, что могли и чего не могли, какія имѣли права и какія правъ имъ не было дано; они думали, что они на то и созданы, чтобы за ними охотились, ловили ихъ, засаживали; въ силу такого убѣжденія, они могли только отлынивать и въ то же время сознавать, что Таракановъ въ своемъ правѣ, а они нѣтъ, потому что все это доказывалось росписками, написанными по закону и обязывавшими ихъ на египетскія работы вполне законно. И когда Таракановъ исполнять этотъ законъ, сгоняя ихъ силою росписокъ на египетскія работы, они болѣе не сопротивлялись, шли и начинали косить, жать, молотить, рыть канавы, чѣмъ борьба и заканчивалась. Отъ всего этого, кромѣ сознанія своей виновности передъ Таракановымъ, мужики ясно видѣли въ себѣ необычайную глупость, потому что сами лѣзли къ Тараканову, а не онъ къ нимъ, отчего сумятица въ ихъ головахъ еще болѣе усиливалась. Понятно, что необходимость брала свое: они продолжали лѣзть къ Тараканову и отлынивать отъ его обязательствъ, тотъ ихъ ловилъ и заставлялъ ихъ трудиться, какіе они обманщики, дурачье, пропойцы. Въ тѣхъ случаяхъ съ сознаніемъ своей немощи и глупости, мужики доверены были до сознанія ихъ недобросовѣстности.

Всѣ описанныя сейчасъ явленія относятся къ небольшой мѣстности, состоящей изъ нѣсколькихъ деревень, и потому, можетъ быть, ихъ нельзя обобщать; въ сосѣднихъ съ этими мѣстностями совершаются, можетъ быть, другія удивительныя явленія, но въ описываемомъ округѣ эти явленія вполне утвердились и приняли чрезвычайно своеобразный характеръ. Подъ вліяніемъ ихъ, жители доведены до каторжнаго состоянія, усвоили себѣ положительно звѣриный образъ жизни. Они перестали понимать вообще, что съ ними дѣлается, и искали одного только дневного корма; не было корма — они искали въ поискахъ за нимъ; былъ онъ у нихъ — они больше ни о чемъ не заботились, вообще равнодушные къ жизни. Это не есть обыкновенная погоня за улучшеніемъ своего матеріальнаго благосостоянія; это — просто исканіе корма, необходимаго вотъ сейчасъ, въ этотъ день, а что бу-

детъ въ слѣдующій день — плевать. Они перестали о себѣ заботиться, потому что перестали видѣть себя, и заботились лишь о пищѣ. Эту заботу они понимали такъ узко, что, кромѣ временнаго удовлетворенія потребности, ничего не желали, — такъ замершая мысль ихъ сгустилась. Они шатались всюду, гоняясь за пропитаніемъ, рыскали за кускомъ ко всѣмъ людямъ, отъ которыхъ его можно получить, хватили новыя обязательства, но никогда не задумывались даже о ближайшемъ будущемъ. Сами они съ каждымъ годомъ нищали, но нищета мысли ихъ была еще поразительнѣе: мысль о дневномъ кормѣ сдѣлалась единственной мыслью, которою они жили. Чтобы дойти до такого звѣринаго состоянія, нужно было пережить раньше этого долгіе годы, въ продолженіи которыхъ замерла всякая человѣческая мысль, кромѣ одной, ежедневно подсказываемой пустымъ животомъ: нужны были годы страданія, чтобы получилось полное безчувствіе къ нему, нужны были, наконецъ, нечеловѣческія условія жизни, чтобы явилось пренебреженіе къ ея улучшенію.

Разумѣется, Савостьянъ Быковъ не могъ въ данную минуту заботиться о какой-нибудь другой цѣли, кромѣ той, ради которой онъ попался глупѣйшимъ образомъ на глаза Тараканова. Но, разъ попавшись на работу и очутившись возлѣ строящагося амбара, онъ принялся старательно и добросовѣстно исполнять приказъ десятника работъ, который далъ ему въ руки лопату, указавъ, гдѣ слѣдовало копать, и сказалъ: „На, вотъ, копай, да смотри, идола, не прокопай глыбже“; послѣ чего Савося безъ устали, до самаго обѣда, металъ землю изъ назначенной ему ямы.

Шапку, полушубокъ и мѣшокъ онъ сложилъ на краю ямы въ которую былъ погруженъ, и иногда поглядывалъ на свои вещи, чтобы ихъ „не сперли“. Но всего больше его смущалъ мѣшокъ; при видѣ его, ему приходило на мысль сбѣжать изъ ямы; скучно ему стало копать землю. Онъ едва дождался обѣда. Обѣдомъ его не обидѣли; пришелъ онъ на работу позже всѣхъ, но наравнѣ со всѣми получилъ порядочную краюшку хлѣба и сколько угодно квасу. Только квасъ и шелъ ему въ горло, — очень ужъ онъ проголодался. Онъ съѣлъ возлѣ своей ямы и, не сводя глазъ съ нея, медленно жевалъ. Хлѣбъ ему очень понравился.

Вдругъ ему вспомнились Татьяна и Шашка. Онъ поглядѣлъ на краюшку, которая подходила къ концу, — еще нѣсколько времени, и онъ сжевалъ бы ее всю. Этотъ осмотръ образумилъ его и, должно быть, поразилъ его, въ связи съ воспоминаніемъ о Шашкѣ, такъ сильно, что онъ тутъ же пересталъ ѣсть и положилъ оставшійся кусокъ въ свой мѣшокъ.

Но оставшаяся часть краюшки была бы бесполезна, если бы не была отнесена домой, гдѣ ей обрадуются. А какъ ее отвезти? Савося задумался и долго смотрѣлъ въ выкопанную лу. Наконецъ, ему скучно стало, а, между тѣмъ, рѣшеніе сблизать съ работы созрѣло окончательно. Онъ стряхнулъ съ подола рубашки крохи, высыпалъ ихъ въ ротъ, перекрестился, показывая тѣмъ, что обѣдъ онъ кончилъ благополучно, и всталъ. Недалеко стоялъ десятникъ. Савося положилъ мѣшокъ подъ мышку и попросилъ у него отлучки. „Я сей секундъ“, — сказалъ онъ десятнику. Тотъ отпустилъ, не подозрѣвая обмана со стороны такого робкаго мужичка. Савося пошелъ на зады и оттуда далъ тягу. Черезъ полчаса онъ былъ уже дома и былъ радъ, что не пришелъ съ пустыми руками. Сама Татьяна, впрочемъ, не воспользовалась краюшкой; она всю ее отдала Шашкѣ, которую въ первый разъ въ этотъ день приласкала; она гладила ее по морозу все время, пока та ѣла. Забота о своихъ дѣтяхъ у Татьяны была въ эту минуту сильнѣе желанія удовлетворить модъ. Благодаря этой же заботѣ, она и посмотрѣла въ устой мѣшокъ.

— Нѣту? — спросила она у Савоси.

— Нѣту. Не даетъ. Знаю, говорить, я васъ... такой анаша! — задумчиво проговорилъ Савося.

Но это все, что было сказано относительно Тараканова; о томъ же, что онъ былъ пойманъ на работу по обязательствамъ, что онъ отъ вновь строящагося амбара утекъ обманнымъ яسوبомъ, Савося даже не упоминалъ; безусловно нельзя сказать, чтобы онъ имѣлъ въ намѣреніи скрыть это обстоятельство, онъ просто забылъ о немъ, всецѣло поглощенный мучительнымъ соображеніемъ насчетъ того, куда ему послѣ этого толкнуться. Оставаться дома ему было очень скучно. Поэтому онъ посидѣлъ въ избѣ не долго и отправился, снова вѣвъ мѣшокъ подъ мышку.

Быль у него въ смежной деревнѣ еще одинъ человѣкъ, который вообще внушалъ ему страхъ, а теперь надежда. Это былъ богатый мужикъ, давно купившій Савосю (и его не купилъ?) и каждое лѣто заставлявшій его работать на себя. Случалось иногда такъ, что Савося былъ разрываемъ на нѣсколько частей, понуждаемый съ одной стороны Таракановымъ, съ другой — Барабановскимъ бариномъ, третьей — богатымъ мужикомъ; тогда Савося предавался волю Божію: кто успѣвалъ его раньше захватить, къ тому онъ и шелъ, но чаще всего успѣвалъ завладѣть имъ богатый мужикъ, а всѣ другіе оставались на нѣкоторое время обманутыми Савосей. Это происходило отъ того, что Таракановъ былъ силенъ по отношенію къ массѣ; онъ не обращалъ вниманія на потерю нѣсколькихъ рабочихъ, и не было разсчета у него гоняться за каждымъ рабочимъ; имѣніе его больше и для работы въ немъ онъ ловилъ оптомъ, точно также какъ и грозилъ описаніемъ имущества оптомъ, вразъ всѣмъ соседнимъ деревнямъ, вслѣдствіе чего Савосѣ нерѣдко удавалось обманывать его. Отъ богатаго же мужика ему не было никакой возможности увернуться; тотъ самъ былъ въ этюдѣлахъ опытенъ, пройдя предварительно школу каторжнаго труда; поймавъ лѣтомъ Савосю, онъ такъ и сидѣлъ на немъ, — сидѣлъ и клевалъ его въ продолженіе всего времени пока длилась работа, и выматывалъ изъ него душу и долги.

Все это Савося теперь смутно чувствовалъ, его пугала лютость богатаго мужика, но боялся онъ не того, что тотъ заброситъ на него новое обязательство на приближающееся лѣто, а того, что онъ теперь его обидитъ: „хлѣба не дастъ, только надругается, анаеема“, и, пожалуй, задаромъ его заставитъ работать. Савося не могъ отдать себѣ отчету, почему богатый мужикъ надругается надъ нимъ; онъ тогда смутно сознавалъ или, скорѣе, предчувствовалъ, что какія непреодолимая, стихійныя силы владѣли имъ, гнули его, разрывали или разрывали его на части; онъ едва успѣвалъ „передыхнуть“, но ему никогда не приходило на мысль, что съ этими силами могъ онъ бороться и что Таракановъ, богатый мужикъ, всѣ управители и хозяева были имъ же такими же обращены въ фетиши, которыхъ онъ страшился, кланялся и приносилъ имъ жертвы въ видѣ каторжнаго труда.

На этотъ разъ судьба избавила его отъ новаго испытанія.

освободивъ его на этотъ день отъ богатаго мужика, отъ Тараканова и отъ всѣхъ его хозяевъ. Этотъ день былъ счастливъ для него, и онъ никогда не забудетъ его... Шелъ онъ по рыхлому снѣгу, проваливавшемуся подъ его ногами, и вдругъ вспомнилъ Ваську и Ванюшку, которые отправились за кусочками по тому же направленію, по которому теперь онъ шелъ и самъ. Тогда ему стало скучно идти одному; онъ рѣшилъ, что идти къ богатому мужику не стоитъ, потому что „Васька и Ванюшка, Богъ дастъ, что ни на есть принесутъ“ и прокормятъ въ этотъ день всѣхъ. Съ этимъ скорымъ рѣшеніемъ онъ повернулъ было назадъ, какъ вдругъ вдалекѣ замѣтилъ Ваську и Ванюшку; подумалъ сначала, что онъ обознался, и пристально посмотрѣлъ въ даль снѣжной равнины, прикрывая глаза рукой отъ солнца, весенніе лучи котораго сверкали ослѣпительнымъ блескомъ. Но нѣтъ, это были дѣйствительно Васька и Ванюшка. Они стрѣлой летѣли къ нему, о чемъ-то крича ему еще издали; шубенки ихъ развѣвались по вѣтру, шапки едва держались на головахъ.

— Тятка! сюды! Баринъ влопался!—кричали оба они вразѣ и врозь, перебивая другъ друга, принялись объяснять ему что, какое-то происшествіе въ „Собачьемъ вражкѣ“, но онъ долго ничего понять не могъ.

— Какой баринъ?—спросилъ, наконецъ, Савося.

— Чужой... влопался по ухи... Ъхаль-ѣхаль—бухъ! въ самый зажоръ влопался... И сидить. Бѣгемъ скорѣ!

— Куды?

— Въ „Собачій вражекъ“. Тамъ онъ и есть. Въ самую секунду попалъ... Ругается, велѣлъ кликать мужиковъ, чтобы вытянуть его... Я, говоритъ, за все заплачу... Бѣгемъ скорѣ!

Васька и Ванюшка выходили изъ себя, объясняя отцу о баринѣ. Они говорили съ необыкновеннымъ жаромъ, перебивая другъ друга, и тащили за полы отца. Тотъ нерѣшительно упирался.

— Чай, и самъ вылѣзетъ?—спросилъ онъ, нерѣшительно смотря на Ваську и Ванюшку.

— Онъ-то? Да онъ только ругается. Влопался по ухи... Зови, говоритъ, заплачу.

Савося понялъ и больше не колебался.

Всѣ трое быстро, бѣгомъ, направились въ „Собачій вражекъ“ и тамъ скоро наткнулись на сцену, описанную жар-

кими устами Васьки и Ванюшки. Сани, дѣйствительно, стряли въ ложбинѣ, набитой рыхлымъ снѣгомъ, подъ которыми была уже вода, а пара лошадей чуть не по уши вязли и беспомощно барахтались въ снѣжномъ киселѣ. Наконецъ растерянно хлесталъ ихъ кнутомъ и безъ пользы ругался. Баринъ сидѣлъ въ саняхъ и оттуда кричалъ, подавая вѣты; беспомощность его также была полная. Завидѣвъ Савосю, онъ обратился къ нему и приказалъ ему дѣйствовать. Савося заметался, забѣгалъ и принялся ухать на лошадей. Но онъ скоро бросилъ лошадей и полѣзъ въ сани, утопая по поясъ въ мокромъ снѣгу. Добравшись до саней, онъ посадилъ барина на загорбокъ и понесъ его на берегъ. Утопая онъ нѣсколько разъ въ снѣгѣ, но, въ концѣ-концовъ, вывелъ барина благополучно. Потомъ отряхнулся и снова принялся ухать на лошадей. Когда этотъ способъ не удался, онъ помогъ кучеру выбраться на чистое мѣсто и вдвоемъ они принялись распрягать лошадей; при этомъ обоимъ имъ пришлось нѣсколько разъ выкупаться въ снѣгу; они вымочились иззябли. Однако, никогда Савося не работалъ съ такимъ жаромъ, самозабвеніемъ и такъ добросовѣстно.

Этотъ жаръ былъ искренній. Савося работалъ въ эту минуту не каторжнымъ трудомъ и не по принужденію, а охотой. Онъ изъ всѣхъ силъ старался, имѣя въ виду поощреніе, и благодарилъ Бога, что ему послалъ такой „случай“. Баринъ влѣзъ въ „Собачій вражекъ“. Безъ этого „случая“ что бы ему дѣлать? Очень трудный былъ для него день. Испавшись въ зажорѣ, онъ не чувствовалъ нестерпимаго холода, онъ думалъ: „уплатить“. Эта мысль удваивала его силы, онъ выходилъ изъ себя отъ волненія, таща за веревки сапоги, горячился, прыгалъ по берегу. Это не значитъ, что въ минуту онъ только и думалъ о наполненіи мѣшка, на привычныя манеры говоря себѣ: „уплатить“... Онъ искренно тянулъ за уши лошадей, билъ ихъ по мордамъ; онъ добросовѣстно старался, не щадя живота своего, и жертвовалъ здоровьемъ безъ всякой задней мысли. Онъ только напередъ зналъ, былъ увѣренъ, что за этотъ горячій трудъ ему заплатятъ потому что вознагражденіе онъ заслужилъ.

Впрочемъ, выбиваясь изъ силъ на берегу, утопая въ зажорѣ, онъ боялся, какъ бы не пришли другіе мужики и перебили у него... Эта единственно корыстолюбивая мы-

его привела его въ еще большій жаръ. Натурально: Богъ послалъ ему на бѣдность барина, и этого-то неожиданнаго счастья онъ лишится. Савося до того старался, что сталъ лѣзть въ снѣгъ и купаться безъ всякой нужды.

Наконецъ, сани были вытащены. Лошадей впрягли. Кучеръ торопилъ барина поскорѣе ѣхать; баринъ также торопился и сталъ расплачиваться съ Савосей и благодарить его отъ души.

— Старательный же ты мужикъ, спасибо тебѣ, — сказалъ онъ, вынимая изъ кармана кошелекъ.

Савося стоялъ возлѣ него безъ шапки; со всей его одежды тепло и образовались сосульки; губы у него посинѣли, дрожь пробѣгала по всему его тѣлу. Но давно уже его такъ не благодарили, — онъ съ давнихъ лѣтъ слышалъ одни только ругательства, — и теперь былъ глубоко признателенъ барину, неизвѣримо глубже, чѣмъ баринъ былъ благодаренъ ему.

— Что, озябъ? — спросилъ благодарный баринъ.

— Не дюже, только въ нутрѣ какъ быдто... а то бы ничего.

— Сколько же тебѣ за труды?

— Сколько положить ваша милость, — отвѣчалъ дрожащимъ голосомъ Савося.

— Да, ты стѣишь, спасибо. На, вотъ! — и, говоря это, баринъ выложилъ на представленную ладонь Савоси двѣ бумажки и еще мѣдной мелочи, часть которой предназначалась на то, чтобы Савося пошелъ обсушиться въ кабачокъ. — Поди, обсушись, — сказалъ онъ, сѣлъ и поѣхалъ.

Савося обомлѣлъ. Онъ не нашелся даже поблагодарить барина, который быстро уѣхалъ. Давно онъ уже не получалъ такой поразительной суммы денегъ; онъ все пробавлялся по мелочи, длилъ свою жизнь посредствомъ копѣечекъ. Но затѣмъ, когда Васька и Ванюшка принялись тормошить его, онъ вышелъ изъ оцѣпенѣнія, перекрестился и пустился бѣгомъ къ деревнѣ, схвативъ мѣшокъ подъ мышку. Придя туда, Ваську и Ванюшку онъ отослалъ домой, а самъ забѣжалъ въ кабачокъ обсушиться, въ чемъ почти не было надобности, потому что радость его превышала холодъ, заморозившій его нутро. Послѣ этого онъ побѣжалъ къ состоятельному кулаку, занимавшемуся, между прочимъ, продажей муки. Тамъ случайно собралось нѣсколько мужиковъ, кото-

рые очень удивились, услышавъ требованіе Савоси отвѣсн ему три пуда муки. Освѣдомились, какая благодать выпала на его долю, но Савосю и самъ еще не могъ хорошо объяснить себѣ происшествія, давшего ему возможность купить муки на свои деньги, а не въ долгъ; онъ едва и самъ сдерживался отъ разсказа о необыкновенномъ случаѣ, котораго послалъ ему Богъ. Когда хозяинъ взвѣсилъ хлѣбъ, Савосъ изумленіемъ потрогалъ свой мѣшокъ и оглянулъ всѣхъ присутствующихъ ошеломленнымъ взглядомъ, какъ бы самъ не вѣря въ чудеса, случающіяся иногда на свѣтѣ.

— Три пуда въ аккуратъ... ловко! Дай Богъ здоровья брину, выручилъ, а то чистая смерть!—сказалъ онъ, продолжая оглядывать собравшихся тѣмъ же взглядомъ.

— Да ты расскажи, какой такой баринъ, какая причина муки?—спросилъ кто-то изъ присутствующихъ, и къ нему присоединились всѣ, прося Савосю разсказать.

Савосю былъ въ крайне возбужденномъ состояніи. Онъ началъ разсказывать; вначалѣ все колесилъ вокругъ предмета, начавъ разсказъ съ самаго утра, т. е. какъ онъ чинилъ плушубокъ, какъ пошелъ къ „управителю“, какъ его тамъ „пшмали“ и ему пришла чистая смерть. Но когда онъ дошел до „Собачьяго вражка“, то не сумѣлъ ничего сказать от волненія; свое участіе въ происшествіи съ бариномъ онъ передалъ такъ безсвязно, что слушатели долго ничего не понимали; изъ его разсказа они усвоили, прежде всего, что Савосѣ въ этотъ день пришлось плохо, чистая смерть, от которой спасъ его заѣзжій баринъ. Но кто такой баринъ? Савосю разсказать путно не могъ, повторяя только, что дѣло было въ „Собачьемъ вражкѣ“... „Баринъ врехался... но ничего, вытащили кое-какъ... Чудесный баринъ, дай Богъ здоровья, а то чистая смерть“... Мужики сначала равнодушно слушали Савосю, но когда послѣдній назвалъ сумму денегъ полученную имъ отъ барина за труды, всѣ были глубоко поражены. Савосю назвалъ эту сумму, замѣтивъ, что по этимъ причинѣ и мука, — и всѣ переглянулись между собой взглядомъ, выражающимъ недовѣріе и изумленіе.

— Два цѣлковыхъ?—спросилъ одинъ изъ кучки, жившій такъ же зажиточно, какъ и Савосю.

— Два цѣлковыхъ и еще мѣди... На, говоритъ, обсушись, отвѣчалъ Савосю.

— Такъ прямо два цѣлковыхъ и влѣпилъ?

— Два цѣлковыхъ. Бери, говорить, заслужилъ ты!

— Стало быть, въ аккуратъ вляпался?

— Въ самый разъ... въ самую эту прорву! Утопъ совсѣмъ.

На, говорить, тебѣ за труды, старательный, говорить, ты мужичокъ... Я вотъ теперь и съ мукой, дай ему Богъ здоровья!

Савося былъ взволнованъ рѣсказомъ, но, кончивъ его, сталъ поднимать на плечи мѣшокъ.

Онъ въ эту минуту сдѣлался героемъ. Ему помогли взвалить на плечи мѣшокъ, и онъ отправился, сопровождаемый взглядами, полными удивленія.

Дома Савосю ждали, конечно, съ большимъ нетерпѣніемъ и чувствомъ, которое онъ и самъ не могъ подавить въ себѣ. Онъ въ другой разъ разсказалъ своему семейству о „Собачьихъ вражбѣ“ и о баринѣ, который, дай ему Богъ здоровья, ушатымъ хорошо за труды, и на его лицѣ свѣтилась радость, а глаза свѣтились благодушіемъ. Мѣшокъ былъ поставленъ на столъ въ переднемъ углу, и всѣ столпились вокругъ него. Шашка вскарабкалась на лавку, влѣзла на столъ, чтобы лучше видѣть мѣшокъ; Васька похлопалъ его ладонью, Ванюшка запустилъ было въ него руку, не доставъ муки только потому, что своевременно получилъ отъ матери въ лобъ. Татьяна сама достала щепотку муки, перекрестилась и взяла ее въ ротъ, послѣ чего и Ванюшка съ Васькой взяли въ ротъ по щепоткѣ; и всѣ жевали, пробуя. Въ избѣ царилъ глубокое молчаніе. Всѣ пять человѣкъ только глядѣли на мѣшокъ, стоявшій на столѣ стоймя.

Савося былъ счастливъ.

II.

Праздничныя размышленія.

Въ воздухѣ раздавались удары колокола, сзывавшаго объѣднѣ. Былъ праздникъ. Утро стояло теплое; солнечныя лучи весело играли. Воздухъ былъ чистый и прозрачный. Деревня полна была миромъ и тишиной.

Но еслибы собрать всѣхъ жителей этой деревни и все описываемаго округа, то и тогда разговоры жителей бы не болѣе интересны, чѣмъ тѣ отрывочныя бесѣды, которыми отъ времени до времени нарушали свое молчаніе шестеро человѣкъ, сидѣвшихъ передъ прудомъ, позади двора Чилина. Можно бы подумать, что они отвлекутся на время отъ ежедневной суетливой жизни, толкавшей ихъ, съ одной стороны, на поиски „куска“, съ другой — мѣдной копѣйки, но такое предположеніе не имѣетъ за собой ни теоретическаго основанія, ни практической осуществимости. Душа крестника этой одичалой мѣстности всегда мрачна, сердце сжато затаеннымъ горемъ, мысли переполнены глубокою думою. Сидѣли эти шесть человѣкъ и молчали; звонъ-ли колокола нагналъ на нихъ раздумье, или они погружены были въ обычные предметы своей мысли? Видъ ихъ, впрочемъ, былъ вольно праздничный. Одинъ надѣлъ сапоги (чего онъ никогда не дѣлалъ въ будни), другой былъ въ красной ситцевой рубашкѣ (а обыкновенно онъ ходилъ почти безъ одѣянія), третій причесалъ волосы и т. д. У всѣхъ лица были озабочены.

Тишина.

— Уши-то отнесъ? — спросилъ одинъ, обращаясь къ ситцевой рубашкѣ.

— Какъ же, отнесъ, — отвѣчалъ послѣдній, вздвигавшій протекшей недѣлѣ въ лѣсъ — вырубить тайно пару бере

Снова тишина.

— Счастье, братецъ, тебѣ привалило! — замѣтилъ первый.

— Прямо сказать, самъ Богъ! — возразилъ второй убѣдительно тономъ.

— Какъ же это ты его ухлопалъ-то?

— Оглоблей. Вѣрно говорю тебѣ: не настоящій, должно быть, волкъ былъ, а такъ, шутъ его знаетъ, замухрышка какой-то тощій... не жралъ, что-ли, дѣлое лѣто!... Слышу, хруститъ. Ну, думаю, пропала моя голова, — полѣщикъ идетъ, а это онъ самый и приперся! И лѣзетъ прямо на лошадь — жрать! Ну, я и двинулъ его въ башку...

Раньше рассказчикъ прибавилъ, что онъ въ этотъ же день обрѣзалъ у волка уши и отвезъ ихъ въ земскую управу, обывавшую плату — пять руб. за каждую пару ушей волчьихъ.

— А шкура? — оживленно спросилъ третій и даже приподнялся отъ волненія на ноги.

— Шкуру еще не опредѣлили; да и худая, потому дюжо тощій былъ звѣрь.

— А все же вѣрные деньги. Счастье, братецъ, тебѣ, — возразилъ приподнявшійся на ноги крестьянинъ. — Это не то, что мнѣ! — добавилъ онъ съ горечью и сѣлъ.

На него никто не обратилъ вниманія. Снова настала тишина.

— Н-да! Это не то, что мнѣ! — возобновилъ свое грустное восклицаніе огорченный. — Я вонъ намедни съ курицу понесъ, стало быть, взялъ на руки глупое или пустое, напримѣръ, дѣло, а и то случилась бѣда. — Всѣ стали прислушиваться. — Иду я по городу и попадается мнѣ, Господи благослови, господи. „Продаешь?“ — спрашиваетъ. — „Купите, говорю, ваше превосходительство, будете убоготворены; то-есть, вотъ указъ, говорю, птица, будете спокойны!“ — „Сколько же ты просишь?“ спрашиваетъ. — „Да полтинничекъ!“ — говорю я какъ ласково... И вдругъ даже испугался и не помню, какъ я ноги убралъ...

Рассказчикъ остановился и испуганно посмотрѣлъ на всѣхъ, какъ будто видѣлъ еще передъ собой барина.

— Ну? — спросили нѣсколько заинтересованныхъ.

— Какъ сказалъ я это самое слово, то онъ даже поблѣднѣлъ и лицо жестокое сдѣлалось. „Ахъ, ты, говоритъ, обман-

щикъ!“ и давай меня честить... „Да ежели бы, говорить, самого себя продавагь вмѣстѣ съ курицей, такъ и тогда не далъ бы полтинника“.

— Ну, и потомъ?

— За пятнадцать копѣечекъ ухнулъ!

— Курицу-то?

Въ отвѣтъ на это рассказчикъ только плюнулъ.

Таковы праздничные разговоры.

Незамѣтными переходами какъ-то дошли до вопроса: какъ отвѣживать скотъ отъ шлянья по огородамъ? Одинъ говорилъ, что первѣйшее средство—кипятокъ, которымъ очень удобно опаривать. Другой возразилъ на это, что онъ поступаетъ рѣшительнѣе. „Стукнулъ топоромъ и шабашъ“,—сказалъ онъ и повернулся на брюхо. До послѣдняго разговора этотъ шкивъ безмолствовалъ. Лежа на землѣ, онъ останавливая неподвижный взглядъ на какомъ-либо предметѣ и не шевелился, какъ бревно. Видъ его не былъ свирѣпъ, но сложенъ коренастый и внушительный: здоровенныя руки, плотное туловище, большая голова. Все, что говорили, онъ пропускалъ мимо ушей. Когда же къ нему обращались: „Чилигинъ!“—онъ только отвѣчалъ: мм..., а въ дальнѣйшій разговоръ вступать не желалъ, отдыхая отъ протекшей недѣли, во все продолженіе которой онъ таскалъ бревно.

Дѣйствительно, онъ отдыхалъ всѣмъ туловищемъ. Июльское солнце было уже высоко, и лучи его сильно пекли. Падающая Чилигина, они припекали ему спину, руки, лицо и вливали во всѣ члены истому. Говорить ему было лѣнь, слушать лѣнь, смотрѣть лѣнь; и онъ не говорилъ, не глядѣлъ и не слушалъ. Когда какой-нибудь звукъ поражалъ его слухъ, волосы на его лбу нѣсколько приподнимались, обладая способностью флективного движенія, и только; въ дѣйствѣ у него и руки не двигались, но съ теченіемъ времени онъ утратилъ эту способность.

Всѣ перекрестились, когда раздался звонъ къ „Достойно“, но никто не говорилъ вплоть до той минуты, когда появилось новое лицо. Это былъ Чилигинъ-отецъ.

— Васька!—сказалъ онъ, обращаясь къ сыну, который, однако, не пошевелилъ ни однимъ членомъ.—Васька!—поздоровался отецъ,—да дай ты мнѣ хоть пятачекъ ради праздника. Я знаю, у тебя есть сорокъ копѣекъ, такъ хоть пятачекъ

то пожертвуй, ради моихъ старыхъ костей, для великаго праздника, а?

Васья Чилигинъ только усмѣхнулся въ отвѣтъ на эту просьбу отца. Отецъ стоялъ и старался принять грозный видъ, но никакъ не могъ напугать. Онъ былъ уже дряхлый старикъ, горбленый и съ трясущимися членами. Тусклые глаза его отражали сознаніе безсилія и робость; все лицо возбуждало жалость. Напугать онъ не могъ потому еще, что, въ сущности, сильно боялся сына; ихъ семейная жизнь шла такъ неаккуратно, что возбуждала удивленіе даже въ этой деревнѣ, гдѣ вообще были неизвѣстны семейныя интимности.

Не дождавшись отъ сына отвѣта на просьбу, отецъ обратился съ жалобой къ присутствующимъ.

— Вотъ, господа православные, какой у меня подлецъ Васья: кормить онъ меня не кормитъ, а прямо говорить—помирай, старая кочерга! Будьте, господа, свидѣтелями, ежели, къ примѣру, смертоубійство. Бьетъ онъ меня нещадно, а жить-быть не допускаетъ. И вчера съ прибилъ. Теперича прошу я пятачекъ, а онъ, подлая душа, молчитъ.

— Да изъ-за чего у васъ опять вышло?—спрашивали нѣкоторые изъ сидящихъ.

— А изъ-за того и вышло, что онъ извергъ!... Такой скотина, то-есть безчувственнаго авѣря, нигдѣ, чай, не было. Чобы, на примѣръ, уваженіе или почитаніе къ отцу — гдѣ? Отецъ долго бы развивалъ свои наглады на характеръ сына, но присутствующіе перестали его слушать, обратясь за разъясненіемъ къ сыну. Но тутъ разъясненіе вышло еще удивительнѣе.

— Изъ-за чего? Изъ-за похлебки. Вчера съ велѣлъ я бабѣ похлебку сварить; давно горячаго во рту не было, даже въ горлѣ пересохло, а въ животѣ, на примѣръ, волкъ сидитъ и воесть. И еще наказалъ бабѣ, чтобы близко не пущать вотъ этого самаго блудню (указываетъ на отца), потому никакой работы за нимъ не числится, день-денской сидитъ у себя и думаетъ, какъ бы что ни на есть сдѣлать насчетъ пропитанія. И вѣдь какой хитрый человекъ: какъ только уйдетъ баба, онъ сейчасъ заберется въ избу, а тамъ краюшка-ли ситнаго, мѣло-ли—словилъ и въ ротъ. Такъ и вчера: забрался и вычерпалъ весь чугунокъ... Я сейчасъ за нимъ. „Ты, говорю, съѣлъ?“ — „Я“, — говорить. — „Зачѣмъ, говорю, ты съѣлъ, когда прика-

зу тебѣ не было?“—„А какже, говорить, чай, мнѣ не один сухарь крошить зубами, чай, я — отецъ твой!“—„Какой те отецъ, ежели ты только насчетъ какъ бы воровски сожрать а никакой пользы отъ тебя нѣтъ? Объядало-мученикъ ты, не отецъ“. Ну, а онъ лѣзетъ драться. Тутъ ужъ я терпѣннѣе рѣшился, взялъ я этотъ самый чугунокъ и тукнулъ его...

— Драка, стало быть, произошла?—спросили сидящіе.

— Я-то такъ-сякъ, только по загорбку разовъ пять... ты вотъ его спроси?—возразилъ Чилигинъ, указывая на отца.

— Что же онъ?

— Икру мнѣ прокусилъ.

-- Ишь ты!

— Такъ прямо зубами и впился въ мякоть, даромъ что всѣхъ-то четыре зуба у него.

При этихъ словахъ Чилигинъ показалъ укушенное мѣсто.

Осмотрѣли икру; на ней дѣйствительно оказался слѣдъ зубовъ. Старикъ также смотрѣлъ съ чрезвычайнымъ вниманіемъ на дѣло зубовъ своихъ. Впрочемъ, его въ это время занимала мысль, что все-таки пятачка у него нѣтъ. До отцальнаго ему мало было заботы, и онъ нисколько не удивлялся жестокому положенію въ семействѣ. А что положеніе это было жестоко, свидѣтелями тому могутъ послужить жители деревни. Между отцомъ и сыномъ шла вѣчно битва потухавшая только въ тѣ дни, когда обоимъ ѣсть было нечего, т.-е. когда главнѣйшая причина ссоры отсутствовала.

Прежде, когда старикъ былъ моложе и могъ работать, онъ нещадно колотилъ сына; обезсилѣвъ и переставъ работать, онъ принужденъ былъ выносить нещадные побои отъ сына, вотъ и все. Онъ жилъ въ банѣ, пристроенной здѣсь же изъ избы на берегу пруда, но врозь отъ сына; питался чѣмъ попало, преимущественно же картофелемъ, но вѣчно голодалъ. Онъ былъ жаденъ, какъ ребенокъ, и забирался въ избу для хищенія съѣстнаго. За это въ избу его не пускали. Если онъ забирался и похищалъ что-нибудь, сынъ билъ его. Въ сущности, онъ былъ свирѣпый старикъ, плакалъ безсилія, при удобномъ же случаѣ кусался и царапалъ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ жаловался сходу — официально или случайному, собравшемуся изъ нѣсколькихъ человѣкъ по близости ихъ избы. „Вотъ, господа православные, опять Васька меня прибилъ!“—говорилъ онъ. Но соч-

ствіе никогда не было на его сторонѣ. Ему прямо говорили: „Теръ-теръ ты свои кости-то, и все конца тебѣ нѣту“. Онъ не работалъ, — следовательно, не имѣлъ права жить; онъ обладалъ, — следовательно, долженъ быть истребленъ изморомъ. „Помирать бы давно надо, честь бы надо знать, а ты все мотаешься“, — говорили ему въ глаза. Въ описываемомъ округѣ семейная жизнь вообще устраивалась по этому образцу: братья корили сестру за ея бесполезность и старались ее „спихнуть“; мужъ сживалъ со свѣту больную жену. Это была страшная, но неизбежная логика, и другой не можетъ быть тамъ, гдѣ египетская работа доставляетъ лишь сухую корку и медленно вгоняетъ работника въ гробъ. Тотъ идеалъ, который мы привыкли приурочивать къ деревнѣ, обладалъ свойствомъ внушать „нервную“ дрожь всякому, кто никогда не видалъ ея. Законъ, право, справедливость принимаютъ здѣсь до того поразительную форму, что съ перваго риза ничего не понимаешь. Законъ, представляется въ видѣ здороваго Васьки; право переходитъ въ формулу: „долженъ честь знать“; справедливость вдругъ превращается въ похлебку, а орудіями осуществленія этихъ понятій являются: чугуны, кулакъ, зубы и ногти.

Собравшіеся мало-по-малу стали расходиться. Наконецъ, остались только отецъ и сынъ Чилигины. Последнему надобно лежать на солнцѣ, онъ поднялся, и въ эту минуту ему пришла заманчивая мысль.

— Такъ и быть — сказалъ онъ, — дамъ тебѣ выпить, поймаю. Только смотри, больше какъ на пятакъ и думать оставь, а то ей-ей прибыю.

И они пошли рядомъ. Василій остановился не надолго у воротъ своего дома, чтобы выгнать двухъ чужихъ поросятъ. Некоторое время на дворѣ царилъ содомъ, въ которомъ принимали участіе куры, два поросенка, пестъ и Василій, дававшие знать о себѣ свойственными каждому изъ нихъ голосами. Одинъ поросенокъ успѣлъ спастись, пробивъ головой сваину въ плетвѣ, другой попался. Василій взялъ его за заднія ноги и постучалъ объ заборъ, послѣ чего поросенокъ одурѣлъ и некоторое время кружился по улицѣ, потерявъ сознаніе.

Дорогой отецъ боялся, что Васька его надуетъ. Это случилось: совсѣмъ позоветъ пить, а потомъ прогнать.

— Ты, братъ, Васька, смотри... по справедливости, не обижай!—замѣтилъ заранѣе старикъ.

— Небось, — возразилъ Василій, приниженный честнымъ намѣреніемъ напоить отца: И онъ выполнилъ свое намѣреніе, такъ что черезъ непродолжительное время оба они вышли навеселѣ изъ питейнаго заведенія и сѣли подъ окнами его рядомъ съ другимъ посѣтителемъ, Прохоровымъ. Отецъ ослабъ отъ водки, и изъ глазъ его безъ всякой причины струились слезы. На сына водка производила обратное дѣйствіе. Глазъ его мутились, но мускулы пріобрѣтали непомѣрную упругость. Онъ становился хвастливымъ, а руки его, какъ говорится, чесались. Поэтому, не проходило выпивки, чтобы онъ не поссорился съ кѣмъ-нибудь.

На этотъ разъ на бѣду попался Прохоровъ. Это была прямая противоположность Чилигину. Лицо его было измѣненное и блѣдное, какъ у всѣхъ портовыхъ, къ числу которыхъ онъ принадлежалъ, занимаясь по зимамъ шитьемъ тулуповъ и зипуновъ. Видъ его былъ отрепанный, вплоть до штановъ, сшитыхъ изъ разноцвѣтныхъ заплатъ. Трезвый это былъ кроткій и крайне пугливый человѣкъ; у него всегда краснѣлъ носъ, когда съ нимъ разговаривалъ человѣкъ посторонній, глаза пугливо бѣгали по сторонамъ и слова застывали на губахъ. Ничего не стоило обмануть и обидѣть его въ это время. Но стоило ему только напиться, какъ онъ дѣлался совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Пьяный, онъ ходилъ по улицѣ и бормоталъ безсвязно, но громко: „Сволочь! дуракъ!... Умнѣйшаго человѣка въ деревнѣ!...“ Если ему встрѣчался ни одинъ человѣкъ, которому бы онъ могъ выразить глубочайшее презрѣніе, онъ останавливался передъ какимъ-нибудь неодушевленнымъ предметомъ — плетнемъ, заборомъ, стѣной—и откровенно высказывался. Этимъ страннымъ способомъ обездоленный человѣкъ открывалъ въ себѣ присутствіе человѣка и мстилъ за поруганіе въ себѣ чело-вѣческаго достоинства.

Всѣ трое знали другъ друга съ малыхъ лѣтъ, но теперѣ сидѣли молча, словно незнакомые. Впрочемъ, Прохоровъ неизмѣнно не замѣчалъ сидѣвшаго рядомъ Чилигина, съ прѣзрѣніемъ оглядывая его изрѣдка, между тѣмъ какъ послѣдній сидѣлъ надутый, говоря всѣмъ своимъ видомъ, что ник

теперь ему не перечь... Ссора неизбежно должна была произойти.

— А скажите, милостивый государь, какъ ваше имя, фамилія?—спросилъ, наконецъ, Прохоровъ, вперяя злобный взглядъ на Василія.

— Меня всякъ долженъ знать. Вотъ это видишь? — Чилигинъ показаль кулакъ.—Сила!—добавилъ онъ.

— Это точно, что превосходный кулакъ,—согласился Прохоровъ.

— За голову возьмусь — голову оторву, за руку—руку... больше ничего.

— А прочихъ превосходныхъ частей въ туловищѣ нѣту?

— Найдется. Я, братъ, и не такихъ сопляковъ убираль,—возразилъ Чилигинъ, мрачно надуваясь.

— Вполнѣ понимаемъ. Описывайте дальше!

— И ежели, напримѣръ, я двину плечомъ, такъ ты отскочишь на версту...

— И больше ничего-съ?

Прохоровъ былъ злобно спокоенъ, но дѣлался блѣднѣе. Василій Чилигинъ вышелъ изъ себя. Лицо его окончательно надулось. Онъ походилъ на быка, котораго раздражили красною тряпкой.

— Дамъ вотъ тебѣ по шеѣ, ты и узнаешь, что больше!—сказаль онъ.

— Ваша угроза для меня—все одно, какъ тѣфу: только и есть. А насчетъ головы что скажете? Потому, по мнѣнію моему, на мѣсто этой статьи у васъ, напримѣръ, арбузъ пустой.

— Что?—мрачно сказалъ Василій, пододвигаясь къ Прохорову:—Васька! молчи лучше. Ей-ей, по мордѣ!

— А такъ какъ,—продолжалъ дразниться Прохоровъ,—голова у васъ—арбузъ пустой...

Раздался лязгъ со свистомъ, и Прохоровъ моментально очутился подъ рыдваномъ, но сейчасъ же выкарабкался оттуда и пустиль въ голову Чилигина полѣно. Произошла ожесточенная драка, въ продолженіе которой Прохоровъ то катался по землѣ, то ложился на землю плашмя. Но, въ концѣ-концовъ, побѣда случайно досталась ему при помощи бороны съ желѣзными зубьями...

— Ой-ой-ой!—вскричалъ вдругъ Василій, наткнувшись бо-
сою ногой на зубья.

Этимъ драка кончилась. Василій сидѣлъ на землѣ и посы-
палъ пескомъ ногу, изъ которой струилась кровь. Рана была
глубока, зубъ почти насквозь пропоролъ ногу, такъ что пе-
ску потребовалось очень много. Прохоровъ оказался джентль-
меномъ: онъ отдалъ противнику свой платокъ, пропитанный
запахомъ овчины, табаку и водки.

Чилигину было больно. Плеться по улицѣ, онъ смотрѣлъ
во всѣ стороны и искалъ человѣка, которому можно бы было
своротить физиономію. Но улица была пуста, а отъ него ранѣе
уже прогналъ. Замѣчательное явленіе совершилось въ немъ въ
эту минуту. Онъ вообразилъ, что его никто не уважаетъ, и
чувствовалъ, что это страшно обидно. Онъ шелъ по улицѣ и
искалъ человѣка, чтобы заставить его уважать себя, и въ
этихъ видахъ во все горло кричалъ: „Въ морду дамъ!“ Когда
эта угроза потерялась въ хаосъ, онъ нашелъ другую. „Кто
супротивъ?“—кричалъ онъ. Единственное существо, попав-
шееся ему на глаза, была тощая лошадь, лѣниво шагавшая
къ водопою. Василій далъ ей ударъ по крупу. Она поведе-
ла ушами, но продолжала лѣниво идти, не обративъ ни малѣй-
шаго вниманія на человѣка. Василій съ удивленіемъ посмо-
трѣлъ ей вслѣдъ, чувствуя себя еще глубже оскорбленнымъ.

Дома онъ засталъ только одну хозяйку свою, Дормидонов-
ну; дѣти играли на другомъ концѣ улицы. Но и безъ нихъ
онъ произвелъ однимъ своимъ появленіемъ переполохъ. Какъ
большой праздникъ Дормидоновна обыкновенно ждала
его домой съ сердечнымъ замираніемъ, за цѣлую недѣлю пе-
редъ тѣмъ думая, какъ онъ пройдетъ для нея. Въ этотъ денъ
она всегда пряталась у сосѣдей, по огородамъ, въ закоу-
лкахъ своего двора, выжидая того времени, когда онъ придетъ.
Регулярные побои такъ изнурили ее, что она согнулась въ
дугу, сморщилась и одряхлѣла въ тридцать лѣтъ. Ее въ де-
ревнѣ называли *безжизненною*. Дѣйствительно, живота у не-
буквально не было, пропалъ куда-то. Сегодня она также со-
бразила, что ей надо куда-нибудь уйти, но ошиблась въ рас-
счетъ времени и лицомъ къ лицу столкнулась съ мужемъ.
Въ ней вдругъ все замерло.

Василій сидѣлъ на лавкѣ и до поры до времени молчалъ.
Онъ только наблюдалъ за каждымъ движеніемъ Дормидонов-

ны. Уважаетъ ли она его?—думалъ онъ и подозрительно вглядывался. Дормидоновна растерялась и молча копошилась въ углу, повернувшись спиной къ мужу. Руки и ноги ея дрожали; она молилась угодникамъ, обѣщая, что поставитъ свѣчку. Она стояла и прислушивалась къ малѣйшему шороху въ избѣ, къ сопѣнію, которое раздавалось за ея спиной... Оглянуться она боялась. А Василию казалось, что она нарочно повернулась къ нему задомъ: нѣ, молъ, смотри!

— Хозяйка! Это ты что?—грозио спросилъ онъ.

— Я ничего, Степанычъ...

— То-то, смотри у меня въ оба!

Василій погрузился въ себя, не переставая наблюдать за манерами хозяйки. Последняя должна была бы выйти изъ избы, но она боялась шелохнуться. Она лихорадочно перебирала около печки вещи, чтобы наполнить чѣмъ-нибудь время. Но Василию положительно казалось, что съ ея стороны уваженія къ нему нѣтъ. Случайно повернувъ ногу, онъ почувствовалъ невыносимую боль; тогда онъ посмотрѣлъ на хозяйку и увидалъ, что она, попрежнему, стоитъ, какъ вкопанная. Онъ былъ глубоко возмущенъ такимъ безчувствіемъ. Онъ понялъ, что она не хочетъ даже взглянуть на него, а не то, чтобы дать поѣсть или спросить: чѣмъ ты боленъ, Степанычъ?

— Хозяйка!—сказалъ Василій.

— Что, Степанычъ?

— Гляди на меня!

Дормидоновна съ ужасомъ посмотрѣла.

— Я тебя, шельма!—заклучилъ Василій свое подозрѣніе.

Дормидоновна промолчала. Она опустила глаза въ землю и затаяла дыханіе. Лицо ея изказилось страданіемъ. А Василию показалось, что она смѣется.

— А-а! насмѣхаться надо мной, не уважать?—закричалъ онъ и принялся колотить Дормидоновну.

На шумъ прибѣжали дѣти; онъ ихъ вытолкалъ. Пришелъ отецъ, онъ и его прогналъ. Онъ такъ остервенѣлъ, что Дормидоновнѣ пришлось бы худо. Но двѣ изъ сосѣднихъ бабъ прибѣжали, выручили Дормидоновну и вытолкали Василія за дверь избы. Онъ еще долго бродилъ вокругъ своего дома, пробуя ворваться, но его прогоняли.

На ночь онъ пошелъ въ хлѣвъ: очень отдохнуть захотѣ-

лось. Тамъ онъ сначала успокоился; его клонило ко сну. Но боль въ ногѣ начала уже сильно давать знать о себѣ, а чувство обиды неотлунно сидѣло въ немъ. Онъ присѣлъ въ уголъ на навозъ и съ большимъ недоумѣніемъ смотрѣлъ на противоположную стѣну. Зачѣмъ его обижаютъ? — думалъ онъ и вспомнилъ ехидство Прохорова, его насмѣшки, зубобороны и проч., вспомнилъ и заплакалъ, и слезы тихо капались по его щекамъ. Зашевелились другія воспоминанія. Въ волости его прошлый мѣсяцъ обругали и пригрозили отпороть за безчувствіе къ уплатѣ долговъ. Таракановскій баринъ обманулъ на полтину, а когда онъ пикнулъ, его же обругали. Такъ и во всѣхъ случаяхъ. Намеднисъ повезъ въ городъ продать сѣно, купецъ обманулъ, облаялъ, и его же спровадилъ въ часть за буйство. Дорогой прибили; прибили и на мордѣ кровь осталась. „Зачѣмъ меня обижаютъ?“ — твердилъ Василій, и слезы продолжали струиться по его щекамъ.

Онъ продолжалъ смотрѣть на противоположную стѣну и все припоминалъ. Въ памяти проходили разнообразныя обиды, только обиды, милліоны обидъ! Цѣлая жизнь представлялась сплошнымъ оскорбленіемъ. За что? Огъ вѣдь человѣкъ... А есть-ли хоть одинъ, который хоть разъ молвилъ бы ласковое слово? „Васька, молъ, такъ и такъ, дружище.. по человѣчеству... терпи, голубчикъ!“ Такъ нѣтъ такого человека, и никто не сказалъ ласковаго слова. Одно тебѣ на званіе—свинья, напимѣръ... Василій громко зарыдалъ. Онъ довелъ себя воспоминаніями до той степени, когда недоста точно обыкновеннаго дыханія, когда грудь высоко поднимается. И слезы продолжали струиться по его щекамъ и капали въ навозъ. Потомъ онъ задремалъ, притихъ и успокоился. Тогда въ хлѣву настала тишина; раздавались только храпъ и сопѣнье, которыми Василій втигивалъ въ себя воздухъ навоза.

Праздникъ кончился.

На другое утро Чилигина разбудила Дормидоновна извѣстіемъ, что открылся недалеко хорошій заработокъ: можно заработать „рубль въ день, а кормятъ сколько хочешь“. Это въ имѣніи Шишкина, одного изъ окрестныхъ помѣщиковъ. Чилигинъ былъ разбуженъ этимъ съ неба упавшимъ оповѣщеніемъ; онъ еще не успѣлъ хорошенько продрать глаза какъ уже сообразилъ, что надо бѣжать со всѣхъ ногъ, иначе

другіе перебыють представляющійся кусокъ. Вольные заработки въ этой мѣстности были немногочисленны, ограничиваясь сдираніемъ лыкъ, тасканіемъ бревенъ съ плотовъ на землю, пилой этихъ бревенъ и прочими случаями, большую часть которыхъ посылалъ случай, какъ, напримѣръ, неожиданную поимку волка. Но мужики, не обезпеченные на что собственною работой,—а къ такимъ именно и принадлежалъ Василій Чилигинъ,—не обращали вниманія на то, вольный-ли представлялся заработокъ, или не вольный; они любили упавшій съ неба кусокъ, рыская за нимъ по всѣмъ окрестностямъ и перебивая его другъ у друга съ тѣмъ остервенѣніемъ, примѣры котораго можно найти только въ зоологической жизни. Не вольные заработки находились въ рукахъ Тараканова и Шипикина, и къ нимъ мужики гуртами шли, часто не разумѣя смысла ихъ заработка.

Быстро понявъ необходимость заработка, Чилигинъ схватилъ изъ рукъ Дормидоновны каравай, сунулъ его за пазуху, перекинулъ черезъ плечо сапоги и отправился въ путешествіе къ Шипикину перекладывать муку.

По дорогѣ онъ ничѣмъ не развлекался—ни видомъ окружающихъ лѣсовъ и полей, которыхъ онъ никогда не замѣчалъ, ни своими собственными размышленіями, которыя у него всѣ были физическаго свойства. Другой на его мѣстѣ отъ скуки запѣлъ бы, но онъ не могъ, потому что пѣть не умѣлъ, не зналъ ни одной пѣсни. Онъ даже не умѣлъ тихо свистать. Свистнуть оглушительно—это онъ могъ. Проходя небольшимъ лугомъ, онъ увидалъ стаю скворцовъ и свистнулъ: стая съ шумомъ поднялась и бросилась въ сторону. А Василій улыбнулся широкою улыбкой. Это потому, что онъ умѣлъ только улыбаться, а хохотать—никогда.

Почти на половинѣ дороги Василій сдѣлалъ привалъ. Солнце было высоко, и ему захотѣлось ѣсть. Для этого онъ избралъ поросшее тростникомъ и водяными растеніями болото, черезъ которое по мосту проходила дорога, залѣзъ на кочку и, мокая хлѣбъ въ воду, принялся обѣдать. Случайно онъ увидѣлъ въ водѣ свой образъ, на которомъ ему не понравились кровавыя пятна, напомнившія ему, что вчера былъ бой. Чтобы смыть ихъ, онъ потеръ лицо смоченными руками, вслѣдствіе чего грязь равномернѣе распредѣлилась по лицу, и утерся подоломъ рубахи.

Работа кипѣла у амбаровъ Шипикина, когда Чилигинъ подходилъ туда. Пѣшіе таскали мѣшки въ пять пудовъ, получая за каждый десятокъ по 17 копѣекъ; конные укладывали ихъ на воза и увязывали. Всѣмъ этимъ муравейникомъ управлялъ прикащикъ, стоя на лѣстницѣ съ нѣжной въ одной рукѣ и длинною хворостиной, имѣвшею загадочное назначеніе, въ другой. Кругомъ, на нѣсколько верстъ, тянулись телѣги; однѣ изъ нихъ увѣжали, нагруженные хлѣбомъ, другія приближались, чтобы забрать грузъ. Земля сдѣлалась бѣлоснѣжною отъ мучной пыли; мука носилась въ воздухѣ, покрывала волосы и лица рабочихъ, мукой чихали. Откуда столько взялось ея съ оголеннаго и отошалаго округа? А Шипикинъ собралъ ее и отправлялъ въ столицу, откуда она должна была отправиться за границу.

Чилигинъ подошелъ къ прикащику и попросилъ работы. Но прикащикъ прогналъ его, а когда Чилигинъ заупрямился начавъ приставать, онъ пугнулъ его длинною хворостиной. Впрочемъ, какъ будто вскользя, прибавилъ, что нужно отправиться къ самому барину.

Это была просто военная хитрость или, лучше, звѣринаго ловушка, придуманная старозавѣтнымъ умомъ самого Шипикина. Обыкновенно, каждому рабочему прикащикъ отказывалъ въ работѣ, увѣряя, при помощи хворостины, что надо ни лошадей, ни людей, и, обыкновенно, этотъ рабочій лѣзъ въ прихожую самого барина. А тамъ происходилъ вотъ какой разговоръ. „Сдѣлай божескую милость!“ — просить мужичокъ. — „Нельзя, дружокъ, и радъ бы дать тебѣ деньжонокъ, но что же подѣлаешь?“ — „Стало быть, никакъ не возможно?“ — „Не могу, голубчикъ мой! Право, вся работишка отдана, и жалъ тебя, да что ужъ тутъ...“ — „Теперича мнѣ значить, домой плестись?“ — говорить въ раздумьи мужичокъ. — „Миленькій мой, понимаю! Знаю всю твою бѣду-горе крѣстьянское!... Ну, ладно ужъ, Христось съ тобой, ступай на работу, куда ни шли семнадцать копѣчекъ; иди съ Богомъ другъ, работай на здоровье!“ После такой операціи мужичокъ дѣлался необыкновенно смирнымъ и молча все время таскалъ мѣшки, боясь пискнуть, какъ человѣкъ, которомъ сдѣлали величайшее одолженіе; только въ концѣ работъ считая на ладони мѣдяки, задумчиво говорилъ про себя. „А между прочимъ, жидоморъ!“

Въ то же самое время Шипикинъ увѣрялъ, что онъ—чисто-русскій, съ русскимъ сердцемъ, съ народною подошмой. Онъ любитъ мужичка русскаго и его душу. Дѣйствительно, онъ былъ всеобщимъ въ деревнѣ кумомъ, для чего держалъ у себя постоянно мѣдные крестики и полотенца для ризокъ. Онъ не отказывался никогда присутствовать на храмовыхъ праздникахъ, гдѣ, на ряду съ прочими, пилъ водочную влагу. У себя въ помѣстьѣ онъ носилъ красную рубаху съ косымъ воротомъ. Въ церкви стоялъ на клиросѣ и пѣлъ стихиры. А на паперти собственноручно прибилъ къ стѣнѣ кружку въ пользу славянскихъ братьевъ...

Дѣйствительно, онъ любилъ мужичка и приходилъ искренно въ умиленіе отъ одного его вида замореннаго. Самый духъ его нравился ему. Онъ постоянно упоминалъ словечки вроде—„лупъ“, „сердцевина безъ червоточины“, „не вспаханная нива“, употребляя и другія слова, даже иногда страшныя. Но съ тою же искренностью онъ не отказывался грызть этотъ чупъ, точить эту сердцевину и ѣдить даромъ по нивѣ, собирая обильную жатву съ нея.

Онъ дѣйствительно былъ русскій человѣкъ и все, что въ русскомъ человѣкѣ было протухлаго, искренно считалъ своимъ идеаломъ. Въ немъ не было прямоты Тараканова, съ которой тотъ ободралъ весь округъ, потому что не было таракановскаго сознанія законности обдиранія. Онъ, напротивъ, вѣчно сознавалъ свою неправоту. Съ Таракановымъ они были друзья, дѣйствуя часто вмѣстѣ. Таракановъ бралъ на себя самую наглую и безстыдную роль, а Шипикинъ пользовался результатами этого безстыдства. Таракановъ, напримеръ, представлялъ мировому судѣѣ полвоза векселей, и одурѣлые мужики валомъ валили—одни къ Тараканову, чтобы написать еще нѣсколько возовъ векселей, другіе къ Шипикину, чтобы даромъ свалить ему свой хлѣбъ. Но Таракановъ послѣ этой травли мужика потиралъ отъ удовольствія руки, а Шипикинъ чувствовалъ себя скверно, для чего пьянствовалъ, шлепаясь по крестинамъ и надѣлая кумовьевъ серебряными пятачками. Одурачивъ мужика, онъ до небесъ принимался хвалить „чисто-русскій умъ“, „широкое сердце народное“ и т. д. Подличая на счетъ мужика, онъ смутно сознавалъ свою повинность передъ нимъ и вознаграждалъ его словами: „лупъ“, „здоровое ядро“ и пр.

Чилигину было, однако, все равно—съ русскимъ сердцемъ имѣлъ онъ дѣло или съ какимъ иноплеменнымъ. Шипикинъ былъ для него просто кулакъ русскій, съ инстинктомъ вѣтхъ завѣтнаго разбойничества. Чилигинъ стоялъ возлѣ крыльцъ барина, чесалъ включенные волосы и тупо соображалъ, какимъ бы манеромъ достать работы. Василий, наконецъ, вышелъ въ прихожую и дожидаясь барина. Тотъ немедленно вышелъ.

— Что скажешь хорошенькаго?—спросилъ онъ.

— Пришелъ найматься,—сказалъ Василий и опять запустилъ обѣ руки въ нечесанные волосы, думая этимъ привлечь ихъ нѣсколько.

— Опоздалъ, дружокъ, всю работу роздалъ.

— Ишь ты!—задумчиво замѣтилъ Василий.

— Да, голубчикъ, роздалъ.

— Такъ... А ужъ я бы тебѣ удружилъ вотъ какъ! Къ этомъ дѣлу, насчетъ мѣшка, привыченъ, то-есть... этотъ самы мѣшокъ для меня все одно, что ничего.

— Молодецъ! Ого, какія ручища-то у тебя! И видно, что здоровъ. Ты, я думаю, возъ поднимаешь?

— Возъ не возъ, а лошадь можно.

— Ну, хорошо. Такому богатырю стыдно и отказывать,—горячо замѣтилъ Шипикинъ.—Иди, работай съ Божьею помощью за двадцать копѣекъ, я даю тебѣ, какъ никому Грѣшно отказывать такому силачу... „Раззудись плечо, размахнись рука“, а?

Шипикинъ въ первый разъ не смощенничалъ, приведенный въ восторгъ здоровеннымъ видомъ Чилигина.

Чилигинъ укмыльнулся. Во-первыхъ, похвала барина ему понравилась; во-вторыхъ, его удивляла простота его, и онъ былъ радъ, что ловко воспользовался чудачкомъ. Шипикинъ поднесъ ему, кромѣ того, рюмку водки, изъ чего Василий тонко сообразилъ, что чудакъ-баринъ самъ малость выпимши.

Послѣ такого счастливаго случая Чилигинъ, шутя, принялся таскать мѣшки въ пять пудовъ, опережая всѣхъ рабочиxъ и удивляя своею силой. Про него говорили: „Ну лошадь!“ Это мнѣніе было пріятно Чилигину; онъ отъ удовольствія развѣвалъ ротъ и скалилъ зубы. Со стороны глядя думалось, что онъ на самомъ дѣлѣ возилъ горы шутя, и

стоило только взглянуть на его вытаращенные глаза, когда он несъ мѣшокъ, на плотно сжатые челюсти, на растопыренные ноги, похожія на ноги лошади, когда она везеть изъ въ крутую гору, выбивается изъ силъ и порывисто дышетъ, разставляя ноги въ разныя стороны, чтобы не грохнуться на землю; стоило только взглянуть на искаженное лицо его, когда онъ стряхивалъ ношу на возъ, и дѣлалось понятнымъ, что ему тяжело. Кромѣ того, рана не давала ему покоя. Когда пришло время обѣда, онъ самъ удивился, отъ что руки его дрожали, губы запеклись и почему онъ вообще такъ сильно усталъ. Онъ подумалъ, что его сглазили. Чтобы парализовать дальнѣйшее дѣйствіе дурного глаза, онъ отошелъ въ сторону и быстро продѣлалъ нѣсколько таинственныхъ манипуляцій, послѣ чего плюнулъ на всѣ четыре стороны (также съ медицинскою цѣлью) и пошелъ. Выходя изъ своего волшебнаго мѣста, онъ посмотрѣлъ хитрымъ взглядомъ на топтавшуюся вдали массу рабочихъ: что, молъ, тамъ?

По тому, какъ онъ принялся ѣсть, всѣ поняли, что, работая за десятерыхъ, онъ и ѣсть соответственно этому. Обѣдалъ онъ молча и сосредоточенно. Хозяинъ давалъ хлѣбъ, кашу, лукъ, огурцы, притомъ всего этого вволю. Василий же обомлѣлъ, когда понялъ это. Дома изъ-за крошки хлеба онъ ссорился съ отцомъ и Дормидоновной; квасъ онъ пилъ всегда бѣлый, а огурцовъ въ нынѣшнее лѣто онъ еще вовсе не бралъ. Легко вообразить, съ какою напряженностью онъ ѣлъ эти вкусныя вещи. Сперва онъ думалъ, что, пожалуй, мало будетъ пищи, но, къ удивленію его, къ концу обѣда всѣ наѣлись и даже онъ. Но, чтобы не быть обманутымъ непроходящимъ счастіемъ, послѣ обѣда, когда всѣ разбрежись по разнымъ мѣстамъ, онъ положилъ въ карманъ нѣсколько луковицъ, потомъ взялъ десятка два толстыхъ огурцовъ и самъ отнесъ ихъ въ сторону. Тамъ онъ положилъ все это въ яму и закопалъ соромъ. Это—на всякій случай, чтобы потомъ отрыть и унести съ собой. Онъ думалъ о будущемъ.

Но къ вечеру онъ съ тревогой почувствовалъ, что занесть. Болѣзненное дѣйствіе произвели на него всѣ событія, пережитыя имъ въ эти дни; бой, рана, пятипудовыя мѣшки, лукъ и огурцы,—все это роковымъ образомъ отразилось на

немъ. Уже прямо послѣ обильнаго обѣда онъ почувствовалъ себя нехорошо, но дальше все дѣлалось хуже и хуже. Головъ его начался жаръ, животъ дулся, ногу кололо, да гало и рвало. Пробовалъ онъ кое-какія простыя врачевствѣны, напримѣръ, катался по землѣ, но это нисколько не помогло. Перемогаться дольше не было силъ. Думалъ онъ поискать знахарку, но его надоумили отправиться къ фельдшеру, впрочемъ, предупредивъ насчетъ его характера: „Очень лютъ бываетъ, но доберъ и пользуетъ дѣльно“.

Чилигинъ отправился. Дорогою онъ сообразилъ, дорого съ него возьметъ этотъ лѣкарь за лѣкарство и лѣченіе. Онъ испугался, какъ бы ему не вывернуть карманы окончательно для этого лѣкарства. Эта мысль даже боли успокоила. Давъ себѣ слово, что, въ случаѣ чего, онъ упрется, онъ правился въ сѣни фельдшера. Послѣдній скоро вышелъ к нему и приказалъ сѣсть больному на полъ. Онъ обращался съ нимъ грубо. „Повернись вотъ эдакъ! Держи хорошенько ногу!“—говорилъ онъ рѣзко, но изслѣдовалъ внимательно

— Это что? Гдѣ ты просверлилъ такую дыру? — спрашивалъ онъ сердито.

Чилигинъ рассказалъ. Рассказалъ также о животѣ. Фельдшеръ желалъ знать подробности: что онъ ѣлъ, гдѣ спалъ, дѣлалъ. Въ концѣ-концовъ, огурцы обратили на себя большое вниманіе.

— Ишь, свинья, нажрался!—сказалъ фельдшеръ и въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ вслухъ соображалъ, что для такого гиганту? Ложка кастороваго масла — сущіе пустяки для такого чудовища. Для эдакого чурбана надо стака чтобы его разобрало. Чилигинъ апатично сидѣлъ.

Фельдшеръ продолжалъ говорить, хотя не столько говорилъ, а приказывалъ. Это была его обыкновенная манера говорить съ мужикомъ. Мнѣніе его о мужикѣ было вотъ такое: „Ты съ нимъ много не разговаривай, прямо ругай его и онъ тебя будетъ уважать. Это — оболтусъ, котораго не учишь, дерево, а не человѣкъ!...“

На этомъ же основаніи, что-нибудь объясняя мужику, долбилъ ему долго, что слѣдуетъ дѣлать. И теперь онъ подробно принялся объяснять.

— Сейчасъ я самъ тебѣ промою рану... Я бы тебѣ да да ты вѣдь, пожалуй, выпьешь. А разъ ты выпьешь,

внутренности твои будут сожжены. Это называется карболовою кислотой. Вот пузырек — на домой. Какъ придешь, выпей его, тебя прочиститъ... да смотри у меня, выпей два, слышишь? Все выхлебай... А вотъ это тебѣ мазать рану, на, бери. Да ты понялъ-ли? Повтори.

— Какъ не понять? Это, стало быть, нутреное пойло.

— Ну, нутреное, что-ли...—подтвердилъ фельдшеръ.

— Какъ сейчасъ домой, чтобы выпить? — повторялъ Чилигинъ.

— Хорошо.

— А это, говоришь, въ язву?

— Да, въ язву.

— Чтобы мазать ей?

— Мазать. Хорошо.

Фельдшеръ принесъ промывальный приборъ и приготовилъ растворъ карболовки. Но Василій не забылъ своего рѣшенія — упереться въ случай чего.

— А какъ цѣна, ваше благородіе? — спросилъ онъ.

— Пустяки. Тридцать двѣ копейки.

Василій обомлѣлъ. Почти такая цифра и была у него въ карманѣ. Онъ рѣшился.

— А нельзя-ли двѣ гривны? Чтобы, то-есть, нутреное за гривну и гривна въ язву.

— Нельзя. Давай ногу.

Но Чилигинъ уже уперся, и не было силы, которая заставила бы его лѣзть послѣ этого. Фельдшеръ еще разъ сердито приказалъ, но его слова не имѣли ни малѣйшаго дѣйствія. Чилигинъ стоялъ возлѣ дверей и угрюмо смотрѣлъ въ полъ. Тогда фельдшеръ торжественно заговорилъ:

— Всякой земноводной и воздушной твари положено отъ самаго начала природы заботиться о своемъ здоровьи, чтобы жить въ чистотѣ и радости, а не какъ свиньи. Вслѣдствіе того же, всякому человѣку, носящему на своей физиономіи образъ и подобіе Божіе, отъ самыхъ древнѣйшихъ временъ и до настоящаго времени свойственно заботиться о своемъ тѣлѣ и душѣ, чтобы жить честно и благородно, какъ предписываетъ образованіе. А потому человѣкъ, пренебрегающій, по глупости, своимъ тѣлеснымъ и душевнымъ благополучіемъ, во сто кратъ гнуснѣе всякой небесной и земной твари и заслуживаетъ того, чтобы его бить по мордѣ... Ахъ,

ты, бревно глупое!— вдругъ воскликнулъ фельдшеръ, не держа въ торжественнаго тона.— Да неужели тебѣ жалко кого-нибудь четвертака для здоровья? Да ты хоть бы спр силъ, выздоровѣешь-ли ты, если не станешь лѣчиться? Да ты въдь жизни лишаешься за пять-то огурцовъ, верблюжь башка!

— Мы привычны. Дастъ Богъ, и такъ пройдетъ,—возразилъ Чилигинъ, начиная питать злобу къ фельдшеру.

— Привычны! — передразнилъ фельдшеръ. — Ты думаешь что желудокъ твой топоръ переварить? Врешь, верблюжья голова, не переварить! И ты думаешь, что ежели ты навлишь въ себя булыжнику, такъ это тебѣ пройдетъ даромъ. Такъ врешь же, братъ, не пройдетъ, потому что брюхо тебя почти-что естественное...

— Намъ недосугъ жить, какъ прочіе народы, т.-е. господа, да брюхо свое наблюдать! — замѣтилъ злобно Чилигинъ разъяренный словами фельдшера.

Послѣдній также разъярился.

— Да ты—человѣкъ?

— Мы—мужики, а прочее до насъ некасаемое.— При этомъ Чилигинъ надвинулъ шапку на глаза и шагнулъ за дверь.

— И убирайся, бревно глупое! — сказалъ фельдшеръ ушелъ къ себѣ.

Чилигинъ былъ радъ, что отвязался отъ него. Но не долго онъ радовался, и не пришлось ему болѣе таскать кулю. Къ вечеру онъ окончательно занемогъ и надолго лишился чувствъ. Онъ помнилъ только, что залѣзъ подъ амбаръ, съ цѣлью не мѣшать другимъ и себѣ дать покой. Но что дальше совершалось, онъ все забылъ въ бреду; только блѣдны лучъ сознанія мельгаль въ его головѣ, освѣщая по временамъ нѣкоторые случаи, происшедшіе за это время...

Будто кто-то подошелъ къ нему и вытянулъ его за ноги изъ-подъ амбара, что было очень обидно. Потомъ онъ услышалъ голосъ якобы самого барина: „Вотъ еще наказаніе! Отвезите его въ городскую больницу, а то еще помретъ!“ Тогда его взяли, какъ кулю, и снесли его на нагруженный мукой возъ. Съ этой минуты потянулись долгіе, ужасные дни во все продолженіе которыхъ онъ болтался и трясся на возу и онъ подумалъ, что быть кулемъ довольно подло; его куда то везли, а онъ ничего не видалъ, ничего не могъ сказать

или о чемъ-нибудь попросить. И голова его стукалась объ тѣлу, тѣло качалось во всѣ стороны, въ носъ и ротъ лѣзли пыль и мука, а въ то же время другіе кули безжалостно тискали его. Наконецъ, его привезли, стащили съ воза и отнесли въ амбаръ, положивъ около другого тощаго куля. Послѣ этого вдругъ сдѣлалось темно и тихо. Только гдѣ-то крысы скребли, и онъ боялся, что онѣ именно къ нему пробираются, чтобы прогрызть его и таскать изъ него муку.

Но мѣсто, представившееся Чилигину амбаромъ, было только больницей, куда его привезли, положивъ его рядомъ съ другимъ больнымъ, а за крысу онъ принялъ старую сидѣлку въ коленкоровомъ платьѣ, которое шуршало при малѣйшемъ движеніи сидѣлки. Впрочемъ, больной скоро снова сдѣлался безчувственнымъ на цѣлую недѣлю и не помнилъ, кто его лѣчилъ, кто за нимъ ухаживалъ и когда совершили операцію въ его ногѣ, въ которой открылся антоновъ огонь...

Когда онъ пришелъ въ себя, то цѣлый день употребилъ на то, чтобы возобновить въ памяти все случившееся съ нимъ. Между прочимъ, онъ вспомнилъ о лукѣ, отчасти оставшемся въ его карманѣ, и тотчасъ обратился за разъясненіемъ этого обстоятельства къ сидѣлкѣ. Та сердито приказала ему молчать, но, впрочемъ, успокоила его, объявивъ, что деньги его—тридцать пять копѣекъ—останутся цѣлыми, а лукъ, найденный въ карманѣ, выброшенъ въ помойную яму... Тсс! Чилигинъ успокоился, увидавъ, что его кормятъ хорошо, только не очень сытно. Дѣйствительно, выздоравливая, онъ очень капризничалъ; поѣдалъ все, что ему давали, и все-таки считалъ себя голоднымъ. Баринъ, лежавшій съ нимъ рядомъ, замѣтивъ это, сталъ отдавать ему почти всю свою порцію. Чилигинъ и ее поѣдалъ. Съ этого началось ихъ знакомство. Оно упрочилось еще болѣе тѣмъ, что оба были больны.

Но Чилигинъ въ первые дни неохотно вступалъ въ разговоръ. Онъ молча лежалъ, все раздумываясь о своемъ положеніи, безпримѣрномъ и поразительномъ въ жизни. Во-первыхъ, его кормили даромъ; во-вторыхъ, ему нечего было дѣлать, тогда какъ въ настоящей, во всамдѣлѣшней его жизни онъ вѣчно гонялся за кускомъ, а о досугѣ, — о такомъ досугѣ, когда ничто не печалило бы, — онъ до сего дня не имѣлъ никакого представленія. Это странное положеніе дало ему возможность и время глубоко задуматься. Но досужая мысль

его сперва освѣщала только виѣшніе, окружающіе его предметы и явленія. Въ началѣ стояла невозмутимая тишина. Чилигинъ прислушивался, смотрѣлъ. Онъ никогда не жилъ въ такой избѣ, гдѣ стѣны были бѣлы, какъ снѣгъ, потолокъ высокъ, окна громадны. Выграшенный полъ казался ему столбомъ, и онъ смертельно испугался, когда однажды плюнулъ на него, тотчасъ стерева ладонью замазанное мѣсто. Осмотрѣвъ всѣ эти предметы, онъ сказалъ развѣ вслухъ: „У, какъ тутъ чисто!“

Онъ не пропускалъ ни одной мелочи безъ вниманія. Простыню, на которой лежалъ, онъ нѣсколько разъ ощупалъ подушку изслѣдовалъ со всѣхъ сторонъ. Когда ему принесли въ первый разъ тарелку, онъ позвенѣлъ объ нее пальцемъ а когда ему дали металлическую ложку, онъ попробовалъ ее зубами. Любопытство его проникало всюду. И всякій разъ какъ что-нибудь обращало его вниманіе, онъ дѣлалъ замѣчанія, которыя по большей части выражали его удивленіе насчетъ чистыхъ вещей. Но все, что его окружало, казалось ему холоднымъ, скучнымъ, хотя и богатымъ, причемъ ему пришло въ голову, что было бы хорошо, ежели бы все въ было дома и ежели бы возможно было жить такъ. „Чудесно было бы, чисто и пріятно!“ Однако, въ опроверженіе этой сумасшедшей мысли, онъ уныло покачалъ головой и сказалъ „Какже, держи кармантъ!“

Сосѣдъ видѣлъ его скуку и затѣвалъ съ нимъ разговоры Чилигинъ, наконецъ, сдѣлался сообщительнѣе. Бѣда только въ томъ, что имъ часто разговаривать было не о чемъ, по тому что общимъ между ними было только больное положеніе и больничная порція. Тогда баринъ сталъ читать книжку Книжки Чилигинъ раньше всегда какъ-то побаивался, и если ему приходилось держать такую вещь въ своихъ рукахъ, то онъ всегда улыбался, какъ ребенокъ, которому кажутъ неизвѣстную вещь, а онъ думаетъ, что она укуситъ. Книжка была „О землѣ и небѣ“, школьное изданіе. Баринъ не ограничивался однимъ чтеніемъ, — трудныя мѣста онъ обстоятельно объяснялъ. Чилигинъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ взволнованно слушалъ. Наконецъ, чтеніе кончилось, и сосѣдъ спросилъ, какъ ему понравилось?

— Забавная книжца. И даже очень пріятно, — отвѣчалъ Чилигинъ.

Больной сосѣдъ нахмурился.

— Только забавная?—спросилъ онъ.

— А то что же еще? Побаловаться отъ скуки можно,—возразилъ Чилигинъ.

Баринъ просилъ объясненія, горячился, и Чилигинъ добавлялъ, что такое баловство мужику не идетъ.

— Отчего не идетъ?—спросилъ баринъ.

— Такъ. Жирно очень!

Сосѣдъ-баринъ не понималъ и продолжалъ допытываться. Онъ повернулся лицомъ къ товарищу и пристально осматривалъ его, тогда какъ послѣдній не глядѣлъ никуда, мрачный и задумчивый.

— Почему же жирно? Наука—для всѣхъ.

— А для мужика—предѣлъ,—возразилъ Чилигинъ.—Потому ему предѣлъ, чтобы онъ не безобразничалъ. А то книжки... ловко сказали!

— Да что же худого въ книжкахъ?—спросилъ тоскливо и съ удивленіемъ больной.

— Напримѣръ, развратъ и прочее.

— Какъ?

— То-есть подлость!—Чилигинъ говорилъ мрачно.—Потому ты не балуйся, а живи по совѣсти. Назначена тебѣ точка, ты сиди на ней, а нечего тутъ безобразія выдумывать, лежать вверхъ брюхомъ. Ты станешь книжку читать, другой книжки захочетъ тоже, а я за тебя отдувайся! Нѣтъ, ужъ ты съѣдай милость, прекрати эти глупости; работай, братъ, потому тебѣ отъ самаго первоначалу положена эта самая точка, а не забавляйся... А то книжка... эдакъ всякъ бы захотѣлъ книжку читать, да ручки свои беречь!

Сосѣдъ опечалился, выслушавъ это. Лицо его омрачилось туманомъ. Къ его удивленію, онъ пришелъ къ заключенію, что не Василій Чилигинъ не понимаетъ его, а напротивъ, онъ не понимаетъ Василя Чилигина. Изъ словъ послѣдняго онъ понималъ только то, что читать книжку почему-то безсовѣстно, глупо. Тогда онъ сталъ говорить о прошломъ, начавъ издали, чтобы добиться съ товарищемъ взаимнаго пониманія. Онъ разсказалъ въ простой формѣ, какъ жилъ крестьянинъ въ старые времена, какъ его преслѣдовали, убивая въ немъ душу, гонимая челоуѣка и доводя его до звѣринаго состоянія. Долгое время онъ былъ подлый рабъ для другихъ и для себя,

потомъ онъ сдѣлался „холопомъ Ванькой“; наконецъ, его обратили въ „мужика“, изъ снисхожденія крича ему иногда „человѣкъ“! Не убили въ немъ душу, не обратили его въ звѣря. Но онъ все-таки пострадалъ. Онъ сталъ живымъ мертвецомъ. Въ немъ сохранилось много живого, но многое умерло въ его душѣ и исчезло изъ его памяти и жизни. Онъ сталъ трусливъ въ отношеніяхъ къ высшимъ и часто жестокъ къ своему брату. Страдая самъ, онъ сдѣлался равнодушенъ вообще къ страданіямъ. Мѣру человѣческаго достоинства онъ тоже утратилъ, называя себя вслухъ дуракомъ и создавая сказки объ Иванушкѣ. Онъ потерялъ величайшую силу жизни—самолюбіе. Живя въ грязи, онъ думаетъ, что это такъ и слѣдуетъ. Ничего не зная, онъ говоритъ, что наука—доброе дѣло, но самъ для себя не считаетъ ее пригодною, потому что онъ—мужикъ, т.-е. нѣчто среднее между человѣкомъ и какимъ-то неизвѣстнымъ животнымъ. И вотъ потому, что самъ онъ себя не уважаетъ, никто и изъ постороннихъ не питаетъ уваженія къ нему. Развѣ иногда пожалѣютъ.

— Вѣрно. Такъ. Не уважаютъ. Какъ есть ты свинья, такъ и нѣтъ тебѣ никакого снисхожденія!—взволнованно проговорилъ Чилигинъ, когда баринъ кончилъ свой разсказъ.

Цѣль была достигнута. Чилигинъ проникся глубочайшимъ интересомъ къ разговору. Но онъ долго не понималъ во просовъ.

— Ну, что ты вообще разумѣешь подъ словомъ, наприм. худо?

— Не жрамши быть,—отвѣчалъ, наконецъ, Чилигинъ.

Больной баринъ съ грустью посмотрѣлъ на говорившаго. Онъ долго послѣ этого молчалъ, видимо, озадаченный, и боялся спрашивать дальше, чтобы еще болѣе не разочароваться. Онъ задумчиво вглядывался въ широкое лицо собесѣдника и только по истеченіи долгаго времени предложилъ и второй вопросъ: „Что хорошо?“ Чилигинъ сначала отвѣчалъ: „*Двадцать пять рублей*“. Удивленный этою загадочною цифрой, баринъ попросилъ объясненія, но Чилигинъ наивно разсказалъ, что онъ никогда не обладалъ такою суммой и желалъ бы малости попользоваться. Очевидно, что помянутая сумма была для него рѣшительно мнѣической.

Барину опять пришлось долго говорить, чтобы выяснить, что собственно онъ желаетъ знать. А именно, онъ желаетъ

умать, какую жизнь вообще Василий Степаныч считалъ бы хорошею?

— Ну, ты скажи, чего бы ты для себя желалъ?

Но съ этого момента начались поистинѣ нечеловѣческія уси-
лія Чилигина. Баринъ все продолжалъ вглядываться въ него.
Онъ думалъ, что собесѣдникъ его теперь шибко размечтается,
уйдетъ съ пахнувшей потомъ земли на чистое и счастливое
небо, уйдетъ и оттуда расскажетъ свои сердечные помыслы,
тайныя думы и глубокія желанія. Но Чилигинъ просто му-
тился. Вопросъ, дѣйствительно, взволновалъ его, но рѣшить его
онъ былъ не въ силахъ. Онъ вертѣлся на своей койкѣ, пово-
дилъ глазами по комнатамъ и шевелилъ беззвучно губами. На-
стали сумерки. Воцарилась могильная тишина во всей боль-
ницѣ. Сквозь оконныя стекла виднѣлась зарница, разгораясь
все ярче и ярче на темномъ небѣ. Чилигинъ все вертѣлся на
кровати и врихтѣлъ. Нѣсколько разъ онъ садился на постель
и глубоко вздыхалъ или шепталъ что-то, задумчиво почесы-
вая свою спину. Мракъ ночи все болѣе и болѣе сгущался,
парализуемый лишь луной, которая бросала нѣсколько блѣд-
ныхъ лучей на полъ палаты. А Чилигинъ все придумывалъ
новый отвѣтъ на взволновавшую его мысль.

— Да ты ужъ лучше отложи. Успѣемъ еще наговориться, —
сказался баринъ.

— Нѣтъ, ты погоди. Я все тебѣ распишу по порядку! — то-
ропливо началъ Чилигинъ. — Во-первыхъ, милый человѣкъ, ска-
жу тебѣ насчетъ сытости, то-есть какъ должно всякому че-
ловѣку питаться, напримѣръ, и тутъ я тебѣ скажу прямо, что
двухъ пудовъ вполне достаточно для меня, а, стало быть, для
всего моего семейства, по той причинѣ, что мнѣ за глаза до-
статочно мѣшка. Ладно. Два пуда. Теперича насчетъ хозяй-
ства. Чтобы хозяйство было ужъ вполне, какъ слѣдуетъ че-
ловѣку, а не какому-нибудь бродягѣ, — чтобы вполне довольно
было скота, птицы и прочаго обихода, потому безъ этой жив-
ности нашему брату, не говоря дурного слова, чистая смерть.
Ладно. Птицы и прочее. Но главное — лошади, и ежели гово-
рить по совѣсти, то лошадь должна быть дѣльная, натураль-
ная, т. е. прямо лошадь въ тѣлѣ, чтобы ежели сорокъ пу-
довъ, такъ она везла бы честно. На такой лошади, братецъ
ты мой, и выѣхать на улицу лестно, потому что она все
равно, какъ вѣтеръ, а со стороны тебѣ уваженіе.

Больной баринъ рѣзкимъ движеніемъ завернулся съ головой въ одѣяло и мрачно уткнулъ лицо въ подушку. Онъ не хотѣлъ больше слушать, показывая видъ, что ему спать хочется. Чилигинъ остановился.

Но расходившееся воображеніе его долго не могло успокоиться. Переставъ говорить, онъ не прекратилъ обдумыванія хорошей жизни, взволнованно ворочаясь на постели и изрѣдка продолжая шептать: чтобы все какъ слѣдуетъ и... Никогда онъ такъ усиленно не думалъ. Голова горѣла отъ напряженія сонъ бѣжалъ отъ глазъ, и онъ до глубокой ночи лежалъ съ широко раскрытыми глазами, какъ будто желая проникнуть взглядомъ въ окружающую темноту комнаты. А ночь дѣлалась все темнѣе. Мѣсяцъ скрылся. Окна больницы чуть-чуть виднѣлись изъ глубины палаты, едва освѣщенные неопредѣленнымъ звѣзднымъ свѣтомъ. Тишина всего окружающаго ничѣмъ больше не нарушалась. Чилигинъ сталъ успокаиваться, чувствуя изнеможеніе силъ; шептать онъ пересталъ, лежа неподвижно на койкѣ; глаза его закрывались. Но вдругъ его озярила неожиданная мысль, отъ которой онъ даже приподнялся и сѣлъ среди постели. Было далеко за полночь.

— Баринъ!—тихо, полупшепотомъ, окликнулъ онъ сосѣда. Баринъ высунулъ голову изъ-подъ одѣяла.

— А вѣдь все это—бездѣльные глупости!—прошепталъ онъ дрожащимъ шепотомъ.

— Что такое?

— А то что я тебѣ вралъ насчетъ мереньевъ-то. Никогда этому не бывать. Главное не тутъ, что я вралъ...

— Гдѣ же?

— А въ томъ главное, что терпи и больше ничего.

Сказавъ это, Чилигинъ посидѣлъ еще нѣсколько минутъ потомъ легъ и заснулъ.

Больной человѣкъ сбросилъ съ себя одѣяло, желая еще чѣмъ-то спросить, но Чилигинъ уже спалъ богатырскимъ сномъ.

Больше никогда между двумя больными не возобновлялся этотъ разговоръ. Чилигинъ сталъ быстро поправляться, выздоравливая, онъ не сдѣлался прежнимъ Чилигинымъ. Онъ сдѣлался кроткимъ и благодарнымъ. Раньше никто о немъ не заботился, и его поражало до глубины души то обстоятельство, что теперь о немъ заботились сразу четыре человѣка: докторъ, сидѣлка, сестра милосердія и больной баринъ. И

старой сдѣлалъ онъ чувствовалъ нѣкоторый страхъ: достаточно было съ ея стороны одного слова, чтобы онъ сдѣлался смѣриче ребенка. Къ доктору онъ питалъ уваженіе и благодарность за лѣченіе и хорошее обращеніе: „Придетъ, велитъ выслушать языкъ, и больше ничего, а не бранится“. Что касается сестры милосердія, изрѣдка навѣщавшей больницу, такъ у Чилигина къ ней родилось самое сложное чувство, несмотря на то, что та была у него всего раза три. Когда она въ первый разъ собственными руками промыла ему рану, онъ пролился безусловнымъ изумленіемъ и серьезно расчувствовался, съ чего на глазахъ показались слезы. Въ послѣдній разъ онъ намѣревался было схватить ея руку и приложиться къ ней, но остановился передъ этимъ поступкомъ только изъ страха, какъ бы чего не было.

Въ послѣдній день, когда докторъ объявилъ его выздоровѣвшимъ и велѣлъ ему выписаться, онъ глубоко задумался. Между прочимъ, ему захотѣлось отблагодарить чѣмъ-нибудь добрую женщину. Никому не сказавшись, онъ сходилъ въ мелочную лавочку и, возвратившись назадъ, остановился въ темномъ корридорѣ, дожидаясь прихода барыни. Лишь только она появилась съ нимъ, онъ вручилъ ей бумажный картузъ. „Что такое?“ — воскликнула сестра милосердія. Оказались грязные тряпки. Она засмѣялась и отдала ихъ назадъ. Чилигинъ не могъ сказать отъ замѣшательства ни одного слова и стоялъ, какъ вкопанный, смотря на удаляющуюся сестру.

Когда онъ выходилъ изъ больницы черезъ часъ, его охватила тоска.

Здѣсь кончилось для Василія Чилигина праздничное время, когда онъ могъ отдохнуть, оглянуться вокругъ себя, порыться въ своей душѣ и задуматься. А что съ нимъ будетъ дальше? Быть можетъ, увидавъ снова свою убогую обстановку, онъ чувствуетъ отвращеніе къ ней, и нападетъ на него тоска, и онъ апатично примется работать, равнодушно доживая свой вѣкъ; быть можетъ, онъ потопитъ свою печаль въ тухлой водѣ; быть можетъ, его начнетъ душить злоба, когда беспросвѣтная жизнь въ деревнѣ снова закрутитъ, завертитъ его, не давая минуты времени для раздумья, когда въ умѣ родится безпредметная ненависть, а по тѣлу разольется

бесильная желчь... Но, быть можетъ, онъ сразу забудеть все и снова заживетъ...

Дальнѣйшія событія въ жизни Чилигина состояли въ томъ, что, во-первыхъ, онъ пришелъ домой и съѣлъ два фунта сухарей, по той причинѣ, что у Дормидоновны ничего не было и во все время его отсутствія она изъ-за хлѣба жила у попа; во-вторыхъ, къ нему на другой день явился староста и объявилъ его должникомъ міра, который заплатилъ за него болѣзненную плату, а, впрочемъ, съ искреннимъ сожалѣніемъ спросилъ, отчего онъ хромаетъ? На это Василій отвѣчалъ: „лапу отрѣзали“. Въ-третьихъ, на другой же день его призвали въ волость, гдѣ довольно многочисленные кредиторы его встрѣтили объявленіемъ, смыслъ котораго состоялъ въ одномъ словѣ: „отдавай!“ Въ-четвертыхъ, быстро сообразивъ, что съ него намѣреваются содрать шкуру, онъ незамѣтно удалился со схода и тѣмъ спасъ себя на нѣкоторое время отъ неминуемой гибели.

III.

Двѣ десятины.

Вся семья была въ сборѣ, по случаю полученія письма, которое явилось вѣсточкой, поданной издалека сыномъ. Обыкновенно, при полученіи такой рѣдкой вещи въ крестьянской семьѣ, получатели испытываютъ особенное настроеніе, незнакомое ни въ какомъ другомъ общественномъ слоѣ, потому что „письмецо“ приносить съ собой или вѣсть о здравіи человѣка, о которомъ уже много лѣтъ ничего не было слышно, или о неожиданной смерти. Одинъ видъ писанной бумаги, вложенной въ конвертъ съ марками, производить уже нѣкотораго рода душевный переполохъ; всѣ бросаютъ занятія и сосредоточиваются взорами на страшномъ листѣ съ его страшными письменами. Такъ было и въ этомъ случаѣ. Письмо держалъ на ладони самъ хозяинъ, задумчиво поглядывая на него; около хозяина размѣстилась, какъ попало, его семья: жена, бросившая помои, которыхъ она приготовляла для теленка, два мальчугана, вздвигшіе до этого времени другъ на другѣ верхомъ, а теперь засунувшіе руки въ ротъ, старуха, приползшая въ избу съ завалянки, гдѣ она грѣлась на солнечномъ припекѣ, а зять съ женой, пришедшіе ради такого рѣдкаго случая съ другого конца деревни. Водарилось торжественное настроеніе; всѣ глядѣли на письмо. Хозяинъ былъ задумчивъ; хозяйка вздыхала; старуха мрачно качала головой. Только зять съ женой легкомысленно болтали. Прочитать письмо никто не умѣлъ.

— Вотъ тебѣ и Ивашка!—говорилъ среди всеобщаго тягостнаго молчанія зять.—Ему бы только вырваться, а тамъ воинай какъ звали. А вѣдь дожидали, а онъ хотъ бы что...

Выходить, стало быть, надо прямо говорить, такъ: нѣтъ денегъ, ни Ивашки!

— Точно дожидали... Главное, какъ теперь быть съ зелями? — тоскливо и скучно возразилъ самъ хозяинъ, обводя всѣхъ пораженными взорами.

— Про то я и говорю: нѣтъ ни денегъ, ни Ивашки.

Еще не узнавъ содержанія письма, всѣ были грустно изумлены и растерялись. Ивашку, приславшаго эту бумагу, действительно, ждали къ веснѣ; въ крайнемъ случаѣ ждали отъ него денегъ, необходимыхъ для сѣмки земли, и вдругъ хлопъ, письмецо! Зять довольно правильно опредѣлилъ положеніе семьи: нѣтъ ни денегъ, ни Ивашки, а, стало быть, и возможна и сѣмка земли. Безъ земли же семья угрожающая участь. Отсюда всеобщая тягость и удивленіе Старуха, неизвѣстно отчего, плакала, шепча молитвы; хозяйка, видимо, закручинилась; ребята съ испугомъ поглядывали на всѣхъ, не понимая, что все это значить.

А письмо все еще не было прочитано.

— Молчи, молчи, баушка! Дай срокъ, вычитаемъ уже по порядку... Ай-да, ребята, къ учителю. Онъ намъ почтается.

Эти слова заставили встрепетнуться всѣхъ, бывшихъ избѣ. Только ребята остались дома для караула, всѣ остальные двинулись къ учителю. Впереди всѣхъ шелъ самъ хозяинъ, бережно держа на ладони письмо, за нимъ шествовали хозяйка и зять съ женой, а, наконецъ, позади всѣхъ ковыляла старуха, переставшая плакать. Учителя засталъ на огородѣ, который онъ приготовлялъ для засѣва, но по чести онъ не отказался. Сейчасъ же вся семья обступила его со всѣхъ сторонъ и приготовилась слушать. Учитель отложилъ было конвертъ въ сторону, но его заставили прочитать „все дочиста“, что написано, безъ пропусковъ онъ волей-неволей долженъ былъ декламировать сначала въ конвертъ, гдѣ оказалось, кромѣ названія губерніи, уѣздовъ и деревни, имя Гаврилы Иванова Налимова, а потомъ длиннѣйшій списокъ сродственниковъ, которымъ адресовывалъ должное — кому поклонъ нижайшій, кому отъ Божества и всякаго благополучія, а родителямъ поклонъ сырой земли, причемъ испрашивалось родительское благословеніе, на вѣки нерушимое. Во все продолженіе монотонно

наго чтенія лица слушателей были напряжены, глаза влажны, за исключеніемъ самого хозяина, который ждалъ конца письма и разрѣшенія мучительнаго недоумѣнія. Конецъ состоялъ всего изъ нѣсколькихъ строкъ. Учитель, отдохнувъ отъ утомительнаго перечисленія сродственниковъ, прочиталъ слѣдующее:

„А что касаемое насчетъ моего возвращенія домой, чтобы то-есть пустыя баклуши бить подобно лодырю, поэтому я не возвращусь. Здѣсь, по крайности, я завсегда въ полномъ спокойствіи и существуетъ кусокъ хлѣба, а ежели болтаться, попрежнему, дома, а меня будутъ пороть за землю, коей все одно, что нѣтъ совсѣмъ и она для меня никакого интересу не даетъ, не только чтобы хоть горькій кусокъ, то лучше же мнѣ оставить это дѣло въ сторонѣ. Теперь я живу въ трактирѣ для чистки посуды, а жалованья мнѣ положенъ рубль, да еще хозяинъ сулитъ превосходную работу, когда опростается мѣсто полового; если же бы я пришелъ домой и меня бы начали завсегда пороть безъ снисхожденія, отдай, молъ, подати, а, между прочимъ, земля не предоставляетъ для меня никакого предмета, а не только что удовольствіе, и никакого смысла въ этомъ для меня нѣтъ. И лучше не уговаривайте меня, Христомъ Богомъ умоляю, потому сказалъ — не пойду, и не пойду, и не невольте меня. Иванъ Гаврилычъ Налимовъ“.

Женская половина слушателей быстро успокоилась, услышавъ, что Ивашка живъ, но за то Гаврило замеръ на мѣстѣ, пораженный, какъ громомъ, поступками сына. Темное лицо его еще болѣе почернѣло. Онъ постоялъ-постоялъ на мѣстѣ, и когда учитель опять принялся копать на огородѣ, очищая его отъ сору, нанесеннаго вмѣстѣ со снѣгомъ, то обнаружилъ нѣсколько разъ попытку поговорить, но только пожевалъ губами и поплелся понуро домой, имѣя видъ ушибленнаго. Онъ держалъ письмо до самаго дома, попрежнему, на задони, боясь къ нему притронуться, а за нимъ въ томъ же порядкѣ двигалось семейство, кромѣ, впрочемъ, зятя и дочери, отправившихся въ свой конецъ.

Лучше чистая смерть!—такъ казалось въ первыя минуты Гаврилѣ. Страшное письмо оглушило его, причемъ онъ пораженъ былъ не столько странными поступками сына, сколько тѣмъ положеніемъ, въ которое онъ внезапно попалъ

вслѣдствіе отказа со стороны Ивашки отъ своей души. Дѣйствительно, до прихода этого письма у Гаврилы были мысли настолько лучезарныя, что онъ нисколько не сомнѣвался въ возможности вѣчно снимать землю, и если въ минувшую осень семья рѣшила отправить сына Ивашку на заработки въ городъ, то опять-таки только затѣмъ, чтобы получить такимъ путемъ необходимыя средства пахать землю. Самъ Гаврило не только ничего не умѣлъ, но и не питалъ склонности ни къ чему, что не касалось бы земли; въ всякому другому ремеслу онъ былъ совершенно равнодушенъ. Это-то свойство часто вводило въ заблужденіе людей, которые съ нимъ сталкивались, въ особенности людей образованныхъ, вродѣ посредниковъ, становыхъ и мировыхъ, — всѣмъ имъ онъ, вмѣстѣ съ другими подобными мужиками казался страшно тупъ. Каждый изъ этихъ людей, собственными своими сношеніями съ мужикомъ, убѣждался, что онъ тупъ подобно барану, и упрямъ, какъ оселъ: не понимает ни дѣлъ, ни разговоровъ. Отсюда происходили необыкновенно нелѣпыя столкновенія, когда образованный человѣкъ и мужикъ стояли другъ передъ другомъ чистыми болванами. Принимаясь въ чемъ-нибудь убѣждать, первый сначала вѣдѣлъ, что мужикъ (напримѣръ, Гаврило) какъ будто вполне соглашается съ нимъ. „Да, да! какъ разъ! ужъ это какъ есть!“ — говорилъ мужикъ, вызывая этими пустыми словами радость въ душѣ разъяснителя. Но стоило только образованному прекратить свои горячія разсужденія и спросить какъ объ этомъ думаетъ собесѣдникъ, послѣдній (напримѣръ, Гаврило) вдругъ начиналъ нести такую околесню, что хотъ уши затыкай. Гаврило обыкновенно давалъ отвѣтъ не имѣющій ничего общаго даже съ разговоромъ собесѣдниковъ, изъ которыхъ одинъ послѣ этого приходилъ въ иступленіе, а другой замиралъ и молчалъ, какъ столбъ. Междѣмъ, положи руку на сердце, можно засвидѣтельствовать, что Гаврило не былъ ни глупо-упрямъ, ни тупъ. Во продолженіе страннаго разговора онъ, можетъ быть, думалъ о „Сучьемъ вражбѣ“ (чудесная земля! дай бы Господи милости досталась!) или о лемехѣ, который, можетъ быть, въ эту минуту былъ въ починкѣ у кузнеца, вообще думалъ о чемъ-нибудь своемъ, близкомъ и понятномъ. А думалъ онъ о своемъ (въ то время, какъ ему долбили и разъясняли) потомъ

что былъ въ полномъ смыслѣ специалистъ, всепоглощенный специалистъ, утонувшій въ землѣ съ ногъ до головы. Хорошо-ли это, или худо, но специальность его настолько широка, что, кромѣ нея, онъ, дѣйствительно, ничего больше не понималъ и не умѣлъ. Еслибы когда-нибудь пришлось обратиться за совѣтомъ по вопросу о лугахъ, о навозѣ, о ржи и ячмѣнѣ, о количествѣ и качествѣ надѣла, вообще обо всемъ, что касается земли, то каждый мужикъ оказался бы самымъ смысленнымъ и глубокимъ знатокомъ между всѣми людьми, не исключая мировыхъ и станovýchъ, изъ которыхъ тоже у каждаго есть своя специальность: у одного—судить, у другого—выбирать недоимки, и которые, затесавшись въ специальность Гаврилы, выказывали бы себя также чистыми болванами.

Потому-то Гаврило такъ и пораженъ былъ, повидимому, густымъ письмомъ,—никакъ онъ не могъ понять поступокъ сына и того, чтобы земля „не давала для него никакого интереса“...

Въ тотъ памятный годъ, когда всѣ жители въ его собственной деревнѣ пустились во вся тяжкая рыскать за пропитаніемъ, котораго вдругъ не хватило, когда явилась неожиданная такъ называемая „нужда“, состоявшая, какъ извѣстно въ томъ, что у жителей пучило животы, Гаврило вмѣстѣ съ прочими бѣжалъ сломя голову въ дальній городъ. Требовалось достать пищи во что бы то ни стало, немедленно, почти сейчасъ, разсуждать было некогда, хлѣба,—во что бы то ни стало и за какую угодно цѣну,—и Гаврило прибѣжалъ въ городъ. Подгоняемый этимъ ужасомъ, онъ напалъ съ радостнымъ остервенѣніемъ на представившееся ему въ скоромъ времени мѣсто. Это было безпримѣрное счастье въ то время: онъ попалъ въ сторожа въ конторѣ при вновь строящейся желѣзной дорогѣ. Всѣ его обязанности состояли,—кажись, что проще!—въ томъ, что онъ утромъ долженъ былъ подметать контору березовою метлой, а весь остальной день стоять у двери и „не пущать“. Въ этотъ памятный годъ рабочіе отдавались почти изъ-за хлѣба, но, несмотря на ничтожность заработной платы, наплывъ былъ такъ густъ, что контора большинству отказывала, а такъ какъ жители все-таки нагло лѣзли и надоедали, то она и распорядилась „гнать силой“. И Гаврило гналъ. „Куда? Поворачивай от-

лобли!“—кричалъ по цѣлымъ днямъ Гаврило; если слова дѣйствовали, онъ давалъ по шеѣ,—словомъ, исполнялъ свѣ обязанности нещадно и добросовѣстно, даже лицо сдѣлало у него звѣрскимъ, и въ какой-нибудь мѣсяцъ онъ такъ оственился, что трудно было узнать его: изъ робкаго, пуговаго мужичка съ чернымъ лицомъ и съ пѣгою бородой о сдѣлался цѣпнымъ псомъ, котораго пріучили лаять и кусать. Но не долго Гаврило усидѣлъ на своемъ мѣстѣ и кончилъ чрезвычайнымъ скандаломъ. Въ день получки жалованья о напился мертвецки-пьянымъ и, стоя у двери, то ругался, рыдалъ, рыдалъ навзрыдъ, послѣ чего сейчасъ принималъ отборными выраженіями ругаться съ кѣмъ попало; межъ прочимъ, обругалъ какого-то барина, занимавшагося въ которѣ, за что и былъ сію же минуту побитъ и прогнанъ. Послѣ этого онъ еще нѣсколько дней шатался по городу въ поискахъ за работой, проночевалъ нѣсколько ночей по заборамъ и поспелся домой. Дома, на всѣ разспросы о промысловыхъ приключеніяхъ въ городѣ, онъ ничего понаго не могъ отвѣтить. „Былъ сторожемъ... дулъ по шеѣ!“ говорилъ онъ въ замѣшательствѣ.— „Ну, а еще что же?“ спрашивали у него.— „Что же еще?... Больше ничего“,—выражалъ онъ, окончательно спутавшись, и не понимая самъ, что собственно съ нимъ тогда случилось. За что онъ получалъ жалованье и зачѣмъ „дулъ по шеѣ“? Этого прожитый внѣ его обычной сферѣ, мѣсяцъ кажется ему того нелѣпымъ, что онъ не можетъ вспомнить о немъ въ замѣшательства.

Очевидно, выбитый изъ своего обычнаго положенія, съ которымъ онъ сросся всѣмъ существомъ своимъ, онъ терялся, становился человѣкомъ-болваномъ, хворалъ всею душой, былъ никуда не годенъ, дѣлался *самъ не свой*. Душа и сердце Гаврилы были зарыты въ землю. Онъ походилъ на растеніе, которое неразрывно соединено съ землею и, вырванное, захаетъ и чахнетъ, годное только на сѣденье скоту. Но бы ошибкой сказать, что его отношенія къ землѣ носятъ себѣ слѣды рабства. Самый яркій признакъ рабства—это воля; между тѣмъ, у Гаврилы и ему подобныхъ душа и сердце *сознательно* были зарыты въ землю, составлявшую неразрывную часть его самого.

Болѣе двадцати лѣтъ онъ пахалъ, никогда ничего не

лучая, кромѣ нечеловѣческой усталости, болѣе двадцати лѣтъ съялъ, собирая плоды въ видѣ неизмѣнной березовой каши, всю жизнь мечталъ, какъ бы еще больше вспахать и засеять, и, собирая ежегодно, вмѣсто настоящихъ плодовъ, березовую кашу, приходилъ въ отчаяніе, но ни разу не пришла ему въ голову мысль, что земля—его врагъ, что онъ долженъ ее бросить и бѣжать безъ оглядки на поиски другихъ занятій. Гаврило, послѣ всѣхъ бѣдъ, какія приносила ему земля, сдѣлался только жаднѣе—вотъ и все.

Онъ желалъ больше, все больше земли, чтобы она у него была спереди и сзади, по бокамъ и подъ ногами, чтобы онъ заваленъ былъ, окруженъ ею со всѣхъ сторонъ, чтобы, гдѣ онъ ни взглянетъ, все бы виднѣлась она. Онъ не могъ равнодушно слушать извѣстнаго рода рассказы, которые иногда дѣлали отъ нечего дѣлать его зять: разинетъ ротъ, засверкаетъ глазами и замретъ.

— Слыхалъ я, что тамъ сорокъ десятинъ на душу,—равнодушно говорилъ зять, рассказывая про губернію, находящуюся въ отдаленныхъ мѣстахъ.

— На душу?—спрашиваетъ Гаврило съ начинающеюся дрожью въ голосъ.

— А то какже! Тамъ, братъ, иди ты сейчасъ изъ дому и ступай на всѣ четыре стороны, куда хошь, на тридцать-ли, на сорокъ-ли верстъ отъ своей деревни, и чтобы кто тебя оставилъ: стой, молъ, куда лѣзешь въ чужія мѣста?—тамъ этого нѣтъ. Хошь ты цѣлый день иди, а до конца краю своей земли не достигнешь. Непроходимыя мѣста!

— Ужь будто... чай, враки?

— Ну, вотъ, стану я врать. Я самъ видалъ человѣка съ тѣхъ мѣстовъ изъ городъ, своими глазами, какъ вотъ сейчасъ тебѣ: пріѣхалъ бумаги оправить. Онъ мнѣ все и рассказалъ. Да и видно сразу по рожѣ, что мужикъ не нашъ, то-есть, прямо сказать, какъ передъ Богомъ, даже и не крестьянинъ, а шутъ его знаетъ, какой такой человѣкъ, какого роду: настоящая туша, пузо жирное, толстомордый, словно баринъ! Гляжу я это на него и думаю: есть же, молъ, такіе мужички на свѣтѣ!... Да ежели эдакій верзила дастъ нашему жителю щелчка—Богу душу отдастъ, потому что человѣкъ сытый, кормленный, хлѣбъ ѣстъ бѣлый, убоину жретъ вволю, а тутъ сидитъ нашъ-то какъ куликъ на болотѣ и толь-

ко думаетъ, какъ бы не помереть отъ нужды! Такъ во-
гляжу. я на него и думаю. „А что, говорю, Степанъ Яковличъ,
много въ вашихъ мѣстахъ угоды?“ — „Угоды, говоритъ,
насъ, слава Богу, довольно“. — „А какъ, говорю, къ пи-
мѣру?“ — „Да десятинъ сорокъ, што-ли...“ — „Стало бы
пропитаться вполнѣ можно?“. Смѣется!

— Такъ и сказалъ: сорокъ десятинъ?—спрашиваетъ Га-
вило уже совершенно измѣнившимся голосомъ.

— Сорокъ-ли, пятьдесятъ ли, тамъ этого не разбираютъ
потому что прямо сказать—конца краю нѣтъ.

Послѣ такого разговора Гаврило выглядитъ нѣкоторое вре-
мя какъ бы помѣшаннымъ; такая въ немъ разжигается жи-
знь, что онъ и словъ больше не въ состояніи подыскать.
Вдругъ ему приходитъ на память настоящій его земель-
ный надѣлъ, ничтожество котораго теперь ему ярко до очевидности
и онъ приходитъ въ отчаянную апатію. Слово „сорокъ“ р-
жетъ его до нестерпимой боли, и въ немъ моментально в-
ступаютъ самыя мрачныя чувства: зависть, ненасытности
отвращеніе къ своей жизни. Гаврило просто боялся вес-
такіе разговоры, потому что они, разжигая его преоблада-
ющую страсть, поселяли въ немъ страшное безпокойство.

— Безпремѣнно вретъ онъ!—успокаивалъ себя Гаври-
ло приписывая зятю способности безпутнаго лгуна.

Сама жизнь помогала ему успокаиваться, ежедневно засы-
вая его въ тину пустыхъ заботъ и не давая времени оду-
маться и раз мечтаться. Въ этомъ, пожалуй, и заключаетъ
разгадка того обстоятельства, что, никогда не получая ни-
кихъ плодовъ, онъ продолжалъ пахать и сѣять, и все жа-
далъ нахватать больше и больше десятинъ на свою ше-
подъ какими угодно условіями. Каждый годъ это ему бо-
или менѣе удавалось и каждый годъ у него было по гор-
возни. Послѣ этого понятенъ тотъ испугъ и растерянности
когда онъ получилъ письмо отъ сына. Его положеніе въ с-
момъ дѣлѣ было отчаянное.

Ивашку онъ послалъ за деньгами, чтобы свѣять въ арен-
побольше земли у сосѣднихъ владѣльцевъ. Теперь у не-
не было ни денегъ, ни Ивашки. Время стояло горячее, бо-
шинство выѣхало уже въ поле пахать подъ яровое, а у не-
го и земли нѣтъ! Правда, одну мірскую душу онъ засѣя
еще прошлую осенью подъ озимое, надѣясь, что съ прих-

днѣ весной Ивашки міръ согласится дать и еще одну душу водѣ яровое, но, во-первыхъ, надежда на мірское согласіе значительно ослабѣвала послѣ письма Ивашки; во-вторыхъ, ирская душа была такъ ничтожна и плоха, что Гаврило оставлялъ ее въ полнѣйшемъ пренебреженіи. Удавалось ему получить и обработать ее — ладно, не удавалось — онъ забывалъ про ея существованіе. Главная и всегдашняя забота его—это прихватить землишки со стороны, и ему каждый годъ, послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ, удавалось прихватить, но нынче нѣтъ. Ни одинъ изъ сосѣднихъ мѣщальцевъ не далъ ему аренды. Всѣ осенью прогнали его безъ разговора; у каждого было по горсти условій, которыми Гаврило предавался не на животь, а на смерть владѣльцамъ, вслѣдствіе чего имъ было выгодноѣ земли ему не давать, потому что онъ и безъ того будетъ работать цѣлое лѣто даромъ. Могъ бы онъ примазаться къ одной изъ компаній, которыя составлялись въ деревнѣ специально для осеки земли въ аренду, но компанія всѣ еще зимой составлялась, а для него мѣста не нашлось. Еще могъ бы онъ идти къ богатому мужику Давыдову, арендовавшему крупные участки, и взять земли черезъ его руки, но это средство было также чистою смертію. Гаврило былъ по уши ему долженъ и уже не имѣлъ права ожидать съ его стороны снисхожденія; земли Давыдовъ завсегда далъ бы, но взаменъ того насѣлъ бы на Гаврилу и цѣлое лѣто клевалъ бы его, пока не выклевалъ бы весь долгъ, всѣ проценты на него и урожай съ данной десятины. Таковы были обстоятельства Гаврилы въ дѣлѣ по полученіи отъ сына письма.

И нашелъ на него вотъ какой стихъ. Пришелъ онъ домой съ письмомъ на ладони и сѣлъ. Сидитъ и хлопаетъ глазами. На всѣ вопросы и слова хозяйки, освободившейся отъ нелаго настроенія послѣ прочтенія письма, онъ отвѣчалъ мучаніемъ и нелѣпою улыбкой. Просидѣвъ такъ половину дня совершеннымъ истуканомъ, онъ положилъ письмо на столѣ, пошелъ къ задней лавкѣ, легъ и въ такомъ состояніи провелъ остальную часть дня. Наконецъ, это взорвало хозяйку, и старуху; обѣ онѣ съ страшными упреками напугались на Гаврилу. Всякаго дѣла по дому у него накопилось по горло, „а у него вишь брюхо заболѣло... Плесну я вотъ на тебя кипяткомъ, такъ небось заразы вскочить“.

Но разъ пришедшую хворь нельзя было вылѣчить так скоро и такими простыми средствами. Гаврило вообще ту воспринималъ впечатлѣнія и медленно принималъ рѣшенія. На другой день онъ принялся было ходить по дому и поправлять разныя вещи, которыхъ накопилось множество. Слѣдовало бы поправить телѣгу, у которой еще до зимы переломилась ось; надо было сходить къ кузнецу за лемехомъ, потомъ сходить на мельницу за отрубями для лошадей на время пашни и проч. Все хозяйство громко вопіяло своимъ дряхлымъ видомъ. Наконецъ, самъ Гаврило къ этому времени обносился окончательно; у него остался только одинъ ветхій зипунъ, да и тотъ требовалъ починки, а обуви и пояса совсѣмъ не существовало; даже шапки, безъ которой ни одинъ крестьянинъ не рѣшился бы выѣхать въ поле, у Гаврилы не было или, лучше сказать, была, но въ невозможномъ состояніи, располосованная недавно щенками. Однимъ словомъ, Гаврилъ предстояла кипучая дѣятельность.

Однако, неожиданная хворь привела его въ изнеможеніе; онъ ни о чемъ не думалъ, руки его опускались, силъ не было. Началъ онъ сколачивать телѣгу и тесать ось. Тесалъ тесалъ дерево и зарѣзалъ его, т.-е. сдѣлалъ изъ толстаго дорогого стоящаго дубоваго чурбашка тонкую палку, которая гѣдится только собакамъ гонять. Эта горькая неудача такъ обезкуражила его, что во весь этотъ день онъ не хотѣлъ приняться ни за что больше. Даже хозяйка перестала ругать его; она съ тревогой наблюдала за нимъ, выражая на своемъ лицѣ жалость. Пошатавшись по двору, Гаврило опять застѣлъ надолго въ избѣ и не разставался съ лавкой, хлопая глазами и нелѣпо улыбаясь. Хозяйка не на шутку перепугалась.

— Что я тебѣ скажу, Иванычъ?... Пошелъ бы ты къ „управителю“, авось и далъ бы. Такъ и такъ, молю, ваше степенство,—ласковѣй такъ скажи ему,—какъ вамъ, мол, угодно, а одолжите землицы, сдѣлайте такую божескую милость... Какъ же не дать? Только попроси хорошенько. И молю, завсегда съ преданностью къ вашему степенству. ужъ явите божескую милость!... Умоляй его ласковостью: сажарный, голубчикъ! заступникъ нашъ милостивый! Не оставай погибать бѣднаго человѣка... И все такое прочее. Авось дастъ, искаріють!

Не встрѣтивъ со стороны Гаврилы ни возраженія, ни согласія, хозяйка замолчала, еще болѣе встревожась. Она посоветовала-было положить въ лѣвый сапогъ богородской травы, такъ какъ это помогаетъ укрощать гнѣвъ суроваго начальника, но и то сейчасъ должна была умолкнуть, вспоминая, что у мужа сапоговъ не было. Гаврило на всѣ рѣчи жены отвѣчалъ вздохомъ или чесалъ спину обѣими руками. Да и едва-ли онъ слышалъ что-нибудь изъ словъ хозяйки, поглощенный всецѣло своимъ горемъ. Изъ этого тяжелаго состоянія вывели его не слова, а нѣчто другое. Какъ-то къ вечеру онъ вышелъ на дворъ, машинально забрелъ подъ сарай и наткнулся на бурку, единственную и любимую имъ лошадь. Бурка жалобно заржала при входѣ; голоденъ былъ. Это сразу отрезвило Гаврилу. Его съ быстротой молніи поразила мысль, что Бурка его на всю зиму останется голоденъ. До сихъ поръ онъ берегъ и лелѣлъ свою лошадь такъ, какъ не хранилъ себя и свое здоровье; когда ему приходилось таять съ еладью, то самъ тащилъ возъ едва-ли меньше Бурки: самъ иногда голодалъ, но Бурка—никогда. Машинально съ Гаврилѣ возвратились всѣ чувства—жалость, страхъ, жергія и жадность.

Быль уже вечеръ, но это не остановило Гаврилу. Безъ шапки, босикомъ, въ одномъ драномъ зипунѣ, онъ вышелъ изъ дому на поиски, самъ еще не зная куда. Онъ только дорогой принялся мучительно соображать, ломая голову, куда ему ринуться. Онъ шлепалъ босыми ногами по лужамъ и грязи, которая обдавала его ноги ледянымъ холодомъ, но чувствовалъ жаръ въ головѣ и выступавшій потъ во всемъ тѣлѣ. Выйдя за околицу, онъ пріостановился, ломая голову, куда идти? А идти непременно надо было, во что бы то ни стало, идти нынче, сейчасъ, чтобы взять пашни непременно, подъ какими угодно условіями. Въ это время ударилъ колоколъ къ вечернѣ—и Гаврило поспѣшно перекрестился, въ одно и то же время обрадовавшись этому звону, который почему-то разомъ прекратилъ его невыносимое, головокружительное мученіе, и испугавшись при воспоминаніи, что онъ уже около года не бывалъ въ церкви. „За то меня и наказываетъ Богъ, проклятаго!“—подумалъ онъ и пошелъ обратно въ деревню, по направленію къ церкви. Въ церковь онъ вошелъ тогда, когда уже началась служба. Впереди стояло нѣсколько

старухъ, все остальное пространство церкви было пусто. Гаврило выбралъ ближайшій къ двери и самый темный уголъ гдѣ обыкновенно становились нищіе и калѣки; тамъ онъ притаился и молился. Онъ думалъ поставить свѣчку, но, взглянувъ на себя, удержался на мѣстѣ: онъ былъ весь забрызганъ жидкою грязью, которая сидѣла пятнами на его зипунѣ, покрывала толстымъ слоемъ его штаны, блестя, какъ вакса, на его лапахъ и образовала мокрые, скользкіе слѣды на полу, гдѣ онъ стоялъ. Но ему не надо было свѣчки; онъ горячо, мучительно молился. Онъ зналъ одну только молитву: „Господи Іисусе! Помилуй меня, грѣшнаго!“—и ее одну шепталъ, крестясь и дѣлая земные поклоны. Въ это мгновенье одна у него была просьба—достать пашни. Его сердце кричало: земля, земля!

Когда Гаврило вышелъ изъ церкви, его осѣнила счастливая мысль идти къ Савосѣ Быкову, котораго онъ увидалъ попа на дворѣ. На этотъ разъ и Савосѣ Быковъ, отличавшійся безталанностью, былъ для него счастливою находкою! Для Гаврилы важно было хоть за что-нибудь ухватиться, начать хотя бы съ Савоси Быкова. Послѣдній чистилъ дворъ у попа; земли онъ, конечно, не снялъ; нельзя-ли поэтому воюти съ нимъ въ компанію?—думалъ Гаврило. Явившись на батюшкинъ дворъ, онъ засталъ Савосю въ полномъ вооруженіи съ лопатой, съ вилами и метлой. Онъ уже около недѣли возилъ соръ, подрядившись вполне очистить Авгіевы конюшни за что батюшка обѣщалъ выдать ему полпуда муки, десять фунтовъ крупы и 7 копѣекъ серебромъ. Савосѣ, обезумѣвшій отъ такого случайнаго счастья, съ страшною энергіей возилъ со двора навозъ; около сорока возовъ уже стащилъ и торопился поскорѣе вывезти остальные сорокъ возовъ, заранѣе предвкушая крупу.

— Чистишь?—спросилъ Гаврило, подходя къ нему.

— Ужъ сорокъ возовъ стащилъ,—отвѣчалъ Савосѣ.

— Ну, ладно. Я къ тебѣ за дѣломъ,—и Гаврило рассказалъ ему свое положеніе. Сынъ его не пришелъ и не вернется никогда. Къ мірской землѣ его не пустятъ, да ея такая малость, что одно баловство. Капиталу у насъ нѣтъ... Шипкинскій баринъ не дастъ, Таракановскій баринъ протуритъ. Стало быть, пришла на меня бѣда. Прямо сказать, лежишь въ могилу и засыпай себя землей!

Гаврило говорилъ словами отчаянія, но вся фигура его выражала рѣшимость и страшное напряженіе. Онъ какъ сѣлъ по приходѣ на кучу сора, такъ и остался неподвижнымъ. Глаза его сверкали, выражая гнѣвъ. Савося Быковъ сначала слушалъ его съ сочувствіемъ и спокойно, не понимая еще, съ какимъ дѣломъ къ нему обращался Гаврило.

— Ежели бы я одинъ приперся къ Таракановскому... да вѣтъ, лучше и не показывайся!—сказалъ Гаврило.

— И глазыньки не показывай,—подтвердилъ Савося.

— Не дасть. Обругаетъ, обшельмуетъ, а не дасть.

— Жидоморъ!

— Сейчасъ, какъ только явишься къ нему, онъ прямо въ книгу дѣзетъ. „А-а-а! это ты Гаврило?“—спрашиваетъ.

— Лютъ!—согласился Савося, приходя постепенно въ возбужденное состояніе. Онъ припомнилъ свои многочисленные походы у Таракановскаго барина.

— Особливо, ежели у меня долгъ,—продолжалъ Гаврило.— Долженъ же я ему за прошлую весну, да муки бралъ пудовъ эдакъ съ пять... Придешь теперь къ нему: за тобой числится восемьдесятъ цѣлковыхъ, скажетъ... А какіе восемьдесятъ цѣлковыхъ, неизвѣстно. Словно какъ бы коломъ ударить въ голову. Стоишь, какъ безумный. Ежели теперь я предъявлюсь къ нему, онъ перво-на-перво этимъ коломъ огрѣветъ: подавай восемьдесятъ цѣлковыхъ! Ежели спросишь, какіе такіе восемьдесятъ цѣлковыхъ?—въ шею прогонитъ, а ежели всудитъ уплатить—тоже въ шею.

— Не иначе, какъ въ шею!—подтвердилъ и Савося.

— Вотъ и пришелъ къ тебѣ, Савося. Сдѣлай милость, войдемъ сообща, чтобы разомъ... Нагрянемъ на него: ты съ одной стороны, я съ другой—не выдержитъ. Какъ ты полагаешь?

При этомъ предложеніи Савося Быковъ даже вздрогнулъ; сердце его ёкнуло отъ страха. Это Савось-то идти къ Таракановскому барину! Да онъ съ давнихъ поръ наводилъ на него страхъ однимъ своимъ именемъ, потому что именно этотъ баринъ и привелъ его къ краю гибели, запутавъ его и сдѣлавъ рабомъ своимъ. Савося прежде снималъ землю, работалъ и постепенно получилъ такое отвращеніе къ этой сѣмкѣ и къ этой работѣ, что пугался всякій разъ, какъ только вспоминалъ о нихъ. Какое-то жуткое, хотя и бессознательное,

чувство ныло въ немъ и сосало его всякій разъ, какъ онъ слышалъ имя таракановской усадьбы.

Конечно, Савося много былъ долженъ, такъ много, что и могъ выговорить цифру долга, и потому былъ совершенно равнодушенъ къ ней, но его пугалъ не долгъ, не эта громадная, сумасшедшая цифра, а самая таракановская работа таракановская земля, таракановскіе мировые судьи,—однимъ словомъ, все, что напоминало ему неволю, египетскія работы и рабскій хлѣбъ. И вотъ Гаврило предлагаетъ ему идти въ ненавистную усадьбу.

— Боюсь я! — сказалъ, наконецъ, Савося послѣ долгаго молчанія.

Гаврило не возражалъ. И ему стало вдругъ почему-то жутко. Оба молчали.

— Такъ не пойдешь?

— Слопаешь онъ меня!—проговорилъ съ ужасомъ Савося.

Потомъ Савося засуетился около навоза, ринувшись влить его на возъ съ удвоенною скоростью. Гаврило больше не прерывалъ его занятія, и если не вставалъ и не шелъ то потому только, что не зналъ, куда теперь идти, что дѣлать? Для него было только ясно, что онъ напрасно обратился къ Савосѣ, даромъ потратилъ время.

Погруженный въ глубокую задумчивость, Гаврило, наконецъ, поднялся съ своего мѣста и собрался уходить. Но Савося еще нѣкоторое время задержалъ его.

— А что, Гаврило, ежели бы попросить у Таракановскаго хоть съ пудикъ?—спросилъ оживленно Савося.

— Не дастъ.

— Пожалуй, что оно такъ и выходитъ. Ну, а ты какъ пойдешь къ нему?

Гаврило съ мрачнымъ отчаяніемъ покачалъ головой.

— А ежели ты землишки достанешь, такъ ужъ не забудь меня, позови пахать. Живо я это дѣло оборудую, вполне положишься! А насчетъ того, что у меня у самого пахоты чуть-чуть, дня на два, такъ ты ужъ мнѣ доплати, какъ люди.

Гаврило молчалъ.

— Дашь полпудика—и то слава тебѣ Господи. Скажу тебѣ такъ, то-есть прямо выворочу съ корнемъ, вѣрно тебѣ говорю. А заплатишь, какъ люди.

Гаврило молчалъ.

— Мнѣ хоть полпудика, да крупы чуть-чуть — и того довольно. Чай, тоже свои люди.

— Да вѣтъ у меня земли, пустомеля! Нѣтъ земли, пустая башка, нѣтъ! — крикнулъ съ глубокимъ волненіемъ въ голосъ Гаврило и зашагалъ прочь съ попова двора.

Къ Гаврилѣ возвратилось сознаніе безнадежности. Къ кому теперь идти? По дорогѣ у него стоялъ домикъ учителя, туда онъ и забрелъ, — забрелъ такъ себѣ, безъ дѣла, безъ опредѣленной мысли, съ смутнымъ желаніемъ поговорить, потому что одному ему страшно казалось остаться. Дѣйствительно, Гаврило зашелъ, посидѣлъ, поговорилъ, добродушіе учителя вѣскольکو размягло его боль. Кромѣ того, учитель подалъ ему благой совѣтъ: попросить зятя снять на свое имя землю; зятю, Болотову, окрестные помѣщики вѣрили больше, какъ человѣку довольно состоятельному. Гаврило и самъ удивился, какъ не пришла ему въ голову такая мысль: снять землю на чужое имя! Пусть земля пройдетъ хоть черезъ сотню рукъ, лишь бы она ему досталась. А что она ему достанется, за это онъ ручается головой, и онъ поколѣветъ, а ужъ землю доставетъ.

Гаврило высказалъ это съ сдержаннымъ гнѣвомъ и съ явнымъ волненіемъ. Онъ преображался въ такія минуты, когда говорилъ или занимался дорогимъ дѣломъ. Этотъ невзрачный человѣкъ, ободранный, выщипанный, безъ шапки и съ голыми ногами, покраснѣвшими отъ ледяной стужи, какъ гусиные лапы, удивительно, какъ этотъ пугливый крестьянинъ вдругъ превращался въ задумчиваго или взволнованнаго, умнаго или гнѣвнаго человѣка, въ которомъ вдругъ начинаютъ свѣтить человѣческія черты.

— Ужъ я добуду! — шепталъ Гаврило, и въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ сидѣлъ, учитель увидалъ двѣ горящія точки, но самого Гаврилы не было видно среди сумерокъ вечера.

— Про то я и говорю. Развѣ тебѣ не все равно, какъ ни добыть, только бы добыть, а ужъ тамъ зять-ли, свать-ли, главное — земля. Конечно, тяжело, что и говорить! Если аренда черезъ двое рукъ пройдетъ, такъ она въ какую цѣну влѣзетъ?

— Прямо надо говорить, въ дорогую цѣну влѣзетъ. И думаю теперь насчетъ бычка: пропалъ мой бычокъ! — прибавилъ неожиданно Гаврило.

— Какой бычок?—спросилъ учитель.

— Собственный мой, кровный. Самъ я его поилъ, вотъ изъ этихъ самыхъ рукъ...

Гаврило показаль руки. Но учитель изъ этого еще не по нялъ.

— Ну, такъ что же, что поилъ? И продолжай поить, — возразилъ учитель.

— То-то, что не рука!.. Говорю тебѣ: пропаль мой бычокъ

— Да что же, околѣлъ онъ или захворагъ?

— Бычокъ? А вотъ какъ рассуждаю теперь насчетъ бычка въдь ежели, къ примѣру, я пойду къ зятюшкѣ,—что-жъ, ты думаешь, задаромъ онъ пойдетъ для меня?

— Само собой, вѣтъ; не таковский человѣкъ.

— Вотъ то-то и оно-то. Когда еще онъ приставаль ко мнѣ съ этимъ бычкомъ: продай да продай, а какой шутъ ему продать, если еще онъ хочетъ заполучить его за безцѣнокъ, да ежели и бычокъ-то не ребенокъ ужъ, а цѣлый быкъ Кормилъ я его, кормилъ, поилъ, поилъ, все думаль поправиться на немъ, анъ нѣтъ: не привелъ Господь самому своему кровного бычка выходить, не рука! Иди, бычокъ, къ лю безному сродственнику, иди, милый, къ Семѣ Болотову под ножъ! Прощай, мой бычокъ! Не рука мнѣ поить-кормить тебя! Не поминай меня лихомъ!...

Учитель Синицынъ не безъ удивленія выслушалъ этотъ взрывъ отчаянія крестьянина, въ которомъ быстро чередовались самыя противоположныя чувства.

— Ну, что тутъ заранѣе уѣиваться? Можетъ, онъ бычка то твоего и не отниметъ,—замѣтилъ съ сочувствіемъ учитель

Гаврило не возразилъ, только покачалъ головой. Онъ вдругъ заторопился уходить и принялся шарить возлѣ порога, гдѣ сидѣлъ, ища свою шапку. При тускломъ свѣтѣ сумерокъ которыя уже давно настали, плохо было видно, и Гаврило искалъ долго и безуспѣшно. Видя безуспѣшность поисковъ учитель самъ началъ помогать ему, съ недоумѣніемъ оглядывая всѣ углы своей хаты, спрашивалъ ребятъ, не они-ли куда затащили, пока, наконецъ, не спросилъ тревожно: точно-ли у Гаврилы была шапка? Гаврило вдругъ оторопѣлъ спутался: въдь дѣйствительно шапки у него не было. Онъ смущенно распрощался съ учителемъ и вышелъ, сопровождаясь ласковымъ и печальнымъ взглядомъ учителя.

Придя домой, Гаврило посидѣлъ на обычномъ мѣстѣ на лавкѣ, похлопалъ глазами, смотря на жену, какъ она укладывала ребятъ спать и собиралась сама лечь въ постель, но ничего не отвѣтилъ на вопросъ жены: „должно быть, не союно хлѣбавши?“ Онъ отправился въ загонъ, къ бычку. Тотъ уже давно лежалъ на соломѣ и сопѣлъ. Гаврило погладилъ его по шеѣ и потомъ принесъ ему пойло, съ простоквашей, трубами и кусками хлѣба. Гаврило въ эту минуту отдалъ бы ему весь хлѣбъ, но не нашелъ, — должно быть, за день весь вышелъ. Гаврило гладилъ животное по головѣ, трепалъ по шеѣ. На слѣдующее утро онъ еще разъ напоилъ его, вставъ чуть свѣтъ, когда только-что пѣтухи запѣли. „Кушай, кушай!“ — говорилъ Гаврило, лаская животное за уши. Когда бычокъ все съѣлъ и сталъ лизать хозяину руки, припавшись вслѣдъ за тѣмъ жевать подолъ его рубахи, Гаврило не выдержалъ: на глазахъ его навернулись слезы, онъ съ рыданіемъ ударилъ телянка и вышелъ изъ загона.

Конечно, онъ забылъ обо всемъ, постаравшись выбросить изъ головы бычка, когда пришелъ къ зятю, чтобы уговорить его похлопотать насчетъ аренды. Въ минуту прихода Гаврилы зять занимался приготовленіемъ къ базару, куда онъ долженъ былъ повезти ленъ, пеньку, лапти, гужи и прочіе предметы, скупленные имъ по мелочамъ у деревни. Онъ занимался рѣшительно всѣмъ, кромѣ сельскаго хозяйства. Попадобилось молока — онъ бралъ молоко; скупить нѣсколько фунтовъ шерсти — везетъ шерсть. Особеннаго барыша эта перепродажа не приносила, но онъ жилъ — и этого вполне достаточно, жилъ несравненно лучше тестя и большинства жителей, понимая хорошо, что въ теперешнее время надо быть „на всѣ руки“. Сметливый и юркій, какъ угорь, онъ провозжалъ довольно ловко сквозь деревенскія непріятности вроде „нужды“, голодухи, безденежья. Копѣйка у него всегда была, заработанная такимъ образомъ: одинъ грошъ онъ выторговывалъ у мужиковъ, другой грошъ выманивалъ у торговцевъ — вотъ и копѣйка! Такихъ угрей въ нынѣшней деревнѣ завелось много. Чѣмъ-нибудь надо жить! Такіе жители ни для деревенскаго обывателя, ни для человѣка развѣсѣтаго не симпатичны, но они не подлы, хотя и не честны. Что касается собственно Болотова, онъ былъ человѣкъ тер-

пимый. Правда, терся онъ между всѣми, нѣсколько изнаглѣлъ, но понималъ и нужду, зная ее по своему опыту.

— На базаръ?—спросилъ Гаврило, смотря на суетливую фигуру зятя, раскидывавшаго свой товаръ по сортамъ.

— А! это ты, тестюшка?—болтливо возразилъ зять.

— Да, зашелъ по пути, проповѣдать...

— Милости просимъ... Точно, что на базаръ. Нельзя! бы теперь лежалъ на боку, да колупалъ въ носу, а тут вотъ поѣзжай въ городъ. А прибытокъ — еще какъ Богъ дастъ. Одно безпокойство!

— Ужь и безпокойство! — вяло возразилъ Гаврило, въ время думавшій, какъ бы начать разговоръ, и совершенно равнодушный къ многочисленнымъ предметамъ, въ безпорядкѣ раскиданнымъ по сѣнямъ. У него стало ныть сердце отъ ожиданія.

— Эка сказалъ! Тутъ какъ въ котлѣ кипишь, нѣтъ нѣтъ кого тебѣ покою, а онъ не вѣритъ!—разгорячился Болотовъ. Ты вонъ лежишь всю зиму на печи, да паришь кости, а мы зимой жарко! Вотъ какъ ты долженъ разсудить. Напримѣръ, гляди вотъ сюда—ленъ! Какъ ты понимаешь его въ своемъ воображеніи? Ты думаешь, купилъ, свежъ, спустилъ и въ дѣло въ шляпѣ? Никакого размышленія больше и не требуется? Нѣтъ, братъ, это ты не дѣло говоришь. Ленъ дырозь. Во-первыхъ, вотъ гляди: ленъ желтый, будто на немъ корова лежала, а вотъ эта горсть сизая, какъ голубь, э значитъ худой, вымоченный ленъ, такъ надо прямо говоритъ негодный, и ежели ты не будешь ломать головы, такъ лучше прямо бросай дѣло, отходи прочь, все равно, какъ дуракъ. Надо, чтобы покупатель зарился, чтобы разныя штуки по ремѣшаны были ровно, чтобы ленъ горѣлъ, а на это нужно. А то выѣдешь ты со своимъ добромъ на промыселъ, а онъ, этотъ ленъ-то, такъ огрѣветъ тебя по затылку, что ничего отъ него не останется... Вотъ я про что говорю.

— Это вѣрно, всякое рукомесло...—вставилъ Гаврило въ возрастающею тоскою ожиданія.

— Про что же я и говорю? Безъ ума въ нынѣшнія времена не проживешь, — продолжалъ Болотовъ. Онъ собралъ разсматривалъ ленъ, который дѣйствительно горѣлъ у него какъ солнце, и принялся осторожно перекладывать яйца. Безъ ума, братъ, нынче плохое житье. Возьмемъ, напримѣръ

яйцо. Конечно, оно яйцо; бываетъ яйцо пахучее, съ духомъ, бываетъ болтунъ,—это всякій понимаетъ. А ты сдѣлай такъ, чтобы твое яйцо, съ духомъ-ли, болтунъ-ли—все одно, чтобы оно сплошь было вполнѣ чистое, торговое яйцо, разложи его, какъ слѣдуетъ. Такъ вотъ и подумай! ой-ой, какъ подумай, какъ его раскласть, чтобы покупатель не обратилъ вниманія. Иная женщина-то придетъ на базаръ и только думаетъ, какъ бы подешевле, — ну, съ этой глупой не надо и разговоры разговаривать; другая же попадется ка-аррачерная,—придетъ, обнюхаетъ, ощупаетъ, да такъ тебя обойдетъ, что и свѣту не взвидишь! Бываетъ, что подходитъ она прямо, Господи благослови, къ кошелкѣ, да цапъ за болтунъ! Такъ ужъ тутъ сиди и молчи; ежели она добрая—только плюнетъ и отойдетъ, а попадись—долго ли до грѣха?—карачерная, такъ она тебя при всемъ стеченіи народа не только осрамитъ, да и морду-то твою этимъ болтуномъ вымажетъ,—вотъ какіе бываютъ случаи! Стало быть, ты все это строго должно держать въ воображеніи, а коль скоро нѣтъ у тебя головы, такъ одинъ грѣхъ.

— Да ужъ, чай, грѣха въ эдакомъ дѣлѣ много?

— Не то, чтобы грѣхъ, а безпокойно! Словно какъ бы въ кипятокъ варится голова... Думаешь-думаешь, ломаешь-ломаешь башку, инда хворь на тебя найдетъ, словно какъ бы туманъ или эдакое затмѣніе ума... Возьмемъ опять вотъ твою... Ой-ой! какъ онъ достается дорого!

Болотовъ перебиралъ разныя вещи, приготовляя ихъ для продажи, и рассуждалъ о каждой съ такими подробностями, что разговору и конца не предвидѣлось.

Гаврило молча, съ замираніемъ слушалъ, пропуская мимо ушей большую часть разговоровъ зятя, и все собирался высказать о мучившемъ его дѣлѣ; онъ даже и ротъ уже открывалъ, какъ зять ужъ продолжалъ снова свой безконечный разговоръ. Наконецъ, онъ не могъ дольше сидѣть спокойно.

— Сѣма! Сдѣлай ты мнѣ одолженіе, въ ноги тебѣ поклонись, — выручи меня изъ бѣды! — заговорить, волнуясь, Гаврило.

— Значить, худо тебѣ?—сочувственно осведомился зять.

— Какъ теперь Ивашка у меня сбѣжалъ и достатку у меня нѣтъ, а барину на глаза не показывайся — началъ-

было Гаврило, но вспомнилъ сразу весь ужасъ своего положенія и не могъ говорить.

— Ну?

— Спаси мою душу! Я ужь тебѣ удружу!

— То-есть насчетъ какого предмета?

— Земли у меня нѣтъ — вотъ какой мой предметъ! Нѣтъ земли — вотъ и весь предметъ... Ты бы взялъ для меня ренду тебѣ повѣрилъ бы баринъ, а?

Зять на нѣкоторое время задумался.

— Сѣма!

— Что?

— Сдѣлай милость, не оставь старика. А бычокъ... пускай бычокъ идетъ тебѣ по уговору.

— Что мнѣ твой бычокъ? — заговорилъ торопливо Болотовъ. — Бычокъ для меня маловажная причина. Ты думаешь я радъ? А спросилъ бы ты, сообразилъ, что такое есть для меня бычокъ? Какой въ немъ прокъ существуетъ?... Да ладно такъ и быть, сродственнику удружить надо... А что касательно бычка, прямо я скажу тебѣ, нѣтъ мнѣ въ немъ корысти.

Дѣло было спѣшное, ждать Гаврилѣ нельзя было; Болотовъ это понималъ и немедленно согласился, въ сопровожденіи тестя, идти къ Шипикину. Впрочемъ, Гаврило, какъ было рѣшено, не долженъ казать глазъ. Отправились.

Оба были возбуждены, хотя по разнымъ причинамъ: тестя думалъ о Шипикинѣ, зять распредѣлялъ мысленно часть бычка на предстоящій базаръ. Эта была сложная умственная работа; требовалось сообразить бычка всего, до мелкихъ подробностей. Взять и заколотъ скотину, потомъ свезти тушу на базаръ — это, конечно, дѣло не мудреное. Но Болотовъ изъ всего привыкъ извлекать часть пользы, хотя бы на грошъ, но пользы. Онъ думалъ о томъ, куда дѣвать рожи, нельзя-ли извлечь пользу изъ копытъ? Точно также и шерсть телянка долго занимала его голову; онъ вспомнилъ, что изъ коровьей шерсти ткнуть половики, но отъ кого онъ это слышалъ, гдѣ покупаютъ такую шерсть, куда, въ какомъ видѣ ее надо представить — этого, хоть убей, онъ не могъ вспомнить. Онъ безпощадно ломалъ голову, но ничего не могъ придумать по всѣмъ этимъ вопросамъ. Онъ былъ самъ радъ, что всѣ эти предметы лѣзли ему въ голову, мучи-

его, тѣмъ не менѣе, выбросить ихъ изъ своей головы былъ не въ силахъ, какъ какое-нибудь бѣсовское навожденіе. Таковъ былъ характеръ его жизни. Какъ человѣкъ, одаренный отъ природы шустрымъ умомъ, онъ волей-неволей вѣчно искалъ предметовъ для размышленія и изобрѣталъ способы улучшить жизнь, побѣдить наготу свою и незащитность, возвыситься надъ окружающею темною бѣдностью, но какъ человѣкъ голый, живущій въ голой деревнѣ, дошедшей до страшно пустой жизни, онъ, также волей-неволей, долженъ былъ пробавлять свой умъ пустяками и вертѣться между пустяшныхъ дѣлъ. Разумѣется, пустяшныя дѣла могли дать ему барыша только по грошу каждое, и съ помощью ихъ нельзя серьезно скрасить свою жизнь, вслѣдствіе чего количество этихъ пустяшныхъ дѣлъ розрослось у него непомерно. Онъ рѣшительно всѣмъ занимался; яйца, молоко, кожи, шерсть, свиная щетина—это только примѣръ; на самомъ же дѣлѣ сфера его промышленности была необъятна. И надъ каждымъ изъ этихъ пустяшныхъ дѣлъ онъ задумывался, на всякую промышленность онъ тратилъ пропасть ума, изобрѣтательности, ловкости, почти генія. Безошибочно можно сказать, что вся мозговая дѣятельность жителей описываемаго округа, весь прогрессъ мысли, все развитіе умственности шло именно въ этомъ направленіи. Выдумать грошовую промышленность, расширить количество грошовыхъ промышленныхъ—въ этомъ и состояло все умственное развитіе, добытое послѣ освобожденія изъ крѣпостного состоянія. Подобному направленію, впрочемъ, можетъ быть, въ значительной степени помогла старинная, обще-русская, прославленная, но на самомъ дѣлѣ гнусная „смекалка“, которая учитъ человѣка „на обухѣ рожь молотить“ и приспособляться къ самымъ отвратительнымъ гадостямъ.

Такъ они шли, думая каждый о своемъ дѣлѣ, шли въ первое время молча, шли, обмѣниваясь безсознательными фразами. Путь былъ до Шипикина далекій, почти на цѣлую половину дня, и свободнаго времени для разговора такъ же, какъ и для молчанія, оставалось бездна. Гаврило смотрѣлъ подъ ноги, да такъ и шелъ, не поднимая головы, наклоненной книзу свинцовою душой; Болотовъ, напротивъ, ѣздилъ глазами по сторонамъ, ни минуты не останавливая ихъ на какомъ-нибудь предметѣ, что, можетъ быть, зависѣло оттого,

что онъ все продолжалъ распредѣлять части бычка, количество которыхъ разрослось до невѣроятнаго множества.

— Да, тутъ, братъ, бываетъ такъ, что и идти незачѣмъ—продолжалъ вслухъ свои размышленія Болотовъ, говоря все о томъ же бычкѣ, хотя упоминать именно о немъ все какъ-то стыдился.—Со стороны, оно, конечно дѣло, выходить просто. Между же прочимъ, онъ тебя огрѣветъ. Ты походи около него, да обнюхай, да сообрази, съ какой стороны подойти къ нему... Ежели же ты подойдешь не съ той стороны, да сунешься безъ всякаго соображенія, никакого толку не получишь. Развѣ какую ни на есть сущную бездѣлицу!

— Бездѣлицу, ужъ это какъ есть!—сказалъ Гаврило трезво.

— Про то и я говорю.хлопотъ, хоть бы по горло, а интересу мало. И обидно, даже очень обидно!

— Вѣрно. Ужъ если интересу мало, такъ какъ же не обидно?—отъ всей души согласился Гаврило.

— Ходишь-ходишь иной разъ, языкъ высунешь, голову кругомъ пойдеть, да вдругъ возьметъ тебя зло, да такъ разгоришься, что плюнуть бы на все и больше ничего. А почему? Интересу мало. Такъ и теперь: не очень-то одолжилъ ты меня! Иди вотъ, бѣги, верти хвостомъ, а интересу получишь бездѣлицу.

— Иной разъ ничего не получишь отъ него—это вѣрно!—взволнованно проговорилъ Гаврило и не могъ скрыть недовольства.—А сладко говорить! Ужъ мелеть-мелеть тебѣ, думаешь: ну, слава Богу, дасть, а глядишь—онъ тебя эдакъ ласково беретъ за плечо, да и пихаетъ въ дверь. Здоровъ ты, чить ляссы, чистый луда!

Зять, слушая Гаврилу, съ удивленіемъ смотрѣлъ на него. Ему стало очевидно что они говорили про разные предметы. Онъ обозлился.

— Да ты про кого говоришь?—спросилъ онъ вдругъ злобно посмотрѣвъ на Гаврилу, который, въ свою очередь пришелъ въ изумленіе.

— Я-то? Я про барина, про Шипикинскаго,—отвѣтил смущенно онъ.

— Эхъ, ты, головушка! Ушами ты слушалъ или... Я емъ рассказываю про теленка, а онъ... эва куда!... Ты, братъ

уши-то шире разставляй, а то... Я ему свое, а онъ про Шипикинского барина, чудакъ!

Нѣкоторое время оба пѣшехода молчали, стыдясъ взаимнаго непониманія, вина котораго, впрочемъ, лежала на одного Гаврилу, потому что онъ одинъ былъ въ мучительномъ состояніи. Но Болотовъ быстро оправился отъ смущенія и продолжалъ описывать всѣ трудности своей неопредѣленной жизни. Гаврило сталъ слушать со вниманіемъ.

— Такъ вотъ я про то и говорю, про бычка-ли, про другое-ли что—все единственно, нигдѣ покою нѣтъ, то-есть не только что интересу, а даже спокойствія не замѣчаешь, только и дѣлай день-деньской, что бѣгай, какъ собака безъ хозяина. А все отчего? Оттого, что землю бросилъ. Теперь иной разъ и вернудся бы, да ужъ боязно, отвыкъ, даже страхъ какой-то...

— Что-жь это ты такъ?... Къ землѣ завсегда можно вернуться, отъ нея не уйдешь далеко.

— Да ужъ заболтался... Нѣтъ у меня ужъ никакой домашности, а заводить съизнова, тутъ и вѣку не хватитъ,—задумчиво возразилъ Болотовъ.

— Что-жь ты такъ? Вѣдь отъ меня ты отошелъ вполне хозяиномъ, отчего же ты не соблюлъ наслѣдства? Вѣдь мы раздѣлились по-божески?—спросилъ Гаврило.

— По-божески, — это вѣрно. Ну, только у меня другія мысли были; не рука мнѣ землепашество. Дѣло ужъ теперь прошлое, скажу я тебѣ по совѣсти, повѣришь или нѣтъ, скажу какъ передъ Богомъ, тоска меня взяла отъ этого самаго землепашества, и даже такая тоска, что, наприкладъ, кабакъ былъ первѣйшее удовольствіе для меня, такъ и тянетъ, такъ и тянетъ—вотъ ужъ до какихъ предѣловъ дошло. Стало быть, отъ судьбы мнѣ не велѣно заниматься хлѣбопашествомъ.

Болотовъ задумчиво говорилъ съ искреннею печалью; Гаврило уже съ величайшимъ вниманіемъ слушалъ.

— Такъ и спустилъ все хозяйство. Говорю тебѣ, судьбы не было. Главное, отчего у меня тоска-то взялась? Мысль у меня была одна: утаить ничего нельзя, коль скоро ты землепашецъ есть—вотъ какая мысль забралась. Отъ этого самаго и бросилъ всю домашность. Какъ вспомнишь, бывало что все у тебя на виду, ничего припрятать для себя на чер-

ный день не можешь, все у тебя снаружи, приходи всякій бери, сколько угодно, какъ вспомнишь, что некуда тебѣ схорониться, такъ и тоска. Возьму я, къ примѣру, себя въ те перешнемъ моемъ положеніи: какъ нѣтъ у меня никакой домашности, и, стало быть, взять у меня нечего, то никакъ у меня тоски нѣтъ, заработаю я малую толику и сейчас денежки въ кармашекъ—чисто-благородно! Приходи сейчас въ моемъ теперешнемъ положеніи староста, старшина, хотя самъ становой, и ежели я самъ расположиться не пожелаю, не выну денежки изъ кармашка, никто ничего не найдетъ. Первымъ дѣломъ: „Корова есть у тебя?“—„Никакъ нѣтъ“.—„Овцы, телята, свиньи по двору ходятъ?“—„Никакъ нѣтъ-съ“.—„Лошадь есть?“—„Только и есть что одна“.—„Значить, ничего у тебя нѣтъ?“—„Точно такъ, ваше благородіе“. Коль скоро я денежки спряталъ, и ежели не пожелаю самъ расплатиться, то у меня ничего снаружи нѣтъ и никакимъ образомъ ничего не добудутъ. Весь мой животъ въ монетѣ, а монетъ кто же полѣзетъ считать?

— Никто не полѣзетъ. А землепашцу...—возразилъ бы Гаврило.

— А у землепашца весь животъ снаружи. Во-первыхъ, скотина, ужъ это мало-мало, ежели есть одна лошаденка, да коровенка, да три овцы, ужъ это бѣдно. У меня было въ пору двѣ лошади, двѣ коровы съ телкой, семь овецъ, так вотъ какъ пустишь ихъ по двору, такъ даже у самого глаза разгорятся, а не то, что у чужого человека. Отъ этого сумаго и тоска пошла... Вѣдь нельзя спрятать всю домашность въ карманъ, вся она снаружи, въ глаза хлещетъ. Случилось однажды, такая тоска меня взяла, что я взялъ, да и прогналъ всю скотину въ лѣсъ, чтобы то-есть схоронить ее. Вотъ и рошно. Прогналъ это я и сейчасъ вижу—валятъ ко мнѣ дворъ описатели: старшина, староста и прочіе другіе,—и я вышелъ изъ избы и довольно равнодушно смотрю. „Гдѣ спрашиваютъ, у тебя скотина?“ Я и говорю: „Такъ и такъ, коя подохла, кою украли и ничего у меня нѣтъ; ежели было, развѣ я самъ не знаю, что надо уплатить? Ужъ изните. А коль скоро, говорю, у меня нѣтъ, то и ничего меня не полагается. Что же касательно, говорю, будущаго года, какъ только поправлюсь, сейчасъ все уплатите, будьте вполне благонадежны, даже съ полнымъ моимъ у

вольствием". Говорю я это, да взглянул на улицу, а тамъ ба-атюшки! вся подлая-то тварь, скотина-то моя, вижу претъ прямымъ путемъ на свой дворъ, и какъ только ввалилась она дворъ—и коровы, и лошади, и овцы, увидалъ это старшина мою наглость и подходитъ ко мнѣ, не говоря дурного слова, да р-разъ! р-разъ! въ одно ухо, да въ другое! Тутъ я въ ноги повалился... Да ты, чай, слыхалъ?

— Слыхалъ въ ту пору что-то,—отвѣчалъ Гаврило.

— Было, все было. Эхъ, да что объ этомъ поминать!—съ досадой кончилъ Болотовъ какъ будто отгоняя отъ себя какія-то темныя воспоминанія.

Нѣсколько минутъ оба пѣшехода молчали.

— Съ этой поры и пошло, значить?—спросилъ, наконецъ, Гаврило.

— Съ этого и пошло. Главное, эта самая мысль зачала меня мучить: спрятать ничего нельзя. И все мнѣ кажется, что домашностью связанъ я по рукамъ и ногамъ; подобно рабу я у нея... И началъ я пущать все сквозь рукъ; бѣдность. и до того опаршивѣлъ, до той степени ужъ дошло, что хотъ надѣвай кошель, да иди съ Христовымъ именемъ ради кусковъ. Ну, однако, Богъ не допустилъ, спасъ, шлоstinный, не далъ въ конецъ погибнуть. Сталъ я поне-шугу промышлять и теперь вотъ живу по мелочи.

— Землепашество порѣшилъ совѣѣмъ?

— То-то, что судьбы нѣтъ. Начни я опять заниматься, и пойдутъ мысли, знаю ужъ я! Да и кой шутъ въ теперешнемъ моемъ положеніи приневолить къ землепашеству, ежели копѣйку, какая она ни на есть, сберечь въ карманѣ легче? Хочу я ее показать—хорошо, а не хочу, ежели по случаю собственной нужды, не объявить и не объявлю. Потому въѣд самъ знаю, когда могу и когда нѣтъ отдавать копѣйку. Время ужъ нынче такое воровское: кто что увидить, тотъ ю и тащить, а кто съумѣлъ во-время копѣйку спрятать, тому ничего, жить можно. Да кабы ежели мнѣ еще земли-то по-нагалось, а то одна душа, стало быть, нѣтъ никакой возможности мараться, въѣд я уже все сообразилъ. Ну, однако, шльно беретъ меня раздумье насчетъ земли!

— А что?—спросилъ съ живостью Гаврило.

— Думаю, что насчетъ земли чего не будетъ-ли. Меня

и беретъ раздумье, заниматься-ли хлѣбопашествомъ, или у
лучше бросить это дѣло, потому какъ нѣтъ судьбы...

Внутреннее состояніе двухъ пѣшеходовъ совершенно перемѣнилось. Гаврило былъ взволнованъ, Болотовъ сталъ равнодушнѣе. Послѣднія свои замѣчанія онъ сболтнулъ такъ, о нечего дѣлать, нисколько не вѣря своимъ словамъ, и вра потому, что на самомъ дѣлѣ давно уже и не думалъ о этомъ предметѣ, сдѣлавшемся для него чуждымъ и непонятнымъ. Между тѣмъ, это вскользь сказанное замѣчаніе вызвало цѣлую душевную бурю въ Гаврилѣ. Онъ что-то вдругъ сталъ припоминать.. и припомнилъ. Прошлое, забытое продолженіе долгой пустышной жизни, не позволявшей отдохнуть ни минуты, сразу вернулось, заполонило всю голову бѣдныя и заставило забыть и Шипикина, и бычка, двѣ десятины, и все, что за минуту передъ тѣмъ казалось ему важнымъ. Гаврило съ какимъ-то ожесточеніемъ заплетилъ обѣ пятерни въ волосы, поскребъ съ шумомъ голову и опустилъ руки.

Когда они подходили къ усадьбѣ Шипикина, Гаврило уже оправился отъ нахлынувшихъ на него мыслей. Передъ нимъ снова стоялъ вопросъ жизни и смерти: „дастъ или не дастъ? Гаврило снова ужасался и, когда они совсѣмъ подошли къ усадьбѣ, онъ выразилъ на лицѣ и словахъ величайшій испугъ. „Не дастъ!“—рѣшилъ, заранѣе подготавливая себя къ самому худшему. Зять успокоилъ его. Только просилъ показать глазъ барину, который тогда, ежели откроется оманъ, дѣйствительно ужъ не дастъ. Въ виду этого, Болотовъ даже посовѣтовалъ Гаврилѣ совсѣмъ отойти прочь, спрятаться куда-нибудь. Гаврило на все былъ согласенъ, хотя въ землю провалиться на время переговоровъ съ баринѣю, и ушелъ.

Невдалекѣ отъ самага дома стоялъ сѣнной сарай, двѣ его были, къ счастью, отворены, людей вблизи не было, Гаврило зашелъ туда. Босыя ноги его сильно озябли, да самъ онъ весь чувствовалъ необходимость обогрѣться, потому что на улицѣ стояла слякоть—шелъ не то дождь, не то снѣгъ, а вѣрнѣе—какіе-то помои лились съ неба. Весна еще не установилась. Чтобы отдохнуть и обсушиться, Гаврило закопался въ сѣно, воткнувъ въ него сперва ноги, потомъ туловище и оставивъ открытою только голову. Онъ ни

чемъ не думалъ. Передъ нимъ стоялъ двойной вопросъ: „дасть ли не дасть?“ Его онъ и рѣшалъ, причемъ мысленно хвалилъ барина, въ самыхъ ласковыхъ выраженіяхъ, если тотъ воображаемо давалъ ему, или въ самыхъ отборныхъ словахъ ругалъ, если не видѣлъ съ его стороны никакого снисхожденія. Конечно, это нельзя назвать размышленіемъ.

Наконецъ, Гаврило увидалъ зятя выходящимъ изъ дому и выѣзъ изъ сѣна. Однако, вѣсти были не утѣшительны. Шипикинъ далъ одну десятину. Гаврило, выслушавъ разсказъ зятя, разгорячился. „Да вѣдь я-жъ тебѣ говорилъ, чтобы двѣ десятины!“—кричалъ Гаврило.—„Да куды тебѣ двѣ, ежели и одна-то тебѣ не по силѣ, потому за нее ты долженъ убрать двѣ десятины травы, да десятину льну, ежели и одна-то тебѣ житья не дасть, хоть пропадай!“—кричалъ, въ свою очередь, зять.—„Да вѣдь мнѣ же надо двѣ!“—„Ну, вотъ толкуй тутъ съ нимъ... Да какъ же можно двѣ, когда тебѣ отъ одной-то, можно сказать, мученическая кончина придется?“—и зять, говоря это, еще разъ повторилъ варварскія условія: убрать двѣ десятины лугу, десятину льну и во время мѣсяца спустя послѣ уборки хлѣба, заплатить громадную арбадную плату; если же десятина льну и двѣ десятины травы своевременно не будутъ убраны, то хлѣба Гаврилѣ не видать, какъ ушей; баринъ прямо сказалъ, что въ этомъ случаѣ до снятой десятины онъ не подпуститъ Гаврилу на жать версты... „На, вотъ, смотри записку, тутъ все написано“,—сказалъ зять и подаль бумажку Гаврилѣ.

Болотовъ былъ правъ; дѣйствительно, отъ такихъ условій можно было принять мученическую кончину; при этомъ Гаврило еще отдавался живьемъ въ новыя руки, въ руки зятя; отнынѣ зять его былъ кредиторомъ. Но Гаврило упорно стоялъ на своемъ. Взять шипикинскую десятину онъ согласился, узнавъ мѣсто, гдѣ она будетъ отведена ему, но не хотѣлъ въ рукахъ записку, но мысль попользоваться еще хоть-нибудь десятинкой не покидала его: это желаніе даже упорнѣе теперь застыло въ немъ. Онъ простился съ зятемъ, сказавъ, что въ деревню не вернется, и попросилъ у него три копѣйки на хлѣбъ. Послѣ этого онъ пошелъ привычнымъ путемъ къ Таракановскому барину. По дорогѣ къ деревнѣ, лежавшей на его пути, онъ купилъ на три копѣйки полкоровая хлѣба и принялся ѣсть на ходу, не оста-

навливаясь ни на мгновение и все ускоряя шагъ, который перешелъ въ рысь. Онъ трусилъ, грызъ коровой и думалъ. Думалъ онъ о томъ, какими неправдами еще ухватить одну десятину у Таракановскаго барина, которому онъ ужь давно не показывалъ глазъ? Для него было ясно, что тотъ надругается, прогонитъ, а потомъ черезъ мирового приневолятъ къ работѣ за нескончаемые долги.

Всѣ опасенія Гаврилы сбылись въ точности. Но „управитель“ на этотъ разъ сталъ ругаться, когда Гаврило поймалъ его у крыльца, и даже не взглянулъ на него, а только махнулъ рукой, что означало: „убирайся!“ Ему хотѣлось пить чай. Гаврило, однако, не упалъ духомъ; разъ что-нибудь втемяшилось ему въ голову, никакія уже сцены не могли выбить изъ него рѣшенной мысли. Теперь онъ рѣшилъ не мозолить глаза управляющему—и намозолилъ. Черезъ часъ управляющій вышелъ опять на дворъ, чтобы сдѣлать въ чернія распоряженія, но куда онъ только ни шелъ, Гаврило слѣдовалъ за нимъ, не близко, а издали, на почтительномъ разстояніи. Управляющій спустился къ рѣкѣ, гдѣ строили лодку, — Гаврило за нимъ; управляющій зашелъ въ коровье стойло — Гаврило остановился близъ прясла и наблюдалъ за нимъ сквозь щели. Управляющій остановится—и Гаврило такъ встанетъ, какъ вкопанный, и вперитъ глаза. Управляющій ничего не видя, чувствовалъ, что за нимъ слѣдятъ. „Отчего онъ безъ шапки и безъ сапогъ?“—подумалъ почему-то управляющій, и ему сдѣлалось неовко. Онъ могъ бы прогнать этого „страннаго мужиченка“, но отчего-то не дѣлалъ этого. Напротивъ, онъ старался не оглядываться назадъ, не видѣть и можетъ быть, въ первый разъ не рѣшился прямо взглянуть въ глаза оборвышу. Все продолжая ходить по усадьбѣ, онъ чувствовалъ, что его спину прожигаютъ дѣла глаза, какъ зажигательныя стекла,—чрезвычайно непріятное ощущеніе! Онъ круто повернулся къ преслѣдователю и взглянулъ прямо въ лицо ему.

— Тебѣ что нужно?—взволнованно спросилъ управляющій и не то съ гнѣвомъ, не то со страхомъ оглядывалъ „страннаго мужиченка“ безъ шапки и безъ сапогъ и забрызганнаго грязью.

— Да все насчетъ давишняго... Сдѣлайте милость, дайте хоть десятинку!—проговорилъ задумчиво Гаврило.

— Какъ звать?

— Меня то-есть? Да Гаврило Налимовъ, какъ же еще!

— Изъ какой деревни?

Гаврило сказалъ. Онъ говорилъ совершенно спокойно. Въ эту минуту онъ сознавалъ, что съ нимъ ничего не подѣлаетъ и что никакія угрозы, слова и мученія ничего теперь для него не значатъ.

Тутъ управляющій не выдержалъ, раздраженно заговоривъ. Съ его устъ сорвались страшные упреки и ругательства. Онъ доказывалъ Гаврилѣ, что всѣ жители его деревни—негодии и мошенники, что они берутъ земли даромъ, ничего не платя и не работая на имѣніе, и что онъ давно бы могъ всю деревню продать съ молотка, и если не дѣлаетъ этого, то потому только, что жаль дураковъ, которые отъ своей небрежности, лѣни и пьянства дошли до послѣдняго разоренія...

— Такъ, стало быть, дашь десятинку-то?—спросилъ Гаврило.

Управляющій пожалъ плечами, пораженный этою непоколебимою неотвѣзчивостью, и согласился.

Но за это онъ обязалъ Гаврилу, кромѣ арендной платы и разныхъ работъ, вычистить всѣ отхожія мѣста въ усадьбѣ (даже самого графа изъ Москвы), и притомъ нынче ночью. Впрочемъ, онъ обѣщалъ заплатить. Сейчасъ же онъ крикнулъ сторожа и приказалъ вручить Гаврилѣ лошадь съ телегой, бадушку, лопаты, лампу и прочіе инструменты, а Гаврилѣ приказалъ пока отдохнуть. Гаврило отдохнулъ и затѣмъ принялся среди ночи съ величайшею добросовѣстностью за дѣло, которое, правда, было незнакомо ему, но которымъ онъ хотѣлъ отблагодарить „управителя“, потому что, въ сущности, Гаврило былъ самъ удивленъ, что добился земли. Къ утру слѣдующаго дня онъ уже съ ногъ до головы былъ забрызганъ вонючею грязью. Управляющій выслалъ ему нѣсколько мелочи и велѣлъ черезъ сторожа передать ему, что онъ доволенъ имъ. Гаврило сіялъ. Не того, чтобы онъ былъ радъ полученнымъ мѣдякамъ, но по всему его существу разлилось чувство успокоенія и сознаніе того, что онъ сдѣлалъ все, что хотѣлъ и что могъ.

Здѣсь кончились на эту весну мученія Гаврилы.

Когда, къ вечеру, онъ вернулся домой, то вдругъ вспом-

нилъ, что онъ въ эти дни ничего почти не ѣлъ и не спалъ; въ виду этого, онъ наскоро съѣлъ полпирога хлѣба, выпилъ полведра квасу и заснулъ на цѣлыя сутки. Послѣ этого одурѣлъ: вскочивъ съ постели черезъ сутки вечеромъ, онъ вообразилъ, что земли еще не добылъ и что ему надо немедленно бѣжать, чтобы во-время ухватить хоть малость, и онъ уже готовъ былъ ринуться изъ избы, но былъ остановленъ хозяйкой. „Да ты никакъ одурѣлъ?“—сказала она и объяснила, что она уже все приготовила для пашни. Гаврило пришелъ въ себя и окончательно успокоился.

Отдавъ зятю бычка, онъ справилъ себѣ сапоги. Но на пашню не торопился выѣзжать. А когда медлить было больше нельзя, онъ сговорился съ Савосей Быковымъ поѣхать вмѣстѣ. Савося былъ радъ-радехонежъ, что нашелъ товарища.

Въ первый день ихъ совмѣстной работы у сохи Савоси отвалился рѣзакъ, во второй день у нихъ ушла лошадь. „Пусть знаетъ куда“, ушла на цѣлый день, такъ что только вечеромъ ее отыскали. Савося, при всякомъ подобномъ несчастіи, лаялся и метался, какъ будто его поджаривали на медленномъ огнѣ. Гаврило, напротивъ, оставался спокойнымъ, больше молчалъ и работалъ довольно вяло. Ухлопавъ свою крестьянскую энергію на добываніе земли, онъ былъ уже безсиленъ и настоящей работѣ могъ отдать только уцѣлѣвшій остатокъ растрепанныхъ силъ. Въ его незамѣтной жизни, по внѣшности тихой, изъ года въ годъ совершалася тяжелая драма. Чѣмъ-то она кончится?

IV.

Нѣсколько колѣвъ.

Лѣто подходило къ концу. Страда оканчивалась, хлѣба были убраны. Чисто-деревенскія работы перестали тревожить жителей. Въ деревнѣ все было благополучно: диѳтерита не было, и можно было рассчитывать, что зимой, благодаря энергическаго начальства, его и не будетъ; отъ пожара во все лѣто сгорѣлъ одинъ амбаръ, оказавшійся принадлежащимъ старшинѣ; неизвѣстному червю, появившемуся-было въ началѣ лѣта на овсѣ, жрать было нечего, ибо овесъ поторопился скосить на кормъ.

Въ сосѣднемъ помѣстьи у Тараканова открылся выгодный заработокъ—пилка дровъ, на которыя, послѣ слома, назначены были старые сараи, избы рабочія, конюшни; всего подлежало къ слому приблизительно саженой двадцать пять въ длину дровъ. За это дѣло взялась артель, въ которой принимали участіе: Василій Чилигинъ, Миронъ Уховъ, Портянка и вѣтъ Тимоей, по прозванію Лыковъ. Работали въ двѣ смены.

Портянка пилилъ сонно, смутно мечтая о воскресной выпивкѣ, послѣ которой онъ хлопнется гдѣ-нибудь на улицѣ и захрапѣть. Василій Чилигинъ взялся за пилку потому, что отецъ стащилъ недавно у него полмѣшка муки, продалъ, а деньги неизвѣстно куда спряталъ, и хотя за такое вѣроломство онъ жестоко прибилъ старика, но муки не воротилъ. Отецъ потомъ жаловался на волостномъ судѣ на варварство сына, что тотъ безпрестанно его бьетъ: „Вотъ онъ какой есть злодѣй, Васька-то мой! Бить бьетъ, а кормить не кормить!“

Судь, принимая во вниманіе неугомонный желудокъ старика наотрѣзъ отвергъ его жалобу. Послѣ этого старикъ не раз приходилъ на самое мѣсто пилки, чтобы побраниться съ сыномъ, а когда его слова не дѣйствовали, то пытался прогнать сына жалостью. „Васька!—говорилъ онъ,—да ты хоть пожалежь бы стараго отца, заплатилъ бы хоть пятнадцатный а побой. Тенерь у тебя вонъ сколько будетъ деньжищъ, та ты хоть малость снизойди къ немощи моей, Васька!...“ Разъ во время самаго разгара работы, между отцомъ и сыномъ поднялась драка, причемъ отецъ намѣревался уже пустить въ сына чурбаномъ, но ихъ розняли артельщики. Вообще Чилигинъ, во все продолженіе пилки, былъ озлобленъ, постоянно раздражаемый семейными дѣлами. Третій артельщикъ, Миронъ, напротивъ, радостно суетился; онъ имѣлъ особенную таинственную причину горячо пилить. Нѣсколько дней работая безъ всякой задней мысли, онъ вдругъ обратилъ серьезное вниманіе на опилки и былъ пораженъ ихъ видомъ. Онъ припомнилъ, что въ городахъ опилки не бросаются зря, идутъ въ дѣло, особенно во фруктовыхъ лавкахъ, гдѣ въ нихъ сохраняется „дуля, напимѣръ, и другой фруктъ“. Онъ сталъ правильно каждый вечеръ относить по кулю опилокъ къ себѣ во дворъ и за недѣлю натаскалъ ихъ порядочную кучу. По его расчетамъ выходило такъ, что за всю эту громаду онъ получитъ, по крайней мѣрѣ, два съ половиной рубля серебромъ. Наконецъ, четвертый артельщикъ, Тимофеевъ, взялся за пилку дровъ потому, что привыкъ ходить по чужимъ людямъ, сколачивая средства на холодную зиму, и держалъ себя съ не подражаемою веселостью. Онъ во всемъ находилъ развлеченіе и изъ самой пилки устроилъ игру, разговаривая съ бревнами. Одному бревну онъ говорилъ: „ну-ка ты, толстякъ, полѣзай!“ другое бревно укорялъ за худобу или гнилость; на третье вскакивалъ и плясалъ по его поверхности.

Отъ его шутокъ расправлялись суровыя лица товарищей. Даже Портянка улыбался. Только одинъ Миронъ сердился, не понимая, какъ можно надъ всѣмъ забавляться? Но Тимофеевъ не обращалъ на него вниманія. Иногда онъ начнетъ ни съ того, ни съ сего плясать, неистово шлепая по землѣ босыми ногами; иногда—запоетъ, а товарищи вслушиваются, задумываются, умолкнуть, потому что Тимофеевъ пѣлъ задумчиво, пѣлъ тѣ грустные мотивы, отъ которыхъ за душу хватаетъ

Особенно по вечерамъ Тимоѳею было раздолье; когда прегращалась работа, артель садилась въ кружокъ, разводила огонь и ждала, пока сварится жидкая кашлица или поспѣетъ картофель. Тимоѳею показывалъ штуки и фокусы. Онъ тягала на палкѣ съ Портянкой, причемъ послѣдній не успѣетъ еще хорошенько понатужиться, какъ уже летитъ черезъ голову шутника; съ Чилигинымъ онъ велъ забавные споры о томъ, можно-ли проглотить аршинъ? Чилигинъ увѣрялъ, что это пустое, а Тимоѳею, напротивъ, доказывалъ, что можно, что недавно въ городѣ, въ балаганѣ, онъ самъ видѣлъ такую штуку. Забавляя такимъ образомъ товарищей, самъ Тимоѳею никогда не смѣялся. Лицо его въ самыя шутовскія минуты носило неизгладимую печать печали.

— А можешь пройти на рукахъ двадцать шаговъ?—спросилъ его однажды Чилигинъ вечеромъ.

— Могу,—возразилъ Тимоѳею.

— Врешь.

— Ей-Богу, могу.

— Двадцать шаговъ?

— Двадцать-ли, пятьдесятъ-ли—все одно, могу.

— Валяй. Чтобы только взадъ и впередъ...

— Ладно,—согласился Тимоѳею.

Измѣрили разстояніе. Тимоѳею сдѣлалъ нѣсколько предвѣрительныхъ опытовъ, по окончаніи которыхъ всталъ вверхъ ногами. Шелъ онъ правильно, изрѣдка колыхался. Вдругъ на хвостѣ дѣйствія появился Рубашенковъ, таракановскій подрядчикъ и надсмотрщикъ. Трое артельщиковъ живо устѣлалъ около огня и думали: «Ну, задастъ же онъ ему перцу!» Но Тимоѳею ничего. Онъ шлепнулся на землю, всталъ на ноги и, какъ ни въ чемъ не бывало, заговорилъ съ подрядчикомъ.

— Пожалуйте, ваше степенство, папироску мнѣ!—сказалъ онъ. и, къ удивленію товарищей, Рубашенковъ далъ ему папироску.

Но когда Рубашенковъ ушелъ, Мироновъ съ укоромъ покачалъ головой.

— Какой ты, право, Тимоѳею... нисколько нѣтъ въ тебѣ страху!

— А чего мнѣ бояться?—возразилъ Тимоѳею.

— Да мало-ли чего... Даже удивительно, какъ можно эдак ребячиться. Погляжу я, никакого въ тебѣ нѣтъ правила.

— А на что мнѣ правило?

— Да развѣ можно всю жизнь ходить вверхъ ногами? Во у тебя изба стоитъ безъ двора—развѣ это дѣло?

— Безъ двора, такъ безъ двора. Что мнѣ о дворѣ печалиться? Только начни заниматься дѣломъ, и не оберешь подлостей разныхъ.

— Погляжу я, разуму въ тебѣ, что въ маломъ ребенкѣ еще разъ покачалъ головой Миронъ.

— Только зачѣмъ печалиться о домашности, сейчасъ страшно сколько подлостей надѣлаешь. Достатку, а наипаче богатству можно только черезъ подлость достигнуть.

Тимоеей, вопреки своему характеру, говорилъ задумчивъ. Натура его была до такой степени искренняя, что когда он шутилъ, вслѣдъ за нимъ и товарищи оживали, а стоило ему на мгновеніе затуманиться, на всѣхъ лицахъ появлялись тѣ же мысли. И на этотъ разъ вышло такъ же. Едва онъ пришелъ въ сѣбѣ, какъ Чилигинъ и Портянга повеселѣли. И долго еще уже находясь въ постели, т.-е. попросту на голой землѣ около костра, прикрытые зипунами, они не могли заснуть отъ шутокъ Тимоеея, который изъ-подъ полубубка шепталъ отъ времени до времени прибаутки, заставлявшія товарищевъ покатываться со смѣху.

Тимоеей для всѣхъ былъ человѣкъ легкомысленный, которому все равно, что бы ни случилось въ деревнѣ. Разныя деревенскіе недуги и невзгоды какъ-то не касались его. Ходилъ онъ большею частью по чужимъ людямъ; тамъ поживетъ, тутъ поживетъ—глядишь, анъ зиму какъ-нибудь проведетъ. Ходилъ онъ по людямъ по большей части съ женою, а если гдѣ съ женою нельзя было жить, то покидалъ тамъ теплый уголокъ, гдѣ ему удалось пристроиться, чтобы отыскать другой, въ которомъ могла помѣститься и жена. Много отъ жизни онъ не требовалъ, былъ бы хлѣбъ и вареная картошка, которую онъ, впрочемъ, любилъ въ тепломъ вѣдѣнии, иначе сердился и дѣлался мраченъ. А хлѣбъ и картошку бывать ему удавалось всегда. Изрѣдка два супруга дозволяли себѣ роскошь: выпивали вмѣстѣ водки и гуляли, обшались, по улицѣ, гуляли и пѣли, въ промежуткахъ все разговаривая. Оба были еще молоды, здоровы; жена да

выглядела ядреной, съ своимъ толстомясымъ лицомъ и круглымъ туловищемъ. И хорошо было бы имъ, еслибы они могли вести всегда такую жизнь.

Но русскій человѣкъ, въ особенности деревенскій, любить домъ. привязывается къ нему крѣпко, всѣми помыслами, до самаго гроба. Иной въ деревнѣ съ трогательною преданностью заботится о своемъ домѣ, все что-то прилаживая и приспособляя, тогда какъ на самомъ дѣлѣ посматрѣть, у него и дома-то никакого нѣтъ. Многое множество живетъ такого рода людей въ этой деревнѣ; на мѣстѣ дома у нихъ стоитъ одна лачуга, притомъ мечта тревожная, безпрестанно мучающая, неотвязчивая. Иной бѣдняга ходитъ-ходитъ вокругъ этой мечты да и не выдержать, падетъ, загубленный ненастоящею жизнью. Въ деревнѣ то и дѣло происходили необыкновенные и повидимому, неожиданные перевороты; одинъ мужикъ, въ особенности изъ юркихъ и достаточно безсовѣстныхъ, выкарабкается изъ нужды, купить двѣ лошади, „по случаю“, захватитъ нѣсколько земельныхъ надѣловъ и заведетъ дѣйствительное хозяйство, а другой смотаетъ послѣдній скарбъ, разрушитъ въ конецъ свою мечту и затѣмъ закладываетъ шапку и шаровары, чтобы выпить. А, между тѣмъ, до этой минуты всѣ видѣли въ немъ хорошаго крестьянина, потому что у него былъ домъ, хозяйство и все прочее. Эти необыкновенные перевороты такъ часты и внезапны, что ихъ можно объяснить только болѣзненнымъ состояніемъ жителей. Достаточно, кажется, ничтожнѣйшаго случая, малѣйшаго дуновения противнаго вѣтра, чтобы свалить съ ногъ ослабѣвшаго человека. Появился въ деревнѣ дифтеритъ — и половины ребятъ какъ не бывало. Наложили лишнюю полтину сверхъ прочаго — и два-три человѣка, какъ потомъ оказывается, ослабѣли и пала, записавшись въ разрядъ мертвыхъ. Повидимому, нѣтъ такой болѣзни, которая бы быстро не привилась къ деревнѣ.

Но обидно для Тимофея было слово — „бездомный“, ибо подъ этимъ словомъ разумѣется и непутевая голова, и голый бѣднякъ, и нищій, и воръ. Ни къ одному изъ этихъ классовъ Тимофей не желалъ причислить себя, да и на самомъ дѣлѣ не принадлежалъ къ бездомнымъ людямъ. Правда, особенной страсти городить у него не было, но домъ онъ имѣлъ; при новенькой и чистенькой избѣ подстроены были сѣни и чуланъ — пока больше ничего. Двора въ настоящемъ смыслѣ

ему не удалось поставить. То пространство, которое принадлежало къ его усадьбѣ, загородили съ двухъ сторонъ сосѣди, такъ что это пространство походило нѣсколько на дворъ, но за то третья сторона, выходящая на улицу, не была ничѣмъ заставлена. Круглое лѣто у Тимоеея на дворѣ росла трава, ради которой весь деревенскій скотъ ежедневно по вечерамъ навѣдывался къ нему, но Тимоеей никогда не обращалъ вниманія на коровъ, лошадей, свиней и овецъ, когда онѣ паслись на его усадьбѣ, и не сгонялъ ихъ, можетъ быть, потому, что своихъ животныхъ у него еще не было. Кромѣ травы, посрединѣ двора у него зіяла яма, которую онъ выкопалъ въ тревожныя минуты, думая, что современемъ она будетъ погребомъ. Потомъ, въ углу, подлѣ чулана, стояла какая-то невыразимая постройка, вродѣ шалаша, покрытая соломой и мочаломъ. Таково было хозяйство Тимоеея.

Это, впрочемъ, въ лѣтній сезонъ. Съ конца осени видъ Тимоеевой усадьбы рѣзко измѣнялся: дворъ и домъ доверху занесены снѣгомъ; кругомъ--гдры сугробовъ, и всякая жизнь прекратилась, потому что хозяевъ здѣсь больше не было. Тимоеей съ женой съ конца осени существовали гдѣ-нибудь въ другомъ домѣ, у кого-нибудь изъ сосѣдей, покидая свое пустое хозяйство. Вся забота Тимоеея, въ продолженіе зимы состояла въ томъ, что онъ отъ времени до времени подходилъ къ лѣтнему своему мѣстопробыванію и смотрѣлъ, не самого-ли верха занесенъ домъ его, или еще его видать.

Происходила такая перекочевка вотъ какъ.

Къ концу лѣта Тимоеей съ женой устраивали обыкновенно заборъ, съ воротами и калиткой. Хворостъ и жердочки доставались *какъ-нибудь*, случайно, между дѣломъ. Встрѣтитъ сторожъ изъ казеннаго лѣса, разговорится о томъ, о семъ, а, между прочимъ, и о томъ, какъ бы хорошо было теперѣ достать гдѣ-нибудь папушку табаку; на это Тимоеей отвѣчаетъ, что папушку—это возможно, но и онъ съ своей стороны очень желалъ бы, чтобы у него были жердочки и хотъ полвоза хворосту.

— Ну, такъ ты навѣдайся въ лѣсъ ночкомъ,—говоритъ дипломатически сторожъ.

— О какую пору?

— Когда хошь, только чтобы папушка была представлена. Да ты смотри, идолъ, не попадись!

— Вона! Чай, я не маленькій!

Такимъ образомъ, черезъ нѣсколько дней у Тимоѳея на дворѣ лежалъ возъ хвороста и нѣсколько жердей, которыя, по его рассказамъ, онъ очень сходно купилъ, что и дѣйствительно было справедливо. Досталъ онъ ихъ случайно, безъ труда, но откажи ему лѣсной сторожъ—онъ и не подумалъ бы печалиться. Въ другой разъ сосновые жерди достались ему иначе. Шелъ онъ однажды раннимъ утромъ мимо постоялого двора, стоящаго на пустоши, далеко отъ деревни, и видитъ—лежатъ прямо на дорогѣ штукъ семь сосновыхъ слегъ. „Ишь вѣдь, дуракъ, бросилъ гнить на дождь... чѣмъ бы въ пользу употребить дерево, а онъ кинулъ ихъ въ канаву!“—разсуждалъ Тимоѳей, подобралъ валявшіяся слеги, кинулъ на плечо и пошелъ. Еслибы этихъ слегъ случайно не увидалъ онъ, то, навѣрное, и не подумалъ бы о своемъ жорѣ, потому что до сихъ поръ съ смутнымъ страхомъ сторонился отъ того мучительнаго и оподляющаго процесса, путемъ котораго въ деревнѣ создается самое дрянное хозяйство.

Получивъ случайно хворостъ и жерди, Тимоѳей при помощи жены отгораживался отъ улицы, заплеталъ плетень и выдвигалъ ворота, самъ увлекаясь своимъ твореніемъ. Возле послѣдній колъ въ землю, онъ отходилъ въ сторону и оттуда смотрѣлъ, любуясь великолѣпнымъ заборомъ. „Вотъ такъ заборъ! Знатный!“—говорилъ онъ женѣ съ гордостью вѣщающаго хозяина. Но это восхищеніе продолжалось всего на два, три. Далѣе, онъ забывалъ.

Приходила осень. Наступали морозы. Тимоѳей и жена очень ждали. Кое-какъ собранныя за лѣто дрова выходили. Топить печь и варить картошку нельзя. Наконецъ, когда послѣдняя опалка осиннику сгорала въ холодной печкѣ, Тимоѳей впадалъ въ уныніе. На печкѣ, гдѣ онъ съ женой спалъ, климатъ переходилъ постепенно отъ жаркаго къ умѣренному, отъ жаркаго къ холодному. Въ избѣ наступалъ ледовитый морозъ. Чистая смерть! Тимоѳей первый день терпѣлъ; онъ и жена накрывались шубой, стараясь думать обо всемъ, только не о дровахъ. Проспавъ кое-какъ ночь въ стужѣ, на другой день чуть свѣтъ Тимоѳей отрубалъ аршина полтора великолѣпнаго забора, а жена топила печку, пекла хлѣбъ и варила картошку. Въ слѣдующій день онъ еще отрубалъ

аршина полтора забора, и въ какую-нибудь недѣлю загородъ пропадала: оставались одни ворота со столбиками. Но не видя никакого смысла въ воротахъ послѣ всего случившагося, онъ кололъ и ихъ на дрова. Послѣ этого въ домъ окончательно на цѣлую зиму наступалъ ледовитый періодъ и обитатели его перекочевывали къ кому-нибудь изъ соседей, гдѣ за умѣренную плату имъ отводили уголь. „Вот тутъ“,—говорили имъ хозяева, отмѣривая строго опредѣленныя границы, за которыя до слѣдующей весны они и не переступали.

И надо сказать, что подобныхъ жителей въ деревнѣ было много. Все это изъ-за однихъ дровъ. Сколько людей погибло въ этой мѣстности изъ-за дровъ! Когда только наступала зима, съ десятокъ семействъ ежегодно трогалось съ мѣста подобно птицамъ, и всѣ отыскивали теплыя мѣста, понимая это слово въ буквальномъ смыслѣ. Одни шли въ городъ, гдѣ нанимались въ кучера или дѣлались водовозами, другіе расѣвались по окрестностямъ, нанимая углы, гдѣ и сидѣли всю зиму, какъ куры. Женщины по большей части нанимались въ кухарки, поступали къ прачкамъ, кто куда могъ. Но какъ проводили зиму тѣ, на плечахъ которыхъ сидѣли ребята, трудно и сказать что-нибудь опредѣленное.

Что касается Тимофеев и жены его, нельзя сказать, что они чувствовали неловкость своего положенія. Также, какъ и лѣто, они проводили беззаботно и зиму. И понятно. Дѣти они не имѣли, домашняго скота тоже, а единственное и животное—огромный котъ съ облупившеюся шкурой, на зиму куда-то самъ уходилъ, добывая пропитаніе своими средствами. Но кромѣ того, что заботиться имъ было не о комъ, о быти здоровы, молоды, выносливы и легкомысленны въ душѣ. Что имъ попадалось подъ руки, то и ладно. Отсутствіе настоящаго хозяйства Тимофеев не только не тяготило, а иногда радъ былъ своей бездомности. Деревенская жизнь еще не вовлекла его въ тотъ кругъ оподленія и страданій изъ котораго люди идутъ совсѣмъ какъ изъ омута или являются на свѣтъ Божій подоманными, разбитыми и опрочеченными. Тимофеев какъ-то инстинктивно увертывался отъ этого круга, избѣгая чисто-зоологическимъ чутьемъ постыжденной жизнью западни.

Потому что всякое улучшение быта въ этой деревнѣ

пражено съ такимъ мучительствомъ, что самые сильные жители неминуемо оканчиваютъ отчаяніемъ; каждая мелочь, несомнящая понюха табаку, достается мужику послѣ ряда страданій. Одинъ погибъ изъ-за дровъ (озябъ и убѣжалъ изъ дому), другой — изъ-за полушубка (занялъ семь рублей, не отдавъ и поступилъ въ работу), третій кончилъ жизнь вслѣдствіе покупки телушки, которая въ продолженіе зимы, вмѣстѣ съ сѣномъ, съѣла, между прочимъ, своего хозяина.

Изъ этого положенія два выхода: если житель во что бы то ни стало желаетъ улучшить свою жизнь, то не долженъ гнущаться кулачества и другихъ видовъ негодяйства, или долженъ бросить все и жить какъ Богъ пошлетъ. Послѣдняго исхода и придерживался Тимофеей, чувствуя бессознательное отвращеніе къ подлости, не согласовавшейся съ его молодою искренностью.

Дѣло въ томъ, что Тимофеей съ женой не были полными собственниками дома и огорода. У Тимофея еще жива мать; она безотлучно живетъ въ городѣ въ нянькахъ; ей-то и принадлежитъ право собственности на домъ. Не нуждаясь въ немъ сама, она отдала его двумъ своимъ сыновьямъ, Тимофею и Петру, который служить въ солдатахъ, т.-е. чтобы одна половина избы и половина усадьбы принадлежала Тимофею, а другая половина — Петру. Напрасно Тимофеей пытался убѣдить старуху, чтобы она отдала домъ ему одному, въ виду того, что братъ все равно пользоваться имъ не въ состояніи, а для него, Тимофея, очень важно было знать, что братъ его, по возвращеніи со службы, не вломится къ нему съ оружіемъ въ рукахъ и не выгонитъ его на улицу. Онъ убѣждалъ ее, что и для солдата лучше, если она дастъ ему на обзаведеніе деньжонокъ, которыя у нея есть, чѣмъ награждать его полъизбой безъ всякаго смысла. Что же онъ слышитъ съ полъизбой? Никакой радости для него нѣтъ въ такомъ домѣ. Иногда Тимофеей убѣждалъ старуху честью, иногда угрозами, но старуху нельзя было ничѣмъ прошибить. Огородомъ, гдѣ жена Тимофея сажала картошку, также послѣдній пользовался временно, ежегодно готовясь къ тому, что общество отниметъ его у него, потому что на огородъ предъявляли права, кромѣ Тимофея, еще человекъ пять. Это была одна изъ тѣхъ деревенскихъ путаницъ, которыя никакъ

нельзя было разрѣшить и которыя только раздражали своею нелѣпостью.

И вотъ Тимоѳею, для заведенія настоящаго хозяйства, на первыхъ же порахъ требовались слѣдующія условія: во-первыхъ, чтобы умерла старуха; во-вторыхъ, чтобы умеръ солдатъ; въ-третьихъ, чтобы пять мужиковъ окончательно исчезли съ лица земли. Иначе въ самомъ дѣлѣ Тимоѳею нѣтъ охоты работать Богъ знаетъ для кого: онъ впередъ знаетъ, что плоды его работы того и гляди отнимутъ.

Это только на первыхъ порахъ. Но дальше—лѣсъ дремучій, сквозь который надо продаться, чтобы дойти до крестьянскаго благополучія. Такъ какъ каждая чепуха въ хозяйствѣ достается только послѣ длинной цѣпи мучительства, то Тимоѳею надо идти на-проломъ, ломая совѣсть. Ему уже тогда не будетъ времени обращать вниманія на сосѣдей, — надо хватать и цапать, что попадется подъ руки и что выгодно. Надо пользоваться всякимъ случаемъ, лишь бы онъ былъ выгоденъ, не размышляя о томъ, что отъ этого же случая можетъ быть, кто-нибудь помираетъ. Надо ловить моментъ. Надо купить корову, ежели въ годъ безкормицы хозяинъ умоляетъ взять ее Христомъ Богомъ. Надо не упустить лошадь, хозяинъ которой уже твердо рѣшилъ содрать съ нея шкуру, чтобы получить три цѣлковыхъ и удовлетворить кредиторовъ, которые разрывали его на части. Надо уворовать за нѣсколько папушекъ табаку дрова изъ казеннаго лѣса, чтобы не замерзнуть, а чтобы не остаться безъ хлѣба, надо поставить міру два ведра, опоить и тогда получить вмѣсто двухъ десятинъ четыре. Надо ласкаться къ разжившемуся сосѣду, чтобы въ трудное время не остаться безъ подмоги, и безъ вниманія относиться къ бѣдняку, отъ котораго пользы никакой нѣтъ. Словомъ, чтобы завоевать первыя необходимыя вещи для спокойной жизни, надо рвать, лгать, жить по-звѣрски, поступать по-волчьи, держа во всякое мгновеніе на-готовѣ зубы и когти.

Только тому, кто ничего не дѣлаетъ, ни о чемъ не думаетъ и не заботится, предоставляя своей жизни идти какъ ей хочется, только Тимоѳею и жилось сносно при отсутствіи всякаго благополучія. При всякомъ непріятномъ случаѣ онъ говорилъ: „песъ съ вами!“ И теперь, когда даже Портянка носилъ въ себѣ скрытую идею воскресной выпивки, Тимоѳею

пилить бревна безъ всякой задней мысли. Вѣришь всего онъ купить хлѣба. Отработаетъ, получить свою часть и купить хлѣба—вотъ и все. Единственное тайное намѣреніе его заключалось въ томъ, чтобы по полученіи денегъ отъ Рубашенкова какъ-нибудь скрыться на время отъ старосты.

У него было много кредиторовъ, но самый страшный—староста. Послѣдній, въ зимнія и весеннія тяжелыя минуты, вносилъ собственныя деньги въ уплату податей за несостоятельныхъ, налагая извѣстный процентъ, который и выручалъ жесточевно. Тимошей также состоялъ въ долгу у этого благодѣтеля и зналъ, что наткнется онъ на него сейчасъ послѣ работы—и деньги поминай какъ звали! Но и на такое непріятное происшествіе Тимошей смотрѣлъ равнодушно. У него заранѣе придуманы мѣры укрывательства отъ благодѣтеля. Въ прошломъ году онъ спасался отъ него тѣмъ, что въ критическій моментъ, среди бѣлаго дня, ложился съ женой въ чуланъ и просилъ кого-нибудь изъ пріятелей-сосѣдей, напримеръ, Чилигина, запереть дверь замкомъ снаружи. Пришелъ староста, посмотрѣлъ съ полнѣйшимъ изумленіемъ на замѣкъ, обошелъ кругомъ избы, взглянулъ въ окно, —нѣтъ Тимошки! Вышелъ на улицу, приложилъ руку козырькомъ, всматриваясь вдаль, —нѣтъ Тимошки! Посмотрѣвъ еще разъ на замѣкъ, староста заволновался, завертѣлся и прерывающимся голосомъ спросилъ у Чилигина, какъ бы случайно проходившаго мимо: „Гдѣ же это онъ?!“ —„Ты про кого?“ —возразилъ Чилигинъ. —„Про Тимошку... куда онъ провалился? Вѣдь я вотъ сейчасъ, можно сказать, за спиной шелъ у него и видѣлъ своими глазами, какъ вотъ тѣперь тебя вижу, какъ онъ къ себѣ повернулъ... а глядь—замѣкъ!“

— Да ты, можетъ, не Тимошкину спину-то видѣлъ, обознался? —нагло спросилъ Чилигинъ, послѣ чего староста ушелъ, пораженный случившимся на его глазахъ проваломъ. Тимошей продѣлалъ такую нехитрую штуку разъ пятнадцать, побуда, наконецъ, нашелъ возможность уплатить долгъ.

Нынче Тимошеею лѣнь было залѣзать въ чуланъ, чтобы спастись отъ благодѣтеля, который, какъ извѣстно было Тимошеею, глазъ съ него не спускалъ во все продолженіе пилки. Онъ рѣшилъ спастись иначе, помимо чулана. Онъ, лишь только получить съ Рубашенкова свою часть, проберется задомъ къ хлѣботорговцу и на всѣ наличныя купить хлѣба. Если

на задахъ, соображалъ Тимошей, попадется староста, онъ спрячется въ конопля и тамъ выждетъ. Староста, конечно, прибѣжитъ въ этотъ день и скажетъ:

— Ну, ужъ, Тимошей, ты, братъ, теперь, отдай, потому знаю хорошо, деньги завелись у тебя.

— Чаво?—возразить Тимошей насколько возможно равнодушно.

— Вотъ тебѣ разъ,—онъ еще спрашиваетъ! Это даже очень безсовѣстно ты говоришь! Отдай долгъ—вотъ я про что.

— А! ты вотъ про что! Ну, такъ ужъ извини, я хлѣбъ купилъ, все дочиста отдалъ за мѣшокъ.

— Какъ мѣшокъ?—закричитъ староста, какъ ужаленный.

— Такъ. Одно слово—хлѣбъ, больше ничего. А денегъ нѣтъ. Сказавъ это, Тимошей посмотреть на небо и по сторонамъ.

— Что же ты, идолъ, со мной хочешь дѣлать?—застонет староста.

— Не безпокойся, отдамъ. Забылъ я вчера совсѣмъ тебя...

— Ахъ, ты, идолъ!

— Право, забылъ. Да ты не очень огорчайся. Я скоро при несу, ей-Богу.

Послѣ такого объясненія они помиряются. Староста согласится подождать.

Придумавъ этотъ способъ спасенія, Тимошей пересталъ тревожиться насчетъ заработка. Онъ весело работалъ, шутилъ, забавляя товарищей по вечерамъ. Когда къ работамъ подходилъ Рубашенковъ, онъ и ухомъ не шевелилъ, въ то время, какъ другіе начинали торопливо работать. Тимошей даже разговаривалъ съ Рубашенковымъ, почтительно, и съ неизмѣнною веселостью. Онъ удивлялся, почему этого человѣка такъ пугались. Что онъ здорово ругается—это на плевать! Что онъ разжился, разбогатѣлъ, ходить въ тонкомъ сукнѣ и курить папироску—это не важно. „Пускай хоть разнесетъ его съ жиру—шутъ съ нимъ!“—разсуждалъ съ своими товарищами Тимошей, не воображая, что скоро онъ будетъ имѣть дѣло съ Рубашенковымъ

Впослѣдствіи, когда Тимошею спрашивали, какъ это онъ потерялъ голову, то онъ охотно отвѣчалъ: „черезъ колья! При этомъ вѣрнѣе рассказывалъ свою исторію.

— Черезъ эти колья я и пропалъ, — говорилъ онъ добродушно, безъ всякой злобы.

— Какъ же это черезъ колья?

— Одно слово, надо мнѣ было заборъ у себя, который отъ улицы, поставить, и я въ ту пору обратился прямо къ господину Рубашенкову, чтобы онъ далъ мнѣ маненько кольевъ. Онъ далъ. Вотъ черезъ эти самые колья я и пропалъ, и теперь больше ничего, какъ низкій человѣкъ.

— Да неужели черезъ одни колья?

— Черезъ одни. Значить, судьба моя такая.

— Да ты Расскажи путемъ, — просили его.

Но сколько ни пытались расспрашивать Тимофея дальше, онъ молчалъ. Испитое и одутлое лицо его только на мгновение освѣщалось тихою грустью, а вслѣдъ затѣмъ снова становилось безсмысленнымъ. Повидимому, онъ только и понималъ одни колья, забывъ все остальное, происшедшее съ нимъ.

На самомъ дѣлѣ вотъ что произошло. Замѣтивъ большую гучу хвороста, слегъ и просто палокъ, очевидно, брошенныхъ управляющимъ, какъ негодное гнилье, Тимофееву внезапно пришлось въ голову попросить этой дряни для своей загородки у Рубашенкова, ближайшаго распорядителя. Пришло это ему въ голову случайно, безъ всякой связи съ какою-нибудь нуждой. Да и попросить вздумалъ онъ такъ, отъ нечего дѣлать, рѣшивъ, что если дастъ — ладно, не дастъ — наплевать, песь съ нимъ! А если будетъ браниться, тогда ничего не стоитъ и уйти. Впрочемъ, Тимофеевъ заранѣе былъ увѣренъ, что Рубашенковъ надругается и откажетъ въ просьбѣ. Кажется, чего проще — попросить нѣсколько куда негоднаго дерева, а, между тѣмъ, Тимофеевъ почувствовалъ какую-то смутную тревогу, когда рѣшилъ идти къ Рубашенкову.

И это понятно. Рубашенковъ до того быстро взобрался наверхъ изъ ничтожества, что не могъ не поражать разстроенное деревенское воображеніе. Изъ безыменнаго человѣка, подозреваемого въ пробуравливаніи дыръ въ амбарахъ для выпуска хлѣба, онъ сталъ нѣкотораго рода властителемъ, когда таракановская контора взяла его къ себѣ въ десятники и подрядчики. Еще недавно послѣдній крестьянинъ могъ бить его сколько угодно, если заставалъ у себя подъ амбаромъ, хотя до смерти его какъ-то не забили, оставивъ лишь

на ушахъ и еще кое-гдѣ нѣсколько знаковъ, но теперь он самъ могъ распоряжаться жизнью громадной кучи мужиковъ. Онъ сталъ силой, передъ которой пали ницъ жители пяти шести деревень, сдѣлался господиномъ, владѣтельнымъ человекомъ. Ему въ глаза нагло и безстыдно лѣстили, издали снимали передъ нимъ шапки.

У него съ рабочими заведенъ былъ порядокъ: едва онъ показывался, какъ мужики, словно по командѣ, должны были снимать передъ нимъ шапки. Съ нанявшимся въ имѣніе чужеземцемъ онъ обходился какъ съ крѣпостнымъ, безпрестанно придираясь и давая при случаѣ хорошіе ползатыльники. И отшлепанный никогда не жаловался, считая за Рубашенковымъ полное право бить, разъ ему удалось получить в руки палку. Для всѣхъ безнаказанность Рубашенкова подтверждалась ежедневными фактами.

Рубашенковъ одѣвался въ тонкое сукно, въ скрипучіе сапоги, „при часахъ“, тогда какъ раньше на его одеждѣ лежало нѣсколько десятковъ заплатъ. Рубашенковъ больше уже не ходилъ, а ѣздилъ. Крестьяне такъ и видѣли его въ двухъ видахъ: или стрѣлой пролеталъ по улицѣ, или стоялъ на работѣ „при часахъ“, причемъ презрительно оглядывалъ своихъ людей. Все это поражало. Наконецъ, видѣли, что съ силами міра сего онъ обращался за панибрата. На старосту напримѣръ, онъ и глядѣть не хотѣлъ, какъ послѣдній ниюлилъ передъ нимъ. Съ неменьшимъ пренебреженіемъ онъ относился къ старшинамъ, когда въ волости писали условія съ рабочими, которыхъ законтрактовывала контора. Рубашенковъ то и дѣло покрикивалъ на старшину: „Пошевеливайся, другъ!“—и имѣлъ такой видъ, что онъ очень гнѣвается. Видѣли, что, идя по улицѣ съ урядникомъ, онъ громко хохоталъ, хлопая того по плечу. Это урядника!

Никто не могъ отдать себѣ яснаго отчета, почему он пугается Рубашенкова. Послѣдній никогда не обсчитывалъ сверхъ мѣры, расплачивался аккуратно. Просто было отчего-то боязно. Онъ поражалъ. Иногда давъ зуботычину, платилъ деньгами получившему ее. Но это было рѣдко. Всегда же онъ пускалъ пыль въ глаза: сорилъ кучами денегъ, издѣвался, мучилъ словами и вездѣ держалъ себя нагло. Это была свинья, посаженная негодными обстоятельствами за столъ совсѣмъ съ ногами.

Дѣло было вечеромъ. Окончивъ пилку, Тимоѳеѣй пошелъ въ сарай, гдѣ обыкновенно въ это время Рубашенковъ подводилъ счетъ. Наступали уже сумерки; тѣни легли по угламъ сарая, и Тимоѳеѣй едва разглядѣлъ фигуру подрядчика.

— А я къ вашему степенству,—сказалъ беззаботно Тимоѳеѣй, улыбаясь. — Изволите видѣть, примѣтилъ я вонъ тамъ хворость и палки, и думаю: дай-ка я пойду къ нимъ, то-есть прямо къ вамъ, и попрошу—авось они дадутъ...

— Это еще что за новость?—насмѣшливо возразилъ Рубашенковъ.

— Мнѣ чуть-чуть только... Хворость, вижу, зря валяется. Дай, думаю, спрошу у его благородія, т.-е. у васъ.

— Какіе палки и хворость?

— Да вотъ они тамъ въ кучѣ. Есть хворость, чурбашки, жердочки, вонъ посмотрите... Я и думаю: дай, молъ, думаю, къ его высокоблагородію доложить...—Тимоѳеѣй проговорилъ послѣднія слова робко, думая, не пересолилъ-ли онъ, называя подрядчика высокоблагородіемъ.

— Зачѣмъ же тебѣ такая вещь понадобилась?—спросилъ послѣдній.

— Да ужъ мнѣ пригодились бы... Извольте знать, у меня, можно сказать, заплоту нѣтъ при домѣ. Признаться, не на что поставить его... Такъ вотъ я и подумалъ: дай-ка у нихъ спрошу... Мнѣ маненько, а для васъ безъ пользы.

Рубашенковъ все это слушалъ въ полъоборота. Потомъ слова принялся считать на стѣнкахъ. Онъ былъ безграмотенъ, а потому бухгалтерію велъ на палкѣ, а чаще всего на досчатыхъ стѣнахъ сарая, царапалъ мѣломъ или углемъ длинные ряды какихъ-то знаковъ. Но онъ никогда не ошибался, что сколько заработалъ. Тимоѳеѣй уже думалъ, что дѣло его не выгорѣло, и собирался уходить, какъ былъ круто оставленъ.

— Подожди тамъ!—сказалъ Рубашенковъ.

Тимоѳеѣй сталъ ждать. Онъ пока занялся оглядываніемъ сарая и замѣтилъ по всѣмъ угламъ массу бутылокъ. По серединѣ сарая стоялъ большой ящикъ, служившій, какъ будто, столомъ, потому что на немъ валялись объѣдки ветчины и огурцовъ; подлѣ этого ящика стоялъ другой, поменьше, запыленный стулъ. Подъ ними также навалены были груды пустыхъ бутылокъ. „Должно быть, шибко пьеть!“—подумалъ Ти-

моей, а до него немногіе рабочіе знали, что Рубашенков ночи проводитъ на-пролетъ въ пьянствѣ.

Прошло много времени, прежде чѣмъ Рубашенковъ кончилъ счетъ.

— Такъ ты просишь дерева изъ той кучи? Хорошо, посмотримъ, умѣешь-ли ты заслужить... Вотъ я тебѣ такъ урокъ задамъ: пробѣги до кабака и возьми для меня бутылку рому, и обернись сюда всего-на-всего въ десять минут. Ежели прибѣжишь во время, тогда посмотримъ, стоитъ-ли такой бродяга снисхожденія... Ну?

Тимоей при этомъ неожиданномъ предложеніи задумался, хотя во весь ротъ улыбался, но подъ упорнымъ взглядомъ подрядчика рѣшился.

— Это я могу,—сказалъ онъ весело.

Рубашенковъ вынулъ часы, посмотрѣлъ на нихъ и махнулъ рукой. Тимоей пустился что есть духу бѣжать, засчивъ предварительно штаны. До кабака было довольно далеко, но Тимофей все-таки во-время прилетѣлъ, тяжело дыша отъ усталости у него даже глаза были вытаращены. Порядчикъ не взглянулъ на него, взялъ бутылку, усѣлся въ ящика и выпилъ разомъ объемистый стаканъ рому. Потомъ изъ-подъ сидѣнія вытащилъ бутылку сельтерской воды и все ее опорожнилъ. Онъ барабанилъ отъ нечего дѣлать пальцами по столу. Ему, очевидно, было страшно скучно.

Во все это время Тимоей стоялъ у входа въ сарай и любопытными взорами наблюдалъ за Рубашенковымъ, думая, что послѣдній уже забылъ о его существованіи. Но тотъ выпивъ еще стаканъ, тусклымъ взглядомъ оглядѣлъ его ногъ до головы.

— А, можетъ, и ты хочешь выпить?—насмѣшливо выговорилъ онъ.

— Ежели вашей милости угодно—отчего же...

— На, пей.

Тогда Тимоей, не-подходя близко къ ящику, вытянулъ и издалека взялъ стаканъ въ руки.

— Ухъ, какая крѣпость!—сказалъ онъ, задохнувшись отъ выпитаго стакана.

— Привыкли сивуху трескать, такъ это для васъ не рылу!—презрительно замѣтилъ Рубашенковъ.

— Точно что не по рылу. По нашему карману, выппи

и двугривенный и сытъ. А какая, позвольте спросить, гна этому рому?

— Какъ бы ты думалъ?—спросилъ въ свою очередь Рубашенковъ.

— Да я такъ полагаю, не меньше какъ рупь...

Рубашенковъ захохоталъ.

— Пять цѣлковыхъ!

— Б-боже ты мой!—возразилъ Тимоѳей и покачалъ головой.

На лицѣ Рубашенкова отражалось самодовольство.

— А какъ бы ты думалъ, сколько по твоему разуму стои всего-на-всего мое платье?—спросилъ Рубашенковъ.

— Все дочиста?

— Дочиста, съ головы до ногъ.

— Да какъ бы сказать... Надо думать, полсотни мало...

Рубашенковъ захохоталъ. Потомъ высчиталъ по пальцамъ: сара стояла сотню рублей, часы семьдесятъ, сапоги пятнадцать, картузъ семь, шейный платокъ четыре и т. д.

— Б-боже ты мой!—сказалъ Тимоѳей и покачалъ головой.

Нѣсколько минутъ помолчали. Въ сараѣ горѣлъ уже огонь, въ видѣ сальной свѣчки, воткнутой въ расщелину ящика. Мрачные углы освѣтились, но приняли какой-то зловѣщій видъ, наполненные разбитыми бутылками, пробками и объѣдами закусокъ. На стѣнахъ отъ колебанія пламени прыгали знаки Рубашенкова, нацарапанные мѣломъ и углемъ. Рубашенковъ молча пилъ. И чѣмъ больше онъ пилъ, тѣмъ видъ его дѣлался скучнѣе и наглѣе. Тимоѳеемъ, все стоявшимъ у порога, овладѣлъ смутный страхъ передъ эгимъ пьянѣвшимъ зловѣкомъ, хотя у него у самого шумѣло въ головѣ передъ этою мрачною обстановкой.

— Такъ какъ же, хочется тебѣ получить изъ этой кучи?—спросилъ Рубашенковъ, обративъ помутившіеся глаза на Тимоѳея.

— Да, ужь дайте... Что для васъ составляетъ?...

— А очень хочется? Ну, чѣмъ же ты меня поблагодаришь?

— Я бы услужилъ... по гробъ жизни!

— Ты! Такой нищій пролетай! Ха, ха!... Какъ тебя звать?

— Тимоѳей.

— Значить, Тимошка, Тимка. Ладно. Такъ ты, Тимка, лагаешь, что по гробъ жизни?... А знаешь, кто ты пермной? Вѣдь все одно червякъ? Ну, скажи, червякъ ты? Инь прогоню.

— Точно что по нашему необразованію ..—прошептит испуганно Тимошей.

— Нѣтъ, ты скажи прямо—червякъ?—зловѣще повторил Рубашенковъ.

— Оно, конечно...

— Молчать! Отвѣчай прямо—червякъ?

— Ну, червякъ...—дрожащимъ голосомъ, сквозь зубы говорилъ Тимошей.

— Хорошо. Такъ вотъ эдакій червякъ, котораго ничь не составляетъ растоптать, вздумалъ услужить мнѣ? Эдака вотъ козявка? Чисто что козявка. Вотъ хочу—дамъ тебѣ со который тебѣ понравился, а не захочу—прогоню. А захочу сейчасъ вотъ дать тебѣ плевокъ въ самую что называется образину—и плюну. Вотъ смотри.

— Нѣтъ, ужъ позвольте, я на это согласія не имѣю торопливо залепеталъ Тимошей и пятился задомъ къ ходу.

Рубашенковъ захохоталъ.

— Не пугайся. Не плюну. На, вотъ, пей!—Рубашенковъ налилъ стаканъ и заставилъ Тимошею выпить.

Рубашенковъ разыгрался. Что-то отвратительное, какъ бредъ, происходило дальше. Прежде всего, Рубашенковъ сжегъ зачѣмъ-то передъ самымъ носомъ Тимошею одну асснацію, а другую швырнулъ въ Тимошею. Онъ требовалъ, чтобы послѣдній забавлялъ его. Просилъ сказать ему какую-нибудь такую гнусность, отъ которой сдѣлалось бы стыдно. Тимошей сказалъ. Потомъ онъ заставилъ его представить, можно прыгать на четверенькахъ. Тимошей принялся прыгать, бѣгая на рукахъ и ногахъ по сараю, и лаялъ по-бачьи. Онъ самъ вошелъ во вкусъ. Прыгая по полу и лаявъ, онъ затѣмъ уже отъ себя, безъ всякой просьбы со стороны Рубашенкова, представлялъ свинью, хрюкалъ, показывая множество другихъ штукъ. Но когда онъ обнаружилъ въ стоющимъ запасъ разныхъ штукъ, принимая на себя всевозможныя роли, Рубашенковъ мало-по-малу пьянѣлъ.

него уже слипались глаза; онъ уже неподвижно сидѣлъ и не видѣлъ ничего изъ того, что представлялъ Тимошей.

Наконецъ, когда послѣдній хотѣлъ было кричать по-за-чѣй, Рубашенковъ какъ будто проснулся и дико посмотрѣлъ вокругъ.

— Будеть!—закричалъ онъ.—Пошелъ съ глазъ моихъ, и чтобы духу твоего здѣсь не было. Бери изъ той кучи—за-служилъ, но чтобы духу твоего мерзкаго не было... надобѣтъ ты мнѣ хуже всякой скотины!

Тимошей бросился со всѣхъ ногъ. Выйдя на свѣжій воздухъ, онъ сразу почувствовался, пригладилъ взъерошенные волосы и остановился задумчиво на мѣстѣ, какъ бы при-поминая, что такое съ нимъ случилось? Было уже около полуночи, когда онъ прошелъ мимо мѣста работъ. Но не пошелъ туда. На окликъ товарищей не откликнулся. Потомъ слышали вдали его сильный голосъ, дрожа разливавшійся въ ночномъ воздухѣ правильными волнами звуковъ. Онъ пѣлъ. Въ пѣснѣ, неизвѣстно какой, слышалась необычайная грусть и печаль. Оставшіеся товарищи прислушивались, что разговаривая другъ съ другомъ, а наконецъ совсѣмъ стихли. Пѣсня все разливалась волнами, напоминая смутно каждому изъ нихъ что-то хорошее, чего въ ихъ жизни нѣтъ и не бываетъ... Двое изъ товарищей приподняли головы съ-подъ зипуновъ, забыли сонъ и всматривались въ ту сторону, откуда шли волны хватающихъ за сердце звуковъ, пока они не замерли въ отдаленіи.

— Хорошо, шельма, поетъ!—сказалъ со вздохомъ Тимоша.

— Заплачь, и больше ничего,—добавилъ Чилигинъ.

Тимошей, между тѣмъ, на другой день, когда совсѣмъ окончили работы въ имѣніи, сталъ копошиться около дома. Все почти вышло такъ, какъ онъ заранѣе предвидѣлъ. Онъ пошелъ задами чрезъ конопли и купилъ хлѣба. Вслѣдъ за-темъ пришелъ староста, причемъ произошелъ тотъ самый разговоръ, который раньше онъ придумалъ. Впрочемъ, онъ далъ старостѣ рубль, полученный вчера отъ Рубашенкова. Продававъ все это, онъ вяло принялся строить заборъ, лѣсъ на который привезъ на Мироновой лошади, изъ той кучи, изъ которой вчера пошелъ...

Все, повидимому, шло ладно. Онъ удачно воткнулъ два

кола, долженствовавшіе изображать воротные столбы, и уж принялся отбигать хворостъ, но, кончивъ почти уже всю работу, упалъ духомъ, лишился силъ и разсердился. Его все раздражало и все казалось не такъ. Хворостъ отвратительно торчалъ, колья смотрѣли врозь, ворота оказались узки. „Не глядѣлъ бы на эдакую пакость!“—сказалъ онъ совершенно озлился. Топоръ изъ его рукъ полетѣлъ на одинъ конецъ двора, колотушка, которою онъ вбивалъ колья—на другой. Такъ у него засосало подъ сердцемъ, что и было больше силъ терпѣть.

Вопреки прежнимъ своимъ привычкамъ, онъ отправился в кабакъ одинъ, безъ жены, да еще нанесъ ей ущербъ. Прокравшись къ сундуку, онъ вытащилъ оттуда ея платье и, прижавъ его къ груди, ринулся вдоль улицы къ кабаку. Жена за нимъ. Она бѣжала съ ревомъ, то умоляя, то требуя, чтобы онъ отдалъ ей платье. Тимошей летѣлъ, какъ стрѣла, и, добѣжавъ до убѣжища, захлопнулъ за собой дверь и заложилъ вещь. Пока жена ломилась въ окна и двери, онъ пилъ. Черезъ какіе-нибудь полчаса онъ былъ уже готовъ.

А еще черезъ полчаса около дома Тимошей собралась вся улица. Сбѣжавшіеся сосѣди и жена его составляли какъ бы публику въ театрѣ, а Тимошей одинъ какъ бы давалъ драматическое представленіе. Къ нему никто не смѣлъ подойти. Жена также вдалекѣ стояла отъ дома и тихо всхлипывала. Изъ публики спрашивали: „Тимошка, что ты, дуралей, дѣлаешь?“ А онъ отвѣчалъ: „Уничтожаю!“ Смотрѣли, что еще онъ разобьетъ.

До сихъ поръ онъ разнесъ въ щепки свой новый заборъ съ какою-то дикою радостью уничтожая его. Онъ разрушал систематически, разрубилъ его топоромъ на нѣсколько частей и каждую часть своимъ чередомъ превратилъ въ соръ, палки ломалъ на колѣнѣ, хворостъ свалилъ въ яму. Точно тѣм же путемъ снесъ онъ ворота, перерубилъ ихъ, расчесалъ свалилъ въ яму. Нѣкоторое время онъ стоялъ посреди двора какъ бы въ раздумьи, недоумѣвая, что бы еще уничтожить, но когда нѣсколько человѣкъ вздумали, по просьбѣ жены воспользоваться этимъ моментомъ, чтобы схватить его, онъ опомнился и бросился къ избѣ.

— Тимошей, Тимоша! Что ты, братъ, затѣялъ?—говорили изъ публики, дѣлавшейся все многочисленнѣе.

— Я вамъ покажу, какой я есть червякъ!—отвѣтилъ Тимошей.

И съ этими словами расколотилъ въ дребезги стекла въ окнѣ, вынулъ раму и, превративъ все въ соръ, спустилъ его въ яму. Когда на мѣстѣ окна осталась только зіяющая дыра, онъ превратилъ въ песокъ и соръ стекла и раму другого окна, сваливъ все въ яму. За вторымъ послѣдовало третье и послѣднее окно. Отъ всѣхъ этихъ тяжкихъ трудовъ на рукахъ его показалась кровь, одежда во многихъ мѣстахъ разорвалась и висѣла клочьями. Но онъ этимъ не смущался. Покончивъ съ окнами, онъ напалъ на дверь, стараясь безъ слѣда уничтожить ее.

Но, сорвавъ ее съ петель, онъ долго не могъ расколоть крѣпко сплоченныя доски. Тогда имъ овладѣла страшная энергія; топоръ въ его рукахъ свистѣлъ отъ быстроты. Черезъ короткое время отъ двери не осталось и слѣда: всю искрошилъ. „Безъ остатка уничтожу“,—какъ бы про себя говорилъ онъ и бросился лѣзть съ ловкостью кошки на крышу, должно быть, съ намѣреніемъ разрушать свой домъ сверху. Но нѣкоторымъ изъ публики удалось отвлечь его отъ этого намѣренія тѣмъ, что они схватили его на ноги и стащили на полъ. Однако, захватить его не удалось. Онъ стоялъ возлѣ стѣны и отбивался отъ нападающихъ чѣмъ попало. Побѣждали за старостой, который, впрочемъ, скоро и самъ явился.

— Ты что это дѣлаешь?—закричалъ было сначала онъ.

Но въ отвѣтъ на это Тимошей пустилъ въ него огромнымъ комомъ глины, послѣ чего староста проговорилъ:

— Тима! за что ты осерчалъ? Ты не серчай!

Тимошей сталъ рубить косяки двери, но тутъ его удалось схватить. Тогда его повалили, скрутили веревкой и заперли въ чуланъ, откуда долго еще слышались крики и плачь. Собравшаяся толпа медленно и съ неохотой расходилась, обсуждая этотъ деревенскій случай и недоумѣвая, что такое сдѣлалось съ смирнымъ мужичкомъ?

Съ этого дня Тимошей безпросыпно запилъ. Вещишки, какія только были въ его беззаботномъ хозяйствѣ, онъ спустилъ. Жена отъ него ушла. Иногда онъ и самъ пропадалъ изъ деревни на нѣсколько мѣсяцевъ, но, возвратившись, пилъ, а напившись, обнаруживалъ страсть „уничтожать“. Попада-

лась ему телѣга—онъ крошилъ ее на мелкіе куски, вообще разрушалъ все, что попадалось ему подъ руку. За это его иногда били. Но въ періодъ трезвости онъ былъ скромный и боязливъ, а когда его спрашивали, почему онъ загубилъ свою голову, онъ говорилъ:

— Черезъ эти самые колья. Изволите видѣть, низкій чепчикъ сталъ...

И на его припухшемъ лицѣ показывалась грусть, но не злоба.

V.

С о л о м а.

Какъ-то въ серединѣ зимы по деревнѣ разнесся смутный слухъ, будто сельскій староста своровалъ. Явились и нѣкоторые доказательства. Староста построилъ домъ изъ толстыхъ бревенъ, купилъ гладкаго мерина, завелъ плисовую жилетку и сталъ водить компанію съ туземною знатью. Дѣло, очевидно, было не ладно. Но дойти до причины необыкновенныхъ явленій (гладкаго мерина, толстыхъ бревенъ и плисовой жилетки) никто не думалъ. Слухъ ходилъ по деревнѣ, переносимый бабами, но отъ мужчинъ всюду встрѣчалъ убійственное равнодушіе.

Общественная жизнь въ деревнѣ равнялась нулю. Какъ будто совсѣмъ не было ни дѣла, ни интересовъ общественныя. Жители отбывали повинности, иногда скопомъ собирались по приказу рѣшать дѣла, но своихъ мыслей не имѣли и никакихъ собственныхъ дѣлъ не знали. Изрѣдка крестьяне собирались, чтобы спить съ какого-нибудь провинившагося словѣка. Въ этомъ случаѣ, по возможности, всѣ являлись, случали свою порцію и, выпивъ, уходили прочь.

Между тѣмъ, въ деревнѣ то и дѣло происходили случаи, бывшіе, повидимому, общественный характеръ. По большей части это были „шкандалы“. Много въ деревнѣ „шкандаловъ“, еще недавно случилось такое происшествіе.

Есть въ деревнѣ старуха Лапа, дожившая до такой старости, что перестала помнить свои лѣта. Дома у ней нѣтъ; родственники перемерли; работать она не въ силахъ: руки не дѣйствуютъ. Когда она увидала, что руки ея безсильны за-

работать кусокъ, то сильно озлилась. Вообще презлая старуха-бабка. Въ деревнѣ моталась порядочная куча такихъ бездѣльных птицъ, но Лапа изъ всѣхъ выдѣлялась. Въ то время какъ тѣ жалобно напѣвали на обычный мотивъ, она треволала себя кусокъ и, притомъ, со злостью. Записною нипона она не считаетъ себя, никогда не ходитъ съ мѣшкомъ и не поетъ. Войдя въ избу, она грозно спрашиваетъ: „Есть, чили, кусокъ лишній?“—и смотритъ на хозяйку или на хозяина со злостью. Получивъ кусокъ, она злобно благодаритъ больше въ этотъ день уже никуда не явится. Ночуетъ по очереди. Приходить въ намѣченный ею домъ и безъ спра залѣзаетъ на печь въ уголъ. Если кто изъ хозяевъ вздумаетъ ее потревожить, она огрызается. „Вѣдьма!“—говорили про нее. Но она считаетъ своимъ прирожденнымъ правомъ въ и обладать печью. Это она постоянно высказывала при всѣхъ возможныхъ случаяхъ, грозно требуя себя у міра мѣста избы, мазанки, бани, вообще какого-нибудь жилья. Но мі отказывалъ. „Вотъ опять идетъ Лапа“,—говорилъ кто-нибудь на сходкѣ, завидя бабу.

— Ты опять пришла лаяться, кочерга?—спрашивали ее

— Опять. Помяните мое слово: ежели не будетъ у мѣста, спалю я васъ!—начинала свою просьбу старуха.

— Ахъ, ты, вѣдьма! Развѣ можно говорить такія слова? такія слова, знаешь-ли, тебя можно куда спровадить?

Но никто не хотѣлъ придавать значенія сумасшедшимъ угрозамъ полоумной Лапы. Между тѣмъ, Лапа говорила „сурьезъ“, и когда ей надоѣло ходить по очереди ночевать, она взяла да спалила нѣсколько дворовъ, что весьма удивило жителей. Разъ одна хозяйка поручила ей вынести горячую золу изъ избы, а Лапа бросила золу къ плетню и ушла во дворъ, грозно оглянувъ деревню. Къ вечеру показался во дворѣ дымокъ, тонкою струйкой поднимаясь вверхъ; потомъ по двору поползли густые клубы; наконецъ, сквозъ черную тучу смрада прорвался чудовищный языкъ огня, и не успѣли жители оглянуться, какъ онъ слизнулъ два дома, одинъ дворъ и нѣсколько хлѣбковъ. Едва потушили.

Всѣ знали, что это Лапа подпалила, но только удивлялись злости ея, не зная, что съ нею дѣлать.

— Что же намъ съ ней дѣлать? Эдакая, прости Господи

чертовка навязалась! Вѣдь уродится же такой идолъ!—говорили одни черезъ нѣсколько дней послѣ пожара.

— Никакъ не можетъ помереть, кочерга,—говорили другіе.—Хоть бы поскорѣй померла! Ну, какъ намъ теперь съ ней поступить?

Но никому не хотѣлось подумать, какъ поступить съ Лапой. Рѣшили: „Песъ съ ней! Неужто-жь ее судить? Шутъ ее возьми!“—и забыли. На мѣстѣ пожара долго валялись головы, торчали обгорѣлые столбы, зіяли какія-то ямы. Когда незнакомый, видя это мѣсто, спрашивалъ объясненія пожара, ему отвѣчали:

— Старуха тутъ одна есть... Такая вѣдьма, не приведи Богъ! Она спалила.

— Какъ спалила?

— Взяла да спалила.

— И ничего ей за это не было?

— Чего же ей? Спалила—и права. Что съ нею, съ оглашенной, взыщешь? Песъ съ ней! А, между прочимъ, никакъ скоро помретъ... Ну ее!...

Вотъ такимъ же образомъ затихъ и слухъ о старостѣ.

Только нѣсколько человѣкъ между разговоромъ вспомнили объ этомъ. Встрѣтили на улицѣ Ивана Ивановича Чихаева и задержали его. Спросили, какъ онъ поживаетъ, что подѣлываетъ, отчего его давно нигдѣ не видать. Иванъ тревожно поглядывалъ по сторонамъ съ видимымъ желаніемъ убѣжать отъ назойливаго общества. Къ этому времени онъ уже сильно перемѣнился. Жилъ скромно; ходилъ крадучись; сидѣлъ больше дома, а встрѣчаясь съ людьми внѣ своего дома, глядѣлъ одичало. Догадывались, что съ нимъ что-то случилось, но ничего подлиннаго никто не зналъ.

Чихаевъ и на этотъ разъ озирался по сторонамъ и отмалчивался. Но онъ, къ нечастію, былъ учетчикомъ старосты въ прошломъ году и долженъ былъ знать, вѣренъ-ли слухъ. Мужики пристали къ нему. Сначала рассказали ему бабью болтовню, привели видимыя доказательства и пожелали узнать его мнѣніе.

— Ты въ ту пору учитывалъ... ничего не замѣчалъ эдакого?

— Ничего.

— Не примѣтно тебѣ было, чтобы онъ рыбачилъ изъ муниципальной казны?

— Кто его знаетъ? Не видать что-то было...

— А какъ же меринъ?

— Надо думать, купилъ онъ его.

— А домъ? А жилетка? Какъ это разсудить? Почему?

— Да что вы пристали ко мнѣ? Не знаю я—вотъ и все. Меринъ-ли, нѣтъ-ли, что мнѣ за дѣло?... Вотъ пристал. Пойду лучше домой...

И, говоря это, Иванъ Чихаевъ скрылся къ себѣ въ избѣ радуясь, что отдѣлался отъ пустого разговора. Ему гораздо пріятнѣе сидѣть въ своей избѣ и ничего не знать. На ули въ эту минуту поднялся вѣтеръ. Снѣгъ, до сихъ поръ медленно падавшій, завертѣлся, закружился, загустѣлъ. Небо потемнѣло, вѣтеръ свисталъ. Ворота мрачно скрипѣли, ставни хлопали. Въ избѣ чувствовалось, что буря рвалась во все щели въ окнахъ, ища щелей въ стѣнахъ. Вся избенка дрожала, какъ бы окруженная съ четырехъ сторонъ врагами, которые уже рѣшили взять ее приступомъ, разрушить, разметать по щепкамъ. Но Ивану Чихаеву было хорошо на душѣ у него сдѣлалось радостно. Буря не могъ донять его; въ избѣ тепло; жилой, влажный духъ густо стоялъ въ комнатахъ; незачѣмъ было залѣзать и на печку, какъ сдѣлал бы какой-нибудь бѣднякъ, который теперь мерзъ, стуча зубами и мечталъ о дровахъ. У Чихаева были дрова. Он радостно смотрѣлъ, какъ занимались его домашніе кажды своимъ дѣломъ. Это напоминало ему о топорницѣ, котораго надо было придѣлать къ топору, и онъ взялся скобли дерево. Во время работы онъ сопѣлъ, посвистывалъ или мурлыкалъ, какъ котъ.

Издаലെка, не ясно послышался звонъ церковнаго колокола. Это звонили на случай замерзанія среди открытаго поля. Этимъ звономъ деревня какъ бы говорила: „Мнѣ студено, я замерзаю!“ Кто-то изъ семейныхъ замѣтилъ, что сегодня непременно кто-нибудь замерзнетъ.

— А мы не замерзнемъ!—возразилъ Иванъ съ радостью погрузился въ топорнице. Онъ не слыхалъ ни свирѣпаго вѣтра за избой, ни церковнаго звона и оставался равнодушнымъ спокойнымъ и безучастнымъ.

А давно-ли было время, когда Иванъ самъ ежеминутно

чувствовалъ, что погибаетъ, и постоянно приговаривался умереть христіанскою смертію? Тогда судьба его была общая со всѣми жителями деревни. Главная, господствующая черта жизни жителей — это вѣчное безпокойство, нервность и удивительная неустойчивость во всемъ. Въ деревнѣ, несмотря на ея наружную тишину, кипѣла и варилась каша, въ которой одни тонули, другіе всплывали внезапно наверхъ. Годныхъ вырывались восклицанія радости, у другихъ — крики «спасеніи». Одни жители куда-то бѣжали, другіе барахтались дома, ухватившись за какое-нибудь дѣло, всегда почти беззадачное. Нервы у всѣхъ напряжены до послѣдней степени. Сарице стучить неестественно-скоро и бьетъ постоянную тревогу. Никому нѣтъ времени ни одуматься, ни устроиться. Никто не живетъ тою правильною, законною жизнью, которую требуетъ земля и связанные съ ней сельскія работы. Трудъ, сопряженный съ мучительствомъ, сталъ невозможенъ. На его мѣстѣ явился на деревенской улицѣ „моментъ“, который и ловятъ. Не всѣмъ, конечно, попадаетъ удача. Громадное большинство только разѣваетъ ротъ, но ухватить ничего не можетъ. И только на долю ничтожнаго меньшинства остается добыча.

Послѣдніе переживаютъ въ самое короткое время страшные перевероты. Иванъ Чихаевъ, принадлежащій къ этому разряду жителей, и на себѣ испыталъ всю превратность судьбы. Сперва онъ палъ, потомъ возвысился, потомъ опять стремглавъ полетѣлъ внизъ, откуда снова выбрался значительно поврежденнымъ. Все это съ нимъ стряслось въ течение двухъ зимъ, изъ которыхъ на долю послѣдней, описанной здѣсь, выпало самое большое количество внезапностей. Изъ этого онъ нѣсколько тронулся въ умѣ и въ сердцѣ, но это ничего не значить, потому что и всѣ окружающіе его люди были болѣе или менѣе тронуты. Онъ выглядѣлъ то равнодушнымъ, почти преступно равнодушнымъ, то безпокойнымъ и мечущимся.

Недавно еще онъ былъ, подобно своимъ односельцамъ, глубоко несчастнымъ. Подобно имъ, онъ сражался за получение права съ тягостными случайностями. Такъ же, какъ и они, бился во всевозможныя стороны, хватая возможность еще чуть-чуть продлить свое существованіе. Какъ и всѣ, угорѣвъ въ этомъ чаду и, подобно прочимъ, готовъ былъ

совершать негодяйскія дѣла, пользуясь несчастіемъ своего брата. Однимъ словомъ, палъ на самое дно несчастія, которыя всѣ сводились къ слову: жрать.

Прошлою зимою онъ, къ своему несчастію, купилъ корову. Соблазнился дешевизной скота, отдававшася, вслѣдствіе безкормицы, даромъ, но корова, въ концѣ-концовъ, съѣла ея. Корму онъ потратилъ на нее много, а она сдохла, и послѣднія денежки, убитыя имъ на нее, лопнули. Слѣдствіемъ это было нѣсколько съ его стороны поступковъ, кончивших жалкими приключеніями. У него вышли всѣ дрова. Онъ поѣхалъ въ таракановскій лѣсъ на лошади ночью. Но поповщикъ поймалъ его. Иванъ умолялъ, плакалъ, чтобы пустили его, помиловали, но сторожъ неумолимо велъ его контору, гдѣ отъ него отобрали дровишки, топоръ, шапку и шапку. А если онъ желаетъ выкупить взятыя у него вещи, пусть привезетъ штрафъ. Иванъ предлагалъ убить его, но только, чтобы возвратили ему шапку и лошадь, контора сочла это предложеніе неудобнымъ. Тогда Иванъ взялся за оглобли пустыхъ дровней и повезъ ихъ домой, и нѣсколько дней велъ себя какъ умалишенный. Это состояніе продолжалось до тѣхъ поръ, пока за убійственные проделки онъ не нашелъ денегъ для выкупа шапки, топора и лошади.

Бросаясь изъ одной крайности въ другую, Иванъ Чихачевъ въ ту же зиму пустился верстъ за сто, заслышавъ о какой-то работѣ. Прожилъ тамъ мѣсяцъ, но, возвращаясь домой, имѣлъ въ карманѣ всего рубль. Дорогой застигъ его такой же буранъ, какой описанъ выше, но въ тотъ несчастный день онъ не могъ благодушно радоваться теплу. Онъ шепталъ про себя. Отъ ближайшей деревни было, по крайней мѣрѣ, верстъ пять, но въ волнахъ крутившагося снѣга нельзя было опредѣлить, куда и сколько идти до ближайшаго жилья. Одежда его трепанная, драная. Онъ сталъ замерзать. Спитъ только тѣмъ, что закопался въ снѣгъ и переждалъ нѣсколько дней. Однако, этотъ день стоилъ ему ушей, которыя были отморожены.

Много въ этотъ годъ вынесъ онъ крайнихъ несчастій. Но они мелки и жалки, но тѣмъ хуже было для Ивана. Въ безчеловѣчнѣе обстоятельства, при которыхъ изъ-за прутьевъ или изъ-за рубля погибаетъ христіанская душа.

Дѣло въ томъ, что крайности, на которыя пускался Иванъ,

были въ нѣкоторыхъ случаяхъ двусмысленны. Большого не-
удача онъ не могъ совершить по неимѣнію средствъ, но
мелкія и обыкновенныя дѣлалъ. Плохо ему жилось. Въ этомъ
отношеніи онъ не отличался отъ прочихъ жителей. Въ де-
ревнѣ его житье не выдавалось какими-нибудь особенно-
стями. Кособокая изба, негнѣпная постройка усадьбы, пустота
на дворѣ, жалкіе предметы — рѣшительно все такъ, какъ у
людей. Одно было отличіе: издалека еще виднѣлся какой-то
стогъ, возвышающійся по срединѣ самой деревни. Стогъ
стоялъ на дворѣ у Чихаева. Это была просто огром-
ная куча соломы. Неизвѣстно, какъ Чихаеву удалось нако-
пить столько богатства, въ то время, какъ у другихъ скотъ
на зиму былъ крыши.

Солома и была причиной его благополучія. Въ ту самую
пауту, когда Чихаевъ уже былъ близокъ къ концу своего
жизного существованія, кто-то изъ сосѣдей пришелъ къ нему
за соломой, заклиная Христомъ Богомъ одолжить ему хоть
малова этого корма до слѣдующаго лѣта. Иванъ одолжилъ.
Но вслѣдъ затѣмъ ему пришла блистательная мысль: вос-
пользоваться соломой для поправленія своихъ отчаянныхъ
дѣлъ. Придуманно и рѣшено. Чихаевъ проникся неописанною
радостью.

Положеніе его, какъ собственника соломы, было велико-
лѣвное. Безкормица давала себя знать. Истощенный скотъ
загалъ. Появились особенныя болѣзни, еще быстрѣе унич-
тожившія коровъ и лошадей. Послѣднія просто стали таять.
Каждый день кто-нибудь изъ деревни везъ за околицу мер-
твое животное, сваливалъ днемъ въ общую яму, а ночью
спиралъ съ нея шкуру; ежедневно на какомъ-нибудь дворѣ
слышался женскій плачь, — это жена хозяина жалѣла павшую
скотину. Не было такого отчаянія, когда мерли ребята. Въ
это самое время общей печали Иванъ Чихаевъ праздновалъ
свое возрожденіе.

Имъ было объявлено по деревнѣ, что у него есть продаж-
ная солома. Многіе обрадовались и повалили покупать. Пер-
вые появившіеся хотѣли перехватить какъ можно больше
виру, надѣясь получить, по крайней мѣрѣ, по возу, но Чи-
хаевъ заломилъ такую цѣну, что самъ испугался, не вѣря
своимъ словамъ. Однакожъ, когда нѣкоторые требуемую имъ
цѣну дали, онъ повѣрилъ. Хотя больше никто уже не думалъ

торговать у него возомъ, но тѣмъ лучше: онъ раздавалъ по мелочамъ. Кто бралъ вязанку, кто охапку, но за все хозяинъ получалъ чистыя деньги. Онъ нещадно дралъ. Первыя зазвенѣвшія въ его рукахъ деньги обозлили его. Така въ немъ развилась жадность и подозрительность, что многіе не узнавали въ немъ прежняго смирнаго мужика. Если приходившій за соломой просилъ подождать деньги, Иванъ гналъ его со двора. Въ долгъ онъ не вѣрилъ. У многихъ, не обидѣвшихъ необходимою платой, но желавшихъ все-таки взять корму, онъ бралъ въ залогъ полушубки и сапоги; кажется, онъ готовъ былъ принимать въ закладъ человѣческія головы,—до такой степени остервенился отъ запаха денегъ.

Ночью; онъ, не взирая на лютость мороза, спалъ на своей драгоценной соломѣ и караулилъ ее. Вообще онъ жилъ въ какомъ-то бреду.

Да и большинство въ деревнѣ находилось въ горячкѣ. Многіе буквально бредили соломой. Несчастную деревню охватила какой-то соломенный ажіотажъ. Вопросъ: „есть соломѣ?“—сдѣлался жгучимъ. Успѣвшій купить у Ивана Чихаева вязанку или полвоза корма, считалъ себя счастливымъ, и успѣвшій — впадалъ въ глубокое уныніе. Чихаеву платившіе сумасшедшія деньги или дѣлали у него не менѣе сумасшедшія обязательства.

Однако, всему бываетъ конецъ. Конецъ соломеннаго бреда насталъ какъ-то самъ собой въ исходѣ зимы. Скотина наполовину пропала. Всѣ какъ-то вдругъ увидали чрезвычайную свою глупость. Повидимому, каждый созналъ, что не стоить такъ волноваться, а тѣмъ болѣе платить Чихаеву чистыя денежки. Тогда принялись нещадно ругать Ивана. Страшнаго противъ него поднялась злоба. Никто больше не шелъ къ нему во дворъ. Послѣдніе посѣтители пришли къ нему уже не затѣмъ, чтобы взять корму, а привели самый скотъ.

Къ веснѣ, впрочемъ, большинство забыло живодерство Ивана Чихаева, явились другія дѣла, а вмѣстѣ съ ними другія лихорадки и горячки. Иванъ канулъ въ пропасть разоренія. И самъ онъ успокоился и имѣлъ болѣе благообразный видъ. Заработанными деньгами онъ оправился, расплатился съ долгами, ожилъ. Правда, за уплатой всѣхъ долговъ въ его рукахъ не осталось ничего, но за то онъ чувствовалъ, что больше его никто не преслѣдуетъ и не тянетъ е

за душу, — огромное преимущество, которымъ многіе въ деревнѣ не пользовались.

Кромѣ того, у него на дворѣ остались четыре лошади. Двѣ совсѣмъ проданы были ему, конечно, за ничто, двѣ другія были отданы ему на прокормъ, съ обязательствомъ большой платы. Но Иванъ желалъ, чтобы онѣ совсѣмъ остались въ его рукахъ, чтобы хозяева ихъ куда-нибудь провалились, померли. Съ однимъ такъ и случилось: онъ бѣжалъ весной изъ деревни, бросилъ домъ, пашню, семью, а вмѣстѣ съ тѣмъ и лошадей. Только Миронова лошадь еще находилась въ неопредѣленномъ положеніи. Но такъ какъ у Мирона нечѣмъ было заплатить за потравленную солому, то Иванъ оставилъ ее за собой.

Не было ни минуты, когда бы онъ созналъ, имѣеть-ли онъ право отнимать чужихъ лошадей? Въ распутицу онъ повелъ ихъ продавать въ городъ. Лошаденки были дрянныя; у каждой брюхо волочилось по землѣ; шерсть торчала, какъ у свиней. Иванъ сомнѣвался, чтобы ему удалось сбыть съ рукъ такихъ скотовъ. Но была весна, подходило рабочее время.

Велико было его изумленіе, когда заморенныя животныя быстро были скуплены у него. Онъ своимъ глазамъ не вѣрилъ. Онъ не могъ опомниться до тѣхъ поръ, пока не выѣхалъ за городъ. Полученная сумма была до такой степени въ его жизни необычно огромна, что точное ея значеніе онъ долго не могъ себѣ представить. Вынулъ бумажки на ладонь, посмотрѣлъ и покачалъ головой. Засунулъ въ карманъ. Но черезъ нѣкоторое время снова вынулъ и пересчиталъ. Вслѣдъ за тѣмъ онъ обомлѣлъ, чувствуя, что умереть отъ восторга.

Его даже обуялъ страхъ. Куда ему спрятать капиталъ? Вынувъ его въ послѣдній разъ, онъ судорожно зажалъ его въ горсти. Страпась, что обронить его нечаянно, онъ перышкомъ дѣломъ засунулъ его за пазуху. Однако, это мѣсто показалось ему опаснымъ, и онъ попробовалъ разуться и положить деньги на дно сапога. Но, пройдя съ полверсты, ему пришло въ голову, что такимъ образомъ онъ можетъ потерять бумажки въ порошокъ. Тогда онъ снялъ сапоги и опять запихалъ бумажки за пазуху.

Онъ не былъ скаредень. Дома онъ сейчасъ же рассказалъ всѣмъ домашнимъ, какую Богъ ему послалъ радость. И что-

бы отпраздновать благополучное окончаніе своего путешествія, купилъ баранью ногу, накормилъ семью и самъ наѣлся.

Этимъ кончилась прошлая зима. Лѣтомъ событій съ Иваномъ, къ его счастью, никакихъ не случилось. Онъ долгу приходилъ въ себя, размышлялъ, обдумывая, что съ нимъ произошло. Лѣтнія работы у него шли вяло. Урожай, по обыкновенію, „оставлялъ желать бѣльшаго“, но Иванъ не метался, мало огорчаясь. Онъ былъ очень задумчивъ и тихъ. Кажется, онъ ничего не слыхалъ изъ того, что происходило на селѣ—ни жалобъ, ни криковъ, раздававшихся по случаю неурожая. Едва-ли онъ даже село-то самое видѣлъ, — такъ онъ притихъ и задумался.

Незамѣтно для него прошла и осень. Во всей деревнѣ, между тѣмъ, происходило движеніе. Явился „недостатокъ въ удовольствіи“. Причина та, что рожь сожралъ червь. Это былъ не „кузька“,—кузька царилъ въ другихъ мѣстахъ, а въ этой деревнѣ жилъ „савка“,—червь, исключительно поѣдающій рожь. Но это все равно. Многія хозяйства отъ нашествія савки лопнули. Домохозяйства скрылись изъ деревни отыскиванія продовольствія. Пріѣзжалъ чиновникъ. Расспросивъ о неурожай и узнавъ о савкѣ, онъ отъ всей души жалѣлъ. Какъ-то невольно онъ произнесъ слова, которые потомъ переходили изъ устъ въ уста по всей губерніи... „Чужа несчастный народъ! Нападаетъ червь, какой-то савка. Цѣлыя деревни пропадаютъ. Я не знаю, что это такое. Еслибы, кажется, вошь напала, и тогда массы народу гибли бы“...

Ко всему прочему, съ первыхъ же дней зимы наступили морозы, перемежающіеся буранами. Ни пищи, ни дровъ, работы,—таково было положеніе большинства жителей. Сиделись кто какъ могъ. Въ селѣ настала тишина.

Но, вѣроятно, никто не жилъ въ такой тишинѣ, какъ Иванъ Чихаевъ. Рѣдко кому удавалось его видѣть. Повиному, онъ пропалъ неизвѣстно куда. Но на самомъ дѣлѣ онъ сидѣлъ дома. Буквально сидѣлъ, наслаждаясь въ первый разъ глубокою тишиной. Онъ сдѣлался не то пустынною, не то медвѣдемъ въ спячкѣ. Одиночество пріятно было ему. Съ этой стороны онъ вполне обезпечилъ избу, разогналъ половину семьи. Племянника, малаго восемнадцати лѣтъ, и

турилъ въ Москву, а старшую дочь въ ближайшій городъ въ кухарки. Дома остались жена да маленькая дѣвочка. И Иванъ наслаждался.

Сначала онъ не могъ положительно привыкнуть къ благополучію. Ълъ горячую похлебку, жевалъ хлѣбъ, грѣлся въ теплѣ, но недостаточно сознавалъ это. Онъ не могъ довольно надивиться благамъ, которыя ему послалъ Богъ, хотя осязалъ ихъ руками. Отрѣжетъ ломоть отъ короваи, посмотритъ на него—хлѣбъ! Возьметъ въ ротъ, разжуетъ—хлѣбъ! Нѣсколько разъ въ день онъ подходилъ къ печи и шупалъ, чтобы осязательно увѣриться, правда-ли, что она горячая? Оказывалось—правда: печь пылаетъ огнемъ. Наконецъ, онъ вполне освоился съ мыслью, что обладаетъ дѣйствительно хлѣбомъ, дровами, горячею похлебкой, деньгами, вообще всѣмъ.

Послѣ этого у него явилось самохвальство. Мысль, что у него все есть, а у другихъ ничего, дѣлала его гордымъ. На дворѣ стоялъ жгучій морозъ или свистѣла буря, а ему ничего. И онъ зналъ, что въ это время многіе коченѣютъ, и несказанно радовался. Сосѣдомъ съ лѣвой руки у него былъ Василій Чилигинъ; Иванъ представлялъ себѣ, какъ Чилигинъ дрожитъ отъ холода и чавкаетъ картошку за отсутствіемъ хлѣба, и былъ радъ.

— А Васька-то теперь сидитъ не жрамши,—говоритъ онъ женѣ.

— Должно, что не жрамши,—нехотя, съ печалью въ голосъ, отвѣчаетъ жена.

— Чай, морозъ-то такъ и ходить у него по избѣ!—продолжаетъ радоваться Иванъ.

— Извѣстно, коли дровъ нѣту...

На глазахъ жены навертываются слезы. Морщинистое лицо ея, изборожденное слѣдами переворотовъ деревенской жизни, заволакивается грустью. Она уже нѣсколько разъ подъ фартукомъ, тайно отъ мужа, носила короваи Чилигину.

Несмотря на благополучіе, Иванъ дѣлался, къ удивленію жены, необыкновенно сердитъ, когда видѣлъ постороннее человеческое лицо. Только сидя одинъ у себя въ избѣ, онъ благодушествовалъ. День онъ проводилъ такимъ порядкомъ. Встанетъ, поѣстъ горячаго хлѣба и начнетъ копаться надъ

чѣмъ-нибудь по домашности. Потомъ обѣдаетъ горячую похлебку, а послѣ обѣда грѣется на печкѣ. Вотъ и все. Свѣсивъ голову съ печки, отъ времени до времени сплевываетъ на полъ, наблюдая, какъ жена прилаживаетъ къ его рубашкѣ заплату, или болтаетъ босыми ногами и проектируетъ планы одинъ другого радости.

— На ту весну поставлю новую избу,—говорить онъ же нѣ, которая вскидываетъ глазами, но молчитъ.

Недалеко отъ него стоитъ изба Тимоеева, который, шутя его знаетъ, гдѣ пропадаетъ. Ивану приходитъ въ голову что хорошо бы завладѣть Тимоеевой избой. Онъ рѣшаетъ что непременно захватить, если только Тимоеей пропадетъ куда-нибудь совсѣмъ.

— А Тимошка-то, должно думать, на-чисто пропадетъ!—говорить онъ неожиданно женѣ. Последняя опять вскидываетъ глазами.

— Кто его знаетъ?

— Бездѣльникъ!—добавляетъ онъ.

Планы, выдумываемые имъ на печкѣ, были нерѣдко положительно безчеловѣчны.

Избенку его къ половинѣ зимы завалило горами сугробовъ и къ его дому дорога исчезла. Но онъ не отрывался, и прокапывалъ путей. Ему такъ больше нравилось. Онъ же лалъ, чтобы его совсѣмъ завалило снѣгомъ, чтобы никто не сунулся къ нему. Онъ пересталъ ходить по людямъ, и къ нему никто не показывался. Гробовое безлюдье стало ему по душѣ. Жителей онъ видѣть не могъ. Надоѣли они ему.

— На деревнѣ у насъ, я такъ думаю, совсѣмъ теперь нѣтъ хорошихъ людей; все прохвосты живутъ! Только и смотрятъ какъ бы обманомъ!—говорилъ Иванъ, обращаясь къ женѣ съ печки.

Та удивленно глядѣла на него, и ничего не отвѣчала.

— Того и гляди послѣднія твои денежки упретъ... Вот у насъ какой народецъ!

Жена удивлялась, откуда у Ивана проявляется такая злоба. Правда, онъ боялся отчасти, что кто-нибудь отниметъ у него деньги, однако, боязнъ сама по себѣ, а безчеловѣчныя мысли сами по себѣ.

Иногда Иванъ старался представить абсолютное безлюдье. „Можно-ли въ такомъ разѣ жить?“—спрашивалъ онъ себя

Ему казалось, не только можно, но даже отлично. Что бы, например, произошло, еслибы вся деревня пропала, а онъ бы одинъ остался? Напримѣръ, пропала бы отъ мору, отъ пожара, отъ неурожая?...

— Вотъ Кошки до тла сгорѣли, какъ есть дочиста! Говорить, только и уцѣлѣло два двора... То-то, чай, рады!—обращается онъ къ женѣ съ печки, болтая ногами.

Жена блѣднѣла и крестилась.

— А у насъ позапрошлось только три двора сгорѣло.

Жена тревожно взглянула въ окно. Ей вспомнился недавнѣйшій пожаръ, она видѣла слезы погорѣвшихъ и читала про себя молитву, чтобы Богъ еще не послалъ такой страсти. Разговоръ мужа казался ей глупымъ.

Несомнѣнно, что Иванъ такіа безчеловѣчныя мысли держалъ отъ праздности. Онъ всю зиму почти ничего не дѣлалъ. Случно такъ лежать и ни о чемъ не думать. Но, съ другой стороны, странно, что именно эти мысли лѣзали ему въ голову, а не другія. Кажется, можно бы изъ множества всякихъ негѣпостей, существующихъ на свѣтѣ, придумать болѣе безвредныя, однако, онъ велъ все одни негодяйскіе разговоры.

Однажды онъ сообщилъ женѣ, что думаетъ съ весны скучать лѣтъ на сторонѣ и продавать своимъ односельцамъ, вѣта они будутъ находиться въ нуждѣ. И спрашивалъ: „Какъ, по ея разсужденію, выйдетъ польза изъ астаго?“ Жена дружно качала головой, убѣжденная, что Иванъ только празднично хлопаетъ языкомъ.

Эти безчеловѣчныя глупости повліяли даже на его дѣйствія.

У него вышло происшествіе со старухой Лапой.

Однажды сидѣлъ онъ въ избѣ и сдиралъ кору съ березовой слепи, дѣлая изъ нея оглоблю. На дворѣ былъ страшный морозъ. Окна сплошь покрылись толстымъ слоемъ льда. Съ колокольниковъ текла вода. Въ избѣ царствовалъ полумракъ. Должно быть, по термометру было градусовъ сорокъ, но для колокольных—сто. Иванъ не обращалъ вниманія на морозъ, благодушествуя въ теплѣ, и пѣлъ потихоньку отрывки церковной службы. Божественныя пѣсни онъ любилъ, но, къ сожалѣнію, ни одной не зналъ сначала до конца, а какіе-то несвязные обрывки. Но за то пѣлъ жалобно по цѣлымъ часамъ на разные лады.

И на этотъ разъ онъ что-то тянулъ безконечно. Вдругъ,

откуда ни возьмись, лѣзетъ въ дверь Лапа, вся синяя от стужи. Едва отряхнувъ ветхую одежду, она полѣзла на печь по обыкновенію, ни слова не говоря. Иванъ обомлѣлъ.

— Ты это куда?—закричалъ онъ, приходя въ себя от изумленія.

— На печь!—грозно возразила старуха.

— Ахъ, ты, Боже мой!—вскричалъ Иванъ и ухватилъ старуху за полы, таща съ печи.

Завязалась борьба. Старуха вздумала было сопротивляться: стараясь запустить костлявые пальцы въ лицо Ивана, и послѣдній вытолкнулъ ее за дверь, которую заперъ на замокъ. Онъ звѣрски разозлился, бормоталъ и рычалъ что-то про себя, обругавъ, прежде всего, жену. Жена испуганно стояла посреди избы. И пугало ее, что Лапа натворитъ какой-нибудь бѣды, и жалко было бездомную старуху, и нехорошо было смотрѣть на мужа,—такимъ онъ звѣремъ казался. Впослѣдствіи, черезъ двѣ недѣли, Лапа померла: съ ней сдѣлалась горячка. Она, очевидно, простудилась. Трудно сказать, в тотъ-ли именно вечеръ она захватила смертельную болѣзнь въ который ее вытолкнулъ Иванъ, но говорили, что старуха угомонилась, померла, потому что ее согнали съ печи.

Съ этого дня Чихаевъ погрузился еще глубже въ себя. Онъ ничего знать не хотѣлъ, что происходило на свѣтѣ. Раза два еще приходили къ нему справляться, живъ-ли онъ, думали, что онъ будетъ разговаривать. Но онъ, вмѣсто того на все отвѣчалъ: „Ничего не знаю!“—и такъ негостепріимно озирался, что посѣтителы погрѣлись, почесались и пошли вонъ изъ избы. Мысли Чихаева сдѣлались звѣриными, поступки безсовѣстными. Домъ свой онъ превратилъ въ норъ. А развѣ въ норѣ можетъ быть совѣсть, которая мыслитъ только среди общества людей? Въ норѣ теряется представленіе о томъ, какъ надо поступать съ людьми. Единственная нравственность въ норѣ состоитъ только въ томъ, чтобы не повредить себѣ самому. И Чихаевъ у себя въ избѣ отрѣшенный отъ всего міра, планировалъ самыя противобщественныя, вредныя дѣянія на будущее.

Онъ то и дѣло рассказывалъ женѣ, какъ онъ на эту весну заведетъ у себя во дворѣ торговлю товарами, постоянно требующимися жителямъ: мукой, соломой, овсомъ. Когда жена возражала, что едва-ли у него будутъ брать, потому что и

каждый же годъ будутъ совершаться такіа страсти Божіи, Иванъ раздражался, доказывая, что деревенская бѣда отъ самыхъ древнихъ вѣковъ пошла и будетъ до самаго свѣтопреставленія, пока не народится антихристъ, и затѣмъ дѣлался угрюмымъ, сопѣлъ себѣ подъ носъ и озирался.

Къ концу зимы Иванъ сдѣлался совсѣмъ какъ умалишенный. Иногда онъ по два дня молчалъ. Его что-то тревожило. Иногда онъ что-то бурчалъ себѣ подъ носъ и озирался. Дошедшія дѣла совершенно валились у него изъ рукъ; начиная многое, онъ ничего не оканчивалъ, такъ что подъ лавками завалялись груды какихъ-то нелѣпыхъ чурбановъ. Бросивъ подъ лавку работу, онъ мрачно слонялся по избѣ. Иногда садился и скребъ обѣими горстями спину и животъ; скребеть часъ, скребеть два и потомъ ворочаетъ буркалами. Дѣлалъ все какъ-то отрывисто, безпричинно: вдругъ ни съ того, ни съ сего очутится въ одно мгновеніе на печи, а потомъ вдругъ же бухнется оттуда на полъ и стоитъ, а что ему дальше дѣлать, не знаетъ.

Иногда онъ дѣлался даже боленъ. Ничего ему не нравилося; теплый хлѣбъ и горячая похлебка казались ему невкусными. Онъ жаловался, что этой ѣды не хочется, попрекалъ женою. По ночамъ не спалъ. Жена сперва думала, что Иванъ дуритъ, но вся наружность его показывала, что онъ дѣйствительно былъ боленъ. Но деревня не признаетъ нервовъ, называя ихъ своимъ языкомъ—„блажью“.

Наконецъ, подходила весна. Пришла Пасха. Солнце начало грѣть. Таялъ снѣгъ. Явились бурныя прогалины съ щетиной прошлогодней травы. Овраги вокругъ деревни ревѣли выпадами и порогами. Запѣли первыя перелетныя птицы, радуясь началу наступающей жизни.

И жители радовались. Цѣлый день завалянки передъ избами наполнены были народомъ, молодымъ и старымъ. Странная зима прошла. Всѣ грѣлись и вдыхали влажный воздухъ, наполненный теплыми парами, поднимавшимися отъ земли. Колокола съ утра до ночи звонили. Угрюмое настроеніе студеной зимы замѣнилось живыми разговорами. Видно было, что на великій праздникъ всѣ запаслись ѣдой; на лицахъ написана была сытость. Кто имѣлъ нѣсколько уцѣлѣвшихъ топѣекъ, тотъ выпивалъ для праздника. Впрочемъ, и безъ выпивки всѣ благословляли жизнерадостные дни.

Къ концу Пасхи снова разнеслась молва, что староста чистъ на руку. На завалинкахъ и въ избахъ, трезвые и пьяные, принялись оживленно разсуждать объ этомъ воровствѣ. Одни увѣряли, что староста не смѣетъ своровать, другіе говорили, что слухъ безъ толку не явится. Старики на всѣхъ завалинкахъ разгорячались до того, что ругались, готовы вступить въ рукопашныя доказательства. Но вечеромъ споръ моментально кончился, ибо всѣ узнали, что староста дѣйствительно своровалъ и уже сидѣлъ въ находящейся при волосномъ „сажалкѣ“. Никто не зналъ, какою властью онъ поженъ туда, но всѣ были поражены. Нѣкоторые бѣжали и правленію справляться, дѣйствительно-ли сидитъ, и видѣли-ли точно сидитъ и посматриваетъ въ дыру, сдѣланную въ стѣнѣ „сажалки“. „Ты здѣсь?“ — спрашивали его. — „Здѣсь“, — отвечалъ онъ.

Какъ же это такъ скоро своровалъ и уже сидитъ? — недумывали жители. Но *скоро* только имъ казалось, — староста давно пользовался общественными деньгами и только жители не знали этого, занятые исключительно пропитаніемъ и присканіемъ способовъ „спастися“. И когда узнали о случившемся, то осердились. Имя старосты сдѣлалось ругательствомъ. До поздней ночи по всему протяженію сердились и волновались.

Единственно спокойнымъ человѣкомъ былъ въ эту минуту одинъ староста, равнодушно выглядывавшій изъ дыры „сажалки“. Онъ свое дѣло справилъ. Безпокоенъ онъ былъ тогда только, когда собирался вытащить изъ сундука принадлежащіе ему деньги, а потомъ ничего. Свойства воровской маніи вездѣ одинаковы. Кругомъ темнота, холодъ, голодъ и равнодушіе, гибель человѣческихъ связей и крушеніе общественныхъ порядковъ. Такъ было, по крайней мѣрѣ, здѣсь, въ деревнѣ. Это вродѣ какъ чума. Староста своровалъ потому же, почему люди, во время чумы, предавали разврату во всѣхъ видахъ: пользуйся минутой, за которою можетъ быть, стоитъ смерть. Староста разсуждалъ такъ: „А что, въ самомъ дѣлѣ, дай-ка я малость попользуюсь и послѣдки. Нечего въ зубы-то смотрѣть... эдакъ и помремъ, ничего ни видя!“ Осуществить это было можно среди людей глубоко равнодушныхъ, спасавшихъ свою шкуру. И онъ и пользовался. Первымъ же его дѣломъ было предоставить себѣ

удовольствіе, для чего онъ быстро поставилъ домъ изъ толстыхъ бревенъ, купилъ жирнаго и гладкаго мерина и сшилъ шиковую жилетку. Потомъ завелъ компанію съ Рубашенювымъ, писаремъ и другими: самъ поилъ ихъ и они поили его. Когда его посадили въ „сажалку“, онъ ужъ свое удовольствіе урвалъ, и взять съ него было нечего. Домъ онъ заложилъ, мерина продалъ, жилетку закопалъ виномъ. Словомъ, совершилъ, что хотѣлъ, а потому былъ спокоенъ.

Жители, между тѣмъ, волновались. На утро въ воскресенье къ, словно по уговору, двинулись къ волостному правленію и собрались въ кучъ вокругъ „сажалки“. Стали переговариваться со старостой, который выглядывалъ изъ дыры. Попрекали его. Было, между прочимъ, уже извѣстно, что староста стащилъ не только мірскія деньги, но и, какъ носился слухъ, часть собранныхъ податей, возмѣщеніе которыхъ пасть на деревню, т.-е. жители должны будутъ вторично раскешиваться. Это подлило горечи.

— Что ты съ нами сдѣлалъ?—кричали ему.

Но, увидавъ тупое равнодушіе со стороны старосты, возмущались. Поднялся гулъ ругательства. Еслибы староста былъ на волѣ, надъ нимъ совершился бы самосудъ. Многие уже предлагали взять приступомъ „сажалку“, расшибить ее и погнать вора какъ слѣдуетъ, но это желаніе почему-то не состоялось. Принялись опять укорять старосту скверными словами. Кто-то взялъ въ руку комокъ земли и пустилъ его въ „сажалку“, стараясь угодить прямо въ дыру. Это была, вѣроятно, просто шутка отъ скуки. Но едва пролетѣлъ первый камень, какъ всѣ присутствующіе схватили кто что могъ и начали кидать въ „сажалку“. Посыпался градъ камней, земли, ставшагося снѣга. Послѣ чего настало относительное спокойствіе; на время всѣ были удовлетворены, изливъ озлобленіе этимъ ребяческимъ способомъ. Да и взять со старосты ничего было.

Вдругъ кто-то вспомнилъ Ивана Чихаева. Вѣдь онъ былъ учетчикъ. Подавай сюда учетчика! Сдѣлано было распоряженіе привести Чихаева силой. Трое изъ сходки сейчасъ же бросились за Чихаевымъ и черезъ короткое время привели его.

Видомъ его всѣ были поражены; едва признавали его. Онъ зло озирался, какъ пойманный лѣсной обитатель. Лицо у

него было даже осунувшееся, какое-то мертвое; глаза влились. Волосы были нечесаны. Онъ казался всѣмъ поразительно несчастнымъ.

Съ нимъ сразу заговорили десятки голосовъ, а онъ молчалъ. Только смотрѣлъ по сторонамъ, но сказать ничего могъ. Можетъ быть, онъ разучился разговаривать въ своемъ уединеніи, но это всѣхъ озлило.

— Ты что ворочаешь буркалами? Оглохъ, что-ли?— запили два-три ближайшіе мужика на него.

— Ворона ты эдакая! Въдь ты учетчикъ былъ... что ты ротъ-то разѣваль? Прямая ворона! Говори: не примѣи тебѣ было, что вонъ энтотъ срамникъ уперъ, напримѣи капиталъ?

Иванъ продолжалъ молчать. Вдругъ по всему его тѣлу прошла какъ бы судорога.

— Братцы! Я не виновенъ... Моей вины нѣтъ... Истиннымъ Богомъ говорю!

Проговоривъ это, онъ оживился и безсвязно заговорилъ доказывая, что ничего насчетъ воровства не знаетъ. Е объяснили: староста, вишь, уперъ мірской капиталъ и не дати...

— Ты вонъ погляди на него... у него и сраму-то нѣтъ безсовѣстный!

Иванъ посмотрѣлъ на старосту, выглядывавшаго изъ „жалки“. Въ это мгновеніе съ Иваномъ совершился переворотъ. Лицо его выражало негодование. Онъ чувствовалъ, что какая-то сила подмываетъ его. Видя вокругъ себя взволнованныя лица, чувствуя горячее дыханіе живыхъ людей, онъ проникся ихъ настроеніемъ. У него явилось страстное желаніе услужить чѣмъ-нибудь людямъ. Его связывала какъ то крѣпкая связь съ ними. У него явилась страстная потребность любить людей и жить съ ними одною жизнью. Еслибы пошли ломать „сажалку“, онъ бросился бы первымъ. Если старосту начали бить, онъ нанесъ бы самый жестокий ударъ. Но этого не было. Бросали только комья земли. И Чихачевъ съ ожесточеніемъ схватилъ кучку липкой грязи и шлепнулъ ее въ стѣну „сажалки“, не попавъ въ старосту. При этомъ яростно выругался.

— Бездѣльникъ!—судорожно крикнулъ онъ и готовъ былъ заревѣть отъ злости. На глазахъ его показались слезы.

Его охватило невыразимое волненіе. Каждый мускулъ его дрожалъ. Онъ не могъ стоять на одномъ мѣстѣ и толкался по кучкамъ, на которыя разбилась сходка.

— Что-жь, ребята?... Вѣдь точно вины его нѣту,—предложилъ кто-то.—Стало быть, онъ только по глупости... Надо бы съ учетчика-то ведерка два стащить, будто за то, что проворонилъ общественныя денежки...

Это для всѣхъ былъ неожиданный и желанный выходъ.

Къ Ивану обратились съ требованіемъ.

— Ставь два ведра, ничего!—приказали ему.

Къ удивленію всѣхъ, онъ не сопротивлялся. На лицѣ его записана была полнѣйшая готовность исполнить все, что велѣтъ.

— Сейчасъ!—сказалъ онъ радостно, взявъ съ собой чело-вѣка три, и бросился домой за деньгами, а оттуда за водкой.

Пилъ онъ черезъ нѣсколько часовъ вмѣстѣ со всею деревней, лихорадочно угощая. Домой онъ не показывался цѣлыя сутки.

Но когда пришелъ, то, крадучись, вынулъ изъ сундука часть денегъ и пустился бѣжать, послѣ чего снова пропалъ на цѣлыя сутки. Видѣли, что онъ ходилъ съ бутылкою водки, окруженной толпой оборванцевъ, которые съ сіяющими лицами слѣдовали за нимъ. Онъ ихъ угощалъ и также сіялъ.

Жена ужаснулась, увидавъ это. Видимо, съ Иваномъ произошелъ новый переворотъ, конца котораго она не могла опредѣлить. Пробовала она принять мѣры. Когда Иванъ явился на третій день ночью пьянымъ, она заперла его въ чуланъ. Онъ сперва буянилъ, колотилъ въ стѣны, но скоро настроеніе его перемѣнилось. Онъ сталъ меланхолически пѣть божественныя пѣсни.

Къ утру ему удалось бѣжать изъ чулана, захватить деньги и скрыться. Имъ овладѣла какая-го горячка пустить по утру все, что онъ взялъ отъ людей въ минуту ихъ бѣдствія. Въ недѣлю, слѣдующую за праздникомъ, онъ спустилъ всѣ деньги дочиствѣ. И только послѣ этого остепенился.

Но съ этой поры онъ уже сталъ не тотъ. Дома онъ почти не жилъ. Его тянуло вонъ изъ избы. Принужденный иногда остаться на мѣсяцъ дома, онъ выглядѣлъ скучнымъ. Ночью метался и ни за что нельзя было заставить его остаться одному въ избѣ. Онъ не могъ прожить дня безъ общества

людей. Выписавъ опять племянника и дочь изъ города, са онъ ходилъ по заработкамъ, и всегда въ артели, хотя однимъ товарищемъ. Дома онъ глядѣлъ угрюмымъ и несча нымъ, но на людяхъ, едва вырвавшись изъ избы, мгновенно дѣлался болтливымъ, шутилъ, смѣялся.

Онъ сдѣлался обыкновеннымъ деревенскимъ жителемъ — богатымъ и не обезпеченнымъ отъ случайностей, и жилъ такъ какъ и всѣ. Испытавъ на себѣ, какъ страшно отдѣлять отъ людей, онъ никогда больше не могъ питать въ се бодинокіе и негодайскіе замыслы противъ окружающихъ.

Соломы онъ больше уже не копилъ.

VI.

П у с т я к и.

До своей деревни Мирону оставалось не болѣе пятнадцати верстъ, ничего не значущихъ для свѣжихъ ногъ. Но онъ прошелъ не одну сотню верстъ, усталъ, проголодался и почувствовалъ желаніе отдохнуть. Положа на землю сапоги и вломку, болтавшіеся у него за спиной, снявъ шапку и затылъ-то посмотрѣвъ въ ея нутро, онъ нѣсколько минутъ ставался въ нерѣшительности, гдѣ ему присѣсть. По обѣимъ сторонамъ дороги торчали шаршавые кусты, въ прошломъ году дочиста обглоданные скотомъ, а нынѣ только-что покрывшіеся рѣдкою, заморенною листвою; подъ кустами зеленѣла женья травка, а надъ ея уровнемъ кое-гдѣ возвышались пышные бугры изъ глины, сдѣланные муравьями. Неизвѣстно почему, но Миронъ выбралъ мѣсто привала возлѣ одного изъ этихъ бугровъ. Не медля ни минуты, онъ вынулъ изъ котомки съѣстные припасы, берестяный буракъ съ водою и принялся, съ нѣсколько странными приемами, закусывать. весь сосредоточившись на этомъ занятіи. Сначала онъ отрѣзалъ тоненькій листикъ ржаного хлѣба, посыпалъ его тончайшимъ, почти невидимымъ слоемъ соли и отложилъ съ величайшею бережливостію въ сторону. Потомъ принялся лущить луковицу; слупивъ съ нея осторожно первую кожуру, онъ собралъ ее на ладони и съ задумчивымъ видомъ соображалъ, нельзя-ли и ее съѣсть? Однако, убѣдившись, что это невозможно, онъ съ сожалѣніемъ положилъ ее на траву. И тогда только рѣшился кусать листикъ хлѣба съ лукомъ. Съѣвъ первую порцію, онъ нѣкоторое время медлилъ, думая,

что может ограничиться такимъ обѣдомъ, но рѣшилъ еще отрѣзать немножко. Еще и еще, и такъ далѣе. Странная операція продолжалась долго и съ одинаковымъ однообразиемъ, пока луковица не была доѣдена. Тутъ ужъ дѣлать было нечего. „Будетъ! и то ужъ очень сладко!“—сказалъ Миронъ съ укоризной, обращенной, очевидно, къ собственному желудку. Сложивъ оставшуюся краюху ржаного хлѣба въ котомку, онъ задумался. Думалъ онъ о томъ, съѣсть-ли ему оставшееся каленое яйцо, или донести домой въ цѣлости. Но искушеніе было столь сильное, что онъ поддался ему почти безъ сопротивленія. Послѣ этого онъ перекрестился, икнулъ и торопливо проговорилъ серьезнымъ тономъ:

Богъ напиталъ,
Никто не видалъ,
А кто видѣлъ,
Тотъ не обидѣлъ.

Во все продолженіе обѣда онъ не обращалъ вниманія на окружающее. Пролетѣла ворона надъ его головой, съѣла ближайшее дерево и принялась глядѣть на него; возлѣ не черезъ дорогу пробѣжалъ сусликъ, надъ самою его головою копошились какія-то твари; въ уши, въ носъ и ротъ лѣзли ему весеннія мошки. Но только послѣ прекращенія обѣда онъ оглядѣлъ окрестность. Вдали по дорогѣ показался еще человѣкъ, но за дальностью разстоянія Миронъ долго не могъ ничего разобрать. Прохожій понуро шелъ, глядя въ землю.

— Господи! Неужели Егоръ Ѳедорычъ?!—воскликнулъ Миронъ, разинувъ ротъ отъ удивленія.

Послѣдній, внезапно окликнутый и выведенный изъ задумчивости, поднялъ голову.

— Ты-ли, Егоръ Ѳедорычъ?—продолжалъ спрашивать Миронъ.

Но на его восклицанія Егоръ Ѳедорычъ молчалъ, очевидно не узнавая своего земляка.

— Стало быть, не признаешь?

Прохожій покачалъ головой.

— Мирона-то, говорю, не признаешь?... Я Миронъ, чи помнишь... эка!

И на это прохожій только покачалъ головой, усиленно взглядываясь въ Мирона.

— Я Миронъ, ишь память-то у тебя отшибло!... Миронъ Уховъ, Миронъ Петровъ, а по прованію Уховъ... эка!

Прохожіи узналъ и улыбнулся. Земляки поздоровались. Егоръ Ѳедорычъ также усѣлся на травѣ и снялъ свою кофму съ плечъ. Обыкновенно при такихъ неожиданныхъ встрѣчахъ люди принимаются усиленно говорить, захлебываясь и перебивая другъ друга, но при этой встрѣчѣ говорить и спрашивалъ одинъ только Миронъ, а Егоръ задумчиво вглядывался въ него, протянувъ ноги и пощупывая ихъ.

— Зудятъ?—спросилъ Миронъ, указывая на ноги.

— Безпокойно,—отвѣчалъ Егоръ Ѳедорычъ.

Отъ сидѣлъ такъ же понуро, какъ и шелъ. Онъ былъ торбленъ, казался дряхлымъ, съ осунувшимся лицомъ, хотя шіе волосы его не имѣли ни одного сѣдого волоса.

— Знаю я это. Словно кто жуеъ у тебя икру. Какъ и не жидься, братецъ ты мой, ежели ты бывалъ, чай, и въ Питрѣ, и въ Москвѣ, и въ Крыму, и у казаковъ, и въ прочихъ налестинахъ?... А ты ихъ дегтемъ мажь.

— Хорошо?

— Первое удовольствіе. Сейчасъ вытеръ больное мѣсто—ничего, вреда нѣтъ.

Миронъ предложилъ Егору Ѳедорычу воды, видя его запекшія губы. Это дало новый оборотъ разговору.

— На какомъ же ты теперича положеніи сюда предъявилъ? За какою нуждой?—спросилъ Миронъ.

— Побывать вздумалъ.

— Значить, дѣло?

— Нѣтъ, такъ... заскучалъ.

— Это вѣрно. Заскучать не долго. Ужь я на что челоуѣкъ, можно прямо сказать, домашній, да и то даже на удивленіе!... Все думаешь, какъ тамъ лошадь, благополучна-ли вдова. Тоже опять ребята, хозяйка — все забота, все безпокойство. Нынче я и не чаю какъ домой прибѣжать...

— Несчастье?

— Нѣтъ, Богъ грѣхамъ терпитъ, несчастья нѣтъ. Но только въ мосолъ...—Говоря это, Миронъ взволнованно смотрѣлъ на собесѣдника.

— Какой мосолъ?

— Обыкновенно мосолъ, кости... Ну, только вполнѣ измучился! И во снѣ-то, ночью, все онъ мнѣ видится, чуть при-

курнешь, а ужь его видимо-невидимо! А на яву безперече думаешь, въ какой препорціи покупать, за какія цѣны продавать и прочее тому подобное...

— Да ты о чемъ говоришь?—спросилъ Егоръ Ѳеодорычъ раздраженно.

— Обыкновенно, о костяхъ. Думаю я, братецъ, промышленность завести, прямо сказать—торговлю. Надоумилъ меня въ городѣ одинъ баринъ; не то, чтобы баринъ, а даже и кей въ господскомъ домѣ. Пришелъ я однава къ нему по лѣстницу,—тринадцать копѣчекъ полагалось съ него получить,—пришелъ и гляжу: лукошко стоитъ, а въ лукошкѣ ѡ кость; стало быть, господа ѣдятъ убоину, а кости не трагаютъ... „Куды, спрашиваю, предназначаются?“ Тутъ-то я узналъ, что кость идетъ въ пользу, хорошія деньги даетъ. Съ этой поры я и задумалъ.

— Если даетъ хорошія деньги, такъ на что лучше,—сказалъ Егоръ Ѳеодорычъ.

— То-то вотъ и разсчитываю. Иной разъ, Господи благослови, въ барышѣ у меня остается рубль, иной—три, а такъ и нѣтъ ничего... Какъ вспомнишь, что тебѣ ничего останется за всѣ твои труды-хлопоты, какъ подумаешь, что сохрани Богъ, ухлопаешь свои собственные денежки на это мосоля, все равно какъ дубиной тебя долбанеть! Ты какъ мнѣ присовѣтуешь?—съ нетерпѣніемъ и дрожью въ голоѣ спросилъ вдругъ Миронъ.

— Что-жъ я тебѣ присовѣтую? — возразилъ Егоръ Ѳеодорычъ.—Я толку не знаю. Самъ бы я завсегда плюнуть эти полоумные пустяки, а ты какъ знаешь. Это ужь тѣ дѣло.

Егоръ Ѳеодорычъ сталъ собираться. Замолчали. Тишина возмутная. Миронъ беспокойно поглядывалъ вокругъ, рмышляя о своемъ дѣлѣ, а Егоръ Ѳеодорычъ безучастно гдѣлъ вдаль.

Наконецъ, Миронъ первый нарушилъ молчаніе. Онъ предложилъ Егору Ѳеодорычу идти вмѣстѣ. Оба они заразы всли, закинули за спину свои котомки и молча зашагали дорогѣ на родину. На полпути Егоръ Ѳеодорычъ свернулъ сторону, объявивъ, что ему надо зайти въ другую деревню. Во все время онъ не спросилъ ничего, что дѣлается до ни одного слова! Миронъ нѣкоторое время слѣдилъ глазами

за его сгорбленною фигурой, медленно двигавшеюся посреди кустовъ, и на мгновеніе задумался. Такое впечатлѣніе Егоръ Ѳедорычъ производилъ на всѣхъ, кто съ нимъ сталкивался.

Никто въ деревнѣ не обратилъ вниманія на возвращеніе Егора Ѳедорыча Горѣлова (такъ было его прозвище), когда онъ снова, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ отсутствія, поселился въ своемъ заброшенномъ домѣ. У каждого было свое собственное дѣло и некогда думать о чужихъ.

Егоръ Ѳедорычъ не только не оскорблялся этимъ равнодушіемъ, но былъ радъ ему, потому что желалъ одного, чтобы его не трогали и не надоѣдали ему разными мучительными дѣлами. Одинокій, безъ семейства и безъ друзей, онъ безучастно и уединенно жилъ въ своей избѣ. Конечно, жуткій это былъ кровъ. Не говоря дурного слова о сосѣдяхъ, можно, тѣмъ не менѣе, подтвердить фактъ, что всѣ хозяйственные постройки возлѣ избы куда-то пропали вмѣстѣ съ плетнями, заборами и воротами; послѣ нихъ на дворѣ остались однѣ груды мусора, да и тѣ заросли травой, а ветлы, посаженные нѣкогда (давно это было) Егоромъ Ѳедорычемъ на задахъ, были срублены, и лишь корни ихъ еще виднѣлись изъ земли. Самая изба подверглась опустошенію; въ ней теперь стояла только печь, отъ которой несло холодомъ. Въ трубѣ поселились галки, въ сѣняхъ—летучія мыши.

Ни къ чему не прикасался Егоръ Ѳедорычъ по приходѣ домой. Онъ бросилъ въ' одинъ уголь охапку сѣна, служившаго ему постелью, купилъ чашку, ложку и котелокъ, въ которомъ по вечерамъ варилась жидкая каша. Въ этомъ и состояло все его хозяйство. Странно сказать, онъ не бѣгалъ, не хлопоталъ и не имѣлъ никакого опредѣленнаго дѣла; странно потому, что всѣ въ деревнѣ бѣгали и хлопотали, все что-то такое устроявая.

Когда у него вышли всѣ деньги, онъ сталъ наниматься на работы, которой въ это время довольно было вездѣ. Вознагражденіемъ онъ довольствовался ничтожнымъ, беря гривенникъ или двугривенный, вообще столько, сколько ему надо было на хлѣбъ и на кашу. Это равнодушіе удивляло и радовало, такъ что всѣ брали его съ удовольствіемъ. Не нрави-

лось только то, что онъ былъ плохой работникъ. Ёдетъ онъ, напимѣрь, по пашнѣ съ бороной, а самъ все о чемъ-то думаетъ и такъ задумается, что ѣздитъ часъ, другой, третій. „Ты что же дѣлаешь?“—спрашиваетъ у него хозяинъ, и только тогда Егоръ Ѳедорычъ приходитъ въ себя.

Ни съ кѣмъ онъ не объяснялся о своихъ думкахъ, да и у него никто не спрашивалъ, какъ онъ думаетъ жить по возвращеніи. Развѣ отъ нечего говорить спросить иной хозяинъ объ его дѣлахъ. Такъ, однажды хозяинъ принялся его пытаться разными вопросами. Дѣло было на пашнѣ во время обѣда.

— Какъ же ты, Егоръ Ѳедорычъ, насчетъ хозяйства, думаешь приравнивать или такъ?—спросилъ хозяинъ.

— Такъ,—отвѣчалъ Горѣловъ.

— Мочи нѣтъ, т.е., напимѣрь, капиталу?

— Не желаю!

— А надо бы...

— Не надо,—возразилъ Горѣловъ.

— Хозяйство? Чудако ты, я вижу, ѣтакое неосторожное слово сказалъ! Да какъ же безъ хозяйства? Хозяйство всякъ долженъ приспособить.

— Для чего?

— Это хозяйство-то?

Очевидно, это слово ставило хозяина въ тупикъ.

— Да глухо, что ли ты?... Ну, шутникъ ты, погляжу я. Потому хозяйство требуется, быть безъ него нѣтъ силы возможности. Даже какой-нибудь мошенникъ или собачій сынъ и тотъ... Да какъ же это возможно, чтобы хозяйства не надо

— Разное бываетъ хозяйство. Главное, чтобы въ умѣ былъ порядокъ. Который человекъ полоумный и никакого хозяйства въ душѣ у него не водится, тому все одно... Есть у тебя такое хозяйство?—рѣзко спросилъ Горѣловъ.

Хозяинъ положилъ ложку на траву, положилъ туда же недоѣденный огрызокъ хлѣба и чесалъ спину. Изумленіе его было столь велико, какъ еслибы ему сказали, что его ноги собственно говоря, растутъ вмѣстѣ съ онучами у него на головѣ. Подумавъ немного, онъ снова взялъ ложку и только сказалъ въ глубокой задумчивости: „Вонъ оно какъ!“ Разумѣется, хозяинъ послѣ такого разговора пересталъ разспрашивать Горѣлова, чувствуя къ послѣднему неопредѣленный страхъ.

Вообще послѣ такихъ разговоровъ многіе жители деревни стали побаиваться Горѣлова. Оказалось, что говорить съ нимъ нѣтъ никакой возможности: нападаетъ тоска. Развѣ иной познанию впутается въ разговоръ, да и то спѣшить замолчать. Такъ было черезъ нѣсколько дней у другого мужика, крѣпкого неосторожности пристать къ Горѣлову за совѣтомъ. Горѣловъ нанялся къ нему за четырнадцать копѣекъ помогать пахать. Между тѣмъ, хозяинъ недавно перенесъ глубокое несчастіе: у него развалилась изба. Чтобы поправить поскорѣе, онъ отобралъ годныя къ употребленію бревна отъ старой избы, прибавилъ къ нимъ круглыхъ чурбашковъ отъ курятника, присоединилъ еще нѣсколько слегъ отъ коровника и сочинилъ изъ этого нѣчто новое, якобы избу. Но убѣжище это не понравилось ему и мучило его однимъ своимъ видомъ, въ сожалѣнію, довольно страннымъ. Съ этимъ дѣломъ онъ и обратился къ Горѣлову, считая послѣдняго опытнымъ.

— Ты какъ думаешь о моей избѣ... выдержать? — спросилъ онъ.

— Не знаю, — отвѣтилъ Горѣловъ.

— Я полагаю, не выдержать! — съ внезапнымъ отчаяніемъ говорилъ хозяинъ. — Все она смотритъ вотъ эдакъ... Задомъ съ и передъ подняла кверху.

— Что-жъ, опрокинется, — замѣтилъ Горѣловъ.

— Во-во... это самое я и думаю! Не выдержать! Что-жъ нѣтъ съ ней, подлой, дѣлать?

— А я почему знаю?

— Нѣтъ, такъ, къ слову, что бы ты присовѣтовалъ, а?

— Да говорю тебѣ — не знаю!

— Однако, какъ бы ты думалъ? Чѣмъ бы эдакъ утвердить ее? Чего ей, сволочи, недостаетъ?

Горѣловъ, наконецъ, потерялъ терпѣніе.

— Иѣсу ей недостаетъ, а тебѣ ума и Бога, — сказалъ онъ со злобой.

Молчаніе и оцѣпенѣніе. Хозяинъ буквально разинулъ ротъ, даже поблѣднѣлъ, потому что имъ овладѣлъ вдругъ какой-то суетный страхъ.

Темныя слова, сказанныя Горѣловымъ, были, очевидно, чужды для него. Подъ ними онъ разумѣлъ цѣлый рядъ явленій, хорошо знакомыхъ ему, кровью пережитыхъ и потому особенно ненавистныхъ, какъ и все его прошлое, внушавшее

ему одно отвращеніе. Между тѣмъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, онъ былъ не тотъ, какимъ сталъ теперь. Большинство жителей деревни скажетъ, что тогда онъ жилъ ладно,—ладно то-есть вмѣстѣ со всѣми прочими. Всѣ метались, промышляя ѣду, и онъ метался. Никто не помнитъ истинной жизни и онъ забылъ. Забылъ вплоть до того времени, когда ему случайно пришло на мысль волей-неволей оглядѣть себя. В это время онъ сдѣлалъ открытія, самъ не вѣря тому, какъ онъ могъ ихъ пропустить мимо глазъ и ушей.

Было-ли въ его жизни что-нибудь особенное? Нѣтъ, ровничаго такого, что было бы необыкновенно въ деревенской жизни. Пожалуй, можно приписать случившійся въ его на строеніи переворотъ трешницѣ, но исторія ея также обыкновенна. Она состояла въ слѣдующемъ. Былъ у Егора Ѳедорыча шестилѣтній сынъ Мишка. Неизвѣстно, любилъ-ли онъ его, какъ единственную свою опору въ будущемъ, только особеннаго вниманія Мишка не обращалъ на себя. Мальчонка росъ, ѣлъ, бѣгалъ по лужамъ, ловилъ воробьевъ, ѣздилъ верхомъ на телятахъ, ревѣлъ, когда его колотили, или шалилъ, когда его забывали на цѣлую недѣлю,—все какъ слѣдуетъ. Но вотъ однажды пришлось Егору Ѳедорычу прихватить сосѣда деньжонокъ; тотъ далъ и въ назначенный срокъ аккуратно пришелъ за долгомъ. Егоръ Ѳедорычъ также аккуратно вытащилъ изъ-за пазухи кожаный кошелекъ, а изъ кошелька осторожно вынулъ трешницу и нѣжно разглаживалъ ее на ладони. И вдругъ дьяволъ подтолкнулъ Мишку, выпросить у отца бумажку, чтобы посмотреть на нее хоть однимъ глазкомъ. Не успѣлъ отецъ опомниться, какъ сорванецъ подбѣжалъ къ печкѣ, которая топилась, и выронилъ бумажку, заявивъ объ этомъ несчастіи страшнымъ ревомъ. Моментами всѣ находящіеся въ избѣ бросились къ печкѣ и нѣсколько паръ глазъ вперились въ огонь. Бумажка вспыхнула и пропала. Егоръ Ѳедорычъ бросился отъ печки, догнавъ улетающаго Мишку и, видя себя отъ ужаса и отчаянія, принялся тузить его. И вѣдь, правильно говоря, не долго тузить. Но Мишка съ этой поры сталъ какой-то дуракъ, чистый юродивый. Изъ ушей у него текло, изъ рта текло, изъ носа текло, глаза смотрѣли тупо, слышать онъ пересталъ. Потомъ онъ померъ.

Такъ вотъ. Пожалуй, можно приписать случившійся въ

душѣ Егора Федорыча перевернуть трешницѣ, но, вѣроятно, были общія, болѣе широкія условія всей деревенской жизни, благопріятствовавшія, вмѣстѣ съ трешницей, превращенію Егора Федорыча изъ хозяина въ бездомнаго шатуна, не знавшаго нигдѣ покою. Самыя обыденныя и обыкновенныя вещи ему опротивѣли съ этого времени. Первымъ предметомъ его отвращенія сдѣлался ближайшій къ нему человекъ — хозяйка его Аннушка. Не то, чтобы она была, дѣйствительно, пропавшая баба, — совсѣмъ напротивъ. Аннушка работала съ нечеловѣческими усиліями, по-лошадиному, а потребности имѣла ничтожныя. Видѣ ея былъ всегда растерянный и пугливый, но это происходило отъ того, что она не давала себѣ отдыха. Даже въ свободныя минуты она готова была куда-то бѣжать, что-то схватить, ввалить на спину и тащить, — такое ужь для нея было безпокойное. Сидитъ, напримѣръ, въ воскресенье и ѣстъ ватрушку, но вдругъ вспомнить какую-нибудь картошку, которую надо будто бы перенести вотъ въ этотъ уголокъ, — вспомнить и ринется, а потомъ ужь цѣлый день все что-то перетаскиваетъ, перекатываетъ и перевозитъ, тяжело дыша, а къ вечеру валится, какъ убитая, и спитъ, какъ бездыханный трупъ. Такая неустанная дѣятельность уживалась рядомъ съ неряшливымъ одѣяніемъ, съ замореннымъ лицомъ и вѣчною бѣдностью всюду, гдѣ она только проявляла эту дѣятельность.

Наблюдая за ней, Егоръ Федорычъ питалъ все большую и большую ненависть къ ней. За то, что она работала до упаду, за то, что у ней не было ни минуты покою, — однимъ словомъ, за все, что въ ней было для всѣхъ постороннихъ хорошаго, онъ чувствовалъ отвращеніе къ ней, какъ и къ картошкѣ, узламъ, отрубямъ и прочей дряни, ради которой она убивалась. Иногда кипѣвшая внутри его злоба вырывалась наружу. „Да ты хоть бы разъ подумала... Спрашиваю я, для какой надобности ты всполошилась и вообще по какимъ причинамъ ты живешь? Ну, хоть бы одно путное слово обронила... туды-сюды мечешься, какъ оглашенная, тамъ накричишь, въ другомъ мѣстѣ наругаешься... хлопъ—и спишь“... Говоря это, Егоръ Федорычъ чувствовалъ всю безнадежность этихъ словъ и своей жизни. Наконецъ, онъ не выдержалъ и отправился на заработки, да тамъ и застрялъ на нѣсколько

лѣтъ. Аннушка также ушла на заработки, долго мыкала по свѣту Божьему. Потомъ померла.

Получивъ полнѣйшее отвращеніе ко всѣмъ обычнымъ дѣламъ и порядкамъ, Егоръ Ѳедорычъ нигдѣ и ни въ чемъ уже не могъ остановиться. Поработавъ въ одномъ мѣстѣ, онъ шелъ въ другое, гонимый какимъ-то беспокойнымъ чувствомъ. Онъ колесилъ по всей Россіи, побывалъ въ самыхъ темныхъ закоулкахъ, но нигдѣ по-долгу не оставался. Недавно онъ заскучалъ по родной сторонѣ и поплелся туда.

Теперь беспокойное чувство утихло немного, и онъ мирно жилъ въ своей старой избѣ. Каждый день онъ шелъ куда-нибудь работать, а вечеромъ возвращался домой, разводилъ въ печкѣ огонь, варилъ кашу и грѣлъ мозжавшія ноги. Морщинистое лицо его было спокойно и безучастно. По видимому, ничего не ожидая отъ жизни, онъ ничѣмъ не волновался. Его не манила къ себѣ деревенская суета, не прельщала его копѣйка и не гонялся онъ за кускомъ. Какой-нибудь гривенникъ вполне удовлетворялъ его. Но у него была внутренняя жизнь, волновавшая его, были внутренніе раи, которыя болѣли, потому что онъ самъ ихъ бередилъ.

Сидя передъ пылающею печкой, Егоръ Ѳедорычъ весь погружался въ свои думы. Деревня давала ему матеріалъ ежедневно, а онъ его перерабатывалъ, только мысли его принимали чрезвычайно странныя формы. Онъ думалъ о своей родной деревнѣ, припоминая въ то же время Аннушку и Мишу. Всѣ свои думы онъ олицетворялъ въ этихъ двухъ образахъ вѣзавшихся ему въ память такъ сильно, что онъ уже могъ обойтись безъ нихъ, размышляя о деревенской жизни. А послѣдняя ежеминутно врывалась въ его жизнь, хотя онъ казался равнодушнымъ ко всему. Онъ не могъ оторваться отъ нея, хотя старался не думать о ней. Да, наконецъ, и этому-то онъ и возвратился къ своей землѣ, въ свою избу, что они, помимо его воли, влекли къ себѣ. И вотъ онъ и лей-неволей задумывается надъ жизнью деревни, волнуясь, припоминая, гнѣваясь и страдая... Все это переживалось передъ печкой. Когда ему въ голову лѣзли ненавистныя для него деревенскіе порядки, когда въ немъ поднималось отвращеніе къ „полоумству“, тогда вдругъ деревня превращалась въ Аннушку, которая вставала передъ нимъ во весь ростъ и онъ ссорился съ деревней, которая все суется за карто

кой, все о чемъ-то горячо, до смерти хлопочеть, но ничего изъ этого не выходить путнаго. Видъ ея растерянный, дѣла полоумныя и ни ума, ни Бога.

— Хозяйка!—говорить Горѣловъ вслухъ, забывъ, что Аннушка давно умерла. — Да ты хоть бы однажды одумалась, полоумная, по какимъ причинамъ ты живешь? Что ты все суеться, дура?

Воспаленные глаза Горѣлова неподвижно смотрѣли на огонь, и все лицо его выражало ненависть: онъ припоминалъ и соединялъ все гнусное изъ жизни своей деревни... Но, въ сущности, онъ жалѣлъ ее отъ всего сердца, любилъ, былъ до могилы привязанъ къ ней, къ этой несчастной странѣ, которую оглушили, изувѣчили. Тогда появлялся Мишка, какъ живой, и на лицѣ Горѣлова появлялась невыразимая жалость.

— Мишка!—говорилъ Горѣловъ шепотомъ,—ты не сердись... прости меня!... Славный былъ бы мужикъ... прости, Мишка!

Егоръ Ѳедорычъ съ тоской глядитъ въ одну точку печки и совершенно позабываетъ, гдѣ онъ и что съ нимъ. Но всѣ эти представленія и лица, предметы и событія, перепутанные и темные, были для него ясны, какъ Божій день, и составляли одно цѣлое. Деревня и Аннушка, Мишка и мужикъ,—все это совершенно складно соединялось у него. Первую онъ ненавидѣлъ, втораго жалѣлъ. Первой онъ приписывалъ полоумство, глупость, второй вызывалъ внутри его невидимыя рыданія. Отъ первой онъ бѣжалъ, второму хотѣлъ помочь. И для него все было ясно.

Тогда онъ проводилъ свои вечера. Трудно сказать, до чего онъ дошелъ бы въ этомъ мучительномъ перебираніи пустяковъ и припоминаніи безпутно проведенной жизни, еслибы онъ имѣлъ средства безотлучно торчать передъ печкой. Но у него не было гривенника, и, чтобы добыть его, онъ долженъ былъ поневолѣ забывать свои думы, жить день за день, сталкиваться съ людьми, проникаться ихъ несчастіями и слушать деревенскіе разговоры. За постоянною работой ради этого гривенника, за неминуемыми разговорами все о томъ же гривенникѣ должна была неизбѣжно протекать и его жизнь.

Черезъ нѣкоторое время даже въ самой избѣ его поселился сожитель, нѣкій Ѳедосій, повидимому, старичокъ, на самомъ же дѣлѣ еще довольно молодой мужикъ, только страдавшій

ломотой въ рукахъ, а потому безпомощный. Не имѣя пристанища въ деревнѣ, хотя былъ кореннымъ ея жителемъ, онъ просился къ Горѣлову, обольщая его двадцатью копѣйками ежемѣсячной платы. Эта просьба цѣлый часъ оставалась безуспѣшной.

— Пустишь? — со страхомъ спрашивалъ Ѳедосѣй, не переставая обольщать. — Тоже, братъ, двадцать-то копѣекъ — деньги! Онѣ, двадцать-то копѣекъ, съ полу не поднимаются. Двугривенный, соколъ мой! А при всемъ томъ я прошу Христомъ Богомъ, сдѣлай снисхожденіе несчастному!

— Молчи! — съ негодованіемъ, наконецъ, сказалъ Горѣловъ, выходя изъ себя. — Больно мнѣ нуженъ твой гривенникъ или двугривенный... Чтобы ни слова, а иначе по шеѣ.

Ѳедосѣй со страхомъ смотрѣлъ въ лицо Горѣлова, ожидая его рѣшенія, какъ смерти. Но, къ удивленію и радости его, Горѣловъ согласился пустить его въ свой домъ на жительство, указавъ уголь, гдѣ онъ могъ спать, сколько ему угодно. Онъ только утвердительною тономъ выговорилъ условіе, чтобы Ѳедосѣй не болталъ. „Придешь съ работы, шлепъ въ уголь — и молчи, а иначе по шеѣ“. Это условіе Ѳедосѣй свято исполнялъ.

Нельзя представить себѣ болѣе дѣловаго человѣка, какъ этотъ Ѳедосѣй. Проживъ свое хозяйство, свой домъ и свою семью, онъ остался спокоенъ, какъ генералъ, проигравшій сраженіе. У него каждый день находились дѣла. Правда, за работы его были плохіе, — кто же дастъ ему работу, когда руки у него не годятся? — но Ѳедосѣй оставался твердымъ дѣлательно искалъ работы и пищи, и если иногда обстоятельства ставили его въ недоумѣніе, такъ онъ, не долго раздумывая, бралъ кошель и знакомымъ ему тономъ вымаливалъ куски Христа ради. Последнее занятіе было даже вѣрнѣе; и бывало случая, чтобы Ѳедосѣй приходилъ домой съ пустыми руками. Куски всегда приносились въ достаточномъ количествѣ, вслѣдствіе чего Ѳедосѣю непременно представлялась возможность, по приходѣ домой, заняться подробнымъ вычисленіемъ и сортированіемъ добычи. Онъ высыпалъ всю добычу изъ кошеля и раскладывалъ куски на кучи. Вотъ это сейчасъ съѣсть, эта пойдетъ на завтрашній день, эта куча предназначается къ продажѣ, а эту должно обратить въ сучари. Ѳедосѣй разсчитывалъ глубокомысленно, какъ банкиръ

водводящій балансъ. Вообще, жизнь Ѳедосѣя была занятая, полная. Въ то время, когда онъ поселился у Горѣлова, онъ лашель довольно складную работу. На маслобойнѣ въ соседней деревнѣ пала лошадь, возившая ремень, которымъ вертѣлись маслобойныя колеса. Узнавъ объ этомъ, Ѳедосѣй живо скаталъ на маслобойню и послѣ непродолжительныхъ переговоровъ подрядился возить колеса впредь до того времени, когда хозяиномъ будетъ приобрѣтена новая лошадь, за что получалъ шесть копѣекъ въ сутки и жѣру толокна.

Никакого имуществъ Ѳедосѣй не имѣлъ; все у него было ободрано, рвано, вонюче. Но Ѳедосѣй не унывалъ никогда, довольный всѣмъ міромъ, всею своею жизнью, и въ томъ числѣ и своею одеждой. Однако, и у него были свои пристрастія. Во-первыхъ, онъ до безконечности любилъ сахаръ и постоянно имѣлъ его, хотя бы въ видѣ огрызка съ булавочную головку. Гдѣ онъ его доставалъ—неизвѣстно, но каждый вечеръ послѣ серьезной и утомительной дѣятельности за ужиномъ онъ сгрызалъ немножко сахару, и только тогда спокойно укладывался спать. Другою страстью его были рукава полушубка. Полушубокъ давно протухъ, истлѣлъ и изнасялся,—званія его не оставалось,—но рукава остались. Ѳедосѣй неизмѣнно надѣвалъ ихъ на руки и говорилъ, что безъ нихъ ему давно бы пришелъ смертный часъ. Онъ ихъ любилъ, берегъ и боялся, какъ бы ихъ не украли.

Горѣловъ въ первое время усиленно наблюдалъ Ѳедосѣя въ концѣ-концовъ, къ своему собственному удивленію, жалѣть его. Иногда онъ кое въ чемъ помогалъ ему, иногда давалъ ему кашицы. Ѳедосѣй за это такъ привязался къ нему, что въ дождливое время отдавалъ ему на храненіе рукава.

Въ рѣдкія минуты у Горѣлова являлось желаніе виѣшаться въ дѣла деревни. Такъ было черезъ недѣлю послѣ того, какъ въ его домѣ поселился Ѳедосѣй. Егора Ѳедорыча потребовали на сходъ, и онъ не отказался идти. На очереди стояли два вопроса. Во-первыхъ, пустить Рубашенкова съ лавочкой или отказать ему. Второй вопросъ заключался въ томъ, платны-ли міряне сдѣлать единовременный взносъ одной копѣйки съ души на покупку канцелярскихъ принадлежностей для сборной избы, гдѣ сельскій писарь растратилъ всѣ деньги на выдуманнаго имъ способа дѣлать рыжія чернила,

и обозлился, вымаливая у бабъ гусиныхъ перьевъ, такъ какъ стальные перья составляли для него неосуществимую мечту. Міряне, послѣ продолжительныхъ взаимныхъ оскорбленій, согласились на уплату одной копѣйки, которую, впрочемъ, рѣшено было выбить изъ мірянъ черезъ мѣсяць, по причинѣ безденежнаго сезона.

Горѣловъ раздраженно покачалъ головой и выбросилъ и столъ нѣсколько мѣдяковъ, — поступокъ, вызвавшій во всѣхъ присутствовавшихъ оцѣпенѣніе, а потомъ благодарность. Горѣловъ на этотъ разъ сдержался и отошелъ въ самый дальній уголъ, гдѣ на лавочкѣ помѣщался Прохоровъ, бывшій на этотъ разъ въ трезвомъ состояніи. Прохоровъ имѣлъ довольно жалкій видъ: короткіе штаны, открывавшіе голыя икры, коты на ногахъ, вмѣсто сапоговъ, не придавали ему бодрости; онъ робко прижался въ уголъ, не смѣлъ слѣсывговорить и чего-то стыдился. Сосѣдство же Горѣлова привело его въ полное смущеніе; онъ еще плотнѣе прижался къ углу, повидимому, желая влѣзть въ самую стѣну, что скрыться тамъ.

Горѣловъ, конечно, и не думалъ пугать кроткаго Прохорова, который только вообразилъ это, потому что съ мѣсяцъ лѣтъ былъ напуганъ всею совокупностью нехорошей жизни. Лицо Горѣлова, правда, 'исказилось злобою, но оно относилась къ рѣшенію схода относительно Рубашенкова. Рѣшено было въ такомъ смыслѣ: по причинѣ того, что сидѣться съ Рубашенковымъ нѣтъ возможности, то взять отъ него четыре ведра, а лавочку пушай заводить. Это было обыкновенное рѣшеніе. Крестьяне чувствовали свою немощь и вознаграждали себя за безсиліе водкой.

Таково было обаяніе имени Рубашенкова. Это былъ родной житель деревни, который рано понялъ невыгоду бытія дуракомъ. Нѣкогда постояннымъ занятіемъ его было выпусканіе хлѣба изъ амбаровъ посредствомъ пробуравленія дыръ, но затѣмъ онъ нашелъ это ремесло невыгоднымъ и бросилъ его; отъ него остались только незначительныя признаки на лицѣ, а именно: рубецъ на лбу, ближе къ левому виску, и поротое лѣвое же ухо. Онъ сдѣлался подрочникомъ у Тараканова, занимался наймомъ рабочихъ, которые боялись его пуще огня. Въ немъ была одна глубокая совершенно немошенническая черта: онъ страшно, систе-

тически мстилъ за свое прошлое. Иногда онъ не обращалъ вниманія даже на матеріальные интересы свои, чтобы только удовлетворить жажду мести къ крестьянамъ,—мести, которая сдѣлалась его наслажденіемъ и сознательнымъ удовольствіемъ, почти услодой его темной жизни. Онъ насмѣшливо издѣвался надъ пойманнымъ крестьяниномъ и радовался до одуренія, когда послѣдній валился къ его ногамъ. По большей части онъ прощалъ его. Впрочемъ, и матеріальные интересы его не страдали; онъ уже завелъ въ нѣсколькихъ деревняхъ мелочныя лавочки, а теперь думалъ устроиться съ лавочкой и въ той деревнѣ, гдѣ жилъ Горѣловъ.

Горѣловъ протискался впередъ и заговорилъ. Послѣ нѣкоторыхъ усилій ему удалось заставить себя слушать. Онъ говорилъ толково, но волновался и задыхался. Онъ увѣрялъ, что жизнь идетъ нехорошо; настоящихъ людей нѣтъ, остались какія-то твари худыя. Главное, нѣтъ ума и Бога! „Живемъ мы, можно прямо сказать, не для себя и не для другихъ прочихъ, а такъ, для полоумныхъ пустяковъ... Второе—науки намъ нѣтъ, по причинѣ чего и идетъ эта безтолочь. Подумайте сами: неужели-жъ нѣтъ никакого сладу съ этимъ Рубашенковымъ, прямо сказать, негодяемъ, который радъ, что напелъ уйму дурачья, а это дурачье пьетъ за его здоровье ведрами?“...

— По моему разсужденію,—кончилъ Горѣловъ,—съ лавочкой Рубашенкова не допускать, а чтобы онъ больше не муталъ народъ, прописать ему мірской приговоръ въ томъ смыслѣ, что, молъ, видѣть его больше не желаемъ.

Горѣловъ замолчалъ какъ-то вдругъ. Лицо его сразу осунулось, и онъ безнадежно слушалъ гамъ, поднявшійся затѣмъ. Большинство сначала перетрусилось до невѣроятности, услышавъ предложеніе; нѣкоторые побѣлѣли, какъ свѣтъ. Третьи закричали, выражая накипѣвшую злобу противъ своего безсилія, что надо бы, давно надо бы спровадить его такимъ манеромъ. За ними почувствовалъ приливъ злобы и весь сходъ. Со всѣхъ сторонъ кричали: „Чтобы и другому ему неповадно было!“ Потомъ всѣ принялись ругать и издѣваться надъ Рубашенковымъ. Каждый старался выкрикнуть самый ѣдкій эпитетъ, самое вонючее слово. Егоръ Ежуръчъ ушелъ,—невозможно было дышать въ этой атмосферѣ. Онъ понялъ, что дѣло вонючими словами только и

ограничиться. Но то, чтобы онъ пораженъ былъ невыгорѣвшимъ предложеніемъ... что ему Рубашенковъ?—онъ и говорить-то не хотѣлъ объ этомъ негодяѣ. Онъ желалъ только взволновать душу крестьянскую, заставить одуматься, а вышелъ совсѣмъ иное, совсѣмъ противное, полоумное.

— Поди-жь ты... мочи не стало,—сказалъ съ отчаяніемъ Горѣловъ, идя домой, на другой конецъ села. Онъ шелъ, не обращая вниманія ни на что, всецѣло погруженный въ себя. Вдругъ позади его раздалось шлепанье котовъ, усиленные плевки и грозная рѣчь. Какъ оказалось, это бурлигъ Прохоровъ, успѣвшій зайти въ кабачокъ и выпить, по крайней мѣрѣ, настолько, чтобы потерять обычную робость и сдѣлаться гордымъ. Онъ гордо шлепалъ котами и разсуждалъ о своемъ умѣ, но, по обыкновенію, доказывалъ это положеніе издалека. Сначала онъ разговаривалъ съ какимъ-то невидимымъ врагомъ, который, должно быть, оспаривалъ его положеніе, но, замѣтивъ Горѣлова впереди, принялся его вызывать на словопреніе, а если можно, и на бой. Горѣловъ молчалъ.

— Позвольте, господинъ умникъ, остановить васъ малость..

Горѣловъ, какъ будто ничего не слыша, продолжалъ шагать.

— Позвольте съ вами одинъ моментъ поговорить,—продолжалъ приставать Прохоровъ, но, не встрѣтивъ возраженія, сталъ разговаривать съ затылкомъ Горѣлова.—Позвольте умница вы наша, теперь узнать, что есть жукъ... въ какомъ разсужденіи у васъ жукъ?

Волей-неволей Горѣловъ слушалъ и на этотъ разъ съ недоумѣніемъ.

— Не знаете? Вотъ то-то и оно! А еще умникъ!... Жукъ есть самая послѣдняя, на примѣръ, тварь, въ которой существуетъ естественная глупость. Сидитъ этотъ жукъ въ навозѣ, жретъ этотъ навозъ и ни въ какомъ случаѣ свѣтъ Божьяго не видитъ. Но никто не смѣетъ сказать ему: подлецъ ты, жукъ, дуракъ! Никто не смѣетъ, потому что онъ живетъ по-жучьему, по своимъ правиламъ. Вѣрно я разсуждаю?

Горѣловъ прислушивался, и на его сумрачныхъ чертахъ появилась слабая улыбка.

— Теперь позвольте васъ спросить, господинъ умникъ

какое дать названіе мірянину нашему, этому православно-му-то мужику, одру-то нашему?

— Не знаю,—невольнo отвѣчалъ Горѣловъ.

— Онъ есть жукъ...

— Кто?

— А мірянинъ-то, съ которымъ по глупости нынче вы разсуждали, оболтусъ-то нашъ... Онъ—жукъ, говорю. Живетъ онъ въ навозѣ, жретъ этотъ самый навозъ, а свѣту Божьяго не видитъ... А умнѣйшій человекъ во всей округѣ, господинъ Горѣловъ, считаетъ, что имѣетъ полное право ругать его: ахъ, ты, дуракъ, дуракъ! скотина, молъ, ты чужаая!

Лицо Прохорова засіяло радостіе, и онъ принялся говорить о своемъ умѣ, ругая Горѣлова и всѣхъ. Последній долго ничего не отвѣчалъ, и, только подойдя къ своему дому, оборотился къ Прохорову и возразилъ ему заразъ на все.

— Ежели бы ты въ самомъ дѣлѣ былъ умный мужикъ, такъ ты бы допрежъ всего этого подумалъ, откуда свѣту-то Божьяго получить, съ какой стороны, отъ какого солнышка?... А потому скажу: ахъ, ты, дуракъ, дуракъ! Пошелъ лучше спать, пьяная рожа!

Горѣловъ поплелся къ своей избѣ, а Прохоровъ, отъ неожиданности, на одно мгновение даже отрезвѣлъ; съежился, сдвинулъ плечи и пугливо посматривалъ на уходившаго Горѣлова.

— Оголтѣлъ народъ душевно!—сказалъ Горѣловъ задумчиво, по приходѣ въ свою избу. Онъ задумался надъ этимъ случаемъ, надъ Прохоровымъ, надъ его пьянствомъ. Но незачѣмъ для себя онъ пересталъ питать презрѣніе къ пропойству, которое сдѣлалось предметомъ его мысли, и не ругать пропойцевъ, потому что принялся объяснять ихъ. Такая перемѣна особенно рѣзко объявилась въ другомъ случаѣ, на который онъ случайно натолкнулся черезъ нѣсколько дней. Случай этотъ представилъ своею особою Портянка.

Его настоящее имя было Тимоеей, фамилія—Портянковъ, но его всѣ звали просто Портянкой,—до такой степени онъ упалъ во мнѣніи всѣхъ. Онъ всегда находился въ состояніи безсознательномъ. Былъ-ли онъ пьянъ, или трезвъ, онъ всегда оставался безчувственнымъ. Время онъ дѣлилъ такъ: всю недѣлю работалъ, въ воскресенье пилъ, присоединяя иногда къ праздничному дню и понедѣльникъ, и не останавливаясь

передъ закладомъ портковъ, если они не были надѣты въ моментъ жажды. Лицо его всегда было одутлое и больное, хот толстое, подобно свиному пузырю; глаза бессмысленны. Н здоровье еще оставалось въ немъ. Всѣ съ охотой брали ег на работу, потому что онъ не обращалъ вниманія, выдержит его пупъ или треснетъ. Чтò бы ни заставили его дѣлат онъ безмолвно ворочалъ, возилъ, таскалъ съ покорностью слона. Онъ буквально молчалъ нѣсколько лѣтъ, и если птался иногда выразить что-нибудь, то крайне безтолково безсвязно: онъ разучился говорить.

И пьяный онъ никогда не говорилъ. Тогда онъ падалъ д же ниже: молча напьется, выйдетъ на улицу — хлопъ, и л жить безъ движенія, — лежить до тѣхъ поръ, пока работотель, нанявшій его, самъ не придетъ и не растолкаетъ е пинками.

— Эй, ты, бревно, будетъ тебѣ отдыхать! — кричитъ он пуская въ ходъ пинки.

— Вставай, одеръ! Довольно ужъ поспалъ! — съ больши нетерпѣніемъ кричитъ хозяинъ и съ большимъ остервенѣніемъ будить „одра“.

Послѣ этого Портянка вставалъ и покорно слѣдовалъ хозяиномъ, но не просыпался, потому что спалъ вѣчно, б прерывно, какъ въ могилѣ.

Когда Егоръ Федорычъ къ вечеру этого дня вышелъ и дому, чтобы поразспросить въ деревнѣ, нѣтъ-ли какой ратишки на завтрашній день, онъ наткнулся внезапно на лежшаго безъ движенія Портянку и невольно остановился на немъ. Но въ эту минуту къ нему подходилъ Миронъ Ухой.

— Никакъ Портянка? — еще издали сказалъ онъ. — Такъ есть, онъ самолично. Я его искалъ-искалъ, а онъ вотъ. Зроро, Егоръ Федорычъ!

Послѣдній отвѣтилъ на привѣтствіе, а Миронъ приня будить Портянку.

— Эй, ты, быкъ, поворачивайся! — кричалъ онъ, толпсещаго.

Портянка не шевелился. Миронъ употребилъ болѣе энгическія мѣры.

— Бусь... — слышалось глухо, какъ изъ-подъ земли. ! говорилъ Портянка.

— Шевелись, бревно проклятое! Некогда мнѣ съ тобой тутъ валандаться!

— Бусь... бубусь...—возразилъ Портянка.

— Вотъ до чего налопался... что есть слова путнаго не выговорить!—сказалъ Миронъ, тяжело переводя духъ и обращаясь къ Горьлову.

— Да зачѣмъ онъ тебѣ?—спросилъ Горьловъ.

— Онъ нанялся. Завтра чуть свѣтъ въ поле... А не разбудя его, до полдень завтра пролежить, какъ бревно!

— Что же ты съ нимъ хочешь сдѣлать?

— Утащить къ себѣ, чтобы съ глазъ не спускать.

— А какъ ты его утащишь?—удивленно замѣтилъ Горьловъ.

— Какъ ни то надо... За ноги, что-ли... А то бы ты помогъ!—обратился Миронъ съ просьбой.

Горьловъ согласился. Вдвоемъ они подняли Портянку, взяли его подъ руки и повели. Дорѣгой Портянка велъ себя нехорошо, валясь то на ту, то на друую сторону, то устремляясь впередъ, то пятясь назадъ. Для предотвращенія этихъ колебаній, Миронъ хлопалъ Портянку то по переду, то по заду, смотря по надобности. Лицо Горьлова затуманилось состраданіемъ, но глаза выражали злобу.

— Зачѣмъ ты его бьешь? Лѣчить его надо!—сказалъ онъ Мирону.

Миронъ больше не дѣлалъ изъ своего кулака руля для направленія пути Портянки. Онъ разсказалъ Горьлову свое горе, состоявшее въ томъ, что, вслѣдствіе хлопотъ надъ костами, онъ не можетъ самъ завтра выѣхать въ поле докопать лужокъ, а на Портянку не полагается вполнѣ, опасаясь, какъ бы онъ и на завтрашній день не остался въ безчувствіи.

— Ежели бы ты помогъ, а?—съ занскивающей лаской обратился Миронъ къ Горьлову.

— Что же, мнѣ все одно, гдѣ ни работать, — согласился Горьловъ.

Миронъ несказанно обрадовался, найдя двухъ такихъ невыскательныхъ работниковъ. Остальная часть дороги прошла безъ всякихъ приключеній. Портянку благополучно привели на мѣсто, именно на погребушку, предварительно давъ тѣлу его положеніе дуги, и положили его на солому.

Егоръ Федорычъ постоялъ еще съ минуту въ задумчивости и отправился домой.

Ему очень дурно работалось у Мирона, вялость на него напала такая, что по вечерамъ онъ отказывался отъ ужина недоумѣвая, спать ему или не спать. Къ довершенію его глухого недовольства, работы у Мирона растянулись на цѣлую недѣлю: то сѣно было мокро отъ дождя, то слишкомъ сильно дулъ вѣтеръ, и нельзя было его метать въ стога. Хотя онъ и говорилъ, что ему все одно, гдѣ ни работать, но Миронъ надоѣлъ ему. Одинъ видъ этого суетливаго, вѣчно мечущагося мужичка раздражалъ его. Къ нему возвратились обычные чувства—тоска и злоба, силу которыхъ Миронъ ежеминутно увеличивалъ своею возмутительною дѣятельностью.

Онъ, этотъ самый Миронъ Уховъ, былъ настоящій „трудолюбивый муравей“. Всю жизнь онъ о чемъ-то хлопоталъ, за что-то страдалъ и чего-то ужасался. Ужасался—вотъ слово которое хотя нѣсколько опредѣляетъ и объясняетъ внутреннее его состояніе. Голодный-ли червь сидѣлъ въ немъ и жралъ его, напуганъ-ли онъ былъ съ дѣтства какимъ-нибудь случаемъ—это его знаетъ? Какъ бы то ни было, жизнь для него была чрезвычайно печальнымъ обстоятельствомъ, пугавшимъ его до такой степени, что онъ рѣшительно не зналъ, что съ ней дѣлать. Мучился онъ тамъ, гдѣ для другого была только ничтожная непріятность. Стала въ эту весну у его лошади лѣзть шерсть, такъ онъ измаялся, глядя на нее, словно у него у самого лѣзла шерсть; въ продолженіе мѣсяца онъ все похаживалъ около нея и съ смертельною тревогой поглядывалъ, заранее приготавливая себя къ мысли, что лошадка околѣетъ.

Этотъ ужасъ ко всему на свѣтѣ былъ вполнѣ неоснователенъ. Мужикъ жилъ ладно, не нуждался особенно и не таскался по міру. Весь его дворъ и домъ, имущество и хозяйство носили на себѣ слѣды неусыпности хозяина. Только это было въ маломъ видѣ. Крохотная избушка его имѣла одно окошечко со стеклами и одно съ тряпичей. Дворъ его также микроскопичный, окруженъ былъ какими-то ничтожными строеніями, похожими будто бы на амбары, сарай, погребъ. Это и на самомъ дѣлѣ были амбары, сарай и т. д., но значительно уменьшенныя противъ естественной величины. Въ сарайчики и погребушки онъ и его домашніе ходили слѣдующимъ замысловатымъ способомъ: надо было изогнуться на лѣво, держась одною рукой за правый косякъ, потомъ на

мониться впередъ и тогда лѣзть. Въ амбарушку же ходили почти на четверенькахъ. Что касается скота домашняго, то у Милова онъ былъ, какъ на подборъ, — все малый и ничтожный, но сытый. О лошадакъ уже упомянуто; у него одно время жила большая лошадь, но онъ ее не полюбилъ, называлъ „дылдой“, потому что долженъ былъ съ большими трудностями затаскивать ее въ сарайчикъ, пихая сзади. За это онъ ее живо промѣнялъ на ярмаркѣ. Была у него еще безрогая корова, которою онъ иногда хвастался, увѣряя, что молока она даетъ много. Еще у него была безхвостая свинка. Но итъ нужды перечислять всѣ чудеса хозяйства Ухова; достаточно сказать, что у него всего было по немногу и въ маломъ размѣрѣ. Тѣмъ болѣе неумѣстенъ былъ его ужасъ. Мало того, что онъ изнурялъ свое сознаніе дѣйствительными несчастіями, совершавшимися съ нимъ, онъ самъ выдумывалъ разные мнимые страхи. То вдругъ вообразить, что коровку его волки слопали, причемъ откуда-то добудеть извѣстіе, что видѣли копыта и хвостъ, принадлежащіе его коровѣ, то неожиданно, среди глубокой ночи, поражаетъ себя чудовищною мыслію, что въ амбарушкѣ появились стада мышей и грызутъ его хлѣбъ, послѣ чего ужъ не можетъ заснуть ютра и даже будить всѣхъ домашнихъ. И все это неправда; дѣйствительно, жили въ амбарушкѣ мыши, но, посадивъ на слѣдующее утро туда кота, онъ съ помощью его ничего не поймалъ и черезъ три дня долженъ былъ выпустить несчастное животное еле живымъ отъ голода.

Ужасы, придумываемые Мирономъ, касались иногда дѣла всего рода. Такъ, нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, неизвѣстно какимъ путемъ онъ рѣшилъ въ умѣ, что за недоимки будутъ предъ давать по 333 лозы, и только тогда убѣдился въ неправдѣ своего страха, когда на самомъ себѣ испыталъ фактическое опроверженіе, доказавшее, что количество лозы осталось прежнимъ. Въ прошломъ году онъ создалъ еще болѣшую слѣпость, воображая самъ и увѣряя всѣхъ, что теперь за долги худыхъ мужиковъ станутъ отдавать въ рабство вмѣстѣ съ землей Рубашенкову.

Горьковъ съ нетерпѣніемъ ждалъ дня, когда сѣно у Милова будетъ убрано, а до тѣхъ поръ, въ глаза и за глаза, выражалъ свой взглядъ на хозяина. „Кажись, человекъ ничего себѣ, ладный, а, между прочимъ, вполне дуракъ, — столько

этого полоумства въ ёмъ, чисто какъ звѣрь неразумный — сказалъ однажды Горѣловъ, обращаясь къ своему товарищу Портянкѣ. Въ отвѣтъ на это товарищъ сочувственно хрюнулъ. Наконецъ, работа кончилась. Но напоследокъ Миронъ поразилъ-таки себя ужасомъ. Замѣтивъ, что нѣсколько гостей сѣна остались не прибранными и разсѣянными по лугу, онъ сначала оцѣпенѣлъ, а потомъ съ страшнымъ укоромъ посмотрѣлъ на Горѣлова. Послѣдній, однако, не обратилъ вниманія на его страданія и вмѣстѣ съ Портянкой поторпился оставить его.

Въ слѣдующіе дни Горѣловъ и Портянка ходили на заработки вмѣстѣ. Между ними завязалось нѣчто вроде дружбы. Портянка кротко подчинялся Горѣлову, незамѣтно подпавъ подъ его вліяніе. Горѣловъ не сердился на то, что товарищъ его никогда не говорилъ, и, можетъ быть, потому только и не чувствовалъ симпатію къ нему, что тотъ умѣлъ лишь мычать.

На слѣдующій день они нанялись къ нѣкоему Зюзину крестьянину ихъ деревни, убирать съ нимъ и его семейство лугъ. Здѣсь оказалось, что Горѣлову не все равно было, гдѣ ни работать. Все, что напоминало ему прошлое, что раздѣляло его и дѣлало изъ него безпокойнаго человѣка, мгновенно выплыло наружу, когда онъ увидалъ Зюзина и прочитъ своими очами рассказы, ходившіе про этого человѣка въ деревнѣ. Войдя къ Зюзину въ избу, онъ подумалъ, что попалъ не туда, а въ нищенскій пріютъ; точно также онъ не повѣрилъ, что видитъ самого Зюзина, который предсталъ передъ нимъ въ видѣ одного изъ нищихъ, которые сидятъ на паперти церквей. Онъ былъ худой, съ костлявыми руками, съ воспаленными, подозрительными глазами; отъ лохмотьевъ, болтавшихся на измороженномъ тѣлѣ, пахло чѣмъ-то рѣзкимъ, отвратительнымъ. Горѣлову показалось, что онъ трясется, но это былъ просто обманъ зрѣнія, потому что самомъ дѣлѣ онъ выглядѣлъ неподвижнымъ скелетомъ; было просто обманчивое впечатлѣніе, производимое имъ каждымъ вновь знакомившагося. При первыхъ же словахъ въ разговорѣ съ двумя рабочими, онъ выразилъ жалость, и онъ бѣдный человѣкъ, взять съ него нечего. „Ужь вы взыщите, родимые, насчетъ хорошей платы, какъ передъ гомъ — нѣту!“ — говорилъ онъ. Горѣловъ и Портянка согласились, однако, работать. Но всѣ дни, пока длилась убо-

сѣна, Горѣловъ раздражался, не вынося даже вида дѣтей и всего семейства Зюзина. Кормилъ работниковъ Зюзинъ какими-то каменнымъ хлѣбомъ и водой. Оказалось, что хлѣбъ былъ хорошій, но его пекли три недѣли тому назадъ.

— Хлѣбъ-то у меня, родимые, чуточку черственежъ, а хорошій, вы только покушайте, питательный хлѣбецъ!—говорилъ Зюзинъ во время обѣда въ полѣ, и Горѣлову опять показалось, что рука Зюзина, въ которой онъ держалъ кусокъ хлѣбца, трясется.

— Собака, пожалуй, съѣсть!—коротко замѣтилъ Горѣловъ.

— Зачѣмъ собака?... Даръ-то Божій нельзя бросать всякому псу смердящему... Онъ хоть и крѣпкій, а пользительный хлѣбецъ... Кушайте, родимые!

Горѣловъ долго всматривался въ лицо хозяина, и на его языкѣ уже вертѣлись слова: псѣ смердящій, но онъ промолчалъ. Впрочемъ, онъ и Портянка нашли способъ ѣсть „хлѣбецъ“: они съ утра клали его въ озерко, находившееся подлѣ луга, и „хлѣбецъ“ нѣсколько разбухалъ.

Но напрасно Горѣловъ обращалъ свое отвращеніе и на семейство Зюзина, которое ни въ чемъ не было виновато. Дѣти его были несчастными, заморенными и запуганными существами: худыя, съ коростами на головахъ, глухыя и слѣпыя до полной безжизненности. Его жена и сноха солдатка также представляли собой что-то въ этомъ родѣ, обѣ женщины носили на себѣ рѣзкую печать нравственнаго отупѣнія. Одежда ихъ всегда была такъ паскудна, что возбуждала гадливое чувство даже въ деревнѣ; онѣ едва были прикрыты. Таково было вліяніе Зюзина на свою семью. Жизнь его самого была до крайности несчастна, полна лишеній, нужды и всякаго рода грязи. Но онъ еще добровольно подвергался лишеніямъ. Онъ буквально морилъ голодомъ себя, семью и домашній скотъ, подвергая всѣхъ безграничнымъ страданіямъ. Одна у него была радость—копить деньги; это была неутолимая жажда, ради удовлетворенія которой онъ не щадилъ ни себя, ни родныхъ. Хлѣбъ, скотъ, молоко, яйца, солома, мякина,—все, что попадалось въ его костлявыя руки, онъ тащилъ въ городъ и продавалъ. Его разоренное хозяйство, его заброшенный, потонувшій въ нечистотѣ, срамной дворъ такъ и носили на себѣ слѣды постоянной распродажи и опустошенія, какъ будто хозяинъ на-

мѣревался все бросить и уйти. Эта распродажа шла круглы годъ, и круглый годъ дѣти и жена со снохой не имѣли отдыха и не знали покоя передъ жгучимъ взглядомъ хозяина, который все выматривалъ, что бы еще стащить и продать для удовлетворенія ненасытной жажды желтыхъ бумажекъ. Полученную бумажку онъ клалъ въ знакомый черепокъ, черепокъ засовывалъ въ старое голенище, а старое голенище спускалъ въ подполье, гдѣ у него была особая трещина. Выгнавъ изъ избы семейство, онъ запирался, спускался въ подполье и тамъ наслаждался медленнымъ счетомъ бумажекъ. Онъ шепталъ: „разъ... два...“ и замиралъ на мѣстѣ. Капиталь его доросъ уже до цифры 45 руб., которые онъ вымочилъ изъ себя и изъ своего семейства въ продолженіе пятнадцати лѣтъ, но эта сумма не удовлетворяла его. Пятнадцать лѣтъ копилъ. Это совершенно вѣрно, ибо пятнадцать лѣтъ назадъ онъ былъ славный, добрый мужикъ, хотя бѣнягой никогда не переставалъ быть.

Какъ могъ появиться этотъ странный человѣкъ, этотъ аморышъ, этотъ іуда-стяжатель въ деревнѣ, гдѣ ни стяжатели не копить нечего, гдѣ каждая дрянъ сейчасъ же идетъ въ дневное продовольствіе и гдѣ надо вымучивать себя, что припрятать нѣчто на черный день? Или съ нимъ произошелъ какое-нибудь потрясающее событіе, показавшее ему яркую невѣрность существованія, случайность счастья и безприщальности? Или жизнь его была слишкомъ безсодержательна, чтобы дать ему иную цѣль, кромѣ опустошенія дома и вымучиванія копѣйки? Или вся вообще окружающая жизнь была смердящая и циничная?

Когда Горѣловъ съ товарищемъ стали по окончаніи работы разсчитываться съ Зюзинымъ, онъ съежился и поблѣднѣлъ. Отойдя далеко отъ нихъ, онъ сталъ считать деньги, перекладывая ихъ съ одной ладони на другую и мучительно, съ лихорадочнымъ взглядомъ, не рѣшался отдать ни боясь, что обсчитался. Наконецъ, отдалъ.

— Не хватаетъ одиннадцати копѣекъ,—возразилъ Горѣловъ, не скрывая своего раздраженія.

— Что ты! что ты, Господь съ тобой!—судорожно заговорилъ Зюзинъ.

— Погляди самъ.

— Ахъ, ты, грѣхъ какой!... Не хватаетъ, говоришь?

— Само собой, не хватаетъ.

— Одиннадцати копѣекъ, говоришь? Ахъ, вы, родимые со-
баки, вѣдь у меня ихъ нѣту... одиннадцати-то копѣекъ,
иди передъ Богомъ!

— Прихвати у кого, — сказалъ Портянка.

— Одиннадцать-то копѣекъ?... Милые мои голубки, да кто
те мнѣ дастъ? Такъ не хватаетъ, говоришь?

Горѣловъ остановилъ пристальный взглядъ на фигурѣ Зю-
кина, какъ будто изучая его; потомъ вдругъ сказалъ:

— Да пропади ты съ одиннадцатью копѣйками, собака!...
Пойдемъ, Василій, вонъ!

И они пошли вонъ. На этотъ разъ Горѣловъ рѣшилъ уйти
въ на нѣкоторое время совсѣмъ изъ деревни, куда-нибудь
дальше. Онъ пригласилъ съ собой Портянку. Последній
отказался безмолвно ходить по окрестностямъ и добывать
привѣтствіе. Они оба привязались другъ къ другу. Портянка во
всѣмъ подчинялся Горѣлову, безпрекословно его слушался, гля-
дя ему въ глаза. Почему Горѣловъ приобрѣлъ надъ нимъ
такую власть, трудно сказать, но онъ ничего не проповѣды-
валъ, не ругалъ его, между тѣмъ, въ слѣдующій же день
онъ уходилъ изъ срамнаго двора Зюкина Портянка провелъ
трезвымъ, хотя этотъ день былъ воскресенье. Горѣловъ
просто сказалъ ему:

— Ты, Василій, не пей, погоди.

И Василій не напился. Въ первый разъ онъ умылся, при-
тиснулся и смирно сидѣлъ на лавочкѣ передъ избой Горѣлова;
моръ его былъ кроткій, довольно смышленный, хотя сидѣлъ
онъ какъ истуканъ. Онъ не зналъ, какъ ему убить время.
У него въ карманѣ лежалъ заработокъ въ видѣ мѣди, и онъ
несколько разъ высыпалъ его на ладонь и съ глубокимъ не-
удовольствіемъ разсматривалъ. Рѣшительно у него не было ни-
чего дѣла въ жизни. Мало-по-малу онъ проникался одною
мыслью... Когда-то онъ мечталъ купить красную рубаху,
бѣлый платокъ на шею, сапоги и хорошую шапку, но это
было давно, мечта не осуществилась, и онъ забылъ ее. Те-
перь, въ этотъ новый для него день, онъ что-то припомнилъ,
и это сильно воодушевило его. Онъ сознательно хотѣлъ те-
перь работать, чтобы добыть необходимыя средства для при-
веденія въ исполненіе давнишняго желанія.

Горѣловъ какъ-то проникъ въ эти тайные помыслы и сказалъ ему сочувственнымъ тономъ:

— Ты, Василий, не бойся... Одежда у тебя будетъ, рубаха, напимѣръ...

— И портки бы...—замѣтилъ смущенно Василий.

— И они будутъ.

— Чтобы ужъ и сапогъ былъ настоящій...

— И сапогъ... все будетъ. Только погоди пить. Походимъ и заработаемъ.

Горѣловъ говорилъ твердо; Портянка смотрѣлъ ему въ глаза, и видно было, что онъ безгранично вѣрилъ своему другу. Такъ и не пилъ въ этотъ день.

Горѣлова въ этотъ день попросилъ къ себѣ Синицынъ мѣстный учитель. Онъ только лишь хотѣлъ везти закупленную астраханскую селедку на распродажу, какъ увидалъ что рыба дала духъ; надо было разбирать ее, промывать и перекладывать—дьявольская работа, съ которой Синицынъ не могъ сладить. Вотъ почему онъ и прибѣжалъ утромъ къ Горѣлову, умоляя помочь ему. Отъ него пахло рыбой; ноги его были обуты въ стоптанные смазные сапоги; онъ былъ въ жилеткѣ. Странная это была личность, но при знакомствѣ загадочный его видъ вполне объяснялся: это былъ простой несчастный промышленникъ. На его рукахъ лежало большое семейство, состоявшее изъ восьми человѣкъ включительно, а жалованья онъ получалъ только семь рублей, которые съѣдались съ ужасающею быстротой. Чтобы пополнить пробѣлъ въ своемъ фальшивомъ бюджетѣ, бѣдняга долженъ былъ въ продолженіе всего лѣта, не щадя живота, добывать средствъ къ зимѣ, то сѣяніемъ огурцовъ, то перепродажей яблоковъ и также астраханскою селедкой. Разумѣется, онъ мало походилъ на учителя. Онъ былъ простодушный, во всѣхъ отношеніяхъ простой человѣкъ; онъ мужественно боролся съ нуждой, но не съ невѣжествомъ, съ которымъ онъ не могъ сладить и въ своей-то головѣ; очевидно также, что для своей дѣла учительскаго онъ былъ въ положеніи отребья. Нынѣшнее лѣто вышло для него неудачное. Купилъ онъ рыбу дорогую а спросъ на нее остановился, къ тому же, она протухла. Цѣлыя день до темной ночи онъ съ помощью Горѣлова бился надъ бочками.

Поработавъ съ Синицынымъ до полночи, Егоръ Ѳедорычъ

пошелъ-было домой. Онъ вышелъ на улицу, гдѣ его охватило холодомъ и мракомъ. Было сыро, дулъ вѣтеръ. Ему вдругъ стало жутко, и онъ рѣшилъ вернуться. Цѣлый день онъ мучился недоумѣніемъ: поговорить съ учителемъ или не надо? Ему страстно хотѣлось что-нибудь узнать, и онъ остановился въ нерѣшимости на площади. Онъ пошатался еще немного и пошелъ назадъ. Придя къ воротамъ учителя, онъ тихонько постучалъ, но, не получивъ отклика, сѣлъ около калитки, не рѣшаясь еще постучать. Онъ сидѣлъ около калитки, съжившись, засунувъ руки за пазуху кафтана, и не шевелился. Наконецъ, онъ постучалъ въ окно.

— А! это ты?—замѣтилъ Синицынъ при видѣ его и принялся за прерванную работу въ сѣняхъ: ворочалъ бочки, надписывалъ на нихъ мѣломъ какія-то цифры и перевязывалъ веревками. Но семейство его давно уже спало.

— Да, зашелъ поговорить, но опасаясь, какъ бы тово... А ужъ давненько я думалъ выпытать у тебя...—Горѣловъ сѣлъ на порогъ сѣней и пристально наблюдалъ за работой учителя.

— Насчетъ чего?—равнодушно спросилъ учитель.

— Да насчетъ нашего брата. Слыхалъ я, будто въ губерніи насчетъ деревень нашихъ хлопочутъ, стало быть, катастрофически мужика... Мнѣ и занятно бы послушать, что такое, въ какомъ значеніи? Сказать такъ, къ примѣру, о нашей деревнѣ: вѣдь ужъ ты самъ жилъ и видишь, что тутъ ничего больше, какъ худо, и даже силъ нѣтъ глядѣть... Одно слово—пусто!

— Конечно, бѣдность въ нашихъ мѣстахъ,—замѣтилъ учитель.

— Не то, чтобы бѣдность, чтобы жрать было нечего, а въ ужъ-то пусто. Вотъ что есть важное. Вѣдь ужъ ты жилъ, своими глазами видѣлъ, какъ же эдакъ возможно жить? Вѣдь ужъ онъ, житель-то нашъ, на кого онъ похожъ сталъ, спрошу я тебя? Какой образъ у него? Образа у него нѣтъ.

— Конечно, глупости у насъ довольно,—замѣтилъ учитель.

— И то! Глупости-то само собой водятся,—да нѣтъ, не въ томъ причина! Образу-то, лику-то у него нѣтъ. Хотя бы, къ примѣру, въ нашей деревнѣ, кто онъ такой—мѣщанинъ, купецъ или крестьянинъ? Вѣдь вотъ ужъ до чего дѣло до-

шло! Насчетъ, напримѣръ, земли не то, чтобы отъ земли онъ совсѣмъ чурался,—какъ это возможно!—но и не занимается онъ ей, какъ слѣдуетъ быть, а только паскудитъ... Тамъ напаскудить, въ другомъ мѣстѣ напаскудить, а за мѣсто всего хорошаго получаетъ шишъ. А какъ шишъ-то ему объявился, и не разъ, и не два, а каждый Божій годъ, такъ ужъ онъ землѣ не радъ, ужъ онъ на нее вниманія не обращаетъ, не мила она ему!

— Само собой, не умѣетъ нашъ крестьянинъ обрабатывать по наукѣ, какъ предписываютъ земледѣльческія правила,—глубокомысленно подтвердилъ учитель.

— И не вдомекъ мнѣ теперь, почему такой срамъ идетъ? Главная его забота—монету словить; медомъ его не корми, а дай ты ему двугривенный. А коль скоро получилъ онъ монету, и никакой заботы ему нѣтъ, никакого основанія въ пустой башкѣ! И день, и недѣля, и мѣсяцъ только и поровить, какъ бы легкимъ способомъ монету запасть, а не думаетъ, полоумный, что въ этой самой монетѣ и есть конецъ ему. Ежели же ужъ монета на умѣ, такъ какой же онъ крестьянинъ? Стало быть, жуликъ онъ выходитъ, а не то что честный житель.

Въ голосъ Горѣлова звучало негодованіе.

— Конечно, подлости эти существуютъ въ нашихъ мѣстахъ.

— Не то онъ полоумный, не то дуракъ! Все у него идетъ въ раззоръ, все валится, а онъ вниманія не обращаетъ, только и есть эта жадность къ монетѣ...—Горѣловъ внезапно остановился, на мгновеніе задумавшись. — Или ужъ въ самомъ дѣлѣ измотался онъ, песъ его знаетъ?—сказалъ онъ.

— Да, нехорошо у насъ.

— Вотъ я и хочу у тебя спросить, насчетъ чего хлопочутъ въ губерніѣ? Въ какомъ нынче значеніи житель-то нашъ! Слыхалъ я, что въ мѣщане приписываютъ... или останется онъ на прежнемъ положеніи?

— Хлопочутъ, чтобы какъ лучше ему было,—возразилъ учитель.—Ты вотъ не умѣешь читать, а я читалъ газету. Прямо написано: дать мужику въ нѣкоторомъ родѣ отдыхъ.

— Облегченіе?

— Облегченіе. По крайности, чтобы насчетъ пищи было благородно.

— А насчетъ прочаго?—съ тоской спросилъ Горѣловъ.

— Ну, въ отношеніи прочаго я тебѣ ничего пока не могу сказать. Пока не вычиталъ. А какъ вычитаю, приходи, расскажу досконально.

Настало длинное молчаніе. Учитель молчалъ, потому что действительно „пока ничего не вычиталъ“ и ничего не зналъ. Горѣловъ понуро сидѣлъ на порогѣ. Кажется, что онъ уже раскаивался. Развѣ онъ это хотѣлъ сказать? Въ немъ было что-то глубокое, таинственное, онъ хотѣлъ узнать самую середину, сердце своей мысли, попытаться до самаго послѣдняго корня мучившихъ его вопросовъ, а вышли какіе-то „полоумные пустяки“. Когда онъ поднялъ голову, выраженіе его лица было ужъ совсѣмъ новое.

— А я такъ думаю, не миновать ему казни!—сказалъ онъ.

— Кому казни?—удивленно спросилъ учитель.

— Да жителю-то.

— Что ты говоришь?

— Да такъ... Не миновать онъ казни. Помяни ты мое слово: будетъ ему казнь! Ужели же пользу ему возможно сдѣлать, ежели онъ ополоумѣлъ? Говоришь, хлопчутъ, да Господи Боже мой, зачѣмъ? Стало быть, пришелъ же ему конецъ, какъ скоро онъ все одно что оглашенный. Нѣту ему больше ходу, и никто не воленъ облегчить его. Не знаю... Не знаю, какъ нашимъ ребятамъ... имъ бы помочь, а нашему брату, древнему жителю, ничего ужъ намъ не надо! Одна длинная дорога нашему брату старому жителю — къ бочкѣ рыбной...

— Въ кабакъ?

— Пря-амехонько въ кабакъ! По той причинѣ, что никто не воленъ дать намъ другой радости, окромя этой...

Настало опять молчаніе. Синицынъ страдательно глядѣлъ на Горѣлова.

— А ты пьешь?... Я что-то не слыхалъ,—сказалъ онъ.

Горѣловъ покачалъ головой.

— Извини, что утрудилъ. Поздно, кажись. Пойду домой.

Утромъ слѣдующаго дня Горѣловъ въ сопровожденіи Порки отправился въ путь, въ окрестныя деревни. Онъ ухаживалъ за своимъ товарищемъ, какъ за малымъ ребенкомъ, давалъ ему деньги свои, если послѣднія у него были, поку-

паль ему табаку... И чѣмъ больше онъ былъ угрюмъ, тѣмъ ласковѣе былъ съ Портянкой.

Чтобы хоть сколько-нибудь уяснить состояніе Горькова надо вспомнить время, доставшееся на его долю, и поколѣніе, къ которому онъ принадлежалъ и будетъ всецѣло принадлежать до послѣдняго своего вздоха, до самой могилы. Это странное поколѣніе нельзя назвать даже страждущимъ несчастнымъ; оно не мучилось и не страдало до глубины сердца, потому что не боролось, потому что и не съ чѣмъ было бороться,—все билось, постепенно задыхаясь, но жило, не страдало, не падало въ пропасти, не поднималось на высоту. Это было поколѣніе по преимуществу пусто-бездержательное, въ которомъ не было дѣйствительной жизни, а лишь прозябаніе подъ спертымъ воздухомъ, безъ мрачной темноты, безъ яркаго свѣта, но и безъ холода; немъ скоро забудутъ, оно вымретъ, не оставивъ послѣ себя слѣда, и если будутъ вспоминать его, то лишь за безпримѣрную, поразительную пустоту и безсодержательность.

Отчего оно не жило? Развѣ воля сама по себѣ не была потрясающимъ событіемъ, способнымъ стряхнуть всякую обузу съ головы? Нѣтъ, тогдашніе дни были памятливы, гдѣ боки, и, что главное, вносили содержаніе въ жизнь деревни, давая смыслъ ея существованію. Горькову въ то время минуло двадцать пять лѣтъ,—слѣдовательно, онъ сознательно пережилъ эту эпоху; однако, онъ не помнитъ, чтобы на его долю выпалъ хоть одинъ день свѣтлой радости и успокоенія. Всеобщая суматоха, страхъ возврата прошлаго, страхъ будущаго, взаимное объегориваніе и подсиживаніе судившихъ тогда сторонъ, обоюдная жадность, распаленная дѣлежка крѣпостнаго имущества,—вотъ что онъ помнитъ. Но, несмотря на это, была дѣйствительная жизнь, настоящая, человѣческая, съ волненіями и борьбой, съ отчаяніями и надеждами. Жизнь достаточно полная, чтобы дать смыслъ и цѣль существованію. Но что было потомъ, что дѣлалось въ послѣдующіе длинные годы, этого, хоть убей, онъ не помнитъ, не можетъ припомнить. Да и припоминать нечего, потому что все это время стояла пустота безъ смысла и безъ опредѣленія. А въ этой безграничной деревенской пустотѣ, не загроможденной въ себѣ ни воздуха, ни свѣта, ни человѣческихъ волненій и борьбы, ни *событій*,—однимъ словомъ, ничего настоя-

ного, — въ этомъ неопредѣленномъ полумракѣ и полужизни
развелось мало-по-малу столько пустышняго „жителя“, кото-
рый велъ не настоящее, а пустышное существованіе, что отъ
него не стало проходу, все онъ заполонилъ собой...

Плоское это было время, безпутное. Довело оно жителя до
пустышности не вразъ, а потихоньку, незамѣтно подкра-
дываясь къ нему. Въ тотъ самый моментъ, какъ житель вооб-
ражалъ, что онъ все еще живетъ, его ужъ давно ошеломили.
Медленно, тихо, въ продолженіе десятковъ лѣтъ это распут-
ное время мотало „жителя“, такъ же тихо и незамѣтно, какъ
трусливый развратникъ мотаетъ достояніе своихъ родныхъ.
И вотъ „житель“ все убывалъ, убывалъ, пока не умалился
до такой степени, что трудно стало различать въ немъ пол-
ную человѣческую фигуру. И не въ томъ бѣда, что у ошель-
вованнаго „жителя“ пищи не стало, — мысль-то его одурѣла!
Вотъ та причина, которая ухлопала его на-поваль. Получая
отъ всѣхъ предпріятій нѣчто невыразимо малое или, по сло-
вамъ Горьлова, „шишъ“, житель сперва приходилъ въ изу-
женіе отъ такого страннаго результата и продолжалъ свои
предпріятія съ достойною лучшей участи энергіей, но когда
„шишъ“ сталъ получаться хронически, ежегодно, ежемѣсячно
можно сказать, ежечасно, когда послѣ всякой египетской
работы получался все тотъ же странный „шишъ“, — онъ оду-
ралъ и началъ метаться, подобно угорѣлому, а такъ какъ
безпутное время ему опомниться не давало, то онъ оконча-
тельно и вполне сталъ „полоумнымъ“, упорно гонялся все
тѣмъ же „шишомъ“, который сдѣлался его цѣлью, конеч-
нымъ желаніемъ и почти-что идеаломъ. Послѣ паденія крѣ-
постнаго рабства жителю предстояла новая жизнь, развитіе,
тутъ онъ принужденъ былъ бороться съ пустяками и ради
пустяковъ. Пропустивъ черезъ свою душу и сердце миллионъ
разъ „шишей“, онъ и мысль свою довелъ до степени „шиша“,
и самъ сталъ шишомъ, съ котораго взять рѣшительно
ничего... Житель умалился до ничтожества, въ немъ не
было больше руководящей думы, которая проникла бы все
существо до мозга костей, пропалъ въ немъ интересъ къ
вѣчной жизни, и лишился онъ Божьей искры, которая
была бы его нахождѣвшее сердце и свѣтила бы его мысли...
Вотъ, рѣшительно, это обездоленное поколѣніе шагнуло на-
задъ!

Кажется, лишнее говорить, что все сказанное относится къ описываемой мѣстности. Но и здѣсь время медленнаго спутства отразилось не одинаково на жителей. На однихъ оно подѣйствовало такъ, что они стали вполнѣ пустяшными. до такой степени пустяшными, что, встрѣчая ихъ, сейчасъ же даешь имъ соотвѣтственные имена. Это тотъ разрядъ жителей, для котораго необходимъ непосредственный ударъ толчокъ, громъ и молнія, чтобы онъ пришелъ въ память. Такой ударъ, отъ котораго засвистѣло бы въ ушахъ, посыпались искры изъ глазъ, а мысли ходуномъ заходили. И другихъ эти годы отразились болѣе роковымъ и менѣе свратительнымъ образомъ. Таковъ былъ Горѣловъ.

Вялость, апатія сдѣлались неразлучными его спутниками. у него все валилось изъ рукъ и онъ положительно не входилъ себѣ мѣста. Онъ избороздилъ всю Россію вдоль и поперекъ, все какъ будто что-то отыскивая, съ жгучею жаждою свѣсть на облюбованномъ мѣстѣ, но проходила недѣля, много мѣсяцъ—и онъ плелся дальше. У него не было дѣла. Каково это ни странно сказать про крестьянина, который вообще привыкъ вѣчно быть занятымъ, озабоченнымъ, погруженнымъ въ работу, но относительно Горѣлова это была страшная правда. Онъ не могъ болѣе видѣть въ „полоумныхъ“ и „стыкахъ“ дѣла, потому что питалъ къ нимъ непреодолимое отвращеніе. Видѣ пустяшныхъ жителей омерзѣлъ для него послѣ гибели его семьи. Но мало того: не имѣя никакой дѣла, надъ которымъ работала бы и отдыхала его душа, остался безъ опредѣленнаго занятія, шатался туда и сюда, мотая свою жизнь изо дня въ день и нигдѣ ни съ какимъ занятіемъ не находя себѣ покою. Преобладающимъ чувствомъ была тоска, которую онъ разносилъ по необъятному пространству Руси...

Бывали случаи и минуты въ жизни Горѣлова, когда въ немъ вдругъ поднимались невѣдомыя силы, являлась жгучая жажда въ пользу православнаго народа, когда онъ чувствовалъ, что способенъ совершить ради своей нуждающейся родины, въ пользу родного міра какое-то большое дѣло; тогда ему казалось, что тоска его пропадала, а въ измученной душѣ его совершается переворотъ. И онъ уже видитъ себя на площади, передъ громаднымъ сходомъ, которому говорить жесткую правду, позорить полоумную, одурѣлую жизнь. И

родъ слушаетъ, пораженный до глубины сердца. Но вдругъ его что-то ударило, словно дубиной по головѣ, рѣчь его мѣстительно обрывалась, а въ сердцѣ снова водворялось отчаяніе. Егора Ѳеодорыча поражала вдругъ мысль, что онъ собственно ничего нужнаго не говорить, да и не въ силахъ ничего сказать, потому что ничего не знаетъ. Эта мысль клала его въ лоскъ. Послѣ такого момента онъ опускался и дряхлѣлъ на двадцать лѣтъ.

Иногда, смущенный, что все больше и больше растратилъ свою жизнь, онъ собирался совсѣмъ уйти вонъ, дальше отъ старыхъ мѣстъ, куда-нибудь въ невѣдомую глушь. Привлѣкло глубоко волновало его. Его манилъ дремучій лѣсъ, непроходимыя и нетоптанныя человѣческой ногой земли, широкія, бездонныя рѣчки. Тамъ, среди могучей природы, на лонѣхъ матери-земли, во мракѣ дремучаго бора, онъ жаждалъ отдохнуть. Тамъ онъ примется работать; застонуть сосны подъ его топоромъ, побѣжить дикій звѣрь и почернѣетъ земля отъ его муга, а въ этой борьбѣ онъ найдетъ свою потерянную радость, свой покой. Раздумывая надъ этими мыслями, Егоръ Ѳеодорычъ чувствовалъ, что онъ поднимается духомъ, что сердце его замираетъ отъ надежды... Но проходила недѣля, проходилъ мѣсяцъ, и Егоръ Ѳеодорычъ, кругомъ опутанный пустышной жизнью, окруженный пустышными людьми, забывалъ обо всемъ. Самъ не замѣчая того, онъ слишкомъ крѣпко приросъ къ ненавистой жизни, чтобы какая-нибудь сила могла оторвать его.

Горьковъ и Портянка проходили до осени; когда уже пошелъ дождь, они собрались домой. Между ними было рѣшено, что Портянка на всю зиму поселится въ избѣ Егора Ѳеодорыча.

Нѣтъ никакой возможности логически связать всѣ событія свершившіяся въ деревнѣ вскорѣ послѣ прибытія туда Горькова и Портянки и заставившія ихъ измѣнить намѣренія. У Ѳеодосія были рукава—это извѣстно. Но, къ несчастію, ихъ лишился: они сгорѣли. Съ этого и началась исторія. Ѳеодосій былъ глубоко пораженъ однажды, когда, вынимая изъ печурки свои рукава, гдѣ они сушились, онъ увидалъ и понялъ, что ихъ у него больше нѣтъ. Онъ замеръ отъ

этого несчастія и съ безмолвнымъ волненіемъ осматривали ихъ; они покоробились, высохли и при малѣйшемъ прикосновеніи къ нимъ трескались и крошились, какъ сухари. Нѣсколько разъ Федосѣй потрогивалъ ихъ пальцами, но, наконецъ, убѣдился, что одежды, спасавшей его руки отъ непогоды, нѣтъ у него. На глазахъ его наворачивались слезы. Когда пришелъ въ избу Горѣловъ, Федосѣй обратился къ нему съ страшнымъ упрекомъ, потому что именно Горѣловъ положилъ рукава въ печурку, и теперь не могъ слова выговорить въ свое оправданіе.

Что было потомъ съ Федосѣемъ—неизвѣстно. Онъ рѣшилъ только во что бы ни стало промыслить средства на новую одежду для наступающей зимы, вслѣдствіе чего случайно заглянулъ въ амбарушку Мирона, отсыпалъ въ свой мѣшокъ нѣсколько фунтовъ муки, да кстати накласть и лукошко костей. И вдругъ засталъ его самъ Миронъ. Мгновенно онъ окоченѣлъ со страху. Окоченѣлъ и Миронъ, какъ только увидалъ случившееся. Въ продолженіи нѣкотораго времени оба молча смотрѣли прямо въ глаза другъ другу. Федосѣй лишился языка, а Миронъ, пришедшій въ ужасъ, беззвучно шепталъ: „мука... мосолъ...“

— Что ты сдѣлалъ, разбойникъ со мной?—вскричалъ, однако, Миронъ прерывающимся голосомъ. Потомъ, какъ будто все понявъ и оправившись отъ оцѣпенѣнія, онъ заоралъ что было мочи:—Братцы, вора поймалъ! Сюда!...

На этотъ отчаянный крикъ прибѣжали сосѣди, а вмѣстѣ съ ними откуда-то влетѣлъ и Василій Портянка. Всѣ живо оступили „разбойника“. Одною рукой Миронъ вышибъ у него мѣшокъ, другой—лукошко съ костями. Все это посыпалось врозь. „Ребята, бей его!“—крикнулъ Миронъ. Мгновенно все набросились на Федосѣя, сшибли съ ногъ и принялись тащить по двору, кто за ноги, кто за волосы. Всѣхъ яростно свирѣпствовалъ, какъ оказалось, Василій Портянка; онъ положительно остервенѣлъ въ этой бойнѣ и уже не помнитъ что дѣлаетъ.

— Тащи его въ темную!—сказалъ Миронъ, задыхаясь. Ментально Федосѣй былъ поднятъ съ земли и поставленъ на ноги. Его было повели со двора, но онъ вдругъ заартачился и выразилъ на своемъ лицѣ мольбу. Что?! Онъ потерялъ сахаръ.

— Вѣдь оброну я сахаръ-то,—сказалъ онъ, обводя глазами дворъ Мирона.— Не замай, я найду его... Я сейчасъ... Всѣ остановились.

— Пропалъ, родимые... вѣдь вотъ грѣхъ какой! А былъ въ тряпочкѣ,—безсвязно говорилъ онъ и нагибался то къ тому, то къ другому мѣсту двора, гдѣ его били. Но поиски его были безуспѣшны: туманъ застилалъ его глаза, откуда струились слезы. Ничего не видя, онъ принялся шарить по землѣ, юрочая щепки, разрывая соръ. Всѣ принялись дѣлательно помогать ему въ поискахъ и также шарить по двору... „Да жъ-жъ найти его?“—замѣтилъ кто-то.—„Найду, найду, родимые!... Въ тряпочкѣ... я сейчасъ... какъ не найти?“—испуганно лепеталъ Ѳедосѣй и метался въ разныя стороны. Волосы его были всклоочены, на лицѣ сидѣло нѣсколько синяковъ, волосы и усы выпачканы были кровью, но онъ весь югузился въ поиски. Нѣкоторые изъ присутствующихъ бродили уже помогать, только обводили глазами дворъ, но остальные все еще старательно разгребали руками соръ.

— Вотъ онъ! вотъ онъ!—сказалъ, наконецъ, Ѳедосѣй, поднимая тряпочку, и въ голосъ его слышалась радость, но эта радость мгновенно вызвала ярость присутствующихъ, которые опомнились.

— Тащи, ребята, его!... Я тебѣ покажу, какъ лазить по нашимъ амбарамъ!—сказалъ МIRONЪ.

Къ вечеру, неизвѣстно кѣмъ собранная, сошлась сходка въ сборной избѣ. Всего вѣроятнѣе, что никто въ особенности не собиравъ, сами всѣ вообще собрались судить Ѳедосѣя. Сбравшіеся плотною массой стояли вокругъ лукошка съ ястами и мѣшка, которыя были вещественными доказательствами. Лица собравшихся были озлоблены; въ плотно сбившейся толпѣ постоянно выкрикивалось имя Ѳедосѣя; удивлялись дневному грабежу, кричали о ворахъ, коноврадахъ и лугихъ врагахъ міра, и съ каждою минутой злоба, накопившаяся долгими годами, все сильнѣе разгоралась. Кто-то упоминулъ о „мірскомъ приговорѣ“. Это предложеніе было подано и разнесено по всему сходу. Послали за сельскимъ каремъ. Когда онъ пришелъ, ему закричали:

— Пиши: не принимаемъ,—воръ, молъ, онъ!

— Пиши руки!

Была уже ранняя осенняя ночь. Но это нисколько не ус-

покойло. Передъ столомъ, который стоялъ тутъ же на дворѣ, горѣлъ пучокъ лучины, и при свѣтѣ краснаго пламени писарь писалъ бумагу. Явилось странное затрудненіе: когда писарь вызывалъ по одиночкѣ для „приложенія руки“, каждого мгновенно пропадала злоба, и онъ нерѣшительно бормоталъ: „Да мнѣ что! По мнѣ наплевать!“ Но лишь писарь обращался ко всему сходу въ массѣ, раздавался всеобщій крикъ: „не принимаемъ!“ и гулъ этого слова снова разносился въ воздухѣ ночи по всей деревнѣ.

На сходѣ были не всѣ жители, но тѣ, кто приходилъ позвѣстать, немедленно присоединялъ свои голоса къ общему гулу, въ которомъ слышались злоба и внутренняя тоска. Каждый изъ приходившихъ, хотя заранее зналъ, въ чемъ дѣло, все-таки спрашивалъ:

— Насчетъ мословъ?

— Мословъ, — отвѣчали ему.

— Жарь его, разбойника!

Это означало: „не принимаю!“

Өедосью грозила Сибирь. Мірской приговоръ быстро повигался къ концу. Но когда, послѣ написанія приговора, Өедосью привели на сходъ самолично, мрачное озлобленіе стало понемногу стихать. Всѣхъ напугалъ жалкій видъ Өедосьи. Ясно было, что вспыхнувшая ненависть только случайно пала на бѣднягу.

— Ишь какой синякъ! — замѣтилъ кто-то.

На него внимательно смотрѣли. Лицо его освѣщалось пламенемъ лучины и производило странное впечатлѣніе.

— Слышь, ребята, — заговорилъ кто-то, — взять бы его за бѣзубы, — больше никакого награжденія онъ не заслуживаетъ.

Это предложеніе было принято такъ же быстро, какъ и первое. Мгновенно нашлись розги и экзекуторы. Өедосья получилъ все, что требовалось. Тогда его прогнали со двора и принялись съѣзжать другихъ... Кого? Виновные сейчасъ нашлись изъ среды того же схода. Какъ это случилось — это невозможно разсказать, но, тѣмъ не менѣе, черезъ нѣсколько времени отодрали еще пятерыхъ. Одинъ въ прошломъ году украсть узду, другой случайно воспользовался чужою шапкой, третій упомянулъ какъ-то въ пьяномъ видѣ о „красномъ пѣтухѣ“ и пр. Гнѣвное настроеніе на сборномъ дворѣ ста-

непрерывнымъ и росло, какъ волна; эта волна подхватывала виновнаго, и онъ не успѣвалъ опомниться, какъ его бросали подъ розги. Постоянно раздавался вопросъ: „кого еще?“ И голосу отвѣчалъ сейчасъ же другой голосъ: „Вотъ этого сокола“. И „сокола“ хватали, клали и отпускали, что требовалось. Такимъ образомъ наказали еще нѣсколькихъ человѣкъ, въ томъ числѣ Василя Чилигина за то, что онъ не заплатилъ больничныя деньги, Василя Портянку за пьянство и Василя Прохорова просто за неуваженіе къ міру... Была минута, когда измученные и разгнѣванные жители готовы были устроить всеобщую порку, чтобы вылить и забыть поднявшееся мрачное озлобленіе. И если этого не случилось, то потому лишь, что одиннадцатая жертва, угрожаемая наказаніемъ, успѣла выкрикнуть прерывающимся голосомъ: „Ей-ей, погоди, ребята!... Два ведра!... Дай срокъ!“...

Волненіе стихло, и на этотъ разъ окончательно. Мало-помалу дворъ пустѣлъ; крестьяне по одиночкѣ и группами, среди глубокой ночи, двигались по улицѣ къ кабаку и уже жарно разговаривали другъ съ другомъ. Собравшись возлѣ кабака, сейчасъ же принялись пить, не взирая на полночный часъ. Пили до разсвѣта, причемъ одинъ упоенный взялъ общественный приговоръ о Ѳедосѣѣ въ ротъ и тоскливо жевалъ его.

Горѣловъ нѣкоторое время сидѣлъ безмолвно на сходѣ, но никто его не видалъ и не тронулъ. Однако, впечатлѣніе отъ схода такъ взрѣзалось въ него, что онъ принялъ рѣшеніе: „Уйду вонъ!“ Его потянуло изъ деревни, и онъ раздумалъ шиворотъ. Черезъ нѣсколько дней онъ уже совсѣмъ собрался, не обращая вниманія на наступившую осеннюю распутицу. На полу стояла котомка, въ рукахъ онъ держалъ походный востыль. Онъ присѣлъ на лавку и равнодушно оглядывалъ свою избу, въ которой царилъ полумракъ, потому что все небо было покрыто вѣтвями осеннихъ облаковъ, изъ которыхъ лился мелкій, холодный дождь. Еслибы онъ остался дома, онъ, можетъ быть, поправилъ бы свою распатанную избу, но теперь ему было все равно; въ трубѣ завывалъ вѣтеръ, сквозь большую щель въ потолокъ просачивался дождь и спускался широкою полосой по стѣнѣ.

У него въ деревнѣ не было человѣка, который бы пришелъ сказать ему на прощанье нѣсколько словъ. Ѳедосѣй

куда-то пропалъ, а Василій Портянка запилъ. Такъ онъ и ушелъ одинъ, никѣмъ не провожаемый. Провожалъ его только туманъ, носившійся надъ холодною землею, да грязь, пристававшая къ его ногамъ, когда онъ одиноко удалялся изъ деревни.

Прошло съ того дня много времени. Гдѣ ходилъ Горѣловъ никто не зналъ. Но скоро онъ объявился въ разныхъ мѣстахъ и сдѣлался популярнымъ среди крестьянъ. Изъ него выработался опытный путешественникъ и ходокъ при переселеніяхъ. И въ это дѣло ушла вся его страстная, фанатическая натура; ведя партію на новыя мѣста, онъ не обращалъ вниманія ни на холодъ, ни на голодъ, а бодро шелъ впередъ за тысячи верстъ. Проводивъ одну партію, онъ становился во главѣ другой. Его костлявую, сгорбленную, но выносливую фигуру можно было встрѣтить на берегахъ Туры и Кубани, въ неоглядныхъ степяхъ Семирѣчья и въ предгорьяхъ Кавказа, въ Оренбургской пустыни и среди улыбающихся пейзажей Башкиріи. Жизнь его проходила въ непрерывномъ путешествіи по далекимъ странамъ, и много было въ ней тяжелаго; не было только одного — полоумныхъ пустяковъ выбившихъ его на этотъ странническій путь, полный приключеній.

Деревенскіе нервы.

(Разсказъ).

Воздухъ, небо и земля остались въ деревнѣ тѣ же, какими были сотни лѣтъ назадъ. И также росла по улицѣ трава, по огородамъ полынь, по полямъ хлѣба, какіе только производила деревня, проливая потъ на землю. И та же рѣчка, жвакая лѣтомъ, омывала навозные берега, теряясь вдали, посреди стариннаго барскаго лѣса, изъ-за котораго виднѣлись небольшія горы. Время не измѣнило ничего въ природѣ, окружающей съ испоконъ вѣковъ деревню. И жизнь послѣдней, кажется, идетъ своимъ предопредѣленнымъ тысячу лѣтъ назадъ чередомъ; какъ тогда отъ деревни требовался хлѣбъ и трава, которые она производила, такъ и теперь она добываетъ хлѣбъ и траву, для чего предварительно копить навозъ и здоровье. Все по старому. Только люди, видно, не тѣ уже; измѣнились ихъ отношенія другъ къ другу и къ окружающимъ—воздуху, солнцу, землѣ. Не проходило года, чтобы жители не были взволнованы какою-нибудь важной или какимъ-нибудь событіемъ, совершенно идущимъ въ разрѣзъ со всѣмъ тѣмъ, что помнили древнѣйшіе деревенскіе старики. „Не бывало этого!...“ „Старики не помнятъ!...“—говорили чуть не каждомѣсячно про такое происшествіе. Да и нельзя помнить того, чего на самомъ дѣлѣ не было. Не видала, на примѣръ, деревня такого случая: прѣхалъ изъ ученія, прямо изъ Москвы, сынъ батюшки-священника, чтобы погостить лѣто на родинѣ, взялъ, да и застрѣлся по неизвѣстной причинѣ. Или вотъ такой случай: жилъ одинъ крестьянинъ, Гаврило Налимовъ, скромно и честно, никому не мѣшалъ, но вдругъ ни съ того, ни съ сего взялъ,

да и озлился на всю деревню, запыхалъ къ ней ненавистью и закуралесилъ, безъ всякой причины...

Совершившаяся съ Гаврилой перемѣна произошла не вдругъ, хотя всѣ послѣдовательныя степени ея остались до послѣдняго момента совершенно необъяснимыми для сосѣдей. Не только никто не зналъ, когда и отчего онъ вздумалъ безобразничать, но не знали и того, въ чемъ именно состоитъ его бѣда. Сосѣди ограничивались тѣмъ, что каждую степень его опалѣлости отмѣчали съ величайшею аккуратностью и необыкновенно вѣрно. Сперва Гаврило обратилъ на себя вниманіе явную задумчивостью.

— Что-то будто Гаврило задумался, — сейчасъ замѣтили сосѣди, замѣтили потому, что въ деревнѣ задуматься по нынѣшнимъ временамъ не безопасно; задуматься въ деревнѣ — значитъ предчувствовать бѣду.

— Чувствуетъ, что ни на есть, — тонко догадывались другіе сосѣди.

Далѣе сосѣди констатировали, что Гаврило сталъ лаять на всякаго безъ разбору.

— Почему бы это?

— Песъ его разберетъ, такъ надо сказать: осатанѣлъ. Ему доброе слово, а онъ лается.

Въ деревнѣ скоро всѣ, отъ мала до велика, убѣдились, что съ Гаврилой нѣтъ никакой возможности разговаривать: бредетъ, какъ чистый песъ.

Послѣ этого вскорѣ передавали, что Гаврило, встрѣтивъ священника, облаялъ его на чемъ свѣтъ стоитъ.

Фактъ, дѣйствительно, передавался вѣрно, и священникъ пожаловался волостному начальству.

Не успѣло это дѣло забыться, какъ сосѣди, ближайшіе и отдаленные, подмѣтили въ Гаврилѣ новую перемѣну.

— Гаврило, слышь, плачетъ. То-есть вотъ какъ плачетъ. Уткнулъ бороду въ траву подлѣ рѣки и реветъ.

Было и это. Нѣсколько человѣкъ изъ сосѣдей своими глазами видѣли и обратились съ успокоительно-ласковыми словами къ рыдавшему, но, не дождавшись отвѣта, пошли прочь пораженные.

Но, вслѣдъ затѣмъ, вдругъ всѣ услышали, что Гаврило заоблаянье старшины попалъ въ волостной чуланъ.

— Гаврило-то ужъ въ чуланѣ сидитъ, — передавали сосѣди

глубоко изумленные, узнавъ, что Гаврило не только словесно оскорбил начальника, но и полѣзъ-было въ драку. Всѣ поняли, что Гаврилѣ плохо придется, и дѣйствительно, вслѣдъ затѣмъ, въ самомъ непродолжительномъ времени, по деревнѣ прошла уже молва, что Гаврилу увезли.

— Гаврилу-то, говорятъ, увезли! Судить, вишь, будутъ!

На вѣскольکو мѣсяцевъ Гаврило канулъ, какъ въ воду, но вдругъ въ деревнѣ снова увидали его.

— Гаврило-то ужъ дома сидитъ... худо-ой!—передавали сосѣди и моментально собрались вокругъ избы Налимова, взволнованные внезапнымъ окончаніемъ его небывалыхъ приключеній. Наконецъ, всѣ убѣдились, что Гаврило ослабъ и сдѣлался окончательнo хворымъ человѣкомъ. Тутъ только всѣ стали догадываться, что онъ и всегда былъ хворымъ, по крайней мѣрѣ, съ того начала, когда онъ только еще „задумался“, и затѣмъ позднѣе, когда онъ сталъ выкидывать разныя непонятныя штуки.

Но, тѣмъ не менѣе, никто не зналъ, отчего на него напала такая хворь, что за причина? Какой случай подвелъ его подъ такую неслыханную болѣзнь, наружные признаки которой выражались тѣмъ, что онъ сперва задумался, потомъ началъ лаять безъ разбору, на кого попало, послѣ чего плакалъ навзрыдъ, и, наконецъ, полѣзъ въ драку и набезобразничалъ, за что влопался въ острогъ безъ всякой настоящей вины? Видимаго случая не произошло никакого; несчастія съ нимъ не случилось—вотъ что удивительно. До того времени никто и не думалъ интересоваться имъ, какъ никто не станетъ интересоваться вообще человѣкомъ, который живетъ тихо, никого не тревожа и ничѣмъ особеннымъ не отличаясь; про такого человѣка говорятъ, что онъ живетъ и хлѣбъ жуеть, а что касается другихъ проявленій его, то ихъ никто не замѣчаетъ. Онъ былъ именно средній человѣкъ. Что такое средній человѣкъ? Это, прежде всего, существо, которое всю жизнь изъ всѣхъ силъ копошится и не любитъ, чтобы ему мѣшали. Для того онъ старается всѣми мѣрами, чтобы не замѣчали его существованія, чтобы не трогали его и чтобы ему, въ свою очередь, не пришлось кого-нибудь задѣть. Средній человѣкъ поэтому отличается крайнею живучестью. Онъ трудолюбивъ, терпѣливъ, неуязвимъ. Настоящей жизни въ немъ нѣтъ, а та, которою онъ обладаетъ, надѣлена необы-

жизненною цѣпкостью. Онъ живетъ или, вѣрнѣе сказать, существуетъ и тогда, когда для другихъ пришелъ уже конецъ. Выше его, надъ нимъ, стоятъ люди, которые, не удовлетворяясь полу-жизнью, рвутся на просторъ и по большей части разбиваютъ свои головы о каменную стѣну; ниже его, подъ нимъ, находятся люди, которые отъ непосильнаго напряженія падаютъ и умираютъ. А онъ—ничего, существуетъ, хотя мученія его иногда невыносимы. Довольствуется онъ всегда тѣмъ, что по обстоятельствамъ дозволяется и что даетъ случай, а если случай ему во всемъ отказывается, то и тогда ничего, существуетъ, прилаживаясь къ чему-нибудь неизмѣримо малому. Если у него отнять кусокъ хлѣба, онъ съѣстъ, вмѣсто него, камень. Если его лишать свѣта, онъ закроетъ глаза, обходясь безъ него. Если его лишать воздуха, онъ сократитъ дыханіе и сдѣлается холоднокровнымъ земноводнымъ. Слѣпой и холодный, онъ все-таки будетъ считать счастьемъ существовать. Когда его, средняго человѣка, бьютъ, онъ заливается раны. Когда на него надѣнутъ цѣпи, онъ сдѣлаетъ ихъ удобными для ношенія. Онъ выходитъ изъ себя только въ томъ случаѣ, если покушаются на ту крошку бытія, которая пребываетъ въ немъ, но выражаетъ свое негодованіе тѣмъ, что теряется и мечется, но не борется. Онъ скромнень, общежителенъ и въ своемъ родѣ страшно энергиченъ, ибо гонить свою линію до конца, и честенъ. Впрочемъ, обстоятельства дѣлаютъ изъ его честности скверныя штуки.

За нѣкоторыми исключеніями, таковъ былъ и Гаврило Нахимовъ. Коренной земледѣлецъ, онъ жилъ бы и копался въ землѣ, еслибы послѣдней у него было достаточно и еслибы ему не мѣшали; копался бы неутомимо, вѣчно, до той поры, когда предстанетъ естественный конецъ. Тогда онъ ляжетъ на лавку или на траву, если его застигнуть въ полѣ, скажетъ: „Господи, прости!“—икнетъ и перестанетъ дышать. Такъ умеръ и его покойный родитель, прожившій восемьдесятъ пять лѣтъ и въ послѣдній, смертный часъ сажившій рѣпу и огурцы. Такого конца Гаврила тоже желалъ. Но ему въ этомъ мѣшали сильно разстроенныя дѣла деревни, ежедневно напоминая ему, что и онъ можетъ пропасть, какъ пропадали поочередно, на его глазахъ, здоровенные мужики.

Тѣмъ не менѣе, онъ цѣпко держится за свою линію. Вообще, въ деревнѣ не было болѣе прочнаго мужика. По отно-

шенію къ несчастіямъ онъ велъ себя чрезвычайно дѣльно, быстро оправлялся отъ самыхъ тяжелыхъ оплеухъ. Его страстью, его ремесломъ, его задачей была земля, и онъ добывалъ ее всякими средствами у ближайшихъ къ селу владѣльцевъ, получая свое во что бы то ни стало. Никто его не замѣчалъ, и онъ мало обращалъ вниманія на что-нибудь помимо своей задачи. Словомъ, жизнь его проходила въ томъ, что онъ сперва обрабатывалъ землю, потомъ ѣлъ хлѣбъ, вслѣдъ затѣмъ снова обрабатывалъ землю и опять ѣлъ хлѣбъ и т. д. Отъ него убѣжалъ сынъ Ивашка, поступилъ въ трактиръ половымъ. Но Гаврило собственно не этимъ обстоятельствомъ былъ огорченъ, а лишь тѣмъ, что съ исчезновеніемъ сына для него труднѣе стало добывать землю и ѣсть хлѣбъ. Онъ гораздо больше страдалъ изъ-за бычка, котораго онъ долженъ былъ потерять, употребивъ его, какъ взятку, для пріобрѣтенія земли. Зять, къ которому перешелъ этотъ бычокъ, впоследствии заплатилъ за него Гаврилѣ ничтожные пустяки и Гаврило долго не могъ забыть этого несчастія. Сынъ же въ его мысляхъ былъ только рабочею силой, о прапащѣ которой онъ сильно жалѣлъ, какъ истый землерой. И ни разу ему не приходилось сильно страдать въ тѣ годы, когда у него рожались, но умирали дѣти. На своемъ вѣку онъ родилъ человѣкъ двѣнадцать, изъ которыхъ только двое уцѣлѣли: Ивашка да дочь. Всѣ остальные взяты были многочисленными деревенскими болѣзнями. Такая смертность не убила Гаврилу. Воля Божья! Онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, посылъ каждаго смертнаго случая копошился и хлопоталъ, зашитый текущими дѣлами.

Погруженный изо дня въ день въ хлопоты, онъ былъ доволенъ. Что такое счастье? Или, лучше спросить, что для Гаврилы составляло счастье? Земля, меринъ, телка и бычокъ, три овцы, хлѣбъ съ капустой и многія другія вещи; потому что если чего-нибудь изъ перечисленнаго не доставало, онъ былъ бы несчастливъ. Въ тотъ годъ, когда у него околѣла телка, онъ нѣсколько ночей стоналъ, какъ въ бреду, а отдавая зятю бычка, выглядѣлъ вродѣ какъ полоумный. Но такіа катастрофы бывали рѣдко; онъ ихъ избѣгалъ, предупреждая или поправляя ихъ. Хлѣбъ? Хлѣбъ у него не переводился. Въ самые голодные годы у него сохранялся мѣшокъ другой муки, хотя онъ это обстоятельство скрывалъ отъ

жадныхъ сосѣдей, чтобы который изъ нихъ не попросилъ
него одолженія. Меринъ? Меринъ вѣрно служилъ ему пятъ
надцать лѣтъ и никогда не умиралъ; въ послѣднее врем
только замѣтно сталъ сопѣть и недостаточно ловко владѣть
задними ногами, но, въ виду его смерти, у Гаврилы былъ
двухгодовалый подростокъ.

Въ тяжелыя времена деревни на Гаврилу нападали страхъ
сосѣди его вели жалкую борьбу, и цѣлыя семьи пропадали,
а онъ ничего, живъ оставался. Заглянетъ въ амбарушку, ви
дитъ собственными глазами хлѣбъ. Заглянетъ въ хлѣвъ— там
стоитъ неумирающій меринъ, чавкая соломѣ. Войдетъ в
избу— чисто вездѣ, прибрано, пахнетъ жилымъ духомъ. Посл
этого онъ успокоивался, довольный своею долей. Старуха
его была славная женщина, веселая, горластая и живая. В
избѣ всегда былъ порядокъ. Сама она не ходила неряхой
растрепанной и неумытой, подобно большинству сосѣдокъ.
Потеря дѣтей и другія невзгоды не потрясли ея; она ост
валась бодрой и свѣтлой. Гаврило уважалъ ее. Она его в
время накормить, поможетъ въ работѣ, подастъ хорошій с
вѣтъ, а въ праздники надѣнетъ на него чистые панталон
и ситцевую рубаху, послѣ чего Гаврило сидитъ на завали
кѣ и хлопаетъ глазами. Чего еще больше? Его душевная
тѣлесная крѣпость зависѣла отъ умѣнья сжиматься во вре
деревенскихъ невзгодъ, отъ умѣнья сокращать себя до п
слѣднихъ предѣловъ. Иной на его мѣстѣ, вродѣ Чилигик
или Савоси Быкова, добывъ, съ Божьей помощью, деся
фунтовъ муки, мигомъ ее съѣстъ, а послѣ того впадетъ в
отчаяніе, но Гаврило тѣ же десять фунтовъ раздѣлитъ на
пригоршни и такъ ихъ распредѣлитъ, что не будетъ сыт
но и не помретъ отъ недостатка пищи. Или если у Саво
остается въ карманѣ капитала всего-на-всего три копѣйки
то онъ броситъ ихъ куда-нибудь не впадѣть, а Гаврило
же самыя три копѣйки прижметъ и употребитъ ихъ имен
въ то мгновеніе, когда уже подходитъ смертный часъ— ес
ли одинъ мигъ, и нѣтъ человѣка! А три копѣйки спасли! М
дреная жизнь, но жизнь. Гаврило именно умѣлъ вести такую
жизнь.

Самый плохой моментъ въ его году—весна. Денегъ нѣтъ
земли не даютъ. Оттого онъ въ первый мѣсяцъ послѣ Св
той велъ себя спокойно; ходилъ по сосѣднимъ владѣльцамъ

просилъ Христомъ Богомъ у Шипикина, назойливо надѣлалъ тарабановскому „управителю“, подвергая себя всяческимъ униженіямъ. Затѣмъ, заполучивъ сколько успѣлъ земли, онъ долженъ былъ отдыхать, для чего валялся нѣсколько дней, какъ больной, утомившійся борьбой съ жестокою хворью. Потомъ уже выѣзжалъ въ поле. Неизвѣстно, вѣрилъ-ли онъ въ болѣе радостную, свѣтлую жизнь? Вѣрно одно: никогда онъ не тяготился отсутствіемъ широты и простора. Ему было равно и такъ. Онъ усталъ и, видимо, дѣлался хворымъ, а кругомъ, „по сусѣдству“, утопали.

Когда хворь его началась — съ точностью нельзя опредѣлить. Ближайшій человѣкъ — жена долго ничего особеннаго не замѣчала, а когда вглядѣлась въ мужа, то послѣдній ужъ задумался“. Добрая женщина сильно удивилась, увидавъ, что Гаврилъ „чтой-то не можется“. Часто онъ скребъ себѣ безъ всякой причины поясницу и имѣлъ сердитый видъ. Работая, онъ кричѣлъ и дѣлалъ продолжительные отдыхи. Иной разъ и примется за дѣло, горячо примется, но быстро осянетъ. Идя куда-нибудь, онъ понуро опускалъ голову, никого, по видимому, не замѣчая. Сердобольная жена разъ предложила ему полѣчиться, думая, что онъ какъ-нибудь сорвалъ съ пупа, для чего совѣтовала въ жаркой банѣ, которую она топчетъ, поставить на животъ горшки. Тому, кто не знакомъ съ медицинскимъ употребленіемъ горшковъ, слѣдуетъ объяснить, что это нѣчто вродѣ банокъ для вытягиванія раны, только несравненно дѣйствительнѣе; человѣкъ, которому поставили горшки, кричитъ какъ подъ ножомъ. Средство, кажется, убійственное. Но Гаврило не воспользовался имъ. Мало того, онъ вдругъ осердился, вышелъ изъ себя и мругалъ свою старуху, какъ самый послѣдній солдатъ.

Когда вскорѣ послѣ этого пришло время выѣзжать въ поле, Гаврило по привычкѣ отправился копать землю. Весна была теплая, влажная. День-два свѣтило солнце; слѣдующій день лилъ дождь; потомъ опять стало свѣтло и радостно. Бывало, Гаврило въ такіе дни оживалъ и весело ходилъ за водой, вѣря, что на землѣ тепло жить... Лѣсъ зеленѣлъ мордами, яркими листьями. По полю поднималась свѣжая трава; в озиныхъ пашняхъ проглядывала ужъ рожь. Гаврило принялся за работу какъ слѣдуетъ; съѣлъ кусокъ хлѣба, выпилъ буракъ квасу, покормилъ мерина, и еще солнце хорошо

не засвѣтило, какъ онъ уже медленно шагаль по бурьянъ. Сначала работа шла успѣшно, но чѣмъ дальше, тѣмъ е тише, тише лошадь съ хозяиномъ подвигались впередъ. слышалось понуканья и хлопанья кнута, не выходило сло изъ устъ Гаврилы. И въ полѣ царствовала тишина, ка среди спокойнаго моря. Слышался лишь неопредѣленн шумъ, производимый шепотомъ листьевъ ближайшаго лѣ и колебаніемъ травы. И все тише, тише тянулись лоша съ хозяиномъ. Меринъ оглядывался по сторонамъ, улуча минуто сорвать верхушку прошлогодней травы и съ у вольствіемъ жеваль ее; еще немного, и лукавое животн остановилось бы совсѣмъ, чтобы немного соснуть, по очнется отъ дремоты самъ хозяинъ. Но хозяинъ не спал Онъ опустилъ голову и безсознательно шелъ за лошадь Онъ имѣлъ видъ человѣка, который глубоко задумался. Герило что-то соображалъ.

„Кар-ръ! кар-ръ!“—вдругъ закричала хрипло ворона. Герило вздрогнулъ. На лицѣ отразилось раздраженіе. „Я те дамъ, подлая!“—крикнулъ онъ, махая кнутомъ. Онъ не в рилъ разнымъ сказкамъ насчетъ воронъ, но карканье и ви вороны теперь почему-то моментально вывели его изъ себ Онъ заторопился, задергалъ мерина, а когда тотъ съ пе ваго разу не послушался, заораль на него что есть моч отчего тотъ дернулъ и соха выскочила изъ борозды. „Кар-р кар-ръ!“—вдругъ опять надъ самымъ ухомъ, но съ друг стороны, хрипло заболтала ворона, отлетѣла подальше потыкала носомъ въ комъ земли. Гаврило пришелъ въ ярост „Кар-ръ! кар-ръ!“—хрипѣла подлая птица, не унимаясь. Бо знаетъ, что сдѣлалось съ Гаврилой; онъ схватилъ съ сл пою яростью комъ земли и пустилъ его въ птицу. Онъ пр нялся ругать птицу, потомъ мерина, потомъ неизвѣстно ко безмысленнымъ наборомъ словъ, и долго не могъ придти себя. Только хворый человѣкъ могъ придти въ такой и обузданный гнѣвъ изъ пустяковъ и вспыхнуть злобой : глупому животному. Но какъ бы то ни было, а Герило въ этотъ день больше уже не могъ работать. Пос страннаго раздраженія онъ ослабѣлъ и еле-еле тащился : пашиѣ, пока эта немошь, въ свою очередь, не раздражи его. Тогда онъ поспѣшно собрался и явился, къ удивлен старухи, домой. Нѣсколько дней онъ маялся съ этою пол

сой. На другой день, напимѣрь, онъ попытался поѣхать, но также отчего-то взбѣсился и съ шумомъ двинулся домой, гдѣ легъ на дворѣ, закрылся шубой и такъ пролежалъ до вечера. На третій день также вернулся. На четвертый совсѣмъ не поѣхалъ. На слѣдующій день жена боязливо посылала его въ поле, но онъ отвѣтилъ:

— Ну, ее къ ляду!

— Да ты очумѣлъ, что-ли? Развѣ ужъ пашни совсѣмъ не надо?—удивленно возразила жена.

— А зачѣмъ ее... пашню-то? Наплевать!—съ невѣроятнымъ легкомысліемъ сказалъ Гаврило.

Жена была поражена. Да и самъ Гаврило какъ будто испугался своего голоса и застыдился своихъ словъ; не говоря больше ничего, онъ съ шумомъ собрался и поспѣшно бросился на поле. На этотъ разъ, самъ не зная какъ, кончилъ.

По утвердившейся косности, работы шли своимъ порядкомъ, но ничтожнѣйшіе случаи приводили Гаврилу въ отчаяніе или въ необузданный гнѣвъ. Вспомнивъ какую-нибудь работу, онъ поролъ горячку, волновался отъ каждой неудачи, но быстро ослабѣвалъ, дѣлаясь мрачнѣе ночи, и вслѣдъ за тѣмъ лаялся со старухой или съ меринкомъ. Еслибы кто посмотрѣлъ на него въ это время, то счелъ бы его самымъ идущимъ хозяиномъ, подобно Савосѣ Быкову. Разъярившись, онъ стегалъ мерина, гонялъ по двору телушку, разбрасывалъ, куда ни попало, вещи. Иногда отъ его бушеванія стонъ стоялъ надъ дворомъ. Телушка ревѣла, куры кудахтали, собака лаяла, старуха съ недоумѣніемъ ругалась, а на дворѣ, послѣ пожара, разбросаны были: тамъ хомутъ, тамъ телушка на боку, а посреди всего этого расхаживалъ самъ Гаврило и куралесилъ, вымещая на бездушныхъ предметахъ какую-то боль своей души. Вокругъ жилища его завелся страшный беспорядокъ; кучи сору и навозу нагромождены были противъ самыхъ воротъ; ворота стояли открытыми; хлѣвъ провонялъ отъ нечистоты; телѣга мокла подъ дождемъ на улицѣ: мерина забывали, и онъ жралъ съ голода прутья березовые.

Но иногда Гаврило внезапно затихалъ. Выраженіе его было тогда мучительное. Онъ пытался заговаривать со старухой, желая высказать ей, что у него болитъ, ему хотѣлось поговорить съ кѣмъ-нибудь, чтобы облегчить себя отъ непосиль-

ной тяжести, ни съ того, ни съ сего обрушившейся на него, но высказаться толково онъ не умѣлъ, особенно съ близкимъ человѣкомъ, съ которымъ приучаются говорить полусловами и намеками. Именно старухѣ-то своей онъ и не могъ путно рассказать свою хворь. А, между тѣмъ, самъ сознавалъ, что хворь напала на него и гнететъ немилосердно.

Въ это время онъ ходилъ къ батюшкѣ поговорить по душѣ. Простоявъ въ воскресенье обѣдню, онъ прямо пошелъ къ поповскому дому. Батюшка принялъ его сухо, но не прогналъ, а велѣлъ обождать. Онъ считалъ деньги, собранныя сейчасъ за крестины и молебны. Сидя за столомъ, онъ съ глубоко мысленнымъ видомъ раскладывалъ мѣдныя монеты; скоро на столѣ въ порядкѣ разложены были кучки; въ одномъ мѣстѣ возвышались толстые пятаки, въ другомъ — гривны, подлѣ гривенъ рядомъ тянулись двухкопѣечныя, а позади всѣхъ помѣстились тощія копѣйки. Пересчитавъ все это тѣнно богатство, батюшка нахмурилъ брови и сурово взглянулъ на Гаврилу.

— Ну, говори, зачѣмъ ты?—строго спросилъ батюшка.

Гаврило не могъ сразу найти отвѣтъ. Онъ тревожно кидаль глаза на полъ, по стѣнамъ и на свои сапоги, и въ нерѣшительности перекидывалъ съ одною мѣста на другое свою шапку, положивъ ее сначала на колѣни, потомъ на лавкѣ подлѣ себя, и засунувъ ее, наконецъ, за пазуху кафтана. Лицо его къ этому времени уже сильно измѣнилось; оно осунулось, а въ глазахъ была неотвязная тревога.

— Что же ты мнешься? Говори.

— Я будто нездоровъ. Мнѣ бы по душѣ съ тобой покататься... Можно?—заговорилъ Гаврило слабо, но быстро опривился. Батюшка поморщился въ отвѣтъ на это, однако, при готовился выслушать.

— Я бы передъ тобой все одно, какъ передъ Богомъ. Мнѣ ужъ таить нечего, дѣваться некуда, одно слово, хоша бы рука на себя наложить, такъ въ пору. Значить, приперло же меня здѣсь!

— Что ты говоришь? Развѣ можно имѣть такія грѣховныя мысли?—недовольнымъ тономъ сказалъ батюшка, который еще не могъ до сихъ поръ забыть самоубійства сына.

— Грѣшно—это справедливо. Потому, противъ Бога. Вотъ я и пришелъ насчетъ души поговорить... Болитъ у меня

прямо надо сказать, душа, тоскую, а объ чемъ, объ какихъ случаяхъ, того не знаю... Дивное дѣло! Жилъ-жилъ, все ничего, а тутъ вдругъ вонъ куда пошло!... И хотѣлъ бы познаться, отчего это бываетъ?

— Какъ же она у тебя болитъ, душа-то?

— Да такъ, самъ не знаю, въ какомъ родѣ... А вижу, что главная сила въ душѣ. Отчего это бываетъ?

— Тоска, говоришь?

— Не одна тоска, а все. Иной разъ ску-учно станеть и до того ужъ дойду, что самъ какъ есть не въ своемъ видѣ...

— Трудись хорошенько. Скука происходитъ отъ праздности,—посовѣтовалъ батюшка.

Такъ вѣдь я допрежъ этой пакости не отлынивалъ отъ работы, и сейчасъ бы радъ работать, да не могу. Скучно! Тошно мнѣ смотрѣть на все... И радъ бы приспособить себя къ дѣлу, а, между прочимъ, скучно... Отчего это бываетъ?

— Отъ различныхъ причинъ бываетъ,—многозначительно отвѣчалъ батюшка, но въ полной мѣрѣ недоумѣвая.

— А то случается, что я все думаю разные мысли,—продолжалъ Гаврило.

— Какія же мысли?

— Да мысли-то, по правдѣ сказать, не настоящія, а все больше предсмертное мнѣ приходитъ въ голову...

— То-есть какъ это предсмертное?—спросилъ батюшка, поблѣднѣвъ и съ сердцемъ.

— Да такъ, о смертяхъ, вишь, я все думаю,—пояснилъ Гаврило.

— Дуришь, я вижу, ты!... Что же ты думаешь?

— Разное. Живеть, напримѣръ, около меня Василій Чилигинъ, колотится кое-какъ со дня на день, по зимамъ мерзеть, а то такъ по два дня безъ пищи ходить... Я и думаю: скоро-ли же Чилигинъ кончится?

Батюшка неодобрительно покачалъ головой.

— Или, напримѣръ, Тимошей Луковъ. Домъ бросилъ, жена убѣгла отъ него, а онъ безобразничаетъ... И думаю я: лучше бы Тимошкѣ помереть!

— Это, братъ, грѣшно, зла желать ближнему,—возразилъ батюшка строго.

— Самъ вижу, грѣхъ, а не могу... Вижу котораго, напримѣръ, человѣка и думаю: „зачѣмъ ты живешь?“ И про себя

у меня такія же мысли. Дѣлалъ бы, работалъ бы съ удовольствіемъ, а не знаю, что къ чему... Потому я и спрашиваю, какъ бы хворь эту вывести?... Очень она меня убиваетъ!

— Да я не понимаю, какая хворь? По моему, дурь одна... Какая это хворь?—нетерпѣливо сказалъ батюшка, которому сталъ надоѣдать этотъ разговоръ.

— Жизни не радъ — вотъ такая моя хворь! Не знаю, что къ чему, зачѣмъ... и къ какимъ правиламъ,—упорно настаивалъ Гаврило.

— Ты вѣдь землепашецъ?—строго спросилъ батюшка.

— Землепашецъ, вѣрно.

— Чего же тебѣ еще? Добывай хлѣбъ въ потѣ лица твоего и благо ти будетъ, какъ сказано въ писаніи...

— А зачѣмъ мнѣ хлѣбъ?—пытливо спросилъ Гаврило.

— Какъ зачѣмъ? Ты ужь, братъ, кажется, замолодлся... Хлѣбъ потребенъ человѣку.

Батюшка проговорилъ это лѣниво, не зная, какъ отвязаться отъ страннаго мужичонки.

— Хлѣбъ, точно, ничего... хлѣбъ—оно хорошее дѣло. Для чего онъ? Вотъ такая штука-то! Нынче я ѣмъ, а завтра опять буду ѣсть его... Весь вѣкъ сваливаешь въ себя хлѣбъ, какъ въ прорву какую, какъ въ мѣшокъ пустой, а для чего? Вотъ оно и скучно... Такъ и во всякомъ дѣлѣ, примешься хорошо, начнешь работать, да вдругъ спросишь себя: зачѣмъ? для чего? И скучно...

— Такъ вѣдь тебѣ, дуракъ, жить надо! Затѣмъ ты и работаешь?—сказалъ гнѣвно батюшка.

— А зачѣмъ мнѣ надо жить?—спросилъ Гаврило.

Батюшка плюнулъ.

— Тьфу! ты, дуракъ эдакій!

— Ты ужь, отецъ, не изволь гнѣваться. Вѣдь я тебѣ рассказываю, какія мои предсмертныя мысли... Я и самъ вѣдь не радъ; ужь до той мѣры дойдетъ, что тошно, болитъ душа. Отчего это бываетъ?

— Будетъ тебѣ молоть!—сказалъ строго батюшка, собираясь покончить странный разговоръ.

— Главное, дѣваться мнѣ некуда!—возразилъ грустно Гаврило.

— Молись Богу, трудись, работай... Это все отъ лѣни и пьянства... Больше мнѣ нечего тебѣ присовѣтовать. А ты

перъ ступай съ Богомъ,—и батюшка при этомъ рѣшительно всталъ.

Гаврило не ожидалъ, что бесѣда такъ круто прервется, и нѣсколько времени топтался на мѣстѣ. Но, оставленный батюшкой, онъ вышелъ вонъ, не говоря ни слова. А хотѣлось бы ему до многого допытаться; на примѣръ, спросить: отъ какой причины сынъ батюшки наложилъ на себя руки?

Весь этотъ день Гаврило находился въ смирномъ настроеніи. Но не то случилось на другой день. Нужно же было легкой столкнуть его снова съ батюшкой. Последній шелъ къ себѣ домой и несъ лукошко съ яйцами. Должно быть, какой-нибудь благочестивый мірянинъ пожертвовалъ. Гаврило, какъ только увидалъ батюшку, моментально очутился не въ своемъ видѣ. Онъ взбѣленился, вспыхнулъ и давай ругать батюшку отборными словами. Батюшка сначала не вѣрилъ своимъ ушамъ и остановился, какъ вкопанный.

— Что ты, что ты? Богъ съ тобой! Развѣ ты не узнаешь меня?

— Какъ не узнать!—кричалъ Гаврило.

— Вѣдь я твой отецъ духовный, сумасшедшій ты человекъ!

— Вижу. Ишь какое лукошко-то прешь!... Развѣ священному человеку нужно яйца? Какой же ты послѣ этого священникъ, коли у тебя лукошко на умѣ? — бѣшено кричалъ Гаврило и принялся постыдно ругаться, вѣя себя и, повидимому, не сознавая, гдѣ и что онъ говоритъ. Батюшка поспѣшилъ отойти прочь и, отнеся лукошко домой, сейчасъ же отправился въ волость съ жалобой.

Скоро вся деревня узнала, что съ Гаврилой не только дѣла, но и самаго пустого разговора вести невозможно. Безъ всякаго повода онъ вдругъ ошалѣетъ, облаетъ что ни на есть отборнѣйшими ругательствами и осрамить на всю улицу. Его опасались и сторонились, боязливо поглядывая на него. Мальчишки, и тѣ стали прятаться при видѣ его, хотя онъ иногда ихъ не задѣвалъ. Стоило ему показаться на улицѣ, чтобы куча ребятъ бросалась въ разсыпную. „Вонъ Гаврило идетъ!“—кричалъ кто-нибудь; и это означало: спасайся, кто можетъ! и ребята спасались—одинъ подъ плетень, другой въ дводворотно, кто куда успѣлъ.

А самъ Гаврило все больше и больше принималъ не свой

видѣ. Лѣтнія работы онѣ продолжалъ совершать, но такъ неровно, такъ неумѣло, что только маялся. Онѣ метался. Какъ будто онѣ потерялъ что-то огромное, глубоко-важно и напрасно въ страхѣ отыскивалъ свою пропажу. Не находя искомаго, онѣ еще сильнѣе волновался. Однажды онѣ засѣлъ въ кабакъ, гдѣ его до этого времени никогда не видали. Однако, сивуха не залила его смертельнаго безпокойства, а подействовала на него удручающимъ образомъ. Напившись онѣ пришелъ къ себѣ на зады, легъ въ траву и сталъ плакать. Плачъ его такъ долго продолжался, что услышали не сколько сосѣдей и, подойдя къ нему, робко уговаривали вмѣстѣ съ его старухой, придти въ себя, успокоиться.

Въ другой разъ на двое сутокъ онѣ совсѣмъ безслѣдно пропалъ. Думали, утонулъ, потому что въ послѣдній разъ видѣли его возлѣ воды, и онѣ мочилъ себѣ голову, но это подозрѣніе оказалось напраснымъ. Черезъ два дня онѣ тихо явился домой и спокойно уснулъ. Уходилъ же онѣ въ имѣніе Шипикина къ извѣстному фельдшеру.

Явленіе его къ фельдшеру въ имѣніе Шипикина было такъ же поспѣшно, какъ и все, что онѣ за это время дѣлалъ. Было утро. Солнце еще не поднялось изъ-за лѣса. По землѣ тянулись клочья тумана; только изъ двухъ трубъ выходилъ дымъ. Въ избахъ еще спали. А лицевая сторона дома фельдшера оставалась еще въ тѣни и тогда, когда надъ лѣсомъ ужъ показался огромный шаръ лѣтняго солнца. Но фельдшеръ рано долженъ былъ проснуться. Онѣ уже давно прислушивался, что кто-то подъ его окнами копошится. Онѣ думалъ, что какое-нибудь животное трется объ стѣну, чтобы прогнать его и опять заснуть, всталъ съ кровати, отворилъ окно и увидалъ Гаврилу, который сидѣлъ скорчившись и прижавшись къ стѣнѣ.

— Ты что тутъ трешься?—спросилъ онѣ съ обычною своею грубостью, на этотъ разъ особенно усиленной.

— Не ты-ли будешь фершалъ?

— Ну, я.

— Я къ тебѣ по моей болѣзни пришелъ,—отвѣчалъ Гаврила.

— Ты бы еще ночью приперся! Уснуть не даютъ, черти. Сейчасъ!

Послѣ этого фельдшеръ съ недовольнымъ видомъ заглянулъ въ какія-то бараньи калоши, надѣлъ длиннополую хламиду

прямо на бѣлье и пошелъ на улицу. Недовольство никогда не мѣшало его леченію; никогда онъ подолгу не задерживалъ больного, хотя бы тотъ дѣйствительно не во-время явился къ нему. Обругаетъ, какъ послѣдняго свинью, своего пациента, но отнесется къ нему добросовѣстѣйшимъ образомъ.

— Ну, что?—спросилъ онъ, оглядывая пытливо крестьянина и стараясь по внѣшнему виду его опредѣлить болѣзнь. Словамъ мужика обыкновенно онъ ни капли не вѣрилъ и въ грошъ не ставилъ его часто дѣйствительно нелѣпый рассказъ о болѣзни. Онъ постигалъ болѣзнь какими-то окольными путями и такъ наловчился въ этомъ, что рѣдко ошибался. Къ удивленію его, однако, на этотъ разъ ничего не могъ сообразить. Гаврило сперва жаловался на головную боль, но вслѣдъ затѣмъ понесъ такую колесную, что фельдшеръ только пожималъ плечами.

— Давно у тебя голова-то болитъ?—спросилъ онъ, осматривая съ ногъ до головы взбудораженную фигуру Гаврилы.

— Да какъ тебѣ сказать?... Давно ужъ,—возразилъ Гаврило.

— Здорово болитъ?

— Болитъ вотъ какъ! Сожметъ, сожметъ — свѣту не видишь. Прямо тебѣ сказать, голова моя вродѣ какъ кадуш-ка, а на кадушкѣ будто набиваютъ обручи... мочи нѣтъ!

— Можетъ быть, это съ перепоею, а то не треснулся-ли башкой объ уголь? Вообще не припомнишь-ли ты случая, съ котораго началась у тебя эта боль?

— Кто его знаетъ?... Такого случая въ памяти у меня нѣтъ...

— Такъ вѣдь съ чего-нибудь взялось же?

— Да съ чего взялось?... Я полагаю не иначе, какъ отъ думы это все идетъ; отъ думы и голова, видно, болитъ... Иной разъ думаешь-думаешь, и такъ тебѣ сожметъ голову!...

— О чемъ же ты думаешь?—съ изумленіемъ спросилъ фельдшеръ.

— Разное. Что случится въ деревнѣ, объ томъ и думаю. Что увижу или услышу—и давай сейчасъ разбирать... Значитъ, болитъ у меня душа, оттого и голову ломить... Въ душѣ самая сила-то, язва-то самая...

Фельдшеръ осердился.

— Да по твоему, что это такое—душа?—спросилъ онъ.

Но Гаврило молчалъ, не понимая.

— Ты думаешь, можетъ быть, что это особливый кусокъ какой, который можно схватить? Вѣдь душа твоя—это ты самъ и есть. Стало быть, ты хочешь сказать, что у тебѣ все болитъ, весь ты разстроенъ?

— Все, все! это ты вѣрно! Истинно, все сплошь у меня болитъ. Очень худо мнѣ. Не дашь-ли лѣкарствія какого отъ думы, чтобы то-есть не маялся мыслями?—спросилъ радости и съ надеждой Гаврило.

Фельдшеръ, между тѣмъ, пристально оглядывалъ больного. Видно было, что онъ сталъ въ тупикъ.

— Вотъ еще какіе бываютъ,—сказалъ онъ какъ бы про себя, но смотря на Гаврилу.

— Что изволишь говорить?—спросилъ съ надеждой послѣдній.

— Я говорю, что еще ни разу мнѣ не приходилось лѣчить не думать. Гмъ! Такъ лѣкарствія тебѣ? Ладно.

И еще разъ оглянувъ съ ногъ до головы больного, онъ вошелъ къ себѣ въ домъ, порылся тамъ въ шкапъ и возвратился назадъ на улицу съ какимъ-то пузырькомъ въ рукахъ. Гаврило безъ слова отдалъ деньги за лѣкарство, но фельдшеръ, прежде чѣмъ вручить его, принялся, по обыкновенію вдалбливать, какъ надо употреблять лѣкарство.

— Это отъ головной боли и отъ нервовъ, которые, впрочемъ, едва-ли у тебя есть... Такъ вотъ, на! По десяти капель въ день; принимать въ водѣ. Понялъ? Я потому такъ спрашиваю, что ты, можетъ быть, вздумаешь сразу сожрать этотъ пузырекъ. А если ты сожрешь сразу, такъ голова твоя обратится не то что въ кадушку, а будетъ турецкіи барабанъ, по которому бьютъ два солдата... да еще сердцебіеніе наживешь... Понялъ?

— Понялъ,—отвѣчалъ Гаврило.

— Повтори.

— Налить въ воду десять капель и выпить.

— Ладно. Теперь ступай. Повторяю: это тебѣ пока отъ головной боли. Ты понавѣдайся черезъ нѣсколько дней: придетъ докторъ, ты услышишь объ его пріѣздѣ и приди. Мы тогда и придумаемъ какое-нибудь лѣкарствіе, чтобы у тебѣ мыслей не было,—говорилъ фельдшеръ, задумчиво провожа глазами удалявшагося Гаврилу. Онъ былъ изумленъ.

Искренно изумленъ. Въ своей деревенской практикѣ онъ

все болѣе встрѣчалъ первобытныя болѣзни: надорвался животъ; жиры налились водою; лягнула лошадь; раскроилъ щегъ; пріятель откусилъ своему пріятелю въ нетрезвомъ и возбужденномъ состояніи часть губы; простудился въ рѣкѣ, юстава коноплю, когда уже на рѣкѣ образовался ледъ, и прочее въ томъ же родѣ. Лѣчилъ онъ все это съ ловкостью хорошаго врача. Имѣлъ онъ также дѣло съ лихорадками, горячками и со всѣми эпидеміями, какія только существуютъ на землѣ и особенно любятъ деревни, но такой болѣзни, какую онъ сейчасъ встрѣтилъ, онъ не знавалъ, не признавалъ ея. Разстроенная бездѣльемъ пустая барыня—это было для него понятно, но чтобы мужикъ разстроился въ томъ же родѣ—это было въ его глазахъ крайне глупо. Но человекъ онъ былъ добродушный, искренній. У него только языкъ былъ взбалмошный, а сердце доброе. Онъ сильно заинтересовался Гаврилой и, не полагаясь на себя, рѣшился представить его доктору, котораго ждалъ на-дняхъ.

Черезъ шесть дней докторъ дѣйствительно пріѣхалъ на сутки. Скоро въ квартирѣ фельдшера собралась огромная толпа чающихъ исцѣленія; весь этотъ немошный людъ облѣпалъ завалянки, плетни, ворота и крыльцо фельдшерскаго дома. Въ сѣни, гдѣ происходилъ пріемъ, впускались по очереди. Главное участіе въ пріемѣ принималъ фельдшеръ же; докторъ только руководилъ, мало вмѣшиваясь въ курьезныя объясненія съ націентами. Онъ полулежалъ за лавкѣ за столомъ и безцеремонно громко зѣвалъ. Глядѣлъ онъ сонно; движенія его были апатичны, разговоръ вялый, безжизненный, потому что онъ былъ земскимъ врачомъ отъ жиства, гдѣ убійственная скука столь же неизбежна, какъ плеточіе у человека, которому невѣжественный коноваль периодически пускалъ кровь. Этотъ докторъ былъ еще молодой человекъ, а уже дряхлое старчество проглядывало во всѣхъ его движеніяхъ. Говорять, въ первое время своей службы онъ безъ отдыха скакалъ по ввѣренной ему палатѣ, устраивалъ пріемные покои, ругался изъ-за пузырьковъ для лѣкарствъ, изъ-за корпіи, велъ медицинскую статистику и т. д. Потомъ понемногу все затихало, умолкало, работало, пока не дошелъ до того состоянія, когда, какъ говорится, плюнуть лѣнь.

Къ полудню пріемъ кончился. Больная толпа разошлась.

Но фельдшеръ долго еще послѣ этого поджидалъ Гавригу. Наконецъ, не выдержавъ и обругался.

— Вѣдь вотъ, дубина безчувственная, не пришелъ!

— Кого это вы браните?—спросилъ докторъ.

Фельдшеръ былъ настроенъ на торжественный тонъ, докторъ, отлично зная его, заранѣе улыбнулся.

— Приходилъ ко мнѣ на-дняхъ одинъ больной крестьянинъ, то-есть прямо сказать, чортъ его разберетъ, больной или полоумный. Сколько я ни изслѣдовалъ его словесно, ни къ какому понятію не могъ придти; по обыкновенію, путалъ онъ, путалъ языкомъ и не единого слова не выразилъ. Сперва, изволите видѣть, заявился съ головою болью, сра-нилъ голову съ кадушкой, на которую, напримѣръ, набиваютъ обручи,—именно этимъ онъ хотѣлъ пояснить наглядно, какъ у него болить голова. Но изъ дальнѣйшаго разспроса оказалось, что у него, извольте вообразить, болить душа, а когда я объяснилъ ему, что особливаго эдакого куска мяса, который бы былъ именно душой, нѣтъ, не существуетъ въ природѣ, такъ онъ сейчасъ же согласился со мной и, къ удивленію моему, можете себѣ представить, объявилъ, что именно у него все болить, все сплошь!... Больше, извините, не помню, что онъ путалъ, но, кажется, увѣрялъ, будто бы головная боль его происходитъ отъ думы, и просилъ у меня такого лѣкарства, отъ котораго бы сразу всѣ мысли его прекратились... Вотъ теперь я приказывалъ ему придти, а онъ видите, и глазъ не кажетъ...

Докторъ все время улыбался.

— Случай, извольте видѣть, интересный, то-есть у меня никогда не было такихъ больныхъ... Я уже было подумалъ — совѣстно даже сказать!—не нервное-ли это расстройство?

— Это вполнѣ вѣроятно,—замѣтилъ докторъ.

— Какъ! у деревни-то нервы?!—воскликнулъ фельдшеръ.

— Я не разъ уже встрѣчалъ между крестьянами нервы больныхъ, со всѣми признаками глубокихъ умственныхъ страданій...

Фельдшеръ пристально посмотрѣлъ на доктора, подозревая, что тотъ хочетъ надъ нимъ подшутить, а онъ терпѣть не могъ этого.

— Ну, ужъ это едва-ли!... По моему, они безчувственны

гь болямъ; это ужъ я отлично знаю... Къ физическимъ страданіямъ тупы, нравственныя оскорбленія выносятъ равнодушно—въ этомъ и бѣда вся!

— Говорю вамъ, у меня уже перебивало много такихъ... Мало того, было нѣсколько случаевъ, гдѣ я замѣчалъ явные слѣды нервнаго *odium vitae*... Отвращеніе къ жизни.

Фельдшеръ недовѣрчиво взглянулъ на доктора.

— А отчего же это, позвольте васъ спросить, происходитъ?

— Да, вѣроятно, оттого же, отчего и съ каждымъ изъ насъ можетъ быть... Упадокъ силъ... потеря царя головы... тоска... отвращеніе ко всему. Что касается вашего больного, то, быть можетъ, его поразили рядъ неудачъ; быть можетъ, у него было одно, но огромное несчастье; быть можетъ, накопилось сочувствіе къ окружающимъ...

— Это у него-то сочувствіе къ людямъ, у остолопа-то больного?!

— У простого человѣка сочувствіе больше развито, чѣмъ у кого другого. У крестьянина связь со всѣмъ окружающимъ съ обществомъ буквально кровная, неразрывная... И если это общество страдаетъ, и онъ хирѣетъ, и хвораетъ, и падаетъ духомъ... вянетъ, какъ листъ срѣзаннаго растенія... Это я и называю сочувствіемъ, невольнымъ, безсознательнымъ, но тѣмъ болѣе неумолимымъ.

Фельдшеръ задумался.

— Позвольте, докторъ, я приведу къ вамъ этого чурбана, посмотрите его,—сердито сказалъ онъ.

— Едва ли я сдѣлаю ему что-нибудь нужное.

— Неужели ничего?

— Да что же?... Единственное средство—это совершенная перемѣна образа жизни и обстановки; но подумайте, какъ это мужикъ перемѣнитъ образъ жизни? Безполезно и лѣннѣе... Пожалуй, приведите,—уныло сказалъ докторъ.

П. сказавъ это, онъ потянулся, зѣвнулъ и совсѣмъ прилегъ на лавку.

Фельдшеру, между тѣмъ, надо было ѣхать по дѣлу въ деревню Гаврилы; да еслибы, кажется, и предлога никакого не нашлось, онъ выдумалъ бы его, только бы притащить Гаврилу. Непонятная болѣзнь послѣдняго подмывала его. Ему отъ души хотѣлось помочь ему, въ крайнемъ случаѣ

подробно разсмотрѣть и разспросить, чтобы на будущее время не срамить себя такъ передъ докторомъ. По счастливой случайности, ему удалось встрѣтить Гаврилу, не доѣзжая еще до мѣста. Тотъ шелъ посмотрѣть полосу, посѣянную на шипикинской землѣ. Фельдшеръ обрадовался ему, какъ давнишнему знакомому, и уже хотѣлъ хлопнуть его по плечу, для чего соскочилъ съ телѣги, на которой трясся, но взглянулъ на лицо мужика и оставилъ это намѣреніе. Гаврило злобно и мрачно смотрѣлъ на него, какъ на врага. Тѣмъ не менѣе, фельдшеръ вскричалъ:

— Эй, ты, Иванъ!..

— Я не Иванъ, а Гаврило!

— Ну, чортъ съ тобой, Гаврило, такъ Гаврило, какъ будто мнѣ не все равно... Я только хочу сказать—поѣдемъ со мною къ доктору. Онъ тебя осмотритъ и найдетъ, можетъ быть средство,—сказалъ фельдшеръ.

— Проваливай своею дорогой!

Фельдшеръ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на говорившаго

— Будетъ тутъ болтать... садись, я тебя довезу.

— Нечего мнѣ садиться. Знаю я васъ!.. Ишь гусь какой

— Ты что же это, бревно?—сказалъ фельдшеръ сдержанно.—Я же тебѣ хочу пользы, а ты лаешься! Вѣдь пропадешь ни за понюхъ!

— Много васъ тутъ шляется...! проваливай!—мрачно сказалъ Гаврило.

Фельдшеръ даже позабылъ выругаться. Онъ подождалъ пока Гаврило удалялся, постоялъ съ нерѣшительности, сѣлъ въ телѣгу и поѣхалъ въ противоположную сторону, крайне недовольный собой и опечаленный.

Однако, впоследствии вмѣшательство фельдшера положительно спасло Гаврилу. Безъ этого случая Гаврилъ не виновать бы Сибири или, по меньшей мѣрѣ, арестантскихъ ротъ. Никому изъ окружающихъ въ голову не приходило, что это просто больной. Всѣ видѣли, что человѣкъ одурѣлъ и не знали отчего. Къ этому времени Гаврило дѣйствительно сдѣлался невыносимымъ. Все лѣто онъ провелъ въ какомъ-то странномъ возбужденіи, отчего поступки его приняли безпокойный характеръ. Потерявъ, такъ сказать, свою точку, свою вѣру, онъ взамѣнъ ее не нашелъ ничего. Онъ уже совершенно потерялъ спокойствіе, и если иногда казался тихъ

истраченнымъ, то это было просто окаменѣніе. Онъ все куда-то порывался, что-то подмывало его. Напримѣръ, онъ мучился съ сѣномъ, которое онъ накопилъ въ Петровки. Сперва, какъ и всѣ люди, сложилъ сѣно на гумнѣ, но вдругъ это его смутило, и съ сумасшедшею торопливостью въ половину дня онъ перетаскалъ сѣно на дворъ къ себѣ и сметалъ его на сарай. Но тутъ его опять встревожило, и онъ то же самое сѣно побросалъ опять на дворъ и засовалъ его юдъ сарай. Можетъ быть, онъ еще куда-нибудь стащилъ бы сѣно, но помѣшали другія хлопоты, столь же нелѣпыя.

Гаврило уже плохо владелъ собой и дѣлалъ необдуманныя дѣла. Таковъ былъ его краткій разговоръ со старшиной, чѣмъ-было не погубивъ ий его. Обстоятельства этого дѣла крайне нелѣпы. Волостное правленіе вызывало Гаврилу для какихъ-то справокъ насчетъ его сына Ивана. Справки были густыя. Гаврило долго не являлся на зовъ, можетъ быть, позабылъ его. Вспомнивъ, онъ безъ всякаго раздраженія отправился удовлетворить законное требованіе своего начальства. Передъ отходомъ изъ дома онъ даже нѣсколько оправился: приодѣлся, пригладился и вообще велъ себя безупречно. Видъ онъ имѣлъ смиренный. Явился въ волость совершенно равнодушно.

— Ты что тамъ ломаешься? — обратился къ нему старшина. — Я тебя сколько разъ требовалъ, а ты и ухомъ не ведешь. Ждать мнѣ, что-ли, тебя, остолепъ?

— Самъ ты остолепъ, — равнодушнѣйшимъ тономъ возразилъ Гаврило.

Старшина посмотрѣлъ на присутствующихъ, какъ бы спрашивая: что это такое?

— Что ты сказалъ? — спросилъ онъ.

— А ты долженъ слушать, уши-то есть у тебя, — равнодушно отвѣчалъ Гаврило.

— Да ты какъ смѣешь грубить, негодяй? — взбѣшенно кричалъ старшина.

— Самъ ты негодяй, — вспыхнулъ Гаврило и сразу потерялъ свой видъ, и принялся кричать. — Негодяй! именно негодяй! Зовъ тебѣ и сказъ! А окромя того, обдирало! Всю волость ободрагъ! Староста вонъ влопался ужъ, а ты еще сидишь... Какъ ты смѣешь ругаться? Я тебѣ дамъ, какъ срамить хорошаго человѣка!

Старшина бросился-было къ нему, готовый, повидимому, разодрать его, но овладѣлъ собой и только затрясся.

— Ребята... вали его!—слабымъ голосомъ выговорилъ онъ, обращаясь къ присутствующимъ двумъ-тремъ крестьянамъ. Тѣ принялись исполнять приказъ. Гаврило, ужъ не помня себя, схватилъ какую-то вещь въ руки и давай ей размахивать, обороняясь отъ нападающихъ. Впослѣдствіи ужъ оказалось, что моталъ онъ огромнымъ сапогомъ, принадлежащимъ волостному старшинѣ. Конечно, отчаянная оборона только замедлила его взятіе, да еще, пожалуй, посадила двѣ-три шишки на головахъ нападающихъ, но не могла принести пользы. И тутъ никто не подумалъ, что взяли, избili скрутили и посадили въ чуланъ нездороваго человѣка.

Дѣло, напротивъ, явилось серьезнымъ: „оскорбленіе словами и намѣреніе оскорбить дѣйствіемъ волостного старшину при исполненіи обязанностей службы“. Старшина, впрочемъ, рѣшилъ сперва не давать хода этому происшествію и предложилъ, въ смыслѣ мировой, высѣчь его, но Гаврило ничего не отвѣчалъ изъ чулана, и дѣло пошло дальше. Гаврилу увезли въ тюрьму, гдѣ слѣдователь дѣятельно принялся разыскивать въ хворомъ человѣкѣ преступную волю. А тѣмъ временемъ Гаврило все сидѣлъ, до той поры, пока не вмѣшалась его старуха.

Напередъ ошеломленная, она, однако, не упала духомъ бодро кончила лѣтнія работы, начатыя мужемъ, и тогда рѣшилась все лишнее распродать или отдать на сбереженіе сосѣдямъ, дворъ припереть, избу заколотить, кое-какую живность порѣзать, чтобы свезти въ городъ для продажи. Только телку да безсмертнаго мерина оставить. Такъ и сдѣлала. Запрягла мерина и поѣхала по свѣту добывать Гаврилу. Буквально по свѣту, потому что она не знала гдѣ онъ спрятанъ, у кого о немъ спросить и кому надо дать просьбами; знала только, что надо ѣхать въ тотъ городокъ, гдѣ при трактирѣ живетъ Ивашка-сынъ. Старуха съ меринкомъ избородила въ два мѣсяца осени тысячи двѣ версты. Нашла въ городѣ, при помощи Ивашки, того слѣдователя, въ рукахъ котораго находилось дѣло Гаврилы, и слѣдователь прогналъ ее. Ей посовѣтовали обратиться къ самому губернатору, и она поѣхала на меринѣ искать губернатора, объѣзжавшаго губернію. Но губернатора не

увидала, и, чтобы она больше не надождала, ее прогнали. Посоветовали ей еще обратиться къ прокурору, и она тѣмъ же путемъ обратно поѣхала въ городъ, но и прокуроръ ее не выслушалъ. Тогда она двинулась на неутомимомъ меринѣ назадъ въ деревню, чтобы попросить у общества одобрительнаго свидѣтельства о Гаврилѣ, но міръ по ея дѣлу не собрался; отдѣльные мужики хотя и жалѣли ее, но ничего сдѣлать не могли. Много она съ мериномъ изъѣздила лишняго. Но она вѣрила, что мужа, по нездоровью, отпустить.

Случайно лишь встрѣтилъ ее фельдшеръ и сильно заинтересовался разсказомъ старухи. Выслушавъ ее до конца, онъ далъ ей письмо къ своему доктору, съ приказаніемъ умно и толково разсказать ему все. Докторъ жилъ въ городѣ въ это время, и старуха снова туда поѣхала. На этотъ разъ она попала въ точку. Черезъ мѣсяцъ Гаврилу освободили, въ видѣ признанія его умственно разстроеннымъ. Много лишняго изъѣздила старуха съ мериномъ!

Когда Гаврило вышелъ изъ тюрьмы, онъ имѣлъ дѣйствительно видъ худой. Все семейство пожило вмѣстѣ дня два, въ время которыхъ Ивашка дѣятельно убѣждалъ отца бросить деревню и поступить къ его хозяину дворникомъ.

— Здѣсь, прямо сказать, спокойно. У насъ думать нечего. Бери свое, что тебѣ слѣдуетъ—и шабашъ! Думать нечего! Живи, получай деньги, сколько должно и—шабашъ!—говорилъ Ивашка, раскрашивая трактирную службу. Гаврило сначала слушалъ невнимательно, но, приходя въ себя, одобрительно кивалъ головой. Потомъ вдругъ обрадовался. Онъ заговорилъ, оживѣлъ, засуетился. Въ какой-нибудь часъ рѣшеніе его созрѣло: ѣхать немедленно въ деревню и отпроситься у общества въ отпускъ, послѣ чего возвратиться въ городъ къ Ивашкѣ. Повидимому, въ его головѣ моментально обрисовалась картина: взялъ лопату и двинулся, а послѣ того никакого больше безпокойства.

— И больше не объ чемъ безпокониться?—радостно спросилъ Гаврило.

— Да о чемъ же еще?... Свое дѣло исполнилъ—и шабашъ!—разъ подтвердилъ Ивашка.

Гаврило запрегъ мерина въ сани (была уже зима), посадивъ старуху и поѣхалъ въ деревню для раздѣлки съ ней. Исторія мерина кончилась. По пріѣздѣ домой, онъ по-

нуро свѣсилъ уши. Когда Гаврило отвелъ его въ сарай, онъ не обрадовался и не сталъ кататься по назъму. Когда ему подложили соломѣ, чтобы онъ поѣлъ, онъ отворотилъ на-отрѣзъ отказавшись пить и ѣсть. Видимо, онъ умираетъ. Къ ночи онъ легъ на землю, вытянулъ шею, ноги и хвост — и сдохъ. Только старуха поплакала надъ нимъ.

Но Гаврилъ ничего не было жалко. Напротивъ Нѣсколькимъ сосѣдямъ пришли провѣдать его, посмотрѣть; они уже слышали, что вся исторія съ Гаврилой случилась отъ хвори. Теперь быстро собрались выразить Гаврилѣ сочувствіе. Гаврило ихъ принялъ нерадушно. Его безпокойство снова стало возрождаться отъ вида родины. И воздухъ, и солнышко и поле, и людей, и свою избу, и дворъ съ назъмомъ, и парай съ телушкой и курами, — все это онъ прежде любилъ, но теперь чувствовалъ одно безпокойство, припоминая мученія, которыя онъ здѣсь претерпѣлъ. Дѣла онъ живо кончилъ, кое-что продалъ, приперъ ворота, заколотилъ ихъ и пошелъ со старухой прочь.

Чтобы не оборвать этой исторіи на полусловѣ, слѣдуетъ рассказать въ нѣсколькихъ словахъ, какъ Гаврило устроился на новомъ мѣстѣ. Устроился онъ спокойно. Изъ вѣны вышелъ образцовый дворникъ. Свои обязанности онъ исполнялъ точно: подметалъ дворъ, таскалъ жильцамъ дрова отъ нихъ соръ. Онъ былъ радъ, что попалъ на такое ровное мѣсто. Въ тѣлѣ онъ поправился. Безпокойства, раздраженности уже не было замѣтно въ его взорѣ. Да разве можно что-нибудь думать о метлѣ или по поводу ея? У него въ жизни метла одна только и осталась. Вслѣдствіе этого, мыслей у него больше не появлялось. Онъ думалъ только, что ему приказывали. Если бы ему приказали этою его метлой бить по спинамъ жильцовъ, онъ не отказался бы. Жильцы его не любили, какъ бы понимая, что это человекъ совсѣмъ не думаетъ. За его позу передъ воротами они называли его „идоломъ“. А, между тѣмъ, онъ виноватъ былъ только потому, что оборванные деревней нервы ладили его безчувственнымъ.

Братья.

I.

Въ одинъ изъ степныхъ вечеровъ, когда жгучій жаръ не-
много ослабѣлъ, когда дышавшая зноемъ березовская степь
бросила съ себя полдневную дымку, придававшую ей видъ
безсонечнаго синяго моря, которое зажгли на всѣхъ точкахъ
горизонта, и когда мировой судья счелъ возможнымъ надѣтъ
ждать, чтобы съ большимъ удобствомъ начать чаепитіе,
то его гостей усѣли за столъ и принялись за чашки.
Одинъ изъ нихъ—его городской пріятель; другіе два — бере-
зовскіе мужики, два брата Сизовы, только что сработавшіе
надъ новымъ крыльцо. Ихъ судья усадилъ за свой столъ,
какъ образчики степныхъ жителей вообще и березовцевъ въ
частности: нѣ, молъ, вотъ смотри и спрашивай. Статистикъ
на самомъ дѣлѣ действительно предлагалъ имъ сотни вопросовъ о мѣстной
жизни, но за нихъ долженъ былъ отвѣчать самъ хозяинъ,
потому что они были молчаливы, какъ глубокіе колодцы,
изъ которыхъ статистику трудно было что-нибудь выудить;
говорили о нихъ, спрашивали ихъ объ ихъ же житѣ, но они
не могли угодиться въ своихъ отвѣтахъ за вопросами. Ста-
тистикъ, между прочимъ, интересовался вопросомъ: находятся-
ли мѣстные жители въ кабалѣ? Еще бы! У кого? У кулаковъ.
Здѣсь пришлые люди? Кровные и доморощенные. Значить, бе-
резовцы въ собственной жизни заключаютъ причины зарож-
денія, развитія и питанія своихъ враговъ? Здѣсь мировой
судья далъ отвѣтъ простой и откровенный, въ томъ смыслѣ,
что казали всюду много, а въ темной мужицкой средѣ больше,

чѣмъ гдѣ-нибудь; при этомъ мужицкую среду онъ сравнилъ съ мутною водой, въ которой плаваютъ добрые караси и злы щуки, сравнилъ и захохоталъ. На дальнѣйшіе вопросы онъ отвѣчалъ пространно.

Одинъ изъ братьевъ, Петръ, слушалъ, повидимому, съ почти тѣльнымъ вниманіемъ, но ничего не слышалъ. У него въ печи въ это самое мгновеніе сушилась ось, передъ значеніемъ въ которой всѣ разглагольствованія хозяина были пустыми. Онъ не выдержалъ долго. „Домой бы мнѣ надо“, — сказалъ онъ; и вопросы, куда онъ торопится, онъ отвѣчалъ: „Древо у меня въ печкѣ сушится—оно и безпокойно, какъ бы не пропахло чуточку перегоритъ и конецъ дѣлу, сейчасъ треснетъ, хоревомъ реви“... Петръ былъ мрачно серьезенъ, говоря это собираясь уходить; время, пока мировой судья говорилъ о народной жизни, онъ думалъ именно объ этомъ „древѣ“, которое въ его глазахъ уже представлялось курящимся и треснувшимъ. Какъ ни упрашивалъ его судья посидѣть, онъ ушелъ. Другой братъ, Иванъ, казалось, исполнялъ всѣ дѣйствія, съ таемья имъ неизбѣжными при всякомъ чаепитіи; онъ наливалъ чай на блюдечко, дулъ на него и клалъ на пятерню допивъ чашку, онъ опрокидывалъ ее вверхъ дномъ, клалъ на ея верхушку огрызокъ сахара и пытался благодарить угощеніе. Но въ эту минуту хозяинъ кидалъ огрызокъ, и ливалъ новаго чаю и приказывалъ дуть снова. И Иванъ думалъ. Это повторялось нѣсколько разъ. Судья такъ увлекся своими разговорами, что не обращалъ вниманія ни на самого Ивана, обливавшагося потомъ, ни на его слова. И тяжело было Сизову! Пропуская большинство мудреныхъ словъ хозяина, онъ понималъ, что тотъ много говорилъ несправедливаго, невѣрнаго, но какъ бы надо было говорить—не зналъ. Лицо его было весьма плачевно; онъ конфузился, стыдливо поглядывалъ на обоихъ господъ, какъ будто сидѣлъ на скамьяхъ подсудимыхъ. Онъ даже забылъ вытирать свое лицо, такъ что съ кончика его носа свѣшивалась капля воды.

— Миколай Иванычъ! Ты погоди... такъ нельзя, — говорилъ онъ, пытаясь собраться съ мыслями и возразить судѣ.

Послѣдній останавливался, чтобы выслушать его.

— Что? Ну, говори.

— Ты малость не тово, не такъ... Ты говори по порядку.

чтобы выходило точка въ точку... А эдакъ нельзя. Ты говоришь, я міроѣдъ...

— Ты слушай ушами, Иванъ,—разсердился хозяинъ,—я не говорю, что каждый изъ вашихъ мужиковъ кулакъ, но я утверждаю, что въ каждомъ изъ нихъ сидитъ будущій кулакъ. Дайте только каждому изъ васъ силу, такъ вы живьемъ съядите другъ друга.

— Рази такъ можно? Ты суди по справедливости,—повторилъ Иванъ. Онъ, видимо, огорчился.

— Такъ откуда же, по твоему, міроѣды-то ваши?

— Откуда!

— Да, откуда? Съ неба, что-ли, они къ вамъ валятся?

— Зачѣмъ съ неба? Ты погоди, Миколай Ивановичъ, дай мнѣ срокъ... я тебѣ предоставлю... надо обсудить все какъ слѣдуетъ, по настоящему,—сказалъ Иванъ, во всѣ глаза смотря перемѣнно то на того, то на другого барина и, повидимому, роаясь въ своей головѣ въ поискахъ за настоящими причинами.

Но вдругъ онъ, почувствовавъ всю горечь обвиненія, воскликнулъ:

— Ахъ, ты Господи Воже мой! эдакая притча!

И замолчалъ.

— Вотъ вы и слушайте его!—продолжалъ Николай Ивановичъ, обращаясь уже къ статистику.—Никогда вы не добьетесь отъ него лучшаго отвѣта... не можете... Я съ нимъ много говорилъ, да и со многими изъ нихъ говорилъ... никто не можетъ! Они даже удивляются при этомъ вопросу, какъ будто міроѣды живутъ гдѣ-то на островахъ Фиджи, а не въ Березовкѣ... Откуда кулаки?—на это, конечно, много отвѣтовъ, въ числѣ которыхъ я выскажу и свой взглядъ. Я сказалъ: въ каждомъ кулакѣ сидитъ кулакъ. Но пусть это невѣрно; бросаю на время свое мнѣніе. Что же изъ этого? Вы скажете, что кулакъ—посторонняя сила, наплывшая въ деревню извнѣ? Но я могу по пальцамъ перечестъ всѣхъ здѣшнихъ міроѣдовъ и рассказать ихъ родословную, изъ которой вы увидите, что всѣ они происхожденія домашняго. Замѣйте, что въ эту плешь ни одна каналья не пойдетъ, не зная мѣстныхъ обычаевъ и условій, потому что безъ этихъ условій его подлости принесутъ ни малѣйшей выгоды. Это ясно, какъ день: міроѣдъ долженъ родиться въ той же мѣстности, гдѣ ему

предстоитъ совершить свой провиденціальный трудъ по-
вѣданія темнаго народа. Но даже и это слабо выражено. Міро-
ѣды и кулаки прямо-таки рождаются на мѣстѣ, такъ что по-
стороннимъ кулакамъ и пріѣзжать не зачѣмъ: своихъ до-
вольно. Вы хотя вотъ у него спросите (судья указалъ на
Ивана), какими березовцы пришли сюда, какими стали те-
перь. Я расскажу. Пришли они изъ внутренней губерніи и
поселились въ нашей степи при самыхъ благопріятныхъ усло-
віяхъ и на мѣстѣ, лучше котораго они и найти не могли.
Кругомъ безбрежныя степи, неистощимый черноземъ; отрѣ-
зали имъ земли столько, что ее просто дѣвать было некуда,
кромѣ того, подъ бокомъ у нихъ были башкирскія степи и
казенныя земли. Башкиры обыкновенно соглашались отда-
вать неизмѣримыя пространства за щепоть спитаго чаю
или за полпирога. По рѣкѣ Зыби росли густыя чащи дуба,
няку, осины, березы—дрова. Рожью они кормили свиней, в
просѣ тонули мужики и умирали... Вы спросите только, что
было тутъ! Нынче же этого ничего нѣтъ. Лѣсъ весь выруба-
ленъ, и топять навозомъ. Землю всю выпотрошили и теперѣ
хнычутъ на малоземелье, собираясь идти дальше отыскивать
кисельные берега. Башкирскія земли прозѣвали. Но это к
слову... Я говорю это только затѣмъ, чтобы показать всѣ
невозможности кабалы. Зачѣмъ кабала? Зачѣмъ они за-
платили землю? Зачѣмъ имъ понадобились кулаки, на кото-
рыхъ теперь у нихъ большое плодородіе, чѣмъ на хлѣб-
насушный?

— Миколоай Иванычъ, а, Миколоай Иванычъ! Ей-ей, в
вѣрно!—вставилъ Иванъ. Потомъ онъ накрылъ чашку, по-
ложилъ на нее огрызокъ сахара и благодарилъ за угощеніе
хозяина.

Послѣдній остановился, самъ отпилъ глотокъ чаю, налилъ
молча новую чашку Ивану и приказалъ:

— Пей!

Послѣ чего продолжалъ:

— Забылъ еще объ одномъ: когда они появились на на-
мѣншія мѣста, они были одинаково слабы, немощны и голы.
Вотъ онъ вамъ скажетъ, въ какихъ землянкахъ они прожили
два года; иные прямо обитали въ ямахъ, образовавшихся
естественно. Дикій народъ былъ, милостивый государь! И
забываете, зачѣмъ я это припомнилъ? Равенство нищеты—вои-

гь удивленію, необходимое условіе, безъ котораго они не могутъ жить дружно. Дай имъ только оправиться немножко, они уже начинаютъ ѣсть другъ друга. Такъ это и происходило на самомъ дѣлѣ. Пока они были голы, они работали дружно, безъ зависти, не заглядывали другъ другу въ карманы и не дѣлились на міроѣдовъ и просто мужиковъ, а какъ только оправились, поползло все врозь... Я могу уступить только въ одномъ: отказавшись отъ мнѣнія, что каждый мужикъ есть будущій кулакъ, я никогда не откажусь дѣлить ихъ на міроѣдовъ и ротозѣевъ. Судите сами. Мало того, что они вырубили лѣса, вытоптали луга, занавозили рѣчку, гдѣ теперь, какъ вы сами видѣли, плаваетъ зелень, отъ которой болятъ десна и глаза, мало того, что они прозѣвали башкирскіе участки, захваченные нынѣ мѣщанами, второй гильдіи купцами, отставными чиновниками и прочими проходимцами, самыя общинныя-то права свои они проротозѣяли. Вы знаете сами, что значать міроѣды на ихъ сходахъ!

— За угощеніе, Миколай Ивановичъ!—перебилъ добродушно Иванъ, въ пятнадцатый разъ изъясняя намѣреніе кончить чаепіе.

Николай Ивановичъ какъ будто не слышалъ и налилъ noch einmal чаю.

— Пей,—сказалъ онъ и продолжалъ:—Въ настоящее время у нихъ много „богатѣевъ“, большая часть которыхъ претендуетъ на шен березовцевъ, и кулаковъ, которые обзываютъ своихъ же односельчанъ „чернядью“. Сходомъ управляютъ именно эти высокопоставленные люди, а „чернядь“ только приспособляетъ свою шею для сдачи въ аренду... Это именно послѣдняя степень ротозѣйства. Все у нихъ ускользаетъ изъ рукъ, даже право распоряжаться собой. Вотъ именно это-то слюнѣйство и играетъ рѣшающую роль въ появленіи и развитіи среди нихъ разнаго вида кулаковъ, и здѣсь оказывается,—я давно живу въ этихъ палестинахъ и могу подтвердить знаніемъ мѣстныхъ мужиковъ,—оказывается ясною очевидностію, что березовцы, какъ самые коренные слюны, никогда не мѣшаютъ зарожденію кудака, даже не замѣчаютъ его, какъ кулака. Онъ просто для нихъ „богатѣй“. Они ему вѣрятъ, какъ своему брату, и уважаютъ его, какъ равнаго человека. Да онъ и на самомъ дѣлѣ ихъ братъ, „плоть отъ плоти“, иначе бы отъ него сторонились, пугались. А они

уважають его. Я увѣренъ, что ихъ идеаль именно этотъ „богатѣй“, который въ своемъ семействѣ извергъ, а на міру—нахаль и прохвость, который вертитъ міромъ безъ стыда. Только собственное слюняйство мѣшаетъ каждому изъ нихъ осуществить такой милый идеаль... Впрочемъ, я отвлекъ отъ предмета. Я сказалъ, что они не замѣчаютъ кулака. Именно. Хватаются же за бока они только тогда, какъ „богатѣй“ заѣдетъ въ область кровныхъ правъ и выкинетъ какую-нибудь отчаянную гадость, а до той поры имъ и въ голову не приходитъ сократить человѣка, вреднаго для цѣлаго общества.

Иванъ Сизовъ не понялъ и десятой доли въ рѣчахъ хозяина еще въ началѣ онъ пытался возразить, но далѣе, подавленный массой мудреныхъ словъ, опѣшилъ окончательно и сидѣлъ съ раскрытымъ ртомъ, какъ оглашенный. «Экъ честить!» — только и думалъ онъ.

— Такъ вы думаете, что небрежность и поклоненіе силъ—главныя причины развитія кулачества въ этой мѣстности? — спросилъ статистикъ.

— Пожалуй, — отвѣчалъ судья.

— И вы не находите внѣшнихъ причинъ этого развитія

— Никакихъ. Я потому-то и говорилъ почти объ одномъ Березовкѣ, что жизнь въ ней была обставлена такъ хорошо какъ только можно желать. Слѣдовательно, березовцы сами виноваты.

Иванъ Сизовъ изобразилъ на своемъ лицѣ виновность. На его почернѣвшемъ отъ солнца, а теперь лоснящемся отъ пота лицѣ отражалось стыдливое смущеніе. Онъ въ послѣдній разъ опрокинулъ вверхъ дномъ свою чашку, положилъ на нее крошку сахара съ самою внимательною осторожностью и попробовалъ утереть лицо, въ то же время поглядывая со страхомъ на господъ, въ ожиданіи минуты когда они снова начнутъ „честить“. Но его честные, прямо душно мигавшіе глаза ни одного раза не сверкнули злобою. Достаточно было одного ласковаго и милостиваго одобренія его со стороны судьи, который сказалъ статистику, что разговоръ не относится къ Ивану Тимоѣичу и что снѣдша-человѣкъ („люблю такихъ!“), достаточно было судьи высказать это и прекратить разговоръ о кулачествѣ, чтобы замѣшательство и стыдливость его моментально прошли

Онъ весь какъ-то распустился отъ этой ласки, глаза засвѣтились благодарностью, и онъ вдругъ сталъ шумно разговорчивымъ. Впрочемъ, всякій разговоръ скоро смолкъ, потому что статистикъ ушелъ побродить съ ружьемъ, а мировой судья сѣлъ къ окну и принялся насвистывать маршъ.

Иванъ долго сидѣлъ въ молчаніи, не желая прерывать художественнаго занятія хозяина.

— Миколай Иванычъ!—сказалъ онъ, наконецъ.

— Что?—безсознательно откликнулся судья.

— Я все насчетъ давишняго. Ты говоришь, сами виноваты, что даемъ волю богатымъ. Такъ. А какъ же не дать имъ воли? Надо судить по человѣчеству... Не знаешь ты нашихъ дѣловъ, ей-ей, Миколай Иванычъ!

— А какія ваши дѣла?—спросилъ также механически судья.

— У насъ-то? Первое наше дѣло—миръ, стало быть, грѣхъ завсегда. Разъ.

Судья засвисталъ, улыбаясь.

— Второе наше дѣло—науки нѣтъ. Два.

Судья захохоталъ.

— Все?—спросилъ онъ.

Иванъ Сизовъ огорчѣлъ. Онъ думалъ, что воочію докажетъ несправедливость словъ судьи и вдругъ надъ нимъ свѣтятся! Онъ постоялъ-постоялъ около косяка двери и собрался уходить, для чего сталъ прощаться съ хозяиномъ. Последний выдалъ ему деньги за работу и отпустилъ съ приглашеніемъ заходить почаще. „Я люблю такихъ“,—еще разъ повторилъ онъ, а на разговоръ просилъ не обижаться.

Идя отъ дома судьи къ деревнѣ, Иванъ замечтался. Ночь была хорошая. Угостили его хорошо. И похвалили. „Душа“,—вспоминалъ онъ въ сотый разъ, и блаженнѣйшая улыбка играла на его лицѣ во всю дорогу, пока онъ не столкнулся съ братомъ. Петръ его сразу оgoroшилъ. „Получилъ?“—спросилъ онъ. Иванъ досталъ кошель и высыпалъ на ладонь монеты. Двухъ копѣекъ не оказалось. „Гдѣ-жь онъ?“—спросилъ подозрительно Петръ. Оказалось, что судья по ошибкѣ не додалъ двухъ копѣекъ. Петръ презрительно осмотрѣлъ брата и пошелъ тотчасъ же къ судѣ за полученіемъ двухъ копѣекъ, которыя въ скорости и получилъ, за что бросилъ еще одинъ презрительный взглядъ на Ивана.

II.

Два года, протекшіе со дня постройки двумя братьями крыльца у судьи, показали имъ невозможность не только совмѣстныхъ построекъ крыльца, но просто сожителства въ одной избѣ. Имъ стало тѣсно.

Началась разногласица пустяками, кончилась полнымъ сознаниемъ безтолковщины въ общемъ хозяйствѣ. „Главная причина—бабы“,—говорили потомъ оба брата. Дѣйствительно, ихъ бабы довольно надѣлали бѣдъ. Смирныя, сносливыя и разсудительныя врозь, онѣ дѣлались невыносимыми и оглашенными, когда обѣ вразъ торчали передъ печкой. Здѣсь онѣ кололи другъ друга словами, толкались локтями и подставляли другъ другу ухваты и кочерги. Все это мелочи, но онѣ заключали въ себѣ ядъ, разлагавшій сложную семью. Опрокинутые горшки, уроненныя кочерги и прочая дрянь ничего не значили сами по себѣ, но, какъ орудія подкапыванія и мести, они служили превосходно. Уронить и разобьетъ Авдотья глиняный черепокъ—и Алена дойметъ этимъ черепкомъ свою противницу такъ, что осколки его глубоко врѣзаются въ тѣло той и остаются памятными ей на всю жизнь. Та и другая взаимно наблюдали за собой, выслѣживая каждая свой шагъ. Сунетъ потихоньку Алена своей дѣвочкѣ кусоѳъ—Авдотья запомнить это и хоть заднимъ числомъ, но отравить съѣденную пищу. Каждая изъ бабъ колоула своихъ ребятъ такъ, какъ только „лупятъ“ въ деревняхъ, гдѣ то и дѣло раздается отчаянный ревъ отшлепанныхъ человѣчковъ. Но стоило только Аленѣ щипнуть сынишку Авдотьи, какъ эта послѣдняя поднимала въ избѣ цѣлый содомъ.

Мелочи, дрянь, домашній соръ служили горючимъ матеріаломъ, разжигая враждебныя чувства женской половины избы. Братья отъ времени до времени вмѣшивались въ распри, стараясь потушить ее, но дѣлали это такъ, что только увеличивали сумятицу взаимныхъ отношеній. На самомъ дѣлѣ они сами были причиной вражды и разногласія; если бабы раздували ненависть, то потому, что въ ихъ рукахъ всегда оказывается больше горючаго матеріала—сору. Если бы Иванъ и Петръ сами дѣйствовали во всемъ согласно, то ихъ

бабы никогда не рѣшились бы употреблять соръ, но оба брата рѣшительно во всемъ расходились.

Иванъ былъ старшимъ, Петръ ему долженъ былъ подчиняться. Иванъ былъ большакъ, заправитель всей хозяйственной машины; однако, сосѣди выражали очень часто недоумѣніе, почему главенствуетъ Иванъ, а не Петръ, отличавшійся, по мнѣнію всѣхъ, большими правами на главенство; у него каждая щепка шла въ дѣло, находясь подъ его руками цѣлесообразное мѣсто. Но такъ распорядился передъ смертью ихъ родитель. Отсюда и произошла вся безалаберщина. Петръ сначала послушался родительскаго слова, покорился Ивану, но мало-по-малу пришелъ къ заключенію, что Иванъ—баба, худой хозяинъ, разгильдяй, котораго не стоитъ слушать. Вышли наружу мелочи, дрянъ, соръ, которые всѣ пошли въ дѣло разъединенія двухъ хозяйствъ. Петръ, какъ и бабы, принялся въ каждый мигъ слѣдить за Иваномъ, который вѣчно чувствовалъ на своей спинѣ подозрительный взглядъ брата, не понимая, за что онъ сердается. Самъ онъ не способенъ былъ выглядывать, наблюдать; онъ никогда не подозрѣвалъ въ братѣ черныхъ мыслей, просто потому, что, судя по себѣ, не могъ ихъ допустить. Онъ думалъ: „Чай, мы братья, родительская-то кровь у насъ воцѣ“. Ссориться онъ также не любилъ, но, тѣмъ не менѣе, былъ ежедневно оскорбляемъ „родительскою кровью“. Онъ спрашивалъ: какая причина? И не было отвѣта. Ему иногда казалось, что, должно быть, онъ дурно поступаетъ, и давалъ себѣ слово поступать по настоящему, какъ слѣдуетъ, чтобы не испытывать на себѣ этого взгляда, который проникалъ въ его душу, возмущая его совѣстливость.

— Чтой это ты, Петруха, глядишь?... На мнѣ ничего не написано. Ежели на что сердачешь, такъ ты, братъ, выложи все наружу, чтобы безъ подковырокъ было...

— Ничего,—отвѣчалъ Петръ.

Или молчалъ. Иванъ принужденъ былъ ограничиться однимъ вздохомъ, совѣстясь, что сболтнулъ нехорошее слово.

Впрочемъ, онъ такъ вѣрилъ въ „родительскую кровь“, что забывалъ ея оскорбленія. Видя, какъ братъ обдастъ его холодомъ, онъ говоритъ хитро: „пущай!“ а смотря на бабъ, которыя подчасъ рвали и метали, онъ добродушно думалъ: „ничего, перемелется—мука будетъ“. Онъ вѣрилъ, что доста-

точно не беречь гнѣвъ—онъ самъ пройдетъ; „потому, на примѣръ, дерьмо... не трошь его—оно не будетъ и вонять“. Ссоры бабъ даже часто доставляли ему удовольствіе, онъ дразнилъ ихъ, отпуская на ихъ счетъ простодушныя шуточки; садеть на лавку и смѣется. Забывая оскорбленія, онъ забывалъ свое намѣреніе поступать по настоящему, какъ слѣдуетъ. Эта несправимость и бѣсила Петра. Но это былъ только предлогъ — Петръ вездѣ видѣлъ предлоги уксоты Ивана... Бросилъ Иванъ на дворъ телѣгу, оставивъ ее мокнуть на дождѣ; Петръ это непременно замѣчалъ, онъ нарочно съ трескомъ завозилъ въ сарай телѣгу, а возвратившись въ избу, кололъ: „Что ротъ-то разинулъ?“

Петръ во всѣхъ поступкахъ Ивана сталъ видѣть одну сплошную глупость. Правда, Иванъ любилъ пошутить, но безъ этого онъ не могъ обойтись, безъ этого жизнь не казалась бы ему красною. Любилъ онъ, на примѣръ, своихъ дѣтей и всѣхъ ребятъ брата безъ исключенія и никогда не въ силахъ былъ отказать себѣ въ удовольствіи купить имъ пряниковъ. „Эй, ребята! Иди ко мнѣ, кто хочетъ гостинцевъ!.. Лиса пришла!“—кричалъ онъ, вылѣзая изъ телѣги, бросалъ лошадь, забывалъ дѣло и возился съ ребятами. Поднимался шумъ. Вся гурьба маленькихъ сорванцовъ, которые любили его, лѣзла ему на спину, крутилась около ногъ, дергала за бороду, ревѣла отъ восторга. Иванъ и самъ былъ въ восторгѣ, такъ что большую часть шума, производимаго дѣлежомъ пряниковъ, Петръ приписывалъ ему. „Вонъ куда денежки-то уходятъ!“—говорилъ онъ, непременно появляясь на мѣстѣ дѣлежа пряниковъ. Одни эти слова приводили въ смущеніе Ивана, отравляя его удовольствіе. А все-таки безъ шуточекъ онъ не могъ обойтись. Изъ-за тѣхъ же ребятъ выходили постоянно непріятности, выражавшіяся со стороны Петра колючими взглядами и словами, а со стороны Ивана горечью и недоумѣніемъ: „за что братъ сердается?“ Иванъ нерѣдко цѣликомъ входилъ въ интересы ребятъ; рассуждалъ съ ними начиналъ препирательства, ссорился или вызывалъ нарочную борьбу между ними, когда всѣмъ дѣлалось скучно. Между мальчишками происходилъ бой; они тузили другъ друга, оглашая дворъ ревомъ и тумаками. Иванъ горячо вмѣшивался въ дѣло: подсмѣивался, если одинъ изъ противниковъ валялся на землю, или стыдилъ, поощряя, когда боецъ сла

бѣлъ... „Ай-ай, Микитка! Плохъ, плохъ, братъ!—говорилъ онъ, принимая на себя стыдѣющее выраженіе.—Очень плохъ, Микитка! Ужь этого не скроешь... Вонъ онъ какъ тебя движнулъ, Сенька-то!... А ты его самъ... ты его въ пузо дерни, садани его снизу... во какъ! Молодчина! ловко! Валяй его хорошенько... буцъ, буцъ!“ Иванъ самъ приходилъ въ восторгъ, принимая живѣйшее участіе въ дракѣ; онъ принималъ всѣ выраженія и позы дерущихся, всѣмъ существомъ отдаваясь игрѣ... Появлялся Петръ. Однимъ своимъ появленіемъ прекращалъ шумъ. Одинъ его взглядъ изъ подлѣбья, одни его тонкія, плотно сжатые губы могли отравить всякое удовольствіе. Онъ это и самъ зналъ, но, не довольствуясь этимъ, радикально отравлялъ шутовское настроеніе Ивана какими-нибудь ѣдкими замѣчаніями.

— Работать бы надо... нечѣмъ дразнить ребятъ... пустяковинный человѣкъ!

Петръ и на самомъ дѣлѣ думалъ, что онъ работаетъ одинъ, а братъ только выѣзжаетъ на немъ. Эта мысль самого его отравляла, не давая ему покою; ему вѣчно казалось, что онъ передѣлалъ, а Иванъ не додѣлалъ. Онъ не переставалъ, кажется, ни минуты беспокоиться о хозяйствѣ, къ тѣ же минуты думая, что съ Иваномъ хозяйства не соберешь, потому—пустяковинный человѣкъ. Самъ онъ не сидѣлъ ни минуты безъ дѣла не шаялся безъ пути; притомъ, каждое его дѣло имѣло всегда осязательную цѣль, было обдуманно и приноровлено. Увидить безъ дѣла валявшійся гвоздь—приберетъ его къ мѣсту, такъ что когда придетъ надобность въ гвоздѣ, онъ его употребитъ. У него ничего не пропадало даромъ, ни вещи, ни времени. Цѣлые дни онъ проводилъ въ томъ, что собиралъ и копилъ всякую чепуху, которая, однако, въ его рукахъ всегда находила надлежащее мѣсто. Иванъ поступалъ вопреки ему и какъ будто даже на зло: нѣ, молъ, вотъ тебѣ, выжига! Такъ казалось Петру, потому что тотъ заржавленный гвоздь, которому онъ нашелъ мѣсто, Иванъ вынималъ и терялъ. Петръ зѣленѣлъ, когда видѣлъ это, а видѣлъ онъ все, что творилъ Иванъ.

— Пустяковый человѣкъ! Разорить онъ меня, идолъ!—говорилъ, въ упоръ смотря на Ивана, Петръ. Иванъ готовъ былъ плакать отъ горя. А Петръ думалъ про себя: „Ахъ, кабы я былъ одинъ хозяиномъ, кабы не было этой пустой башки!“

Разъ такая мысль появилась въ семьѣ, послѣдняя на половину разрушена. Къ несчастію, Иванъ ничего этого не замѣчалъ, и когда Петръ бросалъ въ его сторону одно изъ своихъ колючихъ словъ, Иванъ бывалъ огорченъ, но думалъ, что онъ поступаетъ какъ слѣдуетъ, тѣмъ болѣе, что самая жадность Петра, его алчное желаніе копить вызывали въ немъ одно уваженіе. Лично самъ онъ не былъ одаренъ этими хозяйственными свойствами и не считалъ всякую „погань“, валявшуюся на дворѣ, годною къ какому-нибудь употребленію, но проявленіе этой алчности онъ привѣтствовалъ, какъ хозяйственность, какъ умѣнье наживать деньгу, какъ показатель ума Петра. „У-у, башка!“—говорилъ онъ при удобномъ случаѣ. И эта высокая нравственная оцѣнка алчности, это смѣшеніе алчности съ умомъ прямо противорѣчили тѣмъ поступкамъ, на которые онъ самъ былъ способенъ.

Очень любилъ онъ сидѣть вечеркомъ на бревнѣ; это всегда приходилось на праздникъ. Сидѣлъ онъ на бревнѣ передъ своею избой и калякалъ съ пріятелями, ведя нескончаемые разговоры о разнообразныхъ предметахъ, занимавшихъ его умъ. Это было одно изъ тѣхъ удовольствій, въ которыхъ онъ не могъ себя отказать. Онъ часто засиживался на своемъ любимомъ мѣстѣ до темной ночи, когда шумъ деревенскій стихалъ и издалека, изъ степи, слышалась переключка перепеловъ, а въ сосѣднемъ озерѣ квакали лягушки, когда на небѣ свѣтился уже мѣсяцъ, и шумный разговоръ самъ собою замиралъ. Понятно, что отъ такихъ сидѣній на бревнѣ по вечерамъ нельзя ждать какого-нибудь проку для хозяйства. такъ говорилъ ему Петръ, но онъ любилъ ихъ, какъ средство отвести душу; любилъ онъ самъ что-нибудь рассказать, напримѣръ, о томъ, какъ въ позапрошлый годъ чуть-чуть не поймалъ волка у себя въ сѣняхъ, или какой у него умный меринъ: „Сейчасъ это увидить у тебя хлѣбъ въ рукѣ, подкрадется и цапъ! Даже на удивленіе!“ Любилъ онъ и слушать рассказы другихъ, то веселые и смѣшные, то тихіе и тоскливые; любилъ онъ и ту минуту, когда послѣ шумнаго разговора вдругъ всѣ смолкнуть, поочереди вздохнуть, а гдѣ-нибудь въ степи раздастся ржаніе лошади, скрипъ запоздавшей телѣги или степная пѣсенка, заставляющая вдругъ заныть сердце, задуматься...

Иванъ не пропускалъ ни одного сборища и вездѣ приня-

малъ на себя роль хозяина. Никто такъ не умѣлъ дѣлить и подносить чарки общественной водки, когда міру удавалось содрать съ кого-нибудь „штрахъ“. Иванъ въ такихъ случаяхъ былъ на верху блаженства, достижимаго въ той точкѣ земли, гдѣ стояла Березовка. Цѣлая деревня тогда обращала на него взоры и довѣряла его ловкости, испытанной въ самыхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, когда, напримѣръ, лакомокъ собиралось много, а вина было только полведра. Иванъ въ совершенствѣ зналъ, сколько изъ даннаго количества выйдетъ чарокъ, сколько „останется въ заливкѣ“ и куда дѣвать этотъ залившекъ, выражавшійся часто такою дробью, которую можно было только лизать. Самъ Иванъ почти не пилъ,—до того онъ былъ погруженъ въ свою выдающуюся роль, довольствуясь общественнымъ довѣріемъ къ его способностямъ. Для него самый процессъ распредѣленія чарокъ, во время котораго онъ снималъ шапку, кланялся, прося выкушать, казался праздникомъ. Впрочемъ, у него и дома иногда собирались гости на пирушку, но тогда онъ совсѣмъ не могъ усидѣть на мѣстѣ отъ пожиравшей его радости; онъ суетился, упрашивать выкушать, и съ лица его не сходила блаженнѣйшая улыбка.

Еслибы кто называлъ имя Ивана Сизова и спросилъ у любого изъ жителей Березовки: „знаете ли вы его?“—то непременно получилъ бы такой отвѣтъ: „Эва! какъ же его не знать!“ Дѣло въ томъ, что Иванъ былъ самымъ искуснымъ распредѣлителемъ луговъ, земли, огородовъ и прочей мірской собственности. Когда березовцы, около Петровокъ, собирались на лугу и ссорились изъ-за кусточковъ, яминокъ и другихъ предметовъ общественной вражды, Иванъ являлся примирителемъ добросовѣстнымъ и искуснымъ и, если угодно, единственнымъ. Онъ зналъ лучше всякаго, сколько всѣхъ спорныхъ кусточковъ, сколько даетъ сѣна каждая яминка и черезъ какой пень надо провести грань, чтобы одинъ изъ спорящихъ не получилъ на двѣ горсти больше корма. У него былъ превосходный глазомѣръ. Достаточно было для него лечь на брюхо на траву, сдѣлать изъ рукъ подзорную трубу, посмотреть и объявить: „въ аккуратъ!“, чтобы брехавшіе другъ на друга спорщики умолкли, вѣря въ его подавляющій авторитетъ. Въ такіе дни онъ, высунувъ языкъ, бѣгалъ отъ одного конца луга въ другой, потому что всѣ въ него вѣрили и

звали... „Тимоѳеичъ!“—раздавалось на одномъ концѣ. „Иванъ!“—кричали его съ другого боку. Онъ и жеребья носилъ; когда наставала минута вынимать ихъ, онъ становился въ центрѣ, развертывалъ свою шапку, въ которой положены были жеребья, и трагически произносилъ: „Н-но, Господи благослови, вынимай!“ Его лицо, въ обыкновенныхъ случаяхъ сердечное, дѣлалось суровымъ. Такъ онъ служилъ міру.

Пользуясь широкимъ довѣріемъ общества, онъ поддерживалъ его всѣми своими способностями и служилъ своей деревнѣ всею наличностью своей готовности. А готовность его лежать на брюхѣ въ травѣ или дѣлать на чарки ведра вина была только сотою долей тѣхъ услугъ, которыя онъ оказывалъ своему міру. Онъ, напримѣръ, зналъ, сколько копѣекъ въ прошлое лѣто переплачено коровьему пастуху, сколько не доплачено свиному и сколько еще надо уплатить сала башкирцу, пасшему лошадей. Все это міру надо было держать въ умѣ, помнить, и все это сохранялось, какъ въ кладовой, въ головѣ Ивана Сизова. Какая важность въ этихъ пустякахъ для міра—объ этомъ Иванъ никогда не думалъ и не спрашивалъ себя. Взгляды его на свой міръ были лишены, такъ сказать, всякаго основанія и покоились на преданіи, которое отъ давности просто закорузло. „Такъ міръ желаетъ“—это единственный отвѣтъ, котораго можно было отъ него добиться на вопросъ, зачѣмъ ему надо было ползать на брюхѣ, ради какой пользы онъ помнилъ сало и семь копѣекъ серебромъ? Онъ вѣрилъ, что міръ всегда справедливъ и уменъ, но міръ въ его представленіи, что особенно замѣчательно, не совпадалъ съ наличностью всѣхъ березовцевъ, а былъ нѣчто отвлеченное, невидимое и неосязаемое, существо, въ одно и то же время справедливое и могущественное, совѣстливое и незыблемое. Міръ идетъ испоконъ вѣку; всѣ „хрестіане“ также испоконъ вѣку жили на міру: представленіе о немъ дошло до Ивана по преданію, жизни въ немъ отдѣльныхъ единицъ давнымъ-давно отлилась въ опредѣленную рамку, которая застыла и заплѣсневѣла; никто не сомнѣвается ни въ его существованіи, ни въ справедливости его приемовъ. Иванъ не былъ исключеніемъ. Онъ вѣрилъ, что надо уважать его и оказывать ему услуги, вѣрилъ, что онъ сила, но онъ чувствовалъ все это и никогда не подвергалъ критической мысли явленія въ этомъ міру

просто даже не думалъ о немъ. Онъ былъ для него такъ же несомнѣнъ, какъ окружающій его воздухъ, и такъ же безсознательнъ. Никогда ему и въ голову не приходило спросить себя хоть разъ: что такое міръ? Зачѣмъ онъ существуетъ? Точно-ли онъ уменъ и справедливъ? О своихъ дѣлахъ Иванъ еще думалъ, о мірскихъ—никогда.

Наоборотъ, Петръ Сизовъ обо всемъ соображалъ. Кажется, не было минуты, когда бы онъ о чемъ-нибудь не соображалъ. Правда, всѣ его думы клонились къ приобрѣтенію какой-нибудь новой чепухи для хозяйства, и если существованіе шишки прирѣзательности когда-нибудь подвергалось сомнѣнію, то Петръ Сизовъ могъ бы представить себя въ качествѣ несомнѣннаго обладателя ея. Но онъ думалъ и о мірѣ, только съ собственной точки зрѣнія. Въ немъ не было ни одного намека на ту сердечность, которую носилъ въ себѣ его братъ. Въ то время, какъ этотъ послѣдній откликался на всякій зовъ и бѣгалъ, высунувъ языкъ, по лугамъ, Петръ молча добивался лучшаго куска земли для себя, держась въ сторонѣ отъ споровъ за ямки, кустики и другіе сущіе пустяки; добивался онъ лучшаго куска какъ-то безъ шума, просто и быстро. Съ тою же дѣловитостью онъ присутствовалъ и на другихъ мірскихъ сборищахъ или просто молчалъ, если дѣло не касалось лично его; иногда, выслушавъ на сходѣ кучу перебранокъ, болтливыхъ ссоръ и пустыхъ разсужденій о грошевыхъ дѣлахъ, онъ презрительно оглядывалъ всѣхъ, бралъ шапку и уходилъ; съ его устъ срывалось не менѣе презрительное слово: „Дубье!“ Это молчаливое презрѣніе ко всему, по его мнѣнію, бездѣльному давало ему со стороны березовцевъ уваженіе и боязнь, такъ что когда Иванъ Сизовъ говорилъ: „У-у, башка!“, то всѣ соглашались.

Петръ Сизовъ не бездѣльнымъ считалъ скорѣе прирѣзательное въ свою пользу ржавого гвоздя, чѣмъ возню съ міромъ, который дѣйствительно заржавѣлъ. Шишка прирѣзательности зудѣла въ немъ такъ сильно, что онъ, наконецъ, затѣялъ гулю и продажу хлѣба, собраннаго довольно замысловато,—затѣялъ помимо согласія большака своего и минуя всѣ приемы обыкновеннаго крестьянина, главной обязанности котораго—обливать потомъ землю—Петръ не сочувствовалъ. Ивана онъ считалъ дуралеемъ, „почитай-что никуда негод-

нымъ“, кромѣ бездѣльнаго препровожденія праздничныхъ вечеровъ на бревнѣ, а потому куплю и распродажу хлѣба взялъ на себя. Онъ ѣздилъ въ свободное время по деревнямъ, обмѣнивалъ хлѣбъ на мѣдные кресты, кольца, пояски, гребенки, удочки и взялъ, такимъ образомъ, самую заманчивую часть предпріятія на себя. Дѣло же Ивана состояло только въ томъ, что онъ ѣздилъ по свѣжимъ слѣдамъ брата и собиралъ его обильную добычу, наваливая ее въ телеги въ видѣ мѣшковъ, мѣшочковъ и узловъ. Онъ старательно исполнялъ выдумку брата, безъ всякой тѣни неохоты, хотя считался большакомъ. Самъ онъ ничего подобнаго не могъ бы придумать и потому искренно называлъ брата „башкой“. Мало того, онъ приходилъ въ восторгъ отъ своей промышленности, пораженный ея необыкновенною выгодой. Онъ и терпѣлъ, чтобы не разболтать объ этомъ на бревнѣ своимъ пріятелямъ, что было прямо противно всѣмъ правиламъ торговли. „Ловкую штуку затѣялъ Петръ!—говорилъ онъ своимъ бревнѣ пріятелямъ, слушавшимъ его съ разинутыми ртами. Не гляди, что пояски, уды, ленты... тутъ, братцы мои, дѣла пахнутъ тыщами. Большую кучу деньжищъ можно заработать въ эдакомъ промыслѣ! И работы никакой. Ты даешь поясокъ, а тебѣ насыпаютъ хлѣбца. Такъ надо прямо говорить—умную башку надо носить на шеѣ, чтобы задумывать такую прокламацію. Подставляй только пригоршни—деньги сами посыпятся, озолотишь себя“... Иванъ болталъ и дальше все въ такомъ же духѣ, но его пріатели съ недовѣріемъ посматривали на него.

Но Иванъ Сизовъ не могъ долго выдержать. Несогласіе съ братомъ сразу усилилось по одному пустому поводу. Разъ онъ поѣхалъ по окрестнымъ деревнямъ, по свѣжимъ слѣдамъ брата, чтобы собрать всю его недавнюю кулацкую добычу. Между прочимъ, онъ долженъ былъ взять нѣсколько фунтовъ льняного сѣмени отъ одной старухи въ сосѣдней деревнѣ. Пріѣхалъ, остановился возлѣ ея избы и сталъ привязывать лошадь къ воротному столбу. Но въ это время въ избѣ шелъ разговоръ, часть котораго Ивану невольно пришлось, изъ изумленія, выслушать, потому что окошко было открыто.

— Кто это тамъ приперся къ намъ?—спрашивалъ мужичья голосъ.

— Кажись, Иванъ Сизовъ; должно, онъ,—отвѣчалъ старикъ.

печій, дребезжащій и шепелявый голось, не регулируемый зубами, которыхъ старуха не досчитывалась.

— Это который маклачить?

— Маклачить. Двое братьевъ изъ Березовки.

— За какимъ же дѣломъ?

— Да я промѣняла сѣмьчка на три пояса, да на хрестъ... Только, каторжные, они, должно думать, облапошили старую дуру; сѣмьчка-то ровнехонько девять фунтиковъ, а пояска-то только три, да хрестикъ... Мошенники, должно думать!

Иванъ дрогнулъ. Никогда онъ не думалъ, что удивительное предпріятіе, выдуманное братомъ, есть мошенничество; онъ, напротивъ, восхищался имъ.

Неровными и несмѣлыми шагами отправился онъ въ ворота, задѣвъ плечомъ за камитку, нерѣшительно остановился передъ сѣбною дверью, но все-таки согнулся въ три погребели, чтобы пролѣзть въ косую дыру, называвшуюся дверью, и съ снуженіемъ остановился у порога. Ему стыдно было даже вспомнить о сѣмьчкѣ, и онъ долго стоялъ растерянно-молчаливымъ, усиленно приглаживая волосы... А раньше онъ всегда начиналъ длинное балагурное каляканіе. „Маклать... мошенникъ, должно думать!“—это поразило его. Въ-сто того, чтобы спросить долгъ, онъ попросилъ огоньку. Старуха подала ему горячій уголь, и онъ заткнулъ его въ трубку, долго не попадая въ отверстіе; руки его дрожали. Еслибы сама старуха не вынесла ему мѣшка съ сѣмьчками, онъ долго бы еще простоялъ у порога и все шлепалъ бы губами о чубукъ, показывая видъ, что онъ никакъ не можетъ раскурить. Взявъ мѣшокъ подъ мышку, онъ черезъ мгновеніе сидѣлъ уже въ телѣгѣ, направляясь домой. Больше ему никуда не хотѣлось заглянуть. Онъ пустилъ лошадь на произволъ; та и шла всю дорогу лѣниво, то задѣвая телѣгой за кусты, то совсѣмъ сворачивая въ сторону отъ дороги, чтобы сорвать и съѣсть верхушку травы. Иванъ не трогалъ ея. Онъ задумался. Шапка его сдвинулась на затылокъ. Въ головѣ переваривались слова: „должно думать, мошенникъ“.

Съ тѣмъ же задумчивымъ видомъ Иванъ рассказывалъ о своей неудачѣ въ промышленности и послѣ, сидя на бревнѣ съ пріятиями и сосѣдами. Удивительную промышленность онъ бросилъ съ той поры совсѣмъ, но ни за что не могъ

объяснить, почему бросилъ. „Не задача!—говорилъ онъ загадочно, кивая головой.—Вѣрно говорю—тыщи! Только я сплывалъ, бросилъ“.

— Отчего бросилъ?—спрашивали у него пріатели.

Иванъ качалъ головой, конфузился. Разговоръ ему былъ непріятенъ. Каждое слово надо было вытягивать изъ него силой. Онъ дѣлался упрямъ.

— Неспособно,—возражалъ онъ.

— Эдакое-то дѣло! Какъ неспособно?

— Такъ. Неподходяще.

— Да отчего? Барыша нѣтъ?

— Какъ барыша нѣтъ! Барышъ прямо руками загребай Вѣрно.

— Такъ что же ты?

Иванъ задумался.

— Проторговался?

— Карахтеру нѣтъ,—проговорилъ онъ загадочно. Такъ ни чего и не добились отъ него.

Петръ скоро увидѣлъ, что его брату наскучила выдуманная имъ промышленность; онъ еще больше сталъ злобиться на него, пересталъ его совсѣмъ слушаться и старался ускользнуть раздѣлъ. „Пустая башка“—единственное названіе, которое съ той поры онъ сталъ давать Ивану, прямо въ глаза высказывая, что онъ не хочетъ больше работать на дураковъ, а этимъ именемъ Петръ называлъ всѣхъ своихъ одишелевъ, исключая людей, за которыми онъ признавалъ умъ, потому что они, подобно ему, обладали шишкой пріоритетности. Ни малѣйшей привязанности къ своей деревнѣ, изъ которой онъ готовъ былъ въ каждую данную минуту выйти, у него не существовало; мірскому одобренію онъ не придавалъ никакой цѣны; день, когда онъ пустилъ срамъ на свой прародительскій умъ, насталъ очень скоро, и раздѣлъ произошелъ быстро, чѣмъ даже онъ ожидалъ.

Въ этотъ день дворъ братьевъ Сизовыхъ представлялъ зрѣлище разрушенія и вражды; валялись неприбранные телеги, сани, кадушки, корыта, но всѣ эти предметы дѣлились на двѣ кучи, изъ которыхъ одна оставалась за братомъ Иваномъ, другая отходила къ брату Петру. Надъ дворомъ и дѣло поднималась пыль, слышался трескъ. Самый раздѣлъ происходилъ молча. Петръ ходилъ по всѣмъ закоулкамъ

зань и каждую вещь осматривалъ подозрительно. Иванъ ходилъ за нимъ, какъ потерянный, ходилъ и соглашался на все, что предлагалъ братъ. Онъ, видимо, съ трудомъ переносилъ зрѣлище разоренія и торопился покончить дѣло. Все хозяйство, нажитое съ такимъ трудомъ, сразу ему опостылѣло. Ему уже ясно представлялась картина, какъ приходять къ воротамъ сосѣди и безчисленное число разъ спрашиваютъ его о дѣлѣжкѣ. Поэтому, въ это утро онъ не казалъ глазъ никому, чувствуя весь срамъ отвѣчать на соблазняющіе или насмѣшливые вопросы. Дѣйствительно, срамъ ему испытать пришлось. Сначала прошелъ мимо и заглянулъ во дворъ безногій солдатъ Лапинъ. Освѣдомился:

— Дѣлитесь?

— А тебѣ какое дѣло?—оборвалъ Петръ.

— Я такъ... Мнѣ чудно. Жили до сей поры въ согласіи, какъ подобаетъ единоутробнымъ...

— Да-а, единоутробные! А ты изъ какой утробы вышелъ, что пришелъ разспросы дѣлать? Проваливай, безногая ко-
терыжка!—еще разъ оборвалъ Петръ любопытнаго Лапина, который поскребъ ладонью спину и удалился.

За нимъ появились другіе любопытные.

Петръ воспользовался потерянною брата. Онъ отбилъ себѣ все, что попадалось на глаза. Попалась скворечница—взялъ. Отдавая ее Микитѣ, онъ приказалъ ему спрятать ее въ пазуху. «Можетъ, пригодится»,—пояснилъ онъ. Но все-таки, несмотря на потерянную уступчивость Ивана, дѣло не обошлось безъ суда. Петръ возымѣлъ притязаніе на лишнюю корову и свинью,—на первую потому, что онъ самъ купилъ, между тѣмъ какъ второй онъ своими руками обрѣзалъ на всякій случай уши, положивъ свою мѣтку. Ивану было все равно, только бы не видѣть срамоты, но баба его размутилась до глубины души и заявила, что она лучше дастъ выцарапать себѣ глаза, чѣмъ уступить корову и свинью. „Грабители!—кричала она.—Ишь что захотѣли! Обло-
маетесь!...“ И она ревѣла, плевала въ сторону Петра и жены, бѣжала по двору и безъ толку гоняла спорныхъ животныхъ изъ одного конца въ другой.

— Слышь, братъ,—сказалъ Иванъ, обращаясь къ Петру съ ужаснымъ лицомъ.—Петръ, слышь, что я скажу тебѣ!

— Слушаю,—возразилъ Петръ.

— Не срами насъ, уходи!

Петръ презрительно молчалъ.

— Родительскій домъ...

— Слыхали мы это!

— Помнишь, что родитель-то сказалъ? „Чтобы жить вамъ безъ сраму“... Чай, не забылъ? И уходи. Не пущай на весь міръ худой славы...

— Отдай корову и свинью,—перебилъ Петръ.

— Не дамъ, не дамъ, лучше и не суйся!—кричала Иванова баба, подступая къ Петру.

Нечего дѣлать, пошли въ судъ, гдѣ Илья Савельевъ еще три дня тому назадъ выпилъ двѣ косушки на счетъ Петра и съѣлъ при этомъ чашку капусты. Петръ былъ рѣшительно во всемъ предусмотрительный человѣкъ.

Передъ дворомъ братьевъ скоро собралось множество любопытныхъ, изъ которыхъ одни просто глазѣли, другіе смѣялись надъ Ивановой бабой, поощряя ее, всѣ же вообще сулили Петру хорошую будущность, жалѣя Ивана, которому пришелъ, по всеобщему мнѣнію, „теперича чистый капутъ“. Всѣ интересовались также вопросомъ, кому достанутся корова и свинья, которыхъ, въ качествѣ вещественныхъ доказательствъ, повели въ судъ баба Ивана, державшая на веревкѣ свинью, и Петръ, ведшій корову. Онъ сверкалъ глазами на толпу, окидывая ее презрительными взглядами...

Свинья ревѣла, влекомая Ивановой бабой; Иванова баба плакала и ругалась; толпа отпускала на счетъ дѣйствующихъ лицъ шуточки. На улицѣ поднялся гвалтъ.

Иванъ не могъ вынести этого позора. Онъ поспѣшно взявъ заступъ и ушелъ въ огородъ, чтобы скрыться отъ взглядовъ сосѣдей, чтобы не видѣть самому собственнаго посрамленія. Обработка огорода могла бы подождать,—была еще ранняя весна,—но Иванъ принялся рыться въ землѣ. Глубоко вонзав заступъ, онъ выворачивалъ огромныя глыбы, но не чувствовалъ ихъ тяжести, не сознавая даже, что у него трещитъ спина, что онъ страшно работаетъ. Мысленно онъ былъ тамъ, на улицѣ, откуда слышался гвалтъ, смѣхъ и визгъ свиньи. „Повели“,—думалъ онъ; тогда лопата его съ силою вонзалась въ землю, рѣзала прутья, корни, глину... Сдѣлавъ одну граду, онъ принялся за другую, не чувствуя утомленія. Онъ представлялъ въ воображеніи свой дворъ, от

куда доносился трескъ, гдѣ видѣлъ онъ безпорядокъ, разореніе, и новая гряда была кончена. „Осрамили... покойный родитель“...—думалъ Иванъ; ему казалось, что теперь нельзя будетъ показать глаза на міру—осмѣютъ. И онъ продолжалъ воззаты заступъ въ землю, выворачивая пудовыя глыбы, рѣзалъ щепы; и глыба за глыбой ложилась на грядѣ, гряда за грядой равнялась въ рядъ... разъ, два, три, четыре... Шапка его слѣзла на затылокъ. Ситцевая рубаша прилипала къ мокрому тѣлу. Руки его тряслись отъ усталости. Звенѣло въ ушахъ. Но онъ кончилъ весь огородъ и только тогда почувствовалъ, какъ мозжила его спина, ныли ноги, стучало въ вискахъ. Работа его успокоила. Онъ разогнулъ спину, слѣз на гряду и оперся на заступъ, прислушиваясь, не слышно-ли? Но была уже ночь.

III.

Большая часть избъ въ этой безлѣсной сторонѣ строилась изъ особаго рода кирпичей, состряпанныхъ доморощеннымъ путемъ изъ глины и соломы, — матеріала, который лѣтомъ впитывалъ въ себя весь дождь, а зимой весь холодъ, такъ что лѣтомъ деревенскіе дома походили на губки, зимой на ледяныя пещеры. Заборы выкладывались изъ тѣхъ же кирпичей, только болѣе низшаго разряда, отчего, черезъ годъ послѣ ихъ постановки, они представляли развалины, оставшія послѣ нашествія иноплеменниковъ; впрочемъ, ребяташки сверлили въ нихъ норы для своихъ игръ, гдѣ потомъ обитали воробьи и стрижи. Крыши избъ рѣдко покрывались соломой, — что, разумѣется, не надо приписывать благоразумной предусмотрительности противъ пожаровъ, — почти никогда не крылись тесомъ, очень дорогимъ въ этихъ мѣстахъ, а просто пластами земли, которая давала черезъ нѣкоторое время произрастенія, въ видѣ богородской травы и ковыля, въ совокупности придававшихъ деревнѣ очень пріятный видъ, если смотрѣть издалека. Но вкусъ многихъ жителей возмущался противъ висячихъ луговъ; такіе покрывали свои обиталища камышомъ и кутой, въ видахъ двойной цѣли: для прикрытія жилищъ отъ непогоды и ради обладанія своеобразными водосточными трубами.

Последняя особенность относится и къ избѣ Петра Сизова не успѣвшаго еще купить деревянную крышу, вопреки сильному желанію обладать ею. За то всѣ остальные части хозяйственныхъ строеній, по простествіи съ небольшимъ годомъ послѣ раздѣла, уже получили отъ рукъ хозяина типъ, рѣзко отличавшійся отъ прочихъ беззаботныхъ построекъ въ Березовѣ: онѣ были прочны и плотны. Изба поставлена была изъ толстыхъ сосновыхъ бревенъ, заборъ сдѣланъ изъ досокъ такого же матеріала ворота съ жестяными звѣздами и съ массивнымъ засовомъ. Зданія постройки носили на себѣ тотъ же характеръ прочности и плотности, не имѣя ни одной дыры, которая могла бы соблазнить вора, чего Петръ Сизовъ вообще сильно боялся, или дать просторъ для любопытныхъ глазъ. соглядатайство которыхъ онъ, повидимому, терпѣть не могъ. Вѣроятно, по тѣмъ же чувствамъ хозяина и ворота рѣдко отпирались, придавленные массивнымъ засовомъ, не вошедшимъ въ обыкновеніе другихъ березовскихъ мужиковъ. Желаніе Петра исполнилось: онъ на просторѣ, для себя и ради одиѣхъ своихъ цѣлей хозяйничалъ.

Дѣятельность его, конечно, не приняла еще тѣхъ размѣровъ, когда ему было бы можно жить скромно, вдали отъ любопытнаго нахальства односельцевъ, привыкшихъ ходить на распахку. Еще долго оставалась въ немъ привычка копить всякую чепуху, на другой взглядъ никуда негодную. Большой дворъ его содержалъ цѣлыя кучи этой дряни, которую онъ подбиралъ въ выброшенномъ позади сорѣ. Въ одной кучѣ лежали обломки оглоблей, сгнившія чурки, отвалившіяся, повидимому, отъ колесъ, худое корыто, бочки съ выбитымъ дномъ; въ другой кучѣ сложены были ремни отъ шлей, старыя подошвы, нѣсколько клочковъ отъ голенищъ, лохмотья отъ шубъ и пр., и пр. Все это, очевидно, было уложено и навалено систематически, съ раздѣленіемъ по царствамъ природы.

Иногда Петръ Сизовъ откапывалъ въ сору какую-нибудь вонючую вещь и, глядя на нее, задумывался, почесываясь и недоумѣвая, какое бы дать ей употребленіе, чтобы она принесла доходъ. Выходя со двора на задворки, онъ не пропускалъ ни одной вещи, чтобы не осмотрѣть ее и не подумать, годна-ли она на пользу человѣку, или нѣтъ, и никогда не ускользнула отъ его вниманія ни одна щепка, которой

онъ не поднимать; возвращаясь, такимъ образомъ, домой, онъ всегда несъ у себя подъ мышкой нѣчто: связку прутьевъ, коретъ щепокъ, обрывки бичевокъ,—все ему годилось; да и дорогой онъ старался присовокупить еще что-нибудь.

— Богъ помочь, Петръ! Что ты тутъ дѣлаешь?—спрашивалъ его кто-нибудь, замѣтивъ, что онъ копается въ сору.

— А вотъ прутья,—отвѣчалъ Петръ Сизовъ и не обращалъ вниманія на проходившаго, продолжая накладывать себѣ подъ мышку замаранные щепочки.

— Ишь ты! — возражалъ прохожій задумчиво и шелъ дальше, а только черезъ нѣкоторое время, собравшись съ мыслями, принимался хохотать.

Но мелочи и занятіе ими были только привычкою; съ этого можно начать, но кончить Петръ Сизовъ желалъ болѣе крупнымъ. Все вниманіе его, всѣ помыслы помѣстились пока въ амбаръ, сверху до низу набитомъ разнаго вида хлѣбомъ, который лежалъ въ закромахъ, въ куляхъ, мѣшкахъ и мѣшочкахъ. Петръ дни и ночи копался въ своей житницѣ, то молчаливо обдумывая что-то, то сортируя мѣшки и узелки, то считая на счетахъ какіе-то барыши. Тутъ же въ ящикахъ спрятаны были у него тѣ пустяки, которыми барышничалъ онъ: крестики, кольца, удочки. Периодически Петръ складывалъ мѣшки и мѣшочки въ воза и отвозилъ ихъ въ городъ.

Область его предпріятій все болѣе и болѣе расширялась. То и дѣло къ нему приходили старухи и молодыя бабы, принося съ собой узлы, а унося вещи, стоившія буквально цѣна, потому что Петръ при покупкѣ ихъ умѣлъ „нажечь“ знатока опытнаго торговца. Потомъ стали похаживать мушкетеры. У каждаго изъ нихъ была нужда и они лѣзли за помощью къ Петру Сизову. Петръ началъ замѣтно обособиться. Онъ не былъ кулакомъ; онъ выражалъ собой личность, понявшую свои права, особу, рѣшившуюся существовать единственно ради себя, человека, желавшаго жить спокойно и даже вопреки міру, который Петръ презиралъ. Ни въ комъ онъ болѣе не зналъ нужды, но къ нему, напротивъ, обращались. Міръ для него почти-что не существовалъ. У него были, вмѣсто него, мѣдные кольца и „аглицныя удочки“. Чего еще надо?

Петръ Сизовъ рѣдко ходилъ на сходъ, хотя встрѣчалъ тамъ большую склонность въ собравшихся снимать передъ

нимъ шалки. Онъ говорилъ мало, пользуясь услугами нѣкоторыхъ своихъ товарищей по „башкѣ“, между которыми былъ и Павелъ Жоховъ. Послѣдній былъ краснорѣчивъ, какъ все мірошды, и нахаленъ, какъ все кулаки; не было мѣры безстыдства, которой онъ побоялся бы и не предложилъ бы на сходѣ. Широкая пасть, помощью которой онъ ревѣлъ на сходахъ, способность мигать обыкновеннымъ манеромъ, когда въ лицо его бросали обвиненія, умѣнье пропускать мимо ушей обильную брань, нерѣдко сыпавшуюся на него, такимъ являлся Жоховъ. Онъ помогалъ Петру, Петръ помогалъ ему, и они жилили отъ міра лучшія поля и все, что требовалось имъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими заправителями всѣми мірскими дѣлами. Это была плотная куча людей, которыхъ нельзя было прошибить никакою совѣсливостью. Общественныя тяготы давали только бѣдняковъ, а не эту плотную кучку, которая спокойно стряхивала съ себя всякую тяжесть.

Березовскій сходъ подчинялся этой кучкѣ почти безусловно отстаивая свое верховное владычество только по формѣ, и отношенію къ пустякамъ. Петръ Сизовъ и Павелъ Жоховъ дѣлали, что хотѣли. Мало того, имъ подчинялись не по бѣсилію; развѣ цѣлая деревня не могла съ ними совладать? Имъ покорялись, уважая ихъ. Ихъ боялись, признавая въ нихъ силу; имъ вѣрили, воображая, что они такіе же мірян православные, какъ и все, только „башки“; про нихъ думали, что они стоятъ за міръ—это миѣическое существо, сдѣлавшееся орудіемъ въ рукахъ ловкихъ людей. Кромѣ того, что Петръ Сизовъ и другіе были умныя головы, ихъ уважали за умѣнье наживать копѣйку. Поклоненію этой копѣйкѣ было бы мѣста, если бы совѣсть всѣхъ березовцевъ находилась въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ.

Когда березовцы жили въ одной изъ внутреннихъ губей, у нихъ „была одна душа“,—такъ говорятъ старіе, „потомъ пошла эта самая воля и пришелъ развратъ“,—пробавляютъ они, качая сивыми головами. Если въ это время вблизи находились молодые мужики, то принимались насмѣхаться надъ сивыми головами, „скалили зубы“ или окидывали ихъ колючими взорами, какъ дѣлалъ Петръ Сизовъ. Удивительно то, что, вслѣдъ за насмѣханіемъ надъ сивыми

головами, молодые мужики серьезно говорили: „вѣрно, развѣять“, но не признавали, что „допрежь лучше было“.

Дѣйствительно, многое измѣнилось съ той давней поры, которую сивыя головы обозначали словомъ „допрежь“.

Всѣ еще въ деревнѣ помнить то время, когда они селились на этихъ мѣстахъ, и тотъ день, когда они дружно принялись работать.

Быль вечеръ. Тѣни ложились уже на просѣку, которую береговцы нашли подлѣ рѣки. Вокругъ плотно облегалъ ихъ густой лѣсъ, гдѣ стояли столѣтнія березы и ольха, а снизу, изъ-подъ ногъ, несло на' нихъ запахомъ гнилой листвы, образовавшейся въ перегной. Переселенцы были одни на пятьдесятъ верстъ кругомъ. Стачь ихъ тѣсно сбился на тѣсной лѣсной тропалинѣ; въ одномъ углу пасся скотъ, въ другомъ скучились телѣги и люди... Варился ужинъ. Разсуждали о трудности завести въ такой глуши селеніе. Вырубить лѣсъ? Это казало пугало. Недалеко разстилалась степь, но тамъ не было воды. И сотни разъ переселенцы стремились въ лѣсной вѣтъ и мысленно боролись съ нимъ... А время шло. Пошли еще разъ посмотрѣть съ пригорка на степь, которая воспринимала ихъ своею безконечностью. Нѣсколько разъ уже они ходили на этотъ пригорокъ и думали, что дѣлать. И теперь собрались всѣ на холмѣ, съ бабами и ребятами, и обсуждали свое положеніе, то громко, вслухъ, то молчаливо, каждый про себя, смотря въ степь, мѣрая глазами „несмѣтную силу лѣса“ или ошупывая землю. Постояли и пошли въ ужины, ничего не рѣшивъ. Потемнѣло небо, настала ночь; переселенцы подбросили хворосту въ костры и думали, думали молча... подъ трескъ и въ дымъ огня, подъ глухой шумъ лѣса, подъ вой волковъ, раздававшійся на той сторонѣ холма. Прошла такъ ночь. Раннимъ утромъ, на слѣдующій день, кто-то молча взялъ топоръ, его примѣру послѣдовалъ другой и поплевалъ на руки, поднялся третій и сказалъ: „Господи, благослови!“, всѣ взяли топоры и принялись рубить. Не было сказано ни одного слова, но никто не отказался отъ работы. И пошелъ трескъ по всему лѣсу, застонали березы и ольха, падая подъ ударами топоровъ, запылало дерево пожара, пущеннаго переселенцами, и черезъ недѣлю мѣсто для поселенія было расчищено. Началось копаніе землянокъ, которыя рылись также общими средствами.

Около двадцати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ. Много перемѣнъ совершилось, много мыслей преполозло по головамъ березовцевъ. Переселенцы, напримѣръ, привыкли мало-помалу считать себя вольными людьми, независимыми отъ барина, привыкли и къ нѣкоторому матеріальному довольству, какого они не знали на старыхъ мѣстахъ. Но самая поразительная изъ этихъ перемѣнъ произошла въ темной области совѣсти и мысли. Глухая работа здѣсь шла незамѣтно, но неумолимо впередъ. Происходила невидимая борьба между особою и міромъ. Мало-по-малу каждый сельскій житель сталъ сознавать, что онъ вѣдь человекъ, какъ всѣ, и созданъ для себя, и больше ни для кого, какъ именно для себя. И каждый вѣдь самъ можетъ жить, устраиваясь безъ помощи бурмистра, кокарды и „опчисва“. Всѣ прежнія тяготы слились въ нераздѣльную кучу. Въ доказательство этого открытія, въ сосѣднихъ съ Березовкой мѣстахъ поселились примѣры. Первый примѣръ пріѣхалъ изъ сосѣдняго города: купилъ у казны небольшой участокъ степи и сталъ жить на немъ, подъ видомъ мѣщанина Ермолаева, и зажило, увѣренію всѣхъ березовцевъ, „дюжешибко“. Другой примѣръ носилъ кокарду; самого его никто не видалъ, но, вмѣсто не сѣлъ на степь второй гильдіи купецъ Пролетаевъ — „преходная шельма“. Третій примѣръ проявился въ этихъ мѣстахъ вродѣ непомнящаго родства, потому что ни одинъ изъ березовцевъ не зналъ его происхожденія и званія: „Кажись мужичекъ по обличью, но ужъ очень сурьезности въ немъ много“. Затѣмъ масса другихъ обладателей степи, которыхъ березовцы и въ глаза не видали, возбуждала къ себѣ сильный интересъ: „Болтають, быдто они шельмовствомъ зачали землю, а кто ихъ знаетъ“. А прочіе-то, люди, жившіе въ предѣлахъ деревни, люди, ни къ какому обществу приписанные и ни съ чѣмъ несвязанные, развѣ они не были вѣскими доводами въ пользу новой жизни? Каждый изъ сельскихъ жителей очень часто думалъ объ этихъ явленіяхъ разшительно не было ни одного человека, который въ свободныя минуты не думалъ бы купить себѣ участочекъ, завести „лавочку, что-ли, инъ кабакъ“. Никто изъ мужиковъ не осуждалъ нравственно людей, жившихъ подобными предпріятіями; напротивъ, „любезное это дѣло!“ Людей такого сорта уважали за умъ, считали „шельмовство“ одною изъ способ

ней человѣческаго разума. И въ то же самое мгновеніе каждый изъ березовцевъ уважалъ міръ, покоряясь ему и продолжая жить въ немъ.

Совѣсть мужика раскололась тогда пополамъ; къ одной половинѣ отлетѣли „примѣры“, на другой остался міръ. Были двѣ совѣсти, двѣ нравственности. Мужикъ уважалъ міръ, но уважалъ и человѣка, который жилъ безъ всякаго міра; онъ думалъ, что надо жить въ мірѣ, но было бы, пожалуй, лучше выѣхать изъ него; онъ былъ общинникъ, признавая въ то же время право на полную особность; онъ держался равенства (ползание на брюхѣ по травѣ), признавая превосходство; онъ жилъ въ деревнѣ „соопча“, не считая своимъ дѣломъ бросить ее и зажить въ лавочкѣ; онъ распрямился въ этихъ мысляхъ, не рѣшивъ, какъ лучше—пахать арскую землю или попробовать другое „рукомесло“, остаться въ міру, „инъ кабакъ“ завести, считать міръ храмомъ или творить его и не считать такого дѣла постыднымъ.

Этотъ расколъ совѣсти сдѣлалъ возможными такія явленія, возможность которыхъ никто раньше не повѣрилъ бы... Это произошло публично, на сходѣ, при свѣтѣ бѣлаго дня. Петръ Сизовъ вдругъ заговорилъ. Онъ не просилъ, но прямо требовалъ отъ схода уступки ему земли возлѣ церкви, въ стояла избушка безногаго солдата Лапина, который этимъ пугалъ на огородахъ воробьевъ, зимой нянчилъ ребятъ, за что пользовался иногда горячими лепешками или кашей, добывая остальную часть пропитанія не менѣе полевыми занятіями.

Но Петру надо было построить новый амбаръ. По обыкновению, онъ выглядѣлъ изподлбья и, когда кончилъ, отошелъ въ сторону, молча ожидая рѣшенія схода. Березовцы подняли вой. На Петра Сизова съ ожесточеніемъ набросились. Но черезъ нѣкоторое время набросились, по обычаю, другъ на друга, обвиняя другъ дружку въ нахальствѣ. „Стало такъ, теперича кто вздумаетъ слимонить какую хошь уйму земли, тотъ, напримѣръ, слимонить? Какъ зовется такое вѣдѣство?“—кричалъ одинъ. А ему возражалъ другой: „Ты, Митрій, помолчалъ малость. Помнишь прошлогдній инникъ-то? То-то. А какъ зенки у тебя бестыжіе, то ты причинишь“. И пошли чесать другъ друга, приискивая за каждымъ такіе случаи, которые подтверждали несомнѣннымъ

образомъ безстыжество всѣхъ виѣстъ и каждаго порознь. Петръ слушалъ-слушалъ, сдвинулъ шапку на глаза и объявилъ, что ежели такъ, то онъ кланяться міру уже не станетъ вѣ-ѣтъ!

— Не радъ, что и связался съ дурачьемъ!—сказалъ онъ пошелъ домой.

На другой день опять происходилъ сходъ. Березовцы чего-то испугались. Павелъ Жоховъ такого тумана напустилъ, что всѣ признали просьбу Петра Сизова справедливою. Притомъ каждый боялся за себя, не желая вооружаться открыто противъ Сизова, въ которому при случаѣ, пожалуй, придется прибѣгнуть. Послали за Петромъ. Пришелъ. Возвысилъ голосъ староста. На минуту все смолкло.

— Тимоѣичъ!—сказалъ староста.

— Что?—возразилъ Сизовъ.

— Тимоѣичъ... міръ рѣшилъ уважить тебя: не замай, говорить, пользуется... человекъ онъ заслуженный. Но и ты уважь міръ, сдѣлай внось.

— Внось? А не жирно-ли будетъ?

— Тимоѣичъ, не обижай насъ. Вынимай красную и да вольно. Уважь міръ.

— Покудова не за что!—хладнокровно сказалъ Сизовъ.

— Какъ? міръ-то? Ты кто, откуда взялся? Православные! Спать съ него за эдакія слова пять ведеръ!—закричало несколько голосовъ съ негодованіемъ. Началась опять перепалка. Ругали Петра. Но скоро его оставили, раздѣливши на двѣ партіи. Одна, болѣе благоразумная, старалась Петра подѣйствовать убѣжденіемъ и просьбою, другая хотѣла взять силой.

— Господа православные! Гнать его или пушай покланяться міру?—спрашивала одна сторона.

— Пушай тащить пять ведеръ!—кричала разъяренная другая сторона. Вышла полная разногласица.

Петръ постоялъ-постоялъ и, видя полнѣйшій хаосъ, брался уходить.

— Куда ты спѣшишь? Погоди. Ишь какой обидчивый!—говорилъ староста.

Но Петръ не обращалъ вниманія на эти просьбы. Онъ говорилъ, что „ежели такъ, то и наплевать“; староста говорилъ: „пушай пользуется землею, только бы уважить міръ“.

третья сторона желала, чтобы престижъ міра былъ возстановленъ пятью ведрами. Униженіе схода и безалаберщина на сходѣ были полныя. Сбавили цѣну, только просили, чтобы оказано было уваженіе. Петръ не согласился. Тогда пошли до забвенія себя. Староста, въ лицѣ большинства, исползованно сказалъ:

- Да ты хошь испить-то намъ дай!
- Смерть какъ не люблю, ежели кланчуть. Самъ знаю.
- Тамъ дашь водочки-то? Одно ведро бы...
- На, два ведра! Лопайте!—сказалъ Петръ Сизовъ.

Обрадовались. Ругань прекратилась на время. Веселое шествіе, смѣхъ, шуточки балагурныя. Солдата забыли. Миръ представлялъ себя въ образѣ пьянчуги; его интересы вращались въ смыслѣ двухъ ведеръ. Лопайте! И всѣ были удовлетворены.

Жестокая разногласица возобновилась только послѣ того, какъ уже были принесены два ведра. Стали пить. Петръ только обмочилъ губы и съ презрительными взглядами, относившимися ко всѣмъ присутствующимъ, вышелъ. Продолжали пить. Но когда между шутками рѣшено было снести избу безногаго солдата Лапина на другое мѣсто, многіе возмущались. Они инстинктивно защищали миръ. „Ахъ, вы, сволочь!“—закричало нѣсколько голосовъ. Ихъ руганью не слушали. „Зачѣмъ вы миръ-то продаете?“—сказалъ кто-то, стуча стаканомъ объ столъ. Такимъ отвѣчали бранью, паркая ихъ глупостью. Даже пирушка не кончилась благоучно. Когда одно ведро было выпито, одинъ мужичекъ взял его и полѣзъ на пирующихъ, съ намѣреніемъ стукнуть кому-нибудь въ голову. Ведро у него отняли, онъ пошелъ на кулаки. Вышло побоище между двумя напившимися. Сражъ произошелъ ужасный. Разошлись, остервенѣвъ другъ на друга.

Петръ былъ не менѣе озлобленъ. На другой день часть села пришла къ нему, къ дому, и потребовала еще вина передъ началомъ перенесенія избы солдата Лапина. Не сумевъ „совладать“ съ нимъ и удержать его, они думали напастъ водкой. Онъ принужденъ былъ дать. Понявъ, что у него ушло пропасть денегъ, онъ озлился на весь миръ. Сколько ни дѣлали ему уступокъ, ему все было мало. Съ деревней у него не было почти ничего общаго. Инте-

ресы его клонились къ другому. Онъ былъ самъ по себѣ. Всякія жертвы чужимъ людямъ,—а міръ сталъ ему чуждъ какъ врагъ,—казались ему страшными.

Во имя чего сходя пожертвовалъ ему безногаго солдатъ Лапинъ не былъ въ тягость никому; у него была одна нога къ другой придѣлана была деревяшка, но это ничего значить. Кромѣ пуганія воробьевъ съ огородовъ и нянчанія грудныхъ ребятъ лѣтомъ, онъ являлся для деревни чуждымъ во многихъ отношеніяхъ полезнымъ. Онъ еще занимался наукой. Правда, его обученіе грамотности носило своеобразный характеръ; собравъ ребятъ, онъ выстукивалъ изъ лучины палочки, раздавалъ ихъ ученикамъ и, давая урокъ, говорилъ грознымъ голосомъ: ёмирно! Остальная часть его методы состояла въ томъ, что онъ держалъ на показъ ремень, постоянно жалѣя, что, по слабости, можетъ употребить его въ дѣло, отчего, по его мнѣнію, происходили худые успѣхи его обученія: ученики тогда успѣвали протыкать насквозь янички деревянными уколами... Все это правда, но все-таки Лапинъ старался рачо заработать пропитаніе и не даромъ получалъ горелешки, кашу и другой хлѣбъ насущный.

Наконецъ, простое чувство справедливости должно было спасти его избу отъ перенесенія на другое мѣсто, еслибы продолжали существовать иныя времена. Но беззаконцы жили уже по другому складу.

Послѣ вторичнаго угощенія они пришли къ солдату объявили ему рѣшеніе. Лапинъ сперва разгнѣвался до бѣшенія. Простодушное лицо его побагровѣло. Онъ топалъ бѣшенствѣ одною ногой, ругался. Онъ пустилъ въ ходъ средства устрашенія. Одно изъ нихъ было оригинально. Онъ прицѣпилъ на грудь свою старую медаль и обвелъ халовъ убійственнымъ, по его мнѣнію, взглядомъ.

— Это что-жъ такое?

— Кавалеръ,—пояснилъ Лапинъ.

Нахалы недоумѣвали.

— Я васъ, сиволаны! Налѣво кругомъ маршъ!—крикнулъ онъ.

Къ удивленію его, это не подѣйствовало. Мужики затаили. Одинъ шутникъ спросилъ даже: есть-ли у него картечь, чтобы стрѣлять?

Тогда Лапинъ вдругъ палъ духомъ. Онъ безпомощно присѣлъ на порогъ избы своей и просилъ не трогать его. Онъ человекъ бѣдный, всякій его можетъ обидѣть; у него деревянная нога—куда ему тоскаться съ мѣста на мѣсто?... Лапинъ заплакалъ. Это подѣйствовало. Явилась жалость. Мужики обласкали солдата, тутъ же постановивъ, что они будутъ кормить его вѣчно.

А все-таки избу его снесли, убѣждая хозяина ея, что на новомъ мѣстѣ ему будетъ лучше.

Ни одинъ изъ березовцевъ не подумалъ въ этотъ день, рачѣмъ у нихъ существовалъ міръ. Чтобы притѣснять безпомощныхъ? Но въ то же время никто не сомнѣвался въ его рѣшительномъ существованіи. О немъ и его порядкахъ не думали, но чувствовали его. Не подвергая его критикѣ, въ него вѣрили. Какимъ онъ былъ раньше, этотъ пресловутый міръ, такимъ и остался. Служили ему и жили въ немъ безъ разсужденія, только эта служба походила на ту, которую исполняютъ бонзы. Объ обновленіи и перестройкѣ того древняго храма никому и въ голову не приходило. Не придетъ-ли день, когда его снесутъ такъ же, какъ снесли избу солдата съ деревянною ногой, Лапина?

IV.

Въ домъ Ивана Сизова шли сборы въ дорогу. Хозяйка то приготовляла для мужа котомку. Самъ Иванъ сидѣлъ за столомъ и рассказывалъ, какъ, наконецъ, деревня рѣшила дать участокъ казенной земли на вѣчныя времена.

Изъ его разсказа оказывалось, что этотъ несчастный участокъ давно возбуждалъ всеобщее вниманіе и перебранки. Десятки разъ вся деревня, въ полномъ составѣ, ходила высматривать его, причемъ одни являлись туда пѣшими, другіе конными. Первые осматривали кустики, ложбинки, яминки, чтобы не промахнуться. Вторые взирали его во всемъ его блѣмѣ, объѣзжая вокругъ, какъ бы невзначай не врюхаться. За него просятъ много, а проку выйдетъ мало; на каждую душу приходится по самой малости. Изъ-за этого спорили... сколько тутъ было брани—не приведи Богъ! Бѣдность желала купить, богачи говорили: „Песъ съ нимъ! За какого онъ шута? Это по осьминнику-то на душу? Такъ

эдакой пустяковиной ни одна душа не будет довольна“. И ругались. Должно быть, десять разъ приходили на участки притоптали его весь, запомнили всѣ кочки. Слава Богу что кончилась эта канитель.

— Прорѣшили?—спросила жена.

— Разомъ. Сболтнулъ какой-то шутъ, что на этотъ участокъ уже многіе зарятся... и заразы надумали. Лупи, говорятъ, Ванюха, въ городъ, оправь намъ все, какъ слѣдуетъ, чтобы только участокъ-то нашъ былъ... Чуть свѣтъ завтра надо выѣзжать.

Иванъ сидѣлъ веселый. Ребята лѣзли ему на колѣни, и загорбокъ, прося его купить гостинцевъ. Иванъ разыгрался. Одному онъ показалъ пальцами рога коровы и, въ поражение ей, вдругъ заревѣлъ: бу-у! отчего мальченко опретью бросился къ порогу; другого взялъ поперегъ животъ, положилъ его на колѣни и принялся щекотать бородой. Появился дѣтскій хохотъ, въ которомъ принималъ участіе самъ Иванъ; лицо его свѣтилось, глаза искрились отъ смѣлыхъ слезъ. Тутъ же онъ общалъ, что изъ города привезетъ золотыхъ и красныхъ барановъ и пряниковъ... Потомъ вдругъ онъ нахмурился, переставъ играть. Онъ задумчиво досталъ изъ-за пазухи кожаный кошель, съ какимъ-то стромъ осматривая его.

— На-ка вотъ, зашей,—сказалъ онъ, подавая хозяйкѣ кошель,—мірская казна. Сохрани Богъ отъ грѣха. Только разинь ротъ—сейчасъ цапъ у тебя! И реви тогда... Глыбы засунь.

Хозяйка зашила „мірскую казну“ въ онучу. Никакъ жуликъ не догадался бы, какія дорогія онучи носилъ Иванъ.

— Такъ-то вотъ вѣрнѣе. На-ка теперь, понюхай... многи увидишь?—сказалъ Иванъ, и лицо его снова запышило широкою улыбкой.

Однако, еще разъ въ этотъ день ему пришлось смутиться до глубины души.

— Не слышать, когда братъ-то ѣдетъ?—спросила жена, воткнувъ этимъ вопросомъ ножъ въ сердце Ивана.

Онъ насупился и замолкъ.

— Я почему знаю!—только огрызнулся онъ.

Петръ Сизовъ былъ также выбранъ въ покупатели участка. Онъ даже раньше былъ выбранъ, потому что березови

Прежде всего къ нему обратились: „Петръ, лупи въ городъ и чтобы все чисто было. Ты у насъ башка, знаешь куда и какъ. Чтобы только земля была наша“. Затѣмъ уже былъ указанъ Иванъ Сизовъ. Между тѣмъ, оба брата давно не видались. Встрѣчаясь другъ съ другомъ, они не снимали шапокъ, не кланялись, причемъ Иванъ терялся и съ недоумѣньемъ чесалъ голову, а Петръ отворачивался, смотрѣлъ въ землю, какъ будто замѣтилъ какую-то брошенную вещь и нѣбревался поднять ее для хозяйства.

Ягокъ на поминѣ!

Петръ всталъ около порога и крестился на образа. Потомъ внимательно и неторопливо осмотрѣлъ всѣхъ находящихся въ избѣ. За то находящіеся въ избѣ были поражены. Иванова баба стояла посрединѣ избы со сложенными на животѣ руками и не могла произнести ни слова. Иванъ также молчалъ; онъ сидѣлъ неподвижно и держалъ въ рукахъ онучу, которая за минуту передъ тѣмъ приводила его въ радостное настроеніе. Одинъ парнишка засунулъ въ ротъ дымящуюся сводя глазъ съ дяди; другой, поменьше, при его стремглавъ бросился на печку, съ быстротой молніи нырнулъ тамъ въ лохмотья, оставивъ одну только маленькую дырочку, изъ которой скоро показался испуганный сѣрый заяцъ.

— Здравствуйте,—сказалъ Петръ.—Пришелъ провѣдать. Знаю, угодилъ-ли въ добрый часъ. Но теперича соскучился намъ не изъ-за чего.

— Не изъ-за чего...—повторилъ Иванъ, не зная, что говорить.

— Потому дѣлать нечего.

— Нечего...

— Пришелъ провѣдать...

— Вѣрно!

— Братнино-то сердце отходчиво. Иль все сердить?—пытливо спросилъ Петръ.

Иванъ былъ взволнованъ; онъ, видимо, не зналъ, что дѣлать. Но вдругъ онъ всталъ, подошелъ къ брату, взялъ его за руку и потащилъ къ столу. „Добро пожаловать! Гость въ домъ. Хозяйка, миръ! Пришелъ съ повинной... кланяйся!“—сказалъ Иванъ и крутился по избѣ, пока, наконецъ, не поклонился, усвоивъ фактъ примиренія съ братомъ.

Черезъ часъ оба брата сидѣли уже за столомъ. Проникли пиръ. Иванъ былъ подвыпивши. Петръ имѣлъ неколючій видъ. Иванъ ежеминутно угощалъ своего гостя, зывая его „дорогимъ“. На глазахъ его то и дѣло появлялась влага. Блаженнѣйшая улыбка разлилась по всему его лицу. Иногда онъ хлопалъ брата ладонью по ногѣ и въ каждый разъ спрашивалъ его: братъ онъ ему или нѣтъ?

— А какъ же! Самый настоящий,—въ сотый разъ отвѣчалъ Петръ.

— Единоутробный?—шутливо освѣдомился Иванъ.

— Единоутробный.

До полуночи въ избѣ Ивана свѣтился огонь, и все время Петръ не могъ вырваться изъ-за стола.

На другой день братья вмѣстѣ, на одной лошади, поѣхали въ городъ. Они сидѣли рядомъ. Иванъ много говорилъ, Петръ много слушалъ. Старшій добродушно оглядывалъ младшій, младшій внимательно смотрѣлъ на старшаго. Впрочемъ, случай далъ и послѣднему возможность заговорить, тогда говорилъ онъ всегда о дѣлѣ, пропуская пустяки мимо ушей.

Они подъѣзжали уже къ городу. Вдали виднѣлись колокольни, зеленые куполы, бѣлые дома. Но очертанія города были еще не ясны; надъ всѣмъ городомъ висѣла мгла. Когда солнце стало клониться къ западу, и лучи его падали отвѣсно, отъ города былъ виднѣнъ только ослѣпительный блескъ. Жаръ спадалъ. Но пыль по дорогѣ сдѣлалась болѣе удушливою. Она густыми клубами поднималась отъ лошадиныхъ ногъ, колесъ и набивалась въ телѣгу, садилась на одежду братьевъ. Братья сидѣли въ ней, какъ въ пещерѣ; облака ея часто были такъ густы, что они не могли видеть другъ друга, молча глотая ее. Поэтому, должно было старшину сосѣдней волости, ѣхавшаго имъ навстрѣчу въ городъ, они замѣтили только тогда, когда онъ поровнялся съ ними. Иванъ и Петръ сняли шапки и поздоровались. Старшина величественно проѣхалъ мимо, что-то промолтавивъ.

Петръ нѣсколько разъ оглядывался назадъ, стараясь рошенько разглядѣть новую сбрую съ бляхами, жирнаго цвета, прочную и щегольскую телѣжку богатаго старшины. На мгновеніе оба брата покрылись пылью, скрывшею ихъ глаза отъѣзжающаго. Но Петръ сказалъ:

— Подлинно, голова!

— А что?—откликнулся Иванъ.

— Разбогатѣлъ. Теперича куда—и шапку не ломаетъ! Мень, шельма.

— Старшина. Обыкновенно...

— Ничего не „старшина“. Старшина одна причина, а въ—другая.

— Должно быть, на руку нечистъ, — замѣтилъ наивно Иванъ, удивляясь, отчего его братъ нахмурился. Петръ говорилъ твердо, но задумчиво, смотря на дно телѣги.

— Допрежъ голъ мужиченко былъ, — замѣтилъ онъ. — Знать, башка-то не дерьмомъ набита, есть же, значить, разсудительность. Слыхалъ, какъ онъ пошелъ въ ходъ? Семьицы, вотъ такъ же, какъ, къ примѣру, мы, задумали прибить лугъ. Хорошо. Выбрали. А старшину послали за плетнемъ. А онъ, не будь простъ, денежки-то да лужонокъ-то въ карманъ спустил. Туда-сюда, а купчая-то ужъ въ карманѣ. Смѣется! Конечно, какъ надъ дураками не смѣяться? А онъ и бросилъ.

— Безсовѣстный и есть!—съ негодованіемъ воскликнулъ Иванъ.

— Не безъ того. А между прочимъ, какъ судить? Судить можно по-просту. Оно и выйдетъ, что ловко вывернулся, не-есть! Умѣетъ жить.

— Разбойствомъ-то...

— Для чего разбойствомъ? Все по закону. Нынче, братъ, все законъ, бумага.

— А грѣхъ?—спросилъ Иванъ, смотря на брата сквозь свои пальцы.

— Всѣ мы грѣшны.

Иванъ помолчалъ.

— А Богъ?—потомъ спросилъ онъ.

— Богъ милостивъ. Онъ разберетъ, что кому. А жить надо.

— Разбойствомъ! Вѣдь онъ, стало быть, выходитъ, воръ?

— Ну-у!—протянулъ глухо Петръ.

Впродолженіи нѣсколькихъ минутъ длилось молчаніе. Лодка шла шагомъ. Кругомъ было тихо. Солнце сѣло, и по небу разлился полу-свѣтъ, въ которомъ всѣ предметы приняли инныя формы и цвѣта.

— Совѣсть, братъ, темное дѣло, — прервалъ молчаніе братъ Петръ.

— А міръ? — спросилъ Иванъ.

— Какой такой міръ? — презрительно замѣтилъ Иванъ.

— Да какже, а семеновцы-то?

— Каждый свою пользу наблюдаетъ, хотя бы и въ міръ. Рази міръ тебя произродилъ?

— Что-жь...

— Міръ тебя поитъ-кормитъ?

— Ты не туда...

— Нѣтъ, я туда. Каждый гонитъ свою линію. Какъ е ты человѣкъ и больше ничего. А міра нѣтъ... Ну, будь по-пустому болтать, слышь?

— Ась? — откликнулся задумавшійся Иванъ.

— Подбери возжи! — рѣзко сказалъ Петръ.

Лошадь, пущенная во время разговора на произволъ судьбы, завезла телѣгу въ сторону. Правыя колеса катились по самому краю рва. Прямо передъ глазами былъ городъ. Иванъ поспѣшно задергалъ возжами, направляя лошадь на настоящую дорогу. Онъ еще что-то хотѣлъ спросить у брата, уже обернулся къ нему лицомъ, но телѣга въѣхала на каменный мостовой, загремѣла, затряслась и отбила у Ивана охоту вести разговоры.

V.

Странно, что мужичекъ, захватившій въ чужое мѣсто дѣламъ, сразу дѣлается безпомощнымъ. Все ему ново и непонятно, словно онъ переселился въ нѣкоторое царство, нѣкоторое государство, за горы и моря... Буквально подвергается самымъ удивительнымъ несчастіямъ, испытывая баснословныя приключенія; то его помоями обольютъ, то задѣнутъ метлой по физиономіи.

Иванъ не подвергся, къ счастью, бѣдамъ. Онъ только сбѣжалъ на первыхъ порахъ въ какую-то кухню, вмѣсто присутствія, а оттуда поваръ его живо выпроводилъ, въ то время указавъ, куда слѣдуетъ идти. Притомъ, у него былъ братъ, больше его знающій и опытный.

Оба они пришли очень рано, и когда поваръ указалъ Ивану надлежащее мѣсто, они сѣли возлѣ парадной д

на улицѣ и стали ждать. Въ ожиданіи часа, когда можно было видѣть „начальника“, Иванъ разулся, распоролъ онучу и вынулъ изъ нея деньги. Это потребовало много времени, такъ что когда отъ онучи было отнято ея привилегированное положеніе, а сапоги очутились на должномъ мѣстѣ, ожидаемое время настало. Петръ сначала держался въ сторонѣ; не могъ дать ни одного совѣта брату, молчалъ и неподвижно сидѣлъ на тротуарѣ, задумчиво вперивъ глаза въ землю. Идти съ Иваномъ онъ на первыхъ порахъ также отказался. „Допрежь ты иди“, — возразилъ онъ на просьбу идти мѣстѣ. Иванъ повиновался, но отсутствіе брата вселило въ него еще больше робости, съ которой онъ и пошелъ.

Половину дня Иванъ торчалъ въ прихожей, у всѣхъ спрашивая и ожидая какого-то „главнаго начальника“. Къ нему подошло нѣсколько чиновниковъ, предлагавшихъ ему сдѣлать все, что надо, но онъ со страхомъ отказывался отъ предложенія, въ то же время думая: „Хитеръ народъ, погляди! И насъ тоже не проведешь!“ И онъ все ждалъ главнаго начальника. Впрочемъ, на вопросы присутствующихъ, какому именно главнаго начальника ему надо, онъ ничего не могъ отвѣтить. Пробило три. Иванъ терпѣливо ждалъ. Наконецъ, его выпроваживать стали. Уперся. Потомъ прибѣгъ къ послѣднему средству; онъ зналъ, что въ каждомъ присутствіи есть секретарь, „большой также начальник“, но только съ нимъ дѣла не сдѣлаешь, а посоветоваться можно. Вызвали секретаря.

— Какое дѣло?
— Земли хотимъ купить, ваше благородіе. Это самое.
— Гдѣ земли, какой земли, кто?
— Мы, березовскіе хрестьяне...
— Да тебя-то какъ звать? Кто это „мы“?
— Иванъ Тимоѣевъ, а прозываюсь Сизовъ. Съ братомъ мы пріѣхали купить...

Отвѣтивъ это, Иванъ посмотрѣлъ на секретаря, и ему показалось, что тотъ окончательно разсердился. Сердце его таяло. Онъ сталъ объяснять, какой такой участокъ.

— Хорошо, хорошо. Завтра, — сказалъ секретарь и отдѣлился отъ просителя.

Но это завтра растянулось на цѣлую недѣлю.

Въ слѣдующіе дни Иванъ взялъ на себя только наблю-

дательную роль. Въ то время, какъ Петръ говорилъ съ „начальниками“, подавалъ имъ просьбы, документы, Иванъ стоялъ въ прихожей, не произнося ни слова. Онъ сознавалъ, что Петръ ловчѣе его. Онъ только не зналъ, отчего Петръ ловчѣе... Иванъ простаивалъ часы и дни въ прихожей, безъ словъ и неподвижно, глубоко вѣря, что эти безсловесныя и неподвижныя стоянія необходимы, чтобы свято выполнить мірское порученіе. Онъ боялся вымолвить слово, чтобы какъ-нибудь не промахнуться. Та же боязнь заставляла его постоянно ощупывать карманъ, гдѣ были спрятаны деньги. Петръ одинъ разъ мрачно потребовалъ этихъ денегъ, въ видахъ скорой уплаты, но онъ не далъ. „Я самъ“,—проговорилъ онъ недоувѣрчиво, какъ ребенокъ, у котораго пропали игрушку.

Кромѣ стоянія въ присутствіи, однажды вечеромъ отыскалъ барина, съ которымъ нѣкогда у мирового судьи пилъ чай. Онъ пришелъ посоветоваться съ нимъ. Статистикъ принялъ его хорошо, только просилъ придти въ другое время покалякать на досугъ. Когда Иванъ разсказалъ ему свое дѣло, онъ одобрилъ березовцевъ.

— Хорошее дѣло вы задумали.

— Да, дѣло любезное. Какъ бы его только оправить въ настоящемъ видѣ,—сказалъ весело Иванъ.

— Ничего, справишь... А помнишь, какъ васъ ругалъ Николай Ивановичъ?

Иванъ кое-что помнилъ.

— Онъ говорилъ, что вы передъ міроѣдами кланяетесь, что у васъ никакого порядку нѣтъ... кажется, такъ? Я думаю, что оттого у васъ никакого порядка нѣтъ, что вы ничего сами не умѣете. Налетитъ на васъ нахаль, а вы не знаете, какъ съ нимъ справиться... а? Учиться надо.

— Худыхъ людей всюду много,—отвѣчалъ Иванъ.

— Да не въ этомъ дѣло. Защищаться-то вы не умѣете. Пожалуй, и защищаетесь, да только боками своими.

Баринъ засмѣялся.

— Учиться надо,—повторилъ онъ.

— Учить, извѣстно, насъ надо,—подтвердилъ Иванъ.

Этимъ правоученіемъ и кончилось все. Баринъ заторопился куда-то.

Иванъ послѣ этого еще нѣсколько дней провелъ въ тор

чанія, терпѣливо, мученически ожидая развязки. Утромъ рано его видѣли сидящимъ на тротуарѣ возлѣ казеннаго дома; тамъ же иногда замѣчали часа въ четыре, потому что онъ выходилъ на воздухъ подышать и размять ноги. Это было чистое страданіе. Нѣтъ хуже состоянія, когда человѣкъ ждетъ, ничего не зная... Онъ томился до замиранія сердца, стоялъ до мозжанія въ ногахъ и ожидалъ до того, что голова его кружилась, а мысли вертѣлись колесомъ. Онъ просто дурѣлъ. По выходѣ изъ присутствія Петра, онъ только спрашивалъ:

— Скоро?

— Да, должно быть, скоро,—возражалъ Петръ.

Дѣло кончилось. Ивана позвали въ настоящее присутствіе и потребовали денегъ. Иванъ оглянулъ всѣхъ недовѣрчиво, подозрительно: „Хитерь тоже народъ!“—думалъ онъ. Онъ медлилъ. Петръ рѣзко велѣлъ ему выкладывать деньги, и онъ поѣхалъ въ карманъ. Четверть часа онъ вынималъ, другую четверть часа считалъ, для чего онъ нарочно ушелъ въ самый дальній уголъ комнаты и по временамъ оглядывался подозрительно, не примѣчаетъ-ли кто его денегъ. Его ругали. Ругался Петръ. Ругался чиновникъ, перелистывавшій бумаги. Но Иванъ думалъ: „Дѣло мірское... долго-ли промахнуться?“ Съ тѣмъ же намѣреніемъ („чтобы все было чисто“), подавъ деньги, онъ въ то же мгновеніе протянулъ руку за бумагой. Но Петръ рѣзкимъ движеніемъ отстранилъ его, самъ взялъ документъ, а въ сторону чиновника пояснилъ:

— Братанъ мой.

Все кончилось. Документъ въ рукахъ. Когда Иванъ вышелъ изъ присутствія, онъ глубоко вздохнулъ и широко перекрестился на церковь. Петръ былъ возбужденно-веселъ, хотя смертельная блѣдность искажала его лицо; казалось, что онъ за минуту передъ тѣмъ избѣгъ опасности и еще не можетъ отъ всей души радоваться, оправившись отъ страха. Онъ также перекрестился на церковь. Но къ Ивану возвратилась обычная разговорчивость; камень съ души его свалился. По выходѣ совсѣмъ изъ той части города, гдѣ стоялъ казенный домъ, онъ съ шумомъ сказалъ: „Баста!“—снялъ шапку, надѣлъ ее опять, сдвинулъ на затылокъ... Главное, получена была бумага.

Но кому бумага, какая бумага?

Зловѣщія вѣсти разносятся въ деревнѣ раньше, чѣмъ онѣ оправдываются. Не успѣли братья Сизовы пріѣхать изъ города, какъ уже вся деревня была взволнована подозрительными мыслями. Живо собрался сходъ; мужики массою двинулись къ избѣ Ивана Сизова. „Подавай бумагу!“ — кричали десятки голосовъ въ его окно. Иванъ вышелъ изъ воротъ, раскланялся и сказалъ, что бумага у Петра. Двинулись къ Петру. Подозрительность и волненіе доросли уже до такой степени, что Ивана взяли подъ руки и повели силой, какъ пойманнаго вора.

Петръ только-что возвратился домой, но не могъ утерпѣть, чтобы не обойти своего хозяйства. До отъѣзда онъ не успѣлъ покрыть избу тростниковыми снопами. Теперь, едва поѣлъ залѣзъ наверхъ избы и принялся укладывать крышу, какъ ни въ чемъ не бывало. Онъ былъ весь охваченъ волненіемъ и злобой, а когда увидѣлъ приближеніе схода, руки его задрожали, но онъ не бросилъ работы и чисто укладывалъ тростникъ, пригоняя снопы другъ къ другу.

— Петръ, слѣзай! — послышался крикъ.

— Для какой надобности? — хладнокровно спросилъ Петръ.

— Подавай бумагу! Гдѣ она?

— Не для васъ она прописана.

Петръ, высказавъ это, продолжалъ возиться на крышѣ. Сходъ на минуту замеръ. Значить, правда, что бумага-то ушла изъ рукъ? Правда, что деньги-то пропали? Правда, что участка-то нѣтъ? Нѣсколько голосовъ еще разъ машинально повторили: „Петръ, слѣзай!“ Но Петръ не слѣзъ. Онъ сказалъ, что деньги скоро отдастъ, и... и больше ничего не сказалъ, подаривъ лишь мужиковъ взглядомъ полнѣйшаго пренебреженія. Его блѣдное лицо, казалось, говорило: „Ахъ вы, шуты, шуты соломенные!“ Только руки его дрожали, снопы не укладывались съ тою аккуратностью, какую онъ желалъ.

Вниманіе схода было отвлечено въ другую сторону. Вдругъ всѣ вспомнили объ Иванѣ. Оглянулись и увидали его. Поднялась брань. Иванъ передъ тѣмъ былъ оставленъ на свободѣ, но онъ не пытался уйти изъ толпы. Онъ только самъ теперь сообразилъ все. Видъ его былъ убитый. Онъ едва-ли слышалъ раздавшуюся въ эту минуту страшную брань и не видалъ разъяренныхъ лицъ. Онъ самъ такъ обомлѣлъ, что

не пытался выговорить слово оправданія. Только чуть слышно произнесъ, обращаясь къ брату:

— Братъ! Что ты со мной сдѣлалъ?...

Эти слова еще больше разъярили толпу. „А! ты ссылаешься на брата?!“ Ивана нѣсколько рукъ схватили и тинули въ разныя стороны. За первыми потянулись другіе, потомъ потянулись всѣ... Каждый хотѣлъ схватить и встряхнуть... Онъ все это видѣлъ; видѣлъ также зловѣще горѣвшіе глаза, но не думалъ оправдываться. „Пусть лучше прибьютъ“,—думалъ онъ. Его дѣйствительно начали бить... Онъ ничего не видалъ.

Въ это время нѣсколько опытныхъ стариковъ бѣжали по сходу и уговаривали бросить... Они знали, чѣмъ это можетъ кончиться. Случай имъ помогъ вырвать Ивана. Чей-то мальченокъ, заинтересованный всѣмъ происходящимъ, полѣзъ черезъ заборъ, который сѣуживалъ его поле зрѣнія, и подвергъ себя неожиданной опасности, зацѣпившись рубахой за колъ. Онъ повисъ и заревѣлъ отъ ужаса. Отчаянный ревъ его возбудилъ всеобщее вниманіе. Оглянулись, увидали... и сперва появились улыбки, потомъ! веселый смѣхъ, превратившійся моментально въ хохотъ и шутки. Хохотали всѣ собравшіеся. А староста незамѣтно увелъ Ивана.

Когда мужики черезъ минуту вспомнили о немъ, его уже не было. Поднялся невообразимый гвалтъ. Нѣкоторые предлагали идти искать Ивана и бить его. Другіе совѣтовали вадѣть на него хомутъ, обсыпать куриными перьями и въ такомъ видѣ водить его по улицѣ. Но староста объявилъ, что Ивашка сидитъ уже въ темной. Это, повидимому, сразу успокоило сходъ. Онъ перекинулся на другого брата. Но никто не требовалъ отъ него бумаги; его просили... „Отдай, Тимоѣичъ!“ Петръ слѣзъ съ крыши и повторилъ, что деньги отдастъ, прибавивъ, что если къ нему станутъ приставать, то не дастъ... ни копейки! Сказавъ это, онъ захлопнулъ калитку, гдѣ стоялъ. Березовцы принуждены были еще разъ столбенѣть.

Нѣсколько дней вслѣдъ затѣмъ въ деревнѣ продолжались смятенія и сходы. Березовцы послали въ городъ ходоковъ разузнать, какъ и почему? Оба ходока, одинъ за другимъ, летали въ городъ, изъ города въ другой. Ничего не вышло. Овѣты были убійственные. Одинъ пріѣхалъ и объявилъ:

„Сами мы, братцы, глупый народъ“. Отвѣтъ другого былъ таковъ: „Рохли!“

Кончилось это происшествіе очень скоро, неожиданно и почти незамѣтно. Собрали березовцы послѣдній сходъ по своему нелѣпому дѣлу. Но обсужденія шли вяло. Никто ничего не зналъ, и всѣ предложенія были такъ же нелѣпы, какъ и самое дѣло. Скажутъ слово и помолчатъ. Каждый понималъ всю безнадежность мірскаго предпріятія. Скажетъ слово и помолчитъ. Это надобно. Случилось вотъ что. Вдругъ всѣ вразъ и каждый поочередіи поняли, что у каждого есть дома свое собственное дѣло; всякій желалъ наверстать потерянное время; мысль, что мірское дѣло потерпѣло крушеніе, придавала жгучесть другой мысли, что дома есть настоящее дѣло, упустивши которое останешься безъ ничего. Настало смущеніе. Собравшіеся перестали глядѣть другъ на друга. Было чего-то совѣстно. Мужики незамѣтно разбрелись по домамъ. Одинъ всталъ, взялъ шапку и сказалъ, ни къ кому не обращаясь, что пора бы по домамъ. За нимъ всталъ другой, за нимъ третій, у всѣхъ нашлись причины. Одному надо было пойти дегтю купить; у другого провалился сарай; третьему явилась настоятельная необходимость шишку срѣзать на ногѣ мерина. Каждый бралъ шапку и уходилъ въ смущеніи. И скоро съ сборной избѣ никого не осталось. На лужкѣ сидѣли одни сивые старики, которые принялись-было разсуждать о допотопныхъ временахъ, да и тѣ скоро умолкли, увидавъ, что говорить нечего.

Иванъ всѣ эти дни провелъ въ темной. Но на него также деревня махнула рукой.

— Ну его, шалава проклятая!

Это все, чѣмъ ему мстили. Онъ вышелъ изъ темной на восьмой день, глухою ночью, которая помогла ему украдкой придти домой. Тамъ онъ залѣзъ въ сѣни, никому не объявившись изъ домашнихъ, и забился въ уголъ. Общественное негодованіе придавило его; онъ уже думалъ, что никогда ему не оправиться во мнѣніи людей.

VI.

Сизовскій участокъ затихалъ. Вокругъ главнаго хутора, еще не отстроеннаго, съ раскрытою крышей, безъ оконъ и

безъ дверей, навалены были груды земли, соломы, прутьевъ; валялись горы щепъ и кирпичей и бревна съ воткнутыми въ нихъ топорами. Рабочіе пошабашили и готовились къ ѣдѣ. Между ними большинство было изъ Березовки. Сизовъ позвалъ, и они... почему же и не помочь ему построить хуторъ? Деньги онъ даетъ хорошія. Большинство лежало на землѣ; одни навзничъ, другіе на брѣхѣ. Цѣлый день работавшіе теперь сдѣлали ночной привалъ, отдыхая. Кое-кто, впрочемъ, починивалъ одежду; иные точили пилы. Кое-гдѣ обмѣнивались лѣнивымъ разговоромъ; кто-то запѣлъ. Но лѣнивые разговоры обрывались, а пѣсня совсѣмъ смолкла, потушенная темнотой и сномъ. Торопились привалиться поскорѣе и заснуть. Ужинали однимъ хлѣбомъ, погѣнившись сварить что-нибудь.

Иванъ сидѣлъ поодаль отъ другихъ. Онъ также стоялъ на работѣ у брата наравнѣ съ другими. Въ его домѣ въ это короткое время случилось много несчастій: волкъ зарѣзалъ пять овецъ, опилась лошадь, захворала хозяйка. Чтобы оправдаться, онъ нанялся на хуторъ. Теперь онъ безмолвно осматривалъ топоръ. Въ цѣлый день никто еще не слыхалъ отъ него слова. Онъ боялся, что его осадятъ: воръ! Но ему дали названіе „шалавы“—и больше ничего. Знали, что самъ онъ отъ брата ничего не получилъ. Большинство работавшихъ относилось къ нему съ сожалѣніемъ: „Ахъ, глупый!“

Осмотрѣвъ топоръ, онъ открылъ мѣшокъ, вытащилъ оттуда хлѣбъ и принялся закусывать. Вдругъ ему пришла въ голову мысль.

Онъ пересилилъ себя, подошелъ къ лежавшимъ и сдѣлалъ предложеніе.

— Братцы, какъ бы намъ артелью...—сказалъ онъ.

— Что артелью?—спросило нѣсколько голосовъ.

— Кашу бы варить.

— Ничего, давайте артелью. Ребята, слышь?

Заговорили. Предложеніе вызвало всеобщее одобреніе и было принято. Самому Ивану поручено привести его въ исполненіе.

— Что-жь, пушай варить. Слышишь, Иванъ? Вари.

Иванъ бросился хлопотать. Онъ сразу поднялся въ собственныхъ своихъ глазахъ. Забывъ усталость, онъ принялся бѣгать, одинъ поднялъ огромный котелъ и, надѣвъ его для

удобства на голову, принесъ на мѣсто дѣйствія, задыхаясь и радуясь. Онъ развелъ костеръ, который сначала все не разгорался, во избѣжаніе чего ему нѣсколько разъ пришлось распластаться по землѣ и дуть въ огонь до слезъ. Но онъ забылъ усталость и старался.

Громадный костеръ пылалъ, разсыпая вокругъ себя искры, выбрасывая клубами дымъ. Вокругъ костра усѣлись рабочіе. Одинъ Иванъ былъ на ногахъ. Тѣнь прежней блаженной улыбки играла на его лицѣ. Въ рукахъ онъ держалъ ложку, которой отъ времени до времени помѣшивалъ артельную кашу.

Путешествія мужиковъ.

Съ начала весны и въ продолженіе всего лѣта чистая публика, какъ извѣстно, усиленно гоняется за призракомъ природы, ошибочно разыскивая ее тамъ, гдѣ ея или вовсе нѣтъ, или очень мало, — въ виноградъ и кумысъ, на моръ и въ степяхъ, на минеральныхъ водахъ и на дачахъ. Ыздятъ, конечно, немощные, ради возстановленія силъ, отнятыхъ работою жизнью по конторамъ и присутствіямъ, но всего больше ѣздятъ совершенно здоровые, ѣздятъ въ надеждѣ гдѣ-нибудь развѣять часть силъ, которую некуда дѣвать и которая только душитъ культурнаго человѣка. Для такого сорта публики не нужны собственно даже и призраки природы; все дѣло въ томъ, чтобы найти такое мѣсто, гдѣ можно побольше освободить бездѣйствующихъ силъ, выпустить лишнюю провъ, выбросить ненужныя идеи, только тревожащія совесть, — словомъ, продѣлать то, что называется „отдохнуть“, „развлечься“. Благодаря этому, призраки природы сами по себѣ не удовлетворяютъ культурнаго человѣка; онъ ихъ требуетъ съ нѣкоторыми острыми приправами, — кумысъ съ музыкой и ужинами, минеральныя воды съ интрижками, море и виноградъ съ провожатыми татарами и пр.

Одновременно съ этимъ движеніемъ совершается, какъ извѣстно, и другое, болѣе могучее и оригинальное. Изъ всѣхъ губерній, въ которыхъ мужики по деревнямъ сидятъ въ проголодь, съ начала весны, почти сейчасъ послѣ ледохода, устремляются потоки проголодавшагося за зиму населенія въ низовьямъ Волги и на Донъ, въ южныя степи и къ уральскимъ казакамъ; къ началу полевыхъ работъ потоки эти превращаются въ цѣлыя рѣки, направляющіяся съ сѣвера на югъ. Но, какъ культурная среда тщетно гоняется за при-

зраками природы, отыскивая отдыхъ и развлеченія, такъ же тщетно и мужики шлѣются по чужимъ мѣстамъ, въ поискахъ за копѣйкой и кормомъ. Ни копѣйки, ни корма не удастся имъ поймать, сколько бы тысячь верстъ ни отмахали они.

Если бы ту сумму труда и здоровья, которая растрачивается на поиски хлѣба за тридевять земель, возможно было вычислить, то получилось бы нѣчто ужасающее. И это ежегодно повторяется, изъ года въ годъ сотни тысячь народа бросаютъ свои мѣста, свои семьи и дома, свою работу и поля и путешествуютъ въ далекія страны съ смутною надеждой вывезти оттуда денегъ. Какая чудовищная трата энергии и какая трогательная вѣра въ несуществующія вещи!

Впрочемъ, за зиму мужики по нѣкоторымъ мѣстамъ такъ отошчатъ и на большинство отошчавшихъ нападетъ такая скука, что съ наступленіемъ весны они по необходимости должны броситься куда глаза глядятъ, лишь бы вперед былъ хоть какой-нибудь призракъ поправки. Въ это время на главныхъ путяхъ сообщенія является такое скопленіе пассажировъ, что начальство желѣзныхъ дорогъ приходитъ въ отчаяніе, пароходы набиваютъ мужиковъ куда попалъ и все-таки на главныхъ пристаняхъ и станціяхъ по недѣлждутъ очереди. По большей части мужики на желѣзныхъ дорогахъ ждутъ вагоновъ четвертаго класса, а на пароходахъ выбираютъ такія компании, которыя склонны понижатарифъ по мѣрѣ торговли; мужики торгуются вездѣ съ пароходчиками до послѣдней крайности. Часто бываетъ, что торгующіяся стороны не сходятся въ цѣнѣ; отъ этого скопленіе еще болѣе увеличивается. Толпы плохо одѣтыхъ тощихъ людей по цѣлымъ днямъ сидятъ и лежатъ гдѣ-нибудь на мостовой, дожидаясь четвертаго класса вагоновъ или дешевыхъ пароходовъ, и когда, наконецъ, та или другая „машина“ ихъ возьметъ, они набиваются всюду, гдѣ только есть пространство,—на лавкахъ и подъ лавками, возлѣ паровника и кухни, среди кулей товара и на самыхъ куляхъ, на дрвахъ и даже подъ дровами.

Такъ было на томъ камскомъ пароходѣ, на которомъ мы пришлось ѣхать. Изъ рубки нельзя было часто вовсе пройти потому что весь полъ палубы и всѣ щели ея заняты были людьми; еще днемъ можно было шагать среди рукъ, головъ

югъ и другихъ членовъ человѣческаго тѣла, но лишь только аступали сумерки, боязно было даже и подумать пробраться ю этой живой кучѣ дѣтей, женщинъ, мужиковъ. Офиціантъ, робирающійся отъ буфета во второй и первый классы съ айнымъ приборомъ, долженъ былъ употреблять неимовѣр-ую ловкость и рѣшительность, чтобы не повалиться среди ивой кучи; при этомъ онъ, конечно, не думалъ, что, ша-и, онъ то и дѣло наступаетъ на что-то мягкое; исключи-ельная его забота состояла въ томъ, чтобы самому не пасть съ солянкой или съ гурьевскою кашей въ середину ивого мяса.

О хорошемъ обращеніи съ „четвертымъ классомъ“ никто югда не думаетъ. Дрова бережно складываются на свое юсто; кули съ воблой, съ изюмомъ или съ овсомъ никогда и не валяются; по крайней мѣрѣ, у каждаго куля есть юе мѣсто, съ котораго никто не имѣетъ права столкнуть ю. Но четвертый классъ не имѣетъ ни мѣста, ни права на ю, и на палубѣ онъ только терпимъ—не болѣе. Тотъ же иный офиціантъ, пробирающійся среди груды спящихъ и ирствующихъ, отъ времени до времени раздвигаетъ ногой ишающія тѣла и въ отчаяніи кричитъ:

— Эй, ты, бревно! поверни брюхо! Всю дорогу загоро-тъ!...

„Бревно“ кое-какъ поворачивается.

— Убери башку-то!—кричитъ офиціантъ дальше, оста-вленный десяткомъ головъ, валившихся на полу.

Кажется, путешественники четвертаго класса и сами плохо рятъ въ нѣкоторыя прирожденные свои права; по край-и мѣрѣ, никогда не слышно, чтобы они роптали на неу-ство ихъ обычнаго переѣзда. Все, о чемъ сильно забо-и четвертый классъ,—это переѣхать по возможности акомъ дешевле; роптать же противъ такихъ неудобствъ, ии никогда не доводится испытывать кулямъ съ воблой, ю не смѣетъ, отлично зная, что за гордость ихняго брата саживаютъ вонъ. Онъ знаетъ, замѣтилъ слабость нѣко-рыхъ пароходныхъ компаній перебивать другъ у друга сажировъ и пользуется этимъ, но разъ ему пятачекъ купили и посадили на полъ палубы, онъ уже считаетъ и въ полной власти начальства. Въ свою очередь, и на-ство знаетъ это; набивъ мужиками полонъ пароходъ,

оно затѣмъ всѣ свои расчеты съ послѣдними считаетъ конченными.

А послѣ нагрузки живымъ грузомъ всѣхъ щелей судя прекращаются и пятакковыя уступки. Такъ было на одесской пристани.

Пароходъ былъ уже полонъ. Но на конторкѣ стояла большая толпа крестьянъ съ мѣшками и котомками за плечами. Между партіей и пароходнымъ начальствомъ велись переговоры.

— Сколько съ десятка-то берете?—спрашивалъ одинъ изъ партіи.

— По рублю восемь гривенъ,—отвѣчалъ кассиръ.

— Съ носа?

— Нѣтъ, съ пары ушей.

Несмотря на серьезный моментъ (пароходъ стоялъ въ нѣсколько минутъ), этотъ отвѣтъ вызвалъ хохотъ среди толпы. Только тотъ мужикъ, который стоялъ впереди и велъ переговоры, не терялъ тревожнаго выраженія. Подожди немного, онъ опять обратился къ кассиру съ разными предложеніями.

— Уступите, ваше степенство, хоть чуть-чуть...—говорилъ онъ и слѣдилъ за всѣми движеніями кассира.

— Ну, хорошо, рубль семьдесятъ пять,—сказалъ кассиръ презрительно.

— А ежели бы двугривенный?

— Не могу.

— Нельзя?

— Убирайся къ чорту!—лѣниво проговорилъ кассиръ.

— Та-акъ-съ!—протянулъ парламентаръ и сдѣлался мнимымъ: пароходъ черезъ нѣсколько минутъ долженъ былъ отчалить. Но онъ все-таки не терялъ мужества и обоимъ волновавшимся сзади него мужиковъ.

— Подожди, ребята, уступить,—говорилъ онъ вполголоса и громко продолжалъ рядиться. Было, впрочемъ, замѣтно, что кассиръ (онъ же и помощникъ капитана) больше не уступитъ. На дальнѣйшія убѣжденія парламентаря онъ отвѣчалъ свистками.

— Стало быть, уступки не_будетъ?—спросилъ парламентаръ нѣсколько угрожающе, давая понять, что онъ увелъ мужиковъ и на другой пароходъ.

— Второй свистокъ!—крикнулъ помощникъ, вмѣсто отвѣта. Партія заволновалась и ближе придвинулась къ трапу, не слушаясь своего парламентаря; нѣсколько слабодушныхъ даже сунулись на пароходъ, но парламентарь оттащилъ ихъ назадъ и на минуту водворилъ дисциплину въ своихъ рядахъ.

— Ну, ваша милость, хоть по гривнѣ еще сбавьте, а? Ну, нельзя, такъ уйдемъ на другую кампанію! — проговорилъ заволнованный парламентарь, пуская въ ходъ послѣднее средство.— Айда, ребята, на другую кампанію! Ежели тутъ не уступаютъ, тамъ уступать.

Но непріятель-кассиръ не обратилъ ни малѣйшаго вниманія на эту хитрость.

— Третій свистокъ!—крикнулъ онъ наверхъ.

Мужики дрогнули и заволновались. Парламентарь, видимо, нѣмало духомъ, хотя наружно продолжалъ держаться твердо.

— Что же, ребята, надобно идтить на другую кампанію,—казалъ онъ, самъ не вѣря своимъ словамъ.

— Убирай трапъ!—крикнулъ помощникъ.

— Стой, стой, подожди!—вдругъ закричало нѣсколько голосовъ со стороны побѣжденныхъ, и мужики безпорядочно рослились бѣжать по трапу на пароходъ, толкая другъ друга чуть не сбивъ съ ногъ въ воду бывшую между ними бабу. Одинъ только парламентарь не спѣшилъ. Видя бѣгство своего деморализованнаго отряда, онъ побрелъ на пароходъ послѣ всѣхъ, медленно и опустивъ голову, словно отдавался плѣнъ.

Отчасти это былъ дѣйствительно плѣнъ.

Казалось, невысказанно было больше помѣстить еще четырнадцать человѣкъ. Но новая партія вбѣжала, вѣрнѣе, врѣзалась въ людскую кашу, кипѣвшую на палубѣ, потѣснила ее и безъ остатка слилась съ ней.

Наступала ночь. Дулъ холодный вѣтеръ. На рѣкѣ показались волны съ пѣнистыми хребтами. Но на палубѣ было пусто. Не осталось ни одного вершка незанятаго. Бабы и ребята въ повалку лежали на скамьяхъ, подъ скамьями, на всемъ полу, по всему пароходу отъ носа до кормы.

Мужики больше сидѣли или толклись кучами по бортамъ, не находя мѣста, гдѣ бы поспать и отдохнуть.

Отдѣльныя фізіономіи смутно мелькали въ сумеркахъ, свѣщаясь въ какое-то огромное живое тѣло. Ни одного лица нельзя было запомнить. Только недавняго парламентаря мы удалось замѣтить. Онъ сидѣлъ скрючившись возлѣ входа второй классъ и дремалъ. Шапка у него лежала на коленяхъ, голова качалась изъ стороны въ сторону и печенка покоя лежала на всемъ его пестромъ лицѣ. Тутъ, вѣроятно онъ и проспалъ всю ночь.

На утро я опять его увидалъ, но онъ уже снова выгляделъ бодрѣе, встревоженнѣе, хлопочущѣе. Партію свою онъ собралъ вмѣстѣ, въ носовой части парохода, и что такое въ сильномъ раздраженіи объяснялъ.

— Животъ подвело!... Ишь какія новости! А какъ ежмы безъ копѣйки-то останемся на дорогѣ, да Христовы именемъ будемъ побираться, тогда какъ? Нѣтъ, ребята, у насъ лучше пожужимъ хлѣба, да до мѣста дойдемъ, ничѣмъ сейчасъ прожужимъ-пропечемъ все дочиста и опосля шастать подъ окнами... Вотъ луку купимъ и пожужимъ съ хлѣбомъ—больше полагается... И еще вотъ что, ребята: на пристаняхъ не разбредайтесь. Сохрани Богъ, пароходъ убѣжитъ, а который изъ насъ останется, пропадетъ тотъ человѣкъ ни за понюху билета другого не на что купить... А какъ на чугунокъ подемъ, тогда прямо говори — пріѣхали къ самому къ мѣсту. Абы денегъ-то хватило на чугунокъ...

Я подселъ и мы разговорились. Партія ѣхала изъ Вятской губерніи на югъ къ лѣтнимъ работамъ. Нѣкоторые уже бывали тамъ, но большинство ѣхало въ первый разъ и безъ опытныхъ людей ничего не понимало. Самымъ опытнымъ оказался тотъ мужикъ, который командовалъ партіей на пристани, велъ переговоры съ кассиромъ,—ему партія и поручила вести себя. Онъ велъ, добросовѣстно исполняя всѣ обязанности руководителя: торговался на пристаняхъ, заботился о питаніи (хлѣбомъ и лукомъ), глядѣлъ, какъ бы кто на пристани не потерялся, и, казалось, былъ очень озабоченъ тѣмъ, какъ бы кто изъ его „ребятъ“ не попалъ подъ колесо... его честномъ, хотя облупившемся лицѣ постоянно была тревога за своихъ, забота, страхъ передъ невѣдомымъ неслѣдствіемъ. Хлопоталъ и надзиралъ онъ за своею партіей, за насѣдкой за цыплятами, хотя цыплята эти всѣ были взрослые мужики съ просьбою.

Между ними замѣшался только одинъ молодой парень.

Режимъ парламентарера былъ довольно суровый. Такъ, питаться онъ позволялъ только хлѣбомъ и лукомъ, а на ропотъ тѣхъ, у которыхъ отъ такихъ обѣдовъ животы подвело, отъичалъ запугиваніями и укорами.

— Больно ужъ ты тревожишься,—замѣтилъ я.

— А какъ же иначе? Не догляди и пропадетъ человѣкъ!— возразилъ онъ.

— Ну, ужъ и пропадетъ...

— Да какъ же? Пропадетъ не за поножъ! Нашему брату всего-ли нужно-то? Нашъ братъ въ чужой сторонѣ, все равно какъ самъ не свой... Ни куда пойти, ни что сказать— ничего не понимаетъ. Забредеть нивѣсть куда и ужъ не знаетъ... не то что какъ заработокъ добыть, а прямо не знаетъ, какъ голову-то бы пѣлую домой принести!.. Абы голову-то домой принести— вотъ какъ бываетъ съ нашимъ братомъ на чужой сторонѣ!

— Отчего же это?

— Потому, что такіе случаи бываютъ...

— Какіе же случаи?— спросилъ я и долго ждалъ отвѣта парламентарера, задумчиво слѣдившаго за пѣнистымъ бурномъ, производимымъ колесами парохода.

— Какіе случаи... А вотъ какіе бываютъ случаи. Съ Петрунькой, лѣтось, вонъ какой случай былъ... Вонъ съ зятемъ Петрунькой, вонъ который лежитъ тамъ...

Всѣ обратили взоры къ тому мѣсту, гдѣ спалъ „Петрунька“. Петрунькой назывался тотъ самый парень, который днѣ былъ такой молодой среди пожилыхъ. Поза его во снѣ была такая непринужденная, что у большинства появилась на морщныхъ лицахъ улыбка; даже парламентарь, при взглядѣ на эту картину, казалось, оживился, и нѣсколько морщинъ, рожденных заботой по его лицу, сбѣжали на минуту... „Петрунька“ лежалъ на полу, положивъ голову на колѣни молодой женщины. Женщина эта была его жена. Ночью, видно, ей не удалось найти уголокъ для своего Петруньки, и лишь настало утро, она уступила ему свое мѣсто и, положивъ голову его на колѣни къ себѣ, оберегала его сонъ. Онъ спалъ здоровымъ, беззаботнымъ сномъ, весь раскинувшись.

— Ишь, подлецъ, спать какъ ловко!... Ну, пушай... ночьюю-

то намъ не было мѣста, такъ и прослонялись кое-какъ. Хорошая у него бабочка... съ ней-то ужъ онъ теперь пропадетъ!—говорилъ мягко парламентаръ.

— Какой же случай-то съ нимъ былъ?

— Да вотъ какой случай... Лѣтось объ эту пору тамъ мы собрались на заработки. Человѣкъ, видно, пятнадцать набралось. Ну, и Петрунька за нами увязался... Призвать и брать-то мы его не желали,—парень молодой, только женился, гдѣ ему по чужимъ мѣстамъ шляться? Потеряетъ гдѣ ни на есть голову. Ну, да ничего не подѣлаешь, увязал упрямый, уговорилъ—взяли. „Мнѣ, говоритъ, надо свое зѣйство заводить, потому какъ я женимшися... денегъ и безпремѣнно надо заработать“,—„Да дуракъ ты, говорю, можешь денегъ-то и не заработишь, потому всяко бываетъ, а толку измаешься въ чужой сторонѣ, да горя натерпишься!“... И нѣтъ, увязался. Взяли мы его и поѣхали. Кое на пароходъ, кое на чугунгъ, пока деньжонки держались, а прочія мѣшечкомъ. Ъхали-ѣхали, шли-шли и добрались. И что-жъ думаешь, бѣда-то насъ какая поджидала? Въдѣ въ тѣхъ мѣстахъ, кои мы облюбовали, что есть званія работы было! Засуха тамъ, вишь, была въ ту пору и хлѣба да и пропади. Что тутъ дѣлать? Идти въ другія мѣста—силъ у нашихъ нѣтъ; домой ворочаться—не съ чѣмъ; тутъ осесть—ни къ чему. „Айда, ребята, говорю, домой. Абы ловы унести по добру, по здорову... А по дорогѣ кое-какъ будемъ пробавляться, гдѣ работой, гдѣ Христовымъ именемъ“... Ну, порѣшили—домой. Пошли домой и по очереди ходили подъ окнами, а иную пору и работишка попадалась. Какъ дойдемъ до какого города, то и привалѣ сдѣлаемъ недѣлю, поробимъ и бредемъ дальше, а деревнями идемъ—кусочки, стало быть, ходимъ. Такъ Богъ насъ и храни. А одинъ начальникъ на чугунгъ еще даромъ насъ подвел. Такимъ родомъ и шли мы съ Божьей помощью и дотащились до Нижняго. Дотащились и сейчасъ на пристань, нѣ было какой работишки... Работишки, однако, не нашли, а боли на берегу валялись вверхъ брюхомъ и дожидали, какой пароходъ насъ даромъ приметъ... Ну, такихъ дураковъ—пароходовъ нѣтъ, а вотъ,—говоритъ одинъ купецъ,—перескайте у меня посудину съ дровами, тогда я васъ подвѣ-

прямо домой предоставляю... А посудина-то, слышь, была огромная, нѣсколько сотъ, чай, саженой дровъ въ ней наложено, и ежели ее перетаскать всеѣ, то съ мѣсяцъ времени силъ надо таскать. А, между прочимъ, животы у насъ уже подвело, и гордости въ насъ ужъ никакой не было, рады всякой работѣ, лишь бы животы сохранить да домой башки несчастныя принести... Согласны, говоримъ, ваше степенство, будемъ таскать, потому какъ мы въ волѣ Божіей. Порѣшили мы такъ, далъ намъ купецъ хлѣба къ вечеру, легли мы спать, а на утро намъ надо таскать... Только встаемъ утромъ — спать, а Петруньки нѣтъ! Ждемъ-ждемъ — нѣтъ его, подлеца! Таскаемъ дрова и поглядываемъ, а его все нѣтъ. Проходитъ мѣсяцъ, другой! Цѣльная недѣля! А его все нѣтъ. Таскаемъ мы дрова, поглядываемъ, не подойдетъ-ли — нѣтъ! Три недѣли мы такъ-то таскали и порѣшили всю посудину... какъ въ воду кинулъ! Ну, думаемъ, конецъ пришелъ Петрунькѣ... Купецъ денегъ намъ далъ на пароходъ, да еще прибавку сдѣлалъ такую, чтобы мы съ голоду дорогой не померли, а Петрунька сплывъ. Стало-быть, говоримъ, пропалъ. Надо, ребята, уѣзжать... Садимся на пароходъ, примѣрно, сейчасъ, а черезъ часъ пароходу отходить... не подойдетъ-ли, думаемъ, хоть тутъ Петрунька? А чего ужъ ждать, ежели пароходъ отходить?... Такъ вѣришь-ли, когда пароходъ сталъ отчаливать, такая сука на насъ напала, что слеза прошибла... Вотъ какъ бываетъ!...

— Куда же онъ дѣлся?

— Петрунька-то? А ты вотъ самого его спроси, куда онъ дѣлся... въ такія мѣста затесался, что престо срамъ и горе! Ужъ только Богъ его спасъ... Къ босякамъ онъ затесался — вонъ куда! Хорошо-то онъ не рассказываетъ, а надо такъ понимать, что вездѣ онъ побывалъ: и въ ночлежномъ домѣ, и на назывмахъ скалъ, а то и въ кутузкѣ... Должно, сманили его какіе ни на что прохвосты, и онъ удралъ отъ насъ... „Какъ же ты жилъ?“ — спрашиваемъ мы его опосля. — „Да такъ, говоритъ, какъ собака, или подобно птицѣ, ночевалъ въ ночлежномъ домѣ, а больше на назывмахъ за городомъ, да по ямамъ“. — „Чѣмъ же ты спрашиваемъ опосля, кормился-то?“ — „Да такъ, говоритъ, не чѣмъ, ину пору работишка какая навернется, а то такъ стащишь чего ни на есть...“ Ну, таскалъ онъ воров-

скимъ манеромъ все больше насчетъ пищи... „Увидишь, говоритъ, хлѣбъ плохо лежитъ—подъ полу его, а то вобь упрешь, которая ежели зря лежитъ“. Такъ и болтался, полецъ, до зимы. „Для чего же ты, спрашиваемъ опосля, убер то отъ насъ?“—„Да такъ, говоритъ, тоска взяла, не гляды бы на свѣтъ. Какъ вспомню, говоритъ, что прошли мѣсто столько тысячъ верстъ и идемъ подобно нищимъ бродягамъ а тамъ дома жена ждетъ съ заработкомъ, такъ и возьметъ за сердце... Ну, встрѣтилъ босяка, выпили мы съ нимъ и косушкѣ, я и ушелъ отъ васъ гулять...“ Да и гулялъ, слыши до самой зимы, а зимой, глядимъ, гонять его, нашего п дубчика, по этапу, съ бубновымъ тузомъ! Глядимъ, да озвѣрѣлъ весь, исхудалъ, хворый сталъ... И бабенка-то е чисто извелась, дожидамши его, подлеца, да и мы-то не зли, какъ съ души грѣхъ снять, что потеряли нивѣсть г живого человѣка! Ужъ слава Богу, что хошь по этапу-т на веревочкѣ-то его привели, а то бы такъ и пропалъ пр межъ жулья. Долго-ли нашему брату къ босякамъ присо диниться?...

— Да развѣ это часто бываетъ?

— Къ босякамъ-то? Мы-то? Сдѣлайте одолженіе! Сколь вамъ угодно!... Ходишь, ходишь по чужимъ-то мѣстамъ, и ляжешь гдѣ ни на есть на назьмахъ за городомъ. Да и откуда же и босяки-то берутся, какъ не изъ н шего брата?

Кончивъ это, парламентаръ зѣвнулъ и посмотрѣлъ вокругъ себя заспаннымъ взглядомъ. Другіе его товарищи, съ наступленіемъ дня, кое-какъ размѣстились по освободившимся ш лямъ, прикурнули кто какъ могъ и тяжело спали. Только нѣсколько человѣкъ изъ партіи не могли отыскать мѣст. Замѣтивъ это, парламентаръ тревожно всталъ и принялся отыскивать на палубѣ для нихъ мѣста. Черезъ нѣкоторое время поиски его увѣнчались успѣхомъ. Шагая между рук головъ и ногъ, продираясь сквозь густую толпу бодрствующихъ, онъ отыскалъ такія мѣста, о существованіи которыхъ никто не подозрѣвалъ. Одному изъ своихъ онъ пронюхалъ каюту въ телѣжкѣ, стоявшей на палубѣ въ качествѣ багажа. Другому онъ велѣлъ залѣзть между чьею-то мебелью, первозимой также въ качествѣ багажа, велѣлъ залѣзть имен

подъ турецкій диванъ; третьяго онъ увелъ на мостикъ и упросилъ капитана позволить мужику поспать между трубой и лопманскою будкой. Четвертаго также куда-то увелъ, а самъ воротился на старое мѣсто, присѣлъ, скрючился на полу, опустилъ голову и задремалъ, укачиваемый вздрагиваніемъ парохода.

Въ этотъ день я его больше не видалъ, но на слѣдующіе дни онъ разсказалъ мнѣ и другіе случаи изъ жизни путешствующихъ мужиковъ.

Въ лѣсу.

(Изъ записокъ мѣснчаю).

I.

Однажды мнѣ сказали, что меня хотятъ убить.

Признаюсь, это сообщеніе подѣйствовало на меня скверно. Не потому, чтобы я повѣрилъ буквально нелѣпой сказкѣ и перепугался; мнѣ тяжело было оттого, что мужики на меня озлобились—фактъ, отрицать котораго я не могъ. Изъ многихъ случаевъ я убѣдился, что всѣ крестьяне поголовно питали ненависть ко мнѣ съ первыхъ же дней назначенія мѣснчимъ въ N-скій округъ.

До моего пріѣзда въ этомъ округѣ не существовало правительнаго лѣсного управленія. Наблюденіе за землями и лѣсами находилось въ вѣдѣніи общихъ сибирскихъ учреждений т. е., говоря прямо, вовсе не было никакого наблюденія. Благодаря этому, участки расхищались съ легкостью, которая была соблазномъ даже для Сибири. Огромныя дачи строевого лѣса отдавались за пирогъ или за полдюжины шампанскаго огромныя участки дровяного лѣса пылали отъ пожаровъ нарочно устраиваемыхъ винокуренными заводчиками. Если до моего пріѣзда не всѣ лѣса были истреблены и выжжены то только благодаря обилію ихъ.

Всѣхъ болѣе, однако, пострадали крестьянскіе участки. Извѣстна безпечность русскаго мужика, но сибирскій мужикъ въ этомъ отношеніи еще легкомысленнѣе; безъ жалости и мысли о будущемъ онъ губитъ безцѣнные богатства. Я не могъ безъ злобы ѣздить по этимъ мірскимъ лѣсамъ. Поваленные и гніющіе стволы столѣтнихъ великановъ, ворохъ брошенныхъ сучьевъ, торчащіе пни, растоптанные молодыя

побѣги краснорѣчиво говорили, какъ здѣсь грубо, безбожно человекъ издѣвается надъ природой. Здѣшнихъ крестьянъ еще недавно окружала могучая, первобытная природа, а теперь во многихъ мѣстахъ уже пустыня. Огнемъ и топоромъ они „очистили“ землю, повалили дремучіе лѣса, разграбили плодородныя степи, завалили навозомъ изумрудные берега рѣкъ, отравили воздухъ грязью и, кажется, самое небо запылило срадомъ.

При назначеніи меня лѣсничимъ въ N-скій округъ, предписано было обратить особенное вниманіе на крестьянскіе лѣсные надѣлы и ввести въ пользованіе ими строгій порядокъ. Я такъ и сдѣлалъ. Крестьянамъ моего обширнаго района было объявлено, что безъ моего разрѣшенія они не имѣютъ больше правъ рубить свои лѣса; за самовольную порубку назначенъ былъ штрафъ; въ продажу дровъ введенъ контроль; по дорогамъ, при вѣздѣ въ городъ, я размѣщалъ стражниковъ, которые въ базарные дни ловили всѣхъ крестьянъ, не имѣющихъ лѣсопорубочнаго билета.

Крестьяне были возмущены такимъ вмѣшательствомъ въ ихъ собственныя дѣла и рѣшительно не понимали, по какому праву я запрещаю рубить ихъ собственный лѣсъ; въ первый разъ отъ роду они услышали, что нельзя губить безцѣльно будущее будущихъ поколѣній. Едва-ли, впрочемъ, это они поняли. На первыхъ порахъ мои распоряженія имѣли неожиданный результатъ: по деревнямъ пронесся слухъ, что всѣхъ лѣсныхъ деревьевъ отбираются въ казну, а потому ихъ надо поскорѣ вырубить. Началось безпощадное истребленіе; подъ ударами топора лѣса валились, какъ созрѣвшія жнивы; по дорогѣ тянулись обозы съ свѣжими дровами. Мнѣ съ трудомъ удалось убѣдить въ нецѣлости этого слуха; чтобы прекратить бездушное уничтоженіе, я на время даже отмѣнилъ свои распоряженія.

Это только подлило масла въ огонь; узнавъ объ отмѣнѣ строгихъ распоряженій, крестьяне уже окончательно рѣшили, что плату за билеты и штрафы я кладу себѣ въ карманъ, обозы съ дровами конфисковалъ въ свою пользу и всѣ свои правила придумалъ только ради вымогательства... Знакомые со всѣми видами чиновнаго шантажа, они и меня причислили къ сонму собирающихъ дани. Въ чужомъ пиру похмѣлье! Обвиненія тяжело переживались мною.

Теперь, въ довершеніе всего, мнѣ говорятъ: васъ хотятъ убить! Какъ сказано выше, я этому не повѣрилъ, но все таки сталъ принимать нѣкоторыя предосторожности: при объѣздахъ я избѣгалъ темныхъ ночей, держалъ постоянно при себѣ револьверъ, по деревнямъ долго не засиживался.

Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Мои отношенія къ служебнымъ обязанностямъ не измѣнились, попрежнему, безбилетныя дрова конфисковались, попрежнему, на казенныхъ дачахъ ловили за самовольныя порубки и, попрежнему, крестьяне обязаны были брать отъ меня разрѣшеніе на вырубку ихъ собственного лѣса. Повидимому, мужики примирились; я видѣлъ, что они безъ ропота идутъ ко мнѣ и безъ возраженій выправляютъ билеты; я надѣялся, что современемъ они поймутъ, зачѣмъ я все это дѣлаю.

Что меня беспокоило—это мои собственные служащіе, лѣсники, полѣсчики, стражники и пр. Стыдно сказать, но я долженъ откровенно признаться, что всѣ „мои“ были отчаянные плуты, и я потерялъ всякую вѣру въ ихъ честность. Каждый изъ нихъ могъ продать (и продавалъ) законъ буквально за двугривенный. Пропустить цѣлый десятокъ вожовъ дровъ безъ билета, продать тайно десятину казеннаго лѣса, употребить въ дѣло шантажъ—это ни для кого изъ нихъ не составляло труда. И все это за малое вознагражденіе. Дѣйствительно-ли служащіе въ этой странѣ—всѣ плуты, или я самъ не умѣлъ напасть на честныхъ людей, но только откровенно говорю, что весь мой персоналъ состоялъ изъ воровъ. Никакія мои жестокія мѣры не помогали смягченію лѣсныхъ нравовъ. Ревизія не помогала; суда они не боялись; увольненія не дѣйствовали. Пробовалъ я увольнять и по одиночкѣ, и всѣмъ составомъ — не помогало: уволишь вразъ сорокъ плутовъ, а на ихъ мѣсто берешь другихъ сорокъ плутовъ. А иногда такъ случалось, что замѣсто одного являлось сразу два плута. Борьба здѣсь была не по силамъ мнѣ. Жестокая расправа, которою я надѣялся утратить своихъ подчиненныхъ, дѣлала только то, что они собирали дани болѣе утонченно и неуловимо. Мнѣ пришлось кончить тѣмъ, что я сталъ преслѣдовать только крупныя хищенія, а мелкія не замѣчалъ.

Разъ одинъ изъ моихъ объѣздчиковъ сильно проворовался. Желая быстро захватить концы, я бросилъ дѣла въ городѣ и отправился на мѣсто соблазнительнаго происшествія, от-

стоявшее верстахъ въ тридцати. Дѣло было наглое и вопиющее: изъ казенной дачи тайно были вырублены лучшихъ три десятины. Дознаніе длилось всего полчаса послѣ моего пріѣзда. Обвѣзчикъ и тотъ купецъ, который вырубилъ лѣсъ, немедленно были уличены, и противъ обоихъ я возбудилъ слѣдствіе, причемъ первому велѣлъ подать въ отставку.

Послѣ этого мнѣ нечего было дѣлать въ деревнѣ, и я рѣшилъ немедленно же ѣхать обратно домой. Но, къ сожалѣнію, почтовыхъ лошадей не оказалось, и я долженъ былъ нанять простую телѣгу, запряженную одною лошадыю. Трястись на протяженіи тридцати верстъ въ телѣгѣ не представляло ничего заманчиваго, но я не хотѣлъ ни одного часа оставаться среди населенія, которое относится враждебно ко мнѣ.

Я поѣхалъ.

Лошадь у мужика оказалась добрая; телѣга не особенно высоко подпрыгивала, а брошенная въ нее охапка сѣна предохраняла меня отъ увѣчья. Чтобы скоротать время, я старался разговаривать съ мужикомъ, сидѣвшимъ бокомъ ко мнѣ, но, къ моему удивленію, онъ неохотно отвѣчалъ мнѣ. Это было тѣмъ удивительнѣе, что онъ казался мнѣ смирнымъ, добродушнымъ человѣкомъ. Между тѣмъ, на мои вопросы онъ отвѣчалъ безсвязно, не то чѣмъ-то напуганный, не то раздраженный, а иногда вовсе не отвѣчалъ, отворачивая отъ меня свое лицо, причемъ некстати надвигалъ шапку до ушей. Не отвѣчая мнѣ, онъ въ то же время усиленно билъ кнутъ лошадь, которая послѣ каждаго взмаха бросалась въ сторону, причемъ я болтался въ телѣгѣ, какъ полѣно. Въ ту пору я не обратилъ вниманія на странное поведеніе ямщика; потерявъ всякую надежду разговаривать съ нимъ, я не старался объяснить себѣ, почему онъ находится въ такомъ смятеніи.

Отъ нечего-дѣлать я сталъ осматривать окрестности. Мы ѣхали сначала по сосновому, хорошо сохранившемуся лѣсу; безпечная рука человѣка здѣсь еще не коснулась могучихъ великановъ; по обѣимъ сторонамъ дороги высокою стѣной возвышались столѣтнія сосны, образуя надъ нами густую крышу изъ сплетающихся хвоевъ. Мы ѣхали въ тѣни; только изрѣдка, сквозь зеленую крышу, проскользало лучъ солнца,

еще болѣе отѣняя полумракъ. Стукъ колесъ, громаханы телѣги звучнымъ эхомъ отдавались въ лѣсу.

Я люблю лѣсъ. Онъ живетъ въ моихъ глазахъ. Стоитъ — лѣсъ неподвижно въ застывшемъ воздухѣ, когда каждая вѣтка дремлетъ, тихо играя листвою, или шумитъ онъ подъ напоромъ вѣтра, а всегда слышу его дыханіе. Меня радовало когда я встрѣчалъ цѣлое поселеніе молодыхъ и здоровыхъ деревьевъ, а когда при мнѣ рубили живой стволъ и онъ, какъ бы въ смертельномъ испугѣ, дрожалъ отъ верха до низа своимъ крѣпкимъ тѣломъ и, подрубленный въ своемъ основаніи, тяжело падалъ съ трескомъ и скрипомъ, — въ этихъ звукахъ мнѣ слышался стонъ погибающаго существа и послѣдній вздохъ умирающаго. Часто, ломая невзначай молодое деревцо, я отъ всего сердца тужилъ объ этомъ, какъ будто я погубилъ начинающуюся жизнь ребенка. Мнѣ жаль было сломать вѣтку какого-нибудь дерева, и безъ боли я не могъ видѣть, какъ мальчишки весной сверлятъ отверстія въ деревьяхъ, оттуда медленно течетъ бѣлая провъ. Въ дѣтствѣ я велъ длинныя монологи съ кустами бузины, ссорился съ бояркой, которая часто злобно колола меня проклятыми иглами, и по долгу наблюдалъ осину, слѣдя за трепетомъ ея листьевъ; въ моихъ глазахъ это были живыя существа, и я велъ себя съ ними такъ, какъ будто они надѣлены были разумомъ. Въ юности я забылъ эти дѣтскія грезы, но теперь, въ зрѣломъ возрастѣ, по призванію выбравъ карьеру лѣсничаго, я равнодушно относился къ обязанностямъ защитника своихъ любимцевъ.

Скоро живыя стѣны сосенъ раздвинулись, и картина вдругъ измѣнилась. Мѣстность была дикая. Глубокіе овраги и рытвины, беспорядочныя кучи поваленныхъ вѣтромъ и топоромъ деревьевъ, длинныя ряды уложенныхъ въ сажени дровъ, верохокъ брошеннаго хвороста, — все показывало, что еще недавно здѣсь былъ дремучій лѣсъ. Я съ негодованіемъ оглядывался по сторонамъ. Мѣсто для меня было незнакомое. Дорога почти пропала. Телѣга то и дѣло подпрыгивала, наѣзжая на пни и гниющіе стволы; по лицу меня начали хлестать спутанныя вѣтви кустарниковъ. Мнѣ стало что-то не по себѣ...

— Куда ты завезъ меня? — спросилъ я извозчика.

Но не успѣлъ я выслушать отъ него отвѣта, какъ изъ ближайшаго куста вышелъ какой-то мужикъ съ топоромъ

въ рукѣ. Обмѣнявшись съ моимъ возницею привѣтствіемъ, онъ преспокойно прыгнулъ на передокъ телѣги, сѣлъ на ея край, свѣсилъ ноги, а топоръ положилъ на колѣни къ себѣ. Моментально у меня явилось подозрѣніе, но я сохранилъ наружное спокойствіе.

— Что это значитъ? Кто ты и зачѣмъ ты влѣзъ ко мнѣ?— спросилъ я.

— Больно ужъ ты, господинъ, сердить, какъ погляжу я,— возразилъ мнѣ мужикъ насмѣшливо, и холодный взглядъ его остановился недружелюбно на мнѣ.

Предчувствія не обманули меня. Я приготовился къ самому худшему. Но все-таки еще разъ попытался провѣрить себя.

— Зачѣмъ же ты сѣлъ безъ спросу? Нанимая этого крестьянина, я не зналъ, что у меня въ лѣсу найдутся попутчики!

— Ничего, дождемъ,—грубо прервалъ меня крестьянинъ.— Ступай, Петровичъ,—обратился онъ съ приказомъ къ моему лучеру, а на меня бросилъ насмѣшливый взглядъ.

Я кусалъ губы. Но мнѣ оставалось только замолчать. Я обдумывалъ свое положеніе. Нечего было и думать предупредить нападеніе силой; револьверъ мой лежалъ глубоко въ боковомъ карманѣ, и прежде чѣмъ я успѣю выхватить его и развязать, — онъ былъ завязанъ шнуромъ, — мужикъ ударомъ кулака вышибетъ его у меня, а затѣмъ начнетъ тузить... Я и теперь не вѣрилъ, что покушаются убить меня, хотя было очевидно, что я попалъ въ ловушку. Всего вѣрнѣе, у моихъ крестьянъ было въ намѣреніи „поучить“ меня; это, конечно, плохое утѣшеніе, потому что поучить на деревенскомъ языкѣ значитъ перебить нѣсколько реберъ, переломить позвоночный столбъ, превратить голову въ сплошной тузуръ, — вообще, что-нибудь въ этомъ родѣ. Но у меня было время...

Мы наблюдали другъ за другомъ. Непрошенный попутчикъ поглядывалъ на меня искоса; я глядѣлъ на него въ упоръ. Наружность его не обѣщала мнѣ ничего хорошаго: на широкомъ щетинистомъ лицѣ его отражалось что-то жестокое и злое; изъ-подъ густыхъ бровей его глядѣли сѣрые, холодные глаза. Это былъ типъ сибирскаго мужика, соединяющаго въ себѣ постоянное добродушіе съ крайнею подчасъ жестокостью. Мнѣ дѣлалось жутко подъ косымъ взглядомъ этого

человѣка, но я, не сводя глазъ, наблюдалъ за нимъ и обдумывалъ способъ сдѣлать противника безвреднымъ.

Я говорю „противника“. Дѣло въ томъ, что крестьянинъ мой возница, былъ самъ по себѣ не опасенъ, перепуганный предстоящимъ дѣломъ. Онъ боялся повернуть ко мнѣ свое лицо, боялся взглянуть на меня и, видимо, мучился страхомъ должно быть, онъ принялъ участіе въ дѣлѣ противъ воли теперь былъ самъ не свой. Безпокойно ёрзая на своемъ сидѣньи, онъ безъ нужды прокашливался, тянулъ шапку глубже на уши и немилосердно дергалъ лошадь.

Лошадь то и дѣло бросалась въ сторону, телѣга подпрыгивала, кусты били меня по лицу, хотя ѣхали мы шагомъ, благодаря отсутствію дороги. Я переживалъ сквернѣйшія минуты въ своей жизни. Страхъ сжималъ мнѣ сердце, но всего больше угнетала меня мысль, что хотятъ меня убить безъ всякой съ моей стороны вины. Что мнѣ оставалось дѣлать? продолжалъ упорно слѣдить за всѣми движеніями мужиковъ и ломалъ голову, какъ мнѣ вырваться изъ ихъ рукъ.

Вдругъ мы подѣхали къ крутому спуску, и лошадь почти остановилась. Мѣсто было совсѣмъ дикое и глухое. Справа лежалъ глубокій обрывъ, на днѣ котораго протекала маленькая рѣчушка; лѣва была непроницаемая заросль изъ боярышника, а впереди крутой спускъ велъ въ какую-то темную яму. Проклятое мѣсто какъ бы назначено было для темныхъ дѣлъ; мы были, по крайней мѣрѣ, на пятнадцать верстъ отъ жидкихъ мѣстъ. Для мужика ничего не стоило схватить меня и бросить въ обрывъ...

Не успѣла эта мысль ясно выразиться во мнѣ, какъ и мнѣ явилась рѣшимость покончить съ глупымъ положеніемъ я моментально выпрыгнулъ изъ телѣги и выхватилъ изъ кармана игрушечный „лефощѣ“. Лошадь остановилась. Мой противникъ также соскочилъ съ телѣги и мрачно смотрѣлъ на револьверъ. Мы стояли другъ передъ другомъ. Но теперь ужъ превосходство было на моей сторонѣ, и мнѣ стало смѣшнее.

— Послушайте... я знаю, что вы недоброе затѣяли противъ меня. Но я не боюсь васъ. Что я дѣйствительно и боюсь васъ—смотрите вотъ!... И съ этими словами я швырнулъ въ кусты револьверъ. — А теперь скажите, за что вы ненавидите меня? Я знаю, зачѣмъ вы завезли меня сюда—не отказывайтесь, но чѣмъ я провинился?

Крестьянинъ былъ сильно взволнованъ; онъ не сводилъ съ меня мрачнаго взгляда, но я замѣтилъ, какая нерѣшимость вдругъ овладѣла имъ; видимо, онъ недоумѣвалъ, что дѣлать и что сказать. За другимъ крестьяниномъ, моимъ извозчикомъ, мнѣ некогда было наблюдать, но, какъ казалось, онъ былъ въ сильнѣйшемъ перепугѣ и все стоялъ, насколько я помню, напялить шапку до самыхъ плечъ. Съдняга съ минуты на минуту ожидалъ, что вотъ мы брошимся другъ на друга.

— За что вы ненавидите меня?—повторилъ я.

— Уходи отъ насъ... Нечего тебѣ дѣлать здѣсь!—проговорилъ, наконецъ, мрачно крестьянинъ.

— Я не самъ пріѣхалъ къ вамъ, а посланъ охранять вашъ вѣсь. Какъ же я уйду?

— А если не можешь уйти, такъ не мути насъ!—съ еще большею злобой возразилъ мужикъ..

— Какъ же я могу мутить васъ?

— Запрещаешь рубить дрова!.. хватаешь по базарамъ!... вымаешь топоры!... берешь деньги за наши же дрова!... Смуты-вышешь!... Штрахи взыскиваешь!...—говорилъ мужикъ и, вычитывая мои преступленія, отчеканивалъ каждое слово.

Мнѣ вдругъ сдѣлалось такъ обидно, больно, что я забылъ и объ опасности. Недоразумѣніе было столь подло, что кого можно могло привести въ отчаяніе. Какъ мнѣ убѣдить этого и другихъ крестьянъ, что запрещаю я портить лѣса не изъ своихъ выгодъ, что преслѣдую порубки не ради вымогательства, что плату за билеты и штрафы кладу не въ свой карманъ? Я смотрѣлъ на этого, по недоразумѣнію озлобленнаго человѣка и нѣсколько минутъ не могъ слова выговорить.

А онъ продолжалъ:

— Вотъ мы и задумали... чтобы ты уѣхалъ. Ей-ей, худо тебѣ будетъ, ежели не уѣдешь! Больно озлившись наши мужики супротивъ тебя!

Крестьянинъ говорилъ грубо и не считалъ нужнымъ церемониться, но меня возмутилъ не тонъ его, а смыслъ.

— Если бы я имѣлъ дѣло съ умными людьми, а не съ дураками, меня бы тогда поняли... Развѣ, запрещая вамъ безобразничать въ нашихъ лѣсахъ, я для своей пользы стараюсь? Развѣ вы подумали когда-нибудь, что нужно беречь

этотъ Божій даръ, а не топтать его ногами? Пойдемъ съ мною!—вскричалъ я, схватилъ за руку изумленнаго мужика и потащилъ его къ тому мѣсту, откуда видны были обезображенные лѣса.

Я тащилъ за руку сопротивляющагося мужика и запальчиво объяснялъ ему, почему я преслѣдую порубки и какія послѣдствія можно ожидать отъ истребленія лѣса. Черезъ нѣсколько минутъ мы очутились на опушкѣ заросли, и передъ нами развернулась картина опустошенія во всемъ своемъ безобразіи. На обширномъ пространствѣ, куда только хваталъ взоръ, виднѣлись груды валежника и гнѣющихъ деревьевъ; откосы овраговъ были изрыты весенними водами и, лишённые растительности, обнаженные, выглядѣли подобно бокамъ падшей и ободранной скотины. Чахлая березы, низкорослый осинникъ, толстыя и кривыя сосенки заживо были обречены на валежникъ. Только кое-гдѣ, на огромныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга, возвышались отдѣльные стволы березъ, какъ одинокіе свидѣтели безумнаго истребленія, которое недавно здѣсь совершилось. Только огонь могъ очистить это безобразное мѣсто.

— Бога вы не боитесь, если творите такія дѣла!—сказалъ я.—Лучше бы вамъ зажечь съ четырехъ концовъ свои лѣса и спалить ихъ дочиста.

— Это куштумскій лѣсъ... куштумскіе мужики тутъ не гадили!—съ замѣшательствомъ возразилъ крестьянинъ.

— Да развѣ вы всё не то же дѣлаете?

— Мало-ли есть, которые гадятъ...—возразилъ слабо крестьянинъ.

Я видѣлъ, что мои слова произвели впечатлѣніе. Наши перемѣнились; вмѣсто того, чтобы нападать, крестьянинъ теперь защищался.

Торопясь воспользоваться побѣдой, я продолжалъ объяснять все невѣжество человека, уничтожающаго лѣсъ... При этомъ мы незамѣтно возвратились къ тѣлѣгѣ, гдѣ возник мой, нѣсколько приподнявъ шапку, робко прислушивался къ нашему спору.

Я, между прочимъ, говорилъ:

— Я знаю, что вы меня хотѣли убить... не отказывайтесь—я все знаю! Но не боюсь васъ, потому что ничему худого не сдѣлалъ вамъ. Вы озлобились на меня за штрафъ

и взысканія, но этимъ я только и могу защитить ваши лѣса отъ васъ же самихъ. Сами своего добра вы не жалѣете; не жалѣете дѣтей, у которыхъ послѣ вашего хозяйства ничего не останется, не боитесь Бога, надъ даромъ котораго вы надругаетесь, не жалѣете и себя. Здѣсь прежде было при-волье, а теперь здѣсь будто непріятель прошелъ съ огнемъ и мечемъ. Ничему вы не учитесь и ничего не бережете. Если бы пустить сюда нѣмца, онъ это мѣсто превратилъ бы въ садъ, а вы сдѣлали изъ него пустыню. Гдѣ еще недавно были дремучіе лѣса, тамъ теперь вонючія болота; гдѣ были луга, тамъ теперь выжженные солнцемъ плѣшины... Вы не хозяева, а разбойники!

— Эка что сказалъ! Пстой, погоди, господинъ!—перелѣзъ меня съ волненіемъ крестьянинъ, но я, не слушая его, продолжалъ.

— Лѣтъ черезъ пятнадцать вы все разграбите. Земля ваша перестанетъ кормить васъ, рѣки обмелѣютъ, луга засохнутъ. Ободранные кусты, если вы и ихъ не успѣете срубить, не будутъ доставлять вамъ дровъ. Разгнѣванное солнце будетъ сжигать ваши посѣвы, и земля потрескается отъ жгучихъ лучей его, ничѣмъ не прикрытая. Тучи будутъ ходить по небу, но онѣ пройдутъ мимо васъ... Среди лѣта у васъ будетъ идти снѣгъ, посреди зимы вдругъ польетъ дождь. Озера и рѣки ваши, берега которыхъ вы разграбили, на половину пересохнутъ, а вешнія воды смоятъ послѣдній остатокъ чернозема, и земля ваша обратится въ пустыню. Вотъ ваше хозяйство. Вы ничему не учились среди богатства, а только грабили его, и дѣтямъ вы не оставите ничего, кромѣ голаго скелета. Проклиная будутъ они васъ. Потому что вы не хозяева, а наемники, не крестьяне, а разбойники. Вы грабите землю, на которой живете... А теперь затѣяли убить меня за то, что я не позволяю вамъ жадничать надъ природой!

Я былъ сильно возбужденъ, когда говорилъ это, но мой противникъ положительно не находилъ мѣста отъ волненія. Онъ былъ въ сильнѣйшемъ замѣшательствѣ и, по мѣрѣ того какъ я говорилъ, жестокое лицо его смягчалось, въ глазахъ показалась грусть, и вся фигура его выражала воплощенную растерянность.

— Пстой, господинъ, подожди!—нѣсколько разъ перебивалъ онъ меня.

Когда я замолчалъ, онъ началъ также съ этихъ словъ:

— Пстой, господинъ, подожди!... Дай мнѣ сказать! Больно ты меня за сердце сохваталъ!... Позволь мнѣ слово выговорить!

— Ну, говори.

— Не одни мы грѣшны въ грабительствѣ, а всѣ, можно казать, мы въ этомъ повинны. Разбойники... ничему не учитесь, а гадите только, говоришь ты? Правильно,—много нашего брата есть, которые изгадили мѣста; иной не успѣлъ получить лѣсную душу, какъ ужъ срубилъ ее, свежъ лѣсъ въ городъ и продалъ, а самъ—глядь, уже на сторонѣ дрова покупаетъ. Правильно,—всѣ мы, мужики, не берегли Божьяго добра. Правильно сказано—ничему мы не научились... Но отъ кого же намъ учиться-то? Отъ господъ, которые насъ обчищаютъ? Писари, засѣдатель и прочіе только и норовятъ, какъ бы въ карманъ заглянуть. Ей-ей, отъ тебя перваго услышалъ я справедливыя слова! А прочіе, которые ученые начальники и господа, ничего намъ добраго не говорили, ничему не учили насъ, а только норовили обчищать мужиковъ. Теперь, смотри, что выходитъ (мужикъ при этихъ словахъ развелъ въ изумленіи руками). Мы грабимъ Божье произволеніе, а господа насъ обчищаютъ! Мы естество грабимъ, а господа насъ! Такъ и идетъ этотъ коловертъ! Мы Божье произволеніе изгадили, а господа насъ, и что къ чему тутъ—я даже не понимаю!

При этихъ словахъ крестьянинъ обвелъ насъ недоумѣвающимъ взоромъ и еще разъ развелъ руками; повидимому, онъ самъ былъ пораженъ смысломъ своихъ словъ; на его лицѣ въ эту минуту отражалось множество чувствъ: восторгъ, смущеніе, иронія, удивленіе. Удивленія больше всего; его лицо какъ бы говорило: вотъ такъ штуку я нашелъ!

Признаюсь, я былъ самъ пораженъ и молчалъ. Нужно быть въ Сибири, чтобы понять яркую реальность его словъ,—мнѣ нечего было возразить на открытый мужикомъ „коловертъ“ жизни.

Нѣкоторое время длилось нерѣшительное молчаніе всѣхъ насъ.

Вдругъ крестьянинъ посмотрѣлъ на меня, и лицо его

внезапно приняло дѣтское выраженіе. Широкая, добродушная и дѣтская улыбка разлилась по его лицу.

— Ну, слава Богу, что грѣха не случилось!... Ты ужь не гнѣвайся, больно мужики-то озлившись на тебя!... А ты вонъ какъ правильно судишь... Ну, прости, Христа ради! Богъ дастъ, еще дружки будемъ...

Крестьянинъ, говоря это, протянулъ мнѣ широкую руку, и я пожалъ ее. Извозчикъ мой снялъ отъ удовольствія и что-то несвязно болталъ; смирное лицо его выражало полное довольство, и онъ неизвѣстно для чего снялъ шапку.

— А все-таки лѣсъ не надо зря уничтожать, дѣти за это не скажутъ вамъ спасибо,—прибавилъ я настойчиво.

— Но ты не суди насъ. Кто тутъ виноватъ—не можемъ мы разсудить!

Крестьянинъ сконфуженно выговорилъ это, какъ будто боясь теперь нечаянно оскорбить меня. Да, мы оба были сконфужены, какъ это часто бываетъ, когда два человѣка внезапно переходятъ отъ вражды къ взаимному уваженію. Возарилось долгое молчаніе.

Вокругъ насъ стало вдругъ тихо. Солнце садилось и въ мадухъ уже чувствовалась близость теплаго лѣтняго вечера. Надъ нашими головами пѣли комары; недалеко отъ насъ, въ кустахъ, фыркала и топала копытами лошадь. Гдѣ-то ликовала кукушка. Мягкій вечерній свѣтъ ложился на всѣ предметы, и даже оголенные отъ растительности овраги, покрытые нѣжною пеленой вечернихъ тѣней, не зіяли своею безобразною наготой.

— Ну, прощай, господинъ!... Не обезсудь ужь!—сказалъ вдругъ крестьянинъ и поднялся съ травы, на которой онъ сидѣлъ. Потомъ онъ поднялъ изъ-подъ куста мой „пистолетъ“ (при этомъ лицо его залилось густою краской), разсказавъ извозчику, какъ лучше выбратъ на дорогу, и сконфуженно исчезъ въ заросляхъ.

Черезъ полчаса мы уже ѣхали по торной дорогѣ.

Съ той поры крестьяне больше не грозилась убить меня, безъ работы подчинившись моимъ порядкамъ. Мой лѣсной знакомый впоследствии часто бывалъ у меня въ гостяхъ и всякій разъ, какъ мы случайно вспоминали о своей встрѣчѣ, онъ смущался сильно.

Но мои отношенія къ службѣ сильно измѣнились. Я не

преслѣдовалъ больше такъ круто порубки, неохотно конфисковалъ лѣсъ, вообще сдѣлался плохимъ, недобросовѣстнымъ лѣсничимъ. Такъ, апатія какая-то напала на меня. Почему не знаю.

II.

Однажды мнѣ пришлось взять верховую лошадь, чтобъ проѣхать въ болотистую мѣстность, про которую въ народѣ ходили таинственные рассказы. Мочегина эта начиналась въ семнадцать верстахъ отъ города и тянулась на добрыхъ десятокъ верстъ, занимая обширную площадь. Я хотѣлъ лично провѣрить странные рассказы старожиловъ. Говорили, что тамъ совершенно крѣпкія деревья отъ неизвѣстной причины сами собой падаютъ; увѣряли, что въ серединѣ тамъ есть пропасти, прикрытыя густымъ лѣсомъ, но похожія на омутъ, куда безвозвратно погружается всякій, кто рѣшитъ ступить на обманчивую почву — онъ проваливается куда-въ глубину; наконецъ, не одинъ разъ при мнѣ говорили, что въ мрачномъ лѣсу по ночамъ, а иногда и днемъ раздаются стонъ и вопли. Въ довершеніе всего лѣсъ этотъ занималъ самый высокій увалъ среди окружающей страны, что-вродѣ болота на горѣ.

Изъ дома я выѣхалъ не рано, да и не особенно торопился прибыть на мѣсто, такъ что лошадь моя половину дороги шла шагомъ. Но, наконецъ, я добрался до широкаго луга на дальнемъ концѣ котораго, на верху увала, начиналась таинственная болотина. Лугъ съ трехъ сторонъ обрамлялся перелѣсками, а съ четвертой его ограничивала большаго рѣка. Я ѣхалъ посерединѣ. Припоминаю теперь всѣ подробности, потому что происшествіе, черезъ минуту отъ давняго меня, глубоко и навсегда запечатлѣлось во мнѣ. Помню, что сталъ закуривать папироску.

Въ это мгновеніе позади меня раздался рѣзкій крикъ, отъ котораго я вздрогнулъ. Я обернулся и на оставленномъ зади концѣ луга увидалъ бѣгущимъ какого-то человѣка. Жаль онъ такъ, какъ бѣгутъ, только спасаясь отъ преслѣдованія. Онъ, дѣйствительно, спасался. Не успѣлъ я хоть шенько разсмотрѣть его, какъ изъ лѣсу, въ догонку ему вырвался верхомъ на лошади мужикъ, безъ шапки, въ од-

рубахъ, распоясанный. За мужикомъ изъ лѣсу показался еще какой-то паренъ, также верхомъ на лошади, причеиъ въ поводу онъ держалъ другую лошадь. Мужикъ что-то кричалъ, размахивая надъ головой недоуздокъ, и гнался за бѣглецомъ; мальчикъ ревѣлъ во весь голосъ; только спасавшійся бѣглець не издавалъ никакого звука: онъ молча, съ ужасомъ улепетывалъ отъ преслѣдованія, направляясь къ рѣкѣ. На-сколько я могъ понять, рѣка для него составляла единственное спасеніе; онъ, очевидно, намѣревался броситься въ воду и переплыть на другой берегъ.

Быть долго нѣмымъ свидѣтелемъ я не могъ. Еще ничего не понимая, я видѣлъ, что ожидается кровавое дѣло. Съ мину-ту я колебался, но чувствовалъ, что долженъ вмѣшаться. Пришпоривъ лошадь, я пустилъ ее вскачь, на перерѣзъ бѣг-лецу. „Держи! держи его!“—закричалъ радостно крестьянинъ. Но берега оставалось уже недалеко, но я успѣлъ отрѣзать чуточку путь къ водѣ. Нужно было видѣть ужасъ этого че-ловѣка, когда онъ понималъ, что дѣться ему больше некуда. Онъ вдругъ остановился, какъ-то по-заячьи присѣлъ и бро-саль вокругъ себя испуганные взоры.

Каково же было мое удивленіе, когда я узналъ въ немъ сѣмъ извѣстнаго въ городѣ нищаго жулика, стараго и без-реднаго бродягу! Никогда, ни въ какое крупное происше-ствіе онъ не былъ замѣшанъ, никто на него не жаловался. Ввали его Колотушкинъ.

— Колотушкинъ! Это ты?—вскричалъ я.

Но онъ такъ тяжело дышалъ отъ усталости и съ перепугу, что не могъ слова выговорить. Въ это время къ мѣсту под-бѣгалъ крестьянинъ, и Колотушкинъ съ ужасомъ спрятался отъ него за мою лошадь.

— Ваше благородіе! убьетъ онъ меня!—жалобно сказалъ онъ.

— Пусти, господинъ... Нечего жадѣть этихъ негодяевъ! Охальники!—возразилъ гнѣвно крестьянинъ.

— Братанъ ты эдакій дурацкій! Развѣ я тебѣ хвосты-то отрѣзалъ? На кой мнѣ лядъ хвосты-то твои?... Ишь зѣнки-то залилъ кровью!... Ваше благородіе! убьетъ онъ меня!—также жалобно проговорилъ Колотушкинъ.

— Да въ чемъ дѣло?—обратился я къ крестьянину, глаза котораго дѣйствительно сверкали ненавистью. Безъ шапки,

съ распоясанною рубахой, съ растрепанными волосами, он могъ внушить страхъ и не такому зайцу, каковъ былъ Колотушкинъ. Суровое лицо его выражало одну кровавую месть.

— Гляди, вишь, хвосты-то обрѣзаль!—сказалъ онъ, улыбая на лошадей.

Я посмотрѣлъ и вздрогнулъ отъ омерзѣнія: у всѣхъ трехъ лошадей хвосты были обрѣзаны,—у одной по самыя корень, у двухъ остальныхъ съ мясомъ; вырѣзанныя мѣста сочились кровью, которая капля по каплѣ скатывалась по ногамъ несчастныхъ животныхъ; тучи мошекъ кружились надъ ранами.

Я раньше слышалъ про эти продѣлки жуликовъ и часто смѣялся надъ разсказами о вырѣзанныхъ хвостахъ, но только теперь понималъ, какое негодованіе можетъ вызвать это подлое издѣвательство. Нужно быть безцѣльно жестокимъ подло распутнымъ, чтобы такъ изуродовать беззащитныхъ животныхъ. Только взаимная ненависть между этими двумя классами,—крестьянами и жуликами,—способна была вызвать такое омерзительное воровство. За всѣ три хвоста жулику дадутъ въ кабакъ не больше двугривеннаго, и трудно предположить, чтобы ради одного этого онъ обрѣзалъ хвосты нѣтъ, сдѣлалъ это онъ изъ чистой мести, изъ желанія насмѣяться надъ мужикомъ, ради удовлетворенія своей злобы противъ всѣхъ крестьянъ.

— Неужели это ты, Колотушкинъ, сдѣлалъ?—вскричалъ съ негодованіемъ.

— Ей-Богу, вретъ онъ, ваше благородіе! На какой мнѣ лядъ хвосты?

— Ты почему же думаешь, что это онъ?—обратился я къ крестьянину.

— Да кому же больше? Кони въ томъ лѣску были. А дрова рубилъ вонъ тамъ. Послалъ парня обратять ихъ. Вдругъ, слышу, кричитъ онъ въ неистовый голосъ. Прибѣжалъ и вижу—хвостовъ ужъ нѣтъ! А тутъ изъ-подъ кустовъ и этотъ шукарь выскочилъ. Я за нимъ, а онъ отъ меня да къ рѣкѣ!... А тутъ и ты, спасибо, дорогу ему прекратилъ.. Нечего его слушать!

Крестьянинъ говорилъ уже безъ волненія, съ сдержаннымъ негодованіемъ. Бросая на Колотушкина взоры, полные не

прикирмой ненависти, онъ въ то же время спокойно говорилъ. Умѣнье владѣть собой было поразительно въ немъ, какъ у многихъ здѣшнихъ мужиковъ. Я предложилъ ему обыскать Колотушкина; онъ недовѣрчиво пожалъ плечами, но на словахъ согласился.

Легко было сказать „обыскать“, но что обыскивать-то? Колотушкинъ былъ одѣтъ въ какую-то тряпицу, вмѣсто рубашки, истлѣвшей до такой степени, что она походила на вепель отъ сожженной бумаги; панталоны, разумѣется, были на немъ, но издали казалось, что ихъ не было,—такъ мало оправдывали они свое назначеніе. А больше никакихъ принадлежностей костюма у него не имѣлось—ни шапки, ни обуви, ни верхняго платья. Но въ рукахъ онъ держалъ мѣшокъ; на него мы и обратили вниманіе.

— Вытряхай кошель!—приказали мы ему.

Колотушкинъ безропотно вытряхнулъ на землю все содержимое несчастнаго кошель. Мы увидели тогда краюшку чрнаго хлѣба, десятка три картофеля, котелокъ и тряпичку съ солью. Все это было понятно мнѣ: хлѣбъ ему подали, картошку онъ стащилъ на базарѣ съ воза, а котелокъ былъ его частною собственностью; шелъ онъ сюда затѣмъ, чтобы на берегу рѣки, среди кустовъ черемухи, прислушиваясь къ пѣнію птицъ, развести огонь, сварить картофель, пообѣдать и уснуть, глядя сквозь вѣтви черемухи на безоблачное небо. Хвостовъ не оказалось.

Крестьянинъ сурово молчалъ. Колотушкинъ уже злорадно посматривалъ на него.

— Ну, что, много нашелъ хвостовъ-то? Эхъ, ты, братанъ!—презрительно выговорилъ Колотушкинъ.

— Должно быть, въ самомъ дѣлѣ, не онъ, — сказалъ я, опять обращаясь къ крестьянину.

— Кому же больше? Знаю я его, — спрятанъ гдѣ нитомъ! Штувари-то они всѣ ловкіе!...

Не зная, что дѣлать, я предложилъ, по возвращеніи своемъ въ городъ, заявить въ полицію, но сію же минуту увидѣлъ, какъ безтактно было это предложеніе. Крестьянинъ съ лукавою, единственною въ своемъ родѣ улыбкой поглядевъ на меня и твердо отклонилъ мое предложеніе.

— Въ полицію? Нѣтъ, къ чему же?... Лучше ужъ я безъ

хвостовъ останусь. Не ходи, господинъ, въ полицію-то, потому не смѣю я утруждать начальниковъ изъ-за хвостовъ!.

Сказавъ это, онъ молча погладилъ стоявшую подлѣ него лошадь и велѣлъ сынишкѣ садиться на нее. Потомъ он самъ прыгнулъ на другую лошадь и, не прощаясь, поѣхалъ черезъ лугъ къ ближайшему перелѣску. Но долго еще между деревьями мелькала его могучая фигура; мнѣ даже показалось, что изъ-за ствола одного дерева на мгновеніе выгнуло его лицо, обращенное къ намъ, гнѣвное и угрожающее...

Колотушкинъ провожалъ его взглядомъ и только тогда оправился отъ испуга, когда тотъ совсѣмъ скрылся въ тѣни зеленой зелени. Жалкое заячье лицо его сейчасъ же приняло веселое выраженіе, какъ сталъ благодарить меня, болтливымъ выражая свое злорадство.

— Спасибо вамъ, ваше благородіе, а то бы мнѣ тутъ смерть... И злые же эти братаны!... Такъ онъ ничего, и ежели осерчаетъ—убьетъ! Человѣчья душа для него ни что, дешевле лошадиного хвоста... Человѣкъ своейной лошади хвостъ обрѣжетъ, а онъ въ оврагѣ загубить ни въ чемъ неповиннаго — чистый звѣрь! Утку, либо зайца, и т. д. жалко, а бродягу для него убить все одно, что муху задушить... А ловко же окорнали хвосты-то его!... Спасибо вамъ, а то бы убилъ меня... Шутъ ли мнѣ въ хвостахъ-то етъ толку? Я вотъ сварю тутъ на бережку картошки да раков наловлю,—страсть тутъ какіе крупные раки водятся,—мнѣ и хвоста не нужно. Этими дѣлами я не занимаюсь, мнѣ что дать—я и доволенъ... Спасибо вамъ, ваше благородіе, дай Богъ здоровья, а то бы убилъ онъ меня...

Я послѣднія слова слушалъ уже издалека, потому что мнѣ не хотѣлось оставаться хотя нѣкоторое время со старымъ бродягой. Колотушкинъ также отправился своею дорогой, а еще могъ замѣтить издали, какъ онъ полѣзъ въ воду ловить раковъ на обѣдъ. Никакой ловушки у него не было, ему, очевидно, ловить раковъ предстояло первобытнымъ способомъ, т.-е. по-просту ползать по крутымъ берегамъ руками шарить въ норахъ, гдѣ обитаютъ раки. Такимъ образомъ, при счастіи, онъ могъ часа въ два нацапать голыми руками съ полсотни, измерзнуть, нахлебаться воды во время нырянья и порѣзать свои лапы...

Оставшись одинъ, я задумался надъ всѣмъ видѣннымъ. Передо мной сію минуту стояли представители двухъ породъ, по существу ненавистныхъ другъ для друга. Сибирскій крестьянинъ,—это олицетвореніе здоровья и силы,—долженъ волею-неволею преслѣдовать до смерти нездоровое, распутное, хотя и жалкое существо, покушающееся жить паразитомъ на его тѣлѣ... Кто это первый пустилъ слухъ, что сибирякъ смотритъ на поселщика, какъ на „несчастненькаго“, и жалѣть его душевно, выставляя по дорогамъ и возлѣ домовъ паньги для него? Я не зналъ мысли, болѣе вредной, лжи, болѣе фальшивой, сентиментальности, болѣе слюнявой, чѣмъ этотъ слухъ о нѣжныхъ отношеніяхъ между русскими выходцами и сибирскими старожилами; и, быть можетъ, благодаря этой лжи, ссылака до сихъ поръ осталась въ самыхъ культурныхъ округахъ.

Дѣйствительныя отношенія двухъ классовъ не представляють ничего нѣжнаго. Ежегодно по лѣснымъ трупобамъ находятъ сотни труповъ, неизвѣстно кому принадлежащихъ, неизвѣстно кѣмъ положенныхъ. Это—бродяги, поселщики, тулѣи. Каждый оврагъ здѣсь имѣетъ свою тайну, и нѣтъ лѣсной глуши, которая не была бы могилой, а лѣсные обитатели, птицы и звѣри, не одинъ разъ слышали щелканье замка, громъ выстрѣла и послѣдній стонъ умирающаго. Однакоже избѣгая „закона“, оба класса ведутъ борьбу тихо и молча, съ хладнокровіемъ и безъ пощады; часто враги наносятъ другъ другу удары безлично, не зная другъ друга и ничего другъ противъ друга не имѣя. Поселщики уничтожаютъ безъ всякой нужды имущество всѣхъ крестьянъ; крестьяне, въ свою очередь, убиваютъ всякаго бродягу, какой подвернется въ удобномъ мѣстѣ, убиваютъ безстрастно, холодно и безъ всякаго повода. И много неповинныхъ людей сложили свои головы въ лѣсныхъ заросляхъ. Легче ихъ пропадаютъ тѣ субъекты съ пугливыми физиономіями, которые непрерывною цѣпью бредутъ по всѣмъ дорогамъ лесной, идя на свиданіе съ родиной. Напуганные, беззащитные бродяги для холодной мести представляютъ самую легкую добычу. Между тѣмъ, кладутъ они свои легкомысленныя головы по оврагамъ безвинно.

Не случись меня на лугу, и этотъ вотъ Колотушкинъ пошатился бы за свою любовь отдыхать въ кустахъ если не

цѣною жизни, то цѣною легкихъ. И никто бы не зналъ, за что этотъ человѣкъ погибъ и кому понадобилась его злая жизнь. Несомнѣнно, что хвосты обрѣзалъ не онъ.

Давно ужъ онъ живетъ въ городѣ. Я его увидалъ чуть не въ тотъ же день, въ какой я пріѣхалъ на службу сюда. Всѣ знали, что это—старый бродяга, но никто не трогалъ его потому что ни въ какое громкое происшествіе онъ не былъ замѣшанъ. Никому въ голову не приходило спрашивать кто онъ, откуда и чѣмъ живетъ.

Скорѣе это былъ бродяга, медленно угасающій. Бродить по лицу всей Россіи у него уже не было силъ, а потому онъ навсегда устроился здѣсь. Жилъ онъ милостыней, воровствомъ, а лѣтомъ ловлей рыбы и раковъ. Нехорошо ему было зимой! Наружность его тогда представляла палку, на которую наворачены въ беспорядкѣ разныя тряпки. Въ самые лютые морозы онъ вовсе не показывался, но когда дѣлалось потеплѣе, сейчасъ же выходилъ за милостыней, дрожа всѣмъ тѣломъ, потому что даже въ теплые зимные дни холод жестоко скрючивалъ его. Одѣтъ онъ былъ всегда такъ, какъ будто жилъ подъ тропиками: въ коротенькомъ зипунѣшкѣ (его частная собственность), въ холщевыхъ панталонахъ и часто безъ рубашки, если ему долго не удавалось стащить оную съ веревки, на которой она сушилась и провѣтривалась послѣ стирки. Шляпка не всегда покрывала его голову, а, въ случаѣ полнѣйшаго отсутствія ея, онъ повязывалъ уши тряпкой, оторванной, на примѣръ, отъ неизвѣстно чьего женскаго подола. Обувь онъ ни въ какомъ случаѣ не имѣлъ замѣняя ее разнообразными предметами, имѣвшими у другихъ людей совсѣмъ не то назначеніе, какое онъ имъ давалъ такъ, для него ничего не составляло завернуть ноги въ рубава, случайно откуда-то оторванные. Впрочемъ, иногда въ время ярмарки ему удавалось добыть съ воза плохо лежащія пимы, и онъ нѣсколько дней щеголялъ въ нихъ, но, благодаря его легкомыслію, пимы эти скоро пропадали въ кабацѣ.

Работать нельзя было принудить его никакими обѣщаніями. Заставить Колотушкина работать—это все равно, что заставить свинью исполнять арію изъ оперы или птицу за пречъ въ телѣгу. Онъ даже удивлялся, какъ можно дѣлать ему такія предложенія.

У меня изъ прихожей онъ однажды утащилъ старыя пер-

чатки, пристыженъ былъ, когда я сталъ укорять въ неблагодарности, но когда я его спросилъ, отчего онъ не работаетъ, то онъ спокойно освѣдомился у меня: „а для чего работать?“ Благодаря такому взгляду на вещи, ему прощали все, считая совершенно естественнымъ для него брать не принадлежащіе ему предметы. Взять мимоходомъ шлангу у бабы или снять мужика съ воза пару карасей для него было въ самомъ дѣлѣ такъ же естественно, какъ зайцу обглодать кору съ дерева,—это всѣ признавали. Я разъ видѣлъ, какъ онъ случайно взялъ у торговли съ ларя жестяной ковшъ и спокойно отправился дальше по своимъ дѣламъ, причемъ торговка, взявъ у него ковшъ, ударила его раза два по щекамъ этимъ же самымъ ковшомъ, но никто изъ нихъ по этому поводу не сказалъ ни слова, такъ что и онъ пошелъ дальше по своимъ дѣламъ, и торговка продолжала разговаривать съ покупателями.

Весной онъ совсѣмъ преображался; всегда легкомысленный, онъ дѣлался въ эту пору веселымъ и дѣятельнымъ, живая виѣсть съ воскресающею природой. Въ городѣ его почти не видѣли тогда; онъ шлялся по окрестностямъ, пи-мался добычей отъ охоты, дышалъ лѣснымъ воздухомъ, носалъ въ кустахъ. Не имѣя никакихъ орудій, онъ все-таки въ половодье ловилъ рыбу, въ іюнѣ цапалъ раковъ изъ норъ, въ іюля собиралъ грибы и ягоды. Развѣ иногда немного провалялъ—картошки и хлѣба. Босой, съ непокрытою головою, въ истлѣвшей, какъ пепель, рубашкѣ, онъ выглядѣлъ въ высшей степени счастливымъ. Въ свободное отъ охоты время онъ или валялся подъ кустомъ гдѣ-нибудь, или безцѣльно бродилъ по лѣснымъ дорогамъ, напѣвая своимъ разбитымъ голосомъ какія-то странныя пѣсни.

Нельзя вытравить изъ человѣческаго сердца чувство свободы; уничтоженное въ одной формѣ, оно проявляется въ другой, пробивая себѣ новые, невѣдомые пути. У русскаго работника подавленное чувство проявилось въ формѣ неутолимой жажды передвигаться по безконечнымъ русскимъ раздѣліямъ; это можно наблюдать на переселенцахъ, отыскивающихъ приволье, но въ особенности на бродягахъ, безцѣльно двигающихся по дорогамъ безъ опредѣленной цѣли, также и на этомъ Колотушкинѣ. Повинуясь неумолимому инстинкту, уже разбитый и усталый, онъ все-таки цѣлое

лѣто блуждалъ по округу, придумывая часто самые пустые предлоги, иногда безъ всякихъ предлоговъ, при этомъ онъ голодалъ, мокъ подъ холоднымъ дождемъ, жарилъ на горчемъ солнцѣ свою непокрытую голову, и все-таки былъ счастливъ, потому что свободно шлялся.

Раздумывая все это, я не замѣтилъ, какъ подѣхалъ къ мѣсту. Лошадь моя поднялась на уваль, и передо мной внезапно выросла болотная заросль; здѣсь и было начало обширной топи. Я направилъ лошадь въ самую середину Дорожекъ не было; приходилось пробираться цѣпкомъ, кочкамъ и кустамъ. Страшная тишина царилъ въ лѣсу. слышно было ни пѣнія птицъ, ни другого какого звука; въ живое, вѣроятно, избѣгало этого мрачнаго мѣста. Но слышалось непрерывное гудѣнье отъ пѣнія мошекъ и мушкетеровъ, которые тучами носились въ спертомъ воздухѣ.

Я проѣхалъ съ полверсты отъ опушки въ глубь и остановился; дальше безумно было ѣхать. Лошадь то и дѣло ставилась проваливаться по брюхо въ жидкую грязь, и я съ трудомъ держался на сѣдлѣ. Принужденный спуститься на землю, привязалъ лошадь къ дереву и принялся пѣшкомъ изслѣдовать странное явленіе, поражавшее воображеніе мѣстныхъ жителей. Подъ моими ногами дѣйствительно была бездонная топь, прикрытая тонкою корой земли. Эта-то кора и поддѣживала еще растущій здѣсь лѣсъ. Но уже повсюду видны были слѣды того, какая судьба ожидаетъ всѣ эти толстые стволы березъ; было даже ясно, какъ они погибнутъ. И въ которыхъ, самыя тяжелыя деревья на сажень уже погружены въ жидкую почву, удерживаясь на поверхности топи своими вѣтвями, цѣплявшимися за вѣтви сосѣднихъ деревьевъ; медленно утопая, они, казалось, хватались за своихъ сосѣдей. Другія деревья были уже на половину повалены лишенныя корней, сгнившихъ въ жидкой массѣ. Третьи, наконецъ, совсѣмъ уже лежали мертвыми на землѣ и быстро разлагались, смѣшиваясь съ болотною массой. Недалеко время, когда весь этотъ зеленый уголокъ сгніетъ и потонетъ въ вонючей грязи.

Какъ произошло это странное болото на верху у вала, почему до сихъ поръ здѣсь стоятъ еще густыя ряды молодыхъ побѣговъ, я почти объяснилъ себѣ. Вся мѣстность представляетъ громадную котловину, въ которой застаивается во

Раньше котловина имѣла стоки для водъ, и почва оставалась только сырою. Но современемъ стѣнки котловины отъ неизвѣстной причины перестали пропускать наружу лишнюю влагу, произошла закупорка всѣхъ путей, сквозь которые вода просачивалась, и котловина быстро стала превращаться въ топь. Тѣсь продолжалъ стоять на своемъ мѣстѣ, но почва подъ нимъ дѣлалась все тоньше и тоньше, и тяжелыя деревья по одному стали тонуть въ грязное озеро. И немного уже осталось крупныхъ породъ. Только нѣкоторые великаны еще стоятъ твердо, удерживаясь своими далеко протянувшимися корнями, да молодыя поколѣнія, не требующія много почвы, продолжаютъ безпечно расти густыми рядами.

Простой дренажъ могъ бы спасти эту мѣстность, но кто возьметъ на себя такую заботу?

Едва-ли часъ я пробылъ здѣсь. Дальше оставаться не было силъ. Облака мошекъ и комаровъ облѣпили мнѣ лицо, забѣгали въ уши, въ носъ, въ ротъ, и я сталъ выбиваться изъ силъ. У меня звенѣло въ ушахъ, и немудрено, если тѣсь слышать стоны и вопли. Смердный воздухъ душилъ меня. Подъ моими ногами кочки погружались въ глубь, а въ поверхность, при каждомъ шагѣ, всплывали съ бурчащемъ радужные пузыри, наполненные затхлыми газами. Я не добрался до лошади, которая также обезумѣла въ борьбѣ съ облѣпившими ее насѣкомыми. Когда я выѣхалъ на чистый воздухъ и снова на опушкѣ увидалъ яркій солнечный свѣтъ, мнѣ показалось, что я вылѣзъ изъ подземелья.

Вѣтерокъ, дувшій на открытомъ мѣстѣ, разогналъ последние остатки проклятыхъ мучителей, и мы съ конемъ успокоились.

Но этотъ памятный день не кончился такъ благополучно; будущее и неожиданное ожидало меня еще впереди.

Спустившись съ увала на луга, я шагомъ пустилъ лошадь и отыскивалъ глазами на берегу рѣки, извивавшейся впереди, удобное мѣсто для купанья. Скоро я проѣхалъ съ лугъ и очутился опять на томъ мѣстѣ, гдѣ меня оставилъ Колотушкинъ и съ котораго я видѣлъ, какъ онъ полѣзъ руками въ воду. Бросивъ взглядъ на берегъ, я замѣтилъ дымокъ, поднимавшійся изъ костра, надъ нимъ котелокъ, вѣшенный на таловымъ прутѣ, и возлѣ—спавшаго Колотушкина. Но меня удивила неестественная поза бродяги. Онъ

лежалъ такъ, какъ лежать молящіеся въ церкви: поджавъ подъ себя ноги, съ разставленными руками, онъ уткнулъ лбомъ въ землю, по направленію къ костру.

Я крикнулъ его по имени, но онъ не слыхалъ такъ далекъ.

Тогда я свернулъ съ дороги и направился къ берегу. Подъѣзжая къ костру, я еще разъ крикнулъ:

— Колотушкинъ! ты спишь?

Бродяга молчалъ.

Я совсѣмъ близко подѣхалъ, слѣзъ съ лошади, подошелъ къ нему, притронулся рукой до его спины и хотѣлъ разбудить его, но тѣло его уже застыло. Съ правой стороны его затылка запеклась кровь, окрасившая и всю шею черной массой. Нѣсколько минутъ я не могъ двинуться съ мѣста и тупо осматривался по сторонамъ.

Костеръ слабо курился. Надъ нимъ на прутѣ висѣлъ котелокъ съ варенымъ картофелемъ. Тутъ же неподалеку и травъ кучкой лежали красные, сварившіеся раки, а подлѣ нихъ лежала развернутая тряпочка съ солью. Совсѣмъ бѣдняга приготовился пообѣдать. Но въ это мгновеніе изъ-за дальняго куста, сквозь вѣтки, протянулась чья-то твердая рука съ винтовкой, прицѣлилась и прекратила всѣ желанія стараго бродяги. Какъ жилъ онъ по-заячьи, такъ и умеръ по-заячьи, неожиданно и безслѣдно.

Еще не зная, что я буду дѣлать, я вскочилъ на лошадь и поскакалъ въ ближайшую деревню. Тамъ я поднялъ на ноги всѣхъ, кто только ни былъ въ полѣ. Но большая часть мужиковъ равнодушно и подозрительно выслушала мой рассказъ, и никто изъ нихъ не пожелалъ пойти на мѣсто. Отъ скали только сотскаго. Въ толпѣ, собравшейся возлѣ меня раздавались вялые вопросы и отвѣты: „Какой Колотушкинъ Бродяга!... Нищій!... Вишь раковъ ловилъ... Не нашелъ больше мѣста-то!... Мало-ли ихняго брата, жулябія, таскаетъ тутъ!... Картошку, слышь, варилъ!... Сотскій! Ступай, ставь карауль! Держи, робята, теперь карманы! Сотни три летитъ! Это ужъ какъ есть!... Экъ его окаанный дереву въ экое мѣсто раковъ-то ловить!“

Я слушалъ все это, и волненіе, вызванное кровавымъ происшествіемъ, понемногу улеглось во мнѣ. Равнодушная толпа было такъ полно, что перешло и на меня. „А въ самомъ дѣлѣ, — думалъ я, — зачѣмъ я-то кипячусь?“ Кос

караулъ былъ наряженъ, я отправился домой въ городъ, до нельзя утомленный впечатлѣніями дня.

По прїѣздѣ въ городъ, въ первыя минуты негодованія я хотѣлъ донести на того крестьянина, у котораго обрѣзали жулики хвосты лошадямъ; я былъ увѣренъ, что онъ застрѣлилъ Колотушкина; но день ото дня я откладывалъ дѣло, пока отъ моей рѣшимости не осталось и слѣда.

И хорошо, что я не сдѣлалъ этого. Зачѣмъ бы я погубилъ мужика? Если даже и дѣйствительно онъ застрѣлилъ Колотушкина, то сдѣлалъ это съ такою слѣпою и неумолимою необходимостью, какъ онъ убилъ бы встрѣтившагося волка. Это поступокъ неразумнаго существа, слѣпое дѣло. Темно зѣсь кругомъ. Посторонняя сила толкнула два враждебные класса въ одно мѣсто, и они слѣпо истребляютъ другъ друга, какъ ненавистные другъ другу звѣри, посаженные въ одну клетку.

III.

До этого времени мнѣ ни разу еще не приходилось жить въ деревнѣ подолгу, но однажды обстоятельства сложились такъ, что я цѣлое лѣто провелъ въ деревнѣ.

Лѣто было удушливое, горячее, сухое; въ городѣ мнѣ стало нестерпимо отъ зноя; и вотъ я надумалъ переселиться въ ближайшее село, какъ на дачу. Мѣсто для этой цѣли я выбралъ отличное; окруженное сосновымъ боромъ, оно омывалось поблизости рѣкой и занимало возвышенность праваго ея берега. Поиски и наемъ квартиры обошлись безъ обычныхъ непріятностей. Я нашелъ себѣ комнату почти у перваго попавшагося мнѣ на глаза крестьянина, причемъ дѣло обошлось безъ всякихъ недоразумѣній, какъ я боялся; мужикъ не заломилъ съ меня за квартиру невозможную цѣну, не посмотрѣлъ на меня, какъ на барина, съ котораго обыкновенно полагается содрать какъ можно больше, не сказалъ даже лишняго слова, какъ человѣкъ практичный и умѣлый. Эту выдающуюся черту сибирскаго мужика я и раньше зналъ; теперь же только собственнымъ опытомъ убѣдился, какъ легко съ нимъ имѣть дѣло. Онъ толковый и разумный; съ нимъ чувствуешь себя, какъ съ равнымъ, и не дѣлаешь усилій подлаиваться подъ его тонъ. Свободный и гордый, онъ знаетъ себѣ

цѣну и такъ же, въ свою очередь, не поддаѣывается подъ барскій тонъ. Однимъ словомъ, обоюдное пониманіе въ обыденныхъ вещахъ.

Моего хозяина звали Петромъ Ивановичемъ Теплыхъ. По сибирски онъ былъ мужикъ средней зажиточности. Домъ его состоялъ изъ двухъ половинъ—горницы и задней избы. Въ передней половинѣ, гдѣ я поселился, стояло нѣсколько стульевъ, деревянный диванъ и выбѣленная колчедановымъ блескомъ печь. На окнахъ зеленѣли цвѣты; устланный половиками полъ выглядѣлъ безукоризненно чистымъ. Хозяйство земледѣльческое казалось также полнымъ и порядочнымъ. Но семья его состояла изъ пяти душъ подростковъ и жены благодаря чему онъ держалъ наемнаго работника изъ поселщиковъ. Все это я узналъ тотчасъ, въ тотъ же день, какъ переселился къ Петру Ивановичу Теплыхъ, который посвятилъ меня во всѣ свои дѣла и намѣренія, въ особенности денежные.

Я былъ радъ этому переселенію. Помимо неограниченнаго пользованія деревенскими благами—водой, сосновымъ воздухомъ, лѣсною прохладой и охотой, я могъ еще свободно заниматься болтовней съ крестьянами, о которыхъ я ничего не зналъ. Кромѣ того, меня уже давно интересовалъ одинъ вопросъ, рѣшить который можно только послѣ пристальнаго вниманія къ сибирской жизни. Я спрашивалъ себя: мужикъ Сибири даны просторъ, здоровье, досугъ, богатая природа—какъ онъ воспользовался этими дарами? Что онъ сдѣлалъ въ продолженіе тѣхъ сотенъ лѣтъ, которыя онъ прожилъ въ относительно доволѣствѣ, среди безграничныхъ степей дремучихъ лѣсовъ, подъ небомъ яркимъ и чистымъ, хотя холоднымъ, вдали отъ волокиты воеводъ, избавленный отъ рабства старой родины? Быть можетъ, онъ обогатилъ свой умъ за это время знаніями и способностями, быть можетъ онъ развилъ человѣчность, незнакомую на его старой родинѣ вообще, что онъ сдѣлалъ для себя, для людей, для своего ума и сердца, для развитія всѣхъ своихъ силъ, гибнувшихъ на старой родинѣ отъ крѣпостнаго ярма, мрака и голода?

Къ сожалѣнію, отъ моего хозяина трудно было чѣмъ-нибудь поживиться въ этомъ смыслѣ. Въ первое время я мало обращалъ вниманія на него; я шатался по лѣсамъ, дѣлалъ экскурсіи на лодкѣ, охотился съ ружьемъ и только по вечерамъ болталъ съ Петромъ Ивановичемъ. Но Петръ Иванычъ

быть такой открытый человекъ, что узнать всю его подноготную не представляло ни малѣйшаго труда. Обративъ на него вниманіе, я почувствовалъ довольно непріятныя чувства къ нему, а вскорѣ онъ уже мнѣ страшно надоѣлъ. Истинный сибирякъ, онъ, въ сущности, былъ чрезвычайно скученъ и однообразенъ.

Въ немъ была одна возмутительная черта, приводившая меня уже черезъ недѣлю въ полнѣйшее отчаяніе: о чемъ бы ты съ нимъ ни говорили, дѣло непременно оканчивалось вопросомъ о деньгахъ. Въ этомъ случаѣ онъ былъ такъ разнообразенъ, что подсовывалъ деньги всюду, гдѣ даже трудно представить ихъ; казалось, глаза его были занавѣшены рублевою бумажкой, изъ-за которой онъ уже ничего не видалъ: ни неба, ни земли, ни людей, ни себя.

Сначала онъ жаловался, что ему не съ чего начать какое-нибудь выгодное предпріятіе; потомъ онъ ежедневно сталъ приглашать меня войти съ нимъ въ компанію, обольщая меня выгодами торговли; нѣсколько разъ онъ просилъ у меня денегъ на проценты, иногда же просто просилъ займы.

Въ концѣ-концовъ, мнѣ стала непріятна самая его фигура, высокая и великая, какъ у настоящаго богатыря, — фигура, внушающая, однако, небольшою головкой, съ черными волнистыми волосами; маленькіе сѣрые глаза его блестя, какъ пяталынные... Честное слово, такъ онъ мнѣ надоѣлъ бесконечными разговорами о деньгахъ, что при воспоминаніи о немъ я теряю безпристрастіе.

— Какъ это тебѣ, Петръ Ивановичъ, не стыдно не учить ребятъ своихъ?... Отдалъ бы въ училище въ городъ, — сказалъ однажды, думая такою диверсіей уклониться отъ разговора о рубляхъ.

— Въ училище? Ишь ты какую штуку выдумалъ! Для чего нашему брату?

— Какъ для чего? Поучиться. Вы вонъ жили двѣсти лѣтъ и не могли придумать такой хитрости, какъ школа. Сами-то вы не понимаете, такъ хоть ребятъ чему-нибудь поучили бы.

— Чему поучить-то? Кабы я зналъ, что мой паренъ въ писаря выйдетъ, ну, тогда такъ, потому писарь страсть сколько зарабатываетъ. А то ежели такъ-то, безъ толку... да нѣтъ, ни въ чему оно, училище-то!

Увидавъ, что моя диверсія не принесла мнѣ плодовъ, я угрюмо замолчалъ.

— Училище... чудно! Теперь вотъ у меня не на что хомутъ купить, а я по твоему объ училищѣ долженъ стараться?.. Право, хомута не на что купить. Вотъ ты бы далъ ежели рублика два, а? Перевернусь—отдамъ, сдѣлай милость, а?

— У меня нѣтъ сейчасъ,—угрюмо возразилъ я.

— Ну, какъ, чай, нѣтъ! Сумлеваешься—вотъ отъ чего не даешь. А ты не сумлевайся, отдамъ! Больно ужъ деньги то мнѣ надобны!

— Да, говорю тебѣ, нѣтъ! Прошу, оставь этотъ разговоръ.

— Осердился? Ну, я не стану. Чего сердиться-то? Потому я вѣрно говорю—отдамъ!

Петръ Ивановичъ равнодушно улыбался, съ неохотой оставляя пріятную для него бесѣду. На слѣдующій день онъ опять находилъ случай цыганить у меня; я ему опять отказывалъ и это каждый день. Мысли его постоянно такъ были заняты пейзажами наживы, что онъ, видимо, нисколько не находилъ страннымъ занимать меня такими разговорами. Разъ я такъ былъ раздраженъ, что выразилъ Петру Ивановичу желаніе никогда не вести съ нимъ разговоровъ. Это его сильно обескуражило, и онъ прямо пересталъ приставать ко мнѣ съ разговорами о милыхъ рублишкахъ, но я видѣлъ по его лицу, что онъ не понялъ причины моего раздраженія. Нажива—это было его міросозерцаніе и не говорить о немъ онъ не былъ въ состояніи.

Если ему не удавалось прямо поговорить о томъ, отчего у него болѣлъ животъ, то онъ все-таки находилъ тысячи случаевъ высказать свои мечты. Иногда на него находило меланхолическое настроеніе, и онъ уныло жаловался на судьбу отнимающую часто у него послѣдніе гроши.

— Кабы мнѣ только первыя-то копѣйки раздобыть, а у тамъ пошло бы... Да гдѣ добудешь-то? Съ неба не паде копѣйка-то... Нашему брату только бы начать, а ужъ тамъ пойдетъ, какъ по маслу. Да начать-то съ чего, съ какого богу?

Заинтересованный этимъ меланхолическимъ настроеніемъ я спросилъ у него разъ, что бы онъ сталъ дѣлать, если вдругъ ему дали сотенную бумажку?

— Что дѣлать? Ежели-бы сотенную-то? — повторялъ онъ нѣсколько минутъ въ волненіи.

— Ну, да, что бы сталъ дѣлать?

Петръ Ивановичъ устави́лъ на меня свои пятиалтынные и соображалъ, какъ наилучшимъ способомъ употребить деньги.

— Я бы наперво гуртовъ у кыргызовъ накупилъ, — сказалъ онъ, наконецъ. — Съ кыргызами у насъ первое дѣло для начала, ежели кто желаетъ поправиться. Потому этотъ народъ — сволочь, ничего не понимаетъ, и съ ихнимъ братомъ большія выгоды можно получить. Тутъ есть у насъ одинъ купецъ, такъ тотъ, бывало, надѣлаетъ фальшивой бумаги и скупаетъ на нее барановъ, т.-е. прямо даромъ...

— Да вѣдь это грабежъ? — перебилъ я.

— Да оно неладно...

— Вѣдь этотъ купецъ просто грабилъ киргизовъ?

— Да оно, говорю, неладно .. да вѣдь и кыргызы... чего на него смотрѣть-то? Сволочь, больше ничего. А притомъ же и вредъ ему отъ фальшивой бумаги нѣтъ, потому онъ получить фальшивую бумагу и сбываетъ ее дальше въ степь, къ дальнимъ кыргызамъ, а тѣ ужъ настоящіе безбожники, или нихъ все одно, что фальшивая, что настоящая... А то, конечно, неладно, да и лучше на чистыя денежки-то... Только ихъ взять-то, ухватить-то какъ ихъ?

Я скорѣ замѣтилъ, что Петръ Ивановичъ смутно различалъ некоторыя вещи, которыя должны быть строго отдѣляемы. Что касается „кыргызовъ“, то онъ искренно вѣрилъ, что это — сволочь, ничего не понимающая, и потому у нихъ можно выманивать барановъ на фальшивыя бумажки. Почти съ такою же простотою, онъ относился и къ бродягамъ, недостаточно понимая разницу между убійствомъ волка и бродяги. Несомнѣнно также, что и многіе другіе лѣсные порядки онъ ошибочно считалъ правильными.

Такъ, онъ однажды искренно жаловался на неудачу сраженія съ горюновцами, происходившаго на театрѣ военныхъ дѣйствій — на сѣнокосѣ. Сѣнокосъ этотъ былъ спорнымъ между жителями, къ которымъ принадлежалъ Петръ Ивановичъ, и соседними горюновцами. Божеская и человѣческая правда была на сторонѣ послѣднихъ, но Петръ Ивановичъ и его соотечественники въ патріотическомъ ослѣпленіи отбивали клочекъ сѣнокоса себѣ и вели ради него съ заклятыми врагами ожесточенную борьбу каждую весну. Вооруженіе той и другой стороны состояло изъ литовокъ, оглоблей и сырыхъ дубинъ,

выдернутыхъ изъ земли въ моментъ боя, но военное счастье клонилось то въ одну, то въ другую сторону. Нынѣшнее весной побѣда безспорно осталась за горюновцами, которые на-голову разбили моихъ хозяевъ, принудивъ ихъ къ безпорядочному бѣгству съ поля сраженія. Именно на это дѣло Петръ Иванычъ и жаловался, выражая, впрочемъ, увѣренность, что на будущій годъ горюновцы ребрами поплатятся за свою временную удачу. Петра Иваныча бесполезно было увѣрять въ несправедливости всего этого.

Насчетъ справедливости онъ имѣлъ нѣсколько твердыхъ мыслей, но, признаться, ихъ было крайне мало, благодаря чему въ большей части жизненныхъ обстоятельствъ онъ руководился довольно рискованными соображеніями. Убить въ оврагѣ бродягу, надуть хитрымъ образомъ чиновника, подкупить землемѣра при раздѣлѣ между двумя деревнями, продать себя во время ярмарки на какое-нибудь темное дѣло—это едва-ли считалось съ его стороны принципиально двусмысленнымъ.

Большую долю вины за этотъ нравственный мракъ должны взять на себя мы, высшіе сибирскіе классы. Официальные представители цивилизаціи, культуры и правды, мы въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ вели себя такъ, какъ въ чуждой намъ странѣ. Мы не завели въ это время ни одной школы, не научили населеніе ни одной полезной вещи, не подвинули на полвершка его умственный кругозоръ. Мы брали съ деревенскаго жителя дани, проявивъ себя во всѣхъ случаяхъ продажными, устраивали то и дѣло засады для него и опутывали его цѣлою сѣтью лжи, спутывая всѣ его понятія (справедливости. Единственная наша заслуга—введеніе внѣшняго порядка, но и тотъ постоянно расплззался, какъ плохо большими штыгами сшитое платье.

Тѣмъ не менѣе, я не могъ не поражаться и косностью самой природы Петра Иваныча. Было въ немъ что-то тако стихійное, первобытное и роковое, что я часто не могъ выносить его возлѣ себя. Я удивлялся, какъ можетъ человѣкъ жить однѣми мыслями о наживѣ, одними экономическими соображеніями и рублевыми идеалами! Неужели въ его душѣ никогда не возникаетъ порывовъ, фантазій, увлеченій, не переводимыхъ на деньги? Этотъ здоровый, сильный человѣкъ никогда не увлекался и былъ, повидимому, совершенно безу

частень ко всему на свѣтѣ, за исключеніемъ ничтожной частички явленій, составлявшихъ всю его растительную жизнь.

Мнѣ иногда хотѣлось его чѣмъ-нибудь поразить или взволновать, но это мнѣ ни разу не удавалось; прошибить его можно было только деньгами. Приходя ко мнѣ пить чай или тагъ посидѣть, онъ обыкновенно сейчасъ же принимался развивать планъ какого-нибудь предпріятія, съ котораго можно получить хорошую выгоду.

Съ нимъ дѣлалось какъ-то холодно, тоскливо, пусто. Я по цѣлымъ часамъ не могъ придумать, что съ нимъ говорить.

Бѣдили мы съ нимъ нѣсколько разъ на ночевую, спали подъ открытымъ небомъ, около пылающаго костра, въ свѣтѣ котораго трепетали тѣни сосѣднихъ березъ, но ни разу онъ не вышелъ изъ себя, всегда одинаково разсудительный и разсчетливый. Однажды мнѣ пришло въ голову спросить его, слышалъ-ли онъ когда-нибудь хоть одну сказку. Мы сидѣли на берегу рѣки съ удочками; возлѣ насъ горѣлъ костеръ; вдали виднѣлся крутой берегъ противоположной стороны, поросшій густымъ кустарникомъ. Вода около насъ казалась багровою; таинственная тишина окружала насъ въ этомъ пустынномъ мѣстѣ. Казалось, болѣе подходящаго мѣста для разказовъ о темной старинѣ нельзя было и придумать.

— Ишь чего придумалъ! Сказку!... Да я ни одной и не слышалъ—какъ же я тебѣ разкажу?

— Неужели ни одной не знаешь?—спросилъ я.

— Да на кой песь знать-то мнѣ эти глупости?—проговорилъ задумчиво онъ.

— И въ дѣтствѣ никогда не слышалъ?

— Чорта-ли толку въ сказкахъ-то? Слышалъ отъ одного расейскаго посельщика, который по зимамъ у насъ жывалъ, да забылъ ужъ. Бывало, вретъ, вретъ онъ, даже смѣшно станетъ.

Спрашивалъ я у него, не знаетъ-ли онъ какого-нибудь разказа про старину, какого-нибудь преданія, даже суетерія, но онъ съ неудовольствіемъ выслушалъ меня и позрительно насупился.

— Говорятъ же что-нибудь про вашу деревню... Давно она основалась?

— А я почемъ знаю?... Стало быть, съ древнихъ временъ.

Дѣдушка говаривалъ, что какъ теперь есть, такъ и былъ все допрежь...

— Не слыхалъ-ли какихъ преданій, воспоминаній о вашихъ мѣстахъ? Вѣдь остались же какіе-нибудь слѣды отъ вашихъ дѣдовъ?

— Да чему остаться-то? Жили и померли, и нѣту ихъ..

Петръ Иванычъ принялъ положительно недовольный видъ

— Можетъ, пѣсни какія сложили въ вашей сторонѣ? — приставалъ я.

— Никакихъ пѣсней у насъ не складывали. Дѣвки вонъ поютъ — пѣсь съ ними! Баловался и я въ тѣ поры, когда меня еще за виски драли, а теперь нѣтъ ужъ, будетъ!

— Ни одной не знаешь?

— Да, можетъ, и знаю, да запомятовалъ.

— А ну, вспомни и спой,—попросилъ я. Но Петръ Иванычъ окончательно обидѣлся, думая, что я смѣюсь надъ нимъ

Онъ дѣйствительно не пѣлъ. Только разъ мнѣ удалось слышать нѣчто, напоминавшее пѣсню. Помню, Петръ Иванычъ куда-то ѣхалъ верхомъ и отъ времени до времени стегалъ лошадь недоуздкою; очевидно, онъ куда-то торопился и душа не говорила въ его пѣснѣ. Какія были слова — я не разобралъ, но за то мотивъ я не забуду. Это речитативъ доведенный до утилитарной простоты. Кто слышалъ этотъ сибирскій речитативъ, тотъ никогда не забудетъ его; онъ похожъ на ворчанье человѣка, которому недосугъ выводитъ голосомъ зигаги, на стукъ тяпки, которою рубятъ капусту на чтеніе дьячкомъ псалтиря передъ тѣломъ покойника. Я потомъ часто слышалъ эти прямые, какъ палки, звуки, — ими пѣлись искаженные русскія пѣсни, потому что своихъ пѣсень сибирякъ не сложилъ. На меня онѣ дѣйствовали особеннымъ образомъ: не вызывая ни тоски, ни радости, ни печали, ни хохота, онѣ только изумляли меня, словно я слушалъ какой-то новый звукъ въ природѣ.

Скоро въ деревнѣ завелось у меня много знакомыхъ, пріятелей и „дружковъ“, и я понялъ, что Петръ Иванычъ былъ только крайнее выраженіе всѣхъ ихъ. Свои общія впечатлѣнія я скажу въ другомъ мѣстѣ, а пока только замѣчу, что въ деревнѣ я не нашелъ того, что искалъ. Прошли вѣка съ тѣхъ поръ, какъ поселился здѣсь русскій человѣкъ, но въ новой странѣ лучи знанія не озарили его темный умъ. Онъ

ничего не создалъ, но лишь многое утратилъ. Мысли его спали непробудно. Поколѣнія смѣнялись поколѣніями, подобно листьямъ, но жизнь неизмѣнно шла по одному шаблону. Быть можетъ, современемъ нетронутыя ничѣмъ силы мужика сдѣлаются неиссякаемымъ источникомъ мысли и энергіи, а пока пусть онъ спитъ, ничего не зная, ни о чемъ не спрашивая. Жаль только вѣковъ, бесполезно пропавшихъ въ темнотѣ прошлаго...

Что въ особенности поражало меня въ Петрѣ Ивановичѣ— это полное отсутствіе любознательности, даже любопытства. Никогда, болтая со мной, онъ не спрашивалъ о чемъ-нибудь новомъ для него, ничѣмъ не интересовался. Когда я пробовалъ рассказывать ему что-нибудь незнакомое, онъ только зѣвалъ. При этомъ выраженіе его дѣлалось равнодушнымъ.

Разъ мы разговаривали съ нимъ о братѣ его, который служилъ въ солдатахъ. Петръ Ивановичъ боялся его прихода и откровенно придумывалъ, какъ бы отдѣлаться отъ него, если онъ притащится и потребуетъ выдѣла имущества.

— А, должно, не скоро онъ придѣтъ, потому онъ у самаго Чернаго моря,—говорилъ мнѣ Петръ Ивановичъ.

— Въ какомъ же онъ городѣ?—спросилъ я.

— Городъ-то я не помню ужъ, а только знаю, что у самаго Чернаго моря, подъ Ташкентомъ.

— Развѣ Ташкентъ у Чернаго моря?

— А то гдѣ же? У самаго моря и стоитъ,—упрямо возражалъ Петръ Ивановичъ.

— Увѣряю тебя, что отъ Ташкента до Чернаго моря нѣсколько тысячъ верстъ.

— Чай, Черное-то море сполитично къ Ташкенту!—возражалъ Петръ Ивановичъ, причемъ лицо его приняло безсмысленное выраженіе, какъ у человѣка, который сболтнулъ что-то для самого себя непонятное.

— То-есть, какъ это „сполитично“?—освѣдомился я.

— Да что ты пристаешь со своимъ съ Ташкентомъ? Больно мнѣ нужно разбирать Ташкенты-то эти!

Я ждалъ, что Петръ Ивановичъ что-нибудь спроситъ у меня, но онъ всталъ и ушелъ отъ меня, раздосадованный.

Всего жилъ я у него мѣсяца два, а потомъ перешелъ къ

другому крестьянину. Но Петръ Ивановичъ заходилъ нерѣдко и туда ко мнѣ; когда же я совсѣмъ перебрался въ городъ, то на нѣкоторое время потерялъ его изъ виду.

Только уже въ серединѣ зимы про него прошелъ слухъ. Знакомые крестьяне изъ той деревни рассказывали мнѣ, что къ Петру Ивановичу пришелъ-таки солдатъ, котораго онъ такъ боялся. Между ними тотчасъ же возникли ссоры, перемежающіяся болѣе или менѣе сильными драками; солдатъ требовалъ части имущества, а Петръ Ивановичъ оттягивалъ раздѣлъ. Еще разъ я и самого его увидалъ.

Пришелъ онъ ко мнѣ, какъ къ старому пріятелю, затѣвъ, чтобы я написалъ ему на брата прошеніе въ губернское правленіе о лишеніи его наслѣдства; этимъ способомъ онъ надѣялся совсѣмъ искоренить брата.

— Ты мнѣ напиши просьбу въ губернское правленіе, чтобы солдата прекратить,—говорилъ мнѣ Петръ Ивановичъ, рѣшительно диктуя текстъ прошенія.—Покойный нашъ родитель, царство ему небесное, при смертномъ часѣ проклялъ этого солдата и ничего изъ имущества ему не благословилъ... У меня свидѣтели есть, всѣ знаютъ, что родитель лишилъ солдата доли, потому и въ тѣ поры онъ былъ супротивникомъ и пьяницей,—болжно обижалъ родителя! Вотъ ты такъ и напиши: молю, пьяница, котораго родитель проклялъ и приказалъ ничего ему не давать, потому много онъ нашего добра распустилъ... Пиши: молю, свидѣтели есть, какъ родитель лишилъ его благословенія, а духовное завѣщаніе не успѣлъ сдѣлать.

— Извини, я прошенія не стану писать,—сказалъ я сухо.

— Отчего?—удивился Петръ Ивановичъ.

— Да, признаюсь, ты поступаешь нехорошо. Какъ жъ тебѣ не стыдно родного брата гнать?

— Солдата-то? Да вѣдь онъ въ разоръ меня разоритъ! Ну, и притомъ же проклялъ родитель...

— Какъ хочешь, но писать просьбы я тебѣ не стану. Да и бесполезно. Никто не повѣритъ тому, что ты рассказываешь.

— Неужели никто?—живо спросилъ Петръ Ивановичъ.

— Конечно, никто не повѣритъ. Лучше брось все и въ дѣли брата.

Петръ Иванычъ задумался.

Съ тою же задумчивостью онъ уѣхалъ отъ меня. А вскорѣ я услышалъ уже финалъ. Въ одинъ праздничный день между солдатомъ и Петромъ Иванычемъ произошла драка, во время которой Петръ Иванычъ проломилъ солдату голову насквозь. Солдата еле-живого привезли въ городскую больницу, гдѣ онъ нѣсколько мѣсяцевъ хворалъ. Тѣмъ временемъ Петра Иваныча посадили въ тюрьму, но онъ отъ суда откупился, продавъ чуть не весь домъ свой на подарки. Съ тѣхъ поръ я совсѣмъ потерялъ его изъ виду.

Снизу вверхъ.

(Исторія одного рабочаго).

I.

Молодежь въ Ямѣ.

На дворѣ у Луниныхъ происходили нападеніе и оборона. Это была просто семейная непріятность. Нападалъ, имѣя нѣсколько грустный видъ, отецъ Лунинъ. Оборонялся, сверкая глазами, какъ волченокъ, припертый въ уголъ, сынъ его Михайло. Дѣдушка сидѣлъ на порогѣ сѣнной двери и бросалъ на обоихъ дѣйствующихъ лицъ взгляды, полные негодованія. Отецъ держалъ въ рукахъ обрывокъ веревки, который долженствовалъ служить орудіемъ наказанія, и говорилъ

— Мишка, лучше сдайся! Все одно, ухвачу же я тебя за волосы...

— Не касайся. За что ты меня хочешь бить? Не подходи! — говорилъ сынъ. Онъ стоялъ въ углу двора и держалъ обѣими руками колесо. Собственно у него не было намѣренія именно колесомъ пустить въ отца; онъ поднялъ его, какъ первую попавшуюся оборону, и держалъ для всякаго случая. Наружность его показывала, что онъ дѣйствительно не дастся. Лицо его поблѣднѣло. На немъ не отражалось ни тѣни страха, но дикость; глаза мрачно блестя.

— Мишка, не дури! Я тебя чуть-чуть только поучу! Ей-ей, парень, худо будетъ, ежели не покорись ты отцу родному! Схвачу вотъ за виски...

— Не схватишь. Не подходи! — возражалъ сынъ, угрожая колесомъ.

— Мишка! да ты что это, песь, вздумалъ? Говори, отецъ я тебя или нѣтъ?

— Что-жь, что отецъ?... Безъ дѣла не дамся... Не подходи! Не касайся!

— Да ты только дайся, небось! Я только разадва по спинѣ,— не то грозилъ, не то упрашивалъ отецъ, ругаясь довольно вяло.

— Не дамся.

— Это отцу-то ты говоришь? Ну, ладно, погоди, дай срокъ, ухвачу я тебя.

Сынъ только еще больше озлился, не сводя глазъ съ отца и готовый во всякую минуту обороняться съ отчаяніемъ.

Дѣдъ не вмѣшивался. Онъ молчалъ. Только голая голова тряслась, какъ осиновый листъ, да нѣсколько безсвязныхъ словъ срывалось изъ его беззубаго рта.

— Мишка!—продолжалъ, между тѣмъ, отецъ,—покорись, шельмецъ, брось колесо!

— Что ты пристаешь? Скажи, за что ты на меня накинулъ?—спросилъ сынъ, едва переводя духъ отъ волненія.

— А не лайся—вотъ за что. Я тебѣ слово, а ты десять. Развѣ такъ можно съ отцомъ разговаривать?

— Что-жь, развѣ я не правду сказалъ? Хорошій хозяинъ овцу со двора не понесетъ... и сейчасъ это скажу!

— Да развѣ я въ кабакъ овцу-то стащилъ? Что ты лаешь?—закричалъ отецъ, снова разгорячаясь такъ, какъ въ то время, когда ссора только-что началась.

— Миѣ нечего лаять. Я говорю правду. Хорошій хозяинъ овцу со двора не понесетъ,—упрямо твердилъ сынъ.

— Ахъ, ты, пустая голова! Да развѣ я овцу-то пропилъ?—кричалъ отецъ и бросилъ въ сторону веревку. Вслѣдъ за нимъ и сынъ оставилъ колесо, и они начали горячо спорить, забывъ, что сію минуту стояли въ угрожающихъ позиціяхъ.—Вѣдь надо же было отдать хоть малость сборщику, заткнуть ему ротъ!

— А ты посуди самъ: овца безъ малаго стоитъ четыре рубля, а ты провалилъ ее Трешникову за рубль...

— За рубль... какъ же миѣ сдѣлать, коли лѣзутъ съ номомъ къ горлу?

— Подождаль бы. Не очень я испугался бы.

— То-то что не ждешь! Ужь я кланялся..

— И кланяться не зачѣмъ. Не отдагъ бы—и все.

— Погляжу я, какой ты дуракъ. Меня бы сборщикъ поведъ подь сѣкуцію, ежели бы я не сунулъ...

— Да, конечно, ежели самъ дашься на сѣкуцію, такъ и отхлестаютъ. А ты взялъ бы, да не давался.

— Фу, ты, Воже мой, глупая голова! Какъ же ты и дашься?

— Я бы убегъ!—сказалъ сынъ рѣшительно.

Отецъ развелъ руками и расхохотался.

— А, да песь съ нимъ! Развѣ съ такимъ дуракомъ можно говорить?—сказалъ онъ, обращаясь къ дѣдушкѣ, и пошелъ со двора.

Этимъ всегда кончались споры отца и сына. Первый каждый разъ бросалъ разговоръ и умолкалъ, увѣряя, что Мишку нельзя переспорить. Отецъ Дунинъ какъ бы признавалъ свое безсиліе передъ сыномъ, который во всякую минуту выглядѣлъ колючею травой, тогда какъ его самого жизнь сильно трогала, такъ много трогала, что въ немъ, кажется, мѣста живого не осталось.

Только-что описанная сцена происходила въ то время, когда отцу было слишкомъ сорокъ лѣтъ, а сыну безъ малаго шестнадцать. Когда споръ окончательно былъ забытъ, отецъ пошелъ выпить. Грустно какъ-то ему стало отъ упрековъ сына. Вспомнилъ онъ много нехорошаго и печаленъ показался ему этотъ день.

Но въ это же самое время сынъ принялся работать за троихъ, какъ бы желая загладить чѣмъ-нибудь грубость свою передъ отцомъ. Онъ скидалъ на повѣтъ возъ соломы, перетаскилъ на другое мѣсто двадцатипудовую колоду, вычистилъ въ хлѣвѣ навозъ, и когда отецъ пришелъ обѣдать, сынъ сѣлъ за столъ, мокрый отъ пота; видно было, что онъ усталъ.

Съ тѣхъ поръ много воды утекло. Несмотря на кажущуюся тишину и досадную медленность деревенскаго прозябанія, жизнь идетъ все-таки впередъ, съ тою же неумолимостью, какъ растеть трава или дерево, незамѣтно поднимаясь вверхъ. Кажется, тише деревеньки Ямы трудно и отыскать. Поистинѣ это была „яма“, со всѣхъ сторонъ закрытая какими-то пригорками, оврагъ, лишенный воздуха и свѣта; не было въ ней ни торговыхъ, ни промышленныхъ заведеній; отъ

ближайшаго города она стояла слишкомъ на двѣсти верстъ; подѣ нея не пролегалъ никакой трактъ, и она, повидимому, была забыта и Богомъ, и людьми. Но, существуя на свой страхъ, Яма все-таки думала же о чемъ-нибудь? Это неизвестно. Вѣрно только то, что она измѣнилась и не была уже тѣмъ, чѣмъ была пять лѣтъ назадъ. Новыя обстоятельства—новые нравы.

Эти новыя обстоятельства всего болѣе отразились на поколѣнѣмъ поколѣннѣ, не знавшемъ крѣпостного права, между прочимъ, и на Михайлѣ. Воспитаніе онъ получилъ особенное.

Какъ всякаго деревенскаго мальчика, воспитывали Мишку не люди, не родители и учителя, а природа и обстоятельства. Степь, лѣсъ, прудъ, дождь, снѣгъ, лошадь, корова—таковы были неизбѣжные учителя и воспитатели Мишки. Въ этомъ смыслѣ жизнь мальчика не отличалась отъ другихъ ребяческихъ жизней. Если ребенокъ, лучше сказать, „пострѣлъ“, не утветъ въ пруду, не будетъ ушибленъ лошадью, не замерзнетъ въ бурянь, то останется жить. Нѣкоторыя изъ этихъ несчастій съ Мишкой случались. Разъ его ударилъ въ грудь, подѣ сердце, поповскій козелъ, отъ чего Мишка упалъ безъ чувствъ; въ другой разъ онъ слетѣлъ съ воза съѣна подѣ колесо, а еще разъ его лягнула рыжка въ затылокъ. Но Мишка остался живъ.

Но если воспитаніе природы шло обычнымъ порядкомъ, то обстоятельства, дѣйствовавшія на Мишку, не были тождественны съ обстоятельствами другихъ временъ и иныхъ людскихъ отношеній. Не очень счастливо было дѣтство Мишки. Съ самаго ранняго возраста онъ долженъ былъ видѣть и слышать много неправды, а еще больше непонятнаго.

Первое непонятное обстоятельство состояло въ томъ, что, несмотря на аппетитъ Мишки, ему мало давали ѣсть. Это ему ужасно не нравилось; онъ готовъ былъ цѣлый день бѣгать съ кускомъ, а мать отказывала. Мало того, хлѣбъ, въ сущности, былъ въ семействѣ Луниныхъ только въ продолженіе полугода; остальную часть года ѣли какую-то выдумку, которую Мишка терпѣть не могъ. Онъ не иначе называлъ этотъ хлѣбъ, какъ „штукой“, и питалъ къ нему отвращеніе.

— Дай-ка, мама, мнѣ штуки! — говорилъ онъ, показывая на хлѣбъ, когда бывалъ голоденъ.

Онъ не могъ любить этого, но не понималъ, почему ей плохо кормить. И бить больно, въ особенности мать, под руку которой онъ постоянно подвертывался. Не видалъ он ласки отъ матери; ей, вѣроятно, самой приходилось худ. Никогда она не засмѣется. Черты ея лица всегда несчастныя и скорѣе жалкія. Жалкое горе, горе изъ-за горшков изъ-за ковшов муки такъ исказило женщину, что она къ дѣтямъ относилась равнодушно. „Хоть бы вы подошли!“ Е такъ какъ Мишка и тогда уже отличался неуступчивостію то равнодушіе матери переходило часто въ жалкую несправедливостъ къ нему. Для него это была злая-презлая женщина. То и дѣло въ голову ему попадала скалка, а не скака, такъ вѣникъ. Не любилъ онъ мать; въ сердцѣ его и тогда уже воцарился холодъ. Въ послѣдствіи онъ понялъ, что мать виновата,—ея собственная жизнь не ласкала ее,—но слѣдующаго не воротитъ. Мишка не видалъ ласкъ, и сердце замерло.

И во всемъ этомъ виновата была, пожалуй, „штука“.

Продолжалась она не мѣсяцъ и не годъ, а какъ Мишка только-что началъ помнить себя. Это не была случайностъ изъ ряда вонъ выходящее явленіе, а обстоятельство неразлучное съ нимъ. На глазахъ его случилось только одно и обыкновенное явленіе, поразившее его ужасомъ и мало понятное ему. Тогда ему было четыре года.

Съ ранняго утра того дня въ Ямѣ происходило необыкновенное движеніе, говоръ, кое-гдѣ бабій плачь. Всѣ собрались на площади возлѣ часовни, не исключая бабъ, дѣвокъ и малыхъ даже грудныхъ ребятъ. И Мишка, конечно, присутствовалъ близко прижимаясь къ подолу матери. Мужики жарко о чемъ то разговаривали; старики, мрачно потупившись въ землю молчаливо чего-то ждали. На крышѣ одной избы стоялъ паренъ и смотрѣлъ въ разныя стороны, куда только направлялись дороги. Большинство съ напряженіемъ слѣдило за этимъ парнемъ. Вдругъ онъ благимъ голосомъ заоралъ: „Идутъ!“ и упалъ съ крыши. Мишкѣ такъ сдѣлалось страшно, что онъ готовъ былъ убѣжать куда-нибудь, но скоро любопытство его остановило. На бугрѣ, стоявшемъ за деревней, показали солдаты. Впереди ѣхалъ верхомъ начальникъ. Мишка въ особенности его испугался. Когда солдаты спустились въ оврагъ и расположились на другой сторонѣ площади, поднялся

ой шумъ, что хоть уши затыкай. Начальникъ долго говорить что-то мужикамъ. Чаще всего онъ спрашивалъ: „Ну, что, огласны?“—А мужики отвѣчали: „Согласія нашего нѣтъ“. Начальникъ сердился. „Ну, не одобровать вамъ, каналы!“—Ребята! — кричалъ Мишкинъ дѣдушка, — будемъ помирать! Господи благослови! Ложись на землю!“ Начальникъ отъѣхалъ къ солдатамъ; началась „эксекуція“. Мужики пали на колѣна. Бабы съ ребятами побѣжали. Мишка какъ то потерялъ въ суматохѣ и самъ, на свой страхъ, задалъ стрелкача. Тотъ прилетѣлъ къ себѣ на зады и скоронился въ сѣно, гдѣ оставался до вечера.

Впрочемъ, когда солдатъ размѣстили по избамъ и все ушло въ деревнѣ, Мишка вылѣзъ изъ своего убѣжища и увидѣлъ, что въ ихъ избѣ также сидитъ солдатъ. Солдаты жили въ деревнѣ съ мѣсяцъ, въ продолженіе котораго Мишка не только пересталъ бояться Филатыча, какъ звали этого солдата, но близко сошелся съ нимъ. Солдатъ былъ смирный. Только онъ много ѣлъ, — такъ много, что даже жадный Мишка удивлялся. Для Филатыча ничего не стоило выхлебать котелъ щей, съѣсть чугунокъ каши, проглотить въ самое короткое время каравай хлѣба. Но это былъ добродушный, добротный человекъ. Своимъ хозяевамъ онъ таскалъ на комыслѣ воду, рубилъ дрова, задавалъ корму скоту, а Мишкѣ редкѣ уходомъ изъ деревни сдѣлалъ деревянную свистульку. Послѣ этого воспитательное дѣйствіе на Мишку имѣло другое обстоятельство. Самъ Мишка на себѣ испыталъ его. Оно казалось его родныхъ, знакомыхъ и въ особенности отца. Но впечатлѣніе было сильное, глубокое. Одинъ разъ, играя съ другими ребятами на улицѣ противъ сборной избы, гдѣ собирались мужики и куда прѣзжало начальство, какъ это случилось и въ этотъ день, Мишка вдругъ услышалъ ревъ, разившійся со двора этой избы. Онъ захотѣлъ полюбопытствовать и вздумалъ-было съ пріятелями проникнуть во дворъ, полный народа. Но въ самыхъ воротахъ ему дали хорошій изатыльникъ, послѣ котораго онъ убѣдился, что лучше его посмотрѣлъ сквозь плетень. Онъ живо проковырялъ дыру въ плетнѣ и посмотрѣлъ... Посреди двора лежалъ вражеску какой-то мужикъ, котораго держали за голову и за ноги. Но Мишка скоро широко раскрылъ глаза, и сердце его стучало. На мужикѣ надѣтъ былъ желтый чапанъ, а на спинѣ

чапана сидѣла треугольная заплата, такая же самая, какъ у его отца. Онъ хотѣлъ крикнуть: „батька!“ — но голосъ у него пропалъ. Глаза его были устремлены въ одну точку, все члены замерли. Но, чтобы не заревѣть, онъ впился зубами въ руку и закусилъ ее до тѣхъ поръ, пока отецъ не поднялся. Тогда Мишка со всѣхъ ногъ бросился бѣжать, оставивъ игру. „Мишка, Мишка! куда ты?“ — кричали товарищи, но онъ, въ переводя духу, улепетывалъ.

Во весь этотъ день онъ боялся поднять глаза на отца. Ему казалось, что отцу стыдно, какъ было стыдно ему. Къ удивленію его, отецъ — ничего... Вечеромъ выпилъ сорокоушк и съ непонятнымъ для Мишки благодушіемъ рассказывалъ какъ давеча его „отчехвостили“. Онъ не показывалъ ни злобы, ни горечи. Этого Мишка никогда не могъ въ толкъ взять. Онъ въ эти дни съ ребяческимъ любопытствомъ наблюдалъ за отцомъ, но всякій разъ, видя его благодушное чувствовавшее пренебреженіе къ нему. Въ его еще нетвердую душу прокрадывалось уже недовѣріе.

— Послушай, батька, неужели тебѣ не совѣстно? — спрашивалъ однажды Мишка отца, котораго только-что „отчехвостили“.

Отецъ сконфузился.

— Ничего, братъ Мишка, не подѣлаешь... И радъ бы, но никакъ невозможно! — возразилъ отецъ въ замѣшательствѣ.

Никогда больше Мишка не предлагалъ отцу вопросовъ. Онъ сталъ уходить въ себя. Онъ мечталъ и думалъ одинъ безъ всякой помощи со стороны отца, недовѣріе къ которому быстрыми шагами шло дальше. Мишка уже въ малолѣтствѣ инстинктивно старался поступать обратно тому, какъ поступалъ отецъ. Это былъ явный признакъ. разрыва сына и отцомъ.

Время шло. Мишка росъ. Семейныя неурядицы рано поставили его въ ряды самостоятельныхъ работниковъ. Семнадцати лѣтъ Мишка сталъ во главѣ управленія домомъ. Отецъ каждый годъ уходилъ на заработки, пропадая изъ дому иногда по девяти мѣсяцевъ. Дѣдушка былъ слабъ. А больше семействъ и мужиковъ не было. Старшій братъ его навсегда ушелъ изъ деревни, окончательно развелся съ отцомъ и жилъ при какомъ-то пивоваренномъ заводѣ. Такимъ образомъ Мишка почти круглый годъ оставался въ домѣ хозяиномъ.

невольно раздумывался о томъ, что видѣлъ. Невольно приютили ему на умъ самыя неожиданныя сравненія. Воля и... утѣхостили! Свободное землепашество и... „штука“!

Онъ дѣлался угрюмымъ.

Что касается собственно „штуки“, то она отразилась на молодомъ Лунинѣ съ явною рѣзкостью. Это подтвердилось въ рекрутскомъ присутствіи, куда его привезли, чтобы забрить лобъ. Старшій сынъ ушелъ годами отъ воинской повинности и солдатская доля пала на Михайлу. Родители плакали, провожая его. Отецъ былъ такъ мраченъ и въ то же время такъ ласковъ, какъ никогда. Но самъ Михайло не плакалъ. Его обычная угрюмость нисколько не измѣнилась. Кажется, онъ думалъ, что все равно—въ солдатахъ или мужикахъ жить. Мать и отецъ, дѣдушка и сестры не услышали отъ него ни одного слова сожалѣнія о потерѣ крестьянской свободы, которую, вѣроятно, онъ не признавалъ существующею. Онъ только сдѣлался за эти дни злой. Холодно онъ простился съ родными, механически снялъ шапку и перекрестился, когда они съ отцомъ выѣзжали за околицу Ямы. Въ концѣ-концовъ, оказалось, что Михайло въ солдаты не годился. Раздѣтый въ рекрутскомъ присутствіи, онъ обнаружилъ всю свою физическую несостоятельность. Смѣрили его ростъ—малъ; измѣряли и выслушали грудь—плоха и узка. Ноги оказались выгнутыми снаружи. Позвоночный столбъ кривой. Брюхо большое. Малокровіе. Въ другое время его взяли бы въ солдаты затѣмъ, чтобы варить крупу или садить капусту въ гарнизонномъ огородѣ. Но докторъ, дѣлавшій осмотръ, рѣшительно воспротивился, высказавъ мнѣніе, что такого бутуза лучше оставить въ покоѣ. Во всей его фигурѣ въ исправности были только лицо, холодное, но выразительное, и глаза, сверкающіе, но темные, какъ загадка.

Отецъ Лунинъ обезумѣлъ отъ радости, узнавъ, что его Мишка—уродъ. Во-первыхъ, съ радости онъ напился до того, что потерялъ шапку; во-вторыхъ, цѣлый день лѣзъ къ сыну къловаться; въ-третьихъ, предложилъ ему жениться, назвавъ имена сватовъ. Михайло, въ отвѣтъ на это, положилъ отца воперекъ саней и повѣхалъ домой.

Сколько было непріятностей въ семьѣ изъ-за одной этой женитьбы! Избавившись отъ солдатчины, Михайло, однако,

мѣлъ свое мнѣніе о женитьбѣ, что сильно раздражало отца. Онъ безпрестанно твердилъ сыну о женитьбѣ.

— Ужь это мое дѣло!—возражалъ сынъ.

— Какъ твое? А отца-то позабылъ?—волновался отецъ.

— Не забылъ, а говорю: не суйся въ чужое дѣло.

— Какъ въ чужое? Возьму вотъ я хорошую палку, и начну тебя жарить!...

Послѣ этого между отцомъ и сыномъ обыкновенно происходила распря, никогда не прекращавшаяся. Отецъ доказывалъ, что онъ имѣетъ право учить своего сына, а сынъ опровергалъ.

— Не вижу я проку въ твоёмъ ученьи... Ты напередъ скажи, учили-ли тебя-то?—глухо замѣчалъ сынъ.

— Меня... учили!—волновался отецъ.

— Палкой-то?

— Палкой-ли, чѣмъ-ли, а учили. Ужь это, братъ, сдѣлаи милость, безъ ученья насъ не оставляли.

— Да какой-же прокъ отъ этого?—насмѣшливо спрашивалъ Михайло.

— Прокъ? А вотъ какой прокъ: Б-боже тебя сохрани, бывало, сказать супротивное слово отцу! Бывало, дѣдушка-то твой привяжетъ меня къ столбу, да и дереть. И баловства этого духу у насъ не было!

— Слыхалъ я это. Да какой же тебѣ-то прокъ въ битѣ?

-- Не баловался—больше ничего!

— Ну, мало же объ васъ оббили дубья! Надо бы больше,—говорилъ сынъ, злобно смѣясь.

— Мишка! лучше замолчи, не гнѣви меня! Ей-ей, схвачу тебя за волосы!...

И такъ далѣе. Отецъ грозилъ, Михайло пренебрежительно отворачивался. Но когда дѣло заходило далеко, онъ вспыхивалъ, какъ порохъ, обнаруживая страшную свирѣпость.

— Развѣ я не правду говорю?—спрашивалъ онъ, какъ бы готовясь запустить въ отца смертельную стрѣлу, которая ранитъ того и заставитъ заревѣть отъ боли.—Развѣ не правда? Ну, скажи на милость, хороша-ли твоя участь? Ладно-ли живешь ты? А вѣдь, кажись, дубья-то получилъ въ полномъ размѣрѣ!...

— Что же, хрестянинъ я настоящій... Слава Богу, чест

ный крестьянинъ! — говорилъ отецъ, едва сдерживая себя отъ боли.

— Какой ты крестьянинъ? Всю жизнь шатаешься по чужимъ странамъ, бросилъ домъ, пашню... Ни лошади путной, ни кола! Въ томъ только ты и крестьянинъ, что боками здоровъ отдуваться... Пойдешь на заработки — ногу тебѣ тамъ переломать, а придешь домой — тутъ тебя высѣкутъ!...

— Не говори такъ, Мишка! — съ страшною тоскою огрызнулся отецъ.

— Развѣ не правда? Барщина кончилась, а тебя все лупить!

— Мишка, оставь!

Но Михайло злобствовалъ до конца.

— Да есть-ли въ тебѣ хоть единое живое мѣсто? Неужели ты не думаешь учить эдакъ же маяться? Не хочу!

— Живи, какъ знаешь, Богъ съ тобой! — стоналъ отецъ. Тогда Михайлѣ дѣлалось жалко отца, — такъ жалко, что и сказать нельзя.

Такого рода разговоры происходили безпрестанно, всегда оканчиваясь тѣмъ, что отецъ Лунинъ опускалъ голову все ниже и ниже, сознавая, съ одной стороны, свое слабосиліе, а съ другой — пораженный испонятымъ озлобленіемъ сына. Отецъ Лунинъ на самомъ дѣлѣ не имѣлъ прочной точки опоры, не имѣлъ настоящаго дома и настоящей цѣли, жилъ изо дня въ день, добывая хлѣбъ на сегодня и не зная, будетъ-ли онъ у него завтра; жилъ безучастно, равнодушный ко всему на свѣтѣ, кромѣ обыденныхъ потребностей. Собственно онъ не жилъ, а маялся себя. Рѣдкій годъ онъ возвращался съ заработковъ цѣлымъ и невредимымъ. У него была цѣлая масса приключеній, всегда оканчивавшихся тѣмъ, что это были. Однажды на желѣзной дорогѣ ему переломили ногу, и хотя онъ ее починилъ, но остался хромымъ. Въ другой разъ, подъ новостроющимся домомъ, съ высоты десяти сажень на него упали два-три кирпича, отчего онъ потомъ никогда уже не разгибался. Всякія происшествія непременно жилились на его бока. И когда онъ возвращался домой въ Ялу, его или сажали въ холодную, или сѣкли. Чтобы найти какую-нибудь одну опредѣленную черту Лунина, можно сказать, что по жизни это былъ поломанный человѣкъ, а по характеру — межеумокъ. И поразительная его честность, и

несомнѣнный умъ, и способность безъ усталы работать,— все это было развѣяно прахомъ.

Надъ нимъ смѣялись съ двухъ сторонъ: сынъ Мишка и дѣдушка. Дѣдушка называлъ его дурнеемъ, безпутнымъ человекомъ и ветошкой. Постоянная нужда въ семьѣ еще болѣе вооружила старика, свалившаго всю вину на „ветошку“. Дѣдушка обыкновенно лежалъ на печкѣ или на завалинкѣ, если было лѣто и солнце припекало, и когда узнавалъ какой-нибудь новой бѣдѣ, страшейся надъ сыномъ, то злобно плевался. Тьфу, тьфу! Выражать инымъ образомъ свои критическія мысли онъ уже не могъ. Старикъ давно потерялъ счетъ своимъ лѣтамъ, живя въ безконечномъ пространствѣ. Голова его была голая и походила на дыню, руки тряслись, ротъ уже не закрывался. Глаза постоянно дремали, ниче не видя. Кажется, все въ этомъ существѣ вымерло: мысли, воспоминанія, чувства и сознаніе, кромѣ ощущенія печн или солнца, которыя давали ему теплоту. Но въ этомъ полуживомъ человѣкѣ остались какія-то безсвязныя воспоминанія и всего болѣе раздраженіе, злоба противъ нехорошей жизни, въ которой все было для него глупо, безпутно, противъ сына, въ которомъ онъ видѣлъ воплощеніе всякой бѣды.

Въ избѣ Луиныхъ жило три поколѣнія, положительно не понимавшихъ другъ друга.

Иногда Михайло дразнилъ дѣдушку.

— Дѣдушка!—кричалъ онъ что есть мочи. — Что ты въ сердишься?

Дѣдушка начиналъ трясти своею дыней, приходя въ раздраженіе.

— На кого ты сердишься, дѣдушка?—продолжалъ Михайло.

— Уйди! Всѣ вы—поганцы!

— За что такъ, дѣдушка?

Старикъ собирался съ мыслями, что-то шепталъ.

— За все. Умѣй жить... Поганцы!

— Какъ же жить, дѣдушка? — коварно спрашивалъ Михайло.

— По-божецки!—отвѣчалъ старикъ гнѣвно.

— Не понимаю... Расскажи, какъ у васъ жить?

Старикъ припоминалъ. Дыня его тряслась. Лицо дѣлалось энергичнымъ и гнѣвнымъ.

— Скажи, дѣдушка, какъ это по-божецки?

— У насъ поганцевъ не было! У насъ коли ты родился, такъ держись, стой, крѣпись!—говорилъ старикъ, мало-помалу воодушевляясь и подогрѣвая себя собственными словами.

— А какъ же насчетъ притѣсненія у васъ было?

— У насъ былъ согласъ... Коли, бывало, притѣсненіе — ложись. Стой, крѣпись! Грудью выноси!

— Стало быть, были же притѣсненія-то,—коварствовалъ Михайло.

— Мы не стали бы плакать по-бабьи. Стой грудью!... А если снѣтъ нѣтъ терпѣть — помирали. Эй, ребята, ложись, помирай!

— Что же, всѣ помирали, которые ложились?

— Поганцевъ у насъ не было. У насъ дружба... Который слабосильный мужиченко, и тотъ не вылъ по-бабьи... У насъ, бывало...—путался старикъ, припоминая старыя времена и не подозрѣвая насмѣшки внука.

— А можетъ вы только ложились, а не помирали?

Дѣдушка всматривался во внука и затѣмъ раздражался ласками. Если въ его рукахъ находился батоги, онъ яростно стучалъ имъ.

Нечего и говорить, что Михайло не серьезно заводилъ бесѣды съ дѣдомъ. Дѣдушку, дожившаго до потери сознанія времени, онъ очень уважалъ, но чтобы учиться у него — то внуку и въ голову не приходило. Иногда старикъ, насупивъ молчаніемъ, принимался безсвязно, какъ ребенокъ, рассказывать о старинныхъ временахъ, безъ всякой мѣры вставая тогдашними людьми, но Михайло слушалъ этотъ наборъ чудесъ, какъ сказку. Онъ понималъ только, что тогда было одно мученье. Тогдашнимъ людямъ дѣйствительно ничего не оставалось дѣлать больше, какъ молчать: стой! крѣпись! А когда притѣсненіе выходило за границы человѣческаго терпѣнія, надо было ложиться и помирать, ибо это былъ единственный исходъ. Страданіе до того было непрерывно, что каждый старался выработать въ себѣ непрерывное терпѣніе. Въ концѣ-концовъ, страданіе стало въ одно и то же время средствомъ и апатезомъ существованія.

Молодой Лунинъ не желалъ ни быть битымъ зря, подобно отцу, ни ложиться и помирать, подобно дѣду. Онъ съ теченіемъ

ніемъ времени совсѣмъ отбился отъ рукъ. Хозяйничая одну каждую зиму, онъ рѣшительно никого не спрашивался. него были свои дѣла, пристрастія и друзья. Изъ семьи нѣмъ не зналъ, что онъ будетъ дѣлать завтра.

Одно изъ его пристрастій обитало въ худой избенкѣ, виду похожей на баню, гдѣ, однако, жили двѣ женщины: старуха Марѳа съ дочерью Пашей. Самъ Михайло никогда не выражалъ словами своего пристрастія къ этой избенкѣ и не показывалъ виду, что имѣетъ нѣкоторыя намѣренія на дочь Марѳы. Объясненіе его состояло лишь въ томъ, что раза два въ недѣлю онъ забѣгалъ мимоходомъ въ избенку и освѣдомлялся, не надо ли что сдѣлать по хозяйству? И большей части, надо было наколоть дровъ, напоить корову, которая была, если не считать избенки, единственнымъ имуществомъ двухъ сиротъ, задать ей корму, что-нибудь починить. Михайло сдѣлаетъ все это, вспотѣетъ и уйдетъ. И однимъ намекомъ кому бы то ни было не выразилъ онъ ни намѣренія жениться.

По воскресеньямъ онъ иногда покупалъ осьмушку чая какого-то рыжаго сахару и относилъ къ Пашѣ, которая поила чаемъ свою больную старуху. Вотъ всѣ подарки, которые онъ дѣлалъ Пашѣ. Всякій другой гостинецъ онъ считалъ какъ бы обидой для нея. Какъ ни были бѣдны женщины, кормились на свой счетъ. Собственно работала одна дочь потому что старуху зиму и лѣто душилъ кашель. Паша была деревенская швея. Она тачала рубахи, порты, поддевы, женскія платья и т. д. И нигдѣ не свѣтился такъ упорный огонекъ, какъ въ ея избушкѣ. Пока она была еще здорова, вѣчное сидѣнье не изнуряло ее. Напротивъ, она желала больше тачать и питала мечту когда-нибудь купить такую же машину, какую ей довелось видѣть у попадѣи смежнаго села. Объ этомъ узналъ Михайло.

Годъ онъ ломалъ голову надъ тѣмъ, какъ бы достать и негъ на машину. Самая плохонькая, по его справкамъ, машинка стоитъ двадцать пять рублей... даже выговорить трудно! Но Михайло былъ фанатикъ, онъ озлился и принялся сколачивать деньги. И черезъ годъ сколотилъ. Только по вину онъ вычелъ изъ счета податей. Когда въ извѣстное время пришелъ сборщикъ, Михайло свирѣпо сказалъ: „Нѣтъ — „Какъ?“ — „Что же, ты оглохъ? Говорю, нѣтъ!“ Когда онъ

принесъ машину къ Пашѣ, то замѣтно было, какъ похудѣлъ Михайло: глаза его ввалились, лицо постарѣло и осунулось, во всей фигурѣ замѣчалась лихорадочность, измученное состояніе нервовъ.

У этого бутуза нервы? Надо признаться, что отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ быть только утвердительнымъ. Онъ почему-то тосковалъ, ему были знакомы уже страданія: неудовлетворенность, сомнѣнія,—словомъ, въ бутузѣ шла недогадываемая работа, не позволявшая ему глядѣть весело. Въ двадцать два года онъ уже порядочно измучился.

Нѣсколько разъ по праздникамъ онъ уходилъ къ пруду на мельницы Трешникова, гдѣ по берегу росли тощіе кусты. Туда приходила и Паша. Здѣсь, среди полыни, тальника и ялиги, они проводили праздники, отдыхая. Говорили мало. Паша была задумчивая, тихая дѣвушка, не любившая шумныхъ бесѣдъ, а Михайло просто не умѣлъ говорить. Иногда ему хотѣлось что-нибудь сказать повеселѣе, и скажетъ, во тутъ же и обозлится,—до такой степени шутка его выходила уродлива, словно, вмѣсто языка, у него сидѣлъ во рту деревянный клинъ. Ограничивался онъ самыми неизбежными словами. Спросить: много-ли она за недѣлю нашла? Есть-ли у нихъ со старухой дрова? Не надо-ли чего починить въ избѣ?

— А когда же мы съ тобой въ церковь?—спросилъ однажды Михайло, выражая на лицѣ своемъ волненіе.

— Когда хочешь. Только скажи—и пойду,—отвѣчала Паша.

— Да нѣтъ, нечего пока и думать объ этомъ!—вскричалъ въ злобу Михайло, самъ себя перебивая.

— Отчего же?

— Да какое же у насъ тебѣ удовольствіе? Солому-то жрать? Въдъ у насъ бѣднота... тоска беретъ!

— Не горюй... Только скажи—и пойдемъ къ попу!—успокоивала Паша.

— Все бѣднота, ничего больше, какъ бѣднота! Такая что есть страшная жизнь, что даже совѣстно!—продолжалъ, почти не слушая, Михайло, и злоба горѣла въ его глазахъ.

— Что подѣлаешь, Миша!

— Про то и говорю... Ничего не придумаешь. Какъ жить?

— Какъ люди, Миша,—замѣтила робко дѣвушка.

— Какіе люди? Это наши старые-то? Да неужели же это

настоящая жизнь: побои принимать, срамъ... солону жрать Человѣкомъ хочется жить, а какъ? Не знаешь-ли, Наша ты? Скажи, какъ жить?—спросилъ оживленно Михайло.

— Не знаю, Миша... Голова-то моя худая. Я могу только идти, куда хочешь, хоть на край свѣта съ тобой...

— Какъ же намъ быть?... Чтобы честно, безъ сраму... и какъ скотина какая, а по-человѣчьему...—Михайло говорилъ спутанно, съ невѣроятными усиліями ворочая своимъ деревяннымъ клиномъ. Но въ глазахъ его сверкали слезы.

Онъ не разъ, видно, уже задавалъ себѣ такой мудреный вопросъ. Но, къ несчастію его, обстоятельства такъ сложились, что онъ, какъ свои пять пальцевъ, зналъ, чего *не надо* дѣлать, а когда старался придумать, какъ же надо жить, то былъ немощенъ и, чувствуя это, ненавидѣлъ свою жизнь.

Подъ давленіемъ этого Михайло бросался изъ одной крайности въ другую. Нерѣдко на него находило какое-то равнодушіе. Онъ по недѣлѣ ничего не дѣлалъ, кромѣ самаго не обходимаго въ хозяйствѣ, лежалъ въ коноплянникѣ, глядѣлъ на небо, спалъ, валяясь подъ плетнемъ огорода, ходилъ мрачный. Ни съ кѣмъ не говорить; глядить на всѣхъ въ домѣ, какъ на лютыхъ своихъ враговъ; волосы не чесать не умывается и сопить. Но вдругъ какъ съ цѣпи сорвется. За недѣлю, проведенную въ бездѣльи, онъ старался наверстать вдвое, выказывая лихорадочную дѣятельность, придумывалъ новыя работы и съ какимъ-то остервенѣніемъ работалъ.

Такъ онъ постоянно затѣвалъ со своими товарищами разныя предпріятія, не очень мудрыя, но хлопотливыя и новыя. Главное — новыя. Никогда съ пожилыми мужиками онъ не связывался, ибо, ихъ умъ-разумъ ставилъ ниже гроша и дѣла ихъ всѣ фактически отрицалъ.

Товарищами его были такіе же безусые, какъ и онъ самъ. Между ними лучшими друзьями считались двое. Одинъ былъ Щувинъ, другой назывался Шаровъ. Съ ними онъ безпрестанно совѣтовался и велъ общія дѣла, хотя между ними было мало общаго. Въ то время, какъ Михайло выглядѣлъ затравленнымъ волченкомъ, молчаливый, недовѣрчивый и погруженный въ себя, Иванъ Шаровъ былъ живой, какъ ртуть, и болтливый, какъ балабайка. Онъ давно уже оставался самостоятельнымъ хозяиномъ въ домѣ; всѣ его родные перемерли, кромѣ матери, и онъ, парень двадцати пяти лѣтъ, чрезвы-

чайню ловко вертѣлся въ темной жизни Ямы. Одно время онъ завелъ-было лавочку, гдѣ продавались лапти и сахаръ, дуги и пряники, махорка и сухой лещъ,—словомъ, все, что требовалось въ Ямѣ. Хотя съ лавочкой ему не удалось укрѣпиться, но и тутъ онъ, какъ въюнъ, ускользнулъ отъ банкротства, ловко выбравъ надлежащее время для прекращенія торговли. Изобрѣтательный на добываніе хлѣба насущнаго, онъ не оставался сложа руки никогда. Нюхъ у него былъ замѣчательный. Прослѣдить, что за десятокъ верстъ одинъ человѣкъ долженъ заколоть больную свинью, которой переломалъ кто-то ноги, и уже тамъ—покупаетъ больную свинью и везетъ продавать. Какъ ни былъ далекъ отъ Ямы городъ, но Иванъ Шаровъ и тамъ завелъ пріятелей, съ помощью которыхъ всегда могъ найти себѣ занятіе. Онъ постоянно былъ въ разъѣздахъ по какимъ-то важнымъ дѣламъ, въ бѣготѣ и суетѣ. Жизнь его походила на мельканіе. Еслибы мрачная судьба Ямы когда-нибудь вздумала захватить его въ свои объятія, онъ непременно ускользнетъ, какъ кусокъ мыла. Онъ давно женился. И жена его какъ разъ приходилось ему впору. Она могла косить и жать, сидѣть кабатчицей, жить въ кухаркахъ—на всѣ руки.

Михайло питалъ родъ удивленія къ Ивану, часто сидѣлъ у него, выслушивалъ его, хотя самъ рѣшительно неспособенъ былъ вертѣться такимъ кубаремъ. Природа надѣлила его неповоротливостью и тѣмъ древнимъ мужицкимъ свойствомъ, которое выражается такъ: думаетъ затылокъ. Схватить на вилы копну сѣна, воткнуть на поларшина въ землю соху, поднять колоду—это онъ понималъ и могъ, несмотря на явное слабосиліе свое, но чтобы всю жизнь крутиться, ускользать, ловить случаи—это было не по его характеру.

— Не понимаю, какъ это ты все вертишься?—спрашивалъ онъ не разъ Шарова.

— Безъ этого нельзя, пропадешь!—возражалъ послѣдній.— Надо ловить случай; безъ дѣла сидѣть—смерть...

— Да развѣ ты работаешь? По-моему, ты только бѣгаешь зря.

— Можетъ, и зря, а иной разъ и подвергнется счастье, а ужъ тутъ... На боку лежа ничего не добудешь. За счастьемъ то надо побѣгать.

Шаровъ былъ душой между своими товарищами, Михайломъ и Щукинымъ. Одинъ годъ, по его остроумной мысли,

товарищи сняли нѣсколько надѣловъ несостоятельныхъ мужиковъ и посѣяли ленъ. Штука немудреная, но Шаровъ сдѣлалъ ее чрезвычайно замысловатою. Дѣло въ томъ, что несостоятельный мужикъ бѣжить отъ своей земли не потому, что именно земля ему наскучила, а потому, что ему надо платитъ за нее, и онъ радъ, когда находится чело-вѣкъ, который беретъ, вмѣстѣ съ удовольствіемъ владѣть лишнимъ участкомъ, и непріятность платитъ за нее деньгами или спиною. Но Шаровъ рѣшилъ, что можно въ одно и то же время взять свое удовольствіе и отдѣлаться отъ непріятности, т.-е. взять надѣлы съ условіемъ платитъ за нихъ, но на самомъ дѣлѣ не платитъ. Онъ разсуждалъ основательно, что если онъ и не возьметъ землю, все равно подати несостоятельный хозяинъ не уплатитъ, а, между тѣмъ, земля пропадетъ даромъ. На этомъ основаніи товарищи взяли нѣсколько участковъ на имя Щукина. Почему на имя Щукина—это также изобрѣтеніе Ивана Шарова. Вѣдь ихъ потанутъ, если они не станутъ платитъ? Надо было прогнать силою сборщика податей, и сдѣлать это способенъ былъ Щукинъ. Въ деревнѣ его боялись.

Въ обыкновенныя минуты Щукинъ былъ смирный и недалекій чело-вѣкъ. Полное, круглое лицо его ничего не выражало. Уши висѣли, зубы торчали наружу—самый обыкновенный деревенскій парень и насмѣшливый чело-вѣкъ. Но достаточно было ничтожнаго случая, чтобы вызвать съ его стороны необузданный поступокъ. Такіе парни, въ минуты сознанія обиды или просто неудовлетворенности, дрались, бывало, въ кулачные бои, разносили въ дребезги избушку какой-нибудь вѣроломной солдатки и проч. Но у Щукина уже рано явилась въ поступкахъ опредѣленная точка, предназначенность. Онъ питалъ ненависть къ сельскимъ властямъ, но въ особенности къ Трешникову, мѣстному богачу, который полгода давалъ жителямъ Ямы свой хлѣбъ, а другіе полгода сосалъ изъ нихъ кровь. Щукинъ съ величайшимъ удовольствіемъ готовъ былъ сдѣлать ему какую угодно пакость.

Между другими подданными Трешниковъ владѣлъ и отцомъ Щукина. Въ отцѣ это не вызывало протеста, но сынъ поступилъ иначе. Ему тогда было менѣе восемнадцати лѣтъ. Въ отместку за все, онъ выбралъ темную ночь, залѣзъ къ Трешникову въ конюшню и обрѣзалъ подъ самый корень

злость лучшей лошади. Позоръ былъ до такой степени чувствителенъ, что Трешниковъ взвылъ отъ боли. Щукинъ не кричалъ, что откарналъ хвостъ именно онъ самъ, и сулилъ на будущее время еще какое-нибудь посрамленіе. Трешниковъ, въ свою очередь, выместилъ на отца, пересталъ давать ему хлѣба, а кровь сосать продолжалъ, вслѣдствіе чего тотъ окончательно отощалъ и померъ гдѣ-то на чужой сторонѣ на заработкахъ. Сына Трешниковъ не тронулъ, гугаясь его угрозы.

У Щукина былъ другой подобный случай. Нѣкоторое время послѣ смерти отца онъ служилъ ямщикомъ на станціи земскихъ лошадей. Никто изъ проѣзжающихъ на него не жаловался. Свое дѣло онъ справлялъ аккуратно, водки иногда въ ротъ не бралъ, „на чай“ просилъ стыдливо. Но вышло такъ, что онъ оплошалъ. Ъхалъ съ нимъ мѣстный становой. Дни стояли ненастные. Лилъ дождь. Дорога превратилась въ сплошное тѣсто, въ которомъ колеса тонули въ самую ступицу. Лошади измучились. Самъ кучеръ обилъ кѣ руки, понукая ихъ. Немудрено было разинуть ротъ отъ изнеможенія. И Щукинъ прозѣвалъ. На косогорѣ, почти подъ самую деревней, куда ѣхалъ становой, экипажъ его повернулся бокомъ, повисѣлъ нѣсколько на воздухъ и перевернулся, увлекая пассажира, его вещи и кучера. Щукинъ откинулся головой въ лужу, сильно расшибся, но живо вылезъ и уже совсѣмъ принялся-было хлопотать вокругъ барина, какъ послѣдній, неистово ругаясь, сѣзидилъ ему въ голову... Это значило показать быку красную тряпку и ударить по рогамъ козла. Щукинъ освирипѣлъ. Глаза у него помутились, зубы выставились наружу, и онъ бросился на барина съ поднятыми кулаками. Тотъ счастливо скользнулъ и пошелъ на утекъ. Щукинъ за нимъ. Къ счастью, становой черезъ недѣлю захворалъ, возбуждать было некогда, а потомъ его перевели въ другое мѣсто. Съ той поры Федьку Щукина всякій зналъ. Для дѣла, придуманнаго Шаровымъ, онъ какъ разъ годился. Дѣйствительно, лишь только сборщикъ явился къ нему, онъ безцеремонно выпроводилъ его вонъ. Произошло замѣшательство. Земля должна быть оплачена, а, между тѣмъ, никто не платилъ. Потянули тѣхъ самыхъ несостоятельныхъ хозяевъ, которые отдали Щукину свои надѣлы. Тѣ опять указывали

на Щукина. Эта путаница отразилась, въ концѣ-концовъ, на самомъ базотвѣтномъ мужикѣ. Съ него неожиданно требовали уплаты за его надѣлъ, но такъ какъ денегъ у него не нашли, то его выдрали безъ всякихъ отговорокъ. Чрезвычайно удивленный такою несправедливостью, онъ поочередно обошелъ всѣхъ трехъ товарищей, ругая каждого на чемъ свѣтъ стоитъ. Щукинъ отдѣлался отъ него, вытолкавъ его въ шею. Шаровъ заговорилъ ему зубы. Но Михайло не могъ слова сказать.

Въ тотъ же день одинъ Михайло заговорилъ объ этомъ съ товарищами.

— А вѣдь жалко бѣднягу...—сказалъ онъ, сидя у Ивана въ избѣ, гдѣ находился и Щукинъ.

— Кого жалко?—спросилъ послѣдній.

— Да тово... мужиченка-то, Трофимова...

— Самъ онъ дуракъ! А ты тетеревь! — презрительно засмѣялся Щукинъ.

— Да вѣдь онъ поплатился ни за что.

— Прямой тетеревь!—подтвердилъ Щукинъ.

Михайло все-таки стоялъ на своемъ, думая, что тотъ мужикъ безвинно потерпѣлъ. Но, вмѣсто Щукина, возразилъ Шаровъ. Онъ говорилъ резонно, съ убѣжденіемъ.

— Видишь ли, другъ Михайло, — сказалъ онъ, — жалости онъ дѣйствительно достоинъ. Отчего не пожалѣть дурака который не умѣетъ самъ защищать себя? Вреда отъ жалости нѣтъ. Но скажи мнѣ, пожалѣлъ-бы кто насъ? Ты вотъ объ этомъ подумай. Худо нынче тому, кто самъ не умѣетъ обороняться. Но жалѣть дурака можно, — вреда отъ этого нѣтъ.

На лицѣ Михайлы появилось жестокое выраженіе. Въ душѣ онъ согласился съ товарищемъ.

У него на этотъ счетъ не было опредѣленныхъ мыслей. Ему постоянно казалось, что во всемъ мірѣ онъ — сирота брошенный человѣкъ, забитая тварь. Но это было настроеніе. Съ колыбели, когда его кормили жеваннымъ хлѣбомъ набитымъ въ соску, до послѣдняго дня, когда онъ сталъ главѣ разрушеннаго дома, онъ ни разу не испыталъ тѣнѣннжности, которая смягчаетъ обозленное сердце. Мяки изуродовала его тѣло; безчеловѣчье, среди котораго онъ росъ, сдѣлало его жесткимъ. Умственной пищи никто не думалъ дать ему, а ту умственную мякину, которою пита-

лись его прады, онъ не считалъ уже годной. И онъ выросъ столь же темнымъ, какъ его родители, но болѣе несчастнымъ, чѣмъ они, потому что желанія его были широки, а средства все такія же грошовыя. Онъ жаждалъ счастья и видѣлъ, что въ Ямѣ никто не знаетъ его. Онъ сталъ тогда ненавидѣть и отрицать всю Яму. Онъ иногда желалъ убѣжать изъ этого бездольнаго мѣста. Яма, воспитавъ его, показала ему свои язвы—безчеловѣчье, мякину, розги,—и онъ насъвозъ пропитался отрицаніемъ. Мало-по-малу онъ убѣждался, что рассчитывать въ жизни ему не на кого, кромѣ себя. Если желать что-нибудь получить, то это возможно не иначе, какъ силой. Въ противномъ случаѣ останешься въ дуракахъ. Отца его били, но онъ живьемъ не дастся. На всякое притѣсненіе онъ станетъ огрызаться. На безчеловѣчье онъ отвѣтитъ собственнымъ звѣрствомъ. Онъ ничего не знаетъ, но тѣмъ хуже, потому что всѣмъ своимъ сердцемъ онъ чувствуетъ, что жить худо.

Стоитъ сказать нѣсколько словъ о вещественномъ наслѣдствѣ, доставшемся Михайлѣ.

Отецъ его собирался на заработки. Назначенъ былъ день его отхода. Но прежде, чѣмъ уйти, онъ рѣшилъ сдать на руки сыну все движимое и недвижимое имущество, такъ какъ сынъ сдѣлался настоящимъ мужикомъ. Совершилъ онъ это торжественно. Помолился Богу. Купили для такого торжества сорокоушку и сказали рѣчь, приличную случаю.

— Мишка! вотъ я тебѣ препоручаю! Владей всѣмъ имуществомъ... Живи честно, работай какъ слѣдуетъ, въ кабакъ не тащи...

Михайло слушалъ-слушалъ и засмѣялся.

— Да чѣмъ тутъ владать-то? Ничего нѣтъ!—сказалъ онъ.

Но отецъ разсердился на такое замѣчаніе и повелъ сына по двору съ намѣреніемъ показать все, что тамъ находилось. Но, въ концѣ-концовъ, онъ самъ, къ удивленію, убѣдился, что "владать" нечѣмъ. Сарай были раскрыты; заплоты падали. Хозяйственные и земледѣльческія орудія были однимъ прахомъ. Въмѣсто лошади, подъ сараемъ стояло чучело лошади, набитое соломой. Михайло съ нескрываемымъ презрѣніемъ

указалъ на всѣ эти провалы и ничтожество въ хозяйствѣ. Отецъ заволновался. Кажется, онъ только въ эту минуту разглядывалъ свое нелѣпое житѣе. Не найдя у себя въ дѣйствительности ничего, онъ съ чрезвычайною торопливостью принялся сочинять небылицы. Водя сына по двору, онъ показывалъ видъ, что ищетъ много вещей, которыя были, но которыя теперь куда-то запропастились.

— А гдѣ желѣзная лопата?—спрашивалъ онъ озабоченно, какъ настоящій хозяинъ.

— Что ты врешь? Никакихъ лопатъ нѣтъ. Одно разоренье. И зачѣмъ ты затѣялъ эту канитель?—сказалъ Михайло, которому надобно слушать сочиненіе небылицъ.

— Мишка, не обижай меня! — грустно выговорилъ вдругъ отецъ.

— Да развѣ я самъ не знаю, что у насъ есть? Небось, не растрочу. Все сберегу въ лучшемъ видѣ.

— Ты укоряешь меня бѣднотой?—спросилъ еще тоскливѣе отецъ.

— Ну, пошелъ!... Ты лучше скажи-ка, сколько долженъ Трешникову?

— Трешникову? Песъ его знаетъ... Никакъ немного,—сказалъ смущенный отецъ и почесалъ животъ.

— Надо думать! Чай, и голова-то у него въ закладъ?—безпощадно допрашивалъ сынъ.

Отецъ положительно затосковалъ. Такъ вдругъ внутри у него засосало, что онъ едва слышалъ колкія слова сына. Потомъ ему показалось, что онъ что-то чувствуетъ недоброе.

— Чуетъ мое сердце, не къ добру!—сказалъ онъ.

— Еще что выдумалъ?

— Вѣрно тебѣ говорю. Чуетъ сердце, что не надо бы уходить мнѣ изъ дому.

— Что же можетъ случиться?

— Кто знаетъ... Сохрани Богъ! Либо не вернусь я, умру, либо тутъ дома какая ни на есть бѣда... Чую, худо будетъ!

— А ты сегодня вороны не видалъ?

Но отецъ ничего не отвѣчалъ на это. У него все еще сосало. Мысленно онъ уже прощался съ избой, со старухой, съ дѣдушкой, съ дѣтьми и съ буркой, и такая жалость напала на него, что на глазахъ у него показались слезы, и онъ только вздыхалъ. Чтобы потушить такое невыносимое

чувство, онъ съ глубокою печалью выпилъ стаканъ изъ сокоушки, купленной для торжества.

Бурную зиму провелъ Михайло послѣ ухода отца. Онъ упорно принялся хлопотать, чтобы поправить дѣла семьи, да и самому ему надѣло ждать той минуты, когда онъ можетъ, безъ страха за свою участь, жениться. Прежде него, онъ постарался привести въ извѣстность отцовскія дѣла. По отношенію къ хозяйству это не трудно было сдѣлать. Дѣло было ясное; домъ со всѣми принадлежностями крѣпко и разваливался. Стоило ли хлопотать вокругъ него? Сперва этотъ вопросъ Михайло рѣшилъ утвердительно. Онъ жарко принялся работать на поправку, надѣясь сначала прикупить скота, а потомъ положить на избу заплаты, дѣлать же части выстроить заново. Первое не удалось. Какъ онъ ни горячился, изнемогая въ работахъ, изобрѣтаемыхъ со товарищами, какъ ни крутился въ кучѣ дѣлъ, но денегъ на покупку скота не заработалъ; ежедневныя потребности семьи съѣдали всѣ плоды его дѣлъ. Свою лошадь онъ возманилъ; его раздражалъ одинъ видъ этой барабанной шумы; онъ пересталъ ее почти кормить. Мать съ какимъ-то страхомъ слѣдила за поступками сына.

Второе желаніе—положить заплаты—скоро стало еще неизвестнѣе для него. Долгое время онъ съ утра до ночи стучалъ по дому топоромъ, пилилъ, долбилъ и накладалъ множество заплать. На это у него хватило терпѣнія и силы. Но когда онъ однажды увидалъ, что починенный имъ сарай имѣетъ наклонность все-таки пасть, имъ овладѣлъ припадокъ бѣшенства. Онъ схватилъ топоръ, наперся грудью и брюхомъ—и сарай палъ. На трескъ выбѣжали домашніе, даже душка, но Михайло просто объяснилъ, что надъ такою силой не стоитъ и мучиться. Съ этихъ поръ, что бы ни вышло на дворѣ, онъ не обращалъ вниманія.

Михайло сталъ заботиться лишь о томъ, чтобы накормить семью, и любимое его времяпровожденіе состояло въ томъ, что онъ ложился подъ сараемъ на солому и мечталъ до поздней ночи. Странныя это были мечты! Чаще всего онъ видѣлъ съ какимъ-то замираніемъ сердца всеобщее крушеніе неистовнаго для него мѣста. Видѣлъ, что вотъ эта изба, сердцаемая имъ, сію минуту хлопнется и разсыпется въ безобразную кучу. И отъ души желалъ, чтобы это такъ

вышло. Пускай здохнетъ шкура... падетъ амбаръ... сгинетъ, какъ старый грибъ, погребница... пускай на этомъ мѣстѣ ничего не будетъ, все мигомъ пропадетъ—лучше! Онъ снова все заведетъ. Дѣлать заново все дочиста лучше, чѣмъ класть заплаты на старье. Пусть все сгинетъ, какъ сонъ. Тогда онъ новую жизнь начнетъ, и, можетъ быть, доля ему выпадетъ счастливѣе отцовской. Онъ бы все вотъ раскаталъ по бревну, но это гнилье—не его, а отцовское. Хоть бы громомъ и молніей спалило все это ненавистное, мучительное жилье.

Михайло зналъ, что главное его наслѣдство отъ отца—долги, отъ которыхъ нѣтъ нигдѣ спасенія. Но приходили мимолетныя минуты, когда онъ думалъ объ отцѣ съ сожалѣніемъ. Жалко и обидно становилось за этого поломаннаго человѣка. Михайло желалъ чѣмъ-нибудь удружить ему, по мочь, усладить его горькую долю. Къ нему приближалась уже старость, силы его видимо слабѣли; отъ всего сердца Михайло придумывалъ способы успокоить его на концѣ жизни. Въ эти мгновенія Михайло дѣлался спокоенъ, почти нѣженъ, ласково говорилъ съ семействомъ, не привыкшимъ вообще слушать его разговоры. Дѣдушку онъ переставалъ дразнить, сестрамъ покупалъ гостинцы, въ видѣ платковъ. Съ матерью обходился въ особенности хорошо, старался всѣми силами услужить ей и разъ купилъ ей кожаные башмаки. Когда мать растрогалась отъ такой ласки, онъ почувствовалъ себя на минуту счастливымъ.

Но такія минуты улетали, какъ дымъ, разгоняемый дѣйствительностью. Внутри его снова поселился волкъ.

Долго онъ не могъ собраться сходить въ волость и къ Трешникову, чтобы узнать количество отцовскихъ долговъ, но, наконецъ, нашелъ время. Сперва онъ отправился въ волость. Тамъ ему показали все. Сказанная цифра была такъ велика, что даже онъ съ невольнымъ страхомъ проговорилъ: „Ухъ, какая прорва!“ Впрочемъ, черезъ минуту успокоился. Этотъ долгъ не очень пугалъ его и не много онъ думалъ о немъ. Выходя изъ правленія, онъ сказалъ: „Чортъ съ нимъ!“

Не то вышло у него съ Трешниковымъ. Михайло чувствовалъ ко всей этой семьѣ непреодолимый страхъ, несмотря на свою смѣлость и негодованіе. Еще мальчишкой онъ драмъ до крови съ сыномъ Трешникова, сверстникомъ своимъ. Онъ не любилъ этого плаксу, и тогда уже Гаврюшка, какъ е

зали, всегда возбуждалъ въ его кулакахъ зудъ. Бывало, Мишка то дастъ ему въ носъ хорошаго тумака, то повалить на землю и прибить. Гаврюшка былъ, однако, коварный мальчишка; онъ ревѣлъ, когда на него насаждалъ свирѣпый Мишка, но, улучивъ минуту, изъ-за угла пускалъ въ голову послѣд-
него камнемъ. Сколько разъ Мишка приходилъ отъ него съ разбитою рожей! Теперь они, конечно, не дрались, но ихъ каменная антипатія еще болѣе усилилась. Михайло видѣтъ и могъ этого выхолощенного и наглаго сына, державшаго себя заносчиво, съ сознаниемъ, что онъ—наслѣдникъ разбо-
лѣвшаго мельника. Лѣнтяй и шлопай, онъ уже стыдился чужой работы, день-деньской слонялся по дому отца и по-
крикивалъ на рабочихъ. Онъ принадлежалъ къ той еще не
исчисленной, но безпутной деревенской молодежи, которая въ Янѣ и подобныхъ ей мѣстахъ играла роль золотой моло-
дежи. Онъ былъ отлично знакомъ со всѣми окрестными уве-
сѣлительными мѣстами, умѣлъ пить виноградныя вина, курить
шипроски и ходилъ въ смазныхъ сапогахъ. Въ праздничные
дни онъ выходилъ на улицу затѣмъ только, чтобы показать
деревенскимъ парнямъ и дѣвкамъ свою великолѣпную фигуру,
кожаный пиджакъ, смазные сапоги и цѣпочку отъ часовъ.
Въ играхъ и разговорахъ молодежи онъ, конечно, не прика-
сался, смотря на всѣхъ гордо, какъ гусь. Отчего это у вся-
кого разжирѣвшаго мужика, энергіею проложившаго себѣ путь
къ богатству, дѣти почти всегда выходятъ дохлыми и съ за-
мѣтками идиотизма? Несомнѣнно, что Гаврило Трешниковъ
былъ дохлый идиотъ, которому предстояло послѣ смерти отца
исполнить окрестность скотскими поступками.

Михайло, встрѣчаясь съ нимъ и его отцомъ, нарочно не
снималъ шапки со лба. Его отецъ былъ крѣпко связанъ
съ Трешниковымъ, но въ Михайлѣ это возбуждало только
чуждыя чувства, но не раболѣпство. Онъ явился къ Трешникову
говорить зубъ-за-зубъ. Безъ всякихъ околичностей, онъ
спросилъ, въ какой суммѣ повиненъ его отецъ? Трешниковъ
долженъ былъ подождать на дворѣ. Это ожиданіе продолжалось очень
долго. Наконецъ, мельникъ вынесъ зажатыми въ горсти кучу
разнѣванныхъ и рыжихъ клочковъ бумаги, изображавшихъ
денежки.

— Вотъ гдѣ сидитъ твой отецъ! Вотъ ихъ сколько, век-
сельныхъ-то!—сказалъ Трешниковъ.

Михайло съ недоумѣніемъ оглядѣлъ горсть засаленны бумажекъ.

— Да ты не хочешь-ли наняться ко мнѣ въ батраки, и жетъ, затѣмъ и пришелъ?—спросилъ мельникъ.

— Въ батраки къ тебѣ я не пойду, а хочу знать, сколько на отца ты считаешь?—возразилъ Михайло.

— Ты хочешь платить за отца? Не больно-ли ты прыток парень?

— А сколько годовъ ты еще будешь мучить отца?—спросилъ сдержанно Михайло.

— Ахъ, ты, молокососъ! Да ты бы долженъ въ ноги поклониться мнѣ, что я кормилъ твоего отца! Да я и говори съ тобой не стану, рвань ты эдакая!

Михайло дико озлился, слушая это.

— Жирный песъ!—наконецъ, проворчалъ онъ. — Больше тебѣ ничего не скажу. Прощай, туша! Попался бы ты и въ другомъ мѣстѣ... Ну, да прощай!

Михайло вышелъ со двора, не оглядываясь. Онъ понялъ что отецъ его пропалъ. И поправить его нельзя. Онъ вообщемъ видѣлъ, какъ отецъ помираетъ, задавленный худыми дѣлами. Тогда въ его груди появилось новое чувство, до этой поры не извѣданное имъ: месть.

Съ этого дня онъ уже не любилъ оставаться дома. Появляясь домой, онъ глядѣлъ волкомъ и всѣ семейные боязливо обращались съ нимъ. Достаточно было перваго случая, что сдѣлать его окончательно чужимъ семьѣ.

Какъ-то весной, когда со дня на день въ домѣ Лунины ждали отца съ заработковъ, въ деревнѣ оповѣстили всѣ домохозяевъ, что пріѣхалъ старшина изъ волости и приглашаетъ всѣмъ собраться на сѣзжую. Домохозяева собрали но молодежи собралось больше, чѣмъ пожилыхъ мужиков. Многие еще не вернулись съ заработковъ. Пожилые стояли особую кучкой, въ ожиданіи выхода начальства. Они держали себя степенно. Ожидая нагоняя, они заранее какъ бы готовились къ своей участи. Въ то же время молодежь обрѣживала всѣ признаки недовольства и роптала, что люди безъ дѣла держать столько времени. Пожилые и смирно уговаривали ропщущихъ замолчать, потому что старшина такъ, сказываютъ, пріѣхалъ сердитый и очень гнѣваться (детей, если ему станутъ досаждать. Молодежь не унимала

ругала во всеуслышаніе начальника, пока тотъ не вывелъ.

Онъ, дѣйствительно, сердито оглядѣлъ собравшуюся на дворѣ толпу; затѣмъ сказалъ краткую, но сильную рѣчь.

— Эй, вы, идолы, знаете-ли, гдѣ я вчера сидѣлъ?

Старшина замолчалъ. На лицахъ молодыхъ отразилось неруиѣніе. Но смиренные боязливо возразили:

— Какъ же мы можемъ, ваше степенство, знать, гдѣ вы сидѣли?

— „Какъ же мы можемъ знать!“ — передразнилъ старшина. — Въ кутузѣ я сидѣлъ вчера — это, чай, можно сообразить!

Въ толпѣ молодежи послышался сдержанный смѣхъ. Но пожилые жалостливо покачали головой.

— Сохрани Богъ! — сказали они.

— Въ кутузкѣ сидѣлъ, въ кутузкѣ, идолы! А черезъ кого? — спросилъ старшина.

— Сохрани Богъ, ежели черезъ насъ...

— Черезъ васъ. Не черезъ кого больше, какъ черезъ васъ!

Въ средѣ молодежи смѣхъ сдѣлался общимъ.

Старшина разъярился.

— Вы надѣ чѣмъ зубы-то скалите, а? погоди уже, я вамъ рошшу смѣхъ... Эй, ребята, заprite ворота! Не смѣть выходить!

Ворота заперли. Лица собравшихся вытянулись.

— Неси, ребята, хворосту! Начнемъ, Господи благослови!

Пожилые сдавались безропотно, но молодежь заволновалась.

Послышались рѣзкія возраженія.

— Что же это мы, ребята, глядимъ, разиня ротъ? — сказалъ кто-то.

— Мы, ваше степенство, на это не согласны! — сказалъ другой.

— Взыскивайте съ отцовъ, а мы неповинны! — замѣтилъ Михайло.

— Руки еще коротки, ваше степенство! — сказалъ Щукинъ, хмылясь.

— Ахъ, вы, молокососы! Ребята, хватай сперва вотъ этихъ двухъ сорванцовъ! Слава Богу, вспомнилъ: на этого Мишку Щукина уже давно жаловался Трешниковъ. Вотъ ихъ!

Но тутъ вышло невообразимое смятеніе. Михайло съ Федь-

кой вырвались послѣ отчаянной борьбы и бросились къ ротамъ. Вслѣдъ за ними хлынула, какъ буйное стадо, оставшая толпа. Ворота сшибли и бросились въ разсыпную, куда могъ. Черезъ мгновеніе на дворъ осталось пять-шесть мужиковъ, да множество шапокъ, рукавицъ и кушаковъ, безпамятствѣ брошенныхъ бѣжавшими. Старшина не зналъ, что предпринять ему, и рѣшилъ ѣхать жаловаться.

И выдался же этотъ денекъ для Ямы! Скромная, тихая почти мертвая деревенька взволнована была неслыханнымъ происшествіемъ. Послѣ паническаго бѣгства изъ сѣзга избы ночь всѣми проведена была тревожно. И вдругъ слѣдующее утро разнеслись изъ конца въ конецъ вѣсти, о другой изумительнѣе. Одна касалась старшины. Онъ веромъ поѣхалъ въ волость, разгнѣванный, но больше удивленный окончаніемъ сходки въ Ямѣ, и рѣшалъ въ умѣ, какую награду припасти для сорванцовъ, устроившихъ ему такую пакость. Дорога его шла по кустарникамъ, продающимся вплоть до мельницы Трешникова. Свѣтила луна, виднѣлись звѣзды. Вдругъ, уже возлѣ мельницы, изъ-за кустовъ, съ противоположныхъ сторонъ дороги, выскакиваютъ разомъ два страшныхъ человѣка. Они были одѣты въ выроченные шерстью вверхъ тулупы. Лошади, увидавъ такіе чудовищъ, рванулись въ сторону, телѣжка опрокинулась, кучеръ полетѣлъ въ одну сторону, старшина въ другую. Лишь только онъ палъ на землю, какъ почувствовалъ, что на него кто-то насѣлъ. Онъ безропотно ждалъ своей участи. Но разбойники помяли его немного и слѣзли, сказавъ: „Мни это. Худо тебѣ будетъ, если эти глупости не оставишь, мнѣ слово!“ Вслѣдъ затѣмъ тулупники скрылись въ кусты.

Старшина долго не могъ придти въ себя, но, опаматовшись, однимъ махомъ вскочилъ въ телѣжку и поскакалъ дальше, со страхомъ оглядываясь назадъ. Онъ сообразилъ, конечно, что сыгранная съ нимъ пакость дѣло рукъ кого-нибудь изъ давшихъ сорванцовъ, и полетѣлъ во весь духъ домой. Прискакавъ къ себѣ, онъ рѣшительно ничего путнаго не объяснилъ домашнимъ. Всѣмъ было ясно, что онъ чего-то испугался, но на вопросы отвѣчалъ только, что теперь ничемъ не можетъ рѣшить.

Въ то же утро, но еще съ большимъ страхомъ, проснулся Трешниковъ. У него за ночь спустили прудъ. Весеннее по-

воде прошло, плотина была поправлена и мельница начинала уже работу. Трешниковъ взвылъ. Онъ бросился на мельницу. Тамъ было полное разрушеніе. Одно мельничное колесо было сорвано съ вала. По берегамъ рѣки валялись кучи хворосту, дѣса, балоковъ, камней. Дернъ весь уплылъ. Обширное водное пространство превратилось въ мелкій ручей, который можно было перейти съ одного берега на другой. Работники при мельницѣ ничего не знали. Засыпка лишился языка и ходилъ по берегу, какъ помѣшанный. Онъ нашелъ двѣ длинныя заостренныя жерди да одинъ вывороченный шерстью вверхъ тулупъ, и молча указывалъ на эти вещи. Дѣло было ясное. Плотину прокопали этими жердями, сдѣлавъ большую дыру внизу плотины, пока, наконецъ, не образовался огромный провалъ. Тогда вода съ ревомъ устремила въ него, но, сдержанная его боками, разорвала скрѣпы, и вся громадная масса дерну, дѣса и булыжника рухнула. Трешниковъ увидѣлъ, что работа многихъ лѣтъ уничтожена.

Онъ поскакалъ обратно въ деревню и началъ созывать народъ дѣлать плотину. Однихъ онъ умолялъ, другимъ обѣщалъ простить ихъ долги, третьимъ сулилъ хорошія деньги. Многіе согласились. Они забыли обиды мельника, его притѣсненія, его жадность; видѣли въ немъ только человѣка въ несчастіи и изъявляли готовность навозить ему гору земли, камней, дѣсу.

Къ этому времени мало-по-малу подходили люди съ заработковъ, между прочимъ, и отецъ Луинъ. Приходящіе, узнавъ о случившихся происшествіяхъ, покачивали головами. Никто не спрашивалъ, кто и зачѣмъ это сдѣлалъ. Большинство догадывалось и молчало. Но все-таки дѣло само по себѣ оставалось темнымъ. Надъ Ямой повисло какое-то новое преступленіе.

Черезъ нѣсколько дней вернулся домой Щукинъ. Раньше его пришелъ Михайло. Въ суматохѣ ихъ не замѣчали. Михайло, прежде всего, побывалъ въ избенкѣ Паши. Онъ сказалъ ей, что надо уходить вонъ изъ деревни. Та ни минуты не задумалась. Больная старуха Марѳа жалобно застонала, когда узнала, что дочь ее бросаетъ. Ей оставалось только поскорѣ умереть.

Когда Михайло появился дома, худой, какъ будто нѣсколько дней лежалъ въ тяжелой болѣзни, сестры и мать, отецъ и дѣвушка смутились. Но чтобы предупредить всякіе разспросы, онъ немедленно заявилъ, что уходить изъ деревни пока вонъ,

и просилъ отца выслать ему паспортъ. Эти слова пали камнемъ на всѣхъ. Михайло видѣлъ, какъ всѣ замерли отъ его словъ. Отецъ сидѣлъ неподвижно и смотрѣлъ въ полъ. Дѣдушка свѣсилъ свою дыню съ печи и даже не шепталъ, оставивъ безжизненный взглядъ на внука. Сестры жались къ углу. Эта нѣмая сцена произвела тяжелое впечатлѣніе на Михайлу. „Мертвые!“ — подумалъ онъ. Всѣ сидящіе въ избѣ показались ему мертвецами, и это еще скорѣе погнало его вонъ. Пускай мертвые живутъ, какъ знаютъ!...

Ему было жалко только мать. Сутки, которыя онъ провелъ дома, онъ говорилъ только съ ней. Никогда онъ не любилъ ее, но теперь почувствовалъ стыдъ, жалость и сочувствіе въ виду этой дряхлой старухи. Онъ сознался ей во всемъ. У него своя жизнь, — зачѣмъ же ему связывать себѣ руки? Это онъ такъ прямо и сказалъ.

— А когда самъ по себѣ буду жить, можетъ, и придетъ мнѣ счастье, — заключилъ онъ.

Старуха не понимала этого своеобразнаго эгоизма. Она вздыхала не о себѣ, а о сынѣ. Какъ будетъ онъ жить одинъ на свѣтѣ? Есть-ли у него какія средства?

Средствъ Михайло не имѣлъ никакихъ. Голыя руки, темная голова, полное мести сердце — вотъ все, чѣмъ онъ обладалъ. Но едва лишь мать напомнила ему ничтожность его силъ, онъ засверкалъ глазами. Онъ вѣрилъ въ себя. Она прислушивалась къ его словамъ, какъ бы желая запомнить всякую мелочь въ сынѣ, и гладила рукой по его лицу, оцупывала его голову. Михайло уговаривалъ ее не горевать, говоря, что издалека онъ вѣрнѣе поможетъ имъ.

Старуха уже вечеромъ отпустила его. Она вышла съ нимъ на дворъ, потомъ на улицу и смотрѣла и прислушивалась, стараясь понять, куда онъ пошелъ, но она ничего не видала по своей слѣпотѣ и не слыхала его шаговъ, потому что была глуха. Да и безъ того надъ деревней повисла ночь.

II.

Легкая нажива.

Все благопріятствовало бѣгству Михайлы, когда, въ сообществѣ съ Пашей, онъ бросилъ свою Яму, гдѣ ему жилось

не стало. Вышли они из деревни почти безъ денегъ, съ какими-то копѣйками, которыхъ не могло хватить даже до того города, куда они стремились. Предстояло побираться ради Христа — единственный и излюбленный способъ пропитанія отправляющихся на заработки мужиковъ. Но для этого Михайло былъ слишкомъ молодъ, и не въ его характеръ было просить и вызывать къ себѣ жалость. Тѣмъ не менѣе, онъ ринулся въ свое счастье и теперь всѣми помыслами устремился къ городу.

На первый разъ случай его выручилъ.

Въ одномъ селѣ, стоявшемъ на пути въ городъ, Михайлъ съ Пашей пришлось заночевать. Едва они поѣли, какъ въ избу вошелъ сотскій этого села и привязался: кто, откуда, по какимъ причинамъ? Михайло сперва грубо пробурчалъ въ носъ, видя, что сотскій присталъ просто отъ бездѣлья. Но сотскій пришелъ въ азартъ и велѣлъ сейчасъ же казать ему виды. Къ несчастью, вида у Михайлы не было; онъ его наѣлся получить въ городѣ. А пока молча осматривалъ сельского начальника, размышляя про себя, что лучше: поднести ему косушку, на которую тотъ, очевидно, напрашивается, или дать хорошаго леца по уху, что собственно Михайлъ больше нравилось? Но пришедшій въ неистовство сотскій не далъ времени рѣшить эту задачу и повлекъ обоихъ путешественниковъ въ волость. Изъ всего этого произошла вольза.

Такъ какъ старшины въ „присутствіи“ не оказалось, то сотскій предоставилъ пойманныхъ писарю, со словами: „какіе-то люди“... Послѣ минутнаго допроса писарь послалъ сотскаго къ чорту, а вслѣдъ за нѣсколькими дальнѣйшими вопросами, обращенными къ парню и дѣвкѣ, оказалось, что вслѣдняя желаетъ найти мѣсто кухарки, которая именно и требовалась писарю. Черезъ короткое время дѣло сладилось. Паша сперва колебалась, — жалко ей было разставаться такъ скоро съ Михайлой, но послѣдній съ какою-то поспѣшностью воздалъ ей совѣтъ принять предложеніе писаря, послѣ чего Паша безпрекословно повиновалась.

Михайлъ также вдругъ нашлось дѣло — переколотъ сажени двѣ писарскихъ дровъ, съ платой по гривеннику за сажень, причемъ писарь увѣрялъ, что это даже очень дорого. Михайло и на это согласился, но тутъ же далъ себѣ клятву, что

такими пустыми дѣлами онъ займется въ послѣдній разъ то только потому, что до города у него не хватаетъ негъ на хлѣбъ. Онъ свои таланты цѣнилъ неизмѣримо дороже, съ какимъ-то фанатизмомъ вѣря, что теперь, бросивъ слѣгучее хозяйство, онъ дойдетъ до всего.

Съ Пашей онъ на другое утро простился безъ малѣйшаго сожалѣнія; она заплакала, провожая его, а онъ стоялъ безчувственнымъ. О покинутыхъ домашнихъ въ Ямѣ онъ давнѣе забылъ. Теперь забылъ онъ и Пашу, положительно не зная, что ей сказать. Она ему казалась даже обузой, безъ нея городъ онъ скорѣе могъ сколотить капиталъ, — единственная мысль, занимавшая его во все время, пока онъ прощался двинушкой.

Выйдя, наконецъ, изъ села, онъ былъ охваченъ восторгомъ. Ему нужны были просторъ, свобода, и, очутившись одинъ, всѣми развязанный, онъ почувствовалъ необыкновенное влеченіе. Вопреки своей угрюмости, онъ весело подпрыгнулъ, когда увидалъ себя на полѣ, подъ открытымъ яснымъ небомъ, по дорогѣ въ городъ. Онъ какъ будто освободился отъ каторги. На Яму онъ смотрѣлъ, какъ на торгу; тамъ онъ дѣлалъ то, отъ чего не видалъ никакой пользы, пахалъ землю, которая иногда не давала и малѣйшаго ухода, который въ общей сложности не считалъ ни копѣйки, жилъ съ людьми, которые очумѣли отъ нужды, и вообще подчинялся чужой, какой-то неизвѣстной пользѣ, а не своей. Каторга и есть! Главное, Михайло понималъ, зачѣмъ, когда другіе подымаются, и ему надо отдохнуть, не понималъ этой общности несчастій, этого единства бѣды! Потому онъ такъ и ненавидѣлъ Яму, что имѣлъ желаніе отдохнуть, а, между тѣмъ, Яма непремѣнно требовала этого отъ него.

Теперь эта каторжная деревня осталась позади. Михайло рѣшилъ на сто верстъ не подходить къ Ямѣ, боясь, какъ бы его опять не стали неволить къ смерти. Онъ шелъ быстро, желая поскорѣе удалиться отъ знакомыхъ мѣстъ.

Онъ шелъ разбогатѣть. Одна эта мечта волновала его. „Ранжусь“, — думалъ онъ и ускорялъ шагъ. „Поставлю домъ“, — соображалъ онъ и устремлялся впередъ. Онъ всего наживетъ, заведетъ себѣ новую одежду, будетъ ходить въ „пальто“ табачнаго цвѣта, а женѣ сошьетъ зеленое платье

будетъ жить... Соображалъ онъ все это и бѣжалъ впередъ, просто летѣлъ, причемъ лоскутья его одежды развѣвались, какъ перья. Къ вечеру усталость брала свое. Ноги его ныли, хотѣлось ѣсть, спать, ни о чемъ не думая. Тогда на него нападало сомнѣніе. Созданная въ пространствѣ жизнь вдругъ пропадала, вмѣсто нея являлась дѣйствительность, т.-е. разбитыя ноги, желаніе отдохнуть и нѣсколько копѣекъ въ шталахъ.

Но на утро, когда силы восстанавлились, солнце свѣтило и дорога была открыта, Михайло доводилъ себя понемногу снова до прежняго взволнованнаго состоянія и летѣлъ впередъ, какъ птица.

На третій день онъ былъ уже въ городѣ.

Какъ всякій деревенскій парень, впервые попавшій въ чуждое мѣсто, называемое губернскимъ городомъ, ничего о послѣднемъ не знаетъ, такъ точно и Михайло ничего не понималъ, куда ему двинуться, гдѣ переночевать и за что прежде всего взяться. Впрочемъ, Михайло велъ себя самоуверенно и не унывалъ. Остатокъ дня, въ который онъ попалъ въ городъ, онъ просланился по улицамъ и площадямъ и нѣсколько не растерялся. Шатаясь по одной пустынной площади, онъ замѣтилъ нѣсколько телѣгъ, около которыхъ были привязаны кони, а подъ телѣги укладывались спать мужики, и рѣшилъ, что здѣсь ему можно будетъ отдохнуть. Послѣ чего онъ выбралъ сухое мѣсто, положилъ шапку въ голову и проспалъ, какъ убитый, до утра. Словомъ, первый свой дебютъ онъ продѣлалъ безъ всякаго смущенія, не страдая еще отъ вопроса, что ему теперь дѣлать.

Этотъ вопросъ испугалъ его только на слѣдующее утро, когда, едва продравъ глаза отъ толчка въ бокъ, онъ увидѣлъ передъ собой городского и понялъ, что послѣдній гонитъ его въ мѣста.

— Ишь, гдѣ нашелъ мѣсто дрыхнуть! Чисто охальники! Напьются и лежатъ гдѣ угодно... Пошелъ вонъ!

У Михайлы не было даже времени отгрызнуться, какъ то онъ сдѣлалъ бы при другихъ обстоятельствахъ. Онъ сейчасъ всталъ и пошелъ. А куда—этого онъ съ просонья не могъ сообразить. Въ самомъ дѣлѣ, куда дѣваться дикому парню, явившемуся въ сравнительно толкучее мѣсто буквально на босую ногу, съ голыми руками, безъ знанія ремесла,

безъ знакомыхъ и безъ всякой опредѣленной цѣли, съ однимъ лишь смутнымъ желаніемъ получить кусокъ и съ еще болѣе смутною жаждой какъ-нибудь „разжиться“. Пришлось опять слоняться по улицамъ и площадямъ. Въ одномъ мѣстѣ Михайло увидалъ десятка два чернорабочихъ, копавшихся подобно муравьямъ, въ какомъ-то громадномъ домѣ, закопѣломъ и полуразрушенномъ. Какъ ни былъ нелюдимъ Михайло, но спросилъ одного рабочаго, что тутъ дѣлаютъ. Тотъ охотно ему объяснилъ, что домъ недавно сгорѣлъ, такъ вотъ теперь хозяинъ думаетъ поставить на его мѣсто новый для чего и приказалъ разобрать кирпичи, отдѣливъ годные отъ негодныхъ. „А что касательно платы, такъ онъ платитъ по пятнадцати копѣекъ на носъ, хочешь бери, а не хочешь твоя воля. А ты также пришелъ на работу?“—спросилъ самъ воохотливый мужичекъ, кончая объясненіе.

На утвердительный отвѣтъ Михайлы рабочій съ величайшей готовностью указалъ, гдѣ живетъ хозяинъ. Михайло пошелъ и нанялся.

Это было для него разочарованіе. И такая на него злоба напала, что онъ какъ попало швырялъ кирпичи, смотря добродушно на своихъ неожиданныхъ товарищей. Онъ вообще не любилъ толпы, а здѣсь ему просто словомъ хотѣлось обмолвиться. Онъ пришелъ въ городъ для себя, своимъ дѣламъ, и желалъ знать только себя; прочіе люди ему не нужны были; отъ нихъ, отъ прочихъ людей, онъ малъ только нажиться. Онъ не желалъ мѣшаться въ какъ бы то ни было артель; ему думалось, напротивъ, что толпищи только помѣшаютъ его дѣламъ.

И вдругъ ему волей-неволей пришлось влѣзть въ толпу, подчиняться ей безъ всякаго возраженія. Когда люди носили кирпичи—и онъ долженъ былъ вмѣстѣ съ ними ту же работу. Тѣ шли ѣсть хлѣбъ съ водой—и онъ вмѣстѣ съ ними долженъ ѣсть. Всѣ отправлялись вечеромъ на задворъ на солому—и онъ принужденъ былъ зарываться на солому до слѣдующаго утра, когда снова повторялось то самое. Всѣмъ приходилось на носъ по пятнадцати копѣекъ—и онъ зарабатывалъ эти несчастныя пятнадцать копѣекъ. А прежде ему почему-то думалось, что онъ будетъ работникомъ однимъ. Теперь, когда онъ въ этомъ разубѣдился, ему оставалось только сердиться, что онъ и дѣлалъ. Ненавидѣлъ

хѣсь все: и кирпичи, и пятнадцать копѣекъ, и хлѣбъ, и солону, и всѣхъ товариней.

Мало того, черезъ нѣсколько дней Михайло узналъ, что попалъ онъ не въ артель даже, а въ какой-то сбродъ лоскутниковъ, которые жили со дня на день и радовались, получая по пятнадцати копѣекъ.

Изъ этого города часто писали въ газеты, что въ немъ происходитъ періодическое наводненіе голоднымъ деревенскимъ людомъ, отъ котораго въ инныя времена отбою нѣтъ городскимъ жителямъ. По зимамъ скоплялось несмѣтное множество народа, жаждущаго заработковъ, и городское начальство просто терялось, недоумѣвая, куда его дѣвать. Постоялымъ дворовъ часто не хватало, да у большинства странныхъ пришельцевъ и платить за ночлегъ было нечѣмъ. Устройство былъ даровой ночлежный пріютъ, но и за всѣмъ тѣмъ оставалась масса людей безъ пристанища. Нерѣдко, по зимамъ, городъ долженъ былъ выдавать такимъ по двѣ копѣйки на ночлегъ.

Въ остальные времена года главныя силы этой арміи ретировались назадъ, въ глубь деревень, разумѣется, только въ слѣдующей зимы, когда, поѣвъ весь урожай, странные полки снова двигались на городъ. Но все-таки въ городъ круглый годъ стоялъ значительный отрядъ арміи, состоящій преимущественно изъ окончательно оголѣлыхъ, для которыхъ явиться въ деревню значило все равно, что попастьъ въ засаду къ непріятелю и умереть. Къ нимъ присоединилась нѣкоторая часть мѣстныхъ обывателей и другихъ горькихъ мучениковъ.

Городскіе жители весь отрядъ въ совокупности называли „босоногою ротой“, намекая этимъ названіемъ на ничтожное распространеніе среди этихъ людей необходимой одежды. Иногда просто ихъ называли „гуси лапчатые“, что, впрочемъ, болѣе относилось къ нравственности босоногихъ, потому что некоторые изъ нихъ вели себя неспокойно, вѣчно подвергались подозрѣнію въ кражахъ, въ буйствѣ, въ нахальномъ вопрошайничествѣ и въ другихъ проступкахъ. Но большинство держало себя смирно, почти забито. Не было людей, болѣе готовыхъ на всякую работу за какое угодно вознагражденіе.

Не задолго до прихода въ городъ Михайлы, въ началѣ

весны, произошел такой случай. Затерло льдомъ баржу с хлѣбомъ. Судно уже трещало. Ледъ громадными глыбамъ напиралъ на него съ боковъ, спереди, сзади, сверху и снизу. Плывшій сверху рѣки новый ледъ громоздился на стѣны, ломался около судна, падалъ на его палубу, давилъ борты. Достаточно было полчаса, чтобы отъ баржи не осталось слѣда. Взволнованный судовоюзинъ кликнулъ босоногихъ. Послѣдніе мигомъ слетѣлись на зовъ, кто съ багромъ, кто съ коломъ или жердью, а большая часть съ голыми руками. Мигомъ баржа была облѣплена людомъ. Ледъ въ самое короткое время былъ уничтоженъ, оттолкнутъ, искрошенъ. Босоногіе буквально не щадили живота, хотя заранѣе знали, что больше „пятнадцати копѣекъ на носъ“ никто не получить. Одинъ изъ нихъ совсѣмъ утонулъ среди разгара работы, нѣсколько человѣкъ выкупалось и получило смертельныя простуды, но баржа была освобождена и босоногіе получили по пятнадцати копѣекъ и по стакану водки. Жизни ихъ цѣнилась копѣйками; работа обращалась въ убійство. Но когда и такой работы не находилось, многіе надѣвали кошель и обивали пороги.

Михайло былъ сильно раздраженъ близостью къ такимъ отрепаннымъ людямъ. Въ свою очередь, послѣдніе платили ему тѣми же чувствами, смотря на него, какъ на чужого, какимъ онъ и былъ по справедливости. Только съ однимъ онъ обмѣнивался разговорами, да и то помимо своей воли. Это былъ тотъ самый рабочій, по имени Сема, который въ первый день указалъ, гдѣ живетъ хозяинъ разрушаемаго дома. Прозвища у него, повидимому, не было; по крайней мѣрѣ, всѣ его звали Семой, хотя это выходило странно, потому что Сема былъ уже довольно пожилой человѣкъ.

Всегда онъ выглядѣлъ спокойно; работалъ безропотно и съ большимъ чувствомъ; хлѣбъ ѣлъ радостно и также съ чувствомъ, громко благодаря Бога до и послѣ незамысловатой ѣды. Настроеніе его всегда было легкое; казалось, на душѣ его всегда было тихо и свѣтло. Ни съ кѣмъ онъ не ругался, самыя ругательства выходили у него ласкательными. Михайло невольно переставалъ дичиться и питать злобу, когда работалъ подлѣ этого легкаго мужичка; не въ силахъ онъ былъ сказать грубость, когда Сема обращался къ нему съ какими-нибудь словами. А обращался Сема безпрестанно,

видимо, скучая отъ безмолвія; если не съ кѣмъ ему было перекинуться словомъ, онъ разговаривалъ съ кирпичами. Достаточно было Михайлѣ коротко отвѣтить, чтобы вызвать у Семы цѣлую рѣчь. Грубое, но все же юношеское сердце Михайлы не могло устоять противъ этой душевной легкости.

Сема былъ услужливъ. Въ первый же день онъ предложилъ Михайлѣ постель, то-есть удобный уголъ, набитый соломою и закрытый со всѣхъ сторонъ отъ вѣтровъ. Всѣ рабочіе въ повалку спали на заднемъ дворѣ купца, и Сема самъ же почивалъ, выбравъ только удобный уголокъ. Но, завидѣвъ имъ, онъ совѣстился безраздѣльно обладать такимъ благополучіемъ и пригласилъ спать съ собою Лунина.

Но, помимо душевной легкости, Михайло потому еще сталъ исключительно относиться къ Семѣ, что онъ былъ положительно интересенъ. Онъ прошелъ Русь, кажется, вдоль и поперекъ. То и дѣло въ разговорѣ онъ вставлялъ такія выраженія: „Когда я былъ въ Крыму, о ту пору вотъ какой произошелъ случай“... Или скажетъ: „Жилъ я, прямо тебѣ сказать, на Кавказѣ въ ту пору“... Михайло сначала поражался этими заявленіями Семы и съ удивленіемъ переспрашивалъ:

— Да развѣ ты былъ на Кавказѣ?

— А то какже. Мы тамъ, въ этомъ Кавказѣ, почитай, полгода жили,—отвѣчалъ Сема, самъ нисколько не удивляясь своей перелетной жизни.

Ближе познакомившись съ нимъ, Михайло пересталъ воспринимать; онъ убѣдился, что Сема вездѣ побывалъ, даже въ мѣстахъ, которыя Лунину по имени были неизвѣстны. Михайло съ живѣйшимъ любопытствомъ слушалъ рассказы о неизвѣстныхъ странах.

Происходило это въ послѣднее время жизни Семиной, какъ же онъ рассказывалъ, очень просто. По Руси ходятъ вслѣдъ за жаждающихъ работы, разоренныхъ у себя дома и ищущихъ пищи на сторонѣ. Ходятъ эти толпы всюду, откуда только пахнетъ заработкомъ, ходятъ чутьемъ, на авось, по географіи, по слуху. Пронесется темный слухъ, что въ какой-то сторонѣ хорошій урожай, и тысячныя толпы двигаются туда, побираясь дорогой именемъ Христа, но упорно и настойчиво направляясь къ сказанной палестинѣ, какъ паломники ходили въ Іерусалимъ. Но въ этой сторонѣ

часто оказывалась такая же недостача, какъ и въ той, откуда они начали странствіе. „Наврали“,—говорятъ имъ мѣстные обыватели палестины. И толпы проваливаются еще на тысячу верстъ въ другую палестину, гдѣ, по слухамъ, заработокъ есть; проваливаются потому только, что имъ „наврали“. „И шагаютъ они въ синюю даль“...

Такимъ же способомъ и Сема шагаль. Онъ былъ преимущественно человѣкъ толпы. Только въ толпѣ, въ кучѣ, онъ чувствовалъ себя спокойно. Когда толпа двигалась, и онъ двигался, а если толпа останавливалась, и онъ останавливался. Онъ дѣлалъ, жилъ, ходилъ, работалъ, какъ люли. Еслибы эта ощупьюдвигающаяся толпа полѣзла въ огонь или въ воду, то и Сема полѣзъ бы и не задумался бы сгорѣть или утонуть. Собственной жизни у него не было. Онъ только тогда и сознавалъ, что существуетъ, когда затирался въ кучу, съ которой у него было одно сердце, одні нервы, одна голова. Ему всецѣло принадлежало только туловище. И вотъ когда, по какой-либо несчастной случайности онъ лишился сообщества и оставался туловищемъ безъ сердца, мозга и нервовъ, то пропадалъ пропадомъ. Онъ терялся, не зная, какъ съ собой поступать. Поэтому въ одиночествѣ съ нимъ всегда совершались чрезвычайныя происшествія. То онъ въ помойную яму упадетъ, то его посадятъ, по неизвѣстной ему причинѣ, въ чижовку, откуда выталкиваютъ также безъ объясненія причинъ. Разъ онъ такъ потерялся, что залѣзъ, не зная самъ какъ, въ острогъ. Это вышло страшно нелѣпо. Онъ схватилъ пару калачей: торговки и былъ пойманъ. Рѣшительно нельзя сказать, что у него былъ злой умыселъ стащить калачи; онъ самъ не знаетъ какъ это случилось. Дѣло, однако, было названо „грабежомъ съ насиліемъ“, потому что взялъ калачи онъ днемъ, прістеченія базарной публики, а когда торговка кинулась отнимать у него свою собственность, онъ ожесточенно, до послѣдней крайности отбивался. Зачѣмъ онъ все это проделалъ и было-ли у него намѣреніе попасть въ острогъ, какъ это дѣлаютъ многіе, чтобы имѣть теплое мѣсто и кусокъ, онъ тоже не зналъ и не могъ объяснить слѣдователю. Вро чемъ, просидѣлъ онъ не долго. Слѣдователь, на первомъ же допросѣ, послѣ нелѣпаго разсказа Семы, задумчиво по

смотрѣлъ на лицо сидящаго передъ нимъ разбойника и
сдѣлалъ приказъ выпроводивъ немедленно его изъ острога.

Такъ Сема и ходилъ съ толпой. Такъ онъ попалъ въ
Крымъ, идя за людьми, которые прослышали, что тамъ хоро-
шіе заработки, но въ Крыму въ это время была филуксера,
тессевская муха и проч., такъ что толпа двинулась обрат-
нымъ путемъ, питаясь по дорогѣ подаянiемъ, а вмѣстѣ со
всеми тѣмъ же способомъ шелъ и Сема, не видѣвшій въ
миръ ничего необыкновеннаго. Что касается Сибири и Кав-
каза, то Сема побывалъ въ нихъ въ качествѣ переселенца.
Переселялся онъ два раза. Въ Сибири (собственно въ Орен-
бургѣ) онъ потерялъ лошадь, которая сдохла, на Кавказѣ
же потерялъ троихъ дѣтей, которыя умерли отъ дизентеріи.
Вотъ и все.

Одинъ разъ, въ свободную минуту, Михайло подробно
расспросилъ Сему о видѣнныхъ имъ странахъ, а также о
томъ, какъ тамъ живетъ.

— Что-то я запомнилъ... былъ ты въ Москвѣ?—спро-
силъ Лунигъ.

— Въ Москвѣ я бывалъ,—отвѣчалъ Сема.

— Что же тамъ, какъ жить?

— Въ Москвѣ ничего... Тамъ, милый мой, рупь за день
мучишь. Въ Москвѣ большія деньги.

Сема говорилъ серьезно.

— Отчего же ты тамъ не остался?

— Да такъ... не вышло дѣло... бѣда чистая вышла!

— Какая бѣда?

— Да такъ ужь... одно слово, неспособно стало...

Сема готовъ былъ замолчать. Дѣло въ томъ, что именно
въ Москвѣ онъ попалъ въ помойную яму, едва не утонувъ
въ ней. Онъ тогда жилъ тамъ одиноко и, понятно, не любилъ
рассказывать о тогдашней страшной жизни.

— Ну, а въ Сибири какъ?—интересовался Михайло.

— Въ Сибири, рассказываютъ, ладно; хлѣбъ, слышь, тамъ
и почемъ, сколько хочешь, дѣвать некуда; очень хорошо!

— Да ты самъ въ Сибири-то былъ?

— Мы до Сибири не доѣхали, съ Оленбурга вернулись.

— Зачѣмъ же вернулись?—удивился Михайло.

— Кто его знаетъ... видишь-ли, какъ оно вышло. Приѣз-
жалъ мы въ Оленбургъ—сейчасъ начальство. Спрашиваетъ:

С.Б.Р. СОЧ. КАРОНИНА.

„Есть документъ у васъ, ребята?“— „Документъ у насъ вотъ. Напримѣръ, подаемъ. „Это, говорить, не тотъ документъ. Ну, а мы почему знаемъ, тотъ или не тотъ? „А куда идете?“—говорить начальство.— „Идемъ мы, говоримъ, на вывѣстныя мѣста“.— „Дураки вы глупые, вѣдь новыхъ мѣстъ мало тамъ? Въ которое же вы идете, въ какую губернію?“ спрашиваетъ. А мы не знаемъ, въ какую губернію... Во оно дѣло какое! Стояли, стояли мы у города, хлопотали, хлопотали—все ничего; рѣшенія намъ нѣту. Въ ту по пала у меня лошадь, и у другихъ ребятъ лошади стали давать. Чума, вишь, ходила въ городѣ. Думали, думали и да и поперли назадъ.

— Дураки вы и вышли! Какъ же можно безъ документа и зная куда? Сами виноваты!—сердито замѣтилъ Михайло.

— Это вѣрно. Ну, да и начальство строго... Быть намъ теперь на новыхъ мѣстахъ, анъ оно вотъ...—возразилъ Сема задумчиво.

Дѣйствительно, нельзя разобрать, кто причина здѣсь. Вы то, что „переселенцы“, съ Семой включительно, не имѣли всѣхъ бумагъ отъ своей волости и деревни, и за то почили.

— На Кавказѣ-то, кажется, тоже былъ ты?—спросилъ Михайло снова.

— Какъ же, были. Съ полгода, чай, мы тамъ существовали.

— Что же хорошаго тамъ?

— На Кавказѣ? На Кавказѣ очень хорошо,—безъ запинки отвѣтилъ Сема.

— Такъ что же ты тамъ не жилъ?—ужъ со злобой сказалъ Михайло.—Дохали-ли хоть до мѣста-то?

— Чуть-чуть не дохали. А потому, милый, не дохали, что хворь на насъ напала.

— Какъ хворь?

— Да такъ, хворь. Предсмертно намъ было...

Сема началъ волноваться.

— Я думаю, можно бы обождать. Хворь прошла бы, — недоумѣніемъ возразилъ Михайло.

— Нельзя! Невозможно! Мерли!—взволнованно произнесъ Сема.

— Какая же причина? — спросилъ Михайло, также волнуясь.

— Богъ его знаетъ... Я думаю, все дѣло пошло отъ фрух-
ты, не отъ чего больше. Оно видишь-ли какъ... Стояли мы
станомъ. Ждали все, покуда насъ отведутъ на новыя мѣста.
Ищи всякой въ Кавказъ въ волю. Скота, хлѣба, особливо
фрухты страсть сколько! Такъ вотъ оно изъ-за фрухты этой
и вышелъ намъ капуть. Фрухта дешевая. Бывало, на двѣ
пѣйки полонъ подолъ насыпаютъ. Ну, мы и навались. Сей-
часъ у насъ рѣзъ въ животъ, поносъ. Извѣстно, люди тощѣ
или, такъ брюхо-то и не беретъ. Стали у насъ малые ре-
бѣта помирать; которые и мужики попадали. Глядѣли, гля-
ди мы, и страхъ взялъ насъ. Вышло тутъ несогласіе, раз-
доръ: одни желали назадъ, другіе въ городъ совѣтовали пе-
ремѣнать, а третьи тянули на новыя мѣста. У меня въ ту
пору всѣ трое ребятъ скончались. Да что ребята! самъ я
черезъ великую силу отдохъ. А какъ отдохъ — Господи бла-
гослови, взялъ жену, да и давай Богъ ноги!... Ну его съ
Кавказомъ!...

Михайло слушалъ эту чудесную эпопею съ нескрываемымъ
умленіемъ. Въ самомъ дѣлѣ, куда бы только ни показы-
вался Сема, всюду его подкарауливала бѣда. А мѣста хоро-
шія. Вездѣ оказывалось ладно, очень хорошо. Между тѣмъ,
въ всякомъ мѣстѣ Сему, лишь только онъ показывалъ туда
ногу, немедленно окружали моръ, чума, смерть и другіе
рагическіе элементы, столь же разнообразные, сколько было
мѣстъ, куда онъ попадалъ. Самыя блага обращались для
него въ бичъ. Гдѣ же ему могло быть хорошо?

— Здѣсь-то тоже маешься?—сочувственно спросилъ Ми-
хайло.

— Нѣтъ, зачѣмъ маяться? Въ этомъ мѣстѣ у меня легкая
жизнь. Жена здѣсь же въ городѣ промышляетъ насчетъ
лѣтъ половъ и прочаго такого... Мнѣ легко, — безъ куса
остаюсь.

Сема говорилъ резонно, съ убѣжденіемъ.

— По пятнадцати копѣекъ въ день?

— По пятнадцати. Бываетъ больше и меньше, разное
получается.

— И доволенъ ты?

— Чего же мнѣ еще, какого рожна? Сытъ, обутъ, одѣтъ —
слава Богу. Я живу легко.

Михайло видѣлъ, что Сема говоритъ отъ глубины души:

ему, очевидно, было легко. Стоило взглянуть на него, когда ночью онъ свертывался въ клубокъ и, зарывшись въ солому спать блаженнымъ сномъ и улыбался во снѣ, или когда онъ работалъ, словно играя въ кирпичики, чтобы убѣдиться, что на душѣ этого пожилого ребенка поистинѣ было свѣтло и радостно. Сема былъ одинъ изъ тѣхъ „малыхъ“, которыхъ самъ Христосъ велѣлъ не обижать; и жаль, что вся его чуждая жизнь прошла въ обидахъ.

Михайло во все время этого знакомства относился къ Семѣ мягко. Жесткія слова просто застывали на его губахъ въ сношеніяхъ съ Семой, но послѣдній, помимо воли, возбуждалъ въ душѣ молодого Лунина страшную тревогу. Неужели ему предстоитъ такое же жалкое, собачье существованіе и онъ, можетъ быть, также кончить легкою жизнью со дня на день, жизнью, оцѣниваемой копейками? Нѣтъ, не затѣмъ онъ ушелъ изъ Ямы! Уже и тамъ копейки вызывали въ немъ озлобленіе, а здѣсь, въ городѣ, каждодневно по вечерамъ получая по пятнадцати копѣекъ, онъ съ остервененіемъ заковычивалъ ихъ въ карманъ, и по лицу его блуждала презрительная улыбка.

Михайло рѣшилъ, что Сема потому всю жизнь испытывалъ неудачи, что „самъ дуракъ“. Съ этою мыслью онъ задумалъ, какъ можно скорѣе бросить мелкую работу, которая послѣ знакомства съ Семой стала ему особенно ненавистна. Едва съ этого времени Михайло уже не переставалъ тревожиться. Вѣра его въ себя значительно поубавилась. Сема и пятиалтынный совершили въ немъ переворотъ. Онъ сталъ замечать, что не одинъ Сема велъ собачью жизнь. Бѣдность была кругомъ. Даже пятиалтынныхъ не на всѣхъ хватало. Большая часть его товарищей были круглые голяки, колотились Богъ знаетъ какъ, и всѣ они—изъ деревень. Правда, онъ питалъ къ нимъ презрѣніе, но жизнь ихъ глубоко симпатизировала ему. Отъ этого въ немъ явилось какое-то судорожное желаніе вырваться изъ среды лохмотниковъ какими бы ни были средствами и во что бы то ни стало.

Проснулся разъ Сема по утру и, не успѣвъ хорошенько оглядѣться, хотѣлъ разбудить своего товарища, какъ это онъ дѣлалъ каждый день, но руки его встрѣтили пространство. Тогда только онъ замѣтилъ, что соломенная постель Михайло давно простыла. Скучно ему стало. Весь этотъ день онъ пр

вель молчаливо и не разговаривалъ даже съ кирпичами. Онъ какъ будто что-то потерялъ. Что былъ для него Михайло? Онъ привязался къ нему, какъ привязывался ко всѣмъ, съ которыми случайно сталкивался, онъ не могъ жить безъ признанности, но, находя товарища, онъ сейчасъ же и терялъ его. И никогда въ рукахъ у него не осталось чего-нибудь прочнаго. Домъ былъ—пропалъ, дѣти были—померли. Повидимому, сама судьба предназначила ему бездомную жизнь. Точно такъ же и конецъ его придетъ: пропадетъ гдѣ-нибудь подъ заборомъ или помретъ по дорогѣ на „новыя мѣста“, или въ ночлежномъ пріютѣ. Заплативъ двѣ копейки, ляжетъ, ивнеть—и исчезнетъ.

Тѣхъ временемъ Михайло снова слонялся по городу и искалъ счастья. Но подъ руки ему ничего не попадалось. Отъ этого онъ еще злѣе сталъ. Пятнадцати копѣекъ въ день онъ лишлся, но вмѣсто ихъ ровно ничего не могъ найти. День онъ слонялся, поглядывая на встрѣчающихся людей изъ пошлосты, а ночь проводилъ въ ночлежномъ домѣ, гдѣ его ли насѣкомыя.

Бѣдность опять вынудила его обратиться къ артели. Онъ вѣчно плотничалъ, а потому обошелъ всѣхъ плотниковъ, встрѣченныхъ имъ въ городѣ. Всѣ отказывали. Только одна артель согласилась взять его въ свою среду, но поставленныя ею условія показали ему чрезвычайно суровыми. Плотники согласились его кормить въ продолженіе года, который онъ долженъ былъ честно употребить на выучку ремесла; денегъ ему за это время не должно идти ни копѣйки.

— Главное, старайся. Доходи до всего. Не жалѣй себя,—говорили ему поочередно плотники, обсуждая его пріемъ.—Что есть мочи старайся, тогда науку нашу узнаешь... Ты что волкомъ глядишь?

— Буду стараться, какъ можно,—отвѣчалъ Михайло, едва сдерживаясь, чтобы не сказать какой-нибудь грубости.

— И не лайся. Будешь лаяться—прогонимъ,—сказалъ одинъ изъ плотниковъ, какъ бы предугадывая характеръ молодого парня.—Живи въ послушаніи. Мы тебя будемъ учить наукѣ, а ты слушай ушами. Иной разъ и по загорбку ненарокомъ пнешь, всяко бываетъ, а ты не лайся. Оно эдакъ въ тебѣ время тебѣ лучше.

Михайло вздохнулъ и молча согласился съ условіями, но

въ душѣ рѣшилъ, что загорбкамъ не бывать. Онъ не изъ тѣхъ, кому даютъ по загорбкѣ. Что касается паспорта, отъ отсутствіе котораго уже сильно отзывалось на немъ, то плотники сказали, что это ничего. Впрочемъ, самъ Михайло былъ увѣренъ, что скоро онъ получитъ изъ деревни паспортъ, да можетъ быть, онъ и теперь уже пришелъ на имя одного земляка, живущаго въ городѣ, да только отыскать послѣднѣму недосугъ было. Михайло уныло повурилъ голову, сознавая, что онъ, соглашаясь на тяжкія условія, надѣваетъ на себя недоуздокъ и спутываетъ себя по рукамъ и ногамъ.

Дѣйствительно, скоро все его стало возмущать въ этомъ новомъ положеніи. Сперва церемоніаль жизни плотниковъ смѣшилъ его. Никто не смѣлъ дѣлать того, чего не дѣлали другіе, и наоборотъ: за что принимались всѣ, обязанъ былъ дѣлать и каждый. Утромъ одинъ начнетъ умываться, и всѣ остальные вразъ умываются. Когда вслѣдъ за тѣмъ одинъ брался за топоръ, чтобы работать, и предварительно плевалъ на ладонь, то и всѣ хватали топоры, плюнувъ въ руку.

Михайлѣ это надоѣло. Другое нѣчто еще болѣе было противно ему. Плотники, дѣйствительно, не жалѣли себя въ работѣ, какъ учили и его. Жизнь ихъ была въ работѣ, монотонной, тяжелой и мало выгодной, и ради этой работы они жертвовали собой, вкладывая въ свое ремесло всѣ помыслы и силы, такъ что ремесло сдѣлалось ихъ жизненною цѣлью. Для Михайлы это было не по нутру, противъ шерсти. Для него нужна была выгода. Онъ не видѣлъ ни малѣйшаго смысла въ тесаньи изо дня въ день, въ смѣшныхъ церемоніяхъ и во всей скучной жизни плотниковъ.

Работа артели никогда не прекращалась. Какъ узналъ Михайло, плотники никогда не оставались безъ дѣла. Поэтому доля каждаго была заранѣе извѣстна. Она была велика. Этой суммы каждому хватало на хлѣбъ и на прочныя необходимыя потребности и никто не рассчитывалъ на что нибудь необыкновенное. Кормились — больше ничего. И это продолжалось изо дня въ день, каждый годъ, всю жизнь. Вот что раздражало Михайлу.

Ему предстояло вѣки вѣчныя работать изъ-за хлѣба, и когда онъ сообразилъ, что и до этой цѣли ему совершенно даромъ придется жить, то его совѣсть взорвало. Въ немъ снова проснулась жадность, энергія и необыкновенные план

Никому не сказать, безъ слова прощанія, онъ удралъ дважды ночью изъ артели. Прожилъ въ ней онъ не болѣе мѣсяца.

Но энергія его была особенная. Онъ желалъ сразу наткнуться. Это „сразу“ было сокровеннѣйшею его чертой, какъ всего его деревенскаго поколѣнія. Беспорядочное время дѣлило его беспорядочными порывами. Онъ стремился не то что завоевать счастье, а, такъ сказать, схватить. Онъ былъ для этого выказывать сразу непомѣрную энергію, хотя и подъ условіемъ пасты отъ истощенія, но чтобы только добиться немедленно желаемого. На медленный, хотя и вѣрный трудъ онъ не былъ способенъ. Беспорядочная жизнь, начавшаяся еще въ Имѣ, стала единственно понятной для него. Исковерканные, разорванные еще деревней нервы его работали порывисто и дико, какъ клавиши поломаннаго инструмента.

Опять, послѣ ухода отъ плотниковъ, онъ сталъ безъ дѣла бродить по городу. Подвертывались кое-какія работишки. В одномъ домѣ ему поручили дрова переколоть, въ другомъ мѣстѣ онъ чистилъ дворъ, иногда нанимался поденщикомъ по передѣлкѣ уличной мостовой. Этимъ онъ пока прожился, проводя гдѣ день, гдѣ ночь, и питался то хлѣбомъ, то требухой, взятой изъ „обжорнаго ряда“. Это жалкое скитаніе, конечно, не удовлетворяло его, но и не надобѣдало, потому что онъ распоряжался собой, какъ хотѣлъ.

А, между тѣмъ, въ головѣ его развивались разные необыкновенные планы, гдѣ все дѣлалось „сразу“. Эти планы были несомнѣнно дутые. Вдругъ его осыняла мысль, что онъ можетъ на улицѣ найти деньги. Это было бы хорошо. Съ этою мыслью, шагая по улицѣ, онъ сосредоточенно смотрѣлъ на ноги, ежеминутно ожидая, что вотъ онъ сейчасъ зашвытѣтитъ толстый бумажникъ. Онъ составлялъ планъ, какъ въ этомъ разѣ поступить. Поднять, но какъ? Главное, показать виду. Надо незамѣтно нагнуться—и въ карманъ, потомъ продолжать путь, какъ ни въ чемъ не бывало.

Иногда мысли его были совсѣмъ недѣйствительныя, какія-то смутныя, какъ сонъ, приснившійся ночью, но забытый романъ. Что-то видѣлось, а что—хоть убей, ничего не припоминаешь. Михайлѣ казалось, что съ нимъ случится что-то неожиданное, моментально привалитъ какое-то огромное

счастье. Что именно случится и что привалить—онъ не можетъ себѣ отчета, но все-таки безпрестанно ожидаетъ.

Не разъ ему приходилось вспомнить о паспортѣ, въ особенности когда на него смотрѣли подозрительно, но онъ все откладывалъ это дѣло. Наконецъ, въ свободную минуту онъ рѣшилъ сходить къ тому земляку, на имя котораго отецъ обѣщалъ выслать видъ.

Надо было исходить весь городъ, чтобы отыскать слѣдъ земляка, потому что Михайло не зналъ точно—ни гдѣ живетъ, ни чѣмъ занимается. Извѣстно ему только было, Васька Луковъ, какъ звали почтеннаго уроженца Ямы, гдѣ „состоить при скотѣ“. Такимъ образомъ, онъ обошелъ скотопригонные дворы, пока не наткнулся лицомъ къ лицу на самого искомага человѣка. Михайло потому такъ долго избѣгалъ встрѣчи съ Васькой Луковымъ, что, во-первыхъ, послѣдній былъ изъ Ямы, во-вторыхъ, самъ по себѣ внушалъ Лунину презрительнѣйшія чувства, какъ гордый человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ. Несчастіе его и въ Ямѣ, кажется, не было. Михайло помнилъ его такимъ трепанинскимъ мужиченкомъ, который даже жалости къ себѣ ни въ Ямѣ не возбуждалъ,—до такой степени онъ не умѣлъ оборонять.

Но теперь, лицомъ къ лицу столкнувшись съ нимъ, наивно ахнулъ, словно передъ его глазами совершилось чудо. Противъ него стоялъ здоровый мужчина, очень тонко сшитый. На головѣ кожаная фуражка; на ногахъ большіе свѣтлые сапоги; пальто; шелковая съ крапинками жилетка; красная рубашка. Лицо было умыто, руки чистыя. Онъ глядѣлъ подрядчикомъ или однимъ изъ тѣхъ недавно расцвѣтшихъ людей, которые не занимаются никакимъ ремесломъ, а командуютъ. Михайло совсѣмъ спутался, позабылъ, за что пришелъ, и не зналъ, что сказать такому блистательному человѣку. Луковъ ослѣпилъ его, какъ солнце.

— При скотѣ состоишь?—только и могъ вымолвить на выхъ порахъ Михайло.

— Надзирателемъ у гуртовщиковъ! — важно возразилъ Луковъ.

Михайло кое-какъ пролепеталъ о паспортѣ. Оказалось, паспортъ давно пришелъ и лежалъ безъ всякаго употребленія у Лукова въ домѣ, отведенномъ ему хозяевами; туда и повелъ Михайлу. Михайло взялъ паспортъ, письмо и по-

прочь, забывъ проститься съ великолѣпнымъ землякомъ. Онъ былъ смущенъ, а брошенный взглядъ на свои лохмотья вызвалъ въ немъ такую досаду, что ему и свѣтъ сдѣлался не милъ.

— Ты что же бѣжишь? Заходи, какъ случится... тоже вѣдь землякъ, — сказалъ ему въ догонку Луковъ.

— Зайду. — пробурчалъ Михайло.

— На разживу пришелъ?

— Н-да, — нехотя отвѣтилъ Михайло.

— Напагъ на мѣсто?

Михайло отъ этого вопроса готовъ былъ сгорѣть со стыда, но отвѣтилъ правду.

— Забѣгай провѣдать! — еще разъ закричалъ Луковъ въ догонку Михайлѣ, который почти бѣжалъ, чтобы скрыть свои лохмотья отъ взоровъ земляка.

Внутри его подвигалось какое-то рычанье. Видъ Лукова напомнилъ ему его нищенство и неумѣнье на что-нибудь напасть. Онъ даже думалъ: вотъ даже Васька успѣлъ достигнуть, а я еще не достигъ. Потомъ на нѣкоторое время забывъ себя, онъ сталъ припоминать видѣнное явленіе и представлялъ себѣ до мельчайшихъ подробностей наружность и слова настоящаго и жизнь прошедшаго Васьки, какимъ онъ былъ въ Ямѣ. Очевидно, Васька теперешній живетъ сыто, въ довольствѣ и уваженіи. Тогда въ Ямѣ онъ былъ худой, а нынче вонъ какъ поправился. Въ Ямѣ у него была привычка быстро моргать глазами, а нынче онъ смотритъ прямо. Видно, его больше уже не колотятъ. Лукова въ деревнѣ не то что колотили, а обижали. Разъ его обобрали сабачникъ дочиста, до штановъ включительно, да его же обвинилъ въ воровствѣ какой-то пустой вещи; вродѣ сѣделки или кнута, и когда Луковъ обратился съ жалобой въ волость, то же и отстегали тамъ. Стегали его по просьбѣ схода, стегали по настоянію мѣстнаго попа и стегали изъ-за жены. Кто только попроситъ его отстегать, его и отстегаютъ. Ничего преступнаго онъ не дѣлалъ, а всѣ какъ будто сговорились его наказывать. Ватюшка потребовалъ наказать его за то, что будто онъ, Луковъ, при его проходѣ дерзко заругалъ. Несмотря на видимую натяжку въ этомъ обвиненіи, Лукова наказали. Сходъ наказалъ его въ другой разъ за „неуваженіе“, хотя другіе на чемъ свѣтъ ругали всю де-

ревню, и никому въ голову не приходило называть ихъ. Что касается жены, то уже никто, по настоящему, не долженъ бы слушать ее, потому что, жалуясь на буйство мужа, она нисколько не уступала ему въ дракахъ, которыя завывались между ними. Разъ послѣ такого семейнаго несчастія, Василій припелъ въ волѣстной судъ жаловаться на жену, которая положительно проломила ему голову скалкой, но судъ почему-то послушалъ не его, а явившуюся къ допросу жену, и постегалъ его.

Бываютъ же такіе несчастливцы! Всѣ какъ будто наперывъ обижаютъ такого человѣка, пользуясь его неумѣлостью, платить око за око, и всѣ считаютъ его виноватымъ. Что ни случится, вспоминаютъ, прежде всего, этого человѣка. „Онъ Кому же больше? Безпремѣнно его рукъ дѣло!“ — говорятъ, прячась за спину одного козла отпущенія. Отъ этого въ обществѣ развивается фальшь, сливаніе всѣхъ своихъ язвъ на одного жалкаго и ничтожнѣйшаго своего члена, котораго и выпираютъ отовсюду.

Такъ случилось и съ Луковымъ. Прежде всего, жена его со всѣмъ-таки выперла изъ дому. Кое-какой домишко былъ ж у него заведенъ, но она оттерла его отъ всего.* А чуть онъ возмущался, она грозила жалобой въ судъ. Деревня такъ его выперла при дѣлежѣ общественнаго достоянія — луговъ, пашни, вина. Василью Лукову выпадалъ на долю какой-нибудь обглоданный кусокъ, который ему не давали, а бросали какъ бросаютъ дворнягъ кость. Между тѣмъ, не проходилъ недѣли, чтобы на него не взваливали какого-нибудь тяжкаго обвиненія: укралъ лошадь, увезъ сѣно изъ поля, грозилъ подпалить деревню. Всѣ предполагали въ немъ неизякаемы источникъ злобы.

Выпертый, такимъ образомъ, изъ семьи и изъ деревни, Луковъ очутился даже не на улицѣ, а прямо въ полѣ. По этому онъ счелъ нужнымъ убраться совсѣмъ изъ Ямы, гдѣ ему не оказалось мѣста. Однажды, вытащивъ у жены изъ сундука кое-какое имущество, онъ загожилъ его въ кабаки и съ полученными отъ этой операціи деньгами отправился искать счастья.

Въ городѣ ему посчастливилось. Это вышло случайно. Тамъ кимъ людямъ въ смутное, безпорядочное время достается по дачка очень часто. Когда всѣ хапаютъ, и такому что-нибудь

удается зацѣпить, именно потому, что процессъ жизни выходитъ изъ границъ логики. Самый послѣдній паршивецъ въ такія времена можетъ выглядѣть орломъ. Съ Луковымъ это и произошло въ городѣ. Лишенный отъ природы способности разбирать, что слѣдуетъ и чего не слѣдуетъ, онъ быстро разжился, конечно, сравнительно съ прежнимъ. Природное его ничтожество оказалось его великимъ счастіемъ. Ското-торговецъ одинъ взялъ его затѣмъ сперва, чтобы онъ утаивалъ отъ полиціи пригоняемый чумный скотъ, а потомъ сдѣлалъ его надсмотрщикомъ надъ скотнымъ дворомъ, гдѣ и засталъ его Михайло. Самъ Луковъ, себѣ предоставленный, былъ никуда негоденъ, а употребляемый другими, вышелъ горюшъ.

Михайло сталъ похаживать къ нему, уже не скрывая своего вліянія къ такому чудесному обогащенію; ему завидно было.

— Поправился ты ничего,—сказалъ однажды Михайло, когда сидѣлъ у Лукова, угощавшаго его пивомъ.

— Что еще это за поправка? По моему желанію, развѣ по поправка?—возразилъ Луковъ.

— Чего же тебѣ еще? Деньги водятся вѣдь?

— Деньги у меня есть, да мало по моему желанію... Мнѣ тыщи мало!

— Куда тебѣ? Что ты?

— Это вѣрно, что некуда, а такъ... Всякому больше хочется.

Луковъ, говоря это, самодовольно улыбался. Глупѣйшее востовство всего болѣе нравилось ему.

— Жадный какой ты!—изумленно прошепталъ Лунинаъ.

— Совсѣмъ даже напротивъ, жадности во мнѣ ничего нѣтъ. Ты спроси хоть кого: куда Василій Василичъ Луковъ дѣваетъ деньги? Пущаетъ на вѣтеръ,—вотъ что тебѣ скажутъ. Мнѣ пятьдесятъ, шестьдесятъ упаковать—что? Ничего! Попадутъ въ руки, я ихъ пущу. Оно и лестно. Я люблю, чтобы ве-ло. А деньги мнѣ идутъ легко.

— Деньги-то?—удивился Михайло.

— А то чего же? Пятьдесятъ, сто цѣлковыхъ мнѣ нипочемъ. Я тыщами желаю ворочать. Тогда можно и назадъ въ деревню.

— А можешь тыщу нажить?—съ дрожью въ голосѣ спросилъ Михайло.

— Отчего же, можно. Только теперь не хочу я путаться. Ну их!—загадочно отвѣтилъ Луковъ.

— А въ деревню-то зачѣмъ тогда?

— Въ деревнѣ лучше. Въ деревнѣ промежду бѣдности, ежели съ капиталомъ, очень свободно. Большую силу въ деревнѣ можно получить, ежели съ тыщами.

Михайло это пропустилъ мимо ушей. Его, главнымъ образомъ, поразила увѣренность Лукова брать, сколько угодно въ карманъ денегъ. Тайно Михайло этого человѣка презиралъ. Несмотря на внѣшнюю поправку, Луковъ остался существомъ такимъ же, какимъ былъ прежде—сонливымъ, тупымъ. Легкомысліе, совершенно дурацкое, было у него безгранично. Какъ прежде онъ безропотно покорялся всякимъ обидамъ, такъ теперь вѣрилъ, что онъ все можетъ. Но Михайло видѣлъ внѣшность, фактъ, что относительно денегъ Луковъ не вретъ, и удивлялся, разжигая свою жадность.

— Какъ же ты можешь получить столько капитала?—спросилъ онъ.

— Разно. Вотъ и теперь деньги сами лѣзутъ въ руки, я не желаю,—сказалъ Луковъ.

— Сами лѣзутъ?

— Только бери! Сдѣлай милость!

— Вотъ мнѣ бы...—началь-было Михайло, но Луковъ его перебилъ.

— Есть тутъ человѣкъ одинъ, т.-е. мясникъ, такъ онъ предлагаетъ.

— Капиталъ?—спросилъ, задыхаясь, Михайло.

— Большія деньги... а я не желаю.

Луковъ выразилъ на своемъ лицѣ тупое удовольствіе.

— Ты хоть бы мнѣ предоставилъ. Видишь, безъ мѣста хожу,—сказалъ взволнованно Михайло.

— Надо подумать. Это можно. Самому мнѣ не хочется путаться, а тебѣ... ничего. Дѣло выгодное. Я получу и тебѣ съ сотню перепадетъ, я такъ смекаю.

— Съ сотню?

— А то изъ-за чего бы и мараться?—самодовольно задалъ Луковъ.

Это свиданіе рѣшило участь Михайлы. Къ этому дню онъ уже совсѣмъ обносился и отчаялся. Даже въ ночлежномъ ему нечѣмъ было платить. За „выгодное дѣльце“ с

уватился всѣми силами. Луковъ назначилъ день, когда ему придти, и онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ его, весь проникшись неизвестнымъ ему предпріятіемъ. Передъ его глазами мелькала „сотня“; ни о чемъ другомъ онъ не разсуждалъ.

Въ какомъ-то туманѣ онъ провелъ тотъ замѣчательный день, когда устроилось дѣло. Онъ не разсуждалъ. Онъ ничего не понималъ, что вокругъ него творится, и вообще спутно потомъ припоминалъ совершившееся мошенничество.... Луковъ свелъ его къ какому-то дѣйствительно мяснику. Это былъ жирный человѣкъ, съ лицомъ, похожимъ на говядину, и съ взглядомъ откормленнаго вола. Когда они поговорили о разныхъ пустякахъ, дѣло зашло о скотѣ. Содержатель мясной лавки просилъ у Лукова сто головъ скота предоставить ему, но Луковъ заломилъ слишкомъ большую цѣну. Торговались. При этомъ Луковъ постоянно указывалъ на Михайлу, какъ на ловкаго малаго, который сколько угодно предоставитъ... Какъ въ послѣдствіи понималъ Михайло, Луковъ этимъ способомъ хотѣлъ выгородить себя, сваливъ все на него, но эта хитрость была такъ же глупа, какъ и все, что Луковъ дѣлалъ. Но въ этотъ день Михайло радъ былъ, что онъ участвуетъ. Какой скотъ, откуда—онъ этого не понималъ, предполагая, что Луковъ все хорошо знаетъ. Словно въ туманѣ, онъ согласился удовлетворить мясника, который поставилъ ему слѣдующія условія: онъ долженъ доставлять въ лавку скотъ и получать по пятнадцати рублей за штуку. Послѣ этого мясникъ долго отсчитывалъ задатокъ, выговоренный Луковымъ, но, сосчитавъ деньги, выдалъ ихъ Михайлѣ. Денегъ было пятьсотъ рублей. Всѣ были взволнованы, въ особенности Михайло.

— Смотри, ребята, чтобы вѣрно было,—сказалъ мясникъ. Вскорѣ послѣ этого Михайло и Луковъ оставили лавочку. Луковъ взялъ отъ Михайлы четыреста рублей, а ему оставилъ сотню. Все это произошло такъ просто, какъ будто въ волшебной сказкѣ: получили и пошли. Даже и Михайлу это случилось.

— Да откуда же я возьму скота?—воскликнулъ онъ дорогой.

— А ты свое получилъ?—спросилъ Луковъ съ дурацкою улыбкой.

— Получилъ.

— Положилъ въ карманъ?

— Подождилъ.

— Чего же тебѣ еще? А что касаемое скота, такъ представлю я тебѣ головъ пять, отведешь ихъ, пока будетъ с него.

Этимъ объясненіе кончилось. Луковъ поспѣшилъ оставить Михайлу, который сперва не зналъ, какъ ему держаться.

Прошло съ недѣлю. Туманъ вокругъ головы Михайлы сдѣлался еще гуще. За это время онъ сходилъ къ Лукову, который поручилъ ему представить пять штукъ рогатаго скота къ Ивану Мартынову. Михайло представилъ; онъ помаленьку при этомъ, что дѣло неладно, но не могъ сообразить въ чемъ суть.

— Что мало?—спросилъ у него Мартыновъ.

— Не было больше,—отвѣчалъ Михайло наобумъ.

— Когда же еще доставишь? Ты, братъ, свое дѣло ве-аккуратнѣй, чтобы безъ товару я не оставался... Гдѣ хочешь бери, а мнѣ предоставляй...

— Буду стараться,—возразилъ Михайло, не понимая своихъ словъ.

За объясненіемъ онъ опять обратился къ Лукову на скотный дворъ. Но Луковъ уже сдѣлался самъ собой: выгляди сонливымъ, легкомысленнымъ дуракомъ. На вопросъ Михайлы, когда ему еще придти за новымъ скотомъ для Мартынова, онъ отвѣчалъ: „Да чего ты пристаешь? Илюнь ты него... Самъ придетъ, коли нужно будетъ. Ну его!“

— Какъ бы чего за это не было,—задумчиво проговорилъ Михайло.

— Не смѣть! Какой шутъ ему велѣлъ путаться въ это дѣло? Самъ пеняй на себя... Мое дѣло теперь сторона. Безпокой ты больше меня.

Михайло ушелъ, успокоившись, вѣрнѣе, совершенно забывъ о скотѣ, о Мартыновѣ, обо всемъ этомъ темномъ дѣлѣ. Онъ нѣсколько дней наслаждался ощущеніемъ внезапнаго богатства. Первымъ дѣломъ онъ завелъ себѣ одежду. Потомъ не зналъ, что дальше дѣлать съ деньгами. Нанялъ квартиру, заплатилъ впередъ хозяину деньги, но все-таки денегъ осталось много. Онъ побывалъ на радостяхъ въ несколькихъ развеселыхъ заведеніяхъ и готовъ былъ, каже-совсѣмъ развеселиться... Но его тутъ арестовали. Мартыновъ „посмѣлъ“. Пришелъ городской и приказалъ Миха-

идти въ участокъ. Напрасно онъ кричалъ: „за что, это не я, а Луковъ“, городской былъ неумолимъ и тащилъ его въ участокъ. Въ участкѣ его называли мошенникомъ, упомянувъ о выманиваемыхъ имъ совокупно съ Луковымъ деньгахъ у Ивана Мартынова, подъ предлогомъ продажи рогатаго скота. Михайло обомлѣлъ, сразу все сообразивъ. Онъ не отрицалъ ничего, совершенно отдавшись на волю судьбы.

Черезъ день онъ уже былъ въ тюрьмѣ. Слѣдствіе тянулось нѣсколько мѣсяцевъ. Михайло велъ себя глупо. Онъ то старался выпутаться и вралъ, то упдалъ духомъ и молчалъ. Впрочемъ, слѣдователь не слишкомъ приставалъ къ нему, мало интересуясь деревенскимъ парнемъ изъ какой-то Ямы, потому что въ концѣ слѣдствія дѣло раздулось въ скандальнѣйшій процессъ. Неизвѣстный деревенскій парень изъ неизвѣстной Ямы сдѣлался предлогомъ къ открытію множества дѣлъ, такъ что самъ онъ, вмѣстѣ съ Луковымъ, совершенно потерялся, никѣмъ не замѣченный.

Когда начался судъ, то передъ глазами публики прошло тысячное повтореніе одного и того же позорнаго зрѣлища... Обвиняемыхъ было только двое: Михайло и Луковъ. Жаловался на нихъ, какъ потерпѣвшая сторона, только одинъ человекъ—Иванъ Мартыновъ. Обвиняли ихъ въ томъ, что, предварительно сговорившись между собой, они отправились къ Ивану Мартынову, торговавшему мясомъ, и условились съ нимъ послѣднимъ о доставкѣ въ его мясную лавку разновременно ста штукъ рогатаго скота по пятнадцати рублей за голову, но когда Мартыновъ выдалъ задатокъ въ количествѣ пятисотъ руб., то они скрылись, доставивъ ему лишь пять головъ, причемъ, по изслѣдованіи, оказалось, что доставленный скотъ былъ зараженъ чумою. Вотъ и все дѣло. Никто бы и не подумалъ имъ интересоваться въ этомъ простомъ видѣ, но поражало то обстоятельство, что всѣ эти три лица обнаруживали необычайное легкомысліе, очевидно, ослѣпленные возможностью скорой наживы и, повидимому, совершенно лишенные способности разсуждать о послѣдствіяхъ. Михайло безъ всякаго разсужденія положилъ въ карманъ „сотню“; Луковъ съ такимъ же легкомысліемъ, не считывая даже слѣдовъ, положилъ въ карманъ „четыреста“, а Иванъ Мартыновъ, съ еще большимъ безсмысліемъ, выпустилъ изъ кармана „пятьсотъ“, одураченный представленіемъ

головъ скота, который онъ воображалъ получить даромъ. Первые двое ни минуты не задумались надъ мыслию объ острогѣ, послѣдній не сомнѣвался въ обогащеніи. У всѣхъ троихъ, очевидно, было одно неудержимое, слѣпое побужденіе—„взять“, „получить“. Эта черта оказалась у нихъ общая съ остальными дѣйствующими лицами процесса, явившимися въ качествѣ свидѣтелей или совершенно постороннихъ.

Въ этихъ „свидѣтеляхъ“ и заключался весь скандальный интересъ. Публика съ изумленіемъ видѣла, что ничтожное дѣло о мошенничествѣ расплывается въ ширь, захватывая, повидимому, совершенно непричастныхъ дѣлу лицъ. На мѣсто ничтожныхъ Михайлы Лунина и Василья Лукова постепенно появлялись городскіе мясники, какіе-то четыре купца, три ветеринара, полиція. Такъ накопилось много дряни въ обществѣ, что достаточно было ничтожнаго случая, чтобы она потекла... Обыкновенно во всѣхъ новѣйшихъ дѣлахъ этого рода всего больше одно удивляетъ: не знаешь, кто жаднѣе и подлѣе,—обвиняемые или свидѣтели. На судѣ выяснилось, что всѣ промышленники скотомъ сбываютъ чумной скотъ въ лавки. Это разболталъ Луковъ, разболгалъ откровенно, съ обычною сонливостью и тупоуміемъ. Началось съ того, что его спросили, зачѣмъ онъ доставилъ Мартынову полудохлый скотъ? Онъ отвѣчалъ: „У Мартынова завсегда мясо дохлое“. — „А у другихъ мясниковъ?“—спросили его,—„И у другихъ“,—отвѣчалъ онъ. Потомъ онъ съ длиннѣйшими подробностями разсказалъ обо всѣхъ мясникахъ въ городѣ. Вышло гадко ужасно. „А что же скототорговцы смотрятъ?“—спросили Лукова.—„И скототорговцы своей пользы не упускаютъ“. Снова подробности. Дѣло коснулось ветеринаровъ. „Что же смотрятъ ветеринары?“—спросили Лукова.—„Ихъ благодарятъ“,—отвѣчалъ онъ и развилъ эту мысль.—„А полиція?“—„Въ этомъ разѣ съ полиціей жить хорошо“,—сказалъ Луковъ и распространился подробно, причемъ передъ глазами публики моментально прошло нѣсколько невѣроятно наглыхъ лицъ.

Граница между обвиняемыми и свидѣтелями окончательно терялась. Ихъ связывало кровное родство. Разница была лишь въ положеніи: одни попались, а другіе нѣтъ. Но какъ обвиняемые, такъ и свидѣтели одинаково изумляли тупою, безразсечною жадностью, не разсуждающею дальше настоя-

шей минуты. Еслибы судъ захотѣлъ, передъ глазами публики прошла бы еще масса хищнаго народа, и всѣ они были бы связаны родствомъ. У нихъ отпала охота правильно работать, правильно жить и наживаться, даже взяточниковъ вѣтъ больше. Взятка была вродѣ какъ бы постоянного налога, между тѣмъ. нынѣшніе обвиняемые и свидѣтели дѣлаютъ дѣла „сразу“, думая только о текущей минутѣ. Всѣ они какъ будто живутъ временною жизнью, среди временной стоянки, причемъ всякій какъ будто рассуждаетъ, подобно Лукову: „Свое получилъ?“ — „Получилъ!“ — „Положилъ въ карманъ?“ — „Положилъ!“ — „Больше чего же тебѣ?“

Изъ-за этого ряда свидѣтелей подсудимыхъ Лукова и Михайлы не было видно. Никто не интересовался, чѣмъ кончится ихъ дѣло. Луковъ показался всѣмъ жалкимъ, что и было вѣрно, ибо онъ снова сдѣлался тѣмъ же несчастливцемъ, котораго выперли изъ деревни. Когда процессъ приближился къ концу, онъ съежился, какъ пойманная кошка, и когда присяжнымъ вручили вопросы, онъ заплакалъ, какъ ю по-бабьи всхлипывая.

Совершенно иначе держался Михайло. Во все время суда онъ сидѣлъ съ широко раскрытыми глазами, какъ человѣкъ, который ничего не понимаетъ. Онъ не болталъ, подобно Лукову, и не плакалъ. На него, кажется, просто напало безчувствіе. Въ душѣ его зіяла положительная пустота. Когда его спросили, зачѣмъ онъ присвоилъ деньги Мартынова, то онъ отвѣчалъ:

— Денегъ у меня не было.
— Но развѣ ты не зналъ, что чужія деньги берешь?
Молчаніе.

— Зачѣмъ ты ушелъ изъ деревни?
— Ничего у меня не было тамъ.
— А зачѣмъ въ городъ пришелъ?
— Чтобы денегъ получить.

Деньги—съ начала до конца.

На предложеніе сказать что-нибудь въ свое оправданіе, онъ повторилъ, что „ничего не имѣетъ въ своей жизни, отъ него и получилъ съ Мартынова“.

И замолчалъ.

Лукова осудили, но Михайло былъ оправданъ. Присяжные качались надъ нимъ. Ихъ поразили его слова, что „онъ

ничего не имѣть въ своей жизни“. Они увидали передъ собою голаго человѣка. Но Михайло былъ голъ и внутри. Правда, совѣсть, руководящія чувства и мысли, ничего онъ не взялъ изъ деревни, гдѣ живутъ же чѣмъ-нибудь люди. У него вмѣсто всего были деньги. Въ нихъ заключалось для него все—цѣль, причина, побужденіе жить. Для того онъ пришелъ въ городъ.

Это чувство жизненной пустоты владѣло имъ во все время процесса; оно же нахлынуло на него и тогда, когда послѣ суда его выпустили изъ тюрьмы на улицу. Онъ остановился посреди городской улицы и пощупалъ свой карманъ. Въ немъ, разумѣется, не было ни гроша. Осознательно убѣдившись въ этомъ, онъ сразу упалъ духомъ, потому что на самомъ дѣлѣ вмѣсто души, у него висѣлъ карманъ, и этотъ карманъ теперь былъ пустъ.

III.

Р а б ъ.

Каждый разъ, въ извѣстное время, изъ деревень идетъ въ большіе города народъ съ цѣлью получить денегъ какъ можно больше. Одни идутъ на заводы, другіе—въ трактиры, третьи—въ чернорабочіе, кто куда успѣетъ. Половина этого народа, однако, всегда пропадаетъ зря. Никто изъ нихъ, идя въ городъ за деньгами, не знаетъ, какимъ образомъ онъ возьметъ ихъ; знаетъ только, что взять непременно надо не столько для себя, сколько для той самой деревни, откуда онъ вышелъ, и гдѣ у отца одного вотъ-вотъ ужъ коровы хотятъ отнять, ужъ ухватились за рога и за хвостъ тянутъ въ разные стороны за долги, надо спасать, и для этого надо взять въ городѣ денегъ, иначе корова пропадетъ; у другого дома остался братъ и этому брату плохо; если не взять денегъ, то брата поминай какъ звали. У третьяго, у четвертаго, у пятаго и у всѣхъ вообще идущихъ въ городъ осталась въ деревнѣ какая-нибудь пропасть, которую надо пополнить деньгами. Наконецъ, и сами эти идущіе въ городъ такъ наголодались, что нѣтъ больше силъ терпѣть... И вотъ гдѣ пропадаетъ много народа! Всѣ мысли его такъ сосредоточены на получкѣ во что бы то ни стало денегъ, что онъ

не разбираетъ уже способо́въ; оттого и въ остро́гъ попада-
ють, сидятъ тамъ, судятся, возбуждая недоумѣніе и въ судь-
и, и въ публикѣ. Изъ разбирательства дѣла по большей
части оказывается, что никакой злой воли вотъ въ этомъ
лохматомъ парнѣ нѣтъ и не было, когда онъ учинилъ мо-
шенничество или кражу, или другое какое незаконное дѣ-
ланіе; у него, напротивъ, было самое мирное намѣреніе: ку-
пить что слѣдуетъ, а оставшіяся деньги послать въ деревню
на спасеніе отца, брата, дѣда. А мошенничество онъ со-
вершилъ потому собственно, что, кромѣ этого намѣренія, у
него никакихъ побочныхъ соображеній, во время мошенни-
ческой полочки денегъ, не было.

Приблизительно такое же приключеніе испыталъ Михайло
Дунинъ. Пришелъ онъ въ городъ за деньгами. Но деньги зря
не валяются. Наконецъ, онъ наткнулся на предпріятіе, объ-
лавшее большую полочку денегъ, и, ни о чемъ не думая,
выполнилъ его... А послѣ этого попалъ въ остро́гъ и сидѣлъ
тамъ. Потомъ судился, но на судѣ обнаружилъ полную свою
душевную наготу, былъ понять, оправданъ и пущенъ на
волю... Все это произошло съ нимъ такъ, какъ съ тысячами
другихъ деревенскихъ юношей. Но только дальнѣйшая судьба
его была не похожа на судьбу другихъ. Тѣ, другіе, погибали,
а онъ продолжалъ расти; остро́гъ, гдѣ онъ сидѣлъ, не раз-
вратилъ его, а только ужаснулъ и перевернулъ всѣ его
мысли. Отъ всѣхъ, кто потомъ зналъ его и любилъ, онъ
долго скрывалъ эту мрачную тайну своей жизни; и долго
ужасъ и стыдъ нападали на него, лишь только ему прихо-
дило на память этотъ темный эпизодъ его жизни.

Такой же ужасъ овладѣлъ имъ и тотчасъ послѣ того, какъ
онъ, очутившись на улицѣ, среди толпы людей, изумленно
глядывалъ по сторонамъ, не рѣшаясь сдѣлать шагу отъ
зданія суда. Невѣдомый раньше его дикой натурѣ страхъ
медленно завладѣлъ имъ. Онъ стоялъ, прижавшись къ стѣнѣ,
испуганно смотрѣлъ на проходящихъ. Ему казалось, что
нѣкоторые изъ нихъ презрительно оглядывали его, а на ихъ
устахъ, казалось ему, было написано: мошенникъ! Онъ упалъ
духомъ. Неужели онъ — мошенникъ и такимъ останется на-
всегда?

Но все-таки черезъ нѣкоторое время онъ пошелъ, самъ не
зная куда. У него ничего опредѣленнаго не было въ виду

кромѣ какого-то смутнаго желанія вырваться откуда-то. Нѣтъ ощущенія болѣе страннаго, нежели эта внутренняя пустота, въ особенности когда она поселяется въ здоровомъ молодомъ тѣлѣ; Михайло чувствовалъ, что тѣло его хочетъ распасться, развалиться на куски, лишенные внутренняго содержанія и поддержки; оно казалось ему страшно тяжелымъ и онъ съ усиленіемъ тащилъ его вдоль улицъ.

Но все-таки онъ шелъ, тихо, тяжело и безъ цѣли. Та онъ прошелъ площадь, множество улицъ, весь городъ, и шелъ за предѣлы его и сѣлъ на берегу рѣки, не зная самъ зачѣмъ онъ это сдѣлалъ. Онъ смотрѣлъ на воду, на противъ положный берегъ рѣки, на баржи, на пароходъ, который нѣмнѣе ихъ, на людей, видѣвшихся изъ-за бортовъ судна, едва-ли видѣлъ все это. Его внутреннее состояніе можно выразить такъ:

— Господи! да что мнѣ нужно?

Ибо онъ дѣйствительно не зналъ, что надо ему. Изъ деревни онъ убѣждалъ затѣмъ, чтобы нажить много денегъ по крайней мѣрѣ, самъ думалъ, что за этимъ... Теперь онъ не понималъ, зачѣмъ ему деньги? Деньги? но за нихъ пожалуй, влопаешься въ какую-нибудь подлость. Хлѣбъ? хлѣба вездѣ можно достать. Что же надо ему, деревенскому юношѣ, рабочему человѣку, одаренному какою-то необычною жаждой борьбы съ чѣмъ-то, гонимому какою-то силой, ни не дававшей ему покоя? И вотъ все существо Михайлы поникнуто было вопросомъ: чего же ему надо? Онъ для чего убѣждалъ изъ деревни, ищетъ что то, ловить какую-то вещь и самъ не знаетъ, что это такое?... Но только не деньги.

Городской шумъ не доходилъ до него; городъ былъ скрытъ отъ его глазъ, только на небѣ стоялъ дымъ съ пылью, означавшій мѣсто, гдѣ онъ раскинулся. Мѣсто было пустое, песчаный берегъ рѣки, песчаные бугры далеко по всѣмъ берегамъ, кирпичные сараи, едва поднимавшіеся надъ землею, вотъ все, что окружало Михайлу. Справа отъ него спускалась внизъ къ рѣкѣ дорога, проторенная лошадьми, ходившими на водопой, и водовозами; но и на этой дорогѣ долгое время никто не показывался. Михайлѣ стало жутко. Одичество смутило его, наконецъ... А прежде онъ жаждалъ быть одинъ, и всѣ люди были для него чужими, подозрительными... Въ эту минуту онъ радъ былъ бы всякому существу

Существо это, къ радости Михайлы, показалось въ образѣ водовоза, сидѣвшаго на бочкѣ. Такъ какъ водовозъ весь былъ вымазанъ глиной, вплоть до ушей, то Михайло заключилъ изъ этого, что онъ работаетъ на кирпичныхъ сараяхъ, что сейчасъ же подтвердилось. Водовозъ, между тѣмъ, заѣхалъ въ яму, слѣзъ съ бочки, слѣзъ на песокъ и неторопливо сталъ крѣпить изъ газеты сигарку, послѣ чего закурилъ ее и сталъ лезать въ воду, наблюдая, куда теченіе уноситъ его слюни. Михайлу онъ замѣтилъ, но, занятый своимъ дѣломъ, долго не морочивалъ къ нему головы.

Наконецъ, выкуривъ сигару до корня и не вставая съ мѣста, онъ спросилъ юношу лѣнивымъ тономъ:

— Безъ работы, должно, находишься?
— А ты почему знаешь?—возразилъ Михайло угрюмо.
— Да ужъ видно гуся сразу... небось изъ деревни?
— Изъ деревни. А что?
— Да такъ... Знаю самъ — денегъ нѣтъ, жрать нечего, спѣшь съ матерью да съ ребятами воютъ, ну, и побѣждалъ въ городъ за счастьемъ. А, между прочимъ, въ городѣ-то сразу счастья не даютъ, особенно который ежели не понимаетъ, гдѣ его искать... Знаю все! Я самъ, братъ, изъ деревни. Только ужъ я давно. Сначала уходилъ въ городъ по зимамъ, а на лѣто домой — убираться. Бѣгалъ, бѣгалъ я такъ изъ деревни въ городъ, изъ города въ деревню и порѣшилъ, потому зря только ноги обиваешь. Прибѣжишь зимой въ городъ — тутъ нѣтъ ничего! Прибѣжишь лѣтомъ въ деревню — тамъ нѣтъ ничего! Взялъ, да и прекратилъ съ хозяйствомъ, привезъ сюда жену, ребятъ, разсозвалъ всѣхъ кого куды: дѣвочку въ трактиръ въ судомойки, мальчишку въ трактиръ на побѣгушки, а самъ при мнѣ, я самъ у Пузырева, который что прикажетъ, и дѣлаю... Идолъ, однако, хорошій!

— Это какой идолъ?—спросилъ Михайло.
— Да хозяинъ нашъ, Пузыревъ. Я у него все одно, какъ домашній. Теперь онъ на меня озлился и я вотъ воду таскаю.
— Сколько же получаешь?
— Всяко. У насъ съ нимъ безъ ряды,—говорю тебѣ, я у него какъ домашній... Оно бы ничего и въ водовозахъ, да работать жидъ, по-свиному, чисто какъ мы животные какія несчастныя... Оно и это ничего бы, да беспокоить.

Говоря это, водовозъ лѣниво повернулся на другой бокъ,

лицомъ къ Михайлѣ, и сталъ ковырять пальцемъ песокъ. (Водѣ онъ, повидимому, забылъ и радъ быть случаю высказать свои размышленія.)

— А было счастье и у меня,—продолжалъ онъ, не дожидаясь возраженій со стороны Михайлы,—само пришло, и держалъ я его вотъ этими самыми руками, да дуракъ я, и умѣлъ опредѣлить его въ дѣло... Случились разъ у меня деньги. . какъ я ихъ получилъ—незачѣмъ это рассказывать только вѣрно—получилъ и въ карманъ положилъ, да толку то не вышло. Кабы тогда путемъ разсудить, такъ былъ бы человекъ, а то теперь свинья свиньей, все равно, какъ оселъ какой живешь безпокойно. Если бы тогда я не зашелъ отъ глупости въ трактиръ, да не сталъ бы по головамъ бутылками ѣздить, то ужъ теперь бы я вонъ куды поднялся, теперь бы у меня, можетъ, домъ каменный былъ—вотъ бы куды хватилъ! Нынѣ же вотъ какъ свинья, безъ жалованья, въ грязь, сплю въ грязи, отдыхаю мало. А потому, что дуракъ..

— Какъ же это ты выпустилъ деньги?—равнодушно спросилъ Михайло.

— Какъ выпустилъ? Выпустилъ даже очень просто, вотъ одно, какъ пухъ изъ перины, самъ даже почестъ не понимаю какъ, куда, зачѣмъ... Какъ только, видишь-ли, получилъ эдакую кучу денегъ и сталъ, братецъ ты мой, самъ не свой. Замѣсто того, чтобы радоваться тихимъ манеромъ, а я самъ не свой сдѣлался, робость на меня напала или какъ бы замѣненіе... Сажу я у себя на квартирѣ, щупаю карманъ и не знаю, куда мнѣ дѣваться съ ними. Денегъ сразу много пришло, а я не знаю, дуракъ, что съ ними дѣлать, куда дѣвать съ чего начать... Хоть убей—не понимаю! Сажу я эдакъ да ма и, на примѣръ, не понимаю. И потомъ вышелъ на дворъ—тоже ничего не понимаю. Пошелъ ходить по улицамъ, самъ чую, что я какъ оглашенный какой. Прежде, бывалъ получишь копѣйку и напередъ знаешь, куда ее опредѣлить. А тутъ въ карманѣ лежитъ куча, а дѣвать ее некуда. Понимаешь, некуда мнѣ ее дѣвать, ни къ чему мнѣ она, ничего не знаю я, въ какой оборотъ ее пустить... Ходилъ-ходилъ я по улицамъ въ эдакомъ непониманіи и зашелъ въ лавку. Не то, чтобы требовалось вещь какую купить, а такъ, что купить хоть для первоначалу что-нибудь. Увидѣлъ въ лавкѣ шапки и купилъ... даже двѣ цѣлыхъ—одну бобровую, другую

баранью, а зачѣмъ—не знаю. Почему двадцать цѣлковыхъ у меня вылетѣло—не понимаю... Вышелъ я опять на улицу, старую шапченку засунулъ въ карманъ, бобровую надѣлъ на голову, а баранью держу въ рукахъ и опять думаю, куды бы мнѣ еще деньги опредѣлить? Увидалъ я тутъ трактиръ и обрадовался; дай, думаю, во всю свою жизнь въ первый разъ попользуюсь, покушаю, какъ прочіе хорошіе люди. Зашелъ. Трактиръ чистый, половые какъ господа, а я сѣлъ за столъ и смотрю твердо, потому что съ деньгами съ какою хошь розей поглянешься. Приказалъ я принести порцію котлетовъ, и пока чай. Попилъ чаю, сахаръ весь съѣлъ, и принесли мнѣ юрцію. Съѣлъ я ее мигомъ—мало, подавай еще! Подали еще—мало! Принесли третью порцію и тогда я насытился. Послѣ того велѣлъ принести пива цѣлую дюжину бутылокъ и пью. Служу я за бутылками, словно за заборомъ какимъ, и посматриваю на всѣхъ хладнокровно... Но одинъ половой, вижу, все что-то хихикаетъ про себя; какъ взглянетъ на меня, такъ и хихикаетъ. А въ головѣ у меня ужъ шумъ пошелъ. Осердился я гнѣвно на этого подлеца и кричу ему: „Ты что, провинная образина, насмѣхаешься надо мной?“ Онъ смѣется, а подавай его честить... Поднялъ такой шумъ, что и Боже упаси! Всѣ посѣтители оборотились ко мнѣ. А я все ругаюсь. Половой подходитъ ко мнѣ и такъ вѣжливо говоритъ: „Вы, говоритъ, господинъ, пришли въ хорошее мѣсто, такъ не извольте вести себя какъ свинья, а не то я пошлю за полиціей“... Ну, тутъ я ужъ совсѣмъ пошелъ въ рукопашную, схватилъ бутылку съ пивомъ и пустилъ ему въ голову... Шумъ, свистъ, полиція!... Стали меня приступомъ брать, а я стою, держу въ рукахъ по бутылкѣ, да пивомъ ихъ по всѣмъ частямъ... Однако, положили меня, и тутъ ужъ я не помню, что мнѣ говорили, а, должно быть, ничего не говорили, а били только. Опамятовался я ужъ только на другое утро въ кутузкѣ. Первымъ дѣломъ—хватъ въ карманъ, а денегъ ужъ нѣтъ! Вотъ когда я въ себя пришелъ и вотъ тутъ только понялъ, какъ глупо все набезобразилъ... Мнѣ хотъ бы деньги-то женѣ отдать, а я вонъ куды!... Жалко мнѣ стало денегъ. Голова болитъ, лежу весь больной, въ горлѣ пересохло, пить такъ хочется, а тутъ меня скоро вытолкали на улицу, и сталъ я опять такая же бѣдная свинья, какъ словно у меня и денегъ никогда не было! Я заплакалъ...

— Всѣ деньги дочиста пропали?—спросилъ Михайло.

— Всѣ. Должно быть, половой-то этотъ и вытащилъ, какъ меня повалили... Да, конечно, самъ виноватъ!

— Видно, мысли-то у тебя никакой не было,—задумчивъ замѣтилъ Михайло.

— Это ты вѣрно. Окромя развѣ вотъ этихъ шапокъ... то больше и мыслей у меня не было... да и шапокъ-то я отыскалось!

— И шапки пропали?

— Пропали. Кабы знать, такъ хоть бы шапки-то отнесъ домой... А то вотъ теперь вози воду... Эхъ, ты, вислоухій, чтъ пригорюнился?—закричалъ вдругъ дѣловымъ тономъ водовозъ, обращаясь къ покорно стоявшей въ водѣ лошади, и принялся наливать бочку.

— Какъ же теперь... живешь? — полюбопытствовалъ Михайло.

— Плохо... Пузыревъ, идолъ-то мой, разжаловалъ вш меня. Я у него кучеромъ былъ, чуть даже въ прикащики к нему не попалъ, да онъ вотъ взялъ, да и свергнулъ меня въ водовозы...

— За что же?

— За все. Онъ что хочетъ, то и дѣлаетъ со мной. Да надо какъ ни то упросить его, чтобы получше мѣстечка далъ... скучно воду-то возить.

— Ты что же сидишь... развѣ не побранить хозяинъ?—спросилъ Михайло.

— Ничего, лѣшій съ нимъ! Нельзя ужъ и отдохнуть? На плевать!—говорилъ лѣниво водовозъ.

Онъ налилъ бочку и выѣхалъ изъ воды. Михайло вспомнилъ, что сейчасъ онъ останется одинъ, безъ пріюта, безъ цѣли, съ отшибленными руками, опустившійся. Но водовозъ какъ будто угадалъ его состояніе.

— А ты, парень, иди къ намъ на работу,—сказалъ онъ.

— Ты же говоришь, что у васъ плохо?

— Гдѣ же лучше-то? По крайности кусокъ хлѣба.

— Да вѣдь ты самъ говоришь, что хозяинъ вашъ—идолъ!

— Конечно, идолъ... притѣсняетъ... Но онъ ничего. Ежему хорошенько услужить, онъ помнить...

Михайло съ какимъ-то недоумѣніемъ замолчалъ, всталъ съ мѣста и отправился вслѣдъ за водовозомъ по направленію къ

кирпичнымъ сараямъ. Ему было все равно, лишь бы не остаться наединѣ съ собой. Дорогой они ближе познакомились Михайло, во-первыхъ, узналъ, что водовоза зовутъ Исаемъ; во-вторыхъ, этотъ Исай живетъ теперь подъ открытымъ небомъ, находясь день и ночь подлѣ сараевъ, а по окончаніи кирпичнаго сезона переберется съ женой на дворъ хозяина, который помигуетъ его и дастъ ему болѣе радостное мѣстечко.

Скоро они пришли къ сараямъ. Произошла сцена, чрезвычайно удивившая Михайлу. Исай, вѣроятно, думалъ, что хозяинъ въ этотъ день не явится на мѣсто работъ, и безъ опасенія провелъ на берегу цѣлый часъ въ разговорахъ. Но случилось иначе. Едва онъ остановился съ бочкой, какъ наткнулся на хозяина. Послѣдній набросился на него съ ругательствами. „Гдѣ ты былъ? Тебя тутъ ждутъ, подлеца, а ты и улюк не ведешь! Куды ты провалился, безсовѣстный?“ Долго бѣсѣдовалъ хозяинъ и привелъ въ такое замѣшательство Исай, что послѣдній, какъ взялъ въ руку черпакъ, такъ и застылъ съ нимъ. „Что же всталъ истуканомъ? Выливай, дуракъ, воду, да пошелъ опять скорѣй!“ закричалъ хозяинъ. Это вышло Исай изъ столбняка. Онъ живо вычерпалъ воду въ лу, бормоча что-то подъ носъ себѣ, вродѣ того, что, молъ, не птица же онъ съ крыльями, чтобы такъ скоро летать, сѣлъ поспѣшно на бочку и что есть духу поскакалъ за новою водой,—только бочка загремѣла... куда и равнодушіе дѣвалось.

У Михайлы этотъ день пропалъ даромъ. Безъ хозяина, который сейчасъ же уѣхалъ послѣ острастки, онъ не могъ выдвинуться на работу, а пока ходилъ въ городъ, въ домъ Пузырева, пока ждалъ его, а потомъ торговался, наступилъ уже вечеръ.

Но ночь онъ провелъ уже на мѣстѣ. Исай обязательно указалъ ему голую землю, гдѣ онъ можетъ лечь, и пучекъ соломы, который онъ можетъ употребить въ качествѣ подушки. Михайло такъ и сдѣлалъ: подложилъ соломы подъ голову и легъ на землю, прикрывшись кулемъ. Онъ вскочилъ чуть свѣтъ, не попадая зубъ на зубъ отъ утренняго холода, промшиаго его до мозга костей. Въ слѣдующія ночи онъ, впрочемъ, лучше приспособился, хотя и продолжалъ спать на чистомъ воздухѣ.

На другой день онъ вмѣстѣ съ другими принялся за дѣланіе кирпичей. Способы были такіе первобытные, что онъ и два дня постигъ все, относящееся къ кирпичамъ. Сперва мѣсятъ глину ногами, руками и лопатами—это онъ выучилъ; потомъ дѣляютъ на меньшія кучи глину и еще разъ мѣсятъ; потомъ берутъ руками комокъ липкой глины, шлепаютъ его въ стенокъ, притаптываютъ ногами и приглаживаютъ съ помощью лопаты и воды—и кирпичъ готовъ.

Слѣдующіе уже дни Михайло велъ такую несложную жизнь, что потомъ никакъ не въ состояніи былъ припомнить ни одного событія, которое раздѣляло бы одинъ день отъ другого. Работать по утру онъ работалъ. Въ восемь или девять часовъ—завтракъ изъ хлѣба и квасу. Потомъ опять работа. Въ часъ дня—обѣдъ изъ хлѣба, изъ каши съ рыбой или съ солониной, или съ саломъ. Потомъ опять работа. Въ девять часовъ—ужинъ изъ хлѣба и изъ каши, на этотъ разъ безъ рыбы, безъ сала и безъ солонины.

Черезъ недѣлю, въ день расчета, Михайлу обсчитали въ двадцать копѣекъ. Въ эту первую недѣлю онъ протестовалъ, сверкая глазами. Но въ слѣдующую недѣлю онъ только удивился, что его обсчитали на двадцать пять копѣекъ. А въ третью недѣлю онъ уже молчалъ, равнодушно смотря на ладонь, гдѣ лежали деньги. Среда, куда онъ попалъ, неумолимо дѣйствовала. Между работниками были мѣщане изъ города, крестьяне изъ деревень и бабы обоихъ сословій, но вся эта огромная куча людей молчала, равнодушная, холодная, потерявшая даже охоту выражать свои нужды. Обѣдъ былъ тушленый—ѣли. Въ субботу обсчитывали—остриали. „У тебя сколько нынче уперли?“—лѣниво спрашиваетъ одинъ.—„Тридцать“,—равнодушно отвѣчаетъ другой.—„А у меня даже съ карманомъ... вотъ посмотри, кармана-то нѣту, оторвали, черти! Смѣхъ.“

Михайло дѣлалъ такъ, какъ дѣлали другіе. Онъ, не сознавая этого, незамѣтно опускался куда-то глубоко внизъ. Ни какой своей мысли въ это время у него не появлялось: онъ думалъ настолько, насколько это нужно было, чтобы и принять кирпичи за дерево или чтобы не прикрыться, вмѣстѣ с рогожи, кирпичами. Онъ мѣсилъ глину, ѣлъ рыбу „съ духомъ“, спалъ среди природы, какъ всѣ прочіе товарищи, въ концѣ недѣли шелъ за расчетомъ, подставлялъ ладонь, получаютъ

какъ прочіе, молчалъ и имѣлъ угрюмый видъ, какъ всѣ, и опустился на самое дно равнодушія, какъ всѣ окружающіе.

Онъ быстро осовѣлъ и обезмыслилъ. Во время работы онъ старался поменьше дѣлать кирпичей и ждалъ съ нетерпѣніемъ времени ѣды, но въ особенности ждалъ, когда наступитъ ночь и можно лечь спать, прикрывшись рогожей; но сна ему было мала; онъ мечталъ о воскресеньи, когда онъ въправъ лечь съ вечера субботы и проспать до вечера воскресенья; всѣ другіе его мечты за это страшное время носили тотъ же характеръ. Ему стало лѣнь думать, надѣяться, желать, и ослабленіе всего его существа было такое полное, что онъ не чувствовалъ, что существуетъ.

Рано утромъ его обыкновенно расталкивалъ ногой одинъ изъ распорядителей работъ, послѣ чего онъ вскакивалъ съ невынымъ видомъ и безсмысленно принимался соваться, пока новый крикливый приказъ изъ непечатныхъ словъ не приводилъ его въ себя... и ему тогда не стыдно было этого. Онъ принимался за работу, показывая всѣми движеніями, что онъ во всѣхъ силъ старается, но чуть отвернется десятникъ, Михайло преспокойно садится возлѣ кучи глины и лѣниво глядитъ на окрестности по сторонамъ... и этого тогда не стыдно было ему! Впослѣдствіи онъ съ негодованіемъ вспоминалъ все это, но въ это время онъ не чувствовалъ ничего, кромѣ страшнѣйшей тяжести жизни; вспоминая это время, онъ впослѣдствіи говорилъ, что онъ потерялъ даже ощущеніе жизни, а, когда къ нему приходило смутное ощущеніе бытія, то онъ старался какъ можно больше спать.

Наружный его видъ такъ измѣнился, что видѣвшіе его раньше не узнали бы его; штаны его просвѣчивали, обнажая нѣкія мѣста, въ волосахъ, всегда всклокоченныхъ, торчала солома (остатки ложа), лицо чортъ знаетъ чѣмъ было вымазано! Ему вообще ничего не было стыдно тогда и ничего не хотѣлось дѣлать для себя и по своей волѣ.

Не удивляло Михайлу и оскорбительное отношеніе безалабернаго Пузырева къ рабочимъ. Пріѣзжая на заводъ, этотъ хозяинъ, человѣкъ вообще пустой, оставался тамъ на какихъ-нибудь полчаса, но за это время успѣвалъ выругать чуть не всѣхъ работающихъ, не потому, чтобы въ этомъ была какая-нибудь надобность, а такъ, по привычкѣ хозяина, который, по его глупѣйшему соображенію, всегда долженъ дер-

жать себя строго. Иногда же, не находя предлога къ бранѣ въ дѣйствительности, Пузыревъ выдумывалъ его. Подойдетъ къ станку, потычетъ тростью въ мокрые еще кирпичи, швы нетъ ногой кучу высыхающихъ кирпичей и отыщетъ-такъ виновника.

— Это кто дѣлалъ? — спрашиваетъ онъ, якобы разгнѣванный.

— Это я.

— Ты? Лучше бы тебѣ не родиться на свѣтъ, нечѣмъ твое безобразіе дѣлать! Это развѣ кирпичъ?—спрашиваетъ Пузыревъ, якобы взволнованный.

— Кирпичъ, кажись...—тупо возражаетъ виновникъ.

— Да ты самъ посмотри... тутъ ямы, тутъ дыры, искрыренъ весь. Да чѣмъ же ты дѣлалъ-то его? Иль у тебѣ руки отсохли?—продолжаетъ гнѣваться Пузыревъ, насильно раздражая себя.

Виновникъ молчитъ. Это лишаетъ хозяйскій гнѣвъ всякой пищи.

— А по-моему, какъ если руки-то у тебя отсохли, такъ ты хоть бы носомъ обчистилъ кирпичъ, и тогда получай жалованье. А теперь ты замѣсто кирпича надѣлаешь визяковъ или назмъ, въ которомъ ты родился, а жалованье небось просишь... „Пожалуйте, Митрій Ивановичъ!“—передразнилъ Пузыревъ съ гримасой, отъ которой толпа захохотала.

Хозяинъ, высказавъ еще множество такихъ же пустыхъ соображеній, уѣзжалъ, а товарищи оплеваннаго поднимали его же на смѣхъ...

— А, ну-ка, попробуй носомъ-то?...—И никто не выражал никакой злобы. Не обижался и самъ оплеванный. Но затѣмъ при случаѣ онъ, въ свою очередь, сдѣлаетъ что-нибудь, такъ себѣ, ни съ того, ни съ сего, попусту; изломаетъ станокъ и заброситъ его въ оврагъ или пуститъ въ хозяйскую легкую собаку кирпичемъ и перешибетъ ей ногу. Да и сдѣлаетъ это безъ всякой охоты и съ страшною лѣзвю. „Никакъ перешибъ ногу евойному легашу... ну, пушай, шутъ съ нимъ ты только молчи“,—говоритъ онъ скучно товарищу, который видѣлъ, какъ онъ пустилъ кирпичъ въ собаку.

Первообразомъ этихъ людей былъ Исай. Михайло близокъ съ нимъ познакомился; ночь они иногда близко спали; п

президиантъ Михайло сидѣлъ у него на квартирѣ въ гостяхъ и нерѣдко заходилъ съ нимъ въ портерную.

Портерную Исая, кажется, любилъ больше всего на свѣтѣ. Практиковать любовь къ ней онъ могъ, конечно, только по праздникамъ. Едва дождавшись окончанія обѣдни, онъ уже сидѣлъ тамъ, скрывъ отъ жены часть заработковъ. Это ему удавалось всегда, и для этого онъ пускалъ въ обращеніе тысячу хитростей: запрячетъ деньги въ голенище или заткнетъ ихъ въ щель стѣны, или въ одну изъ дыръ картуза. Жена, конечно, знала, что Исая спряталъ часть, но куда — это рѣдко ей удавалось открыть. Такъ или иначе, прикопивъ нѣсколько денегъ, онъ садился въ портерной и прохлаждался ю вечера. Вечеромъ же онъ былъ обыкновенно безъ головы или безъ ногъ; лѣвъ ко всѣмъ драться, старался побить жену, которая вела его подъ руку изъ пивной. Разозлившись, жена, во приходѣ домой, клала его на полъ и шлепала вѣникомъ... Но Исая не обижался по утру. Утромъ онъ жалѣлъ, что не чѣмъ опохмѣлиться.

Дрался онъ не потому, что такимъ способомъ желалъ выразить какую-нибудь внутреннюю боль, а просто потому, что ему скучно становилось. Нерѣдко онъ дебоширилъ въ самой портерной. Тогда его вели въ кутузку, причемъ провожатые размазывали его лицо пурпуровыми красками; но Исая по утру не обижался, признавая очевидную неизбѣжность мордобоя. Когда его выталкивали изъ кутузки, онъ еще удивился, что такъ снисходительно его помиловали. За вину его, за безобразіе его надо бы почище отвалить... Очень просто: порядокъ, законъ, — не безобразничай! А его милостиво только вытолкали изъ полиціи, давъ ему на прощанье здоровенную затрещину.

Михайло удивлялся, какъ мало у Исая потребностей и какъ мало ему надо было вещей, чтобы удовлетворить его шопингъ. Онъ страдалъ только тогда, когда у него нечего было есть, когда онъ не могъ выпить пива или когда ему не давали заснуть. Въ этихъ случаяхъ онъ не только страдалъ, но бѣдился яростнымъ, злымъ, неукротимымъ. Хозяинъ Пузырь, больше чѣмъ надъ кѣмъ — нибудь другимъ, тяготѣлъ надъ нимъ, безусловно распоряжаясь его жизнью (кажется, Исая былъ по уши долженъ ему).

Никогда онъ не возражалъ хозяину, что такое-то поруче-

ніе не сподручно ему. Если бы Пузыревъ приказалъ елѣзть въ воду, Исай сдѣлалъ бы это; если бы ему сказалъ что вотъ этого человѣка надо бить, Исай сталъ бы битъ только потребовалъ бы передъ началомъ дѣла выпить для храбрости. Иногда ему не удавалось побывать въ портерню тогда онъ шелъ къ Пузыреву и отчаянно грубилъ ему. Пузыревъ понималъ, къ чему клонится вся эта грубость, и выдавалъ ему на выписку, давая слово при первомъ случаѣ оштрафовать его урѣзкой жалованья.

— Вотъ за это благодаримъ, Митрій Ивановичъ!—говорилъ съ сіяющимъ отъ радости лицомъ Исай, получивъ удовлетвореніе.

— То-то благодаримъ! Я тебя, подлеца, жалѣю, кормлю, а ты же еще по-собачьи лаешь!

— Простите, Митрій Ивановичъ! Конечно, это я по глупости, какъ человѣкъ необразованный... Да! развѣ я не знаю вашей доброты? Сдѣлайте одолженіе, это я вполне чувствую потому что совѣсть имѣю... За вашу доброту я отплачу. Скажите только: Исай! Больше ничего-съ. Я готовъ отъ души, чего изволите...

— Какъ же, жди отъ васъ благодарности! Вамъ бы только хозяина обмануть... Я тебя, негодая, содержу, питаю, а ты какъ съ цѣпи сорвался!... Прямо негодай!

— Простите, Христа ради... Ругайте, заслужилъ. А тепе позвольте, я пойду выпью за ваше здоровье...

Исай, высказавъ это, лукаво улыбнулся, а на лицѣ его отражалось довольство.

Несмотря на отношенія, часто явно враждебныя, между нимъ и хозяиномъ, Исай питалъ къ Пузыреву нѣкоторый родъ любви... По крайней мѣрѣ, все Пузыревское онъ считалъ „нашимъ“... „Наши лошади супротивъ другихъ прочимъ куда же!“ „У насъ карманъ-то, чай, потолще будетъ“, хвастался Исай передъ посторонними. Это хвастовство, гордость воображаемымъ „нашимъ“ были у него искренны. Когда при немъ нехорошо отзывались о Пузыревѣ, который въ самомъ дѣлѣ былъ не уменъ, непрактиченъ, безхарактеренъ, какъ человѣкъ, и ротозѣй, какъ купецъ, то Исай выходилъ изъ себя. Михайло разъ присутствовалъ при одномъ разговорѣ.

— Дуракъ онъ! Отцовскіе капиталы только проѣдаетъ,

чтобы самому—гдѣ же эдакому глупышу! Одно слово—рохля!—говорилъ одинъ рабочій, когда дѣло какъ-то коснулось Пузырева.

— Кто?—закричалъ Исай съ негодованіемъ.

— А вотъ Пузыревъ—то твой. Земли больше у помѣщиковъ не снимаетъ; который каменный домъ отецъ ему оставилъ недостроенный, и тотъ онъ продалъ!... Дуракъ и есть!

— Да ты у него былъ въ карманѣ—то?—спросилъ Исай, пожирая противника злобными взорами.

— Въ карманѣ я не былъ, а такъ вижу человѣка, какой онъ есть... Проѣстъ онъ скоро и остальные-то... потому соплякъ!

— Самъ ты соплякъ! Да онъ купить и перекупить сто... какое сто! тыщу такихъ, какъ ты подобныхъ жуликовъ!

— Что ты ругаешься, Исайка?

— А то и ругаюсь, что весьма глупо! Кабы ты мнѣ наталъ это подъ пьяную руку, такъ узналъ бы, какіе есть юсковскіе калачи!

Дѣйствительно, изъ-за Пузырева Исай нерѣдко дрался, въ пьяномъ, конечно, видѣ, какъ ни была нелѣпа подобная ссора.

Прожилъ онъ у Пузырева лѣтъ двѣнадцать съ перерывами, а за это время переработалъ множество работъ. Одно время, за несомнѣнную честность, Пузыревъ назначилъ Исая даже въ приказчики, предварительно нарядивъ его въ приличный костюмъ. Но Исай не во-время сталъ пьянствовать, жестоко дрался съ рабочими, которые, въ свою очередь, потерявъ терпѣніе, драли его и избивали до крови, содержался по два мѣсяца въ недѣлю въ кутузкѣ при полиціи за дебоши,—словомъ, оказался неудачнымъ приказчикомъ, хотя не пересталъ быть честнымъ. Хозяинъ прямо изъ приказчиковъ свергнулъ его съ сторожа—караулить кирпичи, хранившіеся круглый годъ за городомъ. Тамъ ему было такъ скучно, что онъ по сорока часовъ подрядъ спалъ. Изъ сторожей онъ былъ уволенъ за то, что чуть было не убилъ коломъ какого-то проходившаго мимо человѣка, принявъ его съ просонья за вора. Это дѣло доходило до полиціи, и хозяинъ только благодарностью избавилъ его отъ тюрьмы. Исай послѣ этого долго былъ въ опалѣ и прогнанъ былъ въ среду обыкновенныхъ работниковъ на кирпичныхъ сараяхъ, т. е. мѣсить глину, лѣпить

кирпичи и пр. Потомъ Пузыревъ взялъ его въ свой городской домъ въ дворники, изъ дворниковъ онъ сдѣлалъ его кучеромъ. Когда его одѣли кучеромъ, онъ выглядѣлъ очень красиво, смотрѣлъ сурово, руки держалъ прямо, какъ палки, заливчато кричалъ: „гисъ!“, за лошадьми также хорошо ухаживалъ. Но однажды, когда Пузыревъ торопился куда-то и приказалъ быстрѣе ѣхать, Исая такъ пересолил, что задушил дѣвочку-нищую. Опять въ полицію! Дѣло было потушено, но Пузыревъ свергнулъ Исая въ водовозы.

На все'способный, Исая, кромѣ того, исполнялъ еще другія домашнія работы, даже не свойственныя мужскому полу. Нерѣдко хозяйка просила его, за отсутствіемъ няньки, повидѣться съ ея груднымъ ребенкомъ. Исая съ величайшимъ удовольствіемъ брался за это порученіе: носилъ ребенка въ рукахъ съ нѣжностью кормилицы, возилъ его въ коляска, забавлялъ его разными штуками. Онъ такъ увлекался своею ролью, что совершенно забывалъ себя, весь отдавшись маленькому крошкѣ. Когда тотъ собирался заплакать, Исая предлагалъ входъ всевозможныя успокоительныя средства: мурлыкалъ, какъ кошка, щелкалъ, какъ сорока, мычалъ, какъ корова, высовывалъ языкъ, дергая себя за носъ, или прятался вдругъ подъ коляску, ложась плашмя на землю. Ребенокъ наконецъ, забывалъ свое намѣреніе кричать, пораженный прыжками и метаморфозами огромнаго мужичищи. Когда же ему хотѣлось спать, Исая бралъ его на руки и убаюкивалъ его пѣсней, которую тянулъ хриплымъ голосомъ, но тихимъ, какъ будто шепталъ, при этомъ раскачивался всѣмъ тѣломъ монотонно и самъ закрывалъ глаза, какъ соловей во время трелей.

Такъ поступалъ онъ на глазахъ, искренно и изъ всѣхъ силъ исполняя всякое порученіе. Искренность его не поддавалась ни малѣйшему сомнѣнію: Пузыревъ однажды застрялъ въ весенней зажорѣ—Исая вытащилъ его на своихъ плечахъ, а самъ пролежалъ два мѣсяца въ горячкѣ. Въ другой разъ онъ бросился, съ рискомъ быть разбитымъ на куски на лошадь, которая трепала Пузырева. Но едва его спустил съ хозяйскихъ глазъ, какъ онъ дѣлался самъ не свой и не зналъ, куда дѣтъ свои руки, свою голову, свое тѣло. Когда для него выходилъ въ будни свободный день, то онъ убивалъ его безсмысленно; онъ тогда или вялился на соломѣ, и

бродилъ по городу съ шальнымъ лицомъ, заглядывалъ во всѣ трактиры, и если ему удавалось встрѣтить пріятеля, соглашавшагося вывести его изъ такого тягостнаго настроенія, то онъ сейчасъ напивался, немедленно же вступалъ въ драку съ этимъ же самымъ пріятелемъ и сейчасъ же ему раскрашивалъ физиономію. Такъ онъ наполнялъ день. Потому внутри у него было пусто. Самъ онъ никогда не могъ придумать порядка для своей жизни и наполнялъ внутреннюю пустоту свою тогда только, когда ему приказывали сдѣлать что, бѣжать туда, работать тамъ, умереть вотъ здѣсь... И бѣгалъ, бѣжалъ, работалъ, умиралъ. Получивъ приказаніе, наполнившее его пустоту смысломъ, хотя и чужимъ, онъ моментально дѣлался изъ апатичнаго и тупого существа человекомъ, способнымъ на всѣ руки, старательнымъ, умницей.

И онъ легко принималъ все чужое, — все, что ему приказывали, всякій порядокъ, не имъ выдуманный, всякое дѣло, и имъ начатое. Легко онъ сносилъ и обиды въ жизни, — обиды, неминуемо сопряженные съ приказаніями, съ чужою волею, съ чужими капризами, лишь бы эти приказанія исходили отъ какой-нибудь силы. А силой для него былъ всякій, кто держалъ въ рукахъ палку, изъ чего бы эта палка ни состояла. Когда эта палка била его, ему было больно, но возможность существованія палки не вызывала въ немъ сомнѣнія.

Въ глубинѣ души, подъ самую послѣднюю подкладку его мыслей, онъ не признавалъ за собой „правовъ“, по той причинѣ, что не зналъ ихъ, не зналъ ничего истинно-человѣческаго, справедливаго, идеальнаго; вся жизнь его, съ нѣжнаго дѣтства, протекла въ принятіи собственными ребрами всего безчеловѣчнаго, несправедливаго, грѣшнаго. Съ этими явленіями грязи и безчеловѣчія онъ такъ сжился, что считалъ за чистое для себя снисхожденіе, когда его тѣмъ или инымъ путемъ не драли, и все, что выходило изъ предѣловъ насилія и неправды, онъ въ глубинѣ души считалъ хорошимъ, но не естественнымъ.

Михайло, изучившій его до малѣйшихъ подробностей, съ изумленіемъ спрашивалъ себя, какъ и для чего такой человекъ существуетъ? Самъ онъ понемногу сталъ выходить изъ этого душевнаго оцѣпенѣнія, которое овладѣло имъ здѣсь. А

одинъ довольно незначительный случай окончательно привелъ его въ чувство. Однажды приказчикъ во время работы разговаривалъ съ господиномъ, котораго рабочіе называли *Өомичемъ*, произнося это имя съ величайшимъ уваженіемъ, хотя это имя носилъ простой слесарь... Михайло и раньше много слышалъ объ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ, имѣвшемъ на него въ послѣдствіи такое огромное вліяніе, и теперь, увидавъ его, бросилъ работу, облокотился на груды кирпичей пристально вглядывался въ барина (иначе нельзя было, судя по наружности, назвать *Өомича*); какое-то глубокое раздумье и вмѣстѣ жгучая тоска охватила его, когда онъ такъ стоялъ.

Но вдругъ приказчикъ набросился на него.

— Ты что стоишь? Дѣла нѣтъ у тебя? Пошелъ работать негодяй!—закричалъ приказчикъ, не подозрѣвая, съ кѣмъ имѣетъ дѣло.

Михайло вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, поблѣднѣлъ и моментально очутился подлѣ самага носа приказчика.

— Ты что сказалъ?—спросилъ онъ тихо.

Приказчикъ растерялся.

— Иди на работу, сказалъ я...

Приказчику показалось, что Михайло сейчасъ схватить его и бросить въ яму, подлѣ которой они стояли; онъ въ замѣшательствѣ попятился, испуганный зловѣщимъ лицомъ Михайлы.

— Ну, смотри... впередъ языкъ держи за зубами!—проговорилъ тихо послѣдній и пошелъ на свое мѣсто, провожаемый взглядомъ *Өомича*, которымъ *Өомичъ* какъ бы спрашивалъ: кто такой этотъ гордый оборванецъ?

Вотъ этотъ случай и вывелъ Михайлу изъ оцепѣнѣнія. Е первую минуту имъ овладѣлъ страхъ. „Боже мой! да гдѣ же я? куда попалъ?“—спрашивалъ онъ себя. Затѣмъ онъ быстро составилъ рѣшеніе—убѣжать отсюда, дождавшись субботняго расчета. На своихъ товарищей онъ вдругъ взглянулъ съ страшною злобой, а Исай видѣть не могъ. Въ этотъ же день онъ нашелъ предлогъ выпустить цѣлый зарядъ злобы.

Это было уже въ то время, когда они лежали, приготовляясь уснуть. Исай по какому-то поводу сталъ ругать Цырева и жаловался, что ему плохо жить тутъ.

— Ну, я этого не замѣчаю что-то... тебѣ вездѣ отлично! возразилъ Михайло изъ-подъ рогожи.

— Однако же... есть же мѣста лучше и есть хуже... какое же сравненіе!—продолжалъ Исай, громко зѣвая, изъ-подъ югожи. Онъ не подозрѣвалъ, какая злоба бьется подъ со-вѣнею рогожей.

— Да ты зачѣмъ ушелъ изъ деревни-то?—вдругъ отрывисто спросилъ Михайло.

— Ушелъ-то? Ушелъ, потому что—ну ее къ ляду!

— Да отчего же все-таки? Любопытно вѣдь послушать! Исай не могъ отвѣтить на такой простой вопросъ. Говорилъ онъ о какой-то лошади, о какомъ-то мѣшкѣ съ отру-би, но все-таки не въ состояніи былъ прямо отвѣтить, от-его онъ ушелъ.

— Часто тебѣ тамъ рубаху-то заворачивали?—спросилъ съ презрѣніемъ Михайло.

— Да, случалось... какъ всѣмъ прочимъ...

— Такъ, можетъ, отъ этого ушелъ?

— Конечно, отъ этого!—обрадовался Исай.

Но Михайло сейчасъ же уличилъ его.

— Да развѣ здѣсь тебѣ лучше, ежели каждую недѣлю у ба морда разбита, бока переломаны?

Исай не могъ возразить, хотя что-то бормоталъ подъ ро-гожей.

— Жрать-то было-ли тебѣ?—презрительно спросилъ опять Михайло.

— Какъ обыкновенно, по обычаю — отъ Миколы ужъ не по своего хлѣба. Бѣгалъ къ этому же Пузыреву, Митрію Банычу,—онъ въ ту пору хлѣба у барина снималъ въ рен-... Иной разъ давалъ, иной разъ прогонялъ — ну, тогда, само, кушать нечего было.

— Такъ, можетъ, отъ этого ушелъ?

— Вотъ, вотъ! Отъ этого самаго, отъ недостатка!—обрадо-вался было Исай, но Михайло снова приперъ его къ стѣнѣ.

— Ну, а здѣсь-то какое для тебя удовольствіе? Денегъ у ба нѣтъ, въ пищѣ ты на собачьемъ положеніи, утормъ тебя сатникъ пнеть ногой, какъ подлеца какого, ругаетъ тебя Пузыревъ, какъ свою лошадь. Жену ты не кормишь, дѣтей скидаль, значитъ, ты и самъ не знаешь, зачѣмъ ты сюда ушелъ и чего ты ищешь? Эхъ, ты, Исай, Исай!—сказалъ злобынымъ смѣхомъ Михайло и далеко отбросилъ отъ себя палку, которымъ былъ прикрытъ.

— По-моему, тебѣ вездѣ плохо. Ты самъ лучшаго-то желаешь... Когда тебя обидитъ Пузыревъ, ты хоть бы къ ровому пошелъ!—продолжалъ Михайло.

— Больно ты ловокъ! Да онъ такого тебѣ страху наиститъ, Пузыревъ-то, что и глазъ некуда будетъ спрятать! И доваться... это мы сами понимаемъ, да нельзя, хуже себѣ лаешь!—возразилъ горячо Исай, высовывая голову изъ подъ рогожи.

— Чѣмъ же хуже?

— А тѣмъ и хуже, что онъ тебя, смутьяна, въ одинъ моментъ прогонитъ!

— Ну, и прогонитъ, а ты ищи лучшаго.

— Чего? Куда?—горячо возразилъ Исай, потомъ жалобно проговорилъ: — Нѣтъ, Мишенька, нашего-то брата нѣтъ нигдѣ по спинѣ не гладятъ — сдѣлай одолженіе! Онъ те такого мирового подпустить, что по гробъ жизни...

Михайло окончательно вышелъ изъ себя. Въ немъ проснулась прежняя дикость.

— Эхъ, вы, крѣпостные!—вскричалъ онъ.—Отъ васъ, с чертей, и всѣмъ-то жить худо, потому что вы сами не получаете хорошаго себѣ... Набьетъ, идола, брюхо свое соломою и доволенъ, больше не требуется, сытъ! Дерутъ его, какъ рина, а у него хоть бы стыдъ былъ — ничего!... Что еи идола, когда онъ съ измалѣтства привыкъ, чтобы драли по заду? Вотъ Пузыревъ ужъ на что, и тотъ покрикиваетъ: Жаловаться на него—какъ же можно? Господинъ! Осерчаетъ. А этотъ самый господинъ еще и лицо-то не успѣлъ умы еще пахнетъ отъ него мужикомъ, а онъ ужъ ломается, кичитъ, обсчитываетъ, пхаетъ ногой въ бокъ... Да и какъ ему не ломаться, коли онъ видитъ крѣпостныхъ истукановъ! Эхъ, ты, рабъ! А тоже жалуешься, что плохо!... Да что тебѣ плохо, когда ты не имѣешь понятія, что хорошо, что плохо, что радость, что пиво, что счастье, что битые по... ду... когда ты не различаешь хлѣба отъ соломы,—чего тебѣ нужно? Нѣтъ, если бы ты самъ хотѣлъ хорошее, и нимаешь бы, что есть хорошее, стыдился бы худого, такъ никто бы не смѣлъ ломаться надъ тобой. Кто же меня неволитъ дѣлать, когда я скажу: не хочу!

Исай, слушая эту пальбу по немъ, даже сѣлъ, выкашлявшись изъ-подъ рогожи. Но онъ не столько осердился,

сколько был оглушенъ, пораженный взрывомъ злобы, съ которой говорилъ Михайло.

— Больно ты прытокъ!—замѣтилъ Исая нерѣшительно.

— Только отъ васъ и услышишь: „больно прытокъ, больно прытокъ!“ Васъ по ушамъ бьютъ, а для васъ ничего... У васъ нѣтъ понятія, что вы—животныя, а не то что люди, которые, напримѣръ, не позволяютъ ломаться, не стануть жрать слоному... Отъ васъ, отъ подобныхъ истукановъ, и всѣмъ-то въ свѣтѣ больно жить, не глядѣлъ бы ни на что!...

— Да ты мнѣ что проповѣдь-то читаешь, Мишка? Что ты меня учишь? — сказалъ удивленно Исая, не зная, сердиться ему или плюнуть.

— Очень мнѣ надо учить! Васъ, дураковъ, и такъ учать! А мнѣ все равно. Я вотъ взялъ, да и пошелъ, а вы оставайтесь тутъ, чортъ съ вами!

Исая, наконецъ, осердился.

— Я тебѣ вотъ какъ дамъ по боку!—сказалъ онъ вдругъ въ угрожающимъ видомъ, но довольно лѣниво.

Михайло въ отвѣтъ на это съ презрѣніемъ плюнулъ, всталъ съ кѣста и легъ на другое, далеко отъ Исая. Онъ такъ былъ излюбленъ (злобой у него всегда начинался какой-нибудь переворотъ въ душѣ), что ему, конечно, и въ голову не могло прийти, что въ эту же ночь онъ расклется въ словахъ своихъ, и ему будетъ жалко Исая.

Это было уже далеко за полночь. Отойдя отъ Исая, Михайло легъ на землю и надѣялся проспать до утра. Но ночь выпала холодная—истекалъ августъ. Къ утру готовился морозъ. Воздухъ похолодѣлъ; сырость проникла во всѣ щели тяжелой одежды Михайлы. Онъ прозябъ. Ноги, руки, все тѣло дрожало. Не будучи въ состояніи больше лежать на землѣ, онъ вскочилъ на ноги и принялся топтать, чтобы отогрѣться. Ночь была темная. Ни одной звѣздочки на небѣ. Въ землѣ стлался туманъ, а когда на востокъ забрезжилъ свѣтъ, туманъ сдѣлался еще гуще; онъ, казалось, выходилъ изъ всѣхъ поръ земли и носился надъ полями, тихо перешагивая; въ одномъ мѣстѣ онъ сгущивался густыми клубами, въ другомъ разрывался на клочья. Въ двухъ шагахъ ничего не было видно. Михайло нѣсколько разъ спотыкался о глыбы кирпичей или о тѣла спавшихъ своихъ товарищей. Но въ продрогшій, онъ все-таки ходилъ, стараясь только не

наступить кому-нибудь на голову, и вглядывался въ ли
рабочихъ. Всѣ они спали, и тишина стояла мертвая. По
были самыя разнообразныя. Одинъ лежалъ на спинѣ, рас
нувъ руки и ноги въ разныя стороны, какъ будто рас
тый; другой лежалъ ничкомъ, утнувъ лицо въ землю, ка
будто убитый нанесеннымъ сзади ударомъ; третій спрята
половину тѣла подъ кучу какого-то хлама, выставивъ на
жу только ноги; многіе свернулись клубкомъ, но многіе б
ли совершенно раскрыты. Ихъ, повидимому, не могъ п
будить ни холодъ, ни сырость, покрывавшая въ видѣ се
бристой росы ихъ волосы и рубахи; они спали непробуди
устали, бѣдняки, за день, умаялись. Подъ ними была хол
ная глина, надъ ними носился туманъ, окутывавшій ихъ
какъ одинъ огромный общій саванъ, а они лежали, ка
мертвые, убитые...

Это именно пришло въ голову Михайлѣ, когда онъ см
рѣлъ на тѣла товарищей, казавшіяся ему трупами, без
рядочно валявшимися на пространствѣ полсотни сажено
Ему стало непріятно, не по себѣ, посреди этой мерт
площади, гдѣ не раздавалось ни одного человѣческаго зву
Онъ поспѣшно выбрался со спальной площади и вошелъ
одинъ изъ сараевъ. Къ его удивленію, тамъ ярко горѣла
жигальная печь, а передъ печью сидѣлъ и грѣлся Исай. М
хайло подсѣлъ къ нему и тоже сталъ отогрѣваться. Оним
чали. Исай сидѣлъ и глядѣлъ во всѣ глаза на пылающ
пламя. На лицѣ его играли свѣтъ и тѣни. Онъ, повидимом
глубоко задумался, по крайней мѣрѣ, не обращалъ вни
нія на то, что съ его плечъ свалился полушубокъ, подъ
торымъ днемъ скрывалась необыкновенно-дырявая руба
какъ рѣшето. Смотря на это рѣшето, Михайло пожалѣлъ Ис

— А ты, братъ Михайло, обидѣлъ меня давеча... боли
обидѣлъ!—сказалъ вдругъ Исай.

— Я что же?... Я жалѣючи,—возразилъ печально М
хайло, смущенный.

— Жалѣючи—это ничего... за это спасибо. А все же
правильно ты обижалъ меня. А потому неправильно, ч
я—человѣкъ кроткій, отъ самаго отъ роду боюсь, т.-е. н
да какъ боюсь всего...

— Кого же ты боишься?—съ удивленіемъ спросилъ М
хайло.

— Всѣхъ. Только своего брата мужика не опасуюсь, а то всѣхъ...

— И Пузырева, стало быть?

— И Пузырева.

Михайло не зналъ, что сказать.

— Всѣхъ вообще... Бывало, становой проскачетъ по деревнѣ—я боюсь, занеетъ такъ сердце... а вины, знаю, нѣтъ. Или, бывало, пойдешь къ старику Пузыреву, отцу-то вотъ этого... войдешь въ сѣни, а самъ боишься, даже ноги подкашиваются... А знаешь, что вины нѣтъ передъ имъ... Или жаль, бывало, въ волость позоветъ писарь—боишься, даже шутри что-то трясется. Всего боюсь, робко мнѣ такъ. Встрѣтишь вотъ челоуѣка незнакомаго, барина-ли, купца-ли, и робѣешь, а чего-бы, кажись?... Иной разъ стыдно станеть за эту робкость, нарочно такъ смотришь, какъ будто сердишься. а на самомъ дѣлѣ у тебя трясется все... Иной разъ слова не можешь сказать путнаго, а все отъ робости. Только стали пива напьешься, ну, тутъ ужъ море по колѣно, нарочно еще безобразничаешь...

Михайло удивлялся.

— Вѣришь-ли, ночью, ежели темно... вѣдь ужъ почти станеть я... но ежели ночью придется выйти въ незнакомомъ мѣстѣ—не выйду ни за что!

— Отчего?—спросилъ Михайло.

— Боюсь! Выйдешь какой разъ, необходимо ужъ выйти... а пойдешь назадъ, словно кто за ноги хватаетъ... Должно быть, это ужъ съ измалѣтства идетъ.

— Неужели?

— Должно быть, напуганъ съ измалѣтства.

— Такъ чего же теперь-то боишься?

— Э-эхъ! братъ Михайло! много-ли надо нашему брату, чтобы напугать?... А я—человѣкъ кроткій...

Михайло отрицательно покачалъ головой, какъ бы говоря, что это неправда, что нельзя напугать пустяками. Но онъ не высказалъ этого. Замолчалъ и Исай. Они не понимали другъ друга, говоря на разныхъ языкахъ. Такъ долго они молчали. За дверью сарая было уже совсѣмъ свѣтло.

— А что ежели на счетъ Пузырева, такъ ужъ ты оставь волеченіе.—сказалъ вдругъ Исай.—Ужъ я ему такую штуку мушу, что по гробъ жизни!...—прибавилъ Исай гнѣвно.

Михайло равнодушно спросилъ, что онъ намѣренъ сдѣлать, но Исай говорилъ какими-то догадками.

— Я такого ему перцу подсыплю, что не забудетъ меня! — повторилъ Исай съ величайшимъ и неожиданнымъ озлобленіемъ.

Михайло не сталъ больше спрашивать. До работъ осталось немного времени, а ему хотѣлось спать, глаза его слезались. Онъ легъ и сейчасъ же заснулъ, пригрѣтый теплою горячей печки.

На другой день Исай былъ совсѣмъ не тотъ. Видъ у него былъ мрачный и таинственный. Велъ онъ себя непонятно. Утромъ онъ привезъ только двѣ бочки воды и больше не хотѣлъ. Лошадь бросилъ, а самъ сѣлъ на кучу соломы и мрачно озирался по сторонамъ. Когда рабочіе требовали воды, онъ еще больше насупился, но когда тѣ стали над нимъ шутить, онъ улыбался... но не шевелился съ мѣста. Всѣмъ стало забавно. Исай гнѣвался! Развѣ можетъ Исая гнѣваться?

Когда вода вся вышла, многіе бросили работу и стали разговоры разговаривать, больше всего насчетъ Исая. Никого изъ приказчиковъ на мѣстѣ не было; но вдругъ показался на телѣжкѣ самъ хозяинъ. Всѣ повскакали съ мѣста и усердно засуетились. Пузыревъ, по обыкновенію, началъ брюзжать... „Тихо дѣлали“... „мало сдѣлали“... Рабочіе единогласно заявили, что воды нѣтъ. „Отчего нѣтъ?“ — „Исая везетъ“. — „Гдѣ онъ, мошенникъ?“ — „Да вонъ сидитъ на солончухѣ...“ Пузыревъ накинута на Исая, обозвалъ его всѣми ругательными именами и приказалъ ему сейчасъ ѣхать. „Ишь лѣнтяй! Катается на соломѣ и хлопаетъ глазами! Очумалъ ты, что-ли?“ Исай медленно поднялся съ мѣста и двинулся къ лошади исполнить приказаніе, сердито почесывая спину.

Пузыревъ тотчасъ же уѣхалъ, въ полной увѣренности, что водворилъ порядокъ. Но Исай, лишь только телѣжка хозяина скрылась изъ виду, опять присѣлъ на солому и мрачно обводилъ глазами присутствующихъ. Поднялся кто-то. „Что съ тобой, Исай?“ — спрашивали у него нѣкоторые, — не желаешь больше воду возить?“

— Н-да! не желаю!... Будетъ! повозилъ! Теперь хочу расчитаться... такой дамъ расчетъ ему, что и капиталовъ ему мало будетъ!

— Все у него возьмешь?—хохотали рабочіе.

— Все.—Исай говорилъ съ мрачною серьезностью. Нѣкоторые изъ рабочихъ подѣли къ нему и стали спрашивать, что все это значить? Но онъ бормоталъ что-то непонятное. Наконецъ, ни слова не говоря, всталъ съ соломы и отправился по направленію къ городу.

Для всѣхъ рабочихъ было такъ забавно и чудно все это, что работы сами собой прекратились. Пошли разговоры, смѣхъ, разпросы, что дѣлалось съ Исаемъ, что онъ задумалъ? Разпросы сперва были шуточные, потомъ серьезные... Стали догадываться, припоминать слова Исай... и вдругъ одинъ, съ чрезвычайнымъ волненіемъ, прошепталъ:

— А вѣдь это, ребята, онъ хочетъ подпалить Пузырева! Всѣ остолбенѣли.

— Какъ подпалить?

— Да такъ... одно слово—поджечь...

— Ты какъ знаешь?

— Да ужъ вѣрно. Безпремѣнно подпалить.

Неизвѣстно, откуда узналъ это рабочій, — можетъ быть, самъ Исай сболтнулъ,—но ему повѣрили и умоляли. Большинство чувствовало какую-то панику; боялись слово сказать. Потомъ, какъ бы по знаку, бросились по мѣстамъ и принялись за работу. Когда пришелъ къ ямамъ одинъ изъ приказчиковъ, то замѣтилъ только, что каждый дѣлательно занимается своимъ дѣломъ. Но все-таки воды не было. Рабочіе одинъ по одному стали требовать воды, жалуясь на то, что Исай бросилъ лошадь, бочку и самъ ушелъ неизвестно куда. Приказчикъ только хлопалъ глазами отъ удивленія. Въмѣсто того, чтобы послать одного изъ рабочихъ за водой, онъ сталъ спрашивать, куда дѣвался Исай, куда онъ пошелъ, что сказалъ. Ему со всѣхъ сторонъ стали дуть въ уши невѣроятныя вещи. Тотъ же догадливый малый, который за полчаса передъ тѣмъ разсказалъ о намѣреніяхъ Исай, теперь нѣсколькими намеками объяснилъ, что Исай хочетъ подпустить краснаго пѣтуха... Вслѣдъ за тѣмъ приказчику со всѣхъ сторонъ вразъ говорили. Одинъ ругалъ Исай, другой хвалилъ Пузырева, третій подавалъ совѣтъ, что дѣлать, гдѣ поймать Исай; большинство же рабочихъ на разные манеры старались показать, что они во всемъ этомъ нисколько не виноваты, а даже, напротивъ, очень

уважають Митрія Івановича. Приказчикъ до того поглубѣ за нѣсколько минутъ, что молча хлопалъ глазами, слушаючи того, то другого. Наконецъ, кто-то посовѣтовалъ ему дать знати хозяину.

Приказчикъ побѣжалъ.

Въ домѣ Пузырева также поднялось смятеніе. Пузыревъ самъ бросился въ полицію. Полиція немедленно отрядила двухъ городовыхъ отыскать Исаю. Примѣты слѣдующія: волоса темнорусые, глаза темносѣрые, носъ обыкновенный, подбородокъ правильный, платье фабричнаго покрою, особыхъ примѣтъ не имѣется. Изъ участка Пузыревъ поскакалъ домой, но такъ растерялся, что не зналъ, что дальше дѣлать.

Только одинъ Михайло не участвовалъ ни въ одной изъ этихъ сценъ. Ему казалось, что онъ видитъ какой-то глупѣйшій сонъ. Онъ стоялъ поодаль ото всѣхъ. У него сложилось вдругъ сердце отъ того одиночества, которое внезапно охватило его. Онъ подошелъ къ одной изъ кучекъ рабочихъ.

— А вѣдь это, братцы, нехорошо, — сказалъ онъ. — Можетъ все это неправда! Можетъ, вотъ этотъ дуракъ навралъ!

Говоря это, Михайло указалъ на парня, проникшаго въ намѣренія Исаи.

Рабочій горячо оправдывался, тѣмъ болѣе, что его со всѣхъ сторонъ обступили плотною стѣной и разспрашивали какъ, откуда и когда онъ узналъ. Рабочій принялся рассказывать, божился, что не вретъ, и хотѣлъ было ругать Исаю, но его остановили. Всѣмъ сразу стало совѣстно тяжело. „И зачѣмъ только я болталъ языкомъ?“ — говорил каждый про себя. Между тѣмъ, первый сболтнувшій, въ концѣ концовъ, запутался и жалко замолчалъ, какъ виноватый. Пожимая плечами и отплеываясь, большинство отошло отъ него прочь. Хотѣли приняться за работу, но работа не клеилась. Всѣмъ было не по себѣ, и всѣ чувствовали потребность разойтись. Городскіе мѣщане ушли первые, а за ними кучками пошли въ городъ деревенскіе, и по дорогѣ, застрѣвая по кабачкамъ спутнымъ, сильно ругали перваго болтуна. Остались бабы да подростки, да и тѣ скоро ушли. Ушелъ и Михайло, въ полнѣйшемъ недоумѣніи, что тако случилось?

Исай тѣмъ временемъ былъ уже далеко. Онъ приближался домой, но, незамѣтно отъ жены, ушелъ и пропалъ.

Подпалить рѣшился онъ твердо. На душѣ у него было спокойно. Подпалить—это такая легкая штука, что и соображать объ этомъ нечего. Онъ представлялъ себѣ только картину, какъ Пузыревъ будетъ метаться, — это забавно и занятно было Исаю, который за все такимъ способомъ хотѣлъ отомстить. Но вдругъ его поразила мысль: за что онъ хочетъ жечь на огнѣ Митрія Ивановича? Исай не зналъ, за что. Онъ шелъ по улицамъ, глупо смотрѣлъ по сторонамъ и не могъ сообразить. Ненависти къ хозяину у него нисколько не было. Всѣ поступки, всѣ слова, вся жизнь Пузырева были правильны, по мнѣнію Исаея,—за что же онъ его подпалить спичками? У Исаея не было злобы. Иногда онъ сердился на Пузырева, отвѣчалъ ему грубо, но это была не злоба собственно противъ Пузырева, а вообще какое-то недовольство, которое быстро проходило, когда Исай, бывало, отпоретъ нутромъ пузыревскую лошадь или изорветъ пузыревскій хомутъ, или выпьетъ на пузыревскій пятакъ. А злоба у него не держалась въ душѣ.

Но Исай сталъ припоминать, усиленно вызывая изъ памяти, изъ глубины прошедшаго, пузыревскія обиды. Припомнилъ онъ, какъ однажды Пузыревъ, общавъ полтинникъ на чай, посмѣялся надъ нимъ и не далъ, а разъ, подаривъ ему сапоги, отнялъ ихъ обратно и еще сказалъ, что такой вынчуга не стоитъ сапоговъ, хотя онъ, Исай, серьезно и не сумелъ ихъ пропить... А разъ Пузыревъ хватилъ его аршиномъ по спинѣ, и когда онъ сталъ вѣжливо возражать, то Пузыревъ приказалъ ему замолчать и пойти въ конюшню проспаться... Исаю почему-то не припомнилось ничего болѣе горючаго, но и этого хлама, вынимаемого изъ забытыхъ угловъ Исаевой памяти, достаточно было, чтобы онъ серьезно озлился. Шатаясь такъ по улицамъ, Исай сталъ соображать, съ какого угла лучше запалить. Надо, чтобы было аккуратно во всѣхъ отношеніяхъ. Планъ скоро былъ составленъ. Нынче ночью... Зайти съ другой улицы и перелѣзть черезъ заборъ на задній дворъ. Если собаки залаютъ, то бросить имъ кѣсца, а хозяйскія собаки и лаять не будутъ. Зажечь лучше длинный сарай, на верху котораго сѣно, а внизу дрова. Сѣно вспыхнетъ, какъ порохъ, а отъ сарая дѣло перейдетъ во дворъ. Пузыревъ проснется и будетъ чихать.

Когда у Исаея окончательно сложился планъ и способъ пус-

тить пѣтуха, онъ рѣшилъ до вечера, прежде всего, выпить, — не для удовольствія, а для храбрости, потому что Исая вдругъ скучно стало, а въ груди у него что-то сосало, какъ будто червь какой. Съ этою цѣлью онъ и зашелъ въ кабачокъ, — не въ портерную, а въ кабачокъ, потому что здоровѣе. Дѣйствительно, выпилъ онъ одинъ стаканъ — храбрости сразу много прибавилось. Выпилъ другой — еще больше смѣлости взялось. Но чтобы еще тверже быть, онъ купилъ бутылку пива, смѣшалъ ее съ водкой и выпилъ, послѣ чего ему показалось, что онъ плыветъ среди огненнаго моря и хохочетъ при видѣ Пузырева, который мечется въ какомъ-то радужномъ дымѣ и чихаетъ.

— А ты, братецъ, ужь не очень хохочи, а то у меня тутъ больная женщина лежитъ, — сказалъ сурово сидѣлецъ.

— Наплевать мнѣ на женщину! Я васъ всѣхъ подпалю! — закричалъ Исая.

— Не кричи, дуракъ, а не то пошелъ вонъ!

Но Исая еще больше сталъ орать, и сидѣлецъ долженъ былъ вытолкать его на улицу.

Исая хотѣлъ воротиться въ кабакъ, чтобы побить сидѣльца, но ноги не слушались его, самовольно бросая его въ противоположную сторону.

Когда Исая очутился такимъ образомъ на улицѣ, то злоба его противъ Пузырева еще больше усилилась, такъ что ему даже плакать хотѣлось. Онъ шелъ по улицѣ и безсвязно ругался.

„Я тебѣ дамъ, какъ аршиномъ! Посулилъ сапоги, такъ и давай, а то аршиномъ, сволочь эдакая!“ — но силы Исая изнемогали: онъ не понималъ уже, куда идетъ. Наконецъ, онъ споткнулся обо что-то и хлопнулся на землю внизъ лицомъ, — больно ушибся. Онъ хотѣлъ уже выругать Пузырева, вполне увѣренный, что это онъ толкнулъ его сзади, но моментально заснулъ...

Только утромъ на другой день онъ проснулся. Солнце жарило ему въ спину, во рту были у него земля, песокъ, щепки, а внутри жгла жажда. Едва поднявшись на ноги, онъ увидалъ, что лежитъ недалеко отъ кирпичныхъ сараевъ, на пустырь; онъ не могъ припомнить, какъ сюда попалъ, да и не до того ему было. Измученный, онъ тихо поплелся въ городъ. По дорогѣ ему казалось, что онъ вотъ сію минуту

упасть и умереть, — такъ онъ обезсилѣлъ и страдалъ. Но все-таки онъ безостановочно двигался, желая во что-бы то ни стало дойти до Митрія Ивановича. И кое-какъ дошелъ. Еле-еле изобрался по ступенькамъ крыльца, отворилъ дверь въ коридоръ и наткнулся на „самого“. Исая упалъ на колѣни и умолялъ дать ему испытъ.

— Бога ради, Митрій Ивановичъ!... Дай мнѣ на похмѣлье! Горить все внутри...

Хозяинъ былъ такъ пораженъ неожиданною встрѣчей, что лишился языка. Во мгновеніе ока сбѣжались всѣ домашніе, не спавшіе цѣлую ночь, прибѣжали нѣкоторые работники и всѣ съ удивленіемъ смотрѣли на Исая.

— Дай, пожалуйста, Митрій Ивановичъ, стакашикъ... Чистая смерть!

— Хозяйка, поднеси ему, — приказалъ Пузыревъ, еще не оправившійся отъ изумленія. Жена принесла графинъ съ водкой. Исая выпилъ и попросилъ еще стакашикъ. Ему еще дали, дали также закусить, и нѣтъ-нѣтъ Исая оправился.

Хозяинъ даже не ругалъ его. Онъ пошелъ въ участокъ и упротилъ пристава прекратить дѣло, потому что „Исаяка, подлецъ, въ пьяномъ видѣ на себя наболталъ“; только просилъ посадить его сутокъ на двое въ кутузку, чтобы вытрезвился.

Исая отвели въ кутузку.

Михайло больше не видалъ его. Въ тотъ день, — это была суббота, — когда Исая пребывалъ благополучно въ кутузкѣ, Михайло рассчитался съ кирпичными сараями, зашелъ на квартиру Исая за узелкомъ съ вещами и очутился опять на томъ берегу, гдѣ встрѣтился съ водовозомъ нѣсколько мѣсяцевъ назадъ. Что ему дѣлать? Куда идти? Этого онъ пока не зналъ, но настроеніе его было радостное. Бросивъ кирпичные сараи, онъ физически ощущалъ, что выльзъ изъ какой-то темной и душной ямы. Передъ нимъ была рѣка. Не долго думая, онъ раздѣлся и бросился въ воду. Купанье на него еще сильнѣе подѣйствовало. Онъ почувствовалъ въ себѣ силу, энергію, желаніе борьбы, жажду счастья и находился въ томъ состояніи переполненія, когда хочется кричать, прыгать, хохотать. Деревенскій бѣднякъ, не имѣвшій въ громадномъ городѣ ни пріюта, ни средствъ, онъ былъ въ эту минуту проникнутъ жизнерадостнымъ чувствомъ освобожденія. Онъ смотрѣлъ на небо, на рѣку, на городъ. Недавно онъ

еще не зналъ, чего ему нужно. Теперь зналъ—воли! И онъ думалъ, что на землѣ нѣтъ ничего лучшаго. И вѣрилъ, что онъ болѣе не продастъ ее.

Уходя съ берега въ городъ, онъ сосредоточенно улыбался.

IV.

Игрушка.

День былъ великолѣпный, солнечный, теплый, какъ часто передъ наступленіемъ осени; небо глубокое, воздухъ чистый и неудушливый. Все это придавало взволнованному юношѣ не обыкновенную бодрость. Михайлѣ никуда не хотѣлось идти искать работы въ такой необыкновенный для него день. Ощущеніе жизни было такъ сильно, мысль для него была такая паразитическая, что онъ въ величайшемъ возбужденіи шагалъ по направленію къ городу и, придя быстро въ средину его, ходилъ по улицамъ, площадямъ и базарамъ, нигдѣ не останавливаясь.

Ему казалось, что онъ открылъ глубочайшій секретъ жизни. Воля! Какъ это онъ прежде не догадался, чего ему надо? И какъ люди не знаютъ, что лучше всего на бѣломъ свѣтѣ. Смотря на идущихъ и ѣдущихъ людей по улицамъ, онъ радовался до глубины души, что онъ держитъ секретъ, который вотъ тутъ, подъ ситцевою рубашкой, лежитъ у него, а онъ не нашелъ и не знаетъ его. Ахъ, дураки!

Михайло таскался по базару, наполненному всякимъ бѣднымъ людомъ. Зайдя въ мелочную лавочку, чтобы купить трехъ-копѣечный поясокъ, онъ пожалѣлъ толстаго, одутлаго лавочника, который сидитъ вотъ въ этой норѣ всю жизнь сидитъ вѣчно и вѣчно думаетъ только о томъ, какъ бы нажить еще пять копѣекъ барыша, но не догадывается, жирный дуракъ, что есть кое-что лучше, нежели пятакъ. Въ лавчонкѣ всѣ вещи старыя, дрянныя, грязныя, засиженныя мухами, но лавочникъ вѣчно смотритъ на нихъ... и какъ ему должно быть, скучно среди этой норы, набитой старою ерундой! Михайлѣ послѣ этого сейчасъ же пришло въ голову какъ скучно вообще всѣмъ людямъ, которыхъ онъ видитъ

они никогда не дѣлають того, что хотять, и живутъ всегда такъ, какъ имъ не хочется, потому что они не знаютъ секрета.

На кого ни взглядывалъ Михайло, всёмъ, казалось, было скучно до смерти и никто не зналъ тайны, бывшей у него въ груди. „Но если бы люди знали эту тайну, могли-ли бы они воспользоваться ею для своей радости?“—спросилъ себя Михайло и отвѣта не нашелъ. Но онъ самъ можетъ! Рѣшивъ это, онъ принялся благоразумно обдумывать, что дѣлать. Если въ одномъ мѣстѣ ему покажется подло, если тутъ вздумаютъ на него надѣть веревку, онъ оторвется и уйдетъ. Никто не въ силахъ его остановить, обрататъ и взять, если онъ самъ не захочетъ влопаться куда-нибудь въ рабство изъ-за шубы или изъ-за денегъ. Чтобы не сдѣлаться рабомъ, онъ будетъ ходить изъ одного мѣста въ другое, изъ губерніи въ губернію, побываетъ вездѣ, посмотреть на все... Для житья ему не много надо, а богатство не обольщаетъ больше его...

Михайло не подозрѣвалъ, что черезъ нѣсколько дней онъ забудетъ свой секретъ и самъ, душой и тѣломъ, отдастся въ руки.

Пробродилъ онъ въ этихъ счастливыхъ мечтахъ до вечера. У него на ночь не было угла. Наружный видъ его носилъ на себѣ слѣды кирпичныхъ сараевъ. Одежда его сильно обновилась и выглядѣла безпорядочно; разодранное въ нѣсколькихъ мѣстахъ пальто, нѣкогда табачнаго цвѣта, но теперь лоснящееся, какъ кожа, рыжіе и до нельзя стоптанные сапоги, въ которые вложены были панталоны съ зіяющими отверстиями.—все это еще недавно тяжело отразилось бы на его спокойствіи. Но въ эти минуты счастья онъ гордо шагаль по тротуарамъ, не обращая вниманія на свою отрепанную внѣшность. Лицо его ярко свѣтилось, взглядъ самоувѣренно устремленъ былъ впередъ, и онъ чувствовалъ, что какъ будто выростъ. Счастливый день! Когда онъ вырвался изъ деревни и жтъ въ городъ, онъ, въ сущности, также радовался волѣ, но тогда эта радость была птичья. Теперь же онъ сознательно понималъ, чего ему искать, куда идти и какъ жить на свѣтѣ. И въ первый разъ въ жизни онъ былъ доволенъ собой, въ первый разъ также любилъ все, что видѣлъ,—солнце, небо, городъ, людей.

Только подъ вечеръ онъ собрался къ Ѳомичу... Почему къ Ѳомичу? На этотъ вопросъ онъ едва-ли могъ бы отвѣтить

ясно. Видѣлъ этого человѣка онъ только разъ, знакомъ с нимъ вовсе не былъ и теперь, вѣроятно, потому собрался к нему, что много слышалъ замѣчательнаго объ этомъ человѣкѣ. Быть извѣстнымъ въ большомъ городѣ множеству чужаго люда—это много значить для простого слесаря, какимъ былъ Оомичъ. Говоря о немъ, рабочіе дѣлались серьезными и знали его; знали его такіе люди, которыхъ онъ въ глаза не видалъ; даже недавно пришедшіе на заработки черезъ нѣкоторое время уже слышали о немъ. Точно въ такомъ же родѣ слышалъ о немъ и Михайло, и когда рассчитывался на кирпичныхъ сараяхъ, то какъ-то сразу рѣшилъ: „пойду къ Оомичу“.

Найти его было легко. Черезъ короткое время, сдѣлав справки лишь на одной фабрикѣ, Михайло отыскалъ домъ и квартиру Оомича. Было уже темно, когда онъ вошелъ въ двери. Свѣтъ ярко горѣвшей лампы его ослѣпилъ, а четверо сидѣвшихъ за столомъ и пившихъ чай однимъ своимъ видомъ такъ поразили его, что онъ сталъ какъ вкопанный въ порога. Онъ уже не сомнѣвался, что далъ промахъ и попалъ въ другую квартиру, къ какимъ-то господамъ, а вовсе не къ слесарю Оомичу, но все-таки онъ спросилъ прерывающимся голосомъ:

— Тутъ живетъ Алексѣй Оомичъ, слесарь?

— Здѣсь,—отвѣтилъ одинъ изъ сидѣвшихъ, не поднимаясь изъ-за стола.

Михайло взглянулъ на говорившаго и призналъ Оомича: онъ самый! Широкое, добродушное лицо, большіе сѣрые глаза, широкая улыбка, не сходящая съ его полныхъ губъ, маленькій носикъ съ пуговку—онъ! Но одѣтъ онъ былъ такъ хорошо, что трудно было принять его за рабочаго. Другое произвели то же впечатлѣніе; передъ самоваромъ сидѣла несомнѣнно барыня; возлѣ нея сидѣлъ несомнѣнно баринъ; только третій одѣтъ былъ въ синюю блузу, грязную и запанную масломъ, но онъ такъ свирѣпо смотрѣлъ, что Михайло сильно струсилъ и боялся поднять глаза на этого, по видимому, чѣмъ-то разгнѣваннаго человѣка. Самоваръ, столъ, мебель, комната, — все это было такъ чисто и пріятно, что совсѣмъ довершило чувство изумленія Михайлы. „Вотъ тебѣ разъ!.. а слесарь...“—подумалъ Михайло съ быстротой молніи.

Но ему не было времени долго размышлять. Оомичъ спросилъ, что ему надо? И онъ долженъ былъ волей-неволей об-

внять цѣль своего прихода. Выслушавъ желаніе его найти какое-нибудь мѣсто, Өомичъ пожалъ плечами и задумался. Въ комнатѣ воцарилась тишина, которую Михайло истолковалъ не въ свою пользу. Онъ сразу сдѣлался опять дикій и прямо осматривалъ компанію.

Наконецъ, Өомичъ сталъ разспрашивать, какую ему надобно работу, что онъ, откуда? Михайло разсказалъ, отрывисто и угрюмо, причемъ нисколько не смягчилъ своихъ дикихъ выраженій.

Слушая все это, Өомичъ и его товарищи улыбались. Өомичъ вспомнилъ лицо Михайлы — гордаго оборванца, спросилъ объ его имени и предложилъ ему сѣсть.

— Отчего же не хорошо тамъ? — спросилъ Өомичъ съ улыбкой.

— Срамота! — рѣзко возразилъ Михайло и выразилъ на лицѣ величайшее презрѣніе.

— Хозяинъ, что-ли, не хорошъ?

— Нѣтъ, хозяинъ что-же, какъ обыкновенно... А такъ, какъ жизнь — чистый срамъ, свинская.

— Грязная, ты хочешь сказать?

— И грязная, и свинская, и подлая — все есть! Думаешь только о томъ, какъ бы лечь спать, ходишь скотъ-скотомъ. Въ башкѣ цѣлый день ничего. Свинство — больше ничего.

Сидящіе переглянулись. По большей части рабочій жалуются на чисто-физическія невзгоды: мало пищи, непосильная работа, нѣтъ времени выспаться, плохое жалованье... Но въ словахъ Михайлы было что-то совсѣмъ другое.

— Ты говоришь, въ башкѣ ничего? — спросилъ Өомичъ.

— Да, ничего. Пустая башка цѣльный день. То-есть лѣнь вымывать почистить лицо. Встаешь утромъ — какъ бы поскорѣе обѣдъ пришелъ съ тухлою кашей. Пообѣдаешь — какъ-бы поскорѣй подъ рогожу спать. Прожилъ я тамъ мѣсяца эдакъ три и самъ на себя сталъ смотрѣть, какъ на скота, который, какъ и скотъ, не понимаетъ. Такая лѣнь на меня напала! Ты и въ ту пору кто-нибудь по мордѣ, я бы только попался. Дѣлай изъ меня что хочешь — ничего не скажу. Какъ было какое. Прожилъ тамъ три мѣсяца и Боже мой! обѣда нѣтъ, чисто скотъ, даже спокойно, все равно какъ скотъ залѣзетъ въ теплую грязь, лежитъ, и довольно спокойно ей!...

— И ты ушелъ?—спросилъ удивленно Өмичъ.

— Да, ушелъ.

Всѣ смотрѣли на Михайлау и молчали. Опять воцарила тишина, явившаяся какъ слѣдствіе того впечатлѣнія, которое произвелъ Михайло своимъ дикимъ рассказомъ.

— Кстати, скажи, пожалуйста, какое это тамъ происшествіе вышло у васъ въ сараяхъ? Не то кто-то хотѣлъ пжечь сарай, не то поджогъ уже... или домъ Пузырева дожгли... вообще не знаю хорошенько, что это за оказія спросилъ Өмичъ.

— Это Исай,—отвѣтилъ Михайло и вдругъ улыбну. при одномъ этомъ имени.

— Одного Исая я тамъ знавалъ. Фамиліи у него нн настоящей,—пишутъ его и Сизовъ по названію деревни Петровъ... но онъ самъ говорилъ, что у него нѣтъ с ственно фамиліи, а только одна кличка — Исай... Это т самый?—и Өмичъ описалъ наружность товарища Михай:

— Тотъ самый.

— Что же это ему пришло въ голову?

— Да знать съ пьяну или по глупости!... Можетъ бы черезъ меня и дѣло все вышло!

— Какъ черезъ тебя?—воскликнули почти всѣ сидящіе

— Я обозвалъ его рабомъ. Онъ, должно быть, и раздился и выдумалъ такое умное дѣло.

— За что же ты обозвалъ его такъ?

— Кто же онъ? Рабъ. Изъ него что хочешь дѣлай. Са онъ ничего... ничего не можетъ, а что прикажутъ. Ей-Бо если ему приказали бы рубить головы, онъ рубилъ бы комъ ни попало. Развѣ ужъ опосля увидить, какъ все глупо... Всякаго человѣка, который посильнѣе, онъ стра какъ боится. А своего у него ничего нѣтъ и замѣсто голо у него шишка какая-то неизвѣстно къ чему торчитъ... желанія его такія, что, напримѣръ, ведро пива или четве| водки—доводень! Я и обозвалъ его рабомъ... Потомъ жал стало...

— Сильно онъ огорчился?

— Кто его знаетъ, а жалко стало... вѣдь не онъ оди такой!... Потому что лѣнь нападаетъ сопротивляться свино образу, лѣнь смотрѣть за собой—это я хорошо попробов самъ на себѣ... Слава Богу, что удрагъ!

— Такъ все-таки что-же... поджогъ Исай?

— Нѣтъ. Только водки надулся, а на другой день пошелъ прощенія просить у хозяина. Хозяинъ—ничего, простилъ... Да и всякій бы простилъ, жалко такого дурака... Въ кутузкѣ сидѣть.

Каждое слово Михайлы производило впечатлѣніе. Онъ и самъ видѣлъ, что на него обратили сильное вниманіе. Это придавало ему бодрости и одушевленія. Но вдругъ послышался незнакомый голосъ.

— А позвольте спросить у васъ, молодой человѣкъ, почему вы такъ даже низко сравниваете простого рабочаго человѣка?

Этого говорилъ тотъ человѣкъ въ блузѣ, страшныхъ взглядовъ котораго струсилъ Михайло въ первую минуту прихода.

Но теперь, пристальнѣе взглянувъ, Михайло замѣтилъ, что въ этомъ странномъ человѣкѣ есть что-то глубоко забавное.

— Ну, пошелъ городить!—замѣтилъ презрительно другой изсодникъ.

— Нѣтъ, мнѣ такъ интересно полюбопытствовать, почему молодой человѣкъ, который есть самъ рабочій, вполне низко сравниваетъ своего брата, бѣднаго рабочаго, а капиталиста считать, а?

— Вороновъ, молчи,—сказалъ Оомичъ просто, и Вороновъ (такъ звали человѣка въ блузѣ) дѣйствительно замолчалъ, но долго еще поводилъ своими страшными глазами, повидимому, довольный своими мудреными словами.

Это замѣшательство заняло всего одну минуту. Но открытость Михайлы была уже спугнута. Всѣ опять обратились къ нему. Оомичъ предложилъ еще неловкій вопросъ, который окончательно заставилъ замкнуться Михайлу.

— Ты самъ придумалъ всѣ эти мысли?—освѣдомился наконецъ Оомичъ.

Михайло удивленно посмотрѣлъ на всѣхъ, не понимая, о чемъ его спрашиваютъ. Оомичъ и самъ сію же минуту пошелъ всю нелѣпость своего вопроса и поправился.

— Ты грамотенъ?

— Нѣтъ, — тихо прошепталъ Михайло. Отчего-то ему вдругъ стало стыдно. Между тѣмъ, прежде ему никогда и въ голову не приходила мысль о грамотѣ. Но разозлившись на себя за что-то, онъ угрюмо замолчалъ и ужъ крайне неохотно отвѣчалъ на вопросы.

Это, однако, не ослабило вниманія къ нему. Видимо, онъ всѣмъ понравился. Дикость же, вмѣстѣ съ его темными глазами, подозрительно смотрѣвшими, какъ у плохо прирученнаго звѣрька, только возбуждала любопытство къ нему. Омичу же онъ, кажется, еще болѣе понравился. Это рѣшило его судьбу.

— Вотъ что, Михайло... не знаю, какъ тебя звать по бѣшености... — сказалъ Омичъ, — мнѣ надо самому помощника. Я постояннымъ слесаремъ въ одномъ большомъ домѣ, да заказываю часто имѣю — иногда хотъ разорвись. На службу не пойдешь, а сдѣлай не во-время заказъ — обижаются заказчики. Помощника-то я давно искалъ и перепробовалъ разныхъ людей, да все какъ-то попадали не туда... Такъ вотъ ежели пожелаешь, поступай ко мнѣ. Пока я тебѣ положу немного, выучишься слесарить, тогда мы поровну... ну, да объ этомъ еще поговоримъ... У меня будешь обѣдать и жить.

Барыня, сидѣвшая около стола передъ самоваромъ, вдругъ спохватилась, что до сихъ поръ не догадалась предложить юношѣ чаю; она живо налила стаканъ и пригласила Михайлу присѣсть къ столу. Михайло сконфузился и принялся облизывать губы, языкъ, все нутро, что окончательно привело его въ смущеніе, показавшее, какъ много было въ немъ еще юношеской наивности, несмотря на холодную злость, которою онъ по видимому, жилъ до сихъ поръ. Омичъ, сидѣвшій рядомъ съ нимъ, добродушно подкладывалъ ему бѣлаго хлѣба и наливалъ, кажется, фунта три, большую гору передъ нимъ, предполагая, что Михайло все это съѣстъ мигомъ. Михайло опалилъ себя внутренности только однимъ стаканомъ и больше ничему не прикасался.

Съ этой минуты онъ то и дѣло конфузился. Въ тотъ же вечеръ, когда гости разошлись, Омичъ предложилъ ему помѣститься на ночь въ мастерской, находящейся въ квартирѣ. Квартира была маленькая, изъ трехъ комнатъ и кухни. Въ двухъ комнатахъ помѣщался Омичъ съ женой, а третья была мастерская. Половина ея занята была токарнымъ станкомъ, инструментами, подѣлками и кусками стали, но другая половина комнаты держалась чисто,нося на себѣ слѣды чьей-то заботливой руки. Сюда и привелъ Омичъ Михайлу, затѣмъ пришла и барыня (которая, къ удивленію Михайлы,

и была женой Өомича); она принесла одѣяло и подушку и сама приладила въ одномъ углу комнаты постель.

Оставшись одинъ, Михайло почувствовалъ, что съ нимъ совершается что-то необычайное. Онъ былъ самъ не свой, не зналъ, что ему и подумать о чужихъ людяхъ, которые въ первый разъ его видятъ и которые, однако, обошлись съ нимъ, какъ съ близкимъ, съ роднымъ, съ товарищемъ. Со стороны жгъ попадавшихся ему до этого дня людей онъ встрѣчалъ злобу, глупость, подозрѣнiе и привыкъ видѣть за подкладкой ихъ поступковъ только грошъ, гривенникъ, цѣлковый... Онъ облокотился на станокъ и застылъ въ этой позѣ. Новое, незнакомое и непонятное для него чувство симпатiи такимъ могучимъ порывомъ налетѣло на него, что онъ не выдержалъ и заплакалъ. Слезы катились по его щекамъ и капали на станокъ. Когда Михайло замѣтилъ это, онъ стеръ мокрое платно рукавомъ на-сухо и торопливо легъ въ постель, потушивъ лампу.

Слѣдующій день былъ воскресенье. Өомичъ предложилъ Михайлу воспользоваться этимъ днемъ, какъ онъ хочетъ, идти, куда ему надо, и дѣлать, что только вздумается ему, но Михайло отказался. Онъ всталъ рано, надѣлъ чистое бѣлье, выстирался, привелъ въ возможный порядокъ свое платье и началъ сейчасъ же приниматься за работу, но дѣлать было пока нечего. А скоро его позвали пить чай. На этотъ разъ онъ уже не такъ сконфузился, когда Надежда Николаевна, какъ звали жену Өомича, налила и подала стаканъ ему; онъ сразу привязался къ ней и уже не боялся ея. Өомичъ за чаемъ читалъ газеты и отъ времени до времени обмѣнивался замѣчанiями съ Надеждой Николаевной. Михайло, однако, уже ничему болѣе не удивлялся, даже этимъ газетамъ и книгамъ, которыя лежали въ разныхъ мѣстахъ комнаты и которыя Өомичъ, конечно, знаетъ... Онъ только внутренне разозлился, мысленно обругалъ себя чистымъ дуракомъ. Чтобы заглушить это недовольство собой, онъ просилъ съ волненiемъ дать ему еще же какую-нибудь работу. Өомичъ далъ, но все-таки свободныхъ часовъ у Михайлы осталось много.

Весь день онъ находился въ странномъ состоянiи. Онъ не вѣрилъ, что онъ сидитъ вотъ въ этой комнатѣ, не вѣрилъ въ очевидной дѣйствительности. Еще вчера онъ былъ на кирпичныхъ сараяхъ, а нынче... Кирпичные сараи казались ему

страшно далеко. „И какъ я сюда попалъ?“—спрашивалъ онъ себя, любопытно изучая всю обстановку, лица Омича и Надежды Николаевны, ихъ разговоры, ихъ малѣйшія движенія. „Что бы со мной было, ежели бы я не пришелъ сюда?“ спрашивалъ онъ далѣе. Какъ ни нелѣпъ этотъ вопросъ, но онъ былъ реаленъ и неизбеженъ, и, только рѣшивъ его, онъ могъ повѣрить, что переживаетъ дѣйствительный случай, а сонъ.

„Быть бы мнѣ теперь подъ рогомъ! Удивленіе!.. Вѣ еще сидѣлъ подъ кулемъ, ничего не понимая, и вдругъ хлопъ — прямо изъ-подъ куля перелетѣлъ за тридевять миль!“

Новая обстановка, люди, порядки, разговоры подавили его своею неожиданностью; онъ сначала испыталъ страхъ, робость, недовѣріе къ себѣ, слабость... Новая обстановка въ которую онъ такимъ неожиданнымъ образомъ перелетѣлъ просто потрясла его до глубины души. Въ мысляхъ его совершился полный переворотъ. Онъ пересталъ сверять часы, какъ волкъ, и злился на одного себя; боялся своего невѣжества и напряженно слѣдилъ за каждымъ своимъ шагомъ, вполне убѣжденный, что онъ ежеминутно можетъ (сознательно сдѣлать какое-нибудь свинство по отношенію къ Надеждѣ Николаевнѣ и Омичу. Къ первой онъ питалъ робкое почтеніе и привязанность, явившуюся почти внезапно, второго онъ такъ поставилъ высоко, что забывъ себя, и если вспоминалъ себя, только затѣмъ, что выругать.

Вставая рано утромъ, Михайло спрашивалъ, что дѣлать и слушалъ каждое слово Омича, безусловно точно выполняя каждое его приказаніе. Работалъ онъ, не вставая, ученическимъ пріемамъ, забывая объ усталости, и призывая Омича работать по двадцати часовъ въ сутки, покорно выполнялъ бы это требованіе.

Секретъ свой онъ забылъ. Имъ овладѣла другая мысль, осуществить которую онъ считалъ себя безсильнымъ. Сокращеніе у него доходило до крайности. Иногда, будучи въ состояніи овладѣть какимъ-нибудь пріемомъ такъ быстро, что бы онъ того желалъ, онъ съ бѣшенствомъ вскрикивалъ:

— Да гдѣ же такому дереву понять?

А раньше его отношеніе къ себѣ было какъ разъ об-

ное. Встрѣчаясь съ людьми, въ деревнѣ или въ городѣ, онъ относился къ нимъ съ злобнымъ пренебреженіемъ и пользовался ими только затѣмъ, чтобы сказать себѣ: „Вотъ такъ и не буду жить, какъ этотъ дуракъ!“ Но каждый шагъ Оомича вызывалъ въ немъ чувство безусловнаго уваженія, и онъ желалъ только одного: походить на Оомича.

Чувство это сначала было мучительно, потому что Михайло не надѣялся добиться того, что добылъ въ жизни Оомичъ. Но съ теченіемъ времени Михайло оправился. Понемногу онъ ближе узнавалъ Оомича, поспѣшавъ слушать отрывки изъ его богатой жизни, имъ самимъ рассказываемые при добрыхъ случаяхъ. Эти отрывки убѣдили Михайлу, что и ему можно еще пробиться къ свѣту. А когда передъ нимъ вставала вся жизнь Оомича, то онъ сильно воодушевлялся, и въ передъ глазами примѣръ непрерывной борьбы и победы.

Одно качество Оомича было дѣйствительно необыкновенно: по-рѣдка способность все переносить добродушно или, пожалуй, безчувственно... и изъ всего на свѣтѣ извлекать для себя пользу, чтобы поучиться чему-нибудь. Жизнь Оомича началась не лучше, не хуже жизни другихъ рабочихъ, но онъ умѣлъ извлекать пользу изъ самыхъ вредныхъ обстоятельствъ.

Отецъ его жилъ въ этомъ же городѣ. Это былъ одинъ изъ тѣхъ мѣщанъ, которые почему-то обитаютъ на концѣ города, впрямую около оврага, въ домишкѣ, задняя часть котораго обыкновенно виситъ надъ этимъ оврагомъ, готовая ежеминутно оторваться и полетѣть въ самую глубину его. Кроме того, этотъ сортъ людей обыкновенно пропитывается болѣе или менѣе неожиданными промыслами, вродѣ ловли и обучения чижей, собиранія бутылокъ и пр. Чаше же всего этотъ вражій народъ занимается вразъ всѣми ремеслами, какія только по обстоятельствамъ возможны; въ одно время ловятъ чижей, въ другое собираютъ щавель (по копѣйкѣ пучокъ), а то починаютъ сапоги, отъ которыхъ одни носки остались и носятъ эти около-овражные углы всегда болѣе или менѣе замысловатыя названія: „Антошкина слободка“, „Козлиха“. „Прыщи“.

Здѣсь разговоръ идетъ именно о Прыщахъ, гдѣ обиталъ отецъ Оомича, старикъ Тороповъ, занимаясь ловлей раковъ,

плетеніемъ лукошекъ и другими ремеслами, принуждавши его надолго иногда покидать свой домишко и своего Алешу. Послѣдній такъ и выросъ на улицѣ, выросъ какъ-то самъ какъ единственный стебель овса среди крапивы. Кажется мудрено было извлечь пользу изъ такого житья. Но Оомичъ уже и въ этотъ ранній возрастъ инстинктивно продирался сквозь чащу къ свѣту. Рѣшительно предоставленный самому себѣ, онъ въ этотъ періодъ выучился грамотѣ, беря шуточные уроки у своихъ уличныхъ товарищей, ходившихъ въ школу. Кромѣ того, онъ въ совершенствѣ позналъ всѣ виды промысловъ, которыми пробавлялся отецъ. Отецъ умеръ когда Алешкѣ было лѣтъ двѣнадцать, окончательно представивъ сына на волю Божию. Оомичъ остался круглымъ сиротой. Имущество отца и его самого общество взяло по опеку, но опекать было буквально некого и нечего: домишко уже наполовину висѣлъ надъ оврагомъ, а двѣнадцатилѣтне Оомичъ самъ о себѣ позаботился.

Жилъ онъ по разнымъ людямъ, переходя отъ одного хозяина къ другому; побывалъ у сапожниковъ, у булочниковъ, у портныхъ, у кузнецовъ и слесарей и вездѣ его основательно учили (били); когда его сильно учили въ одномъ мѣстѣ такъ что дѣлалось не втерпѣжъ, онъ переходилъ на другое. Это было самое тошное время въ жизни Оомича. Даже онъ самъ съ негодованіемъ отзывался объ этомъ періодѣ. „Бывало, хозяинъ возьметъ меня за ноги, да и спустить изъ окна внизъ головой... конечно, невѣжество одно!“ Учили его въ разные лады, сообразно ремеслу учителя: сапожникъ училъ его колодкой, булочникъ—скалкой, портной — ножницами, кузнецъ—шиворнемъ, но Оомичъ оставался живъ. Мало того онъ все-таки воспользовался и этою эпохой, хотя не такъ какъ бы желалъ; онъ быстро выучивался всѣмъ тѣмъ ремесламъ, которымъ его учили, выучивался тайно, урывками и неожиданно для учителя; и теперь едва-ли есть ремесло передъ которымъ Оомичъ сталъ бы втупикъ. Онъ можетъ состригать себѣ обѣдъ, починить сапоги, сколотить стулъ, сшить панталоны. Но всего лучше онъ выучился слесарному мастерству, потому что прожилъ у слесаря больше года. Этотъ слесарь билъ его по большей части ладонью и только изрѣдка клещами, а, главное, добросовѣстно показывалъ тайны ремесла, изумляясь понятливости ученика, и въ х

рошую минуту предсказывалъ, что онъ далеко пойдетъ, шельма! Постигнувъ въ совершенствѣ слесарное ремесло, Ѳомичъ уже на шестнадцатомъ году въ состояніи былъ поступить въ мастерскую при желѣзной дорогѣ.

Съ этого времени начинается его извѣстность между ма-
серовымъ людомъ города. Всегда веселый и радушный, онъ
уже двадцати лѣтъ пользовался авторитетомъ среди товари-
щей. Водки онъ въ ротъ не бралъ, а каждую свободную ми-
нуту употреблялъ на то, чтобы поучиться. Онъ писалъ письма,
давалъ совѣты, объяснялся съ начальствомъ въ качествѣ
представителя, и имя Ѳомича рабочіе произносили съ ува-
женіемъ. Онъ уже и въ это время былъ довольно начитанъ,
но все-таки ему невозможно было употреблять въ день болѣе
получаса на чтеніе, такъ что, въ концѣ-концовъ, отъ посто-
яннаго урѣзыванія отдыха онъ ослабѣлъ; здоровье его про-
падало, улыбка исчезала съ его добродушнаго лица...

Къ счастью, онъ въ это время попалъ въ острогъ. Разныя
же бываютъ понятія о счастіи! Ѳомичъ самъ говорилъ, что
это для него было на руку, этотъ острогъ-то, и ему нельзя
же вѣрить. Посадили его вотъ за что. На заводѣ, гдѣ онъ
въ это время работалъ, случилась стачка, продолжавшаяся
дѣльную недѣлю. Стачку прекратили, рабочихъ согнали на ра-
боту, а зачинщиковъ взяли. Въ числѣ ихъ взяли и Ѳомича,
не сомнѣваясь въ его зловредномъ вліяніи на рабочихъ. Онъ
вотъ бы уничтожить это недоразумѣніе, потому что весь его
цѣль заключался въ стремленіи поучиться, но онъ этого не
смыслъ, довольно равнодушный ко всякимъ страданіямъ; ему
въ время сидѣнія лѣнь было даже спросить, за что его дер-
жатъ? Эта нелѣпость объяснялась просто тѣмъ, что онъ весь
умелъ въ одно желаніе—учиться.

Съ этой стороны острогъ привелъ его въ восхищеніе. „То-
варищи предлагали мнѣ разныя дѣла... ну, нѣтъ, говорю,
братцы, мнѣ надо пользоваться свободнымъ временемъ и учить-
ся. Что же мнѣ, въ самомъ дѣлѣ? Квартира готовая, столъ,
сидѣлка — все казенное, вотъ я и давай читать, радъ былъ.
Потому что такой свободы у меня не было и не будетъ, какъ
въ острогѣ... Много я тутъ сдѣлалъ хорошаго!“ Ѳомичъ при-
ятно вспоминалъ это время. Сидѣлъ онъ въ этомъ радост-
номъ мѣстѣ около года, кончилъ ариметику, геометрію, про-
читалъ множество книгъ, выучился понимать толкъ въ лите-

ратурѣ, съ какимъ-то инстинктомъ дикаря чуя, что хорошъ. Прошелъ онъ и грамматику, хотѣлъ даже попробовать нѣмецкій языкъ, но всякій языкъ почему-то плохо давался ему. Даже по-русски вполне правильно писать не выучился; эта хитрость, къ его удивленію, не давалась, да и шабашъ. Разговорный языкъ также навсегда у него остался простъ народнымъ, и теперь, во время жаркаго спора, онъ иногда загнетъ такую корягу, что самъ сконфузится и забудетъ споръ.

Когда Ѳомичъ вышелъ изъ пріятнаго мѣста на улицу, онъ былъ немного блѣденъ, немного обрюзгъ, но здоровъ и в селѣ. Онъ поступилъ опять на заводъ, но случился новый неожиданный переворотъ въ его жизни. Одно недоразумѣніе влечетъ за собою другое. Разъ побывавъ въ счастливомъ мѣстѣ, Ѳомичъ навсегда уже остался въ подозрѣніи и, проживъ два мѣсяца на заводѣ, онъ, на основаніи только одного того, что сидѣлъ въ счастливомъ мѣстѣ, былъ взятъ и отъзвѣнъ на край свѣта, въ сѣверный городишко, чортъ знаетъ куда. Вышло это неожиданно и произвело на товарищей Ѳомича сильное впечатлѣніе.

— Ну, теперь Ѳомичу капутъ!

— Теперь Ѳомичъ—шабашъ!

— Пр-ропалъ!

— Теперь Ѳомичъ, прямо можно сказать, былъ человекъ и нѣту его!

Это мрачное заключеніе должно бы было, повидимому, вполне оправдаться. На полсотни мѣщанъ въ этомъ невѣроятномъ городишкѣ, гдѣ не было ни заводовъ, ни промышленныхъ словъ, приходилось всего-на-всего два умирающихъ мерина, пять коровъ, нѣсколько куръ, одинъ пѣтухъ и, должно быть, одинъ цѣлковый. Такимъ образомъ, самое вѣроятное предположеніе о попавшемъ сюда человекѣ—именно то само, которое сдѣлали товарищи Ѳомича. Но Ѳомичъ не потерялся. „Спервоначально было маѣ, конечно, дурно, а послѣ хорошо... Починивалъ я ружья охотникамъ въ окрестностяхъ; зарабатывалъ этимъ рублей шесть въ мѣсяцъ, да товарищи иной разъ немного приплютутъ—ничего, жилъ“,—разсказывалъ объ этомъ времени Ѳомичъ. Здѣсь онъ прошелъ географію и принялся за алгебру и физику, пользуясь свободнымъ временемъ.

Но Омиичъ съ полнымъ правомъ, даже съ обыкновенной человѣческой точки зрѣнія, могъ вспоминать хорошо этотъ иненческій городишко: здѣсь онъ познакомился съ Надеждой Николаевной. Омиичъ никогда ни однимъ словомъ не проговаривался, какъ сошлись они—рабочій и барышня. Съ инстинктомъ уже развитого человѣка, онъ не прикасался къ счастью, боялся опознать его словами, которыми, къ тому же, онъ плохо владѣлъ.

Пріѣхала Надежда Николаевна позже Омиича въ городишко и поразила его своимъ отчаяннымъ видомъ. Полная апатія, совершенно больная во всѣхъ отношеніяхъ—вотъ то состояніе, изъ котораго она не выходила. Цѣлый день она сидѣла въ комнатѣ у себя, курила папиросы и кашляла; шагала изъ одного угла до другого и курила папиросы. Никакого дѣла. Въ прошедшемъ что-то смутное и мучительное; въ будущемъ такая-то неопредѣленная пропасть и ни одной надежды. Однимъ словомъ, барышня была разбита вдребезги и представляла собою тѣнь.

Для Омиича такое состояніе было просто непонятно; онъ не зналъ никогда ни отчаянія, ни скуки, ни апатіи, ни даже этической болѣзни. Въ первое время онъ робко наблюдалъ за ней. Ея молчаніе отбивало у него охоту бывать у ней часто. Но когда она стала сильнѣе кашлять, онъ сталъ ухаживать за ней въ качествѣ сидѣлки. Иногда онъ приготавливалъ ей самъ обѣдъ, каждый день почти насильно уводилъ ее гулять и напелъ ей дѣло—учить его. Алгебру-то онъ самъ проходилъ успѣшно, по географіи много читалъ, но физика подвигалась впередъ плохо. Сперва Омиичъ спрашивалъ только относительно тѣхъ мѣстъ, которыя ускользали отъ него, а потомъ сталъ брать регулярно уроки у барышни. Сперва уроки шли вяло, Надежда Николаевна сидѣла апатично, такъ что Омиичъ приходилъ въ смущеніе. Но потомъ дѣло пошло успѣшнѣе, и Надежда Николаевна уже сама стала интересоваться успѣхами Омиича, который съ увлеченіемъ слушалъ ее. Она почувствовала, что ей холодно оставаться одной, наединѣ съ своею мучительною думой, и съ нетерпѣніемъ ожидала, когда придетъ на урокъ Омиичъ; и ея лицо озарялось радостною улыбкой при взглядѣ на Омиича, который упорно слушалъ, стѣлся и радовался. Однажды вечеромъ, когда они молча сидѣли за столомъ и боялись взглянуть другъ на друга, по-

трясенные однимъ чувствомъ, Надежда Николаевна, наконецъ, не выдержала напряженной тишины, наставшей въ комнатѣ, и судорожно зарыдала; Оомичъ, глядя на нее, также тихо плакалъ. Потомъ онъ убѣдился, что рыдать больше не о чемъ, и черезъ нѣсколько дней обвинчался въ единственной церкви фантастическаго города, давъ священнику неслыханный гонораръ, на который тотъ сейчасъ же купилъ муки, а то до сихъ поръ, нѣсколько мѣсяцевъ, ѣлъ соленую рыбу. Физику они кончили ужъ долго спустя, когда имъ обомъ вышло позволеніе воротиться на родину и когда Оомичъ испугался, что у него не будетъ больше свободнаго времени для ученія.

Проживъ у нихъ мѣсяцъ, Михайло ежеминутно убѣждался, какія глубокія связи существуютъ между ними, хотя, повидимому, между ними мало общаго. Оомичъ—вѣчно спокойный безъ задатковъ какой бы то ни было тоски и немного толстый; Надежда Николаевна—блѣдная, безпокойная и разбитая. Но, вѣроятно, это-то противорѣчіе и связало ихъ; можетъ быть, Надежда Николаевна согрѣлась душевно подлѣ здоровой натуры Оомича, который невольно умиротворялъ ее изстрадавшееся сердце; можетъ быть, также, чувство жизни возвратилось къ ней, когда она очутилась подлѣ этой рабочей силы, простой, но широкой... Когда они возвратились въ родной городъ Оомича, имъ на первыхъ порахъ пришлось очень туго. Оомича отказывались принять въ мастерскія и заводы города, и куда онъ ни приходилъ, его отовсюду выпроваживали. Тогда Надежда Николаевна стала давать уроки, и этимъ они кормились нѣкоторое время.

Но это приводило въ расстройство Оомича, онъ такъ берегъ свою Надю, что желалъ снять съ нея плечъ всякую работу. Видѣлъ онъ также, что всякая работа, кромѣ физической, убійственна для нея. Съ нечеловѣческими усилиями онъ доставалъ работу. Скоро, однако, удалось ему устроиться: его взяли постояннымъ слесаремъ въ одинъ огромный домъ, гдѣ онъ долженъ былъ слѣдить за водопроводами, ремонтировать всю механическую и слесарную часть зданія, а потомъ, какъ извѣстный половинѣ города, онъ сталъ получать много заказовъ, такъ что потребовался даже помощникъ. Оомичъ опять повеселѣлъ. Прислугу Надежда Николаевна отказалась держать, не желая сидѣть сложа руки; она гот

мыла обѣдъ, чай, мыла бѣлье, убирала съ изысканною чистотой комнаты, чистила инструменты. По вечерамъ они читали по очереди. Это шло изо дня въ день и имъ не было скучно, да едва-ли оставалось время скучать, когда каждый праздное проведенный день могъ отозваться на нихъ ощутительною нуждой.

„Колотятся же все-таки, бѣдняги, не богато“,—подумалъ Михайло, ближе познакоившись съ своими друзьями.

Окруженный такою совершенно новою для него атмосферой, Михайло самъ чувствовалъ, какъ вся его жизнь перестроилась.

Ремесло онъ усваивалъ быстро, доставляя Ѳомичу ежедневное удовольствіе своею ловкостью и трудолюбіемъ. Но эти успѣхи только въ первое время занимали Михайлу, а дальше онъ сталъ уже мучиться совсѣмъ другими вещами. Онъ былъ теперь въ вѣчно напряженномъ состояніи, слѣдилъ за каждымъ своимъ движеніемъ, подмѣчая также каждый шагъ своихъ друзей. Въ противность прежнему, онъ такъ низко упалъ въ своемъ мнѣніи, что весь огромный запасъ презрѣнія и недовольства обрушилъ на одного себя. Онъ копался въ себѣ и беспощадно унижалъ себя. Это, впрочемъ, принесло ему косвенную пользу: онъ привыкъ отдавать себѣ отчетъ во всемъ, что происходило у него внутри, въ каждой своей мысли. Но это же и несказанно мучило его. Ѳомичъ не понималъ состоянія ученика.

— Ты что, Миша, какъ будто нездоровъ все?... Видь у тебя какой-то больной,—нѣсколько разъ спрашивалъ Ѳомичъ. Надежда Николаевна также спрашивала тревожно. Михайло зналъ, что его любили и уважали, но отъ этого, кажется, онъ еще больше мучился.

При вечернихъ чтеніяхъ онъ присутствовалъ, многое понималъ, увѣренный, что не понимаетъ; многое дѣйствительно не понималъ, но во всякомъ случаѣ сидѣлъ все время, какъ на иголкахъ, пожираемый самобичеваніемъ. „Вотъ Ѳомичъ все понимаетъ, а я нѣтъ... Оселъ!“ Оставаясь одинъ на одинъ съ собой, онъ готовъ былъ прибить себя, если бы это было возможно, — такъ тяжело ему было.

Но такіе припадки самоуниженія не могли долго продолжаться въ Михайлѣ, одаренномъ отъ природы силой роста и подниматься. Однажды ночью, оставшись одинъ въ мастер-

ской, онъ вдругъ сообразилъ, что вѣдь онъ также можетъ учиться. Вѣдь Өмичъ... откуда же онъ взялъ? Пораженный такою простою мыслью, онъ отъ радости вскочилъ съ постели, не зная еще самъ, зачѣмъ это сдѣлалъ. На станкѣ лежала книжка — „Руководство къ слесарному, кузнечному, плавильному, лудильному (шелъ еще длинный перечень) производствамъ“ — тощая, дрянная, барышническая книженка Михайло взялъ ее въ руки со страхомъ, боясь убѣдиться, что онъ забылъ всѣ буквы. У него потемнѣло въ глазахъ, рука, державшая книженку, сильно дрожала. Но, овладѣвъ собою, онъ разглядѣлъ и вспомнилъ одну букву и страшно обрадовался. Посмотрѣлъ дальше — еще одна буква объявилась. Михайло присѣлъ на кровать и просидѣлъ до разсвѣта. Въ слѣдующія ночи онъ уже правильно занимался. Сначала онъ читалъ одну строку полчаса, но затѣмъ дѣло пошло скорѣе. И писать его когда-то, передъ воинскою повинностью учили въ деревнѣ, но здѣсь ему пришлось испытать сильно огорченіе. Онъ однажды поднялъ на полу клочекъ бумаги исписанный широкими и круглыми буквами, изъ которыхъ каждая походила на Өмича. Михайло принялся разбирать, но ничего не вспомнилъ, за исключеніемъ одной буквы — „мыслете“. Почему именно мыслете, а не другая какая буква врѣзалась въ его памяти — неизвѣстно. Михайло, по крайнему мѣрѣ, нехотя эту-то букву нарисовалъ, рисунокъ вышелъ похожимъ на распростертую пятерню, но это все равно. Написавъ ее, Михайло съ отчаянными усиліями принялся узнавать другія буквы, сравнивая прописныя съ печатными. Послѣ нѣсколькихъ приступовъ, что заняло нѣсколько ночей онъ одолѣлъ и этотъ клочекъ бумаги. Съ этой минуты онъ каждый вечеръ упражнялся.

Проще бы было обратиться за помощью къ Өмичу или къ Надеждѣ Николаевнѣ, но Михайло чего-то стыдился. Впрочемъ, всякіе секреты были врожденнымъ его качествомъ. Свое дикое ученіе онъ ото всѣхъ скрывалъ. Застигнуты разъ Өмичемъ за упражненіемъ въ рисованіи буквъ, онъ такъ былъ взволнованъ, какъ будто его уличили въ какомъ-то мошенничествѣ; Өмичъ, впрочемъ, ничего не подозревалъ.

Вскорѣ онъ, впрочемъ, самъ убѣдился, какъ глупо дѣлать секретъ изъ такихъ обыкновенныхъ вещей. Мало того, ему пришлось раскрыть такіа затѣи, корорыя онъ и отъ себя-т

прятать, старался не помнить ихъ. Впрочемъ, у такихъ людей, какъ Михайло, секреты-то всего меньше и держатся, какъ они ни стараются держать ихъ при себѣ.

Однажды онъ сидѣлъ въ мастерской и опиливалъ какую-то вещь. Кромѣ его, дома никого не было; Оомичъ и Надежда Николаевна куда-то ушли. Въ это время явился Вороновъ, тотъ слесарь въ блузѣ, котораго такъ испугался Михайло въ день поступленія къ Оомичу. Вороновъ былъ въ той же самой дыравой блузѣ, до того замасленной, что она, казаясь, прилипала къ его тѣлу, какъ его собственная естественная шкура; штаны были не менѣе засушены; руки его также были чѣмъ-то выпачканы. Но всего непріятнѣе выглядѣло его лицо, дряблѣе и сморщенное, какъ высушенная водопшва; его лобъ такъ съжился, что совсѣмъ исчезъ. Видно было, что не хорошо живетъ этому человѣку.

Михайло не уважалъ его... Было въ этомъ Вороновѣ нѣчто такое, что давало Михайлѣ поводъ питать къ нему презрѣніе, хотя онъ съ нимъ всего раза два видѣлся и ни однимъ словомъ не обмѣнялся.

Усѣвшись возлѣ станка, Вороновъ презрительно посмотрѣлъ на работу, пожалъ плечами и сплюнулъ, сплюнулъ какъ-то особенно, тѣмъ особеннымъ плевкомъ, въ которомъ слышится: „Что ты, молъ, какъ обо мнѣ думаешь?“

— А ты, братецъ, погляжу я, не такъ дѣлаешь эту штуку-то! — сказалъ Вороновъ, пренебрежительно ткнувъ выпачканнымъ пальцемъ въ то мѣсто, гдѣ копошился Михайло.

Михайло встрепенулся, задѣтый за живое.

— Мнѣ такъ Алексѣй Оомичъ показывалъ, — отвѣтилъ онъ довольно спокойно, но уже разозленный внутри.

— Оомичъ-ли, кто-ли другой — не въ этомъ дѣло! Оомичъ, онъ, конечно, человѣкъ умный, но въ эфтимъ разѣ, что касается спеціально слесарнаго искусства, то я прямо тебѣ могу сказать, что Оомичъ ничево... Я тутъ побольше понималъ, что по техническому отдѣлу и что невѣжественно...

Михайло съ изумленіемъ слушалъ это непонятное сочетаніе словъ. Но злоба сильнѣе разбирала его. Между тѣмъ, странный собесѣдникъ увлекся.

— Ты продолжаешь все-таки свое дѣлать? Я тебѣ говорю, не такъ! Ты теперь дѣлаешь вещь изъ стали, и надо разбирать, который кусокъ — желѣзо, который — сталь... А пони-

маешь ли ты, что такое желѣзо и что сталь? Вотъ то-то же и есть! А говоришь, Ѳомичъ... Сталь—это есть вотъ какое дѣло: ежели желѣзо (Вороновъ отчеканивалъ слова) пропущено черезъ химию, съ прибавленіемъ то-есть потребнаго количества угля, то и выйдетъ сталь. Такъ вотъ она, эта штука-то, откуда берется! А желѣзо—это вещь безъ химіи, оттого оно и дешевле. Это я самъ читалъ. Потому что я—специалистъ. Можетъ, я въ Петербургѣ бывалъ, какъ ты думаешь? На петербургскихъ заводахъ!... А Ѳомичъ не былъ Само собой, онъ—рабочій образованный и много изученъ но въ этомъ разѣ... я специалистъ!

— Алексѣй Ѳомичъ велѣлъ такъ дѣлать, и я дѣлаю,—возразилъ Михайло.

— Брось! Давай я тебѣ покажу, какъ надо,—сказалъ гордо Вороновъ и совсѣмъ уже протянулъ руку.

— Это не ваше дѣло!—вскрикнулъ Михайло, быстро спряталъ подѣлку и вскочилъ съ мѣста.

— Какой ты, погляжу я, невѣжа!—пренебрежительно сказалъ Вороновъ.

— Вы лучше или молчите, или уйдите, ежели не хотите неприятности...

— Чистый деревенскій невѣжа!—дразнилъ Вороновъ.

Михайло засверкалъ глазами. Еще минута—и Михайло выбросилъ-бы несчастнаго Воронова за дверь, но въ это время дверь отворилась и явился самъ Ѳомичъ.

— Что такое? Что вы кричите?—спрашивалъ онъ торопливо, смотря то на Воронова, то на Михайлу. Но, прежде всего, онъ уговорилъ Воронова, напередъ зная, что виновникъ шума—онъ.

— Ты что, Петруша, тутъ куралесишь?

— Я только хотѣлъ показать, какъ слѣдуетъ по настоящему... вотъ этому невѣжѣ!... Потому что я—специалистъ а онъ...—говорилъ Вороновъ торопливо.

Но Ѳомичъ живо прервалъ его.

— Какой ты чортъ специалистъ! Дуракъ ты, а не специалистъ! Глупость—твоя специальность! Ты, пожалуйста, в другой разъ не учи, гдѣ тебя не просятъ; Миша и безъ тебя знаетъ, что надо...

Ѳомичъ говорилъ раздраженно.

— Вы очень нехорошо выражаетесь... Я лучше уйду,

сказалъ въ замѣшательствѣ Вороновъ, но старался придать себѣ твердый видъ, когда выходилъ въ двери.

Өмичъ тогда обратился къ Михайлѣ, но сейчасъ же расхохотался. Глаза Михайлы сверкали, самъ онъ весь дрожалъ отъ негодованія и стоялъ уже въ углу комнаты, какъ въ боевой позиціи.

— Эва какъ тебя Петруша глупый взволновалъ!—хохоталъ Өмичъ.

— Я его, Алексѣй Өмичъ, побью, ежели онъ еще...—злоюще произнесъ Михайло.

— Ну, вотъ... выдумалъ чего еще! За что его бить? Өмичъ пересталъ смѣяться.

— Нѣтъ, ты этого не сдѣлаешь, Михайлѣ Григорьичъ,—возразилъ онъ серьезно,—а если сдѣлаешь, самому будетъ стыдно. Петрушка и безъ тебя бить... Ты, пожалуйста, не обращай вниманія на него—пусть его мелеть... Теперь лучше пойдемъ обѣдать, я тебѣ расскажу кое-что про этого несчастнаго.

Михайло послушался и мало-по-малу успокоился, хотя еще и за столомъ нижняя губа у него дрожала... Но когда, узнавъ, въ чемъ дѣло, засмѣялась и Надежда Николаевна, то Михайлѣ сдѣлалось стыдно. Онъ попробовалъ улыбнуться и внимательно сталъ слушать Өмича.

— Ты самъ замѣтилъ, Миша, какъ этотъ Вороновъ завидается. Онъ, можетъ быть, тебѣ рассказывалъ, что бывалъ на петербургскихъ заводахъ? Вретъ онъ! Вообще онъ то и дѣло вретъ... Ты самъ слышалъ, какъ онъ постоянно употребляетъ иностранныя слова? Но онъ ихъ не понимаетъ, и если говорить вообще, то смысла нѣтъ—таку чушь поретъ, что хоть уши затыкай... Да вотъ недавно приходитъ онъ ко мнѣ и говоритъ, что у него меланхолическая шея... Ну, что ты тутъ сдѣлаешь съ нимъ?... „Да дуракъ, говорю, ты, отчего ты никогда попросту не скажешь, что у меня, молъ, глупая, длинная шея, какъ у журавля? Вѣдь это слово-то, говорю, и не идетъ сюда, дуракъ!“ Иногда вотъ такъ обрѣ-вашь его, а иногда плюнешь только,— ну тебя совсѣмъ! Бранье его особенное. Онъ дѣйствительно много слышалъ, но настоящаго-то ничего нѣтъ у него, что-то смутное осталось у него отъ всего слышаннаго, и вотъ этимъ онъ и козыряетъ. Однимъ словомъ, замѣть себѣ, что никакой своей

мысли, ничего *своего* у него нѣтъ. И, во-вторыхъ, замѣть, всю жизнь онъ былъ игрушкой... Ну, теперь ужъ я по порядку расскажу, откуда вышелъ такой человѣчище... Жилъ онъ сначала въ деревнѣ съ матерью, съ сиротой, — мать-то его и теперь жива... Деревни я не знаю, какъ и что тамъ, но думаю, что бывали у нихъ такія времена, что пищей ихъ былъ больше ничего, какъ лукъ. Однимъ словомъ, горько! Прожилъ онъ такимъ манеромъ съ помощью лука до одиннадцати лѣтъ и по одиннадцатому году мать отвезла его вотъ сюда, въ городъ, и отдала въ ученье къ слесарю. Какое нашему брату ученье—ты самъ знаешь... Но битые вѣдывая по человѣку. Ежели человѣкъ имѣетъ что-нибудь въ себѣ, внутри, какую-нибудь мысль, надежду, то битые ему ни почему, онъ его хорошо переноситъ. Луки его сколько хочешь, а ужъ онъ добьется своего. А вотъ ежели котораго человѣка бьютъ, и въ то же время у него ничѣмъ подпереть изнутри это битье-то, ну, тогда одна мука. Вотъ такъ и Петруша. Его били, а онъ только плакалъ и чувствовалъ боль. А били его слесаря здорово, хотя не больше прочихъ Петрушка два раза пробовалъ бѣгать домой, но одинъ разъ поймалъ его самъ хозяинъ, а другой разъ сама мать привезла его обратно. Разъ онъ также хотѣлъ утопиться, но его вытащили за волосы живого. Однако, черезъ нѣкоторое время кончилъ онъ свое ученье... Да и то плохо же! Онъ можетъ работать на заводахъ, съ машинами, со всѣми инструментами, по чертежу, когда ткнуть ему въ носъ, что надо, но самостоятельно ничего не можетъ. Вотъ теперь онъ перессорился со всѣми заводами—и голодаетъ, а голодаетъ потому, что самъ отъ себя ничего не можетъ, замка не починить...

— Ты забѣгаешь впередъ,—замѣтила Надежда Николаевна

— Ну, да, точно, впередъ... Такъ вотъ о битѣ-то. Вдругъ изъ влакого ада онъ попалъ, лучше сказать, перелетѣлъ въ самый рай! Нежданно-негаданно дали ему въ руки счастье. Познакомился онъ случайно съ одними молодыми господами и тѣ взяли его на руки, т.-е. прямо на руки. И носились съ нимъ. Кормили его, поили, давали ему папиросы, одежду хорошую давали ему, стали учить его грамотѣ... Но такъ какъ у Петрушки ничего своего не было, то онъ ничѣмъ не воспользовался, даже хуже... Бывало, придешь въ эт

квартиру, а Петрушка развалился на диванѣ и курить па-
пиросу, плюетъ презрительно, спрашиваетъ, скоро-ли чай?
Господа ухаживали за нимъ: рабочій, молъ, изъ народу...
его жизнь, молъ, былъ битъ... Ничѣмъ бы заставить его
учиться, а его носили только на рукахъ, какъ куклу, хохо-
тали каждому его слову, которое онъ выворотить. Замѣсто
того, чтобы заставить его работать надъ собой, ему гово-
рили, что онъ — несчастный, обсчитываемый, мучающійся
и другихъ. Петрушка наматывалъ это себѣ на усь, какъ ни
чуть. Даже этимъ господамъ сталъ говорить, что вы, молъ,
бары! Вамъ бы только ѣздить по шеѣ насъ, несчастныхъ ра-
бочихъ!... Вотъ только что понялъ Петрушка! Бывало, такъ
полагается дать ему хорошую затрещину. Главное, онъ сталъ
жаловаться себя, а это нѣтъ ничего хуже для нашего брата,
счасъ же ослабѣетъ. Такъ и Петрушка. Сталъ себя жа-
ловаться, винить во всемъ другихъ, считалъ себя самымъ не-
счастливымъ человѣкомъ на всемъ свѣтѣ и ничего не дѣлалъ.
Грмотѣ онъ, правда, выучился... да плохо же! Бывало,
жалко и дѣлаетъ, что валется на диванѣ и плюетъ на ко-
вертъ. Сталъ онъ страсть какъ нахаленъ. Бывало, придетъ
и прямо требуетъ денегъ или велитъ вести его пообѣдать
въ кухмистерскую. Господа сначала поглажали, а потомъ
начали избѣгать его. Впрочемъ, скоро они какъ-то и разѣ-
шались всѣ, и остался вдругъ Петрушка безо всего, съ одною
букой да со словами, которыхъ не понималъ. Ты замѣть
мо, былъ онъ въ раю и вдругъ опять слетѣлъ внизъ. Когда
разѣхались господа, Петрушка долженъ былъ опять голо-
дать, пошелъ на заводъ, принялся работать и, однимъ сло-
вомъ, изъ рая, гдѣ его носили на рукахъ, вдругъ опять въ
самую глубь, вонъ куда сверзился. Потому что онъ попалъ
прямо къ битю. Били его теперь вотъ по какому случаю.
Когда онъ тутъ очутился среди товарищей рабочихъ, то
попытался на нихъ ужъ свысока, презрительно, считая себя
лучшимъ. Съ перваго же дня началъ палить въ нихъ ино-
странными словами, укорялъ ихъ невѣжествомъ, училъ ихъ,
перевирая все, что слыхалъ. Рабочіе, конечно, смѣются. А
Дороховъ обижался, ругалъ дураковъ, которые глупы и не
обращаютъ на него вниманія. Такъ вотъ иной рабочій слу-
шаетъ-слушаетъ, да и давай его лупить, а въ дракѣ Петру-
шка по слабости здоровья всегда уступалъ, потому что,

какъ колотили его всю жизнь, то онъ весь насквозь пробитъ и продыравленъ. У него и теперь на головѣ нѣкоторые рубцы—это еще отъ его стараго хозяина, отъ слесаря. Спи у него также попорчена. Постоянно жалуется на головную боль... Ему только тридцать лѣтъ, а онъ, самъ видишь, какъ старикъ...

— Ты забылъ еще одинъ случай,—вставила Надежда Николаевна, хорошо знавшая всѣ обстоятельства Воронова.

— Да, точно, забылъ... Съ нимъ еще произошелъ одинъ случай. Попалъ онъ въ руки къ одному барину, къ тому самому, который часто бываетъ у меня, ты его видалъ не одинъ разъ,—Колосовъ. Человѣкъ суровый, серьезный. Петруша однажды самъ попросилъ его заняться съ нимъ... долженъ быть, находятъ же на него такія минуты, когда онъ самъ видитъ, какъ пустъ внутри. Попросилъ онъ Колосова и тотъ согласился заняться. Но, вмѣсто того, чтобы исподволь, легоньку забирать его въ руки, онъ сразу, съ первыхъ уроковъ, огорошилъ... „Вы ничего не знаете!...“ „Вы говорите глупости!...“ „Вамъ нужно работать, чтобы чему-нибудь выучиться!...“ „Это неправда! Не говорите словъ, которыхъ не понимаете!...“ „У васъ нѣтъ никакихъ мыслей кромѣ животныхъ!...“ Вотъ какъ принялся сразу за Колосовъ. Это все при мнѣ было... Ну, думаю, ничего рошаго для Петруши не будетъ... его надо бы прежде погладить, тихонько подкрасаться къ нему, тихонько взять его руки, да уже тогда и насѣсть на него, чтобы емудохнельзя было зря. А Колосовъ сразу сталъ рѣзать его каждымъ шагу, кромсать его на куски, билъ его сверху, снизу, съ боковъ, и Петрушка мой окончательно поглупѣлъ и потерялъ всякій омысль. Я сразу увидалъ, что для Петрушки пользы отъ этого не будетъ: очень ужъ круто. И действительно, Колосовъ скоро отказался заниматься... „Этотъ Вороновъ, говоритъ, глупъ, какъ пятьсотъ свиней“. Да и самъ Петрушка радъ былъ оставить эти занятія, которые мучили его не знаю какъ. Такъ и остался онъ тупой.... Да и не иначе: то его бьютъ, то носятъ на рукахъ, то опять униженъ, раздавленъ. Такъ и остался онъ ни съ чѣмъ. Не тебѣ сказать, живетъ онъ тутъ въ городѣ бѣда какъ слепой. Со всѣми товарищами рабочими онъ нигдѣ не можетъ ужиться, не уважаютъ его за его глупое самохвальство.

сидит; хозяйка также избѣгаютъ его неуживчивости; онъ и дѣло сидитъ безъ дѣла. Но и у него бываютъ минуты, когда онъ всею душой понимаетъ, какъ подшутила надъ нимъ судьба, какъ его искромсали, какая онъ игрушка... Я тебѣ прочтаю его одно письмо къ матери. Это письмо осталось у меня по такому случаю, что разъ онъ пришелъ ко мнѣ попросить денегъ на марку, а Надя дала ему больше, чѣмъ на марку... и письмо оказалось ненужнымъ, потому что онъ написалъ сейчасъ же новое письмо, уже „со вложеніемъ“.

Юмичъ порылся между книгами и газетами, досталъ грязный листокъ бумаги съ нѣсколькими строками и прочиталъ его:

„Милая маменька, видно, я несчастный на всю жизнь остаюсь, оттого мнѣ нѣтъ нигдѣ счастья, а я ужъ боленъ сильно... Часто мнѣ вамъ даже копѣйки взять не откуда, а самъ знаю, какъ вы бѣдуете тамъ... У меня работы нѣтъ, голодно, рубашка всего одна осталась, и ежели очень грязная, я самъ возьму ее, да мою, сушу и опять надѣваю, а покажу въ пальтѣ... Подштанниковъ у меня двое, да чуть жить. Однако, я надѣюсь вскорости вамъ послать два рубля. Очень мнѣ тяжело, маменька!“

— Вотъ видишь, какъ у него все тутъ хорошо, просто,— продолжалъ Юмичъ.— Онъ мучится, что не можетъ достать два рубля старухѣ, которая ѣстъ лукъ. Куда всѣ и слова странныя дѣвались! Ему тутъ и въ голову не придетъ сказать, что у него, напримѣръ, меланхолическіе подштанники. Въмѣсто этого онъ прямо плачетъ слезами: «мнѣ, маменька, тяжело!...» А ты его хотѣлъ, Миша, побить. Замѣть, онъ очень честный. Разъ онъ у меня пропилъ тиски, такъ на другой день, какъ только очухался, снялъ съ себя все достало и выкупилъ... Можетъ быть, изъ него и вышло бы что-нибудь, ежели бы попалъ въ руки. И не глупый онъ, а только вымотанъ, заигранъ.

Юмичъ увлекся и разсѣянно ходилъ по комнатѣ (обѣдъ давно кончился), не замѣчая, какое странное дѣйствіе произвелъ его рассказъ на Михайлу. Надежда Николаевна замѣтила, но не понимала причины необычайнаго волненія Михайлы.

— Главная бѣда, несчастіе, горе нашего брата въ томъ, что мысли нѣтъ... именно той главной мысли, которая бы

показала намъ, что дѣлать, куда идти, какъ жить. Нельзя требовать, чтобы простой человѣкъ былъ ученый, но онъ долженъ жить по своему, а не по приказу, и знать, въ какую точку бить для поправленія бѣдовой своей жизни. Ничего разсчитывать на чужія головы, потому что отъ это только будетъ игрушкой, куклой. А съ куклой извѣстно какъ поступаютъ: какъ она безсмысленна, молчитъ, то иногда ее сажаютъ на почетное мѣсто, кладутъ передъ ней пироги и конфеты, иногда же бросаютъ ее въ темный уголъ и забываютъ о ней надолго, а иногда сѣкутъ!

Өомичъ, кажется, еще хотѣлъ продолжать говорить, но въ это время онъ обратилъ вниманіе на Михайлу. Послѣдній молчаливо волновался; онъ то вставалъ съ мѣста, то садился. Поблѣднѣвшій до губъ, онъ вдругъ вскричалъ:

— А вѣдь вы не знаете, кто я такой!

Өомичъ и Надежда Николаевна съ удивленіемъ переглянулись.

— Кто же ты?—спросилъ Өомичъ.

— Вѣдь я сидѣлъ въ острогѣ! Чуть бы еще, негодяй вышелъ!

Михайло судорожно выговорилъ это, какъ будто плака навзрыдъ, но на лицѣ его отражалось только негодованіе.

— За что ты сидѣлъ?

— Сжальничалъ!

Надежда Николаевна съ испугомъ смотрѣла на Михайлу, а Өомичъ нахмурилъ брови, и оба такъ растерялись, что могли произнести слова.

Но Михайло не далъ имъ опаматоваться и разсказалъ тотъ мелкій, хотя темный случай изъ своей жизни, который чуть было не погубилъ его. Разсказалъ онъ рѣзко, коротко и съ обычными дикими выраженіями, какъ бы намѣренъ усиливая бичующими словами смыслъ дѣла.

— Вотъ какой я подлый былъ!—кончилъ свой разсказъ Михайло и перевелъ духъ.

Өомичъ и Надежда Николаевна молчали.

Михайло смотрѣлъ уже твердо, но подозрительно.

— Но вы не думайте ничего... Я былъ... а теперь подло прошло. И я сказалъ оттого, чтобы вы не думали, что... если бы скрылъ отъ васъ ту пакость... Когда вы заговорили объ игрушкѣ, то я рѣшился...

— Да, много темного бываетъ съ нашимъ братомъ,— возразилъ Оомичъ растерянно и задумчиво.

— Но вы не думайте обо мнѣ худого... Я не тотъ теперь.

Выговоривъ это сквозь зубы, Михайло уже гордо посмотрѣлъ на Оомича, и во взглядѣ видѣлась явная угроза: „Берегись заподозрить меня въ чемъ-нибудь!“... Но согласіе было уже разстроено на этотъ день. Всѣ чувствовали какую-то натянутость и поторопились разойтись въ разные углы.

Михайло рѣшился было работать за станкомъ насильно, но, видно, взрывъ раскаянія и самобичеванія дорого ему стоилъ; онъ бессильно выпустилъ изъ рукъ работу.

Впрочемъ, черезъ нѣсколько дней Михайло возстановилъ дружескія отношенія. Вышло такъ, что Оомичъ въ этотъ день въ первый разъ за два мѣсяца предложилъ ему деньги, какъ стоимость его труда, тѣмъ болѣе, что Михайло уже многое дѣлалъ самостоятельно. Но, выслушавъ предложеніе, Михайло бросилъ презрительный взглядъ на деньги, лежавшія на ладони Оомича.

— Нѣтъ, это вы покуда оставьте!—сказалъ онъ рѣзко.

— Да ты что, чудакъ?—воскликнулъ Оомичъ.

— Рано еще... надо поучиться.

— Вотъ чудакъ! Значить, не рано, если я тебѣ предлагаю!

— Это ваше дѣло. Но только вы, пожалуйста, подальше отойдите съ вашими деньгами.

— Но ты, по крайней мѣрѣ, дерзостей не говори!

Оомичъ обидѣлся и разгорячился, а Михайло прямо озлился съ пламенной ненавистью глядѣлъ на деньги, лежавшія на станкѣ. На доводы Оомича онъ отвѣчалъ дерзостями и дикими словами, ни въ чемъ неумѣренный. Въ концѣ концовъ, они оба начали буквально ругаться. Поднялся страшный шумъ въ мастерской. Оомичъ растерянно бралъ въ руки и опять швырялъ разныя вещи, вовсе ему ненужныя, и въ страшномъ возбужденіи ходилъ по мастерской, какъ будто что-то отыскивая, а Михайло ушелъ въ дальній уголъ комнаты и оттуда сверкалъ глазами. Наконецъ, пріотворилась дверь, и Надежда Николаевна вопросительно посмотрѣла на Оомича. Это сразу привело въ память Оомича; онъ внезапно сѣлъ на стулъ, хлопнулъ себя по ногамъ и расхохотался.

— Чуть въ драку не вступили!... Ну, однако, ты, Миша,

настоящій ежъ! Тебѣ слово, а ты сейчасъ ужъ колючки свои растопыришь... Эдакъ, братъ, невозможно!

Өомичъ разсказалъ Надеждѣ Николаевнѣ, изъ-за чего собственно они начали шумѣть.

Но Михайло продолжалъ стоять въ углу, попрежнему, вооруженный злобыми взглядами. Только Надежда Николаевна успокоила его, сказавъ нѣсколько ласковыхъ словъ.

Съ той поры натянутость между ними прекратилась.

Съ этого же времени начинается его открытое ученіе. Онъ понялъ, что ему надо много учиться. Это рѣшеніе его сейчасъ перешло въ неудержимое желаніе, какъ всегда. Начиная свои упражненія онъ до сихъ поръ скрывалъ, но теперь какъ-то сразу рѣшилъ, какъ это глупо, и сказалъ своимъ друзьямъ, что ему непременно надо учиться, для чего просилъ Өомича свести его къ тому суровому барину, Колосову. Өомичъ изъяснилъ полнѣйшее удовольствіе, только удивился, почему непременно къ Колосову? Не испугается-ли Михайло его суровости? „Если онъ даже бить меня будетъ, я все таки буду слушаться его!“—пояснилъ Михайло энергично.

На другой день послѣ этого разговора Өомичъ свелъ его къ Колосову, который согласился. Кромѣ того, Надежда Николаевна предложила еще свои услуги.

Михайло началъ заниматься, не отлагая времени. Денъ онъ работалъ въ мастерской, а вечеромъ бѣжалъ къ Колосову и слушалъ его урокъ. Занимался онъ не то, что съ энтузіазмомъ, а съ какимъ-то остервенѣніемъ, и ужъ не учить телю пришлось погонять его, а наоборотъ. Въ этомъ онъ впрочемъ, обнаружилъ общедеревенскую алчность, направивъ ее только въ другую сторону. Лично ему принадлежало не неудержимое желаніе расти.

Это желаніе было до того исключительное, что изъ-за него онъ все забылъ. У него оставались въ деревнѣ родня, друзья, невѣста, — онъ ихъ всѣхъ забылъ, какъ будто былъ безродный. Онъ жилъ въ большомъ городѣ, кругомъ него жили тысячи людей,—онъ ихъ не видѣлъ, слѣпой ко всему, что касалось образованія его. Какъ прежде онъ убѣждалъ изъ деревни, все бросилъ, всю деревню забылъ, думая лишь о томъ, чтобы обогатиться, такъ теперь онъ не думалъ ни о чемъ, кромѣ лишь уроковъ.

Ему хотѣлось какъ можно больше узнать, и онъ боялся.

что не успѣть всего сдѣлать. Ему и теперь приходило въ голову вопросъ: „А что бы со мной было, если бы я не по-
мѣлъ сюда?“ Онъ не сомнѣвался, что было бы северно. Иногда ему приходили также въ голову разные вопросы: „А что, если Колосовъ умретъ?... Или Оомичъ куда-нибудь уѣдетъ?... Что тогда съ нимъ будетъ?“ Онъ боялся этого, потому что отлично понималъ, что ихнему брату образованіе достается совершенно случайно, и кому выпадетъ такой случай, тотъ долженъ хватиться за него руками и ногами.

V.

Чего не ожидалъ.

Паша шла въ городъ подъ вліяніемъ смутнаго ожиданія какого-то счастья. Она прожила всю жизнь свою (болѣе двадцати лѣтъ) въ деревнѣ, а въ послѣдніе годы побывала во многихъ мѣстахъ, исполняя обязанности горничной и кухарки у писарей, у деревенскихъ купцовъ, у священниковъ, но ей ни разу не приходилось бывать въ городѣ. Отправилась она на удачу, съ инстинктомъ перелетной птицы. Когда везшій ее мужикъ, нанятый по пути за семь гривенъ, спустил ее съ телѣги при въѣздѣ въ городъ, она пошла, сама не зная куда. Ни одной души знакомой не было у нея нѣтъ, на этихъ широкихъ, людныхъ улицахъ, въ этихъ большихъ каменныхъ домахъ, если не считать жениха, о которомъ она нѣсколько лѣтъ не слыхала, хотя, по ея предположенію, онъ здѣсь живетъ. Тѣмъ не менѣе, шла она довольно спокойно и довольно глупо, какъ будто у ней здѣсь было что-то, куда она войдетъ, раздѣнется и сядетъ. Ходила - ходила она такимъ образомъ съ узломъ и вдругъ рѣшилась войти въ первый попавшійся домъ.

Судьба иногда сжаливается надъ такою простотой. Часто истинные жители сбиваются съ ногъ, ища „мѣстовъ“, и не находятъ, а придетъ ротожѣй, попадетъ въ самое настоящее мѣсто и сядетъ, не подозревая, что изъ-за этого мѣста десятки людей вступили бы въ драку. Когда, по приходѣ на дворъ неизвѣстнаго дома, она спросила неизвѣстнаго чело-

вѣка о мѣстѣ, ей сейчасъ-же указали дверь, куда надо во и гдѣ требуется прислуга. И едва Паша вошла въ квартиру сказала нѣсколько словъ, обнаруживъ свой наивный видъ какъ уже нанялась. Ей сейчасъ-же показали кухню, гдѣ преспокойно раздѣлась, пригладила волосы, смахнула доню пылъ съ лица, положила узелъ на собственную кровать и просто спросила, что дѣлать теперь?

Барыня, обрадованная такою глупостью, велѣла подождать, а сама пошла къ мужу и съ нескрываемымъ восторгомъ объявила, что наняла дѣвушку... „вѣроятно, куда-нибудь прямо изъ густого лѣса“. Баринъ также възился удовольствіе и замѣтилъ, что „этакія-то, изъ лѣсу и мо, лучше; по крайвей мѣрѣ, честнѣе“.

Но уже съ слѣдующаго дня Паша узнала, что если и постъ и нравится господамъ, то не надолго. Съ слѣдующаго же дня дѣвушка, не знавшая городскихъ обычаевъ, начала получать внезапныя острастки: „не такъ! не то! не туда! Сначала барыня говорила это мягко, съ улыбкой, но потѣе строже, потомъ съ нѣкоторымъ повышеніемъ въ голосъ; конецъ, гнѣвно: „Какъ ты глупа, Прасковья!“ Потомъ начались окрики: „Куда ты?...“ „Да развѣ это...?“ „Да ты дѣлаешь?...“ Сообразно съ этимъ и Паша сначала слушивала замѣчанія спокойно, потомъ съ нѣкоторымъ раздраженіемъ, но все еще не прибавляя шагу, потомъ ускоривъ свою походку, наконецъ, принялась бѣгать, т.-е. совать какъ угорѣлая. Бѣдная дѣвушка до сихъ поръ привыкла только къ тяжелой, но грубой работѣ—перенести съ задняго двора въ избу телянка, вынести изъ избы на дворъ лошадь съ помоями пуда въ три и проч.

Къ ея несчастію, она попала къ такимъ господамъ, которые получали мало, а жить хотѣли широко. Больше од прислуги они не могли держать, но требовали, чтобы одной ея особѣ совмѣщалось сразу нѣсколько человѣкъ: первыхъ, кухарка, а во-вторыхъ, горничная, въ-третьихъ, нянька, въ-четвертыхъ, лакей. Дѣвушка все должна была дѣлать, у нея не было ни одной минуты, когда бы она могла сидѣть спокойно. Едва она поставитъ на плиту кастрюлю какъ должна набивать папиросы, а не успѣетъ кончить папиросами, какъ барыня нужно вычистить ботинки и т.д. Ежеминутно обремененная десяткомъ порученій и требованій

она ни одного изъ нихъ хорошо не исполняла, за что ей говорили, что она глупа, какъ осель; сразу заваленная нѣсколькими дѣлами, она по необходимости каждое изъ нихъ выполняла медленно, почему ей то и дѣло говорили, что она движется, какъ слонъ. Но на самомъ дѣлѣ Паша бѣгала со всѣхъ ногъ, натыкалась на двери, летала съ лѣстницъ, во весь духъ мчалась по улицѣ или кружилась около плиты съ расклеваннымъ лицомъ. Даже и вечеромъ не было покоя. Господа уходили въ гости, а дѣтей оставляли на ея руки, причемъ она должна была вести ихъ гулять. А на прогулкѣ они не давали ей вздохнуть; не успѣвъ она отвернуться, какъ одинъ изъ нихъ уже схватилъ навозную щепку и взялъ въ ротъ, чтобы съѣсть, и не успѣвъ она вынуть изо рта этого ребенка щепки, какъ другой уже засматриваетъ въ канаву, наполненную водой, съ очевиднымъ намѣреніемъ нырнуть туда, а пока она оттаскиваетъ отъ канавы этого сорви-голову, какъ позади ея раздается раздражающій душу крикъ.

Но Паша не жаловалась. Ей казалось невозможной жизнь безъ работы. Она ругала, напротивъ, себя, что ничего не дѣлаетъ въ городѣ.

Однажды Паша побѣжала въ библіотеку за книгами, которыя были записаны на запискѣ; библіотека отстояла въ двухъ шагахъ отъ ея дома, но ей никакъ нельзя было пройти обыкновенною походкой, потому что въ то же самое время барыня велѣла ей выбить коверъ, и въ то же самое время у ней на плитѣ все бурлило, убѣгало, горѣло. Она бѣгомъ пробѣжала по улицѣ, вскочила на подѣздъ и безъ памяти бросилась вверхъ по лѣстницѣ. Ко всему глухая и слѣпая, она вдругъ наткнулась на какого-то барина, чуть не сбила его съ ногъ и хотѣла уже броситься выше, какъ вдругъ вскрикнула слабо, остановилась и широко раскрыла глаза. У нея подкосились ноги, когда она взглянула въ лицо господина.

— Господи!... да никакъ это Миша! — прошептала она тихо, ясно.

Михайло также былъ пораженъ и остановился неподвижно: его блѣдное лицо вспыхнуло, руки, державшія книги, задрожали. Но черезъ минуту онъ оправился и поздоровался съ дѣвушкой, когда то близкой ему.

Онъ закидалъ ее вопросами, но большая часть ихъ были лишніе, какъ и всякіе вопросы перваго свиданія. Впрочемъ,

Паша была такъ взволнована встрѣчей и такъ поражена ея наружностью, что чувствовала, вмѣсто радости, что-то вроде ужаса; она только слабо восклицала отъ времени до времени да смотрѣла широко раскрытыми глазами; Михайло былъ и менѣе взволнованъ встрѣчей, которая сразу воскресила его прошлое и это прошлое вдругъ всего заполонило его.

Такъ они стояли на лѣстницѣ нѣсколько минутъ, пока Михайло не кончилъ. Онъ разспросилъ Пашу, гдѣ она живетъ, попросилъ ее собраться завтра и ждать его; онъ придетъ за ней и возьметъ ее. Онъ не зналъ еще, что намѣренъ дѣлать, но чувствовалъ, что долженъ взять дѣвушку. Последняя безмолвно согласилась выполнить все, что онъ хочетъ. Михайло быстро спустился съ лѣстницы, вышелъ на улицу и здѣсь подождалъ, пока Паша вернется съ книгами. Она скоро вернулась и бѣжала къ двери, но, спускаясь, она инстинктивно оглянула себя, поправила передникъ, пригладила волосы и очутившись опять возлѣ Михайлы, боялась поднять глаза.

— Господи!... какой вы сдѣлались, Михайло Григорычъ! — замѣтила она.

— Какой?

— Такой, что и узнать нельзя... Господи! да кто же вы теперь будете?

Михайло въ отвѣтъ на это торопливо простился, поцѣловавъ дѣвушку поблѣднѣвшими губами, и они разошлись взволнованные и потрясенные.

Когда Михайло остался одинъ, то растерялся среди тысячъ мыслей, которыя закружились у него въ головѣ и изъ которыхъ каждая приносила съ собой какой-то ужасъ, неопредѣлимый ужасъ. Паша вдругъ возстановила его прошлое: онъ вдругъ вспомнилъ отца, мать, сестеръ, друзей, товарище игръ, всѣхъ мужиковъ, всю деревню... И все это лѣзло къ нему съ укоромъ, съ нищетой, съ такою грустью. И онъ видѣлъ, что до сихъ поръ все это забылъ, помня лишь одного себя. Пашу забылъ. А теперь она явилась, напомнила себя, напомнила все, а между прочимъ указала ему, что онъ стал баринъ, добился счастья, а она... Полный ужаса и чувствуя, что его какъ будто застали на мѣстѣ преступленія, онъ проходилъ одну улицу за другой и не могъ овладѣть собой. Ему казалось, что въ образѣ Паши пришла за нимъ жалкая деревня, изъ которой онъ вырвался, ухватила его за полу

тиеть туда къ себѣ, на мрачное дно. И ему кажется, что у него нѣтъ силъ сопротивляться, и онъ пойдетъ туда потому, что подло измѣнилъ, ушелъ, забылъ!... Онъ самъ достигъ счастья, добылъ его для одного себя, а тамъ... нищета, недонки, скверный хлѣбъ, грязь... Онъ долженъ идти туда... За нимъ прислали!...

Михайло шелъ, какъ приговоренный преступникъ, въ полную смятенія, убитый, раздавленный и потерявшій всякую силу... Но вдругъ его озарила молнія; онъ почти подпрыгнувъ, неподвижно остановился на тротуарѣ и вперилъ неподвижный взглядъ на идущаго человека, загородивъ ему дорогу.

— Вы что-нибудь хотите спросить у меня, милостивый государь? — тревожно осведомился баринъ, такъ внезапно остановленный неизвестнымъ.

Михайло захохоталъ, бросился въ сторону, чтобы дать дорогу барину, и пустился бѣжать по улицѣ, оставивъ барина въ жертву полнаго недоумѣнія. Миша бѣжалъ и лицо его теперь уже не отражало ужаса; оно было спокойно и твердо и глаза свѣтились радостно. Онъ нашелъ выходъ: жепиться. Боже мой! какъ же это такая пустая мысль не могла ему придти въ голову, и онъ испугался бѣдной, робкой дѣвушки? И Миша сейчасъ же припомнилъ, какая это была простая, честная, работающая дѣвушка. Ему будетъ хорошо съ ней. И онъ загладитъ свою вину передъ ней.

Въ свою квартиру Миша пришелъ уже спокойно. Радость не переставала свѣтиться на его лицѣ. Любить-ли онъ? Нѣтъ, у него не было любви къ Пашѣ, но онъ чувствовалъ что-то такое, что не хуже любви... Озаренный этимъ внезапнымъ чувствомъ, онъ присѣлъ къ столу въ своей комнатѣ, и тихая грусть овладѣла имъ; онъ припомнилъ выраженіе лицъ отца, матери, сестеръ, ихъ слова, поступки, домъ ихъ, хозяйство, тысячу мелочей...

Немного погодя, онъ придвинулъ къ себѣ чернилицу, банку, взялъ перо и принялся писать письмо къ забытымъ:
„Милые, родные мои!“...

Когда онъ оканчивалъ, по блѣдному лицу его катилась слеза, а когда онъ окончилъ, онъ обыскалъ всѣ свои карманы, вынулъ изъ бумажника всѣ деньги, бережно завернулъ

ихъ и вложилъ въ конвертъ. Это онъ въ первый разъ платилъ дань своимъ деревенскимъ близкимъ.

Затѣмъ мысли его перепли къ Пашѣ, и онъ рѣшилъ окончательно пригрѣтъ бѣдную, бездомную и безродную дѣвушку. Она когда-то въ деревнѣ (какъ давно это было, хотя прошло не болѣе четырехъ лѣтъ!) говорила, что скажи онъ слово, она пойдетъ съ нимъ въ церковь, пойдетъ всюду, куда онъ захочетъ. Но онъ тогда все откладывалъ, а потомъ забылъ ее, когда пришелъ въ городъ. Теперь пришло время успокоить бѣдную...

На другой день рано утромъ Миша уже былъ возлѣ дома, гдѣ служила Паша, которая была готова. Онъ посадилъ ее на извозчика, взялъ изъ рукъ ея узелъ и привезъ къ себѣ на квартиру. Смотрѣлъ онъ спокойно, но задумчиво. Паша робко взглядывала на него. Она говорила ему „вы“, всему, кажется, удивлялась, что онъ говорилъ, и молчала. Ему это, видимо, не нравилось, но онъ съ улыбкой просилъ звать себя попрежнему. Паша, однако, отрицательно покачала головой, какъ бы говоря: какъ же это возможно?

Когда они вошли въ его комнату, Паша остановилась около порога, не рѣшаясь двинуться дальше. Михайло нахмурился, и она инстинктивно догадалась, что надо дѣлать: отошла отъ порога и сѣла на первый стулъ. Комната была чистая и бѣдная. Но Паша любопытно осматривала незнакомую, невиданную обстановку. Ее, видимо, поразила висѣвшая на вѣшалкѣ одежда. Это была слабость Михайлы; онъ тратилъ много денегъ на одежду. По приходѣ со службы, онъ немедленно умывался и переодевался, всегда чистый и опрятный. Паша боязливо спросила:

— Это все ваши пальты?

— Одежда? Моя,—отвѣчалъ Миша.

— Чай, дорого!

— Не знаю, Паша, забылъ...

Паша увидела лампу съ абажуромъ молочнаго стекла.

— И лампа эта ваша?—спросила она.

Михайло хотѣлъ что-то сказать, но въ это время его перебила Паша, вниманіе которой было привлечено другими предметами.

— Ухъ, сколько вѣдомостей у васъ!... Читаете?

— Читаю.

Паша съ испугомъ смотрѣла на грудѣ печатной бумаги.

— А что, можно прочитать одну такую штуку въ день?—

спросила она.

— Какую штуку?

— А вотъ одну вѣдомость...

— Можно нѣсколько номеровъ въ день прочитать, кому
хочется,—возразилъ Михайло.

— Какъ вы учились хорошо!—какъ бы про себя замѣ-
тила Паша, но съ непонятною грустью въ голосъ.

— А эти книги, должно, оттуда?—удивленно спросила она
и показала рукой въ ту сторону, гдѣ, по ея предположе-
нию, была библіотека, памятная теперь для нея на всю
жизнь.

— Изъ библіотеки, думаешь? Нѣтъ, здѣсь почти всѣ мои.

— И вы всѣ ихъ умѣете читать?

Михайло не позволилъ себѣ улыбнуться и спокойно объяс-
нилъ, что достаточно научиться читать одну книгу, чтобы
читать потомъ всѣ на этомъ языкѣ. Другое дѣло — пони-
мать; можно читать и въ то же время ничего не смыслить.
Паша недоувѣрчиво взглянула въ лицо Миши, — такъ были
верны, по ея мнѣнію, его слова. Процессъ чтенія она не
раздѣляла отъ процесса пониманія; читать — значитъ узна-
вать, что написано... Михайло прекратилъ разговоръ объ
этомъ.

Паша была грустна и, видимо, волновалась.

— Вы гдѣ же служите?—наконецъ, спросила она съ глу-
химъ волненіемъ, ожидая услышать что-то страшное. Ей
казалось, она была убѣждена, что Михайло Григорьевичъ сдѣ-
лался такимъ бариномъ, что ей, глупой, лучше уйти.

— Я помощникомъ машиниста на одномъ заводѣ, — ска-
залъ Михайло.

Паша съ напряженнымъ испугомъ выслушала это, долго
было спросить. Наконецъ, осмѣлилась.

— Это что же такое... машинистъ?

Михайло затруднился.

— Какъ тебѣ сказать?... Это который управляетъ какою-
нибудь машиной, поправляетъ ее, даетъ ходъ... Такъ я вотъ
машинистъ, скоро буду главнымъ...

— А много дохода получаетъ онъ?

— Жалованья? Смотря какъ... Для семейнаго человѣка не-

много. Но намъ съ тобой хватитъ... Вотъ что, Паша... и черезъ нѣсколько дней обвиняемся, а покуда я отведу тебя къ однимъ моимъ друзьямъ. Надо подыскать другую квартиру, купить кое-что, вообще приготовиться...

И Михайло ласково смотрѣлъ на Пашу.

Послѣдняя вспыхнула до корней волосъ, и на глазахъ навернулись слезы. Но она отвѣтила практически:

— Не обманите меня, Михайло Григорѣвичъ!... Вы вонъ какой теперь баринъ, а я деревенская... гдѣ же мнѣ угождать вамъ?

Михайло, въ свою очередь, взглянулъ, потомъ поблѣднѣвъ, но обвинилъ себя за такую недовѣрчивость дѣвушки. Черезъ минуту онъ былъ уже спокоенъ, хотя горячо заговорилъ:

— Развѣ я обманывалъ когда-нибудь тебя, Паша? А я такой же все, — онъ поспѣшно и коротко разсказалъ свою жизнь въ городѣ, какъ онъ перебѣгалъ отъ одной работы къ другой, отыскивая чего-то лучшаго, какъ голодалъ и шпалъ оборваннымъ и злымъ, какъ сдѣлалъ подлость и поплатился за то, какъ одно время ослабъ, потерявъ всякую надежду и счастье, какъ случайно попалъ къ людямъ, которые обласкали его, и какъ онъ сталъ учиться... Прошло почти три года съ тѣхъ поръ.

— Какой же я баринъ? Вонъ, посмотри, виситъ моя блуза; она прожжена вся и запачкана... Вотъ мои руки — на нихъ мозоли, а въ порахъ ихъ уголь, желѣзо, масло... И я многому научился... Но это не помѣшаетъ намъ съ тобой жить! — кончилъ Михайло.

Паша хотѣла обнять его, но только закрыла лицо руками.

Потомъ они пошли къ Ѳомичу и Надеждѣ Николаевнѣ. По улицамъ на нихъ смотрѣли прохожіе, потому что они представляли довольно странную пару. Это, однако, не могло смутить Михайлы. Не смутился онъ и у Ѳомича, когда, приходя съ Пашей, отрекомендовалъ ее своей невестой и просилъ пріютить ее на нѣсколько дней. Онъ только поглядительно оглянулъ друзей, чтобы убѣдиться, не смѣются ли они?

Ѳомичъ и Надежда Николаевна не смѣялись, но словно увидали, — Миша никогда, во время житія у нихъ и послѣ ухода съ ихъ квартиры (полгода тому назадъ), не говорилъ имъ не только о невестѣ, но и вообще о чемъ бы то ни было.

жившемся женщиной. Но они приняли сейчас живѣйшее участие въ Пашѣ, которая, по обыкновенію, остановилась на порога и держала въ рукахъ узелъ свой съ имуществомъ. Надежда Николаевна усадила ее, взяла изъ рукъ ея узелъ, положила на мѣсто, стала ее спрашивать, а когда она ушла, предложила ей позавтракать.

Послѣ завтрака Паша сѣла на краешекъ стула, сложивъ ноги на колѣняхъ, и тоскливо слушала, что говорили между собой хозяева. Посидѣвъ такъ съ часъ, она вдругъ спросила между Николаевну:

— Нѣтъ-ли чего поработать у васъ?

Надежда Николаевна улыбнулась, но недоумѣвала, что бы сказать. Паша увидала, что въ комнатѣ полъ грязный, потому что во дворѣ было грязно. Это было обрадовало ее.

— Я бы полъ вымыла,—предложила она.

— Зачѣмъ?—возразила Надежда Николаевна.

— Да онъ, вишь, черный...

— Ничего, завтра вымоютъ.

Паша опечалилась этимъ отказомъ и скучно обвела глазами комнату. Ея вниманіе теперь обратилъ на себя завязанный чулокъ, лежавшій на одномъ окнѣ.

— А чулокъ можно повязать?

Надежда Николаевна опять разсмѣялась и уже хотѣла сказать, что чулокъ въ свое время будетъ оконченъ, но въ это время вмѣшался Ѳомичъ. Онъ скорѣе понялъ состояніе Пашы.

— Ты, Паша, пожалуйста, дѣлай все, что тебѣ хочется. Вяжи чулокъ — вяжи. Вымой полъ, если тебѣ нравится, а еще что-нибудь, вообще что угодно, не спрашивая позволенія.

Паша взяла чулокъ и съ видимымъ удовольствіемъ принялась вязать его, въ то же время внимательно прислушиваясь къ разговору. Впрочемъ, долго она и не скучала. Миша уѣхалъ въ отпускъ на нѣсколько дней и быстро окончилъ приключенія; купилъ кое-какую утварь, нанялъ квартиру, справился у попа и т. д. Ѳомичъ не успѣлъ одуматься, какъ все было готово къ свадьбѣ; поэтому онъ поспѣшилъ высказать свой взглядъ на все это странное дѣло.

Онъ нарочно разъ вечеромъ зашелъ къ Михайлѣ, но не зналъ, какъ начать. Онъ барабанилъ пальцами по

столу, не кстати вынималъ изъ кармана платокъ и б нужды сморкался, выразительно посматривалъ на товари но чувствовалъ, что языкъ у него присталъ къ нѣбу.

— Послушай, Миша,— наконецъ, рѣшился онъ.—Я т хочу кое-что сказать... Ты, пожалуйста, не обижайся... отъ всего сердца это говорю...

Өмичъ, говоря это, шумно высморкался и чувствовалъ что въ комнатѣ довольно жарко.

— Ну?—спросилъ Михайло, давно ожидая этого разгов и напередъ зная, о чемъ будетъ рѣчь. Какъ бы удивил Өмичъ, если бы догадался объ этомъ!

— Видишь-ли, Миша... Я удивляюсь твоей женитьб Не хорошо вмѣшиваться, конечно... мнѣ бы не слѣдов путаться въ это дѣло, но я боюсь за тебя. Паша даже грамотная... какъ вы будете жить? Что у васъ общае Вотъ что я хотѣлъ сказать... И ты не прими дурно.

Өмичъ, высказавъ это, еще разъ высморкался, ожи отъ товарища одного изъ тѣхъ взрывовъ, которыхъ Өм побайивался. Но Миша спокойно выслушалъ, только нах рился.

— Она простая, добрая...—возразилъ онъ.

— Я не сомнѣваюсь, но какъ ты будешь жить съ чуж

— Она мнѣ не чужая!—вспыхнулъ Михайло сначала, вдругъ замолчалъ и задумался. Өмичъ наблюдалъ его.

— Мнѣ скучно одному, Өмичъ! — вдругъ сказалъ Ми

— Поэтому и женишься?

— Отчасти... Но ты лучше оставь объ этомъ, — она своя, родная... Но мнѣ отчего-то другого не весело, Өми

Өмичъ взглянулъ въ лицо товарища, худое, блѣдно скучное.

— Ты несчастливъ, Миша?—спросилъ онъ.

— Не знаю. Но мнѣ что-то дурно живется.

Михайло рѣдко былъ такъ откровененъ, и Өмичъ пони что если онъ такъ говоритъ, то, значить, есть что-то.

— Что же тебѣ еще нужно? Ты получилъ то, чего н у миллионровъ,—развитіе и хлѣбъ...

— А что же дальше?—спросилъ пытливо Михайло.

— Какъ что? Да чего же тебѣ?... Какой ты странный возразилъ Өмичъ удивленно.

Михайло вдругъ съ злостью разсмѣялся и перевелъ ра

торъ на другое. Тѣмъ эта неожиданная откровенность и кончилась. Миша, можетъ быть, и самъ плохо вѣрилъ въ свои слова, убѣжденный, что все это — глупая блажь, да въ это время ему и некогда было заниматься собой.

Занять онъ былъ въ это время Пашей. Черезъ нѣсколько дней они обвѣнчались. Надежда Николаевна была посаженою матерью у Паши. Приглашены были: товарищъ Миши, машинистъ, нѣсколько простыхъ рабочихъ съ завода и, кромѣ того, Вороновъ Петруша и Исая. Вороновъ добылъ откуда-то черную пару; правда, у сюртука большая часть пуговицъ отсутствовала, но Вороновъ гордо поглядывалъ на себя и презрительно на кроткаго Исая. Послѣдній былъ, съ самаго начала, такъ испуганъ его взглядомъ, что сидѣлъ въ дальнѣйшій уголъ комнаты, почтительно вскакивалъ, когда Вороновъ бросалъ на него взглядъ, и ежеминутно ожидалъ, что этотъ строгій баринъ непременно дастъ ему хорошую затрещину, — ты куда, молъ, затесался, свинья? За исключеніемъ этихъ двухъ гостей, всѣ остальные провели свадебный день весело, хотя вина не было.

Молодые поселились въ своей квартирѣ. Потянулись спокойные дни для нихъ. Михайло уходилъ съ утра на работу, приходя только на полчаса пообѣдать, и возвращался домой вечеромъ. Паша готовила обѣдъ, мыла, чистила, гладила и загладила въ домъ такую чистоту, что боязно было даже шагъ сдѣлать. Паша была счастлива, требуя только того, чтобы Миша побольше давалъ ей дѣла, чтобы она не сидѣла сложа руки. Послѣднее сильно беспокоило ее. Хозяйство ихъ, въ сущности, было скудное. Встанетъ она чуть свѣтъ, сдѣлаетъ обѣдъ, вымоетъ четыре тарелки (больше нѣтъ), два ножа, двѣ вилки, нѣсколько разныхъ посудинъ и съ удивленіемъ спрашиваетъ себя, что же еще дѣлать? Ничего! Тогда она почти собираетъ пылинки съ пола, вымоетъ безъ всякой необходимости чистыя окна, вычиститъ всю одежду мужа — и опять дѣлать нечего.

Одно открытіе сильно поразило ее.

— А я думала, ты богатый! — сказала разъ грустно Паша.

— Почему же ты такъ думала? — спросилъ съ интересомъ Миша.

— А какже? Кто умный, у того и всего много.

— Ну, это не всегда, — засмѣялся Миша.

Затѣмъ Паша обратила вниманіе на самого Михайлу Григорьевича. Отчего онъ такой нездоровый? Иногда скучны. Пожаловаться на него она не могла, — онъ всегда былъ с ней ласковъ. Но она его жалѣла. Она была убѣждена, что это онъ на работѣ убивается.

— Какой ты худо-ой! — разъ замѣтила Паша съ любовью и жалостью.

— Я здоровъ, Паша, — возразилъ Михайло, ничего не подозрѣвая.

— Какое ужъ... Погляжу я, сколько дураковъ на свѣтъ шляется, которые богатые, а ты вотъ, умный человѣкъ сиди!...

— Развѣ умъ и деньги одно и то же, Паша? — спросилъ Михайло, еще не понимая.

— Я про то и говорю, сколько дураковъ на свѣтѣ шлаетъ богатыхъ, а ты вотъ...

— Тебѣ недостаетъ чего-нибудь, Паша? — спросилъ Михайло, еще не понимая.

Паша обидѣлась на этотъ вопросъ и горячо возразила:

— Развѣ я о себѣ? Мнѣ тебя жалко! Сколько работаешь а все не поправляешься. Ты бы на другую должность перешелъ.

— Зачѣмъ? — спросилъ Михайло.

— А чтобы разбогатѣть, — отвѣтила съ волненіемъ Паша.

— Да зачѣмъ разбогатѣть? — возразилъ Михайло, порженный, потомъ засмѣялся.

Паша готова была заплакать, убѣжденная, что мужъ смѣется надъ ней. Михайло съ тѣхъ поръ пересталъ смѣяться въ такихъ случаяхъ, а такихъ разговоровъ было много и надо было серьезно подумать, какъ прекратить недоразумѣніе.

— Я нынче съ хозяиномъ разговаривала, — разъ сказала Паша грустно.

— Съ какимъ хозяиномъ? — спросилъ Михайло, отрываясь отъ книги.

— Съ нашимъ, съ домовымъ.

— Ну, такъ что же?

— Дуракъ онъ! А вотъ тоже имѣетъ двѣ лавки, да домъ вонъ какой страшный... а не грамотень даже! Посмотрѣлъ я, какъ онъ подписываетъ свою фамилію: возьметъ перо и

руку, а эту руку держать другой, да еще ногами упрется и до-о-го возить... а потомъ встанетъ и вытираетъ потъ съ лица—усталъ, горемычный! А домъ-то вонъ какой!...

— Ну, и чортъ съ нимъ, съ его домомъ!—говорить уже съ нѣкоторымъ раздраженіемъ Миша, напередъ зная, о чемъ рѣчь.

— Да вѣдь у него еще двѣ лавки?!

— Ну, такъ что же?

— Вотъ бы и ты... торговалъ бы... А то все на хозяина убиваешься.

— Это невозможно, Паша, — просто сказалъ Михайло. Онъ и осердился, но твердо сказалъ, что богатства ему не надо.

Паша этого не понимала. Для нея богатство составляло высочайшую вершину существованія, первое и послѣднее мнѣніе людей. Но она желала денегъ вовсе не для того, чтобы сложить руки, разжирѣть и смотрѣть заплывшими оловянными глазами на міръ Божій, какъ большинство женщинъ въ ея положеніи. Ей хотѣлось только, чтобы ея милый Миша пересталъ убиваться и поправился здоровьемъ; ей хотѣлось еще, чтобы ей было надъ чѣмъ работать. Ея идеаль былъ домъ, биткомъ набитый благодатью. Она желала, чтобы у нихъ былъ свой хорошій домъ, чтобы въ этомъ дому было наложено, напущено, набито всего въ волю, чтобы она съ утра до ночи ходила, смотрѣла, носила, укладывала, разгладила... Ей не нужно было богатства для того, чтобы ѣсть, пить, лежать на перинѣ или сидѣть сложа руки на животѣ и попать оловянными глазами, — она довольствовалась бы солеными огурцами, накрошенными въ квасъ, и хлѣбомъ. Она была бы счастлива работой среди обилія и думала бы только о томъ, чтобы копить, набивать вещей и напускать всякой живности еще больше.

Это Михайло зналъ, потому что нѣкогда вѣрилъ въ большую часть такого идеала; голодная деревня физически не могла дать ему мыслей. Теперь все это прошло и онъ смутно помнилъ, какъ тогда думалъ, но мысли Паши понималъ и не сердился на нее.

А Паша пробовала нѣсколько разъ заводить разговоръ объ этомъ предметѣ, — разговоръ, начинавшійся и оканчивавшійся однообразно.

— А я нынче встрѣтила лукьяновскаго писаря, у котораго жила,—говорила Паша.

— Ну, такъ что же?

— Хорошо живеть! У нихъ сколько птицы, четыре коровы, пара лошадей... Жалованье у него небольшое, да и ходу много...

Начинается убѣдительное перечисленіе того, что есть лукьяновскаго писаря съ женой,—перечисленіе, оканчивающееся всегда такъ:

— Вотъ-бы и ты перешелъ въ писаря! — кротко говорила Паша и съ жалостью смотрѣла на бѣднаго Мишу.

Чтобы разъ навсегда покончить съ такими разговорами Михайло однажды спокойно сказалъ, что это невозможно горячо пояснивъ въ то же время, что одна нажива, безъ всякой другой мысли, много честности убиваетъ, а если и сразу наживается, то это почти вѣрный признакъ, что человекъ тотъ—негодяй. Наконецъ, онъ твердо попросилъ Пашу не говорить больше объ этомъ. Паша напряженно выслушала: она всемъ сердцемъ повѣрила словамъ мужа и больше ни однимъ намекомъ не говорила о „богатствѣ“, хотя не понимала...

Михайло отдавалъ себѣ отчетъ во всемъ, что испытывала Паша. Раньше ему какъ-то въ голову не приходило, что будетъ дѣлать его жена, на которую у него остался деревенскій взглядъ... „Около печки... квартиру убрать... шить будетъ“, — смутно думалъ онъ, когда, до женитьбы, представлялъ свою жизнь съ Пашей. Теперь ему пришлось и думать о головѣ, потому что онъ отлично видѣлъ, что Паша сильно скучаетъ отъ бездѣлья. Работы по дому ей хватало на какихъ-нибудь два-три часа, а что же еще?... Чтобы занять ее, онъ одно время принялся обучать ее грамотѣ. И дѣло кончилось нѣсколькими уроками. Паша сначала радостно принялась, но послѣ перваго же урока сдѣлалась мрачною. На другой день она слушала съ мучительнымъ напряженіемъ. Въ слѣдующіе дни во время урока на нее нападал непреодолимый страхъ. Михайло, какъ всегда, ласково толковалъ ей смыслъ буквъ, но она молчала, какъ могила. Когда онъ заставлялъ повторять что-нибудь, она только съ ужасомъ глядѣла въ одну точку и молчала, какъ мертвая. Раз не дождавшись отвѣта отъ нея, онъ съ досадою проговорилъ

— Что же ты молчишь?

Паша съ ужасомъ смотрѣла на одну точку.

— Скажи хоть что-нибудь!

Гробовое молчаніе.

Михайло принялся толковать снова. Но вдругъ въ комнатѣ начался плачь, сперва тихо, въ видѣ всхлипыванія, потомъ рожко, раздирающимъ душу образомъ. Это Паша разревѣвъ навзрыдь.

— Ты о чемъ плачешь?—спросилъ мужъ, перепугавшись.

— Да не понимаю! — судорожно выговорила Паша и обильно слезъ.

— Такъ о чемъ же плакать-то? Ты бы лучше выругала меня дуракомъ, да шлепнула объ полъ вотъ эту книжонку! — Михайло, расхохотавшись, зашвырнулъ книжку въ отдаленный уголъ и ласками успокоилъ Пашу. Этимъ и кончили уроки грамоты. Михайло понялъ, что Паша—это честная рабочая сила, и только. И ему это нравилось.

Паша купилъ швейную машину; она брала работу со стороны и не скучала больше по цѣлымъ днямъ. Михайло съ удовольствіемъ слѣдилъ за ней по нѣсколько часовъ сряду, — любилъ, какъ она весело работаетъ, какъ увѣренны всѣ ея движения, какое безмятежное довольство лежитъ на всемъ ея лицѣ. Иногда онъ бралъ ее къ Ѳомичу и Надеждѣ Николаевнѣ. Паша, однако, тамъ сильно скучала. Ѳомичъ, Надежда Николаевна, Миша, иногда Колосовъ безпрерывно говорили, а она сидѣла, сложивъ руки на колѣни, и едва удерживалась отъ зѣвоты. Иногда сидитъ-сидитъ такъ и незамѣтно выйдетъ изъ комнаты въ кухню. Тамъ представлялось ей нѣтъ уже обширное поле дѣятельности. Она сперва такъ, отъ скуки, вычиститъ, наприкладъ, самоваръ, но потомъ увлечется и давай все перебирать, чистить, мести; раскрывается вся и воодушевится, пылливо осматривая каждый уголокъ, не скрылось-ли что нибудь недоузданное. За кухней она перейдетъ въ переднюю, — тутъ все вычиститъ вплоть до малюшъ вѣлючительно, а изъ прихожей выйдетъ въ сѣни, откуда уже по пути зайдетъ въ кладовую и тамъ приберетъ. И да кромѣ того по пути же спустится на дворъ, чтобы замести крыльцо, а крыльцо лучше бы и не мести, если дворъ около него засрамленъ. И Паша съ волненіемъ схватываетъ вѣнчикъ и мететъ дворъ около крыльца Ѳомича.

Послѣ этой маленькой, веселой прогулки она возвращается въ комнату уже довольною, съ румянцемъ на щекахъ и разгорѣвшимся лицомъ, на нѣкоторыхъ частяхъ которыхъ блестятъ капли пота, какъ утренняя роса. Лицо ея воодушевленное и умное.

— Гдѣ ты была?—спрашиваютъ ее, всѣ вдругъ обративъ на нее вниманіе.

— А я тамъ въ кухнѣ... немного прибралась... все-же Надеждѣ Николаевнѣ меньше будетъ хлопотъ завтра.

Надежда Николаевна смѣялась, Ѳомичъ искоса взглядывалъ на Мишу, надѣясь подмѣтить въ лицѣ послѣдняго досаду или что-нибудь вродѣ этого. Но Михайло ласково смотрѣлъ на жену. Онъ любилъ всего больше именно эту голую, бочую силу, которая сама себя удовлетворяетъ. Онъ заботился о Пашѣ. Душа ея всегда спокойна, думалъ онъ. Она ни о чемъ не думаетъ, кромѣ работы, которую сейчасъ выполняетъ; кончивъ одну работу, она придумываетъ другую. Въ сердцѣ ея вѣчный покой... А у него нѣтъ! И могъ бы онъ думать, что результатомъ всѣхъ его отчаянныхъ усилий—вырваться къ свѣту изъ рабочей темноты—будетъ не успокоеніе, а отлучное безпокойство, наполняющее его душу холодомъ. Странно сказать, Михайло иногда желалъ пожить такъ, какъ живетъ Паша. Но къ такой жизни онъ уже не былъ способенъ; у него было уже слишкомъ много мыслей, чтобы удовлетвориться растительнымъ покоемъ. И чѣмъ сильнѣе думалъ онъ, тѣмъ больше открывались въ немъ какія-то внутреннія раны, тѣмъ больше онъ привязывался къ Пашѣ, находя въ ней то, чего въ немъ не было или что пропало на вѣки.

Вопреки опасеніямъ Ѳомича, нашлось между ними и то, что общее. По вечерамъ, у себя дома, у нихъ съ Пашей происходили длинные разговоры о деревнѣ, объ его отцѣ, о телятахъ, о хомутѣ... Онъ съ величайшимъ интересомъ расспрашивалъ, живъ-ли отцовскій меринъ, походившій на шабашу, набитую соломой; все-ли онъ такъ худъ, какъ прежде, или уже умеръ, а на его мѣсто купили другую шкуру? Цыганъ ли плетень, выходящій на улицу, или его пробили свинскими головами, а вѣтеръ dokonчилъ разрушеніе, или онъ сожженъ въ печкѣ въ холодный зимній день, когда не было дровъ? Иногда онъ хохоталъ надъ собой за эти разспросы, и все-таки спрашивалъ, желая знать мельчайшія подробности жи-

ни родныхъ, друзей, знакомыхъ... Ему не скучно было слушать эти, повидимому, ничтожные пустяки. Но онъ и не былъ веселъ. Слушая Пашу, которая обо всемъ разсказывала толково и сочувственно, онъ иногда смѣялся, но это не былъ веселый смѣхъ.

Онъ всегда садился за столъ и клалъ голову на руки или вдругъ задумывался и ходилъ по комнатѣ, повѣсивъ голову, или вдругъ ускорялъ шагъ и быстро ходилъ, сверкая глазами, какъ будто его что-то обожгло. Но чаще всего онъ неподвижно сидѣлъ возлѣ лампы за столомъ и разспрашивалъ, слушалъ, смѣялся, грустилъ. Повидимому, эти разговоры доставляли ему наслаждение, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, муку. Когда Паша умолкала, онъ снова разспрашивалъ, иногда по нѣскольку разъ одно и то же.

— Ну, а какъ отецъ?

— Да что же... батюшка ничего... живетъ, — отвѣчаетъ Паша.

— Старикъ?

— Конечно, ужъ старъ становится.

— А работаетъ же?

— Какъ же, вездѣ самъ.

— А если по праздникамъ... шапку въ кабакъ?

— Бываетъ... пья-аненькій придетъ домой и все больше спрашиваетъ матушку не гнѣваться. А матушка налетитъ на него, ударитъ рукой или пихнетъ съ гнѣвомъ, а онъ упадетъ и спрашиваетъ не обижать его...

— Упрашиваетъ?

— Да. Потомъ заснетъ.

— А кромѣ шапки еще что?

— Бываетъ, шапки-то мало, такъ и сапоги спустить.

— Безъ сапогъ?

— Въ старыхъ валенкахъ ходить.

Михайло смѣется, представляя себѣ картину, какъ отецъ ходитъ въ валенкахъ по дождю; потомъ задумывается...

— Ну, а мать?

— Матушка ничего... ходить все.

— Плачетъ?

— Случается. О тебѣ очень тосковала...

— Старая ужъ, чай? Скрючилась?

— Конечно, уж не молодая. Осторожно ступаетъ, а вс-
таки ходить же.

— Такъ они голодали, когда я ушелъ?

— Нуждались, должно быть, сильно.

— А огородъ съ капустой какъ?

— Что-то я не помню... Должно быть, нѣтъ. Какая уж
тутъ капуста!

Эти безконечные разговоры тянулись иногда за полночь. Иногда, впрочемъ, случалось, что Миша ни о чемъ не спрашивалъ по цѣлой недѣлѣ. По приходѣ съ завода, онъ тогда ходилъ изъ угла въ уголъ, скучный и разсѣянный. Паша и мѣшала ему, не приставала съ разспросами, но только себя спрашивала: и о чемъ онъ все думаетъ? Едва-ли и самъ Михайло могъ отвѣтить на этотъ вопросъ. Безпокойство его было неопредѣленное, какъ тотъ гнетъ, который является въ мрачный день, когда на небѣ тучи, когда тяжело давитъ что-то. Онъ регулярно ходилъ на работу, гдѣ со всѣми был ровень, спокоенъ и, повидимому, доволенъ, но приходилъ дви, когда онъ мѣста себя не находилъ. На него вдруг иногда нахлынуть силы, и онъ готовъ подпрыгнуть и чувствовать, что онъ долженъ куда-то идти, бѣжать и что-то дѣлать, но это мгновеніе проходило, и онъ оставался съ неопредѣленною тоской, недовольный и обезсиленный, какъ будто кто его обманулъ. Эта тоска сдѣлалась, наконецъ неразлучной съ нимъ, хотя лицо его оставалось спокойнымъ и самоувереннымъ. Чего было ему надо?

Быть можетъ, въ самомъ процессѣ отчаянной борьбы, начатой имъ съ малыхъ лѣтъ за свое „я“, въ то время, когда онъ изъ всѣхъ силъ лѣзъ наверхъ и тратилъ энергію и подъемъ, который былъ крутъ и тяжелъ, — быть можетъ, въ этомъ самомъ процессѣ онъ захватилъ душевную немощь, истощилъ и развѣялъ силы и сталъ неспособнымъ на довольство и на счастье? Грудь разбита и изранена злобой, мысль обострилась, всякое простое ощущение отравлено какими-нибудь воспоминаніемъ прошлаго... А, быть можетъ, Миша принадлежалъ къ числу тѣхъ русскихъ людей, которые, дойдя до предположенной цѣли, не могутъ остановиться и отдохнуть, неумолимо движимые какою-то страшною силой все дальше, дальше впередъ, къ неизвѣстному концу? Но вѣрно одно: безпричинная тоска!

Онъ, наконецъ, самъ созналъ это; понялъ, убѣдился, что ему нѣтъ нигдѣ покоя — и не будетъ. Когда онъ съ дикою энергіей пробивался сквозь тьму къ солнцу, онъ постоянно думалъ: вотъ получу — и довольно... Онъ получилъ теперь то, что хотѣлъ, но вмѣстѣ получилъ и то, чего не ожидалъ, о чемъ не думалъ и чего физически не могъ представить себѣ, — безпричинную, постоянно грызущую тоску. Онъ сначала испытывалъ ее, не сознавая, а теперь понялъ, почти физически убѣдился въ ея существованіи. Это было открытіе. У него была не та тоска, которая приходитъ къ человѣку, когда ему вѣсть нечего, когда у него нѣтъ одежды, когда онъ лишенъ пріюта, когда его бьютъ и оскорбляютъ, когда ему, словомъ, холодно, больно и страшно за свою жизнь. Нѣтъ, онъ нажилъ другую тоску, не ограниченную временемъ и мѣстомъ, — тоску безграничную, во все проникающую, вичную...

Михайло дошелъ до этой высочайшей точки, до которой люди dorocтаются; онъ дошелъ до этой безпричинной тоски, до этого смутнаго безпокойства за все, чѣмъ живутъ люди. Онъ уже не думалъ о себѣ, его не пугала больше своя участь, въ немъ уже не было того эгоизма, который до сихъ поръ двигалъ его впередъ и подъ вліяніемъ котораго онъ забылъ всѣхъ родныхъ, близкихъ, друзей; но безпокоился уже за все, повидимому, чужое и не касавшееся его. Мало того, все свое онъ сталъ считать чѣмъ-то недорогимъ, неважнымъ или вовсе ненужнымъ. Даже его умственное развѣтѣ, добытое съ такими усиліями, стало казаться ему совершенно лишнимъ. Онъ спрашивалъ себя: „да кому какая польза отъ этого?“ „И что же дальше?“

Что же дальше? Онъ носитъ хорошую одежду, онъ не сидитъ на мякинѣ и не вѣстъ отрубей; онъ пишетъ, читаетъ, мыслитъ... Читаетъ книги, журналы, газеты. Онъ знаетъ, что земля стоитъ не на трехъ китахъ, и киты не на слонѣ, а слонъ вовсе не на черепахъ; знаетъ, кромѣ этого, въ миллионъ разъ больше. Но зачѣмъ все это? Онъ читаетъ ежедневно, что въ Уржумѣ — худо, что въ Белебѣ — очень худо, а въ Казанской губерніи татары пришли къ окончательному напуту; онъ читаетъ все это и въ миллионъ разъ больше этого, потому что каждый день вѣздитъ по Россіи, облетая въ то же время весь земной шаръ... Но какая же польза

отъ всего этого? Онъ читаетъ, мыслить, знаетъ... но что же что же дальше?

Скучно, скучно!

Гдѣ бы ни былъ Михайло, эти вопросы преслѣдовали его. Онъ проводилъ часто время у Ѳомича, у Колосова и другихъ своихъ знакомыхъ, но всѣ по временамъ вызывали въ немъ острое безпокойство, душевную тревогу. Къ Ѳомичу онъ уже не питалъ того благоговѣнія, какъ прежде. Роли ихъ перемѣнились. Ѳомичъ удивлялся многому въ своемъ молодомъ другѣ. Но послѣдній относился отрицательно ко многому, что было въ Ѳомичѣ. Ѳомичъ всегда былъ ровень, спокоенъ, немного толстъ и много доволенъ своею жизнью; его широкое, добродушное лицо не омрачалось грустью; глаза его никогда не сверкали злобой и едва-ли онъ чѣмъ-нибудь сильно безпокоился, что выходило изъ круга его обстановки. Вотъ этого Михайло не понималъ. „Почему онъ спокоенъ и счастливъ?“ — иногда спрашивалъ себя Михайло. Имѣя дѣло съ Ѳомичемъ, Мишѣ казалось, что онъ, Миша, одинъ.

Мрачно и холодно ему было иногда. Надежды Николаевны онъ испугался. Пытливо иногда наблюдая за ней, онъ говорилъ: она одна! Новое открытіе. На кого бы Михайло и взглядывалъ изъ знакомыхъ, ему казалось, что каждый изъ нихъ чувствуетъ себя одинокимъ, какъ въ пустынѣ или въ лѣсу; они разговариваютъ другъ съ другомъ, взаимно радуются, какъ будто ведутъ другъ съ другомъ дѣла, но между ними пропасть, и каждый изъ нихъ есть *одинъ* въ цѣломъ мірѣ.

Михайло отогрѣвался только въ тѣ часы, когда у нихъ шли безконечные разговоры съ Пашей. Битый часъ иногда они говорили о какомъ-то Васькѣ, который посѣялъ просо, а у него уродился овесъ, или о какомъ-то Карасевѣ, который всегда, лишь только онъ немного выпьетъ, нечистыи ведетъ къ колодцу и приказываетъ ему прыгнуть; при этомъ Карасеву кажется, что онъ сидитъ на печкѣ и намѣревается соскочить оттуда, чтобы поѣсть пирога, который будто бы лежитъ на столѣ; но Карасевъ, прежде чѣмъ прыгнуть, всегда перекрестится, а какъ только онъ перекрестится, нечистая сила проваливается, и Карасевъ вдругъ, къ ужасу своему, видитъ, что онъ вовсе не на печкѣ, а около бездоннаго колодца, и передъ нимъ лежитъ не пирогъ, а лошади

ный пометъ. Послѣ чего Карасевъ мгновенно вытрезвляется и бѣжитъ, смертельно блѣдный, домой... Михайло хохоталъ.

Но наставали дни, когда Михайло и съ Пашей былъ одинъ. Онъ тогда чувствовалъ, что лишній, ничто, нуль. И въ то же время онъ чувствовалъ, какъ холодно ему, какъ больно и скучно.

Однажды (это было годъ спустя послѣ женитьбы) Михайло вдругъ явился въ квартиру Ёмича утромъ рано. Ёмичъ спросонья испугался.

— Не случилось-ли чего, Миша?

— Ничего не случилось. Я зашелъ за тобой, чтобы идти гулять. Пойдешь?

Миша говорилъ угрюмо.

— Вотъ чудакъ! Придетъ съ пѣтухами—и пойдемъ гулять!... Ну, да ладно, пойду. День, кажется, чудесный... Куда же мы пойдемъ?

— За городъ, въ поле... куда-нибудь...

Миша нетерпѣливо смотрѣлъ, какъ Ёмичъ одѣвался, чесалъ голову, мылся, и съ раздраженіемъ то ходилъ по комнатѣ, то садился, сейчасъ же вставая. На него напалъ злой дѣлъ. Онъ имѣлъ такой видъ, какъ будто пришелъ выругать Ёмича.

— Да скоро-ли, наконецъ, ты? — спросилъ онъ съ раздраженіемъ.

— Сейчасъ, сейчасъ!... Вотъ чудакъ!... Придетъ съ пѣтухами и... Ну, пойдемъ.

Выйдя на улицу, Ёмичъ глубоко потянулъ въ себя чистый воздухъ ранняго утра, съ улыбкою взглянулъ на бѣлосоватое небо и улыбнулся солнышку, лучи котораго уже играли на крышахъ домовъ. Онъ хотѣлъ бы идти лѣнливо, чуть шагая, но Миша не далъ ему опомниться; онъ быстро шагалъ, а за нимъ спѣшилъ и Ёмичъ. Они въ десять минутъ прошли весь городъ, миновали слободку и вошли въ середину садовъ, окаймляющихъ эту часть города. Ёмичъ хотѣлъ пойти потише, но Михайло шелъ впередъ, съ каждою минутой ускоряя свой шагъ,—по крайней мѣрѣ, такъ казалось Ёмичу.

— Да куда ты спѣшишь?—говорилъ онъ, чувствуя уже некоторую усталость, но все-таки старался поспѣвать за товарищемъ.

— Вотъ чудакъ! — говорилъ затѣмъ Ѳомичъ, снимая фуражку и вытирая потъ со лба. Говорилъ онъ это еще добродушно. Но Михайло не думалъ останавливаться. Ѳомичъ сталъ сердито поглядывать по сторонамъ. Они шли теперь по дорогѣ, по обѣ стороны которой стояли стѣнной хлѣбъ еще зеленые, но уже начавшіе колоситься. Ѳомичъ мечталъ посидѣть подъ тѣнью густой ржи, пожевать зеленой травы и отдохнуть. Онъ предложилъ Мишѣ посидѣть, но тотъ отъ казался, заявивъ, что если Ѳомичъ желаетъ, то пусть садится и спитъ, а онъ уйдетъ одинъ. Ѳомичъ съ недовольнымъ видомъ последовалъ за нимъ.

— Это называется прогулкой! — ворчалъ онъ вслухъ.

Наконецъ, онъ сильно озлился.

— Вотъ, чортъ! Да куда же ты бѣжишь? — крикнулъ онъ

— Куда-нибудь подальше...

Ѳомичъ ругался. Онъ страшно усталъ. Потъ съ его широкаго лица катился градомъ, бѣлье вымокло. Его мучила жажда. Онъ уже собирался остановиться и бросить Мишу.. Чортъ съ нимъ, пусть его бѣжитъ одинъ! Но въ это время къ его счастью, они наткнулись на крестьянина, косившаго траву недалеко отъ дороги, такъ какъ полосу хлѣбовъ он давно уже прошли и спустились въ луга; версты за двѣ впрочемъ, опять начинались высокіе пригорки, покрыты кустарниками.

Ѳомичъ бросился къ мужику и попросилъ у него испить

Съ жадностью напившись воды изъ лагуна, хотя вода отзывалась разложившеюся и протухлою древесиной, онъ упалъ на скошенную траву, повернулся лицомъ къ небу и обмахивалъ фуражкой свое пылающее лицо. Михайло, повидимому не усталъ; на его лицѣ не было краски. Онъ угрюмо вступилъ въ разговоръ съ мужикомъ, который, казалось, радъ былъ самъ случаю облокотиться на косу и отдохнуть.

— Ты отчего это въ праздникъ работаешь? — спросилъ Михайло.

— Да ужъ такъ вышло, баринъ... нельзя! — отвѣтилъ спокойно мужикъ.

— Почему же такъ вышло?

— Да ежели сказать правду, то она, причина-то, вотъ какого сорта. Который сейчасъ кошу лугъ, то принадлежит все господину Плѣшакову... Можетъ, слышали, есть такой купецъ Плѣшаковъ... И не только луга, а все это, что по

редъ глазами, и этотъ хлѣбъ, и тамъ, и тутъ, а даже верстъ на пять вонъ туды, — все это его, господина Плѣшакова...

Мужикъ обвелъ рукой все окружающее пространство и еще разъ повторилъ, что все это — свойное...

— Можетъ быть, и ты евойный? — спросилъ злобно Михайло.

Крестьянинъ, однако, не понялъ и продолжалъ объяснять причину.

— Вотъ оттого я и кошу въ праздникъ. За зиму-то я у него кое-чего понабралъ подъ работу... а даже таки довольно понабралъ, эстолько понабралъ, что, пожалуй, вотъ по это самое мѣсто (мужикъ провелъ рукой повыше своей маковки)... Вотъ теперь и сажу здѣсь въ праздникъ. Люди спятъ или на завалинкѣ грѣются, а либо въ церкви, а я вотъ... Завтра-то свой лугъ надо убирать... Вотъ она причина-то моя какая!

— Отчего же ты одинъ косишь, безъ семьи? У тебя большое семейство? — спросилъ Михайло.

— Мы только съ бабой... А она увильнула, подлая, не хочетъ, вишь, въ праздникъ работать... Еще вчерась уговорились идти сюда, а всталъ я — глядь, ее ужъ нѣтъ, ушла за грибами. Вѣдь вотъ эти бабы какія подлая!... Ну, да я съ нее за это вычту...

— Вздуетъ?

— Да ужъ тамъ какъ придется, — съ угрожающею улыбкой пояснилъ мужикъ. — Ну, только я ей дамъ грибы! Пожорюлю всякими — и сухими, и сырыми, и настоящими. Она ужъ меня знаетъ!

Өмичъ возмутился. До сихъ поръ молча лежавшій, онъ поднялся и сталъ стыдить мужика, чтобы онъ этого не дѣлалъ. Михайло въ это самое время взялъ косу и попросилъ у хозяина ея позволенія покосить. Послѣдній съ снисходительною улыбкой смотрѣлъ на барина, которому вздумалось побаловаться. Косу, оказалось, надо было выточить. Михайло спросилъ лопатку, намазанную пескомъ. Мужикъ еще шире улыбнулся. Но Михайло быстро и какъ слѣдуетъ выточилъ косу и принялся рядами укладывать траву. Пройдя одинъ рядъ, онъ немного постоялъ и пошелъ обратно, дѣлая ко-сой широкіе взмахи.

Мужикъ смотрѣлъ на все это съ удивленіемъ. Когда Михайло передалъ ему косу, пригласивъ Өмича идти дальше, мужикъ любопытно спросилъ, обращаясь къ нему:

— Да вы, собственно, кто же будете?

Михайло пожалъ плечами.

— Какъ тебѣ сказать?... Съ головы господинъ, снизу мужикъ, а посерединѣ пусто!... Да ты что вытаращилъ глаза? Коси, братъ, а то господинъ Плѣшаковъ скорѣе накормить тебя грибами!

Михайло проговорилъ это презрительно. Не взглянувъ больше на мужика, онъ пошелъ, а за нимъ Ёмичъ. Ёмичъ только теперь замѣтилъ возбужденный видъ своего друга.

— Тебѣ нездоровится, что-ли, Миша? — спросилъ онъ ласково.

Они скоро поднялись на пригорки и добрались до горы, покрытой кустарниками съ боковъ и голой на вершинѣ. Михайло сейчасъ же здѣсь опустился на землю и легъ внизъ лицомъ, даже не взглянувъ на великолѣпный видъ, открывавшійся отсюда: зеленые луга съ маленькими озерками, которыя по краямъ поросли камышемъ, городскіе сады, поверхность которыхъ виднѣлись куполы церквей, а вправо лѣсъ, а за лѣсомъ широкая рѣка, по которой вдали плылъ пароходъ съ баржами... И хлѣбныя поля, зеленныя и густыя, и бѣлесоватое, не утомлявшее глазъ небо, — все было хорошо, все ласкало взоръ, успокаивало душу. Ёмичъ, любившій природу, съ глубокимъ удовольствіемъ оглядывалъ широкій горизонтъ, но думалъ про себя: „А вотъ лежитъ человѣкъ, внутри котораго рыдаетъ“...

Ёмичъ это видѣлъ, хотя и не понималъ. Ему сдѣлалось какъ-то даже досадно на человѣка, который способенъ своимъ видомъ все отравить. Онъ не допрашивалъ Мишу, зная, что послѣдній ничего не скажетъ, и оба молчали. Ёмичъ благодарнымъ взглядомъ обводилъ широкое пространство подъ нимъ, а Миша лежалъ внизъ лицомъ.

Но вдругъ онъ приподнялъ голову.

— А вѣдь они, Ёмичъ, тамъ на днѣ, — проговорилъ онъ мрачно.

— Кто они? — Ёмичъ удивился, не подозрѣвая, о комъ говоритъ его товарищъ.

— Всѣ. Я вотъ здѣсь на свободѣ лежу, а они тамъ на днѣ, гдѣ темно и холодно. Боже мой, какая скука! Тамъ темно и холодно, но и мнѣ, хотя и свѣтло, но также холодно. И вдобавокъ скучно до смерти! Неужели всѣ образованные люди чувствуютъ себя такъ, какъ я? Вѣдь этоадъ

божить!... А я чувствую вотъ что: стою я, будто, на высокой скалѣ, залитой солнечными лучами, а рядомъ со мной лежитъ глубокая, бездонная пропасть... И со дна этой пропасти я слышу гулъ голосовъ. Я не могу разобрать, что голоса говорятъ, и самихъ людей не вижу, потому что эти люди на самомъ днѣ пропасти, а пропасть бездонная, и надъ ней носится мгла, сквозь которую мой взглядъ не можетъ пробиться. Но я слышу ясно голоса, иногда стоны, иногда грубый хохотъ и вѣчный, невнятный гулъ... И я думаю: неужели тамъ, на днѣ пропасти, закрытой мглой, можно жить? Какъ я самъ могъ оттуда попасть на вершину? Сначала, впрочемъ, я чувствую въ себѣ полное удовлетвореніе; я радуюсь и горжусь, что я стою на скалѣ, а не тамъ, на днѣ пропасти, закрытой мглой. Но вслѣдъ затѣмъ я чувствую не то стыдъ, не то досаду... почему же я одинъ стою на этой скалѣ, и за мной не идутъ изъ черной пропасти другіе люди? Неужели я, взобравшись на скалу, добился только отчаянной скуки? Неужели изъ-за этого стоило карабкаться вверхъ? Пусть меня обливаетъ солнце, а глаза мои могутъ видѣть безконечную даль, пусть чистый воздухъ врывается въ мою грудь, но зачѣмъ мнѣ все это, когда я не могу всѣмъ этимъ подѣлиться съ тѣми, которые тамъ, въ пропасти?... А вѣдь только то намъ дорого, чѣмъ мы можемъ по сврему произволу подѣлиться. Если намъ не съ кѣмъ раздѣлить хлѣбъ, который мы ѣдимъ, онъ опротивѣетъ намъ и встанетъ поперекъ горла; если намъ некому высказать нашу мысль, она отравитъ насъ, убьетъ самозараженіемъ. И я пересталъ цѣнить то, чего добился: солнце, сначала такое лучезарное, теперь только непріятно рѣжетъ мнѣ глаза, а безконечную даль я совсѣмъ перестаю видѣть. Напротивъ, мои глаза обращены внизъ, въ темную пропасть, откуда слышатся родные голоса. Я протягиваю туда руки, я зову оттуда людей, но они меня не слышать... И я остался одинъ, точно одинъ!... Зачѣмъ мнѣ стоять на этой скалѣ, зачѣмъ мнѣ свѣтъ, теплота, чистый воздухъ, далекій видъ, если я одинъ? Люди всѣ тамъ, въ пропасти, и мнѣ некому сказать слова, не съ кѣмъ подѣлиться мыслью, некому чего-нибудь дать... Я одинъ, безъ людей, на пустой вершинѣ, и никто моихъ протянутыхъ рукъ не увидитъ, и мой голосъ никто не услышитъ. Я навсегда одинъ. Такъ вотъ зачѣмъ я лѣзъ на

гору, вотъ чего я добился—одиночества, пустыни и скуки Боже, какая страшная скука! Я теперь понимаю, почему господа съ такимъ бѣшенствомъ отыскиваютъ наслажденіе. Надо же въ чемъ-нибудь утопить скуку!

Өмичъ не зналъ, что на это сказать, а Миша совсѣтъ приподнялся, сѣлъ и пристально глядѣлъ на товарища. И томъ вдругъ сказалъ:

— Послушай, Өмичъ... вѣдь у меня въ деревнѣ и теперѣ житье отецъ, мать, сестры... А я вотъ здѣсь и совсѣтъ забылъ ихъ!—Михайло говорилъ тихо, какъ бы боялся, извнутри его вырвется крикъ.

— Посылай имъ побольше, — возразилъ Өмичъ нервно.

— Да что деньги!—крикнулъ Михайло,—развѣ деньгами можешь? У нихъ темно, а деньги не дадутъ свѣта!

Өмичъ чувствовалъ, что надо что-нибудь сказать, но могъ. Оба нѣкоторое время молчали, но Миша вдругъ опять сказалъ:

— Знаешь, Өмичъ... ихъ вѣдь и теперь сѣкутъ!

— Что же подѣлаешь, Миша?—возразилъ Өмичъ, въполнѣ понимая, какъ глупо говорить. Онъ замолчалъ. Потомъ видя, что Михайло не намѣренъ больше говорить, ибо онъ легъ на траву внизъ лицомъ, онъ ласково дотронулся до головы, лежавшей возлѣ него.

— Пойдемъ, Миша, домой,—проговорилъ онъ.

Михайло безъ возраженія поднялся съ земли. Къ удивленію Өмича, лицо его было совершенно спокойно, только апатично.

Тою же дорогой они пошли обратно. На этотъ разъ сшилъ Өмичъ, сильно проголодавшійся, а Михайло отскакивалъ, еле двигаясь, какъ раненый. Но когда они дошли, наконецъ, до первыхъ городскихъ строеній, Михайло поднялъ голову и смотрѣлъ по сторонамъ, что-то отыскивая глазами. Поравнявшись съ кабакомъ, двери котораго были открыты, онъ вдругъ остановился.

— Войдемъ!—сказалъ онъ, страшно блѣдный.

Өмичъ не понялъ.

— Куда?—спросилъ онъ.

— Въ кабакъ!—рѣзко выговорилъ Михайло.

— Зачѣмъ?

— Пить...

Өмичъ счелъ это за шутку.

— Что еще придумашь!

— Не слушаешь? Ну, такъ я пойду одинъ. Я хочу пить. Сказавъ это, Михайло Григорьичъ ступилъ на первую ступеньку грязнаго крыльца.

Өмичъ стоялъ, какъ пораженный громомъ.

— Чего ты, Миша? Богъ съ тобой! Стыдись!—тихо прошепталъ онъ.

Миша вздрогнулъ, посмотрѣлъ на дверь кабака, посмотрѣлъ на Өмича, и вдругъ лицо его облилось кровью. Онъ медленно спустилъ ногу со ступеньки, потомъ рванулся впередъ къ Өмичу и пошелъ рядомъ съ нимъ. Өмичъ былъ взволнованъ до глубины души.

А Михайло Григорьичъ, немного погодя, громко и во всю ушпу расхохотался, но слишкомъ принужденно.

— А ты подумалъ, что и вправду я?...

Но Өмичъ пытливо оглядѣлъ его.

Домой Михайло Григорьичъ пришелъ нездоровый. Паша весь день ухаживала за нимъ, пока онъ не уснулъ нездоровымъ, безпокойнымъ сномъ.

Съ этого дня Михайло Григорьичъ сталъ испытывать хроническій недугъ, борьба съ которымъ иногда уже не по силамъ была ему. Обыкновенно, онъ былъ здоровъ, работалъ на заводѣ, гдѣ скоро для него очистилось мѣсто механика. Но вдругъ на него находило что-то непонятное,—онъ испытывалъ безпокойство, терялъ аппетитъ, волю, самообладаніе. Тогда, въ чемъ есть, въ рабочей блузѣ, въ выпачканной машинными фуражкѣ, неумытый, онъ уходилъ на окраины города и направлялся въ первый кабакъ. Его влекло напиться. Но, подходя къ кабаку, онъ колебался, медлилъ, боролся, пока страшнымъ усиліемъ воли не одолѣвалъ рокового желанія. Иногда случалось, онъ совсѣмъ войдетъ уже въ кабакъ, взять уже подать себѣ стаканъ водки, но вдругъ скажетъ первому попавшемуся кабацкому завсегдатаю: пей!—а самъ быстро выбѣжитъ за дверь. Иногда эта непосильная борьба повторялась нѣсколько разъ въ роковой день, и домой онъ приходилъ измученный, еле живой. Паша узнала все и нѣжно ухаживала за нимъ. Черезъ нѣсколько дней онъ поправлялся, работалъ и, попрежнему, гордо смотрѣлъ. Недугъ возобновился черезъ мѣсяцъ, черезъ два.

Счастлиное открытіе.

(Разсказъ).

На востокъ еще не показалось и бѣлой полоски свѣта, какъ уже Никита всталъ, чтобы привести въ исполненіе свое страшное рѣшеніе.

Тихо надѣлъ онъ на плечи кафтанъ, отыскалъ шапку, взялъ припасенную за ночь котомку для дальней дороги. Чтобы не разбудить дѣтей и не возбудить подозрѣнія Варвары, онъ не зашелъ въ сѣни, гдѣ они спали, а прямо прошелъ мимо.

Совсѣмъ темно еще было на дворѣ; только одна безыконная курица упала съ насѣсти и слѣпо бродила по двору. Посреди двора спали двое телятъ; неподалеку отъ нихъ жала корова и тяжело вздыхала. Изъ конюшни слышались хрустѣнье сѣна на зубахъ лошадей. Въ воздухѣ послышался вдругъ торопливый свистъ крыльевъ дикихъ утокъ, улетающихъ съ хлѣбовъ.

Грустнымъ, послѣднимъ взглядомъ оглядѣлъ Никита свой дворъ, когда проходилъ черезъ него, и дрожащею рукой отворилъ калитку. Калитка запищала, и этотъ писк отозвался въ его измученномъ сердцѣ рѣзкою болью; онъ ему напомнилъ, что надо торопиться, иначе проснется Варвара. И, перекрестившись, онъ вышелъ на улицу.

Нельзя ему больше оставаться въ своемъ домѣ и жить Варварой, а черезъ нее и дѣтей приходится бросать. Прежде они дрались, каждую недѣлю изъ-за всего дрались. Но хуже вчерашняго дня еще не бывало. Она ему пока

бала руки и правую щеку, когда онъ хотѣлъ связать ее. Оба послѣ того выбѣжали на дворъ, а тамъ ужъ со всей улицы сосѣди сбѣжались и облѣпили заплоты; мужики и бабы черезъ заплоть глядѣть, мальчишки же сидятъ между вѣями, какъ воробы. Что такое? Обыкновенно что, — Никита съ Варварой дерутся.

Утренній холодъ пронизывалъ насквозь Никиту; онъ вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ, но продолжалъ идти по темной улицѣ изъ деревни. И припоминалъ весь срамъ своей домашней жизни, припоминалъ, быть можетъ, больше затѣмъ, чтобы его намѣреніе — совсѣмъ уйти изъ дому — не ослабло.

Обыкновенно они дрались по праздникамъ, въ будни же выжидай, чѣмъ попало. Вчерась она объ его високъ расшвырнула обливную латку въ пятнадцать копѣекъ, а въ прошлый праздникъ угодила ему въ самое темя ушкомъ отъ подолки. Сосѣдамъ забавно смотрѣть на такую подлость. Вчерась даже старыя бабы, которыя ужъ скрючившись, и такъ поглядывали на плетень смотрѣть. Даже изъ дальняго конца деревни бѣжали мужики.

При этомъ воспоминаніи гнѣвъ закипѣлъ въ сердцѣ Никиты. Поправивъ на плечѣ котомку, онъ быстрѣе зашагалъ по темной улицѣ. Вдругъ взглядъ его упалъ на дворъ, мимо котораго онъ проходилъ; дворъ тотъ былъ загороженъ прясломъ изъ жердей и принадлежалъ старому тестю Никиты. Здѣсь, бывало, Никита въ поздній вечеръ подлѣзалъ шпилькой подъ прясло и около колодца цѣловался съ Варварой, а когда, бывало, старикъ взойдетъ на крыльцо и скажетъ: „Ты что тамъ, Варюшка, дѣлаешь?“ — она отвѣчала: „Я воду пью, тятка“. Слѣпой старикъ безпрестанно удивлялся, какъ много воды пьетъ Варюшка по вечерамъ... Эти нѣжныя воспоминанія вызвали теперь горечь и тоску.

— И что же вышло опосля! — сказалъ онъ вслухъ. Голосъ его громко раздался въ спящей улицѣ и заставилъ его опомниться.

Отъ зашагалъ дальше, не останавливаясь около избы тестя. Нѣжныя воспоминанія только разбредили его рану, но не поколебали рѣшенія. А гнѣвъ овладѣлъ имъ, когда онъ вспомнилъ, что было вслѣдъ за тѣмъ, какъ черезъ прясло въ подворотню не нужно ужъ было лазить.

Она непокорная и гордая. Черезъ два мѣсяца послѣ вѣнца

она ужь разсѣкла ему бровь косаремъ около питейнаго заведенія. А что дальше пошло—не приведи Богъ никому. Черезъ полгода сосѣди ужь облѣпляли заборы, ребята сидѣли между кольями у плетней и даже вся улица сбѣгалась смотрѣть, какъ они цапаются. Обыкновенно Варвара не разбирала, какая домашность ей попадетъ въ руки, и отбивалась чѣмъ попало. Озлится, какъ вѣдьма, и воетъ на всю деревню. Никогда она не желала покориться. Въ полѣ разначали они цапаться, а она схватила съ огня котелъ, гдѣ варилась каша со свинымъ саломъ, и обварила ему всю шею, плечи и даже по спинѣ за рубаху каша потекла. Чуть-было въ ту пору онъ не убилъ ее.

При этомъ воспоминаніи Никита замеръ отъ ужаса.

На востокѣ показалась слабая полоска свѣта; середина ея окрасилась розовымъ оттѣнкомъ. Кое-гдѣ пѣли уже пѣсни тужи. Никита быстрѣе запахалъ и вышелъ за деревню.

Только на мгновеніе гнѣвъ его уступилъ мѣсто нѣжнымъ мыслямъ о двухъ ребятишкахъ, которыхъ онъ навсегда покинулъ, но когда ему припомнилось, какъ эти ребятишки дражались при дракахъ отца съ матерью, гнѣвъ снова вернулся въ измученное сердце его.

Ребята вчерась попрятались въ курятникъ, когда онъ Варварой полосовался на дворѣ при многолюдномъ стеченіи. А то бывало и хуже. Однажды Варвара держала Митьку за руки, а онъ ухватилъ его за ноги и тащилъ каждый къ себѣ. Только ужь сосѣди розняли. А Сеньку Варвара тогда хлопала по головешкѣ изъ-за того, что отецъ любилъ крошку. Просто звѣри.

Утреннія сумерки закрывали поля; дальній лѣсъ видѣлся только какъ темная стѣна, загородившая свѣтъ. Вокругъ стояла мертвая тишина. Все живое еще непробудно спало. Одинъ только Никита не зналъ покоя. Онъ шелъ по дорожкѣ, и мрачныя мысли изнурили его. Когда гнѣвные воспоминанія его утихли, на него напали слабость и отчаяніе. Добровольно покинувъ домъ, поля, дѣтей, жену, онъ теперь, сиди сумерокъ, почувствовалъ себя пропадающимъ.

Быть можетъ, поэтому онъ очень обрадовался, когда собой вдругъ услышалъ стукъ телѣги. Сперва нельзя было разобрать, откуда раздается стукъ, но скоро позади Никиты показалась лошадь съ телѣгой; въ телѣгѣ виднѣлись вилы

рабли, а на передкѣ сидѣлъ Иванъ Николаичъ, молоканинъ. При видѣ Ивана Николаича, Никита еще болѣе обрадовался: эти они были разной вѣры, но уважали другъ друга и жили въ дружбѣ. Поздоровавшись, они отправились вмѣстѣ. Иванъ Николаичъ сидѣлъ на передкѣ; Никита шагаль подлѣ него.

— Далеко-ли идешь, Никита?—спросилъ Иванъ Николаичъ.

— За тыщи верстъ, Иванъ Николаичъ,—сказаль Никита слабымъ голосомъ.

— Надолго-ли?

— Навсегда, Иванъ Николаичъ.

И, не дожидаясь разспросовъ друга, Никита во всемъ скрылся ему. Онъ навсегда покидаетъ деревню и бѣжитъ тысячи верстъ, чтобы ужъ никогда не вернуться. Больше его нѣтъ терпѣть домашній срамъ.

— Отъ страму и ухажу, Иванъ Николаичъ. Знаешь самъ жите, страмить она меня и въ будни, и въ праздникъ, въ дальняго конца даже прибѣгаютъ смотрѣть наши драки. Да я перепробоваль,—уговариваль и честью, и сурьезно уми,—нѣтъ, не покоряется... Да что разсказывать, самъ знаешь жите мое.

Слушая Никиту, Иванъ Николаичъ задумался.

Долго они молчали; Иванъ Николаичъ сидѣлъ на облучкѣ; Никита понуро шагаль возлѣ него.

— Все ты перепробоваль, говоришь?—наконецъ, спросилъ Иванъ Николаичъ.

— Какъ есть все! И честью, и сурьезно—ничто не беретъ.

Иванъ Николаичъ покачалъ головой задумчиво.

— Да, Никита, знаю я твое жите. На деревнѣ всѣ съ уваженіемъ къ тебѣ, а вотъ дома порядку у тебя нѣтъ... Такъ все перепробоваль, говоришь?

— То-есть какъ есть всѣ способы!—съ отчаяніемъ возразиль Никита.

Но Иванъ Николаичъ опять покачалъ головой.

— А не пробоваль ты уваженія? Очень тоже хорошее фекство,—задумчиво возразиль Иванъ Николаичъ.

— Это въ какомъ же родѣ?—спросилъ Никита съ изумленіемъ, и лучъ надежды освѣтилъ его темную душу.

— А это вотъ въ какомъ родѣ. Варвара твоя умная и по-

тому ты попробуй съ ней поумнѣе... По-нашему, по-дервенски, мужъ завсегда желаетъ лупить жену свою, и которая баба силы не имѣетъ, та покоряется. Варвара твоя умная, съ ней нельзя сурьезно.

— А какъ же?

— Съ ней надо съ уваженіемъ,—твердо проговорилъ Иванъ Николаичъ.

— Это, стало быть, мнѣ покориться?—спросилъ съ неумѣніемъ Никита.

— Совсѣмъ даже не туда ты... Не покоряйся, а только отдай ей все, чего самъ отъ нея желаешь. Тебѣ хочется, чтобы она не бранилась? А ты возьми, да самъ первый бранись. Тебѣ желательно, чтобы она чугуномъ не дралась? Не дерись и ты первый кнутовищемъ. А напротивъ, уважи и полюби, яко Христосъ возлюбилъ церковь свою.

Никита недоувѣрчиво слушалъ этотъ монотонный голосъ друга.

— А ежели она сама начнетъ брехать, либо карябать?

— Не начнетъ, ежели ты не пожелаешь. Истинно тебѣ говорю, не начнетъ въ морду тебѣ заѣзжать, ежели ты первый не зачнешь. Ну, только прямо тебѣ скажу, кнутовищи и прочіе сурьезные предметы надо ужъ совсѣмъ бросить, годятся они въ этомъ случаѣ.

— Бросить?—недоувѣрчиво, но уже съ признакомъ радости спросилъ Никита.

— Навсегда, чистосердечно оставь. Не зачинай перестраиваться и страмъ уйдемъ изъ твоего дому, и миръ поставитъ тебя,—говорилъ монотоннымъ голосомъ Иванъ Николаичъ.

Здѣсь дорога раздвигалась; Иванъ Николаичъ долженъ былъ свернуть направо, Никитѣ же слѣдовало идти направо. Но онъ въ нерѣшимости остановился. Въ свою очередь Иванъ Николаичъ, прежде чѣмъ совсѣмъ свернуть за уголъ перелѣска, еще разъ обратился къ пораженному Никитѣ:

— Послушайся меня, Никита, ступай домой и будетъ благодарить меня съ теченіемъ времени.

На этомъ они разстались.

Никита проводилъ его взглядомъ и не трогался съ мѣста. Твердое рѣшеніе его уйти изъ дома навсегда разбилось теперь объ удивительныя, таинственныя слова друга. Но онъ

не смѣлъ вѣрить въ счастье, которое тотъ предсказывалъ ему, потому что совѣтъ былъ чудной, небывалый. Семейная каторга была такимъ общимъ въ деревнѣ порядкомъ, что никто не зналъ ничего иначе. Не зналъ и Никита. До этой минуты онъ наивно вѣрилъ въ свое полное право учить жену плутовщицею и другими хозяйственными предметами; когда же Варвара воспротивилась такому воспитанію, то онъ счелъ себя несчастнымъ человѣкомъ, а когда Варвара въ ихъ борьбѣ завоевала себѣ право воюющей стороны и на плутовщице отвѣчала „нечѣмъ попало“, то Никита увидѣлъ себя окончательно посрамленнымъ.

Прошло много времени съ той минуты, какъ Иванъ Николаичъ скрылся за лѣсомъ, а Никита все стоялъ на одномъ мѣстѣ, терзаемый сомнѣніями, мыслями, нерѣшительностью.

Между тѣмъ, востокъ вспыхнулъ пожаромъ восходящаго солнца; брызги свѣта окропили поля и лѣса, проникли въ темные овраги и засверкали на соломенныхъ крышахъ попнутой деревни, играя въ дымовыхъ столбахъ, поднявшихся надъ сотней домовъ. Слышался скрипъ колодезныхъ журавлей, лай собакъ и пѣніе пѣтуховъ, переливавшееся изъ конца въ конецъ.

Никита посмотрѣлъ на всю эту знакомую картину и почувствовалъ, что убѣжать отсюда онъ не можетъ. Силъ его на это не хватить, убѣжать-то.

Онъ тихо направился обратно въ деревнѣ, такъ тихо, какъ будто кто тянулъ его на веревкѣ. Лучъ надежды проникъ въ его сердце, но онъ не смѣлъ вѣрить, чтобы съ Варварой можно было сладить.

Больно ужъ они разошлись другъ на друга. Еще не прошло двухъ мѣсяцевъ со свадьбы, а ужъ они поцапались., Это произошло около питейнаго заведенія. Никита былъ на-веселѣ, а тутъ она подвернулась и давай его срамить. Ну онъ разгнѣвался, схватилъ изъ плетня пучекъ хвороста и давай ее лупить, а она его косаремъ. Злющая она.

Никита продолжалъ слабо подвигаться по дорогѣ въ деревню и со стыдомъ опять припоминалъ.

Ниче на Святой онъ также попилъ съ пріятелями въ кабацѣ, а Варварѣ это не понравилось. Когда онъ пришелъ домой, то она начала ему говорить все поперекъ и такъ его разгнѣвала, что онъ ухватилъ ее за сарафанъ и разо-

драгъ его до самаго низу. Платокъ же сшибъ съ головы и растопталъ ногами. Когда Варвара выбѣжала на дворъ, онъ погнался за ней съ лопатой. Тутъ скоро сбѣжались сосѣди и облѣпили заборъ. Срамъ.

Никита при этомъ воспоминаніи снялъ шапку и обтеръ рукавомъ холодный потъ со лба. Ему сдѣлалось отчего-то такъ совѣстно, что онъ еще двигался ногами по направленію къ деревнѣ. Но солнце уже поднялось высоко; многи выѣзжали въ поле; изъ деревни слышались ржанье лошадей и стукъ телѣгъ. Никита ускорилъ шагъ, скоро прошелъ вплоть до околицы и снова очутился на улицѣ. Но сердце его страшно щемило какое-то новое чувство при воспоминаніи о вчерашнемъ случаѣ.

Вчера она разбила латку въ пятнадцать копѣекъ объ его високъ и покарябала ему руки. Но онъ-то развѣ истуканомъ стоялъ? Съ утра они стали браниться и до тѣхъ поръ бранились, пока онъ взялъ кнутовище, и хотя послѣ она выдернула у него изъ рукъ кнутовище, но онъ кулаками могъ ее бить сколько угодно. А когда сбѣжался на родъ, то онъ уже отдѣлалъ ее въ кровь.

Никита былъ уже недалеко отъ дома; краска стыда залила вдругъ его лицо, когда онъ шелъ мимо тестя. Что онъ сдѣлалъ съ Варварой!

„Вѣдь вѣрно, что я первый зачиналъ страмиться!“—вдругъ раздалась небывалая мысль въ его головѣ и обила его сердце стыдомъ и жалостью. Это было открытіе, столько же позорное, сколько и. неожиданное. Всю жизнь вести какъ чистый звѣрь и считать себя въ полномъ правѣ!

А всю вину валить на Варвару!

„Страмникъ, больше ничего!“—раздавались еще слова въ головѣ Никиты, когда онъ вошелъ съ котомкой за плечами въ свой дворъ и увидѣлъ жену.

Варвара давно встала и работала на дворѣ связки изъ осоки для сноповъ. Красивое лицо ея послѣ вчерашняго дня узнать было нельзя. Щеки опухли; подъ глазами синяки; лобъ сверху до низу и спрѣва налѣво покрытъ шишками. Когда она увидѣла входящаго Никиту, она ничего не сказала и не спросила, куда онъ собрался уходить; бросила только одинъ бѣглый взглядъ своими большими, прекрас-

ными глазами, но въ этомъ взглядѣ была смертельная ненависть.

Никиту этотъ взглядъ облилъ такимъ ужасомъ, что онъ готовъ былъ въ порывѣ раскаянія, вызваннаго чудными мыслями, пасть ей въ ноги и попросить прощенія за погубленную жизнь. Но вмѣсто этого онъ молча прошелъ на задній дворъ, впрягъ въ рыдванъ лошадей и поѣхалъ со двора за сѣномъ. Она также должна была ѣхать съ нимъ, но онъ не позвалъ ее и не могъ сказать ей ни слова.

Только садясь на передній рыдванъ, онъ тихо проговорилъ:

— Оставайся, Варвара, дома... Одинъ управлюсь.— Это онъ выговорилъ сурово, хотя внутри у него были нѣжные слова.

Но съ этой поры круто измѣнился Никита. Чудная мысль, случайно брошенная ему, глубоко запала въ его голову. Онъ сдѣлался задумчивымъ и тихимъ.

Такъ же круто измѣнилась и вся его жизнь. Онъ твердо держался чудной мысли, которая измѣнила весь его внутренній міръ. О внутровищъ и прочихъ земледѣльческихъ орудіяхъ не было и помину. Его отношенія къ Варварѣ сдѣлались какъ разъ обратными. Онъ старался никогда не употребить браннаго слова. Если же какое дѣло ей было не по дѣлу, онъ помогалъ ей.

Но трудно забывается прошлое. Еще труднѣе укрощаются зѣри.

Сначала новое обращеніе Никиты вызвало у Варвары только подозрительность и испугъ. Она съ ужасомъ смотрѣла на него и подозрѣвала, что онъ придумываетъ ей какую-нибудь особенную, еще небывалую каверзу.

„Чистый изунтъ сталъ!“—думала она со страхомъ и ежедневно ждала чего-то страшнаго. Ни въ доброту, ни въ услужливость, ни въ ласковыя слова его она не вѣрила. Когда же Никита сталъ грустить отъ такой неудачи, то грусть его она также объяснила по-звѣриному:

„Должно быть, тоскуетъ, что не можетъ мнѣ досадить“.

Прекрасное лицо ея сдѣлалось пугливымъ и хитрымъ.

Больше полгода прошло такъ. На Никиту уже стало нападать отчаяніе. И однажды, въ порывѣ отчаянія, онъ не выдержалъ.

— Варвара, ты чего боишься меня?—сказалъ онъ разъ въ сумерки.

Когда Варвара на это промолчала, выразивъ на лицѣ только ужасъ, онъ еще разъ повторилъ свои слова. Она опять промолчала, только задрожала.

— Не бойся меня, Христа ради!... Вѣдь это ужъ вѣрно, что больше пальцемъ я тебя не трону. И ты худого мнѣ не дѣлай. Бросимъ давай старое-то...

Онъ еще хотѣлъ многое сказать, но отъ тоски не могъ. Варвара съ страшнымъ испугомъ повернула лицо въ его сторону и хотѣла сказать что-нибудь поперекъ, но силъ на это у ней больше не было. Она молча вышла на крыльцо и заплакала.

Но зато въ эту ночь они проговорили до самаго разсвѣта какъ будто послѣ долгой разлуки.

Съ той поры сосѣди и мужики изъ дальняго конца перестали обливлять заплоты у двора Никиты; они долго ждали, когда будетъ драка, и сначала удивлялись, не видя ее, но мало-по-малу привыкли къ такому необычайному обстоятельству. Не удивлялся только одинъ Иванъ Николаичъ.

СВѢТЛЫЙ ПРАЗДНИКЪ.

(Изъ дѣтскихъ воспоминаній).

Въ одномъ изъ темныхъ угловъ Россіи, вѣроятно, въ скоромъ времени выплываетъ „дѣло о сопротивленіи законнымъ распоряженіямъ властей“. Какъ и всегда въ такихъ случаяхъ, все дѣло съ начала до конца основано на недомыслии, на недомолвкахъ и полнѣйшей темнотѣ лицъ, запутавшихся въ процессъ. Дѣло вышло, конечно, изъ-за земли... Странно, что у насъ непрерывно, въ продолженіе сотенъ лѣтъ, идетъ страдальческая борьба изъ-за земли, т.-е. изъ-за такой вещи, которой во многихъ мѣстахъ дѣвать некуда и которая такъ является никѣмъ незанятая и пустая на сотни верстъ... Какъ бы то ни было, но въ названномъ темномъ углу дѣло произошло изъ-за нѣсколькихъ ничтожныхъ клочковъ сѣнокоша. Во время раздѣла клочки эти помѣщены были въ планъ маѣльца, но владѣлецъ *забылъ о нихъ*; крестьяне двадцать лѣтъ пользовались ими, но не знали, что „по плану“ они не принадлежатъ имъ. Такова завязка. Никакихъ недоразумѣній между владѣльцемъ и крестьянами не происходило. Но вотъ старый владѣлецъ продаетъ свое имѣніе въ руки живоглоты; живоглотъ беретъ „плантъ“ и въ одно мгновеніе сообщаетъ, что „эти клинья“ мужикамъ не принадлежатъ. И съ этой поры начинается дѣло. Новый владѣлецъ допещетъ крестьянъ постановленіями мирового судьи, мирового сѣзда и т. д., а крестьяне обороняются вилами, косами и другими земледѣльческими орудіями, въ полной увѣренности, что стоятъ на почвѣ закона. Оканчивается нелѣпая возня

тѣмъ, что обороняющихся предають суду. Трудно здѣсь да и винить кого-нибудь. Виногато больше невѣжество, разное грязнымъ моремъ по лицу русской земли и отравляющія самыя свѣтлыя минуты нашей жизни. Предлагаемый рассказъ изъ дѣтскихъ воспоминаній относится къ давно минувшему, но тогдашнія событія и теперь воскресаютъ ежегодно передъ нашими глазами, воскресаютъ въ тѣхъ же самыхъ формахъ, при той же самой обстановкѣ, на той же почвѣ темноты и невѣжества... и, быть можетъ, нашъ рассказъ многое напомнитъ тѣмъ судьямъ, которые въ скоромъ времени будутъ разбирать дѣло вышеупомянутаго глухого уг-

Началась весна 61-го года. Нагрѣваемый нѣжными лучами мартовскаго солнца, воздухъ былъ теплый. Снѣга таяли. Поля обнажились. Небольшая рѣчка, пересыхавшая летомъ, теперь вздулась, готовая разломать сковавшій ее ледъ. По улицамъ деревни стояла уже грязь.

До глухой деревни „воля“ дошла только въ концѣ марта. Ее привезъ исправникъ изъ города и мѣстный благочинный. Когда разнеслась вѣсть объ ихъ пріѣздѣ, мужики немедленно собрались около церкви, собрались всѣ поголовно, малыхъ ребятъ включительно. Церковныя двери отворили, толпа сейчасъ же заняла весь храмъ. Взрослые помѣстились во внутренности его; бабы съ ребятами стояли на паперти, а всѣ подростки заняли ограду и цѣплялись за оконныя решетки и подоконники, чтобы наблюдать за происходящимъ въ церкви.

Во время чтенія манифеста стояла мертвая тишина: старики удерживали душившій ихъ кашель; матери успокаивали грудныхъ ребятъ.

Послѣ того мужики двинулись къ барской усадьбѣ, гдѣ ихъ ожидалъ исправникъ. Впереди бѣжали сплошною массой взрослые мужики, за ними слѣдили бабы съ грудными ребятами, а по бокамъ подростки. Никто не обращалъ вниманія на лужи и заборы. Толпа бѣжала прямою дорогой, начиная отъ самой церкви вплоть до барскаго крыльца, прошла широкая полоса сплошной и превращенной въ кашу грязи; на поверхности же всплывенныхъ лужъ долго еще слышались пузыри,—это мужики шли.

И когда они пришли къ усадьбѣ, то были вымазаны съ ногъ до головы брызгами грязи, такъ что сѣдой исправникъ былъ сначала смущенъ при видѣ этой толпы, всклокоченной и устремившей на него сотни глазъ. Однако, оправившись отъ смущенія, онъ принялся объяснять смыслъ воли. Но бѣдный старикъ только путался въ словахъ. Онъ умѣлъ только браниться при объясненіяхъ „съ этимъ народомъ“. Бывало, собравъ мужиковъ, скажетъ: „эй, вы, каналы! такъ и такъ васъ!“—и знаетъ, что его поняли. А тутъ пришлось объясняться длинными словами и разговаривать безъ всякихъ вспомогательныхъ восклицаній. Мучилъ, мучилъ онъ себя и круто кончилъ, спросивъ, поняли-ли его.

Мужики молчали. Они какъ будто оцѣпенѣли. Превратившись въ слухъ, они неподвижно стояли на мѣстѣ. Взрослые не обмолвились между собой ни однимъ словомъ; старики зашляли; старухи вздыхали, а грудные ребята плакали,—вотъ всѣ звуки, какіе услышалъ старый исправникъ. Укорявъ ихъ въ безчувствіи, онъ обратился къ нимъ съ послѣдними словами:

— Теперь вотъ у васъ воля, ну, и благодарите Бога. Молитесь, радуйтесь, я-но чтобы у меня чинно! Боже упаси васъ, если вы разведете тамъ какіе бунты! Если же съ бариномъ затѣете смуту, такъ вамъ такихъ... Однимъ словомъ, ведите себя смирно, а не то...

Старикъ хотѣлъ прибавить еще кое-что, но удержался, возмущенно не зная, какъ *теперь* говорить „съ этимъ народомъ“. Скоро онъ отпустилъ всѣхъ по домамъ. Мужики послушно разошлись, такъ же молчаливо, въ такомъ же оцѣпенѣніи, какъ они слушали объясненія исправника.

Вѣсть была настолько неожиданна и велика, что обыкновенное, пошлое слово никто не хотѣлъ произнести, а подымающихъ къ великой минутѣ словъ еще ни у кого не находилось. Требовалось нѣкоторое время, чтобы мужики что-нибудь поняли и заговорили.

Но уже на другой день на разсвѣтѣ многіе очутились.

Въ сердцѣ проникла великая радость, какъ будто солнце заглянуло въ мрачный погребъ, куда до сегодня ни одинъ лучъ не заглядывалъ. Еще хорошенько не разсвѣло, какъ уже вся деревня поднялась на ноги. Трубы задымили, ворота

раскрылись и люди высыпали на улицу; но нигдѣ не слышно было шумныхъ голосовъ. Встрѣчаясь, мужики смотрѣли другъ другу въ глаза, улыбались и разговаривали о погодѣ.

— Вотъ какое Богъ послалъ тепло!...

— Тепло!

— Должно, на Святую вѣдро будетъ...

— Да, конечно, ежели вѣдро, то ужъ холодовъ не будетъ...

Говорили это, а сами чувствовали совсѣмъ другое, что-то необыкновенно радостное.

Только мало-по-малу стали на деревнѣ заговаривать о будущемъ. Но при этомъ никто не зналъ, что такое воля, какія есть у человѣка права, что ему нужно и что дано волей. Прошедшая крѣпостная жизнь не могла научить ихъ свободѣ, а времени для раздумыванія мужикамъ не было дано. Ходили между ними разные слухи раньше, но они плохими вѣрили. Господъ призывали обдумывать волю, а мужиковъ—нѣтъ. Господа заранѣе знали, что требовать, а мужики не знали. Господа напередъ рѣшили, какъ воспользоваться волей, а мужики не рѣшили. Для нихъ воля явилась неожиданно, безъ ихъ участія, помимо ихъ мысли, и съ нею у нихъ не соединялось никакого смысла, кромѣ какого-то смутнаго счастья.

Наконецъ, они стали разговаривать, причемъ оказалось, что, во-первыхъ, у нихъ не было никакого представленія новой жизни, а, во-вторыхъ, разгосоры ихъ вышли такими, что лучше бы ужъ молчали они. Это было въ концѣ Св. Войны. Возлѣ одного дома случайно сошлось много народу; не замѣтно возникъ вопросъ, какая теперь будетъ жизнь. Никто ничего не зналъ и не понималъ. Позвали солдата Ершова, который раньше пускалъ слухи о волѣ, когда о ней еще никто не думалъ, и который считался человѣкомъ „съ башкой“, тѣмъ болѣе, что онъ былъ подъ Севастополемъ. Призвали его и стали спрашивать.

— Ну, какъ?... въ какомъ родѣ?—спрашивали его.

— Да какъ вамъ сказать, братцы?... Одно слово—воля!—отвѣчалъ онъ.

— Воля-то воля, да въ какомъ она смыслѣ?

— Въ смыслѣ-то какомъ? Конечно, въ вольномъ. Напрямѣрь, что хочешь, то и дѣлай. Ежели захочешь ѣхать куда-

гупай, а не захочешь — сиди... Дѣвку замужъ вздумаешь
идать—выдавай. Одно слово—все.

— Дѣвку-то можно же выдать?

— Да какъ же! Чудаки вы, право! Конечно, все можно,
и къ кому ты не каснешься больше.

— Ну, а баринъ куда же?

— Этого я сказать не могу—куда, но, должно быть, жа-
ванье ему будутъ выдавать.

— А мы теперь куда же отойдемъ?

— Къ себѣ. Чудаки, право!...

Отъ этого отвѣта всѣ засмѣялись.

— Кто же насъ будетъ наблюдать? Какое начальство те-
перь будетъ надъ нами?—продолжали спрашивать мужики.

— Да мало ли какое! Всякое. Безъ начальства не оста-
ется.

Всѣ опять засмѣялись. Но Ершовъ былъ смущенъ, потому
что относительно этого предмета онъ и самъ ничего не по-
нималъ. Его отвѣтами, впрочемъ, мужики вполне удовлетво-
рились.

— Теперь скажи намъ, какъ насчетъ того, чтобы пороть?
будутъ?

— Пороть — я не знаю. А такъ, ежели подумать хоро-
шенько, то безъ этого дѣло не обойдется, потому что ни-
какъ нельзя.

— Безъ порки-то?

— Видите-ли, оно какъ надо понимать: ежели который,
такъ-то, мужикъ забалуется, такъ что же съ нимъ дѣлать?
Его поучить безпремѣнно слѣдуетъ?

— Известно, слѣдуетъ, ежели который... ну, а всѣхъ про-
чить-то?

— Тѣхъ драть не стануть. Для этого и будетъ начальство
поставлено, которое и станетъ рассуждать, кому сколько.
Отъ въ чемъ штука-то вся!

Мужики остались довольны словами Ершова.

— Еще скажи ты намъ, служба, вотъ объ какомъ дѣлѣ.
Ежели я, примѣрно сказать, что заработаю, такъ вѣдь это
моя мое кровное?

— Конечно, твое! Чудаки вы, право!...

Какъ ни были смутны понятія мужиковъ о совершившемся
въ ихъ жизни переворотѣ, но самое это слово „воля“ дѣй-

ствовало одухотворяющимъ образомъ на ихъ темную мыслспавшую въ продолженіе сотенъ лѣтъ. Мало-по-малу они стали оживать и вести веселые, хотя и неумные разговоры. Началась весна; деревья расцвѣли, поля зазеленѣли; природа воскресла.

Первыя весеннія работы исполнены были въ деревнѣ быстро и весело; люди какъ будто играли во время работы. Случилось такъ, что съ барской усадьбы не могло придти никакихъ непріятности. Старого барина не было вовсе въ это время въ Россіи, — онъ гдѣ-то за-границей жилъ; молодой баринъ былъ въ Питерѣ, да онъ и не вмѣшивался еще въ отцовскія дѣла. Въ усадьбѣ жилъ одинъ управляющій изъ вольноопущенныхъ; его мужики ненавидѣли, но и онъ скоро ухалъ, вѣрнѣе, бѣжалъ. Нѣсколько мужиковъ, подѣвъ веселую руку, предупредили его, чтобы онъ лучше уходилъ по дороге, по здорову, ежели не хочетъ получить какой-нибудь непріятности, и управитель не заставилъ себя долго ждать. Начальство также въ это время почему-то не показывалось.

Оставшись одни хозяевами, мужики принялись распоряжаться въ имѣніи. Прежде всего, они постановили осмотрѣть свои обширныя владѣнія и освятить ихъ. Они пригласили церковный причтъ и пошли по полямъ съ иконами, служивъ во многихъ мѣстахъ молебны. Они каждый кустикъ въ имѣніи знали, но надо же было вступить во владѣніе. Теперь они разсматривали свою землю глазами хозяевъ, напередъ распредѣляя полосы пашень, луговъ, лѣсовъ, гдѣ какія работы должны быть.

День стоялъ жаркій, безоблачный. Солнце ярко горѣло, поля уже сплошь покрылись растительностью. Восторженные мужики шли безостановочно по полямъ, по долинамъ, возлѣ лѣсовъ, по лугамъ, между болотъ и зарослей, и все осматривали съ восхищеніемъ, какъ будто пришли на новую невѣдомую землю. А останавливаясь, они окружали аналогичныя гдѣ читалъ и пѣлъ причтъ, и жарко молились, прося у Бога урожая для ихъ обширныхъ полей, благословенія на всю землю, наконецъ, отданную имъ, и счастья для нихъ самихъ. Избороздивъ все имѣніе, вездѣ помолившись, мужики только поздно вечеромъ возвратились въ деревню, утомленные, съ лицами, покрытыми пылью, съ запекшимися губами, но въ радостномъ настроеніи.

Другихъ распоряженій, задуманныхъ уже, чудаки не успѣли сдѣлать, потому что стали между ними ходить въ это время темные слухи насчетъ земли, будто она еще нисколько не принадлежитъ имъ, да и принадлежать не будетъ, такъ то напрасно они шлѣлись по чужимъ полямъ... Это сначала ихъ разсердило. Но когда слухи снова возникли, мужики не на шутку встревожились. Земля—это все, что для нихъ было яснаго въ объявленной имъ волѣ. Смутно сознавая свои человѣческія права, они взаимно того хорошо чувствовали то, что у нихъ было подъ ногами, что они орошали потомъ своимъ, чѣмъ жили, что любили,—словомъ, землю. До той минуты никому изъ нихъ не приходило въ голову, что земля не принадлежитъ имъ: что другое, а ужъ земля-то, знали они, вся цѣликомъ ихняя, кровная, съ испоконъ вѣку предѣленная имъ. Безъ земли они и не мыслили о себѣ.

Однако, слухи продолжали ходить.

До крайности разсерженные и встревоженные, мужики содѣлали бурный сходъ, гдѣ порѣшили навести справки въ городѣ. Для этой цѣли они выбрали Тита, самаго древняго парика во всей деревнѣ, котораго въ теченіе его длиннаго ка сабили и лозьемъ, и плетями, слѣдовательно, въ высшей степени опытнаго; на подмогу же ему дали солдата Ершова, въ котораго также былъ обитъ, во время его службы, можетъ быть, не одинъ возъ палокъ,—однимъ словомъ, выбрали самыхъ мудрыхъ людей и послали ихъ въ ближайшій городъ. Привнесенныя ими вѣсти были хорошія.

— Ну, ребята, ничего, дѣло наше ладно. Точно, воля. А насчетъ земли спокойно. Говорятъ, приказано дать крестьянамъ отдыхъ, чтобы онъ трудился, молился и благодарилъ. Но едва прошло нѣсколько времени послѣ прихода ходокъ, какъ появились опять дурные слухи. Изъ окрестныхъ вѣстей, въ особенности изъ Чекменя, дошли слухи о какомъ-то ссорѣ съ бариномъ. Всѣ снова встревожились и поехали своихъ ходокъ.

На этотъ разъ старикъ Титъ и солдатъ Ершовъ принесли свои извѣстія. Сейчасъ же собрался сходъ. Ходоковъ окружили. Солдатъ Ершовъ сказалъ:

— Ну, ребята, дѣло, слышь, плохо. Земля-то, говорятъ, барская, то-есть какое распоряженіе съ ней онъ сдѣлаетъ, баринъ-то, то и ладно. А намъ по положенію слѣ-

дуетъ малая толика... напимѣрь, вотъ какъ: курица еже выйдетъ со двора, и то нечего ей будетъ клевать!

— Какъ курица? — закричали на сходѣ нѣкоторые, взъ шенные на солдата.

Ходоки въ свою очередь также разозлились.

— Да вотъ также! Понимай, какъ знаешь! — отвѣчалъ Ишовъ.

— Да ты не путай, а рассказывай, что и какъ?

— Больше и рассказывать нечего! Имѣніе не вамъ принадлежитъ — вотъ больше и ничего!

— Куда же оно дѣнется?

— Ужь это не мое дѣло — куда! — угрюмо возражалъ Ишовъ.

— А куда же мы?

— Къ чорту лысому, должно думать! Говорятъ вамъ, раче, что земля не ваша!

Это второе извѣстіе потрясло мужиковъ. Глубокая тишина водворилась на томъ мѣстѣ, гдѣ они стояли. Сердце его за минуту бурной толпы теперь какъ будто перестало биться.

И съ крѣпостнымъ правомъ-то они мирились потому только что оно отдало въ ихъ руки всю землю, а тутъ „воля“ вдругъ отнимаетъ у нихъ вѣковое наслѣдіе. Нѣтъ, это невозможно! Тутъ фальшь есть!...

Придя въ себя, бывшіе на сходѣ сейчасъ же приняли смѣры. Ребятъ и бабъ они удалили со схода, чтобы осталась тайна все, что они рѣшатъ. Когда болтливый элементъ удаленъ, собравшіеся единогласно постановили: „когда читали манифестъ, и тотъ считать фальшивымъ; землю не отдавать; начальство будетъ уговаривать — не поддавать; ежели же землю силою станутъ отбирать, то умирать. Каждый другъ за друга крѣпко“. Наконецъ, еще рѣшили, „ежели придетъ начальство, чтобы выпросить о намѣненіяхъ, то вполнѣ молчать“.

Сдѣлавъ эти распоряженія, мужики снова повеселѣли. А жестокость къ нимъ возвратилась. Ихъ духъ окрѣпъ. Созданными въ началѣ фантазія теперь поддерживала ихъ мужество. У нихъ была глубочайшая вѣра въ правду, пришедшую вмѣстѣ съ волей, и не ихъ вина, если имъ вначалѣ никто не растолковалъ дѣйствительнаго порядка вещей, созданнымъ

войей, такъ что имъ пришлось довольствоваться собственными измышленіями.

Они рѣшили защищать свои сказочныя владѣнія.

Отъ времени до времени они верхами объѣзжали помѣстье. Кромѣ того, всю землю они разбили по душамъ на будущій животъ; раздѣляли также лѣса, причѣмъ часть ихъ вырубали и стали топить печи, а господскихъ полѣсовщиковъ, сопротивлявшихся такому дѣлежу и своевольству, пригрозили побить малость.

Скоро объ ихъ поступкахъ узнали, и если начальство долго не обращало на нихъ вниманія, то потому, что въ другихъ мѣстахъ, напримѣръ, въ сосѣднемъ Чекменѣ, борьба грозила дойти до крайности. Наконецъ, и въ нашу деревню пріѣхалъ исправникъ. Остановившись въ барскомъ домѣ, онъ хотѣлъ собраться мужикамъ. Мужики собрались. Обѣ стороны были взволнованы, но каждая скрывала свои чувства. Положеніе было такое: старикъ-исправникъ желалъ отъ всей души хорошенько выругать мужиковъ, надавать имъ хорошихъ затрѣщинъ и приказать исполнить требованіе его; бывало, онъ такъ и дѣлалъ: выругается, вышибетъ нѣсколько пубовъ, собьетъ нѣсколько мужиковъ съ ногъ — и убѣдитъ въ справедливости своихъ мнѣній. А теперь, сознавая необходимость какого-то другого отношенія, онъ дрожалъ внутренно, но не зналъ, какъ съ этимъ народомъ говорить. Другая сторона — мужики также недоумѣвали, какъ быть имъ; они бы и сказали всю правду, а ну, какъ начнетъ по мордамъ бить? Въ высшей степени взволнованные, они должны были, тѣмъ же менѣе, молчать.

Когда исправникъ вышелъ на крыльцо, то стороны съ минуту наблюдали другъ за другомъ и только послѣ этого начали объясненіе.

— Здравствуйте!... Какъ вы поживаете, *юспода*? — началъ исправникъ съ негодованіемъ.

— Слава Богу, ваше б—діе, помаленьку.

— Это хорошо. Но до меня нехорошіе слухи дошли про васъ...

— Мы, ваше б—діе, ничего...

— Будто вы, *юспода*, начали по-своему толковать волю; считаете тамъ о чемъ-то, а?

— Мы промежду собой, ваше б—діе... Потому какъ мы

народъ темный,—говорили нѣкоторые изъ собравшихся и жиковъ.

— То-то „промежду собой“! А зачѣмъ вы управляюща прогнали?

— Онь, ваше б—діе, самъ задралъ хвостъ и убѣгъ!

— То-то „задралъ хвостъ“! Вамъ дали волю, а вы на пыхъ порахъ безобразіе учинили!

Мужики промолчали.

— А зачѣмъ вы землей господской завладѣли? Вѣдь толковалъ вамъ, что всѣ еще должны работать на господи. Зачѣмъ же вы упрямитесь? Земля еще не ваша, условій бариномъ вы еще не заключили, отъ барина еще не отош совсѣмъ, и я читалъ вамъ все это, а вы порете свое... Вы сущіе быки!

— Конечно, ваше б—діе, люди мы, можно сказать, тѣны... Это вѣрно... ужъ это какъ есть!... Правильно вы врите!—кричали мужики, вилая.

— Я васъ теперь разъ навсегда спрашиваю: намѣрены бросить свои глупости?—сказалъ исправникъ, побагровѣвъ.

— Да мы, ваше б—діе, ничего такого...

— Я васъ спрашиваю: намѣрены вы бросить свои глупости?

— Позвольте, ваше б—діе, намъ подумать промежду бой...

— Ну, смотрите... Кончится тѣмъ, что вамъ, господа, башки заворотятъ... Некогда мнѣ теперь болтать съ вами—но смотрите!

На этотъ разъ мужики выдержали молчанку, но это могло долго продолжаться. Они чувствовали, что принуждены будутъ раскрыть карты. Отъ этого мужество ихъ не ослаб. Напротивъ, послѣ рѣшимости обнаружить свои намѣренія на нихъ снизошла сила отчаянія, такъ что, когда стало вѣдываться начальство, они уже прямо смотрѣли ему въ глаза отвѣчая отчаянно.

Сперва пріѣхалъ становой. Растолковавъ имъ волю, скрывъ ихъ намѣренія, представивъ всѣ послѣдствія, убѣждалъ ихъ оставить глупости и потомъ спросилъ:

— Согласны?

А они всѣ кучей отвѣчали:

— Согласья нашего нѣтъ.

Всѣмъ за становымъ пріѣхалъ другой какой-то начальникъ, названія котораго они не знали, и также спросилъ:

— Соглашаетесь?

И они отвѣчали:

— Не соглашаемся!

Тогда имъ объявили, что ихъ усмирять. Они держались и послѣ этой угрозы, и потому только держались, что въ прежней своей жизни привыкли, разъ начавъ какое-нибудь прощашее дѣло, стоять за него до послѣдней глупости. Такъ случилось бы и теперь. Они собрали послѣдній по этому случаю сходъ и рѣшили „стоять за правду твердо, а въ случаѣ чего—помереть“. Но ихъ положеніе было таково, что они и помереть уже не могли. Они увидали свѣтъ; они уже привыкли къ мысли о грядущемъ счастьи; они уже глубоко вѣрили въ свою фантазію, и лечь послѣ этого въ гробъ, отказавшись отъ свѣтлаго вымысла,—нѣтъ, этого они не вѣщахъ были сдѣлать!

Они до конца, до самой смерти хотѣли утверждать, что вѣнны имъ отдано, но уже не вѣрили, что изъ этого выйдетъ что-нибудь.

Именно поэтому они задумали въ эти дни проститься со своею землею, явившеюся имъ во всей красотѣ майскаго наряда. Они чувствовали, что имъ больше не видать ея.

Въ свѣтлый день, съ ранняго утра, когда не высохли еще капли утренней росы, когда по лѣсамъ еще стояла прохлада, а вѣтерокъ чуть-чуть только начиналъ колыхать вершины деревьевъ, какъ бы желая разбудить ихъ отъ ночной дремоты, мужики собрались за деревней и пошли въ поле. Въ послѣдній разъ они желали взглянуть на свое великолѣпное помястье и разстаться съ нимъ навсегда.

Сначала, пройдя выгонъ, они вошли въ пашни. Здѣсь они стали съ грустью разсчитывать, сколько бы земли досталось имъ на душу. Высчитали — много! Потомъ они вошли въ лѣсъ, гдѣ осматривали толщину деревьевъ, качество и количество ихъ, причемъ убѣдились, что однихъ прутьевъ и валежника имъ надолго бы хватило; но и прутьевъ имъ не останется. Простившись съ лѣсомъ, они попали въ луга, которые въ этотъ годъ, какъ нарочно, были сочные, высокіе, густые. Но у нихъ не будетъ и сѣна. Бросивъ послѣдній взглядъ на это волнующееся море зелени, мужики перешли въ бродъ

рѣку и посмотрѣли на столбъ, служившій гранью между ихъ помѣстьемъ и сосѣднимъ владѣніемъ. Здѣсь они отдохнули и пошли назадъ домой. На возвратномъ пути имъ такъ стало скучно, что они уже ни на что не хотѣли взглянуть, стараясь забыть свою невозвратную потерю. Вблизи уже деревни они начали ссориться между собой. И домой воротились злые. При этомъ нѣкоторые мужики побили бабъ, нѣкоторые напились водки, а нѣкоторые просто ругались нехорошими словами и вполночи.

Черезъ нѣсколько дней пришло извѣстіе, что въ Чекменѣ уже поставили „сѣкуцію“. Это сильно подѣйствовало на нашихъ мужиковъ: они замолчали, прекративъ всякіе разговоры о волѣ.

Послѣднее ихъ распоряженіе состояло въ томъ, что они отправили въ Чекмень верхомъ на лошади гонца, лучше сказать, соглядателя, наказавъ ему, въ случаѣ чего, скакать во весь духъ обратно. Цѣлыя сутки прошли въ ожиданіи. Наконецъ, позднею ночью на вторыхъ суткахъ прискакалъ соглядатель, какъ сумасшедшій, слѣзъ съ лошади, брюхо которой раздувалось, какъ раздуваемые мѣха, и сказалъ тихимъ едва переводя духъ отъ волненія:

— Чекменскихъ мужиковъ сѣкутъ!

Когда эта вѣсть разнеслась по деревнѣ и быстро собрался сходъ, то всѣ собравшіеся поняли, что чекменское пораженіе, въ которомъ чекменцы разбиты на голову, есть и ихъ пораженіе, послѣ чего безъ словъ разошлись по домамъ.

На утро взошло солнце, ярко освѣтивъ всѣ закоулки деревни, но улица долго стояла пустая, какъ будто населенный вымерло все, и когда сюда пришла „сѣкуція“, то ей дѣлалось нечего. Мужики наши отказались отъ своей свѣтлой фантазіи. Но еще темнѣе стало на ихъ душахъ.

Золотискатели.

(Изъ поѣздокъ по Уралу).

При первомъ удобномъ случаѣ мы отправились на одинъ изъ ближайшихъ приисковъ, тамъ и самъ разсѣянныхъ по Екатеринбургскому уѣзду. Было раннее утро. Извозникъ нашъ сначала никакъ не могъ понять, зачѣмъ мы ѣдемъ на Н-скій приискъ.

— Стало быть, на прогулку?—допытывался онъ съ какою-то ироніей.

— Пожалуй, на прогулку... да кстати посмотримъ на приискъ, на работы, на старателей,—возражали мы.

— Ничего тамъ хорошаго нѣту! Смотрѣть-то тамъ нечего... пески, глина, накопили ямы, срамъ одинъ! А ежели старателей посмотреть, то больше ничего, какъ народъ дикій... чего его смотрѣть-то?—Извозникъ какъ будто былъ обиженъ, что мы ѣдемъ въ это глухое мѣсто. Обыкновенно проѣзжающіе считаютъ своимъ долгомъ посѣтить богатый Березовскій приискъ, гдѣ можно осмотрѣть машины, толчею кварца, вахты, разрѣзы и пр., но чтобы кто-нибудь вздумалъ посѣтить глухое мѣсто,—старый, заброшенный рудникъ,—это, вѣроятно, нашему извознику никогда не приходилось наблюдать.

— Сами увидите, что ничего нѣтъ... пески, глина, дикій народъ, который ежели намоетъ золотникъ въ мѣсяцъ, и то радъ... чего же тамъ смотрѣть?—нѣсколько разъ спрашивалъ онъ, а когда замѣтилъ упрямое съ нашей стороны желаніе попасть въ глухое мѣсто, то умолялъ до самаго мѣста нашей

поѣздки, и только отъ времени до времени иронически улыбался.

Уже по дорогѣ, проторенной по лѣсу, то и дѣло попадались канавы, ямы и неглубокія штольни,—это все пробныя раскопки; но чѣмъ ближе мы подъѣзжали къ старательскимъ работамъ, тѣмъ все больше попадалось признаковъ золотыя приисковъ. Во многихъ мѣстахъ деревья были съ корнями повалены; а на ихъ мѣстѣ возвышались желтые бугры глины. Ни одного работника еще не было видно.

Наконецъ, мы подъѣхали къ самому мѣсту работъ. Извѣстникъ нашъ завелъ лошадей подѣ тѣнь стараго, разрушающагося сарая, а самъ завалился спать къ забору, какъ бы протестуя такимъ нагляднымъ способомъ противъ всей нашей поѣздки. Мы отправились одни по разбросанному прииску.

Когда-то здѣсь стоялъ заводъ, возвышались огромныя каменные зданія службъ и трубы завода; когда-то здѣсь былъ мѣдный рудникъ, дававшій богатую добычу хозяевамъ его; но теперь вокругъ нельзя было замѣтить хотя бы ничтожнаго слѣда нѣкогда шумной жизни. Все заросло травою, кустами и лѣсомъ. Нѣкогда тутъ былъ огромный прудъ, образованный изъ горной рѣчки, шумѣли плузы наливныхъ колесъ. Съ глухимъ журчаніемъ вода рокотала въ турбинахъ, двигая цѣлыя системы машинъ, а сейчасъ мы замѣтили только небольшое озерко, по краямъ заросшее камышомъ, а на серединѣ покрытое лопухами. Вода въ озеркѣ была прозрачна, какъ стекло; на днѣ его видны были стаи лѣтнихъ влавающихъ окуней и плотвы. Въ воздухѣ кружилось нѣсколько чаекъ. Въ камышахъ копошились дикія утки. Нигдѣ и никакого человѣческаго жилья.

Только внизу за плотиной, образующей озерко, въ ручья устроены были нѣсколько желобовъ и корытъ для промывки золота. Но людей не было. Мы попали въ такой день сюда, когда всѣ старатели поголовно ушли на уборку сѣнокоса, побросавъ свои корыта и станки. Мѣсто было действительно глухое и заброшенное, а въ этотъ день оно производило впечатлѣніе пустыни. Впрочемъ, слѣды работъ вездѣ были замѣтны. Повсюду виднѣлись желтые бугры глины, канавы, ямы и разрѣзы.

Долго мы съ путникомъ бродили посреди этихъ бугровъ; наконецъ, полдневный жаръ истомилъ насъ жаждой и уст

люстью, и мы пѣшкомъ пошли къ небольшому поселку, находящемуся въ полверстѣ отъ озера и сплошь населенному старателями. Скоро мы дошли туда, обошли всѣ его домишки въ поискахъ за питьемъ и только въ одномъ изъ нихъ наткнулись на старика, который напоилъ насъ. Древній человекъ этотъ доживалъ послѣдніе дни и съ трудомъ отвѣчалъ на наши вопросы. Но такъ или иначе мы внимательно слушали все, что онъ намъ говорилъ.

Онъ еще помнитъ то время, когда въ этихъ мѣстахъ китля жизнь; повсюду производились раскопки; въ однихъ пахтахъ добывалась мѣдь, въ другихъ золото. Сотни рабочихъ жили здѣсь, добывая для хозяевъ завода десятки пудовъ золота и сотни пудовъ мѣди. А рядомъ съ этою неустанною работой шелъ вѣчный пиръ. Управление состояло изъ многочисленного штата: конторщики, управляющіе, смотрители кнѣжили около золотого мѣста. То и дѣло изъ города прѣзжали гости, — разодѣтыя дамы и мужчины, — и по цѣлымъ днямъ шелъ пиръ. Раскупоривались цѣлые ящики шампанскаго; играла музыка, разносимая вѣхомъ по сосѣднимъ мѣсамъ; по ночамъ устраивались пикники съ факелами,

— Весело у насъ было о ту пору, — добавилъ старикъ равнодушно.

— Ну, а потомъ что? Куда же все это дѣлось?

— Все ушло. Золота стало маловато ужъ, особливо ежели кому нужна музыка, а мѣдь не больно чтобы ужъ такъ заветный металл, — ну, и ушло все, и золото, и заводъ, и люди съ музыкой, и господа съ шампанскимъ. Пожили, попиrowали на своемъ вѣку — и будетъ.

Затѣмъ уже паденіе пошло быстро. Главное управленіе уменьшило штатъ служащихъ, распустило половину рабочихъ и махнуло рукой. Мѣсто стало пустѣть. Подъ конецъ же это хищное гнѣздо просто было разграблено. Добыча золота прекратилась, мѣдный рудникъ заброшенъ, заводскія зданія и служба растащены. Кто тащилъ къ себѣ мебель, кто отдиравъ двери отъ домовъ, кто выдергивалъ заслонки отъ печей, кто вынималъ самые кирпичи изъ стѣнъ. Когда главное управленіе рѣшилось закрыть заводъ и сдѣлать опись инвентарю, то завода въ дѣйствительности уже не было, инвентарь разграбленъ, и самыя стѣны всѣхъ зданій разрушались. Стихія довершили опустошеніе: вѣтеръ рвалъ

на части крыши, дождь размывалъ кирпичи, черви лѣсные точили дерево; отъ веселаго мѣста, построеннаго изъ жѣлѣза и камня, населеннаго сотнями народу, не осталось званія; камня на камень не осталось.

Единственный живой памятникъ недавняго пира—это тотъ поселокъ изъ десяти дворовъ, въ которомъ мы находились въ эту минуту.

— Чѣмъ же вы живете?

— Да такъ, кое-чѣмъ, а все больше на счетъ золота же. Старатели у насъ все живутъ. На хлѣбъ добываемъ. Да и отстать нашимъ ребятамъ трудно отъ золота. Золото-то, оно заманчиво. Кто его разъ увидитъ, тотъ ужъ ослѣпнетъ на всю жизнь. Теперь у насъ всѣ на сѣнокосѣ. Окрома же сѣнокоса наши ребята ничѣмъ не занимаются... Да и сѣнотребуется для золота, потому безъ лошади никакъ нельзя... Лошадь подвозить глину.

Такимъ образомъ, весь поселокъ копалъ глину, промывать ее, подбиралъ крупицы золота и тѣмъ кормился. Вся мѣстность принадлежитъ Н—скимъ заводамъ, но сами заводы уже не эксплуатируютъ заброшенные прииски, предоставляя копать въ землѣ старателямъ. Старатель—это своего рода кустарь. Онъ работаетъ на свой рискъ, своими собственными орудіями, для себя. Но его отношенія къ заводамъ, владельцамъ земли, не свободны. Онъ можетъ сколько и гдѣ угодно промывать пески и глину, но все добытое золото обязанъ сдавать въ заводскую контору, получая отъ последней немного болѣе половины стоимости золота. А чтобы онъ не воровалъ въ свою пользу, чтобы не припрятывалъ части золота въ свой карманъ, ему заводское управленіе выдаетъ запертую кружку, расчетную книжку и приставляетъ къ нему штегера. Въ кружку онъ сыпаетъ золото, въ расчетную книжку записывается его количество, а штегеръ наблюдаетъ за правильностью всей этой операціи. На нашемъ приискѣ жили по назначенію отъ завода два штегера.

Пока мы разспрашивали обо всемъ этомъ старика, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уже началась промывка. Нѣсколько семей побросали сѣнокосъ и принялись за обычную работу. Мы отправились къ одной изъ группъ старателей.

Дѣйствительно, народъ дикій! Когда мы подошли къ мѣсту,

работающіе, видимо, перепугались, принявъ насъ, кажется, за какое-то начальство съ завода. Мы поспѣшили увѣрить ихъ, что не принадлежимъ къ заводскимъ служащимъ и пріѣхали только посмотреть, какъ промываютъ золото. Старатели успокоились.

Ихъ было трое—мужъ, жена и племянникъ ихъ. Племянникъ изъ лѣсу подвозилъ пески, мужъ работалъ ручнымъ насосомъ, жена бросала лопатой песокъ на чугунную доску съ дырами и здѣсь въ струѣ воды размѣшивала его; она же удаляла съ доски промытую породу. Всѣ трое были сплошь замазаны глиной; рубаха и порты мужика покрыты были желтыми пятнами такъ густо, что трудно было разобрать первоначальный цвѣтъ ихъ. У бабы костюмъ находился въ большемъ порядкѣ, но это, быть можетъ, потому, что юбка ея была поднята до самыхъ колѣнъ, причемъ голыя ноги окрашены были въ тотъ же цвѣтъ глины. Лица ихъ также не носили на себѣ слѣдовъ человѣческой кожи, которая, по-видимому, никогда не освобождалась отъ толстаго слоя золотослойной жилы. Все кругомъ окрасилось въ этотъ ужасный цвѣтъ: вашгердъ, лопаты, лошадь, телѣга, лужа... Промывку они производили около лужи, вода которой отъ постоянного притока свѣжей глины приняла кроваво-желтый оттѣнокъ.

Мы съ интересомъ наблюдали процедуру промывки. Глина привозилась парнемъ издалека и сваливалась возлѣ вашгерда; мужикъ накачивалъ деревяннымъ насосомъ на чугунную доску воду изъ кроваво-желтой глины, другою рукой онъ помогалъ разбивать куски глины, которые бросала баба съ земли. Такъ и шла непрерывная работа, промывался возъ за возомъ. Всѣ какъ будто старались какъ можно больше пропустить черезъ вашгердъ глины и не обращали вниманія на тщательность промывки. Отъ этого большая доля золота ускользала изъ рукъ работниковъ. При насъ промыли шесть возовъ, т. е. около ста пятидесяти пудовъ. «Когда же вы будете снимать золото?»—спросили мы. Надо ждать штегера. А онъ или спалъ, или былъ пьянъ, или бродилъ возлѣ дальнихъ старателей. Къ счастью, два первыхъ предположенія были неосновательны, потому что черезъ некоторое время онъ явился на мѣсто и позволилъ, удовлетворяя наше любопытство, снять золото.

Тогда глину перестали набрасывать на доску и пустили болѣе слабую струю воды; черезъ нѣкоторое время спустили въ остатки золотоносной мути ртуть и еще разъ промыли породу едва замѣтною струей; на доскѣ ничего не осталось ни глины, ни воды, ни золота... по крайней мѣрѣ, мы ничего не могли замѣтить. Тѣмъ не менѣе, баба соскребла что то невидимое желѣзною лопаткой, смела, кромѣ того, доску щеткой, и на серединѣ доски оказался ничтожный комочекъ ртути. Это и было золото, только амальгамированное. Дальше стоило только отдѣлить ртуть, и все кончено. Последняя операція была продѣлана еще грубѣе, вызвавъ громкіе смѣхъ у моего спутника. Мужикъ положилъ комочекъ золота того песку въ коробку изъ-подъ сардинокъ, пошарилъ руками вокругъ себя на землѣ и собралъ щепочекъ, потомъ поджогъ ихъ спичкой, вынутой изъ кисета съ махоркой, нѣсколько минутъ держалъ коробку надъ огнемъ, ртуть испарилась и на днѣ жестянки изъ-подъ сардинокъ остался маленькій желтоватый комочекъ золотого песку.

— И все!—воскликнулъ мой спутникъ съ хохотомъ.

— Больше ничего, — возразилъ старатель и, высыпавъ песокъ къ себѣ на ладонь, нѣкоторое время посмотрѣлъ на него и, наконецъ, спустилъ его въ кружку.

— Да это золото?—недовѣрчиво спросилъ спутникъ.

— Конечно, золото.

— Сколько же его тутъ было?

— Да долей семь, чай, есть...

— Да изъ-за чего же вы, наконецъ, работаете? Промыли полтора ста пудовъ земли и намыли всего семь долей!

— Когда и поболѣ, какъ счастье выпадетъ. У насъ, въ нашемъ дѣлѣ, все отъ счастья. Азартъ! Вѣдь когда моемъ то, такъ не думаешь, что ничего не намоешь. Совсѣмъ на противъ! Все думаешь, авось Богъ пошлетъ жилу... У насъ счастье—первое дѣло.

Отдохнувъ, рабочіе опять принялись за промывку. Паренѣ подвозилъ землю, баба подбрасывала ее на рѣшетку, мужикъ качалъ насосъ; струйки кроваво-желтой жидкости стекали въ лужу, лужа крови тихо волновалась, отражая солнечныя лучи.

Мы отправились бродить по окрестностямъ, осматривая разрывы и ямы. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разрывы были такъ

обширны, что съ трудомъ вѣрилось въ возможность такой каторжной работы. Между тѣмъ, фактъ былъ налицо; тамъ и сами въ нихъ копошились люди, отыскивая „жилы“. Трудъ здѣсь цѣнился ни во что; каторга старателями принималась добровольно. Заработокъ почти не принимался въ расчетъ, потому что онъ былъ ничтожный. Четверо работниковъ, необходимыхъ для каждаго вашгерда, всѣ вмѣстѣ намывали отъ 20 до 30 р. въ мѣсяцъ, что едва хватало на хлѣбъ. Тутъ больше играло воображеніе, поддерживая жгучія надежды отыскать „жилу“. Иногда старатели припрятавали часть добытого золота, и это знали всѣ, но всѣ понимали, что при всеобщемъ хищничествѣ, надо и старателю что-нибудь утащить.

Но эти припрятыванія немного помогали. Послѣ осмотра раскопокъ мы заходили въ нѣсколько домовъ поселянъ и удивлялись цыганской обстановкѣ всѣхъ старателей. Ни хозяйства, ни порядка нигдѣ не замѣчалось. Въ домахъ, рядомъ съ предметомъ роскоши (шерстяное платье, висѣвшее на гвоздѣ), лежала вещь поразительной бѣдности; рядомъ съ гармоникой деревянная чашка съ какою-то нехорошею пищею. Въ нѣсколько разъ потомъ встрѣчалъ старателей и не могъ сначала объяснить происходившія съ ними метаморфозы. Проработавъ, какъ лошадь, въ продолженіе мѣсяца, старатель часто спускаетъ все въ нѣсколько часовъ въ городскихъ и другихъ кабакахъ; получивъ деньги, онъ нерѣдко покупаетъ совершенно ненужную вещь, наприм., часы, и щеголяетъ въ нихъ день-два, а потомъ куда-то спускаетъ ихъ. Нѣсколько разъ мнѣ приходилось видѣть такую картину: человекъ одѣтъ въ драповое пальто, на головѣ фуражка, но ноги босыя, а вмѣсто панталонъ болтаются холщевыя порты, гѣстами выпачканныя въ глину,—это старатель. Видъ его производитъ такое впечатлѣніе, какъ будто за минуту передъ тѣмъ его ограбили,—сняли съ него панталоны, савану и бѣлую рубашку, но почему-то оставили драповое пальто.

Только къ вечеру мы отправились назадъ. Извозчикъ нашъ уже съ нескрываемою ироніей обратился къ намъ съ упрекомъ.

— Видите... сами видѣли, что тутъ ничего нѣтъ... дикія

мѣста! Народишко все перемагається, да и то больше на счетъ какъ бы чего стащить... дикій народъ!

Но мы оба были довольны, осмотрѣвъ это заброшенно и расхищенное мѣсто. Все здѣсь пустынно; прудъ зарос камышемъ и лопухами; тишина царить повсюду по кустамъ. Не слышно болѣе криковъ сотенъ народа; не раздаются языки и не визжать колеса приводовъ. Все замолкло. Люди разбѣжались, снявъ сливки съ природы. Такова исторія быть можетъ, и всего Урала. Первая волна хищниковъ пировавшихъ въ дѣвственныхъ горахъ, успѣла уже растащить все, что легко досталось, и схлынула дальше, въ глубь горъ. Но и тамъ то же повторилось. Теперь насталъ переломъ, „кризисъ“, который можно поправить только заграничными пошлинами. Одни старатели еще копошатся, чуя не голыми руками вырывая свой хлѣбъ изъ нѣдръ земли.

По Ишиму и Тоболу.

(Из путешествій и изслѣдованій крестьянскаго быта Западной Сибири).

I.

Очеркъ природы.

Происхождение страны.—Поверхность и видъ.—Орошеніе: рѣки и озера. Вѣтры: господствующіе вѣтры.—Лѣто въ Курганскомъ округѣ въ 1883 г.—Лѣто въ Ишимскомъ округѣ въ 1884 г.—Осень въ Курганскомъ округѣ въ 1881 г.—Почва.—Характерныя особенности фауны и флоры, касающіяся крестьянской жизни.—Богатство края.—Вопросъ о многоземельи.

Если раздѣлить Тобольскую губ. пополамъ отъ запада къ востоку, то это будетъ приблизительно точная грань, раздѣляющая двѣ страны, характеризующіяся совершенно различными физическими свойствами. Въ то время, какъ сѣверная половина губерніи обильна лѣсами, преимущественно хвойными, и болотами, занимающими огромныя пространства, южная, напротивъ, сравнительно бѣдна лѣсами, а дикія породы встрѣчаются въ ней какъ исключеніе; но зато эта часть губерніи отличается огромными степями.

Происхождение этихъ двухъ странъ также различное. Тогда какъ сѣверная половина губерніи въ послѣдніе геологическіе періоды образовалась преимущественно подъ вліяніемъ Ледовитаго океана, южная половина губерніи составляетъ часть той безконечной равнины, которая, начинаясь съ Каспійскаго моря и оканчиваясь предгоріями Алтая, состав-

ляла нѣкогда дно моря, оставившаго послѣ себя Каспійскіе и Аральское моря и безконечное число мелкихъ озеръ. И слѣднія разсѣяны въ Башкиріи (восточно-уральская часть Пермской губ.), по Ишимской и Барабинской степямъ, а также въ предѣлахъ киргизскихъ степей.

Предлагаемая статья содержитъ лишь описаніе южной половины губерніи и преимущественно округовъ: Курганскаго, Ишимскаго и Тюкалинскаго, имѣющихъ между собою много общаго.

Всѣ три округа представляютъ равнину съ незначительными возвышеніями, увалами. То, что называется ровною безлѣсною степью, можно встрѣтить только на границахъ киргизскихъ степей. Все же остальное пространство, за этою округомъ, не производитъ впечатлѣнія степи. Всюду куда хватаетъ глазъ, видны березовые перелѣски, долины съ озерами, возвышенія съ богатою растительностью. Перелѣски такъ часто слѣдуютъ другъ за другомъ, что сливаются передъ глазами въ безконечный лѣсъ. Впрочемъ, и рѣдко попадаются дѣйствительно сплошные лѣса, занимающіе сотни десятинъ лиственными породами. Кое-гдѣ встречаются и хвойные боры, на которыхъ отдыхаетъ взгладъ утомленный однообразіемъ ландшафта. Сплошными лѣсами богата въ особенности сѣверная часть Ишимскаго округа, смежная съ Тобольскимъ, середина Курганскаго и сѣверозападная Тюкалинскаго.

Въ общемъ же—бѣдность картинъ. Эти вѣчные березовые перелѣски на плоской равнинѣ такъ утомляютъ, что путешественникъ радуется, когда встрѣчаетъ густой лѣсъ съ высокими деревьями. Но этихъ лѣсовъ немного; они давно рублены или вырубаются; вмѣсто нихъ, остались густыя заросли по болотамъ и мелкія березы, годныя на дрова, по возвышеніямъ.

Орошается страна двумя только рѣками—Ишимомъ и Тоболомъ, прорѣзывающими ее съ юга на сѣверъ. Какъ въ степныхъ рѣкахъ, онѣ имѣютъ крайне извилистое теченіе, во многихъ мѣстахъ ежегодно мѣняя русло и оставляя послѣ себя множество богатыхъ водою старицъ. Что касается притоковъ этихъ двухъ огромныхъ рѣкъ, то они совершенно незначительны, какъ Мергенъ въ Ишимскомъ округѣ, И

въ Курганскомъ и другіе. Бѣдность рѣчного орошенія выкупается богатствомъ озеръ.

Крупныхъ озеръ, какія существуютъ, напр., въ Башкиріи, вовсе не встрѣчается въ описываемой странѣ, но болѣе мелкихъ безчисленное множество. Одни изъ нихъ занимаютъ не болѣе квадратной полуверсты, другія тянутся на десятки верстъ въ окружности, причемъ одни озера содержатъ прѣсную воду, другія горькосоленую. Химическій составъ послѣднихъ, впрочемъ, не изслѣдованъ, хотя несомнѣнно, что въ недалекомъ будущемъ будутъ открыты озера съ цѣлебными свойствами.

Сообразно съ такимъ орошеніемъ, расселилось по странѣ и населеніе. Наиболѣе густое населеніе образовалось по берегамъ двухъ большихъ рѣкъ; другая часть населенія устроилась возлѣ озеръ, прѣсноводныхъ и не высыхающихъ. Въ Ишимской степи, отличающейся особеннымъ обиліемъ озеръ, большая часть населенія осѣла по озерамъ, а меньшая по рѣкѣ Ишиму.

Старожилы говорятъ, что озеръ въ прежнія времена было несравненно больше, чѣмъ теперь; многія мелкія озера вовсе исчезли, образовавъ послѣ себя болота, топи и заросли. При всеобщемъ и беспорядочномъ истребленіи лѣсовъ, это убѣжденіе жителей имѣетъ естественное основаніе, и несомнѣнно, что постепенное высыханіе мелкихъ озеръ и замѣтная убыль въ крупныхъ озерахъ замѣчается повсемѣстно, во всѣхъ трехъ округахъ. Въ связи и рядомъ съ этимъ фактомъ идетъ столь же повсемѣстное уменьшеніе рыбы въ озерахъ.

Благодаря тому обстоятельству, что распространеніе озеръ въ странѣ неравномѣрно, что въ однѣхъ ея частяхъ, какъ Ишимская степь, озеръ больше, а въ другихъ меньше, какъ это видно въ южной половинѣ Курганскаго и во всемъ почти Тюкалинскомъ округѣ,—и степень влажности воздуха неравномѣрно распредѣляется по округамъ. Ишимскій климатъ отличается большею умѣренностью, нежели Курганскій, а послѣдній, въ свою очередь, мягче Тюкалинскаго. Впрочемъ, различіе мѣстныхъ условій настолько незначительно, что даже наблюдателю полное право только вскользь отмѣтить эти условія и перейти къ общей характеристикѣ климата, зависящаго отъ географическаго положенія страны.

Въ общемъ климатъ всѣхъ трехъ округовъ континентальный, сухой и съ внезапными колебаніями въ состояніи погоды. Зима суровая, лѣто знойное; переходъ отъ зимы къ лѣту крайне рѣзкій, такъ что самая восхитительная часть года — май здѣсь является наиболѣе гибельной для здоровья людей, для роста растений. Того теплаго, благоухающаго нѣжнаго мая, какой мы знаемъ, здѣсь вовсе нѣтъ. Часто до половины этого мѣсяца дуютъ холодные, пронизывающіе костей сѣверные вѣтры, а во вторую половину вдругъ наступаютъ знойная тишина. Солнце палитъ, какъ въ іюль, воздухъ сухой, горячій. Перемена совершается такъ быстро, что производитъ гнетущее вліяніе на тѣло, сильно ослабляя весь организмъ.

Иногда бываетъ хуже: днемъ жаръ, ночью холодъ. Нередко также внезапная перемена въ теченіе дня: въ первую половину дня, благодаря южному вѣтру, стоитъ знойная погода, а къ вечеру вдругъ вѣтеръ мѣняется на сѣверный, наступаетъ пронизывающій холодъ.

Въ началѣ лѣта, а иногда и въ серединѣ іюля, наблюдается интересное метеорологическое явленіе. Дуетъ сѣверный вѣтеръ; въ воздухъ распространяется холодъ. Небо заволакивается облаками. Но облака не имѣютъ вида дождевыхъ тучъ; по формѣ и цвѣту, они несомнѣнно содержатъ снѣгъ. Снѣгъ дѣйствительно и падаетъ иногда среди іюня. Но еще всего таяніе снѣга совершается въ верхнихъ слояхъ атмосферы, и тогда на землю падаетъ холодный дождь, температура котораго едва поднимается выше нуля.

Явленіе это настолько часто наблюдается, что невольно обращаетъ на себя вниманіе. Сѣверный вѣтеръ постоянно приноситъ съ собой холодъ, но часто онъ наноситъ при снѣжныхъ облакахъ, разрѣшающіхся ледянымъ дождемъ. Можетъ быть, это явленіе и полезно для растительности, увеличивъ общее количество влаги, но на людей оно дѣйствуетъ вредно.

Господствующіе вѣтры — сѣверо-западный и сѣверо-восточный. Разница между вліяніемъ ихъ огромная. Сѣверо-западный вѣтеръ приноситъ влагу и умеренную теплоту; сѣверо-восточный вѣтеръ, наоборотъ, сухой и холодный.

Юго-западный вѣтеръ характеризуется сильными грозами, но онъ не часто дуетъ.

Болѣе его оказываютъ вліяніе юго-восточный и южный вѣтры; оба они, въ особенности первый, какъ чаще дующій, несутъ съ собою знойную засуху и несомнѣнно оказываютъ вредное дѣйствіе, тѣмъ болѣе, что чаще всего они перемежаются сѣверными вѣтрами, обладающими прямо противоположными свойствами.

Рѣзко мѣняа направление, вѣтры западно-сибирскіе производятъ тотъ особенный климатъ, въ которомъ внезапные переходы изъ одной крайности въ другую составляютъ заютъ. Нѣсколько примѣровъ изъ послѣднихъ лѣтъ дадутъ наглядное понятіе о климатическихъ условіяхъ страны.

Съ начала весны 1883 г. въ Курганскомъ округѣ стояли сильныя холода. Зима была суровая, но безсніжная, такъ что въ концѣ апрѣля снѣгъ оставался только въ мѣстахъ, гдѣ было больше тѣни, чѣмъ свѣта, но и онъ скоро и незамѣтно исчезъ. Въ природѣ совершалось оригинальное явленіе: несомнѣнно начиналась весна, но земля на поляхъ лежала сухая; не бѣжали ручьи по ложбинкамъ; не видно было весеннихъ лужъ; не раздавался шумъ вешнихъ водъ по перагамъ. Снѣгъ невидимо пропалъ, испарился безъ слѣда.

Рѣка Тоболъ не выходила изъ береговъ. Въ половинѣ апрѣля она была еще крѣпко скована льдомъ, но ледъ не трескался и не замѣчалось какихъ-нибудь признаковъ его скорого разрушенія. Разрушенія и на самомъ дѣлѣ не было. Въ концѣ апрѣля солнце среди полудня сильно жгло, и ледъ подъ его горячими лучами быстро таялъ, но ночью наступали холода, и ледъ, повидимому, еще крѣпче сковывалъ рѣку. Ждали, когда же будетъ ломаться ледъ, и не дождались. Онъ до послѣдней минуты нетронутою массой стоялъ отъ берега до берега; только видъ его измѣнился: изъ сѣлаго онъ сначала сдѣлался тусклымъ, какъ матовое стекло, потомъ въ немъ образовались ноздри, и онъ походилъ на губку. Такимъ его видѣли еще вечеромъ 27 апрѣля, а на утро его уже никто не видалъ. Рѣка спокойно плескалась о берега и на всемъ ея протяженіи не было слѣда льда, который еще нѣсколько часовъ назадъ держалъ ее въ оковахъ. Превратившись въ губку, ледъ вдругъ разсыпался на миллиарды ледяныхъ иголъ, которыя смѣшались съ водой и безслѣдно исчезли.

Насколько быстро исчезли все слѣды зимы, настолько и крутъ былъ переходъ отъ весны къ лѣту.

Съ начала мая уже начались жары, доходившіе до 23°. Дождей не было. Полное отсутствіе влаги. Вѣтеръ дулъ южный. Плохо еще распустившіеся листья на деревьяхъ увяло висѣли. Травы росли рѣдкія и сухія.

Въ началѣ іюня солнце палило тропическимъ жаромъ. Воздухъ раскалялся, какъ въ печи; горизонтъ, казалось, дрожитъ, волнуется. Это происходило послѣднее испареніе повенной влаги. Травы сгорѣли, а дождей все не было. Вѣтеръ дулъ съ юга.

Весь іюль былъ сплошнымъ днемъ мученій для людей животныхъ и смертью для растительности. Въ тѣни температура показывала 29° R, а на солнцѣ она достигала 37° F. Хлѣба сгорѣли. Корнеплоды пропали. Въ сухомъ и раскаленномъ воздухѣ носилась пыль изъ остатковъ посохшей растительности. Единственная зелень, не принявшая бурнаго цвѣта,—это камыши по болотамъ. На нихъ и накинлись люди, думая ими прокормить голодный скотъ. Но это изобрѣтеніе только скорѣе погубило животныхъ: острые твердые стволы изрубленнаго камыша протыкали кишечный каналъ животнаго, и послѣднее издыхало.

Въ Ишимскомъ округѣ 1884 годъ является прямою противоположностью только что описанному. Всю весну, все лѣто и всю осень шли непрерывные дожди и стоялъ холодъ, а солнечные лучи, казалось, потеряли свою силу. Вѣтеръ дулъ сѣверный—тотъ самый, который приноситъ съ собою нестерпимый холодъ, снѣжныя облака и ледяной дождь.

Съ апрѣля, когда только что сходилъ снѣгъ, уже начались эти ужасные дожди. Кругомъ на поляхъ лежалъ еще снѣгъ, рѣка Ишимъ стояла еще покрытою льдомъ, а небо уже цѣлый день висѣло мутное, и холодный, какъ зимняя вода, дождь безконечно обливалъ холодную землю. Снѣгъ и ледъ не горячими солнечными лучами были растоплены, механически разрушены непрерывнымъ дождемъ.

Большая часть мая прошла лучше; много было красивыхъ дней; солнце грѣло, вѣтеръ съ сѣвера прекратился. Деревья быстро распустились; трава густымъ зеленымъ ковромъ покрывала мокрую землю. Хлѣба взошли великолѣпные.

Но насталъ іюнь. Вѣтеръ снова вдругъ подулъ съ сѣвера

И опять поползли эти снѣжныя облака, и полилъ ледяной дождь. Сплошнымъ потокомъ лилъ онъ, перемежаясь только съ снѣгомъ, который тотчасъ же таялъ на поверхности почвы, превратившейся въ глубокую жидкую грязь. Но поля стояли зеленыя: трава, густая, какъ ткань, выросла мѣстами въ ростъ человѣка, и даже на бесплодныхъ мѣстахъ появились росюшные луга.

Настало время косьбы. Косили часто подъ дождемъ, одѣтые въ зипунѣ, убирали мокрое сѣно, мокрымъ складывая его въ стога. И вся эта страшная работа пропала даромъ: сѣно сплело и зимой продавалось дорого, хотя урожай травъ былъ безпримѣрный.

Насталъ іюль. Вѣтеръ все былъ тотъ же—сѣверный; злощія облака съ снѣгомъ закрывали солнце. 2 іюля съ самаго утра пошелъ снѣгъ; къ полудню хлопья его были такъ густы, падалъ онъ въ такой массѣ, что къ вечеру этого дня вся земля покрылась бѣлымъ саваномъ. И хотя на другой же день онъ растаялъ, но холодный дождь не прекратился. Иногда на день, на два выглядывало солнышко, а потомъ ледяной ливень. Такъ прошелъ весь іюль.

Хлѣба тянулись въ верхъ; ихъ толстыя дудки, необыкновенный ростъ выше роста человѣческаго, густота дѣлали ихъ похожими на заросли кустарниковъ. Но они стояли зеленые. Прошелъ іюль, наступилъ августъ, а хлѣба едва только бурѣли.

Прошелъ и августъ, кое-гдѣ убирали хлѣба, однако, зерно было зеленое. Уборка продолжалась до конца сентября. Работали въ теплыхъ шапкахъ, въ бараньихъ шубахъ, въ булавницахъ, потому что холодъ, перемежающійся дождемъ, стоялъ нестерпимый. Скоро повалилъ хлопьями снѣгъ, полилъ дождь, и оставшіеся неубранными хлѣба залило и засыпало дождемъ и снѣгомъ. А хлѣбъ убранный, высушенный и обмоложенный оказался никуда негоднымъ: мука по цвѣту походила на красный солодъ, и хлѣбъ, испеченный изъ нея, разсыпался, какъ плохая глина.

Такъ прошло это лѣто, похожее скорѣе на тяжелую осень. Но зато осень иногда походитъ на лѣто.

Всѣмъ памятна осень 1881 г. Уже съ конца августа установилась тихая и теплая погода. Въ началѣ сентября все зеленѣло; деревья, повидимому, долго еще не сбросятъ сво-

ихъ листьевъ; травы на поляхъ стояли живыми, какъ средѣ лѣта, а по лугамъ, на скошенныхъ мѣстахъ, густо покрывала землю ярко-зеленая отава.

Весь сентябрь стоялъ теплый, нѣжный, благоухающій. Чистый, прозрачный воздухъ, голубое небо, ласкающая теплота,—все это было такъ необыкновенно, что напоминало другихъ временахъ и иныхъ странахъ. Въ концѣ сентября ходили въ лѣтнихъ костюмахъ. Ночью было пріятно спать на открытомъ воздухѣ, прямо подъ звѣзднымъ небомъ. Веселость разжирѣлъ, находя въ поляхъ обильную и сочную траву.

Насталъ и октябрь. Большая Медвѣдица описала уже большую дугу на небѣ. Утренники сдѣлались холодными. Ночью разливалась въ воздухъ нѣжная теплота. Люди перестали, кажется, ждать суровую зиму, одѣвались весь октябрь въ лѣтнюю одежду.

Прошла половина ноября. Все также было тепло, сухо и нѣжно; днемъ теплые солнечные лучи, яркій свѣтъ, прозрачный воздухъ; ночью бодрый холодокъ, чистый воздухъ и великолѣпное небо, на которомъ теперь во всей красе сіяли: Полярная звѣзда, Вега, Сѣверная Корона, въ обыкновенное время едва видимыя.

Только во второй половинѣ ноября выпалъ первый снѣгъ.

Безъ сомнѣнія, описанныя явленія должны быть отнесены къ области ненормальностей. Но, изучая нормальныя условія климата, мы все-таки приходимъ къ заключенію, что климатическія явленія страны внезапны, переходы отъ одного состоянія погоды къ другому рѣзки и неожиданны, и это на протяжении всего какихъ-нибудь сутокъ.

Переходимъ къ почвѣ.

На вопросъ, какая у васъ почва, большинство крестьянъ отвѣчаютъ: *ровная*. Этотъ отвѣтъ сначала кажется неудовлетворительнымъ и уклончивымъ. Но ближайшее изученіе почвенныхъ условій всѣхъ трехъ округовъ немедленно же объясняетъ отвѣтъ крестьянъ и показываетъ глубокую вѣрность дѣйствительности.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ земля покрыта солончаками, и особенно въблизи озеръ Ишимскаго округа. Суглинокъ мало распространенъ, а что касается песчаныхъ равнинъ, то онѣ встрѣчаются, какъ рѣдкое исключеніе, въ Ишимскомъ

округъ, что вполне объясняется удаленностью округа отъ горныхъ породъ, которыя доставляли бы кварцъ и полевои шпатъ. Богаче песчаными мѣстностями Курганскій округъ, въ которомъ сохранились и до сихъ поръ сравнительно большіе участки сосноваго лѣса, растущаго на пескахъ. Но болѣе обширную область пески занимаютъ въ Тюкалинскомъ округѣ. Тѣмъ не менѣе, солончаки и пески не составляютъ основного характера почвы.

Черноземъ—вотъ господствующая почва. Въ низкихъ мѣстахъ онъ достигаетъ до полусаженіи глубины, а на возвышенныхъ доходитъ до четверти аршина. Общая же глубина равняется приблизительно тремъ четвертямъ. Крестьяне говорятъ: земля у насъ ровная. Почему? Отвѣтъ и подтвержденіе крестьянскаго мнѣнія сейчасъ же находятся. Въ самомъ дѣлѣ, при отсутствіи значительныхъ углубленій и возвышеній, черноземъ ровно распредѣлялся по поверхности; при отсутствіи овраговъ и горъ, не могло образоваться ни оголеній отъ перегнойа плѣшинъ, ни скопленій его по ложбинамъ и берегамъ рѣкъ. Гдѣ листья падали, тамъ они и гнили. А при равномерномъ распредѣленіи лѣсовъ и толща перегнойа была приблизительно одинакова. Этому способствовало и крайне ничтожное развитіе рѣчного орошенія, которое является главною двигательною силой при распредѣленіи органическихъ остатковъ. Словомъ, всѣ условія края способствовали одинаковому удобренію поверхности.

Выяснивъ этотъ характеръ климата и почвы, мы вкратцѣ упомянемъ и о томъ, какія животныя и растенія отсутствуютъ. Было бы точнѣе назвать, прежде всего, тѣ виды, которые являются характерными представителями края, но, съ сожалѣніемъ, мѣсто не позволяетъ намъ поговорить объ этомъ предметѣ. Скажемъ лишь то, что непосредственно касается нашей цѣли—описанія крестьянской жизни.

Прежде всего замѣтно полное отсутствіе суслика—этого бѣла восточныхъ и южныхъ губерній Россіи. Быть можетъ, въ югѣ Курганскаго округа онъ и существуетъ, но въ такомъ, безъ сомнѣнія, незначительномъ количествѣ, что не приносятъ никакого вреда. Сибиряки зовутъ его „полевою кошечкой“.

Изъ другихъ вредныхъ животныхъ въ большомъ обиліи распространены только волки.

О саранчѣ сибиряки ничего не знаютъ. „Кузьки“,—знаютъ много кузьки, также нѣтъ, хотя, напр., Курганскій округъ находится на одной широтѣ съ нѣкоторыми изъ тѣхъ мѣстностей Россіи, гдѣ кузька производитъ опустошенія. Другихъ породъ вредныхъ насѣкомыхъ также нѣтъ. Упомянемъ кстати о томъ, что любимая всѣми ласточка не обитаетъ здѣсь; климатъ слишкомъ мало подходитъ къ ея веселому нраву. Иногда она вдругъ среди іюня или въ маѣ появляется, но черезъ нѣсколько дней также внезапно исчезаетъ, залетая сюда, вѣроятно, только пролетомъ въ болѣе удобныя для нея страны.

Изъ хлѣбныхъ растений хорошо родятся ярица, озимый рожь, ячмень, овесъ, горохъ, пшеница русская.

Проса сѣется мало; въ Курганскомъ округѣ оно родится удовлетворительно, но въ Ишимскомъ плохого качества—мелкое, бѣлесоватое. Зависитъ-ли это отъ климата и почвы или есть результатъ вырожденія вслѣдствіе плохой сортировки сѣмянъ—неизвѣстно.

Пшеница высокихъ качествъ, какъ кубанка, египетская др., совсѣмъ не сѣется въ Ишимскомъ и Тюкалинскомъ округахъ. Въ Курганскомъ, въ южной части, производились и большіе засѣвы кубанкой, но фактъ тотъ, что она черезъ нѣсколько лѣтъ вырождается и требуетъ черезъ опредѣленное число лѣтъ полной перемѣны сѣмянъ.

Гречиха въ Ишимскомъ округѣ вовсе не сѣется, въ Курганскомъ—ничтожное количество. Незвѣстно, дѣлались ли опыты посѣва ея въ Ишимскомъ и Тюкалинскомъ округахъ, но сомнительно, чтобы это нѣжное растеніе привилось здѣсь. Всего болѣе гречиха терпитъ отъ преждевременныхъ заморозковъ, а заморозки здѣсь не исключеніе.

Изъ корнеплодныхъ отлично родятся: картофель, морковь, репа и пр. Но свекловица плохого качества, съ малымъ содержаніемъ сахара.

Огурцы поспѣваютъ только на огородахъ, гдѣ для нихъ прежде всего, стелятъ толстый слой навоза и на этомъ у возвышеній дѣлаютъ грядки; всходы по ночамъ накрываютъ рогожами. Безъ этихъ приспособленій огурцы не созрѣваютъ. Что касается капусты, то она родится безъ особеннаго ухода.

Изъ ягодъ—клубника, земляника, малина, смородина

туть хорошо. По полямъ можно встрѣтить низкіе кусты дикой вишни, но плодъ почти не дозрѣваетъ.

Упомянувъ въ началѣ главы объ однообразіи ландшафта, занятого сплошь березовыми перелѣсками, мы теперь скажемъ о другихъ древесныхъ породахъ. Послѣ березы, осина и сосна наиболѣе распространены. Серебристый тополь, ива являются какъ рѣдкость. Дубъ и кленъ вовсе отсутствуютъ. Изъ кустарниковъ чаще всего попадаются рябина и черемуха.

Перечисленіе недостатковъ и богатствъ края даетъ намъ возможность прямо перейти къ разсмотрѣнію вопросовъ о многоземельи и объ изобиліи описываемаго края. О богатствахъ Сибири вообще и „благодатномъ“ кургано-ишимскомъ краѣ столько писалось, что и пишущій эти строки даетъ себѣ право сказать нѣсколько словъ по этому поводу.

Въ чемъ заключаются богатства описываемыхъ округовъ? Минеральной добычи здѣсь, очевидно, не можетъ быть. Не открытъ также каменный уголь. Соль привозная. Строевыхъ исковъ уже нѣтъ. Озера, нѣкогда богатые рыбой, пересыхаютъ. Дровяные лѣса быстро таютъ подъ ударами необходимости, о чемъ мы скажемъ въ слѣдующихъ главахъ. Какая-нибудь дичь, создающая промышленность, давно вывелась, за исключеніемъ зайцевъ. Въ чемъ же богатства края?

Очевидно, дѣло идетъ о землѣ. Земли дѣйствительно много. Земля эта хорошаго качества, съ неистощимымъ слоемъ чернозема. Мы, повидимому, вправѣ констатировать фактъ многоземелья и вытекающій изъ него фактъ благосостоянія жителей, обитающихъ въ этомъ обширномъ краѣ. Но почему Тюкалинскій округъ, наиболѣе многоземельный, гдѣ крестьянинъ беретъ земли сколько хочетъ и въ какомъ мѣстѣ угодно, — почему Тюкалинскій округъ наиболѣе бѣдный изъ трехъ округовъ?

Задача эта разрѣшается послѣ разспросовъ крестьянъ, которые разъясняютъ дѣло основательно и со всѣхъ сторонъ. Несмотря на громадныя залежи чернозема, несмотря на столь же огромную поверхность, занятую тучною почвой, крестьяне не имѣютъ часто фактической возможности пользоваться этимъ богатствомъ. Если земля лежитъ въ дальнѣмъ разстояніи отъ деревни, то только богатые крестьяне не терпятъ неудобства отъ большихъ разстояній. Имѣя достаточное количество скота и рабочихъ силъ, они занимаютъ

отдаленные участки, строить на них избышки, сарай, овин и обрабатывают земли. Въ рабочую пору они по мѣсяц живутъ на этихъ займкахъ, исполняя здѣсь, вдали отъ своей деревни, всѣ земледѣльческія работы, вплоть до молотбы.

Бѣдные крестьяне, даже съ среднимъ достаткомъ, не могутъ широко практиковать эту систему займокъ, по недостатку работниковъ, скота и времени. Они стараются обработывать тѣ участки, которые лежатъ вблизи деревень, хотя безъ сомнѣнія, эти выпаханныя земли не могутъ по плодородности равняться съ землями удаленными. Необходимость заставляетъ дѣлать это. Та же необходимость заставляетъ среднихъ крестьянъ арендовать близкія къ деревни земли у бѣдняковъ. Вслѣдствіе этого большая часть отдаленныхъ земель пустуетъ, хотя земли эти несомнѣнно превосходнаго качества.

Но самое могущественное вліяніе на обезцѣненіе и количество запасекъ оказываетъ климатъ съ его рѣзкими особенностями. Научившись горькимъ опытомъ мѣстной метеорологіи, узнавъ въ совершенствѣ, какія штудии выкидываетъ сибирскій климатъ, крестьяне съ крайнею осторожностью относятся къ выбору земель подъ обработку. Нерѣдко можно замѣтить необъяснимое на первый взглядъ явленіе: крестьяне выбираютъ подъ посѣвъ худшую землю, не обращая вниманія на участки, которые содержатъ глубокой пластъ чернозема; неизвѣстно когда паханнаго. Но при ближайшемъ разсмотрѣніи это необъяснимое явленіе вполне разъясняется: при выборѣ участка, старожилы-сибиряки всегда соображаютъ съ климатическими вліяніями, облюбовывая, прежде всего такую землю, которая, хотя и менѣе доброкачественна, находится въ болѣе благопріятномъ положеніи передъ рѣзкими перемѣнами жары и холода, засухи и дождя. Въ тѣхъ деревняхъ, которыя имѣютъ ограниченный выборъ земель происходитъ больше всего земледѣльческихъ несчастій: хлебъ, выросшій высокою стѣвой, сгниетъ на корню отъ позняго созрѣванія, то его зальетъ и вымочитъ дождемъ, то засуха истребитъ его, то убьетъ его іюльскій иней.

Крестьяне отлично знакомы, на основаніи точныхъ наблюденій, съ климатическими особенностями своего края и въ совершенствѣ, до мельчайшихъ подробностей, разработавъ вопросъ, какая земля ихъ края можетъ считаться наиболѣе

финою. Такъ, напр., ишимскіе крестьяне всѣ поголовно называютъ на Гагаринскую волость и утверждаютъ, что такой доброй земли, какою одарена эта волость, не найдешь, пожалуй, во всѣхъ трехъ округахъ.

Какое же отличіе этой волости отъ другихъ? Поверхность волнистая. Всюду разбѣяны озера. По всѣмъ направленіямъ тянутся увалы. Но главное направленіе уваловъ съ запада на востокъ. По гребнямъ уваловъ растетъ березовый лѣсъ. Болотистыхъ мѣстъ мало; обширныхъ низинъ овсе нѣтъ. Такое устройство поверхности даетъ землѣ Гагаринской волости огромное преимущество въ борьбѣ съ климатическими крайностями. Во время засухи посѣвы, расположенные по уваламъ, питаются влагой изъ озеръ, лежащихъ надъ ними, и хотя этой мѣстной влаги недостаточно, но хлѣбъ не погибаетъ отъ жары. Отъ холодныхъ, ледяныхъ вѣтровъ и дождей съвера гагаринскіе посѣвы также защищены. Лѣтній иней не въ силахъ имъ повредить такъ, какъ онъ вредитъ хлѣбамъ, расположеннымъ по ровнымъ изгибамъ. Есть также стокъ для излишковъ воды во время сильныхъ дождей.

И въ самомъ дѣлѣ, хлѣба этой волости никогда не подвергаются такому опустошенію отъ засухъ, отъ ледяныхъ вѣтровъ, отъ заморозковъ въ іюлѣ. Въ самые несчастные годы у крестьянъ этой волости родится хлѣбъ. Тутъ же, почти рядомъ, верстахъ въ пяти, расположилась деревня другой волости на обширной низинѣ, съ глубокимъ, неистощимымъ черноземомъ... „Да, чортъ-ли мнѣ въ этомъ черноземѣ, когда онъ не имѣетъ никакой силы? — говорилъ мнѣ крестьянинъ этой деревни. — Посѣешь хлѣбъ, а онъ вымерзнетъ или вымокнетъ. А земли у насъ, точно, много, и земля черноземная, да чортъ въ ней толку“.

Этимъ энергичнымъ выраженіемъ мнѣнія по надобившемуся вопросу о сибирскомъ многоземельи мы и закончимъ. Говоря однимъ словомъ, многоземелья въ краѣ потому не существуетъ, что крестьяне, при настоящихъ своихъ средствахъ, благодаря климатическимъ вліяніямъ, фактически не пользуются многими землями, которыя подвержены всѣмъ крайностямъ физическихъ условій страны. Пока эти многія земли совершенно негодны, давая чистый убытокъ, такъ что

судить о достаточности надѣловъ на основаніи одного абсолютнаго количества земель было бы вредною ошибкой.

II.

Очеркъ землевладѣнія.

Происхожденіе населенія.—Борьба съ инородцами.—Порядки въ землевладѣніи: земли близкія и дальнія; земли общинныя и заимки, начало захвата и индивидуальность сибирской общины.—Недостаточная прочность земельныхъ порядковъ; примѣры безпорядочности во владѣніи.—Типическая форма землевладѣнія; соединеніе индивидуальной и общинной собственности.—Вопросъ объ интенсивной культурѣ.

Край, занятый теперь тремя округами, заселился съ незапамятныхъ временъ, почти на другой день послѣ побѣды Ермака, когда въ открытыя этими побѣдами ворота Сибири двинулась могучая волна русскихъ людей. Изъ какихъ элементовъ состояла эта масса? Существуетъ мнѣніе, что предки сибиряковъ были „штрафные людишки“ Московскаго царства, причемъ совершенно неосновательно смѣшиваются въ одну кучу жители городовъ и деревень. Не трудно показать всю ошибочность такого взгляда. Въ самомъ дѣлѣ, если обитатели сибирскихъ городовъ не могутъ похвастаться своими предками, пришедшими съ бубновыми тузами на спинахъ, то происхожденіе крестьянъ сибирскихъ иное.

И въ настоящее время существуетъ ссылка въ огромныхъ размѣрахъ всего, что стало негоднымъ для Россіи, и этотъ сбродъ наполняетъ Сибирь отъ Урала до Тихаго океана, но весь этотъ людъ не осѣдаетъ по деревнямъ. Развращенны до мозга костей, привыкшіе къ легкой наживѣ, съ органическимъ отвращеніемъ къ труду, современные поселыщники ютятся по городамъ, всѣми средствами отдѣляваясь отъ деревни. Да и деревня ихъ не выноситъ. Относясь спокойно къ тѣмъ исключительнымъ поселыщникамъ, которые, по приходѣ въ Сибирь, принимаются на землю, крестьяне безпощадно гонятъ прочь всю остальную массу „хвосторѣзовъ“. Борьба между коренными сибиряками и поселыщниками идетъ на жизнь и смерть. Самое это слово—„хвосторѣзъ“ показываетъ, насколько безпощадны взаимныя отношенія между

двумя сторонами: посельщикъ, которому не удалась кража крестьянской лошади, всегда, изъ-за одной злобы, отрѣжетъ съ корнемъ у ней хвостъ.

Каковы теперь отношенія между крестьянами и посельщиками, такія же отношенія существовали и тогда между людьми труда и вольницей. Вольница могла и умѣла воевать, даться, грабить, но на трудъ она была не способна. Колонизовали край черносошные, крѣпостные, монастырскіе крестьяне, бѣжавшіе съ родины отъ притѣсненій и голода. Правда, они были бѣглецы, но бѣжали они не отъ труда, а отъ московской волокиты, отъ воеводскаго кормленія и другихъ жестокостей. И шли они въ открывшійся край не за легкой наживой, а ради упорной работы среди безконечнаго престога. Это были людишки Московскаго царства, но закаленные въ трудѣ, энергичные, свободолюбивые. Они шли за вольницей или даже вмѣстѣ съ ней, но, облюбовавъ мѣста новой страны, прочно садились на нихъ, въ то время, какъ вольница, состоявшая поголовно изъ „штрафнаго“ элемента, разнузданная, съ органическимъ отвращеніемъ къ труду, двигалась дальше въ глубь Сибири, дралась, грабила, убивала инородцевъ и сама погибала.

Колонизаторы Сибири, по самому характеру своему, не были ничего общаго съ вольницей, завоевывавшей страну; люди труда, они были прямою противоположностью людямъ легкой наживы. Такое же коренное раздѣленіе существовало между этими двумя группами и въ послѣдующія времена, существуетъ и теперь. Одни изъ выходцевъ Россіи устраиваются по городамъ, воруютъ, нищенствуютъ или занимаются ремесломъ—такихъ подавляющее большинство; другіе—ничтожное меньшинство—салятся на земельные надѣлы, увеличивая собою деревенское народонаселеніе. Такъ заселились сибирскія страны.

Единственную точку соприкосновенія обѣихъ группъ составляла всегдашняя боевая готовность отстаивать съ оружіемъ въ рукахъ занятія земли. Сибирскимъ крестьянамъ пришлось сѣсть не на умиротворенныхъ мѣстахъ, а въ странѣ чужой, населенной храбрыми инородцами, которые долго не могли забыть, что они хозяева земли. Шагъ за шагомъ крестьянамъ приходилось отражать набѣги инородцевъ, отстаивать занятые лѣса и степи и нападать, чтобы

захватить въ окрестностях новыя земли. И чѣмъ храбрѣе были инородцы, тѣмъ труднѣе доставалась крестьянамъ ихъ земля, на которой они проливали не одинъ потъ, но и кровь.

Въ описываемыхъ трехъ округахъ борьба шла съ киргизами. Дикіе, ловкіе и храбрые, киргизы чуть не до послѣдняго времени отстаивали свои права хозяевъ; еще въ сороковыхъ годахъ нашего столѣтія происходили кровавыя стычки между крестьянами и киргизами, которые, впрочемъ, уже перешли въ оборонительное положеніе. Главныя ихъ нападенія были направлены на скотъ, который они то и дѣло угоняли у крестьянъ. Старожилы здѣшніе ярко рисуютъ эту борьбу изо дня въ день. Большинство крестьянъ имѣло винтовки; только бѣдные не были вооружены. Выѣзжали въ поле съ оружіемъ, совершался-ли сѣнокосъ, жнитво или пахота. Старались по возможности выѣзжать на работы толпами; у одиночекъ то и дѣло отнимали киргизы лошадей, нерѣдко убивая ихъ самихъ. Въ Курганскомъ округѣ по рѣкѣ Тоболу во многихъ деревняхъ вамъ покажутъ мѣста, гдѣ происходили сраженія съ киргизами, кочевавшими на одной изъ сторонъ рѣки. „Кыргызы!“—это былъ боевой кличъ. Моментально собиралась вся деревня и гналась за шайкой киргизовъ, угонявшихъ стада коровъ. Встрѣчались возлѣ рѣки и начиналась рѣзня. Успѣвшіе броситься вплавъ черезъ рѣку киргизы спасались, но остальныхъ крестьяне убивали, бросая трупы съ кручи берега въ рѣку. Иногда приходилось, наоборотъ, плохо крестьянамъ, въ особенности, когда крестьяне стояли на одномъ берегу, а киргизы на другомъ; удачныя выстрѣлы киргизовъ много клали наповалъ мужиковъ.

Кромѣ киргизовъ, крестьяне имѣли противъ себя и суровую природу: дремучіе лѣса, болота. И здѣсь шла борьба только болѣе постоянная и тяжелая. Берега рѣкъ и озеръ покрыты были непроницаемыми дубровами и, прежде чѣмъ селиться, колонисты должны были очищать лѣса, бороться съ волками и медвѣдями, пролагать дороги сквозь заросли и пр.

Подъ такими вліяніями и соотвѣтственно имъ установились формы землевладѣнія. Русскіе люди принесли съ собою общинные порядки, но здѣсь, въ новой странѣ, эти порядки

поверглась сильному видоимѣненію. Безъ сомнѣнія, начало медвѣдьескихъ работъ возникало вблизи поселенія; къ тому вынуждали киргизы, звѣри, лѣса; безъ сомнѣнія также, что борьба съ этими условіями новой страны сначала велась сообща. Поэтому извѣстное регулированіе правъ на эту землю, добытую цѣлою общиною, началось тотчасъ же, какъ только основалось поселеніе,—регулированіе, произвопившееся на обширныхъ началахъ. Не было податей, военныхъ и другихъ проявленій государственной власти, подъ давлениемъ которой, по мнѣнію нѣкоторыхъ, держалась община, но община возникла необходимымъ и естественнымъ образомъ, благодаря не столько преданію, вынесенному изъ России, сколько общей борьбѣ съ грозными условіями новой страны, гдѣ отдѣльная личность погибла бы.

Но колонисты не могли ограничиться только землями, лежащими вблизи деревень; безконечный просторъ окружающей природы манилъ ихъ дальше, въ особенности людей энергичныхъ и безстрашныхъ; они, оставляя позади себя боязливыхъ и менѣе сильныхъ, удалялись въ поискахъ за шкутой, сѣнокосами и лѣсами далеко отъ деревень и закатывали облюбованные участки. Община не завидовала этимъ смѣльчакамъ, оставляя на ихъ страхъ ихъ предприятия: не могла она имѣть и притязаній на эти участки, зачатые смѣльчаками. Послѣдніе владѣли участками, какъ хотѣли и сколько могли, не встрѣчая ни малѣйшаго контраріума со стороны своихъ односельчанъ, у которыхъ не было не только повода, но и желанія вмѣшиваться въ эти рискованные захваты земель.

Такъ возникъ приблизительно индивидуализмъ сибирскихъ крестьянъ и такимъ образомъ освящено было право захвата.

Вслѣдствіи, когда опасность отъ набѣговъ киргизовъ прошла, когда можно было работать за десятки верстъ отъ деревни безъ всякаго риска, право захвата, уже освященное, перешло и на тѣ земли, которыя находились недалеко отъ деревень, но которыя община почему-либо не включила въ мирскую собственность. Завладѣвшіе ими также не встрѣчали возраженія со стороны цѣлой общины. Могли происходить ссоры между отдѣльными лицами, но общество не вмѣшивалось въ эти споры, признавая неотъемлемое право каж-

даго брать всякую землю, которою не владѣлъ другой, только въ послѣднемъ случаѣ, когда одинъ покушался брать отъ другого уже захваченный участокъ, вмѣшивала въ споръ община.

Такъ укрѣпилось право захвата. Земли было еще такъ много, что каждому хватало по извѣстной долѣ хорошаго земли. И каждый сталъ безконтрольно владѣть тѣмъ, что успѣлъ взять. Онъ могъ засѣвать свою землю, могъ на десятки лѣтъ оставить ее пустовать, но она все-таки принадлежала ему. Состоятельные крестьяне строили на своихъ земляхъ заимки, т.-е. лѣтнія избушки съ сараями и овинами. Заимки еще болѣе санкціонировали индивидуальную собственность, которая начала передаваться по наслѣдству, отъ отца къ сыну и далѣе.

Съ теченіемъ времени индивидуализація подвинулась такъ далеко, что въ общій строй захватной системы вошли и земли, которыя лежали вблизи деревень; современемъ они стали передаваться по наслѣдству.

Тѣ же самыя причины вліяли на способъ сѣнокошенія. Косилъ всякій тамъ, гдѣ ему нравилось и куда онъ являлся первымъ. Впрочемъ, это практиковалось только на удаленныхъ отъ деревни участкахъ, да и то вело за собой безконечныя и непрекращавшіяся распри. Что касается луговъ находящихся неподалеку отъ деревень, то они ежегодно передѣлялись, и сомнительно, чтобы было время, когда луга не передѣлялись.

Нарисованная нами схема землевладѣнія и выясненіе путей, по которому шло развитіе сибирскихъ общинныхъ рядковъ, даютъ возможность представить прошедшее это землевладѣнія лишь въ общихъ чертахъ. Схема не всегда совпадаетъ съ дѣйствительно существующими фактами.

Причина этому та, что порядки сибирскаго землевладѣнія не установились прочно и до настоящаго времени. Зависитъ это не только отъ обилія земли, которое позволяетъ крестьянамъ относиться съ меньшею ревностью къ каждому клочку ея, но и отъ другихъ явленій сибирской деревни. Упомянемъ напр., о той легкости, съ какой крестьяне бросаютъ свои надѣлы въ одномъ, перебираясь на другую землю другого общества; эти постоянныя перебѣжки совершаются все чаще среди одного общества; одинъ домохозяинъ покупаетъ

или другимъ какимъ путемъ пріобрѣтаетъ землю другого, а этотъ другой тоже какимъ-нибудь путемъ завладѣетъ землей третьяго; и если бы еще участки переходили изъ рукъ въ руки цѣликомъ, а то переходятъ они мелкими частями, производя непонятную пестроту въ землевладѣніи. Нерѣдко замѣчаются такія явленія: крестьянинъ владѣетъ безспорно извѣстнымъ участникомъ или группой участковъ, а платитъ подати за другія земли, находящіяся въ другомъ обществѣ; далѣе, нѣсколько домохозяевъ сразу предъявляютъ притязанія на одинъ и тотъ же участокъ, и между ними начинаются нескончаемые споры.

Система займовъ также составляетъ источникъ путаницы въ землевладѣніи; такъ какъ займки строятъ почти исключительно только богатые домохозяева, то бѣдные, вслѣдствіе захвата, часто лишаются очень существенныхъ частей земли, вслѣдствіе чего въ нѣкоторыхъ деревняхъ происходятъ отмежеванія извѣстнаго количества земли отъ богатыхъ въ пользу недостаточныхъ.

Но самый ужасный безпорядокъ производятъ мертвыя души или, какъ онѣ здѣсь называются, „упалыя души“. Въ исключительно рѣдкомъ хозяйствѣ нѣтъ этихъ мертвыхъ душъ, высылающихъ изъ своихъ могилъ подати. Большинство же домохозяевъ принуждено вѣчно считаться съ мертвецами. Принципіальный порядокъ при этомъ такой: всякій долженъ платить столько мертвыхъ душъ, сколько имѣетъ, и владѣетъ тою землею, какою искони принадлежитъ его роду. Это выходитъ просто. Но на практикѣ этого почти никогда не бываетъ. Домохозяева несостоятельные просятъ міръ сбавить съ нихъ часть мертвыхъ душъ. Міръ уважаетъ просьбы и перекладываетъ души на болѣе зажиточныхъ а зажиточные требуютъ за это извѣстныхъ привилегій при землевладѣніи, напр., при дѣленіи покосовъ; часто ихъ требованія исполняются, а иногда нѣтъ—происходятъ безконечныя ссоры.

Особенно обильная пища для ссоръ является въ тѣхъ случаяхъ, когда перелагается съ одного общинника на другого не цѣлая душа, а, напр., половина, четверть,—тогда происходитъ путаница, въ которой и сами крестьяне нерѣдко ничего не могутъ сообразить. Извольте-ка удовлетворить надлежащимъ количествомъ земли, напр., осьмушку души!

Изъ сказаннаго видно уже, что сибирская община не пришла еще къ опредѣленнымъ формамъ землевладѣнія. Въ одномъ случаѣ захватные участки признаются неприкосновенными и передаются по наслѣдству; въ другомъ случаѣ тѣ же самые участки признаются подлежащими урѣзкѣ или прибавкѣ—рѣзкое противорѣчіе крестьянской мысли. Въ одномъ случаѣ община предъявляетъ свои верховныя права, въ другомъ она какъ бы забываетъ объ этихъ правахъ. Она пока считаетъ себя безсильною внести равномерный порядокъ въ взаимныя отношенія между своими сочленами и ограничивается ожиданіемъ новой ревизіи,—ожиданіемъ, которое въ нѣкоторыхъ деревняхъ сдѣлалось просто мучительнымъ.—до такой степени безконечныя столкновенія всѣмъ надобны.

Но регулированіе владѣніемъ земель все-таки идетъ естественнымъ путемъ, хотя и медленно, почти незамѣтно. Чтобы указать, въ какую сторону направляется это движеніе, мы расскажемъ два случая изъ деревенской жизни Ишимскаго округа.

Одинъ касается разграниченія земель между двумя или нѣсколькими общинами, владѣвшими землею до этого времени сообща. До послѣднихъ лѣтъ между крестьянами разныхъ деревень происходили ежегодно схватки, ссоры, драки; то дѣло крестьянинъ одной общины завладѣвалъ землей крестьянина другой общины, пользуясь тѣмъ, что междубоиннограницы не было и земля считалась общей. Чаше же всего схватки происходили между двумя деревнями во всемъ ихъ составѣ; при сѣнокосѣ драка между двумя мірами была дѣломъ до такой степени обыкновеннымъ, что, собираясь на сѣнокосъ, всѣ запасались оружіемъ: кто бралъ хорошую сырую березу, кто ограничивался литовкой, надѣясь, что на мѣстѣ побоища онъ всегда можетъ найти достаточное толстое дерево. Обыкновенно одна деревня успѣвала раньше прійхать на луга и выкосить много травы; въ такомъ случаѣ другая деревня, приведенная въ негодованіе этимъ поступкомъ, сразу нападала съ кольями и косами. И, прежде чѣмъ убирать сѣно, обѣ партіи успѣвали сдѣлать достаточное число фонарей подъ глазами и глубокихъ дыръ на тѣлѣ.

Это продолжалось, повторяемъ, до послѣдняго времени когда всѣ рѣшили такъ или иначе покончить съ этими драками. Приглашали землемѣровъ и разверстывали свои угоды

При этомъ раздѣлъ совершался не на основаніи только права захвата, но и на принципѣ равноправности: къ тѣмъ землямъ, которыми члены общины владѣли испоконъ вѣка и на правахъ наслѣдственной собственности, приобрѣтенной захватомъ, прибавлялись земли, не принадлежащія собственно данной общинѣ, а прирѣзанныя къ ней другою общиною въ силу равноправности и соблюденія справедливости. Правда, во многихъ случаяхъ, при этихъ размежеваніяхъ, происходилъ подкупъ землебра одною общиною, чтобы заставить его обрѣзать въ угодьяхъ другую общину, но даже и въ этомъ случаѣ признаніе каждымъ права за каждымъ другимъ на равное надѣленіе земель было несомнѣнно, хотя на дѣлѣ это признаніе и не осуществлялось, благодаря подкупу.

Другой случай рисуетъ взаимныя отношенія односельчанъ. Въ одной изъ ишимскихъ деревень рѣшили сдѣлать прирѣзку по десятипѣ на каждую душу. Прирѣзка должна была совершиться на счетъ луговъ, которые каждый годъ перебивались; но случайно было открыто, что на этихъ лугахъ растетъ отличный хлѣбъ, и рѣшено было сѣнокосы обратить въ пашни. Къ несчастію, во время дѣлежа нѣсколько десятковъ домохозяевъ находились въ отсутствіи, такъ что раздѣлъ произошелъ безъ нихъ; сходъ рѣшилъ только, что дать имъ землю въ другомъ мѣстѣ, если луговъ недостаточно. Но когда отсутствовавшіе собрались и узнали, что безъ нихъ совершился раздѣлъ, подняли такой шумъ, что деревня надолго превратилась въ суцій адъ; на улицахъ и въ домахъ, на сходкахъ и въ одиночку люди сходились и ругались. Наконецъ, когда всѣмъ стало тошно отъ этой распри, послали старосту къ посреднику. Возвратившись, староста объявилъ рѣшеніе: сидѣть каждому тамъ, гдѣ кто сидѣлъ въ старыя времена, а луговъ не трогать.

Но это легко было сказать, а не исполнить. Многіе уже успѣли вспахать пары на лугахъ. Такимъ образомъ, и луга были испорчены, и пашни не оказалось, и на шеѣ сидитъ безконечная тяжба.

Случайно сошлись въ моей квартирѣ два крестьянина этой деревни, мои знакомые. Чуть не съ первыхъ же словъ они принялись укорять другъ друга въ недобросовѣстности, забывая совершенно обо мнѣ. Ссорились они все о томъ же. Когда луга были раздѣлены, то одинъ изъ двухъ крестьянъ,

которому ничего не досталось, купилъ у какого-то Васы его надѣлъ на этихъ лугахъ,—купилъ около двухъ десяти за 16 копѣекъ и обработалъ землю подъ будущую пашню т.-е. вырубилъ и выкорчевалъ кусты. Но когда приказано было всю дѣлежку считать недействительной и раздѣли луга, попрежнему, подъ сѣнокосъ, то эти двѣ десятины оказались принадлежащими второму моему знакомому. Началась между ними ссора, не разбиравшая ни мѣста, ни времени. Только вмѣшательство посторонняго лица оказало дѣйствіе: первый крестьянинъ согласился уступить купленную (арендованную) землю законному владѣльцу ея, а это послѣдній обязался выплатить первому 16 копѣекъ. Но очевидно, что рубка кустовъ, а для другого 16 копѣекъ пропали совершенно напрасно; очевидно также, что оба получили свое, будутъ помнить и эти кусты, и эти 16 копѣекъ вплоть до будущей ревизіи, если когда-нибудь она будетъ.

Наиболѣе безпорядочные случаи въ пользованіи землейными угодьями совершаются въ Тюкалинскомъ округѣ. Тамъ, при населеніи, далеко уступающемъ по количеству населенію Ишимскаго и Курганскаго округовъ, и до настоящаго времени много свободныхъ земель, не вошедшихъ въ захватные и наслѣдственно передающіеся участки. Рядомъ съ этими участками существуютъ поля, гдѣ каждый беретъ столько земли, сколько ему хочется, и дѣлаетъ на ней все, что ему угодно: пашетъ, коситъ, запускаетъ въ залежь или бросаетъ, предоставляя пользоваться брошенной землей другому. Правда, практика установила и для такого рода землепользованія нѣкоторыя ограниченія; такъ, крестьянинъ, облюбовавшій извѣстный участокъ, но не поставившій на немъ какого-нибудь знака, не можетъ заявлять притязанія на этотъ участокъ; если другой крестьянинъ завладѣлъ имъ, онъ долженъ поставить знакъ присвоенія, и тогда земля считается его собственностью; но эта собственность ограничена во времени; если крестьянинъ надолго заброситъ свою землю,—положимъ, по недостатку силъ обработаться или потому, что занялъ другое мѣсто,—то всякій другой имѣетъ право

*) Мы считаемъ пріятнымъ долгомъ выразить г-жѣ III-вой благодарности за доставленіе многихъ свѣдѣній о Тюкалинскомъ округѣ.

ить ее. Относительно покосовъ существуетъ также извѣстное ограниченіе, состоящее въ томъ, что снятіе сѣна въ одномъ году не даетъ права считать своимъ этотъ сѣнокосъ и на другой годъ. Община, главнымъ образомъ, наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы вольныя земли въ дѣйствительности были вольными, чтобы участки пахотной земли не закрѣплялись въ однихъ рукахъ на вѣчныя времена, чтобы покосы не считались частною собственностью, чтобы вольные лѣса не вырубались однимъ, оставляя безъ дровъ другого,—однимъ словомъ, община нѣкоторыми ограниченіями и здѣсь наблюдаетъ, чтобы окружающій просторъ былъ доступенъ одинаково для всѣхъ.

Но, тѣмъ не менѣе, беспорядочность землевладѣнія въ Тюкалинскомъ округѣ подтверждается чуть не ежедневными фактами. Одинъ вдругъ начинаетъ отбивать участокъ, занятый на томъ основаніи, что онъ нѣкогда владѣлъ имъ; другой отбиваетъ землю, занятую просто потому, что она ему нравится. И фактическое рѣшеніе этихъ споровъ не всегда совпадаетъ со справедливостью.

Теперь мы перейдемъ къ возможно точному описанію *типической формы землевладѣнія*, безспорно существующей въ изучаемой мѣстности Сибири, несмотря на беспорядочность, хаотичность и разнообразіе въ способахъ пользованія земельными богатствами. Самое броженіе это показываетъ, что кажущееся разнообразіе имѣетъ явное стремленіе принять типическую, однообразную и организованную форму землевладѣнія.

Для удобства мы раздѣлимъ всѣ угодья на *пахотныя, степные, выгоны, огороды, усадьбы, лѣса, озера и рѣки*.

Пахотныя земли, ближайшія къ деревнѣ, а часто и отдаленныя, находятся въ подворномъ владѣніи, причемъ количество земли въ исключительныхъ только случаяхъ соответствуетъ числу душъ, такъ что по размѣрамъ своимъ эти участки безконечно разнообразны: дохода иногда до 50 десятинъ, они нерѣдко содержатъ только одну-двѣ десятины. На каждый дворъ такихъ участковъ приходится по нѣскольку въ разныхъ поляхъ. Верховное право на нихъ принадлежитъ общинѣ, которая считаетъ ихъ мірскою собственностью; это идеально, но фактически они являются собственностью домохозяевъ, никогда не передѣляются и передаются по

наслѣдству изъ поколѣнія въ поколѣніе. Неравномѣрность этихъ участковъ сильно беспокоитъ крестьянъ, но они ждутъ ревизіи.

Другая часть пахотныхъ земель—это тѣ мѣста, которые почему-либо остались незахваченными, вслѣдствіе-ли отдаленности ихъ, или вслѣдствіе другихъ какихъ причинъ. Крестьяне называютъ ихъ „вольными“, потому что ихъ каждый имѣетъ право брать въ пользованіе, хотя въ большинствѣ случаевъ съ извѣстными ограниченіями, на извѣстное только число лѣтъ. Міръ этими землями распоряжается уже фактически; не стѣсняя въ захватъ ихъ на извѣстное число лѣтъ онъ при случаѣ отбираетъ ихъ. Прирѣзки производятся на счетъ этихъ вольныхъ земель, а не на счетъ подворныхъ участковъ; послѣдніе крестьяне не трогаютъ, боясь путаницы. Такимъ образомъ, вольныя земли фактически являютъ общинными; когда нѣтъ нужды, ими пользуется всякій, въ силахъ, а когда необходимо, міръ дѣлитъ ихъ, какъ мы и видѣли, на лугахъ, которые крестьяне вздумали-бы обратиться въ пашни.

Сѣнокосы также по существу двухъ родовъ.

Одни, находящіеся по близости деревень или особенно цѣнные, хотя и удаленные отъ деревень, ежегодно передѣляются по числу душъ, причемъ самый механизмъ раздѣла ничѣмъ не отличается отъ способовъ дѣлежки въ русскихъ губерніяхъ.

Другіе принадлежатъ къ вольнымъ лугамъ. Всего чаще сѣнокосы эти расположены на тѣхъ вольныхъ земляхъ, которыхъ только что сказано: между кустарниками и полями, съ незапамятныхъ временъ не знавшимъ сохи. По мелочамъ здѣсь всякій можетъ косить; возъ-два не запрещаются. Но большее количество сѣна уже входитъ въ сферу вмѣшательства міра. Обыкновенно въ такомъ случаѣ практикуется слѣдующій порядокъ.

Общимъ голосомъ деревни назначается день захвата этихъ вольныхъ сѣнокосовъ, и рано утромъ въ назначенный день всѣ наличные работники собираются въ условномъ мѣстѣ за деревней. Когда всѣ уже въ сборѣ, подается сигналъ, вся масса косцовъ, сломя голову, скачетъ къ мѣстамъ сѣнокоса, гдѣ каждый и косить, сколько успѣетъ и сможетъ, дѣлая что каждый предварительно закашиваетъ косой такой кругъ

какой успѣть. И вотъ этотъ-то кругъ считается уже его собственностью. Извѣстно, что порядокъ этотъ свойственъ не одной Сибири, но, напр., является распространеннымъ обычаемъ среди уральскихъ казаковъ, которые, въ свою очередь, также, вѣроятно, не первые выдумали его. Въ Сибири, въ описываемыхъ здѣсь странахъ, онъ, должно быть, скоро сойдетъ въ область преданія, потому что частыя ссоры, переходящія въ драки, всѣмъ крестьянамъ наскучили. Медленно, но изъ года въ годъ этотъ, такъ сказать, беспорядочный порядокъ замѣняется ежегоднымъ дѣлежомъ по всѣмъ правиламъ деревенскаго землемѣрнаго искусства.

Быяны или какъ ихъ здѣсь называютъ „поскотины“ (подъскотины) находятся въ общемъ пользованіи. Міромъ нанимаютъ пастуха для каждаго стада, и онъ пасетъ порученный ему скотъ въ поскотинахъ. Но пастьба длится здѣсь только до „бызовки“^(*).

Бызовка дѣлитъ выгоны на два разряда. О первомъ мы сказали. Второй состоитъ вотъ въ чемъ: когда начинается бызовка, стада разбираются по рукамъ и каждый владѣлецъ скота пасетъ своихъ животныхъ отдѣльно, или отправляя ихъ на заимки, если онъ у него имѣются, или на тѣ собственные участки, которые расположены близъ деревни. Затѣмъ, когда жаръ спадетъ, оводы пропадаютъ, скотъ опять собирается въ стада и пасется по скошеннымъ лугамъ лѣтъ и на пашняхъ въ началѣ осени. Понятно, что тамъ, гдѣ по извѣстнымъ климатическимъ условіямъ, оводъ не производитъ такого вреда, скотъ все лѣто пасется въ стадахъ на общинныхъ земляхъ.

Оводы не имѣютъ большого значенія здѣсь, не представляя существеннаго элемента хозяйства. Но, тѣмъ не менѣе, они въ большинствѣ хозяйствъ имѣются. При этомъ тѣ огорожи, которые непосредственно примыкаютъ къ деревнѣ, состоятъ въ наслѣдственномъ пользованіи каждаго дома и совершенно изъяты изъ сферы власти міра; они никогда

^(*) Это оригинальное слово звукоподражательнаго характера. Ко времени наступленія жаровъ, когда появляются оводъ, слѣпень и другія являющіяся наѣдомыя, издающія извѣстный звукъ, скотъ отбивается отъ пастуха: заслышавъ страшный для него звукъ, онъ въ бѣшенствѣ кидается въ разсыпную, и никакая сила уже не удержитъ его. Все это вмѣстѣ и называется „бызовкой“.

не передѣляются, не отрѣзываются и не прирѣзываются, по своей незначительности и ничтожной роли въ хозяйствѣ этотъ родъ угодій никогда и не вызываетъ недоразумѣнъ только бабы иногда возбуждаютъ по поводу капустнико пререканія между собой. Когда же является надобно отрѣзать мѣсто подѣ огородъ для новаго хозяйства, пустопорожнее мѣсто всегда находится возлѣ деревни.

Кромѣ этого, есть много любителей рѣпы или морко, которымъ обыкновенный огородъ кажется неудовлетворительнымъ; тогда они садятъ овощи на поляхъ, вдали от деревни, очень часто на вольныхъ земляхъ, не встрѣчая какого возраженія со стороны односельчанъ.

Усадьбы и права владѣнія ими соотвѣтствуютъ всему, сейчасъ разсказано о другихъ родахъ угодій. Онѣ такъ раздѣляются на два порядка, смотря по силѣ власти и надъ ними. Усадьбы, на которыхъ стоятъ собственно до и другія постройки деревни, находятся въ личномъ владѣніи каждаго домохозяина, переходятъ наслѣдственно изъ поколѣнія въ поколѣніе, передаваясь иногда даже по духовномъ завѣщанію. Если обществу встрѣчается необходимость отъ новой усадьбы подѣ строенія новаго семейства, то зем всегда отыскивается среди пустопорожнихъ мѣстъ, нигдѣ въ частности не занятыхъ и принадлежащихъ вообще деревни.

Другой родъ усадебъ—это такъ называемыя займки такимъ правомъ давности (онѣ возникли сотни лѣтъ назадъ что ихъ не трогаютъ ни въ какомъ случаѣ, ожидая для раздѣла ревизіи; онѣ передаются изъ поколѣнія въ поколѣніе и не входятъ въ кругъ вмѣшательства общества. на нихъ строятся избышки, овины, сарай, гумны, и никто не считаетъ себя вправе выражать на это неудовольствіе. большинство займокъ, болѣе поздняго захвата и болѣе мелкіе по своимъ строеніямъ, признаются собственно домохозяина до тѣхъ только поръ, пока онъ не брошитъ ихъ, а затѣмъ они или дѣлаются вольными, или поступаютъ въ полное распоряженіе міра. То же самое можно сказать о земляхъ, принадлежащихъ къ этимъ займкамъ. Такъ, у одного мнѣ крестьянина сгорѣла займка, состоящая изъ избы и сарая, а вмѣстѣ съ этими постройками сгорѣли и его лошади, на которыхъ въ этотъ день семья пріѣхала на работу. Крестьянинъ сильно обидѣлся и не вѣ

затѣ построить новую займку; и если нѣкоторое время снова не займетъ ее, то она перейдетъ въ распоряженіе міраши въ качествѣ вольнаго мѣста будетъ занята другимъ.

Лѣса не являются исключеніемъ изъ общаго порядка.

Одни изъ нихъ съ незапамятныхъ временъ раздѣлены по дворамъ, за которыми и закрѣпились неподвижно. Участки эти, разумѣется, неравномѣрны, рѣдко находясь въ соотношеніи съ количествомъ душъ двора. Лежатъ они преимущественно недалеко отъ деревень, чѣмъ отличаются своимъ лучшимъ качествомъ. Пользованіе ими не ограничено никакими стѣсненіями; всякій владѣлецъ можетъ безконечное число лѣтъ растить свой лѣсъ, но можетъ и до чиста его вырубить, выкорчевать и обратить подъ пашню или покось; можетъ даже просто опустошить свой участокъ безпорядочно, и никто слова ему на это не скажетъ. Тѣмъ не менѣе, крестьяне ждутъ только ревизіи, чтобы уравнивать лѣсныя участки пропорціонально количеству душъ.

Всѣ остальные лѣса, не вошедшіе въ наслѣдственные участки по отдаленности или вслѣдствіе малоцѣнности, принадлежатъ къ числу вольныхъ. Никто не станетъ возражать изъ односельчанъ, если крестьянинъ вырубить изъ этихъ лѣсовъ какія-нибудь мелочи для хозяйскихъ нуждъ — оглобли, ось, корягу для дуги или возъ прутьевъ для плетня. Во многихъ мѣстахъ до послѣдняго времени были даже такія лѣсныя дачи, изъ которыхъ каждый могъ рубить дровъ сколько ему нужно. Но въ большинствѣ случаевъ для крупныхъ порубокъ назначается время и мѣсто, и лѣсъ дѣлится пропорціонально числу душъ.

Озера и рѣчки съ каждымъ годомъ теряютъ свое значеніе для людей, вслѣдствіе постоянного уменьшенія рыбы въ нихъ, но пока онѣ все-таки должны идти въ счетъ. На обыкновенныхъ озерахъ каждый крестьянинъ имѣетъ право ловить рыбу сколько можетъ и какими угодно снастями. Дѣломъ этихъ заняты по большей части одни старики, неспособные уже къ другой работѣ.

Что касается озеръ рыбныхъ, то міръ распоряжается ими на правахъ общиннаго угодья; отдаетъ ихъ въ аренду или оставляетъ за собой, эксплуатируя собственными наличными силами всѣхъ общинниковъ. Къ сожалѣнію, мы не имѣли возможности собрать подробныхъ свѣдѣній о формахъ

этого пользованія и потому, не касаясь многихъ частныхъ скажемъ только самое общее. Вся деревня составляетъ атель, въ которой каждый имѣетъ извѣстныя обязанности при неводѣ; иногда общество разбивается на нѣсколько ателей, причемъ каждая артель имѣетъ свою организацію, а всѣ вмѣстѣ подчиняются общинѣ, которая дѣлитъ в озеро на участки, достающіеся каждой артели по жеребь. Затѣмъ уже каждая артель дѣлитъ уловъ между своими членами.

Итакъ, вотъ та типическая форма сибирскаго землевладѣнія, которая въ большинствѣ случаевъ покрываетъ собой всѣ явленія, относящіяся къ землевладѣльческимъ порядкамъ, хотя иногда цѣликомъ и не совпадаетъ съ дѣйствительнымъ ходомъ вещей, то удаляясь отъ общаго типа, приближаясь къ нему.

Разсматривая эту форму землевладѣлія, мы, прежде всего замѣчаемъ, что, за исключеніемъ сѣнокосовъ и водъ, въ роды угодій дѣлятся въ неизмѣнномъ порядкѣ на два класса: одинъ классъ заключаетъ въ себѣ постоянные, передѣляющіеся и наследственно передаваемые участки, на которыхъ община простираетъ свое верховное право только въ прошедшемъ и будущемъ, не вмѣшиваясь въ настоящее; община во всемъ составѣ своихъ членовъ помнитъ, что и когда эти земли принадлежали всѣмъ общинникамъ вообще и что онѣ всегда будутъ принадлежать міру и на будущее время. При первомъ удобномъ случаѣ, напр., при всеобщей переписи, онѣ отойдутъ къ общинѣ и передѣлятся снова сообразно съ новымъ составомъ населенія.

Другой классъ угодій заключаетъ въ себѣ земли вольныя, подлежащія праву захвата каждымъ общинникомъ, и земли, состоящія въ полномъ распоряженіи общины. Ясно, что эти два вида земель отличаются другъ отъ друга только по степени власти, какая простирается на нихъ со стороны общины. Вольныя земли—это тотъ фондъ, изъ котораго удовлетворяются вновь нарождающіяся нужды. Когда являеся необходимость прирѣзки, это совершается на счетъ вольныхъ земель; когда заимка на вольной землѣ оказываетъ нужной общинѣ, то послѣдняя отбираетъ ее; когда, наконецъ, настаетъ необходимость правильно раздѣлить вольныя земли, то онѣ и раздѣляются.

Другая черта, замѣчаемая нами въ сибирскомъ землевладѣніи и прямо вытекающая изъ первой, состоитъ въ своеобразномъ смѣшеніи наслѣдственности съ передѣломъ, частной собственности съ верховною властью міра, индивидуальности съ солидарностью. Разъ міръ надѣлитъ своего сочлена землей, онъ уже не вмѣшивается въ пользованіе ею; каждый имѣетъ право передать землю своимъ дѣтямъ безъ участія общины; каждый можетъ съ своимъ надѣломъ дѣлать что угодно — вырубить лѣсъ, засѣять пашню какимъ ему хочется родомъ хлѣба, до всего этого міру нѣтъ ни малѣйшаго дѣла. Но міръ вообще и каждый членъ его въ частности знаютъ, что, при всеобщей надобности, участки смѣшаются въ общую массу общинной земли и снова переделываются, какъ передѣляются теперь ежегодно или черезъ нѣсколько лѣтъ тѣ сѣнокосы и вольныя земли, которыми фактически и постоянно распоряжается міръ.

На основаніи всего только что сказаннаго мы уже и теперь можемъ указать тотъ путь, по которому пойдетъ сибирская община въ описываемой странѣ, и тотъ *типъ*, къ которому постепенно приближается сибирское землевладѣніе. Вольныя земли, составляющія до сихъ поръ предметъ захвата, современемъ все болѣе и болѣе будутъ переходить въ фактическій контроль общества, причемъ сѣнокосы войдутъ въ общую массу ежегодно передѣляющихся угодій, а вольныя земли обратятся въ участки, фактически принадлежащіе отдѣльнымъ домохозяевамъ, хотя съ юридическою властью общины.

Теперешніе отдѣльные участки при первомъ удобномъ случаѣ снова разверстаны по началамъ справедливости, но затѣмъ опять на долгое время перейдутъ въ отдѣльное пользованіе каждаго общинника, безъ мелочнаго вмѣшательства общины, безъ страха отчужденія ихъ въ другія руки.

Другія угодья примкнуть къ этимъ двумъ классамъ, смотря по характеру своему; такъ, лѣса, вѣроятно, послѣ новаго раздѣла опять будутъ розданы по отдѣльнымъ рукамъ на долгія времена, а выгоны останутся общиннымъ достояніемъ ежегодно.

Въ этомъ направленіи и теперь уже во многихъ обществахъ идетъ горячая борьба и возбужденіе. И если пока мы можемъ назвать нѣсколько волостей, гдѣ эта борьба кон-

чилась какими-нибудь результатами, то это потому, что крестьяне боятся путаницы, которая может произойти от общаго передѣла, не надѣются собственными силами уладить дѣла общины и ждутъ высшей, государственной санціи. Эта боязнь основательная. Въ самомъ дѣлѣ, представимъ себѣ, что въ какомъ-нибудь обществѣ начался общій пересмотръ владѣній; но одно существованіе мертвыхъ душъ внесло бы такую путаницу, что превратило бы деревню въ адъ.

Насколько сибирская форма землевладѣнія, сейчасъ описанная, способствуетъ введенію интенсивной культуры и какой мѣрѣ эта культура уже существуетъ?

Добрую половину этого вопроса мы сочли бы праздною шуткой, неумѣстной подъ перомъ уважающаго себя изслѣдователя, но, въ виду раздающихся съ нѣкоторыхъ сторонъ жалобъ на хищничество сибирскаго мужика и обвиненій его въ полной неспособности въ культурной предусмотрительности, мы отвѣтимъ на этотъ вопросъ.

Въ сибирской деревнѣ мы нашли общину глубоко сознающею свои верховныя права на землю, но не позволяющую себѣ вмѣшиваться въ отдѣльныя хозяйства своихъ сочленовъ; мы нашли духъ солидарности, своеобразно соединенный духомъ свободы для каждой индивидуальности; мы узнали, что во владѣніи своею землею каждый можетъ производить какія угодно операціи. Несомнѣнно, что такая форма очень удобна для введенія интенсивной культуры. Пользуясь своимъ участкомъ неопредѣленно долгое число лѣтъ, на протяжении по крайней мѣрѣ, двухъ поколѣній, работникъ не можетъ опасаться за цѣлость произведенныхъ улучшеній; не вступая со стороны міра мелкихъ придирокъ, постоянныхъ огрѣхеній и вмѣшательства въ его земледѣльческія работы, онъ можетъ въ полной мѣрѣ считать себя свободнымъ и въ состояніи дѣлать какіе угодно опыты на своемъ участкѣ.

Почему же въ Сибиріи нѣтъ даже признака интенсивнаго хозяйства?

Потому, что *въ этомъ до сихъ поръ не было надобности*. Когда подъ руками есть неизмѣримый просторъ полей, когда земля богата черноземомъ, когда этотъ черноземъ не истощается, тогда нелѣпо было бы требовать отъ крестьянина интенсивной культуры. Колонисты Запада, Америки и Канады, и

гѣдики Венгріи и нашей Малороссіи также практикуютъ залоговое хозяйство, распахивая новыя земли и забрасывая на много лѣтъ старыя, но ихъ никто не обвиняетъ въ хищничествѣ. Придетъ время—и это хозяйство приметъ высшую культуру, какъ приметъ ее въ свое время и русскій крестьянинъ и сибирякъ. А теперь этотъ крестьянинъ былъ бы помѣшаннымъ безумцемъ, если бы, въ виду простора, сѣлъ на маленькій клочекъ земли и ухаживалъ бы за нимъ съ ревностью французскаго крестьянина, имѣющаго два акра.

Недавно въ одной изъ деревень Ишимскаго округа, вблизи города, произошло такое событіе. Крестьяне этой деревеньки, видя, что ихъ хлѣбъ то померзаетъ, то вымокаетъ и вообще плохо родится, рѣшили общимъ голосомъ и общими силами удобрить землю. И начали они возить на поля навозъ, воли день, два, цѣлый мѣсяцъ; свозили сотни тысячъ возовъ; свезли все, что было въ деревнѣ вонючаго, и стали ждать сдѣлствій. Къ ихъ удивленію, хлѣбъ почти вовсе пересталъ родиться; на унавоженныхъ мѣстахъ выросла такая густая высокая трава, что походила на лѣсъ; трава-лѣсъ съ извѣржатою силой душила хлѣбъ, пока крестьяне не рѣшились бросить, наконецъ, это ужасное мѣсто.

Крестьяне въ этомъ случаѣ сыграли роль Иванушки; они будто слышали, что землю можно удобрять; слышали, что для этого употребляется навозъ, и рѣшили сдѣлать опытъ, упустивъ изъ виду, что земля ихъ и безъ того богата, что почвы страдаютъ отъ климатическихъ условій и что противъ климатическихъ вліяній есть другія мѣры, въ число которыхъ ни въ какомъ случаѣ навозъ не входитъ...

Хищническое истребленіе лѣсовъ безспорно, но оно зависитъ отъ другой причины, болѣе глубокой, болѣе общей и болѣе печальной, нежели отсутствіе интенсивнаго хозяйства,—мы разумѣемъ потерю сибирскихъ богатствъ безъ всякаго результата для умственнаго развитія сибирскаго крестьянина.

Но объ этомъ въ слѣдующей главѣ.

III.

Очеркъ культуры.

Рѣзкая разница между сибирякомъ и русскимъ.—Но измѣнился не сибирякъ, а русскій; сибирскій крестьянинъ есть чистый типъ русскаго чловѣка Московскаго періода.—Удовлетвореніе потребностей.—Пища ежедневное питаніе одного семейства; водка.—Одежда; заимствование «ти инородцевъ и собственныя издѣлія.—Жилыя и хозяйственныя строенія.—Земледѣльческія орудія.—Земледѣліе и его приемы.—О чемъ стоитъ заглянуть въ жизни крестьянъ.

Есть въ Самарской губерніи одинъ уголъ (въ Бузулукскомъ уѣздѣ), населенный сибиряками въ количествѣ нѣсколькихъ большихъ селъ, которыя расположились на протяженіи болѣе чѣмъ на пятьдесятъ верстъ въ діаметрѣ. Переселились они сюда изъ Челябинскаго уѣзда въ 20-хъ или 30-хъ годахъ нашего столѣтія по той причинѣ, что когда образовалась одна изъ казачьихъ линій въ Оренбургской губерніи, то имъ было предложено или выселиться, или перейти въ казаки; они выбрали первое и ушли огромною массою, въ нѣсколько тысячъ душъ, въ Самарскую губ., въ то время еще пустую. Впослѣдствіи рядомъ съ ихъ деревнями стали основываться другіе поселенцы изъ внутреннихъ губерній, но сибиряки не сливались съ ними; складъ ихъ жизни былъ настолько отличный отъ обычаевъ русскихъ крестьянъ, что они продолжали жить особнякомъ, не допуская въ свою среду русскихъ крестьянъ; отношенія между ними были если не враждебныя, то во всякомъ случаѣ брезгливыя. Со стороны сибиряковъ считалось позоромъ вступать въ бракъ съ женщиной русскихъ крестьянъ; сибиряки презирали русскихъ за ихъ нечистоту, за ихъ костюмъ, за ихъ языкъ. Въ своей очередь, русскіе крестьяне, признавая безспорно превосходство сибиряковъ въ домашней жизни, злобно называли ихъ „колдыками“ (отъ слова „колды“, вмѣсто „когда“), неумѣющими говорить настоящимъ русскимъ языкомъ. Это продолжалось до 70-хъ годовъ, когда пишущій эти строки потерялъ изъ виду этотъ уголъ, но несомнѣнно продолжается и до настоящаго времени.

Мы рассказали объ этомъ съ цѣлью констатировать несомнѣнно существующее различіе между „россійскими“ и сибирскими

бриками. Да и странно было бы, если бы эти два класса крестьянъ, проживъ почти въ полномъ разъединеніи нѣсколько сотъ лѣтъ, сохранили одинаковый типъ. Находясь подъ мнѣніемъ различныхъ условій, они въ своемъ развитіи пошли по различнымъ дорогамъ, образовавъ два различные типа людей.

Но отклонились отъ общаго типа не сибиряки, а русскіе, или, по крайней мѣрѣ, сибиряки менѣе, нежели русскіе, подверглись измѣненію. Поселившись въ Сибири, они долгое время жили отдѣленными отъ всего міра; ихъ сношенія съ русскимъ міромъ были случайны; они помнили все, что привнесли съ собой изъ Руси, но ничего новаго не могли прибавить. Тамъ, гдѣ масса инородцевъ была плотная, они много перенимали отъ дикарей, но тамъ, гдѣ туземное населеніе не было многочисленно и не охватывало кольцомъ русское населеніе, послѣднее не подвергалось вліянію даже и со стороны дикарей.

Именно такъ дѣло стояло въ описываемой странѣ. Киргизы, съ которыми долго пришлось бороться крестьянамъ, не могли оказать замѣтнаго вліянія на нихъ; крестьяне перенимали отъ своихъ дикихъ враговъ нѣкоторыя вещи, напр., одежду, утварь и прочее, въ чемъ видѣли пользу, но не сдѣлывались съ ними, не ассимилировались.

Такимъ образомъ, сохранивъ въ неизмѣнной цѣлости русскій типъ, вынесенный ими изъ прежней родины, они въ то же время не подверглись вліянію и со стороны туземныхъ обитателей новой родины. И если бы кто вздумалъ искать чистый русскій типъ Московскаго періода нашей исторіи, то наиболѣе чистый онъ нашелъ бы, вѣроятно, въ южной половинѣ Тобольской губерніи, среди Ишимской степи.

Мы не имѣемъ права дальше распространяться здѣсь объ этомъ предметѣ и потому перейдемъ прямо къ занимающему насъ вопросу о культурѣ сибирскаго крестьянина изучаемой страны. Для удобства и во избѣжаніе недоразумѣній, опредѣлимъ „культуру“ въ смыслѣ извѣстной степени матеріальнаго благосостоянія и умѣнья пользоваться этимъ благосостояніемъ для всесторонняго человѣческаго развитія.

Переселившись въ новую страну, крестьяне нашли въ ней неизмѣримый просторъ и огромныя естественныя богатства, не тронутыя человѣческою рукой. Подъ руками у нихъ были

обширные дремучіе лѣса, озера, полныя рыбой и дичью земля, которую не бороздила соха. Когда они принялись работать среди этой дѣвственной природы, у нихъ скоро развелись огромныя стада скота, распаханы были широкі пространства тучной земли, накошены горы сѣна.

Ничего не было запретнаго для поселенца. Для постройки дома онъ вырубалъ лучшія деревья лѣса; въ пищу могъ употреблять отборный хлѣбъ и неограниченное количество мяса; для производства одежды обладалъ также неограниченнымъ количествомъ шерсти, льну, пеньки. Всего былъ въ волю.

Но зато произведенія заводской и фабричной промышленности были недоступны для крестьянъ; во всей странѣ и было даже попытокъ въ этомъ родѣ; города долгое время походили на деревни. Крестьяне поневолѣ должны были измѣриваться сами, удовлетворяя всѣ свои потребности собственными измышленіями. Когда надо было приобрести дугъ, они искали въ лѣсу подходящей коряги; когда изнашивалась обувь, они шили себѣ бродни—сапоги, похожіе на мѣши изъ кожи. Часто ни за какую цѣну нельзя было достать косы и бороны нерѣдко дѣлались съ деревянными зубьями.

Изворачиваясь своимъ умомъ, крестьяне до послѣднихъ временъ всѣ нужды свои удовлетворяли сами: ткали изъ льна и шерсти одежду для себя, строили собственными руками свои дома, замѣняя стекла требушиной, сколачивали, какъ умѣли, телѣги, бороны, колеса, плуги и т. п.

Эта печать собственного измышленія лежитъ на всѣхъ вещахъ сибиряка. При этомъ мы не беремъ въ расчетъ тѣхъ крестьянъ, которые расселились по большимъ трактамъ и которые высотой своего обезпеченія и развитія подавали поводъ ко многимъ недоразумѣніямъ, но смѣшивать этихъ крестьянъ съ тѣми, которые живутъ въ глубинѣ лѣсовыхъ степей, значитъ то же, что смѣшивать въ одну кучу мужиковъ живущихъ около Петербурга, вообще съ мужиками. Изъ это въ виду, мы воздержимся отъ описанія всего исключительнаго и несущественнаго и расскажемъ только то, что наиболѣе распространено, наиболѣе обще и наиболѣе типично.

Предоставленная исключительно самой себѣ, мысль крестьянина

лины, тѣмъ не менѣе, все-таки изобрѣтала въ области матеріальныхъ улучшеній.

Это въ особенности относится къ пищѣ. Въ то время, какъ русская баба, не жившая нигдѣ въ городѣ, является положительно безпомощною сдѣлать сколько-нибудь человѣческій обѣдъ, сибирячка знаетъ множество поварскихъ секретовъ чисто-крестьянскаго произведенія. Обставленная большими средствами въ выборѣ сырыхъ матеріаловъ, служащихъ пищей, она выучилась лучше печь хлѣбъ, варить и жарить мясо и приготавливать молочные продукты. Затѣмъ явилась уже и прямая изобрѣтательность, какъ слѣдствіе обезпеченія первыхъ потребностей и большого досуга. Въ сибирской деревнѣ умѣютъ сдѣлать множество видовъ печенья, хорошо обращаются съ соленьемъ и знаютъ, какъ нѣкоторыя вещи приготавливать въ прокъ. Правда, все это умѣнье можетъ возбуждать въ городскомъ жителѣ безразличность и иронію, но это умѣнье, поставленное рядомъ съ таковыхъ же русскаго крестьянина, показываетъ несомнѣнное превосходство сибиряка: разнообразіе въ пищѣ, чистота приготвленія, питательность.

Иногда сибирскія кушанья поражаютъ невѣроятными комбинаціями; пироги съ рѣпой, рѣдка со сметаной, сладкое сусло съ хрѣномъ, чай съ лукомъ—вообще нѣчто невообразимое и непонятное. Но если мы не потеряемъ изъ виду сказанную выше отчужденность отъ всего міра сибирскаго крестьянина, то для насъ все объяснится. Несомнѣнно, что мысль женской половины здѣшняго населенія сильно работала въ этомъ направленіи, изобрѣтая невѣроятныя комбинаціи пищевыхъ средствъ, которыхъ въ сыромъ видѣ было много.

Выберемъ среднюю крестьянскую семью средней зажиточности, притомъ въ деревнѣ, удаленной отъ постороннихъ, всибирскихъ вліяній, и посмотримъ, какъ она питается.

Знакомое намъ семейство состоитъ изъ мужа и жены, сына-работника и двухъ подростковъ-дѣвочекъ. Обработываетъ она отъ шести до десяти десятинъ земли въ годъ.

Имѣетъ 4 лошади, три коровы, съ десятокъ овецъ, пару свиней и птицу—куръ и гусей.

Утромъ она завтракаетъ молокомъ, сыромъ, сметаной съ хлѣбомъ, запивая все это кирпичнымъ чаемъ безъ сахару.

Чай пьется въ неограниченномъ количествѣ, но сахаръ подается только гостямъ или въ праздники. Такой завтракъ совершается два раза въ день, утромъ рано и часовъ въ десять.

На обѣдъ подается супъ изъ мяса съ мукой или мясными. Второе блюдо состоитъ изъ жаренаго въ маслѣ картофеля.

Вечеромъ закусываютъ чаемъ съ хлѣбомъ.

На ужинъ остатки обѣда и опять молоко, сыръ, сметана съ хлѣбомъ,—все это опять запивается чаемъ.

Иногда того или другого вида изъ перечисленной пищи недостаетъ, но общій видъ питанія остается одинъ и тотъ же. Главное содержаніе этой пищи—чай, мясо, молоко, творогъ, сметана, хлѣбъ, картофель; это круглый годъ, и дня въ день, готовится. Чай вошелъ въ такое употребленіе, что самый бѣдный крестьянинъ пьетъ его цѣлый годъ, да тогда, когда у него больше ничего нѣтъ. Мясо составляетъ всеобщую потребность. Зимой крестьяне нерѣдко покупаютъ его въ городѣ, но самое распространенное мясо—это сушеное или вяленое, приготовляемое самими крестьянами; оно держится у нихъ круглый годъ, такъ что все лѣто оно употребляется. У моего семейства потребляется его 15 пуд. въ годъ, кромѣ того, еще двѣ три свиные туши нѣсколько десятковъ птицы и сушеная рыба. Последняя также сильно распространена между крестьянами и употребляется ими въ посты.

Въ посты семейство ѣстъ грибы сушеные и соленые, капусту, картофель, рыбу.

Въ праздники готовятся тѣ изобрѣтенія кухонной мысли, которыми славятся сибиряки. Въ общемъ питаніе крестьянъ обильно по количеству, разнообразно и хорошо по качеству, оставивъ далеко позади себя питаніе русскаго мужика.

Что касается водки, то о ней мы должны сказать, можетъ быть, къ огорченію тѣхъ людей, которые увѣрены въ природной склонности русскаго мужика къ безшабашному пьянству, что потребленіе ея здѣсь больше, и все-таки пьянства нѣтъ между крестьянами. Зажиточные крестьяне держатъ водку въ домѣ круглый годъ для себя, для гостей и всякаго другого случая; передъ страдой даже недостаточны покупаютъ водку цѣлыми боченками въ два-три ведра—

ми угощенія помочи. Къ праздникамъ Пасхи и Рождества жъ поголовно запасаются водкой. И все-таки пьянства по деревнямъ здѣсь нѣтъ.

Брестянинъ здѣшнихъ мѣстъ не пропьетъ шапку, не снижетъ ради водки панталонъ и не стащитъ у жены сарафана; ему онъ покупаетъ тогда, когда ему есть на что купить, и пьетъ столько, сколько можетъ, но хозяйство его не терпитъ отъ этого никакого убытка. *Потому что у нихъ нѣтъ кланья пьянства.* Даже прогулявъ нѣсколько дней, онъ встаетъ здоровымъ, работающимъ, умнымъ. Пьетъ онъ не затѣмъ, чтобы загасить болѣзненную страсть, а ради удовольствія и всегда остается душевно трезвымъ и умереннымъ.

Объ одеждѣ можно сказать немного. Мы намекнули выше, что здѣшній крестьянинъ перенялъ кое-что отъ киргизовъ. Но всего болѣе относится къ одеждѣ. Поставленные въ необходимость прясть и ткать самолично, они часто не имѣли времени, ни умѣнья сдѣлать себѣ одежду, а подъ руками были дешевые киргизскіе халаты изъ верблюжьей ткани, поэтому красивые, легкіе, необыкновенно прочные и непродираемые, и русскіе усвоили эту одежду. Когда стали распространяться издѣлія московской хлопчато-бумажной промышленности, крестьяне стали дѣлать одежду изъ нихъ, но не бросили и азіатскихъ халатовъ, какъ не бросили ткать и свое домашнее сукно. Въмѣстѣ съ ситцами, коленкорами и шерстяными матеріями, сбытъ которыхъ въ Сибири составляетъ одинъ изъ крупныхъ расчетовъ русскихъ фабрикантовъ, продолжаютъ носиться и матеріи туземныя.

Если лѣтомъ здѣшній крестьянинъ одѣвается хорошо, то зимой тепло; здѣсь трудно встрѣтить крестьянина-оборванца, подобно русскому мужику, незащищенному отъ дождя и холода. Теплые кафтаны и шубы у всякаго есть. Въ холодные дни крестьяне носятъ двѣ шубы—одну короткую внизу, другую наверху; послѣдняя въ формѣ дохи, т.-е. выворочена мѣхомъ вверхъ. Такая же шапка, такіе же рукавицы шерстью вверхъ и точно также иногда надѣваются сапоги лапчатые. Правда, это одѣяніе дѣлаетъ здѣшняго мужика похожимъ на какого-то невиданнаго звѣря, но зато тепло. Обычай этотъ—выворачивать одежду шерстью вверхъ—заимствованъ, вѣроятно, отъ сѣверныхъ инородцевъ и привился потому, что въ самомъ дѣлѣ такая одежда хорошо защища-

еть отъ сильныхъ морозовъ, для которыхъ обыкновенны тулупъ просто шутка. Сибирскія пимы (валенки) не менѣе распространены; ихъ носить старый и малый, мужчины и женщины, деревенскій и городской житель.

Трудно сказать, есть-ли какая-нибудь вещь изъ одежды которая впервые здѣсь произведена была; за исключеніемъ развѣ половиковъ изъ коровьей шерсти, да, можетъ быть нѣсколькихъ мелочей, нѣтъ ничего, что явилось бы непосредственнымъ крестьянскимъ творчествомъ.

Перейдемъ къ постройкамъ.

Странное впечатлѣніе производить внѣшній видъ здѣшней деревни. Столько было говорено про эти сибирскія хороша изъ толстыхъ бревенъ, веселыя, чистыя, прочныя, сейчасъ же рисующія довольство ихъ хозяевъ, что наблюдателемъ увидавшимъ дѣйствительно сибирскую деревню, а не трагическую, овладѣваетъ сильное разочарованіе. Сначала, въ первое время, деревня кажется даже просто жалкою. Кривые, неправильно построенные домишки, множество затѣанныхъ переулковъ, безалаберность всѣхъ построекъ, — отъ всего этого дѣлается просто тяжело. Одна улица дѣлаетъ такіе зигзаги что кажется ущельемъ; другая улица въ десять саженой длины и когда въѣдешь въ нее, то кажется что изъ нея нѣтъ выхода. Одинъ домъ выглядываетъ окнами на улицу, а стоящій рядомъ съ нимъ обратилъ окна къ полю; у одного на улицу выдвинулась стѣна, другой домохозяинъ построилъ чуть не на серединѣ улицы огородъ; надѣясь попасть въ ворота двора, попадешь въ скотскій загонъ.

И долго это впечатлѣніе не изглаживается. Разсматривая каждый домъ въ отдѣльности, сейчасъ видишь, что онъ построенъ собственными руками хозяина, при помощи только же неумѣлыхъ односельчанъ. Бревна хорошія, крыша изъ сосновой драни, но все это такъ неправильно приделано другъ къ другу, что домъ кажется нежилымъ помѣщеніемъ. Неискусная рука криво, параллелограмомъ вырубилъ косы, криво вдвинула въ нихъ дверь, забывъ въ то же время что окна должны стоять на одинаковой высотѣ; видно, что хозяину-плотнику было не до симметріи. Точно также, ставя свой дворъ, онъ рѣшительно не обращалъ вниманія, въ какую сторону онъ будетъ обращенъ — на улицу или въ поле.

ли на сосѣдній домъ, наслаждаясь, можетъ быть, неиспытанною дотогѣ свободой дѣлать, что угодно.

Но когда ближе ознакомишься съ этимъ домомъ, грубо сдѣланнымъ, и съ этимъ дворомъ, безалаберно расположеннымъ, мало-по-малу замѣчаешь и убѣждаешься въ ихъ удобствахъ. Изба всегда просторная, теплая, прочная. Дворовыя постройки мизерны, но ихъ такъ много, что онѣ способны удовлетворить всѣ нужды хозяйства, исполняя каждая свое собственное назначеніе. Амбары, кладовыя, погреба, хлѣвы, мыльные и теплые, открытые и закрытые, баня, подполье, прутникъ,—все это есть налицо. Свинью не зачѣмъ держать вмѣстѣ съ курами; коровы не будутъ поставлены въ сномъ навѣсѣ съ лошадыю; телятъ не привяжутъ къ ножкѣ стола, за которымъ обѣдаютъ хозяева, а куры не станутъ жить подъ лавкой въ домѣ; каждая вещь и каждое животное въ здѣшней деревнѣ имѣютъ свое мѣсто. И грязь съвѣсно въ домѣ, сдѣлавшіяся синонимами русской избы, не обязательны для сибирскаго дома.

И поэтому внутренность этого дома не имѣетъ ничего общего съ избой русскаго мужика. Обыкновенно домъ дѣлится на двѣ половины—горницу и кухню. Въ горницѣ чистота постоянная. Стѣны выбѣлены бѣлою глиной, известью или гѣломъ, не рѣдки шпалеры. По стѣнамъ лубочныя картины, зеркальце. Вмѣсто лавокъ, стулья, столы, табуреты, вѣшанные половиками сундуки. Печка голландская. У ко-
ло одна только маленькая избушка, но поддерживается она съ упорною чистотой. Въ бѣдномъ и богатомъ домѣ множество самодѣльщины, и эта самодѣльщина грубая, неостроумная, но зато всегда опрятная.

Говорятъ, что сибирская деревня производитъ впечатлѣніе зажиточности или даже богатства. На насъ она производитъ впечатлѣніе какъ разъ обратное, впечатлѣніе бѣдности, гордой каждою вещью, которою она обладаетъ. Въ сибирской деревнѣ все грубо, неостроумно, мизерно, плохо, но все опрятно и полезно. Крестьянская мысль, предоставленная самой себѣ въ степяхъ и лѣсахъ, не произвела ничего большаго и новаго въ матеріальной обстановкѣ, но все внешнему улучшила, вычистила, приспособила. Сибирскіе крестьяне ничего не прибавили къ тому, что они вынесли изъ Россіи, но все вынесенное сохранили въ лучшемъ видѣ.

Если такой выводъ относится къ одеждѣ, домашней обстановкѣ и отчасти къ пищѣ здѣшняго крестьянина, то онъ въ особенности приложимъ къ приѣмамъ по обработкѣ земли, къ земледѣлію и къ земледѣльческимъ орудіямъ.

Небольшіе огороды взрываютъ желѣзнымъ заступомъ. Хотя производится пароконнымъ плугомъ, который есть только дальнѣйшая степень улучшенія сохи: онъ состоитъ изъ большого лемеха, горизонтально лежащаго къ поверхности земли, и обрѣза, наклоненнаго въ лемеху подъ тупымъ угломъ. Деревянные части этого плуга обыкновенно грубо сдѣланы, иногда тяжелы безъ всякой пользы и неудобны, ось и колеса подъ плугомъ ставятся такіе, которые буквально уже никуда не годятся, — они взяты отъ разломанной телеги.

Но, несмотря на свою грубость, онъ достаточно хорошо удовлетворяетъ своему назначенію. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ земля почему-либо не подъ силу парѣ лошадей, запрягаются три и даже четыре.

Еще не такъ давно бороны повсемѣстно были деревянными, но теперь никто уже ихъ не употребляетъ, имѣя возможность поставить желѣзные зубья.

Жнутъ серпами; косятъ „литовкой“. Овсы по большей части идутъ подъ косу.

Молотятъ хлѣбъ цѣпами и лошадьми.

Рѣдко у кого нѣтъ овина. Крестьяне позволяютъ себѣ только скатать въ обращеніе только овесъ сыромолотный. Большая часть другихъ хлѣбовъ сушится передъ молотьбой. Даже климатъ не позволяетъ обходиться безъ овина; исключительна та осень, когда въ деревняхъ еще до снѣга успѣваютъ убратъ сѣ молотьбою; часто же приходится жать въ сѣгу. Понятно, что если не высушить такой хлѣбъ, то онъ сгниетъ, оставленный до весны, и не поддастся никакому способу молотьбы.

Другія хозяйственныя принадлежности — телеги, коробки, сбруи и пр. могутъ только лишній разъ засвидѣтельствовать вѣрность нашего вывода: ничего крупнаго и новаго, но и удобно и прочно, лучше, чѣмъ у русскаго мужика. Здѣсь невозможно встрѣтить хомутъ безъ шлеи и телегу, которая реветъ отъ недостатка дегтя. У большинства крестьянъ штукъ пять телегъ, столько же всякой сбруи, столько же

ей. Точно также у большинства имѣются, такъ сказать, лошазины, праздничныя телѣги и сани; на этотъ случай держатся и росписная дуга, и колокольчики.

Единственный рабочій скотъ—это лошадь. Выше мы уже назвали среднее число лошадей на каждую семью. Неистощимымъ конскимъ заводомъ для здѣшнихъ жителей служатъ табуны киргизовъ, пригоняемые изъ глубины степей на здѣшныя многочисленныя ярмарки.

Но крестьяне въ большинствѣ случаевъ употребляютъ по-прежнему киргизской лошади съ русской, какъ болѣе пригодную. Въ самомъ дѣлѣ, лошадь, получившаяся отъ этого скрещиванія, крайне вынослива, неутомима, хотя и лишена уже легкости и скакового бѣга чистой киргизской лошади; возъ въ тридцать пудовъ эта лошадь легко везетъ по шестидесяти верстѣ въ сутки и не утомляется, дѣлая на легкѣ по сту слишкомъ верстѣ въ сутки.

Другой скотъ ничѣмъ не выдается. Коровы русской породы; свиньи тоже; только овцы мѣстнаго происхожденія; вероятно, здѣшнія овцы помѣсь русской породы съ киргизской.

Небольшое отличіе можетъ представить и та совокупность работъ, которая составляетъ земледѣліе. Искусственнаго орошенія, какъ сказано выше, не можетъ быть. Только огорода и капустники передъ посадкой огурцовъ и капусты требуютъ значительныхъ приготовленій. Въ земляхъ, поросшихъ кустарниками, приходится вырубать и корчевать кусты, но чаще всего это дѣлается помощью огня, пусканіемъ "паловъ". Палы пускаютъ и въ степяхъ, и на жнивяхъ, если это не грозитъ опасностью пожара. Во все продолженіе сезона, если благопріятствуетъ погода, кругомъ видно зарево степного пожара; въ одномъ мѣстѣ видно, какъ огонь зѣвкой пробирается по полямъ высохшей травы, то почти потухая, то вспыхивая; въ другомъ вдругъ цѣлый снопъ искръ и клубы дыма поднимаются вверхъ—это огонь встрѣтилъ забытую копну сѣна или кучу валежника.

"Палы"—это все, что можетъ быть названо искусственнымъ подготовленіемъ почвы для будущей жатвы и сѣноубороса.

Но зато самая пахота земли производится съ рѣдкою тщательностью. Одинъ знающій сельскій хозяинъ говорилъ намъ,

что онъ нигдѣ въ Россіи, въ степныхъ полосахъ, не встрѣчалъ такой превосходной обработки земли подъ пашню, какую онъ увидѣлъ здѣсь. Правда, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напр., Курганскаго округа, гдѣ почва—смѣсь чернозема и песку, по своей рыхлости, требуетъ только одинъ разъ вспахать и одинъ разъ взборонить ее, обработка не требуетъ ни особенныхъ усилій, ни тщательности. Но въ прочихъ частяхъ страны пахота отнимаетъ много времени, требуетъ страшнаго напряженія силъ.

Пары приготовляются слѣдующимъ образомъ. Весной, послѣ посѣва, земля вспахивается въ первый разъ. Затѣмъ послѣ сѣнокоса пашется во второй разъ, причемъ попереки, и въ первый разъ боронуется; въ концѣ сентября земли иногда снова перепашивается и боронуется, наконецъ весной передъ посѣвомъ она еще разъ тщательно разрыхляется бороной, послѣ этого засѣвается и въ послѣдній разъ заборанивается. Вообще, два раза вспахать и три раза заборонить считается для всѣхъ обязательнымъ правиломъ. Хозяева, особенно старательные, пахутъ три раза и боронятъ четыре раза.

Надо, впрочемъ, замѣтить, что этого требуетъ здѣшняя почва, лишенная примѣси песку,—такъ какъ кварцу и полевому шпату здѣсь и взяться не откуда,—составленная изъ одного перегноя и глины; она вязкая и липкая, какъ тесто; во время засухи твердѣетъ подобно кирпичу, а въ дождливое время размокаетъ на большую глубину, превращаясь въ болото.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Курганскаго округа вводится обычай на новыхъ земляхъ и залежахъ сначала сѣять картофель, а потомъ уже хлѣбъ. Дѣлается это потому, что поле, засаженное картофелемъ, естественнымъ и необходимымъ образомъ разрыхляется, во-первыхъ, самими клубнями и, во-вторыхъ, копаніемъ при снятіи урожая. Кроме того, почва отъ картофеля удобряется ея травой. Но это нововведеніе входитъ туго и совершается безъ всякой системы.

Въ общихъ чертахъ мы показали теперь все, что характеризуетъ степень культуры. Дѣлая послѣдній выводъ, мы должны сказать, что жизнь сибирскаго крестьянина здѣшнихъ мѣстъ не оправдываетъ надеждъ и ожиданій, которые

естественно являются при первомъ же вопросѣ: куда дѣвались неизмѣримыя степи и безконечныя лѣса? Какое употребленіе сдѣлано изъ окружавшихъ его естественныхъ богатствъ?

Прошли вѣка съ начала переселенія сюда русскаго крестьянина. Онъ пользовался на новомъ мѣстѣ сравнительною свободой; подъ его руками имѣлось все, что необходимо для удовлетворенія человѣческихъ потребностей, и мы видѣли, какъ онъ воспользовался такимъ положеніемъ: свято сохранивъ обычаи, пріемы и преданія, онъ ничего не прибавилъ новаго, только количественно и качественно улучшивъ вынесенное изъ старой Руси. Типъ его культурнаго развитія неизмѣнно остался тотъ же самый, но только степень выше. Достоинства и недостатки, вынесенные изъ старой родины,—все онъ сохранилъ и все поднялъ на одну ступень выше.

На старой родинѣ было поголовное невѣжество—и крестьянинъ принесъ его на мѣсто родины, сохранивъ его здѣсь до послѣднихъ дней, въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ. Мы должны констатировать абсолютное отсутствіе грамотности въ странѣ. Существующія при волостяхъ школы только роняютъ достоинство школы. Большинство деревень имѣетъ только одного грамотнаго человѣка—сельскаго писаря. Можно то и дѣло наткнуться на слѣдующую потрясающую до глубины души картину.

Во весь опоръ скачетъ куда-то мужикъ верхомъ на лошади, безъ шапки и босикомъ, и, очевидно, крайне взволнованный. Это деревенскій староста. Ему пришла изъ города черезъ волость бумага, и онъ бросился къ своему писарю, но тотъ куда-то уѣхалъ. Староста поскакалъ въ другую деревню, но тамошній писарь лежитъ безъ сознанія, и его никакъ не могутъ три дня вытрезвить. Волненіе старосты доходитъ до послѣднихъ предѣловъ, и онъ мечется въ больномъ страхѣ. А и вся бумага-то, можетъ быть, состоитъ изъ записки засѣдателя: „Приказываю тебѣ ко дню Благовѣщенія купить и привести мнѣ щуки въ три четверти каждой“.

Но мало того, что здѣшній крестьянинъ сохранилъ всю извѣстную безпомощность Московскаго періода, но онъ еще на одну степень увеличилъ ее. Тамъ, гдѣ крестьяне живутъ

плотную массу, невѣжество приняло только болѣе яркую окраску, но тамъ, гдѣ были часты сношенія съ инородцами, умственный уровень ихъ совершенно понизился.

А, между тѣмъ, жизнь все-таки измѣняется. Явились новыя нужды, новыя задачи, требующія своего разрѣшенія, но крестьянинъ только чувствуетъ ихъ тяжесть, не умѣя взяться за нихъ.

И приписываетъ всѣ свои тяжести природѣ и тѣснотѣ, но это составить предметъ слѣдующей главы.

IV.

Очеркъ переселеній.

Прекращеніе массоваго переселенія изъ Россіи въ описываемый край.—Примѣры переселенческой деревни и переселенческой единицы; порядокъ ихъ устройства здѣсь.—Относительное количество народонаселенія края и вопросъ о тѣснотѣ, рядомъ съ вопросомъ о соответствіи новыхъ условій жизни старой культурѣ; сущность сибирской культуры.—Вмѣстѣ съ прекращеніемъ *переселеній сюда фактъ выселеній отсюда*; выселеніе единицъ и близость массоваго выселенія.

Населились эти степи и лѣса не вдругъ, конечно; шли сюда въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ массами и единицами, шли вольные и невольные переселенцы, примыкая къ тому ядру населенія, которое образовалось съ начала открытія и завоеванія. Такъ продолжалось вплоть до семидесятыхъ приблизительно годовъ, когда переселенческое движеніе нашло для себя новыя мѣста впаденія—Томскую губ. и отчасти Востокъ Сибири. Объясняется это тѣмъ, что именно около этого времени открылась для русскихъ крестьянъ большая свобода переселеній, большая свобода выбора и большая возможность руководиться основательными знаніями о будущемъ мѣстѣ поселенія. А до этого времени переселенецъ радъ былъ, если успѣвалъ выбраться безъ особенныхъ приключеній изъ Россіи, и радъ былъ остановиться въ первомъ попавшемся мѣстѣ, вѣчно опасаясь быть возвращеннымъ назадъ, на разоренное старое пепелище. Когда же переселенческое движеніе сдѣлалось болѣе регулярнымъ и болѣе или менѣе официально руководимымъ, русскіе крестьяне

узнали, что въ Сибири есть мѣста богаче Тобольской губ., мало населенныя и вольныя; туда, въ Бійскій и Барнаульскій округа и въ другіе углы Томской губ. и направилось массовое движеніе переселяющихся, минуя Курганъ, Ишимъ, Тюкалу.

Такимъ образомъ, къ названному времени въ эти округа почти совершенно прекратилось массовое переселеніе, сдѣлавшись явленіемъ для этихъ мѣстъ исключительнымъ. Когда въ Курганъ или Ишимъ останавливалась партія, то это былъ уже чистый случай, не поддававшійся предвидѣнію, и сами переселенцы являлись только частью движенія, отставшею отъ общей массы движенія, законъ котораго можно объяснить и предсказать заранѣе, какъ явленіе природы. Въ послѣдніе же, восьмидесятыя, годы, благодаря тяжелымъ вѣстнымъ бѣдствіямъ, переселенческое движеніе сюда, можно сказать, совсѣмъ прекратилось. Отъ времени до времени только приходятъ или, лучше сказать, невзначай забредаютъ сюда только маленькія группы, чаще же всего—единицы. Забредая, они приписываются къ обществу уже сложившемуся.

Въ виду такого ничтожнаго значенія переселенческихъ вопросовъ для описываемой страны, мы коснемся ихъ вскользь, не вдаваясь въ мелкія подробности, и дадимъ только самое общее понятіе о здѣшнихъ переселенцахъ.

Для примѣра возьмемъ два случая: переселенческую деревню и переселенческую единицу.

Въ Ишимскомъ округѣ есть Старо-Локтинское село, населенное сибиряками съ незапамятнаго времени. Но въ шестидесятыхъ годахъ сюда прибыла партія переселенцевъ изъ средней полосы Россіи. Сначала они помѣщены были возлѣ Локтинскаго на особомъ мѣстѣ, но это мѣсто имъ не понравилось, и они перебрались со всѣми постройками на другое мѣсто, также возлѣ Локтинскаго, но по другую сторону его. Въ первые годы между старожилами и новоселами происходили частыя недоразумѣнія изъ-за земли, тѣмъ болѣе, что подлежащія власти долго не утверждали законнымъ порядкомъ факта переселенія. Такъ, напр., старожилы, зная напередъ, что къ нимъ назначены новоселы, поспѣшили вырубить лучшія деревья въ лѣсу, жалѣя, что не могутъ вырубить всего лѣса. Но года черезъ два, черезъ три вводъ

во владѣніе земель для новоселовъ быть совершенъ, новая деревня названа Ново-Локтинской, отношенія опредѣлили между старыми и новыми крестьянами, и недоразумѣя окончились.

Тѣмъ болѣе, что пришлые люди были необыкновенно честны, мягки и добродушны. Пріѣхали они, конечно, совершенно разоренными, оборванными, голодными, но ни одинъ изъ нихъ не запятналъ себя воровствомъ; старожилы удивлялись, видя, что въ Новыхъ Локтяхъ ворота и двери не запирались, замковъ не было, и все оставалось цѣлымъ. Когда богатому крестьянину надо было работника, онъ искалъ его прежде всего, между новоселами; когда нужна была нянька, ее выбирали изъ новоселовъ; и это не потому, что тамъ въ Новыхъ Локтяхъ, было много рабочихъ рукъ, а потому, что всѣ безъ возраженія признавали ихъ честность, трудолюбивость, услужливость и—забитость...

Такимъ образомъ, отношенія между двумя деревнями установились самыя дружескія. Но онѣ долго не сливались, каждая по своему. Пришельцы ничего не перенимали отъ старожилловъ. Видъ Новыхъ Локтей для сибиряка былъ просто нелѣпостью. Избушки маленькія, кособокія, безвременно пришедшія къ землѣ; дворишки непокрытые; телѣги, сбродъ лошади,—все это рваное, разбитое, убитое. Классическая грязь на улицахъ, во дворахъ, въ домахъ; телята, пригнанные въ передній уголъ, куры подъ лавкой, поросята стѣняхъ. Полъ чистятъ скребкомъ, волосы чешутъ руками, моются и парятся въ печкахъ. Мужчины ходятъ въ обшитыхъ полушубкахъ, въ которыхъ, за множествомъ дыръ, нельзя разобрать покроя; женщины съ раскрытыми грудями, а ребята безъ всякаго одѣянія, чумазые, грязныя какъ поросята. Ко всему этому надо прибавить лапти. Новоселы упрямо носили лапти, несмотря на то, что въ Ишимскомъ округѣ совсѣмъ нѣтъ липы, не продаютъ лыка и армаркахъ. Не имѣя подъ руками лыка, ново-локтинцы таскали изъ-за лаптей положительныя страданія: они выписывали лыко изъ Тарскаго округа и даже далѣе, пока не устали, что съ такимъ же удобствомъ, только съ меньшими хлопотами, можно носить сапоги кожаные.

Въ земледѣльческихъ приѣмахъ новоселы также сначала держались того, что они вынесли изъ Россіи; иногда при

лись уваживать поля, переворачивать стно, пахать настоящим плугом залежи и сохой воздѣланные земли, но скоро бросили все это, приглядывались къ старожиламъ и, наконецъ, всѣ дѣлали такъ, какъ они.

Относительно землевладѣнія новоселы еще скорѣе усвоили сибирскіе порядки. Когда земля была утверждена за ними, они раздѣлили ее по душамъ, съ намѣреніемъ передѣлить ее, когда будетъ нужно, черезъ нѣсколько лѣтъ, но шли года, а участки не передѣлялись; не передѣлены и теперь.

Ту же систему пользованія, какая существуетъ у старожиловъ, восприняли ново-локтинцы и по отношенію къ другимъ угодымъ — лѣсамъ, лугамъ, выгонамъ и проч. Оказалось у нихъ и вольныя земли, но только ничтожное количество.

Итакъ, мы видимъ, что новая деревня не сливалась долгое время съ старою, сибирскою деревней, за исключеніемъ способовъ земледѣлія и формъ землевладѣнія, которые быстро усваивались новопришельцами. Они до послѣдняго дня сохранили въ неприкосновенности вынесенные изъ Россіи обычаи и порядки. Старики, пришедшіе уже сформировавшимися работниками, такъ и въ могилу понесли лапти, и только молодежь мало-по-малу, подъ давленіемъ окружающаго, подчинялась новымъ порядкамъ.

Теперь Ново-Локтинская имѣетъ хорошій видъ; построенная на прекрасномъ мѣстѣ, она весело глядитъ изъ-за зелени лѣсовъ, отражаясь въ зеркальной поверхности окрестныхъ озеръ. Половина домишекъ замѣнилась прочными избами, въ которыхъ введено раздѣленіе на двѣ половины; наружный видъ самихъ обитателей много перемѣнился. Молодежь, выросшую на мѣстѣ, даже трудно отличить отъ сибиряковъ, отъ которыхъ она заимствовала все, начиная отъ чисто выбѣленной печки и вплоть до языка. Впрочемъ, нужно еще цѣлое поколѣніе, чтобы окончательно сгладить послѣдніе слѣды различія между Старой и Новой Локтинской.

То же можно сказать и объ остальныхъ массовыхъ переселеніяхъ. Вновь образовавшаяся деревня туго сливается съ сибирскою деревней, дѣлая сначала опыты жить и работать по-своему. Иногда эти опыты плодотворны, — вводятся не только новыя приемы земледѣльческіе, но и самые продукты земледѣлія. Такъ, брюквы лѣтъ двадцать назадъ сибиряки

даже не видали; не имѣли понятія о цвѣтной капустѣ и о другихъ овощахъ.

Новоселы всегда что-нибудь приносятъ съ собой новосибирскую культуру новыми приемами, но въ концѣ концовъ они безъ остатка сливаются съ старожилами.

Совершенно обратныя отношенія возникаютъ между сибирскою массою и русскою единицею.

Тѣмъ или инымъ путемъ попадая въ сибирскую деревню переселенецъ на первыхъ порахъ теряется. Окруженный со всѣхъ сторонъ чуждыми порядками и чужими людьми, онъ считаетъ себя какъ бы погибшимъ и одинокимъ. Онъ начинаетъ все хвалить русское и все ругать сибирское, съ презрѣніемъ отзываясь о всей жизни „братановъ“. Но это продолжается не долго; давимый со всѣхъ сторонъ общественнымъ мнѣніемъ, онъ, самъ того не замѣчая, быстро усваиваетъ новую жизнь, пока совсѣмъ не пропадаетъ въ толпѣ, исключительная личность. Черезъ нѣсколько лѣтъ его можно признать русскимъ потому только, что онъ горячѣе, чѣмъ сами сибиряки, отстаиваетъ сибирскіе порядки.

Впрочемъ, во многихъ случаяхъ и эти единицы, попадающія въ толпѣ, оказываютъ значительное вліяніе на старожиловъ, внося новыя ремесла. Едва-ли не этимъ путемъ возникли кустарныя производства описываемой страны, и искусствомъ и знаніями единицъ, прибывающихъ сюда запада.

Переселеніе единицъ сюда очень часто; чуть не въ каждомъ большомъ обществѣ есть пришельцы, и ежегодно можно встрѣтить въ данномъ обществѣ переселенца, который пользуется почетъ о припискѣ. За количествомъ, точно такъ же, какъ и за ихъ жизнью на новомъ мѣстѣ, конечно, трудно услѣдить и почти невозможно вывести какія-нибудь общія положенія объ ихъ условіяхъ.

Но есть нѣкоторыя черты, которыя связываютъ ихъ и позволяютъ наблюдателю сдѣлать немногія общія заключенія. Мы сказали, что, приписываясь къ обществу старожиловъ переселенецъ испытываетъ сильнѣйшее давленіе со всѣхъ сторонъ. Но это относится не къ одной нравственной стороне, но и къ чисто-практической. Пользуясь одиночествомъ переселенца, его беззащитностью и неопытностью въ новомъ положеніи, старожилы со всѣхъ сторонъ обшчитываютъ

и обшриваютъ его, давая ему худшій надѣлъ по качеству и меньшій по количеству. Правомъ голоса, по незнанію истинныхъ условій, онъ долгое время не пользуется; въ расходахъ платежей не участвуетъ; вообще на міру является ничтожествомъ. Словомъ, его заѣдаютъ.

Положеніе это такъ тяжело, что многие, поживъ съ годъ, просятъ отпустить ихъ дальше, въ Томскую губернію; выплата въ право новаго переселенія, они и уходятъ.

Безъ сомнѣнія, относительно переселенцевъ, основывающихся цѣлыми поселками, давленіе со стороны старожиловъ въ такой рѣзкой формѣ невысказано, но оно есть. Обыкновенно самоходы селятся на общественныхъ земляхъ, примыкающихъ къ существующему уже старому поселенію. А въ такомъ случаѣ это послѣднее имѣетъ множество обстоятельствъ, удобныхъ для выраженія своей силы и власти надъ новоселами. Земли отрѣзываются недоброкачественными, лѣса мелкими, луга по размѣру недостаточными. Кромѣ того, часто старыя общества требуютъ извѣстной платы за пріемъ, и эта плата въ нѣкоторыхъ мѣстахъ значительная, во всякомъ случаѣ, произвольная.

Въ виду этого, въ послѣднее время, вслѣдствіе нескончаемыхъ споровъ между старожилами и новоселами, подлежащая власть вмѣшалась въ это дѣло и во многихъ мѣстахъ уже обязала сельскія общества заранее опредѣлять мѣста для будущаго поселенія самоходовъ и размѣръ надѣловъ, вслѣдствіе чего образовались опредѣленные участки, только издающіе поселенія.

Тѣмъ не менѣе, переселенческая волна минуетъ эту страну, напуганная невыгодами, которыя плохо покрываются выгодами здѣшней жизни. Сами старожилы жалуются на свою жизнь и покидаютъ свои пепелища, чтобы искать счастья дальше на востокъ.

Но, прежде чѣмъ разсматривать эти вопросы, мы займемся народонаселеніемъ трехъ округовъ.

Говоря это, мы не имѣемъ въ виду абсолютной цифры народонаселенія трехъ изслѣдуемыхъ округовъ, — цифры, которую всякій можетъ узнать изъ отчетовъ тобольскаго статистическаго комитета *). Намъ нужно выяснитъ относитель-

*) Хотя надо сознаться, что къ цифрамъ этимъ слѣдуетъ относиться съ величайшею осторожностью.

ную густоту населенія, для чего мы рѣшимъ вопросъ: отвѣтствуетъ-ли данное количество населенія существующему типу культуры?

Отъ всѣхъ крестьянъ, въ особенности Ишимскаго и Калинскаго округовъ, можно то и дѣло слышать жалобы, что ихъ жизнь стала нехорошая, что ихъ стала одождать бѣдность и что скоро, вѣроятно, многимъ придется убраться отсюда и отыскивать болѣе счастливыхъ мѣстъ. Когда начинаешь допытывать крестьянъ, чтобы узнать, кая, по ихъ мнѣнію, главная причина обѣднѣнія и бѣготы ихъ, то получаешь самые разнородные отвѣты, всѣ они сводятся къ нѣсколькимъ неизмѣннымъ положеніямъ.

Одни говорятъ, что бѣдствія ихъ происходятъ отъ перемѣны климата. Никогда прежде не бывало, чтобы сепадалъ въ іюнѣ; никто не запомнить года, когда бы побиты были іюльскимъ заморозкомъ. Правда, хлѣбъ на ихъ мѣстахъ иной разъ размокалъ, были и морозцы, и сухи, но все это не достигало той ужасной силы, какъ теперь.

Другіе просто ссылаются на тѣсноту. Прежде не было тѣсноты и всего было въ волю—лѣсовъ, хлѣба и пр., а теперь идетъ новый народъ и требуетъ своей доли. Привоевъ не увеличилось, конечно, а людей прибавилось много.

Большинство же только перечисляетъ неудобства и лишения, не объясняя ихъ, но, тѣмъ не менѣе, жалобы ихъ этого не уменьшаются.

Какъ бы то ни было, но, сводя всѣ жалобы въ одно, получимъ только перемѣну климата и тѣсноту.

Первое едва-ли можно отрицать. Истребленіе лѣсовъ, идущее безъ всякой системы въ продолженіе вѣковъ, должно было сказаться же когда-нибудь. И вотъ оно теперь случилось. Сами крестьяне признаютъ бесполезное истребленіе лѣсовъ, но только обвиняютъ въ этомъ посельщиковъ, сельщики, въ самомъ дѣлѣ, практиковали и до сихъ поръ практикуютъ слѣдующее: получивъ надѣлъ отъ общины, они не занимаютъ пахотные участки; ихъ единственнаябота вырубить лѣсъ, данный имъ, и продать; тѣ, кто не имѣютъ сами средствъ производить вырубку, продаютъ его на срубъ. Покончивъ съ лѣсомъ, они прощаются

деревней. „А глядя на нихъ, и мы рубимъ“;—говорятъ сибиряки.

Однимъ словомъ, измѣненіе климата неоспоримо и совершенно вѣрно признается самими крестьянами, хотя связь между этимъ измѣненіемъ и истребленіемъ лѣсовъ смутно ходитъ въ сознаніе жителей.

Но совсѣмъ иное отношеніе у насъ должно быть къ жалобамъ на тѣсноту. Какая можетъ быть тѣснота въ странѣ, гдѣ на душу приходится земли отъ десяти до пятидесяти десятинъ, гдѣ черноземъ глубокъ и плодороденъ, гдѣ есть болотные участки, гдѣ много лѣсовъ, луговъ, озеръ? Въ такой странѣ абсолютной тѣсноты не можетъ быть. А, между тѣмъ, нельзя не признать справедливости жалобъ крестьянъ, нельзя не видѣть, что ихъ жизнь начинается дѣлаться иногда мучительною. Въ чемъ же разгадка?

По нашему мнѣнію, загадка разрѣшается очень просто: возникаетъ новая жизнь съ новыми явленіями, и эта жизнь уже не соотвѣтствуетъ старой культурѣ, по существу московской. Надвигается новая жизнь въ видѣ новыхъ потребностей, вздорожанія предметовъ первой необходимости, увеличенія экспорта сырья, уменьшенія этого сырья на мѣстѣ, въ существующая форма культуры не можетъ вмѣстить въ себя этихъ явленій. Эта культура Московскаго періода научила человѣка фатализму во взглядѣ на природу, но не дала понятія о возможности борьбы съ ней; она научила только брать готовое въ природѣ, не научивъ создавать богатства искусствомъ; развитіе мысли и даже простой грамотности было чуждо ея основѣ.

Такимъ фаталистомъ крестьянинъ здѣшній дожилъ и до нашего времени. Онъ не хищникъ природы, а нахлѣбникъ ея, опашивающій трудомъ ея столъ. Было приволье во всемъ—и крестьянинъ жилъ хорошо, но ничего не припасалъ на черный день, а когда это приволье уменьшилось—и онъ, вмѣстѣ съ природой, сократился. Приволье и богатства природы пропали для него совершенно безслѣдно; онъ не воспользовался ими, чтобы укрѣпить себя въ борьбѣ съ природой, чтобы развить свою мысль, чтобы настроить школъ, чтобы чему-нибудь научиться; ничему онъ не научился, и съ какими мыслями онъ явился въ Сибирь, съ такими же и теперь живетъ; все время, нѣсколько вѣковъ, онъ какъ бы

спалъ, хотя во снѣ ѣлъ, а когда проснулся, увидѣлъ у не то, что было до сна; приволье уменьшилось, людей стало больше, отношенія сложились; но такъ какъ въ продолженіе сна онъ ни о чемъ не думалъ, то не могъ обдумать и того новаго, что онъ увидѣлъ.

Старинная культура научила его только одному: когда природа переставала кормить его хорошо въ данномъ мѣстѣ, онъ покидалъ его и шелъ искать новаго готоваго столу ожидающаго только нахлѣбника, который бы платилъ.

Такимъ образомъ, рѣшая вопросъ о народонаселеніи тѣснотѣ въ описываемой мѣстности, мы должны отказаться отъ мысли признать эту тѣсноту абсолютною. Многія невзгоды и тяжести здѣшняго крестьянина несомнѣнны, дѣйствительны, осязательны, но онѣ зависятъ не отъ тѣсноты, а отъ несоотвѣтствія старой крестьянской культуры съ въ нарождающимися сложными условіями. На здѣшнихъ крестьянъ надвигаются со всѣхъ сторонъ новыя явленія, а онъ не только бороться, но и понимать ихъ не можетъ, потому что его старинная культура ничему не выучила его, грамотности, несмотря на все богатство, которымъ онъ былъ окруженъ долгое время. На него, напр., надвигается железная дорога, а онъ еще не знаетъ, что она ему принесетъ хорошаго и худого; онъ знаетъ только самыя простыя ношенія нахлѣбника: работать и ѣсть.

Точно также есть у него самое наипростѣйшее средство отъ всѣхъ золъ—уходить. И когда онъ уходитъ, это значитъ, что ему плохо и что онъ ищетъ лучшаго.

Такъ и происходитъ теперь здѣсь. Начались уже высылки дальше, въ глубь Сибири. Правда, что выселенія эти приняли еще характера массовыхъ передвиженій, но переселеніе отдѣльными семействами стало явленіемъ обычнымъ. Нѣтъ той волости, изъ которой бы каждый годъ выбралось нѣсколько старожиловъ. Общій ихъ голосъ—волья не стало, жить сдѣлалось тяжело.

Прежде всего надо замѣтить, что покидаютъ свою родину не бѣдняки, а зажиточные крестьяне, которые, повидавши другъ друга, имѣютъ всѣ средства, чтобы жить хорошо; очевидно, они уходятъ не вслѣдствіе наступившей бѣдности и тяжелой изъ страха за будущее; очевидно также, что такое явленіе показываетъ только начало переселеній, которыя въ

менемъ могутъ быть названы только тогда, когда потянутся и бѣдняки.

У знакомаго мнѣ домохозяина, въ послѣдствіи ушедшаго въ Токскую губернію, былъ на старомъ мѣстѣ хорошій домъ, со всѣми хозяйственными приспособленіями, до десятка лошадей, штукъ пять рогатаго скота, овцы, свиньи и пр. Земли въ его владѣніи болѣе сорока десятинъ одной пашни; тутъ, табачный огорождъ и проч. Только лѣсу не было. Большую часть всего этого, за исключеніемъ движимости, онъ далъ на два года на аренду (продалъ, какъ здѣсь говорятъ), надеясь, что ничего не найдетъ хорошаго на новомъ мѣстѣ, а старое потеряетъ.

Впрочемъ, подобная сдѣлка совершается не изъ одной только боязни возвращенія, но и вслѣдствіе другихъ причинъ, изъ которыхъ главная состоитъ въ томъ, что при официально заявленномъ выселеніи возникаетъ множество неприятныхъ хлопотъ по выпискѣ изъ общества. Между тѣмъ, вышеупомянутая сдѣлка требуетъ только, чтобы все продать и взять паспортъ. Въ продажу (въ отдачу на аренду) миръ всегда не вмѣшивается; паспортъ выдается легко.

Устроившись на новомъ мѣстѣ, выходецъ, наконецъ, прогоняетъ общество совсѣмъ выписать его.

Уходятъ въ самыя разнообразныя мѣста; одни тянутся за общимъ движеніемъ — въ Бійскій и Барнаульскій округа, другіе идутъ въ Минусинскъ, третьи на Амуръ, четвертые въ Олекминскіе прииски. Бываетъ и такъ, что изъ одной волости Ишимскаго, напр., округа переѣзжаютъ только въ другую волость того же округа.

Это начавшееся движеніе идетъ рядомъ съ другимъ — брошеніемъ земли и поисками другихъ, неземледѣльческихъ занятий; особенная склонность существуетъ къ торговлѣ, въ особенности въ Ишимскомъ округѣ.

Иногда земля не совсѣмъ бросается, хотя и не составляетъ ея главнаго занятія; такъ дѣлаютъ тѣ крестьяне, новыя занятія которыхъ, напр., скупка и продажа скота, требуютъ присутствія хозяина въ деревнѣ.

Но подробности этихъ явленій мы разберемъ въ слѣдующей главѣ, а здѣсь въ заключеніе скажемъ только, что достаточно нѣсколькихъ неурожайныхъ годовъ, и мы увидимъ здѣсь массовое переселеніе сибиряковъ въ отдаленныя мѣста Сибири.

У.

Очеркъ отношеній крестьянъ къ землѣ.

Прежніе и теперешніе урожаи.—Равнодушіе къ землѣ: сокращеніе запашекъ.—Стремленіе бросать земледѣліе для другихъ занятій.—Торгово-промышленное настроеніе въ Курганскомъ и Ишимскомъ округахъ.—Степное хозяйство въ Тюкалинскомъ округѣ.—Сдача крестьянами своихъ земли въ аренду въ Ишимскомъ округѣ и прямая продажа ея въ постороннія руки.—Объясненіе всего явленія.

Разсказы стариковъ-старожиловъ о прежнемъ обиліи теперь могутъ показаться легендарными; размѣры тогдашнихъ урожаевъ также для настоящаго времени мало вѣроятны.

Говорятъ, что сборъ въ 200 пуд. съ яровыхъ полей считался только хорошимъ, но не высокимъ. Земля не требовала усиленнаго труда. Ростъ хлѣбовъ не останавливался заморозками. Амбары были набиты хлѣбомъ. Продавали его пудами, во избѣжаніе хлопотъ, а прямо возами, напр., по рублю за возъ. Куры клевали прямо зерна; свиней, называвшихся на убой, откармливали чистою рожью. Вся скотина пользовалась хлѣбнымъ кормомъ. Въ деревняхъ не знали, что дѣлать съ хлѣбомъ. Продавать—никто не покупаетъ, оставляя въ кладяхъ—мыши ѣдятъ; въ амбарахъ лежитъ-сгорается.

Когда наступала весна, то много было труда съ очисткою погребовъ и завозенъ отъ наваленныхъ туда овощей. Прележавъ не съѣденными, овощи выбрасывались на задворки, вывозились въ ямы или гнили на своихъ мѣстахъ. Всякій предлагалъ брать ихъ сколько угодно, но у всякаго было всего въ волю, даже черезъ силу, сверхъ всякой мѣры...

Не станемъ больше передавать эти легенды. Приволье это безслѣдно исчезло, амбары опустѣли, запашки сократились и урожаи уменьшились.

Въ какой мѣрѣ уменьшились? Это трудно, конечно, сказать, но нѣкоторыя данныя говорятъ, что уменьшеніе это не настолько сильно, какъ увѣряютъ здѣшніе старики-крестьяне. Во-первыхъ, неистощенной земли еще громадное количество во всѣхъ трехъ округахъ. Во-вторыхъ, урожаи теперь даютъ нерѣдко двѣсти пуд. съ десятины ярового. Слѣдовательно, если сократилось количество хлѣба въ странѣ

и цѣна его поднялась до цифры росіійской, то это зависитъ отъ другихъ причинъ, изъ которыхъ одну мы уже упомянули—случайность сбора хлѣбовъ, вслѣдствіе рѣзкой измѣнчивости погоды.

Назвали и другую причину жалобъ на тяжелое положеніе пѣшнихъ жителей—устарѣлость культуры здѣшняго крестьянина, который былъ до сихъ поръ добросовѣстнымъ нахлѣбникомъ, но плохимъ хозяиномъ, его фатализмъ, его первобытное невѣжество, не соотвѣтствующее уже усложнившимся обстоятельствамъ.

Наконецъ, мы указали и на тотъ первобытный выходъ изъ тяжелаго положенія, который уже и практикуется отдѣльными единицами, именно—переселеніе изъ здѣшнихъ мѣстъ на новыя, словомъ, уходъ, бѣгство.

Теперь укажемъ на другую форму этого бѣгства, неизхриμο болѣе общую и давно уже найденную здѣшнимъ крестьяниномъ. Этотъ рядъ явленій мы назвали для краткости *равнодушіемъ крестьянъ къ землѣ и стремленіемъ замѣнить ее другими занятіями*, хотя заранѣе признаемся, что это опредѣленіе настолько узко, что не совмѣщаетъ въ себѣ всѣхъ разнородныхъ и глубокихъ фактовъ, названныхъ нами этимъ именемъ. Однако, общій смыслъ его вѣренъ, и если на первыхъ порахъ оно кажется удивительнымъ, то потому только, что и самые-то факты кажутся невѣроятными.

Въ самомъ дѣлѣ, равнодушіе крестьянъ къ землѣ—явленіе, повидимому, настолько парадоксальное, что сначала трудно вѣрить ему и легко признать ошибочнымъ само наблюденіе, приведшее къ такому, повидимому, нелѣпому выводу.

Земля для крестьянъ всѣми признается, какъ нѣчто дорогое, родное и неизбежное; земля—это то дѣло, въ которое крестьянинъ вкладываетъ всю свою душу. Крестьянинъ Европейской Россіи употребляетъ нечеловѣческія усилія, чтобы добыть лишній клочекъ земли; при полномъ недостаткѣ средствъ для покупки ея, платитъ громадныя цѣны, чтобы только засѣять лишнюю полосу; и если многіе бросаютъ землю и уходятъ на заработки въ промышленные центры, то тогда лишь, когда нѣтъ уже никакихъ силъ оставаться дома, при полнѣйшемъ безземельи. Однимъ словомъ, трудно, повидимому, предположить, чтобы нашлась страна, гдѣ де-

ревня бросалась бы при достаточномъ количествѣ удобной земли.

А, между тѣмъ, это такъ, и многочисленные факты показываютъ намъ, что бросаніе земли, вопреки ея обилію, существуетъ, а рядомъ съ нимъ существуетъ и та легкость, съ которой это бросаніе совершается ради другихъ занятій.

Надо, впрочемъ, сдѣлать оговорку, что въ Курганскомъ округѣ интересующее насъ явленіе распространено меньше въ Ишимскомъ и Тюкалинскомъ округахъ, но и тамъ дальнѣйшее его движеніе въ ширь и глубь есть лишь вопросъ времени, и не будетъ большою смѣлостью сказать, что равнодушіе къ землѣ и тенденція мѣнять ее на другія занятія присущи, въ большей или меньшей степени, всѣмъ здѣшнимъ крестьянамъ.

Когда мнѣ приходилось разговаривать съ курганскими жителями, то я постоянно наталкивался на крестьянъ, которые были недовольны однимъ земледѣльческимъ трудомъ и мечтали о болѣе широкой дѣятельности. Общее между всѣми ними было то, что всѣ они желали заняться торговлей, и характеристично для большинства ихъ было то, что они убѣжденно доказывали невозможность „разжиться одной землей“.

Когда я спросилъ одного крестьянина, зачѣмъ ему хочется разжиться, то получилъ довольно неожиданный отвѣтъ: „Я бы купилъ у киргизовъ гуртъ.“ — „Ну, а продавъ этотъ гуртъ, чтобы сталъ дѣлать?“ — „Купилъ бы другой гуртъ, побольше, и разжился бы“. — „И не сталъ бы больше заниматься землей?“ — спросилъ я. — „На что же тогда мнѣ земля? Земля—это ежель для бѣднаго, а коли есть деньги, такъ я лучше тушами буду торговать бараньими“.

Сначала приписывая это торгово-промышленное настроеніе единицамъ изъ крестьянъ, я потомъ, послѣ болѣе широкихъ и точныхъ справокъ, долженъ былъ придти къ заключенію, что настроеніе это чисто-массовое.

Такъ, многіе крестьяне, привозя въ городъ продукты своего хозяйства—хлѣбъ, дрова, сѣно, молочные скоты и пр., покупаютъ, въ свою очередь, разные товары и распродаютъ ихъ по деревнямъ. Другіе, занимающіеся извозомъ, покупаютъ на свои деньги и на свой страхъ въ пунктахъ доставки другую кладь, напр., соль и распродаютъ ее на обратномъ

пути. Третьи то же продѣлываютъ съ соленою и сушеною рыбой. Я зналъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ одного крестьянина, который въ одинъ годъ скупалъ горшки, на другой годъ арбузы, на третій—свинныя туши.

Было бы ошибочно думать, что все это, вѣроятно, деревенскіе кулаки; подобная избитая кличка положительно не имѣть смысла тамъ, гдѣ, какъ въ Курганскомъ округѣ, если не всѣ крестьяне занимаются, то всѣ желаютъ заняться оборотами, не имѣющими ничего общаго съ землей. Про крестьянина, который скупаетъ и перепродаетъ, говорить здѣсь, что это мужикъ оборотливый. Всѣ вообще здѣшніе крестьяне думаютъ, что занятіе одною землею недостаточно, землепашество не удовлетворяетъ всѣхъ потребностей.

Надо сознаться, что это правда. Нужда въ деньгахъ здѣсь огромная, въ виду почтенной цифры всякаго рода повинностей, и эту цифру вмѣстѣ съ нуждами семьи нельзя покрыть одною продажей собственного хлѣба. Въ урожайные годы, когда собственно только и могутъ крестьяне продавать свой хлѣбъ, цѣна послѣдняго, вслѣдствіе отсутствія сбыта, падаетъ до баснословнаго *minimum'a*, а въ годы неурожайные поднимается, вслѣдствіе отсутствія привоза, до не менѣе баснословнаго *maximum'a*.

Такимъ образомъ, убѣжденіе, что одною землею нельзя прожить, ведетъ къ сокращенію запашекъ. Правда, въ Курганскомъ округѣ это сокращеніе стало замѣтно только въ послѣдніе годы и притомъ находится въ связи съ другими причинами; раньше, наоборотъ, мужики снимали земли у казаковъ (изъ оброчныхъ статей), не уменьшая въ то же время посѣвовъ на своей землѣ. Но вотъ въ послѣдніе годы количество запашиваемыхъ земель сразу такъ упало, что трудно предположить случайность этого факта. Сами крестьяне объясняли это одинаково въ одинъ голосъ; на вопросъ, почему мало засѣваютъ, они отвѣчаютъ, что боятся неурожая; опасно много высѣвать—иной годъ засуха уничтожитъ всходы, иной годъ морозъ ударить. Однимъ словомъ, для большинства крестьянъ посѣвъ неразлученъ съ рискомъ, и земля въ ихъ глазахъ является уже нѣкоторою игрой, изъ которой не всегда можно выйти съ выигрышемъ, въ то вре-

мя, какъ другія занятія не заключаютъ въ себѣ такой опасности.

Но, повторяемъ, въ большинствѣ курганскихъ волостей фактъ сокращенія запашекъ и пустованія земель не настолько еще сдѣлался рельефнымъ, чтобы встать на ряду явленій которыя съ перваго же взгляда бьютъ въ глаза. Несмотря на отсутствіе точныхъ данныхъ о количествѣ производимаго хлѣба, можно только сказать, основываясь на показаніяхъ самихъ крестьянъ, что въ Курганскомъ округѣ крестьяне еле-еле сводятъ концы съ концами однимъ земледѣліемъ, потому при первой возможности готовы промѣнять свое въ ковое занятіе на болѣе легкое и менѣе рискованное—барышничество.

Въ Ишимскомъ округѣ описываемое явленіе выражено уже такъ рѣзко, что не оставляетъ больше сомнѣнія.

Въ базарные дни, съ утра и до окончанія торговли, вы можете встрѣтить множество крестьянъ, которые покупаютъ муку и на слѣдующій базаръ продаютъ ее; можно даже встрѣтить и такихъ, которые въ одинъ и тотъ же день покупаютъ и продаютъ, выбиваясь изъ силъ наживать копѣйку. Часто изъ пятидесяти возовъ, привезенныхъ на базаръ только какой-нибудь десятокъ принадлежитъ продавцамъ своего продукта; остальные воза съ перекупнымъ хлѣбомъ.

Но наружность этихъ торговцевъ такова, что у васъ и хватитъ смѣлости обозвать ихъ кулаками, а достаточно не много поразспросить одного изъ нихъ, чтобы убѣдиться въ ихъ несомнѣнной жалости. Въ самомъ дѣлѣ, изъ всѣхъ хлопотъ такого торговца по покупкѣ и продажѣ выходитъ, въ концѣ-концовъ, буквально одна копѣйка. Покупая цѣлымъ возомъ пудъ муки, положимъ, по 1 р. 15 к., онъ продаетъ его въ розницу по 1 р. 16 к. Если онъ купитъ настоящій возъ то въ барышахъ останется четвертакъ. На языкѣ самихъ крестьянъ это называется—„пересыпать изъ пустого въ порожнее“.

Если прослѣдить за однимъ изъ этихъ крестьянъ въ его деревнѣ, то окажется вотъ что: надѣлъ этого крестьянина равняется десятинамъ пятидесяти, но, по разнымъ причинамъ, онъ обрабатываетъ только одну десятину ярового и двѣ десятины озимаго хлѣба. Ъсть онъ свой хлѣбъ, но не въ состояніи ни одной горсти пустить на продажу, иначе

потомъ самому придется покупать. Для удовлетворенія же другихъ потребностей (подати, сѣмена, чай и пр.) онъ ѣздитъ каждый базаръ въ городъ за двадцать верстъ и здѣсь, на площади, какъ въ биржевой залѣ, пересыпаетъ изъ пустаго въ порожнее, выручая этою биржевою игрой самое большее полтинникъ въ недѣлю. Если у него есть лишніе юны и если подвернется случай, то онъ отправляется въ Петропавловскъ и, купивъ тамъ хлѣба, продаетъ его въ Ишимѣ,—въ этомъ случаѣ его барышъ достигаетъ 5 коп. на пудъ.

Переходя отъ этихъ бѣдняковъ, живущихъ копѣйками, къ болѣе зажиточнымъ, можно подмѣтить ту же черту, только въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Жители, засѣвавшіе въ первые годы по двадцати десятинъ, теперь запахиваютъ по семи-восми; другіе, обрабатывавшіе нѣкогда пятнадцать десятинъ, теперь ограничиваются пятью. Чѣмъ же они занимаются?

Торговлей или извозомъ, а чаще всего тѣмъ и другимъ мѣстѣ. Богатые являются скупщиками деревенскихъ продуктовъ; средніе круглый годъ возятъ владѣ, мѣряя тысячеверстныя пространства; ѣдутъ въ Ирбитъ, въ Кресты, въ Омскъ, Томскъ и пр. Земля для такихъ составляетъ лишь подспорье. Иногда они владѣютъ сотней десятинъ, но обрабатываютъ изъ нихъ только какихъ-нибудь шесть-семь десятинъ, лишь бы не покупать хлѣбъ. И опять на вашъ вопросъ, почему они бросаютъ земледѣліе, получается тотъ же отвѣтъ: „не стоитъ“... „опасливо“.

Въ осенніе и весенніе мѣсяцы мужики всѣ поголовно мѣтутся въ тоскливыхъ поискахъ за деньгами, запродавая дрожа по дешевымъ цѣнамъ, съ обязательствомъ представить къ лѣтотъ или зимой, и называя эти сезоны самымъ „гиблымъ“ для себя временемъ. Ясно—почему. Распутица всѣхъ загоняетъ домой. Одни „перестаютъ пересыпать изъ пустаго въ порожнее“, другіе должны бросать торговлю, третьи лишаются извоза. Находясь въ полной зависимости отъ постороннихъ занятій, они сразу лишаются почвы подъ ногами, когда остаются дома, при одной землѣ, которая для нихъ стала ненадежнымъ источникомъ благосостоянія.

Вообще мы должны сказать, что торговля вошла въ плоть и кровь здѣшняго крестьянина,—не сбытъ своихъ земледѣль-

ческихъ продуктовъ и произведеній своего труда, а именно торговля въ полномъ значеніи этого слова, т.-е. покупка и продажа. У кого вовсе уже нѣтъ денегъ для торговыхъ операцій, такъ онъ хоть скупить десятокъ тетеревовъ и продаетъ ихъ копѣйкой дороже. На Ишимской ярмаркѣ сѣзжается перѣдко до ста тысячъ народа, и половина изъ этого числа торговцы-крестьяне. Склонность къ торговлѣ здѣшняго жителя, кажется, непреодолимая.

Мнѣ придется очень немного сказать по поводу Тюкалинскаго округа.

Не отличаясь рѣзко отъ Ишимской степи, Тюкалинскій округъ даетъ наблюдателю тѣ же явленія, то же отношеніе къ землѣ, какъ и первая. Оригинальная черта его заключается въ степномъ хозяйствѣ. Степнымъ хозяйствомъ я называю такое, въ которомъ преобладаетъ скотоводство надъ земледѣліемъ. Это преобладаніе и существуетъ во многихъ волостяхъ округа. При переѣздѣ изъ Ишима въ Тюкалу васъ поражаетъ видъ пустыни. На протяженіи сотни верстъ вы видите только безконечную степь, покрытую солончаковою растительностью, да рѣдкіе березовые перелѣски, да небо. Вашъ взоръ привыкъ къ обработаннымъ полямъ; вы до сихъ поръ ѣхали между двухъ волнующихся стѣнъ хлѣбовъ—и вдругъ все это исчезло. Мѣсто кажется совершенною пустыней, и эта пустыня производитъ тоскливое настроеніе.

Крестьяне въ этихъ волостяхъ засѣвають ничтожное количество земли, судя по ея абсолютному пространству. Все вниманіе ихъ обращено на скотоводство и сѣнокошеніе. Деньги они добываютъ отъ продажи скота, котораго держатъ много; въ рѣдкомъ домѣ не имѣется двадцати штукъ рогатаго скота.

Уровень ихъ благосостоянія очень низокъ. Въ домашней обстановкѣ они представляютъ рѣзкое исключеніе между сибиряками; они грязно живутъ, сѣверно ѣдятъ. Въ общественной жизни они вялы, непредпріимчивы. Въ умственномъ отношеніи тупы. Все это, кажется, имѣетъ близкую связь съ скотоводствомъ, которое представляетъ болѣе низкую ступень сравнительно съ земледѣліемъ. Тяжело подумать, что русскій человѣкъ въ этихъ мѣстахъ сдѣлалъ шагъ назадъ. Но едва-ли можно обвинять самихъ крестьянъ за этотъ не-

реходъ отъ земледѣлія къ пастушеству, да мы и не пишемъ ни обвиненій, ни похвалъ, а желаемъ только уяснить себѣ данное явленіе.

Безъ сомнѣнія, сначала скотоводство здѣсь было наиболѣе выгоднымъ дѣломъ, но когда жизнь усложнилась, потребовался переходъ къ другому роду жизни. А привычка была уже сдѣлана, крестьяне обратились въ хорошихъ пастуховъ и неумѣлыхъ пахарей. Теперь ихъ положеніе печальное. Требуется выходъ, а они только могутъ жаловаться на наступившую тяжелую жизнь, не умѣя, что дѣлать, и даже не понимая, что имъ собственно надо. Эти крестьяне-степняки еще больше, чѣмъ другіе здѣшніе крестьяне, зависятъ отъ природы, еще больше неумѣлы и еще въ болѣе крайней степени фаталисты.

Живя бокъ-о-бокъ съ киргизами, они всецѣло воспользовались ихъ уроками, хотя надо было бы ожидать обратнаго; здѣсь не русскій былъ учителемъ инородца, а наоборотъ: киргизъ спустилъ русскаго ниже того уровня, на которомъ послѣдній раньше стоялъ.

Возвращаясь къ интересующему насъ предмету, мы должны констатировать фактъ, что эти тюкалинскіе крестьяне съ такимъ-то глубокимъ недовѣріемъ смотрятъ на землю, боясь, кому-нибудь, приступить къ ея громаднымъ пространствамъ. Они не могутъ кормиться своимъ хлѣбомъ, они покупаютъ его. Въ этихъ мѣстахъ установился даже особый видъ торговли; прасолы, — если такъ можно назвать самыхъ обыкновенныхъ мужиковъ, — развѣзжаютъ по деревнямъ съ возами хлѣба, и крестьяне-скотоводы раскупаютъ его, кто сколько можетъ. Безъ этихъ странствующихъ хлѣботорговцевъ большинство степныхъ жителей остались бы голодными, потому что въ своей деревнѣ достать хлѣба невозможно.

Остальная часть волостей Тюкалинскаго округа ничѣмъ не отличается, напр., отъ Ишимской степи. Сѣверо-западная часть округа считается житницей Тюкалинской, ибо тамъ степь уступаетъ мѣсто лѣсамъ и чернозему; но читатель уже изъ прежнихъ страницъ этого труда убѣдился, съ какимъ недовѣріемъ и осторожностью надо относиться къ сибирскимъ „житницамъ“. Дѣло въ томъ, что, несмотря на развитое хлѣбопашество этихъ черноземныхъ волостей, крестьяне толпами уходятъ отсюда на сторонніе заработки,

и, разумеется, прежде всего, бросаются въ торговлю, или занимаются извозомъ. И когда они говорятъ, что по деревнямъ у нихъ дѣлать нечего и нечѣмъ жить, то нельзя не вѣрить ихъ словамъ.

А земли ихъ лежатъ безконечными пространствами... жители не знаютъ, что съ ними дѣлать. Культурная отсталость ихъ такъ велика, что они ходятъ по богатству, не умѣя взяться за него и занимаюсь пересыпаніемъ изъ пустаго въ порожнее—покупкой и продажей. Въ заключеніе надо замѣтить, что изъ Тюкалинскаго округа раздаются немолкаемыя и наиболѣе упорныя жалобы на наступившую тяжесть жизни.

Теперь мы перейдемъ къ изложенію своеобразнаго явленія, которое едва-ли имѣетъ подобіе себѣ въ какомъ бы то ни было другомъ уголкѣ Россіи. Мы говоримъ о продажѣ земли.

Еслибы читателю Европейской Россіи сказать, что мужики каждую весну ищутъ арендаторовъ своей земли, то онъ не повѣрилъ бы этому парадоксу, но если бы ему сказать, что многіе крестьяне отдають землю за полтинникъ десятины на 10 лѣтъ, то онъ считалъ бы себя вправѣ предположить, что надъ нимъ потѣшаются. Между тѣмъ, все это дѣйствительные, безспорные факты изъ жизни сибирскаго крестьянина описываемыхъ мѣстъ. Къ сожалѣнію, мы не имѣли возможности не только провѣрить, но и просто констатировать эти факты относительно Курганскаго и Тюкалинскаго округовъ; всѣ наши свѣдѣнія объ этомъ предметѣ касаются исключительно только Ишимскаго округа.

Ежегодно, особенно весной, можно встрѣтить, безъ особенныхъ усилій, крестьянъ ближнихъ и дальнихъ деревень, которые предлагаютъ городскимъ жителямъ купить у нихъ земли. Надо замѣтить, что на мѣстномъ языкѣ слова купить и продать землю означаютъ взять и отдать на аренду, на извѣстное число лѣтъ. Какъ мы раньше говорили и разъ, крестьяне для своихъ нуждъ засѣвають только незначительную часть своей земли, остальная часть которой лежитъ у нихъ по-пусту. Эти-то части незасѣянной земли они и предлагаютъ.

Но спросъ несравненно ниже предложенія. Поэтому арендная плата крайне ничтожна. Крестьянинъ радъ, если ему

удастся сдать землю по рублю за десятину на 10 лѣтъ. Да еще никто и не возьметъ!“—говорили мнѣ знакомые крестьяне, и говорили чистую правду. Выше мы вскользь упоминали, что въ одной деревнѣ крестьянинъ продалъ другому крестьянину землю болѣе десятины за 16 коп. Покупатель (арендаторъ) снялъ бы съ этой земли, прежде всего, сенокосъ, потомъ обратилъ бы землю въ паръ и на другой уже годъ засѣялъ бы. Такъ что земля была продана (сдана) за 16 коп. на два года. Вотъ настоящая норма цѣны земли.

Чаще всего городскіе жители даютъ по полтиннику за десятину на 10 лѣтъ. И даже послѣ этого большинство владельцев, желающихъ сдать свои земли, остается безъ арендаторовъ. Земля здѣсь никому не нужна и считается самымъ невыгоднымъ предметомъ приложенія труда.

Въ послѣдніе годы сдача крестьянами своихъ земель практиковалась на болѣе тяжелыхъ условіяхъ, даже просто нелѣпыхъ. Арендаторъ давалъ сѣмена и рублей шесть денегъ крестьянину на десятину; за это послѣдній обязанъ былъ два раза вспахать, три раза взборонить и засѣять; потомъ сжать, убрать и смолотить; потомъ привезти и ссыпать въ амбаръ арендатора.

Въ знакомой мнѣ деревнѣ одинъ отдалъ городскому жителю большую часть своего участка, заключавшаго пахотныя, сенокосныя и выгонныя земли, всего десятинъ сорокъ. Точной цѣны арендной платы я не помню, но что-то крайне дешево. Сдана земля на два года. Въ теченіе года покупщикъ, поселившійся въ деревнѣ со всѣмъ своимъ хозяйствомъ, произвелъ такой переворотъ, что крестьяне и опомниться не могли. Пріѣхавъ въ деревню, жадную къ деньгамъ, онъ немедленно скупилъ множество всякаго рода имущества. Пользуясь нуждой, купилъ домъ у хозяина земли; скупилъ всѣхъ его овецъ, а потомъ набралъ и со всей деревни овецъ; набравъ овецъ цѣлое стадо въ триста головъ, онъ принялся за коровъ и т. д. Когда стада его сдѣлались громадны, онъ сталъ нуждаться въ большомъ выгонѣ. Здѣсь крестьяне хотѣли его прижать, но почему-то не прижали, а сдали ему весь свой выгонъ въ неограниченное пользованіе за ничтожную плату. Теперь стоить только этому городскому жителю пожелать остаться въ деревнѣ надолго, для чего возобновить аренду, и вся деревня будетъ, если не куплена имъ со всѣми

жителями ея, то, во всякомъ случаѣ, закабалена на вѣчныя времена.

До сихъ поръ рѣчь идетъ объ арендованіи крестьянскихъ земель въ точномъ значеніи этого слова, но изъ разспросовъ крестьянъ оказывается, что понятія „купить“ и „продать“ землю не всегда равносильны понятіямъ арендовать и сдать на аренду. Фактически дѣло происходитъ иногда не въ сибирскомъ значеніи этихъ словъ. Замѣчается слѣдующее явленіе. Сдавъ на аренду извѣстную часть своей земли, помѣщикъ, увѣзжающій въ другое мѣсто жить или заводящій торговлю или умирающій; во всѣхъ этихъ случаяхъ онъ перестаетъ владѣть своею, отданною въ аренду, землею не только *de facto* но и *de jure*. Арендаторъ пользуется этимъ и мало-по-малу дѣлается настоящимъ собственникомъ.

Такимъ образомъ, въ деревню вторгается чуждый ей элементъ купцовъ, мѣщанъ, писарей, лицъ духовнаго звана, которые считаютъ себя внѣ власти деревенскаго міра.

Наконецъ, говорятъ, что существуетъ, хотя и не въ тѣхъ размѣрахъ, прямая, въ буквальный значеніи этого слова, продажа крестьянами своей земли деревенскимъ и городскимъ жителямъ. Я, впрочемъ, не имѣлъ возможности подтвердить этого и потому оставляю это явленіе безъ дальнѣйшаго вывода.

Говоря вообще о сдачѣ земли, мы можемъ спросить, вѣшивается-ли въ это дѣло міръ? По большей части нѣтъ, какъ и слѣдовало ожидать, судя по описанной формѣ землевладѣнія. Отдавая свою землю на аренду, крестьянинъ не спрашиваетъ разрѣшенія общества, да и общество не вмешивается, и когда среди деревни является новый владѣлецъ извѣстнаго участка—это никого не удивляетъ.

При настоящемъ равнодушіи къ землѣ и ея малоцѣнности въ глазахъ всѣхъ, какъ деревенскихъ, такъ и городскихъ жителей, передача ея изъ рукъ въ руки совершается легкою товаромъ, но не приняла еще опасныхъ формъ. Однако, это не всегда такъ будетъ. При первомъ поднятіи цѣны на землю,—а это совершится, напр., тотчасъ послѣ введенія желѣзной дороги,—явится общее стремленіе обладать землею. Теперь вышеприведенный примѣръ городского жителя, поселившагося въ деревнѣ, есть случай исключительный, но тогда, при вздорожаніи земли, можетъ легко случиться и то, что

ться такъ, что въ каждой деревнѣ будетъ свой господинъ, и если онъ не будетъ юридически пользоваться землею, и не будетъ частною собственностью, то фактически онъ будетъ помещикомъ.

Сводя въ одну сумму перечисленные факты, мы получимъ следующее. Въ то время, какъ русскій крестьянинъ жаждетъ земли, крестьянинъ здѣшній равнодушно смотритъ на нее: первый старается всѣми силами увеличить запашку, здѣшній сокращаетъ ее; одинъ платитъ непомерныя деньги, чтобы арендовать владѣльческую землю, другой беретъ ничтожную плату, чтобы только сбыть ее; русскій крестьянинъ покупаетъ землю; сибирскій готовъ продать ее.

Я назвалъ бы это своего рода крестьянскимъ абсентеизмомъ, если бы не боялся вызвать путаницу понятій, тѣмъ болѣе, что какія бы мы слова ни употребляли для опредѣленія этого явленія, самое явленіе не потеряетъ отъ этого свою загадочность и парадоксальность.

Впрочемъ, то, что мы назвали равнодушіемъ къ землѣ, объяснено нами въ предыдущихъ страницахъ, когда мы сопоставляли истребленіе лѣсовъ и измѣненія климата съ одной стороны и нахлѣбническую культуру—съ другой. Равнодушіе къ землѣ, даже тягость, доставляемая ею, неизбежно должна была явиться, когда кормилица-природа отвернулась отъ своего нахлѣбника-крестьянина и когда земля стала не такъ обильна, какъ прежде. Неизбѣжно слѣдъ за естественными бѣдствіями явилось и сокращеніе урожая.

А разъ это сокращеніе совершилось, крестьянину въ слѣдующіе годы уже невозможно стало возвратиться къ прежнимъ размѣрамъ; у него стало меньше хлѣба, меньше скота, меньше всѣхъ продуктовъ, которые доставляли ему средства. Въ самомъ дѣлѣ, часто у здѣшнихъ крестьянъ просто не остается сѣмянъ для большого посѣва, такъ что если бы некоторые изъ нихъ и не побоялись рискнуть, то силы уже не у нихъ обрабатывать много земли. И чѣмъ дальше идетъ это сокращеніе, тѣмъ меньше оставалось у крестьянина земледѣльской силы. А, между тѣмъ, расходы сибирскаго крестьянина, пожалуй, больше расходовъ русскаго. Какъ достать средствъ для погашенія ихъ?

На это даетъ отвѣтъ крестьянину массовое настроеніе, о

которомъ мы раньше упомянули, назвавъ его торговымъ мышленнымъ.

Въ Сибири, какъ извѣстно, никто ничего не производило всѣ желаютъ торговать и самое распространенное бирское явленіе среди городскихъ классовъ—это, безъ нѣнія, легкая нажива. Крестьяне не избѣгли этого массаго настроенія. Когда уменьшеніе прежняго обилія сильно замѣтно и урожаи хлѣбовъ сдѣлались хуже, то крестьяне волей-неволей стали считать земледѣліе недостаточнымъ средствомъ жизни и принялись отыскивать другія занятія, болѣе прибыльные; иные и вовсе бросили земледѣліе, чтобы всецѣло отдаться „легкой наживѣ“, которую такъ кажется, самый воздухъ пропитанъ. Торговля и всякая барышничество сдѣлались всеобщими потому еще, никакихъ другихъ промысловъ почти и не было подъ руками, какъ это будетъ показано въ слѣдующей главѣ. Но слабые остались при одной землѣ; они рады бы торговать, да неспособны или бѣдны. Но даже и они при первомъ случаѣ начинаютъ „пересыпать изъ пустого въ рожнее“, не находя другихъ занятій для себя.

Въ заключеніе мы прибавимъ, что эти крестьяне, нуждающиеся жить одною землею, всегда крайне бѣдствуютъ.

VI.

Очеркъ обрабатывающей и добывающей промышленности.

Случайность кустарныхъ ремеслъ: ихъ подражательный характеръ и искусственность.—Примѣръ Тебеняжской волости, Курганскаго округа.—Селенная кузнецами.—Оригинальные и хорошо поставленные промыслы.—Примѣръ пимокатовъ.—Общее заключеніе—какія производствъ ли бы упрочиться здѣсь.—Перечисленіе другихъ ремеслъ.—Промыслы.—Охота на рыбу и дичь.—Случайные заработки.—Жизнь типической деревни.—Общій выводъ объ источникахъ крестьянскихъ доходовъ.

Изъ прежнихъ страницъ уже видно было для читателя, какія здѣсь установились отношенія между природою и хозяйствомъ: брать лишь то, что она давала, не употребляя въ дѣло того, что называется искусствомъ.

Точно такія же отношенія установились и между сырьемъ и

производимымъ въ странѣ, и трудомъ челоѣка. При обиліи этого сырья, не было нужды въ переработкѣ его для обмѣна на другіе предметы обрабатывающей промышленности. Правда, такъ или иначе, а надо было удовлетворять эти потребности; правда также, что чуть не до послѣдняго времени доставка этихъ предметовъ фабричной и кустарной промышленности совершалась неправильно, дорого и плохо во всѣхъ отношеніяхъ, такъ что крестьянину, обладавшему лишь дешевымъ сырьемъ, по большей части не хватало средствъ для покупки ихъ. Но зато у крестьянина была пылкая культурная требовательность, позволявшая ему довольствоваться лишь суррогатами предметовъ промышленности.

При крайне невыгодномъ обмѣнѣ своего сырья на чужіе предметы фабричной и кустарной промышленности, онъ могъ ограничиваться лишь своимъ умѣньемъ. Когда ему надо было приобрести телѣгу, онъ самъ топоромъ дѣлалъ ее; при отсутствіи хомута, онъ вѣдилъ при одной сѣделкѣ безъ шлеи. Тѣмъ же топоромъ онъ вырубалъ себѣ корыто, колоду, ось, сажалку, сани, кадешку изъ пня и пр. И это дошло до послѣдняго времени. Когда теперь осматриваешь хозяйство здѣшняго крестьянина, то часто поражаешься тѣмъ, что лежатъ вещи, которыя не имѣютъ ничего общаго, являясь представителями разныхъ эпохъ челоѣческаго развитія: видишь, напр., корягу лѣсную, употребляющуюся въ качествѣ дуги, и тюменскія санки, обитыя войлочнымъ ковромъ, и въ то время, какъ дуга-коряга напоминаетъ древнихъ и радимичей, при взглядѣ на тюменскія санки и коверъ фабричный, вспоминаешь лишь недалекіе годы нынѣшняго вѣка. Рядомъ съ грубѣйшею и безобразнѣйшею поддѣлкой у каждаго крестьянина имѣется предметъ, въ которомъ чистота, вкусъ и техническая ловкость.

Это только показываетъ, что приобретение такого рода вещей шло независимо отъ воли крестьянина. Привезена какая-то вещь на ярмарку и соответствуетъ его карману — онъ приобретаетъ ее, а если она не привезена или дорога ему кажется — онъ обходился безъ нея или замѣнялъ ее произведеніями своихъ собственныхъ неумѣлыхъ рукъ.

Такимъ образомъ, существованіе всѣхъ здѣшнихъ производствъ ремесленныхъ является чистою случайностью,

такъ же, какъ и происхожденіе ихъ. Попадали случайно сюда какіе-нибудь ремесленники—и въ данной мѣстности возникла промышленность, и, если она совпадала съ потребностями этой мѣстности, то существованіе ея было упрочено. Сами же коренные жители не обладали ни техническою ловкостью, ни техническими знаніями, ни даже жаждой этихъ знаній, являющейся при извѣстной развитости мысли. Мысль здѣсь была первобытная, неповоротливая, лѣнивая.

Такимъ образомъ, на вопросъ, какія есть здѣсь ремесла, каждый крестьянинъ отвѣчаетъ, что никакихъ ремеселъ здѣсь не было и нѣтъ. Первое—несомнѣнная правда. Но что касается настоящаго времени, то кое-какія ремесла все-таки есть здѣсь, хотя въ общей экономіи страны они играютъ крайне незначительную роль. Случайно возникшія, они не представляютъ собой существеннаго содержанія народной жизни.

Здѣсь есть заводы и кустарныя производства. О первыхъ мы не станемъ говорить, не столько по ихъ ничтожному числу, сколько потому, что собственно для крестьянъ и для характеристики ихъ жизни они не имѣютъ значенія. Привлекая они городскихъ жителей и держатся не коренными рабочими силами, а пришлымъ, по большей части ссыльнымъ элементомъ. Для крестьянъ же заводы имѣютъ только то значеніе, что сейчасъ же вслѣдъ за возникновеніе ихъ является усиленный спросъ на деревенское сырье,—для винокуренныхъ заводовъ является сильный спросъ на хлѣбъ для паточныхъ на картофель, для кожевенныхъ на кожи, кромѣ того, возникаетъ усиленное истребленіе лѣсовъ, и щипъ на дрова для заводовъ.

Кустарныя производства, напротивъ, поддерживаются местными сибиряками, хотя происхожденіе ихъ не здѣшнее. По своему характеру эти производства дѣлятся на два рода: одни изъ нихъ еще влечутъ свое существованіе, не представляютъ оригинальнаго развитія мѣстной техники, а являются лишь подражательными; случайность ихъ возникновенія несомнѣнна; не подлежитъ сомнѣнію и случайность ихъ настоящаго существованія.

Другія ремесла представляютъ выраженіе мѣстной, самобытной потребности, не зависятъ отъ ввозной торговли

по своей выгодности и прочному существованію не имѣютъ ничего общаго съ первыми.

Мы рассмотримъ сначала кустарныя ремесла перваго рода.

Въ Курганскомъ округѣ есть такъ называемая Тебенъковская или Тебенякская волость. По своимъ естественнымъ условіямъ она мало чѣмъ отличается отъ всѣхъ остальныхъ волостей этого округа, развѣ только тѣмъ, что земля здѣсь менѣе плодородна, лѣса рѣже и мельче, чѣмъ въ другой какой волости. Посѣвы хлѣбовъ здѣсь меньше, сѣнокосы не даютъ такого количества, какъ въ другихъ волостяхъ. Но все это могло случиться не отъ естественныхъ недостатковъ почвы, климата и пр., а отъ того, что жители этой волости отвлекаются отъ земледѣлія другими занятіями, именно кузнцами и слесарными заведеніями, разбѣянными въ огромномъ числѣ по всей волости.

Производство желѣзныхъ и стальныхъ предметовъ въ обществѣ очень значительно; предметы эти расходятся на значительное разстояніе — въ Ялуторовскѣ, въ Курганѣ, въ Ишимѣ, въ Тюкалѣ, въ Туринскѣ и Тарѣ. Быть можетъ даже они заходятъ на крайній сѣверъ. Во всякомъ случаѣ, пожаловаться на отсутствіе сбыта для издѣлій Тебенякской волости нельзя, тѣмъ болѣе, что издѣлія эти не предметы роскоши, а предметы первой необходимости для крестьянскаго хозяйства: здѣсь дѣлаютъ кольца къ дугамъ, кольца къ кошатамъ, гвозди, шилья, петли, пробои, вилки, ножи, топоры, косари, замки, терки, шабалы и пр. Нѣтъ такого предмета первой необходимости изъ желѣза или стали, на которомъ бы тебенякскіе кустари не попробовали свое искусство. Даже складные ножи сложнаго устройства и замки можно встрѣтить иногда между ихъ издѣліями.

Но, можетъ быть, эта разносторонность и составляетъ одну изъ причинъ всѣхъ неудачъ, которыя терпятъ тебенякскіе кустари. Въ самомъ дѣлѣ, очень трудно быть совершеннымъ во всѣхъ родахъ искусства.

На каждой ярмаркѣ здѣшнихъ мѣстъ вы можете встрѣтить торговца желѣзными издѣліями, сидящаго на рогожкѣ, прямо на землѣ, безъ всякой лавки. Потому что продаетъ онъ издѣлія тебенякскихъ кустарей, которыя въ лавки желѣзныя попадаютъ только случайно. Въ самомъ дѣлѣ, несмотря на разнообразіе тебенякскихъ издѣлій, всѣ они крайне

грубы и баснословно дешевы; обыкновенный столовый нож вовсе не очищенъ и воткнуть въ ручку, которая еле обтупана топоромъ, но зато это тебенякское чудовище стоитъ двѣнадцать коп.; тутъ же рядомъ лежитъ другой ножъ, сдѣланный изъ сабли прекрасной стали, но продается онъ за пятнадцать коп. И здѣсь же нерѣдко вы встрѣтите чистую отличную вещь, которая васъ поражаетъ своею цѣной: за маленькій топорикъ, прочный и красиво сдѣланный, вы платите четвертакъ. И есть много другихъ хорошихъ издѣлій но столь же малоцѣнныхъ.

Разбирая причины этой загадки, мы узнаемъ, наконецъ что вся эта промышленность поставлена искусственно, случайно и основана на недобросовѣстности.

Прежде всего, кустари, имѣющіе кузницы, закупаютъ желѣзо не сами, а черезъ особыхъ скупщиковъ, которыхъ всего нѣсколько человекъ на всю волость. Скупщики имѣютъ сношеніе съ уральскими заводами, откуда и берутъ желѣзо. Но покупаютъ его не на наличныя, а въ кредитъ, въ силу ствiе чего цѣна желѣза, по которой они берутъ, всегда значительно выше дѣйствительной. Кромѣ того, по ограниченности кредита, скупщики еще искусственно поднимаютъ цѣну желѣза, перебивая другъ у друга благосклонность начальства уральскаго завода, пуская въ ходъ и лесть, и притискиваніе.

Раздобывъ такимъ путемъ желѣза, скупщики раздаютъ его уже кустарямъ, конечно, также въ кредитъ и съ обязательствомъ купить у кустара всѣ вещи, которыя онъ надѣлаетъ изъ даннаго желѣза. Но такъ какъ кустарь беретъ въ долгъ не только желѣзо, но и деньги впередъ, то цѣна на издѣлія зависитъ вполне отъ скупщика: какую онъ цѣну назначить, ту и долженъ взять мастеръ-кустарь.

Послѣднему, въ свою очередь, нѣтъ никакого расчета дѣлать хорошій предметъ, иначе онъ умеръ бы съ голоду. Онъ работаетъ надъ каждою вещью столько, сколько нужно для того, чтобы она походила на свое названіе, хотя онъ способенъ произвести и болѣе удовлетворительные предметы да и производить ихъ, но затѣмъ, вѣроятно, раскаивается его добросовѣстность и трудъ не окушаются, отнимая у него только кусокъ хлѣба.

Все это понимаютъ и сами тебенякскіе кустари, говоря:

что сдѣлать изъ хорошаго желѣза можно и хорошую вещь, а только надо, чтобы и самая-то вещь не теряла цѣны, а между тѣмъ, низкая цѣна для тебеньяскихъ издѣлій обязательна, въ виду подавляющей конкуренціи русскихъ, шпр., тульскихъ издѣлій. „А какъ-же я буду стоять супротивъ руссiйскаго, ежели тотъ пускаетъ свою вещь дешево? Ему можно дешевить; онъ, ежели ужъ ножъ дѣлаетъ, такъ всю жизнь и сидитъ на ножѣ, а потому скоро работаетъ. Мнѣ же на одной вещи нельзя держаться, а все надо умѣть; шругъ ножъ не пойдетъ, куда же мнѣ его дѣвать? Мнѣ съ руссiйскимъ нельзя равняться, а потому я долженъ дѣлать не кое-какъ. Какая же мнѣ выгода дѣлать честно, если я и желѣзо-то въ три дорога возьму, да и работу-то свою долженъ продать за ничто? Ножъ этотъ самый на базарѣ двѣдцать копѣекъ, а вѣдь скупщикъ мнѣ заплатитъ не двѣдцать, а пять копѣекъ, а то и три копѣйки. Вотъ тутъ и живи!“

Ясно, что все это дѣло случайно возникло, искусственно поставлено и поддерживается только благодаря традиціи, слишкомъ глубоко пустившей корни, чтобы по желавію бросить его. А было бы лучше, если бы тебеньяскіе кустари бросили свое пропащее дѣло и перешли къ другимъ занятиямъ. Теперь же они только отвлечены отъ земледѣлія, но и въ дѣлу выгодному не приставлены.

Изъ земледѣльческое хозяйство ведется плохо. Нерѣдко они покупаютъ хлѣбъ. Но заработки ихъ ничтожны. Поэтому живутъ они хуже крестьянъ не-мастеровыхъ, работа въ тяжелѣе, положеніе болѣе зависимо. Всѣ они цѣликомъ зависятъ въ рукахъ скупщиковъ, у которыхъ они забираютъ желѣзо и деньги; продавать самостоятельно свои издѣлія также не могутъ, всегда принужденные отдавать весь свой товаръ кредиторамъ. Ихъ положеніе даже несравненно хуже тѣхъ кузнецовъ-одиначекъ, которые не владѣютъ землей и которые разсѣяны тамъ и сямъ по большимъ селамъ и городамъ, потому что работа послѣднихъ заказная и находится внѣ сферы конкуренціи, а потому и оплачивается хорошо: такой кузнецъ не только за три копѣйки, но и за сорокъ копѣекъ не согласится дѣлать кухонный ножъ.

Мы привели Тебеньяскую волость, во-первыхъ, потому, что это — единственное большое кустарное гнѣздо, гдѣ цѣлая

масса людей работает надъ однимъ ремесломъ, и, во-вторыхъ затѣмъ, чтобы выяснитъ вообще положеніе здѣсь той старой промышленности, которая принуждена конкурировать съ російской. Чрезвычайная дешевизна издѣлій русскихъ ложится тяжелымъ гнетомъ на мѣстную производительность того же рода. Вообще эта производительность является безцѣльною, подражательною и искусственно поддерживающеюся. Издѣлія такого рода съ меньшими хлопотами и лучшаго качества доставляются Россіей.

Да и нѣтъ такой кустарной дѣятельности во всѣхъ трехъ округахъ; Тебенякская волость единственная въ своемъ родѣ, по крайней мѣрѣ, намъ неизвѣстно болѣе ни одной волости, села, деревни, жители которой сплошь занимались бы какимъ-нибудь ремесломъ въ подражаніе русскимъ кулямъ. Очевидно, что положеніе и условія мѣстной жизни не вызываютъ такого рода труда.

Остальные производства находятся въ рукахъ единицъ, по своей ничтожности не оказываютъ никакого вліянія на мѣстную жизнь.

Совсѣмъ въ иномъ положеніи находятся тѣ производства, которыя вызваны мѣстною потребностью, оригинальны своимъ характеру и избавлены отъ необходимости конкурировать съ болѣе развитою русскою промышленностью. Общая черта ихъ состоитъ въ томъ, что они пользуются мѣстнымъ сырьемъ и не поставлены въ необходимость вписывать его издалека. Пока предметы этихъ производствъ имѣютъ только мѣстное значеніе, но современнымъ они могутъ расходиться и на сторону.

Примѣромъ намъ послужитъ для иллюстраціи этихъ положеній пимокатство. Правда, сплошь, кажется, ни одна деревня здѣсь не занимается пимокатствомъ, но общее количество пимокатовъ такъ велико, что значеніе этого дѣла для всѣхъ трехъ округовъ неоспоримо.

Пимы или по-русски валенки самая распространенная в Сибирѣ обувь, и любовь къ пимамъ сибиряковъ нельзя назвать неосновательной. Пимы—дешевая, здоровая, прочная обувь. Никакая другая обувь не была бы такъ выгодна такъ подходяща къ здѣшнему климату, какъ пимы. Въ дни жестокихъ морозовъ ничто не могло бы спасти насъ отъ холода, а пимы удовлетворительно исполняютъ свое

значеніе; онѣ не только теплы и легки, но и дешевы, какъ никакая другая обувь.

Уже одно это могло бы дать пимокатству прочное основаніе, но кромѣ этого и все остальное является поддержкой для пимокатства.

Пимокату-кустарю незачѣмъ обращаться къ посреднику для покупки шерсти; шерсть онѣ закупаютъ самъ въ наиболѣе благопріятное время и, слѣдовательно, дешево; притомъ онѣ могутъ выбрать матеріалъ самый подходящий для себя. Затѣмъ, при сбытѣ своихъ издѣлій, онѣ не обращаются также къ посреднику-торговцу, а продаетъ свой товаръ непосредственно потребителю; если же иногда и сбываетъ его чужимъ возомъ скупщику, то беретъ выгодную для себя цѣну, потому что не находится ни въ какой зависимости отъ какого бы то ни было скупщика.

Пользуясь всѣми этими выгодами, пимокатъ-крестьянинъ работаетъ только тогда, когда свободенъ отъ земледѣльческихъ работъ, вслѣдствіе чего хозяйство его не падаетъ, а улучшается. Вообще пимокаты-крестьяне живутъ зажиточно. Несомнѣнно, что выбранное ими ремесло очень выгодно.

Жаль только, что техническіе приемы здѣшнихъ пимокатовъ крайне несовершенны. Шерсть бьютъ они традиціонною тетивой, катаютъ ее больше всего силою мускуловъ. Кромѣ того, издѣлія ихъ однообразны—однѣ пимы; другіе предметы этого рода: валенныя калоши, чесанныя валенки, ботинки, туфли—ничего этого они не умѣютъ дѣлать. При извѣстномъ усовершенствованіи своего дѣла, они могли бы сбывать свои издѣлія и въ Россію, находясь въ болѣе выгодномъ положеніи, чѣмъ производители валенныхъ вещей въ Россіи. Несмотря на разнообразіе и наружную чистоту валенныхъ издѣлій Россіи, они уступаютъ въ прочности и добротности сибирскимъ, да притомъ же чуть не въ двое дороже послѣднихъ.

Такимъ образомъ, обиліе сырого матеріала—первое условіе для того, чтобы данная промышленность получила значеніе не только для здѣшней мѣстности, но и для сбыта.

Приведемъ въ примѣръ одно производство, которое стало здѣсь развиваться недавно, но которое можетъ имѣть хорошее будущее при извѣстныхъ условіяхъ. Мы говоримъ о добываніи крахмала изъ картофеля. Когда въ Курганскомъ

округъ начали устраиваться паточные заводы, то окрестные жители принялись засѣвать большія поля картофелемъ. Иногда, за удовлетвореніемъ нуждъ заводовъ, оставались излишки въ картофелѣ, котораго дѣвать было некуда. Тогда-то кое-гдѣ и стала развиваться выработка картофельной муки.

Производство это по большей части находится въ рукахъ женщинъ, которыя на досугѣ дѣлають крахмалъ, но безъ малѣйшаго знакомства съ техническими приемами, по способамъ первобытнымъ и крайне невыгоднымъ. Картофель измельчается на простой теркѣ для хрѣна или толчется въ деревянной ступѣ, затѣмъ масса отстаивается въ водѣ; когда на днѣ сосуда образуется слой крахмала, воду сливають, а крахмалъ сушатъ просто на печкѣ, гдѣ нерѣдко множество таракановъ, отчего, при покупкѣ такой муки, всегда можно встрѣтить извѣстное количество крыльевъ, ножей и другихъ частей „прусаковъ“. Кромѣ того, мука не подвергается ни малѣйшей очисткѣ, потому что способы очистки крахмала совершенно неизвѣстны производителямъ.

Тѣмъ не менѣе, эта мѣстнаго издѣлія картофельная мука хорошо разбирается, потому что вдвое, а иногда втрое дешевле привозной. Производство, несомнѣнно, могло бы быть прочнымъ и выгоднымъ. Обиліе и дешевизна сырого матеріала—картофеля, работа на досугѣ, между дѣломъ, обеспеченный сбытъ,—все это сильно могло бы развитъ крахмалозаводство, если бы между его производителями были распространены какія-нибудь техническія знанія.

Теперь же выдѣлка крахмала производится въ мизерныхъ размѣрахъ; исключителенъ тотъ случай, когда женщина зарабатываетъ за зиму пудъ муки, продавая фунтъ за двѣнадцать коп. Чаще же всего одна работница не въ состояніи выдѣлать болѣе 15 фун. за зиму и не можетъ продать дороже восьми коп. Такъ что, если мы и говоримъ объ этомъ производствѣ, то не съ цѣлью описать то, что есть, а лишь съ намѣреніемъ показать то, что могло бы быть.

Это именно какъ разъ относится ко всѣмъ остальнымъ кустарнымъ ремесламъ здѣшнихъ мѣстъ: ихъ нѣтъ, но они могли бы быть.

Такъ, выдѣлка кожъ могла бы дать выгодный заработокъ для сотенъ народа, въ особенности въ Тюкалинскомъ окру-

тъ, богатомъ скотомъ. Тамъ и теперь есть нѣсколько десятковъ заведеній кожевенныхъ, но все это заводы, принадлежащіе городскимъ жителямъ и поддерживающіеся наемнымъ трудомъ; кромѣ того, кожи дѣлаются тамъ самаго низшаго достоинства и продаются чуть не за треть цѣны казанскихъ. Между тѣмъ, изъ всѣхъ трехъ округовъ ежегодно въ Россію отправляются миллионы кожъ въ необходимомъ мѣстѣ.

Точно также могло бы быть очень выгоднымъ дубленіе бараньихъ шкуръ, а теперь тулупы, полушубки и бараньи шапки привозятся или изъ Россіи, или изъ киргизской степи. Тѣ немногія попытки на мѣстѣ обрабатывать бараньи мѣха, которыя изрѣдка разсѣяны по тремъ округамъ, принадлежать отдѣльнымъ единицамъ и не могутъ идти въ счетъ.

Мы не упоминаемъ также о томъ, что здѣсь широко могли бы быть поставлены салотопенные, мыловаренные и свѣчные заводы, тогда какъ въ настоящее время ихъ или вовсе не существуетъ (мыловаренныхъ и свѣчныхъ), или они влечутъ жалкое существованіе, выдѣлывая продуктъ плохой и недобросовѣстно, — не упоминаемъ потому объ этомъ, что всѣ эти производства требуютъ нѣкоторыхъ машинныхъ приспособленій, тогда какъ крестьяне могутъ пустать въ ходъ только ручной трудъ, вслѣдствіе чего для густарей всѣ эти производства недоступны.

Въ концѣ-концовъ, что же у насъ остается отъ поисковъ густарной промышленности во всѣхъ трехъ округахъ? Однѣ ничто.

Какъ ни печаленъ этотъ результатъ, но мы должны согласиться съ нимъ и перейти къ описанію собственно промысловъ.

Первое, что обращаетъ наше вниманіе,—это отсутствіе массовыхъ отхожихъ промысловъ, которыми живетъ большая половина Россіи; худо это или хорошо—до насъ не касается, и мы только констатируемъ фактъ.

Изъ остальныхъ, единичныхъ промысловъ, производящихся на мѣстѣ, слѣдуетъ упомянуть о рыболовствѣ, существующемъ въ Ишимскомъ, Тюкалинскомъ и немного въ Курганскомъ округахъ. Нѣкогда этотъ промыселъ имѣлъ громадныя размѣры и доставлялъ значительныя средства для тысячъ крестьянъ; сотни возовъ развозились по ярмаркамъ,

цѣлые обозы двигались на Ишимскую ярмарку. Правда рыба здѣшняя не изъ дорогихъ—окунь, чебакъ, щука и налима, но зато количество рыбы было громадно.

Теперь этотъ промыселъ почти въ полномъ упадкѣ. Большинство Ишимскихъ озеръ, даже такія, какъ Черное, Мелѣжье, Станичное, Щучье, медленно, но постепенно уменьшаются въ размѣрахъ, а рыба въ такой мѣрѣ уменьшилась, что въ иные годы труды и хлопоты артелей не окупаются. Даже караси перевелись. „Богъ ихъ знаетъ, отчего“,— говорятъ старики изъ рыбаковъ.

Но все-таки рыбный промыселъ и до настоящаго времени даетъ заработокъ большому количеству деревень. Улов сбывается по ярмаркамъ или въ сыромъ видѣ, замороженною рыбой, или въ сушеномъ, но сушатся только караси, притомъ такъ плохо, что потребляются только мѣстными жителями. Караси распластываются и сушатся въ печкахъ, потомъ рыба вздѣвается на палки и въ такомъ видѣ идетъ въ продажу. Соли не употребляется при этомъ вовсе и потому, быть можетъ, эта оригинальная рыба отзывается мѣломъ. Но крестьяне охотно раскупаютъ ее для лѣта, когда свѣжей рыбы или мяса негдѣ достать.

Послѣ рыбнаго промысла первое мѣсто занимаетъ охота на дичь—тетеревовъ, куропатокъ, рябчиковъ и зайцевъ.

Когда-то эти промыслы давали заработокъ многимъ людямъ, но въ настоящее время все это быстро падаетъ. Тетеревовъ, куропатокъ и рябчиковъ ловятъ, конечно, и досихъ поръ еще сѣтями въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ, но дѣло въ томъ, что мѣстъ этихъ осталось немного, да и онѣ часто стоятъ пустыми; сѣти разставляются, но снимаются пустыми. Волости посерединѣ Курганскаго округа, сѣверъ Ишимскаго и граница Тюкалинскаго и Тарскаго—вотъ еще гдѣ водятся куропатки, тетерева и рябчики; въ остальныхъ мѣстностяхъ охота уже производится только ружьемъ, что для крестьянъ невыгодно.

Зайчиный промыселъ, быть можетъ, не такъ сократился, какъ предыдущій, но и его ждетъ та же участь. Заячьи шкурки во множествѣ отправляются въ Россію, а оттуда за границу, но прямо въ сыромъ видѣ, причемъ шкурка продается отъ семи до десяти коп. Когда я разсказалъ одному охотнику, что дѣлается со шкурками его зайчиковъ, какъ

онѣ отправляются въ Москву или Нижній, а оттуда въ Германію, и какъ черезъ нѣкоторое время возвращаются назадъ, но уже неузнаваемыми по виду и цѣнѣ, то охотникъ былъ пораженъ до глубины души. „И дураки же мы!—воскликнулъ онъ. — И эти дорогія шкурки идутъ опять въ Ишимъ?“—„Да, и въ Ишимъ, можетъ быть“. — „И, можетъ быть, я покупаю такую шкурку за 1 р. 20 к.“—„Можетъ быть“. — „Да, можетъ быть, и шкурка-то съ того самаго зайца, котораго я самъ поймалъ и продалъ за восемь коп.“—„Очень можетъ быть“. — „И она уже стоитъ 1 р. 20 к.“—„Да“. — „Ну, и дураки же мы!“

Здѣсь дѣлались попытки обрабатывать заячьи мѣха, но, при полнѣйшемъ незнаніи этого дѣла, кончились ничѣмъ, а подрашиванье шкурокъ, сортировка ихъ и очистка даже не приходили никому въ голову, да едва-ли когда-нибудь и придетъ, а если и придетъ такая мысль, то тогда, когда зайцы всѣ будутъ истреблены.

Мы теперь назвали всѣ промысла, имѣющіе хотя нѣкоторое значеніе въ бюджетѣ страны.

Затѣмъ, за вычетомъ всего поименованнаго, нѣтъ никакихъ ремеселъ и промысловъ, кромѣ такихъ, которые носятъ совершенно случайный характеръ. Достанетъ крестьянинъ подходящее дерево и сдѣлаетъ плугъ, который и вывезетъ на ярмарку. Другой, при случайномъ совпаденіи времени и убѣнья, сработаетъ двѣ-три телѣги и также тащить ихъ на ярмарку. Третій надосугѣ поймаетъ десятокъ зайцевъ или съ десятокъ набьетъ тетеревовъ—и то хорошо. Когда бываютъ здѣсь чисто-крестьянскія ярмарки, на которыхъ они запасаются всѣми необходимыми предметами для своего хозяйства, сбывая все лишнее, то большую долю мѣста занимаютъ именно эти случайно добытыя или выработанныя вещи, и по большей части въ одиночку, а товары въ большомъ количествѣ всѣ сплошь привозные. Одинъ крестьянинъ продаетъ одну телѣгу, другой двѣ бороны, третій одно корыто, а четвертый хомутъ. Одинъ носитъ на спинѣ по базару двѣ шкуры овечьи, а другой десятка два зайцевъ. Баба носитъ мотокъ суровыхъ нитокъ; другая баба выкрикиваетъ холстъ. И такъ далѣе. Все по мелочамъ. Эти крестьянскія ярмарки производятъ особое впечатлѣніе, быть можетъ, такое же впечатлѣніе, которое испытываетъ архе-

ологъ, когда видить сразу множество предметовъ цогаше старины. Такъ и эти ярмарки. Наблюдая ихъ, кажется, уносишься въ далекое прошлое, когда не было торговцевъ товара, и когда каждый выносилъ по одиночкѣ то, что имѣли чтобы вымѣнять свой предметъ на такой, котораго ему не достаесть. Всѣ эти мужики и бабы—каждый сидить или ходить со своимъ предметомъ, продавъ который, беретъ чужой предметъ, нужный ему.

Такимъ образомъ, главная характерная черта здѣшнихъ ремеслъ и промысловъ—это случайности и мелочи. И богатство вмѣстѣ съ разнообразіемъ этихъ мелочей и случайностей таково, что даетъ сильную окраску всему строю крестьянской жизни, доставляя въ то же время большинству извѣстный заработокъ. Рѣдкій житель здѣшней деревни носитъ въ себѣ какую-нибудь одну специальность, опредѣленный родъ занятія, но каждый занимается всѣмъ понемножку. Онъ въ одно и то же время и охотникъ, и шорникъ, и плотникъ, и торговецъ и т. п. И кромѣ всего этого онъ земледѣлецъ.

Прежде чѣмъ говорить о дѣйствительномъ и постоянномъ источникѣ жизни крестьянина этихъ мѣстъ, мы постараемся описать типическаго представителя здѣшнихъ крестьянъ который всею своею жизнью покажетъ, чѣмъ живутъ массы здѣшняго крестьянства и какъ онѣ пополняютъ недостатки своего земледѣльческаго хозяйства.

Семья состоитъ изъ отца, здороваго работника, зятя, жены его—дочери старика и двухъ малолѣтокъ. Зажиточности ихъ средняя: пять лошадей, двѣ коровы, полтора десятка овецъ, птица, домъ изъ двухъ половинъ, небольшая займиха-избушка. Обрабатываетъ семья около шести десятинъ разнаго хлѣба. Зять прежде торговалъ разными пустягами, перекупая и вывозя на базаръ свой товаръ, но проторговался и теперь изрѣдка только рѣшается пересыпать изъ пустого въ порожнее.

Въ прошломъ году урожай былъ извѣстный,—высокій, какъ стѣна, хлѣбъ не дозрѣлъ, убирался уже осенью, да и то зеленымъ еще, а часть его такъ и осталась въ полѣ, засыпанная снѣгомъ; мука изъ такого хлѣба похожа была на истолченную траву по цвѣту и на солодъ по вкусу.

Но наша семья все-таки его ѣла до самой Пасхи. Часть

его, пудовъ сорокъ, была даже продана, давъ возможность раздѣлаться съ податями. Но другія потребности нечѣмъ было удовлетворить. Семья по нѣскольку дней сидѣла безъ чая, рѣдко употребляя мясо. Къ Рождеству пришлось продать одну корову да теленка и купить кое-что на праздникъ, а остальные деньги разошлись по мелочамъ. Послѣ Рождества опять настало полное безденежье, изъ котораго совершенно неожиданно выручила рыба; на озерѣ, образовавшемся изъ старицы Ишима, сдѣланъ былъ запоръ, но запоръ этотъ вотъ уже два года ничего не давалъ; „морды“ ставились, но вынимались пустыми. И вдругъ, какъ будто нарочно, однажды, когда зять безъ всякой надежды поѣхалъ на озеро, рыбы набилось полная морды, съ пудъ окуней и чебаковъ, которые и были отвезены на базаръ. Отъ времени до времени на базаръ свозились возъ дровъ, возъ сѣна или соломъ, двѣ кринки сметаны, но скоро эти продукты изсякли и возить стало нечего. Пробовали рубить сырыя дрова въ сѣгу, но работа слишкомъ тяжелая, а цѣна сырыхъ дровъ ничтожная.

Въ серединѣ зимы вдругъ семья получила хорошій заработокъ отъ извоза, который неожиданно представился зятю, — надо было свезти нѣсколько пудовъ желѣза въ Петропавловскъ. А по прїѣздѣ туда зять на вырученные деньги купилъ муки и продалъ ее въ Ишимѣ; всего барыша получилъ рублей десять.

Но къ Пасхѣ уже и мука стала выходить, приходилось покупать и ее. Къ Пасхѣ очень туго пришлось семьѣ, надо было раздобыть хоть кирпичъ чаю, мяса хоть съ полпуда, но ни денегъ, ни сѣна, ни дровъ не было уже. Въ это время зятю пришла счастливая мысль поохотиться за зайцами; выкопалъ онъ въ лѣсу яму, прикрылъ ее прутьями, положилъ приманку (овесъ) и перекрестился, а черезъ два дня въ ямѣ сидѣло уже пять зайцевъ, которые и сбылись сейчасъ же на базарѣ; кромѣ того, отецъ вывезъ въ великую субботу возъ березовыхъ оглоблей, которыя назначались на другое, продалъ ихъ дешево, но чай и мясо куплены были. Послѣ Пасхи зять поймалъ въ запоръ десятка три шукъ, но дѣла были вообще плохи. Надо было скоро сѣять яровые, а сѣять ни у кого не было, потому что кругомъ по деревнямъ и въ городѣ можно было найти только зеленныя зерна.

Семья рѣшилась продать на ярмаркѣ одну изъ лошадей: лошадь дѣйствительно была продана, но всего за 8 руб. по случаю крайней дешевизны на лошадей. Зять каждую субботу ѣздилъ въ городъ, придумывая способъ добыть сѣмянъ, но не могъ ничего придумать. Только уже за нѣсколько дней до посѣва ему пришла счастливая мысль: за продать впередъ саженой пять дровъ, которыхъ у него не было. Какъ ни мудрено было это сдѣлать, но онъ все-таки пошелъ къ одному знакомому въ городъ, совралъ ему, что у него припасено 25 саженой, и предложилъ тому купить пять изъ нихъ, съ условіемъ только взять почти всѣ деньги впередъ. Городскому жителю выгодно было купить дрова за половинную цѣну, и онъ далъ крестьянину восемь руб. А крестьянинъ послѣ говорилъ, что, точно, онъ навралъ, но отъ этого вреда никому не выйдетъ, потому что дрова онъ полностью предоставитъ.

Послѣ посѣва зятю удалось взять хорошую кладь, а на вырученные деньги отъ извоза онъ накупилъ соли и съ ба-рышемъ продалъ ее.

Такова жизнь всѣхъ крестьянъ въ годы съ неудовлетворительнымъ урожаемъ хлѣбовъ. Что касается бѣдныхъ семей, то изъ нихъ образуется уже и теперь порядочный контингентъ наемныхъ рабочихъ, а въ Тюкалинскомъ округѣ въ каждомъ обществѣ есть крестьяне, бросающіе свои хозяйства и занимающіеся здѣсь же въ деревнѣ къ зажиточнымъ крестьянамъ. Если который-нибудь изъ этого числа обѣднѣвшихъ упорствуетъ еще на своемъ хозяйствѣ, то ведетъ жизнь, полную случайностей. Самая высшая рабочая плата зимой—это десять коп., да и такой не на всѣхъ хватаетъ; большинство колотится изъ недѣли въ недѣлю, покупая чуть не по десяти фунтовъ муки.

Въ годы урожайные, какіе были еще лѣтъ пять тому назадъ, всѣ поправляются. Зажиточные покрываютъ главные расходы продуктами хозяйства, пополняя остальные расходы тѣми случайными и разными заработками, которые еще многочисленны здѣсь; впрочемъ, всѣ эти случайности сводятся къ двумъ категоріямъ: торговлѣ (вмѣстѣ съ извозомъ) и мелкимъ промысламъ (окунь, зайцы, тетерева и пр.); это-то еще и спасаетъ страну во время кризисовъ, давая достатокъ во время нормальныхъ урожаевъ.

Итакъ, мы теперь можемъ уже окончательно рѣшить вопросъ объ источникахъ крестьянской жизни въ описываемой странѣ.

Промысловъ и ремеслъ почти нѣтъ; по крайней мѣрѣ, главная масса населенія не участвуетъ въ нихъ.

Случайныхъ заработковъ много, и каждый крестьянинъ совмѣщаетъ въ себѣ множество специальностей. Это даетъ большое подспорье, но не можетъ быть вѣрнымъ источникомъ жизни, давая лишь только особую окраску жизни здѣшнихъ крестьянъ — окраску обилія.

Остается скотоводство, лѣсопорубки и земледѣліе.

Скотоводство развито въ Тюкалинскомъ округѣ, но мы видѣли, какое вліяніе оно произвело на занимающихся имъ. Кроме того, никогда здѣсь непрекращающіяся эпизоотіи въ такой мѣрѣ опустошаютъ эту отрасль хозяйства, что выгоды отъ стада кажутся еще болѣе сомнительными.

Что касается земледѣлія, то изъ предъидущей же главы мы видѣли, какъ оно, подъ вліяніемъ разныхъ неблагопріятныхъ причинъ, сокращается до такой степени, что внушаетъ сильнѣйшія опасенія. Крестьяне здѣшніе до сихъ поръ не знали, что значить покупать хлѣбъ по пуду, не говоря уже о фунтахъ, а теперь, въ послѣдніе три-четыре года, познакомились съ этимъ перемоганіемъ изъ недѣли въ недѣлю. Главный источникъ благосостоянія края началъ если не изсякать, то засариваться, и на глазахъ крестьянъ начинается непонятный для нихъ переворотъ въ области всей ихъ экономіи; пошатнулись и колеблются тѣ устои, на которыхъ до сихъ поръ построено было ихъ благосостояніе, безпримѣрное вообще въ жизни русскаго крестьянина. Хлѣба гибнутъ, сохнутъ, заливаются; озера пересыхаютъ; лѣса гниютъ, какъ дрова въ зажженномъ кострѣ. Вся природа, кажется, съ гнѣвомъ отвернулась отъ своихъ любимцевъ, отказавшись кормить ихъ.

Трудно, повидимому, понять то обстоятельство, что въ послѣдніе годы часто у крестьянъ оставался единственный источникъ жизни — продажа дровъ, но, между тѣмъ, это засвидѣтельствовали сами крестьяне. Когда здѣсь было введено лѣсное хозяйство, потребовавшее отъ крестьянъ лѣсопорубочныхъ билетовъ и преслѣдовавшее за самовольныя порубки, то по деревнямъ начало распространяться страшное волне-

ніе. „Какъ же намъ жить?—спрашивали горячо крестьяне. У насъ теперь дрова одно спасеніе, что же мы безъ нихъ будемъ дѣлать? Надо купить хлѣба, а дровъ нельзя продать. Не знаемъ, ужъ не знаемъ, что и будетъ дальше, и какъ мы станемъ жить“. И величайшая тоска слышалась въ этихъ словахъ.

VII.

Очеркъ будущаго.

Будущее землевладѣніе.—Переживаемый въ настоящее время кризисъ во всей жизни.—Кризисъ этотъ окончится только съ измѣненіемъ системы культуры, но мѣстному крестьянству онъ тяжело достанется.

Желая сдѣлать очеркъ будущаго, которое ожидаетъ крестьянъ, мы будемъ говорить лишь на основаніи реальной дѣйствительности, доступной каждому для наблюденія и проверкѣ. При этомъ мы беремъ не отдаленное будущее, по поводу котораго пришлось бы дѣлать рискованныя предсказанія, то будущее, которое уже стучится въ дверь.

Наиболѣе интересный предметъ при изученіи народной жизни—это, конечно, форма землевладѣнія. Но въ своемъ мѣстѣ (II-я гл.) была уже обрисована форма сибирскаго землевладѣнія не только въ настоящемъ, но и для ближайшаго будущаго. Теперь остается сдѣлать только окончательный итогъ.

Верховное право общины надъ всею землею уже теперь считается каждымъ крестьяниномъ неоспоримымъ фактомъ, несмотря на существованіе вольныхъ земель, на которыхъ каждый можетъ свободно работать по своимъ силамъ, смотря также на существованіе займокъ, нѣкогда захваченныхъ и удерживаемыхъ благодаря уваженію міра къ дачѣ владѣнія. Но вольныя земли и займки отживаютъ свои дни. Въ самое непродолжительное время, всего на протяжении нѣсколькихъ лѣтъ отъ насъ, онѣ будутъ передѣлены, такимъ образомъ, въ фактическое распоряженіе общины.

Но разъ всѣ земли будутъ раздѣлены, міръ перестанетъ вмѣшиваться во владѣніе cadaго; каждый членъ общины, получивъ свою долю земли, будетъ владѣть ею неограни-

чающее число дѣлъ, пользуясь полнѣйшею свободою дѣлать со своими землями что ему угодно, и это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока не возникнетъ новаго неравенства въ участкахъ. Но этотъ новый передѣлъ будетъ произведенъ только при наступленіи крайне необходимой потребности въ немъ, а до тѣхъ поръ каждый будетъ чувствовать себя полнымъ хозяиномъ своихъ участковъ, свободно распоряжаясь ими при жизни, свободно передавая ихъ своимъ дѣтямъ.

Такую форму владѣнія мы называли наслѣдственной, и не знаемъ, чтобы это опредѣленіе послѣ всего сказаннаго могло вызвать недоразумѣнія. Этотъ терминъ нами употребленъ затѣмъ, чтобы рѣзче отбѣнить разницу между сибирскою общиною, дающею полную свободу своему члену, и русской общиной, наблюдающей за каждымъ ударомъ плуга и за каждымъ движеніемъ сохи своего общинника. Но касается верховнаго права общины надъ всѣмъ своимъ земельнымъ имуществомъ, то оно одинаково сильно какъ въ той, такъ и въ другой общинѣ, хотя въ первой, сибирской, оно проявляется крайне мягко, а въ послѣдней гораздо дѣлается тяжелымъ гнетомъ для многихъ общинниковъ.

Идя въ виду специальную работу о сибирской общинѣ, мы ограничимся здѣсь только этими общими положеніями, а теперь упомянемъ только объ одной частности въ жизни общины.

Большинство крестьянъ и до сихъ поръ не понимаетъ возможности собственными средствами отдѣлаться отъ мертвыхъ душъ, чтобы собственною властью произвести передѣлъ сообразно съ наличнымъ числомъ рабочихъ силъ. Когда крестьяне говорятъ, чтобы они просто бросили мертвыя души, забыли объ ихъ существованіи, то они никакъ не могутъ только взять этого. И только совѣты и разъясненія нолычъ чиновъ, приставленныхъ къ нимъ, начинаютъ дѣйствовать, — крестьяне начинаютъ понимать, что для казенной палаты рѣшительно все равно, какимъ образомъ крестьяне раскладываютъ между собой подати, по десятой ревизіи, т. е. съ включеніемъ мертвыхъ душъ, или же по наличнымъ рабочимъ силамъ; она даетъ только міру валовую цифру

сборовъ, а крестьяне этого міра могутъ производить у какую угодно раскладку между собой.

Усвоивъ это, теперь крестьяне въ нѣкоторыхъ волостяхъ бросаютъ уже души мертвыхъ и передѣляютъ землю, соглашаясь съ наличными рабочими силами. При этомъ нѣкоторые общества рѣшили включить въ число плательщиковъ и владѣльцевъ десятилѣтокъ и даже пятилѣтокъ, заработавъ такимъ образомъ, опредѣливъ сроки будущаго передѣла черезъ 10 лѣтъ и черезъ 5 лѣтъ. Но надо замѣтить, что черезъ такой короткій срокъ, вѣроятно, не произойдетъ передѣла общаго, а лишь частныя прирѣзки. Сибирская община слишкомъ уважаетъ свободу каждаго, чтобы черезъ такія короткіе сроки производить общій переполюхъ.

Несомнѣнно, что сибирскую общину ожидаетъ хорошее будущее.

Только теперь здѣшняя деревня переживаетъ страшный кризисъ. Культура, которую мы называли нахлѣбничествомъ, устарѣла уже и не соответствуетъ болѣе сложнымъ условіямъ жизни, надвинувшимся на сибиряка. Культура перешла по преданію къ сибиряку и въ продолженіи сотенъ лѣтъ только улучшилась въ данномъ направленіи. Ея главная основа—фатализмъ человѣка въ отношеніяхъ къ природѣ и неуваженіе къ силамъ человѣка. Крестьяне, перелившіеся сюда изъ Московской Руси, окружены были плодородною почвой, неизмѣримыми лѣсами, безконечными полями; они окружены были горами хлѣба, безчисленными стадами скота и всѣмъ тѣмъ, что даетъ крестьянину достатокъ и счастье, но это богатство безслѣдно пропало отъ здѣшняго человѣка, оно не воплотилось ни въ искусство, ни въ знанія, и мысль крестьянина осталась такою же слепой, безпомощною, неуклюжею, какою она была три столѣтія назадъ. Вотъ что мы называемъ нахлѣбничествомъ. Это трудъ человѣка, который изо дня въ день работаетъ въ то же время изо дня въ день пользуется природой безъ всякой перемѣны и безъ всякой мысли о будущемъ.

Иллюстраціей къ этому можетъ послужить памятный годъ въ Курганскомъ округѣ. До этого года крестьяне не вѣрили въ возможность какого-нибудь кризиса въ хозяйствѣ. „Богъ милостивъ!“—говорилъ каждый, и тогда послѣ упорнаго желанія со стороны посторонняго человѣка

доказать непрочность здѣшняго хозяйства, крестьянинъ говорилъ: „Воля Божья! Что Богъ пошлетъ, то и будетъ“. Нѣсколькими вѣками отдыха крестьяне не воспользовались, чтобы приготовиться къ жизненной борьбѣ, и не запаслись никакими орудіями для этой борьбы.

И вотъ насталъ 82-й годъ. Травы посохли, хлѣба сгорѣли. Скотъ издыхалъ, люди голодали. Ударъ былъ такъ неожиданный, что крестьяне растерялись. Рѣзали камыши, рубили ихъ и кормили этими острыми спицами скотъ, и скотъ еще быстрее сталъ падать съ израненнымъ кишечнымъ каналомъ. А люди Богъ въстѣ чѣмъ питались; они продали же, что у нихъ было, лишь бы добыть хлѣбъ. И округъ, считавшійся житницей, *вдругъ* превратился въ огромное сборище нищихъ, а вся страна походила на мѣсто, гдѣ прошла война.

Какое же будущее трехъ округовъ, этой огромной „житницы“ Западной Сибири?

Лѣса вырублены, озера пересыхаютъ.

Суровый, но ровный климатъ сдѣлался вѣроломнымъ.

Для страны настало время періодическихъ кризисовъ, болѣе или менѣе сильныхъ, болѣе или менѣе продолжительныхъ. Засуха, ливни, морозы въ іюль—это теперь уже неотъемлемая принадлежность здѣшнихъ мѣстъ. Чѣмъ кончатся эти кризисы—трудно сказать, но кончатся они только тогда, когда фаталистическая культура уступить мѣсто *другой*, которая научить человека пользоваться всѣми его силами для удовлетворенія большинства его потребностей, хотя бы вопреки суровой природѣ.

Но пока кризисы будутъ продолжать свое дѣло.

Нѣкоторые явленія здѣшней жизни уже такъ похожи на общерусскія, что ихъ трудно обособить въ особую группу съ своими собственными причинами. Такъ, въ нѣкоторыхъ деревняхъ отдѣльные домохозяева стали отказываться отъ своихъ надѣловъ, бросая ихъ на плечи міра и прекращая отбывать повинности. Контингентъ безхозяйственныхъ работниковъ изъ старожиловъ сильно увеличился за послѣдніе годы и еще быстрее будетъ увеличиваться на будущее время, но такъ какъ бросающіе хозяйство не имѣютъ выгодъ русскаго собрата, который имѣетъ возможность пропитываться отхожими промыслами, то они остаются въ деревнѣ, навнѣ-

маясь въ работники къ зажиточнымъ крестьянамъ; дру-
идутъ въ города, и безъ того переполненные рабочими руками
изъ ссыльныхъ, для которыхъ, за неимѣніемъ мѣстъ, са-
распространенное занятіе--воровство.

Старожиламъ бѣднякамъ, такимъ образомъ, некуда дѣ-
по деревнямъ слишкомъ мало требуется наемныхъ рабочи-
а въ городахъ всѣ работы заняты ссыльными. Лишени-
мѣста всюду, безхозяйственные крестьяне отданы на во-
случайностей и занимаются лишь тѣмъ, что внезапно и
вернется подъ руку. И въ недалекомъ будущемъ здѣсь
товится образоваться тотъ странный, но всѣмъ знакомъ
въ Россіи и многочисленный классъ людей, источникъ жизни
котораго чистая загадка, ибо никакимъ экономическимъ об-
щеніемъ нельзя доказать, чѣмъ эти люди-птицы питаются.

Съ увѣренностью можно уже сказать, что время ма-
выхъ переселеній въ край кончилось, благодаря тому,
существующая культура неспособна дать жизнь болѣе ш-
ному населенію. Правда, переселенія случайныя и един-
ныя будутъ продолжаться и въ послѣдующіе годы, но не
настолько, насколько отсюда будутъ выходить старожи-

А что эти послѣдніе будутъ выходить, это неоспоримое
положеніе. Теперь эти выселенія не приняли еще формъ
широкаго движенія, но единичные случаи этого рода
такъ часты, что, по увѣренію одного компетентнаго
этомъ дѣлѣ чиновника, за послѣдніе годы изъ края выс-
лось не менѣе 1000 душъ,—процентъ очень высокій для
лионнаго населенія Тобольской губерніи, а на будущее вр-
возможно съ полною увѣренностью ожидать и массовыя
выселеній.

Во всякомъ случаѣ, земледѣліе сдѣлалось здѣсь очень
желымъ дѣломъ, настолько рискованнымъ, что тѣ, кото-
не выселились въ другія мѣста, отыскиваютъ другія занятія
въ подспорье сельскому хозяйству. Это отыскиваніе стои-
нихъ заработковъ сдѣлалось настолько распространеннымъ,
что невозможно ошибаться въ важности послѣдствій
него. И такъ какъ кустарныя производства въ странѣ по-
не существуютъ, а промысла сокращаются, то единствен-
нымъ подспорьемъ сельскому хозяйству является извес-
тѣсно связанный съ торговлей; это обстоятельство, въ ро-
впослѣдствіи выдвинетъ другой классъ людей, главнымъ за-

тѣмъ котораго сдѣлается легкая нажива и кулачество всякаго рода.

За всѣмъ тѣмъ останется, какъ и теперь остается, громадное большинство тѣхъ крестьянъ, которые живутъ землей ради земли. Ихъ недалекое будущее печально. Ни промышлять, ни торговать они неспособны; исконные земледѣльцы, они медленно приспособляются къ новымъ условіямъ жизни; неповоротливые, они будутъ гнуться при первомъ поворотѣ вѣтра.

Это самый здоровый, честный и чистый классъ въ Сибири; жизнь ихъ такъ проста, что большую часть ея потребностей они удовлетворяютъ сами, собственнымъ умѣньемъ. Но, повторю, въ недалекомъ отъ насъ будущемъ этотъ классъ долженъ будетъ вынести тяжелое испытаніе.

Въ одинъ изъ базарныхъ дней гор. Ишима въ 84 г., въ концѣ августа, особенно тяжело было смотрѣть на сѣхавшихся крестьянъ. Погода стояла невозможная. Грязныя облака застилали все небо; лилъ холодный дождь или хлопьями вылился снѣгъ; вѣтеръ дулъ такой сильный, что капли дождя и снѣгъ представляли крутящійся водоворотъ. Всѣ уже были увѣрены, что хлѣба погибли, и на базарѣ цѣна на муку поднялась сразу на полтинникъ противъ прошлаго базара. Въ рядахъ, гдѣ стояли возы съ хлѣбомъ, происходила такая дѣвка, что хозяева хлѣба не успѣвали развѣшивать, — каждый спѣшилъ купить муки, глубоко вѣря, что на слѣдующій базаръ цѣна поднимется еще выше.

Но вдругъ нѣсколько человекъ изъ крестьянъ вздумали воспользоваться этою паникой, чтобы скупить гуртомъ нѣсколько возовъ для распродажи ихъ по пудамъ. Однако, едва они стали приводить это въ исполненіе, какъ базарная масса заволновалась; со всѣхъ сторонъ поднялись крики: „Что, греста на васъ нѣтъ, злодѣи!“ Въ нѣсколько минутъ воза были окружены, вѣсы оборваны и противъ скупщиковъ стало грозное обвиненіе: „Вы хотите воза скупить, а кому надо пудъ хлѣба, тотъ голоднымъ останется?“ На одного варя толпа съ такою яростью начала напирать, что только мѣшательство полиціи спасло его. Но настроеніе людей долго еще и послѣ этого оставалось гнетущимъ.

Ясно, что для края наступаетъ другое время. Передъ большинствомъ крестьянъ выступаетъ грозная задача о

хлѣбъ. Пудъ муки дѣлается, какъ и во многихъ мѣстностяхъ Россіи, основною заботой, передъ которой блѣднѣютъ всѣ другія заботы.

Желѣзная дорога, вѣроятно, нанесетъ послѣдній ударъ этимъ странѣ. Такъ какъ, кромѣ сырья, ей нечего будетъ брать здѣсь, то она сырье и вывезетъ; въ нѣсколько лѣтъ она вывезетъ весь хлѣбъ, кожи, масло, сало, сожжетъ лѣсъ, вырветъ съ корнемъ изъ земли все, что можно вырвать, совсѣмъ опустошитъ страну, неприготовленную встрѣтить этого огненнаго вѣстника цивилизаціи, а взамѣнъ того она пуститъ на беззащитный въ культурномъ отношеніи край хищника, которому нечего дѣлать на родинѣ и который долженъ совершить опустошеніе. Тяжелъ будетъ этотъ кризисъ крестьянамъ.

Очерки Донецкаго бассейна.

I.

Сначала мнѣ пришлось проѣхать по Дону. Путь былъ избранъ такой: *Царицынъ, Калачъ, Ростовъ, Таганрогъ, Славянский и Святые юры*, а отсюда уже предстояли поѣздки по заводамъ и копамъ. Весь путь, начиная съ Калача, былъ для меня совершенно новымъ, и тѣ мѣста, которыя я долженъ былъ проѣхать, въ полномъ смыслѣ оказались невѣдомыми; какъ истинно русскому человѣку, знающему съ большими деталями, что дѣлается въ Америкѣ, и не знающему, каково живетъ въ сосѣднемъ уѣздѣ, мнѣ также, начиная съ Калача, пришлось только изумляться своему невѣдѣнію.

Это произошло еще въ Царицынѣ. Собралось насъ четверо путешественниковъ, и ни одинъ не зналъ, что насъ ожидаетъ въ Калачѣ на Дону,—есть-ли тамъ пароходы, когда они отходятъ, благодаря обмеленію рѣки, о которомъ мы смутно слыхали еще въ верховьяхъ Волги,—ничего не знали.

Въ Царицынѣ намъ пришлось ждать поѣзда цѣлый день, и это время мы употребили на собираніе справокъ. Самый дѣлательный изъ насъ, докторъ, отправился съ пристани въ городъ, откопалъ тамъ стараго своего знакомаго, товарища по университету, также доктора, и привезъ его къ намъ въ качествѣ „достовернаго свидѣтеля“. Этотъ достоверный свидѣтель тотчасъ же принялся посвящать насъ во всѣ подробности путешествія по Дону. Надоѣла-ли ему скучная жизнь

въ отвратительномъ городѣ, извѣстномъ по всей Волгѣ своимъ убійственнымъ климатомъ, подъ вліяніемъ-ли катарр желудка, о которомъ мы узнали при первомъ же знакомствѣ или просто ему стало весело въ новой для него компаніи только свои сообщенія онъ приправилъ такимъ юмористическимъ соусомъ, что намъ стало жутко. У насъ на рукахъ былъ маленькій ребенокъ да больной товарищъ, съ которыми немислимо было отправиться на пороходъ по Дону

— Да почему?—допрашивали мы.

— А вотъ вы сами увидите!—говорилъ веселымъ тономъ скучающій царицынскій интеллигентъ.—Это вы на Волгѣ избаловались, а по Дону не такъ... Пароходишко крошечный вонючій. Душно, тѣсно. Не только во второмъ классѣ, а въ первомъ мѣста нѣтъ. Прилечь негдѣ... По вашему пути водителю, вы въ Ростовѣ будете на другой день? Какъ бы не такъ! Не на другой, а на пятый день вы попадете въ Ростовъ... И притомъ тѣснота, вонь, ѣсть нечего, буфетъ-отрава, прислуга одичалая... Воды для чаю велишь пристави—не слушается; если начнешь ругаться—грубить. Толки и добьешься чего-нибудь, если въ морду дашь. Честное слово! Увѣряю васъ, всю дорогу ѣдешь съ протоколомъ. А капитанъ держитъ себя полнымъ хозяиномъ. Пароходишко то и дѣло садится на мель. И какъ только сѣлъ на мель капитанъ сейчасъ командуетъ: „Третій классъ въ воду!“—третій классъ прыгаетъ въ воду и начинаетъ стаскивать суда съ мели. Если пассажирамъ удастся быстро столкнуть мели свое суденышко, имъ дается изъ буфета по рюмкѣ водки, а то бываетъ и такъ, что бьются въ песокъ цѣлый день.

— Да не можетъ быть!

— А вотъ вы увидите... Честное слово! Иногда по цѣлому дню стоишь на мели. Пассажировъ 2-го и 1-го класса просто высаживаютъ на берегъ, чтобы какъ можно облегчить пароходишко, и тамъ они остаются до тѣхъ поръ, пока не снимется. Ну, конечно, ѣсть нечего, кругомъ голая пустыня. Я въ третьемъ годѣ ѣхалъ—жизнь свою проклялъ. Поѣзжайте-ка лучше по желѣзной дорогѣ, черезъ Грязи. А, впрочемъ, попробуйте, оно для перваго раза занятно...

Вотъ какого рода извѣстія принесъ намъ случайный нашъ знакомый. Слабая и больная половина нашей компаніи

ложительно возмущалась въ виду предстоящихъ ужасовъ путешествія по Дону. Мы, болѣе стойкіе, уговаривали все-таки ѣхать, но уговаривали нерѣшительно, сами не довѣряя своимъ аргументамъ, ибо, какъ настоящіе русскіе люди, не знали, правду говорить царицынскій обыватель или от скуки фантазируетъ. Говоря теоретически, можно было допустить возможность всего имъ разсказаннаго: и это битие по мордѣ, и слѣдующіе за симъ протоколы, и команда капитана, чтобы третій классъ прыгалъ въ воду, и путешествие вмѣсто двухъ дней—пять,—все это по-русски мыслимо, но, съ другой стороны, слишкомъ ужъ фантастично допустить всѣ эти ужасы скученными въ одномъ и томъ же мѣстѣ, тогда какъ въ дѣйствительности они всегда довольно равномерно распределяются по русской землѣ.

Къ нашему общему удовольствію, оцѣненному только впоследствии, нерѣшительные аргументы въ пользу путешествія по Дону перевѣсили, и мы отправились по Волго-донской вѣткѣ на Калачъ. И все обошлось какъ нельзя лучше. Въ Калачѣ мы должны были прожить въ ожиданіи парохода цѣлыя сутки, но это время провели отлично, поселившись въ пловучей гостинницѣ, устроенной на берегу Дона, рядомъ съ пароходною конторкой, а когда заняли мѣста на прибывшемъ пароходѣ, то уже почти совсѣмъ успокоились; только даму съ ребенкомъ, болѣе всѣхъ напуганную разсказами царицынскаго обывателя, помѣстили, вмѣсто второго класса, въ первый.

Мнѣ и до сихъ поръ непонятно, зачѣмъ скучающему царицынскому доктору понадобилось скучить, какъ въ сказкѣ, столько ужасовъ, разсѣянныхъ по нашей родинѣ, но рѣдко ступающихся въ одномъ мѣстѣ такъ сильно, какъ онъ сгустилъ. Только кое-что изъ его словъ оказалось правдой. Плата за проѣздъ была вдвое дороже платы на волжскихъ пароходахъ; удобства же было вдвое меньше. Но чтобы пассажиръ изъ-за чайника съ кипяткомъ долженъ былъ зазѣвать въ морду, чтобы третьему классу капитанъ приказывалъ прыгать въ воду и тащить на себѣ пароходъ—этого не было, просто выдумка! Пароходикъ нашъ былъ маленькій, не очень чистый, съ хриплымъ свисткомъ, но весь нашъ исправно и привезъ въ Ростовъ дѣйствительно на другой день. Капитанъ и помощникъ, матросы и прислуга

были вѣжливы. И не только вѣжливы, но обязательны до послѣдней степени. Даже жалко было смотрѣть, въ особенности на прислугу, оборванную, съ блѣдными, изморенными лицами, запуганную. Откормленные, одѣтые во фраки лакеи волжскихъ пароходахъ здѣсь совершенно неизвѣстны. Видно, что донской прислугѣ работы много, а ѣсть нечего.

Во все время путешествія не было ни одного изъ тѣхъ случаевъ, о которыхъ рассказывалъ царицынскій обыватель. Только однажды углая наша машина сплосковала на одномъ изъ безчисленныхъ крутыхъ поворотовъ, — рулевой не успѣлъ повернуть руль, и пароходъ, какъ карась, выпрыгнулъ изъ берегъ. Стопы! Одинъ бокъ судна стоялъ на берегу, а другой въ водѣ. Но это никого не смутило; нѣсколько матросовъ съ помощникомъ перелѣзли черезъ бортъ на берегъ, посоветовались, какъ лучше спустить пароходъ въ воду, рѣшили: дать задній ходъ, авось машина не поломается. Рѣшивъ это, перелѣзли обратно черезъ бортъ, и помощникъ сказалъ машинисту: „Ну-ка, идите, попробуйте задній ходъ! Машинистъ далъ задній ходъ, валъ двинулся, колесо шлепнуло нѣсколько разъ по сухой землѣ, пароходикъ какъ-то вздохнулъ всѣмъ тѣломъ и сорвался въ воду. „Впередъ!“ — командовалъ капитанъ, и мы пошли, какъ ни въ чемъ бывало. Только нѣсколько плицъ колеса, обломанныхъ о берегъ, поплыли по рѣкѣ, но ихъ вставили на слѣдующей пристани.

Вообще, хотя вонючій и съ виду гадкій, но въ работѣ нашъ пароходикъ былъ терпѣливымъ и выносливымъ созданиемъ. Спадъ водъ уже начался, мели обнажились, и пароходикъ то и дѣло зарывался носомъ въ песокъ; случалось совсѣмъ обезсилѣть и встанеть, но достаточно капитанъ сказать: „впередъ!“ — какъ онъ, подобно доброму мужицкому мерину, двинется, задрожитъ весь, тяжело вздохнетъ, зароетъ глубоко въ песокъ, а вывезетъ-таки. Капитанъ, повидимому хорошо зналъ своего конягу и безусловно вѣрилъ въ его выносливость и терпѣніе. То и дѣло по берегамъ подсаживались пассажиры, не съ лодки и не съ конторки, а такъ просто съ берега. Завидитъ капитанъ, что впереди на берегу машутъ платкомъ, и направляетъ свой пароходикъ къ тому направленію. Пароходикъ смѣло бѣжитъ на берегъ, тыкается носомъ въ землю, затѣмъ одинъ изъ матросовъ п

раздается через борты и держать его за веревку, какъ за поводья узды, до тѣхъ поръ, пока пассажиръ перетаскивается съ берега свои вещи. „Впередъ!“—кричитъ капитанъ, лишь только пассажиръ сѣлъ, и добрый коняга, повернувшись сторону, снова начинаетъ загребать колесами.

Странное впечатлѣніе производитъ Донъ послѣ Волги, точно попадаешь съ шумныхъ улицъ большого города на тихую деревенскую улицу, поросшую муравкой, по которой кое-гдѣ бродятъ куры да гуси съ утками. Пароходикъ безпрестанно виляетъ по безчисленнымъ закоулкамъ и излучинамъ степной рѣки; иногда кажется, что впереди уже нѣтъ ему прохода: только виднѣются луга, пески да камышъ; но вдругъ крутой поворотъ, словно переулочекъ—и пароходикъ снова загребаетъ колесами по этому переулку. Разстояніе между берегами часто всего нѣсколько саженой. А на берегахъ деревенскій міръ: кое-гдѣ полощутся въ водѣ гуси и при проходѣ парохода сторонятся ближе къ камышу; тутъ же плаваютъ утки и по тропинкамъ берега куда-то спѣшить тѣлая семья свиней, состоящая изъ почтенныхъ размѣровъ матери и штукъ двѣнадцати дѣтей. Иногда конь понуро стоитъ около воды, помахивая хвостомъ, иногда бѣгутъ рядомъ съ пароходомъ телята.

Кругомъ стоитъ необыкновенная тишина. Шлепанье колесъ нашего пароходика раздается глухо, беззвучно; оно не отражаетъ звуковъ, ибо берега ровные, плоскіе. По ту и другую сторону рѣки тянутся необозримые луга, изрѣдка только украшенные кустарникомъ, тѣ самые казацкіе луга, на уборку которыхъ стекаются косари со всѣхъ концовъ Россіи. Вотъ тогда, видно, Донъ оживляется. А теперь, во время вашего путешествія, глубокая тишина и лѣнь охватили его неизмѣримыя пространства. Людей рѣдко видишь; даже по пристанямъ, въ большихъ станицахъ, возлѣ конторки сидятъ двѣ-три бабы,--одна съ воблой, другая съ свѣчками, третья съ хлѣбомъ, да тутъ же, неизвестно зачѣмъ, толчется казакъ. Но зато часто вдали отъ жилья вдругъ покажется кучка народа: то казаки тянутъ неводъ во всю ширину рѣки, и пароходикъ нашъ перескакиваетъ безъ всякой церемоніи черезъ верхнюю веревку.

Самыя станицы, тамъ и сямъ показывающіяся по обоимъ берегамъ, кажутся погруженными въ лѣнивую дремоту. Всѣ

онѣ, какъ двѣ капли воды, похожи одна на другую, и дома въ каждой изъ нихъ совершенно одинаковы, точно строилъ ихъ одинъ хозяинъ: непременно каждый домикъ въ три окна, непременно съ балкончикомъ и непременно выкрашенный въ желтую краску. Сходство поразительное, и я, какъ ни старался, но не могъ на другой день припомнить, которая станица Константиновская, которая Аксайская. Поэтому никакъ не могу вспомнить, съ которой станицы, характеръ Дона нѣсколько измѣнился. Дѣло въ томъ, что, начиная съ какой-то станицы, на правомъ берегу, подъ защитой отъ сѣвернаго вѣтра, начали зеленѣть виноградники, а раньше, ближе къ Калачу, ихъ не было. Съ перваго взгляда Донъ остался прежнимъ, но на самомъ дѣлѣ, при болѣе пристальномъ взглядѣ, картина сильно измѣнилась: вмѣстѣ съ холмами и виноградниками появилось что-то нѣжное и веселое, и скупающій взоръ уже не терялся больше въ необозримыхъ заросляхъ и лугахъ. Начиная съ этой станицы, виноградники потянулись почти непрерывно вплоть до самаго Ростова.

Но это не измѣнило мирнаго, почти соннаго вида рѣки и раскинувшихся по ея берегамъ станицъ. А вѣдь когда-то здѣсь кипѣла жизнь, только не такая, какъ въ шумныхъ городахъ, а дикая и кровавая. Каждый клочекъ этихъ, нынѣ спящихъ береговъ полить кровью; тутъ всюду нѣкогда раздавались выстрѣлы, вопли и стоны, брань и клики торжества побѣдившей стороны. Съ лѣваго берега стрѣляли татары, а съ праваго—казаки. Когда казачка шла съ ведрами за водой, за ней слѣдовалъ провожатый съ заряженнымъ ружьемъ. Бозоружный погибалъ, оплошавшій попадалъ въ плѣнь къ „поганымъ“. Рѣзня была ежедневная и беспощадная... Когда нашъ пароходъ проходилъ мимо Старочеркасской станицы, нѣсколько пассажировъ обратили вниманіе на часовню, стоящую далеко отъ станицы, прямо въ лугахъ. На свои разспросы, они получили обстоятельный рассказъ о значеніи часовни отъ ѣхавшаго съ нами казацкаго полковника. „Видите-ли, какъ было дѣло. Казачье войско возвращалось съ побѣдоноснаго азовскаго похода въ Старые Черкасы, которые въ ту пору были еще донскою столицей. Время близилось къ вечеру, приближались сумерки, а войску не хотѣлось войти къ себѣ домой ночью; ему хотѣлось показаться у себя при свѣтѣ солнца, съ триумфомъ, при боѣ

барабаноу, съ побѣдными пѣснями, гарцуя на коняхъ. И рѣшено было остановиться на ночь вотъ въ этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ часовня. Рѣшили и остановились разбить станъ и полегли спать мертвымъ сномъ, въ ожиданіи завтрашняго торжества. Но судьба не то имъ сулила. За войскомъ все время, по другому берегу, незамѣтно слѣдили татары; какъ проклятые волки, они тайно слѣдовали за войскомъ и какъ только увидали, что казацкое войско уснуло, не разставивъ даже часовыхъ (потому что, какъ видите, вѣдь дѣло было передъ самою станицей), тотчасъ въ глухую полночь переправились черезъ рѣку и вырѣзали же войско дочиста, за исключеніемъ нѣсколькихъ казаковъ, которые спаслись и прибѣжали въ станицу, чтобы извѣстить своихъ о безславной смерти воиновъ. Тутъ впоследствии черкасцы и поставили часовню за упокой душъ“.

Вотъ какія тогда были времена. А теперь Донъ тихо спитъ. Война кончилась. Воцарился миръ. Сонно катитъ онъ свои воды среди безконечныхъ луговъ и никогда уже не проснется. Не будетъ здѣсь, по всей вѣроятности, и того бойкаго торговаго пути, о которомъ мечтали составители проектовъ. Виноградники да луга—вотъ, вѣроятно, что въ будущемъ ожидаетъ тихій Донъ.

Вытравится въ недалекомъ будущемъ и тотъ казацкій духъ, про который такъ много говорили. Поддерживался и воспитывался онъ татарами, и когда татаръ не стало, нѣтъ больше мѣста и этому духу... Нынѣшній казакъ любитъ свои луга, поля и виноградники. Только на людяхъ онъ волнственно охорашивается, а лишь только приходитъ домой къ себѣ, какъ превращается моментально въ добраго селянина. Съ нами ѣхало въ 3-емъ классѣ нѣсколько татаръ съ муллою во главѣ; отправлялись они въ Мекку. При восходѣ и закатѣ солнца они тихо поднимались наверхъ рубки, разстилали коврики и съ обращенными къ востоку лицами начинали молиться. Капитанъ не гналъ ихъ, хотя, какъ пассажиры 3-го класса, они не имѣли права подниматься на мостики; пассажиры также не мѣшали имъ, не оскорбивъ ихъ молитвы ни однимъ жестомъ. Только одинъ старый казацкій полковникъ однажды вздумалъ развеселить насъ. Показавъ пальцемъ на кучку молящихся, онъ съ притворнымъ гнѣвомъ сказалъ намъ:

— И зачѣмъ только капитанъ пускаетъ ихъ сюда?... Ишь, подлецы, тоже молятся! Хорошаго бы арапника влѣпить имъ, перестали бы вертѣть своими бритыми башнями!

Но, не встрѣтивъ ни откуда одобренія своимъ словамъ, добродушный полковникъ ужасно сконфузился. Къ его удовольствію, въ это время вдали показался Ростовъ, и всеобщее вниманіе отвлечено было отъ плохой шутки мирнаго полковника. Характеръ Дона круто измѣнился: какъ-то незамѣтно онъ вдругъ сталъ громадною, глубокою рѣкой. Въ это время дулъ сильный вѣтеръ, и волны его вдругъ выросли въ цѣлые холмы, шумно ревущіе вокругъ нашего утлаго суденышка. Впереди на водномъ горизонтѣ показался лѣсъ мачтъ. Гдѣ же Донъ? Онъ неожиданно влился въ море и потерялъ всѣ свои особенности сонной степной рѣчки.

II.

Дорога отъ Ростова до Святыхъ горъ, которыя должны были послужить мнѣ центральнымъ пунктомъ, откуда я намѣревался дѣлать повѣздки по разнымъ направленіямъ, промелькнула быстрѣе, нежели кто-нибудь изъ насъ ожидалъ тѣмъ болѣе, что ради постороннихъ соображеній мы должны были остановиться дня на три на одной изъ маленькихъ станцій, въ центрѣ погибающаго сахарнаго завода. Такъ что впечатлѣніе отъ всей дороги было свѣжее, но не сильное. Кругомъ ширилась степь, мѣстами бурая отъ бездождя мѣстами зеленѣющая; изрѣдка попадется долина, по которой расположились хутора и села; изрѣдка мелькнетъ въ глубокой впадинѣ хуторокъ или сверкнетъ, какъ полоска стали степная рѣченка, обросшая густою травой, но сейчасъ ж тянется во всѣ стороны безконечная степь, изрѣзанная по всѣмъ направленіямъ сухими и бурными морщинами. Степь и степь, сзади и впереди, по ту и другую сторону, безъ начала и конца, не дающая ожиданій и не оставляющая воспоминаній, ровная и скучная,—таково единственное впечатлѣніе, оставшееся у меня лично отъ дороги.

И такъ до самыхъ Святыхъ горъ. Отъ мѣста остановки мы оставили желѣзную дорогу и ѣхали, ради избѣжанія пересадокъ, на лошадяхъ. Разстояніе было не менѣе 45 верстъ. И опять всю дорогу по всѣмъ направленіямъ тянулась степь

то бурая, то зеленѣющая, но всегда скучная и какая-то прилая, и усталый взоръ тоскливо отворачивался отъ нея, словно это была старая-престарая старуха, много жившая, издававшая всякіе виды и, наконецъ, одряхлѣвшая и беззвучно умирающая. Но вдругъ все это измѣнилось: незамѣтно выросъ съ одной стороны дороги лѣсъ, затѣмъ съ другой стороны показался лѣсъ. Дорога поползла вверхъ, на гору; лошади тяжело тащили экипажи; горизонтъ впереди съузился ю нѣсколькихъ саженой. Наконецъ, мы на гребнѣ горы, и картина мгновенно измѣнилась. Лошади понесли насъ внизъ, а тамъ, внизу, разбросалось по глубокому оврагу село, а за селомъ, еще гдѣ-то глубже, засверкало цѣлое море лѣса. Словно по волшебству, это чудное мѣсто выросло изъ-подъ ногъ, облило насъ новымъ свѣтомъ, мгновенно заставивъ забыть все, что осталось назади, и приковавъ вниманіе всецѣло къ себѣ.

Лошади проскакали черезъ село, ворвались въ тотъ домъ, гдѣ мы должны были остановиться, и не успѣлъ я опомниться и оглядѣться въ чужомъ домѣ, какъ докторъ уже потащилъ меня почти насильно куда-то со двора, по улицѣ, по переулку, черезъ огородъ, мимо садочка. По дорогѣ онъ, отъ нетерпѣнія за мою медленность, бросилъ меня и побѣжалъ впередъ, хотя энергичными жестами не переставалъ торопить меня. Я, какъ только могъ, торопился, бѣжалъ, прыгнулъ черезъ заборъ, бросился по огороду, очутился въ вишнѣхъ и остановился, сердитый на всѣхъ любителей природы, около какой-то бѣленькой хатки съ однимъ маленькимъ окномъ, которое, какъ мнѣ показалось, напряженно заглядывало куда-то внизъ. И докторъ смотрѣлъ внизъ, и я сталъ туда же смотрѣть... А тамъ подъ крутымъ обрывомъ расположился Донецъ.

Были уже сумерки. Вода Донца приняла густо-зеленый цвѣтъ. Съ лѣваго берега въ него заглядывали столѣтніе дубы, а съ праваго, на которомъ мы стояли, высокія сосны. Тамъ, на лѣвомъ берегу, конецъ лѣса скрывался изъ глазъ,—это было зеленое море, ровное, неподвижное, а правый берегъ возвышался крутыми горами, по которымъ густо лѣпились стройныя сосны. И между этими-то соснами расположился Донецъ, и не то лѣнивою нѣгой, не то грустью вѣяло отъ его зеленой воды. Намъ открывалась только небольшая его

полоса; по лѣвую руку отъ насъ онъ вдругъ таинственно скрывался за крутымъ утесомъ, также покрытымъ соснами, а съ правой стороны онъ, казалось, манилъ за собой, и тѣ лѣсистыя горы, откуда бѣлѣлись церкви.

— Вотъ это и есть *Святая гора*! Смотрите, какая таинственная игра свѣта и красокъ!—сказалъ восторженно докторъ.

Но уже было сумрачно. Горы уже покрывались ночью мглой, и хотя онѣ стояли всего въ трехъ верстахъ отъ насъ, но отъ него до насъ достигали только какіе-то неопредѣленные, бѣловатые контуры. Угасавшій свѣтъ только ближайшіе къ намъ предметы освѣщаль достаточно ясно, все остальное—и горы, и оба конца грустной рѣки, и лѣсное море,—все это уже покрыто было сумеречною мглой.

Но мы еще долго стояли возлѣ хатки, заглядывавшей естественнымъ своимъ окошечкомъ съ крутизны внизъ на Днѣпръ, стояли и смотрѣли, очарованные. И когда глазъ уже повсюду останавливался только на темной мглѣ, не различая отдельныхъ предметовъ, мы все-таки продолжали стоять... потому что въ это время картины смѣнились звуками. Сзади насъ со стороны села, доносился ревъ возвратившихся стада, отражающійся эхомъ отъ горъ и лѣсовъ, а съ противоположной стороны, изъ глубины лѣса, слышался неопредѣленный гулъ, производимый лѣснымъ царствомъ,—свистѣлъ ловецъ, кукушка отсчитывала послѣдніе удары, глухо мычалъ болотный бычокъ, пищали и стонали какіе-то неизвѣстные звѣри, а все это покрывалъ собою оглушительный, перекатывающійся волнами среди ночи концертъ милліона листьевъ. „Мѣсто это чудно, и даже звѣри, кто какъ можетъ поетъ и прославляетъ красоту его“,—подумалось мнѣ. Докторъ, какъ бы угадывая мою мысль, вдругъ сказалъ:

— Хорошо? Благодать? Это намъ-то, избалованнымъ вами красотою... А каково же впечатлѣніе простого человека, который прямо изъ голой и голодной степи или прямо изъ навоза очутился здѣсь! Чувство святости и божеской благодати—вотъ какое чувство вдругъ охватываетъ здѣсь!... Для насъ это только красиво, а ему свято... Намъ эстетика, а ему божеская правда... А впрочемъ до завтра вы сами все увидите.

Дѣйствительно, пора было идти домой и заняться ночью.

На слѣдующій день мы долго собирались, такъ какъ желающихъ побывать въ Святыхъ горахъ было много, въ томъ числѣ человѣкъ пять дѣтишекъ, и кое-какъ въ двумъ часамъ собрались. Рѣшено было вѣхать на лодкѣ. Гребцами выбраны были двое работниковъ: одинъ докторскій кучеръ, а другой— багражъ въ томъ домѣ, гдѣ мы остановились. Послѣдній былъ сильный, здоровый малый, но зато докторскій возница никуда не годился: во-первыхъ, онъ былъ слабъ отъ природы, а, во-вторыхъ, по добротѣ хозяйки, такъ основательно былъ угощенъ „горилкой“, что требовалъ за собой особаго призора. Но объ этомъ обстоятельстве мы узнали только тогда, когда измѣнить его уже было поздно, т.-е. когда мы были на серединѣ рѣки.

Лишь только лодка наша поплыла, какъ всѣхъ насъ охватило чувство нѣги и счастья. На этотъ разъ, при блескѣ солнца, впечатлѣніе было совсѣмъ не то, какъ вчера, во время сумерокъ, когда отъ всего этого чуднаго мѣста вѣяло тихою грустью. Напротивъ, теперь все блестяло и смѣялось. Смѣялись лѣса лѣваго берега, играя листвою на своихъ старухъ, но еще бодрыхъ дубахъ, мягко улыбались горы прагаго берега, очертанія котораго теперь не выглядѣли такими суровыми, какъ вчера; самыя сосны на нихъ уже не были суровыми великанами, неподвижно висящими въ воздухѣ по прутымъ берегамъ; напротивъ, веселою и живою толпой окружали онѣ берегъ рѣки и, цѣпляясь за уступы, бѣжали вверхъ ю самаго гребня горъ, гдѣ сплошною массой закрыли собою горизонтъ. Кое-гдѣ гора обнажалась, и тогда на солнцѣ блестялъ мѣловой обвалъ. Самъ Донецъ, вчера такой тѣниво-грустный, сегодня смѣялся, благодаря мелкой ряби, поднятой вѣтромъ. И звуки, идущіе со всѣхъ сторонъ на насъ, тоже были веселѣе, бодрѣе...

Но зато въ лодкѣ нашей всю дорогу неблагополучно. Всему ливой былъ Николай, докторскій кучеръ. Онъ съ самаго начала былъ мало куда пригоденъ, въ особенности для роли гребца ко „святыхъ мѣстамъ“. Отъ работы весломъ его еще больше разобрало; онъ безъ толку, не въ тактъ бурлилъ имъ воду, качалъ лодку, обдавалъ брызгами близко сидящихъ. Бругомъ противъ него раздавался ропотъ, хотя большинство смѣялось надъ его неуклюжестью. Въ особенности возсталъ за него самъ хозяинъ,—всю дорогу онъ ругалъ его.

— Ты опять, болванъ, напился?

— Ничего не напился... поднесли трошки — и напился.

— Ну, вотъ, посмотрите на этого болвана!... У него большая семья, жена, дѣти и онъ близокъ къ чахоткѣ. И все-таки скотина, возьметъ, да нажрется, а потомъ нѣсколько дней стонетъ... Гребни хорошенько, а не то пошелъ вонъ съ лодки! — кричалъ, вѣя себя отъ гнѣва, докторъ, обращаясь попеременно то къ намъ, то къ своему возницѣ.

Это продолжалось до самыхъ святыхъ мѣстъ. Николай бухалъ въ Донецъ весломъ, бурлилъ воду, брызгалъ, раскачивалъ лодку, а докторъ бѣсился, страдалъ, ругался. Пришлось ихъ обоихъ успокаивать.

— Ахъ, не могу я выносить пьяныхъ! Эта скотина можетъ намъ отравить, всѣ эти чудныя мѣста! — съ огорченіемъ кричалъ докторъ. Одинъ разъ онъ окончательно потерялъ самоконтроль и умолялъ насъ подѣлать къ берегу.

— Зачѣмъ?

— Высадить этого чорта на берегъ. Пошелъ вонъ!

Но Николай еще больше отъ этихъ упрековъ опьянѣлъ. Съ выпученными глазами, съ краснымъ лицом по которому потъ крупными каплями катился внизъ, онъ судорожно билъ воду весломъ и раскачивалъ лодку. Нѣсколько разъ ему предлагали сѣсть на одно изъ свободныхъ мѣстъ, причемъ на его весло находилось нѣсколько охотниковъ, но онъ съ пьянымъ упорствомъ отказывался уступить свое мѣсто и продолжалъ немилосердно бороться съ лодкою. Надо сказать, что онъ никогда не былъ въ Святыхъ горахъ и когда выѣзжалъ изъ дома, то имѣлъ въ высшей степени довольный видъ, что, наконецъ, и онъ поклонится святымъ мѣстамъ. И нужно же было случиться такому грѣху, что онъ за четыре версты отъ этихъ мѣстъ въ лодкѣ напился. Поэтому-то онъ и гребъ такъ немилосердно, отказываясь уступить свое мѣсто.

— Чай, я не былъ въ святыхъ мѣстахъ... Охота поклониться! — бурчалъ онъ на брань и упреки.

— И для святыхъ мѣстъ ты напился? — спрашивали у него со смѣхомъ.

Николай долго не могъ найти себѣ оправданія и только глядѣлъ на всѣхъ выпученными глазами. Но, наконецъ, онъ нашелся.

— Пйду и поклонюсь... и буду молить, щобъ Боже спасъ мене отъ горілки... А вінъ мене лае!

Раздался дружный смѣхъ, и самъ хитрый хохолъ засмѣялся. Этимъ онъ примирилъ съ собой всѣхъ насъ, и о немъ скоро жъ позабыли.

И пора было. Въ вознѣ съ Николаемъ мы и не замѣтили, какъ лодка наша приблизилась къ пристани у монастыря. Монастырь былъ уже весь передъ нами. Черезъ минуту лодка причалила, мы торопливо повыскакали изъ нея и гурьбой пошли осматривать Святогорскую пустынь. За нами шелъ Николай и всюду, съ непокрытою головою, держа шапку подъ мышкой, крестился, кланялся и прикладывался.

Не стану описывать самую пустыню; есть прекрасныя описанія ея, напр., описаніе г. Немировича-Данченко, и фотографическіе снимки, продающіеся самимъ монастыремъ во многихъ мѣстахъ Россіи. Да я и не ставилъ себѣ въ обязанность осматривать монастырь; меня интересовали только богомольцы, тысячами стекающіеся сюда со всѣхъ концовъ Россіи.

Но, тѣмъ не менѣе, подѣ настояніемъ доктора, мы систематически обошли и осмотрѣли все, что полагалось обойти и осмотрѣть: гостепріимный дворъ, лавку, храмы, площади и паперти. Докторъ былъ восторженнымъ поклонникомъ красоты этихъ мѣстъ и съ увлеченіемъ показывалъ намъ все оригинальное, чудесное и прекрасное, что только тутъ было. Когда нижнія зданія были обойдены нами, онъ повелъ насъ вверхъ по ступенямъ, на ту мѣловую скалу, въ которой нахланы пещеры и которая въ цѣломъ представляетъ собою самый оригинальный и прекрасный храмъ, какой только могли создать природа и человѣкъ, соединивъ свои труды, свои творчество и силу.

Ступеней болѣе пятисотъ. Подъемъ утомительный. Но по всему подъему, черезъ короткіе промежутки, нахланы площадки со скамейками для отдыха. Но, увлекаемые докторомъ, мы почти нигдѣ не отдыхали и безостановочно, тяжело дыша, торопились вверхъ; только изрѣдка, бросая взоры, смотрѣли черезъ пролеты на все шире и шире раскрывающійся видъ. Наконецъ, совершенно задыхаясь, мы взобрались на послѣднюю площадку, гдѣ прилѣпилась маленькая церковка. Держась за скалу, мы стали отдыхать. Въ то же время и взоръ

отдыхалъ, — для него вдругъ открывался необъятный просторъ. Широкое море лѣса, нѣсколько селъ и деревень, а внизу глубоко подъ горой, зеленый Донецъ; даль покрыта былъ дымкой, и ближайшія мѣста ярко блестѣли, залитыя горячимъ солнцемъ. Мы долго не могли оторваться отъ ветхихъ перилъ, отдѣляющихъ гору отъ пропасти, на днѣ которой сосны казались плотною и низкою густиною.

Потомъ мы вошли въ церковку. Тамъ съ десятокъ богомольцевъ, одѣтыхъ въ армяки и съ котомками за плечами усердно молились, кладя земные поклоны. На всѣхъ лицахъ было восторженное благоговѣніе, и одна молоденькая женщина въ лаптяхъ и въ пестромъ платкѣ молилась и улыбалась, и въ то же время слезы катились по ея жизнерадостному молодому лицу...

Мы тихо удалились, не желая нарушать своею шумною толпою настроеніе молившихся. Да и какъ-то неловко, почти стыдно стало стоять среди этихъ людей, у которыхъ чувства красоты природы неразрывно слилось здѣсь съ чувствомъ святости. Докторъ былъ правъ. Смотря на эту бѣлую скалу, вырубленную самою природой и за десятки верстъ сверкающую на солнцѣ, — скалу, высоко поднятую надъ этимъ моремъ лѣса, — простые люди говорятъ, что самъ Богъ пожелалъ имѣть здѣсь мѣсто Свое...

На этотъ разъ я не имѣлъ ни малѣйшаго намѣренія близи подойти къ толпѣ богомольцевъ, тѣмъ болѣе, что и времени осталось немного: мы должны были вернуться къ сумеркамъ въ село, а солнце уже висѣло надъ верхушкой дальней горы и сосны, ее покрывающія, уже горѣли въ его золотой мглѣ.

Потолкавшись еще немного по другимъ монастырскимъ уголкамъ, мы стали спускаться къ берегу, гдѣ стояла наша лодка. Тамъ уже ждали насъ гребцы, въ томъ числѣ и Николай. Онъ выглядѣлъ трезвымъ. Лицо его было свѣтло и разумно. Но докторъ не могъ ему простить, что за два часа передъ тѣмъ онъ отравилъ ему все прекрасное.

Черезъ день я былъ опять въ пустыни и познакомился уже съ настоящими паломниками.

III.

Былъ жаркій полдень, когда я, перейдя мостъ съ луговой стороны, стоялъ у самаго подъема на монастырскую гору

Захотѣлось отдохнуть, прежде чѣмъ бродить по Святогорской пустыни. Облокотившись на перила, я въ изнеможеніи отъ зноя сталъ смотрѣть на воду внизъ. Кругомъ царилъ благоговѣйная тишина. Монастырскія зданія и церкви, залитыя солнцемъ, точно уснули отъ истомы. Лѣтниво прошли мимо меня два монаха. По мосту проѣхала грузная телѣга, запряженная парой воловъ. Прошелъ еще на гору какой-то лачникъ, укрытый зонтикомъ. По набережной мостовой въ разныхъ мѣстахъ кучками полегли богомольцы, сваливъ въ одну грудку свои котомки и посохи. Все молчало, подавленное жарой.

Только подъ мостомъ на берегу, прямо противъ того мѣста, гдѣ я стоялъ, копошились какой-то старикъ и баба. Копошились и вели между собой оживленный разговоръ. Судя по этому разговору и по костюму, оба они пришли изъ Курской губ. Въ то время, какъ я обратилъ на нихъ вниманіе, они заняты были полосканіемъ какихъ-то тряпицъ, въ которыхъ съ трудомъ можно было угадать ихъ бѣлье. Баба полоскала и выжимала, а старикъ развѣшивалъ на перекладинахъ моста. И все это сопровождалось обмѣномъ мыслей по поводу того, что каждый изъ нихъ замѣтилъ чудеснаго въ Святыхъ горахъ.

— Наверху-то была ты?—спросилъ дѣдъ съ веселымъ лицомъ.

— На шкалъ? Была, была!... Только въ пещеру не угодила.—отвѣчала баба оживленно.

— Въ пещеру-то, касатка, не отсюдова заходятъ, а снизу...

— Ой? Какъ же туда угодить-то?—сказала баба, вся встре- пенувшись.

— Снизу. Монахъ проведетъ. Со свѣчами надо идтить. И какъ войдешь—темень, сырость, страхъ! И все поднимаешься выше, и все темень и страхъ, а кругомъ пещеры накопаны; это, значить, въ которыхъ допрежъ святыя жили. И опять все вверхъ, и темень, холодъ! И дойдешь ты до той пещеры, она выкопана руками Ивана святаго, и тамъ увидишь вериги его, эдакъ, примѣрно сказать, съ полпуда... Это ужъ высоко, на самомъ верху подъ шкалой...

— Родный ты мой, вѣдь я тамъ не была!—почти съ отчаяніемъ вскричала баба и сорвалась съ мѣста, побросавъ

тряпицы.—Побѣгу, ты ужь тутъ самъ помой!—торопливыговорила баба.

Но дѣдъ, не возвышая голоса, съ благожелательною улыбкой остановилъ ее.

— Погоди! Куда ты, глупая, побѣжишь? Ничего не знаешь какъ и когда, куда ты сунешься? Два раза на дню толь монахъ водить показывать, а ты одна для чего сунешься. Вотъ вечерня будетъ, пойдутъ люди съ монахомъ, тогда ты съ ними... Давай, домоемъ ужь рубахи-то...

Говоря это, дѣдъ улыбался снисходительно и продолжалъ развѣшивать свои рубахи и порты. Все лицо его, окруженное сѣдыми кудрями, свѣтилось всецѣло этою снисходительностью и какою-то особенною радостью. Замѣтивъ меня сидящимъ наверху у перилъ, онъ съ такою же свѣтлою улыбкой обратился и ко мнѣ:

— Вишь, господинъ, хурдишки свои моемъ... Ужъ какъ это мытье, а въ дорогѣ, съ устатку-то, оно все же чистеенько.

— На богомолье пришли?—спросилъ я, пользуясь случаемъ завязать разговоръ.

— Господь сподобилъ побывать на святыхъ мѣстахъ. Слава Богу, побылъ тутъ денька три, помолился, поблагодарилъ, посмотрѣлся—и завтра утречкомъ, на зорькѣ, съ Божьей помощью, домой,—отвѣтилъ старикъ съ веселымъ довольствомъ.

— А это развѣ не твоя баба?

— Какое! На пути встрѣлись! Ну, она и говорить: „Возьми, говоритъ, дѣдушка, меня съ собой, потому женскому сословію боязно въ дальней дорогѣ“... Такъ мы и шли досюда вмѣстѣ.

— Да ты издалека?

— Изъ Курской губерніи. Изъ-подъ Бѣлостока. Чай, знаешь? Оно далековато для моихъ старыхъ ногъ, ну, да слава тебѣ Господи, потрудился, идучи, для Бога!

— По обѣту пришелъ сюда?—спросилъ я, но свѣтлый дѣдъ сначала не понялъ.

— Ну, ужъ какой тутъ обѣдъ! Въ трапезѣ дадутъ въ чашечку малость борща, ну, съ хлѣбцемъ и похлебаешь...

— Я не то спрашиваю, дѣдушка... Я спрашиваю, откуда ты сюда пришелъ—по обѣщанью, вслѣдствіе болѣзни или несчастья?

Дѣдъ, понявъ мои слова, вдругъ даже привсталъ съ берега, гдѣ онъ сидѣлъ.

— Что ты, что ты! У меня несчастье! Что ты, господинъ! Да развѣ я могу роптать на Бога, гнѣвить Его? Никакого несчастья въ дому у меня не было. Всю жисть хранилъ Господь, помогалъ мнѣ, достатокъ мнѣ далъ, снисходилъ къ нашимъ грѣхамъ. Вотъ я и пришелъ потрудиться для Него, поблагодарить за всѣ милости... Домъ у меня, господинъ, согласный, двое сыновьевъ, снохи, внуки и старуха еще жива. И всѣ мы, благодаря Создателю, сыты, спокойны и не знаемъ несчастія. Хранить насъ Господь. Примѣрно сказать, хлѣбъ?—Есть. Или, напримѣръ, мелкой скотины, овецъ, свиней, птицы?—Очень довольно. Ежели, напримѣръ, спросишь у меня: „есть, Митрофановъ, пчелы у тебя?“ Есть, скажу я, пеньковъ до 401. Всѣмъ благословилъ Господь! Вотъ я и надумалъ потрудиться для Бога. Жисть наша, господинъ, грѣшная. Все норовишь для себя, все для себя, а для Бога ничего. И зиму, и лѣто все только и въ мысляхъ у тебя, какъ бы денегъ побольше наколотить, да какъ бы другого чего нахватать. Лѣто придетъ,—ну, ужъ тутъ совсѣмъ озвѣрѣешь. Мечешься, какъ скотина какаято молодая, съ парана сѣнокосъ, съ сѣнокоса въ лѣсъ, изъ лѣсу въ поле на живье, и все рвешь, дерешь, хватаешь, да все нацапанное съешь въ амбаръ, запикиваешь подъ клѣти, да подъ сарай, да въ погребъ... И все опосля это пойдетъ въ брюхо да на свою шкуру. И, прямо тебѣ сказать, озвѣрѣешь и недосугъ подумать, окромя сѣна или овса, или муки, ни о чемъ душевномъ или божескомъ... Вотъ я и на думалъ. Всю жисть хранилъ меня Господь и всѣмъ благословилъ, и отъ бѣды соблюлъ меня... и, окромя того, старъ уже я сталъ, къ смерти лѣто подходить... вотъ я и говорю себѣ: „Будетъ, Митрофановъ, брюху служить, пора послужить Богу, потрудиться для Него!“...

И на веселомъ лицѣ дѣда, обвитомъ бѣлыми кудрями, разлилось полное восхищеніе.

— Слава тебѣ Господи, сподобилъ меня Творецъ побывать у Своихъ святыхъ мѣстъ... Ну, ужъ и точно святая мѣста! Стало быть, Богъ для себя это мѣсто приуладилъ, коли ежели такъ чудесно оно. Войдешь-ли на эту шкалу, откуда глядитъ на тебя вся эта Божья премудрость, а либо подъ землю, въ

пещеру сойдешь, въ темень эту и холодъ, гдѣ святыя живали въ старыя времена, или тамъ со шкалы пойдешь еще выше, на хуторъ...

— А это что такое, Митрофанъчъ, хуторъ?... Чего тамъ такое?—съ жаднымъ любопытствомъ спросила баба, перебивъ дѣда.

— Ай ты не была? А я побылъ, сподобилъ меня Богъ.. Стало быть, видишь ту вонъ церковь? Ну, это вотъ тамъ и есть. Со шкалы ты лѣзь опять во-онъ туда! Тамъ и будетъ хуторъ, служатъ тамъ панифиды...

Но не успѣлъ дѣдъ хорошенько объяснить, куда надо лѣзть какъ баба уже сорвалась съ мѣста и съ отчаяніемъ воскликнула:

— Касатикъ ты мой, вѣдь не была я тамъ еще!... Охъ грѣхи наши, побѣгу!

— Постой, постой, дура! Дай я тебѣ хорошенько растолкую!

Но сгоравшая любопытствомъ баба уже не послушала его на этотъ разъ; она торопливо вскарабкалась съ берега рѣки на мостовую, юркнула оттуда во вторыя ворота и скрылась изъ нашихъ глазъ.

Дѣдъ добродушно засмѣялся и веселые глаза его вдругъ закрылись цѣлою сѣтью юмористическихъ морщинъ.

— Вотъ онѣ, господинъ, всѣ такія, бабы-то эти!... Придетъ во святыя мѣста,— ну, кажись, надо бы одуматься, позабытъ всякіе ихніе пустяки, окромя... Такъ нѣтъ, она только изъ любопытства и суется тутъ. Пощупаетъ полукафтанье монаха,—изъ какой, молъ, матеріи слажено... ежели бы е дозволилъ, она бы всего монаха ощупала, въ ротъ ей каши!.. А вотъ эта самая баба... не успѣли мы дойти до святыхъ мѣстъ, не помолились еще хорошенько, а она уже сунулась на трапезный дворъ и зачала любопытствовать, лягай е комары, изъ чего тутъ квасъ варять, сколько выдаютъ борща отъ монастыря... То-есть самая это безбожная тварь эта баба!

Дѣдъ опять засмѣялся и принялся свертывать высохшее бѣлье, укладывая его въ котомку. Немного еще поговоривъ съ нимъ, я оставилъ его и отправился бродить по пустыни. Среди кучекъ богомольцевъ я опять встрѣтилъ курскую бабу. Она уже слазила на „хуторъ“, удовлетворивъ любопытство

и теперь стояла подъ шатромъ великолѣпныхъ каштановъ, которые небольшою группою раскинулись въ углу двора. Дерево для бабы было незнакомо, и она долго дивилась на него. Потомъ сорвала нѣсколько листьевъ съ нижней вѣтки и торопливо спрятала ихъ за пазуху.

Тамъ, за пазухой, у ней были уже и другія святыя вещи: цѣлка четоковъ, большой кусокъ мѣла, вода въ бутылочкѣ, черныи крестикъ со стеклышкомъ, въ который ежели по-смотришь, то увидишь Святыя горы. Все это она жадно нахватала и бережно понесетъ домой, въ курскую деревню, гдѣ она тотчасъ, среди другихъ бабъ, будетъ рассказывать, что видѣла и чего не видала... Пришла она въ Святыя горы по тому случаю, что у нея все родятся дѣвченки, а мальчика ни одного не родилось, за что мужъ ее укоряетъ безпрестанно; она всѣ средства перепробовала и все ни къ чему. Наконецъ, какая-то странница посоветовала ей сходить въ Бѣвъ или на Святыя горы, и она, съ согласія мужика, пошла.

Но тутъ жадное любопытство деревенской бабы, которая ничего никогда не видала, но все хочетъ посмотреть, взяло верхъ надъ всѣмъ; она совалась съ безпокойнымъ любопытствомъ по всѣмъ угламъ и всюду глазѣла, щупала, узнавала, испытывала, забывая святость мѣста; она забыла даже ту специальную цѣль, ради которой пришла—вымолить себѣ рожденіе мальчиковъ. Когда я черезъ часъ сидѣлъ на скамейкѣ подъ густою аллеей, ведущей въ скитъ, она также тамъ очутилась. Подойдя къ воротамъ, всегда запертымъ, за ключеніемъ четырехъ дней въ году, и охраняемымъ ангелами и суровыми святыми, она съ недоумѣніемъ приложилась къ лкамъ. Потомъ обратилась ко мнѣ съ вопросомъ:

— А туда не пускаютъ?

— Нѣтъ.

— Ишь ты!—недовольно выговорила она и все-таки стала просунуть голову сквозь рѣшетку, чтобы хоть чуть-чуть однимъ глазкомъ поглядѣть, что дѣлается тамъ, за запертыми воротами, въ этомъ таинственномъ полумракѣ.

Изъ скита назадъ въ монастырь мы шли вмѣстѣ съ ней и бесѣдовали; тутъ-то она и сказала мнѣ, откуда она и зачѣмъ пришла. Когда она оставила меня у воротъ гостинно-поимнаго двора, я старался угадать, что она будетъ рассказывать по приходѣ домой. А что рассказывать тамъ она будетъ

много и съ засосомъ—въ этомъ я не сомнѣвался, потому что и раньше встрѣчалъ бабъ, побывавшихъ въ Кіевѣ или въ другомъ „святомъ мѣстѣ“. Обыкновенно въ словахъ ихъ нѣтъ вранья, но зато все такъ преувеличено, что никто ни даже она сама, не пойметъ, что она видѣла и чего пригнула. Такъ же будетъ разговаривать и курская баба. Теперь вотъ суется она по укромнымъ уголкамъ святыхъ мѣстъ и собираетъ матеріалъ въ видѣ вещественныхъ предметовъ и въ видѣ невещественныхъ картинъ, а когда придетъ домохозяинъ и ее окружаютъ сосѣдки, она употребитъ въ дѣло все, что набрано въ пустыни. Листья съ каштановъ, воду съ Дона, мѣлъ съ донецкихъ горъ она по крохотнымъ кусочкамъ будетъ раздавать тѣмъ, кто болѣетъ лихорадкой, горячкой или, съ глазу, кто попорченъ и кому надо излѣчиться отъ нежелѣзливой болѣзни. А кромѣ того станетъ рассказывать, что видѣла и слышала. „Спустилась я, скажетъ примѣрно, въ подземную пещеру и пошла въ темени и холодѣ... Свѣтъ горитъ и ладономъ пахнетъ, и со стѣнъ глядятъ лики столбжато, такъ жутко, что сердце замираетъ... И въ каждой пещерѣ вериги въ три пуда вѣсу“... Очень много и долго будетъ рассказывать и въ теченіе, по крайней мѣрѣ, года сдѣлается героиней всѣхъ бабъ деревни, которыя, подперевъ щеки рукою, раскачивая головой въ полномъ сознаніи своего грѣха, не устанутъ слушать ее.

Въ послѣдній разъ я видѣлъ ее на гостепріимномъ дворѣ—она заглянула въ дверь пекарни, а потомъ и совсѣмъ скрылась тамъ. Отъ души пожелавъ ей, чтобы она побольше набрала для своей скучно-каторжной жизни матеріала, окончательно потерявъ ее изъ виду и ставъ бродить средъ двора.

Весь дворъ былъ полонъ народа, который кучами толкался по разнымъ направленіямъ, а многіе лежали на землѣ и отдыхали. Тутъ же стояли телѣги и привязанные къ нимъ лошади. Было время обѣда. Монастырь кормилъ въ это время своихъ богомольцевъ. Въ столовой накрыты были длинные столы съ деревянными чашками и ложками. Но такъ какъ мѣста для всѣхъ было мало, то впускали партіями; впускаютъ одну партію къ столу и дверь запираютъ, а передъ запертою дверью уже стоитъ и дожидается ѣды другая партія сбившаяся въ плотную массу. Тѣмъ же, которые почему

либо не захотѣли пообѣдать въ столовой, просто наливали въ чашки борща, давали хлѣбъ и ложки, и они разбредались по двору, садились на землю и хлебали. Надъ дворомъ висѣлъ сплошной говоръ, какъ на базарѣ; какъ на базарѣ же, лица у всѣхъ казались суетными и мелкими. Это всегдашнее настроеніе толпы. Отдѣльный человѣкъ способенъ быстро цѣлѣнно настроить себя; толпа всегда криклива, суетна и прозаична, и только страшная катастрофа можетъ привести ее въ идеальное настроеніе.

Потолкавшись еще немного среди этой будничной толпы, вдругъ почувствовалъ страшную усталость и немедленно пошелъ по направленію къ выходу. Когда я проходилъ по мосту, глаза мои невольно обратились внизъ, на тотъ уголокъ берега, гдѣ я познакомился съ курскимъ дѣдомъ. Дѣдъ, очевидно, совсѣмъ собрался въ дорогу. Подложивъ увязанную ютмку подъ голову, онъ спокойно спалъ подъ тѣнью моста. На лицѣ его, полузакрытомъ теперь бѣлыми кудрями, мнѣ показалась та же свѣтлая радость, какая блестѣла часа два тому назадъ, когда онъ поясняя мнѣ, зачѣмъ онъ пришелъ въ святые мѣста.

Да и какъ ему не радоваться! Онъ много потрудился на своемъ вѣку, безъ усталости и съ страшною жадностью добился мужицкаго благополучія. И добился: нажилъ хлѣба, скота, пчелъ и согласную семью. Все это онъ добылъ съ немовѣрнымъ трудомъ и былъ доволенъ. И теперь ему удалось исполнить послѣдній долгъ, лежащій на немъ, какъ на крестьянинѣ: придти собственными ногами къ святымъ мѣстамъ, и здѣсь, на особо избранномъ мѣстѣ, поблагодарить Господа Бога за все то благополучіе, какое ему было дано... Исполнивъ послѣдній свой долгъ, онъ на зорькѣ завтра отправится обратно доживать уже недолгій, но покойный вѣкъ свой.

Я долженъ былъ торопиться домой, хотя отъ сильной усталости ноги мои съ трудомъ повиновались. Въ воздухѣ было такое удушье, что, казалось, вотъ-вотъ задохнешься. По небуплыли незамѣтно бѣлыя облака, а на востокъ, изъ за той горы, гдѣ стоялъ монастырь, медленно ползла темная туча, скоро завалившая своею массой половину горизонта. Ожидалась, видимо, гроза... А пока царила мертвая тишина; сосны на горѣ неподвижно застыли; вода въ рѣкѣ отливала

свинцовымъ блескомъ. Спасаясь отъ дождя, я торопился, какъ могъ, и пришелъ въ деревню въ полнѣйшемъ изнеможеніи, хотя пришелъ во-время, потому что въ скоромъ времени рванулась гроза. Налетѣлъ вдругъ вѣтеръ, застонали горныя сосны, съ гуломъ зашумѣли дубы луговой стороны и затрещалъ крупный дождь. Наконецъ, дождь полилъ, сред грома и молніи, такой сплошной, что все вдругъ—и горы и лѣса, и монастырь—скрылись изъ глазъ до слѣдующаго утра.

IV.

Однажды я пѣшкомъ пошелъ въ Святые горы по луговой сторонѣ. Луга еще не были скошены, наканунѣ выпалъ сильный дождь, солище еще не сильно жгло, воздухъ, всегда здѣсь чистый, былъ въ это утро влажно-ароматичнымъ, четыре версты, предстоящія мнѣ, я надѣялся пройти съ наилучшимъ наслажденіемъ. Дорога бѣжитъ то по ровному лугу, усыпанному цвѣтами, то забѣгаетъ въ лѣсъ и, извиваясь между стволовъ, подъ тѣнью густой листвы, вдругъ снова выбѣгаетъ на открытый лугъ и глубоко зарываетъ въ траву, едва замѣтная для глаза. Идешь по ней и ниче не видишь, кромѣ того, что она хочетъ показать... Вотъ уже скрылось село, изъ котораго я вышелъ; не видно больше лѣсистыхъ горъ съ ихъ бѣлыми скалами, выглядывающимъ какъ привидѣнія, изъ-за сосенъ; скрылся Донецъ; сами Святые горы пропали изъ виду. Извивающаяся между деревьями тропинка не хочетъ показывать ничего, кромѣ столбиковъ дубовъ и высокой травы, какъ бы желая, чтобы всѣ вниманіе сосредоточилось на этихъ столбѣтнихъ дубахъ на этомъ густомъ, сочномъ лугѣ. И вниманіе дѣйствительно сосредоточивается; это особенный уголокъ, котораго нигдѣ больше не встрѣтишь; едва сюда попадаешь, какъ сразу видишь себя среди какой-то кипучей и веселой жизни, гдѣ поютъ на сотни голосовъ, лепечутъ, болтаютъ, жужжатъ, хохочутъ лѣсные обитатели всѣхъ видовъ; подъ этими густыми зелеными шатрами происходитъ сплошной балъ, дается гигантскій концертъ, играющій свадебный маршъ.

Но это было въ маѣ. А теперь былъ конецъ іюня. Тропинка вела меня все дальше и дальше, а майскаго торжества я не слыхалъ. Даже приблизительно не было ничего по

добнаго тому, что здѣсь я слышалъ въ маѣ. Лѣсъ умолкъ, луга безшумно волновались отъ легкаго вѣтерка; они были тѣ же, что вчера, но я съ трудомъ узнавалъ веселый уголокъ... Въ немъ именно веселья-то и не было. Балъ кончился, пѣвцы смолкли, сыграна свадьба, поэзія любви замѣнилась прозой... Жена, дѣти, кормленіе и воспитаніе, забота ради куска хлѣба, карьера—вотъ за что принялся шумный лѣсной уголокъ. Каждая птичья пара, пріобрѣвшая дѣтей, озабоченно шныряетъ по всемъ направленіямъ, разыскиваетъ кормъ, хватается добычу и торопливо тащить ее въ гнѣздо, гдѣ ждутъ разинутые рты. Гдѣ-то слышится пискъ—это дѣти зовутъ; гдѣ-то воркуютъ лѣсные голуби, но въ ихъ голосѣ слышится утомленіе и недосугъ. Прокричать въ глухой чащѣ бопчикъ, но тотчасъ же и смолкъ, занятый высматриваніемъ добычи. Насѣкомыя умолкли; кое-гдѣ подъ цвѣткомъ еще вьется одинокая бабочка, но часы ея уже сосчитаны,— въ вечеру, быть можетъ, она умретъ, оставивъ подъ листомъ свое потомство. А это потомство, въ видѣ личинокъ и куколокъ, уже совсѣмъ безгласно; оно безмолвно и съ хищною жадностью пожираетъ листья, вгрызается въ древесную кору, истребляетъ корни, пьетъ кровь и ѣстъ тѣло животныхъ. Еще вчера здѣсь былъ шумный пиръ, а сегодня здѣсь только хлопоты, работа, борьба на жизнь и смерть, взаимное истребленіе, кровавое побоище, и все это свершается въ зловѣщемъ безмолвіи. Я сидѣлъ нѣкоторое время въ тѣни и прислушивался, но только изрѣдка изъ отдаленныхъ уголковъ до меня доносились какіе-то звуки. Лѣсъ замолкъ; вмѣстѣ веселаго пира, пришла страда.

То же самое меня ждало и въ Святыхъ горахъ. Когда тропинка, нырнувъ еще разъ между нѣсколькими дубами, вдругъ доставила меня на широкомъ лугу, прямо передъ монастыремъ, послѣдній тотчасъ же показался мнѣ какимъ-то будничнымъ и скучнымъ, а лишь только я перешелъ мостъ, какъ сразу меня охватило чувство житейской суеты. Слышался стукъ топоровъ, визгъ пилы, грохотъ отъ свалившихся дровъ, скрипъ телегъ; въ одномъ мѣстѣ плотники и каменщики строятъ какое-то зданіе; тутъ же рядомъ съ ними выгружаютъ съ баржъ дрова и складываютъ ихъ передъ самымъ монастыремъ въ длинныя стѣны, загораживающія видъ, а по набережной мостовой въ ту и другую сторону тянутся пары

воловъ, запряженныхъ въ грузныя телѣги, на которыхъ везутся въ монастырь доски, кули съ углями, зачѣмъ-то песокъ, мѣшки съ мукой, какіе-то тюки, зашитые въ рогожи. Это все монастырь хлопочетъ, пользуясь отсутствіемъ богомольцевъ, хлопочетъ, какъ хорошій и запасливый хозяинъ. Какъ большинство нашихъ знаменитыхъ монастырей, Святая гора является крупнымъ промышленнымъ предпріятіемъ, ведущимъ широкое хозяйство и дѣлающимъ огромные денежные обороты, а такъ какъ предпріятіе это исключительно сельско-хозяйственное, то лѣтнее время для него самое рабочее и страдное. Запасъ дровъ, сѣнокосъ, жатва, расплатъ съ рабочими, расчетъ съ арендаторами на его обширныхъ земляхъ, забота о стадахъ скота, запасъ плодовъ, овощей и хлѣба,—все это превращаетъ монастырь въ крупное имѣніе на время лѣтнихъ мѣсяцевъ. И вотъ я попалъ въ одинъ изъ такихъ дней, когда святое мѣсто узнать нельзя,—не слышно краснаго звона, не видать монаховъ, опустѣли церкви, не раздается въ нихъ служба, а вмѣсто всего этого отовсюду слышится шумъ кипучей лѣтней работы.

Богомольцевъ не было. Гостепріимный дворъ былъ совершенно пустъ; двери въ столовыя, пекарни и квасоварни заперты; солнце жгучими лучами заливаешь все это вымершее пустынное мѣсто. А еще недавно тутъ кишѣли сотни богомольцевъ, раннею же весной здѣсь перебываютъ десятки и сотни тысячъ. Въ нынѣшнемъ году въ среду на Страстной недѣлѣ однихъ исповѣдниковъ было 17 тысячъ, а въ день Успенія, 15 августа, толпы народа сплошною массой двигаются на протяженіи нѣсколькихъ верстъ.

А теперь настала страда, и святое мѣсто опустѣло. Не когда думать о Богѣ, о душѣ, о совѣсти. Хорошо еще, выдался урожайный годъ, а если Богъ послалъ наказаніе, по разивъ поля солнечнымъ огнемъ, тогда прощай всѣ идеальныя мужицкія стремленія! Я только въ этотъ день понялъ всю глубину словъ веселаго старика, который пришелъ въ Святую гору поблагодарить Господа Бога за свое благополучіе. До сихъ поръ ему некогда было отдаться Богу; онъ всецѣло поглощенъ былъ судорожнымъ воспитаніемъ дѣтей и вся его душа всю жизнь была наполнена мыслями о хлѣбѣ, объ овчинахъ и холстахъ, о лаптяхъ и повинностяхъ о сѣнѣ и о скотѣ... и вотъ только подъ конецъ судорожной

и суетной жизни своей ему удалось вырваться изъ дома и вѣсть въ то святое мѣсто, которое одно можетъ удовлетворить его идеальныя потребности.

Что это мѣсто идеально и единственно, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Нѣтъ у крестьянина другого мѣста, гдѣ онъ могъ бы удовлетворить требованіямъ души, гдѣ успокоилась бы его совѣсть и гдѣ онъ могъ бы безкорыстно послужить Богу. Вездѣ его преслѣдуетъ нужда, немощь, ожигающее голода, обида и суета, и только здѣсь ему удастся воспользоваться досугомъ и наполнить этотъ досугъ мыслями о Богѣ, о душѣ, о правдѣ и совѣсти... При этомъ онъ не смѣшиваетъ это святое мѣсто съ тѣми людьми, которые мадбуютъ имъ и физически представляютъ его; къ послѣднимъ часто онъ относится съ полнымъ отрицаніемъ, хотя и снисходительно. Идетъ онъ не къ монахамъ, а къ святымъ кѣстамъ, которыя созданы Богомъ такъ прекрасно затѣмъ, чтобы люди могли хоть разъ въ жизни забыть мелкую, грѣшную суетлоку насчетъ сѣна, податей, овса и овчина, и хотя разъ въ жизни въ этомъ чудесномъ мѣстѣ вспомнить о подавленной сторонѣ человѣка, о разбитыхъ желаніяхъ идеала...

Обойдя всѣ пустые дворы, я поднялся по лѣстницѣ главнаго собора и присѣлъ на одной изъ ступенекъ подъ тѣнью юртка. Внизу, на травѣ подъ акаціями спали двѣ старухи-богомолки и больше вокругъ никого не было. Эти двѣ старухи—единственные богомольцы, которыхъ сегодня я встрѣтилъ. Но, посидѣвъ съ полчаса, я вдругъ замѣтилъ подъ аркой другой церкви еще какого-то богомольца. Издали я не могъ замѣтить его лица. Видно было только, что онъ одѣтъ въ бѣлую рубаху, въ такіе же штаны и безъ шапки; сиди виднѣлась тяжелая котомка, съ которой онъ и молился передъ иконами, украшавшими всѣ своды арки. Помолившись тихъ, онъ вышелъ изъ-подъ свода и остановился въ задумчивости на дворѣ. Тутъ я уже хорошо разглядѣлъ его странную, ни на что не похожую фигуру. Голова его была на-голо выбрита, и черные волосы на ней торчали выщипанною сапожною щеткой; самая голова казалась большою круглою; лицо выглядѣло чернымъ и съ необыкновенною печатью задумчивости. Но всего рѣзче выдѣлялись глаза,

черные, круглые и большіе; они смотрѣли неопредѣленно съ большою силой и блескомъ.

Стоялъ онъ неподвижно на дворѣ минутъ пять, о чемъ-то казалось, раздумывая, и потомъ твердо пошелъ ко мѣ, поднялся по ступенькамъ лѣстницы, гдѣ я сидѣлъ, и вошелъ въ открытыя двери храма. Тамъ въ это время нѣсколько послушниковъ длинными метлами сметали пыль, которая густо носилась по церкви и цѣлыми тучами вырывалась изъ дверей на чистый воздухъ. Но богомолецъ не обратилъ вниманія ни на послушниковъ съ метлами въ рукахъ, ни на поднятую ими пыль. Онъ твердо пошелъ въ храмъ, остановился передъ иконой Спасителя, оправилъ руками рубашку передернулъ плечами котомку и сталъ молиться. И молился онъ такъ странно, какъ я никогда не видалъ.

Прежде всего, своими большими, круглыми глазами онъ впился въ глаза Христа и съ минуту такъ стоялъ, совершенно неподвижный, и только послѣ этого медленно перекрестился. Затѣмъ лицо его вдругъ воодушевилось какою-то мыслью или цѣлымъ рядомъ мыслей и чувствъ, и онъ громко заговорилъ молитву, представлявшую смѣсь своего собственнаго изобрѣтенія съ церковными текстами. При этомъ пожирая своими широкими глазами глаза Христа, онъ прикладывалъ руки къ сердцу или поднималъ ихъ вверхъ, какъ дѣлаетъ священникъ во время „херувимской“. И долго онъ такъ молился, пожирая глазами Христа и громко разговаривая съ Нимъ.

Когда онъ кончилъ и вышелъ на лѣстницу, гдѣ я сидѣлъ задумчивость опять, казалось, охватила его всего, и онъ неподвижно остановился на мѣстѣ.

— Откуда ты?—вдругъ спросилъ я его.

Онъ, видимо, не ожидалъ этого вопроса и вздрогнулъ, и все-таки отвѣтилъ:

— Я? Издалека... Армавиръ—вотъ откуда. Армавиръ слышалъ?

— Какъ же, слыжалъ... Такъ ты оттуда? Какъ же ты, такой молодой, бросилъ работу и пошелъ сюда?

— Работу? Отъ работы Богъ меня отвергнулъ... Больной я

— Какая же у тебя болѣзнь?

— Падучая. Не гоюсь въ работу, Богъ меня къ себѣ призываетъ, вотъ я и пошелъ. Съ дѣтства я все читалъ

англы и Господь беретъ меня къ Себѣ. Значить, не гоюсь
и къ работѣ, а гоюсь только, чтобы молиться за всѣхъ...
Тамъ братъ у меня живетъ, и я съ нимъ жилъ, но онъ не
хотѣлъ меня къ работѣ, потому я на живѣ не одна па-
ла, и меня било объ землю... Вотъ онъ и говоритъ мнѣ:
не вѣдь, братъ, себя, говорить... Онъ женить меня хотѣлъ
ниче, и дѣвушка была, но это дѣло не вышло. Мы пошли
одна къ рѣкѣ, а я заразы палъ, и меня зачало бить объ
землю... Вотъ я и говорю дѣвухѣ: не женихъ я тебѣ, го-
рю, не гоюсь я въ мужья. Плачетъ!... Но какъ же мнѣ
жить? Пришелъ я къ брату и сталъ просить его: пусти
меня, братецъ, къ святымъ мѣстамъ... самъ видишь, не го-
юсь я и въ мужья. Онъ отпустилъ. Ступай, говоритъ,
Егоръ (Егоромъ, слышь, меня зовутъ), все одно—дома ты
ни къ чему, а тамъ, по крайности, помолишься и за насъ,
потому намъ некогда и помолиться-то хорошенько... Ступай,
говоритъ, ты теперь, все одно какъ птица Божія: ни тебѣ
тать, ни тебѣ косить, ни думать о податяхъ неспособно...
Богъ съ тобой, иди! Вотъ я и пошелъ...

— А отсюда домой пойдешь?

— Нѣтъ, въ Кеевъ, тамъ помолюсь.

— А изъ Кіева куда?

— Куда Богъ пошлетъ... Я съ людьми все, куда люди, туда
и я. Одному боязно. Вотъ тѣ женщины спать, такъ это я
съ ними завтра въ Кеевъ пойду... Добрыхъ людей много,
одинъ не останусь.

Сказавъ это, онъ снова задумался, погладилъ свою бритую
голову и сталъ спускаться съ паперти на дворъ. Тамъ че-
резъ минуту онъ уже лежалъ на травѣ, поодаль отъ бого-
молокъ, свернувшись калачикомъ.

Этотъ странный человекъ былъ послѣднимъ живымъ впе-
чатлѣніемъ, оставленнымъ мнѣ Святыми горами.

Я былъ тамъ еще нѣсколько разъ, но уже монастырь со-
всѣмъ затихъ. На все время страды горы обращаются въ
обыкновенное дачное и увеселительное мѣсто; культурные
господа, турнюрные барыни, скучающіе землевладѣльцы,
толстые чиновники, толстые купцы,—все это часто толпами
идетъ въ этихъ чудныхъ мѣстахъ, любитъ видами, вы-
рываетъ свои темныя имена на скалахъ обители, пьетъ,
купается и катается на лодкахъ по Донцу, а бого-

мольца нѣтъ. Развѣ попадутся спеціалистки-страницы, и мелькнетъ изрѣдка больной человѣкъ вроде упомянутого выше Егора, котораго бьетъ о землю и который не годится ни въ работники, ни въ солдаты, ни въ мужья. А нас тоящій, коренной богомолецъ теперь разбрелся по Ивановкамъ и Степановкамъ и отправляетъ свою страду. „Теперь идетъ больше купецъ да господинъ, а черныи народъ повалить сюда съ Успенія“,—сказалъ мнѣ однажды лодочникъ состоящій при Святыхъ горахъ.

Но едва-ли въ нынѣшнемъ году богомолецъ повалитъ сюда; едва-ли у него найдется нынче достаточно времени и душевнаго покоя, чтобы помолиться въ святыхъ мѣстахъ.

Когда Святая горы совсѣмъ опустѣли, превратившись въ самое шаблонное дачное увеселеніе, я пересталъ туда ходить и отправился на рудники и копи.

V.

Опять степь. Едва бѣлыя скалы Донца, скученныя около Святыхъ горъ, скрываются изъ вида, какъ со всѣхъ сторон снова тянется выжженная солнцемъ, безлѣсная, безводная, изрытая морщинами равнина. Въ дождливый годъ здѣсь, вѣроятно, волнуются хлѣбныя поля и своими красивыми переливами смягчаютъ безотрадность степной полосы, но нынѣ послѣ нѣкоторыхъ надеждъ, и хлѣбовъ нѣтъ: поправившись-было отъ майскихъ ливней, въ іюнѣ они сгорѣли отъ солнца, скрючившись отъ горячихъ вѣтровъ. Въ концѣ іюня было уже ясно, что все погибло. Жары стояли такія, что и дорогамъ падали волы, а рабочіе на поляхъ замертво умирялись по домамъ, поражаемые солнечнымъ ударомъ.

Въ такое-то страшное время я и выѣхалъ въ первый разъ на донецкія копи. Последнія начинаютъ мелькать уже на курско-харьково-азовской дорогѣ. Изъ оконъ вагона, по тѣ и другую сторону рельсовъ, въ разныхъ направленіяхъ все вышаются черныя, курящіяся массы,—это и есть шахты и копи. Видишь странную картину: кругомъ нѣтъ ни горъ, ни другихъ какихъ-нибудь признаковъ горнозаводской страны—все та же кругомъ степь, безлюдная, безлѣсная, изрытая сухими балками, между тѣмъ, по обѣимъ сторонамъ дорогъ курятся шахты; гдѣ же такъ называемый Донецкій бас

сейтъ, донецкая горная цѣпь? Да ея совсѣмъ не существуетъ: обычное представленіе о горномъ массивѣ здѣсь надо отбросить. Горы въ Донецкомъ бассейнѣ существуютъ только по самому Донцу, именно по правому его берегу, сопровождая рѣку въ видѣ мѣловыхъ скалъ и возвышеній на десятки верстъ. Дальше же за этимъ крутымъ берегомъ онѣ, какъ будто, скрываются подъ землю, куда и надо углубиться, чтобы отыскать ихъ богатства. Тамъ, подъ землей, онѣ образуютъ массивныя толщи кварцита, известняка и песчаника, заключающихъ въ себѣ желѣзо, ртуть и другіе минералы; тамъ же, подъ землей, тянутся и слои каменнаго угля и каменной соли. На поверхности же ничего не видно; вокругъ все та же безконечная степь, изрѣзанная въ разныхъ направленіяхъ сухими балками и такими же возвышеніями, нисколько не напоминающими собой горной цѣпи. Всюду тянутся бурые, выжженные пространства, желтыя лѣбныя поля и зеленые луга, боязливо пріютившіеся по крошечнымъ степнымъ рѣченкамъ. Надо много воображенія или знанія мѣстныхъ условій, чтобы увидѣть на этой гладкой поверхности горы горнозаводскую дѣятельность, копи и горные заводы...

Прежде всего, я посѣтилъ Никитовскій ртутный рудникъ. И первый мой вопросъ, лишь только повѣздъ высадилъ насъ на станціи Никитовкѣ, былъ—гдѣ же тутъ рудникъ?—потому что кругомъ ничего не было видно, кромѣ лѣбныхъ полей, сухихъ выгоновъ и степныхъ залежей, да нѣсколькихъ селъ (въ ихъ числѣ виднѣлась и Никитовка), попрятавшихся въ углубленіяхъ широкихъ, безводныхъ овраговъ. Но скоро мое любопытство было удовлетворено. Едва нанятый нами старикъ-крестьянинъ изъ Никитовки провезъ насъ съ полверсты, какъ показались зданія знаменитаго рудника, дымящаго всѣми своими трубами, а кругомъ по степи виднѣлись каменноугольныя шахты, между прочимъ, и Горловыя. По мѣрѣ того, какъ лошадь наша бѣжала впередъ, ртутный рудникъ все болѣе и болѣе вырисовывался, а черезъ нѣсколько минутъ мы уже были возлѣ главной конторы.

Стоитъ онъ въ верстѣ съ небольшимъ отъ станціи, на совершенно ровномъ и по сравненію съ окрестностями низкомъ мѣстѣ. Благодаря такому характеру мѣстности, ртутный заводъ можно было поставить непосредственно возлѣ

самого рудника, что не часто случается въ горной промышленности. Посрединѣ всего завода возвышается большое зданіе (изъ дикаго камня), въ которомъ поставлены паровые котлы и подъемная машина; въ центрѣ этого-то зданія и находится рудникъ. Получивъ разрѣшеніе управляющаго въ сопровожденіи штегера, мы подошли къ его отверстию, ступили на площадку подъемной машины и черезъ минуту послѣ даннаго сигнала, понеслись куда-то внизъ, среди абсолютнаго мрака, сразу охваченные сыростью, затхлымъ холодомъ, и не успѣли хорошенько опомниться, какъ уже стояли на двѣхъ главной галлерей, по которой тамъ и сям мелькали огоньки. Намъ также дали по лампочкѣ въ руки и мы отправились по этой галлерей. Всюду мелькали огоньки, гдѣ-то раздавались удары, слышался грохотъ бросаемаго руды; въ воздухѣ было сыро и смрадно. Сыростью несло конечно, отъ мокрыхъ каменныхъ стѣнъ, смрадъ же происходилъ отъ масляныхъ лампочекъ, съ которыми работали рабочіе и обрабѣщики которыхъ были у насъ въ рукахъ.

Шли мы возлѣ самой стѣны, пробираясь по глыбамъ щебня, на каждомъ шагу спотыкаясь, потому что посрединѣ узкой галлерей проложены рельсы, по которымъ мимо насъ то и дѣло катились вагончики, нагруженные до верха породой. Иногда насъ останавливали въ тотъ моментъ, когда мы проходили подъ отверстіемъ, пробитымъ изъ верхней галлерей на нашу, и когда оттуда сыпался съ грохотомъ щебень породы въ стоящій около насъ вагончикъ. Рабочихъ, сыпавшихъ этотъ щебень сверху и стоявшихъ около вагончика, также останавливали, все прекращали на мгновеніе работу, но лишь только мы проходили, какъ за нами слышался снова грохотъ падающихъ камней или лязгъ вагончика, который покатила рабочіе.

Пробираясь все впередъ, мы по дорогѣ завертывали въ боковые ходы и забой. Всюду кипѣла работа: въ одномъ мѣстѣ рабочіе тяжелыми кирками долбили стѣны, въ другомъ происходило сверленіе отверстій, куда вкладывается зарядъ динамита и рветъ массивную толщ; добытый щебень рабочіе лопатами бросали въ вагончики и катили ихъ по рельсамъ до отверстія рудника, гдѣ ихъ поднимали машины вверхъ.

Изъ главной галлерей мы прошли въ другую, параллель

ную ей. Тамъ опять заходили во всё темныя закоулки, поднимались вверхъ, на верхнюю параллельную галерею, и нагърены были по лѣстницѣ спуститься еще ниже, на глубину тридцати трехъ сажень, но сопровождавшій насъ штеперъ отсвѣтовалъ, такъ какъ въ самомъ низу много воды. Всего пути подъ землей мы прошли не болѣе трехсотъ сажень, но я такъ наломалъ себѣ ноги объ камни, такъ тяжело дышалъ въ смрадной атмосферѣ и въ обществѣ такъ физически и душевно усталъ отъ всей этой тяжелой, необычной обстановки, что былъ очень радъ, когда по другому ходу мы пошли обратно къ выходу. По дорогѣ докторъ, резиновый мой спутникъ, нѣсколько разъ останавливался передъ тѣмъ или другимъ рабочимъ, безцеремонно и молча раскрывалъ пальцами ему ротъ и, пощупавъ десны и зубы его, шелъ дальше. Я, разумѣется, раньше зналъ о ртути отравленіи, но не представлялъ себѣ ясно размѣровъ его. Съ этимъ я познакомился не здѣсь, въ глубинѣ рудника, а на верху, на самомъ заводѣ.

Вступивъ опять на площадку, мы черезъ минуту снова были наверху, при блескѣ солнечнаго свѣта, который на мгновеніе болѣзненно рѣзалъ глаза. Отсюда насъ повелъ другой служащій осматривать заводъ. Пропуская разныя техническія подробности, я скажу лишь только въ общихъ чертахъ о тѣхъ мытарствахъ, которымъ подвергается руда, прежде нежели изъ нея получится ртуть. Когда подъемная машина поднимаетъ нагруженный вагончикъ на верхъ рудника, здѣсь его берутъ другіе рабочіе и катятъ на заводъ, отстоящій отъ шахты въ десяти-пятнадцати саженьяхъ и соединенный съ нею открытою галлереей, по которой проложены рельсы. Затѣмъ вагончикъ поступаетъ въ сортировочное отдѣленіе, гдѣ бабы и мальчики сортируютъ породу: пустую породу отбрасываютъ, содержащую ртуть складываютъ въ желоба; въ то же время недалеко отъ сортировочнаго мѣста стоитъ дробильная машина, въ которую то и дѣло лопатами насыпали руду: мелкій щебень высыпаютъ въ одну пасть машины, крупныя камни швыряютъ въ другую пасть, болѣе широкую, и объ эти пасти непрерывно чавкаютъ, грызутъ и пережевываютъ эту кварцевую пищу, отчего во всемъ отдѣленіи раздается непрерывный грохотъ, лязганье и хрустѣнье. Вслѣдъ затѣмъ пережеванная такимъ

путемъ порода поступаетъ въ другое отдѣленіе, въ плавильное. Но на заводѣ есть нѣсколько системъ плавильныхъ печей. При одной системѣ, менѣе опасной, изобрѣтенной не давно однимъ изъ служащихъ, нагруженный рудой вагончикъ механически высыпается въ жерло: подходя къ печи онъ надавлиываетъ самъ пружину, массивная крышка печи поднимается, вагончикъ опрокидывается, высыпаетъ свое содержимое и крышка снова захлопывается. По другой первобытной системѣ, рабочіе просто лопатами высыпаютъ руду въ открытое жерло, устроенное на подобіе воронки отчего безпрерывно вдыхаютъ въ себя страшную атмосферу. Наконецъ, послѣ поступленія породы въ печи (а въ этихъ печахъ настоящій адъ) вмѣстѣ съ коксомъ, ртуть испаряется, переходитъ въ видѣ паровъ въ холодильники и дѣло окончено.

По всему этому отдѣленію, гдѣ печи, поистинѣ страшная атмосфера; въ раскаленномъ воздухѣ носятъ пары ртути мышьяка, сурьмы и свѣры. Все это вдыхается рабочимъ. Докторъ снова началъ раскрывать рты, щупалъ десны, шаталъ зубы и приказывалъ горизонтально вытягивать руки. Здѣсь только я убѣдился въ широкихъ размѣрахъ болѣзни. Правда, нѣкоторые рабочіе служатъ по цѣлымъ годамъ, но это какое-то невѣроятное исключеніе. Большинство и года не выдерживаетъ, а нѣкоторые могутъ остаться при работѣ только недѣлю, двѣ, мѣсяцъ. Насыщенная ядами атмосфера быстро производитъ дѣйствіе: появляется красная полоса на деснахъ, зубы шатаются и выпадаютъ, челюсть отвисаетъ, руки и ноги начинаютъ дрожать. Заболѣвъ такимъ образомъ, рабочій часто черезъ недѣлю просится въ отпускъ. При насъ подошелъ къ водившему насъ служащему какой-то другой служащій и сталъ проситься отпустить его.

Мы проходили по заводу нѣсколько часовъ; вниманіе такъ утомилось, что я запросился вонъ съ завода. Мы вышли. Тамъ и самъ вокругъ заводскихъ зданій построены длинныя мазанки, сколоченныя изъ камня, выброшеннаго изъ рудникомъ, и глины,—это казармы для рабочихъ. Въ одной изъ нихъ мы просидѣли съ полчаса, но ничего любопытнаго не нашли, такъ какъ часъ былъ рабочій, и все населеніе толпилось вокругъ плавильныхъ печей, въ рудникахъ, на дво-

рахъ. Да и трудно было въ нѣсколько часовъ разспросить о жить-бытьѣ, тѣмъ болѣе, что заводское населеніе представляетъ собою страшный сбродъ, сошедшійся сюда изъ отдаленныхъ губерній—Рязанской, Орловской, Воронежской, Курской, не говоря уже о Харьковской и Екатеринославской, да и это сбродное населеніе непрерывно мѣняется: одни уходятъ, заболѣвъ ртутнымъ отравленіемъ, другіе приходятъ попытать счастья.

Оставивъ казарму, мы отыскиали нашего стараго возницу на выгонѣ, сѣли на его самодѣльный экипажъ, похожій на грабли, брошенные зубьями вверхъ, и отправились обратно на станцію. И опять та же картина: безконечная степь, хлѣба, села съ бѣлыми церквами. А только что осмотрѣнный нами заводъ, едва мы повернулись къ нему спиной, сталъ представляться какою-то мечтой, бредомъ, больною фантазіей,—такъ мало напоминала вся окружающая страна о какой бы то ни было горной промышленности.

Сразу, едва очутившись на экипажѣ-грабляхъ, мы почувствовали себя въ первобытной степи, среди коренныхъ земледѣльцевъ, на дикомъ раздолѣ сухихъ выгоновъ и балокъ. Старикъ нашъ еще болѣе усилилъ наше впечатлѣніе, рассказавъ намъ про свои чисто-крестьянскія дѣла. Говорилъ онъ не только на вопросы наши, но и отъ себя, на свои собственные вопросы. Такъ, онъ разсказалъ намъ, что у него пять сыновей, что двое изъ нихъ съ нимъ живутъ и уважаютъ его, что кромѣ того съ нимъ же живетъ и солдата, забеременѣвшая не отъ солдата, и что осенью придетъ солдатъ, но ему не позволятъ бить жену, потому съ тѣмъ грѣхъ не бываетъ. Кромѣ того, старикъ съ гордостью прибавилъ, что, несмотря на свою старость, онъ все-таки рубитъ, зашибая копѣйку, а копѣйку тратитъ не на себя, какъ онъ имѣлъ бы право, а на всѣхъ; поѣдетъ въ Бахмутъ, купитъ бубликовъ или калачей и раздѣлитъ всѣмъ.

— Сколько же тебѣ лѣтъ?—спросилъ докторъ.

— А я не знаю,—равнодушно возразилъ дѣдъ.—Неужели же помнить-то (дѣдъ при этомъ добавилъ нѣсколько энергичныхъ фразъ)? Года, какъ вода,—сколько утекло, того не пересчитаешь!

— Ну, а примѣрно все-таки?—приставалъ докторъ.

— Да „черный годъ“ помню. Никакъ годовъ семнадцать въ ту пору было мнѣ.

„Черный годъ“, памятный по своимъ послѣдствіямъ, какъ самый страшный изъ всѣхъ голодныхъ годовъ, былъ 1833 годъ. Здѣшніе жители передають о немъ ужасныя вещи, разумѣется, по преданію; старики съ него ведутъ лѣтосчисленіе.

— Это тебѣ, значить, лѣтъ семдесятъ съ хвостикомъ?

— Надо полагать.

— Ну, что же тогда было, въ черный-то годъ?

— А чего же еще?... Травы сгорѣли, хлѣба сгорѣли, земля почернѣла, листья по лѣсамъ что есть опали, скотъдохляди остались живы...

— Чѣмъ же кормились-то?

— Чѣмъ ни то кормились. Кору съ дубевъ лупили, отруби мѣшали, мякину толкли,—чѣмъ же больше-то? Наземь не станешь ѣсть.

— Ну, а нынче какъ? Какъ бы не былъ опять черный годъ?—спросилъ докторъ.

— Нынче что! Вонъ горловцы углемъ кормятся, что ииъ. Лишь бы уголь былъ.

— А вы чѣмъ кормитесь, ртутью?

— Нѣтъ, со ртути много не возьмешь. Наши никитовцы также больше углемъ живутъ. И другіе прочіе безъ хлѣба могутъ проболтаться... Тутъ теперь вездѣ вошелъ металлъ: желѣзо-ли, соль-ли, другая-ли какая руда, все изъ-подъ земли... ну, и питаются.

— Ну, а вы также, говоришь, углемъ?

— Все больше углемъ.

— А ртутный-то рудникъ развѣ мало даетъ вамъ?

Надо замѣтить, что Никитовскій ртутный рудникъ стоитъ на крестьянской землѣ. Владѣльцы его платятъ никитовцамъ ежегодную аренду, что-то около 2,000 руб. Но владѣльцы предлагаютъ продать имъ землю подъ рудникомъ въ полную собственность. Однако, и аренда, и предполагаемая покупка основываются больше на водкѣ, да на карманахъ миробовъ. Общая-же масса никитовцевъ только хлопаетъ глазами.

— Чего онъ даетъ-то? Чорта лысаго онъ даетъ, — выговорилъ равнодушно старикъ.

— Обѣхали васъ?
— Обѣхали.
— На сколько лѣтъ?
— Да никакъ лѣтъ на двадцать. Ну, да теперича и мы хотимъ принажать!

— Хотите все-таки?
— А то какже?
— Думаете обѣхать?
— Сдѣлай одолженіе!
— Обѣдете?
— Будьте покойны! Будетъ задарма-то копать, попользовались, а ужъ теперь мы попользуемся. Тутъ вѣдь дѣло то миллионное!

Говоря это, старикъ какъ будто на кого-то разсердился и какъ будто далъ слово, вмѣстѣ съ прочими никитовцами, твердо вступить за свои права на ртутный рудникъ.

— Это было бы хорошо для васъ. А все-таки я думаю, — шутя иронически сказалъ докторъ, — что и опять васъ обѣдутъ!

Старикъ вопросительно посмотрѣлъ на насъ обоихъ и закинулъ разсѣянно:

— А что ты думаешь, вѣдь я впрямь обѣдую, сдѣлай одолженіе! Отличнѣйшимъ манеромъ обѣдую!

— И вы будете смотрѣть? — спросилъ докторъ.

— А чего же? Да какже съ ними совладаешь-то? Да насъ можно очень просто водкой накачать, а мірошдовъ задарить, и тогда изъ насъ, пьяныхъ истукановъ, хошь веревки вей... Да ну ихъ!... Грѣхъ одинъ промежъ насъ идетъ изъ-за этого самаго рудника!... Ну ихъ!...

Старикъ при этомъ добродушно выругался. А на нашъ смѣхъ онъ новторилъ:

— Да право! Что намъ съ ними тягаться-то? Силы у насъ мало, то-есть совсѣмъ силы супротивъ ихъ у насъ нѣту! Самый мы мякнннй народъ, ежели касательно, чтобы права свои отыскивать, то-есть вотъ какіе мы гороховые людишки насчетъ этого рудника!... Ну ихъ!..

Старикъ началъ-было разсказывать исторію открытія и разработки рудника, но въ это время мы были уже возлѣ станции, и намъ предстояло черезъ нѣсколько минутъ уѣхать изъ Никитовки.

На слѣдующій разъ мнѣ предстояло познакомиться съ Брянцевскими соляными копами и съ Деконовскими каменно-угольными копами, но почему-то я рѣшилъ, прежде всего, поѣхать на крестьянскую угольную разработку, производимую самими мужиками на свой страхъ и счетъ. Должно быть, это мое рѣшеніе явилось незамѣтно, благодаря словамъ старика, что народъ здѣсь больше всего на счетъ металла болтается, — одни кормятся углемъ, другіе солью, третьи ртутью.

Пища эта не зависитъ отъ урожая, но какою цѣной она достается — это еще мнѣ предстояло узнать.

VI.

Если я не попалъ въ Лисичанскъ или въ Нелѣповку, или другое какое мѣсто, гдѣ существуютъ крестьянскія шахты, а пріѣхалъ въ Щербиновку, находящуюся близъ ст. Петровской, то это совершенная случайность, — случайная встрѣча съ человѣкомъ, который посоветовалъ мнѣ ѣхать именно въ Щербиновку... Но я потомъ былъ благодаренъ этой случайности, такъ какъ попалъ въ самое типичное мѣсто, въ самое каменноугольное гнѣздо, со всѣми его оригинальными особенностями, и могъ узнать то, чего я не узналъ бы ни въ Лисичанскѣ, ни въ другомъ какомъ-либо мѣстѣ.

Было позднее утро, когда я пріѣхалъ на ст. Петровскую Донецкой дороги. Нѣсколько минутъ я колебался, что мнѣ дѣлать: идти ли пѣшкомъ до Щербиновки, или поискать лошади, и гдѣ остановиться — у русскаго или у еврея, у скупщика или у крестьянина. Когда я наканунѣ передъ тѣмъ наводилъ справки, мнѣ не советовали ни въ какомъ случаѣ (Боже васъ сохрани!) объявлять своей профессіи и цѣли пріѣзда. „Иначе вамъ ничего не покажутъ и вы ничего не узнаете“. Советовали лучше всего явиться не въ своемъ видѣ, напримѣръ, въ видѣ покупателя угля или агента, но, главнымъ образомъ, настаивали на томъ, чтобы я не имѣлъ дѣла прямо съ мужиками, а отыскалъ жида... Жида въ такихъ случаяхъ незамѣнимъ; онъ все знаетъ, все можетъ показать и рассказать, всѣмъ услужить и сдѣлать вообще то, чего никто не въ силахъ сдѣлать... безъ жида не обойдешься!

И я уже внутренне почти согласился поступить сообразно съ совѣтами опытныхъ людей.

Но теперь на станціи никого не было, не только жида, но и самого немудрящаго жиденка. Пришлось обходиться своими средствами. Съ твердымъ намѣреніемъ отыскать жида я отправился, съ подушкой и пледомъ въ рукахъ, по дорогѣ въ Щербиновку; предстояло идти версты двѣ. Солнце уже немилосердно жарило; раскаленный воздухъ стоялъ неподвижно надъ голою степью, которая широко раскинулась передъ глазами, лишь только я вышелъ со станціи, а на мою бѣду, въ эти дни я заболѣлъ приступами своей мучительной болѣзни. Но дѣлать было нечего, пришлось идти. Немного пройдя, я вышелъ на пригорокъ, а отсюда передо мной сразу развернулась широкая впадина, въ которой и залегло громадное село; можно было опредѣлить, гдѣ живетъ простой мужикъ, гдѣ скупщикъ, гдѣ русскій и гдѣ иѣмецъ; нельзя было только заранѣе опредѣлить, въ какомъ домѣ засѣлъ иждъ-скупщикъ, а въ какомъ—русскій скупщикъ, да это, пожалуй, и вблизи трудно распознать...

Послѣ довольно тяжелыхъ усилій я, наконецъ, добрался до села, спустился въ первую попавшуюся улицу и пошелъ в серединѣ ея, въ полномъ недоумѣніи, куда зайти. Но тутъ то въ первый и въ послѣдній разъ мнѣ и сослужилъ службу иждъ. Идя по улицѣ, населенной въ перемежку мужиками и евреями, я оглядывался по сторонамъ, какъ вдругъ слышу зади меня голосъ:

— Господинъ, господинъ! Позвольте! Остановитесь, пожалуйста!

Я остановился и оглянулся. Въ мою сторону спѣшиль одѣтый въ брюки и жилетъ еврей и махалъ правою рукой, а лѣвою рукой онъ придерживалъ щеку.

— Извините, господинъ,—говорилъ съ сильнымъ жидовскимъ акцентомъ догнавшій меня,—у меня зубы болятъ.

— Ну, такъ что же?—отвѣтилъ я, ничего не понимая.

— Да я увидалъ, что вы идете, и думалъ: вотъ докторъ. Побѣгу зубы показывать...

— Нѣтъ, я не докторъ.

— Очень плохо. Може, фершалъ?

— Нѣтъ, и не фельдшеръ.

— Очень плохо. А позвольте спросить, для какой потребности прибыли?—спросилъ еврей, поддерживая щеку.

— Да это ужь мое дѣло.

— Такъ. Очень плохо. Може, уголь купить?

— Можетъ быть.

— А жито не покупаете?... Боже мой, какъ зубъ болитъ!... Жита вамъ не надо?

— Жита я не беру,—отвѣтилъ я, смѣясь.

— Такъ. Плохо, плохо. Зубъ меня беспокоить... Шахты не будете покупать?

— Ничего мнѣ пока не нужно. А вотъ если бы вы указали мнѣ, гдѣ можно выпить молока, я былъ бы очень благодаренъ вамъ.

Еврей живо оглянулъ всю улицу и тотчасъ же закричалъ вдали идущей съ ведрами бабѣ:

— Эй, Перепичка! Вотъ господинъ молока хочетъ выпить, дай ему молока... Идите, господинъ, вотъ въ этотъ домъ. Она вамъ дастъ молока.

И еврей довелъ меня до воротъ, куда въ эту минуту входила та, которую онъ называлъ Перепичкой, вѣжливо попросилъ извиненія и отправился, все продолжая придерживать щеку, въ ту сторону, откуда онъ догналъ меня. А черезъ минуту я сидѣлъ уже въ сѣнцахъ, пилъ молоко и разговаривалъ съ бойкою Перепичкой. Немного спустя послѣ моего прихода вошелъ въ сѣнцы мужъ Перепички, съ которымъ мы также разговорились. Оба Перепички были такіе умные, смышленные и знающіе, что я въ сѣнцахъ ихъ просидѣлъ часа два и благодарилъ еврея, что онъ сюда меня направилъ. Въ эти два часа, въ разговорѣ съ мужиками, я узналъ больше, чѣмъ въ цѣлый день разговора съ опытными людьми.

Перепички еще недавно сами держали шахту на крестьянской землѣ, знали всѣ процессы добычи и сбыта угля, знали всю исторію Щербиновскихъ шахтъ, какъ владѣльческихъ, такъ и мужицкихъ, но, главное, до мельчайшихъ подробностей, съ тонкими оттѣнками могли рассказать про все, что касалось угольнаго дѣла не только въ ихъ Щербиновкѣ, но и по другимъ мѣстамъ. Пріѣхалъ я въ Щербиновку съ крайне смутными представленіями о дѣлѣ, которымъ интересовался, а здѣсь, въ мазанныхъ сѣнцахъ, въ разговорѣ съ двумя Перепичками (по-русски Перепичка значитъ лепешка), въ те-

чение лишь двухъ часовъ, я такъ ясно сталъ представлять себѣ вещи, какъ будто изучалъ ихъ въ теченіе мѣсяца. Говорили мы про окрестныхъ владѣльцевъ шахтъ, про арендаторовъ, про устройство самихъ шахтъ, про добываніе и сбытъ угля, про скупщиковъ и торговцевъ, про евреевъ и макиеровъ; не забыли даже такой высокой матеріи, какъ „угольные кризисы“ и ихъ причины. Но такъ какъ я, отправляясь сюда, больше всего интересовался мужицкими шахтами, то о нихъ больше и рѣчь шла. Но тутъ мои случайные знакомые, смышленные Перепички, оказались уже положительно на высотѣ авторитетныхъ знатоковъ. Однако, я передамъ не только то, что мнѣ рассказывали Перепички, но и все то, что мною узнано изъ другихъ источниковъ.

Въ Щербиновкѣ, въ Нелѣповкѣ и во многихъ мѣстахъ земля, содержащая каменноугольные пласты, принадлежитъ крестьянскимъ обществамъ. Въ большинствѣ случаевъ крестьяне эту землю, на разныхъ условіяхъ, сдаютъ въ аренду крупнымъ владѣльцамъ и компаніямъ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ вотъ въ этой Щербиновкѣ, мужики, на ряду съ отдачей въ аренду, сами пробовали и до сихъ поръ продолжаютъ разрабатывать уголь. Содержащая уголь земля, какъ и всякія другія мужицкія угодья, дѣлится по душамъ, причемъ приходится на каждую душу, на примѣръ, по сажени разумѣется, по сажени поверхности, а не глубины), и этию кусочки затѣмъ и поступаютъ подъ разработку. Говорятъ, что для разработки раньше составлялись артели изъ нѣсколькихъ человѣкъ, которыя собственными средствами и добывали уголь, внося каждый капиталъ и рабочія руки; бывало это и въ Щербиновкѣ. Но я артелей уже не засталъ. Разрабатываютъ шахты въ настоящее время не артели, а отдельные крестьяне-домохозяева, т.-е. произошло раздѣленіе между капиталомъ и трудомъ, хотя еще очень неопредѣленное. Дѣлается это такимъ образомъ. Тотъ или другой крестьянинъ побогаче или половчѣе скупаетъ угольные души на себя, причемъ платитъ за это право аренды отъ пяти до десяти рублей, смотря по тому, у кого покупаетъ: если вышеупомянутыя сажени принадлежатъ бѣдняку, то стоимость покупки падаетъ даже ниже пяти рублей, падаетъ даже до нѣсколькихъ бутылокъ водки, потому что для бѣдняка доставшая ему угольная сажень бесполезна и разрабатывать

ее онъ не въ силахъ, между тѣмъ, деньги ему нужны всегда до зарѣзу, и вотъ онъ готовъ спустить свой надѣлъ за бездѣлицу; если же надѣлъ принадлежитъ состоятельному домохозяину, то цѣна покупки возрастаетъ вмѣстѣ съ состоятельностью его; у богатаго же крестьянина и совсѣмъ нельзя купить его надѣлъ, потому что если онъ теперь не разрабатываетъ свой уголь, то надѣется приступить къ его работѣ въ другое время. Такимъ образомъ, у покупателя оказывается во владѣніи нѣсколько десятковъ душъ. Таку же покупку можетъ совершить и другой крестьянинъ; вслѣдствіе этого, угольные надѣлы, въ концѣ-концовъ, скопляются въ очень немногихъ рукахъ. Такъ, въ Щербиновкѣ въ настоящее время только съ небольшимъ двадцать шахтъ, принадлежащихъ почти такому же числу владѣльцевъ, причемъ каждая шахта составлена изъ многихъ десятковъ душевыхъ надѣловъ и содержитъ до двухъ сотъ саженой поверхности.

Сдѣлавъ покупку, крестьянинъ приступаетъ къ разработкѣ. Но здѣсь опять нѣсколько способовъ разработки. Иногда хозяинъ скупленныхъ надѣловъ самъ начинаетъ хозяйничать: нанимаетъ рабочихъ, покупаетъ орудія, самъ работаетъ и надзираетъ, самъ продаетъ вынутый уголь; и для этого не нужно ему даже большихъ денегъ, потому что орудія на первыхъ порахъ онъ покупаетъ самыя, что называется, мочальныя, а что касается платы рабочимъ, то она совершается часто черезъ мѣсяцъ и болѣе послѣ найма ихъ, а этого времени совершенно достаточно, чтобы добыть уголь, продать его и получить деньги; если же и по истеченіи этого времени онъ не добываетъ денегъ, то рабочіе безъ ропота забираютъ лопаты, котлы, тачки и все, что можно захватить, и убѣгаютъ. Но до такого скандала можетъ довести свою шахту только дуракъ, не умѣющій во-время извернуться, именно—взять денегъ у еврея. Но тогда выйдетъ уже другой способъ разработки, состоящій въ слѣдующемъ. Мужикъ-владѣлецъ, не имѣющій денегъ, обращается за ними къ еврею и, получивъ ихъ, покупаетъ орудія, нанимаетъ рабочихъ, закладываетъ шахту и добываетъ уголь, но добытый уголь онъ сбываетъ уже не куда хочетъ, а тому самому еврею, у котораго взялъ деньги, сбываетъ, конечно, по условленной цѣнѣ. Этотъ способъ тѣмъ невыгоденъ, что хлопотъ владѣльцу много, а барыша ему перепадаетъ самая

жалость. Третій способъ гораздо выгоднѣе, но, по крайней мѣрѣ, владѣльцу при этомъ способѣ нѣтъ почти никакихъ хлопотъ. Совершается это такимъ образомъ. Накупивъ душевыхъ надѣловъ, крестьянинъ сдаетъ все скупленное въ аренду еврею, и тотъ уже отъ себя, на свои деньги и при личном своемъ надзорѣ, покупаетъ орудія, нанимаетъ рабочихъ, слѣдитъ за разработкой, самъ не брезгаетъ никакою работою, а крестьянинъ-владѣлецъ получаетъ только арендную плату. Наконецъ, четвертый способъ состоитъ въ томъ, что крестьянинъ, владѣлецъ шахты, всѣ работы сдаетъ подрядчику, также въ большинствѣ случаевъ еврею, а самъ беретъ на себя только вывозъ готоваго угля съ шахты на станцію и продажу его.

Читатель самъ, конечно, замѣтилъ, что еврей всюду присутствуетъ; онъ скупаетъ у мужика уголь, онъ, въ другомъ случаѣ, арендуетъ шахту, онъ же является, въ третьемъ случаѣ, подрядчикомъ и, наконецъ, во всякомъ случаѣ снабжаетъ деньгами всякаго шахтовладѣльца. Но это говорилось въ краткости. Въ дѣйствительности, всѣми перечисленными ремеслами (арендатора, подрядчика, скупщика и банкира) занимаются и русскіе; только мужикъ-владѣлецъ угольной шахты предпочитаетъ имѣть дѣло съ евреями. А почему предпочитаетъ—это мнѣ опять разъяснилъ Перепичка. Я въ разговорѣ съ нимъ упомянулъ о томъ, что евреевъ теперь отовсюду гонятъ, и спросилъ, довольно-ли будетъ населеніе Щербиновки, если и отсюда ихъ погоняютъ.

— Хуже будетъ,—сразу отвѣтилъ Перепичка.

— Безъ жида-то?

— Хуже будетъ безъ жида,—твердо сказалъ мужикъ.

— Это почему?—спросилъ я, не мало удивленный.

— Да потому же! Видите-ли, оно какъ... Жидъ, примѣрно, понимаетъ деньги, а нашъ братъ нѣтъ. Это разъ. Другое, онъ самъ гроши пускаетъ въ оборотъ... Ежели хоть малая ему выгода, онъ ужъ дастъ тебѣ, а у нашего брата, который, на примѣръ, имѣетъ, Христомъ Богомъ не выпросишь, хоть ты умирай съ голоду. Третье я вотъ скажу такъ, примѣрно: жиду, на примѣръ, только гроши твои и нужны, ничего другое ему не требуется отъ тебя, и ежели онъ вынетъ у тебя тихимъ манеромъ изъ кармана портмонетъ, то онъ больше ничего ужъ не возьметъ у тебя; если же нашъ братъ,

который побогаче, такъ не только портмонетъ твой отниметъ, но еще и надругается надъ тобой, опоганитъ душу твою, въ ногахъ заставитъ валяться, накуражится въ волю да все еще благодѣтелемъ твоимъ будетъ считаться... Я молъ, мерзавецъ, тебя выручилъ, а ты меня не уважаешь! Тутъ вонъ у насъ много такихъ-то... Вотъ, примѣрно, По пасенко,—ну, я вамъ скажу, это такая ядовитая штука, что двѣсти жидовъ супротивъ него не выдержать... И уголь скупаютъ, и гроши даютъ, и арендуютъ, но всѣ отъ него плачутъ, кто только ни свяжется съ этимъ чортомъ. Вотъ по чему я и говорю: хуже будетъ.

Долго мы съ Перепичкой говорили о жидакъ; Перепичка самъ года три назадъ держалъ шахту, имѣлъ дѣло и съ русскими богачами, и съ жидами, и противъ первыхъ у него видимо, много накопилось горечи. Между тѣмъ, мнѣ поруже было ѣхать на шахты. Я спросилъ у Перепички лошадь, такъ какъ до шахтъ считается не менѣе четырехъ верстъ. Но при этомъ Перепичка мой такъ вдругъ измѣнился въ лицѣ и манерахъ, что я не узналъ его; лицо его стало загадочно-надутымъ, словно онъ вдругъ на что-то осердился, глаза его отвернулись въ сторону, какъ будто онъ стыдился чего-то. „Что такое?“—думалъ я, ничего не понимая, и снова переспросилъ, дастъ-ли онъ лошадь и сколько за это возьметъ. Тогда онъ свирѣпо выговорилъ такую цифру, словно мнѣ нужно было на его лошади проѣхать 50 верстъ. Я засмѣялся и сталъ стыдить его. Онъ сконфузился, но настаивалъ на своемъ, бормоча что-то про богатыхъ покупателей шахтъ и про то, что если съ нихъ не взять лишняго, то больше и взять не съ кого. Мнѣ стало ясно, что меня принимаютъ за кого-то другого, но я не зналъ, какъ приступить къ объясненію цѣли своего пріѣзда. Наконецъ, меня выручила сама Перепичка. „Да вы собственно зачѣмъ шахты-то будете осматривать, покупать, что-ли?“—спросила она. И я долженъ былъ всѣми мѣрами отказываться отъ роли покупателя и объяснять цѣль моего пріѣзда или, лучше сказать, безцѣльность. Послѣ долгихъ убѣждений оба Перепички сразу поняли и расхохотались, причемъ лица ихъ опять просвѣтлѣли и выглядѣли добрыми.

— Да Боже-жъ мой! А вѣдь мы думали, что вы пріѣхали шахту покупать... Ну, мы и думаемъ, какъ не слушать лиш-

ить грошей съ эдакаго челоѣка! А вы только изъ любопытства... да сдѣлайте одолженіе, поѣзжайте за пятьдесятъ копѣекъ сколько угодно!

И Перепичка велѣлъ своему сыннишкѣ запречь лошадь. Пока тотъ закладывалъ въ дрожки лошадь, я напомнилъ козину о жидакѣ и замѣтилъ, что съ русскими дѣйствительно хуже имѣть въ этихъ мѣстахъ дѣло.

— Да и вѣрно!—весело сказалъ Перепичка.—Вѣдь вотъ нѣ втемянилось, что вы покупатель, и я одурѣлъ... Съ нашими братомъ, чортомъ, дуракомъ, нельзя насчетъ грошей дѣла дѣлать... не понимаемъ! А жидъ понимаетъ, сколько какая вещь стоитъ... Ну, вы ужъ простите дурака, потому нашъ братъ бѣда какой непонятливый насчетъ ежели что съ кого взять.

Перепичка, сильно сконфуженный, теперь оправился отъ смущенія, и мы разстались друзьями.

Дорога къ шахтамъ шла черезъ поля, скошенные и сжаты. Со всѣхъ сторонъ къ деревнѣ тянулись рыдваны со свопами, запряженные волами; по дорогѣ валялись упавшіе попося. На гумнахъ повсюду шла молотьба, кое-гдѣ въ воздухѣ видѣлись столбы мякины,—кто-то ужъ торопился ѣсть. А на горѣ десятокъ вѣтряныхъ мельницъ дружно жерты крыльями, торопясь приготовить муку изъ свѣжаго хлѣба. Это была чисто-деревенская картина, и если бы не кирпичная башня, поставленная надъ шахтой верстахъ въ трехъ отъ села и принадлежащая нынѣ какой-то компаніи, то нельзя было бы и подумать, что здѣсь повсюду добывается каменный уголь. И въ особенности нельзя было представить, чтобы гдѣшніе крестьяне занимались чѣмъ-либо другимъ, кромѣ хлѣбопашества.

Только совсѣмъ близко подъѣхавъ, я увидалъ на пригоркѣ рядъ какихъ-то черныхъ бугровъ, а надъ ними какія-то постройки вродѣ колодезныхъ журавлей. Это и были крестьянскія копи. Когда я подъѣхалъ къ одной изъ нихъ совсѣмъ близко и слѣзъ съ дрожекъ, то минутнаго взгляда было достаточно, чтобы понять все это немудрое сооруженіе. Выкопана въ видѣ колодца яма, въ глубину не болѣе десяти саженой; надъ ямой, на перекладинѣ, утвержденной на двухъ столбахъ, придѣлана пара блоковъ, а сажени на двѣ въ сторону, на расчищенномъ, на подобіе тока, кругу

стоитъ воротъ; подъ воротомъ лошадь. Только и всего. Тутъ и вся машина. Лошадь, погоняемая подросткомъ, ходитъ въ одну сторону, воротъ вертится, тянетъ веревку на одномъ блокъ и поднимаетъ изъ глубины ямы конецъ этой веревки, на которомъ прикрѣплена бадья; въ то же самое время другая бадья на другомъ блокъ опускается внизъ и наполняется тамъ углемъ; тогда лошадь поворачивается обратно, обратно начинаетъ двигаться и вся машина и вторая бадья вытаскиваются изъ глубины шахты. Чтобы высыпать уголь изъ выкопанной бадьи, рабочий беретъ ее прямо руками, усиленно словно за шиворотъ, тащить ее къ себѣ, вытаскиваетъ и наконецъ, послѣ нѣкоторой борьбы опрокидываетъ изъ нея уголь. А чтобы снова бросить ее въ яму, это уже дѣло подростка-погонщика; онъ бросаетъ лошадь, подбѣгаетъ къ веревкѣ между воротомъ и блоками, цѣпляется за нее руками и ногами и тащить ее собственною тяжестью къ землѣ; веревка подается, бадья поднимается съ края шахты, гдѣ до сихъ поръ она безпомощно лежала на боку; и падаетъ въ яму. Такимъ образомъ, мальчишій въ продолженіе дня столько разъ приходится болтать въ воздухѣ руками и ногами сколько вытягивается изъ ямы бадьей, т.-е., примѣрно, штукъ двѣсти. Игра серьезная.

Что же дѣлается въ самой ямѣ? Надо сказать, что мужичья шахта по вертикали внизъ ни въ какомъ случаѣ не бываетъ болѣе десяти сажень; нѣкоторыя шахты изъ осмотра нннихъ мною простирались въ глубь до 15 саж., но въ такомъ случаѣ вся машина была лучше и вмѣсто одной лошади ихъ была пара. Далѣе, съ десяти сажень, идетъ заботъ по наклонной плоскости, а не горизонтальными галлереями, для укрѣпленія которыхъ у мужика нѣтъ ни умѣнья, ни средствъ. Динамитъ ннкогда не употребляется. Вмѣсто него, рабоче-забойщики просто долбаютъ пластъ угля кайлами и этимъ путемъ добываютъ его. Наполненный уголь другіе рабочіе лопатами насыпаютъ въ вагончикъ и подвозятъ его къ мѣсту опусканія бадьи; здѣсь бадью насыпаютъ, держатъ за веревку (это значить—тащи!) и ждутъ, когда вмѣсто насыпанной бадьи къ нимъ спустится другая. Вагончикъ, впрочемъ, я видѣлъ только въ первой осмотрѣнной мною шахтѣ; въ другихъ, вмѣсто него, употреблялась другая во-суда, вродѣ ящика изъ-подъ макаронъ или вродѣ сама-

жогъ, на которыхъ ребята катаются съ горъ. Такую посудину тащатъ просто волокомъ по землѣ до самаго отверстія шахты.

Рабочихъ минимумъ полагается 6. Одинъ, подростокъ, управляетъ лошадыю и болтаетъ ногами и руками на веремѣ; другой принимаетъ изъ шахты бадью и борется съ ней; двое внизу шахты насыпаютъ уголь въ посудину, а затѣмъ нагребаютъ его въ бадью; двое другихъ добываютъ уголь. Это число по большей части удваивается, когда работа происходитъ день и ночь; тогда смѣна равняется 12 часамъ. Но это у болѣе состоятельнаго хозяина-мужика или у состоятельнаго арендатора. У бѣднаго, какъ придется.

Но у тѣхъ и у другихъ устройство самой шахты одинаково. Одинакова и „сбруа“. Все это буквально состоитъ изъ обломковъ и обрывковъ. Воротъ, кое-какъ сколоченный на преснувшемъ столбѣ, немилосердно реветъ; канатъ, съ бесчисленными узлами, то и дѣло путается и зацѣпляется на гудомъ колесѣ; блоки плачутъ надъ ямой.

Здѣсь я долженъ бы былъ разсказать о самихъ рабочихъ въ купецкихъ шахтахъ, но такъ какъ впечатлѣнія мои, вынесенныя изъ Щербиновскихъ копей, смѣшались съ другими впечатлѣніями, полученными отъ другихъ мѣстъ, то и о рабочихъ я скажу особо.

VII.

Былъ обѣдненный для рабочихъ часъ. Всѣ были наверху. Арендаторъ-еврей сидѣлъ у себя въ землянкѣ въ одной рубашкѣ, перепачканной угольною пылью, и дѣлалъ на бумагахъ какія-то вычисленія, въ то же время закусывая хлѣбомъ и холоднымъ кускомъ мяса. Я вошелъ къ нему затѣмъ, чтобы попросить позволенія спуститься въ его шахту. Но изъ короткаго разговора съ нимъ оказалось, что это невозможно и бесполезно.

— У васъ есть другой костюмъ?—спросилъ онъ, оглядывая меня съ ногъ до головы.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ я. Я дѣйствительно забылъ захватить блузу и сапоги.

— Такъ какъ же вы спуститесь? Вы все перепачкаете, живого мѣста на вашей одеждѣ не останется, вымокнете... тамъ вѣдь воды по щиколки.

— Да неужели рабочіе въ теченіе двѣнадцати часовъ ходятъ въ лужѣ?

— Что же дѣлать? Бываетъ, что и по поясъ заливаютъ, ежели не успѣемъ выкачать.

Тутъ я поинтересовался, когда же воду выкачиваютъ! Самъ я вокругъ шахты не замѣтилъ никакихъ признаков откачиванія.

— Отливаемъ въ свободное время... Когда уже совсѣмъ нельзя работать, все затопляетъ, тогда и откачиваемъ, а потомъ опять работать.

— Да развѣ этакъ возможно?—сказалъ я.

— Отчего же? А вы думаете, на большихъ шахтахъ лучше? Тамъ, правда, паровая машина непрерывно выкачиваетъ, ну, и зато ужъ если залетѣть, такъ все дочиста, едва люди спасаются... Вообще не совѣтую спускаться: и грязно, и мокро, да и любопытнаго ничего нѣтъ. А если вы хотите узнать, какъ работаютъ, такъ вонъ пойдите къ рабочимъ,—они вамъ и расскажутъ.

Пришлось послушаться совѣта. Я вышелъ изъ землянки (землянка эта зимой служить единственнымъ мѣстомъ, гдѣ рабочіе обѣдаютъ и отдыхаютъ) и направился къ кучкѣ молодыхъ, безбородыхъ юношей. Они сидѣли кружкомъ вокругъ ведра съ водой и обѣдали, т.-е. кусали краюхи черного хлѣба и запивали его водой. „Всегда вы такъ обѣдаете?“ Оказалось, нѣтъ. Вся эта кучка состояла изъ хлопцевъ соседнихъ селъ. Ночевать они уходятъ домой, гдѣ и ѣдятъ горячее, а на шахту приносятъ съ собой только хлѣбъ. Другіе рабочіе, изъ дальнихъ мѣстъ, нанимаютъ артелью стряпку, которая и готовитъ имъ обѣдъ, состоящій большею частью изъ соленой рыбы, иногда изъ мяса. Но тѣ въ это время уже пообѣдали и отдыхали по разнымъ мѣстамъ: одинъ лежалъ подъ бочкой съ водой, другой засунулъ голову подъ воротъ, прикрывъ часть колеса какою-то хламидой, отчего образовалась тѣнь; третій залѣзъ въ шалашикъ, сдѣланный изъ полѣньевъ дровъ и прикрытый бурьяномъ, тутъ же, около шахты, вырваннымъ. Такихъ шалашиковъ я насчиталъ штукъ шесть.

Вообще картина нищеты и оголѣлости была полная. Въ особенности первое впечатлѣніе было невыгодно. Каждому, конечно, извѣстны угольщики, продающіе по улицамъ горо-

довъ древесные угли. Ну, такъ вотъ, если представить себѣ такого угольщика, да притомъ снять съ него одежду, оставить его въ изодранной рубахѣ и почти безъ оныхъ, то получится вѣрное изображеніе рабочаго на каменноугольной шахтѣ. У перваго рабочаго, который мнѣ попался на глаза, рубаха на брюхѣ совсѣмъ отсутствовала; у другого дѣла были еще хуже. А когда я увидалъ ихъ въ кучѣ, въ количествѣ десяти человѣкъ, то получилъ еще болѣе сильное впечатлѣніе,—это была куча лохмотьевъ, облитыхъ жидкою сажей.

— Отмывается эта грязь съ тѣла?—спросилъ я.

— Какъ же, отмывается,—отвѣтили мнѣ.

— Ну, а эта одежда рабочая на васъ?

— Извѣстно, рабочая. А есть которые эти ризы почитай что и никогда не снимаютъ,—такъ и ходятъ чертями.

— Это почему же?

— Да такъ, значить,—въ шинкѣ прочая-то одежда.

Справедливость этихъ словъ я понялъ только впоследствии, разузнавъ поближе о жизни копей.

— Ну, а работа тяжелая?—спросилъ я еще, хотя былъ заранѣе убѣжденъ въ ненужности такого вопроса.

— Нѣтъ, ничего, мы привыкли. А впрочемъ, одно слово—Сибирь!

Но какова работа шахтера, я лучше приведу разсказъ одного молодого человѣка изъ интеллигентныхъ, попробовавшаго работать въ шахтѣ. Онъ оканчивалъ курсъ въ петерсбургскомъ училищѣ и нанялся въ качествѣ рабочаго въ вакаціонное время.

— Какъ вамъ извѣстно, у насъ въ училищѣ очень часто бываютъ практическіе уроки въ шахтахъ. На такихъ урокахъ я всегда чувствовалъ себя весело, много работалъ и всегда прежде всѣхъ изучалъ приемы разныхъ работъ. И мнѣ не казалось трудной жизнь въ шахтѣ... Вотъ я однажды и задумалъ провести лѣто на одномъ рудникѣ, въ качествѣ простаго забойщика. Задумалъ и сдѣлалъ. Манили меня двѣ цѣли—практическая и, еслихотите, идейная. Практически мнѣ положительно необходимо было зашибить за лѣто рублей сто, а на шахтѣ, гдѣ поденная плата минимума 70 к., а то поднимается для ловкаго рабочаго и до 2 руб., мнѣ казалось легко зашибить такіе деньги, причемъ, по

моимъ разсчетахъ, я ни въ чемъ не буду себя отказывать— ни въ отдыхѣ, ни въ пищѣ. Ну, словомъ, мнѣ улыбалась жизнь шахты съ этой стороны. Что касается идейной, то вы поймете сами, въ чемъ дѣло: желаніе сблизиться съ народомъ, гордость сознанія тяжелой работы, мечты о будущемъ... Мечталъ я ни болѣе, ни менѣе, какъ бросить свое привилегированное положеніе и сдѣлаться простымъ рабочимъ. Ни болѣе, ни менѣе!... Такъ вотъ я и поступилъ въ шахту. На первыхъ порахъ мнѣ назначено было 1 р. 20 коп. въ день—чего же больше? Принялся я работать. Обстановка мрачная. Работаютъ при масляномъ освѣщеніи, которое производитъ удушливый смрадъ. По щиколки въ водѣ. Въ лучшемъ случаѣ, если нѣтъ воды, кругомъ по стѣнамъ и подъ ногами стоитъ какая-то ослизлая сырость. Но въ первый день я чувствовалъ себя ничего; только руки, отъ жагела кайла, висѣли, какъ веревки, да спина мозжила. Въ головѣ тупость какая-то. Но все-таки урокъ свой я исполнилъ. На другой день въ шахту я спускался уже безъ всякой охоты, и дрожь пронизала меня, когда я очутился въ томъ же самомъ мѣстѣ забоя, гдѣ вчера долбилъ. Но и въ этотъ день урокъ свой я кончилъ съ грѣхомъ пополамъ. Только все время былъ въ какомъ-то сонливомъ настроеніи не то отъ усталости, не то отъ чего другого. Проспалъ и послѣ этого раза десять съ половиною часовъ и окончивъ смѣну ожидалъ съ какимъ-то раздраженіемъ. Раздражалъ меня ослизлая, грязная блуза, бѣсилъ видъ чернаго угля. Но я все-таки упрямо полѣзъ и въ третій разъ. Но въ этотъ день на меня напало такое мрачное настроеніе, что я ежеминутно порывался бросить кайло, молотокъ и долото и вырваться на свѣтъ... Вы не можете себя представить, какъ тяжело лишеніе свѣта! По крайней мѣрѣ, я до сихъ поръ не могу представить себя, чтобы солнце было такъ необходимо человѣку. Когда я въ этотъ день спустился въ шахту безпричинная и страшная тоска овладѣла мною. И я чувствовалъ, что это именно тоска по солнцу. Если бы солнечный лучъ ворвался туда, на глубину пятидесяти сажень, то бы, казалось, закричалъ отъ радости и принялся бы веселиться съ удвоенною силой работать. Но солнца тамъ не могло быть, и я чувствовалъ, какъ сжималось отъ давящей тоски мое сердце, а умъ какъ-то обозлился... Только сонливость

помогала мнѣ. Работая кайломъ, я въ то же время сознавалъ, какъ глаза мои слипаются и все тѣло изнемогаетъ отъ жажды сна, безрешительнаго сна. И не уснуть, не кончить работы. Эта сонливость, вѣроятно, происходитъ также отъ отсутствия солнца. Нѣтъ свѣта, и тѣло жаждетъ покоя, лишнего своего возбужденія, своей творческой силы... Но въ то же самое время сонливость—единственное спасеніе отъ тоски. Еслибы не нападала эта сонливость, то можно было, казалось, съ ума сойти, такъ что на четвертую смену я уже ожидалъ сонливаго состоянія, какъ нѣчто пріятное, и когда оно напало на меня, я уже работалъ, какъ машина. И все-таки опять уснуть, на этотъ разъ еще раньше, чѣмъ вчера, уснуть прямо въ ослиглой сырой одеждѣ, положивъ голову на глыбу угля и лежа бокомъ прямо въ холодной лужѣ... Пятую смену я пропустилъ, просидѣлъ цѣлыя сутки на квартирѣ и все время испытывалъ какую-то одурь. На шестой день я пошелъ, но, не проработавъ и трехъ часовъ, уснулъ съ молотомъ въ рукѣ, повалившись въ сырое углубленіе забоя, и Богъ знаетъ, сколько времени проспалъ бы, еслибы товарищи рабочіе, по окончаніи смены, не растолкали меня. Этимъ и кончилась моя попытка зарабатывать деньги кайломъ и жить вмѣстѣ съ чернорабочими. Конечно, я могъ бы и дальше остаться, — вы видите, я человекъ сильный и выносливый, — но тогда мнѣ нужно было бы выучиться пить, пить съ страшными разгуломъ и дебошами, пить вплоть до пропой послѣднихъ штатовъ, какъ пьютъ только наши рабочіе. Я теперь увѣренъ, что жизнь шахтера можетъ проходить только между двумя состояніями — сонливостью и разгульнымъ пьянствомъ.

Дѣйствительно, слова юноши я вскорѣ самъ провѣрилъ и въ значительной степени нашелъ ихъ справедливыми. Какъ работаютъ люди въ глубинѣ шахтъ и что они чувствуютъ тамъ, объ этомъ я, конечно, не могу судить, для этого пришлось бы очень долго съ ними жить въ очень близкомъ общеніи, — но какъ они живутъ на поверхности земли, при свѣтѣ солнца, это я могъ и самъ наблюдать, но, главное, слушать ихъ собственные рассказы про себя.

Недѣлю кое-какъ шахтеръ просидитъ въ шахтѣ, а въ праздникъ ужь непременно напьется; при этомъ онъ горланить пѣсни, бьетъ посуду, устраиваетъ драку, разбрасываетъ по

полу деньги, если онъ есть, а если нѣтъ, то закладываетъ шинкарю все, что имѣетъ,—фуражку, шаровары, пиджакъ, сапоги, рубашу,—и пропиваетъ часто рѣшительно все, что имѣетъ, кромѣ той ослизлой и грязной рвани, въ которой работаетъ. Такъ онъ и живетъ всю жизнь, ничего не добиваясь. Весь его заработокъ уходитъ, съ одной стороны, на собственное прокормленіе,—за все съ него дерутъ вдвое дороже,—съ другой—на водку и разгулъ.

И мнѣ послѣ близкаго знакомства съ рабочими и послѣ разговоровъ съ ними понятно стало, почему въ такихъ селахъ, какъ Щербиновка, такъ много всякихъ лавочекъ и кабачковъ,—все это кормится на счетъ шахтера. Такимъ образомъ, выгоды донецкой промышленности исключительно выпадаютъ на долю хозяевъ да темныхъ паразитовъ, содержащихъ питейныя, бакалейныя и другія лавочки. Самому ему ничего не остается. Семья его еле колотится со дня на день. Идетъ онъ изъ близкихъ губерній—Харьковской, Елатеринославской, Орловской и Курской, идетъ въ надеждѣ поправить какой-нибудь недочетъ въ хозяйствѣ, но, пробывъ годъ на шахтѣ, онъ такъ тутъ навсегда и остается, а хозяйство его пропадаетъ. Что касается настоящаго крестьянина, то онъ не прочь попользоваться отъ шахты: онъ возить уголь, подвозить матеріалы, мечтаетъ свою собственную шахту завести и иногда дѣйствительно заводитъ ее, но въ шахту забойщикомъ не пойдетъ, а если случится у него крайняя нужда, то поработаетъ немного, но при первой возможности убѣжитъ къ своему хозяйству, къ работѣ на волѣ и при свѣтѣ солнца.

Такъ что во всѣхъ донецкихъ копяхъ и заводахъ уже и теперь образовался особенный классъ подземныхъ людей—буйныхъ, безалаберныхъ и пропащихъ. Нѣтъ у нихъ ни дома, ни опредѣленной цѣли; много, каторжно работать и много пить—вотъ и вся ихъ жизнь.

Конецъ I тома.

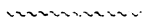
ОГЛАВЛЕНИЕ I ТОМА.

	<i>Стр.</i>
И. Е. Петропавловскій (Каролинъ). Биографическій очеркъ.	I—XI
Рыцари о парашкиндахъ.	
I. Безгласный.	1
II. Ученый.	24
III. Фантастическіе замыслы Миная.	38
VI. Вольный человѣкъ	72
V. Послѣдній приходъ Дѣмы.	95
VI. Какъ и куда они переселились.	120
Рыцари о пустякахъ.	
I. Мѣшокъ въ три пуда.	141
II. Праздничныя размышленія.	162
III. Двѣ десятины	189
IV. Нѣсколько копейвъ.	219
V. Солома.	241
VI. Пустяки.	261
Деревяскіе нервы.	299
Ямъ.	323
Кутебскія мужиковъ.	367
Въ ясу.	378
Сину вверхъ.	
I. Молодежь въ Ямѣ.	412
II. Легкая нажива.	440
III. Рабъ.	466
IV. Игрушка.	494
V. Чего не ожидалъ.	521
Фасливое открытіе.	548
Сѣтый праздникъ	557
Замоскатили.	569
Въ Илну и Тоболу.	
I. Очеркъ природы.	577
II. Очеркъ землевладѣнія.	590
III. Очеркъ культуры	608
IV. Очеркъ переселеній.	620
V. Очеркъ отношеній крестьянъ къ землѣ.	630
VI. Очеркъ обрабатывающей и добывающей промышленности.	642
VII. Очеркъ будущаго	658
Фирма Давидоваго бассейна.	665

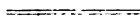
СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

КАРОНИНА

(Н. Е. Петропавловскаго).



съ портретомъ, факсимиле и біографическимъ
очеркомъ.



Редакція А. А. ПОПОВА.



Издание Н. М. Салдатенкова.



Т о м ъ II.



МОСКВА.

Литографія В. Рихтеръ, Тверская, Мамоновскій пер., с. д.
1899.

PRINTED IN RUSSIA.

Печатаются слѣдующія изданія Н. Т. СОЛДАТЕНКОВА:

Белохъ. Исторія Греціи, т. II (последній).

Брандесъ. Шекспиръ, пер. подъ ред. проф. Н. И. Стороженко.

Каронинъ (Н. Е. Петропавловскій). Собраніе сочиненій въ 2 томаъ.

Ковалевскій М. Происхожденіе современной демократіи, т. I (второе изданіе).

Ковалевскій М. Экономическій ростъ Европы, т. II и III.

Лависсъ и Рамбо. Всеобщая исторія, т. V.

Платонъ. Діалоги въ 8 отдѣлахъ и 6 томахъ съ указателемъ и примечаніемъ о Платонѣ и его сочиненіяхъ переводчика. Пер. В. Соловьева.

Трайля І. Д. Общественная жизнь Англіи, т. V.

Тэнъ И. Историко-литературныя этюды.

Шоу. Городскія Управленія въ Европѣ и Америкѣ.

Эсменъ. Основныя начала государственнаго права, т. II.

«Экономическая Библіотека»: **Шмоллеръ и Джорджъ.**



СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

КАРОНИНА

(М. Е. Петропавловскаго).

с портретомъ, факсимиле и біографическимъ
очеркомъ.

Редакція А. А. ПОПОВА.

Издание К. М. Солдатенкова.

Т о м ъ II.

МОСКВА.

Типо-литографія В. Рихтеръ, Тверская, Мамоновскій пер., с. д.
1899.

PRINTED IN RUSSIA.

Борская колонія.

I.

Въ раю.

Послѣ охоты Грубовъ и Неразовъ не пошли въ село, а сѣдали длинный привалъ подѣ огромными соснами, растянувшись на мягкомъ боровомъ мхѣ, которымъ густо была покрыта песчаная почва этой части лѣса; тутъ же, возлѣ нихъ, въ безпорядкѣ валялись всѣ охотничьи принадлежности—ружья, сумки, патронташи. День былъ знойный. Это былъ одинъ изъ тѣхъ горячихъ дней, когда воздухъ кажется растопленною мѣдью, земля тяжело дышетъ послѣдними испареніями, вода превращается въ стекловидную, мертвую массу; дальнія поля, полузакрытыя горячею дымкой, какъ будто тѣнутъ медленнымъ огнемъ, а сосновый лѣсъ, съ своими красными стволами, издали представляется колоссальнымъ костромъ, который безъ дыма и треска пылаетъ неподвижнымъ пламенемъ. Охотники долго бродили, только что выгупались и легли въ самую густую тѣнь лѣса. Но въ этотъ мѣнь и тѣнь не давала прохлады. Сквозь вѣтви деревьевъ солнечный огонь проникалъ до самой земли и раскалялъ сухую траву ея такъ сильно, что она, казалось, уже корчилась и дымилась, готовая мгновенно вспыхнуть; въ воздухѣ носился рѣзкій ароматъ шалфея, богородичной травы, полыни и смолы. Дышать въ этой, насыщенной ароматами, атмосферѣ, повидимому, нечѣмъ было. По крайней мѣрѣ,

одинъ изъ пріятелей, Неразовъ, побросавъ въ разныя стороны всѣ свои вещи, и самъ весь разбросался по травѣ. Лицо у него было красное, горящее, глаза безпокойно бѣгали по сторонамъ; онъ то и дѣло перемѣнялъ позы и, какъ говорится, метался отъ жары.

Зато другой, Грубовъ, лежа плашмя, лицомъ къ небу, неподвижно оставался на своемъ мѣстѣ съ самаго прихода сюда. Лицо его не могло раскраснѣться даже и отъ зноя; жары; оно, какъ и руки его, оставалось безкровнымъ. Кроме его, видимо, только нагрѣлась до естественной теплоты, онъ покойно лежалъ, устремивъ взглядъ на верхушку сосны. Онъ молчалъ и, повидимому, не намѣренъ былъ нарушить молчаніе, наслаждаясь лѣснымъ безмолвіемъ, согрѣтый гигантскимъ костромъ, среди котораго лежалъ, и вдыхая ароматы спаленныхъ травъ.

Но Неразовъ, обладающій сангвиническимъ темпераментомъ, не въ состояніи былъ долго сосредоточиться на созерцаніи окружающихъ красотъ и молчать; онъ имѣлъ языкъ, который привыкъ къ непрерывному движенію, и голову, въ которой мысли зарождались, какъ вѣтеръ въ полѣ. Катаясь по травѣ, сбросивъ съ себя фуражку и сапоги, онъ прощупывалъ жару, выругалъ солнце и, наконецъ, нетерпѣливо обратился къ товарищу съ вопросомъ:

— Да неужели тебѣ не жарко, Грубовъ?

Грубовъ это восклицаніе пропустилъ мимо ушей, какъ многое изъ того, что болталъ Неразовъ.

— Пойдемъ домой... Неужели тебѣ нравится лежать въ этомъ пеклѣ?

Грубовъ и на это промолчалъ; онъ только неопредѣленно улынулся.

— У меня теперь одно желаніе: выпить жбанъ квасу... ты чего хотѣлъ бы?—не унимаясь, болталъ Неразовъ.

— У меня другое желаніе, — возразилъ, наконецъ, Грубовъ. — Знаешь, чего мнѣ сейчасъ хочется?

— Окрошки съ квасомъ?—живо освѣдомился Неразовъ.

— Не угадалъ.

— Простокваша?

— У тебя очень блѣдная фантазія, все больше насчетъ съѣстного.

— Ну, можетъ, тебѣ хочется заняться философскими размышленіями?

— Лѣнь.

— Въ такомъ случаѣ, я увѣренъ, тебѣ хочется повернуться внизъ лицомъ и уснуть подъ этою сосной.

— Уснуть... вотъ это почти угадалъ. Мнѣ нравится эта деревня, этотъ боръ съ его дикимъ запахомъ, и я бы желалъ навсегда остаться тутъ... Я бы желалъ дышать этимъ смолистымъ воздухомъ, вставать вмѣстѣ съ горячимъ солнечнымъ лучомъ, купаться въ Боровѣхъ среди ея водяныхъ лилій, спать въ шалфеѣ, гулять подъ этими соснами. Но, увы, для этого необходимо все-таки имѣть землю, хуторъ и протю благодать.

— А я, все-таки, больше хотѣлъ бы сейчасъ квасу!—воскликнулъ Неразовъ.

Въ этомъ тонѣ разговоръ продолжался еще долго. Но, незаметно для обоихъ, шутка скоро перешла въ дѣловой разговоръ, подъ конецъ сильно взволновавшій обоихъ, хотя велся онъ и не серьезно.

— Ты въ самомъ дѣлѣ хочешь сѣсть на землю?—спросилъ Неразовъ.

— Хотъ на навозъ,—возразилъ шутливо Грубовъ.

— Одинъ?

— Если желаешь, и ты садись.

— Нѣтъ, серьезно; ты въ самомъ дѣлѣ хотѣлъ бы сѣсть на землю?—спросилъ Неразовъ, поднялся съ травы и съ волненіемъ смотрѣлъ на Грубова.

— Вообще я предпочитаю ходить или лежать, но отчего же не сѣсть?

— И ты бы навсегда остался?

— Сидѣть-то? Бываетъ, что сядешь и уже не встанешь.

— А вѣдь это великолѣпная идея!—закричалъ Неразовъ.

— Неразовъ! не называй ты, сдѣлай одолженіе, идеями всякую дрянъ, которая приходитъ въ голову!

Но Неразовъ уже не обращалъ вниманія на тонъ товарища, всталъ на колѣни и, воспламененный вдругъ какою-то мечтой, родившеюся въ его головѣ сію минуту, принялся подробно излагать планъ поселенія въ Бору. Планъ этотъ былъ прекрасный, увлекательный и практичный, и Нера-

зовъ говорилъ о немъ черезъ нѣсколько минутъ, какъ о дѣлѣ, которое давно и безповоротно рѣшено.

— Я это устрою. Отдаю свой хуторъ тебѣ цѣликомъ, въ полную собственность, только съ условіемъ, чтобы ты меня взялъ въ число колонистовъ. Доходу онъ мнѣ, все равно, не принесетъ никакого, да еслибы и давалъ доходъ то ради такого дѣла я навсегда откажусь отъ него. Рѣшено—устраиваемъ колонію! Сперва мы поселимся вдвоемъ, тамъ примкнутъ... Еслибы ты зналъ, какъ мнѣ надо бродяжить! А тутъ, ей-Богу, какое чудесное дѣло будетъ. Мы будемъ піонерами... въ сущности, задача человѣчества—это созданіе интеллигентнаго мужика! А? ты какъ думаешь?

Грубовъ съ улыбкой смотрѣлъ вверхъ, сѣвось переплетенныя хвои, и щипалъ бороду, но, видимо, мысль о хуторѣ въ ея разумномъ видѣ заняла его не на шутку.

— Прежде чѣмъ развивать этотъ мнѣ, надо достать немного денегъ,—возразилъ онъ.

— И достану. Это рѣшено.

— А потомъ, прежде нежели мечтать объ „интеллигентномъ мужикѣ“, какъ ты говоришь, надо научиться быть простымъ мужикомъ.

— Это пустяки!—воскликнулъ съ жаромъ Неразовъ.

— А ты видѣлъ, какъ растетъ горохъ?—спросилъ въ шутку Грубовъ, не ожидая, что смутитъ товарища.

Но этотъ послѣдній вдругъ сконфузился.

— Что-жь, горохъ... я, дѣйствительно, не видалъ, чоръ его возьми, какъ онъ растетъ! Но этимъ пустякамъ легко научиться... не боги же горшки обжигаютъ! Для интеллигентнаго человѣка нѣтъ ничего невозможнаго.

— Есть. Невозможно выворотить себя на изнанку—въ первое. Для нашего же брата есть сотни другихъ преградъ надо принимать въ расчетъ историческую лѣнь, неудержимую потребность болтать и бездѣльничать, привычку много спать и мало думать, оборванные нервы, пеструю, составленную изъ лоскутковъ душу и такъ далѣе, и такъ далѣе. Люди мы во всѣхъ смыслахъ неправильные, съ неправильно бьющимся сердцемъ, съ безконечною раздражимостью, потому всякое дѣло мы дѣлаемъ торопливо, кое-какъ, лишь бы скачать съ рукъ. Мы только любимъ говорить о работѣ

во всякую работу дѣлаемъ скверно, а сознаніе негодности всякой нашей работы, въ свою очередь, опять рветъ намъ нервы, сжимаетъ намъ сердце, треплетъ душу... А вообще говоря, „сѣсть на землю“, какъ ты выражаешься, полезное дѣло для тѣхъ изъ насъ, которые ходятъ колесомъ, почти не касаясь земли.

Черезъ нѣкоторое время товарищи такъ были заняты темой разговора, что незамѣтно поднялись съ травы, собрали свои вещи и пошли по направленію къ селу, продолжая и дорогой, до самой околицы, спорить, кричать и волноваться, и эхо соснового бора вслѣдъ за ними повторяло звучно слова и выраженія, которыхъ это дикое мѣсто никогда не слышало.

Встрѣтились нынѣшнимъ лѣтомъ они случайно. Грубовъ работалъ въ передвижномъ составѣ земской статистики, ѣздилъ для описи по деревнямъ, но постоянную свою квартиру устроилъ въ селѣ Бору. Неразовъ пріѣхалъ посмотреть на свой хуторъ, лежащій вблизи Бора, и намѣревался такъ или иначе раздѣлаться съ заброшеннымъ имѣньищемъ. Но, встрѣтивъ Грубова, давнишняго школьнаго товарища, онъ остался въ Бору на неопредѣленный срокъ и все время проводилъ въ его обществѣ. Когда Грубовъ уѣзжалъ работать въ сосѣднія деревни, туда ѣхалъ и Неразовъ; если Грубовъ сидѣлъ дома, и Неразовъ съ нимъ; когда Грубовъ, находясь въ своей квартирѣ, занимался счетами, писаніемъ и планами, Неразовъ молча сидѣлъ здѣсь же гдѣ-нибудь въ углу и, повидимому, не скучалъ. Онъ былъ человѣкъ безъ опредѣленныхъ занятій, безъ опредѣленной сферы дѣятельности и потому былъ радъ всякому человѣку, который не гналъ его отъ себя. Грубовъ не гналъ и Неразовъ слѣдовалъ за нимъ, а если Грубовъ находилъ ему какую-нибудь работу, онъ съ ревностью исполнялъ ее. Онъ не имѣлъ до сихъ поръ ни человѣка, къ которому бы могъ привязаться, ни дѣла, которое оправдало бы его существованіе, но, встрѣтивъ Грубова, онъ какъ-то сразу нашелъ и то, и другое,— быстро привязался къ Грубову и былъ очень радъ всякому его порученію. Теперь же, при мысли о колоніи, возникшей въ то время, какъ они валялись въ травѣ подъ соснами, онъ совсѣмъ размечтался, проникся важностью дѣла и самъ былъ удивленъ его перспективами, вдругъ широко открывшимися

передъ его глазами. Его жизнь моментально приняла для него значеніе, яркую окраску, своего рода величіе и бездну таинственности. Все это совершилось въ теченіе какого-нибудь часа, который былъ ими употребленъ на проходъ глѣзной дороги къ селу. Съ сверкающими глазами, взволнованный и краснорѣчивый, Неразовъ создалъ цѣлый планъ поселенія на его землѣ и выходилъ изъ себя отъ нетерпѣнія, когда Грубовъ возражалъ.

Грубовъ продолжалъ насмѣшливо относиться къ фантазіямъ, больше молчалъ, неопредѣленно улыбался. Однако, та болячка, какую вдругъ развелъ Неразовъ, въ душѣ нравилась Грубову; мечта о поселеніи въ Бору совпала съ его настроеніемъ. Къ довершенію всего, тихій Боръ показалъ себя въ этотъ день во всей своей прелести и усыпить сознаніе Грубова до такой степени, что онъ разомыслилъ совсѣмъ.

Когда они пришли домой, Неразовъ вдругъ таинственно куда-то исчезъ, а Грубовъ повалился на кожаный диванъ въ пріятномъ изнеможеніи. Настроеніе это было необычайное,—онъ ни о чемъ больномъ не думалъ. А только блаженнаго состоянія онъ уже давно не помнилъ,—то что-то въ сознаніи болитъ, то нервы раздражены. А въ эту минуту у него ничего не болѣло,—необыкновенное чудо! И съ неопредѣленною улыбкой, лежа на жесткомъ диванѣ, онъ созерцалъ потолокъ, а на безкровное лицо его спустилась тѣнь мира и покоя, какъ спускаются на землю тихія сумерки послѣ знойнаго и бурнаго дня.

Вдругъ дверь скрипнула.

— Митрію Ивановичу почтеніе!—раздался вдругъ голосъ Антона Петровича, хозяина дома.

Вслѣдъ за этими словами появился и самъ Антонъ Петровичъ со своею смѣшанною фizioноміей, въ которой счастливо сочетались морда лисы, челюсти волка, глаза кошки, движенія дворовой собаки и тонкій голосъ рябчика. Грубовъ не любилъ его, въ особенности за то, что въ самомъ простомъ дѣлѣ старикъ хитрилъ и въ самомъ обыкновенномъ разговорѣ держалъ всегда какую-то заднюю мысль, но въ эту минуту и Антонъ Петровичъ показался ему простодушнымъ человѣкомъ и милымъ мужикомъ, и онъ весело ему отвѣтилъ:

— Здравствуйте, Антонъ Петровичъ!

— Изволили на охоту гулять? — тоненькимъ голоскомъ росля Антонъ Петровичъ и зачѣмъ-то хитро подмигнулъ.

— Да, гуляли...

— Очень это хорошо! Ну, только, доложу я вамъ, и жаже!

— Мнѣ ничего, Антонъ Петровичъ... Голова у меня всег-горячая, а тѣло холодное; поэтому я всегда радъ, когда юва дѣлается холодной, а тѣло горячимъ.

Антонъ Петровичъ засмѣялся отъ этой шутки дѣтскимъ хомъ.

— Очень ужъ прекрасно сказали! Я вамъ вотъ что доло-: это у васъ отъ малокровія. Вамъ надо больше гулять... Вотъ я затѣмъ пришелъ, Митрій Ивановичъ... пойдете гости!

— Куда?

— Да тутъ къ мужичку одному, къ Алексѣю Семенычу... мъ онъ васъ, заказывалъ мнѣ безпрѣмѣнно привести ъ...

— Меня? Развѣ онъ знаетъ меня?

— Знать не знаетъ, а видалъ, и желательно ему побесѣ-мъ съ умнымъ человѣкомъ... больно любить ужъ онъ мдовать! Читаетъ божественныя книги, и хоша толкуеть вь неправильно, — укоряю я его за умствование, — но му-мъ ученый, божественный. Пойдемте. Чайку попьемъ, мчами насъ угостить, меду чоставить. Садикъ у него младный, воздухъ тамъ легкій... чудесно будетъ! А при-мъ, и старину лестно съ вами повалякать.

— Что-жь, пойдете! — отвѣтилъ Грубовъ и сталъ соби-мъ.

Раньше онъ уклонялся отъ этихъ званныхъ обѣдовъ и без-мичныхъ чаепитій у мужиковъ: много тутъ неискренности манства. Пригласивъ къ себѣ барина, мужикъ старается вь какъ можно болѣе нѣжнымъ, говорить утонченно, глупо, мчасть надоедливо и вообще ведетъ себя ненатурально, ммо на сценѣ. Но Грубовъ былъ въ такомъ настроеніи, м забылъ обо всемъ и наслаждался чувствомъ благорас-муженія ко всѣмъ людямъ.

Когда они вышли изъ дома, солнце уже падало въ сере-мгу темнаго бора, окружающаго село; косые лучи его по

всѣмъ направленіямъ бросали гиганскія тѣни и не жгли какъ недавно, а ласкали лицо, и воздухъ не душилъ, а ожилъ грудь. Въ домѣ Алексѣя Семеныча, видимо, ожидали гостей, и лишь только они показались въ калиткѣ, какъ изъ избы вышелъ имъ навстрѣчу, а на крыльцѣ стояла въ ожиданіи вся его семья.

Какъ и надо было рассчитывать, Алексѣй Семенычъ въ первыя минуты велъ себя съ ребяческою потерянностью; онъ не зналъ, куда усадить Грубова, зря метался изъ одного угла въ противоположный и сначала наговорилъ много несообразностей. Усадивъ сперва Грубова и Антона Петровича по одному образу, онъ вдругъ всполошился, когда замѣтилъ, что солнышко изъ окна прямо бьетъ въ глаза гостю, а поставивъ на столъ чашку съ медомъ, онъ вдругъ увидалъ, что вмѣстѣ съ чашкой къ столу прилетѣли тучи мухъ. Все это такъ его обескуражило, что онъ принялся болтать вздоръ.

— Отъ солнышка-то, Митрій Ивановичъ, подвиньтесь въ другую сторону... А мухи-то... вѣдь проклятая какая тварь! Даже удивленіе, какая ихъ прорва!

Грубову смѣшно стало слушать ребяческій вздоръ этого огромнаго человѣка. Фигура Алексѣя Семеныча была крупная и могучая; на большой головѣ высилась цѣлая шапка мягкихъ, русыхъ волосъ; подъ широкимъ, мужественнымъ лбомъ глядѣли выпуклые, свѣтящіеся мыслью глаза; большіе ротъ съ толстыми губами былъ постоянно полуоткрытъ пріятною улыбкой; великолѣпная мягкая борода его была устроена на подобіе тѣхъ, какія рисуютъ суздальскіе живописцы на ликахъ святителей. Все лицо его вообще выражало честность, широту души, ясность мысли,—это была прямая противоположность Антону Петровичу съ его лисьимъ, зловещею физіономіей. И дѣйствительно, смѣшно было смѣяться на ребяческія движенія и слушать ребяческій лепетъ этого крупнаго человѣка, когда онъ, ревнуя о наилучшемъ угощеніи, метался по избѣ, отдавалъ противорѣчивыя приказания домашнимъ, сердился на мухъ и на солнце, бившее своими косыми лучами прямо по глазамъ дорогихъ гостей.

— Да ты чего, Семеновъ, путаешься? Ты насъ лучше ведешь въ садъ, да тамъ и побалуай насъ медкомъ съ чаемъ,—сказавъ, наконецъ, Антонъ Петровичъ покровительственно этимъ разрѣшилъ волненіе хозяина.

Но во время переноски въ садъ стола, скамеекъ и самова-
ра долго еще не могли уговориться ни хозяева, ни гости.
Наконецъ, все было приведено въ порядокъ; хозяева все
установили, а гости усѣлись за столомъ. Мухи больше не ле-
тали тучами вокругъ чашекъ съ медомъ; солнце не било въ
глаза; его лучи освѣщали только верхушки яблонь и корону
вяза, подъ которымъ всѣ сидѣли.

Грубовъ и Антонъ Петровичъ сидѣли по одну сторону сто-
ла, Алексѣй Семенычъ со старухой—по другую; остальные
домашніе и посторонніе люди усѣлись какъ попало—кто на
бревнѣ, кто просто на травѣ, изображая изъ себя публику,
не участвующую въ угощеніи. Въ числѣ этой публики была
и дочь Алексѣя Семеныча, молодая дѣвушка Наташа; лицо
ея было открытое, какъ у отца, и съ такими же свѣтящими-
ся мыслью глазами; въ общемъ она сильно походила на отца,
только всѣ черты ея вышли миниатюрнѣе и нѣжнѣе, какъ это
всегда бываетъ съ дочерьми, похожими на отцовъ. Около нея
сидѣла мать Алексѣя Семеныча, дряхлое и сморщенное суще-
ство, лѣтъ восьмидесяти, и нѣсколько бабъ. Недалеко отъ нихъ
на сучкѣ дерева сидѣлъ работникъ Антона Петровича, Лу-
ташка, парень лѣтъ двадцати, съ мутными глазами, какъ у
судачаго окуня, и съ лицомъ, поразительно напоминавшимъ
большую рѣпу. Занятый собственными соображеніями, онъ
не обращалъ вниманія на столъ и безконечно болталъ голы-
шю, потрескавшимися лапами и отъ времени до времени пу-
галъ воробьевъ, которые передъ закатомъ солнца густыми
стаями перелетали съ крышъ на деревья и обратно. Нѣсколь-
ко разъ онъ сопровождалъ Грубова на рыбную ловлю и те-
перь всякій разъ, какъ выдавался праздникъ, онъ звалъ его
ловить чебаковъ; повтому и въ этотъ вечеръ онъ сгоралъ не-
терпѣніемъ насчетъ рыбной ловли, но не могъ выбрать ми-
нуты, удобной для обмѣна мыслей съ бариномъ; другой, чуж-
дый ему разговоръ мѣшалъ ему открыто обратиться къ Гру-
бову съ своими рыболовными планами.

За столомъ мало-по-малу завязался одинъ изъ тѣхъ разго-
воровъ, которые такъ любятъ въ свободныя минуты мысля-
щіе мужики: о Богѣ, о душѣ, о правдѣ и объ истинной жи-
зни. Алексѣй Семенычъ въ особенности страстно относился
къ этимъ разговорамъ; затѣмъ онъ и Грубова называлъ,—бари-
на, который ему понравился уже въ тотъ день, когда онъ

впервые увидалъ его у себя на дворѣ при описи имущества. И теперь онъ съ любопытствомъ поглядывалъ на его безкровное лицо и довърчиво раскрывалъ передъ нимъ всѣ свои мысли.

Въ самомъ разгарѣ бесѣды Антонъ Петровичъ чуть было не испортилъ цѣлаго вечера своею ехидностью. Когда Грубовъ, между прочимъ, похвалилъ садъ Алексѣя Семеныча, послѣдній съ удовольствіемъ отвѣтилъ:

— Слава Богу! Пожаловаться не могу—живу по милости Божіей спокойно, тихо... это ужъ нельзя гнѣвить Бога!

Тогда Антонъ Петровичъ хитро улыбнулся.

— Ты, Семеновъ, не очень-то часто поминай тутъ Бога то,—не всякому вѣдь это пріятно слушать!

— Отчего такъ? почему?—съ удивленіемъ спросилъ Алексѣй Семенычъ и глядѣлъ то на Антона Петровича, то на Грубова.

— А потому, Бога нынче не надо! Безъ Него нынче споконѣе, говорятъ,—ехидничалъ Антонъ Петровичъ и привелъ всѣхъ присутствующихъ въ недоумѣніе. Алексѣй Семенычъ наивно разгнѣвался.

— Да какъ же это безъ Бога-то?—сказалъ онъ и поочередно смотрѣлъ на всѣхъ присутствующихъ, ничего не понимая.

— Очень просто. Мы вотъ, дураки, полагаемъ, что вотъ тамъ на небѣ Богъ, а ученые ругаютъ насъ за это, дураковъ, потому, говорятъ, тамъ не Богъ, а зефиръ какой-то.. Вы, говорятъ, дурами набитые, остолопы и больше ничего.

Устроивъ эту пакость, Антонъ Петровичъ счастливо улыбался и зачѣмъ-то подмигнулъ Грубову. Грубовъ понялъ цѣль глупыхъ словъ и приготовился дать хорошій урокъ пройдохѣ при первомъ случаѣ, но пока сдержался. Что касается Алексѣя Семеныча, то онъ принялъ все за чистую монету и ни лицъ его явилось негодованіе.

— Да какъ же это безъ Бога-то? Куда же дѣться-то?

— Куда хочешь,—возразилъ Антонъ Петровичъ.

— Да какъ же можно сказать—нѣту Его? Какъ же безъ Него то?!—спрашивалъ съ волненіемъ Алексѣй Семенычъ.

— Да зачѣмъ Его? Ни къ чему Онъ, ученымъ! И дажъ совсѣмъ Его не надо! На небѣ зефиръ,—это я самъ собой вертится безъ произволенія.

— Будеть тебѣ врать-то, Антонъ Петровичъ!—вдругъ виѣ

пался Грубовъ.—А ты, Алексѣй Семенычъ, не слушай этой болтовни. У каждого человѣка есть свой Богъ. Нѣтъ Его только у дурныхъ людей, которые въ душѣ злы, въ жизни мовредны, къ людямъ ненавистны...

И Грубовъ, говоря это, въ упоръ посмотрѣлъ на ехиднаго старичишку и заставилъ его опустить взоры въ чашку съ чаемъ. Тогда всѣ поняли намекъ Антона Петровича и сконфузились за него, въ особенности самъ Алексѣй Семенычъ и его дочь. Алексѣй Семенычъ съ укоризной взглянулъ на Антона Петровича, а дѣвушка даже вспыхнула отъ негодованія; она ничего не сказала, но лицо ея какъ будто говорило:

— Какъ же можно такъ обижать гостей?

Грубовъ за одно это мгновеніе полюбилъ обоихъ—отца и дочь. А черезъ минуту онъ забылъ и злостную выходку своего хозяина. Онъ перевелъ разговоръ на тему о разногласіяхъ въ вѣрѣ между людьми и незамѣтно заставилъ Алексѣя Семеныча и Антона Петровича вступить въ горячій споръ въ «божественнымъ» вопросамъ. Настроеніе всѣхъ присутствующихъ снова сдѣлалось глубокимъ и тихимъ, какъ глубоко было небо, съ котораго только-что спустилось солнце, да въ тихъ былъ вечеръ... По улицѣ прошли послѣднія стада, возвращавшіяся изъ поля; затихли хлопанья пастушьихъ кнутовъ и ревъ животныхъ; перестали мало-по-малу скрипѣть вывозные журавли; все затихло. Слышались только отдѣльные звуки и голоса, въ одномъ мѣстѣ лошадь заржала, въ другомъ заплакалъ ребенокъ, откуда-то доносится пѣсня, гдѣ-то сибются, кто-то ругается. Наступили сумерки.

Алексѣй Семенычъ и Антонъ Петровичъ спорили и попеременно обращались къ Грубову то съ торжествующими, то съ сконуженными лицами, хотя онъ и не выѣшивался въ споръ. Однако, и въ этомъ отвлеченномъ спорѣ рѣзко обнаружились характеры спорщиковъ. Антонъ Петровичъ спорилъ зло и вскидывалъ и подыскивалъ коварныя возраженія, а Алексѣй Семенычъ спорилъ горячо и съ волненіемъ; Антонъ Петровичъ все время оставался холоднымъ и обдумывалъ каждое слово, а Алексѣй Семенычъ каждое слово принималъ къ сердцу, то и дѣло выходилъ изъ себя и часто говорилъ безсвязно; глаза его тогда были вытаращены, борода тряслась. Въ Антонѣ Петровичѣ, видимо, играли только самолюбіе, потребность въ умственномъ развлеченіи и жажда умственного тор-

жества; въ Алексѣй Ивановичъ говорили глубокая въра- жда истины.

Они спорили о Богѣ и правдѣ, но особенно рѣзко разо- шлись въ вопросѣ о будущей жизни. Антонъ Петровичъ, на- основаніи писанія, мѣсто будущей жизни отводилъ на небѣ. Алексѣй Семенычъ, на основаніи того же писанія, на землѣ. Но писаніе скоро было забыто и каждый говорилъ лишь отъ разума. Всѣ присутствующіе, не исключая и Грубова, задум- чиво слѣдили за развитіемъ спора и мысленно дарили сочув- ствіемъ то того, то другого изъ спорившихъ. Сначала сам- патіи всѣхъ склонились на сторону Антонова Петровича, на- смѣшки котораго жестоко били Алексѣя Семеныча.

— Нѣтъ, ты мнѣ скажи, какъ ты понимаешь рай-то?—спра- шивалъ, напирѣвъ, насмѣшливо Антонъ Петровичъ послѣ- обмѣна многочисленными изреченіями изъ писанія.— Въ ка- комъ ты видѣ воображаешь-то его?

— Миръ совѣсти и душевное блаженство, — отвѣчалъ Алексѣй Семенычъ испуганно.

— Нѣтъ, ты не такъ воображаешь!

— А какъ же?

— А вотъ какъ. По-твоему, рай, стало быть, на землѣ такъ?

— Ну, такъ.

— Ну, вотъ ты въ земномъ видѣ и воображаешь его. Да- дуть мнѣ, молъ, землю и садикъ эдакій съ яблоками съ ан- совыми, и буду я блаженствовать!

— Совсѣмъ даже не такъ...—растерянно возражалъ Алек- сѣй Семенычъ.

— Нѣтъ, такъ. По-твоему, призоветъ тебя Богъ и ска- жетъ: на, молъ, тебѣ, Семеновъ, яблочка за добродѣтель!

— Совсѣмъ даже и не яблочка,—растерялся Алексѣй Се- менычъ.

— Да, по-твоему, не иначе. Какъ у тебя рай на землѣ? то по-земному ты и воображать долженъ... Будутъ корми- тебя въ этой будущей жизни медомъ, яблоками, пирогами со- щучиной, и будетъ много пашни, и хлѣба, и лошадей, и всего прочаго земного. Стало быть, мысли твои грубыя, земныя... Нѣтъ, Семеновъ, эдакъ нельзя мечтать!

Антонъ Петровичъ съ торжествующею улыбкой оглянулъ всѣхъ присутствующихъ. А Алексѣй Семенычъ сталъ крас-

нимъ, какъ свекла. и волненіе его было такъ сильно, что онъ нѣкоторое время тяжело дышалъ. Ему больно стало отъ этой насмѣшки надъ чистымъ вѣрованіемъ, которое онъ носилъ въ душѣ, какъ святыню и какъ собственное свое открытіе.

— Ты ударилъ меня, Петровичъ, по головѣ, но съ ногъ не спибъ! — проговорилъ онъ въ сильномъ волненіи и дрожащими руками перебиралъ предметы на столѣ — чашки, блюдечки, тарелку съ медомъ, какъ человѣкъ, который временно потерялъ дорогую мысль и торопливо ищетъ ее.

Но онъ скоро отыскалъ пропавшую мысль и заговорилъ, сначала безсвязно, потомъ все съ большимъ и большимъ воодушевленіемъ. Видно было, что онъ упорно и много думалъ обо всемъ этомъ и передъ его умомъ стояла законченная картина, каждая часть которой съ любовью рисовалась имъ въ теченіе цѣлой жизни. По мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, всѣ присутствующіе переходили мысленно на его сторону и еще болѣе воодушевляли его своими взглядами сочувствія. Иначе не могло быть; его слова были жизненны, вѣрованіе опичалось человѣчностью, его мечты прямо били въ сердце. Онъ также говорилъ о правдѣ и объ истинной жизни, о Богѣ и раѣ, но въ его словахъ, часто шуточныхъ, все было понятно простому слушателю.

Онъ говорилъ, что рай будетъ на землѣ и нигдѣ больше... Придетъ пора, настанутъ времена послѣ второго пришествія, когда земля обратится въ жилище духовъ... Скроется преисподнюю царь зла и съ нимъ вмѣстѣ навсегда скроется смерть. Не будетъ ни холода, ни ночи, ни тьмы, ни смерти, а будетъ свѣтъ вѣчный, животворный. Скроется зло, и порокъ, и смертоубійство, и вражда посреди людей, и люди тѣ будутъ какъ братья. Ни цѣпей, ни наказанія, ни войны, ни страха не будутъ, а настанетъ одна любовь и миръ. И не только люди, но даже звѣри, и птицы, и гады, и ядовитыя мухи станутъ жить мирно, не проливая крови другъ друга, левъ будетъ покорно служить человѣку, а человѣкъ съ любовью приласкается змѣю.

По мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ о будущей жизни, слушатели замирали въ напряженномъ вниманіи. На мгновеніе каждый задумался и слушалъ съ наслажденіемъ слова, напоминающія о чемъ-то необыкновенномъ и таинственномъ. Дѣвушка, слушая отца, счастливо улыбалась; жена подпер-

ла рукой щеку и забыла о подойникѣ, лежавшемъ на полѣ. Старая старуха о чемъ-то плакала, и слезы непрерывною струей текли по глубокимъ бороздамъ ея желтаго, высокаго лица. Даже Антонъ Петровичъ смотрѣлъ добрѣе и прерывалъ рѣчи пріятеля.

Только одинъ Лукашка скучно хлопалъ своими рыбами глазами. Воробьи, въ которыхъ онъ бросалъ комья земли палки, уgomонились въ вѣтвяхъ ветель, и только надъ голыми сидѣвшихъ пѣли комары. Поэтому, улучивъ минуту, когда Алексѣй Семенычъ на время остановился, Лукашка сказалъ, обращаясь къ Грубову:

— Пойдешь нынче ночью рыбачить?... Дюже щука беретъ! Вчера я смотрю жерлицу, а она ужъ сидитъ... ага! мадная! Я ее потянулъ къ себѣ, а она ка-акъ дерболязие по жерлицѣ хвостомъ... и ушла!

Всѣ присутствующіе даже вздрогнули отъ этихъ словъ Лукашки, и сначала съ изумленіемъ посмотрѣли на него, какъ бы не понимая. Но всѣхъ больше оторопѣлъ Антонъ Петровичъ.

— Пошелъ вонъ, дуракъ!—сказалъ онъ.

Лукашка конфузливо подобралъ свои голыя лапы по сукъ дерева, на которомъ сидѣлъ, но не тронулся съ мѣста, только глупо ухмылился.

— Пошелъ, говорю тебѣ, вонъ отсюдова, свинья экая!—крикнулъ, наконецъ, Антонъ Петровичъ, и Лукашка тихо, какъ прибитая собачка, поплелся изъ сада, шурша своею новою ситцевою рубахой.

Но съ его уходомъ разстроенное имъ „божественное“ строеніе уже не могло вернуться. Всѣ вдругъ вспомнили, что уже поздняя ночь, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, вспомнили, что каждому осталось недодѣланнымъ какое-то дѣло, и быстро разошлись, глубоко вздыхая. Антонъ Петровичъ также торопливо ушелъ. Только Грубовъ еще нѣкоторое время оставался въ саду; но въ воздухѣ стало сыро, трава подъ ногами покрылась росой; на небѣ загорѣлись міриады звѣздъ, всѣ окружающіе предметы окутаны были мракомъ; Грубовъ и Алексѣй Семенычъ продолжали тихо говорить, но почти не видали лица другъ друга.

Грубовъ, наконецъ, поднялся со скамейки и сталъ прятаться съ Алексѣемъ Семенычемъ.

— Пора домой... Но какъ у васъ хорошо въ Бору!—не-
волью сказалъ онъ.

— У насъ чудесно!

— Такъ бы и остался навсегда съ вами!

— Такъ что-жь, и оставайтесь!

Грубовъ такъ мягко, блаженно былъ настроенъ; Алек-
сѣй Семенычъ внушалъ ему такое уваженіе, что онъ вдругъ
разказалъ проектъ поселенія на неразовскомъ хуторѣ.
Алексѣй Семенычъ одобрилъ мысль.

— Да какіе же мы хозяева?—возразилъ Грубовъ.

— Научитесь... Мы поможемъ и будете жить!

Въ этомъ родѣ они еще долго разговаривали, когда по
выходѣ изъ сада шли по улицѣ, а когда совсѣмъ прости-
лись, Грубовъ незамѣтно для себя согласился устроиться на
землѣ. Все то, что было тяжело и неприятно,—все, что было
рискованно въ проектѣ, было имъ въ эти минуты забыто, а
все чудесное, хорошее выдвинулось въ его умѣ на передній
планъ. Этотъ ароматный, одуряющій воздухъ, эти „боже-
ственные“ бесѣды, этотъ мыслящій, честный Алексѣй Семен-
ычъ, его садъ, его дочь съ свѣтящимся мыслью лицомъ,
всѣ эти простые люди, и эта тихая ночь, и звѣзды на небѣ,
и покой своей собственной души, — все это выступило на
передній планъ, а вся остальная половина его ѣдкаго, вѣчно
молчащающагося сознанія покрылась густымъ мракомъ. То,
что онъ за день передъ тѣмъ считалъ бы глупостью или не-
возможнымъ дѣломъ, теперь было для него ясно, какъ день;
такое, похожее на сонъ существованіе вдругъ показалось
ему теперь идеаломъ, и необычайный рай водворился на
время въ его вѣвѣрующей душѣ.

На другой день, когда къ нему пришелъ Неразовъ, онъ
самъ считалъ поселеніе на хуторѣ какъ бы рѣшеннымъ дѣ-
ломъ. А мѣсяцъ спустя, это поселеніе формально осуще-
ствилось, причемъ во вновь учрежденную колонію по при-
глашенію пріѣхалъ третій членъ, нѣкто Кугинъ. Въ концѣ
лѣта колонисты уже кое-что работали подъ руководствомъ
Алексѣя Семеныча и Ефрема Осипова, вошедшихъ въ ко-
лонію въ качествѣ пайщиковъ, только безъ права голоса.
Сначала было много смѣху, веселья и новизны для всѣхъ,
и жизнь пошла легко, какъ веселая шутка.

Первая крупная неожиданность, совершившаяся въ коло-

ни,—это женитьба Кугина на Наташѣ, дочери Алексѣя Саменыча. Это была поистинѣ неожиданность для всѣхъ. Н случилось это такъ быстро и само по себѣ было такъ безповоротно, что, повидимому, всѣ остались довольны, Жизнь опять пошла сносно, только уже не казалась шуткой. П крайней мѣрѣ, Грубовъ сталъ задумываться надъ своимъ положеніемъ, а это привело въ движеніе весь его сложный нервный аппаратъ.

II.

Нервный аппаратъ.

Въ концѣ осени къ колоніи присоединился четвертый членъ.

Однажды Грубовъ, по порученію товарищей, отправивъ въ городъ закупить нѣкоторыя вещи, необходимыя въ хозяйствѣ. Чтобы не терять времени, онъ остановился незнакомыхъ, а въ дешевой гостиницѣ, и тотчасъ послѣ пѣзда отправился по лавкамъ за покупками. Но такъ, какъ всякое дѣло онъ исполнялъ съ величайшимъ волненіемъ, такъ сказать, въ присутствіи всего сознанія цѣликомъ, это простое дѣло подъ конецъ привело его въ ужасное состояніе. Простой человекъ сдѣлалъ бы все это просто: онъ ходилъ бы лавки, вездѣ крѣпко бы поторговался, пошутитъ или поругался бы съ лавочниками, выгодно все купилъ бы, и, возвратившись съ прекрасными покупками домой, въ меръ, плотно закусилъ бы солянкой съ перцемъ и еще отхода обратнаго пѣзда успѣлъ бы блаженно всхрапнуть на провалившемся диванѣ гостиницы. Но не такъ вышло Грубова. Торопясь поскорѣе все сдѣлать, онъ первую вещь купилъ торопливо, не разглядѣвъ, что она плохая, а когда разглядѣлъ, пришелъ въ раздраженіе и пошелъ въ лавку, чтобы возвратитъ ее, но такъ какъ лавочникъ былъ не дуракъ и взять назадъ вещь отказался, то Грубовъ прямо таки разолился и назвалъ лавочника мошенникомъ. Вторую вещь онъ купилъ великолѣпную, но за то очень дорого, сознаніе этой ошибки еще подлило огня въ его раздраженную душу. Слѣдующія вещи онъ уже покупалъ въ какомъ

то неистовствѣ, а когда истратилъ всѣ деньги и увидалъ, что нѣкоторыхъ вещей, обозначенныхъ въ спискѣ, купить не на что, окончательно вышелъ изъ себя и въ гостиницу возвратился въ полномъ нервномъ разстройствѣ, со всѣми его признаками.

Придя въ номеръ, онъ бросилъ мѣшковъ съ накупленными вещами на полъ и, не раздѣваясь, сталъ большими шагами ходить по комнатѣ. Нѣсколько успокоенный монотонною ходьбой, онъ въ изнеможеніи сѣлъ на стулъ и спросилъ себя: „Ну, не дуракъ-ли я, что волнуюсь изъ-за такихъ пустяковъ?“ Обдумывая этотъ вопросъ со всѣхъ сторонъ, онъ пришелъ къ заключенію, что по своимъ способностямъ онъ — рѣшительно неподходящій для колоніи человѣкъ. Ну, что это за человѣкъ, который волнуется до безумія оттого, что купленный имъ топоръ на обухѣ имѣетъ трещину? Конечно, всякій хозяинъ отъ этой трещины пришелъ бы въ волненіе, но это волненіе только „полируетъ“ всякому хозяину яровь, для него же, Грубова, всякое волненіе равносильно сердцебиенію, отвращенію къ жизни и ожиданію смерти... Ну, что это за человѣкъ? Годится-ли онъ на какое-нибудь практическое, простое дѣло, если въ каждое дѣло онъ вкладываетъ всю наличность всѣхъ своихъ душевныхъ силъ, — все сознаніе, все воображеніе, всю память, всю волю?

Размышляя такимъ образомъ на стулѣ (онъ сидѣлъ все нераздѣтымъ, въ шапкѣ и шубѣ), онъ еще болѣе огорчилъ себя. Дальше потянулись какія-то воспоминанія дурного свойства и онъ всецѣло ушелъ въ себя, забывъ объ обѣдѣ, о томъ, что съ утра еще онъ ничего не ѣлъ, и о томъ, что передъ отъѣздомъ ему надо бы повидать знакомыхъ. И долго онъ такъ сидѣлъ, отдыхая отъ недавняго раздраженія и въ то же время обдумывая это раздраженіе съ разныхъ сторонъ. Мало-по-малу онъ успокаивался. Но едва онъ успѣлъ потушить одно раздраженіе, какъ его ожидало уже новое, болѣе основательное.

Кто-то вдругъ постучался въ его дверь. Онъ машинально сказалъ: „войдите“, и къ нему вошелъ корридорный.

— Васъ тутъ ищутъ какія-то барышни, — сказалъ корридорный глѣнво.

— Какія барышни? — воскликнулъ Грубовъ растерянно.

— Это мнѣ неизвѣстно.

— Да ты, вѣроятно, ошибся! Барышня, можетъ быть, другого кого спрашиваютъ?—возразилъ Грубовъ рѣзко, но неосновательно.

— Да вѣдь васъ звать Дмитрій Ивановичъ?—спросилъ лакей грубо.

— Ну, такъ что же?

— Господинъ Грубовъ?

— Ну, да.

— Ну, такъ обязательно васъ!... Спрашиваетъ: у васъ остановился Дмитрій Ивановичъ Грубовъ? А я не зналъ, ухаживали вы или еще тутъ.

— Кто спрашиваетъ?

— Да барышня-то!

— Да вѣдь ты сказалъ, что ихъ много?

— Совсѣмъ даже я и не говорилъ много,—всего одна-съ...—возразилъ слуга обидчиво.

Грубовъ тупо посмотрѣлъ на него, плохо понимая, что все это значить, и лишь слѣдилъ за тѣмъ, какъ внутри его поднимается безпричинная тревога.

— Ну, ступай, попроси войти!—сказалъ онъ машинально слугѣ.

И когда тотъ вышелъ за дверь и затопалъ сапогами по пустому корридору, онъ пришелъ въ свой нормальный видъ: лицо его стало холоднымъ, губы плотно сжались.

Черезъ нѣсколько минутъ въ комнату вошла молодая дѣвушка и очутилась прямо противъ Грубова.

— Вы Дмитрій Ивановичъ Грубовъ?—сказала она громко и весело.

— Изъ вашимъ услугамъ...

— Я Зиновьева... У меня къ вамъ письмо...

Сказавъ это такъ же громко, она вынула изъ бокового кармана драповой кофточки письмо и подала его Грубову. Грубовъ внутренне такъ былъ обезкураженъ всею этою неожиданностью, что не пригласилъ даже присѣсть дѣвушку, а прямо разорвалъ конвертъ и принялся читать.

Въ это время дѣвушка съ явнымъ любопытствомъ оглядѣла всю обстановку, ея хозяина и себя самое. Она успѣла замѣтить, что номеръ былъ дешевый, что Грубовъ одѣтъ былъ забавно — въ огромные сапоги, въ полушубокъ и въ

свою шубу сверхъ всего, но такъ какъ прямо противъ него вѣло зеркало, то она и полюбовалась въ немъ собой.

Но за то Грубовъ ничего не замѣтилъ; не замѣтилъ, что передъ нимъ стоитъ чудесная дѣвушка съ смуглымъ цвѣтомъ кожи, которая на щекахъ горѣла яркимъ румянцемъ, съ каштановыми волосами, которые естественно, безъ помощи парикмахера, обрамляли ея лицо наилучшимъ образомъ, съ черными, блестящими глазами, которые отъ самой природы предназначены были для разнообразной игры, въ издородомъ, но изящномъ костюмѣ, въ которомъ не стыдно показаться въ театрѣ или на концертѣ, — однимъ словомъ, онъ не замѣтилъ выдающуюся эффектность стоявшей передъ нимъ дѣвушки, плохо разобралъ даже письмо; онъ только съ тревогой слѣдилъ за тоской, разливавшейся по всему его существу, и за усиленіемъ воли, которымъ онъ хотѣлъ поладить ее; отъ этого лицо его стало еще холоднѣе, а губы совсѣмъ плотно сжались.

Онъ уже давно пробѣжалъ письмо, но все еще не зналъ, что сказать. Наконецъ, не отрывая глазъ отъ письма, онъ тихо спросилъ:

— Насколько я понялъ, вы желаете поселиться съ нами?

— Да, — подтвердила дѣвушка веселымъ тономъ.

— Когда вы намѣрены ѣхать?

— Я желала бы вмѣстѣ съ вами.

— Зачѣмъ же теперь?

— Да чтобы теперь же и приняться за работу.

— Теперь, какъ видите, осень, а вамъ, вѣроятно, извѣстно, что осенью хлѣба можно видѣть только въ формѣ булочки... какія же собственно работы вы разумѣете?

Говоря это, Грубовъ въ первый разъ прямо взглянулъ въ лицо дѣвушки, но природная застѣнчивость его съ женщиной при этомъ взглядѣ еще болѣе усилилась и онъ опять принялся разбирать письмо. Дѣвушка, однако, увидѣла въ его словахъ дерзость и сердито оглянула его.

— Знаю... но вѣдь и кромѣ земледѣльческихъ работъ тамъ много другихъ!

— Какихъ же, домашнихъ?

— Да, вѣроятно, найдется! — твердо настаивала дѣвушка.

— Не знаю, не знаю... Ну, напримѣръ, умѣете вы читать поить?—застѣнчиво спросилъ Грубовъ.

Но дѣвушка при этомъ вопросѣ поблѣднѣла; глаза ея сверкнули нехорошимъ огнемъ.

— Вы, кажется, хотите на мнѣ испытать ваше остроуміе?—сказала она гнѣвно.

Грубовъ готовъ былъ провалиться сквозь землю и проливалъ свою способность говорить насмѣшки въ то время когда ему совсѣмъ было не до смѣха. Но наружный видъ его оставался холоднымъ.

— Вы не такъ меня поняли... Видите-ли, у насъ еще много чего не устроено; хозяйства почти нѣтъ. Живемъ мы в разныхъ домахъ, общаго хозяйства не ведемъ... Есть только немного рабочаго скота, да и тотъ безъ насъ обходится. Единственная вещь, съ которою мы не знаемъ куда дѣться это—теленокъ, приобретенный нами Богъ знаетъ зачѣмъ. И если я предложилъ вамъ этотъ вопросъ, то прошу принимать буквально.

Дѣвушка нетерпѣливо пожала плечами.

— Если такъ, то я должна сказать—не умѣю читать поить... Но, мнѣ кажется, подъ вашимъ руководствомъ могла бы научиться такому сложному дѣлу,—добавила она съ ѣдкою улыбкой. Послѣ этого она готова была уже простить Грубова, но подъ условіемъ, чтобы онъ, наконецъ обратилъ на нее серьезное вниманіе.

Но онъ, какъ на грѣхъ, продолжалъ смотрѣть на писемъ не поднимая съ него глазъ, какъ будто хотѣлъ въ немъ открыть сокровенный смыслъ всего въ эту минуту происходящаго. Только неловкое смущеніе, съ какимъ онъ разспрашивалъ, выдавало, что онъ стоитъ передъ незнакомою дѣвушкой.

— Еще одинъ вопросъ... намѣреваетесь вы прочно устроиться или желаете только временно пожить, поучиться?—спросилъ онъ.

— Это будетъ зависѣть отъ того, пригожусь-ли я для дѣла и пригодится-ли дѣло мнѣ...

— У васъ есть какія-нибудь цѣли помимо перемѣны костюма?—спросилъ Грубовъ конфузливо.

Дѣвушка опять смѣрила его гнѣвными глазами и возмужала:

— Вѣроятно, тѣ же, что у васъ.

— То-есть?

— Жить своимъ трудомъ и приносить пользу народу!

Лишь только она выговорила это, какъ Грубовъ поднялъ на нее свои глаза и выразилъ на своемъ лицѣ странное удивленіе... „Боже мой! и къ чему вы это сказали?“ — какъ бы спрашивалъ онъ. Всякія громкія слова, въ особенности изъ тѣхъ, которыя затасканы, производили на него впечатлѣніе уличной брани. По его лицу дѣвушка смутно поняла, что сдѣлала что-то неладное, и покраснѣла. Но это еще болѣе возстановило ее противъ незнакомаго человѣка, такъ что обращеніе ея стало открыто враждебнымъ.

— Я понимаю, что вы тамъ пользуетесь правами генерала... Продолжайте допросъ, я покорно буду отвѣчать вамъ,—сказала она вдругъ съ непріятнымъ смѣхомъ.

Грубовъ не зналъ, что ему говорить.

— Не угодно-ли сѣсть?—неловко предложилъ онъ.

— Благодарю. Мнѣ хочется узнать: прикажете мнѣ считать себя замуженной вами или, быть можетъ, вы отложите отвѣтъ до другого вашего прибытія въ городъ?—Дѣвушка говорила это бойко и съ намѣреніемъ подбирала самыя колкія выраженія.

— Какъ вамъ угодно, ваше дѣло! Поѣдемте хоть сейчасъ,—сказалъ нерѣшительно Грубовъ.

Нерѣшительность стала вдругъ его преобладающимъ чувствомъ. Онъ не хотѣлъ, чтобы дѣвушка ѣхала съ нимъ въ колонію, но онъ самъ не понималъ, почему не хочетъ, чтобы она была тамъ. Онъ затосковалъ съ самаго момента ея появленія, какъ будто встрѣтился съ крайне непріятнымъ человекомъ, но не могъ ясно дать себѣ отчета, почему ему непріятно. Онъ не зналъ, что говорить, какъ вести себя, какой назначить часъ для отъѣзда, и съ недоумѣніемъ пролежалъ нѣсколько разъ по комнатѣ.

Изъ этого состоянія вывела его сама дѣвушка, которой онъ вдругъ показался смѣшнымъ и жалкимъ.

— Вы сами-то когда собирались ѣхать?—спросила она живо и, повидимому, забыла свою вражду.

— Сегодня... сейчасъ,—отвѣчалъ Грубовъ.

— Ну, такъ и я съ вами! Поѣзжайте на вокзалъ, а я съѣзжу за вещами и пріѣду. До свиданія!

И она моментально скрылась.

Едва звонкій стукъ ея каблучковъ по корридору смолкъ, какъ картина души Грубова переѣхалась.

На него вдругъ напало отчаяніе, то безграничное отчаяніе, когда все превращается въ чепуху и ничтожество. За полчаса тому назадъ онъ старательно и съ несомнѣнною серьезностью закупалъ разныя вещи для деревенскаго хозяйства и видѣлъ настоятельную необходимость ѣхать туда, потому что тамъ у него лежитъ какое-то важное дѣло, туда призываютъ его какія-то глубоко-знаменательныя обязанности. Но теперь вдругъ, послѣ посѣщенія незнакомаго дѣвушки, все это и все вообще приняло серьезный, дурацкій видъ. Своею бойкостью, своими смѣлыми и легкомысленными словами дѣвушка въ одинъ мигъ превратила въ ничтожество всѣ его представленія о дѣлѣ. Къ этому дѣлу онъ приготовлялся, въ сущности, давно и очень много думалъ о немъ раньше, и вдругъ пришла бойкая особа и сказала: „Вы тамъ что-то такое дѣлаете... и я съ вами буду дѣлать...“ — „Вы это серьезно?“ — спросилъ онъ. — „Не знаю, увижу тамъ. Пожалуйста, ѣдѣте скорѣе!“ — „Да вы зачѣмъ ѣдете-то?“ — „Зачѣмъ? да я вмѣстѣ съ вами буду работать на пользу народа...“

И моментально все дѣло его приняло дурацкій, шутовской, захватанный видъ. А вмѣстѣ съ этимъ дѣломъ перенной пошлости покрывалось все, что только попалося по руку ему въ эту минуту. И онъ вдругъ увидалъ, что и когда-либо сдѣланное имъ—чепуха, нуль; его сознаніе вдругъ превратилось въ разрушительную машину, которая въ дѣлѣ безги разбивала все, что приближалось къ ней. Онъ вспоминалъ юношескіе годы, освѣщенные розовыми фантазіями, наполненные неразсчитанными, смѣшными шагами, и моментально все это въ его сознаніи превратилось въ соръ—эти фантазіи, и эти юношескія дѣянія, и самая юность. Вслѣдъ затѣмъ онъ вспомнилъ многое другое, казавшееся ему недавно серьезнымъ и важнымъ, надъ чѣмъ онъ много работалъ, изъ-за чего нѣкогда страдалъ, чѣмъ много гордился, и все это сейчасъ вдругъ обратилось въ нуль, въ чепуху, въ дурацкій самообманъ!

Если бы всѣ наши рѣшенія зависѣли отъ настроенія, то въ эту минуту не поѣхалъ бы въ деревню; онъ съѣлъ бы

на стулъ и сталъ бы обдумывать, какое написать письмо Неразову. Но, вмѣсто этого, онъ посмотрѣлъ на часы, убѣдился, что до отхода поѣзда въ деревню оставалось всего полчаса, и заторопился въ дорогу. Въ его сердцѣ было полное отчаяніе, а онъ все-таки торопливо позвалъ корридорнаго, чтобы расплатиться за номеръ; торопливо сошелъ съ лѣстницы, таща за собой накупленную имъ чепуху, а когда сѣлъ на извозничьи дрожки, торопилъ извозчика ѣхать поскорѣе къ вокзалу.

Небо было бѣлесоватое. Въ воздухѣ носились пушинки перваго снѣга; замерзшая грязь улицы, повсюду исполосованная колесами, мало-по-малу закрывалась бѣлымъ покрываломъ. Грубовъ, уже сидя на дрожкахъ, взглянулъ вокругъ себя и что-то пріятное вспомнилось ему. Что такое? Въ дѣтствѣ, послѣ темныхъ дней грязной осени, ему вдругъ позволялось выбѣжать на дворъ играть, когда выпадалъ первый снѣгъ,—тогда это былъ для него день звонкаго смѣха и безпечной бѣготни на чистомъ воздухѣ. Теперь эта радость перенеслась черезъ огромное пространство въ 25 лѣтъ и, какъ искра, освѣтила его потемнѣвшую душу. Онъ вдругъ съ улыбкой сталъ смотрѣться по сторонамъ и наблюдалъ, какъ міриады снѣжинокъ крутятся въ воздухѣ и безъ шума, но дѣятельно одѣваютъ землю въ бѣлую одежду, закрывая самыя глубокія борозды въ грязи.

На вокзалъ онъ явился уже съ обыкновеннымъ лицомъ—спокойнымъ и холоднымъ, только казался утомленнымъ, какъ будто послѣ трудной работы.

Едва онъ подошелъ къ кассѣ, какъ сзади него раздался голосъ барышни:

— Вотъ и я! Вы берете билетъ?... Возьмите и мнѣ. И посмотрите за моими вещами... вонъ онѣ на лавкѣ.

Все это она говорила тѣмъ тономъ, какой усвоивается хорошенькими барышнями, привыкшими къ услугамъ молодыхъ людей. Грубовъ молча кивнулъ головой и покорно исполнилъ оба приказанія. Пока онъ бралъ билетъ, дѣвушка успѣла сходить въ буфетъ и купила апельсинъ.

— Я купила апельсинъ,—сказала она, приближаясь быстрыми шагами къ Грубову.

— Апельсинъ? Такъ что же?

Онъ улыбнулся, но удержался сказать что-нибудь болѣе

— Я вижу, вы опять смѣтаетесь?... Но я въ послѣдній разъ захотѣла побаловать себя... тамъ уже нельзя будетъ!—сказала она въ поясненіе.

— Почему же въ послѣдній разъ? Вы очень мрачно смотрите на жизнь,—проговорилъ Грубовъ и не улыбнулся.

— Развѣ тамъ можно достать апельсиновъ?—наивно спросила дѣвушка.

— Да сколько угодно! Вѣдь до города всего пять часовъ ѣзды.

— Это отлично! Значить, въ городъ можно ѣздить часто?—съ кривляньемъ воскликнула она.

— Сдѣлайте одолженіе!... Но, однако, пора идти,—сказала третья звонокъ.

Они пошли на платформу, причемъ дѣвушка понесла въ рукѣ апельсинъ, а Грубовъ взялъ остальные вещи, т. е. свой мѣшокъ и ея чемоданъ, пуда въ два вѣсомъ. Въ вагонѣ они сѣли другъ противъ друга и нѣкоторое время молчали, потому что она чистила и по кусочку ѣла апельсинъ, а онъ наблюдалъ за ея движеніями. Онъ тутъ только замѣтилъ, какая она хорошенькая и какъ все хорошо сидитъ на ней.

— А шубы у васъ нѣтъ?—вдругъ спросилъ онъ.

— Зачѣмъ же шубу?

— Намъ придется часа три ѣхать на лошади... сыро холодно.

— Не бойтесь, не замерзну... Холодъ мнѣ ни почемъ!—возразила она.

„Что это, энергія или легкомысліе?“—подумалъ Грубовъ и принялся наблюдать за ней. У ней было здоровое лицо яркой румянецъ, блестящіе глаза. Въ углахъ ея губъ незаметно скрывалась улыбка, переходящая въ звонкій смѣхъ при каждомъ ея словѣ. Сидя въ вагонѣ съ незнакомымъ человѣкомъ, по пути къ совершенно неизвѣстному, глухому мѣсту, съ намѣреніемъ взяться за неслыханное, новое, тяжелое дѣло, она держалась такъ самоувѣренно и весело, какъ будто ѣхала въ гости или на загородную прогулку.

Зачѣмъ все это?... Вотъ она была бы на своемъ мѣстѣ въ хорошенькой квартиркѣ съ влюбленнымъ въ нее мужемъ или въ театрѣ съ вѣромъ въ рукахъ, или въ гостяхъ знакомыхъ, гдѣ благородно говорятъ разговоры, но, вмѣстѣ

того, она ѡдетъ въ какую-то глушь, къ невѣдомымъ людямъ, на пущу, окруженная грязью и дикостью, — что за нелѣпая это штука — наша жизнь! Неужели всѣ прямые пути заказаны и только глухія и пустынные дороги открыты?

Грубову послѣ такихъ мыслей вдругъ стало грустно. По пути вспомнилась ему и его собственная жизнь, двигающаяся по кривымъ и ломаннымъ линіямъ, полная неожиданностей и нелѣпыхъ случаевъ. Грусть тяжелымъ облакомъ заволокла его мысли и онъ неохотно отвѣчалъ на вопросы дѣвушки.

Она замѣтила перемену настроенія въ своемъ спутникѣ, объяснила ее по-своему и принуждена была также смолкнуть. Это навело на нее сильную скуку. Она вглядывалась въ окно, осматривала пассажировъ, но развлечения нигдѣ не было; изъ окна мчавшагося вагона видѣлось мутное небо и падающій мириадами снѣгъ, а пассажиры всѣ сплошь состояли изъ того темнаго люда, въ которому трудно обратиться за разговоромъ и отъ котораго только нехорошій запахъ распространялся по всему вагону. Отъ скуки, овладѣвшей ею, она зѣвнула одинъ разъ, и другой, и еще, и лицо ея изъ молодого и жизненнаго вдругъ превратилось въ старое, дряблѣе. Тогда она закрыла глаза и подъ шумъ железнодорожнаго марша, наигрываемаго цѣпами и колесами, заснула.

Быть можетъ, она изъ той молодежи, которая ничего такъ не боится, какъ скуки, и ничего съ такимъ жаромъ не ищетъ, какъ развлечения, — подумалъ Грубовъ, когда посмотрѣлъ на застывшее лицо дѣвушки.

Итакъ это теперь въ самомъ дѣлѣ казалось непріятнымъ, съ опущенными углами рта, съ грубыми красками по щекамъ, казавшимся старческими. При видѣ такой перемены, въ самомъ овладѣла скука и то скверное настроеніе, когда все кажется грязнымъ и отталкивающимъ. Онъ это почувствовалъ такъ сильно, что поднялся съ мѣста и, не взглянувъ больше ни разу на дѣвушку, перешелъ на другой конецъ вагона, гдѣ черная публика густо облѣпила лавки и отъ всей души надъ чѣмъ-то хохотала.

— Пора, — прошепталъ онъ надъ ухомъ дѣвушки и тихонько дотронулся до ея плеча, когда поѣздъ остановился на станціи.

Она вскрикнула:

— Что такое?—и съ испугомъ озиралась по сторонамъ.

— Мы прїѣхали, надо выходить,—мягко выговорилъ он и опять забралъ ея и свои вещи.

На заднемъ крыльцѣ станціи ихъ встрѣтилъ мужикъ, взявъ отъ Грубова вещи, сталъ укладывать ихъ въ сани на телегѣ. Надвигались уже сумерки; дальніе предметы и тонули въ темнотѣ, а ближайшіе приняли сѣрый тонъ. Это видимо, произвело послѣ сна гнетущее впечатлѣніе на дѣвушку. А когда она случайно взглянула на мужика, на которомъ широкою полосой синѣла запекшаяся кровь, съ ужасомъ простонала, обращаясь къ Грубову:

— Боже мой, что это такое?

Грубовъ пришелъ въ хорошее настроеніе, лишь только увидалъ своего прїятеля мужика, и весело проговорилъ:

— Вы про него спрашиваете? Это Ефремъ, нашъ пайщикъ. Если хотите знать, онъ буянъ, въ пьяномъ видѣ бьетъ же кирпичами, за что его сынъ сажаетъ въ сарай... деретъ, кроме того, съ кѣмъ попало, но вамъ его бояться чего!...

Ефремъ при этой характеристикѣ лукаво усмѣхнулся.

— Отчего же у него кровь на лицѣ?—съ прежнимъ страхомъ прошептала дѣвушка.

— Эге!... Въ самомъ дѣлѣ, за что это рожу-то тебѣ красили?—спросилъ Грубовъ, сейчасъ только замѣтивъ кровь.

— Да тутъ дѣло было...—возразилъ Ефремъ и хлопотъ около лошади.

— Опять подрался?

— Да ежели бы подрался!... А то просто лупили меня четыре руки, словно я снопъ овса!—закричалъ вдругъ негодованіемъ Ефремъ и сразу ошетинился.

— Кто же это поступилъ съ тобой такъ неловко?

— Да Мысеевы братья, знаешь?... Сволочи, припомни мнѣ лѣто!... Я у нихъ о ту пору лошадей загналъ, потъ я полевымъ сторожемъ былъ,—ну, они и запомнили... А я расъ зазвали меня въ трактиръ, да и наѣли.

— А ты сплосалъ?

— Я бы не сплосалъ, кабы они честно, а то сзади напались, повалили и давай молотить... Сдѣлай милость, сочини мнѣ просьбу къ мировому.

— Ну, ничего, помирись!—сказалъ, смѣясь, Грубовъ.

— Никакихъ!

— Не хочешь мириться?

— Говорю, никакихъ!—ожесточенно и охрипшимъ голосомъ закричалъ Ефремъ.—Я возьму свидѣтельство на морду! Мысейины братья вотъ гдѣ у меня сидятъ! За мое почтеніе таскаю въ титовку!

— Ну, братъ, Ефремъ, это ужъ не ладно. Еслибы тебя также стали таскать къ мировому, то вѣдь ты изъ титовки никогда бы не вытѣвалъ!

Ефремъ при этихъ словахъ на минуту задумался, ожесточеніе его моментально прошло и онъ опять лукаво взглянулъ на Грубова.

— Что-жь... я дерусь. Ну, только сзади я не согласенъ, а прямо—бацъ! а не сзади же...

— Это, конечно, разнища... но все-таки конецъ одинъ и тотъ же, и потому ты скоро помирись,—сказалъ Грубовъ.

— Я? Чтобы мириться? Никакихъ!... Они измолотили меня все одно какъ снопъ пшеницы, а я буду мириться!

Этотъ разговоръ происходилъ, когда уже всѣ трое сидѣли на телѣгѣ и тряслись по грязнымъ кочкамъ по направленію къ сѣрой мглѣ, со всѣхъ сторонъ обступившей горизонтъ. Грубовъ повеселѣлъ и съ улыбкой обратился къ дѣвушкамъ:

— Вамъ кажется все это диковиннымъ? Но Ефремъ буянить только по праздникамъ, а въ будни...

Но не договорилъ, пораженный видомъ барышни.

Видно, вся обстановка путешествія произвела на нее страшное впечатлѣніе.

Надвинулась уже ночь. Сѣрая, безразличная мгла обступила сначала горизонтъ, но мало-по-малу эти стѣны сдвинулись и' плотно похоронили свѣтъ, небо, поля, дорогу, лошадей и самого Ефрема, который чернымъ силуэтомъ виднѣлся на передкѣ. Дѣвушку охватили изумленіе и ужасъ. Она умоляла и скорчилась на днѣ телѣги, пришибленная этою темною, невиданною обстановкой.

А телѣга продолжала ползти по кочкамъ, прыгала, стонала и готова была, казалось, разсыпаться въ дребезги. Снѣгъ густыми хлопьями падалъ сверху и щекоталъ непріятно лицо и руки дѣвушки. Одежда ея смокла; пряди волосъ, выбив-

шіяся изъ-подъ шапочки, прилипли къ ея щекамъ, и она не пыталась ихъ заправить. Она боялась шелохнуться и вслѣжилась, окруженная мокрою соломой. Глаза ея жалко устремлены были въ темень и выражали ужасъ.

— Вамъ холодно?—спросилъ Грубовъ дрогнувшимъ голосомъ.

Она что-то невнятно пролепетала, устремивъ на него испуганный взглядъ.

Тогда онъ сбросилъ съ себя шубу и закуталъ ее. Она молча повиновалась всему, что онъ говорилъ ей. Ноги ея, легкѣ обутыя, также застыли,—онъ вытащилъ всю солому, оставшуюся сухою, и закрылъ ихъ плотно.

— Вамъ холодно?—повторилъ онъ черезъ нѣкоторое время опять съ дрожью въ голосъ.

Но она не отвѣчала.

И на него, съ виду такого холоднаго, напала вдругъ жалость къ своей спутницѣ. Онъ сталъ торопить Ефрема ѣхать скорѣе и нетерпѣливо, волнуясь, горящими глазами вглядывался въ темноту, надѣясь замѣтить впереди огоньки Бора. Но лошадь съ трудомъ загребала ногами, телѣга медленно продолжала трещать и стонать, прыгая по грязнымъ выбоинамъ. У него явилось пламенное желаніе помочь чѣмъ-нибудь дѣвушкѣ. Онъ готовъ былъ сбросить съ себя послѣднюю одежду, а самое ее взять на руки, лишь бы только она не страдала такъ ужасно, какъ онъ предполагалъ. Сердце его переполнилось жалостью и любовью къ этому несчастному существу, зачѣмъ-то попавшему въ этотъ мракъ. Но онъ не находилъ, чѣмъ помочь, и только поминутно торопилъ Ефрема.

Наконецъ, путешествіе кончилось. Внезапно телѣга очутилась на деревенской улицѣ и повсюду замелькали огоньки.

Черезъ полчаса, сдавъ барышню въ удивленную семью Кугина, Грубовъ сидѣлъ у себя за самоваромъ. Но долго онъ не могъ сидѣть: наскоро напившись чаю, онъ принялся ходить по комнатамъ большими шагами, какъ бы продолжая поѣздку, и никакъ не могъ успокоить расхолодившіеся нервы.

III.

Знакомые люди.

На другой день Вѣрочка Зиновьева рано прѣснулась и съ изумленіемъ оглянула незнакомую обстановку. Она находилась въ маленькой горницѣ, на чистой половинѣ дома Алексѣя Семёныча, отданной Кугину и Натальѣ. Некрашенный полъ ея былъ чисто вымытъ и устланъ половиками домашнего издѣлія; столъ въ переднемъ углу накрытъ былъ чистою скатертью; на стѣнахъ висѣли дешевыя картины, фотографіи русскихъ поэтовъ и рублевые деревянные часы, въ дальнемъ углу стояла чисто выбѣленная печь съ лежанкой, а воцѣли некрашенная деревянная кровать съ пузатою периной. Въ эту-то верину вчера, послѣ такой страшной ночи, и утонула Вѣрочка и теперь изъ глубины ея съ удивленіемъ разсматривала всѣ предметы, припоминая, гдѣ она и что съ ней.

Но не успѣла она хорошенько оглядѣться, какъ въ горницу вошла Наталья и застѣнчиво поздоровалась съ барышней. Вѣрочка тогда сразу все припомнила, быстро одѣлась и начала съ чисто-женскимъ любопытствомъ разспрашивать обо всемъ, что ей надо было знать, что ее заинтересовало и поразило. Молодежькая женщина давала ей на все ясные ответы, но въ то же время страшно стѣснялась, волновалась и лебезила краснѣла.

Прежде всего, рѣчь зашла о колоніи.

— Хорошо она устроилась?—спрашивала Вѣрочка.

— Порядкомъ ничего еще нѣтъ... все только заводится,—отвѣтила Наталья.

— А научились хозяйничать?

— Гдѣ же еще!...—и Наталья сдержанно улыбнулась, припомнивъ много смѣшного изъ порядковъ господъ, но быстро подавила эту улыбку и прибавила:—Богъ дастъ, всему научатся.

Вѣрочка послѣ этого стала разспрашивать о самихъ колонистахъ.

— Вамъ нравится Грубовъ?

— Дмитрій Ивановичъ? Онъ меня учить...

[Наталья сказала это съ тѣмъ серьезнымъ видомъ, съ какимъ говорятъ о человѣкѣ, котораго уважають.

— Вы развѣ не боитесь его? Вчера, когда мы ѣхали, онъ двухъ словъ со мной не сказалъ, — sospлетничала Вѣрочка.

— Онъ добрый! — возразила Наталья съ прежнею серьезностью и твердо.

— Ну, а еще другой... забыла какъ звать!

— Неразовъ, Василій Васильичъ?

Наталья при упоминаніи Неразова тихо засмѣялась, какъ будто вспомнила что-то смѣшное, но, замѣтивъ на себѣ взглядъ барышни, она покраснѣла и отвѣтила торопливо:

— И онъ добрый... только веселый, чудакъ!

Вѣрочка вдругъ обратила свои вопросы на Наталью и ея мужа. Давно-ли они женаты? Какъ это случилось? Наталья обомлѣла отъ такихъ вопросовъ, но отвѣчала на все, что у ней барышня спрашивала; нѣкоторые изъ вопросовъ она предпочла бы замолчать, какъ свою собственную тайну, но не смѣла. А барышня не стѣснялась ничѣмъ и задѣвала все, что только было ей любопытно. Вчера ночью ее встрѣтилъ весь хозяева: самъ Алексій Семенычъ, его старуха, Кугинъ и Наталья, но, хорошо разсмотрѣвъ стариковъ, она едва замѣтила Кугина; только наружность его бросилась ей въ глаза: онъ былъ высокаго роста, статный молодой человѣкъ, съ красивымъ лицомъ.

— Какъ вашего мужа звать? — спросила Вѣрочка.

— Михаилъ Петровичъ.

При имени мужа на лицѣ Натальи мгновенно вспыхнула улыбка счастья, но тотчасъ же и потухла, какъ искра, выскочившая изъ кремня.

— Онъ раньше бывалъ у васъ въ селѣ?

— Нѣтъ, онъ пріѣхалъ послѣ Дмитрія Ивановича.

— И вы такъ скоро полюбились?... Сколько мѣсяцевъ замужемъ вы?

— Второй скоро минетъ.

— Какъ мнѣ вашъ бракъ нравится, когда я узнала вчера о васъ обоихъ! Онъ — образованный, вы — простая, — какъ это хорошо!

Почему это хорошо, Вѣрочка не сказала, а продолжала жадно и нескромно любопытствовать.

— Вы любите его?

Наталя при этомъ вопросѣ вспыхнула и въ большихъ глазахъ ея отразилось удивленіе.

— Какъ же не любить-то?—сказала она тихо.

— А онъ... любить?

Наталя поблѣднѣла и что-то тревожное обрисовалось на ея лицѣ при этомъ неосторожномъ вопросѣ барышни. Последняя, впрочемъ, не дала ей времени отвѣтить.

— Да, впрочемъ, что я!... Конечно, любить!... Вы же такая хорошенькая!—весело закричала Вѣрочка.

Но на поблѣднѣвшемъ лицѣ молодой женщины былъ уже явно испугъ, и она почти шепотомъ отвѣтила:

— Гдѣ же мнѣ знать это?

Почему она испугалась? Быть можетъ, этотъ вопросъ она сама въ первый разъ сознала. Она-то несомнѣнно любила. Это звучало въ каждомъ словѣ ея, а на ея лицѣ, при имени мужа, рисовались гордость и торжество. Ну, а онъ?

Бъ счастью, Вѣрочка прекратила свой допросъ, достаточно удовлетворивъ свое любопытство. Кстати, онѣ обѣ вспомнили сидя про свое дѣло. Вѣрочка торопливо принялась доканчивать свой туалетъ, а Наталя захопотала насчетъ самовара. Но, расходясь съ наружнымъ дружелюбіемъ, онѣ въ душѣ чувствовали взаимную неприязнь. Никакой видимой причины этой неприязни не было,—такъ, неизвѣстно почему, не понравились другъ другу. Впрочемъ, Наталя Вѣрочка не понравилась за то, что была смѣлая, самоувѣренная, съ открытымъ, дерзкимъ взглядомъ, громкимъ голосомъ, дерзкими глазами, развязнымъ языкомъ. А Вѣрочкѣ Наталя не понравилась потому, что казалась тихой, себѣ на умѣ, скромной и въ то же время неизвѣстно отчего гордой. Въ Наталь почему-то родился смутный страхъ передъ барышней и чувство какой-то обиды; въ Вѣрочкѣ сейчасъ же явилось предвѣренное пренебреженіе къ деревенской женщинѣ. Наталь почему-то было непріятно, что пріѣхала неизвѣстная барышня, а Вѣрочкѣ было непріятно, что она встрѣтила здѣсь какую-то Наталию...

И съ этой минуты между ними образовалось молчаливое страданіе другъ друга, хотя по наружности онѣ оставались ласковы и вѣжливы. Когда Наталя принесла самоваръ и чашки, ей почему-то казалось необходимымъ показать барышнѣ, что у нея въ домѣ все есть, и все въ наилучшемъ видѣ,

и самоваръ, и дорогой чай, и красная сахарница, и чайныя ложки, а Вѣрочка, въ свою очередь, считала необходимымъ ко всему этому отнестись иронически.

— Какой смѣшной самоваръ! Видно, что старый, — сказала она со смѣхомъ.

— Нѣтъ, онъ не очень старый... — отвѣчала Наталья съ улыбкой, но чувствовала булавочный уколъ.

— У васъ только одинъ стаканъ? — спросила вслѣдъ за тѣмъ Вѣрочка.

— Одинъ только... былъ еще, да кошка разбила, — сказала Наталья грустно.

— Пожалуйста, налейте мнѣ въ него, — изъ чаши я люблю пить.

Одному Богу извѣстно, какъ женщины, улыбаясь, умѣютъ запускать другъ другу булавки! И Богъ знаетъ, какими неприятностями могли бы обмѣняться двѣ непонравившіяся другъ другу женщины, если бы вскорѣ въ горницу не вошли другіе люди.

Съ ранняго утра въ деревнѣ уже знали, что къ господамъ пріѣхала барышня, и любопытствовали. Но всѣхъ больше волновалась, конечно, колонія. Едва Наталья съ Вѣрочкой начали пить чай, какъ въ горницу одинъ за другимъ вошли Алексѣй Семенычъ, его старуха, самъ Кугинъ, потомъ Нерзовъ и, наконецъ, Грубовъ. Послѣдній, впрочемъ, пришелъ только осведомиться, какъ провела ночь Вѣра Николаевна и тотчасъ же ушелъ. Но за то между остальными завязался оживленный разговоръ. Всѣ спрашивали Вѣрочку объ ея планахъ, и всѣ одобряли, когда она заявила, что ищетъ научиться сельскому хозяйству и намѣрена жить въ немъ и ради него. Алексѣй Семенычъ добродушно улыбался и одобрялъ барышню.

Мужъ Натальи, Михаилъ Петровичъ Кугинъ, также одобрилъ ее, но только въ выраженіяхъ, которыя въ устахъ всякаго другого могли бы показаться слишкомъ вычурными.

— Если вы это рѣшили твердо, послѣ тщательнаго размышленія, то этотъ шагъ дѣлаетъ вамъ честь. Это величайшее дѣло нашего времени... Довольно словъ, надо исполнять ихъ, наконецъ! Но мы піонеры, а піонеры должны знать, что на новой дорогѣ имъ предстоятъ тяжкія испытанія, — обдумали вы ихъ? Готовы-ли вы?

Вѣрочка также не была равнодушна къ эффектнымъ словамъ и пышнымъ выраженіямъ; напротивъ, къ красивымъ словамъ у нея было органическое пристрастіе. Выслушавъ Кугина, она съ величайшею охотой отвѣчала ему тѣмъ же тономъ:

— Я все обдумала и не оглянусь назадъ.

— Сожгли за собой всѣ корабли?

— Всѣ.

— Это—жертва, но кто разъ ее принесъ, тотъ не расстается.

— Я не раскаюсь!

Въ этомъ родѣ разговоръ продолжался еще долго. Но старикамъ, должно быть, наскучило сидѣть, ничего не понимая, и они одинъ вслѣдъ за другимъ выбрались изъ горницы. За то оставшіеся, послѣ ухода чужихъ, постороннихъ людей, чувствовали себя свободнѣе. Неразовъ восторженно смотрѣлъ на Вѣрочку и по неизвѣстнымъ причинамъ то и дѣло хохоталъ. Кугинъ засыпалъ ее вопросами; сама Вѣрочка, съ разгорѣвшимся лицомъ, воодушевленная слушателями, рассказывала о настроеніи тѣхъ кружковъ, среди которыхъ она жила. Одна только Наталья молча сидѣла передъ самоваромъ и возможно слушала непонятный для нея разговоръ про непостоянную жизнь; она облокотилась на столъ, подперла рукой голову и въ такой позѣ замерла.

Но о ней компанія въ эту минуту совершенно забыла, и въ присутствіи никто не замѣчалъ. У всѣхъ троихъ были не только общіе взгляды, но и цѣлая пропасть общихъ знакомыхъ. Перечисленіе этихъ-то послѣднихъ и составляло самую живую часть разговора... А вы знаете такого-то!? А гдѣ такая-то? А почему такой-то сталъ синьей? Все это было интересно, вызывало пропасть воспоминаній, сообщеній, характеристикъ. Воспоминанія, сообщенія и характеристики были коротки, но ясны. „Гдѣ Волковъ теперь?“ — „Онъ въ Воронежѣ“. — „Что онъ тамъ подѣлываетъ?“ — „Служить на желѣзнодорожѣ“. — „А каковъ онъ теперь?“ — „Да, кажется, скотина порядочная!..“ — „А вы знаете, гдѣ теперь Любонравскій? Я видѣлъ его въ послѣднее время въ Тифлисѣ... что онъ тамъ?“ — „Ужасный подлецъ...“ — „А не помните вы Миронова?... Еще онъ ходилъ въ крылаткѣ зимой и любилъ постоянно ссылаться на Спенсера, и опровергалъ своими цитатами такъ,

что однажды Николаевъ, жившій съ нимъ на одной квартирѣ, ударилъ его по головѣ третьимъ томомъ Спенсеровой психологіи, и онъ послѣ того больше ужъ никогда не цитировалъ. Гдѣ онъ? — „Бѣдняга застрѣлился... Онъ былъ милый, хотя чудакъ!“

Всѣ трое съ жаднымъ любопытствомъ сообщали другъ другу животрепещущія новости и совсѣмъ забыли, гдѣ онъ о чемъ говорить. Они чувствовали себя высоко настроенными, оживились, были счастливы. Отношенія ихъ сразу стали непринужденными, такъ что Вѣрочка совсѣмъ забыла, что она въ глухомъ, невѣдомомъ мѣстѣ и что пріѣхала она ради какого-то тяжелого дѣла. Въ обществѣ Неразова и Кугина она была какъ у себя дома, а сами они были, казалось ей, давно знакомыми друзьями: она сразу очутилась въ своей средѣ, гдѣ все заранѣе извѣстно и гдѣ нѣтъ ничего загадочнаго, ни страшнаго.

Спохватились они только тогда, когда время перешло уже далеко за полдень, и ихъ позвали обѣдать на черную половину.

— Эка мы заболтались!... Ну, и любить же нашъ братъ разговоры разговаривать! — смѣясь, сказалъ Неразовъ.

— Надо же было познакомиться съ Вѣрой Николаевной, возразилъ недовольнымъ тономъ Кугинъ.

— Да нѣтъ, я такъ, вообще... Нашему брату необходимы разговоры разговаривать.

— Вы, Неразовъ, обо всѣхъ судите по себѣ! — возразилъ Кугинъ уже съ пренебреженіемъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же сердиться?... Я такъ, вообще... Хотите насъ не корми, только дай поговорить! — и Неразовъ добродушно захохоталъ, повидимому, нисколько не обижаясь на пренебрежительный тонъ товарища.

Онъ съ счастливымъ выраженіемъ лица сильно потрясъ руки Вѣрочки и ушелъ къ себѣ на хуторъ, а Кугинъ и Вѣрочка пошли обѣдать на черную половину, за семейнымъ столомъ Алексѣя Семеныча.

За обѣдомъ всѣ стѣснялись: черная половина обѣдающихъ т.е. Алексѣй Семенычъ, его старуха Петровна и бабка, стѣснялась барышнями, а барышняя стѣснялась черной половиной. Она въ первый разъ очутилась за мужицкимъ столомъ, къ этому и былъ столъ зажиточнаго Алексѣя Семеныча; въ первый разъ брала въ руки огромную, какъ ковшъ, деревянную ло-

ду и въ первый разъ должна была этимъ черпакомъ поддѣлать изъ общей чашки вѣчто вродѣ щей съ бараниной. Впрочемъ, для перваго раза она довольно храбро ѣла непропеченный хлѣбъ, вѣрнѣе держала въ рукахъ черпакъ и показывала видъ, что она не брезгуетъ „хлеба“ изъ общей чашки.

Только одинъ Кугинъ чувствовалъ себя отлично, возбужденный присутствіемъ Вѣрочки. Онъ былъ одѣтъ въ красной рубахѣ, подпоясанной грубымъ поясомъ; волосы его безпорочно падали на лобъ и съ виду онъ походилъ на деревенскаго парня-красавца. Таковымъ именно онъ и желалъ казаться и великолѣпно подражалъ молодому мужику. Рубаха его небрежно висѣла по бокамъ, поясъ спустился ниже живота, рукава рубахи были немного засучены,—точь въ точь, какъ у деревенскаго мужика. Грудь онъ то и дѣло зачѣмъ-то выпячивалъ впередъ, руками производилъ неуклюжія движенія,—все это также было естественно для сильнаго деревенскаго парня.

Но въ особенности артистично онъ ѣлъ непропеченный хлѣбъ, держалъ въ рукѣ чудовищную ложку и хлѣбалъ щи. Вѣрочка съ восторгомъ и удивленіемъ смотрѣла на него. Откусивъ отъ ломтя кусокъ, онъ какъ-то особенно медленно чавкалъ его, какъ чавкаютъ только мужики послѣ утомительной работы; ловко держа въ рукѣ ложку, онъ истово черпалъ ею щи и съ эффектнымъ шумомъ сфыркивалъ ихъ въ ротъ, какъ фыркаютъ извозчики на постоялыхъ дворахъ, когда послѣ длинной путины по тридцати-градусному морозу салятся вокругъ дымящейся парами чашки, а когда въ полъ рубахи насыпались крошки, онъ старательно вытряхнулъ ихъ сперва на ладонь, а потомъ на столъ, какъ дѣлается повсюду въ деревняхъ, гдѣ каждая крошка считается поистинѣ даромъ Божиимъ,—вообще, прелесть какъ онъ ѣлъ.

Послѣ обѣда Алексѣй Семенычъ, которому надо было отлучиться къ кому-то на дальній конецъ деревни, попросилъ его убрать скотину и еще кое-что сдѣлать.

— Ужъ ты побезпокойся, Михаилъ Петровичъ, тамъ на дворѣ,—сказалъ онъ съ обычною доброю улыбкой, но робко.

Было замѣтно, что къ зятю-барину онъ относится всегда робко и почтительно. Иногда онъ шутилъ надъ Кугинымъ, когда тотъ дѣлалъ что-нибудь не ладно, но тотчасъ же ро-

бѣлъ за свою шутку. Такъ было и въ этотъ разъ. Обравшись съ просьбой къ зятю, онъ пошутить:

— Да ты опять по добротѣ не дай коровамъ сѣна...

Но, сказавъ это, онъ тотчасъ же умолъ и какъ будто смѣшался. Кугинъ равнодушно и съ отѣвкомъ пренебреженія отвѣтилъ:

— Ничего, иди,—все будетъ сдѣлано какъ слѣдуетъ!

И, надѣвъ на голову картузь, а на плечи старый казанъ, онъ вышелъ на дворъ. Вѣрочка пошла за нимъ, чтобы посмотреть, какъ онъ будетъ работать,—это она напоо объявила.

И Кугинъ показаль, какъ онъ работаетъ. Надо было прибрать разныя хозяйственныя вещи по мѣстамъ: телѣгу закатить подъ навѣсъ, дуги снести въ сѣни и проч. Кугинъ все это сдѣлаль торжественно и чисто. Погода была морозная и холодная; мокрый снѣгъ, падавшій всю ночь, наполовину растаяль и еще болѣе прибавиль грязи. На дворѣ ноги на четверть тонули въ жидкомъ навозѣ. Но Кугинъ съ преднамѣреннымъ равнодушіемъ трепался въ этой жижи, не обращаль вниманія на то, что руки его черезъ минутъ покрылись грязью. Кончивъ уборку, онъ принялся изъ колодца качать воду въ корыто, обливался брызгами, опять утопаль въ навозѣ, но оставался равнодушнымъ. Послѣ этого онъ выгналь съ задняго двора скотину, напоилъ ее снова загналь обратно (при этомъ кричалъ: „Н-но!... т-одерь!“) и погѣзъ на повѣтъ, гдѣ былъ сложенъ кормъ. Какъ человекъ сильный, онъ браль огромныя охапки соломы и сѣна и безъ усилій бросаль ихъ внизъ.

Когда все было кончено, онъ слѣзъ съ крыши, небрежнымъ движеніемъ руки сдвинуль картузь на затылокъ и почесаль за спиной, какъ дѣлають работники. Вѣрочка въ это время съ восхищеніемъ смотрѣла на него, и когда онъ кончилъ, закричала:

— Какъ, вы уже все умѣете?

— Пустяки... кто жъ не умѣеть такихъ пустяковъ?—воразилъ Кугинъ небрежно.

При этомъ Вѣрочка замѣтила, что даже языкъ у него былъ похожъ на деревенскій,—онъ говорилъ тяжело, валь съ тою лѣнью, съ какою говорятъ только истинные мужики, ворочая своими суконными языками.

Кугину все это далось легко, естественно. Онъ принадлежалъ къ тѣмъ людямъ, которые всю жизнь проводятъ какъ бы на сценѣ и живутъ затѣмъ только, чтобы показывать себя. Отсюда безконечное подражаніе всему, что требуется обстоятельствами. Идетъ-ли такой человѣкъ по улицѣ, онъ охорашивается и наблюдаетъ, какое впечатлѣніе производить; говорить-ли онъ въ компаніи, онъ прислушивается къ звуку собственныхъ словъ и наблюдаетъ, какъ на него смотрятъ; даже у себя дома, съ глазу на глазъ съ собой, онъ непременно заглянетъ въ зеркало, расправитъ усы, выпатитъ грудь, сурово посмотритъ въ пространство, всюду чувствуя на себѣ посторонній взоръ. И когда онъ увѣренъ, что на него смотрятъ, онъ вѣритъ въ себя, доволенъ и чувствуетъ въ себѣ силу. Несчастье для такого человѣка начинается съ того момента, когда на него перестаютъ смотреть; тогда онъ безсиленъ и плохъ и теряетъ всю цѣну жизни.

По окончаніи работы Кугинъ и Вѣрочка долго еще стояли подъ навѣсомъ. Подмѣтивъ большое впечатлѣніе, произведенное имъ на Вѣрочку, Кугинъ съ жаромъ распространялся насчетъ будущихъ работъ, своихъ плановъ, своей женитьбы на простой дѣвушкѣ. Изъ его словъ можно было вывести заключеніе, что все совершенное имъ теперь—подвигъ. Онъ носить грубые сапоги, смазанные дегтемъ,—это подвигъ; помогаетъ въ хозяйствѣ тестю—подвигъ; женился онъ на Натальѣ также ради подвига, ради того, чтобы сдѣлаться настоящимъ работникомъ, работникъ же безъ хозяйки-работницы невозможенъ.

— А я думала, что у васъ былъ романъ!—воскликнула разочарованная Вѣрочка при послѣднемъ признаніи.

— Романъ здѣсь, барышня, не полагается,—замѣтилъ Кугинъ съ самодовольною улыбкой.

— И вы не любите жены?

— Такія слова здѣсь бесполезны, ни къ чему они. Любишь или не любишь, хочешь или не хочешь, а жениться и жить надо. Только и всего! Я началъ съ того, съ чего начинается каждый сельскій хозяинъ,—женился. Да и, вообще говоря, рѣшился дѣлать все, что дѣлаетъ каждый мужикъ.

Вѣрочка тотчасъ подиѣтила смѣшную сторону въ этихъ словахъ, повидимому, столь суровыхъ, и захохотала.

— Надъ чѣмъ это вы?—спросилъ Кугинъ и покраснѣлъ.

— Вы логичны. Мужики женятся иногда затѣмъ, чтобы имѣть въ дому работницу, и вы также?—спросила Вѣрочка со смѣхомъ.

— Да, и я также.

— Ефремъ, говорятъ, бьетъ кирпичами свою жену... а вы чѣмъ будете?

— Это ко мнѣ не относится,—возразилъ Кугинъ недобрымъ тономъ.

— А въ чертей будете вѣрить?

— Вѣрить не къ чему, но и опровергать не стану. Ничто тутъ смѣшного?

— Простите, я пошутила,—поторопилась успокоить Вѣрочка досаду, появившуюся на лицѣ Кугина.

Она, дѣйствительно, пошутила, вовсе не думая смѣяться надъ словами Кугина. Черезъ минуту, когда они были уже въ горницѣ, она совсѣмъ позабыла этотъ разговоръ. Но за то самъ Кугинъ не позабылъ. Ему почему-то непріятно стало вспоминать свои слова насчетъ женитьбы, и, вспоминая первый попавшійся случай, онъ постарался оправдаться.

— Не подумайте, впрочемъ, что я смотрю на Наталью какъ на рабочую силу. Она очень умная женщина, учитъ и уже отлично читаетъ и пишетъ...—говорилъ не совсѣмъ связно Кугинъ.

— Вы сами даете ей уроки?—спросила Вѣрочка съ любопытствомъ.

— Нѣтъ, самъ я пробовалъ, но не могу... Занимается съ ней Грубовъ... Она—очень хорошая бабочка.

При этихъ словахъ въ горницу вошла Наталья, и Кугинъ полусмѣшливо, полусерьезно воскликнулъ:

— Вотъ видите, какая она? Славная у меня старуха!

Наталья сначала съ недоумѣніемъ посмотрѣла на обоихъ, но, понявъ разговоръ, застѣнчиво, съ краской въ лицѣ, потупилась и только украдкой бросила на мужа взглядъ, выражавшій благодарность и гордость.

До самаго вечера Кугинъ и Вѣрочка разговаривали обо всемъ. Вѣрочкѣ онъ очень нравился, какъ будто онъ бы

авній ея знакомый. Но было рѣшено, что съ слѣдующаго дня Вѣрочка поселится на хуторѣ вмѣстѣ съ Неразовымъ.

IV.

К о л о н і я.

Хуторъ, который собственно и представлялъ собою колонію, отстоялъ отъ деревни верстахъ въ двухъ. Это была развалина, послѣдній флигель, уцѣлѣвшій послѣ крушенія главнаго барскаго дома; кругомъ, на далекое разстояніе, лежалъ дикій пустырь.

Неразовъ до пріѣзда Вѣрочки жилъ одинъ и, надо правду сказать, страшно скучалъ подъ своею ветхою кровлей. Къ ювершенію непріятности, онъ боялся мышей и по ночамъ, когда онъ подъ старымъ поломъ скребли и что-то грызли, онъ испытывалъ положительный ужасъ. Да и со всѣхъ другихъ сторонъ ему было тамъ жутко. Понятно, съ какимъ восторгомъ онъ принялъ рѣшеніе барышни поселиться въ одной изъ его комнатъ. Всю вторую ночь, которую Вѣрочка провела у Кугиныхъ, онъ чистилъ предназначенную для нея комнату; онъ меблировалъ ее скамьями и безногими столами, стѣны украсилъ вырѣзками изъ *Нивы*, самъ вымелъ полъ, протеръ запыленные окна, а разбитыя стекла заклеилъ бумагой и придалъ комнатѣ сносный, своего рода даже красивый видъ.

На другой день чуть свѣтъ онъ вышелъ изъ дому и отправился за Вѣрочкой. Вѣрочку онъ уже засталъ одѣтой и готовою къ отпавкѣ; она сама торопилась поскорѣе устроиться и приняться за дѣло. Какое дѣло ей предстоитъ, она смутно представляла, но только представленіе о немъ она связывала именно съ хуторомъ. Вещи ея взялся перенести къ обѣду Кугинъ, а сама она тотчасъ же отправилась пѣшкомъ съ Неразовымъ.

Утро стояло морозное; грязь за ночь застыла; падала сухая изморозь,—это наступила зима. Воздухъ былъ чистый, возбуждающій. Вѣрочка съ веселымъ лицомъ оглядывалась по сторонамъ. Разспрашивая Неразова о встрѣчающихся

предметахъ, она сама болтала и хохотала, а когда они вошли за околицу посреди широкаго поля, ограниченнаго вдали сосновымъ боромъ, она вдругъ запѣла: „Не бѣли снѣжки свѣжимъ груднымъ контраalto.“

Неразовъ, идя рядомъ съ ней, заглядывалъ ей въ лицо беззвучно смѣялся, и на глазахъ его показались слезы, не то отъ мороза, не то отъ восторга. Возможно было и то и другое, ибо тѣло его было одѣто по-лѣтнему, въ плохую пальто, а душа его способна была приходить отъ всего такъ называемый „телячій восторгъ“, наполняясь неизъяснимыми фантазіями.

Въ данномъ случаѣ фантазія его разыгралась насчетъ лоніи, будущее которой вдругъ теперь представилось ей въ ослѣпительномъ сіяніи. Когда они пришли на мѣсто, она сейчасъ же принялась хвалить выше мѣры все, что тутъ было. Сначала онъ ввелъ барышню въ домъ и съ гордости показалъ ей комнату, предназначенную для нея. Вѣрочка сдѣлала гримасу: домишко было ветхій, потолокъ въ немъ обвисъ, полъ, напротивъ, выпучился, а стѣны повалили въ разныя стороны; но она удержалась отъ критическихъ замѣчаній. Затѣмъ онъ принялся въ умѣренныхъ выраженіяхъ описывать прочіе предметы хутора, какіе были въ лицо, а также и такіе, которыхъ въ дѣйствительности не было.

Такъ, послѣ осмотра домишка,—этого жалкаго остатка отъ огромныхъ барскихъ построекъ, давнымъ-давно исчезнувшихъ,—онъ повелъ Вѣрочку на дворъ и сталъ объяснять значеніе и будущее каждаго предмета.

— Вотъ здѣсь у насъ службы...—сказалъ онъ, указывая на маленькій сарайчикъ, крытый соломой.—Тутъ у насъ будутъ коровы, лошади, овцы и прочая скотина.

Вѣрочка съ любопытствомъ и наивностью городской мѣстельницы посмотрѣла на „службы“ и готова была признать величіе ихъ, но случайно спросила:

— А больше ничего нѣтъ?

Но Неразовъ этимъ замѣчаніемъ не смутился.

— Ну, да, конечно, это пока... А на лѣто мы тутъ и построимъ сарай, конюшни, сѣновалы и все прочее.

— А гдѣ же скотъ?—спросила Вѣрочка и заглянула в

сарайчикъ. Тамъ на соломѣ стоялъ одинъ только шаршавый теленокъ и вяло жевалъ сѣно.

— Пока тутъ только теленокъ одинъ... У насъ есть двѣ хорошія лошади, но у Ефрема, съ которыми вы ѣхали... а прочимъ всѣмъ мы обзаведемся къ веснѣ...

Неразовъ говорилъ это такимъ убѣжденнымъ тономъ, какъ будто весь этотъ проектированный скотъ былъ уже налицо. Вѣрочка допускала возможность всего этого и уже хотѣла войти въ домъ, такъ какъ, по ея мнѣнію, дальше осматривать было нечего; кругомъ видѣлся необозримый пустырь, покрытый первымъ снѣгомъ. Но Неразовъ съ возбужденнымъ лицомъ продолжалъ показывать и описывать многія другія вещи.

— Вотъ здѣсь у насъ огородъ,—сказалъ онъ, указывая на пустое мѣсто.

— Гдѣ огородъ?—спросила Вѣрочка съ недоумѣніемъ.

— Да вотъ тутъ—это огородъ. Мы еще не успѣли поставить плетень, но это огородъ, увѣряю васъ!

— Въ немъ какіе овощи растутъ?

— Еще 'не было... но будущей весной мы насадимъ здѣсь всего. Я уже выписалъ изъ Москвы и сѣмена.

Вѣрочка должна была сознаться себѣ, что она ничего не понимаетъ въ сельскомъ хозяйствѣ.

Вслѣдъ затѣмъ Неразовъ указалъ на другое пустое мѣсто, гдѣ изъ-подъ земли торчало штукъ пять сухихъ прутьевъ.

— А вотъ здѣсь у насъ садъ,—сказалъ онъ.

— Гдѣ?—воскликнула пораженная Вѣрочка.

— Да вотъ идите сюда... Вотъ видите, это груша. А это "черное дерево"—яблоня. Это хорошовка.

Говоря это, Неразовъ подходилъ къ каждому пруту и объяснял его значеніе.

— Конечно, это только начало. Съ весны мы выпишемъ двѣ сотни трехлѣтокъ и посадимъ.

Вѣрочка начала улыбаться, но, ничего не понимая въ сельскомъ хозяйствѣ, она допускала существованіе сада безъ деревьевъ.

Но, наконецъ, Неразовъ осрамился. Когда они возвращались назадъ въ домъ, то недалеко отъ входа въ дверь онъ вдругъ остановился и, показывая на длинный, тонкій колъ,

зачѣмъ-то воткнутой въ землю передъ крыльцомъ, замѣтилъ:

— А вотъ это бесѣдна.

— Гдѣ?—вскричала Вѣрочка.

— Я ужъ начертилъ чертежъ и весной самъ построю ее. Знаете, лѣтомъ въ комнатѣ жарко, на дворѣ негдѣ отдохнуть, поэтому я рѣшилъ построить высокую бесѣдку, гдѣ бы можно было по праздникамъ пить чай, обѣдать и читать.

Но тутъ уже Вѣрочка не выдержала; раздался взрывъ веселаго смѣха, отъ котораго бѣдняга сконфузился.

— Какой вы чудакъ, Неразовъ!—вскричала дѣвушка, вбѣжала въ комнату.

Съ этой минуты она принялась вышучивать Неразова въ каждомъ шагѣ, смѣясь надъ каждымъ его словомъ. Бѣдняга передъ ней какъ-то вдругъ съежился.

И такъ къ нему относился всякій, кто только знакомилъ съ нимъ. Казалось, онъ отъ самой природы назначенъ былъ для развлечения людей. Съ длинною, погнувшеюся на боковую шею, сидѣвшею на узкихъ плечахъ, высокій и нестройный какъ сучокъ валежника, съ кривымъ тѣломъ и неправильнымъ лицомъ,—это былъ истинный потомокъ озорнаго и мѣщичьяго рода, нынѣ оставившаго послѣ себя только пустырь, занятый гнилымъ домишкомъ, и Неразова, въ жилѣ котораго текла испорченная кровь. Пустырь походилъ на своего хозяина Неразова, а Неразовъ на свой пустырь, оба были расшатаны, растасканы, и вѣтеръ свободно гулялъ по нимъ...

Голова Неразова имѣла какъ будто нѣсколько отверстій, сквозь которыя мысли его свистѣли наружу въ неожиданныхъ сочетаніяхъ, отчего по первому впечатлѣнію онъ казался всѣмъ живымъ и необыкновеннымъ, но когда близкіе узнавали его, то живость принимала видъ дурачества, а увлекательность—особый родъ беспорядочности. Жизнь его, съ порѣ наполнена была шумными исторіями, изъ которыхъ каждая немного дурачила его, но ни за одну изъ нихъ онъ не поплатился серьезно, потому что начальство, близкіе знакомые съ нимъ, также видѣло въ немъ только шутку природы, и онъ продолжалъ увлекаться всѣмъ новымъ и неизвѣстнымъ, шумѣлъ, а мысли его свистѣли.

За всѣмъ тѣмъ это былъ совершенно безкорыстный чел-

нѣтъ, привязанный къ людямъ, любившій все доброе и самъ необыкновенный добрякъ. Испытавъ горечь нѣсколькихъ исторій, онъ, казалось, долженъ былъ бы перестать увлекаться, но не пересталъ; испытывая вѣчную нужду, онъ, по крайней мѣрѣ, своею землею могъ бы воспользоваться для себя, но не воспользовался и тратилъ свои маленькія средства на дѣла, лично ему безполезныя, а теперь вотъ отдалъ весь хуторъ на какую-то колонію и безропотно терпѣлъ невзгоды. Онъ страшно тутъ скучалъ, въ этомъ, ветхомъ домишкѣ, буквально голодалъ, питаясь только хлѣбомъ да чаемъ, самъ топилъ печи, кормилъ телятъ, а по ночамъ, когда подъ его кроватью скребли мыши, испытывалъ смертельный ужасъ. И все это не для себя, а ради какой-то идеальной колоніи, которая, подъ его разбитымъ черепомъ, среди его шумныхъ мыслей, приняла изумительные размѣры и форму.

Вѣрочка тотчасъ же встала съ нимъ въ дурнѣшныя отношенія и за панибрата вышучивала его, въ то же время, пользуясь всею его добротой, безкорыстіемъ и услужливостію, какъ должнымъ. А онъ былъ съ первой же минуты безъ памяти отъ нея. Весь этотъ первый день онъ провелъ въ возбужденномъ состояніи, то и дѣло хохоталъ, безъ нужды суетился и до самаго вечера безъ умолку болталъ все сплошь, что приходило ему въ голову.

Къ ночи же, оставшись одинъ въ своей комнатѣ, онъ страстно влюбился и въ одно мгновеніе создалъ увлекательный романъ. Вѣрочка полюбила его невыразимо, и вотъ ужъ они женаты. Оба работаютъ въ колоніи, а въ свободное время гуляютъ по тѣнистому саду, съ вѣтвей котораго свѣшваются груши. Вслѣдъ затѣмъ черезъ нѣсколько минутъ у нихъ появились дѣти, двѣ дѣвочки и одинъ мальчикъ, и вскорѣ вышли замужъ за двухъ юношей, принадлежащихъ къ той же колоніи, которая стала многолюдной и цвѣтущей. Что касается сына, то онъ раньше еще поступилъ въ технологическій институтъ, окончилъ курсъ тамъ и сейчасъ пріѣхалъ домой въ колонію. Но онъ побывалъ въ дурной компаніи, сдѣлался карьеристомъ и, увидѣвъ сѣдого отца на огородѣ копающимъ рѣдкую, сталъ издѣваться надъ нимъ; тутъ же обнаружилось, что между ними нѣтъ ничего общаго. Отъ всего этого Неразону сдѣлалось такъ грустно и больно,

что онъ вдругъ, посреди горячаго спора съ сыномъ, закричалъ съ негодованіемъ:

— Вонъ, мерзавецъ!

Закричавъ это, Неразовъ топнулъ ногой и съ страшнымъ гнѣвомъ посмотрѣлъ на висѣвшее въ углу свое пальто.

Върочка, находившаяся въ сосѣдней комнатѣ, съ испугомъ поднялась на своей постели и прерывающимся голосомъ окрикнула:

— Неразовъ, это вы?

— Я...

— Кого это вы гоните?

Неразовъ смѣшался.

— Такъ... это я вслухъ читаю одно мѣсто, — пролепеталъ онъ.

Романъ его исчезъ, и онъ, сконфуженный, поторопился лечь на свою жесткую соломенную постель; лицо его приняло вдругъ жалкое выраженіе, съ канимъ онъ и заснулъ.

Это, впрочемъ, не помѣшало ему въ слѣдующіе дни мечтать въ томъ же родѣ и варьировать разными эпизодами свою любовь къ Върочкѣ. Такія мечты никому не вредили, потому что даже и здѣсь онъ былъ совершенно безкорыстенъ. Раньше онъ пробовалъ нѣсколько разъ жениться, но всѣ женщины, къ которымъ онъ обращался, относились къ этому такъ же шутя, какъ и ко всему, что онъ говорилъ или дѣлалъ. Одна, самая кроткая дѣвушка, въ которую онъ влюбился, просто сказала ему:

— Не болтайте, Неразовъ, вздор!

Другая, послѣ того, какъ онъ сдѣлалъ ей нѣсколько намековъ на свое чувство, засмѣялась, бросила ему въ лицо огрызокъ конфеты и замѣтила:

— Какой вы, однако, оселъ, Неразовъ!

Третья же, на которую онъ просто молился, представивъ ее себѣ всегда въ видѣ ангела, при первыхъ его словахъ „объясненія“, вдругъ озлилась, какъ вѣдьма, и закричала ему со злобой:

— Убирайтесь вы къ чорту съ своими глупостями!

Послѣ такихъ краткихъ романовъ онъ самъ сталъ смотрѣть несерьезно на свои слова о женитбѣ и самъ первый же надъ ними подсмѣивался, но когда оставался одинъ-наодинъ съ собой и съ своими мыслями, то сильно увлекался

разными романтическими приключеніями и придумывалъ ихъ на каждый день по нѣскольکو штукъ. Съ утра, на примѣръ, онъ представлялъ себя женатымъ на бабѣ Марѣ, приносящей ему иногда парное молоко, а къ вечеру онъ былъ уже мѣблею въ сосѣднюю помѣщицу, проѣхавшую мимо его хутора въ этотъ день.

Только Вѣрочка надолго воспламенила его сердце. На слѣдующій день они отправились въ деревню: Вѣрочка—къ Купнымъ, Неразовъ—къ Грубову. Вѣрочка сначала сама хотѣла зайти къ Грубову, чтобы поближе познакомиться съ нимъ, но внезапно перемѣнила свое намѣреніе. Неразовъ упрашивалъ ее зайти, но она съ непонятнымъ упрямствомъ наотрѣзъ отказалась. „Да почему? Почему вы не хотите зайти?“—допрашивалъ Неразовъ. Но она промолчала и направилась къ дому Алексѣя Семеныча.

Неразовъ пошелъ одинъ, и ему отчего-то грустно стало. Впрочемъ, едва онъ вошелъ во флигель Грубова, какъ развеселился и принялся въ восторженныхъ выраженіяхъ описывать Вѣрочку. Грубовъ молчалъ, только вяло спросилъ, изъ они устроились на хуторѣ.

— Устроились мы тамъ чудесно! Вѣришь-ли, даже эта самая гнусная развалина, домъ-то нашъ, какъ будто сдѣлался красивѣе съ ея появленія, ей-Богу! Какая она красавица, ты замѣтилъ?

— Кто красавица: развалина или барышня?—спросилъ Грубовъ.

— Это цинично, Митя!... А какъ она поетъ... слушай и умирай—больше ничего!—воскликнулъ Неразовъ.

Затѣмъ онъ въ пламенныхъ выраженіяхъ сталъ описывать другія качества барышни—веселый характеръ, бѣсовскую острогу, ея звонкій хохотъ, начитанность. Грубовъ молчалъ.

Такъ продолжалось нѣсколько дней. Неразовъ, забѣгая къ пріятелю, восторженно говорилъ о своей сожительницѣ, каждый разъ находя въ ней новыя чудеса. Грубовъ все молчалъ. Только однажды онъ задалъ нѣсколько вопросовъ, по видимому, совсѣмъ не относящихся къ Вѣрочкѣ Зиновьевой.

— Послушай, Василій... Кто у васъ ставитъ утромъ самоваръ?—спросилъ Грубовъ, неожиданно прервавъ пламенное описаніе Неразовымъ пѣнія Вѣрочки.

— Я. А что?—отвѣчалъ Неразовъ, очень удивленный.

— И вечеромъ ты?

— Да всегда.

Грубовъ съ минуту помолчалъ, не вслѣдъ затѣмъ опять спросилъ:

— А кто топить печки?

— Я,—отвѣчалъ Неразовъ.

— А полъ мететь?

— Я.

— И обѣдъ варишь ты?

— Да кому же больше? Вѣдь мы и живемъ-то здѣсь чтобы дѣлать все собственными руками.

Грубовъ что-то неопредѣленно пробурчалъ на это.

— Да ты къ чему это спрашиваешь?—вскричалъ Неразовъ съ недоумѣніемъ.

— Да такъ, просто интересно, какъ ты поживаешь... Ну а что знаменитый теленокъ? Живъ, по крайней мѣрѣ?

— Живъ.

— Ты его кормишь?

— Я.

— И за водой ты ходишь?

— Да, а то кто же? Я теперь выучился съ коромысломъ ходить, такъ что приходится только два раза въ день не сить воду.

— Желалъ бы я посмотреть тебя съ коромысломъ!—засмѣялся Грубовъ и пересталъ спрашивать.

Неразовъ также тотчасъ забылъ объ этомъ разговорѣ. Теперь онъ всякій день находился въ состояніи кипѣнія: в первыхъ, онъ былъ безъ ума отъ всего, что говорила и дѣлала Вѣрочка; во-вторыхъ, долженъ былъ непрерывно хлопотать по хозяйству, топить печи, ставить самовары, следить за чистотой посуды и всего дома. Всѣми силами онъ старался услужить Вѣрочкѣ и постоянно мучился вопросом: не забылъ-ли онъ чего сдѣлать? Нѣсколько разъ на дѣнь онъ спрашивалъ ее, нравится-ли ей жизнь на хуторѣ?

Ей нравилось. Она со страхомъ ѣхала сюда, хотя и сознательно старалась не думать обо всѣхъ трудностяхъ новой жизни; и вдругъ оказалось, что ничего таинственнаго и страшнаго здѣсь нѣтъ. Напротивъ, все просто и знакомо. Въ особенности люди; такихъ товарищей у нея сотни были. Съ Бугинымъ и Неразовымъ черезъ недѣлю она уже был

запросто, называла ихъ уменьшительными именами и чувствовала себя съ ними, какъ съ старыми друзьями. Только Грубовъ былъ для нея загадкой. Они встрѣчались у Кугиныхъ, куда Грубовъ приходилъ ежедневно на урокъ съ Натальей. Вѣрочка попробовала и съ нимъ смѣяться, болтать, но это какъ-то не выходило. Потомъ она пробовала не обращать на него вниманія—и это не вышло. Наконецъ, она попробовала сказать ему нѣсколько колкостей, выразила на своемъ лицѣ пренебреженіе, но это кончилось еще хуже; два-три, повидимому, пустыхъ слова, брошенныхъ имъ въ отвѣтъ на ея колкости, такъ ее смутили, что она покраснѣла, замолчала и надулась. Послѣ того она уже никакъ не могла уравновѣсить отношенія съ нимъ,—она, въ одно и то же время, и боялась его, и заискивала передъ нимъ. Но то и другое ей было непріятно, и потому она стала питать къ нему скрытую ненависть.

V.

Знакомая жизнь.

Вѣрочка вставала рано утромъ—и отъ холода, который за ночь становился нестерпимымъ, и отъ того, что набитый соломой мѣшокъ, служившій ей постелью, къ утру производилъ боль во всемъ ея тѣлѣ. Затѣмъ порядочное время она употребляла на одѣванье, очень тщательно умывалась и выходила къ Неразову. Неразовъ къ этому времени уже успѣвалъ приготовить самоваръ, затопить печи, принести воды. Тогда они садились за чай и сидѣли за нимъ до тѣхъ поръ, пока не простывала вода.

Но что дѣлать дальше? Безъ дѣла походявъ по комнатѣ нѣкоторое время, Вѣрочка начинала скучать. Отъ скуки лицо ея принимало угрюмое выраженіе; прекрасные глаза ея тускнѣли, хорошенькій ротъ дѣлался такимъ, какимъ онъ бываетъ только у человѣка, которому хочется ѣсть; все лицо ея вдругъ старѣло и желтѣло. Она напѣвала разные мотивы, перекидывалась бѣглыми замѣчаніями съ Неразовымъ, но мотивы скоро обрывались, а разговоры съ Нера-

зовымъ истощались. О „дѣлѣ“ все уже было переговорено, умные же разговоры не всегда подходили къ желанію.

Единственный предметъ, заключавшій въ себѣ неисчерпаемый запасъ всякаго рода разговоровъ, это—разбирать другъ друга; на этотъ предметъ они обратили вниманіе, посвящая ему большую половину дня. Начинала, впрочемъ, всегда Вѣрочка.

— Какъ вамъ нравится Грубовъ?—спрашивала, напримѣръ, Вѣрочка.

— Я его очень люблю,—отвѣчалъ Неразовъ.

— Грубова? Вотъ ужъ не ожидала, что такого человека можно любить!

— Почему?—смущенно спрашивалъ Неразовъ.

— Не могу вамъ сказать—почему, но онъ мнѣ кажется такимъ надутымъ.

— Грубовъ надутъ? Богъ съ вами!

Неразова задѣлывалъ за живое этотъ отзывъ о другѣ, къ которому онъ былъ привязанъ всѣми силами души; онъ начиналъ горячиться; поднимался жаркій споръ.

— Вы его не знаете!... Что онъ молчитъ? Но онъ молчитъ отъ того, что каждое слово его вымучено. Что онъ всегда улыбается? Но не дай Богъ такъ улыбаться!... Я знаю, вамъ не нравится, что онъ всегда какъ будто съ насмѣшкой говорить, съ юморомъ относится ко всему, но этотъ юморъ у него происходитъ не отъ того, что онъ хочетъ изъ чужой счетъ позабавиться, а отъ того, что въ душѣ у него слишкомъ тяжело, чтобы и говорить еще съ тяжелою серьезностью... Улыбка его—это судорога; его насмѣшка—это сплошная боль. Отчего онъ страдаетъ, я, конечно, не знаю, но чувствую, что въ душѣ у него адъ кромѣшный... Но замѣйте, онъ никогда не жалуется, никогда не говоритъ про себя и про свою боль. Другіе рисуются, кокетничаютъ своими мрачными мыслями, а онъ молчитъ... Я его часто застаю въ такой позѣ: сидитъ со стиснутыми зубами. А заговори съ нимъ—смѣется!...

Вѣрочка возражала на это, Неразовъ защищался, оба приходили въ азартъ и переставали слушать другъ друга. Этимъ кончался Грубовъ и начинался черезъ нѣкоторое время другой, напримѣръ, Кугинъ.

— А Кугинъ вамъ нравится?—спрашивала Вѣрочка.

— Кугинъ?... Кугинъ ничего, хорошій малый, — возражалъ Неразовъ нехотя.

— А мнѣ онъ нравится больше вашего Грубова!

— Кугинъ? Онъ ничего...

— То-есть какъ это ничего? Онъ — энергичный человекъ, а это вовсе не ничего.

— Ну, кто его знаетъ! Насчетъ энергіи — это еще вопросъ... Но въ немъ есть одна черта... какое-то злое, узкое самолюбіе. Знаете, почему онъ не любитъ Грубова?

— Развѣ онъ его не любитъ? — спросила съ внезапнымъ любопытствомъ Вѣрочка.

— Онъ-то? Терпѣть не можетъ!... А все потому, что на Грубова смотрять какъ на представителя колоніи, а это Купна злитъ. Ему хочется самому быть первымъ. Это свинство!

— Почему же свинство? — возразила Вѣрочка горячо.

— Да потому, что здѣсь даже смѣшно говорить о самолюбіи! — закричалъ Неразовъ.

— Нисколько. А, можетъ, Кугинъ сознаетъ въ себѣ силу?... Да я и сама думаю, что если кто будетъ полезенъ колоніи, то именно онъ.

— Кугинъ?... Пока только онъ выучился подпоясывать рубаху ниже живота да говорить „ничаво“!

— Ну, ужъ, это вы отъ злости сплетничаете, Неразовъ! Неразовъ при этомъ обвиненіи вдругъ съежился и замолчалъ, уже раскаиваясь въ своихъ запальчивыхъ словахъ отъкровенно товарища. Мягкой натурѣ его противна была злоба и мстительность, и хотя Кугинъ часто обижалъ его своимъ пренебрежительнымъ тономъ, но за это онъ не могъ долго сердиться на него.

Разговоръ переходилъ и на Наталью. Но тутъ былъ уже широкій просторъ для всякихъ предположеній.

Вѣрочкѣ она не нравилась. Неразовъ обижался на это.

— Она какая-то скрытная... и, кажется, хитрая, — говорила Вѣрочка.

— Кто? Наталья-то?

— Хитрая, какъ хитрыя бываютъ бабы.

— Да Богъ съ вами! Что же это вы говорите?... Наталья хитрая!... Да она такая нѣжная, умная!... А если она неразговорчива, то это отъ застенчивости. Она всѣхъ насъ,

не исключая и мужа, такъ боится, что у ней языкъ не поворачивается... Ужасно стѣсняется.

— Застѣнчивость—обратная сторона гордости,—замѣтила Вѣрочка.

— Ну, такъ что же?... И вѣрно! Но вѣдь это особая гордость, происходящая отъ благородства... Да нѣтъ! вы сами не вѣрите въ то, что говорите. Когда мы съ Грубовымъ увидали ее, то положительно были растроганы... Она такая деликатная, что трудно даже и представить, какъ такая нѣжная натура могла появиться въ крестьянской избѣ! Она похожа на лѣсной цвѣтокъ, на ландышъ посреди темнаго лѣса. Впрочемъ, семья Алексѣя Семеныча вся хорошая... Но Наташа—это благородство! Даже удивительно, какъ могло выработаться въ этой все-таки грубой средѣ такое существо, тонкое...

— Она влюблена въ Кугина?—спросила Вѣрочка.

— По уши.

— А онъ?

— Онъ? Онъ тоже, вѣроятно. Впрочемъ, Кугинъ силы можетъ любить только свою особу.

— Вы опять сплетничаете?—со смѣхомъ замѣтила Вѣрочка.

— Совсѣмъ нѣтъ. Я только думаю, что было бы лучше, если бы въ ту пору Грубовъ на ней женился.

— Какъ! Развѣ и Грубовъ, какъ всѣ вы, пораженъ былъ ландышемъ?—воскликнула Вѣрочка съ живѣйшимъ любопытствомъ.

— Онъ очень любилъ ее, послѣ первой же встрѣчи.

— А она?

— Она?... Вотъ тутъ и разбери женское сердце! Она, видимо, и не замѣчала этого... Но лишь только пріѣхалъ этотъ красавецъ Кугинъ—и конецъ! Не успѣли мы оглянуться, какъ уже они женились.

— Ну, а Грубовъ?

— Да что же Грубовъ? Вѣроятно, лишній разъ стиснулъ зубы, больше ничего. Грубовъ ей теперь даетъ уроки и, не сказать, только его одного она и не боится, и не стѣсняется.

— А развѣ мужа боится?

— Какъ огня. Да и всѣхъ насъ... и меня, и васъ, вѣроятно. Только передъ Грубовымъ она не стѣсняется. Онъ,—это, между прочимъ, также характеризуетъ его,—

однимъ намекомъ не далъ никому замѣтить, какъ онъ относился къ ней .. Только, ради Бога, никому этого не говорите. Это тайна Грубова, глубоко схороненная имъ, и никто не долженъ знать ее.

— Да вотъ мы уже, увы, знаемъ ее!—сказала Вѣрочка и захохотала.

Неразовъ вдругъ жалко съежился.

Таковы разговоры, занимавшіе по цѣлымъ часамъ двухъ обитателей колоніи. Когда этотъ матеріалъ на время выходилъ, оба отправлялись въ деревню: Вѣрочка—къ Кугиннымъ, Неразовъ—къ Грубову.

Но и тамъ занятія собственно не было.

Кугинъ днемъ понемногу копался во дворѣ, по хозяйству, но не очень ретиво; онъ зналъ, что если чего онъ не сдѣлаетъ, вреда никому не будетъ,—сдѣлаетъ самъ Алексѣй Семенычъ или кто-нибудь изъ домашнихъ. Поэтому, когда приходила Вѣрочка, онъ бросалъ работу, провожалъ ее въ огорокъ, и тамъ они просиживали до поздняго вечера за разнородными разговорами. Разговоры часто велись при молчаливомъ присутствіи Натальи, но иногда и вдвоемъ. Главная тема ихъ состояла, конечно, въ предположеніяхъ и планахъ будущаго колоніи; очень часто велись общіе разговоры, но все-таки самый обильный матеріалъ добывался отъ разбора другъ друга.

Больше всѣхъ разбирался Грубовъ.

Въ первое время на вопросы Вѣрочки Кугинъ игралъ въ политику, сохраняя непроницаемое безпристрастіе ко всѣмъ, но потомъ не выдержалъ. И тогда Грубовъ его устами расписалъ былъ яркими красками, а Вѣрочка отъ себя подлила масла въ огонь, похваливая Грубова. Кугинъ окончательно бросалъ политику.

— Вы говорите, онъ—человѣкъ крупный?—спросилъ однажды Кугинъ спокойнымъ тономъ.

— Мнѣ кажется,—отвѣтила Вѣрочка.

— Это, конечно, ваше дѣло. Я только не знаю, какимъ аршиномъ вы его смѣряли, что онъ сталъ такимъ крупнымъ. Я также его мѣрялъ, но, вѣроятно, наши аршины разные... Послѣ моего измѣренія онъ оказался не очень большимъ. А мы нашего настоящаго дѣла онъ, по-моему, не годится...

Ну, что ужъ это за человѣкъ, который изъ-за каждаго пустяка можетъ выйти изъ себя! Онъ изъ тѣхъ интеллигентовъ, которые умѣютъ только всѣмъ возмущаться, надъ всѣмъ издѣваться и ничего не дѣлать... Этого уже нынче мало.

— Говорятъ, онъ очень умный,—встала Вѣрочка.

— Можетъ быть. Да только умъ-то его непреложимъ ни къ чему. Намъ нужны, наконецъ, практическіе работники, а не насмѣшники. Довольно увлекаться умниками, которые умѣютъ только блистать умомъ, ехидно надъ всѣми подсмѣиваться и отравлять каждое дѣло!

— Посмѣяться онъ, дѣйствительно, любить, кажется.

— Медомъ не корми, какъ выражается Неразовъ.

— Онъ что-то уединяется?—спросила Вѣрочка.

— Отъ насъ, да. Но у него есть своя излюбленная компанія... Вы видали Ефрема, который везъ васъ со станціи? Онъ нашъ пайщикъ и хорошій работникъ, но какъ личность—скверный мужиченко, пьетъ, дерется, ходитъ вѣчно съ побитою мордой, ругается, божится... Ну, такъ вотъ это одинъ изъ любимцевъ Грубова. Потомъ мой тесть... Мой тесть—добрый мужикъ, но голова его набита разными бреднями, которыя Грубовъ всегда слушаетъ съ великимъ восторгомъ, какъ нѣчто глубоко поучительное... Потомъ у хозяина Грубова, нѣкоего Антона Петровича, богатѣйшаго здѣшняго кулака, есть работникъ, дуракъ Лукашка, который сопровождаетъ Грубова на охоту... вотъ его компанія Ефремъ съ побитою мордой, дуракъ Лукашка, мой тесть помѣшавшійся на мистицизмѣ, нѣсколько еще въ такомъ же родѣ мужиковъ и Неразовъ, — какъ видите, компанія отборная!

Кугинъ при этомъ захохоталъ. Захохотала и Вѣрочка.

— Неразовъ, въ самомъ дѣлѣ, ужасный чудакъ, — сказала она.

— Просто болтушка,—съ презрѣніемъ замѣтилъ Кугинъ.

— Онъ иногда уморительно фантазируетъ.

— Фантазируетъ, это еще ничего, но вотъ вретъ онъ—это ужъ плохо.

— Развѣ онъ вретъ?

— Артистически.

И бѣднягѣ Неразову жестоко досталось за всѣ его увлеченія.

Наталя, присутствовавшая иногда при такихъ разговорахъ, вспыхивала румянцемъ, въ особенности когда дурно говорили о Грубовѣ. Грубовъ былъ для нея лучшимъ другомъ, братомъ, заботливымъ учителемъ, и она недоумѣвала, что въ немъ можетъ быть нехорошаго. И ей хотѣлось въ такія минуты заступиться за него, и она уже порывалась говорить, но вдругъ робость нападала на нее, и она не смѣла. Также больно было ей, когда ругали Неразова. Неразовъ казался ей подчасъ смѣшнымъ, но она была убѣждена, что онъ добрый баринъ, только какой то несчастный. За что же его ругать? Но и за него она не смѣла заступиться. Вообще Наталя дѣлалась грустно при этихъ разговорахъ.

Колонія, видимо, раздѣлилась на партіи. Во-первыхъ, партія Грубова, состоявшая изъ Грубова и Неразова. Во-вторыхъ, партія Кугина, въ которой единственнымъ членомъ былъ самъ Кугинъ. Третью партію образовала Вѣрочка. Вѣрочкѣ скучно было принадлежать къ той или другой изъ крайнихъ партій, вслѣдствіе чего она колебалась то въ ту, то въ другую сторону, смотря по тому, гдѣ ей было веселѣе. Впрочемъ, по симпатіи и по необходимости, съ теченіемъ времени, она стала склоняться на сторону партіи Кугина, ибо изъ противной партіи она могла ладить только съ Неразовымъ; Грубовъ же просто отталкивалъ ее своимъ невниманіемъ, да и ни разу не зашелъ къ ней.

Вчетверомъ товарищи рѣдко сходились.

Но по инициативѣ Кугина признано было полезнымъ собираться всѣмъ вмѣстѣ разъ въ недѣлю для обсужденія общихъ дѣлъ. Однако, съ перваго же собранія обнаружилось, что разговоры имѣютъ не только свойство водворять согласіе, но еще и другое свойство—развѣдать послѣдніе остатки взаимнаго пониманія.

Самое дѣятельное участіе въ собраніяхъ принималъ Кугинъ. Онъ здѣсь бросалъ усвоенный имъ мужицкій жаргонъ и говорилъ книжнымъ высокопарнымъ языкомъ, весьма тщательно слѣдя за красотой своей рѣчи. Остальные члены собранія ограничивались немногими словами. Грубовъ изрѣдка только шутилъ; Неразовъ волновался, но объяснялся боль-

ше восклицаніями и размахиваніями рукъ. Вѣрочка вникательно наблюдала. Трибуну, такимъ образомъ, занималъ одинъ Кугинъ.

— Господа,—говорилъ онъ,—теперь намъ слѣдуетъ рѣшить вопросъ о сѣменахъ на будущую весну.

И затѣмъ подробно излагалъ свой взглядъ на вопросъ. Съ нимъ по большей части соглашались, предоставляя ему одному удовольствіе ставить, обсуждать и рѣшать вопросъ. Русскій человѣкъ, какъ извѣстно, насквозь пропитанъ „вопросами“ и по каждому изъ нихъ можетъ безконечно долго говорить, тѣмъ болѣе, что „надъ нами не каплетъ“. Не встрѣчая ни съ какой стороны оппозиціи, Кугинъ съ пріятнымъ удивленіемъ чувствовалъ свое превосходство надъ этимъ собраніемъ, а удовлетворенное самолюбіе дѣлало его еще болѣе краснорѣчивымъ и горячимъ.

Такъ было и на одномъ изъ собраній. Всѣ пришли в хуторъ, по обыкновенію, поздно вечеромъ. Въ полѣ гуды снѣжная вьюга, отъ которой дрожали стѣны ветхаго дома. Въ комнатѣ Неразова, гдѣ всѣ сидѣли, по ногамъ ходилъ холодъ, заморозившій весь энтузіазмъ собравшихся. Вѣрочка, облокотившись на столъ, куталась въ теплую шаль, подобрала ноги на кровать Неразова; самъ Неразовъ, одѣтый въ пальтишко, стучалъ зубами все время, пока не догадался снова затопить печь; Грубовъ воспользовался этимъ, повернулся лицомъ къ огню и подставлялъ къ печкѣ попеременно руки и ноги. Одинъ Кугинъ, казалось, не слышалъ бури, бушевавшей на дворѣ, и не чувствовалъ мороза, гонявшаго по комнатѣ. Съ возбужденнымъ лицомъ, потерявшимъ обычную надменность, онъ ходилъ по комнатѣ въ одной кумачной блузѣ и говорилъ. Говорилъ онъ объ идеалахъ колоній, о теоріи земледѣлія, о задачахъ интеллигенціи, народъ и обо всемъ, что всегда и вездѣ говорится. Намекая, не встрѣчая возраженій, онъ перешелъ къ хозяйству и сталъ предлагать для рѣшенія разные вопросы.

— Теперь, господа, намъ слѣдуетъ рѣшить вопросъ о теплѣнѣ,—сказалъ онъ, между прочимъ.

— Развѣ и такой вопросъ есть?—замѣтилъ Грубовъ, дѣлая одну ногу передъ печкой.

— Неразовъ жалуется, что ему больше не подъ силу хо

дять за теленкомъ,—продолжалъ Кугинъ, не разслыхавъ замѣчанія Грубова.

— Да, братцы, надо куда-нибудь убрать его, а то, ей-Богу, онъ замерзнетъ!... Сарай плохо покрытъ, и въ одно прекрасное, но морозное утро я приду къ нему и не застаю его въ живыхъ!—отвѣтилъ Неразовъ со смѣхомъ.

— Я предлагаю, господа, привести воза два соломы и общими силами поправить сарай,—продолжалъ Кугинъ.

— А не лучше-ли отдать его на прокормъ Ефрему?—спросилъ Неразовъ несмѣло.

— Почему же лучше?

— Да стоитъ-ли дѣлать сарай среди зимы?

— Можетъ быть, лучше съѣсть его? — замѣтилъ Грубовъ какъ бы про себя.

— То-есть какъ это съѣсть? — съ недоумѣніемъ спросилъ Неразовъ.

— Очень просто, Вася! Не дожидаясь, пока онъ умретъ, заколоть его и съѣсть. Тогда, по крайней мѣрѣ, мы освободимся отъ одного изъ вопросовъ.

— Слѣдовательно, вопросъ сводится къ телятинѣ?

— Ты, Вася, очень догадливый человекъ!

— Еще бы! Мяса у насъ давно уже не было, и я очень хорошо догадался, къ чему ты ведешь рѣчь!—шумно закричалъ Неразовъ.

Въ этомъ шутиломъ тонѣ Грубовъ и Неразовъ еще нѣкоторое время говорили. Къ нимъ присоединилась Вѣрочка. Но Кугинъ нахмурился. Остановившись по срединѣ комнаты, онъ ждалъ, пока глупыя шутки кончатся, и опять заговорилъ:

— Такъ нельзя, господа!... Я не вижу тутъ ни малѣйшаго предлога для шутокъ. Если же предложеніе—заколоть—сказано было серьезно, то я удивляюсь легкомыслію, съ какимъ было это сказано!...—Кугинъ при этомъ бросилъ насмѣшливый взглядъ въ ту сторону, гдѣ сидѣлъ Грубовъ.—Вѣдь, дѣло не въ томъ, какъ отдѣлаться отъ теленка, а въ томъ, какъ его вырастить. Теленокъ—часть нашего хозяйства, съ этой точки зрѣнія мы и должны разсматривать его.

— Не понимаю, какъ можно теленка разсматривать съ

какой бы то ни было точки зрѣнія, — съ улыбкой замѣтилъ Грубовъ.

— Не понимаешь? Я объясню. Когда мы заводили колонию, какую цѣль, главнымъ образомъ, мы преслѣдовали? Дѣлать все своими руками и тѣмъ жить. Для этого мы рѣшили обзавестись всѣмъ необходимымъ хозяйствомъ и вести его собственными руками. Между тѣмъ, на первыхъ же порахъ мы измѣнили себѣ, нарушили нашу цѣль. Лошадей на зиму спровадили къ Ефрему, все остальное у Алексѣя Семеныча... а теперь туда же хотятъ спроводить и теленка. Это значитъ, что съ самаго же начала мы обнаружили свою несостоятельность и неумѣлость въ дѣлѣ, которое создали. Слѣдовательно, здѣсь возникаетъ чисто-принципальный вопросъ.

— О теленкѣ?—спросилъ Грубовъ.

— Да, именно о теленкѣ, — упрямо подтвердилъ Кугинъ.

— И его надо рѣшить?

— Я думаю.

— Ну, что-жь? Давайте рѣшать. Признаюсь, я до сихъ поръ смотрѣлъ на нашего теленка, какъ на обыкновеннаго теленка, но разъ это теленокъ — принципальный, тогда къ нему нужно отнестись съ полнымъ вниманiемъ.

Вѣрочка прыснула изъ-подъ шали, Неразовъ захохоталъ, самъ Грубовъ добродушно засмѣялся. Но что сдѣлалось съ Кугинымъ — въ первое мгновенiе никто не замѣтилъ. Сначала онъ и самъ не достаточно понялъ смыслъ раздаваемаго вокругъ него взрыва смѣха, но вслѣдъ затѣмъ краска разлилась по всему его лицу, въ глазахъ его вспыхнула жгучая злоба.

— Вы, Грубовъ, слишкомъ злоупотребляете своимъ шутствомъ!... Быть можетъ, это удобно въ этой идиотской компанiи, которая окружаетъ насъ въ Бору, но едва-ли умѣстно здѣсь!—сказалъ Кугинъ внѣ себя отъ бѣшенства.

Напрасно спохватившiйся Грубовъ, замѣтивъ дѣйствiе своей шутки, старался увѣрить, что съ его стороны не было намѣренiя оскорбить; напрасно онъ доказывалъ нелѣпость ссориться изъ-за какого-то теленка, — всѣ его слова только подливали масла въ огонь. Кугинъ никому не прощалъ насмѣшки надъ собой. Не говоря болѣе ни слова, онъ быстро одѣлся и молча ушелъ съ хутора.

Грубовъ положительно опечалился этимъ происшествіемъ. — Проклятый этотъ теленокъ!... Когда еще мы покупали ю, всё перессорились, теперь также!... Неразовъ, привя- и завтра его на веревку и отведи къ Ефрему! — сказалъ Грубовъ печально.

— Что же, это можно... Только Кугинъ вѣдь еще пуще возмущается. Скажете, что вопросъ о веревкѣ надо еще рѣ- шить съ теоретической точки зрѣнія, — возразилъ Неразовъ захохотавъ до слезъ.

Съ этого дня теленокъ сдѣлался элементомъ раздора и не- ладности въ колоніи; собственно говоря, даже и не теленокъ, — стоящаго, реального теленка Неразовъ дѣйствительно при- залъ на веревочку и отвелъ къ Ефрему, — вражда пошла ъ-за слова „принципіальный теленокъ“. Сначала этимъ прозвищемъ Вѣрочка стала называть всякаго, кто начиналъ верить краснѣ. Но затѣмъ прозвище почему-то чаще всего ло прижиться къ Неразову.

— Послушайте, принципіальный теленокъ... принесите мнѣ ѣды, — говорила, напрямѣръ, Вѣрочка.

Неразовъ сначала обижался на такую профанацію его имени, но скоро привыкъ и безропотно сталъ носить на себѣ щую кличку.

Между тѣмъ, Кугинъ въ тайнѣ увѣренъ былъ, что кличку глаза примѣняютъ именно къ нему, Кугину, и бѣсился. да мысль, что его называютъ „принципіальнымъ телен- комъ“, приводила его въ содроганіе. Онъ ненавидѣлъ за это Грубова и при всякомъ удобномъ случаѣ старался уязвить о. Сходки на хуторѣ еще нѣкоторое время продолжались, уже не затѣмъ, чтобы рѣшать вопросы, а съ цѣлью на- гнуть на чужое самолюбіе. Самолюбіе у cadaго разду- съ до такихъ размѣровъ, что поглотило въ себя все — вза- ное уваженіе, справедливость, вопросы, дѣла.

Первый опаматовался Грубовъ; ему опомниться было тѣмъ же, что игра самолюбій производила на него страшное вѣствіе; на другой день послѣ cadaго столкновенія на одкахъ онъ дѣлался больнымъ.

Тогда онъ бросилъ ходить на хуторъ. Остальные послѣдо- ли его примѣру. „Вопросы“ прекратились. Но вмѣстѣ съ ни брошены были на произволъ судьбы и настоящія за.

VI.

С к у к а.

Прошло уже много времени со дня пріѣзда Вѣрочки колонію, а она все еще не могла придумать для себя дѣла и не знала, какія собственно лежать на ней обязанности исполненію которыхъ она могла бы предаться всею душою. Первые мѣсяцы жизни на хуторѣ были для нея все-таки любопытны; она никогда зимой не жила въ деревнѣ и такая жизнь все же была для нея новостью. Но когда станковка приглядѣлась, люди были узнаны со всѣхъ сторонъ, а жизнь пошла изо дня въ день, какъ машина, Вѣрочка начала раздражаться. Вставая утромъ съ постели, она мысленно тотчасъ же спрашивала себя съ ужасомъ, какъ она и ведетъ наступающій день?—и не знала какъ; и тотчасъ на нее нападала злая скука.

Именно злая. Скуку люди выносятъ двояко: одни терпеливо, другіе съ яростью. Первые, лишь только она приедетъ, тотчасъ придумываютъ, чего бы похвастаться, и придираются, а похваставшись, немедленно ложатся спать, и спать до утра съ носовою музыкой, въ сласть. Другіе, напротивъ, при первомъ ея приступѣ, приходятъ въ ярость, лишаются аппетита и сна и становятся невыносимыми, причиняя много горя окружающимъ близкимъ.

Бѣдняга Неразовъ просто не понималъ, отчего его съ тельницей съ нѣкотораго времени совершенно перемѣнились: отчего лицо ея теперь всегда было некрасиво, губы надулись, брови нахмурены, глаза смотрятъ недобро. Первымъ предположеніемъ было то, что она на него сердится, и что—онъ не знаетъ. Кажется, онъ изъ всѣхъ силъ старался услужить ей—топилъ печки, носилъ воду, подавалъ супъ, варилъ, мелъ полъ, варилъ обѣдъ, ради котораго падалъ рѣдкіе свои волосы или обливался супомъ, ставилъ самоваръ, причемъ для ускоренія кипѣнія снималъ съ ногъ погъ и дѣйствовалъ его голенищемъ, какъ мѣхомъ. Чего больше? Правда, не всѣ его старанія приводили къ тѣмъ цѣлямъ, къ которымъ онъ стремился; обѣдъ его часто по-

ся только для собаки, въ нагрѣвныя комнаты онъ напускалъ угару, послѣ его подметанія въ воздухъ носились столбы пыли. Но все же онъ старался.

Вѣрочка, однако, по цѣлымъ днямъ ходила мрачная, не разговаривала, не пла. Но вотъ однажды на нее напало молновеніе, она вспомнила, что пріѣхала сюда работать вслѣдую работу, и рѣшила взяться за домашнее хозяйство. Однажды утромъ она торжественно объявила Неразову, что съ этого дня начнетъ заниматься хозяйствомъ. Неразовъ пришелъ въ восторгъ.

Вѣрочка нарядилась въ особую юбку и блузу, голову коротко повязала платкомъ, надѣла чистый передникъ и пришла работать. Сначала она убрала комнаты, вычистила каждую вещь и потомъ объявила Неразову, что сейчасъ будетъ готовить обѣдъ.

— Идите, Неразовъ, несите воды!—приказала она.

Неразовъ побѣжалъ за водой.

— Вынесите помой, пожалуйста!—говорила она вслѣдъ за нимъ.

Неразовъ выносилъ.

— Теперь тащите дровъ и будемъ топить!—говорила она дальше.

Неразовъ исполнялъ съ величайшею готовностью всѣ ея приказанія. А она своими чистыми маленькими ручками готовила супъ, нарезала правильными прямоугольниками овощи, выбирали жижи изъ мяса и проч. Потомъ опять приказывала:

— Неразовъ, закройте вьюшки въ печкѣ!

Неразовъ полѣзъ за трубу, выпачкался сажей и закрылъ.

— Знаете что, вы мойте мочалкой посуду, а я буду перетирать ее,—предложила она.

— Отлично!—согласился Неразовъ и принялся самоотверженно бултыхаться въ помояхъ. Онъ мылъ, а Вѣрочка вытирала.

Въ этомъ родѣ была вся ея работа.

— Хорошій обѣдъ?—спрашивала она, когда въ этотъ день они сѣли за столomъ.

— Прелесть!—искренно изумлялся Неразовъ.

На другой день Вѣрочка также принялась хозяйничать.

— Неразовъ, идите за дровами... затопите печь!...

Неразовъ тащилъ дровъ, затоплялъ печь, натаскалъ воды, вынесъ разъ десять помой, мылъ посуду, притиралъ помы и все это добросовѣстно и съ жаромъ, въ полной увѣренности, что онъ „помогаетъ“ Вѣрочкѣ.

Такъ продолжалось съ недѣлю. Вѣрочка „работала“, Неразовъ „помогалъ“. Ему только казалось страннымъ, отчего онъ въ эту недѣлю такъ усталъ. На этотъ счетъ онъ справился у Вѣрочки.

— Вы устаете сильно?—разъ спросилъ онъ.

— Нисколько!—возразила она весело.

— Удивительно!

— Что же тутъ удивительнаго? Развѣ вы устаете?

— Усталъ... И самъ не знаю отчего,—сказалъ онъ мѣлкимъ флузиво.

Вѣрочка подняла его на смѣхъ; насмѣялась надъ его худосочною фигурой и надъ его неловкостью. Неразовъ еще болѣе смутился и искренно изумлялся своему слабосилію.

Въ слѣдующіе дни онъ уже съ тоской ожидалъ работы Вѣрочки. Не одинъ разъ онъ освѣдомлялся у ней насчетъ порядка завтрашняго дня.

— Вы и завтра будете работать?—спрашивалъ онъ мѣлкимъ.

— Буду,—отвѣчала Вѣрочка.

Неразовъ тоскливо вздыхалъ. Какъ человѣкъ мягкій, онъ стыдился сказать Вѣрочкѣ, что отъ ея работы у него болитъ спина, и что ему очень непріятно быть осломъ... Животъ настоящего осла не потому тяжелъ, что онъ таскаетъ тяжелыя ноши, а потому, что таскаетъ ихъ по принужденію, не тогда, когда хочетъ, и не такъ, какъ самъ думаетъ. Неразовъ до этого времени все дѣлалъ самъ и не уставалъ, а когда принялась хозяйничать Вѣрочка и заставила его быть у себя на побѣгушкахъ, онъ страшно утомлялся.

Но, къ счастью его, Вѣрочкѣ скоро эта игрушка надоела. Ей опротивѣли эти грязныя кухонныя дѣла и она всѣ ихъ бросила. Развѣ она за тѣмъ ѣхала въ колонію, чтобы мыть горшки, чистить картофель, готовить для Неразова обѣды? Всѣ эти пошлыя дѣла можетъ выполнить любая баба, — ужели для этого она ѣхала сюда? Она пріѣхала работать, а не за тѣмъ, чтобы заниматься пошлыми мелочами.

Впрочку инстинктивно дѣлила людей на два вида; одни занимаются пошлыми мелочами, другіе—подвигами. И также инстинктивно она причислила себя ко вторымъ. Она была увѣрена, что жизненные мелочи совсѣмъ не относятся къ ней; для мелочей всегда найдутся мелкіе люди. Она же должна заниматься чѣмъ-то другимъ, крупнымъ, шумнымъ и веселымъ. Обѣдъ сдѣлаетъ баба, платье сошьетъ портника и прочее, она же будетъ дѣлать въ жизни нѣчто другое, важное, огромное. Мелочи отнимаютъ время и олошляютъ; ей же надо жить. Другіе, мелкіе люди пусть проводятъ жизнь въ обыденныхъ глупостяхъ, а она должна жить. Если бы она погрузилась въ домашніе пустяки, то когда же жить?

Бѣ сожалѣнію, жить ей до сихъ поръ не удавалось. Она даже до сихъ поръ не могла опредѣлить, что значить жить.

Года два тому назадъ она была увѣрена, что ея назначеніе—сцена. И она готовилась быть оперною пѣвицей и вѣрила въ необыкновенный свой успѣхъ. Сидя въ театрѣ и слушая рукоплесканія, она думала: „Вотъ такъ и мнѣ будутъ скоро хлопаты!“ И она вѣрила въ свои побѣды надъ толпой, въ которой вотъ теперь она затерялась въ качествахъ обыкновенной ничтожности, но которая завтра будетъ ее носить на рукахъ. Съ этими предчувствіями она поступила въ консерваторію. Но когда она здѣсь пробыла уже съ полгода, одинъ изъ ея учителей сказалъ ей:

— Зачѣмъ вы поступили въ намъ?

— Какъ зачѣмъ? Я готовлюсь на сцену,—отвѣтила она.

— На сцену?... Но ваши голосовыя средства достаточны только для домашняго употребленія. Не совѣтую. А, впрочемъ, какъ хотите.

Послѣ такой неудачи она долго скучала и бѣсилась. Но спустя немного времени на нее свизошло новое вдохновеніе, и она всецѣло отдалась ему. Она начала писать романъ въ пяти частяхъ. Очень скоро она овладѣла литературными приемыми и въ два мѣсяца кончила, сама удивляясь, какое это, въ сущности, пустое дѣло. Надо только знать, гдѣ пустить ходъ психическій анализъ, гдѣ описаніе природы, гдѣ изображеніе быта. И то, и другое, и третье ей вполне удалось. Такъ, навримѣръ, она очень тонко подмѣтила и разнала соотношеніе между приподнятымъ острымъ носомъ и несчастливостью въ жизни. Изъ описаній природы ей въ

особенности удалось изображеніе облаковъ, которыя она сравнивала со стадомъ коровъ, стоящихъ въ разныхъ позахъ на водопоѣ... А конецъ вышелъ у нея очень эффектно: героя, учителя музыки, она съ наслажденіемъ повѣсила на одномъ изъ гвоздей театральной вѣшалки, а героиню убилъ экстазомъ въ моментъ исполненія тою аріи изъ *Гугенотовъ*. Но старикъ-редакторъ, которому она отдала романъ для прочтенія, просто сказалъ со своею милою, честною улыбкой: «Не годится, барышня!» — и съ сожалѣніемъ уклонился отъ дальнѣйшихъ объясненій. Это сильно обезкуражило Вѣрочку, такъ обезкуражило, что она нѣсколько мѣсяцевъ страшно скучала.

Спустя полгода послѣ этой неудачи Вѣрочка опять чувствовала себя веселою; къ ней возвратился блескъ глазъ, румянецъ щекъ и жизнерадостная красота. Совершилась такая перемѣна, благодаря одному молодому человѣку, котораго она влюбилась въ нее до потери сознанія. Она также влюбилась, но безъ потери сознанія. Молодой человѣкъ ради нея готовъ былъ совершить рядъ неистовыхъ безумствъ, она уже готова была принять эти безумства какъ должную дань. Эта игра заняла ее надолго и наполнила ее пустую душу разнообразнымъ содержаніемъ. Къ несчастію, романъ черезъ полгода кончился по винѣ молодого человѣка. Онъ, идя, принявъ игру за серьезъ и вздумавъ вслухъ строить планы будущей жизни. По мнѣнію болвана выходило очень пошло и мелко: они женятся, будутъ вмѣстѣ воспитывать дѣтей и вмѣстѣ работать. Эта перспектива такъ испугала Вѣрочку, что она живо отдѣлалась отъ глупца, воображавшаго въ ней обыкновенную дѣвушку.

Бракъ ей представлялся въ видѣ лѣтней прогулки по бульвару, — прогулки, которую она имѣла право кончить, когда ей угодно; между тѣмъ, влюбленный гусь грозилъ ей вѣчнымъ счастьемъ! Грозилъ дѣтьми и работой среди цѣлѣной. Онъ предлагалъ ей, въ сущности, сдѣлаться рабой мундшюкъ дѣтей, кухаркой семьи. Но когда жить?

Вѣрочка не знала, что такое *жить*. Но она ясно различала, что значитъ *не жить*. Не жить — это значитъ выйти замужъ, родить дѣтей, нянчить этихъ противныхъ живыхъ, гулять только подъ руку съ мужемъ, слушать какъ переть только, когда можно вырваться изъ дома, и всегдѣ

возвращаться только на одну и ту же опостыгѣвшую квартиру. Могла-ли она согласиться не жить?

Но, спровадивъ молодого человѣка, Вѣрочка опять сильно заскучала. Романъ все же давалъ ей пріятную игру, и когда она ее окончила, душа ея еще больше опустѣла.

Несчастье Вѣрочки заключалось въ томъ, что сознательная жизнь ея началась въ такое время, когда въ окружающемъ ее обществѣ не было сознанія и когда окружающая жизнь обратилась въ дикую пустыню. Пустыня наложила на нее неизгладимую печать; сердце ея, несмотря на молодость, было дико, душа пуста. Въмѣсто духовныхъ влеченій, въ ней были порывы темперамента, вмѣсто вѣры—аппетиты, вмѣсто характера—произволь. Она умѣла только различать, что скучно и что не скучно, и жизнь вела, какъ игру. Но игра можетъ быть пріятной или непріятной; первую она искала, въ второй всѣми силами уклонялась.

Въ такомъ видѣ она явилась и въ колонію. Услыхала она о ней въ самый разгаръ скуки и ухватила за нее съ страстною неудержимостью. Колонію она представляла себѣ именно тѣмъ дѣломъ, котораго она искала. Понятно ея разочарованіе. Проживъ въ Бору два мѣсяца безъ всякаго дѣла, она должна была заскучать. Въ это-то время на нее снизошло, къ горю Неразова, хозяйственное вдохновеніе. Есть одинъ родъ вдохновенія, отъ котораго у всѣхъ окружающихъ чешутся затылки и болятъ поясницы; по крайней мѣрѣ, у Неразова отъ ея вдохновенія заболѣла именно поясница. А бываетъ и хуже.

Когда Вѣрочка внезапно бросила хозяйничать, къ удивленію Неразова, то сначала ничего не объясняла—почему. Но когда онъ снова принялся одинъ хозяйничать, ей стало неловко. Она сдѣлала попытку объяснить свое непостоянство. Судя по себѣ, она теперь знала, что вся эта глупая возня въ дому страшно тяжела для Неразова.

— Вы извините меня, Неразовъ, но я больше не хочу возиться со всею этою ерундой!—сказала она однажды прерывательно, хотя въ душѣ конфузилась.

— Конечно, бросьте! Я все сдѣлаю,—наивно возразилъ Неразовъ.

Неразовъ вполне вѣрилъ, что у Вѣрочки должны быть

великіе планы и потому для нея нѣтъ нужды убивать время на кухонныя мелочи. Но онъ все-таки рѣшился возразить.

— Отъ мелочей нигдѣ не отвязаться; онѣ всюду пришиваются, какъ пыль къ воздуху,—сказалъ онъ.

— Но вѣдь это безобразно! Неужели я затѣмъ ѣзжу сюда, чтобы подметать полъ или выносить помой?—вспрыкала Вѣрочка.

— Да какъ же иначе-то, барышня?—возразилъ несмѣливымъ Неразовъ.

— Какъ? А очень просто—наплевать на всю эту чепуху.

— Но вѣдь изъ этой чепухи вся наша жизнь здѣсь стоитъ!

— Что вы болтаете! Колонія устроена затѣмъ, чтобы заниматься грязными мелочами?!—закричала Вѣрочка.

— Да какъ же иначе-то?... Цѣль колоніи—жить своимъ трудомъ, добывать все средства къ жизни своими собственными руками, а не службой въ какой-нибудь подлой конторѣ за бездѣльнымъ бумагомараніемъ. Котъ какая цѣль! Но вѣдь физическій трудъ цѣликомъ состоитъ изъ грязи, увѣривать!... Притомъ же, всякая работа здѣсь, взятая въ отдаленности,—совершенная чепуха, да еще грязная, честное слово! Да и конечная цѣль всей этой грязной чепухи не очень бодрящая—пропитаться, прожить... Вотъ какая цѣль!

Вѣрочка съ изумленіемъ выслушала Неразова; слова ея несомнѣнно были справедливы, но ей непріятно было сомнѣваться въ ихъ справедливости. Она избрала средній путь—обративъ непріятный разговоръ въ шутку.

— Все это какой-то вздоръ! Впрочемъ, вы вѣдь приниципальный «осель», и, я увѣрена, вамъ самимъ пріятно заниматься помоями и прочею ерундой!

— Пріятно или не пріятно, но выносить помой кому-нибудь вездѣ надо!—возразилъ храбро Неразовъ, хотя тотчасъ же испугался своей храбрости. Вѣрочка бросила на него уничтожающій взглядъ, подъ тяжестью котораго онъ вдругъ съежился.

Съ этого дня жизнь на хуторѣ круто измѣнилась. Вѣрочка уходила къ Кугину, и Неразовъ одинъ короталъ полутемныя зимніе дни. Весь домъ былъ занесенъ сугробами; морозъ, залѣпившій толстымъ слоемъ льда все окна, свободно гулялъ по комнатамъ, посеребрилъ края выходной двери, пробралъ

и къ самой постели хозяина. Неразовъ жестоко зябъ, но, что всего тяжелѣе, жестоко скучалъ. Вѣрочка уходила въ село рано утромъ, часто не дожидаясь неразовскаго чая, и возвращалась поздно ночью, въ сопровожденіи Кугина. Но Кугинъ никогда не входилъ на хуторъ; онъ отправлялся издаль тотчасъ, какъ Вѣрочка ступала на крыльцо. Да Неразовъ и самъ не желалъ, чтобы онъ заходилъ къ нему; между ними съ пріѣзда Вѣрочки еще болѣе усилилась неприязнь, въ особенности послѣ того, какъ Вѣрочка встала въ дружескія отношенія съ Кугинимъ.

Со стороны Неразова это была своего рода ревность. Онъ жестоко страдалъ отъ того, что Вѣрочка съ нимъ почти перестала говорить, а если изрѣдка заговаривала, то пренебрежительнымъ тономъ; онъ жестоко страдалъ отъ того, что по длиннымъ днямъ сидѣлъ одинъ, слушая свистъ вѣтра или трескъ мороза и не зная, какъ убить проклятый, полутемный день, но онъ еще сильнѣе страдалъ, когда видѣлъ Вѣрочку въ обществѣ Кугина, когда они болтали между собой, громко смѣялись, шумно спорили. Кугина онъ тогда ненавидѣлъ и нѣсколько разъ въ умѣ убивалъ его на дуэли, а къ Вѣрочкѣ (тоже въ умѣ) обращался съ ужасными упреками, обвиняя ее въ кокетствѣ, громя ея пустомысліе, пламенными словами выражая ея бездушіе и эгоизмъ. И Вѣрочка нѣсколько разъ отъ его громовыхъ рѣчей заливалась слезами, съ рыданіемъ рассказывалась и давала клятвы исправиться, послѣ чего у самого Неразова, отъ радости и участія, показывались на глазахъ слезы, но уже не воображаемые, а настоящія: кончивъ горячее объясненіе съ Вѣрочкой, онъ рукавомъ блузы вытиралъ мокрые глаза.

Разумѣется, этимъ онъ самъ себя только огорчалъ. Вѣрочка ничего не подозрѣвала. Она продолжала исчезать на цѣлые дни, совершенно игнорируя Неразова и всю остальную семью. Случалось, Неразовъ набирался смѣлости заговаривать съ ней, когда она возвращалась отъ Кугина изъ села, но она почти не отвѣчала ему, не стѣсняясь отъ его словъ звать до слезъ.

— Боже мой, какая скучища!—говорила она апатично.

Нѣсколько разъ Неразовъ самовольно навязывался къ ней въ проводники и сопутствовалъ ей по дорогѣ къ Кугину, но во все время ходьбы между ними длилось тяжкое молчаніе.

Но однажды Вѣрочка и такое безмолвное присутствіе ее претгла.

— Зачѣмъ вамъ идти со мной? Я и одна пойду,—сказала она, замѣтивъ намѣреніе Неразова сопровождать ее.

Неразовъ сконфузился и въ нерѣшительности мѣлъ шагу въ рукахъ Вѣрочка вывела его изъ этой нерѣшительности, захлопнувъ дверь передъ самымъ его носомъ.

Отдыхалъ Неразовъ только у Грубова. Заходя во флигель Антона Петровича, онъ ложился на кожаный диванъ и по цѣлымъ часамъ молча лежалъ, только изрѣдка взглядывая на товарища. Послѣдній въ это время читалъ и писалъ. По выходѣ изъ бюро, онъ не бросалъ своего занятія статистикой, а продолжалъ работать, пользуясь этимъ временемъ, уже самостоятельно надъ одною монографіей; кстати подъ руками у него теперь былъ живъ матеріалъ въ видѣ нѣсколькихъ деревень, послужившихъ ему иллюстраціей.

Неразовъ валялся на диванѣ, курилъ, поглядывалъ друга и молчалъ, никогда не обнаруживая попытки помешать работѣ. Чтобы не скучать, ему, повидимому, совершенно достаточно было здѣсь находиться. Грубова онъ любилъ любовью женщины и довольствовался тѣмъ, привязавшись къ нему съ самаго перваго дня ихъ встрѣчи. Въ свою очередь, Грубовъ относился къ нему съ исключительной мягкостью, какъ ни къ кому больше. Насмѣшливый со всеми, онъ никогда не смѣялся надъ Неразовымъ и ни разу не высматривалъ его слабости на ряду съ тѣми лицами, для которыхъ Неразовъ служилъ неизмѣнною мишенью.

Впрочемъ, когда подходилъ вечеръ и Грубовъ бросалъ работу, тишина сразу нарушалась. Неразовъ принималъ вслухъ фантазировать насчетъ будущаго, Грубовъ скептически возражалъ ему, и комната наполнялась смѣхомъ шутками и серьезными рѣчами. Если Неразовъ оставался до вечера, то еще болѣе поправлялся отъ своего одиночества,—въ это время къ Грубову заходили знакомые мужи и вечеръ проходилъ оживленно. Компанія, на ряду съ сѣдой, обыкновенно выпивала по два ведерныхъ самовара.

Про другихъ членовъ колоніи здѣсь рѣдко говорилось. Неразовъ иногда порывался ругаться насчетъ Кугина, Грубовъ не поддерживалъ его, и сплетня гасла моментально.

не успѣвъ разгорѣться. Со стороны Грубова это была воспитанная порядочность—не говорить лишняго объ отсутствующих, и Неразовъ подчинялся ей.

Грубовъ преднамѣренно устранился отъ близкихъ сношеній съ остальною колоніей, чтобы не увеличивать суммы личныхъ счетовъ. Это рѣшеніе имъ принято было въ ту минуту, когда онъ убѣдился, что колонія сколочена на скорую руку, что члены ея набраны случайно, что личные счета уже запутаны и что лучше избѣгать трогать чужія мозоли. Кромѣ того, всякія „личности“ безконечно волновали его, отнимая у него и ту крупницу душевнаго покоя, какая съ такимъ трудомъ доставалась ему...

Однако, политика молчанія также имѣетъ свои невыгоды: благодаря ей, молчавшій долго субъектъ по необходимости многого не знаетъ и по поводу многого долженъ приходить въ изумленіе.

Пришелъ однажды Неразовъ во флигель Антона Петровича и, по обыкновенію, хлопнулся на диванъ съ явнымъ намереніемъ отдохнуть. Грубовъ мелькомъ взглянулъ на него и пошутилъ насчетъ его наружнаго вида.

— Ты что, Василій Васильичъ, какой?—сказалъ Грубовъ, отрываясь отъ работы.

— Какой?

— Да словно тебя нынче ночью мыши напугали!

— Мышей я больше не боюсь, потому что онѣ, вѣроятно, померзли отъ холода, а вотъ волки проклятые!...—воскликнулъ Неразовъ съ уныніемъ.—Каждую ночь теперь воютъ!... Слышу, какъ они шатаются кругомъ хутора цѣлыми толпами и... но, главное, воютъ!

— Надѣюсь, что они не имѣютъ въ виду собственно тебя.

— Чортъ ихъ знаетъ!... Днемъ я также думаю, что имѣть рѣшительно разсчета съѣсть меня. Но когда наступитъ ночь и я слышу, какъ они окружаютъ хуторъ, мнѣ приходятъ въ голову самыя мрачныя мысли.

— Я тебя понимаю. Скверно даже и подумать, чтобы дворянина, устроившаго колонію для образованныхъ инвалидовъ, въ нѣкоторомъ родѣ передоваго человѣка и радикала, въ самый разгаръ его дѣятельности вдругъ волки съѣли!

— Тебѣ хорошо смѣяться, а ты бы пожилъ тамъ!—сказалъ Неразовъ полушутя, полусерьезно.

— Да возьми мое ружье и попугай нахаловъ!

— Не только ружье, но если бы пушку мнѣ дали, и бы я ночью не вышелъ за порогъ двери, ей-Богу!

Оба захохотали. Но Неразовъ говорилъ, въ сущности серьезно.

— Боюсь я, честное слово! Ни за что ночью я не выйду одинъ на дворъ,—не могу! А тѣмъ болѣе, когда волки там. Я стараюсь запереть всѣ двери, ложусь въ постель и, чтобы не слышать воя, закутываю голову въ одѣяло.

— Ты, однако, основательно презираешь храбрость.

— Ничего, братъ, не подѣлаешь! Я убѣдился на опыте, что въ деревнѣ трусость, т.-е. непрекращающійся испуг—самое сильное чувство. Это, можетъ, зависеть отъ вѣчнаго одиночества... Все одинъ, все одинъ, кругомъ лѣсъ,—ну, пугаешься. Хоть убей меня, не могу выйти ночью на дворъ.

— Ну, а что же барышня... ведетъ себя также храбро? спросилъ съ улыбкой Грубовъ.

— А я почему знаю?—возразилъ Неразовъ неприятно.

— А кому же знать?... Вѣдь вы въ одномъ домѣ живете.

— Совсѣмъ даже она и не живетъ на хуторѣ...

— Какъ не живетъ?!—воскликнулъ Грубовъ и съ недоумѣніемъ взглянулъ на товарища.

— Очень просто. Утромъ уходитъ, поздно ночью возвращается. А иногда и ночуетъ въ деревнѣ... Я ее только мелькомъ вижу.

Грубовъ пожалъ плечами въ сильномъ недоумѣніи.

— Куда-жь она ходитъ?—спросилъ онъ и со стыдомъ подумалъ про себя, что онъ не долженъ былъ этого спрашивать.

— Куда же больше, какъ не къ Кугину?—сердито проворилъ Неразовъ.

Грубовъ больше не хотѣлъ разспрашивать, но не могъ овладѣть собой и послѣ долгаго молчанія предложилъ Неразову еще нѣсколько вопросовъ.

— Она одна ночью возвращается на хуторъ?

— Нѣтъ, ее всегда провожаетъ Кугинъ.

— Она, вѣроятно, тамъ учится работать?

— Ничего они не работаютъ, а просто весело проводятъ время: ходятъ вдвоемъ по селу, гуляютъ за селомъ. Третьяго дня ѣздили куда-то... Что же больше дѣлать?

Неразовъ говорилъ это раздраженнымъ тономъ. Грубовъ ушамъ и волновался. Впрочемъ онъ встрѣчалъ ежедневно Кутиныхъ въ тотъ часъ, когда давалъ урокъ Натальѣ, но у въ голову не приходило, что она тамъ находится не только въ этотъ часъ, но съ утра до ночи. Что они дѣлать? И что думаетъ объ всемъ этомъ Наталья?

Въ послѣдней онъ ничего не замѣчалъ. Но теперь, послѣ разговора Неразова, онъ вдругъ припомнилъ странное состояніе молодой женщины. Онъ объяснялъ тогда это ея бережливостью, которую можно было подозрѣвать, но странные признаки беременности! Наталья съ нѣкоторыхъ поръ прислушала урокъ, всегда торопилась его окончить, путалась въ пустякахъ и держала себя, какъ дура. Лицо ея теперь всегда тревожно; тревога ея видна теперь въ каждомъ взглядѣ, какъ у птички передъ бурей, которой еще нѣтъ, но которую она уже предчувствуетъ... Все это теперь моментально припомнилъ Грубовъ и мгновенно придалъ всему этому значительный смыслъ, а еще дальше—и все это произошло уже позорный, ужасающій характеръ, Неразова онъ больше ни о чемъ не спрашивалъ и начатаго разговора поддержалъ, повидимому, нисколько не интересуясь имъ. — А знаешь что, Дмитрій Ивановичъ?... Много горя приносить намъ эта барышня! — сказалъ Неразовъ печально. Грубовъ и на это не отвѣтилъ.

Но когда Неразовъ ушелъ, онъ заволновался такъ, какъ только онъ одинъ могъ волноваться. Въ такія минуты онъ тогда совершалъ неистовые поступки, теряя сразу все свое нужное спокойствіе: въ эти минуты малѣйшій пустякъ, простое слово, выраженіе лица, перемѣна погоды могли вызвать въ немъ цѣлый взрывъ чувствъ, картинъ и предположеній, подавленныхъ усиленіемъ воли, но не уничтоженныхъ.

Онъ готовъ былъ тотчасъ идти въ домъ Кутиныхъ, чтобы объяснить все, но была уже поздняя ночь, и онъ долженъ былъ до утра испытывать смятеніе.

УП.

Дѣйствіе нервнаго аппарата.

На другой день Грубовъ всталъ съ мыслью о какой-то крупной непріятности, случившейся вчера, и тотчасъ ж припомнилъ. Но, къ его удовольствію, вчерашнія мрачны мысли не мучили больше его; онѣ за ночь перегорѣли, и копотъ ихъ улетучилась и только пепелъ остался. Притомъ сегодня онъ постарался успокоить себя обычною отговоркой, что, „въ сущности, ему до всего этого нѣтъ никакого дѣла“.

Все-таки, ради окончательнаго успокоенія, онъ пошелъ къ Кугинымъ не въ тотъ часъ, когда онъ давалъ уроки Натальѣ, а значительно раньше. Вѣрочка, дѣйствительно была уже тамъ. „Но что же изъ этого? Ровно ничего“,—говорилъ онъ себѣ, усаживаясь на лавку въ горенкѣ. Все въ домѣ было спокойно, ничего подозрительнаго, ничего изъ того, что онъ уже вообразилъ.

Вѣрочка читала какую-то книгу, но безъ удовольствія. При входѣ Грубова она сказала обычную фразу свою:

— Вы сейчасъ будете заниматься? Я мѣшаю?

— Совсѣмъ нѣтъ,—возразилъ Грубовъ, —напротивъ, долженъ васъ спросить, не мѣшаю-ли я вамъ?

— Не знаю, что вамъ сказать... Если я скажу, что вы мѣшаете, тогда вы, конечно, уйдете, но если я скажу, что вы не мѣшаете, то вы вѣдь также уйдете, не желая даромъ терять время въ болтовнѣ со мной.

Вѣрочка проговорила это колко, но Грубовъ не обратилъ вниманія на тайныя намѣренія собесѣдницы.

— Если позволите, я не уйду. Дома я сижу только въ тѣмъ, чтобы не надоедать людямъ. Но иногда одурь берет. Если общество имѣетъ свою отрицательную сторону, лю безъ нужды мозолятъ другъ другу глаза, безъ нужды толкуются, безъ всякой необходимости враждуютъ другъ съ другомъ, то одиночество имѣетъ свою дурную сторону. Въ одиночествѣ человѣкъ преувеличиваетъ всякое чувство, и мысль, или вещь въ сотни разъ и страдаетъ отъ этихъ преувеличеній... Теряется мѣра вещей, а это ведетъ къ одурѣ

— А я думала, что вы никогда не скучаете, какъ мы грустные!—сказала Вѣрочка уже весело. Ей польстило, что Грубовъ заговорилъ съ ней такимъ языкомъ, и ей было ясно, что онъ пришелъ ради нея, а это еще болѣе польстило ей.

— Скучать-то, пожалуй, я, точно, не скучаю. Но есть положеніе хуже—чувство пустыни, ужасъ одиночества... Желать хотя бы, что-ли!

Грубовъ засмѣялся.

— Такъ что же? Дѣло не хитрое!

— Не могу!—возразилъ серьезно Грубовъ.

— Отчего? Никого не можете любить, кромѣ себя?—спросила Вѣрочка съ лукавою усмѣшкой.

— Какъ разъ напротивъ. Не женюсь потому, что люблю...

— Интересно!

— Да, именно такъ.

— Вѣроятно, другая особа отказалась отъ чести быть вашею „спутницей“?

— И она любила, и опять потому не пошла за меня, что любила.

Вѣрочка никакъ не могла понять, было-ли все это дѣйствительно въ жизни Грубова, или это мистификація. Но его лицо было серьезно и печально.

— Что же это за диковина?... И васъ любили, и вы любили,—что же вамъ помѣшало?—воскликнула Вѣрочка.

— Помѣшала очень маленькая вещь—совѣсть... Любимая женщина была чужая жена.

— Вотъ какъ!... Все-таки не понимаю, причѣмъ тутъ совѣсть?—Вѣрочка уже говорила съ величайшимъ любопытствомъ.

— Я въ свою очередь васъ не понимаю... Развѣ, по-вашему, хорошо разбивать чужую жизнь, да еще жизнь товарища?

— Хорошо или не хорошо, но разъ появилась любовь, надо слѣдовать ея влеченію,—сказала убѣжденнымъ тономъ Вѣрочка.

— То-есть разбить чужую жизнь?

— Отчего же, если приходится.

— То-есть во имя счастья уничтожить счастье другого, во имя любви разбить другую любовь?—спросилъ Грубовъ серьезно и горячо.

— Это смотря по обстоятельствамъ... Я только вѣрю, что любовь свободна. Любовь—святое чувство. Нельзя безнаказанно нарушать ее.

На лицѣ Грубова появилась та неуловимая насмѣшливость, которая такъ раздражала Вѣрочку, отнимая у ней всякое самообладаніе.

— Нѣтъ, барышня, совсѣмъ это не святое чувство. Вѣ современныхъ людяхъ—это ходячая истина, которую никто не хочетъ провѣрить. Любовь свободна, святая, высокая,—думаютъ всѣ и всѣми мѣрами раздуваютъ эту уличную истину. И любовь раздулась до такой степени, что сдѣлалась богомъ, которому многіе поклоняются и ревностно служать, но этотъ божокъ на самомъ дѣлѣ довольно гразный хищный,—грязный по своему происхожденію, хищный по своимъ требованіямъ. Во имя его часто совершаются большія пакости. Вы говорите, что любовь святое чувство? Нельзя представить себѣ святого чувства, которое вело бы за собой вѣроломство, жестокость и звѣрство. Еслибъ это было дѣйствительно святое чувство, а не эгоистичное и ничтожное, то какъ оно могло бы причинять страданія? Еслибъ это было безкорыстное, чистое чувство, то могли-ли бы во имя его приноситься кровавыя жертвы на счетъ счастья и жизни ближняго?... Еще говорятъ, любовь свободна... Еслибъ это сдѣлалось фактомъ, тогда хищный божокъ пожралъ бы не только тѣ дары, которые ему приносятся, но и всю чело-вѣческую жизнь!...

— Но вѣдь вы проповѣдуете дикіе, отсталые взгляды!—воскликнула Вѣрочка съ притворнымъ негодованіемъ.

— Это только страшныя слова,—возразилъ съ улыбкой Грубовъ.—Я говорю только то, что любовь—не истина, не правда, не святое чувство, не цѣль и не мѣра жизни... Не она должна направлять меня, а я ее; не я для любви существую, а она для меня, и не я долженъ поклоняться ей, принося идольскія жертвы, а она должна служить мнѣ, подчиняясь другимъ, высшимъ мѣрамъ вещей.

— Какая же высшая мѣра любви?—спросила Вѣрочка горячо и съ любопытствомъ молодости, жадной до всего неизвѣстнаго.

Грубовъ замолчалъ. Про себя онъ спросилъ:

„А знаю-ли я самъ, есть-ли у меня эта мѣра?“

Въ комнатѣ стало вдругъ тихо, какъ въ пустомъ мѣстѣ. Но Вѣрочка съ нетерпѣніемъ переспросила:

— А у васъ... есть у васъ мѣра вещей?

— Есть,—твердо сказалъ Грубовъ, но съ волненіемъ поднимаясь съ мѣста и ничего больше не говорилъ.

Вѣрочка посмотрѣла на него сначала съ ожиданіемъ, но, не видя съ его стороны охоты говорить, разсердилась. Для нея было ясно, что онъ не считаетъ ее достаточно серьезной для такого разговора и потому молчитъ. А онъ только не зналъ, что и какъ сказать, не зналъ и волновался, позабывъ обо всемъ на свѣтѣ.

Внутренняя жизнь въ немъ всегда преобладала надъ вѣншей, но въ нѣкоторыя минуты онъ совсѣмъ забывалъ, что надо дѣлать, занятый исключительно тѣмъ, что дѣлалось въ немъ. А въ эту минуту у него заболѣла самая больная рана и ради нея онъ забылъ, зачѣмъ пришелъ, что нужно говорить Вѣрочкѣ и что всѣмъ прочимъ говорить. Въ скоромъ времени въ горенку вошла Наталья, вслѣдъ за нею Кугинъ, но они оба смутно представлялись ему. Всѣ пошли обѣдать, и онъ пошелъ. За обѣдомъ онъ продолжалъ думать о своемъ, хотя вѣншимъ образомъ участвовалъ и въ чужихъ интересахъ; онъ даже что-то говорилъ со всѣми, притѣмъ на каждого пристально смотрѣлъ, смущая своимъ мнимовнимательнымъ взглядомъ, но въ дѣйствительности онъ ничего не говорилъ, не слышалъ и не видалъ, занятый только собою и своими мыслями. Еслибы онъ хоть на минуту отмахнулся отъ себя, онъ бы увидалъ, что въ этой мирной семьѣ готовится сумятица, но онъ сидѣлъ, говорилъ, слушалъ и смотрѣлъ на всѣхъ, но на самомъ дѣлѣ слушалъ и видѣлъ только себя.

Послѣ обѣда онъ поторопился уйти, и лишь только вышелъ, какъ сразу забылъ про обѣдъ, про Вѣрочку и Наталью, про ту цѣль, ради которой пришелъ, и про колонію, честь которой онъ хотѣлъ оберегать. Когда онъ вышелъ на улицу и очутился одинъ, задумчивость его дошла до тѣхъ размѣровъ, когда человѣкъ не знаетъ, куда идетъ. Онъ шагнулъ на удачу, попалъ въ противоположную сторону отъ своего дома, забрелъ на какой-то пустырь и только тяжельшимъ усиліемъ воли попалъ къ себѣ домой. Дома онъ не сѣлъ, а продолжалъ идти все куда-то впередъ, и только край-

няя необходимость въ формѣ бревенчатыхъ стѣнъ заставляла его дѣлать въ надлежащихъ мѣстахъ повороты.

И все это произвелъ маленькій вопросъ легкомысленной барышни: „А у васъ есть высшая мѣра?“

„Никакого чорта у меня нѣтъ!“—энергично отвѣчалъ про себя Грубовъ на этотъ вопросъ.

Старая, никогда не заживавшая рана его—сознаніе своего невѣрія—мучительно заняла, и онъ метался по избѣ, со стиснутыми зубами, какъ будто боролся противъ какой-то острой физической боли.

Боль эта была поистинѣ острая, хотя и не физическая. Съ ней онъ началъ свою сознательную жизнь, съ ней участвовалъ въ жизни, и она же присутствовала невидимо при исполненіи имъ самаго ничтожнаго, обиденнаго дѣла. Прекратить ее онъ не могъ: по временамъ она только умирала или забывалась, но неизмѣнно сопутствовала ему. Внѣшнимъ образомъ онъ никогда не обнаруживалъ ее, ни передъ кѣмъ не жаловался на нее. Это была его тайна, посвящать въ которую онъ считалъ позорнымъ. Многіе кокетничаютъ даже пессимизмомъ,—онъ его скрывалъ, какъ порокъ; на его мѣстѣ другой широко раскрылъ бы свою рану, какъ раскрываетъ на-показъ нищій израненную руку, чтобы вымолить жалости и подачку,—онъ считалъ это величайшимъ цинизмомъ.

Въ глубинѣ души его лежала вѣра, что то, чѣмъ онъ страдалъ, была въ полномъ смыслѣ болѣзнь, нездоровое состояніе организма, проказа души,—словомъ, нѣчто такое, что временно и отъ чего надо лѣчиться. Въ глубинѣ души его осталась смутная надежда, что какъ бы ни были мрачны наши мысли и глубоко наше невѣріе, но они не послѣднее слово за предѣлами нашихъ понятій существуетъ впереди нѣчто, что превратитъ ихъ въ ложь, и то, чего мы сейчасъ боимся со смертнымъ ужасомъ, завтра, быть можетъ, будетъ вызывать улыбку. И если мы сейчасъ не знаемъ, во имя чего надо жить, то наши близкіе потомки, вѣроятно, не поймутъ такого вопроса, а къ намъ, не умѣвшимъ отвѣчать на него, отвесутся съ заслуженнымъ презрѣніемъ.

Но вотъ и все, чѣмъ успокаивалъ себя Грубовъ. Ни за что больше онъ не могъ ухватиться, и болѣзнь невѣрія продолжала глотать его. *Во имя чего?* Этотъ вопросъ, какъ ракъ, впился въ его мозгъ и отравлялъ ему каждый жизненный

шагъ. Онъ повсюду отыскивалъ то великое имя, силою котораго все дышетъ и живетъ, и страстно, всѣмъ существомъ, жаждалъ обнять его, но обнималъ пустое пространство.

И, несмотря на это, онъ продолжалъ все-таки дѣятельно жить, повсюду отыскивая пропавшую вѣру. Онъ былъ прямою противоположностью съ тѣми людьми, для которыхъ невѣріе служить только поводомъ къ равнодушію. Онъ, напротивъ, чѣмъ меньше вѣрилъ, тѣмъ болѣе искалъ. По своему существу, натура его была живая и жадная къ жизни, и если онъ болѣлъ отрицаніемъ жизни, то лишь потому, что все кругомъ вопіяло объ отрицаніи; болѣзнь выросла не изъ него самого, а захватила его со стороны, какъ эпидемическая зараза.

Искалъ онъ жизни въ разныхъ направленіяхъ. Еще зеленымъ юношей онъ бросился по самому, какъ ему казалось, прямому пути и угодилъ въ темное мѣсто, гдѣ просидѣлъ столько времени, сколько нужно для того, чтобы постарѣть. Но онъ не считалъ годы сидѣнья въ темномъ мѣстѣ, довольно равнодушный къ своей карьерѣ. Чередовались много разъ лѣто и зима, осень и весна, а онъ все спокойно сидѣлъ, терзаясь только своими внутренними недочетами. А когда онъ вылѣзъ еле живымъ изъ темнаго мѣста, то не думалъ считать себя ни жертвой, ни мученикомъ. Онъ просто былъ убѣжденъ, что сунулся въ жизнь не тѣмъ концомъ, а въ этомъ никто не виноватъ. И когда его спрашивали съ сочувствіемъ, сколько лѣтъ онъ сидѣлъ въ темномъ, пустомъ мѣстѣ, ему было стыдно сознаться въ глупой, невѣроятной сумѣ годовъ. Ему положительно казалось, что только явный дуракъ могъ столько времени сидѣть въ дурацкомъ мѣстѣ.

Вскорѣ послѣ того онъ поѣхалъ, благодаря невѣрнымъ представленіямъ о жизненныхъ дорогахъ, въ отдаленный, пустой край; поѣхалъ онъ туда въ сѣромъ мундирѣ, на спинѣ котораго красовались желтыя буквы: „К. Г.“. Но онъ увѣрялъ товарищей, ѣхавшихъ вмѣстѣ съ нимъ, что эти буквы означаютъ: „курскій губернаторъ“, и что ѣдетъ онъ въ пустое мѣсто по долгу службы. Вообще къ своимъ личнымъ, реальнымъ неудачамъ онъ относился всегда юмористически и съ большимъ оптимизмомъ, какъ и къ своимъ удачамъ.

Когда срокъ службы въ качествѣ „курскаго губернатора“ кончился, онъ возвратился на родину и нѣкоторое время былъ

въ отставку, сознательно устраниаясь отъ всякаго шума. Въ это время онъ съ трудомъ добывалъ себѣ кусокъ хлѣба, переходилъ отъ одной работы къ другой, пока не затосковалъ въ этой мелкой, безславной борьбѣ за существованіе. И вотъ въ это время возникла мысль о колоніи. Потому-ли, что ему очертѣла безславно-мелкая жизнь изъ-за куска, потому-ли, что временно потухшая энергія его возродилась, только онъ съ увлеченіемъ ухватился за колонію и быстро создалъ ее.

Но тутъ оказалось нѣчто совсѣмъ неожиданное. Раньше онъ каждый разъ убѣждался, что сунулся въ жизнь не тѣмъ концомъ; здѣсь же онъ понялъ, что сунулся не только не тѣмъ концомъ, но и не туда. Колонія, какъ онъ ее узналъ, не отвѣчала ни мечтамъ его, ни практическимъ требованіямъ; и въ то время, какъ онъ хлопоталъ о наилучшемъ устройствѣ ея, мысль его уже основательно разрушила ее.

Разрушеніе это шло приблизительно такъ.

Разумѣется, очень хорошо жить трудами рукъ своихъ, благородно добывать хлѣбъ прямо изъ земли. Притомъ, это очень здорово и не лишено поэзіи. Только на первыхъ порахъ немного скучно. Отчего бы это? Можетъ быть, оттого, что въ этомъ раю всѣ мысли сосредоточены на себѣ: на своемъ тѣлѣ, на своей душѣ, на своемъ благородствѣ, на своемъ спасеніи,—все только на своемъ вергигся мысль. Это естественно. Отчего же не думать и не заботиться о себѣ, когда это неизбѣжно? Но, въ такомъ случаѣ, это уже не мечта, не идеалъ, не стремленіе къ великому. Идеалъ вѣдь — это нѣчто огромное и свѣтлое, какъ солнце; нѣчто такое, чего въ мелкой обыденной жизни нѣтъ, но къ чему человѣкъ стремится всѣми лучшими своими помыслами. Ну, а колонія имѣетъ-ли хоть что-нибудь въ этомъ родѣ? Ничего. Что можетъ быть идеальнаго въ томъ, что человѣкъ, вмѣсто сапоговъ, надѣнетъ коты, вмѣсто городской квартиры, будетъ жить въ избѣ, и, вмѣсто добыванія хлѣба косвеннымъ путемъ, прямо будетъ царапать его изъ земли? Что идеальнаго въ томъ, что человѣкъ головою своей будетъ подпирать возъ съ соломой, а душу свою закопаетъ въ землю, окруживъ себя милліонами пустяковъ? И что идеальнаго будетъ въ жизни человека, который забудетъ другихъ и займется только своимъ совершенствомъ? Человѣкъ борется противъ жизненныхъ пустяковъ и стремится раздѣлаться съ ними, а тутъ ему пустя-

ки возводятъ въ подвигъ и въ заслугу. Въ лучшія свой минуты ему хочется думать не о себѣ, а о томъ, что виѣ его, что велико, безкорыстно, а здѣсь его заставляютъ усиленно думать о себѣ, о своемъ здоровьѣ, о своемъ благородствѣ. Въ порывѣ героизма (а такіа минуты бываютъ у многихъ) онъ съ восторгомъ сбрасываетъ съ себя всю низкую, себялюбивую жизненную мелочь, а здѣсь его сажаютъ на мѣсто и говорятъ: сиди тутъ и копайся въ сору, береги свое тѣло, дыши свѣжимъ воздухомъ, работай здоровую работу—и ты будешь спасенъ и благороденъ. Увлечь человека можно всѣмъ, даже безумною мечтой, лишь бы въ ней заключались величіе, самопожертвованіе, новизна, подвигъ ради людей, но увлечь его обыденнымъ соромъ—никогда! И поднять также нельзя. Можно идеализировать соръ, можно сдѣлать его самодовольнымъ, но сдѣлать его выше и чище—нѣтъ, никогда! Личную свою жизнь можно возвести въ идеалъ только подъ однимъ условіемъ: совсѣмъ отречься отъ жизни, уйти въ пустыню или залѣзть на столбъ и сидѣть на немъ до смерти. Но если и возможно устроить интеллигентный монастырь, то только для тѣхъ, у которыхъ жизнь поистинѣ сошлась кливомъ...

Разрушивъ колонію такимъ окольнымъ путемъ, Грубовъ не оставилъ камня на камнѣ и въ томъ ея основаніи, которое вначалѣ казалось ему прочнымъ. Онъ убѣдился на опытѣ, что все дѣлать своими руками—неосновательная претензія. Въ первый же годъ они должны были пользоваться трудами множества лицъ постороннихъ; даже хлѣбъ нельзя добыть въ буквальномъ смыслѣ своими руками. Что касается благородства физическаго труда, то Грубовъ и тутъ разрушилъ до основанія все, ранѣе имъ созданное. Мужики, какъ онъ не разъ слышалъ, были очень недовольны, что неразовскій участокъ, до сихъ поръ ими арендуемый, выскользнулъ изъ ихъ рукъ, но если бы Неразовъ отдалъ имъ этотъ участокъ, они благодарили бы Бога, а его считали бы хорошимъ человекомъ; теперь же они смотрѣли на него, какъ на шутика, котораго учить было некому.

Единственная мечта, осуществившаяся въ колоніи для Грубова, это—близость съ мужиками. Нельзя сказать, чтобы онъ любилъ мужиковъ; онъ по чистой совѣсти говорилъ: нѣтъ, не любилъ. Но мужики—единственная среда, гдѣ онъ чувство-

валъ себя покойно, почти радостно. Радость эта происходила отъ того, что они были прямою противоположностью ему: онъ любилъ ихъ за то, чего въ немъ самомъ не было. Ихъ жизнь — нѣчто совсѣмъ отличное отъ его жизни, ихъ мысли — совсѣмъ другія. Они были для него всегда чѣмъ-то неизвѣстнымъ, новымъ, великимъ. Онъ не могъ жить ихъ жизнью, не думалъ ихъ мыслями, не вѣрилъ ихъ вѣрой, но допускалъ, что въ ихъ жизни есть много справедливаго, въ ихъ мысли — истиннаго, въ ихъ вѣрѣ — чудеснаго и святаго. Среди нихъ онъ забывалъ свою жизнь, — а она ему опостылѣла, — забывалъ свои мысли, которыя его только мучили, забывалъ свое невѣріе. Даже внѣшняя мужичья обстановка правилась ему, по тому что она не напоминала ему собственной его жизненной обстановки.

Мужики всегда были его спасеніемъ. Такъ вышло и теперь. Слова Неразова сильно возмутили его и напугали, и онъ возымѣлъ намѣреніе предупредить несчастіе, но когда Ввръчка невзначай задѣла его боленную рану, онъ ушелъ въ себя, позабывъ обо всемъ на свѣтѣ, въ томъ числѣ и о колони. Во внѣшней жизни онъ довольствовался обществомъ мужиковъ, да уроками Натальѣ, за которую онъ продолжалъ слѣдить съ дружескимъ вниманіемъ.

Чаще всѣхъ другихъ мужиковъ заходили къ нему Алексѣй Семенычъ, Ефремъ, Антонъ Петровичъ и работникъ его Лукашка. Общество это случайно набралось, но все это были люди на подборъ оригинальные и вполнѣ противоположные всему, что было въ самомъ Грубовѣ, хотя изъ нихъ уважалъ онъ только Алексѣя Семеныча и немного Ефрема. По своему характеру всѣ они были крайне различны, но каждый изъ нихъ непремѣнно былъ въ своемъ родѣ рѣдкостью.

Алексѣй Семенычъ по уши былъ погруженъ въ священныя книги и вѣрилъ въ такія вещи, которыя непривычнаго человѣка могли ошеломить. Такъ, зачитавшись Апокалипсиса, онъ нерѣдко наизусть валялъ цѣлыя страницы изъ него и съ дѣтскимъ торжествомъ, неопровержимо вычислялъ, сопоставленіемъ буквъ и цифръ, годъ рожденія антихриста, годъ посрамленія его и годъ окончательнаго торжества правды на землѣ. Широкое, волосатое лицо его въ такія минуты было блаженно и сіяло счастьемъ человѣка, который явственно, своими собственными глазами видитъ отверзтое небо и явге-

ловъ, обитающихъ тамъ. Опровергать его математическія вычисления было бы жестоко, да и бесполезно, потому что върующаго можно побѣдить только върой. И Грубовъ не опровергалъ. Напротивъ, въ такія минуты, передъ этимъ восторженнымъ мужикомъ, онъ считалъ себя нищимъ, собирающимъ копѣйки на паперти.

Антонъ Петровичъ для Грубова доставлялъ удовольствіе другого рода. Въ немъ была чисто-животная хитрость, проявлявшая всякій его поступокъ, каждое его слово. Когда Грубовъ еще мало зналъ его, онъ принималъ его слова и дѣйствія за чистую монету, но когда узналъ его ближе, съ удовольствіемъ сталъ слѣдить за ловкими петлями, изъ которыхъ состояла вся жизнь этого деревенскаго хищника. Антонъ Петровичъ всегда поддѣлывался подъ тонъ собесѣдника; съ Грубовымъ онъ былъ шутливый, съ Алексѣемъ Семенычемъ—върующій, съ Ефремомъ—хвастунъ, съ Лукашкой—дуракъ. Но Грубовъ теперь отлично могъ прослѣдить каждый его подвохъ. Въ послѣднее время, напримѣръ, онъ сталъ дѣлать какіе-то темные намеки на хуторъ. Грубовъ нѣкоторое время съ интересомъ слушалъ его и слѣдилъ за его вздохами и жалобами, но, наконецъ, вполне убѣдился, чего онъ хочетъ. Хотѣлъ Антонъ Петровичъ скушать неразовскій участокъ и для этого заранѣе подкрадывался къ нему, дѣлалъ большіе обходы, обнюхивалъ воздухъ, причемъ каждый разъ лицо его принимало лакомое выраженіе.

„Божественные“ разговоры между Антономъ Петровичемъ и Алексѣемъ Семенычемъ неизмѣнно возникали въ комнатѣ Грубова, но Антонъ Петровичъ и тутъ былъ въренъ себѣ. Онъ говорилъ и въ этомъ случаѣ съ подвохами, съ подкрадываніемъ къ вопросу и выводилъ изъ себя прямодушнаго Алексѣя Семеныча. Этотъ послѣдній говорилъ безсвязно, борода его тряслась, ярость обнаруживалась на его честномъ лицѣ, голосъ его превращался въ ревъ, а слова въ брань. Но Антонъ Петровичъ только хихикалъ, кашлялъ въ руку, имѣя видъ человѣка, который ясно показывалъ Грубову, что этотъ кошенинскій умъ пытается и Бога обмануть.

Всегда присутствовавшій при этомъ Лукашка хлопалъ глазами, очевидно, удивляясь, изъ-за чего люди бранятся. Но Грубовъ ошибался, когда думалъ, что Лукашка ничего не по-

нимаетъ. Лукашка кое-что усвоивалъ, а усвоеннымъ воспользовался при первомъ подходящемъ случаѣ.

Но всѣхъ больше Грубова привлекалъ Ефремъ. Товарищи пригласили Ефрема совмѣстно работать на участкѣ и въ то же время руководить всѣми работами колоніи, взаимно же онъ пользовался землей и другими выгодами товариществъ. Ефремъ гордился такимъ выборомъ и изъ всѣхъ силъ работалъ въ пользу колоніи. Работникъ онъ былъ прекрасный. Но во всѣхъ другихъ отношеніяхъ—это феноменъ для Грубова. Грубовъ называлъ его „физическимъ человекомъ“ такимъ онъ былъ въ дѣйствительности.

Вся его жизнь текла среди физическихъ происшествій: отъ то и дѣло изъ-за пустяковъ съ кѣмъ-нибудь дрался, мстил за какую-нибудь также матеріальную обиду. Поссорившись на примѣръ, съ сосѣдомъ, онъ причинялъ ему какой-нибудь физическій ущербъ: ломалъ, на примѣръ, плетень или отрывалъ хвостъ у вражескаго кота. Если мимо его дома проходила свинья, принадлежащая одному изъ его непріятелей, онъ съ уханьемъ и свистомъ натравливалъ на нее собаку. Ненависть, злоба и другія страсти проявлялись въ немъ исключительно физически; онъ старался побить врага, вырвать часть его бороды или посадить шишку на его морду. Но обиды онъ помнилъ не долго и мирился съ врагомъ при первой возможности, выражая ему полную любовь.

Бываютъ люди, которые въ дѣтствѣ не успѣли наигратись и не вышутились; Ефремъ былъ изъ такихъ взрослыхъ ребятъ. Въ характерѣ его было много веселости, въ его словахъ—смѣха, въ его представленіяхъ—юмора, но все это не выходило за предѣлы физическаго міра. Для него, на примѣръ, доставляло видимое удовольствіе рассказать въ лицахъ какъ одинъ мужикъ, заспавшись, упалъ съ воза сѣна, какъ онъ треснулся объ землю и какъ чесался въ полуснѣ, въ полномъ недоумѣніи, что съ нимъ случилось. Тутъ онъ самъ хохоталъ, и слушатели невольно хохотали.

Буянъ на людяхъ, онъ былъ драчуномъ и въ семьѣ, и тутъ удерживалъ его отъ драки сынъ, для чего безцеремонно связывалъ его веревкой и заставлялъ проспаться въ пустомъ сараѣ. На другой день Ефремъ не сердился и

такую сыновнюю расправу, но, въ то же время, и себя считалъ правымъ.

Прочія мысли Ефрема, какъ ихъ постепенно узнавалъ Грубовъ, имѣли тотъ же характеръ. Все міросозерцаніе Ефрема было физическаго свойства. Для него воспитывать дѣтей обозначало кормить, учить ихъ—бить, любить—доставить хорошую жизнь. Жить у него означало питаться, не жать—быть голоднымъ. Онъ искренно боялся Бога, но потому, что боялся, что Богъ накажетъ его за какой-нибудь проступокъ страшною казнью; сожжетъ его хлѣбъ на поляхъ, перебьетъ его скотину моромъ, на него самого наплетъ холеру, спалитъ молніей его избу, утопитъ его лошадь въ рѣкѣ, овецъ отдастъ на съѣденіе волку и пр. И когда одна изъ этихъ казней насылалась на него, онъ всегда могъ съ точностью сказать, за что собственно: двухъ овецъ Богъ выпустилъ съѣсть волкамъ потому, что онъ, Ефремъ, унесъ, прышнымъ дѣломъ, снопы изъ чужого овина; лихорадка же его трясла потому, что онъ передъ этимъ обманулъ купца, продавъ ему гнилое сѣно. Поэтому Ефремъ съ полнымъ сознаниемъ избѣгалъ вредить людямъ, а ежели буянилъ, то дѣлалъ это открыто и честно, а не въ тайнѣ. Злоба его тотчасъ же переходила въ драку, гдѣ его били, и онъ билъ.

Собственно за этотъ открытый характеръ Грубовъ и чувствовалъ себя хорошо съ нимъ. Ефремъ былъ обнаженъ до самой глубины своего сердца, все у него было наружу — и хорошее, и худое, никакихъ заднихъ мыслей. Если онъ и лукавилъ иногда, то самъ же обнаруживалъ свое лукавство. И вотъ еще почему Грубовъ чувствовалъ себя легко съ мужиками: всѣ они окружали его атмосферой откровенности, искренности и правды, хотя и печальной.

И когда жизнь товарищества замутилась дразгами, разъярить которыхъ не было возможности, онъ исключительно лгалъ въ обществѣ мужиковъ, забросивъ дѣла товарищества. Однако, одинъ случай порядочно отравилъ и этотъ источникъ успокоенія, обнаруживъ слишкомъ рѣзкую пропасть между нимъ и тѣми, къ которымъ онъ дорожилъ.

VIII.

На бою.

Стоялъ свѣтлый, морозный день передъ масленицей.

Съ самаго утра Грубовъ не умѣлъ ни за что принять. Ничего не случилось, но ему было тяжело. Онъ принималъ работать надъ своими цифрами, но едва прикасался къ нимъ, какъ забывалъ, что хотѣлъ дѣлать. Комната его казалась ей страшно неприглядной, просто гадкой, хотя и въ ней не произошло никакихъ переменъ: та же широкая печка въ углу, та же лавка по стѣнамъ, та же голыя, съ торчащими хомъ, бревенчатыя стѣны, на которыхъ тамъ и сямъ висѣли капли сосновой смолы, выжатыя комнатною жарой; тотъ же кожаный диванъ, набитый, повидимому, булыжникомъ,—та онъ былъ жестокъ; тотъ же полъ съ скрипящими половицами. Но нѣтъ, Грубовъ съ отвращеніемъ, не глядя, видѣлъ всю обстановку, казавшуюся ему глупой и бессмысленной.

Онъ легъ на диванъ и взялъ номеръ газеты, но черезъ некоторое время уронилъ его на полъ,—онъ прочиталъ цѣлый столбецъ, ничего не понимая.

Въ этотъ день онъ боролся противъ смерти. Не противъ своей смерти, а противъ всего сущаго. Смерть все уничтожаетъ: и добро, и совѣсть, и мысль, и подвиги благородства, и, повидимому, все равно быть благороднымъ или подлымъ—конецъ одинъ—уничтоженіе, бессмысленная смерть. Но въ чемъ надо еще рѣшить, умираетъ ли подлость тою же смертью, какъ и благородство. Да умираютъ ли еще?... Потому, что подлость—рѣзкій, кричащій фактъ, то вѣдь и благородство также несомнѣнно существующій фактъ. Оба одинаково существуютъ и никогда не умираютъ. Но который изъ нихъ сильнее, который торжествуетъ? Повидимому, подлость. Тогда зачѣмъ подлость всегда прикрывается благородствомъ? Почему низкій старается казаться высокимъ, грязный—чистымъ, пошлый—порядочнымъ? Почему подлець, какъ бы онъ ни былъ нагль, всегда старается смыть кровь съ своихъ рукъ, вытереть пухъ съ лица? Зачѣмъ притворяться негодяю, если бы онъ дѣйствительно чувствовалъ себя единственною смѣшностью?

И наоборотъ, почему честный никогда не притворяется подлымъ, благородный—низкимъ, любящій—ненавидящимъ? Потому, что благородство—это жизнь, а подлость—синонимъ смерти.

Когда Грубовъ находилъ лишній аргументъ противъ сгустившагося въ немъ мрака, онъ машинально вставалъ и дѣлалъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ, а когда мракъ опять охватывалъ его, онъ опять ложился.

Да, благородство, совѣсть, любовь—это жизнь, а все подлое, низкое, хищное—смерть. Это несомнѣнно. И если подлое, низкое живетъ, то лишь подъ флагомъ перваго, подъ защитой чужой крѣпости. Но вѣдь и жизнь умереть. Умереть можно, носившее печать благородства; умереть человѣчество, крапившее преданіе объ этомъ лицѣ; умереть планета, дававшая мѣсто человѣчеству; умереть цѣлая система планетъ, превратившись въ бессмысленный мусоръ. Зачѣмъ же тогда можно-то устраивать?

Дойдя до этой бессмыслицы, Грубовъ съ радостью засмѣялся, онъ обрадовался именно этой бессмыслицѣ и смѣшной неопредѣленности, въ которую вдругъ, при сопоставленіи планетъ съ жизнью, превратились всѣ его мрачныя мысли.

— И чтѣй-то вы, Дмитрій Ивановичъ, лежите все съ вѣдомостями?—раздался вдругъ знакомый голосъ Антона Петровича въ двери.

Войдя въ комнату, онъ отряхнулъ варежкой снѣгъ съ валяныхъ сапоговъ, положилъ шапку на полъ возлѣ порога и съ веселымъ лицомъ, раскраснѣвшимъ отъ мороза, смотрѣлъ на Грубова.

— То-есть, погляжу я, скучнѣе вашей жизни я и на свѣтѣ ничего не видалъ!—сказалъ старикъ насмѣшливо.

— Что-жъ дѣлать, Антонъ Петровичъ?... Значить, ужь уроженца такой! — проговорилъ съ вялою улыбкой Грубовъ и тѣшиво поднялся съ дивана.

— А я такъ полагаю глупымъ своимъ умомъ: все это вѣдомости туману такого напустили на васъ, ей-Богу!—сказалъ Антонъ Петровичъ, указывая презрительно пальцемъ на валявшійся возлѣ дивана нумеръ газеты.

Грубовъ засмѣялся.

— Пожалуй, и правда, Антонъ Петровичъ.

— Очень просто. Однѣ только пакости, а чтобы хорошее—

этого вѣдомости не пишутъ... Ничего Божьяго въ нихъ и отыщешь!

— То-есть какъ это Божьяго?—спросилъ Грубовъ.

— А такъ, ничего, чтобы для души, ради спасенія, напри-
мѣръ; правды Божіей—нѣтъ, въ вѣдомостяхъ этого не гово-
рятъ! Вотъ насчетъ разбоя, или тамъ арестники, или опять
сколько народу перебито—этого сколько угодно!

— Ну, ужъ это ты вздоръ городишь, Антонъ Петровичъ!—
сказалъ Грубовъ.

— А вы не бранитесь, Дмитрій Ивановичъ... можетъ, я
зря что сболтнулъ. Да не за тѣмъ я пришелъ. Пришелъ
звать васъ на бой. Поглядите и, можетъ, развеселитесь, нечѣмъ
вѣдомости-то мусолить.

— На какой на бой?—съ недоумѣніемъ спросилъ Грубовъ.

— Само собой на кулашный... Нашими боями вся округъ
славится. Знаменитый у насъ бой. И по другимъ деревнямъ
дерутся, — ну, только супротивъ нашихъ куды-и! Не той
сорту!...

— Я все-таки не понимаю... Значить, и взрослые муж-
ки дерутся?—съ тѣмъ же изумленіемъ спросилъ Грубовъ.

— А то какъ же? Одно слово, форменные у насъ бои. Да
же изъ дальнихъ мѣстовъ съѣзжаются народы, кои смотрѣтъ
кои драться,—говорилъ съ воодушевленіемъ Антонъ Петр-
вичъ. Лицо его приняло дѣтское выраженіе; казалось, въ пре-
стоящемъ бою онъ самъ принимаетъ горячее участіе, онъ
такой сухой и черствый въ практической жизни.

За нѣсколько минутъ передъ тѣмъ Грубовъ виталъ въ плъ-
нетныхъ сферахъ и теперь, понятно, онъ никакъ не могъ
сразу спуститься въ какой-то оврагъ, гдѣ мужики формен-
но колотятъ другъ друга по физиономіямъ.

— Да вы чего боитесь? Сдѣлайте одолженіе, васъ не тро-
нутъ... Мы издалека поглядимъ... оно занятно!—наивно улы-
баясь, далъ ему Антонъ Петровичъ.

Эти ребяческія слова, сказанныя торопливо и съ нѣкото-
рымъ укоромъ, возвратили Грубова къ настоящей жизни; онъ
громко захохоталъ и сталъ одѣваться въ шубу.

Они вышли на улицу и отправились къ той ложбинѣ, ко-
торая раздѣляла два конца села. Когда они проходили мимо
дома Алексѣя Семеныча, изъ воротъ его выѣхали санки, за-
пряженные въ одну лошадь; въ санкахъ сидѣла Бѣлочка (

веселымъ лицомъ, а лошадью правилъ Кугинъ. Грубова они не замѣтили. Но Грубовъ долго смотрѣлъ на нихъ, пока они не скрылись за поворотомъ въ поле. „Куда это?“—спрашивалъ онъ про себя, и опять что-то тяжелое, какъ черный сонъ, пробѣжало у него по душѣ, но онъ насильно оторвалъ отъ себя мысль о Вѣрочкѣ, о Кугинѣ и Натальѣ. За то другая мысль очень была формулирована имъ; онъ понялъ, что давно уже событія колоніи идутъ мимо его, и онъ теперь не знаетъ, что будетъ завтра. Но вѣдь этого онъ самъ хотѣлъ!...

Черезъ минуту мысли Грубова были отвлечены Антономъ Петровичемъ. Послѣдній всю дорогу рассказывалъ про то, какіе бываютъ бои; Грубовъ сначала иронически слушалъ его, но скоро и самъ заинтересовался. Старый пройдоха былъ изумляемъ; онъ рассказывалъ съ мальчишескою торопливостью, несвойственною ни его возрасту, ни положенію... Бои происходили по зимамъ, въ особенности съ наступленіемъ рождественскихъ праздниковъ, и оканчивались только послѣднимъ днемъ масленицы. Въ нихъ принимали участіе всѣ борскіе жители. Конечно, въ дѣйствительной жизни между двумя концами села не существовало никакой видимой причины для вражды. Но чтобы былъ хоть какой-нибудь предлогъ для начатія враждебныхъ дѣйствій, въ памяти деревенскихъ умовъ тщательно сохранялись нѣкоторыя оскорбительныя клички, съ незапамятныхъ временъ данныя для каждого изъ концовъ. Жители того конца, гдѣ жилъ Антонъ Петровичъ, презрительно назывались „пузанами“, а другой конецъ населенъ былъ „вонючими козлами“; этимологія этихъ ненавистныхъ для той и другой стороны выраженій, конечно, утонула въ глубинѣ преданій. Тѣмъ не менѣе, вся соль и весь перецъ ихъ дошли до настоящаго времени и ежегодно подновлялись торжествами. Достаточно было назвать жителя одного конца „пузаномъ“, чтобы вызвать въ его душѣ горечь и обиду, и въ обыденной жизни эта кличка считалась неприличной. Въ свою очередь, „пузаны“ въ обыкновенныхъ сношеніяхъ съ другимъ концомъ избѣгали (изъ вѣжливости, разумѣется) упоминать о козлѣ или объ одномъ изъ его свойствъ, ибо всѣ относящіяся сюда слова считались оскорбительными.

Во время самыхъ боевъ эти приличія уже не соблюдались; напротивъ, оскорбительныя клички варьировались тогда на тысячу ладовъ, разжигая ненависть одного конца противъ

другого. Но самые бои совершались съ соблюденіемъ извѣстныхъ правилъ и формальностей; такъ, по принципу: „лежаго не бьютъ“, не дозволялось дотрогиваться до упавшаго отъ затрещины, и вторую затрещину можно было дать только не иначе, какъ послѣ поднятія упавшаго; съ другой стороны, дозволялось ложиться на-земь, чтобы избѣгнуть дальнейшей расправы. Второе, главнѣйшее, правило состояло въ томъ, что сражающіеся имѣютъ право бить только по тѣмъ частямъ тѣла, которыя обусловлены въ началѣ боя. Иногда бой начинался безъ предварительныхъ условій, но нерѣдко обѣ стороны передъ сраженіемъ условливались, бить-ли „мордамъ“, или „по бокамъ“. Если условливались „по бокамъ“, то „морды“ были уже гарантированы отъ кулаковъ. Впрочемъ, эти юридическія нормы подвергались на практикѣ жестокому испытанію, какъ всякіе военные законы.

Антонъ Петровичъ продолжалъ-было рассказывать и дальнейшія кулачныя установленія, но въ эту минуту они пошли уже къ полю сраженія.

Прямо передъ ними лежала широкая ложбина, раздѣлявшая два конца села. По ея скатамъ, занесеннымъ сугробами, толпился уже народъ. Недалеко отъ того мѣста, гдѣ оставались Антонъ Петровичъ и Грубовъ, по косогору расположились „пузаны“, а на противоположномъ косогорѣ стояли „козлы“. Враждебныя дѣйствія еще не начались. Слышались только оживленный говоръ, взрывы смѣха и тотъ неопредѣленный гулъ, который производитъ всякая толпа. Толпа мальчишки съ обѣихъ сторонъ дразнились разными обидными прозвищами и на-бѣгу давали другъ другу легкіе подтыльники.

Но морозъ къ вечеру такъ окрѣпъ, а вечеръ такъ быстро надвигался изъ-за темнаго бора, что толпѣ трудно стало оставаться въ холодномъ бездѣйствіи. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ внизу ложбины показались съ той и другой стороны взрослые мужики и, похлопывая рукавицами, вызывая противниковъ оскорбительными сравненіями.

Скоро тамъ и сямъ по оврагу нѣсколько паръ мужиков уже вступили въ драку. Но сначала драка эта была лѣнивая, „форменная“. Въ особенности лѣниво обмѣнивались тумаками два мужика, топтавшіеся внизу прямо противъ Грубова. Когда одинъ изъ нихъ далъ хорошаго тумака

шею другого, то этотъ не сейчасъ отвѣчалъ ему, а сначала спросилъ лѣниво:

— Ты такъ-то?

— Такъ-то,—отвѣчалъ первый.

— Ну, а я вотъ какъ, — сказалъ второй и треснулъ по боку перваго.

— Такъ ты вотъ какъ?

— Да, я въ такомъ родѣ,—новая затрещина по боку.

— Ну, а я вотъ эдакъ,—новый ударъ по шеѣ.

Эти переговоры, демонстрируемые ударами по шеѣ и по боку, продолжались до тѣхъ поръ, пока обоимъ противникамъ не наскучило такое занятіе.

— Эдакъ, братъ, скушно... давай лучше по мордамъ!—предложилъ одинъ изъ противниковъ.

— Что-жь, давай!—согласился второй и придаль надлежащую позу своему широкому, заросшему бородой лицу.

Черезъ минуту на это шаршавое лицо уже опустился кулакъ противника въ бараньей рукавицѣ и вызвалъ, видимо, неудовольствіе у получившаго его,—по крайней мѣрѣ, онъ уже съ нѣкоторымъ раздраженіемъ спросилъ:

— Такъ ты такъ-то?

— Такъ-то,—злорадно возразилъ противникъ.

— Ну, а я вотъ какъ съ пузанами обхожусь!—крикнулъ обиженный и угодилъ по уху обидчика.

Между ними послѣ того закипѣлъ учащенный мордобой.

Грубовъ въ эту минуту невольно долженъ былъ оставить ихъ и перевести свои взоры на другую сторону. По всему оврагу уже началась общая свалка. Въ морозномъ воздухѣ слышались плоскіе шлепки по полушубкамъ, глухіе удары по головамъ и какіе-то мягкіе звуки, вѣроятно, удары голыми руками по голымъ физиономіямъ. По всей ложбинѣ разносились ужасныя и дикія завыванія, которыми каждая сторона старалась вызвать храбрость въ своихъ и ужасъ во врагахъ. Вначалѣ ни та, ни другая сторона не поддавалась; бились одинаково стойко какъ „пузаны“, такъ и „козлы“. Впрочемъ, нѣкоторое время численность сторонъ была равная, такъ какъ много народу толкалось еще безъ дѣла по кособору, въ качествѣ запасныхъ отрядовъ. Но мало-помалу всѣ резервы приняли участіе въ боѣ. И тогда въ оврагѣ, переполненномъ людьми, образовалась густая каша,

въ которой трудно было различить отдѣльныхъ людей мелькали только руки, да головы, да слышались громкіе шлепки по полушубкамъ или мягкіе удары „по мордамъ“ а надъ всею этою кипящею массою стоялъ сплошной вой охрипшихъ голосовъ.

Грубовъ уже пересталъ смѣяться, нервы его уже сильно были приподняты; онъ тревожно перебѣгалъ взоромъ съ одного конца ложбины на другой, взглядывая по временамъ и на Антона Петровича. Послѣдній молчалъ, но это молчаніе сильнѣе словъ выдавало его волненіе. Онъ напряженно слѣдилъ за боемъ и, видимо, испытывалъ великое смѣненіе. Нѣсколько разъ на его лицѣ мѣнялись радость и злоба, смотря потому, какая сторона брала верхъ.

— Эхъ, должно наши подаются!—съ необычайною горечью сказалъ онъ, пытливо слѣдя за ходомъ сраженія.

— Я ничего не вижу,—возразилъ Грубовъ.

Въ кипящей кашѣ онъ, дѣйствительно, не могъ понять кто кого бьетъ.

— Нѣтъ, подаются! наши подаются! Вонючіе подлецы всѣмъ концомъ двинули!—горько выговорилъ старикъ и сжималъ свои кулаки.

Дѣйствительно, скоро ясно обнаружилось, что „пузаны“ уступали поле битвы и замѣтно вытѣснялись на верхъ ко согора. Хриплые крики все ближе и ближе раздавались во злѣ того мѣста, гдѣ стоялъ Грубовъ. Мимо него пробѣжали нѣсколько мужиковъ и парней съ синими, вздутыми физиономіями; пробѣжали также какой-то мужикъ, изо рта котораго струилась кровь. Это все были „пузаны“, разбитые и позорно бѣжавшіе.

— Бьютъ нашихъ! Помочь надо!—вскрикнулъ вдругъ Антонъ Петровичъ, и не успѣвъ Грубовъ оглянуться, какъ уже старика не было; онъ шмыгнулъ внизъ по косогору на дно оврага и потонулъ въ кипящей массѣ дерущихся. Очевидно, старичишка не выдержалъ національной обиды, за былъ своей возрасть, положеніе и состояніе и всецѣло отдался заразительному увлеченію мордобоемъ.

Совсѣмъ уже стемнѣло. На Грубова напало что-то дикое и злое. Изъ одного мѣста до него донеслись чьи-то проклятія и ругань; откуда-то раздавались стоны; гдѣ-то кто-то плакалъ. Мимо него пробѣжали вдругъ два парня, изъ ко-

торыхъ одинъ гнался съ обломкомъ кола за другимъ. Очевидно, шутка, потѣха давно окончилась и перешла въ постоянную, бѣшеную драку. Какъ узналъ на другой день Грубовъ, этимъ всегда дѣло оканчивалось. Начавъ „форменный“ бой, ради взаимнаго удовольствія, для пріятнаго препровожденія времени, вродѣ какъ въ театрѣ, противники мало-по-малу озлоблялись, приходили въ неистовство и, уже ничего не помня, мстительно проламывали другъ другу переносы, ребра и головы. Нерѣдко и до смерти кое-кого забивали.

Характеръ битвы мало-по-малу измѣнился. Хриплые крики и звѣриный вой толпы стихалъ по мѣрѣ того, какъ надъ селомъ разстилалась темная, безлунная ночь. Изувѣченные и побитые удалились. Но за то въ оврагѣ, къ удивленію Грубова, продолжалась какая-то молчаливая возня. Тамъ дрались любители, еще не удовлетворенные дневнымъ боемъ. Они продолжали биться и тогда, когда ихъ накрыла темнота въ оврагѣ, бились молча и сосредоточенно. Это производило странное впечатлѣніе; не слышно было криковъ, стоновъ и шума битвы, оврагъ казался безлюднымъ; отсюда слышались только сотни ударовъ по чему-то мягкому; казалось, выбивали пыль изъ полушубковъ.

Грубовъ ждалъ, когда же эти молчаливые, бездушные удары по чему-то также молчаливому и бездушному окончатся, но такъ и не дождался. Антона Петровича онъ долго искалъ глазами между дерущимися, но также не нашелъ и отправился домой одинъ, недоумѣвая, что сдѣлалось съ обезумѣвшимъ старичишкой.

Только уже на другой день увидалъ его. Зайдя къ нему въ домъ, онъ увидалъ его на печкѣ охающимъ и стонущимъ. „Что съ тобой, Антонъ Петровичъ?“—спросилъ онъ. Но Антонъ Петровичъ въ замѣшательствѣ отвернулся къ темной сторонѣ печки и что-то пробормоталъ насчетъ простуды. Ему совѣстно было сознаться, что вчера у него вышибли два зуба и помяли легкія. Обдумывая все это, Грубовъ печально подумалъ: „О, это ужъ слишкомъ большая пропасть между нами и ими!“

Но, кажется, онъ ошибался.

IX.

Г о с п о д а .

Когда Вѣрочка заскучала окончательно, ей сначала и представлялось никакого выхода. Все ей опротивѣло. Неразговѣ ей надоѣло. Грубова она ненавидѣла. Мужики были такъ чужды ей, что втайнѣ она удивлялась, какъ это можно въ нихъ найти общество. Ихъ можно учить, лѣчить, у нихъ можно покупать молоко, яйца и мясо, давая взаменъ того добросовѣстную плату; надъ ними можно иногда посмѣяться, когда они говорятъ глупости; ихъ нужно изучать, ихъ можно пожалѣть, когда они обнажаютъ нищету, и чтобы войти въ ихъ общество—это неестественная чепуха абсурдъ. Они были для нея смѣшны; жалки, темны, грубы—только и всего. И Вѣрочка уже подумывала уѣхать изъ этого скучнаго мѣста.

Единственный человѣкъ, общество котораго здѣсь стало ей пріятно, былъ Кугинъ. Онъ съ перваго же дня знакомства понравился ей. Теперь онъ ей нравился за постоянную услужливость, за то, что одинъ ухаживалъ за ней, заботился о ней до послѣднихъ мелочей. Когда у ней вышли всѣ сигареты, онъ откуда-то досталъ ей новыхъ; когда ея папиросы были на исходѣ, онъ безъ спросу шелъ въ лавочку и покупалъ ихъ. Нужны-ли ей были башмаки, мыло, сахаръ, теплыя перчатки,—все это онъ доставалъ ей. Замѣтивъ, что она съ большимъ отвращеніемъ говорить о неразвѣстномъ стряпнѣ, онъ уговорилъ ее обѣдать у себя, а чтобы общій столъ Алексѣя Семеныча не показался ей также скучнымъ, онъ то и дѣло заказывалъ Натальѣ сдѣлать что-нибудь лишнее. И Вѣрочка стала съ утра до ночи просиживать Кугинныхъ,—вѣрнѣе, у Кугина.

Лишь только поутру она показывалась въ горенку, какъ Кугинъ уже встрѣчалъ ее и помогалъ ей раздѣваться, и когда поздно вечеромъ она собиралась домой на хуторъ Кугинъ помогалъ ей надѣть пальто, подставлялъ ей каблуки, завязывалъ ей концы платка, сзади. Потомъ онъ провожалъ ее до самаго хутора пѣшкомъ, если погода стояла теплая, и на лошади, если былъ морозъ.

Днемъ, когда Кугинъ копошился немного на дворѣ, по хозяйству тестя, Вѣрочка сидѣла въ горенкѣ, поджавъ на лавку ноги, и читала книжку или вышивала замысловатый узоръ малороссійской рубахи.

При появленіи въ домъ Кугина, между ними тотчасъ же начинался разговоръ обо всемъ на свѣтѣ. Потомъ наступало время обѣда, потомъ чай вечеромъ. Разговоры велись исключительно между ними одними, хотя бы кто-нибудь присутствовалъ при этомъ изъ членовъ семьи,—словомъ, такъ, какъ будто въ комнатѣ никого не было. Сначала Алексѣй Семенычъ считалъ долгомъ вѣжливости вставить кое-гдѣ свое слово, но потомъ бросилъ, понявъ, что это слово не слушается и ненужно.

Съ такою же правильною Кугинъ съ Вѣрочкой игнорировали и Наталью. Наталья присутствовала при всѣхъ ихъ разговорахъ, но въ качествѣ прислуги, которая предполагается чужою въ семьѣ и ничего въ ея интересахъ непонимающе. Кугинъ обмѣнивался съ ней только такими словами: — Наталья, скоро обѣдать?

Или:

— Наталья, поставь, пожалуйста, самоваръ.

Наталья молча исполняла приказанія мужа, а исполнивъ ихъ, садилась на прежнее мѣсто и молчала. Но она напряженно прислушивалась ко всему, что говорили Кугинъ и Вѣрочка. Ей, разумѣется, многое было непонятно, но непонятное она не осмѣливалась разяснить при помощи мужа. Для этого она обращалась къ Грубову и часто поражала того неожиданными вопросами о такихъ вещахъ, которыя далеко выходили за предѣлы ея маленькаго міра. Грубовъ съ удовольствіемъ объяснялъ, а она жадно, волнуясь, слушала его.

Теперь она жила среди постоянного волненія. Лицо ея теперь поражало тревожнымъ, вопросительнымъ выраженіемъ. Съ особенною жадностью она слѣдила за Вѣрочкой, подмѣчая все, что въ той было. И, подмѣтивъ что-нибудь выдающееся въ барышнѣ, она старалась дѣлать такъ же. Она переняла отъ Вѣрочки прическу, стала, какъ и Вѣрочка, ходить съ отертою головой, сбросила серги, которыхъ у Вѣрочки не было, сшила себѣ малороссійскую рубашку, тайно и тревожно слѣдила за своимъ лицомъ. Но, бѣдная, она не могла перенять отъ непріятной ей барышни дерзкихъ, блестящихъ

глазъ, свободныхъ менеръ, громкаго смѣха, умѣнья говорить обо всемъ на свѣтѣ. И однажды, понявъ, что она просто глупая баба, вдругъ безсильно опустила на скамью и заплакала.

Съ этого дня она уже больше не подражала Вѣрочкѣ, а уроки Грубова слушала апатично или машинально. Во взглядѣ ея рисовались испугъ, тревога, разсѣянность.

О чемъ она думала? Быть можетъ, она спрашивала, почему мужъ не говоритъ съ ней такъ охотно, какъ съ Вѣрочкой? Быть можетъ, изумлялась, ради чего эта барышня прѣхала, вторглась въ ея жизнь, до той поры свѣтлую, и отняла у ней гордость и покой? И чѣмъ все это кончится? Уѣдутъ-ли барышня туда, откуда прѣхала, или навсегда останется въ ея домѣ?... И ревность стала ослаблять ея сердце.

А Вѣрочка уже часто стала подумывать объ отъѣздѣ. Въ скоромъ времени ей и съ Кугинымъ стало скучно. Ей надо было чѣмъ-нибудь развлечься. А развлеченіе было для нея синонимомъ жизни. Когда она жила въ городѣ, то день ея проходилъ исключительно въ поискахъ развлеченія.

— Возьмите меня съ собой!—сказала она однажды Кугину, когда тотъ, по порученію Алексѣя Семенчыча, собрался ѣхать въ боръ, чтобы посмотрѣть цѣлость двухъ стоговъ сѣна.

Кугинъ наружно воспротивился этой эксцентричной просьбѣ; онъ отговаривалъ ее холодомъ, сугробами, плохою дорогой, пугалъ простыми санями, къ которымъ она не привыкла, но внутренно онъ былъ обрадованъ и польщенъ этою просьбой.

Вѣрочка съ оживленіемъ собралась. Дорогой ею овладѣла неудержимая веселость; она болтала и безъ умолку разспрашивала о встрѣчающихся предметахъ; потомъ взяла возки изъ рукъ Кугина, разогнала въ одномъ мѣстѣ лошадь и опрокинула сани въ сугробъ. Кугинъ ворчалъ, но его заразилъ хохотъ утонувшей въ снѣгъ дѣвушки, а близость къ ней кружила ему голову.

Когда они заѣхали въ боръ, веселость Вѣрочки перешла въ необузданный восторгъ. Она слѣзла съ саней и, утопая въ снѣгу, залѣзла въ самую гущу сосенъ. Тамъ она пробовала кричать, чтобы узнать, какъ раздастся эхо въ сосновомъ бору, потомъ запыла какой-то мотивъ изъ *Сма-*

урочки. Отъ ея голоса вздрагивали ближайшія вѣтки и роняли на ея голову снѣжинки. Кугинъ отъ ея пѣнія забылъ, зачѣмъ пріѣхалъ, и стоялъ очарованнымъ по поясъ въ снѣгу.

— Вы простудите горло!—сказалъ онъ наставительно, но самъ не вѣрилъ своимъ словамъ.

— А вы отморозите уши!—закричала Вѣрочка со смѣхомъ и продолжала ходить по лѣснымъ сугробамъ и пѣть одинъ хотѣвъ за другимъ.

Вмѣсто нѣсколькихъ минутъ, они провели въ лѣсу нѣскольکو часовъ. На возвратномъ пути Вѣрочка озябла, но это только забавляло ее.

— Я никогда не видала бора въ тихую ночь, освѣщеннаго луной... Съѣздимъ же когда-нибудь?—сказала она.

Кугинъ сопротивлялся, но, въ концѣ-концовъ, обѣщалъ.

Съ этого дня Вѣрочка сопровождала Кугина всюду, куда только онъ ѣздилъ по дѣламъ. Она уже не просила его, а просто говорила:

— И я съ вами поѣду.

Кугинъ не могъ въ этомъ отказать ей. Сначала ему нравилось, что Вѣрочка за всѣмъ обращается именно къ нему,—это предпочтеніе ея передъ всѣми товарищами удовлетворяло его тщеславіе. Но дальше ему стало вообще пріятно проводить съ ней время. Съ товарищами онъ разошелся; къ импровизированной семьѣ своей онъ тайнѣ питалъ пренебреженіе, къ женѣ—равнодушіе. Съ мужиками онъ иногда возился не по внутреннему влеченію, а по влеченію ко всему модному; мужики же были одно время въ модѣ. По тѣмъ же побужденіямъ онъ, въ сущности, и на Натальѣ женился. Но женившись, считалъ себя совершившимъ все хорошее по отношенію къ ней. Онъ былъ увѣренъ, что исполняетъ всѣ свои обязательства къ ней; онъ ее не ругалъ, не билъ, какъ мужикъ, но, въ то же время, не считалъ себя обязаннымъ любить ее. Когда онъ замѣтилъ ея беременность, это не обрадовало и не испугало его; совершенно естественно, что у нихъ будутъ дѣти, хотя онъ и не любилъ ее.

Однажды желаніе Вѣрочки побывать въ бору при лунномъ освѣщеніи исполнилось.

Стояла тихая, съ небольшимъ морозомъ, ночь, когда они

выѣхали изъ села. Лунный свѣтъ господствовалъ; въ природѣ, казалось, все померкло и потонуло въ его неопредѣленномъ блескѣ; умерли всѣ звуки, застыли всѣ предметы; свѣжное поле превратилось въ фантастическую пустыню; боръ издали представлялся мрачною тучей, спустившеюся съ неба до самой земли.

Дорогой Вѣрочка оживленно восторгалась всѣмъ, что видѣла. Но торжественная тишина ночи, пустынное поле,— все это отразилось на ней тѣмъ, что она умолкла и только широко раскрытыми глазами впитывалась въ полутемное пространство. Ей чувствовалось, что все въ мирѣ умерло, погребло, замолкло, и только они одни остались. Но когда они въѣхали въ боръ и сани перестали скрипеть полозьями, настала страшная тишина. Вѣрочка прошептала слова восторга, но ея шепотъ раздался дико, какъ порывъ вѣтра. Это произвело на нее такое впечатлѣніе, что она боялась пошевелиться. И черезъ нѣсколько минутъ, чувствуя безпричинный ужасъ среди этой застывшей, вымершей пустыни, она попросила Кугина ѣхать назадъ.

Они возвращались шагомъ. Кугинъ пробовалъ поддерживать разговоръ, но у него отъ волненія прерывался голосъ. Да Вѣрочка и не отвѣчала; чувство безпричиннаго страха такъ охватило ее, что она боялась смотрѣть по сторонамъ, и прижималась, какъ ребенокъ, къ сидѣвшему рядомъ Кугину. Кугинъ время отъ времени заглядывалъ ей въ лицо и дрожащимъ голосомъ освѣдомлялся, не холодно-ли ей и спокойно-ли ей сидѣть. Вѣрочка только качала головой и отвѣчала только взглядомъ. Въ одно изъ этихъ мгновений, нагнувшись къ ней, Кугинъ прикоснулся горячимъ лицомъ къ ея лицу и несмѣло поцѣловалъ ее. Вѣрочка не оттолкнула его, а посмотрѣла только съ удивленіемъ.

— Вы не думайте ничего... Это я какъ товарищъ,—тихо сказалъ Кугинъ, но дрожащій голосъ говорилъ противное.

— Не дѣлайте этого... зачѣмъ?—прошептала Вѣрочка, но не отводила лица отъ Кугина, не оттолкнула его.

На нихъ обоихъ напало то душевное оцѣпенѣніе, когда исключительно господствуетъ только одна страсть.

Но скоро замелькали первые дома деревни. Вѣрочка вдругъ заволновалась, заторопилась и рѣзко велѣла себя высадить на томъ поворотѣ, который шелъ къ неразовскому хутору.

Кугинъ хотѣлъ ее довести домой на лошади, но она отказалась и торопливо пошла одна.

Скоро Кугинъ и село скрылись изъ ея глазъ. Оставшись среди пустыря одна, она вдругъ остановилась, оглянулась вокругъ и громко зарыдала,—не отъ страха, но какая-то невыносимая тяжесть легла ей на сердце. Она чувствовала безконечную тоску, какъ будто съ ней случилось какое-то огромное несчастье.

Нѣкоторое время спустя Неразовъ отворилъ ей дверь, но ея лицо было такъ закутано платкомъ, что онъ ничего не замѣтилъ. Потомъ, когда она уже была въ своей комнатѣ, онъ услышалъ ея сдержанное рыданіе и хотѣлъ войти къ ней, но побоялся. Лицо его исказилось состраданіемъ, на глазахъ добряка выступили слезы и онъ подумалъ:

„Скучно, должно быть, бѣдняжкѣ!“

Но это было невѣрно. У Вѣрочки, кромѣ постоянного ощущенія скуки, были еще рѣдкія мгновенія, когда душа ея судорожно искала чего-то невѣдомаго; тогда она казнила себя за эгоизмъ, за пустоту, за мелкую жизнь. Еслибы въ такую минуту нашелся такой, который бы указалъ ей путь, она пошла бы по немъ и была бы готова на подвигъ, на кровавую жертву, на самую смерть, лишь бы не чувствовать посылкой жизни...

Но проходили эти мгновенія и Вѣрочка становилась прежнею. Прошла ночь, и на другой день Вѣрочка поѣхала съ Кугинымъ въ сосѣднюю деревню, гдѣ ей собственно дѣлать было нечего, но по дорогѣ куда она могла весело провести время. Она только стала сдержаннѣе въ отношеніяхъ съ Кугинымъ.

Но что они были неразлучны—это, наконецъ, обратило всеобщее вниманіе; даже Алексѣй Семенычъ встревожился и, чтобы успокоить себя, обратился однажды за разъясненіемъ къ Грубову.

— Завсегда такъ бываетъ промежъ господъ? — наивно спросилъ онъ.

Грубовъ посмѣялся надъ нимъ и объяснилъ все въ шутку, но въ душѣ думалъ иначе. Онъ попробовалъ опять отвязаться отъ этого непріятнаго дѣла: „Пусть что угодно продѣлаютъ, мнѣ-то что?“

Но непріятность насильно лѣзла въ голову и требовала

къ себѣ опредѣленнаго отношенія. Въ концѣ-концовъ, Грубовъ сталъ снова волноваться, негодовалъ, и все это приняло такіе размѣры, что его мысли исключительно стали обращаться къ Вѣрочкѣ и Кугину.

„Чортъ ихъ возьми! Пріѣхали работать, а занимаются романами, какъ послѣдніе повѣсы!“—бѣсился онъ внутренно.

Иногда онъ даже сомнѣвался.

„Да неужели это правда?... Да не можетъ быть...“

Но дѣло не въ томъ, что романъ какой-то происходитъ а въ томъ, что Кугинъ и Вѣрочка всюду показывались вмѣстѣ. Въ страшномъ переполохѣ, не зная, что дѣлать взбѣшенный и растерянный, Грубовъ, наконецъ, рѣшивъ обратиться къ самому Кугину, обратиться безъ оскорбленія и безъ ложнаго стыда, съ товарищескимъ совѣтомъ. И Кугинъ послушается; надо только затронуть его чувства чести и порядочности, а эти чувства были въ немъ.

Грубовъ такъ и сдѣлалъ.

Однажды Кугинъ ѣхалъ зачѣмъ-то въ лѣсъ. На поворотъ къ хутору ему встрѣтился Грубовъ. Кугинъ сумрачно взглянулъ на него, пробормоталъ что-то и хотѣлъ проѣхать дальше, но Грубовъ вдругъ обратился къ нему съ просьбой:

— Вы въ лѣсъ? Возьмите меня. Я хочу немного проѣхаться...

Кугинъ искоса взглянулъ на товарища, но остановилъ лошадь и очистилъ мѣсто въ саниахъ. Грубовъ сѣлъ и они поѣхали. Нѣкоторое время длилось тягостное молчаніе. Кугинъ не зналъ, чему приписать желаніе Грубова съ нимъ проѣхаться. Грубовъ былъ сильно взволнованъ предстоящимъ объясненіемъ. Не видя Кугина, онъ это объясненіе представлялъ себѣ очень просто, но когда онъ сѣлъ рядомъ съ этимъ человекомъ, онъ растерялся отъ страшной трудности разговора.

Кугинъ первый не выдержалъ молчанія.

— Вы въ послѣднее время что-то перестали давать урокъ Натальѣ?—замѣтилъ онъ равнодушно.

— Она сама отказалась на время... Ей, видимо, нездоровится,—возразилъ Грубовъ съ напряженнымъ вниманіемъ.

— Да, она что-то киснетъ...

Грубовъ очень взволновался при этихъ словахъ Кугина такъ какъ они прямо вели его къ цѣли, и онъ уже хотѣлъ

занекунуть на беременность молодой женщины, чтобы затѣмъ прямо и открыто поговорить, но Кугинъ предупредилъ его:

— Это и лучше. Пусть она отдохнетъ, а то вы гоните ее на всѣхъ парахъ... Да и вамъ, чай, надоѣли эти уроки... Я слышалъ, вы были на бою? Что тамъ такое происходитъ?— говорилъ Кугинъ.

Грубовъ пожалъ плечами, недовольный такимъ неожиданнымъ поворотомъ.

— Я былъ. Неприятно! Старинная забава русского человека.

— Хороша забава!... Какъ много еще дикости въ нашемъ мужикѣ!

— Пожалуй. Но дикость не всегда сопровождается порокомъ.

— По-вашему, когда люди начинаютъ бить другъ друга во мордѣ, это не порокъ?

— Не знаю. Но если мордобитіе считать порокомъ, тогда я не понимаю, какъ можно снисходительно смотрѣть на культурное общество, большая часть заботъ котораго по существу такъ же дика. По крайней мѣрѣ, я не въ состояніи раздѣлить балъ, на которомъ люди превращаются въ лошадей, и мужицкую пляску; циркъ, гдѣ люди сознательно наслаждаются жестокимъ ужасомъ, и кулачный бой, гдѣ мужики съ удовольствіемъ колотятъ другъ друга по физиономіямъ...

— Это не интеллигенція!—воскликнулъ Кугинъ.

— Все равно. Разница между нами и мужиками есть,— разница часто неизгладимая, но не всегда въ пользу насъ.

Говоря это, Грубовъ бѣсилъ внутренно, что говорить не то, что нужно. Но цѣль ускользала изъ его рукъ. Онъ хотѣлъ бытъ придратъ къ первому попавшемуся случаю, чтобы заговорить о томъ, что хотѣлъ, но разговоръ уходилъ все дальше и дальше отъ намѣренія.

— Это ненужное самоуничиженіе!—возразилъ Кугинъ.— Если я вижу отвратительное явленіе въ мужикѣ, то я такъ и называю его—отвратительнымъ.

— Сдѣлайте одолженіе, называйте. Но помимо отвратительнаго, есть чистое...

— Назовите такое явленіе въ мужицкой жизни, передъ которымъ бы я долженъ преклониться?—спросилъ Кугинъ.

— Назвать едва-ли можно; пришлось бы разбирать всю

жизнь. Но въ общихъ чертахъ—отчего же, можно. Между прочимъ, знаете, какая разница между нами и ими? Это то что мы живемъ чувствомъ пріятнаго и прекраснаго, мужикъ же—чувствомъ должнаго и неизбежнаго. Мы дѣлаемъ то, что намъ нравится, мужики—то, что должно дѣлать. Не думай, чтобы эта разница была въ нашей выгодѣ... Когда жизнь намъ не даетъ того, чего мы желаемъ, что кажется намъ пріятнымъ, мы считаемъ ее неудавшеюся; мужикъ же считаетъ скверною ту жизнь, которая дала ему одни только грѣхи. Мы страдаемъ отъ того, что не удовлетворяемъ своихъ желаній, мужикъ же—отъ того, что не исполнилъ какой-то высшей воли, нагрѣшилъ... Но оставимъ этотъ разговоръ. Послушайте, Кугинъ!... Я съ вами хочу поговорить...—съ волненіемъ вдругъ заговорилъ онъ и посмотрѣлъ прямо въ лицо товарища.—Послушайте меня и не сердитесь... Я говорю какъ товарищъ, какъ другъ!

— Что такое?—спросилъ Кугинъ, весь вспыхнувъ, и онъ вернулся отъ устремленнаго на него взгляда Грубова.

Грубовъ открыто, съ пылающимъ лицомъ, высказалъ свои мнѣнія объ отношеніяхъ Кугина и Вѣрочки, открыто заявилъ, что ему не нравятся эти отношенія, и умолялъ Кугина прекратить ихъ, какъ опасныя не только для самого Кугина, но и для всѣхъ.

Пока говорилъ Грубовъ, Кугинъ все время мѣнялся въ лицѣ, которое судорожно подергивалось, но когда тотъ кончилъ, онъ презрительно улыбнулся. Мгновенно между ними образовалась какая-то атмосфера неискренности.

— О какихъ это отношеніяхъ вы говорите? И что вы делаете?

— Я ничего не думаю и не хочу предполагать. Я только хочу, какъ товарищъ, предостеречь васъ, что ваши дружескія отношенія съ Зиновьевой могутъ быть дурно истолкованы, а это страшно всѣмъ намъ повредить... Навѣрное можно сказать, что вашимъ дружескимъ отношеніямъ будетъ придано другое значеніе.

— То-есть?—спросилъ Кугинъ небрежно, хотя въ его голосѣ слышалась уже злоба. Но еще никакъ не могъ попасть на надлежащій тонъ.

— Да просто скажутъ, что баринъ отъ своей жены по-

ается съ другой. Я не вѣрю этому, но, повторяю, это бьетъ насъ въ здѣшнемъ мнѣніи.

— Отлично вы все это говорите... но, милый человѣкъ, къ ваше разсужденіе ко мнѣ-то относится? И, вообще, къ васъ понять? О чемъ вы говорите?

Говоря это, Кугинъ уже овладѣлъ собой, зло смѣялся и удовольствіемъ чувствовалъ глупое положеніе, въ какое ставилъ Грубова. Всѣмъ своимъ видомъ онъ какъ будто ворилъ: „Не понимаю!“

Грубовъ и самъ чувствовалъ, что говорилъ не то и не такъ, какъ хотѣлъ. Онъ хотѣлъ поговорить дружески, просто, какъ товарищъ и братъ, а вышло неискренно, запущено и глупо, и не только не дружески, но съ небывалою сихъ поръ враждебностью. Въ порывѣ отчаянія, онъ вздулъ силой придать разговору другой характеръ и вскрилъ:

— Кугинъ, вы понимаете меня!... Бросьте этотъ тонъ! Я чу не оскорблять васъ, а помочь вамъ!...

Но Кугинъ насмѣшливо улыбнулся; ему пріятно было извѣщаться.

— Помочь?... Но въ чемъ, ей-Богу, не понимаю!—скажетъ онъ.—Вы увидали какія-то мои отношенія къ Зиновьеву, но вѣдь это ваша фантазія! Вы говорите о какомъ-то мнѣніи мужиковъ, но причѣмъ я тутъ, я не понимаю...

— Ну, а Наталья? Вы также не понимаете и ее?—спросятъ Грубовъ внѣ себя отъ негодованія. — Знаете-ли вы, какъ она смотритъ на ваши прогулки съ барышней?... Неужели вы не видите, что съ ней дѣлается?

Когда Грубовъ сказалъ это, Кугинъ какъ-то заметался въ кресло, и глаза его забѣгали по сторонамъ, но ненависть сидѣвшему рядомъ Грубову взяла верхъ надъ его смущеніемъ.

— А! вы вотъ о чемъ!... Но какое право у васъ вмѣшиваться въ мою частную жизнь? Почему вы вздумали заботиться обо мнѣ и о моей женѣ? Но, милѣйшій, вы ошибаетесь!... Вы можете распорядиться такимъ дуракомъ, какъ разовъ, но я не могу вамъ доставить такого удовольствія!—и, говоря это, Кугинъ засмѣялся искаженнымъ отъ бѣды лицомъ.

А Грубовъ вдругъ прыгнулъ съ саней, привычная лошадь

остановилась, и товарищи въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ смотрѣли другъ на друга съ нескрываемою ненавистью.

— Довольно, Кугинъ! Я утверждаю, что ваши отношенія къ женѣ безчестны, и намъ не о чемъ больше разговаривать! Но я все-таки сдѣлаю, что Зиновьевой здѣсь будетъ!

И, выговоривъ это, онъ порывисто повернулся обратно въ селу. Кугинъ, ударивъ лошадь, ускорилъ по направленію къ лѣсу.

Грубовъ сознавалъ, что съ этой минуты колонію можно считать разбитою; ея нѣтъ больше, какъ нѣтъ больше и варшавскаго вѣнечнаго варшавскаго.

Но, по странной логикѣ, шагая по снѣгу къ селу, онъ продолжалъ гнѣваться, страдать и придумывать средства сохранить дѣло. Онъ снялъ шапку и шелъ нѣкоторое время съ непокрытою головой, которая пылала до физической боли. Во рту у него пересохло, какъ во время горячки. Чтобы утолить жажду, онъ схватилъ въ горсть снѣгу и глоталъ его большими кусками. Онъ былъ такъ потрясенъ всѣмъ случившимся, что долго не могъ опомниться. Въ особенности ему тяжело было сознаніе непоправимой враждебности къ нему Кугина. Этого-ли онъ хотѣлъ, когда шелъ на объясненіе? До объясненія положеніе было простымъ, легкимъ и яснымъ; послѣ объясненія все осложнилось и запуталось до неузнаваемости и отравлено было цѣлымъ потокомъ взаимной вражды. Объясненіе касалось, въ сущности, мелкаго случая, но когда оно кончилось, мелкій случай выросъ въ цѣлое событіе, грознымъ по размѣрамъ и мучительнымъ своей силой.

Грубовъ шелъ съ опущенною головой; лицо его стало вдругъ истомленнымъ, глаза впали, какъ послѣ всякаго физическаго потрясенія. Онъ чувствовалъ сильнѣйшую разбитость и растерянность.

Но вдругъ его озарило рѣшеніе. „Да уйти отъ грѣха только и всего“,—вдругъ подумалъ онъ съ радостью. Бѣжать все и уѣхать изъ колоніи; вѣдь никакой кровной связи съ ней у него нѣтъ!... Это сразу его успокоило и все стало ясно и просто. Не нужно больше думать о враждебности Кугина, нечѣмъ думать о самомъ Кугинѣ, нечѣмъ съ кѣмъ бы то ни было объясняться, нечѣмъ у

пивать Вѣрочку Зиновьеву, совсѣмъ не надо больше думать объ этомъ пропащемъ дѣлѣ!... Выходъ очень простой: наплевать на все и уѣхать самому.

Грубовъ сразу успокоился и быстро шагаль по дорогѣ. Рѣшеніе свое онъ формулировалъ прямо:

„Чортъ съ ними! Наплевать!“

На душѣ у него сдѣлалось такъ легко, словно онъ избавился отъ какой-то мучительной каторги. И сейчасъ же появилось ироническое настроеніе: все, что происходило въ колоніи, и самая колонія, и самъ онъ,—все сразу представилось въ курьезномъ видѣ, такъ что онъ громко захохоталъ.

Но, къ несчастію для него, онъ не успѣлъ во-время выполнить своего чудеснаго рѣшенія, а долженъ былъ до конца допить горькую, ядовитую чашу товарищества. Черезъ нѣсколько дней въ колоніи поднялась такая возня, что даже близкіе къ ней мужчины замѣтили это.

— Опять наши господа чтой-то забѣгали!... Чтой-то у нихъ случилось... И шутъ ихъ знаетъ, чего они безперечъ беспокоются!

Х.

Конѣцъ путаницѣ.

Послѣ „товарищескаго“ разговора Грубова и Кугина личные счеты такъ вдругъ запутались, что никакою двойною бухгалтеріей нельзя было учестъ ихъ. Началось съ того, что Кугинъ разсказалъ Вѣрочкѣ съ разными намеками конецъ своего разговора съ Грубовымъ, т.-е. угрозу послѣдняго выдворить Вѣрочку. Вѣрочка обомлѣла и внѣ себя отъ оскорбленія назвала Грубова въ присутствіи Неразова низкимъ челоувѣкомъ. Взволнованный Неразовъ сталъ защищать друга, но Вѣрочка сослалась на Кугина, который, по ея словамъ, имѣетъ доказательства низости Грубова. Тогда Неразовъ побѣждалъ къ Кугину объясняться, но, вмѣсто объясненія, назвалъ его подлецомъ. За это Кугинъ выгналъ его изъ дому, заявивъ, что онъ больше съ нимъ не знакомъ. Въ свою очередь, Вѣрочка написала записку Грубову, гдѣ

требовала, чтобы онъ публично объявилъ причину, почему онъ требуетъ выхода ея, Вѣрочки. Но такъ какъ Грубовъ сидя въ своей крѣпости ироническаго настроенія, на записку не отвѣтилъ, то къ нему, по порученію Вѣрочки, отправился самъ Кугинъ. Кугинъ по дорогѣ рѣшилъ, что для Грубову пощечину, если онъ откажется удовлетворить требованіе Вѣрочки. Однако, вмѣсто объясненія, произошелъ новая неожиданность. На требованіе Кугина Грубовъ равнодушно улыбкой сообщилъ, что объясняться ему больше не къ чему, такъ какъ къ колоніи онъ больше не принадлежитъ.

— Я на-дняхъ совсѣмъ уѣду.

Кугинъ остоленѣлъ отъ этихъ словъ и не нашелся, что сказать въ отвѣтъ; въ замѣшательствѣ онъ отправился домой, будучи не въ силахъ разобраться въ страшной путаницѣ. Ясно онъ понялъ только то, что съ уходомъ Грубова, сущности, все дѣло рушится, такъ какъ одинъ-на-одинъ Неразовымъ Кугинъ не желалъ имѣть никакихъ сношеній, во-первыхъ, потому, что Неразовъ „дуракъ“, а, во-вторыхъ, „бѣшеная собака“.

Остоленѣла и Вѣрочка. Сначала она не наплась, дѣлать, но вслѣдъ затѣмъ лучшей стороны ея натуры взяла верхъ.

— Въ такомъ случаѣ, лучше я выйду!—вскричала она слезами на глазахъ. И такъ какъ рѣшенія ея, хорошія дурныя, созрѣвали и исполнялись мгновенно, то она на следующий же день собралась уѣзжать.

Мгновенно изъ глубины ея сердца вырвались наружу честныя и великодушныя побужденія и мгновенно же исчезли недоброжелательство, вся злоба къ остающимся. Ей вдругъ стало больно и жалко покидать колонію, и всѣ товарищи показались ей честными и лучшими людьми. Прощаясь, нѣсколько разъ крѣпко пожала руку Неразову, а Грубовѣ велѣла передать просьбу, чтобы онъ не думалъ о ней дурно. Она со слезами на глазахъ простилась съ Алексѣемъ Савинымъ и съ его старухой, простилась съ собакой „Волчкомъ“, потрепавъ его за уши; поцѣловала Наталью. И когда она вышла за село, ни одной злой мысли противъ кого-нибудь изъ оставшихся у ней не было. Правда, ничѣмъ и не жертвовала, уѣзжая; колонія осталась чуждою.

дыжъ для нея дѣломъ; друзей она не нашла тамъ. Къ Кугиню же она вдругъ сдѣлалась равнодушною. Что онъ ей? Она не любила его и не могла любить.

Но не то Кугинъ. Съ той самой минуты, какъ она рѣшилась уѣхать, онъ ходилъ, какъ опущенный въ воду. Онъ не находилъ словъ, чтобы отговорить ее отъ выхода, но, въ то же время, чувствовалъ, что съ ея отъѣздомъ онъ погибъ. Онъ полюбилъ ее съ узкою безповоротностью себялюбивой натуры, не знающей другихъ законовъ, кромѣ своихъ желаній; въ этой любви для него теперь все сосредоточилось—жизнь, счастье, дѣла, убѣжденія, будущее. Колонія была ему безъ Вѣрочки отвратительна, товарищи ненавистны, и счастье онъ связывалъ только съ ней; внѣ ея ничего не было—пустота.

За ней онъ пошелъ нанимать лошадей до станціи; потомъ за ней онъ отправился на хуторъ и вмѣстѣ съ ней укладывалъ ея вещи. И когда она сѣла въ сани, онъ также сѣлъ рядомъ съ ней, не сказавъ даже, до котораго мѣста онъ хочетъ проводить ее. Дорогой онъ безумно молчалъ. Онъ не смѣлъ сказать ей о своей любви, но, въ то же время, не думалъ и скрывать ее. Онъ сидѣлъ рядомъ съ ней, но не думалъ, куда онъ ѣдетъ и гдѣ остановится.

Наконецъ, ужъ Вѣрочка сама ему напомнила.

— Ну, намъ пора разстаться... Мы и такъ ужъ далеко отъѣхали, вамъ тяжело будетъ возвращаться пѣшкомъ,—сказала она съ грустнымъ лицомъ, но безъ тяжелаго чувства.

Кугинъ машинально сталъ вылѣзать и слѣзъ прямо въ мокрый, таявшій снѣгъ. Лицо его исказилось такъ, какъ будто онъ хотѣлъ зарыдать. Но онъ не зарыдалъ, а съ внезапно вспыхнувшею злобой, отъ которой у него помутились глаза, закричалъ:

— Въ сущности, вы не добровольно уѣзжаете, а гонять насъ!

Вѣрочка поблѣднѣла, но сдержанно проговорила:

— Не говорите такъ... Я добровольно уѣзжаю. Еслибы я не уѣхала, уѣхалъ бы Грубовъ...

— Онъ не уѣхалъ бы! Это съ его стороны подло обдуманная тактика!

На этомъ они разстались. Кугинъ, стоя глубоко въ рых-

домъ шартовскомъ снѣгу, съ безумнымъ лицомъ смотрѣлъ какъ ее увозили сани. Она нѣсколько разъ оглядывалась и махала ему платкомъ и что-то кричала съ веселымъ лицомъ, а онъ стоялъ безъ движенія и смотрѣлъ, какъ она уѣзжала. Еслибы она оттуда закричала: „Идите ко мнѣ уѣдемъ!“ — онъ бы бросился черезъ оврагъ, наполненный рыхлымъ снѣгомъ съ водой, и уѣхалъ бы съ ней. Но она велѣла ему слѣзть, и онъ слѣзъ, повинувшись ея власти. Она не звала его, и онъ не трогался съ мѣста.

А Вѣрочка, — кто ее знаетъ? — думала искренно, что своимъ выходомъ приносить жертву или этими словами въ послѣдній разъ рисовалась передъ Кугинымъ. Настроение ея все быстро мѣнялось, и, вѣроятно, она отъ всего сердца хотѣла принести сильную жертву, когда собиралась въ дорогу. Но когда Кугинъ сказалъ ей прощальныя слова, мысли сразу перемѣнились. Слова Кугина врѣзались ей въ память и она не могла отвязаться отъ нихъ; эти слова затемнили все то, что было хорошаго въ ея душѣ, вызвали въ ней снова память объ оскорбленіи и разожгли ея злобачество. „А! меня выгнали!... Ну, такъ тогда другое дѣло!“ И она уже раскаивалась, что поддалась минутному чувству. Надо было бы на зло остаться, пусть злился бы Грубовъ, а она прониклась глупымъ великодушіемъ. Ей сдѣлалось обидно, злость овладѣла ею, злость и тоска: злость, что она сдѣлалась наглою жертвой; тоска, что она вдругъ осталась одна, безъ друзей, брошенная... И въ порывѣ этой тоски она написала на станціи записку Кугину: „Пріймайте въ городъ по слѣдующему адресу“.

Кугинъ эту записку получилъ на другой день рано утромъ. Никому ничего не сказавъ, онъ нанялъ лошадей на станціи и уѣхалъ.

Когда объ его отъѣздѣ узнали Неразовъ и Грубовъ, сначала обомлѣли. Потомъ Неразовъ готовъ былъ запустеть, а Грубовъ пришелъ въ такое неистовство, что ринулся тотчасъ ѣхать вслѣдъ за Кугинымъ и вернуть его силой; онъ чувствовалъ, что способенъ теперь на самый дикій поступокъ. Но онъ не успѣлъ выполнить ни одного изъ этихъ намѣреній, благодаря Натальѣ, которая своимъ обдуманнѣмъ рѣшеніемъ сразу все распутала и сдѣлала изъ положенія страшно яснымъ.

Въ послѣднее время о ней всё позабыли, занятые личными счетами и передрыгами. Даже Грубовъ на время забылъ о ней. Но зато сама она слишкомъ много думала и понимала все, что происходитъ вокругъ нея.

Вся зима прошла для нея въ сильнѣйшихъ душевныхъ переломахъ. Въ первое время по прїѣздѣ Вѣрочки она чего-то сразу испугалась; лицо ея сдѣлалось напряженнымъ, мучивымъ, сосредоточеннымъ. Счастливая до той минуты, она теперь выглядѣла страдающей.

Потомъ Наталья вдругъ сдѣлалась жалкою. На лицѣ ея, помимо испуга, стало рисоваться отчаяніе. Она поняла, что передъ барышней въ глазахъ мужа она—дура, темная, низкая; она поняла, что бороться съ барышней у ней нѣтъ средствъ. Ту любовь, которая съ первой минуты засвѣтилась у ея мужа къ барышнѣ, она, Наталья, ничѣмъ не можетъ перевести на себя; она можетъ только умолять объ этой любви... упасть къ ногамъ мужа и умолять его пощадить ее. И она жалко плакала, когда оставалась одна.

Но вдругъ одно время на лицѣ ея показалась ненависть и жажда постоять за себя. Она ничѣмъ не могла выразить этихъ чувствъ, но они ярко горѣли на ея лицѣ. Когда она теперь встрѣчала Вѣрочку, выраженіе ея лица было гордое. Испугъ ея прошелъ; она перестала жалѣть себя. Она не думала больше о себѣ. Всѣ ея мысли обратились на мужа и на барышню.

Такъ продолжалось до отъѣзда Вѣрочки. Во время сборовъ послѣдней и послѣ ея отъѣзда неопредѣленная надежда зародилась въ сердцѣ Натальи. Но вотъ утромъ уѣзжаетъ Кугинъ. Лицо ея и вся фигура опять на время сдѣлались жалкими. Она поднимаетъ оброненную имъ записку, читаетъ и холодѣетъ. Она заплакала, какъ ребенокъ; она опять на время казалась испуганною и умоляющею о пощадѣ. „Миша, не губи меня!“—жалко прошептала она про себя нѣсколько разъ, какъ будто мужъ могъ услышать ее.

Никто не видѣлъ и не зналъ, что съ ней происходитъ. Домашніе не обратили вниманія даже на отъѣздъ Кугина. Да Наталья ни за что на свѣтѣ и не созналась бы, что ея мужъ уѣхалъ за другой. Лучше смерть!

До половины этого дня она ходила жалкою и потерянною, съ опущенною головой, съ умоляющимъ взоромъ. Но къ ве-

черу лицо ея еще разъ преобразилось. Въ глазахъ ея вдругъ показались торжество и радость, вся она приподнялась и гордо смотрѣла куда-то въ даль, открывавшуюся изъ оконъ. Это она считала средствомъ воротить бѣглеца и его любовь. Она думала о немъ раньше, но только теперь поняла, какое оно могучее. Благодаря ему, онъ прійдетъ. Онъ непремѣнно вернется и съ рыданьемъ упадетъ къ ней и будетъ обнимать ее. Онъ будетъ на колѣняхъ умолять ее пощадить его и будетъ звать громко, чтобы она взглянула на него, хоть разъ и сказала ему ласку. И она проститъ его. Какъ же не проститъ, когда онъ ей мужъ и когда она до смерти любитъ его? Онъ сдѣлалъ ее счастливою, и у ней нѣтъ злобы противъ него...

Потомъ ее одѣнуть во все лучшее, что онъ любилъ, и отнести ее за село, подъ березы и кусты черемухи, гдѣ они часто съ нимъ сидѣли, между крестовъ. Онъ пойдетъ всюду, куда ее понесутъ, и будетъ съ любовью глядѣть на ея лицо. Когда ее туда принесутъ, онъ еще разъ поцѣлуетъ ее и скажетъ еще разъ, чтобы она простила его. Она уже простила ему, потому что знаетъ, что онъ вернется къ ней съ любовью, которой она при жизни не знала...

Съ совершенно разумнымъ лицомъ, Наталья вышла изъ комнаты, прошла въ чуланъ, отыскала порошокъ, которымъ мужъ ей привезъ для отравы крысъ, и съ лихорадочною поспѣшностью сѣлъ его двѣ горсти, а чтобы не слышать отвратительнаго вкуса, жадно запила водою. Лицо ея въ эти минуты стало поразительно похожимъ на лицо отца въ тѣ мгновенія, когда онъ говорилъ о Богѣ и о правдѣ и описывалъ картины райскаго блаженства; лицо ея было, въ одно и то же время, гордое и свѣтлое, вѣрующее и счастливое.

Грубовъ уже собирался ѣхать съ Ефремомъ на станцію лошади были запряжены. Но въ ту минуту, когда онъ выходилъ изъ дверей флигеля, во дворъ со всего размаху, верхомъ на лошади, прискакалъ Алексѣй Семенычъ; онъ былъ въ одной рубахѣ, безъ шапки, а въ рукахъ его зачѣмъ-то была палка.

— Митрій Ивановичъ, Наталья кончается! — крикнулъ онъ подсказывая къ самому крыльцу, гдѣ стоялъ Грубовъ.

Грубовъ помертвѣлъ, но не сказалъ ни слова, а прямо

бросился бѣжать по улицѣ, какъ будто онъ заранѣе зналъ, что такъ именно надо бѣжать. Когда онъ вбѣжалъ въ комнату, тамъ уже собрались всѣ домашніе и двѣ сосѣдки-старухи.

— Васъ она хочетъ видѣть,—сказала Грубову одна изъ старухъ.

Грубовъ подошелъ къ самой постели Натальи, которая судорожно билась.

— Что съ тобой, Наташа?—спросилъ онъ громко.

Но та не отвѣчала, хотя широко раскрытыми зрачками смотрѣла на него. Она боролась съ страшными судорогами и не могла говорить, но въ одно мгновеніе, сжавъ страшнымъ усиліемъ прыгавшую нижнюю челюсть, она взглядомъ подозвала его къ себѣ и, когда онъ наклонился къ ней, она прошептала неслышно для другихъ:

— Когда онъ вернется, не говорите ему правду...

— Несчастная! что ты сдѣлала?—прошепталъ онъ и догадался о причинѣ судорогъ.

— И никогда не говорите... Я простила ему, а онъ будетъ любить...

На мгновеніе опять на ея лицѣ и глазахъ показались торжество, гордость и радость, но начавшіяся вновь судороги исказили ея черты, и въ нихъ нельзя уже было узнать, чѣмъ гордилась она и кому прощала.

Грубовъ отошелъ прочь, въ дальній уголъ комнаты, и съ застывшимъ лицомъ смотрѣлъ и слушалъ, какъ бѣжали и кричали люди, какъ пріѣхалъ священникъ и сталъ читать громко какую-то молитву. Потомъ онъ увидалъ, что ему дѣлать здѣсь больше нечего, и онъ совсѣмъ вышелъ прочь изъ дому.

Онъ былъ въ томъ состояніи нелѣпой практичности, которая часто является въ самые ужасные моменты. Идя домой, онъ думалъ о томъ, какъ лучше всего извѣстить Кутину о смерти жены, какое письмо и въ какихъ выраженіяхъ онъ напишетъ, сколько словъ будетъ содержать телеграмма, дождетъ-ли по испорченной дорогѣ Ефремъ, накормлены-ли лошади овсомъ. А когда Ефремъ съ письмами и телеграммами отправился, Грубовъ сталъ соображать, какъ похоронить умершую, что надо купить для похоронъ, сколько придется изстратить денегъ, и если не хватитъ наличныхъ, то

гдѣ ихъ достать. Только когда на третій день онъ увидалъ возвращающагося изъ города Кугина, бездушныя мелочи разомъ сгинули и въ его душѣ всталъ цѣликомъ образъ простой, наивной женщины, которую всѣ любили, а онъ, быть можетъ, больше другихъ. И тогда у него явилось то подавляющее горе, которое въ нѣсколько часовъ разрушаетъ нѣсколько лѣтъ жизни.

Прошло болѣе двухъ недѣль со дня похоронъ.

Товарищи за это время ни разу не видались. Каждый жилъ наединѣ съ собой. Но, въ то же время, никто изъ нихъ не трогался съ мѣста, подъ влияніемъ какого-то стыда, хотя всѣ сознавали, что дѣло надо кончить и разойтись въ разные стороны. Смерть Натальи съ страшною ясностью показала, что здѣсь больше нечего дѣлать. Только никто не рѣшался первый подняться съ мѣста и уѣхать.

Наконецъ, по просьбѣ Неразова, пригласившаго Грубова и Кугина записками къ себѣ на хуторъ, однажды всѣ сошлись для ликвидаціи. Когда они увидали другъ друга въ первый разъ послѣ похоронъ, это была для всѣхъ тяжелая минута. Они какъ будто не узнавали другъ друга и обращались какъ чужіе люди, едва знакомые. Неразовъ сильно сконфузился, когда встрѣчалъ по очереди Кугина и Грубова. Грубовъ былъ сильно взволнованъ и къ Неразову обращался на „вы“. Кугинъ ни на кого не могъ взглянуть прямо.

Да, можетъ быть, они и въ самомъ дѣлѣ не узнавали другъ друга. Въ особенности измѣнился Кугинъ. На него тяжело было смотрѣть. Изъ красавца онъ сдѣлался какинито хилымъ и больнымъ; онъ держался сгорбленно и судорожно улыбался. На его осунувшемся лицѣ слѣда не было прежняго Кугина, рисовавшагося каждымъ своимъ движеніемъ. Вся его сценическая эффектность смыта была первою жизненною драмой, въ которой онъ поневолѣ сыгралъ главную роль.

Тяжелое молчаніе нарушено было Неразовымъ. Краснѣя и волнуясь, онъ сказалъ:

— Надо, господа, поговорить... какъ намъ теперь?

— Разойтись-то?—спросилъ Грубовъ серьезно и потомъ добавилъ:—Очень просто.

Послѣ еще нѣсколькихъ минутъ молчанія Грубовъ, ни на кому не обращаясь, высказалъ просьбу — оставить въ со-

ственность Ерема все то имущество товарищества, которое было у него на рукахъ. Неразовъ съ торопливою радостью изъяснилъ свое согласіе на это предложеніе. Кугинъ молча согласился. Онъ самъ, не поднимая головы, высказалъ такую же просьбу относительно Алексѣя Семеныча, во дворѣ котораго также находилась часть товарищескаго имущества. Неразовъ съ восторгомъ и на это согласился.

Кугинъ первый поднялся. Все также сгорбленный, не поднимая головы и не подавая никому руки, онъ всталъ съ мѣста и съ тяжелою медленностью вышелъ изъ хутора. Въ тотъ же день къ вечеру онъ совсѣмъ уѣхалъ изъ села. Но, прежде чѣмъ уѣхать навсегда, онъ, выѣхавъ за околицу, свернулъ на кладбище и тамъ оставался съ полчаса. Желаніе Натальи сбылось: несчастный стоялъ на ея могилѣ. Не сбылась только ея надежда на его любовь. Онъ стоялъ у свѣжей кучи глины и тупо на нее смотрѣлъ. И не плакалъ, и не любилъ, да едва-ли послѣ всего и въ будущемъ могъ любить кого-нибудь. Для любви все же нужна свѣжая сила, а онъ сталъ развалиной.

Черезъ нѣсколько дней и Грубовъ собрался. Къ нему приходили прощаться всѣ его знакомые мужики и бабы, и всѣ просили у него что-нибудь на память. Онъ роздалъ, что у него было, но это привело его въ сквернѣйшее настроеніе. Правда, корыстные взоры мужиковъ и бабъ были мелки и вавны: такъ, замѣтивъ коробку изъ-подъ килекъ, одинъ жадный мужиченко съ конфузомъ попросилъ:

— Ужь ты мнѣ благослови штуку-то эту...

Но и эта мелкая жадность раздражала.

— Возьми, возьми!—говорилъ Грубовъ торопливо.

Въ особенности наглы были бабы. Всякую дрянъ, которой у него много накопилось, онъ осматривали и выпрашивали. Это, наконецъ, такъ ему опротивѣло, что онъ съ раздраженіемъ сказалъ:

— Вотъ что, бабы. Теперь мнѣ некогда, а когда я уѣду, можете тутъ брать все, что найдется! А благословлять васъ я больше не стану,—ну васъ совсѣмъ!

Отъ этого окрика всѣ посторонніе ушли. Остались только Еремъ, Лукашка да домашніе Антона Петровича, пришелъ еще и Алексѣй Семенычъ. Эти ничего не просили. Но Грубовъ чувствовалъ, что именно они отъ души прощаются съ

нимъ и жалѣють его. И они долго будутъ помнить, какъ онъ былъ простъ съ ними и какіе чудесные вечера они проводили у него въ продолженіе всей зимы.

Съ Алексѣемъ Семенычемъ Грубовъ очень взволнованно прощался. Странное впечатлѣніе производилъ на него этотъ „божественный“ человѣкъ теперь. Онъ съ непріятнымъ изумленіемъ смотрѣлъ на то спокойствіе, съ какимъ старикъ относился къ смерти дочери.

— Что дѣлать, воля Божія! — говорилъ нѣсколько разъ Алексѣй Семенычъ.

Это было не равнодушіе, а вѣра. „Къ будущей жизни воля Божія всѣхъ призоветъ, и злыхъ, и добрыхъ; злые понесутъ муку, добрые возрадуются... Но ежели который грѣшилъ, но раскаялся, и тотъ будетъ взысканъ“. Положительно непріятно было Грубову разговаривать съ этимъ Алексѣемъ Семенычемъ, — слишкомъ ужъ онъ неуязвимъ онъ такъ же покойно, вѣроятно, будетъ хоронить и всѣхъ кого онъ любилъ, такъ же самъ будетъ умирать, такъ же и прощается теперь съ уѣзжающимъ навсегда человѣкомъ.

Былъ теплый апрѣльскій вечеръ, когда Грубовъ въ сопровожденіи Неразова выѣзжалъ изъ Бора. За селомъ они слыли; Ефремъ поѣхалъ шагомъ, а они пошли пѣшкомъ вслѣдъ за телѣгой. Кое-гдѣ показывалась уже травка; сосны покрылись густою зеленою краской; лиственные деревья побурѣли отъ множества почекъ. Въ воздухѣ то и дѣло слыстомъ перелетали утки, въ кустахъ слышалось пѣніе какихъ-то птичекъ. Воздухъ былъ влажный, мягкій, разнѣ живающій.

Но товарищи шли молча, съ нахмуренными лицами, и не глядѣли ни на что окружающее. Неразовъ предложилъ въпросъ, гдѣ поселится Грубовъ и что намѣренъ дѣлать, и тотъ только пожалъ плечами, какъ бы говоря: „да не все ли равно гдѣ?“ Неразовъ нѣсколько разъ собирался попросить товарища писать, но почему-то не рѣшался. Наконецъ взволнованный и затосковавшій, онъ вдругъ вскричалъ:

— Боже мой, да неужели все кончилось?!

— Нечему было и продолжаться-то, — возразилъ серьезно Грубовъ.

— Но почему все это кончилось такъ? Почему такъ всегда?

— Какъ тебѣ сказать?... Всякое дѣло требуетъ двухъ условій: надо любить это дѣло и уважать людей, которые взялись за него, — взаимно уважать...

— Я же любилъ, — наивно возразилъ Неразовъ.

Грубовъ съ улыбкой и симпатіей взглянулъ на него.

— Ты-то, пожалуй, любилъ, но я... мнѣ съ самаго начала былъ противенъ этотъ монастырь... Признаюсь, я вообще не понимаю, что значить спасать свою душу. Спокойствіе — рѣшительно не мое дѣло. Счастливое довольство — не моя обязанность... Ну, да это теперь дѣло прошлое, перестанемъ о немъ говорить.

На лицѣ Грубова показалась обычная насмѣшливость. Неразовъ смущенно улыбался. Онъ хотѣлъ продолжать разговоръ, возражать, но, взглянувъ на лицо товарища, оставилъ это намѣреніе. Да и некогда уже было. Незамѣтно надвинулись сумерки. Сырой холодъ сталъ подниматься съ земли. Товарищи простились и разошлись. Когда телѣга, въ которой ѣхалъ Грубовъ, скрылась въ туманныхъ сумеркахъ, Неразовъ почувствовалъ вдругъ такую тоску, что почти бѣгомъ бросился назадъ къ селу. Неступившее послѣ отъѣзда товарища круглое сиротство было выше его силъ.

Вотъ для кого поистинѣ нужна была колонія! Неразовъ всю душой привязался къ ней, какъ къ неизбежному и вѣчному дѣлу. Всю жизнь онъ провелъ въ поискахъ мѣста, куда бы онъ могъ пристроить свое сердце и свои пестрыя, разбитыя мысли, но какъ-то до сихъ поръ не нашелъ ни мѣста, которое бы приняло его, ни людей, которые бы обласкали его и привязали къ себѣ. И вотъ въ товариществѣ онъ было пристроился, такъ прочно пристроился душой, что до послѣдней минуты представить себѣ не могъ, что колонія давно уже перестала существовать. Это онъ понялъ только тогда, когда телѣга съ Грубовымъ исчезла въ ночномъ туманѣ.

На хуторъ онъ не пошелъ, — безъ ужаса онъ не могъ представить себѣ, что еще одну ночь проведетъ тамъ одинъ. Онъ зашелъ къ Алексѣю Семенычу и ночевалъ у него. А на другой день его озарила счастливая мысль — продать свой противный хуторъ Антону Петровичу. Послѣ недолгихъ переговоровъ, во время которыхъ Антонъ Петровичъ сплелъ цѣмью сѣть петель, чтобы ловчѣе ухватить давно желанный

кусокъ, дѣло было слажено. Антонъ Петровичъ половину платилъ наличными, половину векселемъ. Общая продажная сумма была на одну треть меньше дѣйствительной стоимости. Но Неразовъ былъ радъ, что развязался съ опустѣвшимъ хуторомъ, да еще получилъ деньги.

Антонъ Петровичъ также нѣсколько былъ радъ сдѣлать, хотя до самаго отъѣзда Неразова скрывалъ свою радость очень натурально подражая бѣдному человѣку, который черезъ свою простоту много терпитъ убытковъ; Неразовъ даже пожалѣлъ великодушнаго старика, въ ущербъ себѣ купившаго его хуторъ. Но когда онъ уѣхалъ, Антонъ Петровичъ не могъ долѣе удерживать свои чувства; онъ тотчасъ и побѣжалъ на хуторъ и любовно осматривалъ каждый уголокъ.

Черезъ недѣлю онъ уже тамъ дѣятельно строился. Для этого надо было прежде снести ветхое зданіе. Нанятые плотники принялись-было за его разборку, зацѣпили наверху и стали обдирать съ него крышу. Но потомъ остановились.

— Антонъ Петровичъ!—сказали они,—да стоитъ-ли разбирать эдакую гнилушку? Взять бы прямо зацѣпить ее баграми, да и повалить, а ужъ апосля и поглядѣть, что к чему...

Чтобы не терять даромъ цѣлаго дня на разборку, Антонъ Петровичъ согласился.

Принесли два багра, зацѣпили ими съ двухъ сторонъ стены и съ веселыми уханьями стали раскачивать, наконецъ достаточно раскачавъ, съ ревомъ ухнули въ послѣдній разъ и домъ повалился, превратившись въ безобразную кучу голыхъ бревенъ, сору и пыли.

УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ.

I.

Отецъ Дениса, Петръ Чехловъ, былъ настоящій, коренной русскій купецъ, въ которомъ безпрестанно чередовались чувства грѣха и блудливости, страхъ передъ Богомъ и непреодолимое влеченіе къ озорству.

Жизнь его проходила среди торговыхъ плутней и купеческаго вѣроломства,—тѣмъ онъ и нажился, ставши богатымъ лѣсопромышленникомъ; но, въ то же время, душа его въ нѣкоторые моменты полна была раскаянія за все содѣянное, а воображеніе безпрестанно рисовало ему ужасы ада. И всѣ эти чувства выражались въ немъ неукротимо, какъ у здорового дикаря. Мужчина онъ былъ огромный, съ краснымъ лицомъ, съ желѣзными нервами; крови въ немъ текло столько, что ея вполне достаточно было бы для двухъ десятковъ департаментскихъ чиновниковъ. Когда онъ шагаль по полу, тряслась мебель, дребезжала посуда въ шкафахъ и гнулся полъ; когда онъ снималъ съ себя верхнее платье и оставался въ одной рубахѣ-косовороткѣ, то она, казалось, вотъ сейчасъ треснетъ на его гигантскомъ тѣлѣ, какъ папиросная бумага. Говорилъ-ли онъ, смѣялся-ли, ѣлъ или спалъ,—все это сопровождалось необычайными звуками. Завалившись послѣ обѣда спать, онъ оглашалъ домъ храпомъ и свистомъ, какой издастъ паровикъ, когда выпускаетъ отработавшій паръ. Когда онъ просыпался и просилъ квасу, голосъ его походилъ на рычаніе льва. Отъ времени до времени онъ приглашалъ ездѣшера и „пускалъ кровь“,—безъ этого ему и жить было

бы нельзя. Но, однако, и послѣ кровопусканія здоровья едѣвать было некуда. Зимой, бывало, напарившись въ баню до совершенной одури, онъ выбѣгалъ прямо на воздухъ катался по снѣгу, и снѣгъ таялъ вокругъ него, какъ отъ раскаленной желѣзной печки. Въ молодые годы онъ неоднократно, въ день Крещенія, прыгалъ въ проруби, не изъ лигіознаго рвенія, а ради торжества. Изъ этого можно сосчитать, въ какой мѣрѣ выражались его чувства.

Ежегодно онъ ѣздилъ въ Нижній на ярмарку и ежегодно устраивалъ тамъ генеральный дебошъ. Играла музыка, пели ночныя бабочки, лилось рѣдкой вино. Но дальше происходило, онъ уже обыкновенно не помнилъ. Только утром, проснувшись, съ рычаньемъ, выходившимъ откуда-изъ глубины утробы, онъ припоминалъ вчерашнее и сразу становился тихимъ и робкимъ.

— Василий!—тихо звалъ онъ слугу.

Василій просовывалъ голову въ номеръ, а Петръ Чехловъ сконфуженно смотрѣлъ на него.

— Никакъ я вчерась напугалъ тутъ васъ?

— Да, ужъ было дѣло, Петръ Ивановичъ... Очень разгорячились,—говорилъ слуга и съ укоризной смотрѣлъ гиганта.

— Переложилъ малость... Ну, да ладно, давай счетъ робко, почти шепотомъ говорилъ Чехловъ.

— Счетъ готовъ, извольте!

Слуга при этомъ вынималъ изъ бокового кармана свертъ длинный листъ и, попрежнему, съ укоромъ смотрѣлъ. Петръ Чехловъ глядѣлъ на итогъ, въ которомъ красовались цифры 1,300 рублей.

— Что ужъ это больно много!—возразилъ онъ, но робко и не поднимая глазъ.

— Помилуйте, Петръ Ивановичъ, даже еще мало-съ. Извольте сами припомнить: выловили все до чиста рыбу и акварія и велѣли сварить, а самый акварій расшибли... ры...

Петръ Чехловъ со стыдомъ припомнилъ, что это действительно такъ и было.

— А послѣ того вы стали швырять бутылки въ канделябры и всѣ шесть лампъ съ пузырями окончательно перебили... и...

Петръ Чехловъ смутно припомнилъ, что и это было, крикнулъ.

— Впослѣдствіи времени, когда вы провожали барышень съ гѣстницы, перилы разломали... три?

— Перицы? Перицы-то зачѣмъ?—изумился самъ Чехловъ.

— Да Богъ васъ знаетъ!

— Да ты не врешь-ли, братъ? Чтой-то ужъ больно мудрено чугунныя перилы расшибить,—пытался возражать Петръ Чехловъ, но слуга сурово взглянулъ на него.

— Не вѣрите? А вы идите, да сами и поглядите, коли я жу! Были перилы и нѣту ихъ теперь!

И, говоря это, слуга съ сердитымъ укоромъ смотрѣлъ на Петра Ивановича, а онъ сконфуженно смотрѣлъ на свои, еще лебучья ноги.

— Ну, ужъ ладно. Плачу.

— То-то и есть... А вы говорите: врешь! Кабы вы сами изволили сообразить, что вы вчерась...

— Да ужъ ладно, ладно!

— Апосля того занавѣси изгадили соусомъ изъ-подъ карася.

— Ну, будетъ, будетъ! Чего раскудахтался? Говорю, плачу. На, получай!

При этихъ словахъ Петръ Чехловъ торопливо отсчитывалъ требуемую сумму съ надлежащею прибавкой слугѣ на чай и спѣшилъ выбраться изъ гостинницы. На лицѣ его выражались стыдъ и испугъ. Онъ радъ былъ, что деньгами развязался съ скандаломъ, но и послѣ расплаты за дебошъ долго не могъ успокоиться. Срамно было на душѣ; изъ глубины утробы отъ времени до времени выходили стонъ и рычанье.

— Э-эхъ!—рычалъ онъ, вспоминая, какъ валилъ перила.

Это-то ощущение срамоты и вызывало въ немъ другія, противоположныя чувства.

По нѣскольку разъ въ году бывали такіе дни.

Съ утра Петръ Чехловъ вставалъ какой-то тихій и грустный. Но всѣ домашніе уже знали, что на него нашло „божественное“, Бога вспомнилъ. Дѣйствительно, не притрогиваясь къ чаю, онъ вдругъ говорилъ, ни къ кому не обращаясь:

— Иконы надо подымать!

Изъ домашнихъ никто, конечно, не возражалъ ему.

— Порѣшилъ я нынче молебень съ водосвятиемъ... Прикажете, что тутъ нужно, а я пойду подымать.

Въ домѣ тотчасъ начиналась суета, чистка, мытье. Петръ Чехловъ шелъ за священниками въ церковь. Когда въ церкви

все было готово, онъ съ нѣкоторыми изъ домашнихъ поднималъ иконы и несъ ихъ по улицамъ. Самъ онъ благоговѣйно держалъ образъ Божіей Матери. На лицѣ его было смиреніе и мольба; въ голосѣ его, вчера еще охришемъ отъ лая божбы, теперь слышалось умиленіе. Этотъ гигантъ, вчератою разбойничавшій на лѣсной пристани, сегодня съ любовью и мольбой смотрѣлъ на ликъ Богоматери и дрожащимъ голосомъ пѣлъ: „Заступница усердная!“ Чудовище, недавно съ разбивавшее трактиры, гроза приказчиковъ, злой отецъ, жестокій мужъ, въ собственномъ домѣ стоялъ на колѣняхъ и передъ образомъ и со слезами на глазахъ умолялъ о прощеніи. Во все продолженіе молебна онъ вглядывался въ ликъ „Матери Бога Вышняго“, какъ бы стараясь въ Ея взорѣ уловить тѣ прощенія себѣ, окаянному. И къ концу молебна онъ чувствовалъ, осязательно видѣлъ, что кроткіе, прекрасные глаза и ласкливо обращены на него и прощаютъ мерзкія его дѣла. Весь сіяющій, съ непокрытою головою, онъ несъ тогда образъ обратно въ церковь, раздавалъ милостыню всѣмъ нищимъ и убогимъ, тысячи жертвовалъ на богоугодныя дѣла и самъ становился мягокъ и добръ даже съ домашними. Дѣтей ласкалъ какъ умѣлъ, приказчиковъ и дворню отпускалъ гулять, какъ не называлъ „чортовой перечницей“. И даже нѣсколько спустя послѣ этого онъ чувствовалъ на себѣ кроткіе взоры чуднаго образа, и сердце его было полно смиренія.

Но проходило время, жизнь шла своимъ чередомъ и Петръ Чехловъ становился прежнимъ. Такъ и шла колесомъ его жизнь: сначала озорство по базарамъ и ярмаркамъ, потомъ ощущеніе срама; вслѣдъ затѣмъ разбой на лѣсномъ дворѣ, ужасъ передъ Богомъ, Котораго онъ представлялъ не иначе какъ въ видѣ безконечно огромнаго и грознаго Чехлова.

Дѣтскія впечатлѣнія Дениса всѣ сосредоточивались на отцѣ. Крупная фигура отца все заслоняла. Съ самаго ранняго детства всѣ самыя сильныя чувства вызывалъ въ немъ отецъ. Иначе не могло и быть. Петръ Чехловъ и самъ по себѣ былъ крупнымъ лицомъ, а по сравненію съ домашними особенно выдѣлялся; при этомъ весь строй большаго дома сосредоточивался на немъ. Отецъ одинъ жилъ, а прочіе только помогали ему жить. Два старшіе брата Дениса были приказчиками отца; мать являлась лишь безмолвною исполнительницей воли хозяина. Такимъ образомъ, отецъ положилъ неизгладимыя

сидѣлъ на душу Дениса и, самъ не зная того, сталъ безпо-
щаднымъ воспитателемъ его.

Тѣмъ болѣе, что мальчикъ и наружностью вышелъ въ
отца; тѣ же некрасивыя, но крупныя черты лица, та же
большая голова, то же желѣзное здоровье. Только ростомъ
Денисъ не вышелъ; большая голова его съ широкимъ ли-
цомъ сидѣла на низкомъ туловищѣ, которое поддерживалось
толстыми, короткими ногами. За это школьники прозвали
его „полѣномъ дровъ“. Но, получивъ много чертъ отъ отца,
какъ себялюбіе, крутое сердце, способность къ рѣзкимъ
реакціямъ, онъ много имѣлъ и своего. Такъ, Петръ Чехловъ
былъ человѣкъ общительный, любившій толпу и базаръ, а
Денисъ съ ранняго дѣтства поражалъ сосредоточенностью
и склонностью къ одиночеству.

Эти черты современемъ еще болѣе въ немъ усилились.
Въ семьѣ онъ занялъ исключительное положеніе. Дѣло въ
томъ, что изъ всѣхъ троихъ сыновей онъ одинъ былъ от-
данъ въ гимназію. Явилось-ли это вслѣдствіе обычнаго само-
дурства отца, или у послѣдняго съ Денисомъ связанъ былъ
какой-нибудь особенный расчетъ, только онъ непременно
хотѣлъ сдѣлать изъ него „ученаго“, какъ онъ называлъ
всѣхъ людей, которые знаютъ нѣсколько больше грамоты.
Два старшіе брата неотлучно находились при лѣсной тор-
говлѣ, а Денисъ отданъ былъ въ гимназію. „Пушай будетъ
хоторомъ или мировымъ судьей“,—говорилъ отецъ.

— Но ежели только ты, бестія эдакая, забудешь Бога и
крестъ перестанешь носить, шкуру съ тебя спущу!—добав-
лялъ онъ подъ пьяную руку, подзывая къ себѣ Дениса.

Такимъ образомъ, одиночество, съ поступленіемъ въ гим-
назію, стало неизбѣжно для Дениса. Еще до школы онъ
предпочиталъ играть одинъ. Присутствіе дѣтей его возраста
раздражало его; очень смирный вообще, онъ тогда стано-
вился злымъ, драчливымъ и буйнымъ. Съ поступленіемъ же
въ гимназію, онъ и отъ домашнихъ своихъ отдѣлился. Что у
него осталось общаго съ ними? Отецъ едва умѣлъ нацара-
пать счетъ, сколько кому „атпущина бревинъ“, а онъ уже
съ перваго класса заучивалъ какія-то мудренныя слова, кото-
рыя дико звучали подъ сводами купеческаго дома. пригото-
влявъ уроки, онъ угрюмо слонялся по этимъ комнатамъ и не
зналъ, куда себя дѣтъ. Чаше всего онъ забивался въ такой

уголъ дома, куда рѣдко ступала человѣческая нога, и безконечно долго о чемъ-то думалъ. И сколько одному мальчику пришлось передумать наединѣ съ собой! Душа, оставленная въ одиночествѣ, дѣлается глубокой, но узкой; мыслородившаяся въ пустынь и не встрѣтившая другой мысли вырастаетъ оригинальною, но некрасивою, какъ безобразны колючій кактусъ; сердце, оторванное отъ другихъ сердецъ каменѣетъ. Жизнь мальчика все болѣе и болѣе обособилась отъ другихъ жизней и душевное развитіе его все рѣзче видѣлось и переходило на особый путь.

Онъ сталъ исключительно наблюдателемъ всего окружающаго, а не участникомъ его. Отсюда его необыкновенно высокое мнѣніе о себѣ и сознаніе ничтожества всѣхъ, коимъ онъ видѣлъ. Наблюденія его были тонкія, слишкомъ тонкія для дѣтскаго возраста. Въ школѣ онъ не находилъ товарища, съ которымъ ему пріятно было бы вести дружескія сношенія; ласки онъ холодно отклонялъ. Школьники, въ свою очередь, платили ему жестокими насмѣшками. „Чегомъ полѣно дровъ!“—дразнили его безпрестанно и развивали эту кличку съ жестокимъ остроуміемъ мальчишекъ. Денисъ отъ этого устроумія становился еще холоднѣе къ товарищамъ.

Иногда онъ находилъ временныхъ друзей, благодаря подаркамъ въ видѣ карандашей или булокъ, которые онъ могъ покупать съ излишкомъ. Но дѣтская наблюдательность его очень скоро отравила его дружбу. Онъ замѣтилъ, что когда у него были булки, у него были друзья, а когда не было булокъ, и друзей не было. Изощренная наблюдательность его, конечно, не останавливалась на одномъ этомъ фактѣ, а распространялась на все, что онъ видѣлъ; умъ же его, работавшій одиноко, дѣлалъ соответствующіе выводы: дурные выводы о дурныхъ сторонахъ людей... Обыкновенно принято называть тонкимъ наблюдателемъ того человѣка, который способенъ подмѣчать самыя незначительныя дурныя черты другого человѣка; было бы, конечно, справедливѣе считать тонкимъ наблюдателемъ того, кто умѣетъ открыть въ самомъ дурномъ человѣкѣ крупицу чести и добра. Вся мысль маленькаго Дениса была направлена на перваго рода наблюденія, потому что онъ росъ одиноко, безъ капризовъ любви и участія съ чьей-нибудь стороны.

Кто еще могъ бы его любить? И кого онъ любилъ бы?

Отца—ни въ какомъ случаѣ. Петръ Чехловъ былъ дѣсопромышленникомъ, купцомъ, отцомъ, хозяиномъ, но другомъ дѣтей—никогда. Денисъ его или боялся, когда онъ былъ юна, или забывалъ, когда тотъ уѣзжалъ. Единственные случаи, когда мальчикъ могъ вести бесѣды съ отцомъ, падали на тѣ часы, когда послѣднй былъ пьянъ,—не до чортиковъ пьянъ, потому что пьяный до чортиковъ отецъ все грошилъ и громилъ въ домѣ, а такъ, на-веселѣ. Денисъ тогда много говорилъ съ отцомъ, хотя не переставалъ наблюдать за нимъ, чтобы при первомъ подозрительномъ движеніи его дать тягу.

Иногда у Дениса являлась потребность приласкаться къ отцу, и онъ подходилъ, и ласкался, но черезъ короткое время съ грустью уходилъ прочь. На его ласки мать отвѣчала: „Ты, можетъ, хочешь вареньица вишневаго? А то погушай, я тебя дамъ, пирожка съ вязигой“... Несчастливая женщина вѣчно чувствовала ужасъ жизни и, кромѣ ужаса, ничего не понимала, развѣ вотъ только жажду, да голодъ, да сонъ. Въ испуганномъ сердцѣ ея не было мѣста любви.

А у мальчика была страшная потребность въ этой любви. Часто на него находило такое состояніе, что онъ вдругъ начиналъ плакать безъ всякой причины, наединѣ съ собой. Никто его передъ тѣмъ не обидѣлъ, ничего не случилось, а онъ истерически рыдалъ. Нарыдавшись вдоволь, онъ нѣсколько дней ходилъ веселѣе, но потомъ его сердце опять начинало болѣть отъ невѣдомой тоски. Разъ въ такомъ состояніи онъ сталъ молиться и сразу почувствовалъ радость и восторгъ, какихъ онъ никогда не зналъ. Съ этого дня онъ часто сталъ молиться. Онъ уходилъ въ необитаемую комнату, гдѣ никто не заглядывалъ, становился на колѣни передъ икѣи забытою, запыленною иконою, на которой не видать было изображенія, и, обливаясь слезами, молился ей. О чемъ онъ плакалъ и почему молился, онъ въ первое время не зналъ. Онъ только чувствовалъ, что когда постоятъ на пыльномъ полу полутемной комнаты, изъ оконъ которой видѣлся только безлюдный дровяной дворъ, поплачетъ и помолится, тоска его проходитъ и онъ испытываетъ такое восторженное счастье, какого ни отъ чего другого онъ не испытывалъ.

Этотъ секретъ никому невѣдомаго счастья онъ открылъ,

когда ему было одиннадцать лѣтъ. И долго онъ пользовался имъ, скрывая его отъ всѣхъ. Онъ молился вмѣстѣ съ другими передъ обѣдомъ и послѣ обѣда, въ церкви и на молебахъ, но холодно и равнодушно. Наблюдая за другими, онъ видѣлъ, что и они въ это время молятся лѣнливо, и не только лѣнливо, во прямо-таки недобросовѣстно. Такъ, онъ подмечалъ, что многіе во время молитвы зѣваютъ до слезъ, прикрывая ротъ рукой, другіе вкдюютъ носомъ и если окончательно не дремлютъ, то только потому, что дьячокъ вдругъ иногда рѣзко закричитъ... А онъ зналъ секретъ чудной молитвы. И когда онъ наблюдалъ недобросовѣстность людей, вспоминалъ свой секретъ, сердце его наполнялось вдругъ гордою радостью. Онъ былъ убѣжденъ, что одинъ знаетъ тайну молитвы въ полутемной комнатѣ съ пыльнымъ поломъ передъ темнымъ образомъ, на которомъ неизвѣстно что было изображено.

Но пришла пора, когда и эта радость была отнята у него. Вѣрнѣе, онъ самъ у себя отнялъ ее. Это случилось благодаря все той же недѣтской наблюдательности. Каждый шагъ свой онъ обдумывалъ, каждую мысль свою разлагалъ, а затѣмъ наблюдалъ, какъ дѣлаютъ то же самое другіе люди и какъ они думаютъ о той же вещи... Задумавшись о своемъ секретѣ. Зачѣмъ онъ молится?—разъ спросилъ онъ себя, когда послѣ молитвы не почувствовалъ прежняго счастья. Сначала онъ ничего не могъ отвѣтить себѣ, и самый этотъ вопросъ заставилъ тоскливо сжаться его маленькое сердце. А много подумавъ надъ этимъ, онъ замечалъ въ себѣ много новыхъ вещей. Прежде всего, онъ увидѣлъ, что молится не для Бога, а для себя; когда онъ молится, то непременно что-нибудь просить или благодарить за что-нибудь выпрошенное. А развѣ это не гадко?... В первомъ классѣ гимназіи онъ былъ одинъ изъ первыхъ учениковъ; только одинъ предметъ не давался ему—математика. Онъ былъ такъ тупъ въ математикѣ, что даже „камчадалы“ смѣялись надъ нимъ; учитель же, зная, что по другимъ предметамъ онъ учится въ первомъ ряду, усиленно надавалъ на него, пыталъ, мучилъ. „Чехловъ! вы опять урокъ не приготовили?“—чуть не каждый день говорилъ онъ. Чехловъ урокъ готовилъ, но не зналъ и вралъ. „За лѣность опять вамъ ставлю единицу. Садитесь!“—говорилъ учитель

А сзади мальчуганы обыкновенно шептали риэмы: „Чехловъ! погѣно дровъ! Садись и не лѣнись!“ Въ классѣ эта сцена обратилась въ привычку. Денисъ, обидчивый и самолюбивый, несказанно мучался. Наконецъ, измученный и оскорбленный, онъ однажды со слезами обратился за помощью къ Богу, знакомъ котораго была черная, безъ яснаго образа икона въ пустой комнатѣ. Обливаясь обидными, измученными слезами, онъ молился о томъ, чтобы Богъ далъ ему способности къ ариметикѣ и чтобы его не мучилъ учитель и мальчишки. И на другой день учитель, дѣйствительно, въ первый разъ не издѣвался надъ нимъ и поставилъ ему четверку. Съ этого дня Денисъ каждый разъ наканунѣ урока ариметики молился, приче́мъ скромно просилъ себѣ хоть тройки. Потомъ онъ сталъ просить и другихъ вещей.

И вотъ теперь ему стало гадко отъ этого. Онъ думалъ и видѣлъ, что онъ любилъ не Бога, а себя, и молился не изъ любви къ Нему, а ради своей выгоды. Мучимый этими мыслями, онъ сталъ пытливо наблюдать за другими и убѣдился, что всѣ дѣлають то же. Однажды онъ обратился за разъясненіемъ къ отцу.

Это было послѣ одного обѣда. Въ разсѣянности Денисъ забылъ помолиться на образа по окончаніи обѣда. Отецъ тотчасъ замѣтилъ и сказалъ:

— Эй, ты! емназистъ! что морду-то не перекрестишь?

Мальчикъ вздрогнулъ и сталъ креститься. Потомъ, когда отецъ остался одинъ, онъ подошелъ къ нему и, пытливо глядя на него, сказалъ:

— Я всегда молюсь, тятенька... Только не знаю, какъ молиться...

— Учи молитвы, коли не знаешь!—отвѣтилъ отецъ.

— А своими словами можно?

— И своими можно. А по книжкѣ на что же лучше! Лучше, какъ сказано въ молитвенникѣ, ничего, братъ, не думаешь,—возразилъ отецъ и широко зѣвнулъ.

— А нельзя такъ, чтобы любить Бога, но не молиться?

— Это какъ же такъ? Какъ же ты, дуракъ, не крестимши лаба, Бога будешь любить?—крикнулъ отецъ строго.

— Тятенька, ты не бранись... Я только хочу спросить, зачѣмъ молятся Богу?... Не бранись, тятенька! — ска-

залъ со слезами на глазахъ Денисъ, но съ прежнею пытливостью.

— Какъ же ты этого не знаешь? — мягче заговорилъ отецъ. — Богъ все далъ, Онъ же, по Своей волѣ, можетъ и взять все. По Его святой волѣ ты питаешься, одѣваешься. Онъ же можетъ и отнять у тебя хлѣбъ насущный. По Его волѣ ты родился, по Его же волѣ и волосъ съ головы твоей не упадетъ, — говорилъ отецъ догматически.

— Поэтому и молятся? Чтобы Онъ далъ хлѣбъ и все? — спросилъ Денисъ.

— Ни почему другому. И ежели Онъ далъ, то благодаритъ за милосердіе Его.

— И бояться поэтому же?

— И бояться.

— А если не бояться? — пытливо спросилъ Денисъ.

— А не будешь бояться, такъ ты, мерзавецъ, угодишь въ адъ! — сказалъ мрачно отецъ.

— Значить, молиться надо, чтобы Богъ далъ хлѣбъ и чтобы не быть въ аду?

— Молиться надо за все и на всякомъ мѣстѣ, — сказалъ отецъ и опять широко зѣвнулъ.

— Молиться — это значить просить что-нибудь? — продолжалъ допрашивать мальчикъ.

— Завсегда проси, — отвѣчалъ отецъ.

— Для себя?

— Не для одного себя. Молись за всѣхъ — и за отца, родителя твоего, и за мать, родительницу, и за братцевъ.

— Чтобы и вы не были въ аду?

— Ну, братъ, довольно глупъ ты еще для такихъ разговоровъ! Иди-ка лучше, по-добру, по-здорову, пока въ затылокъ тебѣ не влетѣло! И мнѣ надо отдохнуть малость! — сказалъ отецъ, прервавъ бесѣду, и зѣвнулъ такъ, что затрепетали окна.

Денисъ угрюмо пошелъ прочь. Этотъ разговоръ не только не разрѣшилъ его сомнѣній, но еще болѣе смутилъ его. Онъ наблюдалъ за всѣми окружающими и убѣждался, что они не любятъ Бога и молятся только потому, что нуждаются въ чемъ-нибудь. Объ отцѣ онъ ничего не думалъ. Но мать онъ наблюдалъ и видѣлъ, что иногда, когда отецъ приходилъ пьяный и начиналъ буянить, она съ ужасомъ стояла

на кофѣяхъ передъ иконою и молится, чтобы тятенька ее не побилъ. Старая нянька разъ молилась передъ иконою, потому что разбила глиняный тазъ, и просила, чтобы ма-маша не ругала ее. Старый приказчикъ однажды сказалъ ему, что купилъ нечаянно гнилой лѣсъ, и молилъ Бога, чтобы какъ-нибудь сбыть его съ рукъ; нарочно свѣчку поставилъ, чтобы сбыть его по хорошей цѣнѣ. И увѣренъ былъ, что Богъ поможетъ ему продать его.

— Ты гадкій!—закричалъ ему со злобой Денисъ и не хотѣлъ больше говорить съ нимъ.

Тяжкое сомнѣніе это сопровождало душу Дениса во весь отроческій возрастъ. Онъ продолжалъ въ извѣстные часы уходить въ таинственную комнату съ черною иконою и молится, попрежнему, горячо, со слезами. Но восторженной радости уже не было, потому что не было простоты. Онъ сталъ молиться не сердцемъ, а умомъ. Умъ разложилъ и эту тайну на мелкія части. Во время молитвы онъ наблюдалъ за собой, и не молился, а изучалъ, какъ надо молиться. Когда въ молитву вкрадывалась какая-нибудь просьба, онъ тотчасъ ловилъ себя на мѣстѣ преступленія, уличалъ и тутъ же просилъ Бога, чтобы Онъ простилъ его. Въ другое время онъ уличалъ себя, также на мѣстѣ преступленія, въ томъ, что слезы его нечестныя: ему совсѣмъ не хотѣлось плакать, а, между тѣмъ, онъ плакалъ, насильно выжимая воду изъ глазъ. И онъ принимался тутъ же молить о прощеніи этихъ нечестныхъ слезъ.

Въ концѣ-концовъ, ѣдкій умъ мальчика растравилъ эти счастливыя минуты. Онъ сталъ спрашивать себя, зачѣмъ онъ проситъ Бога простить ему? Значить, онъ боится наказанія? А если бы не было наказанія, то онъ и не просилъ бы прощенія? Значить, и молится не изъ любви къ Богу, а изъ страха? На молитвѣ ничего не надо просить; что бы ни просилъ, всегда просишь для себя, для своей выгоды. Если даже просить, чтобы Богъ сдѣлалъ добрымъ,—и это для себя.

Недюжинный умъ мальчика сталъ создавать сотни хитросплетеній, метафизически-тонкихъ и острыхъ, но въ концѣ растравляющихъ его простое религіозное чувство. Онъ улавливалъ безконечно малые моменты, изъ которыхъ состоитъ молитва его. Онъ, напримѣръ, наблюдалъ за своимъ шепотомъ.

томъ молитвенныхъ словъ; слѣдилъ, насколько ему лѣнь кланяться; видѣлъ, какъ ему непріятно пачкать руки объ пыль густо покрытый пылью; и обо всемъ этомъ тутъ же думалъ а потомъ тотчасъ же думалъ о томъ, что думалъ.

Немудрено, что первые юношескіе годы его ознаменовались какимъ-то жестокосердіемъ, которое всюду онъ сталъ проявлять. Прежде всего, онъ пересталъ молиться. Оборвалось это сразу. Однажды къ нему зашелъ товарищъ. Не найдя его въ комнатахъ, онъ спросилъ у матери, гдѣ его можно найти. Та не знала, гдѣ, но, между прочимъ, велѣла заглянуть въ ту комнату, которая служила для Дениса храмомъ.

— Онъ, можетъ, тамъ, погляди... Онъ любитъ тамъ сидѣть одинъ-одинешенекъ. Иной разъ часъ сидитъ, два сидитъ, а зачѣмъ—Богъ его знаетъ,—сказала мать.

Товарищъ пошелъ къ указанной комнатѣ, широко распахнулъ ея дверь и вдругъ въ полумракѣ замѣтилъ Дениса стоящимъ на коленяхъ и что-то шепчущимъ, съ рукой, поднятой на молитву. Онъ улыбнулся. А Денисъ вскочилъ, какъ ужаленный и весь красный. Ему такъ чего-то было стыдно что онъ потомъ никогда не могъ безъ краски въ лицѣ вспомнить объ этой минутѣ.

Вотъ съ этого дня онъ больше ужъ никогда не ходилъ въ таинственную комнату, гдѣ былъ его храмъ, и когда спустя некоторое время комнату эту обратили въ умывальную онъ не только не оскорбился этимъ кощунствомъ, но даже какъ будто, радъ былъ. И потомъ онъ не только не молился, но сталъ смѣяться и надъ тѣми, кто молился. Когда кто нибудь изъ товарищей въ церкви, куда ходили гимназисты принимался усердно креститься и кланяться, Денисъ съ злымъ торжествомъ издѣвался надъ нимъ. Ему даже стыдно было за того, кого онъ видѣлъ молящимся: онъ смотрѣлъ на такого и думалъ: и зачѣмъ онъ выказываетъ себя смѣлымъ?

Самъ Денисъ въ эти годы пуще всего боялся быть смѣлымъ. Во избѣжаніе этого, онъ сталъ самъ смѣяться. Раньше угрюмый и безотвѣтный, онъ теперь сдѣлался злымъ шутникомъ и убѣдился, что его начали бояться. Въ обществѣ онъ сталъ озорнымъ и драчливымъ, и изъ оскорбимаго превратился въ оскорбителя. Онъ убѣдился опытнымъ

путемъ, что всегда слѣдуетъ кулакъ держать наготовѣ, тогда будутъ уважать, и при первой надобности подставлять его къ носу оскорбителя, тогда будутъ любить. Занимался уроками онъ въ это время плохо, отличался неисправимостью. Впрочемъ, его переводили изъ класса въ классъ, ибо онъ никогда не отказывался отвѣчать урокъ, смѣло фантазируя свои отвѣты; каждый учитель, конечно, видѣлъ, что Чехловъ, вмѣсто отвѣта, храбро вретъ, но—такова сила смѣлости—ни одинъ изъ нихъ не рѣшался водружать ему югъ. Былъ, однако, одинъ предметъ, надъ которымъ въ это время Денисъ работалъ сознательно и съ увлеченіемъ, это—языкъ. Онъ сталъ читать много книгъ, какія только попадались, больше всего романы, и учился выражаться, какъ выражаются герои. Искусство говорить далось ему. Въ шестомъ классѣ онъ уже такъ красиво говорилъ, что изумлялъ не однихъ товарищей. Сначала это было книжное красноречіе, но подъ влияніемъ неумолкающаго ума языкъ его сталъ оригинальнымъ и гибкимъ, какъ вся его натура. Тѣмъ не менѣе, онъ пока не находилъ приложенія для своего искусства, а только щеголялъ имъ, самъ прислушиваясь къ словамъ своимъ. Во всемъ прочемъ онъ остался лѣнтяемъ и ко всякой книгѣ, за исключеніемъ необязательныхъ, питалъ непреодолимое отвращеніе.

Въ седьмомъ и восьмомъ классѣ онъ нерѣдко и въ классъ не являлся. Выходя утромъ изъ дома, онъ показывалъ всѣмъ видимость, что идетъ въ гимназію, но на самомъ дѣлѣ отправлялся шататься по городу. Посѣщалъ базары, слонялся въ уличной толпѣ или уходилъ на пристань рѣки и тамъ по цѣлымъ часамъ смотрѣлъ, какъ уходятъ и приходятъ пароходы, какъ ихъ грузятъ, какъ пассажиры сѣзжаются. Словомъ, въ эти два года онъ сталъ записнымъ повѣсой и только опытный наблюдатель могъ бы открыть въ немъ присутствіе недюжиннаго человѣка.

Аттестата зрѣлости онъ, разумѣется, не получилъ—провалился по всѣмъ предметамъ. Какъ это отразилось бы на его самолюбивой натурѣ при обыкновенныхъ условіяхъ—трудно сказать, но въ это время въ его жизни совершилось событіе, затушевавшее его неудачу. Въ тѣ дни, когда онъ держалъ экзамены, внезапно, отъ удара, умеръ его отецъ. Въ семьѣ поднялся переполохъ, въ которомъ про Дениса

всѣ забыли; такъ что когда онъ шелъ домой съ послѣднѣмъ экзамена, онъ зналъ, что дома никто не полюбопытствуетъ, какъ его дѣла. Мать ходила потерянною и не знала, плакать-ли ей о смерти „самого“, или радоваться; старшіе братья приводили въ извѣстность дѣла отца и спорили о наслѣдствѣ. Денисъ во всемъ этомъ просто чувствовалъ себя лишнимъ, окончательно забытымъ и предоставленнымъ самому себѣ.

Все это лѣто онъ провелъ на улицѣ, по увеселительнымъ мѣстамъ и рѣдко показывался домой. Онъ немного беспокоился насчетъ своей доли въ наслѣдствѣ, но ему лѣнь было спорить съ братьями, лѣнь и отчасти гадко. Поэтому онъ ни разу не справился у братьевъ, какъ они намѣрены съ нимъ поступить. Братья сами вспомнили о немъ я, въ виду его явной оторванности отъ всей семьи, предложили не медленно же выдѣлить его. Назначенная ему сумма была такъ заманчива, что онъ и не подумалъ спросить, дѣйствительно-ли это его доля. Онъ просто согласился на все. Деньги его положены были въ банкъ, а до совершеннолѣтія его мать назначили опекуной.

— И больше ты къ намъ не имѣй никакихъ касательствъ! — сказали ему послѣ того братья.

— Зачѣмъ же! — возразилъ презрительно Денисъ, не любившій своихъ братьевъ.

— Ну, то-то же!... Возьми — и больше ничего.

На этомъ Денисъ и покончилъ съ своею семьей, бывшее все время чужой для него, а послѣ смерти отца, который механическою силой держалъ ее вмѣстѣ, стала совсѣмъ тѣсной. Осенью онъ простился съ матерью и братьями и уѣхалъ въ одинъ изъ университетовъ, чтобы поступить вольнослушателемъ. Черезъ годъ онъ сдѣлался совершеннолѣтнимъ и окончательно освободился. Деньги онъ положилъ въ частный банкъ, гдѣ ему легче было имѣть текущій счетъ и гдѣ проценты были вдвое больше.

Въ университетѣ, однако, продолжалось его одиночество, хотя по внѣшности онъ не выдѣлялся изъ остальной молодежи. Занимался онъ такъ же плохо, какъ и въ гимназіи: не было предмета, который бы интересовалъ его. Наука была чужда складу его ума, и ея истины не казались ему

ни великими, ни любопытными. Лекціи онъ слушалъ съ величайшею скукой.

Внѣ ученической жизни онъ оставался повѣсой. На него въ это время напала страсть щегольства. Онъ тщательно подбиралъ фасоны и цвѣта платья, чтобы добиться гармоніи въ своей негармонической фигурѣ, но дальше текущей моды изобрѣтательность его здѣсь не пошла. Штаны онъ носилъ самые узкіе, сапоги востроносые; сиреневыя перчатки и трость съ собачьей мордой довершали его костюмъ. И скоро это ему показалось пошлымъ и смѣшнымъ. Думая объ этомъ, онъ убѣдился, что страсть украшать свою наружность всегда оканчивается пошлымъ подражаніемъ; одни желаютъ только одѣваться такъ, „какъ всѣ“, другіе стараются отличиться и превзойти всѣхъ великолѣпіемъ, но ни тѣмъ, ни другимъ никогда не удается выполнить свои желанія; первые всегда находятъ людей, туалетъ которыхъ лучше ихъ; вторые никогда не находятъ людей, которые одѣвались бы хуже ихъ. Однажды Чехловъ пылливо взглянулъ на себя въ зеркало и, къ ужасу своему, увидѣлъ, что онъ поразительно похожъ на всѣхъ и cadaго, что фигура его стала безличною и ничтожною.

Бѣстати сказать, въ это время онъ обдумалъ много тѣхъ мелочей, изъ которыхъ слагается жизнь, и открылъ множество пошлостей, незамѣтныхъ для обыкновенныхъ людей. При этомъ съ жизнью cadaго наблюдаемаго имъ чловѣка онъ поступалъ такъ, какъ ребенокъ обращается съ куклой, — стрывалъ съ головы приклеенные волосы, стиралъ пальцемъ нарисованные глаза, отламывалъ пришитые носъ и уши и самую кукольную голову, и въ основѣ всего этого находилъ безформенную и безобразную тряпицу, набитую соромъ. Въ основаніи каждой жизни онъ неизмѣнно открывалъ пошлую глупость или совершенную безсмыслицу.

Нѣсколько разъ онъ пробовалъ сойтись ближе съ товарищами-студентами и началъ было ходить на вечеринки и сходки. Но онъ не нашелъ для себя здѣсь ничего, чѣмъ бы можно было увлечься, что полюбить и чему отдать себя. Прежде всего, ядовитая мысль его отравила простоту юношескихъ отношеній и чувствъ, которыми одушевлялись товарищи; ни въ одномъ юношѣ онъ не замѣтилъ истинной жажды вѣры, — кровь бушуетъ, а разумъ молчитъ. И это еще лучшіе. Въ

большинствѣ же онъ открывалъ явную неискренность. Могли наблюдая, онъ старался угадать будущее каждаго: вотъ этотъ такъ горячо говорящій о братствѣ, завтра, навѣрное, предасть... а этотъ, съ такимъ гордымъ взглядомъ проповѣдующій о непримиреніи со зломъ, черезъ нѣкоторое время будетъ купленъ за копейку... а вотъ этотъ, глядящій такимъ наивными голубыми глазами, непременно будетъ прокуроромъ... Онъ смотрѣлъ на каждаго, думалъ и предсказывалъ кого какая ждетъ судьба въ будущемъ и по какимъ ямамъ разсядутся всѣ эти молодые, чистые, взволнованные.

Во-вторыхъ, Денисъ просто не понималъ, о чемъ, въ сущности, говорятъ. Еслибы кто-нибудь заговорилъ о себѣ и томъ, что лежитъ у него на душѣ, это было бы понятнымъ здѣсь думали и говорили обо всемъ, кромѣ себя самихъ. Денисъ, вѣчно занятый наблюденіями надъ глубиной собственной души, чувствовалъ себя чужимъ при разсужденіи о какомъ-то „народѣ“ (тогда какъ онъ думалъ только о чловѣкѣ), о какихъ-то „общественныхъ задачахъ“, — для него всѣ такія вещи казались не только далекими и невозможными, но онѣ просто не существовали для него. Вотъ еслибы изжить чловѣка, т.-е. себя, спуститься на дно своей души, посмотреть эти глубокія, подводныя тайны, это онъ понималъ бы и въ дѣлѣ такой огромной важности принялъ бы живое участіе. Здѣсь же ему скучно было и горячія юношескія рывки еще большій холодъ нагоняли на него. Онъ пересталъ ходить на вечеринки.

Среди этого холода прошла вся его юность. Онъ не находилъ, кого и что любить.

Въ этомъ возрастѣ люди увлекаются впервые любовью и женщинами, но онъ и здѣсь остался только въ роли сосредоточеннаго на себѣ наблюдателя. Ни одна женщина не могла увлечь его или, вѣрнѣе, его собственное самолюбіе не было удовлетворено ни одною изъ нихъ, а тѣ, съ которыми онъ знакомился, принадлежали къ подонкамъ „женскаго сословія“ изъ чего онъ вывелъ заключеніе, что, въ сущности, всѣ женщины одинаковы.

И къ чему только ни прикасался онъ, все оказывалось пустымъ или отвратительнымъ. Были минуты, когда онъ съ наслажденіемъ, въ мельчайшихъ подробностяхъ разрабатывалъ картину смерти. Самоубійство было несвойственно его кор-

настой, здоровой натурѣ; по всей вѣроятности, рука его никогда не поднялась бы на самоуничтоженіе, именно потому, что и эта мускулистая рука, и все это здоровое тѣло любили жизнь и отказались бы повиноваться душѣ. Тѣмъ не менѣе, умъ его съ мельчайшими подробностями изучалъ и наблюдалъ смерть,—это было вродѣ того эстетическаго наслажденія, которое испытываютъ многіе, наблюдая на сценѣ кровавыя убійства.

Въ такомъ-то состояніи застало его вѣяніе одного нравственнаго ученія. Онъ его принялъ съ величайшею поспѣшностью, какъ будто это было его собственное, имъ самимъ созданное. Удивительное впечатлѣніе произвело оно на него! Онъ почувствовалъ себя такъ же, какъ человѣкъ, который, въ темную, беззвѣздную ночь по незнакомому мѣсту и ощущая невольный ужасъ посреди этого мрака, вдругъ поднимаетъ изъ-подъ ногъ палку; повидимому, ничего не случилось—та же беззвѣздная ночь, то же незнакомое мѣсто, то же злобѣщее молчаніе кругомъ, а, между тѣмъ, сжимая въ рукѣ поднятую палку, человѣкъ чувствуетъ внезапный приливъ бодрости и сердце его перестаетъ дрожать невольнымъ ночнымъ ужасомъ. Усвоивъ ученіе, Чехловъ сразу почувствовалъ въ себѣ небывалое мужество, увѣренность и силу; самъ признавая себя до этой минуты повѣсой, никому ненужнымъ и ничего незнающимъ, онъ вдругъ успокоился и гордо осмотрѣлся кругомъ... Ученіе не явилось для него въ видѣ солнечнаго луча, освѣтившаго ночь, и не сдѣлало его умственно богаче; читая и обдумывая его, онъ не испытывалъ ни восторга, даваемого истиной, ни любви, доставляемой милымъ, дорогимъ предметомъ,—нѣтъ, онъ почувствовалъ въ себѣ только приливъ самоувѣренности и безстрашія передъ жизнью, которая была до сихъ поръ темна и холодна; такою она и послѣ того осталась у него, только теперь онъ запасся на всякій случай крѣпкимъ, внушительнымъ оружіемъ.

А любви, попрежнему, не знало его сердце.

II.

Съ полей только что сошелъ снѣгъ. Въ оврагѣ, рядомъ съ югомъ Хординыхъ, бушевала рѣчонка весеннимъ шумомъ. Отъ блѣднаго неба, по которому плыли бѣлесоватая тучи,

вѣяло холодомъ; солнце, казалось, смотрѣло куда-то мимо въ безпредѣльную даль, и только изрѣдка, нехотя, бросал равнодушные взгляды на землю. И земля лежала безцвѣтной и скучною. Повсюду на ней видѣлись только стрѣя краски голый лѣсъ безъ листьевъ, голыя поля съ бурой травой, рѣжѣ пашни,—все это сливалось въ одно безпредѣльно-хмуро пространство, въ которомъ взору не на чѣмъ остановиться.

Но Александра Яковлевна даже и въ такомъ видѣ любила природу. Когда мужъ и Буреевъ ушли съ собакой на охоту а по хозяйству сдѣланы были всѣ распоряженія, она одѣлась въ теплое пальто и вышла изъ дому. Не любила она только гулять по торнымъ дорогамъ; поэтому, минуя усадьбу и е окрестности, она прямо пошла по краю оврага, чтобы добраться до глухой, дикой мѣстности, прозванной „разбойничьимъ гнѣздомъ“.

Тамъ правильный лѣсъ со стройными деревьями, которыя тянулся вдоль всего оврага, вдругъ переходилъ въ невообразимую путаницу разнообразныхъ породъ, плотно переплетающихся и давившихъ другъ друга; оврагъ вдругъ развѣивался на нѣсколько глубокихъ и узкихъ корридоровъ, мѣстами причудливо изрытыхъ и голыхъ, мѣстами заросшихъ густою чащей лѣса; тамъ одни деревья поломаны были бурей, другія въ безпорядкѣ валялись, загораживая своими трупами путь, третьи, росшія по откосамъ, торчали вершинами вверху, какъ обыкновенно, а книзу, протягивая свои вѣтви до самаго дна овраговъ; съ лужаекъ, залитыхъ солнцемъ тамъ внезапно можно было попасть въ темную яму, гдѣ пахнетъ затхлостью, какъ въ подземельи; въ тихую погоду тамъ стояла зловѣщая тишина, во время дождя—оглушительный ревъ бѣгущей воды, а лишь только начинался вѣтеръ—послѣ всѣмъ темнымъ корридорамъ этого мѣста поднимался свистъ и вой. Для хозяина это было проклятое мѣсто, которымъ и только нельзя было воспользоваться, но къ которому и поступить-то трудно; проклятымъ это мѣсто было и у мужиковъ, которые говорили, что тамъ она бросаетъ въ прихожихъ пнями... А попросту говоря, это заброшенное презимины владѣльцами мѣсто одичало и сдѣлалось своеобразно красивымъ.

Туда и направилась Александра Яковлевна. По дорогѣ она дѣлала букетъ изъ фіолетовыхъ анемоновъ, единственныхъ пок-

лѣтovahъ, которые цѣлыми семьями ютились по солнечнымъ лужайкамъ среди прошлогодней травы, или срывала древесныя лочки и вдыхала въ себя ихъ рѣзкій ароматъ. Больше ничего не было вокругъ; насккомыя еще не жужжали; изрѣдка выпорхнеть изъ-подъ куста какая-нибудь пташка и молча прыгнуть въ другой кустъ. Лѣсъ стоялъ мертвый; покрытая темнымъ ковромъ прошлогодней травы земля не ожила еще. Александра Яковлевна скорымъ шагомъ прошла перелѣски и скоро очутилась въ любимомъ своемъ „разбойничьемъ гнѣздѣ“. Выбравъ сухую лужайку, расположенную на раздѣлѣ двухъ овраговъ, она сѣла и съ наслажденіемъ прислушивалась къ разнообразнымъ звукамъ, раздававшимся кругомъ.

Картина мгновенно здѣсь измѣнялась. „Провлѣтое мѣсто“ шумно праздновало возвращеніе весны и оглашало воздухъ сотнями живыхъ звуковъ; въ то время, какъ окрестныя лѣса и поля мрачно еще молчали, какъ бы обдумывая какую-то мрачную задачу, предстоящую на страдное лѣто, это дикое мѣсто праздновало буйный и веселый пиръ. На днѣ разсѣлились гремяли водопады и журчали ручьи; лѣсъ шелестѣлъ, распространяя вокругъ себя волны аромата распускающихся листьевъ; въ заросляхъ его, то и дѣло раздавался какой-то трескъ; повсюду шныряли птицы, озабоченныя и, въ то же время, веселыя. Въ воздухѣ уже слышалось жужжанье мошекъ и комаровъ; муравьи хлопотали вокругъ своихъ гороховъ, ремонтируя ихъ послѣ разрушительной зимы. Но надъ всѣмъ этимъ царилъ неопредѣленный гулъ, который нельзя было выделить въ отчетливый звукъ, но который покрывалъ собою всѣ другіе звуки, какъ воздухъ покрываетъ собою всѣ предметы, это—эхо всего здѣсь звучащаго и отражаемаго крутыми стѣнами овраговъ.

Александра Яковлевна любила это мѣсто, въ особенности въ тѣ дни, когда жизнь усадьбы ужъ слишкомъ давила ее уныніемъ. Она приходила сюда и раздумывалась о своей жизни подъ шумъ дикаго мѣста, которое однимъ своимъ дикимъ видомъ смягчало ея расхолодившіеся нервы. Такъ случилось и теперь. Усѣвшись на свѣтлой, теплой лужайкѣ, она съ улыбкой вслушивалась въ разнообразные звуки, которые раздавались около нея, и безъ горечи думала о вещахъ, въ другомъ мѣстѣ вызывавшихъ въ ней тяжелое раздраженіе. Вотъ уже болѣе трехъ лѣтъ, какъ они съ мужемъ живутъ

здѣсь, но она до сихъ поръ никакъ не можетъ понять, зачѣмъ именно здѣсь, а не въ другомъ мѣстѣ... Ежедневно въ продолженіе этихъ трехъ лѣтъ она просыпалась утромъ съ надеждой на что-то новое, которое нынче, вотъ въ этотъ наступающій день придетъ, но день проходилъ въ самыхъ обыкновенныхъ житейскихъ дѣлахъ, а ничего новаго не совершалось. Это новое, эта перемѣна жизни не рисовалась ей въ какой-нибудь определенной формѣ; это была не мысль и не чувство, а какое-то смутное ощущеніе, которое имѣло ни основаній, ни опредѣленнаго конца. Но, странное дѣло, только благодаря этому неосновательному ожиданію какой-то перемѣны въ своей жизни, она и могла прожить три темныхъ года. Безъ ожиданія этой смутной перемѣны она бы, вѣроятно, и жить не могла.

Но, призывая смутное будущее, она всѣми силами отталкивала отъ себя настоящее, текущее, потому что оно было невыносимо. Каждый вчерашній день непременно оскорблялъ одно изъ ея вѣрованій, издѣвался надъ ея честностью; каждый прошедшій день терзалъ ея душу и сердце. Сначала она закрывала глаза на все происходящее и пыталась забыть обиды, но этихъ обидъ стало такъ много совершаться и такъ исполосовали ея душу, что она больше не въ силахъ была хоронить ихъ въ себѣ. Она безпрестанно обдумывала ихъ, сознательно встрѣчала, и въ этой сознательности было единственное ея утѣшеніе. Она сознавала оскорбленія и неприятности жизни и довольна была, что хоть сознаетъ, не знала, какъ избавиться отъ нихъ.

Сейчасъ, сидя на лужайкѣ передъ живописнымъ „разбитымъ гнѣздомъ“, она также думала о нихъ и сознавала. Взоръ ея блуждалъ по сторонамъ, слухъ воспринималъ звуки буйнаго мѣста, широко праздновавшаго рожденіе весны на ряду съ ощущеніями этого чуднаго уголка она мысленно работала надъ разборомъ своей жизни. Какая странная жизнь! Говорить одно, а дѣлать обратное, мыслить честно и поступать подло, мысленно бороться со всякою неправдою въ своей жизни собственными руками поддерживать неправду, думать обо всемъ на свѣтѣ и не умѣть собственную жизнь устроить безупречно, носить въ душѣ золото и топтать его въ грязь своими же собственными ногами, возмущаться безчеловѣчною жестокостью, которая гдѣ-то тамъ

далеко, совершенна, и хладнокровно присутствовать при безчеловѣчныхъ сценахъ... Неужели это со всѣми такъ? Какъ это происходитъ, что, зная отлично, какъ устроить жизнь миллионеровъ, не умѣть свою собственную жизнь облагородить?

Вдругъ гдѣ-то близко въ глубинѣ одного изъ овраговъ раздался ружейный выстрѣлъ и эхомъ пронесся по всему „разбойничьему гнѣзду“; вслѣдъ затѣмъ послышалось характерное тавканье собаки, которая увѣрена въ близкомъ присутствіи птицы, но никакъ не можетъ отыскать ея засаду; потомъ послышались голоса.

Александра Яковлевна посиѣшнѣ встала и оглядывалась вокругъ съ нахмуреннымъ лицомъ. „Неужели онъ сюда зашелъ охотиться?“ — подумала она, и когда среди шума уловила знакомый голосъ, то быстро пошла въ обратную отъ нѣста выстрѣла сторону. Здѣсь ей непріятно было встрѣчаться съ мужемъ; почему, она не спрашивала себя, но только торопилась уйти.

И, быстро удаляясь отъ «разбойничьяго гнѣзда», она задумалась о мужѣ; мысли ея исключительно стали вертѣться около него. Онъ былъ замкнутымъ кругомъ для нея; о чемъ бы она ни задумалась, непременно кончить мужемъ. И тогда въ душѣ ея поднимаются мысли одна другой тяжелѣе. Даже наружность его стала вызывать въ ней непріятныя мысли, хотя еще недавно она съ негодованіемъ отвергла бы обвиненіе въ пристрастіи къ наружной красотѣ... Онъ облысѣлъ еще больше, хотя такой молодой, а на лицѣ его появилась какая-то плоская сытость, щеки отдулись, губы стали распухшими и жирнѣе... все его лицо стало плоскимъ... Знаете, наружность человѣка много говоритъ! Если внутри человѣка бѣгутъ живыя струи мысли, чувства, фантазіи, это сейчасъ же отражается на формѣ его лица; когда же все это почему-либо умираетъ, измѣняется мгновенно и форма лица, точно ступецъ, внутренность котораго окисла и сгнила, лицо дѣлается плоскимъ. Это неизбежно. Отъ всей души я посоветывала бы всѣмъ дамамъ и мужчинамъ, желающимъ казаться красивыми, больше размышлять, больше учиться и больше изучать свои мысли, — это самое вѣрное средство сохранить красоту носа, щекъ, глазъ и ушей до глубокой старости... Посмотрите, какимъ благороднымъ дѣлается лицо самаго бе

образнаго человека, внутри котораго появилось острое страданіе за другого человека...

Но былъ-ли когда-нибудь онъ благороденъ?—вдругъ перемѣнилась Александра Яковлевна свои веселыя мысли и блѣдное лицо ея вдругъ вспыхнуло.—Нѣтъ, это невозможно!... Вы онъ поѣхалъ же за ней добровольно, когда ее везли на дальній Востокъ, и жилъ тамъ, добровольно подвергая себя всѣмъ тягестямъ подневольной жизни? И она любила его.

Солнце было уже за полдень, но отъ блѣдныхъ лучей было холодно. Удалившись на полверсты отъ „разбойничьей гонимыи“, Александра Яковлевна пошла тихо; кругомъ опять стоялъ мертвый лѣсъ и сѣрые, скучныя поля. Она продолжала раздумывать о томъ же. Но по мѣрѣ того, какъ шаги уходили ее дальше отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ раздавались выстрѣлы мужа, мысль о немъ становилась мягче; за то она незамѣтно переходила къ себѣ, къ своей частной жизни... Ей вдругъ стало неловко за свои жалобы и нытье. И жалобы, и нытье, правда, одной только были извѣстны; это были жалобы внутреннія, про себя. Но это немного лучше. Въ сущности всѣ ея размышленія заключались только въ нытье и жалобы.

Эта мысль впервые сейчасъ пришла ей въ голову и очутилась поразила ее. Ей вдругъ стало стыдно за себя... Жалобы, стоны—вѣдь это признакъ нищенской, попрошайской натуры! Ей всегда были противны люди, которые вѣчно на что-нибудь жалуются: то нѣтъ у нихъ „настоящаго дѣла“, „душѣ“, то «окружающее общество» дрянно... И ноютъ, ноютъ безъ конца. Жалобы обращаются у этихъ попрошай въ привычку, и они такъ же легко ноютъ, какъ легко имъ выжимается слезы у себя. Но это не дурная профессія, попрошайки съ аппетитомъ кушаютъ и пьютъ, и вообще устраиваются недурно, во всякомъ случаѣ, неизмѣримо лучше, нежели тѣ, которые мечутся въ разныя стороны... Мало того, исподволь и подъ шумокъ, потихоньку и незамѣтно они начинаютъ обвинять не себя, не свою попрошайскую натуру, а все окружающее...

Александра Яковлевна на минуту даже остановилась и покраской въ лицѣ машинально посмотрѣла на кучку голыя березы, которыя тихо скрипѣли сухими вѣтвями. Потомъ она торопливо пошла домой, но съ тою же покраской въ лицѣ, какъ

будто ее открыто, въ присутствіи честныхъ людей, обвинили въ северномъ поступкѣ. И, ускоряя шаги, не разбирая дороги, черезъ кусты, по прошлогоднему бурьяну, который трепалъ подъ ея ногами, она шла къ дому и горячо оправдывалась въ взведенномъ на нее обвиненіи, словно тѣ же честные люди продолжали неотступно идти за ней и настойчиво ждали этихъ опроверженій.

Нѣтъ, не все же она ныла и не всегда жаловалась. Возвратившись съ мужемъ изъ дальнихъ мѣстъ (куда попала собственно она, а не мужъ, который только ради любви къ ней поѣхалъ туда), она не только не жаловалась, но, напротивъ, всѣхъ удивляла своимъ бодрымъ весельемъ и жизнерадостностью. Все ей тогда казалось новымъ, чистымъ, и люди, встрѣчающіеся съ ней, внушали ей одну только любовь. Она чувствовала въ себѣ столько силы, что готова была терпѣть въ тысячу разъ болѣшую нужду, чѣмъ та, какую они выносили. Мужъ долго не могъ пристроиться, но это ей было нипочемъ. Она сама исполняла всѣ грязныя и тяжелыя работы, въ то же время, не переставая слѣдить за всею текущею жизнью и мыслью. Но вдругъ все это измѣнилось. Мужъ взялъ мѣсто управляющаго имѣніемъ и все пошло скверно. Быть можетъ, ей тогда надо было рѣзче и грубѣе выразить свое неодобреніе этому шагу мужа; быть можетъ, въ крайнемъ случаѣ ей наотрѣзъ надо было бы опаздаться слѣдовать за нимъ и, быть можетъ, она виновата въ томъ, что слишкомъ неопредѣленно убѣждала его со всѣхъ сторонъ обдумать положеніе. Но иначе тогда она и не могла говорить. Во-первыхъ, всѣ мысли ея о будущемъ были радужныя, а потомъ... тогда у ней былъ Андриуша.

Ишь только Александра Яковлевна мысленно произнесла это волшебное имя, какъ кровь вся отхлынула отъ ея лица, она внезапно присѣла подъ первое дерево, какъ будто кто ударилъ ее, и испуганными глазами смотрѣла попеременно на этотъ голый съ сухими вѣтвями лѣсъ, на эти сѣрыя поля, на это блесоватое, холодное небо, по которому тихо плыли холодныя облака, словно она надѣялась отыскать вокругъ себя помощь и защитить свою беззащитную душу противъ внезапнаго, вѣроломнаго удара. Потомъ по лицу ея прошла судорога, и слезы потекли по щекамъ.

Въ Андриушу, въ продолженіе его жизни, она вложила все.

сердце и всё свои помыслы. Это былъ удивительный мальчикъ, съ золотистыми волосами и съ большими сѣрыми глазами, въ которые мать всегда съ волненіемъ смотрѣла и могла насмотрѣться. На второмъ году онъ обнаружилъ необыкновенныя способности, поражавшія всѣхъ постороннихъ, а въ три года мать съ нимъ была какъ съ взрослымъ товарищемъ; днемъ они гуляли, разговаривая о всѣхъ встрѣчныхъ предметахъ, играли и рассказывали другъ другу и провизированные сказки и рассказы, а ночью, обнявшись, они всегда вмѣстѣ спали. Воспитаніе его наполнило все время и заняло всё ея силы, причемъ, страстно слѣдя за каждымъ шагомъ ребенка, она, въ то же время, зорко следила за собою и преслѣдовала въ себѣ малѣйшую неправду, а когда она убѣдилась, что, несмотря на свое званіе образованной женщины, она ничего не знаетъ, въ ней открывалась неутомимая жажда познанія. Никогда она такъ много не училась и не мыслила, какъ въ это время, и никогда она не была чище и справедливѣе, какъ въ продолженіи этой глубокой любви.

Только въ одномъ она не могла сладить съ собою: когда посторонніе, при первомъ знакомствѣ съ ребенкомъ, поразились его свѣтлымъ умомъ, она вся вспыхивала отъ гордости. И эта гордость неизмѣнно присутствовала въ ней, когда она долгимъ взглядомъ въ большіе глаза ребенка, слѣдила-ли за его рѣзвою игрой, сравнивала-ли его съ другими дѣтьми. Въ будущемъ ей рисовался свѣтлый гений, который дастъ міру свою великую истину, и эта таинственная мысль наполняла ея сердце почти религіознымъ восторгомъ. Посторонніе люди, удивлявшіеся острому мышлению мальчика и его нѣжному сердцу, качали головой и предостерегали мать, чтобы она не торопилась развивать ребенка. Она гордо отвѣчала, что ей не къ чему развивать его prematurely.

— Я никогда не толкаю его впередъ, онъ самъ меня ведетъ куда-то... Мнѣ нельзя даже задавать ему свои вопросы, я едва поспѣваю отвѣчать на его... И мнѣ кажется иногда, что не я его учу, а онъ меня...

Посторонніе не вѣрили, но въ ея словахъ заключалась большая правда, чѣмъ это принято думать. Мать едва успевала отвѣчать на вопросы сына, а предостереженія постороннихъ

роинихъ просто казались ей смѣшными и шаблонными. Несравненно большее впечатлѣніе производили на нее слова простыхъ, темныхъ людей, которые по простотѣ своей души не считали нужнымъ скрывать свои мнѣнія о необыкновенномъ ребенкѣ.

— Господи Боже мой! И откуда можетъ родиться такая уминица?—говаривала одна старуха и съ умиленіемъ смотрѣла на свѣтлый образъ мальчика.

Александра Яковлевна гордо оглядывала маленькую фигуру.

— Милый дѣтушка! Только не жалецъ на Божьемъ свѣтѣ!—прибавляла старуха.

— Что ты болтаешь, старая?—вскрикивала Александра Яковлевна и старалась презрительно разсмѣяться надъ злобѣющимъ и глупымъ карканьемъ, но, вмѣсто смѣха, по ея лицу пробѣгала судорожная улыбка.

— Нѣтъ, милая, нельзя такимъ жить промежду насъ, грѣшныхъ,—грустно сказала старуха.

— Это почему?

— А потому, родная, что ангелы на небѣ нужны Богу...

Александра Яковлевна силилась осмѣять эти суевѣрныя слова глупой старухи, но въ душѣ ея каждый разъ послѣ такого разговора оставался непонятный слѣдъ ужаса. Умъ ея критически разбивалъ темное вѣрованіе старухи; это вѣрованіе, думала она, основано на дѣйствительной истинѣ; въ народѣ дѣтская жизнь окружена такими опасностями, какія не можетъ вынести тонкій организмъ; живетъ тотъ только, которому нипочемъ грязь, голодъ, побои; выдающиеся же дѣтямъ нѣтъ мѣста въ такой обстановкѣ.

Но это говорила ей критическая мысль, а сердце сжималось отъ страха. Чтобы не мучить себя, она со злобой обрывала такіе разговоры.

— И какой же уминица-то онъ у тебя!... Такъ бы вотъ все и говорилъ съ нимъ, и глядѣлъ на него!... Милый дѣтушка! Не дологъ только вѣкъ твой!—говорила съ умиленіемъ другая какая-нибудь женщина.

Александра Яковлевна съ искаженнымъ отъ злобы лицомъ обрывала:

Что же тебѣ объ его вѣкѣ-то говорить? Это вотъ твой

вѣтъ, дѣйствительно, кончился, и тебѣ пора подумать о Богѣ, а не говорить вздора!

— А ты не гнѣвайся, милая!... Я жалѣючи тебя говорю, чтобы ты не тосковала до смерти, коли въ случаѣ чего... — отвѣчала старуха и съ какою-то свѣтлою печалью смотрѣла на смѣющееся лицо ребенка.

Александра Яковлевна чувствовала, что по отношенію къ сыну она стала суевѣрной. Доводы разсудка не помогали. Отъ одной мысли, что она можетъ потерять сына, сердце ея холодѣло. Въ такія минуты она съ ужасомъ глядѣла въ самую глубину любимыхъ глазъ и въ ихъ блескъ желала отгадать загадку, будутъ эти глаза долго свѣтить ей или они безвозвратно потухнутъ отъ какой-то невѣдомой бури. И днемъ, и ночью эта мысль преслѣдовала ее.

Однажды, въ теплый майскій день, она отворила всѣ окна, выходящія въ садъ; въ саду цвѣла черемуха; въ кустахъ ея шумѣли воробьи. Вдругъ въ окно влетѣла ласточка, напуганная незнакомымъ мѣстомъ, принялась колотиться о стѣны, въ потолокъ и въ верхнія оконныя стекла. Они съ Андрюшей все это видѣли. Андрюша съ восхищеннымъ восторгомъ слѣдилъ, какъ летала ласточка, бѣгалъ по всѣмъ угламъ, куда она бросалась, взволнованно просилъ мать поймать ее.

— Нельзя, милый дѣтка, поймать ее! — возражала съ улыбкой мать.

— Поймай, мама, поймай! — кричалъ въ попыткахъ Андрюша.

Александра Яковлевна сдѣлала видъ, что она ловить. Но ласточка въ эту минуту тяжело ударилась въ стекло, упала отъ удара внизъ на окно и, почувствовавъ струю вольнаго воздуха, съ громкимъ крикомъ вылетѣла на волю. Андрюша посмотрѣлъ ей въ слѣдъ, по тому пути, куда она скрылась, и на комнату, гдѣ она сейчасъ была, и вдругъ скучно присмирѣлъ.

Въ это время вошла кухарка, и Александра Яковлевна смѣясь, рассказала ей маленькое происшествіе. Но кухарка таинственно покачала головою.

— Охъ, милая барыня... не хорошо это, — проговорила она шепотомъ.

— Что не хорошо? — удивленно спросила Александра Яковлевна.

— Да ласточка-то влетѣла и улетѣла.
— Ну, такъ что же?
— Да вѣдь это душа улетѣла!—убѣжденно сказала баба.
— Какая душа?
— Живая душа, милая барыня... Прилетѣла, попорхала тутъ и улетѣла вонъ...
— Убирайся вонъ, дура!—крикнула въ страшномъ гнѣвѣ Александра Яковлевна, и сердце ея сжалось отъ тоски.

А ровно черезъ двѣ недѣли она стояла на кучѣ желтой кладбищенской земли и тупо смотрѣла въ яму, куда опустили Андрюшу.

Какъ она пережила эти дни, она и до сихъ поръ не понимаетъ. Это не былъ ужасъ передъ смертью; въ ея сердцѣ не раздавался вопль; ни стонъ, ни слезъ, ни жалобъ, ни проклятій не раздавалось съ ея устъ; она переживала страданіе, которое ничѣмъ нельзя было выразить; казалось, сама смерть поселилась въ ея душѣ, и она коченѣетъ. Она продолжала заниматься тѣми мелочами, изъ которыхъ состоитъ обыденная жизнь, но какъ бессмысленная, холодная машина. Ни въ одной такой мелочи, да и ни въ чемъ, мысль ея больше не участвовала. Самый фактъ смерти сына она не понимала. Это былъ ударъ, который оглушилъ ее, отъ котораго она потеряла сознаніе, котораго не понимала и не представляла себѣ въ живомъ образѣ.

Но мало-по-малу сознаніе возвратилось, и вотъ когда началось настоящее страданіе. По ночамъ часто она съ воплемъ вскакивала и обнимала пустое пространство. А днемъ она обдумывала смерть, и дума эта была такая безконечная, что у ней темнѣла голова. Мальчикъ задохнулся отъ дифтерита,—это было понятно ей. Понятно ей было и то, что это нѣжное тѣло, разбитое страшнымъ ударомъ, должно лежать въ ямѣ; отъ него останется горсть пыли, и это понятно. Но куда же дѣлся этотъ взглядъ большихъ глазъ, дарившій счастье всѣмъ, кто только встрѣчалъ его? Куда пропала эта нѣжная любовь, которую, какъ цвѣтушая роза, распространялъ вокругъ себя мальчикъ? Гдѣ теперь эта сильная, хотя и дѣтская еще мысль? Неужели *это* законано въ яму также? Если въ природѣ ничего не пропадаетъ, то какъ же можетъ безслѣдно исчезнуть мысль, которая черезъ некоторое время превратилась бы въ могучій потокъ идей,

и чувство, которое распространило бы вокруг себя горячіе лучи счастья? Неужели все это брошено безвозвратно въ яму? А если не пропало, то гдѣ же его искать?...

И Александра Яковлевна завидовала тѣмъ простымъ женщинамъ, которыя вѣрятъ, что умершее дитя превращается въ ангела и становится хранителемъ людей. Она была бы счастлива даже и вѣрой той женщины, которая въ ласточкѣ видѣла душу. Пусть бы духъ удивительнаго ребенка леталъ по небу въ видѣ ласточки,—съ этимъ она примирилась бы. Но чтобы онъ безслѣдно погибъ, чтобы родившаяся мысль зарыта была навсегда въ грязную яму, это сознание было выше ея силъ.

Жизнь ея обратилась въ ночь. Только слезы, когда она въ состояніи была плакать, облегчали ее. Но когда она начинала рыдать, мужъ сердито уходилъ изъ комнаты, и иногда и совсѣмъ изъ дома. Онъ долго не осмѣливался прекратить ее этими слезами, но онѣ, наконецъ, стали раздражать его.

— Ты только растравляешь нашу рану!—замѣчалъ онъ не одинъ разъ.

Самъ онъ давно успокоился, а когда что-нибудь напоминало о сынѣ, онъ торопился выбросить изъ себя тяжелое воспоминаніе. Точно такую же онъ желалъ бы видѣть Александру Яковлевну. Тутъ какъ разъ подошли самыя urgentныя хлопоты по приисканію мѣста и ради лучшаго устройства и ему совсѣмъ некогда было вспоминать о потерѣ сына. Всякую мысль онъ считалъ теперь не только тяжелою, но и вредною. Ему казалось, что это мѣшаетъ ему какимъ-то важнымъ дѣламъ, его жизни. Хранить память объ исчезнувшемъ сынишкѣ—это только безцѣльно и бесполезно растравлять себя, растравлять въ то время, какъ ему надо жить живою жизнью и дѣлать какое-то важное дѣло. Чувствительность—роскошь людей, которымъ дѣлать нечего, ему, напротивъ, нужна вся энергія для тѣхъ предстоящихъ дѣлъ, которыя онъ долженъ исполнять. Поэтому онъ сталъ съ нескрываемымъ пренебреженіемъ смотрѣть на слезы Александры Яковлевны. Онъ былъ увѣренъ, что она часто плачетъ искусственно, отъ нечего дѣлать, или ради того, чтобы насильно вызвать темнѣющій образъ Андрюши, но не высказывалъ этого.

За то онъ открыто сталъ говорить о вредѣ столь долгаго сосредоточенія на личной жизни. Выражалъ онъ это довольно шаблонно.

— Это показываетъ, что у тебя нѣтъ и не было общественныхъ интересовъ... а исключительно только личные! Когда личная жизнь была наполнена, ты чувствовала себя счастливою, но лишь только твои личные интересы потерпѣли тяжкое крушеніе, ты очутилась на воздухѣ, безъ почвы, безъ цѣли и жизни.

Такъ онъ однажды сказалъ, и сказалъ съ нескрываемымъ пренебреженіемъ, раздраженный невнимательнымъ отношеніемъ къ нему Александры Яковлевны; онъ только что вернулся съ объѣзда имѣнія, усталый и голодный, а она не сдѣлала даже распоряженія объ обѣдѣ. Въмѣсто того, она сидѣла въ своей спальнѣ и, перебирая оставшіяся отъ Андрюши вещи, обливала ихъ слезами. Но когда онъ сказалъ ей это, съ ней сдѣлалось что-то непонятное. Она вдругъ выпрямилась, отерла послѣднія капли слезъ и вызывающе оглянула мужа.

— Развѣ любовь къ дѣтямъ—дурное дѣло?—спросила она и въ упоръ посмотрѣла на мужа.

— Кто же это говоритъ!...—возразилъ онъ и трусливо опустилъ глаза въ тарелку.

— Но вѣдь ты дѣлаешь такое сопоставленіе?

— Я только говорю объ обществѣ, котораго не нужно забывать ради себя и дѣтей.

— Кто же это общество? Развѣ дитя не членъ общества? А воспитаніе сильныхъ и правдивыхъ людей не общественное дѣло?... Развѣ истинная любовь къ дѣтямъ можетъ чему-либо помѣшать?—продолжала спрашивать Александра Яковлева съ гнѣвною краской въ лицѣ.

— Въ общемъ—да, но подъ общественными интересами, какъ тебѣ извѣстно, принято разумѣть кое-что другое,—сказалъ колко мужъ.

— Да, мнѣ извѣстно это. Но мнѣ, въ то же время, извѣстны люди, которые подъ прикрытіемъ общественнаго дѣла только свои дѣлишки устраиваютъ. И они неуязвимы! Упреки ихъ за грязную личную жизнь, они сошлются на общественныя дѣла, которыя якобы ихъ всецѣло занимаютъ, а когда ихъ уличаютъ въ общественной бездѣятельности,

они прячутся за личную жизнь, которая якобы полна лишений и невзгод... Повторяю, эти лицемѣры неуязвимы, а потому-то они такъ ненавистны мнѣ... И никогда мнѣ не придетъ въ голову принимать за настоящую монету ихъ истасканные фразы: „общественные интересы“, „личная почва“...

— Ты, я вижу, раздражена, Саша... и потому умолкаю.— пробормоталъ трусливо Хординъ.

— Да, раздражена!... Но какого свойства раздраженіе людей, которые начинаютъ говорить объ общественныхъ дѣлахъ потому только, что забыли заправить ихъ супъ?

Хординъ, почувствовавъ направленіе этого выстрѣла, покраснѣлъ и бросилъ злобный взглядъ на жену, но промолчалъ.

Съ этой поры между ними возникли тяжелыя отношенія.

Александра Яковлевна круто измѣнилась. Прежде всего съ той поры никто не видалъ слезъ на ея лицѣ и ни съ кѣмъ никогда она не говорила о погибшемъ своемъ мальчикѣ. Она поняла, что и образъ его, и слезы, вызываемые имъ посторонній взглядъ можетъ только оскорбить. А потому мысли ея приняли другое направленіе. Она глубоко задумалась надъ своею и окружающею жизнью, задумалась и надъ вопросами, а именно надъ жизнью, и, притомъ, личной.

Когда нѣтъ общей жизни, тогда мысль, до этихъ пор витавшая гдѣ-то далеко отъ ея носителя, упорно сосредоточивается на себѣ, на своей личности... А общей жизни дѣйствительно, не было. На кого изъ знакомыхъ она ни смотрѣла, общественнаго человѣка нигдѣ ни находила, замѣчала только личнаго, обособленнаго, порвавшаго связь съ обществомъ. И вотъ когда на нее посыпались сюрпризы — она, раздумываясь надъ беспорядочною и неряшливою жизнью каждаго, кого встрѣчала, какъ будто въ первый разъ открыла глаза. Изумленіе ея было тѣмъ сильнѣе, что до этой поры она жила болѣе трехъ лѣтъ въ чистой сферѣ дѣтской любви, а когда не стало ребенка, благородный образъ его все же неизмѣнно жилъ въ ней и окружалъ ее исключительною атмосферой страдальческой любви. Теперь она въ упоръ посмотрѣла на эту обыденную жизнь и почувствовала брезгливость, перешедшую скоро въ отвращеніе. Сначала, какъ женщина, для которой чистота обыденныхъ отношеній стоитъ всегда на первомъ планѣ, а потомъ, какъ думающій человѣкъ, она пришла къ убѣжденію, что безу

вѣрность жизни—первый долгъ и что только непорядочные люди могутъ ставить въ противорѣчіе свою и общую жизнь. Александра Яковлевна часто съ изумленіемъ спрашивала: „Да чѣмъ же мы отличаемся отъ темныхъ людей?“

Это настроеніе заняло ее всецѣло; тяжелая потеря мало-по-малу теряла свою острую боль. Образъ ея мальчика неизмѣнно жилъ въ ней, но оставался невидимымъ и неосознаннымъ; онъ навѣвалъ на нее свѣтлыя мысли, чистыя желанія и жажду исправленія. Иногда ей приходила въ голову черная и скверная мысль, она подавляла ее, но не во имя чего-то отвлеченнаго, а въ память милаго мальчика. Въ другой разъ, во время внутренней борьбы, образъ его совсѣмъ не являлся ей, но она чувствовала, что удержалъ ее отъ дурного слова или поступка кто-то милый, любимый...

Только по временамъ далекій образъ, скрывшійся во мглѣ прошедшаго, вдругъ вставалъ передъ нею съ плотью и кровью, и тогда она переживала невыносимое страданіе. Такъ случилось и въ эту минуту. Она сидѣла подъ деревомъ голаго лѣса и слезы градомъ катились по ея лицу. И вдругъ все—и ея мысли, и ея наблюденія, и ея возростающее недовольство мужемъ, и вся эта жизнь, изъ которой она ищетъ выхода, но не находитъ, и самые эти поиски выхода, рѣшительно все показалось ей такимъ ничтожнымъ и ненужнымъ передъ какою-то необъятною пустыней.

Когда слезы утихли и острое страданіе прошло, она поднялась съ мѣста и пошла по направленію къ дому, равнодушная и холодная, какъ то небо, которое висѣло надъ ней, какъ этотъ мертвый лѣсъ, гдѣ она сидѣла.

Дома она машинально принялась за исполненіе обязанностей хозяйки. Часы показывали близость обѣда, и она вмѣстѣ съ прислугой тотчасъ же стала накрывать на столъ. Устанавливая приборы, она спросила сестру Буреева, приѣхавшую погостить сюда:

— Маша, вы не знаете, пріѣдетъ кто-нибудь сегодня изъ города?

Молодая дѣвушка имѣла привычку при всякомъ разговорѣ нежного краснѣть, но отъ этого вопроса хорошенькое, свѣжее лицо ея залилось густою краской.

— Право, не знаю... можетъ быть... Сегодня воскресенье!—

съ дѣтскимъ волненіемъ лепетала она въ отвѣтъ Александрѣ Яковлевнѣ.

— Кажется, общалъ Мизинцевъ быть?—почти про себя замѣтила Александра Яковлевна.

— Да, онъ пріѣдетъ!—подтвердила дѣвушка ея предположеніе, притомъ, съ такою поспѣшностью, что окончательно сконфузилась, обливаясь кровью вся, вплоть до ушей, и растерянно отвернулась въ сторону, а въ глазахъ ея появилось выраженіе ребенка, который тайно лизнулъ варенье и былъ накрытъ на мѣстѣ этого преступленія.

Но Александра Яковлевна не обратила вниманія на ея замѣшательство и равнодушно уставляла столъ. Черезъ нѣсколько минутъ на дворѣ послышались голоса возвращающихся съ охоты Хордина и Буреева. Они шумно вошли и съ ихъ приходомъ весь домъ какъ будто заговорилъ, зашумѣлъ, задвигался. Громкими восклицаніями они выразили радость при видѣ накрытаго стола. Потомъ, наскоро умывшись, они усѣлись за дымящійся обѣдъ, утоляя добытый охотѣ голодъ. Хординъ, съ раскраснѣвшимся лицомъ, такъ аппетитно, что у сытаго человѣка могъ вызвать желаніе еще разъ пообѣдать. Буреевъ не отставалъ отъ него, хотя не очень былъ голоденъ. Въ то же время, они обшумно говорили, перебивая другъ друга; разговоръ вертѣлся исключительно на эпизодахъ только что происходившей охоты. Буреевъ, не бывшій охотникомъ и сопровождавшій Хордина отъ ужасающей скуки, въ юмористическомъ видѣ представилъ картину, какъ Хординъ ползъ въ травѣ и какъ вдругъ слетѣлъ внизъ, въ какую-то яму, закрытую кустами; потомъ вдругъ, принявъ притворно-мрачное выраженіе, онъ обратился къ Александрѣ Яковлевнѣ:

— А знаете что, вѣдь супругъ вашъ чуть было не застрѣлилъ своего „Султана“!

— Нечаянно?—спросила равнодушно Александра Яковлевна.

— Какое нечаянно! Просто прицѣлился и—бацъ! Къ счастію, осѣчка...

Дѣвушка вдругъ заволновалась при этихъ словахъ брата Александра Яковлевна съ интересомъ взглянула на мужа.

— За что же это?—спросила она.

Хординъ вдругъ озлился точно такъ же, какъ онъ озлился, должно быть, на охотѣ.

— Да негодий все время спугивалъ у меня дичь.

— Это хваленая-то собака!... Это „Султанъ“-то, которымъ онъ гордится и котораго считаетъ особенно породистымъ!—дразнилъ со смѣхомъ Буреевъ.—А онъ оказался самаго плебейскаго происхожденія, не лучше любой уличной бродяги, которая при видѣ утки бросается съ открытою пастью, чтобы поймать и сожрать ее!—и Буреевъ залился добродушнымъ смѣхомъ.

Хординъ залился.

— Ну, теперь, братъ, какъ красно ни говори о его породистости, я не повѣрю,—добавилъ онъ.

Эти слова были началомъ длиннаго спора про собакъ. Буреевъ подсмѣивался, а Хординъ, задѣтый за живое, горячился. Когда первый сталъ доказывать низкое происхожденіе „Султана“, Хординъ подробно и съ раздраженіемъ опровергалъ. Спорщики забыли о присутствующихъ и подняли шумъ. Самый же предметъ этого спора сидѣлъ на заднихъ ногахъ недалеко отъ стола, рабски хлопалъ по полу хвостомъ и горящими глазами смотрѣлъ на нѣкоторыя блюда.

— Ты посмотри на его уши!—говорилъ Хординъ убѣжденно и указывалъ на большія, эластичныя уши „Султана“.

— Ну, что же уши? Обыкновеннаго легаша!—возразилъ Буреевъ.

— Нѣтъ, не обыкновеннаго!... Такихъ длинныхъ, шелковыхъ ушей не бываетъ у непородистой собаки... А хвостъ... ты знаешь, что такое хвостъ?—разгоряченно спросилъ Хординъ.

— Хвостъ есть принадлежность большинства животныхъ и нѣкоторой части людей,—возразилъ Буреевъ.

— А ты знаешь, какое его назначеніе у хорошей собаки?—переспрашивалъ Хординъ, не обращая вниманія на смѣхъ товарища.

— Да я думаю, просто вилять.

— Я тебя серьезно спрашиваю... Значеніе руля, вотъ что такое хвостъ для собаки. И вотъ гдѣ отличіе породистой собаки отъ непородистой... породистая управляетъ этимъ рулемъ артистически! Когда она дѣлаетъ стойку, хвостъ ея точно вертикаленъ, какъ палка, а если она ищетъ, хвостъ

ея дѣлаетъ правильныя боковыя движенія... Непородистая же собака умѣетъ только мухъ гонять этимъ рулемъ.

Дальше Хордінъ разбираетъ какую-то шишку на головѣ собаки, которая обозначала особую ея талантливость, какіе-то изгибы на лапахъ, какой-то уголъ на мордѣ его. „Сунтанъ“ слушалъ, слушалъ и, не дождавшись подачи со стола, вдругъ судорожно разинулъ пасть и дико завылъ. Александра Яковлевна закричала на него и выгнала его за дверь, чѣмъ и кончился споръ объ аристократическомъ его поведении.

Встрѣтивъ холодный и укоризненный взглядъ жены, Хордінъ немного смутился и съ озабоченнымъ видомъ спросилъ:

— А что, привезли сегодняшнюю почту?

Какъ будто журналы и газеты ему были крайне необходимы.

— Привезли.

— Посмотрѣла? Ничего новаго нѣтъ?—съ тою же озабоченностью узнавалъ онъ.

Александра Яковлевна молча пожала плечами.

Онъ, повидимому, удовлетворился этимъ и перевелъ разговоръ опять на сегодняшнюю охоту.

А когда обѣдъ кончился, онъ пригласилъ Буреева въ дикую комнату отдохнуть, т.-е. по-просту выспаться. Въ этой комнатѣ, растянувшись на кушеткѣ, съ лицомъ, сіяющимъ послѣобѣденнымъ довольствомъ, онъ вспомнилъ молодую бабу, которую они сегодня встрѣтили по дорогѣ. „Ахъ, хороша, шельма!“—проговорилъ онъ и захохоталъ. Буреевъ также засмѣялся, не потому, что ему было весело, а просто по добротѣ душевной. Насчетъ этой встрѣчи между ними моментально началась игривая бесѣда, невозможная въ такомъ обществѣ, и Хордінъ съ замирающимъ смѣхомъ развѣивалъ ее, а Буреевъ вторилъ ему, и опять не потому, что любилъ скверные разговоры, а по добротѣ и мягкости душевной, изъ нежеланія нарушить веселое настроеніе товарища.

Хордінъ, дѣйствительно, любилъ на эту тему „пошутить“, но только, разумѣется, въ подходящемъ обществѣ, потому что, какъ образованный человѣкъ, онъ держался двухъ политикъ — внутренней и вѣшной. Эти двѣ политики онъ имѣлъ во всемъ. Дома у себя онъ былъ одинъ, въ обществѣ — другой; съ дѣтьми велъ себя иначе, чѣмъ со взрослыми.

ни, съ женой иначе, чѣмъ съ постороннею женщиной, въ дамскомъ обществѣ не такъ, какъ въ мужскомъ, и между молодыми иначе, нежели съ женатыми. Оттого нѣкоторымъ онъ казался крайне неискреннимъ, даже лживымъ, но это совсѣмъ не такъ. Онъ не лгалъ, а просто имѣлъ два лица и попеременно ихъ показывалъ, смотря по обстоятельствамъ. Въ обществѣ онъ считался человѣкомъ крайне свободныхъ нравовъ, а дома у себя превращался, безъ всякаго усилія съ своей стороны, въ самаго обыкновеннаго мѣщанина, живущаго исключительно ради куска; въ дамскомъ обществѣ онъ производилъ впечатлѣніе приличнаго и скромнаго молодого человѣка, а когда оставался въ мужскомъ обществѣ, то поражалъ всѣхъ поганымъ воображеніемъ и скверными словами. Съ дѣтьми онъ велъ себя наставительно и твердо, а между взрослыми бывалъ легкомысленно веселымъ. Защитникъ женскихъ правъ повсюду, на Александру Яковлевну онъ смотрѣлъ глазами господина, имѣющаго полное право не принимать въ расчетъ ея убѣжденій. И все это онъ дѣлалъ безъ малѣйшаго усилія, ибо имѣлъ два лица.

Черезъ нѣкоторое время, оборвавъ на полусловѣ какую-то скверную фразу, онъ вдругъ со свистомъ захрапѣлъ.

Буреевъ, изъ нежеланія противорѣчить товарищу, также хотѣлъ было уснуть, но не могъ. Въ комнатѣ было дымно отъ выкуреннаго табаку; храпъ товарища рѣзалъ по нервамъ, какъ звукъ пилы; вся комната показалась ему какою-то скучной и мрачной. Тогда онъ на цыпочкахъ, чтобы не разбудить Хордина, выбрался за дверь и пошелъ отыскивать дамъ.

Въ залѣ онъ нашелъ только Александру Яковлевну. Она сидѣла за пустымъ столомъ и, облокотившись на него, смотрѣла въ одну точку. Буреевъ остановился въ дверяхъ и долго смотрѣлъ на нее. Ея лицо показалось ему, въ одно и то же время, прекраснымъ и несчастнымъ, а, можетъ быть, оно и показалось ему прекраснымъ потому, что на немъ лежала печать страданія. И доброе сердце его заняло. Онъ порывисто шагнулъ впередъ и сказалъ съ волненіемъ:

— Эхъ, Александра Яковлевна!... Тоскливо вамъ здѣсь?
— Что же дѣлать, Нифонтъ Алексѣичъ?—выговорила она съ усиленіемъ, вздрогнувъ отъ неожиданнаго обращенія.

— Знаю, что ничего не подѣлаешь, да все-таки не съ нами бы вамъ жить... Ужь больно мы здѣсь задичали...

— Ну, ужъ это неправда!—сказала Александра Яковлева.—Если есть сознаніе, то близко и исправленіе.

— Что вы, Богъ съ вами! Сознанія-то у каждаго и насъ довольно, да лѣнь и эта, знаете, непреоборимая привычка влекуть къ грязи...

Добродушное лицо Буреева вдругъ стало негодующимъ, въ смѣющихся глазахъ его показался огонекъ. Повидимому, что-то накипѣло у него, и онъ желалъ подѣлиться съ Александрой Яковлевной, которую сильно уважалъ. Но ему не мѣшали высказаться.

Въ эту минуту въ комнату вошли сначала Маша, всѣ красная отъ волненія, а за ней Мизинцевъ.

— А вотъ онъ и самъ нашъ моралистъ! Онъ вотъ знаетъ, какъ надо очистить грѣшную нашу жизнь!—закричала Буреева при видѣ вошедшаго.

Мизинцевъ, однако, не отвѣтилъ на замѣчаніе и сначала молча со всѣми поздоровался, потомъ ушелъ обратно въ прихожую, очистилъ отъ дорожной пыли свое платье и пригладилъ сбившіеся на одну сторону свои густые волосы. Безъ этого онъ не могъ бы сказать слова. Вся фигура его начиная съ платья и кончая лицомъ, здоровымъ и чистымъ производила впечатлѣніе какой-то свѣжести.

Страхнувъ послѣднюю пылъ, приставшую къ сапогамъ онъ тогда только подселъ къ столу и принялъ участіе въ разговорѣ. Но на обращенные къ нему вопросы онъ не отвѣчалъ безпорядочно и торопливо, какъ это дѣлають люди не видавшіеся цѣлую недѣлю, а обдуманно и по порядку. Сначала разсказалъ, почему онъ не пріѣхалъ къ обѣду, потомъ перешелъ къ передачѣ новостей городскихъ и, наконецъ, сталъ по порядку разспрашивать о томъ, какъ жилось за эту истекшую недѣлю. Однако, на этотъ разъ онъ измѣнилъ своей натурѣ; въ то время, какъ Буреевъ отвѣчалъ на какой-то его вопросъ, онъ неожиданно перебилъ его.

— А я, Александра Яковлевна, хотѣлъ къ вамъ привести одного новаго знакомаго,—сказалъ онъ съ оживившимся лицомъ.

— Что же не привезли?—возразила машинально Александра Яковлевна.

— Да усумнился, будетъ-ли это удобно.

— Развѣ вашъ знакомый изъ тѣхъ людей, принимать которыхъ можетъ быть не удобно?—спросила съ улыбкой Александра Яковлевна.

— Совсѣмъ напротивъ! Когда вы увидите его одинъ разъ, то пожелаете увидѣть его и въ другой... Но все же я счелъ лучшимъ предварительно спросить вашего согласія... А гдѣ вашъ мужъ?

— Спитъ... Но кто же это такой?—живо освѣдомилась Александра Яковлевна.

Мизинцевъ назвалъ Чехлова и въ нѣсколькихъ словахъ разсказалъ, какъ съ нимъ познакомился.

— Должно быть, вашъ единомышленникъ?—возразила Александра Яковлевна въ отвѣтъ на описаніе и засмѣялась.

— Это вы сами разсудите... Я только смѣло могу увѣрить васъ, что вы встрѣтите человѣка, какого раньше нигдѣ не видали, услышите слова, которыхъ никогда не слыхали, и убѣжденія, сущность которыхъ поразитъ васъ до глубины души,—сказалъ съ восторгомъ Мизинцевъ.

— Любопытно! И мнѣ можно присутствовать при появленіи сего сказочнаго мужа?—вдругъ спросилъ полуиронически, полусерьезно Буреєвъ.

— Чѣмъ больше народу, тѣмъ охотнѣе онъ говоритъ,—отвѣчалъ Мизинцевъ.

Въ эту минуту вошелъ проснувшійся Хординъ, а прислуга несла самоваръ. Въ компаніи безпорядочно засуетились.

Александра Яковлевна должна была встать и приготовить же къ чаю. Этимъ приготовленіемъ воспользовалась Маша и ушла Мизинцева въ садъ. А когда они оба воротились изъ сада, надо было торопиться напиться чаю, такъ какъ до обратнаго поѣзда оставался всего часъ, усадьба же отъ станціи отстояла версты на двѣ. Благодаря этому, о Чехловѣ никто больше не вспоминалъ.

Между тѣмъ, Александра Яковлевна была очень заинтересована словами Мизинцева и всю слѣдующую недѣлю провела въ какомъ-то ожиданіи. „Вотъ въ воскресенье пріѣдетъ Чехловъ“,—думала она. Имя это рѣзко врызалось въ ея память.

III.

Въ этотъ день Александра Яковлевна съ утра должна была пережить непріятную сцену. Причиной былъ самъ Хординъ.

Съ ранняго утра во дворѣ, на службахъ, въ саду и въ самомъ домѣ слышалось его ворчанье, брань, рѣзкіе крики. Это онъ объяснялся съ многочисленною барскою прислугой. Завтра, по его рѣшенію, слѣдовало начинать полевые работы, а приготовиться никто не успѣлъ. Всюду онъ нашелъ безпорядки и явные слѣды лѣни, недобросовѣстности и груposti наемнаго люда. Онъ торопливо, съ озлобленнымъ лицомъ обходилъ всю усадьбу и ворчалъ, ворчалъ безъ конца. А нѣкоторыхъ бранилъ по-извозничьи, не стѣсняясь присутствіемъ бабъ. Да и самыхъ бабъ онъ распылилъ. Встрѣтивъ ему кухарку съ помоями, которыя она намѣревалась выплеснуть среди двора, онъ послалъ туда, куда невозможно добраться. А когда удивленная баба, разиня ротъ, поставила свою лохань на землю, чтобы подумать, куда собственно нести ее теперь, онъ въ бѣшенствѣ опрокинулъ ее ногою, разлилъ все содержимое и закричалъ не своимъ голосомъ.

— Я тебѣ, дура, сколько разъ говорилъ не лить зде свою дрянь?

— Чай, это чистая вода, а не дрянь! — возразила кухарка озлившись отъ неожиданной головомойки.

— Если чистая, такъ ты бы и выхлебала ее, а не плекала сюда!

— Чего мнѣ изъ лохани-то хлѣбать?... Чай, я не свинья.

— Убирайся къ чорту! — закричалъ внѣ себя отъ гнѣва Хординъ.

И, плюнувъ по тому направленію, гдѣ валялась опрокинутая имъ лохань, онъ быстро удался и набросился на изжиченка въ кумачной рубахѣ, который тщетно искалъ въ терьянный имъ ключъ отъ желѣзнаго хода.

— Ну, что, нашелъ? — закричалъ Хординъ.

Работникъ въ смущеніи шарилъ руками въ сору, но нашелъ только для видимости, потому что ключа тутъ ни въ какомъ случаѣ не могло быть.

— Стало быть, вѣту его! — проговорилъ онъ съ искренною усмѣшкой.

— Нѣтъ, такъ надо отыскать!

— Да може его и вовсе не было на свѣтъ-то?

— Что-о? Не было?!—крикнулъ Хординъ.—Въ такомъ случаѣ сейчасъ получай расчетъ, сейчасъ!... Сію минуту иди, получай и убирайся. Сейчасъ же съ глазъ долой!... Ахъ, ты, наглый дуракъ! Я на той недѣлѣ своими глазами видѣлъ, а онъ говоритъ: «его на свѣтъ не было»! Сію минуту вонъ!

Выпавивъ все это, Хординъ быстро пошелъ по направлению къ дому, но по дорогѣ еще нѣсколько разъ приказалъ, чтобы работникъ шелъ за нимъ. Работникъ, заинтересованный внезапнымъ окрикомъ, тупо улыбаясь, покорно шелъ слѣдомъ за бариномъ. Не прошло и нѣсколькихъ минутъ, какъ расчетъ былъ сдѣланъ, работникъ получилъ деньги и пошелъ собираться, провожаемый не то сочувственными, не то насмѣшливыми взглядами другихъ батраковъ. Хординъ также вышелъ изъ дому за нимъ и наблюдалъ, какъ онъ подъ сараемъ перевязываетъ кушакомъ свои вещички. Онъ сразу успокоился. Выместивъ злобу на мужиченка, онъ пересталъ кричать. Но за то по отношенію къ этой жертвѣ своего гнѣва онъ до конца оставался неумолимымъ; онъ съ удовлетворенною злобой наблюдалъ, какъ тотъ перевязываетъ вещички, какъ переобувается. Когда работникъ, видимо, собрался и только еще не рѣшался сдѣлать первый шагъ къ воротамъ, все еще оглушенный этимъ неожиданнымъ расчетомъ, Хординъ съ хладнокровною злобой выговорилъ:

— Ну, что, готовъ?... Съ Богомъ!

Работникъ поплелся съ искаженною улыбкой на лицѣ вонъ со двора, но за воротами онъ сразу какъ бы встряхнулся, передернулъ плечами, засверкалъ своими безцвѣтными глазами и зарычалъ:

— Мы уйдемъ!... Намъ тутъ дѣлать нечего въ этомъ безобразномъ домѣ!

— Проваливай, проваливай!—насмѣшливо возразилъ ему Хординъ.

Работникъ медленно шелъ отъ воротъ, озираясь, какъ собака, за которою идутъ съ палкой. Но недалеко отъ забора онъ вдругъ остановился и въ свою очередь принялся отругиваться. Хординъ ему односложно возражалъ. Позиціи ихъ были такіе: мужиченко стоялъ по ту сторону плетня, а Хординъ по эту, но, чтобы видѣть другъ друга, имъ надо было

значительно вытягивать шею. И они вытягивали шею и переругивались. Сначала, впрочемъ, съ обѣихъ сторонъ была подробнѣйшимъ образомъ разобрана пропаша ключа и другіе инциденты, а затѣмъ ужъ они ругались, — работникъ съ яростью, Хординъ насмѣшливо.

— Да! Хорошіе господа черезъ ключъ не обижаютъ работниковъ!—кричалъ мужикъ.

— А хорошіе работники не теряютъ хозяйскихъ вещей!—возражалъ Хординъ.

— Да! Хорошіе господа изъ такого пустого дѣла и разговаривать-то не стануть, а не то что... Ключъ! Что такое ключъ? Тьфу! Срамъ одинъ!

Работникъ при этомъ ожесточенно плюнулъ.

— Ты и не потерялъ его, а пропилъ, въ этомъ я увѣренъ!—сказалъ Хординъ насмѣшливо.

— Ключъ-то? Пропилъ? Да тьфу! Чего онъ стоитъ? Швалика не дадутъ!... Хорошій господинъ, а не жуликъ, вниманія бы что есть не взялъ, а не то чтобы...

— Ну, братъ, проваливай, не проѣдайся!—сказалъ Хординъ и вдругъ опять лицо его нахмурилось.

— Мы не проѣдаемся! Намъ даромъ чужого добра не надо. А вотъ прочіе, которые на барскомъ жалованьи, тѣмъ, на примѣръ, чужое добро очень желательно!—ядовито возразилъ работникъ.

— Я тебѣ сказалъ, убирайся! Вонъ отсюда, пока я не догналъ тебя, да не поколотилъ!—закричалъ Хординъ.

У работника при этихъ словахъ барина лицо сдѣлалось вдругъ насмѣшливымъ; онъ такъ ругнулся, что взбѣшенный Хординъ полѣзъ было черезъ плетень, чтобы привести въ исполненіе свою угрозу, но мужиченко со всѣхъ ногъ бросился улепетывать, только болтались вещички его, перекинутыя за спину.

Александра Яковлевна видѣла изъ окна всю эту сцену, со включеніемъ финала, и лицо ея залито было краской. Жгучій стыдъ подступилъ къ ея сердцу, какъ вѣсть о несчастіи. Она не знала, куда дѣть глаза.

Ей стыдно было и за себя, и за мужа. Какъ ни душно она думала о немъ въ послѣднее время, но она знала, что онъ, въ сущности, не злой человѣкъ; тѣмъ болѣе не могло быть рѣчи о злобѣ къ жалкому батраку. Онъ просто попалъ въ

некрасивое положеніе и потерялъ тактъ. Отсюда его возмутительные поступки.

Хординъ, повидимому, въ самомъ дѣлѣ не понималъ той вѣрной почвы, на которой стоялъ. За послѣднее время онъ непремѣнно желалъ показать себя практичнымъ. Когда онъ только бралъ мѣсто управляющаго, товарищи предсказывали ему неудачу, говорили, что его на каждомъ шагу будутъ ладовать, рисовали ему картину гуманнаго дурака, котораго всѣ водить за носъ. И вотъ онъ теперь всѣми силами старается отвязаться отъ „гуманности“ и выказать себя практичнымъ, но, какъ всякій новичокъ въ незнакомомъ дѣлѣ, онъ пересолитъ, подозрѣвая въ каждомъ человѣка, который хочетъ его надуть. „Практичность“ такъ овладѣла имъ, что его теперь можно было какъ угодно назвать, обвинить въ жиднѣ, — онъ не сильно бы обидѣлся, — но видѣть себя одураченнымъ — это стало теперь для него кровнымъ оскорбленіемъ. И чтобы прослыть за практичнаго человѣка, онъ путился въ мелкія дѣлишки съ работниками, учитывалъ, сколько горстей отрубей выходить на каждую свинью, куда дѣвалась пара гвоздей и, конечно, злился. Но злымъ онъ не былъ; онъ только сталъ въ такое положеніе, гдѣ злость необходимое средство удачи, — разныя бываютъ положенія!

Александръ Яковлевичъ вдругъ сдѣлалось такъ тяжело и такъ захотѣлось помочь ему въ уразумѣніи положенія, что она съ пылающимъ лицомъ бросилась ему навстрѣчу.

— Василій! да неужели ты не понимаешь, что, ругаясь съ рабочими, ты себя ругаешь? — вскричала она взволнованно.

— Что прикажешь дѣлать? Прощать — небрежность и подлость; это только поощрять ихъ. Не могу же я позволить дурачить себя! — возразилъ онъ хмуро.

— Да развѣ нельзя безъ этихъ взаимныхъ оскорбленій? А если нельзя, то зачѣмъ ты сталъ въ такое положеніе?

— Отчего же нельзя? — стоитъ только разинуть ротъ. Да, наконецъ, я не желаю больше говорить объ этомъ и прошу не вмешиваться не въ свое дѣло.

Хординъ сказалъ это грубо. Александра Яковлевна бросивъ на него холодный взглядъ и замолчала. Съ пылающимъ отъ негодованія лицомъ, она бросилась въ дверь, хлопнула ею изо всей силы и почти бѣгомъ пустилась изъ дома. Мужъ грубо попалъ въ больное ея мѣсто и она вдвойнѣ

страдала—за него и за себя. Она всегда болѣзненно чувствовала, что не могла установить правильныхъ и чистыхъ отношеній къ окружающимъ людямъ, въ особенности къ прислугѣ.

Въ сердцѣ ея была бездна нѣжности, мысли ея были гуманны. Въ жизни вокругъ себя она даже не замѣчала безусловно дурныхъ людей. Въ теоріи она знала, что гдѣ-то тамъ существуютъ такіе, цѣлая тьма ихъ, но на практикѣ, при живыхъ сношеніяхъ, она ни одного изъ нихъ не видѣла. Мысленно она боролась противъ всего несправедливаго и гибельнаго, въ книгахъ или газетахъ она часто натѣкалась на что-нибудь ненавистное, но все это происходило гдѣ-то тамъ, внѣ ея круга жизни; въ своемъ же кругѣ жизни, своими собственными глазами, она не могла увидать ни одного негоднаго человѣка. Гдѣ бы и съ кѣмъ бы ни встрѣчалась она, никто не казался ей безусловно дурнымъ,—съ некоей статками—да, но совсѣмъ безъ кривды—нѣтъ, не бываетъ людей! И всякому она тепло улыбалась, старалась услужить, чѣмъ могла. Но за то къ ней самой не всѣ относились съ такою же человѣчностью, въ особенности прислуга. Такъ что не она обыкновенно обижала прислугу, а прислуга обижала ее на каждомъ шагу подозрительностью, грубостью и фальшью. Это и было больнымъ ея мѣстомъ; она много терпѣла неудачъ въ личныхъ отношеніяхъ.

Прогулка на чистомъ воздухѣ въ лѣсу не успокоила ее. Нравственно подавленная беспорядочными мыслями, она нервно переходила отъ одного мѣста къ другому и никакъ не могла придти въ себя. Въ этомъ состояніи застала ее горничная дѣвушка, посланная звать ее домой.

— Барыня, васъ ждуть; гости пріѣхали.

Тогда она вспомнила все и пустилась бѣгомъ домой. Гости застали ее, такимъ образомъ, врасплохъ, съ разсыпавшимися мыслями, крайне смущенною. Когда она вошла въ комнату, тамъ уже всѣ собрались: мужъ, Буреевъ съ сестрой Мизинцевъ съ незнакомымъ гостемъ. Она подала пріѣзжимъ руку, но ни на одномъ лицѣ не могла сосредоточиться вся занятая внутреннимъ смятеніемъ.

А тутъ какъ разъ подошла минута обѣда и она еще болѣе растерялась отъ хлопотъ вокругъ стола. Къ довершенію несчастія, обѣдъ былъ изъ рукъ вонъ плохъ: одно засохло

другое подгорѣло, третье осталось сырымъ. Въ этотъ несчастный день (впослѣдствіи Александра Яковлевна считала его самымъ счастливымъ), когда всѣ перебрались и обобзились, ни одно дѣло никому не удалось, даже стряпня кухарки.

Александра Яковлевна сидѣла за столомъ и не знала, что дѣлать и говорить. На новаго гостя, Чехлова, сидѣвшаго на концѣ стола, она не смѣла поднять глазъ, и его образъ смутно рисовался ей, какъ это бываетъ съ тѣмъ наблюдателемъ, который никакъ не можетъ развязаться съ своими мыслями, беспорядочно загораживающими поле зрѣнія. Она только замѣтила его низкій ростъ, крупное лицо съ маленькими черными глазами, густую шапку черныхъ волосъ на головѣ и крупные пальцы на рукахъ, которыми онъ бралъ отъ нея кушанья.

Не одна Александра Яковлевна находилась въ такомъ настроеніи,—ни у кого разговоръ не клеился. Всѣ съ необыкновеннымъ рвеніемъ принялись за обѣдъ, какъ будто въ немъ, въ этомъ обѣдѣ, и заключалось все дѣло. Только одинъ Чехловъ спокойно сидѣлъ и едва прикасался къ пищѣ. Глаза его попеременно съ острою пытливостью переходили съ одного присутствующаго на другого, но на лицѣ его лежалъ холодный покой. Повидимому, онъ и не думалъ говорить, не удивляясь, въ то же время, и молчанію окружающихъ.

Между тѣмъ, кое-какія бѣглыя и случайныя фразы, которыми обмѣнялись Хординъ, Буреевъ и Мизинцевъ, еще болѣе подчеркнули безмолвіе, воцарившееся, казалось, навсегда въ этой комнатѣ. Тогда Александра Яковлевна не выдержала такого холода. Въ смущеніи передавъ съ чѣмъ-то тарелку Чехлову, она рѣзко нарушила молчаніе:

— Вы извините, пожалуйста... обѣдъ нашъ никуда не годится,—сказала она.

— Я не замѣчаю,—возразилъ Чехловъ необыкновенно спокойно.—Впрочемъ, я могу чувствовать только голодъ, а чѣмъ надо удовлетворить его—это безразлично для меня.

— Такъ что вы не можете отличить хлѣба отъ мякины?—замѣтилъ Буреевъ, обрадованный случаю съострить.

— Я всегда говорю въ предѣлахъ разговора и намековъ не понимаю,—возразилъ новый гость. При этомъ всѣ какъ-

то сконфузились. Сказалъ онъ это внушительно и спокойно, какъ взрослый человѣкъ говорить ребенку, который спалилъ. Буреевъ, дѣйствительно, почувствовалъ себя въ положеніи мальчишки, которому сдѣлали строгій выговоръ. Наступила тишина.

Одна Александра Яковлевна, не замѣтившая общей озабоченности, продолжала бороться противъ молчанія.

— Вы, конечно, шутите... Но, вопреки вашему увѣренію, ѣсть сегодня въ самомъ дѣлѣ нечего. Это уже по милости прислуги... Съ самаго утра сегодня мы всѣ ссорились, и вотъ результатъ ссоры съ кухаркой—у насъ обѣда нѣтъ.

Въ отвѣтъ на это Чехловъ въ первый разъ улыбнулся, но такъ снисходительно, что Александра Яковлевна смутилась неизвѣстно отчего. Она поторопилась объясниться.

— Вы не подумайте, что моя прислуга въ самомъ дѣлѣ дурная, и я съ ней ссорюсь. Кухарка въ особенности хорошая женщина, но, видно, дурное расположеніе ея духа было очень сильно, если она испортила обѣдъ.

— Развѣ у кухарки бываетъ дурное расположеніе духа? А если бываетъ, то развѣ можно съ нимъ считаться?—возразилъ вдругъ Чехловъ холодно, безъ малѣйшей улыбки.

— Еще бы!... Мы, положимъ, поссорились, встревожились. Но мое расположеніе духа ни на чемъ не могло отражаться, такъ какъ я ничего не дѣлаю, а она испортила мясо. Но едва-ли я имѣю право жаловаться. Она была только въ дурномъ расположеніи духа, и оно причинено мной. Невольно приходится считаться съ настроеніемъ кухарки, иначе впереди грозитъ голодъ. Изъ этого вытекаетъ мораль: не надо ссориться съ кухарками и раздражать ихъ.

Александра Яковлевна говорила это полушутливо, полусерьезно. Но Чехловъ слушалъ внимательно, и когда Александра Яковлевна кончила, на лицѣ его мелькнуло непонятное злорадство.

— Изъ вашихъ словъ я вижу, что вы всегда довольны отношеніями къ прислугѣ?—спросилъ онъ.

— Напротивъ. Эти отношенія причиняютъ мнѣ много горя, обидъ!—вскричала Александра Яковлевна, вспоминая нынѣшнее утро.

— Почему же? Развѣ прислуга обманываетъ?

— Бываетъ и это. Но самое обидное и мучительное—это

недовѣріе съ ея стороны, фальшь и неопредѣленность обо-
идныхъ отношеній... Часто просто не знаешь, какъ себя
вести!

— Съ прислугой надо вести себя твердо. Обманъ уличать,
воровство наказывать, за грубость выгонять.

Говоря это спокойно и медленно, Чехловъ, не сводя глазъ,
смотрѣлъ на Александру Яковлевну.

Та не знала, что это такое, и съ недоумѣніемъ посмот-
рѣла на собесѣдника, стараясь понять значеніе его словъ.
Въ первый разъ она прямо посмотрѣла на него и замѣтила
его жесткія черты и холодный взглядъ.

— Но вѣдь такъ можно дойти до жестокости,—замѣтила
она съ недоумѣніемъ.

— Развѣ по отношенію къ прислугѣ можетъ быть жесто-
кость?—спросилъ онъ.

— Какъ же не можетъ быть? Преслѣдуя свои интересы,
можно нечувствительно дойти до дикой несправедливости!—
сказала съ волненіемъ Александра Яковлевна, задѣтая за
живое.

— „Жестокость, несправедливость!“—сколько непонятныхъ
словъ!—выговорилъ Чехловъ и улыбнулся, но это была злая
улыбка.

Александра Яковлевна съ еще большимъ недоумѣніемъ
посмотрѣла на него.

— Что же тутъ непонятнаго? Мы на каждомъ шагу ви-
димъ и сами допускаемъ жестокость и несправедливость. А
отсюда тяжелыя отношенія для обѣихъ сторонъ, но въ осо-
бенности тяжелыя прислугѣ.

— Прислугѣ?

— Ну, да, прислугѣ.

— Жестокость и несправедливость къ прислугѣ?—пере-
спросилъ Чехловъ.—Воля ваша, извините, но я ничего не
понимаю,—добавилъ онъ, и тонъ его вдругъ сдѣлался рѣз-
кимъ и самоувѣреннымъ.

Александра Яковлевна покраснѣла. Къ недоумѣнію въ ней
присоединилось еще негодованіе.

— Да развѣ прислуга не человѣкъ?—воскликнула она ос-
корбленная.

— Разумѣется, человѣкъ!—отвѣтилъ Чехловъ опять спо-
койно.

— Значить, къ этому человѣку можно относиться мягко или жестоко, справедливо или несправедливо?

— Опять ничего не понимаю! То вы говорите о человѣкѣ, то о прислугѣ. Извините меня, но я не понимаю такого легкомысленнаго смѣшенія прислуги съ человѣкомъ! Это значитъ намѣренно играть словами!

Чехловъ, говоря это, рѣзко и оскорбительно жалъ плечами.

Александра Яковлевна обвела глазами всѣхъ присутствующихъ, но недоумѣніе и чувство оскорбленности были на всѣхъ лицахъ. Только одинъ Мизинцевъ сіялъ; на лицѣ его рисовалось величайшее удовольствіе, а его взоръ, попеременно переходящій съ одного объдающаго на другого, какъ будто говорилъ: „А вотъ погодите, онъ вамъ и не такой еще урокъ дастъ!“

— Вы, повидимому, задались намѣреніемъ не понимать самыхъ простыхъ словъ,—сказала сдержанно Александра Яковлевна.—Но въ такомъ случаѣ не можете-ли вы сами потрудиться объяснить вашъ взглядъ?

— Мнѣ бы хотѣлось вашъ взглядъ уяснить, ради вашей пользы, но вы почему-то стараетесь уклониться отъ моихъ добрыхъ намѣреній. Однако, я попытаюсь, если вы позволите, объяснить вамъ ваши слова. Вы позволите предложить вамъ нѣсколько вопросовъ?—спросилъ Чехловъ.

— Сдѣлайте одолженіе,—рѣзко сказала Александра Яковлевна. Лицо ея покраснѣло отъ негодованія. Да и всѣ присутствующіе, кромѣ Мизинцева, сидѣли нахмуренные, почти озлобленные противъ незнакомца. Всѣ забыли, что онъ гость, и не скрывали своего негодованія,—до такой степени слова его были вызывающими, оскорбительными.

— Вы думаете, что съ прислугой можно обращаться жестоко и несправедливо?—началъ Чехловъ свои вопросы съ загадочною улыбкой.

— Думаю,—отвѣтила Александра Яковлевна.

— Но, по вашему мнѣнію, должно обращаться мягко и справедливо?

— Должно. А развѣ по-вашему иначе?

— Обо мнѣ нѣтъ рѣчи. Вы великодушно позволили изслѣдовать вашъ взглядъ,—это я и дѣлаю, и прошу васъ продолжить это позволеніе,—возразилъ скромно Чехловъ, хотя съ прежнимъ злорадствомъ во взорѣ.

— Сдѣлайте одолженіе!—повторила Александра Яковлевна.

— И такъ, по-вашему, съ прислугой должно обращаться иго и справедливо. Но, можетъ быть, вы ставите какія-нибудь границы справедливости, обращенной на прислугу? Можетъ быть, есть справедливость специально кухарская, кучерская, лакейская? Или же къ прислугѣ вы считаете возможнымъ примѣнить ту справедливость, которую вы оказываете купцу, чиновнику, барину?

— Справедливость одна!

— То-есть вы считаете возможнымъ относиться къ прислугѣ съ такою же справедливостью, какъ ко всякому другому человеку?

— Непремѣнно.

— И относитесь такъ?

— Да, отношусь, насколько это позволяютъ мои недостатки. Отношусь вообще такъ же, какъ ко всякому другому,—сказала Александра Яковлевна.

— Вы такъ увѣренно утверждаете ваше равенство съ прислугой, какъ будто это чистая правда. Но я все-таки, изъ боязни сдѣлать невѣрное заключеніе о вашей правдивости, еще разъ спрашиваю васъ: неужели вы дѣйствительно относитесь къ прислугѣ, какъ ко всякому другому человеку?

Александра Яковлевна поблѣднѣла при этихъ ядовитыхъ словахъ. Остальные присутствующіе, кромѣ Мизинцева, сдѣлали нетерпѣливые, негодующіе жесты. А Буреевъ такъ прямо сказалъ:

— Господинъ Чехловъ! Дерзость—не доказательство!

Чехловъ на мгновеніе скромно потупился, но, вслѣдъ за тѣмъ, спокойно, ласковымъ голосомъ возразилъ:

— Я никогда не говорю дерзости людямъ, которыхъ люблю. Я и васъ, господинъ Буреевъ, люблю, и во имя этой любви прошу позволить мнѣ продолжать мое изслѣдованіе предмета, ошибочно показавшееся вамъ оскорбительнымъ,—и Чехловъ при этомъ вопросительно посмотрѣлъ поочередно на всѣхъ.

Всѣ съ недоумѣніемъ переглянулись: „Что это, молъ, за юродивый?“

— Продолжайте,—за всѣхъ отвѣтила Александра Яковлев-

на, отвѣтила мягко и съ доброю улыбкой, подавляя усиліе воли чувство негодованія противъ гостя.

— И такъ, вы считаете,—началъ Чехловъ,—прислугу равной себѣ и утверждаете, что къ ней вы можете относиться и относитесь, какъ къ себѣ или къ своему ближнему. Я выразилъ сомнѣніе на этотъ счетъ, а господинъ Буреевъ обидѣлся на это, какъ будто онъ и въ самомъ дѣлѣ относится къ прислугѣ, какъ къ человѣку (Чехловъ при этомъ бросилъ насмѣшливый взглядъ въ сторону Буреева). Во избѣжане дальнѣйшаго взгляда господина Буреева и вашего,—Чехловъ обратился къ Александрѣ Яковлевнѣ и дальше уже исключительно къ ней одной обращался,—я согласился повѣрить вамъ на слово и представить вамъ изумительную по своей правдивости картину равныхъ отношеній господъ къ прислугѣ. Я вижу, какъ сейчасъ, вы только что наняли кухарку. Она вамъ понравилась и вы ей. Заключивъ условія, вы пожали другъ другу руки и стали жить въ одномъ домѣ, исполняя каждый свои обязанности. Въ первую ночь кухарка переночевала въ указанной ей комнатѣ, то-есть въ кухнѣ, и на слѣдующее утро она заявила вамъ, что въ кухнѣ ей не удобно спать, что тамъ и сыро, и холодно, и беспокойно, просила васъ отвести ей другую комнату. За неимѣніемъ таковой, согласилась спать пока хоть на диванѣ въ залѣ. Вы извинились за свою оплошность и поспѣшили помѣстить ее въ залѣ, а когда она сообщила вамъ по секрету, что у ней нѣтъ ни простыни, ни подушекъ, ни байкового одѣяла, тотчасъ же снабдили ее всѣмъ этимъ. Потомъ, побѣдивъ нѣсколько разъ одна, она на третій день изъяснила желаніе обѣдать съ вами вмѣстѣ, такъ какъ обѣдать одной и скучно, да и невыгодно,—за эти дни, по недосмотру, ей на обѣдѣ остались одни только щи съ кислую капустой и каша съ бараннимъ саломъ, между тѣмъ, ей очень хотѣлось покушать пышенка, котораго она сама жарила, и пирога со стерлядью. Кромѣ того, она признавалась вамъ, что любитъ торты изъ фруктовъ и весьма была недовольна, когда ей не осталось ни кусочка его. Вы, конечно, опять извинились за этотъ странный недосмотръ съ вашей стороны, и съ слѣдующаго дня кухарка стала обѣдать за однимъ столомъ съ вами, подобно тому, какъ вотъ я, незнакомый вамъ человѣкъ, обѣдаю съ вами. Далѣе она обратила ваше просвѣщенное вниманіе

на недостатокъ у ней книгъ, за которыми ей также, какъ вамъ, хотѣлось провести свободное отъ работы время; по жилищнѣю средствъ, она могла читать только купленную за двѣ копѣйки сказку о томъ, какъ мужикъ чорта обманулъ, возмутительно глупую, между тѣмъ какъ вы послѣ обѣда читали занимательный романъ, и вы на слѣдующій день поправили свою небрежность и передали ей всѣ романы, которыми сами наслаждались. Затѣмъ, кухарка, вслѣдствіе дурного расположенія духа, иногда портила обѣдъ, и когда вы однажды гуманно выразили свое недовольство этими странными случаями, она резонно вамъ отвѣтила, что у ней нѣтъ развлеченій и что котлеты она обратила въ твердый уголь потому, что у ней тяжело было на душѣ. И чтобы не оставаться безъ развлеченій, успокоивающихъ нервы, она предложила вамъ брать ее съ собой въ городъ на драматическіе и оперные спектакли, какъ вы брали туда Бурееву. Разумѣется, вы не могли отказать ей въ такой пустой просьбѣ и на слѣдующей недѣлѣ вы слушали съ ней *Руслана и Людмилу*. Что касается нравственныхъ отношеній, то въ этомъ смыслѣ вы обращались съ кухаркой съ такимъ же почтеніемъ, какое вы оказываете, напримѣръ, Михаилу Егоровичу Мизинцеву, когда онъ проводить съ вами дни. Однимъ словомъ, что бы кухарка ни попросила, — конечно, въ предѣлахъ возможности и сообразуясь съ вашимъ образомъ жизни, — вы не отказывали ей. Замѣтите, вы и не имѣли права отказать ей въ томъ, чѣмъ сами и ваши близкіе пользовались. Вы не могли назвать ее наглою бабой и не имѣли права прогнать ее только за то, что она желала быть равной съ вами, пользоваться почтеніемъ, слушать *Руслана и Людмилу* и кушать мороженое. Еслибы вы вздумали кому-нибудь жаловаться на ея невыносимое поведеніе, всякій имѣлъ бы право съ негодованіемъ отнести къ вашей неосновательной жалобѣ. Вы сами отрѣзали себѣ всякое отступленіе, когда заключали съ кухаркой условіе равныхъ отношеній, и вашу жалобу всякій послѣдовательный человѣкъ назвалъ бы жестокой и вѣроломной. Я не назову васъ таковою, но мнѣ всегда больно слышать ложь.

При этихъ словахъ Чехловъ возвысилъ голосъ и уже не понижалъ его до конца; и каждое слово его раздавалось съ такою силой, словно онъ билъ молотомъ по куску желѣза.

— Мнѣ больно вообще находить ложь въ такихъ вещахъ, которыя сверху прикрыты дымкой истины и справедливости. Вы упорно настаивали, что вы можете, должны и на самомъ дѣлѣ относитесь къ прислугѣ, какъ къ человѣку, между тѣмъ послѣ бѣглаго анализа вашихъ отношеній оказалось, что вы заблуждаетесь. Оказалось, что прислуга для васъ только прислуга, а не человѣкъ, и что вы относитесь къ ней не какъ къ себѣ, а какъ къ иному, низшему существу. И вы можете иначе относиться! Сколько угодно вы можете говорить, что она для васъ человѣкъ, я не повѣрю этому! Для человѣка вамъ нуженъ въ ней, а рабочая машина! Когда вамъ нужно человѣка, вы пойдете искать его всюду, только не въ кухню, не на дворъ, не на конюшню. Въ кухню вы находите прислугу, а не человѣка. Ваше увѣреніе, что въ прислугѣ вы видите равнаго себѣ человѣка, двойная ложь. Во-первыхъ, это логическій фокусъ, то-есть простой обманъ, вродѣ того, когда магистръ магии на глазахъ у всѣхъ глотаетъ шпату. Нанимая себѣ прислугу, вы этимъ самымъ устанавливаете фактъ рабства; вы нанимаете человека, но ставите его въ положеніе раба, который долженъ исполнять вмѣсто васъ работу. Вы нанимаете раба не для того дѣла, которое вы считаете высокимъ, но котораго не въ силахъ исполнить, а на дѣло непріятное, грязное, оскорбляющее ваши просвѣщенные чувства и мѣшающее вашимъ тонкимъ потребностямъ!... Во-вторыхъ, прикрывая собою шонную вами покупку раба живыми словами, какъ гуманность и справедливость, вы даже себя обманываете, отрицая у себя возможность видѣть голую истину. Истина такова: или вы пользуетесь трудомъ прислуги (но не человека), но тогда не обманывайте себя и другихъ насчетъ вашихъ справедливыхъ отношеній, которыя могутъ быть только по отношенію къ человѣку, а не къ прислугѣ, или откажитесь отъ обладанія людьми, которыхъ вы не должны ставить въ не-человѣческое положеніе, но тогда вамъ самимъ придется исполнять весь трудъ, необходимый для вашей жизни. Но не забрасывайте истину красивыми и ложными обещаніями, ибо придетъ день, когда разумъ раскроетъ вамъ обманъ, сорветъ покрывало со лжи и заставитъ сердце ваше затрепетать отъ ужаса.

Послѣднія слова Чехловъ окончилъ такимъ потрясающимъ

голосомъ, словно говорилъ изъ трубы. Но лишь только онъ это протрубилъ, какъ тотчасъ же принялся оканчивать обѣдъ, причемъ лицо его моментально сдѣлалось спокойнымъ и ходнымъ.

Но всѣ прочіе, сидѣвшіе за столомъ, давно забыли объ обѣдѣ, ошеломленные словами гостя. Александра Яковлевна была блѣдна и взволнована, но не отъ негодованія, какъ недавно. Напротивъ, лицо ея имѣло виноватый видъ, словно ее учили въ преступленіи. Хординъ ожесточенно комкалъ мясные и большіе шары изъ хлѣба и руки его дрожали, глаза же беспокойно бѣгали съ предмета на предметъ. Буреевъ давно пересталъ ѣсть и только нещадно курилъ, не отодвигая стула; надъ столомъ, исходя отъ него, плавали густыя тучи дыма, а окурки его появились повсюду, гдѣ можно было только воткнуть ихъ; онъ сначала тушилъ ихъ въ своей тарелкѣ, но потомъ сталъ втыкать ихъ въ куски хлѣба, въ салатникъ, въ блюдо изъ-подъ соуса, въ ложки, наконецъ, просто швырялъ нѣкоторые за окно. Всегдашній насмѣшникъ, онъ теперь мрачно хмурилъ брови.

Это былъ своего рода разгромъ.

Минуты черезъ двѣ всѣ безпорядочно бросили свои мѣста за столомъ и заходили по комнатѣ, причемъ со стороны Хордина и Буреева слышались безсвязныя возраженія. Но Человѣвъ со снисходительною улыбкой уничтожалъ эти возраженія, словно добивалъ послѣдніе деморализованные остатки разбитаго имъ непріятеля. Трудно было опомниться разбитымъ; онъ вѣдь говорилъ съ ихъ точки зрѣнія: распространить понятіе равенства широко, онъ ихъ же оружіемъ колотилъ ихъ. Когда онъ въ немногихъ словахъ доказалъ, что въ жизни они и не думали считать мужика равнымъ себѣ, то пораженіе было полное. Всѣ чувствовали себя глупо и всѣмъ было совѣстно, всѣ считали себя умными, передовыми людьми и вдругъ незнакомый человѣкъ указалъ имъ мѣсто въ приютой.

Никому даже въ голову не пришло спросить этого человѣка, какъ же онъ самъ-то думаетъ и живетъ? Всѣ были заняты приведеніемъ въ порядокъ собственныхъ мыслей.

Человѣвъ, между тѣмъ, тотчасъ послѣ обѣда сталъ собираться обратно въ городъ. Онъ спросилъ, сколько времени, и, ни къ кому не обращаясь, сказалъ, что ему пора отправ-

латься на поѣздъ, и тотчасъ же сталъ прощаться. При прощаньи, поочередно всѣмъ пожимая руку, онъ каждому сказалъ какую-нибудь любезность, холодно и спокойно, но все-таки любезность. Этимъ всѣ были окончательно обезоружены какъ обыкновенные плѣнники, примирившіеся съ врагомъ. Къ Александрѣ Яковлевнѣ Чехловъ подошелъ послѣ всѣхъ и уже протянулъ ей руку, но она вдругъ отвѣтила, что пойдеть проводить его.

— Тогда мы лучше дойдемъ пѣшкомъ! — сказалъ Чехловъ, и неподдѣльная радость озарила его лицо.

Черезъ минуту они уже шли по дорогѣ къ станціи, а сѣраженная Хординымъ лошадь шла позади ихъ, чтобы довезти Александру Яковлевну обратно до усадьбы.

Идя рядомъ съ гостемъ, Александра Яковлевна сначала могла успокоить потокъ мыслей, вызванный бывшею сейчасъ бесѣдой. Но мало-по-малу свѣжій воздухъ, обвѣвавшій ея краснорѣчивое лицо, освѣжилъ и ея голову. Тогда она съ внезапнымъ проснувшимся любопытствомъ поглядѣла на Чехлова. Къ изумленію, тотъ Чехловъ, который сидѣлъ за столомъ, совсѣмъ походилъ на того, который теперь шелъ рядомъ съ ней. Жестокое выраженіе его лица смягчилось улыбкой, взглядъ его острыхъ глазъ потерялъ свое злорадство, не было больше протѣканія, голосъ тихій, а не трубный, какимъ былъ тамъ. Онъ заботливо отвѣчалъ на всѣ ея вопросы, не показывая пренебреженія, какъ тамъ, за обѣдомъ. Радость мелькнувшая по его лицу въ тотъ моментъ, когда она заявила желаніе проводить его, свѣтилась и теперь. Но радость еще ярче засвѣтилась на его лицѣ, когда Александра Яковлевна стала просить его заѣзжать къ нимъ; не о радости, но еще какая-то благодарность выразилась въ его глазахъ при этомъ приглашеніи. Они условились, что онъ ѣдетъ въ слѣдующее воскресенье съ Мизинцевымъ, и въ этомъ разстались. Онъ крѣпко пожалъ ей руку передъ тѣмъ какъ садиться въ подошедшій поѣздъ, а когда поѣздъ пошелъ, долго смотрѣлъ на нее изъ окна.

Возвратившись домой, Александра Яковлевна вошла въ залу. Но тамъ были только мужъ и Буреевъ; Маша и Мизинцевъ, оставшіеся до ночного поѣзда, пошли гулять. Она на минуту присѣла въ дальній уголъ и прислушалась, не слышатъ ли, чемъ говорятъ двое товарищей.

Хорди́нь ходи́лъ изъ угла въ уго́лъ, а Буре́евъ сидѣлъ около окна, подѣ цвѣтами; вокругъ него, попрежнему, носились тучи дыму, а окурки онъ ожесточенно топталъ ногами, предварительно, впрочемъ, насовавъ десятка два ихъ въ цвѣточные горшки. Онъ былъ такъ взбудораженъ, такимъ казался суровымъ и дикимъ, какимъ Александра Яковлевна его не знавала. При входѣ въ комнату, она, между прочимъ, застала такой діалогъ:

— Чувствуешь, Васильичъ?—спрашивалъ Буре́евъ у Хорди́на.

— Что-жь, не лишено остроумія!—возразилъ послѣдній, шагая по залѣ.

— Да, быть можетъ, ничего не чувствуешь, а только спать хочешь?

— Спать я пойду...

— Ну, а я, братъ, чувствую себя такъ глупо, словно я обратился въ стадо свиней!

— Да. Надо ему отдать справедливость, оригинальный субъектъ!—сказалъ на это снисходительно Хорди́нь.

— И вѣдь правда! Но, въ то же время, я чувствую, что онъ напустилъ на меня какого-то туману!... Чадъ какой-то!

— Въ такомъ случаѣ, пойдемъ лучше спать,—предложилъ Хорди́нь и зѣвнулъ.

Но на этотъ разъ Буре́евъ такъ былъ занятъ какими-то мыслями и такъ взволнованъ, что не послѣдовалъ за Хорди́немъ, а сталъ беспорядочно торопиться домой.

Черезъ минуту всѣ разошлись.

IV.

Всегда аккуратный, какъ хронометръ, Михаилъ Егоровичъ Мизинцевъ, пріѣхавши въ усадьбу къ Хорди́нымъ въ воскресенье, оставался затѣмъ цѣлый день и часть ночи, и съ ночнымъ поѣздомъ возвращался въ городъ. Но на этотъ разъ онъ неожиданно пріѣхалъ съ субботнимъ вечернимъ поѣздомъ.

— А Чехловъ развѣ не пріѣдетъ?—первымъ дѣломъ спросила Александра Яковлевна.

— Завтра непременно пріѣдетъ,—отвѣтилъ Мизинцевъ.

И тотчасъ же разговоръ пошелъ о Чехловѣ, сдѣлавшемся героемъ дня. Александра Яковлевна съ нескрываемымъ лю-

бопытствомъ разспрашивала, кто онъ, откуда, какова его прежняя жизнь и ради чего онъ сюда прїѣхалъ. Мизинцевъ очень мало могъ рассказать изъ прошлой жизни Чехлова, но очень много распространился про его взгляды, про его проницательный умъ, про его вліяніе.

Разговоръ этотъ повлекъ за собою непостижимый курьезъ: каждый приписывалъ Чехлову вещи, которыя тотъ, по мнѣнію другого, не говорилъ.

— Раньше онъ былъ такимъ же, какъ и всѣ,—сказалъ Мизинцевъ въ отвѣтъ на любопытство Александры Яковлевны,—пилъ водку, кутилъ, безобразничалъ, но вдругъ разомъ измѣнился...

— И это, по-вашему, все, чѣмъ онъ отличается отъ другихъ?—воскликнула Александра Яковлевна.

— Ну, зачѣмъ же?... Глубину его взглядомъ вы увидите... Хотя, признаться, я многого не понимаю въ его словахъ... Но главная его цѣль—личность. Личность онъ ставитъ на недосыгаемую высоту, отъ каждаго требуя, чтобы онъ произвелъ переворотъ въ своей жизни... Онъ говоритъ...

— Да это вы говорите!... Опять все старое: водка, табакъ, безобразія... Какъ это вамъ не надоѣсть долбить одно и то же?... И можно-ли представить себѣ, что это Чехловъ говоритъ?—воскликнула Александра Яковлевна.

— Никогда не надоѣсть! Какъ же это можетъ надоѣсть, когда главное?... Поймите, ради Бога!... Сообразите... тамъ вы можете имѣть какія угодно вышнія или завыральныя идеи, но вы обязаны быть лично безупречно чистой... Какъ вы не поймете меня?...

Они сидѣли въ саду. Настали глубокія сумерки; приближалась тихая, черная ночь. Звѣзды только кое-гдѣ, какъ будто изъ любопытства, выглядывали, но тотчасъ же скрывались за облака. Но воздухъ былъ нѣжный и теплый; подъ его тихою, безмолвною нѣгой убаюканная природа уснула глубокимъ сномъ. Только два существа (Маша молча сидѣла въ темнотѣ), сидя подъ распускающимися деревьями, шумѣли, съ яростью фанатиковъ понося другъ друга гнѣвными словами.

Мизинцевъ обыкновенно говорилъ тихо, мѣрно и разсудительно. Когда онъ говорилъ, то производилъ на слушателя такое впечатлѣніе, будто все небо нависло тучами и каплетъ

люди, каплетъ тихо, съ однообразнымъ бульканьемъ по лутамъ, съ монотонными ударами капель, падающихъ съ крыши... Но тутъ, при спорѣ о томъ, что сказалъ Чехловъ, и онъ точно сдѣлался сумасшедшимъ, выбѣжавшимъ изъ-подъ извора. Самое имя Чехлова, повидимому, способно было производить во всѣхъ возбужденіе, раздоръ и непримиримость. — Какъ вы не поймете, что такъ именно онъ и долженъ поморить, а не иначе? Для общественнаго дѣла нужны люди. — откуда же ихъ взять-то? Какое право вы имѣете требовать отъ человѣка, чтобы онъ взялся за общественное дѣло, если онъ свинья? Неужели онъ можетъ принести пользу?... Даже наши общественные люди... что ни видный человѣкъ, то либо пьяница, то распутникъ, то либо съ женой развелся, то съ чужими путается... Неужели это не отражается на общественной жизни? Прежде всего, это пагубно отражается на женщинѣ... Она ни мать, ни воспитательница, ни жена, а какая-то кукла, назначеніе которой носить перстень и турнюръ, курить папироску, читать новую книжку и жить на счетъ мужа, обязаннаго, чтобы у нея былъ турнюръ, таскать назенныя деньги... а вѣдь она мать будущаго поколѣнія, — каково же это поколѣніе-то будетъ?... Мужчины еще гаже. Онъ, видите-ли, общественными дѣлами занимается и не обязанъ быть честнымъ человѣкомъ у себя дома: послѣ общественныхъ непосильныхъ трудовъ ему нужно отдохнуть, то-есть напиться, перемѣнить нѣсколько женъ, соблазнить нѣсколько дѣвушекъ, гоготать по театрамъ... Я васъ спрашиваю, можетъ-ли быть, напримѣръ, пьяница общественнымъ дѣятелемъ или развратникъ благодѣтелемъ людей?! Можетъ-ли свинья, облѣпленная всяческою грязью у себя въ хлѣвѣ, сдѣлать что-нибудь хорошее по выходѣ на улицу?

Это кричалъ Мизинцевъ, оглашая тихую, скромно спящую ночь, и садъ, и воздухъ дикими звуками. Положительно онъ такъ будто взбѣсился. Но Александра Яковлевна возмутилась не тѣмъ, что онъ говорилъ, а тѣмъ обстоятельствомъ, что свои слова онъ приписывалъ Чехлову.

— Позвольте... но вѣдь это ваши, а не Чехлова слова! И ихъ сотни разъ слышала! — сказала возмущенная этимъ обстоятельствомъ Александра Яковлевна.

Дѣйствительно, это были его слова, и онъ сотни разъ ихъ добилъ.

Обыкновенно этимъ начиналъ и этимъ оканчивалъ Мизинцевъ. Съ Александрой Яковлевной они никогда не могли ни до чего договориться. Онъ говорилъ: „личность“. Она говорила: „общественная сфера“. „А развѣ дурная личность можетъ хорошо вліять на общество?“—спрашивалъ онъ.—„Н развѣ человѣкъ, обратившій всѣ взоры на себя, можетъ остаться человѣкомъ?“—спрашивала Александра Яковлевна. Выходилъ заколдованный кругъ. Иногда, раздосадованная однообразною долбней собесѣдника, она вдругъ спрашивала

— Ну, ладно!... Пусть будетъ по-вашему... Но что-я дѣлать?

Мизинцевъ этимъ ни мало не смущался. Онъ снова, послѣ нѣкоторыхъ окольных рекогносцировокъ, принимался добить сначала и все то же: водку не пить, турнюровъ не носить на чужихъ женъ не заглядывать... онъ перечислялъ десятки такихъ дѣяній, которыя трудно было подвести подъ нѣтъ высшее. Опять выходилъ заколдованный кругъ.

Часть такихъ разговоровъ производилъ на спорщиковъ благотворное дѣйствіе. Александра Яковлевна апатично ждала, самъ Мизинцевъ становился сонливымъ и деревяннымъ словно оба просидѣли годъ въ острогѣ, въ одиночномъ заключеніи.

Поэтому бесѣда ихъ всегда оканчивалась колкостями, относящимися къ дѣлу, но необходимыми для обоюднаго оживленія, какъ необходимъ толчокъ сонному.

— Вы непременно хотите, чтобы каждый, отнюдь не прикрывая головы, смотрѣлъ только подъ ноги себѣ?... „Но если вверху могла подняться ты рыло, тебѣ бы видно было“... тамъ звѣзды!—говорила вдругъ Александра Яковлевна смѣхомъ.

Мизинцевъ также смѣялся, но говорилъ:

-- Ради Бога, смотрите на звѣзды, если ужъ это вамъ нужно! Но не забывайте и подъ ноги заглядывать, въ критическомъ случаѣ «рыло» постоянно будетъ въ грязи...

Въ сущности, они и не могли понять другъ друга. Александра Яковлевна родилась подъ глубокимъ и свѣтлымъ небомъ и жила въ свѣтлое, горячее время, когда о себѣ почти некогда было думать; она на опытъ знала, какъ въ огнѣ

щественнаго дѣла очищается сама собой личность. И сама она до этого времени никогда не задавалась исключительною цѣлью очищать свою жизнь, потому что жизнь ея, безъ ея усилій, была чиста, какъ и вся ея натура... Мизинцевъ же воспитывался на одной изъ тѣхъ улицъ, какія существуютъ въ азіатскихъ городахъ, гдѣ каждый домохозяинъ, поддерживая образцовый порядокъ на дворѣ, на общественную улицу выбрасываетъ дохлыхъ собакъ и кошекъ, грязь и помой,—однимъ словомъ, сознательная жизнь его началась при полной мерзости заустѣнія, и вся его жизнь сосредоточилась на азіатскомъ идеалѣ—чисто обставить свой частный дворъ.

Но это не было только идеаломъ въ немъ. Все, что онъ говорилъ и доказывалъ, все, во что онъ вѣрилъ и чему молится, все это была сама жизнь его. Воплощенный практикъ, онъ говорилъ о дѣлѣ уже послѣ того, какъ совершилъ его. Мысли его никогда не простирались дальше частной жизни каждаго, а убѣжденія и вѣрованія—дальше святости и чистоты. Когда онъ доказывалъ: водку не пить, табакъ не курить, чужихъ женъ не увозить, то это не только было его „убѣжденіе“, но и настоящая дѣйствительность. Широкихъ мыслей онъ не то что не зналъ, а инстинктивно не довѣрялъ имъ; въ немъ неизгладимо вкоренилось чувство, что кто широко размахиваетъ языкомъ, тотъ непремѣнно бездѣльникъ, да еще и грязный. Его идеаломъ былъ только тотъ фактъ, который онъ завтра будетъ совершать; если что онъ говорить, то значить и дѣлать. Водки онъ не пилъ, табакъ бросилъ курить въ восемнадцать лѣтъ, женщинъ не зналъ. Это былъ чистый, благородный юноша, питающій отвращеніе къ бездѣльной жизни.

Будучи практикомъ до мозга костей, но въ порядочномъ смыслѣ этого слова, онъ не искалъ по свѣту широкаго дѣла, а бралъ всякое дѣло, объ которое нельзя выпачкать руки. Хорошо образованный специалистъ, отличный техникъ, онъ служилъ въ городской управѣ и умѣло велъ порученное ему дѣло. Умѣло, въ величайшемъ порядкѣ и до конца онъ велъ всякое взятое дѣло.

Въ тѣ минуты, когда Александра Яковлевна не спорила съ нимъ, она съ удовольствіемъ глядѣла на его лицо, и, въ концѣ-концовъ, ближе познакомившись съ нимъ, должна была сознаться себѣ, что среди неряшливыхъ людей, встрѣчаемыхъ

ею на каждомъ шагѣ, онъ производилъ свѣтлое, чистое впечатлѣніе.

— Раньше, кажется, такихъ людей я не видала,—однажды созналась она ему открыто.

— То-есть какихъ? Узкихъ, хотите вы сказать?—спросилъ съ грустною улыбкой Мизинцевъ, привыкшій слышать отъ нея одиѣ только насмѣшки.

— Нѣтъ, нѣтъ!... такихъ прямыхъ!—поспѣшила объяснить Александра Яковлевна.

Мизинцевъ былъ дѣйствительно прямъ. Онъ, напримѣръ, такъ часто сталъ ѣздить къ Хординымъ изъ-за того, что тамъ гостила Маша, и не скрывалъ этого. А когда онъ съ дѣвучкой вдвоемъ уходилъ или уѣзжалъ гулять, то Александра Яковлевна была увѣрена, что они пошли читать какую-нибудь тоненькую книжку и рвать цвѣты, ни болѣе, ни менѣе. Ей, напротивъ, смѣшно было смотрѣть на этотъ небывалый романъ. Мизинцевъ привозилъ Машѣ цѣлыя кучи книгъ, отличавшихся, къ ея удивленію, какимъ-то особеннымъ тощимъ видомъ. Александра Яковлевна спрашивала, почему онѣ, книжки эти, такія худыя, плоскія на видъ? Однажды она поинтересовалась этимъ вопросомъ и взяла въ руки одну кучку, аккуратно перевязанную веревочкой. Открывая по очереди корешки, она читала: *О вліяніи на организмъ алкоголя, О сыровареніи, Физиологія хлебныхъ злаковъ, О сохраненіи въ сѣвѣжестъ видѣ яицъ, Искусственное кормленіе дѣтей...* Недоставало только брошюры о приготовленіи кислой капусты! Перевязывая тощія книжки снова веревочкой, Александра Яковлевна громко разсмѣялась.

Мизинцевъ былъ не только прямой, но онъ смѣло высказывалъ свои взгляды. О томъ, что онъ считалъ существеннымъ въ жизни (водку не пить, турниоровъ не носить, чужихъ женъ не прельщать и т. д.), онъ считалъ необходимымъ говорить всякому. Порочныхъ же людей онъ открыто порицалъ. Увидѣвъ на барынѣ турниоръ и разныя другія глупости, которыми дамы украшали себя, какъ дикари, онъ недовольнымъ тономъ упрекалъ:

— И что это вамъ за охота позорить себя всѣми этими шпильками?—брезгливымъ тономъ говорилъ Мизинцевъ и показывалъ пальцемъ на бездѣлушки.

Встрѣчая юношу студента, одѣтаго съ иголки, т. е. въ

сапоги съ севрюжьими носами, въ узкія панталоны и проч., Мизинцевъ при всѣхъ съ негодованіемъ говорилъ:

— Ну, посмотрите, ради Бога, на эту мартышку!... Какъ имъ не совѣстно думать, что изъ него выйдетъ общественный дѣятель?... Удивляюсь!

Въ этотъ вечеръ онъ, по обыкновенію, высказалъ съ начала до конца всѣ свои убѣжденія, вплоть до той поры, когда у слушателей его стали слипаться отъ сонливости глаза. Вечеръ былъ, попрежнему, тихій, воздухъ ласковый, но темнота все болѣе и болѣе сгущалась въ саду. Александра Яковлевна уже ничего не видѣла впереди, устремивъ остановившійся взоръ на пень погубшей въ прошломъ году ветлы, который теперь торчалъ безобразнымъ силуэтомъ передъ ея глазами. Нѣчто подобное этому пню сидѣло и въ головѣ ея. Она уже не одинъ разъ зѣвнула, слушая слова Мизинцева, падающія въ ночной темнотѣ подобно каплямъ тихаго дождя. Въ свою очередь, Мизинцевъ, задолбивъ до гипнотическаго сна уважаемую имъ женщину, въ недоумѣніи замолчалъ, такъ какъ весь запасъ своихъ теорій уже высказалъ; этого запаса у него хватало часа на два. Если же разговоръ его затягивался дольше, то вслѣдствіе слушающимъ вдругъ приходило непреодолимое желаніе есть и выпить чего-нибудь остраго, напримѣръ, кусокъ селедки съ лукомъ и рюмку водки. Что касается Александры Яковлевны, то она въ такомъ случаѣ просто торопилась поскорѣе прилечь и забыться во снѣ.

— Пора и спать, господа!—сказала она теперь, когда гнилой пень въ ея глазахъ разросся въ безобразное черное чудовище, протянувшее свои лапы во всѣ стороны.

— Пожалуй, пойдемте!—согласился Мизинцевъ и поднялся со скамьи.

На прощанье, впрочемъ, Александра Яковлевна замѣтила сонно:

— Ну, если Чехловъ въ самомъ дѣлѣ точно это самое проповѣдуетъ, то, право, не стоитъ его слушать.

— А вотъ увидите!—возразилъ на это Мизинцевъ въ видѣ угрозы.

Александра Яковлевна разсмѣялась, и на этомъ они разстались.

Но когда она собиралась уже отправиться въ спальню, внезапно на дворъ пріѣхалъ урядникъ Любомудровъ и робко

просилъ прислугу доложить о немъ барину. „Барина“, т. е. Хордина, въ эту минуту дома не было, онъ ушелъ на село и объясняться пришлось Александрѣ Яковлевнѣ. А всякое такое появленіе разстраивало ее до невозможности, на нее нападалъ неосновательный страхъ и безпричинная злоба. Такъ случилось и на этотъ разъ. Выйдя въ переднюю, гдѣ стоялъ урядникъ и дальше которой она не пустила его, она почувствовала сильное раздраженіе, и, чего съ ней никогда не бывало, голосъ и слова ея сдѣлались грубыми. „Чего вамъ нужно?“—со злобой спросила она. Урядникъ пришелъ по какому-то пустому дѣлу, относящемуся къ имѣнію, никакого дурного умысла не имѣлъ, хотя по профессиональной привычкѣ съ интересомъ заглянулъ въ залъ и дальше въ столовую, вытягивая шею, но Александрѣ Яковлевнѣ все это представилось возмутительнымъ. „Развѣ у васъ нѣтъ дня? Зачѣмъ вы приходите въ такое время, когда уже всѣ спать ложатся?“—крикнула она въ себя, дрожащимъ голосомъ. Бѣдный малый, очевидно, не ожидалъ такой нападучки, сконфузился, забормоталъ что-то несвязное и, поспѣтившись къ двери, нырнулъ въ темныя сѣни, а черезъ минуту уже раздавался топотъ его клячи, которую, какъ слышно было, онъ немилосердно стегалъ.

Но Александра Яковлевна уже разстроилась. Ей припомнились безчисленныя оскорбленія въ прошломъ, а потому полѣзли въ голову непріятныя мысли въ счетъ будущаго. Черезъ нѣкоторое время пришелъ мужъ, и изъ его разсужденій оказалось, что Любомудровъ пріѣзжалъ просто такъ, чтобы попросить, по примѣру прежнихъ лѣтъ, „пожокъ“ на сѣнокосѣ, которымъ экономія даромъ его снабждала... Но Александра Яковлевна уже не могла подавить разошедшіяся мысли. Черныя и мучительныя, онѣ всю ночь не давали ей отдыха и только подъ утро она забылась.

На другой день, послѣ бессонной ночи, въ продолженіе которой передъ ея глазами прошла вся ея поистинѣ мучительная жизнь, она казалась раздражительной и заботливой. Мизинцеву во время дня она наговорила множество колостей, между прочимъ, съ несвойственною для нея грубостью обозвала его „божьей коровкой“, когда онъ вздумалъ распускаться насчетъ одной изъ любимыхъ своихъ темъ—оцѣны женщинами непристойныхъ костюмовъ. Маша обидѣлась.

лась за Михаила Егоровича и застѣнчиво стала его защищать. Тогда Александра Яковлевна раздражительно насмѣялась надъ обоими, описавъ жизнь „божьихъ коровокъ“ съ большими подробностями: какъ онѣ сидятъ подъ лопухомъ, видя въ немъ цѣлый міръ, какъ онѣ чисто и нравственно устраиваютъ свои щели, какъ ихъ доятъ муравьи и какъ онѣ оканчиваютъ свою жизнь, убиваемые дождевою каплей.

За часъ до обѣда пріѣхалъ Буреевъ, веселое настроеніе котораго всегда оживляло общество, но сегодня Александра Яковлевна почти не слушала его, да и самъ онъ былъ хмурый. Она ожидала Чехлова, но и это ожиданіе кончилось только нетерпѣливымъ раздраженіемъ. Чехловъ съ повоздомъ не пріѣхалъ.

Обѣдали безъ него.

Вдругъ его увидалъ кто-то вдали идущимъ съ палкой въ рукахъ. Всѣ поднялись съ мѣста и смотрѣли въ окна. Когда онъ [близко подошелъ, всѣ опять усѣлись по мѣстамъ, а Александра Яковлевна вышла въ переднюю встрѣтить его и вмѣстѣ съ нимъ вошла обратно въ комнату.

Онъ молча подаль всѣмъ руку, молча занялъ стулъ и оглянулъ поочередно всѣхъ находившихся въ комнатѣ, какъ бы говоря: „я пришелъ“. Это не понравилось Александрѣ Яковлевнѣ. Но всѣ, главнымъ образомъ, обратили вниманіе на его наружность; онъ былъ одѣтъ въ длинную блузу на подобіе крестьянской рубахи, подпоясанную какимъ-то обрывкомъ отъ бывшаго ремня, и въ большіе сапоги, сплошь покрытые пылью; да и самъ онъ весь, съ лицомъ и руками, покрытъ былъ густою пылью, что придавало его жесткой фигурѣ еще болѣе мрачный видъ. Въ углу онъ поставилъ сукъ, служившій ему палкой.

— Да не шли-ли уже вы пѣшкомъ отъ города?—воскликнула оживленно Александра Яковлевна.

Онъ отвѣчалъ:

— Ноги намъ даны затѣмъ, чтобы ходить...

— А ротъ назначенъ затѣмъ, чтобы изрекать такіа истины!—добавилъ насмѣшникъ Буреевъ.

Чехловъ не отвѣтилъ, а только пристально взглянулъ на него, и веселый Буреевъ подъ этимъ тяжелымъ взглядомъ смутился. Всѣмъ стало неловко, и больше всѣхъ Александрѣ Яковлевнѣ. Однако, она на этотъ разъ не возмущалась и вся

ушла въ интересъ каждаго его слова. Она уже замѣтила что онъ обладаетъ дьявольскою способностью заставить себя слушать и, съ чего бы ни начался разговоръ, направлять его по своему желанію. Она теперь спросила себя, чему это онъ сказалъ? Быть можетъ, хочетъ проповѣдывать физическій трудъ.

Но тутъ произошла случайность, мгновенно измѣнивъ общее настроеніе. Разстроенная предъидущею ночью, Александра Яковлевна вдругъ почувствовала, какъ у ней застало и зажужжало въ головѣ; она поблѣдѣла и схватила за виски.

— Что съ вами, Александра Яковлевна? Вы нездоровы! вскрикнулъ вдругъ Чехловъ и съ лица его сбѣжала суровая казавшаяся всѣмъ искусственною, тѣнь; на немъ тепе отразилась простая заботливость, искренняя тревога.

Черезъ минуту Александра Яковлевна уже оправилась улыбулась.

— Что съ вами?—повторилъ тревожно Чехловъ.

— Да она у насъ цѣлый день нынче дурить,—отвѣтилъ за нее Мизинцевъ.—Цѣлый день бранится... И все это и дѣлалъ урядникъ Любомудровъ! Пришелъ и разстроилъ.

И Мизинцевъ, говоря это, съ улыбкой разсказалъ, какъ вчера ночью внезапно пришелъ Любомудровъ, какъ Александра Яковлевна его встрѣтила и что потомъ произошло.

— Хоть вы, Денисъ Петровичъ, вразумите ее! Ругается! А мы развѣ въ чемъ виноваты? Виноватъ дуракъ Любомудровъ!—продолжалъ смѣяться Мизинцевъ.

— Какъ можно вразумить человѣка, умъ котораго воспитанъ въ ужасѣ передъ жизнью, который боится палки и обоготворяетъ бездушную силу?—выговорилъ Чехловъ жесткимъ голосомъ.

Александра Яковлевна съ недоумѣніемъ посмотрѣла на него.

— Это про какого же человѣка вы говорите?—спросила она.

— Я говорю про васъ и про тѣхъ, которые также поклоняются палкѣ!—сказалъ Чехловъ.

— Какъ же это я поклоняюсь палкѣ, обоготворяю какуто бездушную силу и... еще что-то?—спросила она съ волненіемъ.

— Но вѣдь это вы разстроились отъ появленія Любому

дрова? Про васъ говорилъ Михаилъ Егоровичъ?—спрашивагъ Чехловъ и въ его острыхъ глазахъ появилась радость, какъ тогда.

— Да, про меня... ну, такъ что же?

— Ничего. Я также про васъ сказалъ, что вы поклонились Любопыт... Любомудрову, обоготворили его!

При этихъ словахъ Хординъ съ крайнимъ любопытствомъ вытянулъ шею по тому направленію, гдѣ сидѣлъ гость; Буреевъ съ негодованіемъ всталъ съ мѣста и враждебно посмотрѣлъ по тому же направленію, какъ будто тамъ засѣлъ злѣйшій его врагъ. Александра Яковлевна покраснѣла, покраснѣла не отъ негодованія, какъ въ первое знакомство съ Денисомъ Петровичемъ, а отъ предчувствія, что она и на этотъ разъ глупо попадется въ какую-то западню, разставленную имъ.

— Это, однако, любопытно!—возразила она и смутилась, боясь сказать что-нибудь больше.

— Да, я утверждаю это! Мало этого, вы не только поклоняетесь бездушной палкѣ, обоготворяете мертвую, ничтожную силу, но вы сами и создали ее. Вы, именно вы создали палку и, благодаря вамъ, она существуетъ!

Каждое слово Чехловъ произносилъ рѣзко и медленно, словно опять языкъ его обратился въ молотъ, которымъ онъ ударялъ по наковальнѣ.

— Но объясните, какъ случился этотъ курьезъ?—спросила Александра Яковлевна съ интересомъ.

Чехловъ немного помолчалъ, провелъ взоромъ по вытянутымъ лицамъ присутствующихъ и вдругъ тихимъ голосомъ сталъ предлагать вопросы.

— Я вижу, здѣсь всѣ удивлены, а господинъ Буреевъ озлобленъ, хотя я его люблю. Но изслѣдуемъ истинное положеніе дѣла... Вы испугались вчера господина Любомудрова?—обратился Чехловъ къ Александрѣ Яковлевнѣ.

— Не могу сказать, чтобы испугалась... Скорѣе озлилась.

— Значить, вамъ непріятно его видѣть, какъ всякаго непріятнаго человека?

— Да, непріятно, но не какъ всякаго непріятнаго человека, а нѣсколько больше.—Александра Яковлевна отвѣчала съ крайнею осторожностью въ выраженіяхъ.

— То-есть господинъ Любомудровъ больше вамъ неприятенъ, чѣмъ другіе неприятные люди?

— Но вѣдь мнѣ не Любомудровъ неприятенъ,—онъ, можетъ быть, добрый человѣкъ,—а та власть, которою онъ можетъ злоупотреблять.

— Развѣ господинъ Любомудровъ имѣетъ власть?—сказалъ насмѣшливо Чехловъ.

— Что вы за наивные вопросы предлагаете! Вы сами отлично знаете, что власть у него есть, хотя и небольшая, но которой достаточно, чтобы причинить мнѣ страданіе, когда онъ употребитъ ее во зло.

— И что же, эта власть и надъ вами?

— Да, и надъ вами, хотя бы вы были святой,—замѣтила съ улыбкой Александра Яковлевна.

— Извините, я не служу и не поклоняюсь никому!... Но, однако, продолжимъ нашу бесѣду: если господинъ Любомудровъ, къ моему крайнему изумленію, имѣетъ надъ вами власть, то, значить, онъ вамъ можетъ причинить дѣйствительно много неприятностей.

— Это вы сами знаете! Знаете, что власть можно употребить на зло!—сказала Александра Яковлевна.

— На зло?

— Ну, да, на зло.

— Господинъ Любомудровъ развѣ можетъ принести зло? возразилъ Чехловъ, какъ бы крайне удивленный.—Но, в такомъ случаѣ, онъ и добро можетъ вамъ дать!

— Это опять же наивность!—возразила осторожно Александра Яковлевна.

— Значить, это уже не недоразумѣніе съ моей стороны. Вы упрямо настаиваете, что господинъ Любомудровъ можетъ дѣлать добро и зло. Вы, слѣдовательно, думаете, что онъ одаренъ какою-то непонятною силой?

— Да, думаю,—рѣшительно сказала Александра Яковлевна и чувствовала, что Чехловъ добываетъ изъ нея такіе отвѣты, какіе ему нужны.

— И большая это сила?—съ злою насмѣшкой спросилъ Чехловъ.

— Смотря по обстоятельствамъ, иногда огромная.

— Даже огромная! Это любопытно. Я видѣлъ сегодня на станціи господина Любомудрова и до этой минуты не обрѣ-

щаль вниманія на этого жалкаго бѣднягу, который по бѣдности взялъ хлопотливую должность пугать робкихъ барынь и господъ, который ѣздитъ на бѣдной умирающей клячѣ и по ночамъ, чтобы никто не видалъ, приходитъ просить барина подарить ему немножко сѣнца... Но оказывается, что онъ одаренъ, этотъ „бѣдный чортъ“, огромною силой? По всей вѣроятности, сила его больше злая, чѣмъ добрая, потому что добра никто не боится...

— Иногда злая.

— И вы дѣйствительно боитесь ея?

— Въ этомъ смыслѣ—да, боюсь.

Чехловъ вдругъ пожалъ плечами и обвелъ всѣхъ присутствующихъ недоумѣвающей улыбкой. Но, не встрѣтивъ сочувствія, опять обратился къ Александрѣ Яковлевнѣ. Всѣ съ нескрываемою враждебностью слѣдили за его словами и теперь насмѣшливо ждали, какъ онъ выпутается. У всѣхъ чувствовалась необходимость унижить и осрамить его, потому что весь его тонъ, вся его фигура смотрѣли вызывающе. Но онъ, повидимому, нисколько не смутился этимъ враждебнымъ настроеніемъ. Напротивъ, по лицу его разлилась радость торжества.

— Однако, мы пришли къ неожиданнымъ вещамъ,—началъ онъ послѣ минутнаго молчанія,—во-первыхъ, господинъ Любимуровъ—сила; во-вторыхъ, это сила часто огромная; въ-третьихъ, такая сила, которая бываетъ злой; наконецъ, такая сила, которой слѣдуетъ бояться... Кажется, я вѣрно передалъ вашу мысль?

— Вѣрно!—отвѣчала Александра Яковлевна коротко, но въ сильнѣйшемъ волненіи.

— Въ такомъ случаѣ, не правъ-ли я былъ,—началъ Чехловъ, внезапно усиливая голосъ,—когда утверждалъ, что вы сами создали эту силу, поклоняетесь ей и приносите человѣческія жертвоприношенія? Бѣдный малый вашимъ страхомъ превращенъ въ могущественную силу! Жалкому чувашу, разумъ котораго блуждаетъ среди дѣтскихъ представленій, проственно, когда онъ лѣсной пень обоготворяетъ, приносить ему дары и умиляетъ его глѣвъ молитвами, чтобы онъ, лѣсной пень, не наказывалъ его за грѣхи, но непросительно, когда люди, считающіе себя разумными, возводятъ вдругъ ничтожество въ непреодолимое могущество, трепещутъ передъ

нимъ и съ полнымъ забвеніемъ разсудка совершаютъ идоло-
служеніе! И естественно, бѣдный малый, служащій ради куса
хлѣба, становится поистинѣ огромною величиною въ жизни,
какъ тотъ лѣсной пенъ, которому молится чувашъ. Ибо кого
люди мыслятъ силой, тотъ становится дѣйствительно могу-
чимъ; кого боятся, тотъ самъ начинаетъ считать себя страш-
нымъ; кому приписываютъ способность добра и зла, тотъ и
творитъ его. Вы до такой степени потеряли прямые пути
что сами свои мысли считаете преступными и свою жизнь—
нарушеніемъ человѣческихъ законовъ. И естественно, что
бѣдный малый, темный бѣдняга, считаетъ васъ преступными.
Ибо кто бѣжитъ, чтобы скрыться, того догоняютъ. Кто боитъ-
ся, того еще болѣе страшатъ. Кто вѣритъ въ силу палки
того палка эта и бьетъ. Вы такъ загнипнотизированы, ваша
душа такъ пуста и умъ столь несамостоятеленъ, и разумъ
ничтоженъ, что вы, подобно чувашу, завидѣвъ среди ночи
чернѣющійся пенъ, блѣднѣете, сердце ваше дрожитъ и вы
готовы пасть ницъ... Не то возмутительно, что палка васъ
бьетъ, а то, что эту палку и множество другихъ ничтожныхъ
бездушныхъ вещей вы одарили несвойственною имъ силою.
Вы до такой степени рабы, что вѣрите только въ силу и
трусости, лжи и коварства, въ силу скрытности... ваша душа
до такой степени рабская, что ей понятны только или грубое
физическое торжество, или страхъ дикаря. Но повѣрьте же
ради Бога, что ваши ужасы неосновательны! Если вы об-
щаете истиной, не скрывайте ее, а несите ее открыто и васъ
никакая темная сила не одолѣетъ,—истина живетъ и растетъ
при свѣтѣ солнца! Ежели же вы прячете ее подъ полу, то
значить, это не истина, а ложь, за которую васъ по спра-
ведливости надо наказывать. Не вѣрьте въ палку и ни въ
какую неразумную, бездушную вещь—и она не будетъ стра-
шна вамъ; вѣрьте только въ силу любви и разума—и вы бу-
дете сильны, какъ боги. И согласитесь, что въ тотъ часъ
когда вы перестанете бояться, ненавидѣть и ругать несчаст-
наго малаго, темнаго и жалкаго Любомудрова, онъ момен-
тально потеряетъ всю навязанную ему силу, какъ потерялъ
силу лѣсной пенъ послѣ того, какъ чувашъ, ставши христі-
аниномъ, убѣдился въ неосновательности своего ужаса, вы-
нулъ изъ земли пенъ и сдѣлалъ изъ него полезную въ домаш-
немъ быту колоду. Будьте же и вы христіанами!

По обыкновенію, Чехловъ говорилъ все это громко и сильно, словно ударялъ молотомъ, но послѣднія слова его раздавались тихо, едва слышно, только каждое изъ нихъ онъ развѣренно отчеканивалъ, какъ будто молотъ его дѣлалъ послѣдніе удары, долженствующіе придать окончательный видъ выговываемой имъ истины.

Но лишь только онъ остановился, какъ въ залѣ поднялся невообразимый шумъ; стулья задвигались, послышался топотъ ногъ, кругомъ раздались громкіе, негодующіе крики. Послѣдніе, впрочемъ, принадлежали Бурееву и отчасти Хордину, которые бросились съ своихъ мѣстъ и разомъ заговорили. Оба они были до самозабвенія раздражены, но не столько самою рѣчью Чехлова, сколько неслыханно-самоувереннымъ тономъ, какимъ она была сказана.

Хординъ безпорядочно заходилъ по разнымъ направленіямъ и съ пренебреженіемъ началъ было говорить.

— Это все старо! Это мы все давнымъ-давно слышали!

Но Буреевъ перебилъ его. Добродушный Нифонтъ Алексѣвичъ, вѣчный острякъ, теперь до послѣдней степени почему-то былъ взбѣшенъ, но это ненормальное негодование придавало ему нелѣпый видъ: глаза его были глупо вытаращены, подбородокъ дрожалъ, пальцы его были сжаты въ кулаки. Въ такомъ чудовищномъ видѣ онъ и подступилъ къ Чехлову и началъ ему что-то кричать.

— Позвольте, позвольте! Вы въ прошлый разъ напустили на меня туману, да и нынче то же самое!... Позвольте, надо этотъ туманъ разсѣять!... Вы слишкомъ любите парадоксы,—это я не „обожаю“, какъ говоритъ мой дворникъ, когда ему предлагаютъ выкурить, вмѣсто картузнаго табаку, махорки!

Самъ Мизинцевъ, никогда не выходившій изъ себя, поднялся съ мѣста, весь красный, и принялся что-то кричать Бурееву, а тотъ не слушалъ и только нѣсколько разъ махнулъ рукой, словно сгонялъ муху, сѣвшую на ухо. Даже застѣнчивая Маша взволновалась и, взявъ за рукавъ Мизинцева, что-то скоро говорила ему, а тотъ также не слушалъ ее, обративъ главное вниманіе на Буреева.

Одна только Александра Яковлевна осталась на мѣстѣ и не присоединилась къ всеобщей сумятицѣ. Она была потрясена словами Чехлова и не обратила вниманія на грубую

ихъ форму. Даже и не мысли его поразили ея душу, а какое-то общее ихъ настроеніе, утраченное, но и теперь такое. Едва-ли Чехловъ имѣлъ въ виду то, что теперь происходило въ ней, и, во всякомъ случаѣ, онъ никакъ не ожидалъ, что смыслъ его словъ произведетъ такое дѣйствіе на нее... Она впервые въ эту минуту почувствовала уверенность въ своей силѣ, давно утраченную или забытую. Лишь ей вдругъ сдѣлалось гордымъ и счастливымъ, какъ будто она праздновала какую-то побѣду, въ которую она не верила, но которую неожиданно подарила ей судьба. Это была побѣда надъ собой...

Между тѣмъ, въ залѣ продолжалась беспорядочная суета. Какъ всегда бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда общество чѣмъ-нибудь взбудоражено, никто никого не слушалъ и всѣ разомъ говорили. При этомъ каждый не зналъ, что онъ сію минуту скажетъ и зачѣмъ скажетъ, что намеренъ доказать и противъ чего возстаетъ. Слова Чехлова привлекли всѣхъ только въ неистовство и на первыхъ порахъ произвели только столпотвореніе вавилонское.

Хординовъ продолжалъ быстро ходить по разнымъ направленіямъ залы и что-то громко говорилъ, никѣмъ не останавливаемый и самъ никого не слушавшій, и только от времени до времени враждебно взглядывалъ по тому направленію, гдѣ сидѣлъ Чехловъ. Буреевъ продолжалъ стоять чудовищной позѣ передъ Чехловымъ и говорилъ много, такъ несвязно, что самъ себя не понималъ; при этомъ онъ и дѣло выхватывалъ изъ портсигара папиросы, закуривалъ ихъ обратнымъ концомъ, со стороны мундштука, бросалъ на полъ и яростно топталъ ихъ ногами, вслѣдствіе чего надъ нимъ стоялъ ѣдкій смятый горящей бумаги... могло бы быть въ такомъ состояніи что-нибудь доказать?

А Мизинцевъ и Маша, удалившись въ уголокъ, громко тамъ ссорились между собой, забывъ объ остальныхъ и Чехловѣ.

А онъ сидѣлъ на прежнемъ мѣстѣ и насмѣшливо слушалъ Буреева. Когда же этотъ наговорилъ очень много вещей связанныхъ только однимъ языкомъ, который ихъ произнесъ, Чехловъ вдругъ пожалъ плечами и насмѣшливо выговорилъ:

— Во-первыхъ, я не могу отвѣчать разомъ на сотни въ

шихъ вопросовъ. Во-вторыхъ, я совсѣмъ перестаю отвѣчать, когда мнѣ грозятъ сжатыми кулаками, и только говорю: „На, бей!“

Буреевъ отъ этихъ словъ инстинктивно разжалъ пальцы, нѣсколько попятился отъ Чехлова и вдругъ расхохотался.

— Экъ вы меня одурачили! Даже забылъ, что изъ-за пошлѣнія „любовь“ не слѣдуетъ драться!—сказалъ онъ сконфуженно и направился вслѣдъ за другими въ столовую.

Тамъ въ это время уже готовъ былъ самоваръ и накрытъ столъ. Всѣ съ шумомъ и удовольствіемъ усѣлись по мѣстамъ и разговоръ, взволновавшій всѣхъ, прекратился. Чеховъ также замолчалъ. Когда Александра Яковлевна подала ему стаканъ съ чаемъ, онъ вдругъ робко попросилъ дать ему чего-нибудь поѣсть, такъ какъ онъ съ утра, когда отправился сюда пѣшкомъ, ничего не ѣлъ еще. Тутъ только всѣ замѣтили, что видъ у него страшно утомленный: глаза ввалились, лицо осунулось, губы потрескались.

Моментально враждебное настроеніе противъ него замѣнилось у всѣхъ состраданіемъ. Было-ли это заранее имъ рассчитано, или онъ не думалъ производить впечатлѣнія своимъ хожденіемъ, только эффектъ получился въ высшей степени благопріятный для него. Ни у кого изъ присутствующихъ не повернулся больше языкъ сказать ему какое-нибудь досадное слово и причинить ему, настолько утомленному, еще большую усталость.

Александра Яковлевна торопливо сдѣлала необходимыя распоряженія и черезъ нѣсколько минутъ онъ уже молча и сосредоточенно закусывалъ. Потомъ принялся за чай. Проче болтали о мелкихъ, ежедневныхъ дѣлахъ.

Но это продолжалось недолго.

Буреевъ, послѣ какой-то смѣшной выходки въ сторону Мизинцева, вдругъ обратился къ гостю и уже серьезно спросилъ его:

— Вы, повидимому, насколько я замѣтилъ, придаете какому-то особенное, своеобразное значеніе двумъ вещамъ— „разуму“ и „любви“,—значеніе, до сихъ поръ мнѣ неизвѣстное.

Спросилъ онъ это не только серьезно, но еще сочувственнымъ тономъ и съ улыбкой симпатіи къ Чехлову.

— Да, вы угадали и поняли меня. Въ моемъ вѣрованіи—

это двѣ силы, не только главныя, но существенныя, управляющія міромъ,—подтвердилъ Чехловъ.

— Міромъ людей, конечно?—освѣдомился Буреевъ.

— Нѣтъ, міромъ, какъ вселенной... Разумъ—это творческая сила міра, совершившая и совершающая все нами видимое. Любовь—это сила охраняющая, связывающая, придающая всему красоту. Всѣ остальные такъ называемыя „силы природы“, открытыя такъ называемою „наукой“ только частныя проявленія этихъ двухъ...

— Та-акъ!—вдругъ протянулъ двусмысленно Буреевъ и на лицѣ его, помимо его желанія, снова появилось недоброе латательство и возбужденіе.

— Васъ удивляютъ, очевидно, всѣ мои разговоры? Это естественно. Я самъ еще недавно отнесся бы съ насмѣшкой къ своимъ нынѣшнимъ словамъ, но эти слова перевернули всѣ мои прежнія понятія. И скажу вамъ секретъ, почему я васъ удивляю. Я просто прикладывалъ къ каждому явленію эти двѣ силы и получалъ неожиданные результаты. И то, что я еще вчера, наравнѣ съ другими, считалъ разумнымъ и хорошимъ, нынче для меня это неразумно и плохо. Разумъ освѣтилъ для меня весь механизмъ жизни, любовь же объяснила мнѣ всѣ отношенія, всѣ связи всѣ основы жизни.

Чехловъ выговорилъ это смягченнымъ противъ прежняго тономъ, но было въ немъ что-то такое, что мгновенно, лишь только онъ раскрывалъ ротъ, производило всеобщее раздраженіе и вражду къ нему. Раздражала-ли присутствующихъ его наружность—это крупное, съ жесткими линиями лица, эти острые, непріятно-проницательные глаза, жесткіе волосы, торчавшіе на его головѣ подобно скошенному, и неубранному сѣну,—или его звучный, но съ рѣзкими нотами голосъ, или, быть можетъ, тонъ его рѣчи, необыкновенно самоувѣренный, догматическій, вызывающій,—только послѣ сказаннаго имъ тотчасъ же появилось снова желаніе бороться съ нимъ и непременно побѣдить... Послѣ его словъ повидимому, нисколько неоскорбительныхъ, сказанныхъ притомъ, мягко, опять послышались озлобленныя возраженія со стороны Буреева и Хордина. Снова посыпались и него вопросы, причемъ не скупились на пренебрежительныя эпитеты по его адресу.

— Любовь и разумъ!... Вотъ поистинѣ пошехонское открытіе Америки!—воскликнулъ Хординъ.

Чехловъ въ первый разъ при этомъ восклицаніи вышелъ изъ себя. Лицо его вспыхнуло, глаза сверкнули ненавистью. Но это было мгновеніе. Черезъ мгновеніе его лицо снова стало холоднымъ. А когда онъ сталъ разговаривать съ Буреевымъ, то еще болѣе оправился. Онъ видѣлъ, что всѣми предъидущими своими словами онъ произвелъ впечатлѣніе, равносильное побѣдѣ; зналъ, что ни онъ самъ и никто изъ окружающихъ не въ силахъ подорвать это впечатлѣніе и потому къ дальнѣйшимъ спорамъ относился равнодушно. На его лицѣ, напряженномъ въ продолженіе его рѣчи, теперь играла довольная улыбка; выраженіе его глазъ потеряло свою непріятную пронизательность и взглядъ его былъ счастливо-блуждающій; отвѣты его стали небрежны и дѣйствительно парадоксальны.

Это еще болѣе раздражало Буреева.

— Позвольте, важно не то, чтобы признать разумъ и любовь единственными силами, совершающими все хорошее, а то, какъ этимъ знаніемъ воспользоваться!—говорилъ онъ, едва сдерживаясь отъ брани.

— Скажите только: люблю!—и весь міръ мгновенно передъ вашими глазами обратится въ праздникъ, въ любовный шуръ!—отвѣтилъ равнодушно Чехловъ.

— Вотъ этого-то и мало! О любви безъ васъ тысячи лѣтъ люди говорятъ... И важно не то, чтобы знать эту истину, а то, какое употребленіе ей дать... Часто важна не самая истина, обратившаяся въ общее мѣсто, а методъ ея добычанія и способъ ея употребленія. Мало сказать: живи разумомъ и любовью,—надо знать, какъ и откуда взять разумъ, куда и зачѣмъ его дѣть, что и какъ любить! Иначе можно возлюбить свинью, посадить ее за свой столъ и вмѣстѣ съ ней хрюкать!—возражалъ сдержанно Буреевъ, но блѣднѣлъ отъ усилія сдержать себя.

— Разумъ не имѣетъ границъ, любовь не должна отливаться въ формы. Границы создаютъ глупость, формы создаютъ идоловъ. Но идоламъ, наравнѣ съ вами, я не поклоняюсь,—возразилъ Чехловъ.

Буреевъ чувствовалъ, что сдержанности его и на двѣ минуты не хватитъ.

Къ счастью его, въ эту минуту вмѣшался неожиданно Мизинцевъ. Онъ вдругъ объявилъ, что ему пора ѣхать на поѣздъ, такъ какъ ночного поѣзда ему, по какимъ-то дѣламъ, нельзя ждать.

На мгновеніе всѣ стихли, но стихли отъ непріятнаго сожалѣнія, что приходится обрывать разговоръ на полусловѣ. Въ особенности недоволенъ былъ разгоряченный Буреевъ, — его лицо вдругъ сдѣлалось скучнымъ и угрюмымъ, когда Мизинцевъ своимъ напоминаніемъ оборвалъ его мысли.

Чехловъ замѣтилъ это и сдѣлалъ предложеніе, котораго никто не ожидалъ, — остаться въ усадьбѣ на весь слѣдующій день.

— Если уважаемые хозяева мои ничего не имѣютъ противъ, я остаюсь? — сказалъ онъ вопросительно.

Всѣ наперерывъ другъ передъ другомъ объявили о своемъ удовольствіи по этому поводу. Но Чехлову доставляло какъ будто удовольствіе раздражать.

— Собственно мнѣ надо сегодня возвратиться въ городъ, гдѣ назначено собраніе людей, пожелавшихъ слушать меня, но, я вижу, жажда истины и здѣсь велика, — сказалъ онъ спокойно.

Присутствующіе были мгновенно взбѣшены этими самоувѣренными словами. Однако, Хординъ по рукамъ и ногамъ связанъ былъ своею ролью гостепріимнаго хозяина и долженъ былъ промолчать. За то Буреевъ, какъ человѣкъ посторонній, не могъ оставить самообожающаго человѣка въ заблужденіи.

— Повѣрьте, Денисъ Петровичъ, мнѣ лично желательно продолженіе нашихъ съ вами бесѣдъ совсѣмъ не потому, чтобы я надѣялся услышать изъ вашихъ устъ истину, а затѣмъ, чтобы обратить ваше вниманіе на неслыханное смѣшеніе правды и лжи въ каждомъ вашемъ словѣ! — сказалъ онъ съ негодованіемъ.

Это было началомъ дальнѣйшей „бесѣды“, которая скорѣе напоминала безобразный гвалтъ, поднятый сборищемъ крючниковъ. Мизинцевъ ушелъ никѣмъ не замѣченный; Хординъ забылъ даже распорядиться о лошади для него, чтобы довести до станціи, и гость долженъ былъ отправиться пѣшкомъ, что, однако, едва-ли было непріятно ему, такъ какъ его сопровождала Маша.

Безобразный гвалтъ стоялъ въ комнатахъ до поздняго вечера. Чехловъ, попрежнему, возражалъ, равнодушно возражалъ, а Хординъ и Буреевъ продолжали все больше и больше воспламеняться. Наконецъ, оба они такъ ошалѣли, что перестали понимать другъ друга и уже сцѣпились между собой, забывъ о противникѣ. Чехловъ воспользовался этимъ и обратился къ Александрѣ Яковлевнѣ съ просьбой прекратить разговоръ до слѣдующаго утра.

— Умоляю васъ, помогите мнѣ уйти въ комнату, гдѣ бы могъ отдохнуть... У меня кружится голова!—сказалъ онъ умоленно. Въ самомъ дѣлѣ, запыленное, усталое лицо его было страшно болѣзненно.

Александра Яковлевна бросилась, чтобы сдѣлать кое-какія приготовленія, и тотчасъ же возвратилась назадъ. Затѣмъ ей достаточно было сказать нѣсколько словъ, чтобы спорники прекратили свой крикъ. Чехловъ зналъ, къ кому обратиться и кто изъ всѣхъ находящихся тутъ пользуется безспорнымъ авторитетомъ. Хординъ, по указанію жены, тотчасъ же повелъ гостя въ отведенную ему комнату, гостеприимно предложилъ ему свои услуги во всемъ, что только онъ пожелаетъ, и равнодушно простился съ нимъ до утра. Въ домѣ мгновенно воцарилась тишина. Только въ дальней комнатѣ, куда ушли Буреевъ и Хординъ, по временамъ слышались сдавленные восклицанія и смѣхъ.

Оставшись одна, Александра Яковлевна растворила всѣ окна и долго сидѣла одна въ темнотѣ. И ей не хотѣлось спать. Она переживала настроеніе глубокаго счастья. Случайно сказанныя слова случайнаго гостя стали источникомъ незапамятнаго воскресенія ея мужества и увѣренности въ своей правотѣ. Вчера еще она считала себя слабой и неправой во всемъ. А годъ тому назадъ съ ней былъ случай, о которомъ никто, кромѣ ея, не зналъ, но который, какъ тогда казалось ей, навсегда ее уничтожилъ. Послѣ одной изъ тѣхъ ссоръ съ мужемъ, когда гнѣвъ ослѣпляетъ разсудокъ обоихъ, когда съ обѣихъ сторонъ раздаются ужасныя, оскорбительныя слова, когда глаза свѣтятся ненавистью, а вслѣдъ затѣмъ закипаютъ двери и въ уединенной комнатѣ раздаются рыданія опозоренной, побѣжденной стороны, Александра Яковлевна рѣшила разорвать десятилѣтнюю связь, бросить оскорбляющія условія жизни и бѣжать. Она наскоро, трепещущи-

ми руками, собрала свои вещи, уложила въ чемоданъ и тѣла уѣхать. Но вдругъ ее, какъ внезапный ударъ, поразила мысль: а чѣмъ она будетъ жить? Вынесетъ-ли она новые годы бѣдности и матеріальныхъ лишений, всю жизнь, на проклятіе, висѣвшихъ надъ ней?... Немного прошло времени послѣ того, какъ она себя задавала эти вопросы, а руки уже безсильно опустились и взоръ потухъ. Устрашила бѣдность. Она испугалась потерять покойную обстановку, которой добился ея мужъ, и, испугавшись своего рѣшенія, стыдась, въ то же время, своего безсилія и малодушія, поспѣшностью, какъ преступникъ, принялась уничтожать слѣды своихъ приготовленій къ бѣгству. И никто никому не узналъ этого. На слѣдующій день она смотрѣла холодно, равнодушно и покорно.

И вотъ теперь воскресло ея мужество. Радость, изумленіе и гордость наполняли ея подавленное сердце, давно уже бившее такъ быстро. А въ головѣ ея велся разговоръ, въ которомъ принималъ участіе кто-то невидимый, но заботившійся о ней и любящій.

— Чего ты боишься?—спрашивалъ онъ заботливо.

— Я знаю, что это малодушіе...—отвѣчала она.

— Не бойся ничего, кромѣ мертвой жизни! Матеріальныя лишенія могутъ быть страшны только тѣмъ, кто рабски и чинился бездушнымъ вещамъ! Человѣкъ можетъ быть свободнымъ рабомъ или богомъ... Жизнь—его собственность, онъ можетъ распорядиться ею произвольно, и только жалко боится ея,—говорилъ ей этотъ твердый, гордый собеседникъ, и она слушала его, понимая самыя темныя слова.

Когда весь домъ уже спалъ, она все еще сидѣла передъ раскрытымъ окномъ, устремивъ взоръ на слабый свѣтъ звѣздъ. Вдругъ въ ночной тиши раздался дрожащій, но нѣжный голосъ, запѣвшій какую-то пѣсню,—это запѣла Александра Яковлевна, не пѣвшая уже нѣсколько лѣтъ; она запѣла, порывъ птицы, вдругъ выпущенной на волю.

V.

Человѣкъ съ удивленіемъ раскрылъ глаза,—гдѣ онъ?

Было еще рано. Солнце только что поднялось изъ глубины горизонта, но ни одного луча его еще не было видно.

Надъ мѣстомъ его восхода возвышалась тяжелая сѣро-грязная туча и гасила своею огромною массою всѣ лучи его, какіе пытались пробиться сквозь ея мрачную толщу. И свѣта не было кругомъ; всѣ предметы тускло были освѣщены и видъ имѣли скучный и хмурый. Чехловъ долго лежалъ въ постели, не имѣя энергіи встать; онъ проснулся съ какою-то тяжестью на душѣ и тоскливо оглянулъ незнакомую ему комнату чужого дома. Но вдругъ одинъ тонкій, какъ стрѣла, лучъ, тайкомъ, боковымъ ходомъ, проскользнулъ мимо грозной твердыни и разомъ вырвался на просторъ, а за нимъ пѣлою гурьбой ринулись другіе лучи, взбѣжали на самый верхъ темной стѣны, овладѣли всѣми ея выходами, пробили бреши повсюду и окружили ее съ четырехъ концовъ. И эта темная масса, за минуту казавшаяся неприступной, запылала краснымъ пожаромъ и исчезла въ радостномъ сіяніи поднимавшагося солнца. Ослѣпленный ворвавшимися въ комнату веселыми лучами, Чехловъ мгновенно соскочилъ съ постели и поспѣшно сталъ одѣваться, стыдясь минутной слабости, лѣнивой тоски и безпричинной хандры.

Онъ тихо прошелъ сѣнями, выбрался на дворъ, откуда за ворота и очутился въ саду, но, не останавливаясь, пошелъ дальше, перелѣзъ черезъ ограду и очутился въ перелѣскѣ надъ оврагомъ, по дну котораго бойко бѣжалъ ручей. Ручей тотчасъ же напомнилъ ему объ умываньи; онъ спустился по откосу внизъ и съ наслажденіемъ сталъ мочить голову, лицо, руки холодною водою. Вытерся онъ отчасти платкомъ, отчасти рукавами блузы и тотчасъ же подумалъ: „Какъ, въ сущности, не нужны всѣ наши культурныя удобства!“... Въ послѣднее время онъ слѣдилъ за своею жизнью и постоянно выбрасывалъ за бортъ все ненужное, несущественное, фальшивое, какъ модное или общепринятое платье, мягкіе стулья, воротнички, глупѣйшіе галстуки и проч. Гранцы этимъ преобразованіямъ не можетъ быть, и кто однажды убѣдился въ порочности людской внѣшности, тому на всю жизнь можетъ хватить борьбы съ галстуками, съ пуговицами и съ безчисленнымъ множествомъ другихъ вещей. Понимая этотъ абсурдъ, онъ рѣшился бороться только съ фальшивымъ и неестественнымъ, но что значитъ жить естественно, онъ еще не обдумалъ. Прежде всего, онъ рѣшилъ рано ложиться и рано вставать.

И теперь онъ думалъ, что въ домѣ еще все спало, а онъ раньше всѣхъ поднялся. Но черезъ нѣсколько минутъ, прогуливаясь по единственной дорожкѣ запущеннаго сада, онъ долженъ былъ убѣдиться въ неосновательности своего самовѣрія: не только въ деревнѣ, лежащей не далеко отъ барской усадьбы, но даже въ самой усадьбѣ до свѣту всѣ проснулись и кричали всѣми голосами, какіе кому свойственны: гуси возбужденно о чемъ-то трактовали, свинья хрюкала, рабочіе обмѣнивались отрывочными фразами.

Между ними толкался и Хординъ. До сада его голосъ доносился съ разныхъ концовъ: то со двора, то изъ изъ кухни, изъ чего Чехловъ заключилъ, что не на шутку распоряжается. Объ этомъ свидѣлъ и его голосъ, то и дѣло переходившій въ отчаяніе, словно на дворѣ случилась какая-то катастрофа, и его выраженія, заканчивающіяся часто ругательными словами за деревьями сада мелькала въ разнѣвленіяхъ и самая фигура его, одѣтая въ какое-то пальто съ висящими ключьями ваты, въ грязныхъ сапоги и въ рыжую шляпу, изъ-подъ которой видны причесанные волосы, а до сихъ поръ Чехловъ только въ видѣ джентльмена. Однимъ словомъ, в все, что у русскаго человѣка неразрывно связано представлениемъ объ энергичномъ дѣловомъ человѣкѣ разносившаяся далеко по окрестности, неумыто проспавшіеся, бессмысленно вытаращенные глаза.

Чехловъ ходилъ или сидѣлъ въ саду и при Хординѣ больше не представлялъ для него интереса же пристально брошеннаго взгляда Чехлова въ его существо, вытаскивалъ основанія его и бѣопредѣлялъ. Для него это былъ человѣкъ, котораго дилъ концы съ концами. Вчера онъ еще произносилъ слова, а сегодня исключительно объяснялся площадныхъ звуковъ; сейчасъ онъ переругивается, а черезъ часъ, передъ благородною публикой вести благородные разговоры. И это все дѣлаетъ почти наивно.

Сидя подъ деревомъ или прогуливаясь по дорожкѣ пожималъ плечами; въ немъ былъ оскорбленный наблюдатель, любившій распознавать только сложны

низмъ мудреныхъ субъектовъ,—это было его наслажденіе, подобно наслажденію механика, разбиравшаго разныя машины. Бываютъ, напримѣръ, замысловатые часы, въ которыхъ играетъ какая-то прекрасная музыка, наконецъ, раздается—разъ, два, три!—и наступаетъ мертвая тишина, только маятникъ продолжаетъ куда-то идти, осужденный на вѣчное путешествіе. Встрѣчая человѣка, похожаго на эти часы, Чехловъ съ восторгомъ наблюдалъ и разбиралъ. Но когда ему попадался человѣческій механизмъ, вроде де-
шевыхъ часовъ съ грубыми колесами, съ грязнымъ циферблатомъ, по хрипящихъ, вмѣсто чистаго звона, и на-
стоящей часъ, онъ равнодушно проходилъ уже это дико и неотесанно!

Видя по разнымъ направленіямъ усадьбы распоряженія. Наконецъ, бросивъ слушать, онъ замѣтилъ Чехлова и направился къ нему. Онъ былъ довольный и здоровый. Онъ гостю, когда пожималъ ему руку и говорилъ, Чехловъ, напротивъ, равнодушно встрѣчалъ его. Онъ для него совсѣмъ не существовалъ. Онъ съ нимъ рядомъ, онъ вдругъ задался вопросомъ: Хординъ хотя бы желательнымъ своимъ? Ради этого онъ тотчасъ же принялся за работу.

Имѣнно заняты устройствомъ имѣнія?—

Вы можете себя представить, что тутъ дошло до разбой!... Владѣлецъ, живущій въ имѣніи, взвылъ! Имѣніе не только перестало требовать безвозвратныхъ приплатъ... его дошло дѣло: съ роскошныхъ луговъ хватало сѣна для домашняго употреб-

нъ счастливо захохоталъ. справили?

многое уже удалось,—отвѣтилъ само-

любопытно узнать, какъ вы работаете. Чехловъ вдругъ съ загадочною улыбкой.—

The New York Public Library

Rules for the use of books in the
Main Reading Room

1. File your slips at the desk in the public catalogue room.
2. If you will select a seat in the Main Reading Room, and write its number on your slips, your books will be delivered at that seat—if you are there to receive them.
3. Books must be returned to the delivery desk.
4. The use of ink is not allowed except with fountain pens.

Editor?

Illegible.

Volume?

In use M. R. R.

Room

Reserved M. R. R.

Room

In Bindery

Not available

Check slip

Missing

Not in S. L.

Lacking

More wanted?

То-есть мнѣ интересно знать, какъ собственно согласуется работа на господина, мотающаго деньги по парижскимъ кабакамъ, съ тѣми планами, которые несомнѣнно вы стараетесь проводить въ жизнь, судя по прекраснымъ словамъ объ идеалахъ, слышаннымъ мною вчера?

— Это, конечно, интересно,—возразилъ Хординъ сердито, хотя не зная, сердиться ему или смѣяться, но, во всякомъ случаѣ, онъ вдругъ съ одушевленіемъ заговорилъ:— Вы правы, планы кое-какіе есть у меня... Здѣсь я временно. Но разъ я нахожусь здѣсь, я выполнилъ всѣ свои обязательства передъ владѣльцемъ, которыхъ я взялъ на себя, и думаю, что каждый честный человѣкъ... Но у меня есть мечта или, если хотите, планъ, который я надѣюсь осуществить—это завести собственное имѣніе... вотъ тогда другое дѣло. Съ своею землею я сдѣлаю все, что мнѣ вздумается... Впрочемъ, ничего фантастическаго я не предполагаю... Я долженъ былъ сказать, что считаю идеалы и культуру несравнимыми величинами. Идеалы сами по себѣ, а культура — сама по себѣ. Идеалы имѣютъ назначеніе облагораживать насъ, давая намъ высокое эстетическое наслажденіе, а культура удовлетворяетъ требованія жизни... понимаете? Идеаль—это мечта о прекрасномъ, культура—это жизнь!... Другъ другъ они не мѣшаютъ и должны существовать рядомъ, не вторгаясь въ чужую область... Вотъ почему я считаю неприемлемыми тѣхъ, которые презрительно относятся къ мечтамъ, такъ дико это, невѣжественно! Но, съ другой стороны, и отъявленные мечтатели всѣмъ опротивѣли... именно за то, что живутъ не въ свое дѣло, въ жизнь! Ихъ дѣло—эстетическое прекрасное, а не жизнь. И, по-моему, ты сколько утонуши въ небесахъ,—это прекрасно!—но не мѣшай сажа картошку... не твое это дѣло! А у насъ нѣтъ середины въ чемъ: то мы хотимъ жить однѣми заоблачными мечтами и называемъ подлецомъ всякаго практика, то по уши погружаемся въ житейскую дрянь... печальное положеніе! Я же признаю и то, и другое, только каждому отвожу свое время и мѣсто.

Хординъ произнесъ эту непривычно-длинную для него рѣчь съ большимъ воодушевленіемъ и по окончаніи ея взволнованно всталъ съ мѣста и принялся ходить взадъ и впередъ по дорожкѣ.

Чехловъ пристально слѣдилъ за его шагами, словно по нимъ хотѣлъ что-то узнать... Его неожиданно заинтересовали слова хозяина... Однако, это не простые деревянные часы, наивно показывающіе четыре, вмѣсто шести, а „съ секретомъ“, вродѣ кукушки!... Чехловъ обрадовался случаю заглянуть внутрь механизма Хордина, который совсѣмъ было потерялъ для него интересъ.

— Вы простите меня, что я трогаю, быть можетъ, болячую рану... Я совсѣмъ не считалъ себя вправе касаться личныхъ плановъ... Но меня интересуетъ одно общее положеніе. Я давно уже хочу разрѣшить себѣ общій вопросъ: какое отношеніе существуетъ въ жизни между убѣжденіями и дѣлами? Я давно, повторяю, изучаю это, много наблюдаю, еще болѣе мучился и только послѣ долгихъ попытокъ пришелъ къ нѣкоторымъ результатамъ...

— Къ какимъ же, интересно знать? — спросилъ Хординъ равнодушно, занятый все еще своею рѣчью.

— Я пришелъ къ выводу, что все душевное или умственное богатство людей дѣлится на два рода: убѣжденія и взгляды. У однихъ людей есть убѣжденія, у другихъ взгляды только, но бываетъ и такъ,—это самый частый случай,—что у одного человѣка есть и взгляды, и убѣжденія. Разницы съ перваго взгляда тутъ нѣтъ никакой, но на самомъ дѣлѣ разница громадная. Разница приблизительно такая же, какая существуетъ между необходимымъ платьемъ, прикрывающимъ ваше тѣло, и платьемъ, служащимъ не только для прикрытія наготы, но и для изящества, красоты и изысканныхъ вкусовъ. Взгляды—это то же, что красивая принадлежность нашего костюма, выработанная цивилизаціей, а убѣжденія—это то же, что необходимое одѣяніе. Первые, то-есть изящные, цивилизованные костюмы, какъ можно легко убѣдиться, не являются существенно и необходимою принадлежностью человѣка,—ихъ выработала цивилизація. Ходить же вездѣ мундиръ въ одной рубахѣ и никто не считаетъ этого ни безнравственнымъ, ни даже неприличнымъ. Но безъ рубахи нельзя ходить,—и холодно, и срамно... Взгляды ни къ чему не обязываютъ,—можно имѣть самые благородные взгляды и остаться самымъ неблагороднымъ изъ животныхъ. Можно ихъ бросить когда угодно, какъ снимаютъ изящный ридинготъ, приходя домой. Убѣжденія же неумолимо переходятъ

дять въ дѣйствіе, и разъ человѣкъ носить въ себѣ убѣжденія, онъ не можетъ ни забыть ихъ, ни сбросить ихъ, какъ не можетъ мужикъ снять рубаху. Нельзя снять рубахи, въ первыхъ, потому, что это физически мучительно; во-вторыхъ, нелѣпо; въ-третьихъ, срамно. Только въ пьяномъ видѣ или будучи сумасшедшимъ человѣкъ можетъ сбросить себя безусловно необходимое одѣяніе. Въ жизни я встречалъ больше людей, ходящихъ въ изящномъ костюмѣ. Поэтому на практикѣ трудно различить эти два платья,—цивилизация ихъ страшно перепутала. Однако, я нашелъ одинъ признакъ, по-моему, безошибочно указывающій, носитъ-ли данный человѣкъ платье ради необходимости, ради красоты и изящества...

Чехловъ на мгновеніе остановился и бросилъ на себя одинъ изъ тѣхъ непріятно-острыхъ взглядовъ, которые выражали у него чувство злой радости и превосходства.

— Какой же это признакъ?—спросилъ Хординъ съ довоною улыбкой.

— Если вы станете передъ какимъ-нибудь человѣкомъ жаловаться на несогласіе словъ и дѣлъ, и если этотъ человѣкъ присоединится къ вамъ и съ жаромъ будетъ говорить вмѣстѣ съ вами, то вы смѣло можете сказать, что него нѣтъ убѣжденій.

— Что же, это вы мѣтко!—возразилъ Хординъ и радостно захохоталъ, самъ не зная, надъ чѣмъ тутъ собственноручно хохотать.

Чехловъ незамѣтно передвинулъ плечами и лицо его вдругъ стало опять равнодушнымъ, словно онъ разочаровался. Да, это поистинѣ деревянные часы, показывающіе четыре вмѣсто шести, и не имѣющіе никакой кукушки!... Онъ въ такой степени почувствовалъ равнодушіе къ собесѣднику, что не счелъ нужнымъ вѣжливо окончить бесѣду, а просто оборвалъ ее и сказалъ:

— Какое нынче чудесное утро!

Хординъ нѣсколько опѣшилъ отъ этихъ неожиданныхъ словъ и въ первое мгновеніе готовъ былъ заподозрить въ нихъ нѣкоторый иносказательный смыслъ, но когда убѣдился, по равнодушному виду гостя, что тотъ въ самомъ прямомъ значеніи слова заговорилъ о погодѣ, успокоился. Е

съ нѣкотораго времени невыносимо было поддерживать разговоръ, не касающійся практическихъ дѣлъ, онъ становился тогда угрюмымъ и раздражительнымъ и чувствовалъ боль въ верхней части лба и за ушами, и тогда на него нападала та зѣвота, которую онъ могъ удержать только страшнымъ напряженіемъ челюстей.

Обрадовавшись внезапному прекращенію разговора, онъ вдругъ весело и радушно напомнилъ Чехлову, что пора пить чай, хотя внутри ощущалъ какую-то смутную досаду противъ него. Чехловъ и на это не считалъ нужнымъ отвѣтить; онъ молча поднялся со скамейки, молча пошелъ рядомъ съ хозяиномъ и сѣлъ въ столовой за самоваръ. Самоваръ былъ готовъ и чай сдѣланъ, но въ комнатѣ никого не было; хозяинъ и гость одни принялись за чай. Хординычъ пытался нѣсколько разъ заговаривать, но Чехловъ едва давалъ себѣ трудъ отвѣчать: „да“ и „нѣтъ“,—это была уже не только невнимательность, но полное пренебреженіе. Въ столовой, наконецъ, наступила мертвая тишина, только слышалось шлопотанье пара въ самоварѣ и звуки чаепитія двухъ людей.

Къ счастью, немного погодя въ комнату подошли одинъ вслѣдъ за другимъ Буреевъ, его сестра и Александра Яковлевна. У всѣхъ были оживленные лица, хотя по разнымъ причинамъ и въ противоположныхъ окраскахъ. Александра Яковлевна смотрѣла съ живымъ, какъ бы проснувшимся интересомъ ко всему свѣту, Буреевъ глядѣлъ угрюмо и враждебно. Казалось, онъ никогда не былъ смѣхотворнымъ забавникомъ,—такъ мрачно и сосредоточенно было его лицо. Подавая руку Чехлову, онъ такъ посмотрѣлъ на него, какъ будто говорилъ: „Я тебѣ подаю руку только изъ вѣжливости, но ты врагъ, и я буду бороться съ тобой“. Чехловъ, однако, съ улыбкой симпатіи поздоровался съ нимъ, хотя замѣтилъ мгновенно настроеніе всѣхъ собравшихся.

Столовая тотчасъ же оживилась.

— Вы, вѣроятно, рано поднялись?—спросила Александра Яковлевна, обращаясь не то къ Чехлову, не то къ мужу. Отвѣтить поспѣвшихъ послѣдній.

— До свѣту!... Такъ и подобаетъ намъ вставать... Мнѣ—какъ хозяину; Денису Петровичу—какъ пророку.

Чехловъ не удостоилъ эти слова отвѣтомъ.

— И вы, кажется, уже успѣли поспорить?—продолжалъ съ любопытствомъ Александръ Яковлевна.

— Немножко,—поспѣшилъ сказать Хордишь.—Денисъ Петровичъ очень тонко высказался насчетъ убѣжденій... Вы конечно, не забылъ мимоходомъ намекнуть о цивилизации которая производитъ, будто бы, пустыхъ людей, носящихъ убѣжденія подобно модному костюму... — Говоря это, Хордишь ехидно улыбнулся. Онъ съ удивленіемъ излилъ эти словами смутную досаду противъ Чехлова, которая явилась у него въ саду, и, кромѣ того, имѣлъ въ виду натравливать Буреева.

Буреевъ дѣйствительно былъ уже, что называется, потовъ.

— Странное мы время переживаемъ! — вдругъ воскликнулъ онъ съ возбужденнымъ смѣхомъ.—Появилась цѣлота какихъ-то неумытыхъ, нечесанныхъ людей, которые галдятъ о ненужности цивилизации... И чортъ ихъ знаетъ откуда столько смѣлости у этихъ неграмотныхъ головъ!

И добродушный, но теперь негодующій Буреевъ оглянулся поочередно всѣхъ присутствующихъ. Всѣ неловко замолчали, а Маша такъ сконфузилась рѣзкими словами брата, что ея лицо испуганно вытянулось. Но Чехловъ съ прежней симпатіей смотрѣлъ на говорящаго, хотя тоже молчалъ. Не встрѣтивъ отвѣта, Буреевъ уже прямо обратился къ предмету своей вражды.

— Вы, конечно, по пути, ужъ за одно и науку до конца отрицаете?—спросилъ онъ съ злою насмѣшкой.

Чехловъ положительно съ любовью взглянулъ на Буреева,—съ тою любовью, съ какою охотникъ смотритъ на казавшуюся вдали дичь.

— А развѣ можно отрицать то, чего не существуетъ?—спросилъ онъ съ притворнымъ изумленіемъ.

— То-есть какъ это не существуетъ?... Это наука-то существуетъ?—замѣтилъ сдержанно Буреевъ и засмѣялся злымъ смѣхомъ.

— Это, должно быть, опять какой-нибудь идолъ... И вѣдь я же васъ предупредилъ раньше, что никакихъ идоловъ не признаю, какимъ бы именемъ они ни назывались и сколько бы народу ни стучало передъ ними лбами!

— Въ чему столько темныхъ словъ? Я васъ спрашиваю ясно и просто: существуетъ-ли для васъ наука, или ради истины вы считаете болѣе удобнымъ не замѣчать ея?—спросилъ Буреевъ, причемъ торопливо выхватилъ изъ корзинки булку, разорвалъ ее на куски и бѣшено сталъ пожирать ее, какъ будто это она его оскорбляла.

— Что такое наука?—спросилъ, между тѣмъ, спокойно Человѣкъ.

— Наука, милостивый государь,—сказалъ Буреевъ, отчеканивая каждое слово,—есть собраніе всѣхъ знаній, какими только обладаетъ человѣкъ.

— Какихъ же знаній? Истинныхъ или ложныхъ?

— Научныхъ.

— Не понимаю!—сказалъ Человѣкъ, и жесткая радость разлилась по его лицу. — Итакъ, наука есть собраніе научныхъ знаній?

— Да, научныхъ,—подтвердилъ Буреевъ на зло.

— Что же это такое — „научныя знанія“? Истинныя-ли это знанія, или не истинныя, или, наконецъ, нѣчто третье, то-есть нѣчто такое, что не истина и не ложь?

— Безъ сомнѣнія, наука даетъ и ошибочныя знанія, истинныя,—возразилъ Буреевъ и, къ ужасу своему, началъ понимать негнѣпность своего положенія.

— Но вы, разумѣется, изъ научныхъ знаній берете только истинныя? Или вѣрите и въ ложныя, лишь бы ихъ давала наука?

— Конечно, истинныя!—сказалъ растерянно Буреевъ.

— А ложныя отрицаете?

— Несомнѣнно.

— Но вы сейчасъ сказали, что наука для васъ существуетъ, и выразили негодованіе, когда я усомнился въ этомъ. Теперь, однако, я нѣсколько понимаю васъ... Говоря о наукѣ, вы разумѣли ту ея часть, которая даетъ истину, а не ложь?—спросилъ Человѣкъ съ улыбкой.

— Кто же васъ заставлялъ принимать всѣ ошибки?

— Слѣдовательно, вы снисходительно заставляете меня признавать только истинную науку, какъ я и ожидалъ... Но зачѣмъ же вы раньше не сказали этого, а съ непонятною для меня злобой хотѣли непременно принудить меня повѣрить вообще въ науку? Оказывается изъ вашихъ же словъ,

что науки по меньшей мѣрѣ двѣ, причемъ одну надо признать, а другую отвергнуть... То-есть, оказывается, что науки, какъ однороднаго цѣлаго, какъ нѣкотораго идола, которому надо кланяться, не существуетъ.

Буреевъ сконфуженно давился чаемъ; лицо его, всегда здоровое, теперь болѣзненно поблѣднѣло, руки дрожали. Въ глазахъ видѣлось полное смущеніе. Пораженный, онъ уже не отвѣчалъ обдуманно, а на-угадъ, что на языкъ попадетъ.

— Изъ факта, что наука даетъ истинныя и ложныя показанія, нисколько еще не вытекаетъ вопросъ объ ея существованіи,—сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ.—Истинны, даваемые ею на ряду съ ошибками, все же истины.

— Позвольте и въ этомъ усомниться,—возразилъ Чехловъ и уже увѣренно, какъ господинъ разговора, посмотрѣлъ на всѣхъ окружающихъ.—Временно я согласился съ вами признать истинную науку, но теперь позвольте усомниться и въ этомъ!

— Смѣлости у васъ много, и вы можете безъ моего позволенія сомнѣваться въ чемъ угодно, но надо же обставить свои сомнѣнія!—возразилъ Буреевъ.

— Я это и сдѣлаю, если вы потрудитесь вмѣстѣ со мной подумать... Прежде всего, подумаемъ и рѣшимъ слѣдующій вопросъ: та часть науки, которая даетъ будто бы истины, даетъ-ли ихъ по одной на каждый предметъ, или по двѣ истины?

— То-есть, попросту говоря, есть-ли въ наукѣ безспорныя истины? Есть!

— И онѣ всегда были неоспоримы?—спросилъ Чехловъ.

— Нѣтъ, зачѣмъ же?.. Онѣ стали безспорными только послѣ того, какъ наука ихъ открыла.

— А раньше онѣ не признавались?

— О нихъ даже не подозрѣвали, пока на нихъ не указала наука.

— И эти истины, не подозрѣваемые въ прошедшемъ, теперь безспорны?

— Да, безспорны.

— И въ будущемъ останутся таковыми?

— Непремѣнно!

— Это вотъ очень смѣло!—сказалъ Чехловъ съ злою радостью.—Вы не только хотите навязать ваши истины насто-

ящимъ людямъ, но чтобы и будущіе не смѣли думать... Прошедшій человѣкъ съ негодованіемъ поносилъ тѣхъ людей, которые осмѣливались сомнѣваться въ существованіи хрустальнаго неба съ горящими лампадами, а вы даже у будущихъ людей отнимаете право считать „всемірное тяготѣніе“ вздоромъ... Очень смѣло! Но допустимъ, что истины, нынѣ безспорныя, таковыми же вѣчно останутся,—развѣ изъ однихъ безспорныхъ истинъ состоитъ наука?

— Нѣтъ, конечно... въ наукѣ много положеній, не доказанныхъ безспорно. Что же изъ этого?

— То-есть находится много вещей, о которыхъ въ наукѣ нѣсколько мнѣній?

— Есть.

— И эти мнѣнія взаимно исключаютъ другъ друга?

— По большей части. Ну, такъ что же?

— И этихъ взаимно исключающихъ мнѣній часто существуетъ множество?

— О нѣкоторыхъ предметахъ—множество...

— Однимъ словомъ, наука состоитъ изъ нѣкоторыхъ штукъ безспорныхъ истинъ и изъ безчисленнаго множества взаимно исключающихъ другъ друга истинъ... Какія же истины надо признать и какія отвергнуть, и что, въ такомъ случаѣ, останется отъ вашего идола, разбитаго на безчисленное множество кусковъ?

— Методъ!—сказалъ угрюмо Буреевъ, но такъ былъ ослѣвленъ, что не воспользовался этимъ словомъ, которое могло уничтожить всю самоувѣренность Чехлова.

— То-есть, просто, орудіе. Но вѣдь раньше вы науку опредѣляли не какъ полезное орудіе, а какъ собраніе всѣхъ истинъ?—спросилъ Чехловъ зло.

— Но вѣдь такую операцію можно совершить и съ тою тѣрой, о которой я еще ничего не знаю, но которую вы признаете единственною истиной!—вскричалъ Буреевъ съ внезапною энергіей, которая, казалось, окончательно побила его.—Вѣдь передъ такимъ безшабашнымъ нигилизмомъ всякая истина обратится въ прахъ, даже и ваша!

Взоръ Чехлова безпокойно скользнулъ по сторонамъ; но это было одно мгновеніе, которое замѣтила одна Александра Яковлевна. Тотчасъ же оправившись, Чехловъ заговорилъ, возвышая голосъ:

— Извините, истина одна! Истина не только одна, но она вѣчна и безусловна. Она написана въ вашемъ сердцѣ и въ вашемъ разумѣ, и даже въ вашемъ тѣлѣ. Только вы заслонили ее идолами, ради которыхъ забыли ея голосъ. И одинъ изъ этихъ идоловъ—наука. Вы забыли и долго еще не вспомните, что наука создана разумомъ и что, создавъ ее, она же можетъ и разрушить ее. Но я не забылъ этого и идолы кіе идола для меня не существуютъ, хотя бы они назывались наукой. Я выбираю изъ нея только то (и какая это ничтожная крупичка!), что истинно, а остальное бросаю! Ложь называю ложью, хотя бы это была научная ложь! Пусть наука мнѣ докажетъ, что я состою изъ микробовъ! долженъ вести себя, какъ огромный микробъ,—я не сочту нужнымъ принять этотъ совѣтъ. Въ сущности, и вы то и дѣлаете иногда, выбирая вашимъ разумомъ изъ такъ называемой науки лишь то, что вамъ кажется истиннымъ, а только вы думаете, что это наука дѣлаетъ выборъ, а не вы сами и не вашъ разумъ. Послѣдній вы такъ поработили неже созданной вещи, что онъ не смѣетъ больше прикоснуться къ ней, а рабски, низко ползаетъ передъ идоломъ, слѣпко признавая всякую ложь, соглашаясь съ безстыдными вымыслами, потворствуя гнуснымъ цѣлямъ ея жрецовъ! Вы такъ поработили разумъ передъ этимъ идоломъ, что онъ пересталъ служить истинѣ, а служить лжи и обману, преступленію и кровавымъ бойнямъ, злу и насилію! Разумъ, единственный источникъ свѣта, сталъ служить мраку. Единственная его цѣль—познаніе истины и забота о счастьѣ людей, но вы отняли у него эту цѣль, самого его отдали въ рабство бездушной наукѣ, а она изобрѣтаетъ пушки, бездымный порохъ, машины, ломающія тѣло и душу работниковъ, и шины, порабащающія милліоны людей...

Въ этомъ направленіи Чехловъ долго еще громилъ. Жесткое лицо его стало совсѣмъ дикимъ, голосъ обратился въ трубу, слогъ мало-по-малу принялъ грубый, но сильный библейскій оттѣнокъ. Это было воплощенное вдохновеніе вся сила котораго направлена была на разгромъ языческаго идола. Но вдругъ онъ оборвалъ рѣчь и лицо его моментально стало холоднымъ и спокойнымъ.

Чай давно уже всѣ бросили и вышли изъ-за стола. Разговоръ сдѣлался безпорядочнымъ. Хординъ скоро ушелъ и

хозяйству, сестра Буреева также вышла. Самъ Буреевъ не могъ больше связно говорить, слишкомъ взволнованный для обдуманнаго разговора.

За то Александра Яковлевна въ этотъ день удивляла всѣхъ. Въ ней, видимо, совершался какой-то крутой переворотъ, обратившій вниманіе, прежде всего, мужа. Онъ смотрѣлъ на нее во все продолженіе спора Буреева съ Чехловымъ и какъ будто не узнавалъ. Встрѣтивъ однажды случайно ея взглядъ, сильный и спокойный, онъ вдругъ почему-то смутился и послѣ того уже больше не осмѣливался встрѣчать ея взоръ. Ея страдальческое, испуганное лицо, какимъ онъ его привыкъ видѣть, свѣтилось теперь увѣренностью и энергіей, какъ будто она приняла какое-то огромное рѣшеніе, — это еще больше смутило Хордина, словно онъ признавалъ себя въ чемъ-то виноватымъ передъ ней.

Когда онъ вышелъ изъ комнаты, то же впечатлѣніе перешло и на Чехлова. Онъ смотрѣлъ на нее по временамъ и не узнавалъ. Пытливо вглядываясь въ ея глаза, онъ не открылъ тамъ ни путаиваго удивленія, какъ въ первый разъ, ни раздражительности, какъ наканунѣ. Лицо ея было одушевлено улыбкой, но не жалкой, а твердой и самоувѣренной. Чехловъ открылъ тамъ, въ этой улыбкѣ, даже насмѣшливость и, какъ человѣкъ самолюбивый, мысленно отнесъ ее тотчасъ къ себѣ и внутренне переполошился, не сказавъ-ли онъ въ самомъ дѣлѣ какой глупости.

Оба они ошибались. Ни объ одномъ изъ нихъ Александра Яковлевна не думала. Ея мысли исключительно заняты были собой и тѣмъ своимъ настроеніемъ, которое возвращало ей утраченное счастье, вчера еще считавшееся ею безвозвратно погибшимъ. Когда она утромъ вошла въ комнату, ей не хотѣлось даже говорить. И она дѣйствительно ни разу не вмѣшалась въ разговоры. Ей какъ будто совсѣмъ не было дѣла до этого спора; въ ней самой совершалась такая работа, ради которой некогда было брать еще чужую. Она слушала Чехлова внимательно, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ удовольствіемъ, но слушала не затѣмъ, чтобы услышать его истину, а чтобы подкрѣпить лишними доводами свое настроеніе, чтобы усилить свое жизнерадостное, энергичное чувство, такъ внезапно воскресшее въ ней. И когда какая-нибудь мысль Чех-

лова подходила къ этому настроенію, лицо ея вдругъ озарилось улыбкой. А Чехловъ эту улыбку приписывалъ себѣ.

Тѣмъ сильнѣе былъ его переполохъ, когда онъ замѣтилъ на ея лицѣ насмѣшку. Смѣяться она и не думала надъ нимъ, напротивъ, за многое была благодарна ему. Но это не помѣшало ей подмѣтить въ его словахъ одну слабость—противорѣчіе... По всей вѣроятности, и самъ Буреевъ обратилъ бы вниманіе на эту слабость, будь онъ менѣе ослѣпленъ враждой и раздраженіемъ, но теперь онъ былъ способенъ только на крайне шаблонныя возраженія, да и эти ему нужно было припоминать, — такъ сильно онъ одичалъ за послѣдніе годы. Александра Яковлевна оставалась спокойною и это дало ей возможность точной оцѣнки словъ Чехлова.

Она начала съ того, что съ интересомъ стала разспрашивать Чехлова о его прошлой жизни. Обрадованный ея участіемъ, онъ разсказалъ ей, гдѣ родился, кто его родители, какъ онъ учился, по какимъ мѣстамъ путешествовалъ и гдѣ жилъ. Когда его разсказъ не удовлетворялъ ее, она предлагала ему вопросы. Вышелъ цѣлый рядъ вопросовъ, задаваемыхъ, повидимому, только изъ участія и любопытства къ его жизни и ни мало не подозрительныхъ для Чехлова. Онъ съ горячею охотой отвѣчалъ и на тѣ вопросы, которые касались его образованія. Ничего не подозрѣвая, онъ съ жаромъ разсказывалъ, какъ много онъ читалъ, съ какими выдающимися людьми былъ знакомъ и какъ занимался самообразованіемъ, когда бросилъ университетъ, внушавшій ему отвращеніе бездушною шаблонностью... „Только одно самообразование создаетъ разумнаго человѣка“, — кончилъ онъ.

И вдругъ Александра Яковлевна замѣтила какъ бы про себя:

— Интересно, чтò бы изъ васъ вышло, если бы отецъ сдѣлалъ васъ своимъ прикащикомъ и если бы послѣ его смерти вы остались съ братьями торговать лѣсомъ?...

— То-есть что тутъ собственно интереснаго?—спросилъ Чехловъ, все еще ничего не подозрѣвая.

— Да откуда бы вы разумъ-то взяли, если бы стали торговать бревнами?

Чехловъ моментально оцѣнилъ этотъ неожиданный и ма-

стерской ударъ и взоръ его безпокойно пробѣжалъ по комнатамъ, но онъ хладнокровно отвѣтилъ:

— При мнѣ бы и остался, если только онъ во мнѣ вообще есть!

— Но вотъ это-то и любопытно: выходить, что можно какъ угодно жить, чѣмъ угодно заниматься, хотя бы грабежомъ на большихъ дорогахъ, какъ есть ничему не учиться и все-таки, несмотря ни на что, носить въ себѣ какой-то разумъ, т.-е. высшее пониманіе всѣхъ вещей!—сказала Александра Яковлевна, но безъ ехидства, съ доброю улыбкой.

— Для васъ это невозможнымъ кажется, но это потому, что вы вѣрите не въ силу человѣка, а его положенія, и ему рабски подчиняетесь!—возразилъ Чехловъ, но уже съ явнымъ раздраженіемъ.

— Быть рабомъ положенія, конечно, нехорошо. Надо всѣми силами бороться противъ оскорбляющихъ человѣка положеній. И вы отлично сдѣлали, что послѣ смерти отца не остались торговать бревнами, а ушли отъ этого положенія... Если бы вы остались, то мы, по всей вѣроятности, не имѣли бы удовольствія... не только слышать ваши блестящіе слова о разумѣ, но едва-ли бы услышали пару добрыхъ словъ отъ васъ...

— Но вѣдь я же ушелъ отъ этого положенія! Значить, оно меня не поработило!—вскричалъ Чехловъ и въ первый разъ вышелъ изъ себя.

— Потому, что вы имѣли средства бросить его, тогда какъ милліоны людей не могутъ оторваться отъ приковавшей ихъ цѣпи... Во-вторыхъ, потому, что вы кое-чему учились, прежде нежели бросили его, имѣли возможность и дальше учиться и размышлять, тогда какъ милліоны не только не могутъ чему-нибудь учиться и о чемъ-нибудь размышлять, но часто и потребности такой не сознаютъ... Къ нимъ-то откуда разумъ придетъ?

— Вотъ такіе вещи я понимаю!—вдругъ вскричалъ съ восторгомъ Буреевъ, до этой минуты угрюмо сидѣвшій въ сторонѣ. — Это сказано по-нашему! А то разумъ... да что это за саврасъ безъ узда? Вѣдь должно же быть мѣсто, гдѣ онъ (то-есть разумъ-то, а не саврасъ) обитаетъ? Если его нѣтъ въ наукѣ, нѣтъ въ добытомъ людьми методѣ мы-

шленія, то гдѣ же онъ? По воздуху, что-ли, носится и сходитъ на людей, какъ молнія? Объясните, пожалуйста, вы-то хоть откуда его заплучили? Можетъ, и мнѣ тогда легко будетъ попользоваться имъ...

Буреевъ оправился, захохоталъ и принялся основательно, въ остроумной формѣ, возражать. Онъ какъ будто вспомнилъ цѣлую область своего ума и знаній, забытыхъ среди апатичной, мелочной жизни, какъ будто самъ себя открылъ, и въ восторгѣ привѣтствовалъ забытыя мысли. Но за то Чехловъ раздражался; онъ уже не былъ господиномъ разговора. Нервно, съ болѣзненно сверкавшими глазами онъ попробовалъ ошеломить рѣзкою, библейскою рѣчью но это уже было „не изъ той оперы“, какъ выразился Буреевъ. Наконецъ, чувствуя крайнее утомленіе, Чехловъ совсѣмъ сталъ говорить вяло; на его усталое лицо легла тѣнь глубокаго равнодушія. Онъ почти не слушалъ, что ему говорить, и отвѣчалъ не на чужіе вопросы, а на свои.

Да и всѣ устали. Споръ самъ собою утихъ. Александры Яковлевна кончила его шуткой.

— Знаете, Денисъ Петровичъ... одному вашему единому мысленнику я сказала, что онъ напоминаетъ то неблагодарное существо, которое, вдоволь накушавшись плодовъ прекраснаго дерева, отъ бездѣлья вздумало подкапывать его корни... „Но если-бъ вверхъ могла поднять ты рыло, тебѣ бы видно было“,—сказала я ему. Но теперь я не отказалась бы отъ удовольствія повторить это вамъ...

Никому не простилъ бы Денисъ Чехловъ такой шутки; но изъ устъ Александры Яковлевны онъ выслушалъ ее спокойно; онъ неопредѣленно засмѣялся, и его смѣхъ не выражалъ ни оскорбленности, ни желанія бороться за свое достоинство. Его усталое лицо смягчилось и взоръ его, устремленный на Александру Яковлевну, потерялъ свою острую проницательность, даже въ голосъ его, всегда жестокій, теперь слышались нѣжные тоны, мягкіе оттѣнки.

Буреевъ, до сихъ поръ озлобленный противъ него, враждебно встрѣчавшій каждое его слово, возмущавшійся его жестами и фигурой, теперь добродушно говорилъ съ нимъ и съ удивленіемъ смотрѣлъ на его смягченныя черты. Впрочемъ, говорили о разныхъ простыхъ вещахъ, смѣялись, шутили, и такое мирное настроеніе продолжалось до обѣда.

послѣ обѣда Чехлову надо было ѣхать, что уже само по себѣ отбивало у всякаго охоту снова поднимать длинный споръ.

Чехловъ задумчиво сидѣлъ за столомъ во все время обѣда и едва участвовалъ въ разговорѣ. Только когда всѣ вышли изъ-за стола, онъ вдругъ сдѣлалъ предложеніе:

— Сегодня, господа, въ городѣ назначена небольшая бесѣда... не угодно-ли кому изъ васъ отправиться со мной? Для меня это было бы пріятно. Сейчасъ мы заговорили и не повели разговоръ о „положеніи“. Я считаю чрезвычайно важнымъ этотъ вопросъ и буду именно о немъ говорить... Но для меня, по моимъ понятіямъ, онъ не самъ по себѣ важенъ, а по тому значенію, какое люди ему придаютъ. По всей вѣроятности, мнѣ не удастся убѣдить васъ,—это дѣло настроенія, — но, по крайней мѣрѣ, я постараюсь бросить свѣтъ туда, гдѣ теперь одно только мрачное отчаяніе... И такъ, что вы думаете? Ѣхать надо сію минуту, поѣздъ уже близко...

— Извольте, поѣдемъ!—сказалъ первымъ Буреевъ весело и ласково. Потомъ, обратившись къ сестрѣ, онъ спросилъ:— А ты, Маша, хочешь ѣхать?

Маша съ чувствомъ величайшаго удовольствія отвѣтила утвердительно. Вслѣдъ за ней согласился и Хординъ, притомъ, выразилъ свое согласіе шумно:

— Ыдемъ, такъ ѣдемъ!... Что, въ самомъ дѣлѣ?... Кстати, тамъ теперь оперетка пріѣхала, послушаемъ музыку!

Чехловъ не обратилъ вниманія на это курьезное сопоставленіе „бесѣды“ съ опереткой, хотя въ другой моментъ злоупотреблялъ бы,—онъ вопросительно смотрѣлъ на Александру Яковлевну. Въ сущности, дѣлая свое предложеніе, онъ имѣлъ въ виду только ее одну, мысленно онъ почему-то считалъ очень важнымъ, чтобы она поѣхала съ нимъ. Согласіе Хордина и Буреева съ сестрой онъ принялъ совершенно равнодушно и ждалъ только отвѣта Александры Яковлевны. И вдругъ, неожиданно для него, въ отвѣтъ на его вопросительное лицо, она покачала отрицательно головой.

— Я останусь дома, — съ спокойною улыбкой сказала она.

— Почему?—вскричалъ Чехловъ,—такъ было это несподручно для него.

Она задумалась, но тотчасъ же рѣшительно сказала:

— Нѣтъ, не поѣду!—и уклонилась отъ объясненія.

Онъ мрачно сконфузился. Еслибы она бросила въ его сторону насмѣшку или брань, онъ стерпѣлъ бы, но это простое „нѣтъ, не поѣду“ внезапно причинило ему оскорбительную боль. Онъ сконфуженно и, въ то же время, тяжело улыбнулся, какъ улыбается человѣкъ, которому отказано въ очень важной для него просьбѣ.

Однако, до поѣзда оставалось немного времени и всѣ шуточно принялись собираться, а черезъ нѣкоторое время Буревъ съ сестрой и Хордины пошли. Чехловъ подошелъ проститься къ Александрѣ Яковлевнѣ, сильно сжалъ ее худую руку и съ тревогой поглядѣлъ ей прямо въ глаза, но въ глаза только добро улыбнулись ему, и больше онъ ниче не могъ замѣтить.

Онъ вышелъ послѣднимъ изъ дома и догонялъ раненныхъ ушедшихъ. Но когда онъ вышелъ за ворота усадьбы, среди него вдругъ сжалось непонятною тоской, какую онъ не зналъ никогда, и по мѣрѣ того, какъ онъ удалялся отъ дома, тоска все шире и глубже, до боли, чувствовалась имъ. Ему показалось совсѣмъ не важнымъ то, что вотъ онъ ѣдетъ на поѣздъ, не важно то, что съ нимъ ѣдутъ три лица, не важно и то, что вечеромъ онъ будетъ говорить на большомъ собраніи людей, и не важнымъ это показалось *потому*, что съ нимъ не поѣхала Александра Яковлевна и не будетъ слушать того, что онъ скажетъ.

Въ сильной тревогѣ онъ сталъ искать причину, почему она отказалась ѣхать. Не обидѣлъ-ли чѣмъ онъ ее? Не сказалъ-ли чего такого, что внушило ей нерасположеніе къ нему? Да и чѣмъ она можетъ оскорбляться? Что вообще она любитъ и чего не любитъ?

При этомъ онъ вздумалъ было разобрать ее, изслѣдовать и понять, какъ онъ разбираетъ каждого человѣка, но съ тревогой и изумленіемъ бросилъ. Всюду чуткій и проникающій, разбиравшій самые сложные человѣческіе механизмы передъ фигурой Александры Яковлевны онъ внезапно ослѣпъ, ничего не понимая. Какъ будто внезапно ослѣпъ, глаза его ослѣпли, тонкій слухъ закрылся и наблюдательны

умъ превратился въ тупое и никуда негодное орудіе. Когда онъ встрѣчалъ незнакомаго человѣка, онъ безъ всякаго усилія съ своей стороны слѣдилъ за выраженіемъ, за малѣйшими отблесками его голоса, за тончайшими изгибами его слова и мысли, и по этимъ слѣдамъ проникалъ въ самую глубину существа незнакомаго человѣка и понималъ его. Точно съ такою же наблюдательностью, помимо своего желанія, онъ замѣтилъ неопредѣленный цвѣтъ волосъ Александры Яковлевны, различныя выраженія ея большихъ глазъ, всѣ черты ея худого лица, замѣтилъ и то, какъ она выражается, какъ мыслитъ ея работаетъ,—все замѣтилъ, только ничего не могъ разобрать и понять. Какъ будто онъ никогда не видалъ такого человѣка и въ особенности такой женщины, и его острый, развѣдающій умъ оказался здѣсь не только тупымъ, но бесполезнымъ. Когда онъ видѣлъ всякаго другого человѣка, онъ тотчасъ же зналъ, что въ немъ гадко и что хорошо. А здѣсь онъ ничего не могъ разобрать, что дурно и что хорошо. Даже разбирать по частямъ тутъ нечего было, такъ бессмысленно разбирать предметъ, въ которомъ все шумительно просто, наглядно и цѣльно. Представляя ея черты, ея слова, онъ только чувствовалъ, что видѣть ее приятно, не видѣть—тоска, говорить съ ней—удовольствіе, говорить тамъ, гдѣ ея нѣтъ,—не стоитъ.

И когда онъ молча сидѣлъ въ вагонѣ между Буреевымъ и его сестрой, въ его головѣ неискоренимо засѣла явно нехотѣлая мысль: „Да стоитъ-ли тамъ говорить,—вѣдь она не будетъ слышать?“

VI.

Поездъ тихо лязгалъ по рельсамъ. Изъ оконъ вагона открывались необъятныя степныя дали, кое-гдѣ перегороженныя гѣсистыми холмами. День былъ теплый, чисто-майскій. Позелѣвшія поля сверкали бархатомъ. Лѣсъ позелѣлъ. Воздухъ насыщенъ былъ ароматомъ возродившейся жизни.

Человѣкъ замолчалъ съ самой первой минуты прихода въ вагонъ и отвернулся къ окну отъ спутниковъ. Но по мѣрѣ того, какъ онъ смотрѣлъ въ окно, суровыя черты его распускались въ какой-то неопредѣленной печали. Весенній-ли ароматъ, врывающійся волнами въ окно вагона, голубое-ли небо, открывавшее всю свою глубину, тоска-ли по чему-то

неизвѣданному, только въ жесткихъ складкахъ его лица появились новыя черты, а острый взглядъ его поминутно заволакивался влажною пеленой. Онъ самъ чувствовалъ, что слезы затуманиваютъ ему глаза и сердце сжимается отъ неведомой истомы. Онъ пробовалъ стряхнуть съ себя эту тошливую нѣгу, хотѣлъ сдѣлать какое-нибудь внезапное движеніе, крикнуть рѣзкое слово — и не могъ. Онъ неподвижно сидѣлъ на мѣстѣ, все тѣло его застыло въ истомѣ и взоръ смутно блуждалъ по широкому простору полей, мимо которыхъ катился поѣздъ.

Буреевъ посматривалъ на него и все болѣе поддавался чувству доброжелательства къ этому суровому человеку. Всѣ слова котораго такъ враждебно принимались имъ. Онъ въ эту минуту такъ былъ настроенъ, что ему хотѣлось встать съ своего мѣста, подѣйствовать къ нему и пожать его руку, за что — онъ и самъ не сказалъ бы.

Незамѣтно для себя, онъ поддавался влиянію всякой силы, какая находилась возлѣ него. Въ ранней молодости онъ издался непреодолимому стремленію посидѣть въ кутузкѣ — посидѣлъ не потому, чтобы злоумышлялъ преступныя дѣла, а потому, что всѣ близкіе его непремѣнно отсиживали просто за компанію. Немного спустя онъ проникся другимъ настроеніемъ, выражавшимся — „око за око и зубъ за зубъ“ и опять не потому, чтобы въ натурѣ его лежала потребность ставить кому-нибудь фонари подъ глазами, а просто за компанію; его широкому, добродушному лицу рѣшительныя несвойственны были злоба и вражда. Вслѣдъ за тѣмъ пришло время, когда всѣ кругомъ него стали называть потолкающимъ, идеалами — дурацкою сказкой, мечтателей — скучными бреднями, и Буреевъ поддался этому. Наравнѣ съ другими онъ сталъ остроумно вышучивать мысли и дѣла, за которыя самъ недавно распинался.

Послѣднюю слабость, которой онъ отдался, былъ Хординъ. Въ деревнѣ они поселились почти одновременно. Въ то время, когда Хординъ взялъ управленіе богатѣйшимъ имѣніемъ, Бурееву неожиданно досталось отъ дальняго родственника небольшое наслѣдство. Достаточно помыкавшись бѣлому свѣту, Буреевъ съ удовольствіемъ переселился въ свое имѣніе, выписалъ сестру изъ Петербурга, гдѣ та училась, и спокойно зажилъ. Въ хозяйствѣ онъ ничего не смѣ

лѣтъ и потому всю землю сталъ сдавать въ аренду мужикамъ. Дѣло это до такой степени оказалось не хитрымъ, что на него напала страшнѣйшая скука. Бывало, цѣлыми днями онъ слонялся по усадьбѣ и не зналъ, какъ убить дьявольски длинные дни. Отъ нечего дѣлать, въ одинъ годъ онъ издумалъ заняться хозяйствомъ, для чего на первыхъ порахъ засѣялъ десятинъ двадцать ржи. Но, къ его негодованію, вмѣсто ржи, на лѣто у него уродился чертополохъ. Онъ страшно тогда озлился на мужиковъ, которые столь наглýmъ образомъ надули его, но потомъ, рассказывая объ этомъ случаѣ, онъ заливался добродушнымъ смѣхомъ.

Въ это время онъ и познакомился съ Хординымъ, имѣніе котораго лежало по сосѣдству съ его участкомъ. Почти навѣрное можно сказать, что онъ, при первомъ же знакомствѣ съ Александрой Яковлевной, поддался бы ея влиянію, но она, на несчастіе, въ это время казалась такою подавленной и разбитой, что съ ней тяжело было даже говорить. Поэтому Буреєвъ поддался Хордину. Хординъ проповѣдывалъ практичность—и онъ также стоялъ за практичность, Хординъ ругалъ мужиковъ—и онъ ихъ ругалъ; только все это у него выходило мягче. Въ сущности, ему не было ни охоты, ни интереса ругать мужиковъ; ругалъ онъ ихъ только отвѣченно, а въ дѣйствительности со всѣми своими мужиками отлично жилъ; ругалъ просто потому, что сердце его было мягкое, характеръ нѣжный, такъ что когда Хординъ что-нибудь говорилъ, онъ по добротѣ соглашался съ нимъ, тобы не обидѣть его. Онъ такъ мало придавалъ значенія себѣ и такъ много всякому другому, что соглашался видѣть хорошее тамъ, гдѣ было одно только дурное. Случалось, что Хординъ въ городѣ напивался до одури пьянымъ, и Буреєвъ старался быть съ нимъ въ одномъ градусѣ, хотя водка на его вкусъ казалась гадкою. Быть со всѣми въ одномъ градусѣ—таково было существенное и неизмѣнное желаніе его.

Поэтому же самому онъ продолжалъ думать, что принадлежитъ къ чему-то цѣлому, вродѣ партіи, и носить строго опредѣленные убѣжденія; онъ считалъ себя неотъемлемою частью какого-то мы и дѣлилъ людей на *нашихъ* и *не нашихъ*. Впрочемъ, Хординъ также, по старой привычкѣ, считалъ себя въ числѣ *мы* или какихъ-то *насъ* и думалъ, что имѣетъ

какія-то *наши* стремленія. Но у Хордина это происходило потому, что онъ обладалъ двумя лицами, а у Буреева просто отъ безпамятства и слабости. На самомъ дѣлѣ онъ нѣтъ-кѣ-какія искреннія убѣжденія, но только придавалъ имъ различные цвѣта, смотря по окраскѣ окружающаго. Когда кругомъ господствовали розовые цвѣта—и онъ окрашивалъ себя въ цвѣтъ радости; когда кругомъ было сѣро и пусто—и онъ обезцвѣчивался; если же повсюду стояла осень и мгла закрывало небо, а земля превращалась въ тонкое, зловонно болото, и онъ погружался по уши.

И все-таки въ каждую данную минуту онъ смутно носилъ въ себѣ образъ полнаго человѣка и вѣру въ его реальное существованіе.

По пріѣздѣ въ городъ, Хординъ и Буреевъ на короткое время разстались съ Чехловымъ,—не было еще условленныхъ восьми часовъ, когда ожидалось собраніе. Чехловъ же прямо отправился въ домъ, хозяева котораго любезно предоставили въ его распоряженіе свою большую квартиру. Хозяинъ принадлежалъ къ хорошо обеспеченному служилому сословію и, въ сущности, давно похоронилъ душу свою подъ горами казенныхъ истинъ, но, вѣстѣ съ тѣмъ, отличался чисто-бабьимъ любопытствомъ ко всему новому. Въ городѣ онъ слылъ за человѣка, назначеніе котораго „оживлять“ всякое общество. Онъ участвовалъ во всѣхъ собраніяхъ, записывался членомъ всѣхъ обществъ, распоряжался на всѣхъ юбилеяхъ и похоронахъ и всюду оживлялъ. Не было предмета, о которомъ бы онъ не могъ произнести пререканной рѣчи; и всѣ вопросы, кажется, были знакомы ему, начиная съ вопроса о вывозѣ за границу русской свинины, кончая вопросомъ о концѣ міра. Когда заговорили о Чехловѣ, бабье любопытство его и здѣсь нашло почву. Разъ онъ встрѣтилъ Чехлова въ другихъ домахъ, а потомъ пригласилъ его къ себѣ.

Встрѣтивъ его сію минуту въ прихожей, онъ пламенно потрясъ его руку, повелъ его въ залу, гдѣ уже гудѣла большая толпа собравшихся, и предложилъ немедленно познакомить его со всѣми. Но Чехловъ холодно отказалъ отъ этой церемоніи.

— Зачѣмъ знакомиться? Развѣ люди непременно должны

знать свои ярлыки, чтобы говорить по-человѣчески?—замѣтилъ онъ.

Хозяинъ сначала оторопѣлъ отъ этой выходки, но тотчасъ же пришелъ въ восторгъ.

— Дико, но оригинально!—говорилъ онъ шепотомъ, обходя черезъ минуту гостей и всѣмъ сообщая о словахъ Чехлова. Такъ что Чехлова мгновенно вся зала узнала и всѣ глаза обратились на него.

Между тѣмъ, онъ сѣлъ на первый попавшійся стулъ отъ входа и обводилъ глазами незнакомыя лица. Мало-по-малу легкая тѣнь, лежавшая на его лицѣ, сошла и черты его опять стали жесткими, какъ всегда. Еще за минуту передъ тѣмъ онъ ощущалъ страшную слабость и съ непріятнымъ, тяжелымъ чувствомъ думалъ объ этомъ собраніи, гдѣ онъ долженъ говорить, но лишь только онъ очутился въ толпѣ, жергя его моментально возродилась. Глаза его злобще сверкнули, въ лицѣ появилось вызывающее, боевое выраженіе.

Нѣсколько человѣкъ, уже знакомыхъ ему раньше, поздоровались съ нимъ, а остальныхъ онъ открыто, не стѣнясь, наблюдалъ и прислушивался къ разговорамъ. Этого безстрастнаго, молчаливаго наблюденія ему было достаточно, чтобы приблизительно оцѣнить многихъ изъ присутствующихъ. Онъ замѣтилъ тутъ рослую фигуру мѣстнаго газетчика съ крупнымъ и жирнымъ, но скопческимъ лицомъ; недалеко отъ него сидѣла огромная дама, напоминающая по своимъ размашистымъ движеніямъ лошадинаго барышника,—это была самая рослая по величинѣ фигура. Другіе подлѣ нихъ казались мелкими, блѣдными и безцвѣтными. Но Чехловъ на нихъ-то и направилъ все свое вниманіе. Онъ по опыту зналъ, что самыми опасными противниками могутъ быть только эти блѣдные, маленькіе люди... Вотъ тотъ, напримѣръ, газетчикъ съ лицомъ скопца, въ сущности, ничтожество; каждый знаетъ, что газета для него — коммерція, слова его—базарныя цѣнности, хорошія слова—хорошая базарная цѣнность, и языкъ его безъ костей. Но вотъ эти благовоспитанные, приличные люди, поблѣднѣвшіе надъ книгами, оффиціальныя носители истины, представители свободныхъ искусствъ,—вотъ ихъ-то болѣе другихъ ненавидѣлъ Чехловъ... Въ нихъ съ дѣтства вытравлена ка-

жая бы то ни было вѣра и убита воля, но они—призванные жрецы истины и въ ихъ рукахъ всѣ орудія ходячей правды... вотъ ихъ-то надо подорвать!...

И въ душѣ Чехлова закипѣла злоба и мгновенно вызванное этою злобой сознание своей силы. Онъ, обводя глазами собравшихся, угадывалъ нравственное состояніе этой толпы ничѣмъ не связанной между собою, разбитой на множество отдѣльных эгоизмовъ, потерявшей вѣру въ нѣчто цѣлое и потому страшно порочной. Это одушевило его. Одни люди воодушевляются состраданіемъ и любовью, но онъ принадлежалъ къ тѣмъ, сила которыхъ — въ негодованіи; его умъ только тогда сильно работалъ, когда открывалъ залужденныя и ложь; сердце его воспламенялось только въ виду порока.

Прошло минутъ двадцать съ прихода его и онъ уже чувствовалъ, что готовъ къ разговору, и зналъ, о чемъ ему говорить. Въ залѣ стоялъ беспорядочный шумъ; всѣ разсыпались на кучки. Казалось, всѣ съ намѣреніемъ откладывали цѣль, ради которой собрались, и говорили обо всемъ и свѣтъ, только не объ этомъ. Предоставляли начать «серьезный разговоръ» самому Чехлову, причемъ ждали отъ него формальной рѣчи, реферата или чего-нибудь вроде этого. Онъ, повидимому, не думалъ начинать и молча продолжал наблюдать лица, прислушиваясь къ разговорамъ.

Вдругъ къ нему обратился господинъ, сидѣвшій подлѣ него, обратился съ любезною улыбкой, такъ какъ и самъ представлялъ воплощенную любезность, хорошій тонъ, порядочность.

— Извините меня... вы господинъ Чехловъ? — спросилъ этотъ изящный и любезный господинъ.

— Я.

— Извините... Я сейчасъ слышалъ, какъ вы отказались знакомиться съ присутствующими здѣсь, и хотя рискуя получить такой же отказъ на свой счетъ, но все-таки позвольте познакомиться... Малаховъ, — и любезный Малаховъ протянулъ руку Чехлову.

Послѣдній пожалъ плечами и тотчасъ же воспользовался случаемъ. Но сначала онъ съ наслажденіемъ рѣшилъ обратиться провію на того, кто ее первый пустилъ въ ходъ.

— Не знаю, чѣмъ вы могли рисковать въ данномъ случаѣ? — спросилъ онъ небрежно.

— Вы могли не принять протянутой руки, руководясь

известнымъ мнѣ правиломъ,—продолжалъ иронически любезный, улыбающійся Малаховъ.

— Я бы позволилъ себѣ сдѣлать это въ томъ лишь случаѣ, еслибы зналъ васъ за человѣка, не заслуживающаго уваженія, — сказалъ Чехловъ холодно, но уже съ смѣющимися глазами.

Любезный Малаховъ пересталъ улыбаться.

— Слѣдовательно, ваше правило—подавать руку только тѣмъ, которые съ вашей точки зрѣнія заслуживаютъ уваженія?—спросилъ серьезно Малаховъ.

— Не знаю, зачѣмъ это непременно правило на каждый предметъ?—возразилъ Чехловъ уже насмѣшливо.—Никакого правила я не имѣю.

— Но вѣдь почему-нибудь отказались же вы знакомиться?

— Да потому и отказался, что у меня нѣтъ на этотъ счетъ никакихъ правилъ. Еслибы я познакомился со всѣми, то вѣдь это нисколько не помогло бы намъ понять друга друга и не связало бы насъ...

Въ это время въ залѣ разговоры стихли. Замѣтивъ, что Малаховъ о чемъ-то говорить съ Чехловымъ, всѣ стали съ любопытствомъ прислушиваться.

— Все-таки выходитъ, что вы противъ общепринятыхъ примѣчей?—продолжалъ настаивать Малаховъ.

— А вы не противъ нихъ? — въ свою очередь, спросилъ Чехловъ, и та внутренняя радость, которая появлялась у него всякій разъ, какъ собесѣдникъ его попадался въ ловушку, ярко засвѣтилась въ его глазахъ.

— Въ принципѣ, противъ... Но если человѣкъ желаетъ дѣло съ людьми, то онъ не долженъ оскорблять ихъ нарушеніемъ общепринятыхъ правилъ. Тѣмъ болѣе, что это бесполезное дѣло...

— Такъ что еслибы въ это почтенное собраніе появился простой человѣкъ, который не знаетъ, что надо быть представленнымъ, вы бы удалили его?—спросилъ Чехловъ.

— Этотъ примѣръ не идетъ сюда... Вы вѣдь не тотъ простой человѣкъ, который не знаетъ этого обычая,—возразилъ опять съ улыбкой Малаховъ, но уже раздражаясь.

— Почему же не тотъ?... Я именно тотъ самый простой человѣкъ, не знающій, какъ себя вести въ обществѣ, и прошу васъ научить меня приличіямъ. Быть можетъ, вы находите,

что и костюмъ мой неподходящій, и сапоги грязные,—я знаю!

Любезный Малаховъ покраснѣлъ, въ душѣ проклиналъ себя за начатый разговоръ. Когда-то онъ почти тѣми же словамъ говорилъ о бессмысленности многихъ „общепринятыхъ“ вещей, а вотъ теперь забылъ... „Чортъ меня дернулъ!“—думалъ онъ съ досадой. Но, въ то же время, сильное раздраженіе закипѣло въ немъ противъ Чехлова.

— Вы напрасно придали моимъ словамъ такой курьезный смыслъ, — заговорилъ онъ быстро и уже безъ всякой тѣмъ любезности. — Я не придаю никакого значенія приличіямъ, я знаю положенія, когда, ради успѣха дѣла, надо податься пустякамъ.

— Напримѣръ, какимъ же?—спросилъ Чехловъ.

— Да хотя бы тому же костюму. Есть такія положенія, которыя заставляютъ васъ надѣть извѣстный костюмъ.

— Извините, никто меня не заставитъ надѣть чистые сапоги, если я не придаю имъ значенія. Я согласенъ зависѣть отъ вашей истины, но, извините, не могу заставить себя подчиниться вашимъ убѣжденіямъ относительно сапоговъ. Никогда я не буду зависѣть и отъ своихъ сапоговъ... (С другой стороны, я не нахожу никакого соотношенія между какимъ-либо хорошимъ дѣломъ и сапогами... Впрочем простите меня, можетъ быть, я ошибаюсь, но тогда попробуйте напомнить мнѣ великія дѣла, которыя можно совершить при помощи чистыхъ сапоговъ и изящнаго костюма.)

Доведя разговоръ до этой бессмыслицы, Чехловъ вдругъ замолчалъ и обвелъ глазами всю залу. А въ залѣ въ это время поднялся смѣхъ, шутки, остроты. Никто не считалъ нужнымъ хорошенько вдуматься въ слова Чехлова, всѣ видѣли въ немъ просто чудачество оригинала, который не можетъ обойтись безъ забавныхъ выходокъ. Никто не подозрѣвалъ, зачѣмъ въ это говорилъ Чехловъ и почему говорилъ такъ, а не иначе. Тѣмъ менѣе кто-либо подозрѣвалъ, что именно эти чудаческія слова и есть то, что хотѣлъ сказать Чехловъ. Но послѣдній зналъ, зачѣмъ говорить и чѣмъ поражать эту веселую толпу, обрадовавшуюся случаю весело провести время... Онъ молча слушалъ этотъ хохотъ.

Между тѣмъ, любезный и вѣжливый Малаховъ вышелъ изъ себя. Принявъ раздавшійся смѣхъ на свой счетъ, онъ вспыхнулъ.

шугъ, поблѣднѣвъ, губы его задрожали и судорога прошла по его лицу. Потерявъ не только улыбку, но и душевное равновѣсіе, онъ раздраженно принялся возражать.

— Я признаю долю остроумія въ вашихъ словахъ, но чудачествомъ, хотя бы и устроумнымъ, трудно доказать что-нибудь,—сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ.—Я вамъ поставилъ серьезный вопросъ, а вы возражаете чудачествомъ!

— Въ такомъ случаѣ, извините мою невѣжливость, но я искренно не нашелъ въ вашихъ словахъ никакого серьезнаго вопроса,—отвѣтилъ Чехловъ тѣмъ тономъ, который всѣхъ такъ раздражалъ.

— Я указалъ вамъ, въ сущности, на слѣдующій вопросъ: человѣкъ зависитъ отъ окружающихъ условій... какъ бороться противъ нихъ, если они вредны? А вы позволили себѣ отвѣтить остротами.

Послѣднія слова Малаховъ выговорилъ взбѣшеннымъ тономъ.

Но Чехловъ только пожалъ плечами и молчалъ.

— Вы не признаете роковую силу окружающихъ условій? — вскричалъ Малаховъ.

— Отчего же не признать? Это можно. Я, напримѣръ, признаю, что вотъ это стѣна, но зависѣтъ отъ нея не слѣдуетъ. Я завишу отъ своего разума и совѣсти, но не отъ стѣны или другой какой бессмысленной, неразумной вещи. — Некрасивое лицо Чехлова озарилось при этихъ словахъ свѣтлою улыбкой.

— Какая наивность, позвольте вамъ сказать! — презрительно сказалъ Малаховъ. — Развѣ вы не можете представить себѣ положенія, когда даже ваша невинная проповѣдь будетъ сочтена за нарушение тишины на улицѣ и можетъ кончиться... ну, хоть кутузкой? Вы и тогда будете твердить, что не зависите отъ окружающихъ условій?

Чехловъ опять съ улыбкой пожалъ плечами.

— Что меня посадятъ въ кутузку, это можетъ быть, но это не мое дѣло! — возразилъ онъ насмѣшливо.

Раздался взрывъ хохота. И опять никто не могъ понять всей серьезности этихъ словъ.

— Вотъ это нило! Сторожъ уличный ведетъ его въ кутузку, а онъ говорить: „это до меня не касается!“ — съ торжествомъ закричалъ Малаховъ.

— Да, это меня не касается. Кутузка не находится въ

моемъ распоряженіи. Въ моемъ распоряженіи только разумъ и совѣсть, но кутузка у меня ихъ не отниметъ.

Тутъ только Малаховъ началъ понимать, на какой высотѣ стоитъ его противникъ, и внутренне смутился.

— Но какъ же проявится, интересно знать, ваша совѣсть въ кутузкѣ?—спросилъ онъ съ наружною ироніей.

— Я постараюсь убѣдить сторожа, что онъ впалъ въ грѣшную ошибку, принявъ меня за нарушителя тишины, и что онъ сдѣлалъ не только дурное, но и бесполезное дѣло.

— И онъ будетъ убѣжденъ и послушается васъ?

— Если онъ не послушается, то это ужъ его дѣло и не касается. И пусть онъ продолжаетъ дѣло кутузки, а буду продолжать свое дѣло, дѣло разума и совѣсти. Потому что только это и есть мое дѣло, кутузками же я не вѣдую!

— И вы думаете, что изъ этого что-нибудь выйдетъ? все еще иронически спросилъ Малаховъ, хотя чувствовалъ, что почва съ ужасающею быстротою ускользаетъ изъ-подъ его ногъ.

— А вы думаете, что изъ этого ничего не выйдетъ? въ такомъ случаѣ, о чемъ же мы съ вами говоримъ? Если разумъ и совѣсть, или, какъ вы это называете, идеалы и убѣжденія, для васъ пустяки и ничтожество передъ кутузкой, если вы вѣрите въ непреодолимую силу сапоговъ, кутузочниковъ, окружающихъ условій, о чемъ же намъ съ вами говорить? Мы стоимъ такъ далеко другъ отъ друга, что не можемъ ни слышать, ни видѣть другъ друга, и голоса наши будутъ раздаваться въ пустынѣ...

Въ залѣ поднялся неопредѣленный шумъ. Многіе поднялись съ мѣстъ. Но въ особенности заводновалась молодая женщина, которая тутъ была; свѣжія лица этихъ юношей и молодыхъ дѣвушекъ съ восторгомъ обратились въ сторону Чехова. Было мгновеніе, когда казалось, что они всѣ вразъ заговорятъ.

Но голоса почтенныхъ людей заглушили бы ихъ голоса. Послышались съ разныхъ сторонъ возраженія. Потерявъ равновѣсіе, изящный Малаховъ также продолжалъ говорить и возражать.

— Позвольте, позвольте!—кричалъ онъ, между прочимъ. Мы еще не кончили вопроса!

— Не понимаю, о чемъ намъ съ вами говорить?—сказаль холодно Чехловъ.

— Но позвольте... Прежде вѣдь, чѣмъ вы успѣете убѣдить сторожа въ ошибкѣ, вы можете лишиться самой возможности убѣждать!

— То-есть это что такое?—спросилъ Чехловъ съ любопытствомъ.

— Смерть!

— Меня можетъ постигнуть смерть? Быть можетъ. Но это опять не мое дѣло. Я не распоряжаюсь смертью,—она вѣ моей воли, и распоряжаться ею — не моя обязанность. Моя обязанность только разумъ и совѣсть, ими я могу распоряжаться. Но за то ими я и могу распоряжаться съ безконечнымъ произволомъ, и не знаю того положенія, которое бы отняло ихъ у меня.

Любезный господинъ замолчалъ. Честный и прямой, онъ даже не пожелалъ воспользоваться какимъ-нибудь благовиднымъ предлогомъ, чтобы смолкнуть; онъ безъ всякаго предлога замолчалъ и съ тоскливою тревогой ушелъ въ себя. Онъ былъ очень образованный человѣкъ и когда-то самъ стоялъ на такихъ же высотахъ мысли, но потомъ, незаметно для себя, спустился внизъ и погрузился въ практическія болота, и даже забылъ, что на землѣ существуютъ высокія горы, гордыя вершины которыхъ первыми встрѣчаютъ розовые лучи солнца и послѣдними провожаютъ ихъ въ ночной мракъ. Но сейчасъ онъ вспомнилъ прошедшее, задумался и замолчалъ, даже не скрывая, что ему пока нечего говорить.

Овладевъ не только вниманіемъ залы, но и предметомъ разговора (тогда какъ у всѣхъ остальныхъ вниманіе ни на чемъ цѣльнымъ не было сосредоточено и никто хорошенько даже не зналъ, зачѣмъ сюда собрались люди), Чехловъ съ внезапнымъ воодушевленіемъ заговорилъ о томъ, что хотѣлъ сказать.

Онъ началъ съ любимого и дѣйствительно поразительнаго положенія всѣхъ стоекъ, что человѣкъ силенъ, счастливъ, свободенъ и справедливъ только до тѣхъ поръ, пока распоряжается тѣмъ, что ему принадлежитъ,—разумомъ и сердцемъ, но разъ онъ ставитъ свою жизнь и счастье въ зависимость отъ какой-нибудь посторонней вещи—будетъ-ли это богатъ

ество, власть, мнѣніе другихъ людей, онъ тотчасъ становится жалчайшимъ рабомъ всего, что не находится въ его распоряженіи, [и доходитъ до такого униженія и несчастія, что страдаетъ отъ неимѣнія совершенно ненужнаго, но общепринятаго предмета... Дама, не имѣющая возможности пріобрѣсти извѣстнаго фасона шляпу, можетъ сильно страдать и дѣйствительно невыносимо страдаетъ... Господинъ, которому не удалось обставить свой домъ такъ, „какъ у всѣхъ“, можетъ, ради пріобрѣтенія безсмысленной обстановки, заработать до чахотки и дѣйствительно погибаетъ, истекая кровью... Юноша, не успѣвшій заучить мертвые слова погибшаго языка, можетъ пулей раздробить свою голову и дѣйствительно раздробляетъ... Честная дѣвушка, по увлеченію родившая незаконнаго ребенка, можетъ, въ виду мнѣній окружающихъ, бросить маленькое, невинное существо въ яму и бросаетъ, хотя сердце ея разрывается на части... Всѣ эти несчастные люди несомнѣнно страдаютъ, но страдаютъ только отъ того, что отдаются въ рабство такимъ вещамъ, которыя отъ нихъ не зависятъ, которыя сильнѣе ихъ...

Подготовивъ слушателей, Чехловъ дальше заговорилъ о человѣкѣ и средѣ, о личности и объ окружающихъ условіяхъ. Лицо его при этомъ загорѣлось страшною враждой. Онъ переводилъ взоры съ одного присутствующаго на другого, угадывалъ инстинктивно недостатки и слабости каждаго, и его злой умъ воодушевлялся страстною злобой. По видимому, обрисовывая отвлеченный вопросъ, онъ на самомъ дѣлѣ только рисовалъ этихъ людей, среди которыхъ онъ стоялъ, которые его слушали и по лицамъ которыхъ блуждалъ его взглядъ. Всѣ обвиняютъ, говорилъ онъ, что-то виѣшнее, но только не себя. Одинъ обвиняетъ какихъ-то могучихъ людей, которые мѣшаютъ ему что-то дѣлать, другой обвиняетъ среду, которая будто его съѣла, третій не стѣсняется взвалить вину за свою пошлость на невинную семью, которая отнимаетъ все его время. Четвертый жалуетъ на тупыхъ и косныхъ людей, окружающихъ его со всѣхъ сторонъ и мѣшающихъ его энергичной дѣятельности. Пятый не стыдится объяснить свою грубую, безсмысленную жизнь тѣмъ, что такъ другіе живутъ. И никто не хочетъ себя обвинить, и никто не желаетъ надъ собой поработать,

изучить себя, воспитать и сдѣлать изъ себя справедливаго, любящаго, благороднаго человѣка. Всѣ хотѣтъ бороться со зломъ „положенія“, со зломъ „окружающихъ условій“ и „внѣшняго давленія“, никто не борется только съ собой; каждый видитъ кругомъ зло, только въ себѣ ничего не замѣчаетъ... Оттого кругомъ слышится вопль взаимныхъ обвиненій, содомъ взаимнаго побоища, адъ грѣшниковъ, съ остервенѣніемъ грызущихъ другъ друга... Разумъ каждаго позорно пресмыкается передъ всякою внѣшнею силой, часто ничтожною, иногда совсѣмъ вымышленною. И жизнь сдѣлалась постылымъ дѣломъ, дѣло превратилось въ ремесло, умъ въ машину, убѣжденія въ механическія слова, слова въ обязательное отправленіе неуправляемаго языка...

— Пусть мнѣ укажутъ положеніе,—закричалъ Чехловъ,—гдѣ бы разумъ долженъ замолчать, совѣсть заглухнуть! Говорить, вѣрность своей внутренней правдѣ, вѣрность до конца свойственна только героямъ... Какое изумительное заблужденіе! Какъ разъ обратно,—герои-то и невѣрны себѣ никогда! Герои идутъ войной на окружающія условія, побиваютъ враговъ,—это уже ихъ дѣло воевать съ тѣмъ, кто сильнѣе ихъ, и добывать то, что имъ не принадлежитъ. Простой человѣкъ за ними не можетъ идти; въ его распоряженіи только онъ самъ, его собственная совѣсть, но за то съ своею совѣстью онъ можетъ распоряжаться съ безконечнымъ произволомъ... И здѣсь онъ можетъ проявить такую силу, что спутитъ самихъ героевъ, воюющихъ съ тѣмъ, что имъ не принадлежитъ...

Чехловъ продолжалъ еще много говорить о силѣ личности. Это было лучшее и самое высокое, во что онъ только вѣрилъ. Онъ говорилъ на этотъ разъ не холодно, какъ всегда, а съ пылающимъ лицомъ и со взоромъ, полнымъ гордой увѣренности. Это были не доказательства, не отвлеченная теорія, не слова, а торжественный гимнъ, вырвавшійся изъ глубины его собственнаго существа, которое сознавало свою силу и вѣрило въ свою власть. Въ его устахъ личность принимала колоссальные размѣры, покрывающіе собой цѣлый міръ; человѣкъ онъ надѣялся могуществомъ Бога.

Онъ говорилъ бы долго на эту тему, но чисто-физическое утомленіе, выразившееся крайне упавшимъ голосомъ, заставило его замолчать. Съ разныхъ сторонъ къ нему посыпалъ

лись вопросы, но онъ отговаривался усталостью и попросилъ перерыва. Во время перерыва въ залѣ воцарился шумный беспорядокъ; онъ этимъ воспользовался и черезъ полчаса вышелъ въ смежную комнату, гдѣ былъ свѣжій, прохладный воздухъ. За нимъ послѣдовалъ туда Буреевъ, весь отчего-то сіяющій.

— Какъ бы мнѣ хотѣлось уйти отсюда! — тихо прошепталъ Чехловъ, не обращаясь къ своему спутнику.

— Что-жь, уйдемъ! — отвѣтилъ весело Буреевъ и, взявъ его за руку, провелъ его другимъ ходомъ въ прихожую.

Тамъ они наскоро одѣлись и незамѣтно вышли на улицу.

Былъ уже поздній часъ ночи. Уличная пыль улеглась; дышалось свободно. Чехлову, послѣ душной залы, разгоряченному рѣчью до опьяненія, не хотѣлось говорить. Онъ вздохнулъ глубоко, снялъ шляпу и, блуждая улыбающимся взоромъ по темному небосклону, гдѣ уже зажигались звѣзды молча шелъ рядомъ съ Буреевымъ.

На за то Буреевъ былъ въ такомъ восторженномъ настроеніи, при которомъ нельзя молчать. Когда они только-что вышли изъ дома, сіяющее лицо его поминутно обращалось въ сторону Чехлова, словно онъ собирался что-то ему сообщить. Наконецъ, онъ весело захохоталъ и заговорилъ:

— Отлично!... Крѣпче бейте!... Изъ всей мочи бейте по освинѣлымъ башкамъ!... Это, очевидно, ваше призваніе! — кричалъ онъ и сдержанно хохоталъ.

Чехлова покорила эта грубая форма похвалы, но онъ все-таки съ чувствомъ удовлетворенной гордости улыбнулся, слушая восторгъ недавняго врага.

— Я чувствовалъ, какое впечатлѣніе производятъ ваши слова... неподобно вы умѣете разить врага!... Но вы и смущайтесь, бейте по освинѣлымъ головамъ! Такъ и нужно. Это я на себѣ узналъ! Когда вы треснули меня по затылку и сначала, конечно, заревѣлъ отъ боли, но такъ и нули было!... Мы всѣ за это время такъ освинѣли, что, вмѣстѣ разговоровъ, стали только хрюкать... И тутъ, очевидно, только хорошею затрещиной можно привести въ себя одичалаго человѣка... превосходно, неподобно!...

Чехловъ, слушая этотъ курьезный восторгъ, продолжалъ думать, что идущій съ нимъ рядомъ человѣкъ сдѣлался егученикомъ, только странно выражается.

— Наконецъ, вы поняли меня и соглашаетесь со мной?— сказалъ онъ вопросительно, но не сомнѣваясь въ положительномъ отвѣтѣ.

Но Буреевъ вдругъ ошеломилъ его.

— Я соглашаюсь? Откуда вы это взяли? Ни чуть не было!—весело замѣтилъ Буреевъ.

— Да вѣдь вы же сейчасъ говорили? — спросилъ Чехловъ, растерявшись и нахмутивъ брови.

— Я только изумленъ вашимъ искусствомъ разить... Это меня привело въ восторгъ... Превосходно, прелесть!... Вейте по озвѣрѣлымъ головамъ, возвращайте къ жизни мертвецовъ!... Это настоящая ваша роль, призваніе, огромное дѣло! Въ этомъ смыслъ всѣ мои симпатіи—ваши, берите мой восторгъ и удивленіе! Но я не могу быть вашимъ послѣдователемъ и не совѣтую вамъ заниматься моралью—это не ваше дѣло... Ваше призваніе разить враговъ, а не проповѣдывать. Вы похожи на того легендарнаго ксендза, который однажды, будучи возмущенъ пороками паствы, началъ свою проповѣдь въ костелѣ слѣдующимъ образомъ: „Возлюбленные братья! Я знаю, что вы глупы и негодны“... Вотъ ваше назначеніе!

Буреевъ выговорилъ это въ сильнѣйшемъ возбужденіи и какъ нельзя болѣе серьезно. Но Чехловъ принялъ его слова за наглость шута. Онъ поблѣднѣлъ, а изъ-подъ нависшихъ бровей его смотрѣли на Буреева озлобленные глаза. Однако, онъ еще сдерживался.

— А я думалъ, что вы въ самомъ дѣлѣ поняли!—сказалъ онъ презрительно.

— Думаю, что понялъ... Ваши положительные взгляды, откровенно говоря, возмущаютъ меня! Но за то ваше искусство разить освинѣлыя головы — просто чудесно! Это настоящее ваше призваніе — приводить *каждаго въ себя*, — пьянъ-ли человекъ, одурѣлъ-ли отъ мелочей, или изнаглѣлъ въ свалкѣ за кусокъ хлѣба... Вы способны *каждаго* вернуть *къ себѣ*, заставить вспомнить *свои* мысли. Но именно поэтому, мнѣ кажется, у васъ и не будетъ послѣдователей... Ваше дѣло толкнуть ногой и сказать: „Эй, ты, скотина! вставай, что ты тутъ въ грязи-то валяешься?!“ И онъ встанетъ и пойдетъ *своею* дорогой. Но не за вами.

Возволнованный собственными словами, Буреевъ дружески

обращалъ свои взоры на спутника, къ которому внезапно воспылалъ искреннею любовью. Онъ говорилъ искренно и на самомъ дѣлѣ былъ увлеченъ Чехловымъ. Онъ хотѣлъ и дальше распространиться на этотъ счетъ, но Чехловъ вдругъ повернулся къ нему спиной и пошелъ по незнакомому переулку, ничего не сказавъ, не простившись.

Обезкураженный Буреевъ остановился на мѣстѣ и сначала ничего не понималъ. Онъ смотрѣлъ вслѣдъ удаляющемуся Чехлову и колебался. Сообразивъ, наконецъ, въ чемъ дѣло, онъ хотѣлъ пуститься въ догонку за нимъ, но только махнулъ рукой.

— Обидѣлся!... Вотъ чудакъ!... А еще проповѣдуетъ любовь!—прошепталъ онъ и пошелъ одинъ своею дорогой.

Онъ былъ встревоженъ и опечаленъ этимъ случаемъ и рѣшилъ завтра же увидать Чехлова и попросить извиненія, если только онъ дѣйствительно оскорбился.

А Чехловъ оскорбился. Онъ не только откорбился, но съ этой минуты питалъ мстительную вражду къ веселому Бурееву. Буреевъ же на другой день нарочно отыскалъ его у Мизинцева и открыто, при постороннихъ, попросилъ у него извиненія, самъ не понимая, въ чемъ извиняется. Но Чехловъ, наружно примиренный этимъ извиненіемъ, въ душѣ не принялъ его.

Онъ не забывалъ обидѣ.

VII.

Прошло болѣе мѣсяца.

Чехловъ своей квартиры не имѣлъ, и съ самаго пріѣзда жилъ у Мизинцева, который съ величайшею готовностью отдалъ въ его распоряженіе всю свою холостую квартиру и готовъ былъ служить ему,—сначала, какъ гостю, явившемуся къ нему съ рекомендательнымъ письмомъ, а потомъ какъ единомышленнику.

Самъ Михаилъ Егоровичъ не считалъ себя способнымъ распространять въ обществѣ ученіе свое, а когда дѣлалъ попытки въ этомъ родѣ, то съ грустью убѣждался, что всѣ надъ нимъ только смѣются. И вотъ теперь появился смѣлый, краснорѣчивый ораторъ, одаренный всѣми способностями, чтобы рельефно выразить дорогія для Михаила Егоровича

истины, такой человекъ, слово котораго было послушнымъ орудіемъ его тонкаго ума. Гдѣ нужно насмѣшливый, всегда вдохновенный, иногда неутомимый до жестокости и откровенный до цинизма, Чехловъ въ первый же день знакомства произвелъ потрясающее впечатлѣніе на Мизинцева. Последний съ его пріѣзда совершенно успокоился насчетъ своихъ убѣжденій и однажды сказалъ собравшимся у него знакомымъ:

— Вы не хотите меня слушать... смѣетесь? А вотъ погодите, Чехловъ васъ заставитъ себя слушать! Надъ собой будете смѣяться!

И хотя эти слова также вызывали только смѣхъ веселой компаніи, но Мизинцевъ чувствовалъ, наконецъ, свое торжество, ибо вѣрилъ, что Чехловъ дѣйствительно обратитъ смѣхъ на самихъ смѣющихся.

Простому Михаилу Егоровичу не понравилось только одно въ пріѣзжемъ гостѣ, это—его склонность къ библейскому тону, въ который тотъ часто впадалъ. Къ чему онъ?—удивился Мизинцевъ.—Истина не нуждается ни въ трубныхъ звукахъ, ни въ кричащихъ тонахъ, ни въ барабанномъ боѣ; но вначалѣ онъ снисходительно отнесся къ этому,—слишкомъ крупны были другія черты Чехлова, чтобы стоило замѣчать такую мелочь.

Честный Михаилъ Егоровичъ имѣлъ болѣе прочную оцѣнку людей. «Ты говоришь? Но покажи, какъ ты живешь?»—внутренно говорилъ онъ передъ каждымъ человекомъ. И этою мѣрою онъ, болѣе или менѣе строго, мѣрялъ и себя. Онъ говорилъ, что водку не надо пить—и не пилъ; онъ считалъ куреніе табаку вреднымъ—и не курилъ; онъ считалъ развратомъ косить глаза на женщину—и не только не заглядывался на женщинъ, но даже отплевывался отъ одной этой дурной мысли, за малымъ, конечно, исключеніемъ. Онъ говорилъ, что въ жизни не надо ничего возбуждающаго, пьянаго, излишняго, бесполезнаго. И онъ былъ во всемъ умеренъ. Изъ возбуждающихъ напитковъ онъ пилъ только чай, да и то жидкій,—это ничего. Самымъ лучшимъ кушаньемъ онъ считалъ самое простое, гдѣ не было ничего раздражающаго; впрочемъ, онъ допускалъ употребленіе лука; какъ это ни подло, но по слабости онъ не могъ отказаться отъ этого.

И потомъ онъ еще любилъ кисель съ ванилью; отказаться отъ этого и другихъ подобныхъ вещей было выше силъ.

По его мнѣнію, для человѣка нуженъ чистый воздухъ, удобная, но дешевая одежда, здоровая пища—это въ физическомъ отношеніи. Что касается умственныхъ потребностей человѣка, то онъ на этотъ счетъ не пришелъ ни къ какому опредѣленному заключенію, и хотя самъ любилъ худыя, тощія книжки, говорящія о практическихъ предметахъ, но не считалъ чтеніе ихъ обязательнымъ для другихъ людей. Вообще относительно умственнаго развитія онъ находился въ безвыходномъ положеніи человѣка, на кончикѣ носа котораго выросла шишка, фатально отражающаяся въ глазахъ, куда бы онъ ни смотрѣлъ и какъ бы ни старался забыть ее.

Самымъ симпатичнымъ взглядомъ изъ всѣхъ прочихъ его мыслей былъ тотъ, который касался воспитанія дѣтей. Онъ въ этомъ случаѣ выходилъ изъ себя и съ заслуженнымъ негодованіемъ громилъ матерей, которыя, въ лучшемъ случаѣ, отдають дѣтей на руки наемныхъ людей, а то такъ просто бросаютъ ихъ на произволъ судьбы. „Наша семья какъ бы нарочно устроена для вывода нигкуда негодныхъ, тряпичныхъ людей и темныхъ дѣятелей... и надо удивляться не тому, какъ много кругомъ пошлости, а тому, какъ еще могутъ попадаться хорошіе люди!“—говорилъ онъ. Однако, хорошо онъ зналъ только то, какъ надо воспитывать дѣтей дома; когда же его спрашивали, какъ же это разумное воспитаніе распространить дальше, за предѣлы дома, онъ начиналъ говорить такія вещи, хотъ зажимая уши и спасайся, если позволяютъ ноги.

Тѣмъ не менѣе, у Михаила Егоровича было еще особаго рода чутье, благодаря которому онъ почти вѣрно отдѣлялъ дурныхъ людей отъ хорошихъ. Это чутье не находилось въ зависимости отъ убѣжденій; по всей вѣроятности, оно было бессознательнымъ у добраго и чистаго человѣка, какимъ онъ былъ. Благодаря этому чутью, онъ иногда и пьяницъ долженъ былъ считать хорошими людьми и, наоборотъ, непьяницъ часто презиралъ.

То же чутье въ скоромъ времени понадобилось ему и для страннаго гостя, но его оказалось мало.

Человѣкъ въ первое же время нѣсколько удивилъ Мизинцева. Замѣтивъ, что въ указанной для него комнатѣ стоитъ

мягкая мебель, онъ тотчасъ съ раздраженіемъ попросилъ хозяйна ее вынести. Мизинцевъ подумалъ - было, что гость просто не любитъ вещей пыльных и, слѣдовательно, вредныхъ, но Чехловъ самъ пояснилъ.

— Къ чему это?—сказалъ онъ съ пренебреженіемъ.—Лучше всего, разумѣется, сидѣть на землѣ, какъ назначила природа, но если этого нельзя, то, по крайней мѣрѣ, не слѣдуетъ садиться на пружины.

Но Мизинцевъ не зналъ, серьезно это говорить. Чехловъ ии смѣется. Повидимому, серьезно.

Вслѣдъ затѣмъ онъ велѣлъ прислугѣ вынести изъ комнаты все лишнее, вплоть до матраца съ кровати, пояснивъ мимоходомъ, что онъ спитъ на полу. Мизинцевъ вздумалъ - было критически отнестись къ этимъ странностямъ и заспорилъ, но Чехловъ со свойственною ему діалектической ловкостью принудилъ его замолчать, увѣривъ, что это прямой выводъ изъ его же, Мизинцева, взглядовъ.

— Вы убѣждены, что человѣкъ долженъ отказаться отъ всего лишняго, бесполезнаго, развращающаго? Но зачѣмъ же вы останавливаетесь на подорогѣ и, отвергая корсетъ, допускаете пружинный стулъ? Это вещь бесполезная, слѣдовательно, она вредна, ибо вы заставляете мастера убивать время на выработку предмета, который вамъ не необходимъ.

Мизинцевъ растерялся при этихъ словахъ и замолчалъ.

Во время чая, который онъ предложилъ гостю въ первыя минуты пріѣзда, этотъ послѣдній отказался отъ булокъ, а попросилъ чернаго хлѣба, и Мизинцевъ тогда былъ непріятно удивленъ этимъ, но впоследствии онъ не смѣлъ высказывать свое неодобреніе такому поступку, хотя это ему не нравилось.

Однажды рано утромъ, когда они оба усѣлись за чайный столъ, Чехловъ вдругъ пристально началъ вглядываться во дворъ, куда выходили окна квартиры. Дворъ былъ огромный и весь застроенъ крошечными олигелями, въ которыхъ цѣлыми кучами гнѣздились ремесленная бѣдность. Около одной такой избушки старая старушенка возилась около какого-то чурбана, держа въ рукахъ топоръ; ей надобно было, очевидно, расколотъ этотъ чурбанъ на нѣсколько полѣньевъ, но она лѣгко, по-бабьи, шлепала топоромъ по обрубку, а онъ только катался вокругъ ея ногъ, какъ какой-то живой звѣрь, съ которымъ игралъ ребенокъ. Поглядѣвъ пристально на все это,

Чехловъ вдругъ поднялся изъ-за стола и молча вышелъ изъ комнаты. Черезъ минуту Мизинцевъ уже видѣлъ, какъ онъ взялъ изъ рукъ старухи топоръ, вонзилъ его въ обрубокъ, легко приподнялъ его, повернулъ надъ головой и грянулъ объ порогъ, избушки. Чурбанъ разлетѣлся на двѣ половины; изъ Чехловъ опять раскололъ, потомъ опять; пока не получилось беремя дровъ. Онъ тогда обратился къ старухѣ и спросилъ, не нужно-ли ей еще наколоть дровъ? Старуха съ радостью заковыляла своими дряхлыми ногами подъ сарайчикъ и выволокла оттуда другой такой же чурбанъ. Чехловъ раскололъ и его. Больше у старухи колоть было нечего; эти два чурбана представляли всѣ ея дрова.

Чехловъ вернулся въ комнату, тщательно вымылъ руки и принялся за чай съ чернымъ хлѣбомъ, причемъ замѣтилъ, что два чурбана произвели отличный аппетитъ у него. Мизинцевъ молча все это принималъ, не зная, какъ ему думать на этотъ счетъ. Не нравилось ему тутъ что-то, но онъ не смѣлъ раз-
узнавать.

Немного спустя, въ этотъ день, въ квартиру вошло нѣсколько молодыхъ людей, и Чехловъ тотчасъ же заговорилъ съ ними.

Онъ заговорилъ о томъ, что было его, такъ сказать, «второю частью» — о любви. Говорилъ онъ хорошо, хотя общими мѣстами, и привелъ Мизинцева въ восторгъ, такъ что тотъ забылъ о непрятномъ чувствѣ.

Съ нимъ заспорили. Одинъ изъ молодыхъ людей, большой скептикъ, спросилъ его, что надо дѣлать, чтобы въ дѣйствительности любить, и почему эта истина, извѣстная людямъ уже нѣсколько тысячъ лѣтъ, не вошла въ сердце всѣхъ и каждого. Чехловъ сначала уклонился отъ прямого отвѣта и сталъ задавать, въ свою очередь, вопросы, причемъ черезъ короткое время превратился изъ отвѣтника въ обвинителя.

— Откуда вы заключаете, что любви нѣтъ, что дѣйствія ея незамѣтно, что это выдуманная мечтателями ложь? — спросилъ онъ, и обычная торжествующая улыбка освѣтила его холодное лицо.

Молодому человѣку пришлось признать дилемму: или любовь есть и должна быть всюду распространена, но тогда былъ бы правъ Чехловъ, или ея нѣтъ и быть не можетъ. Молодой человѣкъ, взволнованный загадкой, выбралъ среднй

путь. Онъ указалъ на кровавыя войны, борьбу сословій, убійства, борьбу за существованіе и сказалъ:

— Вы видите и сами знаете, изъ чего слагается жизнь! Если есть дѣйствительно любовь, то она живетъ въ единичахъ и ничтожна по своимъ размѣрамъ!

— Но ничтожная сила производить и ничтожное дѣйствіе? — спросилъ Чехловъ.

— Конечно. Это я и говорю.

— А ничтожное дѣйствіе незамѣтно?

— Разумѣется, незамѣтно... Да я съ этого и началъ!

— Почему же эту ничтожную силу, производящую ничтожное дѣйствіе, замѣтили нѣсколько тысячъ лѣтъ и съ тѣхъ поръ каждое мгновеніе говорятъ о ней на разныхъ языкахъ? — спросилъ Чехловъ съ злою радостью.

— Потому что она желательна для всѣхъ, — отвѣтилъ меловикъ спорщикъ.

— Но желаемая всѣми вещь можетъ-ли быть ничтожной? Она уже потому не ничтожна, что существуетъ въ душѣ всѣхъ. А по-вашему выходитъ, что всѣми желаемое никому, въ то же время, незамѣтно!

— Я не такъ выразился... Любовь для всѣхъ выгодна, но этого большинство людей не понимаетъ, — возразилъ поспѣшно противникъ.

— А война выгодна? — спросилъ Чехловъ.

— Нѣтъ, конечно.

— И что она невыгодна — это понимаютъ? И все-таки воюютъ, всѣ противъ cadaго и каждый противъ всѣхъ? Следовательно, вы утверждаете, что война существуетъ потому, что она невыгодна, а любовь не практикуется потому, что она выгодна? Или, быть можетъ, вы что-нибудь другое хотѣли сказать? — съ презрѣніемъ замѣтилъ Чехловъ.

У противника появился потъ на кончикѣ носа, впрочемъ, быть можетъ, оттого, что онъ однимъ махомъ выпилъ стаканъ горячаго чая. Однако, онъ былъ упрямый и самолюбивый юноша и не хотѣлъ уступить. Онъ продолжалъ спорить. Но Чехловъ окружилъ его такою мелкою сѣтью вопросовъ, что онъ, давая на нихъ противорѣчивые, часто нелѣпые отвѣты, совсѣмъ запутался и ошалѣлъ, какъ рыба, выброшенная на берегъ. Наконецъ, вскочивъ съ мѣста, онъ бѣшено топнулъ ногой и закричалъ:

— А я все-таки утверждаю, что любовь въ настоящей жизни ничтожна!

Тутъ Чехловъ сурово, съ зловѣще смотрящими глазами, принялся уничтожать бѣднаго молодого человѣка.

— Да, для васъ она ничтожна, вы забыли о ней, не въ рите въ нее! Вы вѣрите въ машину, въ пушку, въ свѣтовую силу, въ микроволны, въ телефонъ, но только перестали вѣрить въ то, что и есть ваша жизнь. Вы занимаетесь политикой, „вопросами“, реформами, но всѣми силами стараетесь забыть ту силу, которая все это вызвала на свѣтъ. Самихъ себя вы всѣми силами стараетесь обратить въ машину и механически стремитесь усвоить всѣ взгляды, которыми снабжаетъ васъ книжная мудрость, и носите свое образованіе, какъ пищу въ мѣшкѣ, но основу жизни вы уже утратили. Нѣтъ, не совсемъ утратили! Даже вы любите и, только благодаря крупницѣ любви, въ васъ сохранилась крупица жизни. Большая часть этой жизни омертвѣла, пораженная гангренѣй механически сдѣланнаго образованія, но все-таки и вы еще любите... не смогли еще истребить любви! Когда послѣ долгаго одиночества вы стремитесь бѣжите въ общество себя подобныхъ—это любовь васъ и гнала. Когда вы видите движеніе ребенка, слышите его лепетъ, и улыбка появляется на вашемъ лицѣ—это улыбка лась любовь ваша... Когда вы, механически, какъ машины скорбящія о народѣ, видите слезы врага вашихъ взглядовъ и сердце ваше сжимается состраданіемъ—это любовь васъ сострадаетъ... А когда вы, нагруженные до изнеможения вопросами, оглушенные свистомъ машинъ, вы сами обрѣтаетесь въ бездушную машину, берете въ руку револьверъ съ твердымъ намѣреніемъ разбить вашу холодную машину и вдругъ рука ваша бессильно опускается,—какая сила отдернула вашу руку? Это вспомнилась ваша любовь. Вы живете ею, дышите, она одна оберегаетъ васъ отъ смерти живо. Вы ее всѣми силами стараетесь истребить, только потому, что вы не всю ее истребили, вы еще живите. Не истребляйте же ее до конца; это будетъ день вашей смерти, когда удастся вамъ растоптать ее! Не истребляйте любви машинными идеалами, мертвыми убѣжденіями, идеями, но бездушными дѣлами! Не тушите огня! Для то

чтобы огонь горѣлъ, не нужно непременно знать теорію пламени, не нужно ни хитрыхъ „вопросовъ“, ни машинныхъ дѣлъ, ни бездушнаго служенія какимъ-то идеямъ, не вами выдуманнымъ, не нужно какихъ-то преобразованій общества, на которыя вы можете оказаться совсѣмъ безсильными, — ничего не нужно, кромѣ воспитанія въ себѣ любви... Не думайте, чтобы какое-нибудь громкое, но машинное дѣло, безъ участія вашего сердца, спасло васъ отъ смерти заживо, — это бесполезно! Любить надо просто, помогать просто, прямымъ трудомъ, а не на подобіе богача, который, бросивъ нищему деньги, думаетъ, что онъ сдѣлалъ доброе дѣло... Отъщипите оставшуюся въ васъ крупницу любви и отдайте ее людямъ, и она къ вамъ возвратится увеличенною въ сотню разъ...

Не поднимая головы отъ стола, только слушая эту рѣчь, Мизинцевъ чувствовалъ, что онъ любитъ говорящаго, но когда онъ встрѣтился съ его холодными глазами и взглянулъ на это жесткое, невозмутимое лицо, онъ задумался. Онъ больше не слушалъ, что кругомъ говорили, занятый своими мыслями. Только одинъ разъ онъ уловилъ нѣсколько отрывочныхъ словъ изъ всего сказаннаго здѣсь. Кто-то спросилъ:

— А какъ вы смотрите на вѣру?

— Это только организованная и обезличенная любовь, — отвѣчалъ Чехловъ.

Вслѣдъ затѣмъ Мизинцевъ снова опустилъ глаза на столъ и рука его, державшая карандашъ, тщательно выводила на бывшей скатерти какой-то сложный рисунокъ. Ему не хотѣлось поднимать отъ этого рисунка головы и встрѣчаться съ холодными глазами, чтобы не потерять иллюзіи. Онъ бы хотѣлъ услышать эти слова, волнующія его какъ музыка, изъ другого источника, изъ устъ другого человѣка, лицо котораго не было бы такъ жестко, во взорѣ котораго не было бы столько презрѣнія, а въ словахъ не слышалось бы такой ненасытной жажды торжества.

Въ комнатѣ стоялъ шумъ, раздавались возгласы, смѣхъ, восклицанія, а Мизинцевъ не хотѣлъ поднимать головы. Послѣ шумнаго разговора молодые люди стали одинъ по одному расходиться, и онъ каждому подавалъ руку, мелькомъ

при прощаніи взглядывалъ, но опять низко наклонился къ рисунку и сѣшшо чертилъ, какъ будто это была срочная работа, которую слѣдовало очень скоро кончить. По уюхъ всѣхъ молодыхъ людей, въ комнатѣ настала мертвая тишина, а Михаилъ Егоровичъ торопливо, съ величайшимъ стараніемъ рисовалъ на скатерти. Наконецъ, когда рисунокъ былъ конченъ, и онъ приподнялъ голову, со скатерти смотрѣло на него отвратительное чудовище, состоящее изъ одной головы, въ серединѣ которой торчалъ единственный глазъ, и прямо отъ головы начинался толстый хвостъ, безобразно закручивающійся вверхъ; изъ головы же во всѣ стороны тянулись длинные и тонкіе отростки... Это было гнусное животное, какое создаетъ только больная фантазія во время бреда.

„Нѣтъ! Я не имѣю права такъ относиться къ нему!“ — мысленно воскликнулъ Мизинцевъ, посмотрѣлъ на Чехлова и раскаяніе овладѣло имъ. Лицо Чехлова было не только вдумчиво, но мягко и съ своеобразною печалью. Это, очевидно, толпа производила на него такое дѣйствіе, что онъ становился злымъ, ненасытно самолюбивымъ и холоднымъ, а когда онъ оставался наединѣ съ собою, онъ мгновенно измѣнялся.

Мизинцевъ обрадовался, словно къ нему возвратился старый вѣтанный другъ.

Но проходили дни. Чехловъ продолжалъ жить съ нимъ. Происходили непрерывно вечера, собранія, бесѣды, на которыхъ говорилъ Чехловъ, всюду вызывая горячіе разговоры и волненіе. Мизинцевъ даже рѣдко и выдавалъ его себя. Они встрѣчались съ нимъ только въ большомъ обществѣ. И тамъ опять Мизинцевъ наблюдалъ своего гостя въ такомъ видѣ, что симпатіи его раздвигались.

Они встрѣчались, между прочимъ, каждую недѣлю у Хординыхъ въ деревнѣ, но нигдѣ не говорили между собою, хотя были единомышленниками, по крайней мѣрѣ, ихъ убѣжденія исходили изъ одного и того же источника. Чехловъ какъ будто игнорировалъ Мизинцева, не считая нужнымъ разговаривать съ такимъ сврымъ человѣкомъ. А Мизинцевъ боялся обнаружить свои темныя мысли и подозрѣнія.

Между ними установились странныя отношенія; будущи

единомышленниками, они не знали, что сказать другъ другу, и тягостно молчали, когда оставались съ глазу на глазъ.

Не нравился Мизинцеву гость. Онъ часто старался подавить свою антипатію къ нему, уничтожалъ первые признаки раздраженія противъ человѣка, рѣчи котораго приводили его въ восторгъ. Но эти честныя усилія не приводили ни къ чему: не нравился ему Чехловъ.

Но почему, онъ не могъ бы сказать. Съ его, Мизинцева, точки зрѣнія онъ былъ во всемъ правъ. Михаилу Егоровичу не нравились люди, у которыхъ дѣло расходится съ словомъ, но Чехловъ былъ вѣренъ себѣ. Когда ему предлагали бѣлый хлѣбъ, онъ ѣлъ черныи; имѣя возможность съѣсть за обѣдомъ кусокъ дичи, онъ ограничивался мясомъ. Когда ему предлагали матрацъ, онъ спалъ на полу. Если предстоило совершить путешествіе въ вагонъ, онъ предпочиталъ сдѣлать его пѣшкомъ, а когда онъ могъ бы ѣхать во второй классъ, онъ садился въ третій. Онъ однажды сказалъ Мизинцеву, что онъ, подобно Діогену, желаетъ побѣдить самое злое и хищное изъ животныхъ—*наслажденіе*. И Михаилъ Егоровичъ видѣлъ воочію, что желаніе свое онъ приводитъ въ исполненіе...

Чехловъ говорилъ о любви. И Мизинцевъ видѣлъ воочію, что Чехловъ относится ко всѣмъ людямъ ровно и благожелательно. Наколотъ же онъ старухъ дровъ. Быть можетъ, этого мало... быть можетъ, въ другое время, занятый своимъ дѣломъ, онъ и дровъ бы старухъ не наколотъ. Но видъ за это и нельзя его осуждать. Онъ практикуетъ любовь уже тѣмъ, что повсюду говоритъ о ней, напоминая забытые идеалы... И все-таки не нравился ему Чехловъ!

Въ особенности ему не нравился тонъ его со всѣми—грубый, злорадный, презрительный. Словно всѣ люди ужъ такіе жалкіе подлецы, а онъ одинъ призванъ научить ихъ истинѣ и спасти отъ низости. Чѣмъ научить... словами? Но словъ въ продолженіи жизни человѣчества столько наговорено и записано, что составленный изъ нихъ столбъ коснулся бы своею вершиной звѣздъ. Нѣтъ, не словами, а жизнью!... Жизнь великихъ учителей никогда не ограничивалась одними словами. Даже маленькіе, но убѣжденные люди, прежде всего, на себѣ провѣряютъ свою вѣру и безстрашно, съ счастливымъ лицомъ, идутъ по своей дорогѣ,

хотя бы на концѣ ея вырыта была ихъ могила. Правда, Чехловъ вѣренъ себѣ: онъ спитъ на полу, ѣстъ черныя хлѣбъ, ведетъ умеренную, порядочную жизнь, а когда увидать безпомощную старушенку, то накололъ ей дровъ, — это отлично, такъ и нужно съ точки зрѣнія Михаила Егоровича. Но, въ то же время, Михаилу Егоровичу это отличное не нравилось, когда его дѣлалъ Чехловъ. Ему даже стыдно было, что Чехловъ все это дѣлаетъ.

И Мизинцевъ не могъ объяснить себѣ это непостижимо противорѣчіе въ отношеніяхъ своихъ къ гостю. Онъ и складу своего ума не могъ понять, что когда человѣкъ говоритъ большія слова, а подтверждаетъ ихъ ничтожными поступками, то это жалкая профанція, постыдное кощичество, оскверненіе храма слова.

Не понимая этого, Михаилъ Егоровичъ раздвоился. Онъ долженъ былъ сознаваться на каждомъ шагу, что его гость поступаетъ такъ, какъ нужно, но, въ то же время, его прямая натура возмущалась каждымъ движеніемъ того. И чѣмъ больше они встрѣчались, тѣмъ все сильнѣе натура Михаила Егоровича возмущалась Чехловымъ. Это было смутное недовольство.

Не понравилась ему также и сцена съ Буреевымъ, который пришелъ извиняться за свои неудачныя выраженія. Мизинцевъ часто самъ брюзжалъ противъ веселаго Буреева, открыто порицая его лѣнивую, безпорядочную жизнь, но онъ зналъ, что Буреевъ честный человѣкъ и добрый товарищъ. А Чехловъ презрительно его выслушалъ и холодно молчалъ. Когда же Буреевъ ушелъ, онъ вслѣдъ ему послалъ нѣсколько ядовитыхъ замѣчаній. Неужели можно быть такимъ мстительнымъ?

Однажды Михаилъ Егоровичъ былъ свидѣтелемъ невиданной суеты.

Было утро. Онъ и Чехловъ оставались одни въ квартирѣ, по обыкновенію, молчали, не зная, о чемъ говорить другъ съ другомъ. Мизинцевъ закрылся газетой. Чехловъ съ терпѣніемъ то ходилъ по комнатѣ, то садился къ окну барабанилъ пальцами по подоконнику. Онъ пробовалъ перелистывать какую-то книгу, но послѣ минуты бѣглаго чтенія молча захлопывалъ ее. И опять вставалъ и ходилъ. Ему, видимо, было не по себѣ; грызла, быть можетъ, суета

Бездѣтельность всегда отражалась на немъ [такимъ образомъ, а сегодня до позднего вечера, когда было назначено собраніе, ему совсѣмъ нечего было дѣлать. И онъ скучалъ. Скука же его выражалась острою потребностью говорить.

Вдругъ дверь отворилась и въ прихожей остановился какой-то мужикъ.

— Будьте милостивы, господа, подайте переселенцу! — сказалъ онъ испуганно и смотрѣлъ то на Чехлова, то на Мизинцева.

Послѣдній думалъ, что это нищій, и уже всталъ, чтобы выпроводить его. Но, взглянувъ, онъ убѣдился, что то не былъ нищій. Одѣтый, по-мужицки, чисто, съ лица здоровый, онъ даже приблизительно не напоминалъ нищаго. По его манерамъ казалось, что онъ рѣдко и въ городѣ бывалъ. Тутъ кстати Мизинцевъ вспомнилъ, что въ это время по улицамъ города бродили десятки этихъ переселенцевъ и своими просьбами надрывали ему сердце. Онъ быстро опустилъ руку въ карманъ, вынулъ оттуда какую-то монету и отдалъ ее мужику. Мужикъ съ чувствомъ благодарности поклонился и уже повернулся къ выходу, чтобы молча удалиться, но въ это мгновеніе его окликнулъ Чехловъ.

— Эй, дядя... постой-ка! Переселенецъ, говоришь?—спросилъ онъ, не поднимаясь со стула.

— Точно такъ, ваше степенство!

— Я вовсе не степенство.

— Благородіе!...—испуганно поправился мужикъ, встрѣтивъ жесткій взглядъ Чехлова.

— И не благородіе... Ну, да все равно. Отчего же ты переселяешься?

— Земли нѣтъ, господинъ.

— А твоя изба стоитъ на землѣ?

— Какъ же... само собою,—и мужикъ улыбнулся смѣшнымъ словамъ господина.

— И дальше той земли, на которой стоитъ изба, тоже земля?—спросилъ Чехловъ.

— Дальше мірская земля идетъ... стало быть, пашни.

— Значить, земля есть. Какъ же ты сказалъ, что нѣтъ?

— По десятинѣ, господинъ, только... Что тутъ промыслишь-то?

— По-твоему, это мало. Пусть будет по-твоему. Но развѣ кругомъ больше и земли нѣтъ?

— Само собою, нѣтъ!... Что есть поросенка не пушай,—некуда!—отвѣтилъ мужикъ.

— Но дальше мірской земли есть что-нибудь или тамъ море, вода, а, можетъ быть, край свѣта?—спросилъ суровъ Чехловъ.

Мужикъ выпучилъ глаза и улыбнулся-было, но, встрѣтивъ серьезный взоръ господина, подавилъ улыбку и уже серьезно сказалъ:

— Тамъ дале идетъ земля господина Булатова.

— Это кто же такой господинъ Булатовъ?

— Извѣстно, Александръ Петровичъ... Земли у него, чай, тыщъ десять!

— Такъ вотъ ты у него и возьми!—серьезно сказалъ Чехловъ.

— Больно ужъ ренда-то большая... двадцать цѣлковыхъ!—возразилъ мужикъ.

— Да зачѣмъ ренда?... Ты такъ возьми земли и работай. безъ всякой ренды...

Мужикъ опять выпучилъ глаза и посмотрѣлъ на Мизгирева.

— Какъ же можно?... За это такихъ горячихъ влетитъ!.. Не по закону!

— Ну, ужъ если ты такъ загнимотизированъ страхомъ такъ пойдѣ къ господину Булатову и проси: „Позвольте мнѣ земли, господинъ, я работать хочу“. И онъ дастъ.

Чехловъ говорилъ серьезно, но, въ то же время, глаза его смѣялись.

— Гдѣ же... невозможно это!—возразилъ мужикъ и началъ умѣвать, смѣяться ему или отвѣчать.

— Почему же онъ не дастъ? Развѣ господинъ Булатовъ самъ обрабатываетъ свою землю?

— Кою сдаетъ, а кою и самъ...

— Самъ? Своими руками?

— Зачѣмъ руками! Чай, у него годовыхъ батраковъ не какъ десятка два, да наймываетъ,—возразилъ мужикъ и, будучи не въ состояніи больше удержаться, широко улыбнулся.

въ умѣ, очевидно, онъ изумлялся возможности такихъ дураковъ изъ господъ, какъ этотъ.

Чехловъ засмѣялся и обратился къ Мизинцеву:

— Посмотрите, какъ люди поражены страхомъ передъ жизнью!...—потомъ, обращаясь къ мужику, онъ сурово проговорилъ:—Значить, земля есть. Такъ вотъ ты и ступай къ господину Булатову и скажи ему, что такъ какъ у тебя земли нѣтъ, а у него ея десять тысячъ, изъ которыхъ своими руками онъ можетъ сработать только пятнадцать десятинъ, послѣ же смерти вамъ обоимъ понадобится только по сажени, то пускай онъ дастъ тебѣ восемь десятинъ. И онъ дастъ, увѣряю тебя. Если хорошенько скажешь ему и убѣдишь, то онъ непременно дастъ. Ступай и попробуй сказать такъ!

Чехловъ засмѣялся. Потомъ, обращаясь къ Мизинцеву, онъ замѣтилъ:

— Я увѣренъ, что онъ ни одного слова не понялъ.

— Признаюсь, и я ничего не понимаю... Иди съ Богомъ, милый!—сказалъ Мизинцевъ съ негодованіемъ.

Мужикъ поспѣшно ушелъ.

— Значить, вы думаете такъ же, какъ этотъ мужикъ?—спросилъ насмѣшливо Чехловъ.

— Я ничего не думаю... Я только понять не могу, какъ можно издѣваться надъ темнымъ человѣкомъ!—возразилъ съ прежнимъ негодованіемъ Мизинцевъ и заходилъ по комнатѣ.

— Вольно же вамъ думать, что я издѣваюсь!

Чехловъ злобно засмѣялся и принялся развивать цѣлую теорію истинныхъ отношеній между людьми. Мизинцевъ слушалъ и удивлялся. Въ словахъ говорящаго была глубокая правда и, въ то же время, нелѣпая дичь. Если его слова принять, какъ отвлеченную вѣру, необходимую для эстетическаго созерцанія, то они—правда, но если цѣликомъ признать ихъ къ жизни, какъ она есть, то они—простое барское издѣвательство надъ человѣкомъ. Въ послѣднемъ смыслѣ Мизинцевъ и понялъ его слова, и долго не могъ подавить негодованія. Онъ замолчалъ.

А Чехловъ съ этой минуты никогда уже не простилъ негодующихъ словъ Мизинцеву. Въ свою очередь, Мизинцевъ съ возрастающею антипатіей относился къ единомышленнику.

Съ нѣкотораго времени онъ уже не боролся противъ этой антипатіи. Онъ замѣтилъ, что Чехловъ и съ другими такъ же поступилъ, какъ съ нимъ: оттолкнулъ ихъ холодомъ и презрѣніемъ. Чтò это за человѣкъ? Повидимому, онъ нарочно каждаго встрѣчнаго старается обратить въ своего врага. Изъ всѣхъ, съ кѣмъ онъ встрѣчался и говорилъ, кого училъ, кому давалъ совѣты, у кого жилъ, — изъ всѣхъ нихъ не нашлось человѣка, котораго онъ могъ бы назвать своимъ другомъ. Отъ каждаго онъ холодно отвертывался, никому не выразилъ даже тѣни уваженія. Просто онъ и говорить-то, кажется, не умѣлъ; онъ умѣлъ только обвинять, презирать и учить. Происходили собранія, но ни съ однимъ изъ участниковъ ихъ онъ не говорилъ безъ задней мысли, безъ желанія поставить въ тупикъ. Въ каждомъ человѣкѣ онъ, казалось, отыскивалъ только недостатки и слабости, а отыскавъ ихъ, торжествовалъ...

Но бывали минуты, когда Михаилъ Егоровичъ считалъ себя виноватымъ и несправедливымъ къ гостю. Оставаясь одинъ въ своей комнатѣ, Чехловъ, видимо, отчего-то страдалъ. Михаилъ Егоровичъ видѣлъ тогда, какъ онъ, положивъ голову на руки, по часу сидѣлъ въ такой позѣ, а иногда лицо его было открыто и взоръ его устремленъ былъ въ какую-то неопредѣленную даль; и тогда лицо это носило на себѣ слѣдъ такой муки, что, казалось, слезы потекутъ по щекамъ и въ комнатѣ раздастся стонъ. Михаилъ Егоровичъ въ такія минуты нѣсколько разъ порывался подойти къ нему и заговорить задушевымъ тономъ. Но онъ этого не могъ сдѣлать: едва его глаза встрѣчались съ холодными глазами гостя, какъ мгновенно у него пропадало желаніе дружбы.

Потомъ, мѣсяца черезъ два послѣ пріѣзда, съ нимъ произошла какая-то новая перемѣна. Михаилъ Егоровичъ сталъ замѣчать, что Чехловъ чѣмъ-то озабоченъ. Раньше никогда нельзя было увидѣть этой озабоченности на его холодномъ лицѣ. Онъ часто волновался, забывалъ, въ какомъ-то смутеніи, простыя и необходимыя вещи, напримѣръ, отвѣчать на предложенные вопросы приходившихъ къ нему людей, забывалъ часы назначенныхъ свиданій. И въ такія минуты съ его лица сбѣгали холодныя тѣни; онъ уже не казался самоувѣреннымъ, а, напротивъ, испуганнымъ, колеблющимся,

изумленнымъ. Чѣмъ-то встревоженный, онъ иногда порывисто обращался къ Мизинцеву съ вопросомъ:

— Который часъ?—и забывалъ въ это мгновеніе, что онъ Мизинцева терпѣть не можетъ.

Только послѣ отвѣта послѣдняго онъ какъ будто вспоминалъ свою вражду къ Михаилу Егоровичу, бросалъ на него жесткій взглядъ и уходилъ изъ дома.

Или вдругъ лицо его освѣщалось горячимъ и свѣтлымъ лучомъ, и онъ весь казался счастливымъ и мягкимъ.

VIII.

Была глухая ночь. Въ квартирѣ огни были потушены. Воздухъ казался знойнымъ, удушливымъ. Чехловъ, задыхаясь, всталъ съ постели, гдѣ онъ лежалъ съ открытыми глазами, устремленными въ темноту, собралъ ее въ одну кучу къ стѣнѣ, а самъ подошелъ къ окну, порывистымъ движеніемъ растворилъ его и поставилъ свою горящую голову дувшему вѣтру.

Но вѣтеръ не освѣжилъ его. Это былъ горячій, удушливый вѣтеръ, гнавшій по небу безобразныя тучи, то разрывая ихъ въ лохмотья, то сгущая въ черныя непроницаемыя массы. Давно уже не было дождя; съ земли поднималась пыль. Съ обезображеннаго неба по временамъ падали рѣдкія, крупныя капли, но сухой воздухъ, казалось, мгновенно погиралъ ихъ. Что-то свистѣло кругомъ; деревья въ палисадникѣ шумѣли какъ будто испуганными листьями и низко гнули свои верхушки; гдѣ-то близко стучала жестъ крыши. Иногда мелькала молнія и освѣщала страшную картину борьбы въ воздухѣ, но лишь только она потухала, борьба какъ будто съ большимъ остервенѣніемъ продолжалась; и трудно было сказать, кто побѣдитъ,—горячій-ли вѣтеръ разгонитъ тучи и снова наполнитъ воздухъ ядовитымъ удушьемъ, тучи-ли вѣтеръ смирять и, грозя громомъ, бросая снопы молніи, выльютъ потоки давно ожидаемаго дождя, напоятъ задыхающуюся землю и самый вѣтеръ усмирять, сдѣлавъ его ласковымъ, теплымъ и влажнымъ.

Чехловъ выставился на половину изъ окна и жадно вдыхалъ, но это не освѣжило его. Онъ отошелъ отъ окна и наклонилъ голову водой изъ графина, потомъ сталъ ходить по

комнатъ, ощупью отыскивая направление. Мысли его неутомимо продолжали свою безконечную работу, но въ сердцѣ его было полное отчаяніе. Это отчаяніе самыя мысли его залило тоской, и она превратилась въ сплошной вопль.

Онъ вспомнилъ послѣдніе мѣсяцы непрерывныхъ сходовъ, вечеровъ, разговоровъ; вездѣ его сопровождало изумленіе, безсильный гнѣвъ, растерявшаяся глупость и торжество. Кругомъ него или холодныя, чужія лица, или враги. Если жизнь—борьба, то онъ наслаждался ею, но развѣ душа его отъ этого стала спокойнѣе, а сердце счастливѣе? Онъ задыхается отъ отчаянія, коченѣетъ отъ холода, какъ будто смерть приближается къ нему.

Но если жизнь—покой, то гдѣ же его найти и почему, вмѣсто поисковъ его, онъ вызываетъ нарочно кругомъ себя злобную вражду? Если бы былъ хотя одинъ другъ у него, онъ сейчасъ отдалъ бы ему всю свою душу и вздохнулъ бы полною грудью; встрѣтивъ его добрый взглядъ, онъ отдалъ бы ему свою улыбку, свои смѣющіеся глаза, а теперь эти глаза устремлены въ темноту, гдѣ не на чемъ остановиться. Если жизнь—любовь, то почему нѣтъ ея у него? Почему только злыя чувства окружаютъ его, сжимая и безъ того гнѣвное его сердце? Почему ни одно сердце не отдается ему и не наполнить его мрачной жизни теплотой, улыбками, свѣтлыми лучами любящихъ глазъ, музыкой дружескихъ словъ?

Вдругъ онъ вспомнилъ что-то и остановился.

Потомъ съ нервною торопливостью сталъ шарить на столикѣ, по стульямъ, на полу и между книгами на полкѣ, отыскивая коробку спичекъ. Долго не находя ее, онъ пришелъ въ страшное раздраженіе и уже готовъ былъ броситься въ сосѣднюю комнату, разбудить Мизинцева и потребовать огня. Но вдругъ случайно на подоконникѣ ему попалась коробка, онъ рѣзкимъ движеніемъ о косякъ зажегъ спичку и освѣтилъ ею лежавшіе на столикѣ часы Мизинцева. Было безъ нѣсколькихъ минутъ двѣнадцать. А ночной поѣздъ идетъ въ часъ безъ десяти. Онъ бросилъ спичку и въ темнотѣ, съ величайшею торопливостью, сталъ одѣваться.

Рѣшеніе ѣхать къ Александрѣ Яковлевнѣ явилось у него мгновенно, мгновенно же онъ и исполнилъ его. Онъ могъ бы подождать до утра завтрашняго дня и уѣхать въ усадьбу

съ дневнымъ поѣздомъ, какъ это онъ дѣлалъ всегда, но теперь нельзя было ему ждать. Онъ чувствовалъ, что если останется до утра въ этой темной комнатѣ, то мысли его, какъ хищные звѣри, разорвутъ его сердце. Ему нельзя было ждать даже нѣсколько часовъ.

Не зажигая огня, въ полномъ мракѣ, онъ наскоро одѣлся и тихо, стараясь не разбудить Мизинцева, вышелъ въ сѣни, а оттуда на дворъ и на улицу.

Его тотчасъ окружилъ хаосъ, въ который, казалось, превратилась вся природа. Вѣтеръ рвалъ его одежду, бросалъ горстями пыль въ его лицо, легкія его вдыхали удушливый, горячій воздухъ, но онъ почти бѣгомъ шелъ по направлению къ вокзалу.

На половинѣ дороги онъ испугался, что не поспѣетъ къ поѣзду. Тогда что есть мочи, насколько хватило его голоса, онъ сталъ кричать извозчика, но въ отвѣтъ ему только гудѣлъ вѣтеръ, да пыль крутилась вокругъ него, заляпывая ему глаза. Не переставая кричать, онъ быстро шелъ. И когда показались огни вокзала, вдругъ откуда-то вынырнулъ извозчикъ и предложилъ свои услуги. Весь мокрый отъ быстрой ходьбы и удушья, съ дрожью въ ногахъ отъ нервнаго потрясенія, онъ вскочилъ на пролетку, хотя вокзалъ былъ въ десяти минутахъ ходьбы, и скоро уже бѣжалъ по залѣ къ кассѣ. До поѣзда, оказалось, еще цѣлыхъ полчаса. Узнавъ объ этомъ, онъ сразу опустился, ослабъ и присѣлъ на лавку, чтобы отдохнуть. Въ вискахъ его еще стучало, дыханіе было тяжелое, но на лицѣ появилась счастливая улыбка, словно онъ, послѣ долгаго и мучительнаго путешествія среди опасностей, вдругъ пріѣхалъ къ цѣли.

Въ тускломъ свѣтѣ вокзала сонливо двигались одинокіе пассажиры, скучные артельщики, еще болѣе скучные сторожа; около пустой кассы дремалъ жандармъ; въ залѣ первыхъ классовъ скучились возлѣ буфета лакеи и сонливо о чемъ-то разговаривали. Даже вокзальные часы, казалось, задремали и во снѣ лѣниво передвигали стрѣлки. Наконецъ, на пустынной платформѣ прозвучалъ второй звонокъ. Въ гулъ его, разорванный вѣтромъ, Чехловъ вслушался внимательно, какъ будто своими ушами хотѣлъ убѣдиться, что это дѣйствительно второй звонокъ; внимательно отсчитавъ

два удара, онъ съ счастливою улыбкой вышелъ на платформу, а отсюда въ вагонъ.

Но въ вагонѣ онъ оставался всего одну минуту; тамъ было много пассажировъ и въ тѣсномъ пространствѣ стоялъ тотъ характерный воздухъ, который окружаетъ спящихъ мужиковъ. Брезгливо плюнувъ на полъ, Чехловъ вышелъ на площадку и рѣшился не заглядывать больше въ вагонъ до самой станціи.

Когда поѣздъ двинулся, вѣтеръ какъ будто мгновенно стихъ. Но это оттого, что поѣздъ мчался по одному направлению съ вѣтромъ. Все небо, казалось, двигалось, гонимое страшнымъ вѣтромъ. Верхніе слои тучъ вѣтеръ гналъ въ одну сторону, нижній ихъ пластъ—въ противоположную, причемъ отъ тѣхъ и отъ другихъ отрывалъ огромные куски, перепутывалъ ихъ между собой, низвергалъ внизъ или бросалъ вверхъ. Въ воздухѣ носилась тоже густая пыль, рѣзавшая лицо; деревья, изрѣдка мелькавшія мимо поѣзда, печально гнули вершины и листья ихъ испуганно трепетали. Но онъ уже не задыхался. Выставивъ голову далеко за перекладную барьера, онъ съ застывшею улыбкой удовольствія наблюдалъ этотъ хаосъ и спокойно отмѣчалъ разстояніе, съ каждымъ мгновениемъ уменьшавшееся.

Такъ онъ простоялъ до самой станціи, гдѣ ему слѣдовало слѣзать. Былъ уже полный разсвѣтъ, когда поѣздъ подъѣхалъ къ этой станціи. Чехловъ слѣзъ и рѣшился посидѣть здѣсь, прежде чѣмъ двинуться пѣшкомъ дальше. Александръ Яковлевна встаетъ сравнительно поздно, часовъ въ семь теперь было только начало пятого. Но усидѣть на станціонной лавочкѣ онъ не могъ и нѣсколькихъ минутъ. Однако прежде нежели отправиться въ путь, онъ прошелъ въ крохотную комнатку первыхъ классовъ, умылся, оправилъ себя и только тогда вышелъ на дорогу къ усадьбѣ.

Солнце только что встало. При его восходѣ вѣтеръ незамѣтно стихъ; отъ ночной бури остались только слабые слѣды,—по небу въ разныхъ направленіяхъ тихо плыли кучи разогнанныхъ тучъ. Но воздухъ былъ свѣжѣе вчерашняго. Чехловъ бодро шелъ по дорогѣ, прислушиваясь къ пѣвию птичекъ, вдыхая ароматы хлѣбныхъ полей, между которыми вилась дорога. Постепенно, не замѣчая того, онъ такъ ускорялъ шаги, что начиналъ почти бѣжать; тогда онъ круто

останавливался и старался идти какъ можно тише. Александръ Яковлевна еще не встала, а безъ нея что ему тамъ дѣлать?

Вдругъ на одномъ поворотѣ дорога онъ взглянулъ по направленію къ усадьбѣ и остановился въ изумленіи. Не доверяя глазамъ, онъ прикрылъ ихъ рукой и пристально взглянулся... Да, это была, несомнѣнно, она! И онъ быстро бросился по дорогѣ.

Черезъ четверть часа онъ уже приближался къ Александрѣ Яковлевнѣ и чувствовалъ, какъ къ его глазамъ подступаютъ слезы. Та давно замѣтила его, остановилась за рѣшеткой сада и съ улыбкой ждала его. Но когда онъ приблизился къ ней, на него вдругъ напала какая-то робость и смущеніе; онъ подумалъ, что она тотчасъ же спроситъ его: „Откуда это вы такъ рано?“—и смутился. Но она на самомъ дѣлѣ несколько не удивилась. Предложивъ ему, дѣйствительно, такой вопросъ, она прибавила:

— Вы съ ночнымъ поѣздомъ?

— Да.

— Устали въ городѣ?

— Я сегодня ночью задохнулся-было.

— То же и здѣсь... какая ужасная была ночь! Я почти не спала... Едва забрезжило утро, я встала. Но у насъ все-таки лучше... Вы отлично сдѣлали, что пріѣхали. Отдохните здѣсь.

Александра Яковлевна ласково улыбалась. И Чехловъ чувствовалъ, какъ отъ этой ласки горячія слезы опять подступаютъ къ его сердцу. Но онъ сдержался отъ необузданнаго порыва радости. Онъ молча смотрѣлъ на Александру Яковлевну и сознавалъ, что этого ему довольно.

— Но что же мы стоимъ? Пойдемте, я васъ пока напою чаемъ. А когда управлюсь съ работами, мы отправимся въ лѣсъ,—сказала она и повела гостя въ домъ.

Лицо ея было живое, движеніи бодрья и твердыя. На щечкахъ ея появился румянецъ, котораго Чехловъ ни разу не замѣчалъ раньше. Въ такомъ видѣ она казалась еще чище и проще. Идя немного позади ея, онъ не сводилъ съ нея глазъ. Горячая и глубокая радость такъ наполняла его, что онъ, казалось, лишился дара слова, холодныхъ наблюденій, злыхъ мыслей и острыхъ взглядовъ; когда въ столовой онъ

наткнулся на Хордина, то порывисто пожалъ ему руку и засмѣялся, какъ будто никогда не чувствовалъ пренебреженія къ нему.

Александра Яковлевна усадила ихъ обоихъ за чай, а сама ушла, чтобы исполнить всѣ утреннія работы по дому. Чехловъ сидѣлъ за столомъ, перекидываясь словами съ Хординымъ, но слухъ его съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ за невидимыми для него движеніями Александры Яковлевны. Какъ иногда одинокая, но поразительная нота шумнаго оркестра внезапно наполняетъ все наше существо и мы съ восторгомъ слѣдимъ за ней среди грома и треска другихъ звуковъ, такъ онъ прислушивался къ невидимымъ движеніямъ Александры Яковлевны. Онъ пилъ чай, но слушалъ, какъ гдѣ-то вдали раздаются ея мягкіе шаги, какъ звучитъ къ кому-то обращенный ласковый голосъ ея, какъ поминутно слова ея чередуются съ тихимъ смѣхомъ. Потомъ гдѣ-то вдали онъ услышалъ, что она тихо запѣла какую-то пѣсенку, и ея звукъ отозвался въ его сердцѣ страстнымъ изумленіемъ. Но вдругъ гдѣ-то хлопнула дверь, пѣніе ея внезапно оборвалось и Чехловъ съ тревогой оборвалъ на полусловъ какую-то фразу, которую машинально говорилъ Хордину.

Хозяинъ съ улыбкой посмотрѣлъ на него.

— Вы, кажется, удивляетесь, что Саша можетъ пѣть?— спросилъ онъ.

Чехловъ вздрогнулъ отъ этого вопроса и выговорилъ что-то несвязное.

— Я не меньше вашего удивленъ... она стала весела и жива. Цѣлый день что-нибудь съ увлеченіемъ работаетъ и поетъ, а по вечерамъ садится за свои медицинскія книги и до глубокой ночи занимается...

Хординъ говорилъ съ радостью.

— Какія медицинскія книги?—спросилъ Чехловъ.

— Да развѣ вы не знаете?... Она уже переходила на четвертый курсъ академіи, но тутъ внезапно карьера ея измѣнилась... Мы поѣхали на Востокъ, потомъ смерть нашего сына... эта смерть, казалось, убила ее на-повагъ... Глядя на нее, и я измучился... И вдругъ жизнь какъ будто опять воротилась въ ея изстрадавшееся сердце, и она стала такою, какъ вы ее видите сейчасъ... Вы спрашиваете, какія медицинскія книги? Я самъ не знаю, зачѣмъ она теперь ими за-

илась... и не спрашиваю. Боюсь какимъ-нибудь грубымъ словомъ спугнуть ея свѣтлое настроеніе... пусть ея отдохнетъ.

Хорди́нъ высказалъ все это несвязно, но въ каждомъ словѣ его, сказанномъ съ счастливымъ волненіемъ, слышалась любовь. Чехловъ смотрѣлъ на него и внезапно похолодѣлъ, чувствуя, какъ неизвѣстно отъ чего сжалось его сердце. Когда Хорди́нъ послѣ чая торопливо ушелъ по дѣламъ, онъ скучно обвелъ глазами комнату.

Но немного спустя вошла Александра Яковлевна. Онъ живо поднялъ голову, какъ будто сюда внезапно ворвался цѣлый потокъ солнечныхъ лучей.

— Вотъ я и готова! Если хотите, идемъ! — сказала она оживленно и съ раскраснѣвшимися отъ работы лицомъ.

Чехловъ порывисто поднялся съ мѣста и черезъ нѣсколько минутъ они уже вышли изъ дома. Солнце стояло высоко и немилосердно жгло.

— Опять духота, какъ вчера!... Но я проведу васъ въ такое мѣсто, которое, надѣюсь, вамъ понравится. Если же оно вамъ не понравится, то вы, значить, ничего не понимаете въ красотѣ... А, можетъ быть, я ничего не понимаю...—говорила она со смѣхомъ.

Въ другое время Чехловъ воспользовался бы этими словами, чтобы обнаружить всю силу своей діалектики. Но теперь онъ молчалъ и только улыбался; онъ молча смотрѣлъ на спутницу, лишенный воли и забывшій про свое огромное „я“. Онъ шелъ рядомъ съ ней, слабо отвѣчалъ на ея слова и видѣлъ только ея фигуру. Иногда его взглядъ блуждалъ по сторонамъ, не на нее обращенный, но онъ все-таки зналъ каждое ея движеніе и чувствовалъ малѣйшее измѣненіе на ея лицѣ. Невидимая, она рисовалась передъ нимъ вся цѣликомъ.

Окружающее исчезло съ его поля зрѣнія. Они сначала проходили между двухъ стѣнъ созрѣвающихъ хлѣбовъ, потомъ шли по густымъ кустамъ перелѣсковъ, среди осиновыхъ рощъ, проходили и по заросшимъ бурьяномъ прошлогоднимъ жнивьямъ, но онъ ничего не замѣчалъ. Въ блуждающемъ взорѣ его не отразилось ни жгучее солнце, ни голубое небо, ни эти перелѣски, ни далекій горизонтъ, куда, повидимому, онъ смотрѣлъ. Все поле его зрѣнія занято было однимъ образомъ, который закрылъ собою даже собственную его самолюбивую душу. Онъ совсѣмъ забылъ о себѣ и гдѣ онъ.

Но вдругъ Александра Яковлевна остановилась на крутом возвышеніи внезапно открывшагося оврага и, указывая рукой, живо сказала:

— Смотрите!

Чехловъ съ изумленіемъ обвелъ глазами указанное пространство; то было дикое „Разбойничье гнѣздо“. Глазамъ он открывалось внезапно,—не знавшій его человекъ за минуту не могъ бы и заподозрить его близости. Чехловъ не зналъ немъ и теперь съ изумленіемъ оглядывалъ эти глубокія впадины и корридоры, покрытыя страшною путаницей деревьев и кустовъ.

— Ну, что, нравится?—спросила съ озабоченнымъ видомъ Александра Яковлевна, какъ будто ей хотѣлось услышать из его устъ восторгъ передъ ея любимымъ мѣстомъ. Но, не дожидаясь отвѣта, она прибавила:—Впрочемъ, сойдемъ пониже тутъ жарко!

Она быстро, привычными шагами стала спускаться вниз по гребню. Внизу виднѣлась крошечная лужайка, закрытая отъ солнца широко раскидавшимся вѣтомъ и съ трехъ сторонъ обрѣзанная глубокими обрывами.

— Идите сюда... Теперь смотрите!—говорила она, когда оба уже стояли на маленькой площадкѣ подъ вѣтомъ.

Отсюда видны были всѣ развѣтвленія овраговъ, всѣ выскія, рѣзко оборванные стѣны и всѣ причудливыя дѣсныя росли, деревья которыхъ низко нагибали свои вершины куда-то внизъ, какъ будто всѣ были заинтересованы, что тамъ такое на днѣ. И, какъ бы въ отвѣтъ на ихъ любопытство, со дна раздавалось журчанье ручьевъ, неизвѣстно чѣмъ шептавшихъ.

— Нравится?—переспросила еще разъ Александра Яковлевна и съ удовлетворенною гордостью осматривала свое любимое гнѣздо.

Чехловъ пристально смотрѣлъ по сторонамъ, прислушиваясь, потянулъ влажный, прохладный воздухъ и съ улыбкой высказалъ свое восхищеніе.

— Удивительно!... Даже и подозрѣвать нельзя, чтобы могло быть въ этой плоской равнинѣ такой причудливый уголокъ. Да и самъ онъ... вѣдь это просто нѣсколько дикихъ, безъ разныхъ ямъ, а, между тѣмъ, какая сила впечатлѣнія!

Онъ говорилъ спокойно. Взглядъ его глазъ сталъ холоднѣе.

наблюдательнѣе. Повидимому, онъ стряхнулъ съ себя очарованіе, произведенное присутствіемъ Александры Яковлевны, и пылливо, съ полнымъ самообладаніемъ осматривалъ оригинальный уголокъ. Какъ знатокъ красоты, онъ теперь со-
зательно оцѣнивалъ это неожиданное, причудливое мѣстечко.

— Очень рада... А я уже думала, что только одной мнѣ, ничего не понимающей въ эстетикѣ, нравится „Разбойничье гнѣздо“!

— Развѣ эстетика можетъ научить пониманію прекраснаго?—спросилъ Чехловъ и обычная насмѣшливость послышалась въ его словахъ.

— Говорятъ, можетъ.

— Не вѣрьте! Ложь... Вы любите вотъ это гнѣздо?

— Люблю!—отвѣтила съ улыбкой Александра Яковлевна.

— И любите. Больше ничего и не надо. Любите—это и есть прекрасное. Другой красоты нѣтъ. И все, что въ каждомъ другомъ человѣкѣ вызываетъ любовь, все то и будетъ для него прекраснымъ. Но не болѣе!

— Если человѣкъ любитъ нѣчто безобразное?

— Значить, такая же и душа его, безобразная. Каждый человѣкъ можетъ вмѣстить и понять прекрасное только въ той мѣрѣ, въ какой прекрасное въ немъ самомъ существуетъ. Мѣра эта точная, какъ вѣсы. Сколько въ тебѣ прекраснаго, столько же ты найдешь и внѣ себя, не болѣе!

— Но какъ же такъ?...—возразила Александра Яковлевна съ живымъ любопытствомъ,—а развѣ не бываютъ случаи, когда человѣкъ по невѣдѣнію не понимаетъ красоты въ художественномъ произведеніи, но послѣ разъясненія понимаетъ и наслаждается?

— Тутъ можетъ быть два случая... Или въ душѣ этого человѣка нѣтъ прекраснаго, и тогда никакими объясненіями онъ не пойметъ и то прекрасное, которое внѣ его, или въ душѣ его есть подходящія струны, но онъ ихъ долженъ самъ натянуть, прежде нежели получить просвѣтленіе; прежде чѣмъ онъ пойметъ данное внѣ прекрасное, онъ долженъ его имѣть въ своей душѣ... А эстетика и ея мнимые законы—это одинъ изъ тѣхъ проклятыхъ мертвыхъ идоловъ, который созданъ жрецами искусства на погибель этого искусства. Творчество не имѣетъ ни формъ, ни границъ; скованное неизмѣнными законами, оно погибаетъ, какъ сво-

одна душа человека въ расставаніи... потому что никто не знаетъ прекраснаго—та же любовь.

Чехловъ совершенно оправился отъ недавней слабости и смотрѣлъ сурово, проникательно.

— А гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ и прекраснаго?—спросила съ возрастающимъ любопытствомъ Александра Яковлевна.

— Нѣтъ и быть не можетъ! Прекрасное — это любовь. Сколько въ человѣкѣ любви, столько онъ видитъ и прекраснаго вокругъ себя. Здѣсь точная мѣра красоты для каждаго даннаго человѣка и для каждаго момента его жизни: сколько любишь, столько ты и видишь прекраснаго... Если же многи люди признаютъ прекрасное въ однихъ и тѣхъ же предметахъ это значитъ, что большинство изъ нихъ только притворяются будто эти предметы доставляютъ имъ наслажденіе, притворяются, чтобы не показаться смѣшными и невѣжественными. Такъ называемые законы эстетики создаютъ только особаго рода лицемѣровъ, — лицемѣровъ прекраснаго... Если вы встрѣтите жестокаго, развратнаго человѣка наслаждающагося вашимъ прекраснымъ, то вы скажите ему: ты лжешь! Ты лжешь, потому что можешь понять только жестоку и развратную красоту, и для тебя ее создаютъ похожіе на тебя художники! И если вы встрѣтите жестокаго, развратнаго художника, думавшаго создать прекрасную вещь для любящихъ, чистыхъ, милосердныхъ людей, то вы скажите ему: прочь мертвые, развратныя руки!

„Вотъ теперь онъ опять похожъ на Чехлова“, — думала Александра Яковлевна.

— Нѣкоторые выводятъ чувство прекраснаго изъ потребности человѣка украшать себя... Свирѣпый дикарь, рыскающій въ лѣсной чащѣ, говорятъ, все же обладаетъ чувствомъ прекраснаго,—онъ украшаетъ свое тѣло татуировкой, въ носъ втыкаетъ кусочекъ палки... Спрашивается: неужели и у этого жалкаго звѣря потребность украшенія зависитъ отъ любви?—спросила Александра Яковлевна лукаво улыбулась.

Чехловъ нахмурилъ брови, но тотчасъ же засмѣялся.

— Непремѣнно! Этотъ дикарь обладаетъ чувствомъ прекраснаго въ той мѣрѣ, сколько въ немъ любви. Любовь его грубая, звѣриная, направлена исключительно на себя, а

на природу и людей; таково же и его прекрасное. И если онъ втыкаетъ въ носъ рыбью кость, морду свою разрисовываетъ ножомъ и думаетъ, что это прекрасно, какъ въ вещь, такъ и въ ближнемъ его, то здѣсь точная мѣра его любви...

Въ это время гдѣ-то на днѣ одного изъ овраговъ послышался трескъ и прозвучалъ эхомъ по всему „гнѣзду“. Александра Яковлевна живо поднялась съ лужайки, гдѣ они сидѣли, бросилась къ самому краю обрыва и, держась за вѣтку вяза, наклонилась внизъ, чтобы посмотреть, что тамъ такое.

Чехловъ, въ головѣ котораго уже толпился цѣлый рой мыслей, вдругъ разомъ ихъ забылъ и обмеръ. Потомъ онъ бросился къ Александрѣ Яковлевнѣ и крѣпко схватился за ея руку.

— Что вы дѣлаете?! — закричалъ онъ, пораженный ужасомъ.

Александра Яковлевна отступила немного отъ края и посмотрѣла на него, удивленная его крикомъ.

— Такимъ ужаснымъ крикомъ вы действительно могли втолкнуть меня въ оврагъ!... Чего вы испугались? — сказала она и, замѣтивъ испугъ на его лицѣ, громко расхохоталась.

Чехловъ уже сконфужено глядѣлъ ей въ лицо, стыдясь своего необъяснимаго порыва. Въ то же время, лицо его свѣтлось радостною улыбкой. Онъ вдругъ опустился на лужайку и пригласилъ то же самое сдѣлать и Александру Яковлевну.

— Не смотрите больше туда, внизъ... Давайте лучше говорить о прекрасномъ... мы не кончили, — сказалъ онъ и пытался возстановить насмѣшливый тонъ.

Александра Яковлевна усѣлась. Но Чехловъ уже не говорилъ больше такъ энергично, какъ за минуту передъ тѣмъ. Съ его языка сорвались фразы до такой степени плотно, что онъ самъ застыдился и замолчалъ. Какъ будто въ его острые мысли провалились въ бездну, умъ сталъ тупымъ и безоружнымъ. Онъ только чувствовалъ, какъ тошнотливо бьется его сердце и душа полна неосвязаемымъ и невыразимымъ образомъ. Взглядъ его блуждалъ по вершинамъ гдѣсь, не смѣя остановиться прямо на лицѣ Александ-

мообладанія; умъ его, питающійся враждой, она обезоруживала однимъ своимъ присутствіемъ, а сердце его наполняла предчувствіемъ любви. Онъ молчалъ, какъ утroph, лишенный воли, очарованный.

Александра Яковлевна одна поддерживала разговоръ, а онъ только отвѣчалъ, да и то слабо. Такъ они просидѣли далеко за полдень. Когда она напомнила, что пора уходить, онъ какъ будто очнулся отъ какого-то сна, тяжело поднялся съ мѣста и съ опущенною головою пошелъ вслѣдъ за ней.

Обѣдали они втроемъ. При этомъ между Чехловымъ и Хординымъ роли перемѣнились. Видя Чехлова задумчивымъ и безоружнымъ, не слыша болѣе отъ него ядовитой, торжествующей рѣчи, Хординъ незамѣтно перешелъ въ роль поучающаго, самодовольнаго человѣка, вся фигура котораго дышала сознаниемъ глупости всѣхъ окружающихъ людей. Незамѣтно его слова окрасились въ догматическій оттѣнокъ. На здоровомъ лицѣ его играла насмѣшка, слова выражали одни совѣты. Онъ училъ.

— Нѣтъ, милый человѣкъ, нельзя такъ! Нельзя нѣсколькими словами уничтожить цивилизацію... Если кто хочетъ успѣха своему ученію, пусть тотъ воспользуется этою самою цивилизаціей, а не претъ противъ рожна... нелѣпо это, милый человѣкъ!

Говорилъ онъ, между прочимъ, во время обѣда необыкновенно самодовольнымъ тономъ, облизываясь и вытираясь салфеткой послѣ какого-то кушанья.

Александръ Яковлевиъ стыдно стало за эти плоскія слова мужа и она ждала съ тайною нетерпимостью хорошаго урока самодовольному человѣку. Но, къ ея удивленію, Чехловъ съ видимымъ усиліемъ отвѣчалъ на поученія Хордина; не то апатично, не то съ досадой онъ возразилъ и на эти слова хозяина, ни къ кому не обращаясь:

— Человѣчество имѣло уже много цивилизацій, но отъ нихъ теперь осталось по нѣскольку кирпичей, которые разностно разыскиваются учеными могильщиками... Мертвое умираетъ и разрушается безслѣдно.

Когда онъ говорилъ это, на его лицѣ была досада: — «отстань ты отъ меня, некогда мнѣ!» — какъ будто думалъ онъ

Отъ дальнѣйшаго разговора онъ совсѣмъ уклонился. Это дало возможность Хордину до конца обѣда говорить отрывочно-разсудительныя и практичныя рѣчи. Не слушая его, Чехловъ только по временамъ утвердительно кивалъ или отрицательно качалъ головой, что удовлетворяло самодовольство Хордина или возбуждало въ немъ охоту говорить дальше, и онъ, не переставая, говорилъ... „Ну, мели, мели, шутъ съ тобой!“—думалъ Чехловъ и въ первый разъ добродушно слушалъ.

Послѣ обѣда Александра Яковлевна ушла не надолго, но вскорѣ опять вернулась и застала Чехлова сидящимъ въ саду. Она тотчасъ пригласила его опять идти въ поле, только въ другую сторону. Они ушли и оставались тамъ до поздняго вечера.

IX.

Хординъ, по обыкновенію, спалъ тотчасъ послѣ обѣда, но когда проснулся, пошелъ-было въ садъ искать жену Чехлова. Не найдя ихъ тамъ, онъ спросилъ, куда они ушли? Прислуга отвѣчала—въ поле. Въ первый разъ ему стало до боли непріятно. Но онъ постарался свое мрачное настроеніе объяснить дурнымъ тяжелымъ сномъ. Это бывало. Особенно когда много покушаешь, ужасно бываетъ тяжелый сонъ: въ головѣ какая-то буря мгла, въ горлѣ саднить, всѣ окружающіе предметы принимаютъ досадный, противный видъ. Однако, сегодня было не такъ; когда онъ совсѣмъ оправился отъ сна, непріятное чувство еще болѣе утвердилось въ его душѣ. Это еще не была ревность, а только тревога, беспокойство, предчувствіе семейной бури, не поддающаяся опредѣленію словами злость. Онъ раздраженно напился чаю одинъ, съ раздраженіемъ вышелъ изъ-за стола, но никакъ не могъ понять, на какой предметъ вылить злобу. Онъ думалъ идти по хозяйству, но вернулся, не дойдя до порога выходной двери, подошелъ къ окну, выходящему въ открытое поле, сѣлъ тутъ и сталъ ждать. Ждалъ онъ съ нетерпѣніемъ, когда они вернутся, и, въ то же время, сознавалъ, что это ожиданіе безсмысленно. Развѣ этимъ ожиданіемъ у окна можно что-нибудь измѣнить? Ничего. Но онъ все-таки сидѣлъ, смотрѣлъ съ возрастающимъ нетерпѣніемъ по опушкамъ лѣса

мгновеніемъ, безсмысленно. Развѣ Чехловъ или жена сдѣлали что-нибудь дурное, чтобы вызвать его злобу? Но онъ все-таки продолжалъ сидѣть, раздраженно барабанилъ пальцами по стеклу и горѣвшими отъ нетерпѣнія глазами оглядывалъ всѣ опушки лѣса.

Вдругъ на краю одной изъ рощъ онъ замѣтилъ двѣ фигуры, мелькавшія между деревьями; онъ ихъ тотчасъ узналъ; онъ быстро пошелъ по направленію къ дому. Одну минуту Хординъ наблюдалъ за ними; потомъ онъ бросился отъ окна, прошелъ черезъ всѣ комнаты почти бѣгомъ, какъ воръ, поитившій какую-то вещь, и вышелъ на дворъ съ такимъ перепуганнымъ лицомъ, какъ будто за нимъ гнались. Онъ торопливо старался скрыть всѣ слѣды своего сидѣнья у окна, и ему это удалось. Когда Александра Яковлевна и Чехловъ вошли черезъ калитку во дворъ, онъ встрѣтилъ ихъ лѣнивымъ, равнодушнымъ взглядомъ и лѣнивымъ голосомъ выговорилъ:

— А, это вы! Что же вы такъ мало гуляли? Вечеръ чудесный.

— Какъ мало? Почти половину дня! Заговорились и не замѣтили, какъ подкрался вечеръ, — отвѣтила просто Александра Яковлевна.

Хординъ бросилъ пристальный взглядъ на ея открытое лицо и мгновенно ему стало стыдно за ту бессмысленную тревогу, съ которой онъ сидѣлъ передъ окномъ. Онъ готовъ былъ приласкаться къ женѣ, еслибы не молчаливое присутствіе Чехлова, но, вмѣсто этого, закричалъ на прислугу, чтобы она поскорѣе подогрѣла самоваръ. Александра Яковлевна не обратила вниманія на виноватый видъ мужа и прошла въ комнаты.

А Чехловъ скоро ушелъ на поѣздъ. Хординъ, съ его уюдомъ, забылъ о непріятномъ чувствѣ.

Но на слѣдующій день Чехловъ опять пріѣхалъ, на третій день также. Наконецъ, его посѣщенія стали регулярны, изъ дня въ день. Тревога Хордина также стала проявляться регулярно, какъ перемежающаяся лихорадка. Когда Чехловъ уѣзжалъ, тревога его мгновенно падала, но лишь тотъ появлялся на слѣдующій день, какъ мгновенно въ Хординѣ появлялась мука ревности. Да, это уже была ревность.

Она возростала до мучительной боли въ тѣ часы, когда жена и Чехловъ уходили на отдаленную прогулку по лѣсу.

Александра Яковлевна продолжала исполнять всѣ свои и домашнія работы, но лишь только освобождалась отъ нихъ, тотчасъ приглашала Чехлова, и они вдвоемъ уходили въ поле, въ лѣсъ или къ „Разбойничьему гнѣзду“.

Чехловъ держалъ себя на этихъ прогулкахъ, попрежнему, молчаливо и безотвѣтно. За то Александра Яковлевна какъ будто нарочно старалась развернуть всѣ свои умственные силы. Она съ интересомъ спрашивала Чехлова о малѣйшихъ подробностяхъ ученія, докапываясь до самыхъ интимныхъ основъ его, и ни одной мысли Чехлова не оставляла безъ отвѣта. Иногда отвѣты были очень рѣзкіе, безповоротные. Такъ, однажды она спрашивала о практическихъ путяхъ. Чехловъ распространился, но было ясно, что мысли его никогда не работали въ этомъ направленіи. Въ каждой фразѣ его слышалось изумительное легкомысліе, напыщенное пустословіе.

— Все это мнѣ ужасно странно,—однажды вдругъ замѣтила Александра Яковлевна. — „Любить... жить просто... отдавать людямъ свой трудъ“—гдѣ я объ этомъ слыхала? А гдѣ-то уже слыхала, только страшно давно, въ смутномъ прошедшемъ, безвозвратно исчезнувшемъ. Это прошлое осталось въ моей душѣ какое-то смутно-радостное чувство, но я, въ то же время, знаю, что его уже нѣтъ. Оно не вернется. Быть можетъ, эти слова мнѣ говорила мать, когда мнѣ было три-четыре года, а, быть можетъ, я ихъ переписывала твердою рукой изъ прописи, но только я знаю, что ихъ я уже больше ни отъ кого не слыхала въ такой наивной, дѣтской формѣ. Неужели у васъ больше ничего нѣтъ?

— Люди и должны быть просты, какъ дѣти, — возразилъ Чехловъ.

Онъ смотрѣлъ въ лицо собесѣдницы и искалъ въ немъ слѣдовъ ядовитого юмора, съ какимъ она, казалось ему, говорила.

Но она и не думала смѣяться. Ей было просто досадно за его безотвѣтность.

Въ другой разъ, когда онъ заговорилъ о томъ, какъ легко каждому человѣку перевернуть свою жизнь и какъ просто

— Ваше ученіе только для богатыхъ.

Человѣкъ неприятно изумился.

— Это почему?—спросилъ онъ.

— Да вѣдь только богатому и праздному легко исполнить какую угодно фантазію. Только богатый, почувствовавъ отвращеніе къ рябчикамъ, можетъ вдругъ воспылать желаніемъ кушать кашу съ постнымъ масломъ или любовью къ лаптямъ. Всѣ ваши мысли направлены только на то, чтобы помочь богатому, потерявшему отъ пресыщенія всякій вкусъ къ жизни, возобновить свои жизненные аппетиты. А бѣдному вы не имѣете права сказать, что бѣдному и бѣдному легко и просто выполнить ваше ученіе. Чему вы его будете учить? Чтобы онъ ѣлъ кашу, а не рябчика? Но онъ ее одну только и ѣстъ. Чтобы онъ помогалъ трудомъ ближнему? Но весь его трудъ содержитъ человѣчество. Чтобы онъ любилъ ближняго? Но онъ и безъ васъ его любить, любить этимъ самымъ трудомъ. Или чтобы онъ сдѣлался въ вашемъ смыслѣ разумнымъ и совершеннымъ? Но кто по временамъ умираетъ съ голода, кто всю жизнь долженъ проводить въ грязи, у кого каждый текущій день — судорожная погоня за кускомъ хлѣба, кто безвѣстно умираетъ отъ голодной случайности, тотъ не имѣетъ силъ быть чистымъ, разумнымъ, совершеннымъ. А если вы все-таки требуете отъ него совершенства, то какъ же вамъ не стыдно?

Одинъ разъ они, послѣ длинной бесѣды, долго молча, затерявъ мысль разговора. Но вдругъ Александра Яковлева посмотрѣла куда-то далеко и сказала:

— Ваше ученіе, кажется, все имѣетъ, что нужно для каждаго ученія: и разумъ, и любовь, и совершенство, и пути къ нему, все! Нѣтъ только одной, но за то самой необходимой вещи—Бога. То-есть того объединяющаго центра, вокругъ котораго можно было бы расположить всѣ эти прекрасныя вещи—любовь, совершенство, простоту. Оно мнѣ напоминаетъ одежду босака-золоторотца, сшитую изъ безчисленнаго множества кусковъ, случайно находимыхъ. Тутъ и сѣлевая заплатка московскаго производства, и обрывокъ сукна сдѣланнаго, быть можетъ, на иностранной фабрикѣ, и шерстяная, сотканная въ глухой деревнѣ; нѣтъ только въ этомъ

ужасномъ платѣ единства замысла. Въ случаѣ горькой нужды, оно все же платѣ, конечно, но никто безъ нужды не надѣнетъ его... Никто изъ нуждающихся въ вѣрѣ не приметъ вашего ученія, потому что въ немъ именно вѣры-то и нѣтъ. Оно холодно, умно и безчеловѣчно... Задуманное только ради богатыхъ, для нуждающагося бѣдняка оно даетъ только угрозы, жестокія обвиненія и скорпіоны и ни одного луча надежды!

Это было сказано Александрой Яковлевной безъ злобы, безъ малѣйшаго желанія оскорбить Чехлова, но все-таки рѣзче нельзя было сказать.

А онъ ограничился въ отвѣтъ на это только нѣсколькими парадоксами. Ей дѣлалось досадно. „Неужели это тотъ самый Чехловъ, который недавно громилъ притворство, глупость, ложь? Почему же всѣ его отвѣты теперь такіе жалкіе, ребяческіе?“—спрашивала она себя. „Бываютъ такіе сильные, но безплодные умы, которые могутъ громить, но не создавать...“—смутно догадывалась она. Но и послѣ того для нея оставалось много темнаго въ немъ. Почему онъ съ нѣкотораго времени, въ разговорахъ съ ней, не только пересталъ учить своему ученію, но даже не желаетъ больше защищать его, какъ будто ему все равно, будутъ-ли слова его любить, или презирать?

Ему, дѣйствительно, было все равно, какъ относятся къ его словамъ, но ему было не все равно, какъ Александра Яковлевна относится къ нему самому. Лишь только онъ пріѣзжалъ въ усадьбу и видѣлъ лицо ея, весь умъ его поглощался мыслями о ней. Онъ слѣдилъ за выраженіемъ ея лица, подмѣчалъ, когда она весела и когда чувствуетъ досаду; наблюдалъ, какъ она хмурится или какъ улыбка расправляетъ ея черты. Онъ изучалъ ея слова, жесты, выраженія; угадывалъ, что ей нравится и чего она не любитъ, кто ея друзья и кого она не любитъ. И все это изучалъ больше всего по отношенію къ себѣ. Когда она весело смѣялась, онъ старался угадать, какія его слова вызвали въ ней этотъ смѣхъ; когда на ея лицѣ выражалось недовольство, онъ спрашивалъ себя, чѣмъ онъ вызвалъ его. Какъ она къ нему относится: смѣется надъ нимъ или уважаетъ, негодуетъ или сочувствуетъ?

Онъ разбиралъ, слѣдилъ, изучалъ все, что говорить или

защитѣ своего ученія. Оно смутно рисовалось ему, когда онъ сидѣлъ передъ Александрой Яковлевной. Только въ рѣдкія минуты умъ его освобождался отъ поработившаго его образа и жестоко указывалъ на фактъ измѣны. „Ты измѣнилъ первому закону твоего ученія — быть свободнымъ всюду и поработилъ себя женщинѣ!“ — говорилъ ему умъ. Но проходило мгновеніе и этотъ умъ ужъ покорно, не возмущаясь, начиналъ работать надъ тѣмъ, что приказывало ему сердце.

Сердце сдѣлалось господиномъ. Чехловъ любилъ.

Но какая это была странная любовь! Въ то время, какъ сердце его праздновало весну и билось отъ неизвѣданнаго счастья или сжималось отъ безпричинной тоски, умъ его холодно, какъ добросовѣстный счетчикъ, отмѣчалъ каждый его ударъ. Сердце стало его господиномъ, а умъ рабомъ, но какой это былъ лукавый, подлый рабъ! Ни одного шага господина онъ не пропускалъ безъ того, чтобы не присутствовать при его исполненіи, ни одного движенія господина не ускользало отъ него. Онъ все зналъ, во все вмѣшивался, всюду слѣдовалъ за своимъ господиномъ, и вездѣ, при всѣхъ дѣяніяхъ того, подавалъ совѣты, читалъ правоученія, замѣчалъ ошибки, указывалъ выходъ.

Такъ что, въ сущности, Чехловъ и не Александру Яковлевну изучалъ, а себя и тѣ новыя ощущенія, которыхъ онъ не зналъ раньше. Иногда онъ рассуждалъ практически и заранѣе пытался угадать, какъ ему въ будущемъ придется жить, что надо сдѣлать, чтобы устранить Хордина, просто ли разорвать старую связь, или путемъ развода, какъ къ этому отнесется Хординъ, какъ онъ будетъ думать и что всѣ они будутъ *тогда* думать?

Только въ нѣкоторые мгновенія чувство широкою волной заливало всѣ холодныя и лукавыя соображенія ума. Чехловъ смотрѣлъ тогда дикимъ и необузданнымъ, какимъ былъ его отецъ. Сидя въ лѣсу рядомъ съ Александрой Яковлевной, онъ иногда въ порывѣ восторга желалъ бы взять ее на руки, пронести черезъ этотъ лѣсъ, пробѣжать по полю, перепрыгнуть послѣдній оврагъ, добѣжать до станціи и при свистѣ паровоза увести ее туда, въ безконечную даль, по

ту сторону горизонта. Приѣзжая въ усадьбу, онъ въ первую минуту свиданія готовъ былъ броситься къ Александрѣ Яковлевнѣ со всѣхъ ногъ и сказать ей про все, а уѣзжая отъ нея, онъ чувствовалъ, что сердце его разрывается отъ тоски.

Но это были только мгновенія. Въ остальное время умъ его, хотя и порабощенный, безъ устали считалъ каждый ударъ сердца и зорко слѣдилъ за всѣмъ, что онъ дѣлаетъ.

Х.

Александра Яковлевна долго не видала Буреева. Мелькомъ встрѣчая его, она замѣчала въ немъ какую-то хорошую перемену, но не могла отгадать, откуда она идетъ. До недавняго времени онъ проводилъ жизнь лѣниво и безалаберно. Что бы только ни дѣлалъ онъ: сидѣлъ-ли за обѣдомъ, ѣхалъ-ли въ городъ по домашнимъ дѣламъ, говорилъ-ли или слушалъ, все это совершалось съ явною неохотой, весь его видъ какъ будто говорилъ: „Да развѣ я обязанъ жить? Вотъ еще!“ Но съ нѣкотораго времени въ фигурѣ его появилась необычная живость, въ словахъ — горячее волненіе, въ мысляхъ — пытливость. Онъ куда-то торопливо ѣздилъ, велъ какія-то хлопоты, на каждомъ шагу и со всѣми затѣвалъ буйные споры.

И вотъ однажды въ такомъ буйномъ настроеніи онъ пріѣхалъ изъ своей усадьбы къ Хординымъ.

— Гдѣ это вы пропадали? — спросила его Александра Яковлевна.

— Да такъ, разныя дѣлишки. Кое-что устраивалъ... Видите-ли, я пришелъ недавно къ заключенію, что много спать довольно вредно. Спишь, спишь, а проснешься — и ничего не понимаешь... Темно. Озираешься эдакъ съ просонья по сторонамъ и думаешь: гдѣ это я? Дверь-то гдѣ, и съ которой стороны солнце-то заходитъ? Не понимаешь! Кажется, ложился спать днемъ послѣ обѣда, а теперь, кажется, утро. Озираешься по сторонамъ, въ груди тяжело, мозгъ работаетъ какъ у осла, котораго передъ тѣмъ били палками, и долго ничего не понимаешь, только какая-то свирѣлая жестокость появляется въ душѣ, самъ себя противень!...

Вслѣдъ затѣмъ онъ съ одушевленіемъ заговорилъ о сво-

ихъ планахъ и о томъ, какого рода „дѣлишки“ занимали его въ послѣднее время. Александра Яковлевна съ полнымъ сочувствіемъ слушала и уже хотѣла съ своей стороны подѣлиться планами. Но Буреевъ не далъ ей сказать ни одного слова.

— Впрочемъ, я не за тѣмъ пріѣхалъ... Вы не знаете новость? Вѣдь мои-то женятся!—сказалъ онъ внезапно и вдругъ расхохотался.

— Какіе ваши?—спросила Александра Яковлевна.

— Да Божьи коровки-то!

И еще добродушнѣе расхохотался, такъ что глаза его наполнились слезами. Но вдругъ онъ самъ себя прервалъ и уже задумчиво прибавилъ:

— Въ сущности, лучше мужа, какъ нашъ Михаилъ Егоровичъ, нельзя въ цѣломъ свѣтѣ сыскать!

Высказавъ это увѣренно, онъ вслѣдъ затѣмъ разсказалъ, какъ было дѣло, и просилъ Александру Яковлевну принять участіе въ свадьбѣ. По желанію Мизинцева и Маши, обвѣнчаются они въ сельской церкви той деревни, гдѣ жили Хордины, проведутъ время до поѣзда у Хординыхъ, а съ послѣднимъ поѣздомъ отправятся въ городъ.

— Само собою разумѣется, никакихъ сиверныхъ привадежностей свадьбы быть не должно при семъ! Вина ни капли. Табакъ не курить. Воспрещаются бѣсовскія игрища, руками плесканія, головой помаванія и пѣсни поганскія! Такъ хочетъ Михаилъ Егоровичъ. Завтра мы къ вамъ подъ вечеръ съѣдемся, побываемъ въ церкви, напьемся жидкаго чайку въ прикуску на чистомъ воздухѣ—и свадьба готова! По крайней мѣрѣ, двумя влюбленными дураками на свѣтѣ будетъ меньше!

Передавая желанія Мизинцева въ такой шутовской формѣ, Буреевъ опять залился смѣхомъ до слезъ. А немного погодя онъ уже простился и поспѣшно поѣхалъ къ село, къ священнику.

Какъ желалъ Мизинцевъ, такъ все и случилось.

Въ саду былъ накрытъ чайный столъ. Стоялъ теплый, августовскій вечеръ. Возвратившись изъ церкви, всѣ съ оживленіемъ заняли мѣста вокругъ самовара. Кромѣ знакомыхъ, тутъ сидѣли еще двое незнакомыхъ съ Хординымъ товарищей Мизинцева, исполнявшихъ обязанности шаферовъ. Но

ихъ присутствіе нисколько не мѣшало общему живому настроенію. Свадьба совершилась такъ скоро и просто, что ни одному изъ участниковъ ея не было нужды настраивать себя на какой-то особенный свадебный ладъ. Каждый чувствовалъ себя дома, за простымъ дѣломъ, съ обыденнымъ строемъ мысли. Это было настроеніе будничное и бодрое. Только на лицо Маши по временамъ набѣгали тѣни задумчивости и румянецъ на ея щекахъ то блѣднѣлъ, то сильнѣе разгорался, да самъ Михаилъ Егоровичъ чего-то немного конфузился.

Но этихъ мелочей никто не замѣчалъ подѣ перекрестнымъ огнемъ шутокъ и смѣха. Въ особенности былъ въ ударѣ Буреевъ. Онъ произнесъ нѣсколько курьезныхъ спичей и все время потѣшалъ публику. Хординъ такъ хохоталъ, что потомъ сталъ смѣяться уже безъ всякой причины; взглянуть на него Буреевъ, и онъ хохочетъ...

Веселое настроеніе маленькаго общества поддерживалось еще чуднымъ вечеромъ. Жара спала. Съ полей доносился ароматъ сжатыхъ хлѣбовъ. Воздухъ застылъ въ неподвижномъ покоѣ. Деревья въ саду замерли въ беззвучной истомѣ. Послѣдніе лучи солнца съ мягкою любовью ласкали всѣ предметы, играя на дремавшихъ листьяхъ, на перламутровыхъ перьяхъ голубей, собравшихся на крышѣ, въ золотистыхъ волосахъ невѣсты, въ ея влажныхъ глазахъ, въ ея горящемъ лицѣ, но, прощаясь послѣдними поцѣлуями съ землею, солнце съ багровою краскою гнѣва смотрѣло назадъ, въ ту сторону, откуда надвигалась ночь. И ночь, какъ будто стыдясь себя, тихо и безшумно надвигалась, незамѣтно занимала оставленные свѣтомъ уголки и робкими тѣнями подкрадывалась къ столу, гдѣ раздавались веселые голоса. Когда сушки закрыли прозрачною пеленой дальніе уголки сада, а въ воздухѣ чувствовалась уже влажная свѣжесть, за калиткой вдругъ показалась фигура Чехлова. Онъ хотѣлъ пройти, минуя садовую калитку, но когда услышалъ позади себя голоса, вдругъ обернулся, пристально взглянулъ въ кучку людей, сидѣвшихъ за столомъ, и нахмурилъ брови. Онъ пріѣхалъ изъ города, чтобы видѣть только Александру Яковлевну, но, наткнувшись на цѣлую компанію чужихъ, неціятныхъ людей, онъ сначала оторопѣлъ, а потомъ желчная

Мгновенно произошло всеобщее замѣшательство. Протягивая гостю руку, каждый чувствовалъ какое-то недоброежелательное чувство къ нему. Лица у всѣхъ вытянулись. У Хордина дрожала рука, мѣшавшая ложечкой чай въ стаканѣ. Мизинцевъ низко нагнулся надъ столомъ. Мама съ необыкновенною тревогой прижалась къ Александрѣ Яковлевнѣ. Только послѣдняя съ прежнею непринужденностью обратилась къ Чехлову съ предложеніемъ присѣсть. Чехловъ взялъ стулъ, но сѣлъ нѣсколько поодаль отъ стола.

— Пріѣхали къ намъ на свадьбу?—замѣтила Александра Яковлевна, ничего не подозревая.

Чехловъ удивленно оглянулъ всѣхъ присутствующихъ. Было очевидно, что свадьбы онъ даже и не подозревалъ. Мизинцевъ, между тѣмъ, вдругъ покраснѣлъ и въ замѣшательствѣ заговорилъ, обращаясь къ Александрѣ Яковлевнѣ:

— Денисъ Петровичъ не знаетъ, что тутъ свадьба... Хотѣли мы и въ одномъ домѣ живемъ, но я не считалъ нужнымъ сообщать ему, и не пригласилъ. Онъ слишкомъ занятъ, чтобы заниматься еще свадьбами...

Мизинцевъ сказалъ это торопливо, весь красный, и безъ всякаго желанія сказать колкость по адресу Чехлова. Но послѣдній пристально оглянулъ его и вдругъ насмѣшка заиграла на его губахъ.

— Дѣйствительно, мнѣ рѣшительно не могло придти въ голову, что Михаилъ Егоровичъ женится. Иначе я, незваный, не посмѣлъ бы показаться сюда. Тѣмъ болѣе, свадьбы не мнѣ устраивать,—сказалъ онъ жестко.

— Почему же?—спросила Александра Яковлевна и засмѣялась.

— Не могу.

— Будто свадьба дурное или непріятное дѣло?

— Зачѣмъ дурное!... Я только никогда не участвую ни въ какихъ обрядахъ,—заговорилъ Чехловъ прежнимъ, злораднымъ тономъ.—Досадно и грустно. Человѣкъ каждый свой актъ облачаетъ въ священнодѣйствіе и всю жизнь что-нибудь празднуетъ. Подошли-ли именины — и праздникъ, исполнилось-ли двадцать лѣтъ лѣнливой и вредной дѣятельности — опять праздникъ. Женится-ли онъ, или разводится съ супру-

гой, умираетъ или рождается, переходить-ли въ новый домъ, ми поправляетъ старый,—опять все праздники, съ рѣчами и обѣдами. Даже самый обѣдъ у „порядочныхъ людей“ обставляется такою торжественностью, словно желудокъ—величественный богъ. Самымъ низкимъ, животнымъ актамъ чело-вѣкъ старается придать святость, которой быть не можетъ въ нихъ, и самые низкіе свои поступки хочетъ облагоро-дить... Какъ священнодѣйствуетъ женщина, наряжающаяся выйти на прогулку! Какимъ гордымъ чувствуетъ себя муж-чина, которому удалось въ первый разъ напиться пьянымъ!... Когда люди идутъ на войну, они предварительно освящаютъ ножи, которыми будутъ рѣзать горла другихъ людей. Если устраивается новая бойня для скота, она сначала освящается торжественнымъ актомъ. Часто чело-вѣкъ отъ животнаго от-личается только тѣмъ, что видитъ священное въ томъ, что совершаетъ только по необходимости. Какъ же не избѣгать всякихъ торжествъ? Свадьба-ли, именины-ли, рождение-ли гдѣ совершаются, я бѣгу какъ можно дальше... Мнѣ досадно и больно участвовать въ торжествѣ, гдѣ нѣтъ ничего торже-ственного, на праздникъ, отъ котораго непременно кто-нибудь плачетъ.

Звукъ его голоса, раздававшійся въ сумеркахъ, наводилъ положительно ужасъ на молодую дѣвушку, принявшую сего-дня имя любимаго чело-вѣка; она съ широко раскрытыми гла-зами смотрѣла на него, въ то же время, прижимаясь къ Александрѣ Яковлевичѣ. Всѣмъ остальнымъ стало неловко и досадно. А Хординъ вдругъ поднялся изъ-за стола, злобно двинувъ стуломъ, на которомъ сидѣлъ, опрокинулъ его на траву и молча ушелъ въ глубину сада, не желая даже изви-ниться какимъ-нибудь предлогомъ.

Но самъ Чехловъ оставался насмѣшливо-холоднымъ. Впро-чемъ, онъ прекратилъ свою рѣчь, когда замѣтилъ общую подавленность.

Прошло нѣсколько минутъ въ совершенномъ молчаніи. Слышался невнятный шелестъ листьевъ, которыми шевелилъ муловымъ вѣтеръ; надъ головой пѣли мошки; самоваръ, застывая, жалобно допѣвалъ какую-то одну тонкую ноту; изъ деревни доносился лай собакъ. Какъ будто у всѣхъ про-палъ даръ слова,—такъ непріятно было каждому изъ сидя-щихъ за столомъ.

Кажется, довольно свѣжо, — сказалъ онъ и, взявъ со спины стула платокъ, накинулъ его на плечи Маши.

Досада, почти злоба сверкала въ его добрыхъ глазахъ, когда онъ слушалъ слова Чехлова, но когда онъ накидывалъ Маше платокъ и заглянулъ ей въ глаза, мгновенно это выраженіе растаяло. Онъ забылъ о Чехловѣ и его словахъ, отравившись этотъ вечеръ.

Всѣ поспѣшно отозвались на его приглашеніе, въ томъ числѣ и Хординъ, возвратившійся изъ темной глубины сада и направившійся въ домъ. Последними шли Чехловъ и Александра Яковлевна. Но Чехловъ, по выходѣ изъ сада, когда уже всѣ ушли, вдругъ остановился, дотронулся рукою къ рукамъ Александры Яковлевны и сказалъ глухо:

— Прощайте!

— Куда же вы? — спросила та съ удивленіемъ.

— Я пріѣхалъ только васъ видѣть... Только съ вами и нужно было говорить... Но теперь... не могу! Прощайте.

Все это Чехловъ выговорилъ съ внезапнымъ волненіемъ, замирающимъ голосомъ. Потомъ схватилъ руку Александры Яковлевны, пожалъ ее до боли и бросился по дорогѣ къ выходу. Александра Яковлевна смотрѣла ему вслѣдъ, пока фигура его не исчезла въ ночной мглѣ. Тогда она направилась домой, изумленная и въ первый разъ встревоженная такимъ подозрѣніемъ. Въ темнотѣ лицо ея загорѣлось краснотой, а сердце сжалось отъ какого-то предчувствія. Но когда она вошла въ освѣщенную комнату, никто не замѣтилъ испуга на ея лицѣ.

Тамъ продолжалось то самое непріятное молчаніе, которое произвелъ Чехловъ. Даже веселый Буреевъ никакъ не могъ настроить себя на живой ладъ. Но лишь только онъ узналъ, что Чехловъ ушелъ, какъ моментально засмѣялся.

— Что это за странный человѣкъ! — вскричалъ онъ ошеломленно. — Кажется, его прямая и единственная обязанность отравлять каждую минуту человѣческой жизни!... Ей-Богу, когда онъ появился, я тотчасъ почувствовалъ, что совершилъ какое-то преступленіе... не то укралъ что, не то кому-то голову отрѣзалъ... Вѣдь можетъ же уродиться такъ чудакъ!

— Просто бездѣльникъ!—вдругъ возразилъ на это Хордінъ и съ яростью сверкнулъ глазами.

Александра Яковлевна слушала задумчиво и съ тою же задумчивостью вскрикнула, обращаясь исключительно къ Буреву:

— Вы говорите—странный? По-моему, несчастный! Я еще не видала человѣка съ большимъ преобладаніемъ головы надъ сердцемъ... Такіе люди не живутъ, а только думаютъ, да, пожалуй, и не думаютъ, а только наблюдаютъ свои думы, умъ его не изъ тѣхъ умовъ, которые строятъ цѣльныя и добрыя зданія мысли, а только разрушаютъ,—умъ его сильный и, въ то же время, ничтожный. Мысли его не даютъ покоя, онъ только борется между собою... Мнѣ кажется, въ душѣ у него, вмѣсто цѣльныхъ образовъ, пустынные развалины, въ которыхъ холодно и жутко... Большая голова и маленькое сердце—это ужасное дѣло! Мнѣ иногда кажется, что когда онъ выражаетъ какую-нибудь мысль, сзади нея уже стоитъ другая мысль и подкарауливаетъ первую, чтобы убить ее. Нѣтъ, это не странный человѣкъ, а ужасно несчастный!

— „Несчастный“... просто бездѣльникъ!—вдругъ опять бѣшено вмѣшался Хордінъ.—Я бы такихъ... Проповѣдуетъ трудъ, а самъ безъ дѣла слоняется! Проповѣдуетъ любовь, а не пропуститъ ни одного человѣка, чтобы не оскорбить его... скотина эдакая!

Хордінъ злобно поводилъ глазами по лицамъ, но вдругъ встрѣтился съ глазами жены и обмеръ. Лицо Александры Яковлевны въ это мгновеніе покрылось пятнами, въ глазахъ свѣтлосъ негодованіе, сжатые руки ея хрустнули.

— Ты никакъ не можешь обойтись безъ ругани, къ которой привыкъ на дворѣ,—сказала она тихо, но съ страшнымъ презрѣніемъ.—Это ты-то ругаешь Чехлова? Опомнись!... Пусть его ругаютъ кто угодно, но не вамъ, не вамъ, практичнымъ людямъ, кого бы то ни было обвинять!... Пусть старыми мыслящихъ будутъ тѣ, за кѣмъ не числится... практики! Это не ваше дѣло! Молчите и продолжайте устраиваться потеплѣе и погрязнѣе!

Хордінъ обмеръ. Онъ смотрѣлъ на жену, блѣдный и растеряшійся. Его не слова жены оскорбили, онъ только съ страшною тоской думалъ: „Значить, это правда!“

Между тѣмъ, Александра Яковлевна быстро вышла изъ комнаты.

Немного погодя, тяжело ступая, вышелъ изъ комнаты и Хординъ. Оставшіеся въ залѣ такъ были поражены всѣмъ случившимся, что боялись взглянуть въ глаза другъ другу. Буреевъ отвернулся къ растворенному окну, высунулъ въ воздухъ голову, да такъ и остался въ этой позѣ. Онъ понималъ, что въ домѣ начинается какая-то драма, но не желалъ угадывать, въ чемъ она. Маша нѣсколько минутъ судорожно улыбалась, но вдругъ громко заплакала. Мизинцевъ отъ этого еще болѣе растерялся; онъ подошелъ къ ней и хотѣлъ успокоить ее, но не зналъ, чѣмъ; онъ неясно понималъ, отъ чего она плачетъ. Постоялъ, постоялъ онъ въ нерѣшительности и вдругъ молча началъ цѣловать ея слезы.

До прихода поѣзда всѣ трое мучительно провели время. Александра Яковлевна вышла ихъ проводить, но лицо ея вдругъ такъ осунулось, что ея пріятливыя слова, сказанныя на прощанье, казались мрачными. А самъ Хординъ съ всѣмъ не вышелъ.

Такъ кончилась эта, начатая просто, свадьба.

Хординъ сидѣлъ одинъ въ своей комнатѣ, положивъ голову на руки. Онъ былъ убитъ и почти ни о чемъ не могъ думать. Только одна мысль безчисленное число разъ повторялась въ его умѣ: „Такъ это правда!“ Онъ почти шепталъ ее губами и такъ много разъ повторялъ ее, что она, наконецъ, потеряла свой острый смыслъ. Это успокоило его бѣшенство, уже выплывавшее откуда-то изъ глубины. Безчисленное число разъ повторяя одну и ту же мысль, онъ успокоился до апатіи. Ему вдругъ стало скучно, въ тѣлѣ чувствовалось изнеможеніе, глаза слипались. Тогда онъ перешелъ отъ стола къ кушеткѣ, легъ на нее и почти мгновенно уснулъ.

Но за то онъ проснулся, когда еще было темно. Проснувшись оттого, что во снѣ ему показалось, будто кто-то ударилъ его, онъ закричалъ отъ боли и раскрылъ глаза. Мгновенно вчерашняя мысль громко раздалась въ его умѣ: „Такъ это правда!“ Только теперь она предстала передъ нимъ въ живыхъ образахъ, которые взволновали его, и онъ вскочилъ съ постели. „Такъ это правда, что она бросаетъ меня!“ И она предстала передъ нимъ, какъ живая, и не въ одинъ ба

кой-нибудь моментъ, а въ цѣлой картинѣ событій ихъ жизни. Она наполнила его воображеніе и сердце до краевъ, ослѣпила всѣ его мысли своимъ образомъ и превратила его существо въ одинъ порывъ; еслибы она въ эту минуту появилась здѣсь, онъ упалъ бы къ ея ногамъ и, умолая, отдалъ бы себя въ ея распоряженіе. „Дѣлай что хочешь со мной, но не уходи, не уходи!“ Но ея не было и страстный порывъ его принялъ другую форму.

Ужасная мысль опять повторилась: „Такъ это правда, что она избрала *того!*!“ При этомъ въ его воображеніи всталъ другъ образъ, видъ котораго вызвалъ всю ревность, все бѣшенство его. Онъ забѣгалъ по комнатамъ, шепталъ ругательства, сжималъ кулаки. О ней онъ забывъ; она ему рисовалась въ какомъ-то туманѣ; онъ не думалъ о ней. Ея образъ во всю ихъ жизнь оставался такимъ чистымъ, что онъ и теперь, въ припадкѣ бѣшеной ревности, не могъ приписать ей ничего грязнаго,—она всегда поступала такъ, какъ велѣла ей совѣсть. Она и теперь такъ поступить и, притомъ, безповоротно. И теперь также. Она рѣшила, и—все кончено! Тутъ не о чемъ думать! Конецъ! Это правда, что ихъ жизнь кончилась... И онъ не думалъ больше о ней.

Онъ думалъ о *томъ*. Что онъ за человѣкъ? Зачѣмъ онъ отнимаетъ у него любовь, зачѣмъ разбилъ его жизнь? Кто онъ, честный или подлецъ? Если честный, его надо убѣдить, что онъ дѣлаетъ подлость. Пусть выстрадаетъ, пусть поборетъ свою любовь и уйдетъ, если можетъ, или останется, если не можетъ... А если не можетъ? А если не захочетъ? Если такой прекрасный на словахъ, онъ на самомъ дѣлѣ низкій человѣкъ, который не остановится ни передъ чѣмъ, ради удовлетворенія собственныхъ желаній?... И у Хордина, такъ лучъ свѣта, вдругъ мелькнула надежда, нелѣпая, ложная надежда, но на мгновенье потушившая его бѣшенство. Онъ вспомнилъ все, что говорилъ Чехловъ, представилъ себѣ весь его крупный образъ, и у него мелькнула надежда, что такой человѣкъ не можетъ не быть великодушнымъ. Хординъ мысленно подошелъ къ Чехлову и сталъ убѣждать его, чтобы тотъ подумалъ, прежде нежели разбить его жизнь... Онъ ему сказалъ, что она, эта женщина, въ продолженіе многихъ лѣтъ была для него единственнымъ источникомъ свѣта, любви, справедливости... въ будущемъ—единственный

идеаль, радость, правда... Другимъ многое дано, а у него, Хордина, выше ея ничего больше нѣтъ. Если она оставитъ его, у него ничего не останется... Постылая работа изъ-за куска, безцѣльные хлопоты, грязь, ненавистная жизнь!... Ничего другого не останется! Она все унесетъ съ собою! Онъ долго и пламенно говорилъ и убѣждалъ, обращаясь къ великодушію противника, и сердце его такъ страдало, что онъ плакалъ слезами, не стыдясь присутствія врага. Напротивъ, онъ плакалъ, чтобы вызвать въ немъ состраданіе...

Но вдругъ онъ остановился и потрогалъ рукой лицо; на немъ текли по щекамъ дѣйствительныя слезы. Только Чехлова здѣсь не было и пламенной рѣчи онъ не слыхалъ, да и рѣчь эта глупая. Оглянувъ всю комнату (онъ не замѣтилъ, какъ разсвѣтало), онъ вдругъ съ бѣшенствомъ понялъ, что все это только фантазія. Въ дѣйствительности, Чехловъ сегодня пріѣдетъ и уйдетъ съ ней гулять, а завтра, быть можетъ, они уйдутъ.

И онъ опять забѣгалъ по комнатѣ, но теперь въ немъ уже не было слѣпой злобы. Въмѣсто нея, его сознаніе наполнено было обдуманною местию. Онъ уже не фантазировалъ, сочиняя пламенные рѣчи, а обдумывалъ, какъ ему поступить. Злоба подсказывала ему, а онъ повторялъ за ней и рѣшилъ. Онъ рѣшилъ увидать Чехлова и... что онъ сдѣлаетъ, онъ еще не зналъ. Ему было только ясно, что онъ долженъ увидать его, и не съ глазу на глазъ, а съ ней. Когда онъ пріѣдетъ, и они будутъ гулять, надо незамѣтно послѣдовать за ними, подслушать, своими глазами убѣдиться и вдругъ предстать передъ ними. А дальше что дѣлать, это все равно. Быть можетъ, онъ убьетъ его палкой, какъ злую собаку, можетъ быть, плюнетъ ему въ лицо или дастъ ему пощечину, собьетъ съ ногъ, наступитъ ногой на это ненавистное лицо и будетъ душить.

На мгновеніе опять имъ овладѣлъ припадокъ бѣшенства.

Солнце взошло, и лучи брызнули прямо ему въ лицо, но онъ съ бѣшенствомъ отвернулся отъ нихъ и бѣгалъ въ тѣневой сторонѣ комнаты. Потомъ припадокъ прошѣлъ, и онъ снова съ холодною злобой обдумывалъ, какъ онъ поступитъ. Злоба вызывала изъ глубины души всѣ самыя низкія чело-вѣческія силы—хитрость, притворство, обманъ, и съ ихъ помощью онъ обдумалъ. Онъ не выйдетъ изъ комнаты. При-

творится спящимъ. Будетъ звать она,—онъ не пойдетъ; не надо вызывать ея подозрѣнія. Придетъ горничная звать его къ чаю, онъ нарочно соннымъ голосомъ скажетъ, что онъ хочетъ спать. Въ этихъ видахъ, онъ подошелъ къ двери и заперъ ее на задвижку. Онъ выйдетъ отсюда только когда они отправятся гулять. Но они могутъ не пойти, а остаться въ комнатѣ. Тогда онъ подождетъ, потомъ неслышно выйдетъ черезъ корридоръ, прислушается и вдругъ отворить дверь. Тогда... быть можетъ, онъ схватитъ его за воротъ и выброситъ за окно, въ канаву, гдѣ крапива и кирпичи отъ прошлагодней стройки, выброситъ прямо этимъ подлымъ лицомъ на кирпичи!...

Снова порывъ бѣшенства затемнилъ его разсудокъ, и онъ забѣгалъ по комнатѣ. Такъ нѣсколько разъ чередовались слѣпое бѣшенство и злобное обдумываніе того, что онъ сдѣлаетъ. Онъ то бѣгалъ по комнатѣ, то садился къ столу.

Было уже позднее утро. Но онъ не замѣчалъ, какъ шло время.

Вдругъ, въ одну изъ тѣхъ минутъ, когда бѣшенство бушевало въ самой крови его, онъ услышалъ голосъ Чехлова, раздавшійся въ передней. Кровь остановилась въ его сердцѣ, онъ, казалось, пересталъ дышать и чувствовалъ только ужасъ. Дальше онъ слышалъ, какъ на вопросъ Чехлова, дома-ли Александра Яковлевна, горничная отвѣтила—дома, какъ онъ тяжело прошелъ по корридору въ залу, какъ оттуда слышались голоса. Онъ поднялся съ мѣста изъ-за стола и, дрожа, пошелъ къ двери. Но отъ всего его хитраго плана, повидимому, ничего не осталось. Онъ только успѣлъ осторожно отодвинуть задвижку своей двери... но затѣмъ дальше ему слѣдовало, какъ раньше онъ думалъ, немного подождать, тихо отворить дверь, неслышно пройти въ корридоръ, остановиться тамъ, прислушаться... потомъ вдругъ войти. Такъ онъ обдумалъ и такъ слѣдовало ему поступить, но отъ всего этого плана ничего не осталось, когда онъ невнятно услышалъ ея голосъ. Стоя по срединѣ комнаты, онъ посмотрѣлъ на свои руки, которыя дрожали, пощупалъ горящую голову—и ничего не хотѣлъ. Всѣ желанія, подсказанныя мстью, пропали. Передъ нимъ вдругъ всталъ образъ его Саши, ударилъ по его ослѣпленному разсудку и разсѣялъ весь его планъ. И все, что было въ немъ порядочнаго и чистаго,

поднялось, возмутилось и заговорило благородными словами: „Боже мой! Да неужели я буду шпионить за ней? Она уходит, но пусть хоть въ послѣдній разъ убѣдится, что я честный человѣкъ!“ Онъ шепталъ это и отвернулся отъ двери. Потомъ, лишенный всякой воли и обезсиленный, онъ подошелъ къ кушеткѣ, легъ внизъ лицомъ на нее и заплакалъ.

Между тѣмъ, въ залѣ въ это время происходила глухая сцена, въ которой два лица говорили не тѣмъ языкомъ, какимъ хотѣли.

Приходъ Чехлова въ такой ранній часъ для Александры Яковлевны былъ неожиданностью, тѣмъ болѣе ужасною, что ей было не до него. Когда она услышала его голосъ въ передней, сердце ея такъ сжалось, что нѣсколько минутъ она считала невозможнымъ выйти. Но это показалось ей малодушіемъ, которое надо было подавить. И она подавила и вышла въ залу, твердая, съ свѣтлымъ лицомъ.

Чехловъ стоялъ по срединѣ комнаты. Здороваясь, онъ избѣгалъ встрѣтиться съ ея глазами, но черезъ мгновеніе взгляды ихъ встрѣтились, и они оба почувствовали состояніе другъ друга. Она увидала, зачѣмъ онъ пришелъ, и въ ужасѣ спрашивала себя: чѣмъ она могла подать поводъ для такой любви? А онъ понялъ, что она увидала его любовь. Она наскоро рѣшила, какъ ей поступить, а онъ рѣшился — ни однимъ словомъ не намекнуть о своей страсти („пусть она думаетъ, что ошиблась!“), но за то все узнать, и непременно сейчасъ, о своей судьбѣ, иначе сердце его не выдержитъ испытанія. И, подавивъ страшнымъ усиліемъ свое волненіе, онъ сдѣлалъ лицо почти насмѣшливымъ.

— Неужели вы изъ города?— сказала Александра Яковлевна первое, что ей пришло въ голову.

— Нѣтъ, я переночевалъ въ деревнѣ у мужика... Вчера мнѣ не дали поговорить съ вами и я рѣшился дожидаться утра,—сказалъ Чехловъ насмѣшливо.

— Но теперъ-то уже намъ никто не помѣшаетъ. Въ чемъ дѣло?—спросила Александра Яковлевна и вся замерла отъ ожиданія.

— Да дѣла-то, кажется, никакого... Я пришелъ проститься съ вами, потому что уѣзжаю надолго... Впрочемъ, мнѣ хотѣлось узнать, какъ вы обо мнѣ думаете. Вѣдь я очень

самолюбивъ, когда дѣло идетъ о вашемъ мнѣніи. Но, кажется, я и сегодня попалъ не во-время?

Онъ опять насмѣшливо улыбнулся, хотя лицо его было страшно блѣдно.

— Мы какъ будто съ вами сговорились... Вѣдь и я также уѣзжаю, и также хотѣла проститься съ вами,—отвѣтила Александра Яковлевна.

Мгновенно вся кровь бросилась ему въ лицо, а глаза запылали страстною надеждой. Онъ пылко смотрѣлъ на Александру Яковлевну.

— Куда уѣзжаете?—сказалъ онъ слабымъ голосомъ и чувствовалъ, что сейчасъ все будетъ кончено.

Волнуясь и путаясь, съ величайшею поспѣшностью Александра Яковлевна рассказала свое рѣшеніе. Она уѣзжаетъ оканчивать курсъ. Въ эти годы она забыла обо всемъ на свѣтъ, убитая горемъ, но теперь то же горе подсказало ей, что надо дѣлать. Она кончитъ курсъ на врача. Если ей нельзя будетъ сдѣлать этого въ Россіи, она немедленно уѣдетъ за границу. Дальше что будетъ, она не знаетъ. Но, по всей вѣроятности, она поселится въ деревнѣ и будетъ лѣчить дѣтей. Во имя умершаго своего мальчика она избереетъ своею спеціальностью дѣтскія болѣзни.

— Не подумайте,—кончила она взволнованно,—что я смотрю на все это, какъ на прекрасную мечту! Это простое дѣло, и я его выполню. Въ эти годы я убѣдилась, какъ страшно оставаться безъ цѣли, хотя бы и маленькой.

По мѣрѣ того, какъ Чехловъ слушалъ эти слова, сердце его умирало отъ холода. Почувствовавъ внезапную слабость, онъ опустился на первый попавшійся стулъ и съ минуту сидѣлъ съ закрытыми глазами. Александра Яковлевна еще разъ спросила себя при видѣ Чехлова: „Боже мой! Неужели я сама могла подать поводъ для такого страданія?“

Но лишь только Чехловъ замѣтилъ жалость на ея лицѣ, какъ еще разъ овладѣлъ собою. Еще разъ, при помощи закричавшаго самолюбія, онъ побѣдилъ волненіе и страсть и вызвалъ холодную насмѣшку на свое лицо.

— А я-то думалъ, что вы дѣйствительно пойдете по моему пути! А вы только идете „окончить курсъ“!—замѣтилъ онъ ядовито.

— Какой же вашъ путь?

— Мой путь тотъ, гдѣ правда и любовь!

Александра Яковлевна отрицательно покачала головой.

— Вы вдвойнѣ, Денисъ Петровичъ, заблуждаетесь,—сказала она торопливо.—Относительно меня и относительно вашего пути... Отвѣтъ на первое вы уже знаете, а второе...

Александра Яковлевна остановилась. Она отъ всей души хотѣла дружески проститься съ человѣкомъ, которому за многое была глубоко благодарна, и ни одного рѣзкаго слова ей не хотѣлось бы въ эту минуту сказать ему. Но онъ холодно переспросилъ:

— Какое же второе заблужденіе?

— Вамъ очень многое дано, но только не любовь... именно любви-то къ людямъ и нѣтъ у васъ!—выговорила она съ усиліемъ.

Въ другое время эти слова поразила бы его, какъ внезапное оскорбленіе, но теперь ему было не до того, онъ выслушалъ и ничего не сказалъ. Онъ только наблюдалъ, что дѣлается у него внутри и какъ смертельно холодѣетъ его сердце.

Раскаиваясь за свои слова, исполненные состраданія, Александра Яковлевна вскричала:

— Простите мнѣ, Денисъ Петровичъ! Я благодарна за все, за все!... Сами вы и не подозреваете, какъ много вы для меня сдѣлали... Но только не любовью... Я за другое благодарна вамъ.

Чехловъ чувствовалъ, что еще мгновеніе— и все его самолюбіе, вся гордость и насмѣшливость пропадутъ, и онъ потеряетъ послѣднія силы. Онъ быстро всталъ и, протягивая руку, холодно сказалъ:

— Ну, довольно, Александра Яковлевна! Пора! Прощайте!

И, почти не пожавъ ея руки, онъ быстро вышелъ изъ дому.

Александра Яковлевна долго слѣдила за нимъ глазами, когда онъ шелъ по дорогѣ къ вокзалу, и ждала, когда онъ оглянется, чтобы еще разъ проститься съ нимъ, но онъ ни разу не оглянулся. Напротивъ, чѣмъ дальше онъ шелъ, тѣмъ, казалось, быстрее были его шаги. Наконецъ, опущенная голова его скрылась за поворотомъ.

Тогда Александра Яковлевна отошла отъ окна, постояла нѣсколько мгновеній по срединѣ комнаты, съ печальнымъ отъ состраданія лицомъ, и вдругъ рѣшилась разомъ ужъ все кончить.

Хорди́нъ лежалъ ничкомъ на кушеткѣ и не могъ поднять головы, страдая отъ какого-то душевнаго безразличія; онъ лежалъ безъ цѣли, безъ желанія, безъ мыслей. Но вдругъ онъ услышалъ, какъ кто-то отворилъ его дверь, быстро пошелъ къ нему и нѣжно положилъ руку на его голову. Онъ вскочилъ съ мѣста и очутился передъ женой. Онъ смотрѣлъ на нее и ничего не понималъ. Она первая заговорила:

— Я обидѣла тебя вчера... прости!

Онъ продолжалъ смотрѣть и не понималъ.

— Можетъ быть, и ты виноватъ, но зачѣмъ теперь это разбирать? Прости!... Намъ нечего больше дѣлать и не о чемъ спорить!—продолжала взволнованно Александра Яковлева.

Онъ молча слушалъ и опять не понималъ, къ чему это.

— Я хочу уѣхать на-дняхъ. Не отъ тебя, но чтобы кончить давнишнее мое дѣло. Для меня это неизбежно, а, можетъ быть, и для тебя будетъ лучше,—продолжала Александра Яковлева и поспѣшно, но съ мельчайшими подробностями стала рассказывать о своихъ намѣреніяхъ и рѣшеніи. При этомъ она тихо усадила мужа на кушетку, сѣла сама съ нимъ рядомъ и гладила своею рукой его руку. Она долго говорила и кончила только тогда, когда упомянула имя Андруши.

Хорди́нъ все молчалъ, смотрѣлъ въ полъ и болѣзненно улыбался, какъ будто говоря: „Къ чему это? Все это я уже знаю!“ Наконецъ, онъ спросилъ съ больною улыбкой:

— Ты съ нимъ уѣжаешь?

Александра Яковлева вспыхнула, но безъ злобы, и отрицательно покачала головой.

Онъ недовѣрчиво посмотрѣлъ на нее и повторилъ свой вопросъ:

— Развѣ ты не съ нимъ уѣжаешь?

Она могла бы притвориться не понимающей вопроса, но она просто сказала:

— Ты не долженъ такъ думать! Чѣмъ я подала тебѣ поводъ заподозрить меня во лжи?

Тогда онъ широко раскрытыми глазами посмотрѣлъ на нее съ минуту, потомъ покраснѣлъ до корней волосъ и закричалъ:

— Такъ это неправда?!

И, еще разъ взглянувъ въ ея открытое, честное лицо, онъ

съ восторгомъ бросился цѣловать ей руки, лицо, голову. Она уѣзжаетъ—это правда, но только не съ тѣмъ... Мысль о Чехловѣ такъ была ненавистна и мучительна для него, что теперь онъ отъ счастья не зналъ, что дѣлать и говорить.

— Поѣзжай, поѣзжай!... Ради Бога. Вѣдь я самъ знаю, что твое мѣсто не здѣсь... Тебѣ было скучно, тяжело, отвратительно. Развѣ это я самъ не понималъ?... Но вѣдь я не могъ же за тебя рѣшить... Уѣзжай, ради Бога. Работай. Это бы давно нужно сдѣлать... Отчего ты раньше, милая, не сказала? Неужели ты думала, что я не соглашусь? Неужели уже такъ низко упалъ я въ твоихъ глазахъ, что ты не вѣрила въ простую порядочность мою? Ради Бога, моя милая, ступай, работай, я только тогда счастливъ буду, когда увижу тебя счастливою.

Онъ обезумѣлъ отъ радости и говорилъ безсвязно.

Черезъ часъ въ домѣ все успокоилось.

А черезъ два дня Александра Яковлевна уже ѣхала на станцію съ вещами. Ее провожали мужъ и Буреевъ. Настроеніе всѣхъ троихъ было счастливое. Хорди́нъ сіялъ тѣмъ же восторгомъ, какъ и въ тотъ часъ, когда она сказала ему, что ѣдетъ не съ тѣмъ. Онъ съ любовью смотрѣлъ на ея лицо и былъ вполне доволенъ ея отъѣздомъ.

Только когда они въ послѣдній разъ простились, и поѣздъ ушелъ, и онъ остался одинъ, внезапная грусть овладѣла имъ. Буреевъ съ полдороги повернулъ на свою усадьбу, и онъ совсѣмъ одиноко возвращался домой. Онъ вѣрилъ каждому слову жены; онъ вѣрилъ, когда она говорила, что будетъ пріѣзжать, но какъ же онъ станетъ проводить цѣлые мѣсяцы? Развѣ это не тяжело? Онъ теперь вѣчно будетъ одинъ.

И онъ грустно смотрѣлъ на желтыя поля. Кругомъ, во всей природѣ, казалось, разлилась такая скука, что не хотѣлось смотрѣть ни на что. Но вдругъ, неизвѣстно почему, ему вспомнилась хорошенькая бабенка, которая то и дѣло въ послѣднее время попадалась ему въ глаза. Она была солдатка, жила въ деревнѣ, часто нанималась въ усадьбу на работы и—ахъ, бестія, хороша!—подумалъ онъ, улыбнулся и грусть его немного успокоилась.

XI.

Когда Чехловъ шелъ черезъ поле къ вокзалу, насмѣшка все еще рисовалась на его лицѣ. Это была та насмѣшка, которая появляется у человѣка въ то время, когда онъ внезапно былъ выруганъ или споткнулся, упалъ на землю, больно ушибся и, торопливо поднявшись, оглянулъ прохожихъ, не смѣется-ли кто?... За такую насмѣшкой всегда скрывается мука и ярость. Эта насмѣшка—плодъ того лицемѣрія, съ которымъ человѣкъ не можетъ разстаться даже передъ самимъ собой.

Чехловъ лицемѣрилъ.

Идя черезъ поле, онъ низко опустилъ голову, но презрительно улыбался. Онъ смѣялся надъ тѣмъ, что она поставлена имъ въ такое глупое положеніе... Она, вѣроятно, уже приготовилась слушать его признаніе, а, вмѣсто этого, услышала отъ него лишь нѣсколько ядовитыхъ колкостей! Она ждала, быть можетъ, что онъ въ цѣлой рѣчи выскажетъ ей свою любовь, а онъ только смѣялся, глядя на нее! Она, навѣрное, ждала слезъ, волненія, мольбы, бурнаго отчаянія, а онъ тихо и холодно ушелъ!... Пусть теперь она ждетъ его! Пусть глупцы плачутъ передъ женщиной, для него это только одинъ изъ тѣхъ идоловъ, которыхъ онъ сбрасываетъ съ ихъ пьедесталовъ!

Опустивъ голову, Чехловъ быстро зашагалъ по дорогѣ, продолжая презрительно улыбаться.

Онъ всегда презиралъ женщину, а теперь въ особенности. Было время, когда она была только самка, какъ у животныхъ. Потомъ раба. Потомъ божество. Теперь источникъ наслажденій. Сообразно съ этимъ мужчина игралъ поочередно роли животного, разбойника, язычника и развратника. Какія презрѣнныя роли! Но вѣдь иначе и быть не можетъ. Кто видитъ только наслажденія, тотъ кончитъ развратомъ; кто увидитъ въ женщинѣ нѣчто священное, тотъ забудетъ о другихъ богахъ; кто подчиняетъ себѣ ее физическою силой, тотъ рабовладѣлецъ. Между мужчиной и женщиной естественны только животныя отношенія... но какъ это гнусно! Разумъ протестуетъ противъ всѣхъ животныхъ дѣяній и надо слушаться его протестовъ. Наслажденіе—хищный звѣрь,

котораго надо убить, и худшее рабство, изъ котораго надо вырваться...

Еще ниже опустивъ голову, Чехловъ ускорилъ шагъ и мысленно уже клеймилъ злыми эпитетами женщину, которая сдѣлала его такимъ несчастнымъ.

Онъ подыскивалъ мысленно пороки ея и придумывалъ позорнѣйшія названія, чтобы ими забросать поработившій его образъ. Она кокетка. Каждое слово ея было рассчитано, чтобы произвести извѣстное впечатлѣніе; ея улыбки, ея грусть, ея слезы, ея смѣхъ.—все это только средства нравиться. Слова и мысли женщины никогда не выражаютъ ея убѣжденій; она смотритъ на нихъ такъ же, какъ на прошивки и бантики, украшающіе ея наружность... Слова и мысли—это только ея средства нравиться. Она эгоистка. Она можетъ понять только боли своей семьи, своихъ дѣтей, до остальныхъ ей нѣтъ дѣла. Она всегда продажна. Она любитъ человѣка только за то, что тотъ даетъ ей средства къ праздной жизни, удовлетворяетъ ея грубые вкусы, потакаетъ ея низкимъ привычкамъ...

Онъ дошелъ до вокзала.

Пассажирскаго поѣзда въ эти часы не было. Тогда онъ потребовалъ у начальника станціи посадить его на товарный поѣздъ, который долженъ былъ придти черезъ часъ. Начальникъ станціи хладнокровно отказалъ бы въ такомъ несообразномъ требованіи въ другое время и другому человѣку, но требованіе Чехлова было такъ повелительно, а на лицѣ его рисовалась такая ярость, что начальникъ неизвѣстно чего струсилъ.

Получивъ позволеніе ѣхать съ товарнымъ поѣздомъ, Чехловъ сталъ быстро ходить по единственной залѣ станціи и мысленно продолжалъ ругать, ненавидѣть и позорить любимую женщину. Онъ не обращалъ вниманія, гдѣ онъ и кто около него. Но когда замѣтилъ, что на него смотритъ сторожъ, онъ круто повернулъ къ выходной двери и прошелъ въ садикъ, разбитый возлѣ вокзала. Тамъ онъ сѣлъ и продолжалъ подбирать позорнѣйшія названія для той, которая живетъ тамъ, за холмомъ, гдѣ лѣсъ надъ оврагомъ...

Взглядъ его обратился туда, гдѣ была усадьба. Усадьбы не было видно, отъ нея виднѣлись только двѣ верхушки березъ, подъ которыми они такъ часто сидѣли. Онъ сталъ

смотреть на эти верхушки, какъ будто въ нихъ что-то сирывалось, и вдругъ почувствовалъ, что сердце его наполняется какою-то горячею волной. Ярость его мгновенно пропала. Въ головѣ его еще звучало послѣднее бранное слово, но изъ глубины души уже поднималась и росла другая мысль, мгновенно затопившая всю его злобу. Но вѣдь это же неправда!—кричала новая мысль.—Эти добрые глаза не могутъ быть лживыми! Эта чистая улыбка не лицемерна! Это блѣдное лицо съ чертами страданія можетъ быть только у глубокаго человѣка! Этотъ прямой, свѣтлый лобъ можетъ выражать только ясность мысли и чистоту помысловъ! Она ему улыбалась, когда другіе обращали къ нему свои злые лица; она дружески пожимала ему руки въ то время, какъ другіе гнали его отъ себя. Она до послѣдней минуты оставалась его единственнымъ другомъ посреди враговъ его, и онъ за это теперь ее позорить! И въ послѣднюю минуту онъ не захотѣлъ даже проститься съ ней!

Ему было такъ невыносимо стыдно, что онъ уже порывался броситься снова въ усадьбу и въ послѣдній разъ проститься съ ней. Вѣдь онъ больше никогда не увидитъ ее. Ея ужъ нѣтъ, она умерла для него. Но въ эту минуту подошелъ товарный поѣздъ, свистнулъ, и Чехловъ машинально зашагалъ къ вагонамъ, а черезъ небольшой промежутокъ времени онъ уже уѣхалъ въ городъ, невольно увлекаемый отъ тѣхъ мѣстъ, куда направлены были всѣ его мысли. Въ головѣ и сердцѣ его насталъ такой хаосъ, что онъ потерялъ власть надъ сердцемъ. За минуту передъ тѣмъ онъ пролиналъ любимую женщину; теперь ея образъ вызвалъ въ немъ восторгъ и отчаяніе; онъ желалъ еще разъ увидеть ее и проститься, но съ каждою минутой уѣзжалъ все дальше и дальше. Онъ уѣзжалъ неизвѣстно куда, не зная, что долженъ дѣлать сейчасъ, и не имѣлъ ни одной опредѣленной мысли. Весь его разумъ сдѣлался игрушкой какой-то левдомой силы, которая неизвѣстно куда увлекала его. Онъ стоялъ на площадкѣ вагона, подставляя лицо вѣтру, и уже ни о чемъ не думалъ; изъ хаоса его души нельзя было извлечь ни одной опредѣленной мысли, ни одного цѣльнаго желанія.

Но мало-по-малу въ затуманенной, полной безобразными обрывками головѣ его стало выдѣляться одно желаніе; оно

сдѣлалось настоятельною, неизбѣжною цѣлью, ради которой онъ только и ѣдетъ на этомъ поѣздѣ. Онъ желалъ увидѣть карточку Александры Яковлевны, взять ее въ руки и тщательно разсмотрѣть. Тогда, какъ ему казалось, онъ все пойметъ; пойметъ, что ему думать и что дѣлать. Взять въ руки карточку и взглянуть на нее — это было нужно и неизбежно.

До города осталось полчаса, но онъ съ нетерпѣніемъ провелъ это время, то сядя на лавочку, то вставая. Однако, первое нетерпѣніе не мѣшало ему тутъ же обдумать, что онъ долженъ сдѣлать тотчасъ по пріѣздѣ въ городъ; напротивъ, съ помощью возбужденія, онъ скорѣе все рѣшилъ. Онъ самъ не зайдетъ на квартиру къ Мизинцеву, а придетъ въ гостиницу, займетъ номеръ и оттуда пошлетъ слугу за своими вещами. Видѣть ему никого не нужно. Онъ долженъ быть одинъ. Да отъ этого вѣдь никто и не грустить, — кромѣ враждебныхъ или равнодушныхъ людей, здѣсь никого у него не было. Только она одна была его другомъ.

Онъ такъ и сдѣлалъ. Войдя въ первую попавшуюся гостиницу, онъ занялъ номеръ, затѣмъ написалъ записку, адресъ и послѣ устнаго объясненія отрядилъ слугу за своими вещами. При этомъ тщательно разъяснилъ, какія книги надо было взять, потому что карточка была положена именно въ одной изъ этихъ книжекъ. Карточку эту онъ выпросилъ у Александры Яковлевны съ мѣсяцъ тому назадъ, между шутками, и не придавалъ ей тогда значенія, но теперь онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ, когда слуга принесетъ ее.

Чтобы убить время, онъ заказалъ обѣдъ, но когда ему принесли, онъ почти не притронулся ни къ одному кушанью. Онъ ждалъ карточки. Наконецъ, слуга пріѣхалъ съ вещами, втащилъ ихъ въ номеръ, а книги, особо перевязанныя веревочкой, подалъ прямо ему въ руки. Кромѣ того, подалъ еще нѣсколько писемъ на его имя, накопившихся за послѣдніе дни. Чехловъ наскоро расплатился съ слугой, бросилъ письма на столъ и принялся перелистывать книги.

Карточка тотчасъ же нашлась. Онъ схватилъ ее въ руки и вперился въ нее взоромъ. На него смотрѣли оттуда добрые, вдумчивые и тоскующіе глаза, а лицо улыбалось ему.

дружески. У него оборвалось сердце отъ этого взгляда и отъ этой улыбки. Такъ вотъ кого онъ потерялъ! И, внѣ себя отъ отчаянія, онъ поцѣловалъ карточку, быстро завернулъ ее въ попавшуюся бумагу и уложилъ въ карманъ.

Для него теперь все стало ясно: онъ не можетъ навсегда растаться съ ней! Пусть она не будетъ его женой, пусть нѣтъ будетъ раздѣлять другой человѣкъ, сотни другихъ людей и время, и пространство, но онъ долженъ жить ею и для нея. Хотя бы только дружбой ея, но онъ долженъ пользоваться. Она побѣдила. Всѣ его помыслы ей принадлежать. У него больше нѣтъ ни гордости, ни самолюбія, ни идеи, ни ученія для нея, только она, любимая, существуетъ. Нѣтъ ничего, ни гордости, ни сознанія превосходства, ни чувства удовольствія, ни упоенія идеями, если ея не будетъ подлѣ него. Все важно только потому, что она существуетъ. Она побѣдила. Онъ не можетъ ее ни забыть, ни возненавидѣть.

Онъ ходилъ большими шагами по комнатамъ и въ сильныхъ выраженіяхъ унижалъ себя. Подобно тому, какъ нѣсколько часовъ назадъ онъ подыскивалъ бранныя и презрительныя названія любимой женщины, такъ теперь съ тою же силой онъ клеймилъ себя. Передъ нимъ въ живомъ образѣ стояла она и ярко обнаруживала свою сердечность, простоту, добрые глаза, тоскливое лицо, а онъ передъ ней казался злымъ, суетнымъ, тщеславнымъ, лицемернымъ. Онъ припомнилъ всѣ свои вины и позорилъ себя всѣми способами, и въ этомъ униженіи находилъ ужасное счастье.

И самое огромное униженіе—это невозможность забыть ее, выбросить ее изъ памяти и успокоиться. Онъ не могъ, это было ясно, не думать о ней и не могъ безъ страха представить свою жизнь безъ нея. Но это ужасное униженіе было, въ то же время, и самымъ счастливымъ. Онъ съ какимъ-то восторгомъ смотрѣлъ на свое рѣшеніе—вотъ бы то ни стало жить ею и подлѣ нея и упиваться мыслью, что самъ онъ исчезъ въ другомъ человѣкѣ, жизнь котораго отнынѣ будетъ его цѣлью, его душой, его бытіемъ.

Шагая по комнатамъ до самаго вечера, онъ не чувствовалъ ни усталости, ни душевной муки. Принятое имъ рѣшеніе ни въ какомъ случаѣ не разставаться съ любимой женщиной дало ему не только счастье, но и нечувствительность ко все-

му другому. Онъ забылъ, гдѣ онъ и что съ нимъ происходить. Только твердо помнилъ, что надо дѣлать впереди.

Во-первыхъ, онъ больше не станетъ добиваться невозможнаго,—придетъ время, она оцѣнитъ его. Во-вторыхъ, онъ ни однимъ словомъ не скажетъ ей ничего о своемъ чувствѣ, которое пусть молчитъ, пока не придетъ время. Онъ только поѣдетъ туда, гдѣ будетъ она, и возстановитъ ея дружбу.

Съ этою мыслью онъ сѣлъ писать ей письмо, но помня его воли письмо вышло слишкомъ длиннымъ и выраженія его слишкомъ пламенными. Тогда онъ разорвалъ его и написалъ коротенькую, сухую записку, въ которой просилъ Александру Яковлевну дать ему свой адресъ.

Когда эта записка была написана, онъ вдругъ увидалъ, что ужъ поздно. И тутъ только почувствовалъ, какъ онъ усталъ и разбитъ. Онъ въ изнеможеніи легъ на кровать. Но эта усталость и это изнеможеніе вливали въ его сердце невыразимое счастье. Онъ чувствовалъ общую слабость—душевную и тѣлесную, но, въ то же время, упивался этою слабостью, прекратившею болѣзненное напряженіе его воли. Въ такомъ состояніи онъ заснулъ.

Спалъ онъ одѣтый. Проснулся очень рано, отъ какой-то щемящей боли во всемъ тѣлѣ. Вскочивъ съ постели, онъ тотчасъ же припомнилъ все, о чемъ передумалъ вчера, и почувствовалъ то же душевное изнеможеніе, но уже безъ восторга и счастья. Утро какъ будто разсѣяло туманъ, онъ ясно сознавалъ, что вчерашнее его рѣшеніе—иллюзія, которую нельзя жить. Для него стало также ясно, что онъ разбитъ и ему надо оправиться отъ погрома.

Поборовъ усиленіемъ воли малодушную слабость, онъ бросился къ умывальнику и сталъ лить на голову холодную воду. Потомъ позвонилъ слугу и велѣлъ дать чаю. Это освѣжило мрачныя его мысли. Послѣ того слуга принесъ приборъ, онъ, сидя за чаемъ, снова вынулъ карточку, пристально взглянулъ въ нее и мало-по-малу въ его головѣ прошелъ весь тотъ рядъ мыслей, который вчера взволновалъ его. И немного спустя онъ уже опять вѣрилъ, что не все для него пропало, что онъ тотчасъ начнетъ переписку съ Александрой Яковлевной, возстановитъ ея дружбу и поѣдетъ за ней всюду, гдѣ будетъ она. Развѣ онъ чѣмъ связанъ? Онъ можетъ жить тамъ, гдѣ хочетъ. Ни отъ кого и ни отъ чего онъ не

зависитъ, почему же ему не поѣхать туда, куда она поѣдетъ? Онъ пытливно вглядывался въ черты лица на карточкѣ и хотѣлъ, какъ вчера, прильнуть къ нимъ губами, но не сдѣлавъ этого, удержанный какою-то стыдливостью при утреннихъ лучахъ солнца...

Снова страстная грусть и счастливая слабость овладѣли имъ. Онъ уже опять вѣрилъ, что принятое имъ рѣшеніе — не иллюзія, а единственное и неизбежное дѣло. Только теперь, утромъ, соображенія его были болѣе практичны. Онъ обдумывалъ ближайшее дѣло, какое ему предстоитъ. Прежде всего, онъ вспомнилъ о написанномъ письмѣ, запечаталъ записку въ конвертъ, надписалъ адресъ и для выигрыша времени рѣшилъ тотчасъ же отнести его прямо на поѣздъ. Но въ это время онъ замѣтилъ нѣсколько писемъ, принесенныхъ вчера отъ Мизинцева и брошенныхъ имъ на столъ. Надо было теперь пересмотрѣть ихъ, и онъ сталъ поочередно раскрывать конверты.

Первое письмо, раскрытое имъ, было отъ знакомаго единомышленника, на двухъ мелко исписанныхъ листахъ. Все письмо состояло изъ теоретическихъ споровъ объ ученіи, которое еще нѣсколько дней назадъ онъ считалъ самымъ важнымъ и единственнымъ дѣломъ своей жизни. Но въ эту минуту, читая знакомые споры о знакомыхъ идеяхъ, онъ съ трудомъ слѣдилъ за мыслью автора; эта мысль казалась ему такою чужой и неважной, какъ будто прошло уже много лѣтъ, въ теченіе которыхъ онъ пережилъ другія мысли. Нетерпѣливо пропуская строчки, онъ спѣшилъ поскорѣе дочитать скучные споры до конца. Онъ сознавалъ, что не долженъ съ такимъ равнодушіемъ относиться къ мыслямъ, которыя были его собственныя мысли, но, въ то же время, не въ силахъ былъ подавить это нетерпѣливое равнодушіе и осторожно свернулъ письмо. Не ученіе его теперь занимало и не до теоріи ему было.

Чувствуя, что въ душѣ его начинается какой-то вопіющій разладъ и борьба, слѣдующія письма онъ уже разрывалъ раздраженно, наскоро прочитывалъ ихъ и бросалъ. То же самое онъ хотѣлъ сдѣлать и съ послѣднимъ заказнымъ письмомъ, разорвалъ его конвертъ и уже хотѣлъ отбросить отъ себя, чтобы поскорѣе отправиться на поѣздъ, но внезапно глаза его остановились на немъ.

Оно было написано на бланкѣ знакомаго банка, гдѣ лежали на текущемъ счетѣ всѣ его деньги, и состояло всего изъ нѣсколькихъ строчекъ; перечитавъ эти строчки, онъ сначала ничего не понималъ. Скверный официально-конторскій языкъ его былъ такъ теменъ, что свѣжему человѣку дѣйствительно трудно было понять его въ одно мгновеніе, а Чехлову, душа котораго цѣликомъ занята была другимъ образомъ, въ особенности. Онъ еще разъ перечиталъ единственный періодъ письма и опять ничего не понималъ. Но на этотъ разъ не понималъ отъ изумленія, равносильнаго испугу... Какое-то управленіе извѣщало («имѣю честь извѣстить») господина Дениса Петровича Чехлова, что, въ виду приостановки дѣйствій банка г. Н., объявившагося несостоятельнымъ и назначеніи судебного разслѣдованія, начатаго вслѣдствіе незаконности его операцій, выдача вкладчикамъ и кредиторамъ причитающихся имъ суммъ прекращена впредь до выясненія актива и пассива банка... Вслѣдъ за этими скверными строчками была какая-то подпись, которую, по обыкновенію, нельзя было разобрать. Больше ничего.

Чехловъ еще разъ сначала прочиталъ, причемъ убѣдился, что это вовсе не бланкъ его банка, а какой-то другой. Потомъ его поразила мысль, что ему не прислали ожидаемыхъ денегъ. Недѣлю тому назадъ онъ послалъ требованіе въ банкъ о присылкѣ ему небольшой суммы денегъ, и вотъ, вмѣстѣ этихъ денегъ, пустое письмо съ какимъ-то сквернымъ содержаниемъ. Не въ состояніи будучи еще понять весь размѣръ содержанія письма, онъ только пораженъ былъ фактомъ неимѣнія денегъ, которыя были крайне необходимы для него сейчасъ. У него нечѣмъ было расплатиться за номеръ и обѣды, между тѣмъ, ему надо ѣхать. Къ кому обратиться? Здѣсь у него одни только недоброжелатели, которыхъ онъ самъ презираетъ. Всякій изъ нихъ только обрадуется его глупому положенію и скажетъ: „Да вамъ зачѣмъ деньги-то? Вѣдь вы считаете ихъ развратомъ!“ Если же онъ скажетъ, что ему надо ѣхать, то ему возразятъ насмѣшливо: „Да вамъ зачѣмъ ѣхать-то? Вѣдь вы предпочитаете ходить пѣшкомъ!“

Но эти мысли смутно пронеслись и не остановили его вниманія. Вниманіе его приковано было къ поразительному факту: онъ не можетъ ни выбраться изъ гостинницы, ни уѣхать изъ города, потому что нѣтъ средствъ. Ни пѣшкомъ, ни на

лошади, ни въ вагонѣ онъ не можетъ уйти отсюда, потому что нѣтъ нѣсколькихъ рублей... Онъ сталъ быстро ходить по номеру и ломать голову, какъ быть, къ кому обратиться. Положеніе смѣшное, но отвратительное!

Вдругъ на память пришелъ къ нему Буреевъ. Почему Буреевъ—неизвѣстно. Онъ еще вчера презрительно смотрѣлъ на Буреева, какъ на всѣхъ. Но сейчасъ одинъ только Буреевъ сосредоточилъ на себѣ его вниманіе.

Но онъ долго колебался, прежде нежели отправиться съ просьбой къ Бурееву. Самолюбіе его вдругъ заняло при мысли, что онъ явится униженнымъ просителемъ передъ этимъ насмѣшникомъ. Нѣсколько времени онъ нерѣшительно стоялъ у окна. Потомъ онъ взялъ опять скверное письмо въ руки и еще разъ внимательно перечиталъ его. И тутъ только понялъ весь огромный смыслъ его. Оно, наконецъ, объяснило ему, что, быть можетъ, всѣ средства его пропали вмѣстѣ съ банкомъ, что онъ теперь голый бѣднякъ.

Онъ остолбенѣлъ отъ такого открытія и съ искаженною улыбкой разсматривалъ письмо.

Но это же открытіе заставляло его рѣшиться на что-нибудь. Онъ рѣшился идти къ Бурееву. Въ себя отъ возбужденія, онъ бросился изъ гостиницы, взялъ извозчика и поѣхалъ искать по городу Буреева. Последняго могло въ городѣ совсѣмъ не оказаться, но онъ тутъ-же, сидя на извозчикѣ, рѣшилъ, что поѣдетъ къ нему въ усадьбу. Но у него могло не хватить нѣсколькихъ копѣекъ на билетъ до N—ской станціи. Онъ тутъ же, на извозничьей пролеткѣ, пересчиталъ свои деньги. Оказалось, на билетъ хватить.

Онъ подѣхалъ къ крыльцу дома, гдѣ всегда останавливался Буреевъ. Черезъ минуту послѣ его звонка ему сказали, что Буреева нѣтъ дома. „Но онъ въ городѣ?“—спросилъ Чехловъ. Оказалось, въ городѣ, но гдѣ,—неизвѣстно, и когда придетъ—тоже неизвѣстно. „Но хоть къ вечеру онъ придетъ?“—спросилъ взволнованный Чехловъ. Сказали, что, быть можетъ, придетъ, но можетъ и до утра не придти. „А завтра утромъ онъ во всякомъ случаѣ будетъ здѣсь?“—спросилъ Чехловъ, выходя изъ себя отъ возбужденія.

— Да кто его знаетъ! Надо быть, утромъ застанете. Но бываетъ—онъ прямо возьметъ, да уѣдетъ въ деревню... всяко бываетъ!—лѣниво говорила кухарка и лѣниво же погля-

— Да вы чѣмъ будете?

— Свой!—въ бѣшенствѣ сказалъ Чехловъ, отпустилъ и возчика и пошелъ, самъ не зная куда.

На самомъ дѣлѣ онъ былъ далеко не свой. Онъ такъ малъ въ эту минуту принадлежалъ себѣ, что даже не сознавалъ, что съ нимъ творится. Онъ сознавалъ только идиотское положеніе, но гдѣ его начало, откуда оно, это идиотское положеніе, идти и чѣмъ кончится, онъ не понималъ. Да и въ когда было добираться. Онъ быстро шелъ по улицѣ и не зналъ, зачѣмъ именно по этой улицѣ идетъ и куда спѣшитъ. Въ головѣ его вертѣлась сутолока мыслей, сердце обливало злобой и раздраженіемъ. Онъ смѣло шагалъ неизвѣстно куда.

Вдругъ на одномъ поворотѣ онъ почти носъ къ носу столкнулся съ Буреевымъ; онъ сначала остоленѣлъ, но вслѣдъ за тѣмъ порывисто пожалъ ему руку. Еще черезъ мгновенье онъ уже устыдился этого радостнаго порыва, какъ выраженія эгоизма, и, насколько могъ, спокойно обратился къ Бурею съ словами:

— А я у васъ былъ сейчасъ.

Буреевъ приподнялъ брови отъ удивленія.

Но Чехловъ, не останавливаясь, сквозь зубы разсказалъ зачѣмъ онъ приходилъ. Онъ ничего не сказалъ ни о письмѣ ни о скверномъ положеніи, въ которомъ очутился внезапно, а прямо обратился съ просьбой денегъ, крайне ему необходимыхъ въ эту минуту.

Буреевъ пересталъ улыбаться и заволновался.

— Вотъ такъ штука!... А у меня, какъ на зло, ни копѣйки!—сказалъ онъ торопливо.

Потомъ еще пуще заволновался, метнулся рукой въ карманъ, но тотчасъ же выдернулъ ее оттуда.

Чехловъ угрюмо смотрѣлъ на него.

Подъ этимъ подозрительнымъ взглядомъ добродушный Буреевъ окончательно потерялся.

— Да вамъ скоро нужно?

— Къ поѣзду,—глухо выговорилъ Чехловъ и смотрѣлъ на лицо Буреева.

Буреевъ вытаращилъ глаза, очевидно, ломая голову надъ

спросомъ, что тутъ дѣлать. Но черезъ мгновеніе онъ вдругъ засмѣялся весело, свистнулъ и, схвативъ Чехлова за руку, потащилъ его назадъ.

— Идемъ!... Надо что-нибудь дѣлать... Мы вотъ что сдѣлаемъ: вы идите ко мнѣ и посидите малость, а я толкнуся къ одному тутъ человѣку... бо-ольшая скотина! ну, да чортъ съ нимъ, надо повлдониться!... Идите и успокойтесь... живо все устроимъ!

Буреевъ выговорилъ это торопливо, несвязно и пустился почти бѣгомъ по другой улицѣ.

Чехловъ машинально шелъ назадъ. Онъ отыскалъ тотъ домъ, въ которомъ за нѣсколько времени назадъ стучался, вошелъ въ квартиру, сѣлъ и сталъ ждать. Раздраженіе и испугъ его на время прошли, но за то сердце его сжалось отъ какой-то новой тоски. И не настоящая тоска это была, а какой-то унижительный срамъ. Онъ ярко представилъ себѣ изволнованное, горячее лицо Буреева, внезапно принявшаго участіе въ чужомъ человѣкѣ, и почувствовалъ себя настолько униженнымъ, что гордая голова негольно опустилась, пока онъ дожидался прихода хозяина.

Немного погодя послѣдній съ шумомъ ворвался въ комнату.

— Далъ-таки подлецъ!—съ радостью крикнулъ онъ и передалъ Чехлову пачку денегъ.

Смѣющееся лицо его было красно,—видимо, онъ торопился и бѣжалъ.

Чехловъ вскочилъ съ мѣста и стремительно пожалъ ему руку. Но, взволнованный, онъ не нашелъ ни одного слова благодарности. Назначивъ срокъ уплаты долга, Чехловъ простился и ушелъ.

Въ гостинницѣ онъ быстро собрался, заплатилъ по счету и поѣхалъ на вокзалъ. Нѣсколько часовъ тому назадъ, сжигаемый любимымъ образомъ женщины, онъ только о ней одной думалъ и свою дальнѣйшую жизнь обдумывать только вмѣстѣ съ ней и ради нея; она одѣлалась необходимымъ центромъ, вокругъ котораго вертѣлись его мысли. Но сейчасъ этотъ образъ потемнѣлъ въ его душѣ, вытѣсненный другимъ представленіемъ, представленіемъ подлымъ и безобразнымъ, но сильнымъ и живучимъ. Онъ даже забылъ бросить въ ящикъ письмо, казавшееся утромъ такимъ важнымъ. Когда по до-

рогъ онъ вспоминалъ о немъ, то твердилъ себѣ: „Послѣ, послѣ, когда вотъ это устроится“...

Это—были его денежные средства. Ихъ внезапное разстройство нанесло ему такой ударъ, что все вниманіе его сосредоточилось на другихъ образахъ и мысляхъ. Рѣшеніе ѣхать въ тотъ городъ, гдѣ былъ его банкъ, явилось у него внезапно, какъ внезапно пришло къ нему и само извѣстіе о крушеніи его средствъ. Онъ, не думая, тотчасъ убѣдился въ необходимости ѣхать и на мѣстѣ выяснитъ свое положеніе.

Дорога длилась болѣе сутокъ и во все это время голова его занята была подлымъ дѣломъ. Онъ потерялъ хладнокровіе, покой и сознаніе своей силы. Низкое дѣло, которое онъ долженъ былъ обдумывать подъ лязгъ и свистъ поѣзда, придавило его. Онъ давалъ себѣ слово не думать объ этомъ и сидя въ вагонѣ, среди незнакомаго общества, онъ иногда забывался и дремалъ подъ невнятный говоръ окружающихъ его пассажировъ, но лишь сознаніе возвращалось къ нему, какъ низкое, подлое несчастіе, обрушившееся на него, овлаживало всѣми его мыслями и принижало его гордость.

Онъ почти не сомнѣвался уже, что средства его безвозвратно погибли. Онъ бѣднякъ. Отнынѣ онъ долженъ будетъ думать о квартирѣ, объ одеждѣ, о хлѣбѣ и о томъ, какъ все это добыть,—прежде и больше всего объ этомъ. Отнынѣ онъ будетъ жертвой всѣхъ и всего. Потому что бѣднякъ—это сплошная жертва людей и обстоятельствъ, которые всецѣло распоряжаются имъ... И мысли Чехлова принимали мрачный цвѣтъ.

Съ нимъ рядомъ въ вагонѣ сидѣлъ какой-то лохматый, грязный мужичекъ, съ выпѣтшими глазами, но съ довольнымъ выраженіемъ на черномъ лицѣ; онъ, впрочемъ, больше спалъ, чѣмъ бодрствовалъ; для этого онъ загибалъ подъ лавку, чтобы никому не мѣшать, и громко храпѣлъ тамъ; когда приходило время поѣсть, онъ живо садился на лавку, вынималъ бѣлый хлѣбъ и съ наслажденіемъ жевалъ его, поглядывая на Чехлова, но лишь только онъ клалъ въ ротъ послѣднія крошки, упавшія на колѣни, какъ опять загибалъ подъ лавку, нѣсколько минутъ счастливо икалъ и засыпалъ. Во время осмотра билетовъ кондукторъ будилъ его ногой; мужикъ испуганно вскакивалъ, каждый разъ долго шарилъ,

разыскивая билетъ въ единственномъ своемъ мѣшкѣ, но лишь только билетъ простригали, онъ опять успокоивался и беззастѣно глаза его отражали равнодушное довольство.

Ни одного разу Чехловъ не заговаривалъ съ нимъ, но много думалъ о немъ, впрочемъ, не о немъ, а по поводу его, и о себѣ. „Вѣдь вотъ это — жалчайшее существо, а доволенъ собой и жизнью! — думалъ Чехловъ. — Зачѣмъ же мнѣ то бояться? Можно быть водовозомъ, батракомъ, но все-таки гордо держать голову и сохранять всѣ черты человѣка“. Но когда онъ вспоминалъ, зачѣмъ ѣдетъ, какая подлая бѣда на него обрушилась, онъ забывалъ объ идиллической жизни водовоза. А когда опять вспоминалъ эту мысль, то она казалась ему уже не серьезной, лицемѣрной и глупой. Нельзя быть батракомъ и полнымъ человѣкомъ! Можно на всю жизнь посмотрѣть съ презрѣніемъ, растоптать ногами всѣ ея мнимыя и въ существѣ презрѣнныя блага, можно даже отказаться отъ матеріальной обезпеченности и досуга, но тогда сдѣлаешься отшельникомъ, а не работникомъ, не водовозомъ. Водовозъ — рабъ, а не человѣкъ, — рабъ хозяина, которому возить воду, рабъ лошади, на которой ѣздитъ, рабъ куска хлѣба, получаемого за воду, рабъ всѣхъ рабовъ, которые сильнѣе его. Нельзя быть жалкимъ работникомъ и носителемъ разума. Недаромъ Сократа поносила жена именами бездѣльника и лѣнтяя; для нея и Діогенъ, предпочитавшій, вмѣсто работы, собирать милостыню, былъ только негоднымъ бездѣльникомъ... И кто скажетъ, что жизнь водовоза самая лучшая изъ всѣхъ возможныхъ жизней, тотъ или обманщикъ самого себя, или лицемѣръ передъ другими.

Но эта главная мысль пробѣгала мимолетною полосой. Онъ занятъ былъ обдумываніемъ только того безобразнаго положенія, въ которое поставилъ его лопнувшій банкъ. При имении хозяина этого банка въ умѣ его раздавались проклятія и всею его душой овладѣвало такое бѣшенство, что только привычка всегда владѣть собою удерживала его въ молчаливой позѣ. Эта привычка еще не покинула его. Въ то время, какъ въ воображеніи проходилъ длинный рядъ гнѣвныхъ образовъ и картинъ, въ то время, какъ одно имя хозяина банка вызывало ярость въ немъ, — лицо его оставалось невозмутимымъ, застывшимъ.

Въ такомъ двойственномъ состояніи онъ пріѣхалъ на мѣсто.

Не останавливаясь въ гостинницѣ, онъ отдалъ свои вещи на храненіе артельщику и прямо отправился въ банкъ. Онъ оказался запертымъ. Швейцаръ далъ ему адресъ, куда обратиться за справками. Онъ пошелъ туда. Но тамъ ему ничего опредѣленнаго не сказали.

— Осталось-ли хоть что-нибудь?—спрашивалъ онъ съ холодной улыбкой, вызвать которую онъ еще имѣлъ силу.

— Неизвѣстно пока ничего.

— Но, быть можетъ, ничего не осталось, тогда я и разговаривать не буду...

— Можетъ быть... копѣекъ двадцать на рубль какъ-нибудь наскребемъ. Оставьте свой адресъ,—когда все выяснится, мы васъ извѣстимъ.

Чехловъ не сталъ больше разспрашивать и ушелъ. Онъ окончательно убѣдился, что средства его погибли. Если даже онъ получитъ эти двадцать копѣекъ, то жить нечѣмъ будетъ черезъ полгода. Когда онъ вышелъ изъ правленія по дѣламъ лопнушаго банка, ему вдругъ пришла мысль повидаться съ самимъ банкиромъ. Тотъ былъ на свободѣ, благодаря крупному денежному поручительству. Не то изъ любопытства, не то изъ чувства ненависти, но Чехловъ рѣшилъ повидаться съ банкиромъ и пошелъ на его квартиру, въ которой раньше бывалъ.

Банкиръ сидѣлъ дома. Это былъ кругленькій, чистый, съ сахарнымъ лицомъ старичекъ; выраженіе глазъ его всегда было невинное. Онъ весело встрѣтилъ Чехлова; розовое, счастливое лицо его сіяло. Онъ гостепріимно усадилъ гостя въ бархатное кресло и тотчасъ предложилъ ему кофе, сигаръ или чего господинъ Чехловъ хочетъ. Послѣдній грубо отъ всего отказался и принялся въ рѣзкихъ словахъ допрашивать пріятнаго и невиннаго старичка. Послѣдній, однако, на всѣ вопросы только улыбался и отговаривался незнаніемъ отнятаго у него дѣла.

— Теперь не мое дѣло!... Еслибы не вмѣшались, я быстище окончилъ бы операціи, но теперь... ничего, ничего не знаю! Пускай вамъ объяснятъ тѣ, кто вмѣшался въ мои дѣла!

Чехловъ едва сдерживался. Пытливо разсматривая розовое лицо и невинные глаза пріятнаго старичка, онъ внутренне дрожалъ отъ бѣшенства. Онъ соображалъ въ эти минуты, какъ можно уничтожить такихъ людей. А что ихъ нужно

Но покоя-то онъ и не могъ добиться. Онъ потерялъ власть надъ собой. Когда черезъ нѣсколько часовъ онъ снова уже мчался на поѣздѣ, въ головѣ его опять воцарился хаосъ, а сердце наполнялось попеременно то гнѣвомъ, то отчаяніемъ. При этомъ образъ любимой женщины, три дня назадъ еще такой яркій и могучій, теперь едва мелькалъ въ его воображеніи. То, что было третьяго дня, теперь казалось ему невозвратнымъ прошлымъ. Онъ разъ вынулъ карточку изъ кармана, бережно развернулъ ее, но взглядъ милыхъ глазъ причинилъ ему острую боль, подобно тому, какъ причиняетъ боль любимая рука, прикоснувшаяся къ ранѣ. Онъ поспѣшилъ спрятать карточку. Даже и любить можно только тогда, когда есть здоровье; больная душа не можетъ любить; въ напуганномъ сердцѣ нѣтъ мѣста для счастья. Гадкія мелочи загрязняютъ самые чистые источники наслажденій... А теперь у него только эти гадкія тревоги и были.

На другой день онъ сѣлъ на пароходъ. Ему нестерпимо показалось общество людей; по привычкѣ, онъ все еще подерживалъ на лицѣ холодное спокойствіе, даже улыбку, когда былъ между людьми, но это усиліе не могло долго продолжаться. Чтобы остаться одному, онъ занялъ отдѣльную каюту.

Очутившись одинъ, онъ далъ полную волю чувствамъ; разнужданныя, они цѣлою толпой ворвались въ разбитый строй его мыслей и стали производить опустошеніе въ его головѣ. Ему уже нечѣмъ сдержать ни раздраженіе, ни гнѣвъ, ни тоску, ни отчаяніе; онъ отдался имъ: терзайте! — находя какое-то наслажденіе въ положеніи безоружной жертвы. При этомъ имъ очень сильно овладѣло одно предчувствіе, которое онъ старался подавить насмѣшкой, но вскорѣ бросилъ, понявъ бесполезность борьбы. Это предчувствіе и раньше его посѣщало и всегда сбывалось. Онъ замѣтилъ, что за періодомъ гордости у него всегда и неизбѣжно слѣдовалъ періодъ униженія; замѣтилъ также, что величина униженія всегда точно соответствовала величинѣ гордости; чѣмъ больше, бывало, онъ возносился, тѣмъ ниже вслѣдъ затѣмъ падалъ. Какъ будто какая-то невидимая рука наносила ему, слишкомъ возгордившемуся, ударъ и пригибала его къ землѣ... Такъ и теперь. Весь послѣдній годъ прошелъ для него въ сознаніи

ность. Онъ ощущалъ ознобъ, жаръ, слабость, но только одно это и ощущалъ, а все другое, еще вчера мучившее его, не появлялось больше и не мучило. Онъ чувствовалъ себя такъ же хорошо, какъ утомленный работникъ, котораго положили въ больницу и сразу освободили отъ каторжнаго труда.

Только къ вечеру пріятное чувство покоя замѣнилось какою-то смутною тревогой.

Лежа на койкѣ, онъ дремалъ съ открытыми глазами, и въ такомъ состояніи вдругъ однажды ему показалось, что потолокъ его какуты расширяется, удлиняется и, наконецъ, исчезаетъ въ далекомъ пространствѣ, а на его мѣстѣ стоитъ огненное пятно. Онъ тогда сдѣлалъ усиліе, приподнялся и тотчасъ понялъ, что съ нимъ бредъ. Имъ овладѣлъ неопредѣленный испугъ. Онъ рѣшился болѣе не ложиться и сдѣлалъ усиліе, чтобы не бредить. Отъ этого напряженія голова его еще сильнѣе стала горѣть и шумъ въ ушахъ сдѣлался нестерпимымъ.

Онъ съ болѣзненнымъ напряженіемъ сталъ ждать, когда пароходъ подойдетъ къ пристани. Тотъ часъ, въ который пароходъ по росписанію долженъ былъ остановиться, давно прошелъ. Настала уже ночь. Волны рѣки усилились, подгоняемыя холоднымъ осеннимъ вѣтромъ. Пароходъ шелъ полнымъ ходомъ, но весь корпусъ его дрожалъ отъ напряженія. Когда совсѣмъ потемнѣло и пароходъ освѣтили, Человѣкъ вышелъ изъ каюты, сѣлъ въ отдаленное кресло залы и съ нетерпѣніемъ прислушивался къ ударамъ колесъ и грохоту машины. Поясницу ему ломило, по всему тѣлу пробѣгали мурашки, онъ едва сдерживалъ стоны и едва сидѣлъ, но въ каюту не хотѣлъ идти. Онъ боялся остаться одинъ, да и вообще чего-то боялся. Часто у него не было силы держать голову прямо; онъ опускалъ ее на спинку кресла и дремалъ, но черезъ нѣкоторое время дѣлалъ страшное усиліе, открывалъ отяжелѣвшія вѣки и давалъ себѣ слово не бредить, не терять сознанія, не поддаваться невѣдомой болѣзни.

Онъ боялся, что съ нимъ начинается какой-то тяжелый недугъ; боялся тѣмъ сильнѣе, что не могъ понять, что съ

нимъ дѣлается. Ему представилось, кромѣ того, что въ забытьѣ онъ пропуститъ свою пристань, пароходъ уйдетъ дальше и увезетъ его неизвѣстно куда. На этотъ случай онъ подозревалъ матроса и наказалъ ему, чтобы тотъ пришелъ за его вещами на М—ской пристани. Потомъ опять на него напала дремота; въ головѣ мелькали безобразныя видѣнія и давили его.

Наконецъ, въ полночь пароходъ далъ характерный, заунывный свистокъ и скоро присталъ. Матросъ немедленно подошелъ къ Чехлову, разбудилъ его и спрашивалъ позволенія насчетъ переноски вещей на извозчика. Чехловъ съ трудомъ поднялся и съ трудомъ сошелъ съ парохода, но прїѣздъ на родину на время оживилъ его сознаніе и бодрость. Но за то на него напала глубокая тоска. Темная-ли ночь, воспоминанія-ли дѣтства или представленіе близости родныхъ, съ которыми онъ не имѣлъ ничего общаго, только тоска глодала его во все время, пока онъ на извозикѣ ѣхалъ по улицамъ. А затѣмъ еще хуже затосковалъ. Подѣхавъ къ своему дому, онъ сталъ стучаться въ массивную калитку; долго стучалъ; наконецъ, весь домъ поднялся на ноги, но ему еще пришлось долго вести переговоры съ соннымъ дворникомъ и съ не менѣе сонною кухаркой. На дворѣ рычали четыре цѣпныя собаки, дворникъ что-то кричалъ, кухарка тоже почему-то голосила; гдѣ-то завизжалъ ржавый желѣзный засовъ. Чехловъ продолжалъ при помощи извозчика стучать въ калитку, и тихая, заснувшая улица огласилась безобразнымъ шумомъ. А онъ-то хотѣлъ прїѣхать неслышно и спокойно!... Бругомъ все такъ переполошилось, какъ будто невѣсть что случилось. Злость и щемящая тоска давили его.

Наконецъ, ему отперли калитку. Но вслѣдъ затѣмъ по всему дому началась суматоха, отъ которой у него зарябило въ глазахъ. Узнавшая его прислуга завопила и заохала. Потомъ вошла мать съ испуганнымъ лицомъ, потомъ братья, и жены ихъ, и дѣти,—вся эта большая семья за время его отсутствія страшно расплодилась... Все это соскочило съ постелей, лохматое, изумленное и кричащее, какъ на пожарѣ. И безъ того мучимый бредомъ, Чехловъ тутъ почти совсѣмъ потерялъ сознаніе и съ слѣпою яростью цѣловалъ какія-то толстыя щеки, которыя окружали его. Долгое время онъ не могъ ни сѣсть, ни сказать, ни даже понять, что тутъ дѣ-

лается. Наконецъ, ему удалось съ волненіемъ выговорить, чтобы не кричали такъ, иначе онъ совсѣмъ свалится съ ногъ. Тогда старшіе, при помощи крѣпкихъ словъ и тумановъ, удалили въ спальни всю мелюзгу и усѣлись. Но отъ этого уменьшилось только число голосовъ, сами же голоса не сдѣлались спокойнѣе и пріятнѣе пріѣзжему гостю. Ему со всѣхъ сторонъ предлагались вопросы одинъ другого безалабернѣе и никому онъ не имѣлъ возможности отвѣчать; онъ едва успѣвалъ говорить „да“ и „нѣтъ“ и только смотрѣлъ кругомъ себя. При этомъ онъ чувствовалъ себя такъ, какъ будто попалъ въ чужую страну, къ невѣдомымъ людямъ и слушалъ незнакомый языкъ. Быть можетъ, это чувство вызвано было его болѣзнью, но, быть можетъ, за послѣднія семь-восемь лѣтъ его родные стали для него какими-то непонятными дикарями. Отъ этого тоска его еще сильнѣе росла.

Онъ смотрѣлъ вокругъ себя и съ трудомъ понималъ, что вокругъ него говорится. Мать въ эти года поздоровѣла, необычайно пополнила и лицо ея, всегда бывшее наивнымъ, теперь казалось еще проще. Братьевъ онъ едва признавалъ. Ихъ лохматые, раздобрѣвшіе лица сплошь заросли шерстью; только глаза да носъ, да ничтожныя мѣстечки лба избѣгли общей участи и не покрылись бурьяномъ. Какіе вопросы ему предлагали!

Тоска разливалась по самымъ укромнымъ уголкамъ его сердца. „Боже мой! зачѣмъ я сюда пріѣхалъ?“—спрашивалъ онъ себя.

И, просидѣвъ съ часъ среди забытой своей семьи, онъ не выдержалъ и попросилъ мать отвести его въ какую-нибудь комнату. При этомъ онъ сказалъ, что ему сильно нездоровится. Мать, указавъ ему постель, захопотала около него, но онъ уговорилъ ее идти спать и черезъ нѣсколько времени остался одинъ въ пустой комнатѣ. Стуча зубами отъ наступившаго вновь озноба, чувствуя, что голова его пылаетъ огнемъ, онъ кое-какъ сбросилъ съ себя платье, легъ на постель и старался заснуть.

Но это ему не удалось. Въ душу его подползало неотвязное предчувствіе, что не даромъ онъ пріѣхалъ на родину и что, видно, не выбраться уже ему отсюда. Когда въ домѣ потухли огни и все живое вновь заснуло, давая знать о своемъ существованіи только разнообразными тонами храпа,

онъ одинъ не могъ забыться и широко раскрытыми, воспаленными глазами старался пронизать мракъ комнаты, но мракъ ничего ему не говорилъ, только еще болѣе ужасалъ сердце. Мало-по-малу подкравшееся предчувствіе приняло живой образъ... Недаромъ онъ захворалъ и недаромъ, больной душой и тѣломъ, онъ притащился сюда, какъ раненый звѣрь, въ свое родное логовище!... Видно, здѣсь его будетъ конецъ.

Онъ то забывался въ сонномъ бреду, то снова широко раскрывалъ глаза и со страхомъ вглядывался въ темноту. Неужели ему здѣсь суждено умереть?... Онъ зажегъ лампу, поставленную около него.

Утромъ онъ не могъ подняться съ постели. Рано къ нему навѣдалась вся семья и всѣ выражали сожалѣніе по поводу его болѣзни. Но сожалѣли какъ-то вяло и спокойно. Вотъ пріѣхалъ, молъ, человѣкъ въ гости и захворалъ!... И не много погодя всѣ разошлись по своимъ дѣламъ. Только одна мать приняла къ сердцу болѣзнь сына. Она тотчасъ дала ему выпить какой-то травы, поплакала около его постели и все время слѣдила за его удобствами: не надо-ли чего погушать, не выпьетъ-ли онъ смородиновой настойки? Впрочемъ, выраженіе лица толстой старушки было бодрое и безбоязненное; она не сомнѣвалась, что все это пройдетъ. Однако, на всякій случай, оставшись одна въ залѣ, она крѣпко помолилась на образъ за здоровье сына.

А самъ Чехловъ съ каждою минутой падалъ духомъ. Онъ вѣрилъ, что здѣсь его конецъ, метался по постели, стоналъ и вглядывался въ пустое пространство широко раскрытыми глазами... Да, это смерть къ нему идетъ! Онъ во всѣхъ презиралъ страхъ и смѣялся надъ тѣми, которые, чуть заболѣютъ, уже думаютъ о смерти. Но теперь тотъ же ужасъ и на него напалъ. Онъ вглядывался съ необъяснимымъ страхомъ въ пространство, словно тамъ, въ пустотѣ, надѣялся увидать и предупредить идущую смерть... да, это смерть идетъ! Онъ не сомнѣвался въ этомъ, когда щупалъ рукой горящую голову, когда его трясъ ознобъ, когда въ сознаніи онъ улавливалъ какое-то роковое разстройство. Только когда на него находила дремота, онъ забывался.

Такъ прошли весь этотъ день и вся ночь.

На утро и сама старушка немного обезпокоилась. Она

еще дала выпить больному какой-то травы. Но не очень полагаясь на это лѣкарство, рѣшила немедленно прибѣгнуть къ болѣе вѣрному средству. Она тихонько одѣлась въ чистое платье и платокъ и не спѣша отправилась къ знакомому священнику, прося его немедленно придти съ причтомъ отслужить молебенъ съ водосвятиемъ. Немного погодя священникъ, два дьячка и сторожъ уже входили въ домъ, приготавливали въ залѣ все необходимое для службы и начали пѣть молебенъ.

Чехловъ передъ этимъ задремалъ и забылся. Но вдругъ въ его ушахъ раздалось монотонное чтеніе и пѣніе. Онъ вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, въ ужасѣ приподнялся на постели и увидалъ въ сосѣдней залѣ зажженные свѣчи, дымъ, ризу и молящуюся семью. Отъ паническаго ужаса голова его снова упала на подушку и лицо помертвѣло. Что ему представилось—Богъ его знаетъ, только когда въ ушахъ его раздалось звучное пѣніе, когда обоняніе его поражено было запахомъ ладона и горячаго воска, онъ помертвѣлъ отъ страха. Онъ не сомнѣвался болѣе, что умираетъ. Это смерть идетъ!... Но, въ то же время, во всемъ тѣлѣ онъ чувствовалъ такую силу, а въ душѣ такую энергію воли, что готовъ былъ бороться за жизнь съ сотнями смертей. Онъ схватился обѣими руками за желѣзныя перекладины кровати, схватился такъ, что желѣзо затрещало, и въ такой позѣ замеръ.

Такъ и засталъ его батюшка; онъ окропилъ святою водою блѣдное лицо его, приложилъ къ его побѣлѣвшимъ губамъ крестъ и съ благодушною улыбкой сказалъ, что теперь, Богъ дастъ, онъ скоро поправится. Но Чехловъ въ ужасѣ смотрѣлъ на священника и молчалъ. Сознаніе его словно околѣло. Онъ только сознавалъ одну идею и не могъ оторваться отъ одного образа. У него не было ни движенія, ни слова.

Но лишь только молебенъ кончился и причтъ ушелъ, лишь только къ нему подошла мать, какъ онъ крикнулъ со всею силой здороваго человѣка:

— Да позовите доктора, ради Бога!

Докторовъ въ домѣ не уважали, но повелительный крикъ сына заставилъ старушку исполнить его желаніе. Отрядили одного изъ братьевъ къ доктору. Братъ, видно, наговорилъ послѣднему Богъ вѣсть какой нелѣпости, потому что докторъ

явился въ комнату больного съ торжественнымъ лицомъ и не безъ тревоги сталъ изслѣдовать и расспрашивать. Щупальцу больному голову, поставилъ термометръ, смотрѣлъ языкъ, мѣлъ животъ, постучалъ въ грудь и только послѣ тщательнаго осмотра пожалъ плечами и весело улыбнулся.

Чехловъ съ напряженною пытливостью смотрѣлъ въ лицо доктора.

— Ну, баринъ мой, пустяки... хины придется покушать!— сказалъ, между тѣмъ, послѣдній. Но, встрѣтивъ ужасный взглядъ больного, онъ вдругъ громко расхохотался.

— Да вы чего на меня такъ смотрите? Или хины испугались? И опять расхохотался. Потомъ уже серьезно прибавилъ:

— Два порошка по десяти гранъ. Впрочемъ, если угодно, еще кое-что вамъ пропишу. Завтра можете встать и погулять. А черезъ нѣсколько дней можете не только сѣсть на пароходъ, но даже везти его на буксиръ!

И врачъ еще разъ расхохотался. Сказавъ затѣмъ, что дѣлать ему здѣсь больше нечего, онъ радушно простился съ Чехловымъ и стыдливо взялъ изъ рукъ матери ассигнацію. Онъ въ это время думалъ: „Эдакое поганое ремесло! Придешь къ человѣку, который совсѣмъ не боленъ, пропишешь ликарство, которое онъ самъ можетъ себѣ прописать, и— пять рублей!“

А Чехловъ, тотчасъ послѣ ухода врача, еще слыша въ своихъ ушахъ его веселый хохотъ, въ изумленіи приподнялся на кровати, сѣлъ и почувствовалъ, что онъ уничтоженъ.

Простой лихорадки испугался, какъ послѣдній трусъ, дрожащій за каждую мелочь жизни!... Не смерть, а сознаніе срама— вотъ что невѣдомая рука приготовила ему, какъ послѣдній свой ударъ!... Онъ даже застоналъ отъ чувства смертельной обиды. Потомъ легъ на кровать, закрылъ голову одеяломъ и не хотѣлъ ни на что смотрѣть.

На другой день онъ дѣйствительно всталъ съ постели и гулялъ по комнатѣ. Но ему здѣсь сразу все такъ опротивѣло, что онъ въ этотъ день хотѣлъ ѣхать обратно. Только просьба матери оставила его на слѣдующій день.

Но на третій день онъ не могъ больше оставаться. О деньгахъ онъ вяло заговорилъ съ братьями и, получивъ немного на дорогу, не добивался того, зачѣмъ ѣхалъ сюда. „Послѣ, послѣ объ этомъ!“—говорилъ онъ себѣ.

Не до денегъ и ни до чего подобнаго ему сейчасъ не было дѣла. Въ душѣ его былъ полный погромъ. Ученіе его перестало служить ему оружіемъ, оно выпало изъ его рукъ. Онъ чувствовалъ, что ему предстоитъ немедленно работа надъ созданиемъ мыслей, ибо вчерашнихъ мыслей уже не было въ наличности,—онъ ихъ самъ разрушилъ...

Еще больной, съ слабостью во всемъ тѣлѣ, но уже возставившій власть надъ собою, онъ уѣхалъ на пароходъ. Тамъ онъ сѣлъ въ уединенный уголъ, гдѣ никто не могъ ему помѣшать, смотрѣлъ, какъ крючники гурьбой таскали десятки пудовые ящики, прислушивался къ шумнымъ голосамъ суетящейся толпы, среди которой кто-то плакалъ, прощался, гдѣ-то смѣялись, откуда-то изъ глубины раздавался хоръ крючниковъ: *Ой, еще!*—а въ умѣ его рѣзко звучалъ знакомый вопросъ: „Что же такое жизнь?“

Мой міръ.

I.

Я ѣхалъ изъ столицы, а куда и зачѣмъ—самъ не зналъ. Нравственное состояніе мое было самое неопредѣленное, словно я былъ внѣ времени и пространства. Помню, впечатлѣнія отъ внѣшнихъ предметовъ, мимо которыхъ летѣлъ поѣздъ, не оставляли на мнѣ и во мнѣ ни малѣйшаго слѣда, хотя умъ мой механически отмѣчалъ все, что было возлѣ меня, что пролетало надо мной, на что взоръ мой случайно падалъ.

Въ вагонѣ было тѣсно, накурено, шумно и мой умъ это отмѣчалъ; когда двое изъ пассажировъ разругались между собой и раскричались на весь вагонъ, мой умъ отмѣтилъ: „вотъ сейчасъ они будутъ драться“, а когда неуживчивые пассажиры дѣйствительно подрались и высажены были съ протоколомъ на ближайшей станціи, то умъ мой, не замѣчая ихъ больше, совершенно забылъ о нихъ. Точно съ такою же правильностью мой умъ отмѣчалъ все, что ему природа предлагала: онъ отмѣтилъ рыхлый мартовскій снѣгъ, ослѣпительное солнце, отражавшееся въ крупныхъ кристаллахъ этого снѣга, голубое небо, голые, но какъ будто поселявшіе лѣса, но, отмѣчая все, онъ ничего не оставлялъ для меня, и я, попрежнему, оставался пустою посудиною, изъ которой вылили содержимое. Лично для себя я не знаю ничего болѣе страшнаго, какъ то состояніе, о которомъ я говорю. Я принадлежу къ тѣмъ людямъ, которые не могутъ абсолютно существовать безъ внутренняго мотива, безъ

цѣль, чтобы чувствовать себя живымъ; мнѣ нуженъ хоть какой-нибудь принципъ, чтобы я ощущалъ радость. Являю только такая руководящая мысль исчезнетъ изъ меня, моментально падаю и ощущаю невыносимый гнетъ жизни. Тогда организмъ мой какъ будто распадается на отдѣльныя составныя части, и всѣ органы выходятъ изъ-подъ моей власти: ноги идутъ туда, куда мнѣ вовсе не хочется; руки дѣлаютъ движенія, которыхъ мнѣ не нужно; ротъ и языкъ дѣйствуютъ въ полной независимости отъ того, что я думаю; сердце, неизвѣстно отъ чего, сжимается въ смертельномъ испугѣ. Все тѣло мое тогда похоже на тѣсто, и моя душа становится подобной пару.

Вотъ въ такомъ-то состояніи я ѣхалъ неизвѣстно зачѣмъ изъ столицы. Мѣста я себя нигдѣ не находилъ; не могъ сидѣть, ни смотрѣть, ни лежать, ни слушать. Безпрестанно мѣняя положенія, я то и дѣло выходилъ изъ вагона на площадку и подставлялъ горячую голову свистѣвшему вѣтру; безъ сомнѣнія, я въ эти минуты не думалъ о здоровьи и рѣшительно не боялся, что схвачу простуду.

Припоминая всѣ эти мелочи, я долженъ сказать, что такое состояніе я испытывалъ въ первый разъ. Раньше оно случалось, но не въ такой массовой формѣ. Не было ея мѣсяца въ моей жизни, когда бы я не ощущалъ въ себѣ тупоты или иной движущей мысли. Если же и приходилось испытывать пустоту, то происходило это отъ невозможности слѣдовать въ одно цѣлое убѣжденія и поступки, вѣру и дѣла, мысли и жизнь.

Эта же невозможность быть цѣлымъ существомъ угнетала меня съ самаго дѣтства. По крайней мѣрѣ, я не въ состояніи въ точности указать тотъ именно день, когда я раскололся надвое. Быть можетъ, это событіе произошло еще въ дѣтствѣ, когда я жилъ въ нашей плохо сколоченной семьѣ; отецъ мой былъ либеральный исправникъ и совѣщавъ въ одинъ и тотъ же день поступки, взаимно уничтожающіе другъ друга: утромъ, напримѣръ, онъ съ обычными приемами разгнѣваннаго начальника дергалъ какого-нибудь старшину за бороду, топалъ на него ногами и перѣбавивъ себя отъ гнѣва, кубаремъ спускалъ его съ лѣстницы.

а вечеромъ, въ кругу домашнихъ и знакомыхъ, горячо рассуждалъ о благородной и умной статьѣ любимаго тогда журнала. Какъ мирились въ душѣ отца такія вещи, я не знаю; не знаю также, мучился онъ противорѣчіемъ или нисколько не мучился. Но я знаю, что на моей-то дѣтской душѣ вся эта лживость отражалась самымъ подлымъ образомъ: еще ребенкомъ я привыкъ видѣть въ одномъ человѣкѣ два лица, другъ друга оплевывающія, но зачѣмъ-то живущія вмѣстѣ.

Но, быть можетъ, раскололся я въ школѣ, когда мнѣ зачастую приходилось на партѣ держать раскрытымъ Юлія Цезаря, а подъ партой—Гоголя и показывать видъ, что я напряженно слѣжу за переводомъ той главы латинскаго автора, гдѣ описывается, какъ римскіе легіоны застали врасплохъ дикихъ галловъ.

— Варинъ! повторите, кто первый перешелъ въ наступленіе—однажды врасплохъ спросилъ меня учитель.

— Ноздревъ!—отвѣтилъ я, увлеченный тою сценой, гдѣ Ноздревъ, со свойственною ему искренностью, сталъ наступать на Чичикова, въ намѣреніи потрепать его бакенбарды.

Проклятые галлы! Они, показавшіе передъ Юліемъ Цезаремъ пятки, забыли меня, и я, при всеобщемъ хохотѣ товарищей, былъ отведенъ въ плѣнъ, въ карцеръ, а *Мертвыя души*, подобранныя на полѣ сраженія, отнесены были къ директору. Послѣ этого случая я всегда былъ на плохомъ счету у начальства, да и за дѣло, потому что я сдѣлался отчаянно-лживымъ.

Только университетъ былъ перерывомъ: это—самая счастливая пора моей жизни... Это, во всякомъ случаѣ, было время, когда мое существо, молодое и сильное, не казалось расколотымъ пополамъ.

А дальше пропасть между моими половинами становится все шире и шире. Тотчасъ, какъ я получилъ „кандидата правъ“, пришлось отыскивать себѣ мѣсто, кормъ, положеніе; вотъ здѣсь-то я сейчасъ заглянулъ въ глубину жизненной пропасти. Юношескія иллюзіи какъ-то сразу разлетѣлись и на ихъ мѣсто появилось чортъ знаетъ что. Я былъ просто пораженъ тою быстротой, съ какою я вдругъ изъ мечтательнаго юноши сдѣлался поросенкомъ.

котораго одинаково гремѣло какъ въ свѣтлыхъ, такъ и въ темныхъ процессахъ. Примазавшись къ этой знаменитости, я прибилъ на двери своей квартиры дощечку: „помощникъ присяжнаго повѣреннаго Иванъ Николаевичъ Варинъ“ и сталъ ожидать, когда появится за совѣтомъ ко мнѣ первый дуракъ; кромѣ того, я завелъ фракъ и бѣлыя перчатки, а изъ одной своей комнаты ухитрился сдѣлать великолѣпную приемную. Все это и многое другое я сдѣлалъ серьезно и не безъ увлеченія.

Не надѣясь на собственные привлекательныя средства, я просилъ патрона доставить мнѣ первую защиту. А чтобы не умереть съ голода, мнѣ пришлось, скрывая отъ всѣхъ знакомыхъ, брать переписку по четвертаку за листъ. Мысли мои въ это время были самыя свинскія, или, лучше сказать, человѣческія. Я мечталъ о громкомъ процессѣ, въ которомъ сразу покажу свѣту безконечную гибкость языка, жаръ краснорѣчія, блескъ остроумія; мечталъ о томъ, какъ я, къ удивленію всѣхъ, огненнымъ краснорѣчіемъ оправдаю невинность и получу за это пятнадцать тысячъ; мечталъ затѣмъ (по полученіи пятнадцати тысячъ) о квартирѣ въ десять комнатъ, о невѣстѣ необычайной красоты и доброты и обо многомъ другомъ въ томъ же родѣ. Но, чтобы отдать себѣ справедливость, я долженъ сказать, что еще мечталъ рядомъ съ этимъ о безкорыстной службѣ; видя себя уже прославленнымъ, уже блестящимъ, я еще мечталъ, что буду защитникомъ бѣдныхъ, стану адвокатомъ нищихъ и голодныхъ, буду защищать невинныхъ жуликовъ, добрыхъ воровъ, несправедливо угнетаемыхъ головорѣзовъ. Много счастливыхъ слезъ будетъ пролито при имени моемъ, а пока, переписывая письма по четвертаку, я самъ плакалъ, представляя себя защитникомъ страждущихъ.

Въ такихъ невинныхъ занятіяхъ прошло немного времени. Быстро дѣйствительность стала стучаться въ мою дверь, и я долженъ былъ окунуться въ протухлую жизнь съ головой.

Сначала явилась нужда. Ни одинъ дуракъ, конечно, не пришелъ ко мнѣ, никто не зналъ меня и рѣшительно никто не думалъ воспользоваться совѣтами помощника присяжнаго

повѣреннаго Варина. Переписка же кляузъ моего патрона держала меня въ проголодь.

Большинство моихъ товарищей уже ловко устроились. Я одинъ только ни къ чему не могъ примазаться. Зависть и злость стали мучить меня. Чтобы догнать сверстниковъ, я также принялся рыскать въ поискахъ за мѣстами. Но, видно, ловкости и цѣпкости во мнѣ не доставало, — нигдѣ не отыскивалось мѣста для меня. Это была непрерывная пѣшь униженій и злости. Сколько прихожихъ я потопталъ своими разорванными калошами, сколько спокойныхъ лакеевъ я возмутилъ противъ себя, какой калейдоскопъ сытыхъ господъ промелькнулъ передо мной... Нигдѣ ничего! Увы, фракъ я заложилъ, бѣлые перчатки продалъ; даже доску съ своимъ именемъ хотѣлъ превратить въ табакъ, но, къ несчастью, за „помощника присяжнаго повѣреннаго Варина“ никто не хотѣлъ дать даже пяти копѣекъ. Унизительна эта свалка эгоизмовъ и самолюбій, униженій и пораженій изъ-за мѣста, но я былъ столь наивенъ, что только удивлялся, когда принималъ участіе въ этой свалкѣ. Въ особенности изумлялся той массѣ низости и суетности, которую вдругъ открылъ въ себѣ.

Вѣроятно, патронъ мой сжалился надо мной и предложилъ мнѣ поступить къ нему въ фактическіе помощники. Это на время успокоило меня. Но разбитыя мысли уже не могли собраться; я окончательно раскололся.

Меня не могло успокоить даже и то обстоятельство, что всѣ люди около меня были также расщеплены на-двое; я не видѣлъ человѣка, который представлялъ бы полный заменутый міръ: кого я ни наблюдалъ, всѣ казались мнѣ двуязычными, живыми и вѣроломными, у каждаго мысли были одно, а дѣло — другое. Неужели этого обмана никто не видитъ?

Нѣкоторые по привычкѣ плаваютъ въ этой атмосферѣ двуязычія съ легостію пуха. Повидимому, ихъ нисколько не мучило лганье передъ собой. Въ этомъ отношеніи мой принципаль былъ просто превосходенъ: защищая сегодня утромъ съ необыкновеннымъ жаромъ банковскаго дѣльца, онъ вечеромъ, въ кругу близкихъ, такъ же съ необыкновеннымъ жаромъ молотъ о правдѣ и справедливости, объ идеалахъ, о вѣрѣ и т. д. Вчера онъ вилялъ хвостомъ передъ

какъ послѣдняго баналью, ту силу, передъ которой вчера онъ моталъ хвостомъ съ такою покорностью. И либеральничалъ, и моталъ хвостомъ онъ съ одинаковымъ талантомъ. И въ то же время, это былъ человекъ добрый, несомнѣнно честности, часто великодушный и сострадательный; если бы усомнился въ этомъ, то пусть взглянетъ на себя въ зеркало. Защищая по назначенію какое-нибудь жалкое существо, онъ нерѣдко плакалъ искренно надъ несчастіемъ, а по окончаніи защиты вынималъ пять рублей и клалъ въ руку кліента.

Что ему по временамъ дѣлалось тошно, въ этомъ я убѣдился изъ неоднократныхъ его рѣчей покаянія. Правда, кааялся онъ только въ пьяномъ видѣ, но всякій русскій человекъ вполне сознаетъ себя только тогда, когда совершенно пьянъ. Не составляя исключенія, мой патронъ также приключился въ трагическое настроеніе, когда его подъ руки приводили домой изъ ресторана.

— Иванъ Николаичъ!—восклисалъ онъ съ драматическимъ жестомъ, употребляемымъ на судѣ, но съ искреннимъ страданіемъ на лицѣ, — Иванъ Николаичъ, голубчикъ, не презирайте меня! Цѣли, побудительной цѣли въ моей жизни нѣтъ!

— Не знаете, чему вѣрить и какъ жить? — спросилъ онъ однажды въ полночь, когда вся семья патрона уже спала, и онъ сидѣлъ передо мной въ позѣ убитаго человека, положивъ голову на руки и отъ времени до времени икая.

— Я знаю, чему вѣрить, но живу не по своей вѣрѣ.

— Почему же это?

— Потому, что я дѣлаю не то, что мой языкъ говорить!—возразилъ адвокатъ, хлопая рукой по столу съ величайшимъ гнѣвомъ.—Душа моя полна благородства, а дѣла мои трусливыя и узкія. Сердце мое сострадательное и бьется за всѣхъ погибающихъ, а языкъ мой болтается дурно... У меня есть идеалъ, а я освобождаю бубновыхъ тузовъ! Вотъ... положеніе!

— Скверное!—возразилъ я.

— Чему вы смѣетесь? Вы еще ребенокъ, дитя!... Вы еще не знаете, голубчикъ, что значить имѣть мыслишки и не

нить мужества открыто признавать их! Нѣтъ, не виновенъ я, но жертва!...—и адвокатъ опять сдѣлалъ трагическій жестъ.

— Жертва... чего?—спросилъ я съ интересомъ.

Пьяный человѣкъ тупо посмотрѣлъ на меня и съ воодушевленнымъ гнѣвомъ проговорилъ:

— Жертва своего желудка, рта, рукъ, ногъ,—жертва всей вообще шкуры! Невинный младенецъ, я завидую вамъ! Вамъ не пришлось еще дѣлать выборъ между мыслишками и собственною кожей. Вы откровенны и чисты, и жизнь ваша пойдетъ прямою дорогой. Заклинаю васъ, не сворачивайте съ прямой дороги, идите напроломъ и забирайтесь глубже!...

Принципалъ дѣлалъ красивые ораторскіе жесты, къ какимъ онъ прибѣгалъ, защищая мазуриковъ, но блѣдное лицо его проникнуто было величайшимъ волненіемъ.

— Почему же вы сами не дѣлаете того, что мнѣ советуете?

Адвокатъ опять тупо посмотрѣлъ на меня и глубоко вздохнулъ. Затѣмъ онъ выговорилъ, отчеканивая каждое слово:

— Оттого, что нельзя опрокинуть вмѣстѣ съ собою тотъ стулъ, на которомъ сидишь. Я—жертва положенія. А у васъ и положенія-то никакого нѣтъ. Вашъ выборъ свободенъ: идеалъ или свинства. Свободно можете выбрать... А я—жертва!...

Впослѣдствіи эти покаанные разговоры часто повторялись, но они всегда оканчивались тѣмъ, что мой принципалъ сыпалъ на полусловъ, какъ вышло и на этотъ разъ: обозвавъ себя жертвой, онъ вдругъ трагически захрапѣлъ.

Мнѣ становилось все хуже и хуже. Какая-то хворь овладѣла моею душой, всѣмъ моимъ организмомъ. Расколотый пополамъ, я едва владѣлъ собой въ обществѣ: то злоба и холодъ нападали на меня, то я испытывалъ острое страданіе отъ малѣйшаго пустяка. Всѣ знакомые и друзья мои какъ-то странно стали смотрѣть на меня,—не то съ сожалѣніемъ, что я не могъ до сихъ поръ пристроиться, не то съ боязнью, что я слишкомъ откровененъ.

— Ну, братъ, ты ужъ слишкомъ требователенъ. Всѣ устриваются, а ты одинъ мечешься. Вѣроятно, честолюбіе

твое ненасытно. Ты сразу, должно быть, хочешь попасть наверхъ, говори?

Положимъ, говорившій былъ истинный поросенокъ, еще на школьной скамьѣ потерявшій божескій обликъ, но меня подобныя обвиненія до крови ранили, попадая прямо въ цѣль. Я въ самомъ дѣлѣ желалъ слишкомъ многого, мечталъ слишкомъ глупо, когда надѣялся быстро прославиться и разбогатѣть на поросячьемъ поприщѣ. Какъ всѣ люди, живущіе больше умственно, чѣмъ матеріально, я и въ поросячьихъ мелочахъ хваталъ черезъ край и отвертывался съ презрѣніемъ отъ предлагаемыхъ мѣстъ, казавшихся мнѣ мизерными. Въ этомъ мой благоразумный товарищъ, сразу присосавшійся къ теплomu, хотя и незамѣтному мѣстечку, былъ правъ. Не подозрѣвая того, онъ прямо билъ меня въ сердце. Но, съ другой стороны, меня безконечно оскорбляло и то, какъ онъ смѣлъ заподозрить во мнѣ поросячьи мечты? Вѣдь я еще недавно вѣрилъ въ „измы“ и сердце мое было полно любовью къ людямъ!

Но фактъ былъ налицо: вчера еще насквозь пропитанный многими „измами“, я сегодня уже исключительно забочусь объ устройствѣ своихъ дѣлишекъ: ищу богатаго мѣста, обивая пороги, раздражаю благородныхъ лакеевъ, вывожу изъ себя знатныхъ господъ и, въ то же время, осмѣливаюсь считать себя обладателемъ какихъ-то секретовъ, борцомъ, чуть не героемъ.

Но кто же я, въ самомъ дѣлѣ,—герой или поросенокъ? и чѣмъ я буду завтра? и кто побѣдитъ: герой поросенка или поросенокъ героя? Гдѣ граница между моимъ и общественнымъ? И когда я долженъ забыть себя и „положить душу за други своя“? Жить же двойникомъ, дѣлая одно, болтая другое, я не въ силахъ, для этого я слишкомъ неовокъ и откровененъ. Если побѣдитъ поросенокъ, то я такъ прямо и скажу: „Господа, я—поросенокъ!“ Только и всего.

А лгать я не стану. Я прямо посоветую убираться къ чорту со всѣми бреднями, которые только глубже вбиваютъ клинъ, разрывающій меня пополамъ. Я передалъ лишь сотую долю тѣхъ мукъ и сомнѣній, какія въ ту пору угнетали меня. Въ дѣйствительности бѣда была большихъ размѣровъ: я уже готовился быть однимъ изъ тѣхъ выброшенныхъ жизнью подкидышей, для которыхъ нѣтъ мѣста на людскомъ

торжищѣ. Расщепленный на двѣ половины, я становился безсильнымъ и негоднымъ, съ изорванными нервами, съ разорваннымъ умомъ, безъ воли и порядка въ поступкахъ. То безграничное отчаяніе, когда весь міръ кажется сплошною ночью, почти не покидало меня, и я не могъ сдѣлать ни малѣйшаго усилія, чтобы стряхнуть съ себя эту болѣзнь. Были минуты, когда меня отдѣлялъ одинъ шагъ отъ самоубійства или сумасшествія.

II.

Длиніи день, прожитый въ такомъ состояніи, дѣлалъ меня все болѣе и болѣе неспособнымъ приладиться къ обыденной жизни. Самые пустыя дѣлашки были уже выше моихъ силъ. Совершилось какъ-то такъ, что гдѣ другіе успѣвали, я оказывался глупымъ. Я неспособенъ былъ пріискать себѣ какое бы то ни было занятіе. Ротозѣй или глупецъ, я возбуждалъ искреннее сожалѣніе во всѣхъ моихъ товарищахъ, живо приладившихся къ краешку одного изъ столовъ, какъ будто эти столы были уже давно накрыты для нихъ.

Наконецъ, ближайшіе изъ моихъ друзей стали совѣтовать мнѣ уѣхать куда-нибудь, развлечься и на досугъ подумать объ устройствѣ дѣлъ. Всѣ они смотрѣли на меня какъ-то странно, не то съ тайнымъ ужасомъ, не то съ жалостью, словно ожидали, что я выкину какую-нибудь неслыханную штуку.

— Ты что-то разстроены... Знаешь что? — однажды сказалъ лучший мой пріятель, съ которымъ мы долго жили вмѣстѣ и привыкли считаться друзьями, обязанными взаимно помогать другъ другу, — знаешь что? Поѣзжай въ деревню къ одному моему знакомому и тамъ живи сколько хочешь. Малый онъ теплый, хорошій охотникъ, рыболовъ, непосредственная натура, толстъ, какъ откормленный быкъ, безъ нервовъ, безъ сомнѣній, можетъ быть, и безъ головы. А теплый человѣкъ, отъ котораго пышетъ паромъ, какъ отъ кипящаго самовара, просто кладъ для нашего брата. Поживешь гдѣ-то и, быть можетъ, увидишь, что твой маленький мірокъ страданій и надеждъ не наполняетъ еще всей вселенной... По крайней мѣрѣ, я, когда меня начинаетъ больно жалить какая-нибудь идея, сейчасъ же иду на толкучку

дасть, напрімѣръ, рыжія голенища. Наблюдая, какъ онъ божится и взволнованно возражаетъ направо и налѣво противъ нападоу похупателей, чтобы выторговать лишнія двѣ копейки, я сразу отрезвляюсь, и мои волненія, мои страданія кажутся уже мнѣ забавными и преувеличенными, какъ преувеличенъ тотъ азартъ, съ какимъ человекъ на толкучкѣ рассказываетъ о своихъ голенищахъ, сыпая ругательства, ложь, божбу и острыя словечки... „Нѣтъ, ты вотни свои буркалы-то сюда, взгляни, чѣмъ пахнетъ, а тогда ужъ и чеши языкъ-то!... Тутъ товаръ прямо хамбургскій, товару этому, если по совѣсти говорить, цѣны нѣту, а ты возражаешь, какъ баба! Надо дѣло говорить!“ Сейчасъ же отрезвлюсь я и идея моя перестаетъ меня жалить... Подумай, живетъ на землѣ нѣсколько тысячъ народишекъ, и каждый народишко, самый тощій и ничтожный, гуляющій безъ панталонъ, имѣетъ свои терзанія, свои нужды, свою вѣру, свои дѣла; какое же я имѣю право считать свою вѣру, свои дѣла и интересы единственными въ своемъ родѣ, — такими, изъ-за которыхъ надо непременно терзаться до безумія или разбивать себя пулей голову? Вѣдь и тотъ дикарь, который въ охотѣ за ящерицей не успѣлъ поймать ее, имѣлъ бы право повѣситься на первомъ стволѣ пальмы. Если твоя идея для тебя смертельно важна, то вѣдь и для того голаго человека ящерица была необходима для удовлетворенія голода. Ты не можешь схватить за хвостъ идею, а онъ не успѣлъ поймать ящерицу, — и неужели изъ-за этого слѣдуетъ, чтобы ты себя хватилъ револьверомъ, а онъ — бумерангомъ?... Вотъ въ Корсикѣ пропарываютъ другъ другу животъ изъ-за того только, что прадѣдъ одного оскорбилъ прадѣда другого... Мужикъ нерѣдко бьетъ до смерти свою хозяйку изъ-за того, что она не приготовила ему онучи въ то время, когда онъ вернется изъ кабака. Людьмишамъ свойственно безуміе, но развитому человеку гнусно участвовать въ безуміи, — онъ долженъ быть терпимымъ и широко понимать міръ... Мы оттого несчастны, что непременно хотимъ всунуть весь міръ въ себя, забывая, что мы сами должны приспособиться къ нему. Это такъ же резонно, какъ желать помѣстить весь

земной шаръ въ карманѣ... А тотъ теплый человѣкъ служить управляющимъ въ имѣніи...

— Къ чему ты это говоришь?—вскричалъ я, взбѣшенный нѣсколькими прозрачными намеками, вкрапленными въ длинную и, повидимому, беззаботную болтовню.

— Да такъ... пришло въ голову. Ты знаешь, я не особенно къ тебѣ равнодушенъ и... Поѣзжай, куда я тебѣ говорю, я напишу письмо этому управляющему, и ты отлично проведешь весну и лѣто. Жизнь тамъ, конечно, ничего не стоитъ, а на дорогу и на разныя случайности мы живо доставимъ денегъ... Какъ ты думаешь?

Говоря это, пріятель съ плохо скрытымъ состраданіемъ поглядывалъ на меня, а затѣмъ продолжалъ болтать. Взбѣшенный сначала намеками на мое душевное состояніе, я вдругъ почувствовалъ глубокій стыдъ при мысли, что я становлюсь предметомъ общественныхъ заботъ, что меня разгадали и убѣждаютъ не дѣлать глупостей, не пускать пули въ лобъ. Я готовъ былъ зарыдать.

И вотъ черезъ нѣсколько дней я уже ѣхалъ въ неизвѣстное мѣсто, безъ опредѣленной цѣли, съ разсыпавшимися мыслями въ головѣ. И, благодаря этому-то, въ ту минуту, съ которой я началъ рассказъ, я походилъ на тѣсто.

Живого во мнѣ осталось только безконечная раздражительность да способность констатировать бѣжавшія мимо меня впечатлѣнія. Въ вагонѣ было сыро и душно, всѣ помѣщенія были биткомъ набиты; сидѣли купцы, разночинцы, женщины всѣхъ сословій, но въ особенности много было податныхъ душъ, возвращавшихся къ Пасхѣ изъ столицы по своимъ угламъ. Впрочемъ, податныя души помѣщались больше подъ лавками, откуда дымили махоркой. Безпрерывная толкотня, тамъ, махорка, папиросы, купеческая икота къ концу дороги сдѣлались для меня невыносимы; чтобы вздохнуть свѣжимъ воздухомъ, я то и дѣло выходилъ на площадку и подставлялъ раскрытую грудь свистѣвшему вѣтру. Голова у меня уже горѣла, пульсъ отчаянно билъ тревогу, но душевная пустота во мнѣ была до такой степени огромна, что я ни о чемъ не думалъ, ничего не боялся.

Смутно помню, какъ я доѣхалъ до той станціи, гдѣ мнѣ слѣдовало слѣзать съ поезда и нанять лошадей до имѣнія. Помню только необычайное озлобленіе противъ всего и всѣхъ.

никаю, какъ я не бросилъ вещей въ вагонъ, когда вышелъ, потому что поднявшаяся толкотня (станція была большая) вызывала во мнѣ безсильное бѣшенство. Ноги еле двигались; затертый въ мечущуюся толпу, я едва не былъ сбитъ съ ногъ. Оттертый въ залу, я былъ притиснутъ къ стѣнѣ и посаженъ на скамейку. Мнѣ казалось, что я между бѣсноватыми, которымъ ничего не стоитъ столкнуть меня съ лавки на полъ и растоптать. Сознаніе путалось во мнѣ, но я злобно смотрѣлъ, какъ пассажиры бѣжали по залу, кричали, толкались и съ вытаращенными глазами тащили свои огромные узлы. Я ненавиждѣлъ всѣхъ. Если-бы люди могли слиться въ одно лицо, я плюнулъ бы въ это лицо.

Потомъ звонки, свистокъ, топанье сотенъ ногъ—и все стихло. И я остался въ пустой залѣ, съ горящею головою и съ окоченѣвшимъ тѣломъ. Дальше все устроилось какъ то само собою. Артельщикъ, который неизвѣстно о чемъ меня спросилъ и которому я неизвѣстно что отвѣтилъ, привелъ мнѣ мужика, взялъ мои вещи и попросилъ слѣдовать за собой. За вокзаломъ на снѣгу стояли дровни съ едва замѣтными признаками сидѣнья.

Лошаденка въ ихъ оглобляхъ стояла крохотная, но мужикъ былъ большой и веселый. Онъ что-то говорилъ мнѣ.

— Ничего, дождемъ... небось! Садись, баринъ... лошаденка у меня все равно, что вѣтеръ, однимъ махомъ откатаетъ двадцать-то верстъ до нашего села... Съ характеромъ она у меня... нравъ ейный такой, что первую версту надо ей хлестать на обѣ стороны, и тогда она зачнетъ чесать, пока въ ворота не влетитъ... Чисто какъ сумасшедшая... Ну, Господи благослови, буду теперь хлестать.

И въ моихъ ушахъ стало раздаваться: вжикъ! вжикъ!

Я уже смутно сознавалъ, гдѣ я, что со мной. Последняя фраза, которую я запомнилъ, при надлежала, вѣроятно, моему возницѣ: „Господи Боже мой! да вѣдь онъ хворый, помретъ!“

А дальше насталъ полный кошмаръ. Огненные круги стояли передъ моими глазами; темнота вдругъ окружила меня; воздухъ казался мнѣ угаромъ. Потомъ на меня напалъ ужасъ. Я чувствовалъ, какъ мужикъ положилъ меня внизъ саней, навалилъ мнѣ на грудь чемоданъ, а на чемоданъ

самъ сѣлъ и душилъ меня, въ то же время крича: „вжикъ! вжикъ!“

III.

Долго я спалъ.

Открывъ глаза, я сталъ не торопясь осматривать все, что меня окружало; при этомъ я нисколько не удивлялся своей обстановкѣ.

Я лежалъ на лавкѣ, въ углу вѣзлѣ двери, прикрытый собственною шубой. Прямо противъ меня, у противоположной стѣны, стояла неизмѣримая русская печь, а надо мной висѣли палаты. По потолку надъ печкой ползали тараканы, въ одиночку и кучами путешествуя по всѣмъ направленіямъ; одинъ изъ нихъ долго ползалъ по нижней сторонѣ палатей, но, очутившись прямо противъ моей груди, остановился, пошевеливая усиками и раздумывая, что ему дѣлать, потомъ повернулся, но, вѣроятно, не разсчитавъ своихъ шаговъ и свалился внизъ, на мою грудь, откуда поспѣшно удралъ къ своимъ ногамъ. Я почему-то былъ очень доволенъ, что онъ легко раздѣлался за свой невѣрный шагъ... Мнѣ было легко, хотя я лежалъ безъ движенія.

Я продолжалъ осматриваться кругомъ. Недалеко отъ стола, стоявшаго въ переднемъ углу, я увидалъ молодую женщину. Она сидѣла на донцѣ и прядла конопляную мочку. Веретено въ ея рукахъ съ необычайною быстротой кружилось по полу, а мочка, вытягиваемая въ нитку, замѣтно уменьшалась. Я залюбовался этою артистическою работой и съ радостью наблюдалъ, какъ исчезала кудель, какъ она подъ кокрыми пальцами женщины вытягивалась, закручивалась въ нитку, съ какою ловкостью женщина подхватывала вертѣвшееся веретено съ пола и какъ быстро наматывала на него скрученную нитку. Но всего больше мнѣ понравилось лицо молодой дѣвушки. Она, повидимому, вся погрузилась въ работу, но на самомъ дѣлѣ мысли ея гдѣ-то были далеко отъ этой прядки. Молодое лицо то улыбалось, то дѣлалось задумчивымъ. Не слыша своего дыханія, не двигаясь ни однимъ членомъ, я любовался этимъ лицомъ.

Потомъ глаза мои съ трудомъ повернулись въ другую сторону, и я увидѣлъ еще такое же лицо, только совсѣмъ молодое. Повидимому, это была дѣвушка, судя по ея косѣ съ

вплетенною лентой на концѣ. Она что-то шила, но медленно и какъ-то лѣнливо. Какое-то неуловимое сходство было въ чертахъ обѣихъ женщинъ, но я не могъ допустить, чтобы дѣвушка была дочь молодой женщины; та же задумчивая улыбка блуждала на ея лицѣ, но улыбка эта была молодая, неопредѣленная, а въ большихъ сѣрыхъ глазахъ ея свѣтилось много счастья и довольства. Меня охватила тихая радость; я медленно переводилъ глаза съ одной женщины на другую и съ величайшимъ вниманіемъ слѣдилъ за всѣми ихъ движеніями.

Въ избѣ, кромѣ таракановъ и двухъ этихъ женщинъ, находилось еще одно живое существо. Это былъ недѣльный теленокъ, рыженькій, съ розовыми копытцами; онъ стоялъ недалеко отъ моей постели и глупо посматривалъ по сторонамъ. Чистенькая мордочка его, черные большіе глаза, наивные, какъ у ребенка, бархатные уши, движеніями которыхъ онъ такъ еще неумѣло управлялъ,—все это возбуждало во мнѣ почему-то живое удовольствіе. У меня явилось сильное желаніе погладить его по спинѣ, потрепать его уши, почувствовать на своей рукѣ теплое дыханіе его розовыхъ ноздрей, и я уже хотѣлъ протянуть руку, чтобы выполнить свое намѣреніе. Но дѣло оказалось выше моихъ силъ; сдѣлавъ страшное усиліе, чтобы освободить руку изъ-подъ шубы, я почувствовалъ полное изнеможеніе, а рука, помимо моей воли, упала мнѣ на грудь. Тутъ только передо мной промелькнула мысль, гдѣ я былъ, зачѣмъ я здѣсь и что случилось.

Вѣроятно, сдѣланное мною слабое движеніе обратило вниманіе дѣвушки, потому что она посмотрѣла въ мою сторону и на ея лицѣ отразились вдругъ испугъ, радость, волненіе.

— Тѣта! баринъ-то смотритъ!—сказала она шепотомъ.

Это сразу нарушило мирную тишину, царствовавшую въ избѣ. По крайній мѣрѣ, мнѣ показалось, что все задвигалось вокругъ: тараканы цѣлыми эшелонами поползли по стѣнамъ запечья; теленокъ вздрогнулъ и въ дѣтскомъ испугѣ озирался по сторонамъ, полный недоумѣнія; лучъ солнца, чѣмъ-то до сихъ поръ загороженный, прямо ударилъ мнѣ въ глаза; обѣ женщины подыались съ своихъ мѣстъ, и старшая изъ нихъ подошла ко мнѣ.

— Проснулся, родимый? Ну, слава Богу!—сказала она.

Въ эту минуту въ избу вошли еще двое: тотъ самый мужикъ, что везъ меня со станціи, и мальчикъ лѣтъ пяти. Всѣ они тотчасъ окружили мою постель и удивленно смотрѣли на меня.

— Вышь, проснулся!... А ты съ вѣтру-то не подходилъ-бы близко,—сказала женщина мужу, и тотъ съ величайшею поспѣшностью отошелъ подальше. Но оттуда, радостно взволнованный, съ широкою улыбкой на широкомъ лицѣ, онъ заговорилъ, перебивая себя:

— Проснулся? Ну, и слава Богу! А долгонько-таки посидѣлъ, въ аккуратъ три недѣльки... Ну, да ужъ теперь дѣло пойдетъ на поправку... И напугалъ же ты меня... то-есть страсть какъ меня перепугалъ, какъ мы съ тобой со станціи-то сѣли! Не отъѣхали еще за околицу, слышу вдругъ я, что баринъ мой что-то лопочеть. Ну, думаю, это онъ прошепталъ собою на иностранномъ языкѣ... да оглянулся и вижу—ба-а-тюшки!—глаза-то у тебя красные, какъ угли горять, и бормочешь ты невѣсть что... Такъ меня въ башку ударило: ну, говорю, захворалъ баринъ, а бы не померъ! Сталъ я стегать на оба бока лошаденку, а самъ наблюдаю за тобой, дую ее и снизу, и сверху, а самъ все наблюдаю. Ужасъ на меня напалъ!... Да еще такую штуку-то ты откололъ со мной... Въ одномъ мѣстѣ я остановился поправить шлею, а ты вдругъ хвать изъ саней, да тягу, да въ степь, да въ сѣвѣгъ, по это мѣсто влетѣлъ! Я за тобой, схватилъ тебя на руки, приволокъ къ санямъ, посадилъ, самъ сѣлъ рядомъ, и одною рукой тебя держу, чтобы не удралъ, а другою мерещишку нахлестываю, чтобы поскорѣе до села добраться... Скачу такъ-то, а у самого, чую, волосы подъ шапкой шевелятся отъ великаго страху. Потому ты кричишь и бьешься на рукахъ у меня, лошаденка скачетъ, сѣвѣгъ ошметьями бьетъ меня по рожѣ, а мысли мои ходуномъ ходятъ. Помреть, думаю, баринъ и завинять меня невѣсть въ чемъ. Ну, однако, прискакалъ ко двору, кричу бабъ, а самъ ничего не понимаю. Да ужъ, далъ Богъ бабы тутъ надоумили меня; въ этомъ разѣ бабы завсегда выручаютъ... „Что же ты, говорятъ, какъ бревно стоишь? Вѣдь въ избу надо внести барина-то, словомъ ему дать, въ тепло его,—что же, мы нехристи, что-ли? То-есть чисто надоумили, а то я бы самъ, какъ дуракъ, стоялъ, хлопалъ глазами, а чтобы понять, что надо дѣлать,

пойть, беречь, да три недѣльки отхаживали!... Я было побѣжалъ къ старостѣ, да онъ ничего мнѣ путнаго не сдѣлалъ. „Ты, говоритъ, привезъ хвораго барина, ты и возжайся“. Ну, плюнулъ я,—извѣстно, что съ эдакимъ одромъ говорить? Побѣжалъ я къ уряднику, тотъ успокоилъ. Пущай, говоритъ, лежитъ у тебя, я, говоритъ, и пашпорта не спрошу, а коли помретъ,—ну, тогда пашпортъ...

— Будетъ болтать-то!—вдругъ ласково прервала молодая женщина, стоя возлѣ моего изголовья.

— Да я ничего, радъ только!—возразилъ мужикъ, и дѣйствительно, все лицо его было воодушевлено радостью; онъ то садился, то вставалъ, все время сильно волнуясь.

— Урядникъ—дай ему Богъ здоровья!—и насчетъ фершала меня натакалъ. Я къ фершалу. А фершалъ у насъ, прямо сказать, на всѣ руки. Всѣхъ лѣчить, кто ни попадетъ. Баба послѣ родовъ занеможетъ—къ нему. Господинъ какой разстроился—къ нему, фершалу нашему. Намедни собака, легашъ, у писаря черноозерскаго хвостъ опустила—къ фершалу. Меринъ у сосѣда вонъ на переднія ноги ослабъ—къ нему же. То-есть всякую животную онъ берется лѣчить... кошку только не пробовалъ!

— Будетъ ужъ, будетъ!—возразила молодая женщина.—Спокой ему нужень, а ты болтаешь зря!

— Да я ничего... я говорю только: слава тебѣ, Господи, что дѣло на поправку пошло!

Женщина стала поправлять мою постель, и въ то время, какъ глаза ея ласково смотрѣли на меня, руки ея ловко и быстро сдѣлали все, что мнѣ было нужно. Она поправила мнѣ подушку, закрыла мою грудь и нѣжно отвела мои волосы со лба. А дѣвушка стояла поодаль и съ радостнымъ испугомъ слѣдила за мной, какъ бы готовая сдѣлать все, что я ни попрошу.

— Испить не хочешь-ли ты? Тепленькое молочко у меня есть... Выпей!... Выпей!...

Я могъ только глазами изъяснить согласіе, потому что, вмѣсто словъ, у меня вышелъ невнятный шепотъ. Я посмотрѣлъ себѣ на руки: онѣ почти высохли за эти три недѣли, и я чувствовалъ, какъ кожа обтянулась на моихъ щекахъ

раздвинув губы и не успев сказать ни одного слова. Но сестренки угадали мой взгляд: дѣвушка устремила къ печкѣ, вынула оттуда молоко, налила въ чашку и передала ее теткѣ, а эта послѣдняя одною рукой приподняла мою голову, а другою поднесла осторожно къ моимъ губамъ чашку.

— Господи благослови!... Пей, сердешный! — говорила она, когда я съ трудомъ разжалъ губы и сдѣлалъ нѣсколько глотковъ. Больше я не могъ.

Въ эту минуту опять заговорилъ мужикъ:

— Ничего, пушай пить... Пей, баринъ... Вѣдь вотъ эти бабы какія! Я бы вотъ совсѣмъ тутъ лишился головы, а ужъ онѣ знаютъ свое дѣло,—и молочка, и водицы, и подушку надо поправить, и волосья... А я бы тутъ только хлопалъ глазами, какъ дуракъ,—помощи въ этомъ разѣ у меня нѣтъ... Ничего, пушай поправляется... Ужъ теперь мы скоро бѣгать будемъ!

Онъ говорилъ весь взволнованный, его широкое лицо свѣглось улыбкой, и онъ, повидимому, не могъ удержаться отъ выраженія своего восторга по случаю моего выздоровленія. Да и на всѣхъ трехъ добрыхъ лицахъ семьи сіяла радость, желаніе помочь мнѣ и простая доброта. Эта радость перешла и въ меня. Что-то вдругъ забилося въ груди у меня, мезы выступили на моихъ глазахъ; мнѣ хотѣлось выразить благодарность, но я только въ состояніи былъ невнятно прошептать слова любви...

Это волненіе утомило меня; вѣки мои сами опустились, и, закрывъ глаза, я все-таки видѣлъ всю обстановку: таракановъ, теленка съ розовою мордочкой и съ черными глазами, дѣвушку, ея тетку и широкое лицо мужика, которое постепенно расплылось въ необъятную улыбку и окрасило всѣ мои видѣнія розовымъ свѣтомъ. Невыразимое счастье и глубокій покой овладѣли всѣмъ моимъ организмомъ, и я заснулъ въ какомъ-то упоеніи.

IV.

Когда я снова открылъ глаза послѣ двѣнадцати часовъ глубокаго сна, въ избѣ было пусто и царилъ мертвая тиши-

на; не было ни людей, ни теленка, только тараканы за печкой продолжали свои путешествія. Я слышалъ собственное тихое дыханіе и могъ сосчитать медленные удары своего сердца. На меня вдругъ напала тоска, какъ будто я что-то потерялъ. „Гдѣ они всѣ?“—думалъ я и искалъ глазами людей, къ которымъ такъ непонятно привязался. Съ тоской ожидая ихъ, я тутъ только смутно вспомнилъ отрывки того бреда, въ которомъ я метался нѣсколько недѣль. Посреди ужасовъ отвратительныхъ видѣній мнѣ припомнились, какъ въ туманѣ, два женскихъ лица, ласковыхъ, добрыхъ, сострадательныхъ; они отгоняли мои огненные образы и вѣяли на меня прохладой... Вотъ когда я привязался къ нимъ.

Но мое волненіе продолжалось недолго: дверь вдругъ отворилась и въ избу вошла сначала молодая женщина, потомъ дѣвушка съ мальчикомъ, а вслѣдъ за ними вскорѣ и самъ хозяинъ. Разбредись они всѣ по дѣламъ, а меня не боялись оставить одного, потому что я спалъ здоровымъ сномъ. Я обрадовался, какъ ребенокъ, когда всѣхъ ихъ снова увидалъ. Женщина принялась сейчасъ же хлопотать около меня, мальчуганъ залѣзъ на печку и оттуда, не сводя глазъ, наблюдалъ за мной, а самъ хозяинъ, попрежнему, болталъ, будучи не въ состояніи удержаться отъ выраженія своихъ чувствъ, которыя всѣ цѣликомъ ярко рисовались на его открытомъ лицѣ.

— Ловко! Мы тутъ всѣ кое-куда разбредись, а нашъ гость вонъ ужъ молодцомъ смотреть. Молочка? Ну, ничего, пущай пьетъ... Пей, Иванъ Миколаичъ! (Откуда-то онъ ужъ и имя мое узналъ). Фершалъ нынче общалъ побывать и говорить: „Вы, черти, не вздумайте его кормить толокномъ!... Теперь, говорить, ему слѣдуетъ курицу, мясо, супъ, чтобы животъ ему не пучило!“ Что-жъ, это можно... Больному человѣку и въ постъ, въ случаѣ чего, полагается — Богъ проститъ!... Завтра же все раздобудемъ... Ловко! Полчашки ужъ выпилъ... молодецъ!...

Это онъ меня такъ воодушевлялъ, когда я пилъ молоко, поданное мнѣ хозяйкой. Невозможно было удержаться отъ улыбки. Въ этотъ день я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ по пути выздоровленія, въ первый разъ заговорилъ, хотя шепотомъ, и напелъ въ себѣ силу двигать руками и ногами. Впрочемъ, нѣсколько часовъ участія моего въ раз-

говорѣ семьи утомили меня, и я снова закрылъ глаза, полный покоя и счастья.

Съ этого дня я быстро сталъ поправляться и какъ бы вновь выросталъ тѣломъ и душой. Черезъ нѣсколько дней я уже самъ поворачивался на постели, а еще черезъ нѣсколько дней могъ сидѣть. Участіе всей семьи ко мнѣ проявлялось ежеминутно въ сотнѣ мелочей; мы какъ будто нѣсколько лѣтъ жили вмѣстѣ и привыкли во всемъ другъ къ другу. Между нами происходили постоянные разговоры, не возбуждавшіе никакихъ недоразумѣній. Отношенія становились дружескія, родныя. Впрочемъ, къ различнымъ членамъ семьи у меня были различныя отношенія.

Дольше всѣхъ не признавалъ меня равнымъ себѣ мальчуганъ Васька, упорно выглядывая дикаремъ. Забывая послѣ игръ на дворѣ въ избу, онъ или влѣзалъ на печку и оттуда пытливо наблюдалъ за всѣми моими движеніями, или уходилъ въ дальній уголъ и тамъ, засунувъ пальцы въ ротъ, молчалъ на всѣ мои шутки.

— Песъ его знаетъ, въ кого и уродился эдакій волченокъ!—говорила съ улыбкой мать его.—Васька! ты это чего глазищи-то косишь отъ Ивана Николаича? У, дуракъ!

Васька на всѣ эти упреки пуще косилъ глазами и глубже засовывалъ пальцы въ ротъ. И долго впослѣдствіи онъ дичился меня.

Дѣвушка Даша, племянница моихъ друзей-хозяевъ, то и дѣло старалась услужить мнѣ, болтала со мной, повидимому, свободно, но въ ея лицѣ постоянно мелькала застѣнчивость, которая перешла и на меня; я даже больше, пожалуй, стѣснялся, когда глядѣлъ на это молодое лицо. Мы свободно смотрѣли другъ на друга только въ присутствіи самой Василисы.

Эта молодая хозяйка съ перваго же взгляда казалась одною изъ тѣхъ умныхъ женщинъ, съ которыми такъ легко говорить и къ которымъ чувствуешь невольное уваженіе. Ловкая въ движеніяхъ, тихо, но съ необычною быстротою работающая, Василиса все дѣлала съ величайшимъ тактомъ. На лицѣ ея блуждала чуть замѣтная улыбка, глаза свѣтились лаской, и, въ то же время, каждое движеніе ея было твердое, какъ результатъ заранѣе обдуманнаго плана, а каждое ея слово, повидимому, незначительное, вытекало ло-

гически изъ цѣлаго ряда разумныхъ мыслей. Никого въ семьѣ не насилуя, она пользовалась неоспоримымъ вліяніемъ. Я никогда не слышалъ съ ея стороны приказаній ни племянницѣ, ни мужу, но оба они дѣлали съ удовольствіемъ все, о чемъ она говорила. Она никогда не совѣтовала, но просто говорила, и, однако, слова ея принимались за послѣднее рѣшеніе; никого не принуждая что-нибудь сдѣлать, она сама работала, но всѣ старались взять на себя начатую ею работу. Даша питала къ ней безграничное довѣріе, а мужъ постоянно обнаруживалъ равнодушіе къ ней.

Проводили мы время тихо. Иногда я что-нибудь рассказывалъ, но чаще молчалъ, наблюдалъ за работами по дому обѣихъ женщинъ, что мнѣ доставляло непонятное удовольствіе.

Но картина мѣнялась, когда въ избу входилъ самъ Петръ Митрофановичъ. Когда онъ, съ шумомъ отворивъ дверь, входилъ въ избу, съ нимъ врывался свѣжій воздухъ, шумъ, движеніе, громкій разговоръ, запахъ сѣна, солнечный свѣтъ, смѣхъ и оживленіе. Шляпка его была сдвинута на затылокъ; воротъ растегнутъ. Лицо открытое, само по себѣ возбуждающее веселье. Экспансивная натура его способна была оживить, кажется, мертваго. Каждое слово его, само по себѣ вовсе не смѣшное, вызывало въ окружающихъ смѣхъ и счастливое настроеніе. Едва онъ открывалъ свой широкій ротъ, какъ уже всѣ улыбались. Размахивая большими лапами, онъ говорилъ безпорядочно, но самъ увлекался и хохоталъ такъ, что смѣхъ его вырывался наружу и раскатывался по всей улицѣ. Курчавые волосы покрывали его голову въ живописномъ безпорядкѣ, а пальцы его рукъ всегда торчали въ разныя стороны всею пятерней. Все у него было широко: спина, ноги, носъ, пятерни, разговоръ, мысли, волненія, и все это ползло врозь, ширилось. Когда онъ что-нибудь объявлялъ, то ноги разставлялъ врозь, растопыривалъ пальцы и говорилъ, дѣлая неожиданныя сопоставленія.

Кажется, скрыть въ себѣ онъ ничего не могъ; всякое чувство сейчасъ же вырывалось изъ него наружу, какъ паръ и пузыри изъ клокотавшаго въ печкѣ чугуна. Это чувство сейчасъ же разливалось у него по лицу, по рукамъ, растопыривало его пятерни и заставляло размахивать ими по воздуху. Что-нибудь описывая, онъ преувеличивалъ каждую

вещь, придавая ей страшные размыры. Въ десятый разъ рассказывая, какъ онъ везъ меня со станціи и какъ отъ ужаса шевелились у него подъ шапкой волосы, онъ и меня приводилъ въ ужасъ. Онъ никогда не вралъ, только всему придавалъ необъятные размыры.

Неумѣренный въ своихъ чувствахъ, онъ и темныя стороны описывалъ съ огромными преувеличеніями. Я не видалъ его еще разгнѣваннымъ и мрачнымъ, но когда въ первый разъ увидалъ его такимъ, то вообразилъ, что постель подомною падаетъ, а наша изба лопнула и разваливается.

Это было во вторникъ на Страстной недѣлѣ. Даша, Василиса и я—все мы втроемъ—мирно бесѣдовали, дѣлая длинныя промежутки молчанія. Васька лежалъ на палатахъ и, свѣсивъ блѣсую голову свою внизъ, отъ времени до времени искоса поглядывалъ на меня. Вдругъ дверь широко распахнулась и вмѣстѣ съ кучей холоднаго воздуха вошелъ Митрофанычъ. Шапка его, какъ всегда, была сдвинута на затылокъ; въ бородѣ висѣла щепка; воротъ рубахи и полушубка былъ растегнутъ. Но лицо его было темно, а надъ разгнѣванными газами густыя брови его мрачно были сдвинуты, какъ у кота, прицѣпившагося прыгнуть на мышъ.

Не говоря ни слова, онъ взялъ съ головы шапку и—бацъ объ полъ! Развязалъ кушакъ съ полушубка и—бацъ его за печку! А сдернувъ съ плеча полушубокъ, онъ швырнулъ его на лавку такъ, что тотъ плашмя растянулся по полу и разбросилъ рукава. Опять ни говоря ни слова, Митрофанычъ сѣлъ на лавку и поглядѣлъ на всѣхъ такимъ темнымъ взоромъ, что я ожидалъ уже какого-нибудь несчастія. „Что за диковина!“—думалъ я.

Вдругъ онъ проговорилъ мрачно:

— Своѣлочъ!

Никто ему не возразилъ.

— Толстомордый дьяволъ!—еще брякнулъ онъ.

Я недоумѣвалъ. Василиса также молчала, только лицо ея сдѣлалось задумчивѣе и строже.

— Хуже пса такой человекъ... Вотъ тебѣ и Свѣтлое Христово Воскресеніе... безъ говядины!—закричалъ онъ бурно, весь красный.

Василиса слегка сдвинула брови и задумчиво продолжала

работать. Наконецъ, бросивъ пыливый взглядъ на мужа, она тихо спросила:

— Въ лавочкѣ, что-ли, былъ?

— А то гдѣ же больше? Конечно, у толстомордаго Микитки. Пришелъ, прошу къ празднику говядины, а онъ, какъ песь безчувственный, зачалъ лаять... Не даетъ. „Ты, говорить, забралъ уже на два цѣлковыхъ,—не дамъ!“ Ахъ, ты, шкура поганая! Цѣлый годъ беремъ у него, а тутъ вдругъ передъ праздникомъ лишаетъ! Гдѣ же теперь возьмешь,—у чорта подъ хвостомъ!

— Можно и въ другомъ мѣстѣ взять,—какъ бы про себя возразила Василиса.

Митрофанычъ мрачно посмотрѣлъ на нее, но, видимо, слова жены подѣйствовали на него охлаждающимъ образомъ,—нѣсколько складокъ на его лицѣ разгладились, а брови поднялись.

— Не даетъ Микитка, и песь съ нимъ,—свѣтъ не клиномъ сошелся. Богъ дастъ, не останемся безъ говядины...

Говоря это, Василиса задумчиво посмотрѣла вокругъ себя и что-то соображала. Митрофанычъ глядѣлъ на нее, и его широкое лицо мало-по-малу расилывалось. Здѣсь я вмѣшался, сказавъ, что я еще не заплатилъ за дорогу, и предложилъ Митрофанычу свои услуги. Моментально гнѣвъ его пропалъ и на поверхности его лица появился сильный конфузъ.

— Да развѣ я, Иванъ Миколаичъ, изъ-за денегъ?... Да я что... какъ же можно, чтобы я даже подумалъ попрошайничать у тебя? Господи Боже мой! вѣдь я только про толстомордаго Микитку разговаривалъ, потому какъ онъ говядины мнѣ не отпускаетъ! Чай, ты гость нашъ!...

Только съ помощью Василисы удалось убѣдить его, что деньги мои, заработанные имъ, получить можно сейчасъ же и что въ этомъ никакого срама нѣтъ. Вообще, Митрофанычъ былъ чуткій ко всему. Такъ, чтобы его не заподозрили въ какой-нибудь корыстной мысли, онъ во время моей горячки спряталъ мой кошелекъ за божницу, за икону святителя Макарія, и теперь, доставъ оттуда его, подалъ мнѣ, причемъ побожился, что „лопни его утроба, онъ пальцемъ то есть не шевелилъ чужія деньги“.

Вскорѣ съ его крайними способами выраженія чувствъ я

ближе познакомился и привыкъ не удивляться, когда онъ вдругъ неожиданно переходилъ отъ хохота къ мрачному взгляду. Какъ всѣ люди, надѣленные чрезмѣрнымъ воображеніемъ, онъ часто изъ пустяка создавалъ слона, но кто привыкъ къ этой необузданности, тотъ ужъ ее не замѣчалъ. Къ тому же, чрезмѣрная радость и необузданный гнѣвъ его выражались сравнительно невиннымъ способомъ; чаще всего за мрачное состояніе его отвѣчала шапка, которую онъ безъ милосердія багалъ объ полъ.

— Вотъ и говядина у насъ будетъ... Не зачѣмъ было шумѣть, только шапку рвешь,—сказала Василиса съ тихимъ упрекомъ, когда вопросъ о говядинѣ мы разрѣшили.

Въ это время, на Страстной недѣлѣ, я уже сталъ понемногу ходить. Мирное нравственное настроеніе, душевный покой, простая, но здоровая пища быстро возстановляли угасшія мои силы. На послѣднихъ дняхъ я принималъ уже живое участіе въ приготовленіяхъ къ празднику; вспомнивъ нѣсколько кухонныхъ секретовъ, я передалъ ихъ Василисѣ и Дашѣ; кромѣ того, самъ своими руками сдѣлалъ изъ досокъ посуду для сырной пасхи и сильно волновался, когда мы втроемъ составляли смѣсь изъ творогу, сахару и пр. Праздникъ мы встрѣтили и провели скромно и съ сіяющими лицами, причемъ самъ Митрофанычъ цѣлый день находился въ восторженномъ настроеніи и выражалъ его, по обыкновенію, необузданно, такъ что даже дикій Васька усомнился въ трезвомъ состояніи отца.

На третій день я въ первый разъ вышелъ на улицу, тепло одѣтый и подъ руку съ Митрофанычемъ. Голубое небо, яркое солнышко, весенніе ручейки, скрещивающіеся по всѣмъ направленіямъ, привели меня въ такое настроеніе, что я съ трудомъ удерживался отъ слезъ. Митрофанычъ привелъ меня на высокій берегъ рѣки, уже совершенно высохшій и сплошь облѣпленный народомъ. Я не подозрѣвалъ, что меня уже все село знаетъ, интересуется мною и выражаетъ мнѣ по всякому поводу сочувствіе. Усаженный на удобномъ мѣстѣ, я очутился среди нѣсколькихъ десятковъ мужиковъ и былъ подавленъ сострадательными взглядами, одобрительными словами, сочувственными совѣтами. Мнѣ нужно было много времени, чтобъ оправиться отъ волненія, вызваннаго наивными пожеланіями, и только успокоившись, я принялъ участіе въ

праздничномъ настроеніи мужиковъ. А настроеніе это было поистинѣ праздничное.

Весенній воздухъ ласкалъ мнѣ лицо, солнце грѣло мое тѣло, обширный ландшафтъ успокаивалъ мои взоры. Прямо подъ ногами нашими бурлила рѣка, мутныя воды которой несли льдины; по всему протяженію крутаго берега шумѣли водопады, низвергаясь пѣнистыми потоками внизъ; тутъ же вокругъ гармонически журчали ручейки, съ тихимъ шепотомъ сливаясь съ рѣкой. Вдали видѣлась мельница съ соломенною крышей, а кругомъ луга, покрытые тальникомъ, который издали бѣлѣлся пушистыми цвѣтами.

Быть можетъ, личное мое настроеніе все окрашивало въ радужные цвѣта, но я видѣлъ, что настроеніе всѣхъ обѣпившихъ берегъ было необыкновенное. И здѣсь, на мѣстѣ, я въ первый разъ понялъ тайну воскресенія мужика. Раньше эта тайна была недоступна мнѣ. Когда я въ газетахъ читалъ о голодѣ, положимъ, малмыжскихъ мужиковъ и подробности описанія ихъ послѣднихъ предсмертныхъ судорогъ, я съ ужасомъ констатировалъ фактъ: „ну, теперь малмыжскіе мужики померли, погубленные безчеловѣчіемъ людей и гнѣвомъ природы“, но когда черезъ нѣсколько мѣсяцевъ изъ тѣхъ же извѣстій узнавалъ, что малмыжскіе мужики успѣшно обдѣлываютъ свои поля, я съ недоумѣніемъ думалъ: „но вѣдь малмыжскіе мужики погибли,—какъ же они, мертвые, могутъ обдѣлывать поля“? И я ничего не понималъ.

Теперь я на мѣстѣ прочувствовалъ эту тайну воскресенія изъ мертвыхъ. Малмыжскіе мужики дѣйствительно ежегодно помирали, но ежегодно весной, вмѣстѣ съ возрожденіемъ земли, они воскресали, какъ умершіе и похолодѣвшіе корни растений. Ихъ оживляло это голубое бездонное небо и этотъ теплый воздухъ, а когда яркое солнце вскрывало рѣки и растопляло землю, когда взволнованныя имъ воды съ грохотомъ уносили всю грязь и смрадъ, накопившіеся въ продолженіе цѣлаго года, въ сердцѣ малмыжскихъ мужиковъ разбивалось отчаяніе и они мужественно принимались снова за прерванную жизнь.

Я каждый день сталъ выходить, съ помощью Митрофаньча, на берегъ и по нѣскольку часовъ проводилъ среди шумной воскресшей толпы. Парни и дѣвки играли въ горѣлки; мальчишки боролись, бѣгали, играли въ бабки; мужики и бабы

обмѣнивались шутками и веселыми рассказами; подвыпившіе орали пѣсни, дрались или цѣловались. Это была жизнь.

V.

За праздникъ, сидя на берегу бушевавшей рѣчки, среди гучи веселаго, воскресшаго народа, я, незамѣтно для себя, перезнакомился со всею деревней. Дойти отъ нашего дома до берега мнѣ всегда помогаль Митрофанъчъ, но обратный путь я часто совершалъ при поддержкѣ какого-нибудь другого мужика, и это сблизило меня со старыми и малыми. Самъ не желая того, я скоро узналъ всю подноготную каждаго. Откровенность между нами установилась какъ-то само собой. Одинъ рассказывалъ про свою домашнюю жизнь, другой—про свои мытарства на заработкахъ, третій въ подробностяхъ объяснялъ тотъ случай, когда потерялъ послѣднюю корову. Опять-таки не желая совѣтовать и учить, я долженъ былъ принять участіе въ рѣшеніи множества крошечныхъ вопросовъ.

А черезъ нѣсколько дней я былъ уже заваленъ мелкими глупостями. Одному мужику, плотно поѣвшему баранины и разстроившему брюхо, я какъ-то посовѣтовалъ выпить восторки. Тотъ выпилъ и выздоровѣлъ; этого было достаточно, чтобы ко мнѣ, къ моему удивленію, полѣзли всѣ хворые. Пришелъ даже мужикъ, у котораго отъ дурной болѣзни все лицо превратилось въ лепешку.

— Пожалуйста, ужь полѣчи меня, господинъ... мочи моей нѣтъ!—говорилъ онъ, съ вѣрой смотря на меня.

Едва преодолевъ свое отвращеніе, я посовѣтовалъ ему обратиться въ городскую больницу, увѣряя, что я — не лѣкарь.

— А говорили, будто бы больно хорошо пользуешь. Вонъ Семену-то помогъ же? Ну, и мнѣ пособи.

Что мнѣ было дѣлать? Я продолжалъ убѣждать отправиться въ городъ и лечь въ больницу.

— Да и тамъ докторъ только немного поможетъ тебѣ... Новый носъ, во всякомъ случаѣ, не приставить, — возражалъ я.

— Да носъ-то мнѣ наплевать! Чорта-ли мнѣ въ носу-то!

Хоть бы остановить-то, ходу-то хоть бы не дать,—вотъ объ-чемъ я говорю. Дай, ради Бога, чего ни на есть!

Насилу я отвязался отъ этого мужика, увѣреннаго, что моимъ лѣкарствомъ (касторкой) можно вылѣчить его болѣзнь.

Одной старухѣ я написалъ письмо къ сыну ея, солдату, и этого опять было достаточно, чтобы ко мнѣ полѣзли съ письмами. Въ другой разъ я написалъ просьбу одному мужику, и съ этого дня я долженъ былъ написать разныхъ прошеній десятка два. Въ началѣ Оминой недѣли пришелъ ко мнѣ какой-то косоглазый мужиченко и съ таинственнымъ видомъ сталъ упрасивать меня написать ему просьбу на другого мужика, съ которымъ онъ судился. Долго я не могъ понять сущности дѣла; наконецъ, послѣ долгихъ разспросовъ мнѣ удалось узнать, что косоглазый хочетъ повредить своему сосѣду.

— Ты ужъ такую мнѣ сочини грамоту, чтобы Минитку сразу пригвоздить... Садануть его въ такомъ родѣ, чтобы онъ присѣлъ и ополоумѣлъ,—вотъ ты какое мнѣ составь ходатайство!

Я былъ одинъ въ нашей избѣ: ни Митрофаныча, ни женщинъ, съ которыми бы я могъ посоветоваться, не было въ эту минуту, и я недоумѣвалъ, какъ мнѣ быть? Наотрѣвъ отказать въ просьбѣ косоглазому мужику неловко было, потому что сущности дѣла я все-таки не понималъ, согласиться написать ему просьбу также не могъ. Не понравился онъ мнѣ съ перваго взгляда. Въ косыхъ его глазахъ бѣгало плутовство; низкій, заросшій шерстью лобъ его, раздувавшіеся ноздри, постоянныя гримасы его,—все это было скверно въ немъ. Говорилъ онъ тихо и безпрестанно оглядывался, словно боялся, что его застанутъ на мѣстѣ преступленія. Но нашего брата можно всегда подкупить ласкательями, а этого добра на немъ было достаточно,—все одѣяніе: и глянцевитый, съ бахромой на подолѣ, полушубокъ, и рваная шапченка, и еле державшіеся опорки,—все это представляло одни доскутки; вдобавокъ отъ него пахло какимъ-то мускусомъ, какъ отъ козла. Могъ-ли я отнестись къ нему круто? Кромѣ того, я всегда избѣгалъ опредѣлять по наружному виду. Благодаря всему этому, я сказанъ нездоровымъ (я былъ въ самомъ дѣлѣ утомленъ) и велѣлъ мужику придти завтра.

Онъ ничего, не настаивалъ, но, понизивъ свой голосъ еще на одинъ тонъ, вдругъ попросилъ дать ему до завтра двугривенный; по его словамъ, этотъ капиталъ страсть какъ былъ ему нуженъ и, притомъ, только до завтра. Ну, что же, я далъ. Онъ ушелъ, только мускусъ долго еще послѣ его ухода стоялъ въ избѣ.

Когда вернулись всѣ мои домашніе, я рассказалъ про этотъ случай. Даша разсмѣялась, Василиса нахмурилась, а Митрофанычъ вдругъ разозлился. На широкомъ лицѣ его показалась черная туча и онъ съ гнѣвомъ сѣлъ на лавку противъ меня.

— Приходилъ Васька?—спросилъ онъ съ яростью.

— Я не спросилъ, кто онъ.

— Да, онъ самый, Васька Сайкинъ! Косой?... Ну, онъ. Ахъ, ты, Боже мой!... И онъ просилъ тебя просьбу ему сочинить?... Ахъ, онъ поганецъ эдакой!

— Да, просилъ сочинить,—сказалъ я.

— А ты ему по уху не далъ?—спросилъ Митрофанычъ съ любопытствомъ и надеждой, что я уже это сдѣлалъ.—И въ загорбокъ ему не накласть? Хорошаго, напримѣръ, тумака въ затылокъ?

— Да не за что было.

— Ну, такъ! Такъ я и зналъ!—закричалъ Митрофанычъ, весь красный.

— Что же тутъ такого?—спросилъ я съ недоумѣніемъ.

Митрофанычъ только съ отчаяніемъ посмотрѣлъ на меня.

— Боже ты мой! Да вѣдь это поганецъ-то какой! Пронохалъ, что ты доберъ, а насъ никого нѣтъ, и прилѣзъ! Ну, да ладно, завтра я ему накладу. Завсегда его надо дуть, иначе это такой поганецъ!... Пожалуйста, не привѣчай его! Самый гиблый мужиченко, кляузникъ, обманщикъ, наглый врунь!

Митрофанычъ на мои вопросы рассказалъ нѣсколько случаевъ изъ жизни Васьки Сайкина, и я долженъ былъ отчасти согласиться, что прогнать его стоило, хотя дать ему по уху, при первомъ же знакомствѣ, трудно было рѣшиться. Впослѣдствіи этотъ мужиченко напомнилъ о себѣ.

На этотъ разъ я только посмѣялся надъ собой, успокоилъ необузданный гнѣвъ Митрофаныча и далъ себѣ слово осторожно вмѣшиваться во взаимныя отношенія мужиковъ. Съ это-

го дня мнѣ пришлось кое въ чемъ отказывать приходящимъ,— я боялся сдѣлать промахъ. Кромѣ того, писаніе писемъ, прошеній и кляузъ мнѣ совсѣмъ было не по душѣ.

Впрочемъ, эти дѣлишки занимали незначительное мѣсто въ деревенской жизни; вскорѣ я увидалъ, что окружающіе меня во всемъ нуждались, и будь мои знанія въ тысячу разъ больше, они быстро были бы впитаны деревней, которая, какъ губка, жадно вбираетъ въ себя все, что притекаетъ къ ней извнѣ. И мужики, и бабы невинно эксплуатировали меня всѣмъ, чѣмъ только могли. Думаю, что то же самое продѣлываютъ они и со всякимъ свѣжимъ человѣкомъ. Той заскорузлой косности и тупоумія, которыя приписываются мужику, я вовсе не замѣтилъ; напротивъ, всякое слово, слухъ, обрывокъ разговора, кусочекъ новости,—все это жадно подхватывалось деревенскимъ умомъ и при помощи воображенія претворялось въ глубокое убѣжденіе, отчего нерѣдко какая-нибудь вещь, возникшая гдѣ-нибудь далеко, превращалась въ деревнѣ въ вычурную сказку; съ тѣмъ вмѣстѣ, голодный деревенскій умъ способенъ поглотить безконечную груду знаній.

VI.

Снѣгъ повсюду сошелъ, поля обнажились и сѣрый тонъ ихъ покрова кое-гдѣ уже переходилъ въ чуть замѣтный зеленый цвѣтъ. Обогрѣваемая горячимъ солнцемъ, земля, казалась, тяжело дышала, паръ густыми клубами поднимался изъ нея, а по утрамъ на зарѣ долины залиты были туманомъ. Быстро подходило время весенней пашни.

Картина деревни измѣнилась. Нигдѣ больше нельзя было замѣтить кучекъ празднаго народа; берегъ рѣчки опустѣлъ; цвѣтныя платья замѣнились посконными; на улицѣ не было ни души. Но за то на дворахъ шло дѣятельное приготовленіе къ выѣзду въ поле. Это еще не была страда, но уже мысли были полны тревогъ. Всѣ хозяева безпокойно копошились во дворахъ, починивая бороны, поправляя косы, повсюду раздавался стукъ топоровъ и визгъ пилъ. У многихъ оказались недочеты. У того лемехъ заржавѣлъ; другой ручекъ отъ сохи не находилъ; третьему надо было подкармливать лошадь, которая за зиму превратилась въ пустую шкуру. У иного вовсе не было ни лошади, ни сохи, но онъ

все-таки безпокойно копошился во дворѣ, ломая голову надъ тѣмъ, съ кѣмъ изъ сосѣдей ему соединиться, чтобы кое-какъ наковырять ярового поля. Всѣ были заняты.

Я одинъ не зналъ, за что приняться. Въ первый разъ мнѣ здѣсь стало скучно. Силы мои замѣтно возстановились; я чувствовалъ, какъ я росъ и крѣпъ, но теперь вдругъ мнѣ скучно и неловко сдѣлалось среди занятыхъ и обезпокоенныхъ людей. Это, впрочемъ, продолжалось только одинъ день.

На слѣдующій день я не вышелъ изъ дому; помогая Митрофанычу, я отыскалъ много работы, которая сейчасъ же заинтересовала и заняла мое время. Мы осмотрѣли вмѣстѣ всю сбрую, соху, борону, колеса и повсюду открыли недостатки. Но главный недостатокъ былъ въ лошади, замореной во время зимы извозомъ. Митрофанычъ, правда, увѣрялъ, что его лошадь особенная, съ исключительнымъ характеромъ, но фактъ нельзя было скрыть: ребра ея выставились наружу, мослы крупы обострились, и она держала голову книзу; очевидно было, что хотя меринъ былъ и особенный, но къ весенней работѣ не годился. И я видѣлъ, съ какою тайною заботой Митрофанычъ занялся откармливаніемъ его.

Оставивъ его за этимъ дѣломъ, я придумалъ сдѣлать новую борону. Еще мальчуганомъ я баловался пилой и топоромъ. Кромѣ того, я увѣренъ, что для интеллигентнаго человѣка не существуетъ недоступнаго труда, — онъ всему можетъ скоро научиться. Теперь, осмотрѣвъ старую борону, я увидѣлъ, что сдѣлать новую — задача не хитрая. Топоръ и пила у насъ были, буравъ и рубанокъ гдѣ-нибудь можно было достать; я попросилъ только Митрофаныча дать мнѣ лѣсу. Онъ недовѣрчиво отнесся къ моимъ плотничьимъ способностямъ, но по добротѣ указалъ мнѣ нѣсколько лѣсинъ. Я сейчасъ же принялся за работу. Къ моему удовольствію, Митрофанычъ цѣлый этотъ день бѣгалъ гдѣ-то, и я могъ на свободѣ предаваться тыпанью. Обтесавъ лѣсины, я обстругалъ ихъ, пригналъ и сбилъ; потомъ выколотилъ изъ старой, гнилой бороны зубья и принялся вертѣть дыры. Къ вечеру я усталъ страшно, но борона была все-таки готова.

Когда Митрофанычъ увидалъ плодъ моихъ торопливыхъ стараній, то пришелъ сначала въ изумленіе, а затѣмъ, со свойственною ему необузданностью, принялся въ восторгѣ

хохотать. Перевертывая на всѣ стороны мое издѣліе, онъ хохоталъ такъ, что перепугалъ куръ, быть можетъ, сосѣдей и нашихъ женщинъ, которыя собрались также около бороны. Мнѣ съ трудомъ удалось увѣрить моихъ друзей, что не всякій баринъ — синонимъ неумѣлаго бездѣльника; впрочемъ, разница между интеллигентнымъ человѣкомъ и бариномъ осталась-таки для нихъ на этотъ разъ темной, и только впоследствии я нашелъ случай провести наглядную границу. А теперь, удовлетворенный хохотомъ и одобрительными взглядами, я пока согласился быть исключительнымъ бариномъ.

Въ слѣдующіе дни я уже самъ, въ качествѣ знатока, исполнилъ нѣсколько необходимыхъ работъ: поправилъ телѣгу, пригналъ старую рукоятку къ новой сохѣ, поправилъ заборъ, свернувшійся на бокъ, и могъ бы найти безконечное множество возни по дому. Мои подѣлки выходили недурно, но отъ одного недостатка я никакъ не могъ отвязаться: мой трудъ былъ торопливый, нервный, беспорядочный. Очевидно, я цѣликомъ переносилъ всѣ свойства умственной дѣятельности на физическій трудъ. Между тѣмъ, разница между обоими родами труда громадная: въ то время, какъ быстрая смѣна сильныхъ возбужденій и полного покоя составляетъ необходимое условіе успѣшнаго умственнаго труда, физическій трудъ требуетъ равномерности и правильности; для умственнаго труда и самое сильное возбужденіе есть, въ то же время, самое богатое по результатамъ, а физическій трудъ отъ лишняго возбужденія только страдаетъ. Переносъ цѣликомъ одинъ родъ работы на другой, я часто буквально одними нервами работалъ, отчего страшно уставалъ и долженъ былъ дѣлать длинные промежутки между двумя дѣлами.

— Брось ты, голубчикъ, этотъ заборъ-то, успѣешь еще! Отдохни лучше,—то и дѣло совѣтовала мнѣ Василиса, видя, какъ я изнемогаю.

Вскорѣ я долженъ былъ отложить придуманныя мною постройки и починки, отвлеченный другими, болѣе спѣшными занятіями.

Дѣло шло все о той же лошади. Я видѣлъ, что Митрофанъ тайно былъ сильно смущенъ некрасивымъ видомъ характернаго мерина, который никакъ не поправлялся, несмотря на всѣ хлопоты хозяина. Митрофанъ набивалъ ему брюхо

чѣмъ попало: рудленая солома, облитая болтушкой, сѣно, отруби,—все это Митрофанычъ тащилъ подъ сарай и поспѣшно набивалъ мерина всякою всячиной. На послѣднія деньги онъ купилъ полтора пуда овса, всыпалъ въ мерина и наблюдалъ, что изъ этого выйдетъ. Когда овесъ вышелъ, Митрофанычъ сбѣгалъ къ дьячку, досталъ съ десятокъ каравеевъ, оставшихся у него отъ пасхальнаго сбора, и также положилъ въ мерина. Но видимыхъ результатовъ не оказалось. Меринъ все жралъ, однако, не поправился. Нѣсколько разъ Митрофанычъ тайкомъ отъ Василисы припрятывалъ куски и другіе объѣдки отъ обѣда; одинъ разъ онъ, впонытая, утаилъ остатки рыбнаго пирога; характерный меринъ все это сѣлгъ, не исключая и рыбнаго пирога, но не поправился. Только брюхо у него непомерно раздулось и уже не помещалось въ оглобли, мослы же его продолжали торчать попрежнему.

Митрофанычъ, видимо, впалъ въ заблужденіе, надѣясь изъ тучелы сдѣлать живое существо. Наконецъ, завѣса на его глазахъ открылась и онъ впалъ моментально въ мрачное отчаяніе. Вернувшись однажды съ мельницы, онъ выпрягъ лии, лучше сказать, вырвалъ лошадь изъ оглоблей и сталъ спирать съ нея хомуть. Потомъ, взявъ хомуть на руки, онъ поглядѣлъ на него и вдругъ—бацъ его объ землю! Стащивъ затѣмъ недоуздокъ, онъ размахнулся имъ и—бацъ его въ стѣну амбара! Я думалъ, что вотъ онъ сейчасъ и съ шапкой такъ же поступить; однако, его гнѣвъ нашелъ другой выходъ,—это была подвернувшаяся подъ ноги дуга, которую онъ швырнулъ куда-то на задній дворъ. Лицо его было темнѣе тучи, несущей громъ и молвію. Было очевидно, что въ глазахъ его все приняло вдругъ мрачный оттѣнокъ—и небо, и земля, и люди, и въ особенности талантливый меринъ. Захлѣвъ меня на дворѣ, онъ вдругъ вскрикнулъ:

— Окончательно моя прорва ни къ чему!

— Неужели не будетъ работать?—спросилъ я.

— Какого чорта дожидать отъ этого брюхана!... Самъ поспуди, съ мельницы чуть дотащился!... Ни въ жисть ему не стащить соху!

— Какъ же быть?

— А я почему знаю! Окончательно руки у меня отвали-

лись, не на чемъ мнѣ выѣзжать въ поле... Чистая прорва! Брюханъ! Свинья эдакая! Вотъ смотри на эдакую живодерию!

Я едва успѣлъ слѣдить за отборными ругательствами, посылаемыми въ сторону несчастнаго инвалида, который понуро все это время стоялъ подъ сараемъ и жевалъ сѣно, тощій и печальный.

На крикъ вышла изъ дому Даша (Василиса полоскала бѣлье на рѣчкѣ), и мы втроемъ стали обсуждать критическое положеніе. Черезъ два-три дня Митрофануachu предстояло выѣзжать въ поле, а настоящей лошади не было. Я раньше обдумывалъ все это, но до послѣдняго дня колебался; денегъ у меня осталось мало, — совсѣмъ остаться безъ нихъ я боялся; между тѣмъ, и лошадь въ домъ была необходима. Теперь я рѣшился.

— Знаешь что, Митрофануачъ, давайте поговоримъ и авось что-нибудь придумаемъ... Знаешь, что я придумалъ?

— Ну, что?—возразилъ Митрофануачъ, все еще мрачный. Но за то Даша смотрѣла на меня во всѣ глаза.

— Чтò бы ты сказалъ,—продолжалъ я,—еслибъ я остался у васъ на все лѣто?

— Что же, это хорошо... Тутъ у насъ славно, вотъ скоро лѣсъ, луга, поля,—все зазеленѣетъ. Чудесно у насъ... И рѣка, и мельница,—очень тутъ хорошо.

На мрачномъ лицѣ Митрофануача появилась улыбка.

— Такъ остаться?

— Отчего же, ежели мы тебѣ ничего... Ты намъ полюбился, а мы тебѣ—не знаю, можетъ, не угодили?

— Такъ я останусь.

Туча на лицѣ Митрофануача вдругъ расплылась въ широкую улыбку, какъ солнце, прорвавшее темныя облака. Даша пристально посмотрѣла на меня своими счастливыми глазами.

— Вотъ мы и рѣшили все... Ты видѣлъ, сколько у меня денегъ, какъ разъ на лошадь. Если я останусь у васъ—деньги мнѣ не нужны. Давайте купимъ лошадь.

Митрофануачъ пересталъ улыбаться и пристально посмотрѣлъ на меня, недоумѣвая. Чуткій во всѣхъ отношеніяхъ, онъ теперь сильно смутился, не зная еще, какъ ему принять мое предложеніе. Онъ какъ будто боялся, что проронитъ какое-нибудь неосторожное слово, оскорбительное для меня.

Совершенно растерянный, онъ смотрѣлъ на меня, на Дашу и по сторонамъ.

— Купимъ лошадь, работать будемъ вмѣстѣ, я у васъ за лѣто поправлюсь, а тамъ увидимъ. Какъ ты думаешь?

— Да чего ты, дядя, молчишь? То отъ твоего крику уши звенять, а тутъ замолчалъ!

— Да я ничего... я только радъ, больше ничего!

— Ну, такъ, значить, дѣло мы покончили и говорить больше объ этомъ не стоитъ,—сказалъ я, самъ сильно взволнованный.

Рѣшеніе это во мнѣ какъ-то сразу сказалось и вышло такъ естественно, что я самъ былъ удивленъ. Не задавая себѣ послѣ болѣзни вопроса о будущемъ, я инстинктивно жилъ день за днемъ; я поправился послѣ пережитого перелома, чувствовалъ себя отлично и ни о чемъ не думалъ, но въ эту минуту я вдругъ опредѣлилъ себя къ мѣсту на цѣлое лѣто. А что же потомъ, по истеченіи лѣта? Объ этомъ я не спрашивалъ себя, смутно ожидая, что тамъ, дальше, что-то хорошее, счастливое пойдетъ...

Быть можетъ, нѣкоторую долю этого оптимизма надо отнести на счетъ моего вновь растущаго организма; извѣстно, что пережившій какую-нибудь тяжелую болѣзнь какъ бы второй разъ родится и дѣтски привѣтствуетъ весь міръ. Но, помимо этого, было еще кое-что. Я имѣлъ счастіе попасть въ хорошую семью, которую невольно полюбилъ. Вѣроятно, надъ головой этой семьи не пролетѣло еще ни одной изъ тѣхъ деревенскихъ бурь, которыя сбиваютъ съ ногъ деревенскихъ людей, подкашиваютъ ихъ силы и обезсиливаютъ ихъ характеры, и вотъ почему жизнь моихъ друзей текла правильно, а ихъ взаимныя отношенія были добрыя и дружескія.

Затѣмъ было еще кое-что...

Однимъ словомъ, среди этихъ людей я жилъ, какъ свой, и признавалъ себя довольнымъ, какъ никогда. А послѣ выясненія вопроса о моемъ житѣйшій наша дружба еще болѣе закрѣпилась.

На другой же день Митрофанъ поѣхалъ покупать себѣ лошадь, а мы съ Василисой и Дашей завели оживленный споръ объ огородахъ. Я давно объ этомъ думалъ, но боялся осрамиться. Въ дѣтствѣ я съ большимъ удовольствіемъ участвовалъ въ огородничествѣ матери, которая знала это искус-

огорода, я рѣшился вмѣшаться въ работу. Василиса сажала только лукъ да картофель, а мнѣ хотѣлось поучить ее воздѣлывать множество другихъ огородныхъ растений, цѣнныхъ за барскими столами. Мнѣ казалось, что изъ огорода можно сдѣлать доходную статью. Но, въ то же время, я боялся осрамиться. Мною овладѣло сильное волненіе, когда я принялся сообщать Василисѣ свой планъ.

Василиса недовѣрчиво слушала меня и, видимо, не вѣрила, она сомнѣвалась, чтобъ изъ огорода можно было сдѣлать что-нибудь большее; кромѣ того, перечисленные мною растенія просто затмили ей голову и она тупо слушала меня. „Редиска“, „салатъ“, „цвѣтная капуста“, „спаржа“,—эти слова ужаснули ее, и мнѣ было очевидно, что она упрямо не понимаетъ. Всякая новинка была противна ея спокойной, разсудительной натурѣ и она боялась всего, что могло нарушить правильное теченіе ея обыденной жизни.

— А гдѣ же мы будемъ продавать?—вдругъ спросила Даша, съ явнымъ намѣреніемъ помочь мнѣ.

— Въ городѣ. Василиса будетъ ѣздить въ городъ и разносить овощи по домамъ, и поблизости можно будетъ найти покупателя. Дорогіе овощи всѣ любятъ,—говорилъ я.

— Да будетъ-ли польза-то?—спросила недовѣрчиво Василиса.

— Во всякомъ случаѣ, болѣе чѣмъ отъ лука и отъ картошки,—возразилъ я.

— Да кабы знатъе... кабы кто первый зачалъ сажать.

— Мы первые и начнемъ. Вѣдь говорю, что я знаю это дѣло,—возразилъ я храбро и очертя голову бросился впередъ, чтобы побѣдить или осрамиться съ своимъ салатомъ.

Но тутъ вмѣшалась Даша.

— А развѣ, тетя, онъ не сдѣлалъ борону?—спросила серьезно дѣвушка.

Какъ это ни было смѣшно—сравнить борону съ цвѣтной капустой, но этотъ аргументъ подѣйствовалъ на Василису больше всего,—она растерялась.

А тутъ пріѣхалъ Митрофанычъ, и когда узналъ нашъ споръ, то мгновенно перебѣжалъ на мою сторону. Его широкая голова быстро оцѣнила всѣ выгоды моего плана, а его

любовь ко всякимъ новинкамъ довершила мою побѣду. По обыкновенію, онъ даже все преувеличилъ и увидалъ то, чего еще не было.

На общемъ совѣтѣ было постановлено: немедленно навести справки, гдѣ пріобрѣсти сѣмянъ, и отрядить за ихъ покупкой Василису съ приготовленнымъ мною спискомъ. Василису потому отрядили, что, умѣя торговаться до изнеможенія, она все покупала дешево.

Цѣлыхъ двѣ недѣли съ этого дня я волновался, выражалъ нетерпѣніе, безъ устали копался въ землѣ съ Дашей и Василисой. У меня просто замирало сердце при одной мысли, что овощи не взойдутъ или погибнуть отъ моего невѣжества. А когда все взошло, тревоги мои еще больше увеличились. Я боялся сильнаго дождя, горячаго солнца, вѣтра и тумана. Разъ десять я бѣгалъ на задъ и осматривалъ пытливымъ окомъ гряды. Я сталъ ненавидѣть свиней, которыя зря шлялись по улицамъ, и камнями отгонялъ ихъ на сто саженей отъ своего дома, боясь, что онѣ пронюхаютъ про нашъ огородъ. Когда однажды нашъ же теленокъ проникъ въ святилище, я такъ вдругъ озлился, что сбилъ его съ ногъ и, конечно, убилъ бы, если бы замѣтилъ, что онъ выдернулъ хоть одну редиску. Волнуясь такъ днемъ, я и по ночамъ не зналъ покоя, — бредилъ спаржей и другими кореньями, — а когда разъ во снѣ какой-то большой, фантастическихъ размѣровъ, козелъ на моихъ глазахъ пробилъ дыру въ плетнѣ и сталъ гулять по грядамъ, то я чуть не задохнулся отъ этого страшнаго кошмара.

Быть можетъ, это объяснялось моимъ все еще болѣзненнымъ состояніемъ, а, быть можетъ, этотъ ужасъ передъ силами природы и случайностями жизни есть общій законъ для всѣхъ, имѣющихъ дѣло съ землей. Не знаю.

Я успокоился только тогда, когда нашъ огородъ густо заросъ разноцвѣтною зеленью. Что касается Василисы, то она перешла на сторону салата и прочихъ мудреныхъ вещей только послѣ того, какъ получила первыя семь гривенъ за два рѣшета редиски.

VII.

Весна проходила для меня среди заботъ и развлеченій. Это время передъ страдой и для мужиковъ не тяжело; всѣ

трудятся не торопясь, отдыхают много, а по праздникамъ отъ малаго до большаго высыпаютъ на улицу. Мы также пользовались этими днями, какъ только могли. Раза два я дѣлалъ большія путешествія по окрестнымъ лѣсамъ вдвоемъ съ Васькой, который пересталъ при мнѣ косить глаза, но самымъ любимымъ мѣстомъ для меня сдѣлалась мельница; мы втроемъ—Даша, Васька и я—уходили туда послѣ обѣда и оставались до поздняго вечера.

Иногда, сидя у плотины, мы ловили мелкую рыбешку, но къ этому занятію только я одинъ относился добросовѣстно; устремивъ неподвижный взглядъ на удочку, я терпѣливо, по цѣлому часу ожидалъ, пока не заклюеть какой-нибудь окунь въ вершокъ, и не сердился, если въ продолженіе часа ни одинъ изъ ожидаемыхъ окуней не обнаруживалъ глупости попасться на крючокъ.

Остальные члены нашей компаніи не выдерживали характера и уходили, кто куда желалъ. Васька, бросивъ удочку, обыкновенно отправлялся на охоту за лягушками; здѣсь онъ проявлялъ страшную жестокость: вооруженный прутьемъ, онъ съ дьявольскимъ искусствомъ пробирался сквозь крапиву къ береговымъ лужамъ, подкрадывался къ непріятелю и билъ его по головамъ; затѣмъ трупы убитыхъ враговъ онъ сажалъ на тотъ же пруть и съ торжествомъ носилъ ихъ. Если эта борьба была успѣшна, онъ вслѣдъ затѣмъ отправлялся къ тополевой рощѣ, недалеко отъ мельницы, и производилъ тамъ рекогносцировки между вороньими гнѣздами. Когда на плотинѣ появились, съ наступленіемъ жаровъ, ужи, то онъ съ увлеченіемъ сталъ сражаться и съ ними. Вообще Васька, воспитанный одною природою, проявлялъ кровожадное стремленіе разорять и убивать.

Даша уходила на другой берегъ рѣки и тамъ бродила по лугамъ, между кустовъ, рвала цвѣты, пѣла пѣсни. Румяное лицо ея то и дѣло мелькало между вѣтками кустовъ.

Здѣсь, на этой мельницѣ, я сидѣлъ, какъ очарованный; мельница была ветхая, съ заплатанными колесами, и вся позеленѣвшая въ тѣхъ частяхъ, которыя омывались водою. Плотина, набитая хворостомъ и соломой, качалась, какъ трясина, всякій разъ, когда по ней проходили или проѣзжали. Прудъ былъ покрытъ водорослями, образовавшими около береговъ густую зеленую ткань, а самые берега обросли

бояркой и шиповникомъ, сквозь которые трудно было пробраться, не изорвавъ платья. Но я любилъ это мѣсто.

Мнѣ все здѣсь нравилось: мельница, побѣлѣвшая отъ мучной пыли, запахъ разогрѣтой жерновыми муки, самые жернова, старые и стертые, какъ зубы старика, но неутомимо кружившіеся; внизу я съ удовольствіемъ наблюдалъ тяжелый ходъ черныхъ и съ грибами по бокамъ маховыхъ колесъ, быстрое движеніе зубчатыхъ колесъ, обліпленныхъ мучнымъ бусомъ, и сверканіе шестерней.

Когда мнѣ наскучивали удочки, я располагался удобнѣе на берегу, повыше, и по цѣлому часу безцѣльно наблюдалъ, какъ два потока воды сперва бѣжали по шлюзамъ, потомъ низвергались на колеса, бросали здѣсь снопы сверкавшихъ брызгъ на оба берега и, наконецъ, двумя широкими лентами падали внизъ рѣки, гдѣ вода пѣнилась и крутилась водоворотами. Нѣсколько саженой дальше рѣчушка уже тихо бѣжала, омывая торчавшія со дна коряги, и терялась подъ зеленымъ сводомъ черемухи и рябины. Въ воздухѣ стоялъ неумолкаемый шумъ; влажный берегъ обдавалъ свѣжестью, а ветхій остовъ мельницы дрожалъ сверху до низу.

Быть можетъ, это мѣсто мнѣ нравилось потому же, почему мнѣ всегда нравилось движеніе. Я не люблю тихаго вечера, когда вся природа, покрытая ночью, засыпаетъ; не люблю томительнаго знойнаго дня, когда всѣмъ живущимъ, кромѣ холодныхъ гадовъ, овладѣваетъ мертвая неподвижность; не понимаю прелести лунной ночи, когда влюбленные цѣлуются, освѣщаемые мертвымъ свѣтиломъ, какъ лампой въ темномъ снѣгѣ. Но я люблю тотъ часъ, когда на краю неба подымается черная мгла и растетъ, издали грозя блестящими стрѣлами, и, наконецъ, обрушивается на помертвѣвшую отъ зноя землю крупнымъ дождемъ, выстрѣлами грома и свѣтомъ молніи; съ самаго ранняго дѣтства душевныя бури были такъ неразлучны со мною, что только созерцаніемъ внѣшнихъ бурь я могъ возстановлять равновѣсіе между мной и окружающимъ. Оттого мнѣ было всегда покойно, когда вокругъ меня что-нибудь шумѣло, крутилось.

А на старой мельницѣ всего этого было вдоволь. Копышки около поставовъ засыпка Филать, обыщанный пудрой съ ногъ до головы; тутъ же копошились пріѣзжіе съ возами мужики. Если мнѣ надобно было безцѣльное сидѣнье на берегу.

нихъ разговорахъ. А въ это время взглядъ мой слѣдилъ за всѣмъ, что окружало меня; и съ того берега рѣчки между вѣтвями кустовъ я часто видѣлъ сѣрые, счастливые глаза Даши.

Здѣсь я все любилъ, каждой мелочи придавалъ радужный цвѣтъ и красивую форму. Любилъ этотъ гнилой съ лопухами прудъ, любилъ рѣчку, покрытую черными корягами, мужиковъ съ трубками въ зубахъ, лошадей, пасшихся вдали, тѣнь подъ навѣсомъ, солнечные лучи на соломенной крышѣ, кусты черемухи, жестокаго Ваську, ползавшаго среди лопуховъ съ горящими глазами. Все любилъ, природу и людей, показавшихся мнѣ въ новомъ освѣщеніи. Быть можетъ, это состояніе и есть то, котораго бесплодно ищутъ люди. Любить все—развѣ это не единственная цѣль бытія? А работа и мысль—только неразлучныя съ любовью средства. Мое состояніе пойметъ только тотъ, кто хоть разъ стоялъ близко надъ пропастью и проклиналъ все. Недавно еще я былъ страшно несчастливъ, потому что искусственно сдѣлалъ себя одинокимъ. Я и міръ—вотъ была формула моей жизни. Искусственно оторвавъ себя отъ окружающаго, я чувствовалъ себя лишнимъ, питалъ ненависть, велъ войну за свое одинокое существованіе и не зналъ конца отчаянію. Все вѣншее мнѣ казалось чѣмъ-то мертвымъ и враждебнымъ. Теперь вдругъ все ожило вокругъ меня. Все вокругъ меня задвигалось и все неподвижное стало для меня живымъ. Шумъ падающей воды, кваканье лягушекъ, разговоръ мужиковъ, колебаніе вѣтокъ черемухи, тихій вѣтерокъ, носящаяся пыль въ воздухѣ, жужжаніе мухъ, шелестъ лопуховъ на пруду,—все-то дышало и жило. И я понималъ жизнь и дыханіе всего, что еще недавно было мертво для меня.

Къ вечеру мы всѣ утомлялись: Васька—охотой, Даша—бѣганьемъ по лугамъ и кустамъ, я—сильными ощущеніями и кучей мыслей, которыя толпились въ моей головѣ. Тогда мы собирались домой или сумерничали у засыпки Филата.

Засыпка жилъ работникомъ у арендатора мельницы. Самъ арендаторъ, городской мѣщанинъ, никогда не жилъ здѣсь; говорили, что онъ разорился и забросилъ мельницу, такъ что

Филать оставался полнымъ властелиномъ и сдавалъ отчетъ только нѣсколько разъ въ годъ.

Это былъ прямой, высокій старикъ, изъ отставныхъ солдатъ. Жилъ онъ одинъ, самъ себя стрипалъ, самъ управлялся съ мельницей. Маленькіе синеватые глаза его смотрѣли остро; говорилъ онъ мало, но всегда значительно. Говорили, что онъ колдуетъ. Кажется, что-то въ этомъ родѣ было, но, по крайней мѣрѣ, нѣсколько разъ я видѣлъ въ его избѣ больныхъ мужиковъ и бабъ, которымъ онъ давалъ вѣсть что-то. Но я не разспрашивалъ о его медицинскихъ познаніяхъ, а онъ никогда объ этомъ не упоминалъ. Только по вечерамъ онъ рассказывалъ намъ о чертяхъ, которыми кишѣла, конечно, мельница.

При этомъ Васька впивался глазами въ рассказчика и плотно прижимался ко мнѣ, Даша иногда насмѣшливо вставляла нѣсколько словъ, а я старался понять этого сѣдого ребенка. Увѣрять Филата въ недействительности того, что онъ видѣлъ, о чемъ рассказывалъ, было дѣломъ безнадежнымъ,—онъ только сердился и замолкалъ. Поэтому я ему не мѣшалъ. Черти у него сидѣли подъ колесами въ омутѣ, въ пруду и въ самой мельницѣ; быть можетъ, шлѣлись они и по окрестностямъ, но навѣрняка не помню; больше всего ихъ жило въ омутѣ подъ колесами.

Филать велъ съ ними непрерывную борьбу и зналъ всѣхъ хитрости. Главная пакость, которую они постоянно пытались осуществить, это—разрушеніе плотины. Одинъ разъ Филать засталъ пакостниковъ уже на самомъ мѣстѣ преступленія. Это было темною ночью; пріѣзжіе мужики спали, задремнулъ и Филать. Вдругъ онъ просыпается весь въ поту, сердце его полно какого-то непонятнаго страха и самъ весь такъ дрожитъ. Первымъ его дѣломъ было подумать: непременно это пакостники что-нибудь затѣяли! Съ такою мыслью онъ бросился на плотину. Вбѣжалъ на плотину и вдругъ почувствовалъ, что она вся трясется, раскачивается,—вѣроятно, лапами этой нежити,—а внизу слышалось какое-то особенное бульканье воды. Перекрестился онъ, сбѣжалъ внизъ, а тамъ ужъ дыра,—дыра эдакъ въ шапку величиной,—и сквозь нее свиститъ уже вода. Читая молитву, онъ сталъ хватать, что попадало, и поспѣшно затыкалъ дыру. Насилу заткнулъ, про-

работавъ до самаго утра. А прожди онъ хоть полчаса—и прорвало бы всю плотину.

— Много этой пакости здѣсь! — сказала, оканчивая рассказъ, Филать.

Иногда пакостники держались за колеса. Не идутъ, какъ слѣдуетъ, колеса — и только. И воды столько же, и все въ исправности, и ось смазана, а ходъ не тотъ. Или опять по-става загадить — это ужъ первое ихъ дѣло.

Какъ извѣстно, искусство засыпки состоитъ въ томъ, чтобы мука выходила мягкая, — поставить камень такъ, чтобы из-подъ него выходилъ пухъ. И Филать хорошо зналъ свое дѣло, но иной разъ, что ни дѣлай — не то! Сыплется тебѣ какая-то крупа и больше ничего! Это все они; это ужъ прямо ихъ пакости.

— А ты, лѣдушка, видалъ ихъ? — спросила разъ Даша.

— Сохрани Богъ! Эта погань завсегда невидима...

— То-то... у насъ былъ дѣдушка старенькій; такъ у него все въ носу свистѣло. Бывало, скажетъ дядѣ: „Послухай-ка, Петрушка, гдѣ-то кабыть вѣтеръ поетъ?“ А это у него въ носу свиститъ.

— Охъ, дѣвка, погляжу я, вострая ты! А сама небось безъ оглядки бѣжишь ночью со двора, когда тебя за пятки хватаютъ.

Возражая это, Филать сердился за насмѣшку.

Я старался понять убѣжденія Филата; старикъ онъ былъ сильный и суровый, а пакости боялся; на войнѣ его лупили пулями и онъ не боялся ихъ, а какихъ-то пакостниковъ боялся. Какъ неисправимый фетишистъ, онъ былъ насквозь проникнутъ тайнами окружающаго и во всемъ чувствовалъ непонятную силу.

— Смѣяться-то и я умѣю, а вотъ вникнуть — это мы не можемъ. Идешь, напримѣръ, по степи и слышишь голосъ какой-то... Откуда онъ? Неизвѣстно. Или приляжешь отдохнуть на земь, — и чу, гулъ какой-то изнутри идетъ... Почему — не знаемъ. Или по лѣсу идешь, — вдругъ плачь... И не плачь, и не голосъ, а такъ, невѣсть что. Кто это — не знаемъ. А ты смѣешься. Много всякой пакости на свѣтѣ...

Странно сказать, на меня эти разговоры и многое другое, совершающееся въ деревнѣ, имѣли вліяніе. Я чего-то боялся. Это было не суевѣріе, но робость какая-то. По ночамъ мнѣ

непріятно было оставаться одному въ избѣ. Однажды я долженъ былъ одинъ идти въ баню, вырытую въ землѣ на берегу; это было ужь ночью. И, пересиливъ себя, я пошелъ, но чувствовалъ себя непріятно, не кончилъ мыться и бросился къ двери. Темныя силы, владѣвшія деревенскою жизнью, отразились и на мнѣ. Одинъ разъ я увидалъ сгорѣвшаго отъ вина мужика, въ другой разъ мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ семейной драки, во время которой братъ разбилъ голову брату,—и все это отражалось на моемъ настроеніи.

Я хорошенько не могу опредѣлить, въ чемъ выражается это темное настроеніе. Это какая-то пугливость и слабость ума, чего-то жутко. Мысль покрывается какимъ-то туманомъ; перестаешь довѣрять разуму, а внѣшнія впечатлѣнія овладѣваютъ всею душой. Внѣшнія и случайныя силы начинаютъ господствовать надъ каждымъ дѣйствіемъ. Слабость мысли и силу грубыхъ физическихъ событій—вотъ что чувствуешь.

Впослѣдствіи я долженъ былъ принимать мѣры противъ деревенскаго настроенія. Но пока мнѣ это было ново и занятно.

Поздно вечеромъ мы возвращались домой, начиненные чертиками и всякою другою пакостью. Даша задумчиво шла рядомъ со мной и уже не смѣялась; часто мы держались за руки. Что касается Васьки, то онъ судорожно цапалъ меня за платье всякій разъ, когда немного отставалъ, и поминутно оглядывался по сторонамъ.

Обыкновенно, насъ старшіе уже поджидали ужинать. Если вечеръ стоялъ теплый и безъ дождя, Василиса стлала скатерть на дворѣ, прямо на землю, и мы всѣ усаживались вокругъ нея, сгибая ноги, какъ татары.

VIII.

Приближалось время страды. Отъ болѣзни моей не осталось и слѣда; я сдѣлался настолько сильнымъ, насколько позволялъ мой организмъ. Всякую работу по дому я уже умѣлъ: колотъ дрова, чинилъ крыши, возилъ солому съ гумна, пологъ огородъ; это только доставляло мнѣ удовольствіе, приносило волчій аппетитъ и богатырскій сонъ. Но настоящаго физическаго труда я не зналъ еще. Все перечисленное было только игрушкой. Я не зналъ именно страды.

Недѣли за три до сѣнокоса я попросилъ Митрофанъ сготовить мнѣ косу и серпъ. Онъ сготовилъ. Тогда, съ Ваской, мы взяли на себя обязанность доставлять на кортъ сѣжную траву и для крыши камышъ съ осокой. Учиться косить я не захотѣлъ у Митрофанъ, надѣясь, что самъ дойду до этого искусства; я только разъ посмотрѣлъ на его приемы. Митрофанъчъ подомѣивался, когда въ первый день отпускалъ насъ въ лѣсъ:

— Коса-то не больно ладна; ну, да ничего: баловать вѣ можно,—сказать онъ съ добродушнымъ смѣхомъ.

„Баловать!“ Это довольно зло для тѣхъ господъ, которые въ физической работѣ ищутъ забавы. Но, услышавъ эту насмѣшку, я въ первый разъ задумался; зачѣмъ я все это дѣлаю? Для здоровья? Но тогда при первомъ серьезномъ трудѣ, который потребуетъ напряженія всѣхъ силъ и перейдетъ въ страду, я брошу его. Ради игрушки? Но игрушка до тѣхъ поръ хороша, пока занимаетъ; между тѣмъ, ничего нѣтъ занятнаго, когда мужикъ, какъ скотина, везетъ въ гору на себѣ возъ, утопая въ грязи. Ради того, чтобы сдѣлаться рабочимъ? Но тогда какое преимущество имѣетъ мускульная работа передъ умственной? Да и вообще что это за штука — физическій трудъ? Каковы его свойства, вліяніе и цѣна?

Съ такими мыслями въ первый разъ я поѣхалъ съ Ваской косить травы для нашихъ двухъ лошадей.

— Мотри, не порѣжься, Миколаичъ, — сказалъ на прощанье Митрофанъчъ уже серьезно. — Ежели, въ случаѣ, притомишься, лучше брось! — закричалъ онъ, когда мы уже завертывали за уголь переулка.

Пріѣхали мы въ лѣсъ, остановили лошадь, и я сталъ выбирать среди кустовъ чистую полянку, боясь на первый же дебютъ воткнуть свой инструментъ въ невидимый пенъ. Васка долженъ былъ присматривать за лошадью, но онъ, шельмецъ, сейчасъ же куда-то юркнулъ въ кусты, увлеченный, вѣроятно, погоней за какимъ-нибудь врагомъ вроде ящерицы. Между тѣмъ, лошадь, облѣпленная тучей комаровъ и мошекъ, сейчасъ же начала брыкаться, мотать головой и дергать телѣгу; не успѣлъ я одуматься, какъ телѣга была уже на боку, поперечникъ лопнулъ, возжи запутались въ го-

лесахъ. Я бросилъ косу и сталъ выпрыгать лошадь, которая, казалось, обезумѣла и, во всѣ стороны мотая головой, ударила меня мордой по скулѣ такъ крѣпко, что небо мнѣ показалось съ овчинку, а въ ухахъ моихъ пошелъ трезвонъ, какъ на колокольнѣ.

Но кое-какъ выпрыгъ я лошадь, спуталъ ей переднія ноги и пустилъ, все время крича: „Ва-аська!“ Но Васьки не было. Приходилось одному управляться. Разозленный, я пошелъ опять съ косой выбирать прогалину; туча комаровъ съ яростью окружила меня и пила изъ меня кровь. Еще ничего не сдѣлавъ, я уже усталъ отъ злости и отмахиванья мошекъ; вмѣсто того, чтобы работать, я пока только брыкалъ ногами и руками, какъ нашъ меринъ. Выбравъ, наконецъ, наугадъ чистое мѣстечко, я принялся косить, слѣпо махая косой. Впрочемъ, на первый разъ вышло не дурно; трава летѣла, правда, во всѣ стороны, но за то выкошенное мѣсто было чисто.

Когда эта полянка была выдрана, я почувствовалъ, что я весь мокрый. Пришлось сбросить пиджакъ и кое-что другое, чтобы быть болѣе свободнымъ. „Ва-аська!“ — кричалъ я опять, чтобы заставить шельмеца собирать траву. Но онъ какъ въ воду канулъ. Выбралъ я другую прогалину и опять сталъ махать. На этотъ разъ коса моя свистѣла по верхушкамъ, отчего выкошенное мѣсто на самомъ дѣлѣ вовсе не было выкошено.

Проработавъ такъ съ часъ, не переставая, разозленный, съ окровавленнымъ лицомъ и руками, на которыхъ я убилъ нѣсколько десятковъ комаровъ, я, наконецъ, бросилъ косу и побѣждалъ искать воды, крича: „Ва-аська!“ Весь мокрый снаружи, я горѣлъ внутри и чувствовалъ, что могу выпить въ эту минуту цѣлое ведро. Недалеко отъ того мѣста, гдѣ мы остановились, было озеро, которое я замѣтилъ, когда мы еще только ѣхали сюда. Но я ошибся въ разстояніи и долженъ былъ убѣдиться, что не одно и то же сидѣть на теплѣхъ и идти пѣшкомъ; до озера оказалось не менѣе версты. Но жажда была адская, и я готовъ былъ бѣжать на край свѣта.

Наконецъ, озеро я нашелъ, прилегъ къ нему и принялся пить, спугнувъ нѣсколько лягушекъ и какихъ-то водяныхъ животныхъ. Боясь, что лошадь убѣжитъ въ мое отсутствіе,

я сейчас же бросился назадъ, къ мѣсту кошенія. Туда, наконецъ, вернулся и Васька, придерживая одною рукой пазуху, гдѣ что-то билось живое; оказалось, онъ подкараулилъ плохо оперившагося птенчика, погнался за нимъ подъ кустами и поймалъ-таки. Я сейчас же съ сердцемъ набросился на него, упрекая его за дезертирство. На это карапузъ только спросилъ меня:

— А что?

Этотъ простой вопросъ сразу образумилъ меня. Въ самомъ дѣлѣ, какую помощь могъ ожидать отъ крошки я, взрослый мужчина? Пристыженный, я запрягъ торопливо лошадь, сложилъ траву съ помощью Васьки на телѣгу, и мы поскакали домой, какъ сумасшедшіе, потому что нашъ искусанный меринъ также приведенъ былъ въ дурное состояніе духа. Въ результатъ этой первой моей косьбы остались слѣдующія вещи: я зазубрилъ косу, порвалъ поперечникъ, намочилъ одежду и напился воды изъ болота. Лицо, шея и руки были покрыты волдырями, скула у меня болѣла и, въ общемъ, я чувствовалъ себя такъ, какъ будто съ кѣмъ-нибудь дрался. Что касается травы, за которой собственно мы ѣздили, то ея оказалось очень мало.

По пріѣздѣ домой, я откровенно рассказалъ Митрофану, какъ я косилъ. Онъ не сталъ смѣяться, только задумчиво осмотрѣлъ косу.

— А ты полегче; потише-то оно лучше.

— Да я и самъ вижу, что поторопился,—возразилъ я тономъ раскаянія.

— Нельзя торопиться. Полегоньку оно способнѣе. Первое дѣло—не торопиться. Второе дѣло—не думать. Не будешь торопиться—все пойдетъ аккуратно; не будешь думать—не устанешь. Во!

— Не думать?

— Вѣрно говорю—не соображай. Въ работѣ ежели зачнешь соображать, кончено—ослабъ! Ты выучись такъ робить, чтобы руки сами ходили, а въ головѣ чтобъ ничего, чтобъ въ мысляхъ было чисто.

— Эдакъ, пожалуй, совсѣмъ безъ головы останешься,—возразилъ я.

— А то какъ же? Есть коли думать въ страду! Нѣтъ, тутъ только знай повертывайся. Тутъ задумываться недосугъ!

За страду-то такъ озвѣрѣешь, что взглянешь на себя — и Боже ты мой! — не то у тебя рыло, не то морда, — однимъ словомъ, лику человѣческаго нѣтъ! Стало быть, думать тутъ не приходится.

— А вотъ все говорятъ, что крестьянская работа здоровая. И солнышко, и воздухъ, и запахъ травы, все это здорово. Да и работа хорошая, божеская. Чего же лучше — косить, жать, молотить — это развѣ не здорово?

— Здорово-то здорово, да вѣдь это кому какъ. Ты думаешь, вотъ сработалъ — и въ сторону? Ну, это ты вполне не понимаешь.

— Какъ не понимаю? — вскричалъ я.

— Вполне не понимаешь, ужъ ты не сердись, Миколаичъ, а прямо тебѣ скажу, серьезно: ты не понимаешь! Поѣхалъ ты, напримѣръ, накосить двѣ охапки травы, и что же? Черезъ сѣдельникъ, между прочимъ, у тебя лопнулъ, меринъ, напримѣръ, брыкается, Васька, пострѣлъ, далъ тягу, комары, значитъ, тебя искусали до крови, и побѣждалъ ты искать попить водицы, а косу зазубрилъ, и, прямо сказать, ничего еще не видя, вполне измучился, ослабъ, вспотѣлъ и осерчалъ, — вотъ какъ ты двѣ-то охапки приобрѣлъ!

Я понялъ. Меня это поразило. Я до сихъ поръ представлялъ себѣ крестьянскій трудъ, какъ прекрасное, счастливое дѣло. Я представлялъ себѣ „волнующіяся нивы“, „сверкающіе росой луга“, „косарей“, солнечный восходъ, пѣсни и т. д. Правда, зналъ я и страду, представлялъ и мученія, и голодь, и бѣдность, но все это приписывалъ какимъ-то вѣшнымъ причинамъ, не воображая, чтобы „волнующіяся нивы“ сами по себѣ заключали источникъ страданій. Я представлялъ себѣ трудъ чистымъ, безъ всякихъ осложненій; между тѣмъ, въ дѣйствительности всякій мужицкій трудъ сопряженъ съ тысячами неприятныхъ случайностей. И въ большинствѣ случаевъ работа выматываетъ силы работающихъ.

Но только на своей шкурѣ я могъ вполне понять эту неприятную, хотя и простую истину.

Поѣздивъ съ Васькой недѣли двѣ въ лѣсъ и на болота, гдѣ я косилъ на кормъ траву и жалъ серпомъ осоку съ камышомъ, я выучился работать. Не выучился только не думать. Способность не думать оказалась вполне отсутствующею во мнѣ. Въ самый разгаръ работы блеснетъ какая-нибудь

совершенно ослабъ, измаялся и принялся уже не косить, а сражаться съ травой, причемъ по всему тѣлу разлилось какое-то раздраженіе. Въ другой разъ, когда я рѣзалъ серпомъ камышъ, вдругъ вспомнилъ жатвенную машину, которую видѣлъ въ блестящемъ магазинѣ въ одной изъ столицъ, и задумался... Когда будутъ эти блестящія, сильныя машины въ деревнѣ? Неужели крестьянинъ не воспользуется ими и будетъ продолжать ломать позвоночный столбъ, сражаясь съ природою грудью, голыми руками и надрывая животъ? Неужели эти — серпъ, деревянная лопата и прочая дрянь вѣчны? Когда же наступитъ день, въ который мучительныя работы сняты будутъ съ плечъ человѣка, и бремя его жизни его куска хлѣба будутъ сняты съ его шеи?

Въ эту минуту что-то острое прошло по всему моему тѣлу, сердце сжалось... Я посмотрѣлъ на лѣвую руку; изъ нее кровь била ключомъ и падала на траву; серпъ прорѣзалъ всю ладонь до кости.

Здѣсь мнѣ помогъ Васька, оказавшійся на высотѣ хирурга; онъ посовѣтовалъ засыпать рану сухою землею и завязать.

Послѣ этого случая я научился жать.

Наконецъ, пришло время косовицы. Я предчувствовалъ, что мнѣ предстоитъ сильное испытаніе. Могу-ли я вынести работу? Этотъ вопросъ волновалъ меня не на шутку. Наканунѣ выѣзда на луга я цѣлый день былъ въ ажитаціи: всѣмъ надоѣлъ, осматривая свою косу и спрашивая всякой мелочи, боясь упустить что-нибудь и осрамиться. Ночью я плохо спалъ, хотя чувствовалъ, что долженъ былъ спать, какъ убитый.

Не выдержавъ волненія, я вскочилъ съ сѣновала, гдѣ спалъ, когда еще было совершенно темно. Звѣздъ уже не было видно, но тьма передъ разсвѣтомъ густо облежала землю. Гдѣ-то за рѣкой дергалъ коростель. Надъ головою просвистѣла стая утокъ, улетающая съ полей на озера, но тьма и тишина больше ничѣмъ не нарушалась.

Я разбудилъ Митрофаныча. Онъ долго не могъ придти въ себя. Что я ему ни говорилъ, онъ только неразумно отвѣчалъ:

— Ась?

— Вставай, свѣтаеть!—говорилъ я нетерпѣливо.

— Ась?

— Пора ѣхать!

Послѣ нѣкотораго времени онъ, наконецъ, пришелъ въ сознаніе, вышелъ изъ сѣней на дворъ и съ изумленіемъ поглядѣлъ въ сторону зари. Потомъ недовольнымъ тономъ проговорилъ:

— И шутъ тебя знаетъ, что у тебя свербитъ!

Черезъ минуту, впрочемъ, его заспанное лицо озарилось улыбкой.

— Ну, и работникъ же у меня! Хлѣба не просить, жалованья не беретъ, а встаетъ, когда еще черти на кулачки не дрались.

Мнѣ стыдно было за свое нетерпѣніе, но потушить его я не въ состояніи былъ. Мнѣ почему-то казалось, что нынѣшній день будетъ ознаменованъ какимъ-то историческимъ событіемъ, которое для меня, главнаго дѣйствующаго лица, рѣшитъ вопросъ о жизни и смерти. И я негодовалъ, что Митрофанъ медленно собирается.

Онъ въ разныхъ мѣстахъ почесался, потомъ съ тяжелыми вздохами помазалъ себѣ лицо и руки водой, воображая, что умывается, медленно, опять со вздохами, прочиталъ молитву своего сочиненія и торопливо сталъ собираться на сѣнокосъ. Раздраженный этими тяжкими сборами, я самъ побѣждалъ запрячь лошадь, запрягъ и уложилъ всѣ наши инструменты. А разсвѣтъ чуть только еще брызнулъ млечнымъ свѣтомъ на востокъ.

Всѣ наши еще спали; они должны были выйти на сѣнокосъ только въ обѣду, чтобы сгребать сѣно. Мы проѣхали всю дорогу, распрягли нашего буланку, приготовили косы, и только тогда разсвѣло. На лугахъ никого не было изъ людей. Но жизнь уже начиналась: откуда-то раздались голоса птичекъ, со стороны деревни послышался какой-то смутный шумъ; вокругъ насъ ходили облака тумана. Меня охватило сильнѣйшее волненіе. Чувство силы, и счастье, и восторгъ такъ овладѣли мной, что я на минуту замеръ въ одной позѣ, а когда свѣтлыя стрѣлы пронизали востокъ, я дѣтскимъ восхищеніемъ привѣтствовалъ свѣтило.

Тутъ у насъ произошелъ споръ.

мѣсто вдали отъ себя.

— Это зачѣмъ?—разсердился я.

— Да ужъ такъ лучше...

— Нѣтъ, я пойду за тобой.

— Говорю тебѣ, начинай вонъ тамъ и валяй въ свое удовольствіе!

— Да почему?

— А потому, нечего тебѣ убиваться. Вѣдь я ужъ знаю тебя,—хоть лопнешь, а будешь тянуться за мной.

Я видѣлъ, что Митрофанычъ хочетъ устроить для меня игрушку, и взбѣсился.

— Ты думаешь, я не поспѣю за тобой?

— Да на какого лѣшаго тебѣ поспѣвать-то? Что же это въ самомъ дѣлѣ такое? Изъ какой пользы ты будешь убиваться?—кричалъ уже Митрофанычъ.

— Почему же ты думаешь, что я буду убиваться?

— Упадешь, задохнешься и захвораетъ—это что же такое будетъ?!

— Да тебѣ-то какое дѣло?—возразилъ я, также разозлившись.

— Вотъ-те и на! Вотъ-те и лысый чортъ!—закричалъ въ неистовомъ гнѣвѣ мой хозяинъ и уже хотѣлъ хлопнуть свою шапку о-земь. Но я поспѣшилъ успокоить его, сказавъ ему, что если я не выдержу, то брошу, а заранѣе предсказывать мнѣ смерть преждевременно.

— Ну, и упрямъ! Эдакое упрямство въ жисть свою не примѣчалъ! На какого же лысаго чорта я тебя мучить-то стану?—продолжалъ кричать великанъ, но уже съ улыбкой на широкомъ лицѣ: шапку бить о-земь онъ раздумалъ, очевидно, понявъ, что въ моемъ упрямствѣ нѣтъ ничего страшнаго.

— Я пріѣхалъ сюда не играть, а работать,—добавилъ я.

— Ну, ладно. Давай начинать. Господи благослови!... Тьфу!

Митрофанычъ поплевалъ на руки, и работа началась.

Вслѣдъ за хозяиномъ пошелъ и я. Сначала я работалъ нервами, мало довѣряя выносливости своихъ мускуловъ. Боялся отстать, боялся плохо сдѣлать и все торопился. Но трава, блиставшая каплями росы, тяжело и плотно падала;

моя коса ходила, какъ бритва. Мы прошли одну полосу. Митрофанычъ остановился, почесалъ затылокъ и посмотрѣлъ на мою работу, потомъ на меня.

— Ловко! — сказалъ онъ съ удовольствіемъ въ лицѣ. — Пойдемъ дальше.

Мы начали второй рядъ. Я опять работалъ нервами, напряженный и взволнованный. Благодаря этому, въ первый часъ я не чувствовалъ усталости. Потъ струился по всему моему тѣлу, лицо мое горѣло, но напряженные нервы скрывали утомленіе.

Но такъ долго не могло продолжаться; возбужденіе должно было кончиться, а дальше что? Дѣйствительно, нервы скоро утомились; я пересталъ волноваться за свою работу и увѣровалъ въ себя, но тутъ-то и началось истинное для меня испытаніе. Успокоившись насчетъ качества своей косы, я вдругъ ослабъ душой, а тѣло мое сразу раскисло. Ноги и руки мои дрожали; въ спинѣ чувствовалась острая боль, сердце въ груди колотилось безпорядочно, я почти задыхался. Пробовалъ я опять взбудоражить нервы, но они уже не слушались меня, тѣлесная боль все заглушила. Дойдя до половины ряда, я съ отчаяніемъ смотрѣлъ на его конецъ; иногда мнѣ казалось, что я упаду и сердце разорвется у меня.

Не знаю, понималъ мое состояніе Митрофанычъ или нѣтъ, — изъ деликатности онъ молчалъ, только часто, кстати и некстати, останавливался. Остановится и почешетъ спину, безцѣльно посмотритъ на небо, поправитъ волосы. Это онъ дѣлалъ для того, чтобы дать мнѣ минуту вздохнуть. Я былъ благодаренъ ему.

А когда солнце поднялось высоко, мы пошли завтракать. Усѣвшись возлѣ телѣги, Митрофанычъ разломилъ взятый нами хлѣбъ пополамъ и одну половину подаль мнѣ. Мы налили въ ковшъ воды, — въ этомъ состоялъ весь завтракъ. Митрофанычъ ѣлъ съ удовольствіемъ, медленно чавкалъ, собирая съ подола всѣ крошки, и запивалъ водой съ такимъ удовольствіемъ, что могъ вызвать аппетитъ у обѣдѣвшагося человѣка. Но я съ трудомъ глоталъ сухіе куски, — глоталъ по обязанности. Во рту у меня перегорѣло и хлѣбъ казался мнѣ горькимъ, какъ полынь. Я чувствовалъ, что глаза у меня стеклянные, лицо осунулось, а все тѣло было измято. Под-

нося горбушку хлѣба ко рту, я съ болью поднималъ руку, которую натрудилъ. Хотѣлось не то спать, не то сидѣть безъ движенія. Я боялся говорить, потому что голосъ мой осипъ.

Очевидно, я косилъ всѣмъ, что у меня только было,—руками и ногами, спиной и горломъ, сердцемъ и нервами, мыслью и фантазіей. А это никуда не годится,—неразсчитливо.

Я могъ бросить работу и лечь, но я зналъ, что если лягу, то, пожалуй, на самомъ дѣлѣ захвораю. Притомъ, обидно было оказаться побѣжденнымъ. Поэтому я всталъ изъ-подъ телѣги, когда мы кончили горбушку, и пошелъ къ мѣсту, гдѣ мы оставили косы. Мы поточили ихъ и принялись снова рядами укладывать траву.

На меня заранѣе нападало отчаяніе, что я эту упряжку не выдержу. Но я продолжалъ шагъ за шагомъ идти за Митрофанычемъ. Я уже не оглядывался ни назадъ, ни впередъ, видѣлъ только то, что у меня было подъ глазами. Рядъ за рядомъ я шелъ и не падалъ. Странное дѣло: чѣмъ дальше я косилъ, тѣмъ меньше отчаивался,—странное это состояніе! Я не чувствовалъ себя пріятно, но, въ то же время, это не было и страданіемъ. Съ каждымъ взмахомъ руки я дѣлалъ непріятное, тяжелое усиліе—и только. Я одеревенѣлъ какъ-то, отупѣлъ и работалъ, какъ машина. На другой день съ утра я вначалѣ опять чувствовалъ острую боль, и отчаяніе, и удушье, но мало-по-малу, деревенѣя, успокоивался и могъ безконечно долго работать. Въ концѣ дня, передъ сномъ, я чувствовалъ себя совсѣмъ безсмысленнымъ и лежалъ во снѣ, какъ камень.

Такимъ образомъ, въ первый же день я открылъ секретъ выносливости: надо было одеревенѣть и превратиться въ машину. На слѣдующіе дни это превращеніе изъ живаго человека—съ нервами, съ фантазіями и съ раздраженіемъ—въ желѣзную или деревянную машину совершалось уже легко и скоро. Да и самая машина оказалась очень простаго устройства: двѣ руки, двѣ ноги, утвержденныя на пустомъ внутри чурбанѣ,—вотъ и все; руки махаютъ, ноги всю машину подвигаютъ впередъ, а въ остовъ, занимаемый топкомъ и паровикомъ, накладывается топливо и наливается вода,—очень просто. Уходъ за машиной также не сложенъ. Только

утромъ я дѣлалъ страшное усиліе поднять машину съ охапки сѣна, на которой она лежала ночью, но затѣмъ она уже сама работала. Въ извѣстное время я долженъ былъ положить въ топку краюшку хлѣба и подлить въ паровикъ воды, за обѣдомъ подкладывалъ туда каши со свинымъ саломъ, опять хлѣба и воды, а вечеромъ, когда дѣлалось темно, я небрежно бросалъ машину подъ телѣгу на охапку сѣна (а иногда на голую землю) и совершенно забывалъ о ней до зари слѣдующаго утра.

Понятно, что небрежность эта не была обязательна, и еслибъ я жилъ между нѣмцами или какими другими нехристями, то я обращался бы съ машиной съ большею заботой. Но такъ какъ я жилъ между русскими, привыкшими всякую вещь держать грязно, то и самъ поддался обычаямъ окружающаго.

Недѣля такого занятія сдѣлала меня образцовымъ работникомъ, нетребовательнымъ, выносливымъ и ни о чемъ не думающимъ. Я чувствовалъ себя сильнымъ, т.-е. деревяннымъ, и нервно крѣпкимъ, т.-е. вовсе не ощущалъ въ себѣ нервовъ. Митрофанычъ былъ въ восторгѣ отъ меня; показывая женщинамъ на длинные ряды травы, которую я уложилъ, онъ говорилъ:

— Эвона сколько мы съ Миколаичемъ наваляли!... Ловко!

Но женщины были другого мнѣнія. Василиса старалась лучше кормить насъ, угощая часто простоквашей, казавшейся мнѣ нектаромъ. А Даша пытливо слѣдила за мной.

— Ты усталъ?—разъ спросила она меня торопливо.

— Я устаю, но что за бѣда?—возразилъ я.

— Дай я за тебя день покошу, а ты отдохни,—предложила она съ наивнымъ великодушіемъ.

— Нѣтъ, не надо, Даша.

— Ты будешь сгребать, а я покошу,—настаивала она сконфуженно.

— Спасибо, милая, я вовсе не такъ усталъ, чтобъ уронить изъ рукъ косу. Да, кромѣ того, меня вѣдь никто не неволитъ.

Мое упорство впечалило и сконфузило ее; она больше не предлагала снять съ меня тяжесть, но продолжала тайно слѣдить за мной.

Работы было, впрочемъ, всѣмъ четверымъ по горло. Скоро

пришлось всѣмъ торопиться, потому что поспѣвала уже рожь. Всѣ напрягали силы и пришла истинная страда.

Но въ эти дни въ нашу работу вмѣшалось непредвидѣнное несчастье, которое всѣхъ измучило, выбило изъ колеи, разозлило и одурачило.

IX.

Митрофанычъ имѣлъ двѣ души—дѣйствительную и воображаемую, но воображаемая душа пользовалась всѣми правами настоящей, благодаря чему лугъ ему достался въ двойномъ размѣрѣ. Одну душу мы уже отработали. Затѣмъ перекочевали на другую душу.

Но тутъ случилось что-то невообразимо нелѣпое.

Едва мы начали косить, какъ погода измѣнилась; набѣжала, повидимому, ничтожная тучка и смочила насъ. Мы продолжали косить, но черезъ нѣсколько часовъ опять набѣжала тучка и вылилась на насъ. Къ вечеру еще на небѣ показалось что-то едва замѣтное, но пошелъ частый дождь и промочилъ насъ до костей. Ночевали мы уже на сырой землѣ, выпачкались въ грязи и къ утру сильно продрогли.

Надѣялись, что на другой день солнце все поправитъ, но въ природѣ что-то нелѣпое происходило. Небо чистое, синее; только кое-гдѣ, какъ кучи хлопка, смѣшивались облака. Солнце парить горячо. Но вдругъ изъ одной кучи хлопка полетѣлся дождь и моментально смочить все. И небо опять синее, и солнце горячо смотреть. Черезъ часъ опять набѣжить тучка и вылетѣтся. Это походило на капризную женщину: сейчасъ она смѣется, черезъ минуту уже заливается слезами; сію минуту она кокетничала съ вами, играя глазами, и сейчасъ же устраиваетъ вамъ сцену, изъ которой вы выходите одураченными.

Два такихъ дня—и мы были уже измучены; работать не работали, а совершенно были измучены. Василиса, Даша и Васька перестали и приходить. Мы съ Митрофанычемъ одни остались въ полѣ, и въ промежуткахъ между ливнемъ и жарою продолжали косить. Но скошенная трава погибла. Смачиваемая дождемъ, она горѣла подъ жаркими лучами солнца. Съ земли поднимался паръ, воздухъ былъ горячій и насыщенный водой. Разъ, обманутые синимъ небомъ, мы взду-

нали сгребать въ валы, но вдругъ набѣжало бѣлое облако и опрокинуло на насъ страшный ливень, и когда показалось солнце, мы бросились уничтожать нашу работу, раскидывая траву.

Большую часть времени мы проводили подъ телѣгой, лежа на брюхѣ, часто мокрые. И смѣхъ, и злость разбирали насъ. Митрофанычъ часто приходилъ въ необузданный гнѣвъ и бранился съ дождемъ.

— Ну, лей, лей шибче!—кричалъ онъ изъ-подъ телѣги.— Песъ съ тобой, лей! Дуй во всѣ лопатки!—кричалъ онъ бѣшено, спасаясь отъ ливня подъ телѣгу.

Это была дѣйствительно безсильная злость. Работы не было, а уйти отъ нея мы не могли. Мы занимались какою-то игрой: то сгребали траву, то черезъ часъ разбрасывали ее по всему лугу.

И всѣ сосѣдніе косари переживали то же. Только мы еще терпѣливѣе переносили капризы погоды, да и жнитво еще не поспѣло. Но другимъ приходилось просто жутко.

Въ особенности нашъ сосѣдъ Игнатъ Иванычъ—онъ совсѣмъ не зналъ покоя. Подходя къ нашей телѣгѣ, подъ которой мы лежали на брюхѣ, болтая ногами, онъ сумрачно здоровался съ нами и на наши вопросы отмалчивался. Всѣ его мысли были сосредоточены на одномъ—на снѣѣ. На себѣ онъ не обращалъ вниманія; дождь мочилъ его до костей, но ему было все равно; шлепая по мокрой землѣ босыми ногами, съ непокрытою головою, онъ думалъ о снѣѣ.

— Прѣтъ!—говорилъ онъ глухо, ни къ кому изъ насъ не обращаясь.

— Да ужъ про снѣо чего говорить; сопрѣтъ, ужъ это какъ разъ!—поддерживалъ его Митрофанычъ.

— А тутъ рождѣ на носу!

— Жать?

— Спѣется! И поломалась такъ, что не продерешь серпомъ.

— Бери на косу,—посоветовалъ Митрофанычъ.

— Ежели на косу, окончательно выскочитъ! То-есть чистая смерть!— и, говоря это, Игнатъ Иванычъ топтался босыми ногами на мокрой травѣ и, попрежнему, не обращалъ вниманія на дождь; дождь лилъ на его непокрытую голову и на все тѣло, къ которому плотно прилипли рубаха и штаны. Видно, человѣкъ былъ огорченъ.

Игнатъ Иванычъ былъ сосѣдъ нашъ и съ моимъ Митрофанычемъ жилъ дружно, „по-сосѣдски“. Часто они подсобляли другъ другу въ работѣ, взаимно одолжались вещами и обмѣнивались мнѣніями. Но только мнѣніи Игната — хоть убей! — я до сихъ поръ не понималъ. Что-то особенное было въ мысляхъ Игната Иваныча, какая-то непостижимая для меня логика. Часто мы съ нимъ бесѣдовали, но всегда онъ поражалъ меня какимъ-нибудь неожиданнымъ соображеніемъ; его голова представляла для меня особенный міръ, полный какихъ-то логическихъ чудовищъ. При этомъ говорилъ онъ намеками, взглядами, полусловами и крайне медленно. Казалось, каждую мысль онъ вытягивалъ изъ себя съ величайшею болью, какъ вынимають, на примѣръ, мозоль. Прежде чѣмъ что-нибудь сказать, онъ кричалъ и издыхалъ.

— Ну, чего ты, Игнатъ, мокнешь? Влазь къ намъ подъ телѣгу. Тутъ у насъ отлично: и разговоры разговариваемъ, и на брюхѣ катаемся, — одно слово, праздникъ, — сказалъ Митрофанычъ.

Игнатъ Иванычъ послушалъ, наконецъ, приглашенія и сѣлъ возлѣ колеса.

— Что-жь, съ Богомъ спорить нельзя. Я бы вотъ захотѣлъ разогнать облака, и чтобы солнце, по моему приказу, высушило мнѣ сѣно, а, между прочимъ, приходится мнѣ лежать на брюхѣ. Ты, вотъ, послухай-ка лучше, что Миколайчъ сказываетъ — просто прелесть! И дождь, и облака, и всю эту мокроту... Я забылъ его слова... Очень складно у него выходитъ!

— Насчетъ чего? — спросилъ Игнатъ, стараясь придти въ себя.

— Насчетъ травосѣву. На примѣръ, у насъ луга, трава — это все отъ Бога. А можно и самимъ сѣять траву и... Да вотъ пушай Миколайчъ расскажетъ... Ну-ка, Миколайчъ, скажи опять насчетъ травосѣву-то, Игнатъ послушаетъ... Мужикъ онъ основательный. Онъ ужъ ежели ляпнетъ слово, такъ ужъ вѣрно. Онъ когда скажетъ что, такъ, прямо сказать, все равно — березу съ корнемъ выдернетъ!

И Митрофанычъ, высказавъ эту характеристику своего сосѣда, захохоталъ отъ удовольствія. Мы, дѣйствительно, только что говорили о клеверѣ и тимоеевкѣ, причеъъ я рассказалъ о травосѣяніи все, что зналъ самъ, и хотѣлъ

узнать мнѣніе Митрофаныча. Теперь, когда послѣдній пригласилъ меня еще разъ разсказать то же самое, я очутился въ сильномъ затрудненіи. Митрофанычу я могъ что угодно говорить и зналъ, что онъ большою своею головой пойметъ, да еще отъ себя что-нибудь прибавить, благодаря своей способности къ крайнимъ увлеченіямъ всѣмъ новымъ. Но Игнатъ... какъ къ нему приступить, о чемъ съ нимъ разговаривать? Я все-таки повторилъ въ осторожныхъ выраженіяхъ свои крошечныя знанія о травосѣяніи.

— Ловко? — спросилъ Митрофанычъ, поглядывая на со-
сѣда.

Игнатъ молча уперъ глаза въ землю.

— То-есть превосходно онъ это говорить насчетъ травосѣву! — воскликнулъ Митрофанычъ и растопырилъ пальцы. — Теперь, на примѣръ, что уродится, тѣмъ мы и довольны. А тогда взялъ сѣмянъ, обработалъ, посѣялъ, гдѣ угодно и въ какомъ пожелаешь огромномъ размѣрѣ, и отлично будетъ... Какъ ты полагаешь, Игнатъ?

— Что же, это ничего, — сказалъ Игнатъ загадочно.

— Теперь мы дожидаемъ, уродится или нѣтъ, а ужъ тогда навѣрняка!

— Само собой...

— И трава густая и ѣдовая для скота — очень великолѣпно!

— Ежели трава ѣдовая, то ужъ на что лучше...

— И скоть будетъ сытъ, и сѣно будетъ въ цѣнѣ.

— Такъ, такъ! Скоть будетъ сытъ...

— Очень просто. Теперь уродятся сѣна, ай нѣтъ — это еще надо погадать, а тогда навѣрняка, какъ пить дать! — увлекался Митрофанычъ.

— Ужъ это какъ есть! Ежели трава уродится, то ужъ тутъ сѣно вѣрно.

Игнатъ, говоря это, продолжалъ смотрѣть куда-то въ центръ земли и почесывался. Но загадочныхъ его отвѣтовъ я все-таки не понималъ; всеми силами старался понять и не могъ.

— Какъ же ты, Игнатъ, полагаешь? Ловко? — спросилъ Митрофанычъ.

— Насчетъ чего?

— Да насчетъ травосѣву-то.

— Ничего, дѣло хорошее, ежели въ случаѣ чего... Только любопытно мнѣ спросить объ одномъ предметѣ.

говорить, да съ корнемъ,—давалъ намъ наставленія Митрофанычъ.

— О какомъ же предметѣ?—спросилъ я.

— Да вотъ насчетъ травосѣву... Напримѣръ, рожь и травосѣвъ—какъ же это приспособить?—высказалъ Игнатъ, понаутужившись.

— Не понимаю!

На лицѣ Игната появилась какая-то боль, словно онъ занозу выдергивалъ. Митрофанычъ смотрѣлъ то на меня, то на Игната и, видимо, готовился обоимъ намъ помогать.

— Да ты, Игнатъ, загни съ другого конца, Миколайчъ-то и вникнетъ... А ты, Миколайчъ, вникай, потому Игнатъ съ корнемъ...

— Ну, съ другого конца, это ничего,—началъ опять Игнатъ съ болью въ лицѣ.—Ты скажи вотъ чего мнѣ насчетъ этого травосѣву... сыплется онъ.

— То-есть какъ сыплется?

— Да вотъ все одно, какъ рожь, либо пшеница: ежели переспѣетъ, не угодишь во-время, она и обсыплется. Такъ вотъ и травосѣвъ... сыплется?

— Ну, ну. Если переспѣетъ, конечно, будетъ обсыпаться,—сказалъ я, обрадовавшись тому, что ухватился за конецъ занозы. Игнатъ также обрадовался.

— Такъ вотъ ты и разсуди, какъ теперь... напримѣръ, рожь и травосѣвъ поспѣютъ?

— Ну, такъ что же?

— И оба посыплются.

— Да вѣдь косьба-то въ одно время, какъ и сейчасъ, зачѣмъ же рожь и трава посыплются?

— А я полагаю, посыплются. Откуда же сѣмена взять?

— Какія сѣмена?

— Да для травосѣву-то. А разъ оставить на сѣмена, то какъ же разорваться? Напримѣръ, и рожь, и травосѣвъ—и оба сыплются...

На меня отчаяніе напало и я какъ-то одурѣлъ. Игнатъ немилосердно чесался. Митрофанычъ, переводя взгляды съ Игната на меня и обратно, не вытерпѣлъ и прекратилъ наше обоюдное мученіе.

— Ну, ты, Игнатъ, чего-то сегодня не того... не туды! Пустое ты говоришь, потому обо всемъ объ этомъ травосѣвъ можно разузнать доподлинно... Нѣтъ, ты, Миколаичъ, вотъ что викини. Вѣдь о травосѣвѣ и обо всемъ прочемъ мы давно слыхали, да только боязно намъ,—народъ мы робкій. Вотъ ежели бы кто первый зачалъ, ну, и мы тогда пойдемъ за нимъ, а то боязно... Кабы кто первый!

— Да ты первый и начни,—возразилъ я.

Митрофанычъ съ изумленіемъ посмотрѣлъ на меня.

— Мнѣ зачать?... А что-жъ ты думаешь? И ей-Богу зачну! Какого же лысаго чорта бояться-то? Разузнаемъ все съ тобой и начнемъ. Вотъ ей-Богу!

Митрофанычъ пришелъ въ восторгъ и принялся широко развивать травосѣвъ, при этомъ волненіе его было такъ сильно, что онъ не могъ улежать на брюхѣ и перевернулся на спину, потомъ на одинъ бокъ, потомъ на другой бокъ и, наконецъ, сѣлъ. Впрочемъ, я въ это время занятъ былъ Игнатовъ. Я старался его понять и, кажется, понималъ.

Онъ былъ похожъ на дерево: какъ дерево, его нельзя было безъ порчи корней пересадить на другое мѣсто. Все новое ему приходилось мучительно. Въ домѣ у него вещи всѣ лежали по цѣлымъ годамъ на одномъ и томъ же мѣстѣ. Если ему приходилось ихъ переставлять, то объ этомъ нужно было думать, а думать ему больно, боязно. Выдумывая какую-нибудь мысль, онъ вырывалъ ее, какъ корень, съ болью. То, къ чему онъ привыкъ, онъ дѣлалъ легко, но все, что приходилось заново обдумать, приводило его въ разстройство. И, кажется, въ этомъ большую роль играла машина физическаго труда. Умъ рефлексивный, жизнь неподвижная, движенія предопредѣленные, идеи умершія,—это была машина, работающая изо дня въ день, изъ года въ годъ. Это былъ специалистъ, въ которомъ произошло перерожденіе въ одну сторону, въ сторону запряженной въ возъ лошади; умственная и сердечная его половина чуть-чуть свѣтилась. Крайній специалистъ, онъ всегда ставилъ меня въ тупикъ бѣдностью воображенія; весь міръ для него сосредоточился въ небольшомъ фокусѣ плохого земледѣлія. На небѣ онъ видѣлъ только тучки, которыя даютъ дождь или снѣгъ; солнце ему было любопытно постольку, поскольку оно способствовало росту ярицы и овса; въ рѣкѣ онъ видѣлъ только случай намочить

пашней, расковыренной сохой.

И все-таки онъ любилъ и волновался, вѣрилъ и мыслилъ, только все это дѣлалъ съ страшною болью. Когда впоследствии мнѣ приходилось съ нимъ по душѣ говорить и онъ старался меня понять, я видѣлъ, какъ ему было больно, больно. Все, что людямъ доставляетъ счастье,—любовь и познание, вѣра и мысль,—ему доставалось мучительно, какъ свѣтъ челоуѣку, долго жившему въ темномъ подземельѣ, какъ ласка—ребенку, привыкшему испытывать только оскорбленія.

И все-таки онъ любилъ и радовался, вѣрилъ и мыслилъ. Скоро, близко подружившись съ нимъ, я почувствовалъ къ нему искреннее уваженіе въ особенности за то, что каждое чувство въ немъ было прочно, какъ вросшіе въ землю корни.

Но въ эту минуту я питалъ только жалость къ нему. Когда Митрофанычъ перебилъ нашъ нелѣпый разговоръ, Игнатъ Ивановичъ съ какимъ-то недоумѣніемъ остановился. Мои слова, очевидно, задѣли его за живое; было очевидно также, что, разъ задѣтый, онъ уже долго не могъ успокоиться, какъ всѣ прочные люди.

Когда мы съ Митрофанычемъ уже совсѣмъ забыли о разговорѣ и выглядывали изъ-подъ телѣги, думая о работѣ (солнышко давно свѣтило и тучи распозались по краямъ неба), Игнатъ, оказалось, все еще соображалъ на заданную ему тему.

— Такъ, стало быть, травосѣвъ?—спросилъ онъ вдругъ меня.

Я сначала даже оторопѣлъ, но сію же минуту вспомнилъ, въ чемъ дѣло.

— Да, травосѣяніе, по-моему, хорошее дѣло,—сказалъ я.

— Такъ, такъ! Только вотъ насчетъ сѣмянъ-то выкажутъ бы... Напримѣръ, рожь и травосѣвъ... Нельзя же разорваться...

— Ну, Ивановичъ, мы объ этомъ объ травосѣвѣ покажемъ еще. А теперь давайте-ка покосимъ малость, будетъ на брюхѣ-то кататься.

Отъ этого возраженія Митрофаныча Игнатъ вдругъ пришелъ въ себя, вспомнилъ мучительную свою думу о гниющемъ снѣгѣ и поспѣшно всталъ.

— Хоть бы ужъ Господь вѣдра-то далъ! И сѣно прѣтъ, и рожь течеть...

— Небось, успѣмъ. Чего ты больно сурьѣзенъ?—возразилъ весело мой хозяинъ.

— Да вѣдь вытечетъ вся!

— Ничего, Богъ дастъ, за все наверстаемъ. Пойдемъ-ка, братцы, повосить... Ишь какъ солнце-то жарить! Надо поторапливаться! Ну-ка, Господи, благослови!

Это было знакомъ спѣшной работы. Игнать чуть не бѣгомъ бросился къ своей семьѣ на сѣнокосъ, а мы принялись торопливо нагонять потерянное время.

Солнце дѣйствительно жарило. На землѣ была своего рода баня, наполненная горячими парами.

Х.

Вслѣдъ за дождями наступили знойные дни. Удушливый жаръ охватилъ всю землю и, казалось, все живое. Пыль густыми клубами, а часто непроницаемыми стѣнами носилась въ раскаленномъ воздухѣ. При такой-то обстановкѣ продолжались наши полевые работы. Вслѣдъ за уборкой сѣна, съ которымъ намъ удалось-таки развязаться, подошло жнитво. Мы съ Митрофанымъ почти не покидали поля, гдѣ работали и ночевали. Только по субботамъ вечеромъ мы прѣѣзжали домой и отдыхали все воскресенье.

Женская половина наша также безотлучно оставалась на тнивахъ, но на ночь Василиса и Даша уходили домой и прибирали тамъ огородъ, корову съ теленкомъ, приготавливая, въ то же время, для всѣхъ пищу. Василиса ходила беременной, но никому въ голову не приходило освободить ее отъ жнитва. Наравнѣ со всѣми, не разгибая спины, она терялась въ густой заросли ржи.

Я проводилъ жнитво однообразно: цѣлый день работа и небольшіе промежутки завтрака, обѣда, ужина и сна непробуднаго. Къ моему удовольствію, недалеко отъ нашихъ полей была рѣка, и мы съ Васькой два раза въ день ѣздили туда верхомъ на лошадяхъ купаться. За полчаса до обѣда я бросалъ серпъ, и мы спѣшили взобраться на лошадей и скакали къ рѣкѣ; тамъ, напоивъ лошадей, мы бросались въ воду и какъ можно дольше старались оттянуть время обѣда.

Я купался, пока по всему уставшему тѣлу не пройдетъ дрожь, а Васька готовъ былъ сто разъ влѣзть въ рѣку и вылѣзть; онъ часто такъ долго барахтался въ водѣ, что дѣлался синимъ, какъ утопленникъ, и нижняя челюсть била дробь. Это нисколько намъ не вредило. Нѣкогда передъ купаньемъ я долженъ былъ простынуть, а послѣ купанья непременно завернуться въ простыню, причемъ голову вытереть насухо... Теперь я бросался въ воду, когда крупныя капли пота струились по мнѣ и тѣло горѣло; въ водѣ оставался до дрожи, а вылѣзая, прямо натягивалъ первобытный костюмъ и не обращалъ вниманія на струившуюся съ головы воду; обязанность высушить волосы мы предоставляли солнцу и вѣтру; вслѣдствіе этого на нашихъ лицахъ два раза въ день мѣнялась кожа; у Васьки же лицо совершенно облупилось, въ особенности же носъ, на которомъ шкура висѣла, какъ шелуха на плохо очищенной картошкѣ.

Совѣсть, впрочемъ, скоро начинала меня мучить; мы तो ропливо выскакивали изъ воды и скакали къ становищу, гдѣ уже всѣ наши сидѣли подъ тѣнью, ожидая насъ.

Послѣ обѣда отдыхъ съ часъ; вечеромъ, передъ ужиномъ, мы опять съ Васькой скакали къ рѣкѣ поить лошадей и купаться; потомъ ужинъ и сонъ. Это однообразіе доставляло мнѣ ощущеніе покоя, беззаботности и силы. Я сталъ крѣпкимъ и равнодушнымъ. Для меня теперь ничего не стоило босикомъ ходить по грязи или росѣ; одѣвался я съ первобытною простотой, ѣлъ такія вещи, которыя раньше считалъ не съѣдобными; спалъ на голой землѣ и часто по утру на камъ волосы и грудь моя покрывались росой,—это ничего. Я сдѣлался вполнѣ равнодушнымъ къ жару и холоду, къ вѣтру и дождю, къ грязи и пыли. Чувство силы такъ прочно утвердилось во мнѣ, что боязнъ всякаго рода передъ жизненными невзгодами цѣликомъ исчезла во мнѣ.

Митрофанычъ то и дѣло напоминалъ мнѣ о совершившемся со мною переворотѣ, да и другіе все еще не могли примириться съ тѣмъ фактомъ, что еще нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ я былъ баринъ, а теперь распоясанный чело-вѣкъ. Я видѣлъ также, что ни Митрофанычъ, ни другіе до сихъ поръ не могутъ понять, какъ я очутился между ними и сталъ другомъ ихъ, какъ и они мнѣ; да я, пожалуй, и самъ не въ состояніи былъ объяснить достаточно резонно

свое появленіе въ чужой крестьянской семьѣ. Случай—вотъ и все. Я какъ съ неба свалился.

— Одно слово, случай!—говорилъ Митрофанычъ.

— Такому случаю я теперь радъ,—возражалъ я.

— Да ужъ тамъ радъ или не радъ, а попалъ къ намъ,—больше ничего.

— А знаешь что?—говорилъ въ другой разъ за полевымъ обѣдомъ Митрофанычъ.—Вѣдь ты къ намъ въ домъ принесъ счастье. Все у насъ пошло съ тѣхъ поръ дѣльно.

— Можетъ быть, и мнѣ вашъ домъ принесъ счастье?—возражалъ я шутливо.

— Ну, этого мы не знаемъ, потому работаешь ты до смерти. Но ты же, что касательно нашего дома, то это вѣрно,—принесъ ты въ домъ счастье. Какъ ты поселился, все у насъ пошло ладно—и огородъ, и двѣ лошади, и урожай не въ примѣръ... Очень просто, бываютъ на свѣтѣ такіе люди, что счастье съ собой приносятъ, такъ и ты.

— Ну, это, кажется, не совсѣмъ вѣрно,—возразилъ я, вспомнивъ недавнее прошлое, когда я приносилъ одно несчастье себѣ и другимъ.

— Я такъ полагаю, что Богъ тебя долженъ наградить за это!—сказалъ Митрофанычъ съ глубочайшею вѣрой.

— Ну, этого я не знаю, долженъ или не долженъ Богъ меня наградить. А пока что, мнѣ у васъ хорошо... Впередъ же не будемъ загадывать.

Мы, дѣйствительно, и не загадывали. Я до сихъ поръ почему-то избѣгалъ разсказа о своей прежней жизни, познакомивъ моихъ простыхъ друзей только съ отрывками ея; они же изъ чувства деликатности не разспрашивали меня.

Такъ и текла моя жизнь, день за днемъ, безъ прошедшаго и безъ будущаго. Я втянулся въ работу, гнулъ спину на жнитвѣ, тряся на рыдванѣ со снопами, встрѣчалъ бодрою работой утренній восходъ солнца изъ-за лѣса и провожалъ его вечеромъ за холмъ, гдѣ оно, въ послѣдній разъ позолотилъ желтыя нивы, падало въ ночную мглу. Если это назвать счастьемъ, то оно у меня было; если это только удовольствіе, то я его испытывалъ въ полной мѣрѣ. Ни одно изъ тѣхъ убійственныхъ волненій, какими богата была моя прежняя жизнь, больше не постигало меня.

Когда наставалъ вечеръ субботы, мы всѣ отправлялись

тѣмъ съ Дашей и Васькой мы отправлялись на мельницу.

Ко всѣмъ остальнымъ деревенскимъ явленіямъ я относился безразлично. Случалось видѣть драки, ругань, эксплуатацію бѣдняка богачомъ, подлость бѣднаго противъ бѣднаго видѣлъ то и дѣло я, какъ въ праздникъ какой-нибудь мужикъ летитъ къ кабаку, прижавъ судорожно женины сарафанъ къ груди, а за нимъ съ воплями бѣжитъ жена; видѣлъ и толпы пьяныхъ въ повалку, и смерти отъ истощенія, жизнь въ проголодь, но все это какъ-то мимо меня проскользало: я въ этомъ не участвовалъ и равнодушно проходилъ мимо всего этого. Было-ли это равнодушіе свойственно всѣмъ деревенскимъ людямъ, или только я, занятый тяжелыми пріятными тѣлесными ощущеніями, оставался безчувственнымъ къ окружающему?

Я уже говорилъ, съ какимъ спокойствіемъ я теперь переносилъ холодъ и жаръ, утомленіе и муки; разъ я напоролъ острою щепкой ногу себѣ—и ничего; боль въ ногѣ несколько не обезпокоила меня. Такъ же равнодушно я смотрѣлъ на чужія невзгоды.

Я ничѣмъ не волновался и все видимое признавалъ естественнымъ.

Но однажды я былъ выведенъ изъ этого, по новизнѣ, пріятнаго состоянія. Это было въ воскресенье. По обыкновенію до обѣда я спалъ на сѣновалѣ. Собственно трудно это даже такъ назвать,—я лежалъ, скорѣе, какъ мертвый. Наканунъ мы очень устали. Когда, наконецъ, я проснулся, то нѣсколько минутъ протиралъ глаза, ничего не видя изъ-подъ опущенныхъ вѣкъ и не будучи въ состояніи понять, гдѣ я. Спринувъ съ сѣновала на дворъ, я нѣсколько времени слѣпо толкался между рыдванами. Словомъ, очумѣлъ. Свѣта я не могъ выносить и протиралъ глаза. Затѣмъ вышелъ на улицу, гдѣ около воротъ нашего дома стояли кучкой всѣ наши. Нѣсколько человекъ пробѣжало вдоль улицы. Дѣлая руку козырькомъ, всѣ смотрѣли въ ту сторону, куда бѣжали бабы и ребяташки. Я такъ же сдѣлалъ, но ничего не понималъ.

— Куда это бѣгутъ?—спросилъ я.

— Надо полагать, къ Васькѣ Сайкину,—спокойно проговорилъ Митрофанъ.

— Что же тамъ такое?

— Да надо полагать, дерется онъ съ женой. Безпремѣнно лупить жену, ужъ не иначе,—отвѣтилъ также равнодушно Митрофанычъ.

— Зачѣмъ?

— Кто-жъ ихъ разбереть? Лупить да и все. Охальникъ, что съ него возьмешь?

— Да за что же онъ лупить?

— Больше ничего, какъ охальникъ, самый пустой мужиченко. Придетъ домой и давай бить—возжами, черезъ сѣдельникомъ, а то и просто полѣномъ... Чу, плачетъ кто-то!... Безпремѣнно это Васька свою хозяйку бучить!

Василиса и Даша, взволнованныя, побѣжали къ Васькиному двору, а мы съ Митрофанычемъ остались у своихъ воротъ. Но на этотъ разъ меня что-то обезпокоило.

— Пойдемъ и мы посмотримъ! — предложилъ я Митрофанычу.

— Да чего смотрѣть-то этого пса?... А, между прочимъ, пойдѣмъ...

Черезъ нѣсколько минутъ мы уже были на мѣстѣ происшествія и увидѣли всю сцену.

Сцена представляла бѣдный пустой дворъ; на серединѣ двора телѣга. Дѣйствующія лица: Васька Сайкинъ, показавшійся намъ теперь болѣе злымъ и сквернымъ мужиченкомъ, чѣмъ въ первое наше знакомство, и его жена. Васька сидѣлъ на порогѣ двери и презрительно огрызался по сторонамъ. Жена была привязана за носы къ перекладинѣ рыдвана; по лицу ея, во многихъ мѣстахъ подбитому, текли слезы съ сукровицей. Въ глубинѣ сцены изъ-за плетня виднѣлись головы ребятешекъ, помѣстившихся между кольями плетня. На авансценѣ стоялъ „народъ“ — бабы, ребята и нѣсколько мужиковъ, въ томъ числѣ и мы съ Митрофанычемъ.

— Пусти меня, Степанычъ! — слабо вдругъ проговорила жена, умолая.

— Ничего, постоишь! — возражалъ Васька.

— Степанычъ... отвяжи меня, не срами! — продолжала женщина умолять.

Васька молчалъ.

— Ну, ужъ будетъ, Васька! Развяжи! — сказалъ кто-то изъ публики.

распятая женщина.

Въ толпѣ прошла волна сожалѣній, восклицаній и вздохов. Одна изъ бабъ принялась ругать сквернаго мужиченку.

— Побойся Бога, охальникъ! Чего ты куражишься надъ бабой?

— А тебѣ какое, на примѣръ, дѣло? — нагло возразилъ Васька.

— За что ты безперечь куражишься? Да еще и за то привязалъ! Креста на тебѣ нѣтъ, свинья ты эдакая!

— Въ чужое дѣло не лѣзь. Надъ душой ейной не воле только я, а бить никто не смѣетъ запретить!

— Ахъ ты, пьянчуга безобразная! Ну, развяжи, хоть ради Христа! Побойся Бога!

Въ толпѣ слышались опять вздохи, сожалѣнія и руганье адресу озвѣрѣвшаго мужа, но отнять изъ его рукъ измученную побоями и позоромъ жену, повидимому, никто не думалъ. Толпа молчаливо признавала право мужа „учить“ жену.

Со мной вдругъ что-то страшное сдѣлалось; въ глаза помутилось, волненіе охватило меня, но наружно я оставался хладнокровнымъ. Выступивъ изъ толпы, я подошелъ къ Васькѣ и спокойно сказалъ ему:

— Развяжи сейчасъ.

Мужиченко закосилъ глазами, поднялся съ порога — и была минута, когда я думалъ, что онъ, поджавши хвостъ, исполнитъ мое внезапное приказаніе. Но, вмѣсто этого, онъ вдругъ нагло взглянулъ на меня и съ злою улыбкой закричалъ:

— А ты кто такой? Ишь какой напелся указчикъ! Проваливай своею дорогой! Я воленъ! Никто не смѣетъ!...

Я размахнулся и ударилъ его, разъ и другой, потомъ схватилъ за воротъ его рубахи и бросилъ объ полъ.

Мнѣ теперь тяжело объ этомъ вспомнить, но тогда я не обращалъ, что дѣлаю. Ошеломивъ мужиченку, я наскоро отвязалъ отъ перекладины косы женщины, взялъ ее за руку, провелъ черезъ толпу, въ которой слышался ровный одобреніи, и повелъ ее къ себѣ домой.

По дорогѣ меня догналъ Митрофанъчъ.

— Ловко! — закричалъ онъ мнѣ.

Женщина всю дорогу плакала, а когда мы привели ее

нашу избу, плачь ея превратился въ глухое рыданіе. Василе и Даша едва успокоили ея, а я принялся ей объяснять, что мужъ ни имѣть права бить ея, что она можетъ жаловаться на него, въ крайнемъ случаѣ онъ ей обязанъ выдать отдѣльный паспортъ. Наконецъ, я далъ ей слово, что не оставлю этого дѣла и постараюсь засадить негодя въ „темную“ за издѣвательство.

— Ты ужь прости его, не трожь!—вдругъ испуганно возразила мнѣ избитая женщина.

— Какъ простить?

— Не трожь его... Вѣдь онъ—всѣ же мужъ,—испуганно повторила женщина.

Я заранѣе предвидѣлъ этотъ результатъ и съ помощью Митрофанъча сталъ убѣждать бабу, чтобъ она своею покорностью не испортила окончательно мужиченку; такіе мелкіе звѣри, какъ этотъ Сайкинъ, отъ покорности только больше звѣрѣютъ. Никто не хочетъ, чтобъ она бросила мужа, но должна же она знать, что, наравнѣ съ прочими людьми, она имѣетъ право обороняться отъ побоевъ. Насилу мы убѣдили бабу.

На другой день я написалъ курьезное прошеніе въ волость, проси волостной судъ посѣчь драчуна, а въ случаѣ дальнѣйшаго его упрямства—отнять у него жену. Эту бумагу я самъ свезъ въ избу Васьки Сайкина, вручилъ его женѣ и заявилъ торжественнымъ тономъ самому Васькѣ, что съ этого дня я неотлучно буду слѣдить за нимъ, и если онъ еще будетъ безобразничать, то не миновать ему острога.

Къ моему счастью, мужиченко оказался въ высшей степени трусливымъ и перепугался меня.

Но съ этого дня пропало мое хладнокровіе и самодовольствіе. Я впутался руками и ногами въ деревенскій мірокъ. Воображеніе обиженныхъ надѣлило меня необыкновенною силой; обремененные неправдой приписали мнѣ чрезвычайную власть. Я съ этого дня долженъ былъ разбирать тяжбы, мирить, грозить, лаяться и судиться. вмѣстѣ съ друзьями у меня скоро образовались враги. И много этихъ враговъ вышло откуда-то изъ щелей. Да я и самъ раздѣлил нашу деревню на друзей и враговъ, вродѣ Васьки Сайкина.

Самъ того не желая и не ожидая, я скоро очутился въ центрѣ какой-то ваши и уже не имѣлъ возможности вытѣзти изъ нея. Это еще крѣпче прикрѣпило меня къ деревнѣ.

Но все чаще и чаще стало находить на меня раздумье. Иногда, повидимому, безъ всякой причины, вдругъ пробѣжить въ сердцѣ тревожная мысль, задѣнетъ знакомую струну, задрожитъ эта струна, и болѣзненный звукъ ея отзовется острою тоской. Потомъ безслѣдно все проходить — и опять я спокоенъ.

Природа въ концѣ лѣта сама по себѣ вызываетъ это чувство тайной грусти. Кругомъ вездѣ поля, остриженные косой и серпомъ. На лугахъ рельефно обрисовывается каждый кустикъ тальника, каждый стогъ сѣна; ни одного цвѣтка жаворонокъ не поетъ больше подъ густою зеленью; перепелъ негдѣ укрыться; вѣтеръ свободно гуляетъ, свиститъ и рветъ по чистой равнинѣ возлѣ стоговъ. Не видно стѣнъ хлѣбныхъ полей, — онѣ сжаты и сложены въ скирды. Полуобнаженная земля, съ торчащею всюду щеткой соломы, какъ будто заспѣваетъ. Тишина кругомъ. Выйдешь въ поле — и одиночество охватитъ тебя.

Страда кончилась. Поля обезлюдѣли. Изрѣдка проѣдетъ возъ со снопами и спугнетъ стаю голубей, подбирающихъ по дорогамъ зерна. Кончилась торопливость. Люди всѣ въ гумнахъ, на мельницѣ да на базарахъ. Кто молотитъ, кто спѣшитъ въ городъ съ мѣшками новаго хлѣба. Истощенные заработавшіеся мужики спѣшаютъ удовлетворить забытыя въ время нужды. Деревня оживилась; во дворахъ и избахъ вездѣ люди. Каждый старается быть больше у себя дома, въ семьѣ, среди знакомой обстановки.

А у меня нѣтъ дома, нѣтъ семьи и угла. Я вездѣ чужой и вѣчный скиталецъ. Пробѣжитъ эта мысль, сожметъ сердце и знакомая струна зазвучитъ тоской одиночества.

Я забылся во время спѣшныхъ полевыхъ работъ. Теперь что дѣлать? Никакого опредѣленнаго плана на будущее у меня не было; объ этомъ будущемъ я старался вовсе не думать. Но чувство тревоги не умолкало. Смутно я чувствовалъ, что долженъ уѣхать отсюда. Я чужой здѣсь, но гдѣ же мой домъ? Мои друзья любили меня, но среди нихъ нѣтъ не было ужъ дѣда. А гдѣ же мое дѣло? Уѣхать я куда-то долженъ, — не моя эта деревня, не мой городъ, не моя родина... Но гдѣ же моя родина?

Оканчивалось лѣто, а вмѣстѣ съ нимъ оканчивалось и мое пребываніе здѣсь. Ъхать я куда-то долженъ. Довольно, подышать чистымъ воздухомъ полей, пожить среди простыхъ и добрыхъ людей и долженъ ѡхать куда-то къ своимъ дѣламъ! И мнѣ становилось грустно. Это тяжелое чувство прощанія съ милыми знакомо мнѣ съ ранняго дѣтства. Помню, когда, послѣ весело проведеннаго вѣката среди родной семьи, я долженъ былъ ѡхать въ чужой городъ, къ противнымъ книжкамъ, въ холодный казенный домъ, мнѣ такъ же становилось жутко; за нѣсколько дней до отъѣзда изъ родного дома я переставалъ играть, умолкалъ, лицо мое вдругъ вытигивалось и по сердцу пробѣгала острая боль. Скверныя эти книжонки, проклятый этотъ холодный домъ, придуманный, какъ острогъ, для свободныхъ дѣтей!... Отчего человѣкъ не можетъ дѣлать то, что ему хочется, и жить тамъ, гдѣ ему нравится? Въ послѣдній день пребыванія дома на меня напало мрачное озлобленіе. Но, прощаясь съ матерью и сестрами, я не плакалъ; со стиснутыми зубами я холодно цѣловалъ близкихъ и садился въ экипажъ. Ни одного вздоха, ни одной слезы на похолодѣвшемъ моемъ лицѣ. Пара съ колокольчикомъ выѣзжала со двора. Какъ весело звенѣлъ этотъ колокольчикъ, когда я ѡхалъ домой, и какъ больно онъ теперь рѣзалъ мое маленькое, наболѣвшее сердце, увозя меня въ бездушный, холодный домъ!

Впрочемъ, я еще позабывалъ и подавлялъ звуки этихъ струнъ. Сейчасъ же послѣ жнитва мы начали молотьбу. Это тяжелая, но веселая работа. Погода стояла чудесная, солнце ярко горѣло, только по вечерамъ дѣлалось уже холодно. Снопъ были совершенно сухіе, и не было нужды прибѣгать къ овину.

Владѣть цѣпомъ я научился дня черезъ два, послѣ того, какъ разъ пять съѣздили себя по затылку. Но работы было много и помимо собственно молотьбы: ворочать обмолоченные снопы, перетрясать солому, снимать мякину, подкидывать новые ряды. Для ускоренія работы мы сдѣлали два тока; на одномъ молотили цѣпами мы съ Митрофанымъ и Дашей, на другомъ Васька гонялъ нашихъ двухъ лошадей по кругу. Работали всѣ, но не уставая такъ, какъ на косьбѣ или во время жнитва; обѣдали дома; пили по вечерамъ чай.

Посреди этихъ веселыхъ работъ, среди соломы, мякины, вороховъ зерна, меня вдругъ застигло событіе, неожиданно

ворвавшееся въ нашу мирную жизнь, какъ рѣзкій звукъ, раздавшійся въ тишинѣ.

Первые дни осени. Солнце еще ласково грѣло, но въ воздухѣ нѣтъ-нѣтъ пробѣжить холодная струя. Въ вышинѣ небесъ, перекликаясь, летѣли журавли. По всей природѣ разлита была нѣга и каждый предметъ, казалось, говорилъ: прости-прощай до будущей весны!

Мы всѣ были на гумнѣ, кромѣ Митрофаныча, отлучившагося зачѣмъ-то домой. Лошади прытко бѣгали по кругу, подгоняемые гиканьемъ и бичомъ Васьки. Я сидѣлъ по-уши въ сгребенной соломѣ и отдыхалъ. Вдругъ показался Митрофанычъ. Лицо его было необычайно задумчиво, — такимъ я никогда его не видалъ. Въ рукѣ онъ держалъ какой-то конвертъ, измаранный, измятый и порванный.

— На, вотъ, тебѣ письмо, — проговорилъ онъ и подаль мнѣ запачканный конвертъ.

Я посмотрѣлъ: дѣйствительно мнѣ. Но кто это вздумалъ тревожить меня и какъ это письмо дошло? Я никому не писалъ. Прочитавъ еще разъ конвертъ, я увидалъ, что адресовано оно на то имѣніе, въ которое я ѣхалъ, но куда не попалъ.

— Изъ волости десятскій принесъ... Стало быть, тебѣ, — пояснилъ глухо Митрофанычъ и отвернулся отъ меня. Видъ его былъ почти враждебный, лицо мрачное. Онъ какъ будто говорилъ мнѣ: „Чужой ты намъ!“ Васька пересталъ гонять лошадей. Василиса молча, съ испуганнымъ видомъ, ушла домой, чтобы покормить своего грудного ребенка, оставленнаго на попеченіи какой-то старухи.

Даша стояла недалеко отъ меня съ опущенными руками, блѣдная и застывшая въ одной позѣ. Письмо явилось какимъ-то злымъ духомъ. Оно напомнило всѣмъ, что я тутъ чужой, что гдѣ-то далеко у меня есть свое мѣсто, свои дѣла и свои друзья, къ которымъ и призываетъ меня грязное, захватанное письмо. Я самъ вдругъ похолодѣлъ, и мнѣ почему-то стало стыдно передъ друзьями. Письмо жгло мнѣ руку... нѣтъ, оно внушало мнѣ отвращеніе, какъ что-то гадливое. Я долго его не распечатывалъ, почему-то думая, что этимъ я оскорблю своихъ друзей. Я имѣю свои тайны. свои дѣла, свою жизнь, и чужой на этой соломѣ, среди этихъ

добрыхъ людей. И мнѣ хотѣлось разорвать запечатанное письмо въ клочки и клочки растоптать ногами.

Но, вмѣсто этого неразумнаго желанія, я молча поднялся съ мѣста и пошелъ прочь съ гумна. Пройдя канавы, окружающія всѣ гумна, я вышелъ въ поле и направился въ противоположную сторону отъ деревни. Шелъ я быстро, безъ дороги, не зная куда, только хотѣлъ какъ можно больше и дальше пройти.

На ходу я, наконецъ, разорвалъ конвертъ и пробѣжалъ все письмо въ одинъ мигъ. Оно было отъ того изъ моихъ друзей, который посовѣтовалъ мнѣ уѣхать изъ столицы; написано оно было въ шутливомъ тонѣ, но конецъ его состоялъ изъ предложенія немедленно возвратиться въ столицу, гдѣ отыскалось для меня хорошее мѣсто. „Про тебя здѣсь прошелъ гурьезный слухъ,—говорилось въ письмѣ,—будто ты вздумалъ опроститься, ходишь безъ панталонъ, голову не чешешь, учишься вывозить навозъ. Говорятъ еще, что ты нанялся въ батраки къ мужику, и онъ называетъ тебя Ванькой, ругаетъ нецензурно, когда ты сдѣлаешь не такъ, и бьетъ тебя по шеѣ, когда ты возражаешь. Я думаю, что это неправда. Мнѣ передавали еще, что ты опроститься хочешь радикально, т.-е. сдѣлаться настоящимъ мужикомъ, а настоящій мужикъ есть такое существо, которое отъ января до юня ѣстъ мякину, которое хронически порюетъ въ волости, которое увѣрено, что въверху Богъ, въ серединѣ дьяволъ, а на днѣ три кита... Я и этому не вѣрю. Я знаю, что твоя голова наполнена оригинальными мечтами, но я помню твою способность ко всему относиться критически. Быть можетъ, ты вздумалъ слиться съ народомъ, но я отказываюсь думать, чтобы ты затѣялъ это сліянiе въ той формѣ, какъ про тебя болтаютъ. Ибо хорошо сдѣлаться трудящимся работникомъ, но какой смыслъ сливаться съ массой тѣми сторонами, противъ которыхъ мыслящее существо должно бороться? Какой смыслъ въ томъ, если баринъ вдругъ сдѣлается мужикомъ, станетъ ѣсть толокно, будетъ ходить безъ панталонъ, позволить себя сѣчь и начать лаять на науку и цивилизацію, разучится читать, надѣнетъ лапти и выпачкаетъ лицо навозомъ? Неужели онъ этимъ принесетъ кому-нибудь пользу?... Но въ сторону шутокъ. Здѣсь тебѣ нашлось порядочное мѣсто, жалованья 1,200 сначала и по мѣрѣ за-

слуги—прибавка. Но, главное, мѣсто по тебѣ и не вызоветъ твоей брезгливости. Пріѣзжай поскорѣе. Я очень радъ, что такой хорошій случай выпалъ“.

Вотъ содержаніе письма. Я скомкалъ его въ рукѣ и продолжалъ шагать по жнивамъ, черезъ рытвины, среди кустовъ шиповника, спотыкаясь въ ямахъ. Страшная тоска сжала мнѣ сердце и у меня нечѣмъ было заглушить ее. Слѣпо шагая по жнивамъ, я ничего вокругъ себя не видѣлъ, весь погруженный въ отвратительныя воспоминанія.

И такъ, я долженъ ѣхать. Кончился лѣтній покой—и я долженъ ѣхать на мѣсто. Все забытое снова возвратилось и впилося въ меня сотнями скверныхъ воспоминаній.

Я получу мѣсто и займусь квартирой. Надо заказать визитныя карточки, три пары панталонъ, черную пару, квартиру надо поприличнѣе. Визиты. Людская пошлость требуетъ, чтобы признанныя приличія были всѣ соблюдены. У всѣхъ такая же мебель, одинаковые кабинеты, одинаковыя прически, манеры, улыбки, поклоны, но всѣ изъ кожи лѣзутъ, чтобы отличиться и затмить другъ друга.

И снова эта ложь, насквозь, какъ ржавчина, продающая людей. Въ дѣйствительности каждый думаетъ о прибавкѣ жалованья, а говоритъ о правдѣ и любви. Опять вѣроломныя рабы, трусливые въ душѣ, но за угломъ сплетничающіе противъ сильныхъ, куда отъ нихъ дѣться?

И такъ, я ѣду... Но какъ скучно!...

— Антошка-а!—вдругъ донесся до меня откуда-то издалека голосъ мужика, повторяясь эхомъ лѣса.

Я вздрогнулъ и пришелъ въ себя.

Незамѣтно я прошелъ нѣсколько верстъ и очутился въ густомъ лѣсу; капли пота струились по моему лицу. Усталость во всѣхъ членахъ. Я присѣлъ на стволъ упавшей березы.

Гдѣ-то вдалекѣ раздавался рѣзко стукъ топора. Вѣроятно, мужикъ рубилъ купленную у казны сажень; должно быть, онъ былъ здѣсь не одинъ, а съ кѣмъ-нибудь изъ своихъ домашнихъ, потому что я еще нѣсколько разъ слышалъ его кличъ:

— Антошка-а!

Но Антошка, должно быть, запропастился и вывелъ му-

жизни изъ терпѣнія, потому что до меня донеслось раздражительное увѣщаніе:

-- Антошка-а! Иди, пострѣль, нады склада-ать!...—Потомъ все замолкло. Недалеко отъ меня пострекотала сорока, но она улетѣла. Мертвая тишина стояла въ лѣсу. Склонившееся къ западу солнце бросало длинныя тѣни отъ деревьевъ; на землѣ подъ лѣснымъ шатромъ сдѣлалось уже прохладно и сыро. Ни малѣйшаго вѣтерка. Деревья неподвижно застыли въ полумракѣ. Только кое-гдѣ слышался шелестъ падающаго желтаго листа. Много уже было этихъ желтыхъ листьевъ, предвѣстниковъ близкой осени.

Внезапный покой овладѣлъ всѣмъ моимъ утомленнымъ тѣломъ, а призываніе неизвѣстнымъ мужикомъ какого-то Антошки дало другое направленіе моей изнеможенной мысли. Мнѣ даже смѣшнымъ показалось то злобное волненіе, съ которымъ я читалъ письмо. Сидя на поваленной березѣ, я отдыхалъ и чувствовалъ себя покойно. Еслибы кто-нибудь мнѣ въ эту минуту приказалъ встать и идти, я не послушался бы,—мнѣ и здѣсь хорошо! Не сдвинулся я съ этой березы—только и всего. Отлично и здѣсь.

И вдругъ среди темныхъ мыслей, полныхъ отчаянія, появилась какая-то свѣтлая точка, и по мѣрѣ того, какъ я отдыхалъ, она все росла, росла, освѣщала темные углы души, играла веселыми лучами посреди мрачныхъ воспоминаній, проникла въ самое сердце, брызнувъ тамъ внезапною радостью, и, наконецъ, залила яркимъ свѣтомъ всю мою душу... Удивленіе и радость вдругъ съ такою силой овладѣли мною, что я поднялся съ гнилой березы и крикнулъ на весь лѣсъ: „Да кто же заставляетъ меня уѣхать отсюда?!“

Зачѣмъ мнѣ покидать деревню, гдѣ мнѣ такъ покойно? Какія это такія обязанности призываютъ меня? Въ 1,200 р. овладѣть? Да наплевать на все! Не поѣду. Хоть разъ въ жизни быть оригинальнымъ и свободнымъ. Ничего не бояться, сбросить съ себя иго привычекъ, не ходить пошлыми путями, пробить собственную дорогу—Боже, какое это счастье!

Не поѣду—только и всего. Здѣсь мнѣ отлично. Физическій трудъ дастъ мнѣ здоровье; простая жизнь деревенскаго обывателя избавитъ отъ милліона презрѣнныхъ мученій изъ-за мебели, изъ-за фрака, изъ-за всего того, что считается для порядочнаго человѣка обязательнымъ, жизнь посреди

машедшее озлобленіе.

Свѣтъ, внезапно озарившій меня, освѣтилъ и все то, что до сихъ поръ темно мнѣ было. Когда, бывало, я платонически мечталъ о жизни въ деревнѣ, то эти мечты всегда оканчивались ужасомъ за того бога, которому я молился,—за мысль. Я боялся, что мысль и тѣлесный трудъ—два конца, никогда не соединяющіеся. Я боялся, что тьма обязательно должна окутывать всякій физическій трудъ, и невѣжество—естественное слѣдствіе деревенской жизни. Теперь свѣтъ проникъ и въ этотъ темный уголъ.

Что же заставляетъ меня разбить этого бога?

На свѣтъ нѣтъ ничего дороже мысли. Она—начало и конецъ всего бытія, причина и слѣдствіе, движущая сила и послѣдняя цѣль. Кто же заставитъ меня отказаться отъ нея? Люди прекрасны только въ той мѣрѣ, въ какой вложена въ нихъ эта міровая сила. Если міръ окутывается еще тьма, то потому только, что мысль не освѣтила ее; если среди людей большая часть подлыхъ, то только потому, что мысль не освободила еще ихъ отъ безумія. Какой же смыслъ отказываться отъ нея? Я останусь въ деревнѣ, но значить-ли это, что я долженъ опрокинуть тотъ жертвенникъ, который поддерживаетъ мою вѣру, и разбить того бога, выше котораго нѣтъ ничего въ человѣческой жизни? Моя мысль, мои познанія,—вѣдь это все, что есть только лучшаго во мнѣ, но если это лучшее для меня, то, въ то же время, необходимое и для всѣхъ людей, кто бы они ни были,—мужики, женщины, дѣти. Не большая заслуга сдѣлаться работникомъ; не большая заслуга „выпачкать лицо навозомъ“ и въ этотъ же навозъ втоптать свою душу. Слѣпые вожди—тѣ, которые, унижая человѣческій умъ и все то, что онъ добылъ съ такими кровавыми жертвами, проповѣдуютъ сліяніе съ тьмой. Позорное употребленіе изъ своего ума дѣлаетъ тотъ, кто поднимаетъ невѣжество на пьедесталъ...

Кто накормитъ голоднаго, тотъ сдѣлаетъ благородный поступокъ, но въ миллионъ разъ выше тотъ, кто отдастъ нищему духомъ свою мысль, кто напоитъ его жажду знанія, кто научитъ его чему-нибудь, кто зажжетъ свѣтъ тамъ, гдѣ царилъ тьма. Пожертвовать бѣдному кусокъ хлѣба не

тяжело и не трудно добывать хлѣбъ своими руками, но отдать всю свою жизнь, всю свою душу тому, кто лишенъ средствъ заботиться о своей головѣ,—выше этого нѣтъ другой жертвы.

Но для меня же это и не жертва. Въ обменъ на то, что я хочу дать деревнѣ, я получу отъ нея здоровье, волю и покой...

Взволнованный этими мыслями, которыя такъ внезапно, какъ лучи скрытаго тучей солнца, проникали всего меня, я бродилъ по лѣснымъ лужайкамъ, осторожно пробираясь среди зарослей боярки и умѣрялъ свой шагъ. Мнѣ хотѣлось бѣжать, смѣяться, пѣть, но мнѣ казалось, что этимъ я спугну свое настроеніе. И я осторожно ступалъ, сдерживая радость, и сдерживалъ возбужденный организмъ, боясь потерять хоть одну изъ тѣхъ мыслей, которыя цѣплялись одна за другую, сливаясь въ стройный хоръ.

Но день угасалъ. Когда я вышелъ на опушку лѣса, красивый огненный шаръ солнца тонулъ уже на горизонтѣ въ пропасть ночи; послѣдніе лучи его озолотили бусты осинника, горѣвшаго своими красными листьями, и стволы березъ, сверкавшихъ ослѣпительнымъ блескомъ. Я поторопился домой, выбирая самую кратчайшую дорогу, но уже не шагаль черезъ рытвины, не путался ногами по жнивамъ ржи.

Поздно я пришелъ домой. Всѣ наши сидѣли за ужиномъ и тяжелое молчаніе царило надъ столомъ. То же натянутое молчаніе встрѣтило и меня, только Василиса сдержанно пригласила меня сѣсть за столъ. Но мнѣ было весело и я сейчасъ же подѣлился своимъ настроеніемъ.

— Что, докончили копну?—спросилъ я.

— Прикончили... — глухо возразилъ Митрофанъ и лицо его въ темнотѣ казалось еще мрачнѣе. Очевидно было, что вещи для него приняли мрачный, отчаянный оттѣнокъ.

— Солому сметали?

— Солому-то?... Чорта лысаго ее смечешь!

— Ну, завтра смечемъ. Теперь пойдетъ все хорошо...

— Песъ ее возьми,—скоро ее соберешь!

— Ну, завтра, ну, черезъ недѣлю... все обмолотимъ!

Митрофанъ взглянулъ на меня мелькомъ, очевидно, колеблясь, какъ принять мои слова.

не надо!—кричалъ онъ, когда мы всѣ собрались.—Вотъ мы и придумали! Ужъ это такая штука, лучше и не надо! Стало быть, теперь дѣло наше въ шляпѣ. Прямо сказать—дѣло это окончательно обсужено, приложено и приходится точка въ точку, какъ разъ для тебя!

— Да въ чемъ дѣло? Что ты придумалъ?—спросилъ я, недоумѣвая.

— Мельницу!

— То-есть какъ это мельницу?

— Да такъ, мельницу—и больше ничего! Ка-акъ разъ къ тебѣ подходитъ. Слушай. Мельница эта наша, напримѣръ, мірская. Сдаемъ мы ее на пять годовъ. Пять годовъ приходится на Покровъ. Стало быть, намъ слѣдуетъ сдавать ее еще на пять годовъ. Понялъ?

И, говоря это, Митрофанычъ разинулъ ротъ въ широкую улыбку.

— Не совсѣмъ,—возразилъ я.

— Слушай дальше. Сдаемъ мы мельницу на пять годовъ и срокъ ей на Покровъ. Стало быть, намъ слѣдуетъ сдать ее опять. Вотъ я и придумалъ, чтобы ты взялъ мельницу. Тому съемщику мы ужъ не сдадимъ, потому онъ ее загадилъ, забросилъ и теперь она вотъ-вотъ упадетъ подъ плотину. Тебѣ же міръ сдать, — знаетъ онъ тебя довольно! Съ которыми мужиками я ужъ и говорилъ; ничего, говорятъ, пушай беречь! Съ полнымъ удовольствіемъ! А дѣло ка-акъ разъ къ тебѣ! Жирно не будетъ, а хлѣбъ завсегда. И работа легкая. Засыпку будешь держать... Ловко?

— Очень хорошо. Только ты, кажется, упустилъ малость —сказалъ я, занятый серьезно предложеніемъ Митрофаныча.—Ты забылъ, что у меня нѣтъ ни гроша денегъ для уплаты аренды.

— А развѣ тебѣ господа, которые друзья, не дадутъ?—спросилъ Митрофанычъ растерянно.

— Не дадутъ. Да я и просить не хочу.

— Ахъ, грѣхъ какой! А вѣдь я-то какъ мечталъ!... Ну такъ!... Все пошло прахомъ, къ чорту лысому!

Лицо его вдругъ сдѣлалось мрачнымъ. Теперь ужъ мнѣ пришлось ободрять. Ради курьеза, я его ободрялъ его же словами:

— Ты, Митрофанычъ, не тужи... не бойся... наплюй!

— А какъ я мечталъ-то!... Все пошло къ чорту лысому!—
правно проговорилъ онъ. А тутъ еще Василиса подбавила
торечи:

— Придумалъ!... Тоже!... Куръ только пугаешь!

Это она ему отомстила за письма и прошенія.

Впрочемъ, она была не права. Предположеніе Митрофаныча
мнѣ такъ пришлось по душѣ, что я не могъ его забыть. Нѣ-
сколько дней мнѣ не спалось,—все слышалась мельница,
шумъ ея колесъ, рисовались луга, кусты черемухи, лягуш-
ки... Я обдумывалъ одинъ планъ—поселиться тамъ и не могъ
успокоиться. Когда уже планъ былъ совсѣмъ готовъ, я дол-
го никому не открывалъ его, сомнѣваясь насчетъ его вы-
полнимости. Боялся я, что меня не поймутъ или отнесутся
зло. Новизна дѣла могла испортить все. Но молчать я боль-
ше не могъ, счастливый, что нашелъ, наконецъ, то положе-
ніе, которое позволило бы мнѣ остаться въ деревнѣ навсегда.

— А знаешь что, Митрофанычъ?—сказалъ я, наконецъ.—
Вѣдь ты эту мельницу больно хорошо придумалъ!

Онъ вскинулъ на меня недоумѣвающий взоръ; самъ ужъ онъ
это дѣло похоронилъ и ни однимъ словомъ не упоминалъ о
немъ.

— Мнѣ такъ понравилась твоя мысль, что я не могу ее
забыть,—продолжалъ я.

— А какъ же деньги-то?

— Да вотъ я придумалъ обойти эту статью... Дѣло но-
вое, но ты поймешь, что оно будетъ выгодно и для міра, и
для меня.

— Ну-ка, рассказывай.

Я принялся объяснять мой планъ и сильно волновался.

— Дѣло вотъ въ чемъ. Пусть мнѣ мужики сдадутъ мель-
ницу, но не въ аренду и не за плату, а какъ человѣку, ко-
торый у міра на службѣ состоитъ. Пусть отведутъ мнѣ тамъ
домъ, а изба тамъ сносная, изъ двухъ половинъ, хлѣба да
дровъ и немного жалованья—больше ничего. Вся же мука
и деньги, которые прежде шли въ карманъ арендатора,
будутъ принадлежать міру. Я буду сдавать отчетъ...

— Очень просто!... Продолжай дальше,—перебилъ меня
одобрительно Митрофанычъ. Онъ слушалъ напряженно.

— Я буду сдавать отчетъ, сколько мельница вымолола

время до времени поправлять, что понадобится...

— Очень превосходно!

— Выгодно и для меня, и для міра. У меня будетъ хлѣбъ и домъ, міру же останется весь барышъ.

— То-есть лучше и не надо! Штука дѣльная!

— Какъ ты думаешь, примутъ мужики?

— Я такъ полагаю, примутъ. То-есть такое дѣло, что лучше и не надо!

— Новое дѣло-то; пожалуй, не захотятъ.

— Дѣло, конечно, новое, не было еще у насъ... такъ въ соображеніе-то есть же! Всякому видимо, что дѣло, прямо сказать, отличное! Ну, ладно же ты придумалъ!

— Я боюсь еще, что не повѣрятъ мнѣ,—подумають, что какой-нибудь подвохъ со стороны барина...

— Ежели кто вздумаетъ сказать такую подлость, всѣ башку тому человѣку расколочу!

— Едва-ли отъ этого польза будетъ!—вскричалъ я, испугавшись, что какимъ-нибудь необузданнымъ поступкомъ Митрофанычъ испортитъ все дѣло.

Но Митрофанычъ сейчасъ же понялъ меня и задумался. Относительно самой сущности дѣла также мнѣ не нужно было больше говорить; большая необузданная голова его сейчасъ же минутой оцѣнила мой планъ; еще лучше—онъ провелъ его со всѣми послѣдствіями дальше, отмѣтилъ всѣ мелочи (какъ меня мужики будутъ учитывать, какъ будетъ производиться ремонтъ) и наложилъ, такъ сказать, краски на это пока еще мертвое дѣло.

— Мы сперва кое съ кѣмъ поговоримъ, расскажемъ хорошимъ мужикамъ, какъ и что, и ужъ тогда ударимъ прямо въ точку... Это дѣло надо вести умно, съ оглядкой, чтобы на сходѣ горланы наши приперты были въ уголъ,—вогъ это какъ слѣдуетъ вести. Главное, не торопиться, а то все къ чорту лысому провалится!

Такъ мы и сдѣлали.

Но съ перваго же раза намъ предстояло множество разочарованій, и дѣло тянулось долго. Пригласили мы сначала Игната, нашего основательнаго сосѣда. Митрофанычъ во

одушевленно рассказал ему про мельницу. Но дѣйствія никакого.

Игнать сталъ только чесаться.

— Само собой... дѣло извѣстное! Если принорочить мельницу въ такую точку, то это будетъ въ самый разъ!

Сказалъ это и ушелъ,—ему недосугъ. Впрочемъ, уходя со двора, онъ продолжалъ чесаться,—задали же мы ему задачу! Затѣмъ мы призывали другого мужаика, также изъ нашихъ друзей. Тотъ только изумился, не совсѣмъ понявъ, но также считалъ нужнымъ наговорить мудреныхъ соображеній.

— Оно бы ничего, да только какъ его вонъ оно... мудро-но что-то больно! А оно, конечно, ежели правильно рассуждать, дѣло хорошее, да только, песь его возьми, больно хитрое! Прямо сказать—хитрое!

— Самъ ты хитрый!—взбѣсился Митрофанычъ, не выдержавъ уговора.

— Ты не кричи зря. Дѣло, извѣстно, хитрое... И надо его, песь его возьми, обсудить и снизу, и сверху, и съ боковъ,—вотъ какъ я рассуждаю... Больше ничего, какъ хитрое!

Поговорилъ еще Митрофанычъ съ нѣкоторыми и лицо его вытянулось отъ негодованія.

— Вотъ они завсегда такъ, идолы! Каждое дѣло изгадать!—сказалъ онъ, ужасно обиженный.

— Да вѣдь, въ правду, новое это дѣло,—возразилъ я въ видѣ оправданія нашихъ друзей.

— Ничего не новое, а завсегда они по-идольски такъ живутъ! Не объ одномъ этомъ я говорю,—завсегда какъ бы-ки!... Нѣтъ, ихъ нужно молоньей ударить, чтобы громъ по ушамъ загремѣлъ,—вотъ они въ понятіе войдутъ... Разжечь ихъ надо!... Ну, да подожди, ужъ разожгу я идоловъ, распалю ихъ огнемъ такъ, что въ глазахъ засвиститъ... Вотъ ей-Богу!

Скоро, однако, разговоръ о мельницѣ пошелъ по всей деревнѣ. Нашимъ предложеніемъ заинтересовались всѣ мужики. Это было все, чего я желалъ. Разговоръ тянулся долго, но каждый имѣлъ время обдумать, разсудить и отнестись критически къ дѣлу. Я терпѣливо ждалъ, чѣмъ все это кончится, и на всякій случай продолжалъ искать другихъ средствъ устроиться въ деревнѣ. Я даже иногда вовсе позабывалъ мельницу.

дому случаю, чтобы поговорить о мельницѣ. Нерѣдко его выводили изъ терпѣнія, онъ схватывалъ шапку съ головы и хлопалъ ее объ полъ, мрачно ругаясь. Но неудачи переговоровъ не обезкуражили его. Онъ то и дѣло говорилъ мнѣ:

— Ну, подожди... распалю ихъ молоньей! Сдѣлай одолженіе, ужъ я свое дѣло сдѣлаю!

Какою „молоньей“ онъ надѣялся распалить мужиковъ, я не могъ понять. Только во время сходовъ я убѣдился, что Митрофанычъ дѣйствительно обладалъ какою-то молоньей. На первомъ же сходѣ онъ сдѣлалъ что-то такое, отчего у ча собравшихся мужиковъ закипѣла страшнымъ гнѣвомъ. Всѣ между собой перелаялись, перебрались и положительно оглушили меня. Къ моему изумленію, о мельницѣ и объ мнѣ было упомянуто только вскользь, а весь главный разговоръ или лай совершался изъ-за чего-то другого. Какіе-то десять фунтовъ муки, какое-то сѣно, какой-то гусь, двѣ ведра водки, какой-то разбойникъ... Ничего я не понималъ.

Наконецъ, перелаявшись, всѣ мало-по-малу разошлись.

— Что же это такое?—спросилъ я, когда мы съ Митрофанычемъ шли домой.

— Подожди! Я еще ихъ не такъ распалю! Вотъ въ воскресенье еще мы соберемся, я тогда такую молоньей разожгу ихъ, что небу будетъ жарко!

— Да вѣдь обо мнѣ ни слова не говорилось... И зачѣмъ ругаться-то?

— А ужъ это у насъ обычай такой. Намъ надо съ перваго разу перелаяться, а ужъ тогда дѣло станетъ видѣться.

Вышло дѣйствительно такъ, какъ предсказывалъ Митрофанычъ. Въ воскресенье собрался сходъ, и всѣ мужики такъ перелаялись между собой, укоряя другъ друга разными подлостями, что не осталось ни одного не облаиваемаго мѣста. Когда сходъ разошелся, я былъ внѣ себя отъ изумленія, но лицо Митрофаныча выражало только довольство, и онъ объявилъ мнѣ, что теперь, надо прямо говорить, дѣло покончено благополучно. Теперь только остается поговорить съ нѣкоторыми стариками — больше ничего. Будто бы порѣшили взять меня въ мельники на жалованье, а мельницу оставить

за міромъ... И будто бы всёмо мое предложеніе понравилось. Клянусь Богомъ, ничего этого среди дая я не слыхалъ! Говорили о какомъ-то полушубкѣ, украденномъ изъ амбара одного мужика, о какихъ-то двухъ жеребятѣхъ, пропавшихъ въ табунѣ, о какомъ-то свиномъ пастухѣ, недополучившемъ двухъ свиней и одного борова, но чтобъ дѣло шло о мельницѣ—честное слово, ничего не слыхалъ! Это какая-то своеобразная езоповщина была для меня.

Но рѣшеніе дѣйствительно состоялось въ мою пользу, и такъ, какъ я мечталъ. На другой день ко мнѣ пришли староста и нѣсколько стариковъ. По совѣту Митрофаньча, я угостилъ ихъ чаемъ и водочкой, и когда они разомлѣли, мы начали условливаться насчетъ мельницы. Все шло хорошо, пока дѣло не дошло до моего жалованья. Тутъ разомлѣвшіе старики оказались кремнями. Я просилъ пять рублей въ мѣсяцъ, а старики давали мнѣ два, притворившись удивленными моими непомѣрными требованіями.

— Куда тебѣ эдакую прорву? Да и мельница-то, чай, того не стоитъ!...

— Какъ же я буду жить-то на два рубля?

— Ну, ладно... Какъ, старики, прибавить ужъ, что-ли, рубликъ-то ему? Ну, ладно, бери три и будетъ! Давай, ребята, по рукамъ!

По ладони моей уже разъ десять хлопнули, а все-таки только до трехъ рублей нагнали.

— Три мало мнѣ. Какъ я буду жить?

— Да куда тебѣ дѣвать-то? Хлѣбъ, изба и все прочее наше,—чего же тебѣ еще требуется? Будетъ!... Бей, ребята, по рукамъ!

Опять хлопали меня по ладони. Наконецъ, когда правая рука моя покраснѣла и распухла отъ хлопанья, я согласился на четыре рубля. У меня у самого еще были сомнѣнія относительно этого новаго дѣла и я не настаивалъ. Въ душѣ, впрочемъ, я клялся, что употреблю всю энергію, чтобы сдѣлать изъ мельницы доходную мірскую статью.

Гости мои подъ конецъ сильно разомлѣли, и мы оставили составленіе письменныхъ условій до другого дня, — до Покрова осталось еще много времени.

Между тѣмъ, для меня нашлось дѣло, которое было заняло меня окончательно и которому я отдалъ всю свою душу.

XIII.

Незамѣтно подошла осень и пошли дожди. Дороги, улицы и дворы сдѣлались непроходимыми. Въ трубѣ вылъ сѣверный, мокрый вѣтеръ. Но у насъ въ домѣ было уютно и тепло. Василиса выходила изъ себя, поддерживая чистоту. Это началось съ того дня, какъ я поселился здѣсь; сперва Василиса мыла и убирала избу ради меня, потомъ постепенно вошла во вкусъ и сдѣлалась маниакомъ чистоты. Пятно на полу мучило ее, какъ мѣсто преступленія; куча сору возбуждала въ ней ненависть, а тараканъ (таракановъ всѣхъ она выморозила), внезапно показавшійся неизвѣстно откуда, сію же минуту предавался казни. Теперь, вопреки всеобщей грязи, расплывшейся по землѣ, когда, казалось, самое небо обращается въ море помоевъ, Василиса упрямо боролась противъ нечистыхъ половъ и комковъ земли, приносимыхъ на сапогахъ; за каждый такой комокъ жутко доставалось тому, кто притащилъ его; всѣхъ больше доставалось Васькѣ и Митрофану, которые насчетъ ногъ были не совсѣмъ аккуратны; ихъ Василиса встрѣчала въ сѣняхъ, устланныхъ соломой, и преграждала имъ дальнѣйшій путь, вслѣдствіе чего они принуждены были то и дѣло стаскивать обувь и въ избу появляться уже босикомъ.

Когда наставалъ вечеръ, мы всѣ уже были въ сборѣ. Лампочка ярко горѣла. Занимались кто чѣмъ могъ. Я что-нибудь читалъ вслухъ.

Мое чтеніе сдѣлалось любимымъ занятіемъ всей семьи; днемъ некогда было,—возня по домашности отнимала все время. Вѣтеръ и дождь не останавливали этой возни. Но вечера ждали всѣ съ какимъ-то нетерпѣніемъ, какъ счастливаго отдыха. Мнѣ даже казалось, что холодъ и дождь, вѣтеръ и грязь стали не такъ назойливы; каждый думалъ: „пушай мочить, а вечеромъ читать будемъ“... По крайней мѣрѣ, такъ нѣсколько разъ говорилъ Митрофанъ.

Начавши чтеніе съ сильными сомнѣніями, я мало-по-малу увлекся имъ. Вниманіе аудиторіи наградило меня радостью и вызывало энергію. Къ несчастію, книгъ со мной было не много, притомъ большая часть вовсе не подходящихъ.

Читать въ такой оригинальной обстановкѣ было для меня

истиннымъ наслажденіемъ. Я присутствовалъ при зарожденіи мысли и былъ свидѣтелемъ тайны раскрытія симпатій и антипатій, любви и ненависти. Въ особенности рѣзко вѣзался въ мою память одинъ случай, виновницей котораго была географія.

Днемъ, между прочимъ, я училъ грамотъ Ваську. Школы въ нашемъ селѣ не было; ребятамъ приходилось или вовсе не учиться, или ходить за три версты въ другое село, гдѣ существовало училище на счетъ нѣсколькихъ смежныхъ деревень. Я предпочелъ самъ заняться Васькой. Но по вечерамъ, раньше чтеній, я занимался съ Дашей, которая знала грамоту. Училъ ее русскому языку и географіи. Она была понятливая и вдумчивая, но вначалѣ мои уроки не задѣвали глубоко, — знанія какъ-то механически наслоились. Дѣвушка училась хорошо, усваивала прочитанное, выслушивала рассказанное — и только; бросая урокъ, она забывала о немъ, какъ о выполненной обязанности.

Но однажды случилось что-то необыкновенное. Шелъ урокъ географіи. Мы прошли бѣгло общее очертаніе земного шара; я раскрылъ карту и указалъ границы земли и воды. Даша пытливо осмотрѣла все и вдругъ широко раскрыла глаза; лицо ея, вспыхнувъ румянцемъ, вслѣдъ затѣмъ поблѣднѣло.

— Это все земля?! — воскликнула она.

— Да.

— И это?

Я утвердительно кивнулъ головой.

— Такъ вотъ какая земля-то!

И широко раскрытые глаза ея выражали изумленіе и счастье. Я понималъ ее и съ волненіемъ слѣдилъ за ея лицомъ. Было ясно, что ея умъ вдругъ охватилъ весь образъ земли, и она была поражена раскрывшеюся тайной. Мысль ея въ одинъ моментъ вспыхнула яркимъ пламенемъ и освѣтила ей огромную картину, существованія которой она до сихъ поръ не подозрѣвала.

— Такъ вотъ какая земля-то! — проговорила она шепотомъ, все еще не въ силахъ оправиться отъ впечатлѣнія громаднаго образа; потомъ вдругъ опять вспыхнула и засмѣялась тѣмъ счастливымъ смѣхомъ, который не часто достается на долю людей.

Съ этого дня она торопилась учиться и читать.

Митрофанычъ также изъявилъ желаніе учиться грамотѣ, и до Покрова мы съ нимъ довольно много успѣли.

Но меня больше интересовали чтенія общія. Въ непродолжительномъ времени на наши свѣтлые вечера стали заходить и другіе мужики. Сперва Игнатъ Ивановичъ. Игнатъ Ивановичъ просиживалъ у насъ до глубокой ночи, внимательно слушая. Выбиралъ онъ уголь подальше отъ стола, за которымъ я сидѣлъ, гдѣ-нибудь въ тѣни около порога, и тамъ сидѣлъ неподвижный и невидимый. Услышишь только иногда глубокій вздохъ или шепотъ: „о, Господи Боже мой!“ — и только. Не знаю, много-ли онъ понималъ, и если понималъ, то какъ. Онъ только вздыхалъ.

Однажды я читалъ рассказъ. Всѣ съ любопытствомъ слѣдили за движеніемъ рассказа, то и дѣло вставляя свои замѣчанія; часто раздавался взрывъ хохота. Но Игнатъ молчалъ, на этотъ разъ даже не вздыхая. Только когда я кончилъ чтеніе при всеобщемъ веселомъ смѣхѣ и оглянулся, то не узналъ его. Лицо его выражало удивленіе и, въ то же время, скорбь, и по немъ текли слезы, пробираясь по щекамъ къ густымъ зарослямъ бороды. Весь комическій элементъ пропалъ для него; онъ видѣлъ только мрачную подкладку этого смѣха и своимъ отзывчивымъ сердцемъ понялъ то, что мы всѣ упустили, — страданіе, вызвавшее этотъ смѣхъ. Вотъ когда я оцѣнилъ эту темную, но глубокую натуру.

Два-три мужика изъ близкихъ намъ людей также стали заглядывать, вначалѣ случайно, наконецъ, каждый вечеръ. Какъ только увидать огонекъ у насъ, такъ и идутъ. Я не успѣвалъ подбирать книгъ и съ тревогой видѣлъ, что скоро мой ничтожный запасъ чтенія изсякнетъ.

Между тѣмъ, я убѣдился, что интересъ къ чтенію существовалъ не въ одномъ нашемъ кружкѣ, а чуть-ли не въ каждой избѣ. Достаточно было случайно появиться въ деревнѣ какой-нибудь книгѣ, чтобъ она сію же минуту вошла въ общее употребленіе; обыкновенно такая книга (по большей части дрянная) переходила изъ избы въ избу, отъ одного грамотія къ другому и прочитывалась отъ корки до корки; сперва у ней заворачивались углы, потомъ на каждомъ ея листѣ появлялись пятна—слѣды усерднаго чтенія, затѣмъ листы ея становились мягкими, какъ ветошка, и,

наконецъ, книга приходила въ то состояніе, въ которомъ читать ее больше ужъ нельзя,—книга съѣдалась.

Специалистовъ-грамотѣевъ въ деревнѣ считалось около десятка; это были большею частью молодые парни, гордившіеся своею ученостью; при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, они давали понять, что съ ними шутить нельзя. Но мнѣ было жаль, что вся ихъ гордость основана была на пескѣ,—читать имъ было нечего.

Однажды приходитъ ко мнѣ такой парень и изъясняетъ желаніе поговорить со мной о разныхъ ученыхъ вещахъ. Лицо его выражало сознаніе своей важности и онъ старался объясняться отборными выраженіями. Натурально: и онъ ученый, и я ученый, а когда одинъ ученый приходитъ къ другому ученому, то и разговоръ промежъ нихъ долженъ быть ученый. Я принялъ также подобающій видъ. Парень попросилъ меня показать ему всѣ мои книги. Я показалъ. Онъ пренебрежительно осмотрѣлъ весь мой узелокъ и покачалъ головой въ знакъ того, что хорошихъ книгъ нѣтъ у меня. А вотъ у него есть хорошая книга.

— Ка-акая книга!—добавилъ онъ съ гордостью.

— Какая?—спросилъ я.

— Страсть занятная! О полководцахъ. Ежели хочешь, я тебѣ расскажу... Ка-акая книга!

— Что же тебѣ тамъ нравится?—спросилъ я съ интересомъ.

— Тамъ-то? Полководцы. Напримѣръ, Кутузовъ. Или тоже Суворовъ... Ка-акіе полководцы!

— Сраженія ты любишь?

— И сраженія, и полководцевъ—все уважаю. Напримѣръ, Суворовъ. Какъ только увидѣлъ непріятелевъ, такъ сейчасъ же пѣтухомъ закричить, разбудить солдатъ и давай лупить! Или вотъ тоже черезъ гору перешелъ, полки которые были перевелъ и ударилъ... Как-кой ловкачъ!

Этотъ ученый разговоръ продолжался у насъ долго, до тѣхъ поръ, пока я не уяснилъ себѣ состояніе парня. Ученый парень случайно получилъ откуда-то книгу *О полководцахъ*, прочиталъ ее совсѣмъ съ корками, увлекся незнакомою ему жизнью (новизна предмета и не одного парня можетъ увлечь) и сталъ бредить полководцами, сраженіями, какъ кто кого отлупилъ, сколько кому влетѣло зарядовъ и

шр. Увлеченіе искренное и неизбежное. Еслибы парню попалась книга о другомъ незнакомомъ предметѣ, то онъ и отъ нея неизбежно пришелъ бы въ восторгъ. Понявъ его состояніе, я выбралъ ему книжку и далъ съ оговоркой, что если книжка не понравится, пусть онъ скажетъ откровенно. Парень ушелъ.

Но черезъ два дня, смотрю, приходитъ мой парень взволнованный и уже безъ той гусиной гордости, минуя ученые термины, въ простыхъ выраженіяхъ, путаясь на каждомъ шагу, пускается въ объясненіе своихъ чувствъ, загорѣвшихся отъ чтенія книжки. Полководцевъ онъ уже забылъ, а черезъ нѣкоторое время даже избѣгалъ говорить о нихъ, чего-то стыдился. Всѣ книжки, какія у меня были, онъ перепробовалъ въ какой-нибудь мѣсяцъ, и когда источникъ мой иссякъ, онъ страшно затосковалъ.

Затосковали и всѣ,—нечего было читать. Вечера наши проходили томительно, и мы всѣ ломали голову, гдѣ бы раздобыть еще книжекъ. Митрофанычъ отъ нечего дѣлать исторію прочиталъ разъ пять и уже зналъ, на какой страницѣ какое убійство, въ какомъ мѣстѣ книги одинъ князь напакостилъ другому, въ какой главѣ появились татары и какимъ сраженіемъ оканчивается вся книжонка.

Мысль о библіотекѣ, такимъ образомъ, возникла сама собой и, притомъ, почти вразъ у всѣхъ, полюбившихъ наши свѣтлые вечера. Я только воспользовался общимъ желаніемъ и усилилъ его. Сперва мы поговорили съ Митрофанычемъ объ этомъ, потомъ и съ другими; всѣ согласны были, что хорошо бы купить книжекъ. Увлеченный согласіемъ всѣхъ слушателей, я предложилъ планъ мірской библіотеки, разсказавъ, какъ это устроивается въ городахъ. Чтобы еще болѣе усилить свои доказательства, я сдѣлалъ подробный расчетъ, во сколько это обойдется каждому. Вышло для перваго раза по двугривенному съ души. Библіотека, конечно, заводилась микроскопическая, но вѣдь и чтенія наши были подъ стать.

Но это предложеніе встрѣтило неожиданныя мною возраженія. Даже Митрофанычъ воспротивился.

— Больно долго придется лаяться-то!—возразилъ онъ недовѣрчиво.—Тутъ брани и всякой ссоры конца краю не бу-

детъ черезъ эти самыя книжки... Тутъ съ нашими идолами горло придется драть бѣда сколько мѣсяцевъ.

— Это ужъ какъ есть! Чтобы вытянуть двугривенный, звона сколько лаю-то потребуется!—подтвердилъ другой.

То же сказали третій и четвертый изъ нашихъ друзей. Оставался одинъ Игнатъ.

Игнатъ почесался нѣкоторое время, но отвѣтить не затруднился, потому что давно уже и самъ былъ подготовленъ къ этому вопросу. Только, по обыкновению, онъ заговорилъ съ такой неожиданной стороны, что я долгое время ничего не могъ понять.

— Ну, какъ ты, Игнатъ, полагаешь насчетъ, чтобы мѣръ?—спросилъ Митрофанычъ.

— Само собой... Если бы міромъ, то ужъ это на что бы лучше... Вотъ только какъ же овцы-то? Овечій сборъ-то какъ же?... Куда его приспособить-то?—Говоря это, Игнатъ смотрѣлъ то на меня, то на Митрофаныча и, очевидно, самъ недоумѣвалъ. Я ничего буквально не могъ понять.

— Какія овцы? Вѣдь мы про книги говоримъ!

— Ну, бараны, что-ли... Вѣдь если со всего міра выбавать на книги,—стало быть, ужъ тутъ сборъ будетъ овечій съ бараньей головы!

— Ну?—сказалъ Митрофанычъ, слѣдя за развитіемъ мысли Игната.

— Только и всего. Съ бараньей головы, стало быть, слѣдуетъ книжки-то покупать. Теперича если, будемъ такъ говорить, у котораго ни одной овцы нѣтъ, а читать онъ больше всѣхъ охочъ, какъ же мѣръ-то согласится?

Я хлопалъ глазами, смотря то на того, то на другого мужика. Митрофанычъ, видимо, зналъ, о чемъ идетъ дѣло, только не понималъ, къ чему клонить Игнатъ.

— Ну, что же... ну, бараній сборъ... дальше-то чего же?—спросилъ онъ.

— То-то вотъ, неспособно будто... Если наложить на барановъ, то вѣдь обидно будетъ, которые овецъ держутъ. Не подобешь на это дѣло мужиковъ. Лаю много будетъ, ссоры!

— Такъ, такъ. И я про то же... Тутъ лаю страсть сколько будетъ!

— Да скажите мнѣ, про что вы говорите? — вскричалъ

я, наконецъ.—Какое отношеніе имѣютъ бараньи головы къ книгамъ?

— Видишь-ли, какъ у насъ заведено,—объяснилъ Митрофанъ, обративъ ко мнѣ иронически улыбающееся лицо.—Который сборъ новый, то-есть мужики сами его порѣшили собирать, и тотъ у насъ накладывается на овецъ. Такъ и зовется онъ, напримѣръ: овечій сборъ, съ бараньей головы. У кого сколько есть бараньихъ головъ, въ той пропорціи онъ и сборъ новый вноситъ. Понялъ? Такъ и тутъ. Ужъ ежели подбивать всѣхъ мужиковъ насчетъ книгъ, то тутъ безъ бараньихъ головъ не обойдется,—не иначе, какъ на барановъ раскладка выйдетъ... Не на куръ же раскладывать! И тутъ, стало быть, лаю конца краю не будетъ. Вотъ про что Игнатъ говорить, — вѣрно! Придется искать другихъ способовъ.

Наконецъ, меня убѣдили, что подбивать всѣхъ мужиковъ на заведеніе библіотеки—пустое дѣло будетъ. Прежде чѣмъ на что-нибудь рѣшится всѣ мужики, они полгода будутъ лаяться, затанутъ дѣло, измучаютъ и себя, и всѣхъ прочихъ... Тогда между нами возникла мысль купить книжекъ по подпискѣ; сложить гроши нѣсколькимъ близкимъ лицамъ и накупить книгъ на это. Что касается постороннихъ чтецовъ, то за чтеніе съ нихъ брать какую-нибудь плату. Тогда къ нашему кружку скорѣе примкнуть всѣ желающіе

Эта мысль, невзначай къ-то поданная, воодушевила насъ. Не откладывая дѣла, мы сложились и собрали капиталъ въ шесть рублей. Покупка была поручена мнѣ, причемъ выставлено на видъ, чтобы я постарался накупить какъ можно больше хорошихъ книгъ. Это на шесть-то цѣловыхъ!

Но я понималъ, что первая библіотека должна быть дѣйствительно хорошая, и въ продолженіе нѣсколькихъ дней ломалъ голову надъ каталогомъ. Требовалось ни богѣе, ни менѣе, какъ завести цѣлую библіотеку на шесть рублей! Тутъ должна быть и религія, и наука, и сельское хозяйство, и ремесла, и беллетристика, и поэзія—и всего на шесть рублей. Задача была мудреная, но послѣ продолжительныхъ мученій я рѣшилъ ее довольно удовлетворительно; даже самъ удивился, какъ много можно накупить хорошихъ книгъ на шесть рублей. Выписалъ я два экземпляра евангелія въ русскомъ

переводѣ, на рубль науки, на рубль слишкомъ сельскаго хозяйства, на рубль также слишкомъ ремесль, остальные деньги на беллетристику, и еще осталось пятнадцать копѣекъ на поэзію. Покупку и высылку я поручилъ одному пріятелю въ столицѣ, прося его поторопиться.

Къ этому времени сладилось дѣло и относительно мельницы. Работы мало-по-малу накопилось у меня много. Я едва успѣвалъ все обдумывать и приводить въ исполненіе. Нерѣдко мнѣ казалось, что я слишкомъ уже много набралъ всякой отвѣтственности, и боялся, что разорвусь на части. Я въ полной мѣрѣ сдѣлался мірскимъ человѣкомъ. Ко мнѣ обращались съ разнообразными дѣлами, изъ которыхъ каждое не имѣло ничего общаго съ другимъ, и будь я энциклопедистомъ, всѣхъ дѣлъ все-таки не могъ бы передѣлать. Обруженный разнообразѣйшими интересами, чувствами и злобами, я едва успѣвалъ распутываться. Деревенскій міръ съ каждымъ днемъ засасывалъ меня въ свою жизнь. Легко было утонуть въ ней, обезличиться.

Но нѣтъ, нѣтъ! Я поклялся быть вездѣ самимъ собой. У меня есть свой міръ, куда безъ нужды я никого не пущу. Пусть жизнь заковываетъ мои ноги и руки, пусть человѣческая масса волнуется минутными радостями и муками,—я останусь свободнымъ, и никакая сила не посмѣетъ помутить мою жизнь. У меня есть свой міръ тайныхъ пожеланій, таинственнаго трепета надеждъ, радостей и страданій, счастья и скорби; пусть жизнь волнуется вокругъ меня,—этотъ міръ я не брошу подъ ноги толпы...

Всѣ хлопоты по мельницѣ давно уже были окончены, условія написаны, и я сдѣлался на неопредѣленное время распорядителемъ значительной части мірскихъ доходовъ. Василиса вымыла и убрала ту половину мельничной избы, которая назначалась мнѣ, и я, наконецъ, поселился у себя дома. Какое-то необычайное настроеніе овладѣло мной, когда вечеромъ я остался одинъ.

На дворѣ бушевала снѣжная буря. Мокрый снѣгъ билъ въ два мои окошка; вѣтеръ, казалось, пытался разрушить мой домъ, который дрожалъ отъ пола до крыши; въ трубѣ завывало; по комнатамъ переливался холодъ. Но лампочка моя свѣтло горѣла, освѣщая всѣ углы крошечной комнаты, и я смѣялся. Вѣчный скиталецъ, я чувствовалъ себя прочно въ

этой избушкой, дрожавшей отъ порывовъ бури, и думалъ, что съ этого дня кончились мои скитанія. Что-то говорило мнѣ внутри: пусть буря кружится вокругъ меня, пусть воетъ злость въ трубѣ, пусть холодъ и бѣдность окружаютъ меня, но лампочка моя не потухнетъ, злость не испугаетъ меня, буря не вызоветъ въ моемъ сердцѣ ужаса. И я смѣялся отъ сознанія своей силы.

XIV.

Я принужденъ былъ уѣхать.

Странно дѣйствуютъ эти неожиданные перевороты! Мысли разбиты въ дребезги, бѣненіе сердца кажется ненужнымъ, вся жизнь представляется злою нелѣпостью. На себя смотришь, какъ на что-то виѣшнее, постороннее, и съ высоты опустѣвшей души наблюдаешь за каждымъ своимъ шагомъ. Самъ себѣ какъ будто говоришь: „а ну-ка, посмотримъ, что ты еще выкинешь!“

Когда я возвратился домой, то находился именно въ этомъ состояніи.

Шагая по сугробу, я говорилъ себѣ: „а ну, посмотримъ, что дальше будетъ!“ Ни злобы, ни ненависти за разбитый планъ у меня не было; я только старался наблюдать, что творится во мнѣ; на себя я смотрѣлъ съ большимъ любопытствомъ.

Но это состояніе, близкое къ столбняку, длилось не долго. Деревня дала мнѣ за полгода много крови и силы, и я сталъ обдумывать, куда и какъ я долженъ ѣхать, что дѣлать и какъ залѣчить эту новую рану. Я смѣялся надъ собой за то, что такъ легко повѣрилъ въ прочность своего положенія, за легкомысліе, за всѣ свои планы, построенные на пескѣ. Обласканный минутнымъ счастіемъ, я уже повѣрилъ, что такъ будетъ всегда. Но вотъ меня выгоняютъ, и я — опять прежній скиталецъ.

Изъ волости я долженъ былъ пройти черезъ деревню, но я миновалъ ее, — хотѣлось остаться одному и пережить все наединѣ съ собою. Это такъ всегда было. Страданія я переносилъ одинъ, ни съ кѣмъ не дѣлясь муками, а людямъ выносилъ только смѣхъ. Поэтому меня всегда считали веселымъ человѣкомъ, хотя иногда страннымъ; теперь въ особенности.

Миновавъ деревню, я перешелъ по льду рѣки и направился къ тому ея изгибу, гдѣ стояла мельница. Но когда я увидѣлъ свою мельницу и вспомнилъ все, то не выдержалъ и застоналъ отъ злости и боли. Чтобы заглушить эту боль, я, войдя къ себѣ, принялся механически укладывать въ чемоданъ вещи. Правда, мнѣ на сборы дали два дня срока, въ продолженіе которыхъ я могъ оставаться въ деревнѣ, но безъ ужаса я не могъ себѣ представить, какъ я проведу эти два дня. Поэтому я рѣшился лучше какъ можно скорѣе уѣхать.

Но тутъ страшная жалость охватила меня. Что-то дорогое я собирался бросить здѣсь, какую-то струну оборвать въ сердцахъ и забыть что-то... И это добровольно я долженъ былъ сдѣлать, потому что завтра надо уѣзжать...

Вдругъ дверь отворилась и въ комнату вошла Даша. Она запыхалась отъ скорой ходьбы, и блѣдность покрывала все ея лицо. Такого лица я не видалъ у ней; я зналъ счастливое лицо, а это было жалкое и измученное.

— Ты уѣдешь?—было первое ея слово.

Друзья мои уже узнали, что со мной случилось.

— Да, приходится.

— Когда?

— Завтра.

У дѣвушки подкосились ноги, и она, не раздѣваясь, присѣла къ столу. Мы долго молчали. Потомъ она шепотомъ проговорила:

— Ну, прощай...

Я едва удержался отъ слезъ и ничего не отвѣтилъ.

— Что же ты молчишь? Прощай!—проговорила Даша съ больною улыбкой.

Я все-таки молчалъ, боясь выдать себя. Я спрашивалъ себя: имѣю-ли я какое-нибудь право на это? Но думать было уже поздно.

— Даша, поѣдемъ со мной!—сказалъ я вдругъ.

— Тебѣ жалко развѣ меня бросить?

— Жалко.

Даша заплакала.

Тогда я сдѣлалъ послѣднее усиліе благоразумія надъ собой и въ нѣсколькихъ словахъ объяснилъ, что въ будущемъ ждетъ мою жену: свитальчество, быть можетъ, бѣдность. Затѣмъ я

коротко высказалъ свое сомнѣніе, можетъ-ли она быть счастлива съ такимъ бариномъ.

— Развѣ ты не боишься меня?—спросилъ я.

— Ты добрый...—возразила дѣвушка, глотая слезы и, въ то же время, улыбаясь.

— Такіе браки самые несчастные!

— Ты хорошій...

— Мы—разныхъ сословій люди.

— Ты научи меня всему, и какъ ты будешь думать, такъ и я...

— Я не знаю, гдѣ буду завтра и что со мной случится потомъ.

— Я буду жить тамъ, гдѣ и ты!—сказала Даша, и въ голосѣ ея слышались любовь и рѣшительность.

Запасъ благоразумія изсякъ у меня. Я не могъ больше удержать волненія. Лучи солнца заиграли въ стеклахъ моихъ оконъ, разрисованныхъ морозомъ, стѣны дома запылали въ восторгѣ, мельничныя колеса играли маршъ. Я забылъ все, забылъ то, что сейчасъ со мною было, и то, что я ожидалъ.

Черезъ полчаса въ комнату съ шумомъ вбѣжалъ Митрофанычъ, пріѣхавшій на саняхъ, и молча смотрѣлъ на наши веселыя лица. Его-таки я не узналъ. Онъ какъ-то вдругъ опустилсѣ и растерялся. Должно быть, удивленіе его было сильнѣе его гнѣва; онъ могъ ударить шапку объ полъ, какъ и слѣдовало ожидать, но, видно, вынужденный отъѣздъ мой былъ выше этого простого способа выраженія чувствъ.

— Вотъ тебѣ и мельница!—сказалъ онъ тихо и напомнилъ всѣмъ обрушившуюся на меня невзгоду.

— Стало быть, ѣдешь?

— Завтра.

— Вотъ тебѣ и книги!—пробормоталъ Митрофанычъ и еще сильнѣе напомнилъ, что я потерялъ.

— Зачѣмъ ты, дядя, бередишь?—возразила съ упрекомъ Даша.—Я также поѣду съ нимъ...

На изумленіе Митрофаныча она отвѣчала маленькимъ объясненіемъ, прерваннымъ слезами и смѣхомъ. Я подтвердилъ слова дѣвушки.

— Ну, ничего... поѣзжайте! Дай вамъ Богъ счастья!... Пущай!—говорилъ онъ, путаясь.

гло оставить на произволъ судьбы все, что я успѣлъ за-
сти. Вскорѣ собравшіеся друзья-мужики также думал
о не годится бросать все зря. На скорую руку мы пер-
ворили со всѣми, имѣвшими голосъ въ деревнѣ, унич-
или условія и на живую нитку слѣпили другія. Мельни-
ручена была надзору Игната; библіотеку взялъ на се-
итрофанычъ. Отвѣчая на просьбы друзей, я давалъ для
наое общаніе писать имъ, и никогда общанія не бы-
креннѣе. Я и не подозрѣвалъ, какая сильная привязаннос-
язывала насъ; большинство выражало свое сожалѣніе
чувствіе мнѣ съ такою наивною простотою, что я ед-
ерживался отъ слезъ.

У меня не было денегъ на дорогу,—мнѣ сейчасъ же с-
али ихъ. Я сдѣлалъ небольшой долгъ въ лавочку,—дол-
иняли на себя. Это и многое другое еще болѣе раstra-
ло меня; еслибы я могъ остаться одинъ, то разрыдал-
и. Но меня не оставили одного до самаго отъѣзда; въ изб-
итрофаныча непрерывно толпился народъ; приходили пр-
иться даже такіе, которыхъ я едва зналъ.

— Въ случаѣ чего, вернись опять къ намъ,—говорили всѣ.
— Я вернусь, если будетъ хоть малѣйшая возможность.
На другой день Митрофанычъ запрягъ свою пару, посл-
лъ насъ съ Дашей, самъ сѣлъ на облучокъ—и мы поѣх-
. Митрофанычъ старался быть веселымъ и избѣгалъ го-
рить о такихъ предметахъ, которые могли разбередитъ
ску.

— Чудесная погода!... Ишь снѣга-то нонче какіе глуб-
!! Я такъ полагаю, урожай будетъ хорошій,—говорилъ
въ весело, но вспомнилъ, какъ мы жали, и хлестнулъ лоша-
— Въдь вотъ лукавый какой этотъ новый меринишка-то
шъ!—заговорилъ онъ, но мы сейчасъ же вспомнили об-
ѣхъ обстоятельствахъ, вызвавшихъ покупку этой лошади.
Митрофанычъ не договорилъ, испуганно отыскивая дру-
й предметъ разговора.

— Скоро, най, и до станціи доѣдемъ. Вонъ никакъ и ло-
къ тотъ, гдѣ ты метнулся изъ саней въ ту пору,—на-
лъ было онъ, но окончательно растерялся. О чемъ б-
ъ ни заговорилъ, все оказывалось неподходящимъ, къ чемъ

нуль отъ злости и мрачно умолять до самой станщи.

Изъ насъ троихъ одна Даша держалась хорошо. Она не смѣялась, не было больше счастливаго выраженія на ея лицѣ, но, заглядывая въ ея глаза, я видѣлъ тамъ твердую рѣшимость. Губы ея были плотно сжаты.

На вокзалѣ, передъ послѣднимъ свисткомъ, Митрофанычъ снова ослабѣлъ. Но Даша съ улыбкой проговорила:

— Какой ты большой, дядя, а плачешь, какъ баба!

Уже изъ окна вагона я закричалъ Митрофанычу, что мы возвратимся сюда,—возвратимся во что бы то ни стало.

Бабочкинъ.

1.

Вновь прїѣзжій не успѣлъ провести и часа въ гостинницѣ, какъ уже собрался уходить, торопливо доканчивая свой туалетъ. На столѣ стоялъ недопитый чай съ кипящимъ самоваромъ; по угламъ на полу безпорядочно были навалены ащики, чемоданы, саки, коробки, но ему некогда было разбираться съ этимъ хламомъ. Онъ нервно торопился куда-то. Это было замѣтно и по его виду—дѣловому, озабоченному.

Поспѣшно одѣвшись, онъ скорыми шагами вышелъ въ корридоръ, при этомъ задѣлъ стулъ и опрокинулъ коробку съ табакомъ, но не обернулся, а торопливо заперъ на ключъ двери номера и бросился внизъ, по направленію къ выходу. На лѣстницѣ его почтительно остановилъ слуга, спрашивая, какъ онъ прикажетъ записать его на доскѣ („нельзя-съ... у насъ строго!“); прїѣзжій досадливымъ жестомъ кивнулъ головой, быстро вынулъ изъ боковаго кармана бумагу, бросилъ ее лакею и бѣгомъ ринулся внизъ по лѣстницѣ. По всему было видно, что онъ спѣшилъ по очень важному дѣлу.

Съ тою же торопливостью онъ зашагалъ и по тротуарамъ, причемъ мимоходомъ заглядывалъ въ витрины магазиновъ, на фонарные столбы и на заборы, испещренные старыми, изодранными афишами; послѣднія онъ на ходу прочитывалъ и шелъ дальше, все также озабоченный, безпокойный. Да онъ торопился по крайне важному дѣлу!

наконецъ, на одномъ углу подошелъ къ городовому и осѣдомился у него:

— Не знаешь-ли, братецъ, есть въ театрѣ на сегодня спектакль?

Городовой повернулъ къ барину облупившееся отъ вѣтрилицо и медленно возразилъ, что этихъ дѣловъ онъ не знаетъ, потому его эти дѣла не касаются.

— А гдѣ здѣсь театръ, по крайней мѣрѣ?

— Да вонъ тамъ на Московской площади; сперва ступайте вонъ по той сторонѣ, потомъ туды, а ужъ тамъ окончательно будетъ театръ.

Баринъ просунулъ руку въ жилетъ, досталъ оттуда какую-то монету и поблагодарилъ ею городского. Лицо послѣдняго живо перемѣнило фальшиво-важный тонъ, ослабилось и выразило готовность на что угодно.

— Вы насчетъ тѣатру? Позвольте... Даве тутъ ходилъ мазилка и расклеивалъ какія-то афишки,—должно полагать, отъѣдова... Да вонъ одна болтается!... При этомъ городской перебѣжалъ дорогу, снялъ со столба афишу и подавъ ее съ улыбкою пріѣзжему.

Афиша извѣщала о прибытіи въ городъ нѣкоего итальянца „Пинетти, великаго престоидижитатора, знаменитаго профессора магіи, чудеснаго чревовѣщателя, изъясняющаго готовность дать почтеннѣйшей публикѣ нѣсколько удивительныхъ представленій, во время которыхъ онъ, между прочимъ, отрѣжетъ себѣ голову и снова приставитъ ее на надлежащее мѣсто, кромѣ того, пропуститъ изъ одного своего уха въ другое деревянный колъ въ два аршина, который вслѣдъ затѣмъ обратится въ прекрасную воздушную фею“.

— Чортъ знаетъ что такое!... Это афиша въ балаганъ,—сказалъ недовольнымъ тономъ пріѣзжій.

— Въ балаганъ? Ну, не знаю... Ужъ этого не знаю. Развѣ безъ меня тутъ ходилъ другой мазилка?... Да нѣтъ, не было!... Стало быть, ужъ вовсе нѣтъ сегодня представленія. Ужъ извините,—возразилъ сконфуженный стражъ порядка.

Пріѣзжій быстро пошелъ дальше. Безпечно оглядываясь по сторонамъ, онъ взялъ извозчика и приказалъ вести въ садъ. Извозчикъ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на барина и

верѣшительно пустилъ лошадь шагомъ. Думая, что ослышался, онъ спросилъ: „Куды-съ?“

— Въ садъ. Вѣдь есть общественный садъ? Забылъ, какъ онъ называется...

— Александровскій есть у насъ садъ, такъ въ него прикажете? — и на утвердительный отвѣтъ барина, извозчикъ пустилъ лошадь во всю прыть.

Черезъ нѣсколько минутъ дрожки остановились передъ входомъ въ садъ; баринъ выпрыгнулъ изъ нихъ, но садъ оказался запертымъ. Безполезно потолкавъ дверь, прїѣзжій вопросительно взглянулъ на извозчика.

— Да вы къ кому, то-исъ?—спросилъ послѣдній съ величайшимъ недоумѣніемъ.

— Въ садъ мнѣ нужно,—возразилъ баринъ уже сердито.

— Да вѣдь никто еще въ него не ходитъ... мокро еще тамъ, увязнешь,—возразилъ извозчикъ, скрывая улыбку.

Въ самомъ дѣлѣ, была ранняя весна. Снѣгъ всюду сошелъ, улицы высохли и пыль уже столбомъ поднималась отъ вѣтра, но въ саду деревья стояли голыя, съ едва замѣтными почками, на дорожкахъ толстымъ слоемъ лежали прошлогодніе листья, а подъ ними было мокро и грязно. Никому въ голову не могло придти гулять въ саду въ эту пору года. „Экъ его, сердешнаго, приспичило—въ садъ захотѣлъ!“—думалъ извозчикъ.

Прїѣзжій понялъ весь комизмъ своего положенія, поспѣшилъ расчитаться съ извозчикомъ и пошелъ наугадъ. Въ немъ поднялось глухое раздраженіе. „Неужели сидѣть въ душномъ номерѣ?“—подумалъ онъ и пустился снова на поиски развлечения, опять заглядывая въ окна магазиновъ, на фонарные столбы и заборы, но ничего подходящаго не нашелъ. День клонился къ вечеру; движеніе по улицамъ стихало; уличные звуки замирали. Кое-гдѣ еще слышались за-поздалые разношники, да гдѣ-то недалеко играла шарманка. Недолго думая, проѣзжій отправился по тому направленію, откуда раздавались жалобные звуки испорченнаго инструмента, и черезъ нѣсколько минутъ отыскалъ человѣка, вертѣвшаго ручку органа. Долго шарманщикъ вертѣлъ ручку, поглядывая наверхъ въ раскрытыя окна, и все это время прїѣзжій терпѣливо слушалъ музыку. Когда, наконецъ, игра

кончилась, онъ бросилъ на мостовую серебряную монету и отправился дальше.

Но больше ему некуда было идти. Это обстоятельство привело его въ негодованіе. Переходя одну улицу за другой, онъ съ озлобленіемъ ругался. „Вотъ паршивый городъ—ничего нѣтъ!“ Въ эту минуту онъ вспомнилъ афишу „знаменитаго Пинетти“ и бросился отыскивать его. Быстро шагая, онъ рѣшился не брать извозчика и по возможности не разспрашивать (гдѣ балаганъ?) прохожихъ. Ему что-то было неловко, но жажда развлечения въ немъ была сильнѣе неловкости. И онъ пошелъ; попрежнему, дѣловой и озабоченный, онъ пошелъ въ балаганъ. По дорогѣ онъ еще разъ увидалъ афишу и сталъ, презрительно пожимая плечами, читать ее: „деревянный колъ, который преизратится въ прекрасную фею“... „Чортъ знаетъ, какая чепуха!—сказалъ онъ, но оправдывался самъ передъ собой.—Дуракъ, конечно, этотъ Пинетти, но неужели сидѣть въ номерѣ? Все же развлеченіе... Пойду. Глупо, конечно, но отчего же не предоставить себѣ такого развлечения?... Пойду“.

И онъ шелъ, серьезный, дѣловой, озабоченный.

Къ несчастію, Пинетти (въ дѣйствительности мѣщанинъ изъ Луги Михаилъ Егоровъ) не приготовился еще въ этотъ день къ блистательному представленію. Балаганъ его былъ закрытъ. Когда пріѣзжій подошелъ къ дверямъ его, то съ негодованіемъ понялъ, что день для него пропалъ окончательно. Возбѣшенный, онъ сѣлъ на извозничьи дрожки и поѣхалъ обратно. Тамъ онъ тихо избрался въ свой номеръ, бросился на диванъ и готовъ былъ закричать отъ досады. Понемногу его успокоила только ночь.

Ночь стояла тихая и теплая. Чувствовалось уже дыханіе весны. Въ окна гостинницы свѣтило фосфорическое небо съ безчисленными звѣздами, закрытыми дымкой отъ испареній, поднявшихся съ возрождающейся земли. Люди привѣтствовали воскресеніе природы. На улицы толпами высыпали жители. Успокоенный пріѣзжій облокотился на окно и съ удовольствіемъ сталъ наблюдать улицу, прислушиваясь къ говору, смѣху и топоту ногъ. По тротуарамъ было много гуляющихъ; одни казались просто веселыми, другіе были подвыпившіе, третьи напѣвали вполголоса. Обитатели подваловъ также кучами вертѣлись около воротъ и громко шу-

мѣли; слышался визгъ дѣвочекъ, крики мальчишекъ, хохотъ взрослыхъ. Дворникъ противоположнаго дома, поймавъ мимо бѣжавшую горничную, влѣпилъ ей такой оглушительный поцѣлуй, что онъ раздался по всей улицѣ, эхомъ отскочилъ отъ высокой стѣны домовъ и попалъ на дремавшую невдалекѣ собаку, которая вдругъ громко залаяла, воображивъ съ просонья, что въ нее пустилъ камнемъ уличный мальчишка. „Вотъ свинья!“—проговорилъ весело пріѣзжій и совершенно забылъ недавнее огорченіе. Смотри на кипѣвшую возлѣ воротъ толпу, онъ думалъ: „Лучшее средство жизни—забава всѣмъ, что нескучно. Игры—единственная цѣль“. И въ заключеніе этихъ веселыхъ мыслей онъ сталъ напѣвать какой-то легкомысленный мотивъ.

Немного спустя, утомленный дорогой и бѣготней по городу, онъ уже спокойно спалъ. А тѣмъ временемъ на доскѣ вновь пріѣзжихъ буфетчикъ вывелъ мѣломъ его полную фамилію: Александръ Ивановичъ Бабочкинъ. Мало того, изъ невѣдомыхъ источниковъ лакеями и другимъ персоналомъ гостиницы было доподлинно узнано, что онъ пріѣхалъ сюда на службу и займетъ хорошее мѣсто, но безъ жены, которая отъ него навсегда удрала, потому ему какъ будто и скучновато.

Вѣрно. Около мѣсяца тому назадъ Бабочкинъ проводилъ жену, канувшую съ той поры какъ въ воду, но это обстоятельство только окончательно обострило въ немъ тотъ процессъ, который уже давно зрѣлъ въ его душѣ. Раньше этого онъ былъ свидѣтелемъ крушенія всей своей семьи. Сначала у него умеръ отецъ, предварительно выпустившій въ трубу имѣніе, благодаря своимъ фантазіямъ; потомъ несчастнымъ образомъ погибла его сестра отъ выстрѣла изъ револьвера; вслѣдъ за ней въ далекомъ краю, подъ темнымъ небомъ, гдѣ вѣчно шумятъ только сосны и кедры, безслѣдно пропалъ его младшій братъ; теперь, наконецъ, по взаимному согласію онъ развѣхался съ женой, разорвавъ мгновенно десятилѣтній союзъ, послѣ чего одна нырнула въ широкое море русской жизни, другой поплылъ по его поверхности, свободный, беззаботный, казавшійся неистощимо веселымъ. Изъ всей разбитой семьи остался онъ одинъ; казалось, удары судьбы не производили боли въ его душѣ. Онъ

Наконецъ, теперь веселье сдѣлалось для него единственною цѣлью, веселье во что бы то ни стало.

Но на прежнемъ мѣстѣ ему сдѣлалось скучно, и онъ переехалъ въ этотъ городъ, выбранный на послѣднемъ земскомъ съѣздѣ въ члены одного присутствія.

II.

На другое утро рано Бабочкинъ проснулся съ непріятною мыслію—искать квартиру и дѣлать обязательные визиты. Отъ этой мысли лицо его на минуту приняло сердитое выраженіе („вѣчно какія-нибудь обязанности“), и чтобы хотя на время забыться, онъ старался опять заснуть, для чего плотно закуталъ голову простыней, отбиваясь отъ скверной мысли, какъ отъ надоедливой мухи. Но заснуть ему не удалось; утреннее солнышко бросило цѣлый снопъ лучей въ его комнату, проникло во всѣ самые темные углы и заглянуло подъ простыню, гдѣ укрылся Бабочкинъ. Полежавъ неподвижно нѣсколько минутъ, Бабочкинъ живо сбросилъ съ себя одѣяніе и вскочилъ съ постели.

— Да что-жь я задумался? Квартира... визиты... да чортъ съ ними! Все это само собой сдѣлается!—громко проговорилъ онъ и ожилъ.

Потомъ живо одѣлся и велѣлъ подать умыться и чаю, не смотря на ранній часъ утра, а пока занялся свистомъ, пѣніемъ вполголоса и наблюденіемъ за крышами домовъ, для чего растворилъ оба окна. Послѣ умыванья, посвистывая и напѣвая, онъ перевѣсился черезъ окно и смотрѣлъ, какъ по улицамъ шли съ корзинами кухарки и бѣдныя барыни. Одной вертлявой кухаркѣ ему страстно хотѣлось бросить прямо въ носъ скатанною бумагой, а самому спрятаться. Какъ дѣлалъ онъ въ дѣтствѣ, но онъ не привелъ въ исполненіе этого намѣренія, несвойственного взрослымъ людямъ; вмѣсто того, онъ передразнилъ продавщицу лука, подражая ей голосу. Ему просто хотѣлось дурачиться, чтобы ничего непріятнаго не вспоминать... Лакей подалъ чай, и онъ принялся за него съ такою торопливостію, какъ будто впередъ ему предстояло необыкновенно важное дѣло.

Въ дѣйствительности онъ только рѣшилъ сейчасъ же выйти на улицу и бродить по городу, по дорогѣ, кстати, разсматривая квартиры. Обязательные и въ особенности ненавистные ему визиты онъ отложилъ до слѣдующихъ дней.

Утро стояло свѣжее, ласковое, съ небольшимъ холодкомъ, который обдавалъ лицо пріятною свѣжестью. Бабочкинъ оцѣнивалъ всю прелесть такого утра. Напѣвая вполголоса, онъ переходилъ одну улицу за другой и не чувствовалъ ни малѣйшей усталости. А по дорогѣ осматривалъ квартиры, — не искалъ по обязанности, а такъ, мимоходомъ, наблюдалъ архитектуру домовъ. И въ этотъ день ему все удавалось; легко, безъ труда, мимоходомъ онъ нашелъ квартиру, причемъ съ часъ поболталъ съ хозяиномъ дома, вызывая у послѣдняго своими шутками неудержимый хохотъ. Потомъ онъ далъ задатокъ за квартиру и отправился опять бродить по городу. Но мимоходомъ увидалъ мебельный магазинъ, вошелъ въ него и больше часу болталъ съ приказчиками, заставляя ихъ смѣяться вмѣстѣ съ собой; здѣсь онъ выбралъ мебель, заплатилъ за нее и приказалъ отвезти по указанному адресу.

А немного погодя, онъ такъ же легко нанялъ себѣ слугу. Проходя по торговой площади, онъ обратилъ вниманіе на одного мужика, который толкался среди лотковъ съ съѣстными припасами, быть можетъ, въ надеждѣ купить подешевле что-нибудь вродѣ гусака. Бабочкину онъ показался знакомымъ, а черезъ минуту онъ совсѣмъ узналъ его. Это былъ мѣщанинъ изъ того города, гдѣ часто бывалъ Бабочкинъ. Теперь онъ вспомнилъ даже имя его — Семенъ Березинъ.

— Березинъ! Ты что тутъ дѣлаешь? — окликнулъ Бабочкинъ мужика, который вдругъ встрепенулся, узнавъ барина, снялъ шапку и раскланялся.

— Какъ ты въ этотъ городъ-то попалъ?

— Такъ... работишку ищу, да зря болтаюсь только, — сказалъ нехотя Березинъ.

— Развѣ дома у тебя ничего нѣтъ? Кажется, у тебя жена умерла? — спрашивалъ Бабочкинъ.

— Одно слово, тамъ мнѣ дѣлать нечего: тамъ я безъ рукъ, безъ ногъ, одинъ ротъ остался, та и тотъ пустой..

Бабочкинъ разсмѣялся.

— Такъ ты для пропитанія сюда?

— И для пропитанія, и на податишки сколотить малость.

— Чудакъ! Онъ еще о податишкахъ заботится!—перебилъ баринъ.

— Да какъ же не заботиться-то?

— Да чортъ съ ними! Такъ бы и бросилъ—что съ тебя возьмешь?—говорилъ весело Бабочкинъ, перенося свое легкое настроеніе на все окружающе, въ томъ числѣ и на Семена Березина.

— Какъ же это безъ податей? Чай, не дуракъ я, долженъ это понимать. Да нашего брата за эдакое нахальство не очень похваляютъ,—за эти пакости нашего брата наземь книзу брюхомъ и хворостьемъ внушаютъ, чтобы помнилъ, что человѣкъ обязанъ дѣлать!

Бабочкинъ расхохотался.

— Печенку-то, видно, не на что купить?—спросилъ онъ насмѣшливо.

При упоминаніи о печенкѣ Березинъ почему-то задумался и уже сталъ топтаться на мѣстѣ, съ явнымъ намѣреніемъ попросить три копейки. Но въ это мгновеніе Бабочкинъ заставилъ его чуть не подпрыгнуть отъ радости.

— Не хочешь-ли наняться ко мнѣ слугой?—спросилъ Бабочкинъ.

Семень несказанно обрадовался этому предложенію; Бабочкина онъ знавалъ, какъ добраго барина, да и работы теперь у него нигдѣ не предвидѣлось. Быстро уговорились объ условіяхъ, причемъ Березинъ соглашался на все, что говорилъ ему баринъ, даже обязался придти сейчасъ же на службу, чтобы немедленно же убирать квартиру. На прощанье Бабочкинъ далъ ему двугривенный на хлѣбъ и на печенку и отправился въ гостиницу завтракать, но, недалеко пройдя, онъ вспомнилъ, что такъ легко нанятый слуга можетъ надуть и не придти въ условленное время. Онъ обернулся.

— Такъ ты смотри, приходи черезъ часъ!—закричалъ онъ издали.

Семень стоялъ съ полнымъ ртомъ, торопился прожевать, но не могъ, и только, вмѣсто словъ, которыхъ не пропустила печенка, широко перекрестился, удостовѣря такимъ жестомъ, что слово его вѣрное.

Не доходя еще до гостиницы, Бабочкинъ вдругъ придумалъ.

малъ неожиданное развлеченіе: убирать квартиру по своему вкусу. Еще утромъ вопросъ о квартирѣ казался ему въ высшей степени непріятнымъ, но въ эту минуту онъ рѣшилъ немедленно приняться за уборку нанятыхъ комнатъ; ему казалось, что свое помѣщеніе онъ уберетъ изящно и оригинально. Наскоро позавтракавъ, онъ сдѣлалъ въ гостинницѣ необходимыя распоряженія по доставкѣ его вещей на квартиру и отправился туда самъ. Тамъ уже ждалъ его на крыльцѣ Семенъ Березинъ. Не прошло и часу, какъ весь домъ наполнился стукомъ молотковъ, пылью, гамомъ, восклицаніями: это самъ Бабочкинъ и Семенъ убирали помѣщеніе. Хозяинъ распоряжался увлекательно, самъ участвуя во всѣхъ работахъ; слуга ревностно исполнялъ приказанія его, не щадя живота. Въ особенности они оба потрудились надъ кабинетомъ; въ убранствѣ его проявилась вся оригинальность Бабочкина. Стѣны его онъ обтянулъ черною матеріей, а по угламъ убралъ его бѣлыми статуями и бюстами изъ дешеваго матеріала; мебель поставлена была здѣсь также свѣтлая. Идеей кабинета Бабочкинъ такъ увлекся, что почти не обращалъ вниманія на другія комнаты; тамъ больше распоряжался Семенъ.

Семенъ Березинъ былъ совершенно доволенъ своею службой. Бабочкинъ также, въ свою очередь, былъ доволенъ Семеномъ, — совмѣстная уборка комнатъ сблизила ихъ очень тѣсно; разъ они даже обѣдали вмѣстѣ. Впрочемъ, относительно пищи Семенъ былъ человѣкомъ непріятнымъ; отличаясь непомѣрнымъ обжорствомъ, онъ часто изъ-за этой слабости подвергался упрекамъ; въ связи съ этою слабостью была еще его послѣбѣдненная сонливость, изъ-за которой онъ въ первое время вызвалъ нѣсколько нареканій. Феноменальная прожорливость его скоро была узнана всѣмъ дворомъ дома; проявилась она въ первый же день поступленія его на службу. Въ этотъ день, улучивъ удобную минуту, онъ собралъ изъ мѣшковъ всѣ съѣстные припасы, накопившіеся за дорогу у Бабочкина, и все съѣлъ въ однѣ сутки; для этого онъ вставалъ два раза ночью и закусывалъ въ просоньи, слабо сознавая это, а на другой день утромъ онъ нисколько не тяготился ѣдой и чаемъ, пока въ сакахъ не осталось ничего подходящаго; и когда въ этотъ день баринъ замѣтилъ, что ихъ уборка плохо подвигается впередъ, то

Семень, на его упреки, основательно замѣтилъ, что онъ убиралъ мѣшки. Затѣмъ Семену показалось голодно на тѣхъ обѣдахъ, которые Бабочкинъ бралъ изъ гостиницы; къ обѣдамъ этимъ онъ питалъ величайшее презрѣніе, хотя то и дѣло принужденъ былъ пробовать ихъ. Это послѣднее обстоятельство на третій день вызвало маленькое недоразумѣніе. Пославъ его въ гостиницу за обѣдомъ, Бабочкинъ собственными глазами убѣдился, что Семень пробовалъ предвзвѣрительно самъ всѣ кушанья, хотя надо сознаться, что Семень только изъ любопытства засовывалъ палецъ въ каждое блюдо, чтобы попробовать, какія штуки ѣдятъ господа.

— Свиныя ты этакая! Зачѣмъ ты макаешь палецъ въ кушанье?—сказалъ недовольнымъ тономъ Бабочкинъ.—Развѣ тебѣ мало своего обѣда?

Извѣстно, мало!—вдругъ возразилъ мрачно Семень,—что мнѣ занятнаго ѣсть-то эту штуку?—добавилъ онъ, презрительно ткнувъ пальцемъ въ судки, принесенные имъ изъ гостиницы. Но это недоразумѣніе Бабочкинъ разъяснилъ съ слѣдующаго же дня; онъ условился съ дворникомъ дома, чтобы тотъ кормилъ Семена за своимъ столомъ и, по возможности, въ волю. Съ тѣхъ поръ Семень пересталъ марать пальцы о господскія кушанья.

Другая непріятная черта Семена обнаружилась также на второй или на третій день. Торопливо оканчивая декорированіе кабинета, Бабочкинъ вдругъ послѣ обѣда потерялъ Березина; послѣдній совершенно пропалъ изъ дому. Бабочкинъ обыскалъ всѣ углы квартиры, искалъ на дворѣ, но нигдѣ Березина не было; только уже по указанію дворника барину удалось напасть на слѣдъ погибшаго; онъ оказался къ удивленію барина, подъ крыльцомъ спящимъ мертвецки. Баринъ сначала думалъ, что Березинъ напился, но это оказалось невѣрнымъ,—Семень только покушалъ плотно. Послѣ каждого своего обѣда Семень чувствовалъ непреодолимое влеченіе прилечь на часокъ, причемъ довольствовался голымъ поломъ и голою землей. На слѣдующіе дни поиски его регулярно установились; сейчасъ же послѣ обѣда Бабочкинъ шелъ искать его и находилъ спрятавшимся или въ чуланѣ, или подъ крыльцомъ, или за диваномъ, между мебелью. Сначала баринъ пробовалъ насильно будить его, но черезъ нѣкоторое время онъ понялъ, что это бесполезно; съ часъ по-

слѣ объда Семень никуда не годился; въ это время у него было какое-то идольское выраженіе неподвижности, и онъ не слушалъ тогда ни словъ, не брани; только хлопалъ тупо глазами, мрачно вздыхая. Бабочкинъ долженъ былъ помириться съ этимъ, тѣмъ болѣе, что современемъ обѣ слабости Семена значительно уменьшились, что зависѣло отъ сравнительнаго довольства, найденнаго имъ у Бабочкина.

За вычетомъ двухъ слабостей, во всемъ остальномъ барину онъ нравился; это былъ послушный, работающій и неглупый человѣкъ. Кромѣ того, ихъ обоихъ связала нѣкоторая общность положенія. Бабочкинъ пережилъ крушеніе всѣхъ своихъ близкихъ, Семень Березинъ также пережилъ гибель всего, что было ему мило. Въ домишкѣ у него все перемерло,—сначала дѣти, потомъ жена, наконецъ, лошадь; вслѣдствіе этого онъ постепенно переходилъ съ одной ступени на другую, низшую; сначала онъ сдѣлался бездѣтнымъ, потомъ холостымъ и, наконецъ, безлошаднымъ, послѣ чего онъ лишился рукъ и ногъ, и обладалъ лишь ртомъ, да и тотъ былъ пустой, какъ онъ самъ выражался. Благодаря такимъ обстоятельствамъ, въ немъ выработались мысли и привычки довольно своеобразнаго характера; многія способности, свойственныя людямъ, въ немъ замерли; тлѣлась только органическая жизнь; поэтому пища для него сдѣлалась главною задачей и содержаніемъ жизни.

Когда у него не было дѣла, онъ выходилъ на крылечко передъ парадною дверью и наблюдалъ за движеніемъ на улицѣ. Иногда онъ мечталъ и философствовалъ, но больше всего насчетъ пищи. Думалъ онъ о томъ, что ѣдятъ разные народы, и самъ удивлялся тѣмъ мыслямъ, которыя приходили ему въ голову. Этими мыслями онъ обмѣнивался съ дворникомъ, съ водовозомъ или съ кѣмъ-нибудь изъ знакомыхъ, выходившихъ также посидѣть на улицѣ; между ними Семень скоро заслужилъ репутацію милаго человѣка.

— А говорить, что поганые народы ѣдятъ крысъ,—сказалъ онъ однажды на крылечкѣ.

— Ну, ужъ это, братъ, ты врешь!—замѣтилъ кто-то недобрчиво.

— Зачѣмъ врать? Это, милый, вѣрно. Онъ въ туретчинѣ (у Семена была своя географія, и подъ туретчиной онъ разумѣлъ вообще всѣхъ „поганныхъ народовъ“, какъ ихъ тамъ

называютъ) не больно зазнавается! Онъ, говорятъ, облупить крысу, набить ей брюхо картошкой и ѣсть. Оттого, что хлѣба у него нѣтъ, и говядины у него нѣтъ, ну, онъ и пробавляется такою глупостью, и живъ — вотъ диковина! Стало быть, человѣкъ все можетъ употреблять, лишь бы жива душа была...

— А что ты думаешь, у насъ нешто не бываетъ?—замѣтилъ дворникъ.

— Какъ не бывать!... Чудеса, братцы это, всего у насъ въ волю, а ѣсть нечего. Пробовалъ я всякую пищу—и отрубь, и овесъ, и мельничный бусъ—всего бывало. Разъ четыре дня не ѣлъ, и дай мнѣ въ ту пору хоть лошадь—съѣлъ бы!... Какъ не бывать, всего довольно!...—и, говоря это, Березинъ глубоко вздохнулъ, опечаленный какими-то воспоминаніями.

— Это вѣрно,—согласился дворникъ,—я знавалъ рыбака одного, такъ тотъ червей ѣлъ, подлецъ! Скусно, говорить!

На лавочкѣ передъ домомъ начинаются шутки, хохотъ, неожиданные рассказы.

Много поголодавъ на своемъ вѣку, Семень Березинъ выработалъ своеобразные взгляды на „кусочъ хлѣба“. Для него этотъ вопросъ о кускѣ хлѣба составлялъ вопіющій и глубокій интересъ, никогда не прекращающійся. О пищѣ онъ безконечно размышлялъ: утромъ онъ думалъ о завтракѣ, днемъ — объ обѣдѣ, послѣ обѣда — объ ужинѣ. Во снѣ онъ чаще всего видѣлъ куски мяса, ломти хлѣба при разныхъ фантастическихъ обстоятельствахъ; иногда сны эти у него были пріятные — это когда онъ ѣлъ, но иногда во снѣ у него какой-нибудь негодяй отнимаетъ кусочъ обѣда, — ужасъ тогда сковывалъ всѣ его члены, и онъ не могъ пошевелить ни рукой, ни языкомъ, чтобы отогнать наглаго человѣка.

Молился онъ также больше о пищѣ, импровизируя молитвы сообразно недостаткамъ своимъ; молился о хлѣбѣ, о дровахъ, о шубѣ и проч., а иногда обо всемъ этомъ вмѣстѣ. „Матерь Божія! Святители угодники! Микола милостивый! Хлѣба ни крошки! дровъ ни полѣна! одежды вовсе нѣтъ! Господи Іисусе, помилуй грѣшнаго! Аллилуіа, аллилуіа, аллилуіа!“... Когда однажды въ безсонную ночь Бабочкинъ услышалъ страстный шепотъ этой молитвы, на него напала такая хандра, что онъ вскочилъ съ постели и долго ходилъ по комнатѣ, не въ состояніи подавить въ себѣ мрачныхъ

мыслей: „Господи! хоть бы куда-нибудь дѣться... все бѣдность, мракъ, глупость вездѣ!“—думалъ онъ и порывался уйти изъ дома, но была глухая ночь.

Впрочемъ, ко всему остальному Семенъ былъ равнодушенъ.

Когда у нихъ съ бариномъ черновая уборка кончилась, онъ выметъ все, прибралъ, но затѣмъ навсегда считалъ дѣло поконченнымъ, подбирая отъ времени до времени только такія вещи, о которыхъ можно споткнуться. Паутина стала спускаться съ потолковъ, на мебели и на полу лежалъ толстый слой пыли, на которой, какъ на бумагѣ, Семенъ иногда записывалъ пальцемъ свои покупки въ лавкахъ. На веряхъ нерѣдко висѣли принадлежности костюма въ живописныхъ позахъ; на крышкѣ піанино лежали часто корки шпоба, а на трюмо Семенъ любилъ ставить ваксу со щетками. Баринъ добился только того, чтобы спальня его держалась въ сравнительной чистотѣ. На все остальное онъ самъ махнулъ рукой. Украшеніе квартиры ему скоро омерзѣло.

Да и самая квартира сдѣлалась ему противна; никому еще не дѣлая визитовъ, онъ первые дни старался сидѣть дома, придумывая всевозможные способы убить время; старался долго обѣдать, по нѣсколько часовъ убивалъ на завтракъ и чай, но все-таки пустого времени оставалось много. Его онъ разнообразилъ чтеніемъ, пѣніемъ и прочими легкими занятіями. Читалъ онъ больше газеты, а изъ книгъ тѣ, гдѣ меньше было скуки; изъ газетнаго матеріала онъ выбиралъ отдѣлы фельетоновъ, убійствъ и диффамаци. Отдѣлъ диффамаци онъ всегда просматривалъ, фельетонъ—только тогда, когда авторъ его скверно ругался, а убійства читалъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда былъ въ спокойномъ состояніи. Вообще, каждая мелочь бредила ему раны, и онъ избѣгалъ всего, что могло напомнить дѣйствительность. Иногда онъ бралъ въ руки и серьезную книгу, но это всегда было на постели, и прочитывалъ онъ нѣсколько страницъ только затѣмъ, чтобы поскорѣе заснуть, или потому, что его кусали блохи, которыхъ Семенъ порядочно напустилъ сейчасъ же вслѣдъ за своимъ приходомъ.

Онъ иногда пѣлъ. Нѣкогда онъ думалъ, что у него прекрасный басъ и что онъ поетъ имъ пріятно; тогда онъ по-

прошло, благодаря тому, что жена своими замѣчаніями лишила его всякой вѣры въ себя, сказавъ однажды ему, что „слѣдовало бы прежде хоть немного познакомиться с нотами, а то онъ уши деретъ!“ Съ тѣхъ поръ онъ перестал пѣть и возобновилъ это удовольствіе только послѣ отъѣзда жены, когда слушателемъ и цѣнителемъ его былъ один Семень. Семень, впрочемъ, далъ пѣнію барина своеобразное объясненіе. „Должно быть, скучно моему-то,—разсказывал онъ своимъ дворовымъ пріятелямъ,—иной разъ молчить, да какъ зареветь нехорошимъ голосомъ, даже жалко станетъ сердешнаго“.

А больше никакихъ занятій и развлеченій Бабочкинъ не напелъ у себя. Холостой безпорядокъ, грязь, пустота не обитаемыхъ комнатъ скоро выгнали его изъ дому. Онъ сперва сдѣлалъ необходимые визиты, сейчасъ же отданные ему потомъ началъ пропадать изъ дому по цѣлымъ днямъ. Чтобы только ни случилось новаго въ городѣ, онъ шелъ на эт новинку. Поймали въ рѣкѣ большую бѣлугу въ пятьдесятъ пудовъ—Бабочкинъ порвѣй пошелъ ее смотрѣть. Правн дорогой онъ немного раздумывалъ: „чортъ знаетъ... бѣлугу смотрѣть!“—но необходимость найти развлеченіе была сильнее разныхъ соображеній.

Онъ настойчиво искалъ развлеченій, готовый взять ихъ вездѣ, гдѣ только они найдутся. Но онъ не зналъ часто, въ какую сторону идти, чтобы отыскать забаву. И все чаще онъ спрашивалъ себя: „Что такое веселье?“

Вопросъ этотъ сдѣлался преобладающимъ въ его голодѣ. Жить такъ, чтобы не вспоминать прошлаго и не думать о будущемъ, стало его постояннымъ стремленіемъ. Страсть къ развлеченіямъ съ каждымъ днемъ разрасталась. Но онъ все-таки не зналъ, что такое веселье?

III.

Съ начала мая по захоlustьямъ начинаютъ разъѣзжаться бродячія труппы всѣхъ сортовъ артистовъ: драматическихъ, оперныхъ, опереточныхъ, балаганныхъ. Угнетаемая скукой публика хорошо принимаетъ всѣхъ ихъ безъ различія, оди

наково хлопая въ одинъ и тотъ же день въ оперѣ и въ балетѣ и щедро вознаграждая какъ игру, такъ и кривлянье. Въ городѣ, куда попалъ Бабочкинъ, также сразу явилось нѣсколько труппъ, и Бабочкинъ сталъ по порядку обходить ихъ всѣхъ.

Впрочемъ, онъ выбралъ только легкія зрѣлища. Театръ уже давно надоѣлъ ему, — раньше онъ слишкомъ злоупотреблялъ этимъ удовольствіемъ, — а серьезныхъ представлений онъ избѣгалъ вовсе. Съ нѣкотораго времени страданія, хотя бы только сценическія, сдѣлались для него невыносимы; даже музыка, выражавшая глубокую мысль, была ему не подъ силу, страшно разстраивая нервы. Онъ боялся всего, что напоминало борьбу и страсти. И только легкія оперетки или безобидныя комедіи онъ могъ слушать безъ вреда для своего сердца.

Въ первый день открытія зрѣлищъ Бабочкинъ пошелъ въ оперетку. Въ труппѣ случайно находилась одна опереточная знаменитость, удостоившая согласиться въ этомъ городѣ участвовать только въ одномъ спектаклѣ. Благодаря этому, театръ былъ биткомъ набитъ. Каждому хотѣлось непременно увидать диву, завтра уѣзжавшую. Начало спектакля Бабочкинъ пропустилъ и занялъ свое мѣсто какъ разъ въ ту минуту, когда зала уже гремѣла аплодисментами. Ничего еще не видя, онъ принялся хлопать руками, зараженный всеобщимъ гамомъ. Съ этой минуты онъ продолжалъ рѣшительно все, что дѣлала публика: во время пѣнія напряженно слушалъ, какъ и всѣ окружающіе; когда всѣ начинали хлопать, онъ также отбивалъ ладони; сосѣди въ нѣкоторыхъ мѣстахъ неистовствовали, стуча ногами и стульями, — онъ также приходилъ въ неистовство, готовый отъ восторга не только переломить на нѣсколько кусковъ свой стулъ, но и выворотить нѣсколько досокъ изъ рампы; когда публика начинала смѣяться, онъ также хохоталъ. Въ антрактахъ мужчины густою толпой ходили въ буфетъ; Бабочкинъ былъ въ срединѣ этой толпы, пилъ, ѣлъ и знакомился съ разными господами. Здѣсь, между прочимъ, онъ познакомился съ первымъ въ городѣ банковскимъ дѣльцомъ, который былъ виной себя отъ восторга при видѣ опереточной дивы.

Бабочкинъ также былъ въ восторгѣ отъ нея, хотя ему, въ сущности, было наплевать на все. Онъ восторгался только

потому, что всѣ окружающіе его восторгались. За это онъ именно любилъ толпу, любилъ толкаться въ ней. Толпа снимаетъ ответственность за поступки единицы и даетъ каждому извѣстную увѣренность и твердость, но, кромѣ этихъ отрицательныхъ удобствъ, она даетъ еще цѣлую массу положительныхъ удовольствій, заставляя каждого переживать все то, что она сама переживаетъ, а это — рѣшительное счастье для человѣка, у котораго внутри образовалась пустота, на подобіе порожняго дома, гдѣ уже завелись летучія мыши, совы, пауки и мракъ.

Истинные любители театра молчаливо слушаютъ, молча оцѣнивая сцену. Остальные, тѣ самые, которые неистовствуютъ, пришли въ театръ затѣмъ, чтобы потерять сознание. Бабочкинъ также пришелъ, чтобы потерять сознание. Это скоро ему и пришло въ голову: „вотъ зачѣмъ поютъ!“ — подумалъ онъ и вдругъ былъ охваченъ тоской. Послѣдній актъ онъ уже вяло слушалъ; на него вдругъ напало изнеможеніе, голова у него кружилась, въ вискахъ стучало; сцена представлялась ему въ туманѣ. У него вдругъ мрачно стало на душѣ, какъ у человѣка, истощеннаго напряженіемъ. Онъ поблѣднѣлъ. Шумъ уже раздражалъ его; теперь онъ желалъ, чтобы кругомъ стояла невозмутимая тишина.

Толпа, окружающая его со всѣхъ сторонъ, снизу и сверху, спереди и сзади, теперь давила его непомѣрнымъ гнѣвомъ. Лица, которыя за минуту казались ему снѣжающимися и пріятными, теперь сдѣлались противными рожами. Его раздражала толстая и красная шея какого-то военнаго, который сидѣлъ впереди его и, какъ ему казалось, все больше раздувался и краснѣлъ; онъ въ душѣ ругалъ господина, сидѣвшаго позади его и скверно сошѣвшаго, какъ лошадь, а лысый, обветшалый старикъ, находившійся по правую его руку, просто выводилъ его изъ терпѣнія однимъ своимъ поношеннымъ видомъ.

Но всѣхъ болѣе бѣсилъ его баринъ, занимавшій стулъ по лѣвую его руку. Это былъ толстякъ съ добродушнымъ видомъ, еще молодой, чисто одѣтый и надушенный. Онъ въ самомъ дѣлѣ никому не давалъ покоя; на своемъ мѣстѣ онъ рѣдко сидѣлъ, то и дѣло вскакивая, причемъ каждый разъ Бабочкинъ долженъ былъ прятать ноги подъ стулъ. Баринъ, между тѣмъ, все больше и больше волновался, выбѣгалъ въ

корридоръ, чуть не со всѣми о чемъ-то шептался и былъ весь въ поту отъ ужасной суеты, которая овладѣла имъ. „Что нужно этому болвану?“—взбѣшенно думалъ Бабочкинъ каждый разъ, когда суетливый баринъ вскакивалъ съ своего мѣста и, вытянувъ шею, тихо, но ваволнованно прокрадывался между рядами креселъ.

— Милостивый государь! прошу васъ сидѣть или отыскать себѣ другое мѣсто!—воскликнулъ окончательно выведенный изъ терпѣнія Бабочкинъ, поджимая ноги при проходѣ суетливаго господина.

Послѣдній ндругъ присмирѣлъ, тихо сѣлъ на свое мѣсто и не безъ робости поглядывалъ на своего сердитаго сосѣда. Бабочкинъ заинтересовался имъ и серьезно осяѣдомился, не разстроился-ли у него желудокъ? Эту грубую выходку сосѣдъ пропустилъ безъ отвѣта, но разсказать причину своего безпокойства... Онъ собиралъ экстренную подписку на подарки заѣзжей артисткѣ, но подписка шла туго, а посланные по магазинамъ за покупками что-то долго не возвращались, и вотъ почему онъ страшно волновался. Спектакль скоро кончится, а подарковъ нѣтъ!... Все это сценическій любитель разсказалъ дрожащимъ шепотомъ и опять заводновался, будучи рѣшительно не въ состояніи усидѣть на мѣстѣ.

Бабочкинъ также всталъ и отправился въ буфетъ вслѣдъ за любителемъ. Послѣдній уже успѣлъ сбѣгать за кулисы, вихремъ пронесся по корридорамъ и прибѣжалъ въ буфетъ разстроеннымъ, убитымъ. Присѣвъ на табуретъ, онъ съ видомъ отчаянія обратился опять къ Бабочкину:

— Позоръ, одинъ срамъ, милостивый государь!

— Что такое, позвольте узнать?—заинтересовался Бабочкинъ.

— Да вѣдь блюда-то нѣтъ!—вскричалъ съ негодованіемъ любитель.

— Какого блюда?

— Да на которомъ подарки-то подносятъ.

— Такъ поднесите безъ блюда.—возразилъ Бабочкинъ, смутно понимая, о чемъ идетъ рѣчь.

Любитель широко раскрылъ глаза, очевидно, удивляясь, какъ порядочный человекъ могъ выказать такое невѣжество.

— Безъ блюда? Взятъ прямо голыми руками и передать?—

— Почему же блюда нѣтъ?

— Потому что собранной мною суммы не хватаетъ... Просто скандалъ, скандалъ!

Бабочкинъ, видя такое отчаяніе, досталъ бумажникъ и предложилъ изъ своихъ средствъ пополнить недостающую сумму. Любитель схватилъ его руку, взволнованно потрясъ ее, выхватилъ предложенную пачку кредитокъ и стремглавъ бросился отдавать приказанія. Бабочкинъ больше не видѣлъ его до окончанія спектакля. Но за то по окончаніи, когда начались безконечные вызовы заѣзжей дивы, Бабочкинъ увидалъ своего неспокойнаго сосѣда уже въ качествѣ героя.

Тотъ совершенно преобразился. Появившись откуда-то внезапно, онъ торжественно выступалъ въ проходѣ между креслами съ большимъ серебрянымъ блюдомъ, на которомъ уложены были подарки, а надъ головой держалъ огромный вѣнокъ изъ живыхъ цвѣтовъ. Очевидно, онъ былъ на высотѣ своего положенія и изучилъ во всѣхъ деталяхъ свою роль; торжественно подступивъ къ дирижеру оркестра, онъ съ поклономъ передалъ ему подарки и величественнымъ жестомъ пояснилъ, что съ ними дальше дѣлать. Продѣлавъ все это, онъ остановился передъ рампой и улыбался до ушей. Видъ у него былъ блаженный.

Бабочкинъ, и безъ того утомленный, поторопился къ выходу, чтобы выбраться изъ душной залы, гдѣ снова поднялись аплодисменты. Но ему не суждено было такъ скоро разстаться съ театраломъ. Едва онъ успѣлъ надѣть пальто, какъ среди толпы выходящей публики увидалъ знакомую, сіяющую фizioномію. Бывшій его сосѣдъ протолкался къ выходу, подбѣжалъ къ нему и снова потрясъ ему обѣ руки.

— Позвольте узнать... Вы спасли меня и честь всего города! Помилуйте, знаменитость—и безъ блюда! Позоръ! Съ кѣмъ имѣю честь?...

Бабочкинъ назвалъ себя.

— Слышалъ, слышалъ! Вы недавно къ намъ... Имѣю честь—Аркадій Андреевичъ Карамельковъ, мировой судья... Помилуйте! Я обязанъ вамъ...

Аркадій Андреевичъ Карамельковъ не зналъ, какъ благодарить своего спасителя; онъ въ десятый разъ потрясалъ

его руку, благодарилъ и смотрѣлъ благодарнымъ взглядомъ. Широкое лицо его сдѣлалось еще шире отъ улыбки.

— А знаете что, для перваго знакомства пойдѣмте ко мнѣ. Закусимъ, выпьемъ, а?—предложилъ онъ вдругъ.

Была уже глубокая ночь, но, подумавъ съ минуту, Бабочкинъ согласился на предложеніе, лишь бы не быть дома. Карамельковъ опять принялся благодарить и увѣрять, что это ничего, если немного поздно,—подкрѣпиться не мѣшаетъ. Супруга его теперь, вѣроятно, уже спитъ... она тоже была на спектаклѣ, но незамѣтно уѣхала.

Бабочкинъ замѣтилъ эту даму,—она противно зѣвала и смотрѣла злыми глазами. Впрочемъ, онъ этого не высказалъ, а неопредѣленно возразилъ, что, кажется, онъ замѣтилъ.

— Это моя жена. Она очень нервная дама, но теперь навѣрно спитъ... и мы отлично закусимъ!

Этотъ разговоръ происходилъ въ театральныхъ сѣняхъ. Потомъ они вышли. Карамельковъ крикнулъ кучера, но его не оказалось у подъѣзда; извозчики всѣ были разобраны. Пришлось идти пѣшкомъ, что, повидимому, было тяжело Карамелькову. У него было короткое туловище и короткія ноги, толстякъ задыхался во время ходьбы, но необходимость заставила идти.

— Какая чудная ночь!—сказалъ онъ.

— Да, ночь ничего, недурна,—возразилъ Бабочкинъ и скучно посмотрѣлъ вокругъ себя.

— И какая луна прекрасная! Хорошо пройтись по такому свѣжему воздуху послѣ театральной духоты!—продолжалъ Карамельковъ занимать своего спутника.

— Воздухъ?... Немного воняетъ, но ничего. Что касается луны... видите, когда я смотрю на прекрасную луну, мнѣ всегда кажется, что это мертвая красавица. Посмотрите, кака я смертная синева ея лица. Желто-блѣдная, бездушная, она по ночамъ показывается изъ-за горизонта, какъ призракъ... Она прекрасна, но я боюсь привидѣній, а мертвецы внушаютъ мнѣ отвращеніе.

Карамельковъ сбоку взглянулъ на Бабочкина, подозрѣвая, что тотъ смѣется. Онъ сильно задыхался, безпомощно сема короткими ногами, но ни минуты не хотѣлъ молчать.

— А какъ вамъ нравится театръ нашъ? Зданіе собственно...

„Какой пошлый разговоръ!“—раздражился про себя Бабочкинъ, но вслухъ похвалилъ театръ.

— Да, театръ у насъ на славу! Скучно было бы безъ него... Знаете, возвышенное развлеченіе!

— Здѣсь постоянная труппа есть?—прервалъ Бабочкинъ.

— Зимой постоянная, а теперь, какъ видите, наѣзжаютъ. Лѣтомъ, конечно, бываетъ и такъ, что цѣлый мѣсяцъ никто изъ артистовъ не заглянетъ. Но въ зимніе и осенніе сезоны у насъ труппа порядочная. Я люблю театръ... знаете, возвышенное удовольствіе! Оживаю!

— Какія же еще здѣсь развлечения?—опять прервалъ Бабочкинъ.

— Какъ вамъ сказать? Да все есть, что и въ другихъ городахъ... Извините, забылъ упомянуть, — на оперныхъ спектакляхъ у насъ больше оперетки—мило играютъ. Я очень люблю театръ...

— А клубъ существуетъ?—возразилъ Бабочкинъ, не слушая своего спутника, который непремѣнно хотѣлъ высказаться.

— Клубъ есть, дворянскій, но всѣ бываютъ. Я—членъ, но рѣдко бываю.

— А драки тамъ бываютъ?—спросилъ Бабочкинъ.

— Что?

— Дерутся въ клубѣ биштексами?—пояснилъ Бабочкинъ, мало-по-малу впадавшій въ обычный свой тонъ — дурачить людей.

Карамельковъ робко взглянулъ въ глаза говорящаго, по-дозрѣвая, что тотъ смѣется надъ нимъ.

— Помилуйте, какія-же драки?—возразилъ онъ обиженно.

— Обыкновенныя драки, или, если хотите, исторіи! У насъ въ N, видите-ли, подъ веселую руку биштексами дрались въ клубѣ, а одинъ господинъ пустилъ въ голову старшинѣ десятифунтовымъ ростбифомъ... Вотъ почему я и спросилъ васъ.

— Помилуйте, у насъ этого нѣтъ! Очень порядочно!

— Да что вы хотите? Вѣдь скучно, и надо же какое-нибудь разнообразіе въ развлеченияхъ. У насъ стали возникать разныя общества... „общество велосипедистовъ“, „общество покровительства колотымъ свиньямъ“. Но я не люблю эти игрушки... гдѣ же искать развлеченій? Попробуйте пересчи-

тать всѣ роды нашихъ развлеченій и вы увидите, что нѣтъ... Вы называли театр?

— Да, театр... благородное, знаете, развлеченіе... люблю!—подтвердилъ Карамельковъ.

— Ну, а еще что?—спросилъ Вабочкинъ.

Карамельковъ не зналъ, что сказать.

— Я вамъ скажу: „пить, ѣсть, пѣть, любить“—но это старая штука. Я желалъ бы чего-нибудь новаго... Когда я пью, у меня кружится голова; когда я покушаю, меня тошнитъ, а когда я люблю, то дѣлаюсь идиотомъ. Назовите мнѣ еще что-нибудь...

— Вы шутите... Мало-ли еще развлеченій?—недоумѣвая, выговорилъ Карамельковъ.

— Но положимъ, что я говорю серьезно, что мнѣ смертельно скучно,—назовите мнѣ еще какое-нибудь развлеченіе?

— Да вотъ театр... благородно!

— О театрѣ вы уже сказали, еще что?—приставалъ Вабочкинъ.

Карамельковъ съ недоумѣніемъ развелъ руками и не зналъ, что сказать. Онъ только проговорилъ задумчиво:

— Каждый человѣкъ самъ долженъ придумать для себя развлеченіе...

Карамельковъ, кажется, еще что-то думалъ прибавить, но въ эту минуту оба они стояли передъ дверью квартиры. Карамельковъ вдругъ измѣнился—заговорилъ тихо, сдѣлался сосредоточеннымъ, а взойдя на крыльцо, старался ступать чуть слышно, словно подкрадывался къ непріятельскому стану.

— Знаете, мы никого не будемъ тревожить... Я самъ все сдѣлаю, прислуги не нужно... Мы тихо войдемъ въ кабинетъ, выпьемъ, закусимъ, поболтаемъ... Жена у меня дама очень нервная, но, конечно, спать...

Это былъ своего рода планъ военнаго дѣйствія, быстро составленный Карамельковымъ передъ самой опасностью, но, несмотря на строго выработанный планъ, онъ, видимо, чего-то боялся и осторожно сталъ подкрадываться къ двери. Вабочкина начало забавлять все это; онъ оживился, радуясь предстоящей мальчишеской забавѣ, и также сталъ подкрадываться вверхъ по лѣстницѣ. Но Карамельковъ испытывалъ далеко не радостное волненіе; подкравшись къ двери,

онъ тихо потянулъ ее; къ его ужасу, она была заперта, и теоретически составленный планъ оказался непримѣнимымъ. Дрожащимъ шепотомъ онъ высказалъ свой взглядъ на положеніе вещей.

— Знаете, придется звонить!... Жена у меня—дама очень нервная... мнѣ не хотѣлось бы будить ее!—въ волненіи говорилъ Карамельковъ.

— Давайте влѣземъ въ окно,—мальчишески предложилъ Бабочкинъ.

Но перепуганный Карамельковъ не слыхалъ этого предложенія. Онъ взялъ ручку звонка и тихо дернулъ; колокольчикъ два раза звякнулъ. Водворилась опять тишина. Карамельковъ, казалось, пересталъ дышать. Надежда на то, что двери отворить горничная, а не жена, у него была очень слабая. На звонокъ, однако, никто не отвѣтилъ, а во второй разъ Карамельковъ медлил позвонить. Тогда Бабочкинъ, забавляясь всѣмъ происходящимъ, схватилъ звонокъ и что есть духу дернулъ; по всему дому раздался звонъ, и трели колокольчика долго переливались по сводамъ. Карамельковъ обомлѣлъ.

Вдругъ дверь отворилась, и онъ лицомъ къ лицу столкнулся съ гнѣвною супругой. Последняя была полураздѣта, въ туфляхъ, со свѣчей въ рукѣ, которая дрожала.

— Благодарю, благодарю! Вы, конечно, нарочно позаботились, чтобы кучеръ былъ пьянъ и чтобы мнѣ пришлось изъ театра трястись на извозчикъей клячѣ, съ рискомъ сломать себѣ шею! Благодарю!—выпала възбѣшенная супруга, не замѣчая Бабочкина, стоявшаго въ тѣни; на ея красивомъ лицѣ появились пятна, прядь волосъ спустилась на лобъ; глаза зло и презрительно остановились на пораженномъ мужѣ. Если бы послѣдній нарочно придумалъ въ эту минуту рекомендовать Бабочкина, то это былъ бы ловкій стратегическій маневръ, но, къ сожалѣнію, рекомендація имъ была совершена съ отчаянія, потому что онъ растерялся.

— Позволь представить тебѣ, милая, моего новаго друга, Александра Ивановича Бабочкина...

Но не успѣлъ это пролепетать Карамельковъ, какъ положеніе вещей быстро измѣнилось. Свѣча потухла, жена бросилась со всѣхъ ногъ назадъ, куда-то въ комнаты, и

пріатели очутились впотьмахъ, хотя, послѣ отступленія врага, въ полнѣйшей безопасности.

Карамельковъ ощупью прошелъ въ кабинетъ, зажегъ лампу и посвѣтилъ Бабочкину, который былъ совершенно доволенъ этимъ маленькимъ происшествіемъ. Карамельковъ, усадивъ его въ кресло, куда-то отлучился на нѣсколько минутъ, быть можетъ, къ супругѣ, чтобы получить отъ нея новую благодарность за представленіе ей, полураздѣтой, незнакомаго господина, а быть можетъ, за тѣмъ, чтобы приготовить закуску. Скоро въ домѣ воцарилась тишина. Хозяинъ, на цыпочкахъ ступая, черезъ короткое время уже несъ подносъ съ винами и закусками, собранными имъ самимъ, причемъ благодущіе вновь освѣтило его широкое лицо, недавно обезображенное паническимъ ужасомъ.

— Жена моя очень нервная... но теперь, конечно, уснула, и мы на досугъ поболтаемъ,—говорилъ весело Карамельковъ, чувствуя теперь себя въ безопасности.

Новые друзья плотно закусили и выпили, поговорили о развлеченіяхъ и также стали чувствовать наклонность ко сну. Бабочкинъ собрался домой, но Карамельковъ уговорилъ его ночевать на диванѣ; онъ опять засуетился, самъ накрылъ диванъ простыней, принесъ подушки и одѣяло. Бабочкинъ раздумалъ идти. „Чортъ знаетъ... глупо, кажется!“—думалъ онъ, но остался. Съ нѣкотораго времени онъ все больше и больше терялъ волю надъ собой; его легко можно было уговорить на что угодно, лишь бы не дать ему скучать. Въ данномъ случаѣ, слушая болтовню хозяина о театрѣ, онъ неопредѣленно улыбался, самъ балагурилъ и забывалъ въ словахъ свою мысль о нелѣпости всего совершающагося.

Впрочемъ, черезъ часъ Карамельковъ уже примелькался ему и порядочно надоѣлъ; ему вдругъ показалось нелѣпымъ даже то, что онъ вотъ лежитъ на диванѣ у какого-то Карамелькова и слушаетъ безконечную болтовню о какихъ-то театральнѣхъ будкахъ. Онъ скоро пересталъ слушать и постарался заснуть. Но хозяинъ долго еще рассказывалъ о своихъ театральнѣхъ впечатлѣніяхъ, влюбленный, повидимому, даже въ стѣны театра.

Едва-ли, впрочемъ, Карамельковъ любилъ сцену ради сценическаго искусства, потому что этого послѣдняго онъ не понималъ. Любилъ онъ собственно театральную толкотню,

театральную обстановку—полъ, потолокъ, ложи, ярусы, галереи, подмостки, кулисы, актрисъ, актеровъ, статистовъ, суфлерскую будку; любилъ, словомъ, все, что только было и происходило въ театрѣ. У каждаго человѣка есть свои развлечения, цѣнимыя имъ больше всѣхъ другихъ. У Карамелькова это было театральное зданіе. Онъ зналъ его исторію, способъ его постройки, количество ложъ, обстановку уборныхъ, составъ машинъ, имена артистовъ и капельдинеровъ, наружность прислуги, содержаніе гардероба и пятна на мебели въ ложахъ. Онъ наблюдалъ, изъ чего дѣлаютъ луну и звѣзды, солнце и облака и какъ можно произвести дождь, снѣгъ, бурю, волны рѣки; онъ подробно изучалъ траппы и дыры, въ которые проваливаются подъ землю, умѣлъ и самъ проваливаться такъ, чтобы не разбить себѣ затылокъ.

Онъ присутствовалъ на всѣхъ репетиціяхъ въ качествѣ своего человѣка и съ наслажденіемъ смотрѣлъ, какъ актеры долбятъ свои роли, какъ ругаются и какими способами интригуютъ другъ противъ друга. За отсутствіемъ суфлера (горчайшаго пьяницы) онъ иногда на репетиціяхъ самъ зализалъ въ будку и шипѣлъ оттуда. Актеры всѣхъ труппъ любили его, но часто эксплуатировали. Между ними онъ былъ извѣстенъ подъ именемъ „дядюшки изъ Индіи“—кличка, намекавшая на его готовность помотать актерамъ. Въ самомъ дѣлѣ, онъ часто мирилъ антрепренера съ артистами и артистовъ между собой, но полезенъ былъ и прямымъ путемъ. Онъ протрезвлялъ пьяныхъ передъ спектаклями, высказывалъ свое мнѣніе объ игрѣ и костюмахъ, и за отсутствіемъ гримировщика (пившаго запоемъ) съ большимъ талантомъ малевалъ рожи. Иногда онъ по просьбѣ артистки бѣжалъ въ магазинъ для покупки чулковъ или платка. Въ лѣтніе мѣсяцы, когда весь этотъ театальный міръ жилъ впроголодь, Карамельковъ устраивалъ подписки, дѣлалъ у закладчиковъ займы или выкупалъ заложенные панталоны суфлера, который тотъ періодически прошивалъ въ кабачкахъ.

Театральное зданіе было единственнымъ мѣстомъ на землѣ, гдѣ проявлялись всѣ его душевныя способности и гдѣ онъ чувствовалъ себя живымъ человѣкомъ. Вся остальная жизнь видѣлась ему въ туманѣ, а живые люди казались ему скучными. Онъ любилъ только ту луну, которую дѣлаютъ

въ театральнѣй мастерской; ему больше нравились тѣ по-
цѣлуй, которые раздавались на сценѣ; онъ больше принималъ
тѣхъ людей, которые съ подмостковъ говорили не своимъ
голосомъ, и признавалъ настоящею ту жизнь, какая пока-
зывалась на сценѣ.

Благодаря этой иллюзіи, онъ былъ возмутительно равно-
душенъ къ дѣйствительной жизни. Въ свою судейскую каме-
ру онъ являлся только тогда, когда просители осаждали его
правильною осадой. Церемоній въ судѣ онъ никакихъ не на-
блюдалъ, надѣвня цѣпь прямо на халатъ, если въ камерѣ
толпились мѣщане и мужики, или на потертый пиджакъ,
если разбиралось дѣло „приличныхъ людей“. Во всякомъ
случаѣ относился онъ къ своимъ обязанностямъ одинаково.
Онъ всегда имѣлъ заспанный видъ, сопѣлъ, когда надо бы-
ло говорить, и лаялся, когда шелъ допросъ, употребляя гру-
бые выраженія: „Вотъ ужъ заврался!... Ну, что ужъ вздоръ-
то городить?... Чего мелешь?“—бормоталъ онъ во время до-
проса. Въ камерѣ, во время исполненія своихъ обязанностей,
онъ до такой степени измѣнялся, что трудно было узнать
его тому, кто видѣлъ его въ театрѣ. Грѣбый азыкъ, сквер-
ныя выраженія, неряшливый костюмъ, видъ съ просонья,
необычайная раздражительность—таковы были неотъемлемыя
свойства мирового судьи третьяго участка.

Въ камерѣ у него всегда лежала грязь, на столахъ клочья
рваной бумаги, въ воздухѣ какой-то протухлый запахъ. Въ
его участкѣ были вѣчно исторіи: то онъ пришьетъ вмѣстѣ
двѣ бумаги изъ разныхъ дѣлъ, то напишетъ нелѣпую цифру
статьи закона, то потеряетъ совсѣмъ дѣло. Неоднократно
его намѣревались предать суду, но такъ какъ его зналъ и
любилъ весь городъ, онъ избѣгалъ суда и безнаказанно слу-
жилъ второе трехлѣтіе.

Вообще неряшливость — наиболѣе точное слово всей его
общественной дѣятельности. Дѣла онъ не рѣшалъ, а ком-
калъ кое-какъ, совалъ, „сбывалъ съ рукъ“. Для этого онъ
копилъ по возможности больше тяжбъ и назначалъ ихъ на
одинъ день. Но иногда его одолевали, заставляя его въ
продолженіе двухъ недѣль подрядъ приходить судить. Тог-
да онъ мучился страшно; онъ самъ считалъ себя мучени-
комъ; въ камерѣ его въ ту пору происходилъ неописанный
содомъ. На столахъ возвышались безпорядочныя кучи бу-

ный, Карамельковъ гналъ, наконецъ, тяжущихся, а въ отвѣтъ на ропотъ послѣднихъ раздражительно ругался. „Хочу отложить дѣло и отложу! Не разорваться же мнѣ изъ-за васъ! Васъ, чертей, тутъ много, а я одинъ! Вѣдь и у меня есть свои дѣла... не издыхать же мнѣ изъ-за васъ!“ Онъ считалъ себя жертвой, а своихъ просителей мучителями, которые не имѣли на него ни малѣйшихъ правъ. Въ глубинѣ души онъ думалъ, что жалованье онъ получалъ за образованіе; каждый образованный человѣкъ долженъ быть обезпеченъ, иначе зачѣмъ же учиться, разбиралъ же онъ гнуснѣйшія дѣла разныхъ чертей просто потому, что нужно же имѣть какое-либо мѣсто среди людей.

На слѣдующій день Бабочкинъ опять позволилъ себя убѣдить, что не зачѣмъ торопиться домой, и онъ долженъ напиться чаю здѣсь. Пожавъ плечами съ видомъ человѣка, которому все равно—пить чай въ незнакомомъ домѣ или идти къ себѣ, онъ безъ возраженія согласился на требованіе хозяина. Отправились въ столовую; тамъ уже за самоваромъ сидѣла г-жа Карамелькова, „нервная дама“. Бабочкинъ съ любопытствомъ принялся наблюдать хозяевъ, дѣлая своеобразныя толкованія.

Картина, въ самомъ дѣлѣ, совершенно измѣнилась.

Г-жа Карамелькова приняла гостя необычайно любезно, улыбаясь, какъ невинное дитя. Вчера она показала ему пожилою красавицей, теперь она выглядѣла свѣжѣе, майскою розой—перемѣна, которую Бабочкинъ оцѣнилъ самымъ грубымъ образомъ, объяснивъ ее туалетными секретами. Но въ особенности поразительна была перемѣна въ обращеніи; вчера Бабочкинъ почему-то рѣшилъ, что г-жа Карамелькова иногда жестоко бьетъ супруга, теперь же ему дали замѣтить, что она—нѣжно любящая жена. Злое выраженіе лица, обнаруженное вчера, теперь превратилось въ игривое. Г-жа Карамелькова поминутно обращалась къ мужу съ нѣжнымъ „Аркаша“; она справлялась, не слишкомъ-ли крѣпокъ чай, не хочетъ-ли онъ булки... Казалось, жена боялась, что Аркаша захлебнется чаемъ или подавится булкой, или другой какой вредъ нанесетъ себѣ,—это казалось потому, что г-жа Карамелькова тревожно заглядывала въ ротъ мужу. Кромя

того, продолжая весело болтать съ гостемъ, она поднялась съ мѣста, стала позади стула любимаго человѣка и гладила его по головѣ, играя его рѣдкими волосами. Къ сожалѣнію, Бабочкинъ и на этотъ разъ грубо объяснилъ такое любовное обращеніе желаніемъ загладить вчерашнее впечатлѣніе, которое могло бы дать невыгодное понятіе о характерѣ взыскательной дамы. Про себя Бабочкинъ заключилъ обо всемъ этомъ крайне дерзко: „Какая, однако, черная кошка!“

Если Карамельковъ любилъ театральную жизнь, а общественныя обязанности ненавидѣлъ, то въ семьѣ онъ все дѣлалъ только на-показъ. Такимъ образомъ, въ театрѣ онъ былъ одинъ человѣкъ, въ камерѣ былъ другой человѣкъ, а у себя дома третій, и всѣ эти три человѣка нисколько не походили другъ на друга. Въ театрѣ онъ жилъ, въ камерѣ судьи мучился, въ семьѣ показывалъ видъ, что онъ доволенъ всѣмъ, хотя на самомъ дѣлѣ былъ совершенно равнодушенъ къ супругѣ.

Анна Петровна Карамелькова считала себя очень нервною дамой. Она была подозрительна, зла и вѣроломна, какъ вельзевулъ, и все это объясняла нервами. Лицо ея часто искажалось, глаза мучительно горѣли, и вызывалось это ничтожными пустяками, но нервной все-таки нельзя было ее называть. Правда, жизнь не улыбнулась ей свѣтлою улыбкой. Желая быть богатой, она должна была жить скромно; ей нужно было страстно любить, но она только жила съ мужемъ, который былъ безразличенъ для нея; умная отъ природы, она могла бы что-нибудь дѣлать, но въ дѣйствительности не имѣла въ жизни никакого дѣла. Благодаря этому, она сдѣлалась въ высшей степени раздражительной, по всякому поводу поднимая въ домѣ суматоху, скандалъ. Достаточно было мужу возразить ей въ какой-нибудь мелочи, какъ она выходила изъ себя, металась по комнатѣ, топала ногами. Тогда по всему дому раздавались ея нѣжныя слова въ сторону мужа: „негодяй!... дуракъ!... прочь!“... Вслѣдъ затѣмъ она дѣлалась больна. Моментально призывался докторъ, прислуга бѣжала въ аптеку, спальня оглашалась стонами. Всѣ ходили на цыпочкахъ.

И тогда, при началѣ сцены, Анна Петровна, вмѣсто брани, пускала въ мужа все, что попадалось въ ея дрожащія руки: въ сторону мужа дождемъ летѣли туалетныя стелянки, зуб-

Во время этих домашних происшествій Карамельковъ вель себя превосходно: онъ не возмущался. Напротивъ, онъ просилъ прощенія у жены, не сознавая за собой никакой вины. А когда жена ложилась въ постель, онъ самъ иногда скакалъ за докторомъ и въ аптеку, а по возвращеніи домой становился у изголовья больной и просиживалъ цѣлыя ночи у постели, въ то же время рѣшительно не вѣря въ болѣзнь. Онъ не вѣрилъ въ болѣзнь, но показывалъ видъ, что вѣритъ, мучился за исходъ и готовъ былъ отдать жизнь за выздоровленіе мнимоумирающей. Онъ тревожно выслушивалъ доктора, отводилъ послѣдняго въ смежную комнату и дрожащимъ шепотомъ спрашивалъ его: „Ну, какъ? не опасно?“... Тщательно слѣдилъ за правильностью приема лѣкарства и сердился, когда жена не хотѣла выпить какой-нибудь аптечной мерзости. Все это онъ продѣлывалъ искренно, для умиловленія жены; онъ даже ради этой цѣли и толстоватое лицо свое дѣлалъ сострадательнымъ.

Еслибы онъ не былъ ко всему равнодушенъ на свѣтѣ, то постарался бы занять жену какимъ-нибудь дѣломъ. „Заприте ее въ бочку съ водой!“—сказалъ однажды злобно докторъ на вопросъ Карамелькова, какое лѣкарство поможетъ ей?

Это были какіе-то картонные люди; жизнь ихъ стала такою лживою, что они даже не питали ненависти другъ къ другу,—точно они показывались на сценѣ. Жена устраивала искусственныя бури, а мужъ притворялся сострадательнымъ; жена любила бушевать на домашней сценѣ, а мужъ любилъ притворяться страшно испуганнымъ, и въ то время, какъ жена, сидя передъ зеркаломъ, подкрашивала увядающее лицо, мужъ, сидя за кулисами, помогалъ дѣлать луну изъ бумаги.

Бабочкинъ часа два просидѣлъ въ ихъ столовой, насмѣшливо наблюдая за всѣмъ происходящимъ, и странныя желанія явились въ немъ. Въ послѣднее время онъ вообще всюду дурчился, но здѣсь ему захотѣлось просто издѣваться. Карамельковъ все время молчалъ, и Бабочкинъ рѣшился при первомъ случаѣ дать ему щелчокъ по носу, но теперь его заинтересовала одна Карамелькова. Сначала онъ весело смѣялся въ отвѣтахъ, но малу-по-малу имъ овладѣло непреодолимое желаніе взбѣсить ее.

— Васъ единогласно здѣсь выбрали. Всѣ знаютъ вашу энергію, какъ общественнаго дѣятеля,—съ очаровательною улыбкой сказала, между прочимъ, хозяйка.

— Странное мнѣніе обо мнѣ!—возразилъ Бабочкинъ.

— Ну, что вы притворяетесь скромнымъ?

— Серьезно, повторяю — странное мнѣніе обо мнѣ!... Я, напротивъ, пріѣхалъ, чтобы ничего не дѣлать.

— Какъ! А общественная дѣятельность?

— А наплевать мнѣ на общественную дѣятельность!—возразилъ Бабочкинъ, открыто смотря на Карамелькову.

Послѣдняя также смотрѣла на него пристально, подозрѣвая какую-то заднюю мысль. Они съ минуту наблюдали другъ за другомъ.

— Вы, однако, оригинальны, — замѣтила неопредѣленно Карамелькова.

— Нѣтъ, я только не хочу быть фальшивымъ. Я просто говорю—наплевать! Зачѣмъ я буду притворяться? Зачѣмъ мнѣ притворяться добрымъ, когда я на самомъ дѣлѣ золъ? Зачѣмъ показывать видъ, что я люблю, когда на самомъ дѣлѣ я терпѣть не могу общественныхъ дѣлъ? Съ какой стати я, положимъ, буду раскрашивать лицо, когда на самомъ дѣлѣ оно сморщилось и пожелтѣло? Я положительно не вижу въ этомъ надобности.

Говоря это, Бабочкинъ продолжалъ смотрѣть въ упоръ. Пятна появились на лицѣ Карамельковой, но она сдержалась, бросивъ только знаменательный взглядъ въ сторону гостя, и вышла изъ комнаты подъ предлогомъ отдать какое-то приказаніе прислугѣ.

Бабочкинъ простился съ Карамельковымъ и пошелъ домой, въ полной увѣренности, что г-жа Карамелькова больше не захочетъ заигрывать съ нимъ. Но онъ все-таки былъ недоволенъ собой. Припоминая эти сутки, проведенныя у Карамельковыхъ, онъ чувствовалъ, какъ что-то темное овладѣваетъ имъ. Такіе люди, какъ Карамельковы, вызывали у него презрѣніе вообще къ людямъ; они нагоняли на него хандру, отвращеніе къ жизни и сгоняли улыбку съ его лица.

„Какая чертовка!“—со злостью думалъ онъ дорогой о Карамельковой и рѣшился больше не встрѣчаться съ ней.

Больше онъ дѣйствительно ни разу не заглядывалъ въ квартиру къ Карамелькову, но за то съ нимъ въ первое

секретарь раза два во время занятій безшумно входилъ и выходилъ изъ кабинета, дѣлая это такъ незамѣтно, какъ будто шмыгъ по полу. Вообще Бабочкинъ ввелъ у себя въ присутствіи образцовый порядокъ и требовалъ полной тишины,—только подъ этими условіями онъ могъ еще служить... Въ такой именно формѣ совершилась реакція въ немъ.

А еще недавно служба, которой онъ отдавался съ увлеченіемъ, доставляла ему значительную долю жизненнаго содержанія. „Присутствіе“ его тогда было освѣщено сѣрыми красками деревни, которая приходила къ нему за совѣтомъ, въ лицѣ ходяковъ; онъ тогда находилъ удовольствіе разговаривать съ темными людьми, помогать имъ совѣтами, хлопоталъ за нихъ; въ ту пору ему приходилось во главѣ черной толпы ходить по улицамъ города...

Но все это прошло. Онъ уже и въ томъ городѣ мало-помалу опускалъ руки, а когда явился сюда, то реакція уже совершилась въ немъ. О прежней своей дѣятельности онъ вспоминалъ съ недоувѣріемъ, какъ о чемъ-то забавномъ. „Наплевать!“—сдѣлалось формулой его настоящихъ понятій о службѣ. Не все-ли равно, будетъ онъ работать или нѣтъ? Наплевать!

Протянутся непрошенные руки, захватаютъ грязными пальцами его дѣятельность и забросаютъ по сорнымъ ямамъ всѣ его дѣла... Наплевать!

Подуетъ другой вѣтеръ, сорветъ съ корнемъ всѣ его временныя постройки и, пожалуй, собьетъ его самого... Наплевать!

Притворяться общественнымъ дѣтелемъ въ то время, когда и самое-то слово это ему стало подозрительнымъ и смѣшнымъ,—это пусть ужъ продѣлываютъ другіе, а ему — наплевать!

Онъ пришелъ къ тому выводу, что люди требуютъ и ждутъ отъ жизни только одного: веселья. Каждый человѣкъ только хочетъ играть. Начиная съ дѣтства, когда забавляются свистульками, продолжая зрѣлымъ возрастомъ, когда люди находятъ удовольствіе въ борьбѣ съ собой подобными, и кончая старостью, когда люди стараются въ воображеніи пережить всѣ прошедшія забавы,—вездѣ цѣлью существованія является игра... Пусть игроки считаютъ себя дѣтелями,—онъ узналъ цѣну ихъ дѣлу и ему—наплевать!

Таковыми приблизительно путями Бабочкинъ дошелъ до

полнѣйшаго отрицанія „службы“, „дѣлъ“, „дѣятельности“ и пр. Въ наболѣвшей душѣ его всѣ предметы показались въ обратномъ видѣ, жизнь перевернулась вверхъ дномъ, а люди обнаружили ему свою изнанку. Сообразно съ этимъ онъ и порядки у себя завелъ; требуя отъ своихъ служащихъ только поддержанія внѣшняго благообразія въ дѣлахъ, онъ приказалъ по возможности меньше дѣлать. Сначала этотъ курьезъ произвелъ недоумѣнне, — служащіе только пожимали плечами. Разбирая какія-нибудь бумаги, Бабочкинъ то и дѣло говорилъ: „Да бросьте вы ихъ къ чорту!“ Нѣсколько старыхъ дѣлъ онъ просто велѣлъ сжечь. „Вы сдѣлаете меньше вреда, если поменьше будете производить бумажнаго хлама!...“ Секретарь привыкъ, наконецъ, выслушивать отъ него обычную резолюцію: „Наплевать!“

Со дня его поступленія сюда въ качествѣ главнаго ответственного лица, дѣла почти прекратились; только самыя неизбѣжныя отправленія присутствія еще поддерживались.

Во всякомъ случаѣ, самъ Бабочкинъ на службѣ ничего не дѣлалъ; вся его обязанность состояла только въ томъ, что онъ просиживалъ положенное время, убивая его разными невинными занятіями: рисовалъ на бланкахъ каррикатуры, свистѣлъ или барабанилъ пальцами по крышкамъ „дѣлъ“, часто также читалъ газеты, въ особенности отдѣлъ дифомацій, а иногда сочинялъ замысловатыя пререканія съ другими „присутствіями“. Въ особенности дерзкими бумагами онъ доносилъ одного господина, служившаго въ другомъ казенномъ домѣ и вздумавшаго придраться къ какой-то мелочи, — доносилъ такъ сильно, что тотъ прислалъ просительное посланіе.

Бабочкинъ вдругъ этимъ заинтересовался. Онъ разспросилъ, кто такой этотъ господинъ. Секретарь далъ довольно оригинальныя свѣдѣнія о баринѣ. Фамилія его Шершневъ, въ городѣ его никто не любитъ — человѣкъ надоедливый, безпокойный, подкапывается подъ всѣхъ служащихъ, желаетъ выставить себя передъ начальствомъ исключительною ревностью. Пишетъ много доносовъ, но ведетъ такую таинственную жизнь, что его считаютъ заговорщикомъ... многіе его боятся.

Когда секретарь ушелъ, Бабочкинъ собрался, живо окончивъ всѣ дѣла и черезъ четверть часа стоялъ уже передъ крыльцомъ, на двери котораго прибита была дощечка съ надписью: «Дмитрій Дмитриевичъ Шершневъ».

на и сейчас куда-то скрылся, предоставив его самому. Впрочемъ, раздвѣваясь, Бабочкинъ видѣлъ, какъ изъ щели, выходящей въ переднюю, выглянуло чье-то лицо, скрылось, но немного спустя, изъ другой двери выглянуло другое лицо и также скрылось. Бабочкинъ повеселѣлъ, какъ колѣнникъ, попавшій въ среду товарищей. Онъ прошепталъ, въ приемную или то, что считалъ за приемную. Ему неприятно поразилъ какой-то запахъ, которымъ, казалось, опитаны были всѣ предметы въ домѣ; это бываетъ: еликія семейства, которые носятъ въ себѣ свой собственный характерный, хотя неопредѣлимый словами духъ, пропитывающій всѣ вещи.

Въ приемной также не было никого, но вдругъ изъ двухъ противоположныхъ дверей вышли два молодыхъ человека. Почти въ одинъ голосъ спросили: „Вы къ папашѣ?“ Бабочкинъ отрекомендовался, а молодые люди пригласили его съ собою. Въ одинъ голосъ сказали, что папаши нѣтъ, но онъ согласился уехать.

— Черезъ полчаса,—отвѣтилъ одинъ.

— Нѣтъ, черезъ три четверти часа, — возразилъ презрительно другой.

И оба заспорили по этому поводу. Одинъ увѣрялъ Бабочкина, что у брата всегда часы идутъ впередъ, а другой, наоборотъ, изывалъ, что у перваго отстаютъ. Они оба вынули часы и, смотря на нихъ, спорили, все болѣе и болѣе раздражаясь. Въ спорѣ Бабочкинъ, самъ не желая этого, узналъ, что съ брата жили у отца безъ дѣла, потому что нигдѣ не учились, нигдѣ не служили. Оба были сначала въ классической гимназій, гдѣ старшему отецъ подарилъ часы, оказавшіеся фальшивыми, идущими вѣчно впередъ, но оба съ третьяго класса перешли, поступивъ въ реальное училище, гдѣ отецъ подарилъ старшему также часы, которые съ перваго же дня шли назадъ, но потомъ съ четвертаго класса оба вышли и теперѣ живутъ дома, причемъ часы остались фальшивыми у обоихъ. Бабочкинъ смѣялся, не вмешиваясь въ распрю двухъ братьевъ, и живо оцѣнилъ ихъ. Старшій братъ, Иванъ Дмитріевичъ, былъ худой, рябой юноша; младшій, Петръ Дмитріевичъ, былъ краснощекій и толстолобый. Споръ, впрочемъ, скоро кончился и оба брата стали занимать гостя. Но разговору

ривалъ больше младшій, не смущаясь въ выборѣ темъ. Старшій братъ только безбожно курилъ папиросу за папиросою и сидѣлъ во время разговора въ густомъ облакѣ, — курилъ до хрипоты и смотрѣлъ вокругъ себя осовѣвшими глазами.

— Вы знаете, къ намъ пріѣхалъ циркъ?—сказалъ младшій братъ.

— Нѣтъ, не слыхалъ.

— Какъ же, пріѣхалъ. Мы нынче пойдемъ... А вы пойдете?

— Отчего же, пойду,—говорилъ въ тонъ Бабочкинъ.

— Такъ вы позвольте ужъ мнѣ взять для васъ билетъ.— Вы гдѣ живете? А, знаю, у Кирилина! Я приду вечеромъ и мы пойдемъ вмѣстѣ. Хорошо?

— Отлично!—согласился Бабочкинъ.

— А у насъ были недавно ученые собаки,—продолжалъ младшій братъ безъ перерыва и смущенія.

— Фокусникъ?

— Да, фокусникъ съ собаками. Удивительно, какъ выдрессированы! Такія штуки онъ продѣлывалъ съ ними, что просто удора! И недорого, билетъ въ первомъ ряду стоилъ рубль. Уѣхалъ, впрочемъ.

Младшій братъ на минуту остановился, а старшій продолжалъ дымить, хрюкая во время особенно сильныхъ затяжекъ. Младшій, однако, не унывалъ. Изъ прихожей показалась пушистая китайская кошка; неслышно ступая своими бархатными лапками, она плавно прошла по комнатѣ, прыгнула на кушетку и уже хотѣла поудобнѣе свернуться клубочкомъ.

— А знаете, это кошка вѣдь ученая! Вотъ всѣ говорятъ, что кошку нельзя выучить, а мы выучили. Забавная штука, она продѣлываетъ,—сказалъ младшій братъ и позвалъ къ себѣ кошку.

— Вотъ посмотрите, я покажу... Маруська!

Кошка медленно приподняла уши.

— Мышь!—вдругъ крикнулъ Петръ Дмитричъ.

Кошка прыгнула съ кушетки, выгнулась, мрачно сдвинула брови, поводя хвостомъ по полу,—словомъ, приняла позу нападенія, какъ будто почувствовала близость жертвы.

— Дура, пошелъ!—крикнулъ младшій Шершневъ, и кошка тихо поплелась.

— Видите, понимаетъ, — сказалъ довольнымъ тономъ бабесъ.

— И много такихъ штукъ она знаетъ? — спросилъ Бабочкинъ весело.

— Да, много. Да вы можете научить ее чему угодно, но только не прижимайте хвостъ.

— Отчего? — съ глубокимъ интересомъ спросилъ Бабочкинъ.

— Страсть не любить! Ужасно озлится! Вотъ посмотрите.

При этихъ словахъ младшій братъ взялъ кошку и нажалъ ей хвостъ. Моментально кошка выпрыгнула изъ рукъ Шершнева, какъ бѣшеная заметалась по комнатѣ и спряталась подъ диванъ, злобѣще ворча оттуда.

— Теперь ничѣмъ не вызовешь ее оттуда... Ужасно озлилась!

— Палкой можно выгнать, — глубокомысленно возразилъ старшій братъ.

— Ну, давайте выгонимъ.

И оба брата, взявъ по палкѣ изъ передней, нагнулись подъ диванъ и стали осторожно ширять туда палками. Бабочкинъ принялъ во всемъ этомъ живѣйшее участіе, также заглядывая подъ диванъ. Кошка страшно ворчала. Поднялся смѣхъ, крики въ комнатѣ.

— Что это вы тутъ дѣлаете? — вдругъ раздался безжизненный голосъ позади.

Бабочкинъ оглянулся и смущенно очутился лицомъ къ лицу съ самимъ хозяиномъ. Но смущеніе его продолжалось одно мгновеніе; когда онъ замѣтилъ неуклюжую, деревянную фигуру Шершнева, онъ быстро пришелъ въ себя, развязно отрекомендовался и принялъ видъ крайне легкомысленный.

Братъ ушли. Въ залѣ настала тишина. Гость ждалъ, когда заговорить хозяинъ, но хозяинъ въ недоумѣніи молчалъ. Онъ имѣлъ видъ алхимика, никогда не выдававшего вблизи людей, неразвязнаго въ обращеніи, неловкаго въ движеніяхъ и скучнаго въ разговорахъ, — одного изъ тѣхъ людей, которые вѣчно имѣютъ дѣла только съ нереальными вещами. Въ обыкновенной житейской сутолокѣ такой человѣкъ не знаетъ, куда ему дѣтъ руки и ноги и какъ лучше употребить ротъ и языкъ; если онъ захочетъ быть вѣжливымъ, то ноги засунетъ подъ стулъ, руки примется ломать и заговорить такъ нелѣпо, что потѣшитъ глупѣйшаго изъ людей.

Шершневу все это мучительно продѣлалъ, прежде чѣмъ заговорить: ноги убралъ подъ диванъ, руки сначала спряталъ въ панталоны, но торопливо вынулъ ихъ оттуда, понявъ всю несообразность такой захватской позы, и скрестилъ пальцы, которыми имѣлъ обыкновеніе хрустѣть.

— Давно изволили прибыть въ нашъ городъ?—спросилъ онъ, наконецъ, деревяннымъ тономъ.

— Нѣтъ, недавно,—возразилъ съ улыбкой Бабочкинъ.

— А прежде, позвольте спросить, гдѣ служили?

— Да я больше по выборамъ.

— И что же, по своему желанію удалились?—продолжалъ допрашивать Шершневу деревяннымъ голосомъ.

— Да, надоѣло, захотѣлось переменъ.

Помолчали. Шершневу мучительно хрустѣлъ пальцами, а Бабочкинъ злонамѣренно не желалъ помогать хозяину.

— А какъ вы... по вашему мнѣнію, смотрите на эти присутствія?—вдругъ спросилъ Шершневу.

— Да что-жь... учрежденія не вредныя,—возразилъ Бабочкинъ и засмѣялся. Онъ живо сообразилъ, что имѣетъ дѣло съ субъектомъ, который думаетъ только рубриками.

— А по-моему давно бы ужъ пора уничтожить ихъ,—возразилъ Шершневу глухо.

— Уничтожить? Пожалуй. Я совершенно съ вами согласенъ!

Шершневу съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на гостя.

— Да, давно бы пора ужъ, только мѣшаютъ,—прибавилъ Шершневу.

— Отлично!—подтвердилъ Бабочкинъ и привелъ этимъ въ полное замѣшательство деревяннаго человѣка.

Шершневу какъ-то нелѣпо уставился на своего гостя и не зная, что это такое? Хрустя пальцами, онъ потерялъ нить своей мысли и долго не въ состояніи былъ придти въ себя отъ замѣшательства, а Бабочкинъ открыто смотрѣлъ на него и смѣялся.

— А я знаю, о чемъ вы хотите еще спросить меня,—вдругъ обратился онъ къ Шершневу.

— О чемъ-съ?

— Вы хотѣли спросить меня, какъ я думаю вообще о земствѣ?

Шершневу дѣйствительно это хотѣлъ спросить. Поражен-

ный, онъ вперилъ въ Бабочкина неподвижный взглядъ и потеръ себѣ лобъ, какъ бы желая узнать, не во снѣ-ли все это.

— Дѣйствительно, я намѣренъ былъ объ этомъ...

— Да, я знаю. Мое мнѣніе о земствѣ? — продолжалъ дурачиться Бабочкинъ, — извольте. По-моему, прекрасная вещь. Главное, вся черная работа на немъ... Вѣдь не станемъ же мы, положимъ, съ вами мыть грязныя тарелки? Земство—это какъ бы прислуга въ господскомъ домѣ. Убирать соръ, выгребать помойныя ямы, чистить дворъ, держать все хозяйство и скотину въ благообразіи и порядкѣ—чего же лучше?... Я вижу, вы не согласны?

— Да, я не согласенъ, милостивый государь, — возразилъ Шершневъ, рѣшительно не понимая, чтѣ вокругъ него дѣлается.

— Я вижу, вы хотите уничтожить земство?... Согласенъ. Мнѣ наплевать! — возразилъ вдругъ Бабочкинъ и засмѣялся.

Шершневъ рѣшительно остолбенѣлъ. Онъ усиленно хрустѣлъ пальцами, тупо смотрѣлъ на гостя и не зналъ, обидѣться ему или продолжать разговоръ съ вертопрахомъ. Первое чувство одержало верхъ, и онъ строго сжалъ губы, желая показать, что онъ не любитъ шутокъ. Впрочемъ, онъ все-таки не понималъ, что такое ему говорить гость, — какой-то туманъ затмилъ его мысли.

Бабочкинъ замѣтилъ состояніе его, замѣтилъ, что тотъ сейчасъ озлобится, и перемѣнилъ разговоръ.

— А я здѣсь познакомился съ вашими дѣтьми—славные юноши... Гдѣ они учатся? — спросилъ онъ просто.

— Они у меня не учатся! — возразилъ Шершневъ съ дрожью въ голосѣ.

— Какъ! Такъ они уже кончили курсъ и служатъ?

Шершневъ сначала не могъ слова выговорить, такъ огоршилъ его этотъ вопросъ; потомъ онъ съ досадою проговорилъ:

— Убиваютъ они меня, милостивый государь!

И онъ вдругъ сталъ жаловаться на свою жизнь, на службу, на семью, прежде всего, на дѣтей.

— Откровенно вамъ скажу, повѣсы они у меня. Совсѣмъ отбились отъ рукъ, повѣсничаютъ и уже не слушаютъ меня... Были они у меня въ классической гимназій—выключили обо-

ихъ. Отдалъ я ихъ въ реальное училище—и оттуда выключили. Хотѣлъ, знаете, еще, чтобы они хоть курсъ уѣзднаго училища сдали,—не выдержали. Что мнѣ дѣлать? Сильно это меня огорчаетъ. На службу ихъ! Да повѣсь теперь такъ много, что мѣстъ не хватаетъ... Ну, и бьютъ баклуши. Пока рѣшилъ ничего не предпринимать. У отца, слава Богу, кусокъ хлѣба есть, пускай такъ живутъ, а тамъ надѣюсь пристроить.

— Позвольте вамъ предложить свои услуги—отдайте мнѣ ихъ?—серьезно сказалъ Бабочкинъ.

Шершневъ не понялъ и удивленно вперилъ глаза на гостя.

— То-есть это какъ? — спросилъ онъ недовольнымъ тономъ.

— Я попробую пристроить ихъ у себя въ присутствіи,—мѣсто найдется... — продолжалъ Бабочкинъ, самъ еще не зная, что изъ этого выйдетъ и къ чему онъ это говорить.

Но на Шершнева слова его произвели невыразимое дѣйствіе. Онъ вскочилъ съ мѣста со скоростью живого человѣка, а деревянное, застывшее лицо его одухотворилось множествомъ чувствъ: смущеніемъ, подозрительностью, но всего больше изумленіемъ.

— Seriously это вы предлагаете?—спросилъ онъ недоумчиво и съ дрожью въ голосъ.

— Помилуйте!—возразилъ Бабочкинъ.

— Да неужели моихъ повѣсь можно пристроить?!

— Отчего же нельзя?

Шершневъ съ минуту постоялъ въ недоумѣніи, потомъ вдругъ схватилъ руку Бабочкина и сжалъ ее въ своихъ костлявыхъ пальцахъ, потрясая ее изо всей мочи; все это такъ мало шло къ нему и дѣлалось такъ неуклюже, что Бабочкинъ нѣсколько попятился, боясь, что этотъ костлявый человѣкъ попытается обниматься. Это несчастье, однако, миновало его: хозяинъ ограничился словеснымъ выраженіемъ своихъ чувствъ.

— Вижу вашу доброту... благодарю! Отъ всего сердца!... Вѣрите, этого я не забуду! При первой возможности!—говорилъ съ волненіемъ Шершневъ и вдругъ опять принялся жаловаться.—Всюду я несчастливъ и до сихъ поръ былъ несчастною жертвой людской злобы. Многочисленные враги мои подкапываются подъ меня и ненавидятъ!.. Дѣти меня не

слушаются, отъ рукъ отбились, повѣсы!... А видить Богъ, я всѣмъ желаю добра... А главное, весь отдался на служеніе родинѣ и по мѣрѣ силъ работаю на пользу... А люди мстятъ мнѣ за это злобой! Не повѣрите, вы первый сдѣлали исключеніе... благодарю, благодарю отъ всей души!..

Шершневу снова ухватилъ Бабочкина своею скелетообразною рукой.

Въ эту минуту прислуга объявила о завтракѣ, и Шершневу потащилъ гостя въ столовую, несмотря на то, что тотъ упирался. Бабочкинъ поморщился: ему почему-то казалось, что въ этомъ домѣ и кушанья всѣ должны быть пропитаны особеннымъ характернымъ запахомъ. Но отступать было поздно, и онъ отправился вслѣдъ за хозяиномъ къ завтраку, гдѣ собралась уже вся семья: братья-балбесы, какая-то старая тетка ихъ, какой-то параличный дядя и г-жа Шершнева; всѣмъ этимъ лицамъ Бабочкинъ сейчасъ же былъ рекомендованъ.

За завтракомъ шелъ оживленный разговоръ о какой-то лошади, купленной за тысячу рублей какимъ-то бариномъ. Бабочкинъ молча прислушивался и наблюдалъ. Прежде всего, ему бросилось въ глаза, что на самого Шершнева, повидимому, никто не обращалъ вниманія; ему даже кофе подала г-жа Шершнева послѣ всѣхъ; что касается старой тетки и параличнаго дяди, то они бросали на него прямо косые и пренебрежительные взгляды. Шершневу, видимо, сознавалъ это и смирно сидѣлъ на заднемъ концѣ стола. Никто его не слушалъ, когда онъ пробовалъ вставить какое-нибудь слово, а сыновья-балбесы совершенно парализовали всѣ его попытки завязать разговоръ съ Бабочкинымъ, перебивая его въ самомъ началѣ. Отецъ безропотно умолялъ и принимался жевать свою порцію холодной телятины.

Только уже передъ концомъ завтрака ему удалось овладѣть вниманіемъ гостя. Повторивъ свои жалобы на многочисленныхъ враговъ и вообще на злобу людскую, онъ повторилъ также и свое увѣреніе во всегдашнемъ служеніи государственнымъ интересамъ, которые онъ, главнымъ образомъ, поддерживаетъ своими проектами, снабжая этимъ добромъ всѣ учрежденія.

— Какъ же, пишу, обдумываю,—сказалъ онъ на выраженное Бабочкинымъ удивленіе.—И сочту за честь ваше мнѣ-

ніе о моихъ планахъ... Смѣю сказать, что, вопреки моимъ врагамъ, ко мнѣніямъ моимъ неоднократно прислушивались высшія сферы...

Бабочкинъ кивнулъ головой, какъ бы говоря, что въ этомъ послѣднемъ онъ никогда не сомнѣвался.

— Да вотъ позвольте... одинъ проектъ и сейчасъ у меня приготовленъ... Я прочу его вамъ.

Бабочкинъ не ожидалъ такого непріятнаго поворота; онъ какъ-то завертѣлся на стулѣ и сталъ бормотать извиненія.

— Едва-ли сейчасъ я могу быть добросовѣстнымъ слушателемъ... невозможно по достоинству оцѣнить,—лепеталъ онъ.

— Ничего, проектъ мой небольшихъ размѣровъ,—продолжалъ Шершневъ снисходительно и уже вынулъ изъ бокового кармана тетрадь.

Бабочкинъ совсѣмъ перепугался и растерянно обводилъ глазами присутствующихъ, надѣясь въ комъ-нибудь изъ нихъ найти спасеніе отъ неминуемой скуки, но спасенія не было—семья о чемъ-то разговаривала.

— Я думаю все-таки, почтеннѣйшій Дмитрій Дмитричъ, отложить чтеніе.

— Зачѣмъ же? Лучше теперь же воспользоваться удовольствіемъ обмѣна мыслей,—продолжалъ радостно Шершневъ и уже разглаживалъ толстую тетрадь.

Бабочкинъ, внѣ себя отъ страха, рѣшился на отчаянное средство; онъ вдругъ вспомнилъ, что дома его ждетъ неотложное дѣло, что ему надо поторопиться и что онъ даже опоздалъ нѣсколько. Нескладно все это выговоривъ, онъ всталъ съ мѣста и на-скоро попрощался со всѣми; затѣмъ быстро сталъ удаляться въ прихожую, сопровождаемый Шершневымъ. Тамъ онъ торопливо одѣлся и еще разъ сталъ прощаться.

— Ну, какъ угодно, не смѣю задерживать... Проектъ мой...

Бабочкинъ былъ уже у дверей и еще разъ попрощался.

— Проектъ мой носитъ названіе: „О поднятіи культуры русскаго народа“.

Бабочкинъ вышелъ въ сѣни и сталъ спускаться съ лѣстницы, чувствуя уже значительное облегченіе. Шершневъ, стоя наверху, между тѣмъ, продолжалъ объясняться.

— Главная идея проекта заключается въ удобрѣніи навозомъ...

Бабочкинъ достигъ уже выходной двери и потому весело улыбался, какъ бы говоря: отличная идея!

Шершневъ, однако, поторопился еще разъ выяснитъ интересный проектъ, отчеканивая каждое слово такъ, какъ будто билъ палкой по забору.

— Главное же средство состоитъ въ общинномъ накопленіи удобрѣнія въ особо назначенныхъ мѣстахъ, наблюденіе за коими поручается особо выбраннымъ старостамъ...

Бабочкинъ уже стоялъ на улицѣ, но изъ вѣжливости не пустился сейчасъ же бѣжать, а оборотился лицомъ къ хозяину и утвердительно кивалъ головой, какъ бы говоря: великодушное средство!

Послѣ этого они разстались. Бабочкинъ медленно пошелъ по улицѣ, придумывая, куда ему еще сходить? На улицѣ палилъ невыносимый зной; тротуары и стѣны домовъ, казалось, раскались, какъ печи; пыль, поднимаемая горячимъ вѣтромъ, сплошными облаками носилась въ воздухѣ. Задышавъ, Бабочкинъ присѣлъ на скамейку возлѣ городского сада и безучастно принялся смотрѣть на улицу. Недалеко отъ него шла работа; десятка два человѣкъ ползали по улицѣ и стучали молотками, строя новую мостовую изъ булыжника. Работа у нихъ шла вяло; руки ихъ, казалось, опускались отъ усталости. Съ непокрытыми головами, въ одиѣхъ рубахахъ, они все-таки были мокры отъ пота. Бабочкинъ долго наблюдалъ за ними, а мысленно думалъ о себѣ. „Что такое веселье?... Вотъ они знаютъ этотъ секретъ... но, быть можетъ, ихъ секретъ только имъ и годится? Да и есть-ли въ дѣйствительности веселье, общее для всѣхъ?“ Бабочкинъ всталъ и тяжело двинулся домой.

— А я васъ догналъ,—вдругъ раздался голосъ молодого Шершнева.

Бабочкинъ обернулся, но продолжалъ идти.

— Вы ушли отъ проекта папаша?... Онъ такъ всѣмъ надѣдается... И какъ много онъ ихъ пишетъ—ужасъ! На той недѣлѣ онъ, напимѣръ, написалъ въ думу „О новомъ способѣ истребленія собакъ уличныхъ“...—Говоря это, повѣса скопировалъ деревянный голосъ отца и расхохотался, заставивъ разсмѣяться и Бабочкина.

— Такъ пойдете въ циркъ? Я сейчасъ побѣгу достать вамъ билетъ... Хорошо?

Бабочкинъ согласился. Онъ зналъ, что странствующій балаганъ, изображающій циркъ, гдѣ потѣшаютъ публичку нѣсколько оборванныхъ клоуновъ, двѣ грязныя наѣздицы, одѣтыя въ поношенное трико, и разбитыя на всѣ ноги клячи, захромавшія на службѣ искусству, можетъ только привести въ уныніе, но все-таки онъ не хотѣлъ пропускать случая убить время. Петя Шершневъ побѣждалъ за билетами, но на прощанье далъ ему совѣтъ—какъ можно дольше избѣгать встрѣчи съ отцомъ, который непременно хочетъ ему, Бабочкину, прочитать всѣ свои проекты. „А ихъ множество—страсть сколько!“—прибавилъ повѣса.

— Папашѣ вы ужасно понравились, и онъ къ вамъ завтра нагрянетъ!—кричалъ уже издали младшій Шершневъ и хотѣлъ на всю улицу.

Между тѣмъ, Шершневъ-отецъ дѣйствительно рѣшился завтра же посвятить своего новаго знакомаго во всѣ свои планы, потому что Бабочкинъ дѣйствительно ему понравился, даже больше—новый знакомый просто очаровалъ его своею добротою. Это было необычайно для Шершнева.

До сихъ поръ онъ жилъ въ вынужденномъ уединеніи, ненавидимый всѣми людьми; никто и никогда не былъ добръ съ нимъ. Онъ не имѣлъ въ городѣ не только друзей, но и хорошихъ знакомыхъ. Ъздили многіе въ его домъ, но собственно не къ нему, а къ его женѣ, извѣстной участницѣ въ разныхъ филантропическихъ затѣяхъ. Онъ же былъ въ сторонѣ. Товарищи по службѣ избѣгали его, игнорируя его существованіе, подчиненные боялись его, ненавидя, а высшіе держали его въ отдаленіи. Но всѣмъ вообще онъ надобѣлъ своею несчастною страстью во все вмѣшиваться и своими безчисленными проектами.

Теперь, встрѣтивъ незлобиваго человѣка, который на первыхъ же порахъ изъясилъ согласіе и готовность пристроить его „балбесовъ“, онъ былъ сильно взволнованъ и забылъ даже на время всѣ свои прожекты. По уходѣ Бабочкина, онъ удалился къ себѣ въ кабинетъ, сѣлъ на обычное мѣсто, но не хрустѣлъ пальцами и не сочинялъ въ головѣ какой-нибудь ехидной каверзы противъ враговъ; вопреки всѣмъ своимъ привычкамъ, онъ задумался теперь надъ всею своею жизнью;

іствіе. Никогда съ нимъ этого не было.

До этого времени онъ проводилъ только однообразную жизнь. Рано поступивъ на службу, онъ тамъ же и въ форму казеннаго человѣка, что уже давно привыкъ жить. Но человѣкъ все-таки не умеръ въ немъ, и въ бытъ и требовалъ себѣ жертвы... Человѣкъ этотъ появился въ Шершневъ, но уже не тамъ, гдѣ слѣдуетъ. Въ томъ видѣ, въ какомъ онъ являлся у людей. Пока онъ въ формѣ зудливаго прожектора, въ видѣ бумагаго необразователя.

Сначала зудъ прожекторства овладѣлъ Шершневымъ въ видѣ личнаго приноса. Отталкиваемый товарищами за свое пролазничество, ненавидимый подчиненными за суетливость и пренебрегаемый начальствомъ за свой спокойный духъ, Шершневъ написалъ нѣсколько проектовъ только, чтобы податься впередъ по службѣ, при этомъ ожидая, что тогда подчиненные его устроятъ ему прикуску языки, а начальство благосклонно кивнетъ ему головой, но когда ничего этого не вышло, Шершневъ по злобѣ на всѣхъ людей сталъ писать проекты, и такъ часто трудно было отличить отъ доносовъ. Чуть обидѣлъ его, онъ уже глядь—составилъ проектъ объ уничтоженіи того самаго учрежденія, гдѣ сидитъ его въ. Иногда же въ самый текстъ проекта онъ ухитрялся, въ рамку, вставить своего врага, въ видѣ примѣра негоднаго существующаго порядка.

Благодаря такому происхожденію его страсти къ проектамъ, самый процессъ его творчества требовалъ особыхъ условій для своего проявленія. Обыкновенный изобрѣтатель въ время своего творческаго процесса уничтожаетъ въ себѣ всѣ суетныя мысли, всѣ человѣческія обиды, всѣ пусканыя обыденной жизни, чтобы быть спокойнымъ, правдивымъ и справедливымъ средникомъ между Богомъ вдохновенія и людьми. Шершневъ же поступалъ обратно; онъ садился сочинять проектъ только, когда на него нападало яростное состояніе и въ его груди пожегъ огонь мести; словомъ, чтобы приняться за сочиненіе проекта, для Шершнева требовался врагъ, котораго онъ выругалъ бы его, обидѣлъ, обозлилъ. Посреди глубокой

при свѣтѣ лишь лампы съ темнымъ абажуромъ, Шершневу ходилъ по своей комнатѣ, шлепая туфлями по полу, и возбуждалъ въ себѣ вдохновеніе воспоминаніемъ наружности враговъ; если въ день писанія никто не обидѣлъ его, онъ искусственно подогрѣвалъ въ себѣ яростное вдохновеніе, устроивъ воображаемую стычку съ однимъ изъ знакомыхъ людей.

Время, однако, шло. Страсть разгоралась, принимая все болѣе и болѣе благородныя формы. Напрасно подруга Шершнева обвиняла его въ корыстолюбіи. Современемъ онъ сталъ писать проекты уже безъ всякихъ личныхъ цѣлей, безъ упоминанія враговъ, безъ жажды мести. Только ярость осталась, но эту ярость онъ могъ уже вызывать по произволу, когда угодно и въ какихъ угодно количествахъ.

Написавъ свой проектъ, спасавшій какую-нибудь часть Россіи отъ конечной гибели, Шершневу уже равнодушно отсылалъ его въ надлежащее мѣсто; тамъ его обыкновенно бросали въ каминъ, въ рѣдкихъ случаяхъ принимая на свой счетъ пересылку его обратно къ сочинителю. Но это Шершнева не смущало; едва успѣютъ бросить одинъ его проектъ въ каминъ, какъ уже у него готовъ другой. Съ теченіемъ времени въ одномъ изъ угловъ комнаты его (куда рѣдко кто заглядывалъ) была навалена на особомъ столѣ цѣлая груда тетрадей; однѣ изъ нихъ были еще бѣлыя, другія рыжія, третьи совсѣмъ почернѣлыя, но всѣ вообще были скрыты подъ толстымъ слоемъ пыли, которую никто не сметалъ. Иногда у Шершнева являлись археологическія желанія пересмотрѣть снова свои труды, тогда отъ проектовъ поднимались облака ѣдкой пыли.

Но это рѣдко бывало. По большей части Шершневу забывалъ свои реформы, вѣчно обдумывая новыя, отчего нѣкоторыя вещи въ разныхъ проектахъ онъ нѣсколько разъ уничтожалъ, снова возобновлялъ и опять уничтожалъ, не замѣчая противорѣчій, забывая свои идеи.

Были-ли у него идеи Преобладающій характеръ всѣхъ его созданій былъ такой странный, что трудно примириться съ его возможностью. Дѣло въ томъ, что какой бы проектъ ни сочинялъ Шершневу, это непременно было истребленіе. Голова его была такъ устроена, что онъ въ силахъ былъ проектировать только какую-нибудь ломку, искорененіе, погромъ

и одинъ начальникъ, презрительно тыкая пальцемъ въ оди-
нъ уголокъ, объяснилъ ему это, то онъ и самъ впалъ въ раздум-
е. послѣ того онъ пробовалъ сочинить дѣйствительно что-ни-
будь новое, но, кромѣ безсильныхъ и мучительныхъ потугъ
ничего не выходило. Иногда приметя за проектированіе (с-
вердымъ намѣреніемъ сотворить нѣчто, но смотреть—истре-
пать цѣлый уголокъ Россіи безъ остатка. Сколько бы онъ и
любилъ людей и вещей, если бы хоть меньшая часть прое-
кта его была осуществлена! Съ фантазіей бѣдной и иска-
женной, онъ страстно желалъ помочь погибающимъ людямъ
и умъ его, воспитанный на созерцаніи разбитыхъ жизни
особенъ былъ изобрѣсти только новыя орудія ломки и по-
лома; онъ хотѣлъ дать счастье людямъ, но могъ придума-
ть только чудовищныя искаженія жизни.

Эта дѣятельность не принесла ему счастья. Всѣ его нена-
видѣли. А въ семьѣ онъ еще болѣе былъ несчастливъ; тутъ
онъ никакимъ авторитетомъ не пользовался. Супруга его
съ самаго дня женитьбы ихъ, дала ему кличку „непопыря-
мая“ этимъ выразить мрачную жизнь его; дѣти нисколько
не уважали его, насмѣхаясь надъ нимъ въ глаза и называ-
ли его „папахень“. Даже тѣ приживалки-родственники, которые
онъ кормилъ, постоянно бунтовали противъ него, громко с-
лѣдствія его въ тиранствѣ. Понимая это, прислуга также
отдала къ нему ни малѣйшаго уваженія, игнорируя его пр-
казанія.

Бывали минуты, когда ему хотѣлось обласкать кого-нибу-
дь своихъ и получить отъ нихъ ласку, но всѣ его отпе-
вали отъ себя, выводили его изъ терпѣнія и принужда-
ли его ретироваться въ свой уголокъ. Оскорбленный однажды ба-
бками, онъ удалился въ свой кабинетъ и въ яростномъ не-
удовольствіи сочинилъ противъ нихъ проектъ „Объ отдачѣ
имѣній нигдѣ не кончившихъ курса и не повинующихъ
администраціи молодыхъ людей“.

Но стоило только Бабочкину бросить нѣсколько словъ у-
тѣшенія, чтобы перевернуть все настроеніе его. Пораженный
обратой незнакомаго человѣка, онъ, послѣ его ухода, вдру-
га первые оглянулся вокругъ себя. Онъ сперва оглянулъ св-
ѣтъ обстановку. Это была запыленная комната, съ затхлымъ в-
оздухомъ.

вотъ что онъ увидѣлъ.

Взволнованный, онъ рѣшился выйти отсюда; его потянуло изъ мертваго кабинета, на улицу; ему пришло желаніе гулять, чего онъ давно не дѣлалъ. Пройдя улицу, онъ вышелъ на бульваръ и очутился среди многочисленной толпы, отъ которой, однако, сторонился. Онъ какъ будто въ первый разъ замѣтилъ людей; замѣтилъ также, къ своему удивленію, что они разговариваютъ, смѣются, хохочутъ, двигаются, продѣлывая и другіе странные поступки. Ему, бумажному человѣку, что-то вдругъ неловко стало, совѣстно среди толпы.

Пройдя бульваръ, онъ вошелъ въ садъ и опять-было попалъ въ густую толпу гуляющихъ, но поторопился выбраться изъ нея. Ему даже показалось, что одинъ господинъ пристально смотритъ на него, явно слѣдитъ за его движеніями, быть можетъ, намѣревается совершить на него покушеніе дѣйствіемъ. Испуганный этимъ подозрѣніемъ, онъ торопливо свернулъ въ боковую аллею и удалился въ самый темный уголъ сада; тамъ онъ чувствовалъ себя въ полной безопасности отъ людей, которыхъ онъ, по своему образу и подобию, представлялъ злыми и мстительными. Широкія вѣтви клена простерлись надъ нимъ; въ кустахъ пѣла малиновка; издалека слышался людской говоръ. Миръ снизошелъ на этого одичавшаго человѣка.

Поздно вечеромъ онъ возвращался домой, умиротворенный прогулкой на свѣжемъ воздухѣ. Онъ былъ до того развѣженъ, что ему хотѣлось совершить какое-нибудь доброе дѣло. На дорогѣ ему попался нищій; Шершневъ взглянулъ на него, а нищій машинально протянулъ руку, заученнымъ тономъ пропѣвъ просьбу. Тогда Шершневъ торопливо и съ волненіемъ вынулъ изъ кармана три копѣйки и толкнулъ монету въ руку нищему.

— На, вотъ тебѣ, на! — сказалъ онъ и еще разъ донесъ монету нищему, какъ бы боясь, чтобы она не упала на землю. — Да смотри, не пропей! — добавилъ онъ сурово.

Нищій поблагодарилъ заученными словами.

— Не пропьешь, а? — спросилъ еще Шершневъ подозрительно, вполне увѣренный, что такой огромной суммы никто не давалъ старику.

— Ну, смотри же, въ кабакъ не заходи!—повторилъ еще разъ на прощанье взволнованный Шершневъ.

— Есть чего тутъ пропивать!—пробормоталъ нищій, когда удалился на почтительное разстояніе.

На слѣдующій день Шершневъ отправился къ Бабочкину отдать визитъ, да кстати приготовить этому другу случай насладиться слушаніемъ его проекта. Онъ былъ въ томъ же спокойномъ, легкомъ настроеніи. Но его ждала въ квартирѣ Бабочкина неожиданная встрѣча.

Едва онъ вошелъ въ домъ, какъ былъ удивленъ знакомымъ голосомъ его сыновей. Дѣйствительно, проведенный Семейномъ, онъ увидѣлъ соблазнительную картину: самъ Бабочкинъ безъ куртуха валялся на диванѣ; младшій балбесъ сидѣлъ возлѣ него, но верхомъ на стулѣ и сильно хохоталъ; старшій же балбесъ, погруженный въ мягкое кресло, не былъ видимъ, давая знать о своемъ присутствіи только густымъ облакомъ дыма, стоявшаго надъ кресломъ. На столѣ валялись нѣсколько бутылокъ и остатки закусокъ. Повидимому, компаніи было весело. Но при появленіи Шершнева-отца произошло небольшое смѣненіе. Бабочкинъ живо натянулъ куртку, младшій Шершневъ пересталъ хохотать, а старшій—дымить.

— Вы здѣсь ужъ! — съ изумленіемъ воскликнулъ отецъ, обращаясь къ дѣтямъ.

За нихъ поспѣшили отвѣтить Бабочкины:

— Мы вчера вмѣстѣ были въ циркѣ, нынче вмѣстѣ проводили вечеръ... Прошу садиться.

Шершневы-сыновья удалились, но не совсѣмъ, а въ другія комнаты, которыя имъ, очевидно, уже были хорошо знакомы, — удалились затѣмъ, чтобы выждать, когда уйдетъ „папахень“.

Послѣдній машинально вынулъ изъ кармана свою рукопись, но медлилъ предложить чтеніе ея. Бабочкинъ же, завидя эту непріятную вещь, поспѣшно сталъ обороняться чѣмъ попало. Онъ увѣрялъ, что ему и некогда, и не въ состояніи онъ слушать внимательно, и, наконецъ, онъ прямо указалъ на пустыя бутылки, какъ на послѣдній аргументъ невозможности серьезно углубиться.

— Да знаете, міръ не погибнетъ, если мы немного помед-

лимъ читать вашъ проектъ, несомнѣнно важный, — кончилъ Бабочкинъ.

Шершневу не обидѣлся.

— Ну, ничего, мы въ другой разъ соберемся, — сказалъ онъ, спряталъ тетрадь въ карманъ и больше не упоминалъ о ней, въ первый разъ понявъ, что можно людямъ и не надѣяться.

Посидѣвъ нѣсколько минутъ молча, онъ сталъ хрустѣть пальцами и собрался уходить — говорить ему было нечего.

— Неужели ушелъ папахень?! — въ одинъ голосъ сказали балбесы и опять приняли болѣе или менѣе непринужденныя позы.

Съ этого дня они все время проводили у Бабочкина. Последнѣй скоро совершенно завладѣлъ ими. Устраивая съ ними всевозможныя прогулки, катанье на лодкѣ, охоты, рыбную ловлю, онъ, въ то же время, держалъ ихъ въ уздѣ. Отъ нечего дѣлать, онъ сталъ съ обоими заниматься, чтобы куда-нибудь ихъ приготовить, но успѣлъ только отчасти. Младшій братъ оказался неисправимымъ повѣсой и ничего не хотѣлъ дѣлать, но за то старшій братъ, Вася, сталъ учиться такъ же серьезно и сосредоточенно, какъ онъ курилъ.

Все это Бабочкинъ дѣлалъ отъ скуки, такъ, чтобы убить время. Кромѣ того, онъ не оставался одинъ въ квартирѣ, а оставаясь съ глазу на глазъ съ собой ему нельзя было, — темное безпокойство овладѣвало имъ тогда.

Къ этой компаніи скоро присоединились еще нѣсколько человѣкъ, но уже не такихъ невинныхъ, вслѣдствіе чего самый характеръ квартиры Бабочкина измѣнился.

V.

Однажды, въ минуту сознанія полной своей пустоты, Бабочкинъ бросился изъ дому и рыскалъ по городу до самаго вечера, отыскивая приключеній или хоть самозабвенія. Человѣкъ порывовъ, сильный, здоровый, онъ теперь не могъ дня пробыть у себя дома и не въ состояннн былъ усидѣть. Когда во время бури экипажъ судна выбрасываетъ въ волнуемое море все, что имѣетъ тяжесть, когда швыряются за бортъ мѣшки съ золотомъ и тюки съ шелковыми тканями, то люди этимъ послѣднимъ средствомъ надѣются спасти

себя и судно, разбиваемое волнами, но рѣдко отчаянное средство приносить спасеніе; обезумѣвшіе люди бросаютъ вѣстѣ съ лишнею тяжестью и весь балластъ; судно дѣлается легкимъ, но въ высшей степени неустойчивымъ... Бабочкинъ также все выбросилъ за бортъ—воспоминанія, иллюзіи, мысли о погибшихъ родныхъ, все прошлое, но въ порывѣ спасти себя онъ, въ то же время, выбросилъ и все то, что даетъ жизненное равновѣсіе — „дѣла“, трудъ, обязанности, дѣли; отъ этой операціи ему сдѣлалось сначала легко; „наплевать!“—это, повидимому, весело говорится; пустота мысли и легкомысліе, повидимому, должны облегчать жизненный гнетъ, но Бабочкинъ скоро испыталъ, что это значить. Чѣмъ больше онъ опорожнялся, чѣмъ больше швырялъ за бортъ мыслей, казавшихся лишними и бесполезно тяжелыми, тѣмъ онъ все больше и больше терялъ равновѣсіе. Чѣмъ сильнѣе онъ жаждалъ веселья, тѣмъ мрачнѣе у него становилось на душѣ.

И онъ сталъ „игралищемъ судьбы“.

Сильный, съ дѣятельными нервами, организмъ его требовалъ непрерывной работы, а мысль его была отравлена, и яв во что ему не вѣрилось, и на все онъ наплевалъ, лишь бы удержаться на поверхности жизни. Буря пустила ко дну всѣхъ его близкихъ и любимыхъ, разбила и въ немъ всякую вѣру, но жизни не отняла у него. Оставшись одинъ послѣ крушенія, онъ, попрежнему, чувствовалъ жажду жить. Но куда дѣтъ это здоровое тѣло, эти энергичные нервы? Такъ, куда-нибудь, лишь бы повеселѣе было.

Но веселья онъ не находилъ. Въ этотъ день онъ шлялся по улицамъ, побывалъ въ двухъ ресторанахъ, заглядывалъ даже въ кабани, хотя удерживался входить въ нихъ. Бѣгая такъ, онъ вдругъ вспомнилъ того банковскаго дѣльца, съ которымъ познакомился въ театрѣ. „Развѣ пойти?“ Правда, дѣлецъ этотъ съ самаго же начала показался ему какимъ-то нечистоплотнымъ, но въ его рукахъ былъ весь городъ, а въ его домѣ съ утра до ночи толпился народъ.

Въ домѣ Михаила Ивановича Раскатова ежедневно происходила кормежка людей, нужныхъ для великаго дѣльца; домъ этотъ былъ въ нѣкоторомъ родѣ публичнымъ мѣстомъ, гдѣ люди всѣхъ классовъ кланялись золотому идолу. Директоръ банка, предсѣдатель многихъ обществъ (въ томъ чис-

гостинную не даромъ: для него вездѣ нужны были руки и услужливыя головы. Безпредѣльно хищный, онъ умѣлъ заинтересовать въ личныхъ своихъ дѣлахъ всѣхъ, кто только жилъ въ городѣ. Людей знатныхъ онъ просто подкупалъ огромными операціями, всыпая въ ихъ карманы бѣшеные капиталы; людей помельче подкупалъ деньгами и мѣстами, а людей совсѣмъ ненужныхъ только кормилъ въ ожиданіи того случая, когда ими можно будетъ воспользоваться. Онъ былъ грубъ и циниченъ, но никто не обращалъ на это вниманія. Ежедневно чуть не съ двѣнадцати часовъ къ его крыльцу подѣзжали гости всевозможныхъ ранговъ и положеній и до самаго вечера топились въ богатыхъ комнатахъ за картами, за столами, уставленными винами. Продажа людьми своей чести совершалась здѣсь оптомъ и въ розницу. Это была благодарная для Михаила Ивановича почва—фигтивные займодавцы, фиктивные должники банка, жесви-дѣтели и просто лгуны, — всякаго рода полезныхъ людей здѣсь было довольно.

Бабочкинъ зналъ, куда идетъ, и говорилъ себѣ, что онъ не долженъ туда идти, но все-таки пошелъ.

Михаилъ Ивановичъ встрѣтилъ его какъ стараго знакомаго.

— А, наконецъ, пожаловали!... А ужъ я думалъ, что вы пренебрегаете нами, грѣшными... Не годится это! „Не плюй въ колодезь—пригодится напиться“, говорить русская по-словица... Ха, ха!

Михаилъ Ивановичъ, говоря это, самодовольно смѣялся.

— Едва-ли я у васъ попрошу напиться,—возразилъ Бабочкинъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? Интересно. Конечно, есть люди равнодушные къ презрѣнному металлу, но...—и Михаилъ Ивановичъ иронически посмотрѣлъ на гостя.

— А знаете, по городу ходятъ слухи, что вашъ банкъ скоро закроютъ?—сказалъ равнодушно Бабочкинъ и наблюдалъ, какое дѣйствіе произведетъ его небрежное замѣчаніе. Дѣйствіе было сильное: Михаилъ Ивановичъ покраснѣлъ, глаза его злобно засверкали, вся огромная фигура его заколыхалась, но чтобы замаскировать свое волненіе, онъ

принялся громко хохотать. И хохоть его похожь былъ на
рожь.

— Шутникъ вы какой!... Нашъ банкъ такъ же твердо
стоитъ, какъ вотъ я сижу здѣсь...—и Раскатовъ еще разъ
захохоталъ, но его завертѣвшіеся глаза избѣгали смотрѣть
на глаза Бабочкина.

Послѣдній былъ доволенъ.

— Пойдемте лучше, пропустимъ малую толику чего-ни-
будь успокоительнаго... Вы у меня обѣдаете—это рѣшено...
А пока я васъ познакомлю съ своими друзьями.

Михаилъ Ивановичъ взялъ Бабочкина за талию и повелъ
въ столовую; это была извѣстная всему городу комната,
гдѣ происходила кормежка. Тамъ уже прохлаждалось съ де-
сятокъ незнакомыхъ Бабочкину людей; тутъ былъ какой-то
докторъ, какой-то адвокатъ,—Бабочкину всѣхъ представили.

Обѣдъ ожидался черезъ полчаса. Предварительно же гости
закусывали, пили, смѣялись. Бабочкинъ съ нѣмымъ любо-
пытствомъ наблюдалъ разношерстную компанію и живо ориен-
тировался; кромѣ доктора и адвоката, онъ въ особенности
обратилъ вниманіе на двугъ господъ. Одинъ былъ блѣдный,
съ изящными манерами баринъ; другой былъ красный и съ
манерами деревенскаго парня. Перваго звали Сѣрецкій, вто-
рого—Кудластовъ. Но Сѣрецкій много говорилъ, а Кудла-
стовъ больше молчалъ.

Полчаса быстро прошли и обѣдъ начался. Къ этому вре-
мени компанія увеличилась еще лицами пятью, такъ что
столъ былъ весь занятъ. Женщина была только одна—сама
хозяйка, но она такъ терялась среди возбужденной, гоготав-
шей компаніи, что только ближайшій сосѣдъ говорилъ съ
ней. Въ столовой стоялъ шумъ, смѣхъ, звонъ. Бабочкинъ
сѣлъ по правую руку Сѣрецкаго, по лѣвую—Кудластова;
послѣдній, впрочемъ, больше молчалъ. Самъ хозяинъ молча
сѣлъ, весь погруженный въ свое занятіе—обѣдъ, который
приготовленъ былъ невкусно.

— Вы хотѣли посмотреть на эти кормежки? Теперь вы
видите. Какъ вамъ онѣ нравятся?—спросилъ Сѣрецкій, уже
успѣвшій охарактеризовать Бабочкину всѣхъ присутствую-
щихъ. Говорилъ онъ холодно, зло, но не злобно, какъ буд-
то только для возбужденія аппетита. Бабочкинъ сейчас же
понялъ, что говорить съ человѣкомъ, опытнымъ въ злосло-

вторилъ ему.

— Миѣ кажется, что сейчасъ подадутъ на столъ быка, а на середину комнаты выкатятъ бочку водки,—возразилъ Бабочкинъ весело.

— Вотъ видите... вы поняли характеръ кормежки. Здѣсь заботятся только чтобы упитать до отвала... Но обратитъ вниманіе на самого хозяина,—предложилъ вполголоса Сырецкій.

— Я его вижу...

— Что вы видите?

— Онъ кушаетъ...—отвѣчалъ Бабочкинъ.

— То-есть жретъ, хотите вы сказать?

— Дѣйствительно, куски онъ глотаетъ нѣсколько больше обыкновенныхъ.

— Въ этомъ весь онъ,—продолжалъ Сырецкій.—Онъ безмолвно жретъ, глотая въ одно мгновеніе куски, которые можно съѣсть только въ полчаса, и ломая зубами кости этого гуся съ такою силой, съ какой можетъ только машина работать... Онъ миѣ напоминаетъ удава. Я думаю, что онъ проглотилъ бы заразъ весь этотъ ростбифъ... Но вы не повѣрите, если я скажу, что онъ можетъ проглотить все, что здѣсь на столѣ,—пищу, посуду, скатерть, ножъ, вазу съ цвѣтами...

— Признаюсь, это довольно трудно представить, — отвѣтилъ тѣмъ же тономъ Бабочкинъ.

— Величайшій обжора, какого я когда-либо знавалъ,—продолжалъ Сырецкій тѣмъ же ровнымъ, холоднымъ тономъ.—Главное, онъ не разбираетъ, что жретъ. Теперь онъ, обратитъ вниманіе, подѣлъ на вилку кусокъ рябчика, но сегодня же еще вечеромъ онъ подѣлетъ на вилку сто велячковъ и проглотитъ ихъ... Онъ уже сожралъ городскую упряву, проглотилъ больше сотни имѣній въ здѣшней губерніи, и, я думаю, ему ничего не стоитъ проглотить миллионъ на роду... А что касается тонкихъ вещей, какъ изящество въ жизни, честь, добро, то такія вещи онъ глотаетъ, не замѣчая этого. Ему нужно что-нибудь осязательное, чтобы онъ чувствовалъ на зубахъ нѣчто... И все онъ дѣлаетъ, какъ настоящій удавъ... Интересно бы знать, о чемъ онъ сейчасъ думаетъ?

— Вѣроятно, о той половинѣ рябчика, которую онъ положилъ себѣ на тарелку,—сказалъ Бабочкинъ.

— Къ сожалѣнію, я съ вами не согласенъ. Потому что прежде нежели онъ успѣлъ подумать, эта половина рябчика уже исчезнетъ... Хотите я въ нѣсколькихъ словахъ опишу это чудовище?

— Сдѣлайте одолженіе...

— Но прежде взгляните, гдѣ половина рябчика?

— Дѣйствительно, ея ужъ нѣтъ!—возразилъ Бабочкинъ, на этотъ разъ непритворно изумляясь аппетиту хозяина.

— Теперь позвольте, я расскажу вамъ его жизнь. Эта огромная машина требуетъ себѣ огромнаго содержанія. Утромъ онъ сѣдаетъ двѣ французскія булки и двухъ акціонеровъ; за завтракомъ—два фунта биштекса и нѣсколько заложённыхъ имѣній; за обѣдомъ онъ уничтожаетъ все то, что здѣсь было и чего уже нѣтъ. Затѣмъ онъ спитъ три часа, спитъ такъ, какъ хорошо покушавшій удавъ. Вечеромъ онъ ѣдетъ къ одной изъ своихъ безчисленныхъ подругъ, ежедневное свиданіе съ которыми необходимо для его чудовищнаго организма; затѣмъ онъ ужинаетъ вдовицами и сельскими попами, запивая страшнымъ количествомъ вина, и окончательно засыпаетъ. Вотъ его день. Откровенно говорю, глядя на него, мнѣ хочется кончить свою жизнь самоубійствомъ.

— Это почему?—смѣялся Бабочкинъ.

Сѣрецкій помолчалъ, тщательно осмотрѣлъ и попробовалъ поданное вино и потомъ продолжалъ:

— Вы когда-нибудь встрѣчали человѣка, при взглядѣ на котораго вамъ вдругъ дѣлалось мрачно?

— Быть можетъ...

— Для меня такой человѣкъ—вотъ онъ... Когда я смотрю на него, то, мнѣ кажется, міръ темнѣетъ, какъ адъ, но когда я думаю о немъ, мнѣ хочется умереть... Вы понимаете связь между этимъ обжорой и моимъ желаніемъ самоубійства?—спросилъ вдругъ Сѣрецкій холодно.

— Признаюсь, не совсѣмъ, — возразилъ Бабочкинъ съ дѣйствительнымъ интересомъ.

— Видите-ли, меня называютъ пессимистомъ... Я дѣйствительно вѣрю, что солнце потухнетъ, и наша крошка земля погибнетъ, какъ дитя, брошенное на улицу... и жизнь прекратится. Но этотъ выводъ еще не убиваетъ желанія жить.

Когда же я смотрю вотъ на этого человѣка, я спрашиваю себя: зачѣмъ быть человѣкомъ? Когда я обдумываю всю его прожорливую жизнь, я думаю: зачѣмъ намъ говорить о добрѣ? Если есть и живутъ весело такіе, какъ этотъ, то не глупцы-ли всѣ остальные, добрые, гуманные? Если такая распутная жизнь, какъ у этого хищника, идетъ весело, то не глупѣйшія-ли иллюзіи всѣ наши понятія прекраснаго и чистаго? Понимаете теперь?

— Совершенно понимаю, — сказалъ Бабочкинъ и внезапно перемѣнился въ лицѣ.

— Но такъ какъ по натурѣ, — продолжалъ холоднымъ тономъ Сѣрецькій, — я не могу превратиться въ такого... хотя и знаю, что сдѣлаться такимъ значить устроить свою жизнь... то мнѣ просто представляется смерть какъ наиболѣе разумный выходъ... И вотъ почему, когда я гляжу на Раскатова, мнѣ хочется повѣситься.

Сказавъ это серьезнымъ тономъ, Сѣрецькій думалъ, что Бабочкинъ засмѣется. Но Бабочкинъ растерялся. Онъ посмотрѣлъ какъ-то смутно вокругъ себя и, казалось, испытывалъ сильнѣйшій приливъ тоски. Между тѣмъ, Сѣрецькій, какъ ни въ чемъ не бывало, медленно прихлебывалъ кофе и своею изящною, бѣлою рукой помѣшивалъ ложечкой въ чашкѣ; онъ сильно втягивалъ въ себя ароматъ напитка и, видимо, наслаждался послѣобѣденнымъ довольствомъ. А холодный блескъ его глазъ подѣйствовалъ на Бабочкина, въ головѣ котораго шумѣло еще тяжелѣе.

Обѣдъ давно кончился. Хозяинъ посидѣлъ нѣсколько минутъ въ креслѣ, молча прочищая зубы; онъ обводилъ мутнымъ взоромъ все окружающее, нехотя отвѣчая на вопросы; потомъ всталъ и, грубо извинившись передъ гостями, отправился спать, совершенно равнодушный къ тому, что будутъ дѣлать гости. Хозяйка также удалилась.

Такъ было ежедневно. На обѣдъ приходили всѣ, кто только былъ въ сферѣ вліянія могущественнаго дѣльца, — обѣдали и пили; послѣ обѣда одни уходили, другіе оставались, опять пили, играли въ карты, подобно мухамъ, облѣпляющимъ тѣ мѣста, гдѣ совершается разложеніе жизненныхъ продуктовъ. Самъ Раскатовъ иногда даже не зналъ по фамиліи тѣхъ, кто у него кормится, да и не считалъ нужнымъ узнавать такіе пустяки, какъ имена. Онъ былъ постоянно

въ какомъ-то непробудномъ состояніи, инстинктивно раскрывая ротъ и бессознательно глотая сотни тысячъ денегъ. Весь міръ для него казался накрытымъ столомъ, за которымъ можно ѣсть, а всѣ люди казались ему только побочнымъ прибавленіемъ къ этому столу.

Слуги убрали столовую, очистили еще смежную комнату, и гости расположились въ этихъ двухъ комнатахъ, представленные самимъ себѣ. Остались человѣкъ десять, не считая Сѣрецакаго, Кудластова и Бабочкина.

Послѣдній находился въ какомъ-то непонятномъ состояніи; онъ угрюмо умолкъ и съ раздраженіемъ смотрѣлъ вокругъ себя. За карты онъ не сѣлъ, ежеминутно порывался уйти отсюда, но сидѣлъ до глубокаго вечера, приведенный въ какое-то оцѣпененное состояніе Сѣрецакимъ, продолжавшимъ и послѣ обѣда злословить. Въ промежуткѣ между злословіемъ и молчаніемъ онъ взялъ слово съ Бабочкина послѣ-завтра зайти къ нему.

— Мы отправимся въ ресторанъ, и я надѣюсь угостить васъ по-своему, а не этимъ скотскимъ жраньемъ,—прибавилъ онъ.

Бабочкинъ общалъ, самъ не желая того. Оцѣпенѣвшій, онъ продолжалъ сидѣть, смотрѣть игроковъ, слушать злословіе Сѣрецакаго и пьяные голоса. Атмосфера въ комнатѣ была положительно душная; Бабочкинъ задыхался посреди этого общества, какъ будто онъ попалъ въ какой-то притонъ и сидитъ тамъ, околдованный безмолвнымъ любопытствомъ и ужасомъ. Это была атмосфера скандала.

Вдругъ въ сосѣдней комнатѣ раздался взрывъ крика. Бабочкинъ оглянулся и увидѣлъ тамъ Кудластова, со стуломъ въ рукахъ и въ угрожающей позѣ. Самъ возбужденный до послѣдней степени, Бабочкинъ вскочилъ съ мѣста и обернулся въ сторону Сѣрецакаго, но послѣдняго уже не было—скрылся.

Кудластовъ, между тѣмъ, стоялъ со стуломъ въ рукахъ и бѣшено что-то кричалъ. Лицо его совсѣмъ преобразилось. До этой минуты онъ только исправно пилъ и вовсе не говорилъ; когда къ нему кто-нибудь обращался, онъ стыдливо вспыхивалъ, какъ дѣвица, да и говорилъ онъ больше жестами. Но теперь взглядъ его свирѣпо переходилъ съ одного врага на другого, а искаженные черты лица внушали ужасъ. Вышло что-то изъ-за картъ.

— Я васъ, хищники!... Опротивѣли мнѣ ваши рожи!—кричалъ безсвязно Кудластовъ, махая стуломъ.

На крикъ прибѣжали слуги, но боялись войти въ карточную комнату, протягивая только шею изъ столовой.

— Успокойтесь, ради Бога, Дмитрій Ивановичъ! Никто васъ не думалъ оскорблять,—сказалъ кто-то изъ гостей, но это только усилило гнѣвъ Кудластова.

— Молчать, воры!—закричалъ онъ и внѣ себя грянулъ объ полъ дубовый стулъ, который въ дребезги разлетѣлся по залу. Въ рукѣ Кудластова осталась только одна ножка.

Поднялась суматоха по всему дому. Побѣжали будить Раскатова. Гости жались къ стѣнамъ въ смертельномъ испугѣ; кто-то изъ нихъ спрятался даже за шкафъ съ книгами. А Кудластовъ стоялъ по срединѣ залы, бѣшенный, съ сверкающими глазами, какъ будто выбирая жертву. Онъ былъ страшенъ.

Въ это мгновеніе вдругъ вмѣшался Бабочкинъ, изъ головы котораго моментально вылетѣло одурѣніе. Лицо его приняло обычное безпечное выраженіе. Онъ съ улыбкой подошелъ къ Кудластову.

— Будеть, Дмитрій Ивановичъ... Эти господа уже достаточно испуганы, бросьте ихъ! — сказалъ онъ, съ улыбкой глядя на Кудластова.

Кудластовъ глупо посмотрѣлъ на него и опустилъ свое оружіе; на него подѣйствовало неожиданное обращеніе. Бабочкинъ взялъ его подъ руку и провелъ черезъ столовую и приемную къ прихожей. Кудластовъ покорно слѣдовалъ за нимъ. Въ передней Бабочкинъ самъ отыскалъ его одежду, одѣлъ его, нашелъ его трость и шляпу и подъ руку повелъ его къ выходу, безъ умолку и шутливо болтая о постороннихъ предметахъ. Этимъ онъ какъ бы гладилъ разъярившагося быка и овладѣлъ имъ. Кудластовъ присмирѣлъ.

Такъ они вышли на улицу. Былъ уже поздній вечеръ.

VI.

Пылавшія головы Бабочкина и Кудластова теперь освѣжились ночною прохладой. Ночь стояла темная; небо висѣло мрачнымъ покрываломъ тучъ; воздухъ былъ сгустившійся. Ожидался дождь. Все живое уже попряталось по домамъ и ули

пы были пустыни. Кое-гдѣ мерцали фонари; изрѣдка попадался городской или дворникъ; иногда торопливо пробѣгалъ домой запоздавшій прохожій. Только эти двое—Бабочкинъ и Кудластовъ—шли тихо, изрѣдка обмѣниваясь словами. Они уже говорили на „ты“.

Кудластовъ мирно шагаль подъ руку съ Бабочкинымъ; онъ, повидимому, окончательно успокоился; простагъ вообще, онъ теперь послушно шелъ за своимъ другомъ.

Такъ съ нимъ было всегда. Простой человѣкъ, любившій кутнуть на распашку, онъ былъ любимъ всѣми, которыхъ не успѣлъ побить. Въ обыденной жизни съ нимъ всякій могъ сдѣлать что угодно, даже снять съ него рубашку; въ качествѣ желѣзнодорожнаго инженера, онъ получалъ большія деньги, но едва-ли и десятую часть тратилъ на себя, обираемый кѣмъ попало. Его называли телянкомъ: молодое, доброе, но неопредѣленное лицо его всѣмъ нравилось, возбуждая въ каждомъ желаніе сдѣлаться его другомъ. Женщины, впрочемъ, жестоко водили его за носъ; не умѣя хитрить и не подозрѣвая хитростей въ другихъ, онъ постоянно попадался въ просакъ. Со всѣми онъ былъ на „ты“ и всѣхъ людей считалъ „хорошими ребятами“. Фамилій не признавалъ, въ большинствѣ случаевъ называя всѣхъ Васьками, Петьками и другими сокращеніями. Въ трезвомъ состояніи онъ былъ скромнѣе дѣвушки; при объясненіи съ незнакомыми людьми краснѣлъ и вообще до такой степени не владѣлъ словомъ, что каждый школьникъ могъ его ошельмовать; вслѣдствіе этого, онъ всегда пояснялъ свои слова болѣе или менѣе энергическими жестами.

Но эти милыя качества добраго малаго то и дѣло смѣнялись противоположными. Вдругъ и, повидимому, безъ достаточнаго резона онъ дѣлался мраченъ, упрямъ, тупъ и мстителенъ. Даже въ трезвомъ видѣ нападало на него странное желаніе разнести въ дребезги кого или что-нибудь. У себя дома онъ бушевалъ больше съ неодушевленными предметами—колотилъ посуду, ломалъ мебель и только изрѣдка грозилъ раскрыть физиономію „подлецу-домохозяину“, что, однако, ни разу не удалось ему. Но когда онъ нѣсколько выпивалъ, то ярость его, внезапно поднимавшаяся, проявлялась ужасно; онъ то и дѣло творилъ скандалы во время кутежей, причемъ дѣло рѣдко кончалось однѣми угрозами. Глаза его тогда раз-

горались местию и рѣшимостью. Однажды онъ въ клубъ схватилъ чугунную заслонку, оторванную имъ отъ печки, и выгналъ въ корридоръ человѣкъ пятьдесятъ народу. „Я васъ, воры, каналы!“—кричалъ онъ обыкновенно.

Кажется, не зря онъ переживалъ такіа бычачьи состоянія. Кругъ, въ которомъ онъ вращался, не отличался добродѣтелями и могъ до потери самообладанія раздражать нетронутую распутствомъ натуру. Добрый, простой малый, Кудластовъ не дошелъ до сознанія протеста противъ этого общества, основаннаго на воровствѣ, но онъ по временамъ возмущался до глубины души; плохо развитой и неуклюжій, онъ не имѣлъ силы понять, въ чемъ именно заключается подлость этого общества, но инстинктивно ненавидѣлъ пирующихъ. Что-то бурлило внутри его. Этотъ-то смутный протестъ и отражался въ его побоищахъ, хронически устраняемыхъ имъ ради удовлетворенія естественной потребности выразить свои чувства. Но такъ какъ говорить онъ не умѣлъ, то по необходимости выражалъ накопившійся гнѣвъ кулакомъ, заслонкой, бревномъ. Понятно, что такимъ бычачьимъ способомъ выразить ничего онъ не могъ и, вытрезвившись, себя же считалъ драчливымъ дуракомъ, и это была правда, тѣмъ болѣе, что онъ не всегда билъ тѣхъ, кто этого заслуживалъ.

Бабочкинъ въ эти минуту совсѣмъ овладѣлъ имъ; болтая, онъ прошелъ съ нимъ нѣсколько улицъ и надѣялся, наконецъ, привести его къ себѣ, въ полной увѣренности, что малый успокоился совершенно. Но въ этомъ онъ ошибся.

Наружность Кудластова, правда, не выражала больше ничего, кромѣ молчаливой покорности, но отъ времени до времени онъ бросалъ вокругъ себя подозрительные взгляды, чѣмъ обнаружилъ ясно свои злые замыслы. Поровнявшись съ однимъ фонарнымъ столбомъ, онъ вдругъ предложилъ Бабочкину выворотить его. Они остановились. Кудластовъ уже прислонился правымъ плечомъ къ обреченному на гибель фонарю, но Бабочкинъ сталъ убѣждать его бросить это немое предпріятіе.

— Богъ съ тобой, Митя! Оставь ты этотъ столбъ въ покое. Что онъ тебѣ помѣшалъ?

— Я бы его съ корнемъ выворотилъ,—возразилъ Кудластовъ съ своеобразною логикой.

— Да зачѣмъ его выворачивать, милый? И такъ темно..

А это все-таки свѣтъ, хоть и плохой. Все же лучше, иные люди стали бы разбивать лбы о заборы... Ну его къ чорту, оставь! Пускай мигаетъ!

Кудластовъ мало-по-малу раздумалъ и отвалился отъ столба, но этимъ дѣло не кончилось.

— Я хочу все-таки кого-нибудь бить,—рѣшительно замѣтилъ онъ.

— Помилуй, кого же теперь бить ночью?—возразилъ тревожно Бабочкинъ.—Нехорошо бить ночью. Среди мрака люди и такъ напуганы... да и кого же бить?

— Мерзавца какого-нибудь, — выговорилъ упрямо Кудластовъ.

— Да какого? Чудакъ ты, Митя! Неужели ты будешь заходить въ дома, чтобы драться?... Ихъ такъ много, кого же ты выберешь?

Это они объяснялись на ходу. Бабочкинъ продолжалъ уговаривать и стыдить, незамѣтно переводя разговоръ на другой предметъ. Но Кудластовъ тупо его слушалъ, быть можетъ, вовсе не слушалъ, что-то, повидимому, придумывая. Очевидно, хмѣль еще сильно шумѣлъ въ его головѣ. Немного погодя, онъ вдругъ обратился къ Бабочкину съ новымъ предложениемъ:

— Вотъ что... пойдѣмъ бить корреспондента!

И мрачно посмотрѣлъ вокругъ себя.

— Что же ты еще придумалъ!—тревожно возразилъ Бабочкинъ.

— Не пойдешь?—спросилъ такъ же мрачно Кудластовъ.

— Да помилуй, бить корреспондента... Какого-же?

— Тутъ есть одинъ... Пропечаталъ, негодяй, меня... Пойдемъ!

И Кудластовъ, сказавъ это, пошелъ одинъ съ рѣшимостью выполнить свою идею. Бабочкинъ отправился за нимъ, но уже сильно раздраженный.

— Чортъ знаетъ, что такое... бить корреспондента!—говорилъ онъ тревожно, догоняя Кудластова, и опять взялъ его подъ руку.

Они пошли. Дорогой Бабочкинъ придумалъ отвлечь одурѣвшаго малаго отъ задуманнаго предпріятія, для чего онъ рѣшился завести его къ Карамелькову. Кудластовъ будетъ въ полной увѣренности, что идетъ къ корреспонденту, а Ка-

рамельковъ перепугается до послѣдней степени. Эта шутка такъ понравилась Бабочкину, что онъ сталъ торопить своего спутника. Было уже далеко за полночь.

Черезъ нѣсколько минутъ они звонили у подъѣзда Карамелькова.

— Ты узнаешь его въ лицо?—спросилъ Бабочкинъ весело, заранѣе наслаждаясь потѣхой. Кудластовъ утвердительно махнулъ головой; корреспондента, пропечатавшаго его, онъ зналъ.

Имъ отворилъ, послѣ опроса, самъ Карамельковъ, вышедшій со свѣчей въ рукахъ.

— Жена уже спитъ... пойдемте!—говорилъ онъ шепотомъ и проводилъ гостей въ кабинетъ.

— А мы пришли васъ бить!—сказалъ сурово Бабочкинъ.

— Какой вы шутникъ, Александръ Ивановичъ!—возразилъ Карамельковъ, шутя, но обидчиво.

— Я вовсе не пришелъ съ вами шутить—говорю серьезно: мы пришли васъ поколотить. Вы — корреспондентъ? Отвѣчайте!

— Помилуйте, господа... что это такое?—возразилъ Карамельковъ уже испуганно. Какъ нарочно, онъ только-что наканунѣ послалъ въ газету театральную рецензію.

— Вы его пропечатали? — продолжалъ допрашивать Бабочкинъ, указывая на Кудластова, который глупо хлопалъ глазами.

— Я дѣйствительно наканунѣ... Но ей-Богу, ничего такого...—пролепеталъ растерявшійся хозяинъ.

— А, вы сознаетесь! Такъ вотъ этотъ умный баринъ пришелъ васъ бить. Приготовьтесь къ возмездію!

Карамельковъ сдѣлался блѣднѣе полотна и въ ужасѣ смотрѣлъ на Кудластова, не узнавая его.

— Ей-Богу, честное слово!... Я даже люблю... Напротивъ, я всѣхъ актеровъ, которые играли у насъ, хвалилъ въ письмѣ,—бормоталъ Карамельковъ и пятился въ дальній уголъ.

Кудластовъ одурѣлъ окончательно и хлопалъ глазами, ничего не понимая. Карамелькова онъ зналъ, но теперь смотрѣлъ на него дико. Онъ такъ напряженно старался понять происходящее, что вдругъ ослабъ, опустился на стулъ и закрылъ лицо руками. Карамельковъ также глупо поводитъ глазами.

Бабочкинъ не выдержалъ, наконецъ, и раскохотался. За-
вѣтъ онъ живо привелъ въ порядокъ мысли двухъ обезумѣв-
шихъ людей и предложилъ выпить за здоровье Карамелькова.
Послѣдній оправился, а черезъ нѣсколько минутъ уже та-
щилъ откуда-то подносъ съ бутылками и стаканами. Всѣ трое
принялись пить. Впрочемъ, Кудластовъ сидѣлъ и пилъ все
время молча, по временамъ только стыдливо улыбаясь; онъ
вдругъ опять сталъ смирнымъ. Болтали одинъ Бабочкинъ и
Карамельковъ. Между прочимъ, они условились устроить лю-
бительскій спектакль въ домѣ и на средства Бабочкина. Ка-
рамельковъ ликовалъ. Нынѣшнее дѣло онъ проводилъ скучно,
такъ какъ бродячихъ трупъ вовсе почти не было, и потому
съ неописаннымъ волненіемъ ухватился за предложеніе Ба-
бочкина.

Разошлись всѣ уже подъ утро, и Кудластовъ по дорогѣ
отъ Карамелькова согласился ночевать у Бабочкина.

Когда они подошли къ квартирѣ, то долго не могли доз-
вониться, — Семенъ спалъ. Дворникъ же, котораго они рас-
спрашивали, съ просонья не узналъ Бабочкина и что-то завор-
чалъ. Это вывело изъ себя Кудластова. Онъ схватилъ понав-
шующую ему подъ руку метлу и давай бить неуспѣваго еще
хорошенько проснуться дворника. „Караулъ!“ — закричалъ
что есть мочи дворникъ и заметался, какъ угорѣлый. Куд-
ластовъ въ изступленіи гонялся за нимъ и колотилъ его по-
чѣмъ попало, а дворникъ въ ужасѣ ревѣлъ. Весь домъ пе-
реполошился. Выскочилъ Семенъ, узналъ Бабочкина и от-
перъ парадную дверь. Но Кудластовъ тогда только бросилъ
бить несчастнаго, когда тотъ спрятался подъ ворота. Послѣ
этого Кудластовъ, схваченный за плечо Бабочкинымъ, во-
шелъ въ домъ, поставилъ метлу въ уголъ залы и тупо оста-
новился.

Бабочкинъ былъ взбѣшенъ до послѣдней степени этимъ
вѣчнымъ происшествіемъ.

— Чортъ знаетъ... и какъ это тебѣ пришло желаніе ко-
лотить метлой дворника!... Безобразіе какое!

И, говоря это, онъ грубо попросилъ Кудластова раздѣться
и спать. Кудластовъ безпрекословно повиновался, раздѣлся
и дѣйствительно сейчасъ же заснулъ. Бабочкинъ также при-
легъ на диванъ, не раздѣваясь; на него навалилась какая-

исходить?" И вдругъ отвращеніе къ жизни такъ внезапно родилось въ немъ, что онъ вскочилъ и принялся бѣгать по комнатамъ, какъ отравленный.

Остатокъ ночи или, лучше, утра онъ провелъ мучительно, то на минуту забываясь въ тяжеломъ снѣ, то просыпаясь съ неопредѣленною тяжестью въ груди.

Утромъ слѣдующаго дня, едва очнувшись, онъ услышалъ въ передней крупный разговоръ Семена съ кѣмъ-то.

— Я найду къ мировому!... Не посмотрю, что баринъ! Нынче драться не велѣно!—кричалъ человѣкъ, въ которомъ Бабочкинъ скоро узналъ дворника.

— Что такое здѣсь?—спросилъ онъ, выходя въ переднюю.

Дворникъ при видѣ его осклабился и успокоился. Бабочкинъ вынулъ пять рублей и ласково просилъ мужика не доводить дѣло до мирового, прибавивъ, что тотъ баринъ былъ сильно выпивши.

Дворникъ взялъ деньги, но мялся еще на мѣстѣ.

— Что еще?—спросилъ Бабочкинъ.

— Да маловато, сударь, пять рубликовъ-то, — проговорилъ дворникъ. — Вѣдь ежели бы они метлой только... то-есть прутьями самыми, а то вѣдь они череномъ меня лупили. Вонъ они рану-то какую протянули на шеѣ!... Прибавь хоть рубликъ еще! — и дворникъ, говоря это, показалъ на шею, гдѣ дѣйствительно была ссадина.

— Ну, хорошо, на еще рубль, да не клянчъ больше, — сказалъ Бабочкинъ.

— Покорно благодарю. Я ничего, Александръ Ивановичъ. Я только потому то-есть, что череномъ они меня!

Весь этотъ разговоръ слышалъ проснувшійся Кудластовъ и когда къ нему вошелъ Бабочкинъ, онъ не зналъ, куда глаза дѣть отъ стыда.

Однако, съ этого дня онъ сдѣлался ежедневнымъ посѣтителемъ шумной и безпутной квартиры Бабочкина. Последніи имѣлъ на него сильное вліяніе; при немъ онъ держалъ себя смирно, а если ему случалось взбѣситься, то достаточно было Бабочкину сказать нѣсколько словъ, чтобы онъ притихъ.

Теперь онъ на-скоро одѣлся и съ великимъ смущеніемъ ушелъ, не обращая вниманія на дождь.

VII.

Дождь. Грязные клочья, только по временамъ разрывае-
мые вѣтромъ, заволокли все небо. Дождь хлесталъ въ окон-
ныя стекла, и капли потоками бѣжали по нимъ. На улицѣ
былъ уже чистый адъ—грязь, лужи, цѣлыя болота. Только
по крайней нуждѣ можно было рѣшиться выйти въ такую
пору. И только Бабочкинъ рѣшился выбѣжать изъ дому въ
такой день.

Послѣ ухода Кудластова онъ провелъ нѣсколько часовъ
въ бѣганіи изъ комнаты въ комнату. Семену онъ отдалъ
самыя противорѣчивыя приказанія. Сначала онъ велѣлъ ему
приготовить завтракъ... онъ остается дома. Когда Семень
уже собрался идти въ гостиницу за завтракомъ, Бабочкинъ
передумалъ. Онъ остановилъ Семена и велѣлъ приготовить
одежду... онъ пойдетъ сейчасъ на занятія. Семень принялся
чистить платье, но Бабочкинъ вдругъ опять передумалъ,
приказавъ недоумѣвавшему Семену бѣжать сейчасъ же за
извозчикомъ... онъ пойдетъ къ Сѣрепкому. Это было окон-
чательное рѣшеніе, тѣмъ болѣе, что больше ему дѣваться
было некуда.

А Сѣрепкій еще не пріѣлся ему. Бабочкинъ порывисто
одѣлся, вышелъ на улицу, гдѣ ждалъ уже его извозчикъ,
бросился въ дрожки, какъ угорѣлый, и поплылъ по лужамъ.
Дождь до боли стегалъ его въ лицо, одежда мгновенно смок-
ла на немъ, облѣпленная комками грязи отъ колесъ. Вѣтеръ
сорвалъ съ него шляпу, которая упала въ лужу, и, подня-
тая извозчикомъ, представляла собою печальное зрѣлище. Но
душевно Бабочкинъ успокоился. Облитый съ ногъ до голо-
вы грязною водой, среди разбушевавшейся погоды, онъ да-
же повеселѣлъ; ему сдѣлалось легко. Скверная погода, оче-
видно, уравновѣсила его скверное состояніе.

— Ну, вотъ я и пришелъ! Ѣдемъ на обѣдъ!—
закричалъ возбужденно Бабочкинъ, стоя посреди комнаты
у Сѣрепкаго. Съ него текло что-то среднее между водой и
землей; на лицѣ и рукахъ его были грязныя пятна. Вокругъ
того мѣста, гдѣ онъ стоялъ, образовалась лужа воды и
глины.

— Въ такую погоду!—проговорилъ Сѣрепкій съ нескры-

ваемымъ изумленіемъ и попятился отъ мокраго и забрызганнаго грязью гостя. — Впрочемъ, я считаю за честь для себя, что вы пожаловали ко мнѣ, вопреки всѣмъ препятствіямъ, — ядовито замѣтилъ онъ.

Онъ брезгливо осмотрѣлъ мѣсто, гдѣ стоялъ гость, и весь какъ-то сморщился. Голова его была повязана какимъ-то платкомъ, ноги закутаны въ теплый пледъ; лицо его было желтое, болѣзненное, — трудно было въ этомъ человѣкѣ, похожемъ на бѣглеца изъ лазарета, узнать вчерашняго остряка съ изящными манерами.

Бабочкинъ едва удержался отъ смѣха, при видѣ закутаннаго въ хламъ человѣка, испугавшагося простуды въ июнѣ, но, подавивъ приступъ хохота, онъ не могъ скрыть улыбки, когда спросилъ хозяина, что съ нимъ? „Ужасная погода! Я дѣлаюсь больнымъ въ такое время!“ — возразилъ Сѣрецкій. — „Мигрень?“ — спросилъ Бабочкинъ. — „Боюсь, что будетъ... Но еще нѣтъ... Зубы, можетъ быть, болятъ“. Оказалось, что еще и зубы не болятъ, а только грозятъ заболѣть. Тогда Бабочкинъ уже не могъ удержать хохота.

И, не обращая вниманія на угрюмый видъ Сѣрецкаго, онъ сталъ звать его въ ресторанъ. Сѣрецкій очутился въ самомъ скверномъ положеніи; онъ помнилъ, что вчера пригласилъ Бабочкина, и не могъ отказаться отъ своего слова, но, въ то же время, его угнетала мысль, что если онъ выйдетъ на улицу въ такую погоду, то умретъ; заболѣетъ и умретъ. Довольно просто...

Но Бабочкинъ настаивалъ и потѣшался. Его мрачное настроеніе, за минуту передъ этимъ овладѣвшее имъ съ такою силой, перешло теперь въ возбужденный, нервный хохотъ. Онъ острилъ надъ повязками Сѣрецкаго, надъ его респираторомъ, надъ теплыми туфлями, совѣтуя надѣть еще теплую шубу.

Сѣрецкій сдался. Но Бабочкинъ долженъ былъ съ добрый часъ поджидать, пока Сѣрецкій приготовлялся, принимая всевозможныя мѣры во избѣжаніи могущей произойти простуды, которая можетъ кончиться смертью. Онъ ушелъ въ другую комнату, бросилъ гостя одного и тамъ препарировалъ себя къ отъѣзду, — уши заткнулъ ватой, ноги закуталъ во фланель, шею повязалъ шарфомъ.

Тутъ ничего удивительнаго нѣтъ. Онъ просто только за-

ботился о своемъ здоровьи. Эти заботы были единственною цѣлью его жизни. Никогда не надоедая себѣ, онъ никогда не скучалъ наединѣ съ собой; напротивъ, чѣмъ онъ съ большею любовью думалъ о себѣ, тѣмъ драгоцѣннѣе себѣ казался. Онъ велъ довольно уединенную жизнь, мало въ комъ нуждаясь. Когда-то онъ былъ тонкій эгоистъ, умѣвшій пользоваться людьми, не давая имъ понять этого; въ ту пору онъ казался увлекающимся „порывами“, но онъ пришелъ къ тому заключенію, что люди—животныя. Вслѣдъ затѣмъ онъ добился удобнаго и спокойнаго мѣста и принялся изучать гигиену. Его, конечно, могли упрекнуть въ неимѣніи общественныхъ стремленій, но аргументація его была чрезвычайно сильна. Во-первыхъ, всѣ люди—животныя; во-вторыхъ, специально русскіе люди—несомнѣнные скоты, — это самая низкая и грязная раса, какая когда-либо срамила землю; низкіе классы—просто мясо, обросшее нечувствительною пшурой, которую можно вытягивать въ какомъ угодно направленіи; средніе классы безнадежно вороваты; высшіе же грубые, безъ самолюбія и чести, безъ благородства и ума... Даже позорно принадлежать къ такой націи; жертвовать же ей чѣмъ бы то ни было—нелѣпо. Да и вообще животное каждое о себѣ заботится. Свѣрецкій не пожертвуетъ кончикомъ ногтя ради удовольствія чуждыхъ ему людей...

Свѣрецкій заботился тщательно о себѣ. Квартира его была самая удобная во всемъ городѣ; онъ бралъ ежедневно холодныя ванны и завелъ здоровую горничную. Ежедневно придумывая новыя удобства, онъ покупалъ гигиеническія кушетки, качающіяся кресла и пр. Для поддерживанія упругости въ членахъ въ одной изъ его комнатъ висѣла трапеція. Онъ постоянно осматривалъ себя въ зеркало, подозрѣвая появленіе какой-нибудь болѣзни. Слѣдя тревожно за состояніемъ своего тѣла, онъ дѣлалъ только то, что безусловно не могло вредить его здоровью, но за то боялся всего, что было сомнительно. Въ особенности онъ боялся сквозныхъ дыръ, сырой воды и нездоровыхъ горничныхъ.

Къ сожалѣнію, постоянная заботливость о себѣ часто у него переходила въ ужасъ, не оправдываемый дѣйствительнымъ состояніемъ организма. Чтобы ему отравить день, достаточно было прыща на его лицѣ; легкая головная тяжесть уже приводила его въ смятеніе. А если онъ открывалъ ма-

ной закуски съ острою передобѣденною выпивкой онъ пришелъ въ себя и развеселился. Обстановка подѣйствовала на него оживляющимъ образомъ. Въ комнатѣ, гдѣ они съ Бабочкинымъ сидѣли, былъ полумракъ, искусственно образованный отъ толстыхъ штофныхъ занавѣсокъ и отъ купы тропическихкихъ растений, которыя по всему кабинету распространяли зеленоватый оттѣнокъ; тепло, сухо, уютно; рѣзная дубовая мебель довершала гармонію освѣщенія.

Сѣрецкій качался въ креслахъ (къ качалкамъ онъ имѣлъ особенное пристрастіе), прислушиваясь къ шуму и вою разыгравшейся непогоды. Онъ слѣдилъ за потоками дождевыхъ капель, катившихся подобно непрерывнымъ слезамъ, слушалъ шумъ и свистъ вѣтра и всхлипыванія воды — этотъ плачъ природы, и ему было хорошо; своимъ видомъ довольства онъ какъ бы говорилъ: а мнѣ здѣсь пріятно! Повеселѣвшій, онъ качался въ креслахъ и не торопясь рассказывалъ злые анекдоты про знакомыхъ людей.

Но по мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ и злословилъ, Бабочкинъ смолкалъ и лишь изрѣдка вставлялъ слово.

Такъ проходилъ обѣдъ. Сѣрецкій осмотрѣлъ сначала пытливымъ взглядомъ ножи и вилки, тарелки и судки, подозрѣвая нечистоту; потомъ со вкусомъ принялся кушать, разбирая каждое волокно мяса, осматривая каждую косточку пулярки и предварительно изслѣдуя подаваемые соусы. Обѣдъ былъ дѣйствительно тонкій, чистота безукоризненная; очевидно, прислуга ресторана знала давно вкусы Сѣрецкаго и умѣла ему угодить.

Но по мѣрѣ того, какъ онъ кушалъ, у Бабочкина пропадалъ аппетитъ, а въ серединѣ обѣда блюда стали вызывать у него тошноту.

А Сѣрецкій становился все веселѣе. Кушая микроскопическими дозами, онъ игралъ глазами, рассказывалъ анекдоты, всегда умные и злые, и каждое слово его походило на иголку, выпускаемую въ живое тѣло. Бабочкинъ сталъ ощущать то же, что на обѣдѣ у Раскатова. Искренній и открытый, онъ слушалъ холоднаго Сѣрецкаго съ какою-то болью и тоской. Онъ пересталъ ѣсть и чувствовалъ холодъ и мракъ въ душѣ. Ему казалось, что Сѣрецкій, рассказывая анекдоты, вводилъ въ наболѣвшее сердце его острую, холодную сталь.

Бросивъ ѣсть, онъ принялся пить. Его не удовлетворила.

— Случно, Сѣрецкій!— вдругъ на полсловѣ перебилъ онъ послѣдняго.

— Вамъ не нравится здѣсь?... Обѣдъ, вино... плохи?—спросилъ Сѣрецкій.

— Я вообще не нахожу удовольствія гдѣ бы то ни было!

Сѣрецкій пристально оглянулъ его и пожалъ плечами.

— Развлекитесь,—возразилъ онъ равнодушно.

— Да чѣмъ? Все опошлѣло!

— Ну, это скверно. Это, значить, притупился вкусъ къ жизни.

— А что такое жизнь?—спросилъ Бабочкинъ и поднималъ голову.

Сѣрецкій не торопился отвѣчать; маленькими глотками прихлебывая вино, онъ осматривалъ Бабочкина съ тѣмъ холоднымъ интересомъ, съ какимъ изслѣдуютъ неживую вещь, мертвый предметъ.

— Знаете что,—наконецъ, сказалъ онъ,—человѣкъ, предлагающій такой вопросъ, погибшій человѣкъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?—презрительно засмѣялся Бабочкинъ.

— Увѣряю васъ. Жизнь—это такая вещь, которую надо принимать, не разсуждая, просто. Жизнь—это кусокъ свѣжаго ростбѣфа, хорошее вино, чистый воздухъ, яркое солнце, теплота, блѣдная луна, прекрасная женщина, папиросы Шапшала, вечерняя прохлада, жалованье, звѣздное небо и т. д. Все это вещи, по поводу которыхъ бесполезно спрашивать.

— Но этотъ идеалъ скотины очень скученъ!—воскликнулъ нервно Бабочкинъ.

— Можно словами что угодно уничтожить и опошлить. А, впрочемъ, вкусы у людей разные. Напрасно только вы открещиваетесь отъ скота. Человѣкъ только первый между скотами—вотъ и все.

Сѣрецкій, возражая это, дѣлалъ методическія распоряженія слугѣ относительно десерта.

— Неправда! У человѣка есть печать благородства—фантазія,—раздраженно возразилъ Бабочкинъ.—Жизнь есть творчество,—творчество новыхъ формъ мысли, новыхъ формъ вещей.

— А, вы, значить, и секретъ нашли,— чего же лучше? Упражняйтесь и творите, — сказалъ насмѣшливымъ тономъ Сѣрецькій.

— Нельзя... Вѣры нѣтъ! Когда я начинаю что-нибудь, я спрашиваю себя: зачѣмъ? Когда ко мнѣ приходитъ страстное желаніе работать, я вдругъ опять спрашиваю себя: зачѣмъ? И на меня нападаетъ ненависть къ работѣ, отвращеніе къ дѣлу, проклятіе жизни... А жить такъ хочется!...

— Гмъ... всѣ признаки психопата, — какъ бы про себя проговорилъ Сѣрецькій.

— Такъ хочется жить! — продолжалъ, не слушая, Бабочкинъ. — И силы есть, и привязанность къ жизни, и любовь, и энергія сердца, только вѣры нѣтъ, и не знаешь, какъ растратить эти силы... Ни во что не вѣрится.

— Право, не знаю, что вамъ посоветовать, — насмѣшливо сказалъ Сѣрецькій.

— Я вовсе не нуждаюсь въ вашихъ совѣтахъ!

Разговоръ переходилъ въ ссору.

— Знаете что, попробуйте съ разбѣга разбивать лбомъ гнилые заборы!

— А вы пробовали?

— Самъ — нѣтъ, но видѣть — видѣлъ, какъ занимались этимъ.

Бабочкинъ пришелъ въ бѣшенство отъ этихъ словъ.

— Я посоветовалъ бы вамъ не трогать этихъ... иначе мнѣ придется попробовать о вашъ лобъ крѣпость этой бутылки!

Бабочкинъ съ неожиданною яростью крикнулъ и сжалъ въ рукѣ пустую бутылку.

Сѣрецькій растерялся.

— Успокойтесь. Я вовсе не имѣлъ намѣренія васъ оскорблять. Все дѣло въ томъ, что мы засидѣлись здѣсь и у насъ закружилась голова... Позвольте съ вами попрощаться, — прибавилъ холодно Сѣрецькій и быстро сталъ одѣваться.

Бабочкинъ посмотрѣлъ на него, рука его разжалась, и онъ снова опустил голову надъ стаканомъ съ виномъ, совершенно, казалось, забывъ о присутствіи Сѣрецькаго.

Послѣдній, одѣваясь, былъ сильно взволнованъ и еще болѣе торопился уйти отсюда. Волненіе ему вредно. Да и не нужно было пить такъ неумѣренно — можетъ подняться силь-

ная головная боль. Но въ особенности опасны психопаты *Этотъ* можетъ отравить день всякому порядочному человѣку... Сѣрецкій, насколько было можно, торопился уйти. Онъ заткнулъ уши ватой, завязалъ шею шарфомъ, а усѣвшись на извозничій экипажъ, закрылъ голову пледомъ потянувшись, ноги же пледомъ потянулъ. Торопясь домой, онъ скромно забылъ уплатить за обѣдъ.

Дождь прекратился; небо кое-гдѣ уже прояснилось, а на западѣ показалось яркое, золотистое зарево солнца, скрытаго тучей, но грязь на улицѣ образовалась непролазная, а сырой вѣтеръ дулъ въ лицо Сѣрецкому, который тревожно кутался въ пледы и уже придумывалъ тѣ мѣры, какія сейчасъ же по прїѣздѣ домой онъ приметъ въ предупрежденіе опасной болѣзни. Дѣло въ томъ, что такого рода пессимисты до безобразія любятъ жизнь.

Когда комната опустѣла, Бабочкинъ продолжалъ смотрѣть на дно стакана; въ головѣ у него шумѣло, сознание было неполное. Но лишь только Сѣрецкій удалился, какъ горькое чувство одиночества съ страшною силой охватило его; онъ вскочилъ съ мѣста и бросился къ выходу, собираясь крикнуть въ догонку ушедшему: не уходи! Ему жутко было одному, безъ людей, хотя бы всѣ люди состояли изъ Сѣрецкихъ.

VIII.

Онъ нуждался въ обществѣ, въ сильномъ, здоровомъ обществѣ, которое отвлекло бы его вниманіе отъ его заболѣвшей души. Но онъ не могъ отыскать общества, оставаясь же одинъ, онъ чувствовалъ, какъ ему жутко. Дни и ночи онъ старался проводить на людяхъ, избѣгая оставаться съ глазу на глазъ съ самимъ собой.

Днемъ, послѣ занятій, онъ гулялъ по площадямъ, толкаясь между разношерстною кучей людей, или уходилъ на берегъ рѣки и тамъ наблюдалъ за пристанями. Вѣчное движеніе, царившее здѣсь, давало ему возможность съ интересомъ проводить время; онъ толкался между крючниками, таскавшими кули, смотрѣлъ на пассажировъ, на рыбаковъ, на хозяевъ мелкихъ судовъ; суетня, крики, движеніе развлекали его. Пестрота этого муравейника не утомляла его вниманія, потому что онъ не думалъ обо всемъ видѣнномъ, оно лишь ми-

молетными тѣнами пробѣгало по его душѣ; онъ думалъ только о томъ, что въ немъ самомъ происходило.

Ночью ему хуже дѣлалось; постоянная бессонница поддерживала въ немъ непрерывный бредъ; часто среди ночи холодный потъ покрывалъ его тѣло и ужасъ пустоты овладевалъ имъ; то ему казалось, что на его груди лежатъ цѣлыя горы тяжести, отъ которой онъ задыхался, то вдругъ ему чудилось, что тѣло его начинаетъ расти, расширяется, какъ газъ, и наполняетъ безконечныя пространства, и онъ не въ силахъ собрать улетающія частицы своего „я“.

Чтобы сократить эти страшныя ночи, онъ долго удерживалъ у себя гостей.

Въ его квартирѣ стало толпиться много народа. Приходили знакомые и незнакомые, — никому онъ не отказывалъ, развлекался самымъ видомъ кучи людей. Большинство приходили затѣмъ, чтобы выпить и закусить, иные отъ скуки, нѣкоторые изъ любопытства. Бабочкину, незачѣмъ было больше выходить изъ дому: домъ его сдѣлался толкучкой, мѣстомъ кутежей, веселія и забавъ. Онъ даже на занятія пересталъ ходить, весь отдавшись обязанностямъ гостеприимнаго хозяина. Но у него темнѣло въ душѣ.

Чаще всѣхъ забѣгали къ нему Карамельковъ, Свѣрецкій и Шершневъ. Первый заходилъ по поводу любительскихъ спектаклей, второй — ради шампанскаго, которое часто стало появляться у Бабочкина; что касается Шершнева, то онъ все хлопоталъ насчетъ своихъ сыновей, надѣясь ихъ пристроить съ помощью Бабочкина, но когда послѣдній отказался сдѣлать что-нибудь въ этомъ смыслѣ, убѣдившись, что балбесы его нигде не годятся, то Шершневъ сильно озлился, пересталъ ходить и написалъ на Бабочкина проектъ.

Къ числу ежедневныхъ посѣтителей Бабочкина принадлежали Шершневы-сыновья, Кудластовъ, одинъ докторъ, одинъ присяжный повѣренный; эта, своего рода, шайка просиживала въ квартирѣ Бабочкина цѣлыя ночи, устраивая всевозможныя развлечения. У cadaго изъ нихъ была, однако, своя особенная роль и свои, такъ сказать, обязанности. Братья Шершневы занимались, главнымъ образомъ, придумываніемъ глупыхъ, но временно забавныхъ штукъ, вродѣ набиванія бумажныхъ картузовъ навозомъ и бросанія ихъ на улицѣ, причемъ всѣ хохотали, когда обманутый прохожій съ жад-

какъ постоянная мишень для насмѣшекъ главныхъ членовъ.

Докторъ Брусиловичъ и адвокатъ Троцкий принадлежали къ тѣмъ людямъ, которые всюду ищутъ развлеченій. Оба они ненавидѣли свое ремесло, увлекаясь посторонними занятіями. Брусиловичъ питалъ отвращеніе къ больницамъ, къ больнымъ, къ лѣкарствамъ и аптекамъ, но любилъ до страсти музыку; онъ по цѣлымъ днямъ барабанилъ на рояли, сочиняя романсы и увѣряя всѣхъ, что онъ скоро создастъ оперу. Троцкий былъ извѣстный адвокатъ, счастливо пользовавшійся своимъ языкомъ для выигрыша темныхъ дѣлъ, но всѣ его симпатіи лежали къ военнымъ занятіямъ, — по крайней мѣрѣ, онъ самъ увѣрялъ, что только война быстро разрѣшаетъ вопросы; неисправимый болтунище, онъ съ наслажденіемъ говорилъ о кавалеріи и артиллеріи, о ружьяхъ и пушкахъ. Ежедневно онъ приносилъ свѣжія извѣстія о войнѣ и, сидя перекресткомъ, рассказывалъ о „шансахъ“ той и другой изъ воюющихъ сторонъ, причемъ на квартирѣ у Бабочкина онъ выигралъ уже нѣсколько кровавыхъ сраженій.

Такимъ образомъ, время проходило въ самыхъ разнообразныхъ развлеченияхъ. Братья Шершневы доставляли матеріалъ для остротъ всей компаніи; Брусиловичъ игралъ свои романсы; Троцкий посвящалъ всѣхъ въ высшую политику. Кроме того, играли въ шахматы, въ карты, а въ промежуткахъ между этими занятіями пили и ѣли. Бабочкинъ во всемъ принималъ какую-то пассивную роль, соглашаясь на все, что ему предлагали.

Нерѣдко шайка устраивала разныя загородныя прогулки по темнымъ мѣстамъ — и Бабочкинъ соглашался. Въ концѣ концовъ, время его стало проходить въ сплошномъ движеніи и шумѣ. Ему не нужно было больше отыскивать развлеченій: они сами приходили къ нему, придумываемыя окружающими его людьми. Онъ былъ на время доволенъ такимъ порядкомъ вещей.

Мысль его, напряженно работавшая въ одномъ направленіи — создать во что бы то ни стало веселье, разрушалась; она давно сдѣлалась уже мрачною, причиняя ему одно отчаяніе. А теперь, непрерывно окруженный со всѣхъ сторонъ любителями даровыхъ угощеній, онъ пересталъ думать и отдался

на волю случаевъ. Недавно еще ему казалось, что жизнь полна прелестей для того, кто рѣшился искать ихъ. Теперь же онъ ничего не въ состояніи былъ придумать; къ чему онъ ни прикасался, все оказывалось мрачнымъ и пустымъ. И онъ отдался на волю окружающихъ. Его собственная воля стала такъ же быстро разрушаться, какъ и его мысль. Онъ продолжалъ искать развлеченій, но больше по инерціи. Шумно вокругъ него сдѣлалось. Въ его квартирѣ толпился всевозможный народъ, жадный до новинокъ и даровыхъ увеселеній. А увеселенія, придумываемыя разными лицами, были самаго разнообразнаго свойства.

Сначала послѣдовалъ цѣлый рядъ любительскихъ спектаклей, любимое занятіе нѣкоторыхъ кружковъ. Всѣ хлопоты взялъ на себя Карамельковъ. Любителей было великое множество, такъ что распорядителю стоило большого труда бороться съ интригами; преодолевая интриги, онъ затѣмъ долженъ былъ умирять страсти при распредѣленіи ролей между счастливыми, сдѣлавшимися временными актерами, а когда и эти препятствія устранялись, Карамельковъ долженъ былъ до потери сознанія слѣдить за заучиваніемъ ролей. Все это происходило въ квартирѣ Бабочкина, т.-е. и эти интриги, и страсти, и репетиціи; толкотня, шумъ, кривлянья, сценическій хохоть, театральныя рыданія, споры, разговоры, — все это непрерывно проходило передъ взоромъ Бабочкина въ видѣ панорамы. Онъ во всемъ участвовалъ, но, главнымъ образомъ, исполнялъ требованія другихъ. Потребуютъ отъ него денегъ — онъ даетъ; заставятъ его исполнять какую-нибудь роль — онъ исполняетъ. Но, исполнивъ одно, онъ самъ не зналъ, что слѣдуетъ дѣлать дальше.

Жизнь теперь представлялась ему безконечно пестрою; весь міръ состоялъ для него изъ безчисленнаго разнообразія вещей, не имѣющихъ между собой связи; для него не существовало уже ни главнаго, ни второстепеннаго, ни причины, ни слѣдствія, ни закона, ни случайности; все это смѣшалось въ безконечную картину отдѣльных вещей. Онъ потерялъ какую бы то ни было цѣль.

Послѣ любительскихъ спектаклей послѣдовалъ рядъ поѣздокъ за городъ en masse. Бабочкимъ принималъ пассивно въ нихъ участіе и за все расплачивался. Нѣкоторые изъ этихъ поѣздокъ принимали разорительные размѣры.

Такъ, по совѣту доктора Брусиловича, Бабочкинъ однажды нанялъ цѣлый пароходъ. Въ это время, снѣдаемая скукой, городская публика уже вся знала Бабочкина. Поэтому, когда былъ нанятъ пароходъ, на него набилось до верху народа, званнаго и незваннаго. Бабочкинъ игралъ роль распорядителя, Кудластовъ былъ капитаномъ; дѣйствительный экипажъ молча исполнялъ приказанія этихъ двухъ лицъ. Пароходъ былъ убранъ гирляндами изъ зелени и цвѣтовъ, а къ ночи освѣтился разноцвѣтными фонарями. Все шло хорошо. Но въ самомъ разгарѣ веселья Бабочкинъ вдругъ велѣлъ пристать къ берегу; отдалъ онъ это распоряженіе такимъ тономъ, что никто не посмѣлъ противорѣчить ему; это былъ капризъ человека, воля котораго уже распалась на минутныя желанія, ничѣмъ между собой не связанныя. Пристали. Берегъ оказался пустыннымъ, далекомъ отъ города, въ дикой мѣстности. Бабочкинъ съѣхалъ на берегъ и скоро неизвѣстно куда пропалъ. Потомъ оказалось, что онъ въ другомъ мѣстѣ перѣхалъ съ рыбакомъ на лодкѣ и ушелъ къ себѣ домой. Публика нѣсколько часовъ ждала его, бѣсилась и, наконецъ, стала просить Кудластова прекратить стоянку у пустыннаго берега. Къ довершенію всего, при возвращеніи чуть было не случилось несчастія. Кудластовъ, бывшій въ ударѣ, вдругъ задумалъ посадить пароходъ на мель, чтобы напугать гостей. „Я васъ, хищники, утоплю!“—кричалъ онъ на всю рѣку. Только энергичное вмѣшательство настоящаго экипажа спасло пароходъ.

Но Бабочкинъ сдѣлался моднымъ человекомъ; о немъ говорили, его зазывали, забѣгали передъ нимъ, напрашиваясь на знакомство съ нимъ. Самъ великій дѣлецъ Раскатовъ сталъ посѣщать его, увидѣвъ въ немъ полезную силу въ будущемъ.

Бабочкину стали подражать; копировали его небрежный костюмъ, его свободныя манеры и кажущуюся безпечность; перенимали его откровенный тонъ и презрительное обращеніе, восхищаясь быстрыми смѣнами въ немъ веселья и озлобленія, свѣта и мрака. Его безцеремонность со всѣми только увеличивала его популярность. Когда онъ вдругъ, бросая гостей, уходилъ изъ дома, гости оставались какъ ни въ чемъ не бывало; нѣрѣдко онъ просто съ пренебреженіемъ

бросалъ въ лицо замѣчаніе, что пора расходиться, и гости расходились, не обижаясь.

Но озлобленіе противъ своихъ безотлучныхъ гостей стало у него повторяться все чаще и чаще. Онъ ихъ всѣхъ изучилъ и зналъ, что каждый изъ нихъ скажетъ. Провести вечеръ въ такой компаніи было, пожалуй, развлеченіемъ, но обязательно видѣть ихъ ежедневно—это слишкомъ пошло ему казалось. Онъ слушалъ скверныя остроты, ординарныя сплетни, мелкіе уколы, направленные другъ противъ друга. сходясь къ Бабочкину безъ дѣла и безъ цѣли, съ пустотой въ душѣ и лишь съ голодною жадностью убить время, эти люди не могли дать ему ни веселья, ни смѣха, ни даже забвенія. Напротивъ, очень скоро все общество, сходявшееся у него, сдѣлалось мѣстомъ усиленныхъ сплетень, удвоенныхъ интригъ и непрерывнаго, хотя и мелкаго озлобленія. Не зная, какъ лучше убить время, они съ пустою и безцѣльною злостью разбирали жизнь другъ друга, копаясь въ душѣ, въ сердцѣ, въ спальнѣ и кухнѣ cadaго. Когда одинъ изъ нихъ почему-либо не могъ присутствовать въ данный день у Бабочкина, онъ долженъ былъ знать, что въ этотъ день тамъ его анатомируютъ по всѣмъ косточкамъ, а на слѣдующій день онъ то же самое дѣлалъ по отношенію къ другому отсутствующему. За неимѣніемъ лучшаго, это общество занималось тѣмъ, что грызлось между собой, задѣвая и Бабочкина.

Однажды послѣдній вышелъ въ смежную комнату и выслушалъ на свой счетъ разговоръ, взбѣсившій его до крайности.

— А скоро нашъ амфитріонъ вылетитъ въ трубу?—спросилъ кто-то.

— Должно быть, скоро... Пока онъ доѣдаетъ себя.—Это былъ голосъ Сѣрепкаго, какъ слышалось Бабочкину. — Онъ разматалъ все, что у него было въ душѣ, и теперь самъ скоро увидитъ, что цѣна ему грошъ.

Когда Бабочкинъ услышалъ это, онъ провелъ рукой по лбу. Потомъ вдругъ на него напала ярость. Онъ вышелъ къ гостямъ и заявилъ желаніе, чтобы они ушли.

Потомъ онъ крикнулъ Семена.

— Съ завтрашняго дня никого больше не пускай!—сказалъ онъ.

— Ладно. Давно бы ужь...—возразилъ Семень довольнымъ тономъ, хотя нѣсколько удивленный. — Гнать безъ всякаго разсужденія?—переспросилъ онъ еще.

— Безъ всякаго.

— А ежели который заартачится?

— Спусти съ лѣстницы.

— Отлично! — проговорилъ весело Березинъ, которому также опротивѣла вся эта сутолока.

Исключеніе было сдѣлано только для Кудластова.

Бабочкинъ затѣмъ велѣлъ принести себѣ пальто, шляпу, палку и выбѣжалъ изъ дому, какъ безумный. Онъ въ эту минуту ненавидѣлъ всѣхъ.

Стояла душная лѣтняя ночь. Она душила горячимъ и грязнымъ воздухомъ. Бабочкинъ прошелъ весь городъ, вышелъ на берегъ рѣки и отправился вдоль его. Онъ какъ будто бѣжалъ что-то сдѣлать. Мало-по-малу постройки стали попадаться рѣже; наконецъ, городъ скрылся въ темной мглѣ, а передъ Бабочкинымъ былъ дикій берегъ, отвѣсною стѣной высившійся здѣсь надъ водой. Онъ продолжалъ идти. Ходьба утомила его и нѣсколько понизила его чувствительность. Раздраженіе его исчезло. Но онъ безпокойно продолжалъ идти.

Въ одномъ мѣстѣ онъ, однако, принужденъ былъ остановиться передъ отвѣснымъ оврагомъ. Онъ уже хотѣлъ присѣсть, но въ это время онъ замѣтилъ, что уголъ оврага виситъ надъ водой и, казалось, готовъ упасть. Подъ нимъ на водѣ лежала темная тѣнь. „Зачѣмъ онъ виситъ надъ этимъ мѣстомъ?... Я его столкну“,— подумалъ Бабочкинъ. У него возникло моментальное желаніе сбросить внизъ мрачную глыбу. Онъ сперва попробовалъ ногой—глыба, однако, не подавалась; тогда онъ легъ навзничъ и уперся обѣими ногами въ висящую груду, но она слегка только пошевелилась. Это привело его въ негодованіе; онъ толкалъ со всѣхъ сторонъ глыбу, но она только по кускамъ осыпалась. Тогда онъ бросился ощупью искать на землѣ вокругъ мѣста какую-нибудь палку и, къ удовольствію, скоро на краю оврага замѣтилъ брошенную слѣгу и схватилъ ее. Это былъ прочный рычагъ. Онъ воткнулъ его глубоко между твердымъ берегомъ и висячею скалой и принялся раскачивать его изъ стороны въ сторону. Послѣ страшныхъ усилій масса, набо-

нець, подалась, медленно покачнулась внизъ и рухнула въ пропасть. Съ улыбкой удовольствія на лицѣ Бабочкинъ прислушивался, какъ она загудѣла по уступамъ, увлекая за собой груду камней, и черезъ мгновеніе ударилась въ воду, которая закипѣла подъ ней, взволнованная страшнымъ ударомъ.

Свершивъ это необходимое дѣло, Бабочкинъ почувствовалъ облегченіе; руки и ноги его дрожали; потъ смочилъ его бѣлье; дыханіе было прерывистое. Это успокоило его окончательно, и онъ направился домой.

Нѣсколько дней въ домѣ стояла тишина. Но тишина была уже для Бабочкина невыносима. Среди нея безпокойство его возростало до крайности. Организмъ его требовалъ безпрерывнаго движенія.

Къ этому времени, къ концу лѣта, въ городѣ явился гипнотизеръ и привлекъ на свои сеансы множество народу. Въ числѣ первыхъ былъ Бабочкинъ. Онъ съ самозабвеніемъ ударился въ таинственную область и первое время глубоко волновался открытіями. Двери его дома снова растворились, но уже не для пустыхъ кутежей, а для таинственныхъ опытовъ. Когда дѣло дошло до „чтенія чужихъ мыслей“, Бабочкинъ вдругъ сдѣлался изъ ученика учителемъ и совершалъ поразительные опыты. Всѣ изумлялись ему, въ томъ числѣ и невѣжественный гипнотизеръ, не понимая, что къ таинственнымъ экспериментамъ онъ былъ приготовленъ всѣмъ своимъ прошлымъ. Парализованная воля его давала широкій просторъ разсѣяннмъ мыслямъ, а возбужденная, напряженная чувствительность сдѣлала его проникательнымъ. Ему понятно было то, что ускользало отъ сознанія здоровыхъ людей, мысль которыхъ идетъ по опредѣленному пути. Нервная дѣятельность его, лишенная контроля и цѣли, стала тонкимъ инструментомъ, чувствительнымъ для самыхъ ничтожныхъ движеній. Онъ, какъ микроскопъ, видѣлъ то, чего не видѣли здоровые.

Въ этихъ гипнотическихъ сеансахъ прошелъ цѣлый мѣсяцъ. Бабочкина они такъ разбили, что онъ лишился аппетита, сна, здоровья. Къ счастью, гипнотизеръ уѣхалъ, а самъ онъ не былъ въ силахъ продолжать эту болезненную жизнь. Дамы ему также надобли, и онъ вторично отдалъ приказъ Березину никого не пускать.

— И мадамовъ всѣхъ гнать?—спросилъ Семенъ сомнѣвающимся тономъ.

— Всѣхъ гони.

— А ежели которая заартачится?

— Возьми за руки и выведи за дверь,—сказалъ Бабочкинъ серьезно.

Снова квартира его замолкла и уже теперь навсегда. Безпокойный, въ сильномъ смятеніи, Бабочкинъ гнался за послѣдними лучами догорающей мысли и бросился путешествовать. Движеніе, хотя бы механическое, стало тѣмъ болѣе неутолимою потребностью для него, что другого исхода онъ уже не въ силахъ былъ отыскать. Онъ быстро собрался. Передъ отъѣздомъ къ нему на домъ явился секретарь и умолялъ его посмотреть нѣкоторыя важныя дѣла. Бабочкинъ взялъ изъ рукъ его дѣла и на его глазахъ разорвалъ ихъ въ мелкіе куски. Секретарь пришелъ въ такой ужасъ, что рѣшился немедленно принять мѣры для своего спасенія отъ скамьи подсудимыхъ. Онъ подалъ донесеніе. Но Бабочкинъ уже уѣхалъ, не взявъ даже отпуска.

Онъ поѣхалъ на Кавказъ.

Но свѣтъ все быстрѣе скрывался отъ него.

IX.

Дорога сначала заняла его. Приходилось жить дорого въ торопяхъ,—это на время создало для него иллюзію дѣла. Эта вѣчная сутолока, царствующая въ вагонахъ, на вокзалахъ, во время остановокъ, во время слѣдованія, способствовала отнять всякія заботы, кромѣ собственно желѣзнодорожныя. Выѣстъ съ другими ѣдущими и торопившимися Бабочкинъ также спѣшилъ куда-то, нетерпѣливо суетился, лихорадочно ожидалъ чего-то впереди. При пересадкѣ онъ спѣшилъ занять лучшее мѣсто, какъ будто это ему нужно было; на станціяхъ бѣгалъ со всѣхъ ногъ на вокзалъ, не зная зачѣмъ во время остановокъ съ буфетомъ рвалъ зубами порціи, пылять, зачѣмъ-то спѣша проглотить всякой пищи какъ можно больше; глоталъ, обжигаясь, стаканъ чаю, не имѣя жажды, а при второмъ звонкѣ, сломя голову, толкая другихъ, безъ всякой надобности, бросался къ своему купу. Кромѣ всего этого, онъ на станціяхъ съ величайшею пос

ль-то фарфоровую трубку, почему-то соломенную коробку; вообще эти дрянные вещи не были ему нужны, и покупать онъ ихъ только изъ стаднаго подражанія.

На самомъ дѣлѣ ему некуда было спѣшить, незачѣмъ торопиться. Онъ даже не зналъ, куда онъ ѣдетъ, и ясно не представлялъ себѣ, гдѣ это *тамъ*, куда онъ торопился приѣхать. Ему полезно было само движеніе. Рѣзкій свистъ машинъ, торопливый звонокъ, бѣготня служащихъ, свистъ возка во время ѣзды—вотъ все, что ему было нужно; и когда онъ все это слушалъ, онъ забывался, и ему казалось, что все это необходимо.

Когда поѣздъ летѣлъ между станціями, онъ выходилъ на площадку и по цѣлымъ часамъ наблюдалъ, какъ предметы, идущіеся впереди, мгновенно приближались, мелькали чезъ поле зрѣнія и безслѣдно пропадали, оставивъ мгновенное и едва ощутимое впечатлѣніе. Онъ наблюдалъ бѣгушіе зеленые лѣса, желтѣвшіе хлѣбныя поля, будки, столбы, свѣтлыя полосы озеръ, темныя овраги и думалъ: „Вотъ такъ проходитъ жизнь! Жизненные явленія мгновенно мелькаютъ мгновенно же скрываются во мглѣ неизвѣстнаго прошедшаго... Здѣсь все моментально и ничего нѣтъ прочнаго. Душее... вотъ тѣ вещи, которыя приближаются... только тѣхъ поръ существуетъ, пока мы ждемъ его, но когда онъ приближается къ намъ, какъ вотъ эта сосна, его уже нѣтъ, оно уже прошло для насъ, исчезнувъ позади... Слѣдовательно, жизнь не состоитъ изъ этихъ вещей, она есть только движеніе“...

И Бабочкинъ мрачно развивалъ эти мотивы въ душѣ. Онъ видѣлъ пролетающіе мимо него зеленые лѣса, пестрыя, какъ шахматныя доски, поля, телеграфныя столбы, сторожевыя будки, овраги и рѣки и чувствовалъ, что всего этого на самомъ дѣлѣ нѣтъ... Онъ сталъ во всемъ сомнѣваться. Внѣшній міръ уже сталъ скрываться отъ его взоровъ, отчужденныхъ внутренними болями; угасавшая его мысль уже неспособна была созерцать широкія картины внѣшняго бытія; она сама надъ собой работала. Бабочкинъ погружался въ себя.

Въ рѣдкія минуты, когда онъ ложился на свое мѣсто въ поѣздѣ съ цѣлью, повидимому, отдохнуть, онъ перебиралъ

одного, который имѣлъ бы цѣну самъ по себѣ. Сомнѣваясь уже въ самыхъ основаніяхъ жизни, онъ не понималъ обыкновенныхъ вещей. Онъ спрашивалъ: что такое добро?—и, къ удивленію своему, не зналъ, что это такое; быть можетъ, это—временное соглашеніе между людьми поступать такъ, а не иначе, но тогда добро измѣнчиво, и его на самомъ дѣлѣ нѣтъ... Какая же цѣль жизни? Счастье. Но въ чемъ оно? Это всякій понимаетъ по-своему, у разныхъ людей оно разное; разные времена по-своему его опредѣляли... Оно измѣнчиво, слѣдовательно, его нѣтъ. Да и вообще ничему нѣтъ, даже самой жизни, потому что эта жизнь есть только мимолетная форма какого-то неизвѣстнаго явленія. Лучше бы слово „жизнь“ вовсе отбросить и просто говорить—„явленіе“. Только бы сказали: явленіе Бабочкина было скучно и безцѣльно... Онъ появился не надолго, но черезъ мгновеніе неизвѣстно куда пропалъ.

Онъ передумывалъ все это и смѣялся.

Между тѣмъ, это явленіе было доброе. Бабочкинъ всю жизнь искалъ счастливой работы и веселаго труда; это былъ человѣкъ съ натурой экспансивной, живой и веселый. Не столько страстный, сколько веселый, не столько глубокий, сколько яркій, онъ походилъ на тѣ цвѣты, которые распускаются только въ маѣ и пропадаютъ въ мрачныя времена. Жизнь сначала улыбалась ему такъ же, какъ онъ ей улыбался. Его всѣ любили. Онъ былъ душой всего, что было молодо и весело. У него было дѣло, которое онъ живо выполнялъ. На его рукахъ покоилась семья, которую онъ берегъ. Онъ былъ способенъ на самыя большія работы, лишь бы онѣ были только счастливы; онъ могъ взвалить на свои плечи какое угодно дѣло, лишь бы только это было веселымъ дѣломъ. Его можно было заинтересовать какимъ угодно пріятіемъ, въ которомъ была новизна, жизнь, живая цѣль. Но онъ не выносилъ тяжелаго дѣла, не любилъ мрачныя мыслей, не понималъ скучной работы, не выносилъ озлобленныхъ людей. Жизнь для него—синонимъ радости. Радости нѣтъ—нѣтъ и жизни. Въ другое время онъ могъ ярко развернуться, блистая энергичными красками и живыми благоуханіями, но май быстро прошелъ. Первый ударъ нанесенъ былъ ему смертью сестры; съ болью въ сердцѣ

но онъ вынесъ его. Но когда погибъ неожиданно его братъ, котораго онъ беззавѣтно любилъ, свѣтъ для него померкъ темнымъ покрываломъ. Потомъ уѣхала жена. Тогда онъ растерялся. Веселый, онъ теперь носилъ въ душѣ только мрачныя воспоминанія. Бабочкинъ хотѣлъ улыбаться, но обстоятельства то и дѣло безпрерывно наполняли его душу мракомъ; ему казалось, что стоитъ только перестать смотрѣть кругомъ, на все наплевать, и все пойдетъ отлично. Последняя попытка его, рассказанная здѣсь, явилась какъ последнее средство. Онъ еще вѣрилъ, что жизнь—это радость и что міръ полонъ счастья, и бросилъ искать развлеченій; чтобы добиться этого, онъ бросилъ дѣла, обязанности, службу, старался забыть страшныя воспоминанія прошлаго. Онъ не нашелъ ихъ. И все для него пропало.

Мысль его съ каждымъ днемъ слабѣла. Погружаясь въ себя, онъ пытался отвѣтить на разные болѣзненные вопросы; напряженный мозгъ его готовъ былъ разбиться отъ страшныхъ усилій, но, кромѣ еще большаго затменія, онъ ничего не добился.

Между тѣмъ, передъ нимъ мелькали зеленые лѣса, свѣтлыя полосы рѣкъ и озеръ, темные овраги, золотыя поля, телеграфные столбы и дорожныя будки, и онъ пріѣхалъ, наконецъ, на Кавказъ. Но это было вовсе не то мѣсто, куда онъ ѣхалъ.

Онъ ѣхалъ туда, но минеральныя воды оказались для него совсѣмъ не нужны. Онъ пожилъ съ недѣлю возлѣ курзала; публики было уже немного, да она и не нужна была ему; едва-ли ясно онъ сознавалъ присутствіе людей возлѣ себя, потому что онъ былъ погруженъ въ себя и мысли его сами надъ собой работали. Здѣсь, на минеральныхъ водахъ, всѣ обратили вниманіе на человѣка, который, въ одно и то же время, беспокоится и беззаботно хохочетъ. Бабочкинъ, впрочемъ, неизвѣстно зачѣмъ, пилъ противную воду, совѣтовался съ докторомъ и безъ всякой надобности наложилъ на себя строгую діету. Потомъ ему эта глупость надоѣла и онъ пустился колесить по Кавказу, продолжая думать, что онъ ѣдетъ туда.

Онъ опять лѣтилъ по желѣзной дорогѣ, ѣздивъ на лошади, верхомъ и на телѣгахъ, ѣздивъ на ослахъ, взбирался на горы пѣшкомъ, и это на время поддерживало видимость

существуетъ. Когда, верхомъ на ослѣ, нѣмѣли его ноги и ныла спина, онъ чувствовалъ эту боль съ удовольствіемъ: когда все тѣло его было избито при ѣздѣ на лошадахъ, онъ только радъ былъ физическому утомленію; онъ тогда занимался собой, старался ѣсть, во всякомъ случаѣ, спать и былъ доволенъ, что утомлялся, какъ будто отъ трудовъ.

Съ Кавказа онъ перебрался въ Крымъ. Но въ Ялтѣ онъ едва высидѣлъ нѣсколько дней и поѣхалъ въ другое мѣсто, а отсюда въ третье. Такъ онъ объѣхалъ, нигдѣ не останавливаясь, весь полуостровъ, причемъ постоянно былъ во власти той иллюзіи, что ѣдетъ въ опредѣленное мѣсто, *туда*, гдѣ ему нужно быть.

Подъ давленіемъ той же иллюзіи изъ Крыма онъ торопливо отправился въ Ригу; выборъ этотъ былъ, разумѣется, въ высшей степени необъяснимый, почти рефлексивный; единственная причина, указавшая ему ѣхать въ Ригу, состояла въ томъ, что онъ вспомнилъ о существованіи въ Ригѣ купаній, на которыя съѣзжается въ лѣтній сезонъ много народа. Но здѣсь онъ также оставался всего нѣсколько дней, прожилъ все время въ гостинницѣ, ничего не осмотрѣлъ, не заинтересовался даже морскимъ берегомъ, ради котораго ѣхалъ... На него напало здѣсь странное озлобленіе противъ города, и онъ выѣхалъ изъ него.

Обратный путь онъ совершилъ необъяснимыми зигзагами; вмѣсто Москвы, лежащей на его пути, онъ попалъ въ Харьковъ, а вмѣсто того города, гдѣ была его квартира, онъ очутился въ Саратовѣ. Только отсюда онъ прямо направился домой. Это было уже глубокою осенью. Но, возвращаясь домой, онъ не представлялъ себѣ, что онъ будетъ дѣлать дома. Его домъ казался ему чужимъ; онъ отлично зналъ, что жить у себя дома не останется, а поѣдетъ сейчасъ *туда*, куда влекло его.

Онъ поѣхалъ домой, позвонилъ и встрѣтилъ Семена. Последній несказанно обрадовался и бросился услуживать впопыхахъ, съ торопливостью чловѣка, который дождался возвращенія родного. Но Бабочкинъ холодно обошелся съ нимъ, молчалъ на всѣ его вопросы и, видимо, тяготился его болтовней.

— Что ему нужно?—вяло осведомился Бабочкинъ.

— Кажись, насчетъ театру... арфистка какая-то прѣѣхала.

— Какая арфистка?

— Да арфистка, ужь это вѣрно... Господинъ Карамовъ сказывали... Они очень волнуются. Да и весь горажись, взбѣсился, только и разговору, что про эту арфу. Даже нашъ дворникъ, и то говорить: чудесно играетъ скрипкѣ... Взбѣсился всѣ—очень просто.

Бабочкинъ пожалъ плечами. Все это смутно онъ припоминалъ, какъ будто всѣ эти имена относились къ далекому прошлому. Но онъ подумалъ все-таки: „Глупый что-ничапуталъ“...

— Чаю не нужно, иди,—сказалъ онъ разсѣянно.

Березкинъ былъ совершенно оскорбленъ, но онъ хотѣлъ обросовѣстно выполнить свои обязанности. Онъ угрозилъ на мѣстѣ.

— Что еще?—спросилъ Бабочкинъ грубо.

— Тутъ еще какіе-то господа были... не одинъ разъ спрашивали про васъ... Очень, говорятъ, нужно ихъ, васъ...

— Кто они?

— Да никакъ прокуроръ, да частный... и еще рыжій какой-то. Все спрашивали, когда вы прѣдете.

Бабочкинъ опять пожалъ плечами и велѣлъ уходить ему. Онъ походилъ по комнатамъ и придумывалъ, куда пойти пока. На свой домъ онъ смотрѣлъ, какъ на станцію онъ не долго пробудетъ и откуда скоро выберется прочь *туда*, гдѣ была цѣль путешествія. Но пока не было дѣлать, и онъ въ сильномъ безпокойствѣ прислонился къ холодному стеклу.

Вдругъ онъ увидалъ ѣхавшаго по улицѣ Карамельникова, запахнувъ окно, онъ крикнулъ ему, чтобы онъ остановился. Карамельниковъ соскочилъ съ дрожекъ и черезъ минуту былъ уже у Бабочкина.

— На минуточку... не могу больше!—сказалъ Карамельниковъ, вмѣсто привѣтствія, и принялся рассказывать удивительныя вещи. Онъ былъ взволнованъ, торопился, путе

такъ что Бабочкинъ сначала ничего не могъ понять и только послѣ нѣсколькихъ вопросовъ разобралъ, въ чемъ дѣло.

Семень вѣрно передавалъ, только названіе перепуталъ. Городъ дѣйствительно взбѣсился, благодаря пріѣзду заграничной артистки, играющей на скрипкѣ. Это была знаменитая м-мъ N. Не одинъ Карамельковъ ошалѣлъ отъ ея игры, но дѣйствительно весь городъ. О пріѣздѣ ея заранее знали. Недавно выѣхавъ изъ Вѣны, она побывала въ нѣкоторыхъ русскихъ городахъ и вездѣ вызывала смятеніе. Одурѣвшая отъ скуки публика сдѣлала изъ нея кумирь. Ее встрѣчали, какъ царицу; на вокзалѣ заранее вышли власти города, во время пути она занимала отдѣльный министерскій вагонъ. Ее осыпали цвѣтами и золотомъ повсюду. „Что здѣсь происходило вчера—уму непостижимо!“

Первый концертъ ея былъ данъ дня три тому назадъ. Народу набилось много, но люди не бѣсились еще. Но уже на слѣдующій день весь городъ лихорадочно ждалъ восьми часовъ. Театръ ломился подъ давленіемъ массъ. Всѣ помыслы обратились къ ней и всѣ взоры были обращены на ту дверь, изъ которой ждали ея выхода на сцену. Толпа замерла въ ожиданіи и молчала, какъ одинъ человѣкъ. Она, наконецъ, вышла, маленькая, худая, некрасивая. Всѣмъ казалось, что скрипку ей тяжело держать, а смычокъ не твердо лежитъ въ ея крошечной рукѣ. Наконецъ, она неловко раскланялась, остановилась и извлекла первые звуки... И въ залѣ раздался взрывъ восторга, равносильнаго ужасу,—никто не ожидалъ отъ крошечной руки такихъ могучихъ звуковъ, упавшихъ въ толпу, какъ громъ. Когда черезъ мгновенье опять наступила мертвая тишина, инструментъ запѣлъ божественную пѣсню, отъ которой можно умереть, забывъ о дыханіи. Жизнь прекратилась въ тысячной толпѣ, оцѣпенѣвшей въ страшной истомѣ. Все умерло въ залѣ отъ этихъ ударовъ смычка и помертвѣвшіе люди оставались неподвижными, какъ деревянные стулья, на которыхъ они сидѣли.

— Нѣтъ, я слабое сравненіе сдѣлалъ!... Ну, да ничего, некогда... прощайте, бѣгу! — вдругъ прервалъ себя Карамельковъ и бросился-было бѣжать.

Но Бабочкинъ ухватилъ его за рукавъ.

— И сегодня будетъ?—спросилъ онъ съ страннымъ волненіемъ.

— Въ послѣдній разъ! — закричалъ Карамельковъ.

— Билеты еще есть?

— Ни одного!

— Но можно будетъ какъ-нибудь пробраться?

— Нельзя! Я къ вамъ заѣзжалъ, но теперь уже поздно...

Пустите, ради Бога! — взмолился Карамельковъ, вырвался и побѣжалъ. Онъ дѣйствительно походилъ на бѣсноватаго.

И такъ происходило во всемъ городѣ. М-мъ Н. помутила умы, поставила на ноги всѣхъ скучающихъ и обремененныхъ пошлою пустотой. Смычокъ ея былъ повелительнымъ жезломъ; поворотъ этого смычка могъ бросить толпу на какое угодно дѣло. Послѣдній концертъ, дававшійся сегодня, окончательно привелъ всѣхъ въ состояніе дикости.

Бабочкинъ, послѣ бѣгства Карамелькова, не зналъ, что ему дѣлать, бѣжать-ли самому въ театральную кассу, послать-ли Семена, или ѣхать къ одному изъ знакомыхъ, чтобы съ его помощью пробраться. Концертъ вдругъ выросъ на его глазахъ въ дѣло огромной важности. „Въ послѣдній разъ играть“... Эти слова вызвали въ немъ лихорадочную тревогу. Онъ нѣсколько разъ надѣвалъ шляпу, нѣсколько разъ порывался броситься на извозчика, но только въ безпокойствѣ метался по кабинету. До концерта оставался часъ съ небольшимъ. Бабочкинъ не зналъ, что съ нимъ дѣлается. Онъ крикнулъ, наконецъ, Семена.

— Возьми извозчика, поѣзжай къ Кудластову и привези его сюда! — приказалъ онъ ему и бѣсился, смотря, какъ медленно Березинъ собирается.

А когда послѣдній уѣхалъ, имъ овладѣло томительное ожиданіе. „Достану билетъ или нѣтъ?“ — думалъ онъ и никакъ не могъ представить, чтобы невозможно было попасть въ театръ. Онъ рѣшилъ, что непременно попадетъ на концертъ, во что бы то ни стало. Въ его разстроенномъ воображеніи вдругъ появился цѣльный образъ удивительной артистки и заполонилъ всѣ его мысли; онъ вообразилъ до мельчайшихъ подробностей ея лицо, ея фигуру, ея скрипку и смычокъ. Это было небесное видѣніе, яркое, какъ миражъ, и всею своею опустѣвшею душой онъ погрузился въ созерцаніе его. Тогда рѣшимость во что бы то ни стало попасть на спектакль повелительно овладѣла имъ. Шагая по кабинету, онъ за-

былъ даже привести въ порядокъ свое дорожное платье, — все забылъ.

— Ихъ нѣтъ дома, въ театрѣ уѣхавши, — сказалъ возвратившійся Семень.

Бабочкинъ нѣсколько минутъ тупо смотрѣлъ на него, потомъ взялъ шляпу и вышелъ изъ дому. На улицѣ онъ взялъ извозчика, сѣлъ и велѣлъ везти себя къ антрепренеру театра. Этого человѣка онъ зналъ и надѣялся съ его помощью пробраться на концертъ. Антрепренера онъ не засталъ, но это не ошеломило его.

„Не можетъ быть, чтобы отрѣзана всякая возможность,“ — думалъ онъ и съ страшною рѣшимостью желалъ услышать концертъ. У него явилась дикая энергія.

Извозчика онъ погналъ къ знакомому актеру. Актера не было дома. Бабочкинъ на мгновенье обомлѣлъ.

„Не можетъ быть!“ — повторилъ онъ.

Бросившись на извозчика, онъ поскакалъ въ театр.

Возлѣ подъѣзда театра толпился народъ. Восемь часовъ уже пробило — концертъ начался. Бабочкинъ соскочилъ съ дрожекъ и сталъ пробираться черезъ толпу, загородившую входъ. Это были несчастливцы, не успѣвшіе во-время приобрести билета; они даже въ корридоръ не попали и продолжали сплошною стѣной стоять въ стѣнахъ. Бабочкинъ локтями и грудью принялся пробиваться сквозь эту стѣну. Онъ не зналъ, что изъ этого выйдетъ, только продолжалъ твердить: „Не можетъ быть!“

— Вы, должно быть, съ билетомъ? — злобно сказалъ ему какой-то баринъ.

— Почему вы такъ думаете? — спросилъ, ничего не замѣчая, Бабочкинъ.

— Потому что вы ломитесь... Развѣ вы не видите, что здѣсь нельзя пробраться?

— Милостивый государь, вы ударили меня въ животъ! — крикнулъ ему подъ самое ухо какой-то другой господинъ.

— Вы какое право имѣете ноги давить? — закричалъ ему третій.

— Назадъ! — закричало нѣсколько голосовъ.

Бабочкинъ опѣшилъ и остановился въ самой срединѣ густой толпы.

— Господа, я хочу только пробраться на лестницу, — сказал онъ упавшимъ голосомъ.

— Да у васъ есть билетъ?—спросилъ его кто-то.

— Нѣтъ.

— Тикъ куда же вы ломитесь?—возразили ему, и вокругъ него поднялись злыя насмѣшки.

— Вы, можете быть, къ капельдинеру хотѣли обратиться? Напрасно. Мѣста нѣтъ, понимаете, мѣста нѣтъ! Ложи полны, въ партерѣ сидятъ по два человѣка на одномъ стулѣ. Ракъ—адъ кромѣшный! Тамъ сидятъ не только на скамейкахъ, но и другъ на другѣ. Платили по пяти рублей, чтобы имѣть право сидѣть другъ на другѣ верхомъ! По три рубля недавно давали за то только, чтобы отъ времени до времени просовывать голову изъ коридора въ залу, понимаете? На лестницѣ губернаторъ поставилъ жандармовъ, чтобы не пускать больше никого, даже въ коридоръ... потому что иначе стѣны зданія лопнуть отъ напора...

Это вѣшалъ Бабочкину какой-то красный господинъ, съ лица котораго потъ ватился градомъ.

Бабочкинъ выслушалъ нотацію, не оскорбившись и только пораженный невозможностью пробраться. Теперь онъ не могъ пошевелить пальцемъ, сдавленный со всѣхъ сторонъ живыми стѣнами. Горячее дыханіе поднималось отъ этихъ стѣнъ; жаръ въ серединѣ ихъ былъ такъ великъ, что каждый изъ людей, составлявшихъ эти плотно сбитыя стѣны, пылалъ огненными красками и каждое лицо казалось пылающею головней.

Но Бабочкинъ не испытывалъ этого жара. Онъ стоялъ весь похолодѣлый. Холодъ обнялъ все его тѣло и проникъ до самаго сердца.

Онъ убѣдился, что концерта не увидитъ, и это пустое обстоятельство приняло въ его глазахъ страшное значеніе. Въ его душѣ совсѣмъ темнѣло.

Но онъ не могъ оставаться на мѣстѣ и невольно сталъ проталкиваться назадъ, повинаясь какой-то силѣ. Раздвигая массу, онъ лѣзъ изъ сѣней къ выходу, похолодѣлый и блѣдный. Послѣ продолжительныхъ усилій ему удалось, наконецъ, выбраться изъ толпы, и онъ очутился на улицѣ.

Когда темная осенняя ночь дунула ему въ лицо сыростью

Все окружающее вдругъ пропало изъ его глазъ, міръ прекратилъ для него существованіе, не замѣчаемый больше имъ, и онъ остался одинъ. Онъ весь ушелъ въ себя, никого больше не видя помутившимся разумомъ.

— Лучше умереть!—вдругъ сказалъ онъ и рѣшилъ немедленно привести въ исполненіе это желаніе.

Онъ поплелся домой, слабо передвигая ногами, которые плохо повиновались ему. Ни на какое усиліе онъ уже не былъ способенъ; послѣдніе остатки его воли пропали. Онъ только могъ умереть; воли осталось ровно столько, сколько нужно было, чтобы убить себя.

Инстинктивно, ничего не замѣчая, онъ дошелъ домой: тамъ дома у себя онъ рѣшилъ застрѣлиться. Переступая порогъ крыльца, онъ ощупалъ въ карманѣ револьверъ, который онъ забылъ сегодня послѣ пріѣзда вынуть. Потомъ онъ медленно прошелъ по лѣстницѣ, вошелъ въ открытую настежь дверь и направился въ кабинетъ, не замѣчая, что вся квартира его была освѣщена, что въ залѣ, мимо которой онъ проходилъ, сидѣли какіе-то люди и что между ними, блѣдный, какъ полотно, стоялъ Семенъ.

Онъ прошелъ въ кабинетъ, также освѣщенный, и на мгновеніе у него промелькнула мысль—написать послѣднее письмо. Но не было силъ на это. Тогда онъ вынулъ револьверъ изъ кармана и сталъ похолодѣвшими руками развязывать шнуръ.

— Александръ Иванычъ! — вдругъ раздался около него голосъ.

Онъ поднялъ голову и безумно оглянулъ вдругъ представшихъ передъ нимъ людей, не въ состояніи возвратиться въ міръ дѣйствительности. Передъ нимъ стояли прокуроръ, его хорошій знакомый, и частный приставъ, а позади какіе-то сѣрые люди — понятые, какъ это черезъ минуту оказалось. Приставъ тихо вынулъ изъ руки Бабочкина револьверъ, осторожно осмотрѣлъ его и опустилъ въ карманъ къ себѣ. Прокуроръ повторилъ:

— Александръ Иванычъ!

На лицѣ послѣдняго показались какія-то судороги. Онъ какъ будто что-то хотѣлъ припомнить, но не могъ.

— Александръ Ивановичъ! Я пришелъ съ неприятнымъ дѣломъ... Но вы успокойтесь прежде, ради Бога!

— Успокойтесь, господинъ!—прибавилъ, въ свою очередь, приставъ.—Съ кѣмъ такихъ несчастій не бываетъ, не всѣмъ же умирать!

Эти господа были увѣрены, что Бабочкинъ хотѣлъ застрѣлиться изъ страха передъ позоромъ ареста.

Бабочкинъ вдругъ заводновался, краска залила его помертвѣвшее лицо, и онъ какъ будто возвратился къ дѣйствительности.

— Я пришелъ съ тяжелою обязанностью... арестовать васъ... Вотъ прочтите предписаніе.

Прокуроръ подалъ бумагу. Бабочкинъ предавался суду за небрежность къ служебнымъ обязанностямъ, за уничтоженіе дѣлъ, вообще за преступленія по должности.

Бабочкинъ равнодушно пробѣжалъ бумагу, едва представляя себѣ арестъ, но, между тѣмъ, лицо его вдругъ озарилось радостью.

— Я арестованъ?

— Да, за проступки по должности...

— Въ тюрьму?

— Къ сожалѣнію... но это, конечно, не надолго... Это, можетъ быть, просто недоразумѣніе...

Бабочкинъ не далъ договорить прокурору, схватилъ его руку и съ силой пожалъ ее; потомъ схватилъ руку пристава и также пожалъ. На лицѣ его сіяла свѣтлая улыбка. Онъ благодарилъ этихъ людей, что они не дали ему убить себя; благодарилъ молча, но съ величайшею искренностью. На мгновеніе разумъ его просвѣтлѣлъ,—онъ увидѣлъ людей, міръ, все окружающее...

Всѣ были смущены этимъ непонятнымъ весельемъ и быстро поторопились покончить съ формальностями. Но Бабочкинъ больше всѣмъ торопился, помогалъ, совѣтовалъ. Потомъ онъ живо одѣлся и былъ готовъ оставить домъ. Прокуроръ предложилъ наложить арестъ на его имущество, но онъ отказался, указавъ на Семена, какъ на лучшаго хранителя его квартиры.

— Ну, прощай, милый!—сказалъ онъ Семену, пожавъ ему руку и выходя изъ дому въ сопровожденіи чиновъ.

Дорогой лицо его свѣтилось такою же улыбкой; онъ шутилъ съ своими спутниками и смѣялся. Онъ смотрѣлъ на го-

дугъ какъ будто оставилъ его, и онъ смѣло смотрѣлъ вокругъ себя. Весь міръ улыбался ему.

Х.

Но это былъ послѣдній лучъ солнца, озарившій его жизнь. Тюремное одиночество быстро уничтожило въ немъ остатки живой мысли. Недугъ продолжалъ развиваться. Объ этомъ скоро догадался Семень.

Семень быстро освоился съ своею новою ролью. Онъ караулилъ и въ извѣстной часъ, какъ ни въ чемъ не бывало, носилъ барину въ тюрьму обѣдъ. Это вовсе не казалось ему страннымъ; онъ держался того мнѣнія, что разъ это случилось, то такъ и должно быть. Онъ относилъ обѣдъ въ острогъ, передавалъ его тюремному начальству, а самъ садился на лавочку возлѣ тюремныхъ воротъ и просиживалъ здѣсь цѣлыми днями, разговаривая съ надзирателемъ и съ караульными солдатами. Сначала его вздумали прогонять съ этой позиціи; не одинъ разъ солдатъ грозилъ ему прикладомъ, а надзиратель кулаками, но онъ терпѣливо перенесъ всѣ гонѣнія и добился того, что съ его постояннымъ присутствіемъ на острожной лавочкѣ примирились.

Строгихъ надзирателей онъ угощалъ папиросами, которые онъ носилъ барину, а солдатъ—простою махоркой, которую самъ курилъ. Кончилось тѣмъ, что его стали считать какъ бы своимъ человѣкомъ въ острогѣ. Въ особенности его любили за неизмѣнную готовность поработать и услужить. Пошлетъ его надзиратель на свою квартиру за оставленною вещью—Семень пойдетъ; попроситъ его солдатъ сбѣгать за хлѣбомъ—Семень сбѣгаетъ. Его узналъ и смотритель. Когда этотъ послѣдній подѣзжалъ утромъ къ тюрьмѣ, возвращаясь съ базара, Семень помогалъ ему вылѣзть изъ тележки или соглашался поддержать лошадь, если та не стояла. Съ его присутствіемъ не только помирились, но считали его какъ бы однимъ изъ необходимыхъ людей въ острогѣ, и когда онъ почему-либо долго не являлся въ извѣстный день, этому всѣ удивлялись и говорили: „что-то долго нѣтъ Семена“... Нѣкоторымъ солдатамъ безъ него было скучно, и когда онъ,

послѣ отсутствія, вдругъ показывался на концѣ тюремной площади, скучающіе были довольны и говорили: „а вотъ и Семенъ идетъ!“

Надъ нимъ иногда подшучивали.

— А должно, ты, Семенъ, больно любишь своего барина, — говорили ему.

Семенъ конфузился, но возражалъ всегда однимъ и тѣмъ же:

— Нечего тутъ любить... я только дѣло исполняю. Потому онъ ко мнѣ былъ съ удовольствіемъ, и я къ нему...

— А пошелъ бы за нимъ въ камору? — спрашивали его.

— Отчего же? Жить вездѣ можно. Ты вотъ слоняешься же здѣсь со штыкомъ на плечѣ, топчешь дорожку, а для чего ты это дѣлаешь? Для службы. Служба ужъ такая твоя. Такъ и я.

Иногда шутки принимали колкій для Семена смыслъ.

— А знаешь, Семенъ, за какія дѣла твой-то сидитъ? Вѣдь онъ, говорятъ, печки растоплялъ казенными бумагами, а?

Семенъ тогда дѣлался задумчивымъ и печальнымъ.

— Это, братъ, не намъ дѣло судить. Не наше дѣло осуждать.

Такъ и утвердился онъ въ острогѣ. Къ Бабочкину его, конечно, не пускали, и видѣться съ нимъ онъ не могъ. Но ему очень хотѣлось повидать его. При невозможности этого, онъ каждый день разспрашивалъ сторожей, какъ онъ живетъ, здоровъ-ли и что дѣлаетъ. Сначала онъ былъ доволенъ всѣмъ, что ему рассказывали о Бабочкинѣ, и былъ спокоенъ за него. Но черезъ нѣкоторое время, слушая рассказы сторожей, онъ задумался и затосковалъ, инстинктивно предчувствуя, что скоро будетъ всему конецъ.

Но все-таки онъ продолжалъ караулить квартиру и каждую вещь въ ней хранилъ, какъ зеницу ока; отъ времени до времени онъ приводилъ всѣ вещи въ образцовый порядокъ, подвергая ихъ усиленной чисткѣ. А уходя въ острогъ, запиралъ всѣ двери на запоръ замками и засовами, чтобы никакому вору нельзя было проникнуть, потому что онъ со дня на день ждалъ возвращенія изъ тюрьмы барина; къ квартирѣ его и къ нему самому онъ привязался, какъ кошка къ дому, и долго не хотѣлъ признать, что домъ уже опустѣлъ.

Однажды Семенъ получилъ черезъ надзирателя отъ Бабоч-

кина приказъ—перевезти въ острогъ множество вещей, хранимыхъ въ пустой квартирѣ. Семенъ былъ пораженъ. Онъ исполнилъ приказаніе и привезъ цѣлый возъ разныхъ предметовъ, но спрашивалъ, что это значить?

— Камору свою вздумалъ убирать,—отвѣтилъ ему одинъ изъ сторожей.

Семенъ ничего не сказалъ, затосковалъ и не сидѣлъ больше на лавочкѣ передъ тюремными воротами.

Съ первыхъ же дней, когда Бабочкина оставили одного въ глухой камерѣ, онъ сталъ проявлять страшное безпокойство. Цѣлый день онъ ходилъ по узкому помѣщенію и, казалось, чего-то искалъ. Онъ съ любопытствомъ и тревогой осматривалъ всѣ мельчайшія особенности своего жилья, то мрачно хмури брови, то улыбаясь. Потомъ онъ отдалъ приказъ Семену—привести разные предметы роскоши, для чего онъ составилъ длинный списокъ. И вотъ, когда Семенъ прислалъ выписанные предметы, Бабочкинъ въ величайшемъ волненіи принялся размѣщать ихъ по грязной камерѣ. У него явилась идея украсить острогъ.

Казенное убранство комнаты было невеселое; сама комната узка—семь шаговъ длины и три ширины; окно съ рѣшеткой и съ запыленнымъ стекломъ, кровать съ твердою соломенною подушкой, на кровати сырое одѣяло изъ солдатскаго сукна, деревянный некрашенный столъ и возлѣ него такой же табуретъ,—вотъ все, чѣмъ была убрана дворянская камера. „Какая плохая фантазія у творца такого помѣщенія!“—подумалъ Бабочкинъ.

Изучивъ подробно свое помѣщеніе, онъ составилъ планъ убранства и съ глубокою любовью привелъ его въ исполненіе. Полъ онъ устлалъ коврами; на стѣнѣ онъ повѣсилъ нѣсколько картинъ и олеографій. Тюремную мебель, по его настоятельной просьбѣ, вынесли вонъ; вмѣсто нея, онъ поставилъ свою собственную—маленькій изящный столъ, одно кресло, одинъ стулъ и мягкую кушетку, которая должна была служить и постелью. Вышло довольно красиво. Столъ онъ убралъ бездѣлушками, письменнымъ приборомъ и книгами—камера еще стала веселѣе выглядѣть. Оставалась отворотительная дверь, вымазанная какою-то грязью и съ противною дырой посерединѣ, но онъ задрапировалъ ее портьерой изъ голубой штофной матеріи и гнусное мѣсто пере-

стало сквернить зрѣніе. Однако, сдѣлавъ это, онъ убѣдился, что еще не все осторожное закрыто. Оставалось не скрытымъ узкое, какъ въ подвальномъ этажѣ, окно и рѣшетка, похожая на намордникъ; кромѣ того, камеру безобразила печка, вся изрытая разными надписями и захватанная ладонями. Съ окномъ, однако, онъ быстро сладилъ, прикрывъ его тюлевыми занавѣсками, а на подоконникъ прикрѣпилъ горшокъ съ небольшою пальмой, послѣ чего ржавыя палки желѣза были въ достаточной мѣрѣ замаскированы. Что касается печки, то это безобразное созданіе не поддавалось никакому украшенію. Бабочкинъ недоумѣвалъ, какимъ образомъ скрыть этотъ глиняный столбъ въ пять аршинъ высоты, облупленный снизу доверху? Онъ пробовалъ закрывать его картинами, но у него не было такого огромнаго полотна; онъ занавѣсилъ ее ковромъ, но коверъ висѣлъ на ней, какъ тряпка. Наконецъ, онъ возненавидѣлъ это чудовище; чтобы не видѣть гнуснаго зрѣлища облупленной печки, онъ прикрывъ ее простынями.

На нѣкоторое время онъ успокоился. Въ общемъ камера выглядѣла не дурно; по крайней мѣрѣ, во время самой работы Бабочкинъ весело любовался украшеніями.

Но черезъ нѣсколько дней его стала давить украшенная нѣтъ комната. Онъ велѣлъ сначала выбросить ковры, мѣшавшіе ему ходить свободно; потомъ онъ свалилъ въ одну кучу и выбросилъ всѣ кабинетныя бездѣлушки, загромождавшія столъ; потомъ онъ сдернулъ и разорвалъ тюлевую занавѣску съ окна, а пальму бросилъ за рѣшетку на дворъ, потому что онѣ закрывали свѣтъ и воздухъ; наконецъ, онъ велѣлъ выбросить почти все, что наставилъ, и съ той поры уже пересталъ обращать вниманіе на мрачныя тѣни темнаго жилища.

Опять онъ ходилъ по камерѣ въ волненіи и тревогѣ. Физическій организмъ его былъ еще силенъ и полонъ жизни, но жизни не было. Какъ всѣ арестанты, Бабочкинъ одно время занялся мелкими ручными работами изъ имѣющагося въ заключеніи матеріала; для этого онъ выбиралъ работы по своему вкусу, веселыя; такъ, онъ съ большимъ искусствомъ сдѣлалъ изъ спичекъ игрушечный домикъ въ пять этажей, съ окнами, съ дверями и балконами, и гордился этою хорошенькою бездѣлушкой. Но въ особенности онъ съ

увлеченіемъ сталъ заниматься скульптурой изъ мягкаго казеннаго хлѣба; сдѣлавъ въ видѣ опыта фигуру собаки, онъ затѣмъ съ увлеченіемъ принялся лѣпить изъ ржаного тѣста статую свободы. Онъ проработалъ нѣсколько дней надъ ней—и фигура удалась хорошо. Онъ долго любовался ею, и счастливая улыбка озаряла его лицо въ теченіе нѣсколькихъ дней. Но однажды рано утромъ, когда онъ спалъ, въ камеру вошелъ сторожъ, случайно сронилъ статуэтку на полъ и раздавилъ ее подъ своимъ сапогомъ, даже не замѣтивъ этого, потому что она была мягкая.

Нѣсколько дней Бабочкинъ ходилъ по камерѣ грустный и встревоженный, но онъ не зналъ, отчего тоска овладѣла имъ, потому что не помнилъ своей статуетки. Онъ, видимо, старался понять, что онъ ищетъ, но не могъ припомнить. Память совсѣмъ уже разрушилась у него. Нѣсколько дней онъ тревожно ходилъ по своей камерѣ и все чего-то искалъ.

Послѣдній свой день онъ провелъ въ величайшемъ смятеніи. Едва напившись чаю, онъ безпокойно сталъ ходить возлѣ стѣнъ камеры и прислушивался. По временамъ онъ что-то слышалъ и блѣднѣлъ. Это были несомнѣнно стоны. Но откуда они раздаются? Чтобы разрѣшить это недоумѣніе, онъ осмотрѣлъ всѣ щели въ дверяхъ и въ окнѣ, предполагая, что воетъ сквозной вѣтеръ, но когда онъ старательно заткнулъ всѣ замѣченныя трещины, то убѣдился въ неправдоподобности своего предположенія. Стоны все-таки раздавались и причиняли ему сильное страданіе.

Онъ сталъ ходить взадъ и впередъ и этимъ заглушалъ мучительные звуки. До обѣда онъ провелъ время въ ходьбѣ. Потомъ ему принесли обѣдъ; онъ съѣлъ его съ животною жадностью и былъ недоволенъ, что ему мало принесли. Впрочемъ, это обстоятельство онъ забылъ сейчасъ же послѣ обѣда, отвлеченный составленіемъ письма къ президенту французской республики, чтобы убѣдить его въ необходимости посланки оркестра въ Сахару; письмо это онъ быстро написалъ странными каракулями, мало похожими на буквы. Онъ уже хотѣлъ позвать сторожа, чтобы отдать ему письмо, но вдругъ опять раздались стоны. Боже, какое это мученье!

Взволнованный, онъ сталъ прислушиваться и, наконецъ,

но, подъ поломъ проведены были электрическія проводящія стоны со всѣхъ концовъ свѣта; стоны лежатъ въ подошвы, а оттуда черезъ все тѣло въ о этого не испыталъ самъ, тотъ не знаетъ, какія я страданія причиняють электрическія проволоки. Онъ стоялъ по срединѣ комнаты съ искаженнымъ лицомъ и не зналъ, что дѣлать.

Но напряженная, вихремъ несущаяся мысль его льно вывела его изъ затрудненія. Онъ влѣзъ на вѣтхій стулъ и прекратилъ прямой доступъ болѣзней въ. Они только слабо раздавались. Чтобы совсѣмъ ить ихъ, онъ рѣшилъ смѣяться. Но страшные звуки еще слышались. Тогда онъ рѣшилъ, что если в . столъ и будетъ хохотать, то звуковъ совсѣмъ не ышно. Онъ бросился на столъ, всталъ на него и италъ.

Этотъ дикій, нечеловѣческій хохотъ пронесся по с трога и заставилъ задрожать всѣхъ, кто его слыш . Черезъ нѣсколько часовъ Бабочкина увезли въ домъ ашенныхъ.

Грязевъ.

(Очерки нравовъ).

I.

Г о л о в а.

Виды города, открывавшіеся взорамъ Конона Петровича Покрышкина, когда онъ по вечерамъ выходилъ на свой балконъ „для воздуха“, какъ онъ выражался, не представляли ничего выдающагося, помимо того, что они были знакомы ему съ самаго дѣтства. Вдали виднѣлся лѣсъ, поле, нѣсколко деревень съ церквями и дороги въ разныхъ направленіяхъ, а вблизи, тотчасъ возлѣ города, зіялъ оврагъ, изъ котораго, при благопріятномъ вѣтрѣ, несло запахомъ падали, потому что граждане сваливали въ него дохлыхъ лошадей, собакъ, кошекъ, протухлые остатки скотобойни и прочія вещи, сдѣлавшіяся во внутренности города ненужными. Виднѣлась еще рѣчка Соня, на которой стоялъ Грязевъ, чрезвычайно мелководная и съ гѣниво текущею водою, отличавшеюся нѣкоторыми особенными, только ей одной свойственными качествами, напримѣръ, громаднымъ содержаніемъ микроскопическихъ животныхъ. Далѣе вокругъ всего города, подобно пирамидальнымъ монументамъ, цѣпью возвышались сорные кучи, показывавшія, съ одной стороны, желаніе жителей держать себя чисто, а съ другой—склонность ихъ къ консервативнымъ чувствамъ, но при благопріятномъ вѣтрѣ онѣ также издавали нехорошій запахъ.

Это виды природы.

Самый городъ, съ площадью по срединѣ, съ переулками по бокамъ, вмѣсто улицъ, и съ необъятными пустырями по окраинамъ, не имѣлъ никакихъ достопримѣчательностей; даже каменныхъ домовъ въ немъ было всего шесть, изъ которыхъ одинъ принадлежалъ Конону Петровичу Покрышкину, другой былъ занятъ исправникомъ Яковомъ Кузьмичемъ Кулаковымъ, четыре остальные находились подъ присутственными мѣстами. Однимъ словомъ, Конону Петровичу нечего было осматривать, такъ что, дѣйствительно, онъ выходилъ „для одного воздуха“, котораго ему требовалось очень много, по причинѣ его тучности и одышки, постоянно грозившей ему удушеніемъ. Мѣстный докторъ такъ прямо и говорилъ ему, несколько не скрывая опасности, но что же ему дѣлать? Еще когда онъ самъ управлялъ мучнымъ лабазомъ, страданія его не доходили до такой степени, чтобы грозить ему преждевременною смертію, потому что тогда онъ все-таки занимался дѣлами, придававшими ему болѣе худощавости, а когда его выбрали въ головы и онъ всю торговлю сдалъ сыновьямъ, сохранивъ за собой одно главенство, жизненная дѣятельность его дошла до нуля, страданія же возросли до послѣдней крайности. Въ думу онъ ходилъ аккуратно и старался во все самъ вникать, безъ помощи секретаря, но несчастіе его состояло въ томъ, что вникать-то ему было не во что, и потому во время засѣданій онъ только крапѣлъ, вытирая платкомъ потъ, непрерывно струившійся по его лицу, воздуху же для него нигдѣ не доставало.

Страданіямъ Конона Петровича Покрышкина много способствовали еще нѣкоторыя привычки, бывшія полезными во время его энергичной дѣятельности, когда онъ неутомимо занимался своими дѣлами, и сдѣлавшіяся убійственными послѣ его избранія на должность головы, когда для него всякая тѣнь дѣятельности прекратилась; такъ, напримеръ, имѣя наклонность къ плотной и основательной пищѣ, онъ ѣлъ и продолжалъ ѣсть бѣлужину, иеру, сомовину, балыкъ, блины и проч., и пристрастіе къ этимъ вещамъ дошло въ немъ до степени мучительной потребности, отстать отъ которой у него не было силы. Бросилъ онъ только тѣ привычки прежней жизни, которыя не касались внутреннихъ убѣжденій, отказавшись носить пестрый жилетъ, картузъ и

длиннополое платье. Выбранный въ головы, онъ призывалъ къ себѣ извѣстнаго всему городу портного Якимова и освѣдомился у него насчетъ того, какое въ нынѣшнее время носить платье.

Но измѣненіе этой старой привычки на новую нисколько не облегчило его одышки, ибо костюмъ, сшитый портнымъ Якимовымъ, оказался вреднымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Портной шилъ его два мѣсяца, передѣлывалъ пять разъ, безчисленное число разъ примѣривая къ корпусу Конона Петровича, пуская въ ходъ и мѣркой, и глазомѣръ, и собственные пальцы, которыми онъ ощупывалъ неровности тѣла Конона Петровича, и умственные соображенія, но, тѣмъ не менѣе, когда онъ, въ пятый разъ, принесъ платье и съ отчаяніемъ принялся натягивать его, то оно снова оказалось ни къ чему негоднымъ. Кононъ Петровичъ разразился тогда упреками и укорялъ Якимова въ безстыдномъ самохвальствѣ, говоря сердито, что онъ только считается портнымъ столичнымъ, а на самомъ дѣлѣ можетъ шить одни порты и поддевки. Портной также разозлился, несмотря на кроткій характеръ.

— Кононъ Петровичъ,—воскликнулъ онъ дрожащимъ голосомъ,—я не виноватъ! Главнѣйшее дѣло, цивилизація къ вамъ не подходитъ, а вовсе не я причина тутъ!

Платье такъ и осталось плохо одѣваемымъ; оно и стѣсняло грудь, и давило на животъ, и стягивало шею, вслѣдствіе чего удушеніе и скоропостижная смерть стали съ этой поры представляться Конону Петровичу еще болѣе близкими. Тогда-то онъ и началъ выходить каждый вечеръ на свой балконъ „для воздуха“, оставался здѣсь по цѣлымъ часамъ, вплоть до того времени, когда надъ площадью, находящеюся передъ его глазами, и надъ всѣмъ городомъ распространялся непроницаемый мракъ. Обыкновенно ему никто не мѣшалъ въ этомъ занятіи; въ городѣ стояла вѣчная сонная тишина; если кто и проходилъ по площади, то нисколько не удивлялся, видя Покрышкина сидящимъ на балконѣ, отдувающимся отъ духоты и вытирающимъ платкомъ потъ съ лица,—до того всѣ привыкли видѣть голову въ такомъ положеніи.

Но Кононъ Петровичъ не всегда оставался безъ дѣла на своемъ балконѣ. Часто на свой балконъ, находящійся наискось дома Покрышкина, выходилъ и Яковъ Кузьмичъ, по-

явившійся на балконѣ не для воздуха, а для наблюденій за порядками въ городѣ. По крайней мѣрѣ, самъ онъ такъ хвастался, говоря всѣмъ, что у него образцовый порядокъ, и еслибы, говорилъ онъ, во вѣренномъ ему уѣздѣ пропалъ грошъ, то, навѣрное, онъ былъ бы возвращенъ своему хозяину. Замѣтивъ Якова Кузьмича, Кононъ Петровичъ раскланивался съ нимъ. Нѣкогда онъ поздравлялъ его съ добрымъ вечеромъ во всеуслышаніе, черезъ площадь, но исправникъ разъ строго замѣтилъ ему, что это неприлично, и Покрышкинъ пересталъ здороваться такимъ способомъ. Однако, не проходило вечера, чтобы два начальника города не обмѣнялись знакомыми имъ знаками, показывавшими ихъ дружелюбныя отношенія. Обмѣнъ привѣтствій всегда былъ одинаковъ. Обыкновенно Покрышкинъ дѣлалъ руками и головой такія движенія, которыя между всѣми людьми сопровождаютъ выпивку и закусываніе; это означало, что Покрышкинъ проситъ исправника Кулакова зайти къ нему и закусить. Яковъ Кузьмичъ отвѣчалъ на это различно; если онъ былъ почему-либо не расположенъ принять приглашеніе Покрышкина, то снималъ свою бѣлую фуражку, и тогда Покрышкинъ заключалъ, что Кулаковъ закусить не желаетъ, всего же чаще Кулаковъ, снявъ фуражку, мгновенно надѣвалъ ее, что означало: иду!—и приходилъ.

Скоро появлялась въ комнатахъ Покрышкина длинная, съ крючковатымъ носомъ и съ загорѣлымъ лицомъ фигура исправника Кулакова, а вслѣдъ за нимъ на столъ становились разные угощенія. У головы Покрышкина всегда про запасъ содержалась какая-нибудь новинка, выписанная изъ губернскаго города: боченокъ икры, свѣжій балыкъ, добрая водка, но онъ скромно хвалился всѣми этими вещами.

— Попробуй-ка, Яковъ Кузьмичъ, вонъ этого,—говорилъ онъ.—На-дняхъ предоставлена изъ губерніи. Самъ-то еще не пробовалъ, какова на вкусъ, не привелось. Отвѣдай-ка, хороша-ли?

Исправникъ Кулаковъ отвѣдывалъ и всегда на лицѣ его отражалось одобреніе, выражаемое имъ тѣмъ, что онъ похлопывалъ ладонью по животу Покрышкина и весело говорилъ:

— Хорошо, хорошо! У тебя, Кононъ Петровичъ, ничего худого не бываетъ, откровенно тебѣ скажу, другъ мой. Что правда, то правда; ты у меня молодецъ!

Это говорилось покровительственнымъ тономъ, но голова Покрышкинъ съ удовольствіемъ гладилъ себѣ бороду въ то время, какъ его маленькіе, заплавышіе глазки хитро смѣялись.

Вслѣдъ за закуской часто появлялся столикъ съ пашками, за которымъ бражники просиживали до полуночи, причемъ голова Покрышкинъ неизмѣнно загонялъ исправника Кулакова въ ретирадникъ, а исправникъ Кулаковъ бѣсился, ругался непечатною бранью и дѣлалъ новыя ошибки. Но это былъ единственный случай, гдѣ голова Покрышкинъ бралъ верхъ надъ исправникомъ Кулаковымъ; во всемъ остальномъ онъ подчинялся послѣднему, наставлявшему его въ дѣлахъ думы, въ дѣлахъ управы и вообще во всѣхъ общественныхъ дѣлахъ.

Несмотря на пріятельскія отношенія, существовавшія между ними, исправникъ Кулаковъ держался съ головой Покрышкинымъ покровительственнаго тона, говорилъ съ нимъ иногда строго и нерѣдко давалъ понять, что хотя онъ и находится въ зависимости отъ думы, но, въ сущности, это самая пустая зависимость, ни мало не связывающая его, и что между исправникомъ и головой есть большая разница, которую не слѣдуетъ забывать. Какъ умный человекъ, голова Покрышкинъ пропускалъ это мимо ушей. Онъ замѣчалъ, съ какимъ почтеніемъ относятся къ нему всѣ городскія власти, большая часть которыхъ даже ухаживаетъ за нимъ, и довольствовался этимъ; былъ доволенъ онъ и дружбой исправника Кулакова, считая ее большимъ снисхожденіемъ къ себѣ, и не обижался покровительственнымъ тономъ. Исправникъ былъ его начальникъ.

Голова Покрышкинъ сначала даже удивлялся, что съ нимъ обращаются хорошо, не вытирая объ него ноги, какъ бывало раньше. Зналъ онъ много печальныхъ случаевъ съ грязевскими головами, бывшими до него. Ему было извѣстно, что его предшественника Корчагина одна провзажающая особа оскорбила дѣйствіемъ публично, во время базарнаго дня, и не получила за это ничего, кромѣ совѣта поступать въ такихъ случаяхъ осторожнѣе; ему также рассказывали, что предшественнику Корчагина, не имѣвшему счастья пользоваться самоуправленіемъ, исправникъ Свистуновъ выдернулъ половину бороды, развѣявъ шерсть по вѣтру, такъ что борода отросла только черезъ годъ. Вообще, голова Покрыш-

кимъ зналъ очень печальныя происшествія, бывшія до самоуправленія и объяснявшія, какимъ несчастіямъ могъ бы онъ подвергнуться, еслибы жилъ въ тѣ времена. Теперь же съ нимъ ничего подобнаго быть не могло, въ чемъ онъ положительно былъ увѣренъ, и дорожилъ своимъ положеніемъ, гордился своею безопасностью. За нимъ, какъ онъ видѣлъ, даже ухаживаютъ, забѣгаютъ впередъ, обращаются съ просьбами, а вмѣсто приказаній совѣтуютъ. Всѣмъ этимъ онъ вполне удовлетворялся; глядя же на строгія манеры Кулакова и слушая его покровительственный тонъ, онъ только хитро улыбался про себя.

— Пушай!—говорилъ онъ.—Пушай подымаетъ голову и возвышается! А вотъ какъ перестану шальные-то деньги выдавать, тогда мы поглядимъ, какъ онъ запоетъ! Пушай его!

Живя мирно съ Яковомъ Кузьмичемъ и довольствуясь оказываемымъ ему почетомъ, голова Покрышкинъ безпрекословно исполнялъ всѣ требованія исправника, который для его предшественниковъ былъ бы грозой, а для него оказался неизмѣннымъ другомъ. Самъ голова Покрышкинъ ничего не предпринималъ и ничего не дѣлалъ, исполняя лишь строгія предписанія, заказываемыя для него и для думы начальствомъ и выдавая требуемыя деньги. Исправникъ Кулановъ бралъ деньги двумя способами: онъ или посылалъ прямо голову Покрышкину бумагу за номеромъ такимъ-то, или объяснялъ дѣло во время закуски, но и въ этомъ случаѣ онъ не унижался до просьбы, а просто заявлялъ шутливо:

— Ну, Кононъ Петровичъ, тебѣ, видно, придется раскошелиться,—начиналъ исправникъ, наливая рюмку водки и приготавливая кусокъ осетрины, причемъ онъ глубоко погружался въ свое занятіе и не поднималъ глазъ на хозяина.

— Ужели еще расходъ, Яковъ Кузьмичъ? Ежели такъ-то я буду расходовать суммы, такъ, пожалуй, всю кассу скоро раскассирую,—отвѣчалъ голова Покрышкинъ и поглаживалъ себѣ бороду. Онъ отлично понималъ, куда клонить разговоръ Яковъ Кузьмичъ, но скромно ждалъ, что будетъ дальше.

— Что дѣлать, братъ, нужда! Казенная необходимость!—возражалъ исправникъ и объяснялъ казенную необходимость, на которую требуется крупная сумма. Увеличеніе штата

пожарныхъ, покупка подъ пожарныя машины колесъ, которыя, разумѣется, разошлись, покупка новыхъ лошадей для пожарныхъ машинъ или выписки пожарной „кишки“,— все это требовало много денегъ. Кишка особенно часто выписывалась, потому что, какъ извѣстно, она дѣлается изъ весьма непрочнаго матеріала; разъ пять въ годъ она портилась, и каждый разъ, какъ исправникъ сообщалъ о ея порчѣ, онъ оставался спокойнымъ, не моргая даже глазами отъ стыда, какъ ожидалъ иногда голова Покрышкинъ. У Якова Кузьмича дѣло выходило просто.

— Да, тебѣ ужъ придется раскошелиться. Ты, пожалуйста, поговори тамъ въ думѣ, чтобы мнѣ выдали необходимыя средства для выписки, а то случись пожаръ—мы съ тобой цѣлый городъ спалимъ.

— Что-жъ кишка? Не годится?—спрашивалъ голова Покрышкинъ, и его маленькіе глазки, устремленные на Якова Кузьмича, безмолвно смѣялись.

— Говорю—не годится, новую надо выписывать.

— Тссс! Стало быть, рѣзорвало ее, кишку-то?

— Лопнула... Ты ужъ, пожалуйста, поговори тамъ... на выписку, молъ, кишки. Однако, балыкъ у тебя нынче превосходный, просто пальчики оближешь.

Яковъ Кузьмичъ весь былъ погруженъ въ созерцаніе балыка.

— Зачѣмъ пальцы облизывать, кушай на здоровье...

Кононъ Петровичъ насквозь видѣлъ Якова Кузьмича, но молчалъ и выдавалъ деньги на кишку. Между тѣмъ, исправникъ, въ кругу своихъ близкихъ друзей, между которыми самымъ интимнымъ былъ квартальный Чертыхаевъ, объяснялъ податливость головы глупостью, увѣряя, что онъ какъ былъ мужикъ сиволапый, такъ и остался имъ.

— Въ своихъ собственныхъ дѣлахъ его не проведешь, онъ тутъ самъ тебя сто разъ надуетъ, но вотъ въ дѣлахъ думы его постоянно надо учить; тутъ онъ ничего не смыслитъ, чистый дуракъ, увѣряю васъ!

Такъ говорилъ исправникъ Кулаковъ и ошибался, выдавая свою безнаказанность за чужую глупость. Голова Покрышкинъ многое понималъ и во все старался вникать, не говоря уже о дѣлахъ денежныхъ, среди которыхъ онъ былъ чело-
вѣкомъ, насквозь прокаленнымъ; если же онъ мало ви-

жалъ въ общественныя дѣла, то справедливость требуетъ сказать, что не одинъ онъ былъ виноватъ, толстый бѣдняга! Во-первыхъ, городской сундукъ былъ вѣчно опустошаемъ на выпускъ кишекъ, на устройство и умноженіе клоповниковъ и на другія потребности, столько же обязательныя, сколько и чудныя; во-вторыхъ, тишина, царствовавшая постоянно въ городѣ, гдѣ жители никогда и ни о чемъ не заявляли, считая думу только болѣе или менѣе остроумнымъ орудіемъ для взиманія съ нихъ денегъ, была такого рода, что ежеминутно внушала мысль объ ихъ блаженномъ счастіи и отбивала всякую охоту нарушить ихъ спокойствіе. Непониманіе головой Покрышкинымъ своихъ обязанностей зависѣло оттого, что и понимать было нечего. Никто ничего не просить—значить довольны всѣмъ. Главная забота головы Покрышкина состояла въ раскассированіи—и онъ раскассировывалъ. Ему приказывали—онъ слушался; у него просили—онъ давалъ, и радъ былъ, что могъ давать на устройство клоповниковъ, потому что исправникъ хвалилъ его за такую готовность, нѣсколько разъ общая выхлопотать ему награду—медалъ за ревность.

Но одинъ разъ головѣ Покрышкину досталось за эту дружбу съ Яковомъ Кузьмичемъ и было нанесено оскорбленіе. Правда, непріятность эта избавила его на вѣкоторое время отъ страха удушенія или скоропостижнаго конца, поднимавъ его духъ и силы, подавленные бездѣльемъ, но обида была велика и невыносима. Нанесъ ее тотъ же портной Якимовъ. Портной Якимовъ „Измосквы“, какъ значилось на его выѣскѣ, будучи робкаго характера, въ продолженіи пяти дней недѣли, когда онъ прилежно работалъ, вдругъ, въ воскресенье и понедѣльникъ, превращался въ буйнаго и пьянаго человѣка, крошилъ стекла и своимъ непріятелямъ дѣлалъ словесныя оскорбленія. Голова же Покрышкинъ сдѣлался для него ненавистнымъ, особенно съ той поры, какъ не далъ ему свидѣтельства на открытіе лавочки съ готовымъ платьемъ, а такъ какъ Якимовъ былъ старожилъ, принявшій званіе столичнаго портного только по необдуманности, и зналъ всю подноготную каждаго жителя города, то его оскорбленіе вышло острымъ, ударивъ прямо въ носъ.

Сидѣлъ однажды, въ понедѣльникъ вечеромъ, Кононъ Петровичъ на своемъ балконѣ и тяжело дышалъ, отирая время

отъ времени потъ съ лица влѣтчатый фуляромъ и, конечно, не ждалъ для себя ничего худого; сыновья его всю недѣлю торговали порядочно и сами не безобразничали; другія домашнія дѣла также шли недурно; въ думѣ все было благополучно, а на площади въ эту минуту не было не только какого-нибудь человѣка, но даже и собаки, которая брехнула бы на него, ибо нельзя же считать живымъ человѣкомъ старушку у сосѣдняго домишка, вязавшую чулокъ и о чемъ-то разсуждавшую съ собой. Вдругъ на концѣ площади появился портной Якимовъ и направился къ дому головы Покрышкина, дѣлая отклоненія отъ намѣченнаго пути только ради уступки неповинующимъ ногамъ; исколесивъ большую часть площади, онъ очутился, наконецъ, прямо противъ балкона, шагахъ въ двадцати отъ Конона Петровича, и, покачиваясь на всѣ четыре стороны, обратился съ вопросомъ къ послѣднему:

— Ты кто?—спросилъ онъ глухимъ голосомъ.

Кононъ Петровичъ не считалъ нужнымъ входить въ разговоры съ пьяницей и молчалъ. Долгое время хранилъ молчаніе и портной Якимовъ, забывъ свой вопросъ, но черезъ нѣкоторое время поднялъ голову снова.

— Ты кто?—спросилъ онъ и тяжело вздохнулъ.

— Ступай домой, пьянчуга! Я тебѣ покажу, какъ со мною разговоры вести!—закричалъ съ балкона Кононъ Петровичъ, но этими словами только разозлилъ Якимова.

— Кто ты, говорю, голова или нѣтъ?—закричалъ, въ свою очередь, Якимовъ.

— Пошелъ домой!—закричалъ Кононъ Петровичъ и побавровѣлъ.

— А я тебѣ скажу—ты не голова!—началъ насмѣшиво Якимовъ.—Я тебѣ прямо скажу—ты не голова! Чтò ты дѣлаешь съ исправникомъ? Шашни у васъ? И я тебѣ говорю—ты не голова, а больше ничего, какъ хвостъ! Можетъ, ты лабазомъ своимъ похваляешься? Такъ это, братъ, оставь. Лабазъ дѣло не стоящее, то-есть камень, глупость... И я на него плюю—вотъ гляди!—Якимовъ дѣйствительно харкнулъ по направленію къ лабазу и слюна длинною нитью потекла по его бородѣ, послѣ чего онъ продолжалъ.—Ты не голова! Кабы ты пользу городу сдѣлалъ—ну, такъ; тогда бы ты могъ похвалиться, а то у тебя одинъ лабазъ, то-есть

камень, глупость. Ты думаешь, тебя кто добромъ помянетъ? Ни Боже мой! Умрешь ты и никто тебя не вспомнитъ, потому что какъ есть ты лабазъ и какъ для города никакой пользы нѣтъ отъ тебя, то и вышла одна глупость. Чтѣсть Покрышкинъ? Неизвѣстно. Въ какомъ смыслѣ Покрышкинъ? Неизвѣстно. По какой причинѣ голова? Никто не знаетъ. И вышелъ ты самъ ничего больше, какъ лабазъ, то-есть камень, глупость, и я на него плюю, вотъ гляди!

Якимовъ снова плюнулъ, и на этотъ разъ брызги разлетѣлись въ разные стороны. Но, вслѣдствіе напряженія силъ, онъ понахмурился и началъ колесить вокругъ, ища точки опоры и отчаянно размахивая руками, въ то время, какъ Кононъ Петровичъ хотѣлъ подняться—и не могъ; онъ побагровѣлъ до того, что, казалось, жилы на его лицѣ сейчасъ лопнуть; даже старушка, всматривавшаяся въ эту сцену, сказала себѣ: „У, осерчалъ голова!“ Портной Якимовъ, между тѣмъ, совсѣмъ обезсилѣлъ, готовый ежеминутно растянута на землѣ, но нашелъ возможность сказать еще нѣсколько словъ:

— Ахъ, ты, голова!... Не голова ты, а башка пустая! Больше я тебѣ ничего не скажу!

Больше онъ дѣйствительно ничего не сказалъ, потому что совсѣмъ потерялъ силы сохранять равновѣсіе, отижегъ и повалился на землю, а черезъ нѣкоторое время уже храпѣлъ на всю площадь. Никто этого не видалъ; только одна старушка съ чулкомъ, начавъ старою головою, сказала: „Ахъ, грѣхи, грѣхи!“—зѣвнула и перекрестилась.

Что касается Конона Петровича, то онъ долго не въ состояніи былъ подняться съ мѣста, какъ бы пригвожденный къ стулу; багровое лицо его было ужасно, руки дрожали, дыханіе было порывисто. Отдышавшись, онъ, однако, сошелъ внизъ и отправился отыскивать какого-нибудь полицейскаго, котораго нигдѣ не было видно, но Кононъ Петровичъ не побѣдился зайти даже въ часть, гдѣ у воротъ нашелъ спящаго будочника, растолкавъ его послѣ предварительной брани и велѣлъ взять въ темную портного Якимова, валявшагося на площади, причемъ наказывалъ стражу корешенью накласть въ загорбокъ мошеннику, а утромъ прислать его къ нему, головѣ, и внушить, чтобы онъ чувствовалъ.

— Оскорбилъ онъ меня, паршивикъ! Ужо я съ нимъ поговорю, сволочь эдакая! -- говорилъ голова Покрышкинъ, уходя изъ части и еще не оправившись отъ гнѣва.

Гнѣвъ его, однако, скоро прошелъ, а обида чувствовалась только въ той мѣрѣ, въ какой онъ раньше питалъ почтеніе къ себѣ, надѣясь, что то же самое почтеніе должны были оказывать ему и всѣ граждане, какъ ихъ законному головѣ и представителю. Теперь онъ палъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, осрамленный портнымъ, и съ этого дня заскучалъ, страдая не только физически—отъ одышки, отъ мускульной бездѣтельности, но и душевно—отъ душевной пустоты, что онъ самъ понималъ. Была еще въ этихъ страданіяхъ небольшая доля страха передъ пустою смертію, которую никто не оплачетъ, которой будутъ даже радоваться и послѣ которой отъ него не останется ничего, кромѣ лабаза, ни одного дѣла, стоящаго воспоминанія и благодарности со стороны согражданъ.

Въ сущности, Кононъ Петровичъ Покрышкинъ всегда страдалъ отъ бездѣлья, сдѣлавшагося постояннымъ послѣ его избранія въ думу, и страданія его были неизбѣжны. Онъ не принадлежалъ къ родовитому купечеству, которое исполонъ вѣковъ страдаетъ одышкой, и не былъ настоящимъ купцомъ, получившимъ отъ своего дѣда лисью шубу, отъ тятеньки—лабазъ, отъ жены—сундукъ; нѣтъ, все это Кононъ Петровичъ самъ долженъ былъ заработать своими руками и умомъ. Портной Якимовъ помнитъ, какъ Кононъ Петровичъ въ былое время торговалъ тряпьемъ, какъ онъ потомъ завелъ мелочную лавочку, какъ послѣ этого ѣздилъ по всей губерніи скупать всякую дрянъ, помнитъ вообще то время, когда Кононъ Петровичъ назывался просто торговцемъ Покрышкой. Это была дѣятельная жизнь, полная приключеній и ужасовъ, а иногда жалкая и унижительная. Тогда, понятно, Конону Петровичу засыпать было некогда; въ погонѣ за рублями онъ не смыкалъ глазъ и въ ловлѣ рублей не останавливался ни передъ какими трудами, всему подвергаясь. Онъ буквально прошелъ огонь, воду и мѣдныя трубы; часто ночевалъ въ полѣ, мокъ подъ дождемъ; нѣсколько разъ тонулъ въ рѣкахъ, не одинъ разъ замерзалъ среди бурана, привозя домой отмороженныхъ уши; вѣчно унижался, получалъ нерѣдко подзатыльники, былъ просто

бить и, однимъ словомъ, жилъ въ безустанномъ трудѣ и непрерывномъ страхѣ, получая каждый рубль только послѣ остервенѣлаго боя. Даже и женился на сундукѣ Алены Митревы самъ, а не посредствомъ тятеньки, котораго съ раннихъ лѣтъ дѣтства у него не существовало; даже грамотѣ выучился самъ, нанявъ учить себя, уже въ зрѣломъ возрастѣ, соборнаго дьячка, которому онъ платилъ натуры и деньгами. До сорока лѣтъ онъ не зналъ никого, не покладалъ рукъ и не бросалъ трудолюбивыхъ привычекъ, занимаясь увеличеніемъ своего благосостоянія.

И вдругъ послѣ такой адской жизни—полное успокоеніе! Меньше чѣмъ черезъ годъ Кононъ Петровичъ страдалъ уже одышкой, угнетаемый всяческимъ бездѣльемъ и неизмѣнною пустотой, мучимый неумѣньемъ пользоваться нажитымъ состояніемъ. Привычка къ труду въ немъ осталась, но практиковать ее было не надѣ чемъ, а лабазъ больше его не занималъ, отданный двумъ сыновьямъ, которые и орудовали всѣмъ дѣломъ. Привычка къ бѣлужинѣ также не могла быть оставлена, но бѣлужина не превращалась больше въ работу рукъ и головы, переходила въ мясо, кровь и жиръ, которые безцѣльно накоплялись, такъ что Кононъ Петровичъ не могъ даже долго говорить, и потому портной Якимовъ безнаказанно могъ срамить его, не встрѣчая себѣ возраженія.

Между тѣмъ, силы Конона Петровича не пропадали совсѣмъ даромъ; онъ только дѣлались невидимыми; прежняя дѣятельная энергія его сдѣлалась скрытою энергіей, превратившись въ мясо и жиръ, какъ первобытная теплота солнца скрылась въ залежахъ каменнаго угля. Голова Покрышкинъ началъ страдать отъ неумѣнья наполнить свою пустую жизнь; общественныя же дѣла города такъ мало обращали на себя вниманіе всѣхъ вообще жителей, что и онъ не занимался ими, долгое время даже не зная, что существуютъ такого рода дѣла. Однако, еслибы онъ взялся за исполненіе миссіи городского представителя, то, можетъ быть, изъ этого что-нибудь и произошло-бы, и могло случиться, что онъ пересталъ бы задыхаться отъ бездѣлья. Скрытая энергія, которой онъ обладалъ въ значительной степени, добываясь мучного лабаза, и которая не совсѣмъ потонула въ пустотѣ существованія, скрытая энергія, направленная на общест-

венный дѣла города Грязева, превратилась бы въ дѣятельную, какъ связка дровъ, брошенная въ печь паровоза, превращается въ движеніе, тѣмъ болѣе, что голова Покрышкинъ надѣленъ былъ опытностью и достаточнымъ умомъ. Кровь, мясо и жиръ могли сдѣлаться тогда полезными для челоѣчества.

Нѣчто подобное и совершилось.

— Хочу поставить бассейнъ городу! сказалъ голова Покрышкинъ, занимая обычное мѣсто посерединѣ стола, въ то время, какъ другіе члены управы сѣли по бокамъ.

Заявленіе это было въ такой же мѣрѣ неожиданно, какъ громъ среди безоблачнаго неба, и произвело на всѣхъ дѣйствіе, необычайно сильное. А самъ Кононъ Петровичъ, высказавъ свое желаніе, отеръ клѣтчатый фуляромъ лицо и сердито поглядывалъ на всѣхъ своихъ товарищей.

— Хочу поработать на пользу города! еще сказалъ онъ.

Всѣ хранили долгое время глубокое молчаніе, переглядываясь и не зная, что говорить и думать. Это были все короткошейные люди, туземцы города, для которыхъ требовалось продолжительное время, чтобы сообразить какое-нибудь предложеніе, выходящее изъ ряда обыкновеннаго. Они молчали; притомъ, они привыкли во всемъ слушаться своего головы, принимая каждое его хотѣніе безъ разсужденія. Только одинъ трактирщикъ, бывшій здѣсь, съ бойко и подозрительно глядѣвшими глазами, сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній.

— Какъ бы изъ этого бассейна, шутъ его возьми, что не произошло?—замѣтилъ онъ.

Кононъ Петровичъ не обратилъ на это вниманія.

— А на какой грѣхъ, Кононъ Петровичъ, бассейнъ городу?—спросилъ еще разъ трактирщикъ и выразилъ мысль, что воды у города довольно.

— Довольно? Значить, не довольно, коли я говорю,—сказалъ разсерженный Покрышкинъ.—Ужъ если я что говорю, то вѣрно. Есть у насъ рѣчка, а водой ее нельзя назвать, вши тамъ много. Доколѣ же городъ будетъ ѣсть вошь? Воду изъ Крестовскаго родника провести не хитро, была бы охота.

Крестовскій родникъ дѣйствительно былъ не далеко отъ города, находясь, притомъ, на возвышеніи, съ котораго легко было провести воду, не прибѣгая къ искусственному поднятію уровня. До сихъ поръ воду изъ рудника брали только

богатые граждане, имѣющіе лошадей и кучеровъ, всѣ же остальные жители брали воду изъ Сони. Это въ короткихъ словахъ и разъяснилъ Кононъ Петровичъ. Но трактирщикъ сдѣлалъ еще возраженіе:

— Оно, конечно, Кононъ Петровичъ, вамъ лучше знать эти дѣла. Но, по своему глупому разсужденію, я думаю такъ: большія тутъ нужны суммы! А гдѣ мы возьмемъ суммы?

Кононъ Петровичъ побагровѣлъ; онъ вообще не терпѣлъ возраженій, а теперь и не думалъ, что ему поставить кто-нибудь препятствіе. Онъ еще разъ утерся платкомъ и, возбужденный до послѣдней степени, заговорилъ прерывающимъ голосомъ:

— Хочу я послужить честно городу, а вы мнѣ препятствуете. Куда идутъ наши суммы? По нынѣшній день, нѣсколько годовъ сряду, съ самаго первоначалу, пока дали намъ положеніе, испоконъ вѣковъ куда идутъ суммы? Чай, знаете. Ничего у насъ не было и ничего не будетъ; слава только, что въ думѣ сидимъ, а какой изъ насъ прокъ городу — неизвѣстно. Хочу я послужить съ этого дня на общую пользу, а вы мнѣ препятствуете, и никакой причины этому нѣтъ. Есть у насъ подъ бокомъ рѣка, а тамъ вошь. На улицахъ чистая смерть, иной разъ домой къ себѣ не пролѣзешь черезъ эти самыя улицы. На площади въ нынѣшнюю весну свинья утонула, чай, знаете. Ничего у насъ нѣтъ, и хочу я честно послужить на пользу, а вы мнѣ препятствуете.

Кононъ Петровичъ такъ взволновался, что не могъ продолжать эту непривычно длинную рѣчь. Онъ тяжело перевелъ духъ.

— Кононъ Петровичъ! Мы не препятствуемъ! Тебѣ ближе знать, какъ и что... Мы не препятствуемъ! — заговорили всѣ бывшіе налицо представители города, не менѣе головы взволнованные до глубины души. Только послѣ этого Кононъ Петровичъ былъ въ состояніи продолжать.

— Ежели вы мнѣ будете препятствовать — уйду; такъ прямо и говорю — не буду служить... Суммы!... Какія намъ еще суммы, коли ежели мы не будемъ ихъ раскассировывать? Недостанетъ общественныхъ — откажусь отъ жалованья... Да и сейчасъ отказываюсь! Не хочу жалованья! Хочу

изъ чести служить, на пользу общую! Берите мое жалованье! Недостанетъ общественныхъ—своихъ приложу. Нате, берите мой, чтобы на пользу общую! У меня, слава Богу, есть чѣмъ жить. Только чтобы была польза городу, а мнѣ почетъ, и не препятствуйте мнѣ, честью вамъ говорю!

Нельзя выразить волненія, какое овладѣло Покрышкинымъ, когда онъ говорилъ эту рѣчь задыхающимся голосомъ; можно только отмѣтить вѣншіе признаки, выразившіе въявь его необыкновенно возбужденное состояніе: онъ вынулъ два платка и въ одинъ изъ нихъ высморкался, а другимъ утеръ потъ, послѣ чего положилъ ихъ на столъ и началъ осматривать всѣхъ присутствующихъ, желая, повидимому, удостовѣриться, не найдется-ли и послѣ этого въ ихъ числѣ такой, который будетъ препятствовать? Нашелся. Это былъ все тотъ же трактирщикъ, боявшійся, съ устройствомъ водопровода, потерять значительную долю посѣтителей своихъ, предпочитавшихъ его чай вшивой водѣ изъ Сони. Онъ опять возразилъ, что это дѣло большое, на которое нужны суммы и хлопоты, а кто захочетъ взять на себя эти хлопоты? Но онъ былъ прерванъ.

— А я хочу!—гнѣвно сказалъ голова Покрышкинъ.

Всѣ остальные присутствующіе, взволнованные въ такой же степени, какъ и самъ голова Покрышкинъ, заставили замолчать трактирщика, а Конону Петровичу выразили свое почтеніе, увѣряя, что они ему не препятствуютъ служить на общую пользу и даже совсѣмъ напротивъ, очень рады его предложенію. Кононъ Петровичъ сказалъ еще разъ, что оставить службу, если ему будутъ препятствовать. За этимъ послѣдовала общая суматоха, среди которой одинъ съ негодованіемъ накинута на трактирщика, обвиняя его въ оскорбленіи головы, другой упрашивалъ Конона Петровича остаться на общую пользу, третій съ секретаремъ предложилъ заказать Конону Петровичу бюстъ, четвертый, видя, какъ расчувствовался Кононъ Петровичъ послѣ изъявленія ему довѣрія, самъ прослезился. Кононъ Петровичъ получилъ вдругъ такія полномочія и былъ награжденъ такою слѣбною вѣрой, какою пользуются только передовые бараны въ стадѣ овецъ, и, будь онъ человѣкомъ дурнымъ, расчувствуйся онъ по заказу, а не отъ волненія души, касса думы мигомъ была

бы раскассирована, а въ самой думѣ остался бы одинъ грошъ.

Этого, разумѣется, не могло случиться, потому что у Конона Петровича и въ мысляхъ ничего подобнаго не было; онъ искренно желалъ оказать пользу городу и заслужить прочное почтеніе со стороны жителей. Назначивъ самъ для себя дѣло и расходы на него, онъ больше не думалъ о сопротивленіи управы и думы; первая пришла въ умиленіе, вторая, если говорить по чистой совѣсти и безъ обиняковъ, никогда не существовала, рѣдко собираясь въ узаконенномъ числѣ и идя на самоуправленіе весьма не охотно, лишь подъ вліяніемъ увѣщаній своего головы. Такимъ образомъ, Кононъ Петровичъ былъ со всѣхъ сторонъ свободенъ и могъ безпрепятственно оказать городу пользу, осуществленіе которой онъ рѣшилъ начать почему-то съ чистки улицъ и проведенія водопровода.

Рѣшеніе Конона Петровича отдать свои послѣдніе годы на пользу города и для него самого было поразительно по безпримѣрности, потому что прежнее естество его заключалось въ томъ, чтобы убиваться за себя и за свой лабазъ, въ полномъ невѣденіи общественныхъ дѣлъ, занятіе которыми и не для него одного казалось чѣмъ-то необыкновеннымъ, чрезвычайнымъ, граничащимъ съ глупостью. Понятно, какъ былъ онъ возбужденъ, когда въ этотъ день явился въ свое семейство и объявилъ ему о своемъ рѣшеніи. Собралъ вокругъ себя всѣхъ домочадцевъ, состоявшихъ изъ жены Алены Митревны, двухъ сыновей, изъ которыхъ одинъ былъ женатъ, и тещи, онъ усѣлся на стулѣ и строго заговорилъ, видя лица сыновей не достаточно серьезными. Впрочемъ, онъ всегда говорилъ въ своемъ домѣ строго.

— Смирно! Слушайте, что я вамъ расскажу!—началъ Кононъ Петровичъ. — Не лѣзьте вы, Господа ради, ко мнѣ теперь съ вашими дѣлами и не препятствуйте. Хочу я послужить на пользу городу, и вы не препятствуйте. Довольно я послужилъ для себя, хочу для ради пользы города послужить, и приказываю вамъ не лѣзть ко мнѣ съ вашею дурью.

Далѣе Кононъ Петровичъ объяснилъ, что онъ будетъ строить водопроводъ для города, а потомъ примется и за другія дѣла. Что касается домашнихъ дѣлъ, то онъ отъ нихъ совершенно отстраняется, оставляя для себя одно право

давать отъ времени до времени подзатыльники и приказы своимъ сыновьямъ, если послѣдніе начнутъ баловаться. Эта оговорка была сдѣлана Конономъ Петровичемъ не безъ основанія, такъ какъ сыновья его, здоровенные малые, съ подушками вмѣсто щекъ, съ заплывшими глазами, загорающимися по временамъ чисто-животною радостью, хотя и называли своего отца тятенькой, выказывая передъ нимъ глубочайшее раболѣпство, но за глазами отца пользовались всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы прокутить и развѣять уйму отцовскихъ денегъ. Отецъ съ трудомъ управлялся съ ними, съ помощью угрозъ, брани и внушеній страха. Теперь, глядя на нихъ, Кононъ Петровичъ чувствовалъ отвращеніе къ своей прежней жизни и къ стоявшимъ передъ нимъ животнымъ, для которыхъ онъ почему-то всю жизнь работалъ и которые ждали только смерти его, чтобы пустить по вѣтру все его состояніе и погрузиться въ прежнюю бѣдность.

— Ну, смотрите!—прибавилъ Кононъ Петровичъ.—У меня гляди въ оба, води дѣло чисто, а не то я... Вотъ куда я васъ зажму, ежели вы вздумаете безобразничать!—воскликнулъ Кононъ Петровичъ и показалъ сжатые кулаки. Послѣ этого онъ обратился къ женѣ и тещѣ:

— А ты, Алена Митревна, своихъ-то монашенокъ укроти малость, чтобы не очень часто шлѣлись и пороги обивали своими хвостами,—сказалъ онъ женѣ, которая любила принимать монашенокъ и іерусалимскихъ странницъ, безпрестанно заходившихъ къ ней.—Не то я смотрю-смотрю, да и разгнѣваюсь, тогда держись черные хвосты... сволючь эдакая! Только въ утробу живутъ, а не то чтобы для божественнаго... паскудницы!

Кононъ Петровичъ опять почувствовалъ отвращеніе къ прежней жизни, въ которой было такъ много дури, и увидѣлъ также непролазную темноту, среди которой жили онъ и его домочадцы.

Кононъ Петровичъ продолжалъ:

— Чтобы этого безобразія не было, и лучше не мѣшайте мнѣ. Хочу послужить на общую пользу. Довольно жить для своей утробы! Слава Богу, некуда больше жадничать, будетъ! Не припятствуйте мнѣ. Теперь пойдутъ у насъ реформы, спервоначалу водопроводъ, а послѣ и всѣ... Спросить губернатора: есть у васъ бассейнъ? Вотъ гляди, ваше

превосходительство, вонъ онъ самый бассейнъ! И воздвигнулъ его голова Покрышкинъ. А улицы вымощены? Сколько угодно, вотъ онъ—чистый булыжникъ! Богадѣльня? Извольте. Больница? Неудобно-ли посмотриѣть, вотъ она! Школа? Съ моимъ почтеніемъ, извольте. У насъ все есть, все будетъ. И все это понадѣлалъ голова Покрышкинъ. Не припятствуйте! Будетъ жадничать, довольно!

Кононъ Петровичъ перевелъ духъ, отеръ потъ съ пылающаго лица и, сдѣлавъ еще нѣсколько приказаній, отпустилъ домочадцевъ. Онъ наказалъ, чтобы не лѣзли къ нему съ дѣлами, и оставилъ для себя только наблюденіе за порядкомъ. Это рѣшеніе облегчило Конона Петровича, хотя онъ зналъ, что безъ его глазу сыновья навѣрно станутъ безобразничать и рады, что тятенька отказался вмѣшиваться въ ихъ дѣла; это онъ увидалъ тутъ же.

— Тятенька нашъ теперь закуралесилъ! Господь съ нимъ! Намъ же лучше, пусть куралесить!—говорилъ, выходя, старшій сынъ. Младшій захохоталъ.

— Смирно! Чему обрадовались, безобразники?—закричалъ Кононъ Петровичъ на прощанье.

Онъ догадался объ этой радости и зналъ, что современъ онъ совсѣмъ можетъ потерять власть надъ домомъ, но отвращеніе къ дури прежней жизни и къ бездѣлю настоящей было въ немъ такъ сильно и болѣзненно въ эту минуту, а желаніе „послужить на пользу“ было такъ неожиданно и поразительно, что онъ не поколебался въ своемъ рѣшеніи. До этого времени онъ точно и строго выполнялъ программу жизни настоящаго русскаго человѣка, доставилъ себѣ состояніе и обзавелся домашнимъ омутомъ; на это у него ушла, какъ и у всякаго коренного русскаго человѣка, большая половина жизни, а дальше онъ по программѣ долженъ былъ наслаждаться жизнью созданнаго имъ самимъ ада. Очевидно, что по программѣ ему просто некогда было заниматься общественными дѣлами, ибо у него, какъ у всякаго, остальная половина жизни должна была пройти въ вознѣ съ омутомъ; онъ долженъ былъ управлять имъ, вносить въ него хотя наружный порядокъ, заботиться хотя о внѣшней благопристойности, приводить самимъ имъ нарожденныхъ, но невоспитанныхъ животныхъ хотя къ временному повиновенію, наказывать ихъ, укрощать, тушить нена-

висть и злобу, снѣдающую ихъ, кипѣть и бѣсноваться, отравляясь и отравляя другихъ,—однимъ словомъ, продѣлывать все, къ чему обязываетъ программа жизни. Какія тутъ общественныя дѣла? Некогда! Но Кононъ Петровичъ, строго выполнивъ первую половину житейской программы, отъ второй половины, по чистой случайности, отказался и разгорѣлся желаніемъ послужить на общую пользу, хотя, какъ умный человѣкъ, и сознавалъ опасность покинуть омутъ безъ призора,—опасность столь же сильную, какъ напоминаніе о непріятелѣ, оставленномъ въ тылу.

Его рѣшенію способствовало еще то обстоятельство, что отовсюду онъ встрѣчалъ соглашеніе съ нимъ, одобреніе и даже похвалу. Одинъ исправникъ держалъ себя странно. Черезъ нѣсколько дней послѣ достопамятнаго засѣданія управы у Конона Петровича былъ исправникъ и похвалилъ икру, а когда немного закусилъ, то похвалилъ и его самого. Но на этотъ разъ голова Покрышкинъ былъ менѣе гостепріименъ, отказался бражничать до полуночи и не захотѣлъ играть въ шашки, чему не мало удивился исправникъ Кулаковъ, не воображая, что этотъ вечеръ будетъ послѣднимъ вечеромъ ихъ дружбы, какъ не воображалъ и голова Покрышкинъ. Вражда открылась упорствомъ головы Покрышкина, который не пожелалъ выдать деньги на выписку обоимъ и нѣкоторой мебели для квартиры исправника.

— Кстати, Кононъ Петровичъ, похлопочи насчетъ мебели,—сказалъ, между прочимъ, исправникъ, подставляя рюмку на свѣтъ, чтобы удостовѣриться, насколько чиста водка.—Я давно хотѣлъ поговорить тебѣ, да все забывалъ: пожалуйста, не забудь хоть ты. Мебель и въ канцеляріи развалилась, просто стыдъ! Необходимо пріобрѣсти новую. Я бы послалъ вамъ бумажку, да вѣдь у васъ тамъ завелась канцелярщина! А я люблю по-военному: разъ, два, бацъ—готово!.. Икра у тебя, другъ мой, отличная, откуда ты выписываешь?

— Икра какъ слѣдуетъ, скусъ настоящій... Только небель, ты говоришь, не годится?—спросилъ Кононъ Петровичъ, но безъ обычной насмѣшливости, а тревожно и печально.

— Сгнила! Того и гляди разобьешь голову!

Но Кононъ Петровичъ задумчиво гладилъ себѣ бороду.

— Ты теперь погоди, Яковъ Кузьмичъ. Миѣ въ нынѣш-

нее время заниматься недосугъ этою самою небелью. Ты ужь погоди.

— Какъ погоди?—строго сказалъ Яковъ Кузьмичъ.—Говорить тебѣ, крайняя нужда! Нѣтъ, ты, пожалуйста, выдай.

— Нельзя, Яковъ Кузьмичъ, невозможно! Сдѣлай милость, погоди! Дѣла общественныя, самъ знаешь. Мнѣ тоже вѣдь надо давать отвѣтъ, а ты какъ думаешь? Сдѣлай милость, погоди!

Исправникъ пересталъ ѣсть икру, поставилъ обратно на столъ невыпитую рюмку водки и во всѣ глаза смотрѣлъ на Покрышкина, очевидно, не вѣря ни глазамъ, ни ушамъ, потому что до этого дня голова Покрышкинъ никогда не отказывался рассказировывать суммы.

— Ты говоришь, нельзя? Такъ ты говоришь, а?—спросилъ Яковъ Кузьмичъ.

— Погоди, Яковъ Кузьмичъ! Христомъ Богомъ умоляю! Дѣла городскія, чай, знаешь. Ежели я все рассказирую, какой отвѣтъ я дамъ? Куда дѣлтъ? Какая такая небель? Чай, знаешь.

— Такъ я, какъ истинный начальникъ твой, приказываю... слышишь? Приказываю, ежели ужь ты дружбы не понимаешь!—закричалъ, вѣи себя отъ гнѣва, Яковъ Кузьмичъ.

— Невозможно, прямо тебѣ говорю,—сказалъ Покрыкинъ твердо, хотя и печально.

Исправникъ Кулаковъ оцѣпенѣлъ навремя, но потомъ вдругъ надвинулъ на голову фуражку, тутъ же въ столовой, и направился къ двери. У порога онъ еще разъ спросилъ:

— Такъ не дашь?

— Нельзя, Яковъ Кузьмичъ!... Ахъ, грѣхъ какой! Христомъ Богомъ прошу... Такъ ты говоришь развалилась? Чудеса!

Яковъ Кузьмичъ вышелъ въ дверь, не слушая. У него чесались руки, и онъ едва удержался отъ нанесенія оскорбленія дѣйствиємъ, но за то далъ себѣ слово не оставлять этого дѣла. Дѣйствительно, съ этой минуты онъ сталъ питать къ головѣ Покрышкину такую непріязнь, что послѣдній былъ очень огорченъ. На другой же день, когда голова Покрышкинъ вышелъ вечеромъ на балконъ подышать и, увидѣвъ исправника Кулакова, раскланялся съ нимъ, исправ-

никъ Кулаковъ не кивнулъ даже головой и не сдѣлалъ ни малѣйшаго знака одобренія, а только проговорилъ: „Я тебѣ, толстый, покажу Кузькину мать!“—и затѣмъ отвернулся въ сторону, медленно и оскорбительно. Самъ Кононъ Петровичъ не дослышалъ этихъ словъ, иначе онъ примирился бы съ Яковымъ Кузьмичемъ, но ихъ слышала у сосѣдняго домика старушка, сидѣвшая, по обыкновенію, съ чулкомъ. Она сказала себѣ: „У, осерчалъ исправникъ!“

Начиная съ этого дня, когда упорство головы Покрышкина и его желаніе быть самостоятельнымъ обнаружилось явнымъ образомъ, Яковъ Кузьмичъ не переставалъ обдумывать способъ обуздать своего непріятеля, такъ жестоко оскорбившаго его. Это продолжалось около двухъ мѣсяцевъ, и во все это время желаннаго для Кулакова случая не представлялось. Онъ видѣлъ часто изъ окна Покрышкина, который сдѣлался очень дѣятельнымъ, видѣлъ, какъ онъ самъ осматриваетъ навозъ на улицахъ, тычетъ палкой въ помойныя ямы, заходитъ во дворы обывателей, говорить и убѣждаетъ, прѣветъ и задыхается, создавая, очевидно, въ своей головѣ планъ будущей чистки, видѣлъ все это и не могъ представить себѣ возможности привязаться къ Покрышкину, но все-таки говорилъ: „Я тебѣ покажу!“

Наконецъ, насталъ и тотъ день, который голова Покрышкинъ назначилъ для осмотра мѣста, гдѣ должно было поставить водоемъ, потому что въ этотъ день все было готово: нанять подрядчикъ, привезено на площадь нѣсколько сърыхъ камней и собраны были гласные, сколько было возможно. Этотъ день былъ воскресенье. Яковъ Кузьмичъ всталъ возлѣ своего окна и наблюдалъ за всѣмъ, что происходитъ на площади. А происходило тамъ движеніе, необычное для города. Прежде всего, конечно, Якову Кузьмичу попался на глаза самъ голова Покрышкинъ, шедшій впереди десятка гласныхъ думы, а за ними толпилось много празднаго народа, заинтересованнаго необыкновенною дѣятельностью головы. Во все время, пока голова осматривалъ и показывалъ мѣсто, гдѣ всего лучше поставить каменный чанъ, громко именуемый имъ фонтаномъ, праздный людъ держалъ себя смирно и негромко рассуждалъ о выдумѣ головы, причемъ большинство хвалило голову; только мальчишки шумѣли, шмыгая между взрослыми или вступая въ

драку другъ съ другомъ. Пьяныхъ было, по обыкновенію, много, но они вели себя кротко и держались съ большимъ достоинствомъ на ногахъ, а ихъ широко раскрытые и по-мудрые глаза съ недоумѣніемъ останавливались на головѣ Покрышкинѣ, на сѣрыхъ камняхъ и на гласныхъ думы; по-видимому, они не могли дать себѣ отчета въ томъ, что пер-едъ ними происходитъ.

За всѣ полчаса, въ продолженіи которыхъ голова Покрыш-кинъ съ товарищами осматривалъ мѣсто и говорилъ съ под-рядчикомъ, былъ только одинъ случай, возбуждѣвшій всеобщее вниманіе и хохотъ. Мѣщанинъ Селивановъ, извѣстный въ городѣ за человѣка веселаго нрава, будучи немного наве-селъ, ходилъ по толпѣ и возбуждалъ дружный хохотъ своими прибаутками, изъ которыхъ одна попала и городовому Шиш-кину. Шишкинъ сдѣлалъ видъ, что оскорбился, и чтобы выразить свое негодованіе на словахъ, изъявилъ лѣнивымъ тономъ желаніе посадить насмѣшника въ клоповникъ. „По-сажу вотъ въ клоповникъ и погляжу, какъ ты тогда будешь зубы-то скалить!“—сказалъ Шишкинъ.—„На-ко вотъ тебѣ, съѣшь!“—возразилъ мѣщанинъ Селивановъ съ гримасой, по-муслилъ себѣ кукишъ и поставилъ его подъ носъ Шишкину, возбуждивъ вокругъ много веселья. Шишкинъ тогда осердился. Онъ отошелъ къ сторонкѣ, схватилъ зачѣмъ-то комъ земли и бросилъ его по неизвѣстной причинѣ въ собаку, лежавшую на другомъ концѣ площади и, конечно, не ожидавшую столь неожиданнаго нападенія.

Потомъ Яковъ Кузьмичъ увидалъ дальнѣйшее шествіе головы Покрышкина къ Крестовскому роднику, который долженъ былъ послужить источникомъ всѣхъ благъ, проэк-тированныхъ головой Покрышкинымъ, но скоро взглядъ Якова Кузьмича пересталъ слѣдить за толпой, ушедшей далеко. Онъ удивился только, какъ такому толстяку не лѣнь дѣлать подобныя прогулки пѣшкомъ. Но скоро Яковъ Кузьмичъ увидалъ, что голова Покрышкинъ, славу Богу, дошелъ до ручья благополучно и возвращался назадъ весело. Правда, онъ былъ, видимо, утомленъ, то и дѣло вытиралъ потъ съ краснаго лица, снялъ даже шляпу, и сѣдые кудри его раз-вѣвались вѣтромъ, но онъ былъ возбужденъ, горячо о чемъ-то разсуждалъ и размахивалъ руками. Всѣ эти дѣйствія были, однако, менѣе оскорбительны для Якова Кузьмича,

нежели обѣдъ, который Кононъ Петровичъ устроить, прямо послѣ прихода съ родника, для всѣхъ своихъ спутниковъ и на который онъ забылъ пригласить главнаго начальника города. Мѣра терпѣнія Якова Кузьмича переполнилась, и онъ сказалъ, отходя отъ окна: „Я тебѣ покажу!“

Въ тотъ же вечеръ Кулаковъ призывалъ къ себѣ Чертыхаева, человека воинственнаго и рѣшительнаго, и между ними произошло совѣщаніе относительно головы Покрышкина. Въ концѣ-концовъ, было рѣшено сочинить донесеніе губернатору, но при этомъ отъ послышки бумаги воздержаться, а показать ее одному Покрышкину для устрашенія. Рѣшено было еще, что отнесетъ сочиненіе къ Покрышкину Чертыхаевъ, принявъ образъ друга его, желающаго если не выручить изъ бѣды, то, по крайней мѣрѣ, предупредить о ней. Бумага была сочинена; тогда Кулаковъ спросилъ Чертыхаева, бросится-ли она въ носъ? Еще разъ прочли сочиненіе, озаглавленное такъ: „О революціонныхъ умыслахъ головы города Грязева, Конона сына Петрова Покрышкина бунца“. Доказательства же существованія умысловъ заключались въ томъ, что оный Покрышкинъ неоднократно отказывался исполнять законныя требованія нижеозначеннаго исправника, приглашая къ таковому неповиновенію и всѣхъ гласныхъ думы, мысли коихъ, до него, были религіозными и доброжелательными, а послѣ вступленія его, вышеупомянутаго Покрышкина, въ должность сдѣлались буйными и безнравственными. А въ послѣднее время вышеназванный голова Кононъ сынъ Петровъ Покрышкинъ, собравъ на площади города многочисленную толпу, весьма враждебно настроенную противъ мѣстныхъ представителей власти, обратился къ ней съ возбуждительною рѣчью, приглашая ее къ бунту и неповиновенію, чѣмъ явно обнаружилъ свои преступныя умыслы, до сего дня скрываемые имъ отъ начальства, боясь заслуженной имъ кары, а по этой причинѣ буйная толпа, подстрекаемая къ насильственнымъ дѣйствіямъ вышеписаннымъ головой Покрышкинымъ, начала представителямъ мѣстной власти наносить дерзкія оскорбленія, понося ихъ ваглыми словами, а одному городовому, увѣщавшему возмутителей и зачинщиковъ разойтись по домамъ и утихнуть, она толпа яростно грозила растерзаніемъ.

— Хорошо?—спросилъ Кулаковъ послѣ прочтенія бумаги.

Чертыхаевъ задумчиво разсматривалъ бумагу и только послѣ продолжительнаго молчанія отвѣчалъ, что больше ничего и не надо. Онъ переписалъ сочиненіе своимъ почеркомъ и изъявилъ готовность хотъ сейчасъ отнести ее къ головѣ Покрышкину, но Кулаковъ рѣшилъ, что лучше вручить ее завтра въ засѣданіи, выбравъ время, когда Покрышкинъ останется съ однимъ секретаремъ. Чертыхаевъ и на это согласился.

На слѣдующій день Чертыхаевъ отправился въ думу и предсталъ предъ Конономъ Петровичемъ, съ таинственнымъ видомъ, предварительно заперѣвъ дверь и озираясь по сторонамъ; на глазахъ его были слезы, и онъ нѣкоторое время жалобно смотрѣлъ на Покрышкина. Когда эти предварительныя приготовленія кончились, онъ вручилъ Конону Петровичу бумагу, отошелъ къ двери и оттуда смотрѣлъ, выражая на своемъ лицѣ печаль.

— Господи, что же это такое?—прошепталъ Кононъ Петровичъ, когда прочиталъ бумагу.

— Вы ужъ, Кононъ Петровичъ, не выдавайте меня! Никому, Бога ради, не говорите, что я васъ предувѣдомилъ!—сказалъ съ ужасомъ Чертыхаевъ.

Кононъ Петровичъ, прямо по прочтеніи, еще не понявъ всего, переводилъ глаза съ секретаря на Чертыхаева и съ Чертыхаева на секретаря, но и въ эту минуту его уже прошибъ холодный потъ. Между тѣмъ, Чертыхаевъ, съ тѣмъ же таинственнымъ видомъ, взялъ назадъ бумагу, спряталъ въ рукавъ и поспѣшно удалился къ двери, умоляя Конона Петровича не выдавать его.

— Вы знаете, чѣмъ это пахнетъ!—сказалъ онъ шепотомъ и окончательно удалился.

Кононъ Петровичъ обратился за совѣтомъ къ секретарю, взволнованный до глубины души. Секретарь былъ заранее увѣдомленъ Кулаковымъ и теперь пояснилъ, что это дѣйствительно нехорошимъ пахнетъ. Сибири не будетъ, но срамъ на всю жизнь, осрамить ужасно, потому что стануть изслѣдовать, нарядить слѣдствіе, пожалуй.

— Я бы вамъ совѣтовалъ помириться. А, впрочемъ, какъ знаете,—кончилъ секретарь и весь погрузился въ бумаги.

Покрышкинъ былъ оглушенъ. Не медля долго, онъ отправился къ Кулакову. Но каково было его удивленіе, когда

въ домѣ исправника ему сказали, что хозяинъ уѣхалъ по весьма важнымъ дѣламъ. „Уѣхалъ?“—спросилъ ослабѣвшимъ голосомъ Кононъ Петровичъ; у него помутилось въ глазахъ, и онъ готовъ былъ пасть на землю, пораженный ударомъ. На нѣкоторое время онъ остолебѣлъ. Потомъ, постоявъ около дома Якова Кузьмича и потоптавшись подъ его окнами, онъ пустился бѣжать домой, насколько это позволяла его тучность. Дома онъ хлопнулся на стулъ и крикнулъ Алёну Митревну. Когда та предстала, онъ грозно сказалъ:

— Жена! Молись! Несчастіе! Молись Богу!

Алёна Митревна обомлѣла.

— Завтра же, слышишь, закажи молебень съ водосвятиемъ. А теперь уходи. Ступай, больше моего приказу тебѣ нѣтъ!—сказалъ Кононъ Петровичъ и пошелъ въ спальню. Тамъ онъ также хлопнулся на стулъ, пытая и задыхаясь, и безумно озирался кругомъ, недоумѣвая, чѣмъ съ нимъ случилось.

Цѣлую недѣлю послѣ этого онъ оставался въ спальнѣ, боясь выглянуть на улицу. Только по вечерамъ выходилъ на балконъ, если на площади никого не было. Фонтанъ вылетѣлъ изъ его головы. Съ балкона онъ осматривалъ весь городъ, рѣку, сѣрые камни, валявшіеся на площади, нюхалъ запахи, несущіеся къ нему со стороны оврага и сорныхъ кучъ, думалъ о жителяхъ и говорилъ про себя: „Пушай ихъ, пушай!“ Требованія Якова Кузьмича онъ съ тѣхъ поръ по первому мгновенію исполнилъ, не взирая на кажущуюся ихъ странность, а когда Яковъ Кузьмичъ выходилъ на свой балконъ, онъ кланялся ему и говорилъ про себя: „Пушай его, пушай!“ Дома онъ потерялъ съ этой же поры всякое значеніе. Когда онъ вадумалъ-было снова взять въ свои руки дѣла, то сыновья твердо отстранили его, говоря, что они и безъ него могутъ управляться, а ежели тятенька мѣшаться будетъ, то отъ этого только ущербъ одинъ произойдетъ, и попросили его жить тихо-смирно, увѣряя, что онъ можетъ куралесить въ думѣ. Кононъ Петровичъ сначала бѣсмолвался, бушевалъ, одинъ разъ побилъ много посуды въ домѣ, грозилъ даже разнести весь домъ, но вдругъ какъ-то стихъ и, смотря на распорядки своихъ сыновей, на ихъ кутежи и на ихъ наглость, говорилъ про себя: „Пушай ихъ, пушай!“ И тогда его чудовищное тѣло дрожало, готовое ежеминутно быть расшибленнымъ паралитическимъ ударомъ.

II.

Неутомимый дѣтель.

— Мы тоже не все хлѣбъ жуемъ даромъ, а ты думаешь, какъ? Неба коптителн... заборы бы только подпирать... такъ вы думаете, а не знаете, что и мы кровь свою проливаемъ за убѣжденія, грудью лѣземъ впередъ, дѣлаемъ весьма опасныя дѣла. То-то вотъ оно и есть. Ты бы спросилъ хоть, чему только я ни подвергался; честное слово, гдѣ только я ни страдалъ? Стало быть, стоимъ же мы вниманія, такъ сказать, страха? Вѣдь за мною надзирають, слѣдятъ... а ты какъ думаешь? Мы и страдаемъ, и надзирають за нами, и непокорный духъ изъ насъ выбивають—все есть. Но есть съ нашей стороны и упорство, живетъ въ насъ душа, и мы сами живемъ... Потому что мы принадлежимъ къ поколѣнью, которое научилось жить при самыхъ смертельныхъ опасностяхъ... Вѣдь иной разъ ужъ совсѣмъ въ гробъ заколотятъ, честное слово, а глядишь—живъ, даже самому удивительно, ей-Богу!

Запѣваловъ размахивалъ въ сильномъ возбужденіи своими тощими ручищами и отъ времени до времени горячимъ взглядомъ обдавалъ племянника. Потомъ продолжалъ:

— Нашъ городъ не то чтобы ужъ очень плохъ, такой же, можно сказать, какъ и всѣ... И тутъ есть люди со смысломъ, только скрываются они... Онъ, городъ-то нашъ, конечно, не тово... И воиъ есть много, какъ и вообще, но люди есть, со смысломъ люди, которые не покоряются. Стало быть, надѣяться можно на нихъ; теперь они только ждуть и скрываются, а придетъ новое время, крикнуть: эй, честные люди! гдѣ вы тамъ прячетесь, выходите! Они и выйдутъ, скрываться не стануть, потому что опасности не будетъ. Ты что это смѣешься, дуралей? Сс! мелюзга! Вытри прежде молоко съ губъ-то, а ужъ потомъ и дразнись.

Сидоръ Васильевичъ Запѣваловъ переставалъ распространяться насчетъ своей силы, потому что племянникъ его легкомысленно прыснулъ ему смѣхомъ въ лицо, очевидно, еще неспособный слушать внимательно серьезные разговоры

дяди. А Сидоръ Васильевичъ былъ человѣкъ обидчивый; онъ обижался насмѣшками молокососа и умолкалъ, надувъ губы.

Этотъ разговоръ происходилъ въ то время, когда у Сидора Васильевича былъ еще племянникъ, который вѣдиль къ нему на каникулы. Но замѣчательно, что Сидоръ Васильевичъ говорилъ въ такомъ одушевленномъ тонѣ и послѣ того, какъ не стало племянника, несмотря на многія несчастія, составлявшія неотъемлемую принадлежность его собственной жизни, несмотря на то, что подъ давленіемъ этихъ несчастій онъ хронически падалъ духомъ. Да и старъ онъ былъ. Тѣло его давнымъ-давно отошло и съежилось, лицо сморщилось въ кулачокъ, въ головѣ росла просѣдь, въ ногахъ замѣчалось трясеніе, но духъ его былъ бодръ, а глаза беспокойно бѣгали и жили. Онъ въ особенности былъ хорошъ въ тѣ минуты, когда писалъ и отсылалъ корреспонденціи; здѣсь его одушевленіе доходило до восторга, радость до злорадства, а самая корреспонденція возрастала до степени героическаго подвига.

Дѣло въ томъ, что Сидоръ Васильевичъ не могъ быть удовлетворенъ занятіями учителя уѣзднаго училища, гдѣ онъ преподавалъ грамматику и чистописаніе. Пробовалъ онъ углубиться въ свои чисто-ученыя занятія и разъ даже сочинялъ, въ продолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, на новыхъ принципахъ, учебникъ чистописанія, долженствовавшій доставить ему полное матеріальное довольство и славу; пробовалъ онъ во времена трусливыхъ припадковъ имѣть дѣло только со школьниками, пробовалъ также смирно сидѣть дома, предаваясь мирнымъ домашнимъ занятіямъ, но не могъ, физически не могъ. Духъ крамолы сидѣлъ въ немъ неотлучно, постоянно подталкивая его на предпріятія общественной важности. Иначе ему было нельзя. Какъ онъ ни старался усмирить свой неугомонный нравъ, но нѣтъ-нѣтъ да и случается, куда обыкновенно не просятъ. Поэтому-то въ городѣ онъ и заслужилъ опасную репутацію „корреспондента“, возбуждая въ восхваляемыхъ имъ людяхъ радость, а въ изблечаемыхъ—злобу и презрѣніе. Писать письма ему было запрещено, выѣзжать изъ города также; надъ нимъ учрежденъ былъ негласный надзоръ, и вообще надъ его головой безпрестанно висѣла туча, готовая разразиться громомъ и молніей. Однако, онъ не переставалъ вести опасные разговоры,

и иногда, поправляя ученикамъ палки, рогульки и нули, съ большимъ воодушевленіемъ декламировалъ: „Надо мною буря выла; громъ на небѣ грохоталъ“... И потомъ: „Но не палъ я отъ страданья, гордо выдержалъ ударъ“... Въ немъ сидѣлъ крамольникъ.

Когда въ домѣ, находящемся возлѣ уѣзднаго училища, закрывались по вечерамъ ставни, это значило, что Сидоръ Васильевичъ составляетъ корреспонденцію. Дѣйствительно, чуть только въ городѣ совершалось какое-нибудь происшествіе, рябившее гладь грязевой жизни, какъ уже Сидоръ Васильевичъ былъ готовъ къ описанію его со многими подробностями; руки у него ужъ зудѣли. Онъ садился и писалъ, скрываясь отъ взоровъ постороннихъ и домашнихъ людей; такъ дѣлалъ онъ потому, что считалъ описаніе происшествій священнодѣйствіемъ, и еще потому, что подвергался за нихъ жестокимъ преслѣдованіямъ въ тѣхъ случаяхъ, когда его признавали за автора. А признавали его всегда; больше было некому; онъ одинъ имѣлъ столь неспособный характеръ. Но хотя его признавали, онъ все-таки принималъ соотвѣтствующія мѣры для избѣжанія истязанія: замечалъ слѣдъ, оправдывался, отрицалъ свои дѣла, отрекался отъ себя,—вообще, дѣлалъ все для избѣжанія наказанія.

Только это и дѣлалъ Сидоръ Васильевичъ. Въ день священнодѣйствія онъ выглядывалъ сперва на улицу съ цѣлью поглядѣть, не надзираетъ-ли кто за нимъ, и когда дѣлалось совершенно темно, онъ закрывалъ ставни и принимался за сочиненіе. Казалось бы, самое сочиненіе должно было болѣе мучить его, нежели вышеупомянутыя приспособленія, но, къ удивленію, этого не было. Труды свои онъ не считалъ, а обращалъ все вниманіе на самый способъ отправки ихъ, и тутъ-то проявлялась вся его хитрость. На слѣдующій день онъ отправлялся на почту, съ письмомъ въ карманѣ, предварительно написавъ адресъ „другою рукой“; шелъ и озирался. Сморщенное лицо его еще болѣе дѣлалось морщинистымъ; тощее тѣло окончательно съеживалось. Пугался.

Почтовой конторы онъ избѣгалъ, всегда имѣя въ виду почтовый ящикъ, прибитый на улицѣ. Почтмейстеръ былъ чловѣкъ, заслуживающій во всѣхъ отношеніяхъ уваженія, но сплетникъ, почему Сидоръ Васильевичъ никогда не пока-

дойдетъ до исправника или до его помощника, и онъ пропалъ. Во избѣжаніе подобной случайности онъ подкрадывался къ ящику, бросалъ письмо и шелъ дальше, какъ и въ чемъ не бывало.

Судьба, однако, не всегда покровительствовала ему. Въ сущности, она даже никогда не покровительствовала ему и рѣдкое его предпріятіе обходилось безъ исторіи. Черезъ некоторое время о немъ узнавали, а творцомъ его признавали Сидора Васильевича, который и страдалъ, становясь на обычное свое мѣсто козла отпущенія.

— Сидоръ Васильевичъ!—ошеломлялъ его Чертыхаевъ, глядя на него съ свирѣпою проникательностью и останавливаясь на улицѣ.

Сидоръ Васильевичъ въ это мгновеніе былъ въ самомъ счастливомъ настроеніи. Онъ только что послалъ корреспонденцію о замѣчательной дѣятельности гризевскаго земства и уже думалъ, что никакой исторіи изъ этого не произойдетъ. Можно себѣ вообразить, какъ онъ былъ пораженъ неожиданностью появленія Чертыхаева; онъ вдругъ скорчился, съежился и заговорилъ, что попало на языкъ.

— Мое почтеніе, Алексѣй Викентьевичъ! Прогулку вамъ сдѣлать? И я тоже... Вижу, погода хорошая, дай побѣду прогуляться...

Но Чертыхаевъ безъ разговоровъ приступалъ къ дѣлу.

— Чѣмъ это пахнетъ? — спрашивалъ онъ, вынимая изъ кармана газету и показывая пальцемъ одно мѣсто въ ней.

— Что такое?

— Нечего, нечего отлынивать-то! Вы это написали? Говорите правду!

Сидоръ Васильевичъ блѣднѣлъ и начиналъ отрицать свои поступки.

— Я? Господи, и не думалъ! Да развѣ это можно?... Что вы, что вы!

— Ну, смотрите!—отвѣчалъ Чертыхаевъ и бросалъ еще одинъ взглядъ, проникнутый свирѣпою проникательностью.

— Ей-Богу, не писалъ, честное, благородное слово!

Послѣ этого Сидоръ Васильевичъ шелъ домой и во всю дорогу чувствовалъ, что въ его головѣ мутится. Застыгнутый

врасплохъ, онъ не могъ сообразить, что ему слѣдуетъ теперь предпринять; онъ терялся, а думать не могъ. Только и оставались въ немъ трусливость и безсильное озлобленіе; идя къ дому, онъ все бормоталъ про себя разсѣянно: „Ну, погоди... ну, погоди!... Придетъ наше время, я тебѣ дамъ... сволочь!“ Въ концѣ-концовъ, трусливость брала верхъ надъ всѣми другими чувствами, и Сидоръ Васильевичъ переставалъ на время злоумышлять и даже старался загладить свое преступленіе соответствующимъ поведеніемъ.

Впрочемъ, особенно многого Сидоръ Васильевичъ и не могъ выдумать въ этомъ направленіи, кромѣ усиленнаго ухаживанія за Чертыхаевымъ и Кулаковымъ. Сидоръ Васильевичъ нарочно встрѣчался съ ними и все похаживалъ около нихъ, кротостью убѣждая ихъ въ своей невинности. Иногда ему приходилось, по настоянію Кулакова, снова писать корреспонденцію подъ другимъ именемъ, опровергать себя и выражать пламенное негодованіе на клевету, взведенную на уважаемыхъ въ городѣ лицъ. Бывали въ жизни Сидора Васильевича такіе опасные случаи, когда плюнуть на себя было для него единственнымъ средствомъ спасенія; только такимъ первобытнымъ раскаяніемъ онъ и держался на мѣстѣ. Ничего не подѣлаешь.

Жилъ еще въ городѣ человекъ, которымъ пользовался Сидоръ Васильевичъ въ крайнихъ случаяхъ. Это былъ поднадзорный, сосланный въ Грязевъ за неизвѣстное преступленіе. Никто не зналъ, откуда и за что онъ привезенъ и есть-ли у него гдѣ-нибудь родные. Повидимому, родныхъ у него не было. Брошенный въ чужой городъ, всѣми забытый, внушающій всѣмъ опасенія, онъ жилъ гдѣ-то въ мазанкѣ, на заднемъ дворѣ, совершенно одинъ. Никто не зналъ также, чѣмъ онъ кормился и какъ жилъ. Видѣли только его регулярныя хожденія въ полицію, которая выдавала деньги на его пропитаніе, видѣли отрепья, которыя болтались на его тѣлѣ, и могильный цвѣтъ лица, который далъ поводъ мѣстному доктору осмотрѣть его и найти у него безнадежную чахотку.

Трудно и предположить, чтобы у этого человека была слабость строчить корреспонденціи. Но Сидоръ Васильевичъ рассуждалъ такъ: „хуже ему не будетъ, а мнѣ облегченіе“,

и когда его приспичивали, грози погибелью, онъ сваливалъ вину на этого человѣка.

— Честное слово, не я... Развѣ я могу? Это вонъ Жилинъ. Ему терять нечего... Навѣрное, это Жилинъ...

Въ такомъ родѣ вертѣлся Сидоръ Васильевичъ. Правда, что на Жилина въ городѣ валили все: пожаръ, буйство рабочихъ въ мастерской, вздорожаніе съѣстныхъ припасовъ, неистовства Чертыхаева, — все валили на Жилина, который былъ поджигателемъ во всѣхъ смыслахъ. Но Сидору Васильевичу не было необходимости подстрекать противъ него. Дѣлалъ это онъ, т.-е. подстрекалъ, ради своего спасенія и вслѣдствіе крайней растерянности. Попадется и ужъ не умѣетъ сообразить ничего.

Просто обидно было наблюдать за Сидоромъ Васильевичемъ въ такіе дни, — до такой степени онъ способенъ былъ растерять свое достоинство ради спасенія. Передъ зрителемъ училища онъ, напримѣръ, окончательно терялся, когда тотъ уличалъ его. Толстый смотритель негодовалъ на всякаго человѣка, который смущалъ его покой, а тутъ вѣчная исторія съ учителемъ. На Сидора Васильевича каждомъсячно сыпались къ нему совѣты и доносы, устные и письменные. Первые шли со стороны Кулакова и Чертыхаева, совѣтовавшихъ смотрителю заблаговременно удалить неугомоннаго учителя грамматики и чистописанія, послѣдніе направлялись со стороны партикулярныхъ добровольцевъ. А разъ изъ губернскаго города пришла бумага слѣдующаго содержанія: не считаетъ-ли смотритель необходимымъ отстранить учителя грамматики и чистописанія Сидора Запѣвалова отъ занимаемой имъ должности? Смотритель пришелъ въ ужасъ.

— Вы опять скрамольничали? — съ волненіемъ говорилъ смотритель.

— Что такое? — дрожащимъ голосомъ возразилъ Сидоръ Васильевичъ, чувствуя, что онъ проваливается сквозь землю.

— Да что вы дурака-то представляете? Опять писали въ газету?

— Я? Господи, и не думалъ! Честное слово...

— Да что вы врете, вѣдь писали? Вѣдь вы дня не проживете безъ того, чтобы не покрамольничать...

— Я? И не думалъ, честное слово, Афанасій Егорычъ! Господи, да неужели я не чувствую? Ей-Богу, не писалъ.

И некогда мнѣ. Всю недѣлю у меня ноги болѣли... сильно страдаю я... Ей-Богу, не писалъ.

Смотритель даже бѣситься пересталъ, слушая этотъ непонятный наборъ оправданій Сидора Васильевича; онъ качалъ головой и въ нерѣшительности стоялъ передъ учителемъ. А послѣдній жалобно заглядывалъ ему въ глаза, отпирался отъ своихъ дѣйствій, лгалъ и, наконецъ, такъ запутался въ своихъ словахъ, что умолкъ. Что тутъ съ нимъ дѣлать?

— Слушайте, Сидоръ Васильичъ, уймитесь вы, ради Бога, перестаньте, а не то вы лишитесь мѣста, жалко, отъ души говорю вамъ это! Ну, скажите, что съ вами дѣлать начальству, коли вы крамолы устраиваете? И что вы станете дѣлать, ежели кусокъ-то хлѣба у васъ отымутъ? Ну, подумайте...

Смотритель говорилъ уже тономъ горькихъ упрековъ.

Сидоръ Васильевичъ стоялъ блѣдный и потерянный, безпокойно мигалъ глазами; руки у него тряслись. Онъ все что-то пытался сказать, и не могъ. А все-таки отрицалъ свои дѣйствія.

Вслѣдъ за такими непріятными происшествіями для Сидора Васильевича наставало время полного затишья. Имъ овладѣвалъ тогда такой страхъ, что онъ дѣйствительно начиналъ чувствовать трясеніе въ ногахъ, боясь, вотъ-вотъ къ нему нагрянуть, обнюхаютъ и потомъ съѣдятъ. Сидѣлъ онъ въ такихъ случаяхъ дома и читалъ въ десятый разъ пожелтѣвшую книгу „Путешествіе въ Китай Іакинфа“, сидѣлъ и пугался всякаго шороха въ комнатѣ, а по ночамъ его мучили страшныя сновидѣнія. Приснилось разъ ему, что онъ сидитъ въ уздномъ училищѣ за партой, а урока не знаетъ... Вдругъ его спрашиваютъ, велятъ отвѣчать урокъ, а у него языкъ не ворочается.

— А, ты не знаешь! Бей его!—кричитъ какой-то голосъ, а Сидора Васильевича схватываютъ и начинаютъ бить по пяткамъ бамбуковыми палками; онъ хочетъ закричать отъ боли, а голосу у него нѣтъ... Тутъ онъ и проснулся.

За все хватался Сидоръ Васильевичъ, когда находился въ такомъ положеніи. Когда на границахъ войсками одерживалась побѣда, онъ показывалъ видъ, что необычайно радъ этому, и самъ передъ своими окнами вывѣшивалъ флагъ, чтобы показать, каковъ онъ. Кто его знаетъ, откуда онъ набиралъ столько разноцвѣтныхъ матерій для этого флага,

Вообще Сидоръ Васильевичъ съ перепугу совершалъ множество совершенно ненужныхъ и нецѣпыхъ поступковъ. Да и нельзя было иначе. Ибо если онъ и доводилъ свой страхъ до чрезмѣрности, то это происходило отъ того, что ожидать для себя несчастій онъ имѣлъ право по закону, такъ какъ вся жизнь его всею своею совокупностью наводила на него чувство подавленности, безсилія, боязни.

Эта жизнь, неподвижная, незамѣтная и проникнутая ненарушимою тишиной, должна была бы, повидимому, казаться благополучною и безопасною. Но тишина бываетъ всякаго рода. Грязевская тишина подавляла и возбуждала суевѣріе. Сказать, что если люди живутъ среди абсолютнаго покоя, то каждое ничтожное происшествіе принимаетъ въ ихъ глазахъ видъ необыкновенно сильнаго движенія, значитъ сказать довольно плоскую истину. Но по этой именно причинѣ ничтожнѣйшее по существу явленіе въ Грязевѣ было всегда неожиданно и поразительно. По городу то и дѣло носились достовѣрные рассказы о непредвидѣнной кончинѣ здоровыхъ людей: тотъ умеръ во время обѣда, не давъ родственникамъ времени вынуть изъ его рта пельмень; другой подавился рыбьей костью; третій послѣ небольшой выпивки, шелъ по улицѣ, вдругъ шлепъ лицомъ въ лужу и утонулъ; четвертый жилъ-жилъ, сидѣлъ-сидѣлъ и вдругъ былъ схваченъ неизвѣстно за что, посаженъ на неизвѣстное время и увезенъ неизвѣстно куда. И такъ далѣе. Суевѣріе при такой тихой жизни было неизбѣжно.

Что Сидоръ Васильевичъ принадлежалъ къ той части жителей, которая зовется интеллигенціей, это было такимъ же несомнѣннымъ фактомъ, какъ и то, что онъ преподавалъ грамматику и чистописаніе. Если же признакомъ интеллигентности считать внимательство въ дѣла, которыя не лежать подъ ногами, и способность заботиться о явленіяхъ, собственно не относящихся къ домашнему устройству, то Сидоръ Васильевичъ явится еще болѣе интеллигентнымъ. Но развитіе не спасало его отъ суевѣрій. Какъ и всѣ жители, онъ жилъ въ щемящей душу тишинѣ, и также, какъ они, былъ боязливъ и вѣрилъ въ безпричинныя несчастія. Домашняя обстановка его только способствовала такому настрою.

нію. Дома, передъ сестрой, Сидоръ Васильевичъ не отдыхалъ, а еще болѣе мучился, не успокоивался, а пугался.

До чего иногда выростала его пугливость, это видно изъ того, что онъ и въ домъ-то свой являлся тайно, старался пробраться въ свою комнату какъ-нибудь бочкомъ. Вдова сестра, жившая съ нимъ вмѣстѣ и принявшая на себя все его домашнее устройство, возбуждала въ немъ панику даже въ тѣ времена, когда начальство и безъ того грозило ему изгнаніемъ, ссылкой. Сидоръ Васильевичъ въ такія времена прокрадывался бочкомъ въ свою комнату и тамъ ни гугу. Сидѣлъ и молчалъ. Онъ боялся вставить свое слово, не заявлялъ о желаніи поѣсть или попить чайку, малѣйшее приказаніе сестры исполнялъ мигомъ и стремительно, въ то же время, пугливо заглядывая ей въ глаза... совѣтъ какъ виноватый и наказанный! Ничего не подѣлаешь.

Александра Васильевна сама догадывалась, въ чемъ дѣло.

— Ёшь. Что скрываешься-то?—говорила она и пытливо оглядывала брата.

— Ничего, ничего, сестрица... Я только чуть-чуть... самые пустяки,—пугался Сидоръ Васильевичъ.

— Или опять скрамольничалъ?—спрашивала Александра Васильевна.

Сидоръ Васильевичъ старался отвязаться отъ вопроса молчкомъ, но это ему не удавалось.

— Скрамольничалъ, что-ли? Говори ужъ прямо, ну?

— Ничего, ничего, сестрица...

— Врешь. Вижу по глазамъ, врешь. Говори, писалъ въ газету?

— Я? Что ты, что ты! Вотъ ужъ напрасно, честное слово!

— Врешь, врешь, не повѣрю! Какъ тебѣ, Сидоръ Васильевичъ, не совѣстно передъ сестрой-то? Сестру-то какъ тебѣ не совѣстно губить? Тебѣ ужъ вѣдь сказали разъ — образумься, а ты все не уймешься! Чешется, что-ли, у тебя, прости Господи... Да еще и врешь!

Дверь съ шумомъ захлопывалась, Александра Васильевна исчезала, а Сидоръ Васильевичъ долго стоялъ въ столбнякъ, шевеля губами, и все о чемъ-то шепталъ. Стыдно ему было, что онъ проврался, стыдно было сестры; боялся онъ, что когда-нибудь онъ дѣйствительно ее погубить, и, въ то же время, онъ осязательно вѣрилъ въ свою собственную гибель.

По всѣмъ этимъ причинамъ онъ сѣлся въ уголъ и молчалъ тамъ, съежившись и притаивъ дыханіе. Въ домѣ настала таинственная, загадочная тишина, способная запугать какое угодно воображеніе.

Это было удивительно, но совершенно вѣрно, что онъ подъ вліяніемъ всѣхъ угрозъ, застрачиваній и увѣщаній самъ начиналъ считать себя виноватымъ. Тогда онъ весь погружался въ свои занятія, по цѣлымъ днямъ шурша школьными тетрадками. Такимъ же испуганнымъ и растеряннымъ онъ появлялся и въ классѣ; ученики его, подмѣтивъ это мучительное состояніе, продѣлывали съ нимъ разныя штуки: то налѣпять на его платье разноцвѣтныхъ бумажекъ, то накладутъ въ шляпу сору, и Сидоръ Васильевичъ не обижался, вѣрнѣе, не смѣлъ обижаться, считая себя кругомъ и передъ всѣми виноватымъ. Начальства онъ всегда боялся и стыдился, но въ такія времена оно представлялось ему особенно страшнымъ. Всегда было достаточно сказать—цыцъ, чтобы Сидоръ Васильевичъ уgomонился, а въ эту пору одного серьезнаго взгляда было довольно, чтобы онъ изъяснилъ готовность пропасть въ мгновеніе ока.

Сидоръ Васильевичъ замиралъ; въ такіе дни ему и на мысль не приходило сдѣлать что-нибудь преступное. Онъ желалъ только одного: чтобы его оставили въ покоѣ, не трогали, потому что ему было и самому тошно.

Стоялъ ноябрь. Надвинулись сумерки. Свѣчая чуть свѣтилась въ комнатѣ, гдѣ сидѣли братъ и сестра. На дворѣ и на улицѣ еще трепеталъ слабый свѣтъ; не было мрака, но на всѣ предметы легло уже покрывало тѣней. Это—время, когда мысли ползутъ безсвязною вереницей, переплетаясь и взаимно подавляя одна другую, а въ домашнемъ быту это—время, когда люди отъ нечего дѣлать начинаютъ тянуть водку или грызутъ другъ друга.

Сидоръ Васильевичъ и Александра Васильевна неспособны были мрачно тянуть водку. Братъ неспособенъ былъ и грызть свою сестрицу. Но за то сестра искала только повода, чтобы чѣмъ-нибудь разрѣшить свое подавляющее чувство. И вотъ, въ то мгновеніе, когда братъ уже нѣсколько успокоился, Александра Васильевна напала на него. Въ ея голосѣ обна-

тридцать свои дѣйствія, божиться, лгать и проч.

— Ну, что, дожилъ?—спросила она.—Бояшься теперь выскануть изъ дому... дожилъ? Скажи ты мнѣ по совѣсти, когда тебя сгонять съ мѣста? Очень я желала бы это знать!

Сидоръ Васильевичъ обомлѣлъ и безпокойно завожился на своемъ мѣстѣ.

— Что ты, что ты! Вотъ ужь, ей-Богу...

— Нѣтъ, я серьезно спрашиваю, скоро тебя протурять? Эдь надо сундуки къ отъѣзду припасти.

Держа руки на животѣ, сестра сурово смотрѣла въ лицо брата. Но Сидоръ Васильевичъ не счелъ возможнымъ отвѣчать на ея вопросъ, вслѣдствіе чего въ мрачной комнатѣ на нѣсколько минутъ водворилось тоскливое молчаніе, которое, наконецъ, раздражительно подѣйствовало на Александру Васильевну.

— И все изъ-за чего? Хотя бы ты дѣло сдѣлалъ, ну, набоширилъ, что-ли, а то я этого нѣтъ. Письмишко въ газету послалъ, и изъ-за этой пустяковины самъ же мучишься. Ты бы хоть о себѣ-то подумалъ: слыханное-ли дѣло, чтобы самъ на себя челоувѣкъ накликалъ начальство?

— Ты бы помолчала, сестрица... какъ бы у сосѣдей не лыхали... Ей-Богу, ничего нѣтъ, напрасно только ты...

Сестрица долгое время мѣрила глазами брата и соображала, чѣмъ бы его поразить. Все держа руки на животѣ, она покачивала головой, какъ бы говоря про себя: „Ахъ, ты руни, вруни!“ Потомъ, когда это убійственное покачиваніе головой не подѣйствовало, она вдругъ выпалила:

— Корреспондентъ!

Сидоръ Васильевичъ только еще болѣе съежился.

— Либералъ!—выпалила Александра Васильевна насмѣшливо.

Сидоръ Васильевичъ всталъ съ мѣста и умоляюще смотрѣлъ на сестру. Но та продолжала палить страшными, по ея мнѣнію, словами и зло смѣялась. Сидоръ Васильевичъ окончательно растерялся и испуганно бормоталъ: „Ничего, ничего... Ахъ, сестрица!“

И снова настала тоскливая тишина. Свѣча едва мерцала; на ней выросъ длинный нагаръ, коптившій комнату и раз-

ливавший въ воздухѣ ѣдкій смрадъ. Тоска двухъ собесѣдниковъ смѣнилась подавляющею тяжестью и они замолчали. Говорить было нѣ о чемъ. Только послѣ долгаго молчанія сестра предложила выпить чайку. Сидоръ Васильевичъ монотонно шагаль по комнатѣ и послѣ молчанія изливался признаніями, видимо, упавъ духомъ. Онъ сознавался, что и радъ бы жить спокойно, да только силъ не хватаетъ. Очень иногда тоска разбираетъ. „Все сидишь-сидишь и вдругъ иногда въ голову лѣзетъ мысль... Но теперь конецъ всему, къ шуту всѣ эти дѣла!“ Онъ человекъ слабый; его всякій можетъ обидѣть, кому не лѣнь... И вѣдь дѣйствительно все это сованье плева не стоитъ, шутъ его возьми, да и вообще есть-ли еще общественныя дѣла? Ничего этого нѣтъ. Каждый за себя, а Богъ за всѣхъ... И все это теперь онъ бросить, честное слово!

— Я вотъ лучше опять примусь за руководство къ каллиграфіи,—продолжалъ Сидоръ Васильевичъ. Вотъ это такъ, вѣрниѣ это. Съ завтрашняго же дня примусь, это лучше... И деньгу зашибу. Ты какъ объ этомъ думаешь?—вдругъ спросилъ веселымъ тономъ Сидоръ Васильевичъ, остановившись передъ сестрой.

Сестра отозвалась одобрительно, послѣ чего Сидоръ Васильевичъ сталъ высчитывать, сколько барышей ему перепадетъ отъ этого остроумнаго предпріятія.

— Если я хоть по пятаку за штуку пушу, такъ и то получится... Ну, напимѣръ, пушу и въ десяти тысячахъ экземпляровъ, такъ вѣдь это, если по пятаку, какой барышъ получится? А если въ ста тысячахъ, то ужъ тутъ вонъ какая сумма... Удивительно, какъ я объ этомъ раньше не подумалъ!

Александра Васильевна окончательно помирилась съ братомъ, который отрекся отъ себя и отказался отъ крамоль.

Въ ней осталось много доброты и снисхожденія, вопреки тяжелымъ жизненнымъ испытаніямъ, которыя неожиданно-нежданно выпали на ея долю. Послѣ смерти мужа, судебного пристава при мировомъ съѣздѣ въ Грязевѣ, она всю свою надежду возложила на сына, краснощекаго гимназиста, который во время вакацій постоянно дразнилъ своего дядю. Но надежда ея разлетѣлась прахомъ. Сынъ, уѣхавшій держать экзаменъ въ высшее учебное заведеніе, внезапно про-

палец и лишь по истеченіи полугода обнаружилъ свое мѣстопробываніе, съ беззаботностью и небрежностью, свойственною его возрасту. „Я живъ и совершенно здоровъ, и вы, мамаша, не бойтесь за меня, а также и дядя пусть не трусить. Все это пустяки. Только въ дорогѣ я отморозилъ одинъ палецъ и кончикъ носа, который облупился, больше ничего. А теперь я привыкъ. Если озябнетъ какая-нибудь часть тѣла, сейчасъ ее потрешь — и пройдетъ. Одежды у меня достаточно, деньги также есть. Конечно, если у васъ съ дядей найдутся лишнія, такъ пришлите. Скажите, чтобы дядя пересталъ хныкать и потомъ приходить въ необузданный восторгъ, что у него идетъ безъ перерыва, одно за другимъ. А я здоровъ. Прощайте!“

Какъ ни было весело письмо сына, но мать съ этого момента была убита.

Поползла жизнь. Лицо Александры Васильевны въ нѣсколько мѣсяцевъ покрылось морщинами, искажившими ея добродушіе. Глаза потухли. Волосъ посѣдѣлъ. Ненависть ея ко всякаго рода крамоламъ, которыя она стала видѣть во всѣхъ, самыхъ обыденныхъ дѣйствіяхъ Сидора Васильевича, обратилась въ хроническую болѣзнь, проявленія которой зналъ одинъ только Сидоръ Васильевичъ. Она подозрительно слѣдила за нимъ, и, замѣтивъ, что онъ куда-то собирается и кладетъ что-то въ карманъ, нарочно попадалась на его пути и оглушала: „Куда?“ Сидоръ Васильевичъ даже вздрагивалъ. „Я такъ... прогуляться, честное слово“, — бормоталъ онъ съ поспѣшностью виноватаго.

Слѣдовательно, положеніе Сидора Васильевича было весьма печальное, и отовсюду на него воздвигались гоненія; слѣдовательно, если онъ опять задумалъ сочинять руководство къ правильному и быстрому чистописанію, то имѣлъ на это весьма основательныя причины, изъ которыхъ главная состояла въ томъ, что онъ желалъ получить одобреніе и санкцію со стороны сестры. Сама Александра Васильевна занималась одними домашними дѣлами и не понимала, почему нѣкоторые люди отыскиваютъ несвойственныя занятія и почему Сидоръ Васильевичъ съ такою удивительною жадностью хватается за дѣла, за которыя наказываютъ. Она понимала, что на Сидора Васильевича нападаетъ иногда тоска, но зачѣмъ же лѣзть подъ наказаніе ради забавы? Ну, ужъ если

скучно ему, такъ взялъ бы, да и пошелъ къ пріятелямъ, выпилъ бы—и кончилась скука.

Александра Васильевна была цѣлый день при домѣ и постоянно занята; даже послѣ исчезновенія сына руки ея не опустились и она не опускала хозяйства, которое въ Гризевѣ считается священнодѣйствиємъ. Тамъ люди ѣдятъ медленно и съ чувствомъ, вслѣдствіе чего самый процессъ пищеваренія, вмѣстѣ съ побочными явленіями его: нѣкотой, сновидѣніями, составляетъ единственную цѣль всякаго честнаго существованія. Александра Васильевна не оставалась ни минуты въ покоѣ: она совѣтовалась или перекорялась съ кухаркой, торговалась или переругивалась на базарѣ, обдумывала обѣдъ, который долженъ появиться въ слѣдующее воскресенье. Только въ свободное отъ этихъ безпрестанныхъ занятій время она позволяла себѣ непродолжительный отдыхъ: вязала чулокъ, читала календарь...

Вслѣдъ затѣмъ долго Сидоръ Васильевичъ сидѣлъ спокойно за ученическими тетрадками и за своимъ учебникомъ чистописанія. Прямо послѣ школьныхъ занятій онъ облачался въ древній халатъ, закапанный чернилами, надѣвалъ туфли и шлепалъ по своей комнатѣ изъ угла въ уголь. Когда шуршаніе бумагами надоѣдало ему, онъ вель продолжительные разговоры съ Александрой Васильевной, совѣтовался съ ней о провизіи, держалъ мотокъ нитокъ, если она разматывала ихъ на клубокъ, или просто сидѣлъ и наблюдалъ, какъ она шьетъ, и вдѣвалъ отъ времени до времени нитку въ ушко иголки. Это были мирныя занятія. Но Сидоръ Васильевичъ не умѣлъ усидѣть спокойно. Неугомонный, зудливый духъ его скоро нарушалъ домашнюю тишину. Сидору Васильевичу необходимо было суетиться и горѣть.

Это обыкновенно совершалось внезапно. Сидитъ-сидитъ Сидоръ Васильевичъ за тетрадками и вдругъ прорвется, что-нибудь сочинить, натворить, выскажетъ порицаніе начальству въ кругу своихъ пріятелей. И все это сдѣлается съ шумомъ и трескомъ, разболтавъ все, что натворилъ или наболталъ.

- Вы опять скрамольничали?—спрашивалъ его Кулаковъ.
- Я? Что вы, что вы! Вотъ ужъ напрасно, честное слово!
- Ну, смотрите, это въ послѣдній разъ.

Жилъ на свѣтѣ Чертыхаевъ, производилъ безчинства и подавалъ Сидору Васильевичу безчисленные поводы волноваться, порицать и обличать. Сидоръ Васильевичъ и самъ иногда удивлялся, почему начальство, и одно только начальство, занимаетъ его мысли, заставляя его то дрожать и спасаться, то суетиться внѣ себя отъ радости. Но самъ же онъ и объяснилъ свое недоумѣніе, разсудивъ, что, кромѣ начальства, собственно говоря, ничего и нѣтъ. Чертыхаевъ свилъ гнѣздо въ сердцѣ Сидора Васильевича.

Походивъ съ недѣлю въ халатѣ, Сидоръ Васильевичъ снова вышелъ «на арену общественной жизни», какъ онъ выражался. Ничего не подѣлаешь. Чертыхаевъ вывелъ его изъ терпѣнія.

Чертыхаевъ былъ бичемъ для города. Вибалмошный, легкомысленный и свирѣпый, онъ, съ самаго своего поступленія подѣ начальство Кулакова, сначала въ качествѣ квартальнаго, потомъ въ должности помощника исправника, принялся наводить на жителей ужасъ. До поступленія на должность это былъ «добрый малый» и отрепанный бѣднякъ. Жилъ онъ въ то время въ губернскомъ городѣ и дѣлалъ долги, чиня рукопашныя расправы съ лавочниками, имѣвшими несчастіе кормить его даромъ. Мелкіе займодавцы уступали ему, переставая появляться въ его квартирѣ, а крупные жаловались на него батальонному командиру за оскорбленіе дѣйствіемъ. Но Чертыхаевъ оправдывался тѣмъ, что все это онъ совершалъ въ пьяномъ видѣ.

Сама истина говорила его устами. Пьянствовалъ онъ до того, что дома бывалъ только по утрамъ или въ тѣ ночи, когда его привозили на квартиру въ лежащемъ положеніи. Настоящимъ домомъ его былъ трактиръ, гдѣ онъ ѣлъ, пилъ, воспитывался, колотилъ зеркала на стѣнахъ и вышибалъ глаза половымъ, все это въ нетрезвомъ видѣ. Нерѣдко также оставался ночевать.

Когда чинъ и жалованье прапорщика надоѣли ему, онъ сталъ задумываться. Къ этому времени онъ такъ проѣлся, пропился, обносился и отощалъ, что самое названіе прапорщика пѣхотнаго полка сдѣлалось ему ненавистнымъ. Какъ разъ въ такую минуту его жизни подвернулось мѣсто квартальнаго въ Грязевѣ, и онъ взялъ его, ухватившись за Грязевъ обѣими руками.

Этакое-то дитя и появилось въ городѣ.

Пріѣхавъ на службу ободраннѣмъ и проголодавшимся, Чертыхаевъ сразу освоился съ своимъ положеніемъ и началъ поѣдомъ ѣсть жителей. Исправникъ Кулаковъ сначала сдерживалъ его, но потомъ, ближе ознакомившись съ его способностями, спустилъ... Они даже подружались, потому что съ рукъ исправника сразу свалилось множество черновой работы, упавшей на Чертыхаева, который ничѣмъ не брезговалъ, взявъ на свою отвѣтственность запугиваніе, установленіе благочинія, сажаніе въ клоповники и наблюденіе за паспортною системой. Въ концѣ-концовъ, Чертыхаевъ пошелъ въ гору.

Жители сначала оборонялись, и къ прокурору поступала масса прошеній и жалобъ, но когда они увидали, до какой степени они еще глупы, то поступленіе прошеній къ прокурору прекратилось. Чертыхаевъ поправился, остепенился. Кулаковъ совѣтовалъ ему положить нажитыя деньги въ банкъ, а прежнія привычки бросить, и Чертыхаевъ съ благодарностью принялъ его отеческіе совѣты. Однако, отъ многихъ привычекъ онъ отстать не могъ; такъ, напримѣръ, причинять вредъ людямъ, мучить ихъ безъ всякой цѣли, играть во власть—это ужь вкоренилось въ него.

— Попадешь ты, Чертыхаевъ, подъ судъ!—говорили добродушно его пріатели.

А Чертыхаевъ хохоталъ. Вытаращенные глаза его смотрѣли нагло и безсовѣстно, а отчаянная голова держалась прямо, никогда не опускаясь отъ задумчивости.

— Вотъ еще! Мнѣ что... гдѣ мнѣ граница?

— Брось лучше, влопаешься.

— Плевать! Хочу бить по мордасамъ—и буду!—отвѣчалъ на всѣ предостереженія Чертыхаевъ съ легкомысліемъ савраса, на котораго не успѣли надѣть недоуздка.

По многимъ причинамъ Чертыхаевъ не боялся обнаруженія своихъ дѣяній. Два человѣка только могли повредить ему: Жилинъ и Сидоръ Васильевичъ. Но первый молчалъ. Сидоръ Васильевичъ пугался. Въ своихъ газетныхъ письмахъ онъ благоразумно ограничивался обличеніемъ земства, городской управы, сѣзда мировыхъ судей, потому что эта дерзость не всегда проходила для него даромъ. Чтобы слѣдить за Сидоромъ Васильевичемъ, Чертыхаевъ, на всякій слу-

чай, далъ одному изъ специалистовъ, Кареагенскому, приказъ разузнать, что Сидоръ Васильевичъ дѣлаетъ, какъ молится Богу, куда ходитъ гулять и не ведетъ-ли съ кѣмъ разговоры, а также какія книги читаетъ и что пишетъ.

Кареагенскій, отставной титулярный совѣтникъ, извѣстный въ городѣ за аблаката, котораго всегда можно было отыскать за прилавкомъ кабачка, гдѣ онъ писалъ прошенія, однажды принесъ подробныя свѣдѣнія о поведеніи Сидора Васильевича. Онъ разсказалъ Чертыхаеву, что Сидоръ Васильевичъ въ эту недѣлю то веселится отъ неизвѣстной причины, то жалуется на трясеніе въ ногахъ и головную боль. Сидитъ онъ все дома и читаетъ календарь, а другихъ книгъ не показываетъ. Должно быть, съ сестрицею своею онъ въ большомъ неудовольствіи, и она все на него сердится, а онъ весьма боится... Никакого другого поведенія было замѣтить. Сестрица Александра Васильевна, должно думать, ужъ очень донимаетъ его. Она все говоритъ: „Брось крамольничать! Сгонять, говорить, тебя, помрешь съ голоду!“ А онъ говоритъ: „Ничего, ничего“... Но вчера, когда настали сумерки, онъ вдругъ вышелъ на крыльцо и озирается, нѣтъ-ли кого. Сперва показалось, будто онъ хочетъ скрытно отъ сестрицы своей въ трактиръ юркнуть и пропустить малую толику. Но, немного погодя, опять юркнулъ домой. И тутъ какъ разъ попалась ему сестрица. „Куда?—гнѣвно закричала она.—Опять въ газету хочешь?“ Изъ всего вышеизложеннаго видно, что Сидоръ Запѣваловъ пишетъ корреспонденцію, а о чемъ—того узнать было нельзя.

Сидоръ Васильевичъ дѣйствительно не выдержалъ и на самомъ дѣлѣ послалъ въ газету корреспонденцію. Имъ овладѣла такая тоска, что всѣ свои домашнія занятія онъ бросилъ, сѣлъ за столъ, взволновался и написалъ замысловатое обличеніе на Кулакова и Чертыхаева. Когда онъ оставилъ столъ, лицо его, обрамленное сѣдыми косичками волосъ и сморщенное въ кулачокъ, теперь распрямилось и сдѣлалось мужественно. Руки его дрожали, когда онъ вкладывалъ его въ конвертъ, но взглядъ былъ твердъ, даже трагиченъ. Для него это письмо представлялось гражданскимъ подвигомъ.

— Совершилось!—проговорилъ онъ.—Пусть, что будетъ, а я обличу подлость!

И съ этими словами Сидоръ Васильевичъ опустилъ въ кар-

манъ свое дѣтище. Нужно замѣтить, что Сидоръ Васильевичъ выражался о своихъ общественныхъ дѣлахъ такимъ языкомъ, какъ будто онъ и въ самомъ дѣлѣ натворилъ чудесь. Затѣмъ, крадучись, онъ спустился съ своей лѣстницы, прошмыгнувъ къ почтамту и бросилъ письмо въ ящикъ. На этотъ разъ, на возвратномъ пути домой, его не поймала Александра Васильевна и не выпалила въ него гнѣвнымъ: „куда?“ — вслѣдствіе чего онъ предался необузданной радости, когда прокрался въ свою комнату незамѣченнымъ. Тамъ онъ взволнованно ходилъ отъ стѣны до стѣны и злорадствовалъ. Тихонько хихикая про себя, онъ подошелъ къ окну и погрозилъ своимъ изможденнымъ кулачкомъ на тотъ домъ, гдѣ жили его непріатели. Совершивъ эту нелѣпость, онъ нѣсколько уgomонился и сталъ задумчиво укладываться въ постель.

Но и въ постели онъ долго еще злорадствовалъ, вѣроломно радуясь ярости непріателей, которые, ничего не подозревая, вдругъ получаютъ ударъ, направленный неизвѣстною рукой. Почти цѣлую ночь онъ не могъ заснуть. Онъ переживалъ всѣ яркія мѣста своего обличительнаго письма, и воображеніе его ужасно разыгралось. Онъ уже вообразилъ, лежа въ ночной темнотѣ, какая ярость овладѣетъ непріателями, когда они прочитають... какъ вслѣдъ за этимъ начнутъ печататься другія обличенія... и пойдутъ изъ шелкать, голубчиковъ, со всѣхъ сторонъ, повсемѣстно... И тогда настанетъ новая эра...

Написалъ свою корреспонденцію Сидоръ Васильевичъ индифферентно, въ видѣ приключеній *одной* свиньи, принадлежащей *одному* властѣ имѣющему въ городѣ. Такимъ своеобразнымъ приемомъ онъ запутывалъ свои слѣды, а въ концѣ письма, для поясненія его, прибавилъ: „Подъ однимъ властѣ имѣющимъ въ городѣ должно разумѣть Кулакова — исправника, а подъ свиньей — Чертыхаева“. Должно быть, и самъ Сидоръ Васильевичъ признавалъ, что тутъ есть что-то неладное, потому что свое обличеніе онъ началъ, какъ всегда, сказочнымъ изрѣченіемъ: „Этому, пожалуй, никто не повѣритъ, но это фактъ...“ Но затѣмъ, запутавъ свои слѣды, онъ уже все забылъ и имѣлъ въ виду одну только свинью, о которой и выражался съ страшнымъ негодованіемъ.

Въ слѣдующіе затѣмъ дни Сидоръ Васильевичъ радовался;

отправляясь куда-нибудь по улицѣ, онъ уже не корчился отъ сознанія своей виновности, но держалъ себя прямо, какъ будто выросъ за это время. Свой подвигъ, т.-е. обличеніе Кулакова и Чертыхаева, онъ считалъ подвигомъ великимъ, смѣлымъ до дерзости и чреватымъ историческими послѣдствіями. Ему казалось уже, что онъ сила, передъ которой Кулаковъ и Чертыхаевъ ничто; грозная эта сила можетъ стереть ихъ съ лица земли или оставить жить. Сидоръ Васильевичъ желалъ, чтобы они жили, потому что кровожадности въ немъ не было нисколько. Только бы они перестали считать себя невмѣняемыми и согласились бы бояться суда. И тогда настанетъ новая эра, вызванная совокупными усиліями многихъ, столь же честныхъ людей, какъ онъ, Сидоръ Васильевичъ.

Благодаря этой радости, основанной на недоумѣніи, Сидоръ Васильевичъ черезъ нѣсколько дней совсѣмъ пересталъ питать ненависть къ непріятелямъ и даже великодушно прощалъ ихъ за всѣ обиды, которыя они чинили ему. Еще недавно, вспоминая и переживая обличенія своего письма, онъ злорадствовалъ, воображая, какъ его непріатели будутъ по прочтеніи рвать волосы, но теперь уже не желалъ ихъ гибели. Встрѣтивъ однажды Чертыхаева въ лавкѣ, Сидоръ Васильевичъ не скорчился, какъ обыкновенно, и не испугался, а съ достоинствомъ пожалъ ему руку, раскланялся и вышелъ, держась прямо. Даже Чертыхаевъ замѣтилъ это и сказалъ со смѣхомъ: „Каковъ гусь!“

Сидоръ Васильевичъ такъ вдругъ поднялся въ своихъ глазахъ, что не только не избѣгалъ встрѣчъ съ своими непріятелями, а искалъ ихъ. Встрѣтится съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ, многозначительно посмотритъ, раскланяется и молча идетъ дальше. Собственно говоря, онъ признавалъ себя въ глубинѣ души виноватымъ, котораго не наказываютъ только по счастливой случайности, но эта безнаказанность была новымъ ощущеніемъ для него, такъ какъ раньше, что бы онъ ни дѣлалъ, его ловили и стращали.

Въ такомъ-то праздничномъ настроеніи засталъ его портвой Якимовъ, который принесъ Сидору Васильевичу вывороченное пальто, а вчера былъ побитъ Чертыхаевымъ. Сидоръ Васильевичъ не могъ и передъ нимъ удержаться. Онъ осматрѣлъ вывороченное пальто, не одобрилъ его и сталъ

укорять Якимова; послѣдній, хотя и подновилъ пальто, но не сумѣлъ скрыть слѣды его прежняго вида; однако, онъ не оправдывался, какъ дѣлалъ раньше, а мрачно стоялъ посреди комнаты, вперивъ неподвижный взоръ на одну точку въ стѣнѣ. Лицо его отекло, глаза заплаыли, на одной щекѣ былъ прилѣпленъ пластырь, голова была повязана тряпичей. Сидоръ Васильевичъ думалъ, что такая наружность Якимова есть слѣдствіе того, что онъ имѣлъ склонность пить по воскресеньямъ водку и затѣмъ спать на улицѣ, въ канавѣ, подъ воротами.

— Подъ заборомъ ты валялся или у тебя сраженіе было?—спросилъ Сидоръ Васильевичъ насмѣшливо.

— Страженіе не страженіе, а бой мнѣ былъ,—возразилъ портной, не сводя мрачнаго взгляда съ одной точки.

— Съ кѣмъ же это ты бился?

— Съ кѣмъ... да почитай что ни съ кѣмъ. Буташи—главная причина.

— Какъ буташи? Въ кутузку тебя тащили?—Сидоръ Васильевичъ озабоченно слушалъ и понукалъ Якимова, который послѣ каждаго слова дѣлалъ остановки.

— Третьяго дни это случилось,—ваю тянулъ свой рассказъ Якимовъ.—Шелъ я изъ трактира и легъ на улицѣ ночью... Извѣстное дѣло, былъ навеселѣ — и легъ... Ну, ладно. Легъ и лежу. А въ ту пору проходилъ по улицѣ Чертыхаевъ... глядь, а я лежу. И сейчасъ: „Эй, городовые! сюда!“ А я лежу и думаю: „Ну, накладываютъ мнѣ теперь въ загорбокъ!“ Подцѣпили меня буташи, поволокли и давай... Бой мнѣ былъ настоящій.

Кончивъ это, Якимовъ крикнулъ отъ непріятнаго воспоминанія.

— Что „давай“?—уже взволнованно спросилъ Сидоръ Васильевичъ.

— Обыкновенно что. Взяли за ноги и плашмя тащили до самой кутузки.

— И били?

— А то что же? Обыкновенно... Бой мнѣ былъ настоящій.

Сидоръ Васильевичъ пришелъ въ негодованіе отъ равнодушнаго тона, какимъ Якимовъ рассказывалъ, какъ его везли за ноги.

-- Что же ты молчишь, дуракъ, не жалуешься?

Портной опять уставилъ глаза въ одну точку.

— Какъ же можно оставлять такое безобразіе? Подавай прошеніе мировому!—съ негодованіемъ говорилъ Сидоръ Васильевичъ.

Но Якимовъ только пожевалъ губами и остался глухъ къ словамъ его.

— Аа, ай, ай! какъ съ вами обращаются! Да еслибы этотъ Чертыхаевъ мнѣ хоть слово, такъ ему бы... Дурно съ вами обращаются. А ты молчишь. Бьютъ, а ты только игаешь. Нѣтъ, ты подавай жалобу.

Якимовъ еще долго не могъ взять въ толкъ, чего собственно отъ него требуютъ, а Сидоръ Васильевичъ, между тѣмъ, все настаивалъ.

— Нѣтъ, ты подавай жалобу... Хочешь, я тебѣ и прошеніе напишу?—вдругъ сказалъ Сидоръ Васильевичъ, почувствовавъ зудъ.

— Да, надо бы,—отвѣчалъ, наконецъ, портной,—потому что бой мнѣ былъ не по закону. Я ужъ и вчера говорилъ съ бутагами, стыдилъ ихъ: сволочь, говорю, вы эдакая! И самому Чертыхаеву показывалъ побои, потому что бой мнѣ былъ не по справедливости. Главное дѣло, въ голову меня лупили. Развѣ, говорю, можно такъ, ежели, напимѣрь, въ голову? По закону это выходить, а? Ну, Чертыхаевъ поглядѣлъ-поглядѣлъ, засмѣялся и велѣлъ меня вытурить изъ части.

Сидоръ Васильевичъ покровительственно выслушалъ Якова и настоялъ, чтобы тотъ подалъ жалобу на незаконныя дѣйствія Чертыхаева и его подчиненныхъ, все приговаривая: „Ай, ай, ай! какъ съ вашимъ братомъ обращаются! Вотъ ужъ дѣйствительно!“

Сидоръ Васильевичъ просто забылъ, что и подъ его ногами земля, какъ у всѣхъ жителей города; забылъ, что поднимать голову въ Грязевѣ не полагается.

Было узнано, кто писалъ прошеніе мировому, кто поджигалъ портного противъ полиціи. Правда, Якимовъ велъ себя на судѣ разсудительно, все доказывая положеніе, что „въ брюхо—ничего, а ежели, напимѣрь, въ голову“ и проч. Но Чертыхаеву этого было мало. Онъ прямо явился въ квар-

тиру Сидора Васильевича и страдалъ его. Сидоръ Васильевичъ до того растерялся, что слова не могъ выговорить въ свое оправданіе, и только шепталъ побѣлѣвшими губами.

Это было начало. А конецъ совсѣмъ погубилъ Сидора Васильевича.

Вышло такъ, что къ этому же времени пришла и газета, въ которой, къ несчастію Сидора Васильевича, помѣщено было его обличеніе. И еще что случилось: редакция, вмѣсто того, чтобы говорить читателямъ о свиньѣ, сократила до нѣсколькихъ строкъ письмо и поставила просто инициалы К. и Ч. Когда Сидоръ Васильевичъ узналъ объ этомъ, то такъ и присѣлъ. Онъ надѣялся, что на этотъ разъ никто не откроетъ сочинителя, совсѣмъ былъ убѣжденъ, что скрамольничалъ потихоньку, а инициалы погубили его. Замѣчательно, что не Кулаковъ и Чертыхаевъ поражены были письмомъ, а самъ Сидоръ Васильевичъ. Онъ первый констатировалъ свою гибель, первый призналъ, что виноватъ, кругомъ виноватъ, заслуживаетъ усмиренія и наказанія. И, прочитавъ свое собственное сочиненіе, онъ почувствовалъ трясеніе въ ногахъ. Онъ было уже рѣшилъ немедленно же побѣжать къ Кулакову, заранѣе раскаяться и попросить помилованія. но почему-то отложилъ. Можетъ быть, потому, что ужасно упалъ духомъ, оконечилъ и ослабъ. Такъ весь этотъ день онъ и сидѣлъ дома, не будучи въ состояніи принять никакого рѣшенія, и осовѣло смотрѣлъ на газетный листъ, который былъ недавно его радостью и гордостью, а теперь казнью.

Не успѣлъ Сидоръ Васильевичъ одуматься, какъ ему до точности пояснили его положеніе. Послѣ классныхъ занятій, на другой же день, его остановилъ смотритель и со стономъ накинута на него:

— Вы опять скрамольничали, Сидоръ Васильевичъ?

Сидоръ Васильевичъ пошепталъ что-то, но изъ этого ничего опредѣленнаго не вышло.

— Что вы дѣлаете? Вѣдь вы меня въ гробъ вгоните!

— Я? Конечно, я немного писалъ, но это ничего,— говорилъ ослабѣвшимъ голосомъ Сидоръ Васильевичъ. Отпираться, какъ онъ прежде дѣлалъ, было невозможно.

— И прошеніе какому-то пьяницѣ написали! Подстрекательствомъ занимаетесь!—застоналъ смотритель.

— Господи, и не думалъ! Я только убѣждалъ одного портного не пить, потому что это вредно... Только и было.

— Да вѣдь вы все обманываете?

— Честное слово! Такъ именно и было...

— Нѣтъ, ужь больше я не могу... Силъ моихъ нѣтъ!

Далѣе смотритель объяснилъ Сидору Васильевичу, что ему лучше подать прошеніе объ отставкѣ отъ должности уѣзднаго учителя. Такъ будетъ лучше для всѣхъ. Смотритель говорилъ все это съ сожалѣніемъ: онъ отъ души жалѣлъ Сидора Васильевича. Чтобы смягчить ударъ, онъ общалъ хлопотать о переводѣ его въ другой городъ, лишь бы онъ самъ добровольно согласился удалиться.

— Такъ по прошенію? — спросилъ дрожащимъ голосомъ Сидоръ Васильевичъ.

— По прошенію, Сидоръ Васильичъ.

Сидоръ Васильевичъ пошелъ домой. Обыкновенно Александра Васильевна узнавала обо всѣхъ приключеніяхъ брата, счастливыхъ и бѣдственныхъ, раньше, чѣмъ онъ успѣвалъ рассказать ей. Сидоръ Васильичъ зналъ изъ прежнихъ опытовъ, что какъ только онъ появится домой, такъ будетъ ошеломленъ вопросомъ: ну, что? Зналъ онъ и теперь это, только ослабѣлъ и заболѣлъ онъ такъ, что уже не пугался этого вопроса.

Александра Васильевна дѣйствительно узнала обо всемъ, и когда братъ тяжело сѣлъ за обѣденный столъ, она смѣряла его взглядомъ. Сидоръ Васильевичъ сидѣлъ безжизненно, разбитый и опустившійся. Молчаніе долго не нарушалось. Но первая прервала Александра Васильевна.

— Ну, что? — спросила она, разсмѣявшись недобрымъ смѣхомъ. Въ отставку? Собираешь пожитки и вѣхать, куда глаза глядятъ?

— Ахъ, сестра! — только и сказалъ Сидоръ Васильевичъ. Голосъ его былъ слабый и печальный.

— На старости лѣтъ! — и въ отставку! Срамъ! Дожилъ, докрамольничался!... Вѣдь тебѣ что надо? Вѣдь ужь ты только и способенъ, что ходить, да песокъ сыпать отъ старости-то, а ты еще обличеніями занимаешься...

— Правда, правда, сестра! — тихо выговорилъ Сидоръ Васильевичъ. Онъ сидѣлъ, облокотившись на столъ и положивъ голову на руки.

Сестра удивилась. Она замѣтила необыкновенное ослабленіе неутомимости брата и заговорила мягче, съ состраданіемъ взглянувъ на него.

— Да, вѣрно говорю!—сказала она.

— Правда, правда, сестра! Цѣлую жизнь разсѣялъ—и за что? Какая кому польза, что я мѣшался въ дѣла?... Что я такое? Чтѣ могу сдѣлать? Корреспонденціи писалъ... обличеніями занимался... книжки давалъ дуракамъ... мѣшался. И знаешь-ли, что изъ этого выходило, сестра? Писалъ корреспонденціи—меня били, обличалъ—били, книжки давалъ—били. И знаешь-ли, сестра... опомниться было некогда. И въ такомъ родѣ вся жизнь измыкана, вспомнить нечего, потому что въ прошломъ только одни посрамленія. Ахъ, сестра!

Голосъ Сидора Васильевича звучалъ необычайною искренностью. Для него насталъ періодъ, когда онъ отбрасывалъ ходули, стоя на которыхъ онъ считалъ себя дѣятелемъ; теперь онъ самобичевалъ себя, и въ этомъ періодѣ былъ искрененъ смертельно...

Онъ продолжалъ уже совсѣмъ ослабѣвшимъ голосомъ:

— Правда, правда, все правда! И побои, и посрамленіе—все было. Спросишь теперь себя, чтѣ ты, Сидоръ Запѣваловъ, дѣлалъ, какими занятіями занимался—и никакого отвѣта! Борьбой съ Чертыхаевымъ—вотъ! Да хоть бы и здѣсь-то до чего-нибудь дошелъ, хоть бы Чертыхаева-то малость усмирилъ, а то вѣдь и этого нѣтъ; вздумается Чертыхаеву дать тебѣ по носу— и дастъ. Господи, я вѣдь и въ жизни-то ужъ пересталъ видѣть что-нибудь, кромѣ Чертыхаева! Вѣдь только одно начальство и мелькаетъ въ глазахъ, только о немъ и думаешь... И еще хуже, сестра, самое начальство-то понимаетъ только въ смыслѣ Чертыхаева, вотъ до чего дѣло дошло! Иной разъ сидишь и думаешь: какую бы это сдѣлать пакость начальству, чтобы оно чувствовало силу твою?... Вотъ она, вся жизнь на ладони!... Сохрани Богъ въ такихъ занятіяхъ проводить время.

Александра Васильевна молча слушала признанія брата, угрюмо потупившись къ столу, а Сидоръ Васильевичъ продолжалъ говорить:

— Думаешь-думаешь иногда—и все у тебя завертится въ головѣ, и самъ себѣ становишься противенъ... Удивительно! Кажись, безъ дѣла не сидишь, все куда-то тычешь-

ся, а спросишь себя—и ничего... Вѣдь это какъ происходитъ? Сидишь-сидишь и вдругъ тебѣ на умъ приходитъ Чертыхаевъ, которому нужно выдумать пакость... ну, и пошелъ. Начинаешь критиковать, обличать... на самомъ-то дѣлѣ только вѣдь комедію устраиваешь! Ахъ, сестра!...

Сидоръ Васильевичъ поднялъ голову и осовѣло осмотрѣлся вокругъ.

— Ну, и будетъ! Усмирили и сиди!—мягко проговорила Александра Васильевна.

— Будетъ, будетъ, сестра! Ну ихъ!

Такъ палъ Сидоръ Васильевичъ.

Отъ неугомонности его не осталось и слѣда. Теперь что-то тяжелое легло на его сердце и придавило его. Онъ совершенно ослабъ и въ продолженіи долгаго времени о немъ не было ни слуху, ни духу. Правда, онъ и прежде въ такихъ случаяхъ скрывался, пугаясь своей либеральной тѣни, но на этотъ разъ онъ долженъ былъ поплатиться жестоко за свое сованье не въ свои дѣла и потому не могъ уже питать надеждъ на лучшее будущее. Въ прошедшемъ Сидору Васильевичу являлись одни побой, а въ грядущемъ: „будетъ, будетъ!“ Всѣ надежды его рухнули; ни одной мысли еще разъ сунуться не осталось въ немъ. Всю свою жизнь онъ вдругъ похерилъ, какъ бесполезную и ничтожную; всѣ дѣла свои мгновенно счелъ чепухой, о которой стыдно даже вспомнить; всѣ сованья въ общественныя дѣла показались ему глубоко противными, потому что всѣ они направлялись въ сторону Чертыхаева, лживыми, потому что они давали ему возможность надувать себя и другихъ, и мелкими до комизма, потому что онъ изображалъ изъ себя москву, лающую на слона... Чертыхаевъ превратился въ его глазахъ уже въ слона, неуязвимаго и величественнаго, и всѣ попытки укусить его останутся жалкими. Лучше сидѣть смирно и не играть постыдной роли. Рѣшая это, Сидоръ Васильевичъ самобичевалъ себя, и необходимо еще разъ замѣтить, что самобичевалъ себя искренно, хотя и пересаливалъ. Не щадя себя, онъ сдѣлался ниже травы, тише воды, притихъ, угомонился. Не хорошо было смотрѣть на него въ такія времена.

Дома Сидоръ Васильевичъ все жаловался, что у него болитъ голова, тихонько стоналъ и лишился аппетита. Жа-

довался также на головную боль. Поэтому ходилъ по квартирѣ въ валенкахъ, беззвучно и тихо шурша по полу войлочными подошвами. А на голову часто надѣвалъ компрессъ и все молчалъ, такъ что въ домѣ дѣлался невидимъ и нѣмъ. На Александру Васильевну онъ и глазъ не поднималъ, боясь встрѣтить въ ея взглядѣ осужденіе себѣ. Онъ замеръ и пересталъ существовать, такъ что и знакомые перестали его видѣть. Если кто изъ нихъ заходилъ къ нему, то онъ велъ себя необыкновенно странно: или рѣшительно молчалъ, не находя словъ для разговора, или испуганно просилъ не говорить о предметахъ, казавшихся ему почему-то опасными. Но, оставаясь дома, Сидоръ Васильевичъ ничего не могъ дѣлать, все вываливалось у него изъ рукъ, даже дѣтскія тетрадки, въ которыхъ необходимо было поправить грамматическія ошибки, и онъ просилъ сестру исправить ихъ. А когда та брала тетрадки и принималась марать, онъ стыдился, оправдывался, ссылаясь на изможеніе, жаловался, что у него опускаются руки... Спасайся и будь живъ! — шепталъ Сидору Васильевичу внутренній голосъ.

Сидоръ Васильевичъ принялся спасаться. Страхъ поборолъ отчаяніе, тотъ самый страхъ, который выражаетъ собой первое проявленіе привязанности къ жизни. Почувствовавъ страхъ за свою участь, Сидоръ Васильевичъ дѣятельно принялся шнырять по своимъ знакомымъ, чтобы какъ-нибудь выпцарапаться изъ сквернаго положенія. Откуда и прыть взялась. Хвори какъ не бывало, а больныя ноги судорожно носили своего хозяина къ квартирѣ исправника, смотрителя и прочихъ. Компрессы съ головы Сидоръ Васильевичъ сбросилъ, пересталъ шлепать дома въ валенкахъ; черты его лица, недавно еще застывшія и окоченѣлыя, опять стали живыми.

Ходилъ онъ послѣ уроковъ къ смотрителю, заглядывая ему въ глаза и безмолвно умолялъ. Срамоту этого моленія онъ, разумѣется, чувствовалъ, но... ничего не подѣлаешь! Сидоръ Васильевичъ въ это время удивлялъ ближайшее начальство свое терпѣніемъ и покорностью и никогда не упоминалъ о своей отставкѣ, надѣясь, что эту отставку авось забудутъ. Увѣрившись, что смотритель самъ сомнѣвается въ справедливости изгнанія стараго учителя и лишенія его куска хлѣба, Сидоръ Васильевичъ суетливо подговаривалъ

своихъ товарищей-учителей устроить чествованіе смотрителя, юбилейный обѣдъ, подписку на стипендію имени... или что-нибудь въ этомъ родѣ. И подговорилъ. Бѣгалъ по товарищамъ, умолялъ ихъ не оставлять его, заклиналъ честью спасти его отъ гибели и устроилъ-таки обѣдъ въ честь толстаго смотрителя, вся заслуга котораго въ педагогическомъ состояла въ томъ, что ему лѣнь было вмѣшиваться въ училищныя дѣла, лѣнь распекалъ, лѣнь вредить. Обѣдъ удался. Самъ Сидоръ Васильевичъ во время его произнесъ рѣчь о смотрителѣ, въ которой удивлялся его педагогическимъ талантамъ и увѣрялъ, что потомство оцѣнитъ его скромную, но плодотворную дѣятельность. Кончая свою рѣчь, Сидоръ Васильевичъ былъ весь блѣдный и взволнованный.

— Небось взволнуешься, какъ станутъ вынимать кусокъ изъ рта!—говорили послѣ товарищи Сидора Васильевича.

Потомъ Сидоръ Васильевичъ побѣждалъ къ исправнику Кулакову. Срамота этого поступка ужасно его мучила, а потому онъ совершилъ его тайно. Нѣсколько разъ онъ ходилъ къ Кулакову и помаленьку оправлялъ себя. Пришелъ разъ—хозяинъ спитъ. „Спитъ?“—спросилъ съ улыбкой Сидоръ Васильевичъ и, пошептавшись съ дежурнымъ солдатомъ, торопливо удался. Пришелъ въ другой разъ—Яковъ Кузьмичъ обѣдаетъ. „Обѣдаютъ?“—съ улыбкой спросилъ Сидоръ Васильевичъ и опять ушелъ, увѣривъ дежурнаго солдата, что его дѣло не спѣшное, погодить. И долго такъ продолжалъ похаживать Сидоръ Васильевичъ. Придетъ, пошепчется съ солдатомъ, который все настаивалъ доложить о немъ, и удалится торопливо. Это онъ дѣлалъ для того, чтобы примелькаться въ глазахъ исправника и изумить его терпѣніемъ. Наконецъ, Сидоръ Васильевичъ лично увидѣлся съ Яковомъ Кузьмичемъ и, послѣ многочисленныхъ извиненій, умолялъ его не напускать болѣе на него Карфагенскаго, который приводилъ его въ ужасъ.

— Я не люблю безпокойныхъ людей,—сказалъ Кулаковъ.

— Господи, да развѣ я...

— У меня все въ городѣ тихо, а вы возмущаете.

— Честное слово, больше не буду! Вѣрите-ли слову... вотъ ужъ ей-Богу!

Послѣ такого разговора Сидоръ Васильевичъ въ продолже-

ни цѣлаго мѣсяца чувствовалъ необычайную срамоту въ себѣ. Но ему надо было спастись, и онъ спасался.

Вспомнилъ онъ и еще способъ, чтобы выставить наружу свою балгонамѣренность. Въ Петербургѣ праздновали въ этотъ день одно событіе, и Сидоръ Васильевичъ, по примѣру другихъ, вывѣсилъ флагъ передъ окнами. Онъ самъ его сшилъ, самъ повѣсилъ на древко и самъ наблюдалъ весь день, чтобы развѣвался, и когда флагъ переставалъ развѣваться, обвиваясь вокругъ древка, Сидоръ Васильевичъ брагъ длинную жердь и ширялъ ею, распутывая обмотавшееся вокругъ палки полотно.

Чартыхаевъ одинъ остался неумолимъ. Жестокій и необузданный, онъ принадлежалъ къ тому сорту людей, которыхъ можно убѣдить и заставить уважать себя только по боязни, а Сидоръ Васильевичъ лишь заглядывалъ ему въ глаза. Разъ встрѣтились они на базарѣ и обмѣнялись поклонами. Сидоръ Васильевичъ пожалъ своему непріятелю руку и заглядывалъ въ его глаза. Чартыхаевъ нагло захохоталъ.

— Знаю, чего вамъ хочется! Но на эту удочку я не пойду! Погодите, я васъ такъ напугаю, что родную мать забудете!— и, говоря это, Чартыхаевъ еще разъ безстыже захохоталъ, оставивъ Сидора Васильевича пораженнымъ до глубины души.

— Это ужъ такой зудливый человѣкъ. Хотя ты его бей, хоть пугай, онъ все свое продолжаетъ; неймется ему,—сказала Александра Васильевна.

Сидоръ Васильевичъ совсѣмъ, кажись, былъ мертвецъ, однакожь, оправился. Почитывалъ онъ свою возлюбленную газету и мало-по-малу началъ злорадствовать; то тихонько хихикаетъ, то взволнованно потреть руки, и все по поводу либеральныхъ выходокъ газеты, или вдругъ придетъ въ благоговѣйное удивленіе, читая фельетонъ и поражаясь его дерзостью. На основаніи этой дерзости онъ судилъ о томъ, продолжаетъ-ли свое шествіе прогрессъ, или остановился. А за этимъ вновь послѣдовалъ возвратъ къ неугомонности. Вмѣсто самобичеванія, самооболеніе. Мученіе позабылось, отчаяніе прошло, изможденіе превратилось въ бодрость, раскаяніе въ восхваленіе себя. Прочитавъ нѣсколько дерзкихъ выходокъ, Сидоръ Васильевичъ съ прежнею вѣрой и тап-

ственностью убѣждалъ своего пріятеля, мирового судью, что въ новомъ году что-то ожидается... удивительное! Это видно по всему.

— Вотъ прочитайте-ка, — сказалъ онъ, показывая въ газетѣ мѣсто, поразившее его тонкое чутье запахомъ наступающаго либерализма. Онъ беззвучно смѣялся и потиралъ свои тощія руки.

Пораженный этимъ запахомъ, Сидоръ Васильевичъ быстро оправился и дѣятельно распространялъ слухъ, что къ январю что-то готовится важное, неслыханное.

Такъ вострепнулся Сидоръ Васильевичъ. Особенно удивительны были его надежды на январь и февраль каждого года. Надо замѣтить, что Сидоръ Васильевичъ прожилъ довольно порядочное количество лѣтъ и потому его каждогоднія январскія и февральскія надежды были еще болѣе поразительны: вѣдь нужно ухитриться такъ, чтобы вѣчно надѣяться! Въ ноябрѣ и декабрѣ онъ уже рассказывалъ всѣмъ своимъ пріятелямъ, что „въ верху что-то готовится, какое-то событіе первостепенной важности, нѣчто необыкновенное“... Рассказывалось все это таинственно. Когда Сидоръ Васильевичъ говорилъ это, у него захватывало духъ, голосъ его дрожалъ и выраженіе его лица дѣлалось загадочнымъ.

По странной случайности, вѣра Сидора Васильевича на этотъ разъ, повидимому, оправдывалась фактами, такъ что самые упрямые маловѣры прислушивались и волновались. Исправникъ Кулаковъ и помощникъ его Чертыхаевъ попали подъ судъ или, лучше сказать, подъ слѣдствіе, возбужденное по поводу какой-то грандіозной порки мужиковъ. Но радоваться этому обстоятельству, очевидно, было позволительно только человѣку, лишенному всякихъ основательныхъ надеждъ въ жизни, потому что слѣдствіе производилось, а кулаковъ и Чертыхаевъ оставались нетронутыми; и немного только при-смирѣли.

Сидоръ Васильевичъ ходилъ пѣтухомъ. Каждую недѣлю онъ носилъ корреспонденціи, обличалъ, злорадствовалъ, волновался. Дома онъ не сидѣлъ, бѣгая по знакомымъ и рассказывая, какое настало удивительное время и какія дерзкія письма печатаютъ. Своихъ непріятелей онъ больше не боялся; встрѣчаясь съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ, онъ глядѣлъ вызывающе, дерзко; тощая фигура его, изможденная постоян-

ными тревоженіями, теперь какъ будто выросла. Это даже Кулакова пугало.

Попумѣвъ ради подписки въ пользу выпоротыхъ мужиковъ, Сидоръ Васильевичъ бросился устраивать подписку въ пользу Жилина. Жилинъ, такъ долго молчавшій, показывавшійся лишь по дорогѣ отъ своей мазанки къ полиціи, вдругъ заставилъ вспомнить о себѣ: умеръ. Какъ и чѣмъ онъ болѣлъ, была-ли какая помощь ему во время болѣзни—никто этого не зналъ. Никто не ходилъ къ нему, кромѣ хозяина двора, навѣщавшаго изрѣдка своего жильца. За недѣлю передъ смертію Жилинъ совсѣмъ пересталъ выходить. Не видя его, хозяинъ отправился однажды въ мазанку и увидалъ его въ постели. По его просьбѣ, онъ принесъ ему напитокъ и съ состраданіемъ глядѣлъ на него. Жилинъ обратился къ хозяину еще съ одною просьбой, высказать которую ему, должно быть, было очень трудно.

— Спасибо, добрый человѣкъ,—сказалъ онъ, когда напился.—А все-таки будетъ лучше, если отвезете меня въ больницу!

Въ больницѣ и умеръ Жилинъ.

Когда Сидоръ Васильевичъ узналъ объ этомъ, то пришелъ въ сильное негодованіе и побѣждалъ устраивать похороны. Онъ въ особенности возмущался казенными похоронами, которыя въ этой больницѣ состояли въ томъ, что въ дроги запрягали стараго и худого мерина, клали на дроги гробъ, привязывали его веревками, садили на гробъ старика сторожа и выводили эту колесницу за больничныя ворота. Худой меринъ самъ шелъ по направленію къ кладбищу, а старый сторожъ дребезжащимъ голосомъ пѣлъ: „Святый Боже“, отъ времени до времени вступая съ мериномъ въ разговоры или укоряя его за лѣнь.

Сидоръ Васильевичъ собралъ по подпискѣ необходимую сумму для похоронъ и самъ проводилъ гробъ до кладбища. Онъ не любилъ Жилина, не понималъ этого молчаливаго человѣка, боялся его, но радъ былъ его похоронами ткнуть въ носъ своимъ непріателямъ и показать имъ, что больше ихъ не пугается. Правда, Жилинъ былъ истинный козелъ отпущенія и хоронить его—значило хоронить человѣка, на котораго всѣ преступленія валили, но Сидоръ Васильевичъ забылъ это, подавленный охватившимъ его волненіемъ, и без-

боязненно шель за гробомъ вмѣстѣ съ нѣсколькими пріятелями, съ нѣсколькими нищими и съ Кареагенскимъ.

Когда Сидоръ Васильевичъ возвращался домой, онъ прозябъ. День былъ морозный и ясный. Вдали, надъ лѣсомъ, стояла темная мгла, отливавшая свинцовымъ цвѣтомъ и сливавшаяся съ землею въ одну сплошную тучу. Но надъ городомъ было синее небо; солнце весело играло лучами на крышахъ домовъ, занесенныхъ снѣгомъ, на снѣжной площади и въ снѣжныхъ пылинкахъ, которыя порошились въ воздухѣ. Однакожъ, морозъ только подзадоривалъ его изможденное тѣло; онъ шель и подпрыгивалъ, похлопывая руками.

Придя домой, онъ погрѣлъ около печки заоченѣвшія ноги и руки, и, еще съ посинѣвшими губами, побѣждалъ рассказывать знакомымъ о демонстраціи, которую онъ устроилъ.

— Совсѣмъ старичишка измотался!—со злобой проговорила Александра Васильевна, провожая его за дверь.

Домой въ этотъ день Сидоръ Васильевичъ возвратился поздно. Въ комнатѣ ждалъ его сюрпризъ: письмо отъ племянника которое Сидоръ Васильевичъ немедленно развернулъ и прочиталъ:

„Здорово, любезный дядюшка! Изъ вашего письма я узналъ, что вы живете хорошо и веселы, потому что опять полны надеждъ. Еще говорите вы, что у васъ тамъ, въ Европѣ, настало веселое время и новая эра, чреватая величайшими послѣдствіями. Это хорошо. Я только сомнѣваюсь насчетъ людей, которые распространяютъ слухи о прогрессѣ и о новой эрѣ. Эти люди, милый дядюшка, чрезвычайно загадочный народецъ. Вся ихъ жизнь проходитъ въ томъ, что они то замираютъ отъ страха, когда на нихъ зыкаютъ, то безпутно шумятъ, когда ихъ устаютъ колотить. Дѣла они никогда и никакого не сдѣлали, производя одинъ шумъ. То они ноютъ о невозможности дѣла, ссылаясь на „независящія обстоятельства“, то хвалятся дѣлами, которыхъ не совершали. А на самомъ то дѣлѣ, дядюшка, они только ждутъ—въ этомъ вся ихъ суть—ждутъ кары или милостей. И я думаю, что новое время, о которомъ вы пишете и которое потребуетъ для себя болѣе сильныхъ и смѣлыхъ людей, сплошь смететъ этотъ странный народецъ, а если они еще не сметены, такъ это вѣрный признакъ, что

никакого новаго времени и яѣтъ. Такъ-то, дядюшка. А меня, дядюшка, переводятъ въ другое мѣсто, поэтому я третьяго дня купилъ себѣ баранью шкуру и сегодня дѣлаю изъ нея треухъ. Поцѣлуйте маму и скажите, что я здоровъ. Прощайте, дядюшка!“

Прочитавъ это письмо, Сидоръ Васильевичъ былъ ошеломленъ и что-то припоминалъ. Но какъ только вспомнилъ онъ, что его непріатели отданы подъ судъ, такъ вновь забылся, и ночью, лежа на боку, долго еще злорадствовалъ и хихикалъ, твердо вѣря въ „новую эру“.

Тяжело и обидно было наблюдать его въ такіа минуты.

Мѣста нѣтъ.

I.

Съ устланной коврами лѣстницы Лобановичъ слетѣлъ съ такою стремительностью, словно его спустили сверху.

Его, пожалуй, дѣйствительно спустили съ лѣстницы, только не буквально; ему просто отказали отъ мѣста.

Это уже который разъ!

Лицо его было красное отъ гнѣва, почти дикое, когда онъ вихремъ пролетѣлъ мимо швейцара и прыгнулъ на улицу. „Эка, сумасшедшій!“ — пробормоталъ швейцаръ, удивленный беспорядочными скачками барина.

Но когда утренній воздухъ обвѣялъ горячую голову Лобановича, а яркіе солнечные лучи ослабили его взоръ, онъ почти мгновенно успокоился и уже пошелъ по улицѣ обыкновеннымъ шагомъ разумнаго человѣка. А вмѣсто гнѣва, на его лицѣ появилось смущеніе, почти стыдъ.

До сихъ поръ ко всякаго рода житейскимъ дѣламъ, а въ томъ числѣ и къ „мѣстамъ“, онъ относился съ безпечною жаворонка. Есть „мѣсто“ — отлично, нѣтъ — наплевать. Но на этотъ разъ онъ смутился. Когда пріатели посадили его на это „мѣсто“, то пригрозили ему, ради шутки, что больше хлопотать за него не стануть; чортъ съ нимъ, если онъ самъ о себѣ не заботится. Вообще это мѣсто, довольно теплое и съ перспективами въ будущемъ, стоило большихъ усилій для благопріателей. И вотъ съ этого-то мѣста его спустили.

И въ нерассудительную голову Лобановича проникло бла-

тодѣтельное смущеніе. Шагая подъ горячими лучами майскаго солнца, онъ со всѣхъ сторонъ обсуждалъ свое положеніе. Ему надо было вообще разсудить, какъ ни мало пришло къ онъ разсуждать о своихъ дѣлахъ.

Вѣроятно, въ немъ есть какой-нибудь органическій порокъ, мѣшающій ему прочно устѣться за жизненнымъ столомъ. Но что же это за порокъ? Кажется, онъ человѣкъ порядочный,—по крайней мѣрѣ, никто не смѣетъ его укорить какою-нибудь пакостью. Кажется, онъ не глупъ; напротивъ, всѣ его друзья и знакомые считаютъ его даже не совсѣмъ дюжиннымъ, и если Иванъ Ивановичъ называетъ его осломъ, то это ничего не значить. Кажется, всѣ видятъ, что онъ не отказывается ни отъ какой работы, и знаютъ, что онъ способенъ на безчисленное множество дѣлъ. Самъ онъ чувствуетъ, что въ немъ есть совѣсть, гордость и честь. Быть можетъ, на сегодняшнемъ базарѣ все это цѣнится не выше гроша, но вѣдь и грошъ—цѣнность; если безчисленное множество совѣстливыхъ и благородныхъ людей ходятъ теперь кучами, не зная, куда помѣстить свое сердце и умъ, то все же они кое-какъ временно пробавляются. А вѣдь онъ совсѣмъ ужъ не можетъ никуда прислониться, какъ будто всѣ сговорились отовсюду гнать его. Слѣдовательно, есть же какой-то особенный порокъ въ немъ, какое-то отталкивающее свойство, какой-то нетерпимый духъ.

Лобановичъ со страхомъ искалъ въ себѣ таинственныхъ подлостей, нетерпимаго духа. Но поиски эти ни къ чему существенному не привели, и чѣмъ дальше онъ углублялся въ себя, надѣясь на днѣ своей персоны отыскать таинственный порокъ, тѣмъ дальше отходилъ отъ цѣли. Напрасно онъ ломалъ голову.

— Но, Боже мой, надо же какъ-нибудь жить!—почти проstonалъ онъ, шагая возлѣ общественнаго сада.

Капли холоднаго пота покрывали его лобъ; во рту пересохло. Страшная тяжесть легла на всѣ его мысли. Кучи соображеній, какъ соръ, сплошь заняли его душу, и онъ съ ожесточеніемъ рылся въ нихъ, не умѣя ихъ разсортировать. Наконецъ, врожденная безпечность на минуту взяла верхъ: онъ внезапно бросилъ думать объ этихъ головомныхъ вещахъ и соръ весь выбросилъ изъ головы.

Тутъ кстати подвернулася калитка сада; онъ вошелъ въ

нее, повернулъ въ боковую аллею и усѣлся на скамейкѣ съ блаженною улыбкой человѣка, который все обдумалъ и отлично устроилъ всѣ свои дѣла. Онъ снялъ шляпу, съ облегченіемъ вздохнулъ и успокоился. Недалеко бѣгали, шумя, дѣти разныхъ возрастовъ.

Лобановичъ нѣсколько времени наблюдалъ за бѣготней ихъ, серьезно прислушивался къ звонкимъ голосамъ и мало-по-малу совершенно вошелъ въ ихъ интересы. Между маленькими людьми возникъ скоро какой-то споръ, кончившійся общемою ссорой; одинъ мальчикъ показалъ другому языкъ; послѣдній назвалъ противника обиднымъ названіемъ и также, въ свою очередь, показалъ языкъ. Толпа раздѣлилась; одни заступались за одного, другіе—за другого, послѣ чего обѣ партіи принялись дразнить другъ друга страшно оскорбительными названіями и жестами. Это продолжалось до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ спорившихъ не сорвалъ шляпы съ другого; сорвавъ, онъ забросилъ ее на верхушку буста сирени; тогда обиженный принялся ревѣть на весь садъ, закрывъ оба глаза своими маленькими кулачками. Лобановичъ послѣ этого вмѣшался въ распрю и принялся разбирать и успокаивать. Все это онъ сдѣлалъ съ такою убѣжденностью и такъ горячо, что черезъ нѣсколько минутъ раздоры окончились. Малые люди снова принялись играть, пригласивъ въ свой кругъ и Лобановича. Послѣдній охотно принялъ участіе въ дѣлѣ; его большой ростъ и густая борода нисколько не мѣшали ему толкаться среди крошечнаго чело-вѣчества, но въ первой же игрѣ нѣсколько ребятишекъ отлично надули его и заставили служить чучелой. Изображать чучель—таковъ былъ удѣлъ всѣхъ проигравшихъ, и Лобановичъ безропотно несъ послѣдствія своей неумѣлости.

II.

Вдругъ на далекой монастырской колокольнѣ пробило три часа.

Лобановичъ встрепелся. Что-то вдругъ непріятное кольнуло его въ сердце. „Что такое нынче со мною случилось?... Ахъ, да, съ мѣста меня потурили!“

— Да это наплевать!—сказалъ онъ вслухъ.

Но напрасно онъ храбрился. Смущеніе снова и въ еще большей степени овладѣло имъ. Онъ вспомнилъ, что сейчасъ придетъ домой, гдѣ его встрѣтитъ сожитель Иванъ Ивановичъ, и—какъ онъ ему скажетъ, что его спустили съ мѣста? А къ вечеру уже всѣ будутъ говорить:

— Знаете, Лобановичъ опять на вольномъ воздухѣ.

А Катя съ обычнымъ сочувствіемъ спроситъ:

— Василий Михайловичъ, неужели вамъ опять придется работу искать? — она это скажетъ съ участіемъ, искренно страдаая за его неудачи, но это еще хуже.

Рисуя себѣ всѣ эти и многія другія обидныя картины, Лобановичъ вдругъ ожесточился. Онъ торопливо вышелъ изъ сада, бросился по улицамъ къ своей квартирѣ и по дорогѣ начиналъ себя тенденціозною злобой противъ всѣхъ людей, въ особенности противъ друзей, противъ Ивана Ивановича, противъ Кати. Насколько это ему удалось, трудно судить, но только въ квартиру онъ явился, дѣйствительно, съ свирѣпымъ лицомъ.

Обѣденный столъ былъ уже накрытъ; Иванъ Ивановичъ терпѣливо ждалъ его. Черезъ минуту горничная принесла обѣдъ и Лобановичъ молча, но свирѣпо принялся за него. Пылая злобою, онъ сначала оторвалъ зубами кусокъ хлѣба, потомъ оторвалъ кусокъ мяса и только послѣ этого устремилъ взоръ на пріятеля, полный ненависти.

Иванъ Ивановичъ, понятно, ничего не подозрѣвалъ и потому съ недоумѣніемъ взглянулъ на него, какъ бы спрашивая: „Это еще что за демонстрація?“ Впрочемъ, онъ отвѣтилъ на вызывающій взглядъ.

— Ты смотришь такъ, какъ будто тебя сейчасъ поколотили.

— Пожалуй, хуже... меня съ мѣста прогнали!—выпалилъ Лобановичъ горячо, рѣшившись сразу покончить съ этимъ вопросомъ.

— Уже?

Это восклицаніе Ивана Ивановича напоялъ убило Лобановича, думавшаго укрыться за своею свирѣпостью. Онъ мгновенно оторопѣлъ, утратилъ весь запасъ злобы и растерянно ерошилъ свои волосы.

Между тѣмъ, Иванъ Ивановичъ иронически принялся разспрашивать его, какъ это случилось. Дѣло оказалось не-

сложнымъ. Патронъ Лобановича поручилъ ему составить нѣсколько бумагъ по одной кляузной тяжбѣ. Лобановичъ исполнилъ порученіе, но дѣло показалось ему до такой степени поганымъ, что онъ счелъ своимъ долгомъ указать адвокату на свое наивное открытіе. Адвокатъ, однако, далъ вѣжливо понять, что онъ никого не просилъ вмѣшиваться въ его дѣла. Затѣмъ между ними произошелъ краткій, но рѣшительный обмѣнъ мыслей.

— Но вѣдь дѣло поистинѣ нехорошее! — возразилъ Лобановичъ съ горячею убѣжденностью.

— Тѣмъ не менѣе, это не обязываетъ меня слушать вашу проповѣдь!

— Да не проповѣдь я говорю, а только желалъ бы убѣдить васъ бросить это подлое дѣло! — упрямо продолжалъ настаивать Лобановичъ.

— Въ такомъ случаѣ, я долженъ убѣдить васъ отказаться отъ службы у меня.

Послѣ этого Лобановичъ взялъ шляпу и скатился съ лѣстницы. Вотъ и все.

— Ты ему такъ и сказалъ: „поганое дѣло“? — переспросилъ Червинскій.

— Я просто сказалъ: „подлое“.

Лобановичъ при этомъ устремилъ пламенный взглядъ куда-то въ пространство, очевидно, снова переживая утреннее объясненіе съ адвокатомъ, и, по привычкѣ, обѣими пятернями ерошилъ волосы.

— Дѣйствительно просто!... Какой ты, Вася, позволь тебѣ сказать, оселъ! — спокойно выговорилъ Червинскій, какъ будто констатировалъ фактъ, не подлежащій сомнѣнію.

Лобановичъ, услышавъ знакомый эпитетъ, вдругъ улыбнулся веселою, дѣтскою улыбкой.

— За что же ты меня ругаешь? Неужели прощать скотамъ? На моемъ мѣстѣ ты такъ же поступилъ бы. Однимъ словомъ, я готовъ дѣлать что угодно, ради полученія жранья, но продавать себя не стану.

— Нужно еще спросить, желаетъ-ли кто купить-то тебя! — отвѣтилъ спокойно Червинскій.

Это колкое возраженіе снова подняло всю необузданность у Лобановича. Онъ съ негодованіемъ посмотрѣлъ на прія-

теля и нѣсколько минутъ молча подбиралъ самый убійственный, смертоносный отвѣтъ.

— Я, во всякомъ случаѣ, не намѣренъ быть комнатною собаченкой, которая подъ столомъ дожидается крохъ, падающихъ изъ рукъ пирующихъ,—сказалъ онъ, наконецъ, угрюмо.

— Предпочитаешь быть дворнягой?

— Ну, да, дворнягой! Именно дворнягой!—закричалъ Лобановичъ.

— Дворнягъ, насколько мнѣ извѣстно, сажаютъ на цѣпь... по большей части на цѣпь,—возразилъ Иванъ Ивановичъ.

— На цѣпь? Въ такомъ случаѣ, я предпочитаю быть бродячею собакой!

— Это, конечно, жизнь свободная, но, къ сожалѣнію, уличныхъ собакъ нынче ловятъ крючьями и истребляютъ, какъ бѣшеныхъ.

Лобановичъ опять на минуту оторопѣлъ. На взволнованномъ лицѣ его появилось болѣзненное чувство обиды и отчаянія.

— Ну, да! Я знаю... въ душѣ вы всё называете меня легкомысленнымъ, вѣтреннымъ. Для васъ я — неудачникъ, пустой человѣкъ, которому нѣтъ нигдѣ удачи, который ни на что не способенъ, которому лучше гдѣ-нибудь пропасть скорѣе. „Интеллигентный бродяга“! Что можетъ быть смѣшнѣе и глупѣе интеллигентнаго бродяги? Вы правы. Я—неудачникъ, бродяга, я все, что вы хотите! Но позвольте мнѣ въ одномъ остаться правымъ: я не пресмыкаюсь и не продаюсь! И вотъ практичнымъ, умѣлымъ я бросаю вызовъ: вы—халуи, ползающіе передъ всякою силой, которую выдвигаютъ обстоятельства!... Я бросаю вамъ этотъ вызовъ и знаю, что вы его заслуживаете!

Лобановичъ при этихъ словахъ, внѣ себя отъ гнѣва, вскочилъ изъ-за стола, отбросилъ ногой стулъ и выбѣжалъ вонъ изъ комнаты.

Иванъ Ивановичъ медленно закончилъ обѣдъ, но взглядъ его безпокойно перебѣгалъ съ предмета на предметъ.

Онъ пропустилъ мимо ушей неожиданный выстрѣлъ товарища; ко всякимъ неумѣреннымъ и нелѣпымъ выходкамъ послѣдняго онъ привыкъ. Но на этотъ разъ его поразило состояніе Лобановича, и онъ обдумывалъ, какъ теперь быть.

Надо поскорѣе пріискать для него новую работу, но какъ это лучше сдѣлать? Вѣдь Васька дѣйствительно страдаетъ отъ своей неумѣлости и необузданности... Искать для него *какою-нибудь* мѣста — бесполезно, съ него онъ будетъ спущенъ съ такою же быстротой, какъ и съ прежнихъ мѣстъ. Ему слѣдуетъ найти такое положеніе, которое не оскорбляло бы его фантазій, не вызывало бы его необузданности наружу.

Иванъ Ивановичъ любилъ послѣ обѣда поваляться на диванѣ съ газетой въ рукахъ, которая быстро приносила ему блаженной сонъ; онъ любилъ также все дѣлать чисто и обдуманно, но на этотъ разъ измѣнилъ своимъ привычкамъ. Насчетъ Лобановича у него явилась одна комбинація, которую немедленно надо было привести въ исполненіе. Для этого онъ тщательно одѣлся и отправился хлопотать о новомъ мѣстѣ для сумасшедшаго.

Тѣмъ временемъ этотъ послѣдній шатался по улицамъ въ самомъ мрачномъ настроеніи, снова углубившись на дно своей персоны съ цѣлью отыскать порокъ своей жизни. Это бесплодное занятіе продолжалось бы долго, если бы ему не пришла счастливая мысль зайти въ библіотеку. Благодаря службѣ на послѣднемъ мѣстѣ, онъ почти пересталъ читать. Такое лишеніе было для него тяжело; онъ слѣдилъ за всѣмъ, что дѣлалось въ мірѣ, и, не видя мѣсяца два книги и газеты, уже думалъ, что опошлѣлъ и одичалъ. Чтеніе было его единственнымъ дѣломъ, которое онъ исполнялъ чисто, совершенно и въ величайшемъ порядкѣ.

И теперь, окруживъ себя ворохомъ газетъ, онъ съ наслажденіемъ сталъ вдыхать воздухъ родныхъ широкихъ интересовъ. За два мѣсяца, которые онъ корпѣлъ на скучной службѣ ради куска (скатился съ лѣстницы адвоката онъ даже раньше двухъ мѣсяцевъ), онъ долженъ былъ многое возстановить изъ утраченнаго и забытаго. Его интересовала одна экспедиція во внутрь Африки, и онъ принялся слѣдить за ея судьбой; тогда, два мѣсяца тому назадъ, онъ оставилъ ее въ самомъ критическомъ положеніи и теперь съ живѣйшимъ интересомъ слѣдилъ за ея ходомъ; къ его удовольствію, экспедиція оказалась цѣлою и невредимою, а не была съѣдена людоедами, какъ онъ мрачно думалъ. Затѣмъ, имѣя знакомыхъ во всѣхъ частяхъ свѣта, онъ пере-

брался въ Азію, а оттуда, черезъ полчаса, переплылъ въ Америку, гдѣ присутствовалъ два мѣсяца тому назадъ на огромномъ митингѣ желѣзно-дорожныхъ служащихъ; однако, здѣсь ничего онъ не нашелъ изъ прежняго и съ недоумѣніемъ переѣхалъ въ Европу. Здѣсь онъ остановился минутъ на двадцать въ Ирландіи; дольше онъ не могъ въ этой странѣ оставаться, чувствуя, какъ въ немъ поднимается негодованіе и отвращеніе, и потому поспѣшилъ уѣхать во Францію. Онъ питалъ странную слабость къ Франціи: все, что тамъ дѣлается, онъ принималъ за свое личное, кровное дѣло, которое можетъ радовать и огорчать, вызывать любовь и негодованіе. Сейчасъ онъ испыталъ послѣднее. То, что было два мѣсяца тому назадъ, продолжалось и теперь. Только теперь дѣла тамъ еще болѣе невыносимы, оскорбительны. Какой это подлый, какой тупой и недальновидный классъ—эта буржуазія! Сколько распутства она вноситъ въ страну и сколько жертвъ отъ нея требуетъ!... Лобановичу вдругъ сдѣлалось такъ тяжело, что онъ оставилъ газеты и задумался.

Впрочемъ, черезъ короткое время онъ былъ уже въ Россіи и погрузился по уши въ родныя хляби. Родныя вѣсти онъ всегда пробѣгалъ послѣдними, потому что отъ нихъ ему всегда становилось скучно. И обыкновенно пробѣжавъ ихъ второпяхъ, какъ бы по обязанности, онъ ими оканчивалъ чтеніе, такъ какъ дальше на него нападало сонливое состояніе, отъ котораго безъ какого-нибудь экстраординарнаго случая трудно было отвязаться.

Однако, теперь онъ считалъ долгомъ основательно пересмотрѣть все, что за два мѣсяца совершилось.

Наступилъ вечеръ, а онъ все еще сидѣлъ. Солнечный лучъ косыми нитями протянулся по столу, на нѣсколько минутъ испестрилъ золотыми узорами газету, затѣмъ запутался въ бородѣ, поднялся до глазъ, ослѣпивъ забывшагося читателя, и, наконецъ, погасъ въ спутанной его шевелюрѣ.

— Пора, баринъ, уходить... Запирать время, — сказалъ сонно библиотечный сторожъ.

Дѣйствительно, въ комнатѣ становилось темно.

Лобановичъ встрепенулся и поплелся на улицу, но долго еще не могъ встряхнуть себя отъ глубокой задумчивости. Всѣ волненія и обиды этого дня мирно улеглись въ немъ.

Библиотека была истиннымъ храмомъ его, въ которомъ онъ страстно молился и который успокоивалъ всѣ страданія его буйнаго темперамента.

Но если бы Иванъ Ивановичъ, ведшій дипломатическіе переговоры съ однимъ инженеромъ, могъ догадаться, надъ чѣмъ онъ задумался, то назвалъ бы его вторично осломъ.

III.

Это были странные сожители. Они ни въ чемъ не сходились и, повидимому, не имѣли ни малѣйшаго интереса жить вмѣстѣ. Но они надолго не разлучались, по-своему привязанные другъ къ другу какими-то невидимыми связями.

Когда у Лобановича спрашивали, за что онъ такъ привязанъ къ Червинскому, то онъ серьезно отвѣчалъ:

— У него всегда сапоги такіе чистые!

Въ самомъ дѣлѣ, у Червинскаго сапоги всегда были чисто вычищены; и воротнички, и прическа, и хорошее платье,— все у него было чисто и прилично. Въ его комнатѣ, на его столѣ, на кровати всегда былъ величайшій порядокъ. Онъ терпѣть не могъ малѣйшаго сора вокругъ себя.

Такой же порядокъ у него былъ и во всѣхъ дѣлахъ. Правда, онъ также не имѣлъ опредѣленнаго положенія, опредѣленнаго рода службы; ему, какъ и безчисленному множеству интеллигентныхъ бродяжекъ, приходилось жить отхожими промыслами. Но онъ никогда не оставался безъ работы: если одно занятіе изсякало, онъ на другой день находилъ новое; если изъ подъ его ногъ ускользало одно мѣсто, онъ становился на другое,—становился не очень прочно, но съ поразительною быстротой.

Происходило это оттого, что онъ въ совершенствѣ изучилъ, къ кому и съ какого боку надо подходить: къ одному слѣдуетъ явиться до обѣда, къ другому послѣ обѣда; въ одинъ домъ слѣдуетъ пробраться по переднему ходу, а въ другой—черезъ заднее крыльцо, черезъ кухню; одного надо заставить у себя въ кабинетѣ, другого—гдѣ-нибудь на улицѣ, врасплохъ.

Съ теченіемъ времени, вслѣдствіе такого обширнаго знакомства съ разными практическими вопросами, въ душѣ Ива-

на Ивановича накопилось много сору (и оттого онъ не любилъ сора въ своей комнатѣ), но это давало ему великое преимущество въ борьбѣ за кусокъ. Онъ вездѣ держалъ себя независимо и велъ свою личную жизнь чисто, аккуратно. Онъ зналъ себѣ цѣну и никому не позволялъ пренебрегать собой. На людей, распоряжающихся всякими мѣстами, онъ смотрѣлъ очень просто, — какъ на мѣшки, съ которыми глупо церемониться.

Несмотря на то, что разный практическій хламъ сильно засорилъ его голову, онъ составилъ себѣ своеобразную теорію и неизмѣнно былъ ей вѣренъ.

— Нынѣшній вѣкъ, — говорилъ онъ, — вѣкъ денежнаго мѣшка, передъ которымъ все—въ томъ числѣ умъ, знанія, талантъ—попадало ницъ. Но этого не должно быть. Интеллигенція, въ концѣ-концовъ, освободится изъ-подъ тяжести денежнаго мѣшка. А пока она должна уважать себя и не унывать въ борьбѣ съ грузною, но бездушною силой.

И онъ уважалъ себя.

Когда онъ шелъ просить мѣсто, то собственно не просилъ, а требовалъ, давая понять, что онъ нисколько не сомнѣвается въ своемъ правѣ на это мѣсто. Это производило впечатлѣніе. Вся его порядочная, чистая фигура всѣмъ своимъ аккуратнымъ видомъ говорила, что это—человѣкъ, котораго слѣдуетъ уважать и которому неловко отказать въ чемъ бы то ни было.

Находилъ мѣста Иванъ Ивановичъ не только для себя, но и для многихъ изъ той безчисленной бродячей братіи, не знающей, куда помѣстить свои знанія, а часто и несомнѣнные таланты. Вся эта бродячая братія имѣла, какъ водится, развинченные нервы и носила въ себѣ разнообразныя душевныя болѣзни, начиная съ легкой меланхоліи и кончая полнымъ *taedium vitae*, такъ что Иванъ Ивановичъ среди этой неорганизованной, больной массы былъ просто кладомъ. Иногда самъ онъ не имѣлъ возможности найти мѣсто, но за то всегда могъ точнымъ образомъ указать ту щель, черезъ которую слѣдуетъ пролѣзть, чтобы получить мѣсто.

— Сходите къ Червинскому, онъ найдетъ!—говорили человѣку, ищущему хлѣба,—говорили съ такою увѣренностью, какъ будто мѣсто уже нашлось.

Несмотря на множество житейской дряни, накопившейся

на его душѣ, Иванъ Ивановичъ имѣлъ неизгладимую потребность въ живомъ дѣлѣ, а такъ какъ всѣ эти работишки изъ-за хлѣба, всѣ эти мѣста ради денегъ не давали никакого удовлетворенія разнымъ непризнаннымъ потребностямъ, свойственнымъ, однако, всякому человѣку, то онъ незамѣтно для себя повелъ жизнь бродяги. Когда онъ замѣчалъ, что работишка начинаетъ засасывать его, онъ ее просто бросалъ и переходилъ на новую работишку.

— Скучно. И, притомъ, дурѣешь, оттого и бросилъ,— объяснялъ онъ свою непосѣдливость.

Тѣмъ не менѣе, вѣчная возня съ разными житейскими соображеніями сыграла съ нимъ плохую шутку: онъ отъ многого отсталъ, и человѣческія грезы не рождались уже въ немъ такъ свободно, какъ, на примѣръ, въ его сожителѣ.

И это была, вѣроятно, одна изъ невидимыхъ причинъ, почему онъ такъ привязанъ былъ къ Лобановичу. Онъ любилъ въ послѣднемъ тотъ рай, изъ котораго за грѣхи самъ былъ изгнанъ,—рай свободной мысли и мечты, необузданныхъ идеаловъ и фантастическихъ плановъ.

Рѣдкій день проходилъ безъ споровъ; повидимому, они не могли взглянуть другъ на друга, чтобы не поднять тотчасъ же брани; искренній разговоръ между ними былъ просто немыслимъ, ибо о каждой мелочи они имѣли противоположные взгляды. Этотъ обмѣнъ мыслей вдобавокъ велся такимъ образомъ, что всѣ проходящія мимо ихъ оконъ поднимали голову вверхъ, въ полной увѣренности, что тамъ происходитъ драка; по всей улицѣ раздавался трескъ мебели и отчаянные вопли, часто прерывающіеся внезапнымъ молчаніемъ, которое не трудно было объяснить тѣмъ, что одинъ изъ буяновъ взялъ другого за горло и душилъ его. Ни одна квартирная хозяйка не могла выносить этого ежедневнаго скандала болѣе трехъ мѣсяцевъ,—только на одной квартирѣ имъ удалось удержаться полгода, да и то потому, что хозяйка была глуха на оба уха, но когда изъ сосѣдней квартиры постоянно жаловались на безпокойство и требовали удаленія буяновъ, то и глухая женщина должна была прогнать ихъ. Однимъ словомъ, пріатели вѣчно враждовали, хотя сами другъ безъ друга считали жить неудобнымъ.

Лобановичъ былъ въ десять разъ начитаннѣе Ивана

Ивановича. Второе его преимущество передъ послѣднимъ заключалось въ томъ, что онъ умѣлъ обо всемъ говорить вообще. Самую ничтожную вещь онъ сейчасъ же связывалъ съ нѣкоторымъ общимъ крупнымъ явленіемъ и находилъ то центральное мѣсто, къ которому тяготеютъ всѣ ничтожныя вещи даннаго рода. Поэтому всякій ихъ разговоръ для Ивана Ивановича былъ неожиданностью.

Иванъ Ивановичъ часто только хлопалъ глазами, не будучи въ состояніи въ порядкѣ размѣстить всѣ сопоставленія противника. Въ то время, какъ онъ безпомощно барахтался около какой-нибудь мыслишки, Лобановичъ бросалъ уже ему двадцать другихъ, одну другой неожиданнѣе. Лобановичъ на глазахъ у него путя переносился съ одного мѣста на другое, поднимался вверхъ и ходилъ по облакамъ, играя вѣтрами, взбирался на солнце, нисколько не ослѣпляемый его лучами, и понятно, что Иванъ Ивановичъ, вѣчно топтавшійся на полу, среди своихъ сорныхъ мыслей, съ изумленіемъ слѣдилъ за этими сумасшедшими скачками. Иногда онъ чувствовалъ негодованіе на необузданную фантазію пріятеля, но чаще всего — изумленіе.

Была, однако, одна область, гдѣ Лобановичъ, въ свою очередь, чувствовалъ себя скверно. Это именно практическая жизнь, а въ особенности его собственная. Здѣсь уже Иванъ Ивановичъ выступалъ грознымъ обвинителемъ и хозяиномъ, а Лобановичъ принималъ позу трусливаго подсудимаго.

— Такихъ безпомощныхъ людей, такихъ глупыхъ еще мало бьютъ! — говорилъ Иванъ Ивановичъ, когда попадалъ на эту тему. — Ужъ не говорю про общественный тактъ, — за собой-то вы не можете присмотрѣть хорошенько! Настоящая, невыдуманная жизнь для васъ тьма, какъ ночь, въ ней вы не умѣете шагу сдѣлать безъ глупостей!... Вы отлично, — это надо признать за вами, — отлично разработали теорію о томъ, какъ надо умирать, но не знаете азбуки жизни! Герои въ смерти, вы составляете позорище въ жизни! Вы думаете, что достаточно разбить дурацкую голову за идеалъ — и все пойдетъ отлично, но жить, вести искусную борьбу среди безчисленныхъ препятствій — это, по-вашему, пошло!... Ну, ты, напримѣръ... ну, куда ты денешься съ своими фантазіями, когда ты не умѣешь за собой-то присмотрѣть, и все норовишь куда бы сунуться въ огонь?...

Вѣдь тебя каждая встрѣчная свинья можетъ сожрать безъ остатка!

Лобановичъ, слушая эти грозныя рѣчи, злился, отвѣчалъ бранью, но въ глубинѣ души чувствовалъ острую боль, потому что рѣчи пріятеля били въ больное мѣсто.

Въ подлинной жизни онъ чувствовалъ себя очень дурно. Лишь только ему приходилось заняться собой, своимъ благоустройствомъ, какъ полнѣйшая растерянность овладѣвала всѣмъ его существомъ. Въ особенности непонятны были для него всякіе пустяки, связанные неизбѣжнымъ образомъ съ поисками мѣстъ, работы, хлѣба. Личная жизнь его была сплошная неудача. И по временамъ на него нападало отчаяніе при мысли, что онъ никуда не годится.

Каждая его попытка прочно гдѣ-нибудь основаться оканчивалась обыкновенно неожиданнымъ происшествіемъ, и ужитья на одномъ мѣстѣ онъ не былъ въ силахъ. Съ одного мѣста онъ уходилъ, съ другого его прогоняли, какъ вреднаго человѣка, который способенъ произвести какой-нибудь скандалъ.

Въ концѣ-концовъ, вѣчные поиски мѣстъ сдѣлались для него источникомъ страданій. Легче ему удавалось жить какими-нибудь частными работами,—какъ у человѣка способнаго, у него всякая работа кипѣла въ рукахъ. Къ сожалѣнію, такихъ частныхъ работъ не много, а потому годъ его раздѣлялся такимъ образомъ: въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ онъ имѣлъ занятія, остальные десять мѣсяцевъ онъ гулялъ по всей своей волѣ. Да и тѣ два мѣсяца не проходили для него даромъ, только благодаря заботамъ Ивана Ивановича.

— Почему вы всегда хлопчете о Лобановичѣ?—спрашивали Ивана Ивановича, не понимая вообще этой странной дружбы.

— Потому что онъ ротозѣй,—отвѣчалъ Червинскій.

— Неужели безъ васъ онъ не можетъ устроиться?

— Вы не можете представить, какой это оселъ! Онъ непремѣнно попадаетъ въ такое положеніе, изъ котораго нѣтъ выхода,—пояснялъ свою мысль Иванъ Ивановичъ, а иногда съ раздраженіемъ прибавлялъ:—Упрямое животное! Ему непремѣнно подавай общественной жизни!

Со стороны Ивана Ивановича это было плохое объясне-

ніе его привязанности къ „упрямому животному“, даже вовсе не объясненіе, а только желаніе не показаться сентиментальнымъ въ его отношеніяхъ къ Лобановичу. Но въ ругательскихъ словахъ его одно было справедливо.

Лобановичъ дѣйствительно чувствовалъ себя легко только въ тѣхъ случаяхъ, когда не думалъ о себѣ, о своей жизни, о своихъ дѣлишкахъ. Въ общественныхъ идеяхъ и дѣлахъ (а у него были и мысли, и дѣла) все такъ просто, понятно; здѣсь не нужно влиять, врать, кривить душой; здѣсь не только не нужно хитрить и не договаривать и не поддѣлывать, но, напротивъ, требуются прямота, открытое лицо, свободная рѣчь, отсутствіе колебаній. Лобановичъ испыталъ все это самъ и зналъ, какъ ему легко жилось всякій разъ, когда онъ дѣлалъ не свое личное дѣло.

Но совсѣмъ иное состояніе онъ переживалъ, когда долженъ былъ искать хлѣба для себя, искать мѣста и добиваться собственнаго благоустройства. Тутъ онъ ходилъ, какъ слѣпой, сознавалъ себя потеряннмъ и глупымъ и положительно ничего не могъ сообразить. Изволь сообразить, въ какую подворотню надо шмыгнуть, чтобы попасть на надлежащее мѣсто; изволь обдумать, что сказать и чего не говорить людямъ, которые это мѣсто держали въ рукахъ. А когда положеніе отыщется, надо умѣть держать его. А для этого по большей части надо скрыть всѣ свои мысли, за исключеніемъ поганныхъ или завалящихъ, погасить огонь въ душѣ, оставивъ лишь нѣсколько головешекъ, которыя бы понемногу курились, дѣлать лишь то только, что велятъ, и поднимать голову лишь настолько, насколько поднимаетъ ее свинья, когда отыскиваетъ себѣ кормъ. Сколько нужно для этого хитрости, тонкихъ соображеній, находчивости! Но это только для начала. А дальше, чтобы удержать положеніе, утвердиться на немъ, требуется великое множество ничтожныхъ подлостей (изъ которыхъ впоследствии слагается великое свинство), а ихъ обыкновенно у ротозѣя не имѣется.

Лобановичъ, въ довершеніе всей нелѣпости, крайне обижался, когда ему говорили, что ничего этого нѣтъ у него. Онъ съ азартомъ возражалъ, что до сихъ поръ онъ серьезно не думалъ объ этомъ, а разъ ему придетъ охота устроить себя, то въ практической жизни онъ заткнетъ за поясъ са-

мага ловкаго интригана. Не боги же горшки обжигаютъ. Но Червинскій основательно опровергалъ его фактами, бывшими налицо, и доказывалъ всю нелѣпость его самомнѣнія.

И это было для Лобановича невыносимое оскорбленіе.

IV.

Обыкновенно послѣ каждой своей житейской неудачи Лобановичъ на нѣсколько дней пропадалъ, скрываясь отъ своихъ близкихъ людей, отъ Червинскаго, отъ Кати Даниленко, словно его съ цѣпи спустили. Онъ непрерывно тогда находился въ движеніи. Сначала послѣ освобожденія отъ мѣста онъ обходилъ всѣхъ своихъ знакомыхъ, всюду поднимая интересующіе его вопросы; затѣмъ, не ограничиваясь своимъ городомъ N, онъ съ страшною торопливостью бросался въ отдаленныя путешествія по другимъ мѣстамъ, гдѣ у него находилось знакомство, проявляя и тамъ лихорадочную дѣятельность. При этомъ онъ не отказывался ни отъ какого порученія, какъ бы ни было оно непріятно и тяжело, ни отъ какого дѣла, какъ бы ни было оно грубо.

Этою слабостью нерѣдко пользовались не особенно совѣстливые люди, заставляя его работать на нихъ ради ихъ личнаго дѣла. Однажды въ продолженіе двухъ недѣль его заставили быть сидѣлкой у одной барыни, болѣвшей пустою, но продолжительною болѣзнью; въ другой разъ онъ долженъ былъ переписать огромную рукопись, весьма глупую, но принадлежащую человѣку, считающему себя великимъ.

Въ эту лихорадочную дѣятельность онъ вкладывалъ часто много времени и труда, о которыхъ не жалѣлъ, лишь бы только не думать о себѣ и не хлопотать за свое личное устройство. И былъ доволенъ всякій разъ, когда ему удавалось на время уклониться отъ придумыванія поганныхъ житейскихъ мелочей.

Только иногда онъ вскользь спрашивалъ, какъ бы исполняя какую-то барщину:

— Нѣтъ-ли тутъ, ребята, у васъ какой-нибудь работишки мнѣ?

Работишки, конечно, не оказывалось.

И этотъ отвѣтъ его совершенно удовлетворялъ.

Чѣмъ онъ въ такое время жилъ—трудно сказать. Потребности его были ничтожныя, — требовалось только разъ въ день поѣсть. А это не трудно было исполнить.

— Пожрать чего есть у васъ, братцы?—спрашивалъ онъ, торопливо вбѣгая къ кому-нибудь изъ знакомыхъ.

Какая ни на есть дрянь всегда отыскивалась у бѣдняковъ; онъ закусывалъ и вполне удовлетворялся.

По прошествіи нѣкотораго времени онъ, наконецъ, возвращался домой, къ Ивану Ивановичу, худымъ, обносившимся и усталымъ. И только послѣ всего этого шелъ къ Катѣ Даниленко, которую считалъ верховнымъ судьей всѣхъ своихъ грѣховъ. Всѣ они трое были неразрывными товарищами, и если Лобановичъ и Червинскій не могли ни въ чемъ согласиться, то дѣвушка являлась среди нихъ примиряющимъ элементомъ и новымъ связующимъ звеномъ. Они оба одинаково ее уважали, также какъ и она ихъ обоихъ. Быть можетъ, одного изъ нихъ она выдѣляла въ особенный уголокъ сердца, но имъ до сихъ поръ не представлялось случая подумать объ этомъ.

Такъ было и сейчасъ. Послѣ бурнаго разговора съ Червинскимъ Лобановичъ на нѣсколько дней пропасть. Иванъ Ивановичъ нигдѣ не могъ его разыскать. Катя также бесполезно справлялась о немъ у знакомыхъ. Но вдругъ однажды поздно вечеромъ онъ тихо вошелъ въ маленькую квартиру, занимаемую Даниленками, и смущенно остановился въ передней. Изъ комнаты послышался знакомый голосъ: „Кто тамъ?“

— Это я, Катерина Дмитріевна,—отозвался Лобановичъ въ величайшемъ смущеніи.

Изъ комнаты послышалось восклицаніе, потомъ смѣхъ, а черезъ мгновеніе дѣвушка уже пожимала его руку.

— Мама спать легла... Пойдемте лучше гулять,—предложила она, и черезъ минуту они отправились въ садикъ, находившійся позади дома.

— Ну, гдѣ вы пропадали?—съ оживленнымъ лицомъ проговорила дѣвушка.

— Да здѣсь же болтался! Только совѣстно было показаться вамъ,—грустно сказалъ Лобановичъ.

— Чего совѣстно? Что васъ опять спустили-то? Но вѣдь это обыкновенное дѣло!... Впрочемъ, я рада, что вы, нахо-

нецъ, стали стыдиться бродяжной жизни... Такой большой человекъ, а ведетъ себя, какъ мальчишка...

Говоря это, дѣвушка смѣялась. Но вдругъ она пристально взглянула въ лицо Лобановича и оборвала свои шутки на полусловѣ. Его лицо было грустное и, въ то же время, на немъ вырѣзалась какая-то рѣзкая черта не то отчаянія, не то озлобленія. Этого никогда не было. Раньше надъ каждою своею неудачей онъ самъ первый смѣялся и острилъ, и смѣхъ тотъ былъ беззаботный, а шутки юношескія. Но теперь что-то тяжелое легло на его лицо.

— Ну, да... Я знаю, я для васъ смѣшонъ! — сказалъ вдругъ Лобановичъ рѣзко.

— Вы, кажется, разучились понимать шутки? — поспѣшно возразила Катя.

— Да нѣтъ же, вовсе не шутки это! Я дѣйствительно смѣшонъ и глупъ...

— Я пошутила, Вася!... Но зачѣмъ вы такой злой?

— Да нѣтъ же, нѣтъ! Шутка эта была прямо въ голову! Вѣрно: такой большой человекъ, а жизнь мальчишки!

Лобановичъ, говоря это, всталъ со скамейки, быстро прошелся по дорожкѣ, но сейчасъ же воротился назадъ и порывисто сѣлъ на старое мѣсто. Дѣвушка не знала, что подумать о состояніи своего товарища.

— Я, наконецъ, ничего не понимаю! — воскликнула она испуганно.

— Объясню сейчасъ все.

Лобановичъ сдѣлался угрюмымъ и сильно волновался. Сбросивъ съ головы шляпу на лавку, онъ устремилъ возбужденный взглядъ на дѣвушку и принялся рассказывать, но такимъ мучительнымъ тономъ, что слушательница его болѣзненно недоумѣвала.

— Человекъ, дожившій до моихъ лѣтъ и не добившійся опредѣленнаго положенія въ жизни, волей-неволей во всѣхъ вызываетъ подозрѣніе. Василій Лобановичъ... Что онъ дѣлаетъ? Какъ онъ живетъ? Почему безпутно шляется въ пустомъ пространствѣ? За что отовсюду его гонять, какъ уличную собаку? Это все вопросы, которые какъ разъ пристали ко мнѣ. У меня нѣтъ ни угла, ни пристанища, ни почвы подъ ногами, ни опредѣленнаго положенія среди людей. И вы всѣ правы, когда называете меня шатающимся интеллигентомъ,

интеллигентнымъ бродягой или тамъ еще... тысячу разъ правы! Но вотъ вы гдѣ неправы! Вы думаете, что бродяга я по своей волѣ, ради забавы, и потому еще, что я не умѣю распорядиться собою... Это неправда! Я много раздумывалъ о себѣ, желаю распорядиться собою какъ можно лучше, но не моя вина, если изъ этого выходитъ чортъ знаетъ что! Дѣло вотъ въ чемъ. Наше поколѣніе, въ томъ числѣ и я, имѣетъ за душою кое-какія мыслишки, называйте ихъ идеалами, если вамъ нравятся громкія слова, и вотъ въ этихъ-то мыслишкахъ и заключается вся бѣда. Это не то что какъ прежде. Бывало, человѣкъ набьетъ себѣ голову, какъ чемоданъ, книгами и гуляетъ въ такомъ забавномъ видѣ, а когда ему нужно было отправиться въ жизненное путешествіе, онъ опрастывалъ чемоданъ отъ бесполезной тяжести, набивалъ его тѣмъ, что требовалось для дороги, и больше ничего! Операция эта—выбрасываніе идеаловъ изъ чемодана—тогда совершалась легко. Но намъ-то это уже невозможно. Наши мыслишки обратились у насъ въ совѣсть, то-есть мы ихъ не можемъ ни выбросить, ни забыть, а должны всюду таскать за собой. Вотъ въ чемъ дѣло, а вовсе не въ бродяжествѣ!... Но позвольте теперь дальше рассказать... Мыслишки, идеалы, обратившіеся въ совѣсть, надо же куда-нибудь помѣстить. Куда же, спрашивается? Этотъ вопросъ разно рѣшался и рѣшается. Одни помѣщали свою совѣсть въ разныя отчаянныя предпріятія. Но имъ удалось только, какъ вонъ выражается Червинскій, работать теорію смерти. Они научились и научили, какъ надо умирать. Ясно, что это не рѣшеніе... Другіе совсѣмъ никуда не помѣстили совѣсть и были замучены ею; такіе именно и представляютъ образцы того изстрадавшагося интеллигента, котораго теперь на всѣхъ перекресткахъ представляютъ на позорище. Третьи,—и я къ нимъ принадлежу отчасти,—думали какъ-нибудь помирить свои мыслишки съ положеніемъ. Они вѣрили,—и я въ этомъ также убѣжденъ,—что въ каждое мѣсто, самое загаженное, но дающее кусокъ, можно внести порядочность, чистоту, воздухъ и свѣтъ. Здѣсь было много преувеличеній и еще больше неразумія. Нельзя въ самомъ дѣлѣ окончательно помирить мыслишки съ кускомъ, душу и брюхо, идеалы и поганая дѣла... въ большинствѣ случаевъ, немыслимо. Но я вѣрю, что есть мѣста, гдѣ можно

дѣлать многое. Но здѣсь вотъ вы опять правы. Есть такія мѣста, но я-то не гошусь для такого дѣла. Вѣроятно, есть же какой-нибудь органическій порокъ у меня! Должно быть, я въ самомъ дѣлѣ не гошусь, какъ увѣряетъ Иванъ Ивановичъ, для такого сложнаго, запутаннаго, но великаго дѣла!... Но хотъ вы-то не бейте меня.

Лобановичъ всталъ съ мѣста, прошелся по дорожкѣ, воротился назадъ и порывисто нахлобучилъ шляпу на глаза. По всѣмъ видимостямъ, это означало, что говорить онъ не имѣетъ больше ни малѣйшаго желанія. Дѣйствительно, онъ опустилъ голову на руки и замолчалъ.

Катя не знала, что ему сказать. Его подавленный видъ отбивалъ у ней всякую охоту говорить плоскія утѣшенія. Но какъ ей хотѣлось сказать ему, что она и не думаетъ издѣваться надъ его неудачами!

Ей теперь до боли было стыдно за то, что она въ самомъ дѣлѣ объяснила его бродяжество безпечностью, легкомысліемъ. Сама она принадлежала къ необезпеченнымъ людямъ, но она не въ состояніи была представить, какъ это такъ можно безалаберно жить, какъ живетъ Лобановичъ. Она сама перебивалась уроками, находила и другія работы и жила недурно, содержала, въ то же время, мать-старушку и брата-гимназиста. Лобановичъ же всегда казался ей взбалмошнымъ, хотя все, что онъ творилъ, ей нравилось. И вотъ теперь ей вдругъ стало больно оттого, что она такъ думала.

Лобановичъ, между тѣмъ, продолжалъ молча сидѣть. Повидимому, онъ ждалъ, что она, какъ бывало прежде, скажетъ ему что-нибудь ободряющее, посмѣется надъ нимъ съ любовью товарища и проводить веселымъ смѣхомъ домой. Но словъ сейчасъ у ней не находилось.

Тогда онъ всталъ порывисто съ мѣста и заторопился.

Они вмѣстѣ вышли къ калиткѣ сада.

Былъ уже поздній часъ ночи. Улицы опустѣли.

Переступивъ порогъ калитки, Лобановичъ еще разъ протянулъ руку на прощанье. Катя взяла ее и удержала; потомъ тихо потянула ее къ себѣ. Одно мгновеніе онъ ничего не понималъ, но вдругъ лицо его вспыхнуло и онъ бросился обнимать дѣвушку.

Когда черезъ нѣкоторое время онъ возвращался домой, ему казалось, что отъ избытка силъ онъ сойдетъ съ ума.

Голова его горѣла и тысячи мыслей тѣснились въ ней безпрерывнымъ потокомъ.

Но одна мысль скоро выдѣлилась изъ всѣхъ, разогнала всѣ остальные и встала передъ его воспламененнымъ сознаниемъ, какъ огромная тѣнь. „Надо добиться успѣха, потому что только успѣхъ даетъ силы“, — думалъ онъ, взволнованный. Его любятъ — и онъ долженъ помнить объ этомъ. Личное счастье — центръ, изъ котораго ведутъ дороги въ разные стороны, и если человѣкъ не попадетъ на этотъ центръ, онъ обреченъ всю жизнь блуждать по невѣдомымъ путямъ... Успѣхъ, успѣхъ!...

— Прежде всего, личный успѣхъ, а все остальное потомъ! — громко сказалъ онъ, и камни пустынной улицы повторяли его голосъ въ ночной тишинѣ.

Что-то страстное и, въ то же время, хищное овладѣло его существомъ. Онъ чувствовалъ, какъ откуда-то изъ глубины поднимается въ немъ безконечно-огромная энергiя, хищная энергiя бороться за себя, за свое существованiе, за любовь, за свою свободу.

V.

— Мѣсто тебѣ нашлось! — проговорилъ Иванъ Ивановичъ съ просоньей, едва продравъ глаза и думая такимъ образомъ разбудить Лобановича.

Къ его удивленiю, послѣднiй былъ уже одѣтъ и приводилъ въ порядокъ свою комнату, чего никогда не бывало.

— Вотъ это отлично! А я было ужъ самъ хотѣлъ пуститься на поиски во всѣ концы. Отлично! Теперь, значить, не надо. Спасибо, Ваня! Ну, рассказывай, какое мѣсто.

Лобановичъ все это говорилъ радостно и твердо, какъ будто для него самое обыкновенное дѣло — думать о мѣстахъ.

Иванъ Ивановичъ съ своей постели смотрѣлъ на него во всѣ глаза.

— Ты хотѣлъ отправиться на поиски? — спросилъ онъ недоумчиво.

— Разумѣется. Что же тутъ необыкновеннаго? Надо же мнѣ когда-нибудь устроиться... И, притомъ, разъ навсегда. Надоѣла бродяжная жизнь. Надо кончить съ этимъ шатаваньемъ въ проголодь...

— Да ты это не остришь? — спросилъ съ изумленіемъ Иванъ Ивановичъ, въ первый разъ выслушивая такія вещи отъ „взбалмошнаго Васьки“.

Послѣдній пожалъ плечами въ знакъ пренебреженія.

— Мнѣ вовсе не до остротъ. Расскажи, какое мѣсто? — возразилъ онъ серьезно.

— Погоди, умоюсь, — отвѣтилъ Иванъ Ивановичъ, слѣзъ съ постели и принялся приводить себя въ порядокъ.

Онъ потянулся съ наслажденіемъ, одѣлся, умылся и задумчиво сталъ расчесывать себѣ бороду и волосы. Потомъ началъ чиститься. Эти обязанности онъ исполнялъ методично и обдуманно и всегда молчалъ во время ихъ выполненія. Иначе нельзя. Если какой-нибудь человѣкъ вздумаетъ говорить во время умыванья или расчесыванья бороды, то и умнаго ничего не скажетъ, да и борода останется лохматой. Нельзя гоняться за двумя зайцами. Кто хочетъ обладать внѣшностью, тотъ долженъ посвящать заботамъ о ней известное время.

Лобановичъ съ нескрываемымъ раздраженіемъ слѣдилъ за всѣми движеніями товарища, но, наконецъ, не выдержалъ.

— Да кончишь-ли ты когда-нибудь? Какое мѣсто? — вскричалъ онъ.

— Сейчасъ. За чаемъ я все тебѣ доложу по порядку, — отвѣчалъ Червинскій откуда-то изъ глубины сѣней, гдѣ въ эту минуту чистилъ сюртукъ, причемъ тамъ слышалось мѣрное шарканье щетки и энергичные плевки.

Наконецъ, за чаемъ онъ рассказалъ подробно о своихъ переговорахъ съ однимъ инженеромъ.

Работа на вновь строящейся желѣзной дорогѣ. Одному подрячку нуженъ толковый распорядитель работъ. Обязанности заключаются въ слѣдующемъ: вычислять количество произведенныхъ работъ, слѣдить, въ то же время, за ихъ качествомъ; вычислять заработную плату, наблюдать за рабочими. Непосредственное начальство — хозяинъ-подрячникъ. Подчиненные — нѣсколько артелей рабочихъ. Цѣлый день на воздухѣ, въ ходьбѣ и въ ѣздѣ. Жалованье сообразно съ тѣмъ, какая часть линіи и сколько артелей будетъ находиться въ распоряженіи.

— Какъ видишь, мѣсто не важное. Вдобавокъ, придется отчасти быть палкой по отношенію къ рабочимъ... Это ты

Лобановичъ внимательно выслушалъ всѣ условія, и Иванъ Ивановичъ кончилъ, онъ задалъ нѣсколько вопросовъ удивившихъ Ивана Ивановича ихъ практичностью и вымъ смысломъ. Потомъ рѣшительно сказалъ:

— Я ѣду.

— Не брезгуешь? Помни, ты отчасти будешь палецъ въ рукахъ подрядчика,—еще разъ повторилъ Червинскій, лаясь быстрой рѣшимости занять такое мѣсто.

— Палка о двухъ концахъ, Ваня. Фактически ею пользуется не тотъ, кто первый ее взялъ, а тотъ, кто ее вырвать ее... Но это въ сторону. Еще одинъ вопросъ: кто будетъ инженеромъ на моей дистанціи?—спросилъ Лобановичъ.

— Фамиліи не помню. Но мой знакомый говоритъ, что человѣкъ порядочный.

— Отлично. Я съ нимъ сойдуся, а черезъ него пораюсь занять дѣйствительно прочное мѣсто, когда будетъ кончена. Такимъ образомъ, роль палки—лишь временная непріятность, и ты не безпокойся, я съумѣю изъ двусмысленныхъ положеній. Надо, наконецъ, прочно встать на ноги. Когда ѣхать?

Слушая все это, Иванъ Ивановичъ не могъ скрыть изумленія. Лобановичъ имѣлъ твердый, рѣшительный и то благоразумный видъ. Раньше онъ то и дѣло порывался въ сторону Ивана Ивановича, развертывая все новыя стороны натуры, но *этою* и подозрѣвать нельзя было за нимъ твердостью онъ обладалъ, въ особенности когда дѣло о какомъ-нибудь нелѣпомъ предпріятіи, но благоразуміи никогда!

— Ёхать-то когда, говоришь?—разсѣянно переспросилъ Иванъ Ивановичъ, ломая голову надъ радикальною поспѣшностью въ товарищѣ.—Да хоть завтра!

— Завтра мнѣ не удастся... надо кое-что сдѣлать. послѣ-завтра я готовъ,—отвѣтилъ Лобановичъ.

— Это окончательное рѣшеніе?

— Окончательное.

— Такъ и передамъ.

И Червинскій сдѣлалъ молчаливый жестъ, въ которомъ

ражалось одобрение. „Должно быть, Васька-то мой точно об-
разумился... Видно, надоѣло шляться... Но что бы это зна-
чило? Откуда?“

Думая такимъ образомъ, Иванъ Ивановичъ методично при-
лизывалъ изъ стакана чай, методично закусывалъ булкой
и считалъ въ одну кучку всѣ крошки, а, въ то же время,
развязалъ свой языкъ. Онъ принялся развивать обычные
свои мысли о „кусѣхъ хлѣба“, о „мѣстахъ“, но на этотъ разъ
подновленные экстраординарнымъ случаемъ. Мысли эти были
сорные, но онѣ всегда имѣли одно достоинство: вѣрное опре-
дѣленіе людей и положеній.

— Я очень радъ, что ты, наконецъ, пришелъ къ моимъ
выводамъ. Мы не можемъ быть очень разборчивыми въ мѣ-
стахъ, а должны брать то, что попадается. Выборъ у насъ
самый ограниченный. Я раздѣляю мѣста такимъ образомъ.
Есть мѣста, которыхъ мы не можемъ занять, есть другія, ко-
торыя мы не хотимъ, и есть третьи, которыя мы можемъ
и хотимъ, но на которыя насъ не пускаютъ.

Лобановичъ захохоталъ, но, впрочемъ, на этотъ разъ онъ
безропотно слушалъ Червинскаго, ничего не возражая. А ког-
да Ивана Ивановича не останавливали, онъ могъ безконечно
долго говорить; говорильная машина его была хорошаго
устройства.

— Ты погоди смѣяться. Мы дѣйствительно имѣемъ передъ
собою такой узкій выборъ. Такъ какъ мы не обладаемъ ка-
кою-либо специальностью, то мы, каждый изъ насъ, не мо-
жемъ быть докторомъ, адвокатомъ, инженеромъ, механикомъ,
офицеромъ, священникомъ и т. д. Съ другой стороны, надѣ-
ленные нѣкоторыми понятіями интеллигентнаго свойства, мы
не хотимъ мѣста сидѣльца въ трактирѣ, приказчика въ лавкѣ,
конторщика въ ссудной кассѣ, квартальнаго въ участкѣ, смо-
трителя въ тюрьмѣ и т. д., и т. д. И вотъ въ нашемъ рас-
поряженіи очень ограниченное пространство, но и туда насъ
не пускаютъ, ибо пространство это сплошь занято полугра-
мотнымъ, темнымъ человѣкомъ, Должны-ли мы пробраться
туда, столкнувъ съ дороги темнаго человѣка? Для меня это
несомнѣнно. Такъ или иначе, а въ каждое мѣсто мы вносимъ
извѣстнаго рода приличія, прекращаемъ воровство, а часто
и денной грабежъ, разсѣваемъ, хоть отчасти, мглу, очища-
емъ грязь... Стало быть, мы не только можемъ, но и должны

пробиться въ эти чужія мѣста, куда насъ не пускаютъ. И пробьемся, Вася, а?

— По крайней мѣрѣ, попробуемъ,—сказалъ Лобановичъ и опять засмѣялся.

Въ первый разъ еще товарищи такъ много бесѣдовали. Иванъ Ивановичъ продолжалъ развивать свои сорныя мысли долго еще, потому что Лобановичъ безропотно слушалъ его, а, быть можетъ, и вовсе не слушалъ, думая о другихъ вещахъ. Послѣ чая они даже и вышли на улицу вмѣстѣ, и дорогой не спорили.

Черезъ день Лобановичъ, какъ было условлено, отправился въ далекій край.

Его провожали Червинскій и Катя. При этомъ Червинскій замѣтилъ, что между его пріятелемъ и дѣвушкой установились какія-то новыя, теплыя отношенія. Передъ третьимъ свисткомъ парохода Лобановичъ и Катя внезапно куда-то скрылись, а когда возвратились на трапъ, то дѣвушка была очень взволнована, со слѣдами слезинокъ на глазахъ, но счастливая, а Лобановичъ смотрѣлъ озабоченно, но гордо.

„Они любятъ“, — инстинктивно понялъ Иванъ Ивановичъ и ему вдругъ сдѣлалось скучно.

На прощанье Лобановичъ шепнулъ ему на ухо, чтобы онъ хранилъ въ его отсутствіе дѣвушку, заботился о ней. Иванъ Ивановичъ торжественно обѣщалъ, но чувствовалъ, какъ ему дѣлается все скучнѣе.

Когда пароходъ отчалилъ, зашумѣлъ колесами и быстро сталъ удаляться, Иванъ Ивановичъ замахалъ шляпой, а на его добродушныхъ глазахъ навернулись слезы и вдругъ страшное чувство одиночества сжало его сердце, потому что уходящій пароходъ увозилъ не только того, къ кому онъ былъ привязанъ, но и ту, кого онъ любилъ.

Но въ его честномъ сердцѣ не было мѣста ревности; провожая домой дѣвушку послѣ того, какъ пароходъ ушелъ, онъ только чувствовалъ свое одиночество, скуку, безцѣльность своего существованія.

VI.

Недавно еще эта мѣстность представляла дикую глушь, гдѣ рѣдко раздавался человѣческій голосъ. Въ темныхъ лѣ-

сахъ здѣсь не слышно было скрипа телѣги, стука топора, рева домашнихъ животныхъ. Подъ зеленымъ шатромъ сосенъ и березъ стучалъ только дятель да куковала кукушка, да глухой хохотъ филина разносился по ночамъ.

Всю страну вдоль и поперекъ избороздили горные отроги. Это придавало всей мѣстности видъ еще болѣе дикой, недоступной красоты. По горамъ нигдѣ не пролегали дороги; покрытыя до верхнихъ гребней непроходимымъ лѣсомъ, горы были недоступны до сихъ поръ. А въ глубокихъ впадинахъ и долинахъ, гдѣ протекали рѣчки и стояли озера, не замѣтно было мостовъ. Все здѣсь заросло; журчанье ручьевъ, то тихое, то шумное, всякій могъ слышать, но ихъ самихъ не видно было, — они заросли травой и кустарникомъ такъ плотно, что вода, казалось, бѣжала гдѣ-то подъ землей.

Иногда стѣны кустовъ и лѣса раздвигались, рѣчка разливалась въ широкій естественный прудъ, но поверхность его также затянута была дикою, густою зеленью, вокругъ береговъ, далеко на середину, выдвигались жирные камыши, а остальная часть воды заросла водяною лиліей и другими водорослями.

Это былъ самый дикій уголъ прекрасной Башкиріи. Хозяиномъ здѣсь считался башкиръ, но онъ былъ плохой хозяинъ и забросилъ этотъ уголъ. Только изрѣдка, когда онъ продирался сквозь чащу лѣса верхомъ на исхудаломъ конѣ, раздавалась здѣсь его пѣсня; онъ пѣлъ въ ней обо всемъ, что попадалось ему на глаза, — пѣлъ о сучкѣ дерева, который хлестнулъ его по башкѣ, о голомъ черепѣ павшей лошади, мимо котораго ступалъ его конь, о муравьиной кучѣ, о сгнившемъ пѣѣ, о поваленномъ бурей деревѣ... Но это была не пѣсня, а вой волка.

Но вдругъ, какъ по мановенію волшебнаго жезла, здѣсь все измѣнилось. Появились отряды рабочихъ съ лопатами, ломami и пилами; въ спокойномъ дотолѣ воздухъ раздался стукъ топора, визгъ пилы, громъ динамитныхъ взрывовъ. И всюду, гдѣ проходили отряды, за ними оставался страшный слѣдъ разрытой земли, потоптанныхъ и выжженныхъ кустарниковъ, поваленныхъ деревьевъ, пробитыхъ холмовъ. А вслѣдъ за отрядами рабочихъ появился темный, запыленный, пылающій жаромъ паровозъ и огласилъ воздухъ торжествующимъ свисткомъ, который заставилъ умолкнуть

старыхъ обитателей мрачнаго угла. Пересталъ глухо хохотать филинъ, кукушка куковала гдѣ то вдали, стука дятла не слышно стало и не пѣлъ свою безконечную пѣсню башкирь; его наняли копать глину, дали ему въ руки лопату— и онъ замолчалъ.

Но еслибы кому вздумалось посмотрѣть этотъ уголокъ во всей его мрачной красотѣ, то стоило только отойти отъ полотна дороги на небольшое разстояніе. Тогда роли мѣнялись. Страна тогда являлась во всей своей торжествующей дикости, а новые пришельцы, напротивъ, казались погребенными подъ темнымъ лѣсомъ, посреди этихъ дикихъ овраговъ и глухихъ болотъ; стукъ топоровъ и ломовъ слышался здѣсь, какъ стукъ дятла въ древесную кору, а свистъ паровоза напоминалъ жалобный пискъ мыши. А голосовъ людей совсѣмъ не было слышно и вмѣсто нихъ опять раздавался плачь пиголицы, уханье болотной выпи да крикъ копчика, какъ будто здѣсь ничего не случилось.

Такое впечатлѣніе произвело дикое мѣсто на Лобановича, когда онъ въ свободные воскресные дни покидалъ свой баракъ и углублялся подъ темные своды окрестныхъ лѣсовъ; стоило ему отойти полверсты въ сторону, какъ шумная жизнь строящейся дороги совершенно умолкала, поглощаемая глухою молчаливостью природы.

Онъ бродилъ по этимъ лѣсамъ, переходилъ въ бродъ рѣчки и болота, взбирался на горы и чувствовалъ себя такъ хорошо, какъ никогда. О своей новой жизни онъ писалъ восторженные письма Катѣ и Червинскому.

Служба его также шла недурно. Подрядчикъ изъ экономіи держалъ только одного распорядителя, которымъ и былъ Лобановичъ; это вдвое увеличивало трудъ послѣдняго. Подъ его наблюденіемъ было нѣсколько партій рабочихъ, растянутыхъ на десять верстъ по линіи. Ему приходилось съ утра до ночи ѣздить верхомъ или на телегѣ, а то просто ходить пѣшкомъ; къ ночи отъ такого движенія онъ уставалъ въ лоскъ. Но это его не раздражало; для него никакая каторжная работа не могла показаться слишкомъ тяжелою, разъ онъ считалъ ее необходимою. Въ настоящемъ же случаѣ эту службу онъ считалъ необходимою...

Послѣ отъѣзда изъ N его рѣшимость побороться за свою личную судьбу только выросла. Поставивъ себѣ впереди одну

только эту цѣль—завоевать прочное положеніе, онъ вдругъ почувствовалъ приливъ необыкновенной силы въ себѣ. Раньше всѣ силы, не направляемыя къ одному фокусу, безслѣдно пропадали, что дѣлало его въ глазахъ всѣхъ вѣтреннымъ и въ своихъ глазахъ слабымъ; теперь, когда вся его энергія направилась къ одной точкѣ, онъ заранѣе чувствовалъ побѣду.

Цѣль его, дѣйствительно, быстро приближалась.

Со всѣми у него установились опредѣленные отношенія—съ подрядчикомъ, съ инженеромъ, съ рабочими.

Подрядчикъ не могъ нахвалиться имъ. Притомъ, съ первыхъ же дней онъ почувствовалъ какую-то робость къ нему, какъ къ человѣку, который все понимаетъ. Это было инстинктивное чувство уваженія къ чему-то высшему.

Онъ его называлъ „господинъ Лобановичъ“, относился къ нему съ предупредительною вѣжливостью. Онъ не только не претиривалъ его, какъ подчиненнаго, но, напротивъ, постоянно считалъ нужнымъ въ чемъ-то оправдываться.

Неоднократно жалуясь на свою горькую судьбу, онъ горячо оправдывался противъ смутныхъ обвиненій невѣдомыхъ обвинителей. Это происходило ночью, когда они заходили въ баракъ спать.

— Вотъ въ газетахъ, господинъ Лобановичъ, нашего брата по головѣ бьютъ... Вонъ въ „листеѣ“ какъ меня обчистили!... Подрядчикъ, молъ, кровопійца! Эксп... ну, тамъ какъ пишутъ... однимъ словомъ, разбойникъ! Какъ вы полагаете, справедливо это?

— А мнѣ какое дѣло? — возражалъ Лобановичъ уклончиво.

— Нѣтъ, вы позвольте! Вы—человѣкъ ученый... Разсудите, какая тутъ справедливость? У меня одинъ сынъ въ студентахъ учится, другой въ гимназій, а дома еще восемь душъ малъ-мала меньше! Извольте прокормить такую прорву! Да я, да жена, да расходы разные!... Какъ вы разсчитываете, мало мнѣ нужно страдать?... Я вѣдь и выбиваюсь изъ силъ!... Одинъ сынъ въ студентахъ, другой въ гимназій,—стало быть, я хочу дать имъ образованіе! Какое же право имѣетъ газета, то-есть, печатать, что я эксп... однимъ словомъ, разбойникъ?

Лобановичъ уклонялся подъ разными предлогами отъ от-

вѣта. Подрядчикъ для него былъ новинкой; въ немъ онъ видѣлъ страннаго субъекта, въ одно и то же время, жалкаго и забавнаго. До сихъ поръ съ именемъ „подрядчикъ“ у него связывалось страшное понятіе о чемъ-то живорѣзномъ, безсовѣстномъ и алчномъ, но его подрядчикъ не имѣлъ ни одной, кажется, черты такого опредѣленнаго эксплуататора.

Ходилъ онъ въ шляпѣ, сюртукѣ и „при цѣпочкѣ“. Незавѣстнаго происхожденія. Грамотный. По ночамъ, воткнувъ на гвоздь салыный огарокъ, читалъ какой-то романъ (онъ произносилъ „романъ“) *Кровавый смѣхъ*. Свободныхъ капиталовъ онъ не имѣлъ; по крайней мѣрѣ, когда по субботамъ ему приходилось разсчитываться съ рабочими, то весь онъ былъ мокрый отъ пота и волненія. На линіи онъ рѣдко бывалъ, все время шмыгалъ въ городъ, гдѣ заключалъ какія-то денежныя сдѣлки. Вообще онъ былъ субъектъ, болтавшійся между небомъ и землею.

„Вотъ еще какіе бываютъ!“ — съ удивленіемъ думалъ Лобановичъ, наблюдая странную разновидность людей, живущихъ такимъ нелегкимъ трудомъ.

Иногда, послѣ его длинныхъ жалобъ на трудность добыть двѣнадцать кусковъ, Лобановичъ выражалъ ему даже сочувствіе. Но въ общемъ онъ старался совсѣмъ не думать о немъ,— не его дѣло.

Съ инженерами отношенія установились еще лучше. Съ однимъ изъ нихъ Лобановичъ совсѣмъ подружился.

Чистенькій, нѣжный, съ изящными ручками, всегда одѣтый, даже здѣсь, въ лѣсу, съ иголки,—это былъ самый хорошенькій инженеръ во всемъ свѣтѣ. Лобановичъ, съ своею рослою фигурой, съ своими размашистыми, неаккуратными манерами, передъ нимъ казался лѣснымъ чудовищемъ. И все-таки между ними установились дружескія отношенія и нашлось кое-что общее.

Встрѣчаясь то и дѣло на линіи, они подолгу болтали обо всемъ на свѣтѣ. Помимо нѣкоторыхъ общихъ взглядовъ, они оба, къ обоюдному удовольствію, оказались страстными любителями музыки и часто до глубокой ночи, сидя гдѣ-нибудь на краю оврага, вспоминали чудесные отрывки оперъ, сонатъ, симфоній. Разумѣется, только вспоминали, потому что въ глухомъ лѣсу, за тысячу верстъ отъ всякой музыки, трудно ее исполнить. Они бы могли еще напѣвать, но и

это было затруднительно. Лобановичъ обладалъ чудовищнымъ голосомъ, въ которомъ несчастнымъ образомъ соединились ревъ осла и хрюканье (въ нижнемъ регистрѣ) свиньи; что касается инженера, то онъ имѣлъ маленькій, нѣжный баритонъ, но звукъ его терялся въ лѣсной чащѣ. Однимъ словомъ, имъ приходилось наслаждаться музыкой, разговаривая о ней, но и эти разговоры приводили ихъ въ восторженное настроеніе.

Нерѣдко они болтали о другихъ вещахъ. Разъ инженеръ, удивленный необычными знаніями своего собесѣдника, спросилъ его:

— Что это вамъ пришла охота взять такую скверную, грязную работу?

Лобановичъ передъ этимъ наивнымъ вопросомъ смутился.

— Пройти всю желѣзнодорожную школу, — совралъ онъ сначала.

Но вслѣдъ затѣмъ онъ рѣшился воспользоваться подходящею минутой и высказалъ желаніе занять мѣсто на дорогѣ. Инженеръ отнесся крайне сочувственно къ такому желанію, навелъ разныя справки и черезъ нѣсколько дней высказалъ положительную и значительную увѣренность, что дорога не отпуститъ такого полезнаго служащаго. А еще черезъ нѣсколько дней онъ уже съ радостью сообщилъ, что мѣсто ему обезпечено. Дѣло шло о выдающемся постѣ на линіи.

Послѣ этого случая дружба между ними еще болѣе укрѣпилась. Нѣжный, хорошенькій инженеръ питалъ величайшее уваженіе къ Лобановичу и проводилъ въ его обществѣ большую часть тоскливыхъ и мрачныхъ ночей. Лобановичъ, въ свою очередь, платилъ своему случайному пріятелю искренностью и откровенностью.

О своей службѣ, объ удачахъ и надеждахъ своихъ Лобановичъ сообщилъ Катѣ, которая въ отвѣтъ своему выражала неподдѣльную радость и обѣщалась скоро пріѣхать къ нему. Въ другомъ письмѣ, къ Ивану Ивановичу, Лобановичъ подробно объяснилъ свое теперешнее настроеніе:

„Я понялъ одну истину — не увлекаться чужими интересами, пока не исполнилъ своихъ. Здѣсь нерѣдко у насъ происходятъ возмутительныя вещи, но я научился смотрѣть на

нихъ хладнокровно. Я даже самъ удивляюсь, какой неистощимый запасъ равнодушія я открылъ въ себѣ; на все, что тутъ творится вокругъ меня, я плевать хочу, пока не добьюсь поставленной цѣли“.

Червинскій, зная отлично Лобановича, предостерегалъ его отъ крайняго увлеченія этимъ настроеніемъ.

„Нужно необходимо быть равнодушнымъ въ извѣстныхъ случаяхъ, но знай мѣру. Равнодушіе къ тому, что дѣлается вокругъ, сейчасъ для тебя полезно, но и здѣсь не увлекайся, не пересаливай, иначе въ тебѣ наступитъ реакція и ты надѣлаешь цѣлую кучу сумасшедшихъ дѣлъ“,—писалъ всегда благоразумный Иванъ Ивановичъ.

Дѣло шло въ этихъ письмахъ, главнымъ образомъ, объ отношеніяхъ къ рабочимъ,—Лобановичу они достались всего труднѣе.

Въ его вѣдѣніи находилось нѣсколько партій; тутъ были артели самарцевъ, пензенцевъ, вятчанъ („вячкихъ“, какъ они себя называли), наконецъ, куча башкиръ. Со всѣми надо умѣть говорить, разбирать всѣ претензіи. Интересы подрядчика, конечно, требовали, чтобы значилось побольше прогульныхъ дней, поменьше сдѣланныхъ работъ; напротивъ, въ интересахъ рабочихъ было естественно желать, чтобы вовсе не было прогульныхъ дней и чтобы кубы вырытой земли и камней были неполные.

Лобановичъ благоразумно избѣгъ того и другого. Подрядчику онъ далъ ясно понять, что ошибокъ въ счетахъ онъ не намѣренъ допускать, да подрядчику и некогда было слѣдить за такою бумажною справедливостію,—онъ то и дѣло пропадалъ по недѣлямъ, отыскивая кредитъ для срочныхъ уплатъ. Въ свою очередь, рабочіе убѣдились, что записи ихъ работъ и заработковъ ведутся точно, хотя всѣ рабочіе относились съ нѣкотораго времени ко всякимъ записямъ съ крайнимъ равнодушіемъ.

Это нѣсколько удивляло Лобановича, но онъ не искалъ причины. Отъ внутренней жизни дороги онъ старался стоять въ сторонѣ, слѣпой и глухой къ тому, что такъ недавно еще интересовало его.

Въ его мысляхъ образовался и крѣпко засѣлъ вопросъ:

„А мнѣ какое дѣло?“

VII.

Было раннее воскресное утро. Въ баракѣ стало сыро. Лобановичъ наскоро одѣлся, положилъ въ сумку кусокъ булки и вышелъ на свѣжій воздухъ.

Онъ могъ шлаться по тропамъ до трехъ часовъ, когда они условились съ инженеромъ идти на охоту.

Перейдя узкое пространство дороги, заваленное бревнами, грудями камней и земли, онъ сразу попалъ въ густую чащу первобытнаго лѣса. Подъ его сводомъ стояла тишина и царствовалъ полумракъ; утреннее солнце не могло еще пробить густую листву, и только рѣдкія брызги его лучей падали на влажную лѣсную траву.

Лобановичъ тихонько пробирался между стволами и прислушивался къ таинственной жизни этого темнаго угла. Онъ его засталъ врасплохъ, когда лѣсная жизнь только еще начала просыпаться. Въ мертвой тишинѣ слышался каждый звукъ; слышно было, какъ по листу ползетъ гусеница, какъ упалъ листъ съ верхушки дерева, какъ выпрямилась вдругъ вѣтка, погнутая чьею-то рукой, какъ шелестятъ муравьи возлѣ своего поселенія. Крикъ копчика, внезапно раздавшійся по лѣсу, какъ флейта, заставилъ вздрогнуть Лобановича, но черезъ минуту, когда голосъ маленькаго хищника смолкъ, лѣсъ снова замеръ въ таинственномъ молчаніи.

Подвигаясь впередъ между деревьями, Лобановичъ замѣтилъ недалеко просвѣтъ и направился къ нему. Оттуда слышалось какое-то бульканье воды, заинтересовавшее его праздное вниманіе. Онъ зналъ, что тамъ, среди порослей кустарника, находится рѣчушка, и захотѣлъ объяснить себѣ, что это за звуки раздаются оттуда?

Черезъ минуту дѣло объяснилось. На берегу рѣчушки, въ самомъ широкомъ ея мѣстѣ, сидѣлъ рыбакъ и удилъ рыбу. Посреди густой зелени камыша его сгорбленную фигуру трудно было примѣтить; пестрядинная рубаха его по цвѣту очень мало отличалась отъ сухой травы, а его приплюснутую бурую шляпенку можно было принять за одинъ изъ лопуховъ, покрывавшихъ сплошною массой рѣчку. Всего его можно было еще принять за кочку, обросшую мхомъ и при-

крытую сверху лопухомъ, еслибы только не поминутное маханье палкой, которая ему служила удилицемъ.

Лобановичъ узналъ въ немъ пожилого старика, артельного старосту „вячкихъ“ мужиковъ. Онъ поздоровался съ нимъ, присѣлъ возлѣ и сталъ смотрѣть, какъ онъ удить. Но сейчасъ же ему стало ясно, что мужикъ въ первый разъ держать въ рукакъ удочку. Въмѣсто удилица, старику служила толстая палка, почти колъ; лѣской ему послужила бичевка, которою легко можно было удержатъ лошадь, и крючокъ на такую лѣску былъ привязанъ огромный. Вся эта снасть рассчитана была такимъ образомъ, какъ будто старику предстояло вытянуть изъ-подъ лопуховъ бѣлугу. Между тѣмъ, въ рѣчкѣ водились только окуни и чебаки. Понятно, что поймать онъ ничего не могъ,—онъ то и дѣло махалъ коломъ, отъ его усердія стояли пузыри на водѣ, но изъ этого ничего не выходило.

— Плохо ловится?—спросилъ Лобановичъ шепотомъ, изъ боязни напугать рыбу.

— Ничего не могу пымать!—отвѣтилъ староста съ огорченіемъ и напряженно смотрѣлъ въ воду.

— Ты, кажется, впервые рыбачишь?

— То-то что не умѣю! А надо бы...

— Рыбы захотѣлось?

— Не мнѣ... Парень мой, Силашко-то, жалуется на животъ,—ему собственно!... Вчера уже и робить бросилъ.

— Захворалъ?

— Лежить. Ёды не беретъ, вчерась только говорить: „рыбки бы“.

Лобановичу стало непріятно.

— Развѣ плохая у васъ пища?

— Одно горе!... Хлѣбъ еще можно сообразить, а насчетъ горячаго, напрімѣръ, балтушка съ крупой—одно горе!

— У васъ, кажется, въ условіи вѣдь мясо выговорено?

— Какъ же, мясо иную пору кладется въ котелъ, да неспособно оно для живота-то. Больно духовитое.

Лобановичъ покраснѣлъ. Какая-то злоба мелькнула въ его глазахъ.

Они продолжали говорить шепотомъ.

— Много больныхъ у васъ?

— Много народу пало на животы. По нашей артели еще

санъ ремнемъ) съ голодухи-то! Слышь, и ему жалованья-то не платить... Намъ надо напирать на самого идола!

Черезъ минуту послѣ этого заключенія толпа перестала обращать вниманіе на Лобановича, и онъ выбрался изъ нея, никѣмъ больше не останавливаемый.

Онъ отправился по линіи. Но на работахъ стояли только башкиры. Ихъ бритыя головы съ оттопыренными ушами мелькали на обычныхъ мѣстахъ по откосамъ и разрѣзамъ, гдѣ шли землекопныя работы. Когда онъ подѣхалъ къ нимъ верхомъ и задалъ свой обычный вопросъ:

— Скоро кончите?

Они отвѣчали также обычнымъ отвѣтомъ:

— Скоро кончимъ, бачка! Совсѣмъ скоро кончимъ!

Но всѣ остальные рабочіе побросали линію и разбѣжались. По дорогѣ всюду валялись ломы, лопаты, тачки; кое-гдѣ видѣлись и сами рабочіе, то кучками, то въ одиночку, но никто изъ нихъ не обращалъ вниманія на него, когда онъ проѣзжалъ мимо. Что-то затѣвалось. Обычный порядокъ исчезъ.

Лобановичъ поворотилъ лошадь и поѣхалъ назадъ. Онъ хотѣлъ презрительно, съ покойнымъ равнодушіемъ сказать: „А мы какое дѣло?“ — но это ему не удалось. Онъ былъ страшно взволнованъ разнородными чувствами, боровшимися въ немъ. Въ то время, какъ его лошадь, почувствовавъ опущенные поводья, плелась тихимъ шагомъ, въ его головѣ бурно кипѣли мысли. Что ему дѣлать? Если онъ махнетъ рукой и будетъ смотрѣть на этотъ наглый обманъ, какъ посторонній зритель, — хорошо-ли это? Рабочіе возбуждены и, быть можетъ, вотъ въ эту минуту они уже въ дребезги разносятъ баракъ, — ихъ надо удержать. Быть можетъ, они уже сговорились бѣжать изъ этого проклятаго мѣста, гдѣ уже началась эпидемія, но ихъ переловить, привести, закабалить, — ихъ надо научить. Имъ надо помочь вообще, иначе окажешься истиннымъ „стрыкулистомъ“.

Лобановичъ забылъ обо всемъ на свѣтѣ, только ломалъ голову надъ вопросомъ, что лучше всего посоветовать? Онъ долго и мучительно недоумѣвалъ. Но вдругъ взглядъ его сверкнулъ радостною рѣшимостью, онъ схватилъ поводья и поскакалъ къ барaku по рывтинамъ, черезъ кусты, между грудами бревенъ и камней.

По дорогѣ ему попалась телѣга съ больными, которыхъ возили въ городъ; они производили впечатлѣніе раненыхъ, возимыхъ съ поля битвы; изъ треской телѣги раздавались стоны. Нѣсколько минутъ Лобановичъ ѣхалъ рядомъ съ телѣгой, спрашивая тѣхъ изъ лежащихъ, кто еще могъ гвѣчать. Потомъ, взволнованный, съ ненавистью во взглядѣ, онъ твердилъ про себя: „Какая наглость! Боже мой, какое наглое дѣло! И я присутствую при немъ!“

Когда онъ подъѣхалъ къ барачу, рабочіе уже не толпились больше сплошною массою возлѣ его дверей, а разбились на кучки. Идти на работу, конечно, не думали. Всѣ его-то ждали. Настроеніе толпы, какъ замѣтилъ Лобановичъ, измѣнилось къ худшему; лица у всѣхъ были озлоблены и, въ то же время, всѣ рады, что кончилась ихъ обыкновенная, мучительная жизнь.

Съ обычною своею пылкостью Лобановичъ принялся за дѣло. Переходя отъ одной группы къ другой, онъ объяснялъ рабочимъ, какъ лучше поступить въ ихъ безвыходномъ положеніи. Сначала его слушали съ подозрительною недовѣрчивостью, но мало-по-малу поддались на его разумныя, горячо сказанныя слова. И черезъ короткое время онъ снова былъ окруженъ толпой, но на этотъ разъ не дикой, какъ два часа назадъ, а озабоченной, внимательно слушающей и спрашивающей.

— Что же намъ дѣлать-то? Ежели убѣчь — пымають? — спрашивали одни.

— Безъ всякаго снисхожденія пымають! — подтверждали другіе.

— Пымають и опять посадятъ въ это же мѣсто!

— Если вы такъ, безо всего убѣжите, то, кромѣ вреда, ничего не будетъ вамъ, — горячо возразилъ Лобановичъ.

— То-то и оно-то! Ну, и оставаться тоже нельзя! Вѣдь онъ насъ по міру пустить!

— Съ голоду онъ насъ тутъ изведетъ!

— Онъ что вѣдь придумалъ-то для нашей пищи... вѣдь онъ, разбойникъ, маханиной насъ кормить! — закричалъ кто-то, и эти слова снова подняли крики въ толпѣ, которая моментально опять приняла дикій, грозный видъ.

Тутъ только Лобановичъ узналъ, какой былъ поводъ всего этого переполоха. Сегодня утромъ кто-изъ рабочихъ открылъ

въ артельномъ котлѣ лошадиную ногу. Въсть отъ этой ноги быстро разнеслась по всей линіи, всѣхъ взбудоражила и воспламенила накипѣвшее недовольство. До сихъ поръ люди все переваривали: хлѣбъ съ глиной, протухлое мясо, горючую крупу, болѣзни, но лошадиную ногу никто не могъ переварить. Быть можетъ, она попала случайно, отъ башкирской провизіи, но рабочіе были увѣрены, что ихъ все время кормили лошадьми, и взбѣсились, оскорбленные въ своемъ религіозномъ отвращеніи.

Когда бѣшеная ругань, вызванная напоминаніемъ ноги, немного улеглась, нѣкоторые изъ присутствующихъ принялись шутить, открывъ во всемъ этомъ комическую сторону.

— Башкиру это ничего! Онъ поѣздитъ на конѣ и апосли съѣсть его! За мое почтеніе скушаетъ!

— Башкиры и у нашего подрядчика съ голоду не пропадутъ. Въ случаѣ недохватки, они сварятъ его лошадей.

— Жаркое сдѣлаютъ!

— И котлеты!

— А знаете, ребята, отъ которой лошади ногу-то въ котелъ положили?

— Отъ какой?

— Отъ того мерина, на коемъ намъ пищу изъ города возили! И, стало быть, братцы, пищи намъ теперь не на комъ доставлять!

— Да для чего она намъ, пища-то? И мерина хватить... звона насколько!

Воспользовавшись этимъ шутливымъ настроеніемъ, Лобановичъ рассказалъ, что всего лучше предпринять. Онъ посоветовалъ, прежде всего, послать депутацію къ главному инженеру съ жалобой, затѣмъ предложилъ, въ то же время, отъ лица всѣхъ артелей написать искъ въ судъ, съ просьбой объ уничтоженіи контрактовъ. Оба предложенія вызвали шумное одобреніе, — они не выходили изъ закона.

Мигомъ откуда-то появился столъ, бумага, чернила; мигомъ нѣсколько человѣкъ обломали вокругъ стола кусты, гдѣ происходило это совѣщаніе; кто-то принесъ для Лобановича обрубокъ дерева, вмѣсто стула, и началось составленіе прошеній. Толпа затихла, разговоры почти смолкли. Въ кустахъ слышно было пѣніе птишекъ; изъ сосѣдняго

лѣса раздавалось нѣжное воркованье горлицы. Никто не хотѣлъ мѣшать Лобановичу.

Со стороны просителей сдѣлано было только нѣсколько предложеній, между прочимъ, и относительно лошадиной ноги.

— А объ ногѣ-то напиши все какъ слѣдуетъ, — замѣтилъ одинъ грамотный мужикъ изъ „вячкихъ“, въ видѣ наставленія.

— Напишу.

— И приложи къ прошенію.

— Чего?

— Да ногу-то... При эфтомъ, молъ, прилагается лошадиная нога отъ стараго мерина... которая нога найдена, молъ, въ котлѣ!

— Это зачѣмъ же? — спросилъ Лобановичъ, недостаточно понимая.

— А мы ее подадимъ вмѣстѣ съ просьбой.

— Ногу-то?

— А то какъ же? Иначе вѣдь намъ, родной, не повѣрять. Она у насъ спрятана.

Лобановичу стоило большого труда отговорить отъ „приложенія“.

Послѣ составленія просьбъ для всѣхъ артелей и подписи ихъ присутствующими немедленно была послана депутація къ главному инженеру, который находился верстахъ въ двадцати, просьбы же взяли на храненіе артельные старосты.

Весь этотъ день прошелъ въ волненіи. Лобановичъ былъ страшно возбужденъ, какъ будто вся эта исторія была его собственнымъ, кровнымъ дѣломъ, но онъ чувствовалъ себя весело, легко, какъ будто освободился отъ какой-то гнетущей тяжести. До поздней ночи онъ шатался по окрестнымъ трущобамъ и безъ умолку пѣлъ, и сильный, дикій голосъ его еще и въ полночь раздавался въ лѣсу, гармонируя съ дикостью окружающей природы.

На слѣдующій день онъ проснулся поздно и тотчасъ же отъ барачнаго сторожа узналъ о событіяхъ этой ночи. Депутація, посланная къ инженеру, еще не воротилась, а, быть можетъ, убѣгла съ дороги. Артель „вячкихъ“ на раз-

Лобановичъ съ злостью выругался.

Но не успѣлъ онъ достаточно осердиться „башкирскихъ“, какъ пришелъ какой-то человѣкъ съ бѣлыми линіи и сообщилъ, что тамъ двѣ артели табуновъ ночью. Бѣгство, очевидно, открылось по всей степи.

Когда онъ отправился вдоль дороги по своимъ обязанностямъ, онъ никого тамъ не нашелъ, только башкиры на своихъ мѣстахъ, да и они бросили работу и ушли на солнечномъ припежѣ. Онъ пошелъ назадъ, какъ убитый время.

Что онъ будетъ дальше дѣлать—это смутно было ему. Вчера ему некогда было заниматься своимъ деломъ, онъ совершенно забылъ себя. Но сегодня другимъ образомъ ему надо было рѣшить, какъ быть. Одно было ясно, какъ быть. Ясно было только одно: продолжать кончено, мѣста у него больше нѣтъ и въ будущемъ не будетъ.

Впрочемъ, онъ дожидался разъясненій.

Къ вечеру пріѣхалъ подрядчикъ и, узнавъ о случившемся, сначала сильно упалъ духомъ. Лобановичу онъ говорилъ жалкимъ голосомъ:

— Эхъ, господинъ Лобановичъ!

Лобановичъ даже по человѣчеству пожалѣлъ его.

— Разорился я теперь до смерти!—добавилъ подрядчикъ.

Но немного спустя жалкія чувства въ немъ смѣнились необычною злобой. Онъ вдругъ заметался, велѣлъ лошадей, отдавалъ какія-то приказанія и что-то говорилъ при встрѣчѣ съ Лобановичемъ вдругъ обратилъ въ злобный укоръ:

— Стыдно вамъ, господинъ Лобановичъ!

— Что стыдно?—спросилъ послѣдній угрюмо.

— Такъ, ничего! Только стыдно!... Какъ съ вами на службѣ, то и не должны были супротивъ бунтовать!

Лобановичъ взбѣсился на эту глупость.

— Слишкомъ много чести для васъ, если вы бунтовать!—сказалъ онъ.

— Да, очень стыдно!... Даже совсѣмъ не хорошеетъ.

кричалъ подрядчикъ, садясь въ телѣгу. — Но я покажу, какъ бѣжать отъ меня! Я ихъ всѣхъ переловлю! Я... по закону! У меня контрактъ!... Я изъ земли выкопаю ихъ; они меня, подлецы, розорили!

Онъ долго еще кричалъ въ томъ же родѣ, пока телѣга не скрылась за кустами. „А вѣдь непременно поймаютъ!“ — подумалъ Лобановичъ, и у него сжалось сердце при мысли о тѣхъ, кого опять сюда притащатъ умирать.

Другое разъясненіе, какъ быть, явилось со стороны инженера-пріятеля. Онъ встрѣтилъ Лобановича, повидимому, съ прежнею симпатіей, но для послѣдняго стало замѣтно, что онъ ведетъ себя неискренно. Между ними ни слова не было сказано о событіяхъ дня; Лобановичъ ждалъ, когда первымъ заговоритъ инженеръ, но тотъ намѣренно уклонялся отъ разговоровъ. Только когда Лобановичъ угрюмо сталъ прощаться, инженеръ вдругъ смутился и съ его языка сорвалось нѣсколько искреннихъ словъ съ искреннимъ, вѣжливымъ пожатіемъ руки.

— Совѣтую вамъ, милый человѣкъ, немедленно уѣзжать отъ насъ, пока противъ васъ не начали дѣла! — сказалъ онъ съ волненіемъ.

— Какого дѣла? За что? — спросилъ Лобановичъ.

— Мы не любимъ, когда мѣшаются въ наши семейныя дѣла!

— Да что же мнѣ сдѣлаютъ? И за что?

— Не спрашивайте, но ради Бога уѣзжайте!

Инженеръ при этихъ словахъ еще разъ потрясъ руку Лобановича.

Къ вечеру послѣдній собрался. Лошади подрядчика всѣ были въ разгонѣ, да еслибы и налицо онъ были, Лобановичъ отказался бы отъ нихъ. Недоплаченнаго жалованья онъ также не сталъ добиваться. Взявъ чемоданъ на плечи, онъ отправился пѣшкомъ до ближайшей деревни.

Дорогой онъ еще разъ мучительно переспросилъ себя, куда ему идти? Куда онъ теперь дѣнется? Иванъ Ивановичъ и всѣ друзья встрѣтятъ его вопросомъ: „Уже?“ А Катя съ недоумѣніемъ начнетъ его расспрашивать, какъ все это случилось и что онъ намѣренъ предпринять.

При этомъ воспоминаніи вся кровь бросилась къ его лицу, и въ его сердцѣ закипѣли гнѣвъ и отчаяніе.

Онъ долженъ былъ отправиться на пристань, отъ кото.

рой завтра пароходъ отправлялся въ N,—тотъ городъ, гдѣ жила дѣвушка и всѣ его друзья. Но когда онъ дошелъ до перекрестка, гдѣ дороги расходились, онъ съ гордымъ отчаяніемъ свернулъ на глухую лѣсную дорогу и только мысленно послалъ прощальный привѣтъ своей любви.

Прошло около двухъ лѣтъ. Катя давно вышла замужъ за Ивана Ивановича, и они безотлучно жили въ N. Иванъ Ивановичъ бросилъ бродяжную жизнь ради любимой женщины, не переходилъ больше съ мѣста на мѣсто, а прочно устроился. Они снимали маленькій домикъ, весь въ саду, съ венеціанскими окнами; по зимамъ онъ освѣщался солнцемъ, какъ клѣтка, а лѣтомъ въ немъ вѣяло прохладою; въ комнатахъ, убранныхъ съ безупречнымъ вкусомъ, пахло фиалками, резедой и гіацинтомъ. Это были любимые цвѣты Ивана Ивановича, и Катя наполняла ими всѣ комнаты, ставя букетъ изъ нихъ и на столъ мужа. Ей было только жаль, что они такъ скоро отцвѣтаютъ.

Они жили дружно, работающею жизнью и безъ скуки. Иногда имъ вспоминался Лобановичъ, карточка котораго стояла на столѣ у Ивана Ивановича, но эти воспоминанія не разстраивали ихъ взаимной любви; напротивъ, послѣ всякаго такого воспоминанія Катя нѣжно цѣловала мужа, а этотъ послѣдній съ грустью жалѣлъ любимаго товарища.

О Лобановичѣ около года совсѣмъ не было слышно; онъ какъ будто въ воду канулъ. Потомъ стали по временамъ доходить слухи, но такіе неясные, какъ будто они доносились съ того свѣта, изъ другого, невѣдомаго міра. Въ первое время Червинскій старался наводить справки о быломъ другѣ, но мало-по-малу пересталъ; жизнь дня такъ полно занимала его время, что некогда было интересоваться еще дѣлами, выходящими за предѣлы этой жизни.

Катя была счастлива. Только по временамъ, въ тихія сумерки, когда дневныя хлопоты прекращались, на глазахъ ея появлялись слезы и сердце сжимала какая-то безпредметная тоска о чемъ-то небываломъ, неиспытанномъ,—о томъ, чего, быть можетъ, вовсе нѣтъ. Иногда въ глухія сумерки слезы ея переходили въ рыданія, какъ будто она хоронила кого-то. Но на слѣдующее утро она снова вставала веселою, бодрою и хлопотливою.

На границѣ челоуѣка.

(Естественно-историческій очеркъ).

I.

Молодые Зерновы должны были лѣто провести врознь. Она уѣзжала въ Италію повидаться съ больнымъ братомъ, да кстати разсѣяться; онъ, удерживаемый своими конторскими и газетными занятіями, оставался въ городѣ. Въ день отъѣзда оба были взволнованы, но не грустны,—каждый изъ нихъ былъ спокоенъ за другого. Онъ въ сотый разъ повторялъ, чтобъ она побольше писала; она дѣлала разныя домашнія распоряженія и самое главное—относительно дачи.

— Непремѣнно переселись на дачу,—повторяла она.

Онъ утвердительно кивалъ головой.

— Выбери самую тихую, красивую, поэтическую!—полусуто, полусерьезно говорила она.

Но это было, въ то же время, и его желаніе.

— И непременно оканчивай поэму!—уже строгимъ тономъ приказывала она.

Онъ торжественно клялся, что поэма будетъ готова, и въ подтвержденіе клятвы цѣловалъ жену.

Наконецъ, они разстались, взволнованные, но съ веселыми лицами.

Когда дымъ паровоза растаялъ за лѣсомъ, Зерновъ отправился домой и рѣшилъ немедленно уѣхать за городъ искать дачу. Чувство энергіи овладѣло всѣмъ его существомъ и онъ быстро шелъ. Его поэма была первымъ трудомъ, кото-

зетное прочитывалъ только въ тѣсномъ кружкѣ друзей, и всѣ предсказывали ему свѣтлое будущее. Жена мечтала съ нимъ и воодушевляла его; самъ онъ также вѣрилъ въ себя. Но теперь, послѣ того, какъ онъ въ послѣдній разъ пожалъ ея руку, протянутую изъ окна вагона, увѣренность его въ себя возросла въ той же мѣрѣ, какъ и любовь къ уѣхавшей.

Съ вокзала онъ не зашелъ домой, а прямо отправился въ контору акціонернаго общества, гдѣ служилъ, взялъ тамъ отпускъ на одинъ день и уѣхалъ за городъ.

Конечно, по настоящему ему слѣдовало бы отправиться если не въ Неаполь, то, по крайней мѣрѣ, къ черкесамъ или лезгинамъ,—всѣ поэты должны видѣть черкесовъ, потому что на дачѣ можно увидеть только мужиковъ, а написать поэму „изъ мужиковъ“ совсѣмъ неразсудительно. Но Зерновъ былъ человѣкъ зависимый, очень разсчетливый и могъ позволить себѣ только дешевую дачу въ трехъ верстахъ отъ города. И не дачу собственно надо было ему, а мирный уголокъ природы, гдѣ бы онъ могъ проводить вечеръ и ночь.

Онъ объѣздилъ всѣ окрестности и, наконецъ, отыскалъ все, чего хотѣлъ. Это было дикое мѣсто на крутомъ берегу рѣки, съ котораго открывался чудесный видъ; кругомъ тишина и полное безлюдье; дача, правда, представляла собою совершенную развалину, гдѣ давно никто не жилъ, но за то стоила она дешево, окрестности же ея могли привести въ восторгъ всякую поэтическую душу, не лишенную, впрочемъ, здраваго смысла.

На другой день, послѣ занятій и обѣда, Зерновъ уже переселился на дешевое лоно природы. На скорую руку онъ размѣстилъ свое имущество въ затхлыхъ комнатахъ, послѣшилъ выйти за дверь и принялся бродить по окрестностямъ, съ интересомъ все осматривая.

Чудесные здѣсь были берега. Спускаясь крутыми стѣнами къ рѣкѣ, они во многихъ мѣстахъ прорѣзывались глубокими оврагами, узкими и мрачными, какъ огромныя трубы. Трубы эти проложила весенняя вода. Она же, бушуя здѣсь въ апрѣлѣ, произвела полнѣйшее замѣшательство въ неподвижныхъ рядахъ дубовъ и кленовъ; одни она повалила на-земь и заставила ихъ ползати среди кустовъ шиповника чуть нѣ-

выми; другіе подъ ея напоромъ наклонились всею массою своихъ стволовъ и вѣтвей книзу и заглядывали въ глубину темныхъ овраговъ; для третьихъ по отвѣсной стѣнѣ она устроила висячія террасы и они росли какъ бы въ воздухѣ. Мѣстами же особенно сильнымъ напоромъ она оторвала цѣлую площадь берега, сбросила его съ высоты внизъ къ рѣкѣ вмѣстѣ съ лѣсомъ, но не тронула ни одного листка съ короны дубовъ, не изломала ни одной вѣтки, и они продолжали на новомъ мѣстѣ стоять и расти, какъ будто ничего не случилось.

Съ волненіемъ человѣка, привыкшаго къ голымъ стѣнамъ конторы, Зерновъ осмотрѣлъ все это, нѣсколько разъ спустился по тропинкамъ овраговъ къ водѣ, карабкался по висячимъ садамъ, пока не усталъ. Тогда онъ сѣлъ на одномъ уступѣ и оглядѣлъ широкій горизонтъ луговой стороны. Вечеръ выдался тихій и теплый; рѣка застыла, какъ зеркало. Бросивъ вдругъ взглядъ на это необъятное зеркало, Зерновъ онѣмѣлъ отъ восторга: прямо подъ нимъ, въ бездонной глубинѣ рѣки, плыли тучки на синемъ фонѣ; возлѣ нихъ, но еще, казалось, глубже, видѣлся серпъ луны, возлѣ луны стояла баржа, а ближе къ берегу со дна рѣки поднимались скалы, на которыхъ у самой поверхности воды зеленѣлъ лѣсъ; только скалы и лѣсъ, и баржа опрокинуты были тамъ внизъ вершинами. Тамъ же, подъ деревомъ на уступѣ, сидѣлъ какой-то прекрасный молодой человѣкъ въ сѣрой шляпѣ и съ радостью смотрѣлъ на Зернова, какъ бы приглашая его къ себѣ, туда, на дно бездны, гдѣ плаваютъ тучки и видится блѣдный серпъ луны...

Долго и съ восторгомъ Зерновъ вглядывался въ этотъ волшебный міръ. Впрочемъ, черезъ нѣкоторое время въ немъ заговорилъ художникъ, восторгъ его исчезъ, осталось только желаніе ни одну мелочь не упустить изъ картины и схватить ее въ такомъ именно видѣ, въ какомъ она открылась ему, причѣмъ онъ уже обдумывалъ, въ какое мѣсто поэмы лучше помѣстить ее. Такъ онъ просидѣлъ до поздняго вечера и уже не обращалъ вниманія ни на что окружающее, весь отдавшись созерцанію тѣхъ внутреннихъ картинъ, которыя хранились въ немъ и которыя онъ долженъ написать, а когда возвращался съ берега въ комнаты, то былъ въ необыкновенно счастливомъ расположеніи духа.

должно было прекратиться. Едва онъ потушилъ лампу и легъ въ постель, какъ почувствовалъ неопредѣленную тревогу во всемъ тѣлѣ; однако, обладая твердымъ характеромъ, сначала онъ не придавъ этому ни малѣйшаго значенія и продолжалъ спокойно лежать, припоминая всѣ прелести своей дачи. Но вдругъ на его лицо шлепнулось что-то холодное и скользкое; онъ въ ужасѣ вскочилъ съ постели, закричалъ благимъ матомъ и принялся шарить спички; когда, послѣ торопливыхъ поисковъ, лампа была зажжена, онъ со страхомъ оглядѣлъ комнату и убѣдился, что вмѣстѣ съ нимъ дачу занимають нѣсколько лягушекъ. Съ ожесточеніемъ, понятнымъ для каждаго дачника, онъ выгналъ гадкихъ тварей и только тогда улегся на кровать, когда убѣрился, что достаточно гарантированъ отъ пресмыкающихся.

Но успокоиться ему не удалось въ эту ночь, ибо на лонѣ природы кишать многочисленныя кровопійцы. Пока онъ выгонялъ лягушекъ, свѣтъ лампы привлекъ въ комнату тучи комаровъ, которые безжалостно, съ воемъ и плачемъ, напали на свѣжаго человѣка. Только закрывшись съ головой одеяломъ, онъ могъ временно спастись. Но, лежа подъ одеяломъ, онъ снова почувствовалъ неопредѣленную тревогу во всемъ тѣлѣ; сначала онъ ободрялъ себя и старался отвлечь свои мысли въ другую сторону, причемъ припоминалъ всѣ прелести дачной жизни, но, наконецъ, упавъ духомъ и ставъ раздражаться, тѣмъ болѣе, что неопредѣленная тревога скоро перешла въ очень опредѣленное представленіе о жгучихъ клопахъ и блохахъ. Нѣсколько разъ онъ вскакивалъ съ постели, бѣшено вытряхалъ одеяло и простыни, но кровопійцы послѣ этихъ операций, казалось, съ большею жадностью нападали на несчастнаго человѣка. Въ концѣ-концовъ, онъ изнемогъ, предаясь покорно на полную волю побѣдителей и лишь продолжалъ безпрерывно вертѣться на кровати, какъ мельничный валъ. Состояніе его духа было такого рода, что онъ проклиналъ не только дачу, но и всѣ ея окрестности.

Уже подъ утро онъ въ изнеможеніи заснулъ тревожнымъ сномъ. Но и здѣсь новое несчастіе ожидало его. Когда поднялось солнце и заглянуло въ окна дачи, проснулись мухи

и облѣпили его лицо; такимъ образомъ, онъ окончательно долженъ былъ отказаться отъ отдыха. Онъ торопливо одѣлся и бросился вонъ изъ душныхъ комнатъ.

Солнце только-что поднялось надъ сосѣднимъ лѣсомъ и не успѣло еще осушить росы на травѣ. Надъ рѣкой клубились волны тумана, закрывая бѣлою пеленой овраги берега, но возвышенныя мѣста, гдѣ именно стояла дача, были уже открыты. Эти мѣста показались теперь Зернову въ высшей степени безобразными, какъ все, чѣмъ онъ вчера восхищался.

Въ самомъ дѣлѣ, прямо передъ нимъ, почти отъ самой двери его развалины, начинались ямы и тянулись на далекое разстояніе отъ берега. Нѣкогда здѣсь, вѣроятно, добывали глину, но, давно заброшенные, эти ямы теперь безобразили всю мѣстность. Возлѣ нихъ росла рѣдкая и черная трава, желтая глина буграми покрывала все пространство; внутри нѣкоторыя ямы завалены были соромъ и навозомъ, другія оставались пустыми. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ чернѣли отверстія дѣянихъ-то норъ.

Едва Зерновъ обратилъ на это вниманіе, какъ изъ одной норы, находящейся на двѣ ближайшей ямы, выползъ на брюхѣ какой-то субъектъ, приподнялся, выпрыгнулъ изъ ямы и сталъ спускаться по тропинкѣ къ рѣкѣ. Онъ былъ почти голый, если не считать нѣсколькихъ лоскутковъ за штаны и нѣсколькихъ лоскутковъ за рубаху. Не успѣвъ Зерновъ оправиться отъ изумленія, какъ изъ другой норы выползъ еще такой же субъектъ, и также голый. Этотъ, однако, не тотчасъ выпрыгнулъ изъ ямы, а сначала протеръ кулаками глаза и нѣсколько разъ запустилъ пятерни въ спутанную гриву, торчавшую у него на головѣ, но потомъ и онъ ушелъ внизъ къ рѣкѣ.

Зерновъ остоленѣлъ и уже со страхомъ сталъ вглядываться въ другія ямы, гдѣ чернѣли норы, ожидая, что и оттуда вотъ сейчасъ поползутъ человѣкоподобные субъекты, но, къ его счастью, никто больше не появлялся. Онъ простоялъ на одномъ мѣстѣ съ полчаса, затѣмъ возвратился въ комнаты, тщательно заперъ ихъ и отправился прямо въ городъ, бросивъ намѣреніе выкупаться и напиться чаю.

Состояніе его было близко къ столбняку. Бессонная ночь сдѣлала его какимъ-то разслабленнымъ,—онъ съ трудомъ и

неохотой передвигалъ ноги. Въ головѣ же его образовался нелѣпый сумбуръ: блохи, лягушки, влопы, небо на днѣ рѣки, голые субъекты, норы въ ямахъ,—все это въ глупомъ безпорядкѣ наполняло его усталый мозгъ. Для него ясно было только одно ощущеніе: ужасъ при воспоминаніи о нанятомъ имъ лонѣ природы.

II.

Однако, послѣ нѣсколькихъ часовъ обычныхъ занятій онъ пришелъ въ себя и пообедалъ уже въ здоровомъ умѣ и твердой памяти. А послѣ обѣда проведенную ночь онъ сталъ разсматривать уже прямо съ комической стороны и собрался немедленно идти на свою дачу.

Только предварительно онъ зашелъ въ нѣсколько лавокъ и закупилъ въ большомъ количествѣ разные смертоносныя и оборонительныя орудія: карточки мухоморъ, марлю, персидскій порошокъ и проч. То же самое въ эту минуту онъ посоветовалъ бы сдѣлать всякому, отправляющемуся на лono природы, въ особенности въ дальнія мѣста, по деревнямъ,—непремѣнно запастись орудіями для борьбы съ кровопійцами.

Дорога окончательно освѣжила его. Бодро онъ дошелъ до своей развалины и сейчасъ же принялся превращать обѣ комнаты въ укрѣпленный лагерь; окна забаррикадировалъ марлей, постель густо посыпалъ порошкомъ, отравилъ воду на блюдечкахъ, затѣмъ сдѣлалъ нѣсколько рекогносцировокъ подъ кровать и подъ стулья, гдѣ лягушки могли устроить засаду, и, только когда убѣдился въ удовлетворительномъ состояніи своихъ оборонительныхъ средствъ, вышелъ гулять.

Нѣтъ, не гулять. Съ самаго утра до этой послѣдней минуты, что онъ только ни дѣлалъ и о чемъ ни думалъ, его не покидала тревожная мысль о голыхъ субъектахъ, которыхъ онъ увидалъ въ это утро. Во-первыхъ, его тревожило это близкое сосѣдство невѣдомыхъ существъ; во-вторыхъ, въ немъ задѣто было въ сильной степени любопытство.

Сойдя съ крыльца, онъ прямо отправился къ ямамъ и надѣялся встрѣтить тамъ ихъ обитателей. Но кругомъ, насколько могъ охватить его взоръ, не видно было ни души. Тогда, не долго думая, онъ съ тревожнымъ любопытствомъ принялся изслѣдовать ямы, въ которыхъ видѣлись норы.

Норы оказались довольно однообразнаго устройства, какъ, впрочемъ, всѣ человѣческія жилища. Однѣ изъ нихъ имѣли входъ пошире, другіе поуже, что, однако, не зависѣло отъ намѣренія хозяевъ ямъ, такъ какъ норы, очевидно, были выкопаны глинокопами, но надъ входомъ нѣкоторыхъ норъ искусственно были устроены своего рода навѣсы изъ хвороста, что указывало на значительную культуру ихъ хозяевъ.

Зерновъ спустился въ одну изъ ямъ и заглянулъ въ нору, темнѣвшую на днѣ ея. Тамъ, въ углубленіи, онъ увидалъ только слежалое сѣно, служившее, очевидно, постелью. Больше ничего не было. Онъ хотѣлъ проникнуть въ самое логовище, но внезапно явившаяся брезгливость оттолкнула его отъ этого намѣренія, тѣмъ болѣе, что пришлось бы ползти на четверенькахъ.

Выпрыгнувъ изъ этой ямы, онъ спустился въ другую, на половину засыпанную привезеннымъ сюда соромъ; нора въ этой ямѣ находилась возлѣ сора и отчасти занавѣшивалась имъ. Отъ прежней она еще отличалась тѣмъ, что входъ въ нее былъ значительно шире и выше, такъ что если перегнуться пополамъ, то можно было свободно влѣзть въ нее. Зерновъ такъ и сдѣлалъ — перегнулся пополамъ и влѣзъ. На полу ея также лежала постель изъ сѣна, причемъ въ томъ мѣстѣ, которое служило изголовьемъ, лежала оторванная пола отъ какой-то одежды. На сѣнѣ лежалъ обглоданный мосолъ; нѣсколько мословъ лежало также и около одной стѣны. Кромѣ этихъ хозяйственныхъ принадлежностей, въ глиняную стѣну былъ еще воткнутъ сучокъ отъ дерева, а на сучкѣ висѣли опорки. Больше ничего не было.

Зерновъ уже хотѣлъ пролѣзть дальше, чтобы посмотреть, отъ какой собственно одежды оторвана пола, лежавшая въ изголовьѣ, но вдругъ чувство стыда охватило все его существо. Очагъ cadaго человѣка долженъ быть святыней. А вотъ онъ проникъ въ чужой домъ, проникъ изъ празднаго любопытства, въ отсутствіе его хозяина, и осматриваетъ все до мельчайшихъ подробностей. Что бы онъ сдѣлалъ, еслибы въ его, Зернова, квартиру проникъ какой-нибудь шелопаи и сталъ бы рыться въ его вещахъ, въ бумагахъ, въ платьѣ? Зерновъ даже покраснѣлъ при

Онъ отправился домой и тамъ, въ сильной раз-
принялся возиться около самовара и чая, но возни-
чески; мысли же его были въ тѣхъ порахъ,
только-что лазилъ. Что это за люди тамъ обита-
слышалъ о боссякахъ, но эти, очевидно, еще ниже
сякахъ что онъ знаетъ? Чуть не ежедневно видѣлъ
ванцевъ, но проходилъ равнодушно мимо ихъ,—они
ляли ни малѣйшаго слѣда въ его мысли. Никог-
задумывался о подробностяхъ ихъ жизни,—они
ванцы, проходили мимо него, не обращая на себя
шаго вниманія, какъ похоронныя дроги, которыя
изъ насъ видить тихо двигающимися за городск-
„Кто-то умеръ“,—думаемъ мы и проходимъ дальше,
когда близкій намъ человѣкъ изъ живого существа
дѣлается мертвымъ, когда душу нашу поражаетъ
наступившая неподвижность глазъ, которые за ми-
рѣли сознательно, только тогда мы спрашиваемъ
такое? куда онъ ушелъ? развѣ мы больше не ве-
гдѣ начало и конецъ бытія?

Продолжая возиться около самовара, Зерновъ по-
изъ окна и ожидалъ, не покажется-ли кто-нибудь.
Ему даже досадно сдѣлалось, что они не появля-
ко, черезъ нѣкоторое время онъ увидалъ ихъ.

Незамѣтно приблизилась ночь. Съ низовьевъ рѣ-
зался большой серпъ луны. Свѣтъ его, вмѣстѣ съ
выступившихъ звѣздъ, залилъ скоро все окрест-
новъ вышелъ изъ дома и побрелъ по оврагу.
Вдругъ на одной изъ лужаекъ взглядъ его упалъ
ную группу; взглянувъ пристальнѣе, онъ убѣ-
это *они*, его сосѣди.

Пользуясь теплою и свѣтлою ночью, они поле-
крытомъ воздухѣ, прямо въ травѣ, кто какъ поп-
полегли другъ подле друга рядомъ, нѣкоторые же
головами въ противоположныя стороны. Много
было. Свѣтъ лунной ночи закрывалъ ихъ фосф-
дымкой и прикрывалъ ихъ наготу, но было что-
терное въ тѣхъ позахъ, въ какихъ они спали,
крайней мѣрѣ, показалось Зернову. Одни изъ ни-

внизъ лицомъ, разбросавъ руки и ноги въ разныя стороны. Но какъ тѣ, такъ и другіе, казалось, не легли добровольно, а были внезапно застигнуты какою-то силой, повалены на землю и умерли здѣсь, судорожно хватаясь кто за грудь, кто за ближайшіе предметы.

Долго стоялъ Зерновъ передъ свѣтлою лужайкой, но, наконецъ, у него стало рябить въ глазахъ, и онъ поспѣшилъ обратно въ комнаты; о прогулкѣ онъ забылъ. Что-то неприятное сосало его сердце, какая-то досада вдругъ стала раздражать его, но эти чувства онъ приписалъ своей скверной дачѣ, нагнавшей на него опять хандру. Очевидно, что здѣсь все скверно и неприятно. Это не дача, а какое-то отвратительное мѣсто; въ окна дуетъ, повсюду сырость, лягушки, клопы, блохи, комары и еще Богъ знаетъ что... Ночью даже жутко одному оставаться...

Дѣйствительно, закутываясь въ одѣяло, Зерновъ чувствовалъ, что ему жутко, и съ ужасомъ думалъ, какъ онъ проведетъ ночь до утра. Но, благодаря прошлой бессонной ночи, черезъ нѣсколько минутъ имъ овладѣлъ сонъ, и онъ проспалъ до поздняго утра безъ всякихъ неприятностей. Только уже утромъ, одѣваясь, онъ замѣтилъ, что у одного изъ его сапогъ крыса (не иначе, какъ крыса) съѣла значительную часть голенища. На нѣкоторое время на него опять напала хандра, но ясный день скоро разсвѣлялъ его мрачное настроеніе.

III.

И когда онъ шелъ послѣ обѣда на свою дачу, многочисленныя неприятности ея уже исчезли изъ его памяти; передъ нимъ мелькали только голые люди, вызвавшіе его удивленіе и любопытство. Онъ сильно заинтересованъ былъ ими и спѣшилъ удовлетворить свою любознательность, но это была та холодная, хотя и сильная любознательность, съ какою ученый смотритъ на открытый имъ новый видъ, положимъ, комара.

Къ сожалѣнію, въ этотъ и послѣдующіе дни его ученое или художественное любопытство удовлетворено было въ ничтожной степени; приходилъ онъ на дачу поздно и могъ видѣть только маленькую частичку того, какъ и въ какомъ

порядкѣ голые люди поживали. За то въ ближайшее воскресенье ему удалось довольно подробно прослѣдить жизнь вновь открытаго имъ вида. Съ той поры онъ не пропускалъ ни одного праздника, безотлучно присутствуя на дачѣ.

Обыкновенно онъ садился гдѣ-нибудь на открытомъ мѣстѣ и слѣдилъ оттуда за всѣми движеніями голыхъ людей. Это не представляло неудобства,—голые люди совершали всѣ свои дѣла открыто, не стѣсняясь ни другъ друга, ни посторонняго глаза. Зерновъ предположилъ, что они—или совершенно дикая порода, не видѣвшая человѣка и относящаяся къ его появленію безъ страха, подобно нѣкоторымъ птицамъ необитаемыхъ острововъ, или они настолько одомашнены и лишены инстинкта самосохраненія, что не обращаютъ уже вниманія на людей, на подобіе коровъ или куръ. Какъ бы то ни было, но Зерновъ могъ безпрепятственно сидѣть не далеко отъ нихъ, не обращая на себя ни малѣйшаго вниманія съ ихъ стороны.

Утромъ они рано вставали и не дожидались солнечнаго восхода, къ чему ихъ принуждало сильное стучаніе зубовъ, вызванное свѣжимъ утромъ и росой; затѣмъ они немедленно отправлялись—одни рысцой, другіе галопомъ—подъ гору черезъ овраги и тамъ разсѣвались по берегу рѣки въ разныхъ направленіяхъ; нѣкоторые шли въ слободки, большая же часть уходила въ городъ, къ его пристанямъ и толлукчамъ.

Зерновъ, конечно, не могъ слѣдовать туда за ними и въ точности не зналъ, что они тамъ дѣлаютъ; предполагалъ только, что отправлялись они туда на утреннюю добычу пищи и питья. Впослѣдствіи, значительно позже, онъ убѣдился въ правильности своего заключенія. Впрочемъ, способовъ добычи пропитанія онъ никогда не узналъ въ точности, потому что способы эти разнообразны, отличаются случайностью и часто въ высшей степени рискованны и таинственны. Къ болѣе или менѣе правильнымъ занятіямъ можно отнести только похищеніе съ лотковъ булокъ и воблы изъ ларей, но натурально, что и такія опредѣленные средства нерѣдко сопрягались неожиданными осложненіями. Нѣкоторая часть голыхъ людей занималась еще ловлей раковъ и мелкой рыбешки и собираніемъ травъ; наконецъ, аристократы среди голыхъ людей, обладавшіе панталонами

и рубахой, служили на толкучкахъ и базарахъ посыльными. Однако, несмотря на это разнообразіе занятій, многимъ изъ обитателей норъ вовсе не удавалось по цѣлымъ днямъ схватить что-нибудь, что можно бы было съѣсть; такіе въ свои норы не возвращались, а продолжали изыскивать средства къ жизни до глубокой ночи.

Многимъ, однако, удавалось еще утромъ найти случай поѣсть, послѣ чего они немедленно возвращались одинъ по одному домой, къ своимъ оврагамъ. Это обыкновенно происходило часовъ въ девять-десять. Придя къ оврагамъ, они располагались на лужайкахъ отдыхать и лежали въ лѣнивой полудремотѣ на солнечномъ припекѣ. Когда въ послѣдствіи по оврагамъ и откосамъ выросла высокая трава, то зелень ея сильно маскировала ихъ непринужденныя позы, но за то видъ множества тѣлъ, разбросанныхъ по травѣ, производилъ непріятное ощущеніе; въ одномъ мѣстѣ изъ травы виднѣлась косматая голова, изъ другого мѣста торчала нога, а тамъ, изъ-подъ куста, высунулась половина туловища. На Зернова это нагоняло мрачное настроеніе, и, чтобы отдѣлаться отъ него, онъ старался рассмотреть тѣла дремавшихъ во всей ихъ цѣлости.

Лежанье на солнце продолжалось часовъ до двухъ. Къ этому времени у большинства валявшихся проявлялись нѣкоторыя потребности, подъ давленіемъ которыхъ они снова разбредались по разнымъ сторонамъ: одни — на водопой, подъ гору, другіе — для добыванія пищи, третьи — ради развлеченія — въ кабаки.

Такимъ образомъ, къ тремъ часамъ около норъ уже никого не было, и обитатели ихъ не торопились возвращаться. Только въ сумерки они начинали мало-по-малу сходить-ся, и тотчасъ по приходѣ каждый располагался спать. Если погода была хорошая, всѣ ложились на открытомъ воздухѣ, въ травѣ и подъ кустами; въ противномъ случаѣ, забирались въ норы. Въ это лѣто, съ самаго начала мокрое и холодное, голымъ людямъ очень часто приходилось прибѣгать къ норамъ.

Таковы наблюденія, сдѣланныя въ первое время Зерновымъ; какъ они ни поверхностны, но въ молодомъ наблюдателѣ они вызвали цѣлый рядъ недоумѣній и вопросовъ.

Прежде всего, онъ спрашивалъ, къ какому роду существъ

надо отнести открытую имъ породу? Если это животное, то почему же они не пользуются многими привилегіями послѣднихъ? О дикихъ животныхъ заботится природа, надѣлая ихъ многими дарами, о домашнихъ же животныхъ заботится человѣкъ. Между тѣмъ, голые люди безпомощны, и никто о нихъ не заботится,—слѣдовательно, ихъ надо отнести къ разряду людей. Но если это точно люди, почему же они лишены всего, что характеризуетъ человѣка? Людямъ свойственно жить въ семьѣ и обществѣ и принадлежать къ опредѣленному отечеству. Однако, семьи у голыхъ людей не было, ни къ какому обществу они не принадлежали, ибо жили въ сорныхъ ямахъ за городомъ; если же не считать норъ дачами, то у нихъ не было и опредѣленнаго мѣстопробыванія. Что касается отечества, то несомнѣнно, что они числились гражданами только поминально, а иногда и вовсе не числились. Но если голые люди не имѣютъ семей, находятся внѣ общества и не принадлежать къ отечеству, то кто же они?

Зерновъ съ холодною тщательностью разсматривалъ эти вопросы.

IV.

Въ первое время всѣ голые люди въ глазахъ Зернова сливались въ одну общую массу, столь же однородную, какъ, напримѣръ, стадо. Но мало-по-малу это стадо въ его представленіяхъ разбилось на нѣсколько группъ, довольно рѣзко разграниченныхъ другъ отъ друга, а потомъ группы раздѣлились на отдѣльныя особи, которыя хотя и слабо выдѣлялись, но для Зернова сдѣлались, въ концѣ-концовъ, замѣтными.

Своихъ сосѣдей онъ раздѣлилъ на три группы.

Во-первыхъ, мрачно-равнодушные.

Во-вторыхъ, безсознательные.

Въ-третьихъ, трудолюбиво-хозяйственные.

Всего меньше среди голыхъ людей было мрачно-равнодушныхъ. Зерновъ насчиталъ ихъ человѣка три-четыре, не больше. Внѣшній образъ жизни ихъ былъ одинаковъ со всѣми. Ихъ тѣло также было непокрыто; по сырымъ ночамъ они наравнѣ со всѣми залѣзали въ норы и съ утра они вѣтѣ

съ другими отправлялись за добычей. Но внутренніе мотивы ихъ поступковъ и отчасти самыя поступки рѣзко выдѣляли ихъ изъ стада. Мрачный видъ ихъ образинъ рельефно выступалъ на фонѣ прочихъ фizioномій, временами въ нихъ проглядывала гордость; съ другими голыми людьми ихъ обращеніе всегда было полупрезрительное. Ясно видѣлось, что они сознавали, гдѣ они находятся, сознавали свою жизнь и всю ея обстановку, но не хотѣли переимѣнить эту жизнь на другую, болѣе счастливую, ибо убѣдились въ нецѣлости всѣхъ своихъ хлопотъ и, какъ говорится, плюнули на все. Пускай жизнь идетъ такъ, какъ ей хочется, а они за хвостъ ее тянуть не стануть. Вѣроятно, прежде чѣмъ дойти до такой мысли, они много и долго боролись и, только послѣ отчаянныхъ усилій устроиться по-человѣчески, мрачно махнули на все рукой.

Кромѣ этихъ чертъ, ихъ отличалъ еще отъ другихъ злостный цинизмъ. Когда однажды передъ глазами Зернова у одного изъ нихъ отвалилась половина панталонъ, то онъ не потрудился прикрѣпить ее на надлежащее мѣсто, а только презрительно выругался и продолжалъ шествовать по направленію къ городу. Всѣ дневныя невзгоды они выносили съ стоическимъ равнодушіемъ. Въ то время, когда многіе во время голода и холода теряли послѣднюю энергію, въ отчаяніи ложились на траву внизъ лицомъ и старались забыться въ полудремотѣ, мрачные субъекты оставались невозмутимыми и только отъ времени до времени крикали нутромъ. Съ тѣмъ же равнодушіемъ они вели себя и въ тѣ дни, когда у большинства брюхо было набито хлѣбомъ и водкой,—повидимому, ни малѣйшая радость не озаряла ихъ лицъ и ничто не могло взволновать ихъ.

Большая часть голыхъ людей принадлежала къ безсознательнымъ. Зерновъ, по крайней мѣрѣ, никакъ не могъ открыть въ нихъ какого-нибудь поступка, заранѣе обдуманнаго. Приходя вечеромъ на мѣсто, они моментально хлопались въ траву или залѣзали въ норы и мертвыми лежали вплоть до утра. Днемъ они страшно много спали, спали бы еще больше, спали бы дни, недѣли, мѣсяцы, еслибы ихъ не пробуждало какое-нибудь рѣзкое органическое ощущеніе голода, жажды, желанія опохмѣлиться послѣ перепоя. Мучимые этими инстинктами, они просыпались внезапно и вне-

тѣмъ или инымъ способомъ удавалось погасить дефицитъ
брюха, они немедленно возвращались на мѣсто и вновь хлоп-
пались въ траву и мгновенно засыпали. Ъли и пили они
затѣмъ, чтобы поскорѣе заснуть. Ни изъ чего нельзя было
замѣтить, чтобы они сознавали себя; окружающее же едва
мерцающая мысль ихъ отражала настолько, насколько нужно
было, чтобы не броситься, вмѣсто толкучки, въ воду или
чтобы не схватить, вмѣсто хлѣба, булыжникъ изъ мостовой.
Побужденія отъ дѣйствій раздѣлялись у нихъ буквально одною
минутой; посреди мертваго сна на солнечномъ припежѣ часто
кто-нибудь изъ нихъ вскакивалъ и слѣпо летѣлъ куда-то:
это означало, что у него проснулась жажда или голодъ под-
водить ему желудокъ.

Это они, безсознательные, такъ взволновали Зернова въ
первые дни его житья на дачѣ, повергнувъ его въ полнѣй-
шее недоумѣніе, къ какому роду существъ отнести такихъ
субъектовъ, въ душѣ которыхъ царятъ вѣчная ночь и сонъ.
Впрочемъ, Зерновъ былъ увѣренъ, что непробудный сонъ—
счастье для нихъ; еслибы какая сила внезапно разбудила
ихъ, они не вынесли бы пробужденія.

Третья группа, названная Зерновымъ трудолюбиво-хозяй-
ственною, внушала ему смѣхъ и печаль. Въ самомъ дѣлѣ,
трудно даже вообразить себѣ хозяевъ, живущихъ за горо-
домъ въ норахъ,—здѣсь непримиримое противорѣчіе. Можно
быть хозяиномъ двора, избы, дома, фабрики, помѣстья, но
невозможно быть хозяиномъ норы. И, во всякомъ случаѣ,
для хозяина обязательно имѣть панталоны и рубаху,—безъ
этого хозяинъ немислимъ. Между тѣмъ, трудолюбивые го-
лые люди на глазахъ у Зернова примиряли это нелѣпое про-
тиворѣчіе.

Изъ всѣхъ своихъ товарищей это были самые дѣловитые
и озабоченные люди. Не въ примѣръ прочимъ они очень
мало лежали въ травѣ, брюхомъ къ солнцу. Ихъ дни про-
ходили въ непрерывныхъ хлопотахъ. Занимаясь подъ бере-
гомъ ловлей раковъ и мелкой рыбешки, они терпѣливо про-
сиживали надъ водой, но лишь только имъ удавалось изло-
вить десятка два раковъ или горсть рыбешки, они торопливо
уходили въ городъ и тамъ капитализировали пойманные дары

природы. Въ свободное отъ этихъ трудовъ время каждый изъ нихъ занимался болѣе или менѣе серьезнымъ дѣломъ. Одинъ, порывшись въ норѣ, извлекалъ оттуда тряпки, мылъ ихъ въ водѣ, сушилъ на солнцѣ и прикрѣплялъ къ соотвѣтствующему мѣсту своей шкуры. Другой изъ нѣсколькихъ несоединимыхъ предметовъ старался составить одинъ, который, по его мнѣнію, долженъ непременно называться шапкой.

Всѣ они были очень предусмотрительны и не лишены мыслей объ отдаленномъ будущемъ; такъ, когда на небѣ показывались тучи, они заранѣе осматривали свои въ ямахъ и если находили ихъ недостаточно защищенными отъ собирающейся непогоды, то принимали нѣкоторыя мѣры. Въ самыхъ норахъ они поддерживали порядокъ и удобства: стлали постели изъ сѣна, похищаемого ими съ ближайшаго сѣновала, устраивали изголовья и пр. А на черный день они дѣлали пищевые запасы, благодаря чему въ ихъ норахъ всегда можно было встрѣтить сухія горбушки хлѣба. Помимо всего этого, ихъ хлопотливая жизнь производила такое впечатлѣніе, будто они не прочь были обзавестись семействами.

По своему характеру это были смиренныя и робкія существа, но смѣтливныя и не безъ хитрости. Жизнь ихъ, какъ и у прочихъ голыхъ людей, давно исчезла, но они умѣли возстановлять подобіе ея, радуясь каждому обману, посредствомъ котораго они надували себя.

V.

Прошло довольно много времени, прежде нежели Зерновъ услышалъ слова изъ устъ голыхъ людей. Онъ такъ привыкъ видѣть ихъ безсловесными, что и не ожидалъ услышать съ ихъ стороны разговора. Всѣ немногосложныя движенія ихъ происходили передъ его глазами въ полнѣйшемъ молчаніи: повидимому, они совсѣмъ не умѣли говорить.

Наконецъ, однажды кто-то изъ валявшихся въ травѣ вдругъ выругался. Ругательство это было бессмысленное: бросившій его оборванецъ пустилъ его сквозь сонъ, пустилъ на вѣтеръ, ни къ кому не обращаясь, слѣдовательно, бессмысленно пустилъ и тотчасъ же снова заснулъ. Но на Зернова эти бессмысленныя слова произвели дѣйствіе чуда; онъ даже

приподнялся съ своего обычнаго мѣста на бугрѣ и старался отыскать глазами то мѣсто въ бурьянѣ, откуда раздались эти чудесные звуки.

Съ этой минуты онъ заинтересовался вопросомъ о словесности голыхъ людей и старался уловить малѣйшее слово, сказанное ими. Къ его огорченію, этого рода любопытство онъ могъ удовлетворить въ малой степени, потому что его голые сосѣди не объяснялись между собой; происходило это отчасти благодаря тому обстоятельству, что они приходили домой къ своимъ норамаъ или спать, или дремать на солнечномъ припекѣ,—словомъ, находились въ томъ состояніи, которое мало способствуетъ разговорчивости.

На первыхъ порахъ выпало лишь нѣсколько случаевъ, когда Зерновъ не только слышалъ разговоръ, но и понималъ его содержаніе.

Однажды въ воскресенье онъ, по обыкновенію, усѣлся на излюбленномъ бугрѣ, откуда открывался далекій видъ, и медленно покуривалъ папироску, изрѣдка и почти безсознательно бросая взгляды на голыхъ людей; въ этотъ часъ всѣ они были въ сборѣ. День выдался теплый и ясный; потоки горячихъ лучей лились на землю, а въ томъ числѣ и на голыхъ, изъ которыхъ одни спали, другіе лѣниво повертывались съ боку на бокъ. Между прочимъ, двое находились недалеко отъ Зернова. Одинъ изъ нихъ, большой, мрачный верзила, лежалъ съ закрытыми глазами, но, видимо, не спалъ; другой, маленькій мужиченко, сидѣлъ возлѣ него и переворачивалъ передъ солнцемъ женскую кофту, повидимому, недоумѣвая, что съ ней дѣлать. Черезъ нѣсколько минутъ онъ вдругъ вздохнулъ и обратилъ свой недоумѣвающій взоръ къ товарищу.

— Вишь, кофту мнѣ подарила,—вдругъ сказалъ онъ.

— Она?—лѣниво спросилъ товарищъ, не открывая глазъ.

— Она. Кофту. На, говорить, тебѣ кофту, потому мужскаго у меня ничего нѣту... Возьми, говорить, и глазъ больше не кажи.

— Это она-то?

— Она.

Мрачный верзила помолчалъ и потомъ спросилъ прежнимъ лѣнивымъ тономъ:

— Ну, а ты что?

— Я ничего... Я къ ней съ лаской. Настасья, говорю, вѣдь я тоже былъ мужъ твой... чай, помнишь? Ежели, говорю, ты будешь жить со мной, я мѣсто найду и приму человѣчій образъ опять. Не гони только меня. Долго я упражнялся.

— Ну, а она что?

— А она говоритъ: „м-морда, говоритъ, мнѣ твоя а-пр-ративѣла, не то чтобы жить съ тобой!“

— Такъ и сказала?—лѣниво переспросилъ товарищъ.

— Такъ прямо и сказала: „морда мнѣ, говоритъ, твоя а-пр-ративѣла“.

— Ну, а ты что?

Но на этотъ вопросъ маленькій мужиченко не отвѣтилъ. Смотри на кофту, онъ задумался о чемъ-то. Потомъ, не отвѣчая на вопросъ, сказалъ:

— Любилъ я ее допрежь, Настасью-то. Когда мы шли изъ деревни сюда, мы думали—за счастьемъ идемъ. А оно вотъ что вышло! Она поступила на мѣсто, а я безъ мѣста ходилъ. А тутъ она скоро дружка нашла, и я съ энтихъ поръ пропалъ...

— Дуракъ!—возразилъ на это мрачный верзила.

— Я?

— А то кто же?

Маленькій мужиченко былъ согласенъ съ этимъ отвѣтомъ, но, подумавъ немного, спросилъ:

— Почему?

— Да такъ,—нехотя отвѣтилъ верзила.

— Это ты насчетъ чтобы избить ее? Ну, нѣтъ! Богъ съ ней. Потому она при мѣстѣ, на куфѣ, а я вродѣ какъ прохвость,—за что же ее бить? Добрая она была ко мнѣ, ласковая. Вотъ даже и теперь кофту, вишь, дала.

— Что же ты будешь дѣлать съ ей, съ кофтой-то?—презрительно спросилъ верзила.

— Съ кофтой? Я перешью ее,—задумчиво сказалъ бывший Настасьинъ мужъ.

— Дуракъ!

Лѣниво выговоривъ этотъ окончательный приговоръ, мрачный дѣтина повернулся на бокъ и, положивъ голову на одну руку, другою рукой прикрылъ лицо отъ солнца. А Настасьинъ мужъ опять сталъ разглядывать кофту на свѣтъ, но, ка-

жется, думалъ не о кофтѣ, хотя это былъ одинъ изъ самыхъ неутомимыхъ хозяевъ между голыми людьми.

Выслушавъ этотъ разговоръ, Зерновъ самъ задумался. Онъ вспомнилъ незамѣтно о своей женѣ; отъ нея что-то давно не было писемъ. Что она подѣлываетъ тамъ, на берегу Неаполитанскаго залива? Вѣроятно, уже соскучилась... А, быть можетъ, вовсе не соскучилась? „М-морда мнѣ твоя а-пр-ративѣла!“—вдругъ вспомнилъ онъ и переполошился; безъ всякой причины тоска явилась откуда-то.

Въ другой разъ онъ слышалъ разговоръ этихъ же субъектовъ; оба они примелькались ему и онъ могъ узнать ихъ изъ сотни другихъ.

Онъ также сидѣлъ на своемъ бугрѣ и безнадежно старался подобрать недостающую риему къ одному своему стихотворенію. Въ то время, какъ взоръ его блуждалъ по широкому ландшафту великой рѣки, мысль его ожесточенно гонялась за проклятою строфой, на которой застряло его стихотвореніе. Были мгновенія, когда мелькало что-то прекрасное, но лишь только онъ хотѣлъ схватить этотъ звукъ, какъ послѣдній уже безслѣдно таялъ въ обширной области безсознательнаго. Наконецъ, эта охота за фантастическою риемой надоѣла ему и усиліемъ воли онъ постарался развлечься.

Глаза его обратились на тѣ лужайки, гдѣ обыкновенно валялись голые люди. Тамъ теперь никого не было, ибо день склонялся къ вечеру, а въ это время большинство охотилось за добычей. Только двое знакомыхъ подъ однимъ кустомъ валялись; они такъ разоспались, что забыли и о пищѣ. Мрачный верзила сильно храпѣлъ.

Но вдругъ храпъ его оборвался рѣзкимъ звукомъ, а самъ онъ вскочилъ съ земли и сталъ озираться по сторонамъ. На его лицѣ отразилось не то удивленіе, не то ужасъ. Между тѣмъ, Настасьинъ мужъ, разбуженный рѣзкимъ звукомъ, также поднялся съ земли и съ недоумѣніемъ хлопалъ глазами.

— Ты будилъ, что-ли, меня?—спросилъ онъ.

— Ничего не будилъ...

— Чего же ты буркалами такъ ворочаешь?

— Сонъ я видѣлъ... Петрунька приснился,—возразилъ верзила; ужасъ его мало-по-малу прошелъ и на лицѣ появилось страданіе.

— Какой Петрунька?

— Развѣ ты не знавалъ моего Петруньки?—въ свою очередь, спросилъ верзила.

— Нѣтъ, не знавалъ.

— Парнишка мой по шестому году... Эхъ, какъ саднить въ горлѣ! Кабы выпить теперь...—неожиданно кончилъ верзила мрачно.

Этотъ неожиданный оборотъ рѣчи былъ болѣе понятенъ для маленькаго мужиченки; онъ сочувственно взглянулъ на своего страдающаго товарища и, почесывая лохматую голову, задумался; видимо, онъ припоминалъ всѣ средства, путемъ которыхъ можно достать посудину съ успокоительною влагой. Но, обдумывая этотъ важный вопросъ, онъ механически продолжалъ спрашивать о Петрунькѣ.

— По шестому году, говоришь? Гдѣ-жъ онъ?

— Видишь-ли... Петрунька въ ту пору остался у меня одинъ,—всѣ перемерли ужь... и хозяйка моя. Одни мы съ Петрунькой жили. Ему пошелъ шестой годъ, росъ безъ призора. Я таскалъ кладъ на баржи, а онъ тутъ же по берегу бѣгалъ. Какъ только я кончалъ таскать, сейчасъ же разыскивалъ его, бралъ на руки, и онъ, бывало, охватить рученками шею мнѣ и прижмется. Чуялъ, шельмецъ, что на всемъ свѣтѣ я одинъ у него. И онъ одинъ былъ у меня. И спали, и ходили мы съ нимъ вмѣстѣ. Вотъ разъ онъ бѣгалъ съ ребятами по берегу, когда я таскалъ кладъ, забѣжалъ на баржу и упалъ въ воду. Булькнулъ, говорятъ, какъ камень. Утопъ, значить. Искали-искали, такъ и не нашли.

Верзила говорилъ все это съ лѣнивымъ равнодушіемъ, словно рассказывалъ о какомъ-то событіи, совсѣмъ не касавшемся его. Но вдругъ ужасъ опять появился на его лицѣ.

— И вотъ я сейчасъ его видѣлъ,—сказалъ онъ, озираясь по сторонамъ.

— Петруньку?—равнодушно спросилъ худой мужиченко, занятый совсѣмъ другимъ.

— Будто густой туманъ стоитъ надъ рѣкой... и вдругъ будто изъ этого самаго тумана, съ середины рѣки, я слышу голосъ Петруньки: „Тя-атьяка! вынь меня!“ Я будто бросился къ берегу и протянулъ руки, и хочу кричать, и разглядѣть, гдѣ онъ, а туманъ мѣшаетъ, голосу у меня нѣтъ, ноги и руки мои окостенѣли. Собралъ я послѣднія силы и что есть

мочи крикнулъ: „Я здѣсь, Петрунька!...“ И тутъ проснулся. Безпрямѣнно надо выпить,—саднить въ горлѣ.

— Саднить?—сочувственно спросилъ маленькій мужиченко.

— Просто сверлить!

— Ну, въ такомъ разѣ достанемъ. Айда!

Оба они поднялись изъ-подъ куста и рысцой побѣжали по тропинкѣ оврага внизъ.

Зерновъ проводилъ ихъ взглядомъ и былъ сильно взволнованъ. Передъ нимъ стояла потрясающая картина. Онъ старался возстановить образъ Петруньки, который утопъ, и густой туманъ на серединѣ рѣки, гдѣ его видѣлъ отецъ. Но, въ то же самое время, въ неизвѣстномъ уголѣ его головы назойливо звучали нелѣпыя риѣмующія слова: „взялъ—капралъ“, „ларецъ — скворецъ“. Онъ представлялъ себѣ, какъ отецъ прибѣжалъ на баржу и смотрѣлъ на то мѣсто въ водѣ, куда булькнулъ Петрунька, а въ головѣ продолжали раздаваться глупыя слова: „ларецъ—скворецъ“...

Не зная, какъ отдѣлаться отъ дурацкихъ, невѣдомо откуда взявшихся словъ, Зерновъ даже сплюнулъ и поспѣшилъ уйти въ комнаты. Но, уже раздраженный, онъ и въ комнатахъ увидалъ все вдругъ въ мрачномъ свѣтѣ. Главнымъ образомъ, ему бросилась въ глаза груда грязныхъ бумагъ, валявшихся на столѣ. Это были его прозаическія сочиненія и стихи, а внизу подъ ними лежала рукопись съ поэмой. Все за лѣто пожелтѣло и отсырѣло. Скверная дача отбила у него всякую охоту работать. Къ поэмѣ онъ даже не притрогивался. Ему слѣялось ясно, что Аполлона ему не видать, какъ своихъ ушей... „Ларецъ — скворецъ“,—послышались опять гдѣ-то дурацкія слова.

— Завтра же уѣду!—сказалъ онъ въ раздраженіи.

Но завтра онъ не уѣхалъ, остановленный нѣкоторыми событіями въ жизни голыхъ людей, отчасти коснувшихся и его.

VI.

Событія! До сихъ поръ Зернову даже въ голову не приходило, что у голыхъ людей есть событія. Событія—признакъ жизни, но у нихъ развѣ жизнь? У нихъ быть, а не жизнь, да и быть ничтожный.

Однако, онъ скоро убѣдился воочію, что событія у голыхъ людей есть.

Это было на другой день послѣ того, какъ онъ было рѣшилъ уѣхать съ дачи. По дорогѣ изъ города на дачу онъ былъ насквозь промоченъ дождемъ. Мелкій, но частый дождь сѣкъ его съ половины пути до самаго мѣста, — сѣкъ до тѣхъ поръ, пока онъ, усталый, не вбѣжалъ подъ крышу своей развалины. Здѣсь онъ поторопился снять съ себя мокрое платье и разбросалъ его для просушки по стульямъ; грязныя же калоши совсѣмъ выбросилъ за дверь на крыльцо и забылъ о нихъ до утра.

Но утромъ калошъ на мѣстѣ уже не оказалось. „Кто-нибудь изъ нихъ утащилъ“, — подумалъ. Зерновъ и не сталъ искать. Правда, исчезновеніе калошъ удивило его, но не разсердило, все равно, какъ еслибы кошка стащила у него со стола что-нибудь изъ съѣстного. Да и калоши были уже порядочно сбитыми, такъ что и жалѣть ихъ собственно не стоило. Онъ и не жалѣлъ, а просто констатировалъ фактъ ихъ пропажи.

Къ вечеру, возвращаясь изъ города на дачу, онъ даже совсѣмъ забылъ о нихъ. Но когда онъ уже подходилъ къ дому, его вдругъ остановилъ одинъ изъ голыхъ людей, — остановилъ издалика и несмѣло.

— Позвольте, баринъ, побеспокоить вашу милость? — спросилъ онъ и издалика, на почтительномъ разстояніи, вытянулъ шею по направленію къ Зернову, каковою позой онъ хотѣлъ, очевидно, выразить, что приблизиться онъ боится и недостойнъ.

Зерновъ остановился и на минуту оторопѣлъ. Ему не случилось непосредственно объясняться съ голыми людьми и теперь онъ вопросительно посмотрѣлъ на оборванца.

— Калошъ у васъ нѣту? — спросилъ послѣдній и пальцемъ указалъ на сапоги Зернова.

— Да, нѣтъ, ночью кто-то утащилъ, — возразилъ Зерновъ. — А что?

— Да такъ. Довольно даже подло въ этомъ разѣ!... Живетъ баринъ смирно и вдругъ калоши у него утащить! Подлая душа, больше ничего! — проговорилъ оборванецъ и глядѣлъ по сторонамъ; на его лицѣ показалась во время этихъ

словъ гримаса, которою онъ, видимо, надѣялся выразить презрѣніе къ негодяю, утащившему калоши.

— Вѣроятно, кто-нибудь изъ вашихъ?—спросилъ Зерновъ.

— Само собою, нашъ. Знаю я его довольно.

— Знаешь?

— А то какъ же? Очень даже хорошо знаю! — сказалъ оборванецъ съ презрительною гримасой.

— Зачѣмъ же онъ взялъ ихъ?

— Да такъ, шелъ мимо, видитъ—калоши, напримѣръ, зря лежать, и взялъ, подлецъ.

— Куда онъ ихъ дѣлъ?—спросилъ Зерновъ съ любопытствомъ.

— Калоши? Окончательно въ кабакъ ихъ снесъ!

Говоря это, оборванецъ показывалъ на своемъ лицѣ, что ему очень грустно вспомнить о такомъ нелѣпомъ концѣ калошъ.

— Глупый человѣкъ! Лучше бы онъ носилъ ихъ. Вѣдь, онъ, чай, босой?

— Какъ есть босой, подлецъ!—подтвердилъ оборванецъ и посмотрѣлъ на свои голыя ноги.

Тутъ только Зерновъ замѣтилъ, что его собесѣдникъ навеселѣ, и началъ догадываться о фантастической личности „подлой души“.

— Въ кабакъ-то зачѣмъ онъ снесъ ихъ?

— Видите-ли, ваша милость, какъ онъ разсудилъ: „Ежели, говорить, я надѣну ихъ на ноги, то только ногамъ будетъ тепло; ежели же, говорить, я выпью на нихъ, то тепло пойдетъ по всѣмъ жиламъ“.

При этихъ словахъ оборванецъ лукаво взглянулъ на Зернова, но, встрѣтивъ пристальный взоръ послѣдняго, снова сталъ осматриваться по сторонамъ, какъ будто сильно интересовался окрестностями.

— Извѣстно, глупо разсудилъ. А вы, ради Бога, больше не бросайте зря калоши, потому соблазнъ. И простите ужъ того человѣка,—не въ прокъ пошли калоши ваши ему!... Просимъ прощенья, ваша милость!

Пробормотавъ это несвязное извиненіе, оборванецъ удалился за ближайшій кустъ.

Зерновъ также пошелъ своею дорогой къ дому, но былъ положительно обезкураженъ всею этою сценой. „Какое по-

«бужденіе заставило оборванца, утащившаго калоши, придти къ хозяину ихъ и почти открыто сознаться въ своемъ поступкѣ? — спрашивалъ себя Зерновъ и недоумѣвалъ. — Не можетъ быть, чтобы онъ пришелъ посмѣяться надъ ротозѣемъ!...» При этой мысли Зернову стало совѣстно. Въ наружности и словахъ голаго человѣка онъ вдругъ теперь увидѣлъ что-то такое, о чемъ раньше не думалъ. И ему стало теперь совѣстно за себя, совѣстно за то, что до сихъ поръ на голыхъ людей онъ смотрѣлъ какъ на предметъ барскаго бездѣльнаго любопытства.

Дѣйствительно, когда случай столкнулъ его съ ними, онъ посмотрѣлъ на нихъ только съ любопытствомъ. Для него они представлялись лишь оригинальнымъ явленіемъ, которое съ удовольствіемъ можно отъ скуки изучить. Правда, онъ очень заинтересовался ими и необыкновеннымъ бытомъ ихъ, но заинтересовался какъ предметомъ, не имѣющимъ никакой связи съ нимъ, Зерновымъ. Для него они были не люди, а картины съ оригинальными фигурами.

Да иначе Зерновъ и не могъ отнестись. Онъ былъ сынъ своего времени. Время же это вотъ какое: отвращеніе ко всѣмъ иллюзіямъ, смѣхъ надъ всѣмъ, чему еще недавно люди свято вѣрили, холодъ и душевная пустота. Несмотря на молодость, Зерновъ уже съ старческимъ холодомъ относился ко всему, что его лично не касалось. Литературой занимался онъ также, какъ личнымъ дѣломъ; прочіе же люди нужны ему были только въ качествѣ театральной публики, благодаря чему всякое его созданіе было пустопорожнимъ мѣстомъ, не занятымъ никакою мыслью, и красивымъ измышленіемъ, лишеннымъ цѣли.

И вотъ ничтожный случай съ калошами навелъ его на рядъ тяжелыхъ размышлений о самомъ себѣ. Отчего онъ не видитъ никакой кровной связи своей личности съ людьми вообще и съ такими падшими существами, какъ его голые сосѣди, въ особенности? И если эту связь снова нельзя соединить, то зачѣмъ онъ пользуется людьми, картиной?... Но, быть можетъ, еще связи не порваны.

Черезъ нѣсколько дней послѣ случая съ калошами Зерновъ испыталъ еще болѣе горькое разочарованіе въ себѣ.

Въ этотъ день онъ всталъ позднѣе обыкновеннаго. Солнце было уже высоко. Голые люди давно убрались на утреннюю

добычу. Только внизу оврага лежалъ одинъ изъ нихъ. Зерновъ не обратилъ бы на это вниманія,—валяется оборванецъ въ травѣ и спитъ,—дѣло обыкновенное, если бы двѣ вещи не показались ему странными; во-первыхъ, голый человѣкъ не лежалъ мертвецки, какъ обыкновенно, а катался по травѣ; во-вторыхъ, катаясь, онъ сильно стоналъ, стоналъ какъ-то по-бабьи, съ тяжелыми охами и причитаніями. Видимо, онъ былъ чѣмъ-то боленъ,—боленъ, по всей вѣроятности, брюхомъ,—можетъ быть, съ перепоею, можетъ быть, обѣлся тухлой воблы. Онъ теръ себѣ животъ рукой, а когда это не помогало, катался по землѣ съ бабьимъ воємъ.

Зерновъ стоялъ на краю оврага и раздвоился на двѣ половины. Для него было ясно, что надо идти и помочь. Но органическое отвращеніе не позволяло ему сдѣлать шагъ внизъ; оборванецъ имѣлъ скверный видъ. Глаза у него были желтовато-мутные, противные бабьи стоны его вызывали только физическую боль, но не состраданіе. Какъ къ нему подойти? Онъ еще, пожалуй, выругаетъ непристойнымъ словомъ.

Зерновъ стоялъ на краю и раскалывался, съ мучительною болью, пополамъ. Нѣсколько разъ онъ порывался броситься внизъ и сдѣлать что-нибудь для голыша, но непреодолимаа брезгливость приковывала его на мѣстѣ. Наконецъ, онъ понялъ, что у него нѣтъ силъ сойти внизъ, и отошелъ въ сторону, отвернулся отъ оврага, опечаленный и совершенно уничтоженный.

Съ этого дня голые люди перестали быть для него картиной; ихъ великолѣпное, типическое безобразіе не доставляло ему больше никакого удовольствія. Напротивъ, безобразіе сдѣлалось безобразіемъ, грязь—грязью, и въ ихъ паденіи онъ уже ничего не видѣлъ красиваго. Вмѣстѣ съ этимъ и холодное любопытство его пропало.

Видѣть ихъ теперь ему сдѣлалось просто непріятно, тяжело, часто мучительно. Онъ пробовалъ къ нимъ отнестись съ участіемъ, съ простымъ человѣческимъ участіемъ, пробовалъ войти съ ними въ сношенія, поговорить, посоветовать, пожалѣть, но увидѣлъ, что это невозможно. Между собой и голыми людьми онъ не видѣлъ никакой точки соприкосновенія. Даже простого разговора онъ не могъ представить себѣ. Что они ему скажутъ? И что онъ имъ скажетъ?

Но незамѣтно для себя онъ сталъ разбирать ихъ жизнь, въ то же время, разбирая по косточкамъ себя, незамѣтно для себя ставилъ свою личность и грязныя морды на одну доску.

Въ особенности неотлучно преслѣдовалъ его вопросъ: чѣмъ эти люди живутъ? Какая сила заставляетъ ихъ жить и что ихъ удерживаетъ отъ смерти?

Повидимому, для нихъ подѣ луной все было кончено; для нихъ, кажется, не осталось ничего, что считается принадлежностью жизни, ни одного признака существованія. Они голы, босы, „не пимши“, „не ѣмши“, безъ домовъ, безъ семьи, внѣ общества, почти внѣ природы, — чѣмъ же они живы? Часто многіе изъ нихъ напивались, но давала-ли имъ водка хотя бы минутное удовольствіе? — рѣшительно нѣтъ. Мрачные субъекты послѣ выпивки приходили еще мрачнѣе, на большинство же водка не производила даже отрицательнаго дѣйствія; напившись, они торопились добѣжать до травы, хлопались подѣ первый попавшійся кустъ и засыпали мертвымъ сномъ. Чѣмъ же они жили, что ихъ удерживало отъ смерти?

Предлагая себѣ такіе вопросы, Зерновъ съ болью копался въ себѣ. Чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, онъ-то живетъ? Его-то что удерживаетъ отъ смерти? Несмотря на молодость, въ сердцѣ его червоточина; онъ ни во что не вѣритъ, кромѣ жизненныхъ мелочей; онъ ничего не ждетъ, кромѣ завтрашняго дня; все выходящее изъ круга этихъ мелочей онъ считаетъ или глупымъ, или фальшивымъ. Съ людьми онъ ничѣмъ не связанъ. Вмѣсто обязательныхъ идеаловъ, у него пустопожнее мѣсто. Въ мечтахъ и въ жизни онъ одинъ и самъ не знаетъ, ради чего и кого онъ существуетъ. Онъ просто босякъ, только въ другомъ родѣ. Босяковъ, впрочемъ, всегда много; отъ нихъ никому житья нѣтъ; общія ихъ свойства — пустомысліе и наглость. До послѣдняго онъ не дошелъ, но во всѣхъ другихъ случаяхъ онъ — босякъ, которому нечѣмъ жить... Что же удерживаетъ его отъ смерти? Какая сила побуждаетъ его ожидать завтрашняго дня, не покончивъ съ нынѣшнимъ?

И Зерновъ, задавая себѣ подобные вопросы, не зналъ, что на нихъ отвѣтить. Онъ думалъ, что лучше всего на это отвѣтить его несчастные сосѣди; они голы, босы, „не пимши“,

„не ѡмши“ и, конечно, лучше всего могутъ сказать, чѣмъ заманчива ихъ жизнь. Они упали на самое дно жизни и навѣрное, самые компетентные судьи въ рѣшеніи того, что такое жизнь...

Но, проживъ на своей дачѣ болѣе двухъ мѣсяцевъ, они никакъ не могъ примѣтить, чтобы голые люди были компетентны въ философскихъ вопросахъ; напротивъ, они выражали своими фигурами очевидное нежеланіе заниматься рѣшеніемъ метафизическихъ задачъ. Они ничѣмъ не волновались. Кажется, не было такой вещи, которою бы они дорожили. Жизнь была для нихъ дешевле копѣйки. Къ разнымъ недочетамъ они относятся съ полнымъ хладнокровіемъ и равнодушіемъ. Равнодушіе и безжизненность отличали всѣ ихъ дѣйствія; застывшія ихъ фізіономіи не отражали ни малѣйшей игры ума и чувства.

Нѣсколько разъ Зерновъ присутствовалъ при ихъ дракахъ, но никогда не могъ замѣтить гнѣва, озлобленія, мстительности, воодушевленія дерущихся. Обыкновенно дѣло происходило такъ. По неизвѣстной для Зернова причинѣ вдругъ кто-нибудь изъ нихъ бацнетъ своего товарища по уху или по башкѣ; тотъ, спустя нѣкоторое время, отвѣтитъ обидчику тѣмъ же, т.-е. также бацнетъ его по башкѣ; вслѣдъ затѣмъ оба лѣниво ложатся на траву рядомъ и засыпаютъ. Если же иногда этотъ обмѣнъ оплеухами и продолжался нѣсколько долѣе, то совершался съ обѣихъ сторонъ также съ полнѣйшею лѣнностью.

Но однажды ему довелось быть свидѣтелемъ необычайнаго возбужденія всѣхъ голыхъ людей. На одной изъ лужаекъ на вытоптанномъ мѣстѣ, всѣ они собрались въ кружокъ и съ ажитированными лицами слѣдили за тѣмъ, что происходило внутри круга. Еще не понимая, въ чемъ дѣло, онъ уже издали разслышалъ громкіе возгласы:

— Орелъ!

— Рѣшка!

Когда Зерновъ подошелъ поближе, ему стали понятны возгласы: въ кругу играли въ орлянку—игру настолько же простую, насколько и азартную. Играли, впрочемъ, только нѣсколько человѣкъ; остальные были зрителями. Первые съ сосредоточенными фізіономіями метали, но были молчаливы. Шумъ производился не ими собственно, а зрителями. Зрите-

ли, казалось, больше волновались, чѣмъ сами игроки; когда монета банкомета летѣла вверхъ, они всѣ, какъ одинъ человекъ, поднимали головы къ небу; когда же она ударялась объ землю, они опускали головы, слѣдя за тѣмъ, какъ монета ляжетъ—орломъ или рѣшкой; самые же взволнованные вскакивали съ мѣста и гнались за монетой, если она, ударившись на ребро, катилась въ сторону, куда-нибудь въ траву. Денегъ или вещей у нихъ, очевидно, не было, и волновались они попусту, но, тѣмъ не менѣе, ихъ волненіе неизмѣримо превышало возбужденное состояніе самихъ игроковъ.

Игроки сосредоточенно молчали и по мѣрѣ того, какъ шла игра, становились только болѣе сосредоточенными. Счастье поминутно переходило то къ одному, то къ другому. Слышые „орель“ и „рѣшка“ то и дѣло передавали судьбу въ разныя руки. Это длилось больше часа. Наконецъ, изъ строя игроковъ большая часть выбыла. Проигравшись до послѣдней копейки (на тѣлѣ же ихъ не было никакихъ вещей), они нѣкоторое время съ продолжающимся возбужденіемъ стояли въ кругу, слѣдя за игрой, но скоро, подъ вліяніемъ апатіи, сядили на траву подлѣ зрителей и уже равнодушно смотрѣли въ кругъ.

Игровыхъ осталось только двое. Это были знакомые Зернова—большой верзила съ угрюмою фizioноміей и маленький, худой мужиченко; они, насколько можно, были вообще неразлучны.

Мрачный верзила и теперь оставался невозмутимымъ; лицо его было, какъ всегда, безстрашнымъ и холоднымъ, и только сосредоточенное вниманіе, съ какимъ онъ слѣдилъ за ходомъ игры, выдавало его возбужденіе. Счастье, видимо, клонилось на его сторону; онъ всѣхъ обыгралъ и теперь доканчивалъ маленькаго мужиченку, своего товарища и бывшаго Настасьина мужа. Но за то бывшій Настасьинъ мужъ держалъ себя въ высшей степени безпокойно. Маленькое, обезьянье лицо его поминутно мѣняло выраженіе то страха, то радости. Онъ топтался на мѣстѣ, смѣялся, вздыхалъ, шлепалъ монету объ полъ, плевалъ съ ожесточеніемъ на нее, а когда она катилась въ траву, онъ какъ-то по-ребячьи бѣжалъ за ней. Но ничто уже не могло спасти его отъ угрюмаго верзилы.

Наконецъ, верзила поднялъ съ земли послѣднія двѣ копѣйки, принадлежащія его противнику. Мужиченко на минуту оторопѣлъ. Но затѣмъ, взволнованный и возбужденный, онъ показалъ на свои кубовые шаровары. Происхождение кубовыхъ шароваръ было очень простое: шелъ онъ сегодня мимо одного двора, гдѣ они на веревкѣ болтались съ прочимъ бѣльемъ, и взялъ ихъ, — взялъ собственно потому, что они зря болтались, между тѣмъ какъ его портки уже падали съ ногъ; взялъ и тотчасъ надѣлъ ихъ, и вотъ теперь эта предусмотрительность оказалась не лишнею.

— Мечи штаны! — сказалъ онъ съ судорожною улыбкой.

— Въ какую цѣну? — равнодушно возразилъ верзила.

— Цѣлковый!

— Ну, братъ, въ цѣлковый метать не стану.

— Ей-Богу, за этакіе штаны я, бывало, платилъ по цѣлковому! — убѣдительнымъ тономъ проговорилъ мужиченко.

Товарищъ, однако, не убѣдился этимъ сильнымъ доводомъ. Наконецъ, по обоюдному соглашенію, кубовые штаны пошли за семь гривенъ. Когда эта оцѣнка была окончена, верзила лѣниво сказалъ:

— Скидавай!

— Скидавать? — нерѣшительно повторилъ мужиченко и съ нѣкоторымъ конфузомъ оглянулъ присутствующихъ.

— Я, братъ, люблю на чистоту. Скидавай! — подтвердилъ верзила.

Послѣ минутной нерѣшительности мужиченко торопливо скинулъ штаны, свернулъ ихъ комочкомъ и положилъ въ середину круга, оставшись въ своихъ старыхъ порткахъ.

Прошло полчаса сосредоточенной игры, во время которой кубовые шаровары неподвижно лежали на серединѣ круга. Наконецъ, мужиченко поставилъ на конъ послѣднія пять копѣекъ и проигралъ. Верзила лѣниво поднялъ кубовые шаровары съ земли и перекинулъ ихъ черезъ плечо. Мужиченко судорожно улыбнулся, растерянно потоптался на мѣстѣ и предложилъ метать рубаху.

Рубаха его была столь же простого происхожденія, какъ и кубовые штаны, только болѣе древняго, а потому, по обоюдному соглашенію, была оцѣнена въ десять копѣекъ.

— Метать? — спросилъ верзила.

Бывшій Настасьинъ мужъ утвердительно кивнулъ головой.

— Скидавай!

— И рубаху?—переспросилъ мужиченко и оглянулъ по сторонамъ, стыдливо недоумѣвая, но, встрѣтивъ суровыя лица всѣхъ присутствующихъ, онъ торопливо скинулъ рубаху, свернулъ ее комочкомъ и положилъ на кругъ. На немъ осталось только нѣсколько тряпокъ, которыя онъ считалъ портками.

Напряженіе его дошло до послѣдней степени; болѣзненная судорога искажала его лицо. Поставивъ весь гривенникъ, содержащійся въ рубахѣ, онъ слѣдилъ за всѣми движеніями противника. Когда послѣдній метнулъ и монета ребромъ покатила въ сторону, мужиченко со всѣхъ ногъ бросился въ догонку ей и вдругъ радостно крикнулъ: рѣшка! Вдругъ затѣмъ онъ поднялъ рубаху, надѣлъ ее и неожиданно отошелъ въ сторону, но стоять у него не было силъ отъ нравственнаго потрясенія, и онъ сѣлъ на траву.

— Не хочешь больше?—спросилъ верзила.

— Ну тебя!—тяжело вздохнулъ бывшій Настасьинъ мужъ.

— Испужался?

— Даже и нисколько не испужался. А такъ, не хочу.

Этимъ игра кончилась.

Черезъ минуту, по приглашенію мрачнаго верзилы, присутствующіе двинулись въ кабакъ и пропили все, что онъ выигралъ.

Зрновъ все это время напряженно слѣдилъ за игрой, за лицами, за всѣмъ происходящимъ, причѣмъ переживалъ тѣ же чувства, какъ и присутствующіе; были минуты, когда онъ совсѣмъ забывался и готовъ былъ вмѣстѣ съ мужиченкой бѣжать за монетой, чтобы поскорѣ узнать—орелъ или рѣшка. Его сочувствіе поминутно мѣнялось, склоняясь то на ту, то на другую сторону, и только когда бывшій Настасьинъ мужъ снялъ рубаху, симпатія его окончательно склонилась на сторону этого ребенка.

Когда онъ послѣ окончанія игры уходилъ къ себѣ, мысли его были весьма странныя. „Нѣтъ, неправда!... Не обыкновенныя мелочи привлекательны, не пустяками живы люди... Наоборотъ, привлекательно все необыденное, не мелкое... Привлекательно все, что выходитъ изъ ряда пошлости, все необыкновенное, таинственное, великое, неизвѣстное,—все то, что вызываетъ взрывъ мыслей и чувства!“

Впрочемъ, странныя мысли легко объяснить тою странною компаніей, въ которой онъ прожилъ цѣлое лѣто, причемъ мысли эти исключительно онъ относилъ къ самому себѣ. Быть можетъ, также многое зависѣло отъ дурной погоды, измучившей въ это лѣто всѣхъ дачниковъ.

VII.

Лѣто приближалось къ концу. Погода окончательно сдѣлалась дурною. Это съ особенною чувствительностью отразилось на голыхъ людяхъ. Холодный дождь, рѣзкій вѣтеръ, грязь сдѣлали скоро пребываніе ихъ въ норахъ невыносимымъ. Норы то и дѣло заливались у входа красною—отъ примѣси глины—водой.

Голые старались искать другихъ убѣжищъ,—лѣто съ его тепломъ и воздухомъ все-таки было лучшимъ временемъ для нихъ. Выгоняемые съ лужаекъ холоднымъ дождемъ, они пробовали прятаться подъ землей, но продолжающійся дождь грязными потоками врывался въ ямы и проникалъ въ самую середину норъ. Выгоняемые водой на подобіе сусликовъ, они выбѣгали оттуда и прятались въ дровахъ и бревнахъ, занявшихъ весь берегъ подъ горой, но сырость и холодъ забирались и подъ дрова.

Некуда имъ было дѣваться. Видъ ихъ сдѣлался жалкій. Всегда мокрые, они дрожали отъ холода; переднія и заднія лапы ихъ были синими. Комки грязи покрывали все ихъ тѣло.

Для нихъ такое сокращеніе лѣта было истиннымъ, невознаградимымъ несчастіемъ. Подъ открытымъ небомъ, въ чистой травѣ, среди кустовъ, согрѣваемые солнцемъ, они отдыхали послѣ ночлежныхъ притоновъ и другихъ зимнихъ убѣжищъ. Скученные тамъ въ страшномъ воздухѣ, сѣдаемые насѣкомыми, вѣчно иззябшіе, они убѣгали оттуда при первыхъ лучахъ весенняго солнца, поселялись въ норахъ и вели здѣсь до глубокой осени ту привольную жизнь, которая уже описана. Норы, такимъ образомъ, служили имъ великолѣпными дачами.

И вотъ теперь лѣто пропало для нихъ, и жизнь на волѣ, въ норахъ, стала нестерпимою. Мало-по-малу они стали по-

кидать лоно природы. Приходя на свою дачу, Зерновъ каждый вечеръ не досчитывался одного-двухъ изъ своихъ сосѣдей, физиономіи которыхъ примелькались ему. Одинъ по одному они разбредались неизвѣстно куда, навсегда пропадая для привыкшаго къ нимъ Зернова.

Скоро послѣдній совсѣмъ пересталъ видѣть знакомыя лица. Только двое изъ всего стада голыхъ продолжали жить въ норахъ. Несмотря на скверные дни, они упорно не хотѣли покидать своихъ лѣтнихъ жилищъ. Прячась то въ дровахъ, то по норамъ, они регулярно, въ извѣстные часы дня и ночи, появлялись въ любимыхъ своихъ мѣстахъ.

Это были хорошіе знакомые Зернова: большой угрюмый верзига, бывшій Петрунькинъ отецъ, и маленькій, ничтожный мужиченко, бывшій Настасьинъ мужъ. Теперь они почти не разлучались и жили, повидимому, очень дружелюбно. Вмѣстѣ они отыскивали убѣжища подъ дровами и рядомъ ложились тамъ спать. Когда же изъ-подъ дровъ ихъ выгналъ проливной дождь, падавшій въ продолженіе нѣсколькихъ дней, худой мужиченко приладилъ для житія одну изъ норъ.

Это былъ хозяйственный человѣкъ и потому вездѣ находилъ возможность приладиться. Въ данномъ случаѣ надъ одной изъ покинутыхъ норъ онъ воткнулъ вертикально нѣсколько палокъ, привязавъ къ нимъ помощью мочала нѣсколько палокъ горизонтально, и прикрылъ всю эту постройку навозомъ, благодаря чему получился навѣсъ отъ дождя; возлѣ же входа въ нору, въ ямѣ, онъ произвелъ дренажъ, выбросавъ глину, прямо лапами, вслѣдствіе чего лужа въ ямѣ не застаивалась и норы не затопляла. Въ самую же нору онъ натаскалъ соломы и сѣна, и хотя всѣ эти мѣры не предохранили двухъ товарищей отъ холода и сырости, но они могли спать спокойно.

Иногда они разводили подъ кустомъ огонекъ, грѣлись около него и, въ то же время, варили въ котелкѣ разныя вещи. Котелокъ бывшій Настасьинъ мужъ добылъ на толкучкѣ съ опасностью для своей жизни, потому что торговка желѣзнымъ хламомъ погналась за нимъ и, лишь благодаря сильному дождю, ему удалось предохранить свою шею отъ жестокихъ побоевъ. Что касается тѣхъ вещей, которыя варились у пріятелей въ котелкѣ, то добываніе ихъ не сопряжено было съ такими трудностями. Картошку очень удоб-

но было выкапывать въ слободскихъ огородахъ, если перелѣзть черезъ плетень съ достаточными предосторожностями. Хлѣбъ же доставался еще легче; бывшій Настасьинъ мужъ бралъ его съ лотковъ, не вызывая ни малѣйшаго огорченія въ продавцахъ. Нѣсколько разъ, кромѣ того, онъ угощалъ своего мрачнаго друга уткой или курицей; говоря принципиально, утку онъ могъ, конечно, добыть на охотѣ, тѣмъ болѣе, что въ это время начинался уже перелетъ птицъ, но относительно курицы трудно сдѣлать такую оговорку, такъ какъ въ городѣ и по окрестнымъ деревнямъ дикія куры не водились.

Впрочемъ, вопросами о средствахъ жизни пріятели совсѣмъ не занимались, всецѣло погруженные въ борьбу съ разбушевавшимися стихіями. Повидимому, они рѣшились жить здѣсь до послѣдней крайности; вѣроятно, городскія труппы обоимъ были ненавистны.

Но не суждено было имъ прожить въ любимыхъ мѣстахъ такъ долго, какъ они хотѣли. Ихъ спугнули двое полицейскихъ, проходившіе однажды мимо этихъ мѣстъ.

Вышло-ли это случайно, или приказано было осмотрѣть всѣ загородныя мѣста, но только городовые, замѣтивъ двухъ босяковъ въ кустахъ, обратили на нихъ вниманіе и велѣли имъ вылѣзть оттуда. Еслибы при этомъ не присутствовалъ Зерновъ, хорошо одѣтый баринъ, то, по всей вѣроятности, дѣло кончилось бы тѣмъ, что двое пріятелей были бы спугнуты временно изъ кустовъ, потому что возня со всякаго рода оборванцами полиціи вообще надоедаетъ, а въ такую проклятую погоду въ особенности. Но, при видѣ барина, стражи волей-неволей сочли своимъ долгомъ показать себя на высотѣ призванія и взяли двухъ голыхъ пріятелей.

Одинъ изъ городскихъ ткнулъ въ спину маленькаго мужиченку, другой занялся-было мрачнымъ верзилой. Бывшій Настасьинъ мужъ оробѣлъ и безпрекословно пошелъ впередъ полицейскаго, но верзила вызвалъ пререканія.

— Не толкайся!—сказалъ онъ полицейскому, который приказывалъ ему идти.

— Ну, ну, нечего тутъ огрызаться! Иди, когда приказываютъ!—возразилъ полицейскій.

Верзила медленно и нехотя пошелъ впередъ, но оглядывался по сторонамъ; на его лицѣ лежала обычная печать

равнодушія; только въ глазахъ мелькнулъ огонекъ. Сдѣлавъ еще нѣсколько шаговъ впереди своего стража, онъ вдругъ круто повернулся, бросился въ сторону, нѣсколькими отчаянными скачками перепрыгнуть черезъ крутые овраги и пропалъ подъ горой. Полицейскій сначала оторопѣлъ отъ этой наглости, но по привычкѣ свистнулъ въ свистокъ и побѣжалъ за бѣглецомъ.

Но бѣглець уже былъ далеко; онъ направлялся прямо къ рѣкѣ. Добѣжавъ до берега, онъ бросился вдоль него, прыгнулъ въ первую попавшуюся лодку и торопливыми усиліями сталъ отталкиваться отъ берега кускомъ доски.

Зерновъ съ волненіемъ слѣдилъ за нимъ и уже мысленно видѣлъ, какъ полицейскій вытаскиваетъ его изъ лодки. Дулъ сильный холодный вѣтеръ; рыжія волны рѣки, гонясь другъ за другомъ, бѣшено бились о берега, а дальше, къ серединѣ рѣки, онѣ безпорядочно бросались въ разныя стороны, брызгали цѣлыми снопами пѣны вверхъ и ревѣли. Никакому смѣльчаку не пришла бы охота попасть въ середину этого водоворота. У босняка же не было даже веселья; вмѣсто нихъ, онъ работалъ кускомъ доски. Но онъ справился съ лодкой, оттолкнулся, повернулъ носъ по вѣтру и закачался на рыжихъ волнахъ. На лицѣ его было воодушевленіе и торжество.

Когда стражъ добѣжалъ до берега, лодка была уже далеко; вѣтеръ вертѣлъ ее въ разныя стороны, бросалъ на нее огромными волнами, кидалъ ее внизъ и вверхъ и, наконецъ, понесъ ее въ глубь водоворота. Тамъ скоро она и затерялась среди рыжихъ чудовищъ, метавшихся на рѣчномъ просторѣ.

— Пропадетъ вѣдь, собака!—сказалъ полицейскій, смотря съ конфузомъ и недоумѣніемъ то на рѣку, то на подошедшаго товарища съ бывшимъ Настасьинымъ мужемъ.

Но бѣглець, вѣроятно, предпочиталъ лучше погибнуть, чѣмъ потерять нѣсколько дней свободы. Впрочемъ, Зерновъ, наблюдавшій сверху все, что происходило внизу, долго еще слѣдилъ глазами за ныряющею лодкой; когда же она скрылась, ему все-таки казалось, что онъ видитъ за гребнями волнъ черную точку.

VIII.

Но онъ вдругъ почувствовалъ, что ему холодно. Сырой и рѣзкій вѣтеръ пронизывалъ его насквозь; ноги и руки совершенно окоченѣли у него, и мурашки пробѣгали по всему тѣлу. Незамѣтно для себя онъ простоялъ на одномъ мѣстѣ, какъ приросшій, до тѣхъ поръ, пока всѣ члены у него не одеревенѣли. Ясно, что онъ немного нездоровъ.

По дорогѣ въ комнаты онъ рѣшилъ, что завтра утромъ онъ покинетъ дачу, а сейчасъ разведетъ огонь, чтобы согрѣться.

Последнее сдѣлать было легко; кругомъ стараго дома валялись гнилыя доски, выдернутые изъ частокола колья, обрѣзки бревенъ. Стоило только набрать этого хлама, чтобы сдѣлать яркій костеръ.

Но онъ находился въ томъ состояніи, когда наименѣе пригодное кажется наиболѣе необходимымъ. Придя въ комнату, онъ смелъ въ одну кучу весь соръ, накопившійся въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ, затолкалъ его въ печку и поджогъ. Это ему казалось необходимымъ.

Пока горѣлъ этотъ соръ, онъ затѣмъ собралъ съ оконъ, со стола и стульевъ всю бумагу и съ этою огромною кучей усялся около горячей печи; и что было въ кучѣ, онъ постепенно бросалъ въ печку, внимательно, впрочемъ, разбирая каждую вещь.

Сначала ему пришлось долго возиться съ газетами; ихъ накопилось за лѣто достаточно; онѣ медленно горѣли; скверное время сдѣлало ихъ сырыми и мягкими; на огонь онѣ испускали протухлый запахъ. Чтобы всѣ ихъ сжечь, Зерновъ подкидывалъ ихъ въ печку по нѣсколькѣ номеровъ за разъ.

Вслѣдъ за газетами въ печку пошли рукописи, исписанныя сплошь прозой. Это были очерки, рассказы, наброски съ натуры, фантастическіе этюды, психологическіе опыты. Копились они въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ и напечатанные могли бы занять цѣлый уголъ въ книжномъ магазинѣ, а еслибы кто вполне прочелъ ихъ, то могъ-бы до верху засорить свою голову. Во избѣжаніе послѣдняго, Зерновъ постепенно подкидывалъ ихъ въ печку. Печку, въ

концѣ-концовъ, они, дѣйствительно засорили. и огонь въ ней потухъ, вслѣдствіе чего ему понадобилось взять трость и долго шевырять тяжелыя тетради, чтобы снова вспыхнуло пламя.

Послѣ мелкихъ тетрадей Зерновъ взялъ изъ кучи толстую рукопись, содержащую въ себѣ романъ, и нѣсколько мгновеній раздумывалъ, какъ сжечь такое чудовище въ пяти частяхъ. Если его цѣликомъ положить на огонь, то послѣдній сразу погаснетъ; въ виду этого, Зерновъ сталъ рвать его по листамъ. Это было занятіе продолжительное, а въ состояніи Зернова—тяжелое, но другимъ способомъ нельзя было уничтожить чудовищную тетрадь; брошенная въ обращеніе, она могла проломить страшную дыру въ головѣ уважаемаго читателя, и, ярко представляя себѣ такое несчастье, Зерновъ терпѣливо отрывалъ по листу отъ нея.

Наконецъ, грустная рукопись стала прогорать. Послѣ нея топка пошла быстрѣе, потому что на полу валялись только отдѣльные листики съ небольшими стихотвореніями. Наскорѣ просматривая стихи, Зерновъ подбрасывалъ поодиночкѣ ихъ въ огонь; каждое изъ нихъ ярко вспыхивало и мгновенно сгорало, не оставляя послѣ себя даже пепла, который улеталъ въ трубу.

Печка прогорала. Въ комнатѣ стало тепло. Изъ всего горючаго матеріала осталась только тетрадь съ поэмой. Зерновъ поднималъ ее съ полу и нѣкоторое время перелистывалъ. Не потому, что ему стало жалко жечь ее, но лишь затѣмъ, чтобы въ послѣдній разъ взглянуть на неповинную вещь. Нѣтъ, ему не жалко было ея!... Чтобы писать, надо, прежде всего, имѣть душу, полную содержанія; чтобы писать прекрасно, надо любить что-нибудь, а тутъ одни слова. Только справедливость дѣлаетъ литературу дорогою для людей, только защита всего обездоленнаго и погибающаго составляетъ ея содержаніе. Слово имѣетъ свое сердце, и это сердце есть стремленіе къ истинѣ и борьба за все человѣчное... Здѣсь же холодныя рѣмы, красивые образы, рассчитанные на то, чтобы возбудить нервы сытаго... Эта тетрадь—знатная развратница, обѣщающая наслажденіе всѣмъ пресыщеннымъ и скучающимъ... Зерновъ перелистывалъ рукопись до конца и тихо положилъ ее на огонь. Огонь давно почти потухъ, и ему пришлось усиленно шевырять палкой въ тлѣющемъ

пеплѣ, чтобы поджечь свою поэму, а когда она загорѣлась, онъ ворочалъ тростью листы ея до тѣхъ поръ, пока не убѣдился, что ея уже нѣтъ больше.

Печка протопилась. вмѣстѣ съ этимъ долженъ бы былъ кончиться и острый психозъ Зернова, выразившійся въ такомъ варварскомъ поступкѣ, но на полу осталось нѣсколько тетрадей чистой бумаги. Зерновъ взялъ одну пачку ея, подсѣлъ къ столу, зажегъ лампу и принялся писать, — не письмо, не стихи, не романъ, а статью о босяхахъ. Сдѣлать это онъ считалъ необходимымъ передъ отъѣздомъ съ дачи, гдѣ вмѣстѣ съ нимъ жили и голые люди.

Но онъ былъ такъ разстроенъ въ продолженіе лѣта вообще и въ послѣдніе дни въ особенности, что голова его походила на недавнюю печку, засоренную кучами тлѣвшаго пепла, и, такъ же какъ въ печкѣ, онъ долженъ былъ усиленно рыться въ своей потрясенной головѣ, чтобы привести въ порядокъ статью.

Тысячи разнообразныхъ вещей лѣзли ему въ голову, и онъ произвольно выбиралъ изъ нихъ такія, которыя съ особенною настойчивостью мелькали передъ нимъ. Сначала его поразило то обстоятельство, что всѣ голые люди вышли изъ деревни; пораженный этимъ, онъ сталъ спѣшно писать о деревнѣ. Вслѣдъ затѣмъ онъ описалъ природу Туркестана и Мерва, послѣ Мерва сейчасъ же онъ разсказалъ о толкучкѣ въ городѣ, а потомъ ему почему-то показалось необходимымъ на цѣлой страницѣ распространяться о смертности дѣтей, причемъ онъ разсказалъ подробно объ одной бабѣ, которая умоляла, чтобы Богъ прибралъ ея дѣвченокъ. Потомъ въ статьѣ опять пошли Туркестанъ, голые люди, сибирская тайга, волки, свободно гуляющіе на просторѣ, бывший Настасьинъ мужъ, ночлежный пріютъ... Все это безсвязно громоздилось другъ на друга и напоминало бредъ. Статья оканчивалась вопросомъ: „Неужели на такомъ безграничномъ пространствѣ нашей родины для большинства все-таки мѣста нѣтъ?“

Когда черезъ нѣсколько дней редакторъ мѣстной газеты читалъ эту рукопись, то недоумѣвалъ, что сдѣлалось съ Зерновымъ? „Это не статья, а буреломъ!“

Зерновъ, по окончаніи статьи, на разсвѣтѣ вышелъ изъ дому и долго бродилъ въ сыромъ воздухѣ утра. Пылающая

голова его страшно болѣла, въ то время какъ во всемъ тѣлѣ чувствовался ознобъ. Но онъ перемогался, хотя и зналъ, что онъ захватилъ какую-то болѣзнь. Наконецъ, когда вошло солнце, онъ сходилъ за извозчикомъ, забралъ вещи и покинулъ дачу.

Въ городѣ онъ также перемогался половину дня. Побывавъ въ своей конторѣ, онъ зашелъ къ знакомому редактору для врученія рукописи, гулялъ въ скверѣ и только послѣ обѣда долженъ былъ лечь въ постель; слегъ—и провалялся цѣлый мѣсяцъ.

За это время успѣла пріѣхать молодая Зернова и была поражена всѣмъ, что увидала и узнала. Она теряла голову, не зная, что дѣлать и какъ поправить любимаго человека. Онъ поднялся съ постели, но уже сильно измѣнившимся во всѣхъ отношеніяхъ. Насчетъ этой перемѣны окружающіе высказывали различныя мнѣнія, среди которыхъ молодая женщина совершенно растерялась. Друзья совѣтовали ей увезти мужа въ Неаполь. Знакомый редакторъ настаивалъ помѣстить его на излѣченіе въ больницу для душевно-больныхъ; докторъ совѣтовалъ обратить вниманіе, главнымъ образомъ, на желудокъ. Но самъ Зерновъ былъ иного мнѣнія. Въ откровенную минуту онъ разъ сказалъ женѣ, чтобы она не беспокоилась, что онъ ничѣмъ не боленъ; напротивъ, навсегда освободившись отъ босняка, какимъ онъ былъ, онъ выздоравливалъ и только еще не знаетъ, какъ лучше употребить свое здоровье.

Б е б е.

(Разсказъ).

Истина, которую прежде всего слѣдуетъ установить по отношенію къ Семену Ивановичу, заключается въ томъ, что онъ былъ доволенъ. Послѣ обѣда онъ говорилъ часто:

— Петръ, ты ужь большой выросъ. Это хорошо.

И Семенъ Ивановичъ выражалъ довольный видъ, хотя былъ только статскій совѣтникъ,—фактъ, обозначенный на дверной мѣдной доскѣ,—и хотя занимаемое имъ мѣстечко въ департаментѣ не принадлежало къ числу жирныхъ, будучи только теплымъ. Онъ не возмущался и несправедливостью къ себѣ: если его прямо, на виду у всѣхъ, обходили, онъ не ропталъ. Только скажетъ, бывало, Аниѣ Семеновнѣ съ грустью: „А Демида-то Петровича... произвели!“ — скажетъ это и улыбнется.—„Ну, и Господь съ нимъ! Не наше дѣло объ этомъ судить“,—отвѣтитъ Анна Семеновна строго, и Семенъ Ивановичъ, попрежнему, принимаетъ довольный видъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда для Семена Ивановича обѣда была ясна до горькой очевидности, когда, напримѣръ, черезъ его голову перелеталъ съ быстротою молніи какой-нибудь карьеристъ, то Анна Семеновна должна была принимать болѣе рѣшительныя мѣры для успокоенія Семена Ивановича. „Прилежь бы ты, Семенъ Ивановичъ, отдохнуй бы“,—твердо говорила она тогда, и Семенъ Ивановичъ успокоивался, стыдясь своей раздражительности при разсказѣ объ акробатѣ. Такимъ образомъ, онъ былъ доволенъ не только Петей за то, что онъ выросъ большой и учится хорошо,

не только Анной Семеновной, лучшею женщиной въ мірѣ, и не только тишиной, неизмѣнно царствовавшей въ его домѣ, но всѣмъ вообще. Вотъ истина.

День Семенъ Ивановичъ начиналъ тѣмъ, что вдругъ прекращалъ храпѣть и полуоткрывалъ одинъ глазъ, не въ состояніи будучи открыть другой. Это было всегда ровно въ 9 часовъ. Тонкій солнечный лучъ прорѣзывалъ сторы и долго игралъ на полу спальни, постепенно подвигаясь къ постели Семена Ивановича, а за этимъ лучемъ въ комнату врывалась масса свѣта, наполняя собой всѣ углы ея и освѣщая лицо Семена Ивановича. Тогда Семену Ивановичу не оставалось никакого предлога больше спать, и онъ зналъ, что онъ долженъ вставать, убѣждая себя, однако, что еще рано. Вслѣдствіе такого убѣжденія, подкрѣпляемаго еще вѣчнымъ отсутствіемъ спѣшнаго дѣла, Семенъ Ивановичъ долго лежалъ безъ движенія, съ лицомъ, которое незамѣтно, но пріятно улыбалось, и съ однимъ глазомъ, который созерцалъ одну точку, а потомъ Семенъ Ивановичъ закрывалъ и этотъ глазъ и засыпалъ. Но къ этому времени всегда являлась Анна Семеновна и будила его, стаскивая съ него одѣяло, отчего онъ впадалъ въ нѣкоторое раздраженіе и начиналъ ссору, не слушая преднамѣренно лживыхъ угрозъ Анны Семеновны.

— Никакъ ужъ первый часъ, и я не знаю, съ какими ты глазами покажешься на службу,—говорила Анна Семеновна съ притворною строгостью. Но на Семена Ивановича это не дѣйствовало. Перемѣнивъ тактику, онъ начиналъ улыбаться и открывалъ одинъ глазъ, прищуривъ другой, что придавало его лицу хитрое выраженіе; казалось, что онъ себѣ на умѣ. И дѣйствительно, лишь только Анна Семеновна уходила, увѣренная, что разбудила соню, Семенъ Ивановичъ поспѣшно покрывался, закрывалъ глаза и быстро засыпалъ, обманувъ, съ хитростью дикаря, довѣріе супруги. Просыпаясь же снова только тогда, когда вторично появлялась Анна Семеновна и съ непритворною строгостью говорила:

— Зачѣмъ же обманывать такъ, Семенъ Ивановичъ?

— Я сейчасъ, сейчасъ! — въ замѣшательствѣ говорилъ Семенъ Ивановичъ и мгновенно вставалъ, сознавая вполнѣ всѣ невыгоды своей фатальной слабости.

Послѣ обычнаго туалета Семенъ Ивановичъ шелъ къ чаю.

Въ столовой былъ накрытъ столъ, на столѣ стоялъ самоваръ, а на стулѣ помѣщался уже Петя. Вскорѣ появлялась и сама Анна Семеновна, давно раскаявшаяся за недавнюю строгость, и съ тревогой освѣдомлялась у Семена Ивановича объ его здоровьѣ. Понятно, что раскаяніе Анны Семеновны было внушено только ея добротой, потому что Семенъ Ивановичъ не сердился, выглядывая безъ раздраженія и пріятно. Ему пріятно было сидѣть въ свѣтлой комнатѣ, въ окна которой лились потоки лучей утренняго солнышка; онъ съ наслажденіемъ вдыхалъ въ себя паръ, выбрасываемый кипящимъ самоваромъ, запахъ филипповскихъ булокъ и ароматъ чая. Отъ утренней свѣжести онъ по временамъ вздрагивалъ, но это было пріятно, онъ чувствовалъ, что ему хорошо, и принимался кушать. Если онъ выпивалъ только одинъ стаканъ, Анна Семеновна тревожно освѣдомлялась, почему онъ мало кушаетъ и здоровъ-ли, а если онъ выпивалъ три стакана, Анна Семеновна высказывала боязнь, не разстроитъ-ли онъ себя, не вредно-ли ему такъ много пить. Семенъ Ивановичъ увѣрялъ, что это даже полезно, и успокаивалъ Анну Семеновну, оставаясь самъ пріятнымъ и безмятежнымъ. Безмятежность его подвергалась, конечно, тяжелому испытанію отъ кухарки Матрены, которая иногда врывалась въ комнату и наполняла всю квартиру гамомъ. Баба она была безпорядочная; улыбалась до ушей; ругалась, звѣрски оскаливъ зубы, а если ей приходилось доказывать какое-нибудь положеніе, какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда она воображала, что лавочники ее надули, и когда она думала, что господа обвинять ее въ кражѣ двухъ копеекъ, то, вмѣсто доказательствъ, она безсмысленно вопила, весь домъ наполняя тогда ревомъ. Но Семенъ Ивановичъ, раздражившись безпорядочнымъ поведеніемъ Матрены, тѣмъ не менѣе, съ честью выходилъ изъ этого испытанія.

— Не кричи, Матрена, не кричи. Зачѣмъ такъ кричать?— говорилъ кротко Семенъ Ивановичъ. Далѣе онъ увѣрялъ Матрену, что необходимо все дѣлать правильно и не спѣша, и убѣждалъ ее рассказать все дѣло по порядку и безъ рева, или же отправиться на кухню, чтобы привести въ порядокъ свои мысли. Еслибы въ такихъ случаяхъ не вступалась Анна Семеновна и не прогоняла Матрены, то Семенъ Ивановичъ долго бы еще продолжалъ убѣждать Матрену въ

бесполезности рева и въ необходимости болѣе приличнаго поведенія. И все это онъ сказалъ бы кротко и съ душевною ясностью.

Утро проходило, чай оканчивался, Семенъ Ивановичъ расчесывалъ бороду и шелъ въ департаментъ, куда и приходилъ ровно въ двѣнадцать часовъ, не понимая, по своей добросовѣстности, людей, которые являются на службу позже.

На свою службу Семенъ Ивановичъ шелъ никакъ на подневольную барщину, а какъ въ собственный домъ, гдѣ онъ былъ свой, гдѣ ему было тепло и уютно. Появляясь въ швейцарской, Семенъ Ивановичъ зналъ, что швейцаръ ослабится при видѣ его; другіе сторожа, которые ему попадаютъ по дорогѣ, сдѣлають то же. А въ отдѣленіи, когда онъ будетъ подходить къ своему столу, передъ нимъ, съ пріятною почтительностью, вытянутся испытія фizioноміи его подчиненныхъ. Семенъ Ивановичъ зналъ все это заранѣе и никогда не появлялся на службу съ гнѣвнымъ лицомъ, которое могло утѣшить испытія фizioноміи. Онъ желалъ, чтобы около него всѣмъ было хорошо, чтобы его почитали, чтобы никто подъ него не подковыривался и не каверзничалъ. Трудно это было ему. Около него народъ былъ все испитой или заржавѣвшій, такой народецъ, съ которымъ нѣтъ никакой возможности сохранять ясность души. Все отдѣленіе, гдѣ служилъ Семенъ Ивановичъ, бумаги, которыя онъ читалъ, столъ, на которомъ онъ писалъ, воздухъ, которымъ онъ дышалъ,—все, казалось, было пропитано духомъ каверзы. По цѣлымъ недѣлямъ Семену Ивановичу приходилось прочитывать одни только ядовитыя отношенія и питаться бумажною злобой, овладѣвавшею часто испитыми и заржавѣвшими людьми; каково это было ему? Не говоря уже о сплетняхъ Георгіевскаго, его товарища, состоявшаго со всѣми въ ссорѣ и враждѣ, даже официальные-то отношенія къ подчиненнымъ и высшимъ принимали ядовитый характеръ, потому что каждый былъ противъ всѣхъ и всѣ противъ cadaго. Но Семенъ Ивановичъ со всѣми жилъ мирно и ясность души сохранялъ нетронутую.

— Слыхали? — спрашивалъ Георгіевскій, приготовляясь сплетничать и лгать.

— Нѣтъ, ужъ вы, Иванъ Григорьевичъ, оставьте,—возражалъ Семенъ Ивановичъ.

— Вы только представьте себя...

— И зачѣмъ это вы, Иванъ Григорьевичъ, все беспокоите себя? Только разстройство одно—и вамъ, и мнѣ; да по мнѣ, шутъ съ ними!—говорилъ Семенъ Ивановичъ, и Георгіевскій умогалъ.

Такъ же было и со всѣми, знавшими Семена Ивановича. Непосредственный начальникъ его, при встрѣчѣ съ своими подчиненными, всегда казался пасмуренъ, какъ петербургская туча, и на его окоченѣвшемъ отъ величія лицѣ нельзя было прочесть ничего, кромѣ неизбежности повиновенія, а когда онъ встрѣчалъ Семена Ивановича и видѣлъ его румяное лицо, и его ясные глаза, и улыбку, то онъ и самъ чуть-чуть приподнималъ уголки рта. Не выходилъ изъ себя Семенъ Ивановичъ и передъ просителями, которые цѣлыми толпами шатались въ его отдѣленіи и ежедневно раздражали служащихъ. Семенъ Ивановичъ никого не удовлетворялъ изъ просителей, потому что это невозможно, но онъ всѣхъ успокоивалъ. Придетъ къ нему старушка въ желтомъ салопѣ и начнетъ хныкать, но Семенъ Ивановичъ не могъ видѣть слезъ.

— А ты, матушка, не плачь,—говорилъ онъ успокоительно,—зачѣмъ плакать? И себя ты разстроишь, и меня, а дѣла-то еще нѣтъ никакого. Не хорошо плакать и разстраивать себя.

Старушка, дѣйствительно, переставала плакать.

Когда Семенъ Ивановичъ провожалъ послѣдняго просителя, ему становилось легко; ему казалось, что можно теперь и отдохнуть. Послѣ скромнаго завтрака, который онъ дѣлалъ въ мѣстномъ буфетѣ, выпивая рюмку водки и закусывая пятью пирожками, Семенъ Ивановичъ радовался, что онъ можетъ сѣсть безъ тревоги въ свои кресла и успокоиться отъ всѣхъ прошеній и заявленій, каверзныхъ донесеній и ядовитыхъ отношеній. Дѣла никакого у него не оказывалось, и ему оставалось только удивляться легкости его службы. Онъ ловилъ тогда какого-нибудь скучающаго товарища, не находящаго себѣ мѣста, садилъ его подлѣ себя и начиналъ размышлять передъ нимъ до тѣхъ поръ, пока собесѣдникъ терпѣливо слушалъ его. Возлѣ него, вдали и во всемъ огромномъ зданіи стоялъ вѣчный, никогда не умолкавшій шумъ. То не былъ говоръ людей или крики толпы; тамъ

даже шепота или беззвучнаго разговора никогда не раздавалось; слово, случайно брошенное, моментально пропадало и замирало въ общемъ грохотѣ, потрясающемъ паркетные полы. Это былъ стукъ нѣсколькихъ сотенъ сапоговъ. Люди ходили и возвращались, сталкивались и расходились, топтались въ комнатахъ съ простыми полами, толклись въ прихожихъ, лязгали по паркету, глухо шагали по корридорамъ и звонко по лѣстницамъ, скрипѣли, спотыкались и шаркали—и молчали; и гулъ, происходящій отъ этихъ сотенъ шаговъ, способенъ былъ оглушить всякаго непривычнаго человѣка. Казалось, что сотни безсловесныхъ загнаны въ мрачное зданіе и топчутся здѣсь, вѣчно двигаясь, но неспособны заговорить; и казалось еще, что этотъ глухой гулъ, въ которомъ не слышно человѣческаго звука, и эти помертвѣлыя отъ скуки лица, на которыхъ не было признаковъ жизни, способны отбить всякую охоту размышлять, подавить всякое желаніе, заморивъ мысль.

Но Семень Ива́новичъ тихо раскачивался въ креслахъ, глядѣлъ на двигающіяся фигуры испытыхъ и заржавѣвшихъ людей и совсѣмъ не слышалъ одуряющаго гула. Онъ былъ дома; онъ здѣсь ко всему привыкъ, и все казалось ему здѣсь домашнимъ. Прежде всего, ему думалось, что ему здѣсь хорошо; послѣ чего онъ радовался, что онъ здѣсь, а не въ другомъ мѣстѣ, и убѣждалъ спящаго отъ скуки собесѣдника, что у него, Семена Ивановича, нѣтъ жадности получать большее жалованье. Гдѣ бы онъ могъ найти такой покой? Не нашелъ бы. Здѣсь онъ человѣкъ свой и ко всему привыкъ. Мѣстишко-то оно хоть и не важное, а онъ все-таки сытъ, чего же больше? А зариться на частныя должности, напримѣръ, въ банкахъ, и играть тысячами ему ужъ не приходится; онъ—старикъ, съ него и такого мѣстишка довольно. Да тамъ, на частныхъ мѣстахъ-то, того и гляди свернуть голову. Вонъ Ястребовъ: хапалъ, хапалъ, и подъ конецъ влопался-таки во-отъ! Такъ-то и вездѣ; тамъ—азартъ, страсть; разжадничается человѣкъ и ужъ не полагаетъ себя никакой мѣры. А здѣсь мѣра; получилъ жалованье и ничего больше не жди. Тамъ человѣкъ предоставленъ на собственное усмотрѣніе, о немъ никто не заботится; живи, какъ знаешь. А здѣсь ему этого бояться нечего; никто его не обидитъ и онъ никого. Онъ человѣкъ казеннокоштный, о немъ

заботятся, а и умереть онъ, семейство его примуть на попеченіе. Что-жь, развѣ это не правда?—спрашивалъ Семенъ Ивановичъ.

— Н-да! Это дѣйствительно,—отвѣчалъ собесѣдникъ двусмысленно и уходилъ.

Вокругъ все гудѣло глухими звуками, и Семенъ Ивановичъ долго еще покачивался въ креслахъ, все размышляя. Глаза его подергивались туманомъ, румяныя щеки нѣсколько блѣднѣли, губы складывались въ неуловимую улыбку, и онъ чувствовалъ нѣкоторую истому, все еще размышляя. Потомъ онъ немножко дремалъ.

Шумъ постепенно стихалъ; шаги дѣлались рѣзче и медленнѣе. Двери хлопали рѣже. Кое-гдѣ слышался говоръ, переходившій часто въ громкій смѣхъ. Физиономіи выглядѣли болѣе жизненно, движенія становились болѣе безпорядочными. А солнце, все время освѣщавшее спину Семена Ивановича, переходило къ другому окну и заглядывало въ его лицо съ боку. Семенъ Ивановичъ справлялся съ часами и собирался домой, удивляясь, какъ время скоро прошло.

Выходя изъ департамента, Семенъ Ивановичъ чувствовалъ истому въ желудкѣ, но онъ шелъ неторопливо, порядочно, заложивъ одну руку за бортъ пальто, а другую въ карманъ. Бывали зима или лѣто, осень или весна, морозъ или дождь, свѣтло или пасмурно, Семенъ Ивановичъ всегда бывалъ спокоенъ по дорогѣ отъ департамента къ дому. Чтобы пройти домой, онъ всегда дѣлалъ крюкъ, пробираясь окольными, менѣе людными улицами. Не нравилась ему уличная толкотня и безпорядокъ, вѣчно царствовавшій на тротуарахъ. По этому предмету онъ продолжительно размышлялъ дорогой, сообщая свои размышленія впослѣдствіи Аннѣ Семеновнѣ. Онъ думалъ, что можно же предписать мѣры для предотвращенія уличныхъ безпорядковъ. Пускай пѣшеходы, направляющіеся въ одну сторону, идутъ по одному тротуару, а идущіе въ другую сторону—по другому тротуару; пускай все это будетъ сдѣлано, пускай мѣры эти распространятся на движеніе экипажей—и тогда столкновенія были бы предотвращены. Теперь же одно безобразіе: экипажи наѣзжаютъ на людей, а люди на тротуарахъ суются, мѣшая другъ другу. Иные встрѣтятся тутъ и мечутся въ отчаяніи, не будучи въ состояніи разойтись; иной же нагло расталкиваетъ

толпу, а третій совсѣмъ глядитъ сумасшедшимъ: летитъ такой человѣкъ и ничего не видитъ; фалды у него развѣваются, руками машетъ, взоры устремлены впередъ и пихаетъ онъ каждого встрѣчнаго. Развѣ это хорошо?

Въ виду этого, Семенъ Ивановичъ, если только ему приходилось идти по кратчайшей дорогѣ, старался держаться сторонки, поближе къ стѣнамъ зданій, подъ защитой ихъ, гдѣ ему можно было шагать не торопясь, ровно. Но все-таки бывали съ нимъ пренепріятныя исторіи. Въ то самое время, когда Семенъ Ивановичъ не ожидаетъ никакой не-пріятности, размышляя совсѣмъ о другомъ, на него вдругъ налетитъ вышеупомянутый сумасшедшій и ткнетъ; ткнетъ и летитъ дальше, даже не считая нужнымъ извиниться. Въ первое мгновеніе, пораженный Семенъ Ивановичъ молчалъ, но затѣмъ, оборачиваясь въ сторону бѣгущаго, говорилъ съ волненіемъ:

— Какъ же такъ можно, милостивый государь?

Послѣ этого Семенъ Ивановичъ нѣсколько успокоивался, хотя ему крайне не-пріятна была вся эта исторія. Продолжая свой путь около стѣнъ зданій, онъ размышлялъ о случившемся обстоятельстве. „Что хорошаго,—думалъ онъ,—если ты летишь, сломя голову, и никого не видишь? Шелъ бы ты, какъ слѣдуетъ, и никто слова бы тебѣ не сказалъ. А какъ ты теперь ногъ-то подъ собой не слышишь—и ничего хорошаго не выходитъ; только безпорядокъ одинъ: идешь и пихаешь всѣхъ. А, можетъ быть, человѣкъ-то, котораго ты толкаешь, нездоровъ? А, можетъ быть, онъ старичокъ? То-то же и есть! Успокоивъ свою раздражительность этимъ размышленіемъ, обращеннымъ на голову безпорядочнаго человѣка, Семенъ Ивановичъ забывалъ несчастное столкновение и подвигался дальше среди безпорядка, который рѣзко отличался отъ безмолвнаго топота въ департаментъ. А тутъ кстати показывалось и парадное крыльцо, ведущее въ квартиру.

— Вѣрно, вѣсть-то не больно хочешь, что такъ долго запропастился?—шутливо спрашивала Анна Семеновна, когда Семенъ Ивановичъ входилъ въ прихожую.

— Нѣтъ, ты ужь покорми насъ съ Петей; мы вѣдь заслужили обѣдъ-то нашъ!—радостно отвѣчалъ Семенъ Ивановичъ,

позволяя Аннѣ Семеновнѣ снимать съ себя пальто и класть на мѣсто портфель.

На столѣ уже стоялъ супъ, а за столомъ сидѣлъ Петя. Семенъ Ивановичъ сначала молча кушалъ, но послѣ перваго блюда онъ обыкновенно говорилъ:

— Петръ!

Петръ отъ такого обращенія терялся на минуту, потому что вообще, при всякихъ подобныхъ случаяхъ, терялся, удивленно моргая.

— Хорошо ты нынче учился? Колъ не поставили? — продолжалъ Семенъ Ивановичъ, зная напередъ, что Петъ кола не поставили, и ласково глядѣлъ на него.

— Не поставили.

— А сколько же?

— Ничего. Не спрашивали меня нынче, — вало возражалъ Петя, въ то время, какъ глаза его тупо переходили съ предмета на предметъ. Онъ не любилъ говорить.

Семенъ Ивановичъ одобрительно трепалъ его по плечу и кушалъ второе блюдо, разговаривая съ Анной Семеновной и ожидая третьяго блюда (четвертое было только по воскресеньямъ и табельнымъ днямъ), потому что третье блюдо всегда сюрпризъ. Это было уже дѣло Анны Семеновны, изобрѣтательность которой по этому предмету не имѣла, повидимому, никакихъ предѣловъ, что особенно изумляло Семена Ивановича. Когда на столъ приносили это загадочное блюдо, Семенъ Ивановичъ удивленно переводилъ взглядъ отъ него и обратно. А Анна Семеновна скромно говорила:

— Какъ съумѣла, другъ мой... Все думала, что не угожу.

Начиная съ этого момента и вплоть до окончанія обѣда, Семенъ Ивановичъ рассказывалъ трогательные или забавные случаи, относившіеся къ жизни и дѣйствіямъ знакомыхъ ему сослуживцевъ.

Чаще всего онъ, однако, повторялся, потому что въ департаментѣ рѣдко происходило что-нибудь такое, что могло быть сюжетомъ для разговора. Самымъ любимымъ рассказомъ Семена Ивановича былъ рассказъ о происшествіи, случившемся съ Тепловымъ, Валеріаномъ Николаевичемъ, который сидѣлъ верхомъ на стулѣ, балагурилъ и вдругъ увидалъ передъ собой *ею*. Въ этомъ мѣстѣ Семенъ Ивановичъ всегда останавливался, чтобы сильнѣе отгнѣнить дальнѣйшій э-

фектъ... Увидѣлъ ея и застылъ на мѣстѣ. А онъ долго смотрѣлъ и все молчалъ, все ждалъ, не встанетъ-ли, не извинится-ли? Что-жъ бы вы думали? Такъ вѣдь и не всталъ Тепловъ, такъ и просидѣлъ верхомъ на стулѣ, пораженный, что его застали въ эдакомъ, такъ сказать, неофициальномъ положеніи! Когда Семень Ивановичъ доходилъ до этого финала, лицо его вдругъ краснѣло отъ сдерживаемаго смѣха, ножъ и вилка вываливались изъ рукъ, и изъ глазъ струились слезы. Смѣялась и Анна Семеновна; только Петя молча сопѣлъ.

Впрочемъ, это настроеніе скоро проходило. Прямо послѣ обѣда въ домѣ воцарялась мертвая тишина, нарушаемая лишь гуломъ, идущимъ съ улицы, и стѣнными часами, которые ровно черезъ часъ и двадцать минутъ начинали хрипѣть, шипѣть и били положенные удары. Всѣ трое усаживались въ небольшой комнатѣ, игравшей роль гостиной. Анна Семеновна брала какую-нибудь работу, Петя обыкновенно сидѣлъ такъ, не зная, куда себя дѣтъ, а Семень Ивановичъ читалъ вслухъ газету, которая снабжала его безконечными поводами размышлять передъ Анной Семеновной, причемъ онъ всему изумлялся. Дѣйствительную жизнь онъ зналъ только изъ донесеній и отношеній съ присовокупленіемъ собственнаго воображенія, а потому границъ его удивленію положено не было, когда онъ читалъ о жизни.

Вычитаетъ онъ извѣстіе, что въ такой-то губерніи жукъ-кузка съѣлъ двѣсти тысячъ десятинъ, и поводитъ глазами отъ Анны Семеновны къ Петѣ. Вотъ тебѣ и разъ! Двѣсти тысячъ!... Довко! Это жукъ-то, кузка-то? Дальше Семень Ивановичъ размышлялъ о мѣрахъ къ скорѣйшему истребленію кузки и рассказывалъ о нихъ Аннѣ Семеновнѣ, которая дремала за своею работой и на всѣ размышленія Семена Ивановича кивала утвердительно головой... Какъ же не придумать мѣры? Русскій мужичекъ придумаетъ, ему только указать слѣдуетъ, въ какомъ направленіи... Можно, напримѣръ, придумать машинку такую или съѣтъ, что-ли, какую, чтобы ловить этого подлца!

Когда Семень Ивановичъ находилъ возможнымъ придумать мѣру противъ жука-кузки, онъ читалъ дальше: „Намъ пишутъ, что въ Вутырскомъ уѣздѣ, въ деревнѣ Воскресеннѣ, крестьяне разграбили хлѣбный магазинъ, раздѣлили между

собой хлѣбъ и съѣли. Голодуха продолжается“. Прочитавъ это, Семенъ Ивановичъ пораженъ. Пораженъ онъ собственно тѣмъ, что мужички оказались такими свирѣпыми и жадными. Но, размышляя съ Анной Семеновной о мѣрахъ, онъ приходилъ къ заключенію, что пьянство очень вредитъ нашему мужичку. Въ виду этого, хорошо бы заводить чайные трактиры, о которыхъ только болтаютъ, а толку никакого нѣтъ. Что бы тогда произошло? Пришелъ бы тогда мужичекъ въ трактиръ, посидѣлъ бы тамъ, попозѣлъ бы—и никакого вреда не было бы.

Съ улицы несся говоръ людей, стукъ экипажей, а Семенъ Ивановичъ продолжалъ размышлять о прочитанномъ. Тамъ градъ выбилъ всѣ поля, тамъ свирѣпствуетъ холера, тамъ кобылка сожрала тысячи десятинъ, гдѣ-то градъ выбилъ весь озимый хлѣбъ, пылаютъ въ пламени цѣлые уѣзды, проваливаются куда-то села и деревни, дохнуть съ голоду люди,—читаетъ все это Семенъ Ивановичъ и размышляетъ. Но уже шесть часовъ, и, вспомнивъ обязанность, Семенъ Ивановичъ обращается къ Петѣ:

— Петръ,—говоритъ онъ,—пора бы тебѣ и заниматься.

Петръ уходилъ, а Семенъ Ивановичъ опять принимался за газету. Но, вслѣдствіе ли обѣда, или по причинѣ размышлений, подъ конецъ онъ чувствовалъ тяжесть въ животѣ и истому во всемъ тѣлѣ. При прочитываніи послѣднихъ извѣстій, въ голосъ Семена Ивановича слышалась уже перхота, и онъ часто позѣвывалъ. Наконецъ, голова его склонялась на бокъ, вѣки смежались и, прикрывшись газетой, онъ начиналъ тихо сопѣть. Анна Семеновна оставляла комнату. Водворилась полная тишина.

Эта тишина продолжалась до тѣхъ поръ, когда Семенъ Ивановичъ принужденъ былъ отправляться гулять, что онъ дѣлалъ очень неохотно; пригрѣтый въ креслахъ комнатною теплотой, онъ выглядѣлъ весьма непріятно. Но Анна Семеновна была неумолима; она дѣлала ему строгій выговоръ за лѣность и выпроваживала его за дверь. Сперва, по выходѣ на свѣжій воздухъ, Семенъ Ивановичъ лѣнливо передвигалъ ноги, готовый ежеминутно раздражиться и повернуть назадъ. Послѣ комнатнаго тепла, уютности въ креслахъ и глубокаго успокоенія всѣхъ членовъ тѣла рѣзкій воздухъ улицы дѣйствовалъ непріятно на его нервы, и онъ поминутно

жилъ и вздрагивалъ, обводя тусклыми глазами прохожихъ, лошадей, дома и экипажи. Но черезъ короткое время сонливое настроеніе его проходило, послѣобѣденная тяжесть въ желудкѣ болѣе не чувствовалась, разслабленные дремотой размышленіями нервы крѣпли, мускулы начинали правильно работать, принимая прежнюю свою упругость, и глаза... Глаза Семена Ивановича принимали обычную свою ясность и искрились довольствомъ. Тогда Семенъ Ивановичъ рѣшалъ, что Анна Семеновна хорошо сдѣлала, выпроводивъ его гулять, и ему дѣлалось совѣстно за то, что онъ чуть-было не раскапризничался.

Гулялъ Семенъ Ивановичъ чаще всего по близкимъ отъ его дома четыремъ улицамъ, входящимъ одна въ другую. Магазиновъ на этихъ улицахъ было немного, вслѣдствіе чего Семенъ Ивановичъ останавливался передъ каждымъ изъ нихъ и смотрѣлъ на витрины, размышляя о выставленныхъ въ нихъ вещахъ. Если какая-нибудь вещь нравилась Семену Ивановичу, онъ заходилъ въ магазинъ и убѣждалъ торговца уступить ему ее за сходную цѣну, напередъ радуясь удивленію Анны Семеновны, когда онъ представитъ ей эту вещь въ сюрпризъ. Однако, Семенъ Ивановичъ былъ остороженъ и чаще всего смотрѣлъ на витрины безъ зависти. Бывали случаи, когда онъ заходилъ дальше четырехъ смежныхъ улицъ, и тогда онъ, на возвратномъ пути, садился уже въ конку, стараясь попасть въ самый уголъ вагона, ради чего онъ не останавливался даже передъ заискиваніемъ у кондуктора,—такъ ему нравился уголъ, гдѣ онъ подвергался толчкамъ только съ одной стороны. И, занявъ уголъ въ вагонѣ, Семенъ Ивановичъ былъ доволенъ; нѣсколько тяготили его только скучныя или взбудораженные лица пассажировъ и вынужденное молчаніе. Чтобы предотвратить непріятныя чувства, неизбѣжно сопровождающія подобныя обстоятельства, Семенъ Ивановичъ начиналъ бесѣду съ своимъ сосѣдомъ.

— А хорошая вещь, милостивый государь, эта конка, и всего пятачекъ,—нерѣшительно начиналъ Семенъ Ивановичъ.

— Что вы сказали?—переспрашивалъ сосѣдъ, не разслышавъ вопроса, потому что Семенъ Ивановичъ, вслѣдствіе робкой нерѣшительности, говорилъ сначала тихо.

Семень Ивановичъ повторялъ. Если сосѣдъ оказывался разговорчивымъ человѣкомъ, такимъ, который самъ тяготѣлся невозможностью вести праздные разговоры о пустыхъ вещахъ, начиналась длинная бесѣда. Еслиже сосѣдъ былъ угрюмый человѣкъ и на вопросъ Семена Ивановича только презрительно бормоталъ себѣ подъ носъ, считая, очевидно, начало такого разговора дурацкимъ, то Семень Ивановичъ тѣснѣе прижимался въ самый уголъ и мужественно боролся противъ желанія заговорить съ противоположнымъ сосѣдомъ. Во всякомъ случаѣ, онъ не раздражался; глаза его искрились кроткимъ блескомъ, говорившимъ о его внутренней душевной ясности.

Возвращался домой Семень Ивановичъ всегда къ чаю. На столѣ шипѣлъ самоваръ, а за столомъ сидѣлъ уже Петя. Послѣ разсказа о томъ, что онъ видѣлъ новаго,—а Семень Ивановичъ не много узнавалъ новаго,—послѣ представленія Аннѣ Семеновнѣ сюрприза, если онъ былъ, и послѣ нѣсколькихъ глотковъ чаю Семень Ивановичъ вспоминалъ свою обязанность относительно Пети и говорилъ:

— Петръ, уроки-то приготовилъ?

— Приготовилъ,—сонно отвѣчалъ Петя.

— То-то, братъ, смотри! Какъ бы тебѣ завтра кола не поставили!

Семень Ивановичъ зналъ, что Петя кола не получитъ никогда, потому что готовить уроки прилежно, но онъ считалъ своею обязанностью справляться объ успѣхахъ сына и поощрять его. Петя отвѣчалъ всегда удовлетворительно, и Семень Ивановичъ принимался опять за прерванный чай и рассказывалъ Аннѣ Семеновнѣ результаты своихъ размышлений о вещахъ, не имѣющихъ никакого приложенія.

Самая трудная для Семена Ивановича часть дня была именно послѣ вечерняго чая, когда у него до одиннадцати часовъ не оказывалось никакого дѣла. Здѣсь онъ не зналъ, какъ убить время. Чтобы развлечься, онъ занимался бумагами, принесенными изъ департамента, и рассказывалъ объ ихъ содержаніи Аннѣ Семеновнѣ, которая обыкновенно сидѣлась подлѣ него съ работой. По поводу этихъ бумагъ и разныхъ департаментскихъ дѣлъ Семень Ивановичъ, вдругъ принимая на себя несвойственный ему хвастливый тонъ и придавая себѣ неидуущую важность, заводилъ съ Анной Се-

меновной пререканія, которыя иногда заходили такъ далеко, вслѣдствіе увлеченія Семена Ивановича, что Анна Семеновна пугалась и тревожно спрашивала: здоровъ-ли онъ и не хочетъ-ли чего покушать? Нѣтъ, онъ кушать не желаетъ, но онъ выпилъ бы рюмку и съѣлъ бы пирожокъ... Такъ оканчивались пререканія, заключавшія въ себѣ зародышъ раздражительности.

Часы шипѣли одиннадцать,—время, когда Анна Семеновна понуждала Семена Ивановича лечь въ постель, какія бы возраженія ни представлялъ онъ. Она по опыту знала, что просиди Семенъ Ивановичъ ночью больше, чѣмъ сколько было положено, онъ разстроится и начнетъ раздражаться, со склонностью завести при дальнѣйшемъ сидѣніи ссору. Поэтому Анна Семеновна не медлила, когда часы шипѣли одиннадцать; она дѣлала постель, поправляла подушки, наблюдая, чтобы онъ, вмѣстѣ съ одѣяломъ и простынями, не отзывались сыростью, и укладывала Семена Ивановича, потушивъ въ спальнѣ огонь.

Оставшись одинъ, Семенъ Ивановичъ долго смотрѣлъ въ темноту. Онъ размышлялъ еще нѣкоторое время, хотя не такъ живо, какъ днемъ... Завтра онъ пойдетъ въ департаментъ, но завтра занятій тамъ только до трехъ; это непріятно—куда же дѣтъ остальное время? Если погулять, нехорошо это на тощакъ, а если придти домой рано, такъ это значить прямо разсердить Анну Семеновну: не любитъ она, чтобы ей мѣшали готовить обѣдъ. А обѣдъ завтра, вѣрно, хорошъ выйдетъ; Анна Семеновна давала нынче наставленіе Матренѣ, какъ дѣлать бисквиты. Вотъ нынче пирожное было не того... Слоеное пирожное съ ананасовымъ вареньемъ—это такъ, питательности въ немъ много, но отъ него тяжесть на желудкѣ, жирно очень. Здоровому—оно ничего, а больной человѣкъ разстроится можетъ, вредитъ оно ему. Но бисквитъ, и если онъ со свѣжими сливками, не вредитъ; его и больной человѣкъ на доброе здоровье скушаетъ; онъ, бисквитъ, таетъ во рту; на желудкѣ его не чувствуешь, а вкусенъ, совсѣмъ ужъ не такой у него вкусъ, какъ у слоенаго...

Вѣки Семена Ивановича смежались. Подъ конецъ онъ видѣлъ во мракѣ колоссальное плоское блюдо со сливками, а въ сливкахъ плавали бисквиты, а подлѣ блюда сидѣлъ Пе-

тя,—несообразность, которая наполняла голову Семена Ивановича, конечно, потому, что онъ уже спалъ.

Тихо текла жизнь Семена Ивановича, Анны Семеновны и Пети, тихо и ровно. Только по воскресеньямъ и табельнымъ днямъ возмущалось спокойствіе въ ихъ квартирѣ: тогда приходилъ Иванъ Григорьевичъ Георгіевскій, беспокойный человекъ, плававшій въ сферѣ каверзъ, какъ въ своей родной стихіи. Его лимоннаго цвѣта лицо, его беспокойныя манеры, его фырканье, его, наконецъ, подъяческая улыбка нарушали кротость хозяевъ съ самаго обѣда, на который онъ приходилъ, и до вечера, когда онъ, подвыпивши, уходилъ. Сидя за обѣдомъ, онъ считалъ своимъ непремѣннымъ долгомъ рассказать какую-нибудь грязную исторію, вродѣ того, какъ такой-то возвысился черезъ свою любовницу и какъ другой попалъ на хорошее мѣсто, женившись на любовницѣ того-то, и т. д. Съ завидующими глазами, жадный и ядовитый, онъ и воздухъ квартиры Семена Ивановича отравилъ бы, еслибы не Анна Семеновна.

— И Господь съ нимъ! Не наше это дѣло, Иванъ Григорьевичъ!—говорила она, сразу останавливая Георгіевского, который послѣ этого замолкалъ. Въ сущности, онъ по природѣ былъ не сердитый человекъ, но только страдалъ катарромъ желудка. Обладая же крайне дѣтскими понятіями обо всемъ, онъ не могъ ни на что подолгу питать злобу. Семень Ивановичъ мирно уживался съ нимъ.

Послѣ добраго обѣда Анна Семеновна садилась за другой столъ пріятелей и подавала имъ пиво, присаживаясь сама гдѣ-нибудь тутъ же по близости. И тогда пріатели благоденствовали. Лицо Семена Ивановича разгоралось, глаза искрились и онъ начиналъ бесѣду. Говорили о томъ, кого произвели, кого перемѣстили, кому дали Анну, а кого ссидили; время шло незамѣтно.

Бывали, однако, исключительные вечера, когда Семень Ивановичъ начиналъ съ своимъ пріателемъ умственный разговоръ, для чего онъ бралъ въ руки газету и размышлялъ. Какъ ни были пріатели замурованы въ стоячемъ департаментскомъ воздухѣ, но и до нихъ доходили струи дѣйствительной жизни. Читая передовую статью,—а Семень Ивановичъ читалъ такія статьи только въ воскресные и табельные дни,—которая всегда начиналась словами: „переживаете

мое нами тяжелое время“, Семенъ Ивановичъ выражалъ удивленіе. Почему, кто и чѣмъ недоволенъ? Отчего тяжело? И Семенъ Ивановичъ размышлялъ передъ своимъ пріателемъ.

— Что я думаю, Иванъ Григорьевичъ?—говорилъ Семенъ Ивановичъ, смотря на Георгіевскаго черезъ кружку пива.

— Почему же я знаю?—нетерпѣливо фыркалъ обыкновенно Георгіевскій.

Семенъ Ивановичъ не обижался на неприличные слова пріятеля.

— Думаю я, что про это тяжелое время невѣрно пишутъ, очень преувеличиваютъ,—продолжалъ Семенъ Ивановичъ.

— Дураки—и врутъ!

— Нѣтъ, это ужъ вы оставьте! Зачѣмъ же такъ ругаться? Ругаться пользы нѣтъ.

— Дураки—только и названія имъ!—упрямо повторялъ Георгіевскій.

— Дураки!... Какъ же такъ можно судить людей? А, можетъ, они несчастны, можетъ, жить-то имъ плохо? И недовольны, и пишутъ. Тоже надо войти и въ ихъ положеніе и спросить, чего имъ надо? А ругаться—что-жъ изъ этого выйдетъ?

На это краткое увѣщаніе Георгіевскій только презрительно улыбался, чѣмъ очень обижалъ Семена Ивановича, который послѣ этого сильнѣе разгорался желаніемъ доказать правильность своего усмотрѣнія.

— Вы вотъ и все такъ, Иванъ Григорьевичъ. А вѣдь они—люди. Заблуждаются-то они заблуждаются, а все же они несчастны, можетъ быть. И вотъ бы спросить ихъ, что имъ надо?

Лицо, Семена Ивановича разгоралось.

— Кто же это станетъ ихъ спрашивать? Бить ихъ, а не спрашивать!—свирѣпо возражалъ Георгіевскій.

— Поговорилъ бы ты, Семенъ Ивановичъ, о другомъ; какъ выпьешь чуточку, такъ и пойдешь молоть!—вмѣшивалась внезапно Анна Семеновна, которая строго слѣдила за разговоромъ, чтобы во-время прекратить его. Но Семенъ Ивановичъ совершенно разгорячился и ничего не слышалъ.

— А спросить бы можно,—продолжалъ онъ,—прямо сказать бы: милостивые государи, такъ нельзя... Вѣдь вы всѣхъ

смущаете! Отъ васъ вездѣ безпокойство одно, тишину вѣдъ вы нарушаете! Скажите, ради Господа, что вамъ надо?

— Отъ нихъ, отъ шуму-то ихъ, тогда и не ушелъ бы! Они...

— Нѣтъ, это ужъ вы оставьте, Иванъ Григорьевичъ! Какъ же можно такъ судить людей? Да если они несчастны, жить-то если плохо, такъ они и за малое будутъ благодарить. То-то же и есть! Иной, можетъ быть, попросить, чтобы соляной налогъ упразднили, а иной, чтобы квартальнаго въ его участкѣ смѣстили за невѣжливость, а третій, такъ тотъ и просто бы такъ порадовался, что вотъ его спрашиваютъ, что вниманіе эдакое къ нему...

— Будетъ тебѣ болтать-то, пустомеля! Не наше это дѣло! — съ непритворною строгостью обрывала Анна Семеновна, и Семень Ивановичъ смущенно умолкалъ, торопливо хлебая пиво.

Къ сожалѣнію Семена Ивановича, эти умственные разговоры всегда такимъ образомъ оканчивались. Даже когда не было въ комнатѣ Анны Семеновны, Семень Ивановичъ все-таки принужденъ былъ останавливаться. Всегдашнею виной этому былъ Георгіевскій. Не умѣя говорить, онъ только ссорился при подобныхъ разговорахъ. Черезъ нѣкоторое время лимонное лицо его багровѣло, вся оставшаяся въ его изсякшихъ жилахъ кровь, вмѣстѣ съ бутылкой пива, бросалась ему въ голову и онъ пыхалъ злобой. Говорить съ нимъ тогда не было никакой возможности.

Послѣ такихъ праздниковъ Семень Ивановичъ укладывался спать позже; нехорошо онъ чувствовалъ себя тогда и даже раздражался, начавъ съ Анной Семеновной ссору, а ночью случались съ нимъ иногда удивительныя происшествія. Онъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, вставалъ, спускалъ ноги съ постели и раздраженно пыхтѣлъ; недоброе-ли какое сновидѣніе поражало его тогда, или у него болѣла голова, только онъ былъ неузнаваемъ. Посидѣвъ на постели, онъ безъ всякой, повидимому, причины совсѣмъ покидалъ ее и ходилъ въ темнотѣ, все такъ же шумно пыхтя; да-лѣе натыкался на какую-нибудь вещь или ронялъ что-нибудь со стола и разбивалъ, что производило шумъ на всю квартиру.

— Что это съ тобой дѣлается, Семень Ивановичъ?—строго

спрашивала Анна Семеновна, показываясь изъ смежной комнаты, гдѣ находилась ея спальня.

Семень Ивановичъ, сознавая, что онъ что-то натворилъ, сразу затихалъ; онъ внезапно прекращалъ пыхтѣть, раздраженіе его проходило, онъ успокаивался и ложился спать.

Эти ночныя приключенія бывали рѣдко, начинаясь и оканчиваясь внезапно. Но вообще Семень Ивановичъ пользовался неизмѣннымъ здоровьемъ, никогда серьезно не забывая, что, въ свою очередь, способствовало неизмѣнному настроенію духа. Искрящіеся здоровьемъ и довольствомъ глаза его никогда не потухали, и ясность его души оставалась нетронутой. Безъ тревоги жилъ Семень Ивановичъ.

Однако, не суждено ему было сохранить навсегда эту ясность. Та раздражительность, которой такъ опасалась Анна Семеновна, также, какъ и самъ Семень Ивановичъ, та раздражительность, которая, безпричинно появляясь, внезапно утихала, съ теченіемъ времени сдѣлалась постояннымъ свойствомъ Семена Ивановича, обратившись въ глухое недовольство... Вотъ слово, которое съ трудомъ произносится и которое по отношенію къ Семену Ивановичу было бы клеветой, еслибы не выражало его душевнаго состоянія! Это недовольство постепенно и незамѣтно вѣлось въ его жизнь и отняло у него покой, вслѣдствіе чего и Анна Семеновна сдѣлалась несчастною, и Петя. Какой-то неизвѣстный дотолъ духъ поселился въ немъ и нашептывалъ ему Богъ знаетъ что.

Впервые недовольство выглянуло изъ кармана и только потомъ разошлось по всей жизни Семена Ивановича, отравивъ всѣ корни тихаго существованія семьи. Семень Ивановичъ долго не замѣчалъ, что жалованье его куда-то ежемѣсячно проваливается, не оставляя послѣ себя никакого слѣда; онъ думалъ, что все идетъ попрежнему. Ежемѣсячно онъ приносилъ пачку ассигнацій, вручалъ ее съ счастливымъ видомъ Аннѣ Семеновнѣ и долго, дней пять послѣ этого, возстановлялъ передъ собой картину того, какъ Анна Семеновна радовалась, принимая деньги. Больше ничего онъ не видѣлъ. Говорила иногда Анна Семеновна о дороговизнѣ, жаловалась на трудность жизни, но она это дѣлала мимоходомъ и боязливо, не желая нарушать спокойствія Семена Ивановича, который повтому ничего и не замѣчалъ.

А когда понялъ, то было уже поздно. Размышляя о вещахъ, не имѣющихъ никакого приложенія, Семень Ивановичъ не сталъ размышлять, а раздражался, когда жизнь показала ему дѣйствительную правду относительно стоимости его жалованья. Узнавъ въ концѣ одного мѣсяца, что отъ ихъ жалованья не осталось ничего и даже явились долги въ мелочную лавочку, булочную и прачкѣ (чего никогда не было), Семень Ивановичъ завелъ продолжительную ссору съ Анной Семеновной, во время которой краснѣлъ и раздражалъ себя.

Это было за обѣдомъ, вскорѣ послѣ того, какъ Семень Ивановичъ сдѣлалъ открытіе.

— Чго, у тебя все жалованье-то вышло?—спросилъ Семень Ивановичъ, не глядя ни на кого.

— Какъ же не все?... Самъ знаешь, какъ нынче все дорого,—съ дрожью въ голосѣ возразила Анна Семеновна. Ее поразили вопросъ Семена Ивановича, который никогда не вмѣшивался въ ея распоряженія.

— Можно бы и поосторожнѣе тратить!—сказалъ раздражительно Семень Ивановичъ.

— Да что я на себя, что-ли, трачу, прости Господи? Съ ума ты сошелъ, Семень Ивановичъ!

— Поосторожнѣе-бы, говорю, тратить надо...

— И тебѣ не совѣстно такъ говорить?

Проговоривъ это, Анна Семеновна поблѣднѣла, а на глазахъ у нея показались слезы. Но Семень Ивановичъ не обращалъ на это никакого вниманія. Безусловно довѣря раньше Аниѣ Семеновнѣ, онъ теперь съ негѣпою подозрительностью наблюдалъ за исчезновеніемъ ихъ жалованья, обвиняя ее въ безумной тратѣ. Лицо его покраснѣло, обыкновенно ясные глаза его разсѣянно блуждали по столу, руки дрожали, и онъ беспорядочно тыкалъ вилокъ по всей тарелкѣ, выказывая такое раздраженіе, что Анна Семеновна просто обомлѣла. Думала она, что Семень Ивановичъ придетъ въ себя, когда на столѣ появится сюрпризъ; нѣтъ, Семень Ивановичъ продолжалъ безцѣльно тыкать вилокъ. А потомъ, не досидѣвъ до конца обѣда, онъ съ трескомъ вылезъ изъ-за стола и пошелъ по дорогѣ въ свой кабинетъ четырьмя дверями, уронилъ съ двухъ столовъ какія-то вещи и притихъ.

Такъ съ тѣхъ поръ и пошло несчастіе по всему дому.

Ито бы Анна Семеновна ни дѣлала, Семенъ Ивановичъ только раздражался. Находили на него проблески сознанія, что не хорошо онъ поступаетъ, но, вспомнивъ жалованье и его стоимость, онъ опять пыхтѣлъ, дулся и раздражалъ себя.

Анна Семеновна ничего не могла подѣлать и сама растеклась отъ такой неожиданной перемѣны въ характерѣ Семена Ивановича. Попробовала она разъ воспользоваться помощью Георгіевскаго. Съ нетерпѣніемъ дождавшись ближайшаго праздника, она обратилась къ нему съ нѣсколькими многозначительными вопросами, предназначенными собственно для Семена Ивановича.

— Скажите, пожалуйста, Иванъ Григорьевичъ, какъ вы живете? Вѣдь, чай, дорого вамъ все обходится?—вставила между разговоромъ Анна Семеновна. Георгіевскій подхватилъ вопросъ.

— Миѣ-то? Да вы лучше спросите, Анна Семеновна, какъ не умеръ до сихъ поръ съ голоду!—озлобленно вралъ Георгіевскій.—Нынче жалованье-то получишь и глядишь на него... утромъ-то получишь, а вечеромъ оно уже растаетъ. Вотъ какъ мое хозяйство идетъ, Анна Семеновна!

— То же самое и я говорю Семену Ивановичу. Дорого очень...

Семенъ Ивановичъ безцѣльно началъ тыкать вилкой.

— Дайте срокъ, Анна Семеновна! Не то еще будетъ, дождемся!—продолжалъ Георгіевскій.

— Неужели же еще дороже будетъ?

— Дождемся, дайте только срокъ! Селедку будемъ покупать за двадцать пять рублей!

Семенъ Ивановичъ уже безъ всякой цѣлесообразности тыкалъ вилкой. Анна Семеновна дрогнула при этихъ ядовитыхъ словахъ Георгіевскаго. Она, къ ужасу своему, поняла, что разговоръ съ Георгіевскимъ никакой пользы не принесетъ. И дѣйствительно, Семенъ Ивановичъ сидѣлъ все такой же пасмурный. Хуже: онъ самъ былъ пораженъ словами Ивана Григорьевича и больше прежняго сталъ раздражаться. Не могъ онъ придти въ себя, сдѣлавшись прежнимъ Семеномъ Ивановичемъ, и послѣ обѣда, за бутылкой пива. Когда Георгіевскій, по своему обыкновенію, въ отвѣтъ Семену Ивановичу фыркнулъ какою-то неразумною фразой, Семенъ Ивановичъ не смолчалъ, а самъ отвѣтилъ тѣмъ же,

т.-е. фыркнулъ, отчего Георгіевскій оторопѣлъ, потому что раньше никогда этого не было. И начались между ними пререканія, перешедшія скоро въ ссору, которая навсегда поселила между ними вражду. Анна Семеновна, блѣдная и растерявшаяся, не могла даже слова вымолвить и не пыталась потушить разгоравшуюся злобу, такъ что когда Георгіевскій уходилъ, то сказалъ про себя, что больше нога его не ступить въ этотъ домъ, а Семенъ Ивановичъ отвѣчалъ про себя, что онъ очень радъ этому.

Семенъ Ивановичъ съ этого времени подолгу оставался у себя въ кабинетѣ или въ спальнѣ и пыхтѣлъ тамъ. Анна Семеновна потеряла голову, не зная, что ей думать и предпринять. До сего времени у ней была твердая почва под ногами: Семенъ Ивановичъ приносилъ со службы ассигнаціи, а она дѣлала ему за это сюрпризы, заботясь вообще объ его здоровьѣ и спокойствіи; теперь же не стало у ней ни одной изъ этихъ обязанностей. Даже Матрена сознавала перемѣну. „То все были господа,—говорила она мрачно,—какъ слѣдуетъ господа, а то жидоморы какіе-то стали, лишняго куска жалко бѣдной женщинѣ!“ А Семенъ Ивановичъ дѣлался все болѣе и болѣе нелюдимымъ и недовольнымъ. За обѣдомъ онъ постоянно, по всякому поводу, ворчалъ и укорялъ Анну Семеновну, приводя ее въ изумленіе; послѣ обѣда уходилъ безъ всякихъ словъ къ себѣ и пыхтѣлъ тамъ, а если оставался въ столовой, жаловался на все: то у него голова болитъ, то бокъ, то спину ломитъ (чего никогда не было), а то тошнить его. Иногда же находила на него тихая грусть, и онъ говорилъ:

— Вѣрно ужъ не долго мнѣ жить-то, не сдобровать!

Эти слова возбуждали въ Аннѣ Семеновнѣ страшную тревогу. Она пыталась успокоить его.

— Ты выглядишь, слава Богу, здоровымъ. Успокойся, другъ мой, не тревожь напрасно себя,—говорила она.

Тогда Семенъ Ивановичъ вдругъ огрызался:

— Да! Здоровъ! Какъ же! По тебѣ, я буду здоровъ и тогда когда стану въ гробъ ложиться!

Потомъ онъ начиналъ тянуть безконечную нить жалобъ.

— Да, тебѣ дома-то хорошо, а посидѣла бы ты на службѣ, то, такъ и узнала бы, каково мнѣ приходится! И изъ-за чего? Жалованьишко-то вотъ каждый мѣсяцъ въ прорвѣ,

идеть, не наготовишься! Вот мы все думали дачку купить... вот тебѣ и дачка! Жилъ-жилъ, теръ-теръ стулья-то, а подъ конецъ и нѣтъ ничего. Хоть бы на частную службу, что-ли... Вонъ Вихрастовъ (у Семена Ивановича и примѣры нашлись), служить онъ и въ департаментѣ, и въ компанію втерся. Заработалъ онъ сорокъ тысячъ—и ему теперь горя мало. Въ департаментъ-то онъ идетъ отъ нечего дѣлать, чтобы только баклуши бить; придетъ, посидитъ на столѣ, подрыгаетъ ногами и уходитъ—это у него служба! А ты сиди тутъ на полутораста рублѣхъ восьмидесяти шести копѣйкахъ и продай ихъ кажомѣсячно; придетъ же старость—и сдѣлаешься ты нищимъ... А вонъ еще Петръ...

— Петръ, ступай заниматься!—раздраженно говорилъ Семенъ Ивановичъ, вдругъ обращаясь къ сыну.

Истощивъ весь свой запасъ раздраженія на жалованье и его стоимость, Семенъ Ивановичъ обратился на Псю, который поддержалъ собой духъ недовольства, овладѣвшій Семеномъ Ивановичемъ. Бѣдный малый не ожидалъ, что займетъ такое большое мѣсто въ размышленіяхъ отца. Онъ ходилъ въ гимназію, готовилъ уроки и больше ничего не дѣлалъ. Къ вечеру каждаго дня онъ выглядѣлъ такимъ варенымъ, что трудно было даже разсмѣшить его,—до такой степени имъ овладѣвала сонливость, обусловленная, вѣроятно, отсутствіемъ какой бы то ни было мысли въ головѣ. Всѣ дѣйствія его къ этому времени становились нецѣлесообразными. То онъ подходитъ къ окну и вяло рисуетъ пальцемъ на стеклахъ какія-то никому невѣдомыя слова, то встанетъ посреди нѣ комнаты и долго поводитъ глазами вокругъ или вдругъ бухнется въ кресло и остается безъ движенія цѣлыя часы, позѣвывая и напѣвая какую-то пѣсенку, причемъ повторяетъ изъ нея только два-три слова.

— Да ты хоть бы погулять пошелъ, Петя,—скажетъ иной разъ Анна Семеновна.

Петя молчитъ.

— Или къ товарищамъ пошелъ бы, вѣдь тоже хочется поиграть?

Молчитъ.

— У, какой несговорчивый!

Молчитъ.

Но если ему прикажутъ идти, идти; если прикажутъ гу-

лять, гуляетъ. Но, отправляясь къ кому-нибудь изъ товарищей, онъ и тамъ велъ себя такъ же сонно, какъ и дома. Играть онъ не умѣлъ—вотъ что ужасно, а потому у него и товарищей въ гимназiи не было. Нѣкоторые одноклассники пробовали давать ему книжки, но потомъ перестали, увидѣвъ, что онъ не читаетъ. Одинъ его товарищъ во время „перемѣны“ разъ сунулъ ему, съ таинственнымъ видомъ и взволнованнымъ лицомъ, какую-то книжонку, но Петя, придя домой, положилъ ее, не читая, на полку и забылъ тамъ. Онъ училъ прилежно одни только уроки. Разъ, когда онъ еще былъ въ одномъ изъ низшихъ классовъ, ему пригрозили, что исключать его; эта угроза на него такъ подѣйствовала, нагнала на него такую недѣтскую панику, что съ тѣхъ поръ онъ не пропускалъ ни одного урока и ожесточенно долбилъ все, что ему приказывали. А къ вечеру онъ дѣлался, конечно, варенымъ.

Семень Ивановичъ, сдѣлавшись вообще подозрительнымъ и неуживчивымъ, сталъ слѣдить и за Петей. Онъ зорко наблюдалъ за нимъ, какъ за врагомъ, подсматривая его дѣйствiя и подстерегая его на мѣстахъ преступленiя. Ни съ того, ни съ сего Семень Ивановичъ началъ прочитывать въ газетѣ судебную хронику, почему-то думая, что это относится къ его Петѣ. Семень Ивановичъ и въ этомъ случаѣ не сталъ размышлять правильно; онъ только спрашивалъ иногда себя: пустить-ли себѣ Петька пулю въ лобъ, или перестанетъ чесать волосы и надѣнетъ блузу? И Семень Ивановичъ раздражалъ себя, глядя на Петю и подстерегая его. Какъ только Петя садился за уроки, Семень Ивановичъ принимался издали, изъ другой комнаты, наблюдать. Сидитъ, напримѣръ, Петя и переводитъ на русскiй языкъ съ латинскаго истину, что „пить воду полезно“, или какую-либо другую, вродѣ — „рука руку моетъ“. Онъ прискиваетъ слова и гремитъ желтыми листами огромнаго фолiанта, но, забывъ на минуту дѣло, онъ ставитъ лексиконъ дыбомъ, растопыриваетъ его корочки и бессмысленно глядитъ, какъ листы начинаютъ перебѣгать съ одной стороны на другую.

— Петръ!—вдругъ раздается возлѣ него голосъ Семена Ивановича.

Петръ вздрагиваетъ и поспѣшно что-то бормочетъ. Когда Семень Ивановичъ уходитъ, Петя на-скоро оканчиваетъ

латинскій урокъ и беретъ алгебру. Исписавъ страничку буквами и цифрами, онъ протираетъ глаза, которые слипаются, но вдругъ капаетъ чернильное пятно на бумагу и задумывается надъ нимъ; потомъ проводитъ перомъ во всѣ стороны отъ него усики, которые дѣлаютъ изъ чернильнаго пятна черную звѣзду.

— Петръ, ты что дѣлаешь?—раздраженно говорилъ Семенъ Ивановичъ.

Семену Ивановичу казалось, что Петръ менѣе прилежно сталъ учиться и что, вмѣсто ученья, онъ читаетъ книжки тайно. Поэтому, увидавъ разъ, какъ Петръ взялъ старую газету и принялся читать ее, вмѣсто уроковъ, онъ былъ пораженъ.

— Петръ, ты—осель!—взволнованнымъ голосомъ сказалъ Семенъ Ивановичъ и поспѣшно ушелъ къ себѣ, а Петръ чуть не плакалъ отъ такихъ незаслуженныхъ нападокъ.

Но Семенъ Ивановичъ и самъ мучился. До сихъ поръ онъ былъ здоровъ—и сдѣлался больнымъ; раньше онъ размышлялъ, а потомъ сталъ только раздражаться. Въ домѣ пошла безурядица, потому что Анна Семеновна также упала духомъ. Она очень похудѣла и, оставаясь одна, иногда въ тихомолку плакала, хотя при Семенѣ Ивановичѣ боялась проронить слово, чтобы пуще не раздосадовать его, а возражать строго она совсѣмъ перестала.

Однажды, послѣ долгаго и мрачнаго сидѣнія у себя, Семенъ Ивановичъ вышелъ въ столовую, гдѣ въ это время находились Анна Семеновна съ Петей, и сказалъ загадочно:

— Петръ, ты нынче ложись въ моей комнатѣ!

Семенъ Ивановичъ, говоря это, не смотрѣлъ на Анну Семеновну, потому что самъ сознавалъ, что его поведение нехорошо. Несмотря на видимую нелѣпость приказанія Семена Ивановича, Анна Семеновна промолчала, не возраживъ ничего и тогда, когда онъ сталъ торопливо доказывать необходимость просушить якобы сырую комнату Пети.

Настала ночь; часы прошипѣли одиннадцать.

Семенъ Ивановичъ поднялся съ постели, натянулъ халатъ, отыскалъ туфли и зажалъ въ рукѣ нѣсколько спичекъ. Далѣе онъ сталъ прислушиваться къ дыханію Пети, который спалъ на диванѣ. Кругомъ ничего не было видно; передъ глазами Семена Ивановича была темная пропасть, въ которой не

было никакихъ предметовъ, но и слухъ его ничего не могъ уловить, кромѣ ровнаго дыханія сына. Удостоверившись, что сынъ спитъ, Семень Ивановичъ пошелъ къ двери. Но вдругъ ему показалось, что Петя проснулся; онъ остановился, какъ вкопанный, и со страхомъ повернулъ голову къ дивану. Но Петръ только сквозь сонъ шепталъ какія-то слова и чавкалъ губами. Семень Ивановичъ тяжело перевелъ духъ и выбрался за дверь. Чтобы попасть въ комнату сына, куда онъ крался, ему надо было пройти черезъ прихожую, столовую и гостинную. Онъ отправился, идя ощупью и судорожно сжимая въ рукахъ спички. Почти безшумно скользя по паркету туфлями, онъ добрался уже до конца столовой, какъ неожиданно наткнулся на стулъ. Стулъ загремѣлъ, а Семень Ивановичъ застылъ на мѣстѣ, думая, что онъ разбудить кого-нибудь. Никто не проснулся: кругомъ было такъ же тихо и темно. Онъ провелъ рукой по лицу, покрывшемуся потомъ, и пошелъ дальше. Въ гостинной онъ двинулъ кресломъ, уронилъ что-то со стола, но уже не обращалъ на это вниманія. Наконецъ, вотъ комната сына. Семень Ивановичъ шаркнулъ спичкой объ стѣну, но руки его дрожали и спичка изломалась; изломалась другая, третья, четвертая, пока, наконецъ, случайно не вспыхнула пятая. Кругомъ была все та же тишина; только часы чикали вдали.

Семень Ивановичъ принялся обыскивать. Онъ сначала осмотрѣлъ шкафъ, на верхнихъ полкахъ котораго Анна Семеновна держала разную мелочь, а внизу — грязное бѣлье; все это было осмотрѣно. Потомъ Семень Ивановичъ осмотрѣлъ постель сына; ничего и здѣсь не было. Тогда онъ сталъ рыться въ книгахъ; также ничего. Взявъ послѣднюю маленькую книжонку, покрытую пылью, онъ уже хотѣлъ бросить ее на мѣсто, какъ вдругъ зрачки его расширились, лицо поблѣднѣло, а книжонка чуть не выпала изъ его дрожащихъ рукъ. Постоявъ съ тѣмъ же видомъ нѣсколько минутъ, онъ опустился на постель. Часы прошипѣли четыре, а онъ все сидѣлъ и смотрѣлъ на книжку.

Свѣча, поставленная въ дальній уголъ, едва мигала, составляя половину комнаты въ полумракѣ; и, можетъ быть, поэтому Семень Ивановичъ не замѣчалъ слезъ, которыя скатывались по его щекамъ, ударялись на руки и на книжку и падали на полъ.

— Какой нездоровый видъ у тебя, Семенъ Ивановичъ! — боязливо сказала на другой день утромъ Анна Семеновна.

— Я думаю, что мнѣ нехорошо, — печально выговорилъ Семенъ Ивановичъ.

Анна Семеновна уговаривала его въ этотъ день остаться дома, но онъ не согласился и все должное время провелъ на службѣ. Всѣ сослуживцы его удивлялись въ этотъ день грустному виду, съ какимъ все время сидѣлъ Семенъ Ивановичъ на своихъ креслахъ, и старались его развеселить, рассказывая забавные анекдоты. Но Семенъ Ивановичъ до конца остался печальнымъ, а возвращаясь домой, особенно почувствовалъ себя дурно.

Идя по шумнымъ и грязнымъ улицамъ, онъ почти не сознавалъ, гдѣ онъ. Его толкали, но онъ не обижался на это. Былъ вечеръ мрачнаго, сѣраго дня. вмѣсто неба, надъ головами висѣла грязная и мокрая мгла; вмѣстѣ съ каплями дождя падалъ мокрый снѣгъ. На улицахъ было болото, на тротуарахъ грязь. Семенъ Ивановичъ долго шелъ по люднымъ улицамъ, забывъ, что ему надо идти домой. Голова его горѣла, волосы безпорядочно прилипали къ вискамъ, шляпа сдвинулась на затылокъ, пальто распахнулось... Снѣгъ падалъ на его лицо, за воротъ, за рукава, но, вѣрно, онъ этого не чувствовалъ, потому что продолжалъ шагать Богъ знаетъ куда, шлепая по грязи, попадая въ лужи и не стараясь защищаться отъ толчковъ, получаемыхъ имъ отъ прохожихъ. Поднимаясь по лѣстницѣ своей квартиры, онъ былъ уже весь мокрый и грязный до такой степени, что совершенно былъ не похожъ на себя.

Анна Семеновна только руками всплеснула, когда увидѣла Семена Ивановича. Она раздѣла его, разула и уложила въ постель. Послано было и за докторомъ, до прихода котораго Анна Семеновна старалась успокоить Семена Ивановича. Она повторяла, что все это пройдетъ, и онъ, дасть Богъ, поправится. Но Семенъ Ивановичъ чуть замѣтно покачалъ головой и, не смотря ни на кого, печально сказалъ:

— Нѣтъ, вѣрно ужъ не жить мнѣ больше!

Потомъ, глядя мутными взорами на то мѣсто, гдѣ стоялъ Петя, онъ прибавилъ:

— А ты его береги.

Это были послѣднія слова его. Когда пришелъ докторъ,

то немедленно же заявилъ, что Семень Ивановичъ заболѣлъ тифомъ, и надежда на выздоровленіе его плоха, хотя природа, организмъ... и т. д. Докторъ былъ правъ, потому что черезъ два дня Семень Ивановичъ скончался. До послѣдней минуты онъ находился въ безпамятствѣ.

Въ той же газетѣ, которую читалъ при своей жизни Семень Ивановичъ, появилось и объявленіе объ его смерти, написанное Петей и приглашавшее всѣхъ родственниковъ и знакомыхъ покойнаго отдать послѣдній долгъ родному человѣку. На приглашеніе явились всѣ, кто ему былъ близокъ и кто его зналъ, и всѣ согласны были въ томъ, что несчастіе Анны Семеновны велико, что утрата ея незамѣнима и что Семень Ивановичъ былъ кроткій, незлобивый человѣкъ, который по намѣренію нікого не обидѣлъ и ни на кого не ропталъ.

PERPETUUM MOBILE.

I.

Вершины дальнихъ горъ покрылись лиловою пеленой вечерней мглы; ущелья и долины ближайшихъ утесовъ наполнились уже дымчатымъ сумракомъ, но лѣсистые бока ихъ еще освѣщены были золотыми полосами вечерняго солнца. Ольга Александровна взглянула на всю эту чудную панораму, и ей захотѣлось туда, на озеро, ближе къ синеватымъ утесамъ. Бросивъ еще разъ бѣглый взглядъ на обширный ландшафтъ, открывающійся изъ оконъ управительскаго дома, она торопливо пошла къ брату.

— Поѣдемъ кататься!—сказала она, входя въ кабинетъ.

Братъ медленно повернулъ голову къ ней и потянулся въ креслѣ.

— Ты хочешь? Пожалуй...

Дымъ отъ его сигары наполнялъ весь кабинетъ; въ комнатѣ стоялъ полумракъ, но молодой человѣкъ, повидимому, не беспокоился окружающимъ и продолжалъ лежать въ креслѣ. Когда сестра затормошила его, онъ долженъ былъ подняться, но на равнодушномъ лицѣ его не отразилось ни малѣйшаго желанія кататься на лодкѣ. Движенія онъ дѣлалъ тихія, какъ бы вынужденныя; на его лицѣ лежала печать глубокаго равнодушія; вѣки его тяжело опускались и поднимались, въ складкахъ губъ запечатлѣлась холодная иронія.

Странный контрастъ представляли фигуры брата и сестры.

Онъ провелъ бурную молодость, испробовалъ всѣ ея прелести и теперь жилъ, плохо вѣря въ людей, всегда насмѣш-

возбуждали въ немъ теперь желаній, а люди, которые его любили или валялись у его ногъ, вызывали въ немъ только холодное бездушіе. Такимъ, по крайней мѣрѣ, онъ хотѣлъ казаться. Сестра его также попробовала жизни, но первый же ея шагъ вышелъ неудачный; она поскользнулась и упала, разбитая дряннымъ человѣкомъ, котораго любила. Воспользовавшись ея богатствомъ, онъ принялся топтать въ грязь ее и не церемонился въ средствахъ униженія ея. Потребовалось вмѣшательство брата; послѣдній обо всемъ узналъ, пріѣхалъ и взялъ молодую женщину къ себѣ. На прощанье съ ея мужемъ онъ сказалъ, не измѣняя выраженія лица:

— Послушайте... совѣтую мнѣ не попадаться на пути, потому что мнѣ лѣнь будетъ перешагнуть черезъ васъ.

Съ той поры она жила у брата. Отъ нечего дѣлать она занималась немножко ботаникой, немножко минералогіей, немножко зоологіей. Это—за неимѣніемъ другихъ предметовъ любви. И вотъ эти два странные существа жили вмѣстѣ. Братъ, испытавшій всѣ роды наслажденій, кончилъ равнодушіемъ ко всему; фигура его застыла, какъ бронзовая статуя. Сестра, разбитая въ дребезги, стала только болѣе любящею, чуткою и безпокойною. Худое, страдальческое лицо ея безпрерывно мѣняло выраженіе: малѣйшіе оттѣнки мысли отражались на немъ, и всякое, даже мимолѣтное чувство вызывало въ ея фигурѣ какое-нибудь порывистое, непредвидѣнное движеніе.

Теперь, задумавъ прогулку по озеру, она живо одѣлась и торопила брата. Тотъ нѣсколько разъ потянулся, прежде чѣмъ начать собираться. Потомъ онъ позвонилъ слугу и приказалъ заложить коляску. Но сестра вдругъ заволновалась и настойчиво принялась уговаривать брата идти до лодокъ пѣшкомъ.

— Ты желаешь пѣшкомъ? Мнѣ все равно... Иванъ, не надо закладывавать!

Они отправились по заводскимъ улицамъ внизъ къ берегу озера, гдѣ стояли лодки. По дорогѣ встрѣчные подобострастно раскланивались съ главнымъ управляющимъ и его сестрой. Онъ едва замѣчалъ эти поклоны; она стыдилась за

такое всеобщее вниманіе къ ней и поспѣшно улыбалась на поклоны. Въ одномъ переулкѣ ихъ встрѣтилъ нищій и запѣлъ заученную пѣсню. Ольга Александровна заволновалась, смущенно прося брата что-нибудь подать нищему. Братъ лѣниво вынулъ изъ жилета какую-то монету и бросилъ ее нарочно трясущемуся человѣку.

— На косушку этого тебѣ довольно,—сказалъ онъ.

— Развѣ онъ пропѣетъ?—спросила быстро сестра, когда они уже отошли отъ нищаго.

— Я думаю. Развѣ тебѣ не все равно? Станный народъ эти благотворители: подадутъ пятакъ и требуютъ, чтобъ онъ былъ истраченъ по ихъ собственному усмотрѣнію! Да развѣ вообще не все равно, пропѣетъ онъ пятакъ или проѣстъ?

Сестра видѣла, что братъ брюзжитъ, и замолчала. Они уже спускались къ берегу озера. Прямо передъ ними стояла купальня, а по всему побережью колыхались на водѣ ялики; между ними не было, однако, заводской лодки съ флагомъ. Управляющій искалъ глазами сторожа, а Ольга Александровна осматривала дальнія горы, освѣщенные разнообразными тѣнями. Стояла мертвая тишина. Поверхность озера какъ бы застыла и въ водахъ его ясно отражались силуэты ближайшихъ острововъ.

Замѣтивъ управляющаго, сторожъ купальни побѣжалъ къ берегу и сталъ боязливо объяснять, почему не оказалось заводскаго ялика. Хмурый видъ управляющаго привелъ его въ такое смятеніе, что онъ принялся безцѣльно метаться по берегу, словно надѣясь отыскать все-таки лодку, которой не было близко, какъ онъ отлично зналъ.

— Пойдемъ, возьмемъ лодку у Андрея Пыхтина,—предложила вдругъ сестра и братъ кивнулъ головой въ знакъ согласія.

Они пошли вдоль берега. Этотъ Пыхтинъ былъ знакомый имъ мастеръ-кустарь, занимавшійся, кромѣ слесарнаго мастерства, ловлей рыбы по праздникамъ и содержаніемъ лодокъ для гуляющихъ; послѣднія занятія явились благодаря тому, что домъ его стоялъ на берегу. Когда господа подошли къ дому, то никого внутри его не замѣтили: ни Андрея, ни жены его не было дома. Имъ пришлось долго ждать, причемъ Ольга Александровна нетерпѣливо ходила по песку,

а братъ сидѣлъ на опрокинутой лодкѣ и посылалъ одного за другимъ нѣсколькихъ мальчугановъ отыскивать Пыхтина.

Наконецъ, позади ихъ во дворѣ закрипѣли ворота и передъ ними предсталъ искомый Андрей.

— Лодочку?... Ужъ извините, что долго,—сказалъ онъ и побѣждалъ за веслами.

Черезъ минуту весла были принесены, выбрана лучшая лодка и Андрей принялся готовить ее; надо было вычерпать воду, вытереть скамейки, привязать якорь, поставить весла на уключины и спустить лодку въ воду. Андрей торопливо принялся за эти дѣла, но почему-то ничего у него не клеилось: не то онъ былъ съ похмѣлья, не то мысли его чѣмъ-то постороннимъ были заняты, но приготовление лодки производилось имъ безъ всякой системы: такъ, онъ сначала вытеръ скамейки, а потомъ принялся выливать воду; забрызгавъ этимъ путемъ лодку, онъ снова принужденъ былъ вытирать ее.

— Ну, ты, братъ, сегодня не на высоту положенія,—сказалъ управляющій и вошелъ въ лодку.

Вслѣдъ за нимъ прыгнула и Ольга Александровна. Они стали уже отчаливать; братъ взялся за весла.

Но Андреемъ овладѣло крайнее волненіе. Его круглые глаза безпокойно переходили съ предмета на предметъ, а вся его фигура приняла видъ вопросительнаго знака. Онъ видѣлъ, что управляющій уѣзжаетъ, и имъ овладѣло сильнѣйшее безпокойство.

— Ты что-то, кажется, забылъ?—спросилъ небрежно управляющій, замѣчая неспокойное состояніе Пыхтина.

— Не то что забылъ... а видите-ли, поговорить я думалъ объ одномъ дѣлѣ... Ну, да я опосля...

— Говори сейчасъ. Что тебѣ надо?

Волненіе Андрея дошло до послѣдней степени. Но онъ началъ окольными путями:

— Выставка-то, позвольте спросить, скоро будетъ?

— Скоро.—Управляющій былъ однимъ изъ распорядителей выставки.

— А будутъ тамъ машины, выдуманныя простыми людьми?

— Вѣроятно.

— И мнѣ, стало быть, можно будетъ туда сунуться съ своимъ предметомъ?

— А у тебя какой предмет?

— Видите-ли... съ позволенія сказать... извините... вѣчную машину я выдумалъ. То-есть двигатель конца не имѣеть... вотъ что. Давно ужъ я пробовалъ ее и долго-таки побашковалъ надъ ней, и даже года два, пожалуй, и теперь она у меня окончательно поставлена.

Говоря это, Пыхтинъ отъ сильнаго волненія топтался на берегу, а при послѣднихъ словахъ, сказанныхъ тихимъ шепотомъ, потянулся даже въ воду, чтобы быть поближе къ людямъ. Ольга Александровна съ любопытствомъ слушала. Одинъ только управляющій оставался холоднымъ зрителемъ.

— Такъ мнѣ можно на выставку-то?—переспросилъ Андрей.

— Отчего же, глупостей тамъ много будетъ, и лишняя не помѣшаетъ. А, впрочемъ, мнѣ надо посмотрѣть твой предметъ. Готова, говоришь? Отлично. Когда вернемся, мы зайдемъ къ тебѣ.

Управляющій при этихъ словахъ ударилъ веслами, и лодка отошла отъ берега.

Пыхтинъ сначала неподвижно застылъ на одномъ мѣстѣ, но когда лодка скрылась изъ его глазъ, онъ принялся терзаться ожиданіями ея пріѣзда. На его тонкомъ лицѣ отражалась быстрая смѣна разнородныхъ чувствъ, изъ которыхъ радость и уныніе составляли крайніе предѣлы. Онъ ходилъ по песку, садился на лавочку передъ домомъ, смѣялся про себя, гордо представляя изумленіе народа передъ его выдумкой, но вдругъ лицо его омрачалось, онъ съеживался, выражая полное отчаяніе всѣмъ своимъ видомъ.

Между такими крайностями онъ ждалъ возвращенія господъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на возвратившуюся жену съ ребятами, которая, не ожидая вызова, сію же минуту принялась укорять его за лѣнь, за безумство и пр. Какъ истинная Ксантиппа, она не была сдержанна въ выраженіяхъ и говорила съ нимъ въ высшей степени образно, называя его именами разныхъ домашнихъ животныхъ. Но такъ какъ эти объясненія повторялись ежедневно, въ особенности въ послѣднее время, когда машина окончательно отдѣлывалась, то Пыхтинъ привыкъ молча выслушивать ихъ, только разсѣянно огрызаясь.

— Молчи, дура! Сейчасъ подѣдутъ господа и найдутъ смотрѣть машину... А ты лаешься! Приберись лучше, нечѣмъ

страмиться!... Машину поставить на выставку и всё будутъ любопытствовать насчетъ ее... А, можетъ, и медаль выдать. Тогда и мы поправимся... А ты лаешь по-собачьи! Поди лучше утрись, страмъ одинъ съ тобой!

На этотъ разъ жена присмирѣла и въ самомъ дѣлѣ поправила свой костюмъ въ ожиданіи господъ.

Солнце закатилось между двухъ горъ. Небо на западѣ вспыхнуло багровымъ пожаромъ; горы потемнѣли; поверхность озера приняла цвѣтъ свинцоваго блеска. Погода измѣнилась. Съ сѣвера подулъ вѣтерокъ, и озеро сморщилось отъ мелкой ряби. Холодная сырость пропитала воздухъ. Надвигалась ночь.

Вдали слышался громъ заводскихъ машинъ, прокатывавшихся желѣзо, и гулъ доменной печи; изъ жерла послѣдней, какъ изъ вулкана, вылетали брызги огненныхъ искръ.

Братъ и сестра долго плыли впередъ. Они не говорили между собой. Онъ никогда первый не нарушалъ молчанія, а она задумалась. Ее сильно заинтересовалъ Пыхтинъ со своею „вѣчною машиною“; любопытство, жалость, сочувствіе, недоувѣріе,—все это быстро промелькнуло въ ея душѣ по поводу страннаго человѣка.

— Послушай,—вдругъ печально заговорила она,—ты бы лучше отказался принять этотъ двигатель... Надъ нимъ насмѣются, и это принесетъ только одно страданіе ему... Вѣроятно, изъ-за своего изобрѣтенія онъ бросилъ домашнія дѣла, растратилъ послѣднія средства, а тогда еще больше обидѣть.

— Ты думаешь, если я откажу ему въ ея мѣстѣ на выставкѣ, онъ броситъ свою затѣю? Онъ упрямо будетъ продолжать заниматься ею,—возразилъ управляющій.

— По крайней мѣрѣ, онъ не испытаетъ боль насмѣшки.

— Смѣхъ—единственное лѣкарство отъ грусти.

Оба опять замолчали. Погода быстро измѣнилась. Вѣтеръ крѣпъ и дѣлался холоднымъ. Озеро волновалось. Волны уже сильно бились о каменные берега того острова, возлѣ котораго они держались. Не говоря ни слова, братъ повернулъ лодку назадъ.

— А странно, въ самомъ дѣлѣ... человѣчество, повидимому, никогда не броситъ этой мечты—создать вѣчный двигатель,—сказала вдругъ задумчиво Ольга Александровна.

— Человѣчество?—небрежно переспросилъ братъ.

— Ну, да, человѣчество... Люди никогда не бросать рѣшать неразрѣшимыя задачи.

Насмѣшливая улыбка заиграла на губахъ брата.

— Человѣчество?—съ преднамѣренной ироніей повторилъ онъ.—Такого объекта въ дѣйствительности не существуетъ. Человѣчество — это сбродъ звѣрей, мало похожихъ между собой, ненавистныхъ другъ другу и смертельно враждующихъ. Вѣрнѣе сказать, человѣчество состоитъ изъ множества различныхъ видовъ, которые пожираютъ другъ друга со бѣльшимъ удовольствіемъ, чѣмъ различные виды животныхъ. Поистинѣ глупая иллюзія! Я встрѣчаю то и дѣло людей, между которыми такое же сходство, какъ между слономъ и крысой или какъ между обезьяной и поросенкомъ... Скажи на милость, что общаго между Спинозой и мѣнялой или между Бѣлинскимъ и живодеромъ?... Ахъ, ты вотъ встати багуешься зоологіей,—вотъ тебѣ задача: займись-ка классификаціей... Какъ ты объ этомъ думаешь?

— Смѣяться можно надъ всѣмъ, — тихо прервала Ольга Александровна, на которую иронія брата каждый разъ нагоняла сильнѣйшій переполохъ.

— Я вижу, что ты принимаешь мое предложеніе. Очень радъ. Я, пожалуй, тебѣ помогу на первый случай. Сначала раздѣлимъ на классы. Первый классъ — *ползающіе*... Впрочемъ, я долженъ объяснить, что главнымъ естественнымъ признакомъ дѣленія я признаю личной уголъ, отлично совпадающій съ возрастаніемъ мысли... Итакъ, *ползающіе*. Второй классъ — *малоголовые*. Третій классъ — *неполноголовые*. Четвертый классъ — *юловобрухіе*, многочисленные представители котораго играютъ довольно замѣтную роль въ духовной дѣятельности. Слѣдующій классъ — *хищные*, которымъ принадлежитъ настоящее: мысль ихъ уже страшно развита, но она проявляется лишь ловкостью и размѣрами похиранія. Слѣдующій классъ — *мыслящіе* и, наконецъ, послѣдній — *любящіе*; это уже примѣты человѣчества и, быть можетъ, имъ принадлежитъ будущее... Ты видишь, какъ постепенно главный признакъ дѣленія возрастаетъ, а въ послѣднемъ классѣ мысль уже воплощается въ живые образы любви ко всему міру...

— Къ какому же классу принадлежить Пыхтинъ?—спросила Ольга Александровна, слабо улыбаясь.

— А! ты, я вижу, поняла меня? Отлично. Позволь мнѣ только окончить. Такъ называемыми мировыми задачами человечества занимаются только послѣдніе два класса. Они же поддерживаютъ и *perpetuum mobile*. Въ сущности, что такое вѣчный двигатель? Это—мѣръ, непрерывно измѣняющійся, лишенный покоя, вѣчно двигающійся, и, чтобы создать вѣчный двигатель, надо только представить точную модель мірозданія. Впрочемъ, Пыхтинъ сумасшедшій. И я не знаю уже, къ какому классу его причислить. Между тѣмъ, я не могу сказать, чтобы идея вѣчнаго двигателя была безусловно нелѣпа... Пыхтинъ, чортъ его возьми, далъ худую лодку!

Управляющій вдругъ такъ выругался потому, что лодка наполнилась водой. Разговоръ мгновенно былъ забытъ, и все вниманіе брата и сестры вдругъ было поглощено течью въ лодкѣ и волнами на озерѣ. Въ тотъ моментъ, когда онъ думалъ высказать еще нѣсколько замѣчаній, выражавшихъ его презрѣніе къ людямъ, лодка сильно покачнулась, зачерпнула воды, и онъ забылъ обо всемъ. Небо покрылось свинцовыми тучами. Вѣтеръ уже порывами метался по поверхности озера и взволновалъ его въ нѣсколько мгновеній, избороздивъ его глубокими впадинами и высокими хребтами. Бѣлые лохмотья воды съ шумомъ крутились, лодка вертелась между ними и плохо слушалась веселъ управляющаго. Онъ бѣсился, потерявъ самообладаніе, — онъ бѣсился, когда лодка повертывалась въ другую сторону, а холодныя брызги мочили его лицо и одежду.

Наконецъ, лодка подъѣхала къ берегу. Ее схватилъ ожидавшій здѣсь Пыхтинъ и сильно потянулъ на песокъ, надѣясь, что сейчасъ будетъ произведенъ осмотръ его машины.

— Ну, братъ, придется, видно, отложить до завтра,—хмуро сказалъ управляющій. Слуги догадались прислать на берегъ коляску; онъ съ сестрой сѣлъ въ нее и уѣхалъ.

Пыхтинъ растерялся. Все время онъ ожидалъ ихъ возвращенія съ напряженнымъ нетерпѣніемъ, а теперь, когда они уѣхали, онъ вдругъ опустилсѣ. Понуро свѣсивъ голову, онъ поплелся въ избу.

Тучи совсѣмъ нависли, и черезъ минуту полилъ сильный дождь.

II.

Ремесло Пыхтину досталось отъ отца, считавшаго своимъ священнымъ долгомъ научить всѣхъ своихъ дѣтей дѣлать жестяныя ведра; другого наслѣдства Андрей не получилъ отъ родителей. Правда, побывалъ онъ въ уѣздномъ училищѣ, куда былъ отданъ собственно затѣмъ, чтобы „не мозолилъ глаза“, не болтался дома, но черезъ полтора года со дня поступленія въ училище отецъ однажды рѣшительно сказалъ: „Будетъ, Андрюшка, учиться. Садись за ведра“.

Съ той поры онъ и производитъ ведра. Внѣшняя жизнь его мало чѣмъ отличалась отъ жизни другихъ кустарей; въ свое время онъ женился, черезъ правильные промежутки крестилъ дѣтей и ежедневно дѣлалъ ведра. На подмогу себѣ онъ держалъ помощника, который обязанъ былъ въ продолженіе пяти дней работать, а въ воскресенье и понедѣльникъ имѣлъ право ложиться плашмя подъ заборомъ, предварительно подравшись съ кѣмъ-нибудь въ кабацѣ, но этотъ помощникъ не улучшалъ его матеріальнаго положенія. Пыхтинъ продолжалъ оставаться истиннымъ кустаремъ, не обезпеченнымъ, вѣчно угнетаемымъ нуждою.

Но за то внутренняя жизнь его рѣзко отличалась отъ всѣхъ другихъ жизней. Еще ребенкомъ это было нервное, безпокойное существо, одаренное пытливымъ умомъ. Училище дало ему нѣсколько клочковъ знаній, которые только раздражали его живую мысль. Во все онъ пытался вносить новизну, усовершенствованіе, одухотворяя самые мертвые предметы. Кажется, на что ужъ глупая вещь—ведро, но и въ его устройство онъ внесъ нѣсколько улучшеній, измѣнялъ его форму, изобрѣталъ прочную окраску, примѣнялъ его къ житейскимъ удобствамъ. Но непрерывно работающая фантазія его лишена была обильнаго и здороваго матеріала; не обладая знаніями, мысли его блуждали въ полутьмѣ, какъ въ густыхъ заросляхъ, растущихъ по болотамъ.

А, между тѣмъ, онѣ, мысли его, росли, переплетаясь между собой, и занимали все его существо. Современемъ взглядъ его круглыхъ глазъ сдѣлался безпокойнымъ, нервы —постоянно раздраженными, характеръ сталъ неровный, колеблющійся отъ гнѣва къ безсилію, отъ воодушевленія къ

отчаянію. Не находя простора, творческія силы его растратывались на ненужные поступки и безцѣльные слова.

Ко всему этому прибавилась обстановка кустаря, бѣдная, часто унижительная. Что бы онъ ни думалъ и о чемъ бы ни мечталъ, но онъ всегда долженъ былъ помнить, что возлѣ него пять ртовъ, требующихъ удовлетворенія, что накормить ихъ онъ можетъ только ведрами и что каждый пропущенный имъ день отзовется сейчасъ же крикомъ ртовъ, бранью его Ксантиппы и отсутствіемъ обѣда. Однимъ словомъ, свободного времени для любимыхъ занятій у него не было. Чтобы завоевать время для умственной работы, онъ долженъ былъ надѣлать слѣдующихъ дѣлъ: усмирить еловымъ полѣномъ ругань жены, надрать уши надоѣдавшимъ дѣтямъ или совсѣмъ расшвырять ихъ по двору, побить нѣсколько предметовъ изъ домашней утвари и захлопнуть дверь, — только послѣ такой расчистки почвы для умственной работы онъ могъ часа на два отдаться чертежамъ.

Съ теченіемъ времени раздражительность его стала проявляться уже безъ всякаго порядка. Всегда задумчивый, онъ приходилъ въ неистовое раздраженіе каждый разъ, когда кто-нибудь изъ домашнихъ надоѣдалъ ему, отвлекая его отъ мыслей. Въ себя отъ гнѣва, онъ тогда совершалъ нѣсколько неистовствъ и убѣгалъ изъ дому, чаще всего въ трактиръ. Тамъ онъ успокаивалъ себя нѣсколькими глотками водки и затѣмъ передъ собравшеюся публикой одушевленно рассказывалъ о своихъ изобрѣтеніяхъ, причѣмъ всегда оказывалось, что онъ уже изобрѣлъ одну машину, представилъ ее высшему начальству и получить скоро золотую медаль, а также двѣ тысячи рублей; впрочемъ, онъ получалъ и по десяти тысячъ, потому что наболѣвшее самолюбіе не въ состояніи удовлетвориться небольшими размѣрами.

Чѣмъ больше заростала его живая мысль, чѣмъ длиннѣе становился рядъ неудачъ, тѣмъ больнѣе становилась его недужинная душа. На заурядную, однообразную жизнь мастера ведерь онъ уже не былъ способенъ, а другой жизни онъ не могъ добиться, и потому день ото дня дѣлался все болѣе беспорядочнымъ человѣкомъ. Онъ переходилъ отъ одной крайности къ другой: то падалъ ниже пропасти, то вдругъ проявлялъ необычайную энергію, то дѣлался слабѣе ребенка.

Иногда онъ по цѣлому мѣсяцу ночевалъ въ лужахъ, вымазанный грязью, покрытый синяками, которые испещряли его лицо подобно бронзовымъ медалямъ, выдаваемымъ на выставкахъ за плохія произведенія. За этимъ паденіемъ слѣдовалъ безконечный стыдъ, тогда онъ съ страшною энергіей всѣхъ нервныхъ людей за какой-нибудь мѣсяцъ исправлялъ всѣ недостатки дома, производилъ невѣроятное количество ведеръ, расплачивался со всѣми долгами и зашибалъ много денегъ, отдавая всѣ ихъ женѣ.

Но когда порывъ стыда и раскаянія проходилъ, онъ вдругъ начиналъ неизвѣстно о чемъ тосковать. Темная грусть овладѣвала всѣмъ его существомъ, и онъ, тревожный, покидалъ домъ, чтобы бродить по горамъ съ ружьемъ или по островамъ съ удочками, бродилъ онъ тамъ одинъ, по нѣсколькимъ днямъ никого не видя.

Среди такихъ крайностей въ заросшую соромъ голову его пала мысль о вѣчномъ двигателѣ. Существованіе этого вопроса онъ зналъ изъ клочковъ, какими подарила его наука уздазнаго училища. Мысль глубоко заняла его, но онъ не зналъ, какъ воспользоваться ею; о невозможности же осуществить ее онъ нисколько не думалъ. Напротивъ, его могла удовлетворить теперь только поразительно огромная идея, которая ударила бы прямо въ сердце и вызвала тысячи искръ изъ засоренной головы.

Съ годъ онъ блуждалъ въ этомъ направленіи.

Наконецъ, однажды, постукивая по ведру молоткомъ, онъ вдругъ выронилъ на полъ и молотокъ, и ведро, всталъ, взволнованный, съ мѣста и задумчиво смотрѣлъ въ одну, невидимую въ пространствѣ точку. Постоявъ немного, онъ, какъ лунатикъ, вышелъ на дворъ, со двора на улицу, прямо на берегъ озера, отсюда въ лодку и на лодкѣ поплылъ къ большому каменному острову, высоко поднимавшему изъ воды свои дикія гранитныя глыбы, межъ щелей которыхъ росло нѣсколько кривыхъ сосенъ. Выйдя на берегъ, онъ принялся чертить палкой на пескѣ эскизъ машины. Онъ твердою рукой водилъ палкой и скоро контуры *perpetuum mobile* ясно обрисовались на отлогомъ берегу. Кончивъ главную работу, онъ сталъ другою палочкой рисовать болѣе мелкія части; тогда на пескѣ появилась сложная ткань линий и круговъ,—рисунокъ былъ готовъ.

Вскорѣ затѣмъ онъ сѣлъ въ лодку и поплылъ домой, сдерживая восторгъ, овладѣвшій его душой.

Съ этого дня, въ продолженіе года, онъ не переставалъ работать надъ своимъ изобрѣтеніемъ. Исполняя его, онъ, какъ истинный кустарь, обтѣпалъ его топоромъ. Обыкновенная домашняя дѣла онъ выполнялъ механически, весь погруженный въ дѣланіе машины. Это были лучшіе дни его жизни. Любовь и счастье впервые посѣтили его, и жизненный путь его ярко былъ освѣщенъ. Онъ пересталъ раздражаться, бросилъ пить, сдѣлался кроткимъ со всѣми. Даже жена не могла взбѣсить его, даже тупой Максимъ, послѣдній его помощникъ, не выводилъ его больше изъ терпѣнія своею глупостью.

Только къ своему изобрѣтенію онъ былъ чутокъ, и малѣйшее замѣчаніе насчетъ его годности могло смертельно оскорбить его.

III.

На другой день къ домику Пыхтина подъѣхала коляска, въ которой сидѣли управляющій и сестра его. Пыхтинъ съ раннего утра поджидалъ ихъ и теперь встрѣтилъ ихъ у воротъ, улыбающійся, но, видимо, взволнованный мыслью предстоящаго испытанія.

— Ну, Андрей Петровичъ, показывай намъ свою выдумку,—сказалъ управляющій, перешагивая черезъ порогъ калитки подъ руку съ сестрой. Послѣдняя сильно была возбуждена, и взоръ ея съ нескрываемымъ удивленіемъ переходилъ съ предмета на предметъ незнакомой для нея обстановки мастера. Замѣтивъ, что изъ окна домика глазѣютъ на дворъ ребяташки, а изъ-за двернаго косяка подсматриваетъ жена Пыхтина, она внезапно сконфузилась.

— Вы побезпокойтеть вотъ сюда... она у меня подъ сараемъ стоитъ... Ужъ извините, грязновато тамъ, да поставить-то некуда больше,—говорилъ Пыхтинъ и повелъ гостей подъ сарай.

Пройдя, сильно нагнувшись, дверь сарая, всѣ трое очутились въ полутемномъ помѣщеніи съ землянымъ поломъ и остановились: прямо передъ ними стояла странная машина большихъ размѣровъ, съ перваго взгляда похожая на тотъ станокъ, въ которомъ подковываютъ лошадей; виднѣлись

плохо отесанные деревянные столбы, переладина и цѣлая система колесъ, маховыхъ и зубчатыхъ; все это было неуклюже, не остругано, безобразно. Въ самомъ низу подъ машиной лежали какіе-то чугунные шары; цѣлая куча этихъ шаровъ лежала и въ сторонѣ.

Прошла незамѣтно для всѣхъ троекъ минута молчанія.

— Это она и есть?—спросилъ управляющій, ткнувъ пальцемъ въ хитрую постройку.

— Она-съ...

— Какое чудовище!... Ты бы хоть немного обтесалъ ее.

Нельзя было подмѣтить, смѣется управляющій или нѣтъ,—на его лицѣ не было ничего опредѣленнаго. Но сестрѣ не понравился его тонъ; со свойственною ей чудкостью она понимала, какою болью отзывается на Пыхтинѣ каждая двусмысленность; ей стало больно. Странное сходство было между этими двумя людьми, такъ удаленными другъ отъ друга социальными перегородками. Нервный, теперь взволнованный Пыхтинъ, съ постоянно мѣняющимся выраженіемъ лица, могъ бы быть истиннымъ братомъ этой подвижной и вѣчно-тревожной барыни, — это были родные. Впрочемъ, Пыхтину некогда было въ эту минуту слѣдить за доброю барыней, но за то послѣдняя чутко слушала его, безусловно понимая каждую тѣнь его лица. И когда братъ ея небрежно произнесъ свои слова, она какъ-то съежилась и взглянула на мастера, глубоко чувствуя, какъ тому больно.

— Да, она, точно... не отесана малость,—возразилъ Пыхтинъ.—Но для чего и стараться-то? Вы ужъ не смотрите на нее больно сурьезно... Такъ себѣ, шутка вѣдь!—и, говоря это, Пыхтинъ пытался насмѣшливо взглянуть на свое неуклюжее дѣтище, но вся встревоженная фигура его противорѣчила такому намѣренію. И Ольга Александровна опять поняла это.

— Что же, вертится она?—продолжалъ управляющій.

— Какъ же, вертится...

— Да у тебя есть лошадь, чтобы вертѣть-то ее?

— Зачѣмъ же лошадь? Она сама,—отвѣчалъ съ улыбкой Пыхтинъ, глотая колкость, и принялся показывать устройство чудища.

Главную роль играли тѣ чугунные шары, которые сло-

жены были тутъ же въ кучу. Для перваго раза надо было съ размаху ударить такимъ шаромъ въ одинъ изъ черпаковъ, прикрѣпленныхъ на окружности маховаго колеса, и машина начнетъ двигаться; затѣмъ остается только въ свое время и на свои мѣста подложить остальные шары—и механизмъ будетъ совершать непрерывное круговращеніе. Объясняя устройство машины, Пыхтинъ разгорячился и одушевленно говорилъ. Ольга Александровна слѣдила за каждымъ его словомъ.

— Главная сила въ этихъ вотъ шарахъ... Вотъ глядите: наперво онъ бунцнется на этотъ черпакъ... отсюда свистнетъ, подобно молніи, вонъ по этому желобу, а тамъ его поддѣветъ тотъ черпакъ и онъ перелетитъ, какъ сумасшедшій, на то колесо, и опять дастъ ему хорошаго толчка,—такого, то есть, толчка, отъ котораго онъ зажужжитъ даже... А пока этотъ шаръ летитъ, тамъ ужъ свое дѣло дѣлаетъ другой... Тамъ ужъ онъ опять летитъ и—бунцъ вотъ сюда. Тутъ ужъ онъ опять по желобу летитъ... бросится на тотъ черпакъ, перескочитъ на то колесо и опять р-разъ! Такъ и далѣе. Вотъ она въ чемъ штука-то...

Кончивъ объясненіе, Пыхтинъ съ пылающимъ лицомъ сталъ перебирать шары.

— Что же, ты пробовалъ пускать?

— Пускалъ.

— Вертится?

— Страсть какъ! Жужжитъ даже... Я сейчасъ...

— А голову не оторветъ?—лѣнливо спросилъ управляющій, и въ первый разъ на углахъ его губъ проскользнула усмѣшка. Сестра съ гнѣвнымъ укоромъ взглянула на него.

— Помилуйте! Ходъ у ней правильный. Вреда она не сдѣлаетъ... Вотъ я, Господи благослови, пушу ее...

Пыхтинъ торопливо метался по сараю, собирая разбросанные шары. Наконецъ, сваливъ ихъ въ одну кучу подлѣ себя, онъ взялъ одинъ изъ нихъ въ руку и съ размаху бухнулъ его на ближайшій черпакъ колеса, потомъ быстро подхватилъ другой, за нимъ третій... Въ сараѣ поднялось что-то невообразимое; шары лязгали о желѣзные черпаки, дерево колесъ скрипѣло, столбы стонали. Адскій свистъ, жужжаніе, скрежетъ наполнили полутемное мѣсто... Но творецъ этого чудовища ничего не слыхалъ; онъ стоялъ возлѣ вер-

тящихся колесъ съ шарами въ рукахъ и съ пылающимъ лицомъ смотрѣлъ на кружившуюся систему, которая не оставалась, какъ бы повинуваясь нравственной силѣ стоявшаго подлѣ нея создателя. Лицо Ольги Александровны, за минуту передъ тѣмъ сомнѣвавшейся въ возможности движенія, теперь озарилось радостью.

— Вотъ дьявольское изобрѣтеніе! И какъ это тебѣ пришло въ голову выдумать такого звѣря? — сказалъ раздраженно управляющій, выведенный изъ себя свистомъ и лязгомъ. — Ну его къ чорту, останови! — попросилъ онъ.

Черезъ нѣсколько минутъ Пыхтинъ остановилъ движеніе, но продолжалъ стоять возлѣ машины. Лицо его свѣтилось гордостью.

— Чортъ знаетъ, какая нелѣпость! Хорошо еще, что это чудовище не въ состояніи долго вертѣться! — проговорилъ какъ бы про себя управляющій и вынулъ записную книжку.

— Какъ, неужели движеніе скоро остановилось бы? — воскликнула Ольга Александровна и взглянула на Пыхтина. Послѣдній безпокойно устремилъ глаза на управляющаго.

Управляющій не отвѣчалъ, продолжая писать, и только когда кончилъ, то выговорилъ:

— Да, было бы ужасно, еслибы эта деревянная скотина могла долго вертѣться! Къ счастью, достаточно, чтобы одинъ шаръ свалился, и скотина потеряетъ всякую способность къ движенію... Впрочемъ, вотъ тебѣ листокъ; ты его подай одному изъ распорядителей, и тебѣ позволять поставить...

Сказавъ это, управляющій вырвалъ листокъ изъ записной книжки, подалъ его остоленѣвшему Пыхтину и направился къ выходу. Ольга Александровна торопливо пожала руку мастеру и бросилась за братомъ съ такою поспѣшностью, словно здѣсь, подлѣ сараема, она потерпѣла пораженіе. Ей было больно за Пыхтина. А послѣдній все стоялъ на мѣстѣ и сильно упалъ духомъ; лѣниво брошенные слова вдругъ открыли ему, убійственный недостатокъ его машины. И еще многое онъ вдругъ замѣтилъ и затосковалъ.

Тѣмъ временемъ братъ и сестра ѣхали въ коляскѣ домой. Ольга Александровна была недовольна грубостью брата, и ея лицо носило слѣды раздраженія. Она долго не говорила

— Какой онъ несчастный! — наконецъ, сказала она.

Братъ промолчалъ.

— Но онъ совсѣмъ упадетъ духомъ; ты, право, лучше бы отговорилъ его показываться на выставку, — издѣваться будутъ...

— Зачѣмъ? — возразилъ братъ. — Обдумывая такое чудовище, онъ все-таки нѣсколько лѣтъ жилъ облагороженный, зачѣмъ же я лишу его такого счастья? Имъ оно не часто выпадаетъ. Скучна и бессмысленна ихъ жизнь... Умъ молчить, всѣ духовныя потребности заглушены однообразною, нелѣпою работою... Положимъ, онъ дѣлаетъ топоръ... всю жизнь топоръ дѣлать, миллионы топоровъ! Тупое затмѣніе, нелѣпая жизнь. Удовольствій и развлеченій у него также нѣтъ. Придетъ праздникъ—въ кабакъ. Напьется, упадетъ носомъ въ грязь, пуская пузыри... А на завтра опять топоръ. Вѣчный, неумолимый, до самой смерти топоръ. А этотъ, по крайней мѣрѣ, испыталъ человѣческую жизнь... узналъ чарующую привлекательность созданія, гордость побѣды, очаровательность чистой мысли... Ну, и пусть... Кстати, я уже распорядился принять его на заводъ.

Кончивъ такъ неожиданно, онъ отвернулся и осматривалъ далекія окрестности. Ольга Александровна изумленно посмотрѣла на него и хотѣла пожать ему руку, но этотъ порывъ не былъ приведенъ въ исполненіе, потому что управляющій уже не обращалъ вниманія на то, что происходитъ рядомъ съ нимъ.

Такой характеръ брата всегда изумлялъ сестру. Всегда неприступный и холодный, онъ часто говорилъ и дѣлалъ не дурно... во всякомъ случаѣ, не былъ совсѣмъ равнодушнымъ. Много было напускного въ его презрительномъ скептицизмѣ. Въ дѣйствительности чуткій, онъ старался казаться безучастнымъ; безпокойный, онъ хотѣлъ казаться апатичнымъ; по природѣ мягкій, онъ желалъ казаться озлобленнымъ. Всю жизнь онъ стремился не походить на себя. Онъ воспитывался въ той средѣ напускного приличія, гдѣ всякій порывъ откровенности и правдивости считается неотесанностью, и потому онъ ненавидѣлъ себя, когда обнаруживалъ волненіе. Онъ не могъ простить себѣ, если приходилось отъ чего-нибудь растеряться; и еслибы кто-нибудь подмѣтилъ, какъ онъ плакалъ надъ однимъ письмомъ сестры, оскорбленной негодяемъ, то онъ умеръ бы отъ стыда и злости на себя.

Вообще, быть добрымъ очень смѣшно, по его мнѣнію; онъ, наоборотъ, любилъ казаться безпощаднымъ.

Съ перваго раза онъ оцѣнилъ Пыхтина и рѣшился чѣмъ-нибудь помочь ему. Объ его честности онъ раньше зналъ, теперь же онъ убѣдился въ его недюжинности и распорядился дать ему мѣсто на заводѣ. Такимъ способомъ онъ желалъ дать выходъ неутомимой изобрѣтательности кустаря. Но, высказавъ свое рѣшеніе сестрѣ, онъ боялся показаться сантиментальнымъ.

IV.

Посреди обширнаго двора выставки играла музыка. Недалеко слышался шумъ водопада, брызги котораго радужнымъ туманомъ играли на солнцѣ. Солнце ярко освѣщало пеструю картину выставки: павильоны, цвѣты, разодѣтыхъ дамъ, толпу посѣтителей. Мужчины околачивались больше около ресторана и, только побывавъ тамъ, толкались возлѣ витринъ.

Пыхтинъ потерялся среди толпы и бродилъ, какъ во снѣ.

Въ первые дни онъ обѣжалъ всю выставку, на все взглянулъ, но вышній блескъ предметовъ и людей смутно отпечатлѣлся на его сосредоточенной душѣ. На свою машину, запрятанную гдѣ-то въ темномъ углу, онъ только разъ взглянулъ и отошелъ прочь, стыдясь даже близко подходить къ ней. Его вниманіе было обращено на груды чужихъ машинъ, повсюду блестящихъ стальнымъ отливомъ. Нѣкоторые онъ сейчасъ же разобралъ, передъ другими останавливался въ изумленіи, пораженный ихъ сложнымъ устройствомъ. Но всѣ онъ произвели на него угнетающее дѣйствіе. Чистота, блескъ, вложенное въ нихъ остроуміе почти оскорбляли его; онъ сравнилъ ихъ со всѣмъ тѣмъ, что самъ думалъ и производилъ, и совершенно упалъ въ своемъ собственномъ мнѣніи.

Но въ особенности онъ былъ подавленъ огромною массой никогда невиданныхъ имъ и непонятныхъ вещей. Его давило это безконечное множество предметовъ, о которыхъ онъ ничего не зналъ, а смотря на нихъ теперь, ничего не въ силахъ былъ понять. Для такихъ же мыслящихъ натуръ, какъ онъ, непониманіе равносильно смерти. Привыкнувъ отдавать себѣ отчетъ во всемъ, онъ теперь, среди такого разнообразія непонятныхъ вещей, чувствовалъ себя безсиль-

нымъ и глупымъ. Мысль его билась непрерывнымъ пульсомъ, а теперь, передъ пестрою и блестящею кучей разнообразныхъ предметовъ, собранныхъ изъ неизвѣстныхъ странъ, она какъ будто остановилась.

Бездушный и безсмысленный, онъ робко ходилъ по выставкѣ, стараясь не обращать ничьего вниманія. Онъ сильно опустился. Такая слабость на него нашла, что онъ по цѣлому часу часу сидѣлъ гдѣ-нибудь въ полутемномъ углу и не могъ пошевелиться съ мѣста. И страшная тоска на него напала. Цѣлый невѣдомый міръ людскихъ дѣлъ вдругъ представился ему въ одной волшебной картинѣ, но этотъ міръ былъ чужой ему; онъ его не понималъ, и чужой здѣсь былъ.

Отъ этой слабости онъ нѣсколько оправился тогда, когда сталъ осматривать родныя и понятныя ему вещи своего же брата, захоlustнаго мастера. Его вниманіе, главнымъ образомъ, обращено было на изобрѣтенія и „выдумки“. Здѣсь онъ осмысленно все осмотрѣлъ и перезнакомился съ экспонентами. Народъ все рабочій, темный. На выставку они попали прямо изъ-за печки, подобно сверчкамъ, и, очутившись среди чуждаго имъ освѣщенія, чувствовали себя въ высшей степени не ладно; боязливый взглядъ ихъ какъ бы говорилъ: „А что, не погонять насъ по шеѣ отсюда?“ Ихъ изобрѣтенія также были затѣяны не ладно, не впопадъ, было ясно, что творцы ихъ начали думать не съ того конца. Кроме того, подѣлки ихъ поражали небрежностью.

Осматривая эти подѣлки, Андрей Пыхтинъ внимательно разбиралъ ихъ устройство и насмѣшливо качалъ головой.

— Одно слово—наши! Издали еще примѣтишь, что наши это глупости!—сказалъ онъ однажды въ кучкѣ собратьевъ-изобрѣтателей.

— Да, ужъ это вѣрно Издали примѣтно, которая наша. . Сейчасъ примѣтишь. Потому какъ только, Господи благослови, взглянулъ на нее, такъ и покотился со смѣху,—отвѣтилъ одинъ изъ кустарей, веселый малый.

Въ кучкѣ многіе засмѣялись. Иронія къ самимъ себѣ давно уже созрѣла у всѣхъ.

— Инструмента мы не любимъ—вотъ отчего, надо такъ думать,—прибавилъ кто-то.

— Инструментъ у насъ отъ Бога, а другого мы не лю-

гопоръ не возьметъ—зубы. Третье дѣло—ногти... Вотъ и весь нашъ инструментъ.

— И башка еще, чай,—поправилъ кто-то.

— Башка сама собой!... Первый инструментъ!

— У иного страсть какая толстая башка!—замѣтилъ съ веселою улыбкой веселый малый.—А все ни къ чему... нѣтъ ей, башкѣ, назначенія...

— Ни къ чему, ей-Богу! Потому я такъ думаю, что, ни-чему ни учимшись, ничего не видавши, съ одною толстою башкой все равно некуда... Сколько ни мотай ей, а все ни къ чему.

— Нѣтъ, вотъ вы послушайте, что я вамъ скажу,—началъ опять веселый малый, приготовляясь сказать что-то забавное.—Страмъ одинъ! Ужъ я просился, чтобы выпустили меня отсюда—нѣтъ, не пускаютъ!... Совѣстно даже въ глаза глядѣть... А вѣдь дома-то какъ о себѣ думалъ... и не подступайся! Какъ, молъ, покажусь со своею вещью, такъ всѣ и ахнутъ. На, скажутъ, тебѣ золотую медаль за выдумку и, ради Бога, больше не выдумывай... Я вотъ свою-то подлость ужъ подъ скамью запряталъ, чтобъ не смѣялись, — такъ нѣтъ, вытаскиваютъ и изъ-подъ скамьи, обсматриваютъ!... Ну, мочи моей нѣтъ! Вчера я ужъ ее, машинку-то мою, накрылъ тазомъ... Съ тазами тутъ кто-то около меня стоитъ... Сиди, говорю, милая, тутъ подъ тазомъ и не показывайся,—такъ нѣтъ, пришли какіе-то господа, открыли тазъ, вытащили ее оттуда и давай ее по всѣмъ косточкамъ... Завтра хочу ее посадить въ мѣшокъ и въ воду...

— А какъ пымаютъ?—спросилъ кто-то тѣмъ же тономъ.

— Ну, тогда ужъ и не знаю, что мнѣ дѣлать съ ей... Развѣ нечаянно сѣсть на нее... да живучая больно, не разломаешь!

Разскащикъ смѣялся; смѣялись добродушно и другіе надъ собой; это былъ честный смѣхъ русскаго человѣка, умѣющаго иронически отнестись къ своимъ слабымъ сторонамъ, а подчасъ жестоко оплевать себя. Но что стоилъ этотъ смѣхъ честнымъ кустарямъ, одному Богу извѣстно. Видно, не разъ каждому изъ нихъ приходилось бороться съ овладѣвательною грустью.

Пыхтинъ также улыбался, слушая разговоръ. Только о

своей машинѣ онъ ничего не сказалъ. Этотъ разговоръ, однако, перевернулъ его настроеніе. Въ началѣ выставки растерявшійся отъ своей горькой неудачи, онъ теперь быстро оправился отъ удара и съ обычною стремительностью бросился изучать поразившіе и непонятные для него предметы. Но это была только новая форма энергіи, заключенной въ немъ.

Половину дня онъ проводилъ на заводѣ, а другую половину—на выставкѣ. Здѣсь онъ неустанно разбиралъ хитрые механизмы, невѣдомые двигатели. Когда ему не удавалось собственными силами разобраться въ сложномъ устройствѣ, онъ настойчиво приставалъ къ знающимъ людямъ. Усвоивъ одно, онъ принимался за другое. Скоро онъ могъ отдать себѣ отчетъ въ каждой мелочи, которую встрѣтилъ, и понималъ все, что еще недавно давило его сложностью.

Но не однѣ машины его интересовали. Изучивъ ихъ всѣ, онъ съ такою же пытливостью принялся осматривать и другія вещи, спрашивая обо всемъ, что самъ не въ силахъ былъ уразумѣть. Онъ какъ-то просвѣтлѣлъ весь; знанія его расширились. Черезъ мѣсяцъ пестрый базаръ, представляемый выставкой, не поражалъ уже его разнообразіемъ; онъ освоился съ нимъ и внутренне привелъ его въ порядокъ.

Вслѣдъ затѣмъ онъ вдругъ исчезъ съ выставки и отдался весь заводу, гдѣ уже занималъ порядочное мѣсто. Управляющій, незамѣтно слѣдившій за нимъ, удивился этой внезапной переменѣ и, встрѣтивъ его однажды, спросилъ:

— Развѣ не ѣдишь больше на выставку?

— Нѣтъ, ужъ будетъ!—возразилъ Пыхтинъ.

— А какъ же твоя машина?

— Машина?—задумчиво переспросилъ Пыхтинъ и долго ничего не отвѣчалъ. Онъ какъ будто припоминалъ что-то изъ далекаго прошлаго, которое уже не возвратится.

— Ну ее къ шуту!—вдругъ сказалъ онъ съ энергіей.

— Не нужно бы было выставлать...

— Прикажете ужъ изрубить ее на дрова!—сказалъ Пыхтинъ и сильно покраснѣлъ.

Управляющій холодно пожалъ плечами.

— Къ сожалѣнію, выставка не отоплется. Тепло и такъ.

Сказавъ это, онъ отвернулся и уѣхалъ. Но на самомъ дѣлѣ онъ былъ радъ, что Пыхтинъ такъ дешево отдѣлался

отъ своей идеи, сводившей многихъ въ могилу. Съ этого дня онъ высоко оцѣнилъ своего новаго служащаго, понявъ, какая богатая энергія у этого бѣдняка и какъ безконечно онъ силенъ.

Въ непродолжительное время Пыхтинъ отдался всею душой заводу, который далъ выходъ его стремленіямъ. Сначала нѣсколько недѣль онъ все тамъ осматривалъ, обдумывалъ, наблюдалъ. Оставаясь на заводѣ съ нѣсколькими служащими во время шабаша, онъ пытливно изучалъ всѣ мелочи заводской дѣятельности, спрашивая товарищей и подчиненныхъ. Затѣмъ въ немъ зародились планы работъ и усовершенствованій. На ряду съ этимъ онъ читалъ много книгъ, находящихся въ распоряженіи у одного техника.

Когда въ неунывающей головѣ его зародились планы, онъ сталъ, сначала робко, потомъ болѣе рѣшительно, сообщать ихъ управляющему при всѣхъ встрѣчахъ. Но, не удовлетворяясь этими встрѣчами, онъ разъ осмѣлился проникнуть въ самое жилище магната и, ласково встрѣченный, пустился съ волненіемъ выкладывать все, что замѣтилъ. Онъ замѣтилъ лѣнь, недобросовѣстность, воровство. Затѣмъ онъ подробно сталъ объяснять все, о чемъ онъ передумалъ за это время. Управляющій равнодушно слушалъ, но не останавливалъ.

— Дайте мнѣ побольше работы!

— Развѣ у тебя мало ея?—спросилъ управляющій.

— Какая же это работа? Пустяки. Дайте, ради Бога!

— Хорошо, Андрей Петровичъ, мы еще съ тобой сладимся, а ты пока не горячись. Все успѣемъ сдѣлать,—такъ говорилъ управляющій, провожая Пыхтина, и тутъ же рѣшилъ, что онъ дастъ ему повышение, чтобы еще болѣе расширить кругъ его дѣятельности.

Къ сожалѣнію, неожиданная случайность разбила и это намѣреніе управляющаго, и мысли Пыхтина, да и самого Пыхтина. А, можетъ быть, это не была случайность? Въ дѣлѣ русскій человекъ всѣ свои силы убиваетъ на поиски развитія, а на самую жизнь у него нѣтъ уже силъ...

Занятый всецѣло своими новыми планами, поглощенный внутреннею работой, происходившей въ немъ, онъ сталъ страшно разсѣяннымъ. Еще среди толпы или дома, охлаждаемый присутствіемъ людей, онъ на минуты сбрасывалъ съ себя овладѣвшую имъ задумчивость, но внѣ своей семьи,

просто садаясь по шесту мосткам. Сидеть и проходить
можно только еще больше возбуждая его: изумительный
бродил между первыми же механизмами и не думая
думать, где он и что с ним.

Однажды, бродя в таковой разблудности по заповед-
никам, он незаметно подошел близко к одному дру-
ному колесу со стальными шестами, тяжело расклевывая
воздух. Молодой добураный рабочий заметил это и од-
важно от удара выскочил из колеса вперёд, выломав
доску, и он не успевал задаться. Заметив, что Пыхт
подойдет к этому месту никуда, он хотел ему на-
путть, но не мог, вдруг потеряв голову. Пыхтин, не-
тремя, шагнул в свободной лодочке. Это было мгно-
вие. Оттолкнувшись стальной лодочкой, он шагнул, по-
ступил, подпрыгнул вверх и прохнул по воде уже не-
выносимым.

Но лодка лениво и странно жила, молодого рабоче-
го Сидорова, другие рабочие и служащие и стоявшие ок-
рашенные товарищи. Приказавшие управляющим, но об-
ществу ходило, дико это сурово и жидко, и слыш те-
но его шепотом. Но он был в том же состоянии, как и
лениво, Приказавшие величаво. У Пыхтина была раз-
ношерстная одежда, переодетая пошл.

Но сэр ни на минуту не потерял сознания, только у-
дительно смотрел вокруг себя. Его положили на носилки
отвезти домой.

Туда привели его же минуту и Ольга Александровна
ей удалось смотреть на это изумительное тело. Пыхт
продолжал пытливо осматриваться и думать о чем-то, с
не мог говорить, но внимательно смотрел на жену,
дочку, на Ольгу Александровну и на рабочих, стоявших
с у порога на дель. Он смотрел из окна, около ко-
рого лежал на пире, на острова, на дальние горы,
вдохнул он с удивительным удивлением повел гла-
вокружить, он же увидел, что стена дома заходила
круто, почти острова перевернулись, с грохотом падал
подъём, но и падение разбилось и потемневшее со-
полетало с высоты в разноречную пропасть...

Сочиненіе Чернова.

(Разсказъ).

Теперь уже нѣтъ въ С. воскресной школы, которую нѣкогда завѣдывалъ передовой кружокъ этого города. Почему она прекратилась — неизвѣстно; сколько пользы принесла — также неизвѣстно. Можно только сказать, что школа каждый праздникъ наполнялась народомъ всякихъ возрастовъ и состояній. Бородатые мужчины, безусые юноши, старыя женщины, молодыя дѣвушки, мѣщане, крестьяне, фабричные, не исключая кучеровъ и водовозовъ, — много людей перебивало въ школѣ. Чѣмъ двигались эти, разнообразныхъ положеній люди, идя учиться грамотѣ — опредѣленно на это трудно отвѣтить, ибо каждый праздникъ составъ мѣнялся; одни, нѣсколько разъ побывавъ, больше не показывались, но на ихъ мѣстѣ появлялись другія лица, которыя, въ свою очередь, также безслѣдно пропадали, не оставивъ послѣ себя даже имени.

Больше всѣхъ учились двое, рѣшившіеся, повидимому, выучиться всему, что могла дать школа. Одинъ былъ мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, изъ мелочной лавки; другой — крестьянинъ, но съ видомъ настолько загадочнымъ, что онъ сильно выдѣлялся изъ пестрой школьной толпы. Просидѣлъ онъ въ школѣ очень долго, такъ что его всѣ знали: учителя, сторожа, хозяева дома, гдѣ помѣщался классъ, хозяева сосѣднихъ домовъ и большая часть посѣтителей-учениковъ. Имя его было Черновъ, человекъ уже пожилой, судя по огромной лысинѣ на его головѣ; лицо его было уже изборождено морщинами; глаза

его отъ времени стали безцвѣтными и круглыми, и корявые пальцы показывали, что онъ не переставалъ отправлять самыя грубыя работы. Эти черные пальцы такъ мало были приспособлены къ школьнымъ занятіямъ, что когда ему приходилось употреблять карандашъ, то онъ предварительно бралъ его лѣвою рукой и съ очевидными усилиями вкладывалъ его въ надлежащее мѣсто правой, все время боясь, что онъ у него вывалится.

Въ школѣ онъ имѣлъ опредѣленный уголъ, между стѣной и печкой, гдѣ неотлучно и сидѣлъ. Этотъ облюбованный уголъ онъ считалъ своею неотъемлемою собственностью. Когда ему приходилось запаздывать, а на его мѣсто садился кто нибудь другой, то происходилъ беспорядокъ. Черновъ ни за что не хотѣлъ уступать своего мѣста. Никѣмъ не раздражаемый, онъ сидѣлъ тихо и казался забытымъ; его лысина сіяла тогда кроткимъ свѣтомъ луны въ тихую майскую ночь. Но его легко было вывести изъ себя, въ особенности занятіемъ мѣста; тогда голая голова его дѣлалась багровою, какъ солнце передъ заходомъ, когда оно, обрамленное мрачными тучами, бросаетъ гнѣвные лучи свои на землю, грозя людямъ бурей. Однажды молодого купчика, занявшаго извѣстное мѣсто въ углу, Черновъ хлопнулъ по головѣ книгой. „Вы что, Черновъ, шумите тамъ?“—спрашивалъ учитель въ такихъ случаяхъ. Тогда изъ глубины комнаты, изъ-за печки, показывалась сначала лысина, потомъ и самъ весь Черновъ. „Сѣлъ на мое мѣсто, ваше благородіе... позвольте согнать!“—говорилъ онъ, и круглые глаза его смотрѣли гнѣвно. Учитель совѣтовалъ, во избѣжаніе дальнѣйшихъ беспорядковъ, никому не занимать его мѣста, вообще не связываться съ этимъ маниакомъ.

Учился Черновъ плохо. Всѣ учителя думали, что онъ никогда ничему не выучится. Послѣ объясненія учителя обыкновенно занимались съ каждымъ по одиночкѣ. Кто-нибудь подходилъ и къ Чернову, прося его повторить слышанное. Но Черновъ молчалъ, вперивъ круглые глаза въ одну точку.

— Вы поняли, Черновъ?

— Нѣтъ, я еще не понялъ,—возражалъ Черновъ поспѣшно.

Въ первое время, мало зная его, учителя сейчасъ же принимались ему объяснять дѣло, но когда, послѣ самыхъ по-

видимому, ясныхъ разъясненій, просили его повторить, онъ молчалъ, какъ и прежде, словно ему ничего не объясняли.

— Теперь вы поняли?

— Нѣтъ, я еще не понялъ, — возражалъ Черновъ неизмѣнно.

Узнавъ, что это его обыкновенный отвѣтъ, учителя его бросили: пусть его сидитъ и хлопаетъ глазами!

Между тѣмъ, Черновъ страшно работалъ головой, руками и, можно сказать, всѣмъ туловищемъ, фанатично добиваясь грамоты. Все выходящее изъ устъ учителя онъ выслушивалъ съ напряженнымъ вниманіемъ и тутъ же твердилъ про себя шепотомъ. Въ школу онъ приходилъ всегда съ огрызкомъ карандаша и съ пучкомъ какихъ-то бумажекъ, на которыхъ что-то неутомимо маралъ. Приносилъ онъ еще какія-то книжки безъ начала и конца и громко бормоталъ ихъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на окружающее. Эти работы были для него настолько изнурительны, что по окончаніи каждаго урока онъ ослабѣвалъ и выходилъ изъ школы сильно изнуреннымъ. Въ сущности, онъ постепенно узнавалъ грамоту, но не вѣрилъ себѣ. Это его несказанно мучило. Бывали праздники, когда онъ неподвижно сидѣлъ за печкой, а въ его взорѣ, устремленномъ на бумажки, виднѣлось полнѣйшее отчаяніе. Онъ тогда не вѣрилъ въ осуществленіе своей страстной мечты — выучиться писать.

Что руководило мыслями этого человѣка и зачѣмъ наклонъ лѣтъ понадобилась ему грамота? Всѣ учителя были убѣждены, что это у него манія.

А все-таки Черновъ упорно добивался знанія писать. Онъ не по праздникамъ только пыталъ надъ бумажками, но пользовался и буднями; когда дневные труды его оканчивались и наступала ночь, онъ залѣзалъ въ свое жилище, которое нарочно занималъ одинъ, и тамъ учился.

Жилъ онъ на краю города, на заднемъ дворѣ у одного мѣщанина, снимая землянку, гдѣ прежде помѣщались телята и куры; платилъ полтинникъ въ мѣсяцъ. Единственное удобство этого курятника заключалось въ широкой печкѣ, на которой можно было спать. Пожитки его также лежали на печкѣ. И умывался онъ на печкѣ, такъ какъ никакой мебели больше не было. Онъ зажигалъ ночникъ и учился. Чтобы читать, онъ садился на корточки, а если ему надо было пи-

сать, онъ дожилъ на животъ. Стоило потушить ночникъ, и печь превращалась въ кровать.

Опредѣленныхъ занятій Черновъ въ городѣ не имѣлъ, хотя могъ бы найти себѣ мѣсто кучера, дворника и пр. Онъ предпочиталъ свободный образъ жизни. Чаще всего, однако, онъ кололъ дрова, выгребалъ сорныя ямы, чистилъ дворы, не отказывался и отъ другихъ подобныхъ же работъ. Обѣдалъ кое-какъ, на скорую руку.

Въ этомъ проходило его время съ того самаго дня, когда онъ явился изъ деревни. Такая жизнь обыкновенно оканчивается безпросвѣтнымъ пьянствомъ, но Черновъ не пилъ ни капли, — не пилъ потому, что его поддерживала одна идея. Чистилъ-ли онъ помойную яму, кололъ-ли дрова, или лежалъ на брюхѣ въ своей землянкѣ, нигдѣ не покидала его эта идея. Всюду онъ раздумывалъ ее. Она скрашивала его жалкую жизнь, а подъ этимъ лысымъ черепомъ, сидѣвшимъ на грязномъ туловищѣ, билась глубокая дума, которая, какъ искра небеснаго огня, одна свѣтилась среди обыденнаго хлама, наполнявшаго остальную часть головы.

Мысль эта до такой степени овладѣла Черновымъ, что, кромѣ нея, онъ уже ничего больше не понималъ; если кололъ полѣнья, то автоматически; автоматически также ѣлъ, спалъ, таскался по городу, отыскивая работу, отчего казался помѣшаннымъ.

Но, чтобы осуществить свою мысль, ему надо было выучиться писать. И онъ не щадилъ живота, марая бумагу. Мысль свою онъ отъ всѣхъ скрывалъ.

Но разъ, въ минуту, когда онъ отчаялся выучиться писать, онъ обратился за совѣтомъ къ одному изъ учителей. Случилось такъ, что онъ могъ поговорить наединѣ. Учитель по ошибкѣ пришелъ рано въ школу, гдѣ, кромѣ Чернова, никого еще не было. Черновъ, по обыкновенію, залѣзъ въ свой уголокъ, а учитель длинными шагами слонялся изъ одного конца комнаты на другой. Оба молчали. Учитель едва-ли даже замѣтилъ присутствіе Чернова. Это былъ странный господинъ, необыкновенно тощій, чрезвычайно длинный и всегда растрепанный. Занимался онъ въ школѣ энергичнѣе, чѣмъ кто-либо изъ его товарищей, но своею феноменальною разсѣянностью часто возбуждалъ шутки со стороны учениковъ. Не говоря о спинѣ его сюртука, которая неизбѣжно

была запачкана, иногда и болѣе деликатныя части костюма находились у него въ безпорядкѣ. Во все время урока онъ слонялся по классу и такъ былъ разсѣянъ, что наступалъ на ноги посѣтителей, если они попадались на пути, или ронялъ на полъ вещи, которыя вовсе не мѣшали ему. Имѣлъ онъ также странную привычку говорить съ тѣмъ, кто къ нему не обращался, и молчать въ то время, когда ему что-нибудь говорили. Кромѣ того, когда онъ что-нибудь объяснялъ своимъ ученикамъ, то всѣмъ имъ казалось, что онъ ругается, а если въ классѣ происходило нѣчто смѣшное, то въ его глазахъ всѣ видѣли глубокую печаль. Безъ сомнѣнія, и на этотъ разъ зашелъ онъ въ школу въ неположенное время по разсѣянности.

Итакъ, оба молчали.

Но въ это самое время на Чернова напало отчаяніе, и онъ не выдержалъ зарокъ никому не говорить о своемъ намѣреніи.

— Позвольте, Николай Васильичъ, посоветоваться съ вами! — закричалъ онъ внезапно, заставивъ вздрогнуть учителя.

— Въ чемъ дѣло, Черновъ? — спросилъ послѣдній.

— Нельзя-ли прямо мнѣ выучиться писать? Больно я ужь непонятливъ!

— Какъ это „прямо“? Объясните, Черновъ, — сказалъ учитель, продолжая шагать по комнатѣ.

— Да такъ прямо... не то, чтобы тамъ учиться еще читать всякія штуки. Мнѣ книжка не требуется. Мнѣ, главное, писать... О чемъ я думаю, то чтобы и написать, — объяснилъ Черновъ.

— То-есть вы хотите выучиться писать, не читая? — спросилъ разсѣянно учитель, шагая своимъ путемъ.

— Да, писать...

— Черновъ, вы глупы, — сказалъ учитель и зашагалъ.

Черновъ сдѣлался угрюмъ и черезъ нѣкоторое время тихо сказалъ, какъ бы про себя:

— Лучше бы мнѣ въ такомъ разѣ помереть...

— Что вы сказали, Черновъ? — спросилъ Николай Васильевичъ.

— Лучше бы мнѣ, говорю, помереть, коли нельзя выучиться писать, — повторилъ озлобленно Черновъ.

— Развѣ вамъ такъ необходимо писать?

-- Стало быть, надо!

Учитель задумался.

— Вы крестьянинъ?—спросилъ онъ, подавляя свою разсѣянность.

— Это точно, крестьянинъ.

— Чѣмъ вы занимаетесь?

— Занятіе мое разное—и дрова, и ямы, и помои,—что упадетъ подъ руку, то и дѣлаю,—угрюмо возразилъ Черновъ.

— Есть у васъ жена?

— Померши.

— Дѣти?

— Померши.

— Осталось въ деревнѣ хозяйство?

— Какое хозяйство... избенка! Избенку я одному крестьянину поручилъ, а онъ за меня подати платитъ. Ну, только въ деревнѣ мнѣ дѣлать нечего. Въ деревнѣ у меня все перемерло... что же мнѣ тамъ толкаться?

— Дѣйствительно, когда у человѣка все умерло, толкаться ему въ жизни больше нечего,—задумчиво замѣтилъ Николай Васильевичъ, шагая по классу. Потомъ онъ вдругъ остановился передъ Черновымъ и уже безъ всякой тѣни разсѣянности разсматривалъ его съ ногъ до головы.

— Такъ вамъ очень хочется выучиться писать, Черновъ?—спросилъ онъ озабоченно.

— Сказалъ ужъ... какъ же не хочется?

— Зачѣмъ же вамъ надо писать?

Этотъ вопросъ застигъ Чернова врасплохъ. Онъ заволокнулся. Учитель, между тѣмъ, стоялъ передъ нимъ и вглядывался въ него.

— Сказать развѣ?—прошепталъ Черновъ и оглядывался по сторонамъ.

— Говорите, здѣсь никого нѣтъ.

Но Черновъ еще разъ оглянулся и, только увѣрившись, что въ комнатѣ нѣтъ людей, рѣшилъ отвѣтить.

— Оно, видите-ли, ваше благородіе, какое мое намѣреніе. Задумалъ я написать всю правду о деревнѣ...

Черновъ говорилъ почти шепотомъ.

— Какую же правду?

— Всю. Какъ есть, всю правду дѣйствительно, чтобы всѣ люди узнали, какая наша главная причина... Какъ есть все дѣ-

чиста, одну истинную, какъ передъ Богомъ, правду, безъ фальши!... Тогда деревенскому народу станетъ легче... И вотъ мнѣ пала въ голову мысль—записать, что слѣдуетъ.

Николай Васильевичъ утвердительно кивнулъ головой.

— Только вы ужь никому... А то меня въ кутузку!—сказалъ Черновъ съ возрастающимъ волненіемъ.

— За что въ кутузку?

— А за это самое, за правду. Непремѣнно быть мнѣ въ кутузкѣ,—увѣренно сказалъ Черновъ.

— Ну, а если вы на бумагѣ напишете правду, развѣ васъ не посадятъ въ кутузку?

— Тогда мнѣ все одно — сажай! Только бы написать-то. Ежели она, правда-то, на бумагѣ будетъ, тогда ее трудно-вато ужь уничтожить!—радостно сказалъ Черновъ.

— Трудновато?

— Да, ужь трудненько!

Въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ Николай Васильевичъ пристально вглядывался въ своего собесѣдника; потомъ вдругъ горячо заговорилъ, принимаясь опять шагать:

— Очень хорошо, Черновъ! Знаете, что я вижу, вы честный человѣкъ. Потому, что вы сумасшедшій... Въ другое время васъ давно бы спланили въ домъ умалишенныхъ, а теперь вы только честный. Есть времена, Черновъ, когда сумасшествіе обязательно, когда являются тысячами безумные, помѣшанные, больные; каждый изъ нихъ несетъ свой пунѣтъ помѣшательства... Здоровьемъ пользуются только подлецы. Это времена, Черновъ, когда всѣ старыя связи ломаются, всѣ столбы подгниваютъ, когда жизнь представляетъ собою кашу, которую ни расхлебать, ни понять нѣтъ никакой возможности... Тогда, Черновъ, обыденныя человѣческія отправленія прекращаются, спутываются и внушаютъ отвращеніе, а на ихъ мѣсто со всѣхъ сторонъ встаютъ сумасшедшія мысли и безумныя цѣли, причемъ тысячи людей, съ воспаленными мозгами, ломаютъ голову, придумывая одно какое-нибудь средство спасти міръ отъ гибели, которую всѣ видятъ ясно... Вы хотите написать правду, Черновъ? Отлично. Пишите, вы честный человѣкъ.

Черновъ хлопалъ глазами, не зная, что и подумать; онъ рѣшилъ, что учитель ругаетъ его, но за что—понять невозможно. А въ концѣ пожалъ ему руку.

снова принялся мѣрять классную комнату длинными шагами. Но съ этого дня между ними установилась нѣкоторая таинственная связь. Николай Васильевичъ сталъ энергично помогать Чернову, и наука послѣдняго пошла быстрее.

По прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, въ одно воскресенье, Черновъ удивилъ школу заявленіемъ, что онъ желалъ бы быть спрошеннымъ, насколько онъ выучился,—слѣдомъ, требовалъ экзамена своимъ знаніямъ. Дежурнымъ учителемъ въ этотъ праздникъ былъ не Николай Васильевичъ, а другой баринъ, но, удивленный заявленіемъ, онъ все-таки согласился вызвать Чернова на середину класса. Сперва онъ заставилъ его читать. Черновъ читалъ, какъ сейчасъ же оказалось, хуже всякой возможности: безъ остановки, безъ смысла, не переводя духу, смѣшивая конецъ одного слова съ началомъ другого; со стороны казалось, что это болтаетъ индюкъ, когда его разсердятъ.

Учитель улыбнулся.

— Да вы хоть что-нибудь поняли?—спросилъ онъ усталшаго Чернова.

— Нѣтъ, я еще не понялъ,—равнодушно отвѣчалъ послѣдній.

— Зачѣмъ же вы желали, чтобы васъ спросили?

— Мнѣ, главное, писать... Спросите, ваше благородіе!—сказалъ Черновъ ужъ менѣе равнодушно.

А когда учитель изъявилъ согласіе испытать его въ письмѣ, то Черновъ совсѣмъ заволновался. Въ классѣ наступила необыкновенная тишина. Черновъ по требованію учителя взялъ мѣлъ въ руки, всталъ около доски и съ ужасомъ озирался по сторонамъ.

— Хорошо,—сказалъ учитель,—возьмите сперва одно слово... ну, хоть напишите „столъ“.

— Нѣтъ, я лучше напишу „тулупъ“,—съ живостью возразилъ Черновъ.

Учитель пожалъ плечами.

— Почему же непременно „тулупъ“?—спросилъ онъ, однако, согласился на тулупъ.

Тогда Черновъ принялся писать громадѣйшими буквами излюбленное слово. Рука его дрожала, какъ у больного; на

блѣдномъ лицѣ его показалась испарина; глаза помутились. Онъ рѣшительно не вѣрилъ, что допишетъ до конца это волшебное слово. Но когда онъ кончилъ, учитель, къ удивленію его, одобрительно кивнулъ головой.

— Вышелъ „тулупъ“?—спросилъ онъ все-таки недовѣрчиво.

— Да, тулупъ,—подтвердилъ учитель.

Послѣ этого Черновъ уже писалъ все, что диктовалъ ему учитель, и все выходило какъ слѣдуетъ.

Когда экзаменъ кончился, при всеобщемъ одобреніи посѣтителей, Черновъ сѣлъ на свое мѣсто съ невыразимымъ счастьемъ на лицѣ.

На слѣдующій праздникъ мѣсто его оказалось пустымъ. Прошло еще воскресенье, а Черновъ не показывался. Съ тѣхъ поръ никто изъ посѣтителей воскресной школы г. С. больше не встрѣчалъ его.

Между тѣмъ, Черновъ въ это время сидѣлъ неотлучно въ своей избушкѣ и приготавлиалъ сочиненіе, такъ долго мучившее его. Занятый весь безъ остатка этою бумагой, гдѣ онъ рассказывалъ всю правду, какъ есть дѣйствительно, съ глубокою вѣрой въ совершенную и неизбѣжную пользу для всего бѣднаго міра этого послѣдняго въ его жизни труда, онъ сдѣлался безстрастнымъ, какъ отрѣшенный. Собственно деревня, съ ея мелочами, которыя такъ волновали его, когда онъ жилъ въ ней, уже перестала возбуждать въ немъ какое-либо чувство—жалость или злобу, ненависть или любовь. Онъ теперь горѣлъ однимъ чувствомъ: сказать всю истинную правду, которой міръ не знаетъ.

Это непреодолимое стремленіе оказать пользу деревнѣ въ немъ не сразу явилось. Деревня такъ много ему напакостила, когда онъ жилъ тамъ, что онъ готовъ былъ въ ту пору спалить ее. Въ деревнѣ все близкое у него персмерло; въ деревнѣ онъ потерялъ уваженіе и жалость къ себѣ и къ людямъ; въ деревнѣ онъ сталъ жалокъ и несчастливъ. Всѣ люди деревенскіе опротивѣли и самъ онъ себѣ опротивѣлъ, а жизнь свою онъ цѣнилъ въ грошъ. Послѣдній ударъ, нанесенный ему деревней, былъ такъ жестокъ, что онъ едва не сдѣлался заклятымъ врагомъ ея. Эта грустная исторія заключается въ насильственномъ отнятіи тулупа.

Послѣ того, какъ у Чернова умерло все,—и лошадь, и куры, и даже собака Лыска,—единственная цѣнная вещь, оставшаяся у него въ этой жизни, былъ тулупъ. Отличный это былъ тулупъ! Собиралъ онъ его, кажется, лѣтъ десять, покупая по одной кожѣ при всякомъ благопріятномъ стеченіи обстоятельствъ, причемъ мало обращалъ вниманія на однородность шкуръ, такъ что, когда тулупъ составилъ, вышла великолѣпная штука; воротникъ его былъ бурый, задъ рыжій, одна пола была составлена изъ пестрыхъ кожъ, а другая изъ чисто-бѣлыхъ. При всемъ томъ, онъ былъ теплый. Черновъ надѣвалъ его при всякомъ удобномъ случаѣ, не обращая вниманія на сезоны, и когда ему случалось быть на Троицынъ день въ церкви, онъ также надѣвалъ его; въ дождь онъ выворачивалъ его шерстью вверхъ... И вотъ этотъ тулупъ отняли у него. Когда въ деревнѣ узнали, что Черновъ собирается уходить совсѣмъ изъ села и уже сдаетъ свой надѣлъ, то сейчасъ же нашлось много лицъ, которымъ онъ былъ долженъ. Они подговорили старосту. Староста пришелъ въ избу Чернова съ двумя людьми и, не поздоровавшись съ хозяиномъ, прямо сталъ искать глазами тулупъ и лишь только запримѣтилъ его на полатахъ, немедленно, ни слова не говоря, полѣзъ туда, снялъ его съ полатей, потомъ встряхнулъ его, пощупалъ шерсть и понесъ его вонъ изъ избы. Черновъ такъ былъ ошеломленъ, что спохватился только тогда, когда тулупа уже не было. Онъ бросился въ догонку, но старосты уже не было. Онъ побѣжалъ къ самому дому старосты,—тулупа и тамъ не оказалось. А когда онъ пришелъ на сѣзжую, то увидалъ такую картину: лежитъ его тулупъ на землѣ, а вокругъ него стоятъ кредиторы и продаютъ его съ „укціона“. Не успѣлъ Черновъ придти въ себя отъ ярости, какъ уже тулупъ былъ проданъ мѣстному лавочнику, а деньги подѣлены между крестьянами-кредиторами, причемъ, за удовлетвореніемъ всѣхъ нуждъ, остальная мелкая сумма была вручена Чернову. Вотъ въ эту-то минуту послѣдній и сталъ соображать, съ какого конца запалить деревню, чтобы отъ нея бревна не осталось. Но, вмѣсто этого, возвратившись домой, онъ заплакалъ. А на другой день, когда еще солнце не вставало, онъ вышелъ изъ деревни.

Такъ онъ очутился въ городѣ.

Въ первое время онъ не могъ вспомнить свою деревню

иначе, какъ со злобой. Но мало-по-малу раны, нанесенныя деревней, заживали, жесткія воспоминанія сглаживались, и въ концѣ года онъ сталъ думать о своей родинѣ съ любовью, у него даже тоска по ней явилась. Тогда-то въ первый разъ и зародилась въ немъ мысль, оживившая умиравшаго въ немъ человѣка, а теперь близкая къ осуществленію.

Съ того дня, какъ Черновъ ушелъ изъ школы, онъ больше не ходилъ на работы по городу. Увѣренный, что писать онъ можетъ все, что ему вздумается, всякое слово, онъ больше не откладывалъ заветнаго дѣла. Нѣкоторое время прошло въ обдумываніи; потомъ онъ купилъ фунтъ сальныхъ свѣчей, пачку бумаги и чернила съ перомъ. Не чувствуя ни неба, ни земли, ни людей, ни себя, ни даже телятника, въ которомъ жилъ, онъ помнилъ только свою мысль, превратившуюся теперь въ цѣлый рядъ мыслей. Конечно, онъ залѣзъ на печку, чтобы писать, и легъ на животъ, чтобы было удобнѣе.

Первыя сутки онъ пролежалъ напролетъ, слѣзая съ печки только попить воды; исписалъ двѣ страницы. На другой день онъ слѣзъ съ печки, на-скоро съѣлъ кусокъ хлѣба и влѣзъ обратно, а ночью проспалъ часа три и чуть свѣтъ опять принялся за работу. Такъ прошла цѣлая недѣля, по истеченіи которой онъ писалъ, глубоко пораженный тѣми мыслями, какія приходили ему въ голову.

Когда трудъ былъ оконченъ, Черновъ былъ охваченъ радостью и не могъ безъ чувства полного удовлетворенія смотрѣть на эти листы, имъ самимъ исписанные. Правда, бумага собственно казалась не исписанною, а измаранною; слова и буквы были разбросаны по листамъ въ небрежномъ безпорядкѣ, подобно полвнѣямъ дровъ, только-что наколотыхъ и разбросанныхъ кучами по обширному пространству. Но что нужды, важно то, что правда была записана.

Въ бумагахъ авторъ ни къ кому не обращался и не видно было, какого рода читателямъ онъ предназначалъ свое писаніе; не было также никакого заглавія. Въмѣсто всего этого, на первомъ мѣстѣ намазаны были огромнѣйшими буквами слѣдующія слова:

„Покорнѣйше умоляю обратить вниманіе!“

Затѣмъ тотчасъ же шло изложеніе, написанное буквами помельче.

Вотъ содержаніе этого сочиненія:

„Наконецъ, нынче настала великая нужда, отъ которой ему дѣваться некуда, потому что въ деревнѣ всякій непремѣнно ввергнется въ бѣду, какъ онъ ни болтайся, потому что если онъ изъ силъ выбьется, то гдѣ же ему поправиться отъ горя, которое никто не хочетъ отъ него какъ слѣдуетъ выслушать, чтобы, въ случаѣ чего, оказать ему снисхожденіе? А еслибы кто выслушалъ его порядкомъ... да вѣтъ, никакой человѣкъ не хочетъ выслушать, а вотъ ругать его скотиной — это ничего, можно, а послѣ того онъ же виновать — не поддержалъ себя отъ слабости и пропилъ, однимъ словомъ, послѣднюю шапку, либо сбѣжалъ въ отчаянности, потому что въ деревнѣ ему нечего ужъ оставаться. Ежели же нѣкоторый крестьянинъ, что есть, ни капли совѣсти не имѣетъ, и тотъ сейчасъ садится верхомъ на ближняго брата, отнимаетъ у него послѣдній тулупъ и дѣлаетъ всякія безобразія, такъ вѣдь это все отъ нужды онъ дѣлаетъ подлости, а то онъ радъ бы не садиться верхомъ на ближняго брата, да какъ же иначе-то, если у него у самого, на примѣръ, на носу нужда великая, хоть сейчасъ пропадай смертью? И настала въ деревнѣ послѣ этого скука. Скука напала на него. Идетъ онъ въ поле, идетъ въ лѣсъ, — скучно ему. Идетъ по своимъ полосамъ и смотритъ, — скучно ему. Взглянетъ на небо, на солнышко, на звѣзды, — все скучно ему. Войдетъ въ свой домъ, — нѣтъ, все скучно!... Тогда онъ пойдетъ къ нѣкоторому человѣку и попроситъ у него одолженія и за то обѣщаетъ воротить вдвое, и послѣ того онъ пропасть совсѣмъ; тотъ человѣкъ его съѣстъ, ежели онъ не отдастъ ему во-время, и потому онъ пойдетъ къ другому человѣку за одолженіемъ, да все глубже, да глубже, пока не залѣзъ по уши, — ну, тогда умирай совсѣмъ! Однако, онъ остался живъ, а замѣсто того у него, когда въ домѣ ничего не осталось, умерла жена, потомъ и дѣти умерли, все отъ разныхъ несчастій, а главная бѣда одна — скука безъ хлѣба; въ такомъ же смыслѣ и хозяйство его уничтожилось: которую вещь растащили, которую самъ проѣлъ. Но остался у него тулупъ одинъ, такъ и этотъ отняли!... Нѣкоторые люди скажутъ: самъ виновать, который дошелъ до такого униженія, — это все отъ пьянства, отъ глупости; крестьянинъ самъ виновенъ, когда за собой не можетъ присмотрѣть; на то онъ и вольный человѣкъ, чтобы разсуждать объ себѣ, что какъ

пустыя слова? Я сказалъ и записалъ правду. И умоляю, нельзя-ли враговъ немножко поубавить, которые есть лишніе? Крестьянинъ Черновъ руку приложилъ“.

Когда Черновъ сталъ читать свое сочиненіе, что было уже на другой день, ибо въ день окончанія онъ чувствовалъ только утомленіе и радость, то надъ каждымъ словомъ плакалъ навзрыдъ. Ни одному читателю, конечно, не покажется возможнымъ хотя бы только прослезиться надъ этою бумагой, но для Чернова дѣло стояло иначе. Для него каждое слово было символическимъ знакомъ, подъ которымъ подразумевалась огромная живая картина изъ пережитаго имъ, и каждое слово, для постороннихъ ничтожное, напоминало ему тысячи случаевъ изъ его жизни, гдѣ онъ страдалъ, убивался и внутренне рыдалъ. Теперь онъ рыдалъ открыто, но отъ счастья, какого раньше онъ не зналъ. Онъ сознавалъ и глубоко вѣрилъ, что такія же слезы польются изъ глазъ и тѣхъ, которые будутъ читать его сочиненіе...

Вдругъ Чернову пришло въ голову: какіе же люди будутъ читать его бумагу? Кому онъ покажетъ ее? Куда ее нести? Что съ ней дѣлать? Эти вопросы до сихъ поръ ему не представлялись, и теперь, задавъ ихъ себѣ, онъ смутился.

Привычка держать втайнѣ свое намѣреніе оказала ему теперь плохую услугу. Онъ боялся всѣхъ людей и никому не вѣрилъ. Кому же сказать всю правду?

Но есть же такіе люди; во всякомъ случаѣ, Черновъ сталъ искать ихъ, проводя свою мысль, такъ сказать, въ практику.

Первые шаги его, однако, были неудачны,—не туда попалъ.

На главной улицѣ С. стоитъ длинное каменное зданіе, напоминающее своимъ видомъ казну; дѣйствительно, оно служитъ дворцомъ для высокаго лица, объ оффиціальномъ положеніи котораго нѣтъ нужды здѣсь упоминать, потому что рассказъ касается лишь швейцара этой особы. Швейцаръ, какъ и всегда, былъ хорошо упитанъ, невозмутимъ и серьезенъ; обладалъ благородною наружностью и отражалъ на лицѣ важное значеніе своего господина. Но у cadaго швейцара, какую бы благородную наружность онъ ни имѣлъ, то и дѣло бывають положенія, когда онъ дѣлается грубъ и нагль.

Въ такое положеніе и этотъ швейцаръ попалъ, когда при-

нужденъ былъ вытолкать Чернова. Последній вздумалъ-было проникнуть въ покои высокой особы, для чего уже отворилъ парадную дверь и сдѣлалъ шагъ по корридорному половнику, но моментально былъ повороченъ спиной обратно и вытолкнутъ за дверь на улицу. И только тогда швейцаръ счелъ возможнымъ объясниться.

— Ты куда полѣзъ? Кто ты такой? — спросилъ онъ, съ презрѣніемъ осматривая старика съ ногъ до головы.

Черновъ отвѣтилъ.

— Какъ же ты смѣешь лѣзть безъ спросу? Ты доложи, а потомъ ужъ и лѣзь. А ты ломишься, какъ лошадь... Ты по какому дѣлу?

— По своему.

— Да зачѣмъ тебѣ *ишь*?

— Надо.

— Ну, такъ убирайся своею дорогой, — сказалъ швейцаръ и захлопнулъ дверь.

Черновъ остановился, какъ вкопанный, на тротуарѣ и сталъ ждать счастливаго случая внезапной встрѣчи. Въ первый день онъ простоялъ немного, съ часъ, послѣ чего ушелъ. Но на другой день, явившись аккуратно въ тотъ же часъ, покорно всталъ передъ дверью казеннаго дома, на томъ же самомъ мѣстѣ, на которое онъ отступилъ вчера послѣ нападенія швейцара, и смотрѣлъ сквозь двери въ корридоръ, ожидая, не выйдетъ-ли нужная ему особа. Швейцаръ скоро его узналъ.

— Ты опять тутъ? — спросилъ онъ.

— Гдѣ же мнѣ встать?

— Здѣсь стоять нельзя. Сойди съ панели! — приказалъ швейцаръ.

Уступая превосходнымъ силамъ, Черновъ повиновался, сошелъ съ панели на улицу и здѣсь остановился. Въ этотъ день онъ простоялъ часа два, послѣ чего ушелъ.

На третій день онъ также аккуратно явился на указанное мѣсто; швейцаръ, однако, прогналъ его и отсюда. Черновъ въ порядкѣ отступилъ, перенесъ свой наблюдательный постъ на другую сторону улицы, гдѣ всталъ какъ разъ противъ заповѣдной двери и пристально смотрѣлъ на нее. Стоянка его продолжалась часа два, послѣ чего онъ ушелъ.

На четвертый день швейцаръ уже съ волненіемъ ожидалъ .

его. Черновъ дѣйствительно пришелъ. Швейцаръ прогналъ его еще дальше, на уголъ улицы, гдѣ Черновъ и простоялъ урочное время, хотя уже не могъ съ такимъ удобствомъ наблюдать за дверью, потому что стоялъ далеко отъ нея. Дальше швейцаръ не могъ его прогнать, такъ что, когда Черновъ явился на слѣдующій день и устремилъ взоры на заповѣдную дверь, онъ могъ только пригрозить ему пальцемъ. Мужикъ, однако, не понялъ этого угрожающаго жеста, простоялъ, сколько считалъ нужнымъ, и, ничего не дождавшись, ушелъ.

Такъ онъ простоялъ еще нѣсколько дней. Голову его палило юньское солнце, а онъ все стоялъ. На шестой день полилъ проливной дождь и промочилъ его до костей, а онъ все стоялъ. Почему онъ такъ упрямо добивался свиданія съ особой? Потому что онъ сперва хотѣлъ дѣйствовать сверху, гдѣ именно и не знаютъ той истинной правды, которую онъ написалъ.

Но какъ ни былъ терпѣливъ онъ, но на восьмой день убѣдился, наконецъ, въ невозможности увидеть лицо, которому онъ хотѣлъ лично подать бумагу. Простоявъ на улицѣ часа два подъ знойными лучами, онъ ушелъ навсегда, не столько обиженный, сколько изумленный.

Это была первая попытка.

Затѣмъ черезъ короткое время онъ явился къ председателю земской управы, руководимый какимъ-то инстинктомъ. Здѣсь дѣло вышло совершенно иначе. Председатель постоянно имѣлъ дѣло съ овчинами, съ зипунами, съ дегтярными сапогами и со всѣмъ тѣмъ, во что облекается деревенское челоувѣчество. У него была отведена для свиданія съ послѣднимъ особая комната, возлѣ прихожей, гдѣ по утрамъ слуга чистилъ сапоги. Поэтому Чернову не предстояло перспективы не быть допущеннымъ. Когда онъ явился въ председательскій домъ, его никто не выгналъ, а въ прихожей онъ равнодушно былъ встрѣченъ слугой, отъ котораго пахло ваксой, астраханскою селедкой и еще чѣмъ-то. На вопросъ Чернова, можно-ли видѣть барина, слуга попросилъ немного обождать его, и потомъ доложилъ. Председатель также просто вышелъ, какъ будто даже спросонья, просто принялъ отъ Чернова бумагу и просто велѣлъ ему явиться черезъ нѣсколько дней. Черновъ отъ этой простоты вышелъ счастливый.

Черезъ недѣлю онъ пришелъ за отвѣтомъ. Опять слуга

доложилъ о немъ, и опять также просто, какъ бы спросонья, вышелъ въ переднюю предсѣдатель управы, спросивъ, что нужно мужику? И долго не могъ сообразить, о какой бумагѣ говорить Черновъ, и только когда послѣдній объяснилъ ея содержаніе, онъ вспомнилъ ее, отыскалъ, воротился назадъ въ переднюю и съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на мужика, какъ бы желая проснуться.

— Это что же такое?—спросилъ онъ, указывая на бумагу.

— Тутъ все о правдѣ написано, выше благородіе!

— Да зачѣмъ же это?

Черновъ удивился вопросу и не могъ отвѣтить ничего.

— Что же ты, братецъ, хочешь отъ меня?—спросилъ еще разъ предсѣдатель съ недоумѣніемъ.

— Нельзя-ли въ земство... въ земство бы ее представить, а ужъ тамъ... сдѣлайте милость, ваше благородіе!—горячо сказалъ Черновъ.

Предсѣдатель пожалъ плечами. Онъ смотрѣлъ то на Чернова, то на бумагу.

— Нѣтъ, этого я, братецъ, не могу, положительно не могу! Главное, у тебя здѣсь не приведено никакихъ фактовъ... понимаешь, фактовъ нѣтъ!

Черновъ не понималъ. Предсѣдатель объяснилъ, что такое факты. Во-первыхъ, голодъ; во-вторыхъ, моръ; въ-третьихъ, пожары и проч. Черновъ удивился.

— А у тебя нѣтъ никакихъ фактовъ. Еслибы ты указалъ факты и просилъ на основаніи ихъ помощи для своей деревни, тогда другое дѣло. Голодъ у васъ?—очень хорошо, мы поможемъ. Эпизоотія?—прекрасно, дайте знать. Холера?—отлично... потолокъ у вашей школы провалился?—превосходно, скажите только намъ. А у тебя нѣтъ фактовъ. У тебя одни разсужденія.

Черновъ молчалъ, стараясь всѣми силами понять. Недавно еще счастливый, теперь онъ стоялъ мрачный и не зналъ, какимъ образомъ и на это разъ ему выпала неудача. Предсѣдателю стало жалко его, онъ старался обласкать, ободрить его.

— Это ты писалъ?—спросилъ онъ.

— Такъ точно.

— Молодецъ! Грамота, братъ, великое дѣло.

— Стало быть, нельзя?—перебилъ его Черновъ.

— Нѣтъ, братецъ, не могу. Ты успокойся. Главное, опредѣленной просьбы у тебя нѣтъ и никакихъ фактовъ. Во-первыхъ, голодъ. Во-вторыхъ, морь... ничего у тебя нѣтъ! напиши факты, и мы прочтемъ. А этого я не могу. На, возьми!

Черновъ взялъ свою бумагу и ушелъ.

Этотъ случай произвелъ на него глубокое впечатлѣніе. Онъ былъ несчастливъ. По натурѣ чувствительный, нѣжный, мягкій, онъ теперь воспитывалъ въ себѣ злобу, подкрѣпляемую принципиальною ненавистью къ врагамъ. Но неудачи съ бумагой имѣли еще и другое дѣйствіе: онъ положительно не мыслилъ ни о чемъ больше, какъ только о своемъ писаніи; у него не осталось въ жизни ничего дорогого, кромѣ этого дѣла. Убѣжденный, что записалъ истинную правду, которую оставалось только распространить и прочесть всѣмъ, онъ готовъ былъ на все, чтобы „опредѣлить въ дѣло“ бумагу. Неудачи лишь ожесточали его, дѣлая его болѣе упрямымъ.

Можетъ быть, онъ въ это время имѣлъ какія-нибудь знакомства, пользуясь которыми получалъ разные совѣты, что дѣлать; можетъ быть, его дѣйствіями управлялъ инстинктъ, но всего вѣроятнѣе, онъ самъ надумалъ ѣхать въ одну изъ столицъ, чтобы явиться въ какую-нибудь газету съ просьбой пропечатать его правду. Когда всѣ умственные силы человѣка сосредоточены въ одномъ фокусѣ, то онъ именно въ этомъ фокусѣ дѣлается проникателенъ, какъ мудрецъ, хотя бы во всѣхъ другихъ дѣлахъ былъ простъ, какъ дитя. Рѣшеніе ѣхать въ столицу Черновъ принялъ быстро и исполнилъ его какъ нельзя лучше. Не имѣя денегъ на дорогу, онъ поступилъ въ кочегары на пароходъ, дѣлавшій рейсы между С. и Нижнимъ. Въ Нижнемъ опять у него не хватило денегъ на чугунку, и онъ нанялся къ желѣзнодорожному управленію починивать насыпи и рвы; черезъ нѣкоторое время онъ былъ отвезенъ даромъ, куда слѣдуетъ.

Однажды редакція одной газеты, въ полномъ своемъ составѣ, была заинтересована необыкновеннымъ посѣщеніемъ. Это предъявился Черновъ. Предъявился и подалъ бумагу съ просьбой пропечатать ее. Его попросили придти черезъ два дня. Черновъ ни слова не возразилъ и ушелъ. Аккуратно черезъ два дня онъ явился за отвѣтомъ. Его встрѣтили еще

большимъ изумленіемъ. Члены редакціи съ любопытствомъ разсматривали его наружность: лысую голову, сгорбленный станъ, прикрытый лохмотьями, его сосредоточенный видъ, на которомъ теперь отражался вопросъ: „ну, что-же?“

Его обласкали, усадили и стали спрашивать. Спрашивали о неурожаяхъ, о надѣлѣ, о мирѣ и обо всемъ томъ, что обратилось въ шаблонъ. Черновъ давалъ угрюмо односложные отвѣты, но, наконецъ, не выдержалъ и спросилъ, что же его бумага? Бумагу, оказалось, нельзя пропечатать. Черновъ молчалъ. Въ залѣ такъ вдругъ сдѣлалось тяжело, что мертвая тишина долгое время не могла нарушиться ни однимъ человѣческимъ словомъ.

— Видите-ли... у васъ все вѣрно, но все это старо, давно извѣстно... общія мѣста. Вотъ поэтому мы и не можемъ пропечатать,—рѣшившія заговорить одинъ изъ господъ, сидѣвшихъ въ залѣ.

— Извѣстно?—невольно воскликнулъ пораженный Черновъ.

— Давно извѣстно.

— Эта правда-то?!

— Да, все это давно извѣстно.

— Что вотъ тутъ я написалъ, какъ есть все это самое—чистая правда?

— Да, все это каждый день мы говорили, только другими словами...

— Пропечатаваете настоящую, безъ фальши правду?!

— Конечно, правду.

Черновъ былъ пораженъ, какъ громомъ.

— Ну, и что же?—спросилъ онъ съ глубочайшимъ любопытствомъ.

— Пока ничего.

— Не дѣйствуетъ?

Члены редакціи улыбнулись.

— Пользы, значитъ, нѣтъ?—спросилъ онъ и, не получивъ отвѣта, странно посмотрѣлъ на всѣхъ, какъ будто смертельно раненый. На него жалко было смотрѣть.

— Вы успокойтесь... отчаиваться нечего. Правда рано или поздно выйдетъ на свѣтъ и одержитъ верхъ. Надо только умѣть ждать...

— Подождать?—спросилъ Черновъ.

— Да, подождать.

Черновъ задумался.

— Подождать... отчего же, можно. Да видите-ли, ваше благородіе, какое наше дѣло-то... Господамъ благороднымъ подождать — нужды нѣтъ, время терпите. Для насъ же... ежели правды нѣтъ, то мы умираемъ.

Черновъ медленно поднялся съ мѣста и собрался уходить.

— Такъ пропечатываете?—спросилъ онъ машинально при прощаньи.

— Разумѣется.

— И не дѣйствуетъ?

На этотъ разъ члены молчали, сконфуженные.

Черновъ ушелъ.

Но одинъ изъ членовъ догналъ его уже на улицѣ и пригласилъ къ себѣ выпить чаю. Изъ его разспросовъ оказалось, что Черновъ не имѣлъ въ городѣ ни квартиры, ни пропитанія; ночевалъ на бульварахъ или по оврагамъ, которыми такъ богатъ этотъ городъ. На предложеніе барина—пожить у него Черновъ, повидимому, съ удовольствіемъ согласился. Одну ночь онъ, дѣйствительно, переночевалъ въ кухнѣ, но когда баринъ на слѣдующій день проснулся, Чернова въ его домѣ уже не было, и даже прислуга не могла сказать, когда онъ ушелъ.

Теплая украинская ночь уже покрывала тѣнью городъ X, смущенный неожиданнымъ еврейскимъ погромомъ. Евреи скрылись. Производившіе безпорядокъ частью были разогнаны, частью переловлены. Дневной переполохъ затихалъ. На главныхъ улицахъ воцарился миръ.

Къ вечеру осталась лишь одна шайка, состоявшая изъ подростковъ и дѣтей. Ее ловили съ самаго утра и не могли разбить. Застигнутая въ одномъ мѣстѣ, она съ вихремъ переносила свои дѣйствія на другое. Предводительствовалъ ею старикъ, безъ шапки, только въ портахъ и рубахѣ, босой. Онъ наводилъ ужасъ на ту улицу, гдѣ появлялся во главѣ своего малолетскаго отряда. Разбивалъ онъ мелочныя лавочки и не щадилъ ни одной крошки найденнаго въ ней имущества; все, что попадалось ему въ руки, онъ рвалъ, ломалъ и разбрасывалъ, уничтожая вещи навсегда. Въ то время, какъ большая часть ребятъ набивала карманы сладостями и цѣнными вещами, онъ топталъ ногами золотыя часы и обли-

валъ грязными помоями ящики съ конфетами. Сами ребята въ страхѣ сторѣнились отъ него.

Къ вечеру его шайка уменьшилась; ребята разбѣжались. Въ сумеркахъ въ его отрядѣ числилось уже не болѣе десятка парней, да и тѣ, чувствуя, что ихъ обходятъ солдаты, готовы были оставить старика. Но послѣдній и слышать ничего не хотѣлъ.

— Будетъ, дѣдко!—проговорили ему мальчуганы, испуганно озираясь по сторонамъ.

— Нѣтъ, еще одного уничтожимъ. Вышибай, ребята, двери!—закричалъ онъ.

Они стояли передъ суровскою еврейскою лавкой, на концѣ города. Видя передъ собой одну только эту лавку, обреченную имъ мысленно на истребленіе, старикъ не замѣтилъ, какъ его парни бросились вразсыпную, а на ихъ мѣсто ворвались полицейскіе и солдаты; онъ не слышалъ свистковъ, топанья, криковъ, которые уже раздавались надъ самымъ его ухомъ; въ слѣпомъ ожесточеніи онъ принялся ломать руками, ногами и грудью дверь и едва-ли почувствовалъ въ первое мгновеніе, какъ за него сзали ухватились нѣсколько паръ рукъ и оттащили его отъ лавки.

Черезъ минуту и въ этой части города тишина настала. Ребята какъ сквозъ землю провалились, и старика полицейскіе повели въ участокъ.

Его привели, отворили дверь кутузки, съ силой втокнули туда и опять заперли дверь. Тамъ уже сидѣло много народу, и никто не обратилъ вниманія на старика. Онъ также никого не замѣтилъ, да и темно было, какъ въ погребѣ. Присѣвъ на полъ въ углу, онъ скорчился и такъ просидѣлъ до утра.

А на утро рано приглашенный докторъ констатировалъ смерть неизвѣстнаго старика отъ огромнаго нервнаго потрясенія. Полиція такъ и не удостовѣрилась въ его личности. Въ карманѣ у него найдена была какая-то бумага, но она до того была истрепана и запачкана, что разобрать ее не было возможности. Только въ началѣ ея видѣлись крупно написанныя слова: „Покорнѣйше умоляю обратить вниманіе!“

Полицейскій чиновникъ, дѣлавшій этотъ обыскъ, только пожалъ плечами и велѣлъ бумагу выбросить въ соръ, а тѣло старика свезти въ мертвецкій покой больницы для чернорабочихъ.

Ж И В О Й К Л Ю Ч Ъ.

(Преданіе).

Та гора, изъ которой вытекалъ ключъ, находилась во владѣніи богатаго человѣка.

Людская молва приписывала послѣднему несмѣтныя богатства, безграничную власть и силу. Онъ могъ, по произволу, имѣть все, чего хотѣлъ. Его поля покрыты были тучными нивами и пастбищами; въ его садахъ и оранжереяхъ росли самыя рѣдкіе фрукты, а все, чего не было по близости, присылалось ему изъ далекихъ странъ. Казалось, всѣ желанія его были исполнены и не осталось уже ничего, что могло бы вызвать въ немъ жажду пріобрѣтенія.

Но однажды, скучая, онъ объѣзжалъ свое имѣніе и вдругъ обратилъ вниманіе на ключъ, выбѣгавшій съ веселымъ шумомъ изъ горы. Это былъ чистый, прозрачный, холодный родникъ. Но куда онъ бѣжалъ?

Вырываясь изъ нѣдръ горы, онъ катился къ ея подножью съ веселымъ шумомъ, какъ бы радуясь свѣту, воздуху и свободѣ; отсюда по ложбинѣ онъ бѣжалъ дальше, по полямъ, по лугамъ, черезъ лѣсъ и сады и, наконецъ, пропалъ за далекимъ горизонтомъ. И всюду, гдѣ онъ проходилъ, все живое радовалось его появленію. Травы ярко зеленѣли возлѣ него; хлѣбные колосья частыми рядами тѣснились на всемъ его пути и лѣса густо обступили крутые берега его, охраняя его покой и свободу.

Усталый путникъ садился возлѣ него и, утоливъ жажду его чистою, свѣжею водой, засыпалъ подъ его тихія пѣсни.

Издалека приходили въ нему—жнецъ, мочившій свой черствый хлѣбъ въ его водѣ, и конь его, понуро опускавшій голову надъ его струями. Въ него, какъ въ зеркало, заглядывала дѣвушка, радуясь своему румянцу; дѣти рѣзвились на его лужайкахъ.

Но куда онъ бѣжалъ? Сначала его теченіе принадлежало богатому человѣку, но дальше, за горизонтомъ, онъ выходилъ изъ его владѣній и дѣлался достояніемъ всѣхъ людей, жившихъ въ той сторонѣ.

Когда богатый человѣкъ узналъ объ этомъ, ему пришло на мысль всецѣло завладѣть роднымъ родникомъ. Ему казалось, что предоставленный себѣ родникъ только портится, теряя свою красоту; онъ течетъ между грязными берегами; черезъ него во многихъ мѣстахъ проложены броды; скотъ мутитъ его прозрачную воду; мѣстами болота окружаютъ его берега.

— Лучше я проведу его въ свои сады и сдѣлаю фонтаномъ,—рѣшилъ богатый человѣкъ.

И на слѣдующій же день онъ нанялъ работниковъ и послалъ ихъ къ ключу. Вооружившись лопатами, ломами и топорами, работники принялись за дѣло. На томъ мѣстѣ, гдѣ на свѣтъ Божій вырывался родникъ, они выкопали обширный водоемъ, обложили его камнемъ и скрѣпили желѣзомъ; кругомъ вывели еще высокія стѣны съ желѣзною крышей, и только въ одной стѣнѣ оставили двери съ тяжелымъ замкомъ. Никто больше не могъ видѣть, откуда беретъ начало родникъ.

Послѣ того на протяженіи нѣсколькихъ верстъ прокопали канавы, вложили туда чугунныя трубы и все это засыпали землей. Въ саду же, до котораго доведены были трубы, поставили мраморный фонтанъ съ гротомъ посрединѣ.

Когда вся эта каменная постройка кончилась, повѣсили замокъ надъ родникомъ; съ той поры никто, кромѣ богатаго человѣка и его челяди, не слыхалъ веселаго шума бойкаго ручейка. Русло его высохло, а самъ онъ, запертый среди камня и желѣза, не видя свѣта, съ ревомъ устремился въ чугунныя трубы и глухо рычалъ подъ землей. Такъ онъ добѣгалъ до фонтана; здѣсь онъ, съ шипѣніемъ и свистомъ, взлеталъ на воздухъ, но, обезсиленный въ борьбѣ, падалъ слезами на мраморныя плиты. Живой ключъ для

всѣхъ умеръ, и, казалось, не вырваться ему больше изъ неволи никогда.

Прошло немного времени. Богатый человѣкъ нѣсколько дней полюбовался на свой чудесный фонтанъ и затѣмъ забылъ о немъ. Скучая, онъ не могъ долго останавливать вниманіе на одномъ предметѣ. Ему все надоѣдало, и его похолодѣвшее сердце требовало новыхъ желаній.

Далеко вокругъ онъ пользовался почетомъ,—не было человѣка въ той сторонѣ, который не зналъ бы его. Встрѣчаясь съ нимъ, всѣ низко кланялись, разговаривая съ нимъ, каждый выражалъ на своемъ лицѣ величайшее счастье. Мѣстные власти исполняли малѣйшее его желаніе, считая его лучшимъ гражданиномъ; служитель церкви молился за здравіе его души. Но богатый человѣкъ низко цѣнилъ это всеобщее уваженіе и почти не замѣчалъ его.

Но однажды, скучая, онъ задумался: чему люди въ немъ поклоняются и какую цѣну имѣютъ ихъ поклоны?—спросилъ онъ себя.

Задумавъ это, онъ рѣшился испытать людей. Быть можетъ, это была новая причуда отъ скуки, но, быть можетъ, тоскующая душа его искала правды; только однажды, для испытанія людей, онъ вдругъ притворился раззорившимся. Распустилъ всѣхъ слугъ, притворно продалъ все свое имѣніе, роздалъ неизвѣстнымъ кредиторамъ всѣ деньги и внезапно очутился нищимъ, безъ угла и пріюта. Одѣвшись въ рубище, онъ покинулъ свой опустѣвшій домъ и сталъ обходить всѣ тѣ мѣста, гдѣ его знали и гдѣ ему низко кланялись.

Желаніе его было исполнено: онъ скоро узналъ то, чему люди поклонялись въ немъ и какую цѣну имѣли ихъ поклоны. Всѣ почти сразу измѣнились къ нему. Одни, при видѣ его, еще раскланивались, но уже стыдились своихъ поклоновъ; другіе, при встрѣчѣ, отворачивались отъ него, словно не замѣчая его присутствія; третьи же нагло смотрѣли на него и открыто выражали презрѣніе къ его грязному виду. Перестали молиться о его грѣшной душѣ, видимо, обреченной на муки ада; мѣстные власти грозили посадить его въ тюрьму за бродяжничество.

Нашелся только одинъ человѣкъ, измѣнившій къ лучшему свои прежнія отношенія къ недавнему богачу. Это

былъ одинъ изъ тѣхъ несчастливцевъ, которымъ злая судьба дала тонкій умъ и гордое сердце,—такимъ несчастнымъ блага жизни не даются въ руки. Всю жизнь онъ провелъ въ борьбѣ съ несчастіями и плохо ладилъ съ людьми. Его называли злымъ, хотя онъ былъ только справедливымъ; считали его безумцемъ, между тѣмъ какъ онъ только видѣлъ вещи такими, каковы онѣ были въ дѣйствительности. Такъ же онъ относился и къ богатому человѣку: никогда не кланялся ему и не обращалъ на него никакого вниманія. Но теперь, при видѣ его нищеты, онъ съ улыбкой поклонился ему и подаль ему руку.

Это удивило богача.

— Развѣ я тебѣ нуженъ, что ты кланяешься мнѣ?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, я именно потому и кланяюсь тебѣ, что ты мнѣ совсѣмъ не нуженъ,—отвѣтилъ бѣднякъ.

— Почему же ты отворачивался отъ меня, когда я былъ богатъ?

— Чтобы не быть просителемъ твоимъ.

— Ты радуешься моей нищетѣ?

— Нѣтъ, я только радуюсь тому, что ты сталъ братомъ моимъ, равнымъ мнѣ.

На мгновеніе богатый человѣкъ задумался надъ этими словами, но скоро забылъ ихъ. Мысли его были заняты тою всеобщю неблагодарностью, которую такъ скоро онъ узналъ, лишь только сдѣлался бѣднымъ. Всѣ отвернулись отъ него.

Когда эту правду онъ окончательно понялъ на своемъ опытѣ, то сбросилъ съ себя рубище. Не надолго онъ совсѣмъ скрылся изъ своей страны, а когда возвратился, то опять объявилъ себя богачемъ. Приобрѣлъ снова имѣніе свое, украсилъ домъ рѣдкими предметами и зажилъ съ прежнею роскошью. Говорили даже, что онъ еще болѣе разбогатѣлъ. Ослѣпленные его блескомъ, люди снова принялись отвѣшивать ему поклоны,—одни—изъ страха передъ его силой, другіе—ради поживы на его счетъ.

Но самъ богачъ съ злою улыбкой смотрѣлъ на все это и никому больше не отвѣчалъ на поклоны. Кіо бы ни встрѣтился съ нимъ, онъ не давалъ себѣ труда снимать шапку. Въмѣсто этого обычая, онъ придумалъ другой. Выходя изъ дома, онъ всегда бралъ съ собою кошель, туго набитый день-

гами, и когда встрѣчные люди кланялись ему, онъ вынималъ кошель и моталъ имъ, дѣлая такое движеніе, какъ будто кошелькъ отвѣчаетъ на ихъ поклоны.

Одни прощали новую причуду богача, другіе обижались этою явною насмѣшкой.

— Зачѣмъ ты мотаешь кошелькомъ, вмѣсто того, чтобы снять шапку?—спрашивали у него третьи, слабоумные.

— Но вѣдь вы не мнѣ кланяетесь, а этому набитому кошельку? Пускай же онъ, набитый дуракъ, и отвѣчаетъ на ваши поклоны!—возражалъ богатый человѣкъ.

Онъ смѣялся, но, къ удивленію его, смѣхъ этотъ не приносилъ ему радости; вмѣсто смѣха и радости, зло и гнѣвъ зародились въ его душѣ. Чтобы облегчить душу, онъ отправился къ тому гордому несчастливцу, который протянулъ ему руку въ дни его нищеты. Тотъ, всегда вѣрный себѣ, равнодушно встрѣтилъ его и холодно сталъ слушать его жалобы. Богатый человѣкъ жаловался на низость людей.

— Они хуже собакъ!—говорилъ онъ.—Собаки могутъ безъ корысти любить, человѣкъ же никогда!

— Да, люди цѣнятъ только тѣхъ, кто имъ служить,—возразилъ бѣднякъ.

— Неправда!—сказалъ богачъ,—они настолько низки, что цѣнятъ только грубыя вещи, деньги, имущество.

— А ты что же цѣнилъ въ людяхъ, когда наживалъ свое богатство?—спросилъ бѣднякъ.

— Правда, я пользовался ихъ трудомъ, ихъ деньгами, ихъ имуществомъ, но я не притворялся преданнымъ; беря отъ людей все нужное мнѣ, я не говорилъ, что дѣлаю это изъ любви къ нимъ.

— То же самое дѣлають и они по отношенію къ тебѣ; притворство же ихъ есть только одно изъ тѣхъ орудій наживы, которыми и ты не брезговалъ.

— Но я никогда не смѣшивалъ человѣка съ набитымъ кошелькомъ!—сказалъ богачъ.

— И тебя не смѣшиваютъ съ твоимъ кошелькомъ.

— Зачѣмъ же кланяются моему кошельку подъ видомъ поклоненія мнѣ?

— Затѣмъ, что кошель имѣетъ дѣйствительную цѣну, а ты... Что ты въ жизни сдѣлалъ, чтобы придать себѣ дорогую цѣну въ глазахъ людей?

Это были грубые и жестокия слова. Но богатый человекъ не обидѣлся, погруженный въ задумчивость. Ему пришла въ голову страшная мысль: чѣмъ помянуть его люди, когда его не будетъ?

И онъ спросилъ:

— Что же нужно сдѣлать, чтобы заслужить непритворное уваженіе и память въ людяхъ?

— Спроси самъ себя, что въ тебѣ есть лучшаго и дорогого?—возразилъ бѣднякъ.

— Я не знаю,—сказалъ богачъ.

— На что-же ты жалуешься? И что ты можешь дать людямъ, когда ты самъ не знаешь, что въ тебѣ есть лучшаго и дорогого?

Бѣднякъ сказалъ это грубо и замолчалъ; онъ самъ не зналъ, что дѣлать, чтобы заслужить память людей. Съ дѣтства преслѣдуемый нищетою и неудачами, онъ научился только отбиваться отъ несправедливости и гордо смотрѣлъ въ глаза неправдѣ; сказать же, какъ служить людямъ, онъ не умѣлъ. Да и кто умѣетъ? Это вѣчная загадка, которую еще никто не отгадалъ, хотя много людей пыталось ее отгадать.

Когда богатый человекъ разстался съ гордымъ нищимъ, то почувствовалъ себя совсѣмъ одинокимъ. Никому онъ больше не вѣрилъ, подозрѣвая каждый, кто къ нему подходилъ, во лжи и притворствѣ. Онъ прогналъ отъ себя всѣхъ друзей и льстецовъ, всѣхъ знакомыхъ притворщиковъ, пересталъ показываться въ народѣ и повелъ одинокую жизнь.

Только собаки неотлучно окружали его, ихъ развелъ онъ великое множество, полонъ дворъ и домъ, и въ ихъ обществѣ проводилъ всѣ свои дни и ночи. Съ самыми преданными и любимыми онъ разговаривалъ и былъ увѣренъ, что ни одна изъ нихъ, вилая хвостомъ, не попроситъ его денегъ.

Такъ прошли многіе годы. Нельзя жить человеку безъ человека. Въ одиночествѣ несчастный человекъ сталъ дикимъ и страшнымъ. Мало-по-малу все живое разбѣжалось отъ него. Слуги, расхищая его имущество, одинъ по одному оставили его; родные уѣхали отъ него далеко и оттуда ожидали его смерти; сосѣди боялись показываться ему на глаза; дѣти и женщины даже близко къ его дому не подходили, пугая другъ друга его именемъ.

Никто ни видалъ, какъ и когда онъ скончался. Только однажды, въ глухую полночь, проходившіе мимо сосѣди услышали сплошной вой всѣхъ собакъ, жившихъ въ его домѣ, и догадались, что насталъ послѣдній смертный часъ богатаго человѣка.

Еще при жизни его половина богатства была расхищена, послѣ же смерти его быстро все разрушилось. Наѣхавшіе родственники увезли все цѣнное и дорогое; сосѣди тащили, кто что могъ. Непогода,—солнце, холодъ, буря и дождь,—ускорили смерть всего, что было у богатаго человѣка. И скоро отъ чуднаго жилища не осталось камня на камнѣ. Самое имя богача не осталось въ памяти людей.

Но развѣ умираетъ что-нибудь искренно живое? Нѣтъ, только мертвое умираетъ.

Когда камни богатаго дворца разрушились, а подгнившіе и проточенные червями столбы упали, когда всѣ твердыни сравнялись съ землей и лишь бурьянъ густо разросся по старому пепелищу, въ это самое время одинъ ручей съ силой продолжалъ бить подъ землей. Ему теперь предстояла работа—вырваться на волю. Трубы давно проржавѣли и засорились; мраморныя плиты фонтана вросли въ землю или были растасканы сосѣдами; вся тюрьма его медленно разрушалась, но онъ все еще не могъ сбросить съ себя желѣзныхъ оковъ и продолжалъ глухо рычать подъ землей.

Наконецъ, часъ его освобожденія насталъ. Онъ подкопался подъ каменный фундаментъ канавы, разрѣзалъ твердую землю, прорвалъ послѣдній пластъ ея и съ шумомъ очутился на склонѣ горы. Отсюда онъ ринулся внизъ, скатился въ старое русло свое и побѣжалъ, играя солнечными лучами, туда, за горизонтъ, гдѣ нѣкогда онъ былъ.

И снова все ожило при его появленіи. Травы ярко зазеленѣла, устилая весь путь его цвѣтами. Деревья приблизились къ его берегамъ и, вдыхая его влагу, ограждали его своею тѣнью отъ зноя. Птицы и звѣри стекались къ нему ежедневно, люди протягивали къ нему руки, набирая его чистую воду. Тысячи услугъ и радостей онъ давалъ всѣмъ, кто приближался къ нему.

Общество грамотности.

(Посмертный рассказ *).

I.

Удивляюсь, как это авторы пишут нынче романы, комедии и драмы? Какъ извѣстно изъ учебниковъ словесности, для всѣхъ этихъ родовъ искусства требуются, хоть поне-многоу, характеръ и движеніе, но характеровъ, какъ извѣстно изъ другихъ источниковъ, среди всеобщаго киселя взять негдѣ. И вотъ почему я удивляюсь, откуда авторы берутъ своихъ героевъ? Вѣроятно, бѣдные романисты часто испытываютъ большое смущеніе; должно быть, случаются не-пріятныя неожиданности: только-что романистъ разыщетъ и приспособитъ нѣкотораго героя—и вдругъ этотъ субъектъ окажется такимъ прохвостомъ, что не только въ романѣ, но и на квартирѣ-то совѣстно его держать.

Принимая во вниманіе всѣ эти соображенія, читатель и самъ не потребуетъ отъ меня романа съ героемъ, а удовольствуется тѣмъ, что я могу дать. Въ данномъ случаѣ я могу дать только записки изъ жизни одного общества, къ которому я самъ принадлежалъ, и рассказать его судьбу,—какъ оно возникло, какъ процвѣтало и какъ пало. Такимъ

*) Предлагаемый рассказъ представляетъ отрывокъ изъ произведенія Каронина, начатаго имъ для „Сѣвернаго Вѣстника“. Жестокій недугъ, унесшій въ преждевременную могилу молодого симпатичнаго беллетриста, къ сожалѣнію, не далъ ему довести задуманную вещь до конца.

образомъ, если у меня героя нѣтъ, а ходячаго дурака я описывать не желаю, за то у меня будутъ подробно описаны многія лица, и я искуплю свою вину количествомъ.

Долженъ еще нѣсколько предварительныхъ замѣчаній сдѣлать. Во-первыхъ, я намѣренъ провести нѣкоторую тенденцію... Что-жь, я этого не скрываю! Именно я постараюсь доказать пользу грамотности. Быть можетъ, такая тенденція покажется нѣкоторымъ нашимъ современникамъ неумѣстной, но надо мужественно исповѣдывать свои убѣжденія.

Во-вторыхъ, я не ручаюсь, что мои записки будутъ интересны. Для многихъ вовсе нелюбопытно будетъ читать исторію одного изъ нашихъ скучнѣйшихъ обществъ, влачащихъ жалкое существованіе. Но я пишу только для тѣхъ, кому дорога грамотность и кто съ ужасомъ смотритъ на широкій разливъ дикости и глупости.

Послѣ этихъ замѣчаній я уже спокойно могу заняться изложеніемъ исторіи нашего общества.

Вначалѣ учредителей было пять человѣкъ, но одинъ изъ нихъ (во всѣхъ отношеніяхъ почтенный человѣкъ) вдругъ такъ перепугался чего-то, что на-отрѣзъ отказался принимать участіе въ собраніяхъ нашего кружка. Пожалѣли мы его и не мало удивлялись безпричинному страху, внезапно обуявшему его, но, дѣлать нечего, примирились съ его выходомъ.

Осталось насъ четверо: Иванъ Петровичъ Емельяновъ, Петръ Ивановичъ Севастьяновъ, Василій Николаевичъ Ландышевъ и я, Григорій Павловичъ Древесиновъ. Въ дальнѣйшемъ изложеніи я подробно опишу каждого изъ этихъ дѣятелей нашего общества, а пока ограничусь нѣсколькими словами.

Иванъ Петровичъ Емельяновъ имѣлъ представительную наружность — выхоленные щеки, тщательно расчесанный двойной подбородокъ и почтенное брюшко. Это былъ въ полномъ смыслѣ культурный человѣкъ, надъ внѣшностью котораго позаботилось нѣсколько поколѣній слугъ и который своими руками ничего не умѣлъ дѣлать. За эту представительную внѣшность, а также за то, что онъ занималъ видное положеніе и получалъ хорошій окладъ, мы съ самаго начала выбрали его своимъ предсѣдателемъ. Мы не безъ основанія рассчитывали, что онъ будетъ весьма полезенъ

въ тѣхъ случаяхъ, когда между генераломъ и нашимъ обществомъ возникнуть какія-нибудь недоразумѣнія. Въ частной жизни онъ извѣстенъ былъ многими легкомысленными поступками и увлеченіями, но вообще считался хорошимъ человѣкомъ.

Петръ Ивановичъ Севастьяновъ также занималъ видное положеніе. Но въ немъ не было представительности; высокій и худой, съ вытянутымъ лицомъ, онъ производилъ такое впечатлѣніе, какъ будто его каждую минуту ожидало несчастье; взоры его безпокойно бѣгали, въ особенности когда онъ говорилъ о вещахъ, которыя еще не разрѣшены, длинное лицо его постоянно отмѣчалось какою-то судорогой. Обществу онъ былъ полезенъ тѣмъ, что никогда не могъ допустить какого-либо увлеченія, твердо стоя на почвѣ устава. Впрочемъ, онъ тоже былъ очень хорошій человѣкъ, любилъ жену, заботился о дѣтяхъ и никогда не пилъ въ ресторанахъ.

Что касается Василя Николаевича Ландышева, то это былъ нашъ ораторъ. Еще когда мы ожидали только разрѣшенія устава, бывали минуты, когда намъ не о чемъ было говорить; хоть тресни головой объ стѣну, ни одной мысли, бывало, не вышибешь. А онъ всегда находилъ слово. Въ каждую минуту онъ могъ завести свою говорильную машину на какой угодно взводъ и молоть сколько угодно и о чемъ попало. Какъ хотите, а это положительное достоинство въ томъ обществѣ, откуда раздается только сквернословіе. Мы иногда и смѣялись надъ нимъ, а все-таки любили его. Правда, въ частной жизни онъ не совсѣмъ аккуратно сводилъ концы съ концами, имѣлъ двухъ женъ, изъ которыхъ каждая отъ времени до времени оскорбляла его дѣйствіемъ, но кому какое дѣло до частной жизни? Въ общемъ онъ тоже хорошій былъ человѣкъ.

О себѣ я не стану говорить много. Одно время я былъ земскимъ врачомъ, но теперь живу въ городѣ, занимаюсь практикой и отыскиваю культурной работы, а такъ какъ добровольно никто мнѣ ее не даетъ, я страшно скучаю. При возникновеніи общества грамотности, я принялъ въ немъ дѣятельное участіе, а за свои бумажныя способности съ перваго же дня былъ выбранъ въ секретари его.

Такимъ образомъ, при самомъ основаніи наше общество

одинъ трусъ и одинъ бумажный двлецъ.

Изъ какихъ побужденій мы все это затѣяли?

Во-первыхъ, одурь. И потомъ—совѣстливость.

Люди дѣлятся на два вида: одни, будучи до обѣда хищными, послѣ обѣда становятся равнодушными; другіе, до обѣда раздраженные, послѣ обѣда становятся мягкими и добрыми. Разумѣется, есть еще третій родъ людей, которые и до обѣда, и послѣ обѣда, и даже не имѣя обѣда, всегда и вопреки всему остаются мягкими и добрыми. Но мы принадлежали ко второй группѣ. Какъ люди обезпеченные, мы всѣ, за исключеніемъ Ивана Петровича, по временамъ чувствовали въ себѣ какого-то червя, который молча, но непрерывно точилъ наше существованіе. По временамъ каждый изъ насъ слышалъ въ себѣ даже очень опредѣленные вопросы: и зачѣмъ ты только небо коптишь?... И кому какая отъ тебя польза?.. И на какомъ основаніи ты хлѣбъ даромъ ѣшь, ничего, въ сущности, не платя за него?... Такъ или иначе, а червя этого надо было заморить. И вотъ тутъ-то и создаются разные кружки для обмѣна пустыми мыслями и разными общества любителей игры на балабайкахъ,—дѣться некуда, хоть топись.

Однимъ словомъ, если наши побужденія и были не очень возвышенны, то и не корыстны. Можно было опасаться только одного—халатности и неподвижности. Но во избѣжаніе этого Севастьяновъ и я не давали остальнымъ покоя; лишь только возникла мысль, мы тотчасъ же горячо принялись за ея исполненіе, подталкивая и будя остальныхъ. Какъ водится, составили мы уставъ, потомъ тщательно въ нѣсколькихъ засѣданіяхъ проредактировали его и, наконецъ, отослали на утвержденіе. И затѣмъ стали ждать.

Вотъ это самое опасное время для всякаго общества. Ждать—вѣдь это очень томительно, и многія превосходныя общества пропадаютъ еще до утвержденія устава. Пождутъ-пождутъ, да и забудутъ, да такъ основательно забудутъ, что когда, наконецъ, къ нимъ приходитъ уставъ, они спросятъ ничего не понимая: что такое? какой уставъ?

И намъ такая же участь грозила. Прежде всѣхъ могъ забыть нашъ представитель и столпъ, Иванъ Петровичъ Емель-

яновъ; этотъ во многихъ отношеніяхъ достойный человѣкъ имѣлъ одно непріятное качество — непроходимую лѣнь. Да и Ландышевъ былъ ненадеженъ; забывая обыкновенно вчерашній день и то, что онъ вчера говорилъ, онъ могъ измѣнить нашему обществу, забывъ самое существованіе его. Чтобы избѣгнуть этого, мы съ Севастьяновымъ дѣятельно поддерживали священный огонь, постоянно собирали кружокъ и не переставали обсуждать вопросъ, какими средствами скорѣе добиться утвержденія устава. Одни предлагали одно, другіе—другое, но дѣло не двигалось. Всѣ согласны были, что хорошо бы заручиться сочувствіемъ какой-нибудь дамы, но дамы, къ сожалѣнію, не было у насъ.

Однажды рѣшено было просить самого Ивана Петровича, чтобы онъ поѣхалъ лично хлопотать. Къ нашему удовольствію, Иванъ Петровичъ съ радостью согласился. У него въ Петербургѣ было нѣсколько увеселительныхъ мѣстъ, о которыхъ безъ восхищенія онъ не могъ вспомнить, кромѣ того, ему надо было сдѣлать нѣкія-то важныя покупки для дома и, наконецъ, онъ радъ былъ на время вырваться изъ дома. Благодарный намъ за нашу просьбу, онъ взялъ отпускъ и съ несвойственною ему живостью полетѣлъ. А черезъ два дня мы уже читали его телеграмму: „Уставъ требуетъ поправки. Согласны-ли?“ Еще бы мы не были согласны! „На все согласны“,—отвѣчали мы ему и опять стали ждать. Но на этотъ разъ Иванъ Петровичъ дѣйствовалъ. Не проходило трехъ дней безъ телеграммы отъ него, извѣщавшей о ходѣ нашего устава; мы, съ своей стороны, также ободряли его телеграммами, и болѣе мѣсяца прошло въ такой дѣятельности. Иванъ Петровичъ побывалъ во всѣхъ увеселительныхъ мѣстахъ, вообще обнаружилъ бездну энергіи и, наконецъ, выхлопоталъ.

За такой подвигъ мы почтили его торжественною встрѣчей на вокзалѣ, а вечеромъ въ тотъ же день собрались на ужинъ; въ теченіи котораго говорили рѣчи, напились пьяными, пѣли пѣсни, цѣловались, кричали „ура“ и вообще много набезобразили.

Такъ или иначе, но общество наше устроилось. Мы наняли помѣщеніе и сторожа, обзавелись кое-какимъ имуществомъ и открыли первое торжественное засѣданіе. Хорошо участвовать въ торжественныхъ засѣданіяхъ! Во-первыхъ,

только домашнія дѣла. Во-вторыхъ, каждый чувствуетъ себя нѣкоторою величиной и нѣкоторымъ полноправнымъ человекомъ, который можетъ выражать свои мысли открыто и дѣлать нѣкоторое важное дѣло, не думая о кутузгѣ. На это время каждый забываетъ свои рыбы чувства и выглядеть если и не господиномъ, то и не лакеемъ.

Къ нашему удивленію, на первое же засѣданіе собралось много публики, записавшейся въ члены. Почему это такъ случилось—не могу точно объяснить. Быть можетъ, всѣ собравшіеся были дѣйствительно ревнители грамотности; быть можетъ, играла тутъ роль и дурь, о которой я выше говорилъ. Последнее вѣрнѣе. Когда, холодъ сковываетъ воду толстымъ слоемъ льда, достаточно часто прорубить прорубь чтобы задохшаяся рыба жадно полѣзла въ нее, ища свѣжаго воздуха. Что угодно открывайте—публика сначала пойдетъ густою толпой, слѣпо отыскивая воздухъ, свѣтъ, жизнь. Такъ и у насъ вышло: публики набралось много, общество сразу приобрѣло добрую сотню членовъ, и когда открылось засѣданіе, всѣ собравшіеся съ жаднымъ любопытствомъ наблюдали, что тутъ такое произойдетъ; наблюдали, но, какъ рыбы, молчали. Ни одинъ изъ вновь поступившихъ не издалъ звука; всѣ, очевидно, ждали, что будетъ говорить начальство, т.-е. мы, учредители.

А мы сами не знали, съ чего начать. Съ полчаса заняли выборы; какъ всѣ и ожидали, въ комитетъ насъ всѣхъ единогласно выбрали, —Ивана Петровича въ предсѣдатели, Ландышева и Севастьянова въ члены, а меня секретаремъ. Послѣ нѣ котораго движенія, когда всѣ заняли опять свои мѣста, мы съ Ландышевымъ переглянулись. Онъ понялъ, поднялся и заговорилъ. Описавъ въ немногихъ словахъ энергію, проявленную нашимъ предсѣдателемъ, а также непріятности, которыя тотъ перенесъ ради общества, Ландышевъ пригласилъ собраніе торжественно благодарить его. Всѣ тотчасъ же съ шумомъ поднялись со своихъ мѣстъ и воскликнули: „Благодаримъ, благодаримъ!“ Иванъ Петровичъ такъ расчувствовался, что вынулъ платокъ и поднесъ его къ носу, въ то же время, выражая, съ своей стороны, благодарность тѣмъ изъ господъ членовъ, которые съ такою неослабною

энергіей поддерживали его въ трудное время утверждения. Тутъ пошли взаимныя благодарности, на которыя такъ падаютъ русскій человѣкъ.

Продѣлавъ все это свинство, мы снова были въ затрудненіи, что дальше дѣлать. И опять здѣсь выручилъ Ландышевъ. Вообще онъ вынесъ цѣлый вечеръ на своихъ плечахъ. Началъ онъ длиннѣйшую рѣчь о предстоящихъ обществу задачахъ. Его слова лились, какъ вода съ крышъ во время весеннихъ дождей; едва касаясь одного уха, они безслѣдно выходили въ другое. Тѣмъ не менѣе, мы съ чувствомъ удовлетворенной гордости слушали его и не прерывали, впадъ въ какую-то истому. Лично мнѣ не то спать хотѣлось, не то грустно отчего-то стало.

А онъ все говорилъ. И вотъ уже передъ моими умственными взорами показались сѣрыя и холодныя облака поздней осени и закутали всю землю непроницаемою мглой, и съ крышъ монотонно струилась холодная вода и медленно падала мнѣ прямо на голову, застилая послѣдній здравый смыслъ мой, а онъ все говорилъ.

И видно было, что по мѣрѣ развитія его рѣчи онъ и самъ все болѣе разгорячался, приходилъ въ экстазъ и, очевидно, вѣрилъ тому, что говорилъ. Мѣжду тѣмъ, черезъ нѣсколько минутъ послѣ его рѣчи никто бы не могъ припомнить, о чемъ онъ говорилъ.

Таково вліяніе всякой болтушки,—остается на душѣ нѣчто смутное и легкое, какъ паутина, и ухватиться не за что. Болтушка—это неизмѣнный нашъ герой. Говорю это не въ осужденіе, а только для того, чтобы отмѣтить распространенность пустомельства. Я не только не осуждаю его, но, напротивъ, желалъ бы снять всѣ нареканія. Чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, вреденъ-то болтушка? Ничѣмъ. А въ свое время появленіе его было даже хорошимъ признакомъ. Было, говорятъ, время, когда человѣческая рѣчь считалась неужной; одни тогда молча приказывали, другіе молча повиновались, а гдѣ и случалось говорить, то выражались кратко и внушительно. Но настало другое время, когда люди, въ отдаленныхъ углахъ сидѣвшіе, заговорили, съ изумленіемъ прислушиваясь къ собственнымъ словамъ, которыя дико звучали въ пустотѣ,—вотъ тогда, вмѣстѣ со всѣмъ прочимъ, и болтушки появились. И это былъ большой шагъ

впередъ. Пускай за словомъ не слѣдуетъ дѣло, но хорошо уже и то, что люди не молчатъ, не хрюкаютъ, какъ бывало, а говорятъ, правильно объясняясь на нашемъ чудесномъ языкѣ. Если даже отъ пустомельства ничего не остается, все же хоть словесность развивается. А кромѣ того, пустомельство часто и кое-какой слѣдъ оставляетъ, не то грусть, не то истому музыкальную.

Разумѣется, давно ужъ пора бы перейти отъ словъ къ дѣйствіямъ, какъ нѣкогда перешли отъ молчанія къ словамъ, и на первыхъ порахъ можно было бы провести такую реформу: обязать всѣхъ болтушекъ исполнять на дѣлѣ ихъ слова. И тогда навѣрное много пустомелей сдѣлались бы полезными гражданами, и многія отрасли наши процвѣли бы съ неслыханною быстротой... Впрочемъ, говоря это, я знаю, что это не мое дѣло и къ предмету моего разсказа не относится, и потому возвращаюсь къ прерванному.

Когда Ландышевъ кончилъ пожеланіемъ процвѣтанія нашему обществу, мы всѣ были такъ растроганы и воодушевлены, что въ эту минуту глубоко вѣрили въ пользу и блестящій успѣхъ нашего дѣла, а также въ свою энергію. Вѣроятно, каждый думалъ про себя: „А какой я все-таки еще хорошій человѣкъ!“

Этимъ и нужно было бы кончить наше первое собраніе. Но тутъ случилась маленькая, но чувствительная неприятность. Какой-то господинъ изъ отдаленной публики поднялся вдругъ со своего мѣста и заговорилъ съ явною ироніей.

— Я очень благодаренъ господину Ландышеву за картину будущаго процвѣтанія общества, нарисованную имъ такими яркими красками, но я желалъ бы знать, что намъ завтра предстоитъ, какими дѣлами мы послѣ-завтра будемъ заниматься, какія наши средства, задачи, цѣли?... Мнѣ кажется, что знать это довольно важно...

Сказавшій это господинъ одѣтъ былъ неизысканно, въ черный, потертый сюртукъ, но прилично, какъ одѣваются наши интеллигенты, не имѣющіе хорошаго мѣста или совсѣмъ безъ мѣста находящіеся. Длинное, матовое лицо его носило слѣды смущенія, манеры казались неловкими. Но голосъ его звучалъ твердо, а въ глазахъ его выражалась, какъ и въ словахъ его, иронія. Это мнѣ не нравилось.

Да и другимъ едва-ли были пріятны его слова. Какъ-то

все сразу вышли из блаженного настроенія, брови у всех нахмурились, добродушные лица надулись, а нашъ предсѣдатель сталъ даже лобъ себѣ тереть. Однимъ словомъ, всемъ вдругъ пришлось думать, а такъ какъ это случилось врасплохъ, то, вмѣсто думъ, напало на всехъ только огорченіе. Многіе уже угрюмо посматривали по сторонамъ, видимо, собираясь дать тягу.

Но, должно быть, Иванъ Петровичъ не даромъ теръ себѣ лобъ.

— На запросъ господина... члена я долженъ сказать, что цѣли и задачи нашего общества точно обозначены въ уставѣ, который и рекомендую ему прочесть. А что касается ближайшихъ нашихъ предпріятій, объ этомъ поговоримъ въ слѣдующее засѣданіе. Сегодня же поздно, и я предлагаю закрыть собраніе.

Никто даже и не ожидалъ такой ловкости въ нашемъ до-вольномъ тучномъ предсѣдателѣ. Высказавъ этотъ ловкій отвѣтъ, онъ весело улыбнулся всемъ своимъ широкимъ, пухлымъ лицомъ и взглянулъ на оппонента. Тотъ, въ свою очередь, также взглянулъ прямо въ лицо ему, но не добродушно, а иронически, причемъ по лицу прошла нервная судорога. Должно быть, человекъ безъ мѣста.

— Уставъ я читалъ, но онъ не сказалъ мнѣ, что мы будемъ дѣлать,—возразилъ оппонирующій и вызвалъ громкій смѣхъ въ части публики.

Этою стычкой между нашимъ добрымъ толстякомъ и какимъ-то неизвѣстнымъ худымъ человекомъ и кончилось первое засѣданіе.

Задвигались стулья, затопали сапоги, раздались шумные голоса, и толпа членовъ дружно двинулась въ переднюю, а оттуда кто домой, кто въ буфетъ сосѣдняго ресторана, чтобы подкрѣпиться послѣ утомительнаго вечера.

II.

На второе засѣданіе пришло народу значительно меньше,—быть можетъ, погода виновата была: дулъ сильный, холодный вѣтеръ.

Однако, вечеръ прошелъ не безплодно. Прежде всего, Петръ Ивановичъ Севастьяновъ, съ сіяющимъ лицомъ, доло-

жилъ, что одинъ купецъ, торговецъ обувью, предложилъ въ даръ обществу десять паръ сапогъ для раздачи ученикамъ городскихъ школъ; послѣ минуты недоумѣнія собраніе единогласно постановило: благодарить.

Затѣмъ приступлено было къ рѣшенію вопроса, какія учебныя пособія прежде всего слѣдуетъ выписать. Вначалѣ, въ виду ограниченности средствъ, рѣшили купить лишь въ-которое количество букварей. Тѣмъ не менѣе, нѣсколькими членами былъ поставленъ вопросъ по существу, а именно—какія книги желательно было бы распространять среди народа? Поднялись споры. Но изъ спорящихъ скоро выдѣлились два члена и такъ рѣшительно овладѣли залой, что больше уже никому не пришлось говорить. Мнѣнія ихъ были крайнія и противоположныя.

Одинъ предлагалъ распространять въ некультурномъ народѣ только сельско-хозяйственныя и вообще техническія знанія, причемъ онъ привелъ поразительный, по его мнѣнію, примѣръ гороховой колбасы, которая въ Германіи служитъ самымъ распространеннымъ пищевымъ продуктомъ и которая нашему крестьянину совершенно неизвѣстна даже по имени. Другой, отозвавшись съ ироніей о гороховой колбасѣ, доказывалъ необходимость распространять въ народѣ нравственныя и эстетическія понятія, въ виду совершеннаго отсутствія таковыхъ въ темной средѣ. Оба разгоряченные противники нѣсколько разъ обмѣнялись горячими рѣчами и, наконецъ, такъ увлеклись, что совершенно забыли о присутствующихъ и заговорили о неотносящихся къ дѣлу вопросахъ; такъ, одинъ почему-то заговорилъ объ англійскихъ породистыхъ свиньяхъ, а другой много и съ волненіемъ распространился о свойствахъ лирической поэзіи. Пришлось ихъ остановить, что и сдѣлалъ Иванъ Петровичъ.

Въ виду сложности вопроса, кѣмъ-то предложено было выбрать комиссію и возложить на нее представленіе обстоятельнаго доклада къ слѣдующему собранію. Предложеніе всѣ приняли и приступили къ выбору. И, къ великому моему огорченію, выбрали Ивана Петровича Емельянова, Ландышева и меня. Заранѣе можно было сообразить, что изъ этого ничего не выйдетъ.

Еще Ландышевъ — ничего, хоть наговорить много. А что касается почтеннаго Ивана Петровича, куда же онъ го-

дится? Работать онъ совсѣмъ не умѣлъ и отъ всякой работы повсюду отлынивалъ,—какая тутъ съ нимъ коммиссія? Какъ представитель, онъ не дурень: его благообразное лицо, его выхоленные бакенбарды, его породистыя, оттопыренные уши, наконецъ, его внушительное брюшко были у мѣста, когда надо было произвести извѣстное впечатлѣніе солидности, но никакая сила, ни даже пушечное ядро не могли бы заставить его работать въ коммиссіи. Для всякаго рода коммиссій есть чернорабочіе, а онъ былъ культурный человѣкъ...

Вѣдь культурный человѣкъ только кормится, а не работаетъ. Кормиться—единственное его назначеніе въ жизни, и другого онъ не знаетъ. Когда имъ отыскивается мѣсто свое, тогда онъ еще кое-что дѣлаетъ, но лишь только онъ напелъ мѣсто—конецъ всякой работѣ. Работникъ работаетъ руками, ногами и хребтомъ, интеллигентъ фантазируетъ и творитъ, культурный же человѣкъ только кормится на своемъ мѣстѣ, какъ кормится червь тѣмъ деревомъ, на которомъ онъ сидитъ, какъ кормится дерево тою землею, въ которую пустило свои корни.

Едва-ли когда Ивану Петровичу приходила мысль, почему, ради какихъ своихъ заслугъ онъ получаетъ прекрасный окладъ. Получивъ мѣсто съ хорошимъ жалованьемъ, онъ, по-видимому, это мѣсто считалъ только своимъ прирожденнымъ правомъ. Если онъ и исполнялъ кое-какія обязанности по службѣ, то какъ школьникъ, долбящій уроки ради страха наказанія. Единственныя обязанности, которыя онъ ревностно исполнялъ, за исполненіемъ которыхъ не лѣнился, относились къ ѣдѣ, питью, полученію жалованья, вообще къ потребленію. Потребленіе во всѣхъ видахъ — вотъ культъ, который онъ всѣмъ своимъ сердцемъ исповѣдывалъ.

На этомъ культѣ весь домъ его стоялъ.

Бывало, взгруснется-ли отъ чего, покушать-ли съ аппетитомъ захочется, или потянетъ просто посмотреть, какъ живутъ порядочные люди,—соберешься и направляешься къ Емельяновымъ. Они занимали цѣлый домъ въ хорошей улицѣ; по вечерамъ домъ этотъ всегда былъ хорошо освѣщенъ, имѣлъ теплыя сѣни, убранныя коврами, и отворяла дверь всегда веселая, сытая горничная. Отказа въ пріемѣ мнѣ никогда не было. Если самъ Иванъ Петровичъ отсутствовалъ,

принимала Лизавета Васильевна, его жена, а Лизаветы Васильевны не было, могла принять ихъ дочка, Софья Ивановна. А то такъ просто остаешься съ одними малолѣтними дѣтьми ихъ.

Еще на лѣстницѣ тебя охватитъ какая-то атмосфера обилія и душевной ясности. А когда входишь въ самый домъ, въ эти большія, теплыя комнаты, установленныя всякою культурною благодатью, теплота и нѣжныя чувства охватываютъ тебя съ неудержимою силой. Не хочется ни думать, ни разговаривать, а душевныя терзанія, которыя, быть можетъ, за минуту рвали на части твою душу, здѣсь кажутся не только нелѣпыми, но просто несуществующими. Сядешь въ мягкое кресло и чувствуешь, что плывешь куда-то. Если тутъ и разговоры поднимались, то они не раздражали и не волновали. Такъ, съ Лизаветой Васильевной я велъ бесѣды о воспитаніи, съ Софьей Ивановной — о развитіи, а съ самимъ Иваномъ Петровичемъ — о политикѣ, но всѣ эти бесѣды велись покойно, шутливо и благодушно. Да здѣсь какъ-то само собою подразумѣвалось, что главное — не разговоръ о воспитаніи и политикѣ, а пріятныя чувства ожиданія ужина, обѣда, завтрака или кофе. Разговоръ и всякія умственные или нравственные отправленія были только незначительною частью того культа, которому здѣсь поклонялись.

Когда бы ни пришелъ въ этотъ благодатный домъ, тутъ или кушали, или приготовлялись кушать, или разговаривали о кушаньяхъ.

Дѣти часто протестовали противъ культа, но Лизавета Васильевна ревностно поддерживала священный тонъ. За чаемъ или кофе, за обѣдомъ или ужиномъ она то и дѣло жаловалась мнѣ на плохой аппетитъ дѣтей и спрашивала, что надо дѣлать.

— Григорій Павлычъ, вы не замѣчаете, что Коля похудѣлъ? — спрашивала обыкновенно она съ тревогой.

Я добросовѣстно вглядывался въ широкую мордашку Коли, но не находилъ на ней никакихъ слѣдовъ болѣзни.

— Помилуйте, да у него щеки лопнуть готовы! — говорилъ я грубо.

— Ну, вы ужъ всегда такъ... грубо! Развѣ вы не видите, что онъ и сейчасъ ничего не кушаетъ?... Коля! Станешь ты

котлетку свою ѣсть или нѣтъ?—строго обращалась она къ ребенку.

Толстый бутузъ хитро взглядывалъ на мать и, чтобы позабавиться ея волненіемъ, отрицательно качалъ головой. А котлетку, подставленную ему, онъ крошилъ вилкой и разбрасывалъ по тарелкѣ, а если и бралъ кусокъ въ ротъ, то сейчасъ же выплевывалъ на полъ или на скатерть.

Это-то и приводило въ ужасъ Лизавету Васильевну.

— Голубчикъ! Ну, скушай хоть немного! — упрашиваетъ Лизавета Васильевна.

Мольба не дѣйствовала.

— Коля, если ты не скушаешь свою котлетку, гулять я тебя сегодня не возьму! — вдругъ заявляла Лизавета Васильевна уже строго.

Угроза производила нѣкоторое дѣйствіе на бутуза. Онъ пристально заглядывалъ въ лицо матери и старался обсудить предложенный ему ультиматумъ.

— Ну, ладно, я съѣмъ два кусочка, — говорилъ онъ рѣшительно.

— Нѣтъ, ты больше съѣшь!

— Пять?

— Ну, хоть пять! — соглашалась Лизавета Васильевна.

— И тогда мы пойдемъ гулять?

— Пойдемъ.

Коля ровно пять кусочковъ мяса отломилъ и быстро сожралъ ихъ.

— Ну, ты еще попробуй, милый, хорошій!

— Ишь какая хитрая! Опять надула! Не хочу ничего!

— Ну, хоть только выпей!

— Не хочу!

— Съ сухарикомъ...

— Не хочу, не хочу! Гулять пойдемъ!

— Ну, хорошо, хорошо! Скоро пойдемъ! — говорила Лизавета Васильевна и высаживала Колю со стула и позволяла ему убѣжать отъ стола. Но съ этой минуты все ея вниманіе обращалось на Машу. Маша послѣ котлетки отпила полстакана молока, а въ остальную часть накрошила булки и толкла ее ложкой, какъ пестикомъ въ ступкѣ.

— Боже мой! Ты все еще не выпила стакана! — вскричала

Лизавета Васильевна въ такомъ отчаяніи, словно Машѣ предстояло заболѣть сейчасъ истощеніемъ отъ голода.

— Я, мама, не хочу больше, — бойко возражала Маша, дѣвочка съ худымъ, но здоровымъ лицомъ.

— Да что же ты ѣла?

— Котлетку.

— А еще что?

— Развѣ это мало? Цѣлую котлетку съѣла...

— Почему-же ты не хочешь молоко допить?

— Оно такое, мама, атвратительное! — возражала Маша съ гримасой и сердито отдернула стаканъ отъ себя.

— Боже мой, и чѣмъ она только жива! — вскричала съ отчаяніемъ Лизавета Васильевна.

— Мамочка, дай мнѣ конфекту... съ начинкой! — возражала на это Маша.

— Не получишь! — строго отрѣзала мать.

— Нѣтъ, дай... Завтра я полный, преполный стаканъ выпью!

Передъ такимъ аргументомъ доброе сердце Лизаветы Васильевны обыкновенно не могло устоять: она давала конфекту и отпускала дѣвочку отъ стола.

Дѣти всѣми способами протестовали противъ пресыщенія, но современемъ они отлично усвоятъ ту истину, что они отъ самой природы одарены правомъ безгранично кушать, дорого одѣваться, сколько угодно спать, бесконечно всѣмъ пользоваться, никому не работая, не зная никакихъ обязанностей, а теперь пока они знали нѣсколько очень тяжкихъ обязанностей — ѣсть, пить, спать, ходить гулять по улицѣ.

Колѣ шелъ пятый годъ, но Лизавета Васильевна считала долгомъ укладывать его регулярно спать въ часъ дня, во избѣжаніе переутомленія. Отсюда шла ежедневно война. Не разъ я, входя въ домъ, оглушаемъ былъ страшнымъ воплемъ, топотомъ нѣсколькихъ паръ ногъ, восклицаніями отчаянія, криками торжества. Это означало, что Колю укладывали спать. Обыкновенно ему объявляли о времени сна внезапно, затѣмъ быстро раздѣвали его и укладывали. Но иногда онъ заранѣе угадывалъ планы враговъ и тогда давалъ тягу; въ догонку за нимъ пускалась цѣлая орава — горничная, няня и сама Лизавета Васильевна. Его находили гдѣ-нибудь подъ диваномъ, насильно извлекали оттуда и, несмотря на то,

подъ сауннѣмъ пашѣмъ пашѣмъ, она скоро
Такія же тяжкія обязанности передъ культом
несла, вѣроятно, и старшая дочь, Софья Иванови
когда ей уже двадцать лѣтъ, она пользовалас
ною свободой, по крайней мѣрѣ, относител
Барышня она была красивая и съ характеро
этому пользовалась нѣкоторою свободой въ
или другихъ мелочей. За обѣдомъ она могла у
относиться къ блюдамъ, порицая одно, одобря
дѣлала гримасу передъ дурнымъ кушаньемъ, в
вольствіе передъ хорошимъ; брезгливо тыка
одно блюдо, она содержимое его разбрасывала
какъ негодный соръ, и только небольшіе кусоч
въ ротъ. Это такъ удивительно шло къ ней!...

Ахъ, я чувствую, что не долженъ былъ бы
этихъ грубыхъ вещей! Но, въ то же время, я не
припомнить, что бы еще болѣе серьезнаго я
въ такой барышнѣ. Вотъ развѣ чтеніе книгъ
увѣренъ, что относительно книгъ мои слова по
болѣе мелкими и, пожалуй, несправедливыми.
чемъ. Софья Ивановна много читала, больше вс
романовъ. Романовъ, я думаю, она нѣсколько
читала. Когда она уставала ихъ читать, сидя
ложила въ качалку; если и въ качалкѣ уст
переходила на кушетку. Лѣтомъ въ саду он
въ гамакъ, подъ тѣнью тополей, и по цѣлому
Любила она и научныя книги, и книги объ ис
глядя на нее, я всегда спрашивалъ, зачѣмъ э
манъ—это такъ, романъ, да еще съ острымъ
такое блюдо, передъ которымъ ни одинъ куль
вѣкъ не можетъ устоять. Но научное чтеніе з

Между тѣмъ, Софья Ивановна, читая, была
исполняетъ какую-то обязанность, своего рода
по этому поводу у насъ съ ней и происходили
разговоры о развитіи. Каждый такой разгов
большей части оканчивался ссорой, но иногда
думывалась глубоко.

Недавно она спросила меня, что я посовету

Я посоветовалъ ей на время вовсе бросить чтеніе, а заняться чѣмъ-нибудь другимъ.

— Да и зачѣмъ вамъ спѣшить читать? Бросьте вы, пожалуйста!

-- Зачѣмъ—вотъ это мило! Я думаю, каждый человѣкъ обязанъ развивать свой умъ,—возразила съ улыбкой она, не понимая еще моей мысли.

— Во-первыхъ, умъ можно не одними книгами развивать. Во-вторыхъ, зачѣмъ развитіе-то вамъ?

— Вы, вѣроятно, опять сегодня намѣрены злить меня!

— Нисколько! Я изъ сочувствія къ вамъ спрашиваю, зачѣмъ вамъ развитіе? Всякое истинное развитіе совершается болѣзненно, но вамъ-то зачѣмъ болѣзнь?—продолжалъ я грубо.

Софья Ивановна пристально взглянула на меня, но еще не знала, сердиться ей или принять все въ шутку.

— Какая у васъ отвратительная манера говорить! Никогда не узнаешь, серьезно вы говорите или просто хотите взбѣсить, раздражить. Но будьте покойны, я не доставлю вамъ удовольствія разозлиться.

— Ахъ, Софья Ивановна! Быть можетъ, и правда, что я хотѣлъ позлить васъ, но, въ то же время, мнѣ жалко васъ. Искренно повторяю вамъ, что всякое развитіе приноситъ много страданій и горя. Я и спрашиваю, зачѣмъ вамъ безъ толку страдать? Кушать у васъ есть чего, одѣты вы прекрасно, въ будущемъ вы также обезпечены... Всякій трудъ съ васъ снять; кухарка или поваръ вамъ обѣдъ готовить, модистка васъ наряжаетъ, горничная одѣваетъ, романистъ пишетъ вамъ романы, поэтъ даритъ свои грезы, художникъ ласкаетъ вашъ глазъ, музыкантъ навѣваетъ чудныя мелодіи для вашего слуха! Что же вамъ еще нужно? Живите и наслаждайтесь тѣмъ, что выработали и выстрадали другіе...

— А, вы вотъ о чемъ! Заранѣе ужъ обрекаете меня на роль бесполезнаго существа?—сказала съ волненіемъ дѣвушка и нервно перелистывала какую-то книгу.

— Зачѣмъ же вы сердитесь? Вѣдь не вы виноваты, что вы можете только наслаждаться, ничего не дѣлая... такая ужъ ваша обязанность. И пусть другіе развиваются, работаютъ—имъ это нужно. Но къ чему вамъ-то создавать для

себя безцѣльными муки? Вѣдь изъ такихъ мукъ ничего никому не произойдетъ.

— Ну, и пусть ничего не произойдетъ! Пусть я никуда не годна... пусть никакая работа не будетъ моею!... А я все-таки хочу развиваться, какъ всякій интеллигентный человѣкъ! — съ жаромъ восклицала Софья Ивановна.

— Да развѣ вы интеллигентный человѣкъ? — спросилъ я.

Софья Ивановна опять въ упоръ оглянула меня своими прекрасными сѣрыми глазами и, казалось, хотѣла выразить полное презрѣніе ко мнѣ.

— А кто же? — спросила она саркастически.

— Вы шутите съ интеллигентнымъ человѣкомъ? Вѣдь это-такой человѣкъ, главные интересы котораго — интересы истины и совѣсти и который, къ какому бы сословію ни принадлежалъ, умственно работаетъ и создаетъ идеальные предметы, также какъ мускульный работникъ физически работаетъ и создаетъ физическіе предметы. А мы то что съ вами? Ни то, ни другое. Физически мы не работаемъ, да и умственно тоже безъ дѣла остаемся... Просто мы потребители...

— Не хочу я больше съ вами говорить! Вы злой, раздраженный, гадкій сегодня! — вскричала Софья Ивановна, переходя внезапно на женскую логику.

Впрочемъ, въ слѣдующій разъ мы опять мирились и снова начинали разговоръ о книгахъ, объ искусствѣ, о развитіи; другого подходящаго человѣка для такихъ разговоровъ, помимо меня, у нея пока не было. Да и я грубо говорилъ только изрѣдка; во всякое другое время мнѣ было очень пріятно проводить съ ней время. Барышня она была умная и отъ природы добрая, и къ развитію она имѣла истинное призваніе, да все это бесполезно пропадало. Нѣкогда барышни ея возраста и круга, чтобы стать интересными, пили уксусъ и ѣли известку; нынче онѣ читають романы и поглощаютъ ученныя книги. Это хорошо, но послѣдствія одинаковы, какъ отъ уксуса, такъ и отъ романовъ и другихъ, такая ужъ это среда!... Повыйдутъ онѣ, бѣдныя, замужъ, и изъ умныхъ, интересныхъ барышень превратятся въ солидныхъ хозяекъ культурныхъ гнѣздъ. Въ первые годы по выходѣ замужъ онѣ еще кажутся худенькими и любопытными, но черезъ короткое время понемногу начнутъ жирѣть; даль-

больше и, наконецъ, толстыя, застывшія душевно, неподвижныя физически, держа ручки на животъ, онъ навѣки прирастаютъ къ своимъ гнѣздамъ. А то такъ еще хуже: дѣлаются навсегда больными, вѣчно страдая неврастеніемъ, невропатіей, психопатіей и прочими прелестями, созданными въ такомъ множествѣ нашимъ братомъ подлецомъ.

Оканчиваютъ онъ такъ тяжело потому, что мужья ихъ такъ ставятъ; мужей же ставить въ такое положеніе та потребительская среда, куда они попали, а откуда берется эта потребительская среда, кто ее кормитъ и зачѣмъ ее кормятъ, этого я сказать здѣсь, извините, не умѣю.

Какъ никогда я не умѣлъ отвѣтить Софѣ Ивановнѣ на ея вопросъ, что же ей дѣлать? Что ей, въ самомъ дѣлѣ, дѣлать-то? Если ужъ толпа мужчинъ по улицамъ собакъ гонять, ни къ чему не пристроенная, то дѣвушкѣ и подавно нечего предпринять. Такая ужъ это среда. Находясь въ ней, можно только чисто-потребительскую жизнь вести, а обо всемъ остальномъ лишь разговоры разговаривать. Или надо совсѣмъ выйти изъ потребительскаго круга, но на это способны только героическія натуры, а мои знакомые были обыкновенные, простые люди, и, притомъ, такъ сжились съ своимъ положеніемъ, что иного и не понимали.

Всему виною былъ, конечно, самъ Иванъ Петровичъ. Другого такого потребителя я, пожалуй, и не видалъ. Другіе культурные люди, похитрѣе, непременно стараются прикрыть свое бездѣлье какою-нибудь суетливою дѣятельностью; одинъ—филантропъ, другой—покровитель искусствъ, тотъ любить астрономію, этотъ—реформаторъ въ своемъ болотѣ (самый вредный видъ потребителей). И это прикрытие удается и отводитъ наивнымъ глаза. А Иванъ Петровичъ по своей простотѣ и не думалъ чѣмъ-нибудь прикрываться. Получалъ окладъ—и радовался; пользовался всякимъ благополучіемъ—и тоже радовался. Онъ добился большого чина и хорошаго мѣста, чтобы кормиться, а вовсе не за тѣмъ, чтобы глупыхъ обывателей благодѣтельствовать.

Спѣшу еще оговориться, что Иванъ Петровичъ былъ чистымъ потребителемъ не въ одномъ только грубомъ смыслѣ. Разумѣется, покушать онъ любилъ, и если у меня не было аппетита, то достаточно было взглянуть на него, какъ онъ кушаетъ, чтобы почувствовать сильнѣйшій голодъ. Любилъ

онъ покушать; я, какъ домашній врачъ его, зналъ всѣ тайны его на этотъ счетъ. Мой совѣтъ—умѣренно ѣсть, избѣгая мучного и сладкаго, онъ пропускалъ мимо ушей. Не зная мѣры, онъ увлекался во время обѣда и забывалъ во-время остановиться. Оттого по нѣскольکو разъ въ годъ онъ долженъ былъ платиться за жадность, а я долженъ былъ возиться съ нимъ. Здоровый организмъ его долго выдерживалъ, но, наконецъ, протестовалъ... Впопыхахъ, вся взволнованная, прѣзжала обыкновенно за мной горничная и торопила меня скорѣе ѣхать. „Барину худо!“—говорила она. Но я уже заранѣе угадывалъ, въ чемъ дѣло. Добрѣйшій Иванъ Петровичъ увлекся, переложилъ лишнее и слегъ. Когда я прѣзжалъ (всегда почти ночью), картина была уже полная. Изъ кабинета раздавались раздирающіе душу стоны; прислуга впопыхахъ бѣгала; Лизавета Васильевна, перепуганная и блѣдная, держала голову больного, котораго поминутно тошнило.

— Ничего, ничего!—говорилъ я и торопилъ нести ледъ, вино и прочее.

— Ой, смерти! Умираю! Ой, ради Бога, что-нибудь!—кричалъ Иванъ Петровичъ что было мочи.

Часа черезъ два мнѣ удавалось его отходить, и онъ засыпалъ. Дня два затѣмъ онъ валялся въ постели, а когда поднимался съ кровати, лицо его казалось сильно похудѣвшимъ, глаза горѣли, носъ обострялся. Но это только придавало ему больше свѣжести и нѣкоторой умственной живости. Тогда-то и можно было видѣть, что потребитель онъ не въ одномъ грубомъ значеніи.

Самое любимое его занятіе было—приобрѣтать всякія новинки, оттого-то его домъ и набитъ биткомъ разными ненужными вещами. Выйдетъ-ли новой системы лампа, объявится-ли аукціонъ картинъ, увидитъ-ли какую-нибудь рѣдкую мебель, или услышитъ о продажѣ какихъ-нибудь книгъ—непремѣнно поспѣшитъ приобрести. Въ этомъ отношеніи онъ былъ совершенный ребенокъ, или женщина,—увлекающійся, капризный, нетерпѣливый и жадный. Гулялъ онъ всегда по тѣмъ улицамъ, гдѣ много магазиновъ, въ окна которыхъ онъ жадно вглядывался. И что бы онъ ни увидалъ новаго, еще не бывшаго въ его рукахъ, сейчасъ же хватается поразившую его вещь.

Я не сомнѣваюсь, что тотъ непрерывный потокъ бездѣлушекъ, нелѣпыхъ изобрѣтеній и никуда негодной дряни, который наводняетъ рынки, рассчитанъ именно на такого потребителя, какъ Иванъ Петровичъ; не сомнѣваюсь и въ томъ, что всѣ эти наглые рекламы о вновь вышедшихъ удивительныхъ нелѣпостяхъ направлены по тому же адресу; потребитель, подобный Ивану Петровичу, все это приобретаетъ и поглотить, лишь была бы удовлетворена его жадность ежедневной новинки.

Въ эти минуты его узнать было нельзя: необычная живость движеній, жадные взоры, напряженное вниманіе придавали его тучнѣющей фигурѣ своего рода граціозность, особенно, если покупка совершалась дешево и неожиданно для него самого. Радовался онъ тогда, какъ ребенокъ. Помню, встрѣтивъ однажды меня на улицѣ, онъ остановилъ меня и показалъ, что онъ приобрѣлъ. Посмотрѣлъ я и увидалъ дрянную жестяную вещичку, похожую не то на дѣтскую свистульку, не то на изломанную трубку. На мое недоумѣніе онъ съ озабоченнымъ, хотя и веселымъ видомъ, принялся рассказывать мнѣ всѣ свойства жестянки... по его словамъ, она представляетъ собою орудіе чистки плодовъ; однимъ концомъ ея кухарка должна снимать кожуру, напримѣръ, съ картошки; другимъ концомъ вынимать червоточину и прочіе ненужные прыщи; тутъ же приспособлена терка, чтобы дѣлать пюре, и закругленный ножъ, чтобы вырѣзывать красивые шарiki...

— А? Не дурно! Кажется, простая жестянка, а какъ практично!— говорилъ Иванъ Петровичъ весело. — И знаете, сколько стоитъ? Четвертакъ... Случайно и наткнулся-то... прихожу въ магазинъ, смотрю, что такое? Прикащикъ объясняетъ... И сколько, такимъ образомъ, у насъ ускользаетъ вещей! Какъ мало мы знаемъ предметовъ, весьма полезныхъ, и какъ мало ими пользуемся! Вѣдь вотъ не наткнись я случайно на эту штуку, такъ бы и умеръ, не выдавши ее!

Напередъ можно было предсказать, что сдѣлается съ купленною вещью. Иванъ Петровичъ съ довольнымъ видомъ передать ее кухаркѣ, рассказавъ всѣ волшебныя свойства ея, а кухарка черезъ нѣсколько дней съ помоями выльетъ ее на задній дворъ, въ полной увѣренности, что баринъ никогда этой дряни не вспомнить. Барину тутъ интересъ

былъ только одинъ моментъ присвоенія. Затѣмъ онъ забывалъ присвоенную вещь или самъ же выбрасывалъ ее. Такова была судьба всѣхъ его пріобрѣтеній; вызванная ребяческою жадностью, они становились негодными тотчасъ, лишь только жадность удовлетворялась. Рѣдкая мебель, покрасовавшихъ въ комнатахъ, выносились подъ сарай; картины покрывались паутиной, тысячи нахватанныхъ бездѣлушекъ ежегодно обращались въ соръ и ломъ; купленная книга запиралась въ шкафъ, гдѣ навѣки пропадала, а нерѣдко бросалась въ хламъ, въ которомъ и валялась до тѣхъ поръ, пока кучеръ не разрывалъ ее на цыгарки. Для Ивана Петровича важно было только взять, присвоить, потребить.

Изъ такихъ людей вербуются любители. Но большая часть потребителей пристращается къ какому-нибудь одному роду вещей и дѣлается въ этой области фанатичной. А Иванъ Петровичъ былъ слишкомъ здоровъ, чтобы стать любителемъ-фанатикомъ. Онъ былъ просто любителемъ всего, что есть на свѣтѣ.

Однимъ словомъ, какъ членъ нашего общества, онъ былъ совершенно бесполезенъ. Любителемъ грамотности онъ не могъ быть; другихъ же побужденій, не любительскихъ, въ немъ не было совсѣмъ. Онъ получалъ слишкомъ хорошій окладъ и слишкомъ въ большомъ чинѣ состоялъ.

Я все-таки пришелъ въ сильное раздраженіе, когда онъ надулъ насъ. Какъ я предсказывалъ, такъ и случилось. Назначенъ былъ день и часъ для работъ выбранной комиссіи, но изъ этого ничего не вышло. Я пришелъ первый и долго ждалъ Ландышева; потомъ пришелъ Ландышевъ и мы вдвоемъ стали ждать Емельянова. Ждали-ждали и, конечно, не дождались. Не пришелъ, толстый лѣнivecъ, хотя клялся!... Я предложилъ было Ландышеву вдвоемъ заняться, но тотъ на-отрѣзъ отказался. Такъ мы и разошлись.

Сильно раздраженный, я тотчасъ же хотѣлъ идти къ нему, но, къ сожалѣнію, не могъ этого сдѣлать, обязанный явиться къ двумъ больнымъ. Но вечеромъ я отправился и дорогою подбиралъ самые ядовитые эпитеты, чтобы отправить ихъ по адресу сытаго лѣнтя. Прихожу. „Дома?“ — „Дома“. — „Здоровъ?“ — „Здоровъ“. Въ залъ меня встрѣтилъ самъ Иванъ Петровичъ, веселый и добродушный, какъ всегда. Я немедленно, едва поздоровался, разразился упреками.

— Что же это вы дѣлаете, Иванъ Петровичъ?

— А что такое?—спросилъ онъ разсѣянно.

— Да вѣдь сегодня комиссія назначена!—сказалъ я, уже взбѣшенный его разсѣянностью.

— Какая комиссія?

Это же возмутительно! Даже забылъ, толстое животное!

— Неужели вы забыли, что вмѣстѣ со мной и Ландышевымъ выбраны на прошломъ засѣданіи, чтобы приготовить докладъ о томъ, какія книги...

— А, вотъ вы о чемъ!... Ну, извините ради Бога! Честное слово, не могъ придти... Поясница вдругъ что-то заныла,—погода, что-ли, такая, или старый мой ревматизмъ... Заныла и заныла, ну, я и того...—говорилъ Иванъ Петровичъ и конфузился.

Я видѣлъ, что человѣкъ вретъ, даже и вретъ-то по-дѣтски, хотя въ головѣ его половина волосъ была уже сѣдая. Ну, что можно сказать на такое ребяческое отношеніе? Я замолчалъ; смѣшно и досадно стало за него.

— Чего вы волнуетесь-то, милѣйшій мой? Успѣете еще сто комиссій назначить! Куда торопиться-то? Палкой не бьютъ. Слава Богу, хоть тутъ-то можемъ сами распоряжаться... Чего неволить-то себя. Успѣемъ еще,—говорилъ добродушно Иванъ Петровичъ.—Признаться, мнѣ и некогда было идти-то къ вамъ сегодня...

— Что же вы дѣлали?—спросилъ я съ живымъ любопытствомъ.

— Знаете, тутъ назначена была на сегодня спѣшная распродажа въ одномъ обѣдѣвшемъ и куда-то уѣзжавшемъ семействѣ. Я и пошелъ, да и провозился тамъ до сихъ поръ... Посмотрите, какую я пальму за то приобрѣлъ... Своего рода экземпляръ.

Иванъ Петровичъ, забывъ смущеніе, тотчасъ оживился и принялся показывать мнѣ всѣ достоинства пальмы. Экземпляръ былъ дѣйствительно необычайно крупный, но, видно, „обѣдѣвшему и куда-то уѣзжавшему семейству“ не до пальмы было,—она выглядѣла чахлою, съ пожелтѣвшими и кавыми-то обглоданными концами листьевъ.

— Зачахла немного? Это ничего... плохой уходъ былъ! У меня черезъ мѣсяцъ поправится. Видите, я ужъ одну ванну ей сдѣлалъ, и каждый день буду дѣлать... А экземпляръ ве-

ликоѣнный!... А какъ бы вы думали, сколько стоить?—спросилъ меня вдругъ Иванъ Петровичъ и медлилъ сказать цифру стоимости, чтобы сильнѣе поразить меня и насладиться моимъ удивленіемъ.

Я пожалъ плечами, все еще будучи не въ состояніи подавить накопившуюся досаду.

— Четвертную я заплатилъ! Понимаете? Четвертную за экземпляръ, стоющій нѣсколько сотъ! Выгодная покупка, а?

И, говоря это, Иванъ Петровичъ съ торжествомъ смотрѣлъ на меня. Я, однако, оставался безчувственнымъ и молчалъ, какъ истуканъ. Но Иванъ Петровичъ уже не обращалъ на меня вниманія и съ увлеченіемъ принялся объяснять всю роскошь пальмы; затѣмъ съ неменьшимъ увлеченіемъ онъ рассказывалъ мнѣ, какъ надо дѣлать ей ванну, какой температуры, на сколько часовъ. Когда истощился весь запахъ его восторговъ насчетъ пальмы, онъ вдругъ оглянулся по сторонамъ и посвисталъ.

На этотъ свистъ прибѣжалъ какой-то мопсъ.

— А вотъ посмотрите, я еще мопса купилъ!

— Мопса-то вамъ зачѣмъ? Вѣдь у васъ есть!—невольно вырвалось у меня восклицаніе.

— Для дѣтишекъ. Нашъ-то ужъ старъ сталъ, лѣнливъ, а этотъ еще молоденькій... посмотрите, какая мордашка забавная, а?

При этихъ словахъ Иванъ Петровичъ взялъ мопса за шиворотъ и поднесъ его близко къ моему лицу. Я вообще люблю животныхъ, но мопсовъ—этихъ дѣтскихъ любимцевъ—не выношу. Понятно, что я нѣсколько попятился отъ „мордашки“. Иванъ Петровичъ разсмѣялся.

— Ахъ, вѣдь я забылъ, что вы не любите!... Ну, такъ я вотъ другою своею покупочкой похвастаюсь... Тамъ же въ хламъ я нашелъ Амалать-Бека...

— Какого Амалать-Бека... собаку?—воскликнулъ я.

— Зачѣмъ собаку?... Амалать-Бека Марлинскаго... Меня прельстило старое изданіе... старая печать, желтые листы, заплѣсневѣлый корешокъ... взялъ, да и купилъ! Да и четвертакъ всего... что ужъ тутъ?

Досада моя начала проходить.

— А вотъ и еще покупка... вериги. Просто не ожидалъ въ образованномъ семействѣ встрѣтить эдакую штуку!—

Вслѣдъ за этими словами Иванъ Петровичъ съ особенною живостью бросился въ сосѣднюю комнату и притащилъ оттуда большую желѣзную цѣпь, ржавую и запачканную.

— Видите? Настоящія вериги...

Признаюсь, я былъ совершенно ошеломленъ.

— Да вы почему знаете, что это вериги, а не собачья цѣпь?—вскричалъ я.

— Вотъ въ томъ-то и дѣло, что вериги... Настоящія вериги, иначе зачѣмъ бы я сталъ покупать? Видите-ли, какъ онѣ попали туда: въ семействѣ у нихъ была бабушка, старая-престарая старушка. Она принимала странниковъ... Ну, вотъ одинъ изъ нихъ и оставилъ ей вериги свои... кажется, онъ даже и умеръ-то въ ихъ домѣ. Что это дѣйствительно вериги, а ничто иное, обратите вниманіе на нѣкоторые звенья,—на нихъ правильно наръзаны кресты... видите?

Гремя желѣзною цѣпью, Иванъ Петровичъ отыскивалъ на кольцахъ ея едва замѣтные кресты, соскабливалъ ножомъ ржавчину съ нихъ и обращалъ при всякомъ такомъ случаѣ мое вниманіе.

— Я все же не понимаю, зачѣмъ вамъ вериги?—спросилъ я послѣ долгаго осмотра, все еще удивленный.

— Да такъ. Забавно. Рѣдкая, знаете, теперь вещь... пожалуй даже и не найдешь... Ну, я и взялъ.

Мое раздраженіе прошло. Я даже забылъ, зачѣмъ пришелъ. Тутъ совсѣмъ другіе интересы и настроеніе. Ну, можно-ли было, при видѣ этихъ веригъ, пальмы, Амалять-Бека и мопса, сердиться на Ивана Петровича за то, что онъ не пришелъ въ нашу комиссію? Да Богъ съ нимъ!

Я расхохотался подъ конецъ.

Кстати, тутъ подошли остальные члены семейства и потащили меня въ столовую пить чай. И надо сознаться, здѣсь, посреди здоровыхъ и веселыхъ лицъ, за вкуснымъ чаемъ съ разными вкусными вещами, за аппетитными разговорами я окончательно забылъ свое раздраженіе. Да просто казалось смѣшнымъ и нелѣпымъ самый поводъ-то къ раздраженію... Комиссія—да шутъ съ ней совсѣмъ!

III.

Тѣмъ не менѣе, раздраженіе мое въ высшей степени поднялось снова въ день собранія, когда мы передъ собравши-

мися членами должны были глупо хлопать глазами, вмѣсто того, чтобы читать свой докладъ. Публики собралось на этотъ разъ довольно много, и видно было, что всѣ собравшіеся дѣйствительно интересуются вопросомъ и ждутъ результата нашего труда. А мы, какъ говорится, ни въ одномъ глазѣ! Не только труда, но самой завалящей мыслишки не могли мы представить вниманію почтеннаго собранія.

Что было дѣлать? Внутренно ощущая только досаду и едва подавляя ее, я незамѣтно переглянулся съ Ландышевымъ, но, увы, прочитавъ на его лицѣ полную растерянность. Было ясно, что даже онъ, не лазившій въ карманъ за словомъ, растерялся передъ публикой, потому что, повторяю, публика серьезно была настроена и съ любопытствомъ поглядывала на насъ, и занять ее обычною словесною балабайкой просто безсовѣстно было.

Въ это критическое мгновеніе меня внезапно осянило вдохновеніе, имѣвшее своимъ послѣдствіямъ самые неожиданные результаты. Явился въ этотъ вечеръ я сюда съ досадой и уже напередъ ожидалъ срама на свою голову, а вышло наоборотъ: вечеръ прошелъ шумно и весело.

Дѣло было такъ.

Мы съѣли. Настала тишина. Иванъ Петровичъ высморкался въ платокъ съ тѣмъ чувствомъ, съ какимъ только онъ одинъ сморкался, и проговорилъ:

— Ну-съ, господа, приступимъ къ нашимъ занятіямъ...

А какія тамъ занятія?

Но вотъ въ это-то мгновеніе меня и осянила счастливая мысль, смѣсь лганья и правды. Я сказалъ:

— Въ прошлый разъ былъ поставленъ вопросъ о томъ, какого характера заводить библіотеки, для чего выбрана коммиссія для разработки руководящаго начала... Но коммиссія послѣ долгаго размышленія (здѣсь я почувствовалъ, что уши мои краснѣютъ) пришла къ тому выводу, что ей поручено слишкомъ сложное дѣло, чтобы у кого-либо изъ ея членовъ хватило смѣлости съ легкимъ сердцемъ рѣшить его. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь прежде нежели рѣшить, какимъ принципомъ руководиться при выборѣ книгъ,—эта задача именно и поставлена была коммиссіи,—надо хоть приблизительно знать, каковы желанія самого общества. Въ прошлый разъ уже въ этомъ смыслѣ начаты были бесѣды, но, къ со-

жалѣнію, почему-то не доведены были до конца. Въ виду этого, я предлагаю собранію во всемъ его составѣ еще разъ высказаться и выработать путемъ преній ясныя и твердыя принципы для руководства на будущее время.

Сказалъ и сѣлъ. Ничего, что высказалъ я все это въ суконныхъ выраженіяхъ. Дѣло было сдѣлано. Публика, пришедшая слушать и критиковать докладчиковъ, изподтишка подсмѣиваясь на ихъ счетъ, застигнута была моими словами врасплохъ, ибо я приглашалъ ее думать и самой высказываться. Толпа не умѣетъ думать. Собраніе заволновалось. Многіе стали переглядываться и ежились, словно ихъ кто покусывалъ. Словомъ, вниманіе общества съ комиссія было отвлечено на него самого.

А дальше пошло еще лучше.

Ландышевъ тотчасъ же воспользовался моею мыслью и началъ длинную-преддлинную, версты въ двѣ, рѣчь на тему о руководящихъ началахъ вообще и въ частности. Если сократить его рѣчь до размѣровъ одного аршина, то можно было извлечь изъ нея слѣдующее. Въ дѣлѣ распространенія званій объективныхъ руководящихъ началъ нѣтъ и не можетъ быть. Мы, культурные люди, въ этомъ случаѣ должны руководиться не мнѣніями народа, а нашими собственными понятіями о красотѣ, истинѣ и добрѣ. Еслибы мы вздумали руководиться народными понятіями, то пришлось бы распространять „Сонники“, „Премудрые Соломоны“ и пр. Нелѣпость очевидна. И единственный выходъ отсюда—это субъективное начало, которое только и можетъ вывести на торную дорогу. Дальше, къ удивленію, онъ кончилъ такимъ выводомъ, который прямого отношенія съ его рѣчью не имѣлъ. „Слѣдуетъ,—сказалъ онъ,—распространять изъ научныхъ книгъ—элементарныя, изъ литературныхъ сочиненій—сказки и передѣлки, изъ драматическихъ—мелодрамы и пр.“

Не успѣлъ онъ кончить, какъ нетерпѣливо попросилъ слово тотъ самый господинъ, который въ прошлый разъ сдѣлалъ ироническій запросъ. На этотъ разъ иронія также мелькала на его лицѣ, но она часто замѣнялась какимъ-то нетерпѣніемъ или раздраженіемъ.

— Я желалъ бы обратить вниманіе собранія на одну сторону дѣла,—началъ онъ тихо, но постепенно возвышая голосъ,—которую, кажется, упускаютъ изъ виду, какъ и г.

Ландышевъ въ своей прекрасной рѣчи. Говорю объ отноше-
ніи нашихъ культурныхъ классовъ къ некультурнымъ... Не
знаю, какъ назвать эти отношенія—фальшивыми или недо-
мысленными... Дѣло въ томъ, что каждый изъ насъ при-
знаетъ мужика равнымъ себѣ человѣкомъ, но это теорети-
чески, а не на практикѣ. Когда заходитъ рѣчь, напримѣръ,
о томъ, какъ поправить экономическія условія мужика, на-
ходятся тотчасъ же лица, придумывающія цѣлую кучу не-
вѣроятныхъ мѣропріятій, при помощи которыхъ только,
будто-бы, и можно поднять благосостояніе народа. Какъ это
ни нелѣпо, но это никого не удивляетъ. Никто не рѣшился
бы, напримѣръ, въ видахъ развитія нашей промышленности
и торговли, сажать купцовъ и фабрикантовъ въ чижовки;
никому тоже не придетъ въ голову посовѣтовать, ради по-
правленія имѣній, сѣчь розгами землевладѣльцевъ. Но отно-
сительно мужика такія вещи предлагаются и совѣтуются, и
не безуспѣшно. Когда общество приходитъ въ ужасъ отъ
деревенскихъ пожаровъ, сейчасъ же находятся изобрѣтатели,
выдумывающіе какія-то соломенно-ковровыя крыши. Неуро-
жай посѣщаетъ мѣстности, сейчасъ находятся остроумные
господа, предлагающіе пробиваться жмыхами... Однимъ сло-
вомъ, въ принципѣ мы съ величайшею готовностью даемъ
мужику полное право на жизнь, но лишь только дойдетъ до
дѣла, мы предлагаемъ ему какую-нибудь скромную фальси-
фикацію... Нѣчто подобное и сейчасъ случилось. Я съ боль-
шимъ удовольствіемъ слушалъ рѣчь г. Ландышева и очень
радовался, когда онъ подробно распространился о необходи-
мости субъективнаго въ дѣлѣ распространенія знаній... По-
истинѣ это христіанскій принципъ. Я желаю для другого
того, что для меня самого благо. Что я считаю истиннымъ,
прекраснымъ и благимъ, то же я долженъ отдать и народу.
Просто и человѣчно. И, кажется, нѣтъ легче, какъ перейти
отсюда прямо къ книгамъ; нѣтъ ничего яснѣе, какъ сказать
себѣ: вотъ эти книги я считаю художественными, истинны-
ми и нравственными, пусть же и народъ ихъ читаетъ. Мнѣ-
нія народа я не знаю, да его, быть можетъ, и не существу-
етъ относительно книгъ, но я отлично знаю, какія книги я
самъ для него считаю прекрасными и хорошими; ихъ мы и
должны рекомендовать ему. А, между тѣмъ, г. Ландышевъ
разсуждаетъ такъ: народу мы дадимъ то, что мы считаемъ

гдѣ добродѣтель всегда торжествуетъ, и мелодрамы, гдѣ льются дешевыя слезы... Къ чему понадобилось ему выкинуть этотъ телачій курбетъ—не понимаю...

Хорошо, очень хорошо! Я съ удовольствіемъ слушалъ. Публика также насторожилась. Нѣсколько десятковъ паръ глазъ были устремлены на говорившаго господина. И Ландышевъ добродушно улыбался... Славный онъ малый въ этомъ отношеніи! Никогда онъ не обижался, когда надъ нимъ зло подшучивали, и выходилъ изъ себя только въ томъ случаѣ, когда шутки были плоскія и глупыя. Такъ и теперь—онъ съ добродушною улыбкой кивнулъ головой въ сторону говорившаго: „Отлично, молъ!...“

Но совсѣмъ иное дѣло Петръ Ивановичъ Севастьяновъ. Взглянувъ на него, я тотчасъ понялъ, что его уже тошнить, и онъ уже замышляетъ трусость. И дѣйствительно, воспользовавшись первымъ перерывомъ говорившаго, онъ вдругъ какъ-то покрутилъ носомъ въ воздухъ, судорожно улыбнулся и сказалъ:

— Мы, кажется, насколько я понимаю, отвлеклись отъ цѣли нашихъ разговоровъ... и вышли изъ границъ, положенныхъ уставомъ.

Высказавъ это, онъ посмотрѣлъ не то стыдливо, не то вызывающе по сторонамъ.

Однако, на этотъ разъ даже Иванъ Петровичъ возмутился.

— Ну, что ужъ это вы, Петръ Ивановичъ?... Ужъ будто нельзя и поговорить,—сказалъ онъ ворчливо.

— Говорить сколько угодно мы можемъ, но въ предѣлахъ нашей программы,—возразилъ упрямо Севастьяновъ.

— Да что это вы, въ самомъ дѣлѣ, выдумываете?... Нельзя поговорить!... Да у насъ прямо въ уставѣ сказано: „общество заводить библіотеки“... А какія-же это библіотеки мы будемъ заводить, ежели предварительно не поговоримъ о книгахъ?... На толчокъ, что-ли, идти намъ справляться, какія книги лучше? Что ужъ это такое!

И расплывчатое лицо нашего предсѣдателя выглядѣло въ эту минуту опредѣленно сердитымъ. Это подѣйствовало. Трусъ на время былъ усмиренъ и успокоенъ. Опустилъ гла-

за, перекошил плечи и какъ будто говорилъ: „Какъ знаешь! Мое дѣло сторона!“

Во время этихъ пререканій говорившій господинъ съ недоумѣніемъ ждалъ конца ихъ, но лишь только Севастьяновъ успокоился, онъ продолжалъ говорить. Только, какъ я замѣтилъ, заговорилъ на этотъ разъ онъ не такъ, какъ хотѣлъ, и не о томъ, что думалъ предварительно. Заговорилъ онъ въ общихъ выраженіяхъ и съ раздраженіемъ, какъ будто трусливое возраженіе Севастьянова вывело его изъ себя.

Повторивъ еще разъ, что народу мы должны давать то, что сами любимъ и что для себя считаемъ истиннымъ, онъ вдругъ спросилъ: „А что же мы сами-то любимъ?... Да любимъ-ли мы что-нибудь въ литературѣ? Быть можетъ, она въ дѣйствительности и не нужна намъ и мы отлично обходимся безъ нея?“

Всѣ съ нетерпѣніемъ посматривали на него. Но эти взгляды, казалось, еще больше раздражали его, и онъ уже рѣзко, безъ всякихъ условностей, отвѣтилъ, что—да, что литературы мы не любимъ, потребности въ ней не чувствуемъ и только съ чужого голоса можемъ сказать, что въ ней хорошо и что дурно, что красиво и что безобразно, что чисто и что подло... Пусть вдругъ исчезнетъ цѣлая половина литературы, мы пожалѣемъ о ней и забудемъ ее тотчасъ же. Она не составляетъ нашей потребности, какъ хлѣбъ, и не любимъ мы ее, какъ собственную шкуру... ибо собственныхъ мыслей у насъ нѣтъ еще. Обо всемъ мы можемъ убиваться, только не убиваемся, когда мысль наша обращается въ сорную яму. Собственныхъ мыслей мы не имѣемъ, а отъ полученныхъ легко отказываемся. Мы страдаемъ, когда у насъ нѣтъ своего платья, но не чувствуемъ ни малѣйшаго стыда, когда не имѣемъ въ головѣ ни одной своей мысли. Насъ обижаетъ, когда вслѣдствіе нужды мы должны обращаться къ знакомому за деньгами, но легко у того же знакомаго крадемъ его мысль и при случаѣ пускаемъ ею пыль въ глаза, выдавая ее за свою, выстраданную. Въ сущности, мы равнодушны какъ къ чужой мысли, такъ и къ своей; исчезни вся литература—мы замѣнимъ ее суррогатомъ, да еще будемъ похваливать.

Не могу припомнить всего, что говорилъ этотъ странный

— И такъ, прежде нежели спорить о томъ, какого рода грамотность давать темному человѣку, надо спросить себя, точно-ли сами-то мы грамотные люди?

Это ужь слишкомъ!

Но, странно, его рѣзкія слова ни въ комъ не вызвали огорченія. Напротивъ, счастливѣйшія улыбки озарили всѣ лица, и чувство удовольствія сіяло въ глазахъ всѣхъ. Почему случилась такая невѣроятная вещь—не понимаю. Вѣдь ужь подлинно, человѣкъ, видимо, обиженный,—въ глаза всѣмъ наплеваль, а мы—ничего, даже съ большимъ удовольствіемъ... Быть можетъ, это потому, что онъ, хотя и злобою своей, но сумѣлъ разогнать нашу скуку, какую всѣ испытывали въ прежнія засѣданія, хотя и не сознавались въ этомъ. Быть можетъ, выслушивая злую характеристику, каждый относилъ ее къ своему сосѣду и въ душѣ еще поддакивалъ: „Хорошенько, хорошенько эту безграмотную скотину!“ А, быть можетъ, и потому еще, что на всѣхъ вдругъ, подъ впечатлѣніемъ горячей, хотя и крайней рѣчи, напала отвращенность и жажда раскаянія.

По крайней мѣрѣ, шумно-откровенные разговоры начались тотчасъ, лишь только кончилъ свою очередь баринъ. Сначала многіе переспрашивали другъ друга, кто это такой? Оказалось, многіе его знали, въ томъ числѣ и Севастьяновъ. Это былъ Иванъ Николаевичъ Чарскій. Когда мнѣ называли эту фамилію, я тоже что-то припоминать сталъ.

Но скоро послѣ его рѣчи о немъ самомъ позабыли, разбирая его слова. Всѣ члены разбились на кружки. Порядокъ сидѣнія нарушился,—кто сѣлъ верхомъ на свой стулъ, кто повернулся спиной къ предсѣдателю, кто вовсе покинулъ свое мѣсто. Лица у всѣхъ повеселѣли, языки развязались. Иванъ Петровичъ не звонилъ и не останавливалъ.

— Пусть, пусть говорятъ!... Терпѣть не могу я скучныхъ собраній!

И онъ самъ съ удовольствіемъ прислушивался къ рѣчамъ. Да и нельзя было безъ удовольствія слышать рассказы.

Сначала потѣшилъ всѣхъ какой-то баринъ, выглядѣвшій сморщеннымъ старикомъ, хотя на самомъ дѣлѣ, кажется, онъ былъ еще молодымъ человѣкомъ. Онъ сказалъ:

— А вѣдь знаете, господа?... Вѣдь истинную правду высказалъ г. Чарскій. Про себя скажу: всѣхъ великихъ людей я почитаю, а какое между ними различіе и что каждый изъ нихъ произвелъ, ей-Богу не помню и часто не понимаю! Вотъ, напримѣръ, Шекспиръ... великій человѣкъ, но спросите меня, почему его драмы велики, съ грустью скажу — не знаю. И многіе такъ-то по наслышкѣ болтають, сами не понимая, что и какъ...

Разсмѣшилъ многихъ этотъ старикъ. Но всѣхъ больше смѣялся самъ онъ. Откровенно, ради удовольствія, осмѣявъ себя, онъ такъ чистосердечно смѣялся, что на глазахъ его выступили слезы и кашель душилъ его.

Дальше пошли анекдоты.

Кто-то разсказалъ объ одномъ баринѣ, который самъ себя считалъ образованнымъ человѣкомъ и другихъ заставлялъ думать о себѣ такъ. Но случился однажды такой казусъ, — вздумалъ подшутить надъ нимъ врагъ его. Подходить онъ къ нему (дѣло было въ собраніи) и спрашиваетъ: „А читали вы, спрашиваетъ, Альцеста?“ Тотъ туда-сюда, нѣтъ, не помнить. Ему-бы спросить, кто это такой, но онъ предпочелъ сказать, что не помнить такого писателя. „Не можетъ быть, — говоритъ коварный собесѣдникъ, — вы просто забыли. Это тотъ самый Альцестъ, который сочинилъ *Мизантропа* — комедію... припоминаете теперь?“ — „А-а! теперь припоминаю!“

Много было шуму послѣ этого анекдота.

Но больше всего понравился другой анекдотъ, разсказанный другимъ нашимъ сочленомъ.

Жилъ (и навѣрное и теперь живетъ) одинъ нотаріусъ. Слылъ онъ весьма почтеннымъ, добросовѣстнымъ и даже умнымъ человѣкомъ; только была у него одна слабость — казаться ученымъ. Къ чтенію у него была непреодолимая лѣнь, да и многихъ книгъ, по малому образованію своему, онъ и понять не могъ. Вотъ и придумалъ онъ такой способъ. Подписался въ бібліотеку и регулярно бралъ оттуда самыя что ни на есть классическія сочиненія; принеся ихъ домой, онъ раскладывалъ ихъ въ гостинной на столѣ, и когда приходили гости, былъ очень доволенъ тѣмъ впечатлѣніемъ, какое производила его премудрость. Однако, съ теченіемъ времени и это ему стало лѣнь дѣлать; тогда онъ все дѣло

поручилъ своему слугѣ Ивану. Иванъ былъ человѣкъ смысленый и быстро усвоилъ способъ полученія книгъ. Вымететъ полъ, почиститъ платье, ну, тамъ помой, что-ли, вынесетъ, и затѣмъ справляется по каталогу, что сегодня брать... „А сегодня, говорить, слѣдовать, перво-на-перво, Господи благослови, взять *Небесную механику* Лапласа... окромя того возьмемъ Локка“.

Послѣ продолжительнаго возбужденія, вызваннаго этимъ анекдотомъ, пошли другіе анекдоты, еще болѣе откровенные. Показное знаніе со всѣхъ сторонъ обличалось. Такъ, кто-то разсказалъ объ одномъ высокопоставленномъ лицѣ, зубрившемъ на старости лѣтъ греческую грамматику Кюнера, чтобы хоть немного понюхать классицизма. Другой началъ разсказывать анекдоты о своихъ знакомыхъ и о себѣ самомъ. Откровенность дошла до того, что атмосфера нашей залы, вслѣдствіе нѣсколькихъ десятковъ раскрытыхъ русскихъ душъ, стала удушливой. Да и время было уже за полночь; поэтому Иванъ Петровичъ поспѣшилъ закрыть засѣданіе, столь неожиданно оживленное.

При выходѣ я случайно столкнулся съ Чарскимъ, взглянулъ на него и увидалъ угрюмое лицо.

Въ слѣдующій разъ пришло еще больше народу, — общество наше становилось популярнымъ. Что собственно привлекало людей—этого въ двухъ словахъ не объяснить, да у разныхъ людей были разные побужденія. Я знаю одного, который записался въ дѣйствительные члены общества грамотности потому только, что наканунѣ жестоко продулся въ своемъ клубѣ за картами и желалъ развлечься. Многие, поступая къ намъ, желали только развлечения. Но я знаю и такихъ, которые поступали съ цѣлью послушать, поучиться и поработать.

И всѣ поступавшіе, повидимому, оставались довольны. Если не было особенно оживленно, то и не скучно. Большинство приходило, усаживалось за столы, курило, балагурило и только послѣ усиленныхъ просьбъ со стороны предсѣдателя соглашалось на нѣкоторое время замолчать и привести себя въ порядокъ. Это большинство, надо откровенно сказать, очень напоминало баранье стадо.

Меньшинство, какъ-то незамѣтно образовавшееся вокругъ Чарскаго, къ которому скоро и я примкнулъ, принялось

кое-что работать. Очень быстро составленъ былъ каталогъ; мы намѣтили нѣсколько школъ, гдѣ должна была образоваться библіотека; тихо, но настойчиво хлопотали объ одной образцовой школѣ, которую должно завести само общество. Баранье стадо было очень довольное, что съ него сняли обузу размышлять и работать, оставивъ ему одно пріятное удовольствие „обмѣна мнѣній“.

Этотъ обмѣнъ шелъ самъ собою. Никто ему не мѣшалъ; всякій выкладывалъ, что имѣлъ. Иногда казалось, что говорившій всю жизнь держалъ языкъ свой на привязи, а вотъ тутъ взялъ, да и отвязалъ его. И развязанный языкъ неужедержимо заболталъ, выкачивая изъ головы своего хозяина застоявшуюся лужу соображеній. Что тутъ приходилось выслушивать—уму непостижимо! Самые элементарныя мысли здѣсь были подвергнуты сомнѣнію, самыя простыя истины обьявлялись какъ новыя открытія.

Всѣхъ больше доставалось Чарскому. И въ засѣданій, и во время ихъ къ нему приставали съ такими требованіями и вопросами, что онъ только хлопалъ глазами.

Однажды, напримѣръ, брезгливо улыбаясь, вдругъ спросили его:

— А знаете что?... Вотъ вы говорите объ образованіи народа... А вотъ я сомнѣваюсь въ этомъ! Представьте, что весь народъ будетъ образованъ, какъ мы, кто же тогда работать станетъ, а? Кто землю будетъ пахать, на фабрикахъ работать, а? Въ пьянство всѣ ударятся, распутство пойдеть... Вотъ разрѣшите-ка это сомнѣніе,—ехидно добавилъ баринъ.

Какъ ни глупы были его вопросы, но самая глупость ихъ поставила многихъ въ тупикъ. Чарскій также съ минуту тупо смотрѣлъ на вопрошавшаго, засунувъ руки въ карманы брюкъ. Но вдругъ онъ спросилъ:

— Вы образованный человѣкъ?

Лицо барина отъ этого вопроса покоробилось, и онъ обидчиво отвѣтилъ:

— Когда-то имѣлъ честь кончить кандидатомъ на математическомъ факультетѣ!

— И, несмотря на свое образованіе, вы работаете?—спросилъ Чарскій.

— Не понимаю, къ чему вы все это... Я, конечно, служу и получаю за свой трудъ вознагражденіе... Да, служу!

— Такъ вотъ и каждый образованный человѣкъ будетъ служить и работать. И чѣмъ образованнѣе человѣкъ, тѣмъ у него больше потребности работать... Позвольте еще спросить, вы не пьянствуете?

Баринъ весь покраснѣлъ и съ искаженнымъ лицомъ обратился къ обидчику:

— Вы, милостивый госудать, оставьте дерзости!... Я не позволю себя такъ оскорблять!... Если я выпиваю рюмку другую за обѣдомъ и ужиномъ, то это еще не значить, чтобы я пьянствовалъ... Какъ вы смѣете меня оскорблять?

При этихъ словахъ лицо чудака совсѣмъ побагровѣло, въ особенности носъ.

Чарскій сдержанно улыбнулся.

— А какъ же вы-то осмѣливаетесь оскорблять цѣлый народъ?—сказалъ онъ съ улыбкой.

Баринъ оторопѣлъ и, заслышавъ смѣхъ вокругъ себя, круто повернулся въ сторону и забормоталъ:

— Такъ-съ!... Какіе у насъ демократы-то завелись!

Вотъ какіе вопросы мы иногда рѣшали!

Впрочемъ, этотъ баринъ былъ недурной человѣкъ и, во всякомъ случаѣ, пакости не могъ учинить. Служилъ онъ въ гимназін и въ теченіи пятнадцати лѣтъ такъ одеревенѣлъ за своими „предметами“, что голова уже походила на архивъ со старыми учебниками; только крысы да гимназисты могли еще кое-чѣмъ попользоваться изъ этой древней сокровищницы, а больше никто!

Но однажды присталъ къ нѣкоторымъ изъ членовъ, а въ особенности къ Чарскому, другой субъектъ, нѣкто Некрутовъ.

— Вотъ вы про живую мысль говорите, а гдѣ ее взять-то? — допытывался Некрутовъ. — Вотъ, напримѣръ, наше общество грамотности, какъ вы думаете, живое оно... или мертвое?

— Не знаю!—возразилъ Чарскій.

— Да вѣдь вы, чай, видите, живое оно или нѣтъ?—приставалъ Некрутовъ.

— Право, еще ничего не вижу. Это отъ самихъ членовъ будетъ зависѣть,—возразилъ Чарскій серьезно.

— При какихъ же условіяхъ оно можетъ быть живымъ? И отчего подобныя общества бываютъ мертвыми?

Кажется, что Чарскій и самъ понималъ, что это элементарные вопросы, родившіеся въ плохой головѣ, но еще и въроломные, и отвѣчать на нихъ не слѣдуетъ. Но онъ такъ увлекся въ этотъ вечеръ, что не хотѣлъ молчать.

— Хотите, я вамъ на это сказку скажу? — спросилъ онъ весело.

— Да что-жъ сказку... вы ужъ прямо лучше! — выпытывалъ Некрутовъ.

— Ну, не хотите, такъ ничего не скажу...

— Ну, рассказывайте, рассказывайте! — взмолился Некрутовъ.

Чарскій весь какъ-то оживился, пощипалъ себѣ бороду и принялся рассказывать.

— Видите-ли, это было въ лѣсу. И не среди людей, а среди царства природы. Стояло одинокое, тихое озеро. Со всѣхъ сторонъ его окружали стѣны высокихъ деревьевъ, защищая его отъ бури и непогодъ и отъ жгучихъ солнечныхъ лучей. Далеко надъ его влажною поверхностью протянулись вѣтви и охраняли его покой. Солнце надъ озеромъ только въ полдень играло; въ остальные часы дня здѣсь стояли полумракъ, прохлада и тишина. Привольно кругомъ всѣмъ жилось. Камыши густыми толпами сопровождали берега озера и высоко поднимали свои султаны и перья. Между камышами, какъ низкорослая пѣхота, залегла рѣзачка-трава, къ которой нельзя прикоснуться, чтобы не порѣзать руку. А дальше, къ срединѣ озера, широко и привольно распластались по гладкой поверхности жирные лопухи, изъ средины которыхъ мѣстами выглядывали бѣлыя болотныя лиліи, желтыя кувшинки и зеленая кашка. Только самая середина озера оставалась не занятою и свѣтила, какъ зеркало, въ рамѣ зелени. Кажется, всѣмъ было тутъ спокойно и привольно. Но этого показалось мало обитателямъ тихаго озера. Они стали жаловаться, что ихъ то и дѣло беспокоятъ родники, выбивавшіеся со дна въ разныхъ мѣстахъ. „Эти беспокойные родники! Вѣчно они противъ чего-то ропшутъ, вѣчно путаются между нашими корнями, колеблютъ наши стволы и нарушаютъ нашъ покой“. Такъ говорили камыши, обращаясь къ лопухамъ. Жирные лопухи согласились съ этимъ и предло-

жили общими силами уничтожить родники, забросавъ самыя отверстія, откуда они выходятъ. „Замазать ихъ надо!“ — предложили толстые лопухи, и съ этимъ все мирное, но теперь взволнованное царство согласилось. Приглашены были для выполненія рѣшенія ряска, плѣсень и тина, — самыя низкія, подлыя существа. Собравшись вокругъ родниковъ, принялись они замазывать отверстія ихъ. „Замазывай, замазывай!“ — съ радостью кричатъ имъ сверху жирныя лопухи. Тѣ замазывали; ряска каждое мѣсто, откуда была живая струя, оплетала своими слизыми зелеными нитями; плѣсень задѣлывала послѣднія щели; тина всею своею массой ложилась на мѣсто и душила. Но не скоро все-таки удалось закрыть всѣ щели, замазать всѣ родники. Много было труда. Только-что замажутъ одну струю и переходятъ къ другой, какъ первая уже прорвала всю грязь, которою опутали ее, вырвалась наружу и бѣжала съ ропотомъ дальше. Но, наконецъ, послѣ долгихъ усилій удалось заткнуть послѣдній родничекъ, который притаился-было возлѣ берега и крался незамѣтно по самому дну; его открыли, поймали и заколотили. Съ той поры миръ больше ужъ не нарушался. Все успокоилось и затихло. Тишина и полумракъ царили кругомъ. Только никому отъ этого пользы не вышло. Напротивъ, умерло все, тутъ жившее, — камыши, рѣзачка, жирныя лопухи съ своими бѣлыми лиліями, — все погубило, задохнувшись въ смрадномъ воздухѣ. Чудное озеро превратилось въ зловонное болото, гдѣ копошились только гады, гдѣ одна смерть носилась, убивая все живущее...

Чарскій, говоря это, все время разсѣянно смотрѣлъ по сторонамъ, но когда онъ кончилъ, то взглянулъ прямо въ лицо Некрутова и, казалось, ждалъ отъ послѣдняго какого-то отвѣта.

— Недурная сказочка! — возразилъ Некрутовъ, смущенно отводя взоры въ сторону.

Чарскій пренебрежительно отвернулся и отошелъ отъ Некрутова.

На этотъ разъ, при закрытіи собранія, я рѣшился во что бы то ни стало познакомиться поближе съ Чарскимъ.

Конецъ II тома.

ОГЛАВЛЕНИЕ II ТОМА.

	<i>Стр.</i>
Ворская колонія.	
I. Въ раю	1
II. Нервный аппаратъ	16
III. Знакомые люди	29
IV. Колонія	39
V. Знакомая жизнь	47
VI. Скука	58
VII. Дѣйствіе нервнаго аппарата	70
VIII. На бою	82
IX. Господа	90
X. Конѣцъ путаницѣ	101
Учитель жизни	113
Мой міръ	293
Вабочкинъ	389
Грязевъ.	
I. Голова	484
II. Неутомимый дѣятель	509
Мѣста нѣтъ	541
На границѣ человѣка	585
Вебе	622
Regretium mobile	649
Сочиненіе Чернова	671
Живой ключъ	692
Общество грамотности	699

ПОДВИЖНОЙ КАТАЛОГЪ ИЗДАНИЙ

К. Т. СОЛДАТЕНКОВА,

находящихся въ продажѣ.

~~~~~  
Августъ 1898 г.

- лохъ**, Ю. *Исторія Греціи*. Перев. *М. Гершензона*. Томъ I. Стр. XIII+500.—1897 г. Ц. 2 р.
- айсъ** Дж. *Американская республика*. Пер. *В. Н. Невъдомскаго*. — *Часть I*. Національное правительство. Стр. I—XII+503.—1889 г. — *Часть II*. Правительства Штатовъ.—Политическія партіи. Стр. 515. 1890 г.—*Часть III*. Общественное мнѣніе.—Объяснительные примѣры и замѣчанія.—Строй общественной жизни. Стр. 554. и указателя I—XIII. 1890 г. Каждая часть по 3 р. 50 к.
- асье**, Гастонъ. *Цицеронъ и его друзья*. Очеркъ римскаго общества во времена Цезаря. Пер. *Маріи Норсанъ*. Стр. 340.—1880 г. Ц. 2 р.
- о же**. *Паденіе язычества*. Изслѣдованіе послѣдней религіозной борьбы на Западѣ въ IV вѣкѣ. Пер. подъ редакціей и съ предисловіемъ *М. С. Корелина*. Съ алфавитнымъ указателемъ собственныхъ именъ. Стр. XX+584.—1892 г. Ц. 4 р.
- ръ**, Адольфъ. Профессоръ вѣнской коммерческой академіи. *Исторія всемірной торговли*. Пер. *Э. Циммермана*. *Часть первая*. Предисловіе автора. Отъ древнѣйшихъ временъ до открытія Америки въ 1492 г. Стр. X+236.—1876 г.—*Часть вторая*. Предисловіе автора. Со времени открытія Америки до французской революціи. Стр. XII+430.—1876 г.—*Часть третья*. Торговля и культура вообще. Важнѣйшія отрасли производства. Деньги и кредитъ. Великобританія. Средняя Азія, Китай и Японія стр. VII+327.—1876 г. Ц. за три части 7 р. 50 к.
- геле**, Францъ. Профессоръ вюрцбургскаго университета. *Дантъ Алигери*. Его жизнь и сочиненія. Пер. съ третьяго изданія *Алексѣя Веселовскаго*. Съ указателемъ личныхъ именъ и хронологическимъ обзоромъ жизни Данте. Стр. XV+446.—1881 г. Ц. 3 р.

- Вейсъ, Германъ. *Внѣшній бытъ народовъ съ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней*. Пер. *В. Чаева*. Т. I. Часть I. Исторія одежды, вооруженія, построекъ и утвари народовъ древняго міра. — Восточные народы. — 1945 отдѣльныхъ изображеній по рисункамъ сочинителя. — Отъ переводчика. IV. — Предисловія автора VIII. — Указатель рисунковъ. — Стр. 387. — 1873. Ц. 4 р. — Т. I. Ч. II. Западныя народы. — Стр. 503+6. — 1874 г. Ц. 4 р. — Т. II. Ч. 2. Исторія одежды и утвари въ средніе вѣка (отъ IV до XIV стол.), съ 336 рис. Вырожденскіе народы. Пер. *И. Васильова* — Указ. рисун. — Стр. 75 — 43 + VIII. — 1876. Ц. 4 р. — Т. III. Ч. I. (съ XIV по XVI стол.), 900 рис. Пер. *В. Чаева*. Введеніе II. Указ. рисун. Стр. 343. — 1877. Ц. 4 р. — Т. III. Ч. 2. Съ 16 стол. до настоящ. врем. Пер. *В. Чаева*. Съ 900 изобр. — Указ. рисун. Стр. 449. — 1879. Ц. 4 р.
- Викторовъ, П. *Ученіе о личности, какъ перво-психическомъ организмѣ*. — *Выпускъ первый*. Общія основы нормальныхъ и болезненныхъ настроеній въ связи съ ихъ отношеніемъ къ мимикѣ, поведенію, усовершенствованію и вырожденію личности. Посвящено Его Сіятельству Князю Владиміру Андреевичу *Долгорукову*. Стр. XI+181. 1887 г. Ц. 1 р. 50 к.
- Гаймъ, Р. *Гердеръ его жизнь и сочиненія*. Пер. *В. Н. Невъдомскаго*. *Томъ первый*. — Стр. XVI+849. — 1888 г. Ц. 5 р. — *Томъ второй*. Стр. XVI+880. — Указатель XXXI. 1888 г. Ц. 5 р.
- Его-же. *Романтическая школа въ Германіи*. Вкладъ въ исторію нѣмецкаго ума. Пер. *В. Невъдомскаго*. Съ дополненіями, поправками и алфавитнымъ указателемъ. Стр. X+774+XI. — 1891 г. Ц. 5 р.
- фонъ-Гартманъ, Эдуардъ. *Сущность мирового процесса или философія безсознательнаго*. По 4-му изданію. Полное изложеніе, системы. *А. Нозлова*. *Выпускъ второй и послѣдній*. Стр. V+431. — 1875 г. Ц. 2 р. 50 к.
- Гаспари, Адольфъ. *Исторія итальянской литературы*. Пер. *В. Бланмонта*. *Томъ I*. Итальянская литература среднихъ вѣковъ. Съ библиографическими и критическими замѣтками и алфавитнымъ указателемъ. Стр. 406+LXXVIII. — 1895 г. Ц. 3 р. — *Томъ II*. Итальянская литература эпохи. Возрожденія. Стр. 580 и приложеній съ указателемъ. I—LXXXIV. — 1897. Ц. 3 р.
- Гервинусъ, Г. Г. *Автобіографія*. Съ четырьмя портретами. Предисловіе, приложенія и указатель собственныхъ именъ Пер. *Эдуарда Цингера*. Стр. VII+357. — 1895 г. Ц. 1 р. 50 к.
- Герцбергъ, Г. Ф. *Исторія Византіи*. Переводъ, прииѣчанія и приложенія *П. В. Безобразова*. Съ рисунками. Стр. IX+674. — 1894 г. Ц. 4 р.

- еттнеръ, Г.** *Исторія всеобщей литературы XVIII вѣка. Томъ III.* Нѣмецкая литература. Книга I. 1678—1740 р. Пер. **А. Пыпина** и **А. Плещеева**. Стр. 383.—1872 г. Ц. 2 р.
- иббонъ, Эдуардъ.** *Исторія упадка и разрушенія римской имперіи.* Изд. **Джорджа Белля**. 1877 г. Съ примѣчаніями **Гизо, Венка, Штрейтера, Гуго** и др. Пер. **В. Н. Новъдомскаго**. Съ портретомъ автора. Предисловіе англійскаго издателя. Письмо **Гизо** къ его переводу (изд. 1828). Письмо **Сюара** къ **Гизо**.—Очеркъ жизни и характера **Гиббона** (Пер. съ очерка, написаннаго **Гизо**). Предисловіе **Гиббона** къ 1 ой части изданія in 4°, къ первому изданію in 8° и къ 1 й части.—*Части: I.* Стр. XII+543.—1883 г. Ц. 4 р.—*II.* Стр. 383.—1883 г. Ц. 4 р.—*III.* Стр. 592.—1884 г. Ц. 4 р.—*IV.* Стр. 588.—1884 г. Ц. 3 р. 50 к.—*V.* Стр. 570.—1885 г. Ц. 3 р. 50 к.—*VI.* Стр. 613.—1885 г. Ц. 3 р. 50 к.—*VII.* Съ заключеніемъ и указателемъ именъ и событій. Стр. CXXI+511.—1886 г. Ц. 3 р. 50 к.—Ц. за 7 томовъ 26 р.
- изо.** *Исторія цивилизаціи во Франціи.—Томъ III.* Съ I до XV лекцій. Стр. 298.—*Томъ IV.* Съ XVI до XIX лекцій. Стр. 69. Къ нимъ: «Поясненія, историческія таблицы и историческія доказательства и подробности». Съ 62 по 388 стр. Оба тома въ одной книгѣ. Пер. **Маріи Норсанъ**.—1881 г. Ц. 4 р.
- нейстъ, Рудольфъ.** *Исторія государственныхъ учреждений въ Англіи (Englische Verfassungsgeschichte).* Пер. подъ редакціей **С. А. Венгерова**. *Періоды: I.* Англосаксонская эпоха.—*II.* Англонорманское ленное государство.—*III.* Эпоха государственныхъ чиновъ.—*IV.* Эпоха Тюдоровъ и реформаціи.—*V.* Стюарты и конституціонная борьба.—*VI.* Парламентское правленіе XVIII стол. Стр. 857+X—1885 г. Ц. 4 р. 50 к.
- омеръ.** *Иліада.* Пер. **Н. М. Минскаго**. Стр. X+416.—1896 г. Ц. 75 к.
- орнъ, Фридрихъ.** *Исторія скандинавской литературы отъ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней.* Съ прилож. этюда **Ф. Швейцера**: «Скандинавское творчество новѣйшаго времени». Пер. **Н. Бальмонта**. Съ алфавитнымъ указателемъ именъ. Стр. II+409+VI—1894 г. Ц. 2 р. 50 к.
- регуаръ, Л.** *Исторія Франціи въ XIX вѣкѣ.* Съ приложеніемъ «Введенія» и «Дополненій». Пер. **М. В. Лучицкой**, подъ редакціей **И. В. Лучицкаго**.—*Томъ первый.* Введеніе: очеркъ исторіи реставраціи по **Эрнесту Додэ** и исторіи Франціи съ 1830 по 1832 г. Стр. XXI+612.—1893 г. Ц. 4 р.—*Томъ второй:* іюльская монархія съ 1832 по 1848 г.—Февральская революція. Стр. XXVI+648.—1894 г. Ц. 4 р.—*Томъ третій:* Съ февральской революціи по 1862 г. Стр. XXII+698.—1896 г. Ц. 4 р.—*Томъ четвертый.* Последнее

- десятилѣтіе имперіи. Война 1870—71 г. Дополненія: коммуна третей республики до окончан. утвержденія ея въ 1879 г.—Стр. XIII 695—1897 г. Ц. 4 р.
- Гринъ, Джонъ Ричардъ. *Исторія англійскаго народа*. Пер. П. Н. Лавова.—*Томъ первый*—съ 449 по 1461 годъ. Стр. 450.—1891 г. Ц. 3 р.—*Томъ второй*—съ 1461 по 1603 годъ. Стр. 396.—1892 г. Ц. 2 р. 50 к.—*Томъ третій*—съ 1603 по 1683 годъ. Стр. 365.—1892 г. Ц. 2 р. 50 к.—*Томъ четвертый*—съ 1683 по 1815 годъ.—Съ алфавитнымъ указателемъ. Стр. 308+CXIII.—1893 г. Ц. 2 р. 50 к.
- Гюббаръ, Гюставъ. *Исторія современной литературы въ Испаніи*. Пер. Ю. В. Дюпелъмайеръ. Съ алфавитнымъ указателемъ. Стр. IV+362+V.—1892 г. Ц. 2 р.
- Добролюбовъ, Н. А. *Матеріалы для біографіи, собранныя въ 1861—1862 годахъ (Н. Г. Чернышевскимъ)*. Томъ I. Переписка. Августъ 1853—5 ноября 1861.—Обзоръ бумагъ.—Нижегородское время. (Октябрь 1844—июль 1853). Стр. 674+X.—1890 г. Ц. 2 р.
- Дройзенъ, I. Г. *Исторія эллинизма*. Пер. съ французскаго, дополненнаго авторомъ изданія, подъ редакціей А. Буше-Леклерка.—*Томъ первый*: исторія Александра Великаго. Пер. М. Шелгунова. Съ примѣченіемъ. Стр. III+399. Примѣчанія стр. 185.—1891 г. Ц. 3 р. 50 к.—*Томъ второй*: исторія діадховъ. Пер. М. Шелгунова. Стр. 385. Примѣчанія стр. 104. Приложенія. Стр. 13.—1893 г. Ц. 3 р.—*Томъ третій*: исторія эллиновъ. Пер. Э. Циммермана. Стр. IV+508. Примѣчанія. Стр. 117. Алфавитный указатель именъ и содержаніе сочиненія. Стр. 508. Примѣчанія 117 стр. Алфавитный указатель XIX стр.—1893 г. Ц. 4 р. 50 к.
- Давидъ-Созажо, А. *Реализмъ и натурализмъ въ литературномъ искусствѣ*. Трудъ, увѣнчанной парижской академіей моральныхъ и политическихъ наукъ. Пер. А. Серебряковой.—Извлеченіе изъ доклада С. Марта. Стр. XII+350.—1891. Ц. 2 р.
- Забѣлинъ, И. *Куницево и древній Сѣтунскій станъ*. Историческія воспоминанія. Съ портр. боярина Л. Н. Нарышкина. Списокъ разстояній Сѣтунскаго стана. Стр. 257.—1873 г. Ц. 2 р.
- Зиберъ, Н. И. *Очерки первобытной экономической культуры*. Стр. 506.—1883 г. Ц. 4 р. 50 к.
- фонъ-Игерингъ, Рудольфъ. Профессоръ геттингенскаго университета. *Борьба за право*. Съ примѣчаніями. Пер. П. П. Волнова. Стр. 77.—1874 г. Ц. 75 к.
- Юдль, Фридрихъ. Профессоръ философіи въ пражскомъ университетѣ. *Исторія этики въ новой философіи. Томъ первый*: до концы восемнадцатаго вѣка (съ двумя вводными главами о греко римской и христіанской этикѣ). Отъ редактора перевода.—Предисловіе автора.—

**Примѣчанія.** Стр. XVI+284+71.—1896 г. Ц. 2 р. *Томъ второй.* Гантъ и этика въ 19 столѣтій. Переводъ подъ редакціей *Владимира Соловьева*. Предисловіе отъ автора. Примѣчанія. Стр. XVI+401+108.—1898 г. Ц. 2 р.

**Трэмъ, Джонъ.** *Исторія политической экономіи.* Пер. *А. Н. Минлашевскаго*, съ библиографическими и другими примѣчаніями и указателемъ именъ. Второе изданіе. Стр. VIII+352+VIII.—1897 г. Ц. 1 р. 50 к.

**Трерьеръ, Морицъ.** *Искусство въ связи съ общимъ развитіемъ культуры и идеалы человечества.* Пер. *Е. Корша*. Т. I. Зачатки культуры и восточная древность. Введение. Стр. 445.—1870. Ц. 3 р.—Т. II. Эллада и Римъ. Предисловіе IV. Стр. 484.—1871. Ц. 3 р. 50 к.—Т. III. Возрожденіе и реформація въ образованіи, искусствѣ и литературѣ. Предисловіе II.—Введение. (Стр. 551.—1874. Ц. 4 р.—Т. IV. Пора духовнаго разсвѣта.—Предисловіе II. Введение. Стр. 548.—1875. Ц. 4 р.

**Увалевскій, Максимъ.** *Происхожденіе современной демократіи.—Томъ II.* Народная монархія. Разборъ соціального и политическаго законодательства. Конституанты. Съ предисловіемъ автора. Стр. 570.—1895 г. Ц. 2 р. 50 к.—*Томъ III.* Народная монархія. Стр. 334.—1897 г. Ц. 2 р.—*Томъ IV.* Венеціанская демократія. Предисловіе автора. Стр. XI+352.—1897 г. Ц. 2 р.

**Уолъ-же.** *Экономическій ростъ Европы до возникновенія капиталистическаго хозяйства.* Т. I. Стр. XXXVI+712 Ц. 2 р. 50 к.

**Углеръ, Францъ.** *Руководство къ исторіи искусства.* Съ четвертаго изд., обработаннаго *Вильгельмомъ Любке*. Пер. *Е. В. Корша*. *Часть первая.* Съ 320 рисунками въ текстѣ.—Отъ переводчика. Древній Востокъ, Греція, Римъ, древнехристіанское искусство, Сассониды, Скифы, мугаммеданское искусство, средневѣковой Западъ, романскій стиль. Стр. XVI+610.—1869 г. Ц. 5 р.—*Часть вторая* съ 167 рисунками въ текстѣ—до настоящаго времени. Съ мѣстнымъ указателемъ художественныхъ произведеній. Стр. 633.—1870 г. Ц. 5 р.

**Уолъ-же.** *Руководство къ исторіи живописи со временъ Константина Великаго.* Съ третьяго изданія, пересмотрѣннаго и обработаннаго докторомъ *Яновомъ Бурегардтомъ* и дополненаго барономъ *Гуго фонъ-Бламбергомъ*. Пер. *И. Н. Васильева*. Съ портретомъ автора, его предисловіемъ, «Очеркомъ жизни», составленнымъ *Фр. Эггерсомъ*, библиографическимъ указателемъ и краткимъ обзоромъ важнѣйшихъ школъ и художниковъ. Стр. XXXIV+911.—1872 г. Ц. 7 р.

**Уино Фишеръ, Г. Э.** *Лессингъ, какъ преобразователь нѣмецкой литературы.* Въ двухъ частяхъ. Пер. *И. П. Рассадина*. Стр. 185.—1882 г. Ц. 1 р. 25 к.

**Урциусъ, Эрнстъ.** *Исторія Греціи. Второй томъ.* До конца Пелопонесской войны. Пер. съ четвертаго изд. *А. Веселовскаго*. (Второе

- исправленное издание). Съ примѣчаніями. Стр. 650+XLVIII.—1883. Ц. 5 р.—*Третій томъ*. Пер. съ четвертаго изд. *М. Корсака*. примѣч. Стр. 736+LIII.—1880 г. Ц. 4 р.
- де-Гавелзъ, Эмилъ. *Балканскій полуостровъ*. Пер. съ примѣчаніями и дополненіями. *Н. Е. Васильева*. *Часть первая*: Прибрежье Дуна, Вѣна, Кроація, Боснія и Сербія. Стр. 214.—*Часть вторая*: Балканскій полуостровъ: Сербія, Болгарія, Румелия, Турція и Румынія. Посвящено «знаменитому защитнику поработенныхъ національностей—*В. Е. Гладстону*». Стр. 411. Приложенія 488 стр.—1889 г. Ц. 6 р.
- Лависсъ, Эрнестъ, и Рамбо, Альфредъ. *Всеобщая исторія съ IV столѣтія до нашего времени. Томъ I*. Зачатки средневѣкового строя. Съ 395—1095 годъ. Пер. *В. Н. Невѣдомскаго*.—Римскій и варварскій міръ. Папская власть.—Италія.—Распространеніе христіанства.—Королиги. Арабы и Исламъ.—Франція.—Германія.—Британскіе острова.—Восточная Европа.—Славяне. Стр. VI+820.—1896 г. Ц. 3 р.
- Томъ II*. Феодальная эпоха. Крестовые походы. 1095—1270 г. Пер. *М. О. Гершензона*.—Папство и церковь.—Европейскія государства до конца XIII в.—Перевороты въ Азіи. Монголы. Стр. XV+885 г.—1897 г. Ц. 3 р.—*Томъ III*. Образованіе большихъ государствъ 1270—1492. Пер. *В. Н. Невѣдомскаго*.—Королевская власть Франціи.—Столѣтняя война.—Англія. Нидерланды.—Испанія.—Италія. Возрожденіе.—Германія.—Скандинавія.—Восточная Европа.—Татары. Стр. XXI+993.—1897 г. Ц. 3 р.
- Томъ IV*. Возрожденіе и Реформація; Новый Свѣтъ. 1492—1559. Пер. *В. Н. Невѣдомскаго*.—Италія въ эпоху возрожденія.—Итальянскія войны.—Франція.—Пробужденіе политическія и общественныя.—Экономическій прогрессъ земледѣлія, промышленность, торговля.—Французская литература.—Искусство въ Европѣ.—Науки.—Испанія.—Германія и реформація.—Швейцарія.—Реформація во Франціи.—Англія въ царствованіе Генриха VIII.—Англія и реформація.—Скандинавскія королевства.—Венгрія.—Польша подъ управленіемъ послѣднихъ Ягеллоновъ.—Отоманская Имперія.—Революція въ сѣверной Америкѣ.—Индостанъ.—Имперія Великаго Могола.—Португальцы.—Америка. Ея открытіе и первыя европейскія колоніи. Стр. XXII+933. 1898 г. Ц. 3 р.
- Лампрехтъ, Карлъ. *Исторія германскаго народа*. Пер. *П. Николаева*. *Томъ первый. Часть I и II*. до XI в. Стр. XXII+608.—1894 г. Ц. 4 р.—*Томъ второй. Части III и IV* до XIV вѣка. Стр. XXII+656.—1895 г. Ц. 4 р.—*Томъ третій. Часть V*. до XVI вѣка. Стр. XVIII+545.—1896 г. Ц. 3 р.
- Лансонъ, Гюставъ. *Исторія французской литературы*. Со втораго французскаго изданія, пересмотрѣннаго и исправленнаго авторомъ. *Томъ I*. До XVIII вѣка.—Предисловіе автора. Стр. 788—1897. Ц.

- 3 р. 50 к. Том. П. *Восемнадцатый вѣкъ и современная эпоха.* Стр. 638.—1898 г. Ц. 3 р. 50 к.
- Леббонъ, Джонъ.** *Красота природы и чудеса міра, въ которомъ мы живемъ.* Пер. подъ редакціей проф. А. П. Павлова. Съ 36 политическими. Стр. 255—1893 г. Ц. 1 р. 50 к.
- Лессингъ, Г. Э.** *Гамбургская драматургія.* Пер. И. П. Рассадина. Съ предисловіемъ, примѣчаніями разныхъ комментаторовъ и алфавитнымъ спискомъ именъ писателей и названій нѣкоторыхъ лицъ и предметовъ, встрѣчающихся въ «Драматургіи». Отъ переводчика. Статей С. Стр. 8+503+XVII.—1883 г. Ц. 3 р.
- Лотце, Германъ.** *Микрокосмъ. Мысли естественной и бытовой исторіи человечества. Опытъ антропологіи.* Пер. Е. Норша. *Часть первая.* 1. Душа. 2. Тѣло. 3. Жизнь.—Отъ переводчика.—Отъ автора. Стр. XVI+XXX+509.—1866 г. Ц. 2 р.—*Часть вторая.* 4. Человѣкъ. 5. Духъ. 6. Ходъ міра. Стр. 529.—1866 г. Ц. 2 р.—*Часть третья.* 7. Исторія. 8. Прогрессъ. 9. Общая связь вещей между собою.—Стр. 739.—1867 г. Ц. 2 р. 50 к.
- Любке, Вильгельмъ.** *Исторія пластики съ древнѣйшихъ временъ до нашего времени.* Пер. В. Чавва. Съ 321 рисунками въ текстѣ, предисловіемъ автора, и указателемъ именъ художниковъ и мѣстъ. Стр. IX+668.—1870 г. Ц. 6 р.
- Магаффи, Дж. П.** Профессоръ дублинскаго университета. *Исторія классическаго періода греческой литературы.* Пер. Александры Веселовской. Томъ первый. Поэзія. Съ приложеніемъ статьи проф. Сѣйса о поэмахъ Гомера. Предисловіе и приложения. Стр. VII+460+32.—1882 г. Ц. 3 р.—*Томъ второй.* Проза. Съ указателемъ личныхъ именъ въ обоихъ томахъ. Стр. 725+XIV.—1883 г. Ц. 3 р.
- Марта, Константъ.** *Философы и поэты-моралисты во времена Римской Имперіи.* Пер. М. Норсанъ. Съ предисловіемъ къ 1 и 2-му изданію. Стр. 380.—1880 г. Ц. 2 р.
- Мауреръ, Георгъ Людвигъ.** *Введеніе въ исторію общиннаго, подворнаго, сельскаго и городского устройства и общественной власти.* Пер. В. Норша. Съ предисловіемъ автора. Стр. IV+360.—1880 г. Ц. 2 р. 75 к.
- Моммсенъ, О.** *Римская исторія.* Пер. съ шестого изд. Н. Д. Ахшаруова. Предисловіе. Стр. 901.—Т. I. До битвы при Пиднѣ. Съ военной картой Италіи.—Предисловіе V. Стр. 901. 1877 г. Ц. 6 р.—Тоже пер. В. Н. Невъдомскаго. Стр. 941.—1887 г. Ц. 6 р.—Т. II и III. Съ шестого изд. Пер. Н. Д. Ахшаруова и Н. А. Веселовскаго. Предисловіе. Стр. 539.—1880. Ц. 7 р.—Т. V. Провинція съ временъ Цезаря, до временъ Діоклетіана. Пер. В. Н. Невъдомскаго. Предисловіе. Стр. XII+648.—1885. Ц. 3 р. 50 к.

- Морлей, Джонъ. *Руссо*. Пер. В. Н. Невъдомскаго. Примѣчанія къ первому изданію. Указатель именъ и предметовъ. Стр. 443+XIX.—1881 г. Ц. 2 р. 50 к.
- Морлей, Джонъ. *Дидро и энциклопедисты*. Пер. В. Н. Невъдомскаго. Предисловіе и приложенія. Стр. 503.—1882 г. Ц. 2 р. 50 к.
- Нефедовъ, Ф. Д. *Сочиненія* въ 2 том. Ц. 3 р.
- Николаевъ, П. *Активный процессъ и экономическій матеріализмъ*. Соціологическій этюдъ. Предисловіе. Стр. 299.—1892 г. Ц. 1 р. 50 к.
- Парисъ, Генрихъ. *Пятьдесятъ лѣтъ общественной дѣятельности въ Австраліи*. Съ двумя портретами автора. Пер. В. Невъдомскаго. Предисловіе автора. Стр. II+VIII+452.—1894 г. Ц. 3 р.
- Пелисье, Жоржъ. *Литературное движеніе въ XIX столѣтіи*. Сочиненіе, увѣнчанное французской академіей. Пер. Ю. В. Дюппельмайеръ. Съ алфавитнымъ указателемъ. Стр. 410+II.—1895 г. Ц. 2 р.
- Пешель, Оскаръ. *Исторія эпохи открытій*. Пер. со 2-го изданія Э. Циммермана. Предисловіе нѣмецкихъ издателей. Стр. IX+483.—1885 г. Ц. 3 р.
- Полонскій, Я. П. *На закатѣ*. Стихотворенія. 1877—1880 г. Стр. 181.—1881 г. Ц. 1 р. 25 к.
- Рибо, Т. *Современная англійская психологія*. (Опытная школа). Пер. со второго, дополненнаго изданія. Редакція перевода и критическій этюдъ П. Д. Боборыкина. Стр. XXVIII+345.—1881 г. Ц. 2 р.
- Риль, А. Профессоръ. *Теорія науки и метафизика съ точки зрѣнія философскаго критицизма*. Пер. Е. Норша. «Отъ переводчика» и предисловіе автора. Стр. VII+426+VIII.—1888 г. Ц. 2 р.
- Саади-Ширази. *Гюлистанъ*. «Цвѣтникъ розъ». Съ персидскаго подлинника пер. И. Холмогорова. Съ примѣчаніями и поясненіями. Стр. 353.—1882 г. Ц. 1 р.
- Столповская, Анна. *Очеркъ исторіи культуры китайскаго народа*. Съ приложеніемъ рецензій на статью г. В. С. Соловьева — «Китай и Европа». Предисловіе и введеніе. Перечень источниковъ. Стр. 474.—1891 г. Ц. 1 р. 50 к.
- Страбонъ. *Географія*. Въ семнадцати книгахъ. Пер. съ предисловіемъ и указателемъ В. Г. Мищенко. Стр. 856+CCCLXXVII.—1879 г. Ц. 10 р.
- Суриковъ, И. З. *Стихотворенія*. 1863—1880 г. Полное собраніе. Съ портретомъ автора, факсимиле, фотографическимъ снимкомъ памятника съ могилы покойнаго поэта. Біографическій очеркъ жизни его Н. А. Соловьева-Несмѣлова. Изданіе четвертое посмертное. Письма къ разнымъ лицамъ.—Пѣсни.—Перечень стихотвореній въ хронологическомъ порядкѣ и алфавитнымъ указателемъ стихотвореній. Стр. CXC+396+5.—1884 г. Ц. 3 р.
- Тинноръ. *Исторія испанской литературы*. Пер. съ 4-го изданія

- Н. И. Стороженко.** Съ біографическимъ очеркомъ, примѣчаніями, бібліографическимъ указателемъ и т. д. *Томъ первый.* Первый періодъ — отъ начала письменности до первой половины царствованія Карла V или отъ конца XII ст. до начала XVI. Второй періодъ — отъ вступленія на престолъ австрійскаго дома до его прекращенія, или отъ начала XVI до конца XVII в. Стр. LIII+435. — 1883 г. Ц. 3 р. — *Томъ второй.* Пер. подъ редакціей **Н. И. Стороженко.** Второй періодъ — продолженіе. Стр. 448. — 1886 г. Ц. 3 р. — *Третій томъ.* Пер. подъ редакціей **Н. И. Стороженко.** — Конецъ второго періода и третій періодъ — отъ восшествія на престолъ бургундской династіи до воцаренія Наполеона, или отъ начала XVIII до начала XIX в. — Восемь приложеній. — Алфавитный указатель. Стр. 409+СП. — 1891 годъ. Ц. 3 р. 50 к.
- Тонвиль, Алексѣй.** *Воспоминанія,* изданныя графомъ *Тонвилемъ.* Пер. **В. Невѣдомскаго.** Съ предисловіемъ гр. *Тонвиля* и приложеніями. Стр. 319. — 1893 г. Ц. 2 р.
- Трайль, Г. Д.** *Общественная жизнь Англій.* Религія, законодательство, наука, искусство, промышленность, торговля, литература, нравы и обычаи въ ихъ историческомъ развитіи съ древнѣйшаго періода до настоящаго времени. *Томъ I.* Отъ древнѣйшаго времени до восшествія на престолъ Эдуарда I. Пер. **Л. Ч.,** подъ редакціей **П. Николаева.** — Введеніе *Трайля.* Стр. 471. — 1896 г. Ц. 3 р. — *Томъ II.* Отъ воцаренія Эдуарда I до смерти Генрика VIII. Пер. **П. Николаева.** Стр. 497. — 1897 г. Ц. 2 р. 50 к. *Томъ III.* Отъ воцаренія Генрика VIII до смерти Елисаветы. Пер. **П. Николаева.** Стр. 514. — 1897 г. Ц. 2 р. 50 к. *Томъ IV.* Отъ воцаренія Іакова I до смерти Анны. Пер. **П. Николаева.** Стр. 537. — 1898 г. Ц. 2 р. 50 к.
- Тьюнъ Хэнь.** *Духъ и тѣло, дѣйствіе психики и воображенія на физическую природу челоуѣка.* Пер. **П. Викторова.** «Отъ переводчика». Вступленіе автора. Стр. V+391. — 1888 г. Ц. 2 р. 50 к.
- Тренделенбургъ, Адольфъ.** *Логическія изслѣдованія.* Часть первая и вторая. — 1868. Ц. 4 р.
- Тэнъ, Г. Титъ Ливій.** Критич. изслѣдованіе. Пер. съ франц. **А. Иванова** и **Е. Щепкинъ.** Предисловіе X+390 стр. — 1885 г. Ц. 1 р. 50 к.
- Финлей, Георгъ.** *Греція подъ римскимъ владычествомъ со времени завоеванія римлянами до паденія имперіи ихъ на Востокъ.* 146 г. до Р. Х. — 717 г. по Р. Х. Пер. **Софьи Никитенко.** Предисловіе къ первому изданію 1843 г. Хронологія — Каталогъ изданій византійскихъ историковъ, напечатанныхъ въ Парижѣ и перепечатанныхъ въ Венеціи, съ прибавленіями, необходимыми для его полноты. — Стр. XVIII+444 — 1877 г. Ц. 4 р.
- Фисне, Джонъ.** *Открытіе Америки съ краткимъ очеркомъ древней Америки и испанскаго завоеванія.* Въ двухъ томахъ. Пер. **П. Ни-**

- нолава.** Посвящается *Эдуарду Августу Фриману*. Предисловіе автора. *Томъ I.* Древняя Америка. Морскіе пути до Колумба и его путешествіе. Стр. 339+IX.—1892. Ц. 2 р.—*Томъ II.* «Новый міръ» Завоеваніе Мексики и Перу. Лось Казасъ. Общіе выводы. Съ картой новыхъ открытій, составленной въ 1500 г. *Хуаномъ де-ла-Нова*. Стр. 372+IX.—1893. Ц. 2 р.
- Фонъ-Фрикенъ.** А. *Римскія катакомбы и памятники первоначальнаго христіанства*. Съ рисунками. Посвящено памяти *В. П. Боткина*. *Часть первая.* Римскія катакомбы.—Стр. 189.—1873 г. Ц. 1 р.—*Часть вторая.* Надписи и символическія изображенія. Стр. 250.—1877 г. Ц. 1 р. 50 к.—*Часть третья.* Изображеніе Спасителя, Богоматери и апостоловъ первыхъ христіанъ. Стр. 190.—1880 г. Ц. 1 р. 50 к.—*Часть четвертая.* Живопись и пластика у первыхъ христіанъ Запада и Востока. Стр. 403.—1885 г. Ц. 2 р. 50 к.
- Его же.** *Итальянское искусство въ эпоху Возрожденія. Часть первая.* Посвящено *Н. Т. Солдатенкову*. Стр. 310.—1891 г. Ц. 2 р.—*Часть вторая.* Стр. 313+II.—1895 г. Ц. 2 р. *Часть третья.* Стр. 358.—1898 г. Ц. 2 р.
- Фойгтъ, Георгъ.** *Возрожденіе классической древности или первый вѣкъ гуманизма*. Со 2-го изданія пер. *И. П. Рассадина* съ предисловіемъ и алфавитнымъ указателемъ. *Томъ I.* Стр. 540+VI. 1884 г. Ц. 3 р. 50 к.—*Томъ II.* Стр. 455+XXXV.—1885 г. Ц. 3 р.
- Фриманъ, Эдуардъ.** *Историческая географія Европы*. Пер. *М. В. Лучицкой*, подъ редакціей профессора *И. В. Лучицкаго* М. 1892 г. *Томъ I.* Текстъ. Предисловіе *И. Л.* и предисловіе автора *У.* Систематическое оглавленіе. Стр. XXXIX—433. «Алфавитный указатель». Стр. XXXI.—*Томъ II.* 74 карты въ хронологическомъ порядкѣ, съ объяснительнымъ текстомъ. 1892 г. Ц. за два тома 6 р.
- Его же.** *Методы изученія исторіи. Восемь лекцій 1884 г.* съ приложеніемъ вступительной лекціи объ обязанностяхъ профессора исторіи.—Главные періоды европейской исторіи. *Шесть лекцій 1895 г.*, съ приложеніемъ статьи о греческихъ городахъ подъ римскимъ управленіемъ. Пер. *П. Николаева*. Отъ переводчика.—Предисловіе автора. Стр. V+338.—1893 г. Ц. 2 р.
- Фулье, Альфонсъ.** *Отрывки изъ сочиненій великихъ философовъ*. Пер. *П. Николаева*. Стр. 535.—1895 г. Ц. 3 р.
- Шекспиръ.** *Драматическія сочиненія*. Пер. *Н. Нотчера*, выправленныя и пополненныя по найденному *Пэнъ Калльеромъ* старому экземпляру in folio 1632 г. *Часть 1.* Король Іоаннъ.—Ричардъ II.—Генрихъ IV. Стр. 408. 1862 г.—*Часть 2.* Генрихъ V.—Генрихъ VI. Стр. 421. 1863 г.—*Часть 3.* Ричардъ III.—Генрихъ VII. Стр. 421. 1863 г.—

рихъ VIII. — Комедія ошибокъ. — Макбетъ. Стр. 380. 1864 г. — *Часть 4.* Укрощеніе строптивой. — Коріоланъ. — Все хорошо, что хорошо кончается. — Отелло. — Стр. 445. 1864 г. — *Часть 5.* Тимонъ Ахейскій. — Два Веронца. — Юлій Цезарь. — Антоній и Клеопатра. Стр. 376. — 1863 г. — *Часть 6.* Зимняя сказка. — Трояль и Кресида. — Виндзорскія проказницы. — Ромео и Джульетта. Стр. 437. 1866 г. — *Часть 7.* Крещенская ночь. — Гамлетъ. — Тщетный трудъ любви. — Мѣра за мѣру. Стр. 433. 1873 г. — *Часть 8.* Король Лиръ. — Много шуму по пустому. — Цимбелинъ. — Какъ вамъ угодно. Стр. 444. 1877. — *Часть 9.* Буря. — Венеціанскій купецъ. — Въ ночь на Ивана сновидѣніе. — Титъ Андроникъ. — Периклъ. Стр. 402. 1879 г. — Цѣна каждой части 1 р., послѣдней 2 р.

**Шмидтъ, Карлъ.** *Исторія педагогики, изложенная во всемірно-историческомъ развитіи и въ органической связи съ культурною жизнью народовъ.* Пер. съ третьяго дополненнаго и исправленнаго *Вихардомъ Ланге* изд. *Эдуарда Циммермана.* *Исторія педагогики. Томъ первый.* До-христіанская эпоха. — Воспитаніе у дикихъ народовъ, на Востоцѣ, у грековъ и римлянъ. Изд. четвертое, значительно дополненное, исправленное и передѣланное *Эммануиломъ Ганнаноу*, директоромъ педагогическаго института въ Вѣнѣ. Пер. *Эдуарда Циммермана.* Съ портретомъ автора, краткимъ очеркомъ его жизни. Предисл. къ IV изд. д-ра *Фр. Диттеса* и редактора книги д-ра *Э. Ганнана.* — Указатель собственныхъ именъ и предметовъ. Стр. XXVIII. + 815. — 1890. Ц. 5 р. — *Томъ четвертый.* Отъ Песталоцци до настоящаго времени. Въ двухъ частяхъ. 1881 г. Ц. 7 р.

**Эсмена, А.** *Основныя начала государственнаго права.* Пер. съ французскаго Н. Б., подъ редакціей и съ предисловіемъ *М. Новалевскаго.* *Томъ I.* Предисловіе. Введеніе. Текстъ. Приложенія. Стр. X + 450. 1898 г. Ц. 1 р.

## Библіотека экономистовъ.

ОБЩІЯ ОБЪЯСНЕНІЯ РЕДАКТОРОВЪ „БИБЛИОТЕКИ“, М. П. ЩЕПКИНА И И. А. ВЕРНЕРА, см. въ I выпускѣ изданія.

**Адамъ Смитъ.** *Изслѣдованія о богатствѣ народовъ.* Съ портр. автора. — Предисловіе къ французскому изданію. — Жизнь и труды Ад. Смита. *Нурсель-Сенёля.* *Выпускъ I.* Стр. XXXII — Съ примѣчаніями экономистовъ по французскому изданію *Гильомена.* — Систематическое изложеніе ученія А. Смита по *Жермену Гарнье.* — Содержаніе изслѣдованій Смита. Стр. 288 — 1895 г. Ц. 1 р.

- Давидъ Рикардо.** Выбранныя мѣста изъ его сочиненій. Съ портр. автора. — Жизнь и труды Рикардо и библиографическій указатель его сочиненій. Пер. *Н. В. Фабрианта*. *Выпускъ II*. — 1895 г. Ц. 1 р.
- Т. Р. Мальтусъ.** *Опытъ закона о народонаселеніи*. Пер. *М. А. Вернера*. *Выпускъ III*. Съ предисловіемъ редакторовъ «Библіотеки» и статьею переводчика о жизни и трудахъ Мальтуса. Стр. LXIV + 249. — 1895 г. Ц. 1 р.
- Джонъ Стюартъ Милль.** *Основныя начала политической экономіи*. Съ портр. автора. *Выпускъ IV*. Пер. *А. Н. Минлашевскаго*, со статьею переводчика о жизни и трудахъ Милля. — 1895 г. Ц. 1 р.
- Давидъ Юмъ.** *Опытъ и Іеремія Бентамъ. Принципы законодательства*. — О вліяніи условій времени и мѣста на законодательство. — Руководство политической экономіи. Съ портр. авторовъ. Пер. *Ш. О. Гершензона*. *Выпускъ V*. — Съ автобіографіей Юма, статьею *Леопа Сэ*. — «Юмъ, какъ экономистъ», съ библиографіей. — «Жизнь и дѣятельность Бентама». *С. Рафаловичъ*. Дополненія ред. и библиографія соч. Бентама Стр. XXVIII + 119 и XLIII + 136. Оба автора въ одномъ выпускѣ. 1896 г. Ц. 1 р.
- Франсуа Кенэ.** Выбранныя мѣста. Съ портр. автора. — Объясненія отъ редакціи «Библіотеки». Ст. «Жизнь и произведенія *Франсуа Кенэ*. *Александра Минлашевскаго*, съ полнымъ спискомъ экономическихъ и философскихъ произведеній Кенэ Въ приложеніи *Tableau Économique*. *Выпускъ VI*. Стр. LII + 279. — 1896 г. Ц. 1 р.
- Жанъ Батистъ Сэ.** *Трактатъ политической экономіи*. Пер. *Е. Н. Каменецкой*. Съ портр. авт. Съ объясненіемъ отъ редакціи и ст. «Жизнь и труды». *Ж.-Б. Сэ*. Стр. XXI + 112. — **Фредерикъ Бастіа.** Кобденъ и Лига. — Экономическіе софизмы и Гармонія. — Чтѣ видно и чего не видать Пер. *З. С. Яновской*, со статьею «Жизнь и труды Бастіа» и библиографическимъ спискомъ. Стр. XVI + 240. — Оба писателя въ одномъ *VII выпускѣ*. — 1896 г. Ц. 1 р.
- Ж. Симондъ де-Сисмонди.** *Новыя начала политической экономіи*. Пер. *Б. О. Эфруси*. Съ портр. автора и ст. переводчика — «Жизнь и труды С. де Сисмонди». *Выпускъ VIII*. Стр. LVIII + 292. — 1897 г. Ц. 1 р.
- Д. Э. Кэрнсъ.** Выбранныя мѣста. Съ портр. автора. Логическій методъ. пол. экон. Стр. 127. — Основные принципы и цѣнность. Стр. 147. — Международная торговля. Стр. 80. — Со ст. «Жизнь и сочиненія Д. Э. Кэрнса». Стр. XXXI. — 1897. Ц. 1 р. — Пер. *Туганъ-Барановскаго* *Выпускъ IX*.

---

Дозволено цензурой, Москва, 16 декабря 1897 г.

Типо-автографія В. Рихтеръ, Тверская, Мамоновскій пер., соб. домъ



Цѣна за два тома **3** рубля.











